



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были отданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как минимум о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

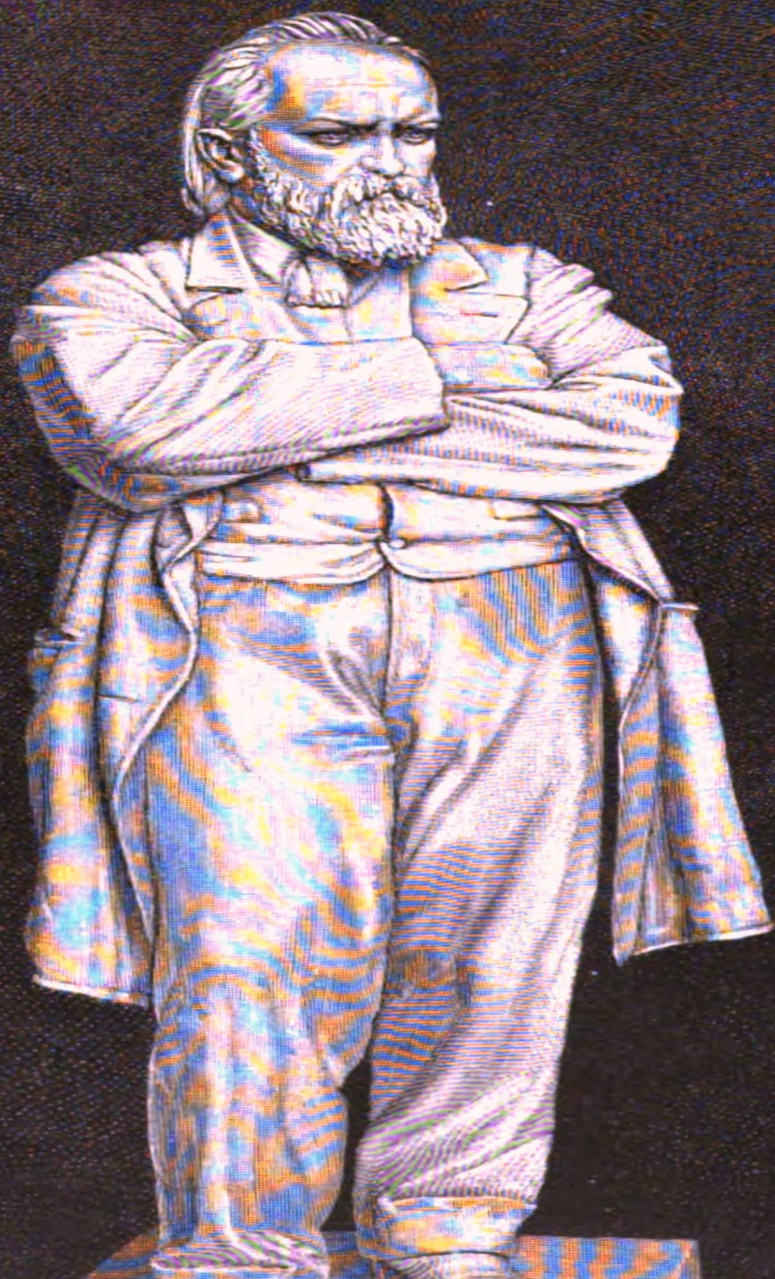
Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>



Сочинения и переписка с Н.А. Захарьиной

Александр Herzen, Наталья Александровна Захарьина Нертцен

*GDP

1152E

Издание Ф. Павленкова.

350007

СОЧИНЕНІЯ
А. И. ГЕРЦЕНА

и

Переписка съ Н. А. Захарьиной.

ВЪ СЕМИ ТОМАХЪ.

Съ примѣчаніями, указателемъ и 8 снимками (7 портретовъ и 1 статуя).

Томъ V.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія Ю. Н. Эрликъ, Садовая, № 9.

1905.

ИЗДАНИЯ Ф. ПАВЛЕНКОВА.

Продаются во всех книжных магазинах. Главный складъ въ книжномъ магазинѣ П. Луковникова. (Спб. Леситукъ пер., № 2).

Литература, исторія, публицистика.

- Сочиненія Пушкина. Съ портретами, биографіей и 500 писемъ. Полное собраніе въ 1-мъ томѣ и въ 10 томъхъ. 5-е изд. Цѣна 1-томнаго и 10-томнаго изданія одна и та же: 1 р. 50 к. За переплеты для 1-томнаго изданія — 50 к. Для 10-томнаго (5 перештовъ) 1 р. и 2 р.
- Сочиненія Н. В. Гоголя. Съ биографіей, портретами и 184 рис. Полное собраніе въ 1 м. томѣ. Ц. 1 р. 25 к. Въ переплетѣ 2 р.
- Сочиненія Лермонтова. Съ портретами, биографіей и 115 рисунк. Полное собраніе въ одномъ томѣ. Ц. 1 р. Въ переплетѣ 1 р. 50 к.
- Сочиненія Глба Успенскаго. 4 изд. Ц. за два тома—3 р.
- Повѣсти и рассказы Н. В. Яковлевой. Авторъ «Обрусителей». Болѣе 400 стр. Ц. 1 р. 25 к.
- Капитанская дочка. Повѣсть А. Пушкина. Съ 188 рис. Ц. 60 к. Въ перепл. 75 к. Въ перепл. 1 р.
- Сочиненія Чарльза Дикенса. Полное собраніе въ 10 томъхъ. Цѣна каждого тома 1 р. 50 к.
- 1) Давидъ Копперфильдъ.
 - 2) Домби и сынъ.
 - 3) Холодный домъ и Повѣсть о двухъ городахъ.
 - 4) Крошка Дорритъ и Большая ожиданія.
 - 5) Пашъ общій другъ и Оливеръ Твистъ.
 - 6) Записки Пиквикскаго клуба и Тяжелыя времена.
 - 7) Николай Никльби и три «Святыхъ» разсказа.
 - 8) Мартинъ Чезльвигъ. Гимнъ Рождеству. Затравленъ.
 - 9) Барнеби Реджъ. Тайна Эдвина Друда и Колокола.
 - 10) Лавка дрепнишъ.
- Записки путешественника по по торговымъ дѣламъ. Станція Мелби. Мѣдфогскія записки. Рецепты д-ра Меригольда. Безъ выхода. Портретъ и биографія автора.
- Сочиненія Виктора Гюго. Съ портр. автора и статей А. Скабичевскаго. Два тома. Ц. 2 р. 50 к.
- Сочиненія Эркмана-Шатриана. Въ двухъ томъхъ. Ц. 3 р.
- Одинъ въ полѣ — не воинъ. Соціолог. романъ Шпильгагена. Пер. съ нѣм. Ц. 1 р. 25 к.
- Грядущая раса. Фантастическій романъ. Эд. Бульвера. Перев. съ англ. Ц. 50 к.
- Черезъ сто лѣтъ. Соціалистическій романъ. Э. Беллами. 4-е изд. Ц. 75 к.
- Голодъ. Романъ Гамсуна. Ц. 60 к.
- Забора. Романъ Г. Зудермана. Ц. 60 к.
- Долой оружіе! Антивоенный романъ. Б. Зутнеръ. Цѣна 80 к.
- Будущее человечество. Соціалистическая фантазія. Мантегацца. Съ 20 рис. Ц. 40 к.
- Большая любовь. Гигіенический романъ. П. Мантегацца. 2-е изд. Ц. 50 к.
- Конецъ міра. Астроном. романъ К. Фламмариона. Съ 80 рисунками. Ц. 60 к.
- Стелла. Астрономическій романъ К. Фламмариона. Ц. 80 к.
- Литература XIX вѣка въ ея главнѣйшихъ теченіяхъ. Г. Брандеса. I. Французская литература. Съ 13 портр. Ц. 2 р.—II. Англійская литература. Ц. 75 к.—III. Нѣмецкая литература Ц. 1 р.
- Исторія новѣйшей русской литературы (1848—1903) А. М. Скабичевскаго. Ц. 2 р.
- Литература различныхъ племенъ и народовъ. Ш. Летурно. Ц. 1 р. 50 к.
- Тургеневъ о русскомъ народѣ. Чтеніе для народа. Съ портретами Н. С. Тургенева. Ц. 15 к.
- Сочиненія А. М. Скабичевскаго. 2 тома. Съ портретами автора, 3 изд. Ц. 3 р.
- Исторія русской цензуры. Его-же. Ц. 2 р.
- Сочиненія В. Г. Бѣлинскаго. Полное собр. въ 4 томъхъ. Съ портр., факсимиле и спискомъ съ карт. Наумова «Бѣлинскій передъ смертю». Ц. 1, 2 и 3-го том. по 1 р., 4-го тома 1 р. 25 к.
- Сочиненія Д. И. Писарева. Полное собраніе въ 6 томъхъ. Цѣна каждого тома 1 рубль.
- Исторія культуры. Ю. Липперта. Переводъ съ нѣм. Съ 83 рис. 6-е изд. Ц. 1 р. 60 к.
- Исторія семьи. Ю. Липперта. Ц. 60 к.
- Исторія первобытныхъ людей. Э. Клодда. Перев. М. Энгельгардта. Съ 88 рис. Ц. 40 к.
- Первобытные люди. Дебьера. Съ 84 р. Ц. 75 к.
- Исторія девятнадцатаго вѣка (1789—1899). Профессора Марешала. Ц. 3 р.
- Исторія французской революціи. Лавресса и Рамбо. Перев. М. Юлшина. Ц. 1 р. 50 к.
- Общественный организмъ. Р. Воржса. Переводъ ред. проф. А. Трачевскаго. Ц. 75 к.
- Общественный прогрессъ и регрессъ. Проф. Греефа. Перев. Паперна. Ц. 1 р. 50 к.
- Соціальное развитіе. В. Кляда. Ц. 75 к.
- Психологія народовъ и массъ. Г. Лебона. Съ франц. Ц. 1 р.
- Психологія французскаго народа. Фульве. Съ франц. Ц. 1 р.
- Психические факторы цивилизаціи. Л. Уорда. Переводъ Л. Давыдовой. Ц. 80 к.
- Современное народовѣдѣніе. Хеллеса. Съ нѣмец. Ц. 1 р. 50 к.
- Соціологическія основы исторіи. Лакомба. Ц. 1 р. 50 к.
- Исторія цивилизаціи въ Англии. Бокля. Перев. А. Н. Буйницкаго. Съ портр. авторъ. Ц. 2 р.
- Исторія рабочаго движенія въ Англии. Уэбба. Съ англійскаго Ц. 1 р. 50 к.
- Организація свободы и общественный долгъ. А. Прэнса. Ц. 80 к.
- Представительное правленіе. Дж. Стюарта Милля. Ц. 60 к.
- Въ трущобахъ Англии. Бутса. Ц. 1 р.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS.



А. И. Герценъ на смертномъ одрѣ.

(1870 г.).

СОЧИНЕНІЯ
А. И. ГЕРЦЕНА.

Томъ V.

СОЧИНЕНІЯ
А. И. ГЕРЦЕНА

и

Переписка съ Н. А. Захарьиной.

~~~~~  
ВЪ СЕМИ ТОМАХЪ.  
~~~~~

Съ прилѣжаніями, указателемъ и 8 снимками (7 портретовъ и 1 статуя).

Т о м ъ V.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе Ф. Павленкова.
1905.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
356497
ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS.
R 1906 L

Типографія Ю. Эрликъ, Садовая, № 9.

Оглавление V-го тома.

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКІЯ И КРИТИЧЕСКІЯ СТАТЬИ.

Письма изъ Франціи и Италіи.		стр.
Предисловіе		1
Письмо первое		6
Письмо второе		16
Письмо третье		28
Письмо четвертое		39
Письмо пятое		49
Письмо шестое		66
Письмо седьмое		80
Письмо восьмое		91
Письмо девятое		98
Письмо десятое		115
Письмо одиннадцатое		134
Письмо двѣнадцатое		140
Письмо тринадцатое		148
Письмо четырнадцатое		155
Приложеніе. Письмо къ Ш. Риберолу, издателю журнала „L'Homme“		160
Съ того берега.		
Посвященіе		166
Предисловіе		167
I. Передъ грозой		174
II. Послѣ грозы		191
III. LVII годъ республики единой и нераздѣльной		197
IV. Vixerunt!		206
V. Consolatio		225
VI. Эпилогъ 1849 года		242
VII. Omnia mea mesum porto		248
Русской народъ и социализмъ		262
Крещеная собственность		284
Старый міръ и Россія.		
Предисловіе		302
Письмо первое		304
Письмо второе		309
Письмо третье		315

	СТР.
Юрьевъ день! Юрьевъ день!	326
Еще вариация на старую тему	330
Лишніе люди и желчевики	341
Старика Ведрина крѣпкое до польскихъ братій словцо	349
Концы и начала.	
Письмо первое	351
Письмо второе	361
Письмо третье	367
Письмо четвертое	374
Письмо пятое	380
Письмо шестое	383
Письмо седьмое	390
Письмо восьмое	399
Императоръ Александръ I и В. Н. Каразинъ.	
I. Донъ-Карлосъ	405
II. Письмо	410
III. Маркизь Поза	419
V. Fagemo da se!	423
Еще разъ Базаровъ.	
Письмо первое	426
Письмо второе	434
Къ старому товарищу.	
Письмо первое	439
Письмо второе	444
Письмо третье	448
Письмо четвертое	452
Примѣчанія	455

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКІЯ И КРИТИЧЕСКІЯ СТАТЬИ.

(ПРОДОЛЖЕНІЕ).

Письма изъ Франціи и Италіи.

Можеть, я не во время издаю мои старыя письма объ Италіи и Франціи.

Я издаю ихъ потому, что у меня много досугу. Русскому нечего теперь здѣсь говорить и нельзя. Война пьянитъ, кровь невинныхъ подымается багровымъ туманомъ и не позволяетъ просто смотрѣть. Скрѣпя сердце, приношу я на жертву войнѣ свободную рѣчь, которою купилъ дорогой цѣной изгнанія и потерь.

Мои брошюры, статьи въ журналѣ Прудона, мои письма къ Маццини и къ Мишле были приняты съ живымъ участіемъ радикальною прессой въ Европѣ и въ Сѣверной Америкѣ. Я сдѣлалъ опытъ продолжать ту же рѣчь въ началѣ нынѣшняго года ¹⁾ и заслужилъ вопль негодованія, грязь неблагородныхъ обвиненій и подлыхъ намековъ. Имъ теперь не до правды; до поры, до времени надобно молчать или говорить о другомъ.

Письма эти не имѣютъ прямого отношенія къ настоящимъ событіямъ. Они остались какъ были писаны (1847—1852), я только выбросилъ нѣкоторыя подробности, скучныя теперь, но не коснулся ни до тона, ни до сущности.

Писавши эти письма подъ шумъ и громъ событій, я часто увлекался, но былъ откровененъ,—за это я ручаюсь, и потому думаю, что они не будутъ лишены для русскихъ читателей той занимательности, которую имѣли въ Германіи ²⁾.

Твикнемъ, 9 ноября 1854 г.

¹⁾ Letters to W. Linton Esq. Въ его журналѣ *the English Republic* — въ первыхъ книжкахъ 1854.

²⁾ Четыре первыхъ письма были напечатаны въ „Современникъ“ за 1847 г. подъ заглавіемъ: „Письма изъ *Avenue Marigny*“; разумѣется, что *красный призракъ* цензурныхъ чернилъ постоянно былъ у меня передъ глазами, когда я ихъ писалъ. Слѣдующія *семь* были изданы въ началѣ 1850 г. въ Гамбургѣ Гофманомъ и Кампе (*Briefe aus Italien und Frankreich v. einem Russen*). Остальныя письма не были въ печати. Мнѣ предлагали ихъ помѣстить въ журналѣ французскихъ изгнанниковъ въ Англіи, я писалъ даже объ этомъ письмо къ редактору (см. *L'Homme*, 22 февраля 1854),—но отложилъ, не желая ничѣмъ вызывать на новую полемику.

Письма эти—въ распахъ остановленные и на скоро закрѣпленные впечатлѣнія времени, не Богъ знаетъ какъ давно прошедшаго, но преданію о которомъ уже «вѣрится съ трудомъ». Можетъ, поэтому они и имѣютъ для меня особую цѣну

Въ нихъ первая встрѣча съ Европой, веселая сначала,—да и какъ же было не веселиться, вырвавшись изъ Россіи, послѣ двухъ ссылокъ и *одного* полицейскаго надзора. Веселый тонъ писемъ скоро тускнеть,—начинается зловѣщее раздумье и патологическій разборъ. Пестрыя декорации конституціонной Франціи не на долго могли скрыть внутреннюю болѣзнь, глубоко развѣдавшую ее. Чѣмъ пристальнѣе я всматривался, тѣмъ яснѣе видѣлъ, что Францію можетъ воскресить только коренной экономической переворотъ—93 годъ социализма. Но гдѣ силы на него?..... гдѣ люди?..... а пуще всего гдѣ мозгъ? Съ горькимъ сомнѣніемъ и нерѣшенными вопросами покинулъ я Францію, и сразу наткнулся въ Италіи на первые, свѣтлые дни ея пробужденія... Я шель отъ одной народной побѣды къ другой, я видѣлъ только восторженные лица, ликующіе взоры,—вдругъ громовой ударъ 24 февраля. Ироническій духъ революціи снова привелъ западнаго человѣка на гору, показалъ ему республику во Франціи, баррикады въ Вѣнѣ, Италію въ Ломбардіи—и снова столкнулъ его въ тюрьму, гдѣ ему за дерзкій сонъ прибавили новый обручъ. Я слышалъ, какъ его заклепывали,—и опять письма мои, отразившія увлеченіе 1848, становятся мрачны. и этотъ мракъ растетъ и растетъ до тѣхъ поръ, пока 2 декабря 1851 года вырываетъ крикъ: *Vive la mort!* Когда послѣдняя надежда исчезла, когда оставалось самоотверженно склонить голову и молча принимать довершающіе удары, какъ послѣдствія страшныхъ событій,—вмѣсто отчаянія въ груди моей возвратилась юная вѣра тридцатыхъ годовъ, и я съ упованіемъ и любовью обернулся назадъ.

Такимъ образомъ эти письма вмѣстѣ съ книжкой, изданной мною въ Швейцаріи (*Vom andern Ufern*), составляютъ цѣлый циклъ моего путешествія, мою странническую Одиссею. Начавши съ крика радости при переѣздѣ черезъ границу, я окончилъ моимъ духовнымъ возвращеніемъ на родину.

Вѣра въ Россію спасла меня на краю нравственной гибели.

Вѣровать теперь въ развитіе Россіи неудивительно, когда преемникъ ¹⁾ *освобождаетъ крестьянъ*. Тогда было не такъ. Но въ самый темный часъ холодной и непривѣтной ночи, стоя середь падшаго и разваливающагося міра и вѣлушиваясь въ ужасы, которые дѣлались у насъ,—внутренній голосъ говорилъ все громче и громче, что не все еще для насъ погибло; и я снова повторялъ

¹⁾ Императора Николая I. Прим. издат.

Гётевскій стихъ, который мы такъ часто повторяли юношами:
«Nein es sind keine leere Träume!»

За эту вѣру въ нее, за это исцѣленіе ею, благодарю я мою родину. Увидимся ли, нѣтъ ли, но чувство любви къ ней проводить меня до могилы.

Пріемъ этихъ писемъ, напечатанныхъ долею въ «Современникѣ» (Письма изъ Avenue Marigny), долею въ нѣмецкомъ изданіи (Briefe aus Frankreich und Italien, Hoffmann & Campe) и потомъ по-русски въ нашей типографіи, былъ розенъ; рядомъ съ горячимъ сочувствіемъ они встрѣтили сильныхъ порицателей. Русскія возраженія и упреки сводятся на три главные пункта: зачѣмъ я, смѣясь, говорю объ Европѣ; зачѣмъ я разрушаю вѣру въ нее. зачѣмъ проповѣдую социализмъ, который пугаетъ и до котораго *теперь* въ Россіи дѣла нѣтъ.

На два первыя замѣчанія, я уже отвѣчалъ и не одинъ разъ ¹⁾, на третье скажу нѣсколько словъ.

Оно меня всего больше поражаетъ своимъ не русскимъ характеромъ; у насъ прежде не было этой хозяйственной расчетливости, этой нравственной гигиены, которая бы боялась истины, потому что до нея не дошелъ чередъ, потому что ее не выгодно говорить. Если у насъ молчали о многомъ, то это просто отъ того, что запрещали говорить. Намъ не къ лицу эта старческая воздержанность, ни эта хитрая дипломатія. Мы проще, мы здоровѣе, болыничная разборчивость пищи намъ нейдетъ, мы не адвокаты, не мѣщане,—зачѣмъ же намъ, какъ только опустили немного поводья, самимъ накупаться на мартинигаль и обречь себя на діету, предписанную худосочнымъ старикамъ?

У насъ, можетъ быть, и образуется теперь слегка либеральная, парная оппозиція,—она даже будетъ не безъ пользы для нравовъ, чтобъ обчистить помѣщичью грязь и кавалерійскую солому, занесенную изъ конюшенъ во всѣ жизненныя отношенія. Мы должны пройти въ нашей *школь исторіи* и черезъ этотъ *классъ*,—но рядомъ съ другими. Многосторонность наша—великое дѣло, замѣна, выкупъ горькаго, бѣднаго прошедшаго; не будемъ же по Оригену сами себя уродовать, чтобъ не согрѣшить.

Къ тому же вопросъ социальный совсѣмъ не такъ далекъ отъ насъ, какъ думаютъ, мы середь него. Освобожденіе крестьянъ съ землею—начало великаго экономическаго переворота, въ который Россія вступаетъ.

Экономическаго или социальнаго?—Это уже рѣшайте сами.

А я пока вамъ расскажу анекдотъ, слышанный мною отъ Н. А.

¹⁾ Въ концѣ V письма, въ письмѣ къ Риберолу, въ «Западныхъ Арабскаяхъ», въ «Новыхъ варіаціяхъ на старую тему».

Полевого въ тѣ времена, когда онъ смѣялся въ «Телеграфъ» и во все не плакалъ съ Парашей Сибирячкой. Какой то сидѣлецъ, начетчикъ газетъ и патріотъ, будто бы спросилъ разъ его: «Позвольте освѣдомиться, храбрый генераль-маіоръ Кульневъ палъ на полѣ брани или на полѣ чести?»—Я не помню, что отвѣчалъ Полевой, но я бы ему очень учтиво сказалъ:—«А вамъ что пріятнѣе?»—и утѣшилъ бы его, подтвердивъ его мнѣніе.

Западъ находится совсѣмъ въ другомъ положеніи относительно коренного, *экономическаго* переворота, чѣмъ мы. Наша боязнь—подражаніе, чувство заимствованное, лунное и потому неоправданное, не истинное.

Современное государственное состояніе Европы—гавань, до которой она достигла труднымъ плаваніемъ, путемъ сложнымъ, à fur et à mesure, забѣгая и отставая. Оно не представляетъ стройно выработанный бытъ, а бытъ туго сложившійся по возможностямъ; осыдая, онъ захватилъ въ себя величайшія противурѣчія, историческія привычки и теоретическіе идеалы, обломки античныхъ капитолей, церковныхъ утварей, топоры ликторовъ, рыцарскія копья, доски временныхъ балагановъ, ключья царскихъ одеждъ и скрижали законовъ во имя свободы, равенства и братства.

Внизу—*среднія вѣтка* народныхъ массъ, надъ ними—вольнотпущенные горожане, еще выше—кондотьеры и философы, попы безумія и попы разума, живые представители всѣхъ варварствъ отъ герцога Альбы до Кавеньяка, и всѣхъ цивилизацій отъ Гуго Гроція до Прудона, отъ Лойолы до Бланки.

«Святыи отецъ прислалъ по *электрическому телеграфу* свое благословеніе новорожденному императорскому принцу, черезъ два часа послѣ разрѣшенія императрицы французовъ».

Въ этой фразѣ изъ газетъ есть что то безумное. Подумайте объ ней, она объяснить лучше всякихъ коментарій то, что я хочу сказать о Западѣ.

Можетъ, въ будущемъ и наше развитіе спутается, но въ отношеніи къ *идеѣ ближняго будущаго* мы поставлены свободнѣе Запада,—воспользуетесь этимъ. Долгія битвы и трудно доставшіяся побѣды связываютъ его, ограничиваютъ его завоеваннымъ; многое ему дорого, не смотря на то, что оно уже не въ пору. Мы ничего не побѣдили, намъ нечего отстаивать и нечего держать пограничныя крѣпости на военную ногу. У насъ все еще такъ шатко, неопредѣленно, насильственно, безъ нашего спроса, не по нашей мѣркѣ..., что мы должны радоваться, если чужая одежда рвется, и свободно искать болѣе удобную, гдѣ бы она ни нашлась и въ чемъ бы она ни нашлась. Мы въ нѣкоторыхъ вопросахъ потому дальше Европы и свободнѣе ея, что такъ отстали отъ нея; чтобъ объяснить это, вотъ вамъ примѣръ. Кто не знаетъ, какой огром-

ный шагъ сдѣлали народы, перейдя въ протестантизмъ; но въ наше время нѣтъ странъ, въ которыхъ бы религіозная нетерпимость больше вошла въ нравы, была бы притѣснительнѣе и неизлечимѣе, какъ въ земляхъ протестантскихъ. Было время, когда ихъ теперешняя нравственная неволя была для нихъ освобожденіемъ, когда они за свое право скучать по воскресеньямъ и пѣть псалмы платили головой. Оттого то религія вкоренена гораздо прочнѣе и глубже въ Англій, нежели въ Италіи.

Въ Италіи послѣ революціи 1848 дѣлали опыты противудѣйствовать папѣ какимъ то протестантизмомъ; но Саванаролы XIX столѣтія проповѣдывали въ пустынѣ. Нѣту настолько вѣры въ папу, чтобъ невѣріе въ него могло двинуть умы, нѣту настолько интереса религіознаго, чтобъ нападеніе на религію обратило вниманіе массъ. Католицизмъ вымереть въ Романьѣ ¹⁾ вмѣстѣ съ христіанствомъ, безъ всякаго протестантизма.

Либералы — эти протестанты въ политикѣ — въ свою очередь страшнѣйшіе консерваторы, они за переменной хартій и конституцій, блѣднѣя, разглядѣли призракъ социализма и перепугались; удивляться нечему, имъ тоже есть что терять, есть чего бояться. Но мы то совсѣмъ не въ этомъ положеніи, мы относимся ко всѣмъ общественнымъ вопросамъ гораздо проще и наивнѣе.

Либералы боятся потерять свободу, у насъ нѣтъ свободы; они боятся правительственнаго вмѣшательства въ дѣла промышленности.—правительство у насъ и такъ мѣшается во все; они боятся утраты личныхъ правъ,—намъ ихъ еще надобно приобрѣтать.

Чрезвычайныя противурѣчія нашей несложившейся жизни, шаткость всѣхъ юридическихъ и государственныхъ понятій дѣлаетъ, съ одной стороны, возможнымъ крѣпостное состояніе, военныя поселенія, съ другой, обуславливаетъ легкость переворотовъ Петра I, Александра II. Человѣкъ, живущій en garni, гораздо легче переѣзжаетъ, нежели тотъ, кто обзавелся домомъ.

Европа идетъ ко дну отъ того, что не можетъ отдѣлаться отъ своего груза, въ немъ бездна драгоцѣнностей, набранныхъ въ дальнемъ опасномъ плаваніи. У насъ это—искусственный баластъ; за бортъ его,—и на всѣхъ парусахъ въ широкое море!

Мы входимъ въ исторію дѣятельно и полные силъ именно

И не въ одной Романьѣ. Я жилъ въ Пьемонтѣ, въ то время какъ попы крамольничали противъ Сиккарди. Король рѣшился, наконецъ, арестовать архіерея въ Кальяри и выслать его за границу. Народонаселеніе на островѣ осталось, боялись, что оно вступится за своего пастыря; вслѣдствіе чего министръ и послалъ двѣ, три роты берсальеровъ съ чиновникомъ, которому поручено арестовать архіерея. Но берсальерамъ пришлось всю дорогу защищать бѣднаго архипастыря отъ народнаго негодованья. отъ его насмѣшекъ, сопровождаемыхъ иной разъ камнями.

въ то время, когда всѣ политическія партіи поблекли, стали анахронизмомъ, и всѣ указываютъ—съ упованіемъ одни, съ отчаяніемъ другіе—на приближающуюся тучу экономического переворота. Вотъ и мы, глядя на сосѣдей, перецугались грозы и, какъ они, не находимъ лучше средства, какъ молчать объ опасности.

Я видаль дѣйствительно барынь, которыя во время грозы закрывали ставни, чтобъ не видѣть молніи; но не знаю, насколько это отвращаетъ удары.

Полноте бояться, успокойтесь, на нашемъ полѣ есть громоводъ—*общинное владѣніе землю*.

Путней, 1 февраля 1858.

Письмо первое.

Парижъ, 12 мая 1847 г.

Кажется, четыре мѣсяца не Богъ знаетъ что, а сколько верстъ, миль и льѣ проѣхалъ я съ тѣхъ поръ, какъ мы разстались съ вами на бѣломъ снѣгу въ Черной Грязи... да что версты! Сколько впечатлѣній, станцій, готическихъ соборовъ, новыхъ мыслей, старыхъ картинъ, дебаркадеровъ,—просто удивляешься, какъ это все можетъ помѣститься въ душѣ. Надобно признаться, для празднаго человѣка нѣтъ лучше жизни, какъ жизнь туриста: занятій тѣма, все надобно видѣть, всюду успѣть,—подумаешь, что дѣло дѣлаешь: бездна заботъ, бездна хлопотъ... За то ничего не можетъ быть печальнѣе для путника, вопедшаго во вкусъ, какъ пріѣздъ въ Парижъ: ему становится неловко и страшно, онъ чувствуетъ, что пріѣхалъ, что ѣхать далѣе нѣкуда, и не бѣжить онъ на другой день съ комиссіонеромъ изъ галлерей въ галлерю, усталый и озабоченный, и не осматриваетъ рѣдкостей, и не лезитъ на колонны, а скромно идетъ къ Юману заказывать платье... «dans une semaine, Monsieur, dans une semaine...» И онъ не удивляется этому отвѣту, пройдутъ не одна и не двѣ недѣли... Очень грустно!

Парижъ—столичный городъ Франціи на Сень... мнѣ хотѣлось только испугать васъ; не стану описывать видѣннаго мною, я слишкомъ порядочный человѣкъ, слишкомъ учтивый человѣкъ, чтобы не знать, что Европу всѣ знаютъ, что всякій образованный человѣкъ, по крайней мѣрѣ, состоитъ въ подозрѣніи знанія Европы, а если ее не знаетъ, то невѣжливо ему напоминать это. Да и что сказать о предметѣ битомъ и перебитомъ,—о Европѣ?

Съ легкой руки Фонъ-Визина и особенно съ карамзинскихъ писемъ русскаго путешественника у насъ все рассказали о Европѣ въ замѣчательныхъ письмахъ русскаго офицера, сухопутнаго офицера, морского офицера, оберъ-офицера и унтеръ-офицера; нако-

нецъ, гражданскія *дѣловыя* письма его превосходительства Н. И. Греча и приходо-расходный дневникъ М. П. Погодина договорили послѣднее слово. Для того, чтобы описывать путешествія, надобно, по крайней мѣрѣ, съѣздить въ пампы Южной Америки, какъ Гумбольдтъ, или въ Вологодскую губернію, какъ Блазіусъ, спуститься осенью по Ніагарскому водопаду или весною проѣхать по костромской дорогѣ. Впрочемъ судьба путешественниковъ по Европѣ, имѣющихъ слабость писать, скоро улучшится. Теперь уже трудно и почти невозможно видѣть Европу, но черезъ нѣсколько лѣтъ она совсѣмъ изгладится изъ памяти людской, для этого собственно и учреждаются желѣзныя дороги. Европа для путешественника превратится въ нѣсколько точекъ, освѣщенныхъ фонарями, въ нѣсколько буфетовъ, украшенныхъ рюмками. Тогда новые Куки и Дюмонъ-Дюрвиль выйдутъ изъ вагоновъ (еслибъ и прежній Дюмонъ-Дюрвиль вышелъ изъ вагона, не сгорѣлъ бы онъ на версальской дорогѣ) и пойдутъ во внутренность Европы и расскажутъ намъ о нравахъ и жизни людей, не на желѣзной дорогѣ живущихъ. Сколько разъ я мечталъ о томъ, когда окончатъ кѣнигсбергскую дорогу,—какъ славно и полезно будетъ путешествовать! Доплелся до Кѣнигсберга, сѣлъ въ вагонъ,—и не выходи пожалуй; машина свистнула и пошла постукивать: Берлинъ—4 минуты для наливки воды; Кѣльнъ—3 минуты для смазки колесъ; Брюссель—5 минутъ для завоеванія бутерброда съ ветчиной; Валансъенъ—4 минуты, для того, чтобы доказать французскому правительству, что оно не умѣетъ отыскивать спрятанныхъ сигаръ; Парижъ—15 минутъ для переѣзда въ омнибусъ изъ одного дебаркадера въ другой; Гавръ—3 минуты для перегрузки на пароходъ;... а тамъ Нью-Йоркъ и, словомъ, не успѣешь опомниться и опять въ Ситхы, въ Сибири, т. е. опять дома.

А Впрочемъ бѣды большой нѣтъ, если до Рейна ничего не увидишь. Комфортабельная обитаемость Европы начинается съ Рейна,—это знали давно; двѣ тысячи лѣтъ тому назадъ римляне поживали себѣ въ Майнцѣ да Кѣльнѣ, а въ Гановеръ и Берлинъ не ѣздили. Въ Германіи нечего смотрѣть. Германію надобно читать, обдумывать, играть на фортепіанахъ,—и проѣзжать въ вагонахъ однимъ днемъ съ конца на конецъ. Вы помните, какъ Василій Ивановичъ съ негодованіемъ возражалъ Ивану Васильичу, что онъ не путешествуетъ, а просто ѣдетъ къ себѣ въ село Мордасы. Василій Ивановичъ тутъ, какъ вездѣ, побѣдилъ близорукаго Ивана Васильича: кто же поѣдетъ для путешествія въ село Мордасы? Германія также не годится *au jour d'aujourd'hui* (будущее завѣсою покрыто!) для путешествія; туристу жить въ Германіи значитъ отклонять ее отъ естественнаго назначенія. такъ какъ—ну я не знаю—такъ какъ ѣсть, напимѣръ, картину; можетъ, по-

падаетя и вкусная, въ которой масло еще свѣжо, все же это нагрузка, и кто не предпочтетъ всякій салатъ лучшей картинѣ дюссельдорфской школы, разумѣется, если этотъ салатъ приготавлила не нѣмка.

Не могу не приостановиться здѣсь и не вступить по поводу салата въ нѣкоторыя подробности. Лейбницъ и Гейне, Погодинъ и Шевыревъ, Гёте и Гегель и другіе великіе люди попарно и въ разбивку согласны, что германскій умъ при всей теоретической силѣ имѣетъ какую то практическую несостоятельность; что нѣмцы велики въ наукѣ и являются самыми тяжелыми и, что еще хуже, самыми тупыми, и, что всего хуже, самыми смѣшными филистерами. Должна же быть на это какая нибудь общая причина. Отчего нѣмецъ всегда наклоненъ къ золотухѣ, слезамъ и романтизму, къ платонической любви и мѣщанскому довольству? Отчего нѣмки не умѣютъ одѣваться и могутъ только жить въ двухъ средѣхъ,—въ надзвѣздномъ эфирѣ или въ кухонномъ чаду? Отчего нѣмцы умѣютъ слушать Генгстенберга, Гёреса?... Оттого, и тысячу разъ оттого, что у нихъ фибринъ плохъ, рыхлъ, дряблъ... Томы писали объ этомъ, но истинная причина ускользнула отъ вниманія; она такъ близка, такъ подъ носомъ, что ее и не разглядѣли; толковали о реформаціи, о тридцатилѣтней войнѣ, о бэфреюнгскригѣ, въ которомъ мы ихъ освободили отъ французовъ: все это причины второстепенныя,—общая главная причина одна: нѣмецкая кухня.

Вамъ смѣшно, вы еще настолько идеалисты, что вамъ все нужны причины безтѣлесныя, невещественныя,—а не то, что варенныя и жаренныя. Полноте презирать тѣло, полноте шутить съ нимъ! оно мозолю придавить весь вашъ бодрый умъ и на смѣхъ гордому вашему духу докажетъ его зависимость отъ узкаго салаго.

Знаете ли вы, что такое питаніе? какъ оно важно? Грантъ въ началѣ своей сравнительной анатоміи опредѣляетъ животное удобо-переносимымъ мѣшкомъ, назначеннымъ для претворенія пищи. Изъ этого вы видите (а еще болѣе изъ того, что человѣкъ безъ ума все человѣкъ, а безъ желудка не переживетъ двухъ дней), что всѣ органы—роскошь желудка, внѣшнія украшенія его, его орудія. Пора возстать противъ аристократическихъ частей тѣла, питающихся на счетъ желудка и кичащихся на его счетъ. Есть они—хорошо, нѣтъ—неудурно; устрица живетъ себѣ безъ головы и безъ ногъ, а вкусна; безъ желудка же никто не живетъ, даже у растений есть желудокъ, не совсѣмъ на мѣстѣ, но есть же. Вѣрный своему антиромантическому призванію, желудокъ у растений уцѣпился за землю, чтобъ растеніе не ушло къ солнцу.

Теперь позвольте васъ спросить, при всемъ германскомъ усердіи и преданности, что можетъ выработать желудокъ нѣмца

изъ прѣсно-пряно-мучнисто-сладко-травяной массы съ корицей, гвоздикой и шафраномъ, которую ѣсть нѣмецъ? Еслибъ вы знали весь трудъ пищеваренія, вы увидѣли бы, что за отчаянную борьбу съ мукой и картофелемъ, что за мужественное противодѣйствіе душамъ изъ баварскаго пива каждый нѣмецкій желудокъ давно заслужилъ медаль для ношенія на дуоденумѣ съ надписью: pour la digestion. Гдѣ тутъ выработать какой нибудь упругій, само-бытнѣйшій англійскій, или дѣятельнѣйшій, безпокойнѣйшій французскій фибринъ! Тутъ не до силы воли, не до расторопности, а чтобъ человѣкъ на ногахъ держался, да не совсѣмъ бы отсырѣлъ. Перебѣдите нѣмецкую кухню, и вы увидите, что Арминій не даромъ спасъ въ «тейтобургской грязи» германскую народность. Такіе перевороты, разумѣется, не дѣлаются разомъ, но я вѣрю въ прогрессъ, вѣрю въ Германію..... Трудно будетъ—это правда. Когда Гегель жилъ въ Парижѣ у Кузена, то писалъ къ Гегельшѣ: здѣсь обѣдаютъ въ 6 часовъ (это его такъ поразило, какъ если бы французы ушами читали); я не могъ къ этому привыкнуть и и мнѣ готовятъ обѣдъ особо въ два часа,—что прикажете дѣлать противъ такой упорной натуры? Но—tempora mutantur: Гегель, Гёте—все это послѣдніе могики. А когда совсѣмъ вымретъ старая «юная Германія»,—вы увидите, кухня не устоитъ.

Разумѣется, еслибъ германская діета занялась діетой Германіи и приказала бы, пока можно, отвести, ну, хоть въ Техасъ, благо овъ еще въ модѣ, всѣхъ нѣмецкихъ кухарокъ и замѣнить ихъ парижскими *содон блеу*, успѣхъ былъ бы невѣроятнѣйшій.

Шутить нечего этимъ; органическая химія гораздо важнѣе въ политическомъ отношеніи, нежели думаютъ. Собственно вопросъ о пролетаріатѣ—вопросъ кухонный, вопросъ социализма—вопросъ пищеваренія.

Понимая такимъ образомъ важность питанія, скажемъ смѣло, скажемъ со всей высоты сильнаго убѣжденія: проклятіе вамъ густые супы, какъ наша весенняя грязь; прѣсные соусы, какъ драмы Бирхъ-Пфайферъ; проклятіе пяти тарелочкамъ, на которыхъ подаютъ (между вторымъ и третьимъ блюдомъ!) селедку съ вареніемъ, ветчину съ черносливомъ, колбасы съ апельсинами! проклятіе курамъ, варенымъ съ шафраномъ, дамфнуделямъ, шарлотамъ, пудингамъ, переложеннымъ на нѣмецкіе нравы, картофелю, являющемуся во всѣхъ видахъ! проклятіе, наконецъ, корицѣ, гвоздикѣ и лавровому листу, который такъ не присталь къ челу этихъ москательныхъ кушаній!.. Вы, Мартинъ Лютеръ и филология, сдѣлали много вреда Германіи.

Не даромъ я сказала, что комфортабельная обитаемость Европы начинается съ Рейна: именно тамъ нѣмецкая кухня приближается къ *единой и нераздѣльной* кухнѣ. Нѣтъ худа безъ добра; въ пе-

чальное время отъ 1793 до 1814 рейнская кухня подвергалась сильному вліянію французскихъ поваровъ, ниспровергнувшихъ во многомъ нравственно - безвкусный и семейно - прѣсный характеръ германскихъ яствъ. Двадцать одинъ годъ не шутка, много французскихъ блюдъ приняла нѣмецкая кухня на свои рейнскіе очаги и плиты, и они остались на нихъ вмѣстѣ съ наполеоновскимъ кодексомъ. Я въ Кельнѣ пообѣдалъ первый разъ послѣ Москвы и за это его полюбилъ,—вотъ какъ потребность любви развивается, когда человѣкъ сытъ... И Рейнъ славная рѣка! глядя на нее, забываешь, что она была несчастнымъ поводомъ, конечно, прекрасной по чувствамъ и трогательной по патріотизму, но скучной и нѣсколько насмѣшливой пѣсни:

Sie sollen ihn nicht haben...

Оно, конечно, Рейнъ жаль отдать хоть кому, — посторонніе люди не умѣли никогда пройти, не остановившись передъ нимъ; представители всѣхъ эпохъ европейской жизни приходили на рейнскіе берега и осѣдали на нихъ; слѣды этихъ людей, этихъ эпохъ такъ и наслоились по теченію рѣки. Пройдитесь по одному Кельну, чего тутъ нѣтъ: несокрушимыя стѣны, тяжелыя романскія церкви, колоссальный образчикъ готическаго собора, домъ тамплиеровъ, мрачныхъ воиновъ-монаховъ, угрюмо стоящихъ на предѣлахъ феодализма и централизаціи; коллегіумъ іезуитовъ, мрачныхъ монаховъ - воиновъ, угрюмо стоящихъ на предѣлахъ папизма и реформаціи; церкви времени возрожденія; присутственныя мѣста, устроенныя во время владычества единой и нераздѣльной республики; новыя фортификаціи, напоминающія наполеоновскую эру, и, наконецъ, лѣса около собора, свидѣтельствующія о теперешней Германіи медленнымъ производствомъ средневѣковой работы современными руками. Вездѣ воспоминанія, вездѣ легенды; взгляните на верхъ: изъ четвертаго этажа выглядываютъ двѣ лошадиныя головы изъ бѣлаго мрамора—тутъ было чудо; взгляните внизъ: вотъ мѣсто, гдѣ Христосъ явился нѣсколько столѣтій тому назадъ молившемуся отроку и взялъ у него яблоко.

Много жилъ этотъ край! много жила вообще Европа. Десятки столѣтій выглядываютъ изъ-за каждаго обтесаннаго камня, изъ-за каждаго ограниченного сужденія; за плечами европейца виденъ длинный преемственный рядъ величавыхъ лицъ, въ родѣ процесіи царственныхъ тѣней въ Макбетѣ.

Чего и чего не было на Рейнѣ между тѣмъ временемъ, когда Карлъ Великій на закатѣ своихъ дней сиживалъ на извѣстномъ ахенскомъ стулѣ, и тѣмъ, когда на томъ же стулѣ отдыхала послѣ прогулки женщина съ огненными глазами, смуглая креолка — императрица французовъ? А прежде? А съ тѣхъ поръ? Сѣдые, по-

чернѣлые памятники даютъ Европѣ слишкомъ аристократическую физиономію, оскорбительную для того, кто не имѣеть столько блестящихъ предковъ и столько великихъ преданій. Иногда какъ-то не по себѣ нашему брату, скину, среди этихъ наслѣдственныхъ богатствъ и завѣщанныхъ развалинъ; странно положеніе чужого въ семейной залѣ, гдѣ каждый портретъ, каждая вещь дороги потомкамъ, но чужды ему; онъ смотритъ съ любопытствомъ тамъ, гдѣ свои вспоминаютъ съ любовью; ему надобно рассказать то, что тѣ знаютъ съ колыбели.

А съ другой стороны, развѣ родина нашей мысли, нашего образованія не здѣсь? развѣ привычная намъ къ Европѣ, Петръ I не упрочилъ намъ права наслѣдія? развѣ мы не взяли ихъ сами, усвоивая ея вопросы, ея скорби, ея страданія вмѣстѣ съ ея нажитымъ опытомъ и съ ея нажитой мудростью? Мы не съ пергаментомъ въ рукѣ являемся доказывать наши права; а да мы ихъ и не доказываемъ, потому что они неотъемлемы; завоеванное сознаніемъ законно завоевано, его не исторгнешь никакимъ безуміемъ. Былое наше бѣдно; мы не хотимъ выдумывать геральдическихъ сказокъ, у насъ мало своихъ воспоминаній, — что за бѣда, когда воспоминанія Европы, ея былое, сдѣлались нашимъ былымъ и нашимъ прошедшимъ. Да, сверхъ того, европеецъ подъ влияніемъ своего прошедшаго не можетъ отъ него отдѣлаться. Для него современность — крыша много-этажнаго дома, для насъ да для Сѣверной Америки — высокая терраса, фундаментъ; его чердакъ нашъ rez de chaussée. Мы съ этого конца начинаемъ. Какъ не вспомнить опять:

Dich stoert nicht im Innern
Zu lebendiger Zeit
Unnützes Erinnern
Und vergeblicher Streit!

...И вотъ у меня въ головѣ не Кёльнъ, не его соборъ, а длинный рядъ избъ да хрустящій снѣгъ... Мы выѣзжали изъ Россіи зимою снѣжной, холодной, съ коротенькими днями и со всѣми неудобствами зимняго ухабистаго пути, который выдаютъ за дарованную намъ природой желѣзную дорогу; небольшой почтовый трактъ, по которому мы ѣхали, соединяетъ два шоссе и идетъ частью по Псковской губерніи, частью по Лифляндской; этотъ путь сообщенія бѣденъ; двѣ сосѣдственныя полосы не пришли черезъ него къ одному уровню и каждая осталась при всѣхъ особенностяхъ, какъ будто между ними тысячи верстъ. Ни по одной дорогѣ нельзя встрѣтить такую рѣзкую перемену, какъ переѣзжая отъ псковитянъ къ остзейцамъ. Псковской крестьянинъ дичѣе подмосковныхъ; онъ кажется не попалъ ни правой, ни лѣвой ногой на тотъ путь, который ведетъ отъ патріархальности къ гражданскому развитію, путь, который называютъ прогрессомъ, вос-

питаніемъ, рассказъ о которомъ называютъ исторіей. Онъ живетъ возлѣ полуразвалившихся бойницъ и ничего не знаетъ о нихъ: сомнѣваюсь, слыхалъ ли онъ объ осадѣ Пскова... Событія послѣднихъ полутора вѣковъ прошли надъ его головою, не возбудивши даже любопытства. Поколѣнія черезъ два-три мужичекъ перестраиваетъ свои бревенчатыя избы, безслѣдно гниющія, старѣетъ въ нихъ, передаетъ свой лугъ въ руки сына, внука, полежитъ годъ, два, три на теплой печи, потомъ незамѣтно переходитъ въ мерзлую землю; иногда вспомнятъ его дѣти или внучата гречневыми блинами въ родительскую субботу; при новой ревизии его имя исключать изъ числа живыхъ, потомъ и внуки посядѣютъ, и, не будъ рекрутской повинности, они бы такъ же, какъ предки ихъ, ничего не знали о томъ, что дѣлается въ Питерѣ, въ Россіи.

А развѣ жизнь *привязанныхъ* къ землѣ крестьянъ во всей Европѣ не такъ же проходила и исчезала, изнуренная работой, безслѣдно и невесело? развѣ они не выработывали матеріальныхъ условій для исторической жизни другихъ сословій? Оно не совсемъ такъ, но если и такъ, то не забудемъ, что другія-то сословія жили. Когда вы въ Гентѣ останавливаетесь передъ ратушей, когда смотрите на этотъ *бефруа*, сзывавшій такъ часто своими колоколами гражданъ, вы понимаете, вы чувствуете, что за муниципальной жизнью кипѣла тутъ, и понимаете, что ей были необходимы и этотъ домъ, поражающій величіемъ и поэзіей постройки, и эта башня, и эти соборы, и эти рынки съ фронтонами, и что даже амбаръ, гдѣ приставали рыбаки, по праву украсился барельефами; такія декорации шли къ внутреннему содержанию. Таковы рыцарскіе замки, эти соколиныя гнѣзда на скалахъ и горахъ. Рыцарская жизнь — жизнь вампира внизъ, была пышна, страстна, благородна вверхъ. Но кому выработывалъ жизнь нашъ мужичекъ? гдѣ у насъ память другой жизни? Какъ жили помѣщики до-петровскаго времени—кто ихъ знаетъ? для этого надобно рыться въ архивахъ, это вопросъ антикварской. Господскіе дома сгнили, какъ избы, и исчезли вмѣстѣ съ памятью строителей; имѣнья переходили изъ рукъ въ руки, дробились, составлялись случайно, ненужно; помѣщики пили, ѣли, спали послѣ обѣда, парились, держали дворню и псарню...

Городская жизнь не восходитъ далѣе Петра, она вовсе не продолженіе прежней; отъ былого остались только имена. Жизнь современнаго Новгорода, Владиміра, Твери началась съ утвержденія провинцій, съ введенія коллегіальнаго порядка и опредѣленія штата чиновниковъ. Если что-нибудь осталось прежняго, такъ это у купцовъ; они по праву могутъ назваться представителями городской жизни до-петровскихъ временъ и, пока они сохраняютъ хоть блѣдную тѣнь прежнихъ нравовъ, реформа Петра будетъ опра-

вдана; лучшаго обвинителя старому быту не нужно. Воспоминанія помѣщиковъ, ихъ легенды примыкають къ царствованію Екатерины II, къ великимъ событіямъ 1812 года; о прежней жизни они ничего не знаютъ; ихъ настоящая жизнь однообразна, скучна, они какъ будто краснѣють отъ нея и хранять въ памяти и любятъ рассказывать свои поѣздки въ Москву и Петербургъ и военную службу въ молодыхъ лѣтахъ.

Жизнь, которая не оставляетъ прочныхъ слѣдовъ, стирается при всякомъ шагѣ впередъ и упорно пребываетъ въ одномъ и томъ же положеніи.

На Востокѣ, напримѣръ, мѣняются только лица, поколѣнія; настоящій бытъ — сотое повтореніе одной и той же темы съ маленькими варіаціями, приносимыми случайностью: урожаемъ, голодомъ, моромъ, надежомъ, характеромъ шаха и его сатраповъ. У такой жизни нѣтъ выжитаго, keine Erlebnisse; бытъ азіатскихъ народовъ можетъ быть очень занимателенъ, но исторія — скучна. Мы имѣли противъ Азіи великій шагъ впередъ: возможность, появивши свое положеніе, отречься отъ него; невозможность влачить скучную жизнь кошихинскихъ временъ, — и кто, гдѣ такъ отрекался, какъ мы? Въ неполнотѣ, въ бѣдности, въ неудовлетворительности прошедшаго и въ темномъ сознаніи силъ, которыхъ некуда было дѣвать, — вотъ гдѣ надобно искать легкость, съ которой по великой командѣ Петра I: «На европейскую дорогу, марш!» — Русь пошла своими подвижными частями и такъ рѣзко отдѣлилась въ пятьдесятъ лѣтъ отъ прежняго быта, что ей несравненно было бы труднѣе при Екатеринѣ II возвращаться къ оставленнымъ нравамъ, нежели догонять европейскіе. Сколько ни декламировали о нашей подражательности, она вся сводится на готовность принять и усвоить формы, вовсе не теряя своего характера, усвоить ихъ потому, что въ нихъ шире, лучше, удобнѣе можетъ развиваться все то, что бродитъ въ умѣ и въ душѣ, что толчется тамъ и требуетъ выхода, обнаруженія.

Еслибъ хотѣли хорошенько всматриваться въ событія, скорѣе могли бы обвинить Русь петровскую въ нашемъ себѣ на умѣ, которое готово обриться, переодѣться, но выдержать себя и въ этой переиначкѣ. Развѣ вельможи Екатерины оттого, что они приобрѣли все изящество, всю утонченность версальскихъ формъ (до чего никогда не могли дойти нѣмецкіе *гранды*), не остались по всему русскими барами, со всею удалью національнаго характера, съ его недостатками и съ его разметистостью? Въ нихъ иностраннаго ничего не было, кромѣ выработанной формы, и они овладѣли этой формой en maître. Развѣ дѣти ихъ, герои 1812, не были русскіе, исполнѣ русскіе? Кто будетъ возражать, — тому я пальцемъ покажу черезъ улицу Elysée Bourbon, гдѣ жилъ императоръ Александръ.

А вѣдь вся эта екатерининская эпоха, о которой вспоминали, покачивая головой, дѣды наши, и все время Александра, о котором вспоминали, покачивая головой, наши отцы, принадлежать «къ иностранному періоду», какъ говорятъ славянофилы, считающіе все общечеловѣческое иностраннымъ, все образованное чужеземнымъ. Они не понимаютъ, что новая Русь—была Русь же, они не понимаютъ, что съ петровскаго разрыва на двѣ Руси начинается наша настоящая исторія; при многомъ скорбномъ этого разъединенія, отсюда—все, что у насъ есть: смѣлое государственное развитіе, выступленіе на сцену Руси, какъ политической личности, и выступленіе русскихъ личностей въ народѣ; русская мысль пріучается высказываться, является литература, является разномысліе, тревожатъ вопросы, народная поэзія вырастаетъ изъ пѣсней Кириши Данилова въ Пушкина... Наконецъ, самое сознание разрыва идетъ изъ той же возбужденности мысли; близость съ Европой ободряетъ, развиваетъ вѣру въ нашу національность, вѣру въ то, что народъ отставшій, за котораго мы отбываемъ теперь историческую тягу и котораго миновали и наша скорбь и наше благо, что онъ не только выступить изъ своего древняго быта, но встрѣтится съ нами, перешагнувши петровскій періодъ. Исторія этого народа въ будущемъ; онъ доказалъ свою способность тѣмъ меньшинствомъ, которое истинно пошло по указаніямъ Петра,—онъ нами это доказалъ!..

И одного часа ѣзды достаточно, чтобъ очутиться совсѣмъ въ другомъ мірѣ, въ мірѣ прошедшаго, въ мірѣ утратъ, воспоминаній, вдовства. Все переимѣняется, какъ декорация въ театрѣ. Мѣста становятся гористы, дорога извилиста, не тѣ виды, не тѣ ландшафты, къ которымъ мы привыкли, съ ихъ луговою далью, съ стелющимися полями, съ синей полосой у небосклона, которая прожогаетъ васъ десять верстъ, пока все небо почернѣетъ... Къ станціонному дому трудно подъѣхать отъ крутизны, на которой онъ стоитъ. Passagierstube вымыта, вычищена, столъ покрытъ толстой, но чрезвычайно бѣлой скатертью; въ яркомъ, какъ солдатская пуговица, мѣдномъ шандалѣ стоитъ бѣлая свѣча, на окнахъ тощіе цвѣты, полъ посыпанъ пескомъ. Чистота и опрятность свидѣтельствуютъ о длинной цивилизации; человѣку надобно долго и много жить, чтобъ любить чистое бѣлье и свѣтлую комнату. Черезъ минуту вошелъ старичекъ съ добродушнымъ видомъ, исключительно свойственнымъ нѣмцамъ, въ сѣромъ фракѣ со свѣтлыми пуговицами; называя меня при каждомъ словѣ то Herr Wagon, то Herr Freiherr, то Hochwohlgeboren, онъ очень учтиво совѣтовалъ подождать разсвѣта, основываясь на начинающейся мятели и на опасныхъ обвалахъ, возлѣ которыхъ надобно было ѣхать.

Я вышелъ въ сѣни, страшный вѣтеръ свистѣлъ между голыми

сучьями деревьевъ, изрѣдка немного и на минуту выглядывалъ мѣсяцъ и освѣщаль полуразвалившуюся башню совсѣмъ разваливагося замка; на крошечныхъ санкахъ бѣлокурый нѣмецъ съ длинными усами и бичемъ въ рукѣ, въ венгеркѣ, опущенной мѣломъ, съ ружьемъ за плечами, промельнулъ и исчезъ на узенькой дорогѣ; лошадь его была безъ дуги и звенѣла десяткомъ маленькихъ колокольчиковъ; лягавая собака бѣжала за нимъ, обнюливая мерзлыя кочки. На воротахъ сарая былъ прибитъ орелъ съ развернутыми крыльями. Все это дышало чѣмъ-то средневѣковымъ. Въ Лифляндіи нѣтъ нашихъ деревень, а есть хутора у подножія замковъ; въ хуторахъ этихъ живетъ племя жалкое, зашибленное, бѣдное средствами, бѣдное способностями и чуждое ритерамъ, разбросавшимъ нѣкогда ихъ лачуги и не позволявшимъ имъ селиться деревнями.

Остзейцы сложились, замкнулись, остались при выработанномъ и впередъ не идутъ. У насъ во всемъ—неопредѣленность, у нихъ—нѣтъ; мы не установились, мы ищемъ, они остановились, они утратили. Мы внутри смѣемся надъ внѣшними формами и безъ угрызенія совѣсти переступаемъ ихъ, у нихъ форма прежде всего, выше всего; мы грудью рвемся къ новому, они грудью стоятъ за старое. Мы имѣемъ передъ ними преимущество свѣжихъ силъ и упованій, они имѣютъ преимущество выработанныхъ и прочныхъ правилъ; мы способны, они воспитаны; первоначальный гражданскій катехизисъ знакомъ имъ, какъ всякому европейцу, у насъ *tabula rasa* въ этомъ отношеніи. Намъ съ ними скука смертная, потому что мы не можемъ войти въ ихъ мѣстные интересы. У нихъ человѣкъ, проживающій двѣ трети дохода,—моль, мы называемъ скунымъ того, который не проживаетъ вдвое болѣе своего дохода ¹⁾. Но вспомнимъ, однако, что какъ псковскіе мужики неполные представители Руси, такъ и Лифляндія неполная представительница Европы. Лифляндія представляетъ одинъ элементъ европейской жизни и только одинъ. Европу въ первый разъ встрѣчаетъ русскій путникъ въ Кѣнигсбергѣ; это не только памятникъ прошлой жизни, но жилой домъ для современности, здѣсь памятники и воспоминанія идутъ, обнявшись съ юной жизнью. Славный городокъ, онъ оставилъ въ моей памяти самое милое, свѣтлое впечатлѣніе.

Я пріѣхалъ въ Кѣнигсбергъ усталый отъ дороги, отъ заботъ, отъ многого; выспавшись въ пуховой пропасти, я на другой день пошелъ посмотреть городъ; на дворѣ былъ теплый зимній день, солнце свѣтило, съ крышъ капалъ талый снѣгъ, и я вдругъ по-

¹⁾ Я изъ этого мѣста сдѣлалъ въ 1853 г. предисловіе къ новому изданію: *Du développement des idées révolutionnaires en Russie.*

молодѣль, точно нѣсколько лѣтъ съ костей долой; мнѣ показалось, что всѣ встрѣчные смотрятъ весело и прямо въ глаза, и я сталъ смотрѣть весело и прямо въ глаза, потомъ отправился за table d'hôte и за бутылкой рассказывалъ, какъ изъ Тильзита скверно везли и какая дорога гадкая. И кельнеръ тутъ, и нѣмцы слушаютъ... Пускай себѣ, мнѣ что за дѣло! зачѣмъ дурно возить!.. Развѣ я не могу имѣть своего мнѣнія? Noch eine Flasche, Kellner!..

...До того заболтался, что не помню, на чемъ мы остановились и къ чему слѣдуетъ теперь возвратиться.. Да, къ другому берегу Рейна. Ну, по ту сторону Рейна какъ-то привольнѣе, красивѣе; но изъ этого никакъ не слѣдуетъ, чтобъ тамъ было хорошо. Вездѣ скучно, будьте увѣрены. А если вамъ будетъ нескучно гдѣ-нибудь, такъ я васъ поздравляю отъ души, вы полны мудрости, которой не достаетъ во мнѣ и во многихъ другихъ. Странное дѣло, отъ испареній подземныхъ что ли, или отъ вліянія планетъ, но какая-то давящая тоска провожаетъ современнаго человѣка отъ Чукотскаго Носа до Финистерре, даже такого человѣка, который всегда смѣется. Эта болѣзнь особенно развилась во время трехъ іюньскихъ дней и трехъ-мѣсячной холеры. Разумѣется, разные скуки въ разныхъ мѣстахъ; но основа, по которой снуетъ челнокъ нашей жизни (это выраженіе я счелъ бы самъ натянутымъ, еслибъ не зналъ, навѣрное, что оно краденное, именно у Гёте), скучна, тягостна на разные лады. Въ Парижѣ—весело-скучно, въ Лондонѣ—безопасно-скучно, въ Римѣ—величаво-скучно, въ Мадридѣ—душная скука, въ Вѣнѣ—скука душная. Что тутъ прикажете дѣлать! Видно, образованный человѣкъ можетъ только не скучать между дикими людьми и ручными звѣрями въ Африкѣ и въ Jardin des Plantes; тамъ люди похожи на обезьянь, здѣсь обезьяны похожи на людей. Вотъ время какое пришло!

Письмо второе.

Парижъ, 3 іюня 1847 г.

Въ прошломъ письмѣ мы говорили о томъ, что въ нашемъ вѣкѣ скука страшная; нынче я прибавлю къ обвиненію нашего вѣка, что не только въ немъ скучно, но что ни о чемъ, ни о скучномъ, ни о веселомъ, говорить нельзя, — Богъ знаетъ куда утянетъ. Всѣ понятія перепутались, сплелись, зацѣпили другъ друга, связались круговой порукой безъ всякаго уваженія къ полицейскимъ и схоластическимъ раздѣленіямъ, къ пограничнымъ правиламъ школьно-таможеннаго благоустройства.

Слѣдствія этой запутанности самыя плачевныя: все что прежде знали хорошо и ясно, знаютъ скверно и смутно, людскія званія

и сословія, звѣрные признаки и отличія царствъ природы — все перемѣшали, вездѣ потеряны предѣлы.

Прежде могло ли это быть? Все было легко. «Есть междучелюстная кость?» — Есть — «скотъ»; нѣтъ, — «человѣкъ». «Есть душа?» — Есть — «человѣкъ»; нѣтъ — «скотъ». Были признаки нѣсколько шекотливые, но вѣрные въ отношеніи къ прекрасному полу животныхъ и людей. Все неиспровергнули вмѣстѣ съ незыблемыми авторитетами, благочестивымъ послушаніемъ и послушнымъ благочестіемъ! Какое, кажется, дѣло было Гёте, поэту и консерватору, найти междучелюстную кость у человѣка, а нашель. Другіе ученые, жившіе въ большой близости съ оранжъ-утангами и жоко, нашли у нихъ признаки, отрицаемые прежней наукой, — и разболтали... Весь этотъ беспорядокъ произошелъ отъ нѣмецкихъ теорій и французскихъ практикъ; онѣ подняли всѣ дрожжи со дна общественнаго быта и со дна сознанія человѣческаго; все и пошло бродить, міръ очутился hors des gonds. Возьмешь предметъ и не знаешь потомъ, откуда и какъ начать.

Мнѣ захотѣлось, напримѣръ, сказать нѣсколько словъ о здѣшнихъ театрахъ. Кажется, дѣло простое. Въ прежнее время, не говоря худаго слова, я началъ бы съ того, что въ Парижѣ театровъ двадцать три, что Терпсихора цвѣтетъ тамъ-то, но что истинные поклонники Таліи тамъ то, хотя великая жрица Мельпомены увлекаетъ туда-то, — и всѣмъ сестрамъ по серьгамъ. А теперь, чтобъ сказать со смысломъ пять словъ о Фредерикѣ Леметрѣ и Левассерѣ, мнѣ нужно начать чуть не съ Фредерика Барбароссы, и крайней-мѣрѣ съ того Левассера, который сидѣлъ въ конвентѣ.

Нельзя понять парижскихъ театровъ, не пустившись въ глубокомысленныя разсужденія à la Сіесъ о томъ, ce que c'est que le tiers-état? Вы идете сегодня въ одинъ театръ, — спектакль неудачный (то есть неудачный выборъ пьесы, играютъ сдѣсь вездѣ хорошо); вы идете на другой день въ другой театръ, — та-же бѣда; тоже въ десятый день, въ двадцатый. Только изрѣдка мелькнетъ изящный водевиль, милая шутка или старикъ Корнель со старикомъ Расиномъ величаво пройдутъ, опираясь на молодую Рапелъ и свидѣтельствуя въ пользу своего времени. Между тѣмъ театры полны, длинные «хвосты» тянутся съ пяти часовъ у входа. Стало, парижане поглупѣли, потеряли вкусъ и образованіе; заключеніе основательное, приятное и которое, я увѣренъ, многимъ очень понравится; остается узнать, такъ-ли на самомъ дѣлѣ, остается узнать, весь-ли Парижъ выражаютъ театры, и какой Парижъ, — Парижъ, стоящій за *цензъ*, или Парижъ, стоящій за *цензомъ*: это различіе первой важности.

— Знаете-ли, что всего болѣе меня удивило въ Парижѣ? — «Иподромъ? Гизо?» — Нѣтъ! — «Елисейскія поля? депутаты?» — Нѣтъ! — Работники, швей, даже слуги, — всѣ эти люди толпы до такой

степени въ Парижѣ избаловались, что не были бы ни-на-что похожи, еслибѣ дѣйствительно не походили на порядочныхъ людей! Здѣсь трудно найти слугу, который бы вѣровалъ въ свое призваніе, слугу безотвѣтнаго и безвыходнаго, для котораго высшая роскошь сонъ и высшая нравственность ваши капризы, слугу который бы «не разсуждалъ» Если вы желаете имѣть слугу иностранца, берите нѣмца: нѣмцы охотники служить; берите, пожалуй англичанина: англичане привыкли къ службѣ, давайте имъ денегъ и будете довольны; но француза не совѣтую брать. Французъ тоже любить деньги до лихорадочнаго, судорожнаго стремленія ихъ приобрести, и онъ совершенно правъ: безъ денегъ въ Парижѣ можно меньше жить, нежели гдѣ нибудь, безъ денегъ вообще нѣтъ свободного человѣка, развѣ въ Австраліи. Пора бы перестать разглазывать о корыстолюбіи бѣдныхъ, пора простить, что голоднымъ хочется ѣсть, что бѣднякъ работаетъ изъ-за денегъ, изъ-за «презрѣннаго металла.» Вы не любите денегъ? Однакожъ—сознайтесь немножко—деньги хорошая вещь; я ихъ очень люблю. Дѣло совѣмъ не въ ненависти къ деньгамъ, а въ томъ, что порядочный человѣкъ не подчиняетъ всего имъ, что у него въ груди не все продажное. Французъ-слуга будетъ неутомимъ, станетъ работать за троихъ, но не продастъ ни всѣхъ удовольствій своихъ ни нѣкотораго комфорта въ жизни, ни права разсуждать, ни своего *point d'honneur*; дѣлайте требованія, онъ будетъ исполнять, но не дѣлайте грубости; впрочемъ здѣсь никто не грубитъ съ прислугой. Портъ не потянетъ шнура по грубому крику: *cordon!* ему непременно надобно: *s'il vous plait*; до полиціи доходили подобныя дѣла, и полиція, вмѣнивъ въ обязанность дворникамъ отпирать цѣлую ночь дверь, присовокупила совѣтъ: шнурокъ требовать учтиво. О суетные галлы!

Французъ-слуга, милый въ своемъ отсутствіи логики, хочется служить какъ человѣкъ (т. е. въ прямомъ значеніи, у насъ въ словѣ человѣкъ заключается каламбуръ, но я говорю серьезно). Онъ не обманываетъ васъ своею привязанностію, а съ беззаботной откровенностію говоритъ, что онъ служить изъ денегъ и что, буди у него другія средства, онъ бы васъ покинулъ завтра; у него до того душа суха и полна эгоизма, что онъ не можетъ продаться съ любовью незнакому человѣку франковъ за пятьдесятъ въ мѣсяць. Здѣшніе слуги расторопны до невѣроятности и учтивы какъ маркизы; эта самая учтивость можетъ показаться оскорбительною, ея тонъ ставитъ васъ на одну доску съ ними; они вѣжливы, но не любятъ ни стоять на вытяжкѣ, ни вскочить съ испугомъ, когда вы идете мимо, а вѣдь это своего рода грубость. Иногда они бываютъ очень забавны; поваръ, занимающійся у меня, смотритъ за буфетомъ, подаетъ кушанье, убираетъ комнаты, чиститъ платье,—

стало не лѣнивъ, какъ видите; но по вечерамъ отъ 8 часовъ и до 10 читаетъ журналы въ ближнемъ café, и это *conditio sine qua non*.

Журналы составляютъ необходимость парижанина. Сколько разъ я съ улыбкой смотрѣлъ на оторопѣлый взглядъ ново-пріѣзжаго помѣщика, когда *garçon*, подавши ему блюдо, торопливо хваталъ листъ журнала и садился читать въ той-же залѣ.

Слуги впрочемъ еще не составляютъ типа парижскаго пролетарія; ихъ типъ это *ouvrier*, работникъ; въ слуги идетъ бездарнѣйшая, худшая часть населенія. Порядочный работникъ, если не имѣетъ внѣшнихъ формъ слуги, то по развитію и выше, и нравственнѣе.

«Избалованность», о которой мы говорили, одно изъ послѣдствій прошлаго переворота; на него мало обращали вниманія, потому что оно вертится около кухни и передней, а оно не лишено важности. Большая часть парижскихъ слугъ и работниковъ—дѣти и внучата солдатъ «великой арміи», дѣти и внучата угомонившихся крикуновъ предмѣстій св. Антонія и Марсо, состарившихся трибуновъ *des sections*. Не смотря на отеческія старанія іезуитовъ и вообще духовныхъ во время реставраціи воспитать юное поколѣніе въ духъ смиренія и глубокаго невѣдѣнія своего прошедшаго, это было невозможно. Напрасно издавали они для школъ книжки, въ которыхъ говорили о фельдмаршалѣ войскъ Людовика XVIII Буонопарте и кроткомъ царствованіи Людовика XVII, перенесшаго столицу и дворъ въ Кобленцъ по случаю чуть-ли не передѣлки половъ въ Тюльери. Дѣды, отцы и матери—матери, всемогущія въ дѣлѣ воспитанія во Франціи,—соврачали постоянно юное поколѣніе съ скромной тропинки, по которой вели его признанные учителя, т. е. *les frères ignorantins*, своими *умѣренными* правилами, почерпнутыми изъ скромнаго «Друга народа», почтеннаго «отца Дюшена» и смиреннаго «старога Корделье»; вмѣсто доказательствъ присовокуплялись рассказы. Такое воспитаніе должно было сдѣлать новое поколѣніе состарившихся *gamins de Paris* грубыми, дерзкими, наглыми, неправда-ли? А вышло совсѣмъ на оборотъ: молодое поколѣніе гуманно, вѣжливо, даже нѣжно, вообще мягко до тѣхъ поръ, пока не затронуто. Что за уваженіе къ женщинѣ, что за трогательное вниманіе къ дѣтямъ!

Есть бѣдные, маленькіе балы, куда по воскресеньямъ ходятъ за десять су работники, ихъ жены, прачки, служанки; нѣсколько фонарей освѣщаютъ небольшую залу и садикъ; тамъ танцуютъ подъ звуки двухъ-трехъ скрипокъ. Это не знаменитый *Mabile* и не *Ranelagh*, не канканной памяти «хижина», гдѣ освѣщенье, деревья, трава все пропитано сладострастіемъ, гдѣ пульсъ бьется какъ-то не по-людски, и гдѣ шалость иногда бы зашла далеко, еслибъ.. не угрызения совѣсти, думаете вы?... нѣтъ, еслибъ не

рука муниципала, готовая ежеминутно схватить за воротъ.. На этихъ бѣдныхъ балахъ все идетъ благоприсойно; поношенные блузы, полинялыя платья изъ холстинки почувствовали, что тутъ канканъ не на мѣстѣ, что онъ оскорбитъ бѣдность, отдастъ ее на позоръ, отнять послѣднее уваженіе, и они танцуютъ весело, но скромно, и правительство не поставило муниципала, въ надеждѣ на деликатность учениковъ слесарей и сапожниковъ.

Въ праздникъ на Елисейскихъ поляхъ ребенокъ тянется увидѣть комедію на открытомъ воздухѣ, но какъ-же ему видѣть изъ-за толпы?... Не безпокойтесь, какой-нибудь блузникъ посадитъ его себѣ на плечо; устанетъ—передастъ другому, тотъ третьему, и малютка, переходя съ рукъ на руки, преспокойно досмотритъ удивительное представленіе взятія Константины съ пальбой и пожаромъ, съ какимъ-то алжирскимъ деємъ, котораго тамбуръ-мажоръ водить на веревкѣ.—Дѣти играютъ на тротуарѣ, и сотни прохожихъ обойдутъ ихъ, чтобъ имъ не помѣшать. На дняхъ мальчикъ лѣтъ девяти несъ по улицѣ Helder мѣшокъ разбѣнянной серебряной монеты; мѣшокъ прорвался и деньги рассыпались; мальчикъ разревѣлся, но въ одну минуту блузники составили около денегъ кругъ, другіе бросились подбирать, подобрали, сосчитали (деньги были всѣ на лицо), завернули и отдали мальчику.

Это все Парижъ, за цензомъ стоящій.

Но не таковъ *буржуа, пропріетеръ, лавочникъ, рантье* и весь Парижъ, за цензъ стоящій. А этотъ-то Парижъ и выражается театромъ и въ этомъ онъ дѣлитъ судьбу своего товарища du Palais Bourbon—Камеры. Театры держатся тѣми, кто платитъ наибольше: расходы на двадцать три театра страшные; кто-же покрываетъ ихъ, да еще съ избыткомъ (министръ внутреннихъ дѣлъ въ прошедшемъ году продалъ въ пользу «Эпохи» привиллегію на театръ за 100,000 франковъ)? Конечно все это выкупается, не дюжиною иностранцевъ: богатая буржуазія платитъ за все, и театръ всего болѣе выражаетъ потребности, интересы мѣщанства. А развѣ прежде это было не такъ, т. е. когда прежде? Нѣкогда театръ былъ аристократиченъ, потомъ безцвѣтенъ и официаленъ, какъ все литературное, во время Наполеона. Во время реставраціи онъ сталъ склоняться къ буржуазіи, но буржуазія была тогда національнѣе, она была зла, остра, умна, считала себя обиженною и не выступала такъ толсто и тупо-рельефно на первый планъ, какъ теперь.

Буржуазія явилась на сценѣ самымъ блестящимъ образомъ въ лицѣ хитраго, увертливаго шипучаго какъ шампанское, цирюльника и дворецкаго, словомъ въ лицѣ Фигаро; а теперь она на сцѣнѣ въ видѣ чувствительнаго фабриканта, покровителя бѣдныхъ и защитника притѣсненныхъ. Во время Бомарше, Фигаро былъ *внѣ закона*, въ наше время Фигаро *законодатель*; тогда онъ былъ

бѣдѣнъ, униженъ, стягивалъ по немногу съ барскаго стола и оттого сочувствовалъ голоду и въ смѣхъ его скрывалось много злобы: теперъ его Богъ благословилъ всѣми дарами земными, онъ обрюзгъ, отяжелѣлъ, ненавидитъ голодныхъ и не вѣритъ въ бѣдность, называя ее лѣнью и бродяжничествомъ. У обоихъ Фигаро общее собственно одно лакейство, но изъ-подъ ливреи Фигаро-стараго видѣнъ челоуѣкъ, а изъ-подъ чернаго фрака Фигаро-новаго проглядываетъ ливрея, и, что хуже всего, онъ не можетъ сбросить ее, какъ его предшественникъ, она приросла къ нему такъ, что ее нельзя снять безъ его кожи. У насъ это сословіе не такъ на виду; въ Германіи оно одно и есть съ прибавкою теологовъ и ученыхъ, но какъ-то смиренно, мелко и изъ рукъ вонъ смѣшно; здѣсь оно дерзко и высокоумѣрно, корчитъ аристократовъ, филантроповъ и людей правительственныхъ.

Вспомните всѣхъ Бриколеней, Галюше и др. въ романахъ Ж. Санда—вотъ буржуа. Впрочемъ, позвольте, справедливость прежде всего: Ж. Сандъ выставляетъ дурную сторону буржуазіи; добрые буржуа читаютъ ея романы со скрежетомъ зубовъ и запрещаютъ ихъ брать въ руки своимъ мѣщаночкамъ... въ сторону ее! Я рекомендую лучшій источникъ, патентованный, breveté de par la bourgeoisie—Скриба. Скрибъ—геній, писатель буржуазіи, онъ ее любитъ, онъ любимъ ею, онъ подлачился къ ея понятіямъ и ея вкусамъ такъ, что самъ потерялъ всѣ другіе; Скрибъ царедворецъ, ласкатель, проповѣдникъ, гаеръ, учитель, шутъ и поэтъ буржуазіи. Буржуа плачутъ въ театрѣ, тронутые собственной добродѣтелью, живописанной Скрибомъ, тронутые конторскимъ героизмомъ и поэзіей прилавка. Они узнаютъ себя и свои идеалы въ скрибовскихъ герояхъ, они улыбаются себѣ въ нихъ, перемигиваются съ ними,—словомъ, признаютъ ихъ столько, сколько отвергаютъ портреты Ж. Сандъ. Ну, если послѣ этого скрибовскіе герои отвратительнѣе, тупѣе, мелче всѣхъ Бриколеней и Галюше вмѣстѣ, то нельзя не сознаться, что для буржуазіи *не на мѣстѣ* быть *казовымъ* концомъ Франціи.

Буржуазія не имѣетъ великаго прошедшаго и никакой будущности. Она была минутно хороша, какъ отрицаніе, какъ переходъ, какъ противоположность, какъ отстаиваніе себя. Ея сила стало на борьбу и на побѣду; но сладить съ побѣдою она не могла: не такъ воспитана. Дворянство имѣло свою общественную религію: правилами политической экономіи нельзя замѣнить догматы патриотизма, преданія мужества, святыню чести; есть, правда, религія, противоположная феодализму, но буржуа поставленъ между этими двумя религіями.

Наслѣдникъ блестящаго дворянства и грубаго плебейзма, буржуа соединилъ въ себѣ самые рѣзкіе недостатки обоихъ, утра-

тивъ достоинства ихъ. Онъ богатъ какъ вельможа, но скупъ какъ лавочникъ. Онъ вольноотпущенный. Французское дворянство погибло величественно и прекрасно; оно какъ могучій гладиаторъ, видя неминуемую смерть, хотѣло пасть со славою; памятникъ этого героизма—4 августа 1789 г.; что ни толкуй, а въ добровольномъ отреченіи отъ феодальныхъ правъ есть много величественнаго.

Въ то время вы уже встрѣчаете во Франціи классъ людей, который при общей потерѣ пріобрѣтаетъ; дворянство лишается правъ,—они усугубляютъ свои; народъ умираетъ съ голоду.—они сыты; народъ вооружается и идетъ громить враговъ,—они выгодно поставляютъ сукна, провіантъ. Народъ завоевываетъ всю Европу, по всей Европѣ течетъ рѣками его кровь, —они пользуются континентальной системой. Во время ужасовъ второго террора, *terreur blanche*, какъ говорятъ французы, буржуа дѣлается избирателемъ и депутатомъ, и тутъ, какъ мы сказали, начинается его вторая *lune de miel*, лучшее время его жизни послѣ *Jeu de rommes*. Но осторожныхъ правилъ своихъ Фигаро не оставилъ: его начали обижать,—онъ подбилъ чернь вступить за себя и ждалъ за угломъ, чѣмъ все это кончится; чернь побѣдила,—и Фигаро выгналъ ее въ три шеи съ площади и поставилъ національную гвардію съ полиціей у всѣхъ дверей, чтобъ не впускать сволочъ. Добыча досталась ему, и Фигаро сталъ аристократомъ—графъ Фигаро-Альмавива, канцлеръ Фигаро, герцогъ Фигаро, перъ Фигаро. А религія общественной все нѣтъ; она была, если хотите, у ихъ праѣдовъ, у непреклонныхъ и настойчивыхъ горожанъ и легистовъ, но она потухла, когда миновала въ ней историческая необходимость. Буржуа это знаютъ очень хорошо; чтобъ помочь горю, они выдумали себѣ нравственность, основанную на арифметикѣ, на силѣ денегъ, на любви къ порядку. Одинъ лавочникъ рассказывалъ, что онъ во время Барбесовскаго дѣла лишь только услышалъ, что что-то есть, взялъ свое ружье и цѣлый день ходилъ возлѣ дома. «Да съ которой же стороны вы были?» спросилъ его одинъ молодой человекъ.—О, я не мѣшаюсь въ политику, отвѣчалъ онъ; мнѣ все равно, лишь бы общественный порядокъ былъ сохраненъ; я защищалъ порядокъ.

Недаромъ Ж. П. Рихтеръ смѣется надъ тѣми людьми, которые изъ любви къ порядку десять разъ кладутъ вещь на одно и то же мѣсто, ни разу не давши себѣ отчета, почему эта вещь должна лежать именно на томъ мѣстѣ. Любовь къ порядку и самосохраненіе много способствовали къ тому, чтобъ буржуазія изъ класса неопредѣленнаго перешла въ замкнутое сословіе, которому границы—электоральный цензъ внизъ и баронъ Ротшильдъ вверхъ. Малѣйшіе изгибы этого сословія изучилъ Скрибъ и на все далъ отвѣтъ.

Онъ нарутался надъ мечтами юноши, чувствующаго художественное призваніе, и окружилъ его уваженіемъ и счастіемъ, когда онъ сдѣлался честнымъ конторщикомъ; онъ къ землѣ преклонилъ голову бѣднаго и отдалъ его во власть хозяина, котораго воспѣлъ за то, что онъ любилъ, чтобъ работникъ повеселился въ воскресный день. Онъ даже вора умѣлъ поднять за то, что онъ, разбогатѣвши, даетъ кусокъ хлѣба сыну того, котораго ограбилъ.—и такъ это ловко представилъ, что хочется пожуричь сына за то, что его отецъ былъ неостороженъ и плохо деньги берегъ. Казалось бы, воровство—страшнѣйшее изъ всѣхъ преступленій въ глазахъ буржуазіи;... но Скрибъ и тутъ зналъ, съ кѣмъ имѣеть дѣло: воръ уже негоціантъ, умѣнье нажиться и хорошо вести свой домъ смыываетъ всѣ пятна. А какъ позорно всякой разъ наказывается у Скриба женщина за капризъ, за минуту увлеченія, даже за шалость! Какъ она всякой разъ одурачена, осмѣяна, и какъ мужъ торжествуетъ, исправляетъ, прощаетъ! Буржуа—дееспотъ въ семьѣ, тиранъ дѣтей, тиранъ жены. Не судите о положеніи француженки по *bal de l'Opéra*, по амазонкамъ булонскаго лѣса, по гризеткамъ, играющимъ на бильярдѣ въ Люксембургскомъ саду, по жительницамъ квартала *Notre-Dame de Lorette*;... или лучше судите по этимъ живымъ, беззаботнымъ, веселымъ, полькирующимъ, смѣющимся образцамъ,—какая потребность веселья, игры, шутки, блеска, наслажденій въ француженкѣ! Ей надобно проститься со всѣмъ этимъ, идучи къ меру съ своимъ женихомъ. Для того, чтобъ принимать участіе въ веселостяхъ, ей надобно отказаться быть женой.

Въ Парижѣ, какъ нѣкогда въ Аѳинахъ, а потомъ въ Италіи, почти нѣтъ выбора между двумя крайностями—или быть куртизанкой, или скучать и гибнуть въ пошлости и безвыходныхъ хлопотахъ. Вы помните, что рѣчь идетъ о буржуазіи; сказанное мною не будетъ вѣрно относительно аристократіи, но вѣдь ея почти нѣтъ.

Кто наряжается, веселится, танцуетъ?—*La femme entretenue*, двусмысленная репутація, актриса, любовница студента.... Я не говорю о несчастныхъ жертвахъ «общественнаго темперамента,» какъ ихъ называлъ Прудонъ; тѣ мало наслаждаются, имъ недосугъ. Въсѣтъ съ бракомъ француженка средняго состоянія лишается всей атмосферы, окружающей женщину любовью, улыбкой, вниманіемъ. Мужъ свозитъ ее въ дребезжащей *ситадинѣ* на тощей клячкѣ въ *Père Lachaise*, или, пользуясь дешевизной, отъѣдетъ по желѣзной дорогѣ станцію, свозитъ въ Версаль, когда «бьютъ фонтаны,» да раза два-три въ театръ,—вотъ ей на годъ и довольно. За эту жизнь современную буржуазію прославили семейно-счастливой, нравственной. Но такой почетной репутаціи мало для буржуазіи, она имѣеть сильное поползновеніе аристократничать, хотя

терпѣть не можетъ аристократовъ, потому что боится ихъ превосходства въ формахъ; слону смерть хочется иной разъ пробѣжать газелью, — да гдѣ же научиться? — А Скрибъ на что? Скрибъ надѣваетъ на себя ливрею швейцара и отворяетъ двери въ аристократическія залы временъ регенства и Людовика XV; но хитрый царедворецъ умѣлъ вездѣ выказать суетность обитателей этихъ залъ рококо, передъ *вальяжностью* зрителей: вы лучше, говоритъ онъ имъ, этихъ пустыхъ людей, у нихъ была только манера, се *quelque chose*. — «Отчего-же и намъ не имѣть се *quelque chose*?» думаетъ слонъ-газель и весело тащитъ изъ ложи свой животъ и, улыбаясь, ложится спать. Онъ же вѣдь лучше!

Страсть къ шуткѣ, къ веселости, къ каламбуру составляетъ одинъ изъ существенныхъ и прекрасныхъ элементовъ французскаго характера; ей отвѣчаетъ на сценѣ водевиль. Водевиль такое-же народное произведение французовъ, какъ трансцендентальный идеализмъ нѣмцевъ.

Но вы знаете пристрастіе людей не совѣмъ воспитанныхъ ко всему неприличному; для нихъ только сальное остро, только циническое смѣшно. Буржуа, строгій блюститель нравовъ у себя въ домѣ, любитъ отпустить полновѣсную шутку, заставить покраснѣть двусмысленнымъ намекомъ дѣвушку; онъ и дальше идетъ — онъ любитъ и поволочиться, вообще любитъ развратикъ втихомолку, такой развратикъ, который не можетъ никогда его поставить лицомъ къ лицу съ его обличенной совѣстью въ треугольной шляпѣ, называемой полицейскимъ служителемъ; онъ развратенъ включительно до статей кодекса о дурномъ поведеніи гражданъ. На сценѣ все это отразилось, какъ слѣдовало ожидать: водевиль (изъ десяти девять) принялъ въ основу не легкую веселость, не искрящуюся остротами шутку, а сальные намеки. Такъ, какъ въ классическихъ трагедіяхъ, боясь потрясти нервы, убивали за сценой, такъ во многихъ пьесахъ новой школы, васъ заставляютъ предполагать за кулисами..... не убійство, нѣтъ, — совѣмъ противоположное. Терпѣть не могу пуританской строгости. люблю смотрѣть и на свирѣпый канканъ, и на отчаянную польку; но, воля ваша, есть нѣчто грустное и оскорбительное въ зрѣлищѣ двадцати залъ, въ которыхъ набились биткомъ люди съ шести часовъ вечера для того, чтобъ до двѣнадцати восхищаться глупыми пьесами, сальными фарсами, и это всякій вечеръ. Пристрастіе къ двусмысленностямъ и непристойностямъ испортило великія сценическія дарованія; художники, увлекаемые громомъ рукоплесканій (на которыя здѣсь очень скупы), такъ избаловались, что они каждому слову, каждому движенію умѣютъ придать нѣчто..... нѣчто кантаридное. Ни Дежазе, ни Левассеръ не изъяты этого недостатка.

Было время, когда острая и сметливая публика умѣла ловко поднять всякой политической намекъ, всякую смѣлую мысль; это было во время беранжеровскихъ пѣсенъ и памфлетовъ Курье; нынче она охладѣла къ идеямъ, къ «словамъ;» да и къ тому-же хорошо было фрондерствовать во время реставраціи, а теперь мы сами стали консерваторами и боимся слишкомъ зацѣплять политику.

За то, что касается героизма, до высокой отваги,—буржуа безпримѣренъ; не даромъ онъ съ себя снялъ историческій мундиръ той національной гвардіи—*первой*. Людовику Филиппу стало жаль мундиръ, который онъ нашивалъ въ грозную годину; онъ разрѣшилъ другимъ носить тунику и кепи, а самъ остался по прежнему въ старомъ мундирѣ. Надобно видѣть, что дѣлается, когда въ оперѣ поютъ «L'Anglais ne régnera»: вопль, шумъ, трескъ;— буржуа, внѣ себя отъ патриотизма, кричить: «ne régnera! ne régnera!» и смотреть съ гордымъ видомъ на какого-нибудь секретаря лорда Норменби, который, не двигаясь ни однимъ мускуломъ, какъ гибралтарская скала, сидитъ въ ложѣ, въ бѣломъ галстухѣ изъ крашеной стали, и съ одной венозной кровью въ лицѣ. Пріѣзжій изъ-далека могъ бы подумать, что война между Англійей и Франціей во всемъ разгарѣ, что англійскій флотъ сталъ на якорѣ въ Булонскомъ лѣсу, и что Маусаиль-Велинтонъ дерется съ Маусаиломъ-Сультонъ въ Батиньоляхъ,—а это еще, entente cordiale!

Послѣ этого введенія можно бы поговорить о театрѣ, но отчего-же не поговорить о немъ въ слѣдующемъ письмѣ?...

P. S. Перечитывая письмо, мнѣ захотѣлось прибавить еще нѣсколько словъ о прислугѣ. О тягости, несправедливости, взаимномъ стѣсненіи и взаимномъ развратѣ, происходящемъ отъ лажейства, говорить давно; но, не будучи дикимъ или Жанъ Жакомъ, какъ-же обойтись безъ частной прислуги? Въ Парижѣ частная прислуга со всякимъ днемъ становится менѣе нужною. Люди ограниченнаго состоянія не имѣютъ своихъ слугъ—и живутъ очень удобно. Необходимость дѣлаетъ въ этомъ отношеніи, какъ и во всѣхъ, то, о чемъ убѣжденіе краснорѣчиво разглагольствуетъ. Всѣ мы—страшные теоретики, а на приложения смотримъ свысока, мы носимся на воздушномъ шарѣ по воскресеньямъ, а въ будни наша жизнь течетъ себѣ и утекаетъ по грязной и глинистой почвѣ.

Приложеніе вовсе нелегко, оно-то и трудно. Въ теоріи можно понять всякую истину, всякую мысль, а на практикѣ не устроишь свой домашній бытъ. Нравственные перевороты тогда совершаются дѣйствительно, когда они дѣлаются истиной около очага, когда они становятся поведеніемъ, образомъ дѣйствія, привычкой, если

хотите. Вотъ почему я придаю чрезвычайную важность тому, что здѣсь устроилась, осуществилась возможность до нѣкоторой степени обходиться безъ частной прислуги... Но какъ же и чѣмъ замѣняется эта третья рука, этотъ соподчиненный членъ, дѣлающій для васъ все, что вамъ не хочется для себя дѣлать? Я вамъ сейчасъ расскажу.

Парижскія квартиры чрезвычайно удобны, въ какую цѣну ни возьмите—отъ 1,000 фр. въ мѣсяцъ до 500 въ годъ. Вездѣ зеркала, занавѣски, мебель, посуда, мраморный каминъ, столовые часы, кровати съ пологомъ, ковры, туалеты,—вездѣ завоеваны у самаго небольшого пространства всѣ его возможности и на все наброшено это нѣчто, се *fin*, придающее маленькимъ комнатамъ свѣтлый, веселый видъ; въ каждой комнатѣ виситъ непременно шнурокъ. До него-то я и добираюсь. Шнурокъ идетъ въ ложу консьержа или портье. Портье и вся семья его вѣчно готовы къ услугамъ постояльцевъ; въ большихъ домахъ у нихъ есть помощники. Портье чиститъ вамъ платье и сапоги, портье натираетъ парке, обтираетъ пыль, моетъ окна, портье ходитъ за табакомъ, за виномъ, за бифстекомъ и котлетами; портье получаетъ ваши письма, въ его ложу бросаютъ ваши журналы, ему отдаютъ визитныя карточки; портье освѣщаетъ лѣстницу въ началѣ вечера и запираетъ наружную дверь, портье отпираетъ ее, въ какое бы время вы ни пришли, у него горитъ свѣча, вы берете свой ключъ, зажигаете ночникъ и идете спокойно, зная, что васъ не ждуть. Какъ портье успѣваетъ? Это труднѣе сказать, нежели—какъ Шинети дѣлалъ изъ мыши пятакъ и изъ пятака птицу: я не знаю, какъ, гдѣ онъ спитъ, когда отдыхаетъ—это тайна; дѣло въ томъ, что онъ съ своей семьей или съ помощникомъ такъ ловко улаживаетъ свою службу, что онъ вездѣ, и притомъ ложа никогда пуста не бываетъ. Но не опасно-ли ему отдать ключъ, можно-ли положить на него?—Какъ на каменную стѣну! Да отчего-же это? Причины есть. Во-первыхъ, пропріетеръ или общій наемщикъ съ большою осторожностью нанимаетъ портье, а во-вторыхъ, онъ въ большомъ домѣ, въ центрѣ Парижа получить въ годъ отъ двухъ до двухъ съ половиною тысячъ франковъ ¹⁾. На него можно положить, потому что онъ не нищій; само собою разумѣется, онъ имѣетъ свои счета и съ винопродавцемъ и съ мелочнымъ торговцемъ, имѣетъ свой *revent bon*, какъ мистры имѣютъ свой.

Утромъ, прежде нежели вы проснулись (я предполагаю, что вы нормальный человѣкъ и слѣдственно просыпаетесь во-время, т. е.

¹⁾ Полагая въ домѣ 25 наемщиковъ, мы можемъ считать 5, которые ему платятъ по 15 фр. въ мѣсяцъ, 5 по 5, 5 по 2 ф. 50 с.; сверхъ того, онъ получаетъ что-нибудь отъ пропріетера.

никакъ не ранѣе 8 часовъ), платье ваше готово, вода принесена (особымъ водоносомъ); стоитъ одѣться и идти въ café, который въ двухъ шагахъ, читать журналы. Но вы не любите, можетъ быть, (такъ, какъ я) рано выходить изъ дому; это отъ васъ зависитъ, только за лѣнь съ васъ надобно взять 20 фр. въ мѣсяцъ лишняго, и въ назначенный часъ *garçon de café* принесетъ вамъ кофейникъ и дѣвочка изъ ближняго литературнаго бюро десятокъ журналовъ. Теперь къ обѣду. Дома готовить кушанье дорого, гораздо дороже, нежели ходить въ лучшей ресторанъ; за два франка вы будете сыты вездѣ, прибавьте франкъ,—и васъ жажда томить не будетъ, вамъ дадутъ полъ-бутылки медака (возможнаго). Прибавьте еще франкъ, все это принесутъ на домъ. Шутка, 5 франковъ! Ну, а денегъ нѣтъ, такъ ходите за общій столъ и обѣдайте за 2 фр. и даже за 1 фр. 50 сан. съ виномъ. Держать своихъ лошадей нелѣпо; превосходные *voitur de remise* и прескромные *ситадины* и бабрюлеты къ вашимъ услугамъ; цѣна назначена. Приѣхали на балъ. въ театръ, мальчикъ отворяетъ карету и кладетъ подъ ноги доску, если грязно, за одинъ су. Шинель ваша или пальто отдается при входѣ за пять су; на что-же вамъ лакей? А кто же приведетъ карету? Здѣсь нѣтъ жандармовъ, громко взывающихъ и повторяющихъ вашу фамилію; такой-же мальчикъ въ блузѣ за су отыщетъ карету. Когда-же крайность въ частной прислугѣ? Вы всегда можете за дѣломъ позвать портье, затопить-ли каминъ, бросить-ли письмо въ ящикъ; но разумѣется, онъ померъ бы со смѣху или разразился бы ругательствами, еслибъ вы его позвали на пятой этажъ за тѣмъ, чтобъ онъ набилъ вамъ трубку или подаль платокъ изъ другой комнаты; да въ этомъ-то и состоитъ нравственная выгода образованной жизни, что она отучаетъ отъ дикихъ привычекъ. Женатому горничная также не нужна: жена портье, его дочь, сестра будетъ и одѣвать, и раздѣвать, и шнуровать, и сплетничать, словомъ, дѣлать все необходимое. Дѣти требуютъ кухарку или повара, за ними нужна нянька; но нѣтъ необходимости ихъ не отдавать въ пансіонъ; для большинства дѣтей, разумѣется, лучше, чтобъ они были въ пансіонахъ, нежели свидѣтелями всего, что дѣлается подъ родительскимъ кровомъ.

Изъ этого вы видите, что безъ частной прислуги обойтись можно... Вообразите теперь спокойствіе такой жизни; она становится мужественнѣе, чище; вообразите удовольствіе, приносимое отсутствіемъ лишняго человѣка, чуждаго, посторонняго, безстрашнаго свидѣтеля всѣхъ вашихъ дѣлъ.

Постскриптумъ мой я бы посвятилъ М. П. Погодину, такъ много въ немъ франковъ и сантимовъ; но вѣдь я со стороны догровизны, я радъ ей, я со стороны: *payez, Messieurs, si vous êtes assez riches*, а утопія М. П.—жизнь безсребренная, т. е. не тратя-

щая серебра; онъ не навидитъ алчность *ближняго* къ деньгамъ, онъ и дальнему Лондону загнудь: «Марѳа, Марѳа, печешеса о мнозе!»

Письмо третье.

Парижъ, іюня 20, 1847 г.

Если я васъ огорчилъ въ прошломъ письмѣ моими замѣчаніями о парижскихъ театрахъ, то постараюсь нѣсколько утѣшить теперь. На дворѣ идетъ мелкій дождь, мокрый солдатъ въ красныхъ панталонахъ, съ прекистой рожей, прижался къ будочкѣ у стѣны Elysée Bourbon, и на сердцѣ что-то тяжело,—самыя счастливыя условія для критики доброй, все видящей въ розовомъ свѣтѣ.

Само собою разумѣется, что не все же пошло на парижскихъ сценахъ, какъ васъ увѣряетъ второе письмо; я рѣшительно не согласенъ со вторымъ письмомъ. Въ семьѣ не безъ уroda, говаривалъ часто одинъ добрый чиновникъ, разсказывая, что его племянникъ до того пристрастился къ наукамъ, что вышелъ въ отставку. Вотъ для примѣра хотъ бы и «Парижскій Вѣтошникъ» Ф. Пиа, котораго даютъ безпрестанно и все-таки желающихъ больше, нежели мѣстъ въ театрѣ Porte-St.-Martin. Конечно, многіе ходятъ для Фредерика Леметра, но въ пошлой пьесѣ Фредерикъ не могъ бы такъ играть. Онъ безпощаденъ въ роли «вѣтошника», иначе я не умѣю выразить его игры; онъ вырываетъ изъ груди какой-то стонъ, какой-то упрекъ, похожій на угрызеніе совѣсти.—Королева Викторія спросила Леметра, послѣ нѣсколькихъ сценъ, съигранныхъ имъ изъ драмы Пиа на Виндзорскомъ театрѣ, глубоко тронутая и со слезами на глазахъ: «Неужели въ Парижѣ много такихъ бѣдняковъ?»—Много, в. в., отвѣчалъ Леметръ со вздохомъ: это парижскіе ирландцы!

Съ перваго явленія пьеса настраиваетъ васъ особенно пріятно. Зимняя ночь, съ боку Аустерлицкій мостъ, каменная набережная Сены тянется передъ глазами, два фонаря слабо освѣщаютъ берегъ, за рѣкой видны дома, лѣсъ трубъ, которыя придаютъ Парижу его оригинальный видъ, кое-гдѣ мелькаютъ огоньки. На скамѣ сидитъ оборванный человѣкъ; изъ его словъ видно, что онъ совершенно раззорился, принялся было за промыселъ вѣтошника, но и это не идетъ. Непривычный къ нищетѣ, онъ рѣшается броситься въ Сену. Но является другой вѣтошникъ съ своимъ фонаремъ и сильно выпивши (Леметръ); онъ въ нищетѣ, какъ рыба въ водѣ, поетъ пѣсни, покачивается и уговариваетъ своего товарища не бросаться въ воду. «Въ газетахъ будутъ говорить и имя напечатаютъ, съ разными непріятными разсужденіями»; то ли дѣло съ горя придерживаться синяго и горькаго, trois-six, fil-en-quatre и

ходить къ Paul Niquet. По несчастію тотъ не восхищается заведеніемъ Paul Niquet и предпочитаетъ смерть водою смерти спиртомъ. Пьяница сердится и уходитъ, говоря ему, что если ему очень хочется, пусть себѣ топится. Тотъ бы и утонулъ безъ этой встрѣчи, но развлеченный ею, онъ подумалъ, подумалъ—да и остался. Но что же онъ будетъ дѣлать, съ мрачной злобой, съ отчаяніемъ, съ недостаткомъ мужества? Онъ самъ не знаетъ. Но вотъ идетъ *comis de bureau*, съ портфелемъ; чего тутъ думать, хватъ его дубиной по головѣ; тотъ растянулся, бѣднякъ его докончилъ, взялъ деньги и давай Богъ ноги. Тишина. Фонари также горятъ, трупъ валяется на тротуарѣ, черезъ минуту идетъ, молча, мѣрными шагами рундъ, видитъ мертвое тѣло и останавливается.

Вотъ канибальскій прологъ, которымъ авторъ вводитъ васъ въ міръ голода и нищеты, роющійся подъ ногами, копающійся надъ головой, міръ подваловъ и чердаковъ, міръ грустнаго самоотверженія и свирѣпыхъ преступленій.

Проходитъ нѣсколько лѣтъ. Сцена представляетъ верхній этажъ, вѣчто въ родѣ чердака; съ одной стороны каморка, въ которой при тоненькой свѣчѣ шьетъ бѣдно одѣтая дѣвушка платье; съ другой, надъ лѣстницей догадливый пропріетеръ выгадалъ вѣчто въ родѣ палатей, въ родѣ балкона, клѣтки, большого короба,—старикъ вѣтошникъ спитъ совсѣмъ одѣтый на койкѣ; это его комната. Дѣвушка грустно и тяжело, бѣдность ее гнететъ, она сирота... Работа, работа и вѣчная работа изъ-за куска хлѣба, никакой радости, никакого утѣшенія! Она кончила платье, платье пышное, богатое; счастливица какая-то будетъ его носить, побѣдетъ въ немъ въ театрѣ, въ оперу, а она будетъ шить что-нибудь другое въ той же каморкѣ, въ печальномъ уголку своемъ,—и будто можно такъ жить въ 18 лѣтъ и съ французской кровью въ жилахъ! Марія примѣриваетъ платье, чтобъ узнать, нѣтъ ли складокъ... Дитя, она хитритъ съ собою: ей просто хочется увидѣть на себѣ такой нарядъ; одѣлась,—къ лицу ей платье, и она чуть не плачетъ; вдругъ раздается карнавальная музыка, шумъ, хохотъ, маски идутъ мимо, потомъ шумъ на лѣстницѣ и нѣсколько швей, одѣтыхъ дебардерами и гусарами, врываются въ ея комнату. Марія въ прекрасномъ платьѣ... Вотъ чудо, вотъ прелесть, въ оперу, въ оперу!.. Она не хочетъ, то есть, она хочетъ, но что-то страшно, она никогда не бывала... «Онѣ будутъ потомъ ужинать, ихъ звали, будутъ ѣсть омара и мороженое»,—она ѣдетъ. А вѣтошникъ въ это время встаетъ, зажигаетъ свой фонарь и идетъ кряхтя на работу—подбирать остатки, обглодки жизни, пронесшейся наканунѣ; ночь—его юбилейный день.

Сцена мѣняется, одинъ изъ кабинетовъ *Maison d'or*; каминъ горитъ, лампы, свѣчи, зеркала—блескъ такой, посѣтителей много;

кто воротился изъ оперы еще въ маскарадномъ платьѣ безъ маски, кто сидѣлъ тутъ цѣлый вечеръ; одни заказываютъ ужинъ, спорятъ о блюдахъ, другіе требуютъ вина; какой-то молодой чело-вѣкъ, разваливъ съ сигарой на креслѣ, философствуетъ, всѣ ждутъ дебардеровъ; вотъ и онѣ—веселыя, живыя, кто садится на столъ, кто полькируетъ, кто пьетъ. Ихъ обнимаютъ, ихъ угощаютъ, съ ними любезничаютъ — такъ, какъ вы, *miu saго*, знаете очень хорошо и такъ, какъ вы, *сага тiа*, никогда не узнаете. Но наша бѣдная дѣвушка, въ первый разъ попавшаяся въ такую компанію, перепуганная, не знаетъ, что дѣлать; она инстинктомъ поняла оскорбленіе, поняла что-то неловкое, дурное во всемъ этомъ, она взволнована. Сначала ее не замѣчаютъ, потомъ добрались и до нея, начинаютъ преслѣдовать, интриговать, требуютъ, чтобъ она сняла маску; она не снимаетъ; маску срываютъ; робкая и пугливая, она не знаетъ, что дѣлать. По счастью философъ съ сигарой защитилъ ее отъ дикихъ выходокъ своихъ товарищей; его поразили невинный и страждущій видъ дѣвушки, онъ даже взялся проводить ее до дому. И вотъ опять ея комната на сценѣ; она еще не возвращалась, какая то женщина въ салопѣ приходила тайкомъ, пошныряла въ комнатѣ, потомъ ушла. Является и Марія, расплаканная и огорченная; сверхъ всего остальнаго, платье залито, изодрано. Ну, вотъ ей и опера и этотъ шумъ свѣта, о которомъ она мечтала; раскаяніе, стыдъ и горе,—вотъ что осталось отъ всего. Въ порывахъ негодованья и досады она рѣшается лишиться себя жизни, у ней никого нѣтъ на бѣломъ свѣтѣ, кромѣ стараго вѣтошника, друга-сосѣда, сосѣда-отца. Она пишетъ къ нему записку, кладетъ ее ему на столъ и приготовляетъ все нужное для угара. Но вдругъ раздается крикъ новорожденнаго... Она смотритъ, на ея кровати подброшенное дитя. Вы знаете великую физиологическую связь между женщиной и ребенкомъ. Марія рѣшается жить, потому что ей некуда дѣтъ ребенка.. не покинуть же его безпомощнаго, слабаго такъ. Между тѣмъ и старикъ векарабкался въ свою клѣтку, съ корзинкой всякой дряни, съ костями, которыя перешли отъ барина къ слугѣ, отъ слуги къ собакѣ, отъ собаки достались вѣтошнику; но на этотъ разъ находка была лучше. *Père Jean* нашелъ десять тысячъ банковыми ассигнаціями; старикъ мечтаетъ о наградѣ, которую дадутъ ему, когда онъ возвратитъ деньги,—вдругъ ему попадается записка Маріи, онъ бѣжитъ къ ней, и что же?—находитъ ее съ новорожденнымъ. «Такъ вотъ оно что?» и онъ, какъ громомъ пораженный, падаетъ на стулъ.

Да что у него за отношенія къ Маріи, что онъ на старости лѣтъ влюбленъ въ нее, или что за странная дружба сѣдого старика съ восемнадцатилѣтней дѣвушкой? Онъ влюбленъ въ нее, онъ любитъ ее, какъ отецъ, онъ любитъ ее, какъ другъ; безпре-

дѣльно-нѣжное чувство его къ Маріи совершенно понятно, особенно понятно во Франціи, всего понятнѣе въ Парижѣ. Бѣдные люди въ Парижѣ иногда впадаютъ въ какую-то одичалость, въ кретинизмъ даже, особенно приходящіе въ Парижъ искать работы,— всѣ эти савояры, овернѣяты; но это исключеніе, исключеніе, къ которому принадлежатъ уличные нищіе. Собственно парижскіе бѣдняки имѣютъ сверхъ затаеннаго негодованія, голову, поднятую вверхъ, они психически развиты гораздо болѣе, нежели вы предполагаете въ этихъ организаціяхъ, блѣдныхъ отъ дурнаго воздуха, отъ гнетущей нужды, отъ непрерывныхъ лишеній, отъ зависти... да отъ зависти!.. («Ну, ужъ это скверно!» Разумѣется, любезный моралистъ; что же вы покраснѣли? надобно умѣть довольствоваться голодомъ, ходя мимо Шеве).. Въ душѣ ихъ есть что-то вѣрно чувствующее, мѣтко понимающее и притомъ безпредѣльно грустное и нѣжное; чистота и нравственность далеко не чужды имъ. Развратъ имѣетъ свои предѣлы; опускайтесь по лѣстницѣ общественныхъ положеній, вы будете съ каждымъ шагомъ находить болѣе и болѣе пороковъ и гадостей; но опуститесь на самое дно, вы найдете столько же добра и нравственности, сколько паденія и преступнаго; развратъ самый гнусный—принадлежность низшаго слоя буржуазіи, а не народа, не работника. Знаете ли, что народъ, что бѣдняки берегутъ свою репутацію, что они рѣдко протянутъ руку прохожему, а если и протянутъ, то не унижаясь, что они не всегда возьмутъ на водку, и почти никогда не просятъ. Это не англичане, не нѣмцы,—это парижане.

Парижскій воздухъ великое дѣло; онъ во всѣ шесть или семь этажей, въ чердаки и подвалы, въ антресоли и первые этажи, въ трубы и щели дуетъ однимъ и тѣмъ же; буржуазія закрываетъ ставни, конопатитъ дыры отъ него; но бѣднякъ не прячется, и онъ ему навѣваетъ разныя мысли; вѣтошникъ, найдя минуту покоя, вытаскиваетъ вчерашнюю газету и читаетъ, закусывая черствымъ хлѣбомъ. Масса стремленій, понятій и мыслей, проникнувшая въ низшіе классы и поддерживающая лихорадочное и болѣзненное расположеніе духа, чрезвычайно велика; она-то и есть главная хранительница ихъ нравственности; теряя ее, бѣдняки впадаютъ въ страшную жизнь «парижскихъ тайнъ», съ нею они типы героевъ Ж. Сандъ. Такова Марія, но вѣдь и рѣге Жанъ таковъ, вѣдь и это чисто парижскій продуктъ, «грибъ, выросшій на парижскомъ навозѣ»; его колыбель, родина, училище—улица, на которую его выбросили тотчасъ послѣ рожденія; добрые люди не дали умереть съ голоду, и онъ остался въ живыхъ, по насмѣшливой прочности и упорности жизни тамъ, гдѣ жить невозможно. Онъ и росъ кой-какъ на улицѣ, разумѣется, ремеслу никакому не научили, кому до него дѣло... Выросъ, наконецъ, сдѣлался вѣтош-

никомъ, пропивалъ все вырученное, потомъ бросилъ trois-six и такъ вжился въ свою долю, что и не ропщетъ, ему кажется совершенно въ порядкѣ зажечь ночью фонарь и идти подбирать тряпки и лоскутья. Онъ отроду не видалъ поля, зелени, онъ жилъ какъ мокрица на сырыхъ каменныхъ стѣнахъ и ползалъ по ночамъ по узкимъ, темнымъ переулкамъ. Семьи у него не было, онъ слишкомъ бѣденъ, чтобъ имѣть семью; любить ему состояніе не позволяло. Недаромъ однако же père Jean лѣтъ шестьдесятъ таскался по улицамъ и смотрѣлъ на это многообразіе движущейся жизни; онъ философъ, онъ мудрецъ, а главное онъ характеръ. Встрѣтившись на этомъ же краю бѣдности, на которомъ самъ стоялъ, съ Маріей, онъ тотчасъ понялъ, какого закалу эта дѣвушка, и онъ полюбилъ ее всею той любовью и всѣми тѣми любовьюми, которыхъ не было у него въ жизни: у него явилась дочь, другъ. Марія—его семья, его отдыхъ, единственное человѣческое утѣшеніе, она его поэзія; его trois-six, его примиреніе съ жизнью,— отвѣтъ на все то, на что обстоятельства не дали отвѣта, а парижскій воздухъ далъ вопросъ. Онъ сталъ ея сторожемъ, ея хранителемъ. Разумѣется, новорожденный поразилъ старика, такъ вполне вѣровавшаго въ ея чистоту, въ ея откровенность. Дѣло объяснилось; но ребенокъ вовлекаетъ опять въ траты, ему надобно молоко, средствъ нѣтъ, десять тысячъ лежатъ неприкосновенными, о нихъ и думать не смѣютъ. Марія рѣшается просить дочь барона, на которую она работаетъ, чтобы она простила ей и не заставляла бы зарабатывать испорченнаго платья.

Въ пышной гостиной сидитъ баронъ съ дочерью; онъ что-то не въ мѣру беспокоенъ, она не въ мѣру грустна, а тутъ эта дѣвчонка съ вздорными требованіями, да еще сама говоритъ, что ей деньги нужны для ребенка. «Какого ребенка?»—Мнѣ подкинули.— «Когда?»—12 февраля. Баронъ, знающій жизнь, начинаетъ журить дѣвушку, безъ обиняковъ говорить, что это ея ребенокъ, что онъ ей ничего не дастъ, что онъ не поощряетъ безпорядковъ и распутства, наконецъ, бранить ее, что она смѣла его дочери говорить о такихъ непристойностяхъ. Марія уходитъ, взволнованная и удивленная. Отецъ въ бѣшенствѣ, дочь смущена; дѣло становится ясно: 12 февраля родила она; отецъ, чтобъ спрятать концы въ воду, далъ десять тысячъ франковъ доброй и услужливой повивальной бабкѣ, г-жѣ Потаръ, чтобы она уничтожила, *супримиrowала* ребенка; у г-жи Потаръ сердце нѣжное, нервы слабы до того, что она не могла подняться до высоты задачи, которою ее почтило довѣріе барона, она не убила ребенка, а подбросила его бѣдной дѣвушкѣ. Въ торопяхъ деньги были потеряны (и père Jean ихъ нашель). Баронъ дѣлаетъ строжайшій выговоръ г-жѣ Потаръ и даетъ еще 10 тысячъ франковъ, чтобъ радикальнѣе сбыть съ рукъ

ребенка... Ребенокъ пропасть, и пока Марія въ отчаяніи не можетъ понять, что съ нимъ сдѣлалось, является полиція.—«Марія Дидье, васъ обвиняютъ въ дѣтоубійствѣ».—«Меня?» спрашиваетъ испуганная дѣвушка.—«Вашего ребенка нашли утопленнымъ въ канавѣ». Дикій крикъ вырывается изъ устъ Маріи въ отвѣтъ на страшную вѣсть и на гнусное обвиненіе. — Нервы г-жи Потарь оказались на этотъ разъ исправнѣе.

Марія любима, любима нѣжно, страстно молодымъ человѣкомъ, который проводилъ ее съ бала; онъ (какъ непременно воображаютъ нужнымъ писатели французскихъ пьесъ) женихъ бароновои дочери. Онъ хочетъ жениться на ней.—Погодите, молодой человѣкъ, ваша невѣста, ваша неземная дѣва въ толпѣ колодниковъ, развратницъ, въ тюрьмѣ; ее судятъ за дѣтоубійство, ея имя попало уже въ Gazette des Tribunaux и разнеслось отъ кафе до дворцовъ, и послужило темой моральныхъ разсужденій для толстыхъ мѣщанъ и жирныхъ мѣщанокъ.

Вѣтошникъ не спитъ. Объявлено въ афишахъ, что 12 февраля потеряны 10 т. фр. билетами, ночью, въ кварталѣ Saint-Lazare, и что нашедшій можетъ явиться къ г-жѣ Потарь, повивальной бабкѣ, за приличнымъ награжденіемъ. Это не-спроста, подумалъ рѣге Жан; надѣлъ на себя лучшее платье, старый фракъ, который ему невпору, купленный гдѣ-нибудь на толкунѣ, панталоны съ заплатами и отправился къ г-жѣ Потарь. Тутъ вы видите другую сторону бѣдняка—хитрость, умѣнье владѣть собою, неприклонную, неуступчивую волю, свойства столько-же необходимыя бѣдняку, какъ казаку на кавказской границѣ; тотъ и другой непрерывно лицомъ къ лицу съ хитрымъ и злымъ врагомъ. Леметръ въ этой сценѣ удивителенъ. Рѣге Жан успѣлъ выманить у Потарь доказательство, что ребенокъ родился отъ бароновои дочери. Теперь онъ явится во весь ростъ обвинителемъ. Но знаете-ли, кто баронъ? Баронъ—человѣкъ, совершившій убійство на Аустерлицкой набережной. Онъ богатый и сильный, не соперникъ вѣтошнику; вѣтошникъ обмануть (сцена неловкая, трудная для актера и скучная для зрителя), мало того отданъ подъ судъ, какъ находящійся въ сильномъ подозрѣніи убійства: у него нашли портфель съ именемъ убитаго. Все въ порядкѣ, какъ надобно было ожидать; но тутъ нелѣпая сцена въ тюрьмѣ, украденная изъ Шиллеровой пьесы «Коварство и Любовь», гдѣ Вурмъ заставляетъ писать Луизу; баронъ уговариваетъ Марію для спасенія молодого человѣка, за котораго онъ хотѣлъ выдать свою дочь, принять на себя преступленіе, обѣщаясь спасти ее послѣ сентенціи; молодой человѣкъ остался вѣренъ, остался убѣжденъ въ ея невинности, непоколебимъ въ своей любви... Вдругъ сознаніе! Марія присуждена къ ссылкѣ. На сценѣ судебное мѣсто; у дверей сидитъ между друма солдатами

вѣтошникъ, онъ успѣлъ одичать, — что-то похожъ на звѣря. На улицѣ разношникъ кричить: «Marie Didier, infanticide, avec des détails intéressants... cinq centimes! Un sou!» Старика начинаютъ допрашивать, но онъ о себѣ и говорить не хочетъ: онъ умоляетъ разозбратъ дѣло Маріи; его не слушаютъ, ему велятъ молчать, онъ плачетъ, онъ рветъ свои волосы; онъ, никогда не становившійся на колѣни, является передъ судьями. судья приказываетъ муниципалу выбросить его за дверь—la toile, la toile!.. Чего еще?.. Но Пиа прибавилъ мелодраматическую развязку. Пьесу онъ этимъ сгубилъ и растянулъ, Леметру доставилъ еще удивительную сцену съ г-жей Потаръ, а публикѣ примиряющій, услаждающій финалъ въ буржуазномъ духѣ ¹⁾.

Если вамъ однакожь столько же надоѣло слушать о вѣтошникѣ, сколько мнѣ говорить, то я не вижу причины, отчего не кончить, т. е. не начать чего-нибудь другого. Да и что такое Porte-St-Martin, пойдите въ Palais-Royal; но... увъ! Palais-Royal пересталъ быть сердцемъ Парижа съ тѣхъ поръ, какъ изъ него извели (какъ изъ Берлина впоследствии) лучшее населеніе его. Онъ сталъ слишкомъ нравствененъ, слишкомъ добродѣтеленъ. Парижъ переѣхалъ изъ него; Парижъ начинается, по словамъ Шаривари, съ бульвара des Capucines и оканчивается Maison d'or-омъ, т. е. Парижъ итальянскій бульваръ. «Есть, прибавляетъ ученый издатель, баснословные слухи о какомъ-то бульварѣ Пуасоньеръ; но кто же знаетъ о его существованіи? Что же касается до бульвара Бомарше, это просто полицейская выдумка, нарочно распушенный слухъ». Но дѣлать нечего, пойдите въ Palais Royal и именно въ Théâtre Français.

Сей кубокъ мы минувшимъ днямъ!..

Théâtre Français познакомилъ меня съ однимъ драматическимъ авторомъ, котораго я не зналъ..... съ Расиномъ. «Неужели вы его прежде не читали?»—спрашиваете вы, краснѣя за меня.—За кого же вы меня принимаете—

A peine nous sortions des portes de Trézenc
Il était sur son char...

Я его твердилъ на память лѣтъ десяти, а потомъ читалъ лѣтъ пятнадцати; но это уже было поздно. Имѣвъ счастье завершить начальное образованіе подъ маханье московскаго «Телеграфа» и подъ теорію русскаго романтизма, я посматривалъ свысока на человѣка трехъ аристотелевскихъ единствъ, человѣка, говорящаго Vous и Madame устами гомеровскихъ богатырей. Нѣмецкая эсте-

¹⁾ Я говорилъ объ этомъ Ф. Пиа, онъ совершенно со мной согласенъ. но замѣтилъ, что я не знаю французской публики. — что пьеса пала бы безъ утѣшительнаго окончанія, что французы не любятъ выходить изъ театра avec un sentiment pénible. Я думаю, что Ф. Пиа правъ (1852)!

тика убѣдила меня, что во Франціи искусства никогда не было, что собственно искусство можетъ цвѣсти въ Баваріи, въ Веймарѣ, — словомъ отъ Франкфурта на Одерѣ до Франкфурта на Майнѣ. А потому и Расина читалъ я больше для того, чтобъ вполне понять красоту трегедіи Гувальда и Мюльнера. Наконецъ, я увидѣлъ Расина дома, увидѣлъ Расина съ Рашелью—и научился понимать его. Это очень важно, болѣе важно, нежели кажется съ перваго взгляда,—это оправданіе двухъ вѣковъ, т. е. уразумѣніе ихъ вкуса. Расинъ встрѣчается на каждомъ шагу съ 1665 года и до реставраціи; на немъ были воспитаны всѣ эти сильные люди XVIII вѣка. Неужели всѣ они ошибались, Франція ошибалась, міръ ошибался? Робеспьеръ возилъ свою Елеонору въ Théâtre Français и дома читалъ ей Британика, наскоро подписавши дюжины три приговоровъ. Людовикъ XVI въ томномъ и мрачномъ заточеніи читалъ ежедневно Расина съ своимъ сыномъ и заставлялъ его твердить на память.... И, дѣйствительно, есть нѣчто поразительно-величавое въ стройной, спокойной развивающейся рѣчи Расиновскихъ героевъ; діалогъ часто убиваетъ дѣйствіе, но онъ изященъ, но онъ самъ дѣйствіе; чтобъ это понять, надобно видѣть Расина на сценѣ французскаго театра: тамъ сохранились преданія стараго времени, преданія о томъ, какъ созданы такія-то роли Тальмой, другія Офреномъ, Жоржъ...

Актеры съ нѣкоторой робостью выступаютъ въ Расиновскихъ трагедіяхъ, это ихъ пробный камень; тутъ невозможно ни одно нехудожественное движеніе, ни одинъ мелодраматическій эффектъ, тутъ нѣтъ надежды ни на группу, ни на декорации, тутъ два-три актера, какъ статуи на пьедесталѣ: все устремлено на нихъ. Сначала дикція ихъ, чрезвычайно благородная и выработанная, можетъ показаться изысканной, но это не совсѣмъ такъ; торжественность эта, величавость, рельефность каждаго стиха идетъ духу Расиновскихъ трагедій. Пожалуй, нѣкоторыя позы на пареѳонскихъ барельефахъ можно тоже назвать изысканными, именно потому, что ваятели исключили все случайное и оставили вѣчныя спокойныя формы; жизнь, поднимаясь въ эту сферу, отрѣшается отъ всего возмущающаго красоту ея проявленія, принимаетъ пластическій и музыкальный строй; тутъ движеніе должно быть граціей, слово—стихомъ, чувство—пѣснью.

Вы болѣе любите иной міръ, міръ, воспроизводящій жизнь во всей ея истинѣ, въ ея глубинѣ, во всѣхъ изгибахъ свѣта и тьмы, словомъ міръ Шекспира, Рембрандта,—любите его, но развѣ это мѣшаетъ вамъ остановиться передъ Аполономъ, передъ Венерой? Что за католическая исключительность! Пониманье Бетховена развѣ отняло у васъ возможность увлекаться Севильскимъ цирюльникомъ?

Входя въ театръ смотрѣть Расина, вы должны знать, что съ тѣмъ вмѣстѣ вы входите въ *иной* міръ, имѣющій свои предѣлы, свою ограниченность, но имѣющій и свою силу, свою энергію и высокое изящество въ своихъ предѣлахъ. Какое право имѣете вы судить художественное произведеніе внѣ его собственной почвы, даже внѣ исторической, національной почвы? Вы пришли смотрѣть Расина,—отрѣшитесь же отъ фламандскаго элемента: это отрасль итальянской школы; берите его такимъ, чтобъ онъ далъ то, что онъ хочетъ дать, и онъ даетъ много прекраснаго. Конечно, онъ не удовлетворитъ всему, чего жаждетъ ваша душа, но позвольте же еще разъ спросить: а весь греческій Олимпъ, а всѣ греческіе типы, статуи, герои трагедій удовлетворяютъ васъ? Нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ! Я это испыталъ на себѣ. Въ греческихъ статуяхъ вездѣ выражается спокойное наслажденіе, торжество мѣры, торжество равновѣсія, торжество красоты, но съ тѣмъ вмѣстѣ вы видите, что покой достигнуть, потому что требованіе было не полно, потому что олимпійцы удовлетворялись немногимъ. Одно изъ величайшихъ достоинствъ греческаго ваянія—полнѣйшее отрѣшеніе чувственной формы отъ всего чувственнаго; Венера мидийская также мало говоритъ чувственности, какъ Мадоны Рафаэля; но за то въ греческомъ искусствѣ нѣтъ того знойнаго сладострастія, которое мы находимъ, напримѣръ, въ страстныхъ глазахъ особо разсѣченныхъ и сжуженныхъ къ вискамъ египетскихъ изваяній. Съ другой стороны, въ греческомъ искусствѣ нѣтъ и не могло быть элемента, развитаго міромъ христіанскимъ, элемента романтическаго, того сосредоточеннаго въ духѣ, того глубоко-страдальческаго, неудовлетвореннаго, жаждущаго, стремящагося, который вы можете вполне изучить въ комнатахъ Катерины Медичи, гдѣ разставлены испанскія картины. Для грековъ мы дѣлаемъ почетное исключеніе: мы ихъ судимъ, какъ грековъ въ ихъ сферѣ; будемте также судить Расина, Корнеля,—обогатимте себя и ими.

Что же вамъ сказать о самой Рашели? Фельетоны всѣхъ газетъ давно все рассказали. Она нехороша собой, невысока ростомъ, худа, истомлена; но куда ей ростъ, на что ей красота, съ этими чертами рѣзкими, выразительными, проникнутыми страстью? Игра ея удивительна; пока она на сценѣ, чтобы ни дѣлалось, вы не можете оторваться отъ нея; это слабое, хрупкое существо подавляетъ васъ; я не могъ бы уважать человѣка, который не находился бы подъ ея вліяніемъ во время представленія. Какъ теперь вижу эти гордо надутыя губы, этотъ сжигающій, быстрый взглядъ, этотъ трепетъ страсти и негодованья, который пробѣгаетъ по ея тѣлу! А голосъ, — удивительный голосъ! — онъ умѣетъ приглубить ребенка, шептать слова любви и душить врага; голосъ, который походитъ на воркованье горлицы и на крикъ уязвленной львицы.

Она может сдѣлаться страшна, свирѣпа... до «эхиднаго выраженія.»¹⁾ Рашель составляетъ стредоточіе трагической труппы, она идеаль, которому подражаетъ старый и малый, мужчины и женщины.... до смѣшного; вся труппа французскаго театра оттопыриваетъ губы, какъ она, всѣ басы и дишканты стараются говорить ея голосомъ.

Сестра ея Judith очень мила. Она не красавица: во Франціи вообще нѣтъ красавиць, но ея *gentillesse* совершенно французская, не смотря на то, что имя напоминаетъ «почтеннаго фельдмаршала Олоферна» и невѣжливый поступокъ съ нимъ одной дамы.

Да какая же это исключительно французская красота? Она чрезвычайно легко уловима: она состоитъ въ необыкновенно граціозномъ сочетаніи выразительности, легкости, ума, чувства, жизни, раскрытости, которое для меня увлекательнѣе одной пластической красоты, всепоглощающаго изящества породы, античныхъ формъ итальянокъ и вообще красавиць.

Быть красавицей несчастіе, красавица—жертва своей наружности, на нее смотрятъ, какъ на художественное произведеніе, въ ней ничего не ищутъ далѣе наружности. Французская красота чрезвычайно человѣчественна, социальна; она далека отъ германо-англійской надтѣльности, заставляющей проливать слезы о грѣхахъ міра сего, о слабостяхъ его, толико сладкихъ; она также далека и отъ андалузской чувственности, отъ которой сердце замираетъ и захватываетъ духъ. Она не въ одной наружности, не въ одной внутренней жизни, а въ ихъ созвучномъ примиреніи. Такая красота—результатъ жизни, жизни цѣлыхъ поколѣній, длиннаго ряда вліяній органическихъ, психическихъ и социальныхъ; такая красота воспитывается вѣками, вырабатывается преемственнымъ устройствомъ быта, нравовъ, достается въ наслѣдіе, развивается средою, внутренней работой, дѣятельностью мозга,—такая красота фактъ цивилизаціи и народнаго характера.

Изрѣдка встрѣчаешь подобную красоту между польскими и русскими аристократическими дамами, и это, по моему, высокое свидѣтельство въ пользу славянской крови. Вы не обижайтесь, мы потому *изрѣдка* находимъ такую красоту у насъ, что число женщинъ, призванныхъ къ развитію, гораздо ограниченнѣе. Кто не замѣчалъ, насколько женщины въ нашемъ народѣ хуже мужчинъ? Женщина въ крестьянствѣ слишкомъ задавлена, слишкомъ работница. слишкомъ *безлична*, слишкомъ «баба», чтобъ быть

¹⁾ Какъ бы я желалъ ее видѣть, когда она, разъярившись на Верона, сказала ему, что онъ плутъ.—«Сударыня,» отвѣчалъ онъ, какъ самъ рассказываетъ въ своихъ запискахъ, «я еще ни разу не слышалъ чтобы ктонибудь меня такъ называлъ.»—Ну вотъ вамъ и случай услышать въ первый разъ! возразила Рашель (1852).

красивой. Какъ только переѣдешь границу, бросается въ глаза некрасивость нѣмецкихъ крестьянъ и улучшение женщинъ особенно по городамъ; этому много способствуетъ, между прочимъ, умѣнье держаться; самая бѣднѣйшая горничная не выйдетъ на улицу, не пригладивши волосъ и не оправившись; я не видалъ растрепанныхъ головъ, растегнутыхъ платьевъ, цинизма женской нечистоплотности съ тѣхъ поръ, какъ разстался съ пековской гостинницей и съ жидовскими станціями въ Ковенской губерніи. ¹⁾ Любовь къ опрятности показываетъ, какъ ужъ намъ случалось замѣтить, старую цивилизацію и уваженіе къ себѣ, чувство собственнаго достоинства и, слѣдственно, понятіе о личности; я, разумѣется, говорю не объ отвлеченномъ понятіи личности и ея гражданскихъ правахъ, а о томъ инстинктуальномъ понятіи, которое такъ очевидно въ самыхъ низшихъ классахъ европейскихъ государствъ. совершенно независимо отъ ихъ политическаго устройства, въ Испаніи, въ Англии, въ Италіи и во Франціи.

Но воротимся къ *театрамъ*; въ томъ же Palais-Royal, гдѣ во французскомъ *театрѣ* Рашель потрясаетъ сердце, Левассеръ потрясаетъ въ *театрѣ* Пале-Рояля всю грудь хохотомъ безъ конца, хохотомъ до слезъ, до истерики. Левассеръ—полнѣйшее выраженіе французской веселости, беззаботности, простодушной дерзости, остраго ума, шалости, gaminerie. Что за быстрота, что за неуловимость, что за богатство средствъ! Левассеръ такъ же принадлежитъ, такъ же необходимъ Парижу, какъ Шеллингъ или Гегель Берлину. Все, что вы видѣли съ неудержимымъ смѣхомъ въ картинахъ Гаварни, все, что заставляеть хохотать въ «Шаривари», все это перенесено въ дѣйствіе, оживлено Левассеромъ. И въ этомъ отношеніи онъ мнѣ нравится гораздо больше Буффе, больше старика Верне, больше талантливаго Арналя; тѣ превосходные актеры всякой сцены, и этимъ, можетъ быть, выше Левассера, но тѣмъ Левассеръ и лучше ихъ, что онъ актеръ французскій—да нѣтъ и то нѣтъ, а парижскій, актеръ Пале-Рояля: дерзость, наивность, непристойность, грація, канканъ, фейерверкъ! И какимъ лицомъ судьба наградила этого человѣка: худой съ острыми маленькими чертами, за которыми спрятано втрое больше мускуловъ, нежели извѣстно въ анатоміи Бона, и всѣ они двигаются во всѣ четыре стороны; отъ этого онъ дѣлаетъ изъ лица все, что хочетъ, такъ, какъ фокусникъ изъ складной бумаги.—то сдѣлаетъ сапогъ, то паромъ, то жабо. Рассказывать его игру невозможно. ее надобно видѣть, и мало того, надобно войти во вкусъ, т. е. привыкнуть, чтобъ ловить несущійся на всѣхъ парахъ train de plaisir остроты, шалости, языка, глазъ, голоса, ногъ.

¹⁾ Тогда я еще не былъ въ Англии (1858).

Отъ Рашели мы перешагнули къ Левассеру, отъ слезъ участія къ смѣху до слезъ; теперь перейдемъ отъ этого веселаго смѣха къ смѣху презрѣнія и негодованія, отъ милыхъ шутокъ и потока каламбуровъ Левассера къ пошлымъ и тяжелымъ фарсамъ, въ которыхъ актеры старой школы другъ друга ругаютъ, другъ друга надуваютъ—для общественнаго удовольствія. Тутъ на первомъ планѣ модная комедія «Эмиль Жиарденъ и Продажное перство.»

Какъ вспомню, какъ я на бенефисѣ Жиардена сидѣлъ въ трибунѣ съ 10 часовъ до половины седьмаго, поддерживая двухъ французовъ, одного англичанина, свою собственную шляпу и бороду сосѣда съ правой стороны, опираясь притомъ на почтеннаго посѣтителя, сидѣвшаго передо мною, и все это въ половинѣ іюня, градусовъ въ пятьдесятъ жары, такъ и захочется опять выйти на чистый воздухъ...—Ну и выйдемте!

Письмо четвертое.

Парижъ, 15 сентября 1847 г.

Пока я собирался со славянской медленностью рассказать вамъ о парламентскомъ турнирѣ, на которомъ рыцарь *прессы* такъ отважно напалъ на Кастора и Полукса министерскихъ лавокъ и тѣмъ доставилъ небольшое разсѣяніе добрымъ мѣщанамъ, скучающимъ въ пользу отечества въ Palais Bourbon,—произошло столько турнировъ, кулачныхъ боевъ, взаимныхъ обвиненій, травль и судебныхъ разспросовъ, чрезвычайныхъ случаевъ и случайныхъ чрезвычайностей, что стыдно поминать мелкія обвиненія въ «злоупотребленіи вліянія въ комерціи перствомъ.» Новые герои съ неустранимой послѣдовательностью нѣмецкихъ философовъ и италіанскихъ бандитовъ дошли до конца того поприща, которое начинается маленькой торговлей проектами крошечныхъ законовъ, привилегіями на театры и рудокопни, а оканчивается самими рудокопнями, морскими прогулками на галереяхъ, трудолюбивымъ вколачиваніемъ свай въ портовыхъ городахъ, а иногда воздушнымъ salto mortale всѣмъ тѣломъ или отчасти, смотря потому, по которую сторону Па-де-Кале случится.

И такъ оставимте дѣло Жиардена! Оно-же окончилось очень хорошо и къ общему удовольствію; камера депутатовъ—оправдала министровъ, камера перовъ—оправдала Жиардена. Ясное дѣло, обѣ стороны были правы...

... Какъ спокойно и весело жить гдѣ-нибудь, въ Неаполѣ напримеръ, куда не проникаетъ всякое утро сѣрая стая журналовъ всѣхъ величинъ, всѣхъ цвѣтовъ, съ отравляющимъ запахомъ голландской сажы и гнилой бумаги, съ грознымъ premier-Paris въ

началъ и съ крупными объявленіями въ концѣ; стая влажная, мокрая, какъ будто кровь событій не обсохла еще на ея губахъ, саранча, поѣдающая происшествія прежде, нежели они успѣютъ созрѣть,--вѣтошники и мародеры, идущіе шагъ за шагомъ по слѣдамъ большой арміи историческаго движенія.

Въ Неаполѣ журналы ясны какъ вѣчноглубое небо Италиі, они на своихъ чуть не розовыхъ листикахъ приносятъ повѣсти успокоительныя, улыбающіяся,—вѣсть о прекрасномъ урожаѣ, объ удивительномъ праздникѣ на такой то виллѣ, у такой то дукеццы, на которой мѣсяцъ свѣтилъ сверху, а волны Средиземнаго моря плескали съ боку... Не лучше-ли въ миломъ невѣдѣніи сердца вѣрять въ аркадскія нравы на землѣ, въ кроткое счастье лаццарона, въ официальную нравственность и людское безкорыстіе! Зачѣмъ, когда такъ много прекраснаго въ Божіемъ мірѣ, зачѣмъ знать, что въ немъ есть бѣшенныя собаки, злые люди, тифоидныя горячки, горькое масло и поддѣльное шампанское?

Все журналы виноваты! Зачѣмъ всякой вздоръ доводить до общаго свѣдѣнія.

Я вамъ рассказывалъ, какъ одинъ поврежденный докторъ принималъ журналы за бюллетени сумашедшихъ домовъ; это былъ человѣкъ отсталой: теперь журналы—бюллетени смиренныхъ домовъ и галеръ.

Въ самомъ дѣлѣ, Франція ни въ какое время не падала такъ глубоко въ нравственномъ отношеніи, какъ теперь. Она больна. Это чувствуютъ всѣ, Гизо и Прудонъ, префектъ полиціи и Викторъ Консидеранъ.

Настоящимъ положеніемъ Франціи всѣ недовольны, кромѣ записной буржуазіи, да и та боится впередъ заглядывать. Чѣмъ недовольны, знаютъ многіе; чѣмъ поправить и какъ,—почти никто, ни даже социалисты, люди дальняго идеала, едва виднѣющагося въ будущемъ.

Ни журнальная, ни парламентская оппозиція не знаютъ ни истиннаго смысла недуга, ни дѣйствительныхъ лекарствъ; оттого-то она и остается въ постоянномъ меньшинствѣ; у нея истинно только живое чувство негодованія, и въ этомъ она права: сознаніе зла необходимо для того, чтобъ рано или поздно отдѣлаться отъ него.

Обвиненіе, всего чаще повторяемое и совершенно вѣрное, состоитъ въ томъ, что съ нѣкотораго времени матеріальные интересы подавили собой всѣ другіе; что идеи, слова, потрясавшія такъ недавно людей и массы, заставлявшія ихъ покидать домъ, семью для того, чтобъ взять оружіе и идти на защиту своей святыни и на низверженіе враждебныхъ кумировъ, потеряли свою магнитическую силу и повторяются теперь по привычкѣ, изъ

учтivosti, какъ призваніе Олимпа и Музъ у поэтовъ, или какъ слово Богъ у деистовъ.

Вмѣсто «благородныхъ» идей и «возвышенныхъ» цѣлей рычагъ, приводящій все въ движеніе. — деньги. Тамъ, гдѣ были пренія о неотъемлемыхъ правахъ человѣка, о государственной политикѣ, о патриотизмѣ, занимаются теперь одной политической экономіей.

Въ самомъ дѣлѣ вопросъ о матеріальномъ благосостояніи на первомъ планѣ. Удивительнаго тутъ нѣтъ ничего. Какъ-же, наконецъ, не признать важность вопроса, отъ разрѣшенія котораго зависитъ не только насущный хлѣбъ большинства, но и его цивилизація. Нѣтъ образованія при голодѣ; чернь будетъ черню до тѣхъ поръ, пока не выработаетъ себѣ пищу и досугъ.

Страны, которыя уже перешли миѳическіе, патриархальные и героическіе возрасты, которыя довольно сложились, довольно приобрѣли, которыя пережили юношескій періодъ отвлеченныхъ увлеченій, прошли азбуку гражданственности, естественно должны были обратиться къ тому существенному вопросу, отъ котораго зависитъ вся будущность народовъ. Но вопросъ этотъ страшно труденъ, его не рѣшишь громкимъ словомъ, пестрымъ знаменемъ, энергическимъ кликомъ. Это самый внутренній, самый глубокій, самый жизненный, существенный и по преимуществу практический вопросъ общественнаго устройства.

Вы его встрѣчаете не въ одной Франціи; въ Сѣверной Америкѣ и въ Англіи онъ, можетъ, сдѣлалъ больше практическихъ шаговъ, во Франціи, онъ, какъ и все другое получилъ всемірную гласность. Жизнь Франціи шумнѣе, сообщительнѣе англійской, въ ней все дѣлается громко, все для всѣхъ. Подъ часъ кажется, что именно все, происходящее здѣсь, дѣлается, какъ въ театрѣ. — для публики, ей удовольствіе, ей поученіе; актеры играютъ не для себя и возвращаются со сцены къ домашнимъ неприятностямъ и мелочамъ. Въ этомъ одна изъ лучшихъ національныхъ сторонъ французовъ, но они остаются за это съ пустыми руками.

Гегель сравниваетъ Индію съ родильницей, которая, произведя на свѣтъ прекраснаго ребенка, ничего больше для себя не хочетъ. Франція, напротивъ, всего хочетъ, но ея силы истощились отъ тяжкихъ и частыхъ родовъ, она не въ силахъ носить своихъ дѣтей.

Но воротимся къ экономическому вопросу. Считать чѣмъ-то подчиненнымъ и грубымъ стремленіе къ развитію повсюднаго довольства, стремленіе вырвать у слѣпой случайности и у наслѣдниковъ насилія — орудія труда и скопившіяся силы, привести цѣнность труда, обладаніе и обращеніе богатствъ къ разумнымъ началамъ, къ общимъ и современнымъ правиламъ, снять всѣ плотны, мѣшающія обмѣну и движенію, — считать все это матеріализмомъ, эгоизмомъ могутъ одни закоснѣлые романтики и

идеалисты. По счастью въ наше время выводятся эти высшія натуры, боявшіяся замараться о практическіе вопросы, бѣгавшія въ міръ мечтаній отъ дѣйствительнаго міра,... хотя я еще своими ушами слышалъ отъ одного изъ лучшихъ представителей романтизма: «вы полагаете, что съ развитіемъ довольства народъ будетъ лучше,—это ошибка, онъ забудетъ религію и отдастся грубымъ желаніямъ. Что можетъ быть чище и независимѣе отъ земныхъ благъ, какъ жизнь поселянина, который, кротко ввѣряясь провидѣнію, бросаетъ все свое достояніе въ землю, смиренно ожидая, чѣмъ его благословитъ судьба? Бѣдность—великая школа для души, она хранитъ ее.»

— И образуетъ воровъ—добавилъ я.

Эту идиллію говорила не пятнадцатилѣтняя дѣвочка, а человекъ лѣтъ подъ пятьдесятъ.

Все несчастіе прошлыхъ переворотовъ состояло именно въ опущеніи экономической стороны, которая тогда еще не была настолько зрѣла, чтобъ занять свое мѣсто. Тутъ одна изъ причинъ, почему великія слова и идеи остались словами и идеями и—что хуже того—надоѣли. Романтики, гордо улыбаясь, возражаютъ, что величайшія историческія событія нисколько не зависѣли отъ большей или меньшей степени сытости и матеріальнаго благосостоянія, что крестоносцы не думали о приобрѣтеніяхъ, что голландная и босая армія побѣдила Италію. Да, оттого-то, между прочимъ, и не много вышло изъ всѣхъ этихъ войнъ и передрагъ. Европа, послѣ трехъ столѣтій гражданскаго и всяческаго развитія, дошла только до того, что въ ней *лучше*, нежели тамъ, гдѣ этого развитія не было; она послѣ столькихъ переворотовъ и опустошеній стоитъ еще теперь при началѣ своего дѣла.

Поэтическими интересами, увлеченіями врядъ поднимители теперь взрослые народы—Англию или Сѣверную Америку. Это слѣдствіе лѣтъ; нельзя-же всю жизнь быть юношей, бретеромъ, горячей головой. Революція—я говорю о настоящей, а не о послѣдней (1830)—со всею своею обстановкой отъ величественной *introduzione* до героической симфоніи, оканчивающейся стономъ подъ Ватерло, заключаетъ собою романтическую часть исторіи гражданскихъ обществъ въ Европѣ. Скольکو событій, крови, великаго было въ этомъ финалѣ, какой разгромъ, какая перемѣна предѣловъ, условій жизни, обычаевъ, вѣрованій,—и что-же вышло, выстроилось, осталось, кромѣ легенды и пѣсней. Сама буржуазія на дняхъ произнесла въ своемъ дворцѣ страшныя Даниловскія слова: Rien, Rien, Rien!

Франція, замѣтивъ эту пустоту, ринулась въ другую сторону, ударила въ противоположную крайность,—экономическіе вопросы убили всѣ остальные.

Люди мыслящіе первые отдались имъ, и, какъ всегда бываетъ, увлекли съ собой людей ограниченныхъ, которые всякую истину доводятъ до нелѣпости, до цинизма, особенно такое близкое душѣ и соизмѣримое ученіе, какъ ученіе о развитіи матеріальнаго благосостоянія. Медаль перевернулась. Прежде слова безъ яснаго пониманія, безъ опредѣленнаго содержанія, полныя фанатизма, увлеченія, вели людей, основываясь на высокомъ предчувствіи, на глубоко-человѣческой симпатіи ко всему великому, и люди охотно жертвовали идеямъ и общимъ принципамъ матеріальными дѣлами, жизнію. Теперь, послѣ бесплодныхъ жертвъ, послѣ долгихъ несчастій, люди увидѣли важность этихъ благъ и предались одному экономическому вопросу. Разумѣется, не многіе умѣли поднять его въ ту высокую и общую сферу, на которую онъ имѣетъ право и внѣ которой его значеніе односторонне и бѣдно. Печальное недоразумѣніе состояло въ томъ, что не поняли круговой поруки, взаимной необходимости обѣихъ сторонъ жизни. Политическая экономія, именно вслѣдствіе своей исключительности, при всей видимой практичности, явилась отвлеченной наукой богатства и развитія средствъ; она разсматривала людей, какъ производительную живую силу, какъ органическую машину; для нея общество—фабрика, государство—рынокъ, мѣсто сбыта; она въ качествѣ механика старалась объ употребленіи наименьшей силы для полученія наибольшаго результата, о раскрытіи законовъ увеличенія богатствъ. Она шла отъ принятыхъ данныхъ, она брала *политическій* фактъ (*эмбриогеническій*, если хотите) современнаго общественнаго устройства—за нормальный; отправлялась отъ *того* распредѣленія богатства и орудій, на которомъ захватила государства. До человѣка собственно ей не было и дѣла, она занималась имъ по мѣрѣ его производительности, равно оставляя безъ вниманія того, который не производитъ за недостаткомъ орудій, и того, который лѣниво тратитъ капиталъ. Въ такой формѣ наука о богатствѣ, основанная на правилѣ—имуществу дастся, могла имѣть успѣхъ въ мирѣ торговли и купечества; но для неимущихъ такая наука не представляла большихъ прелестей. Для нихъ, напротивъ, вопросъ о матеріальномъ благосостояніи былъ неразрывенъ съ критикой тѣхъ данныхъ, на которыхъ основывалась политическая экономія и которые явнымъ образомъ были причиною ихъ бѣдности.

Нѣсколько энергическихъ, сильныхъ, юныхъ умовъ, глубоко сочувствуя съ несчастнымъ положеніемъ пролетаріевъ, поняли невозможность исторгнуть ихъ изъ жалкаго и грубаго состоянія, не обезпечивъ имъ насущнаго хлѣба.

Они обратились тоже къ политической экономіи.

Но какой отвѣтъ, какое наставленіе могли они найти въ наукѣ

последовательно говорившей неимущему: «не женись, не имѣй дѣтей, поѣзжай въ Америку, работай 12, 14 часовъ въ сутки, или ты умрешь съ голоду!» Къ этимъ совѣтамъ человѣколюбивая наука прибавляла поэтическую сентенцію, что не всѣ приглашены природой на пиръ жизни, и злую иронию, что вольному воля, что нищій пользуется *тѣми-же* гражданскими правами, какъ Ротшильдъ.

Они увидѣли, что сытый голодному не товарищъ, и бросили старую, безжалостную науку.

Критика—сила нашего вѣка, наше торжество и нашъ предѣлъ. Политическая экономія, въ ея ограниченно-доктринерской и мѣщанской формѣ, была разбита, мѣсто расчищено, но что-же было поставить вмѣсто ея? Все то, что ставила она, казалось, было неуклюже. Видя это, критика свирѣпѣла еще больше.

Но критика и сомнѣніе—не народны. Народъ требуетъ готоваго ученія, вѣрованія, ему нужна догматика, опредѣленная межа ¹⁾. Люди, сильные на критику, были слабые на созданіе; народъ слушалъ ихъ, но качалъ головой и чего-то все доискивался.

Во всѣхъ новыхъ утопіяхъ было много развѣдающаго ума и мало творческой фантазіи.

Народы слишкомъ поэты и дѣти, чтобъ увлекаться отвлеченными мыслями и чисто экономическими теоріями. Они живутъ несравненно больше сердцемъ и привычкой, нежели умомъ; сверхъ того, изъ-за нищеты и тяжелой работы также трудно ясно видѣть вещи, какъ изъ-за богатства и лѣниваго пресыщенія.

Попытки новаго хозяйственнаго устройства, одна за другой, выходили на свѣтъ и разбивались объ чугунную крѣпость привычекъ, предрасудковъ, фактическихъ стародавностей, фантастическихъ преданій. Онѣ были сами по себѣ полны желаніемъ общаго блага, полны любви и вѣры, полны нравственности и преданности, но не знали, какъ навести мосты изъ всеобщности въ дѣйствительную жизнь, изъ стремленія въ приложеніе.

И не странно ли, что человѣкъ, освобожденный новой наукой отъ нищеты и отъ несправедливаго стяжанія, все же не дѣлался свободнымъ человѣкомъ, а какъ-то затерялся въ общинѣ? Хоть это лучше, нежели человѣкъ-машина, человѣкъ-снарядъ, но все же оно тѣсно, неудовлетворительно. Понять всю ширину и дѣйствительность, понять всю святость правъ личности, и не разрушить, не раздробить на атомы общество—самая трудная социальная задача. Ее разрѣшить, вѣроятно, сама исторія для будущаго, въ прошедшемъ она никогда не была разрѣшена.

²⁾ Въ отдѣльномъ изданіи «Писемъ изъ Франціи и Італіи» стоитъ «мѣта». Примѣч. издат.

Новое учение продолжало борьбу со старымъ не въ народныхъ движеніяхъ, не переворотами, но въ мірѣ литературно-образованномъ. Старая наука, вовлеченная въ злую полемику, не была въ авантажѣ. Умы свѣжіе, дѣятельные, сочувствующіе съ вѣкомъ, оставляли ее, одни по убѣжденію въ истинѣ новыхъ ученій, другіе видя недостаточность прежнихъ.

Старая наука вскорѣ увидѣла опасность.

У нея было много поклонниковъ, она была государственная, официальная, мѣщанская наука. Жадная и скупая посредственность ухватила за прежнюю политическую экономію. Не глубокая сама по себѣ, наука Мальтуса и Сея измельчала, выродилась въ торговую смышленность, въ искусство съ наименьшей тратой капитала производить наибольшее число произведеній и обеспечивать имъ наивыгоднѣйшій сбытъ. Наука дала имъ въ руки кистень, который бьетъ обоими концами бѣднаго потребителя: въ одну сторону уменьшеніемъ платы, въ другую поднятіемъ цѣнъ на произведенія.

Во время реставраціи, когда социальныя идеи были чистой мечтой, далекой какъ Атлантида Моруса, буржуазія либеральничала съ своей политической экономіей, да и какъ ей было не либеральничать? Всѣ перевороты, всѣ несчастія Франціи принесли плоды только среднему состоянію.

Іюльская революція испугала ее республикой. Она тотчасъ нашла своего мѣщанина-короля. Но когда проповѣди улицы Менильмонтанъ стали коментироваться ліонскими и парижскими работниками, когда страшная хоругвь съ надписью: *Vivre en travaillant ou mourir en combattant!*—мрачно прогулялась по площади, когда все это вмѣстѣ грозило испортить хозяйство и спутать прилодо-расходныя книги, буржуазія разомъ отеклась отъ всего либеральнаго, кромѣ кукольной комедіи представительной камеры, представлявшей опять ее же самое. Перемѣну эту въ поведеніи буржуазія сдѣлала съ наглостью, она прямо и открыто стала за мовополь, за премію, которую она вырываетъ изъ рукъ работника капиталомъ.

Эксплоатація пролетарія была приведена въ систему, окружена всею правительственной силой; нажива дѣлалась страстью, религіей; жизнь сведена на средство чеканить монету; государство, судъ, войско—на средство беречь собственность.

За римскимъ распутствомъ шло монашеское христіанство, за мистицизмомъ и изувѣрствомъ—кощунство и скептицизмъ, за идеализмомъ—материализмъ, за терроромъ—Наполеонъ, за *безсребренной* Горой, за мечтательной Жирондой—алчная, стяжающая буржуазія: это *lex talionis* исторіи, наказаніе за прошлую односторонность. Пренебреженіе къ экономическимъ вопросамъ въ про-

шлую эпоху и исключительное занятіе политическими вызвало пренебреженіе къ политикѣ и поглотило государственной экономію всѣ остальные интересы.

Революціонеры первой революціи—идеалисты художники. Мѣщане съ самаго появленія представляютъ прозу жизни, домохозяина больше, нежели гражданина, домохозяина, занимающагося частными дѣлами, строящаго фабрики, а не церкви. Либералы-идеалисты толковали о самоотверженіи и презирали на словахъ, а иногда и на самомъ дѣлѣ — пользу; они любили «славу» и не занимались рентой. Буржуазія исключительно занимается рентой, смѣется надъ самоотверженіемъ и хлопочетъ только о пользѣ. Тѣ приносили выгоду на жертву идеямъ, буржуазія принесла идеи на жертву выгодамъ. Тѣ лили кровь за права, буржуазія теряетъ права, но бережетъ кровь. Она эгоистически труслива, и можетъ подняться до геройства, только защищая собственность, ростъ, барышъ.

Между тѣмъ со дна океана народной жизни поднимался тихо, но мощно, тотъ же экономическій вопросъ, но *обратно* поставленный, та же замѣна революціоннаго идеализма вопросомъ о хлѣбѣ, но со стороны неимущаго.

Борьба была очевидна, неминуема; характеръ ея можно предсказать. Голодный человѣкъ свирѣпъ, но и мѣщанинъ, защищающій собственность,—свирѣпъ. Надежда у буржуазіи одна—невыжество массъ. Надежда большая, но ненависть и зависть, месть и долгое страданіе образуютъ быстрѣе, нежели думаютъ. Можетъ. массы долго не поймутъ, чѣмъ помочь своей бѣдѣ, но онѣ поймутъ, чѣмъ вырвать изъ рукъ несправедливыя права, не для того, чтобъ воспользоваться, а чтобъ разбить ихъ, не для того, чтобъ обогатиться, а чтобъ пустить другихъ по міру.

Знало ли дворянство близость своихъ судебъ, когда Сіесъ спрашивалъ: «Что такое среднее состояніе?» А развѣ мы не слышимъ со всѣхъ сторонъ вопросъ: «что такое работникъ?»... и угрюмый отвѣтъ: «ничего?»

Вѣдь и онъ можетъ повѣрить, какъ нѣкогда повѣрила буржуазія, что она «все».

Дворянство имѣло по крайней мѣрѣ 4 августа, буржуазія не будетъ его имѣть, —и это очень жаль. Пока какой-нибудь элементъ общественный еще живъ, какъ бы онъ ни былъ близокъ къ смерти, и какъ бы смерть его ни была неотвратима, онъ многое можетъ сдѣлать для того, чтобъ кончина его была честна, менѣе насильственна, и наоборотъ.

Буржуазія не поступится ни однимъ изъ своихъ монополей и привилегій. У нея одна религія — собственность со всѣми ея римско-феодальными послѣдствіями. Тутъ фанатизмъ и корысть

вмѣстѣ, тутъ ограниченность и эгоизмъ, тутъ алчность и семейная любовь вмѣстѣ.

Улыбка пренебреженія — не новость въ исторіи; за нею скрываются не только глупая самонадѣянность и ограниченность, но и страхъ, нечистая совѣсть, недостатокъ разумныхъ доводовъ, собственная несостоятельность и даже признаніе силы въ томъ, надъ чѣмъ смѣемся. Это улыбка римскихъ патриціевъ надъ назареями, римскихъ кардиналовъ надъ протестантами, Наполеона надъ идеологами, это улыбка дворянъ, когда буржуазія требовала себѣ тѣхъ правъ, которыя отказываетъ теперь народу.

Грубый смѣхъ высококѣрной посредственности принадлежитъ, наконецъ, всѣмъ мелкоробочимъ рода человѣческаго. Уткнувши носъ въ счетную книгу, прозябають тысячи людей, не зная, что дѣлается внѣ ихъ дома, ни съ чѣмъ не сочувствуя и машинально продолжая ежедневныя занятія. Разумѣется, они превосходно знаютъ все входящее въ тѣсную кругъ ихъ, и знаніе свое выдаютъ за великую практическую мудрость и житейскую науку, передъ которой всѣ другія науки и мудрости — мыльные пузыри. Имъ часто удается своими рутинными замѣтками подавлять на время неопытныхъ юношей, которые, краснѣя, удивляются ихъ основательной положительности и наторѣлому бездушью.

Роль этихъ гоуés, улыбающихся при словѣ общихъ интересовъ, религиозныхъ вопросовъ, пренебрегающихъ мыслями и страстями, чрезвычайно любить буржуазія. Это ея поэзія, ея ненужность, а съ тѣмъ вмѣстѣ ея близость къ паденію.

Тяжелый и доктринерскій характеръ, который буржуазія вносить въ свою практическую гоeerie, всего яснѣе показываетъ различіе ея съ гоуés временъ регентства и Людовика XV. Тѣ были легкомысленные развратники, блудныя дѣти отжившей аристократіи, распутная, избалованная дворня большого барина; у нихъ страсть къ деньгамъ и философское равнодушіе къ средствамъ ихъ приобрѣтать сопровождалась страстью ихъ бросать; они были вивѣры, беззаботные gamins въ шестьдесятъ лѣтъ, у нихъ не было никакихъ теорій, они ни объ чемъ не думали всю жизнь, но за малѣйшую обиду дрались. Тяжелые гоуés XIX вѣка пресерьезные: говорятъ такъ основательно, слушали Росси, читали Мальтуса, дѣльцы, депутаты, министры, журналисты, у нихъ свои теоріи и ученія, у нихъ продѣлки приведены въ систему, они денегъ не бросаютъ и не дерутся за всякую обиду, они либералы и ссылаются часто на glorieuse révolution du 30 Juillet, они даже филантропы, хотя не до того, чтобъ вотировать хлѣбъ вмѣсто экзекуціи, когда люди впадаютъ въ ярость отъ голода ¹⁾. Они,

¹⁾ Въ самое то время казнили четырехъ работниковъ въ Брюенсѣ.

сверхъ того, строгихъ нравовъ, толкуютъ о семейныхъ добродѣтеляхъ и объ обязанностяхъ честнаго человѣка, у нихъ есть цѣлая воскресная, театральная мораль, въ родѣ той, которую риторически проповѣдуютъ предсѣдатели коррекціонельной полиціи и многоглаголивые королевскіе прокуроры.

Оппозиція Людовику XVIII и Карлу X спасала буржуазію отъ того односторонне-ограниченнаго рлі, которое она приняла теперь. Она покрывала неправоє стяжаніе борьбой за права.

Народъ сначала не замѣчалъ какой монополь въ рукахъ буржуазіи, видя въ ней защитника этихъ мнимыхъ, а въ сущности бесполезныхъ для него правъ; но страсть, съ которой буржуазія предавалась стяжанію и ажіотажу, пренебреженіе ко всѣмъ другимъ вопросамъ, ожесточеніе ея противъ неимущихъ,—не могли не раскрыть глаза народу, особенно когда за него принялись такіе офталмисты, какъ Сень-Симонъ, Фурье, Прудонъ и пр.

Борьба началась; кто побѣдитъ, не трудно предсказать; рано или поздно *per fas et nefas побѣдитъ* новое начало. Таковъ путь исторіи. Вопросъ тутъ не въ правѣ, не въ справедливости,—а въ силѣ и въ современности.

Дворянство имѣло не меньше правъ на свое исключительное положеніе въ государствѣ, нежели буржуазія, но оно не удержалось ни мечемъ, ни родословіемъ, ни королевской опорой; королевство стащило его съ собой на Place de la Révolution, и оно принуждено было спастись бѣгствомъ.

Гдѣ же буржуазія найдетъ силу, съ своимъ *crédit et débit*, съ своей биржей и банкомъ, съ своимъ политическимъ атеизмомъ въ одну сторону, и религіей монополя въ другую сторону? Короли царствовали во имя Божье, дворяне защищали государство во имя короля. Мѣщане обогащаются въ *свое* имя, берутъ себѣ барыши, заставляя короля защищать свои капиталы — дѣтьми стариковъ, которыхъ ограбили и раззорили.

Письмо мое становится чудовищно. Прощайте, иду смотрѣть окончаніе процесса, за которымъ я слѣдилъ съ самаго начала.

Входя въ французскій судъ, вы отступаете вѣка на два, на три. Судьи, адвокаты, прокуроръ въ маскарадныхъ платьяхъ напоминаютъ средніе вѣка, другіе нравы, чуждые намъ такъ, какъ условно-тяжелый языкъ ихъ протоколовъ и напыщенное, холодно-взбитое краснорѣчіе.

Прокуроръ витійствуетъ противъ обвиненныхъ съ яростнымъ, суровымъ ожесточеніемъ. Правъ ли, виноватъ ли подсудимый, онъ считаетъ личной обидой, несчастіемъ, безчестіемъ, если его не приговорятъ къ чему-нибудь. Онъ тронуть, онъ плачетъ, если успѣетъ вымолить наибольшее наказаніе. Я съ удивленіемъ смотрѣлъ на эту злобу, съ которой прокуроръ преслѣдуетъ свою

жертву и толкаетъ ее подъ ножъ гильотины; точно¹ будто ихъ особо воспитываютъ какъ бульдоговъ или отдаютъ какъ Ромула и Рема en nourrice въ Jardin des Plantes волчихамъ.

И все-то это—притворство и промыселъ!

Письмо пятое.

Римъ, декабрь 1847 г.

Къ осени сдѣлалось невыносимо тяжело въ Парижѣ; я не могъ сладить съ безобразнымъ нравственнымъ паденіемъ, которое меня окружало; я чувствовалъ, что въ мою душу забирается то самоотверженіе, тотъ холодъ и то «все равно», которое вносится утраченными надеждами, разрывомъ съ дѣйствительностью, презрѣніемъ къ настоящему; я черствѣлъ и только иногда по негодованію чувствовалъ молодость силъ и прежнее одушевленіе.

Смерть въ литературѣ, смерть въ театрѣ, смерть въ политикѣ, смерть на трибунѣ, ходячій мертвецъ Гизо, съ одной стороны, и дѣтскій лепетъ съдой оппозиціи, съ другой,—это ужасно! Тамъ, гдѣ то внизу, вдали раздавались иногда сильныя стenanія; казалось, они выходили изъ могучей и здоровой груди, но снаружи Парижъ представлялъ остывувшій кратеръ, превратившійся въ грязь и слякоть. Франція выздоровѣть, какъ я сказалъ въ прошломъ письмѣ, безъ радикальныхъ средствъ, небеснаго огня и морской воды; но мнѣ вовсе не хотѣлось быть сидѣлкой у ея изголовья, пока она ломается въ припадкѣ безумія, сдерживаемая грязными и циническими руками цирюльниковъ и больничныхъ сидѣлокъ.—«Въ Италію, въ Италію!» Мнѣ хотѣлось отдохнуть, хотѣлось моря, теплаго воздуха, пышной зелени и людей,—не такъ истасканныхъ, не такъ выжившихъ изъ сердца. Я рѣшился ѣхать въ половинѣ октября. А признаюсь, когда пришлось разставаться съ Парижемъ, мнѣ сдѣлалось страшно; вся моя задорная храбрость покинуть Парижъ исчезла. Парижъ—центръ, выѣзжая изъ него, выѣзжаешь изъ современности. Я былъ бы радъ, если-бъ какой нибудь непредвидѣнный случай меня остановилъ; но ось не сломилась, колесо не рассыпалось, и мы покатались. «Ну, а какъ въ Италіи будетъ еще хуже? померанцевыхъ деревьевъ и синяго неба все таки мало для жизни»,—думалъ я, переѣзжая мостъ, построенный изъ камней, наломанныхъ при разрушеніи Бастиліи, и прощаясь съ удивительной панорамой обоихъ береговъ Сены. Огромные, почернѣлые дома и новые дворцы по Quai d'Orsay, капризная, разнообразная архитектура парижскихъ построекъ, исполненная жизни и движенія, мрачныя стѣны Консьержри и величавая масса Собора, Тюльери, Лувръ, Cité, врѣзы

вающееся баркой въ Сену,—все это еще разъ проходило передъ моими глазами, двигалось, мѣнялось, уходило за дома, становилось смутнѣе, совѣтъмъ исчезло...

На станціи я высунулъ голову. Дождь лился ливнемъ. «Какъ называется эта станція?»—«Шарантонъ!» отвѣчалъ почтальонъ, стоя въ лужѣ и съ досадой откладывая мокрыхъ лошадей. Я вспомнилъ мою свѣтлую квартиру въ Avenue Marigny, вспомнилъ друзей, приходившихъ по вечерамъ вмѣстѣ сердиться, и мнѣ показалось естественнымъ и справедливымъ, что меня привезли въ Шарантонъ за то, что я выѣхалъ изъ Парижа. Парижъ, что тамъ ни толкуй, единственное мѣсто въ гибнущемъ Западѣ, гдѣ широко и удобно гибнуть.

О дорогѣ рассказывать нечего. Ѣздить во Франціи на почтовыхъ лошадяхъ скучно, точно машина: ни разговоровъ, ни спора, ни станціонныхъ зрителей, ни книгъ, ни подорожныхъ. Закладываютъ въ одинъ мигъ, лошади вездѣ есть, шоссе какъ скатерть, почтальонъ скачетъ отъ станціи до станціи,—вся поэзія нашихъ дорогъ не существуетъ. Даже сложная исторія и вѣчные споры о «водкѣ» опрошены до удивительной степени. На первой станціи почтальонъ, касаясь рукой до шляпы, васъ спрашиваетъ, сколько вы платите на водку, присовокупляя, что по закону ему слѣдуетъ получать полтора франка съ миріаметра, но что обыкновенно порядочные люди прибавляютъ десять су. Вы, разумѣется, хотите быть порядочнымъ человѣкомъ и соглашаетесь на прибавку тринадцати копеекъ серебромъ на десять верстъ, тѣмъ дѣло и оканчивается на всю дорогу. Никто нигдѣ не проситъ ничего больше, никакой «прибавочки».

До Ліона мы доѣхали, не замѣтивъ пути. Ліонъ сдѣлалъ на меня сильное впечатлѣніе: я не могъ довольно нарадоваться въ немъ успѣхамъ инженернаго и фортификаціоннаго искусства во Франціи. Представьте себѣ, этотъ огромный, сжатый, биткомъ набитый городъ, въ которомъ постоянно болѣе двухсотъ тысячъ жителей, можно уничтожить въ полчаса, благодаря укрѣпленіямъ, поставленнымъ послѣ 1832 года. Ліонъ прислоненъ къ двумъ горамъ и разрѣзанъ двумя рѣками; на всѣхъ высотахъ, скромно и не очень выставляясь, притаились небольшія укрѣпленія: тамъ пушекъ пять-шесть, тутъ три-четыре; эти фортификаціонные образчики растутъ, умножаются и тянутся къ огромной крѣпости по другую сторону Соны въ старомъ римскомъ городѣ, которая вѣнкомъ своихъ фортовъ окружаетъ гору и кладбище, — мертвые сбегутся, т. е. тѣ, которые успѣютъ переѣхать до перваго «пли?» Между отдѣльными крѣпостцами есть художественный ensemble, такъ что въ случаѣ перестрѣлки весь городъ покроется ядрами и картечью; нѣтъ точки, на которую не могло бы упасть ядро,

остальное додѣлають бомбы. Середь города тоже разбросаны пушки; вовсе неожиданно идешь какимъ нибудь переулкомъ и вдругъ натолкнешься на два, на три жерла, обращенныя на два, на три переулка и осѣненные трехцвѣтнымъ знаменемъ съ иронической надписью «Libertè et ordre public!» Главная часть укрѣпленій обращена противъ фабричной части города, расположенной по горѣ съ другой стороны Соны. У меня закружилось въ головѣ, когда я съ крѣпостной стѣны посмотрѣлъ въ трубочку на шести-семи-этажные дома въ Croix Rousse, прислоненные къ утесамъ, на улицы, кишачія отъ многолюдія, и вообразилъ себѣ два-три зала, одинъ сверху утесовъ, другой изъ крѣпости,—мнѣ представилась груда каменьева, теплыхъ отъ человѣческой крови и переложенныхъ трупами дѣтей, женщинъ, стариковъ. Со мною былъ valet de place. «Пятнадцать лѣтъ прошло послѣ 32 года, сказалъ онъ мнѣ, а теперь вспомню, что тогда было,—такъ становится страшно. Видите эту террасу, сюда загнали солдаты и національная гвардія работниковъ; какъ они столпились тамъ, вдругъ открылся пушечный огонь изъ-за Соны; сойти имъ было некуда, назадъ двинуться невозможно, дороги узкія и вездѣ штыки; ну, тутъ ихъ и покончили картечью».

Я взглянулъ на древнюю стѣну, построенную еще во время римскаго владычества; она была вся рябая отъ пушечныхъ выстрѣловъ. Страшное событіе, великая жертва въ нашъ образованный вѣкъ, принесенная министерствомъ, составленнымъ изъ газетчиковъ и филантроповъ изъ историковъ и либераловъ! Чего, я чай, стоило ихъ нѣжному сердцу дать такіе приказы? А дѣлать было нечего, надобно было успокоить буржуазію, надобно было дать залогъ, свѣять всякое сомнѣніе, скрѣпить связь между новымъ порядкомъ и ею. Лионское усмиреніе и бойня въ Cloître St.-Méry громко высказывали, какъ разрѣшается министерствомъ вопросъ о платѣ за работу, о голодѣ и о прочихъ безпорядкахъ; словомъ это были сентябрьскіе дни du juste milieu, которые отрѣзывали, съ одной стороны, всѣ надежды и сжигали, съ другой стороны, всѣ корабли. «Послѣ двухдневной стрѣльбы, продолжалъ мой рассказчикъ, стало потише; тутъ взошла армія торжественнымъ маршемъ, съ барабаннымъ боемъ, съ зажженными фитилями; герцогъ Орлеанскій и маршалъ Сультъ ѣхали впереди».—«Ну, что же, они дали праздникъ?» спросилъ я.—«Нѣтъ, что-то не помню», добродушно отвѣчалъ онъ.

У городовъ, какъ у людей, бываетъ иногда трагическая судьба. Лионъ, который теперь живетъ подъ Дамокловымъ мечемъ укрѣпленій, усѣянный тысячами труповъ въ 32 году, былъ театромъ страшнаго наказанія въ 93 г. Лионъ никогда не блисталъ своей аристократіей, но съ давнихъ лѣтъ въ немъ было богатое купе-

чество и сильное духовенство. Это придавало жителямъ, съ одной стороны, характеръ жесткій, корыстный, завистливый, съ другой—угрюмый, нетерпящій, сосредоточенный, скрыто страстный, террористическій, іезуитскій. Купцы въ Ліонѣ, какъ вездѣ, были рады переменамъ 89 года; всякое приобрѣтеніе правъ средняго состоянія было дѣйствительнымъ приобрѣтеніемъ ліонскихъ фабрикантовъ и торговцевъ; но прежде, нежели гдѣ нибудь, обличилась въ Ліонѣ иная борьба, борьба работниковъ съ хозяевами, съ фабрикантами. Приобрѣтая новыя права себѣ, буржуазія хотѣла оставить работниковъ въ состояніи прежняго илотства. А потому ліонскіе мѣщане, рукоплескавшіе первымъ мѣрамъ народнаго собранія, подняли знамя междуусобной войны противъ конвента. Они это сдѣлали въ самую критическую минуту для Франціи. Непрiятель былъ въ двухъ шагахъ, съ трехъ сторонъ; Ліонъ, близкій къ Эльзасу, къ Швейцаріи, къ Піемонту, въ надеждѣ на непріятельскую помощь, защищался храбро противъ республиканскихъ полчищъ; но и тѣ, какъ извѣстно, были не труссы; городъ былъ взятъ. Местъ конвента объяснялась степенью опасности, въ которой была Франція. Онъ произнесъ громовый приговоръ: «Срыть съ лица земли крамольный городъ, упразднить его». Комитетъ общественнаго спасенія послалъ одного изъ членовъ своихъ, Кутона, исполнить страшную казнь. Хромой, нервный Кутонъ,—одно изъ чистѣйшихъ лицъ великой драмы,—не былъ ни тѣмъ германскимъ императоромъ, который срылъ до основанія Миланъ и посыпалъ землю солью, ни инженеромъ доктринерскихъ временъ; онъ не хотѣлъ выполнять буквально свирѣпый приговоръ, а придумалъ средство, совершенно обратное доктринерскимъ обычаямъ; вмѣсто того, чтобы скрыть половину грозныхъ мѣръ и втихомолку замучить и передушить враговъ, онъ ихъ удвоилъ на словахъ; чтобъ поразить умы, онъ самъ съ молоткомъ въ рукѣ во главѣ всей черни отправился разрушать богатѣйшія зданія; онъ самъ давалъ первый ударъ домамъ, назначеннымъ на сломку, по большей части этотъ первый ударъ былъ съ тѣмъ вмѣстѣ и послѣднимъ. Захвативши главныхъ зачинщиковъ, оставшихся въ городѣ, Кутонъ далъ знать подъ рукою второстепеннымъ участникамъ, чтобы они удалились; нѣсколько тысячъ человекъ были спасены такимъ образомъ; казалось, что дѣло окончится нѣсколькими казнями, но Кутонъ ошибся въ расчетѣ. Главный врагъ возставшихъ ліонцевъ не былъ ни конвентъ, ни якобинцы, а ліонская чернь, которую они морили съ голоду, унижали, тѣснили въ продолженіе цѣлыхъ поколѣній, которой фанатическаго представителя они казнили самымъ страшнымъ образомъ. Работники имѣли, сверхъ выстраданной ненависти и злобы, ту неумолимую свирѣпость, которую развиваетъ нужда,

невѣжество; у нихъ были свои частные счеты, имъ хотѣлось мести личной, кровавой; они вѣрили въ нее, ждали ея, наслаждались ею впередъ; надѣясь на нее, служили вѣрой и правдой конвенту, и обманулись; съ бѣшеной злобой и съ упреками обратились клубисты къ Кутону, требуя крови; трагическая обстановка не скрыла въ ихъ глазахъ мысль конвентскаго посланника. Дѣлать было нечего, надобно было усугубить казни. Кутонъ не могъ вывести и просилъ комитетъ общественнаго спасенія отозвать его: чернь, съ своей стороны, требовала болѣе энергическихъ исполнителей, то есть болѣе свирѣпыхъ. На этотъ разъ конвентъ угодилъ имъ, онъ послалъ Карье и Фуше; Карье, которымъ гнушался комитетъ общественнаго спасенія, и Фуше, которымъ не гнушались ни Наполеонъ, ни реставрація. Все, что не успѣло спастись при Кутонѣ, пало подъ ударами гильотины, кровь струилась по площади передъ Hôtel de-Ville, гильотину перенесли на мостъ и Рона уносила обезглавленные трупы; толпа осужденныхъ была разстрѣляна en masse. Карье и Фуше смотрѣли изъ окна на эту казнь, — что они думали? Кто ихъ знаетъ! Чернь была удовлетворена, месть ея удалась, но она не предвидѣла, что кровь даромъ не проходитъ, что и на улицѣ буржуазіи будутъ праздники, что черезъ сорокъ лѣтъ она отомститъ черни,— и какъ!

Съ Авиньона начиная, чувствуется, видится югъ. Для чловека, вѣчно жившаго на сѣверѣ, первая встрѣча съ южной природой исполнена торжественной радости: юнѣешь, хочется пѣть, плясать, плакать,—все такъ ярко, свѣтло, весело, роскошно. Провансъ—начало благодатной полосы въ Европѣ, отсюда начинаются лѣса маслинъ, небо синѣетъ, въ теплые дни чувствуется сирокко. Недалеко отъ Авиньона надобно было переѣзжать приморскіе Альпы. Въ лунную ночь взобрались мы на Эстрель; когда мы начали спускаться, солнце всходило, цѣпи горъ вырѣзывались изъ за утренняго тумана, лучъ солнца освѣтилъ вдали ослѣпительныя свѣжныя вершины; кругомъ яркая зелень, цвѣты, рѣзкія тѣни, огромныя деревья и мрачныя скалы, едва покрытыя бѣдной и жесткой растительностью. Воздухъ былъ упоителенъ, необычайно прозраченъ, освѣжающъ и звонокъ; наши слова, пѣніе птичекъ раздавались громче обыкновеннаго. Съ каждымъ шагомъ внизъ видъ мѣнялся — то новая цѣпь горъ открывается, то небольшое озеро внизу, то ѣдешь берегомъ пропасти, то роскошной лужайкой, то у подошвы огромныхъ, скалистыхъ пластовъ, точно наваленныхъ какими нибудь титанами, вмѣсто которыхъ теперь прыгаютъ козы. И вдругъ на небольшомъ изгибѣ дороги, какъ кайма около горъ, блеснуло и зажглось Средиземное море. Сколько пустоты, скуки, скорби и, главное, пошлости выкупаешь такое

утро! Въѣздъ въ Италію дѣлается для человѣка какимъ то благодатнымъ событіемъ, свѣтлой чертой въ воспоминаніи.

Отъ Эстреля до Ниццы не дорога, а аллея въ роскошномъ паркѣ: прелестные загородные дома, плетни, украшенные плющомъ, миртами, цѣлые заборы, обсыянные розовыми кустами,—наши оранжерейные цвѣты на воздухѣ, померанцевыя и лимонныя деревья, тяжелыя отъ плодовъ съ своимъ густымъ благоуханіемъ, а вдали, съ одной стороны, Альпы, съ другой, море—

Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht...

Одно оскорбляетъ глазъ и щемитъ славянскую душу: высокія каменные ограды, посыпанныя битымъ стекломъ, отдѣляютъ сады, огороды, иногда даже поля; онѣ представляютъ какое-то увѣковѣчиваніе исключительнаго владѣнія, какую-то нахальную дерзость права собственности; для бѣдняка дорога пыльная, жесткая, и оскорбительная стѣна, напоминающая ему непрерывно, что онъ нищій, что для него нѣтъ даже вида вдаль. Нельзя себѣ представить какой угрюмый характеръ придаютъ полямъ и землѣ эти стѣны; деревья, какъ узники, посматриваютъ черезъ нихъ, прелестнѣйшіе ландшафты испорчены. Русскаго села въ Европѣ нѣтъ. Смыслъ деревенской комуны въ Европѣ только полицейскій. Что общаго между этими разбросанными домами, огороживающимися другъ отъ друга? У нихъ все особое, они связаны только общей межой. Что можетъ быть общаго между голодными работниками, которымъ коммуна предоставляетъ le droit de glaner и богатыми домохозяевами? Да здравствуетъ, господа, русское село—будущность его велика.

Объ Ниццѣ говорить нечего,—все хорошо внѣ ея, то есть въ ея окрестностяхъ. Ницца даже вовсе не итальянскій городъ, а скорѣе провинціальныи французскій. Ницца живетъ и процвѣтаетъ большими, туристами. Сначала, когда мы пріѣхали, я не могъ найти въ Ниццѣ Journal des Débats, запрещенный иезуитами, ни одной тосканской газеты, запрещенной королемъ. Это меня послѣ Парижа столько-же удивило въ Ниццѣ, какъ рѣка безъ воды (единственная достопримѣчательность сего города). Словомъ, для того чтобъ жить въ Ниццѣ, надобно изеушить свое тѣло излишнимъ воздержаніемъ или излишней невоздержностью, какъ всѣ англичане, павшіе на ноги. и всѣ англичанки съ попорченнымъ спиннымъ мозгомъ,—которые составляютъ главное населеніе Ниццы. Или, наконецъ, можно въ ней жить par dépit, на смѣхъ всей Европѣ, какъ девяностолѣтній Сержанъ, умершій здѣсь мѣсяца три тому назадъ. Сержанъ будировалъ Францію, недовольный *умѣренностью* конвента. Закопнѣлый террористъ умеръ, сильно опечаливши иезуитовъ. Они хотѣли воспользоваться апоплексіей и предсмертной

слабостью, чтобъ обратитъ его и заставить отречься отъ прежней жизни своей. Такое обращеніе на путь истины было бы очень жалко. Но Сержанъ также мало испугался паралича и іезуитовъ, какъ нѣкогда гильотины и палачей; онъ приподнялся и, собравши послѣднія силы, сказалъ стоявшимъ возлѣ его постели, что если-бъ ему пришлось снова повторить свою жизнь, то онъ снова игралъ бы ту-же роль въ событіяхъ, что совѣсть его покойна,—а Сержанъ участвовалъ въ Сентябрскихъ дняхъ!

Въ Ниццѣ я встрѣтился только съ югомъ, съ Италіей встрѣтились мы въ Генуѣ. Мы приплыли въ Геную прелестнѣйшимъ ноябрьскимъ днемъ, на разсвѣтѣ. Что это за удивительная красота! Гора покрытая мраморными дворцами, которые глядятся въ море и надъ которыми зеленѣются сады! Съ какой охотой я бы вамъ рассказалъ что-нибудь объ этихъ домахъ вышиною съ наши колокольни, объ этихъ узкихъ переулкахъ, покрытыхъ народомъ, который тутъ работаетъ, шумитъ, ѣсть, поетъ, безпрестанно кричитъ и размахиваетъ руками; да все это столько разъ сказано, что стыдно повторять.

Лигуры мнѣ очень понравились, въ нихъ есть что-то свободное, республиканское, и я вообще думаю, что характеристика генуэзцевъ, сдѣланная правовѣрнымъ нѣмцемъ Лео, въ его итальянской исторіи, ошибочна; а впрочемъ съ точки зрѣнія католицизма и самодержавія Генуя можетъ и не понравиться; Маццини — генуэзецъ.

Мнѣ кажется, что вообще итальянцы сильно оклеветаны; люди, принадлежащіе къ *общей европейской* цивилизаціи, т. е. принявшіе ея понятія, формы, мѣры, вѣсы, безъ всякаго разбора прикидываютъ все на французскій и англійскій аршинъ или на абсолютный вершокъ нѣмецкой философіи. Эта односторонность выказывается иногда въ смѣшномъ удивленіи *образованныхъ* людей при видѣ фактовъ, которые стояли споконъ-вѣка передъ ними, но которыхъ понять они не могли именно отъ образованія. Говорятъ, что итальянцы лѣнны, обманываютъ, что они рабы, политическіе невѣжды, и пр. Эти качества принадлежать всѣмъ народамъ въ разныхъ степеняхъ; сверхъ того, говоря о лѣни, вельзя не забывать, что работа вообще не есть наслажденіе, особенно въ жаркихъ странахъ; но этого мало, англичане въ Манчестерѣ, французы въ Ліонѣ, кажется, не лѣнны, а хлѣба насущнаго еще не заработали. Какая-же польза быть очень ретивымъ? Работа въ Италиі такъ дорога, что хозяева дорожатъ работниками.

Кто не забылъ исторію послѣднихъ трехъ вѣковъ, тотъ знаетъ, какъ долго Франція, Австрія и Папство работали, чтобъ убить политическую жизнь Италиі. Наконецъ, утомленный неровнымъ боемъ, итальянецъ сдѣлался равнодушенъ къ политикѣ, теперь онъ во-

скрсаеть. Сверхъ того, и тутъ нельзя сказать, чтобъ народъ въ Италіи въ самомъ дѣлѣ такъ далеко отсталъ отъ другихъ. Франція была очень неравнодушна къ политикѣ, что-же — она свободна? Или вы, можетъ, вѣрите, что Англія свободна?—Ну, такъ и здѣсь всѣ Corsini, Colona, Torlonia и др. по своему свободны. Въ итальянцахъ особенно развито уваженіе къ себѣ, къ личности; они не *представляютъ* какъ французы демократію, она у нихъ въ правахъ; и подъ равенствомъ они не разумѣютъ равномѣрное рабство. Мелкія плутни итальянцевъ, о которыхъ столько накричали туристы, бросающіе горстями золото и усчитывающіе баіокъ, когда дѣло идетъ о *buona mano*,—скорѣе смѣшны, нежели отвратительны и вертятся всегда около гривенника.

Мы застали Геную торжествующею, нарядною. Карлъ Альбертъ былъ тутъ, городъ пировалъ реформу и примиреніе. Генуя, съ самаго присоединенія къ Сардиніи, жила въ мрачномъ отчужденіи отъ Пиемонта, она смирялась, но съ нахлобученнымъ челомъ; ея аристократы держали себя вдали отъ Турина, пиемонтскіе чиновники были иностранцы для лигуровъ. Реформа нѣсколько примирила двухъ сосѣдей, которыхъ сочеталъ бракомъ вѣнскій конгрессъ. Перемѣны и права, данныя Карломъ Альбертомъ, чрезвычайно скромны; они стараются исправить вещи, вопіющая несправедливость которыхъ бросалась въ глаза, мѣняють устарѣвшія учрежденія, обезсиленные самимъ временемъ; они были неминуемы, неотлагаемы послѣ реформы Пія IX и тосканскаго герцога; Карлъ Альбертъ съ ловкостью исполнилъ то, чего отложить не могъ. Увлекающійся характеръ итальянцевъ не зналъ предѣла радости; въ самомъ дѣлѣ, какъ реформа ни была бѣдна, она свидѣтельствовала о сильномъ толчкѣ, о томъ, что государство двинулось. сошло съ мели, это было официальное сознаніе пробужденія, *del risorgimento!*

Я бѣжалъ изъ Франціи, отыскивая покоя, солнца, изящныхъ произведеній и сколько-нибудь человѣческой обстановки, да и всего этого я ждалъ не подъ отеческимъ скипетромъ экс-карбонаро Карла Альберта. И только что я поставилъ ногу на итальянскую землю, меня обняла другая среда, живая, энергическая, вливающая силу и здоровье. Я нравственно выздоровѣлъ, переступивъ границу Франціи; я обязанъ Италіи обновленіемъ вѣры въ свои силы и въ силы другихъ; многія упованія снова воскресли въ душѣ; я увидѣлъ одушевленные лица, слезы, я услышалъ горячія слова. Безконечная благодарность судьбѣ за то, что я попалъ въ Италію въ такую торжественную минуту ея жизни, исполненную тѣмъ изящнымъ величіемъ, которое присуще всему итальянскому — дворцу и хижинѣ, нарядной женщинѣ и нищему въ лохмотьяхъ.

Кому изъ васъ не случалось проѣзжать по селу въ свѣтлый

праздникъ,—все нарядно, радостно; мужичекъ выпилъ стаканчикъ и разсѣялъ думу объ оброкѣ, баба надѣла новый сарафанъ и забыла о барщинѣ, парни гуляютъ, какъ будто нѣтъ рекрутства; дѣвки не думаютъ о насильственномъ бракѣ, дѣти играютъ въ чистыхъ рубашенкахъ, — «они воскресли тоже», какъ говорить Фаустъ, «изъ душныхъ мастерскихъ, изъ низенькихъ домовъ». Представьте-же себѣ не село, а цѣлую страну въ торжественномъ нарядѣ, страну, празднующую свѣтлое воскресенье свое, и представьте себѣ, что эту страну называютъ Италіей!

А давно-ли было то время, въ которое Гейне говорилъ, что въ письмахъ изъ Италіи можно говорить обо всемъ, кромѣ Италіи? И всѣ находили, что онъ правъ, и весь талантъ Диккенса не спасъ его пустого разсказа. Въ Италіи вновь ничего не происходило, а что было прежде, то было все высказано, съ геніемъ Гёте, и съ негодованіемъ леди Морганъ, съ огненнымъ словомъ Байрона и съ плоскостью Фулширона. Казалось, что нѣтъ предмета болѣе исчерпаннаго, какъ Италія; она лѣтъ двѣсти, даже больше, ничего не дѣлала, какъ будто нарочно для того, чтобъ дать полное время описать себя со всѣхъ сторонъ; она позировала—великая красавица, великая куртизана между народами:

— o tu cui feoza sorte
Dono infelice di bellezza!..

Но, *tempora mutantur*, время тяжелого сна для Италіи прошло; она, уставшая отъ двухъ великихъ прошедшихъ, захваченная во внутреннемъ раздорѣ внѣшними врагами, покорилась имъ, у ней не было больше силъ противостоять; можетъ, она и нашла бы еще въ своей груди отвагу и мощь, но эту грудь раздѣдалъ изнутри ядовитый ракъ папства. Теперь Италія забыла старыя притязанія и семейныя ссоры, теперь она плохо вѣритъ въ папство, она спаялась горемъ и слезами и требуетъ государственнаго единства и гражданской свободы.

Въ Ливорнѣ я увидѣлъ первую «чивику», *il popolo armato*. Я вообще не люблю ни орудій, ни солдатъ, но если ужъ есть необходимость въ вооруженной силѣ, то внутренняя стража, составленная изъ гражданъ и не одѣтая въ мундиръ, всего менѣе оскорбляетъ. По счастью, тосканская чивика еще не успѣла нашить себѣ мундиры; люди, одѣтые кто во что попало, въ бархатныхъ и суконныхъ курткахъ, въ блузахъ всѣхъ цвѣтовъ, въ пальто всѣхъ покроевъ, съ круглыми шляпами и въ фуражкахъ, съ перевязью черезъ плечо и съ ружьемъ, занимали всѣ караулы. Вы не можете представить себѣ, до какой степени это отсутствіе мундира облагораживаетъ часового. Надѣвать мундиръ на національную гвардію—нелѣпость или желаніе изъ нея сдѣлать такое-же

покорное орудіе въ рукахъ власти, какъ арміи. Цѣль эта во Франціи достигнута. Глядя на чивіку въ Ливорнѣ, признаюсь, я не могъ удержаться, чтобъ не подумать, что было бы съ нашимъ другомъ Сергѣй Сергѣевичъ Скалозубомъ, если-бъ онъ вдругъ— не въ Ливорнѣ, а на Литейной или на Морской—увидѣлъ такихъ часовыхъ.

Изъ Ливорны мы съѣздили на нѣсколько часовъ въ Пизу. Всѣ эти мѣста остались въ моей памяти свѣтлыми точками, воспоминанія объ нихъ всякой разъ отрадны для меня. И, не странное-ли дѣло, при словѣ отрадныхъ воспоминаній моего путешествія мнѣ представился—что вы думаете—Кёнигсбергъ? Есть города, съ которыми встрѣчаешься особенно тепло, подъ особенно счастливымъ созвѣздіемъ. Кёнигсбергъ былъ первый городъ, въ которомъ я отдохнулъ отъ двѣнадцатилѣтнихъ преслѣдованій, тамъ я почувствовалъ, наконецъ, что я на волѣ, что меня не отошлютъ въ Вятку, если я скажу, что полицейскіе чиновники имѣютъ также слабости, какъ и всѣ смертные, и не отдадутъ въ солдаты за то, что я не считаю главной обязанностью всякаго честнаго человѣка дѣлать доносы на друзей.

Въ Тосканѣ политическое движеніе мнѣ показалось еще сильнѣе, нежели въ Пиемонтѣ. Въ Ливорнѣ на улицахъ стояли группы людей, съ жаромъ толковавшихъ о политикѣ, всѣ принимали участие въ разговорахъ и спорахъ, таможенные смотрители, факины и лодочники. Во всѣхъ лавкахъ были вывѣшаны трехцвѣтные фуляры съ *зажигательными* надписями, съ воззваніями, съ портретомъ Пія IX; на шляпахъ были огромныя кокарды, женщины носили трехцвѣтные банты, дѣти распѣвали гимнъ Пію IX.

Кстати, расскажу вамъ, какъ я *не слышалъ* въ первый разъ этотъ гимнъ. Однимъ добрымъ утромъ читаю я въ Парижѣ,—читаю тамъ, гдѣ обыкновенно приклеиваютъ афиши, на тѣхъ выдолбленныхъ каменныхъ памятникахъ, назначенныхъ, съ одной стороны, для величайшей гласности, а съ другой, для глубочайшаго *aparte*,—что въ Château des Fleurs будутъ пѣть гимнъ Пію попо. Château des Fleurs,—садъ, отдѣланный въ ультра-мѣщанскомъ вкусѣ, возлѣ Arc de Triomphe, съ декорациями на холстинѣ, съ искусственными развалинами, съ маленькими фонтанчиками и разноцвѣтными шкаликами. Бѣгу туда, беру билетъ и приготовляюсь слушать; играютъ кадрили, играютъ Штраусовы вальсы, поютъ «чувствительную Перету», играютъ отрывокъ изъ «сороки-воровки», гимна все пѣтъ; наконецъ, затрещалъ жалкій фейерверкъ,—мѣщанки испугались, ихъ мужья показали храбрость Нея и Мюрата и съ твердостью духа смотрѣли на полетъ ракетъ. Фейерверкъ—учтивое и огненное напоминаніе, что пора идти вонъ; я въ отчаяніи отправляюсь къ капельмейстеру съ афишей въ рукѣ и требую Pie Neuf. «Это не наша вина, отвѣчаетъ ка-

пельмейстеръ: префектъ запретилъ; мы, съ своей стороны, сдѣлали все, что могли, nous vous avons donné pour le Pie Neuf un morceau de la Pie voleuse!» И это запрещеніе никого не поразило, никого не удивило, кромѣ меня. Глубоко оскорбленный, шелъ я домой по Елисейскимъ полямъ и грустно посматривалъ на Place de la Révolution, съ которой грозился черный и печальный обелискъ, поставленный на мѣстѣ страшной гильотины 21 января; я обернулся,—добродѣтельные мѣщане шли такъ мирно, такъ покойно домой, хохотали, курили, а вдали исчезалъ Arc de Triomphe, на которомъ мастерской рѣзецъ такъ славно вырѣзалъ громовую Марсельезу. Журналы едва помянули объ этомъ. Вотъ вамъ Франція въ 1847 году. Мишлѣ, начиная курсъ второго семестра, сказалъ: «Господа, прошедшій годъ для насъ нравственное Ватерлоо, глуше упасть нельзя, мы дотронулись до дна срама и позора». Мишлѣ забылъ, что есть у фокусниковъ ящики съ двумя, съ нѣсколькими днами.

Не могу сказать, чтобъ Римъ съ перваго раза сдѣлалъ на меня особенно пріятное впечатлѣніе. Въ Римъ надобно вжиться, его надобно изучить; хорошія стороны его не бросаются въ глаза, въ наружности города есть что-то старческое, отжившее, пустынное и дряхлое; его мрачныя улицы, его угрюмые дворцы и некрасивые дома печальны; въ немъ все почернѣло, все будто послѣ покойника, все пахнетъ затхлымъ, такъ, какъ въ Петербургѣ все лоснится, все пахнетъ известью, сырымъ, необжитымъ. Всего болѣе поражаетъ въ новомъ Римѣ отсутствіе величія, т. е. именно ширины, того, что мы привыкли сопрягать со словомъ Римъ. Не возмущайтесь тѣмъ, что я говорю, а дайте объясниться; дѣло идетъ теперь объ общемъ впечатлѣніи новаго Рима, а не о двухъ прошедшихъ, которые оставили свои великіе памятники середь него.

«Вѣчный» городъ нѣсколько разъ мѣнялъ свою броню, слѣды разныхъ одеждъ его остались, по нимъ можно судить, какова была его жизнь. Римъ—величайшее кладбище въ мірѣ, величайшій анатомическій театръ; здѣсь можно изучать бывшее существованіе и смерть во всѣхъ ея фазахъ. Пропедшее здѣсь легко возстановляется, по одной колоннѣ по нѣсколькимъ камнямъ.

Первое, что поражаетъ человѣка, не свихнувшего свой умъ мистическими бреднями, это слѣды жизни смутной, дикой, отталкивающей, исключительной, которою смѣняется широкая, могучая, раскрытая жизнь древняго Рима. Въ древне-христіанскомъ Римѣ не видать ни малѣйшаго понятія объ искусствѣ, никакого чувства изящнаго; застроенныя въ стѣны колонны, порталы стоятъ вѣчными свидѣтелями благочестиваго безвкусія того печальнаго міра, который замѣнилъ міръ Пантеона и Колизея. Древній Римъ палъ, какъ могучій гладіаторъ, его колоссальный остовъ внушаетъ

благоговѣніе и страхъ; онъ и теперь гордо и торжественно борется противъ разрушенія, время не могло сокрушить его костей; его остатки, ушедшіе въ землю, разваливающіеся, покрытые плющемъ и мохомъ, величественнѣе и благороднѣе всѣхъ храмовъ Браманте и Бернини. Каковъ былъ мощный духъ, умѣвшій такъ отпечатлѣть себя на этихъ каменныхъ ребрахъ, что полустертый слѣдъ его подавляетъ собою два, три Рима, выстроенные возлѣ и строившіеся вѣка! Когда я первый разъ вышелъ за Капитолійскую гору и вдругъ очутился надъ Форумомъ и Колизеемъ, я остановился, смущенный и взволнованный. Вотъ онъ остовъ великаго дѣятеля. Въ гигантскомъ скелетѣ сохранилось царственное выраженіе; Fogium Romanum — великія свѣтскія мощи міра чисто свѣтскаго; вѣчный Римъ тутъ, по этимъ развалинамъ легко понять, кто были римляне.

Рядомъ съ костями полубога, героя, возлѣ нихъ, около нихъ, а частью на нихъ замерла другая жизнь, жизнь средневѣковая; печальная, суровая мумія его наводитъ уныніе, смерть сохранила изнуренныя постомъ и молитвой формы, образъ монашескій и болѣзненный. Въ Римѣ нѣтъ ни одного замѣчательнаго памятника среднихъ вѣковъ; весь этотъ византизмъ и готизмъ былъ не по натурѣ итальянцамъ, всего менѣе римлянамъ. Они не настолько южны, чтобъ предаваться сладострастію аскетизма, и не настолько сѣверны, чтобъ млѣть въ мечтательномъ мистицизмѣ. Климатъ Италіи слишкомъ свѣтелъ для истомы плотоумерщвленія. Итальянца тянетъ изъ подъ готической стрѣлки къ спокойному куполу, онъ не стремится вмѣстѣ съ теряющимися колокольнями... туда, туда, — ему и здѣсь хорошо. Онъ какъ Миньона: dahin, dahin, у него значить въ Италію. Жизнь средневѣковая для Рима была не цвѣтеніе, какъ для Бельгіи, напримѣръ, а болѣзнь, искупленіе старыхъ грѣховъ, изнеможеніе отъ избытка жизни и страстей. Какъ только онъ собрался съ силами, онъ снова ринулся къ свѣтской жизни при цезарѣ Львѣ X, Юліи II. Языческая закваска никогда не проходила въ Италіи, ей равно не прививались ни учрежденія благоустройства и тишины, о которыхъ такъ старались Гибелины, ни нравственная неволя, которую папы налагали на весь міръ за исключеніемъ Италіи.

Возстановленный Римъ дебютировалъ громадно, закладкой Св. Петра, но прежде нежели папа Павелъ V и Карлъ Мадерни достроили и испортили храмъ, заложенный Брамантомъ, по Италіи прошло дыханіе смерти и оцѣпенѣнія. Карлу V, положительно, и Мартину Лютеру, отрицательно, принадлежитъ эта печальная слава.

Реформація нанесла Риму страшный ударъ—финансовый, политическій, религіозный, нравственный; она, освободившая долею мысль въ Германіи, остановила ея развитіе въ Италіи; она испугала совѣсть ересью, она поразила умы возможностью паденія ка-

толицизма, она ожесточила духовенство, построила его въ боевой порядокъ, раздула инквизицію и вызвала иезуитизмъ. Александръ Боржіа, этотъ Тиверій въ тиарѣ, *борется* съ Саванаролой; послѣ Лютера борьба невозможна: пытка, вѣчное заточеніе, казнь — отвѣтъ на всякое разномысліе, на всякое высказанное сомнѣніе. Доминиканцы трепещутъ за существованіе церкви и іерархіи, папы отращиваютъ бороду и не снимаютъ монашеской рясы. Испуганные міряне начинаютъ снова поститься, исполнять внѣшніе обряды; католицизмъ упроченъ на вѣка.

Между тѣмъ борьба Франціи и Испаніи на итальянской землѣ добила Италію. Она мученически вынесла свои тысячелѣтнія междоусобія, — но дикія орды разбойниковъ и вольнонаемныхъ убійць она вынести не могла. Города были лишены укрѣпленій, ограблены, стада угнаны, поля потоптаны, никакого обезпеченія не существовало.

Римъ еще нѣсколько щадили изъ уваженія, изъ благочестія, изъ необходимости имѣть Римъ, но онъ оцѣпенѣлъ въ своемъ одиночествѣ и отсюда начинается для него новая эра. Мы ее можемъ считать съ Карла V, онъ убилъ прошлую жизнь Италіи, такъ, какъ убилъ ее въ Испаніи мертвящимъ, бездушнымъ сосредоточеніемъ всѣхъ властей. Съ него началось нѣмое управление, угнетеніе всего самобытнаго, мѣстнаго, индивидуальнаго; пошлость и повиновеніе замѣнили средневѣковую вѣрность и честь. Въ эту эпоху, сѣрую и глухую, сложился тотъ Римъ, который стоитъ теперь. Онъ въ концѣ XVI и въ XVII вѣкѣ лѣпилъ домъ къ дому, церковь къ дому, портилъ площади, все представляяль случайности и строилъ въ самомъ дурномъ стилѣ de la renaissance. Широкая жизнь тѣхъ вѣковъ текла не въ Римѣ. Она шла тамъ, гдѣ строились Версали да Лувры. Римъ вовсе не зналъ изящества новыхъ городовъ съ ихъ удобнымъ щегольствомъ, съ ихъ широкими улицами, съ ихъ большими площадями. Новые города, полные силъ и свѣжести, непрерывно *строятся*, дѣятельный духъ, жующій въ нихъ, требуетъ переменъ, расширения, роскошной обстановки; на слабомъ и оставленномъ Римѣ лежалъ вампиръ, который высасывалъ всю кровь его. Гдѣ ему было перестраиваться? его дворцы чернѣли, его виллы заростали, его граждане приучались къ лишеніямъ, онъ остался Римомъ XVII вѣка, ожидая новой жизни, и дождался ея.

Римъ бѣденъ. Его доходы были искусственны, реформація отрѣзала ему Англию и большую часть Германіи, просвѣщеніе — почти все остальное; у него все уменьшалось, кромѣ расходовъ; нищенствующая братія все также жила подаеніемъ; огромныя достоянія монастырей и духовныхъ корпорацій все также служили для поддержки скудельнаго тѣла отказавшихся отъ міра сего. Римъ

обнищаль, и настоящий итальянец сидитъ въ лохмотьяхъ, а похожъ на царя и не думаетъ о томъ, какъ горю помочь. Римъ, какъ всѣ вѣчнанныя главы, не привыкъ заботиться о матеріальныхъ нуждахъ. Онъ увѣренъ, что онъ попрежнему первый городъ во вселенной, что торговля всего міра стремится на его рынки, что онъ нравственный центръ христіанства, и что Европа лучше ничего не проситъ, какъ прислать ему все, что нужно, отъ восковыхъ свѣчей и ладону до драгоценныхъ каменевъ и слитковъ золота.

И Чѣмъ долѣе живешь въ Римѣ, тѣмъ больше исчезаетъ его мелкая сторона. и тѣмъ больше вниманіе сосредоточивается на предметахъ безконечнаго изящества: грязныя сѣни, отсутствіе удобствъ, узкія улицы, нелѣпыя квартиры. пустыя лавки становятся все меньше и меньше замѣтны, и другія стороны римской жизни вырѣзываются, какъ пирамиды или горы изъ-за тумана, яснѣе и яснѣе. Такова самая *Camagna di Roma*. Сначала она поражаетъ пустыннымъ видомъ, отсутствіемъ обдѣланныхъ полей, отсутствіемъ лѣсовъ; все бѣдно, угрюмо, будто вовсе не въ средоточіи Италіи: такіе пустыри найдутся, кажется, и на берегахъ Истры; но мало-помалу человѣкъ знакомится съ этой вѣчной пустыней, съ этой дикой рамой Рима. Ея безмолвіе, ея опаловая даль, синія горы на горизонтѣ—становится все роднѣе; тамъ медленно движется осель, постукивая бубенчиками, черноволосый пастухъ съ фартукомъ изъ бараньей кожи сидитъ пригорюнившись и смотритъ, женщина несетъ какой-нибудь овощъ, въ яркомъ нарядѣ и съ бѣлымъ сложеннымъ платкомъ на головѣ, она останавливается отдохнуть, граціозно поддерживая рукой свою ношу на головѣ, и смотритъ вдаль, и черные глаза ея выражаютъ такую тоску, такую задумчивость, о которой она и не подозреваетъ,—и будто одна и та же дума налегла, тяжелая и широкая, на безконечное поле и горы, на пропадающую въ неопредѣленной дали зубчатую линію акведуковъ, идущую цѣлыя мили. на пастуха и на крестьянку. Всегда печальная, всегда угрюмая, *Camagna* имѣетъ одну веселую минуту—это захожденіе солнца; тутъ она облита яркимъ свѣтомъ, который мѣняется каждыя двѣ-три минуты; и вдругъ поднимается роса, пурпуръ смѣненъ ночью и даль исчезла,—ничего не видать, кромѣ теперь только замѣтнаго огонька пастуховъ и двухъ-трехъ ближнихъ развалинъ. »

Разъ ночью сидѣлъ я съ однимъ молодымъ итальянцемъ на полуобрушившемся сводѣ Термъ Каракалы — точно на высокой горѣ. Что за размахъ, что за своды, что за необычайные размѣры, какая могучая фантазія, дерзость замысловъ, упорность въ исполненіи. Совы и летучія мыши шныряли на мѣсячномъ свѣтѣ, вдали былъ слышенъ одинокій протяжный лай собаки на Тибрѣ,—Байронъ слышалъ подобный лай изъ Колизея.

— «Безъ рабовъ римлянамъ было бы невозможно строить такіа колоссальныя зданія,—они равно свидѣтели ихъ силы и ихъ тиранства», сказалъ мой товарищъ.

Я не вытерпѣлъ и отвѣчалъ ему:

— Да въ томъ-то и величіе ихъ, что руками невольниковъ они умѣли воздвигать великое, что, грабя міръ, они кладъ не зарывали въ землю, а расчищали достойную арену для своего царскаго разгула. Рабы были не у однихъ римлянъ; есть страны, имѣющія рабовъ въ девятнадцатомъ столѣтіи, да что-то объ ихъ постройкахъ мало слышно. Признаюсь, что касается до меня, я склоняюсь передъ остовомъ этого колосса, каждая арка, каждая колонна говорятъ о силѣ, о шири, объ этомъ стремленіи къ раздолью, которое свидѣтельствуетъ, что римляне дѣйствительно пожили, въ полномъ значеніи слова.

— «А какая въ нихъ польза?»

— Вамъ ли итальянцу это говорить? Вся поэзія жизни состоитъ изъ ненужностей. Рафаэль рисовалъ ненужныя картинки, Микель Анджели дѣлалъ каменные куклы, а Данте писалъ вирши, вмѣсто того, чтобъ дѣлать дѣло.

— «Вы правы», сказалъ, расхохотавшись нео-либераль, увлеченный анти-итальянскими теоріями тщедушнаго утилитаризма.

...Вторая великая сторона Рима—это обиліе изящныхъ произведеній, той геніальной оконченности, той вѣчной красоты, передъ которой человѣкъ останавливается съ благоговѣніемъ, со слезою, тронутый, потрясенный до глубины души, очищенный тѣмъ, что видѣлъ, и примиренный со многимъ; такъ, какъ это было со всѣми людьми въ самомъ дѣлѣ, приходившими со всѣхъ концовъ міра на поклоненіе изящному въ Ватиканѣ, въ Капитоліи... и такъ, какъ это будетъ со всѣми людьми грядущихъ вѣковъ, до тѣхъ поръ, пока время пощадитъ эти великіе залоговъ человѣческой мощи. Когда мучительное сомнѣніе въ жизни точитъ сердце, когда перестаешь вѣрить, чтобъ люди могли быть годны на что-нибудь путное. когда самому становится противно и совѣстно жить,— я совѣтую идти въ Ватиканъ. Тамъ человѣкъ успокоится и снова что-нибудь благословить въ жизни. Ватиканъ не похожъ на всѣ прочія галереи, это — пышныя палаты, украшенныя изящными произведеніями, а не выставка картинъ и статуй.

Галлерей вообще очень утомительны и больше полезны, нежели изящны: каждая статуя имѣетъ свое назначеніе, требуетъ свою обстановку и вовсе не нуждается въ цѣломъ батальонѣ другихъ статуй; всякая картина дѣйствуетъ сильнѣе, когда она на своемъ мѣстѣ, когда она одна. Посмотрите, какъ фрески Микель-Анджели хороши въ своемъ одиночествѣ на одной изъ стѣнъ Сикстинской капеллы; его Моисей въ церкви—просто дома; пусть

будутъ картины на каждой стѣнѣ, но лишь бы эти стѣны не были для картинъ. Въ галлерей чловѣкъ черезъ часъ чувствуетъ, что онъ не въ состояніи понимать, и всетаки смотритъ по обжорливости своей натуры. Я увѣренъ, что много превосходныхъ произведеній утоплены, затеряны въ большихъ галлерейхъ, во многомъ множествѣ другихъ картинъ, гдѣ еще къ тому они задавлены двумя-тремя chefs d'oeuvre'ами. Добро бы еще картины располагались въ строгомъ историческомъ порядкѣ,—такого размѣщенія я нигдѣ не знаю, кромѣ въ берлинскомъ музеѣ; за то тамъ, кромѣ историческаго порядка, ничего нѣтъ. Я обыкновенно ходилъ къ двумъ-тремъ картинамъ, къ двумъ-тремъ статуямъ, а съ прочими встрѣчался какъ съ незнакомыми на улицѣ,—можетъ, они и хорошіе люди, можетъ, дойдетъ чередъ и до знакомства съ ними, ну, а пока, пусть себѣ идутъ мимо.

Чѣмъ больше приглядываешься къ великому произведенію, тѣмъ меньше удивляешься ему; это-то и необходимо, удивленіе мѣшаетъ наслаждаться. Пока картина или статуя поражаетъ, вы не свободны, ваше чувство не легко, вы не нашлись, не возвысились до нея, не сладили съ нею, она васъ подавляетъ, а быть подавленному произведенія величіемъ—не высокое эстетическое чувство. Пока чловѣкъ еще поработенъ великимъ произведеніемъ, произведенія болѣе легкія доставляютъ болѣе наслажденія, потому что они соизмѣримѣе, даются безъ труда, въ какомъ бы расположеніи чловѣкъ не былъ. Что труднаго понять, оцѣнить головки Карла Долчи, Марата? Онѣ такъ милы, такъ изящны, что нѣтъ возможности ихъ не понять. Великія картины, напротивъ, часто сначала притѣсняють, иногда являются порывы взбунтоваться противъ нихъ; но когда вы однажды ознакомились съ такимъ произведеніемъ, тогда только вы оцѣните разницу того наслажденія, которое вы приобрѣли отъ Карла Долчи или Греза, и, съ другой стороны, отъ Буонаротти, Лаокоона, Аполлона Бельведерскаго... Я очень долго не могъ сколько-нибудь отчетливо сладить съ «Страшнымъ судомъ,» меня ужасно разсѣвали частныя группы; къ тому-же картина довольно почернѣла и я все попадалъ въ капелу въ туманные дни. Какъ-то на дняхъ, выходя вонъ изъ капелы, я остановился въ дверяхъ, чтобъ посмотреть еще разъ на картину; первое, что меня остановило на этотъ разъ, было лицо и положеніе Богородицы. Христосъ является торжествующимъ, мощнымъ, непреклоннымъ, синій свѣтъ остановившейся молніи освѣщаетъ его; давно умершіе поднялись, все ожило,—начинается судъ, кара, и въ это время существо кроткое, испуганное окружающимъ, робко прижимается къ нему, глядитъ на него, и въ ея глазахъ видна мольба, не желаніе справедливости, а желаніе милосердія.

Какъ глубоко понялъ Буонаротти христіанскій смыслъ Дѣвы.

Вотъ она всѣхъ скорбящихъ заступница готовая своей робкой рукой остановить поднятую руку сына, и когда отъ этой группы я сталъ переходить къ окружающему, огромная картина сплывалась въ нѣчто единое, безконечное множество фигуръ со стороны, по бокамъ получили смыслъ, котораго я прежде не могъ понять, который теперь начинаю подозрѣвать,—и съ этого дня я пересталъ анализировать каждую фигуру, пересталъ удивляться знанію остеологіи и міологіи Микель-Анджело.

Но я себѣ далъ слово не утомлять васъ описаніемъ изящныхъ произведеній; кого интересуесть *читать* картины, тотъ найдетъ источники.

Въ слѣдующемъ письмѣ мы поговоримъ о современномъ состояніи Рима, о его risorgimento.

Теперь въ заключеніе скажу нѣсколько словъ объ моихъ прежнихъ письмахъ. До меня дошли слухи, что ихъ дурно приняли въ печати. Одни вступились за французскую буржуазію, за нѣмецкую кухню, всѣ за неуважительный тонъ, за легкость и поверхность, за фамиллярность съ предметами почтенными и уважаемыми, за недостатокъ достодолжной скромности въ обращеніи съ старшими братьями, за недомолвки, наконецъ, которыя тоже поставили на мой счетъ. Мнѣ кажется, что письмамъ изъ Avenue Marigny придали больше значенія, нежели они въ самомъ дѣлѣ имѣли, и разсердились на нихъ за то, что они не оправдали ожиданія. Письма эти—нѣсколько помѣченныхъ впечатлѣній, нѣсколько набросанныхъ замѣтокъ на скорую руку, середь иныхъ занятій, при недосугѣ, при новости явленій, при оглушительномъ громѣ событій, подъ вліяніемъ досады, которую назвать и опредѣлить было гораздо труднѣе, нежели кажется. Письма эти вовсе не отчетъ о путешествіи, не результатъ, выведенный изъ посильнаго изученія Европы, не послѣднее слово, не весь собранный плодъ,—ничего подобнаго у меня не было въ помышленіи; мнѣ просто хотѣлось передать первое столкновеніе съ Европой; въ нихъ вылилось мѣстами рядомъ съ шуткой и вздоромъ, негодованіе, горечь, которая поневолѣ переполняла душу, иронія, къ которой мы столько же привыкли, какъ Эзонъ, рабъ Ксанфа, къ аллегоріи. У меня не было задней мысли, не было заготовленной теоріи ничему не удивляться или всему удивляться, а было желаніе уловить мелькающія, летучія впечатлѣнія откровенно, добросовѣстно,—вотъ и все. Что касается до уважительнаго тона ¹⁾, то я

¹⁾ Дѣйствительно, смѣхъ имѣетъ въ себѣ нѣчто революціонное. Пока люди вѣрили въ христіанство не было смѣха. Въ церкви и во дворцѣ никогда не смѣются, по крайней мѣрѣ, открыто. Крѣпостные люди лишены права улыбки въ присутствіи помѣщиковъ. Одни равные смѣются между собой. Смѣхъ Вольтера разрушилъ больше плача Руссо.

не вижу никакой необходимости говорить съ почтеніемъ о вещахъ, которые мнѣ кажутся презрительными, хотя бы мы ихъ и привыкли уважать издали, по старымъ воспитаніямъ. Недостаточно найти страну, въ которой все еще хуже, чтобъ находить хорошимъ то, что дѣлается здѣсь. Всѣ кумиры долой, — голая, обнаженная истина лучше приведетъ къ дѣлу, нежели лганье съ доброй цѣлью. Наконецъ, я долженъ признаться, что не только въ моихъ письмахъ, но и въ сердцѣ недостаетъ этой смиренной, почтительной струны, готовой умильно склоняться, «принижаться», какъ говорятъ славянофилы; для которой поклоненіе необходимо, чему бы то ни было, золотому теленку или серебряному барану, русскимъ древностямъ или парижскимъ новостямъ. Изъ всѣхъ преступленій я всего дальше отъ идолопоклонства и противъ второй заповѣди никогда не согрѣшу. Человѣкъ тогда только свободно смотритъ на предметъ, когда онъ не гнетъ его въ силу своей теоріи и самъ не гнется передъ нимъ. Уваженіе къ предмету, не произвольное, а обязательное, ограничиваетъ человѣка, лишаетъ его свободнаго размаха. Предметъ, говоря о которомъ человѣкъ не можетъ улыбнуться, не впадая въ кощунство, не боясь угрызений совѣсти, — фетишъ и человѣкъ подавленъ имъ, онъ боится его смѣшать съ *простою* жизнію. Такъ египетское ваяніе и наша дикая иконопись давали неестественныя позы и неестественный колоритъ, чтобъ отдѣлиться отъ презрѣннаго міра земной красоты и теплой живой карнаціи.

Мнѣ въ Италіи ни надъ чѣмъ не хочется смѣяться; помнится я въ Парижѣ тоже не смѣялся надъ «*Франціей, за цензомъ стоящей*»; въ плѣсни, покрывающей общество въ Парижѣ, въ притязаніи мѣщанъ на образованность, на либерализмъ, все вызывало презрительный смѣхъ, все дразнило меня. Я былъ откровененъ въ обоихъ случаяхъ.

Письмо шестое.

Римъ, 4 февраля, 1848 г.

Я видѣлъ нѣсколько разъ Пія IX; мнѣ очень хотѣлось прочесть на лицѣ этого человѣка, поставленнаго во главу не только итальянскаго движенія, но европейскаго, какую нибудь мысль. словомъ что нибудь, и я ничего не прочелъ, кромѣ добродушной вялости и безстрастнаго спокойствія. Всѣ портреты его, всѣ бюсты похожи; къ нимъ надобно добавить бѣлый, нѣжный цвѣтъ лица, католическую, клерикальную полноту, прозрачную мясистость, п небольшие глаза, выражающіе... что выражающіе? — какую-то безпечную сытость. Я увѣренъ, что Пій IX не способенъ ни къ же-

стокости, ни къ преслѣдованіямъ ¹⁾, но онъ можетъ допустить и то и другое, и я еще болѣе увѣренъ въ томъ, что какія бы обстоятельства ни пришли, его пищевареніе не разстроится, онъ тихо погрузится и успокоится.

Первый разъ я видѣлъ его въ квиринальской капеллѣ, гдѣ онъ служилъ. Его окружали всѣ кардиналы, находившіеся на-лицо въ Римѣ, — что это за вѣющія несчастьемъ лица, напоминающія инквизицію и аутодафе. Какъ ясно выражалась въ каждой чертѣ, въ каждомъ движеніи этихъ безсемейныхъ стариковъ жизнь, проведенная въ двоедушій и домогательствахъ, ненависть ко всему свободному, властолюбіе, зависть, готовность мести, отсутствие всего человѣческаго, теплаго. Каждый въ свою очередь подходилъ къ папѣ, кланялся ему съ колѣнопреклоненіемъ, онъ каждого накрывалъ руками; и въ томъ числѣ былъ Ламбрускини, съ видомъ стараго шакала; я ждалъ, что онъ укуситъ св. отца, но они разцѣловались преспокойно.

Во второй разъ я видѣлъ св. отца во всемъ блескѣ понтификата въ церкви Santa Maria Maggiore, гдѣ онъ прогуливался nella sedia gestatoria. Это было гораздо смѣшнѣе Квиринала; Пія IX носили по церкви въ креслахъ, подъ разноцвѣтными опахалами. Этотъ индѣйской видъ совсѣмъ не шелъ къ нему. Въ церкви была жара страшная, папу закачало какъ на лодкѣ, и онъ блѣдный отъ приближавшейся морской болѣзни, съ закрытыми глазами благословлялъ на право и на лѣво. По дорогѣ стояли съ обѣихъ сторонъ солдаты, красная guardia nobile и пестрые Svizzeri, въ средневѣковой одеждѣ. Офицеры командовали при приближеніи кортежа Ar-mi! и ружья брякали на караулъ середь церкви; офицеры командовали Ginocchiò! и солдаты становились по тѣнямъ на колѣни. Я не могу привыкнуть къ военной обстановкѣ предметовъ по преимуществу мирныхъ, — ружья, мечи, штыки, сабли, кивера, пики и шлемы оскорбляютъ въ церкви; прибавьте къ этому непріятное кастратское пѣніе, толпу откормленныхъ монсиньоровъ, сытыхъ канонниковъ, переваливающихся съ какою-то отвратительной фамильярностью съ ноги на ногу, рядомъ съ сухими и желтыми іезуитами и полудикими монахами изъ дальнихъ монастырей, и вы поймете, каково должно быть впечатлѣніе.

Странная вещь! Католицизмъ, умѣвшій создать такіе храмы, умѣвшій украсить ихъ такими фресками, такими картинами и статуями, не умѣлъ уладить торжественнѣе, поэтичнѣе свой ритуаль въ самомъ Римѣ. Разумѣется время всѣхъ ритуаловъ прошло, но тѣмъ не менѣе постановка могла быть художественнѣе и ближе

¹⁾ Это писано въ началѣ 1848 года. Да проститъ мнѣ св. Петръ, что я такъ дурно понялъ его представителя; онъ очень способенъ!

къ духу религіи. Ритуаль восточной церкви несравненно изящнѣе и величественнѣе.

Наконецъ, третій разъ я видѣлъ папу болѣе въ трагической роли, нежели въ комической, какъ прежде. Для того, чтобъ вамъ было понятно, надобно рассказать, что было наканунѣ новаго года. Вечеромъ 31 декабря дождь лилъ проливной, сильные удары грома и непрерывныя молніи, кромѣ всего остальнаго, напомнили, что это не русскій новый годъ; между тѣмъ Piazza del Popolo покрылась народомъ и зажженные torci, невесело потрескивая и дымясь, зажигались тамъ и сямъ. Я смотрѣлъ въ окно на это приготовленіе. Толпа построилась правильной колонной и, грянувъ *scuoti il polvere*, пошла по Корсо къ Квириналу. Анжелло Брунети, т. е. Чичероваккіо, велъ римскій народъ поздравить св. отца съ новымъ годомъ, прокричать ему *evviva*, такъ, какъ ему одному кричать, и напомнить, что римляне ожидаютъ въ этомъ году исполненіе тѣхъ упованій, на которыя онъ дозволилъ надѣяться, но которыя еще не удовлетворены консультой. Савелли, римскій губернаторъ, открытый врагъ движенія, отправился къ Пію и увѣрилъ его, что мятежная толпа народа собирается посягнуть на *monte Cavallo*. Папа, который лично зналъ Чичероваккіо, котораго Чочероваккіо спасъ отъ Ламбускиніевскаго заговора, повѣрилъ и перепугался. Онъ велѣлъ созвать чивику и не вдалекѣ отъ Квиринала приготовить полкъ берсальеровъ. Между тѣмъ въ двѣнадцатомъ часу ночи, по дождю и грязи, спокойно и стройно пришла колонна съ факелами къ *monte Cavallo*, съ крикомъ *viva Pio papa, e viva sempre!* Народъ звалъ папу на балконъ, папа не вышелъ, а выслалъ сказать, чтобъ народъ расходился. Отношенія, образовавшіяся между народомъ и папой, избаловали римлянъ; они нѣсколько разъ вмѣстѣ плакали и клялись въ взаимной любви. Отказъ папы удивилъ всѣхъ. Люди, промокнувшіе до костей, не ждали такого пріема, они стали еще громче и настоятельнѣе требовать появленія папы; тогда губернаторъ объявилъ имъ, что если они не пойдутъ сейчасъ же по домамъ, то онъ, по приказанію св. отца, ихъ разгонитъ солдатами и чивикой. Народъ съ удивленіемъ увидѣлъ, что въ самомъ дѣлѣ солдаты подъ ружьемъ. Еслибъ Григорій XVI пустилъ ядро вдоль по Корсо во время *moscoletti*, это не удивило бы, не оскорбило бы такъ глубоко римлянъ, какъ грубый отвѣтъ Пія IX.

Такъ римлянъ къ этихъ случаяхъ удивителенъ. Вдругъ все перемѣнилось: факелы погасли; ни одного крика; мрачно, безмолвно, свернувши свое знамя, народъ пошелъ домой. На другой день нигдѣ ни толпы, ни веселья; праздника нѣтъ, городъ оскорбленъ, чивика громко ропщетъ, двое сенаторовъ приняли сторону народа и отправились къ Пію IX. Піи IX расплакался, сказалъ

князю Корсини, что его ввели въ заблужденіе, и объявилъ, что для вознагражденія римлянъ онъ самъ поѣдетъ ихъ благословлять на новый годъ и для этого подѣдетъ ко всеѣмъ главнымъ кордегардіямъ чивики.

Часовъ въ двѣнадцать 2 января Корсо покрылся людьми. Правильная масса народа двигалась съ Piazza Colona, Чичероваккіо шель впереди съ знаменемъ, на которомъ былъ написанъ слѣдующій упрекъ, кроткій, простой и полный смысла: S. P. Giustizia al popolo chi è con voi! Процессія остановилась на перекресткѣ Corso и via Condotti. Папѣ нельзя было миновать которойнибудь изъ улицъ; народа было, по крайней мѣрѣ, тысячь двадцать, ни хохоту, ни крику, никто не толпился, не давилъ, ни одного карабинера, ни одного полицейскаго не было видно (они вообще здѣсь гдѣ-то прячутся, особенно когда есть демонстрація). Явилась чивика безъ ружей и стала въ ряды народа. Порядокъ былъ удивителенъ, только по временамъ поднимался крикъ, который распространялся далѣе и далѣе, разрастаясь какъ кругъ въ водѣ отъ брошеннаго камня. Крики были выразительнѣе, нежели прежде: Abasso i gesuiti, abasso il palazzo madama (тутъ живетъ Савелли), Viva la stampa libera, i fratelli Bandiera, — abasso i oscurantisti и потомъ viva Pio nono, ma solo, solissimo Кто то прокричалъ viva i Piemontesi, — народъ подхватилъ; при этомъ вдругъ продирается сквозь густую толпу сѣдой, но здоровый старикъ и начинаетъ благодарить римлянъ отъ имени Генуи; словъ его я не разслышалъ, но по мимикѣ можно было догадаться; лицо у него разгорѣлось, онъ плакалъ, въ концѣ рѣчи онъ закричалъ: viva la libertà! бросилъ свою шапку вверхъ и самъ бросился обнимать солдата національной гвардіи, потомъ другого, третьяго. Это была сцена изъ первыхъ дней французской революціи. Народъ бѣшено рукоплескалъ генуэзцу... Часа въ два раздалось: «ѣдетъ, ѣдетъ». Папа ѣхалъ шагомъ, сопровождаемый четырьмя драгунами и каретой, въ которой сидѣлъ кто-то изъ министровъ. Онъ былъ взволнованъ и очень блѣденъ. Народъ его встрѣтилъ громкимъ, безконечнымъ привѣтствіемъ. Чичероваккіо поднялъ знамя къ его окошку и двадцать тысячь человекъ пошли провожать Пія IX. На первую минуту миръ былъ заключенъ. Конечно, не вина народа, если съ тѣхъ поръ онъ еще дальше сталъ съ папой, нежели былъ въ новый годъ.

Пій IX, какъ все слабые люди, упрямя; онъ сдѣлаетъ, что требуютъ, да послѣ, раздраживши прежде отказомъ, и тогда, когда уже хотятъ чегонибудь другого. Такъ онъ испортилъ дѣйствіе 2 января, но день этотъ для него былъ торжествененъ, грозно торжествененъ... По морю весело прокатиться, а чувствуешь, что уютно можно. Балконы были усыпаны дамами, все окна раскрыты,

отовсюду махали платками, карета папы двигалась шагъ за шагомъ, всадники были смяты, народъ держался за построжки, за лошадей, за колеса, кучера и лакеи не препятствовали, потому что невозможно было ничего сдѣлать. Чечероваккіо влѣзъ на вторую карету и сѣлъ съ знаменемъ на имперіалѣ, жалкая фигура какого-то кардинала выглядывала, испуганная изъ подъ его ногъ, покрытыхъ пылью. Часовъ до семи продолжалось это шествіе, текла эта живая рѣка отъ *via Condotti* до *monte Cavallo*; съ переулковъ и площадей раздавались привѣтствія и крики, повторяемые всякой разъ нѣсколькими тысячами человекъ возлѣ ушей папы: *Abasso i mascheri, Viva Ganganelli* (Климентъ XVI, изгнанный иезуитовъ изъ Рима), *Viva l'indipendenza, abasso i gesuiti*. Когда процессія пришла къ Квириналу, смерклося; обширная площадь, на которой стоятъ знаменитые Фидіасовы лошади, была полна народомъ, ожидавшимъ возвращенія св. отца и его благословенія. Но онъ изнемогъ; блѣдный, онъ опустилъ благословляющую руку и голова его склонилась на подушку, онъ лишился чувствъ. Драгунъ, ѣхавшій возлѣ кареты, сказалъ что-то Чичероваккіо; Чичероваккіо далъ знакъ рукой и мало-по-малу водворилась тишина, прерываемая время отъ времени крикомъ встрѣчавшихся, которымъ тотчасъ показывали, чтобъ они молчали. Тишина придала еще больше торжественности зрѣлищу. Молча проводилъ народъ папу до воротъ, никто не требовалъ, чтобъ онъ вышелъ на балконъ, его повели подъ руки на лѣстницу. *A casa, a casa!* закричали передніе ряды и толпы народа молча и съ поднятыми знаменами пошли,—а полицейскихъ все не было.

Еще разъ, народныя движенія въ Римѣ носить на себѣ особый характеръ величаваго порядка, мрачной поэзіи, какъ ихъ развалины, какъ ихъ *Samragna*. Лица, фигуры этихъ людей сохранили античныя черты, черты доблести и благородства; католицизмъ имъ придалъ, вмѣстѣ съ бѣдствіемъ, съ неволей, видъ угрюмый, печальный, который еще болѣе поражаетъ въ соединеніи съ страстнымъ выраженіемъ и съ племянною красотой. Эти люди, которые смѣются разъ въ годъ, на карнавалѣ, терпѣли вѣка и, наконецъ, спокойно сказали: «Довольно!»

Папа былъ потрясенъ, плакалъ, занемогъ, и — ничего не сдѣлать. Онъ не умѣлъ воспользоваться этимъ днемъ и совершенно лишился народной любви. Всѣ ждали новое министерство, увольненіе Савелли. Савелли остался, и ни одной льготы: народъ обидѣлся второй разъ и врядъ помирится-ли. Пустыя и бесполезныя полицейскія мѣры внесли больше горечи въ эту размолвку, нежели бы могли сдѣлать дѣйствительныя притѣсненія. Римляне привыкли всякое утро читать маленькой листокъ *Pallade*, приклеенный по стѣнамъ на улицахъ. Можете себѣ представить, какъ

должна быть дорога нѣкоторая свобода книгопечатанія для народа, жившаго вѣка подъ гнетомъ самой варварской цензуры. Папа запретилъ приклеивать «Палладу» по стѣнамъ, запретилъ даже продавать на улицахъ. Редакція объявила афишами на всѣхъ углахъ объ этомъ запрещеніи и увѣдомляла читателей, что она перенесла сбытъ своего журнала во всѣ табачныя лавки, во всѣ кофейныя; и что, не имѣя права носить «Палладу» по улицамъ, ни приклеивать къ стѣнамъ, они поставятъ столы и положить на нихъ свой журналъ для чтенія. Савелли побоялся запретить, — и римской «Шаривари» надъ ними-же нахохотался до сыта.

Въ концѣ декабря дѣлали демонстрацію швейцарскому послу, поздравляя его съ разбитіемъ Зондербунда. Вдругъ черезъ двѣ недѣли св. отецъ надумался и повелѣлъ всѣмъ участникамъ анти-католической демонстраціи три дня поститься, предоставляя исполненіе этой полезной мѣры на собственную совѣсть тѣхъ, которые были на демонстраціи. Римъ расхохотался отъ одного конца до другого, прочитавъ въ официальной газетѣ эту шалость будирующаго намѣстника св. Петра.

Но въ сущности Римъ былъ далекъ отъ смѣха. Мрачная тишина и тяжелое расположеніе духа становились очевидны съ половины января. Сомнѣніе въ св. отцѣ, недовѣріе къ нему работало во всѣхъ умахъ, въ аристократическомъ *Circolo Romano* и въ народномъ *Circolo Popolare*, основанномъ на дняхъ Чичероваккіемъ. Пій IX хмурился и давалъ созрѣть этимъ мыслямъ. Его поведеніе дѣйствительно было не понятно. Всякій день приносилъ какую-нибудь потрясающую вѣсть — то изъ Милана, то изъ Павіи, Неаполя, Сициліи. На Монте-Кавалло, въ Квириналѣ царила тишина недоумѣнія: ни слова успокоенія, ни слова утѣшенія. Римляне боятся Людовика Филиппа, боятся короля Альберта, ненавидятъ Австрію и спрашиваютъ, съ кѣмъ св. отецъ, противъ кого?.. Глаза всѣхъ обращаются на Пія IX, на человѣка эпохи, — а Пій IX притихъ, какъ будто его нѣтъ; хотя, впрочемъ, и разрѣшилъ торжественную панихиду по убиеннымъ ломбардцамъ, не смотря на протестъ австрійскаго посланника.

Такъ проходилъ январь, тревожно внутри и тихо снаружи, при отвратительной мокрой погодѣ, что уже само по себѣ въ Италіи составляетъ общественное несчастье; какъ вдругъ, вслѣдъ за сбивчивыми слухами, пришли достовѣрныя вѣсти не токмо о возстаніи Палермы, но и о геройской защитѣ города. Съ этого дня Римъ вступилъ въ новую фазу пробужденія, онъ еще *больше* проснулся. Уступки неаполитанскаго короля, которыя за мѣсяць были бы приняты рукоплесканіемъ всей Италіи, были приняты презрѣніемъ; онѣ выражали страхъ и безсиліе. Неаполь молчалъ, осыпaeмый сарказмами римскихъ и флорентинскихъ журналовъ. Наконецъ,

28 января двинулся и онъ; король попробовалъ умирить народъ, не сладилъ и, скрѣпя сердце, общалъ конституцію и амнистію. Вѣсть эта дошла до Рима на другой день. Толпы народа бѣгали по главнымъ улицамъ съ крикомъ: *Lumi! Lumi!*—и всѣ окна освѣтились. Сенатъ и шатающееся министерство поняли, что тутъ распахаться съ народомъ — значило погубить себя, а потому подъ завѣтными буквами *S. P. Q. R.* они объявили *al popolo romano*, что 3 февраля назначается молебствіе и торжествованіе «возстановленія *мира* въ королевствѣ обѣихъ Сицилій». Снова ошибка, снова слабость въ обѣ стороны и, слѣдственно, неудача въ обѣ стороны. Корсо горѣло огнями, демонстрація была величественна и колоссальна; вся чивика, все народонаселеніе Рима принимало участіе, но для Пія IX горекъ былъ этотъ день: національная гвардія сняла его кокарду (желтую съ бѣлымъ) и надѣла трехцвѣтную. Ликующій народъ прошелъ по всему Риму, посѣтилъ Форумъ и Капитолій, но миновалъ *Monte Cavallo*; Пій IX былъ исключенъ изъ торжества. Правительство лишилось всякой моральной силы. Папа снова готовится къ уступкамъ и снова дразнить народъ. Начальникъ національной гвардіи велѣлъ снять трехцвѣтную кокарду, его не послушались; на другой день вышелъ приказъ, разрѣшавшій трехцвѣтныя кокарды! 3 февраля къ крику *Viva Pio nono* прибавляя всякой разъ: *e la costituzione, e la libertà* замѣчательно, что во все время ликованій ни одному человѣку не пришло въ голову, или никто не осмѣлился, по крайней мѣрѣ, прокричать какое нибудь привѣтствіе неаполитанскому королю.

Завтра отправляюсь посмотрѣть своими глазами на Неаполь въ революціи, на Неаполь не только изящный, но и свободный. Пока, пользуясь дождемъ, я намѣренъ сказать еще нѣсколько словъ объ итальянскихъ дѣлахъ.

Какъ это случилось, что страна, потерявшая три вѣка тому назадъ свое политическое существованіе, униженная всевозможными униженіями, завоеванная, раздѣленная иноплемениками, полтора вѣка разоряемая, и, наконецъ, совсѣмъ сошедшая съ арены народовъ, какъ дѣятельная мощь, вліяющая сила, страна воспитанная іезуитами, отставшая, обойденная, облѣнившаяся, — вдругъ является съ энергіей и силой, съ притязаніемъ на политическую независимость и гражданскія права, съ притязаніемъ на новое участіе въ европейской жизни?

Судьба полуострова шла въ послѣдніе три вѣка не торной дорогой исторіи, и оттого его современное состояніе на первой взглядъ не совсѣмъ понятно; можетъ, одинъ западный народъ и есть, котораго быть народный еще непонятнѣе, это—испанцы.

Мы легко привыкаемъ по умственной лѣни къ шаблонамъ и нормамъ, къ исторической алгебрѣ; алгебра эта составлена по тремъ

типамъ: по англійскому, французскому и нѣмецкому. Италія шла инымъ путемъ. Когда весь міръ забылъ древній Римъ, память о немъ хранилась въ Италіи. Когда-же, напротивъ, вся сѣверо-западная Европа стремилась къ государственной централизаціи, къ римской монархіи, — Италія продолжала быть феодальной, была побѣждаема, притѣсняема, но не дѣлалась монархическою, кромѣ Пиемонта и Неаполя. Въ Италіи не было періода индустріи, не было революціи въ пользу средняго сословія; ея горожане не освобожденные рабы, не буржуазія, а вольные люди, утратившіе всѣ права, кромѣ муниципальныхъ.

Въ XVI вѣкѣ Италія накрыта внѣшнимъ гнетомъ, захвачена иноплеменными войсками и оставлена при своемъ мѣстномъ, муниципальномъ правѣ. Мертвая какъ государство, она жила въ городскихъ коммунахъ, вся жизнь ея притекла къ этимъ сердцамъ народнаго существованія. Гнетъ, тяготѣвшій надъ Италіей до ломбардо-венеціанскаго королевства, не былъ ни равномеренъ и ни всеобщъ, онъ не имѣлъ принятой, проведенной во всѣ стороны системы. Есть части Италіи, которыя со временъ греческихъ императоровъ и до нынѣшняго дня едва по наслышкѣ знали о правительствѣ, платили подать, давали солдатъ, и внутри управлялись своими обычаями и законами, такова Калабрія, Базилікатъ, Абрुцы, цѣлыя части Сициліи. Съ другой стороны, напримѣръ, Тоскана никогда не выносила того лишенія всѣхъ человѣческихъ правъ, какъ ея сосѣди.

Территоріальныя раздѣленія Италіи мѣнялись на тысячу ладовъ, народъ ихъ переносилъ, рѣдко былъ доволенъ и никогда не переносилъ ихъ за нѣчто истинное, прочное, а за грубый фактъ насилія. Всѣ усилія Гогенштауфеновъ и ихъ наслѣдниковъ развить въ Италіи монархическое начало остались тщетными и собственно теорія Гибелиновъ, о которой писали тяжелые трактаты ученые легисты и которую они старались представить послѣднимъ словомъ и органическимъ развитіемъ римскаго права, никогда не прививались итальянскому народу; философію права и государственныя понятія итальянцевъ надобно искать въ сочиненіяхъ Макиавелли и въ ихъ историкахъ. Народъ былъ всегда Гвельфомъ и только по ссорѣ съ папой или съ сосѣдними городами бросался къ стопамъ императоровъ, предоставляя себѣ право при первой возможности возстать и отдѣлиться. Методическое, холодное, безнадежное управленіе, вводимое нѣмцами, было невыносимо для итальянцевъ. Древній Римъ могъ переносить Цезарей со всѣмъ ихъ тиранствомъ, потому что ихъ управленіе болѣе походило на незаконную диктатуру, на какое-то личное, случайное исключеніе, ихъ владычество было сочетаніемъ деспотизма съ анархіей; однообразный, систематическій гнетъ германизма совер-

шенно противоположенъ итальянцу, и онъ больше ненавидитъ Барбаросу, нежели своего Еццелино.

Совсѣмъ напротивъ, власть папская была совершенно національна, потому что она была неопредѣленна. Римъ, Романья едва слушались папъ, они дома были цари тайкомъ; чѣмъ дальше отъ центра, тѣмъ власть папская становилась сильнѣе и, наконецъ, достигала страшной мощи уже внѣ Италіи. Папы дѣйствовали совсѣмъ обратно императорамъ, они опирались на мѣстныя различія и поддерживали муниципальную жизнь. Григорій VII, съ своей гениальной проницательностью, понялъ элементъ, который спасетъ Италію отъ императоровъ, и городская жизнь, ободренная и движутая имъ, переросла германизмъ, плохо дающій корни въ почвѣ, въ которой былъ сохраненъ языческій Римъ. Италія жила и развивалась всѣми точками; города ея цвѣли, она была самое образованное и самое торговое государство въ XIV столѣтіи и, между тѣмъ, десяти лѣтъ не проходило безъ того, чтобъ она не покрывалась кровью и пепломъ. Города становились роскошнѣе послѣ пожара, сильнѣе послѣ раззоренія. Шутка одного стариннаго историка «война — миръ для Генуи», можетъ относиться ко всему полуострову. Необыкновенно живучая страна! Жизнь, развитіе, подавленные въ одномъ мѣстѣ, ускользали какъ ящерица въ травѣ и являлись во всемъ блескѣ на другомъ мѣстѣ. Въ сѣверной Европѣ давнымъ-давно централизація задавила средневѣковую жизнь и сильныя государства образовались, опираясь на постоянныя арміи и служебное дворянство; въ Италіи продолжалась прежняя жизнь нѣсколькихъ городовъ на первомъ планѣ, и множества другихъ не столько важныхъ въ политическомъ отношеніи, но свободныхъ, независимыхъ и образованныхъ на второмъ и третьемъ. Такъ она дожила до страшной години, когда Карлъ V и Францискъ II выбрали прекрасныя поля ея для кровавой войны, для войны, продолжавшейся болѣе столѣтія. Эта война сокрушила страну. Италія крѣпилась, крѣпилась,—наконецъ, силъ ея не стало противустоять войскамъ, непрерывно усиливавшимся свѣжими толпами изъ Франціи, Германіи, Испаніи и вольнонаемными шайками изъ Швейцаріи. Можетъ быть, если-бъ идея народнаго единства, идея государства была развита въ Италіи, она отстояла бы себя,—но этой идеи не было.

Врагъ имѣлъ всегда дѣло съ частью. Города сражались какъ лвы, крестьяне составляли вооруженныя толпы, нападавшія на непріятеля неожиданно, между горъ, въ тѣснинахъ, въ домахъ, но вся отвага ихъ погибла по пустому, ихъ подавили числомъ. Типъ итальянской войны, такъ же, какъ и гражданскаго устройства, отдѣльность, дробность, городское возстаніе, партизанская война, война отдѣльными вооруженными дружинами. Государство, тре-

бующее поглощенія городовъ, армія, требующая поглощенія личностей, для итальянцевъ противны; нѣтъ народа менѣе способнаго къ дисциплинѣ, къ полицейскому устройству, къ монархическому порядку. Съ другой стороны, отсутствіе единства столько-же спасло Италію, сколько погубило ее на время. Жизнь Италіи не была связана ни съ Римомъ, ни съ Венеціей, ни съ Флоренціей. Задавленная въ большихъ городахъ, она вдругъ являлась въ Феррарѣ, въ Болоньи; вытѣсняемая въ Неаполѣ, она переплывала въ Палерму, Мессину; въ Генуѣ она сохранилась до революціи. Италія—гидра лервская: задушить такую многоголовую жизнь — невозможно.

Побѣжденная Италія, уступая мало-по-малу политическую жизнь, является во главѣ художественнаго и умственнаго развитія; она воскрешаетъ греческую философію, она создаетъ живопись и, вѣрная своей федеральной натурѣ даже въ искусствѣ, рисуетъ на три типа, рисуетъ такъ, что вы узнаете города по школамъ; художественный періодъ итальянской жизни совпалъ съ дѣйствительнымъ возрожденіемъ мысли, послѣ скучнаго теологическаго схоластицизма. Итальянскіе представители новаго движенія вышли съ отроческимъ увлеченіемъ и съ необыкновенной отвагой на арену, на которой ихъ ужъ ждали не апотеоза, какъ Петрарку, а плаха и костеръ. Преслѣдованіе мысли во имя религіи нанесло новый ударъ Италіи, убило послѣднюю сферу, въ которой она могла развивать избытокъ своихъ силъ. Ей позволяли рисовать, ваять и строить, но запретили думать, но Галилея свели въ тюрьму за астрономію, Ванини и Бруно казнили за метафизику. Время доблестныхъ, гуманныхъ папъ прошло, реформація внесла ужась въ Ватиканъ, начальники инквизиціи надѣвали тіару; вопреки вѣку, нравамъ, странѣ, эти люди снова возвращались къ суровому и дикому монашеству. Лукавый и злой характеръ католицизма развернулся до конца реформаціей; доминиканцы подняли знамя крестоваго похода противъ мысли, іезуиты, янычары церкви, были недовольны кротостью инквизиціи и папъ,—папъ, которые въ Ватиканѣ, въ сѣняхъ Сикстинской капеллы велѣли на стѣнахъ нарисовать фрески, представляющія сцены изъ Варооломеевской ночи, и которыя я видѣлъ.

Силы страны, наконецъ, также сочтены, какъ силы лица. Италія, обиженная во всемъ человѣческомъ, занятая чужими солдатами, связанная по рукамъ и ногамъ, казнямая за мысль, отдавалась своей судьбѣ, такъ, какъ преслѣдуемая, несчастная женщина отдается старческимъ объятіямъ, — не изъ любви, а отъ усталости, отъ отчаянія, и однажды отдавшись падаетъ глубже и глубже.

Прошли двѣсти томныхъ лѣтъ; и въ двѣсти лѣтъ всѣ эти вампиры въ коронѣ и въ тіарѣ не могли высосать ея крови,—удивительный народъ!

Люди не даютъ себѣ труда оцѣнивать несчастія. Гёте, который такъ глубоко понималъ природу Италіи и ея искусство, бросилъ ея народу нѣсколько стиховъ злого укора, въ которомъ нигдѣ нѣтъ ни упованія, ни утѣшенія. Тяжелый сонъ Италіи, ея паденіе, ея слабую сторону онъ схватилъ мѣтко, но пробужденія не предвидѣлъ. «Такъ это-то Италія?» говоритъ онъ и отвѣчаетъ: «Нѣтъ: это ужъ не Италія».

Pilgrime sind wir Alle, die wir Italien suchen,
Nur ein zerstreutes Gebein ehren wir gläubig und froh.

Гёте, который, по превосходному выраженію Баратынскаго, умѣлъ слушать, какъ трава растетъ, и понимать шумъ волнъ, былъ тугъ на ухо. когда дѣло шло о подслушиваніи народной жизни, скрытной, неясной самому народу, не обличившейся официальнымъ языкомъ. Онъ не могъ совѣмъ не видать жизни, прорывавшейся странными и неустроенными проявленіями: для этого достаточно было посмотрѣть на народныя игры, на лица и глаза, послушать пѣсни... Онъ видѣлъ и слушалъ, но знаете-ли, какъ оцѣнилъ?..

Leben und Wehen ist hier, aber nicht Ordnung und Zucht!

Если-бъ въ половинѣ XVIII столѣтія въ Италіи были Ordnung и Zucht, какъ въ Веймарѣ, то навѣрное не было бы risorgimento въ половинѣ XIX столѣтія. Если-бъ можно было привести итальянцевъ въ *порядокъ* и покорить ихъ нѣмецкой дисциплинѣ, то они превратились бы въ лаццароновъ, въ монаховъ, т. е. въ лакеевъ, въ воровъ и туендцевъ, а при помощи іезуитовъ, tedesковъ и дипломатическихъ вліяній впали бы въ варварство, уничтожились бы какъ народъ. Неуловимая беспорядочность спасла итальянцевъ.

Не смотря на всѣ дѣйствія, на чужеземный гнетъ, на нравственную неволю, итальянецъ никогда не былъ до того задавленъ, какъ французы и нѣмцы. Не надобно забывать, что правительства итальянскія прескверно организованы, что ихъ государственные люди такъ же безпечны, какъ земледѣльцы. Но главная причина въ томъ, что итальянецъ не всю свою жизнь связывалъ съ государствомъ; для него государство всегда было формой, условіемъ, а не цѣлью, какъ для француза; оттого паденіе государства не могло совѣмъ раздавить человѣка. Крестьянинъ средней Италіи также мало похожъ на задавленную чернь, какъ русскій мужикъ — на собственность. Нигдѣ не видалъ я, кромѣ Италіи и Россіи, чтобъ бѣдность и тяжелая работа такъ безнаказанно проходили по лицу человѣка, не исказивъ ничего въ благородныхъ и мужественныхъ чертахъ. У такихъ народовъ есть затаенная мысль, или, лучше сказать, не мысль, а *непочатая сила*, непонятная имъ самимъ до поры, до времени, которая даетъ возможность переносить сама подавляющія несчастія, даже крѣпостное состояніе.

Послѣ Гёте, французы попробовали завести *свои порядки* въ Италіи. Французы поступали такъ, какъ они всегда поступаютъ,— насильственно освобождая. Они выдумали нѣсколько республикъ въ Италіи и устроили ихъ по образу и подобию своего директоріальнаго правленія. Не принимая въ расчетъ ничего индивидуальнаго, они гнули итальянцевъ въ формы, выдуманныя въ Парижѣ и которыя французы добросовѣстно считали равно годными для Отаити и для Исландіи. При всѣхъ недостаткахъ новыхъ республикъ, онѣ были лучше смѣненныхъ правительствъ, онѣ кончили нелѣпыя, феодальныя права, секуляризовали бездну имѣній, дали нѣкоторую свободу мысли и слова. Не смотря на это, народъ смотрѣлъ враждебно и недовѣрчиво на новыя правительства, онъ не вѣрилъ въ республики, заводимыя такими республиканцами, какъ Бонапартъ и Массена. Время доказало, кто былъ правъ: народъ-ли, принявшій освобожденіе за новую фазу рабства, или среднее состояніе, бросившееся въ объятія Наполеону для того, чтобъ тотъ могъ ихъ дарить брату Іосифу, зятю Іоахиму, пасынку Евгенію, сестрѣ Полиѣ, собственному сыну и прочимъ сродникамъ изъ Аяціо. Состояніе Италіи послѣ наполеоновскаго періода ухудшилось. Реакція во всей Европѣ была чудовищна; удушливое время отъ 1815 года до 1830 не вполне оцѣнено, я совѣтую почитать, напримѣръ, исторію Волабеля, чтобъ узнать, что такое было *terreur blanche* во Франціи.

Замѣчательно, что въ Италіи реакція дѣйствовала такъ же не національно, какъ революція. Пиемонтъ и Неаполь вздумали пробовать въ двадцатыхъ годахъ у себя заальпійскую монархію съ пригнѣсительной бюрократіей и съ готовностью войсками подавлять всякой ропотъ. Австрія учреждала Ломбардію на австрійскій манеръ. Противъ реакціи возсталъ оппозиція въ духѣ Лафайета и Бенжамена Констанъ. Оппозиція была побѣждена, Италія стояла одной ногой въ гробѣ. Метернихъ съ улыбкой повторялъ, что «Италія—географическій терминъ»; все энергическое, благородное, не попавшее въ Шпильбергъ, С. Эльмъ или С. Анджело, бѣжало, экспатрировалось. Въ задавленной литературѣ если что-нибудь прорывалось, то это былъ вопль и стонъ безнадежнаго отчаянія Леопарди, доходящій до люциферскаго, мрачнаго смѣха. Но были люди, вѣровавшіе въ будущее Италіи, и Маццини, начавшій работать темной ночью для разсвѣта, вполне оправданъ теперь. Вы помните благородныя попытки, безумныя до величія, самоотверженныя до безумія, кончавшіяся страшными казнями, новыми залогамъ; онѣ свидѣтельствовали, что народъ этотъ «не умеръ, а спитъ».

Мрачная эпоха преслѣдованій и казней достигла полной высоты своей избраніемъ Григорія XVI. Людвигъ Филиппъ и Ме-

тернихъ съ любовью подали ему руку и его министру Ламбрускини. Король французовъ посылалъ доносы папѣ римскому, папа римскій посылалъ доносы Метерниху, кардиналъ Ламбрускини помогалъ русской дипломатіи. Тюрьмы въ папскихъ владѣніяхъ къ концу *святительства* Григорія XVI были до того полны, что во всѣхъ публичныхъ зданіяхъ начали помѣщать—i politici. Наконецъ, Романья подала голосъ, наконецъ, стонъ Балоньи былъ услышанъ; этотъ стонъ, этотъ голосъ шли изъ другого начала, нежели голосъ оппозиціи, о которой мы говорили; это не былъ отголосокъ французскаго либерализма, а негодованіе народа, которому, наконецъ, нельзя дышать. Григорій XVI понялъ опасность и рѣшился, во чтобъ то ни стало, задупить народъ. Чтобы не распространяться объ этомъ тупомъ и пьяномъ злодѣѣ и объ его мѣрахъ, я скажу одно, но это одно важнѣе цѣлаго тома in folio: Австрійскій кабинетъ, долго, съ умиленіемъ смотрѣвшій на дѣла св. отца, не могъ, наконецъ, вынести и закричалъ: «basta Santo Padre!» Метернихъ послалъ ноту въ защиту романьоловъ, въ которой напоминалъ представителю Христа, что есть-же, наконецъ, мѣра притѣсненіямъ. Объ этомъ папѣ во французской камерѣ перовъ С. Олеръ сказалъ на дняхъ: «Григорій XVI былъ святой человѣкъ!»

Наконецъ, «святой человѣкъ» умеръ отъ старости и отъ марсалы. Конклавъ избралъ кардинала Мастая Феррети. Въ избраніи Феррети, кроткаго, благороднаго римлянина, участвовало, съ одной стороны, желаніе дать вздохнуть странѣ, опустить нагнутыя поводья, съ другой стороны, въ его избраніи было славянское желаніе выдвинуть личность, ничѣмъ не выдающуюся, «не выскочку, не указчика міру». Конклавъ считалъ на слабость Пія IX и ошибся, именно потому что былъ правъ. Кардиналы, какъ и слѣдуетъ имъ, не взяли въ расчетъ духа времени, эпохи; зная мягкій и слабый характеръ Пія, они не подумали, что положеніе народа и всей Італіи вообще будетъ на него дѣйствовать, что найдутся люди, которые молчали при Григоріи XVI, потому что знали его неблагородную и ограниченную душу, и которые будутъ искать вліянія на Пія, душа котораго была раскрыта любви народной и патріотизму. Пій IX въ самомъ дѣлѣ былъ одушевленъ желаніемъ добра, когда сѣлъ на престолъ; первое время его понтификата было истинно поэтической эпохой.

Удивленный народъ не зналъ, вѣрить или не вѣрить такому странному явленію,—народныя рукоплесканія и восторженные крики привѣтствія понравились папѣ. Онъ предложилъ святой коллегіи объявить всепрощеніе политическихъ преступниковъ, кардиналы съ негодованіемъ подали голоса противъ. «Coraggio Santo Padre!» кричалъ ему народъ на улицахъ, и Пій IX объявилъ, что по власти, данной ему свыше, «вязать и разрѣшать» онъ объявляетъ амнистію.

Крик искренняго восторга раздался не только въ церковной области, но во всей Италіи; все уповавшее лучшей будущности обрѣжало Пія IX; они сдѣлали изъ добраго, благонамѣреннаго челоуѣка—великаго понтифика, освободителя Италіи, величайшаго вѣнецюса въ Европѣ.

Кардиналы содрогнулись отъ досады и сдѣлали вторую ошибку. Вмѣсто того, чтобъ нѣсколько обождать, вмѣсто того, чтобъ дѣйствовать на религіозность Пія и испугать его, они выдумали заговоръ подъ начальствомъ Ламбускини; въ немъ участвовалъ австрійскій посланникъ, неаполитанскій король, начальникъ шпионовъ Григорія XVI и, разумѣется, иезуиты. Они хотѣли силою заставить папу отречься отъ всего имъ сдѣланнаго и были готовы не только свергнуть его съ престола, если онъ не согласится, но даже убить его, предоставляя себѣ удовольствіе свалить потомъ злодѣйство на либеральную партію. Для этого имъ нужно было народное волненіе, уличный шумъ. Приготовленія къ этому движенію узналъ Чичероваккіо и съ хитростью итальянца добрался до главныхъ заговорщиковъ. Мысль объ опасности, которой подвергался Пій IX, наполнила ужасомъ римлянъ, они всеми мѣрами старались ему показать свою любовь и готовность защищать его своею кровью; Пій еще болѣе сблизился съ своимъ народомъ и разрѣшилъ составленіе народной внутренней стражи—чивики. Имена заговорщиковъ явились опубликованными на улицахъ, часть ихъ бѣжала, часть ихъ переловилъ Чичероваккіо, и они до сихъ поръ сидятъ въ крѣпости Сентъ-Анджело и ихъ не судятъ, потому что папа не можетъ рѣшиться посадить съ ними кардинала Ламбускини.

Съ этого заговора начинается важная роль Чичероваккія во всѣхъ римскихъ движеніяхъ. П gran popolo простой, честный римскій плебей, знаемый всеми въ Римѣ и знающій всѣхъ, идоль черни, трибунъ питейныхъ домовъ и народныхъ сходовъ; онъ давно пріобрѣлъ вліяніе въ Римѣ, къ нему ходили совѣтоваться объ семейныхъ и торговыхъ дѣлахъ, онъ судилъ и разбиралъ ссоры, отдавалъ послѣднія деньги товарищамъ и былъ въ страшномъ почетѣ между ними. Съ избраніемъ папы, Чичероваккіо бросился на политическую арену; онъ принесъ свое вліяніе въ опору меньшинству, работавшему съ Пиемъ IX въ пользу Рима. Значеніе его съ тѣхъ поръ возросло; упорный защитникъ народныхъ требованій, неутомимый представитель народныхъ нуждъ, онъ тѣмъ больше пріобрѣталъ авторитетъ, что былъ совершенно чистъ характеромъ, не хотѣлъ никакой общественной перемѣны своего положенія и оставался тѣмъ-же плебеемъ, какъ былъ, по платью, по нравамъ, по языку. Отправляясь къ лорду Минто, онъ по дорогѣ игралъ съ его кучеромъ въ *мору* и, выходя отъ папы, шелъ въ кабакъ съ какимъ-нибудь солдатомъ. Съ дня открытія заговора, полиція, за-

мѣшанная въ немъ, исчезаетъ, порядокъ въ городѣ увеличивается. Чичероваккіо исправляетъ, такъ сказать, должность полицмейстера, ему помогаютъ факины, дровосѣки, и весь народъ. Губернаторъ приказываетъ выслать изъ Рима неаполитанскаго изгнанника; Чичероваккіо отправляется къ губернатору и говоритъ, что онъ ѣдетъ его провожать, сыскать ему мѣсто и что онъ не отвѣчаетъ за то, что народъ, оскорбленный этимъ грубымъ поступкомъ, сдѣлаетъ безъ него въ Римѣ во все послѣднее время—блестящій результатъ муниципальной жизни, это self government своего рода. Пію IX сначала понравилось такое легкое управленіе. Теперь онъ спохватился, захотѣлъ нѣсколько притянуть возжи—*Torpo tardi!* На сей разъ довольно.

Письмо седьмое.

Неаполь, 25 февраля, 1848 г.

Я думаю, если-бъ вездѣ былъ такой воздухъ, такой климатъ и такая природа, то было бы гораздо меньше святыхъ и мудрецовъ и гораздо больше счастливыхъ и беззаботныхъ грѣшниковъ. Съ религіозной точки зрѣнія нельзя допустить, чтобъ люди жили на этомъ сладострастномъ берегу и, почему знать, можетъ усердныя молитвы первыхъ христіанъ много способствовали къ изверженію Везувія, погубившему Помпею и Геркуланумъ. Въ самомъ дѣлѣ, здѣсь, въ тепломъ, влажномъ, вулканическомъ воздухѣ, дыханіе, жизнь—нѣга, наслажденіе, что-то ослабляющее, страстное. Самый сильный человѣкъ дѣлается здѣсь Сампсономъ, остриженнымъ подъ гребенку, готовымъ на всякое увлеченіе и неспособнымъ ни на какое дѣло. Бѣда, если къ тому-же кто-нибудь докажетъ, что именно увлеченье-то и есть жизнь, а дѣла --- вздоръ, что ихъ совсѣмъ и *дѣлать* не нужно...

Переходъ отъ римской природы къ неаполитанской до того поразителенъ, до того рѣзокъ, что я хочу сказать нѣсколько словъ о маленькомъ переѣздѣ нашемъ. Печальная Кампанья съ своими водопроводами и голубыми горами, пропадающими на горизонтѣ, смѣняется еще болѣе печальными Понтинскими болотами; ихъ все торопятся миновать, боясь маларіи; сырая почва этихъ потныхъ полей испаряетъ изнурительныя и трудно излѣчимыя лихорадки: даже стада становятся рѣдки. И въ то же время возлѣ нихъ степные на видъ и заброшенные города Велетри, Албано удивляютъ своимъ населеніемъ; это цвѣтъ романскаго племени, каждая женщина—типъ правильной, классической красоты, каждый мужчина можетъ служить моделью для художника, и что за грація въ дви-

женяхъ. въ позахъ, что за стройность! Вы этихъ людей знаете, напимѣрь, по гравюрамъ съ Робертовыхъ картинъ. Вы, можетъ, даже согрѣшили передъ живописцемъ, находя нѣкоторую театральность въ положеніи лицъ; намъ это кажется оттого театральностью, что мы въ вседневной жизни не привыкли видѣть такія изящныя формы, такую аристократическую породу людей, которымъ ловкость и грація врождена, такъ, какъ русскому парню врождена удалъ, такъ, какъ нашему ямщику страсть скакать. Робертъ, совсѣмъ напротивъ, удивительно вѣрно поймалъ въ своихъ «женцахъ» характеръ романскихъ крестьянъ; онъ не забылъ подернуть легкой дышкой задумчивости и печали всѣ лица, даже тѣхъ, которыя пляшутъ.

Дикая полоса продолжается до Террачины. Небольшой городъ утروмя; Средиземное море безпокойно бьется за старинными воротами его; огромная и совершенно одинокая скала стоитъ у въѣзда. На скалѣ этой жилъ нѣкогда грозный кондотьеръ, о которомъ народъ теперь еще рассказываетъ легенды; около нея жили очень недавно толпы разбойниковъ, уничтоженные при Львѣ XII. Скала эта превосходно заключаетъ папскія владѣнія, это точка, поставленная послѣ римскихъ развалинъ, Кампаньи и болотъ.

За скалой начинается природа веселая, смѣющаяся, совсѣмъ иная: населеніе гораздо менѣе красивое, но больше движущееся, шумливое; одичалыя черты лаццарони и подобострастныхъ манеры неаполитанской черни начинаютъ показываться; серьезный и гордый видъ крестьянина, нищаго, пастуха Кампаньи замѣняется насмѣшливымъ выраженіемъ и движеніями пулчинеллы; на мѣсто величавой, правильной красоты романьольской женщины, внушающей уваженіе, встрѣчаются дерзкіе зовущіе взгляды, милая вертлявость, направильныя черты, внушающія чувства, вовсе не похожія на уваженіе. Въ неаполитанскомъ населеніи есть что то фавновское и приапическое, здѣсь никто и не подозрѣваетъ нѣмецкаго изобрѣтенія платонической любви.

Всю эту разницу двухъ странъ, двухъ природъ, двухъ населеній, вы видите на самомъ рубежѣ ихъ, переѣзжая отъ Террачины до Гаеты. Эта рѣзкость предѣловъ, опредѣленность характеровъ, самобытная личность всего, горъ, долинъ, травы, города, растительности, населенія cadaго мѣстечка,—одна изъ главныхъ чертъ и особенностей Италіи. Неопредѣленные цвѣта, неопредѣленные характеры, туманныя мечты, сливающіеся предѣлы, пропадающіе очерки, смутныя желанія,—это все принадлежность сѣвера. Въ Италіи все опредѣленно, ярко, каждой клочекъ земли, каждой городокъ имѣетъ свою физиономію, каждая страсть свою цѣль, каждой часъ свое освѣщеніе, тѣнь какъ ножомъ отрѣзана отъ свѣта; нашла туча—темно до того, что становится тоскливо; свѣ-

титъ солнце—такъ обливасть золотомъ все предметы и на душѣ становится радостно. Федеральность въ самой землѣ, въ самой природѣ итальянской. Какая огромная разница въ характерѣ Пиемонта и Генуи, Пиемонта и Ломбардіи; Тоскана нисколько не похожа ни на сѣверную Италію, ни на южную; переѣздъ изъ Ливорны въ Чивита-Веккію не меньше рѣзокъ, какъ переѣздъ изъ Террачины въ Фонди. Ливорно кипитъ народомъ, городъ шумный, оппозиціонный, дѣятельный и торговый, — столько-же выражаетъ цвѣтущую и нѣсколько распущенную Тоскану, какъ пустая и безлюдная крѣпость съ высокими, старинными стѣнами, которыя нехотя полощеть море, выражаетъ не торговый, мрачный, монашескій Римъ.

Но самая рѣзкая противоположность, самый крутой антитезисъ составляетъ Римъ и Неаполь: они столько же похожи другъ на друга, какъ строгая и величавая матрона на рѣзвую, легкомысленную гетеру, какъ Римъ время пуническихъ войнъ на Римъ время Тиверія и Нерона, искавшій по сочувствію неаполитанскаго неба. Римъ напоминаетъ о бренности вещей, о минувшемъ, о смерти, это вѣчное *memento mori*; Неаполь — объ упоительной прелести настоящаго, о жизни, о *sapre diem*. Римъ какъ вдова, вѣрная прошедшему, не отрывается отъ кладбища, не забываетъ утраченнаго; его развалины ему больше необходимы, нежели Квириналь. Неаполь вѣренъ наслажденію, вѣренъ настоящему, онъ бѣснуется и пляшетъ на Геркуланумѣ, т. е. на гробовой доскѣ; дымящій Везувій напоминаетъ ему, что надобно пользоваться жизнью, пока до лавы. Философія Анакреона и Горація сдѣлалась его кодексомъ, перешла въ нравы.

Поживши въ Римѣ, невозможно его не уважать, но отъ Рима устаешь, устаешь такъ, какъ отъ людей, съ которыми непрерывно надобно говорить о важныхъ предметахъ. Римъ дѣйствуетъ на нервы, поддерживаешь натянутое состояніе восторженности,—можетъ, оттого-то у него и было столько героевъ и столько фанатиковъ. Неаполь нельзя не любить и, если-бъ вы только пробыли въ немъ одинъ день, всю жизнь стали бы вспоминать со вздохомъ объ этомъ днѣ.

Мы приѣхали вечеромъ. Солнце садилось, пурпуровымъ свѣтомъ освѣщая море, синее, темно-синее, и гору, застроенную домами, на которой стоитъ камалдулинскій монастырь и крѣпость С. Эльмъ. По мѣрѣ того какъ садилось солнце, дымъ надъ жерломъ Везувія краснѣлъ и струйка каленой и растопленной лавы медленно стекала по горѣ Улицы кипѣли народомъ, пѣсни, органы, разные инструменты раздавались со всехъ сторонъ, маріонетки и пулчинелли—плясали, сыпали скороговорками; на балконахъ стояли дамы между цвѣтовъ, въ окнахъ начали показываться

огоньки... Я ничего подобнаго и не подозрѣвалъ, просто упиваешься, забываешь все на свѣтѣ, тѣлесно наслаждаешься собой и природой. *Sta viator!* лучшаго ты не увидишь. «Посмотри на Неаполь и потомъ умри»—какъ это глупо!—«Посмотри на Неаполь—и возненавидь смерть!»

Тутъ-то бы, кажется, и развиться челоувѣчеству; такъ нѣтъ, судьба этого удивительнаго края самая жалкая. Неаполь лишень даже тѣхъ блестящихъ и яркихъ воспоминаній, которыми себя утѣшали другіе города Италіи во время невзгоды. Онъ имѣлъ эпохи роскоши, богатства, но эпохи славы не имѣлъ. Старый Римъ бѣжалъ умирать въ его объятія и, разлагаясь въ его упоительномъ воздухѣ, онъ заразилъ, онъ развратилъ весь этотъ берегъ. А потомъ одинъ врагъ за другимъ являлись его тормозить и мучить; Неаполь служилъ приманкой всѣмъ дикимъ завоевателямъ: сарацынамъ и Гогенштауфенамъ, норманамъ и испанцамъ, Анжуйцамъ и Бурбонамъ. Ограбивши его, не оставляли его въ покоѣ, какъ другіе города, въ немъ жили, потому что въ немъ хорошо жилось. Какъ же было не образоваться такой черни, какъ лаццарони,—помѣсь всѣхъ рабствъ, низшій слой всего побитаго, осадокъ десяти народностей, перепутавшихся, выродившихся.

Соперница Неаполя—Палермо, и вся Сицилія перенесла многое, но иначе; замкнутый характеръ островитянъ, другой закалъ и менѣе чужого постоя позволили Сициліи хоть сколько нибудь дышать; Сицилія—«отечество», Палермо ея столица, Неаполь, если хотите, не принадлежитъ ни къ чему, это городъ и больше ничего, развѣ прибавимъ къ нему его окрестности, да небольшую морскую полоску; онъ ничего не имѣетъ общаго съ другими частями, никто не любитъ его, кромѣ тѣхъ, которые въ немъ. Что за дѣло Аbruцамъ и Калабріи до Неаполя; до Палермо дѣло всей Сициліи; оттого Палермо подставила въ январѣ свою грудь ядрамъ и пріобрѣла Неаполю представительное правительство.

Въ первые дни, послѣ моего пріѣзда, я увидѣлъ, что неаполитанцы не довѣряютъ обѣщанію Фердинанда II и ждутъ съ трепетомъ 9 февраля, въ которое назначено было объявить новое уложеніе. Король сидѣлъ на заперти въ своемъ дворцѣ, окруженномъ солдатами и пушками. Министры, чтобъ дать залогъ народу, велѣли въ силу амнистіи освободить политическихъ арестантовъ изъ С. Эльма, кастель del'Ovo и другихъ мѣстъ заключенія. Народъ толпился у тюремъ въ день ихъ освобожденія. Выходя изъ воротъ, они встрѣтили своихъ друзей и либеральную часть населенія; ихъ окружили и повели торжественнымъ шествіемъ по улицѣ Толедѣ; въ кафе del'Eurora былъ приготовленъ для нихъ пышный обѣдъ. Народъ толпился у окопъ кафе. Бывало la roture ходила смотрѣть въ щелочку, какъ пируютъ ея господа; теперь

граждане тѣснились, чтобъ увидѣть блѣдныя, истомленныя лица колодниковъ, давно отвыкнувшихъ отъ надеждъ, давно сдружившихся съ мыслью о палацѣ, о галерахъ. Для нихъ, вѣроятно, все казалось сномъ: улица Толедо, богатый кафе, пышный столъ, цвѣты, бокалы, яркое освѣщеніе, — и это черезъ часъ послѣ темныхъ казематъ. Ромео, котораго голова была оцѣнена, спокойно пьетъ за независимость Италіи въ *cafe del Europa!* Имъ жмутъ руки, привѣтствуютъ, а вчера боялись произнести ихъ имена, какъ будто въ самомъ звукѣ уже слышалась бѣда, соприкосновенность къ дѣлу, пытка...

Послѣ обѣда ихъ повели въ S. Carlo, окруженныхъ цѣлымъ легиономъ людей, которые несли факелы; дирекція вышла навстрѣчу и просила экскаторжныхъ занять безденежно первыя мѣста въ стаяхъ оркестра.

Одиннадцатаго февраля, часа въ три передъ обѣдомъ, Санта Лучія покрылась народомъ, который бѣжалъ на дворцовую площадь съ крикомъ: *Ha firmato!* Пошелъ и я. *Si, si*, сказалъ мнѣ мой сосѣдъ, пожилой человѣкъ, *ha firmato stamatina.*—*Eccolo.* прибавилъ онъ и снялъ свою шляпу, *santo nome di Dio—é per la prima volta, per la prima volta*, добавилъ онъ, извиняясь. *Eviva il re costituzionale*—раздалось и не умолкало минутъ десять, шляпы летѣли на воздухъ, народъ сошелъ съ ума отъ радости. Король съ открытой головой въ длинно-поломъ зеленомъ пальто кланялся на балконѣ народу, низко, очень низко. Толпа хлынула отъ дворца на Толеду. Что тутъ было въ этотъ вечеръ, невозможно описать: представьте себѣ оргію, въ которой участвуетъ цѣлый городъ; это была политическая *Walpurgisnacht*, безумная сатурналія, имѣвшая совершенно другой характеръ, нежели римскія демонстраціи. На этотъ разъ не кучка героическихъ арестантовъ праздновала свое освобожденіе, а цѣлое народонаселеніе. Люди съ восторгомъ въ глазахъ, съ разгорѣвшимся лицомъ, со слезами бросались другъ другу въ объятія, незнакомые останавливали незнакомыхъ и поздравляли: дома освѣтились на Толедѣ, Кіаіѣ и Санта Лучія; нарядныя дамы ѣхали, стоя въ коляскахъ съ факеломъ въ рукахъ и съ крикомъ: *viva la liberta!* Полуголые мальчишки прыгали середь улицы и распѣвали во всю глотку гимнъ въ честь *Maseniello* на голосъ известной народной пѣсни *Perche t'ingriffi com'un gatto*, которую палясы поютъ по улицамъ съ самой уморительной декламаціей. Живость и комизмъ неаполитанцевъ не могъ не отразиться на такомъ праздникѣ: они съ хохотомъ и кривляніемъ, бросая башмакъ на воздухъ и ловя его ногой, кричали *viva la costituzione e i massaroni.*

Toledo съ утра кипитъ народомъ, мальчишки пристають съ политическими памфлетами и карриатурами, такъ, какъ прежде

приставали съ предложеніемъ *цветовъ* (обоихъ царствъ растительнаго и животнаго)... Какое-же тутъ писанье.

Прибавлю только, что я видѣлъ, какъ король присягалъ новому уложенію въ соборѣ S. Francesco di Paolo. Онъ формулу присяги прочелъ громко, но лицо его имѣло скверное выраженіе. Въ чертахъ его есть дальнее сходство съ Людовикомъ Филиппомъ, со всѣми Бурбонами и еще больше съ римскими бюстами императорскихъ временъ, съ бюстами Гальбы, Вителія. Лицо его толсто, выражаетъ животную чувственность и лукавую жестокость: нижняя часть особенно развита, взглядъ лишень всякой привѣтливости, бакенбарды en collier придаютъ всѣмъ чертамъ что то неблагородное.

Когда онъ вышелъ изъ собора и сталъ садиться на лошадь, онъ потихоньку перекрестился: трусъ и ханжа,— какъ же ему не быть тираномъ.— Прощайте.

Черезъ недѣлю.

Завтра мы ѣдемъ опять въ Римъ. Расскажу вамъ теперь, что за происшествіе случилось здѣсь со мной.

Разъ возвращаясь домой, я не нашель портфель: въ немъ были ломбардные билеты, векселя, кредитивное письмо, и къ тому же мой пассъ, словомъ, все мое состояніе. Что было дѣлать! Я бросился къ Ротшильду, къ графу Феррети, двоюродному брату Пія IX, къ которому имѣлъ рекомендательное письмо. Феррети ничего не сдѣлалъ, только нюхалъ какъ то не по людски и очень противно табакъ. Ротшильдъ велѣлъ написать рекомендательное письмо къ префекту, графу Тофано.

Отправляясь къ нему, я встрѣтилъ Спини, редактора *Эпохи*.

Спини предложилъ прежде префекта идти къ Микеле Вальпузо: это былъ революціонный начальникъ неаполитанской черни, въ родѣ Чичероваккія. 15 мая 1848 г. онъ палъ мертвый на улицѣ Толедѣ, геройски защищая баррикаду. Вальпузо сказалъ, что если портфель цѣль и въ Неаполѣ, то его доставить, и совѣтовалъ, между прочимъ, объявить афишами, что я даю сто скудовъ тому, кто найдетъ *потерянный* портфель. На слово «потерянный» онъ особенно налегалъ, говоря, что если будетъ сказано: украденный, то никто не принесеть.

Префектъ принялъ меня очень внимательно, обѣщалъ всевозможную помощь со стороны полиціи, хотѣлъ мнѣ дать агента, двухъ даже, знающихъ городъ какъ свои карманы, и совершенно одобрилъ предложеніе Микеля-Вальпузо.

Измученные возвращались мы съ Т. мимо огромнаго S. Carlo, возлѣ котораго стоятъ лошади съ Аничкина моста, подаренные королю.

— «Неужели, сказалъ я Т., оттого и въ театрѣ не ѣхать, что меня обокрали?»

Въ этотъ день король являлся въ театрѣ мириться съ публикой; аристократическій Неаполь собирался сдѣлать ему въ С. Карло овацію за подпись уложенія.

Т., какъ настоящій русскій, нашель, что дѣйствительно нѣтъ достаточной причины, чтобъ не ѣхать въ театрѣ. У меня въ кошелькѣ были четыре золотыхъ, на ту минуту это составляло все мое достояніе, два съ половиной я отдалъ за полъ ложи.

Между тѣмъ прошли дня три, о портфель не было ни слуху, ни духу, я сообщилъ всѣмъ главнымъ банкирамъ въ Европѣ, сообщилъ въ московскій опекунскій совѣтъ. Всякой день таскался я отъ префекта въ остерію, гдѣ Вальпузо, завтракая, давалъ аудіенціи, отъ Вальпузо къ Феррети, который все также гадко нюхалъ табакъ и утѣшалъ меня тѣмъ, что теперь все управленіе новое, честное, но непривычное и, стало, для него открыть трудно. Вальпузо повторялъ свое: «портфель принесутъ, *если* онъ въ Неаполь».

Наконецъ, рѣшился я ѣхать въ русское посольство; тогда еще мнѣ не была заперта дверь нашихъ миссій, но я никогда не пробовалъ ее отворять.

Я безъ отвращенія не могу входить вообще ни въ какое присутственное мѣсто, ни въ какую канцелярію,—но въ особенности въ русскую. Тутъ нѣтъ ничего личнаго, я не могу пожаловаться ни на одного посольскаго чиновника; но мысль, что тамъ русскіе дипломаты, чиновники, дѣлаютъ на меня нервное вліяніе, которое на многихъ производятъ тараканы и мыши. Нѣтъ человѣка, который бы боялся таракана изъ-за вреда, который онъ можетъ причинить... это чувство невольное и трудно побѣждаемое. Я изъ Россіи выѣхалъ затѣмъ, чтобъ не видать офицерства и чиновничества, чтобы не видать всѣхъ этихъ Ноздревыхъ и Хлестаковыхъ; что же за радость видѣть ихъ на Кіаіѣ, на Санта Лучія въ виду Везувія и Каstellа-Маре...

Нужда солону ломить... Отправился я въ посольство. Сначала кучеръ меня завезъ въ австрійское,—такъ въ понятіяхъ неаполитанцевъ нераздѣльны двѣ имперіи съ своими пернатыми Рита-Христинами на флагъ.

Когда я сказалъ швейцару мою фамилію, онъ вдругъ такъ мнѣ обрадовался, какъ будто я былъ его родной дядя, возвратившійся съ кулями золота изъ Батавіи; онъ засуетился, подалъ мнѣ стулъ, кажется два и послѣ какихъ-то несвязныхъ учтивостей спросилъ меня:

«Такъ это вы, графъ, потеряли портфель?» Ну, хотя я и не графъ, а портфель дѣйствительно потерялъ. «Очень радъ, очень радъ, *oh que je suis content!*»—Я думалъ, что это изъ особой тон-

кой политики министерія для русскихъ посольствъ беретъ швейцаровъ изъ сумасшедшаго дома.

— «Видите, сказалъ онъ, этого человѣка.»

Я оглянулся и увидѣлъ больше, нежели нужно, потому что человѣкъ, на котораго онъ указывалъ, былъ совершенно нагой и только на плечѣ въ должности алмазны болтался клокъ паруса. Это былъ худой, оливковаго цвѣта, породистый лаццарони, лѣтъ 17, съ плоскимъ лбомъ, съ хищными зубами, весь изъ мускуловъ, весь обожженный солнцемъ. Онъ лежалъ у посольскихъ воротъ и, казался, нисколько не заботился о томъ, что дождь накрапывалъ.

— Вижу.

— «Ну онъ то и нашель вашъ портфель».

— Какъ нашель?

— «Онъ тутъ уже часа три лежитъ, ждетъ, чтобъ за вами послали».

— Гдѣ-же портфель?

— «У посланника».

— Доложите ему, что я здѣсь...

— «Его дома нѣтъ. Совѣтникъ посольства тутъ, пожалуйста къ нему, но,—сказалъ швейцаръ тихо и выразительно, отворяя дверь и поглядывая на меня страстнымъ и нѣжнымъ взглядомъ,—но графъ не забудеть, что первую вѣсть о портфелѣ онъ получилъ отъ меня».

— Не забудеть, отвѣчалъ я и взошелъ въ канцелярію. Вскорѣ явился человѣкъ въ шитомъ мундирѣ; зачѣмъ онъ былъ въ шитомъ мундирѣ, я не знаю.

Ни швейцаръ, ни Вальпузо, ни Тофано не сомнѣвались, что я—я. Шитый мундиръ сомнѣвался, я началъ съ нимъ говорить по русски, далъ ему записку всего находящагося въ портфелѣ и разсказалъ ему содержаніе писемъ.

Онъ держалъ портфель въ рукахъ и разсматривалъ бумаги.

— Я не думаю сомнѣваться, но всѣ эти дѣла должны быть подвергнуты нѣкоторымъ формамъ, сказалъ онъ. Не угодно ли вамъ написать въ посольство письмо о потерѣ вашего портфеля и просить содѣйствія императорской миссіи объ отысканіи его. Мы вамъ тогда вашъ портфель и выдадимъ съ свидѣтельствомъ и возьмемъ съ васъ росписку.

— Я полагаю, что съ этого бы можно начать.

— Невозможно, у насъ свой заведенный порядокъ, отъ котораго не отступаемъ безъ крайности, дѣла должны быть подвергнуты нѣкоторымъ формамъ. Вамъ все равно.

— Позвольте листъ бумаги, я здѣсь напишу.

— Съ величайшимъ удовольствіемъ.

И такъ въ виду портфеля я попросилъ посольство сыскать его. А чиновникъ велѣлъ другому чиновнику написать мнѣ отвѣтъ,

«что-де миссія съ удовольствіемъ извѣщаетъ, что вслѣдствіе ея сношеній съ полиціей портфель отысканъ!!»

Я далъ росписку и портфель взялъ. Раскрывая его, я увидѣлъ, что русскіе билеты и пассъ были на лицо, но что не доставало двухъ векселей тысячь на тридцать и кредитнаго письма.

Я позвалъ лаццарони и просилъ швейцара растолковать ему, что я не дамъ ста скуди, пока онъ не принесетъ всего. Онъ бормоталъ свое.

— Я такъ нашель, я вечеромъ нашель, я что нашель, то и принесъ.

— Да гдѣ-же портфель былъ четыре дня?

— Тутъ у старичка, гдѣ мы живемъ, тутъ и былъ.

— Да гдѣ-же этотъ старичекъ?

— За Dogana di sale.

— Поѣдемъ къ нему.

Смертельно не хотѣлось мальчику ѣхать, однако онъ помѣстился на козлы съ кучеромъ. Сцена эта была неподражаема: онъ свой парусъ надѣлъ, какъ русскіе попы носятъ ризу, что его очень мало покрывало, между тѣмъ дождь ливнемъ лилъ; онъ раза два хотѣлъ сойти, но кучеръ изъ нашего отеля, зная въ чемъ дѣло, не пускалъ его.

Лаццарони думалъ, что я его отдамъ въ полицію и совершенно какъ звѣрь косился и поглядывалъ на меня. Дома я засталъ Спины и, поручивъ ему моего однопаруснаго пріятеля, котораго убѣдилъ, что въ полицію не отдамъ, поѣхалъ къ Тофано.

Тофано былъ очень радъ, что портфель нашелся и тотчасъ предложилъ схватить лаццарони.

Я отказался.

— Мы ему ничего не сдѣлаемъ, а только пугнемъ тюремной, онъ завтра все расскажетъ. Полиція теперь не такъ страшна, какъ вы думаете; мы начинаемъ бояться народа, а не народъ насъ, .. прибавилъ префектъ смѣясь.

— Я ему обѣщаль, графъ, что не отдамъ его.

Тофано не настаивалъ, но сказалъ, что, если мнѣ покажется что вѣбудь подозрительнымъ въ домѣ старика или онъ откажется отдать, то что онъ тотчасъ распорядится, а пока лаццарони оставить въ покоѣ.

Спины, я и молодой человекъ отправились къ старичку за Dogana di sale; онъ указалъ въ ворота большого полуразваливащагося дома, мы вѣехали на вонючій и нечистый дворъ. Въ окнахъ болтались грязныя рубашки, трянье; домъ былъ похожъ на запущенныя казармы, на оставленную фабрику.

Мы вошли въ довольно темныя сѣни; на площадкѣ и въ коридорѣ лежали на камняхъ, по которымъ текла какая-то темная,

непрозрачная и подозрительнаго свойства жидкость, нѣсколько лаццарони; все лежало на голыхъ камняхъ, и все было одѣто въ родѣ моего юноши, который отправился за старикомъ, сказавъ намъ, чтобъ дожидаться его тутъ.

Хилой мальчишка лѣниво всталъ съ полу и, почесывая голову, подошелъ ко мнѣ, растопырилъ ноги и сталъ разсматривать меня съ величайшей подробностью.

Старикъ, лежавшій неподалеку, толкнулъ мальчишку ногой, такъ что тотъ отскочилъ шага на три; старикъ грубо прикрикнулъ:

— «Пошелъ къ черту, ну, что лѣзишь, è un pardone!» Но изъ угла послышался сиплой голосъ другого старика: «Siam anché noi padroni—viva l'ugualianza!»

— Viva! отвѣчалъ я демократу.

— «А что, нѣтъ ли съ вами сигаръ?»

— Есть,—и пять-шесть человѣкъ бросилось на меня. Сигары было три.

Явился старикъ. Его физиономія, его рѣчь, его движенія я никогда не забуду. Это типическое лицо. Во-первыхъ, онъ былъ довольно чисто одѣтъ, въ родѣ итальянскаго моряка, низенькой, плечистый, съ небольшими, сверкавшими волчьими глазами, онъ какъ-то смотрѣлъ и не смотрѣлъ, мало говорилъ и все наблюдалъ, что дѣлается. По его недовѣрчивому, пытливому взгляду, по безднѣ морщинъ на лбу и щекахъ, по обдуманности, съ которой онъ говорилъ, по огню, который иногда прорывался изъ глазъ,—можно было догадаться, сколько страстей кипѣло тутъ и сколько борьбы, постоянной борьбы съ обществомъ, онъ вынесъ, борьбы отчаянной изъ-за куска хлѣба, изъ-за крова.

Старикъ началъ говорить на неаполитанскомъ нарѣчїи, который и итальянцамъ трудно понимать; говорилъ, что молодой человѣкъ вечеромъ на улицѣ въ углѣ, нашелъ портфель, что они было такъ его оставили, но увидѣли объявленіе и послали его въ посольство. Можетъ, говорилъ онъ, и были другія бумаги, кто ихъ знаетъ.

Лица наши ободрили его. Онъ сталъ говорить на чистомъ итальянскомъ нарѣчїи.

— Двадцать пять скудовъ я прибавлю. сказалъ я; къ тому-же по векселямъ денегъ получить невозможно. я уже писалъ, и кто явится съ ними, будетъ непременно арестованъ.

— «Разумѣется, съ такими векселями арестуютъ и подѣломъ, какъ же можно, грѣхъ какой... Мнѣ не нужно вашихъ 25 скудовъ, за рюмку хорошаго коньяку я отдалъ бы вамъ. Да гдѣ-же взять бумаги, знаете какое дѣло, тутъ ребятишки... Братцы, продолжалъ онъ, обращаясь къ своимъ товарищамъ, посланнымъ на грязномъ

полу, а слышите, 25 скудовъ прибавки, что не поискать-ли гдѣ,— видите какой добрый баринъ».

— Гдѣ искать черезъ пять дней, отвѣчалъ подземный хоръ, какъ въ Робертѣ.

— «Негдѣ искать», сказалъ старикъ.

Спини разсердился и замѣтилъ:

— Мой другъ съ вами церемонится, вотъ я сейчасъ отправлюсь къ префекту, я знаю теперь вашъ вертепъ, непременно надобно повальный обыскъ сдѣлать, тогда и не то отыщется.

(Старикъ отвѣчалъ ему смиренно:

— «Что-же, мудрено-ли обидѣть бѣдныхъ людей, siamo misereabile gente, беззащитные. Воля начальства, и повальный обыскъ можно сдѣлать,—мы люди маленькіе».

Это была самая торжественная минута старика: говоря смиренно эти слова, у него было въ лицѣ больше, нежели иронія, презрѣніе къ намъ. Въ переводѣ его слова значили—сунься, сунься съ полиціей, много найдешь.

Товарищи его начали что-то поговаривать межъ собой. Спини попробоваль, съ нимъ-ли пистолеть, пистолета не было; мы были довольно далеки отъ двери, и между нами и дверями было еще человѣкъ пять, вновь взошедшихъ лаццарони. Спини посмотрѣлъ на меня, я ему отвѣтилъ сквозь зубы: «у меня ничего нѣтъ».

Легкая улыбка пробѣжала по лицу старика и волчьи глаза сверкнули.

— «Что вы это въ самомъ дѣлѣ толпитесь, сказалъ онъ, люди пришли толковать о дѣлѣ, всякому своего жаль. Видите, какая бѣда, векселя пропали... Что тутъ лѣзть, искали бы лучше вмѣсто того, чтобъ болтаться. Ce son de braves gens, замѣтилъ онъ мнѣ по *французски*—*mais des paresseux*».

Старикъ торжествовалъ, онъ видѣлъ минуту нашей робости послѣ угрозы. Ахъ, эти волчьи глаза!

— Ну, окончимте, сказалъ я ему; вы можете быть увѣрены, что денегъ по векселямъ не получите, это одно упорство, что вы не отдаете. Я даю сто скуди молодому человѣку и 25 вамъ, если принесете. Если нѣтъ, вы не пеняйте на меня. дѣло это извѣстно полиціи. Я даю вамъ срокъ подумать до завтрашняго дня.

Старикъ кланялся, увѣрялъ, что не знаетъ, что и дѣлать, проводилъ насъ до коляски, жалѣлъ и ничего не обѣщалъ.

Путь до Санта Лучіи былъ довольно далекъ, домъ префекта на дорогѣ, я вышелъ на одну минуту изъ коляски, чтобъ рассказать, что было, секретарю префекта, и прямо поѣхать домой.

Представьте себѣ мое удивленіе, когда первое лицо, встрѣтившее меня у отеля, былъ мой старикъ; на тротуарѣ и на мраморныхъ ступеняхъ лежало человѣка четыре, сильно плечистыхъ

лаццарони. На сей разъ къ костюму старика прибавились большіе серебряные очки. Онъ подошелъ ко мнѣ и съ видомъ шестилѣтняго ребенка сказалъ:

— «А я вотъ пришелъ къ вамъ, послѣ васъ мы всѣ углы перешарили, нашли еще какія-то бумаженки, уже не эти-ли? я хотѣлъ было прочитать, да глаза слабы».

Эти бумаженки были два векселя, каждый въ 15.000 франковъ.

— Вотъ давно бы такъ, старикъ. Ну зачѣмъ тратили слова?

— «А вы все не вѣрите: вотъ въ углу лежали, за кроватью,— ты вѣдь за кроватью нашелъ. Бепо?»

— За кроватью, отвѣчалъ Бепо, лежа на брюхѣ и отогрѣвая спину каленымъ солнцемъ.

— Хорошо, хорошо, вамъ двадцать пять и ему сто; да я было забылъ, вы хотѣли рюмку хорошаго коньяку, пойдѣмте, я вамъ отдамъ деньги и выпьемъ вмѣстѣ отличнаго коньяку.

— «Ну, коли вамъ все равно, отвѣчалъ старикъ, такъ ужъ прикажите слугѣ сюда вынести рюмку,—я старъ, поясница болить по лѣстницамъ ходить».

Я расхохотался. Онъ намъ платилъ той же монетой и не очень довѣрялся.

Этимъ дѣло и кончилось. Но для полноты картины надобно себѣ представить семнадцатилѣтняго дикаго мальчика, одѣтаго въ парусъ, когда я ему далъ сто скуди серебромъ. Онъ не зналъ, куда ихъ дѣть, у него не было ни кармана, ни тряпки. Старикъ, отечески улыбаясь, сказалъ ему: «ты все растеряешь, дай-ка я тебѣ довесу до дому».

Я увѣренъ, что мальчику больше десяти скудовъ не досталось.

Письмо восьмое.

Римъ, 3 марта, 1848.

Мы поспѣли и здѣсь къ концу карнавала. Онъ шелъ вяло, плохо, всѣ заняты другимъ, вниманіе всѣхъ обращено на иное, печальныя вѣсти изъ Ломбардіи мѣшаютъ маскамъ, mascoletti совсѣмъ не были. Сегодня заходилъ ко мнѣ редакторъ «Эпохи» съ вѣстью, что Парижъ вспомнилъ, что онъ Парижъ, что строятъ барикады и дерутся.

4 марта, утромъ.

Ночью я былъ на маскарадѣ въ Торъ-ди-Ноне. Часу во второмъ въ одной ложѣ какой-то человѣкъ махалъ платкомъ и подавалъ знакъ, что онъ хочетъ говорить, всѣ обратились къ нему.

«Romani!» закричалъ онъ, сейчасъ получена вѣсть изъ Чи-

виты, что парижане выгнали Людовика Филиппа, республика провозглашена!»

— Viva la republica Francese! Viva la Francia libera! закричали въ залѣ, morte al caduto malgoverno, viva, viva sempre la republica!

Во снѣ это, или на яву? Событія съ каждымъ днемъ густѣютъ, становятся энергичнѣе и важнѣе, усиленный пульсъ исторіи постукиваетъ лихорадочно, личные взгляды и ощущенія теряются въ величинѣ совершающагося. Писать нѣтъ ни малѣйшей охоты. А потому прощайте.

20 апрѣля.

Удивительное время. У меня дрожить рука, когда я принимаюсь за газеты: всякой день какая-нибудь неожиданность, какойнибудь громовый раскатъ; или свѣтлое воскресенье или страшный судъ возлѣ. Новыя силы пробудились въ душѣ, старыя надежды воскресли и какая-то мужественная готовность на все снова взяла верхъ.

На-дняхъ я оставляю Римъ. Расскажу наскоро, что здѣсь было въ продолженіе послѣдняго мѣсяца. Вѣсть о провозглашеніи французской республики сильно потрясла всю Италію, Римъ явнымъ образомъ становился республиканскимъ городомъ. А Пій IX въ это время издавалъ тощую и уродливую конституцію — troppo tardi, St. Padre, troppo tardi! Она была принята холодно, она не удовлетворяла ни прогрессистовъ, ни іезуитовъ. Григоріанцы кричали противъ нея такъ же громко, какъ друзья Маццини. Одна золотая посредственность была довольна, я говорю о либералахъ, о тѣхъ либералахъ, которые, какъ выразился одинъ берлинскій депутатъ, любятъ одинъ *умѣренный* прогрессъ, и въ немъ больше умѣренность, нежели прогрессъ.

Конституція Пія хуже неаполитанской, уродливая смѣсь католической теократіи съ англійскимъ представительствомъ. Папа и святой коллегіумъ могутъ отвергать всякое предложеніе двухъ камеръ, инквизиція и доминикальные суды остались; дозволялось печатать *все свѣтское* безъ цензуры, но рѣшеніе вопроса, что свѣтское, что духовное, предоставлялось цензурѣ; раздѣленіе очень трудное тамъ, гдѣ министры—кардиналы, гдѣ папа—царь, гдѣ финансовыя мѣры—чуть не догматы и полицейскія распоряженія оканчиваются эпитимією. Самое лучшее въ конституціи было то, что она доказала міру *возможность* конституціоннаго папы; впрочемъ, она доказала это въ то время, какъ міръ, съ своей стороны, сталъ догадываться, что *никакого* папы не нужно.

Пій IX былъ очень недоволенъ приѣмомъ уложенія; онъ видѣлъ, что теряетъ послѣднюю популяриность, а для человѣка, испытавшаго любовь народную, не легко ее потерять. Одно могло примирить папу съ народомъ и загладить все сдѣланное, — ему

сдѣловало объявить войну за Ломбардію и послать папскаго гон-
фалюньера во главѣ новаго крестоваго похода. Но поступить смѣло,
сказать рѣзкое слово войны,—это было несомнѣнно съ женскимъ
характеромъ Пія. Все, что Пій IX дѣлалъ послѣ амнистіи и за-
кона о чивикѣ, было дѣлано днемъ позже, нежели надобно, и по-
этому не имѣло никакой цѣли. Далъ бы онъ конституцію тотчасъ
послѣ неаполитанскаго возстанія, она была бы принята съ востор-
гомъ: Пій IX медлилъ, ждалъ и дождался 24 февраля,—всѣ кон-
ституціи въ мірѣ поблѣднѣли передъ республикой во Франціи.
Въ самую яркую минуту политическаго увлеченія въ Римѣ, онъ
обнародовалъ свою дрянную конституцію, да еще прибавилъ въ
манифестѣ, что онъ ее издалъ, «побуждаемый быстротою несущихся
событій».

Точно тоже сдѣлалъ онъ въ отношеніи къ войнѣ. Новости изъ
Ломбардіи были мрачны, австрійцы, видя неминуемое возстаніе Ми-
лана, душили его, во всей Италіи былъ одинъ крикъ—идти на по-
мощь Милану; всякой разъ, когда на римскихъ торжествахъ явля-
лось знамя Ломбардіи, покрытое чернымъ крѣпомъ, его привѣтство-
вали съ изступленіемъ. Всѣ люди послѣдовательные, люди, не шутя
хотѣвшіе независимости Италіи и неудовлетворявшіеся кокардами
и демонстраціями, требовали войны, ожидали ея. Слухи о томъ, что
въ Миланѣ все готово къ возстанію, о новыхъ мѣрахъ австрійцевъ
ясно доказывали, что часъ войны пробилъ. Пій IX молчалъ.

Размолвка съ папой была внутри душъ, его щадили, его вы-
носили на своихъ плечахъ; теперь радикальная партія поняла,
что съ нимъ не сладишь и что легче дѣлать безъ него, чѣмъ съ
нимъ; теперь она отняла свою руку и предоставила его судьбѣ.
Когда папа замѣтилъ, что волна, его подхватившая, не покоряется
ему, когда онъ увидѣлъ, что языкъ, которымъ съ нимъ говорили
римляне, измѣнился, онъ растерялся, у него закружилось въ го-
ловѣ, онъ хотѣлъ остановиться и не дѣлать шагу впередъ. Поли-
тическому дѣятелю остановиться и съ тѣмъ вмѣстѣ остаться на
своемъ мѣстѣ — невозможно, тутъ выбора нѣтъ: или надобно со-
всѣмъ отойти отъ несущихся событій, или безславно удариться о
земь и быть раздавленнымъ или увлекаемымъ противъ воли.

Послѣднее случилось съ Піемъ. Сначала попробовали иезуиты
и кардиналы увлечь его въ полную реакцію; они его увѣрили,
что Римъ наканунѣ возстанія; бѣдный папа издалъ приказъ чи-
викѣ, которой поручалъ жизнь и собственность своихъ римлянъ,
въ то время какъ въ городѣ все было такъ же покойно, какъ те-
перь. Одно, и это одно я ставлю въ великое достоинство Пію:
сколько ни старались иезуиты, папа не хотѣлъ прибѣгнуть къ ди-
кимъ средствамъ насилія, тюремныхъ заключеній, преслѣдованій
силою. Папа хотѣлъ все уладить дипломатически и увѣщаніями;

но есть событія, есть эпохи, въ которыя всякая хитрость, всякая дипломатія ломается силою стремящагося потока. Пока иезуиты приготовляли толпу къ тому, чтобъ вырѣзать особенно вліятельныхъ людей радикальной партіи, пока они наушничали папѣ и стращали его, совершилось событіе, котораго никто не ждалъ — вѣнская революція.

Вѣсть эта, пришедшая въ Римъ почти вмѣстѣ съ вѣстью о возстаніи въ Миланѣ, произвела больше волненія, нежели самая вѣсть о 24 февралѣ. Народъ требовалъ, чтобъ ударили въ колокола, и праздничный звонъ раздался въ Римѣ; онъ требовалъ, чтобъ крѣпость S. Angelo привѣтствовала пушечной пальбой паденіе австрійскаго правительства и возстаніе Ломбардіи, и пушечный громъ раздался. Кажется, всѣ власти въ Римѣ въ этотъ день забыли, что есть другой господинъ, кромѣ народа; объ другомъ господинѣ никто не думалъ, а волю того, который приказывалъ пятидесятью тысячами голосовъ, исполняли безпрекословно.

Корео, всѣ большія улицы и площади были покрыты народомъ. Кто-то предложилъ идти къ Palazzo Venezia и снять австрійскій гербъ, уничтожить эту ненавистную двуглавою птицу на домѣ посла — questo ucello grifagno; всѣ ринулись туда. Достали лѣстницы, влѣзли и пошла работа; снять тяжелые гербы, прибитые очень высоко, было не легко. Плечистый работникъ съ длинной бородой залѣзъ на гербъ и исчезъ, по временамъ раздавались удары топора, трое молодыхъ людей помогали ему; наконецъ, огромный щитъ, гремя цѣпями, которыми былъ прикрѣпленъ, рухнулъ на землю, работникъ привязалъ на его мѣсто ломбардское знамя. Народъ бросился съ остервѣненіемъ на гербъ, все наболѣвшее на душѣ, все накопившееся противъ Австріи выразилось въ злобѣ, съ которой топтали, ломали ненавистный гербъ притѣсненія, деспотизма и мертвящаго statu quo.

Но этимъ еще не кончилась казнь in effigie. Гербъ привязали къ хвосту осла и отправились торжественнымъ шествіемъ по Корео; свистъ и крикъ встрѣчалъ и провожалъ бѣдную двуглавою птицу; мальчишки бѣжали за ней, подстегивая и бросая грязью; на Piazza del popolo щитъ сожгли на огромномъ кострѣ и музыка чивики протрубила ему вѣчную память.

Папа медлилъ и тутъ. Допустивши колокольный звонъ и пушечную пальбу, не сдѣлавъ даже виду противудѣйствія оскорбленію австрійскаго герба,—онъ обсылался теперь съ посломъ; въ то время, какъ «Эпоха» вечеромъ печатала: *la guerra è dichiarata all'Austria, non dal governo, ma dal popolo Romano*. На другое утро почта изъ Милана не пришла, волненіе усилилось. На третій день разнесся слухъ, что австрійцы одолѣвають... Тогда раздался новый крикъ *all'armi, all'armi!*

Народъ хотѣлъ начать свои военные подвиги съ римскаго арсенала: тутъ въ первый разъ сталъ онъ обвинять папу въ томъ, что онъ дѣйствуетъ за одно съ Австріей. Министры, особенно Галетти, убѣдили Пія IX уступить народному желанію и дать ему оружія: они ему доказали, что правительство рѣшительно не имѣетъ средствъ противудѣйствовать. Папа все сдѣлалъ нѣ хотя, безъ теплаго слова, уклончиво.

Галетти прискакалъ на первомъ извозчикѣ, который ему попался на Piazza del popolo съ вѣстью и объявилъ, что распоряженіе сдѣлано на счетъ раздачи оружія. Вѣсть эта, разумѣется, была принята съ восторженными криками. Вслѣдъ за Галетти показалась у фонтана возлѣ обелиска толстая, но довольно красивая фигура священника, онъ требовалъ рѣчи. «Римляне, скажите мнѣ, въ Колизей! Въ Колизей васъ ждутъ ломбарды; тамъ приготовлена книга, въ которую желающіе идти на войну могутъ записываться, времени терять нечего. За мной, въ Колизей!». Народъ разступился, чтобъ дать пройти отцу Гавацци и пошелъ за нимъ въ Колизей мѣрнымъ и важнымъ шагомъ, гордо забрасывая край грязной шинели на плечо.

Зрѣлище въ Колизей было поразительное. Дѣло шло къ вечеру, заходящее солнце яркими полосами входило въ арки; несметная толпа народа покрывала середину; на аркахъ, на стѣнахъ, въ полуобвалившихся ложахъ, вездѣ сидѣли, стояли, лежали люди. Въ одной изъ выдающихся ложъ былъ Pater Gavazzi, усталый, обтирая потъ,—но готовый снова говорить. Тутъ я слышала его рѣчь слово отъ слова, это настоящій народный ораторъ: простота, энергія, сильный голосъ, рѣзкіе жесты и притомъ добродушный видъ.

«Есть время, говорилъ онъ, когда Богъ мира становится Богомъ войны; на груди моей возлѣ распятія трехцвѣтная карта освобожденія. Клянусь передъ этимъ распятіемъ идти впередъ, дѣлать все ваши труды, все опасности,—раненый найдетъ меня для помощи, умирающій для послѣдняго утѣшенія, для молитвы объ немъ; даже тотъ, кто оробѣетъ, найдетъ мой ободряющій взглядъ, мой примѣръ.» Въ этомъ родѣ онъ говорилъ больше часу, его рѣчь электризовала массы, онъ зналъ свою аудиторию, нѣвыя фразы его покрывались криками восторга. «Юноши Рима, вамъ я чуть было не забылъ сообщить радостную вѣсть: мы предложили начальникамъ вольныхъ отрядовъ васъ поставить въ первые ряды. Вы первые сразитесь за свободу Италіи и, падая, будете думать о томъ, что защищаете собою отцовъ семейства: во падуть нѣсколько чистыхъ и великихъ жертвъ, остальные изъ васъ первые взойдутъ на непріятельскія стѣны съ хоругвию освобожденія,—мы тамъ увидимся, до свиданія!»

Велѣдъ за Гавацци явился Чичероваккіо, онъ держалъ за руку прелестнаго отрока, лѣтъ пятнадцати, снялъ свою шляпу, поклонился народу съ своей простонародной граціей, велѣлъ мальчику снять шляпу и сказалъ:

— «Мнѣ очень хотѣлось идти въ Ломбардію»... Гавацци и другіе, стоявшіе на трибунѣ, перебили его словами:

— Анжело Брунетти долженъ остаться здѣсь, намъ легче будетъ тамъ, когда онъ будетъ здѣсь.

— «Да, продолжалъ il popolo, я не могу идти... Ну, что же я сдѣлаю для войны, Romani? У меня есть сынъ, è mio sangue, я его отдаю отечеству, пусть онъ идетъ въ первыхъ рядахъ.» Онъ обнялъ юношу. Гавацци пожалъ руку Чичероваккіо—и утеръ слезу. Народъ грянулъ Viva Cisegovaschio! Раздраженный и взволнованный съ утра, я не вытерпѣлъ, слезы катились у меня градомъ—и верите-ли?—теперь, вспоминая, я плачу. Это одна изъ лучшихъ минутъ того времени ¹⁾.

Подъ одной изъ арокъ сидѣли нѣсколько человѣкъ за столомъ, покрытымъ сукномъ и осѣненными знаменами Ломбардіи и Италіи; тутъ толпилась молодежь записываться, каждому давали для отмѣтки кокарду; на дворѣ смерклося, зажгли факелы около этого страннаго *рекрутскаго набора*; народъ остался въ полутемнотѣ, вѣтеръ качалъ знамена, испуганныя птицы, не привычныя къ такимъ посѣщеніямъ, кружились надъ головой,—и все это обнятое исполинской рамой Колизея...

Многія матери не дочлись въ этотъ день своихъ сыновей. Одинъ изъ редакторовъ «*Эпохи*» рассказывалъ мнѣ, что когда онъ воротился въ редакцію, онъ нашелъ на столѣ письмо къ одному изъ собственниковъ журнала; нисколько не подозрѣвая содержанія, редакторъ занесъ ему его; письмо было отъ семнадцатилѣтняго молодого человѣка къ своему отцу, онъ писалъ: «Любезные родители, вашъ Титъ записался въ ополченіе; простите меня, я чувствовалъ, что не нашелъ бы силы разстаться съ вами, если-бъ и пришелъ проститься и увидѣлъ ваши слезы,—я поступилъ въ ломбардскій отрядъ, который нынче отправляется на почтовыхъ.»

На третій день, часу въ четвертомъ утра меня разбудилъ барабанный бой; я открылъ окно, первые вольные отряды выступали; разумѣется, объ мундирахъ никто и не думалъ: ранецъ, ружье, тесакъ, патронташъ и большая кокарда на шляпѣ соста-

¹⁾ Послѣ взятія Рима, Чичероваккіо и его сынъ отправились въ Ломбардію; Гарибальди дѣлалъ тамъ послѣднія усилія съ своими легионерами противустоять лавинѣ бѣлыхъ мундировъ, отступая какъ раненый левъ. Среди этихъ битвъ безслѣдно исчезаетъ Чичероваккіо и его юноша; въ 1856 открылось только, что герой Popolano и мученикъ сынъ были расстрѣляны безъ всякаго суда австрійскими офицерами! (1858).

вляли всю форму. Народъ провожалъ ихъ, ополченцы, вѣроятно, гуляли всю ночь, у нѣкоторыхъ были еще зажженные факелы, патерь Гавацци шелъ впередъ. На Piazza del popolo ударили сборъ, построили ратниковъ въ колонну, полковникъ объѣхалъ верхомъ ряды; все вмѣстѣ было что-то не весело и сумрачно, небо было покрыто тучами, рѣзкій холодный утренній вѣтеръ дулъ передъ восхожденіемъ солнца, женщины плакали, мужчины жали руки, цѣловались.

Трррр - рамъ - тамъ, тамъ, трррр - рамъ, колонна двинулась, а жители стали расходиться, у всѣхъ было тяжело на душѣ, всѣ приуныли, всѣ думали, сколько то воротится изъ этихъ свѣжихъ, молодыхъ людей, и кто именно воротится. Война свирѣпое, отвратительное доказательство безумія людского,—а человѣчеству еще придется подраться, прежде возможности мира!

На всѣхъ площадяхъ выставлены большіе столы для приношенія вещей и денегъ; приносятъ бездну, и видѣлъ золотыя и серебряныя вещи, мѣдныя баюкки, и груды скудовъ на Piazza Colona.

Пій IX дозволялъ отправиться волонтерамъ, но не приказывалъ (какъ объясняла официальная газета), ибо святой отецъ не считаетъ *совмѣстнымъ со своимъ званіемъ объявить войну*. Странное явленіе въ исторіи этотъ Пій IX: два-три благородныхъ порыва, два-три человѣческія дѣйствія поставили его во главу итальянскаго движенія, окружили его любовью, ему стоило только продолжать, по крайней мѣрѣ, не мѣшать; нѣтъ, слабыя плечи его ломаются подъ тяжестью великаго призванія. Онъ стоитъ на рубежѣ двухъ сильныхъ потоковъ, и то одинъ уноситъ его съ собою, то другой. Великая судьба его его преслѣдуетъ, навязываетъ ему свои дары, а онъ упорно отказывается, вредитъ дѣлу и себѣ. Пусть бы онъ удалился куда-нибудь! Изъ благодарности за свѣтлыя минуты начальнаго risorgimento, память его осталась бы не запятанною, не осмѣянною. Пора, наконецъ, понять, что невозможно быть папой и человѣкомъ, что тутъ есть неразрѣшимый антагонизмъ.

Я былъ на площади св. Петра, когда папа глубочайшимъ образомъ оскорбилъ ополченье, отказываясь благословить знамя ихъ. Есть въ жизни торжественныя минуты, требующія такой полноты и такого сочетанія всѣхъ элементовъ, минуты, въ которыя такъ натянуты всѣ нервы, всѣ чувства,—что малѣйшая неудача, малѣйшій несозвучный тонъ, который въ обыкновенное время прошелъ бы едва замѣченнымъ, страшно дѣйствуетъ, огорчаетъ, сердитъ. Именно въ такую-то минуту св. отецъ и оскорбилъ римлянъ. Дѣло кончилось тѣмъ, что благословеніе украли: начальники колонны подошли подъ благословеніе Пія, когда онъ выхо-

диль изъ кареты, у нихъ въ рукахъ были знамена; Пій благословилъ ихъ, а не знамена!

Я смотрѣлъ на всю эту комедію и отъ души желалъ этому благонамѣренному старику или этой старой бабѣ, называемой Pio popo, не только честной, но и скорой кончины, для того, чтобъ онъ могъ дать добрый отвѣтъ на страшномъ судилищѣ исторіи.

Послѣ выхода волонтеровъ, въ числѣ которыхъ ушла доля чивики, Римъ опустѣлъ, сдѣлался еще угрюмѣе; весна поддерживала нервное раздраженіе столько-же, сколько ломбардскія новости. Сообщенія были отрѣзаны войною; ожиданіе, страхъ волновали всѣхъ; на улицахъ вслухъ читались журналы, мальчишки бѣгали съ новостями и кричали: *la disfatta di Radetzky—un baiocco—un baiocco per la disfatta degli Austriachi—la fugitta del arciduca Raniero—un baiocco e mezzo! la repubblica proclamata in Venezia, e viva il leono di S. Marco! due, due baiocchi!*—Съ утра бѣжишь на Корсо слушать выдуманныя и невыдуманныя новости, и вѣришь и не вѣришь; а тутъ каждая иностранная газета приноситъ одну вѣсть мудренѣе другой. Такимъ взволнованнымъ, оживленнымъ и ждущимъ обыкновеннаго, ѣду изъ Рима.

Что то будетъ изъ всего? Прочно-ли все это? Небо не безъ тучъ, временами вѣтетъ холодный вѣтеръ изъ могильныхъ склеповъ, нанося запахъ трупъ, запахъ прошедшаго; историческая Трамонтана сильна, но чтобъ ни было,---благодарность Риму за пять мѣсяцевъ, которые я въ немъ провелъ. Что прочувствовано, то останется въ душѣ и всего совершеннаго не сдуетъ-же реакція!

Письмо девятое.

Парижъ, 10 іюня, 1848 г.

Снова, любезные друзья, настаетъ время воспоминаній о быломъ, гаданій о будущемъ,—небо опять покрыто тучами, въ душѣ злоба и негодованіе... Мы обманулись, мы обмануты. Трудно признаваться въ этомъ, будучи тридцати пяти лѣтъ.

Пятнадцатаго мая сняло съ моихъ глазъ повязку, даже мѣста сомнѣнію не осталось,—революція побѣждена, вслѣдъ за нею будетъ побѣждена и республика. Трехъ полныхъ мѣсяцевъ не прошло послѣ 24 февраля, «башмаковъ еще не успѣли износить» ¹⁾, въ которыхъ строили баррикады, а ужъ Франція напрашивается на рабство, свобода ей тягостна. Она опять совершила шагъ для себя, для Европы и опять испугалась, увидѣвши на дѣлѣ то, что звала на словахъ, за что готова была проливать кровь.

¹⁾ Гамлетъ объ своей матери.

Я былъ пятнадцатаго мая съ утра до ночи на улицѣ, я видѣлъ первую колонну народа, пришедшую къ камерѣ, я видѣлъ, какъ ликующая толпа отправилась изъ собора къ ратушѣ, я видѣлъ Барбеса въ окно Hôtel de Ville, я видѣлъ кровавадную готовность національной гвардіи начать рѣзню и торжественное шествіе побѣдоноснаго Ламартина и побѣдоноснаго Ледрю-Роллена изъ ратуши въ собраніе. Спасители отечества, изъ которыхъ одинъ подъ рукою помогаль движенію, а другой кокетничаль съ монархистами, ѣхали верхами безъ шляпъ, провожаемые благословеніями буржуазіи. Барбесъ и его товарищи отправились въ то же время, осыпаемые проклятіями, въ тюрьму. Собраніе побѣдило, монархической принципъ побѣдилъ. Часовъ въ девять вечера я пришелъ домой. Горько мнѣ было. Дома я засталъ одного горячаго республиканца, онъ тогда завѣдываль меріей XII округа.

— «Республика ранена на смерть, ей остается теперь умереть», сказалъ я ему.

— Allons donc! замѣтилъ мой демократъ, съ тѣмъ французскимъ легкомысліемъ, которое въ инныя минуты бываетъ возмутительно.

— «Ну, такъ ступайте за вашимъ ружьемъ и стройте баррикады».

— Nous n'en sommes pas encore là, придетъ время, построимъ и баррикады. Собраніе ничего не осмѣлится сдѣлать.

Мой пріятель могъ на досугъ взвѣснить истину своихъ словъ: его схватили, когда онъ шелъ домой и отправили въ Консьержри ¹⁾.

Когда я въ Римѣ читаль списокъ членовъ временнаго правленія, меня разбираль страхъ: имя Ламартина не предвѣщало ничего добраго; Марасть былъ прежде извѣстенъ за большаго интригана; потомъ эти адвокаты, эти неизвѣстности; одинъ Ледрю-Ролленъ будто что-то представляль; Луи Бланъ и Альберъ стояли особю,—что было общаго между этими людьми? Потомъ огромность событій заслонила лица. Вдругъ они напомнили о себѣ, одни тайной измѣной, другіе явной слабостью. Отдавая обстоятельствамъ то, что имъ принадлежитъ, мы не покроемъ однако ими людей, люди тоже факты и пусть несутъ отвѣтственность за свои дѣла. Кто ихъ заставляль выйти на сцену, взяться своими слабыми руками за судьбы міра; гдѣ ихъ призваніе, гдѣ помазаніе? Если они и уйдутъ отъ желѣзнаго топора, то не уйти имъ отъ топора исторіи.

Съ какимъ восторгомъ летѣлъ я снова въ Парижъ! Какъ было не вѣрить въ событіе, отъ котораго потряслась вся Европа, въ событія, на которыя отвѣчала Вѣна, Берлинъ, Миланъ. Но Франція назначена всякой разъ излечивать меня отъ надеждъ и заблужденій.

¹⁾ Гдѣ я его видѣлъ въ 1851 году.

Въ Марселѣ я прочелъ о страшномъ усмирении руанскаго возстанія; это была первая кровь послѣ 24 февраля, она пророчила дурное...

Пятаго мая мы пріѣхали въ Парижъ.

Онъ много измѣнился съ октября мѣсяца. Меньше пышности, меньше щегольской чистоты, богатыхъ экипажей,—больше народнаго движенія на улицахъ; въ воздухѣ носилось что-то рѣзкое и возбужденное, со всѣхъ сторонъ вѣяло девяностыми годами, чувствовалось, что революція вчера пронеслась по этимъ улицамъ. Толпы работниковъ окружали своихъ ораторовъ подъ тѣнью каштановъ въ Тюльерійскомъ саду; деревья свободы на всѣхъ перекресткахъ; часовые въ блузахъ и пальто; косидеровскіе монтаньяры съ большими красными отворотами и съ сильно республиканскими, театрално воинственными лицами ¹⁾, расказывали по улицамъ; стѣны были облѣплены политическими афишами: изъ оконъ Тюльери выглядывали раненые герои баррикадъ въ больничныхъ шинеляхъ и съ трубкой въ зубахъ; на бульварахъ и большихъ улицахъ толпы мальчиковъ и дѣвочекъ продавали съ крикомъ и съ разными шалостями журналы, прокламаціи. Знаменитый крикъ: *Demandez la grrr-ande colère du Père Duchêne,— un sou—il est bigrrr-ement en colère le père Duchêne, un sou— cinq centimes!* раздавался между сотнею новыхъ. Мелкая торговля, отталкиваемая въ дальніе кварталы и переулки чопорной полиціей Дюшателя, разсыпалась по бульварамъ и Елисейскимъ полямъ, придавая имъ цыганскую пестроту и удвоенную жизнь. При всемъ этомъ не было слышно ни о какихъ беспорядкахъ и середь ночи можно было ходить по всему Парижу съ величайшей безопасностью.

Собрание открылось наканунѣ моего пріѣзда, это не было торжественное, полное надеждъ открытіе 89 года. Народъ парижскій и клубы встрѣтили его съ недовѣріемъ, правительство презирало его въ душѣ; всѣ отгѣнки политическихъ партій, не соглашаясь ни въ чемъ, были согласны, что это собрание ниже обстоятельствъ; нравственное 15 мая было совершено въ совѣсти у всѣхъ за десять дней. Горестна судьба собранія, которое было ненавидимо прежде, нежели успѣло сказать слово; для того, чтобъ ком-

¹⁾ Игра въ солдаты и страсть рядиться въ мундиръ и придавать себѣ видъ свирѣпыхъ «трупье» обща всѣмъ французамъ. Ледрю-Ролленъ, отдавая разъ приказаніе генералу Курте о сборѣ національной гвардіи на смотръ, прибавлялъ: «Употребите ваше содѣйствіе, чтобъ офицеры штаба не скакали непрерывно во весь опоръ, взадъ и впередъ, по улицамъ, придавая Парижу видъ города, осаждаемаго непріятельскимъ войскомъ.» Отчасти все это остатки уродливой имперіи, сильно исказившей старую Францію революціонную, но отчасти эти наклонности принадлежать самому народу.

прометировать представителей, генераль Курте, кажется, или Косидьеръ заставилъ ихъ выйти на перистиль и передъ народомъ провозгласить республику.

Начальныя засѣданія, ожидаемыя съ страшнымъ нетерпѣніемъ, поразили всѣхъ своей необычайной безцвѣтностью; характеръ собранія ярко обозначался при этомъ первомъ приѣмѣ за дѣло: оно бросилось въ подробности, занялось вопросами второстепенными, адвокатскій, прокурорскій и доктринерскій тонъ прежнихъ камеръ остался въ національномъ собраніи. Положимъ, что вопросы, которыми собраніе занималось, были дѣльны, но мало-ли на свѣтѣ дѣльнаго; попавши на эту дорогу, можно работать года два-три, до поту лица и не разрѣшить ни одного изъ тѣхъ вопросовъ, которые дають рѣзкой тонъ, дѣлають переворотъ и впередъ рѣшаютъ тысячу второстепенныхъ вопросовъ.

Національное собраніе, слѣдуюа благородной поговоркѣ *charité bien ordonnée*, тотчасъ вотировало своему президенту право призывать національную гвардію не только парижскую, но и изъ департаментовъ на защиту собранія. Оно боялось. Трусость—одна изъ самыхъ выдающихся сторонъ его; собраніе чувствовало ложность своего положенія, оно видѣло, что не представляетъ ни народъ, ни революцію, ни даже реакцію, что дѣйствительной почвы у него нѣтъ; что Парижъ, народъ и роялисты не за него; что за него часть мѣщанъ, прѣсные реакціонеры, помѣшанные на идеѣ вѣдшаго порядка,—и больше никого; что въ немъ уважають не его, а первый результатъ всеобщей подачи голосовъ...

Ламартинъ явился передъ собраніемъ временнаго правительства съ отчетомъ; онъ велъ подъ руку честнаго, но выжившаго изъ ума Дюпонъ де Лѣра, показывая, что онъ только подставъ преклоннаго и уважаемаго старца. Ламартинъ говорилъ своимъ извѣстнымъ напыщеннымъ слогомъ; его рѣчи похожи на взбитыя сливки. кажется, берешь полную ложку въ ротъ, а выйдетъ нѣсколько капель молока съ сахаромъ; для меня онъ несносенъ на трибунѣ, французы удивляются ему,—стало, онъ оправданъ вполнѣ. Ламартинъ смирялся передъ собраніемъ, льстилъ ему, называлъ его владыкой и самодержцемъ. Собраніе было довольно и предложило вотировать, что временное правительство заслуживаетъ благодарность отечества; оно терпѣть не могло временнаго правительства, особенно трехъ членовъ его: Ледрю-Роллена, Луи-Блана и Альбера, но хотѣло заплатить за учтивость учтивостью и на починѣ сказать спасибо правительству за его смиренный видъ. Кажется, это пройдетъ безъ спора,—вышло не такъ.

Барбесъ потребовалъ рѣчи. Его появленіе на трибунѣ сдѣлало сильное впечатлѣніе; всѣ ждали съ нетерпѣніемъ, что онъ скажетъ: такіе люди даромъ не говорятъ. Барбесъ, котораго остро-

умная «Сѣверная Пчела» не иначе называетъ, какъ «каторжникъ и убійца», пользуется огромнымъ преимуществомъ людей, которыхъ твердость и чистота выше всякаго подозрѣнія; его убѣжденія были ненавистны собранію, его личность, его прошедшее, его извѣстность, его долгія страданія, такъ героически вынесенныя, внушали неловкое, досадное, но непреодолимое уваженіе. Барбесъ считалъ нужнымъ, прежде нежели собраніе покроетъ своей благодарностью всѣ дѣйствія правительства, потребовать у него отчета во многомъ. «Я протестую, говорилъ онъ, противъ ряда дѣйствій, вслѣдствіе которыхъ оно лишилось народности. Вы помните руанскія... *убійства?*..» При словѣ *убійства* неистовый крикъ à l'ordre! перебилъ оратора. Дальше мѣщане не могли слушать: кровь убитыхъ ими или ихъ товарищами подымалась имъ въ голову, не какъ угрызеніе совѣсти, а какъ ободреніе продолжать, если не дѣломъ, то симпатіей, то оправданіемъ. Ораторъ выждалъ окончаніе бури и продолжалъ, спокойно и гордо глядя на парламентскую чернь: «я говорю объ *убійствахъ*, сдѣланныхъ національной гвардіей въ Руанѣ». Снова шумъ... «Я напомнимъ вамъ колонны поляковъ, белговъ, нѣмцевъ, преданныхъ на истребленіе. Когда эти вопросы уяснятся, будемъ благодарить правительство, но не прежде; до тѣхъ поръ, я протестую противъ этой благодарности *во имя народа*».

Въ послѣднихъ словахъ лежало много смысла для тѣхъ, кто знали авторитетъ Барбеса на клубы и на весь революціонный Парижъ; но увлеченное собраніе хотѣло, однако, наказать смѣлаго республиканца, оно вотировало тотчасъ и почти единогласно благодарность децемвирамъ.

Барбесъ остался съ десяткомъ своихъ друзей противъ всего собранія; грустно и задумчиво качая головой, сѣлъ онъ на свое мѣсто и замолчалъ до 15 мая ¹⁾. Отблагодаривши временное правительство, собраніе назначило исполнительную комиссію изъ пяти человекъ; комиссія составила министерство изъ журнальныхъ поденщиковъ National'я, прибавивъ къ нимъ знаменитаго стенографа Флокона, какъ образчикъ Reforme. Луи Бланъ и Альберъ были отстранены отъ правительства; слово социализмъ дѣлалось уже клеймомъ, которымъ обозначали людей, отверженныхъ мѣщанскимъ обществомъ и преданныхъ на всѣ полицейскія преслѣдованія. Собраніе не хотѣло слышать о министерствѣ работъ. Члены исполнительной комиссіи потеряли всякое довѣріе искреннихъ республиканцевъ выборомъ министровъ, на нихъ смотрѣли какъ на ренегатовъ или какъ на орудіе интригъ Мараста,

¹⁾ Барбесу отвѣчалъ Сенаръ, защищая руанскую бойню; онъ этой рѣчью рекомендовался Парижу и остался вѣренъ своимъ убѣжденіямъ.

который, сидя у себя въ мерѣ, передергивалъ людей и подсовывалъ своихъ корректоровъ и батырщиковъ.

Четвертаго мая открылось собраніе, десятаго оно было ненавидимо всѣмъ Парижемъ, исключая партіи National'я и тупорожденныхъ либераловъ. Демократическіе клубы вотировали поздравленія Луи Блану и Альберу. Самыя случайности дѣлали несчастное собраніе еще болѣе нелюбимымъ и смѣшнымъ; такъ напр., упорное отвращеніе Беранже отъ званія представителя, его вольтеровскія письма объ этомъ, его мольбы пощадить его сѣдины, унизили собраніе всею славою любимаго народнаго поэта. Послѣ десятаго мая всѣ ожидали чего-то, всѣмъ казалось невозможнымъ, чтобъ эта торговая баня, чтобъ этотъ толкучій рынокъ могъ стоять во главѣ Франціи и Парижа. Журналы были полны укора, въ кафе, на улицахъ всѣ говорили съ жаромъ противъ собранія, на площадяхъ и углахъ улицъ собирались всякой день группы, въ клубахъ дѣлались (какъ говорятъ роялисты) *зажигательныя* предложенія, произносились судорожныя рѣчи. Такъ подошло *пятнадцатое мая*.

Пятнадцатое мая было великимъ протестомъ Парижа противъ устарѣлаго притязанія законодательныхъ собраній на самодержавіе, за которымъ пряталась реакція и весь дряхлый общественный порядокъ. Чего не осмѣлился сдѣлать Робеспьеръ 8 термидора, передъ чѣмъ онъ, передовой человѣкъ революціи 93 года, остановился и лучше хотѣлъ снести голову на плаху, и снесъ ее, не жели рѣшился спастись противно своимъ началамъ, въ силу которыхъ самодержавіе принадлежало одному конвенту, — то сдѣлалъ парижскій народъ 15 мая.

Вотъ отчего консерваторы и либералы на старой ладъ опрокинулись съ такой яростью на Барбеса, Бланки, Собріе, Распайля; вотъ отчего въ этотъ день собраніе и исполнительная коммиссія, ненавидѣвшія другъ друга, бросились другъ другу въ объятія. *Роялисты* схватились за оружіе для того, чтобъ спасти республику и національное собраніе. Спасая собраніе, они спасали монархическое начало, спасали безотвѣтную власть, спасали конституціонный порядокъ дѣль, злоупотребленіе капитала, а, наконецъ, и претендентовъ. По ту сторону видѣлась не Ламартиновская республика, а республика Бланки, т. е. республика не на словахъ, а на самомъ дѣлѣ; по ту сторону представлялась революціонная диктатура, какъ переходное состояніе отъ монархіи къ республикѣ; *suffrage universel*, не нелѣпо и бѣдно приложенный къ одному избранію деспотическаго собранія, а ко всей администраціи, освобожденіе человѣка, коммуны, департамента отъ подчиненія *сильному* правительству, убѣждающему пулями и цѣпями. Собраніе, опертое на національную гвардію, побѣдило, но нравственно оно

было побѣждено 15 мая; оно держится, какъ всѣ отжившія учрежденія, единственно силою штыковъ, и не дошло даже до того, чтобъ журналисты говорили объ немъ безъ явнаго презрѣнія.

Для того чтобъ сдѣлать понятнымъ пятнадцатое мая и странное положеніе республики, которая пятится назадъ съ половины апрѣля, т. е. черезъ семь недѣль послѣ революціи, необходимо бросить взглядъ на предшествовавшія обстоятельства, которыя потрясли всю Европу. Революція 24 февраля вовсе не была исполненіемъ приготовленнаго плана; она была гениальнымъ вдохновеніемъ парижскаго народа, она, какъ Паллада, вышла разомъ вооруженная и грозная изъ народнаго негодованія; это ударъ грома, внезапно осуществившій давно скопившіяся, но далеко незрѣлыя стремленія. Февраля двадцать третьяго ни Людвигъ Филиппъ, ни Гизо, ни министры, ни Riforme, ни National, ни оппозиція, ни даже люди, построившіе первыя баррикады, не предвидѣли, чѣмъ окончится 24 февраля. Хотѣли реформы—сдѣлали революцію, хотѣли прогнать Гизо—прогнали Людовика Филиппа, хотѣли провозгласить право банкетовъ—провозгласили республику; утромъ мечтали о министерствѣ Тьера или Одилонъ-Барро, вечеромъ Одилонъ-Барро больше отсталъ, нежели Гизо. Какъ-же это случилось? De l'audace, говорилъ С. Жюсть, да, дерзкая смѣлость, отвага—тайна переворотовъ, особенно парижскихъ. Горсть людей, принадлежавшихъ къ тайнымъ обществамъ, мужественно дравшаяся на баррикадахъ, опираясь на благородные инстинкты парижскихъ работниковъ, провозгласила республику и дала такой толчекъ всей Европѣ, что теперь еще нельзя предвидѣть, чѣмъ кончится это повсюдное броженіе. Разумѣется, республиканская партія существовала; она, обманутая 30 іюля, пережила бойню въ Cloître St. Méry, рѣзню въ улицѣ Трасноненъ, потерю всѣхъ своихъ корифеевъ, отъ Барбеса и Бланки до Алибо, записывая въ свою печальную хронику одни удары, несчастія, открытыя гоненія и судебные приговоры. Она имѣла мало надеждъ. Арманъ Каррель качалъ головой во время битвы, Годфруа Кавеньякъ говорилъ передъ смертью, съ мрачнымъ отчаяніемъ: «это правительство *износитъ* насъ всѣхъ, мы состаримся въ безплодной и неровной борьбѣ!»

Съ 1840 года дѣйствительно прекращается открытая борьба. До 1840 года у правительства былъ еще стыдъ, или если не стыдъ, то осторожность; оно боялось прибѣгать ко всѣмъ средствамъ, оно не было совершенно увѣрено въ полномъ, безграничномъ сочувствіи буржуазіи. Оно убѣдилось, наконецъ, что маска не нужна; дѣйствующая часть народа, т. е. та часть, которая имѣла гражданскія права, была достаточно развращена, чтобъ дѣйствовать за-одно съ правительствомъ. Выборы, съ малыми

изытіями, были въ рукахъ министровъ, подкупы дѣлались открыто, половина камеры состояла изъ чиновниковъ, остальная часть была втянута въ разныя финансовыя операціи, для успѣха которыхъ надобно было не распадаться съ правительствомъ. Достаточная буржуазія давала свои голоса правительству, правительство давало ей свои штыки на защиту всѣхъ злоупотребленій капитала. У нихъ былъ одинъ общій врагъ—пролетарій, работникъ; они соединились противъ него; при этомъ союзъ были пожертвованы республиканцы и національная гордость. Пониженіе электоральнаго ценза послѣ 1830 года заставило всплыть страшную дрянъ въ камеру. Пониженіе ценза остановилось на границѣ народа и буржуазіи, оно не ввело въ камеру элемента чисто народнаго, а подняло въ нее всю чернь средняго сословія. Гизо понялъ круговую поруку буржуазіи съ правительствомъ, онъ понялъ, что она гораздо больше боится народа, нежели власти; вооруженный Тьеровыми сентябрьскими законами, онъ пошелъ прямѣе къ цѣли. Методическій, холодный, притѣснительный по характеру и властолюбивый до нельзя, Гизо посвятилъ себя на уничтоженіе доли приобрѣтеннаго Франціей съ 89 года; Гизо, кальвинистской пошъ, трезвый, желчевой, безчувственный фанатикъ, сказать съ высоты трибуны задавленному трудомъ и нуждой работнику: «работа вамъ необходима, это единственная узда, на которой васъ можно держать.»

Семь лѣтъ постоянныхъ удачъ развили болѣе увѣренности въ Гизо, нежели въ самомъ королѣ, они забылись. Умѣй Гизо остановиться во время, онъ сдѣлалъ бы гораздо больше вреда, онъ отдалилъ бы 24 февраля, онъ успѣлъ бы еще больше приучить къ подкупамъ, къ симоніи всѣхъ родовъ, еще глубже растлить все нравственное въ общественномъ мнѣніи, но онъ слишкомъ рано принялъ тонъ побѣдителя, онъ не хотѣлъ даже хранить благопристойнаго вида, увлекаясь желчевымъ характеромъ и мелкими личностями. Часть буржуазіи испугалась, видя замашки министровъ. Министерство не боялось партіи умѣреннаго прогресса; надобно было видѣть своими глазами презрительный тонъ Гизо, его видъ, его отрывистую рѣчь, когда, вынужденный реформистами взойти на трибуну, онъ противопоставлялъ свою талантлиую дерзость—бездарной горячности Одилонъ Барро.

Другого рода протестація порядку вещей слышалась иногда какъ будто изъ-подъ земли... Какой-то тяжелый стонъ раздавался по временамъ. не въ камерѣ, не въ National, не въ Reforme, а въ мастерской. у изголовья умирающихъ отъ нужды, а иногда въ ассизахъ; Gazette des Tribunaux записывала его, не понимая, что дѣлаетъ. На лавкѣ подсудимыхъ часто слышались страшныя признанія и страшныя обвиненія безобразному общественному устрой-

ству отъ людей, которые, отправляясь на галеры, въ тюрьмы. бросали мрачныя слова на прощанье; но кто-же ихъ слушалъ?...

Таково шли дѣла передъ революціей; такъ засталъ я ихъ, пріѣхавши въ Парижъ въ мартѣ мѣсяцѣ 1847 г.

Не могу вамъ выразить тяжелаго, болѣзненнаго чувства, которое овладѣло мною, когда я нѣсколько присмотрѣлся къ міру, окружавшему меня. Мы привыкли съ словомъ Парижъ сопрягать воспоминанія великихъ событій, великихъ массъ, великихъ людей, 1789 и 1793 года; воспоминанія колоссальной борьбы за мысль, за права, за человѣческое достоинство, борьбы, продолжавшейся послѣ площади то на полѣ битвы, то въ парламентскомъ преніи. Имя Парижа тѣсно соединено со всѣми лучшими упованіями современнаго человѣка; я въ него вѣхалъ съ трепетомъ сердца, съ робостью, какъ нѣкогда вѣзжали въ Римъ. И что же я нашель,—Парижъ, описанный въ ямбахъ Барбье, въ романѣ Сю, и только. Я былъ удивленъ, огорченъ; я былъ испуганъ, потому что затѣмъ ничего не оставалось, какъ сѣсть въ Гаврѣ на корабль и плыть въ Нью-Йоркъ, въ Техась. Невидимый Парижъ тайныхъ обществъ, работниковъ, мучениковъ идеи и мучениковъ жизни, задвинутый пышными декораціями искусственнаго покоя и богатства, не существовалъ для иностранца. Видимый Парижъ представлялъ край нравственнаго растлѣнія, душевной усталости, пустоты, мелкости; въ обществѣ царилъ совершенное безучастіе ко всему выходящему изъ маленькаго круга пошлыхъ ежедневныхъ вопросовъ.

У французовъ средняго состоянія мы встрѣчаемъ, кромѣ исключеній, какое то образованное невѣжество, видъ образованія при совершенномъ отсутствіи его; этотъ видъ обманываетъ сначала, но вскорѣ начинаешь разглядывать невѣроятную узкость понятій; ихъ умъ такъ неприхотливъ и такъ скоро удовлетворяемъ, что французу достаточно десятка два мыслей, сентенціи Вольтера или Шатобриана, Ламартина или Тьера, или того и другого вмѣстѣ, чтобъ довольствоваться ими и покойно учредить нравственный бытъ свой лѣтъ на сорокъ; къ этому у него прибавляются практическія нравоученія, взятая изъ подслащенной морали à la Жанлисъ, кой-какія преданія, которыя онъ уважаетъ, не разсуждая, и кодексъ, котораго онъ боится.

У французовъ нѣтъ потребности идти далѣе, идти въ глубь, никакой смѣлости мысли, никакой истинной инициативы; они достигаютъ большой ловкости навыкомъ, они рутинисты по преимуществу; всѣ эти *roués* изъ *roués*, Тьеры, Марасты ничего *не понимаютъ* въ социальномъ вопросѣ. Они умны и ловки въ своемъ извѣстномъ кругѣ, за предѣлами его—они пошлы и глупы. Посмотрите ихъ возраженія,—смѣшно читать; они знаютъ, что со-

ціалізмъ—враждебная имъ партія, что ее надобно уничтожить; мастерски подведутъ *guet-à-pens*, но не поймутъ, въ чемъ дѣло. Одна господствующая страсть поглощала всѣ мысли и досуги средняго состоянія—стяжаніе, нажива, ажіотажъ; эта страсть вмѣстѣ съ національной скупостью французовъ вытравливаетъ въ ихъ сердцахъ не только любовь къ ближнему, къ истинѣ, но уваженіе къ себѣ. Изданіе журнала, выборъ депутата, голосъ въ камерѣ, все это было торговымъ оборотомъ, едва прикрытымъ условными фразами. Сила банкировъ во всѣхъ общественныхъ дѣлахъ была чрезвычайная; министерство боялось, больше всѣхъ золь, распаченія съ капиталистами.

Англичанинъ тоже расчетливъ, онъ купецъ, для него пріобрѣтеніе выгоды составляетъ цѣль оборота, онъ въ него вноситъ всю свѣтлость своего практическаго ума, это его дѣло, его занятіе; но закрывая бухгалтерскую книгу, онъ дѣлается въ свою очередь потребителемъ, охотно бросаетъ свои гинеи, хочетъ пожить на свой ладъ, онъ имѣетъ свои капризы, которые не подчиняетъ деньгамъ. Французъ, увлеченный въ денежные дѣла, дѣлается лишеннымъ всѣхъ страстей и желаній, онъ ни въ какомъ случаѣ не забудетъ финансовой стороны вопроса, онъ впередъ подкупленъ опасеніемъ денежной утраты. Можетъ быть, это свидѣтельствуетъ, что французамъ не свойственна исключительно коммерческая дѣятельность, они въ ней словно теряютъ тактъ и мѣру, потому что это не ихъ дѣло: можетъ, оно и пройдетъ какъ временное зло, какъ уродливое и послѣднее проявленіе буржуазіи, можетъ,... но такимъ я засталъ среднее состояніе въ Парижѣ.

Прибавьте къ страсти стяжанія страсть власти, жажду мѣсты, которою заражены всѣ политическіе люди, къ какой бы партіи они бы ни принадлежали.. Мы видѣли въ послѣднее время, съ какою яростью редакторы *National* и *Reforme* бросились на мѣста и какъ важно подвигали они потомъ свой демократической носъ, замаранный голландской сажей. При такомъ нравственномъ паденіи буржуазіи, при невѣжествѣ крестьянъ, при подозрительной чистотѣ оппозиціи и либеральной партіи, при страшныхъ средствахъ административной централизаціи, министры Людовика Филиппа могли смѣло поступать, какъ хотѣли, храня наружный видъ законности. Но послѣднее опять не въ духѣ французовъ, я это вмѣняю имъ въ достоинство. Французъ не можетъ остановиться на фарисейскомъ толкованіи буквы, какъ англичанинъ, не можетъ довольствоваться существенной выгодой побѣды, онъ хочетъ еще вишняго торжества, униженія противника.

Противникъ, съ своей стороны, точно также перенесъ бы поражение, но возстаетъ противъ оскорбленія. Сверхъ дерзкаго тона, министры впали въ вѣчную ошибку всѣхъ консерваторовъ,— они

не умѣли оцѣнить своего врага, они не знали этой несокрушимой упорности небольшой кучки республиканцевъ, готовыхъ, выходя изъ тюрьмы, въ тотъ-же день продолжать заговоръ и начинать новую попытку; эти исключительныя явленія во французской жизни приводятъ въ удивленіе своей твердостью, своимъ героическимъ постоянствомъ. Къ тому же люди правительства слишкомъ презирали работниковъ послѣ Ліона, Cloitre St. Méry и Трансноненской улицы, они были увѣрены, что армія и національная гвардія задавятъ ихъ,—и ошиблись. Людовикъ Филиппъ не даромъ толковалъ, качая головой, о Парижѣ, et ses aimables faubourgs. Старый король видѣлъ les sections первой революціи, онъ самъ стоялъ дежурнымъ при входѣ въ якобинское собраніе; а Гизо началъ собственно знать французовъ послѣ взятія Парижа союзными войсками. Сверхъ всего, не надобно забывать, что семнадцатилѣтняя проповѣдь самаго грубаго эгоизма и самаго нечистаго поклоненія матеріальнымъ выгодамъ и спокойствію не могла образовать особенно преданныхъ и самоотверженныхъ защитниковъ іюльскому трону...

Въ октябрѣ 1847 г. я уѣхалъ въ Италію, оставивъ Парижъ въ самомъ мрачномъ состояніи, надежды на 24 февраля никакой не было. Воровство, продажа перства и крестовъ, подкупы министровъ, убійства въ герцогскихъ комнатахъ, крапленныя карты въ Тюльери, кража лѣсовъ королемъ, министръ юстиціи, пойманный въ публичномъ домѣ, сынъ короля (Монпасе), выброшенный изъ дому почтеннымъ генераломъ за неприличное поведеніе,— вотъ чѣмъ были полны журналы и разговоры. Депутаты отвѣчали на обвинительные документы,—вотируя спасибо министрамъ, уличеннымъ въ плутняхъ.

Вы помните рядъ событій, который привелъ къ 23 и 24 февраля; я намѣренъ только слегка ихъ коснуться, время исторіи этого переворота еще не настало, мы еще мало знаемъ его закулисную сторону, а его официальную сторону мы еще помнимъ изъ газетъ и брошюръ.

Вы знаете, въ какое положеніе Гизо поставилъ Францію къ концу 1847 года. Все вліяніе на Европу было утрачено изъ-за мелкихъ династическихъ интересовъ; всѣ симпатіи народа были пожертвованы для того, чтобъ простили испанскіе браки и революціонное начало іюльскаго трона. Франція не могла держаться даже на той высотѣ, на которой была за десять лѣтъ, она дѣлалась второстепеннымъ государствомъ. Правительства перестали ея бояться, народы начинали ненавидѣть. Узкая, эгоистическая, мѣщанская политика, ставившая миръ выше всего и невозможную теорію de la non intervention ключемъ свода, не мѣшали Гизо запятнать Францію явнымъ вмѣшательствомъ въ дѣла Португаліи

и тайнымъ въ дѣла Швейцаріи. Въ обоихъ случаяхъ Франція играла ту самую роль, которую реставрація, столько проклинаемая, принимала на себя въ 1822 относительно Испаніи, — роль военной экзекуціи, полицейскаго усмиренія. Португалія была задавлена изъ учтивости къ королевѣ Викторіи Пальмерстономъ, и изъ учтивости къ Пальмерстону—Франціей. Въ Люцернѣ выставили на площади пушки французской артиллеріи, потихоньку присланныя Зондербунду.

Для довершенія благородной политики не доставало одного,—союза съ Австріей противъ Италіи. Дѣйствительно, всѣ симпатіи кабинета были въ пользу *statu quo*. Гизо непрерывно унималъ Пія IX, даже Карла Альберта, мѣры котораго онъ находилъ слишкомъ либеральными. Французской посланникъ въ Туринѣ протестовалъ противъ дозволенія *печатать* въ Генуѣ пѣсни, въ которыхъ говорятъ оскорбительно объ австрійцахъ. Союзъ съ Россіей было одно изъ пламенныхъ желаній Гизо; Бакунина выслали изъ Парижа по требованію русскаго посланника; князю Чарторижскому не позволили праздновать своихъ именинъ.

При всемъ этомъ нельзя было замѣтить характеръ мѣщанина въ дворянствѣ, который принимало правительство, вышедшее изъ баррикады, и министры изъ профессоровъ. Аристократическія симпатіи англійскаго министерства-тори естественны и потому просты. Поспѣшность, съ которой Гизо протягивалъ руку всему аристократическому, стараніе прикрыть революціонное происхождение трона 1830, отрѣчься даже отъ 1789 года и выдать себя за страшнаго тори, за страстнаго консерватора—было очень смѣшно. Французскому министерству, какъ всѣмъ *ragueus*, при всѣхъ стараніяхъ не удавалось стать на одну ногу съ аристократическомонархическою Европой. Россія имѣла повѣреннаго въ дѣлахъ, которому въ концѣ 1847 дала названіе посланника... За то съ какой радостью, съ какой благодарностью Гизо протянулъ руку Меттерниху,—когда тотъ ему дозволилъ это. Мишле былъ правъ, говоря, что глубже пасть невозможно.

Камера 1847—1848 собралась. Большинство оказалось еще плотнѣе за министерство, нежели въ прежней. Гизо вмѣсто отвѣта указывалъ оппозиціи рукою на свою когорту. Парламентскими путями трудно было сломить министерство. Появленіе Ламартина на трибунѣ было событіемъ; долгое время онъ держалъ себя въ сторонѣ, его «Жирондисты» были новымъ знакомъ жизни, вслѣдъ за тѣмъ рѣчь въ Маконѣ,—глаза многихъ обратились на него, его считали чистымъ человѣкомъ, потому что онъ ничего не дѣлалъ. Рѣчь его потрясла министерство, наравнѣ съ другою рѣчью, хотя втораго оратора, совсѣмъ на оборотъ, никто не уважалъ. Тьеръ произнесъ нѣчто въ родѣ смертнаго приговора политикѣ Гизо.

Дерзкій Гизо сломился подъ тяжестью этихъ рѣчей. Забывая свою матеріальную силу большинства, лично уязвленный, онъ сдѣлалъ опыты побѣдить своимъ талантомъ—ему это удавалось,—но отвѣтъ его былъ неловокъ, блѣденъ. Униженный какъ дипломатъ и политикъ, оскорбленный какъ ораторъ, гибнущій отъ ударовъ сладкоглаголиваго стихотворца и политическаго афериста, онъ спасся бы еще какой-нибудь парламентской штукой, но ему пришлось выпить до конца униженіе и горечь, онъ долженъ былъ еще потерять въ это засѣданіе послѣдній вѣнокъ, который такъ шелъ къ его квакерскому челу—вѣнокъ безкорыстія. Многіе, не любя Гизо, считали его человѣкомъ правдивымъ, но увлекшимся доктринаризмомъ, системой,—маленькимъ Стафордомъ, и не смѣшивали его съ людьми въ родѣ Дюшателя и Эбера. И что-же? Ограниченнѣйшій изъ смертныхъ, Одилонъ Барро, сорвалъ съ него этотъ вѣнокъ, доказавши, что Гизо семь лѣтъ не только терпѣлъ продажу мѣсть, но бралъ отеческое участіе въ распоряженіяхъ, условіяхъ...

Законъ, уничтожающій право собираться на общественные банкеты, былъ вотированъ. Торжество большинства, впрочемъ, было не весело; трусливое и купленное стадо депутатовъ начинало подозрѣвать, что это даромъ не пройдетъ; оно готово было оставить министерство на томъ условіи, чтобъ оппозиція оставила банкетъ. Такое примиреніе было невозможно, скорѣе *coup d'état*. «Если-бъ и у насъ, сказалъ—и кто-же—Кобденъ послѣ 24 февраля въ парламентѣ, нашлось министерство настолько глупое или преступное, чтобъ осмѣлилось предложить законъ противъ мирнаго собранія гражданъ, и мы бы взяли за оружіе.»

Ропотъ сдѣлался всеобщъ. Министерство соглашалось было дозволить банкетъ; но уже Одилонъ Барро думалъ объ отступленіи. Тьеръ рѣшался не идти на него... Видя эту слабость, полиція заперла залу, въ которой приготовлялся банкетъ; Делессеръ объявлялъ городу нелѣпымъ циркуляромъ о причинахъ; министерство сзывало войска и готовилось. Мѣра эта дѣйствительно возмутила Парижъ, волненіе распространилось по всему городу. Правительство, не совѣмъ увѣренное въ національной гвардіи, не било сбора; одни муниципалы свирѣпствовали какъ всегда на улицахъ; войска собиравшіяся были печальны.

Национальная гвардія, созванная, наконецъ, собиралась съ крикомъ «да здравствуетъ реформа, долой министерство!» Король рѣшился уступить. Перемѣна министровъ успокоила было народъ; но люди, видѣвшіе далѣе, не хотѣли потерять такой случай, они поняли, что не скоро опять взволнуешь весь Парижъ и что не скоро найдешь такой поводъ къ возстанію, въ которомъ національная гвардія стояла бы за одно съ народомъ. Они устроили зна-

ментую прогулку по бульварамъ, которая кончилась залпомъ у Hôtel des Capucines и баррикадами во всемъ Парижѣ 24 февраля.

Утромъ 24 февраля немудрено было понять, что правительство не устоитъ; напрасно Тьеръ уступилъ мѣсто Одилонъ Барро, напрасно Одилонъ Барро въ синихъ очкахъ верхомъ ѣздилъ на баррикады и самъ поздравлялъ народъ съ назначеніемъ такого славнаго министерства. Реформы было недостаточно и на баррикадахъ тамъ-сямъ поговаривали о республикѣ.

Король отказывался отъ престола въ пользу внука. Бюжо просилъ дозволенія бомбардировать Парижъ, и, не получивъ его, выругался и вышелъ вонъ отъ короля, надѣвъ въ дверяхъ шляпу. Эмиль Жиранденъ шумѣлъ въ кабинетѣ Людовика Филиппа, народъ приближался къ Тюльери, событія неслись съ страшной быстротою.

Бюро Reforme и National кипѣли охотниками царствовать. По мѣрѣ того какъ народъ побѣждалъ, они росли въ предприимчивости. У нихъ тѣмъ больше было досуга обдумать и приготовить планъ, какъ завладѣть движеніемъ, чѣмъ меньше они участвовали въ томъ, что происходило на площади. Они, отойдя въ сторону, предложили себѣ вопросъ, на который не только никто не отвѣчалъ, но который еще не былъ поставленъ: «Что-же теперь?» «Реформа» хотѣла провозгласить республику, National довольствовался регентствомъ, онъ во имя регенства отправилъ уже Гарнье Пажеса въ ратушу, но обойденный обстоятельствами Марастъ тотчасъ согласился на республику и составилъ свой листъ временнаго правительства. Листъ этотъ онъ отправилъ въ Reforme для взаимнаго соглашенія; Reforme возстала противъ имени Одилонъ Барро, который не отличился храбростью въ дѣлѣ банкета XII округа, его вычеркнули и потомъ согласились въ главныхъ лицахъ. Reforme ввела трехъ своихъ: Ледрю Роллена, Флокона и Луи Блана.

Король, которому отказалъ отъ мѣста Эмиль Жиранденъ, какъ будто бы онъ былъ фельетонистомъ въ «Прессѣ,» уже садился въ карету и первыя колонны народа подступали къ Карусельской рѣшеткѣ; а двѣ спасающія отечество редакціи продолжали еще толковать *объ именахъ*, не согласившись рѣшительно ни въ чемъ, кромѣ въ объявленіи республики. Онѣ были такъ заняты лицами, что даже не подумали объ афишахъ; работниковъ не было; Прудонъ, не принадлежавшій ни къ какому приходу и пришедшій узнать, что дѣлается въ Reforme, набралъ афишку, отпечаталъ ее и отдалъ Торэ, который бросился на баррикады отыскивать Альбера, чтобъ вмѣстѣ съ нимъ раздавать афиши.

Между тѣмъ побѣда народа становилась полною. Вслѣдъ за королемъ исчезло все правительство. Людовикъ Филиппъ такъ

мало понималъ, такъ плохо зналъ народъ, которымъ правилъ 17 лѣтъ, что счелъ нужнымъ обречь свои сѣдые бакенбарды и надѣть пальто англійскаго шкипера, чтобъ скрыться отъ погони, — которой за нимъ не было! Онъ удалился одинокой, безъ преданныхъ людей. Правда, и министры бѣжали, но не для того, чтобъ раздѣлить судьбу короля, — а боясь галеръ.

Камера сидѣла, повѣся носъ; она боялась очень справедливо народной мести. Но народъ, побѣдившій почти безъ боя, не успѣлъ разсердиться и, покричавши немного à la mort Guizot, вовсе забылъ о мелкихъ плутахъ, помогавшихъ ему. Столько-ли это было благоразумно, какъ великодушно, — не знаю, но скорѣе думаю противное. Прибѣжалъ Тьеръ, растерянный, безъ шляпы, сказалъ: «la marée monte—monte—monte», и замолчалъ. — «Вы министръ?» спросили его. Онъ покачалъ головою и ушелъ. Министерскія лавки были пусты, предсѣдатель совѣта, Одилонъ Барро, забавлялся въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ, самъ извѣщая Францію телеграфомъ о своемъ назначеніи.

Послѣ отъѣзда короля явилась герцогиня Орлеанская съ Немурскимъ и съ графомъ парижскимъ; на дворѣ камеры была припрятана маленькая лошадка разукрашенная, на ней долженъ былъ маленькій король проѣхать по большому городу. Камера готова была провозгласить регентство; Дюпенъ уже со слезами на глазахъ просилъ записать въ журналъ, что герцогиню встрѣтилъ народъ на мосту съ восторгомъ; какъ, по несчастію, онъ самъ, т. е. народъ, ворвался при этихъ словахъ въ камеру и далъ ему полнѣйшее démenti.

Мари предложилъ учредить временное правленіе, основываясь на *необходимости* *взять сильныя мѣры для того, чтобъ остановить растущее зло и обуздать безначаліе*. Эту рѣчь, диктованную страхомъ и желаніемъ занять мѣсто въ правительствѣ, вмѣнили Мари въ достоинство; кровь еще текла по улицамъ, а благоразумные люди принимали ужъ мѣры противъ побѣдителей и составляли правительство. Одилонъ Барро отстаивалъ регентство. Ларошъ Жакленъ иронически замѣтилъ, что разсуждать о регентствѣ вовсе не дѣло камеры, что вообще депутаты «теперь ничего не значать, совершенно ничего». Эта выходка взбѣсила центры, — они думали, что тронъ можетъ упасть, а они таки останутся на своихъ мѣстахъ. Созз сдѣлалъ замѣчаніе оратору, — это былъ его послѣдній *garrel à l'ordre!* Онъ вскорѣ вовсе пропалъ, прочитавши, впрочемъ, народу параграфъ устава, которымъ запрещается говорить постороннимъ въ камерѣ. Новыя толпы взопли середь елейной рѣчи Ламартина; онѣ были съ баррикадъ, вооруженныя и готовыя на все. Кто-то прицѣлился изъ ружья въ Созз; Созз спрятался за трибуну и съ тѣхъ поръ исчезъ изъ парламентской исторіи.

Послѣ энергической рѣчи Ледрю-Роллена, при шумѣ и крикѣ прибывающей толпы, привели старика Дюпонъ де-Лѣра и заставили его провозглашать имена временнаго правительства. Народъ подтверждалъ крикомъ, *rag acclamation*.

Почему именно этимъ людямъ въ руки попала судьба народа, освободившагося за минуту до того? Знали-ли они что-нибудь о желаніяхъ, о нуждахъ этого народа, подвергались ли они за него смерти, они ли побѣдили? или, можетъ, у нихъ была мысль новая, плодovitая? поняли-ли они лучше другихъ современное зло, придумали-ли они средства ему помочь?..

Нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ. Они заняли мѣсто потому, что нашлись люди довольно смѣлые, чтобъ выбирать не на баррикадахъ, а въ бюро журнала, чтобъ провозглашать ихъ имена не на мѣстѣ битвы, а въ побитой камерѣ. Народу не дали опомниться, временное правительство явилось передъ нимъ совсѣмъ не кандидатами, а готовымъ правительствомъ. Ламартинъ и люди National'я во главѣ движенія были великимъ несчастіемъ для Франціи. И что могло выйти изъ двуглаваго правительства, руководимаго Ламартиномъ и Ледрю-Ролленомъ? Ледрю-Ролленъ хотѣлъ во чтобъ ни стало утвердить республику, Ламартинъ обуздать революцію. Ледрю-Ролленъ шелъ въ правительство для того, чтобъ двигать впередъ, Ламартинъ для того, чтобъ подставлять ногу, чтобъ тормозить движеніе; Ледрю-Ролленъ хотѣлъ нести революцію въ Бельгію и Германію, Ламартинъ въ мартѣ мѣсяцѣ писалъ въ Швейцарію, чтобъ не очень настаивать на признаніи республики: «мы де не знаемъ, прочна-ли она?»

Ламартинъ и люди National'я были испуганы успѣхомъ. Они привыкли къ мелкой парламентской оппозиціи, къ безопасно-революционнымъ тостамъ на банкетахъ, къ удали журнальныхъ статейъ и къ безкровному задору краснорѣчивыхъ отвѣтовъ съ бокаломъ въ рукѣ,—а вдругъ побѣдили королевство, сѣли на тронъ. Они никогда не уважали себя настолько, чтобъ считать себя достойными побѣды. Первая мысль, пришедшая имъ въ голову, была противъ революціи. Они хотѣли *обуздать* народъ, они хотѣли скорѣе порядка, скорѣе выйти изъ революціоннаго состоянія, — зачѣмъ они торопились? Зачѣмъ, что чувствовали слабость своихъ плечъ, зачѣмъ, что въ нихъ было чисто буржуазное, оскорбительное недобѣріе къ народу. А между тѣмъ народъ велъ себя эти дни удивительно. Я не стану повторять пошлыя похвалы за то, что не крали въ Тюльери, ни хвалить глупцовъ, которые разстрѣляли какихъ-то бѣдняковъ за то, что они взяли что-то изъ королевскихъ вещей,—регуловскія черты буржуазной добродѣтели меня не трогаютъ; но нельзя не упомянуть о порядкѣ во всемъ городѣ, о безопасности для людей, извѣстныхъ народу банкировъ,

судей, полицейскихъ... Вмѣсто спасибо этому народу, люди, втѣснившіе себя въ правительство, расточая ему лесть, убаюкивая его какъ льва, втайнѣ ковали ему оковы, замѣняя на нихъ королевскій штемпель словомъ республика съ ея громовымъ девизомъ.

Дѣйствительные участники движенія были въ ратушѣ. Они, не успѣвъ перевести духа послѣ битвы, собирались въ этомъ Эскуріалѣ революцій съ той же цѣлью — избрать правительство; какъ вдругъ разнесся слухъ, что правительство выбрано въ камерѣ и идетъ къ нимъ, сопровождаемое толпами народа. Никто не спросилъ, — кѣмъ выбрано, когда, по какому праву?.. Всѣ торопились узнать имена новыхъ господъ. Изъ этого ясно, что демократическая партія была незрѣла, что у ней не было ничего готоваго, что народъ вообще до такой степени привыкъ быть управляемъ другими, что сейчасъ удовлетворялся правителями, взятыми въ рядахъ парламентской и журнальной оппозиціи, не сообразивъ, что край буржуазнаго радикализма противъ Гизо становился ретрограднымъ въ отношеніи къ социализму и пролетариату.

Когда новое правительство явилось въ hôtel de Ville, оно догадалось пустить Ледрю-Роллена впередъ. Ему кричали со всѣхъ сторонъ: «хочетъ-ли онъ провозгласить республику?» Ледрю-Ролленъ отвѣчалъ, что онъ не признаетъ никакого избранія, кромѣ избранія народомъ, что вся цѣль его желаній провозглашеніе республики. Народъ тотчасъ призналъ его за члена временнаго правительства. Ламартину предложили тѣ же вопросы; онъ смѣшался, отвѣчалъ, что вся нація должна рѣшить, какую форму правительства она принимаетъ. Ему кричали изъ толпы: «Какое воззваніе къ народу? развѣ мы для того подвергали грудь нашу пулямъ? Если возвратится король, мы воротимся на баррикады». Эти отвѣты удвоили крики негодованія, многіе кричали «долой его!» Ламартинъ нѣхотя провозгласилъ республику, и народъ, точно пораженный слѣпотой, призналъ его членомъ. Многіе роптали; чтобъ ихъ успокоить, представили имъ Луи Блана, котораго работники уважали и любили. Другіе члены правительства проскользнули какъ-то незамѣтно. И вотъ какъ совершился великой актъ водворенія новаго правительства!

Давно было замѣчено, что люди чрезвычайно обстоятельны, благоразумны во всѣхъ мелкихъ дѣлахъ, но какъ только дойдетъ до чего нибудь важнаго, рѣшительнаго, они поступаютъ, очертя голову. Тоже можно сказать о цѣлыхъ народахъ.

Прежде появленія временнаго правительства въ ратушу, мѣсто мера занялъ Гарнье Пажесъ. Онъ, не зная еще, будетъ-ли регентство или республика, раздавалъ мѣста по назначенію Мараста. Разсчетъ былъ вѣренъ; не дать мѣсто тому или другому не тру-

дно, но взять назадъ однажды данное вовсе не легко. Reforme, чтобъ не отставать отъ National'я, отправила Этьена Араго завоевать почту, а Косидьера префектуру полиціи, они оба дрались на баррикадахъ. Косидьеръ пришелъ пѣшкомъ съ своимъ ружьемъ на плечѣ въ префектуру, взошелъ въ кабинетъ, изъ котораго только что вышелъ Делессеръ, поставилъ ружье въ уголъ и объявлялъ, что онъ назначается именемъ французскаго народа префектомъ полиціи. Секретарь ему поклонился, — и дѣла пошли своимъ чередомъ.

Передовые люди баррикадъ, члены общества des droits de l'homme были недовольны; баррикады еще стояли 25 февраля и къ нимъ подвезли пушки; на баррикадахъ, на общественныхъ зданіяхъ развѣвалось красное знамя. Мрачныя толпы народа были съ ранняго утра на площади hôtel de Ville, онѣ какъ будто спохватились, что вчера упустили изъ рукъ побѣду. Но за ночь временное правительство окрѣпло и Ламартинъ, какъ вы знаете, подвергая свою жизнь опасности, отстоялъ трехцвѣтное знамя. Знамя народа, знамя, водруженное подъ пулями, знамя демократіи, республики грядущей, было отринуто; знамя прошедшей республики, перешедшей въ имперію, знамя Наполеона, обидное для всей Европы, обогренное кровью всѣхъ народовъ, знамя, семнадцать лѣтъ осѣнявшее Людовика Филиппа, знамя, изъ-подъ котораго стрѣляли муниципалы въ народъ, знамя буржуазіи—было принято хоругвей новой республики. Новая республика объявляла себя *мищанскою*, она не разрывалась съ прошедшимъ и, слѣдственно, необходимо должна была встрѣтиться съ республикой ожидаемой, и встрѣтиться злѣе, нежели монархія. Какъ только буржуазія узнала о трехцвѣтномъ знамени, лавки открылись, у нея отлегло на сердцѣ. За эту уступку и она, съ своей стороны, дѣлала не меньшую,—она соглашалась признать республику!

Письмо десятое.

Парижъ, 1 сентября, 1848 г.

Больше двухъ мѣсяцевъ прошло послѣ моего послѣдняго письма. Трудно продолжать начатое, рѣки крови протекли между тѣмъ письмомъ и этимъ. Вещи, которыя я никогда не считалъ возможными въ Европѣ, даже въ минуты ожесточенной досады и самаго чернаго пессимизма, сдѣлались обыкновенны, ежедневны, неувидительны. Глубоко огорченный, я остался досматривать преступленіе *осаднаго положенія*, ссылокъ безъ суда, тюремныхъ заключеній внѣ всякихъ правъ, военно-судныхъ комиссій... Вѣроятно, чѣмъ-нибудь да кончится это тяжелое состояніе, кто-нибудь явится

воспользоваться учрежденнымъ порядкомъ: Генрихъ V, Людовикъ Наполеонъ, или этотъ несчастный солдатъ, который добродушно пошелъ изъ воиновъ въ палачи и добросовѣстно казнить улицы, жителей, мысли, слова.

Усталый народъ приметъ всякаго съ рукоплесканіемъ, ему хочется сколько-нибудь покоя, онъ все на жертву принесъ въ іюньскіе дни и все утратилъ, онъ хочетъ залечить раны, оплакать жертвы и заработать кусокъ хлѣба. Бѣдный героическій народъ, въ какія предательскія руки ни попались бы судьбы его, — изъ моей груди онъ не услышитъ упрека.

Если-бъ вы видѣли, какой онъ сталъ грустный, печальный, послѣ іюньскихъ дней. По улицамъ ходить страшно: тамъ, гдѣ кибгла жизнь, гдѣ громкая марсельеза раздавалась среди другихъ пѣсень съ утра до ночи, тамъ теперь тишина, — разносчикъ газетъ не смѣетъ кричать, блѣдный блузникъ сидитъ передъ дверью пригорюнившись, женщина въ слезахъ возлѣ него, они разговариваютъ въ полслуха, осматриваясь. Къ ночи все исчезаетъ, улица пуста и мрачный патруль подозрительно обходитъ свой кварталъ съ заряженными ружьями; блуза почти исчезла на бульварахъ, національная гвардія пыталась ее не пускать въ Тюльерійскій садъ, такъ, какъ это было при Людовикѣ Филиппѣ. Народъ терпитъ, — онъ побѣжденъ и знаетъ своего побѣдителя; онъ знаетъ, что мѣщанинъ ни передъ чѣмъ не остановится, что казаки и кроаты въ сравненіи съ буржуазіей агнцы кротости, когда она побѣдоносна, когда она защищаетъ права капитала, неприкосновенность собственности. Народъ терпитъ, но въ душѣ его собирается мрачная злоба, тоска; невыносимость положенія до того велика, что толпы работниковъ просятся въ Алжиръ; а вы знаете, что нѣтъ народа, который бы имѣлъ больше нелюбви къ переселенію, какъ французы.

Никогда терроръ 93 года не доходилъ до того, до чего дошелъ терроръ теперь. Не говори уже о томъ, что характеръ, обстановка, причины, все разное, я держусь за матеріальный фактъ насилія и мѣру его. Много головъ пало на гильотинѣ, много невинныхъ, въ этомъ нѣтъ сомнѣнія, мы знаемъ ихъ поименно. А кого разстрѣливали у фортвъ, на Карусельской площади, на Марсовскомъ полѣ, въ подвалахъ Тюльерійскаго дворца? — Мы знаемъ Фуке-Тенвиля, Германа и другихъ членовъ революціоннаго суда. А этихъ кто судилъ, кто призналъ виноватыми и въ чемъ состояла необходимость этихъ кровавыхъ злодѣйствъ? Зачѣмъ эта тайна? Развѣ комитетъ общественнаго спасенія скрывалъ свои мѣры? Самая рѣзня въ сентябрьскіе дни дѣлалась бѣлымъ днемъ и списки разсматривались довольно внимательно, какъ свидѣтельствуешь оставшійся въ живыхъ писарь Бисетрской тюрьмы. Ну, а въ этихъ ночныхъ и глухихъ казняхъ, кто разсматривалъ списки, да и кто

составлялъ ихъ? Кто осмѣлился взять на себя такую кровавую отвѣтственность? Алжирскіе генералы были палачами, исполнителями собранія, дѣйствовавшаго подъ вліяніемъ Сенара и Мараста, а Сенаръ и Марастъ выражали волю буржуазіи,—вотъ виноватый. Нѣтъ, почтенные мѣщане, полно говорить о *красной* республикѣ и о кровожадности; когда она лила кровь, она вѣрила въ невозможность иначе поступать, она обрекала себя на эту трагическую долю, а вы только мстили, мстили подло, безопасно, втихомолку! Шесть тысячъ семействъ должны ждать депортации и окончанія военныхъ судовъ, чтобъ узнать, разстрѣлянъ или нѣтъ ихъ братъ, сынъ, отецъ...

Терроръ 93 года былъ величествененъ въ своей мрачной безпощадности, вся Европа ломилась во Францію наказать революцію, отечество дѣйствительно было въ опасности. Конвентъ завѣсилъ на время статую свободы и поставилъ гильотину стражей «правъ человѣческихъ». Европа съ ужасомъ смотрѣла на этотъ вулканъ и отступала передъ его дикой, всемогущей энергіей; терроръ хотѣлъ спасти Францію,—и вмѣсто этого побѣдилъ Европу. Когда миновало его время, тѣ, которые обрекли себя на страшную долю судей, положили въ свою очередь голову на плаху; ихъ надобно было казнить, это своего рода *lex talionis*, головы ихъ пали и остановленный топоръ заржавѣлъ.

Теперь всякую недѣлю префектъ полиціи объявляетъ, что Франція цвѣтетъ, что торговля снова идетъ впередъ, что довѣренность возвратилась... Кого-же спасаютъ эти лавочники съ этими алжирцами? Со стороны Европы бояться нечего: послѣ іюньскихъ дней цари наперерывъ торопятся признать новое правительство; они спасаютъ порядокъ вещей, потрясенный, но далеко не разрушенный 24 февраля.

Какой страшный урокъ, это трехмѣсячное осадное положеніе! Вотъ вамъ Франція, такъ любящая свободу, страна пропаганды, революціи... она всего лишена, жизнь остановлена въ самомъ сердцѣ; у Парижа завязанъ ротъ, связаны руки, онъ лишень права собираться въ клубахъ, коварный законъ, позволяя, убилъ его, онъ лишень свободы книгопечатанія, его дѣти отправляются сотнями на понтоны,—и все это для спасенія общества, pour le salut public... Если-бъ это было такъ, то пропадай государство, которое надобно спасать такими средствами, пусть оно гибнетъ, туда ему и дорога. Народъ не погибнетъ съ государствомъ, хуже ему не можетъ сдѣлаться; погибнуть нелѣпыя учрежденія, погибнуть тѣ, которые изъ республиканскихъ формъ умѣли сдѣлать казарменный деспотизмъ и покорились ему, лишь бы погубить работника,—чего-же ихъ жалѣть!

Чѣмъ и какъ разрѣшится все это, мудрено предвидѣть: наси-

ліе, самоуправство приходитъ мало-по-малу въ порядокъ, къ нимъ привыкають; кто можетъ отвѣчать за то, что Франція не двинется не только за 1830, но и за 1789 годъ?

Народъ долго не поднимется послѣ такого возстанія и такого пораженія, ему надобенъ отдыхъ, онъ лишился всѣхъ друзей своихъ, всѣхъ вожатыхъ; при малѣйшемъ движеніи, возобновятся ужасы іюньскихъ дней удесятеренные, кто знаетъ предѣлъ злодѣйства, до котораго могутъ дойти защитники порядка? До сихъ поръ они ни передъ чѣмъ не останавливались. Лишь бы достало терпѣнія великому парижскому народу, пусть онъ сойдетъ теперь со сцены, облитой его кровью, пусть не смотритъ на событія, не слушаетъ оскорбленій и въ тиши собираетъ свои силы. Не знаю, придется ли ему водрузить хоругвь социализма на парижской биржѣ, но знаю, что онъ отомститъ за іюньскіе дни, за апрѣльскую измѣну, за обманъ въ ратушѣ, за ложное возваніе Кавеньяка. Войну, начатую іюньскими днями, остановить невозможно. Вся Европа вовлечена въ нее. Трудно переродиться старому Адаму, социализмъ слишкомъ широкъ для изношенныхъ людей и слишкомъ несомѣстенъ съ обветшалыми формами, въ которыхъ держится старая жизнь западной Европы.

Жалкіе, дрянные люди! Передо мною теперь лежитъ страшная книга, «донесеніе» слѣдственной комиссіи о 15 маѣ и объ іюньскихъ дняхъ. Въ этомъ болотѣ грязи, ябеды и доносовъ потонули декабристы республики 48 года. Посмотрите на этихъ гордыхъ республиканцевъ, такъ смѣло вышедшихъ изъ рядовъ гражданъ, чтобъ сдѣлаться правителями, посмотрите, какъ они теперь жалко топчутся дѣлать доносы, въ свою очистку, какъ они боятся того, чѣмъ хвастались нѣсколько мѣсяцевъ. Частные разговоры, дружескія изліянія, все предано, даже *жесты* не забыты. Иронія, иронія! Ретроградное собраніе хотѣло отомстить республиканцамъ и съ злою насмѣшкой назначило предсѣдателемъ слѣдственной комиссіи Одилонъ Барро, и этотъ тупорожденный либераль временъ реставраціи, обойденный, выброшенный революціей 24 февраля, важно развалился на президентскихъ креслахъ, позвалъ къ отвѣту Ламартина и его товарищей. И Ламартинъ, какъ ученикъ, пойманный гувернеромъ и желающій оправдаться, боясь, что поставятъ на горохъ, началъ битой фразой изъ хрестоматіи и кончилъ доносомъ, что у нихъ во временномъ правительствѣ не было ладу... И никто изъ этихъ господъ не смѣлъ сказать, что они отводятъ такого слѣдователя, открытаго врага республики, министра Людовика Филиппа, и никто не пожалѣлъ революціи 24 февраля. Въмѣсто того чтобъ ужаснуться посягательству судить ее, они ее притащили передъ инквизиціей Одилонъ Барро, они позволили рту Бошара прочесть ей обвинительный вердиктъ,—это ужасно!

И такіе люди стояли во главѣ республики и, если въ числѣ ихъ нашлись *два* человѣка, которые не хотѣли наушничать, губить доносами обвиняемыхъ, за то ни *одинъ* не нашель твердости сказать *всю истину*, ни въ комъ не нашлось настолько мужественнаго состраданія, чтобъ сказать слово въ пользу восьми тысячъ жертвъ и половину ихъ вины отбросить на собраніе и на самихъ себя. Куда! точно въ дѣлѣ Роганова ожерелья, всѣ знали, кто обвиняемая, но никто не смѣлъ ее назвать, такъ и тутъ, никто не смѣлъ зайкнуться о причинахъ 15 мая и 23 іюня, даже тѣ, которые желали разогнать собраніе, желали побѣды возстанію, не удержались, чтобъ не бросить жесткаго слова въ казематы этимъ несчастнымъ жертвамъ вѣры во Францію. Чувства собственного достоинства, уваженія къ себѣ настолько, чтобъ не отвѣчать на дерзкіе вопросы, не нашлось у этихъ людей. Они оправдываются повиновеніемъ закону. Кто-же облекъ собраніе такимъ самодержавіемъ, кто далъ ему право безъ суда осуждать, назначать инквизиціи и дѣлать слѣдствіе надъ цѣлыми переворотами, надъ исторіей? Какое тутъ повиновеніе закону? Это рабство, это малодушіе,—испуганные своими связями съ побѣжденными, *горцы*, допустили роялистовъ взять страшныя мѣры, молчали, не протестовали. Пусть идутъ теперь оправдываться передъ Одилонъ Барро, кланяться ему, предавать своихъ друзей... Можетъ, онъ и собраніе помилуютъ ихъ...

...Республика была провозглашена робко, нехотя, со стороны временнаго правительства, оно уступило народу вооруженному и готовому на бой. Самый актъ провозглашенія былъ страненъ и носилъ въ себѣ что-то напоминающее ту дипломатію, которая должна была исчезнуть въ республикѣ и которая, напротивъ, развилась въ ней. «Временное правительство, сказано въ первой прокламаціи, *желаетъ* республику, если народъ французскій ее утвердить». Какая осторожность и неувѣренность! Говорить-ли кто-нибудь этимъ языкомъ черезъ часъ послѣ битвы, послѣ побѣды? На другой день временное правительство объявило, что оно «республиканское»; вслѣдъ затѣмъ явилась третья прокламація, въ которой сказано: «Королевская власть уничтожена, республика провозглашена!» О народномъ согласіи на этотъ разъ ни слова.

Революція 24 февраля сдѣлалась слишкомъ нечаянно, это былъ *coup d'état*, 18 брюмеръ со стороны республиканцевъ. Во Франціи такія перемѣны бывали часто и удавались, но не надобно забывать, что 18 брюмеры гораздо легче дѣлать въ пользу власти, нежели въ пользу свободы. Власти надобно только признаніе, формы, орудія, а свобода ничего не значить, пока не проникла въ убѣжденіе, пока не сдѣлалась вѣрой, мыслію, мнѣніемъ. Республика была сюрпризомъ для всѣхъ, для тѣхъ, которые пламенно

желали ея, для тѣхъ, которые еще пламеннѣе ее отталкивали. «N'est-ce pas un rêve?» спросилъ тронутый Кремье, послѣ рѣчи, сказанной имъ адвокатамъ въ первые дни республики. Да, гражданинъ министръ, это былъ сонъ, въ томъ-то вся и бѣда; теперь мы не спимъ, и уже вы не спросите, сонъ-ли это или нѣтъ,—мы сладко спали, но проснулись какъ послѣ опиума, грудь разбита, голова болитъ, глубокое отвращеніе къ жизни и къ людямъ наполняетъ душу. Мнѣ все кажется, что король уѣхалъ на время, правленіе безъ него ослабилось; но вотъ передъ его возвращеніемъ, слуги говорятъ громче и начинаютъ процессъ февральскому возмущенію, точно такъ, какъ начинали всѣ остальные политическіе процессы въ камерѣ перовъ. Загулявшая дворня перепугалась, она защищается тѣмъ, что она все ждала его, и въ самомъ дѣлѣ она благоговѣнно оставила запертыми его дворцы, его сады, его отдѣльные парки—для кого?—Такъ! по тому чувству, по которому слуга, отпущенный на волю, все-таки считаетъ бывшаго барина своимъ господиномъ.

Всѣ люди, всплывшіе послѣ 24 февраля, были попорчены египетскимъ плѣненіемъ Орлеанскаго, они образовались въ политику оппозиціи, въ парламентскія козни, *expédients*, и не могли быть ни просты, ни откровенны. Отчасти лица не виноваты, они родились подъ тяжкимъ фатумомъ, они образовались изъ негодной среды, они воспитались на гнилой почвѣ. Люди, кромѣ исключительныхъ явленій, служатъ невольными и по большей части искаженными проводниками тѣхъ началъ, которыя уже даны; тѣмъ не менѣе мнѣ бы не хотѣлось ихъ освободить отъ всякой отвѣтственности. Освободить людей отъ отвѣтственности—значить ихъ не уважать, не принимать ихъ за серьезное. Покрыть всѣ дѣйствія человѣческія широкой амністіей исторической необходимости—очень легко, но съ тѣмъ вмѣстѣ это значить утратить достоинство личности и лишить исторію всего драматическаго интереса.

Мнѣ жаль людей временнаго правленія, я такъ привыкъ слышать ихъ имена въ свѣтлое время, которое теперь кажется мечтой, невозможностью по сравненію съ безобразнымъ настоящимъ, съ этой незаконной диктатурой, начавшейся по горло въ крови и продолжающейся по горло въ позорѣ. Но именно эта кровь, этотъ позоръ и вызываютъ беспощадное осужденіе; мы не можемъ отказать отъ обнаружившихся послѣдствій, намъ нельзя отрѣчься отъ настоящаго, сквозь которое это недавно прошедшее представляется инымъ. Временное правительство, разсматриваемое сквозь штыки осаднаго положенія, не находитъ отпущенія въ душахъ нашей.

Франція не была готова для республики... По временное правительство, облеченное страшной диктатурой, опираясь на Парижъ,

могло дѣйствительно стать во главу движенія и вести народъ, воспитывая его учрежденіями, а не подвергая кровавымъ потрясеніямъ, которыми онъ вырабатывается теперь. Для этого надобно было имѣть вѣру и энергію комитета общественнаго спасенія, и замѣтите, только вѣру его и его преданность; обстоятельства были таковы, что временному правительству вовсе не нужно было обречь себя на строгую карающую роль, которая окружила кровавымъ облакомъ диктатуру 93 года. Я увѣренъ въ нѣкоторомъ желаніи добра почти всѣхъ членовъ, особенно въ первые дни, въ которые надобно было быть уродомъ или извергомъ, чтобъ не раздѣлить общаго увлеченія; кромѣ Ледрю-Роллена, Луи Бланъ и Альберъ были не только республиканцы, но и социалисты. Да и у нихъ не доставало нерва революціоннаго, который былъ у роялиста Мирабо и у монтаньяра Дантона; въ нихъ не было того спокойнаго духа, подрывающаго старое, ломающаго безъ оглядки, дерзкаго въ отношеніи къ прошедшему, сердящагося и находящаго удовольствіе въ разрушеніи. Луи Бланъ радикальнѣе Ледрю-Роллена, но онъ, удалившись въ Люксембургъ, сдѣлался проповѣдникомъ социализма и утратилъ вліяніе на правительство.

Ледрю-Ролленъ встрѣтилъ противудѣйствіе въ товарищахъ, можетъ, онъ и сладилъ бы съ ними, но въ ихъ главѣ стоялъ авторитетъ—Ламартинъ. Характеръ Ламартина по преимуществу женскій, примиряющій, бѣгущій крайностей; онъ стремился примирить, соединить противоположныя направленія, потому что ни съ чѣмъ не справился внутри себя; въ его умѣ, въ его рѣчахъ отсутствіе всего рѣзкаго, опредѣленнаго; онъ былъ рефлектеръ въ поэзіи и сдѣлался рефлектеромъ въ политикѣ. Ламартинъ развился подъ странными вліяніями и остался вѣренъ эпохѣ своего цвѣтенія, тому времени, когда отсталая Франція измѣнила собственному гению своему, ясному въ отвлеченіяхъ, опредѣленному во всемъ; французская мысль и французская фраза приняли что-то туманное, не вполне высказываемое, стремящееся «все обнять, ничего не отвергая», — таинственная пустота Шатобриана и спутанный эклектизмъ Кузена могутъ служить представителями этой эпохи.

Въ Ламартинѣ есть именно нѣчто шатобриановское и нѣчто эклектическое. Онъ не догадывался, что это колебаніе между крайностями, эта высшая, обнимающая справедливость безъ внутренняго начала, безъ установившейся мысли, представляетъ или высшее бездушіе (какъ вся философія Кузена) или эгоистическій эпикуреизмъ, распущенность. Ламартинъ находилъ въ сердцѣ своемъ звуки и бѣлымъ лиліямъ, и служителямъ алтаря, и Наполеону, и... и ничему не предавался въ самомъ дѣлѣ; Ламартинъ-диктаторъ полюбилъ республику, народъ, онъ на этой высотѣ хотѣлъ наслаждаться общимъ миромъ, сочувствовалъ голодному работнику,

любилъ роскошь богатаго, имѣлъ слезу для герцогини Орлеанской, рыцарское великодушіе къ политическимъ врагамъ; онъ съ однимъ не могъ сочувствовать — съ революціей, онъ думалъ, что ея не нужно послѣ провозглашенія республики! И такой-то человѣкъ стоялъ во главѣ возникающей демократіи, осредотворяя мягкостью своей души два бурные потока, уступая обоимъ и обезсиливая тотъ и другой.

Временное правительство приняло за главный вопросъ успокоить среднее состояніе во Франціи и встревоженныхъ правительства въ Европѣ. Оно не вѣрило въ свое собственное дѣло и оттого погубило его. Оно хотѣло *какъ-нибудь* уладить республику, *какъ-нибудь* удержать миръ — и достигло цѣли. Оно боялось разорваться съ прежнимъ порядкомъ; новой, государственной, строящей мысли у него не было; отсюда это непріятное, нестройное колебаніе между разными направленіями: то является законъ, основанный на социализмѣ, то чисто монархическое распоряженіе, въ однѣхъ мѣрахъ видно блѣдное подражаніе комитету общественнаго спасенія, въ другихъ остался весь характеръ конституціоннаго королевства. Люди, судившіе и рядившіе Францію, а съ ней вмѣстѣ и всю Европу, ни разу не подумали, чѣмъ собственно должна отличаться новая республика отъ старой монархіи.

Они себя принимали за такую случайность, за такое проходящее, что они ни въ чемъ не шли дальше формы и поверхности; они обходили всѣ важныя задачи; имъ предстояло бросить первые основы демократическаго и социальнаго пересозданія; вмѣсто того они смиренно указывали республиканцамъ на будущее собраніе; социалистамъ — на Люксембургскую комиссію; они боялись взять революцію на свою отвѣтственность, они одного хотѣли: уличной тишины и полицейскаго порядка; ихъ слабые нервы не могли выносить республиканскаго шума.

«Всеобщая подача голосовъ, организація работы» — вотъ чего хотѣла февральская революція и чего не осмѣливалось оспаривать у народа временное правительство. Но грубое непониманіе вопроса и механическое, холодное разрѣшеніе его, привели къ тому, что всеобщая подача голосовъ убила организацію работъ.

Всеобщая подача голосовъ, при монархическомъ устройствѣ государства, при нелѣпомъ раздѣленіи властей, которыми такъ хвастались приверженцы конституціонныхъ формъ, при религіозномъ понятіи о представительствѣ, при полицейской централизаціи всего государства въ рукахъ министерства, — такой же оптический обманъ, какъ равенство, которое проповѣдывало христіанство. Тупость консерваторовъ, ихъ привычки къ цензу заставляли ихъ трепетать передъ всеобщей подачей голосовъ, въ то время какъ оно не опаснѣе всякаго другого избранія представителей. Дѣло во-

все не въ томъ, чтобъ разъ въ году собраться, выбрать депутата и снова воротиться къ страдательной роли управляемаго; надобно было основать всю общественную іерархію на выборахъ, надобно было предоставить общинѣ избрать свое правительство, департаменту свое; надобно было уничтожить всѣхъ проконсуловъ, получающихъ священный санъ отъ министерскаго помазанія; тогда только народъ могъ бы дѣйствительно воспользоваться правами и, сверхъ того, дѣльно избрать своихъ центральныхъ депутатовъ. Объ этомъ и не думали наши децемвиры, они хотѣли оставить города и общины въ ихъ полнѣйшей зависимости отъ исполнительной власти и демократическую мысль всеобщей подачи голосовъ приложили къ одному гражданскому акту.

Ледрю-Ролленъ понялъ опасность и нелѣпость предстоявшихъ выборовъ. Что за результатъ могли дать голоса нѣсколькихъ милліоновъ человѣкъ, первый разъ избирающихъ безъ приготовленія, безъ образованія, подъ вліяніемъ духовенства, богатыхъ собственниковъ, нотаріусовъ, чиновниковъ, — людей враждебныхъ республикѣ по общественному положенію? Ничего не могло быть естественнѣе, какъ мысль послать объясниться съ народомъ посредниковъ между имъ и революціоннымъ правительствомъ; еще естественнѣе было напутствовать циркулярами комиссаровъ. Чему удивились консервативные журналы, члены правительства, откуда этотъ вопль буржуазіи, эти проклятія Ледрю-Роллену, когда онъ послалъ комиссаровъ и обнародовалъ свои циркуляры? Буржуазія покорила горькой необходимости и признала республику на условіи, что республика будетъ шутка; она надѣялась на неустроенную всеобщую подачу голосовъ, какъ на каменную гору; а тутъ является человѣкъ, у котораго въ рукахъ была страшная власть министра внутреннихъ дѣлъ и который вздумалъ призрачные выборы сдѣлать дѣйствительными. Прочтите эти знаменитые циркуляры; вы увидите, что вся его цѣль состояла въ томъ, чтобъ преимущественно выбирали республиканцевъ, а не роялистовъ, для того, чтобъ представлять и устроить *республику*. «Да Франція все не хочетъ республики!» Это другой вопросъ; тогда надобно было обратиться не къ Ледрю-Роллену, а ко всему правительству, ко всему парижскому народу и спросить у нихъ отчета, почему послѣ Людовика Филиппа они не провозгласили Генриха V? Республика была фактъ, она была провозглашена, ея министры должны были дѣйствовать въ духѣ республиканскомъ. Если-бъ всѣ шли дружно и по одной дорогѣ съ Ледрю-Ролленомъ, если-бъ, сверхъ того, и самъ Ледрю-Ролленъ не сбился съ нея, мы не сидѣли бы третій мѣсяцъ въ осадномъ положеніи и не видѣли бы улицы Париза, усталанныя труппами.

Роковая неловкость временнаго правленія вела его отъ ошибки

къ ошибокѣ, чтобъ не сказать отъ измѣны къ измѣнѣ. Если-бъ выборы назначены были немедленно, можно было бы ожидать, что подъ вліяніемъ недавней революціи изберутъ республиканцевъ; если-бъ выборы были отложены на долгій срокъ, можно было бы нѣсколько приготовить народъ, особенно крестьянъ. Правительство не сдѣлало ни того, ни другого, оно дало ровно столько времени, сколько было нужно, чтобъ одушевленіе остыло и чтобъ реакція ободрилась. Оно употребило одну *réclame électorale*, это—надбавочный налогъ сорока пяти сантимовъ. Нелѣпость этой мѣры превышаетъ всякое человѣческое пониманіе; она оскорбила земледѣльцевъ, она ихъ возстановила противъ республики, сорокъ пять сантимовъ сдѣлались знаменемъ реакціи. Крестьяне собственно черезъ налогъ узнали о республикѣ, она имъ рекомендовалась прибавкой тяжести. Да откуда было взять деньги? Откуда угодно, только не съ бѣдныхъ людей, задавленныхъ и безъ того общественной несправедливостью. Откуда бралъ деньги Камбонъ? — Тогда былъ терроръ.—Хорошо, откуда въ концѣ 1795 года достала директорія 600 милліоновъ? Наконецъ, сирь Робертъ Пиль, конечно, не революціонеръ, прибѣгнулъ-же къ *income tax*?

Клубъ Бланки понялъ гибельное дѣйствіе, которое произведетъ надбавочный налогъ, онъ послалъ депутацію къ правительству. Гарнье Пажесъ отвѣчалъ делегатамъ клуба, что само правительство видитъ неловкость этой мѣры и постарается поправить ее. Какъ же оно поправило? Оно велѣло не взыскивать 45 сантимовъ съ людей, которымъ меры выдадутъ свидѣтельство, что имъ нечѣмъ заплатить. Если это была увертка, то Гарнье Пажесъ дурной шутникъ; если же онъ это сдѣлалъ по убѣжденію, то мы имѣемъ право усомниться, не поврежденный ли онъ? Не только во Франціи, гдѣ по чрезвычайно развитому чувству гордости, никто не признается въ бѣдности; но гдѣ угодно, объявите налогъ съ такимъ оскорбительнымъ изъятіемъ для неимущихъ, его или всѣ заплатятъ или никто. Такъ и случилось; тамъ гдѣ не заплатили, правительство приняло военныя мѣры!..

Парижскій народъ и клубы съ ужасомъ видѣли, что правительство сбилось съ дороги, они подозрительно смотрѣли на всѣхъ членовъ, исключая Ледрю-Роллена, Луи Блана и Альбера. Клубы давали совѣты, указывали зло, ошибки черезъ журналы, черезъ делегатовъ; правительство и не думало перемѣнить линіи поведенія. Они говорили, напримѣръ, что невозможно оставить судьями людей, занимавшихся лѣтъ двадцать пять преслѣдованіемъ республиканцевъ,—правительство ихъ оставило.

Вмѣстѣ съ паденіемъ электоральнаго ценза пало исключительно буржуазное устройство національной гвардіи; каждый гражданинъ, получая голосъ, получалъ ружье. Вооруженный Парижъ предста-

влиять огромную силу, онъ дѣлался не только столицей демократіи, но ея великой дружиной; войскъ въ Парижѣ тогда не было и не могло быть, пока народъ имѣлъ голосъ и волю. Вооруживши весь Парижъ, временное правительство ввело новую массу въ старые кадры легионовъ національной гвардіи; вновь взшедшіе въ легионы естественно подчинились прежнимъ членамъ, приняли большей частью ихъ направленіе и духъ. Кабэ десять разъ въ своемъ клубѣ говорилъ о необходимости распустить національную гвардію и потомъ вновь ее составить, онъ сильно возставалъ противъ мундира — и былъ правъ. Мундиръ вообще вещь вредная, — онъ отдѣляетъ человѣка отъ другихъ; но онъ ни гдѣ не вреденъ до такой степени, какъ во Франціи; Франція со временъ Наполеона заражена солдатизмомъ. Правительство дальше уничтоженія мѣховыхъ шапокъ не пошло, оно оставило прежніе мундиры и дозволило вновь поступившимъ остаться въ обыкновенномъ платьѣ; люди въ мундирахъ, само собою разумѣется, тотчасъ составили аристократію въ легионахъ.

Что касается до устройства работъ, правительство и не думало серьезно заняться этимъ вопросомъ, оно не имѣло никакого плана, никакого мнѣнія объ этой важнѣйшей задачѣ современности. Чтобы отдѣлаться отъ нея, оно назначило Луи Блана и Альбера председателями комиссіи о работникахъ и отослало ихъ на другой край Парижа въ Люксенбургскій дворецъ. Сверхъ того, оно, не ожидая ея рѣшенія, основало національныя мастерскія, въ родѣ убожища для работниковъ, лишенныхъ работы вслѣдствіе революціи. Эти знаменитыя ateliers nationaux, поставленныя на счетъ социалистамъ, были изобрѣтены консерваторами временнаго правительства, не изъ желанія добра, а изъ страха передъ двумястами тысячами человѣкъ, не имѣвшихъ ни насущнаго хлѣба, ни занятія. Много ли, мало ли сдѣлала Люксенбургская комиссія, — важность ея не подлежитъ сомнѣнію: социальный вопросъ сдѣлался государственнымъ. Рѣчи Луи Блана раздавались глубоко въ сердцахъ, пострадавшихъ не только отъ нужды, но отъ оскорбленій. Слова симпатіи и братства слышались ими съ высоты той самой трибуны, на которой за нѣсколько дней тому назадъ кашлялъ сторбившійся старикъ Пакье, бездушный и лукавый представитель отходящаго и дряхлаго міра. Въ засѣданіяхъ комиссіи мало дѣлали дѣла, но они иногда оканчивались слезами; это были дружескія бесѣды, значительно дѣйствовавшія на развитіе работниковъ. Однажды передъ окончаніемъ засѣданія пришелъ Ламартинъ. Луи Бланъ закрылъ уже бесѣду, народъ сталъ расходиться; вдругъ крошечный Луи Бланъ бѣжитъ снова на трибуну, шумить, звонить, просить пріостановиться; работники останавливаются; Луи Бланъ говоритъ имъ: «Друзья мои, сейчасъ товарищъ мой.

гражданинъ Ламартинъ, получилъ вѣсть, что вѣнскій народъ одержалъ побѣду, Меттернихъ бѣжалъ, революція торжествуетъ; я васъ остановилъ, чтобъ подѣлиться съ вами хорошей новостью. Да здравствуетъ всеобщая республика!»

Между тѣмъ реакція торжествовала; она до того была увѣрена въ побѣдѣ, что маршалъ Бюжо предлагалъ правительству свою трансноненскую шпагу, а Тьеръ ожидалъ выборовъ. Гордясь смѣшнымъ великодушіемъ, правительство не брало никакихъ мѣръ противъ закаленныхъ интригановъ и давало имъ полную волю сбивать съ толку избирателей. Я въ глубинѣ сердца ненавижу всѣ свирѣпыя мѣры, тѣмъ больше ненавижу, что считаю ихъ за роскошь, за месть. Но въ чемъ же состояла бы свирѣпость отстранить нѣсколько сотъ человѣкъ, богатыхъ по большей части, отъ участія въ дѣлахъ; заставить ихъ удалиться изъ Франціи до тѣхъ поръ, пока новое правительство окрѣпло бы, пока республика учредилась бы. Люди эти были извѣстны, они извѣстны теперь, это знаменитые *satisfaits* камеры депутатовъ, это бывшіе министры, публичные защитники іезуитизма. Я думаю, что эта мѣра была бы гораздо кротче и гораздо полезнѣе, нежели канибальскія депортаціи, продолжающіяся третій мѣсяць. Ледрю-Ролленъ, который думалъ, что надобно было оставить всѣхъ префектовъ, оставилъ въ то же время въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ Карлье. Шпіоны, которыхъ число было весьма значительно при Людовикѣ Филиппѣ, имѣли дерзость предложить свои услуги временному правительству, ссылаясь между прочимъ на то, что они лишились всѣхъ средствъ существованія съ 24 февраля, и правительство, вмѣсто того, чтобъ депортировать это гнѣздо разврата, приняло ихъ услуги. Изъ нихъ и изъ всякихъ плутовъ разныхъ партій составились *три тайныхъ полиціи*. Одна была при префектурѣ, другая при министрѣ внутреннихъ дѣлъ, третья при Марастѣ! Суммы потрачены на содержаніе этихъ доносчиковъ, которые были совершенно не нужны, — все дѣлалось открыто, на улицѣ. Шпіоны Мараста окружали Косидьера, Ледрю-Роллена и Луи Блана, въ то время какъ Косидьеръ зналъ каждое слово Мараста. Вотъ чѣмъ забавлялись децемвиры. Въ министерствѣ иностранныхъ дѣлъ — то же самое: Ламартинъ употреблялъ секретарей Гизо и ввѣрялъ людямъ самой подозрительной репутаціи важныя дипломатическія порученія.

Вы помните, какъ вѣсть о провозглашеніи республики потрясла всю Европу; даже Англія покачнулася на своихъ средневѣковыхъ основаніяхъ; народы подняли голову и протягивали руку симпатіи республикѣ, Франція естественно становилась главою всемірнаго движенія. Какая разница съ республикой, провозглашенной 22 сентября 1792 года! Тогда въ Европѣ едва нашлась небольшая горсть

людей, какъ Кантъ, Фихте, Форстеръ, Фоксъ, симпатизировавшихъ съ движеніемъ; теперь депутація за депутаціей являлась къ временному правительству съ рѣчами симпатіи и братства. Поляки, итальянцы, нѣмцы, сѣверо-американцы, ирландцы, англійскіе демократы и чартисты наперерывъ заявляли свою дружбу и удивленіе. Это не были празднаыя рѣчи и пустыя слова,—вспомните, что происходило тогда въ Вѣнѣ, Берлинѣ, Миланѣ, Римѣ, въ южной Германіи, въ Познани и въ самой Бельгіи. Ни въ какую эпоху имперіи, Франція не имѣла такого вліянія на всю Европу, какъ въ мартѣ и апрѣлѣ мѣсяцѣ; правительства были деморализованы, сбиты съ толку, народы за Францію, испугъ былъ такъ великъ, что прусскій король и австрійскій императоръ соглашались на демократическія уложенія и обѣщали возстановить Польшу. Чтобъ разомъ выразить слабость старой политики 1815 года, стоитъ вспомнить, что маленкій уголокъ Монако и Невшательскій кантонъ сдѣлали свои революціи, и никто не думалъ имъ мѣшать!

Какъ воспользовалась французская республика этимъ удивительнымъ стеченіемъ обстоятельствъ? Она дала время пройти страху, ободрила всѣ правительства и убила все европейское движеніе. Манифестъ Ламартина былъ уже довольно слабъ и водянь; но дѣйствія его дипломатіи были гораздо слабѣе. Онъ говоритъ въ манифестѣ, что Франціи нечего искать прощенія за революцію, ни упрашивать о признаніи республики; на дѣлѣ онъ именно искалъ, чтобъ европейскія государства отпустили Франціи грѣхъ освобожденія. Ламартинъ столько же боялся коалиціи монарховъ, сколько монархи боялись союза народовъ. Можно безъ смѣха себѣ представить челоуѣка, который боится другого; но представьте, что они оба другъ друга боятся, и вы непременно расхохочетесь.

Старая дипломатія европейскихъ дворовъ была догадливаѣе и интрига Ламартина, она поняла, съ какимъ республиканскимъ правленіемъ имѣетъ дѣло. Ей было досадно, что она поддалась мнимоу страху; она отомстила народамъ за свою слабость. Реакція, открытая и дерзкая, началась вездѣ и продолжается во всей красѣ; чудовищное изобрѣтеніе осаднаго положенія на цѣлые мѣсяцы нашло подражателей.

Но что же дѣлала демократическая партія, что дѣлали социаллисты, какія мѣры были взяты ими, когда они увидѣли, въ какихъ искусныхъ рукахъ правительство и на какой гибельной дорогѣ? Нельзя сказать, чтобъ демократія показала себя ловкой или искусной; она умѣетъ только мужественно драться, геройски умирать и гордо выносить тюрьму и галеры. Три раза могла демократія побѣдить монархическую республику и три раза упустила изъ рукъ побѣду.

Мученики временъ Людовика Филиппа, Барбесъ и Бланки,

были главами двухъ мощныхъ клубовъ; Собріе, Распайль, Кабэ имѣли свои клубы, цѣль у нихъ была общая, но единства, но плана не было. Барбесъ и Бланки были во враждѣ; вражда эта, основанная на совершеннѣйшей противоположности характеровъ, была раздуваема людьми, находившими выгоды въ взаимномъ отдаленіи двухъ корифеевъ демократіи. Барбесъ и Бланки, возвратившись изъ Mont S. Michel, протянули руку Ламартину, тѣмъ болѣе, что Барбесъ считалъ себя обязаннымъ благодарностью: Ламартинъ упросилъ Людовика Филиппа не исполнять смертнаго приговора, къ которому Барбесъ былъ осужденъ въ 1840 году ¹⁾. Помощь такихъ людей была неоцѣненна для правительства, они приносили совѣтъ закаленныхъ демократовъ, авторитетъ, основанный на большихъ заслугахъ, на героическомъ мужествѣ одного, и на глубокомысленномъ и много-объемлющемъ взглядѣ другого. Недѣли черезъ двѣ оба отошли, качая головой; они увидѣли, что съ этими людьми ничего не сдѣлаешь, что они погубятъ революцію. Барбесъ, полковникъ XII легіона, представитель, отходя отъ правительства, по своему положенію оставался съ нимъ въ сношеніяхъ. Къ тому же присовокуплялись у него дружескія воспоминанія, въ правительствѣ были его прежніе товарищи по заговорамъ. Довѣрчивый, всегда готовый отдать за республику послѣднюю каплю крови, онъ многого не видалъ; чистый душою, онъ вѣрилъ въ чистоту другихъ, онъ надѣялся на людей тамъ, гдѣ ихъ надобно было презирать.

Не таковъ былъ Бланки. Разрывая связи съ правительствомъ, онъ разрывалъ ихъ окончательно, онъ никого и прежде не любилъ изъ этихъ слабыхъ людей; теперь онъ ихъ ненавидѣлъ и подозрѣвалъ. Бланки, человекъ сосредоточенный, нервный, угрюмый, изнуренный и больной отъ страшнаго тюремнаго заключенія, сохранилъ невѣроятную энергію духа; Бланки, революціонеръ нашего вѣка, онъ понималъ, что поправлять нечего, онъ понималъ, что первая задача теперь разрушать существующее. Одаренный совершенно оригинальнымъ краснорѣчіемъ, онъ потрясалъ массы, каждое слово его было обвиненіе стараго міра. Его меньше любили, нежели Барбеса, но слушались больше. Правительство было испугано этимъ беспощаднымъ человекомъ; чтобъ оно ни дѣлало, злой и ироническій взглядъ Бланки былъ у нихъ передъ глазами, и они блѣднѣли. Извести его старались всѣ, Ледрю-Ролленъ и Косидьеръ такъ же, какъ другіе: съ Барбесомъ они надѣялись поладить.

¹⁾ Таковъ былъ общій слухъ тогда; впоследствии я самъ спрашивалъ у Барбеса, какъ это было, и узналъ, что участіе Ламартина вовсе не было такъ важно. Его спасла родная сестра его, писавшая къ Людовику Филиппу (1858).

Въ мартѣ мѣсяцѣ правительство еще не смѣло и думать объ арестаціяхъ, оно ограничивалось клеветою. Бланки и клубы напомнили ему 17 марта свою силу, по поводу глупой демонстраціи мѣховыхъ шапокъ. Они прошли торжественной прогулкой по главнымъ улицамъ Парижа въ числѣ ста тысячъ человѣкъ. Не смотря на величайшій порядокъ и тишину, буржуазія до того была испугана прогулкой и выраженіемъ лицъ, что опять при-смирѣла на цѣлый мѣсяцъ и продолжала свою мелкую работу за стѣной.

Въ этотъ день, въ этотъ мѣсяцъ можно было надѣлать чудеса, демократія не умѣла имъ воспользоваться. Люди, имѣющіе возможность прогуливаться колоннами, которыя наполняютъ бульвары, не могли, не должны были допустить той реакціи, которая, наконецъ, собрала свои силы и побѣдила вполне въ іюньскіе дни. Демократія 17 марта ограничилась ободреніемъ правительства: народъ обѣщалъ поддержать его противъ козней реакціи; но кто же сказалъ, что правительство боялось реакціи, оно именно боялось народа. Ламартинъ за день передъ тѣмъ выдалъ Ледрю-Роллена и косвенно снялъ съ части правительства отвѣтственность за его циркуляры; народъ принималъ теперь эту солидарность и кричалъ: *vive Ledru-Rollin!* и Ледрю-Ролленъ не догадался, что ему слѣдовало захватить диктатуру и спасти революцію. Народъ пошелъ по домамъ, ничего не сдѣлавши, онъ усилилъ только временное правительство и оно отвѣчало народу на другой день въ «Мониторѣ»: «Правительство, провозглашенное на мѣстѣ битвы, получило новое утвержденіе своей власти двумястами тысячами гражданъ, которые принесли намъ своими рукоплесканіями нравственную силу и царственную санкцію». Поблагодаривъ такимъ образомъ народъ, правительство стало приготовляться къ новому приему царственного гостя, на этотъ разъ съ военной почестью.

Ровно черезъ мѣсяцъ, 16 апрѣля, клубы и работники, убѣжденные теперь, что правительство ничего не хочетъ дѣлать для народа, что выборы идутъ скверно, собрались безъ оружія на *Champ de Mars*. Вдругъ раздался сборъ національной гвардіи по всему Парижу, — вооруженные мѣщане бѣжали отовсюду, банльѣ входила во всѣ заставы, въ меріяхъ раздавали боевые патроны, около ста тысячъ штыковъ тѣснились у *Hôtel de Ville* и у Люксенбургскаго дворца. Люди, не знавшіе ничего прежде, съ безпокойствіемъ спрашивали, гдѣ возстаніе, гдѣ врагъ? Собріе схватилъ свое ружье и выбѣжалъ на улицу, увѣренный, что роялисты сдѣлали какое-нибудь возстаніе. Эти штыки, эти пули были приготовлены тому самому народу, передъ которымъ преклонялось мѣсяцъ тому назадъ временное правительство. Въ этотъ день неосторожный Ледрю-Ролленъ принялъ на себя большую отвѣтствен-

ность,—онъ приказалъ бить сборъ; Марастъ предложилъ мерамъ парижскихъ округовъ крикъ à bas les communistes,—отъ того было недалеко до mort aux communistes, которое повторялось въ рядахъ хранителей порядка. Подъ словомъ коммунистовъ разумѣли теперь всѣхъ республиканцевъ, не вѣрющихъ, что республика значить отсутствие Людовика Филиппа и больше ничего. Если-бъ не добрый и благородный старикъ Курте, который начальствовалъ національной гвардіей, дѣло не обошлось бы безъ кровопролитія. Хорошо-ли это? Трудно сказать. Побѣда была возможна для народа, войскъ не было, не было бы и столько жертвъ, какъ въ іюнѣ, а іюньскія жертвы все же не послѣднія.

Оскорбленные работники требовали у правительства объясненія, правительство путалось, благодарило національную гвардію за ея готовность, благодарило работниковъ за то зло, которое они не сдѣлали и котораго никто не хотѣлъ. Марастъ увѣрялъ, что вся дѣль правительства «окончить эксплуатацію чело-вѣкомъ». Народъ расходился мрачно, недо-вѣріе и злоба распространялись, двѣ республики помирились: «oh que l'avenir est menaçant, писалъ Пьеръ Жеру къ Кабэ, puisqu'il y a des aujourd'hui deux Républiques en presence!»

Черезъ два дня или три, послѣ 17 апрѣля, на какомъ-то смотру національной гвардіи, генераль Шангарнье, открытый роялистъ, извѣстный интриганъ, чело-вѣкъ предприимчивый, бездушный, честолюбивый и чрезвычайно завистливый, объявилъ, что нѣсколько линейныхъ полковъ готовы вступить въ Парижъ, для облегченія національной гвардіи; это былъ, такъ сказать, запросъ мѣщанамъ, хотять-ли они, чтобъ войско вошло въ Парижъ. «Vive la ligne!» прокричали первые легіоны (т. е. изъ богатыхъ и аристократическихъ частей города),—и черезъ нѣсколько часовъ солдаты вошли съ барабаннымъ боемъ въ Парижъ, первые солдаты послѣ 24 февраля. Съ ихъ вступленіемъ республика находилась подъ дамокловымъ мечемъ, Кавеньякъ отрѣзалъ шнурокъ, и мечъ, занесенный временнымъ правительствомъ, сдѣлалъ свое дѣло. Эмиль Жиарденъ очень справедливо повторялъ въ «Прессѣ», что 24 февраля армія побѣждена не какъ армія, а отвергнута какъ институтъ (elle a été condamné comme institution), и тупая Reforme возставала противъ него. Однако вводъ войскъ сильно взволновалъ гражданъ; клубъ Бланки явился требовать у правительства отчета; Ламартинъ съ своимъ краснорѣчивымъ лукавствомъ отвѣчалъ, что войска вошло четыре тысячи; для того чтобъ примирить гражданъ-солдатъ съ ихъ братьями, «мы не думаемъ, говорилъ онъ, не думали и никогда не будемъ думать о томъ, чтобъ противудѣйствовать войсками народу, республика внутри не требуетъ другихъ защитниковъ, кромѣ вооруженнаго народа. И что

можетъ сдѣлать эта горсть воиновъ, когда 80.000 человекъ подъ начальствомъ Бюжо ничего не сдѣлали». Это было великое преступленіе временнаго правительства, и Ледрю-Ролленъ согласился на эту мѣру и той же рукой, которой подписывалъ свои бюллетени и циркуляры, подписалъ смерть революціи. Власть развращаетъ или пьянитъ.

Послѣ этихъ событій, правительство удалялось далѣе и далѣе отъ народа, народъ чувствовалъ, что онъ обманутъ и жался около клубовъ, въ клубахъ было бездна рѣчей, шумныхъ засѣданій, предложеній, — и никакого плана, какъ остановить реакцію; все предоставлялось случаю, народъ былъ готовъ. Французамъ удавались много разъ такія неожиданныя вспышки, они думали, что и теперь удастся. А между тѣмъ выборы гнулись явно на сторону реакціи и монархіи, комиссаровъ временнаго правительства выгоняли, сажали въ тюрьму, лишали возможности дѣйствовать, духовенство помогало буржуазіи и легитимистамъ. Работники, потерявъ всякую надежду видѣть свои интересы представленными, взбунтовались въ Лиможѣ, Руанѣ и Эльбефѣ. Въ Лиможѣ народъ одержать верхъ, — и дѣло обошлось безъ убійствъ; въ Руанѣ побѣдила буржуазія, — и кровь обагрила улицы древняго города. Теперь черезъ четыре мѣсяца реакція готовится судить возмутителей общественной тишины. Положимъ, что съ полицейски-юридической точки зрѣнія народъ былъ неправъ, возражая насиліемъ противъ выборовъ, но есть другая высшая справедливость, и она за него: народъ чувствовалъ, что онъ обманутъ; не находя другого средства, запутанный формализмомъ, онъ возставалъ, врывался въ собранія, бросалъ въ огонь урны. Народъ не судебное мѣсто, не частное лицо, онъ не можетъ, кромѣ Англіи, идти легальными путями. Въ Англіи законность равно куетъ въ цѣпи народъ и правительство; правительство въ Англіи никогда не выступитъ изъ закономъ опредѣленныхъ формъ. А былъ-ли примѣръ, чтобъ во Франціи какое-нибудь правительство остановилось на легальности въ политическомъ вопросѣ? Всѣ правительства имѣли здѣсь свои сентябрьскія дни, свои *lettres de cachet*, свои фруктидоризаціи, и разстрѣлянный герцогъ Энгіенскій стоитъ Эбертовой *complicité morale* и нынѣшнихъ депортацій. Французскія правительства съ 9 термидора 1794 г. не вѣрятъ ни въ свою законность, ни въ свою прочность, имъ все мерещится гильотина, и они зашищаются, чѣмъ попало. Что касается до хваленной судебной власти во Франціи, до ея независимости, — это одинъ изъ самыхъ вопіющихъ предрасудковъ. Судебная власть во Франціи служитъ каждому правительству поочередно для отсылки его враговъ въ каторжную работу или на плаху.

Нелѣпныя преслѣдованія за политическія движенія, особенно

во время выборов, послѣ революціи, доказываютъ одно,—что республика ложь, пустое слово. Къ *безпорядкамъ и нарушеніямъ тишины* надобно въ республикахъ привыкать, дѣлать нечего: оно же въ сущности и небезпорядокъ и не такъ страшно, какъ кажется. Въ Сѣверо-Американскихъ штатахъ выборы почти никогда не обходятся безъ шума; правительство обыкновенно исчезаетъ въ это время, и въ этомъ его высокая честность; здѣсь нѣту ни столько такта, ни столько пониманія. Монархическое устройство у французовъ не выбьешь изъ головы; у нихъ страсть къ полиціи и къ власти; каждый французъ въ душѣ полицейскій комиссаръ, онъ любитъ фронтъ и дисциплину; все независимое, индивидуальное его бѣситъ, онъ равенство понимаетъ только нивилировкой и покоряется произволу полиціи, лишь бы только и другіе покорялись. Дайте французу галунъ на шляпу, и онъ сдѣлается притѣснитель, и онъ начинаетъ тѣснить простаго человѣка, т. е. человѣка безъ галуна; онъ потребуетъ *уваженія* передъ властію. Французы любятъ терроръ, оттого они такъ легко переносятъ осадное положеніе. Все это не мѣшаетъ вспомнить, говоря объ ужасахъ 93 года, для того чтобъ національную вину не ставить на счетъ лицъ.

«Мониторъ» толковалъ черезъ два мѣсяца послѣ 24 февраля объ *cris séditieux*, объ сборищахъ *безоружныхъ* людей; правительство никогда и не подумало, отчего-же и не кричать человѣку, что хочется, и что какъ-же можетъ народъ принимать дѣятельное участіе въ общественныхъ дѣлахъ, если онъ не будетъ собираться; клубы, общественныя залы, площади — все это кабинеты народа. Да хоть бы они протвердили краткую афинскую и римскую исторію.

Между тѣмъ въ Парижъ наѣзжали со всѣхъ сторонъ представители. Народъ и республиканцы, съ негодованіемъ и краснѣя до ушей, смотрѣли на эти ограниченныя лица, на эти скуные глаза пропріетеровъ, на эти черты, искаженные любовью къ барышну и къ порядку, на жирные носы и узкіе лбы провинціаловъ-стяжателей, шедшихъ теперь передъ лицомъ міра устроить судьбы Франціи, создавать республику, имѣя критеріумомъ аршинъ лавочника и разновѣсъ эписъе. И вы отдали будущность вашей прекрасной Франціи имъ, вы ихъ допустили, вы позволили имъ, — несите-же горькій плодъ!

Странная судьба Франціи быть великой въ болѣзни и пошлой въ здоровьи, быть великой одинъ день и ничтожной на другой день. Конечно, важно и то, что она обладаетъ этой силой стряхивать время отъ времени съ себя грязь, что она не можетъ долго оставаться въ покоѣ, что ей необходимо новое, перемѣна, движеніе; но тѣмъ не меньше ея невыдержка поразительна. Француз-

скій народъ внезапно возстаетъ; неотразимый и грозный, вступаетъ въ отчаянный бой съ общественнымъ зломъ; противостоять ему въ эти минуты невозможно: онъ беретъ Бастилью, онъ беретъ Тюльери, онъ отражаетъ цѣлую армию,—ихъ надобно передать. По мѣрѣ того, какъ онъ одолеваетъ врага, силы его слабеютъ, умъ тускнѣетъ, энергія исчезаетъ, онъ дѣлается равнодушнымъ къ тому, за что проливалъ кровь. Пока республика и Франція въ девяностыхъ годахъ висѣла на волоскѣ, пока Европа, Вандея, духовенство, дворянство, федералисты, претенденты, эмигранты, англійскія гиней шли войной со всѣхъ сторонъ, снизу, сверху, извнѣ, изнутри,—Парижъ и конвентъ отстояли Францію и республику. Побитый непріятель не успѣлъ добѣжать до своихъ домовъ, а уже республика слабѣла не по днямъ, а по часамъ. Десять лѣтъ дравшись за свободу, Франція обидѣлась, что у нея нѣтъ сильнаго правительства, что ея никто не тѣснитъ. Уродливая бездушная конституція сухого Сіэса съ казарменными варіаціями генерала Бонапарта была принята съ восторгомъ; никто не замѣтилъ или не хотѣлъ замѣтить, что конституція VIII года—организованный деспотизмъ, что правительственная гласность въ ней убита, что избирательная система превращена въ шалость, что о свободѣ книгопечатанія въ ней даже не упомянуто. Нѣтъ въ мірѣ народа, который сдѣлалъ бы столько подвиговъ, который бы пролилъ столько крови за свободу, какъ французы, и нѣтъ народа, который бы менѣе понималъ ее, менѣе искалъ бы осуществить ее на самомъ дѣлѣ, на площади, въ судѣ, въ своемъ домѣ; они довольствуются словами, они издають прокламаціи тамъ, гдѣ надобно измѣнять бытъ. Французы самый абстрактнѣйшій и самый религіозный народъ въ мірѣ; фанатизмъ къ идеѣ идетъ у нихъ объ руку съ неуваженіемъ къ лицу, съ пренебреженіемъ ближняго: у французовъ все превращается въ идолъ,—и горе той личности, которая не поклонится сегодняшнему кумиру. Французъ дерется геройски за свободу и, не задумываясь, тащитъ васъ въ тюрьму, если вы не согласны съ нимъ въ мнѣніи. Людовикъ XIV говорилъ «l'état c'est moi»; республика на дѣлѣ показала, что она правительство считаетъ за государство и тираническое *salus populi* и инквизиторское, кровавое *percat mundus et fiat justitia* равно написано въ сознаніи роялистовъ и демократовъ. Это происходитъ, между прочимъ, оттого, что французы всякую истину возводятъ въ догматъ; ихъ считали нерелигіозными, нехристианами, оттого что они вѣтренны и привыкли къ вольтеровскому кощунству; но развѣ рядомъ съ Вольтеромъ не стоитъ Руссо, котораго каждое слово религіозно, который перевелъ Евангеліе съ церковно-латинскаго языка на ново-французскій. Французы нисколько не освободились отъ религіи, читайте Ж. Зандъ и Пьера Леру, Луи

Блана и Мишле, вы вездѣ встрѣтите христіанство и романтизмъ, переложенные на наши нравы; вездѣ дуализмъ, абстракція, отвлеченный долгъ, обязательныя добродѣтели, офиціальная, риторическая нравственность безъ соотношенія къ практической жизни. Посмотрите, съ какимъ ужасомъ слушаютъ здѣсь Прудона, оттого что онъ смѣло и открыто говоритъ вещи, сказанныя за нѣсколько лѣтъ тому назадъ Фейербахомъ.

Свобода мысли, слова у французовъ скорѣе благородный капризъ, а не истинная потребность, и я также мало отвѣчаю за свободу книгопечатанія, если овладѣють властью демократы, какъ теперь. Ихъ спасаетъ отъ продолжительнаго рабства ихъ подвижная натура. Утративъ девять десятыхъ прибрѣтеннаго кровью, они лѣтъ черезъ пятнадцать снова строятъ баррикады, усѣиваютъ трупами улицы, удивляютъ міръ геройствомъ для того, чтобъ опять потерять завоеванное. Этотъ отроческій, легкомысленный характеръ, эта политическая *gamèrie* французовъ, полная отваги и благородства долго правилась Европѣ и увлекала ее, правилась особенно, пока она сама не смѣла открыть рта, а изъ-подъ тишка перемигивалась съ Парижемъ. Теперь народы повзросли, въ Берлинѣ, въ Вѣнѣ были баррикады; народы, поднявшіе голову послѣ революціи 1830 года, уже громко негодовали на французскую реакцію; они отпрянули съ досадой отъ Франціи послѣ 24 февраля, которое такъ много обѣщало и такъ ничего не сдѣлало. Еще подобный взрывъ и такое паденіе, и вы увидите, европейскіе народы отвернутся отъ Франціи и позволятъ ей бесплодно рѣзаться сколько угодно, не удостоивая ее ни симпатіей, ни участіемъ. Это старая басня волка и мальчика, дѣлавшаго напрасную тревогу; возмужалое челоуѣчество не позволитъ себя непрерывно надувать и станетъ равнодушно смотрѣть на страну, которая, какъ русскіе крестьяне до Годунова, имѣетъ одинъ день свободы въ году и триста шестьдесятъ четыре дня рабства!

Письмо одиннадцатое.

Парижъ, 1 іюня, 1849 г.

Наше время, мои друзья, при всей своей тягости, полно глубокаго поученія. Послѣдній годъ довосплатъ насъ. Мы лучше знаемъ нашъ станъ, наши силы, мы стали гораздо бѣднѣе, но зато ближе къ пониманію. Оставаться съ нами становится труднѣе,—все слабое, неопредѣленное, хрупкое торопится отстать. Даже многіе изъ откровенныхъ и преданныхъ людей, людей, которые всю жизнь работали для революціи, жаждали ея, разглядевъши теперь, куда она идетъ, приостановились; иные не поки-

даютъ насъ только отъ стыда, отъ привычки; другіе составляютъ особые легіоны—въ ожиданіи, пока какой нибудь Кавеньякъ ихъ поведетъ по своему...

Года за два было дешево либеральничать, стоило толковать о прогрессѣ, о самодержавіи народа, о демократическихъ симпатіяхъ, сидѣть въ лѣвомъ центрѣ, пугнуть иногда мѣщанъ воспоминаніемъ о конвентѣ, травить министровъ *par force* невозможными вопросами,—и все это оставаясь не только защитникомъ правъ, но и порядка, т. е. существующаго.

Все перемѣнилось, и серьезно теперь нельзя быть революціонеромъ не только по двумъ-тремъ фразамъ, рѣчамъ, но и по благороднымъ воспоминаніямъ о прошлыхъ бояхъ, строивши и защищая баррикады. Ни личная храбрость, ни доблестный нравъ не могутъ сдѣлать человека революціонеромъ, если онъ не революціонеръ *въ смыслъ современной эпохи*.

Революціонеры XVIII вѣка были велики и сильны именно потому, что они такъ хорошо поняли, въ чемъ имъ слѣдовало быть революціонерами, и, однажды понявши, безбоязненно и безпошадно шли своей дорогой. Быть теперь революціонерами, въ смыслѣ конвента, было бы почти то-же, что явиться въ конвентъ гутенотомъ. Въ XVIII столѣтіи достаточно было быть республиканцемъ, чтобъ быть революціонеромъ; теперь можно очень легко быть республиканцемъ и отчаяннымъ консерваторомъ. Соціалисту въ наше время нельзя не быть революціонеромъ.

По счастью, въ послѣднее время революція и консерватизмъ такъ раздвинулись, что какимъ колоссомъ Родоскимъ ни будь, но все невозможно стоять разомъ на обоихъ берегахъ,—въ этомъ любимомъ положеніи людей *сильныхъ*, какъ Ламартинъ. Время политическаго эклектизма прошло, надобно стоять на томъ берегу или на этомъ.

Кто желаетъ сохранить что бы то ни было изъ основаній христіанскихъ, феодальныхъ, римскихъ, у того въ душѣ дремлетъ консерватизмъ и реакція; обстоятельства непремѣнно его обойдутъ. Дѣло очень просто: революціонная идея нашего времени *несовмѣстна* съ европейскимъ государственнымъ устройствомъ; они другъ къ другу идутъ такъ, какъ англійскіе законы къ Японіи или брандбургское право къ древней Греціи. Чисто политическіе агитаторы въ сущности все-таки ближе къ Гизо, нежели къ намъ.

Все въ Европѣ стремится съ необычайной быстротой къ коренному перевороту или къ коренной гибели; нѣтъ точки, на которую бы можно опереться; все горитъ какъ на огнѣ—преданія и теоріи, религія и наука, новое и старое. Въ одинъ годъ Франція износила блестящую мечту политической республики, а Германія всѣ остальные мечтанія.

Но гдѣ предѣлы? Кто ихъ провель, начертилъ? Гдѣ оканчивается политическая республика, гдѣ начинается социальная?

Политическая республика не оканчивается въ социальной. а переходитъ въ нее; социальная республика есть исполненіе, осуществленіе политической; онѣ противоположны только въ анти-тетическомъ смыслѣ, и это не значить смутность понятій,—таково все движущееся, живое, развивающееся. Гдѣ предѣлы между растеніями и животными, между химизмомъ и организмомъ? Разница между розой и медвѣдемъ страшная, бросается въ глаза, а углубитесь въ міръ зоофитовъ и криптогаміи, и вы увидите, что животное царство смѣшивается съ растительнымъ, что одно переходитъ въ другое едва замѣтными тропинками... Соціализмъ предполагаетъ республику, какъ необходимо уже пройденной путь. Республика имѣетъ идеалъ, стремленіе; она не есть дѣйствительность, пока она ограничивается *представительствомъ* народнаго самодержавія. Она можетъ при хорошихъ условіяхъ быть свободнѣе конституціонной монархіи, но она не можетъ быть совершенно свободна до тѣхъ поръ, пока она принимаетъ неизмѣнными основы существующаго историческаго, общественнаго устройства. А въ ту минуту, въ которую она ихъ переступить, она становится социальной,—названіе условное и присвоенное именно для означенія этого перехода.

Обыкновенно думаютъ, что социализмъ имѣетъ исключительно цѣлью разрѣшеніе вопроса о капиталѣ, рентѣ и заработной платѣ. Это не совсѣмъ такъ. Экономическіе вопросы чрезвычайно важны, но они составляютъ одну сторону цѣлаго воззрѣнія, стремящагося, наравнѣ съ уничтоженіемъ злоупотребленій собственности, уничтожить на тѣхъ-же основаніяхъ и все монархическое, религиозное—въ судѣ, въ правительствѣ, во всемъ общественномъ устройствѣ, и всего болѣе, въ семьѣ, въ частной жизни, около очага, въ поведеніи, въ нравственности.

Республика, остающаяся при монархическомъ устройствѣ и съ монархическими правами, всегда можетъ сдѣлаться монархіей или, еще хуже, попасть подъ деспотическую власть плута или солдата, подъ самовластіе предательскаго, но самодержавнаго собранія, подъ гнетъ проданнаго министерства и его агентовъ.

Съ мѣсяць тому назадъ въ засѣданіи Прудоновскаго банка были произнесены замѣчательныя слова, тѣмъ болѣе замѣчательныя, что ихъ произнесъ не негодующій юноша, не оскорбленный реакціей французъ, а спокойный гражданинъ Сѣверо-Американскихъ штатовъ. «Я гражданинъ республики, сказалъ Брейсбенъ, существующей болѣе семидесяти лѣтъ при самыхъ блестящихъ условіяхъ: но я скажу вамъ откровенно, потому что вамъ это нужно знать, республика вамъ не поможетъ (онъ говорилъ работникамъ). Все,

что политическая республика можетъ дать, она дала въ Америкѣ, но она бессильна осуществить то общественное состояніе, къ которому стремится современный человѣкъ».

Само-по-себѣ слово «республика» чрезвычайно неопредѣленно и тучно; говоря «республика», мы еще ничего не сказали, кромѣ отрицанія наследственной власти и признанія *какого-нибудь* участія народа въ общественныхъ дѣлахъ.

Именно такая республика теперь во Франціи, она освободила государство отъ орлеанской династіи; но не освободила лицо отъ государства, она, напротивъ, оставила лицо слабымъ и безпомощнымъ передъ призракомъ репрезентации, облеченной въ царскую порфиру. Она можетъ сдѣлаться сноснѣе, оставаясь при томъ же монархическомъ принципѣ; но дойти до «истиннаго равенства, до свободы», какъ говоритъ Брейсенъ, не можетъ. Все, что могла дать конституціонная республика въ разумнѣйшемъ развитіи своемъ, все осуществилось по ту сторону океана. Сѣверо-Американскіе штаты, что ни толкуютъ болѣзненно романтическія души, которыми все простое и здоровое противно, государство возмужалое, трезвое, умное. Политическая республика, къ которой стремился либерализмъ XVIII столѣтія, тамъ водворена, права, о которыхъ столько говорили французы, тамъ приобрѣтены. Вы можете быть оскорблены въ Сѣверо-Американскихъ штатахъ общественнымъ мнѣніемъ, ихъ образомъ жизни, но не властью; тамъ никогда не считали правительственное святымъ; тамъ почти нѣтъ бюрократіи этого бича, обмокнутаго въ чернила, которымъ на дняхъ хвастался король прусскій; тамъ нѣтъ шпионства, нѣтъ марсоманіи и бѣшенства къ мундирамъ; тамъ не понимаютъ, что такое стѣсненія книгопечатанія,—и при всемъ томъ гражданинъ Сѣверо-Американскихъ штатовъ говоритъ работникамъ: «Республика, существующая на тѣхъ основаніяхъ, на которыхъ она существуетъ, не имѣетъ средствъ помочь вамъ; тутъ предѣлъ, далѣе котораго она не идетъ».

Въ XVIII столѣтіи республика была пламеннымъ вѣрованіемъ, религіей, ея имя тогда была цѣлая революція. Въ 92 году республика являлась на горизонтѣ свѣтлою и торжественной вѣстью освобожденія, какъ нѣкогда царство небесное.

Бабефъ, прежде нежели сложилъ голову на плаху, сказалъ Франціи, что ея революція только начало, l'avant-courreur, другого переворота и что этотъ грядущій переворотъ дотронется не до формъ, а до сущности, до нервной пульпы гражданскихъ обществъ. Его не поняли, да и тогда не время было понимать его; развитыя силы первымъ освобожденіемъ были еще такъ велики, что разгулъ ихъ чуть не разбилъ всю старую Европу и что двадцать лѣтъ непрерывныхъ войнъ едва могли привести Францію въ русло. Съ Напо-

леоновской эпохи прошли вѣка,—безуміе Бабёфа, безуміе Сен-Симона и Фурье выросли, съ своей стороны, въ религію.

Революція двадцать четвертаго февраля была дѣйствительно социальная; отсталые люди, люди тупые и злонамѣренные свели ее на политическую; она вышла блѣдною, потому что была ниже обстоятельствъ, потому что была копіей, а не оригиналомъ. Вотъ отчего сказанія о времени первой революціи при двадцатомъ повтореніи все также захватываютъ душу, отчего въ понятіи каждаго изъ насъ на вѣки врѣзались пластическія лица, событія, слова, взятіе Бастиліи, отвѣтъ Мирабо, 10 августа, Дантонъ, Робеспьеръ и всѣ эти гиганты войны и гиганты цивилизма. Вспомните рядомъ съ ними эти стертые, блѣдныя половинчатые, осторожныя личности Ламартина и К^о,—вамъ сдѣлается смѣшно. Не думайте, чтобъ одно отдаленіе придало тѣмъ ихъ величіе; черезъ сто лѣтъ члены временнаго правительства будутъ болѣе забыты, нежели второстепенные дѣятели девяностыхъ годовъ: въ то время какъ личность Сантера, Эксельмана будетъ жива для дальнѣйшаго потомства, имена прошлогоднихъ львовъ революціи едва останутся въ памяти какого-нибудь компилятора. Событія бывають велики, когда они совпадаютъ съ высшей потребностью своего вѣка; тогда люди приносятъ на совершеніе всю силу свою, ихъ дѣяніе до того исчерпываетъ на ту минуту всю сознательную возможность дѣйствованія, что за предѣлами его ничего не видать, что душа удовлетворена. Якобинцы вѣровали, что они спасаютъ міръ, что ихъ спасеніе есть единое возможное. Разумѣется, съ абсолютной точки зрѣнія они не были правы, они увлекались, ошибались въ размѣрѣ дѣлаемаго, но это увлеченіе и эти ошибки находятъ во всемъ гениальномъ и великомъ. Для того, чтобъ быть дѣятелемъ въ исторіи скорѣе надобно нѣсколько мономаніи, сумасшествія, нежели холоднаго безпристрастія; люди, захватившіе власть послѣ 24 февраля, конечно, не были сумасшедшіе; они заслуживають премію за умѣренность и благоразуміе, но за это не дается лавровыхъ вѣнковъ.

Провозглашеніе республики было необходимо. Соціализмъ предполагалъ, ставилъ, требовалъ республику, какъ необходимую гражданскую ступень и шелъ далѣе въ критикѣ, въ отрицаніи существующаго и въ довѣрїи къ будущему, къ человѣку, къ жизни; его протестъ было пророчество.

Зачѣмъ, говорятъ люди очень добросовѣстные, зачѣмъ соціализмъ усложнилъ вопросъ? Надобно было дать время упрочиться республикѣ, а потомъ начать пропаганду соціализма. Онъ многихъ испугалъ, отстращаль отъ республики. Съ другой стороны, работники не хотять драться просто за республику. Можно быть очень добросовѣстнымъ человѣкомъ и плохимъ историкомъ, еще худшимъ

психологомъ. У человѣчества другая экономія, нежели у кухарокъ: оно починаетъ всѣ круги сыра разомъ, а не ждетъ, чтобъ первый былъ съѣденъ, оно поритъ со всѣхъ концовъ. Когда является въ сознаніи новая, великая мысль и поражаетъ сильнѣйшія разумѣнія своего времени, ее остановить или задержать невозможно; массы какъ будто предчувствуютъ ее; каждое слово, которое въ другое время прошло бы незамѣченнымъ, беспокоитъ, волнуетъ. И кто же въ самомъ дѣлѣ можетъ сказать людямъ, какъ Гамлетъ говорилъ себѣ: «Сердце, погоди, не бейся, я выжду, что скажетъ Горацио». Развѣ мысль не такой же фактъ, какъ всѣ другіе факты? Развѣ она не имѣетъ своего необходимаго рожденія и развитія, непреложнаго, неотвратимаго? Соціализмъ долженъ былъ поднять свое знамя при первомъ кликѣ республики и заявить свое существованіе; обманутый два раза временнымъ правительствомъ, обманутый собраніемъ, онъ потребовалъ сначала словомъ, потомъ баррикадами исполненіе обѣщаннаго. Ему отвѣчали четырехдневной канонадой; онъ былъ побѣжденъ, и посмотрите, республика не можетъ держаться, сохраненіе *такой* республики не имѣетъ больше интереса для народа. Да и республика эта сама-по-себѣ не имѣетъ мысли, или укажите ее въ конституціи 48 г., въ засѣданіяхъ собранія, въ журналахъ несоціальныхъ?... Я ничего въ мірѣ не знаю жалче положенія *Reforme*

И сбылись, мой другъ, пророчества
Пылкой юности ея....

я ей нечего сказать.... Тамъ, гдѣ-то борьба, великія сомнѣнія, работа будущаго, а тутъ въ камерѣ, правительствѣ, въ журналахъ жуятъ себѣ жвачку, пережевывая ее въ сотый разъ. Прудонъ, Пьеръ Леру, Консидеранъ не идутъ въ примѣръ, потому что ихъ не слушаютъ, они иностранцы въ собраніи, ихъ слова вызываютъ только вопль негодованія.

«Да республика организовала бы свободу».... Что такое свобода, господа Горы?— Не та ли эта свобода, которая, по предложенію Паскаля Дюпра, отдала Парижъ въ осадное положеніе? Нѣтъ, время либеральной партіи и политическихъ республиканцевъ прошло, имъ нечего сказать, имъ нечего дѣлать, ихъ республика оттого и не стоитъ, что не можетъ стоять, она обойдена, народу до нея нѣтъ дѣла.

Работникъ, отчаянно дравшійся 24 февраля, ждалъ не того. Это было своего рода *journée des dupes*. Какъ только хмель торжества прошелъ, всѣ проснулись удивленные, испуганные; люди, не хотѣвшіе ронять тронъ, вспомнили, что они его уронили; люди, хотѣвшіе политической республики, вспомнили, что они лепетали всенародно о социализмѣ; красные республиканцы бѣсались, что выпустили изъ рукъ власть, что допустили правительство слабое

и ретроградное; работники оплакивали свое знамя, оскорбленное Ламартиномъ для удовольствія мѣщанъ. Словомъ, никто не видалъ исполненія своей мысли, никто не былъ доволенъ; одни съ досадой вспоминали, что надѣлали, другіе съ ужасомъ, на чемъ остановились. Смѣшеніе понятій росло и дошло, наконецъ, до того, что въ іюньскіе дни враги нападали другъ на друга съ ожесточенной злобой и при крикѣ *Vive la République!* съ обѣихъ сторонъ, это было страшнымъ доказательствомъ, что слово республика не могло удовлетворять новой борьбѣ, что борьба и вопросъ перешли за предѣлы этого слова.

Это слѣдовало понять прежде кровавыхъ событій временному правительству, но, лишенное инициативы и энергіи, оно было похоже не на диктатора, а на цѣломудреннаго человѣка, который нашелъ корону и держитъ ее въ рукахъ, спрашивая каждаго встрѣчнаго, не онъ ли обронилъ ее и не имѣетъ ли онъ надлежащіе документы, чтобъ взять ее назадъ. Это было честно, но очень глупо. Два мѣсяца реакція не вѣрила своимъ глазамъ, люди биржи и интригъ были побѣждены наивностью Ламартина, они не могли понять, какъ можно, имѣя такую власть, никуда не употребить ее. Когда же они убѣдились, что власть эта только и употребляется на udržаніе источника, который ее питалъ, тогда, заглушая внутренній хохотъ, они прокричали 4 марта свое *Vive la République!* Люди положительные, они поняли, что съ такой республикой первенство буржуазіи не погибло.

Письмо двѣнадцатое.

Sei Repubblica tu, Gallica greggia?...
Alfieri. (Misogallo).

Ницца, 10 іюля, 1850 г.

Наконецъ, я опять въ Ниццѣ,— въ Ниццѣ теплой, благоуханной, тихой и теперь совершенно пустой. Два года съ половиной тому назадъ я едва обратилъ вниманіе на нее. Тогда я еще искалъ людей, большіе центры движенія, дѣятельности, многое было мнѣ ново, многое занимало. Полный негодованія, я еще примирялся; полный сомнѣній, я находилъ еще надежды въ моей груди и торопился оставить маленькой городокъ, едва бросивъ разсѣянный взглядъ на его красивыя окрестности. Торжественный гулъ итальянскаго *пробужденія* пробѣгалъ тогда по всему полуострову,— я рвался въ Римъ.

Это было въ концѣ 1847 г... А теперь я прихожу въ Ниццу съ потупленной головой «голубя-путешественника», прося одного покоя въ ея безмятежной пустотѣ, удаляясь отъ трескучей дѣятель-

ности большихъ городовъ, также ни къ чему не ведущей на Западѣ, какъ безпечная праздность на Востокѣ.

Долго думая, куда укрыться, гдѣ найти отдыхъ, я избралъ Ниццу не только за ея кроткій воздухъ, за ея море, а за то, что она не имѣетъ никакого значенія, ни политическаго, ни ученаго, ни даже художественнаго. Мнѣ менѣе не хотѣлось ѣхать въ Ниццу, нежели всюду, и я доволенъ ею. Это—мирная обитель, въ которую я отхожу отъ міра сего, пока мы не нужны другъ другу. Счастливый ему путь. Онъ довольно меня мучилъ, я не сержусь на него, онъ не виноватъ, но не имѣю больше ни силъ, ни охоты дѣлать его свирѣпыя игры, его пошлый отдыхъ.

Это вовсе не значить, что я совсѣмъ посхимился, даль обѣтъ, заклятіе,—я вышелъ изъ тѣхъ лѣтъ, я не считаю себя въ правѣ кабалить мое будущее... Нѣтъ, я поступилъ гораздо проще, я отошелъ въ сторону отъ непогоды и долгаго ненастья, не видя средствъ остановить его.

И было отъ чего уйти въ лѣсъ, безъ распоряженій Бароша и Карлье. Когда я подумаю, что за жизнь влачилъ я въ Парижѣ въ послѣднее время, мной овладѣваетъ тоскливое безпокойство и страхъ. Я вспоминаю объ ней, какъ объ недавней хирургической операци, и мнѣ кажется, что снова чувствую приближеніе кривыхъ ножницъ и зонда къ наболѣвшему мѣсту. Съ утра до ночи всѣ стороны души были оскорбляемы, грубо, нагло, дерзко. Одинъ взглядъ на журналы и пренія въ собраніи отравляли цѣлый день.

Нѣтъ, это не роялизмъ и не консерватизмъ довелъ этихъ людей до такого растлѣнія всякаго нравственнаго чувства, всякаго человѣческаго достоинства. Совсѣмъ напротивъ, эти люди довели роялизмъ и консерватизмъ до такого безстыднаго цинизма. Роялизмъ своего рода общественная религія, онъ не исключаетъ ни доблести, ни благородства; консерватизмъ — политическая теорія, старческаій образъ мыслей, но далеко не лишенный чувства стыда, чести. Ни Стафордъ, ни Малербъ, ни англійскіе тори нисколько не были похожи на нынѣшнихъ орлеанистовъ и елисейцевъ. Депутаты, литераторы, журналисты «великой партіи порядка» такъ перемѣшались съ грязными орудіями власти, которыхъ нельзя уже оскорбить не только словомъ, но и рукой, что не знаешь ни разу, имѣешь-ли дѣло съ человѣкомъ или съ шпиономъ.

Большинство камеры и консервативные журналы—вѣрные органы не роялизма, а того поколѣнія французовъ, которое, родившись подъ казарменнымъ гнетомъ имперіи, вполне расцвѣло подъ зонтикомъ короля-гражданина. Оно не вѣритъ въ христіанство, оно не вѣритъ въ королевскую власть; но оно знаетъ опасность свободы, но оно хочетъ наслаждаться хоть одно десятилѣтіе еще. И вотъ отчего журналисты порядка представляютъ доносчиковъ

ангелами, хранящими порядокъ и спасающими общество. И вотъ отчего одинъ изъ опричниковъ порядка наивно защищался въ своей брошюрѣ тѣмъ, что онъ ходилъ на революціонеровъ, какъ на охоту, и бралъ хитростью, гдѣ нельзя было взять силой; а рецензентъ, воспѣвшій его, уговариваетъ схватить вилы и серпы и избивать социалистовъ по домамъ и полямъ.

Защитники порядка съ какой-то болѣзненной горячностью напрашиваются на самый грубый деспотизмъ, лишь бы власть обезпечила неприкосновенность стяжанія. Они изъ-за этого протянули руку всѣмъ правительствамъ, ненавидящимъ Францію, они изъ-за этого отдали дѣтей своихъ на воспитаніе іезуитамъ, которыхъ сами терпѣть не могутъ, они изъ-за этого дошли до того героизма подлости, что хвастаются публично доносами, такъ, какъ ихъ публичныя сестры хвастаются своимъ развратомъ.

Образованность не обязываетъ французскихъ консерваторовъ ни къ чему; съ этой стороны они совершенно свободны; при своихъ риторическихъ, учтиво стереотипныхъ и чувствительно моральныхъ фразахъ они свирѣпы, бѣзжалостны и безраскайны. Французы вообще любятъ тѣснить. Вы знаете, какъ они въ прошломъ вѣкѣ «освободили» Италію и какую ненависть возбудили въ Испаніи. Но это ничего передъ тѣмъ, каковы они дома въ междоусобіи; тутъ они дѣлаются кровожадными звѣрями, мясниками вареоломеевской ночи, сентябрьскихъ дней, іюньскими застрѣльщиками.

Я съ ужасомъ, смѣшаннымъ съ любопытствомъ, съ тѣмъ любопытствомъ, съ которымъ мы смотримъ, какъ кормятъ гіену или какъ *boa constrictor* глотаетъ живыхъ кроликовъ, слѣдилъ за преніями о депортации.

Не думайте, что я хочу говорить о нелѣпости осуждать людей на вѣчную тюрьму за поступки, сдѣланные черезъ нѣсколько дней послѣ переворота, когда умы еще волнуются, а учрежденія не установились, — нѣтъ. Я знаю, какъ враги судятъ и осуждаютъ своихъ враговъ, чего тутъ ожидать лучшаго? Но колоссально то, что собраніе, состоящее изъ семи сотъ человѣкъ, возвращается черезъ два года въ казематы, въ которыхъ гибнутъ ихъ противники, для того, чтобы удесятерить наказаніе.

Прежде всего надобно знать, что такое французскія тюрьмы. Одно позволеніе видаться съ другими арестантами и вмѣстѣ гулять дѣлаетъ ихъ сноснѣе Шпильберга, Шпандау или Бобруйска. Въ центральной тюрьмѣ Клерво люди мерли съ голоду, въ Мон-Сенъ-Мишелѣ, въ Дулансѣ, въ Бель-Илѣ бросаютъ за вздорныя провинности заключенныхъ съ связанными руками въ кануру безъ оконъ: знаменитый Бланки былъ однажды *избитъ* въ тюрьмѣ. Шильонская темница, построенная савойскими герцогами въ среднихъ

вѣкахъ, покажется танцевальной залой передъ château d'Iff возлѣ Марсея, гдѣ содержались юньскіе инсургенты. Но если французскія тюрьмы стоятъ Шпильберга, то Нука-Ива далеко превосходятъ Сибирь. Въ Сибири климатъ свирѣпый, но не убійственный: ссылаемые на поселеніе (на депортацію), а не на каторжную работу, не принуждены къ поурочному труду, какъ въ французскихъ пенитенціарныхъ колоніяхъ въ Алжирѣ.

Но министрамъ и представителямъ было мало Нука-Ивы, они выдумали на этомъ болотистомъ островѣ, обозженномъ тропическимъ солнцемъ, покрытомъ тучами москитовъ, построить экваторіальную Бастилю. И это не все, они хотѣли подвести всѣхъ прежде осужденныхъ подъ этотъ законъ, вопреки здравому смыслу и начальнымъ понятіямъ уголовного права.

Когда остатокъ совѣсти Одилона Барро возсталъ противъ этой неслыханной нелѣпости, когда раскаяніе за юньскую кровь вызвало Ламорисьера на трибуну, чтобъ предложить укрѣпленное мѣсто вмѣсто тюрьмы, тогда надобно было видѣть этихъ ирокезовъ порядка, этихъ канибаловъ религіи, этихъ шакаловъ добродѣтели и семейной жизни! Звѣриныя звуки злобы вырывались изъ груди этихъ безчувственныхъ стариковъ, этихъ бездушныхъ адвокатовъ— во время собиранія голосовъ. Потерявши два пункта, они съ бѣшенствомъ схватились за третій и отстояли его. Семья не имѣютъ права идти въ депортацію; осужденный долженъ просить *кажъ милости* объ этомъ; министръ имѣетъ право отказать. «У политическихъ преступниковъ, у враговъ общества—нѣтъ семьи,» сказалъ одинъ изъ ораторовъ.

Какъ языкъ человѣческой нашель столько силы, чтобъ всенародно сказать это, какъ безстыдство могло воспитаться до этой поэзіи бездушія въ странѣ, гдѣ послѣдовательно въ полстолѣтіе всѣ партіи перебывали въ тюрьмѣ,—это тайна французскаго воспитанія...

И все это дѣлается для защиты общества, религіи, семьи.

Хорошо должно быть общество, защищаемое такими средствами. Общество, защищаемое Тьеромъ; религія, защищаемая Тьеромъ; семейство, защищаемое Тьеромъ!

Thierus salvator mundi, rademptor usuriæ et defensor proprietatis, — ora pro nobis.

А впрочемъ, Тьеръ — полнѣйшій представитель современнаго большинства, дерзкаго на видъ и смиреннаго на дѣлѣ, которое, остря и помирая со смѣху, ссылаетъ на поселеніе, сажаетъ на цѣпь, которое имѣетъ одного Бога—капиталь, и не имѣетъ боговъ развѣ его. Кто лучше можетъ представлять французскую партію порядка, какъ не Тьеръ—острякъ, сѣдой gamain, шалунъ, болтунъ, либераль, облитый лионской кровью, вольнодумъ, продиктовавшій сен-

тябрьскіе законы? Самая наружность Тьера, малорослаго старичишки, съ кругленькимъ брюшкомъ, на тоненькихъ ножкахъ, съ видомъ плута дворецкаго, Фигаро, типически выражаетъ буржуазную Францію.

Скорѣе отлейте его статую, статую въ очкахъ и въ полуфрактѣ и поставьте ее на іюньскую колонну, пусть она переглядывается съ своимъ императоромъ на вандомской колоннѣ. Наполеонъ и Тьеръ—героическая эпоха восходящаго мѣщанства и эпоха ея тучнаго преуспѣянія!

....«Все это печально, дурно», говорили мнѣ демократы, страдающіе хронической надеждой и застарѣлымъ оптимизмомъ, «но не надобно временную остановку принимать за болѣе важное, нежели она есть. Наша побѣда близка, безумцы хотятъ коснуться до всеобщей подачи голосовъ.... За свой голосъ народъ встанетъ какъ одинъ человѣкъ.»

Отняли всеобщую подачу голосовъ, ни одинъ человѣкъ не двинулся, народъ остался въ томъ «торжественномъ и величавомъ покоѣ,» о которомъ ему такъ натоковали и въ которомъ остается человѣкъ, когда его ограбятъ, довольный, что не изуродовали. Странная борьба: всякій разъ одинъ и тотъ-же побить, и мы знаемъ о его существованіи только потому, что онъ кричитъ отъ боли;—это не борьба, а побѣда. Но чающіе воскресенія мертвыхъ демократы не унываютъ. «Это-то и прекрасно, говорятъ они, теперь-то правительство и сломитъ себѣ шею.» Разумѣется, правительство когда нибудь упадетъ, все имѣетъ конецъ, особенно во Франціи... Да вы то во всемъ этомъ что? Народъ не за правительство, зачѣмъ клепать на него,—да и не за васъ.

Народъ не съ вами, потому что въ вашей свободѣ онъ не находитъ своей, потому что ваша борьба—борьба двухъ правительственныхъ формъ—не его борьба... Вы воображаете, что приобрѣли дѣло, когда произнесли слово, а народу дѣла нѣтъ до словъ. Народъ не съ вами, наконецъ, потому что вы должны быть съ нимъ. Вы должны изучить его стремленія, его желанія, а не онъ давать свою кровь на ваши теоретическія попытки, на вашъ курсъ экспериментальной революціи. Вы видите, что прежней дорогой идти нельзя... Если же вы не хотите новыхъ путей, если же не можете переродиться, то сознайтесь откровенно, что вы—прошедшее, и доживайте спокойно вашъ вѣкъ, какъ историческая рѣдкость, какъ образчикъ иного времени, не усиливаясь ходить и мутить міръ послѣ смерти, какъ легитимисты, іезуиты, піетисты.

Они называли это озлобленіемъ, отчаяніемъ, они находили доблестнымъ выдерживать свою роль и пытаться ставить на своемъ, хотя явнымъ образомъ не было мѣста, гдѣ ставить...

...Трудно издали вообразить себѣ, что дѣлается въ Парижѣ. Никакихъ гарантій, этихъ бѣдныхъ, небольшихъ гарантій, дан-

ныхъ притѣснительнымъ *code civile*, не существуетъ болѣе. Терроръ сальный, скрывающійся за угломъ, подслушивающій за дверью, тяготитъ какимъ то чаднымъ туманомъ надо всѣмъ. Всякій мерзавецъ, который донесетъ на васъ какую нибудь политическую небыллицу, можетъ быть увѣренъ, что на другой день полицейскій комиссаръ съ двумя шпионами явится къ вамъ осматривать бумаги. Семейныя тайны, дружескія сообщенія, все перерыто рукою лакеевъ свѣтской инквизиціи, половина унесена и никогда не возвратится къ вамъ. Люди, имѣющіе или имѣвшіе политическое значеніе, не спятъ дома, прячутъ бумаги, запасаются визированными пасами. Всѣ боятся дворниковъ, комиссіонеровъ, трехъ-четвертей знакомыхъ; письма приходятъ подпечатанныя, на углахъ улицъ постоянно бродятъ подозрительныя фигуры въ скуртукахъ и по мѣркѣ, въ потертыхъ шляпахъ, съ подло военнымъ видомъ и съ палкой въ рукѣ. Они провожаютъ глазами прохожихъ и передаютъ ихъ своимъ партнерамъ.

Вечеромъ шайки шпионовъ отправляются на ловлю запрещенныхъ для продажи журналовъ; они всякими обманами выманиваютъ какой нибудь номеръ *Evènement*; городовые сержанты, спрятаанные въ засадѣ, бросаются тогда на бѣдную лавченку или столъ, единственное достояніе какой-нибудь старухи, пропитывающей семью. Сержанты хватаютъ старуху, старуха плачетъ, ее толкаютъ, ругаютъ и ведутъ къ префекту вмѣстѣ съ какимъ-нибудь «блрханымъ мальчикомъ 8 лѣтъ, который до вечера не ѣлъ и продалъ тайкомъ «Эстафету». Прохожіе видятъ и идутъ своей дорогой, не смѣя поднять голоса.

Въ тиранствѣ безъ тирана есть что-то отвратительнѣйшее. Тамъ знаешь, кого ненавидѣть, а тутъ—анонимное общество политическихъ шулеровъ и биржевыхъ торгашей, опертое на общественный развратъ, на сочувствіе мѣщанъ, опертое на полицейскихъ пиратовъ и на армейскихъ кондотьеровъ, душитъ безъ увлеченія, гнететъ безъ вѣры, изъ-за денегъ, изъ страха,— и остается не уловимымъ, анонимнымъ. У этой Вестъ-Гальской компаніи есть комиссаръ центральной полиціи, получившій шесть милліоновъ головокъ въ память того, что его дядя тѣснилъ лѣтъ шестнадцать тотъ же народъ и усѣялъ поля всей Европы французскими трупами, для того чтобъ сдѣлать возможнымъ возвращеніе Бурбоновъ!

Кто онъ такое самъ?—Сколько я ни смотрѣлъ на его заспанное лицо, на его колоссальный носъ, на его мутныя, пухлыя глазки, на опустившіяся черты..., я только могъ высмотрѣть отрицательныя качества, но поэтому-то онъ и будетъ великъ, по этому-то онъ и современенъ.

Дѣйствительно, нашему вѣку принадлежитъ честь производить такихъ прѣсныхъ, безхарактерныхъ, бесплодныхъ, стертыхъ людей,

какъ Пій IX, король прусскій, Людовикъ Наполеонъ и ихъ *doyen d'âge*, отставной австрійскій императоръ.

... На самой границѣ Франціи еще разъ мнѣ припомнились всѣ черныя стороны ея.

Случайно взялъ я на желѣзной дорогѣ изъ Авиньона въ Марсель книгу одного изъ сопутниковъ и, прочитавши страницъ двадцать, остановился. Я не нервная женщина, вообще довольно читалъ и видѣлъ, чтобъ впередъ знать, что нѣтъ звѣрства, что нѣтъ злодѣйства, на которое люди не были бы способны. Но безъ преувеличенія, безъ фразъ, я положилъ книгу отъ внутренняго волненія. Это была какая-то новая исторія о «бѣломъ ужасѣ» (*terreur blanche*) въ 1815.

Въ Марселѣ роялисты вырѣзали, избили всѣхъ мамелюковъ съ ихъ женами и дѣтьми. Въ другомъ мѣстѣ католики напали на протестантовъ, выходящихъ изъ церквей, часть ихъ перебили и, раздѣвши до нага, таскали ихъ дочерей голыхъ по улицамъ... И все это дѣлалось подъ покровительствомъ центральныхъ комитетовъ, имѣвшихъ сношенія съ графомъ Артуа и получавшихъ свои приказанія изъ марскаго павильона.

— «Но развѣ якобинцы лучше поступали въ департаментахъ?» Нѣтъ, не лучше. Но это не только не утѣшительно, а напротивъ, это-то и приводитъ въ отчаяніе, тутъ-то и лежитъ неотразимое доказательство кровожадности французовъ. Съ которой бы стороны побѣда ни была,—«оставьте всякую надежду»: они безжалостны и не великодушны, они рукоплещутъ каждому успѣху, каждой кровавой мѣрѣ, они всякій разъ идутъ далѣе самаго правительства.

Schiavi or siam, si; ma schiavi almen frementi,
Non quali, o Galli, e il fosti et il siete vui,
Schiavi, al poter qual ch'ei pour sia, plaudenti. *Alfieri.*

Марсель одинъ изъ самыхъ противныхъ, прозаическихъ городовъ на югѣ. Лѣтомъ, если мистраль не сшибаетъ съ ногъ и не душитъ пылью, жаръ нестерпимый, гнилое испареніе поднимается отъ стоячей воды канала. Мнѣ хотѣлось, какъ можно скорѣе уѣхать особенно послѣ прочтенной главы... Мнѣ все казалось, что я встрѣчаю на улицахъ актеровъ гнусныхъ сценъ: вотъ этотъ нищій, старикъ съ дикимъ лицомъ, непримѣтно ходилъ изъ дома въ домъ убивать бонапартистовъ; вотъ этотъ портной, кривой, нечистый и съ узкимъ лбомъ, вѣрно рѣзалъ мамелюковъ или, можетъ, примется, во имя порядка, семьи и религіи, рѣзать *сop amoge* социалистовъ.

Когда я переѣхалъ Варскій мостъ и піемонтскій карабинеръ принялся записывать мой пассъ, мнѣ стало легче на душѣ. Я стыжусь, краснѣю за Францію и за себя, но признаюсь: я свободнѣе вздохнулъ, такъ, какъ во время оно вздохнулъ, переѣзжая русскую границу. Наконецъ, я вышелъ изъ этой среды нравственной пытки, постояннаго раздраженія, бѣшенства, негодованія. По

эту сторону я буду чужой всё́мъ, я не знаю и не дѣлю ихъ интересовъ, мнѣ дѣла до нихъ нѣтъ и имъ до меня. Здѣсь я могу быть отрицательно независимымъ, здѣсь я могу отдохнуть... до тѣхъ поръ, пока святая Германдада всемірной полиціи не начнетъ и въ Шемонтѣ свой крестовый походъ.

Карабинеръ отдалъ мнѣ пассъ, я взглянулъ на визу — «visto da R. carab. al Ponte Varole il 23 Giugno». Итакъ, я оставлялъ Францію въ страшную годовщину 23 іюня. Я посмотрѣлъ на часы—три-четверти пятого. Два года тому назадъ въ этотъ часъ приготовлялась великая роковая борьба. Я стоялъ подъ дождемъ, прислонясь къ дому и смотрѣлъ на оканчивавшуюся огромную барикаду на place Maubert,—сердце билось страшно и я думалъ—to be, or not to be...

Not to be—рѣшила судьба. Революція была побѣждена. Авторитетъ восторжествовалъ надъ свободой; вопросъ, потрясавшій Европу съ 1789 года, разрѣшился отрицательно. Стыдъ взятія Бастиліи смытъ канонадой на ея мѣстѣ, и на этотъ разъ взято предмете св. Антонія. Послѣ іюньскихъ дней оставалось дѣлать частныя усмиренія, воспользоваться побѣдой, смѣло проложить ея послѣдствія. Главное было сдѣлано,—монархическая республика заштила монархическій принципъ и смѣшала всё понятія.

Революція была побѣждена не въ Вѣнѣ, не въ Берлинѣ, а въ Парижѣ: не Англіей и Россіей, не эмигрантами и Бурбонами, а республиканцами во имя порядка—какого порядка?—Того «варшавскаго порядка», который стремилась завести правительственная редакция National'a, того, который окончился избраніемъ Людовика Наполеона, взятіемъ Рима, осаднымъ положеніемъ, уничтоженіемъ всёхъ свободъ и всёхъ правъ.—Итакъ, да здравствуетъ порядокъ!

Съ бомбардированія парижскихъ улицъ, съ обмана инсургентовъ предметъ св. Антонія, съ разстрѣливанія гуртомъ, съ депортацій безъ суда, не только начинается побѣдоносная эра порядка, но и опредѣляется весь характеръ предсмертной болѣзни дряхлой Европы. Она умретъ рабствомъ, застоємъ, византійской болѣзью;... она умерла бы и свободой, но оказалась недостойной этого. Донской казакъ въ свое время придетъ разбудить этихъ Палеологовъ и Порфирогенетовъ, если ихъ не разбудитъ трубный гласъ послѣдняго суда, суда народной Немизиды, который будетъ надъ нимъ держать социализмъ мести—коммунизмъ—и на который апелляцію не найдешь ни у Тьера, ни у Мараста,—да врядъ тогда найдешь ли самихъ Мараста и Тьера. Коммунизмъ близокъ душѣ французскаго народа, такъ глубоко чувствующаго великую неправду общественнаго быта и такъ мало уважающаго личность человѣка.

Послѣ іюньскихъ дней ни разу лучъ близкой надежды не проникалъ въ мою грудь. Сколько мнѣ приходилось спорить съ друзьями! Они не хотѣли видѣть, что произошло, они требовали, чтобы

я дѣлилъ ихъ упованія. Я готовъ былъ дѣлать съ ними опасности, гоненія, готовъ былъ даже погибнуть, не столько изъ мужества и самоотверженія, сколько отъ скуки и по пословицѣ: «на людяхъ и смерть красна»; но добровольно заблуждаться, но остановиться передъ истиной и отвернуться отъ нея, потому что она безобразна,—я не могъ.

И гдѣ тѣ, съ которыми я спорилъ?—Всѣ разсѣяны, всѣ гонимы: кто не въ тюрьмѣ, тотъ давно переплылъ океанъ, другой удался въ Каиръ, третій спрятался въ Швейцаріи, четвертый скитается въ Лондонѣ... Кто же былъ правъ?

... Но довольно! Передъ моимъ окномъ стелется Средиземное море, я стою на святомъ итальянскомъ берегу. Мирно вхожу я въ эту гавань и начерчу на порогѣ своего дома древній пентаграмъ въ отжененіе всякаго духа тревоги и людского безумія...

Письмо тринадцатое.

Ницца, 1 іюня, 1851 г.

Я исполнилъ свое намѣреніе и прожилъ въ моей пустынѣ годъ цѣлый, не только не писавши длинныхъ посланій, но и не читая писанныхъ другими. Смиренно сидѣлъ я у Средиземнаго моря и ждалъ погоды, но не дождался ничего хорошаго,—все стало еще хуже, суровый мистраль дуетъ и сильнѣе, и холоднѣе. Напрасно радовался я моему тихому удаленію, напрасно чертилъ я пентаграмъ, я не нашелъ желаннаго мира, ни покойной гавани. Пентаграммы защищаютъ отъ нечистыхъ духовъ; отъ нечистыхъ людей не спасетъ никакая многоугольникъ,—развѣ только квадратъ селюярной тюрьмы.

Скучное, тяжелое время и чрезвычайно пустое, утомительная дорога между станціей 1848 года и станціей 1852; новаго ничего, развѣ какое личное несчастіе доломаетъ грудь, какое-нибудь колесо жизни рассыпется, шина лопнетъ...

Впрочемъ до іюня мѣсяца 1851 года дотацились,—и то хорошо. Ну, друзья, ну! шагъ за шагомъ, дорога больно глиниста, песчана,—да вѣдь дѣлать нечего, не остается же почевать, чтобъ сократить ее, давайте снова перебирать старое.

Хотя перебирать его не легко.

Трудно говорить откровенно въ наше время и это вовсе независимо отъ полицейскихъ преслѣдованій, а оттого, что большинство людей, стоявшихъ съ нами на одномъ берегу, расходится болѣе и болѣе; мы идемъ, они не двигаются и становятся все раздражительнѣе отъ лѣтъ, отъ несчастія и составляютъ *демократическое православіе*.

У нихъ учреждена своя радикальная инквизиція, свой цензъ для идей; идеи и мысли, удовлетворяющія ихъ требованіямъ, имѣютъ права гражданства и гласности, другія объявляются еретическими и лишены голоса; это—пролетаріи нравственнаго міра, они должны молчать или брать свое мѣсто грудью, возстаніемъ. Противъ бунтующихъ идей является демократическая цензура, несравненно болѣе опасная, чѣмъ всякая другая, потому что не имѣетъ ни полиціи, ни подтасованныхъ присяжныхъ, ни судей въ маскарадныхъ беретахъ, ни тюремъ, ни штрафовъ. Цензура реакціи насильственно вырываетъ книгу изъ рукъ и книгу всѣ уважаютъ; она преслѣдуетъ автора, запираетъ типографію, ломаетъ станки и гонимое слово переходитъ въ вѣрованіе.

Цензура демократическая губитъ нравственно, обвиненія ея раздаются не изъ съѣзжей, не изъ прокурорскаго рта, а изъ дали ссылки, изгнанія, изъ мрака заточенія; приговоръ, писанный рукой, на которой видѣнъ слѣдъ цѣпи, отзывается глубоко въ сердцахъ, что вовсе не мѣшаетъ ему быть несправедливымъ.

У нашихъ старовѣровъ образовалось свое обязывающее преданіе, идущее съ 1789 г., своя связующая религія, религія исключительная, притѣснительная. Они хранятъ ее въ изгнаніи, не смотря на преслѣдованія и гоненія,—это прекрасно, но мало способствуетъ къ развитію. Несчастіе останавливаетъ, вѣрность былому мѣшаетъ настоящему; гонимое преданіе, съ своимъ терновымъ вѣнкомъ на головѣ, ограничиваетъ сердце, мысль, волю.

Демократы-формалисты, точно Бурбоны, ничему не научились въ бѣдственную годину, начавшуюся на другой день послѣ февральской революціи. Оттого они такъ упорны въ своихъ мнѣніяхъ, не могутъ надивиться, откуда произошли всѣ ихъ неудачи, и добродушно объясняютъ ихъ частными ошибками, измѣнами. Воротись они завтра изъ тюремъ и ссылокъ въ правительство, они будутъ продолжать свою невозможную, *несоціальную* республику, такъ, какъ эмигранты послѣ 1815 года продолжали свою невозможную монархію-рококо.

Все то, что останавливается и оборачивается назадъ, каменѣетъ какъ жена Лота и покидается на дорогѣ. Исторія принадлежитъ постоянно одной партіи—партіи движенія.

Революціонный консерватизмъ дошелъ въ послѣднее время до того, что хранительное начало въ немъ перевѣшиваетъ революціонное, и какъ ни парадоксально это покажется, а разрушеніе старыхъ общественныхъ формъ идетъ впередъ, благодаря реакціонерамъ и дѣйствительнымъ консерваторамъ.

Видя грозящую опасность, реакціонеры вышли за предѣлы, поставленные законами, и укрѣпились внѣ падающихъ стѣнъ собственной крѣпости, подтверждая тѣмъ самымъ и ускоряя близость

ихъ паденія; а наши старовѣры изъ этихъ-то стѣнъ, готовыхъ рухнуть, и собираются построить свою республику.

Вотъ почему брошюра Ромье гораздо революціоннѣе прокламацій центральнаго комитета.

Брошюра Ромье—крикъ ужаса, раздавшійся у гуляки, невзначай увидавшаго въ окно столовой, гдѣ онъ такъ привольно пировалъ съ Верономъ, *красный призракъ*; увидавъ Медузу въ фригійской шапкѣ, ему показалось, что своды треснули, что столбы закачались, изъ-за трещинъ ему мерещился огонь отъ поджога, головы на пикахъ, люди съ топорами, съ заскорузлыми руками, и онъ, дрожа всѣмъ тѣломъ, сталъ звать на помощь.

«Забудьте, кричалъ онъ, ломая руки, забудьте формальности легистовъ, *право ваше* всегда было пустое слово, а особенно теперь, когда надобно спастись и спасти свое послѣднее достояніе. Бейте на улицахъ, рѣжьте по домамъ, зовите на помощь пушки, вѣнчайте цезаремъ того сержанта, который своимъ тесакомъ убьетъ послѣдняго социалиста»; «ваши теперешнія средства остановить катаклизмъ смѣшны (депортація, разстрѣливаніе, тюрьма, гильотина!...), онѣ напоминають тѣхъ двухъ жандармовъ, поставленныхъ начальствомъ во время разлива Луары, съ приказомъ ѣздить шагомъ взадъ и впередъ по берегу и подаваться назадъ по мѣрѣ того, какъ вода будетъ понимать луга. То ли надобно теперь... Давайте боевые патроны и грудью впередъ, у побѣдителя не спросятъ о правахъ!»

¶ Народныя массы вѣчно реальныя по инстинкту, а, можетъ, и потому, что онѣ-то и составляютъ реальность, не слушаютъ старовѣровъ. Онѣ смотрятъ имъ черезъ голову. Какъ, гдѣ научился народъ, трудно сказать, — только не изъ книгъ, народъ мало читаетъ. Онъ не прочь иной разъ послушать демократическія рѣчи на банкетѣ, такъ, какъ прежде любилъ слушать проповѣдниковъ; онъ даже соглашается съ тѣми и съ другими отъ непривычки къ слову и увлекаясь фразой, но на его жизнь, на поведеніе, это не имѣетъ никакого вліянія.

Народъ, какъ женщины, понимаетъ вещи особымъ процессомъ и особенно развитымъ тактомъ; до чего мы дорабатываемся длиннымъ теоретическимъ трудомъ, то онъ схватываетъ вдругъ цѣликомъ и, по-видимому, даромъ. Новая истина, поражающая его, если онъ ее пойметъ, переходитъ не въ разсужденіе, а въ непосредственное дѣйствіе; его пониманіе больше страстное и художественное, нежели логическое. Долго дремлетъ народъ, тупо слѣдуя обычаю отцевъ, привычкѣ, повторяя принятое предшествовавшими поколѣніями, — онъ склоняется передъ духовной и свѣтской властью, не разбирая ее; онъ ее принимаетъ за роковой фактъ, за неотвратимую и неподвластную ему силу, такъ, какъ принимаетъ природу и ея явленія. У него мало досуга на отвлеченную работу, онъ

работаетъ непрерывно руками для завоеванія матеріальныхъ условій жизни. Иногда душу его волнуютъ темныя стремленія и неопредѣленная тоска, онъ чувствуетъ возможность лучшей жизни и гнетущую несправедливость; но поколѣнія идутъ за поколѣніями, и онъ все остается при неясной тоскѣ, при одномъ стремленіи; онъ ничего не дѣлаетъ *повидимому*, но грудь его раздѣдена и готова. Одно слово, одно событіе, и онъ рветъ какъ Самсонъ свои путы; ринувшись впередъ, онъ становится въ уровень революціонному вопросу своего времени. /

(Массы французскаго народа ничего не знали о политикѣ передъ 1789 г., но онѣ давно были недовольны; пробужденныя парижскимъ набатомъ, онѣ стали революціонными, особенно въ городахъ; онѣ взяли Бастилію, а потомъ Тююлеры, а потомъ Ліонъ, а потомъ всю Европу, и, побѣжденные въ свою очередь, вовсе не усмирились. Каждое поколѣніе имѣло свой юбилейный день революціи: 30 іюля 1830, 24 февраля 1848 года.)

Но съ іюньскихъ дней народъ разстается съ революціонерами, именно потому, что остается вѣренъ революціи. Призрачный міръ политики и внѣшнихъ перестроекъ тюрьмы вдругъ исчезъ для него и утратилъ весь интересъ свой. Людовикъ Наполеонъ могъ десять разъ провозгласить себя императоромъ, легитимисты могли выписать своего Шамбора, орлеанисты короновать графа парижскаго, народъ не сказалъ бы ни слова. Трусость династовъ помѣшала имъ успѣть. А давно ли этотъ самый парижскій народъ бѣжалъ за ружьемъ, оскорбленный приказами Полиньяка, запрещавшими печатать книги, которыхъ онъ никогда бы не прочелъ, приказами Дюшателля, запрещавшими банкетъ, на который его никто не звалъ, — и арміи блѣднѣли передъ нимъ и короли бѣжали. А теперь онъ сидитъ и, не двигаясь, смотритъ на гнусности, которыми явно подкапываютъ всѣ пріобрѣтенныя имъ права. Онъ далъ свои *три мѣсяца* голода, его обманули, онъ не вѣритъ больше въ тѣхъ, которые оставили его въ день его возстанія.

Но революція не остановилась. Въмѣсто неосторожныхъ попытокъ и заговоровъ, работникъ думаетъ крѣпкую думу. Съ тѣхъ поръ, какъ грубая рука полиціи заперла клубы и электоральныя собранія, трибуна работниковъ перенеслась въ деревни. Эта пропаганда неуловима и глубже захватываетъ, нежели клубная болтовня.

Въ груди крестьянина собирается тяжелая буря. Онъ ничего не знаетъ ни о текстѣ конституціи, ни о раздѣленіи властей, но онъ мрачно посматриваетъ на богатаго собственника, на нотаріуса, на ростовщика; но онъ видитъ, что сколько ни работай, барышъ идетъ въ другія руки, — и слушаетъ работника. Когда онъ его дослушаетъ и хорошенько пойметъ, съ своей упорной твердостью хлѣбопашца, съ своей основательной прочностью во всякомъ дѣлѣ,

тогда онъ сочтетъ свои силы, а потомъ смететь съ лица земли старое общественное устройство. И это будетъ настоящая революція народныхъ массъ.

Всего вѣроятнѣе, что дѣйствительная борьба богатаго меньшинства и бѣднаго большинства будетъ имѣть характеръ рѣзко коммунистическій.

Слово это пугаетъ старыхъ революціонеровъ, такъ, какъ слово якобинець пугало вольнодумовъ - дворянъ и слово іезуитъ полу-католиковъ. Они проповѣдывали всю жизнь равенство и братство, теперь они хотятъ отпрянуть, когда народъ беретъ ихъ за слово, и все еще воображаютъ, что они идутъ съ нимъ за-одно и представляютъ во всей чистотѣ его стремленія.

Въ сущности они и не съ народомъ, и не изъ него, они изъ книгъ, изъ школъ, изъ римскихъ преданій, изъ образованнаго меньшинства, изъ того общественного устройства, которое развилось противъ народа и которое должно погибнуть для того, чтобы народъ былъ свободенъ.

Какой практически смѣшной и щемящей сердце образъ складывается для будущаго поэта, образъ Донъ-Кихота революціи. Наши рыцари временъ конвента и старой *горы*, вскормленные исторіей девяностыхъ годовъ и тогдашнимъ «Мониторомъ», видятъ въ настоящемъ одно временное отклоненіе отъ истинныхъ началъ; они стараются возвратитъ человѣчество къ 9 термидору и къ конституціи Сенъ-Жюста... Они повторяютъ слова, потрясавшія нѣкогда сердца, не замѣчая, что онѣ уже давно задвинуты другими словами, они все еще толкуютъ о цивизмѣ и тираніи, о коалиціи и англійскомъ вліяніи, о протестаціяхъ и петиціяхъ, о неотъемлемыхъ правахъ человѣка, о нарушеніи конституціи и, наконецъ, о святомъ *правѣ возстанія!*

Какъ работнику не улыбаться и не качать головой, когда ему въ осадномъ положеніи, возлѣ военныхъ судовъ и партій ссылаемыхъ безъ суда, толкуютъ о правѣ возстанія, прибавляя къ нему вновь изобрѣтенную нелѣпость—«права работы». Кому онъ предъявить эти права, кто обязанъ ихъ признать и на что они ему, когда сила не съ его стороны? И на что они ему, когда сила съ его стороны? По крайней мѣрѣ, Людовикъ XVII былъ признанъ десятью нѣмецкими календарями и однимъ русскимъ...

Наши Донъ-Кихоты вышли на поле, ничего не приготовивъ ни въ себѣ, ни внѣ себя; они вышли съ ненавистью къ царямъ и внѣшнимъ формамъ самодержавія, но съ уваженіемъ къ власти: они не хотѣли поповъ, но алтарь хотѣли, они называли монархію республикой и перевели на римскую номенклатуру феодальныя постановленія, въ сущности не коснувшись до нихъ. Цѣль ихъ прекрасна—уничтоженіе тиранства, водвореніе всеобщаго братства,

всесірної свободи, но такъ какъ эти общія мѣста безъ ряда объясненій и развитій расплываються въ какомъ то пріятно-окрашеномъ туманѣ, то и неудивительно, что практической прилагаемости имъ не нашлось.

Они дерутся ржавыми оружіями своихъ враговъ на изнуренной почвѣ; ихъ бьютъ, разумѣется, оттого, что противники лучше владѣютъ *своимъ* оружіемъ и что они дома. И въ то же время въ довершеніе бѣдствій они столько же теряютъ и на своемъ полѣ. Ихъ средства устарѣли, ихъ знамена истаскались, и не всегда въ бояхъ, а больше на банкетахъ и демонстраціяхъ.

Пора бы кажется остановиться и призадуматься, а пуще всего изучить поглубже современность и перестать съ легкомысленной суетностью увѣрять себя и другихъ въ фактахъ, которыхъ нѣтъ, и отворачиваться отъ тѣхъ, которые есть, да намъ не нравятся; пора не принимать больше толпы на демонстраціяхъ за готовое войско, искать гласъ народный въ газетныхъ статьяхъ, писанныхъ самими нами или нашими друзьями, и общественное мнѣніе въ тѣсномъ кружкѣ пріятелей, собирающихся ежедневно для того, чтобъ повторять одно и то же.

Какъ это ни ясно, но горе тому, кто въ печальномъ стану побѣжденныхъ поднимаетъ такую рѣчь. Маститые революціонеры и ихъ ставленники увидятъ обиду, личность, измѣну въ ней и проглядятъ трагической характеръ скорбныхъ признаній, которыми человекъ отдираетъ свое сердце отъ среды, въ которой жилъ, которую любилъ, но въ несвоевременности которой убѣжденъ. Они не оцѣнятъ лиризмъ ироніи и злобы, вырывающейся изъ груди человека, увидѣвшаго, что онъ часть жизни шелъ по ложной дорогѣ и не знаетъ, успѣетъ ли еще своротить на ту, которая его приведетъ къ цѣли. Они называютъ «дилетантами» мятежныя личности, не дѣляція ихъ возрѣнія, неучтивыми гостями, которые не хотятъ дѣлать тяжелой пріуготовительной работы, а спокойно пересуживаютъ сдѣланное.

Донъ-Кихоть тоже трудился очень много и совершенно безкорыстно. Пріуготовительные труды всѣхъ эмиграцій состояли въ ссорахъ между собой, въ составленіи комитетовъ, въ которыхъ повторяли, что побѣда близка наканунѣ всякаго пораженія и на другой день послѣ всякаго пораженія...

Многимъ кажется, что *они*, напротивъ, живутъ въ совершенной праздности, даже въ праздности мысли, они не хотятъ подумать о томъ, что объ нихъ говорятъ ихъ друзья и что объ нихъ говорятъ ихъ враги. Они довольны собой. Что это за умственная лѣнь, за *Vornehmthuerei*, за *morgue aristocratique*, что за сознаніе своей папской непогрѣшительности?

Но какая же необходимость говорить именно съ этими зако-

снѣлыми старовѣрами, тугими на ухо, приросшими какъ полипы къ скалѣ? Они сдѣлали свое, они люди почтенные, у нихъ мѣсто въ исторіи,—но не сдѣлаться же намъ столпниками изъ учтивости къ нимъ.

Какъ ни возставай, какъ ни досадуй, но мы сами принадлежимъ по жизни, по привычкамъ, по языку къ той же литературно-ученой и политической средѣ, отъ которой мы отрекаемся. Теоретическій разрывъ нашъ съ нею сдѣлать практически не въ нашей волѣ, мы слишкомъ далеко зашли въ этой жизни, чтобъ остановить ее. Мы сняли нашу рясу, какъ Гафистъ, посѣдѣвши въ ней, и оттого намъ, какъ Гафису, непрерывно хочется говорить объ этомъ. Оно и не удивительно. Наше дѣяніе, это именно этотъ разрывъ и мы остановились на немъ, онъ намъ стоилъ много труда и усилій.

Разумѣется, намъ казалось, что это освобожденіе себя—первый шагъ, что за нимъ то и начнется наша полная, свободная дѣятельность; безъ этого мы бы его не сдѣлали. Но въ сущности актъ нашего возмущенія и есть наше дѣяніе, на него мы потратили лучшія силы, о немъ раздалось наше лучшее слово, мы и теперь можемъ быть сильны только въ борьбѣ съ книжниками и фари-сеями консервативнаго и революціоннаго міра ¹⁾).

Оставить рѣчь съ ними и обратиться къ народу—великое дѣло, но мы не сьумѣемъ.

Народу не то надобно, что мы можемъ сказать, что намъ хочется сказать; наши слова — отвѣты, подмостки, разработываніе понятій, оскорбленіе, исповѣдь, критика, сомнѣніе. Народъ едва знаетъ привидѣнія, противъ которыхъ мы боремся, его не занимаетъ нашъ бой, у него не та злоба. Народъ много страдаетъ, ему тяжела жизнь, онъ многое ненавидитъ и страстно догадывается, что скоро будетъ перемѣна, но онъ ждетъ не приуготовленныхъ трудовъ, а *откровенія* того, что закрыто бродитъ въ его душѣ, онъ ждетъ не книгъ, а людей, у которыхъ вѣра, воля, убѣжденіе и сила совпадаютъ воедино, людей, никогда не разрывавшихся съ нимъ, людей, не выходящихъ изъ него, но дѣйствующихъ въ немъ и съ нимъ, съ откровенной, непоколебимой вѣрой и съ ничѣмъ неразвлекаемой преданностью.

Кто чувствуетъ, что онъ такъ близокъ съ народомъ, такъ освободился отъ среды искусственной цивилизаціи и такъ переработалъ и побѣдилъ ее, кто до того окончилъ съ собою, что ему остается одно дѣйствіе, и кто достигъ цѣлости и единства, о ко-

¹⁾ Письмо это долею было вызвано нѣсколькими статьями, помѣщенными въ одномъ нѣмецкомъ журналѣ подъ заглавіемъ «Литературы паденія», *Untergangs literatur*, въ которыхъ сильно нападали на *Vom Andern Ufer* и на статью *Omnia mea mecum porto*, помѣщенную въ томъ же журналѣ. Нѣсколько на-мековъ на эти статьи кстати тогда, не годились теперь, я ихъ выпустилъ.

торой мы говоримъ, — тому принадлежитъ рѣчь, тотъ пусть говорить народу, да онъ и будетъ непремѣнно говорить; мы сложились передъ нимъ.

Ощущаете ли вы что-нибудь подобное въ груди? — Сомнѣваюсь. Мы вѣстѣ трупъ и убійцы, болѣзнь и прозекторы стараго міра, — вотъ наше призваніе.

Я долго думалъ, что можно, по крайней мѣрѣ, лично начать новую жизнь, отступить въ себя, удалиться отъ толкучаго рынка. Невозможно, — будь хоть одинъ человѣкъ возлѣ васъ, съ которымъ вы не порвали всѣ отношенія, черезъ него воротится старыи міръ, порочный и распутный, лукавый и предательскій. Мы похожи на того раба въ французскихъ колоніяхъ, котораго, рассказываетъ Шельшеръ, господинъ за наказаніе связалъ на-глухо съ трупомъ имъ убитаго вола и такъ оставилъ умирать.

Смерть отжившаго міра захватить и насъ, спастись нельзя, наши испорченныя легкія не могутъ дышать другимъ воздухомъ, кромѣ зараженнаго. Мы влечемся съ нимъ въ неминуемую гибель; она законна, необходима; мы чувствуемъ, что насъ скоро будетъ не нужно; но исчезая съ нимъ, но чувствуя роковую необходимость, связавшую насъ, мы нанесемъ ему еще самые злые удары и, погибая въ разгромъ и хаосъ, радостно будемъ привѣтствовать новый міръ — міръ не нашъ — нашимъ «Умирающіе привѣтствуютъ тебя, Кесарь!».

Письмо четырнадцатое.

Ницца, 31 декабря, 1851 г.

Vive la mort, друзья! И съ новымъ годомъ! теперь будемъ послѣдовательны, не измѣнимъ собственной мысли, не испугаемся осуществленія того, что мы предвидѣли, не отречемся отъ знанія, до котораго дошли скорбнымъ путемъ. Теперь будемъ сильны и постояимъ за наши убѣжденія.

Мы давно видѣли приближающуюся смерть; мы можемъ печалиться, принимать участіе, но не можемъ ни удивляться, ни отчаяваться, ни понурить голову. Совсѣмъ напротивъ, намъ надобно ее поднять, — мы оправданы. Насъ называли зловѣщими воронами, накликающими бѣды, насъ упрекали въ расколѣ, въ незнаніи народа, въ гордомъ удаленіи, въ дѣтскомъ негодованіи, а мы были только виноваты въ истинѣ и въ откровенномъ высказываніи ея. Рѣчь наша, оставаясь та же, становится утѣшеніемъ, ободреніемъ уstraшенныхъ событіями въ Парижѣ.

Когда люди, стоявшіе во главѣ движенія, шутили надъ своей слабостью, когда они принимали предсмертную болѣзнь за минутный сонъ, за мимолетную усталъ, когда эмпирики и шарлатаны

увѣряли, что болѣзнь пройдетъ, и тратили лучшія силы на врачеваніе трупа, когда они ждали, что больной возьметъ одръ и пойдетъ по ихъ приказанію, тогда было необходимо проповѣдывать, «что у воротъ ихъ стоитъ не Катилина, а смерть», какъ это и дѣлалъ Прудонъ изъ своего заточенія. Теперь она ихъ растворила, взошла, теперь ошибиться трудно... Вотъ она, между нами косить на право, косить на лѣво... Подрѣзанная трава такъ и валится.

Рухнулся, наконецъ, этотъ міръ призрачный, дряхлый, пережившій самого себя, міръ распадающійся, двуначальный, неоткровенный, дошедшій до лжи и смѣшенія всѣхъ понятій, какъ все выживающее изъ ума, остановившійся на невозможныхъ сочетаніяхъ, на несомѣстныхъ перемиріяхъ, на слабодушныхъ уступкахъ. Все, что онъ лѣпилъ, придумывалъ, выстроилъ изъ прошедшаго и выбѣлилъ новой краской, всѣ произведенія его старческаго ребячества,—все рассыпалось, какъ карточный домъ. Противные сумерки пропали. Нѣтъ больше двусмысленныхъ недоговорокъ, поддерживавшихъ пустыя надежды съ обѣихъ сторонъ. Темная ночь, которую ждали, настала,—мы шагомъ ближе къ утру.

Все кончено: представительная республика и конституціонная монархія, свобода книгопечатанія и неотъемлемыя права человѣка, публичный судъ и избранный парламентъ. Дыханіе становится легче, воздухъ чище; все стало страшно просто, рѣзко... Куда ни помотришь, отовсюду вѣтъ варварствова, снизу и сверху, изъ дворцовъ и мастерскихъ. Кто покончить, довершить? Дряхлое ли варварство скипетра, или буйное варварство коммунизма? кровавая сабля, или красное знамя?...

Варварствомъ новая цивилизація насильственно вводится во владѣніе старой почвой, или отрывается отъ нея, если она неспособна и истощена. Это безпорядокъ похоронъ, грубая опека надъ малолѣтними.

Намъ жаль теперешнее паденіе народа, который такъ славно жилъ, который мы такъ любили, можетъ больше, нежели сознаемъ. Мы чувствуемъ, по выраженію Мишле, что съ паденіемъ Франціи температура земного шара понизилась.

Трудно было свыкаться съ мыслию, что Франція разошлась съ революціей. Второе декабря, не смотря на то, что всѣ его ждали, поразило всѣхъ. Предвидитъ ли человѣкъ несчастіе, или нѣтъ,—оно все приходитъ въ распахъ. Горестъ наша искренняя, она наше право, наше личное участіе въ современномъ дѣлѣ. Но, сверхъ связи съ настоящимъ, мы имѣемъ связь и съ будущимъ.

Теперь, когда мы пережили первыя минуты безсильной злобы, стыда, тревожной неизвѣстности,—пора изъ-за развалинъ и труповъ взглянуть вдаль. Если сердцу мало одного пониманья, то и пониманью мало одной грусти. Мысль всходитъ, какъ луна на

кладбищѣ, и ищетъ своимъ свѣтомъ привести въ ясность совершившееся, связываетъ порванные концы и указываетъ красную нитку революціи, идущую черезъ императорскій скипетръ, черезъ весь шаръ земной—вмѣстѣ съ телеграфической проволокой.

Мы не бѣжали ни отъ опасности, ни отъ печали, случайно остались мы цѣлы; но теперь нечего больше дѣлать, сраженіе кончено, падшіе зарыты,—не жить же намъ у ихъ кургана, не довольствоваться же одной скорбью объ утраченномъ. *Жизнь обязываетъ!*

Въ груди нашей, еще здоровой послѣ всѣхъ ударовъ, есть титанической голось непокорности, даже ироніи надъ побѣдителемъ. Они побѣдили насъ,—покажемъ, что они намъ побѣдили. У насъ отняли настоящее,—отнимемъ у нихъ будущее, отравимъ нашимъ пророчествомъ ихъ ликующую радость.

Конечно, потери станутъ яснѣе отъ разбора, несомнѣннѣе,—кто боится знанія, тотъ пропасть, тотъ консерваторъ.

«Оставьте мертвымъ погребать мертвыхъ», говорилъ Христось. Дѣйствительно, весь вопросъ при такихъ переворотахъ въ томъ только и состоитъ, мертвецы ли мы, принадлежащіе прошедшему и повторяющіе съ воплемъ «совершилось», или люди будущаго, которые, съ умиленіемъ задерживая царскій покровъ, говорятъ *le roi est mort—vive le roi!*

Горе тому, кто теперь съ насмѣшливой улыбкой бросить холодное слово Франціи,—пора укора и упрековъ прошла, для нея настаетъ прошедшее. Религія будущаго родилась середь потоковъ французской крови, въ груди французскихъ мыслителей, среди страданія французскаго пролетаріата.

Да не посмѣетъ ни одинъ народъ радоваться ея паденію. Съ опущеннымъ взоромъ пусть они преклонятся передъ ея несчастіемъ. Они такъ не падутъ; пусть будутъ довольны этимъ. Посредственность имѣетъ великія льготы, но она обязываетъ къ скромности. Если Франція во многомъ виновата,—она много наказана.

... То, что не удалось революціонерамъ 15 мая, бѣлымъ днемъ, во имя свободы, то удалось Людовику Наполеону и полицейскимъ сыщикамъ темной ночью, во имя насилія. Республика пала, зарѣзанная по керсикански, по разбойничьи, обманомъ изъ-за угла.

Бланки оправданъ Бонапартомъ.

Собраніе разогнали,—какъ хотѣлъ его разогнать Гюберъ.

Вмѣсто диктатуры революціонной водворилась диктатура управы благочинія,—и все пало передъ ней; потому что все было шатко, неглубоко, неистинно, потому что въ каждомъ новомъ учрежденіи былъ оставленъ старый, отравлявшій его элементъ.

Чего же намъ-то удивляться, что нашлись добровольные палачи для того, чтобъ казнить осужденное нами. Второе декабря, лишенное всякой творческой силы, всякаго живого начала, подъ пред-

логомъ спасенія, разрушаетъ государство, противъ котораго борется социализмъ.

Франція традиціонная, историческая, монархическая, была казнена во время террора. Съ тѣхъ поръ является рядъ неустоявшихся формъ правленія, рядъ переложеній и сочетаній незрѣлыхъ мыслей съ отжившими формами. Дикой деспотизмъ Наполеона такъ же мало могъ удержаться, какъ царства двухъ хартій. Представительная система была цѣла во Франціи, пока исполнительная власть и революціонеры ее терпѣли. Не только Людовикъ Филиппъ, но и Людовикъ XVIII и Карлъ X были настолько люди прошлаго вѣка, что боялись открыто изорвать хартію, они вѣрили въ нее.

Республиканское изданіе хартіи, сдѣланное въ 1848 году, отличалось отъ прежнихъ тѣмъ, что въ него никто не вѣрилъ, а всѣ употребляли какъ маску или какъ щитъ. Прудонъ не хотѣлъ его вотировать, социалисты презирали его, роялисты ненавидѣли, республиканцы находили недостаточнымъ и нелѣпымъ. Одинъ Людовикъ Наполеонъ присягаль ему и былъ обязанъ вѣрностью; онъ то ему и измѣнилъ, но онъ не измѣнилъ своему избранію.

Его избраніе *совершенно свободное* въ 1848 г. было плебисцитомъ, которымъ Франція отрекалась отъ свободы.

Онъ исполнилъ волю народную. Интриганъ по семейному преданію, онъ исполнилъ ее изъ-подтишка, въ то время какъ могъ то же сдѣлать открыто. Человѣка этого ничего не связывало. Иностранецъ, выросшій внѣ Франціи, онъ не дѣлилъ ни хорошихъ, ни дурныхъ качествъ французовъ, онъ ихъ подсматривалъ и хладнокровно помѣчалъ. Постоянно изучая жизнь своего дяди, онъ въ ней не могъ найти ничего, кромѣ безпредѣльнаго презрѣнія къ французамъ и къ людямъ вообще. Терять этому человѣку было нечего. Три года присматривался онъ и рискнулъ на-вѣрное.

Ему удалось, потому что его *сoup d'état* отвѣчалъ необходимой потребности выйти куда бы то ни было, хоть въ полную гибель, но не оставаться въ ложномъ положеніи. Второе декабря лишено всякаго другого нравственнаго смысла. Это былъ выходъ. Парижскій народъ, хорошо понимая это, не защищалъ баррикадъ, потому что онъ былъ радъ переменѣ; но скоро увидѣлъ, что онъ ничего не выигралъ. Умные консерваторы, съ своей стороны, повяли также, что побѣда не ихъ.

Но кто же побѣдилъ?

Переворотъ второго декабря, какъ іюньскіе дни, не имѣетъ знамени; онъ имѣетъ только собственное имя, бунтующую полицію, пьяныхъ солдатъ, подкупленныхъ генераловъ. Смерть явилась, какъ всегда въ острыхъ болѣзняхъ, бессмысленно, съ видомъ случайности, безъ разумнаго слова.

Говорять, что побѣдилъ *порядокъ*. Нѣтъ идеи бѣднѣе, жалче,

слабѣе, какъ идея порядка quand même, порядка въ смыслѣ полицейской тишины.

И, дѣйствительно, Людовикъ Наполеонъ долженъ все переказывать для того, чтобъ остаться на мѣстѣ; онъ не можетъ иначе удержаться. Что вы думаете, онъ оставитъ въ покоѣ орлеанистовъ, синихъ и красныхъ республиканцевъ?... Литература, поэзія, журналистика—все будетъ убито, словоохотливая Франція замолчитъ... Далѣе ему необходима война. На войну надобно много денегъ,—гдѣ ихъ взять, пока контрибуціи не раззорили цѣлыхъ племенъ?... Гдѣ? У капиталистовъ! И тутъ начнется цезарской коммунизмъ!

А! господа, вы продали ваши человѣческія права за блюдо чечевицы,—и воображаете, что вамъ его оставятъ. Нѣтъ! Куда вы пойдете жаловаться? Развѣ есть гласность, судъ, защита?—Нѣтъ! *Порядокъ* слишкомъ хорошо торжествуетъ; за крамолу въ тюрьму, за возраженіе въ Нука-Иву, въ Каену.

На этой стремнинѣ, при войнѣ, будетъ труднѣе удержать Францію, нежели взять корону изъ рукъ префекта полиціи. Но какое дѣло, спасается она или нѣтъ—побѣдитъ она или нѣтъ. Кто бы ни побѣдилъ, отъ монархическо-христіанской Европы, отъ старыхъ формъ не уцѣлѣетъ и половины.

Вся Европа выйдетъ изъ фугъ своихъ, будетъ втянута въ общій разгромъ; предѣлы странъ измѣнятся, народы соединятся другими группами, національности будутъ сломлены и оскорблены. Города, взятые приступомъ, ограбленные, обѣднѣютъ, образованіе падетъ, фабрики остановятся. въ деревняхъ будетъ пусто, земля останется безъ рукъ, какъ послѣ Тридцатилѣтней войны; усталые, заморенные народы покорятся всему, военный деспотизмъ замѣнитъ всякую законность и всякое управленіе. Тогда побѣдители начнутъ драку за добычу. Испуганная цивилизація, индустрія побѣгутъ въ Англію, въ Америку, унося съ собой отъ гибели кто деньги, кто науку, кто начатой трудъ. Изъ Европы сдѣлается нѣчто въ родѣ Богеміи послѣ гусситѣвъ.

И тутъ, на краю гибели и бѣдствій, начнется другая война—домашняя.

Напрасно жать плечами, негодовать и клясть. Развѣ вамъ этого не предсказалъ Ромье? «Или безвыходный цезаризмъ, или красный призракъ». Онъ только не договорилъ одного, что цезаризмъ приведетъ къ коммунизму; если же нѣтъ, то въ самомъ дѣлѣ въ Европѣ не только правительства и общественныя формы умерли, но и народы.

И чѣмъ эта война несправедливѣе войны мѣщанъ противъ дворянъ, либерализма противъ феодальной и монастырской собственности?

Мѣщане заработали свое достояніе трудомъ, дворяне кровью,

оба насиліемъ, потому что тѣмъ и другимъ помогало правительство. Революціонное правительство поможетъ третьимъ.

Да и какая тутъ справедливость! Мы видимъ, куда несется потокъ; доказывать юридически водопаду, чтобъ онъ не разливался, не топилъ бы чужихъ береговъ, ни къ чему не ведетъ.

Современный государственнй бытъ съ своей *цивилизацией* погибнуть, будутъ, какъ учтиво выражается Прудонъ, *ликвидированы*.

Вамъ жаль цивилизаціи?

Жаль ея и мнѣ.

Но ея не жаль массамъ.

Смиреніе передъ неотвратимыми судьбами! И твердымъ шагомъ войдемъ въ новый годъ!

П Р И Л О Ж Е Н І Е.

Письмо къ Ш. Риберолю, издателю журнала «L'Homme».

Гражданинъ издатель!

Три года тому назадъ вышли въ Германіи мои «Письма изъ Италіи и Франціи». Книга шла успѣшно; событія 1848 г., обсуживаемыя русскимъ, имѣли особенный интересъ.

Впослѣдствіи я написалъ еще нѣсколько писемъ, которыя не были напечатаны. Хотите ихъ для вашего журнала?

Мысль предложить ихъ вамъ пришла мнѣ въ голову, когда я увидѣлъ, какъ широко вы растворяете двери всѣмъ *революціоннымъ* мнѣніямъ, стало, и нашему.

...Будто есть *русское революціонное* мнѣніе? Чѣмъ оно можетъ отличаться отъ французскаго, нѣмецкаго? Родина русскаго образованія не въ Россіи, а въ Европѣ. Дѣйствительно, революціонная идея одна и та же; но положенія наши разны.

Никто еще не думалъ о странномъ, эксцентрическомъ положеніи русскаго на Западѣ, особенно когда онъ перестаетъ быть праздношатающимся.

Намъ дома скверно. Глаза постоянно обращены на дверь, которая открывается понемногу и изрѣдка. Тѣхатъ за-границу мечта каждаго порядочнаго человѣка. Мы стремимся видѣть, осязать міръ, знакомый намъ изученіемъ, котораго великолѣпный и величавый фасадъ, сложившійся вѣками, съ малолѣтства поражалъ насъ.

Русской вырывается за-границу въ какомъ-то опьянѣніи, — сердце настежь, языкъ развязанъ; прусскій жандармъ въ Лауцагенѣ намъ кажется человѣкомъ, Кенитсбергъ свободнымъ городомъ. Мы любили и уважали этотъ міръ заочно, мы входимъ въ него съ нѣкоторымъ смущеніемъ, мы съ уваженіемъ попираемъ почву, на ко-

торой совершалась великая борьба независимости и человѣческихъ правъ.

Сначала все кажется хорошо и притомъ, какъ мы ожидали, по-томъ мало-по-малу мы начинаемъ что-то не узнавать, на что-то сердиться, — намъ не достаетъ пространства, шири воздуха, намъ просто неловко; со стыдомъ прячемъ мы это открытіе, ломаемъ прямое и откровенное чувство и прикидываемся закоснѣлыми европейцами, — это не удастся.

Напрасно стараемся мы придать старческія черты молодому лицу, напрасно надѣваемъ выношенный узкой кафтанъ, кафтанъ рано или поздно порется и *варваръ* является съ обнаженной грудью, краснѣя своего неумѣнія носить чужое платье.

Знаменитое: *grattez un Russe et vous trouverez un barbare* — совершенно справедливо. Кто въ выигрышѣ, я не знаю. Но знаю то, что варваръ *этотъ* самый неприятный свидѣтель для Европы. Въ глазахъ русскаго она читаетъ горькій упрекъ; обидное удивленіе, которымъ смѣняется у него удивленіе совсѣмъ иное, — дѣйствуетъ неприятно, будить совѣсть...

Дѣло въ томъ, что мы являемся въ Европу съ ея собственнымъ идеаломъ и съ вѣрой въ него. Мы знаемъ Европу книжно, литературно, по ея праздничной одеждѣ, по очищеннымъ, перегнаннымъ отвлеченностямъ, по всплывшимъ и отстоявшимся мыслямъ, по вопросамъ, занимающимъ верхній слой жизни, по исключительнымъ событіямъ, въ которыхъ она не похожа на себя.

Все это вмѣстѣ составляетъ свѣтлую четверть европейской жизни. Жизнь темныхъ трехъ-четвертей не видна издали, вблизи — она постоянно передъ глазами.

Между дѣйствительностью, которая возносится къ идеалу, и той, которая теряется въ грязи улицъ, между цѣлью политическихъ и литературныхъ стремленій и цѣлью рыночной и домашней дѣятельности столько же различія, сколько вообще между жизнью христіанскихъ народовъ и евангельскимъ ученіемъ. Одно слово — другое дѣло; одно стремленіе — другое быть; одно безпрестанно говорить о себѣ — другое рѣдко оглашается и остается въ тѣни; у одной на умѣ созерцаніе — у другой нажива.

Разумѣется, быть этотъ произволенъ. Онъ сложился посильно, какъ могъ, изъ историческихъ данныхъ, накипѣлъ вѣками, захватилъ въ себя всякую грязь, всякія наслѣдственные болѣзни, въ немъ остались наносы всѣхъ націй. Ряды народовъ жили, истощились и погибли въ этомъ потокѣ западной исторіи, который влечетъ съ собою ихъ кости и трупы, ихъ мысли и мечтанія. Онъ носится надъ этимъ глубокимъ моремъ, освѣщая его поверхность, — какъ нѣкогда носился духъ Божій надъ водами.

Но воды не раздѣляются.

Новый міръ можно только творить изъ хаоса. А старый міръ еще крѣпокъ, инымъ нравится, другіе привыкли къ нему.

Тягость этого состоянія западный человѣкъ, привыкнувшій къ противорѣчіямъ своей жизни, не такъ сильно чувствуетъ, какъ русскій.

И это не только потому, что русскій посторонній, но именно потому, что онъ вмѣстѣ съ тѣмъ и *свой*. Посторонній смотритъ на особенности страны съ любопытствомъ, отмѣчаетъ ихъ съ равнодушіемъ чужаго; такъ смотрѣлъ Бу-Маза на Парижъ изъ своего дома на Елисейскихъ поляхъ; такъ смотритъ европеецъ на Китай.

Русскій, напротивъ, страстный зритель, онъ оскорбленъ въ своей любви, въ своемъ упованіи, онъ чувствуетъ, что обманулся, онъ ненавидитъ такъ, какъ ненавидятъ ревнивые отъ избытка любви и довѣрія.

У бедуина есть своя почва, своя палатка, у него есть свой бытъ, онъ воротится къ нему, онъ отдохнетъ въ немъ. У еврея—у этого перевозданнаго изгнанника, у этого допотопнаго эмигранта — есть кивотъ, на которомъ почиетъ его вѣра, во имя котораго онъ примиряется съ своимъ бытомъ.

Русской бѣднѣ бедуина, бѣднѣ еврея, — у него ничего нѣтъ, на чемъ бы онъ могъ примириться, что бы его утѣшило.

Ему остается удаленіе.

Но куда удалиться? Не всѣ способны день и ночь играть въ карты, пить мертвую чашу, отдаваться всевозможнымъ страстямъ, чтобъ заглушить тоску и умертвить душу. Есть люди, которые удаляются въ книгу, въ изученіе западной исторіи, науки. Они вживаются въ великія преданія XVIII вѣка; поклоненіе французской революціи—ихъ первая религія; свободное германское мышленіе—ихъ катехизисъ, и для нихъ не нужно было, чтобъ Фейербахъ разболталъ тайну Гегелева ученія, чтобъ понять ее.

Изъ этого міра исторіи, міра чистаго разума, онъ идетъ въ Европу, т. е. идетъ домой, возвращается... И находитъ то, что нашелъ бы въ IV, V столѣтіи какой-нибудь Остроготъ, начитавшійся св. Августина и пришедшій въ Римъ искать весь Господню.

Средневѣковые пилигримы находили, по крайней мѣрѣ, въ Іерусалимѣ пустой гробъ,—Воскресеніе Господне было снова подтверждено; русскій въ Европѣ находитъ *пустую* колыбель и женщину, истощенную мучительными родами.

Будетъ ли она жива?

Будетъ ли живъ ребенокъ?

Да? Нѣтъ?... Спросить не у кого, философы—суевѣрны, революціонеры—консервативны, они ничего не могутъ сказать. Наивный дикарь всю декорационную часть, всю *mise en scène*, всю часть гиперболическую бралъ за чистыя деньги. Тенерь разглядѣвши,

онъ знать ничего не хочетъ, онъ представляетъ къ учету какъ веселье писанныя теоріи, которымъ онъ вѣрилъ на слово,—надъ нимъ смѣются, и онъ съ ужасомъ догадывается о несостоятельности должниковъ «Гдѣ же, наконецъ, тѣ сильные, тѣ пророки, которые насъ вели, манили?»—Они то первые и обанкрутились. Ихъ мнимыя богатства были просто акціи на будущій капиталъ, это было приложеніе системы Ло къ нравственному міру.

Непоследовательность революціонныхъ людей, ихъ двойство глубоко оскорбляетъ насъ. Они поддерживаютъ одной рукой то, что ломаютъ другой; имъ жаль дряхлаго міра, и пока они мирволятъ ему, плачутъ объ немъ, міръ будущаго проходитъ у нихъ сквозь пальцы. Одни боятся логическаго вывода, другіе не могутъ его понять и почти всѣ стоятъ еще на томъ берегу, гдѣ дворцы, церкви, суды.

Печальное знаменіе остановки, предѣла, смерти бросается въ глаза и мы его равно читаемъ на челѣ мучениковъ, гибнущихъ на галерахъ, и на челѣ каторжниковъ, пирующихъ въ Тюльери.

— «И это рабы, Богъ вѣсть, зачѣмъ являющіеся изъ подъ своего снѣга, осмѣливаются видѣть?»

Не ихъ вина, если они видятъ. Варвары споконъ вѣка отличались тонкимъ зрѣніемъ; намъ Геродотъ дѣлаетъ особую честь, говоря, что у насъ глаза ящерицы...

...«Русской, снимая съ себя цѣпи, становится самымъ свободнымъ человѣкомъ въ Европѣ. Что можетъ его остановить? Уваженіе къ его прошедшему? — Новая исторія Россіи начинается съ полнѣйшаго отреченія преданій.

«Съ другой стороны, ваше прошедшее служить намъ поученіемъ, но не больше, мы нисколько не считаемъ себя душеприказчиками вашей исторіи. Ваши сомнѣнія мы принимаемъ, но ваша вѣра насъ не трогаетъ, вы слишкомъ религіозны для насъ. Мы готовы дѣлать ваши ненависти, но не понимаемъ вашей привязанности къ наслѣдію вашихъ предковъ. Мы слишкомъ задавлены, слишкомъ несчастны, чтобъ удовлетвориться половинчатыми рѣшеніями. Вы многое падаете, васъ останавливаетъ раздумье совѣсти, благочестіе къ былому; насъ ничего не останавливаетъ, — но мы безсильны, связаны по рукамъ и ногамъ. Отсюда наша вѣчная иронія, злоба, развѣдающая насъ и ведущая насъ къ преждевременной смерти. Люди жертвуютъ собой безъ всякой надежды — отъ скуки, отъ тоски... Въ нашей жизни есть что-то безумное, но нѣтъ ничего шлага, ничего неподвижнаго, ничего мѣщанскаго.

«Не обвиняйте насъ въ безнравственности, потому что мы не уважаемъ то, что вы уважаете,—съ какихъ поръ дѣтямъ въ воспитательныхъ домахъ ставятъ въ упрекъ, что они не почитаютъ учителей?»

«Мы свободны, потому что начинаемъ съ самихъ себя. Преемственное въ насъ только наша организація, народная особность, природенная намъ, лежащая въ нашей крови, въ нашемъ инстинктѣ Мы независимы, потому что у насъ ничего нѣтъ, намъ нечего любить.

«Что намъ за дѣло до вашихъ преемственныхъ обязанностей, намъ, меньшимъ и лишеннымъ наслѣдства? И какъ намъ привять вашу поблекшую нравственность, не человѣческую и не христіанскую, существующую только въ риторическихъ упражненіяхъ, въ воскресныхъ проповѣдяхъ, въ прокурорскихъ разглагольствованіяхъ? Съ чего намъ уважать ваши судебныя палаты съ ихъ тяжелыми, давящими сводами, безъ свѣта и воздуха, перестроенными на готической ладъ въ средніе вѣка и побѣленными вольно - отпущенными мѣщанами послѣ революціи?..

«Мы ничего не примемъ изъ вражьяго стана.

«Россія никогда не будетъ протестантскою.

«Россія никогда не будетъ *juste milieu*.

«(Она не возстанетъ только для того, чтобъ получить въ награду представителей-царей, судей-императоровъ, полицію-деспотовъ»¹⁾.

Вотъ что я писалъ въ сентябрѣ 1851.

Австрійскій Lloyd, говоря объ моей книгѣ *Vom andern Ufer*, называетъ меня русскимъ Іереміемъ, плачущимъ на развалинахъ іюньскихъ баррикадъ, и прибавляетъ, что книга моя замѣчательна какъ *патологическій* фактъ, показывающій, какой безпорядокъ вносить въ русскую голову нѣмецкая философія и французская революція.

Я принимаю все это.

Да, я плакалъ на іюньскихъ баррикадахъ, еще теплыхъ отъ крови, и теперь плачу при воспоминаніи объ этихъ проклятыхъ дняхъ, въ которыхъ канибалы порядка восторжествовали. Я буду очень счастливъ, если мои писанія могутъ служить для уясненія «патологіи» революціи, и цѣль моя будетъ совершенно достигнута, если я могу указать, какъ послѣднія молвіи революціи сверкнули и отразились въ русскомъ пониманіи.

Съ этой тройной точки зрѣнія, я вамъ предлагаю мои письма и братски привѣтствую васъ.

Лондонъ, 7 февраля, 1854 г.

¹⁾ Изъ письма моего къ Мишле

СЪ ТОГО БЕРЕГА.

Сыну моему Александрѣ.

Другъ мой, Саша!

Я посвящаю тебѣ эту книгу, потому что я ничего не писалъ лучшаго и, вѣроятно, ничего лучшаго не напишу; потому что я люблю эту книгу, какъ памятникъ борьбы, въ которой я пожертвовалъ многимъ, но не отвагой знанія; потому, наконецъ, что я нисколько не боюсь дать въ твои отроческія руки этотъ, мѣстами дерзкой, протестъ независимой личности противъ возрѣнія устарѣлаго, рабскаго и полнаго лжи, противъ нелѣпыхъ идоловъ, принадлежащихъ иному времени и бессмысленно доживающихъ свой вѣкъ между нами, мѣшая однимъ, пугая другихъ.

Я не хочу тебя обманывать,—знай истину, какъ я ее знаю; тебѣ эта истина пусть достанется не мучительными ошибками, не мертвыми разочарованіями, а просто по праву наслѣдства.

Въ твоей жизни придутъ иные вопросы, иные столкновенія... Въ страданіяхъ, въ трудѣ недостатка не будетъ. Тебѣ 15 лѣтъ.—и ты уже испыталъ страшные удары.

Не ищи рѣшеній въ этой книгѣ,—ихъ нѣтъ въ ней, ихъ вообще нѣтъ у современнаго человѣка. То, что рѣшено, то кончено, а грядущій переворотъ только что начинается.

Мы не строимъ, мы ломаемъ,—мы не возвѣщаемъ новаго откровенія, а устраняемъ старую ложь. Современный человѣкъ, печальный Pontifex Maximus, ставитъ только мостъ,—иной, неизвѣстный, будущій пройдетъ по немъ. Ты, можетъ, увидишь его... Не останься на *старомъ берегу*... Лучше съ нимъ погибнуть, нежели спастись въ богадѣльнѣ реакціи.

Религія грядущаго общественнаго пересозданія—одна религія, которую я завѣщаю тебѣ. Она безъ рая, безъ вознагражденія, кромѣ собственнаго сознанія, кромѣ совѣсти... Идти въ свое время проповѣдывать ее, къ намъ *домой*: тамъ любили когда-то мой языкъ и, можетъ, вспомнить меня.

... Благословляю тебя на этотъ путь во имя человѣческаго разума, личной свободы и братской любви!

Твой отецъ.

Твикнемъ, 1 января, 1855 г.

«Vom andern Ufer»,—первая книга, изданная мною на Западѣ: рядъ статей, составляющихъ ее, былъ написанъ по русски въ 1848 и 49 году. Я ихъ самъ продиктовалъ молодому литератору Ф. Каппу по нѣмецки.

Теперь многое не ново въ ней. Пять страшныхъ лѣтъ научили кой-чему самыхъ упорныхъ людей, самыхъ нераскаивныхъ грѣшниковъ *нашего* берега. Въ началѣ 1850 г. книга моя сдѣлала много шума въ Германіи; ее хвалили и бранили съ ожесточеніемъ и рядомъ съ отзывами, больше нежели лестными, такихъ людей, какъ Юліусъ Фребель, Якоби, Фальмерейеръ,---люди талантливые и добросовѣстные съ негодованіемъ нападали на нее.

Меня обвиняли въ проповѣдываніи отчаянія, въ незнаніи народа, въ *dépit amougeux* противъ революціи, въ *neuveaeniti* къ демократіи, къ массамъ, къ Европѣ...

Второе декабря отвѣтило имъ громче меня.

Въ 1852 г. я встрѣтился въ Лондонѣ съ самымъ остроумнымъ противникомъ моимъ, съ Зольгеромъ; онъ укладывался, чтобъ скорѣе ѣхать въ Америку, въ Европѣ, казалось ему, *дѣлать* нечего. «Обстоятельства, замѣтилъ я, кажется, убѣдили васъ, что я былъ не вовсе неправъ?» — «Мнѣ не нужно было столько, отвѣчать Зольгеръ, добродушно смѣясь, чтобъ догадаться, что я тогда писалъ большой вздоръ».

Не смотря на это милое сознаніе, общій выводъ сужденій, оставшееся впечатлѣніе были скорѣе противъ меня. Не выражаетъ ли это чувство раздражительности близость опасности, страхъ передъ будущимъ, желаніе скрыть свою слабость, капризное, окаменѣлое старчество?

...Странная судьба русскихъ—видѣть дальше сосѣдей, видѣть мрачнѣе, и смѣло высказывать свое мнѣніе,—русскихъ, этихъ «нѣмыхъ», какъ говорилъ Мишле.

Вотъ что писалъ гораздо прежде меня одинъ изъ нашихъ соотечественниковъ: «Кто болѣе нашего славилъ преимущество ХVІІІ вѣка, свѣтъ философіи, смягченіе нравовъ, всемѣстное распространеніе духа общественности, тѣснѣйшую и дружелюбнѣйшую связь народовъ, кротость правленій?... Хотя и являлись еще нѣкоторыя черныя облака на горизонтѣ челоѣчества, но свѣтлый лучъ на-

дежды златиль уже края оныхъ... Конецъ нашего вѣка почитали мы концомъ главнѣйшихъ бѣдствій человѣчества и думали, что въ немъ послѣдуетъ соединеніе теоріи съ практикой, умозрѣнія съ дѣятельностью... Гдѣ теперь эта утѣшительная система? Она разрушилась въ своемъ основаніи; XVIII-й вѣкъ кончается, и несчастный филантропъ мѣряетъ двумя шагами могилу свою, чтобъ лечь въ нее съ обманутымъ, растерзаннымъ сердцемъ своимъ и закрыть глаза на вѣки.

«Кто могъ думать, ожидать, предвидѣть? Гдѣ люди, которыхъ мы любили? Гдѣ плодъ наукъ и мудрости? Вѣкъ просвѣщенія, я не узнаю тебя; въ крови и пламени, среди убійствъ и разрушеній, я не узнаю тебя.

«Мизософы торжествуютъ. Вотъ плоды вашего просвѣщенія, говорятъ они, вотъ плоды вашихъ наукъ; да погибнетъ философія. — И бѣдный лишенный отечества, и бѣдный лишенный крова, отца, сына или друга, повторяетъ: да погибнетъ.

«Кровопротитіе не можетъ быть вѣчно. Я увѣренъ, рука, сѣкущая мечемъ, утомится; сѣра и селитра истощатся въ нѣдрахъ земли и громы умолкнутъ, тишина рано или поздно настанетъ, но какова будетъ она? — Если мертвая, хладная, мрачная...

«Паденіе наукъ кажется мнѣ не только возможнымъ, но даже неминуемымъ, даже близкимъ. Когда же падутъ онѣ, когда ихъ великолѣпное зданіе разрушится, благодѣтельные лампы угаснутъ, — что будетъ? Я ужасаюсь и чувствую трепеть въ сердцѣ. Положимъ, что нѣкоторыя искры и спасутся подъ пепломъ; положимъ, что нѣкоторые люди и найдутъ ихъ, освѣтятъ ими тихія, уединенныя свои хижины, — но что же будетъ съ міромъ?

«Я закрываю лицо свое!

«Уже ли родъ человѣческій доходилъ въ наше время до крайней степени возможнаго просвѣщенія и долженъ снова погрузиться въ варварство и снова мало-по-малу выходить изъ онаго, подобно Сизифову камню, который, будучи вознесенъ на верхъ горы, собственной тяжестью скатывается внизъ и опять рукою вѣчнаго труженика на гору возносится? — Печальный образъ!

«Теперь мнѣ кажется, будто самыя лѣтописи доказываютъ вѣроятность сего мнѣнія. Намъ едва извѣстны имена древнихъ азіатскихъ народовъ и царствъ, но по нѣкоторымъ историческимъ отрывкамъ можно думать, что сіи народы были не варвары... Царства разрушались, народы исчезали, изъ праха ихъ рождались новыя племена, рождались въ сумракѣ, въ мерцаніи, младенчествовали, учились и славились. Можетъ быть, Эоны погрузились въ вѣчность и нѣсколько разъ сіялъ день въ умахъ людей и нѣсколько разъ ночь темнила души, прежде нежели возсіялъ Египеть.

«Египетское просвѣщеніе соединяется съ греческимъ. Римляне учились въ сей великой школѣ.

«Что же послѣдовало за сею блестящею эпохой? Варварство многихъ вѣковъ.

«Медленно рѣдѣла, медленно прояснялась густая тьма. Наконецъ, солнце возсіяло, добрые и легковѣрные челоуѣколюбцы заключали отъ успѣховъ къ успѣхамъ, видѣли близкую цѣль совершенства и въ радостномъ упоеніи восклицали *берегъ!* но вдругъ небо дымится и судьба челоуѣчества скрывается въ грозныхъ тучахъ. О потомство! Какая участь ожидаетъ тебя?

«Иногда несносная грусть тѣснить мое сердце, иногда упадаю на колѣна и простираю руки свои къ невидимому... Нѣтъ отвѣта!— Голова моя клонится къ сердцу.

«Вѣчное движеніе въ одномъ кругу, вѣчное повтореніе, вѣчная смѣна дня съ ночью и ночи съ днемъ, капля радостныхъ и море горестныхъ слезъ. Мой другъ! на что жить мнѣ, тебѣ и всѣмъ? На что жили предки наши? На что будетъ жить потомство?

«Духъ мой унылъ, слабъ и печаленъ!»

Эти выстрадаанныя строки, огненные и полныя слезъ, были писаны въ концѣ девяностыхъ годовъ—*Н. М. Карамзинымъ*.

Введеніемъ къ русской рукописи были нѣсколько словъ, обращенныхъ къ друзьямъ на Руси. Я не счелъ нужнымъ повторять ихъ въ нѣмецкомъ изданіи—вотъ они:

ПРОЩАЙТЕ!

(Парижъ, 1 марта, 1849 г.).

Наша разлука продолжится еще долго, можетъ всегда. Теперь я не хочу возвратиться, потому не знаю, будетъ ли это возможно. Вы ждали меня, ждете теперь, надобно же объяснить, въ чемъ дѣло. Если я кому-нибудь повиненъ отчетомъ въ моемъ отсутствіи, въ моихъ дѣйствіяхъ, то это, конечно, вамъ, мои друзья.

Пожалуйста, не ошибитесь; не радость, не разсѣяніе, не отдыхъ, ни даже личную безопасность нашель я здѣсь; да и не знаю, кто можетъ находить теперь въ Европѣ радость и отдыхъ, отдыхъ во время землетрясенія, радость во время отчаянной борьбы. Вы видѣли грусть въ каждой строкѣ моихъ писемъ; жизнь здѣсь очень тяжела, ядовитая злоба примѣшивается къ любви, желчь къ слезѣ, лихорадочное безпокойство точитъ весь организмъ. Время прежнихъ обмановъ, упованій миновало. Я ни во что не вѣрю здѣсь, кромѣ въ кучку людей, въ небольшое число мыслей, да въ невозможность остановить движеніе; я вижу неминуемую гибель старой Европы и не жалѣю ничего изъ существующаго, ни ея вершинное образованіе, ни ея учрежденія... Я ничего не люблю въ этомъ мірѣ, кромѣ того, что онъ преслѣдуетъ, ничего не уважаю, кромѣ

того, что онъ казнить, и остаюсь... остаюсь страдать вдвойнѣ, страдать отъ своего горя и отъ его горя; погибнуть, можетъ быть, при разгромѣ и разрушеніи, къ которому онъ несется на всѣхъ парахъ.

Зачѣмъ же я остаюсь?

Остаюсь затѣмъ, что борьба *здѣсь*, что, несмотря на кровь и слезы, здѣсь разрѣшаются общественные вопросы, что здѣсь страданія болѣзненные, жгучи, но *гласны*, борьба открытая, никто не прячется. За эту открытую борьбу, за эту рѣчь, за эту гласность— я остаюсь здѣсь; за нее я отдаю все, я васъ отдаю за нее, часть своего достоянія, а, можетъ, отдамъ и жизнь въ рядахъ энергическаго меньшинства, «говимыхъ, но не низлагаемыхъ».

За эту рѣчь я переломилъ или, лучше сказать, заглушилъ на время мою кровную связь съ народомъ, въ которомъ находилъ такъ много отзвонковъ на свѣтлыя и темныя стороны моей души, котораго пѣснь и языкъ— моя пѣснь и мой языкъ, и остаюсь съ народомъ, въ жизни котораго я глубоко сочувствую одному горькому плачу пролетарія и отчаянному мужеству его друзей.

Дорого мнѣ стоило рѣшиться... Вы знаете меня... и повѣрите. Я заглушилъ внутреннюю боль, я перестрадалъ борьбу, и рѣшился не какъ негодующій юноша, а какъ человѣкъ, обдумавшій, что дѣлаетъ, сколько теряетъ... Мѣсяцы цѣлые взвѣшивалъ я, колебался, и, наконецъ, привнесъ все на жертву:

*Человѣческому достоинству,
Свободной рѣчи.*

До послѣдствій мнѣ нѣтъ дѣла, они не въ моей власти, они скорее во власти своевольнаго каприза, который забылся до того, что очертилъ произвольнымъ циркулемъ не только наши слова, но и наши шаги. Въ моей власти было не послушаться, — я и не послушался.

Повиноваться противно своему убѣжденію, когда есть возможность не повиноваться, — безнравственно. Страдательная покорность становится почти невозможной. Я присутствовалъ при двухъ переворотахъ, я слишкомъ жилъ свободнымъ человѣкомъ, чтобъ снова позволить сковать себя; я испыталъ народныя волненія, я привыкъ къ свободной рѣчи, и не могу сдѣлаться вновь крѣпостнымъ, ни даже для того, чтобъ страдать съ вами. Если-бъ еще надо было умѣрить себя для общаго дѣла, можетъ, силы нашлись бы: но гдѣ на сію минуту наше общее дѣло? У васъ дома нѣтъ почвы, на которой можетъ стоять свободный человѣкъ. Можете ли вы послѣ этого звать?..

Свобода лица— величайшее дѣло; на ней и *только на ней* можетъ вырасти дѣйствительная воля народа. Въ себѣ самомъ человѣкъ долженъ уважать свою свободу и чтить ее не менѣе, какъ

въ ближнемъ, какъ въ цѣломъ народѣ. Если вы въ этомъ убѣждены, то вы согласитесь, что остаться теперь здѣсь мое право, мой долгъ; это единственный протестъ, который можетъ у насъ сдѣлать личность, эту жертву она должна принести своему человѣческому достоинству. Ежели вы назовете мое удаление бѣгствомъ и извините меня только вашей любовью, это будетъ значить, что вы еще не совершенно свободны.

Я все знаю, что можно возразить съ точки зрѣнія романтическаго патриотизма и цивической натянутости; но я не могу допустить этихъ старовѣческихъ воззрѣній, я ихъ пережилъ, я вышелъ изъ нихъ и именно противъ нихъ борюсь. Эти подогрѣтые остатки римскихъ и христіанскихъ воспоминаній мѣшаютъ больше всего водворенію истинныхъ понятій о свободѣ, понятій здоровыхъ, ясныхъ, возмужалыхъ. По счастью, въ Европѣ нравы и долгое развитіе восполняютъ долею нелѣпыя теоріи и нелѣпыя законы. Люди, живущіе здѣсь, живутъ на почвѣ, удобренной двумя цивилизациями; путь, пройденный ихъ предками въ продолженіе двухъ съ половиною тысячелѣтій, не былъ напрасенъ, много человѣческаго выработалось независимо отъ внѣшняго устройства и официального порядка.

Въ самыя худшія времена европейской исторіи мы встрѣчаемъ нѣкоторое уваженіе къ личности, нѣкоторое признаніе независимости, нѣкоторыя права, уступаемыя таланту, гению. Несмотря на всю гнусность тогдашнихъ нѣмецкихъ правительствъ, Спинозу не послали на поселеніе, Лесинга не сѣкли или не отдали въ солдаты. Въ этомъ уваженіи не къ одной матеріальной, но и къ нравственной силѣ, въ этомъ невольномъ признаніи личности—одинъ изъ великихъ человѣческихъ принциповъ европейской жизни.

Въ Европѣ никогда не считали преступникомъ живущаго за границей и измѣнникомъ переселяющагося въ Америку.

У насъ нѣтъ ничего подобнаго. У насъ лицо всегда было подавлено, поглощено, не стремилось даже выступить. Свободное слово у насъ всегда считалось за дерзость, самобытность за крамолу; человѣкъ пропадалъ въ государствѣ, распускался въ общинѣ. Переворотъ Петра I замѣнилъ устарѣлое, помѣщичье управленіе Русью — европейскимъ канцелярскимъ порядкомъ; все, что можно было переписать изъ шведскихъ и нѣмецкихъ законодательствъ, все, что можно было перенести изъ муниципально-свободной Голландіи въ страну общинно-самодержавную, все было перенесено; но неписанное, нравственно обуздывавшее власть, инстинктуальное признаніе правъ лица, правъ мысли, истины, не могло перейти и не перешло. Рабство у насъ увеличилось съ образованіемъ; государство росло, улучшалось, но лицо не выигрывало; напротивъ, чѣмъ сильнѣе становилось государство, тѣмъ слабѣе лицо.

Если-бъ Россія не была такъ пространна, если-бъ чужеземное устройство власти не было такъ смутно устроено и такъ беспорядочно выполнено, то безъ преувеличенія можно сказать, что въ Россіи нельзя бы было жить ни одному человѣку, понимающему сколько-нибудь свое достоинство.

Опьяненіе самовластія овладѣваетъ всѣми степенями знаменитой іерархіи въ четырнадцать ступеней. Во всѣхъ дѣйствіяхъ власти, во всѣхъ отношеніяхъ высшихъ къ низшимъ проглядываетъ нахальное безстыдство, наглое хвастовство своей безответственностью, оскорбительное сознаніе, что лицо все вынесетъ: тройной наборъ, законъ о заграничныхъ видахъ, исправительныя розги въ инженерномъ институтѣ. Такъ, какъ Малороссія вынесла крѣпостное состояніе въ XVIII вѣкѣ; такъ, какъ вся Русь, наконецъ, повѣрила, что людей можно продавать и перепродавать, и никогда никто не спросилъ, на какомъ законномъ основаніи все это дѣлается, ни даже тѣ, которыхъ продавали.

Я остаюсь здѣсь не только по тому, что мнѣ противно, переѣзжая черезъ границу, снова надѣть колодки, но для того, чтобъ работать. Жить сложа руки можно вездѣ; здѣсь мнѣ нѣтъ другого дѣла, кромѣ *нашего* дѣла.

Кто больше двадцати лѣтъ проносилъ въ груди своей одну мысль, кто страдалъ за нее и жилъ ею, скитался по тюрьмамъ и ссылкамъ. кто ею приобрѣлъ лучшія минуты жизни, самыя свѣтлыя встрѣчи, тотъ ее не оставить, тотъ ее не приведетъ въ зависимость внѣшней необходимости и географическому градусу широты и долготы. Совсѣмъ напротивъ, я здѣсь полезна, я здѣсь безъ-цензурная рѣчь ваша, вашъ свободный органъ, вашъ случайный представитель.

Все это кажется новымъ и страннымъ только намъ, въ сущности тутъ ничего нѣтъ безпримѣрнаго. Во всѣхъ странахъ, при началѣ переворота, когда мысль еще слаба, а матеріальная власть необуздана, люди преданные и дѣятельные отъѣзжали, ихъ свободная рѣчь раздавалась издали, и самое это *издали* придавало словамъ ихъ силу и власть, потому что за словами виднѣлись дѣйствія, жертвы. Мощь ихъ рѣчей росла съ разстояніемъ, какъ сила верженія растетъ въ камнѣ, пущенномъ съ высокой башни.

Для русскихъ за границей есть еще другое дѣло. Пора дѣйствительно знакомить Европу съ Русью. Европа насъ не знаетъ; она знаетъ наше правительство, нашъ фасадъ и больше ничего. Для этого знакомства обстоятельства превосходны: ей теперь какъ-то не идетъ гордиться и величаво завертываться въ мантию пренебрегающаго незнанія; Европѣ не къ лицу *das vornehme Ignoriren* Россіи, съ тѣхъ поръ какъ она испытала мѣщанское самодержавіе и алжирскихъ казаковъ, съ тѣхъ поръ какъ отъ Дуная

до Атлантического океана она побывала въ осадномъ положеніи, съ тѣхъ поръ какъ тюрьмы, галеры полны гонимыхъ за убѣжденія... Пусть она узнаетъ ближе народъ, котораго отроческую силу она оцѣнила въ боѣ, гдѣ онъ остался побѣдителемъ; расскажемъ ей объ этомъ мощномъ и неразгаданномъ народѣ, который втихомолку образовалъ государство въ шестьдесятъ милліоновъ, который такъ крѣпко и удивительно разросся, не утративъ общиннаго начала, и первый перенесъ его черезъ начальные перевороты государственнаго развитія; объ народѣ, который какъ то чудно умѣлъ сохранить себя подъ игомъ монгольскихъ ордъ и нѣмецкихъ бюрократовъ, подъ капральской палкой казарменной дисциплины и подъ позорнымъ кнутомъ татарскимъ; который сохранилъ величавыя черты, живой умъ и широкой разгулъ богатой природы подъ гнетомъ крѣпостнаго состоянія, и въ отвѣтъ на царскій приказъ образоваться — отвѣтилъ черезъ сто лѣтъ громаднымъ явленіемъ Пушкина. Пусть узнаютъ европейцы своего сосѣда, они его только боятся, надобно имъ знать, чего они боятся.

До сихъ поръ мы были непростительно скромны и, сознавая свое тяжкое положеніе безправія, забывали все хорошее, полное надеждъ и развитія, что представляетъ наша народная жизнь. Мы дождались нѣмца для того, чтобъ рекомендоваться Европѣ. Не стыдно ли?

Успѣю ли я что сдѣлать?... Не знаю,—надѣюсь!

Итакъ, прощайте, друзья, надолго... Давайте ваши руки, вашу помощь, мнѣ нужно и то, и другое. А тамъ кто знаетъ, чего мы не видали въ послѣднее время! Быть можетъ, и *не такъ далеко*, какъ кажется, тотъ день, въ который мы соберемся, какъ бывало въ Москвѣ, и безбоязненно сдвинемъ наши чаши.

Сердце отказывается вѣрить, что этотъ день не придетъ, замираетъ при мысли вѣчной разлуки. Будто я не вижу эти улицы, по которымъ я такъ часто ходилъ, полный юношескихъ мечтаній: эти дома, такъ сроднившіеся съ воспоминаніями, наши русскія деревни, нашихъ крестьянъ, которыхъ я вспоминалъ съ любовью на самомъ югѣ Италіи?... Не можетъ быть! — Ну, а если? Тогда я завѣщаю мой тостъ моимъ дѣтямъ и, умирая на чужбинѣ, сохраню вѣру въ будущность русскаго народа и благословлю его изъ дали моею добровольной ссылки!

Передъ грозой.

(РАЗГОВОРЪ НА ПАЛУБѢ).

Ist's denn so grosses Geheimniss was Gott und der
Mensch und die Welt sei?
Nein, doch niemand hoert's gerne, da bleibt es geheim.
Gathe.

...Я согласенъ, что въ вашемъ взглядѣ много смѣлости, силы, правды, много юмору даже; но принять его не могу; можетъ, это дѣло организаціи, нервной системы. У васъ не будетъ послѣдователей, пока вы не научитесь перемѣнять крови въ жилахъ.

-- Быть можетъ. Однако мой взглядъ начинаетъ вамъ нравиться, вы отыскиваете физиологическія причины, обращаетесь къ природѣ.

-- Только навѣрное не для того, чтобъ успокоиться, отдѣлаться отъ страданій, смотрѣть въ безучастномъ созерцаніи съ высоты олимпическаго величія, какъ Гёте, на треволненный міръ и любоваться броженіемъ этого хаоса, безсильно стремящагося устояться.

- Вы становитесь злы, но ко мнѣ это не относится; если я старался уразумѣть жизнь, у меня въ этомъ не было никакой цѣли, мнѣ хотѣлось что-нибудь узнать, мнѣ хотѣлось заглянуть подальше; все слышанное, читанное не удовлетворяло, не объясняло, а, напротивъ, приводило къ противорѣчіямъ или къ нелѣпостямъ. Я не искалъ для себя ни утѣшенія, ни отчаянія, и это потому, что былъ молодъ; теперь я всякое мимолетное утѣшеніе, всякую минуту радости цѣню очень дорого, ихъ остается все меньше и меньше. Тогда я искалъ только истины, посильнаго пониманья; много ли уразумѣлъ, много ли понялъ, не знаю. Не скажу, чтобъ мой взглядъ былъ особенно утѣшительнъ, но я сталъ покойнѣе, пересталъ сердиться на жизнь за то, что она не даетъ того, чего не можетъ дать,— вотъ все выработанное мною.

-- Я, съ своей стороны, не хочу перестать ни сердиться, ни страдать; это такое человѣческое право, что я и не думаю поступиться имъ; мое негодование—мой протестъ; я не хочу мириться.

-- Да и не съ кѣмъ. Вы говорите, что вы не хотите перестать страдать; это значить, что вы не хотите принять истины,

такъ, какъ она откроется вашей собственной мыслию, — можетъ, она и не потребуеъ отъ васъ страданій; вы впередъ отрекаетесь отъ логики, вы предоставляете себѣ по выбору принимать и отвергать послѣдствія. Помните того англичанина, который всю жизнь не признавалъ Наполеона императоромъ, что тому не помѣшало два раза короноваться. Въ такомъ упорномъ желаніи оставаться въ разрывѣ съ міромъ не только непослѣдовательность, но бездна суетности; человекъ любить эффектъ, ролю, особенно трагическую: страдать хорошо, благородно, предполагаетъ несчастье. Это еще не все, — сверхъ суетности тутъ бездна трусости. Не сердитесь за слово; изъ-за боязни узнать истину, многіе предпочитаютъ страданіе — разбору; страданіе отвлекаетъ, занимаетъ, утѣшаетъ..., да, да, утѣшаетъ: а главное, какъ всякое занятіе, оно мѣшаетъ человеку углубляться съ собою наединѣ. Мы постоянно ищемъ такихъ или другихъ картъ, соглашаемся даже проигрывать, лишь бы забыть дѣло. Наша жизнь постоянное бѣгство отъ себя, точно утрызенія совѣсти преслѣдуютъ, пугаютъ насъ. Какъ только человекъ становится на свои ноги, онъ начинаетъ кричать, чтобъ не слышать рѣчей, раздающихся внутри; ему грустно — онъ бѣжитъ разсѣяться, ему нечего дѣлать — онъ выдумываетъ занятіе; отъ ненависти къ одиночеству — онъ дружится со всѣми, все читаетъ, интересуется чужими дѣлами, наконецъ, женится на скорую руку. Тутъ гавань, семейный міръ и семейная война не дадутъ много мѣста мысли; семейному человеку какъ-то неприлично много думать; онъ не долженъ быть настолько празденъ. Кому и эта жизнь не удалась, тотъ напивается до пьяна всѣмъ на свѣтѣ — виномъ, нумизматикой, картами, скачками, женщинами, скупостью, благодѣяніями; ударяется въ мистицизмъ, идетъ въ иезуиты, налагаетъ на себя чудовищные труды, и они ему все-таки легче кажутся, нежели какая то угрожающая истина, дремлющая внутри его. Въ этой боязни изслѣдовать, чтобъ не увидать вздоръ изслѣдуемаго, въ этомъ искусственномъ недосугѣ, въ этихъ поддѣльныхъ несчастіяхъ, усложняя каждый шагъ вымышленными путями, мы проходимъ по жизни спросонья и умираемъ въ чаду нелѣпости и пустяковъ, не пришедши путемъ въ себя. Престранное дѣло: во всемъ, не касающемся внутреннихъ жизненныхъ вопросовъ, люди умны, смѣлы, проницательны; они считаютъ себя, на примѣръ, посторонними природѣ и изучаютъ ее добросовѣстно, тутъ другая метода, другой пріемъ. Не жалко ли такъ бояться правды, изслѣдованія? Положимъ, что много мечтаній поблекнуть, будетъ не легче, а тяжеле, — все же нравственнѣе, достойнѣе, мужественнѣе не ребячиться. Если-бъ люди смотрѣли другъ на друга, какъ смотрятъ на природу, смѣясь, сошли бы они съ своихъ пьедесталей и курульвыхъ креселъ, взглянули бы на жизнь проще, перестали бы вы-

ходить изъ себя за то, что жизнь не исполняетъ ихъ гордые приказы и личныя фантазіи. Вы, напримѣръ, ждали отъ жизни совѣтъ не то, что она вамъ дала; вмѣсто того, чтобъ оцѣнить то, что она вамъ дала, вы негодуете на нее. Это негодование, пожалуй, хорошо, острая закваска, влекущая человѣка впередъ, къ дѣятельности, къ движенію; но, вѣдь, это одинъ начальный толчекъ, нельзя же только негодовать, проводить всю жизнь въ оплакиваніи неудачъ, въ борьбѣ и досадѣ. Скажите откровенно: чѣмъ вы искали убѣдиться, что требованія ваши истинны?

— Я ихъ не выдумывалъ, они невольно родились въ моей груди; чѣмъ больше я размышлялъ объ нихъ потомъ, тѣмъ яснѣе раскрывалась мнѣ ихъ справедливость, ихъ разумность, — вотъ мои доказательства. Это вовсе не уродство, не помѣшательство; тысячи другихъ, все наше поколѣніе страдаетъ почти также, больше или меньше, смотря по обстановкѣ, по степени развитія, и тѣмъ больше, чѣмъ больше развитія. Повсюдная скорбь — самая рѣзкая характеристика нашего времени; тяжелая скука налегла на душу современнаго человѣка, сознаніе нравственнаго безсилія его томить, отсутствіе довѣрія къ чему бы то ни было старѣетъ его прежде времени. Я на васъ смотрю, какъ на исключеніе, да и сверхъ того, ваше равнодушіе мнѣ подозрительно, оно сбивается на охладившееся отчаяніе, на равнодушіе человѣка, который потерялъ не только надежду, но и безнадежность; это неестественный покой. Природа, истинная во всемъ, что дѣлаетъ, какъ вы повторяли нѣсколько разъ, должна быть истинна и въ этомъ явленіи скорби, тягости, всеобщности его даетъ ему нѣкоторое право. Сознайтесь, что именно съ вашей точки зрѣнія довольно трудно возражать на это.

— На что же непременно возражать; я ничего лучше не прошу, какъ соглашаться съ вами. Тягостное состояніе, о которомъ вы говорите, очевидно, и, конечно, имѣетъ право на историческое оправданіе и еще болѣе на то, чтобъ сыскать выходъ изъ него. Страданіе, боль — это вызовъ на борьбу, это сторожевой крикъ жизни, обращающій вниманіе на опасность. Міръ, въ которомъ мы живемъ, умираетъ, то есть тѣ формы, въ которыхъ проявляется жизнь; никакія лекарства не дѣйствуютъ болѣе на обветшалое тѣло его; чтобъ легко вздохнуть наслѣдникамъ надобно его похоронить, а люди хотятъ непременно его вылечить и задерживаютъ смерть. Вамъ, вѣрно, случалось видѣть удручающую грусть, томительную, тревожную неизвѣстность, которая распространяется въ домъ, гдѣ есть умирающій, отчаяніе усиливается надеждой, нервы у всѣхъ натянуты, здоровые больны, дѣла не идутъ. Смерть больного облегчаетъ душу оставшихся; льются слезы, но нѣтъ болѣе убійственнаго ожиданія, несчастіе передъ глазами, во весь ростъ, без-

возвратное, отрѣзавшее всѣ надежды, и жизнь начинается врачевать, примирять, брать новый оборотъ. Мы живемъ во время большой и трудной агоніи, это достаточно объясняетъ нашу тоску. Къ тому же предшествовавшіе вѣка особенно воспитали въ насъ грусть, болѣзненное томленіе. Три столѣтія тому назадъ все простое, здоровое, жизненное было еще подавлено; мысль едва осмѣливалась поднимать свой голосъ, ея положеніе было похоже на положеніе жидовъ въ среднихъ вѣкахъ, лукавое по необходимости, рабское, озирающееся. Подъ этими вліяніями сложился нашъ умъ, онъ выросъ, возмужалъ внутри этой нездоровой сферы; отъ католическаго мистицизма онъ естественно перешелъ въ идеализмъ и сохранилъ боязнь своего естественнаго угрызенія обманутой совѣсти, притяванія на невозможныя блага; онъ остался при разладѣ съ жизнью, при романтической тоскѣ, онъ воспиталъ себя въ страданія и разорванность. Давно ли мы, застрашенные съ дѣтства, перестали отказываться отъ самыхъ невинныхъ побужденій? Давно ли мы перестали содрогаться, находя внутри своей души страстные порывы, не взошедшіе въ каталогъ романтическаго тарифа? Вы давича сказали, что мучащія васъ требованія развились естественно; оно и такъ, и нѣтъ,—все естественно: золотуха очень естественно происходитъ отъ дурного питанія, отъ дурного климата, но мы ее все же считаемъ чѣмъ-то чужимъ организму. Воспитаніе поступаетъ съ нами, какъ отецъ Аннибала съ своимъ сыномъ. Оно беретъ обѣтъ прежде сознанія, опутываетъ насъ нравственной кабалой, которую мы считаемъ обязательною по ложной деликатности, по трудности отдѣлаться отъ того, что привито такъ рано, наконецъ, отъ лѣни разобрать, въ чемъ дѣло. Воспитаніе насъ обманываетъ прежде, нежели мы въ состояніи понимать, увѣрять въ невозможномъ дѣтей, отрѣзываетъ имъ свободное и прямое отношеніе къ предмету. Подрастая, мы видимъ, что ничто не ладится, ни мысль, ни бытъ; что то, на что насъ учили опираться, гнило, хрупко, а отъ чего предостерегали какъ отъ яду, цѣлбно; забытые и одураченные, приученные къ авторитету и указкѣ, мы выходимъ съ лѣтами на волю, каждый своими силами добирается до истины, борясь, ошибаясь. Томимые желаніемъ знать, мы подслушиваемъ у дверей, стараемся разглядѣть въ щель, кривя душой, притворяясь, мы считаемъ правду за порокъ и презрѣніе ко лжи за дерзость. Мудрено ли послѣ этого, что мы не умѣемъ уладить ни внутренняго, ни внѣшняго быта, лишнее требуемъ, лишнее жертвуемъ, пренебрегаемъ возможнымъ и негодуемъ за то, что невозможное нами пренебрегается; возмущаемся противъ естественныхъ условій жизни и покоряемся произвольному вздору. Вся наша цивилизація такова, она выросла въ нравственной междуусобіи; вырвавшись изъ школъ и монастырей, она не вышла въ жизнь, а

прошлась по ней, какъ Фаустъ, чтобъ посмотрѣть, порефлектировать и потомъ удалиться отъ грубой толпы въ гостиныя, въ академію, въ книги. Она совершила весь свой путь съ двумя знаменами въ рукахъ: «романтизмъ для сердца» было написано на одномъ, «идеализмъ для ума» на другомъ. Вотъ откуда идетъ большая доля неустройства въ нашей жизни. Мы не любимъ простого, мы не уважаемъ природу по преданію, хотимъ распоряжаться ею, хотимъ лечить заговариваніемъ и удивляемся, что больному не лучше; физика насъ оскорбляетъ своей независимой самобытностью, намъ хочется алхиміи, магіи; а жизнь и природа равнодушно идутъ своимъ путемъ, покоряясь человѣку по мѣрѣ того, какъ онъ выучивается дѣйствовать ихъ же средствами.

— Вы, кажется, меня считаете нѣмецкимъ поэтомъ, и то еще прошлой эпохи, которые сердились за то, что у нихъ есть тѣло, за то, что они ѣдятъ, и искали неземныхъ дѣвъ, «иную природу, другого солнца». Мнѣ не хочется ни магіи, ни мистеріи, а просто выйти изъ того состоянія души, которое вы сейчасъ представили въ десять разъ рѣзче меня; выйти изъ нравственнаго безсилія, изъ жалкой неприлагаемости убѣжденій, изъ хаоса, въ которомъ, наконецъ, мы перестали понимать, кто врагъ и кто другъ; мнѣ противно видѣть, куда ни обернусь, или пытаемыхъ, или пытающихъ. Какое колдовство нужно на то, чтобъ растолковать людямъ, что они сами виноваты въ томъ, что имъ такъ скверно жить, объяснить имъ, напримѣръ, что не надобно грабить нищаго, что противно объѣдаться возлѣ умирающаго съ голоду, что убійство равно отвратительно ночью на большой дорогѣ тайкомъ и днемъ открыто на площади при барабанномъ боѣ; что одно говорить, а другое дѣлать—подло... Словомъ, всѣ тѣ новыя истины, которыя говорятъ, повторяютъ, печатаютъ со временъ семи греческихъ мудрецовъ, да и тогда, я думаю, онѣ уже были очень стары. Моралисты, попы гремятъ съ кафедръ, толкують о нравственности, о грѣхахъ, читаютъ евангеліе, читаютъ Руссо,—никто не возражаетъ, и никто не исполняетъ.

— По совѣсти, жалѣть объ этомъ нечего. Всѣ эти ученія и проповѣди по большей части невѣрны, неудобноисполнимы и сбивчивѣе простого обычнаго быта. Бѣда въ томъ, что мысль забѣгаетъ всегда далеко впередъ, народы не поспѣваютъ за своими учителями. Возьмите наше время, нѣсколько человѣкъ коснулись переворота, который совершить не въ силахъ ни они сами, ни народы. Передовые думали, что стоитъ сказать: «брось одръ твой и иди за нами»,—все и двинется; они ошиблись, народъ ихъ такъ же мало зналъ, какъ они его, имъ не повѣрили. Не замѣчая, что за ними никого нѣтъ, эти люди предводительствовали, шли впередъ; спохватившись, они стали кричать отставшимъ, махать, звать ихъ,

осыпать упреками, — но поздно, слишком далеко, голоса не достаетъ, да и языкъ ихъ не тотъ, которымъ говорятъ массы. Намъ больно сознаться, что мы живемъ въ мѣрѣ, выжившемъ изъ ума, дряхломъ, истощенномъ, у котораго явнымъ образомъ не достаетъ силы и поведенія, чтобъ подняться на высоту собственной мысли; вамъ жаль старый мѣръ, мы къ нему привыкли, какъ къ родительскому дому, мы поддерживаемъ его, стараясь его разрушить, и прилагаемъ къ своимъ убѣжденіямъ его неспособныя формы, не видя, что первая іота ихъ—его смертный приговоръ. Мы носимъ платья, шитыя не по нашей мѣркѣ, а по мѣркѣ нашихъ пращуровъ; мозгъ нашъ образовался подъ вліяніемъ предшествующихъ обстоятельствъ. онъ многого не осиливаетъ, многое видитъ подъ ложнымъ угломъ. Люди съ такимъ трудомъ добились до современнаго быта, онъ имъ кажется такою счастливою пристанью послѣ безумія феодализма и тупаго гнета, слѣдовавшаго за нимъ, что они боятся измѣнять его, они отяжелѣли въ его формахъ, обжились въ нихъ, привычка замѣнила привязанность, горизонтъ сжался... размахъ мысли сдѣлался малъ, воля ослабла.

— Прекрасная картина; добавьте, что возлѣ этихъ удовлетворенныхъ, которымъ современный порядокъ по плечу, съ одной стороны, бѣдный, неразвитый народъ, одичалый, отсталый, голодный, въ безвыходной борьбѣ съ нуждой, въ изнуряющей работѣ, которая не можетъ его пропитать; а съ другой, мы, неосторожно забѣжавшіе впередъ, землемѣры, вбивающіе вѣхи новаго міра, — и которые никогда не увидимъ даже выведеннаго фундамента. Отъ всѣхъ упованій, отъ всей жизни, которая прошла между рукъ (да еще какъ прошла) если что-нибудь осталось, то это вѣра въ будущее; когда-нибудь, долго послѣ нашей смерти, домъ, для котораго мы расчистили мѣсто, выстроится и въ немъ будетъ удобно и хорошо—другимъ.

— Впрочемъ, нѣтъ причины думать, что новый мѣръ будетъ строиться по нашему плану...

...Молодой человѣкъ сдѣлалъ недовольное движеніе головой и посмотрѣлъ съ минуту на море,—совершеннѣйшій штиль продолжался; тяжелая туча едва двигалась надъ головами, такъ низко, что дымъ парохода, стелясь, мѣшался съ ней; море было черно; воздухъ не освѣжалъ.

— Вы со мною поступаете, сказалъ онъ, помолчавъ, такъ, какъ разбойники съ путешественниками; ограбивши у меня все, вамъ кажется еще мало, вы добираетесь до послѣдняго рубища, которое меня предохраняетъ отъ стужи, до моихъ волосъ; вы заставили меня сомнѣваться во многомъ, у меня оставалось будущее, вы отнимаете его, вы грабите мои надежды, вы убиваете сны, какъ Макбетъ.

А я думалъ, что я больше похожъ на хирурга, который вырѣзываетъ дикое мясо.

— Пожалуй, это еще лучше, хирургъ отрѣзываетъ большую часть тѣла, не замѣняя ее здоровой.

— И по дорогѣ спасаетъ человѣка, освобождая его отъ тяжелыхъ узъ застарѣлой болѣзни.

Знаемъ мы ваше освобожденіе. Вы отворяете двери темницы и хотите вытолкнуть колодника въ степь, увѣряя его, что онъ свободенъ; вы ломаете Бастилю, но не воздвигаете ничего взамѣну острога, остается одно пустое мѣсто.

— Это было бы чудесно, если-бъ было такъ, какъ вы говорите: худо то, что развалины, мусоръ мѣшаютъ на каждомъ шагу.

— Чему мѣшаютъ? Гдѣ въ самомъ дѣлѣ наше призваніе, гдѣ наше знамя? во что мы вѣримъ, во что не вѣримъ?

— Вѣримъ во все, не вѣримъ въ себя; вы ищете найти знамя, а я ищу потерять его; вы хотите указку, а мнѣ кажется, что въ извѣстный возрастъ стыдно читать съ указкой. Вы сейчасъ сказали, что мы вбиваемъ вѣхи новому міру...

— И ихъ вырываетъ изъ земли духъ отрицанія и разбора. Вы несравненно мрачнѣ меня смотрите на міръ и утѣшаете только для того, чтобъ еще ужаснѣ выразить современную тягость. Если и будущее не наше, тогда вся наша цивилизація ложь, мечта пятнадцатилѣтней дѣвочки, надъ которой она сама смѣется въ двадцать пять лѣтъ, наши труды вздоръ, наши усилія смѣшны. наши упованія похожи на ожиданія дунайскаго мужика. Впрочемъ, можетъ быть, вы то и хотите сказать, чтобъ мы бросили нашу цивилизацію, отказались отъ нея, воротились бы къ оставшимъ.

— Нѣтъ, отказаться отъ развитія невозможно. Какъ сдѣлать, чтобъ я не зналъ того, что знаю. Наша цивилизація лучшій цвѣтъ современной жизни. Кто же поступится своимъ развитіемъ? Но какое же это имѣетъ отношеніе къ осуществленію нашихъ идеаловъ, гдѣ лежитъ необходимость, чтобы будущее разыгрывало нами придуманную программу?

— Стало-быть, наша мысль привела насъ къ несбыточнымъ надеждамъ, къ нелѣпымъ ожиданіямъ; съ ними, какъ съ послѣднимъ плодомъ нашихъ трудовъ, мы захвачены волнами на кораблѣ, который тонетъ. Будущее не наше, въ настоящемъ намъ нѣтъ дѣла; спастись некуда, мы съ этимъ кораблемъ связаны на животъ и на смерть, остается, сложа руки, ждать, пока вода залетъ, — а кому скучно, кто поотважнѣе, тотъ можетъ броситься въ воду.

... Le monde fait naufrage,
Vieux bâtiment, usé par tous les flots,
Il s'engloutit—sauvons-nous à la nage! ¹⁾

¹⁾ *Беранже* — На смерть Деку и Лабрю.

Я ничего лучше не прошу, но только есть разница между спасаться вплавь и топиться. Судьба молодыхъ людей, которыхъ вы напомиали этой пѣснью, страшна; сугубые страдальцы, мученики безъ вѣры, смерть ихъ пусть падеть на страшную среду, въ которой они жили, пусть обличаетъ ее, позорить; но кто же вамъ сказалъ, что нѣтъ другого выхода, другого спасенія изъ этого міра старчества и агоніи, какъ смерть? Вы оскорбляете жизнь. Оставьте міръ, къ которому вы не принадлежите, если вы дѣйствительно чувствуете, что онъ вамъ чуждъ. Его не спасемъ, — спасите себя отъ угрожающихъ развалинъ; спасая себя, вы спасете будущее. Что вы имѣете общаго съ этимъ міромъ, — его цивилизацію? но вѣдь она теперь принадлежитъ вамъ, а не ему, онъ произвелъ ее, или, лучше сказать, изъ него произвели ее, онъ не грѣшенъ даже въ пониманіи ея; его образъ жизни, — онъ вамъ ненавистенъ, да и, по правдѣ, трудно любить такую нелѣпость. Ваши страданія, онъ и не подозрѣваетъ; ваши радости ему не знакомы; вы молоды, — онъ старъ; посмотрите, какъ онъ осунулся въ своей изношенной, аристократической ливреѣ, особенно послѣ тридцатаго года, лицо его подернулось матовой землистостью. Это *facies hyrcatica*, по которой доктора узнаютъ, что смерть уже занесла косу. Безсильно усиливается оно иногда еще разъ схватить жизнь, еще разъ овладѣть ею, отдѣлаться отъ болѣзни, насладиться, — не можетъ, и впадаетъ въ тяжкій, горячечный полусонъ. Тутъ толкуютъ о фаланстерахъ, демократіяхъ, социализмѣ, онъ слушаетъ и ничего не понимаетъ, иногда улыбается такимъ рѣчамъ, покачивая головою и вспоминая мечты, которымъ и онъ вѣрилъ когда-то, потомъ взмошелъ въ разумъ и давно не вѣрять... Оттого-то онъ старчески равнодушно смотритъ на коммунистовъ и іезуитовъ, на пасторовъ и якобинцевъ, на братьевъ Ротшильдъ и на умирающихъ съ голоду; онъ смотритъ на все несущееся передъ глазами, сжавши въ кулакъ нѣсколько франковъ, за которые готовъ умереть или сдѣлаться убійцей. Оставьте старика доживать, какъ знаетъ, свой вѣкъ въ богадѣльнѣ, вы для него ничего не сдѣлаете.

Это не такъ легко, не говоря о томъ, что оно противно, — куда бѣжать? Гдѣ эта новая Пенсильванія, готовая?...

Для старыхъ построекъ изъ новаго кирпича Вильямъ Пенниъ везъ съ собою старый міръ на новую почву; Сѣверная Америка — исправленное изданіе прежняго текста, не болѣе. А христіане въ Римѣ перестали быть римлянами, — этотъ внутренній отъѣздъ полезенъ.

Мысль сосредоточиться въ себѣ, оторвать пуповину, связующую насъ съ родиной, съ современностью, проповѣдуется давно, но плохо осуществляется; она является у людей послѣ всякой не-

удачи, послѣ каждой утраченной вѣры, на ней опирались мистики и массоны, философы и иллюминаты; всѣ они указывали на внутренній отъѣздъ, —никто не уѣхалъ. Руссо? —И тотъ отворачивался отъ міра, страстно любя его, онъ отрывался отъ него, —потому что не могъ быть безъ него. Ученики его продолжали его жизнь въ конвентѣ, боролись, страдали, казнили другихъ, снесли свою голову на плаху, но не ушли ни вонъ изъ Франціи, ни вонъ изъ кипѣвшей дѣятельности.

X Ихъ время нисколько не было похоже на наше. У нихъ впереди было бездна упованій. Руссо и его ученики воображали, что если ихъ идеи братства не осуществляются, то это отъ матеріальныхъ препятствій—тамъ сковано слово, тутъ дѣйствіе невольное—и они, совершенно послѣдовательно, шли грудью противъ всего, мѣшавшаго ихъ идеѣ; задача была страшная, гигантская, но они побѣдили. Побѣдивши, они думали: вотъ теперь-то..., но теперь-то ихъ повели на гильотину, и это было самое лучшее, что могло съ ними случиться: они умерли съ полной вѣрой, ихъ унесла бурная волна, среди битвы, труда, опьянѣнья, они были увѣрены, что когда возвратится тишина, ихъ идеаль осуществится безъ нихъ, но осуществится. Наконецъ, этотъ штиль пришелъ. Какое счастье, что всѣ эти энтузіасты давно были схоронены! Имъ бы пришлось увидѣть, что дѣло ихъ не подвинулось ни на вершокъ, что ихъ идеалы остались идеалами, что недостаточно разобрать по камешку Бастилію, чтобъ сдѣлать колодниковъ свободными людьми. Вы сравниваете насъ съ ними, забывая, что мы знаемъ событія пятидесяти лѣтъ, прошедшихъ послѣ ихъ смерти, что мы были свидѣтелями, какъ всѣ упованія теоретическихъ умовъ были осмѣяны, какъ демоническое начало исторіи нахоталось надъ ихъ наукой, мыслию, теоріей, какъ оно изъ республики сдѣлало Наполеона, изъ революціи 1830 г. биржевой оборотъ. Свидѣтели всего бывшаго, мы не можемъ имѣть надежды нашихъ предшественниковъ. Глубже изучивши революціонные вопросы, мы требуемъ теперь и больше и шире того, что они требовали, а ихъ-то требованія остались тою же неприлагаемостью, какъ были. Съ одной стороны, вы видите логическую послѣдовательность мысли, ея успѣхъ: съ другой, полное безсиліе ея надъ міромъ глухимъ, нѣмымъ, безильнымъ схватить мысль спасенія, такъ, какъ она высказывается ему; —потому ли что она дурно высказывается, или потому, что имѣеть только теоретическое, книжное значеніе, какъ напимѣръ римская философія, не выходившая никогда изъ большого круга образованныхъ людей.

Но кто же по вашему правъ? Мысль ли теоретическая, которая точно также развилась и сложилась исторически, но сознательно, или фактъ современнаго міра, отвергающій мысль и пред-

ставляющей такъ же, какъ она, необходимый результатъ прошедшаго?

— Оба совершенно правы. Вся эта запутанность выходитъ изъ того, что жизнь имѣетъ свою эмбриогенію, не совпадающую съ діалектикой чистаго разума. Я помянулъ древній міръ, вотъ вамъ примѣръ: вмѣсто того, чтобъ осуществлять республику Платона и политику Аристотеля, онъ осуществляетъ римскую республику и политику ихъ завоевателей; вмѣсто утопій Цицерона и Сенеки,—Тонгобардскія графства и германское право.

— Не пророчите ли вы и нашей цивилизаціи такую же гибель, какъ римской?—утѣшительная мысль и прекрасная перспектива...

— Не прекрасная и не дурная. Отчего васъ удивляетъ мысль, которая до пошлости извѣстна, что все на свѣтѣ преходяще? Впрочемъ, цивилизаціи не гибнутъ, пока родъ человѣческой продолжаетъ жить безъ совершеннаго перерыва,—у людей память хороша. Развѣ римская цивилизація не жива для насъ? а она точно такъ же, какъ наша, вытянулась далеко за предѣлы окружавшей жизни; именно отъ этого она, съ одной стороны, и расцвѣла такъ пышно, такъ великолѣпно, а съ другой, не могла фактически осуществиться. Она принесла свое міру современному, она приноситъ многое намъ, но ближайшее будущее Рима прозябало на другихъ пакитяхъ—въ катакомбахъ, гдѣ прятались гонимые христіане, въ лѣсахъ, гдѣ кочевали дикіе германы.

— Какъ же это въ природѣ все такъ цѣлеобразно, а цивилизація, высшее усиліе, вѣнецъ эпохи, выходитъ безцѣльно изъ нея. выпадаетъ изъ дѣйствительности и увядаетъ, наконецъ, оставляя по себѣ неполное воспоминаніе? Между тѣмъ человѣчество отступаетъ назадъ, бросается въ сторону и начинаетъ сѣзнова тянуться, чтобъ окончить такимъ же махровымъ цвѣтомъ—пышнымъ, но лишеннымъ сѣмянъ... Въ вашей философіи исторіи есть что-то возмущающее душу: для чего эти усилія? Жизнь народовъ становится праздною игрой, лѣпится, лѣпится по песчинѣ, по камешку, а тутъ опять все рухнетъ на земь и люди ползутъ изъ подъ развалинъ, начинаютъ снова расчищать мѣсто да строить хижины изо мха, досокъ и упавшихъ капителей, достигая вѣками, долгимъ трудомъ—паденія. Шекспиръ не даромъ сказалъ, что исторія—скучная сказка, рассказанная дуракомъ.

— Это ужъ такой печальный взглядъ у васъ. Вы похожи на тѣхъ монаховъ, которые при встрѣчѣ ничего лучшаго не находятъ сказать другъ другу, какъ мрачное *memento mori*, или на тѣхъ чувствительныхъ людей, которые не могутъ вспомнить безъ слезъ, что «люди рождаются для того, чтобъ умереть». Смотрѣть на конецъ, а не на самое дѣло—величайшая ошибка. На что растенію этотъ яркій пышный вѣнчикъ, на что этотъ упоительный запахъ, кото-

рый пройдетъ, — совѣтъ не нужно? Но природа вовсе не такъ скупа и не такъ пренебрегаетъ мимоидущимъ, настоящимъ, она на каждой точкѣ достигаетъ всего, чего можетъ достигнуть, идетъ до нельзя, до запаха, до наслажденія, до мысли... до того, что разомъ касается до предѣловъ развитія и до смерти, которая осаживаетъ, умѣряетъ слишкомъ поэтическую фантазію и необузданное творчество ея. Кто же станетъ негодовать на природу за то, что цвѣты утромъ распускаются, а вечеромъ вянутъ, что она розѣ и лиліи не умѣетъ придавать прочности кремня? И этотъ-то бѣдный, прозаическій взглядъ мы хотимъ перенести въ историческій міръ! Кто ограничилъ цивилизацію однимъ прилагаемымъ? — гдѣ у нея заборъ? Она безконечна какъ мысль, какъ искусство, она чертитъ идеалы жизни, она мечтаетъ апотеозу своего собственнаго быта, но на жизни не лежитъ обязанность исполнять ея фантазій и мысли, тѣмъ болѣе, что это было бы только улучшенное изданіе того же, а жизнь любитъ новое. Цивилизація Рима была гораздо выше и человѣчественнѣе, нежели варварской порядокъ; но въ его нестройности были зародыши развитія тѣхъ сторонъ, которыхъ вовсе не было въ римской цивилизаціи и варварство восторжествовало, не смотря ни на *Corpus juris civilis*, ни на мудрое возрѣніе римскихъ философовъ. Природа рада достигнутому и домогается высшаго: она не хочетъ обижать существующее: пусть оно живетъ, пока есть силы, пока новое подрастаетъ. Вотъ отчего такъ трудно произведенія природы вытянуть въ прямую ливію, природа ненавидитъ фрунтъ, она бросается во всѣ стороны и никогда не идетъ правильнымъ маршемъ впередъ. Дикіе германы были въ своей непосредственности, *potentialiter*, выше образованныхъ римлянъ.

— Я начинаю подозрѣвать, что вы поджидаете нашествіе варваровъ и переселеніе народовъ.

— Я гадать не люблю. Будущаго нѣтъ, его образуетъ совокупность тысячи условій необходимыхъ и случайныхъ, да воля человѣческая, придающая неожиданныя драматическія развязки и *cours de théâtre*. Исторія импровизируется, рѣдко повторяется, она пользуется всякой нечаянностью, стучится разомъ въ тысячу вѣтъ... которыя отпрутятся... кто знаетъ.

— Можетъ, балтійскіе, — и тогда Россія хлынетъ на Европу?

— Можетъ быть.

И вотъ мы, долго мудрствуя, пришли опять къ бѣлицыному колесу, опять къ *corsi* и *ricorsi* старика Вико. Опять возвратились къ Реѣ, непрерывно рождающей въ страшныхъ страданіяхъ дѣтей, которыми закусываетъ Сатурнъ. Рея только стала добросовѣтна и не подмѣниваетъ новорожденныхъ камнями, да и не стоитъ труда, въ числѣ ихъ нѣтъ ни Юпитера, ни Марса... Какая цѣль всего этого? Вы обходите этотъ вопросъ, не рѣшая его. Стоитъ ли

дѣтямъ родиться для того, чтобъ отецъ ихъ съѣлъ, да вообще стоять ли игра свѣчь?

Какъ не стоять! тѣмъ болѣе, что не вы за нихъ платите. Васъ смущаетъ, что не всѣ игры доигрываются, но безъ этого онѣ были бы нестерпимо скучны. Гѣте давнымъ давно толковалъ, что красота проходить, потому что только преходящее и можетъ быть красиво,—это обижаетъ людей. У человѣка есть инстинктивная любовь къ сохраненію всего, что ему нравится; родился,—такъ хочетъ жить во всю вѣчность; влюбился,—такъ хочетъ любить и быть любимымъ во всю жизнь, какъ въ первую минуту признанія. Онъ сердится на жизнь, видя, что въ пятьдесятъ лѣтъ нѣтъ той свѣжести чувствъ, той звонкости ихъ, какъ въ двадцать. Но такая неподвижная стоячесть противна духу жизни,—она ничего личнаго, индивидуальнаго не готовитъ впрокъ, она всякой разъ вся изливается въ настоящую минуту и, надѣлая людей способностью наслажденія, насколько можно, не боится ни жизни, ни наслажденія, не отвѣчаетъ за ихъ продолженіе. Въ этомъ непрерывномъ движеніи всего живого, въ этихъ повсюдныхъ переменнахъ природа обновляется, живетъ, ими она вѣчно молода. Оттого каждый историческій мигъ полонъ, замкнуть по своему, какъ всякій годъ съ весной и лѣтомъ, съ зимой и осенью, съ бурями и хорошей погодой. Оттого каждый періодъ новъ, свѣжъ, исполненъ своихъ надеждъ, самъ въ себѣ носить свое благо и свою скорбь, настоящее принадлежитъ ему, но людямъ этого мало, имъ хочется, чтобъ и будущее было ихъ.

— Человѣку больно, что онъ и въ будущемъ не видитъ пристани, къ которой стремится. Онъ съ тоскливымъ безпокойствомъ смотритъ передъ собою на безконечный путь и видитъ, что также далеко отъ цѣли, послѣ всѣхъ усилій, какъ за тысячу лѣтъ, какъ за двѣ тысячи лѣтъ.

— А какая цѣль пѣсни, которую поетъ пѣвица?... Звуки, вырывающіеся изъ ея груди, звуки, умирающіе въ ту минуту, какъ раздались. Если вы, кромѣ наслажденія ими, будете искать что-нибудь, выждать иной цѣли, вы дождетесь, когда кантатриса перестанетъ пѣть и у васъ останется воспоминаніе и раскаяніе, что вмѣсто того, чтобъ слушать, вы ждали чего-то... Васъ сбиваютъ категоріи, которыя дурно уловляютъ жизнь. Вы подумайте порядкомъ, что эта цѣль—программа, что ли, или приказъ? Кто его составлялъ, кому онъ объявленъ, обязательенъ онъ, или нѣтъ? Если да,—то что мы: куклы, или люди въ самомъ дѣлѣ, нравственно свободныя существа, или колеса въ машинѣ. Для меня легче жизнь, а слѣдственно, и исторію считать за достигнутую цѣль, нежели за средство достиженія.

— То есть, просто, цѣль природы и исторіи—мы съ вами?...

— Отчасти, да *плюс* настоящее всего существующаго; тутъ все входитъ: и наслѣдіе всѣхъ прошлыхъ усилій и зародыши всего, что будетъ; вдохновеніе артиста и энергія гражданина и наслажденіе юноши, который въ эту самую минуту пробирается гдѣ-нибудь къ завѣтной бесѣдкѣ, гдѣ его ждетъ подруга, робкая и отдающаяся вся настоящему, не думая ни о будущемъ, ни о цѣли... и веселье рыбы, которая плещется, вотъ на мѣсячномъ свѣтѣ... и гармонія всей солнечной системы... словомъ, какъ послѣ феодальныхъ титуловъ, я смѣло могу поставить три «и прочая... и прочая...»

— Вы совершенно правы относительно природы, но, мнѣ кажется, вы забыли, что черезъ всѣ измѣненія и спутанности исторіи прошла красная нитка, связующая се въ одно цѣлое; эта нитка — прогрессъ, или, можетъ быть, вы не принимаете и прогрессъ?

— Прогрессъ — неотъемлемое свойство сознательнаго развитія, которое не прерывалось; это дѣятельная память и физиологическое усовершеніе людей общественной жизнию.

— Неужели вы тутъ не видите цѣли?

— Совсѣмъ напротивъ, я тутъ вижу послѣдствіе. Если прогрессъ цѣль, то для кого мы работаемъ? Кто этотъ Молохъ, который, по мѣрѣ приближенія къ нему тружениковъ, вмѣсто награды пиятися и въ утѣшеніе изнуреннымъ и обреченнымъ на гибель толпамъ, которые ему кричать: *morituri te salutant*, только и умѣетъ отвѣтить горькой насмѣшкой, что послѣ ихъ смерти будетъ прекрасно на землѣ. Неужели и вы обрекаете современныхъ людей на жалкую участь каріатидъ, поддерживающихъ террасу, на которой когда-нибудь другіе будутъ танцовать... или на то, чтобъ быть несчастными работниками, которые, по колѣно въ грязи, тащутъ барку съ таинственнымъ руномъ и съ смиренной надписью «*прогрессъ* въ будущемъ» на флагѣ. Утомленные падаютъ на дорогѣ, другіе съ свѣжими силами принимаются за веревки, а дороги, какъ вы сами сказали, остается столько же, какъ при началѣ, потому что прогрессъ безконеченъ. Это одно должно было насторожить людей; цѣль безконечно далекая — не цѣль, а если хотите, уловка; цѣль должна быть ближе, по крайней мѣрѣ заработная плата или наслажденіе въ трудѣ. Каждая эпоха, каждое поколѣніе, каждая жизнь имѣли, имѣютъ свою полноту, по дорогѣ развиваются новыя требованія, испытанія, новыя средства, однѣ способности усовершенствуются насчетъ другихъ, наконецъ, самое вещество мозга улучшается... Что вы улыбаетесь?... Да, да, церебринъ улучшается... Какъ все естественное становится вамъ ребромъ, удивляетъ васъ, идеалистовъ, точно какъ нѣкогда рыцари удивлялись, что виланы хотятъ тоже человѣческихъ правъ. Когда Гете былъ въ Италіи, онъ сравнивалъ черепъ древняго быка съ черепомъ нашихъ быковъ и нашель, что у нашего кость тоньше, а

вмѣстилище большихъ полушарій мозга пространнѣе; древній быкъ былъ, очевидно, сильнѣе нашего, а нашъ развился въ отношеніи къ мозгу въ своемъ мирномъ подчиненіи человѣку. За что же вы считаете человѣка менѣе способнымъ къ развитію, нежели быкъ? Этотъ родовой ростъ не цѣль, какъ вы полагаете, а свойство преимущественно продолжающагося существованія поколѣній. Цѣль для каждаго поколѣнія—оно само. Природа не только никогда не дѣлаетъ поколѣній средствами для достиженія будущаго, но она вовсе объ будущемъ не заботится; она готова, какъ Клеопатра, распустить въ винѣ жемчужину, лишь бы потѣшиться въ настоящемъ, у нея сердце баядера и вакханки.

— И бѣдная не можетъ осуществить своего призванія!.. Вакханка на діэтѣ, баядера въ траурѣ!.. Въ наше время она, право, скорѣе похожа на кающуюся Магдалину; или, можетъ, мозгъ выдѣлался въ сторону.

— Вы вмѣсто насмѣшки сказали вещь, которая гораздо дѣльнѣе, нежели вы думаете. Одностороннее развитіе всегда влечетъ за собою avortement другихъ забытыхъ сторонъ. Дѣти, слишкомъ развитыя въ психическомъ отношеніи, дурно растутъ, слабы тѣломъ; вѣками не-естественнаго быта мы воспитали себя въ идеализмъ, въ искусственную жизнь и разрушили равновѣсіе. Мы были велики и сильны, даже счастливы въ нашей отчужденности, въ нашемъ теоретическомъ блаженствѣ, а теперь перешли эту степень, и она стала для насъ невыносима; между тѣмъ разрывъ съ практическими сферами сдѣлался страшный; виноватыхъ въ этомъ нѣтъ ни съ той, ни съ другой стороны. Природа натянула всѣ мышцы, чтобъ перешагнуть въ чловѣкѣ ограниченность звѣря; а онъ такъ перешагнулъ, что одной ногой совсѣмъ вышелъ изъ естественнаго быта, сдѣлалъ онъ это потому, что онъ свободенъ. Мы столько толкуемъ о волѣ, такъ гордимся ею и въ то же время досадуемъ за то, что насъ никто не ведетъ за руку, что оступаемся и несемъ послѣдствія своихъ дѣлъ. Я готовъ повторить ваши слова, что мозгъ выдѣлался въ сторону отъ идеализма, люди начинаютъ замѣчать это и идутъ теперь въ другую сторону; они вылечатся отъ идеализма такъ, какъ вылечились отъ другихъ историческихъ болѣзней, отъ рыцарства, отъ католицизма, отъ протестантизма...

— Согласитесь впрочемъ, что путь развитія болѣзнями и отклоненіями—престранный.

— Да, вѣдь, путь и не назначенъ... Природа слегка, самыми общими нормами, намекнула свои виды и предоставила всѣ подробности на волю людей, обстоятельствъ, климата, тысячи столкновеній. Борьба, взаимное дѣйствіе естественныхъ силъ и силъ воли, которой слѣдствія нельзя знать впередъ, придаетъ погло-

шающій интересъ каждой исторической эпохѣ. Если-бъ человѣчество шло прямо къ какому-нибудь результату, тогда исторіи не было бы, а была бы логика, человѣчество остановилось бы готовымъ въ непосредственномъ *statu quo*, какъ животныя. Все это, по-счастію, невозможно, не нужно и хуже существующаго. Животный организмъ мало-по-малу развиваетъ въ себѣ инстинктъ, въ человѣкѣ развитіе идетъ далѣе... Выработывается разумъ и выработывается трудно, медленно, — *его нѣтъ* ни въ природѣ, ни внѣ природы, его надобно достигать, съ нимъ улаживать жизнь какъ придется, потому что *libretto* нѣтъ. А будь *libretto*, исторія потеряетъ весь интересъ, сдѣлается ненужна, скучна, смѣшна; горестъ Тацита и восторгъ Колумба превратятся въ шалость, въ гаерство; великіе люди сойдутъ на одну доску съ театральными героями, которые, худо ли, хорошо ли, играютъ, непременно идутъ и дойдутъ къ извѣстной развязкѣ. Въ исторіи все импровизація, все воля, все *ex tempore*, впередъ ни предѣловъ, ни маршрутовъ нѣтъ, есть условія, святое безпокойство, огонь жизни, и вѣчный вызовъ бойцамъ пробовать силы, идти вдаль, куда хотятъ, куда только есть дорога, — а гдѣ ея нѣтъ, тамъ ее сперва проложить геній.

— А если на бѣду не найдется Колумба?

— Кортесь сдѣлаетъ за него. Геніальныя природы почти всегда находятъ, когда ихъ нужно; впрочемъ, въ нихъ нѣтъ необходимости, народы дойдутъ послѣ, дойдутъ иной дорогой, болѣе трудной: геній — роскошь исторіи, ея поэзія, ея *coup d'état*, ея скачекъ, торжество ея творчества.

— Все это хорошо, но, мнѣ кажется, при такой неопредѣленности, распущенности, исторія можетъ продолжаться во вѣки вѣковъ или завтра окончится.

— Безъ сомнѣнія. Со скуки люди не умрутъ, если родъ человѣческій очень долго заживется; хотя, вѣроятно, люди и натолкнутся на какіе-нибудь предѣлы, лежащіе въ самой природѣ человѣка, на такія фізіологическія условія, которыхъ нельзя будетъ перейти, оставаясь человекомъ, но собственно недостатка въ дѣлѣ, въ занятіяхъ не будетъ: три-четверти всего, что мы дѣлаемъ, повтореніе того, что дѣлали другіе. Изъ этого вы видите, что исторія можетъ продолжаться миллионы лѣтъ. Съ другой стороны, я ничего не имѣю противъ окончанія исторіи завтра. Мало ли что можетъ быть! Энкьева комета зацѣпитъ земной шаръ, геологическій катаклизмъ пройдетъ по поверхности, стави все вверхъ дномъ, какое-нибудь газообразное испареніе сдѣлаетъ на полъ-часа невозможнымъ дыханіе, — вотъ вамъ и финалъ исторіи.

— Фу, какіе ужасы! Вы меня страшаете, какъ маленькихъ дѣтей, но я увѣрю васъ, что этого не будетъ. Стоило бы очень развиваться три тысячи лѣтъ съ пріятной будущностью задохнуться

отъ какого-нибудь сѣрноводороднаго испаренія! Какъ же вы не видите, что это нелѣзность?

— Я удивляюсь, какъ это вы до сихъ поръ не привыкнете къ путямъ жизни. Въ природѣ такъ, какъ въ душѣ человѣка, дремлетъ безконечное множество силъ, возможностей; какъ только соберутся условія, нужныя для того, чтобы ихъ возбудить, онѣ развиваются и будутъ развиваться до нелъзи, онѣ готовы собой наполнить мѣръ, но онѣ могутъ зашннуться на полдорогѣ, принять иное направленіе, остановиться, разрушиться. Смерть одного человѣка не меньше нелѣпа, какъ гибель всего рода человѣческаго. Кто намъ обезпечилъ вѣковѣчность планеты? Она такъ же мало устоитъ при какой-нибудь революціи въ солнечной системѣ, какъ геній Сократа устоялъ противъ цикуты,—но можетъ ей не подадутъ этой цикуты... можетъ... я съ этого началъ. Въ сущности для природы это все равно, ея не убудеть, изъ нея ничего не вынешь, все въ ней, какъ ни мѣняй, и она съ величайшей любовью, похоронивши родъ человѣческій, начнетъ опять съ уродливыхъ папоротниковъ и съ ящерицъ въ полверсты длиною, вѣроятнo, еще съ какими-нибудь усовершеніями, взятыми изъ новой среды и изъ новыхъ условій.

— Ну, для людей это далеко не все равно; я думаю, Александръ Македонскій нисколько не былъ бы радъ, узнавши, что онъ пошелъ на замазку, какъ говоритъ Гамлетъ.

Насчетъ Александра Македонскаго я васъ успокою, — онъ этого никогда не узнаетъ. Разумѣется, что для человѣка совѣмъ не все равно жить или не жить; изъ этого ясно одно, что надобно пользоваться жизнію, настоящимъ; не даромъ природа всѣми языками своими непрерывно манитъ къ жизни и шепчетъ на ухо всему свое *vivege memento*.

— Напрасный трудъ. Мы помнимъ, что мы живемъ, по глухой боли, по досадѣ, которая точитъ сердце, по однообразному бою часовъ... Трудно наслаждаться, пьянить себя, зная, что весь мѣръ около васъ рухнетъ, и, стало-быть, гдѣ-нибудь задавить же и васъ. Да еще это куда бы ни шло, а то умереть на старости лѣтъ, видя, что ветхія покачнувшіяся стѣны и не думаютъ падать. Я не знаю въ исторіи такого удушливаго времени; была борьба, были страданія и прежде, но была еще какая-нибудь замѣна, можно было погибнуть, по крайвей мѣрѣ, съ вѣрой,—намъ не за что умирать и не для чего жить... самое время наслаждаться жизнію!

А вы думаете, что въ надающемъ Римѣ было легче жить?

— Конечно, его паденіе было столько же очевидно, какъ мѣръ. шедшій въ замѣну его.

— Очевидно для кого? Неужели вы думаете, что римляне смотрѣли на свое время такъ, какъ мы смотримъ на него? Гиббонъ не могъ отдѣляться отъ обаянія, которое производитъ древній

Римъ на каждую сильную душу. Вспомните, сколько вѣковъ продолжалась его агонія; намъ это время скрадывается по бѣдности событій, по бѣдности въ лицахъ, по томному однообразію! Именно такіе то періоды, нѣмые, сѣрые, и страшны для современниковъ: вѣдь, годы въ нихъ имѣли тѣ же триста шестьдесятъ пять дней, вѣдь, и тогда были люди съ душой горячей и блекли, терялись отъ разгрома падающихъ стѣнъ. Какіе звуки скорби вырывались тогда изъ груди человѣческой, — ихъ стонъ теперь наводитъ ужасъ на душу!

— Они могли креститься.

— Положеніе христіанъ было тогда тоже очень печальное: они четыре столѣтія прятались по подземельямъ, успѣхъ казался невозможнымъ, жертвы были передъ глазами.

— Но ихъ поддерживала фанатическая вѣра, — и она оправдалась.

— Только на другой день послѣ торжества явилась ересь, языческой міръ ворвался въ святую тишину ихъ братства, и христіанинъ со слезами обращался назадъ къ временамъ гоненій и благословлялъ воспоминанія о нихъ, читая мартирологъ.

— Вы, кажется, начинаете меня утѣшать тѣмъ, что всегда было такъ же скверно, какъ теперь.

— Нѣтъ, я хотѣлъ только напомнить вамъ, что нашему вѣку не принадлежитъ монополия страданій и что вы дешево цѣните прошедшія скорби. Мысль была и прежде нетерпѣлива, ей хочется сей-часъ, ей ненавистно ждать, — а жизнь не довольствуется отвлеченными идеями, не торопится, медлитъ съ каждымъ шагомъ, потому что ея шаги трудно поправляются. Отсюда трагическое положеніе мыслящихъ... Но чтобъ опять не отклониться, позвольте мнѣ теперь васъ спросить, отчего вамъ кажется, что міръ насъ окружающій такъ проченъ и долготѣенъ?...

Давно тяжелыя и крупныя капли дождя падали на насъ, глухіе раскаты грома становились слышнѣе, молніи ярче; тутъ дождь полился ручьями... Всѣ бросились въ каюту, пароходъ скрипѣлъ, качка была невыносима, — разговоръ не продолжался.

Roma, Via del Corso.

31 декабря, 1847 г.



Послѣ грозы.

Percy.

Женщины плачутъ, чтобъ облегчить душу, мы не умѣемъ плакать. Взамѣну слезъ я хочу писать — не для того, чтобъ описывать, объяснять кровавыя событія, а просто, чтобъ говорить объ нихъ, дать волю рѣчи, слезамъ, мысли, желчи. Гдѣ тутъ описывать, собирать свѣдѣнія, обсуживать! Въ ушахъ еще *раздаются* выстрѣлы, топотъ несущейся кавалеріи, тяжелый, густой звукъ лафетныхъ колесъ по мертвымъ улицамъ; въ памяти мелькаютъ отдѣльныя подробности: раненый на носилкахъ держитъ рукой бокъ и нѣсколько капель крови течетъ по ней; омнибусы наполненные трупами, плѣнные съ связанными руками, пушки на place de la Bastille, лагерь у Porte St. Denis, на Елисейскихъ поляхъ, и мрачное ночное Sentinelle: prenez garde à vous!... Какія тутъ описанія, мозгъ слишкомъ воспаленъ, кровь слишкомъ остра.

Сидѣть у себя въ комнатѣ, сложа руки, не имѣть возможности выйти за ворота и слышать возлѣ, кругомъ, вблизи, вдали, выстрѣлы, канонаду, крики, барабанный бой и знать, что возлѣ льется кровь, рѣжутся, колютъ, что возлѣ умираютъ, — отъ этого можно умереть, сойти съ ума. Я не умеръ, но я состарѣлся, я оправляюсь послѣ юньскихъ дней, какъ послѣ тяжелой болѣзни.

А торжественно начались они. Двадцать третьяго числа, часа въ четыре передъ обѣдомъ, шелъ я берегомъ Сены къ Hôtel de Ville, лавки запирались, колонны національной гвардіи съ зловѣщими лицами шли по разнымъ направленіямъ, небо было покрыто тучами, шелъ дождикъ. Я остановился на Pont neuf, сильная молнія сверкнула изъ-за тучи, удары грома слѣдовали другъ за другомъ и середь всего этого раздавался мѣрный протяжный звукъ набата съ колокольни св. Сульпиція, которымъ еще разъ обманутый пролетарій звалъ своихъ братій къ оружію. Соборъ и всѣ зданія по берегу были необыкновенно освѣщены нѣсколькими лучами солнца, ярко выходящими изъ-подъ тучи, барабанъ раздавался съ разныхъ сторонъ, артиллерія тянулась съ Карусельской площади.

Я слушалъ громъ, набатъ и не могъ насмотрѣться на панораму Парижа, будто я съ нимъ прощался; я страстно любилъ Па-

рижъ въ эту минуту; это была послѣдняя дань великому городу,— послѣ июньскихъ дней онъ мнѣ опротивѣлъ.

Съ другой стороны рѣки, на всѣхъ переулкахъ и улицахъ строились баррикады. Я какъ теперь вижу эти сумрачныя лица, таскавшія камни, дѣти, женщины помогали имъ. На одну баррикаду, повидимому оконченную, взошелъ молодой политехникъ, во-друзилъ знамя и зашѣлъ тихимъ, печально торжественнымъ голосомъ марсельезу, всѣ работавшіе зашѣли и хоръ этой пѣсни, раздававшійся изъ-за камней баррикады, захватывалъ душу.... На-бать все раздавался. Между тѣмъ по мосту простучала артил-лерія и генералъ Бедо осматривалъ съ моста въ трубу *неприя-тельскойскую* позицію....

Въ это время еще можно было все предупредить, тогда еще можно было спасти республику, свободу всей Европы, тогда еще можно было помириться. Тупое и неловкое правительство не умѣло этого сдѣлать, собраніе не хотѣло, реакціонеры искали мести, кро-ви, искупленія за 24 февраля, закормы National'я дали имъ испол-нителей.

Ну, что вы скажете, любезный князь Радецкій и сіятельнѣй-шій графъ Паскевичъ-Эриванскій? Вы не годитесь въ помощники Кавеньяку. Меттернихъ и всѣ члены третьяго отдѣленія собствен-ной канцеляріи—дѣти кротости, *de bons enfants*, въ сравненіи съ собраніемъ осерчалыхъ лавочниковъ.

Вечеромъ 26 іюня мы услышали, послѣ побѣды National'я надъ Парижемъ, правильные залпы, съ небольшими разстановками.... Мы все взглянули другъ на друга, у всѣхъ лица были зеленыя.... «Вѣдь это разстрѣливаютъ», сказали мы въ одинъ голосъ и отвер-нулись другъ отъ друга. Я прижалъ лобъ къ стеклу окна...

Послѣ бойни, продолжавшейся четверо сутокъ, наступила ти-шина и миръ осаднаго положенія. Улицы были еще оцѣплены: рѣдко, рѣдко гдѣ-нибудь встрѣчался экипажъ; надменная націо-нальная гвардія, съ свирѣпой и тупой злобой на лицѣ, берегла свои лавки, грозя штыкомъ и прикладомъ; ликующія толпы пья-ной мобили сходили по бульварамъ, распѣвая *Mourir pour la patrie*; мальчишки 16—17 лѣтъ хвастались кровью своихъ братій, запекшейся на ихъ рукахъ, на нихъ бросали цвѣты мѣщанки, выбѣгавшія изъ-за прилавка, чтобъ привѣтствовать побѣдителей. Кавеньякъ возилъ съ собою въ коляскѣ какого-то изверга, убив-шаго десятки французовъ. Буржуазія торжествовала. А дома предмѣстья св. Антонія еще дымились, стѣны, разбитыя ядрами, обваливались, раскрытая внутренность комнатъ представляла ка-менные раны, сломанная мебель тлѣла, куски разбитыхъ зеркалъ мерцали.... А гдѣ-же хозяева, жильцы? Объ нихъ никто и не ду-малъ.... Мѣстами посыпали пескомъ, но кровь все-таки выступа-

ла... Къ Пантеону, разбитому ядрами, не подпускали, по бульварамъ стояли палатки, лошади глодали береженыя деревья Елисейскихъ полей, на Place de la Concorde вездѣ было сѣно, кирасирскія латы, сѣдла, въ Тюльерійскомъ саду солдаты у рѣшетки варили супъ. Парижъ этого не видалъ и въ 1814 году.

Прошло еще нѣсколько дней, — и Парижъ сталъ принимать обычный видъ, толпы празднующихся снова явились на бульварахъ, нарядныя дамы ѣздили въ коляскахъ и кабриолетахъ *смотреть* развалины домовъ и слѣды отчаяннаго боя... Одни частые патрули и партіи арестантовъ напоминали страшные дни, тогда только стало уясняться прошедшее. У Байрона есть описаніе ночной битвы: кровавыя подробности ея скрыты темнотою; при разсвѣтѣ, когда битва давно кончена, видны ея остатки, клинокъ, окровавленная одежда. Вотъ этотъ-то разсвѣтъ наставалъ теперь въ душѣ, онъ освѣтилъ страшное опустошеніе. Половина надеждъ, половина вѣрованій была убита, мысли отрицанія, отчаянія бродили въ головѣ, укоренялись. Предполагать нельзя было, чтобъ въ душѣ нашей, прошедшей черезъ столько опытовъ, испытанной современнымъ скептицизмомъ, оставалось такъ много истребляемаго.

Послѣ такихъ потрясеній, живой человѣкъ не остается по старому. Душа его или становится еще религіознѣе, держится съ отчаяннымъ упорствомъ за свои вѣрованія, находитъ въ самой безнадежности утѣшеніе и человѣкъ вновь зеленѣетъ, обожженный грозю,нося смерть въ груди, или онъ мужественно и скрѣпя сердце отдаетъ послѣднія упованія, становится еще трезвѣе и не удерживаетъ послѣднія слабыя листья, которыя уносить рѣзкій весенній вѣтеръ.

Что лучше? Мудрено сказать.

Одно ведетъ къ блаженству безумія.

Другое къ несчастію знанія.

Выбирайте сами. Одно чрезвычайно прочно, потому что отнимаетъ все. Другое ничѣмъ не обезпечено, зато многое даетъ. Я избираю знаніе, и пусть оно лишитъ меня послѣднихъ утѣшеній. я пойду нравственнымъ нищимъ по бѣлому свѣту, но съ корнемъ вонъ дѣтскія надежды, отроческія упованья! Всѣ ихъ подъ судъ неподкупнаго разума.

Внутри человѣка есть постоянный революціонный трибуналъ, есть безошадный Фукье-Тенвиль и, главное, есть гильотина. Иногда судья засыпаетъ, гильотина ржавѣетъ, ложное, прошедшее, романтическое, слабое поднимаетъ голову, обживается и вдругъ какой-нибудь дикой ударъ будитъ оплошный судъ, дремлющаго палача и тогда начинается свирѣпая расправа, — малѣйшая уступка, пощада, сожалѣніе ведутъ къ прошедшему, оста-

вляють цѣпи. Выбора нѣтъ: или казнить и идти впередъ, или миловать и запнуться на полдорогѣ.

Кто не помнитъ своего логическаго романа, кто не помнитъ, какъ въ его душу попала первая мысль сомнѣнія, первая смѣлость изслѣдованія, и какъ она захватила потомъ болѣе и болѣе и дотрогивалась до святѣйшихъ достояній души? Это-то и есть страшный судъ разума. Казнить вѣрованія не такъ легко, какъ кажется, трудно разставаться съ мыслями, съ которыми мы выросли, сжились, которыя насъ лелѣяли, утѣшали,—пожертвовать ими кажется неблагодарностью. Да, но въ этой средѣ, въ которой стоитъ трибуналъ, тамъ нѣтъ благодарности, тамъ неизвѣстно святотатство и если революція, какъ Сатурнъ, ѣсть своихъ дѣтей, то отрицаніе, какъ Неронъ, убиваетъ свою мать, чтобъ отдѣлаться отъ прошедшаго. Люди боятся своей логики и, опрометчиво вызвавъ передъ ея судъ церковь и государство, семью и нравственность, добро и зло, стремятся спасти клочки, отрывки стараго. Отказываясь отъ христіанства, берегутъ безсмертіе души, идеализмъ, провидѣніе. Люди, шедшіе вмѣстѣ, тутъ расходятся, одни идутъ на-право, другіе на-лѣво; одни замираютъ на полдорогѣ, какъ верстовые столбы, показывая сколько пройдено, другіе бросаютъ послѣднюю ношу прошедшаго и идутъ бодро впередъ. Переходя изъ стараго міра въ новый, ничего нельзя взять съ собою.

Разумъ безопаденъ, какъ конвентъ, велицепріятенъ и строгъ: онъ ни на чемъ не останавливается и требуетъ на лавку подсудимыхъ самое верховное бытіе, для добраго короля теологіи настаетъ 21 января. Этотъ процессъ, какъ процессъ Людовика XVI, пробный камень для жирондистовъ; все слабое, половинчатое или бѣжить, или жечь, не подаетъ голоса, или подаетъ безъ вѣры. Между тѣмъ люди, произнесшіе приговоръ, думаютъ, что, казнивши короля, нечего больше казнить, что 22 января республика готова и счастлива. Какъ будто достаточно атеизма, чтобъ не имѣть религіи, какъ будто достаточно убить Людовика XVI, чтобъ не было монархіи. Удивительное сходство феноменологіи террора и логики. Терроръ именно начался послѣ казни короля, вслѣдъ за нимъ явились на помостѣ благородные отроки революціи, блестящіе, краснорѣчивые, слабые. Жаль ихъ, но спасти невозможно, и головы ихъ пали, а за ними покатила лъвиная голова Дантона и голова баловня революціи Камиль Демулена.—Ну теперь, теперь, по крайней мѣрѣ, кончено? Нѣтъ, теперь чередъ неподкупныхъ палачей, они будутъ казнены за то, что вѣрили въ возможность демократіи во Франціи, за то, что казнили во имя равенства,—да, казнены какъ Анахарсисъ Клоотсъ, мечтавшій о братствѣ народовъ, за нѣсколько дней до Наполеоновской эпохи, за нѣсколько лѣтъ до Вѣнскаго конгресса.

Не будетъ міру свободы, пока все религіозное, политическое не превратится въ человѣческое, простое, подлежащее критикѣ и отрицанію. Возмужалая логика ненавидитъ канонизированныя истины, она ихъ растригааетъ изъ ангельскаго чина въ людской, она изъ священныхъ таинствъ дѣлаетъ явныя истины, она ничего не считаетъ неприкосновеннымъ и, если республика присвоиваетъ себѣ такія же права, какъ монархія,—презираетъ ее. Монархія сама по себѣ религія, у республики нѣтъ мистическихъ отговорокъ, нѣтъ божественнаго права, она съ нами стоитъ на одной почвѣ. Мало не признавать преступленіемъ оскорбленіе величества, надобно признавать преступнымъ *Salus populi*. Пора человѣку потребовать къ суду: республику, законодательство, представительство, всѣ понятія о гражданинѣ и его отношеніяхъ къ другимъ и къ государству. Казней будетъ много. Близкимъ, дорогимъ надобно пожертвовать,—мудрено-ли жертвовать ненавистнымъ? Въ томъ-то и дѣло, чтобъ отдать дорогое, если мы убѣдимся, что оно не истинно. И въ этомъ наше дѣйствительное дѣло. Мы не призваны собирать плодъ, но призваны быть палачами прошедшаго, казнить, преслѣдовать его, узнавать его во всѣхъ одеждахъ и приносить на жертву будущему. Оно торжествуетъ фактически, погубимъ его въ идеѣ, въ убѣжденіи, во имя человѣческой мысли. Уступокъ дѣлать не кому,—трехцвѣтное знамя уступокъ слишкомъ замарано, оно долго не просохнетъ отъ іоньской крови. И кого въ самомъ дѣлѣ щадить? Всѣ элементы разрушающейся веси являются во всей жалкой нелѣпости, во всемъ отвратительномъ безуміи своемъ.—Что вы уважаете? *Народное* правительство, что-ли?—Кого вамъ жаль? Можетъ быть, Парижъ?

Три мѣсяца люди, избранные всеобщей подачей голосовъ, люди выборные всей земли французской ничего не дѣлали и вдругъ стали во весь ростъ, чтобъ показать міру зрѣлище невиданное—восьмисотъ человѣкъ, дѣйствующихъ какъ одинъ злодѣй, какъ одинъ извергъ. Кровь лилась рѣками, а они не нашли слова любви, примиренія; все великодушное, человѣческое покрывалось воплемъ мести и негодованія, голосъ умирающаго Афра не могъ тронуть этого многоголоваго Калигулу, этого Бурбона, размѣннаго на мѣдные гроши; они прижали къ сердцу національную гвардію, разстрѣливавшую безоружныхъ, Сенаръ благословлялъ Кавеньяка и Кавеньякъ умильно плакалъ, исполнивъ всѣ злодѣйства, указанныя адвокатскимъ пальцемъ представителей. А грозное меньшинство притаилось, *гора* скрылась за облаками довольная, что ее не разстрѣляли, не сгноили въ подвалахъ, молча смотрѣла она, какъ обираютъ оружіе у гражданъ, какъ декретируютъ депортацію, какъ сажаютъ въ тюрьму людей за все на свѣтѣ,—за то, что они не стрѣляли въ своихъ братій.

Убийство въ эти страшные дни сдѣлалось обязанностью, человѣкъ, не отмочившій себѣ рукъ въ пролетарской крови, становится подозрителенъ для мѣщанъ... По крайней мѣрѣ, большинство имѣло твердость быть злодѣемъ. А эти жалкіе друзья народа, риторы, пустыя сердца!... Одинъ мужественный плачь, одно великое негодованіе и раздалось, и то внѣ камеры. Мрачное проклятiе старца Ламене останется на головѣ бездушныхъ каннибаловъ, и всего ярче выступить на лбу малодушныхъ, которые, произнося слово республика, испугались смысла его.

Парижъ! Какъ долго это имя горѣло путеводной звѣздой народовъ; кто не любилъ, кто не поклонился ему,—но его время миновало, пускай онъ идетъ со сцены. Въ июньскіе дни онъ завязалъ великую борьбу, которую ему не развязать. Парижъ состарѣлся, и юношескія мечты ему больше не идутъ; для того чтобъ оживиться, ему нужны сильныя потрясенія, Варооломеевскія ночи, сентябрьскіе дни. Но июньскіе ужасы не оживили его. Откуда же возьметъ дряхлый Вампиръ еще крови, крови праведниковъ, той крови, которая 27 іюня отражала огонь площадкѣ, зажженныхъ ликующими мѣщанами? Парижъ любилъ играть въ солдаты, онъ посадилъ императоромъ счастливаго солдата, онъ рукоплескалъ злодѣйствамъ, называемымъ побѣдою, онъ воздвигалъ статуи, онъ мѣщанскую фигуру маленькаго капрала опять поставилъ, черезъ пятнадцать лѣтъ, на колонну, онъ съ благоговѣніемъ переносилъ прахъ водворителя рабства, онъ и теперь надѣялся найти въ солдатахъ якорь спасенія отъ свободы и равенства, онъ позвалъ дикія орды одичалыхъ африканцевъ противъ братій своихъ, чтобъ не дѣлиться съ ними, и зарѣзалъ ихъ бездушной рукой убійцы по ремеслу. Пусть же онъ несетъ послѣдствіе своихъ дѣлъ, своихъ ошибокъ... Парижъ разстрѣливалъ безъ суда... Что выйдетъ изъ этой крови?—кто знаетъ; но что бы ни вышло, довольно, что въ этомъ разгарѣ бѣшенства, мести, раздора, возмездія, погибнетъ міръ, тѣснящій новаго человѣка, мѣшающій ему жить, мѣшающій водвориться будущему.

Парижъ, 24 іюля, 1848 г.

III.

LVII годъ республики единой и нераздѣльной.

Ce n'est pas le socialisme, c'est la république!

Рѣчь Ледрю-Роллена въ Шалѣ,
22 октября, 1848 года.

На дняхъ праздновали первое вандеміера пятьдесятъ-седьмого года. Въ Шалѣ на Елисейскихъ поляхъ собрались всѣ аристократы демократической республики, всѣ алые члены собранія. Къ концу обѣда Ледрю-Ролленъ произнесъ блестящую рѣчь. Рѣчь его, наполненная *красныхъ* розъ для республики и колючихъ шиповъ для правительства, имѣла полный успѣхъ и заслуживала его. Когда онъ кончилъ, раздалось громкое *Vive la République démocratique!* Всѣ встали и стройно, торжественно, безъ шляпъ, запѣли марсельезу. Слова Ледрю-Роллена, звуки завѣтной пѣсни освобожденія и бокалы вина, въ свою очередь, одушевили всѣ лица, глаза горѣли, и тѣмъ болѣе горѣли, что не все бродившее въ головѣ являлось на губахъ. Барабанъ лагеря Елисейскихъ полей напоминалъ, что непріятель близко, что осадное положеніе и солдатская диктатура продолжаются.

Большая часть гостей были люди въ цвѣтѣ лѣтъ, но уже больше или меньше искусившіе свои силы на политической аренѣ. Шумно, горячо говорили они между собою. Сколько энергіи, отваги, благородства въ характерѣ французовъ, когда они еще не подавили въ себѣ хорошаго начала своей національности, или уже вырвались изъ мелкой и грязной среды мѣщанства, которое какъ тина покрываетъ зеленью своей всю Францію. Что за мужественное, рѣшительное выраженіе въ лицахъ, что за стремительная готовность подтвердить дѣломъ—слово; сейчасъ идти на бой, стать подъ пулю, казнить, быть казненнымъ. Я долго смотрѣлъ на нихъ, и мало-помалу невыносимая грусть поднялась во мнѣ и налегла на всѣ мысли: мнѣ стало смертельно жаль эту кучку людей—благородныхъ, преданныхъ, умныхъ, даровитыхъ, чуть ли не лучшій цвѣтъ новаго поколѣнія... Не думайте, что мнѣ стало ихъ жаль по тому, что,

можетъ быть, они не доживутъ до 1-го брюмера или до 1-го нивоза 57-го года, что, можетъ, черезъ недѣлю они погибнуть на баррикадахъ, пропадутъ на галерахъ, въ депортаци, на гильотинѣ или по новой модѣ ихъ, можетъ, перестрѣляютъ съ связанными руками, загнавши куда-нибудь въ уголь Карусельской площади или подъ внѣшніе форты,—все это очень печально, но я не объ этомъ жалѣю, грусть моя была глубже.

Мнѣ было жаль ихъ откровенное заблужденіе, ихъ добросовѣстную вѣру въ несбыточныя вещи, ихъ горячее упованіе, столько же чистое и столько же призрачное, какъ рыцарство Донъ-Кихота. Мнѣ было жаль ихъ, какъ врачу бываетъ жаль людей, не подозревающихъ страшнаго недуга въ груди своей. Сколько нравственныхъ страданій готовятъ себѣ эти люди,—они будутъ биться какъ герои, они будутъ работать всю жизнь и не успѣють. Они отдадутъ кровь, силы, жизнь и, состарѣвшись, увидятъ, что изъ ихъ труда ничего не вышло, что они дѣлали не то, что надобно, и умрутъ съ горькимъ сомнѣніемъ въ челоуѣка, который не виноватъ; или, еще хуже, впадутъ въ ребячество и будутъ, какъ теиерь, ждать всякой день огромной перемѣны, водворенія *ихъ* республики, принимая предсмертныя муки умирающаго за страданія, предшествующія родамъ. Республика, *такъ, какъ они ее* повимають, отвлеченная и неудобоисполнимая мысль, плодъ теоретическихъ думъ, апотеоза существующаго государственнаго порядка, преображеніе *того, что есть*, ихъ республика—последняя мечта, поэтическій бредъ стараго міра. Въ этомъ бреду есть и пророчество, но пророчество, относящееся къ жизни за гробомъ, къ жизни будущаго вѣка. Вотъ чего они, люди прошедшаго, несмотря на революціонность свою, связанные съ старымъ міромъ на животь и на смерть, не могутъ понять. Они воображаютъ, что тотъ дряхлый міръ можетъ, какъ Улиссъ, поюнѣть, не замѣчая того, что осуществленіе одной крайней *ихъ* республики мгновенно убьетъ его; они не знаютъ, что нѣтъ круче противорѣчія, какъ между ихъ идеаломъ и существующимъ порядкомъ, что одно должно умереть, чтобъ другому можно было жить. Они не могутъ выйти изъ старыхъ формъ, они ихъ принимаютъ за какія-то вѣчныя границы, и оттого ихъ идеаль носитъ только имя и цвѣтъ будущаго, а въ сущности принадлежить міру прошедшему, не отрѣшается отъ него.

Зачѣмъ они не знаютъ этого?

Роковая ошибка ихъ состоитъ въ томъ, что увлеченные благородной любовью къ ближнему, къ свободѣ, увлеченные нетерпѣніемъ и негодованіемъ, они бросились освобождать людей прежде, нежели сами освободились, они нашли въ себѣ силу порвать желѣзныя, грубыя цѣпи, не замѣчая того, что стѣны тюрьмы остались. Они хотятъ, не мѣняя стѣнъ, дать имъ иное назначеніе,

какъ будто планъ острога можетъ годиться для свободной жизни.

Ветхій міръ, католико-феодалный, далъ всѣ видоизмѣненія, къ которымъ онъ былъ способенъ, развился во всѣ стороны, до высшей степени изящнаго и отвратительнаго, до обличенія всей истины, въ немъ заключенной, и всей лжи, наконецъ, онъ истощился. Онъ можетъ еще долго стоять, но обновляться не можетъ; общественная мысль, развивающаяся теперь, такова, что каждый шагъ къ осуществленію ея будетъ выходъ изъ него. Выходъ!—тутъ-то и остановка! Куда? что тамъ за его стѣнами!—Страхъ беретъ: пустота, ширина, воля... Какъ идти, не зная куда, какъ терять, не видя пріобрѣтеній!—Если-бъ Колумбъ такъ разсуждалъ, онъ никогда не снялъ бы якоря. Сумасшествіе ѣхать по океану, не зная дороги, по океану, по которому никто не ѣздили, плыть въ страну, существованіе которой вопросъ. Этимъ сумасшествіемъ онъ открылъ новый міръ. Конечно, если-бъ народы переѣзжали изъ одного готоваго *hôtel garni* въ другой—еще лучшій, было бы легче, да бѣда въ томъ, что некому заготовлять новыхъ квартиръ. Въ будущемъ хуже, нежели въ океанѣ, —ничего нѣтъ, оно будетъ такимъ, какимъ его сдѣлають обстоятельства и люди.

Если вы довольны старымъ міромъ, старайтесь его сохранить, онъ очень хилъ и надолго его не станетъ при такихъ толчкахъ какъ 24 февраля; но если вамъ невыносимо жить въ вѣчномъ раздорѣ убѣжденій съ жизнію, думать одно и дѣлать другое, выходите изъ-подъ выбѣленныхъ, средневѣковыхъ сводовъ на свой страхъ; отважная дерзость въ иныхъ случаяхъ выше всякой мудрости. Я очень знаю, что это не легко; шутка ли разстаться со всѣмъ, къ чему человѣкъ привыкъ со дня рожденія, съ чѣмъ вмѣстѣ росъ и выросъ. Люди, о которыхъ мы говоримъ, готовы на страшныя жертвы,—но не на тѣ, которыя отъ нихъ требуетъ новая жизнь. Готовы ли они пожертвовать современной цивилизаціей, образомъ жизни, религіей, принятой условной нравственностью? Готовы ли они лишиться всѣхъ плодовъ, выработанныхъ съ такими усиліями, плодовъ, которыми мы хвастаемся три столѣтія, которые намъ такъ дороги, *лишиться* всѣхъ удобствъ и прелестей нашего существованія, предпочесть дикую юность—образованной дряхлости, необработанную почву, непроходимые лѣса — истощеннымъ полямъ и расчищеннымъ паркамъ, сломать свой насѣдственный замокъ, изъ одного удовольствія участвовать въ закладкѣ новаго дома, который построится, безъ сомнѣнія, гораздо постѣ насъ? Это вопросъ безумнаго, скажутъ многие.

Либералы долго играли, шутили съ идеей революціи и дошутились до 24 февраля. Народный ураганъ поставилъ ихъ на вершинѣ колокольни и указалъ имъ, куда они идутъ и куда ведутъ другихъ; посмотрѣвши на пропасть, открывавшуюся передъ ихъ

глазами, они поблѣднѣли; они увидѣли, что не только то падаетъ, что они считали за предразсудокъ, но и все остальное, что они считали за вѣчное и истинное; они до того перепугались, что одни уцѣпились за падающія стѣны, а другіе остановились кающимися на подорогѣ и стали клясться всѣмъ проходящимъ, что они этого не хотѣли. Вотъ отчего люди, провозглашавшіе республику, сдѣлались палачами свободы, вотъ отчего либеральныя имена, звучавшія въ ушахъ нашихъ лѣтъ двадцать, являются ретроградными депутатами, измѣнниками, инквизиторами. Они хотятъ свободы, даже республики въ извѣстномъ кругѣ литературно-образованномъ. За предѣлами своего умѣренного круга они становятся консерваторами. Такъ рационалистамъ нравилось объяснять тайны религіи, имъ нравилось раскрывать значеніе и смыслъ мнѳовъ, они не думали, что изъ этого выйдетъ, не думали, что ихъ изслѣдованія, начинающіяся со страха Господня, окончатся атеизмомъ, что ихъ критика церковныхъ обрядовъ приведетъ къ отрицанію религіи.

Либералы всѣхъ странъ, со времени реставраціи, звали народы на низверженіе монархически-феодальнаго устройства во имя равенства, во имя слезъ несчастнаго, во имя страданій притѣсненнаго, во имя голода неимущаго; они радовались, гоня до упаду министровъ, отъ которыхъ требовали неудобно-исполнимаго, они радовались, когда одна феодальная подставка падала за другой, и до того увлеклись, наконецъ, что перешли собственныя желанія. Они опомнились, когда изъ-за полуразрѣшенныхъ стѣнъ явился — не въ кнѣгахъ, не въ парламентской болтовнѣ, не въ филантропическихъ разглагольствованіяхъ, а на самомъ дѣлѣ — пролетаріей, работникъ съ топоромъ и черными руками, голодный и едва одѣтый рубищемъ. Этотъ «несчастный, обдѣленный братъ», о которомъ столько говорили, котораго такъ жалѣли, спросилъ, наконецъ, гдѣ же его доля во всѣхъ благахъ, въ чемъ *его* свобода, *его* равенство, *его* братство. Либералы удивились дерзости и неблагодарности работника, взяли приступомъ улицы Парижа, покрыли ихъ трупами и спрятались отъ *брата* за штыками осаднаго положенія, спасая *цивилизацию и порядокъ!*

Они правы, только они непослѣдовательны. Зачѣмъ же они прежде подламывали монархію? Какъ же они не поняли, что, уничтожая монархическій принципъ, революція не можетъ остановиться на томъ. Они радовались, какъ дѣти, что Людовикъ Филиппъ не успѣлъ доѣхать до С. Клу, а ужъ въ Hôtel de Ville явилось новое правительство и дѣло пошло своимъ чередомъ; въ то время какъ эта легкость переворота должна имъ была показать несущественность его. Либералы были удовлетворены. Но народъ не былъ удовлетворенъ, но народъ поднялъ теперь свой голосъ, онъ повторялъ ихъ слова, ихъ обѣщанія, а они, какъ Петръ, троекратно

отреклись и отъ словъ, и отъ общанія, какъ только увидѣли, что дѣло идетъ не на шутку,— и начали убійства. Такъ Лютеръ и Кальвинъ тонили *анабаптистовъ*, такъ протестанты отрекались отъ Гегеля, и гегелисты отъ Фейербаха. Таково положеніе *реформаторовъ* вообще, они собственно наводятъ только понтоны, по которымъ увлеченные ими народы переходятъ съ одного берега на другой. Для нихъ нѣтъ среды лучше, какъ конституціонное сумрачное ни-то, ни сѣ. И въ этомъ-то мѣрѣ словопреній, раздора, непримиримыхъ противорѣчій, не измѣняя его, хотѣли эти суетные люди осуществить свои *pia desideria* свободы, равенства и братства!

Формы европейской гражданственности, ея цивилизація, ея добро и зло разочтены по другой сущности, развились изъ иныхъ понятій, сложились по инымъ потребностямъ. До нѣкоторой степени формы эти, какъ все живое, были измѣняемы, но, какъ все живое, измѣняемы до *нѣкоторой степени*; организмъ можетъ воспритываться, отклоняться отъ назначенія, прилаживаться къ вліяніямъ до тѣхъ поръ, пока отклоненія не отрицаютъ его особенности, его индивидуальности, то, что составляетъ его личность; какъ скоро организмъ встрѣчаетъ такого рода вліянія, дѣлается борьба и организмъ побѣждаетъ или гибнетъ. Явленіе смерти въ томъ и состоитъ, что составныя части организма получаютъ иную цѣль, онѣ не пропадаютъ, пропадаетъ личность, а онѣ вступаютъ въ рядъ совѣтъ другихъ отношеній, явленій.

Государственныя формы Франціи и другихъ европейскихъ державъ не совмѣстны по внутреннему своему понятію ни съ свободой, ни съ равенствомъ, ни съ братствомъ; всякое осуществленіе этихъ идей будетъ отрицаніемъ современной европейской жизни, ея смертью. Никакая конституція, никакое правительство не въ состояніи дать феодально-монархическимъ государствамъ истинной свободы и равенства, не разрушая до тла все феодальное и монархическое. Европейская жизнь, христіанская и аристократическая, образовала нашу цивилизацію, наши понятія, нашу бытъ; ей необходима христіанская и аристократическая среда. Среда эта могла развиваться сообразно съ духомъ времени, съ степенью образованія, сохраняя свою сущность, въ католическомъ Римѣ, въ кошунствующемъ Парижѣ, въ философствующей Германіи; но далѣе идти нельзя, не переступая границу. Въ разныхъ частяхъ Европы люди могутъ быть посвободнѣе, поровнѣе, нигдѣ не могутъ они быть свободны и равны, пока существуетъ *эта* гражданская форма, пока существуетъ *эта* цивилизація. Это знали всѣ умные консерваторы и оттого поддерживали всѣми силами старое устройство. Неужели вы думаете, что Меттернихъ и Гизо не видѣли несправедливости общественнаго порядка, ихъ окру-

жавшаго? Но они видѣли, что эти несправедливости такъ глубоко вплетены во весь организмъ, что стоитъ коснуться до нихъ, — все зданіе рухнетъ; понявши это, они стали стражами status quo. А либералы развудали демократію, да и хотятъ воротиться къ прежнему порядку. Кто же правѣе?

Въ сущности, само собою разумѣется, всѣ неправы — и Гизо, и Меттернихи, и Кавеньяки, всѣ они дѣлали дѣйствительныя злодѣянія изъ-за мнимой цѣли, они тѣснили, губили, лили кровь для того, чтобъ задержать смерть. Ни Меттернихъ съ своимъ умомъ, ни Кавеньякъ съ своими солдатами, ни республиканцы съ своимъ непониманіемъ, не могутъ въ самомъ дѣлѣ остановить потокъ, теченіе котораго такъ сильно обозначилось; только вмѣсто облегченія они усыпаютъ людямъ путь толченымъ стекломъ. Идущіе народы пройдутъ, хуже, труднѣе, изрѣжутъ себѣ ноги, но все-таки пройдутъ; сила соціальныхъ идей велика, особенно съ тѣхъ поръ, какъ ихъ началъ понимать истинный врагъ существующаго гражданскаго порядка, — пролетарій, работникъ. Намъ еще жаль старый порядокъ вещей, кому же и пожалѣть его, какъ не намъ? Мы воспитаны имъ, мы его любимыя дѣти, мы сознаемъ, что ему надобно умереть, но не можемъ ему отказать въ слезѣ. Ну, а массы, о чемъ будутъ плакать на его похоронахъ?..

Все наше образованіе, наше литературное и научное развитіе наша любовь изящнаго, наши занятія предполагаютъ среду постоянно расчищаемую *другими*, приготовляемую *другими*; надобенъ чей-то трудъ для того, чтобъ намъ доставить досугъ, необходимый для нашего психическаго развитія, тотъ досугъ, ту дѣятельную праздность, которая способствуетъ мыслителю сосредоточиваться, поэту мечтать, эпикурейцу наслаждаться, которая способствуетъ пышному, капризному, поэтическому, богатому развитію нашихъ аристократическихъ индивидуальностей.

Кто не знаетъ, какую свѣжесть духу придаетъ беззаботное довольство; бѣдность, вырабатывающаяся до Жильбера, исключеніе, бѣдность страшно искажаетъ душу человѣка, — не меньше богатство. Забота объ однѣхъ матеріальныхъ нуждахъ подавляетъ способности. А развѣ довольство можетъ быть доступно всѣмъ при современной гражданской формѣ? Наша цивилизація — цивилизация меньшинства, она только возможна при большинствѣ чернорабочихъ. Я не моралистъ и не сентиментальный человѣкъ; мнѣ кажется, если меньшинству было дѣйствительно хорошо и привольно, если большинство молчало, то эта форма жизни въ прошедшемъ оправдана. Я не жалѣю о двадцати поколѣніяхъ нѣмцевъ, потраченныхъ на то, чтобъ сдѣлать возможнымъ Гёте, и радуюсь, что псковской оброкъ далъ возможность воспитать Пушкина. Природа безжалостна; точно какъ извѣстное дерево, она мать и мачиха вмѣстѣ:

она ничего не имѣть противъ того, что двѣ трети ея произведеній идутъ на питаніе одной трети, лишь бы они развивались. Когда не могутъ всё хорошо жить, пусть живутъ нѣсколько, пусть живетъ одинъ — насчетъ другихъ, лишь бы кому-нибудь было хорошо и широко. Только съ этой точки и можно понять аристократію.

Какъ же этотъ міръ устоитъ противъ социальнаго переворота? Во имя чего будетъ онъ себя отстаивать? Религія его ослабла, монархическій принципъ потерялъ авторитетъ; онъ поддерживается страхомъ и насиліемъ; демократическій принципъ—ракъ, снѣдающій его изнутри.

Духота, тягость, усталъ, отвращеніе отъ жизни — распространяется вмѣстѣ съ судорожными попытками куда-нибудь выйти. Всѣмъ на свѣтѣ стало дурно жить,—это великій признакъ.

Гдѣ эта тихая, созерцательная, кабинетная жизнь въ сферѣ знанія и искусствъ, въ которой жили германцы; гдѣ этотъ вихрь веселья, остроты, либерализма, нарядовъ, пѣсенъ, въ которомъ кружился Парижъ? Все это прошедшее воспоминаніе. Послѣднее успіе спасти старый міръ обновленіемъ изъ его собственныхъ началъ не удалось.

Все мельчаетъ и вянетъ на истощенной почвѣ: нѣту талантовъ, нѣту творчества, нѣту силы мысли,—нѣту силы воли. Міръ этотъ пережилъ эпоху своей славы, время Шиллера и Гёте прошло такъ же, какъ время Рафаеля и Буонаротти, какъ время Вольтера и Руссо, какъ время Мирабо и Дантона; блестящая эпоха индустріи проходитъ, она пережита, такъ, какъ блестящая эпоха аристократіи; всё нищаютъ, не обогащая никого; кредиту нѣтъ, всё перебиваются съ дня на день; образъ жизни дѣлается менѣе и менѣе изящнымъ, граціознымъ; всё жмутся, всё боятся, всё живутъ, какъ лавочники; нравы мелкой буржуазіи сдѣлались общими; никто не беретъ осѣдлости, все на время, наемно, шатко. Это то тяжелое время, которое давило людей въ третьемъ столѣтіи, когда самые пороки древняго Рима утратились, когда императоры стали вялы, легіоны мирны. Тоска мучила людей энергическихъ и безпокойныхъ до того, что они толпами бѣжали куда-нибудь въ Фивайдскія степи, выдая на площадь мѣшки золота и разставаясь на вѣкъ и съ родиною, и съ прежними богами. Это время настаетъ для насъ. Тоска наша растетъ!

Кайтесь, господа, кайтесь! Судь міру вашему пришелъ. Не спасти вамъ его ни осаднымъ положеніемъ, ни республикой, ни казнями, ни благотвореніями, ни даже раздѣленіемъ полей. Можетъ быть, судьба его не была бы такъ печальна, если-бъ его не защищали съ такимъ усердіемъ и упорствомъ, съ такой безнадежной ограниченностью. Никакое перемиріе не поможетъ теперь во Фран-

ци; враждебныя партіи не могутъ ни объясниться, ни понять другъ друга, у нихъ разныя логики, два разума.

Но неужели будущая форма жизни вмѣсто прогресса должна водвориться ночью варварства, должна купиться утратами? Не знаю, но думаю, что образованному меньшинству, если оно доживетъ до этого разгрома и не закалится въ свѣжихъ, новыхъ понятіяхъ, жить будетъ хуже. Многіе возмущаются противъ этого, я нахожу это утѣшительнымъ, для меня въ этихъ утратахъ доказательство, что каждая историческая фаза имѣетъ полную дѣйствительность, свою индивидуальность, что каждая—достигнутая цѣль, а не средство; оттого у каждой свое благо, свое хорошее, лично принадлежащее ей и которое съ нею гибнетъ. Что вы думаете, римскіе патриціи много выиграли въ образѣ жизни, перешедши въ христіанство? или аристократы до революціи развѣ не лучше жили, нежели мы съ вами живемъ?

Все это такъ, но мысль о крутомъ и насильственномъ переворотѣ имѣетъ въ себѣ что-то отталкивающее для многихъ. Люди, видящіе, что перемѣна необходима, желали бы, чтобъ она сдѣлалась исподволь. Сама природа, говорятъ они, по мѣрѣ того какъ она складывалась и становилась богаче, развитѣе, перестала прибѣгать къ тѣмъ страшнымъ катаклизмамъ, о которыхъ свидѣтельствуеетъ кора земного шара, наполненная костями цѣлыхъ населеній, погибнувшихъ въ ея перевороты; тѣмъ болѣе стройная, покойная метаморфоза свойственна той степени развитія природы, въ которой она достигла сознанія.

Она достигла его нѣсколькими головами, малымъ числомъ избранныхъ, остальные достигаютъ еще и оттого покорены Naturgewalt-амъ, инстинктамъ, темнымъ влеченіямъ, страстямъ. Для того, чтобъ мысль ясная и разумная для васъ была мыслию другого, недостаточно, чтобъ она была истинна, для этого нужно, чтобъ его мозгъ былъ развитъ такъ же, какъ вашъ, чтобъ онъ былъ освобожденъ отъ преданія. Какъ вы уговорите работника терпѣть голодъ и нужду, пока исподволь перемѣнится гражданское устройство? Какъ вы убѣдите собственника, ростовщика, хозяина разжать руку, которой онъ держится за свои монополи и права? Трудно представить себѣ такое самоотверженіе. Что можно было сдѣлать—сдѣлано; развитіе средняго сословія, конституціонный порядокъ дѣль не что иное, какъ промежуточная форма, связующая міръ феодально-монархическій съ соціально-республиканскимъ. Буржуазія именно представляетъ это полуосвобожденіе, эту дерзкую нападку на прошедшее съ желаніемъ унаслѣдовать его власть. Она работала для себя — и была права. Человѣкъ серьезно дѣлаетъ что-нибудь только тогда, когда дѣлаетъ для себя. Не могла же буржуазія себя принимать за уродливое про-

межуточное звено, она принимала себя за цѣль; но такъ какъ ея нравственный принципъ былъ меньше и бѣднѣе прошлаго, а развитіе идетъ быстрѣе и быстрѣе, то и нечему дивиться, что міръ буржуазіи истощился такъ скоро и не имѣетъ въ себѣ болѣе возможности обновленія. Наконецъ, подумайте, въ чемъ можетъ быть этотъ переворотъ исподволь—въ раздробленіи собственности, въ родѣ того, что было сдѣлано въ первую революцію?—Результатъ этого будетъ тотъ, что всѣмъ на свѣтѣ будетъ мерзко; мелкій собственникъ— худшій буржуа изъ всѣхъ; всѣ силы, тащіяся теперь въ многострадательной, но мощной груди пролетарія, изсякнутъ; правда, онъ не будетъ умирать съ голода, да на томъ и остановится, ограниченный своимъ клочкомъ земли или своей коморкой въ работничьихъ казармахъ. Такова перспектива мирнаго, органическаго переворота. Если это будетъ, тогда главный потокъ исторіи найдетъ себѣ другое русло, онъ не потеряется въ песокъ и глинѣ, какъ Рейнъ, человечество не пойдетъ узкимъ и грязнымъ проселкомъ,—ему надобно широкую дорогу. Для того, чтобъ расчистить ее, оно ничего не пожалѣетъ.

Въ природѣ консерватизмъ такъ же силенъ, какъ революціонный элементъ. Природа дозволяетъ жить старому и ненужному, пока можно; но она не пожалѣла мамонтовъ и мастодонтовъ для того, чтобъ уладить земной шаръ. Переворотъ, ихъ погубившій, не былъ направленъ *противъ нихъ*; если-бъ они могли какъ-нибудь спастись, они бы уцѣлѣли и потомъ спокойно и мирно выродились бы, окруженные средой имъ несвойственной. Мамонты, которыхъ кости и кожу находятъ въ сибирскихъ льдахъ, вѣроятно спаслись отъ геологическаго переворота; это Комнены, Палеологи въ феодальномъ мірѣ. Природа ничего не имѣетъ противъ этого, такъ же, какъ исторія. Мы ей подкладываемъ сентиментальную личность и наши страсти, мы забываемъ нашъ метафорическій языкъ и принимаемъ образъ выраженія за самое дѣло. Не замѣчая нелѣпости, мы вносимъ маленькія правила нашего домашняго хозяйства во всемірную экономію, для которой жизнь поколѣній, народовъ, цѣлыхъ планетъ не имѣетъ никакой важности въ отношеніи къ общему развитію. Въ противоположность намъ, субъективнымъ, любящимъ одно личное, для природы гибель частнаго—исполненіе той же необходимости, той же игры жизни, какъ возникновеніе его, она не жалѣетъ объ немъ, потому что изъ ея широкихъ объятій ничего не можетъ утратиться, какъ ни измѣняйся.

1 октября, 1848 года.

Champs Elysées.

Vixerunt!

Смертю смерть поправъ.

(Заутрення передъ Свѣтлымъ Воскресеніемъ).

Двадцатое ноября 1848 года, въ Парижѣ, погода была ужасная, суровый вѣтеръ съ преждевременнымъ снѣгомъ и инсемъ въ первый разъ послѣ лѣта напоминалъ о приближеніи зимы. Зимы ждуть здѣсь, какъ общественнаго несчастья, неимущіе приготовляются дрогнуть въ нетопленныхъ мансардахъ, безъ теплой одежды, безъ достаточной пищи; смертность увеличивается въ эти два мѣсяца изморози, гололедицы и сырости; лихорадки изнуряютъ и лишаютъ силы рабочихъ людей.

Въ этотъ день совѣтъ не разсвѣтало, мокрый снѣгъ, тая, падалъ непрерывно въ туманномъ воздухѣ, вѣтеръ рвалъ шляпы и съ ожесточеніемъ тормозилъ сотни трехцвѣтныхъ флаговъ, привязанныхъ къ высокимъ шестамъ около площади Согласія. Густыми массами стояли на ней войска и народная стража, въ воротахъ Тюльерійскаго сада быть разбитъ какой-то наметъ съ христіанскимъ крестомъ наверху; отъ сада до обелиска площадь, оцѣпленная солдатами, была пуста. Линейные полки, мобиль, уланы, драгуны, артиллерія наполняли все улицы, идущія къ площади. Незнавшему нельзя было догадаться, что тутъ готовилось... Не объявленіе ли, что отечество въ опасности?... Нѣтъ, это было 21 января не для короля, а для народа, для революціи... это были похороны 24 февраля.

Часу въ девятомъ утра нестройная кучка пожилыхъ людей стала пробираться черезъ мостъ; печально плелись они, поднявши воротники пальто и выскивая нетвердой ногой гдѣ посуше ступить. Передъ ними шли двое вожатыхъ. Одинъ, закутанный въ африканской кабанъ, едва выказывалъ жесткія, суровыя черты средневѣкового кондотьера; въ его исхудаломъ и болѣзненномъ лицѣ не примѣшивалось ничего человѣческаго, смягчающаго къ чертамъ хищной птицы; отъ хилой фигуры его вѣяло бѣдой и несчастьемъ. Другой, толстый, разодѣтый, съ кудрявыми сѣдыми волосами, шелъ въ одномъ фракѣ, съ видомъ изученной, оскорби-

тельной небрежности; на его лицѣ, нѣкогда красивомъ, осталось одно выраженіе сладострастно-сознательнаго довольства почетомъ, своимъ мѣстомъ.

Никакое привѣтствіе не встрѣтило ихъ, одни покорныя ружья брякнули на караулъ. Въ то же время, съ противоположной стороны, отъ Мадлены, двигалась другая кучка людей, еще болѣе странныхъ, въ средневѣковомъ нарядѣ, въ митрахъ и ризахъ; окруженные кадилницами, съ четками и молитвенниками, они казались давно умершими и забытыми тѣнями феодальныхъ вѣковъ.

Зачѣмъ шли тѣ и другіе?

Одни шли провозглашать, подъ охраною ста тысячи штыковъ, *народную волю*, уложеніе, составленное подъ выстрѣлами, обсуженное въ осадномъ положеніи, — во имя *свободы, равенства и братства*; другіе шли благословить этотъ плодъ философіи и революціи.

Народъ не пришелъ даже взглянуть на эту пародію. Онъ грустными толпами гулялъ около общаго гроба всѣхъ падшихъ за него братьевъ, около іюньской колонны. Мелкіе лавочники, разносчики, сидѣльцы, дворники близлежащихъ домовъ, трактирные слуги, да наша братья — иностранные туристы составляли кайму за шпалерами войскъ и вооруженныхъ буржуа. Но и эти зрители смотрѣли съ удивленіемъ на чтеніе, котораго слышать было невозможно, на маскарадныя платья судей — красныя, черныя, съ мѣхомъ и безъ мѣха, на снѣгъ, который хлесталъ въ глаза, на боевой порядокъ войскъ, которому придавали что-то грозное выстрѣлы съ эспланады инвалиднаго дома. Солдаты и пальба нелепо напоминали іюньскіе дни, сердце сжималось. Лица у всѣхъ были озабочены, будто всѣ имѣли сознаніе своей неправоты: одни оттого, что совершаютъ преступленіе, другіе оттого, что участвуютъ въ немъ, допустивъ его. При малѣйшемъ шорохѣ, шумѣ, тысячи головъ оборачивались, ожидая вслѣдъ за тѣмъ свистъ пули, крикъ возстанія, мѣрный звукъ набата. Вьюга продолжалась. Войска, промокнувшія до костей, роптали; наконецъ, ударилъ барабанъ, масса шевельнулась и началась безконечная дефилея подъ бѣдные звуки *Mourir pour la patrie*, которыми замѣнили великую марсельезу.

Около этого времени, молодой человѣкъ, съ которымъ мы уже знакомы, прорвался сквозь толпу къ человѣку среднихъ лѣтъ и сказалъ ему съ знаками истинной радости:

— Вотъ неожиданное счастье, я не зналъ, что вы здѣсь.

— Ахъ, здравствуйте! — отвѣчала тотъ, дружески протягивая ему обѣ руки, — давно ли вы пріѣхали?

— На дняхъ.

— Откуда?

— Изъ Италіи.

— Ну что, плохо?

— Лучше не говорить... скверно.

— То-то, мой милый мечтатель и идеалистъ,—я зналъ, что вы не устоите противъ февральскаго искушенія и приготовите себѣ этимъ много страданій, страданія всегда достигаютъ уровня надеждъ.. Вы все жаловались на застой, на дремоту въ Европѣ. Съ этой стороны, кажется, нельзя ее упрекнуть теперь?

— Не смѣйтесь! Есть обстоятельства, надъ которыми смѣяться нехорошо, какой бы скептицизмъ ни былъ въ душѣ. Слезь не достааетъ подъ часъ, время ли трунить? Мнѣ, я признаюсь вамъ, страшно обернуться, страшно вспомнить; году еще нѣтъ, какъ мы съ вами разстались, а точно вѣкъ прошелъ. Видѣть исполняющимися всѣ лучшія упованія, всѣ задушевныя надежды, видѣть возможность ихъ осуществленія,—и пасть такъ глубоко, такъ низко! Все утратить и не въ бою, не въ борьбѣ съ врагомъ, а отъ собственнаго безсилія, неумѣнія, — это страшно. Мнѣ стыдно встрѣчаться съ какимъ-нибудь легитимистомъ; они смѣются въ глаза, и я чувствую, что они правы. Какая школа—не развитія, а при-тупленія всѣхъ способностей. Я ужасно радъ, что столкнулся съ вами, у меня, наконецъ, просто сдѣлалась необходимость васъ видѣть; я съ вами заочно ссорился и мирился, написалъ какъ-то вамъ предлинное письмо и теперь душевно радъ, что изодралъ его, — оно было полно дерзкихъ надеждъ, я думалъ васъ побить ими, а теперь мнѣ хотѣлось бы, чтобъ вы окончательно увѣрили меня, что этотъ міръ гибнетъ, что ему выхода нѣтъ, что ему назначено заглухнуть, порости травой. Теперь вы меня не огорчите, да впрочемъ я и не ждалъ облегченія отъ встрѣчи съ вами; отъ вашихъ словъ мнѣ становится всякой разъ тяжеле, а не легче. . Да я этого-то и хочу... Убѣдите меня, и я завтра ѣду въ Марсель и отправляюсь съ первымъ пароходомъ въ Америку или въ Египеть, лишь бы вонъ изъ Европы. Я усталъ, я изнемогаю здѣсь, я чувствую болѣзнь въ груди, въ мозгу, я сойду съ ума, если останусь.

— Мало нервныхъ болѣзней упорнѣ идеализма. Я васъ застаю послѣ всѣхъ событій, случившихся въ послѣднее время, такимъ, какъ оставилъ. Вы лучше хотите страдать, нежели понимать. Идеалисты большіе баловни и большіе трусы; я ужъ извинялся за это выраженіе, вы знаете, что тутъ рѣчь не о личной храбрости, ея почти слишкомъ много. Идеалисты трусы передъ истиной, вы ее отталкиваете, вы боитесь фактовъ, не идущихъ подъ ваши теоріи. Вы думаете, что, помимо вами открытыхъ путей, нѣтъ міру спасенія; вы хотите, чтобъ за вашу преданность, міръ плясалъ по вашей дудкѣ, и какъ только замѣчаете, что у него свой шагъ и

свой тактъ, вы сердитесь, вы въ отчаяніи, вы даже не имѣете любопытства посмотрѣть на его собственную пляску.

— Называйте какъ хотите, трусостью или глупостью,— но дѣйствительно у меня нѣтъ любопытства видѣть этотъ макабрскій танецъ, у меня нѣтъ пристрастія римлянъ къ страшнымъ зрѣлищамъ, можетъ оттого, что я не понимаю всѣхъ тонкостей искусства умирать.

— Достоинство любопытства мѣряется достоинствомъ зрѣлища. Публика Колизея состояла изъ той же праздно толпы, которая тѣснилась на аутодафе, на казняхъ, сегодня пришла сюда, чтобъ чѣмъ-нибудь занять внутреннюю пустоту, завтра пойдетъ съ тѣмъ же усердіемъ смотрѣть, какъ будутъ вѣшать кого-нибудь изъ нынѣшнихъ героевъ. Есть другое, болѣе почтенное любопытство, корни его въ болѣе здоровой почвѣ, оно ведетъ къ знанію, къ изученію, оно мучится объ неоткрытой части свѣта, подвергается разразѣ, чтобъ узнать ея свойство.

— Словомъ, которое имѣетъ въ виду пользу, но какая же польза смотрѣть на умирающаго, зная, что время помощи прошло? Это просто поэзія любопытства.

— Для меня это поэтическое любопытство, какъ вы называете его, чрезвычайно человѣчественно; я уважаю Плинія, остающагося досматривать грозное изверженіе Везувія въ своей лодкѣ, забывающаго явную опасность. Удалиться было благоразумнѣе и во всякомъ случаѣ покойнѣе.

— Я понимаю намекъ; но сравненіе ваше не совсѣмъ идетъ: при гибели Помпеи нечего было дѣлать человѣку, смотрѣть или идти прочь зависѣло отъ него. Я хочу уйти не отъ опасности, а оттого, что не могу остаться дольше; подвергаться опасности гораздо легче, чѣмъ кажется издали; но видѣть гибель, сложа руки, зная, что не принесешь никакой пользы, понимать, чѣмъ можно бы помочь и не имѣть возможности передать, указать, растолковать: быть празднымъ свидѣтелемъ, какъ люди, пораженные какимъ-то повальнымъ безуміемъ, мечутся, крутятся, губятъ другъ друга, какъ ломится цѣлая цивилизація, цѣлый міръ, вызывая хаосъ и разрушеніе,—это выше силъ человѣка. Съ Везувіемъ нечего дѣлать, но въ мірѣ исторіи человѣкъ дома, тутъ онъ не только зритель, но и дѣятель, тутъ онъ имѣетъ голосъ и, если не можетъ принять участія, онъ долженъ протестовать хоть своимъ отсутствіемъ.

— Человѣкъ, конечно, дома въ исторіи, но изъ вашихъ словъ можно подумать, что онъ гость въ природѣ; какъ будто между природой и исторіей каменная стѣна. Я думаю, онъ тамъ и тутъ дома, но ни тамъ, ни тутъ не самовластный хозяинъ. Человѣкъ оттого не оскорбляется непокорностью природы, что ея самобытность очевидна для него; мы вѣримъ въ ея дѣйствительность, не-

зависимую отъ насъ; а въ дѣйствительность исторіи, особенно современной, не вѣримъ; въ исторіи человѣку кажется воля вольная дѣлать, что хочетъ. Все это горькіе слѣды дуализма, отъ котораго такъ долго двоилось у насъ въ глазахъ, и мы колебались между двумя оптическими обманами; дуализмъ утратилъ свою грубость, но и теперь незамѣтно остается въ нашей душѣ. Нашъ языкъ, наши первыя понятія, сдѣлавшіяся естественными отъ привычки, отъ повтореній, мѣшаютъ видѣть истину. Если-бъ мы не знали съ пятилѣтняго возраста, что исторія и природа совершенно разное, намъ было бы легко понимать, что развитіе природы незамѣтно переходитъ въ развитіе человѣчества; что это двѣ главы одного романа, двѣ фазы одного процесса, очень далекія на окраинахъ и чрезвычайно близкія въ срединѣ. Намъ не удивило бы тогда, что доля всего совершающагося въ исторіи покорена физиологіи, темнымъ влеченіямъ. Разумѣется, законы историческаго развитія не противоположны законамъ логики, но они не совпадаютъ въ своихъ путяхъ съ путями мысли, такъ какъ ничто въ природѣ не совпадаетъ съ отвлеченными нормами, которыя строятъ чистый разумъ. Зная это, мы устремились бы на изученіе, на открытіе этихъ физиологическихъ вліяній. Дѣлаемъ ли мы это? Занимался ли кто-нибудь серьезно физиологіей общественной жизни, исторіей, какъ дѣйствительно объективной наукой?—Никто, ни консерваторы, ни радикалы, ни философы, ни историки.

— Однако дѣйствовали много; можетъ потому, что намъ такъ же естественно дѣлать исторію, какъ пчелѣ медъ, что это не плодъ размышленій, а внутренняя потребность духа человѣческаго.

— Вы хотите сказать инстинктъ. Вы правы,—онъ вель, онъ и теперь еще ведетъ массы. Но мы не въ томъ положеніи, мы утратили дикую мѣткость инстинкта, мы настолько рефлектеры, что заглушили въ себѣ естественныя влеченія, которыми исторія пробивается къ дальнѣйшему. Мы вообще городскіе жители, равно лишенные физическаго и нравственнаго такта,—земледѣлецъ, морякъ знаетъ впередъ погоду, а мы нѣтъ. У насъ осталось отъ инстинкта одно безпокойное желаніе дѣйствовать,—и это прекрасно. Сознательнаго дѣйствія, т. е. такого, которое бы вполне удовлетворяло, не можетъ еще быть, мы дѣствуемъ ощупью. Мы все пробуемъ втѣснять свои мысли, свои желанія средѣ, насъ окружающей, и эти опыты, постоянно неудачные, служатъ для нашего воспитанія. Вы досадуете, что народы не исполняютъ мысль дорогую вамъ, ясную для васъ, что они не умѣютъ спастись оружіями, которыя вы имъ даете, и перестать страдать. Но почему вы думаете, что народъ именно долженъ исполнять вашу мысль, а не свою, именно въ это время, а не въ другое? Увѣрены ли вы, что средство, вами придуманное, не имѣетъ неудобствъ, увѣрены ли вы.

что онъ понимаетъ его, увѣрены ли вы, что нѣтъ другого средства, что нѣтъ цѣлей шире? Вы можете угадать народную мысль, это будетъ удача, но скорѣе вы ошибетесь. Вы и массы принадлежите двумъ разнымъ образованіямъ. между вами вѣка, больше нежели океаны. которые теперь переплываютъ такъ легко. Массы полны тайныхъ влеченій, полны страстныхъ порывовъ, у нихъ мысль не разединилась съ фантазіей, у нихъ она не остается по нашему теоріей, она у нихъ тотчасъ переходитъ въ дѣйствіе; имъ оттого и трудно привить мысль, что она не шутка для нихъ. Оттого онѣ иногда обгоняютъ самыхъ смѣлыхъ мыслителей, увлекаютъ ихъ по неволѣ, покидаютъ середь дороги тѣхъ, которымъ поклонялись вчера, и отстаютъ отъ другихъ вопреки очевидности; онѣ дѣти. онѣ женщины, онѣ капризны, бурны, непостоянны. вмѣсто того, чтобъ изучить эту самобытную физиологію рода человѣческаго, сродниться, понять ея пути, ея законы, мы принимаемся критиковать, учить, приходиться въ негодованіе, сердиться; какъ будто народы или природа отвѣчаютъ за что-нибудь, какъ будто имъ есть дѣло, нравится ли намъ, или не нравится ихъ жизнь, которая влечетъ ихъ по-неволѣ къ неяснымъ цѣлямъ и безотвѣтнымъ дѣйствіямъ! До сихъ поръ это дидактическое, жреческое отношеніе имѣло свое оправданіе, но теперь оно становится смѣшно и ведетъ насъ къ битой роли—разочарованныхъ. Вы обижены тѣмъ, что дѣлается въ Европѣ, васъ возмущаетъ эта свирѣпая, тупая и побѣдоносная реакція; и меня также, но вы, вѣрные романтизму, сердитесь, хотите бѣжать для того только, чтобъ не видать истины. Я согласенъ, что пора выходить изъ нашей искусственной, условной жизни, но не бѣгствомъ въ Америку. Что вы тамъ найдете? Сѣверные штаты—послѣднее, опрятное изданіе того же феодально-христіанскаго текста, да еще въ грубомъ англійскомъ переводѣ; годъ тому назадъ отъѣздъ вашъ не имѣлъ бы ничего удивительнаго, — обстоятельства тащились томно, вяло. А какъ же ѣхать въ пушій разгаръ перелома, когда все въ Европѣ бродитъ, работаетъ, когда падаютъ вѣковые стѣны, кумиръ валится за кумиромъ, когда въ Вѣнѣ научились строить баррикады...

— А въ Парижѣ научились ихъ ломать ядрами; когда вмѣстѣ съ кумирами (которые, впрочемъ, восстанавливаются на другой день) падаютъ навсегда лучшіе плоды европейской жизни, такъ трудно выработанные, выращенные вѣками. Я вижу судъ, я вижу казнь, смерть; но я не вижу ни воскресенія, ни помилованія. Эта часть свѣта кончила свое, силы ея истожились; народы, живущіе въ этой полостѣ, дожили до конца своего призванія, они начинаютъ тупѣть, отставать. Исторія, повидимому, нашла другое русло; я иду туда; вы мнѣ сами доказывали въ прошломъ году что-то по-

добное, —помните, на пароходѣ, когда мы плыли изъ Генуи въ Чивитту.

— Помню, это было *передъ грозой*. Только тогда вы возражали мнѣ, а теперь согласились черезъ край. Вы не жизнью, не мыслию дошли до вашего новаго взгляда, оттого, вмѣсто спокойнаго характера, онъ имѣеть у васъ характеръ судорожный; вы дошли до него *par dèpit*, отъ минутнаго отчаянія, которымъ вы наивно и безъ намѣренія прикрыли прежнія надежды. Если-бъ этотъ взглядъ не былъ въ васъ капризомъ будирующаго любовника, а просто трезвымъ знаніемъ того, что дѣлается, вы иначе выражались бы. иначе смотрѣли бы, вы оставили бы личную *gaspine*, вы забыли бы себя, тронутые и исполненные ужаса—при видѣ трагической судьбы, совершающейся передъ вашими глазами; но идеалисты скупы на то, чтобъ отдаваться, они такъ же упорно себялюбивы, какъ монахи, которые переносятъ всякія лишенія, не выпуская изъ виду себя, свою личность, награду. Чего вы боитесь оставаться здѣсь? Развѣ вы уходите изъ театра при началѣ пятаго дѣйствія каждой трагедіи, боясь разстроить нервы?... Судьба Эдипа не облегчится тѣмъ, что вы оставите партеръ, онъ все такъ же погибнетъ. Оставаться до послѣдней сцены лучше, иногда зритель, задавленный несчастіемъ Гамлета, встрѣтилъ молодаго Фортинбраса, полнаго жизни и надеждъ. Самое зрѣлище смерти торжественно,—въ немъ лежитъ великое поученіе... Туча, висѣвшая надъ Европой, не дозволявшая никому свободно дышать, развалилась, молнія за молніей, ударъ за ударомъ, земля трясется, а вы хотите бѣжать оттого, что Радецкій взялъ Миланъ, а Кавеньякъ Парижъ. Вотъ что значитъ не признавать объективность исторіи: я ненавижу смиреніе, но въ этихъ случаяхъ смиреніе показываетъ пониманье, тутъ мѣсто покорности передъ исторіей, признанія ея. Сверхъ того, она лучше идетъ, нежели можно было ожидать. За что же вы сердитесь? Мы приготовлялись зачахнуть, увянуть въ нездоровой и утомительной средѣ медленнаго старчества, а у Европы вмѣсто маразма открылся тифусъ; она рушится, разваливается, таетъ, забывается... забывается до того, что въ ея борьбахъ обѣ стороны бредятъ и не понимаютъ больше ни себя, ни врага. Пятое дѣйствіе трагедіи началось 24 февраля; грусть, трепетное состояніе духа совершенно естественно, ни одинъ серьезный человекъ не глумится при такихъ событіяхъ, но это далеко отъ отчаянія и отъ вашего взгляда. Вы воображаете, что вы отчаиваетесь оттого, что вы революціонеръ.—и ошибаетесь: вы отчаиваетесь оттого, что вы консерваторъ.

— Очень благодаренъ; по вашему, я стою на одной доскѣ съ Радецкимъ и Виндишгрепомъ.

— Нѣтъ, вы гораздо хуже. Какой же консерваторъ Радецкій?

Онъ все ломаетъ, онъ чуть не подорвалъ порохомиъ Миланскій соборъ. Неужели вы серьезно полагаете, что это консерватизмъ, когда дикіе кроаты берутъ приступомъ австрійскіе города и не оставляютъ тамъ камня на камнѣ? Ни они, ни ихъ генералы не знаютъ, что дѣлаютъ, но только они не *хранятъ*. Вы все судите по знаменамъ: эти за императора—консерваторы, эти за республику—революціонеры. Нынче монархическое начало и консерватизмъ дерутся съ обѣихъ сторонъ. Самый вредный консерватизмъ тотъ, который со стороны республики, тотъ, который проповѣдуете вы.

— Однако не мѣшало бы сказать, что я стремлюсь сохранить, въ чемъ именно вы находите мой *революціонный* консерватизмъ?

— Скажите, вѣдь, вамъ досадно, что конституція, которую сегодня провозглашаютъ, такъ глупа?

— Разумѣется.

— Васъ сердить, что движеніе въ Германіи ушло сквозь франкфуртскую воронку и исчезло, что Карлъ Альбертъ не отстаивалъ независимость Италіи, что Пій IX оказывается какъ-то изъ рукъ вовъ плохъ?

Что же изъ этого? Я не хочу и защищаться.

— Это-то и есть консерватизмъ. Если-бъ ваши желанія исполнились, вышло бы торжественное оправданіе стараго міра. Все было бы оправдано—кромиъ революціи.

— Стало-быть, намъ остается радоваться, что австрійцы побѣдили Ломбардію?

— Зачѣмъ же радоваться? Ни радоваться, ни удивляться; Ломбардія не могла освободиться демонстраціями въ Миланѣ и помощью Карла Альберта.

— Хорошо намъ здѣсь разсуждать объ этомъ *sub specie eternitatis*... Впрочемъ, я умѣю отдѣлять человѣка отъ его діалектики; я увѣренъ, что вы забыли бы всѣ ваши теоріи передъ горами труповъ, передъ ограбленными городами, оскорбленными женщинами, передъ дикими солдатами въ бѣлыхъ мундирахъ.

— Вы вмѣсто отвѣта дѣлаете воззваніе къ состраданію, которое всегда удается. Сердце есть у всѣхъ, кромѣ нравственныхъ уродовъ. Судьбой Милана такъ же легко тронуть, какъ судьбою герцогини Ламбаль, человѣку естественно сострадать; вы не вѣрете Лукрецію, что нѣтъ больше наслажденія, какъ смотрѣть съ берега на тонущій корабль.—это клевета поэта. Случайныя жертвы, падающія отъ дикой силы, возмущаютъ все нравственное существо наше. Я не видалъ Радецаго въ Миланѣ, но видѣлъ чуму въ Александріи; я знаю, какъ эти роковые бичи унижаютъ, оскорбляютъ человѣка, но на этомъ плачѣ останавливаться—бѣдно, слабо. Рядомъ съ негодованіемъ въ душѣ является непреодолимое желаніе противудѣйствія, борьбы, изслѣдованія, изысканія средствъ,

причинъ. Чувствительностью не разрѣшишь этихъ вопросовъ. Доктора разсуждаютъ о трудно-больномъ не такъ, какъ безутѣшныя родственники; они могутъ въ душѣ плакать, принимать участіе, но для борьбы съ болѣзнію надобно пониманіе, а не слезы. Наконецъ, какъ бы врачъ ни любилъ больного, онъ не долженъ теряться, онъ не долженъ удивляться приближенію смерти, неотразимости которой онъ понималъ. Впрочемъ, если вы жалѣете только людей, гибнувшихъ при этомъ страшномъ броженіи и разгромѣ, вы правы; къ безчувственности надобно воспитаться; люди, не имѣющіе никакого состраданія къ ближнему—военноначальники, министры, судьи, палачи—всею жизнію своей отучали себя отъ всего человѣческаго; если-бъ имъ не удалось это, они остановились бы на полѣ дорогѣ. Ваша скорбь вполне оправдана, и я не имѣю для васъ утѣшеній, развѣ одни количественныя: вспомните, что все случившееся отъ возстанія въ Палермѣ до взятія Вѣны не стоило Европѣ трети людей, погибнувшихъ подъ Эйлау, напримѣръ.

— Но мнѣ кажется, что вы печалитесь не объ однихъ людяхъ, вы еще что-то оплакиваете!

— Очень многое. Я оплакиваю революцію 24 февраля, такъ величественно начавшуюся и такъ скромно погибавшую. Республика была возможна, я ее видѣлъ, я дышалъ ея воздухомъ; республика была не мечта, а былъ, и что же изъ нея сдѣлалось? Мнѣ ее жаль такъ, какъ жаль Италію, проснувшуюся для того, чтобъ на другой день быть побѣжденной, такъ, какъ жаль Германію, которая встала во весь ростъ для того, чтобъ упасть къ ногамъ своихъ тридцати помѣщиковъ. Мнѣ жаль, что человѣчество опять отодвинулось на цѣлое поколѣніе, что движеніе опять заморожено, остановлено.

— Что касается до движенія собственно, его не уймешь. Девизъ нашего времени, больше нежели когда-нибудь, *semper in motu*... Видите, какъ я былъ правъ, упрекая васъ въ консерватизмѣ, онъ у васъ доходитъ до противурѣчій. Не вы ли мнѣ рассказывали годъ тому назадъ о страшномъ нравственномъ паденіи образованныхъ сословій во Франціи, и вдругъ повѣрили, что за ночь изъ нихъ сдѣлались республиканцы, оттого что народъ прогналъ упрямаго старика и на мѣсто упornaго квакера, окруженнаго мелкими дипломатами, позволилъ сѣсть безхарактерному теофилантрону, окруженному мелкими журналистами.

— Теперь легко быть проникательнымъ.

— И тогда было не трудно: 26 февраля опредѣлило весь характеръ 24-го. Всѣ не-консерваторы поняли, что эта республика игра словъ,—Бланки и Прудонъ, Распайль и Шьеръ Леру. Тутъ не даръ пророчества нуженъ, а навѣкъ добросовѣстнаго изученія, привычка наблюдать, вотъ оттого-то я и рекомендую укрѣплять,

изощрять умъ естественными науками. Натуралистъ привыкаетъ не вносить, до поры до времени, ничего своего, слѣдить, выжидать; онъ не проронить ни одного признака, ни одной переменны, онъ ищетъ истину безкорыстно, не подкладывая ни любви своей, ни своей ненависти. Забудьте, что самый пронизательный публицистъ первой революціи былъ коноваль и что химикъ ¹⁾ 27 февраля печаталъ въ своемъ журналѣ, который сожгли студенты въ *quartier latin*, то, что теперь всѣ увидѣли, но чего уже поправить нельзя. Непростительно было ждать что-нибудь отъ политическаго сюрприза 24 февраля. — кромѣ броженія; оно и началось съ этого дня и это великій результатъ его; отрицать броженія нельзя, оно влечетъ Францію и всю Европу отъ потрясенія къ потрясенію. Того-ли вы хотѣли, того-ли ждали? Нѣтъ, вы ждали, что *благо-разумная* республика удержится на золотушныхъ ножкахъ ламартиновской елейности, обернутыхъ бюллетенями Ледрю-Роллена. Это было бы всемірное несчастье, такая республика была бы самымъ тяжелымъ тормазомъ, который задержалъ бы всѣ колеса исторіи. Республика временнаго правительства, основанная на старыхъ монархическихъ началахъ, была бы вреднѣе всякой монархіи. Она явилась не какъ нелѣпость насилія, а какъ вольное соглашеніе, не какъ историческое несчастье, а какъ нѣчто рациональное, справедливое съ своимъ тупымъ большинствомъ голосовъ и съ своею ложью на знамени. Слово «республика» имѣло нравственную силу: обманывая своимъ именемъ, она ставила подпорки для поддержки падающаго государственнаго устройства. Реакція спасла движеніе, реакція сбросила маски и этимъ спасла революцію. Люди, которые годы остались бы въ опьяненіи отъ ламартиновскаго лауданума, протрезвѣли отъ трехмѣсячнаго осаднаго положенія; они знаютъ теперь, что значитъ усмирять возмущенія по понятіямъ *этой* республики. Вещи, которыя были понятны для нѣсколькихъ человѣкъ, сдѣлались доступны всѣмъ: всѣ знаютъ, что не Кавеньякъ виноватъ въ томъ, что дѣлалось, что винить палача глупо, что онъ больше гадокъ, нежели виноватъ. Реакція сама подрубила ноги послѣднимъ кумирамъ, за которыми какъ за престоломъ въ алтарѣ прятался старый порядокъ. Народъ не вѣритъ теперь въ республику и превосходно дѣлаетъ, пора перестать вѣрить въ какую-бъ то ни было единую, спасающую церковь. Религія республики была на мѣстѣ въ 93 г., и тогда она была колоссальна, велика, тогда она произвела этотъ величавый рядъ гигантовъ, которыми замыкается длинная эра политическихъ переворотовъ. Формальная республика показала себя послѣ июньскихъ дней. Теперь начинаютъ понимать несомнѣстность *братства и равен-*

¹⁾ Распайль.

ства съ этими капканами, называемыми ассизами, *свободы* и этихъ бойнь, подъ именемъ военно-судныхъ комиссій; теперь никто не вѣритъ въ подтасованныхъ присяжныхъ, которые рѣшаютъ въ жмурки судьбу людей, безъ апелляціи; въ гражданское устройство, защищающее только собственность, ссылающее людей въ видѣ мѣры общественнаго спасенія, содержащее хоть сто человекъ постоянного войска, которые, не спрашивая причины, готовы спустить курокъ по первой командѣ. Вотъ польза реакціи. Сомнѣнія бродятъ, занимаютъ умы, заставляютъ задумываться; а не легко было дойти до нихъ, особенно французамъ, которые чрезвычайно туги на пониманіе новаго, несмотря на всю остроту свою. Тоже въ Германіи; Берлину, Вѣнѣ удалось сначала, они было обрадовались своимъ діэтамъ, своимъ хартіямъ, о которыхъ скромно вздыхали тридцать пять лѣтъ. Теперь, испытавъ реакцію и зная по опыту, что такое діэты и камеры, они не удовлетворятся ни какой хартіей, ни данной, ни взятой, онѣ сдѣлались для нѣмцевъ то, что для человека игрушка, о которой онъ мечталъ ребенкомъ. Европа догадалась, благодаря реакціи, что представительная система—хитро придуманное средство перегонять въ слова и безконечные споры общественныя потребности и энергическую готовность дѣйствовать. Въмѣсто того, чтобъ радоваться этому, вы негодуете. Вы негодуете за то, что національное собраніе, составленное изъ реакціонеровъ, облеченное нелѣпой властію, подъ вліяніемъ трусости вотировало нелѣпость; а, по моему, это великое доказательство, что ни этихъ вселенскихъ соборовъ для законодательства, ни представителей въ родѣ первосвященниковъ—вовсе не нужно, что умной конституціи теперь вотировать невозможно. Не смѣшно ли писать уложеніе для грядущихъ поколѣній, когда у дряхлаго міра едва есть время на то, чтобъ распорядиться будущимъ и продиктовать какъ-нибудь духовное завѣщаніе? Вы оттого не рукоплещете всѣмъ этимъ неудачамъ, что вы консерваторъ, что вы, сознательно или нѣтъ, принадлежите къ этому міру. Въ прошломъ году, сердясь, негодуя на него, вы не выходили изъ него; за это онъ обманулъ васъ 24 февраля; вы повѣрили, что онъ можетъ спастись домашними средствами, агитаціей, реформами, что онъ можетъ обновиться, оставаясь при старомъ; вы вѣрили, что онъ *можетъ* исправиться, и теперь вѣрите. Сдѣлайся уличный бунтъ; провозгласи французы Ледрю-Роллена президентомъ, вы опять взойдете въ восторгъ. Пока вы молоды, это простительно, но оставаться въ этомъ направленіи надолго я не совѣтую, вы сдѣляетесь смѣшны. У васъ натура живая, воспріимчивая,—переступите послѣдній заборъ, отрясите послѣднюю пыль съ сапоговъ вашихъ и убѣдитесь, что маленькія революціи, маленькія перемѣны, маленькія республики недостаточны, кругъ дѣйствія ихъ слишкомъ ограниченъ, онѣ теряютъ

всякой интересъ. Не надобно имъ поддаваться, всѣ онѣ заражены консерватизмомъ. Я отдаю имъ справедливость, разумѣется, они имѣютъ свою хорошую сторону; въ Римѣ при Пии IX стало лучше жить, нежели при пьяномъ и зломъ Григоріи XVI; республика 26 февраля въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ даетъ болѣе удобную форму для новыхъ идей, нежели монархія; но всѣ эти паліативныя средства столько же вредны, сколько полезны, они минутнымъ облегченіемъ заставляютъ забыть болѣзнь. А потомъ какъ взглядишься въ эти улучшения, какъ посмотришь, съ какимъ кислымъ, недовольнымъ лицомъ дѣлаются онѣ, какъ всякую уступку представляютъ благодѣяніемъ, даютъ нехотя, оскорбляя, такъ право охота пройдетъ слишкомъ дорого цѣнить ихъ услугу. Я не умѣю выбирать между рабствами, такъ, какъ между религіями; у меня вкусъ притупился, я не въ состояніи различать тонкостей; которое рабство хуже, которое лучше, которая религія ближе къ спасенію, которая дальше, что притѣснительнѣе: *честная* республика или *честная* монархія, революціонный консерватизмъ Радецаго или консервативная революціонность Кавеньяка, что пошлѣе: квакеры или иезуиты, что хуже розги или краподина. Съ обѣихъ сторонъ рабство, съ одной хитрое, прикрытое именемъ свободы и, слѣдственно, опасное; съ другой дикое, животное и, слѣдственно, бросающееся въ глаза. По счастью они другъ въ другъ не узнаютъ родственныхъ чертъ и готовы ежеминутно вступить въ бой; пусть борются, пусть составляютъ коалиціи, пусть грызутъ другъ друга и тащатъ въ могилу. Кто бы изъ нихъ ни восторжествовалъ, ложь или насиліе, на первый случай это побѣда не для насъ, а впрочемъ и не для нихъ: все, что побѣдители успѣютъ, это—ловко попировать денекъ, другой.

— А намъ оставаться по прежнему зрителями, вѣчными зрителями, жалкими присяжными, которыхъ приговоръ не исполняется; понятными, въ свидѣтельствѣ которыхъ не нуждаются. Я удивляюсь вамъ и не знаю, долженъ ли завидовать, или нѣтъ. Съ такимъ дѣятельнымъ умомъ у васъ столько—какъ бы это сказать?—столько воздержности.

— Что дѣлать? Я себя не хочу насиловать, искренность и независимость мои кумиры, мнѣ не хочется стать ни подъ то, ни подъ другое знамя; оба стана такъ хорошо стоятъ на дорогѣ къ кладбищу, что помощь моя имъ не нужна. Такія положенія бывали и прежде. Какое участіе могли принимать христіане въ римскихъ борьбахъ за претендентовъ на императорство? Ихъ называли трусами, они улыбались и дѣлали свое дѣло, молились и проповѣдывали.

— Проповѣдывали потому, что были сильны вѣрою, имѣли единство ученія; гдѣ у насъ Евангеліе, новая жизнь, къ которой мы зовемъ, добрая вѣсть, о которой мы призваны свидѣтельствовать міру?

— Проповѣдуйте вѣсть о смерти, указывайте людямъ каждую новую рану на груди стараго міра, каждый успѣхъ разрушенія; указывайте хилость его начинаній, мелкость его домогательствъ; указывайте, что ему нельзя выздоровѣть, что у него нѣтъ ни опоры, ни вѣры въ себя, что его никто не любитъ въ самомъ дѣлѣ, что онъ держится на недоразумѣніяхъ; указывайте, что каждая его побѣда ему же ударъ; проповѣдуйте *смерть*, какъ добрую вѣсть приближающагося искупленія.

— Ужъ не лучше ли молиться?... Кому проповѣдывать, когда съ обѣихъ сторонъ падаютъ ряды жертвъ? Это одинъ парижскій архіерей не зналъ, что во время сраженія ни у кого нѣтъ уха. Погодите еще немного; когда борьба кончится, тогда начнемте проповѣдывать о смерти, никто не будетъ мѣшать на обширномъ кладбищѣ, на которомъ лягутъ рядомъ всѣ бойцы; кому же лучше и слушать апотеозу смерти, какъ не мертвымъ? Если дѣла пойдутъ какъ теперь, зрѣлище будетъ оригинальное; будущее водворяемое погибнетъ вмѣстѣ съ дряхлымъ, отходящимъ; недоношенная демократія замретъ, терзая холодную и исхудалую грудь умирающей монархіи.

— Будущее, которое гибнетъ, не будущее. Демократія по преимуществу настоящее; это—борьба, отрицаніе іерархіи, общественной неправды, развившейся въ прошедшемъ; очистительный огонь, который сожжетъ отжившія формы и, разумѣется, потухнетъ, когда сожигаемое кончится. Демократія не можетъ ничего создать, это не ея дѣло, она будетъ нелѣпостію послѣ смерти послѣдняго врага; демократы только *знаютъ* (говоря словами Кромвеля), *чего не хотятъ; чего они хотятъ, они не знаютъ.*

— За знаніемъ, чего мы не хотимъ, таится предчувствіе, чего хотимъ; на этомъ основана мысль, которая до того часто повторялась, что совѣстно на нее ссылаться, мысль о томъ, что каждое разрушеніе своего рода созданіе. Человѣкъ не можетъ довольствоваться однимъ разрушеніемъ, это противно его творческой натурѣ. Для того, чтобъ онъ проповѣдывалъ смерть, ему нужна вѣра въ возрожденіе. Христіанамъ легко было возвѣщать кончину древняго міра, у нихъ похороны совпадали съ крестинами.

— У насъ не одно предчувствіе, но есть и нѣчто побольше; только мы не такъ легко удовлетворяемся, какъ христіане, у нихъ одинъ критеріумъ и былъ—вѣра. Для нихъ, конечно, было большое облегченіе въ незыблемой увѣренности, что церковь восторжествуетъ, что міръ приметъ крещеніе, имъ и въ голову не приходило, что крещеный ребенокъ выйдетъ не совсѣмъ по желанію духовныхъ родителей. Христіанство осталось благочестивымъ упованіемъ; теперь, какъ въ первомъ столѣтіи, оно утѣшается небомъ, раемъ. Водвореніе мысли о новой жизни несравненно труднѣе въ

наше время, у насъ нѣтъ неба, нѣтъ «веси Божіей», наша *весь* человѣческая и должна осуществиться на той почвѣ, на которой существуетъ все дѣйствительное—на землѣ. Тутъ нельзя сослаться ни на искушеніе діавола, ни на помощь Божію, ни на жизнь за гробомъ. Демократія, впрочемъ, и не идетъ такъ далеко, она сама еще стоитъ на христіанскомъ берегу, въ ней бездна аскетическаго романтизма, либеральнаго идеализма; въ ней страшная мощь разрушенія; но, какъ примется создавать, она теряется въ ученическихъ опытахъ, въ политическихъ этюдахъ. Конечно, разрушеніе создаетъ, оно расчищаетъ мѣсто, и это ужъ созданіе, оно отстраиваетъ цѣлый рядъ лжи, и это ужъ истина. Но дѣйствительнаго творчества въ демократіи нѣтъ. —и потому-то она не будущее. Будущее внѣ политики, будущее носится надъ хаосомъ всѣхъ политическихъ и социальныхъ стремленій и возьметъ изъ нихъ нитки въ свою новую ткань, изъ которой выйдутъ саванъ прошедшему и пеленки новорожденному. Жизнь осуществляетъ только ту сторону мысли, которая находитъ себѣ почву, да и почва при томъ не остается страдательнымъ носителемъ, а даетъ свои соки, вноситъ свои элементы. Новое, возникающее изъ борьбы утопій и консерватизма, входитъ въ жизнь не такъ, какъ его ожидала та или другая сторона; оно является переработаннымъ, инымъ, составленнымъ изъ воспоминаній и надеждъ, изъ существующаго и водворяемаго, изъ преданій и возникновеній, изъ вѣрованій и званій, изъ отжившихъ римлянъ и нежившихъ германцевъ, соединяемыхъ одной церковью, чуждой обоимъ. Идеалы, теоретическія построенія никогда не осуществляютъ такъ, какъ они носятъ въ нашемъ умѣ.

— Какъ и для чего они приходятъ въ голову послѣ этого? Это какая-то пропія.

— А отчего вамъ хочется, чтобъ въ умѣ человѣка все было въ обрѣзъ? Что за прозаическое сведеніе всего на крайне нужное, на необходимо полезное, на неминуемо прилагаемое? Вспомните старика Лира, который, когда одна изъ дочерей уменьшала его штатъ и увѣряла, что ему про нужду достанетъ, сказалъ ей: «Про нужду, можетъ быть, но знаешь ли ты, когда человѣкъ сводится только на то, что ему нужно, онъ дѣлается звѣремъ». Фантазія и мысль человѣка несравненно свободнѣе, нежели полагаютъ; цѣлые міры поэзія, лиризма, мышленія, независимые до нѣкоторой степени отъ окружающихъ обстоятельствъ, дремлютъ въ душѣ каждаго. Ихъ будить толчекъ и они просыпаются съ своими видѣніями, рѣшеніями, теоріями; мысль, опираясь на фактическое данное, стремится къ ихъ всеобщимъ нормамъ, старается ускользнуть отъ случайныхъ и временныхъ опредѣленій въ логическія сферы, — но отъ нихъ до сферъ практическихъ очень далеко.

— Слушая ваши слова, я думалъ теперь, отчего у васъ такъ много нелицепріятной справедливости, и нашелъ причину: вы не ринуты въ потокъ, вы не вовлечены въ этотъ круговоротъ; посторонній всегда лучше разбираетъ семейныя дѣла, нежели члены семейства. Но если-бъ вы, какъ многіе, какъ Барбесъ, какъ Маццини, работали всю жизнь, потому что внутри вашей души раздавался голосъ, который требовалъ этой дѣятельности, котораго перекричать не было у васъ возможности, потому что онъ поднимался изъ глубины оскорбленнаго сердца, обливающагося кровью при видѣ притѣсненія, замирающаго при видѣ насилія; —если-бъ этотъ голосъ былъ не только въ умѣ и сознаніи, но въ крови, въ нервахъ, и вы, слѣдуя ему, попали бы въ дѣйствительное столкновение съ властью, долю жизни были бы въ цѣпяхъ, скитались бы изгнанникомъ, и вдругъ для васъ наступила бы заря того дня, который вы ожидали полжизни, — вы бы, какъ Маццини, на итальянскомъ языкѣ, при громѣ рукоплесканій, говорили бы въ Миланѣ на площади, открыто, слова независимости и братства, не боясь бѣлаго мундира и желтыхъ усовъ. Если-бъ вы, послѣ десятилѣтняго заключенія, какъ Барбесъ, были принесены ликующей толпой на площадь того города, гдѣ вамъ одинъ товарищъ палача читалъ приговоръ, а другой его товарищъ васъ миловалъ жизненными цѣпями; и вы бы послѣ всего этого увидѣли осуществленную вашу мысль и слышали бы двухсотъ-тысячную толпу, которая привѣтствуетъ мученика крикомъ *Vive la République!*. И вслѣдъ за тѣмъ вамъ пришлось бы увидѣть Радецкаго въ Миланѣ, Кавеньяка въ Парижѣ и опять сдѣлаться скитальцемъ, колодникомъ. Представьте къ тому, что вы не имѣли бы утѣшенія отнести все это на счетъ матеріальной, грубой силы, а напротивъ, видѣли бы народъ, измѣняющій самому себѣ, видѣли бы тѣ же толпы, избирающія теперь кому дать въ руки ножъ противъ себя, — вы не стали бы тогда умѣренно и основательно разсуждать, насколько мысль обязательна и гдѣ предѣлы воли. Нѣтъ, вы проклинали бы эти людскія стада, любовь превратилась бы въ ненависть, или, хуже, въ презрѣніе. Вы, можетъ, пошли бы въ монастырь со всѣмъ атеизмомъ вашимъ.

— Это было бы доказательствомъ, что и я слабъ, подтвержденіемъ того, что всѣ люди слабы, что мысль не только не обязательна для міра, но даже для самаго человѣка. Но, простите, я никакъ не могу вамъ позволить свести разговоръ нашъ на личности. Замѣчу одно: да, я зритель, только это и не роль, и не натура моя, это—мое положеніе. Я понялъ его, это— мое счастье; когда-нибудь поговоримъ обо мнѣ, теперь мнѣ не хочется отвлекаться.— Вы говорите, что я проклиналъ бы народъ,— можетъ быть, но это было бы очень глупо. Народы, массы— это стихіи, океаниды; ихъ путь—

путь природы, они ея ближайшіе преемники, влекутся темнымъ инстинктомъ, безотчетными страстями, упорно хранять то, до чего достигли, хотя бы оно было дурно; ринутые въ движеніе, они неотразимо увлекають съ собою или даютъ все, что пошло на дорогу, хотя бы оно было хорошо. Они идутъ какъ извѣстный индійскій кумирь, всѣ встрѣчные бросаются подъ его колесницу, и первые раздавленные бываютъ усерднѣйшіе поклонники идола. Народы обвинять нелѣпо, они правы, потому что всегда сообразны обстоятельствамъ своей былой жизни: на нихъ нѣтъ отвѣтственности ни за добро, ни за зло, они факты, какъ урожай и неурожай, какъ дубъ и колосъ. Отвѣтственность скорѣе на меньшинствѣ, которое представляетъ собою сознannую мысль своего времени, хотя и оно не виновато: вообще юридическая точка зрѣнія не годится нигдѣ, кромѣ въ судѣ, и именно потому всѣ суды въ мѣрѣ никуда не годятся. Понимать и обвинять, это почти такъ же нелѣпо, какъ не понимать и казнить. Виновато ли меньшинство, что все историческое развитіе, вся цивилизація предшествующихъ вѣковъ была для него, что у него умъ развитъ насчетъ крови и мозга другихъ, что оно вслѣдствіе этого далеко ушло впередъ отъ одичалаго, неразвитаго, задавленнаго тяжкимъ трудомъ народа? Тутъ не вина, тутъ трагическая, роковая сторона исторіи, ни богатый не отвѣчаетъ за богатство, найденное имъ въ колыбели, ни бѣдный за бѣдность, они оба оскорблены несправедливостью, фатализмомъ. Если мы и имѣемъ нѣкоторое право требовать, чтобъ страждущій, худой отъ голода и горя, притѣсненный и оскорбляемый народъ отпустилъ намъ наше неправоe стяженіе, наше превосходство, наше развитіе, потому что мы въ немъ неповинны, потому что мы работаемъ надъ тѣмъ, чтобъ сознательно поправить безсознательный грѣхъ, то откуда возьмемъ мы силу проклипать, презирать народъ, который остался Каспаромъ Гаузеромъ для того, чтобъ мы съ вами читали Данта, слушали Бетховена. Презирать за то, что онъ не понимаетъ насъ, пользующихся мовополью пониманія,—это безобразная, гнусная жестокость. Вспомните, какъ было дѣло: образованное меньшинство, долго наслаждаясь въ своемъ исключительномъ положеніи, въ своемъ аристократическомъ, литературномъ, художественномъ, правительственномъ кругѣ, наконецъ, почувствовало угрызение совѣсти, оно вспомнило забытыхъ братій, мысль о несправедливости общественнаго устройства, мысль о равенствѣ, какъ электрическая искра, облетѣла лучшіе умы прошлаго вѣка. Книжно, теоретически поняли люди несправедливость и книжно хотѣли ее поправить, это позднее раскаяніе меньшинства назвали либерализмомъ. Они, добросовѣстно желая вознаградить народъ за тысячелѣтнія униженія, провозгласили его самодержавнымъ, требовали, чтобъ каждый по-

селянинъ вдругъ сдѣлался политическимъ человѣкомъ, понялъ запутанные вопросы полусвободнаго и полурабскаго законодательства, оставилъ свою работу, т. е. кусокъ хлѣба, и, новый Цинцинатъ, шелъ бы заниматься общественными дѣлами. О хлѣбѣ на-сущномъ—либерализмъ серьезно не думалъ, онъ слишкомъ романтикъ, чтобъ пещься о такихъ грубыхъ потребностяхъ. Либерализму легче было выдумать народъ, нежели его изучить. Онъ наггалъ на него изъ любви не меньше того, что на него наггали другіе изъ ненависти. Либералы сочинили свой народъ а ргіогі, построили его по воспоминаніямъ, изъ прочтеннаго, одѣли его въ римскую тогу и въ пастушескій нарядъ. О дѣйствительномъ народѣ мало думали; онъ жилъ, работалъ, страдалъ возлѣ, около и, если его кто-нибудь зналъ, то это его враги --- попы и легитимисты. Судьба его оставалась по старому, за то народъ вымышленный сдѣлался кумиромъ въ новой политической религіи. Не освободивши ни его рукъ, ни его ума, либерализмъ посадилъ народъ на тронъ и, кланяясь ему въ поясъ, старался въ то же время оставить власть себѣ. Народъ поступилъ какъ одинъ изъ его представителей, Санчо-Панса: онъ отказался отъ мнимаго престола или, лучше сказать, и не садился на него. Мы начинаемъ понимать ложное съ обѣихъ сторонъ, это значить, что мы выходимъ на дорогу; будемте указывать ее всѣмъ, но зачѣмъ же, обертываясь назадъ, мы будемъ ругаться? Я не токмо не виню народъ, но не виню и либераловъ; они большею частію любили народъ по своему, они много жертвовали для своей идеи, это всегда почтенно, — но они были на ложномъ пути. Ихъ можно сравнить съ прежними натуралистами, которые начинали и оканчивали изученіе природы въ гербаріи, въ музеѣ; все, что они знали о жизни, былъ трупъ, мертвая форма, слѣдъ жизни. Честь и слава тѣмъ, которые догадались взять котомку и идти въ горы, плыть за моря ловить природу и жизнь на самомъ дѣлѣ. Но зачѣмъ же ихъ славой, ихъ успѣхами задвигать труды ихъ предшественниковъ? Либералы были вѣчные жители большихъ городовъ и маленькихъ кружковъ, люди журналовъ, книгъ, клубовъ, они вовсе не знали народа, они его глубокомысленно изучали по историческимъ источникамъ, по памятникамъ, а не по деревнѣ, не по рынку. Больше или меньше всѣ мы грѣшны въ этомъ, отсюда недоразумѣнія, обманутыя надежды, досада наконецъ, отчаяніе. Если-бъ вы были знакомы съ внутренней жизнью Франціи, вы не удивлялись бы, что народъ хочетъ вотировать за Бонапарта, вы знали бы, что народъ французскій не имѣетъ ни малѣйшаго понятія о свободѣ, о республикѣ, но имѣетъ бездну національной гордости; онъ любитъ Бонапартовъ, и терпѣть не можетъ Бурбоновъ. Бурбоны для него напоминаютъ корвею, Бастилію, дворянъ; Бонапарты—раз-

сказы стариковъ, пѣсни Баранже, побѣды и, наконецъ, воспоминанія о томъ, какъ сосѣдъ, такой же крестьянинъ, возвращался генераломъ, полковникомъ, съ почетнымъ легиономъ на груди... И сынъ сосѣда торопится подать голосъ за *племянника*.

— Конечно, такъ. Одно странно, отчего же они забыли деспотизмъ Наполеона, его конскрипціи, тиранство префектовъ, если у нихъ такъ хороша память?

— Это очень просто, для народа деспотизмъ не можетъ составить характеристики имперіи. Для него до сихъ поръ всѣ правительства были деспотизмомъ. Онъ, напримѣръ, узналъ республику, провозглашенную для удовольствія *Reforme*, для пользы *National*— по 45-сантимному налогу, по депортациямъ, по тому, что бѣднымъ работникамъ не выдаютъ пассовъ въ Парижъ. Народъ вообще плохой филологъ; слово республика его не тѣшитъ, ему отъ него не легче. Слова: имперія, Наполеонъ, его электризуютъ, далѣе онъ не идетъ.

— Если на все смотрѣть такимъ образомъ, то я самъ начинаю думать, что не только перестанешь сердиться и что-нибудь дѣлать, но перестанешь имѣть даже желаніе что-нибудь дѣлать.

— По моему, я говорилъ вамъ, понимать, это ужъ дѣйствовать, осуществлять. Вы думаете, что когда поймешь окружающее, пройдетъ желаніе дѣйствовать,—это значило бы, что вы хотѣли дѣлать не то, что надобно. Ищите въ такомъ случаѣ другой работы, не найдете внѣшней, найдете внутреннюю. Страненъ человекъ, который ничего не дѣлаетъ, имѣя дѣло; но, вѣдь, страненъ и тотъ, который, не имѣя дѣла, дѣлаетъ. Трудъ вовсе не клубокъ на ниткѣ, который даютъ котенку, чтобъ его занимать, онъ опредѣляется не однимъ желаніемъ, но и требованіемъ на него.

— Я никогда не сомнѣвался, что думать всегда можно, и не смѣшивалъ насильственного бездѣйствія съ произвольнымъ безмысліемъ. Я предвидѣлъ, впрочемъ, утѣшительный результатъ, къ которому вы придете,—остановиться въ разсуждающемъ бездѣйствіи, останавливая умомъ сердце и критикой любовь къ человечеству.

— Для того, чтобъ дѣятельно участвовать въ мірѣ, насъ окружающемъ, я повторяю вамъ, мало желанія и любви къ человечеству. Все это какія-то неопредѣленные, мерцающія понятія,—что такое любить человечество? Что такое самое человечество? Все это сдается мнѣ прежними христіанскими добродѣтелями, подогрѣтыми на философскомъ очагѣ. Народы любятъ соотечественниковъ,—это понятно; но что такое любовь, которая обнимаетъ все, что перестало быть обезьяной, отъ эскимоса и готтентота до далай-ламы и папы, — я не могу въ толкъ взять... Что-то слишкомъ широко. Если это та любовь, которою мы любимъ природу, планеты, вселенную, то я не думаю, чтобъ она могла

быть особенно дѣятельна. Или инстинктъ, или пониманіе среды, въ которой вы живете, ведутъ васъ къ дѣятельности? Инстинктъ вашъ утраченъ,—утрайте ваше отвлеченное знаніе и станьте самоотверженно передъ истиной, поймите ее, тогда вы увидите, какая дѣятельность нужна, какая нѣтъ. Хотите вы политической дѣятельности въ существующемъ порядкѣ, сдѣлайтесь Марастомъ, сдѣлайтесь Одилономъ Барро, и она вамъ будетъ. Вы этого не хотите, вы чувствуете, что всякой порядочный человѣкъ — совершенно посторонній во всѣхъ политическихъ вопросахъ, что онъ не можетъ серьезно думать,—нуженъ или не нуженъ президентъ республикѣ? можетъ или нѣтъ собраніе посылать людей на каторгу безъ суда? или, еще лучше, должно ли подать голосъ за Кавеньяка или за Луи Бонапарта?... Думайте мѣсяць, думайте годъ, кто изъ нихъ лучше. вы не рѣшите, оттого что они, какъ говорятъ дѣти, «оба хуже». Все что остается дѣлать человѣку, уважающему себя,—вовсе не вотировать. Посмотрите на другіе вопросы à l'ordre du jour—все то же; «они посвящены богамъ», смерть у нихъ за плечами. Что дѣлаеть священникъ, призванный къ умирающему? Онъ не лечитъ его, онъ не возражаетъ на его бредъ, а читаетъ ему отходную. Читайте отходную, читайте смертный приговоръ, исполненіе котораго идетъ не по днямъ а по часамъ. Убѣждайте лучше легкомысленныхъ, поверхностныхъ людей, которые рукоплещутъ паденію австрійской имперіи и блѣднѣютъ за судьбу полу-республики, что паденіе ея такой же великій шагъ къ освобожденію народовъ и мысли, какъ паденіе Австріи, что никакихъ исключеній не надобно, никакой пощады, что время снисхожденія не пришло; скажите словами либераловъ - реакціонеровъ, что «амнистія дѣло будущаго», требуйте вмѣсто любви къ человѣчеству, *ненависти* ко всему, что валяется на дорогѣ и мѣшаетъ идти впередъ. Терроръ казнилъ людей; наша судьба легче, мы призваны казнить учрежденія, разрушать вѣрованія, отнимать надежду на старое, ломать предразсудки, касаться до всѣхъ прежнихъ святыхъ безъ уступокъ, безъ пощады. Улыбка, привѣтъ одному возникающему, одной зарѣ, и, если мы не въ силахъ подвинуть ея часа, то, по крайней мѣрѣ, можемъ указывать ея близость тѣмъ, которые не видятъ...

Парижъ. 1 декабря, 1848 г.

Consolatio.

Der Mensch ist nicht geboren frey zu seyn.
Goethe.—(Tasso).

Изъ окрестностей Парижа мнѣ нравится больше другихъ Монморанси. Тамъ ничего не бросается въ глаза, ни особенно бережные парки, какъ въ Сень-Клу, ни будуары изъ деревьевъ, какъ въ Трианонѣ, а ѣхать оттуда не хочется. Природа въ Монморанси чрезвычайно проста, она похожа на тѣ женскія лица, которыя не останавливаютъ, не поражаютъ, но привлекаютъ какимъ-то мильмъ и довѣрчивымъ выраженіемъ и привлекаютъ тѣмъ сильнѣе, что это дѣлается совершенно незамѣтно для насъ. Въ такой природѣ и въ такихъ лицахъ есть обыкновенно что-то трогательное, успокоивающее и именно за этотъ покой, за эту каплю воды Лазарю, всего больше благодаритъ душа современнаго чловѣка, непрерывно потрясенная, растерзанная, взволнованная. Я нѣсколько разъ находилъ отдыхъ въ Монморанси, и за это благодаренъ ему. Тамъ есть большая роща, мѣстоположеніе довольно высокое, и тишина, которой подъ Парижемъ нигдѣ нѣтъ. Не знаю отчего, но эта роща напоминаетъ мнѣ всегда нашъ русскій лѣсъ... Идешь и думаешь... Вотъ сейчасъ пахнетъ дымкомъ отъ овиновъ. Вотъ сейчасъ откроется село... съ другой стороны должно быть господская усадьба, дорога туда пошире и идти просѣкомъ, и вѣрите ли? мнѣ становилось грустно, что черезъ нѣсколько минутъ выходишь на открытое мѣсто и видишь вмѣсто Звенигорода—Парижъ; вмѣсто окошечка земскаго или пона... окошечко, въ которое такъ долго и такъ печально смотрѣлъ Жанъ-Жакъ...

Именно къ этому домику шли разъ изъ рощи какіе-то, повидимому, путешественники: дама лѣтъ двадцати пяти, одѣтая вся въ черномъ, и мужчина среднихъ лѣтъ, преждевременно сѣдой. Выраженіе ихъ лицъ было серьезно, даже покойно. Одна долгая привычка сосредоточиваться и жизнь, обильная мыслями, событиями, даютъ чертамъ этотъ покой. Это не природная тишина, а тишина послѣ бурь, послѣ борьбы и побѣды.

— Вотъ домъ Руссо, сказалъ мужчина, указывая на малень-

кое строеніе окна въ три; они остановились. Одно окошко было немного пріотворено, занавѣска колебалась отъ вѣтра.

— Это движеніе занавѣски, замѣтила дама, наводитъ невольный страхъ, такъ и кажется, вотъ сейчасъ подозрительный и раздраженный старикъ ее отдернетъ и спроситъ насъ, зачѣмъ мы тутъ стоимъ. Кому придетъ въ голову, глядя на мирный домикъ, окруженный зеленью, что онъ былъ прометеевской скалой для великаго человѣка, котораго вся вина состояла въ томъ, что онъ слишкомъ любилъ людей, слишкомъ вѣрилъ въ нихъ, желалъ имъ больше добра, нежели они сами? Современники не могли ему простить, что онъ высказалъ тайное угрызеніе ихъ собственной совѣсти, и вознаграждали себя искусственнымъ хохотомъ презрѣнія, а онъ оскорблялся; они смотрѣли на поэта братства и свободы, какъ на безумнаго; они боялись признать въ немъ разумъ, это значило бы признать свою глупость, а онъ плакалъ объ нихъ. За цѣлую жизнь преданности, страстнаго желанія помочь, любить, быть любимымъ, освободить... находилъ онъ мимолетные привѣты и постоянный холодъ, надменную ограниченность, гоненія, сплетни! Мнительный и вѣжнѣе отъ природы, онъ не могъ стать независимо отъ этихъ мелочей и потухалъ, оставленный всѣми, больной, въ нищетѣ. Въ отвѣтъ на всѣ его стремленія къ симпатіи, къ любви, ему досталась одна Тереза, въ ней сосредоточивалось для него все теплое, вся сторона сердца.—Тереза, которая не могла научиться узнавать, который часъ, существо неразвитое, полное предразсудковъ, которая стягивала жизнь Руссо въ узкую подозрительность, въ мѣщанскіе пересуды и кончила тѣмъ, что рассорила его съ послѣдними друзьями. Сколько горькихъ минутъ провелъ онъ, облакачиваясь на эту оконницу, съ которой кормилъ птицъ, думая, какимъ зломъ онѣ ему заплатятъ. У бѣднаго старика только и оставалось что природа, и онъ восхищался ею, закрылъ глаза усталые отъ жизни, тяжелые отъ слезъ. Говорятъ, что онъ даже ускорилъ минуту покоя... На этотъ разъ Сократъ самъ осудилъ себя на смерть за грѣхъ сознанія, за преступленіе геніальности. Когда взглядишь серьезно во все, что дѣлается, становится противно жить. \\\\ Все на свѣтѣ гадко и притомъ глупо: люди хлопчутъ, работаютъ, ни минуты не находятъ отдыха, а дѣлаютъ все вздоръ; другіе хотятъ ихъ вразумить, остановить, спасти,—ихъ распинаютъ, гонятъ; и все это въ какомъ-то бреду, не давая себѣ труда понять. Волны поднимаются, торопятся, клубятся безъ цѣли, безъ нужды... тамъ онѣ разбиваются съ бѣшенствомъ объ скалу, тутъ подмываютъ берегъ... мы стоимъ середь водоворота, бѣжать некуда. Я знаю, докторъ, вы не такъ смотрите на жизнь, она васъ не сердитъ, потому что вы въ ней ищите одинъ фізіологическій интересъ и мало требуете отъ нея, вы

большой оптимистъ. Иногда я съ вами соглашаюсь, вы меня сбиваете съ толку вашей діалектикой; но какъ только сердце принимаетъ участіе, какъ только изъ общихъ сферъ, гдѣ все разрѣшено и успокоено, коснешься живыхъ вопросовъ, взглянешь на людей, душа возмущается. Подавленное на минуту негодованіе снова просыпается и досадуешь объ одномъ, — что нѣтъ достаточно силъ ненавидѣть, презирать людей за ихъ лѣнивое бездушіе, за ихъ нежеланіе стать выше, благороднѣе... Если-бъ было можно отвернуться отъ нихъ! И пусть они дѣлаютъ, что хотятъ, въ своихъ полипякахъ, пусть живутъ нынче какъ вчера, опираясь на привычки и обряды, бессмысленно принимая на вѣру, чтò дѣлать и чего не дѣлать... и измѣняя притомъ на каждомъ шагу своей собственной нравственности, своему собственному катихизису!)

— Я не думаю, чтобъ вы были справедливы. Развѣ люди виноваты въ вашемъ довѣрїи къ нимъ, въ вашемъ идеальномъ понятїи объ ихъ нравственномъ достоинствѣ.

— Я не понимаю, что вы говорите, я сейчасъ сказала совершенно противоположное. Кажется, это не верхъ довѣрїя, когда говорить объ людяхъ, что у нихъ ничего нѣтъ, кромѣ мученическихъ вѣщцовъ для всякаго пророка и бесполезнаго раскаянїя послѣ ихъ смерти; что они готовы броситься какъ звѣри на того, кто, замѣняя ихъ совѣсть, *назоветъ* ихъ дѣла; кто, снимая на себя ихъ грѣхи, хочетъ разбудить ихъ сознаніе.

— Да, но вы забываете источникъ вашего негодованїя. Вы сердитесь на людей за многое, чего они не сдѣлали, потому что вы не считаете ихъ способными на всѣ эти прекрасныя свойства, къ которымъ вы воспитали себя или къ которымъ васъ воспитали,—но они по большей части этого развитїя не имѣли. Я не сержусь, потому что и не жду отъ людей ничего, кромѣ того, что они дѣлаютъ, я не вижу ни повода, ни права требовать отъ нихъ чего-нибудь другого, нежели что они могутъ дать, а могутъ они дать то, что даютъ; требовать больше, обвинять — ошибка, насиліе. Люди только справедливы къ безумнымъ и къ совершеннымъ дуракамъ, ихъ, по крайней мѣрѣ, мы не обвиняемъ за дурное устройство мозга, имъ прощаемъ природныя недостатки; съ остальными—страшная моральная требовательность. Почему мы ждемъ отъ всѣхъ встрѣчныхъ на улицѣ примѣрныхъ доблестей, необыкновеннаго пониманїя,—я не знаю; вѣроятно, по привычкѣ все идеализировать, все судить свысока такъ, какъ обыкновенно судятъ жизнь по мертвой буквѣ, страсть по кодексу, лицо по родовому понятїю. Я иначе смотрю, я привыкъ къ взгляду врача, къ взгляду совершенно противоположному судьи. Врачъ живетъ въ природѣ, въ мірѣ фактовъ и явленїй, онъ не учитъ, онъ учится; онъ не мститъ, а старается облегчить; видя страданіе, видя не-

достатки, онъ ищетъ причину, связь, онъ ищетъ средствъ, въ томъ же мѣрѣ фактовъ. Итъ средствъ, онъ грустно пожимаетъ плечами, досадуетъ на свое невѣдѣніе,— и не думаетъ о наказаніи, о гнѣбѣ, не порицаетъ. Взглядъ судьи проще, ему собственно взгляда и не надобно, не даромъ Фемиду представляютъ съ завязанными глазами, она тѣмъ справедливѣе, чѣмъ меньше видитъ жизнь; нашъ братъ, напротивъ, хотѣлъ бы, чтобы пальцы и уши имѣли глаза. Я не оптимистъ и не пессимистъ, я смотрю, вглядываюсь, безъ заготовленной темы, безъ придуманнаго идеала, и не тороплюсь съ приговоромъ.—я просто, извините, скромнѣе васъ.

— Не знаю, такъ ли я васъ поняла, но мнѣ кажется, вы находите очень естественнымъ, что современники Руссо его мучили маленькими преслѣдованіями, отравили ему жизнь, оклеветали его; вы имъ отпускаете ихъ грѣхи, это очень снисходительно, не знаю, насколько справедливо и нравственно.

— Для того, чтобъ отпускать грѣхи, надобно прежде обвинять: я этого не дѣлаю. Впрочемъ, пожалуй, я приму ваше выраженіе, да, я отпускаю имъ зло, ими причиненное, такъ, какъ вы отпускаете холодной погодѣ, которая на двяхъ простудила вашу малютку. Можно ли сердиться на событія, которыя независимы ни отъ чьей воли, ни отъ чьего сознанія. Они иногда бываютъ очень тяжелы для насъ; но обвиненіе не поможетъ, только запутаетъ. Когда мы съ вами сидѣли у кровати больной и горячка такъ развернулась, что я самъ испугался, мнѣ было безконечно горько смотрѣть и на больную, и на васъ; вы такъ много страдали въ эти часы, но вмѣсто того, чтобъ проклинать дурной составъ крови и съ ненавистью смотрѣть на законы органической химіи, я думалъ тогда о другомъ, а именно о томъ, какъ возможность понимать, чувствовать, любить, привязываться необходимо влечетъ за собою противоположную возможность несчастія, страданій, лишеній, нравственныхъ оскорбленій, горечи. Чѣмъ нѣжнѣе развивается внутренняя жизнь, тѣмъ жестче, губительнѣе для нея капризная игра случайности, на которой не лежитъ никакой отвѣтственности за ея удары.

— Я сама не обвиняла болѣзнь. Ваше сравненіе не совѣмъ идетъ; природа вовсе не имѣетъ сознанія.

— А я думаю, что и на полу-сознательную массу людей нельзя сердиться, войдите въ ея состояніе борьбы между предчувствіемъ свѣта и привычкой къ темнотѣ. Вы берете за норму бережные, особенно удавшіеся оранжерейные цвѣты, за которыми было бездна ухода, и сердитесь, что полевые не такъ хороши. Не только это несправедливо, но это чрезвычайно жестоко. Если-бъ у большинства людей было сознаніе сколько-нибудь свѣтлѣе, нежели вы думаете, что, они могли бы жить въ томъ положеніи,

въ которомъ живутъ? Они не только зло дѣлають другимъ, но и себѣ. и это именно ихъ извиняетъ. Ими владѣетъ привычка, они умирають отъ жажды возлѣ колодца и не догадываются, что въ немъ вода, потому что ихъ отцы имъ этого не сказали. Люди всегда были такіе, пора, наконецъ, перестать дивиться, негодовать: можно было привыкнуть со временъ Адама. Это тотъ-же романтизмъ, который заставлялъ поэтовъ сердиться за то, что у нихъ есть тѣло, за то, что они чувствуютъ голодь. Сердитесь, сколько хотите, но міра никакъ не передѣлаете по какой-нибудь программѣ; онъ идетъ своимъ путемъ, и никто не въ силахъ его сбить съ дороги. Узнавайте этотъ путь,—и вы отбросите правоучительную точку зрѣнія и вы приобретете силу. Моральная оцѣнка событій и журьба людей принадлежать къ самымъ начальнымъ ступенямъ пониманія. Оно лестно самолюбію, раздавать Монтионовскія преміи и читать выговоры, принимая мѣриломъ самого себя, но бесполезно. Есть люди, которые пробовали внести этотъ взглядъ въ самую природу и сдѣлали разнымъ звѣрямъ прекрасныя или прескверныя репутаціи. Увидали, напримѣръ, что заяць бѣжитъ отъ неминуемой опасности, и назвали его трусомъ; увидали, что левъ, который въ двадцать разъ больше зайца, не бѣжитъ отъ человѣка, а иногда его съѣдаетъ, стали его считать храбрымъ; увидали, что левъ сытый не ѣстъ, сочли это за величіе духа; а заяць, столько же трусъ, сколько левъ великодушень, а осель глупъ. Нельзя больше останавливаться на точкѣ зрѣнія Эзоповыхъ басенъ; надобно смотрѣть на міръ природы и на міръ людской проще, покойнѣе, яснѣе. Вы говорите о страданіяхъ Руссо; онъ былъ несчастливъ, это правда, но и это правда, что страданія всегда сопровождаютъ необыкновенное развитіе; натура гениальная можетъ иногда не страдать, сосредоточиваясь въ себѣ, довольствуясь собою, наукой, искусствомъ; но въ практическихъ сферахъ никакъ. Дѣло очень простое: такія натуры, входя въ обычныя людскія отношенія, нарушаютъ равновѣсіе; среда, ихъ окружающая, имъ узка, невыносима, ихъ жмутъ отношенія, рассчитанныя по иному росту, по инымъ плечамъ и необходимымъ для тѣхъ плечъ. Все, что давило по мелочи того, другого, все, о чемъ толковали въ разбивку и чему покорялись обыкновенные люди, все это вырастаетъ въ вестерпимую боль въ груди сильнаго человѣка, въ грозный протестъ, въ явную вражду, въ смѣлый вызовъ на бой; отсюда неминуемо столкновение съ современниками; толпа видитъ презрѣніе къ тому, что она хранитъ, и бросаетъ въ генія камнями и грязью, до тѣхъ поръ пока пойметъ, что онъ былъ правъ. Виновата ли геній, что онъ выше толпы, виновата ли толпа, что она его не понимаетъ? //

— И вы находите это состояніе людей, и притомъ большинства

людей, нормальнымъ, естественнымъ? По вашему это нравственное паденіе, эта глупость такъ и быть должны? Вы шутите!

— Какъ же иначе? Вѣдь, никто не принуждаетъ ихъ такъ поступать, это ихъ наивная воля. Люди вообще въ практической жизни меньше лгутъ, нежели на словахъ. Лучшее доказательство ихъ простодушія въ искренней готовности, какъ только поймутъ, что совершили какое-либо преступленіе, раскаяться. Они спохватились, распявши Христа, что скверно сдѣлали, и бросились на колѣни передъ крестомъ. О какомъ нравственномъ паденіи рѣчь. *si toutefois* вы не говорите о грѣхопаденіи, я не понимаю. Откуда было падать? Чѣмъ дальше смотришь назадъ, тѣмъ больше встрѣчаешь дикости, непониманія или совершенно иного развитія, которое до насъ почти не касается, какія-нибудь погибшія цивилизаціи, какіе-нибудь китайскіе нравы. Долгая жизнь въ обществѣ вырабатываетъ мозгъ. Вырабатываніе это дѣлается трудно, туго; а тутъ, вмѣсто признанія, сердятся на людей за то, что они не похожи ни на идеальнаго мудреца, выдуманнаго стонками, ни на идеальнаго святого, выдуманнаго христіанами. Цѣльми поколѣнія легли костью, чтобъ обжить какой-нибудь клочекъ земли, вѣка прошли въ борьбѣ, кровь лилась рѣками, поколѣнія мерли въ страданіяхъ, въ тщетныхъ усиліяхъ, въ тяжеломъ трудѣ, ... едва вырабатывая скудную жизнь, немного покоя и пять-шесть умовъ, которые понимали заглавныя буквы общественнаго процесса и двигали массы къ совершенію судебъ своихъ. Удивляться надобно, какъ народы, при этихъ гнетущихъ условіяхъ, дошли до современнаго нравственнаго состоянія, до своей самоотверженной терпѣливости, своей тихой жизни; удивляться надобно, какъ люди такъ мало дѣлають зла, а не упрекать ихъ, зачѣмъ каждый изъ нихъ не Аристидъ и не Симеонъ Столпникъ.

— Вы хотите меня увѣрить, докторъ, что людямъ предназначено быть мошенниками.

— Повѣрьте, что людямъ ничего не предназначено.

— Да зачѣмъ же они живутъ?

— Такъ себѣ, родились и живутъ. Зачѣмъ все живетъ? Тутъ, мнѣ кажется, предѣль вопросамъ; жизнь—и цѣль и средство. и причина и дѣйствіе. Это вѣчное безпокойство дѣятельнаго, напряженнаго вещества, отыскивающаго равновѣсіе для того, чтобы снова потерять его, это непрерывное движеніе, *ultima ratio*, далѣе идти некуда. Прежде все искали отгадки въ облакахъ или въ глубинѣ, подымались или спускались, однако не нашли ничего; оттого, что главное, существенное, все тутъ, на поверхности. Жизнь не достигаетъ цѣли, а осуществляетъ все возможное, продолжаетъ все осуществленное, она всегда готова шагнуть далѣе—зачѣмъ, чтобъ полнѣе жить, еще больше жить, если можно; другой цѣли нѣтъ.

Мы часто за цѣль принимаемъ послѣдовательныя фазы одного и того же развитія, къ которому мы приучились; мы думаемъ, что цѣль ребенка совершеннѣе, потому что онъ дѣлается совершеннѣе, а цѣль ребенка скорѣе играть, наслаждаться, быть ребенкомъ. Если смотрѣть на предѣль, то цѣль всего живого — смерть.

— Вы забываете другую цѣль, докторъ, которая развивается людьми, но переживаетъ ихъ, передается изъ рода въ родъ, растетъ изъ вѣка въ вѣкъ, и именно въ этой-то жизни неотдѣльнаго человѣка отъ человѣчества и раскрываются тѣ постоянныя стремленія, къ которымъ человѣкъ идетъ, къ которымъ подымается и до осуществленія которыхъ когда-нибудь достигнетъ.

— Я совершенно согласенъ съ вами, и даже сказать сейчасъ, что мозгъ вырабатывается; сумма идей и ихъ объемъ растетъ въ сознательной жизни, передается изъ рода въ родъ, но что касается до послѣднихъ словъ вашихъ, тутъ позвольте усомниться. Ни стремленіе, ни вѣрность его — нисколько еще не обезусловливаютъ осуществленіе. Возьмите самое всеобщее, самое постоянное стремленіе во всѣхъ эпохахъ и у всѣхъ народовъ, стремленіе къ благосостоянію, стремленіе, глубоко лежащее во всемъ чувствующемъ, развитіе простого инстинкта самосохраненія, врожденное бѣгство отъ того, что причиняетъ боль, и стремленіе къ тому, что доставляетъ удовольствіе, наивное желаніе, чтобъ было лучше, а не было бы хуже; между тѣмъ, работая тысячами, люди не достигли даже животнаго довольства; пропорціонально я полагаю, что больше всѣхъ звѣрей и больше всѣхъ животныхъ страдаютъ рабы въ Россіи и гибнутъ съ голоду ирландцы. Отсюда вы можете заключить, легко ли сбудутся другія стремленія, неопредѣленныя и принадлежащія меньшинству.

— Позвольте, стремленіе къ свободѣ, къ независимости стоитъ голода. оно весьма не слабо и очень опредѣленно.

— Исторія этого не показываетъ. Точно, нѣкоторые слои общества, развившіеся при особенно счастливыхъ обстоятельствахъ, имѣютъ нѣкоторое поползновеніе къ свободѣ и то весьма не сильное, судя по нѣсколькимъ тысячамъ лѣтъ рабства и по современному гражданскому устройству, наконецъ. Мы, разумѣется, не говоримъ объ исключительныхъ развитіяхъ, для которыхъ неволи тягостна, а о большинствѣ, которое даетъ постоянное *démenti* этимъ страдальцамъ, что и заставило раздраженнаго Руссо сказать свой знаменитый *postscript*: «Человѣкъ рождается быть свободнымъ — и вездѣ въ цѣпяхъ!»

— Вы повторяете этотъ крикъ негодованія, вырвавшійся изъ груди свободнаго человѣка, съ ироніей?

— Я вижу тутъ насиліе исторіи, презрѣніе фактовъ, а это для меня невыносимо; меня оскорбляетъ самоуправство. Къ тому

же превредная метода впередъ рѣшать именно то, что составляетъ трудность вопроса. Что сказали бы вы человѣку, который, грустно качая головой, замѣтилъ бы вамъ, что «рыбы рождаются для того, чтобы летать,—и вѣчно плаваютъ».

— Я спросила бы, почему онъ думаетъ, что рыбы рождаются для того, чтобы летать?

— Вы становитесь строги; но другъ *рыбства* готовъ держать отвѣтъ... Во первыхъ, онъ вамъ скажетъ, что скелеть рыбы явнымъ образомъ показываетъ стремленіе развитію оконечности въ ноги или крылья; онъ вамъ покажетъ вовсе ненужныя косточки, которыя намекаютъ на скелеть ноги, крыла; наконецъ, онъ сошлется на летающихъ рыбъ, которыя на дѣлѣ доказываютъ, что *рыбство* не токмо стремится летать, но иногда и можетъ. Давши вамъ такой отвѣтъ, онъ будетъ въ правѣ васъ спросить, отчего же вы у Руссо не требуете отчета, почему онъ говорить, что человѣкъ долженъ быть свободенъ, опираясь на то, что онъ постоянно въ цѣпяхъ. Отчего все существующее только и существуетъ такъ, какъ оно *должно* существовать, а человѣкъ напротивъ?

— Вы, докторъ, преопасный софистъ, и если-бъ я не коротко васъ знала, я считала бы васъ безздравственнымъ человѣкомъ. Не знаю, какія лишнія кости у рыбъ, а знаю только, что въ костяхъ у нихъ недостатка нѣтъ; но что у людей есть глубокое стремленіе къ независимости, ко всякой свободѣ, въ этомъ я убѣждена. Они заглушаютъ мелочами жизни внутренней голосъ, и поэтому я на нихъ сержусь. Я утѣшительнѣе нападаю на людей, нежели вы ихъ защищаете.

— Я зналъ, что мы съ вами послѣ нѣсколькихъ словъ перемѣнимъ роли, или, лучше, что вы обойдете меня и очутитесь съ противоположной стороны. Вы хотите бѣжать съ негодованіемъ отъ людей за то, что они не умѣютъ достигнуть нравственной высоты, независимости, всѣхъ вашихъ идеаловъ, и въ то же время вы на нихъ смотрите, какъ на избалованныхъ дѣтей, вы увѣрены, что они на дняхъ поправятся и будутъ умны. Я знаю, что люди торопятся очень медленно, не довѣряю ни ихъ способностямъ, ни всѣмъ этимъ стремленіямъ, которыя выдумываютъ за нихъ, и остаюсь съ ними, такъ, какъ остаюсь съ этими деревьями, съ этими животными,—изучаю ихъ, даже люблю. Вы смотрите а priori и, можетъ, логически правы, говоря, что человѣкъ долженъ стремиться къ независимости. Я смотрю патологически, и вижу, что до сихъ поръ рабство постоянное условіе гражданскаго развитія, стало-быть, или оно необходимо, или нѣтъ отъ него такого отвращенія, какъ кажется.

— Отчего мы съ вами, добросовѣстно разсматривая исторію, видимъ совершенно разное?

— Оттого, что говоримъ объ розномъ; вы, говоря объ исторіи и народахъ, говорите о летающихъ рыбахъ, а я о рыбахъ вообще,— вы смотрите на міръ идей, отрѣщенный отъ фактовъ, на рядъ дѣятелей, мыслителей, которые представляютъ верхъ сознанія каждой эпохи: на тѣ энергическія минуты, когда вдругъ цѣлыя страны становятся на ноги и разомъ берутъ массу мыслей для того, чтобъ изживать ихъ потомъ цѣлые вѣка въ покоѣ; вы принимаете эти катаклизмы, сопровождающіе ростъ народовъ, эти исключительныя личности за рядовой фактъ, но это только высшій фактъ, предѣлъ. Развитое меньшинство, которое торжественно несетъ надъ головами другихъ и передаетъ изъ вѣка въ вѣкъ свою мысль, свое стремленіе, до котораго массамъ, кишачимъ внизу, дѣла нѣтъ, даетъ блестящее свидѣтельство, до чего можетъ развиваться человѣческая натура, какое страшное богатство силъ могутъ вызвать исключительныя обстоятельства, но все это не относится къ массамъ, ко всѣмъ. Краса какой-нибудь арабской лошади, воспитанной двадцатью поколѣніями, нисколько не даетъ право ждать отъ лошадей вообще тѣхъ же статей. Идеалисты непремѣнно хотятъ поставить на своемъ, во чтобъ-то ни стало. Физическая красота между людьми такъ же исключеніе, какъ особенное уродство. Посмотрите на мѣщанъ, толпящихся въ воскресенье на Елисейскихъ поляхъ, и вы ясно убѣдитесь, что природа людская вовсе не красива.

— Я это знаю и нисколько не удивляюсь глупымъ ртамъ, жирнымъ лбамъ, дерзко вздернутымъ и глупо висящимъ носамъ, они мнѣ просто противны.

— А какъ бы вы стали смѣяться надъ человѣкомъ, который принялъ бы близко къ сердцу, что лошаки не такъ красивы, какъ олени. Для Руссо было невыносимо нелѣпое общественное устройство его времени; кучка людей, стоявшая возлѣ него и развитая до того, что имъ только не доставало гениальной инициативы, чтобъ назвать зло, тяготившее ихъ,—откликнулись на его призывъ; эти отщепенцы, раскольники остались вѣрны и составили гору въ 92 году. Они почти всѣ погибли, работая для французскаго народа, котораго требованія были очень скромны и который безъ сожалѣнія позволилъ ихъ казнить. Я даже не назову это неблагодарностью, не въ самомъ дѣлѣ все, что дѣлалось, дѣлали они для народа; мы себя хотимъ освободить, намъ больно видѣть подавленную массу, насъ оскорбляетъ ея рабство, мы за нее страдаемъ —и хотимъ снять свое страданіе. За что тутъ благодарить; могла ли толпа въ самомъ дѣлѣ въ половинѣ XVIII столѣтія желать свободы, «Contrat social», когда она теперь, черезъ вѣкъ послѣ Руссо, черезъ полвѣка послѣ конвента, нѣма къ ней, когда она теперь въ тѣсной рамкѣ самаго пошлаго гражданскаго быта здорова, какъ рыба въ водѣ?

— Броженіе всей Европы плохо соединяется съ вашимъ воззрѣніемъ.

— Глухое броженіе, волнующее народы, происходитъ отъ голода. Будь пролетарій побогаче, онъ и не подумалъ бы о коммунизмѣ. Мѣщане сыты, ихъ собственность защищена, они и оставили свои попеченія о свободѣ, о независимости; напротивъ, они хотятъ сильной власти, они улыбаются, когда имъ съ негодованіемъ говорятъ, что такой-то журналъ схваченъ, что того-то ведутъ за мнѣніе въ тюрьму. Все это обѣсятъ, сердить небольшую кучку эксцентрическихъ людей; другіе равнодушно идутъ мимо, они заняты, они торгуютъ, они семейные люди. Изъ этого никакъ не слѣдуетъ, что мы не въ правѣ требовать полнѣйшей независимости; но только не за что сердиться на народъ, если онъ равнодушенъ къ вашимъ скорбямъ.

— Оно такъ, но, мнѣ кажется, вы слишкомъ держитесь за ариѳметику, тутъ не поголовный счетъ важенъ, а нравственная мощь, въ ней *большинство* достоинства ¹⁾).

— Что касается до качественного преимущества, я его вполне отдаю сильнымъ личностямъ. Для меня Аристотель представляетъ не только сосредоточенную силу своей эпохи, но еще гораздо больше. Людямъ надобно было двѣ тысячи лѣтъ понимать его наизнанку, чтобъ выразумѣть, наконецъ, смыслъ его словъ. Вы помните, Аристотель называетъ Анаксагора первымъ трезвымъ между пьяными греками; Аристотель былъ послѣдній. Поставьте между ними Сократа и у васъ полный комплектъ трезвыхъ до Бэкона. Трудно по такимъ исключеніямъ судить о массѣ.

— Наукой всегда занимались очень немногіе; на это отвлеченное поле выходятъ одни строгіе, исключительные умы; если вы въ массахъ не встрѣтите большой трезвости, то найдете вдохновенное опьяненіе, въ которомъ бездна сочувствія къ истинѣ. Массы не понимали Сенеки и Цицерона, а каково отозвались на призывъ двѣнадцати апостоловъ?

— Знаете ли, по моему, сколько ихъ не жаль, а надобно признаться, они сдѣлали совершеннѣйшее *fiasco*.

— Да, только окрестили полъ-вселенной.

— Въ четыре столѣтія борьбы, въ шесть столѣтій совершеннаго варварства, и послѣ этихъ усилій, продолжавшихся тысячу лѣтъ, міръ такъ окрестился, что отъ апостольскаго ученія ничего не осталось; изъ освобождающаго Евангелія сдѣлали притѣсняющее католичество, изъ религіи любви и равенства—церковь крови и войны. Древній міръ, истощивъ всѣ свои жизненные силы, палъ, христіанство явилось на его одрѣ врачомъ и утѣшителемъ,

¹⁾ Августинъ употребилъ выраженіе: *prioritas dignitatis*.

но, прилаживаясь къ больному, оно само заразилось и сдѣлалось римское, варварское. какое хотите, только не евангельское. Какова сила родовой жизни, массъ и обстоятельствъ! Люди думаютъ, что достаточно доказать истину, какъ математическую теорему, чтобъ ее приняли; что достаточно самому вѣрить, чтобъ другіе повѣрили. Выходить совѣтъ иное, одни говорятъ одно, а другіе слушаютъ ихъ и понимаютъ другое. оттого что ихъ развитія разные. Что проповѣдывали первые христіане и что поняла толпа? Толпа поняла все непонятное, все нелѣпое и мистическое; все ясное и простое было ей недоступно; толпа приняла все связующее совѣсть и ничего освобождающее человѣка. Такъ впослѣдствіи она поняла революцію только кровавой расправой, гильотиной, мезью; горькая историческая необходимость сдѣлалась торжественнымъ крикомъ; къ слову «братство» приклеили слово «смерть»: *Fraternité ou la mort!* сдѣлалось какимъ-то *la bourse ou la vie*— террористовъ. Мы столько жили сами, столько видѣли, да столько за насъ жили наши предшественники, что, наконецъ, намъ непростоительно увлекаться, думать, что достаточно возвѣстить римскому міру Евангеліе, чтобъ сдѣлать изъ него демократическую и социальную республику, какъ это думали *красные*; или что достаточно въ два столбца напечатать иллюстрированное изданіе *des droits de l'homme*, чтобъ человѣкъ сдѣлался свободнымъ.

— Скажите, пожалуйста, что вамъ за охота выставять одну дурную сторону человѣческой природы?

— Вы начали разговоръ съ грознаго проклятія людямъ, а теперь защищаете ихъ. Вы меня сейчасъ обвиняли въ оптимизмъ, а вамъ могу возвратить обвиненіе. У меня никакой нѣтъ системы, никакого интереса, кромѣ истины, и я высказываю ее, какъ она мнѣ кажется. Я не считаю нужнымъ изъ учтивости къ человечеству, выдумывать на него всякія добродѣтели и доблести. Я ненавижу фразы, къ которымъ мы привыкли, какъ христіане къ символу вѣры; какъ бы онѣ ни были съ виду нравственны и хороши, онѣ связываютъ мысль, покоряютъ ее. Мы принимаемъ ихъ безъ повѣрки и идемъ дальше, оставляя за собой эти ложные маяки, и сбиваемся съ дороги. Мы до того привыкаемъ къ нимъ, что теряемъ способность въ нихъ сомнѣваться, что совѣстимся касаться до такихъ святынь. Думали ли вы когда-нибудь, что значать слова «человѣкъ родится свободнымъ?» Я вамъ ихъ переведу, это значитъ: человѣкъ родится звѣремъ— не больше. Возьмите табунъ дикихъ лошадей,—совершенная свобода и равное участіе въ правахъ, полнѣйшій коммунизмъ. За то развитіе невозможно. Рабство первый шагъ къ цивилизаціи. Для развитія надобно, чтобъ однимъ было гораздо лучше, а другимъ гораздо хуже; тогда тѣ, которымъ лучше, могутъ идти впередъ насчетъ жизни остальныхъ.

ныхъ. Природа для развитія ничего не жалѣеть. Человѣкъ—звѣрь съ необыкновенно хорошо устроеннымъ мозгомъ, тутъ его мощь. Онъ не чувствовалъ въ себѣ ни ловкости тигра, ни львиной силы. у него не было ни ихъ удивительныхъ мышцъ, ни такого развитія внѣшнихъ чувствъ, но въ немъ нашлось бездна хитрости, множество смиренныхъ качествъ, которыя, съ естественнымъ побужденіемъ жить стадами, поставили его на начальную ступень общест-венности. Не забывайте, что человѣкъ любитъ подчиняться, онъ ищетъ всегда къ чему-нибудь прислониться, за что-нибудь спря-таться, въ немъ нѣтъ гордой самобытности хищнаго звѣря. Онъ росъ въ повиновеніи семейномъ, племенномъ; чѣмъ сложнѣе и круче связывался узелъ общественной жизни, тѣмъ въ большее рабство впадали люди; они были подавлены религіей, которая тѣснила ихъ за ихъ трусость; старѣйшими, которые тѣснили ихъ, основываясь на привычкѣ. Ни одинъ звѣрь, кромѣ породъ, «раз-вращенныхъ человѣкомъ», какъ называлъ домашнихъ звѣрей Бай-ронъ, не вынесъ бы этихъ человѣческихъ отношеній. Волкъ ѣсть овцу, потому что голоденъ и потому что она слабѣе его, но раб-ства отъ нея не требуетъ, овца не покоряется ему, она проте-стуетъ крикомъ, бѣгомъ; человѣкъ вносить въ дико-независимый и самобытный міръ животныхъ — элементъ вѣрнопопданничества, элементъ Калибана, на немъ только и было возможно развитіе Проспера; и тутъ опять та же безпощадная экономія природы, ея разсчитанность средствъ, которая, ежели гдѣ перейдетъ, то на-вѣрное не дойдетъ гдѣ-нибудь, и, вытянувши въ непопѣрную вы-шину переднія ноги и шею камелеопардала, губитъ его заднія ноги.

— Докторъ, да вы страшный аристократъ.

— Я натуралистъ, и знаете, что еще?.. Я не трусь, я не боюсь ни узнать истину, ни высказывать ее.

— Я не стану вамъ противорѣчить; впрочемъ, въ теоріи всѣ говорятъ правду, насколько ее понимаютъ, тутъ нѣтъ большого мужества.

— Вы думаете? Какой предразсудокъ!.. Помилуйте, на сто фи-лософовъ вы не найдете одного, который былъ бы откровененъ; пусть бы ошибался, несъ бы нелѣпицу, но только съ полной откровенностію. Одни обманываютъ другихъ пзъ нравственныхъ цѣлей, другіе самихъ себя — для спокойствія. Много ли вы най-дете людей какъ Спиноза, какъ Юмъ, идущихъ смѣло до всякаго вывода? Всѣ эти великіе освободители ума человѣческаго посту-пали такъ, какъ Лютеръ и Кальвинъ, и, можетъ, были правы съ практической точки зрѣнія; они освобождали себя и другихъ вклю-чительно до какого-нибудь рабства, до символическихъ книгъ, до текста Писанія и находили въ душѣ своей воздержность и умѣ-

ренность не идти далѣе. По большей части послѣдователи продолжаютъ строго идти въ путяхъ учителей; въ числѣ ихъ являются люди посмѣлѣй, которые догадываются, что дѣло-то не совсѣмъ такъ, но молчатъ изъ благочестія и лгутъ изъ уваженія къ предмету такъ, какъ лгутъ адвокаты, ежедневно говоря, что не смѣютъ сомнѣваться въ справедливости судей, зная очень хорошо, что они мошенники, и не довѣряя имъ нисколько. Эта учтивость совершенно рабская, но мы къ ней привыкли. Знать истину не легко, но все же легче, нежели высказывать ее, когда она не совпадаетъ съ общимъ мнѣніемъ. Сколько кокетства, сколько риторики, позолоты, околичнословія употребляли лучшіе умы, Бэконъ, Гегель, чтобъ не говорить просто, боясь тупого негодованія или пошлаго свиста. Оттого до такой степени трудно понимать науку, надобно отгадывать ложно высказанную истину. Теперь разсудите: у многихъ ли есть досугъ и охота дорабатываться до внутренней мысли и копаться въ тукѣ, которымъ наши учителя прикрываютъ свое посылное пониманье.—отрывая фразы и крашевыя стекла ихъ науки.

— Это опять приближается къ вашей аристократической мысли, что истина для нѣсколькихъ, а ложь для всѣхъ, что...

— Позвольте, вы во второй разъ назвали меня аристократомъ, я при этомъ вспоминаю робеспьеровское выраженіе: *l'athéisme est aristocrate*. Если-бъ Робеспьеръ хотѣлъ только сказать, что атеизмъ возможенъ для немногихъ, такъ точно, какъ дифференціальныя исчисленія, какъ физика, онъ былъ бы правъ; но онъ, сказавши, атеизмъ аристократиченъ, заключилъ, что атеизмъ ложь. Для меня это возмутительная демагогія, это покореніе разума нелѣпому большинству голосовъ. Неумолимый логикъ революціи сръзался и, провозглашая *демократическую* неправду, народной религіи не возстановилъ, а указалъ предѣлъ своихъ силъ, указалъ межу, за которой и онъ не революціонеръ, а указать это во время переворота и движенія значитъ напомнить, что время лица миновало... И въ самомъ дѣлѣ, послѣ *Fête de l'Etre Suprême*, Робеспьеръ становится мраченъ, задумчивъ, безпокоенъ, его томить тоска, нѣтъ прежней вѣры, нѣтъ того смѣлаго шага, которымъ онъ шелъ впередъ, которымъ ступалъ въ кровь, и кровь его не марала; тогда онъ не зналъ своихъ границъ, будущее было безпредѣльно; теперь онъ увидѣлъ заборъ, онъ почувствовалъ, что ему приходится быть консерваторомъ, и голова атеиста Клоотса, пожертвованная предразсудку, лежала въ ногахъ его, какъ улика, черезъ нее ему нельзя было перешагнуть. Мы старше нашихъ старшихъ братій; не будемъ дѣтьми, не будемъ бояться ни были, ни логики, не станемъ отказываться отъ послѣдствій, они не въ нашей волѣ. Я сказалъ, что истина принадлежитъ меньшинству. Развѣ вы этого не знали?

отчего вамъ это показалось странно? Оттого, что я не прибавилъ къ этому никакой риторической фразы. Помилуйте, да, вѣдь, я не отвѣчаю ни за пользу, ни за вредъ этого факта, я говорю только о его существованіи. Я вижу въ настоящемъ и прошедшемъ знаніе, истину, нравственную силу, стремленіе къ независимости, любовь къ изящному—въ небольшой кучкѣ людей, потерянныхъ въ средѣ, не симпатизирующей имъ. Съ другой стороны, я вижу ту-гое развитіе остальныхъ слоевъ общества, узкія понятія, основанныя на преданіяхъ, ограниченныя потребности, небольшія стремленія къ добру, небольшія поползновенія къ злу.

— Да, сверхъ того, необычайную вѣрность въ стремленіяхъ.

Вы правы, общія симпатіи массъ почти всегда вѣрны, какъ инстинктъ животныхъ вѣренъ, и знаете отчего? Оттого, что жалкая самобытность отдѣльныхъ личностей стирается въ общемъ; масса хороша только, какъ безличная, и развитіе самобытной личности составляетъ всю прелесть, до которой дорабатывается, съ другой стороны, все свободное, талантливое, сильное.

— Да... до тѣхъ поръ, пока вообще будетъ толпа, но замѣьте, что прошедшее и настоящее не даютъ вамъ причины заключать, что въ будущемъ не измѣнятся эти отношенія; все идетъ къ тому, чтобъ разрушить дряхлыя основы общественности. Вы ясно поняли и рѣзко представляете раздоръ, двойство въ жизни, и успокоиваетесь на этомъ; вы, какъ докладчикъ уголовной палаты, свидѣтельствуете о преступленіи и стараетесь его доказать, предоставляя судъ—палатѣ. Другіе идутъ далѣе, они хотятъ его снять; всѣ сильныя натуры меньшинства, о которомъ вы говорите, постоянно стремились наполнить пропасть, ихъ отдѣлявшую отъ массъ, имъ было противно думать, что это неизбѣжный, роковой фактъ, у нихъ въ вѣхъ груди слишкомъ много было любви, чтобъ остаться въ своей исключительной выси. Они лучше хотѣли, съ опрометчивостію самоотверженнаго порыва, погибнуть въ пропасти, ихъ отдѣляющей отъ народа, нежели прогуливаться по ея краямъ, какъ вы.

эта связь ихъ съ массами не капризъ, не риторика, а глубокое чувство сродства, сознаніе того, что они сами вышли изъ массъ, что безъ этого хора не было бы и ихъ, что они представляютъ ея стремленія, что они достигли того, до чего она достигаетъ.

— Безъ сомнѣнія, всякій распустившійся талантъ, какъ цвѣтокъ тысячью нитями связанъ съ растеніемъ и никогда не былъ бы безъ стебля, а все-таки онъ не стебель, не листъ, а цвѣтокъ, жизнь его, соединенная съ прочими частями, все же иная. Одно холодное утро,—и цвѣтокъ гибнетъ, а стебель остается; въ цвѣткѣ, если хотите, цѣль растенія и край его жизни, но все же лепестки вѣнчика—не цѣлое растеніе. Всякая эпоха выплескиваетъ, такъ сказать, дальнѣйшей волной полнѣйшія, лучшія организаціи, если

только онѣ нашли средства развиться; онѣ не только выходятъ изъ толпы, но и *вышли* изъ нея. Возьмите Гёте, онѣ представляетъ усиленную, сосредоточенную, очищенную, *сублимированную* сущность Германіи, онѣ изъ нея вышелъ, онѣ не былъ бы безъ всей исторіи своего народа, но онѣ такъ удалился отъ своихъ соотечественниковъ въ ту сферу, въ которую поднялся, что они не ясно понимали его и что онѣ, наконецъ, плохо ихъ понималъ; въ немъ собралось все, волновавшее душу протестантскаго міра, и распахнулось такъ, что онѣ носился надъ тогдашнимъ міромъ. Внизу хаосъ, недоразумѣніе, схоластика, домогательство понятъ; въ немъ свѣтлое сознаніе и покойная мысль, далеко опередившая современниковъ.

— Гёте представляетъ во всемъ блескъ именно вашу мысль; онѣ отчуждается, онѣ доволенъ своимъ величіемъ; и въ этомъ отношеніи онѣ исключеніе. Таковъ ли былъ Шиллеръ и Фихте, Руссо и Байронъ и всѣ эти люди, мучившіеся изъ того, чтобъ привести къ одному уровню съ собою массу, толпу. Для меня страданія этихъ людей, безвыходныя, жгучія, провожавшія ихъ иногда до могилы, иногда до плахи или до дома умалишенныхъ, лучше, нежели гётевской покой.

— Они много страдали, но не думайте, что они были безъ утѣшеній. У нихъ было много любви; и еще больше вѣры. Они вѣрили въ человѣчество такъ, какъ его придумали, вѣрили въ свой разумъ, вѣрили въ будущее, упиваясь своимъ отчаяніемъ, и эта вѣра врачевала одушевленіе ихъ.

— Зачѣмъ же въ васъ нѣтъ вѣры?

— Отвѣтъ на этотъ вопросъ сдѣланъ давно Байрономъ; онѣ отвѣчалъ дамѣ, которая его обращала въ христіанскую вѣру: «Какъ же я сдѣлаю, чтобъ начать вѣрить?» Въ наше время можно или вѣрить, не думая, или думать, не вѣривши. Вамъ кажется, что спокойное, повидимому, сомнѣніе легко; а почему вы знаете, сколько бы человѣкъ иногда готовъ былъ дать въ минуту боли, слабости, изнеможенія за одно вѣрованіе? Откуда его возьмешь? Вы говорите: лучше страдать, и совѣтуете вѣровать, но развѣ религіозные люди страдаютъ въ самомъ дѣлѣ? Я вамъ расскажу случай, который былъ со мною въ Германіи. Призываютъ меня разъ въ гостиницу къ пріѣзжей дамѣ, у которой занемогли дѣти; я прихожу; дѣти въ страшной скарлатинѣ; медицина нынче настолько сдѣлала успѣховъ, что мы поняли, что мы не знаемъ почти ни одной болѣзни и почти ни одного леченія,—это большой шагъ впередъ. Вижу я, дѣло очень плохо, прописалъ дѣтямъ, для успокоенія матери, всякія невинныя вещи, далъ разныя приказанія очень хлопотливыя, чтобъ ее занять, а самъ сталъ выжидать, какія силы найдетъ организмъ для противодѣйствія болѣзни.

Старшій мальчикъ поприутихъ. «Онъ, кажется, теперь спокойно заснулъ», сказала мнѣ мать; я ей показала пальцемъ, чтобъ она его не разбудила: ребенокъ отходилъ. Для меня было очевидно, что болѣзнь совершенно одинаково пойдетъ у его сестры; мнѣ казалось, что ее спасти невозможно. Мать, женщина очень нервная, была въ безуміи и непрерывно молилась; дѣвочка умерла. Первые дни человѣческая натура взяла свое, мать пролежала въ горячкѣ, была сама на краю гроба, но мало-по-малу силы воротились, она стала покойнѣе, толковала мнѣ все о Сведенборгѣ... Уѣзжая, она взяла меня за руку и сказала съ видомъ торжественнаго спокойствія: «Тяжело мнѣ было... какое страшное испытаніе!.. Но я ихъ хорошо помѣстила, они возвратились чистыми, ни одной пылинки, ни одного тлѣтворнаго дыханія не коснулось ихъ... имъ будетъ хорошо! Я для ихъ блага должна покориться!»

— Какая разница между этимъ фанатизмомъ и вѣрой чело-вѣка въ людей, въ возможность лучшаго устройства, свободы! Это сознаніе, мысль, убѣжденіе, а не суевѣріе.

— Да, то есть, не религія des Jenseits, а религія des Diesseits, религія науки, всеобщаго, родового, трансцендентальнаго, разума, идеализма. Объясните мнѣ, пожалуйста, отчего вѣрить въ Бога смѣшно, а вѣрить въ челоуѣчество не смѣшно; вѣрить въ царство небесное—глупо, а вѣрить въ земныя утопіи—умно? Отбросивши положительную религію, мы остались при всѣхъ религіозныхъ привычкахъ, и, утративъ рай на небѣ, вѣримъ въ пришествіе рая земного и хвастаемся этимъ. Вѣра въ будущее за громомъ дала столько силы мученикамъ первыхъ вѣковъ; но, вѣдь, такая же вѣра поддерживала и мучениковъ революціи: тѣ и другіе гордо и весело несли голову на плаху, потому что у нихъ была непре-ложная вѣра въ успѣхъ ихъ идей, въ торжество христіанства, въ торжество республики. Тѣ и другіе ошиблись. Мы пришли послѣ нихъ и увидѣли это. Я не отрицаю ни величіе, ни пользу вѣры; это великое начало движенія, развитія, страсти въ исторіи, но вѣра въ душѣ людской частный фактъ. Натянуть ее нельзя, особенно тому, кто допустилъ разборъ и недовѣрчивое сомнѣніе, кто пыталъ жизнь и, задерживая дыханіе, съ любовью останавливался на всякихъ трупоразъятіяхъ, кто заглянулъ, можетъ быть, больше, нежели нужно, за кулисы; дѣло сдѣлано, по-вѣрить вновь нельзя.

— Вамъ, докторъ, остается скромное а parte въ этой драмѣ. бесплодная критика и праздность до скончанія дней.

— Быть можетъ; очень можетъ быть. Хотя я не называю праздно-стью внутреннюю работу, но тѣмъ не менѣе думаю, что вы вѣрно смотрите на мою судьбу. Помните ли вы римскихъ фило-софовъ въ первые вѣка христіанства, ихъ положеніе имѣетъ много

сходнаго съ нашимъ; у нихъ ускользнуло настоящее и будущее, съ прошедшимъ они были во враждѣ. Увѣренные въ томъ, что они ясно и лучше понимаютъ истину, они скорбно смотрѣли на разрушающійся міръ и на міръ водворяемый, они чувствовали себя правѣ обоихъ и слабѣ обоихъ. Кружокъ ихъ становился тѣснѣ и тѣснѣ, съ язычествомъ они ничего не имѣли общаго, кромѣ привычки, образа жизни. Натяжки Юліана Отступника и его реставраціи были такъ же смѣшны, какъ реставрація Людовика XVIII и Карла X; съ другой стороны, христіанская теодицея оскорбляла ихъ свѣтскую мудрость, они не могли принять ея языкъ, земля исчезала подъ ихъ ногами, участіе къ нимъ было; но они умѣли величаво и гордо дожидаться, пока разгромъ захватитъ кого-нибудь изъ нихъ,—умѣли умирать, не накупаясь на смерть и безъ притязанія спасти себя или міръ, они гибли хладнокровно, безучастно къ себѣ; они умѣли, пощаженные смертью, завертываться въ свою тогу и молча досматривать, что станетъ съ Римомъ, съ людьми. Одно благо, остававшееся этимъ иностранцамъ своего времени, была спокойная совѣсть, утѣшительное сознаніе, что они не испугались истины, что они, понявъ ее, нашли довольно силы, чтобы вынести ее. чтобъ остаться вѣрными ей.

— И только.

— Будто этого не довольно? Впрочемъ, нѣтъ, я забылъ, у нихъ было еще одно благо — личные отношенія, увѣренность въ томъ, что есть люди также понимающіе, сочувствующіе съ ними, увѣренность въ глубокой связи, которая независима ни отъ какого событія; если при этомъ немного солнца, море вдали или горы, шумящая зелень, теплый климатъ... чего же больше?

— По несчастію, этого спокойнаго уголка въ теплѣ и тишинѣ вы не найдете теперь во всей Европѣ.

— Я поѣду въ Америку.

— Тамъ очень скучно.

— Это правда...

Парижъ, 1 марта, 1849 г.

Эпилогъ 1849 года.

Opfer fallen hier,
Weder Lamm noch Stier,
Aber Menschenopfer — unerhoert.
(Goethe) *Braut v. Corinth.*

— Проклятіе тебѣ, годъ крови и безумія, годъ торжествующей пошлости, звѣрства, тупоумья. Проклятіе тебѣ!

Отъ перваго до послѣдняго дня, ты былъ несчастіемъ, ни одной свѣтлой минуты, ни одного покойнаго часа, нигдѣ, не было въ тебѣ. Отъ возстановленной гильотины въ Парижѣ, отъ буржскаго процесса до кефалонійскихъ висѣлицъ, поставленныхъ англичанами для дѣтей; отъ пуля, которыми разстрѣливалъ баденцевъ братъ короля прусскаго, отъ Рима, падшаго передъ народомъ, измѣнившимъ челоѣчеству, до Венгріи, проданной врагу полководцемъ, измѣнившимъ отечеству,—все въ тебѣ преступно, кроваво, гадко, все заклеено печатью отверженія. И это только первая ступень, начало, введеніе,—слѣдующіе годы будутъ и отвратительнѣе, и свирѣпѣе, и пошлѣе...

До какого времени слезъ и отчаянія мы дожили!.. Голова идетъ кругомъ, грудь ломится, страшно знать, что дѣлается, и страшно не знать, что еще за неистовства случились. Лихорадочная злоба подстрекаетъ на ненависть и презрѣніе; униженіе разѣдаетъ грудь... И хочется бѣжать, уйти... отдохнуть, уничтожиться безслѣдно, безсознательно.

Послѣдняя надежда, которая согрѣвала, поддерживала, надежда на мечь—на мечь безумную, дикую, ненужную, но которая бы доказала, что въ груди у современнаго челоѣка есть сердце—исчезаетъ; душа остается безъ зеленого листа, все облетѣло... и все затихло... мгла и холодъ распространяются... только порой тоноръ палача стукнетъ падаю; да пуля, тоже палача, просвищетъ, отыскивая благородную грудь юноши, разстрѣливаемого за то, что онъ вѣрилъ въ челоѣчество.

И *они* не будутъ отомщены?..

Развѣ у нихъ не было друга, брата? Развѣ нѣтъ людей, дѣлящихъ ихъ вѣру?—Все было, только мести не будетъ!

Вмѣсто Марія изъ ихъ праха родилась цѣлая литература за-
стольныхъ рѣчей, демагогическихъ разглагольствованій — мое въ
томъ числѣ—и прозаическихъ стиховъ.

Они этого не знаютъ. Какое счастье, что ихъ нѣтъ и что нѣтъ
жизни за гробомъ. Вѣдь *они* вѣрили въ людей, вѣрили, что есть
за что умереть, и умерли прекрасно, свято, искупая разслаблен-
ное поколѣніе кастратовъ. Мы едва знаемъ ихъ имена—убійство
Роберта Блума ужаснуло, удивило, потомъ мы обдержались...

Я краснѣю за наше поколѣніе, мы какіе-то бездушные риторы
у насъ кровь холодна, а горячи одни чернилы; у насъ мысль
привыкла къ безслѣдному раздраженію, а языкъ къ страстнымъ
словамъ, не имѣющимъ никакого вліянія на дѣло. Мы размы-
шляемъ тамъ, гдѣ надобно разить, обдумываемъ тамъ, гдѣ на-
добно увлечься, мы отвратительно благообразны, на все смотримъ
свысока, мы все переносимъ, мы занимаемся однимъ *общимъ*,
идеей, *человѣчествомъ*. Мы заморили наши души въ отвлечен-
ныхъ и общихъ сферахъ, такъ, какъ монахи обезсиляли ее въ
мірѣ молитвы и созерцанія. Мы потеряли вкусъ къ дѣйствитель-
ности, вышли изъ нея вверхъ, такъ, какъ мѣщане вышли внизъ.

А вы что дѣлали, революціонеры, испугавшіеся революціи? По-
литическіе шалуны, паяцы свободы, вы играли въ республику,
въ терроръ, въ правительство, вы дурачились въ клубахъ, бол-
тали въ камерахъ, одѣвались шутами съ пистолетами и саблями,
цѣломудренно радовались, что заявленные злодѣи, удивляясь, что
живы, хвалили ваше милосердіе. Вы ничего не предупредили.
ничего не предвидѣли. А тѣ, лучшіе изъ васъ, заплатили голо-
вой за ваше безуміе. Учитесь теперь у вашихъ враговъ, которые
васъ побѣдили, потому что они умнѣ васъ. Посмотрите, боятся ли
они реакціи, боятся ли они идти слишкомъ далеко, замарать себѣ
кровью руки? Они по локоть, по горло въ крови. Погодите не-
много, они васъ всѣхъ переказнятъ, вы не далеко ушли. Да что,
переказнятъ,—они васъ пересѣкутъ всѣхъ.

Меня просто ужасаетъ современный человѣкъ. Какая безчув-
ственность и ограниченность, какое отсутствіе страсти, негодова-
нія, какая слабость мысли, какъ скоро стынетъ въ немъ порывъ,
какъ рано изношено въ немъ увлеченье, энергія, вѣра въ соб-
ственное дѣло! — И гдѣ? чѣмъ? когда эти люди истратили свою
жизнь, когда они успѣли потерять силы? Они растлились въ
школѣ, гдѣ ихъ одурачили; они истаскались въ пивныхъ лав-
кахъ, въ студентской одичалости; они ослабли отъ маленькаго,
грязнаго разврата; родившіеся, вырощенные въ больничномъ воз-
духѣ, они мало принесли силъ и завяли потомъ, прежде нежели
расцвѣли; они истощились не страстями, а страстными мечтами.
И тутъ, какъ всегда, литераторы, идеалисты, теоретики, они мыс-

лю постигли развратъ, они прочитали страсть. Право, иной разъ становится досадно, что человѣкъ не можетъ перечислиться въ другой родъ звѣрей. — разумѣется, быть осломъ, лягушкой, собакой пріятнѣе, честнѣе и благороднѣе, нежели человѣкомъ XIX вѣка.

Винить не кого, это не ихъ, не наша вина, это несчастіе рожденія тогда, когда цѣлый міръ умираетъ?

Одно утѣшеніе и остается,—весьма вѣроятно, что будущія поколѣнія вырождаются еще больше, еще больше обмелѣютъ, обнищаютъ умомъ и сердцемъ, имъ уже и наши дѣла будутъ недоступны и наши мысли будутъ непонятны. Народы, какъ царскіе дома, передъ паденіемъ тупѣютъ, ихъ пониманіе помрачается, они выживаютъ изъ ума—какъ Меровинги, зачинавшіеся въ развратѣ и кровосмѣшеніяхъ и умиравшіе въ какомъ-то чаду, ни разу не пришедши въ себя: какъ аристократія, выродившаяся до болѣзненныхъ кретиновъ, измельчавшая Европа изживетъ свою бѣдную жизнь въ сумеркахъ тупоумія, въ вялыхъ чувствахъ, безъ убѣжденій, безъ изящныхъ искусствъ, безъ мощной поэзіи. Слабыя, хилыя, глупыя поколѣнія протянутся какъ-нибудь до взрыва, до той или другой лавы, которая ихъ покроетъ каменнымъ покрываломъ и предастъ забвенію—лѣтописей.

А тамъ?

А тамъ настанетъ весна, молодая жизнь закипитъ на ихъ гробовой доскѣ, варварство младенчества, полное неустроенныхъ, но здоровыхъ силъ, замѣнитъ старческое варварство; дикая, свѣжая мощь распахнется въ молодой груди юныхъ народовъ и начнется новый кругъ событій и третій томъ всеобщей исторіи.

Основной тонъ его мы можемъ понять теперь. Онъ будетъ принадлежать социальнымъ идеямъ. Соціализмъ разовьется во всѣхъ фазахъ своихъ до крайнихъ послѣдствій, до нелѣпостей. Тогда снова вырвется изъ титанической груди революціоннаго меньшинства крикъ отрицанія, и снова начнется смертная борьба, въ которой соціализмъ займетъ мѣсто нынѣшняго консерватизма и будетъ побѣжденъ грядущею, неизвѣстною намъ революціей...

Вѣчная игра жизни, безжалостная, какъ смерть, неотразимая какъ рожденіе, *corsi e ricorsi* исторіи, *perpetuum mobile* маятника!

Къ концу XVIII вѣка европейскій Сизифъ докатилъ тяжелый камень свой, составленный изъ развалинъ и осколковъ трехъ разнородныхъ міровъ, до вершины; камень качнулся въ сторону, въ другую, казалось, хотѣлъ установиться,—не тутъ-то было; онъ перекатился, и сталъ тихо, незамѣтно склоняться; быть можетъ, онъ зашпунлся бы за что-нибудь, остановился бы съ помощію такихъ тормазовъ и пороговъ, какъ представительное правленіе, конституціонная монархія, потомъ вывѣтривался бы вѣка цѣлые, прини-

мая всякую перемѣну за совершенствованіе и всякую перестановку за развитіе—такъ, какъ этотъ европейскій Китай, называемый Англіей, такъ, какъ это допотопное государство, стоящее между допотопныхъ горъ, называемое Швейцаріей. Но для этого надобно было, чтобъ вѣтеръ не вѣялъ, чтобъ не было ни толчка, ни потрясенія; но вѣтеръ повѣялъ и толчекъ пришелъ. Февральская буря потрясла всю наслѣдственную почву. Буря іюньскихъ дней окончательно сдвинула весь римско-феодальный наплывъ, и онъ повесся подъ гору съ усиливающейся быстротою, ломая по дорогѣ все встрѣчное и ломаясь самъ въ осколки... А бѣдный Сизифъ смотреть и не вѣрять своимъ глазамъ, лицо его осунулось, потъ устали смѣшался съ потомъ ужаса, слезы отчаянія, стыда, безсилія, досады, остановились на глазахъ; онъ такъ вѣрилъ въ совершенствованіе, въ человѣчество, онъ такъ философски, такъ умно и учено уповалъ на современнаго человѣка. И все-таки обманулся.

Французская революція и германская наука — геркулесовскіе столбы міра европейскаго. За ними по другую сторону открывается океанъ, виднѣется новый свѣтъ, что-то другое, а не исправленное изданіе старой Европы. Онѣ сулили міру освобожденіе отъ церковнаго насилія, отъ гражданскаго рабства, отъ нравственнаго авторитета. Но, провозглашая искренно свободу мысли и свободу жизни, люди переворота не сообразили всю несомнѣтельность ея съ католическимъ устройствомъ Европы. Отречься отъ него они еще не могли. Чтобъ идти впередъ, имъ пришлось свернуть свое знамя, измѣнить ему, имъ пришлось дѣлать уступки.

Руссо и Гегель—христіане.

Робеспьеръ и С. Жюль—монархисты.

Германская наука—спекулятивная религія; республика конвента—пентархическій абсолютизмъ и вмѣстѣ съ тѣмъ церковь. Вмѣсто символа вѣры явились гражданскіе догматы. Собраніе и правительство священнодѣйствовало мистерію народнаго освобожденія. Законодатель сдѣлался жрецомъ, прорицателемъ и возвѣщающаго, добродушно и безъ ироніи, неизмѣнные, непогрѣшительные приговоры во имя самодержавія народнаго.

Народъ, какъ разумѣтся, оставался по прежнему «мирянномъ», *управляемымъ*; для него ничего не измѣнилось, и онъ присутствовалъ при политическихъ литургіяхъ, также ничего не понимая, какъ при религіозныхъ.

Но страшное имя *Свободы* замѣшалось въ мірѣ привычки, обряда и авторитета. Оно запало въ сердца; оно раздалось въ ушахъ и не могло оставаться страдательнымъ; оно бродило, раздѣдало основы общественнаго зданія, лиха бѣда была привиться въ одной точкѣ, разложить одну каплю старой крови. Съ этимъ ядомъ въ жилахъ, нельзя спасти ветхое тѣло. Сознаніе близкой опасности

сильно выразилось послѣ безумной эпохи императорства; всѣ глубокіе умы того времени ждали катаклизмъ, боялись его. Лигитимистъ Шатобрианъ и Ламене, тогда еще аббатъ, указывали его. Кровавый террористъ католицизма Местръ, боясь его, подавалъ одну руку папѣ, другую палачу. Гегель подвизывалъ паруса своей философіи, такъ гордо и свободно плившей по морю логики, боясь далеко уплыть отъ береговъ и быть захваченному шкваломъ. Нибуръ, томимый тѣмъ же пророчествомъ, умеръ, увидя 1830 г. и июльскую революцію. Цѣлая школа образовалась въ Германіи, мечтавшая остановить будущее прошедшимъ; трупомъ отца припереть дверь новорожденному.—*Vanitas vanitatum!*

Два исполина пришли, наконецъ, торжественно заключить историческую фазу.

Старческая фигура Гёте, не дѣлящая интересовъ, кипящихъ вокругъ, отчужденная отъ среды, стоитъ спокойно, замыкая два прошедшихъ у входа въ нашу эпоху. Онъ тяготитъ надъ современниками и примиряетъ съ былымъ. Старецъ былъ еще живъ, когда явился и исчезъ единственный поэтъ XIX столѣтія. Поэтъ сомнѣнія и негодованія, духовникъ, палачъ и жертва вмѣстѣ; онъ на-скоро прочелъ скептическую отходную дряхлому міру и умеръ 37 лѣтъ въ возрождавшейся Греціи, куда бѣжалъ, чтобъ только не видѣть «береговъ своей родины».

За нимъ замолкло все. И никто не обратилъ вниманія на бесплодность вѣка, на совершенное отсутствіе творчества. Сначала онъ еще былъ освѣщенъ заревомъ XVIII столѣтія, онъ блисталъ его славой, гордился его людьми. По мѣрѣ какъ эти звѣзды другого неба заходили, сумерки и мгла падали на все; повсюду—безсиліе, посредственность, мелкость, и едва замѣтная полоска на востокѣ, намекающая на дальнее утро, передъ наступленіемъ котораго разразится не одна туча.

Явились пророки, наконецъ, возвѣщавшіе близкое несчастіе и дальнее искупленье. На нихъ смотрѣли, какъ на юродивыхъ, ихъ новый языкъ возмущалъ, ихъ слова принимались за бредъ. Толпа не хочетъ, чтобъ ее будили, она проситъ, чтобъ ее оставили въ покоѣ съ ея жалкимъ бытомъ, съ ея пошлыми привычками; она хочетъ, какъ Фридерикъ II, умереть, не мѣняя грязнаго бѣлья. Ничто въ мірѣ не могло такъ удовлетворить этому скромному желанію, какъ мѣцанская монархія.

Но разложеніе шло своимъ чередомъ, «подземный кротъ» работалъ неутомимо. Всѣ власти, всѣ учрежденія были раздѣаемы скрытымъ ракомъ; 24 февраля 1848 г. болѣзнь сдѣлалась острой изъ хронической. Французская республика была возвѣщена міру трубою послѣдняго суда. Немоощь, хилость стараго общественнаго устройства становились очевидны, все стало распускаться, развязы-

ваться, все перемѣшалось и именно держится на этой путаницѣ. Революціонеры сдѣлались консерваторами, консерваторы анархистами; республика убила послѣднія свободныя учрежденія, уцѣлѣвшія при короляхъ; родина Вольтера бросилась въ ханжество. Всѣ побѣждены, все побѣждено, а побѣдителя нѣтъ...

Когда многіе надѣялись, мы говорили имъ, это не выздоровленіе, это румянецъ чахотки. Смѣлые мыслію, дерзкіе на языкъ, мы не побоялись ни изслѣдовать зло, ни высказать его, а теперь выступаетъ холодный потъ на лбу. Я первый блѣднѣю, трушу передъ темной ночью, которая наступаетъ; дрожь пробѣгаетъ по кожѣ при мысли, что наши предсказанія сбываются—такъ скоро, что ихъ совершеніе—такъ неотразимо...

Прощай отходящій міръ, прощай Европа!

— А мы что сдѣлаемъ изъ себя?

...Послѣднія звенья, связующія два міра, не принадлежація ни къ тому, ни къ другому, люди, отвязавшіеся отъ рода, разлученные съ средою, покинутые на себя; люди не нужные, потому что не можемъ дѣлать ни дряхлости однихъ, ни младенчества другихъ, намъ нѣту мѣста ни за однимъ столомъ. Люди отрицанія для прошедшаго, люди отвлеченныхъ построеній въ будущемъ, мы не имѣемъ достоянія ни въ томъ, ни въ другомъ и въ этомъ равно свидѣтельство нашей силы и ея ненужности.

— Идти бы прочь... Своею жизнью начать освобожденіе, протестъ, новый бытъ... Какъ будто мы въ самомъ дѣлѣ такъ свободны отъ стараго? Развѣ наши добродѣтели и наши пороки, наши страсти и, главное, наши привычки не принадлежать этому міру, съ которымъ мы развелись только въ убѣжденіяхъ?

Что же мы сдѣлаемъ въ дѣвственныхъ лѣсахъ? Мы, которые не можемъ провести утра, не прочитавъ пяти журналовъ, мы, у которыхъ только и осталось поэзіи въ боѣ съ старымъ міромъ, что... Сознаемся откровенно, мы плохіе Робинзоны.

Развѣ ушедшіе въ Америку не снесли съ собою туда старую Англію?

И развѣ вдали мы не будемъ слышать стоны, развѣ можно отвернуться, закрыть глаза, заткнуть уши, — преднамѣренно не знать, упорно молчать, т. е. признаться побѣжденнымъ, сдаться? Это невозможно! Наши враги должны знать, что есть независимые люди, которые ни за что не поступятся свободной рѣчью.

Итакъ, пусть раздается наше слово!

...А кому говорить?... о чемъ? — Я право не знаю, только это сильнѣе меня...

Парижъ, 21 декабря, 1849 г.

Omnia mea mecum porto.

Ce n'est pas Catilina, qui est à vos portes,—c'est la mort!
Proudhon. (*Voix du Peuple*).

Komm her, wir setzen uns zu Tisch!
Wen sollte solche Narrheit rühren?
Die Welt geht auseinander wie ein fauler Fisch
Wir wollen sie nicht balsamiren.

Goethe.

Видимая, старая, официальная Европа не спит,—она умирает! Последние слабые и болѣзненные остатки прежней жизни едва достаточны, чтобъ удержать на нѣсколько времени распадающіяся части тѣла, которыя стремятся къ новымъ сочетаніямъ, къ развитію иныхъ формъ.

Повидимому, еще многое стоитъ прочно, дѣла идутъ своимъ чередомъ, судьи судятъ, церкви открыты, биржи кипятъ дѣятельностію, войска маневрируютъ, дворцы блестятъ огнями,—но духъ жизни отлетѣлъ, на сердцѣ у всѣхъ неспокойно, смерть за плечами и въ сущности ничего не идетъ. Въ сущности нѣтъ ни церкви, ни войска, ни правительства, ни суда,—все превратилось въ полицію. Полиція хранитъ, спасаетъ Европу, подъ ея кровомъ стоятъ троны и алтари, это гальваническая струя, которою насильственно поддерживаютъ жизнь, чтобъ выиграть настоящую минуту. Но разѣдающій огонь болѣзни не потушенъ, его вогнали только внутрь, онъ скрытъ.

Многіе не видятъ смерти только потому, что они подъ смертью воображаютъ какое-то уничтоженіе. Смерть не уничтожаетъ составныхъ частей, а развязываетъ ихъ отъ *прежняго* единства, даетъ имъ волю существовать при иныхъ условіяхъ. Разумѣется, цѣлая часть свѣта не можетъ стинуть съ лица земли; она останется, такъ, какъ Римъ остался въ среднихъ вѣкахъ; она разойдется, распустится въ грядущей Европѣ и потеряетъ свой теперешній характеръ, подчиняясь новому и съ тѣмъ вмѣстѣ вліяя на него. Наслѣдство, оставленное отцомъ сыну, въ фізіологическомъ и гражданскомъ смыслѣ продолжаетъ жизнь отца за гробомъ; тѣмъ

не менѣе между ними *смерть* — такъ, какъ между Римомъ Юлія Цезаря и Римомъ Григорія VII¹⁾).

Смерть современныхъ формъ гражданственности скорѣе должна радовать, нежели тяготить душу. Но страшно то, что отходящій міръ оставляетъ не наслѣдника, а беременную вдову. Между смертію одного и рожденіемъ другого утечетъ много воды, пройдетъ длинная ночь хаоса и заустѣнія.

Мы не доживемъ до того, до чего дожилъ Симеонъ Богопріимецъ. Какъ ни тяжела эта истина, надобно съ ней примириться, сладить, потому что измѣнить ее невозможно.

Мы довольно долго изучали хилый организмъ Европы, во всѣхъ слояхъ и вездѣ находили вблизи персть смерти и только изрѣдка вдали слышалось пророчество. Мы сначала тоже надѣялись, вѣрили, старались вѣрить. Предсмертная борьба такъ быстро искажала одну черту за другой, что нельзя было обманываться. Жизнь потухала, какъ послѣднія свѣчи въ окнахъ, прежде разсвѣта. Мы были поражены, испуганы. Сложая руки, мы смотрѣли на страшные успѣхи смерти. Что мы видѣли съ февральской революціи?.. Довольно сказать, мы были молоды два года тому назадъ и стары теперь.

Чѣмъ ближе мы подходили къ партіямъ и людямъ, тѣмъ пустыня около насъ дѣлалась больше, тѣмъ больше становились мы одни. Какъ было дѣлать безуміе однихъ, бездушіе другихъ? Тутъ лѣнь, апатія, тамъ ложь и ограниченность, — силы, мощи нигдѣ; развѣ у нѣсколькихъ мучениковъ, умершихъ за людей, не принося имъ никакой пользы; у нѣсколькихъ страдальцевъ, распинающихся за толпу, готовыхъ отдать кровь, голову и принужденныхъ беречь то и другое, видя хоръ, которому не нужны эти жертвы.

Потерянные безъ дѣла въ этомъ мірѣ, который рушился со всѣхъ сторонъ, оглушенные бессмысленными спорами, ежедневными оскорбленіями, — мы предавались горю и отчаянію, намъ хотѣлось одного — сложить гдѣ-нибудь усталую голову, не справляясь о томъ, есть-ли сновидѣніе, или нѣтъ.

Но жизнь взяла свое, и вмѣсто отчаянія, вмѣсто желанія гибели, я теперь хочу жить; я не хочу больше признавать себя въ такой зависимости отъ міра, не хочу оставаться на всю жизнь у изголовья умирающаго вѣчнымъ плакальщикомъ.

Неужели въ насъ самихъ совершенно ничего нѣтъ и мы только и были чѣмъ-нибудь — этимъ міромъ, въ немъ, такъ что теперь,

¹⁾ Съ другой стороны, между Европой Григорія VII, Мартина Лютера, конвента, Наполеона, не смерть, а развитіе, видоизмѣненіе, ростъ; вотъ отчего всѣ попытки античныхъ реакцій (Бранкалеоне, Ріензи) были невозможны, а монархическія реставраціи въ новой Европѣ такъ легки.

когда онъ, попорченный совѣмъ иными законами, гибнетъ, намъ нѣтъ другого занятія, какъ печально сидѣть на его развалинахъ, другого значенія, какъ служить ему надгробнымъ памятникомъ?

Довольно грустить. Мы отдали міру, что ему принадлежало, мы не скупились, отдавъ ему лучшіе годы наши, полное, сердечное участіе; мы страдали больше него его страданіями. Теперь оботремъ слезы и будемъ мужественно смотрѣть на окружающее. Чтобы намъ, наконецъ, ни представило оно, перенести можно, *должно*. Худшее пережили, а пережитое несчастье—несчастье оконченное. Мы успѣли ознакомиться съ нашимъ положеніемъ, мы ни на что не надѣемся, ничего не ждемъ, или, пожалуй, ждемъ всего; это сводится на одно. Намъ можетъ многое оскорбить, сломать, убить,—удивить *ничего*... или всѣ наши думы и слова были только на губахъ.

Корабль идетъ ко дну. Страшна была минута сомнѣнія, когда рядомъ съ опасностію были надежды; теперь положеніе ясно, корабль не можетъ быть спасенъ, остается гибнуть или спасать себя. Долой съ корабля, на лодки, бревна.—пусть каждый пытается свое счастье, пробуетъ свои силы. Point d'honneur моряковъ намъ не идетъ.

Вонъ изъ душевной комнаты, гдѣ оканчивается длинная, бурная жизнь! Выйдемъ на чистый воздухъ изъ тяжелой, заразной атмосферы, на поле изъ больничной палаты. Много найдется мастеровъ балзамировать покойника; еще больше червей, которые поживутъ на счетъ гнили. Оставимъ имъ трупъ, не потому что они хуже или лучше насъ, а потому что они этого хотятъ, а мы не хотимъ; потому что они въ этомъ живутъ, а мы страдаемъ. Отойдемъ свободно и безкорыстно, зная, что намъ нѣтъ наслѣдства, и не нуждаясь въ немъ.

Въ старыя годы этотъ гордый разрывъ съ современностію называли бы *бѣгствомъ*; неизлечимые романтики и теперь, послѣ всего ряда событій, совершившихся передъ ихъ глазами, назовутъ его такъ.

Но свободный человѣкъ не можетъ бѣжать, потому что онъ зависитъ только отъ своихъ убѣжденій и больше ни отъ чего; онъ имѣетъ право оставаться или идти, вопросъ можетъ быть не о бѣгствѣ, а о томъ, свободенъ-ли человѣкъ, или нѣтъ?

Сверхъ того, слово *бѣгство* становится невыразимо смѣшно, обращенное къ тѣмъ, которые имѣли несчастье заглянуть дальше, уйти впередъ больше, нежели надобно другимъ, и не хотятъ воротиться. Они могли бы сказать людямъ à la Coriolan, не мы бѣжимъ, а вы отстаєте, но то и другое нелѣпо. Мы дѣлаемъ свое, люди, окружающіе насъ, свое. Развитіе лица и массъ дѣлается такъ, что они не могутъ взять всей отвѣтственности на себя за послѣдствія. Но извѣстная степень развитія, какъ бы она ни слу-

чилась и чѣмъ бы ни была приведена, — обязываетъ. Отрекаться отъ своего развитія значитъ отречься отъ самихъ себя.

Человѣкъ свободнѣе, нежели обыкновенно думаютъ.

Онъ много зависитъ отъ среды, но не настолько, какъ кабалить себя ей. Большая доля нашей судьбы лежитъ въ нашихъ рукахъ, стоитъ понять ее и не выпускать изъ рукъ. Понявши, люди допускаютъ окружающій міръ насиловать ихъ, увлекать противъ воли; они отрекаются отъ своей самобытности, опираясь во всѣхъ случаяхъ не на себя, а на него, затягивая крѣпче и крѣпче узы, связующіе съ нимъ. Они ожидаютъ отъ міра всего добра и зла въ жизни, они надѣются на себя, на послѣднихъ. При такой ребяческой покорности, роковая сила внѣшняго становится непреодолимой, вступить съ нею въ борьбу кажется человѣку безуміемъ. А между тѣмъ грозная мощь эта блѣднѣетъ съ того мгновенія, какъ въ душѣ человѣка, вмѣсто самоотверженія и отчаянія, вмѣсто страха и покорности, возникаетъ простой вопросъ: «въ самомъ ли дѣлѣ онъ такъ скованъ на жизнь и смерть со средою, что онъ и тогда не имѣетъ возможности отъ нея освободиться, когда дѣйствительно съ нею распался, когда ему ничего не нужно отъ нея, когда онъ равнодушенъ къ ея дарамъ?»

Я не говорю, чтобъ этотъ протестъ во имя независимости и самобытности лица былъ легокъ. Онъ не даромъ вырывается изъ груди человѣка, ему предшествуютъ или долгія личныя испытанія и несчастія, или тѣ тяжелыя эпохи, когда человѣкъ тѣмъ больше расходится съ міромъ, чѣмъ глубже его понимаетъ, когда всѣ узы, связующіе его съ внѣшнимъ, превращаются въ цѣпи, когда онъ чувствуетъ себя правымъ въ противоположность событіямъ и массамъ, когда онъ сознаетъ себя соперникомъ, чужимъ, а не членомъ большой семьи, къ которой принадлежитъ.

Внѣ насъ все измѣняется, все забывается, мы стоимъ на краю пропасти и видимъ, какъ онъ осыпается: сумерки наступаютъ и ни одной путеводной звѣзды не является на небѣ. Мы не сыщемъ гавани иначе, какъ въ насъ самихъ, въ сознаніи нашей безпредѣльной свободы, нашей самодержавной независимости. Спасая себя такимъ образомъ, мы становимся на ту мужественную и широкую почву, на которой только и возможно развитіе свободной жизни въ обществѣ,—если оно вообще возможно для людей.

Когда бы люди захотѣли вмѣсто того, чтобъ спасать міръ, спастись себя, вмѣсто того, чтобъ освободить человѣчество, себя освободить, — какъ много бы они сдѣлали для спасенія міра и для освобожденія человѣка.

Зависимость человѣка отъ среды, отъ эпохи не подлежитъ никакому сомнѣнію. Она тѣмъ сильнѣе, что половина узъ укрѣпляется за спиною сознанія; тутъ есть связь фізіологическая, противъ ко-

торой рѣдко могутъ бороться воля и умъ; тутъ есть элементъ наследственный, который мы приносимъ съ рожденіемъ, такъ, какъ черты лица, и который составляетъ круговую поруку послѣдняго поколѣнія съ рядомъ предшествующихъ; тутъ есть элементъ морально-физиологическій, воспитаніе, прививающее чело­вѣку исторію и современность. наконецъ, элементъ сознательный. Среда, въ которой чело­вѣкъ родился, эпоха, въ которой онъ живетъ, его тянетъ участвовать въ томъ, что дѣлается вокругъ него, продолжать начатое его отцами; ему естественно привязываться къ тому, что его окружаетъ, онъ не можетъ не отражать въ себѣ, собою своего времени, своей среды.

Но тутъ въ самомъ образѣ отраженія является его самобытность. Противодѣйствіе, возбуждаемое въ чело­вѣкѣ окружающимъ, отвѣтъ его личности на вліяніе среды. Отвѣтъ этотъ можетъ быть полонъ сочувствія, такъ, какъ полонъ противорѣчія. Нравственная независимость чело­вѣка такая же непреложная истина и дѣйствительность, какъ его зависимость отъ среды, съ тою разницей, что она съ ней въ обратномъ отношеніи: чѣмъ больше сознанія, тѣмъ больше самобытности; чѣмъ меньше сознанія, тѣмъ связь съ средою тѣснѣе, тѣмъ больше среда поглощаетъ лицо. Такъ истиннѣе, безъ сознанія, не достигаетъ истинной независимости, а самобытность является или какъ дикая свобода звѣря, или въ тѣхъ рѣдкихъ судорожныхъ и непослѣдовательныхъ отрицаніяхъ той или другой стороны общественныхъ условій, которыя называютъ преступленіями.

Сознаніе независимости не значить еще распаденіе съ средою, самобытность не есть еще вражда съ обществомъ. Среда не всегда относится одинакимъ образомъ къ міру и, слѣдственно, не всегда вызываетъ со стороны лица отпоръ.

Есть эпохи, когда чело­вѣкъ свободенъ въ *общемъ дѣлѣ*. Дѣятельность, къ которой стремится всякая энергическая натура, совпадаетъ тогда съ стремленіемъ общества, въ которомъ она живетъ. Въ такія времена—тоже довольно рѣдкія—все бросается въ круговоротъ событій. живетъ въ немъ, страдаетъ, наслаждается, гибнетъ. Однѣ натуры своеобразно гениальныя, какъ Гёте, стоятъ поодаль, и натуры пошло безцвѣтныя остаются равнодушными. Даже тѣ личности, которыя враждуютъ противъ общаго потока, также увлечены и удовлетворены въ настоящей борьбѣ. Эмигранты были столько же поглощены революціей, какъ яacobинцы. Въ такое время нѣтъ нужды толковать о самопожертвованіи и преданности,—все это дѣлается само собою и чрезвычайно легко. Никто не отступаетъ, потому что всѣ вѣрятъ. Жертвъ собственно нѣтъ. жертвами кажутся зрителямъ такія дѣйствія, которыя составляютъ простое исполненіе воли, естественный образъ поведенія.

Есть другія времена—и они всего обыкновеннѣе—времена мирныя, сонныя даже, въ которыя отношенія личности къ средѣ *продолжаются*, какъ они были поставлены послѣднимъ переворотомъ. Они не настолько натянуты, чтобъ лопнуть, не настолько тяжелы, чтобъ нельзя было вынести, и, наконецъ, не настолько исключительны и настойчивы, чтобъ жизнь не могла восполнить главные недостатки и сгладить главные шереховатости. Въ такія эпохи вопросъ о связи общества съ человѣкомъ не такъ занимаетъ. Являются частныя столкновенія; трагическія катастрофы, вовлекающія въ гибель нѣсколько лицъ; раздаются титаническіе стоны скованнаго человѣка; но все это теряется безслѣдно въ учрежденномъ порядкѣ, признанныя отношенія остаются неизмѣнными, покоятся на привычкѣ, на человѣческомъ безпечьи, на лѣни, на недостаткѣ демоническаго начала критики и ироніи. Люди живутъ въ частныхъ интересахъ, въ семейной жизни, въ ученой, индустриальной дѣятельности, судятъ и рядятъ, воображая, что дѣлаютъ дѣло, усердно работаютъ, чтобъ устроить судьбу дѣтей; дѣти, съ своей стороны, устриваютъ судьбу своихъ дѣтей, такъ что существующія личности и настоящее какъ будто стираются и признаютъ себя чѣмъ-то переходнымъ. Подобное время продолжается до сихъ поръ въ Англіи.

Но есть еще и третьяго рода эпохи, очень рѣдкія и самыя скорбныя.

Эпохи, въ которыя общественныя формы, переживши себя, медленно и тяжело гибнутъ; исключительная цивилизація достигаетъ не только высшаго предѣла, но даже выходитъ изъ круга возможностей, данныхъ историческимъ бытомъ, такъ, что, повидимому, она принадлежитъ будущему, а въ сущности равно отрѣшена отъ прошедшаго, которое она презираетъ, и отъ будущаго, развивающагося по инымъ законамъ. Вотъ тутъ-то и сталкивается лицо съ обществомъ. Прошедшее является, какъ безумный отпоръ. Насиліе, ложь, свирѣпость, корыстное раболѣпство, ограниченность, потеря всякаго чувства человѣческаго достоинства, становится общимъ правиломъ большинства. Все доблестное былого уже исчезло, дряхлый міръ самъ не вѣрится въ себя и отчаянно защищается, потому что боится, изъ самосохраненія забываетъ своихъ боговъ, попираетъ ногами права, на которыхъ держался, отрекается отъ образованія и чести, становится звѣремъ, преслѣдуетъ, казнить, и между тѣмъ сила остается въ его рукахъ; ему повинуются не изъ одной трусости, но изъ того, что съ другой стороны все шатко, ничего не рѣшено, не готово—и главное, что люди не готовы. Съ другой стороны, незнакомое будущее восходитъ на горизонтъ, покрытомъ тучами, будущее, смущающее всякую человѣческую логику. Вопросъ римскаго міра разрѣшается

христіанствомъ, религіей, съ которой свободный человѣкъ гибнущаго Рима такъ же мало имѣлъ связи, какъ съ политеизмомъ. Человѣчество, для того, чтобъ двинуться впередъ изъ узкихъ формъ римскаго права, отступаетъ въ германское варварство.

Тѣ изъ римлянъ, которые отъ тягости жизни, гонимые тоской, страхомъ, бросились въ христіанство, спаслись; но развѣ тѣ, которые не меньше страдали, но были тверже характеромъ, достойны порицанія? Могли ли они съ Юліаномъ Отступникомъ стать за старыхъ боговъ или съ Константиномъ за новыхъ? Могли ли они участвовать въ современномъ дѣлѣ, видя куда идетъ духъ времени? Въ такія эпохи свободному человѣку легче одичать въ отчужденіи отъ людей, нежели идти съ ними по одной дорогѣ, ему легче лишить себя жизни, нежели пожертвовать ее.

Неужели человѣкъ менѣе правъ оттого, что съ нимъ никто не согласенъ? Да развѣ умъ нуждается другой повѣрки, какъ умомъ? И съ чего же всеобщее безуміе можетъ опровергнуть личное убѣжденіе?

Мудрѣйшіе изъ римлянъ сошли совсѣмъ со сцены и превосходно сдѣлали. Они разсѣлись по берегамъ Средиземнаго моря, пропали для другихъ въ безмолвномъ величіи скорби, но не пропали для себя, — и черезъ пятнадцать столѣтій мы должны сознаться, что собственно они были побѣдители, они единственные, свободные и мощные представители независимой личности человѣка, его достоинства. Они были *люди*, ихъ нельзя было считать поголовно, они не принадлежали къ стаду и не хотѣли лгать, а не имѣя съ нимъ ничего общаго, — отошли.

А что у насъ общаго съ міромъ, насъ окружающимъ? Нѣсколько лицъ, связанныхъ съ нами одними убѣжденіями, три добродѣтельные человѣка Содомы и Гоморы, они въ томъ же положеніи, какъ мы, они составляютъ протестующее меньшинство, сильное мыслію, слабое дѣйствіемъ. Кромѣ ихъ, у насъ съ современнымъ міромъ не больше дѣятельной связи, какъ съ Китаемъ (я на сію минуту опускаю фізіологическую связь и привычку). Это до того справедливо, что даже въ тѣхъ рѣдкихъ случаяхъ, когда люди произносятъ одни и тѣ же слова съ нами, они ихъ понимаютъ розно. Хотите ли вы *свободы* монтаньяровъ, *порядка* законодательнаго собранія, египетскаго устройства работъ коммунистовъ?

Теперь всѣ играютъ съ раскрытыми картами и самая игра чрезвычайно упростилась, ошибаться нельзя, на каждомъ клочкѣ Европы та же борьба, тѣ же два стана. Вы ясно, вполне чувствуете, противъ котораго вы; но чувствуете ли вы также ясно связь вашу съ другимъ станомъ — какъ отвращеніе и ненависть къ первому?..

Время откровенности пришло, свободные люди не обманывают ни себя, ни другихъ, всякая пощада ведетъ къ чему-то ложному, косому.

Прошедшій годъ, чтобъ достойно окончиться и исполнить мѣру вѣхъ нравственныхъ оскорбленій и пытокъ, представилъ намъ страшное зрѣлище: борьбу *свободнаго челоѵтка съ освободителями челоѵчества*. Смѣлая рѣчь, ѣдкій скептицизмъ, беспощадное отрицаніе, неумолимая иронія Прудона возмутила записныхъ революціонеровъ не меньше консерваторовъ, они напали на него съ ожесточеніемъ, они стали за свои преданія съ неподвижностью легитимистовъ, они испугались его атеизма и его анархіи, они не могли понять, какъ можно быть свободнымъ безъ государства, безъ демократическаго правленія; они съ удивленіемъ слушали безнравственную рѣчь, что республика для людей, а не лица для республики. И когда у нихъ не достало ни логики, ни краснорѣчія, они объявили Прудона подозрительнымъ, они его предали революціонной анаемѣ, отлучая отъ православнаго единства своего. Талантъ Прудона и звѣрство полиціи спасли его отъ клеветы. Уже гнусное обвиненіе въ предательствѣ ходило изъ устъ въ уста демократической черни, когда онъ бросилъ свои знаменитыя статьи въ президента, который не нашелъ лучшаго отвѣта, оглушенный ударомъ, какъ тѣснить колодника, запертаго за мысль и слово. Видя это, толпа примирилась.

И вотъ вамъ крестовые рыцари свободы, привилегированные освободители челоѵчества! Они боятся свободы; имъ надобенъ господинъ для того, чтобъ не избаловаться, имъ нужна власть, потому что они не довѣряютъ себѣ. Мудрено ли послѣ того, что горсть людей, переселившаяся съ Кабе въ Америку, едва устроилась во временныхъ шалашахъ, какъ всѣ неудобства европейской государственной жизни обличились въ ихъ средѣ.

При всемъ этомъ, *они* современнѣ насъ, полезнѣ насъ, потому что ближе къ дѣлу, они найдутъ больше сочувствія въ массахъ, они нужнѣ. Массы хотятъ остановить руку, нагло вырывающую у нихъ кусокъ хлѣба, заработанный ими,—это ихъ главная потребность. Къ личной свободѣ, къ независимости слова, онѣ равнодушны; массы любятъ авторитетъ, ихъ еще ослѣпляетъ блескъ власти, ихъ еще оскорбляетъ челоѵкъ, стоящій независимо; онѣ подъ равенствомъ понимаютъ равномѣрный гнетъ, боясь монополей и привилегій, онѣ косо смотрятъ на талантъ и не позволяютъ, чтобъ челоѵкъ не дѣлалъ того же, что они дѣлаютъ. Массы желаютъ соціального правительства, которое бы управляло ими для нихъ, а не противъ нихъ, какъ теперешнее. Управляются самимъ—имъ и въ голову не приходитъ. Вотъ отчего *освободители* гораздо ближе къ современнымъ переворотамъ, нежели вся-

кій *свободный человекъ*. Свободный человекъ можетъ быть вовсе ненужный человекъ; но изъ этого не слѣдуетъ, что онъ долженъ поступать противъ своихъ убѣжденій.

Но, скажете вы, надобно себя умѣрить. Сомнѣваюсь, чтобъ изъ этого вышло что-нибудь; когда человекъ и весь отдается дѣлу, онъ немного производитъ, что же онъ сдѣлаеть, когда намѣренно отниметь половину своихъ силъ и органовъ. Посадите Прудона министромъ финансовъ, президентомъ, онъ будетъ Бонапартомъ въ другую сторону. Этотъ находится въ безпрестанномъ колебаніи, нерѣшительности, оттого, что онъ помѣшанъ на императорствѣ. Прудонъ будетъ также въ постоянномъ недоумѣніи, потому что существующая республика ему столько же противна, какъ Бонапарту, а республика социальная теперь гораздо менѣ возможна, нежели имперія.

Впрочемъ, тотъ, кто, чувствуя внутреннее несогласіе, хочетъ или можетъ откровенно участвовать въ бою партій; у кого нѣтъ потребности идти своей дорогой, видя, что дорога другихъ идетъ не туда; кто не думаетъ, что лучше заблудиться, совсѣмъ пропасть, нежели уступить свою истину,—тотъ пусть дѣйствуетъ съ другими. Онъ даже сдѣлаеть очень хорошо, потому что нѣтъ чего другого, а освободители рода человѣческаго стащутъ вмѣстѣ съ собою въ пропасть старыя формы монархической Европы; я признаю право столько же желающему дѣйствовать, сколько и желающему отстраниться; на то будетъ его воля, и объ этомъ у насъ не идетъ рѣчи.

Я очень радъ, что коснулся этого смутнаго вопроса, этой самой прочной цѣпи изъ всѣхъ, которыми человекъ скованъ; самой прочной потому, что онъ или не чувствуетъ ея насилія, или, еще хуже, признаетъ ее безусловно справедливой. Посмотримъ, не перержавѣла ли и она?

Подчиненіе личности обществу, народу, человечеству, идеѣ — продолженіе человѣческихъ жертвоприношеній, закланіе агнца для примиренія Бога, распятіе невиннаго за виновныхъ. Лицо, истинная, дѣйствительная монада общества, было всегда пожертвовано какому-нибудь общему понятію, собирательному имени, какому-нибудь знамени. Для кого работали, кому жертвовали, кто пользовался, кого освобождали, уступая свободу лица, — объ этомъ никто не спрашивалъ. Всѣ жертвовали (по крайней мѣрѣ на словахъ) самихъ себя и другъ друга.

Не мѣсто здѣсь разбирать, насколько неразвитость народовъ оправдывала такія мѣры воспитанія. Вѣроятно, онѣ были естественны и необходимы, мы ихъ встрѣчаемъ вездѣ, но мы можемъ смѣло сказать, что если онѣ и привели къ великимъ результатамъ, то навѣрное настолько же замедлили ходъ развитія, искажая умъ

ложнымъ представленіемъ. Я вообще мало вѣрю въ пользу лжи, особенно когда въ нее не вѣрятъ больше: весь этотъ макиавеллизмъ, вся риторика мнѣ кажется больше аристократическою потѣхою для проповѣдниковъ и правоучителей.

Общая основа воззрѣнія, на которомъ такъ прочно держится нравственная неволя человѣка и «приниженіе» его личности, почти вся въ дуализмѣ, которымъ проникнуты всѣ наши сужденія.

Главный пріемъ его состоитъ въ томъ, чтобъ раздѣлять на мнимыя противоположности то, что дѣйствительно нераздѣльно, на пр. тѣло и духъ; враждебно противопоставлять эти отвлеченія и неестественно мирить то, что соединено неразрывнымъ единствомъ.

Въ дуализмѣ идеализмъ беретъ сторону одной тѣни противъ другой, отдавая монополъ духу надъ веществомъ, роду надъ недѣлимимъ, жертвуя такимъ образомъ человѣка государству, государство человѣчеству.

Вообразите теперь весь хаосъ, вносимый въ совѣсть и умъ людей, которые съ дѣтскихъ лѣтъ ничего другого не слыхали. Дуализмъ до того исказилъ всѣ простѣйшія понятія, что имъ надобно дѣлать большія усилія, чтобъ усвоить истины, ясныя какъ день. Нашъ языкъ—языкъ дуализма, наше воображеніе не имѣетъ другихъ образовъ, другихъ метафоръ. Полторы-тысячи лѣтъ все учившее, проповѣдывавшее, писавшее, дѣйствовавшее было пропитано дуализмомъ, и едва нѣсколько человѣкъ въ концѣ XVIII в. стали въ немъ сомнѣваться, но и сомнѣваясь продолжали изъ приличія, а долею и отъ страха говорить его языкомъ.

Само собою разумѣется, что вся наша нравственность вышла изъ того же начала. Нравственность эта требовала постоянной жертвы, непрерывнаго подвига, непрерывнаго самоотверженія. Оттого по большей части правила ея и не исполнялись никогда. Жизнь несравненно упорнѣе теорій, она идетъ независимо отъ нихъ и молча побѣждаетъ ихъ. Полнѣе возраженія на принятую мораль не можетъ быть, какъ такое практическое отрицаніе; но люди спокойно живутъ въ этомъ противурѣчій, они привыкли къ нему вѣками. Натянутыя цивическія добродѣтели замѣнили натянутое ханжество; отсюда—театральное одушевленіе на римскій ладь и на маперъ христіанскихъ мучениковъ и феодальныхъ рыцарей.

Практическая жизнь и тутъ идетъ своимъ чередомъ, нисколько не занимаясь героической моралью.

Но напасть на нее никто не смѣетъ, и она держится, съ одной стороны, на какомъ то тайномъ соглашеніи пощады и уваженія, какъ республика Сан-Марино; съ другой стороны, на нашей трусости, безхарактерности, на ложномъ стыдѣ и на нравственной

неволѣ нашей. Мы боимся обвиненія въ безнравственности и это насъ держитъ въ уздѣ. Мы повторяемъ моральныя бредни, слышанныя нами, не придавая имъ никакого смысла, но и не возражая противъ нихъ. Уваженіе, втѣсняемое намъ страхомъ дикихъ криковъ толпы, превращается до того въ привычку, что мы съ удивленіемъ, съ негодованіемъ смотримъ на дерзость откровеннаго и свободнаго человѣка, который смѣетъ сомнѣваться въ истинѣ этой риторики.

Такимъ образомъ составила условная нравственность, условный языкъ; имъ мы передаемъ вѣру въ ложныхъ боговъ нашимъ дѣтямъ, обманываемъ ихъ, такъ, какъ насъ обманывали родители, и такъ, какъ наши дѣти будутъ обманывать своихъ до тѣхъ поръ, пока переворотъ не покончитъ со всѣмъ этимъ міромъ лжи и притворства.

Я, наконецъ, не могу выносить равнодушно эту вѣчную риторику патріотическихъ и филантропическихъ разглагольствованій, не имѣющихъ никакого вліянія на жизнь. Много ли найдется людей, готовыхъ пожертвовать жизнію за то чтобы то ни было? Конечно, немного, но все же больше, нежели тѣхъ, которые имѣютъ мужество сказать, что «Mourir pour la patrie» не есть въ самомъ дѣлѣ верхъ человѣческаго счастья и что гораздо лучше, если и отечество и самъ человѣкъ останутся цѣлы.

Какія мы дѣти, какіе мы еще рабы, и какъ весь центръ тяжести, точка опоры нашей воли, нашей нравственности—внѣ насъ!

Ложь эта не только вредна, но унизительна, она оскорбляетъ чувство собственного достоинства, развращаетъ поведеніе; надобно имѣть силу характера говорить и дѣлать одно и то же; и вотъ почему люди должны признаваться на словахъ въ томъ, въ чемъ признаются ежедневно жизнію. Можетъ эта чувствительная болтовня и была сколько-нибудь полезна во времена большаго дикія, такъ, какъ внѣшняя учтивость, но теперь она обезсиливаетъ, усыпляетъ, сбиваетъ столку. Довольно времени позволили мы безнаказанно декламировать всѣ эти риторическія упражненія, составленныя изъ подогрѣтаго христіанства, разбавленнаго мутной водой рационализма и паточнымъ растворомъ филантропіи. Пора, наконецъ, разобрать эти Сивилинскія книги, пора потребовать отчета у нашихъ учителей.

Какой смыслъ всѣхъ разглагольствованій противъ эгоизма, индивидуализма?—Что такое эгоизмъ?—Что такое *братство*.— Что такое индивидуализмъ?—И что любовь къ человѣчеству?

Разумѣется, люди эгоисты, потому что они лица; какъ же быть самимъ собою, не имѣя рѣзкаго сознанія своей личности. Лишить человѣка этого сознанія значитъ распутить его, сдѣлать существомъ прѣснымъ, стертымъ, безхарактернымъ. Мы эгоисты,—и по

тому добиваемся независимости, благосостоянія, признанія нашихъ правъ, потому жаждемъ любви, ищемъ дѣятельности... и не можемъ отказывать безъ явнаго противорѣчія въ тѣхъ же правахъ другимъ.

Проповѣдь индивидуализма разбудила, вѣкъ тому назадъ, людей отъ тяжелаго сна, въ который они были погружены подъ вліяніемъ католическаго мака. Она вела къ свободѣ, такъ, какъ смиреніе ведетъ къ покорности. Писанія эгоиста Вольтера больше сдѣлали для освобожденія, нежели писанія любящаго Руссо для братства.

Моралисты говорятъ объ эгоизмѣ, какъ о дурной привычкѣ, не спрашивая, можетъ ли человѣкъ быть человѣкомъ, утративъ живое чувство личности, и не говоря, что за замѣна ему будетъ въ «братствѣ» и въ «любви къ человѣчеству», не объясняя даже, почему слѣдуетъ брататься со всѣми и что за долгъ любить всѣхъ на свѣтѣ? Мы равно не видимъ причины ни любить, ни ненавидѣть что-нибудь только потому, что оно существуетъ. Оставьте человѣка свободнымъ въ своихъ сочувствіяхъ, онъ найдетъ кого любить и съ кѣмъ быть братомъ, на это ему не нужно ни заповѣди, ни приказа; если же онъ не найдетъ, это его дѣло и его несчастіе.

Дѣло просто въ томъ что эгоизмъ и общественность не добродѣтели и не пороки; это основныя стихіи жизни человѣческой, безъ которыхъ не было бы ни исторіи, ни развитія, а была бы или разсыпчатая жизнь дикихъ звѣрей, или стада ручныхъ троглодитовъ. Уничтожьте въ человѣкѣ общественность,—и вы получите свирѣпаго Орангъ-Утанга; уничтожьте въ немъ эгоизмъ, и изъ него выйдетъ смиренное Жоко. Всего меньше эгоизма у рабовъ. Самое слово «эгоизмъ» не имѣетъ въ себѣ полнаго содержанія. Есть эгоизмъ узкій, животный, грязный, такъ, какъ есть любовь грязная, животная, узкая. Дѣйствительный интересъ совсѣмъ не въ томъ, чтобъ убивать на словахъ эгоизмъ и подхваливать братство, оно его не пересилить, а въ томъ, чтобъ сочетать гармонически, свободно эти два неотъемлемыя начала жизни человѣческой.

Какъ существо общежительное, человѣкъ стремится любить, и на это ему вовсе не нужно приказа. Ненавидѣть себя совсѣмъ не нужно. Моралисты считаютъ всякое нравственное дѣйствіе до того противнымъ натурѣ человѣческой, что ставятъ въ великое достоинство всякій добрый поступокъ, и потому-то они братство вмѣняютъ въ обязанность, какъ соблюденіе постовъ, какъ умерщвленіе плоти. Послѣдняя форма религіи рабства основана на раздвоеніи общества и человѣка, на мнимой враждѣ ихъ.

Гармонія между лицомъ и обществомъ не дѣлается разъ на

всегда, она *становится* каждымъ періодомъ, почти каждой страной и измѣняется съ обстоятельствами, какъ все живое. Общей нормы, общаго рѣшенія тутъ не можетъ быть. Мы видѣли, какъ въ инныя эпохи человѣку легко отдаваться средѣ и какъ въ другія только и можно *сохранить* связь разлукой, отходя, *унося все свое съ собою*. Не въ нашей волѣ измѣнять историческое отношеніе лица къ обществу, да по несчастію и не въ волѣ самого общества; но отъ насъ зависитъ быть современными, сообразными нашему развитію. словомъ, *творить* наше поведеніе въ отвѣтъ обстоятельствамъ.

Дѣйствительно свободный человѣкъ *создаетъ* свою нравственность. Это-то стоики и хотѣли сказать, говоря «что для мудраго нѣтъ закона». Превосходное поведеніе вчера можетъ быть прескверно сегодня. Незыблемой, вѣчной нравственности такъ же нѣтъ, какъ вѣчныхъ наградъ и наказаній. То, что дѣйствительно незыблемо въ нравственности, сводится на такія всеобщности, что въ нихъ теряется почти все частное, какъ, напримѣръ, что всякое дѣйствіе, противное нашимъ убѣжденіямъ, преступно или, какъ сказалъ Кантъ, что то дѣйствіе безнравственно, которое человѣкъ не можетъ обобщить, возвести въ правило.

Мы въ началѣ статьи совѣтовали не входить въ противорѣчіе съ собою, какъ бы дорого это ни стоило и перервать сношенія неистинныя, поддерживаемыя (какъ въ «Альфредѣ» Бенжаменъ Константа) ложнымъ стыдомъ, ненужнымъ самоотверженіемъ.

Таковы ли современные обстоятельства, какъ я ихъ представилъ, или нѣтъ,—это подлежитъ спору, и если вы мнѣ докажете противное, я съ благодарностію пожму вашу руку, вы будете мой благодѣтель. Быть можетъ, я увлекся и, мучительно изучая ужасы дѣлающіеся вокругъ, потерялъ способность видѣть свѣтлое. Я готовъ слушать, я хочу согласиться. Но если обстоятельства таковы, то нѣтъ мѣста спору.

«Итакъ, скажете вы, отдаться негодующему бездѣйствію, сдѣлаться чуждымъ всему, бесплодно роптать и сердиться, какъ сердятся старики, удалиться со сцены гдѣ кипитъ и несется жизнь, и доживать свой вѣкъ бесполезнымъ для другихъ и въ тягость себѣ».

Я не совѣтую браниться съ міромъ, а начать независимую, самобытную жизнь, которая могла бы найти въ себѣ самой спасеніе даже тогда, когда весь міръ, насъ окружающій, погибъ бы. Я совѣтую взглядѣться, идетъ ли въ самомъ дѣлѣ масса туда, куда мы думаемъ, что она идетъ, и идти съ нею или отъ нея, но зная ея путь; я совѣтую бросить книжныя мнѣнія, которыя намъ привили съ ребячества, представляя людей совѣмъ иными, нежели они есть. Я хочу прекратить «бесплодный ропотъ и капризное

неудовольствіе», хочу примирить съ людьми, убѣдивши, что они не могутъ быть лучше, что вовсе не ихъ вина, что они такіе.

Будетъ ли притомъ такая или другая внѣшняя дѣятельность, или никакой не будетъ, я не знаю. Да въ сущности это и неважно. Если вы сильны, если въ васъ есть не только что-нибудь годное, но что-нибудь глубоко шевелящее другихъ, оно не пропадетъ,— такова экономія природы. Сила ваша, какъ капли дрожжей, непременно взволнуетъ, заставитъ бродить все, подвергнувш ея влиянію; ваши слова, дѣла, мысли займутъ свое мѣсто, безъ особенныхъ хлопотъ. Если же у васъ нѣтъ такой силы или есть силы, не дѣйствующія на современнаго человѣка, и въ этомъ нѣтъ большой бѣды ни для васъ, ни для другихъ. Что мы за вѣчные комедіанты, за публичные мужчины! Мы живемъ не для того, чтобъ занимать другихъ, мы живемъ для себя. Большинство людей, всегда практическое, вовсе не печется о недостаткѣ *исторической* дѣятельности.

Вмѣсто того, чтобъ увѣрять народы, что они страстно хотятъ того, что мы хотимъ, лучше было бы подумать, хотятъ ли они на сію минуту чего-нибудь, и если хотятъ совсѣмъ другое, сосредоточиться, сойти съ рынка, отойти съ миромъ, не насилуя другихъ и не тратя себя.

Можетъ, это отрицательное дѣйствіе будетъ началомъ новой жизни. Во всякомъ случаѣ это будетъ добросовѣстный поступокъ.

Парижъ. Hôtel Mirabeau. 3 апрѣля. 1850 г.



РУССКОЙ НАРОДЪ И СОЦІАЛИЗМЪ. 1)

ПИСЬМО КЪ И. МИШЛЕ.

Милостивый государь!

Вы стоите слишкомъ высоко въ мнѣніи всѣхъ мыслящихъ людей, каждое слово, вытекающее изъ вашего благороднаго пера, принимается европейскою демократіею съ слишкомъ полнымъ и заслуженнымъ довѣріемъ, чтобы въ дѣлѣ, касающемся самыхъ глубокихъ моихъ убѣжденій, мнѣ было возможно молчать и оставить безъ отвѣта характеристику русскаго народа, помещенную вами въ вашей легендѣ о Костюшкѣ 2).

Этотъ отвѣтъ необходимъ и по другой причинѣ. Пора показать Европѣ, что, говоря о Россіи, говорятъ не объ отсутствующемъ, не о безотвѣтномъ, не о глухонѣмомъ.

Мы, оставившіе Россію только для того, чтобы свободное русское слово раздалось, наконецъ, въ Европѣ,—мы тутъ на лицо, и считаемъ долгомъ подать свой голосъ, когда человѣкъ, вооруженный огромнымъ и заслуженнымъ авторитетомъ утверждаетъ, «что

1) Этой статьѣ въ заграничномъ изданіи предпослано слѣдующее замѣчаніе отъ издателя:

Письмо это, напечатанное въ первый разъ въ Ниццѣ въ 1851 г., было только извѣстно въ Пьемонтѣ и въ Швейцаріи. Въ Марсель французская полиція захватила почти все изданіе и по странной разсѣяности забыла отослать его назадъ, несмотря на требованія.

3. Свентославскій издалъ его вторымъ тисненіемъ въ Жерсе въ 1854.

Желая послѣдовательно издать всѣ сочиненія г. Герцена, писанныя на другихъ языкахъ, въ русскомъ переводѣ, я издаю это письмо вслѣдъ за письмами къ В. Линтону (*Старый міръ и Россія*).

Переводъ, по моей просьбѣ, былъ пересмотрѣнъ авторомъ.

Н. Трюбнеръ.

20 марта. 1858.

2) Въ фельетонѣ журнала l'Événement, отъ 18 августа до 17 сентября 1851.—Послѣ этого легенда о Костюшкѣ вошла въ особо изданный томъ сочиненій Мишле подъ заглавіемъ «Демократическихъ легендъ».

Россія не существуетъ, что русскіе не люди, что они лишены нравственнаго смысла».

Если вы разумѣете Россію официальную, то вамъ и книги въ руки. Мы соглашаемся впередъ совѣмъ, что вы намъ скажете. Не намъ тутъ играть роль заступника.

Но не объ одномъ официальномъ обществѣ идетъ рѣчь въ нашемъ трудѣ; вы затрагиваете вопросъ болѣе глубокой; вы говорите о самомъ народѣ.

Бѣдный русскій народъ! Некому возвысить голосъ въ его защиту! Посудите сами, могу ли я, по совѣсти, молчать.

Русскій народъ, милостивый государь, живъ, здоровъ и даже не старъ, напротивъ того, очень молодъ. Умираютъ люди и въ молодости, это бываетъ, но это не нормально.

Прошлое русскаго народа темно; его настоящее ужасно, но у него есть права на будущее. Онъ не *открытъ* въ свое настоящее положеніе, онъ имѣетъ дерзость тѣмъ болѣе ожидать отъ времени, чѣмъ менѣе оно дало ему до сихъ поръ.

Самый трудный для русскаго народа періодъ приближается къ концу. Его ожидаетъ страшная борьба; къ ней готовятся его враги.

Великій вопросъ, to be, or not to be, скоро будетъ рѣшенъ для Россіи. Но грѣшно передъ борьбою отчаиваться въ успѣхѣ.

Русскій вопросъ принимаетъ огромные, страшные размѣры; онъ сильно озабочиваетъ всѣ партіи; но мнѣ кажется, что слишкомъ много занимаютъ Россіею официальной и слишкомъ мало Россіею народной.

Даже смотря на Россію только съ правительственной точки зрѣнія, не думаете ли вы, что не помѣшало бы познакомиться поближе съ этимъ неудобнымъ сосѣдомъ, который даетъ чувствовать себя во всей Европѣ? Русское правительство простирается до Средиземнаго моря своимъ покровительствомъ Оттоманской Портѣ, до Рейна своимъ покровительствомъ нѣмецкимъ своякамъ и дядямъ; до Атлантическаго океана своимъ покровительствомъ *по ряду* во Франціи.

Не мѣшало бы, говорю я, оцѣнить по достоинству этого всемірнаго покровителя, изслѣдовать, не имѣетъ ли это странное государство другого призванія кромѣ роли, принятой петербургскимъ правительствомъ.

Европа приближается къ страшному катаклизму. Средневѣковый міръ рушится. Міръ феодальный кончается. Политическія и религіозныя революціи изнемогаютъ подъ бременемъ своего безсилія; онѣ совершили великія дѣла, но не исполнили своей задачи. Онѣ разрушили вѣру, но не осуществили свободу; онѣ зажали въ сердцахъ желанія, которыхъ онѣ не въ силахъ испол-

нить. Парламентаризмъ, протестантизмъ, все это были лишь отстрочки, временное спасеніе, безсильные оплоты противъ смерти и возрожденія. Ихъ время минуло. Съ 1848 г. стали понимать, что ни оскостенѣлое римское право, ни хитрая казуистика, ни тощая деистическая философія, ни бесплодный религиозный раціонализмъ не въ силахъ отодвинуть совершеніе судебъ общества.

Гроза приближается, этого отвергать невозможно. Въ этомъ соглашаются люди революціи и люди реакціи. У всѣхъ закружилась голова; тяжелый, жизненный вопросъ лежитъ у всѣхъ на сердцахъ и сдавливаетъ дыханіе. Съ возрастающимъ безпокойствіемъ всѣ задаютъ себѣ вопросъ, достанетъ ли силы на возрожденіе старой Европѣ, этому дряхлому Протею, этому разрушающемуся организму. Со страхомъ ждуть отвѣта, и это ожиданіе ужасно.

Дѣйствительно, вопросъ страшный!

Сможетъ ли старая Европа обновить свою остывающую кровь и броситься стремглавъ въ это необозримое будущее, куда увлечаетъ ее необоримая сила, къ которому она несется безъ оглядки, къ которому путь идетъ, можетъ быть, черезъ развалины отцовскаго дома, черезъ обломки минувшихъ цивилизацій, черезъ погрязшія богатства новѣйшаго образованія?

Съ обѣихъ сторонъ вѣрно поняли всю важность настоящей минуты. Европа погружена въ глухой, душный мракъ наканунѣ рѣшительной битвы. Это не жизнь, а тяжкое, тревожное томленіе. Ни законности, ни правды, ни даже личины свободы; вездѣ неограниченное господство свѣтской инквизиціи; вмѣсто законнаго порядка—осадное положеніе. Одинъ нравственный двигатель управляетъ всѣмъ: страхъ, и его достаточно. Всѣ вопросы отступаютъ на второй планъ передъ всепоглащающимъ интересомъ реакціи. Правительства, повидимому, самыя враждебныя сливаются въ единую, вселенскую полицію. Среди этихъ сатурналій, среди этого шабаша реакціи, ничто не охраняетъ болѣе личности отъ произвола. Даже тѣ гарантіи, которыя существуютъ въ неразвитыхъ обществахъ, въ Китаѣ, въ Персіи, не уважаются болѣе въ столицахъ, такъ называемаго, образованнаго міра.

Едва вѣришь глазамъ. Неужели это та самая Европа, которую мы когда-то знали и любили?

Право, если бы не было свободной и гордой Англіи, «этого алмаза, оправленнаго въ серебро морей», какъ называетъ его Шекспиръ, если-бъ Швейцарія, какъ Петръ, убоявшись кесаря, отреклась отъ своего начала, если-бъ Пиемонтъ, эта уцѣлѣвшая вѣтка Итали, это послѣднее убѣжище свободы, загнанной за Альпы и не перешедшей Аппенины, если-бъ и они увлеклись примѣромъ сосѣдей, если-бъ и эти три страны заразились мертвящимъ духомъ, вѣющимъ изъ Парижа и Вѣны, можно было бы подумать,

что консерваторамъ уже удалось довести старый міръ до конечнаго разложенія, что во Франціи и Германіи уже наступили времена варварства.

Среди этого хаоса, среди этого предсмертнаго томленія и мучительнаго возрожденія, среди этого міра, распадающагося въ прахъ вокругъ колыбели, взоры невольно обращаются къ востоку.

Тамъ, какъ темная гора, вырѣзывающаяся изъ-за тумана, видѣется враждебное, грозное царство; порою кажется, оно идетъ какъ лавина на Европу, что оно, какъ нетерпѣливый наслѣдникъ, готово ускорить ея медленную смерть.

Это царство, совершенно неизвѣстное двѣсти лѣтъ тому назадъ, явилось вдругъ, безъ всякихъ правъ, безъ всякаго приглашенія, грубо и громко заговорило въ совѣтъ европейскихъ державъ, и потребовало себѣ доли въ добычѣ, собранной безъ его содѣйствія.

Никто не посмѣлъ возстать противъ его притязаній на вмѣшательство во всѣ дѣла Европы.

Карлъ XII попытался, но его до тѣхъ поръ непобѣдимый мечъ сломился; Фридрихъ II захотѣлъ воспротивиться посягательствамъ петербургскаго двора,—Кенигсбергъ и Берлинъ сдѣлались добычею сѣвернаго врага. Наполеонъ проникъ съ полумилліономъ войска въ самое сердце исполина и ухалъ одинъ украдкою, въ первыхъ попавшихся пошевняхъ. Европа съ удивленіемъ смотрѣла на бѣгство Наполеона, на несущіяся за нимъ въ погоню тучи казаковъ, на русскія войска, идущія въ Парижъ и подающія по дорогѣ нѣмцамъ милостыню—ихъ національной независимости. Съ тѣхъ поръ Россія налегла какъ вампиръ на судьбы Европы и стережетъ ошибки царей и народовъ. Вчера она чуть не раздавила Австрію, помогая ей противъ Венгріи, завтра она провозгласитъ Бранденбургъ русскою губерніею, чтобы успокоить берлинскаго короля.

Вѣроятно ли, что наканунѣ борьбы объ этомъ бойцѣ ничего не знаютъ? А между тѣмъ онъ уже стоитъ, грозный, въ полномъ вооруженіи, готовый переступить границу по первому зову реакціи. И при всемъ томъ, едва знаютъ его оружіе, цвѣтъ его знамени, и довольствуются его официальными рѣчами и неопредѣленными разногласными рассказами о немъ.

Иные говорятъ только о всемогуществѣ царя, о правительственномъ произволѣ, о рабскомъ духѣ подданныхъ; другіе утверждаютъ, напротивъ, что петербургскій имперіализмъ не народенъ, что народъ, раздавленный двойнымъ деспотизмомъ правительства и помѣщиковъ, несетъ ярмо, но не мирится съ нимъ, что онъ не уничтоженъ, а только несчастенъ и въ то же время говорятъ, что этотъ самый народъ придаетъ единство и силу колоссальному царству, которое давитъ его. Иные прибавляютъ, что русскій на-

родъ—*презрѣнный сбродъ* пьяницъ и плутовъ, другіе же увѣряютъ, что Россія населена способною и богато одаренною пороною людей.

Мнѣ кажется, есть что-то трагическое въ старческой разсѣянности, съ которою старый міръ спутываетъ всѣ свѣдѣнія объ своемъ противникѣ.

Въ этомъ сбродѣ противурѣчащихъ мнѣній проглядываетъ столько бессмысленныхъ повтореній, такая печальная поверхностность, такая закоснѣлость въ предрасудкахъ, что мы поневолѣ обращаемся за сравненіемъ къ временамъ паденія Рима.

Тогда, также наканунѣ переворота, наканунѣ побѣды варваровъ, провозглашали вѣчность Рима, безильное безуміе назареевъ и ничтожность движенія, начинавшагося въ варварскомъ мірѣ.

Вамъ принадлежитъ великая заслуга: вы первый во Франціи заговорили о русскомъ народѣ, вы невзначай коснулись самаго сердца, самаго источника жизни. Истина сейчасъ бы обнаружилась вашему взору, если-бъ въ минуту гнѣва вы не отдернули протянутой руки, если-бъ вы не отвернулись отъ источника, потому что онъ показался мутнымъ.

Я съ глубокимъ прискорбіемъ прочелъ ваши озлобленные слова. Печальный, съ тоскою въ сердцѣ, я признаюсь напрасно искалъ въ нихъ историка, философа, и прежде всего любящаго человѣка, котораго мы всѣ знаемъ и любимъ. Спѣшу оговориться; я вполне понялъ причину вашего негодованія; въ васъ заговорила симпатія къ несчастной Польшѣ. Мы также глубоко испытываемъ это чувство къ нашимъ братьямъ полякамъ. Любовь къ Польшѣ! Мы всѣ ее любимъ, но развѣ съ этимъ чувствомъ необходимо сопрягать ненависть къ другому народу? Будемъ великодушны, не забудемъ, что на нашихъ глазахъ народъ, вооруженный всѣми трофеями недавней революціи, согласился на возстановленіе порядка въ Римѣ; а сегодня... Взгляните сами, что происходитъ вокругъ васъ... а, вѣдь, мы не говоримъ еще, чтобы французы *перестали быть людьми*.

Пора забыть эту несчастную борьбу между братьями. Между нами нѣтъ побѣдителя. Ссылаюсь, какъ вы, на вашего друга, на великаго поэта Мицкевича.

Не говорите о мнѣніяхъ польскаго пѣвца, что «это милосердіе, святое заблужденіе». Нѣтъ, это плоды долгой и добросовѣстной думы, глубокаго пониманія судебъ славянскаго міра. Прощеніе враговъ — прекрасный подвигъ; но есть подвигъ еще болѣе прекрасный, еще больше человѣческій; это — пониманіе враговъ, потому что повиманіе разомъ прощеніе, оправданіе, примиреніе!

Славянскій міръ стремится къ единству; это стремленіе обнаружилось тотчасъ послѣ наполеоновскаго періода. Мысль о сла-

вянской федерации уже зарождалась въ революціонныхъ планахъ Пестеля и Муравьева.

Очень можетъ быть, что во время войны 1830 г. въ Польшѣ преобладало чувство исключительной національности и весьма понятной вражды. Но съ тѣхъ поръ дѣятельность Мицкевича, историческіе и филологическіе труды многихъ славянъ, болѣе глубокое знаніе европейскихъ народовъ, купленное тяжелою цѣною изгнанія, дали мыслямъ совсѣмъ другое направленіе.

Я провелъ пять лѣтъ въ ссылкѣ, въ отдаленныхъ губерніяхъ имперіи; много встрѣчалъ я тамъ ссыльныхъ поляковъ. Почти въ каждомъ уѣздномъ городѣ живетъ либо цѣлое семейство, либо одинъ изъ несчастныхъ воиновъ независимости. Я охотно сослался бы на ихъ свидѣтельство; конечно, они не могутъ пожаловаться на недостатокъ симпатіи со стороны мѣстныхъ жителей. Я могъ бы сослаться также на польскихъ студентовъ, посылаемыхъ ежегодно въ русскіе университеты; пусть они расскажутъ, какъ принимали ихъ русскіе товарищи. Они разставались съ нами со слезами на глазахъ.

Вы помните, что въ 1847 году въ Парижѣ, когда польскіе эмигранты праздновали годовщину своей революціи, на трибунѣ явился русскій, чтобы просить о дружбѣ и о забвеніи прошлаго. Это былъ нашъ несчастный другъ Бакунинъ... Впрочемъ, чтобы не ссылаться на соотечественниковъ, выбираю между тѣми, которыхъ считаютъ нашими врагами, человѣка, котораго вы сами называли въ вашей легендѣ о Костюшкѣ. Обратитесь за свѣдѣніями объ этомъ предметѣ къ одному изъ старѣйшинъ польской демократіи, къ Бернацкому, одному изъ министровъ революціонной Польши; я смѣло ссылаюсь на него, долгое горе, конечно, могло бы ожесточить его противъ всего русскаго. Я убѣжденъ, что онъ подтвердитъ все сказанное мною.

Солидарность, связывающая Россію и Польшу между собою и со всѣмъ славянскимъ міромъ, не можетъ быть отвергнута; она очевидна. Еще болѣе: внѣ Россіи, нѣтъ будущности для славянскаго міра; безъ Россіи, онъ не разовьется, онъ расплывается и будетъ поглощенъ германскимъ элементомъ; онъ сдѣлается австрійскимъ и потеряетъ свою самостоятельность. Но не такова, по нашему мнѣнію, его судьба, его назначеніе.

Слѣдуя за постепеннымъ развитіемъ вашей мысли, я долженъ вамъ признаться, что мнѣ невозможно согласиться съ вашимъ взглядомъ, по которому вся Европа представляетъ одну личность, въ которой каждая народность играетъ роль необходимаго органа.

Мнѣ кажется, что всѣ германо-романскія народности необходимы въ европейскомъ мірѣ, потому что онѣ существуютъ въ немъ вслѣдствіе какой-нибудь необходимости. Уже Аристотель отличалъ

предушествующую необходимость отъ необходимости, вносимой въ послѣдствіи фактовъ. Природа покоряется необходимости совершившихся событій, но колебаніе между разнообразными возможностями очень велико. На томъ же основаніи славянскій міръ можетъ предъавлять свои права на единство, тѣмъ болѣе, что онъ состоитъ изъ единого племени.

Централизація противна славянскому духу; федерализація гораздо свойственнѣе его характеру. Только сгруппировавшись въ союзъ свободныхъ и самобытныхъ народовъ, славянскій міръ вступить, наконецъ, въ истинно-историческое существованіе. На его прошлое можно смотрѣть только какъ на ростъ, на приготовленіе, на очищеніе. Историческія государственныя формы, въ которыхъ жили славяне, не соответствовали внутренней національной потребности ихъ, потребности неопредѣленной, инстинктивной, если хотите, но тѣмъ самымъ заявляющей необыкновенную жизненность и много общающей въ будущемъ. Славяне до сихъ поръ во всѣхъ фазахъ своей исторіи обнаруживали странное полувниманіе—даже удивительную симпатію. Такъ, Россія перешла изъ язычества въ христіанство безъ потрясеній, безъ возмущеній, единственно изъ покорности великому князю Владимиру, изъ подражанія Кіеву. Старыхъ идоловъ безъ сожалѣнія бросили въ Волховъ и покорились новому Богу.

Восемьсотъ лѣтъ спустя, часть Россіи точно также покорилась выписной изъ-за границы цивилизаціи.

Славянскій міръ похожъ на женщину, никогда не любившую и поэтому самому, повидимому, не принимающую никакого участія во всемъ происходящемъ вокругъ нея. Она вездѣ ненужна, всѣмъ чужая. Но за будущее отвѣчать нельзя; она еще молода, и уже странное томленіе овладѣло ея сердцемъ и заставляетъ его биться скорѣе.

Что касается до богатства народнаго духа, то намъ достаточно указать на поляковъ, единственный славянскій народъ, который бывалъ разомъ и силенъ, и свободенъ.

Славянскій міръ въ сущности не такъ разнороденъ, какъ кажется. Подъ внѣшнимъ слоемъ рыцарской, либеральной и католической Польши, императорской Россіи, подъ демократическимъ правленіемъ сербскаго воеводы, подъ бюрократическимъ ярмомъ, которымъ Австрія подавляетъ Иллирію, Далмацію и Банать, подъ патріархальною властію Османлисовъ и подъ благословеніемъ черногорскаго владыки, живетъ народъ фізіологически и этнографически тождественный.

Большая часть этихъ славянскихъ племенъ почти никогда не подвергалась поработенію вслѣдствіе завоеванія. Зависимость, въ которой такъ часто находились они, большею частію выражалась

только въ признаніи чужого владычества и во взносѣ дани. Таковъ, напримѣръ, былъ характеръ монгольскаго владычества въ Россіи. Такимъ образомъ, славяне сквозь длинный рядъ столѣтій сохранили свою національность, свои нравы, свой языкъ.

По всему вышесказанному, не имѣемъ ли мы право считать Россію зерномъ кристаллизаціи, тѣмъ центромъ, къ которому тяготеетъ стремящійся къ единству славянскій міръ, и это тѣмъ болѣе, что Россія покуда единственная часть великаго племени, сложившаяся въ сильное и независимое государство?

Отвѣтъ на этотъ вопросъ былъ бы совершенно ясенъ, если бы петербургское правительство сколько-нибудь догадывалось бы о своемъ національномъ призваніи.

Здѣсь логика необходимо приводитъ насъ къ вопросу перво-степенной важности.

Предположивъ, что славянскій міръ можетъ надѣяться въ будущемъ на болѣе полное развитіе, нельзя не спросить, который изъ элементовъ, выразившихся въ его зародышномъ состояніи, даетъ ему право на такую надежду? Если славяне считаютъ, что ихъ время пришло, то этотъ элементъ долженъ соответствовать революціонной идеѣ въ Европѣ.

Вы указали на этотъ элементъ, вы коснулись его, но онъ ускользнулъ отъ васъ, потому что состраданіе къ Польшѣ отвлекло ваше вниманіе.

Вы говорите, что «основаніе жизни русскаго народа есть коммунизмъ», вы утверждаете, что «его сила лежитъ въ аграрномъ законѣ, въ постоянномъ дѣленіи земли».

Какое страшное *мане-окекъ* вылетѣло изъ вашихъ устъ!... Коммунизмъ въ основаніи! Сила, основанная на раздѣлѣ земель! И вы не испугались вашихъ собственныхъ словъ?

Не слѣдовало ли тутъ остановиться, подумать, углубиться въ вопросъ, оставить его не прежде, чѣмъ убѣдившись, мечта это или истина?

Развѣ въ XIX столѣтіи есть какой-нибудь серьезный интересъ, лежащій внѣ вопроса о коммунизмѣ, внѣ вопроса о раздѣлѣ земель?

Увлеченный вашимъ негодованіемъ, вы продолжаете: «У нихъ (у русскихъ) недостаетъ существеннаго признака челоуѣчности, нравственнаго чутья, чувства добра и зла. Истина и правда не имѣютъ для нихъ смысла; заговорите о нихъ,—они молчатъ, улыбаются и не знаютъ, что значать эти слова». Кто же тѣ русскіе, съ которыми вы говорили? Какія понятія о правдѣ и истинѣ оказались для нихъ недоступными? Этотъ вопросъ не лишній. Въ ваше глубоко-революціонное время слова *правда* и *истина* утратили свое абсолютное, тождественное для всѣхъ значеніе.

Истина и правда старой Европы, въ глазахъ Европы рождающейся—*неправда и ложь*.

Народы—произведенія природы; исторія—прогрессивное продолженіе животнаго развитія. Прилагая нашъ нравственный масштабъ къ природѣ, мы далеко не уйдемъ. Ей дѣла нѣтъ ни до нашей хулы, ни до нашего одобренія. Для нея не существуютъ приговоры и монтионовскія преміи. Она не подпадаетъ подъ этическія категоріи, созданныя нашимъ личнымъ произволомъ. Мнѣ кажется, что народъ нельзя назвать ни дурнымъ, ни хорошимъ. Въ народѣ всегда выражается истина. Жизнь народа не можетъ быть ложью. Природа производитъ лишь то, что осуществимо при данныхъ условіяхъ: она увлекаетъ впередъ все существующее своимъ творческимъ броженіемъ, своею неутомимой жаждой осуществленія, этою жаждой, общей всему живущему.

Есть народы, жившіе жизнью до-историческою; другіе живущіе жизнью внѣ-историческою; но разъ вступивши въ широкій потокъ единой и нераздѣльной исторіи, они принадлежатъ *человѣчеству*, и, съ другой стороны, имъ принадлежитъ все прошлое *человѣчества*. Въ исторіи, т. е. въ дѣятельной и прогрессивной части *человѣчества*, мало-по-малу сглаживается аристократія лицаваго угла, цвѣта кожи и другихъ различій. То, что не очеловѣчилось, не можетъ вступить въ исторію; поэтому нѣтъ народа, взошедшаго въ исторію, котораго можно было бы считать стадомъ животныхъ, какъ нѣтъ народа, заслуживающаго именоваться сонмомъ избранныхъ.

Нѣтъ *человѣка* довольно смѣлаго или довольно неблагодарнаго, чтобы отвергать огромное значеніе Франціи въ судьбахъ европейскаго міра; но позвольте мнѣ откровенно признаться, что я не могу согласиться съ вашимъ мнѣніемъ, по которому участіе Франціи—условіе *sine qua non* дальнѣйшаго хода исторіи.

Природа никогда не кладетъ весь свой капиталъ на одну карту. Римъ, вѣчный городъ, имѣвшій не меньше правъ на всемірную гегемонію, пошатнулся, разрушился, исчезъ, и безжалостное *человѣчество* шагнуло впередъ черезъ его могилу.

Съ другой стороны, трудно было бы, не считая природу за осуществленное безуміе, видѣть лишь отверженное племя, лишь громадную ложь, лишь случайный сборъ существъ *человѣческихъ* только по порокамъ—въ народѣ, разраставшемся въ теченіе десяти столѣтій, упорно хранившемъ свою національность, сплотившемся въ огромное государство, вмѣшивающемся въ исторію гораздо болѣе, можетъ быть, чѣмъ бы слѣдовало.

И все это тѣмъ труднѣе принять, что занимающій насъ народъ, даже по словамъ его враговъ, нисколько не находится въ застоѣ. Это вовсе не племя, дошедшее до общественныхъ формъ, прибли-

зительно соответствующихъ его желаніямъ и уснувшее въ нихъ, какъ китайцы,—еще менѣе народъ, пережившій себя и угасающій въ старческой немощи, какъ индусы. Напротивъ того, Россія—государство совершенно новое, неоконченное зданіе, гдѣ все еще пахнетъ свѣжей известью, гдѣ все работаетъ и вырабатывается, гдѣ ничто еще не достигло цѣли, гдѣ все измѣняется, часто къ худшему, но все-таки измѣняется. Однимъ словомъ, это народъ, по вашему мнѣнію, имѣющей основнымъ началомъ коммунизмъ, сильный раздѣломъ земель...

Въ чемъ, наконецъ, упрекаете вы русскій народъ? Въ чемъ состоитъ сущность вашего обвиненія?

«Русскій, говорите вы, лжетъ и крадетъ; постоянно крадетъ, постоянно лжетъ,—и это совершенно невинно, это въ его природѣ».

Я не останавливаюсь на чрезмѣрномъ обобщеніи вашего приговора, но обращаюсь къ вамъ съ простымъ вопросомъ: кого обманываетъ, кого обкрадываетъ русскій человѣкъ? Кого, какъ не помѣщика, не чиновника, не управляющаго, не полицейскаго, однимъ словомъ, заклятыхъ враговъ крестьянина, которыхъ онъ считаетъ за басурмановъ, за отступниковъ, за полу-нѣмцевъ? Лишенный всякой возможности защиты, онъ хитритъ съ своими мучителями, онъ ихъ обманываетъ, и въ этомъ совершенно правъ. Хитрость, м. г., по словамъ великаго мыслителя *), иронія грубой власти.

Русскій крестьянинъ, при своемъ отвращеніи отъ личной земельной собственности, такъ вѣрно подмѣченномъ вами, при своей беззаботной и лѣнливой природѣ, мало-по-малу и незамѣтно запутался въ сѣти нѣмецкой бюрократіи и помѣщичьей власти. Онъ подвергся этому унижающему злу, съ страдательною покорностію, но онъ не повѣрилъ ни правамъ помѣщика, ни правдѣ судовъ, ни законности исполнительной власти. Онъ покоряется притѣсненію, онъ терпитъ, но не причастенъ ничему, что происходитъ внѣ сельской общины.

Имя царя возбуждаетъ въ народѣ сочувствіе; не передъ царемъ Николаемъ благоговѣть народъ, но передъ отвлеченной идеею, въ народномъ воображеніи царь представляется грознымъ мстителемъ, осуществленіемъ правды, земнымъ провидѣніемъ.

Послѣ царя, одно духовенство могло бы имѣть вліяніе на православленную Россію. Оно одно представляетъ въ правительственныхъ сферахъ старую Русь; духовенство не брѣетъ бороды, и тѣмъ самымъ осталось на сторонѣ народа. Народъ съ довѣріемъ слушаетъ монаховъ. И здѣсь народъ уважаетъ идею, но не личности.

Кромѣ царя и духовенства, всѣ элементы правительства и

*) Гегель, въ посмертныхъ сочиненіяхъ.

общества совершенно чужды, существенно враждебны народу. Крестьянинъ находится, въ буквальномъ смыслѣ слова, внѣ закона. Судъ ему не заступникъ, и все его участіе въ существующемъ порядкѣ дѣлъ ограничивается двойнымъ налогомъ, тяготящимъ на немъ, и который онъ возноситъ трудомъ и кровью. Отверженный всѣми, онъ понялъ инстинктивно, что все управленіе устроено не въ его пользу, а ему въ ущербъ, и что задача правительства и помѣщиковъ состоитъ въ томъ, какъ бы вымучить изъ него побольше труда, побольше рекрутъ, побольше денегъ. Понявши это, и одаренный смѣтливимъ и гибкимъ умомъ, онъ обманываетъ ихъ вездѣ и во всемъ.

Надобно видѣть русскаго крестьянина передъ судомъ, чтобы вполне понять его положеніе. Съ перваго взгляда замѣтно, что жертва не имѣетъ ни малѣйшаго довѣрія къ этимъ враждебнымъ, безжалостнымъ, ненасытнымъ грабителямъ, которые допрашиваютъ, терзаютъ и обижаютъ его. Онъ знаетъ, что если у него есть деньги, то онъ будетъ правъ, если нѣтъ—виноватъ.

Русскій народъ говоритъ своимъ старымъ языкомъ; судьи и подьячіе пишутъ новымъ бюрократическимъ языкомъ, уродливымъ и едва понятнымъ,—они наполняютъ цѣлые in-folio грамматическими несообразностями и скороговоркой отчитываютъ крестьянину эту чепуху. Понимай, какъ знаешь, и выпутывайся, какъ умѣешь. Крестьянинъ видитъ, къ чему это клонится и держитъ себя осторожно. Онъ не скажетъ лишняго слова, онъ скрываетъ свою тревогу и стоитъ молча, прикидываясь дуракомъ.

Крестьянинъ, оправданный судомъ, плетется домой такой же печальный, какъ послѣ приговора. Въ обоихъ случаяхъ, рѣшеніе кажется ему дѣломъ произвола или случайности.

Такимъ образомъ, когда его призываютъ въ свидѣтели, онъ упорно отказывается невѣдѣніемъ, даже противъ самой неопровержимой очевидности. Приговоръ суда не мараетъ человѣка въ глазахъ русскаго народа. Ссылные, каторжные слывуть у него *несчастливыми*.

Жизнь русскаго народа до сихъ поръ ограничивалась общиною: только въ отношеніи къ общинѣ и ея членамъ признаетъ онъ за собою права и обязанности. Внѣ общины все ему кажется основнымъ на насиліи. Роковая сторона его характера состоитъ въ томъ, что онъ покоряется этому насилію, а не въ томъ, что онъ отрицаетъ его по своему и старается оградить себя хитростію. Ложь передъ судьей, поставленнымъ властію, гораздо откровеннѣе чѣмъ лицемѣрное уваженіе къ присяжнымъ, подтасованнымъ купленнымъ префектомъ. Народъ уважаетъ только тѣ установленія, въ которыхъ отразились присущія ему понятія о законѣ и правѣ.

Есть фактъ, несомнѣнный для всякаго, кто близко познако-

мится съ русскимъ народомъ. Крестьяне рѣдко обманываютъ другъ друга; между ними господствуетъ почти неограниченное довѣріе, они не знаютъ контрактовъ и письменныхъ условій.

Вопросы о размежеваніи полосъ по необходимости бываютъ очень сложны при безпрестанныхъ раздѣлахъ земель по числу тяголь; между тѣмъ дѣло обходится безъ жалобъ и процессовъ. Помѣщики и правительство жадно ищутъ случая для вмѣшательства: но этотъ случай не представляется. Мелкія несогласія повергаются на судъ старикамъ или міру, и ихъ рѣшеніе безпрекословно принимается всѣми. Точно также въ артеляхъ. Артели состояются часто изъ нѣсколькихъ сотенъ работниковъ, соединяющихся на опредѣленное время, напримѣръ на годъ. По прошествіи года, работники дѣлятъ между собою заработки по трудамъ cadaго и по общему соглашенію. Полиція никогда не имѣетъ удовольствія вмѣшиваться въ ихъ счета. Почти всегда артель отвѣчаетъ за cadaго изъ артельщиковъ.

Еще тѣснѣе становится связь между крестьянами одной общины, когда они не православные, а раскольники. Отъ времени до времени правительство устраиваетъ набѣгъ на какую-нибудь раскольничью деревню. Крестьянъ сажаютъ въ тюрьму, ссылаютъ, все это безъ всякаго плана, безъ послѣдовательности, безъ всякаго повода и нужды. При этихъ-то охотахъ по раскольникамъ обнаруживается вновь характеръ русскихъ крестьянъ, солидарность, связывающая ихъ между собою. Тогда-то надобно видѣть, какъ она успѣваютъ обманывать полицію, спасать своихъ братьевъ, скрывать священныя книги и сосуды, какъ они претерпѣваютъ, не проговариваясь, самыя ужасныя муки. Пусть укажутъ мнѣ хоть одинъ случай, въ которомъ бы раскольничья община была выдана крестьяниномъ, хотя бы и православнымъ.

Это свойство русскаго характера дѣлаетъ полицейскія слѣдствія чрезвычайно затруднительными. У русскаго крестьянина нѣтъ нравственности кромѣ вытекающей инстинктивно, естественно изъ его коммунизма; эта нравственность глубоко-народная; немного, что извѣстно ему изъ Евангелія, поддерживаетъ ее; явная несправедливость помѣщиковъ привязываетъ его еще болѣе къ его правамъ и къ общинному устройству ¹⁾.

Община спасла русскій народъ отъ монгольскаго варварства, отъ выкрашенныхъ по европейски помѣщиковъ и отъ нѣмецкой

¹⁾ Крестьянская община, принадлежавшая кн. Козловскому, откупилась за волю. Землю раздѣлили между крестьянами сообразно суммамъ, внесеннымъ каждымъ изъ нихъ въ складчину для выкупа. Это распоряженіе, по видимому, было самое естественное и справедливое. Однакожъ крестьяне зашли его столь неудобнымъ и несогласнымъ съ ихъ обычаями, что они рѣшились распредѣлить между собою всю сумму выкупа, какъ бы долгъ, ле-

бюрократіи. Общинная организація, хоть и сильно потрясенная, устояла против вмѣшательства власти; она благополучно дожила до развитія социализма въ Европѣ.

Это обстоятельство безконечно важно для Россіи.

Партія движенія, прогресса требуетъ освобожденія крестьянъ: она готова принести въ жертву свои права. Царь колеблется и мѣшаетъ; онъ хочетъ освобожденія и препятствуетъ ему.

Онъ понялъ, что освобожденіе крестьянъ сопряжено съ освобожденіемъ земли; что освобожденіе земли, въ свою очередь, начало социальной революціи, провозглашеніе сельскаго коммунизма. Обойти вопросъ объ освобожденіи невозможно, отодвинуть его рѣшеніе до слѣдующаго царствованія конечно легче, но въ сущности это только нѣсколько часовъ, потерянныхъ на скверной почтовой станціи безъ лошадей...

Изъ всего этого вы видите, какое счастье для Россіи, что сельская община не погибла, что личная собственность не раздробила собственности общинной; какое это счастье для русскаго народа, что онъ остался внѣ всѣхъ политическихъ движеній, внѣ европей-

жацій на общинѣ, и раздѣлить земли по принятому обыкновению. Этотъ фактъ приводится г. Гакстаузенемъ. Авторъ самъ посѣщалъ упомянутую деревню.

Г. Гембоорскій говоритъ въ книгѣ, недавно вышедшей въ Парижѣ и посвященной императору Николаю, что эта система раздѣла земель кажется ему неблагоприятною для земледѣлія (какъ будто ея цѣль успѣхи земледѣлія!), но, впрочемъ, прибавляетъ: «Трудно устранить эти неудобства потому что эта система дѣленій связана съ устройствомъ нашихъ общинъ, до котораго коснуться было бы опасно: оно построено на ея основной мысли объ единствѣ общины и о правѣ каждого члена на часть общиннаго владѣнія. соразмѣрную его силамъ, поэтому оно поддерживаетъ общинный духъ, этотъ надежный оплотъ общественнаго порядка. Оно въ то же время самая лучшая защита противъ распространенія пролетаріата и коммунистическихъ идей». (Понятно, что для народа, обладающаго на дѣлѣ владѣніемъ община коммунистическія идеи не представляютъ никакой опасности). «Въ высшей степени замѣчательнъ здравый смыслъ, съ которымъ крестьяне устраняютъ, гдѣ это нужно, неудобства своей системы; легкость, съ которою они соглашаются между собою въ вознагражденіи неровностей, лежащихъ въ достоинствахъ почвы, и довѣріе, съ которымъ каждый покоряется опредѣленіямъ старшинъ общины. — Можно было бы подумать, что безпрестанные дѣлежи подають поводъ къ безпрестаннымъ спорамъ, а между тѣмъ вмѣшательство властей становится нужнымъ лишь въ очень рѣдкихъ случаяхъ. Этотъ фактъ весьма странный самъ по себѣ, объясняется только тѣмъ, что эта система при всѣхъ своихъ неудобствахъ такъ срослась съ нравами и понятіями народа, что эти неудобства переносятся безропотно».

«Насколько, говоритъ тотъ же авторъ, идея общины природна русскому народу и осуществляется во всѣхъ проявленіяхъ его жизни, настолько противенъ его нравамъ, корпораціонный муниципальный духъ, воплотившійся въ западномъ мѣщанствѣ». (Гембоорскій, О производительныхъ силахъ Россіи, т. I.).

ской цивилизації, которая, безъ сомнѣнія, подкопала бы общину и которая нынѣ сама дошла въ социализмъ до самоотрицанія.

Европа, я это сказала въ другомъ мѣстѣ, не разрѣшила антиноміи между личностью и государствомъ, но она поставила себѣ задачей это разрѣшеніе. Россія также не нашла этого рѣшенія. Передъ этимъ вопросомъ начинается наше равенство.

Европа, на первомъ шагу къ социальной революціи, встрѣчается съ этимъ народомъ, которой представляетъ ему осуществленіе полудикое, неустроенное,—но все-таки осуществленіе постоянного дѣлежа земель между земледѣльцами. И замѣьте, что этотъ великій примѣръ даетъ намъ не образованная Россія, но самъ народъ, его жизненный процессъ. Мы, русскіе, прошедшіе черезъ западную цивилизацію, мы не больше, какъ средство, какъ закваска, какъ посредники между русскимъ народомъ и революціонной Европой. Человѣкъ будущаго въ Россіи—*мужикъ*, точно также какъ во Франціи работникъ.

Но если такъ, не имѣетъ ли русскій народъ нѣкоторое право на снисхожденіе съ вашей стороны, м. г?

Бѣдный крестьянинъ! На него обрушиваются всевозможныя несправедливости. Помѣщикъ крадетъ у него трудъ, чиновникъ послѣдній рубль. Крестьянинъ молчитъ, терпитъ, но не отчаивается, у него остается община. Вырвутъ ли изъ нея членъ, община сдвигается еще тѣснѣе; кажется эта участь достойна сожалѣнія; а между тѣмъ она никого не трогаетъ. Въмѣсто того, чтобы заступаться за крестьянина, его обвиняютъ.

Вы не оставляете ему даже послѣдняго убѣжища, гдѣ онъ еще чувствуетъ себя человѣкомъ, гдѣ онъ любитъ и не боится; вы говорите: «его община не община, его семейство не семейство, его жена не жена; прежде чѣмъ ему, она принадлежитъ помѣщику; его дѣти не его дѣти; кто знаетъ, кто ихъ отецъ?»

Такъ вы подвергаете этотъ несчастный народъ не научному разбору, но презрѣнію другихъ народовъ, которые съ довѣріемъ внимаютъ вашимъ легендамъ.

Я считаю долгомъ сказать нѣсколько словъ по этому поводу.

Семейный бытъ у всѣхъ славянъ чрезвычайно сильно развитъ: это, можетъ быть, единственный консервативный элементъ ихъ характера, предѣлъ ихъ отрицанія.

Сельская семья неохотно дробится; нерѣдко три, четыре поколѣнія проживаютъ подъ однимъ кровомъ, вокругъ патріархально властвующаго дѣда. Женщина, обыкновенно угнетенная, какъ это бываетъ вездѣ въ земледѣльческомъ сословіи, пользуется уваженіемъ и почетомъ, когда она вдова старшаго въ родѣ.

Нерѣдко вся семья управляется сѣдою бабушкой... Можно ли же сказать, что семья въ Россіи не существуетъ?

Перейдемъ къ отношеніямъ помѣщика къ крѣпостному семейству.

Но для большей ясности, отличимъ норму отъ злоупотребленій, права отъ преступленій.

Jus primæ noctis никогда не существовало въ Россіи.

Помѣщикъ не можетъ законно требовать нарушенія супружеской вѣрности. Если-бъ законъ исполнялся въ Россіи, изнасилованіе крѣпостной женщины наказывалось бы точно такъ же, какъ если бы она была вольная, т. е. каторжною работою или ссылкой въ Сибирь съ лишеніемъ всѣхъ правъ. Таковъ законъ, обратимся къ фактамъ.

Я не думаю отвергать, что при власти, данной правительствомъ помѣщикамъ, имъ очень легко насиловать дочерей и женъ своихъ крѣпостныхъ. Притѣсненіями и наказаніями помѣщикъ всегда добьется того, что найдутся отцы и мужья, которые будутъ предоставлять ему дочерей и женъ, точно такъ же, какъ тотъ достойный французскій дворянинъ въ «Запискахъ Пѣшо», который въ XVIII столѣтіи просилъ, какъ обь особенной милости, о помѣщеніи своей дочери въ *Parc-aux-cerfs*.

Неудивительно также, что честные отцы и мужья не находятъ суда на помѣщика, благодаря прекрасному судебному устройству въ Россіи; они большею частію находятся въ положеніи того господина Тьерселень, у котораго Берье укралъ, по порученію Людовика XV, одиннадцатилѣтнюю дочь. Всѣ эти грязныя гадости возможны; стоитъ только вспомнить грубые и развращенные нравы части русскаго дворянства, чтобы въ этомъ убѣдиться. Но что касается до крестьянъ, то они далеко неравнодушно переносятъ развратъ своихъ господъ.

Позвольте мнѣ привести этому доказательство.

Половина изъ помѣщиковъ, убиваемыхъ своими крѣпостными (по статистическимъ даннымъ ихъ число простирается отъ шестидесяти до семидесяти въ годъ), погибаетъ влѣдствіе своихъ эротическихъ подвиговъ. Процессы по такимъ поводамъ рѣдки; крестьянинъ знаетъ, что суды не уважатъ его жалобъ; но у него есть топоръ; онъ имъ владѣетъ мастерски и знаетъ это тоже.

Ограничиваюсь этими намеками о крестьянахъ и прошу васъ выслушать еще нѣсколько словъ о Россіи образованной.

Вы смотрите такъ же неснисходительно на умственное движеніе Россіи, какъ и на народный характеръ; однимъ почеркомъ пера вы вычеркиваете всѣ труды, совершенные до сихъ поръ нашими руками!

Одно изъ лицъ Шекспира, не зная, чѣмъ унижить презрѣннаго противника, говоритъ ему: «я сомнѣваюсь даже въ твоёмъ существованіи!» Вы пошли далѣе; для васъ несомнѣнно, что русская литература не существуетъ.

Привожу ваши собственныя слова:

Мы не станемъ придавать важности опытамъ тѣхъ немногихъ умныхъ людей, которые вздумали упражняться въ русскомъ языкѣ и обманывать Европу блѣднымъ призракомъ будто-бы русской литературы. Если-бъ не мое глубокое уваженіе къ Мицкевичу и къ его заблужденіямъ святого, я бы право обвинилъ его за свисхожденіе, (можно даже сказать) за милость, съ которою онъ говорить объ этой шуткѣ».

Я напрасно доискиваюсь. м. г., причинъ этого презрѣнія.

Отчего не захотѣли вы прислушаться къ потрясающимъ звукамъ нашей грустной поэзіи, къ нашимъ напѣвамъ, въ которыхъ слышатея рыданія? Что скрыло отъ вашего взора нашъ судорожный смѣхъ, эту безпрестанную иронию, подъ которой скрывается глубоко измученное сердце, которая въ сущности лишь роковое признаніе нашего безсилія?

О, какъ я хотѣлъ бы достойнымъ образомъ перевести вамъ нѣсколько стихотвореній Пушкина и Лермонтова, нѣсколько пѣсень Кольцова! Вы бы тогда намъ тотчасъ протянули дружескую руку, вы бы первый попросили насъ забыть сказанное вами!

Послѣ крестьянскаго коммунизма ничего такъ глубоко не характеризуетъ Россію, ничто не предвѣщаетъ ей столь великой будущности, какъ ея литературное движеніе.

Послѣдствія человѣческой рѣчи въ Россіи по необходимости придаютъ ей особенную силу. Съ любовью и благоговѣніемъ прислушиваются къ вольному слову, потому что у насъ его произносить только тѣ, у которыхъ есть что сказать. Не вдругъ рѣшаешься передавать свои мысли печати, когда въ концѣ каждой страницы мерещится жандармъ, тройка, кибитка, и въ перспективѣ Тобольскъ или Иркутскъ.

Въ послѣдней моей брошюркѣ ¹⁾ я достаточно говорилъ объ русской литературѣ; ограничусь здѣсь нѣкоторыми общими замѣчаніями.

Грусть, скептицизмъ, иронія, вотъ три главныя струны русской лиры.

Когда Пушкинъ начинаетъ одно изъ своихъ лучшихъ твореній этими страшными словами:

Всѣ говорятъ — нѣтъ правды на землѣ..
Но правды нѣтъ — и выше!
Мнѣ это ясно, какъ простая гамма..

не сжимается ли у васъ сердце, не угадываете ли вы, сквозь это видимое спокойствіе, разбитое существованіе человѣка, уже привыкшаго къ страданію.

¹⁾ Du Développement des Idées révolutionnaires en Russie.

Лермонтовъ, въ своемъ глубокомъ отвращеніи къ окружающему его обществу, обращается на тридцатомъ году къ своимъ современникамъ, съ своимъ страшнымъ:

Печально я гляжу на наше поколѣнье,
Его градушее пль пусто, иль темно.

Я знаю только одного современнаго поэта, съ такою же мощью затрогивающаго мрачныя струны души человѣческой. Это также поэтъ, родившійся въ рабствѣ и умершій прежде возрожденія отечества. Это пѣвецъ смерти, Леонарди, которому міръ казался громаднымъ союзомъ преступниковъ, безжалостно преслѣдующихъ горсть праведныхъ безумцевъ.

Россія имѣетъ только одного живописца, приобрѣтшаго общую извѣстность, Брюлова. Что же изображаетъ его лучшее произведеніе, доставившее ему славу въ Италіи?

Взгляните на это странное произведеніе.

На огромномъ полотнѣ тѣснятся въ беспорядкѣ испуганныя группы; онѣ напрасно ищутъ спасенія. Онѣ погибнуть отъ землетрясенія, вулканическаго изверженія, среди цѣлой бури катаклизмовъ. Ихъ уничтожаетъ дикая, бессмысленная, беспощадная сила, противъ которой всякое сопротивленіе невозможно.

Русскій романъ обращается исключительно въ области патологической анатоміи; въ немъ постоянное указаніе на грызущее насъ зло, постоянное, безжалостное, самобытное. Здѣсь не услышите голоса съ неба, возвѣщающаго Фаусту прощеніе юной грѣшницѣ, — здѣсь возвышаютъ голосъ только сомнѣніе и проклятіе. А между тѣмъ, если для Россіи есть спасеніе, она будетъ спасена именно этимъ глубокимъ сознаниемъ нашего положенія, правдивостью, съ которою она обнаруживаетъ это положеніе передъ всѣми.

Тотъ, кто смѣло признается въ своихъ недостаткахъ, чувствуетъ, что въ немъ есть нѣчто сохранившееся среди отступленій и паденій; онъ знаетъ, что можетъ искупить свое прошлое и не только поднять голову, но сдѣлаться изъ «Сарданапала-гуляки — Сарданапаломъ героемъ».

Русскій народъ не читаетъ. Вы знаете, что также Вольтера и Данте читали не поселяне, а дворяне и часть средняго сословія. Въ Россіи образованная часть средняго сословія примыкаетъ къ дворянству, которое состоитъ изъ всего того, что перестало быть народомъ. Существуетъ даже дворянскій пролетаріатъ, сливающійся съ народомъ и пролетаріатъ вольноотпущенный, подымающійся къ дворянству. Эта флуктуація, это безпрестанное обновленіе придаетъ русскому дворянству характеръ, котораго вы не найдете въ привилегированныхъ классахъ отсталой Европы. Однимъ словомъ, вся исторія Россіи, со временъ Петра I, есть только исторія дво-

ривства и вліяній просвѣщенія на него. Прибавлю, что русское дворянство числомъ равняется избирателямъ во Франціи, по закону 31 мая.

Въ продолженіе XVIII вѣка ново-русская литература вырабатывала тотъ звучный, богатый языкъ, которымъ мы обладаемъ теперь: языкъ гибкій и могучій, способный выразить и самыя отвлеченныя идеи германской метафизики и легкую, сверкающую игру французскаго остроумія. Эта литература, возникшая по гениальному мановенію Петра I, имѣла, это правда, характеръ правительственный, но тогда знамя правительства былъ прогрессъ, почти революція.

До 1789 года императорскій тронъ драпировался въ величественныя складки просвѣщенія и философіи. Екатерина II заслуживала, чтобы ее обманывали картонными деревьями и дворцами изъ раскрашенныхъ досокъ... Никто, какъ она, не умѣлъ ослѣплять зрителей величественной обстановкой. Въ Эрмитажѣ только и слышно было, что о Вольтерѣ, о Монтескьё, о Беккариі. Вамъ извѣстенъ, м. г., оборотъ медали.

Однакожь среди триумфальнаго хора придворныхъ пѣснопѣній, уже звучала одна странная, неожиданная нота. Это былъ звукъ той скептической, грозно насмѣшливой струны, передъ которымъ должны были скоро умолкнуть всѣ прочіе, искусственные напѣвы.

Настоящій характеръ русской мысли, поэтической и спекулятивной, развивается въ полной силѣ по восшествіи на престолъ Николая. Отличительная черта этого направленія—трагическое освобожденіе совѣсти, безжалостное отрицаніе, горькая иронія, мучительное углубленіе въ самого себя. Иногда все это разражается безумнымъ смѣхомъ, но въ этомъ смѣхѣ нѣтъ ничего веселаго.

Брошенный въ гнетущую среду, вооруженный яснымъ взглядомъ и неподкупной логикой, русскій быстро освобождается отъ вѣры и отъ нравовъ своихъ отцовъ.

Мыслящій русскій самый—независимый человекъ въ свѣтѣ. Что можетъ его остановить? Уваженіе къ прошлому?... Но что служить исходной точкой новой исторіи Россіи, если не отрицаніе народности и преданія?

Съ другой стороны, прошлое западныхъ народовъ служить намъ наученіемъ, и только; мы нисколько не считаемъ себя душеприказчиками ихъ историческихъ завѣщаній.

Мы раздѣляемъ ваши сомнѣнія, но ваша вѣра не согрѣваетъ насъ. Мы раздѣляемъ вашу ненависть, но не понимаемъ вашей привязанности къ завѣщанному предками; мы слишкомъ угнетены, слишкомъ несчастны, чтобы довольствоваться полу-свободой. Васъ связываютъ скрупулы, васъ удерживаютъ заднія мысли. У насъ нѣтъ ни заднихъ мыслей, ни скрупуловъ; у насъ только недостаетъ силы...

Вотъ откуда въ насъ эта иронія, эта тоска, которая насъ то-читъ, доводитъ насъ до бѣшенства, толкаетъ насъ впередъ. Мы жертвуемъ собою безъ всякой надежды, отъ желчи, отъ скуки... Въ нашей жизни въ самомъ дѣлѣ есть что-то безумное, но нѣтъ ничего пошлаго, ничего коснаго, ничего мѣщанскаго.

Не обвиняйте насъ въ безнравственности, потому что мы не уважаемъ того, что вы уважаете. Можно ли упрекать найденыша за то, что онъ не уважаетъ своихъ родителей? Мы независимы, потому что начинаемъ жизнь сызнова. У насъ нѣтъ ничего, кромѣ нашего организма, нашей народности; это наша сущность, наша плоть и кровь, но отнюдь не связывающій авторитетъ. Мы независимы, потому что ничего не имѣемъ. Намъ почти нечего любить. Всѣ наши воспоминанія исполнены горечи.

Какое же намъ дѣло до вашихъ завѣтныхъ обязанностей, намъ, младшимъ братьямъ, лишеннымъ наслѣдства? И можемъ ли мы по совѣсти довольствоваться вашею изношенной нравственностію, нехристіанскою и нечеловѣческою, существующею только въ риторическихъ упражненіяхъ и въ прокурорскихъ докладахъ? Какое уваженіе можетъ внушать намъ ваша римско-варварская законность, это глухое, неуклюжее зданіе безъ свѣта и воздуха, подновленное въ среднія вѣка, подбѣленное вольноотпущеннымъ мѣщанствомъ? Согласенъ, что дневной разбой въ русскихъ судахъ еще хуже, но изъ этого не слѣдуетъ, что у васъ есть справедливость въ законахъ и судахъ.

Различіе между вашими законами и нашими указами заключается только въ заглавной формулѣ. На насъ лежитъ слишкомъ много цѣпей, чтобы мы добровольно надѣли на себя еще новыя. Мы не принимаемъ ничего отъ нашихъ враговъ.

Россія никогда не будетъ протестантскою.

Россія никогда не будетъ *juste-milieu*.

Россія никогда не сдѣлаетъ революціи съ цѣлію отдѣлаться отъ царя и замѣнить его царями-представителями, царями-судьями, царями полицейскими.

Мы, можетъ быть, требуемъ слишкомъ много, и ничего не достигнемъ. Можетъ быть, такъ, но мы все-таки не отчаиваемся.

Не слѣдуетъ слѣпо вѣрить въ будущее; каждый зародышъ имѣетъ право на развитіе, но не каждый развивается. Будущее Россіи зависитъ не отъ нея одной. Оно связано съ будущимъ Европы. Кто можетъ предсказать судьбу славянскаго міра въ случаѣ, если реакція и абсолютизмъ окончательно побѣдятъ революцію въ Европѣ?

Быть можетъ, онъ погибнетъ?

Но въ такомъ случаѣ погибнетъ и Европа...

И исторія перенесется въ Америку...

Написавши предыдущее, я получилъ послѣдніе два фельетона вашей легенды. Прочитавши ихъ, первымъ моимъ движеніемъ было бросить въ огонь написанное мною. Ваше теплое, благородное сердце не дождалось, чтобы кто-нибудь другой поднялъ голосъ въ пользу непризнаннаго русскаго народа. Ваша любящая душа взяла верхъ надъ принятою вами ролей *неумолимаго* судьи, мстителя за польскій народъ. Вы впали въ противорѣчіе, но такія противорѣчія благородны.

Перечитывая мое письмо, я однако подумалъ, что вы можете найти въ немъ новые взгляды на Россію и на славянскій міръ, и я рѣшился послать его вамъ. Я вполне надѣюсь, что вы простите тѣ мѣста, гдѣ я увлекся своею скиѣскою горячностію. Кровь варваровъ не даромъ течетъ въ моихъ жилахъ. Мнѣ такъ хотѣлось измѣнить ваше мнѣніе о русскомъ народѣ; мнѣ было такъ грустно, такъ тяжело видѣть, что вы противъ насъ, что не могли скрыть своей горести, своего волненія, и далъ волю перу. Но теперь я вижу, что вы въ насъ не отчаиваетесь, что подъ грубымъ армякомъ русскаго крестьянина вы узнали человѣка, я это вижу и, въ свою очередь, признаюсь вамъ, что вполне понимаю то впечатлѣніе, которое должно производить одно имя Россіи на всякаго свободнаго человѣка. Мы часто сами проклинаямъ наше несчастное отечество. Вы это знаете, вы сами говорите, что все, что вы сказали о нравственномъ ничтожествѣ Россіи, слабо въ сравненіи съ тѣмъ, что говорятъ сами русскіе.

Но и для насъ проходитъ время надгробныхъ рѣчей по Россіи, и мы говоримъ съ вами: «въ этой мысли таится искра жизни». Вы угадали ее, эту искру, силою вашей любви; но мы, мы ее видимъ, мы ее чувствуемъ. Пусть разгарается она подъ золою! Холодное, мертващее дуновеніе, которымъ вѣетъ отъ Европы, можетъ ее погасить.

Для насъ часъ дѣйствія еще не насталъ; Франція еще по справедливости гордится своимъ передовымъ положеніемъ. Ей до 1852 года принадлежить трудное право. Европа, безъ сомнѣнія, прежде насъ достигнетъ гроба или новой жизни. День дѣйствія, можетъ быть, еще далеко для насъ; день сознанія мысли, слова уже пришелъ. Довольно жили мы во снѣ и молчаніи; пора намъ разсказывать, что намъ снилось, до чего мы додумались.

И въ самомъ дѣлѣ, кто виноватъ въ томъ, что надобно было дожидаться до 1847 года, чтобы «нѣмецъ (Гакстгаузенъ) *открылъ*, какъ вы выражаетесь, народную Россію, столь же неизвѣстную до него, какъ Америка до Колумба?»

Виноваты, конечно, мы, мы бѣдные, нѣмые, съ нашимъ малодушіемъ, съ нашею боязливою рѣчью, съ нашимъ запуганнымъ воображеніемъ. Мы обижаемся, когда объ насъ говорятъ, какъ о

добровольныхъ рабахъ, какъ о мерзлыхъ неграхъ, а между тѣмъ мы не протестуемъ открыто.

Слѣдуетъ ли смиренно покориться этимъ нареканіямъ, или рѣшиться остановить ихъ, возвысивъ голосъ для свободной русской рѣчи? Лучше погибнуть подозрѣваемыми въ человѣческомъ достоинствѣ, чѣмъ жить съ позорнымъ знакомъ рабства на лбу, чѣмъ слушать, какъ насъ обвиняютъ въ добровольномъ порабоженіи.

Къ несчастію, въ Россіи свободная рѣчь удивляетъ, пугаетъ. Я попытался приподнять только край тяжелой завѣсы, скрывающей насъ отъ Европы, я указала только на теоретическія стремленія, на отдаленныя надежды, на органическіе элементы будущаго развитія; а между тѣмъ моя книга, о которой выразились такъ лестно, произвела въ Россіи неблагоприятное впечатлѣніе. Дружескіе голоса, уважаемые мною, порицаютъ ее. Въ ней видятъ обвиненіе на Россію. Обвиненіе!... въ чемъ же? Въ нашихъ страданіяхъ, въ нашихъ бѣдствіяхъ, въ нашемъ желаніи вырваться изъ этого ненавистнаго состоянія... Бѣдные, дорогіе друзья, простите мнѣ это преступленіе; я снова впадаю въ него.

Нѣтъ, я не умолкну! Мое слово отомститъ за эти несчастныя существованія.

Мы обязаны говорить; безъ этого никто не узнаетъ, сколько прекраснаго и высокаго эти страдальцы навсегда замыкаютъ въ груди своей, и оно гибнетъ съ ними.

Едва мы открыли ротъ, едва пролетали два-три слова о нашихъ желаніяхъ, о нашихъ надеждахъ, и уже хотятъ его зажать, хотятъ заглушить въ колыбели наше свободное слово! Это невозможно.

Для мысли настаетъ время зрѣлости, въ которое ее не могутъ болѣе сковать ни цензурныя мѣры, ни осторожность. Тутъ пропаганда дѣлается страстью; можно-ли довольствоваться шептаніемъ на ухо, когда сонъ такъ глубокъ, что его едва ли разбѣшь набатомъ?

Отъ возстанія стрѣльцовъ до заговора 14 декабря, въ Россіи не было серьезнаго политическаго движенія. Причина тому понятна: въ народѣ не было ясно опредѣлившихся стремленій къ независимости. Во многомъ онъ соглашался съ правительствомъ, во многомъ правительство опережало народъ. Одни крестьяне попытались возстать. Россія, отъ Урала до Пензы и Казани, на три мѣсяца подпала власти Пугачева. Императорское войско было отражено, разбито казаками, и генераль Бибииковъ, посланный изъ Петербурга, чтобы принять команду войска, писалъ, если я не ошибаюсь, изъ Нижняго: «дѣла идутъ очень плохо; болѣе всего надобно бояться не вооруженныхъ полчищъ бунтовщиковъ, а духа народнаго, который опасенъ, очень опасенъ.»

Послѣ неслыханныхъ усилій, возстаніе, наконецъ, было подавлено. Народъ впалъ въ оцѣпненіе, умолкъ и покорился....

Между тѣмъ, дворянство развивалось, образованіе начинало оплодотворять умы. Явились личности, которыя отважились на 14 декабря.

Ихъ пораженіе, терроръ нынѣшняго царствованія, подавили всякую мысль объ успѣхѣ, всякую преждевременную попытку. Возникли другіе вопросы.

Впродолженіе десяти лѣтъ, умственная дѣятельность не могла обнаружиться ни однимъ словомъ, и томительная тоска дошла до того, что «отдавали жизнь за счастье быть свободнымъ одно мгновеніе» и высказать вслухъ хоть часть своей мысли.

Иные отказались отъ своихъ богатствъ съ тою вѣтреною беззаботностію, которая встрѣчается лишь у насъ, да у поляковъ, и и отправились на чужбину искать себѣ разсѣянія; другіе, неспособные переносить духоту петербургскаго воздуха, закопали себя въ деревняхъ. Молодежь вдалась, кто въ панславизмъ, кто въ вѣмецкую философію, кто въ исторію или въ политическую экономію; однимъ словомъ, никто изъ тѣхъ русскихъ, которые были призваны къ умственной дѣятельности, не могъ, не захотѣлъ покориться застою.

Очень распространенная въ Россіи сказка гласитъ, что царь, подозрѣвая жену въ невѣрности, заперъ ее съ сыномъ въ бочку, потомъ велѣлъ засмолить бочку и бросить въ море.

Много лѣтъ плавала бочка по морю.

Между тѣмъ царевичъ росъ не по днямъ, а по часамъ и уже сталъ упираться ногами и головой въ донья бочки. Съ каждымъ днемъ становилось ему тѣснѣе да тѣснѣе. Однажды сказалъ онъ матери:

— Государыня-матушка, позволь протянуться въ волюшку.

— Свѣтикъ мой царевичъ, отвѣчала мать, не протягивайся. Бочка лопнетъ, и ты утонешь въ соленой водѣ.

Царевичъ смолкъ и, подумавши, сказалъ:

— Протянусь матушка; лучше разъ протянуться въ волюшку, да умереть.

Въ этой сказкѣ, м. г., вся наша исторія.

Ницца, 22 сентября 1851 г.

КРЕЩЕНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ.

«Я не воронъ, а вороненокъ; настоящій воронъ еще летаетъ въ поднебесьи».

Пророчество Пугачева.

Въ концѣ прошедшаго года началъ я странный трудъ. Не знаю, слажу ли съ нимъ, думаю что да. Впрочемъ, трудъ этотъ можетъ на всемъ остановиться, какъ наша жизнь, вездѣ будетъ довольно и вездѣ можно его продолжать. Надгробный памятникъ и исповѣдь. *былое и думы*, біографія и умозрѣніе. событія и мысли. слышанное и видѣнное, наболѣвшее и выстраданное, воспоминанія и... еще воспоминанія!

Изъ первой части этихъ *gapping spirits*, этого повторенія жизни, блѣдно воскрешаемой словомъ и памятью, хочу я передать нѣсколько отрывковъ.

Первый передъ вами.

Тонбриджъ (Кентъ), 22 іюля, 1853 года.

Предисловіе ко второму изданію.

Три года тому назадъ, дѣлая первые опыты русскихъ изданій въ Лондонѣ, я напечаталъ небольшой отрывокъ о крѣпостномъ состояніи подъ заглавіемъ «Крещеная собственность». Я не придаю никакой важности этой брошюрѣ, напротивъ, нахожу ее весьма недостаточной, но изданіе разошлось. Г. С. Тхоржевскій изъявилъ мнѣ свое желаніе сдѣлать новое,—я не счелъ нужнымъ не предложить ему этого права.

Много событій совершилось въ Россіи въ эти три года, но *крѣпостное состояніе* осталось, какъ было, язвой, пятномъ, тѣмъ безобразіемъ русскаго быта, которое смиряетъ насъ и заставляетъ, краснѣя и съ поникнувшей головой, признаться, что мы ниже всѣхъ народовъ въ Европѣ.

Съ какимъ теплымъ упованіемъ, съ какимъ сердечнымъ трепетомъ ждали мы, послѣ смерти Николая, тѣхъ возможныхъ, общечеловѣческихъ перемѣнъ, которыя можно было совершить безъ потрясающихъ переворотовъ, однимъ уразумѣніемъ своего смысла и своего призванія—со стороны правительства. Изъ дали нашего изгнанія мы смотрѣли съ надеждой и безъ малѣйшей желчи. Сначала мѣшала война..... Прошла война—ничего! Все отложено до коронаціи... Прошла и коронація—все ничего! И новое царство-

ваніе вступило въ свой ежедневный обиходъ. Всѣ реформы до сихъ поръ ограничиваются фразами, и далѣе риторики не идутъ.

А, вѣдь, какъ было легко сдѣлать чудеса,—вотъ что непростительно, вотъ чего мы не можемъ вынести. У насъ сердце обливается кровью и досада кипитъ въ груди, когда мы думаемъ,—чѣмъ могла бы быть Россія при выходѣ изъ царствованія Николая, разбужденная войной, призванная къ сознанію, безъ ошейника рабства на шеѣ; какъ быстро, какъ самобытно и мощно могла она двинуться впередъ.

Нѣтъ даже начала освобожденія крестьянъ—этой первой азбуки гражданскаго развитія. Зачѣмъ подымались ополченцы, зачѣмъ мужикъ несъ свой трудъ, свою копейку, свою кровь въ защиту престола?..

Говорять, что теперешній царь—добрь. Можетъ быть, того гоненія, которое составляетъ характеръ прошлаго царствованія, нѣтъ, и мы первые душевно рады повторять это.

Но, вѣдь, этого мало, вѣдь, это еще отрицательное достоинство. Недостаточно еще не дѣлать зла, имѣя такія средства дѣлать добро, которыхъ уже нѣтъ ни у одной монархической власти въ Европѣ. Да онъ не знаетъ, какъ приняться, что дѣлать.

А сказать некому. Вотъ оно результатъ насильственнаго молчанія.

Чтобы знать зло и средства его искоренить, теперь не нужно ходить какъ Гарунъ-аль-Рашидъ подъ окнами своихъ подданныхъ. Для этого стоитъ снять цѣпь цензуры, пятнающую слово, *прежде*, нежели оно сказано. И тотъ же Смирдинъ или Глазуновъ, который доставляетъ прочимъ смертнымъ книги, доведетъ до царя голосъ его народа.

Но этого-то и не хотятъ закоренѣлые въ рабствѣ слуги.

Они погубяютъ Александра—и какъ жаль его! Жаль за его доброе сердце, за вѣру, которую мы въ него имѣли, за слезы, которыя онъ нѣсколько разъ проливалъ...

Люди эти его втянутъ въ старую рутину, усыпятъ ложью, испугаютъ невозможностью, вовлекутъ снова во внѣшнія дѣла, чтобы отвести отъ внутреннихъ. Все это дѣлается уже теперь.

Съ какой стати соваться въ неаполитанскій вопросъ? Пора разстаться съ несчастной мыслью, что призваніе Россіи служить опорой всякому насилію, всякому тиранству.

Только было другіе народы начали меньше враждебно смотрѣть на Россію,—какъ на смѣхъ имъ старая дипломатія привязала русскаго императора къ одному столбу съ коронованнымъ лаццарони. Какая неосторожность, какое отсутствіе такта, какое отсутствіе любви къ Россіи и къ нему!

А дома крестьянинъ тащится на господское поле, посылаетъ

сына во дворъ,—это ужасно! Правительство знаетъ, что обойти задачу освобожденія крестьянъ съ землею невозможно. Совѣсть, нравственное сознание Россіи требуютъ рѣшить ее. Что же выигрываетъ оно, оттягивая вопросъ, откладывая его на завтра...?

25 октября, 1856, Путней.

Съ дѣтскихъ лѣтъ я безконечно любилъ наши села и деревни, я готовъ былъ цѣлые часы, лежа гдѣ-нибудь подъ березой или липой смотрѣть на почернѣлый рядъ скромныхъ, бревенчатыхъ избъ, тѣсно прислоненныхъ другъ къ другу, лучше готовыхъ вмѣстѣ сгорѣть, нежели распасться; слушать заунывные пѣсни, раздающіяся во всякое время дня, вблизи, вдали;... съ полей несетъ сытнымъ дымомъ овиновъ, свѣжимъ сѣномъ, изъ лѣсу вѣетъ смолистой хвоей и скрипитъ запрещенный колодезь, опуская бадью, и гремитъ по мосту порожняя телѣга, подгоняемая молодецкимъ окрикомъ....

Въ нашей бѣдной, сѣверной, долинной природѣ есть трогательная прелесть, особенно близкая нашему сердцу. Сельскіе виды наши не задвинулись въ моей памяти ни видомъ Соренто, ни римской Кампаніей, ни насупившими Альпами, ни богато воздѣланными фермами Англій. Наши безконечные луга, покрытые ровной зеленью, успокоительно хороши, въ нашей стелящейся природѣ что-то мирное, довѣрчивое, раскрытое, беззащитное и кротко грустное... Что-то такое, что поется въ русской пѣсни, что кровно отзывается въ русскомъ сердцѣ.

И какой славной народъ живетъ въ этихъ селахъ! Мнѣ не случалось еще встрѣчать такихъ крестьянъ, какъ наши великоруссы и украинцы.

Оно и немудрено. Жизнь европейская пренебрегала деревней, она бойко шла въ замкъ, потомъ въ городъ, деревня служила пастбищемъ, кормомъ. Западный крестьянинъ, выродившійся кельтъ, побѣжденный галль, германецъ, побитый другимъ германцемъ. По городамъ побѣдители мѣшались съ побѣжденными; съ земледѣльцами никто не мѣшался, пока они оставались земледѣльцами. Тамъ, гдѣ побѣда пронеслась надъ головой прежняго населенія, не ослѣла на немъ или не могла до него добраться, тамъ крестьяне и не таковы, напр., въ Романьи, въ Калабріи, въ Испаніи, въ горахъ Шотландіи, Швейцаріи, Норвегіи.

Крестьянинъ на западѣ вообще однопорецъ; если онъ богатѣетъ, то онъ дѣлается полевымъ мѣщаниномъ, такъ, какъ, наоборотъ, въ прежнее время русскіе купцы, приобретаая миліоны, оставались по нравамъ и обычаямъ тѣми же крестьянами.

Деревенскіе мѣщане собственники составляютъ на западѣ слой народонаселенія, который тяжело налегъ на сельскій пролетаріатъ и душитъ его, по мелочи и на чистомъ воздухѣ, такъ, какъ фа-

бриганты душатъ работниковъ гуртомъ въ чаду и смрадѣ своихъ рабочихъ домовъ.

Сословіе сельскихъ собственниковъ почти вездѣ отличается изувѣрствомъ, несообщительностью и скупостью; оно сидитъ на заперти въ своихъ каменныхъ избахъ, далеко разбросанныхъ и окруженныхъ полями, отгороженными отъ сосѣдей. Поля эти имѣютъ видъ заплатъ, положенныхъ на землѣ. На нихъ работаетъ батракъ, бобыль, словомъ сельскій пролетарій, составляющій огромное большинство всего полевого населенія.

Мы, совсѣмъ напротивъ, государство сельское, наши города большія деревни, тотъ же народъ живетъ въ селахъ и городахъ; разница между мѣщанами и крестьянами выдумана петербургскими нѣмцами. У насъ нѣтъ потомства побѣдителей, завоевавшихъ насъ, ни раздробленія полей въ частную собственность, ни сельскаго пролетариата; крестьянинъ нашъ не дичаетъ въ одиночествѣ, онъ вѣчно на міру и съ міромъ, коммунизмъ его общиннаго устройства, его деревенское самоуправленіе дѣлаютъ его сообщительнымъ и развязнымъ.

При всемъ томъ половина нашего сельскаго населенія гораздо несчастнѣе западнаго, мы встрѣчаемъ въ деревняхъ людей сумрачныхъ, печальныхъ, людей, которые тяжело и невесело пьютъ зеленое вино, у которыхъ подавленъ разгульный славянскій нравъ, на ихъ сердцѣ лежитъ очевидно тяжкое горе.

Это горе, это несчастіе—крѣпостное состояніе.

Сельскій пролетарій и крѣпостной мужикъ два страшные обличителя двухъ страшныхъ неправдъ нашего времени...

Видѣли ли вы литографію, изданную А. Мицкевичемъ и представляющую «Славянскаго невольника?»

Независть, смѣшанная съ злобой и стыдомъ, наполняетъ мое сердце, когда я гляжу на этотъ жесткій упрекъ.

Бѣлорусскій мужикъ, безъ шапки, обезумѣвшій отъ страха, нужды и тяжелой работы, руки на поясѣ, стоитъ середь поля и какъ-то косо и безнадежно смотритъ внизъ. Десять поколѣній замученныхъ на барщинѣ образовали такого парію, его черепъ сунулся, его ростъ измелъчаль, его лицо съ дѣтства покрылось морщинами, его ротъ судорожно скривленъ, онъ отвыкъ отъ слова: Звѣриный взглядъ и запуганное выраженіе показываютъ, на сколько шаговъ онъ пошелъ вспять отъ человѣка къ животнымъ.

За это преступленіе, за этого бѣлоруса его паны не свободны, за него ихъ геройство, ихъ мученичество, ихъ страданія не были приняты.

По другую сторону Европы стоитъ своего рода бѣлорусскій пахарь, его надобно самому видѣть, слово человѣческое не беретъ такого ужаса и не можетъ выразить. Какъ рассказать пепельный,

тусклый, матовый цвѣтъ лица, тряпья волосъ ирландскаго пролетарія, выгнаннаго или *выжженнаго* помѣщикомъ изъ своей деревни за недоимку и не успѣвшаго еще умереть съ голоду? Надобно видѣть своими глазами лихорадочный, полусумасшедшій и притомъ боязливо кроткій взглядъ, лицо двадцати-двухъ-трехъ лѣтней завялой старухи, которая проситъ глазами милостыню, показывая умирающаго ребенка съ посинѣлыми губами, которыя уже не со- сущь изсохшую, черствую грудь ея. И все это также подернуто землею, стерто, пепельно, безцвѣтно, сѣро, и женщина, и окочен- нѣвшій ребенокъ, и полуобнаженная грудь и босая нога.

Между этими двумя крайними типами, которые вполнѣ пред- ставляютъ геркулесовы столбы нашей цивилизаціи, стоятъ сель- скіе пролетаріи другихъ странъ Европы и крѣпостные мужики другихъ краевъ Россіи.

Пролетаріи другихъ земель—ирландцы, имѣющіе немного на- сущнаго хлѣба, ирландки, которыя еще могутъ кормить грудью дѣтей,—наши бѣлорусы, отпущенные на волю безъ земли и не боящіеся розогъ,—не болѣе.

Помѣщицкии крестьяне другихъ частей Россіи опять тѣ же бѣлорусы, но не успѣвшіе одичать, не отданные на копье жиду- арендатору, не ненавидимые своимъ католическимъ помѣщикомъ. а единоплеменные и единовѣрные съ нимъ.

И именно поэтому наше крѣпостное состояніе еще отвратительнѣе.

Я ничего не знаю нелѣпнѣе, безобразнѣе дикаго отношенія рабства между равными: по крайней мѣрѣ, негръ черенъ и кур- чавъ, а его помѣщикъ рыжъ и налить лимфой.

Зачѣмъ нашъ народъ попалъ въ крѣпость, какъ онъ сдѣлался рабомъ? Это не легко растолковать.

Все было до того нелѣпо, безумно, что за границей, особенно въ Англіи, никто не понимаетъ.

Какъ въ самомъ дѣлѣ увѣрить людей, что половина огромнаго народонаселенія, сильнаго мышцами и умомъ, была отдана въ раб- ство безъ войны, безъ переворота, рядомъ полицейскихъ мѣръ, рядомъ тайныхъ соглашеній, никогда не высказанныхъ прямо и не оглашенныхъ какъ законъ.

А, вѣдь, дѣло было такъ и не Богъ знаетъ когда, а два вѣка тому назадъ.

Мы сами понимаемъ такія чудеса только по привычкѣ къ не- послѣдовательности и беспорядку, къ неустоявшемуся колебанію русской жизни. У насъ вездѣ, во всемъ неопредѣленность и про- тиворѣчіе, обычаи, не взошедшіе въ законъ, но исполняемые, за- коны, взошедшіе въ сводъ, но оставляемые безъ дѣйствія, центра- лизація и выборная земская полиція. Жизнь въ Россіи возможна, благодаря этому хаосу, въ основѣ котораго коммунизмъ деревень.

Крестьяне съ незапамятныхъ временъ селились на частныхъ земляхъ. Отношеніе ихъ къ помѣщикамъ было патріархальное, основанное на обычаяхъ, на взаимномъ довѣрїи. Писанныхъ условій не было, между прочимъ, и потому, что ни крестьяне, ни владѣльцы не знали грамоты. Народъ русской и теперъ не любитъ бумажныхъ сдѣлокъ между равными; по рукамъ и чарка водки, тѣмъ дѣло и кончено. Ямщики возятъ дорогія клади съ Кяхты до Нижняго и Москвы, едва дѣлая накладную, и то безъ всякой скрѣпы.

Московское правительство долго не могло добраться до крестьянъ; дурно устроенное, занятое уничтоженіемъ удѣловъ сначала, оно собственно сложилось въ мощную государственную силу при царѣ Іоаннѣ Васильевичѣ. Крестьяне жили покойно въ своихъ общинахъ и вовсе не занимались тѣмъ, что дѣлалось въ Москвѣ.

Ихъ спасала отъ власти хартія, данная самой природой, непроходимыя дороги, страшная даль, болота и грязь. Пока они жили беззаботно и спустя рукава, въ Москвѣ ковали имъ цѣпи.

Исторія мѣръ, взятыхъ Годуновымъ, извѣстна. Царь Борисъ былъ большой просвѣтитель и прикрѣпленіе мужиковъ онъ не выдумалъ, а взялъ у балтійскихъ нѣмцевъ.

Подъ предлогомъ голода, перехода въ плодородныя страны государства, перехода отъ млекопомѣстныхъ господъ къ богатымъ, онъ ограничилъ право покидать землю, не отдавая, впрочемъ, крестьянина въ неволю. Подъ тѣмъ же предлогомъ голода и побѣговъ къ казакамъ, онъ прикрѣпилъ дворовыхъ людей къ ихъ господамъ. Мало-по-малу исчезли послѣднія права перехода; не произнося слово рабство, на самомъ дѣлѣ правительство лишило всѣхъ правъ крестьянъ, жившихъ въ частныхъ владѣніяхъ. Цѣпь, коварно положенная около сельской общины, затягивалась болѣе и болѣе, до тѣхъ поръ, пока Петръ I заперъ ее замкомъ нѣмецкой работы.

Едва обритые чиновники, въ шутовскихъ костюмахъ, съ разными мудреными названіями ландратовъ, ландрихтеровъ, ландфискаловъ и не знаю, какіе еще шведскіе и нѣмецкіе чины были тогда въ ходу, объѣзжали деревни и читали какой-то указъ, писанный темнымъ, ломанымъ и безобразнымъ языкомъ петровскаго времени.

Они дѣлали перепись и объявляли, что кого гдѣ ревизія захватила, тотъ тамъ будетъ крѣпокъ помѣщику.

Крестьяне были рады, видя, что чиновники уѣзжали, не сдѣлавъ больше вреда и въ сущности ничего не понимали.

Удивляться этому ненадобно, потому что и правительство не понимало и до сихъ поръ не понимаетъ, что оно сдѣлало. Ни Петръ I, ни всѣ его Гольштейнскіе, Брауншвейгскіе и Ангальтъ-

Цербскіе наслѣдники рѣшительно сами не знали, что такое быть «крѣпкимъ». Никакой законъ этого не опредѣлили, не истолковали.

Петръ I въ одномъ указѣ, данномъ сенату, говоритъ, что къ великому стыду въ Россіи продаютъ людей «какъ скотъ», и приказываетъ приготовить законъ, воспреещающій «буде возможно» продажу людей вообще или, по крайней мѣрѣ, продажу безъ земли. Сенатъ, раболѣпный во всемъ, ослушался и никакого закона не представилъ.

Изъ этого вы видите, что Петръ I подъ словомъ быть крѣпкимъ не разумѣлъ быть товаромъ, вещью.

«Я увѣренъ, писалъ собственноручно императоръ Александръ, что продажа крѣпостныхъ безъ земли давно запрещена закономъ», и спрашивалъ у государственнаго совѣта, въ силу какихъ постановленій допускается такая продажа. Государственный совѣтъ, не зная ни одного такого закона, отнесся къ сенату. Сколько не рылись въ сенатскомъ архивѣ, ничего не нашли. Какъ ни просты наши сенаторы, но въ этомъ случаѣ они не потеряли головы и представили тарифъ пошлинъ, вышедшій въ царствованіе Анны Иоановны. Въ этомъ тарифѣ значилось, сколько слѣдовало взимать пошлины за совершеніе купчей на продажу крѣпостныхъ людей; слѣдственно, заключалъ сенатъ, продажа людей была закономъ допущена. Но гдѣ этотъ законъ? Объ этомъ сенатъ молчалъ. Приказная уловка правительствующаго сената была до того груба, что государственный совѣтъ понялъ, что продажа людей дѣлается безъ всякаго права и, приготовивъ проектъ закона, воспреещающаго торгъ крещеной живностью, отослалъ его къ министру внутреннихъ дѣлъ.

Ни совѣтъ, ни министръ, ни государь не возвращались болѣе на этотъ предметъ.

Этотъ замѣчательный анекдотъ рассказанъ Н. Тургеневымъ въ его книгѣ объ Россіи. Авторъ былъ тогда статсъ-секретаремъ и самъ принималъ дѣятельное участіе въ составленіи новаго проекта. Онъ оканчиваетъ свой рассказъ чертой глубоко печальной. Предсѣдатель совѣта, графъ Кочубей, человекъ умный, но давно потерявшій вѣру, подошелъ къ Тургеневу послѣ засѣданія и сказалъ ему съ горькой и насмѣшливой улыбкой: «А, вѣдь, государь-то двадцать лѣтъ былъ увѣренъ, что людей не продаютъ по одиночкѣ».

Николай хотѣлъ ограничить продажу людей, но, желая сдѣлать добро, сдѣлалъ вредъ; такова обычная судьба полумѣръ. Запрещая дворянамъ, не имѣющимъ земли, покупать крестьянъ, запрещая до извѣстной степени раздробленіе семействъ, онъ призналъ право продажи въ другихъ случаяхъ и далъ законную основу терпимому безпорядку.

Императоръ Николай замѣчательно несчастенъ, и это, между прочимъ, оттого, что онъ вовсе не понимаетъ ничего гражданскаго. Ему бросается въ глаза безпорядокъ, чтобъ остановить его, онъ искажаетъ, портитъ послѣдніе уцѣлѣвшіе остатки русскаго права.

Такимъ образомъ, онъ искажилъ основу петровскаго дворянства, легко возобновляемаго изъ народа, сопрягая дворянскія права съ маіорскимъ чиномъ въ военной службѣ и съ чиномъ статскаго совѣтника въ гражданской.

Такимъ образомъ, онъ искажилъ екатерининское устройство дворянскихъ выборовъ, вводя избирательный цензъ, котораго не было, и лишая голоса всѣхъ дворянъ, имѣющихъ менѣе ста душъ.

Въ первомъ случаѣ онъ былъ руководимъ желаніемъ устранить мелкихъ чиновниковъ отъ быстрого пріобрѣтенія помѣщичьихъ правъ.

Въ другомъ онъ хотѣлъ предупредить вліяніе богатыхъ владѣльцевъ на выборы.

Въ обоихъ онъ временному вреду, безпорядку, пожертвовалъ нормой.

Не затруднять слѣдуетъ помѣщичьи права, ихъ слѣдуетъ уничтожить, ликвидировать. Всѣ маленькія мѣры будутъ недостаточны, изворотливость исполнителей и хитрость помѣщиковъ найдутъ средства обойти законъ.

У меня нѣтъ ни земли, ни крестьянъ, я покупаю дворовыхъ людей на имя моего сосѣда, а съ него беру заемное письмо. И потомъ, имѣя двѣ души и двѣ десятины, я могу покупать безъ всякаго ограниченія цѣлыя семьи живописцевъ, музыкантовъ, портныхъ, офиціантовъ... и обкладывать ихъ произвольнымъ оброкомъ, черезъ годъ продавать въ рекруты. Торгъ людьми идетъ не хуже, какъ въ Кубѣ или въ малой Азіи. Правда, стыдливое и плѣмудренное правительство запретило объявлять о продажѣ людей. Въ газетахъ скромно и бессмысленно печатаютъ «отпускается въ услуженіе кучеръ 35 лѣтъ, здороваго сложенія, съ окладистой бородой и честнаго поведенія или дѣвка 18 лѣтъ, прекраснаго поведенія и годная на всякую службу».

Самое существованіе всего несчастнаго сословія дворовыхъ людей внѣ-законное, ничѣмъ неопредѣленное и зависящее вполне отъ помѣщика. Сколько крестьянъ можетъ взять помѣщикъ во дворъ изъ деревни, сколько рукъ отнять у семьи? Онъ можетъ взять жену у мужа и сдѣлать ее прачкой у себя въ домѣ, онъ можетъ взять послѣдняго сына у старика отца и сдѣлать изъ него лакея; пока помѣщикъ не уморилъ съ голоду или не убилъ физически своего крѣпостнаго человѣка, онъ правъ передъ закономъ.

Русское правительство соединено съ Англіей договоромъ про-

тивъ торга невольниками. Отчего же надобно непременно быть чернымъ, чтобъ быть человѣкомъ?

Меня поражаетъ удивленіемъ неспособность нашего правительства во всѣхъ внутреннихъ вопросахъ. Александръ обдумывалъ двадцать пять лѣтъ планъ освобожденія, Николай приготовлялся семнадцать лѣтъ, — и что же выдумали они въ полстолѣтія? Нелѣпный указъ 2 апрѣля 1842 года объ обязанныхъ крестьянахъ.

Но, скажутъ, гдѣ же средства? Средства найдутся. И съ какихъ это поръ русское правительство сдѣлалось такъ разборчиво въ отношеніи къ средствамъ?

Развѣ не достало средствъ у Екатерины II, чтобъ отдать въ крѣпость Малороссію въ XVIII столѣтіи? Развѣ не достало средствъ въ XIX для водворенія военныхъ поселеній, для обращенія униатъ въ греко-россійское исповѣданіе?

Они боятся дотронуться до этого вопроса оттого, что они трусы. Въ сущности бояться нечего; вѣдь, это хорошо рассказывать иностраннымъ газетамъ объ дикихъ *boyards moscovites*, грозныхъ своимъ вліяніемъ. Ихъ совѣтъ нѣтъ.

Весь народъ, очевидно, былъ бы за правительство, и не одинъ народъ, а вся образованная часть дворянства.

Если законные помѣщики и московскіе *бояры* будутъ противиться, имъ придется ограничиться ропотомъ. Отчего имъ и не позволить болтать о своемъ неудовольствіи? Они, впрочемъ, столько проповѣдывали намъ безусловную покорность передъ высочайшей властью, что справедливо было бы отъ нихъ потребовать примѣръ. Да и гдѣ ихъ права? Они владѣли мужиками и разоряли ихъ по царской милости; по царской немилости они перестали бы ихъ разорять. Люди эти не имѣютъ партіи, ихъ сила мнимая. Кто сколько-нибудь знаетъ Россію, тотъ безъ смѣху не можетъ подумать объ оппозиціи «московскихъ бояръ».

Въ рукахъ правительства рядъ социальныхъ и финансовыхъ мѣръ, которыми оно можетъ безъ сильнаго и внезапнаго потрясенія освободить крестьянъ съ землею. Оно ихъ знаетъ изъ сотни проектовъ, поданныхъ съ 1842 г. Киселеву и Перовскому.

Вмѣсто того, чтобъ воспитательные дома превращать въ рынки, на которыхъ продаютъ ревизскія души съ молотка, правительство можетъ переводить долгъ на деревни и брать съ нихъ взаимную оброка свои 5⁰/₁₀₀. Оно можетъ сдѣлать внутренней заемъ для выкупа другихъ и пр.

Пусть оно только позволить дворянамъ прямо и открыто заняться этимъ вопросомъ, пусть разрѣшить всѣмъ, кто хочетъ, составленія обществъ, товариществъ для выкупа крестьянъ, для помощи освобождающимся, предварительно удостовѣривъ, что ни въ

какомъ случаѣ капиталъ общества не будетъ схваченъ и не будетъ употребленъ на постройку кадетскаго корпуса.

«Все это прекрасно — правительство должно бы, дворянство могло бы — конечно, но что же при всемъ этомъ самъ народъ, народъ, гоняемый на барщину, наказываемый розгами, разоряемый, продаваемый? Если онъ можетъ выносить такое положеніе, онъ заслуживаетъ его».

Разумѣется, такъ, какъ ирландецъ заслуживаетъ голодъ, итальянецъ австрійское иго. Я такъ привыкъ къ этому свирѣпому *va victis*, что всегда жду его. Что же съ Богомъ, въ походъ противъ всякаго страданія, всякаго несчастія, всякой трагической судьбы. Мало пролетарію, что онъ бѣденъ, что ему ѣсть нечего, что онъ не можетъ развиваться, что ему недосугъ думать, прибавимъ къ его горькой участи горькое слово. Мало крестьянину, что его отдали въ крѣпость, въ которой его держатъ; скажемъ ему, что онъ это заслужилъ, что онъ недостоенъ лучшей судьбы, потомъ отвернемся отъ нихъ обоихъ и отъ ихъ глухого стона.

Впрочемъ, прежде нежели мы ихъ оставимъ, я совѣтую имъ сказать спасибо за то, что голодъ одного, потъ другого, невѣжество обоихъ дали намъ средства такъ умно развиваться.

Мнѣ всякій разъ становится не по себѣ, когда говорятъ о народѣ. Въ нашъ демократическій вѣкъ нѣтъ ни одного слова, которое бы такъ мало понимали и такъ употребляли во зло. Понятіе, сопрягаемое съ нимъ, неопредѣленно, преувеличено, поверхностно, полно риторики въ похвалахъ и порицаніяхъ; одни поднимаютъ народъ до небесъ и дѣлаютъ изъ него какого-то прорицателя законовъ, неписанной разумъ, судію, другіе топчутъ его въ грязь, называя грубой толпой. Всѣ эти разглагольствованія, умиленія, негодованія и декламации не прибавляютъ ни на волосъ къ пониманію этой гранитной основы государствъ и человѣчества, связанной цементомъ вѣковыхъ воспоминаній и кровнаго родства, на которой построенъ плохой балаганъ современнаго политическаго устройства, полусгнившій и покачнувшійся.

Правительство и плавающий сверху слой цивилизаціи закрываютъ народъ и не допускаютъ знать его. За этими официальными и литературными декораціями, онъ живетъ по своему, рѣдко соображаясь съ ними, остается покойнымъ, когда за него горячатся и бросаютъ перчатку и возстаетъ, когда всего менѣе этого ждутъ.

Одни легкія революціи дѣлаются легко. Вѣтеръ свободно двигается во всѣ стороны верхній слой общественной зыби, но глубь тиха до урагана.

Зато и слѣды такихъ революцій не велики, онѣ меняютъ одежду и названіе, а дѣло остается по старому.

Народъ туго и скоро возстаетъ, онъ не играетъ, не шутить перемѣнами, онъ такъ бѣденъ, что долго не рискуетъ послѣднимъ; его возстаніе всегда глубоко выстраданное. Если оно неудачно, преждевременно, цѣлыя племена, государства гибнуть, гложуть. Германія потеряла всякій политической смыслъ и превратилась въ школу, усмиривъ крестьянъ.

Но возвратимся къ народу русскому. Онъ уступилъ не безъ боя. Вспомните, что было послѣ Бориса, во время самозванцевъ и междуцарствія: казалось, все государство было понято огнемъ и распадалось, все бродило въ болѣзненномъ волненіи, бралось за оружіе; откуда эта возбужденность, эта готовность къ бою, откуда эти полчища тушинскаго вора и другихъ кондотьеровъ? Сѣверо-востокъ Руси покрылся разбойниками, съ ними воюють какъ съ непріятелями, противъ нихъ посылають войска и пушки, ихъ вѣшаютъ *сотнями* при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ. У Стеньки Разина было цѣлое войско. Столѣтье спустя цѣлое войско собралось во-кругъ Пугачева.

Именемъ Петра III, котораго народъ не зналъ, мудро было бы поднять цѣлыя губерніи. Имя его придавало призрачную законность и фирму возстанію. Въ сущности народъ бунтовалъ противъ крѣпостного состоянія. Перечень казней въ приложеніяхъ къ пушкинской исторіи пугачевского бунта ясно показываетъ, противъ кого и чего дрался народъ.

Съ тѣхъ поръ ни мужики, ни дворовые не возстають массами. Сила сломила ихъ, средства усмиренія удесятились, тронъ Екатерины, качавшійся сначала, вросъ въ землю въ концѣ ея царствованія. Когда крестьянамъ становится невтерпежъ, они бѣгутъ, дѣлають поджоги или рѣжутъ господъ. Рѣдко сговариваются они съ другими деревнями, хотя и были примѣры, лѣтъ десять тому назадъ, въ Тамбовѣ и въ Симбирскѣ, что нѣсколько деревень дѣйствовали за одно. Бунты ихъ дѣлаются изъ мести и съ отчаянія, безъ всякой надежды поправить свое положеніе.

Народу, разсѣянному по необозримымъ долинамъ и живущему въ деревняхъ, открытыхъ со всѣхъ сторонъ, ничѣмъ не защищенныхъ кромѣ лѣсовъ, трудно дѣлать возстанія.

Сверхъ того, вопросъ объ уничтоженіи крѣпостного состоянія не былъ до нашего времени понимаемъ одинакимъ образомъ крестьянами и аболиціонистами. Съ точки зрѣнія либерализма и религіи собственности вопросъ разрѣшался прямо противъ народнаго смысла.

Послѣ наполеоновской войны Александръ освободилъ эстовъ, принадлежавшихъ остзейскому дворянству, онъ имъ далъ личную свободу *безъ земли*. Весьма вѣроятно, если-бъ русскіе крестьяне, такъ мужественно дравшіеся противъ непріятеля, съ нѣкоторой

настойчивостью потребовали освобождения, императоръ, при тогдашнемъ его настроеніи, уступилъ бы имъ. Часть дворянъ лучше не просить, какъ освободить мужиковъ, оставя за собой землю. Что же было бы изъ такого освобождения?

Представьте себѣ европейское сельское устройство съ петербургскимъ самовластіемъ, съ нашими чиновниками, съ нашей земской полиціей. Представьте себѣ двадцать милліоновъ пролетаріевъ, ищущихъ работы на господскихъ земляхъ, въ странѣ, гдѣ нѣтъ никакой законности, гдѣ все управленіе подкупное и дворянское, гдѣ личность ничего, а вліяніе все.

Помѣщики заключили бы между собой оборонительный союзъ, установили бы свои цѣны противъ крестьянъ, такъ, какъ это было въ остзейскихъ провинціяхъ. Полиція была бы съ ихъ стороны. Общинное начало было бы поражено на смерть у вновь освобожденныхъ, деревня потеряла бы свое коммунистическое единство и въ полстолѣтія мы перегнали бы Ирландію.

Есть люди, до сихъ поръ поддерживающіе пользу освобождения безъ земли, освобождения въ голодъ и безпріютность, воображая, что въ этомъ новомъ пролетаріатѣ непремѣнно разовьется революціонное начало.

Быть голоднымъ и пролетаріемъ вовсе недостаточно для того, чтобъ сдѣлаться революціонеромъ. Взвода полиціеменовъ достаточно, чтобъ держать ирландцевъ въ повиновеніи законамъ, лишающимъ ихъ куска хлѣба.

Вообще пролетарій полей очень миренъ, кругъ его понятій тѣсенъ, онъ слишкомъ подавленъ и сгнетенъ къ землѣ, чтобъ быть болѣе нежели недовольнымъ. Его ненадобно смѣшивать съ рабочникомъ большихъ торговыхъ и политическихъ центровъ. Въ этихъ колоссальныхъ ульяхъ, гдѣ милліоны людей трутся ежедневно другъ о друга, гдѣ на всякомъ шагу попадаются макабрскія встрѣчи пляшущихъ съ умирающими, пересыщенныхъ съ голодными, Ротшильда съ ирландцемъ, откупщика съ поденщикомъ, тамъ, разумѣется, въ душѣ работника бродятъ мысли о ниспроверженіи этого міра монополии, цеха, капитала, дохода, но въ маленькихъ городахъ и еще болѣе въ поляхъ пролетарій не таковъ. Онъ принимаетъ свое положеніе за судьбу, онъ страдаетъ, не знаетъ выхода, покоряется.

Русскіе, говорящіе такъ легко о разрушеніи сельской общины, никогда не думали, что же останется, что будетъ, когда этотъ послѣдній узелъ народной жизни, насильственно развязанный, распустится.

Народъ русской все вынесъ, но спасъ общину, община спасла народъ русской; уничтожая ее, вы отдаете его, связаннаго по рукамъ и ногамъ, помѣщику и полиціи. И коснуться до нее въ то

время, когда Европа оплакиваетъ свое раздробленіе полей и всѣми силами стремится къ какому-нибудь общинному устройству!

Говорятъ, что община поглощаетъ личность и что она несомѣстна съ ея развитіемъ. Въ этомъ мнѣніи есть доля правды. Всякой неразвитой коммунизмъ подавляетъ отдѣльное лицо. Но не надобно забывать, что русская жизнь находила сама въ себѣ средства отчасти восполнять этотъ недостатокъ. Сельская жизнь образовала рядомъ съ неподвижной, мирной, хлѣбопашенной деревней, подвижную общину работниковъ, артель и военную общину казаковъ.

Артель лучшее доказательство того естественнаго, безотчетнаго сочувствія славянъ съ социализмомъ, о которомъ мы столько разъ говорили. Артель вовсе не похожа на германскій цехъ, она не ищетъ ни монополи, ни исключительныхъ правъ, она не для того собирается, чтобъ мѣшать другимъ, она устроена для себя, а не *противъ* кого-либо. Артель—соединеніе вольныхъ людей одного мастерства на общій прибытокъ общими силами.

Казачество была отворенная дверь людямъ, не любящимъ покоя, ищущимъ движенія, опасности, независимости. Оно соответствовало тому буйному началу молодечества и удали, которое рядомъ съ мирнымъ и добродушнымъ правомъ славянъ составляетъ ихъ характеристику.

Общинный дружинникъ, казакъ, становился безсмѣнной стражей на крайнихъ предѣлахъ отечества и берегъ его; онъ не хотѣлъ знать никакого правительства, кромѣ своего выборнаго; лучше становился разбойникомъ, нежели подданнымъ, но родинѣ служилъ вѣрой и правдой и, не жалѣя, лилъ за нее свою кровь. Запорожцы были славянскіе витязи, витязи мужики, странствующие рыцари чернаго народа.

Привычные къ войнѣ и дорогѣ, казаки имѣли тѣ неопредѣленные влеченія, то политическое чутье, тѣ пророческія догадки, которыми отличались норманны. Горсть казаковъ завоевала Сибирь. Ермакъ не остановился на Тобольскѣ, онъ добрался до Иркутска и тамъ сложилъ свою буйную голову. Другой казакъ послѣ него, съ своей небольшой дружиной, пробился сквозь льды и степи до морскаго берега, какъ будто что-то непреодолимое тянуло ихъ къ Тихому океану, къ этому Средиземному морю будущаго; какъ будто они провидѣли всю важность поставить Русь лицомъ къ лицу съ Сѣверо-Американскими Штатами.

Надобно было имѣть все жалкое непониманіе нѣмецкаго правительства, чтобъ не оцѣнить такого учрежденія, какъ казачество. Не даромъ казаки возражали Богдану Хмѣльницкому, что вольнымъ людямъ нельзя вступать въ подданство Москвѣ.

Казаки явились въ 1812 году тѣмъ же отважнымъ, лихимъ

войскомъ, какимъ были прежде. Они вносили въ регулярную армію поэтическій и народный элементъ. Безъ строя и выправки, съ пикой и бородой, на маленькихъ лошадакахъ съ длинной гривой, они разсыпались, исчезали, нападали съ страшной дерзостью и ускользали съ восточной уклончивостью. Они всего больше остались въ памяти непріятеля.

Само собою разумѣется, что ни въ коммунизмѣ деревень, ни въ казацкихъ республикахъ мы не могли бы найти удовлетворенія нашимъ стремленіямъ. Все это было слишкомъ дико, молодо, неразвито, но изъ этого не слѣдуетъ, что намъ должно ломать эти незрѣлыя начинанія, напротивъ, ихъ надобно продолжать, развивать, образовывать. Тутъ нѣтъ большого достоинства, что мы неподвижно сохранили нашу общину въ то время, какъ германскіе народы ее утратили, но это большое счастье и его не надобно выпускать изъ рукъ. Мы долго ждали, долго временили, воспользуемся опытностью нашихъ сосѣдей, она имъ страшно дорого стоитъ.

Міръ западный утратилъ свое общинное устройство; хлѣбопашцы и несобственники были принесены на жертву развитію меньшинства; зато развитіе дворянства и горожанъ было велико и богато. Оно имѣло рыцарство съ его высокимъ понятіемъ независимой личности и среднее состояніе съ его непреклонной идеей права, оно имѣло искусство и литературу, науку и промышленность, наконецъ реформацію и революцію.

Одна Россія, эта падчерица, эта Сандрильона между народами европейскими не имѣла никакой доли въ пріобрѣтеніяхъ и побѣдахъ своихъ сосѣдей. Народъ русской такъ же мало былъ способенъ къ торжественному западному развитію трехъ послѣднихъ вѣковъ, какъ къ крестовымъ походамъ, какъ къ схоластикѣ и теологическимъ спорамъ, какъ къ римскому праву и германскому феодализму. Народъ русской ничего не пріобрѣлъ со временъ Владиміра и кіевскаго періода; онъ сохранилъ только свою незамѣтную, скромную общину, т. е. владѣніе сообща землю, равенство всѣхъ безъ исключенія членовъ общины, братской раздѣлъ полей по числу работниковъ и собственное мірское управленіе своими дѣлами. Вотъ и все приданое Сандрильоны, зачѣмъ же отнимать послѣднее... «Загѣмъ, что при всемъ этомъ на Руси жить тяжело, ни уму, ни сердцу нѣтъ простора». Тяжко, дурно жить въ Россіи, это правда, и тѣмъ тяжеле было для насъ, что мы думали, что въ другихъ странахъ легко и хорошо жить.

Теперь мы знаемъ, что и тамъ тяжело. Отъ того, что и тамъ не разрѣшенъ вопросъ, около котораго сосредоточилась теперь вся человѣческая дѣятельность, вопросъ объ отношеніи лица къ обществу и общества къ лицу. Крайнія, одностороннія развитія привели

къ двумъ нелѣпостямъ—къ гордому своими правами, независимому англичанину, котораго свобода основана на вѣжливой антропофагіи, и къ бѣдному русскому мужику, безлично потерянному въ общинѣ, безправно отданному въ крѣпость и въ силу того служащему съѣстными припасомъ барину.

Гдѣ ихъ примиреніе, какъ снять ихъ противурѣчіе, какъ сохранить независимость британца безъ людоедства, какъ развить личность крестьянина безъ утраты общиннаго начала? Въ этомъ-то вся мучительная задача нашего вѣка, въ этомъ-то и состоитъ весь социализмъ.

Безумно было бы начать переворотъ съ уничтоженія свободныхъ учреждений, потому что они на дѣлѣ доступны только меньшинству; еще безумнѣе уничтожить общинное начало, къ которому стремится современный человѣкъ, за то, что оно не развило еще свободной личности въ Россіи.

Наша деревня довольно наказана рабствомъ за ея односторонность, за ея слишкомъ патріархальные права; неужели и самое освобожденіе должно ей служить наказаніемъ.

Помѣщичья власть, какъ нѣчто совершенно внѣшнее, поддерживаемое однимъ насиліемъ, легко снимется съ сельской жизни.

Гакстгаузенъ старается доказать въ своей книгѣ, что помѣщики представляютъ патріархальную главу общины, нѣчто въ родѣ старинныхъ шотландскихъ клановъ или аравійскихъ эмировъ. Мнѣніе это, нѣкогда поддерживаемое плантаторами изъ московскихъ панславистовъ, совершенно ложно.

Патріархальный глава общины—староста, выбранный міромъ, взятый изъ самой общины, равный всѣмъ. Онъ замѣняетъ отца и есть дѣйствительный опекунъ, ходатай, представитель деревни. Гдѣ же начинается необходимость другой главы, вотчина, посторонняго, опирающагося на внѣшнюю власть, не принимающаго никакого участія въ дѣлахъ общины, не несущаго ея тяги и обкладывающаго ее оброкомъ и барщиной?

Если-бъ помѣщикъ былъ только собственникъ земли, его права ограничивались бы кортомными деньгами за нее, соотвѣтственной работой или половничествомъ. Но оно вовсе не такъ. Онъ владѣетъ гораздо больше человѣкомъ, нежели землею, онъ беретъ окупъ не съ десятины, а съ мышць, съ дыханія, онъ заставляетъ платить за право работы, движенія, существованія. Оброкъ дворовыхъ, ходящихъ по паспорту, основанъ, по превосходному выраженію, невзначай сорвавшемуся у Гакстгаузена, на *обратномъ* сенъсимонизмѣ: чѣмъ больше способности, тѣмъ больше требуетъ баринъ. Очевидная нелѣпость.

За общиной логически ничего нѣтъ другого, какъ соединеніе общинъ въ большія группы и соединеніе группъ въ общемъ, на-

родномъ, земскомъ дѣлѣ (res publica). Казенныя деревни дѣйстви-тельно соединяются въ волости, они избираютъ сверхъ старость, тысяцкихъ, сотскихъ, десятскихъ, голову, и при немъ двухъ стариковъ въ судьи. Все это совершенно послѣдовательно идетъ изъ народнаго понятія о правѣ, неписаннаго, но живого во всякой славянской груди. Но тутъ разомъ обрывается всякой смыслъ, мы встрѣчаемся съ становымъ приставомъ, съ канцелярскимъ правительствомъ и съ помѣщицъей властью.

Прерывъ всякой связи между народомъ и дворянствомъ, между народомъ и чиновничествомъ очевиденъ, и никогда не былъ онъ рѣзче обозначенъ, какъ теперъ. Лѣтъ сто тому назадъ богатые помѣщики изъ аристократизма щадили своихъ крестьянъ; бѣдные жили между ними и мало отличались отъ нихъ правами и образованіемъ. Все это измѣнилось. Образование разъединило совершенно помѣщиковъ съ крестьянами, и они не могли болѣе ни брать участія, ни любить крестьянъ, ни жалѣть ихъ, все чуждое для насъ безразлично; но они могли и хотѣли пользоваться ими и пользовались. Крестьянинъ перешелъ въ разрабатываемую собственность. Развитие промышленности фабрикъ и самое распространеніе политической экономіи, *переложенной на російскіе* нравы, дали тысячу новыхъ средствъ употреблять крестьянъ на пользу. Помѣщикъ, «патріархальная глава общины», сдѣлался мало по малу изъ вельможи фабрикантомъ, плантаторомъ, торговцемъ бѣлыхъ негровъ.

Здѣсь не мѣсто вступать въ разборъ историческаго значенія петровскаго переворота, петровской Руси; мы считаемъ переворотъ этотъ необходимымъ, онъ разбудилъ Россію, онъ ее повелъ впередъ, когда она сама еще не могла идти, онъ былъ полонъ вѣрою въ ея великія судьбы, въ ея великія силы, но онъ былъ свирѣпъ и жестокъ, какъ большая часть революцій, какъ царство ужаса въ 93 году, и имсно потому разорвалъ единство жизни русской.

Двѣ Россіи сначала XVIII столѣтія стали враждебно другъ противъ друга. Съ одной стороны, была Россія петербургская, дворянская, богатая деньгами, вооруженная приказными и полицейскими уловками, взятыми изъ Германіи.

Съ другой, Русь чернаго народа, бѣдная, хлѣбопашенная, общинная, демократическая, безоружная, взятая врасплохъ, побѣжденная собственно безъ боя. Что же тутъ удивительнаго, что отдали Россіи, придворной, военной, одѣтой по-нѣмецки, образованной снаружи, Русь мужицкую, бородатую, неспособную опѣнить привозное образованіе и заморскіе нравы, къ которымъ она питала глубокое отвращеніе.

Чего было ее жалѣть?

— Что ты ходишь, повѣся носъ, спросилъ однажды графъ Зава-

довскій или Зоричъ почтеннаго дворянина, состоявшаго при немъ въ качествѣ шута.

Собесѣдникъ, къ которому относился вопросъ, былъ человекъ необыкновенно толстый и прожорливый, всегда обѣдавшій у графа. Когда графъ бывалъ особенно веселъ, онъ давалъ знакъ рукою, лакей надѣвалъ на голоднаго шута хомутъ и, затанувъ шею, пускалъ его на ѣду.

Дворянинъ бился въ хомутѣ какъ звѣрь, бросался нарочно на блюда, давился, былъ очень гадокъ, словомъ усердно тѣшилъ своего покровителя, хохотавшаго до слезъ.

— Поневоля повѣсишь носъ, отвѣчалъ упряжный дворянинъ, ваше сіятельство изволите всѣхъ щедротами своими награждать, одинъ я, несчастный, забыть вами.

— Какъ такъ? спросилъ графъ.

— Ваше сіятельство всѣмъ пожаловали отчины въ Малороссіи, а мнѣ хоть бы какую-нибудь сотню дрянныхъ казаковъ.

— Каковъ малый, отвѣчалъ сквозь хохотъ графъ, губа-то не дура. Такъ и тебѣ казаковъ захотѣлось—ха, ха, ха! Чѣмъ же ты заслужилъ казаковъ?

— Да, помилуйте, ваше сіятельство, отвѣчалъ шутъ, вѣдь, я и не Богъ знаетъ чего прошу: чего вамъ, графъ, стоятъ казаки, а мнѣ милость была бы дорога и я до гроба молился бы объ вашемъ здравіи.

— Еще лучше, замѣтилъ веселый графъ, да онъ совсѣмъ не такъ глушь, какъ кажется; въ самомъ дѣлѣ, чего жалѣтъ казаковъ. Ну, такъ и быть, дамъ тебѣ казаковъ.

— Ваше сіятельство, ваше сіятельство! говорилъ тронутый шутъ и ползъ на колѣняхъ приложиться къ графской ручкѣ, неужели и въ правду.

— Ну, полно, полно, отвѣчалъ графъ, милостиво протягивая руку, говорю тебѣ, будутъ у тебя казаки.

Это было въ самое то время, когда Екатерина II вводила крѣпостное состояніе въ Малороссію.

Графъ сдержалъ слово и отложенный шутъ поѣхалъ управлять своими казаками.

Въ прошедшемъ году, переѣзжая С. Готаръ, я взялъ въ одной гостиницѣ трактирную книгу; въ ней большими буквами стояла русская фамилія. Подъ нею другой путешественникъ написалъ мелкимъ шрифтомъ по-французски: «тотъ самый, котораго дворовые люди высѣкли».

Эта непріятность случилась съ однимъ камергеромъ, извѣстнымъ богачемъ и негодяемъ. Въ 1850 году онъ жилъ въ своемъ малороссійскомъ имѣніи. Крестьяне и дворовые, выведенные изъ терпѣнія, рѣшились прочить его. Они его высѣкли и взяли пись-

менную росписку, что онъ будетъ молчать. Прошло нѣсколько времени, испуганный камергеръ, казалось, присмирѣлъ, но вдругъ поставилъ въ рекруты молодого малого, оказавшагося особенно усерднымъ во время наказанія. Когда рекруту забрили лобъ, онъ сказалъ предѣдателю, что баринъ его отдалъ въ солдаты за то, что онъ его больно сѣкъ, въ удостовѣреніе чего рекрутъ вытаскилъ изъ-за пазухи камергерскую росписку.

Документъ этотъ до того поразилъ присутствующихъ, что они не догадались ни уничтожить его, ни даже продать росписку камергеру. Они стгоряча представили «казусть сей» на усмотрѣніе министру внутреннихъ дѣлъ. Но и тотъ призадумался, случай о сѣченыхъ камергерахъ рѣшительно не былъ предвидимъ сводомъ законовъ. Министръ доложилъ государю. Государь выгналъ его изъ службы. Москвичи, ѣздившіе толпами къ нему на балы, зная его гнусное поведеніе, оставили его, узнавъ объ исправительной мѣрѣ, употребленной дворовыми. Камергеръ обидѣлся, сталъ жаловаться, чуть не сдѣлался недовольнымъ. Государь велѣлъ ему ѣхать за границу и не возвращаться безъ особаго приказа.

Несчастно гонимый и интересный камергеръ этотъ не кто иное, какъ благополучный наслѣдникъ упряжнаго шута, а люди его наказывавшіе—дѣти казаковъ, пожалованныхъ Екатериной.

Это рѣзко характеризуетъ начало и послѣдствія русскаго помѣщичьяго права.

Что тутъ прибавлять къ графу, согласному, что казаковъ жалѣть нечего, къ шуту въ хомутѣ, который вдругъ изъ грязныхъ нахлѣбниковъ дѣлается законнымъ господиномъ свободныхъ казаковъ, къ камергеру, благоразумно предпочитающему розги смерти.

СТАРЫЙ МІРЪ И РОССІЯ.

Письма къ редактору «The English Republic», В. Линтону.

(1854 г.).

Н. Трюбнеръ прислалъ мнѣ прилагаемый переводъ, спрашивая моего согласія на изданіе его. Политическія статьи быстро вянутъ, и я, перечитавъ эти письма къ В. Линтону, писанныя передъ крымской войной, задумался было о томъ, печатать ихъ или нѣтъ. Но сказанное слово тоже фактъ и отпираться отъ него стыдно; я не напрашивался на переводъ, но не хочу и мѣшать ему, тѣмъ больше, что онъ уже сдѣланъ.

Письма эти навлекли на меня сильныя гоненія отъ англійскихъ и особенно отъ нѣмецкихъ журналистовъ. Трудно себѣ представить, въ какомъ безвыходномъ, запаенномъ на-глухо кругѣ понятій бьется современный европейскій человѣкъ и какъ ему трудно достается, какъ его сбиваетъ съ толку, какъ ему становится ребромъ всякая мысль, не подходящая подъ заученныя имъ правила, подъ заготовленные имъ рубрики. Рядовые литераторы и журнальные поденщики стоятъ на первомъ планѣ. У нихъ для ежедневнаго обихода есть запасъ мыслей, знаній, сужденій, негодованій, восторговъ и главное прилагательныхъ словъ, которыя у нихъ идутъ на все; ихъ по мѣрѣ надобности сокращаютъ, растягиваютъ, подкрашиваютъ въ ту или другую краску. Эта трафаретная работа необычайно облегчаетъ трудъ; ее можно продолжать во всякомъ расположеніи, съ головою болью, думая о своихъ дѣлахъ, такъ, какъ старухи вяжутъ чулокъ. Но все это идетъ, пока дѣло вертится около знакомыхъ предметовъ. Новое событіе, неизвѣстный фактъ принимается, напротивъ, съ скрытой злобой, какъ незванный гость,—его стараются сначала не замѣчать, потомъ выпроводить за дверь, а если нельзя иначе, оклеветать.

Письма эти имѣли въ себѣ многое, чтобъ возбудить гнѣвъ и въ обыкновенное время,—а они явились во время повальной ненависти къ Россіи и ничѣмъ неудержимаго воинскаго героизма союзниковъ вообще, и въ особенности нѣмцевъ.

Чтобъ дать понятіе, что такое были нападки, я упомяну о трехъ

самыхъ забавныхъ. Одинъ господинъ говоритъ, что въ этихъ письмахъ я ставлю въ образецъ и идеаль—*крупнѣе состояніе*; другой—что я совѣтую не только завоеваніе Константинополя, но и Вѣны; третій—что все сказанное мною объ сельской общинѣ ложно и выдуманно: «онъ дошелъ до того, что даже въ устройствѣ украинскихъ казаковъ старается показать начала демократическія, почти республиканскія!»

Почти еще забавнѣе были два изустныя замѣчанія. Редакторъ одного *недѣльнаго* листа замѣтилъ мнѣ, что анти-религіозный характеръ моихъ писемъ оскорбителенъ для англичанъ, для народа по преимуществу христіанскаго. «Вотъ, говоритъ онъ, вамъ примѣръ, человекъ необычайной энергіи и силы мысли, отецъ социализма, старый Робертъ Оуэнъ, отчего не имѣлъ успѣха, отчего не основалъ школы,—оттого что онъ прямо отвергаетъ христіанство».

Нѣсколько дней послѣ встрѣтилъ я другого редактора другого тоже *недѣльнаго* листа. Онъ мнѣ сказалъ, что хотѣлъ напечатать отрывки изъ моихъ писемъ, но нашелъ, что въ нихъ все такъ пропитано социализмомъ, который антипатиченъ англо-саксонской расѣ, что онъ не рѣшился этого сдѣлать.

— Робертъ Оуэнъ оттого не имѣлъ успѣха, сказалъ я, оттого не основалъ школы, что онъ социалистъ.

— Безъ малѣйшаго сомнѣнія! отвѣчалъ утвердительно редакторъ.

Что же бы осталось отъ Оуэна, если-бъ изъ его сочиненій взять все социальное и все анти-христіанское?

Ошибокъ въ этихъ письмахъ много.

Но въ чемъ я не ошибся и что составляетъ сущность этихъ писемъ, это въ моемъ предсказаніи, что Россія должна вступить въ новую эру развитія.

Да не ошибся я и въ томъ, что Англія сдѣлается больше и больше отчужденнымъ островомъ, хранящимъ въ своихъ свободныхъ учрежденіяхъ прежній идеаль общественнаго устройства, къ которому стремился весь европейскій міръ да середь дороги ослабѣлъ, одряхлѣлъ и подпалъ двумъ величайшимъ врагамъ развитія и свободы: подогрѣтому католицизму и вновь воскресшему абсолютизму.

Нашихъ соотечественниковъ прошу я не забывать, что эти письма писаны не для русскихъ и не тѣмъ языкомъ, которымъ мы говоримъ.

1 января, 1858 года.
Путней (близъ Лондона).

Письмо первое.

Любезный Линтонъ!

«Какая, по мнѣнію вашему, будущность Россіи?» спрашиваете вы.

Всякій разъ, когда мнѣ приходится отвѣчать на подобный вопросъ, я отвѣчаю, тоже спрашивая: способна Европа къ общественному возрожденію, или нѣтъ? Вопросъ этотъ очень важенъ. Ежели народу русскому предстоитъ только одна будущность, то судьбамъ имперіи російской предстоятъ двѣ будущности. Отъ Европы будетъ зависѣть, которая изъ двухъ совершится.

Мнѣ кажется, что роль *теперешней* Европы совершенно окончена; съ 1848 года разложеніе ея растетъ съ каждымъ шагомъ.

Слова эти ужасаютъ, и всѣ безотчетно оспариваютъ ихъ. Разумѣется, не народы погибнуть, — погибнуть государства, погибнуть учрежденія: римскія, христіанскія, феодальныя, парламентскія, монархическія или республиканскія, — все равно.

Европа должна преобразоваться, разложиться, чтобъ войти въ новыя сочетанія. Подобнымъ образомъ имперія римская преобразовалась въ Европу христіанскую. Она потеряла свою самобытность и вступила въ новый міръ, взошла въ него одною изъ дѣятельнѣйшихъ стихій.

До сихъ поръ въ Европѣ были только внѣшнія преобразованія; основанія же новаго порядка государствъ оставались неосуществленными; старое зданіе только поправляли. Такова была реформа Лютера, такова была революція 1789 года.

Мы дошли, наконецъ, до крайнихъ границъ *передѣлокъ* и зачекатуриваній; ветхія формы слишкомъ тѣсны; въ нихъ нельзя вернуться, опасаясь, что онѣ распадутся. Революціонная мысль, сверхъ того, несомнѣтна съ существующимъ порядкомъ вещей.

Государство съ римскими понятіями, основанными на поглощеніи личности обществомъ, на религіи собственности, на привилегіяхъ и монополіяхъ, на нравственномъ дуализмѣ (даже въ революціонной формѣ: «Богъ и Народъ»), — такое государство не можетъ ничего оставить потомству, кромѣ своего трупа, т. е. свои химическіе элементы, освобожденные смертью.

Соціализмъ отрицаетъ все то, что политическая республика сохранила отъ стараго общества.

Всѣ отношенія общества къ частнымъ лицамъ и частныхъ лицъ между собой должны быть совершенно измѣнены. И тутъ является вопросъ: будутъ ли имѣть народы германо-романскіе достаточно силъ, чтобъ подвергнуться этому переселенію душъ и въ состояніи ли они подвергнуться ему теперь?

Мысль соціальной революціи—мысль европейская; но изъ этого не слѣдуетъ, что западные народы одни призваны осуществить ее. Христіанство было только *распято* въ Іерусалимѣ.

Мысль соціальная равно можетъ быть духовнымъ завѣщаніемъ, предсмертной волей, предѣломъ западнаго міра, какъ и торжественнымъ входомъ въ новое существованіе, приобрѣтеніемъ совершеннолѣтней тоги.

Европа слишкомъ богата, чтобъ рисковать всѣмъ имуществомъ на одной картѣ; она желаетъ сохранить многое; ея низшіе классы слишкомъ отдалены отъ цивилизаціи, чтобы она зря могла броситься всѣмъ тѣломъ въ такой коренной переворотъ.

Республиканцы и монархисты, дейсты и іезуиты, горожане и крестьяне, все это — консерваторы; развѣ, придется исключить однихъ только работниковъ.

Но и работникъ можетъ быть побѣжденъ, какъ это было въ іюньскіе дни. Противудѣйствія будутъ еще свирѣпѣе, еще страшнѣе. Тогда разложеніе стараго міра придетъ инымъ путемъ и социализмъ осуществится въ другихъ странахъ.

Взгляните, напримѣръ, на эти двѣ огромныя равнины, сходящіяся затылками, обогнувъ Европу. Зачѣмъ онѣ такъ просторны, къ чему онѣ готовятся, что означаетъ пожирающая ихъ страсть къ дѣятельности и расширенію? Эти два міра, противоположные одинъ другому, и между которыми есть своего рода сходство,—Сѣверо-Американскіе Соединенные Штаты и Россіи.

Никто не сомнѣвается, что Америка продолженіе европейскаго развитія, и *ничего болѣе* какъ его продолженіе. Лишенная всякой инициативы, всякаго изобрѣтенія, Америка готова принять бѣгущую отъ реакціи Европу, осуществить своего рода социализмъ, но она не пойдетъ низвергать древнее зданіе за Атлантическій океанъ и не покинетъ для этого своихъ богатыхъ полей.

Можно ли сказать тоже о славянскомъ мірѣ? Чего домогается этотъ *нѣмой міръ*, прожившій въ постоянномъ *a parte*, не раскрывая рта, цѣлый рядъ столѣтій, со времени переселенія народовъ до нашихъ временъ?

Міръ странный, не имѣющій почти ничего общаго ни съ Европой, ни съ Азіей.

Европа занята крестовыми походами,—славяне сидятъ спокойно дома.

Европа развиваетъ феодальную систему, строить большіе города, составляетъ законодательства, основанныя на римскомъ правѣ и на германскихъ обычаяхъ; Европа становится послѣдовательно протестантской, либеральной, парламентской, революціонной. Славяне не имѣютъ ни большихъ городовъ, ни аристократическаго дворянства; они не понимаютъ римскаго права, не знаютъ разли-

чія между крестьяниномъ и горожаниномъ; они предпочитаютъ жизнь сельскую и сохраняютъ свои патріархальныя и демократическія установленія—свою сельскую общину и вѣче.

Часть этихъ народовъ еще не пробилъ, они всѣ въ ожиданіи чего-то, ихъ теперешнее *statu quo* какое-то предварительное состояніе,—такъ, по крайней мѣрѣ, кажется.

Нѣсколько разъ славянскіе народы пытались сложиться въ сильныя государства. Опыты ихъ, повидимому, удавались (какъ, напримѣръ, Сербіи при Дѹшанѣ) и потомъ эти государства глоснутъ, останавливаются безъ всякой причины.

Распространенные отъ береговъ Волги до береговъ Эльбы, до Адриатическаго моря и Архипелага, славяне никогда не соединились въ одно, для общей защиты. Часть ихъ изнемогаетъ подъ нѣмецкимъ игомъ, другая терпитъ владычество турокъ, третья—была порабощена варварскими ордами, нападшими на Паннонію. Большая часть Россіи долгое время страдала подъ игомъ монгольскимъ.

Одна лишь Польша оставалась независима и сильна... Но это потому, что она была меньше славянскою, чѣмъ прочія племена: она была *католическою*. А католицизмъ совершенно противенъ славянскому гению. Славяне первые вступили въ вражду съ папизмомъ, ихъ борьба съ тѣмъ вмѣстѣ имѣла въ себѣ характеръ глубоко-соціальный (Табориты).

Завоеванная и покоренная католицизмомъ Богемія сломилась.

Итакъ, Польша сохранила свою независимость нарушеніемъ соплеменнаго единства и сближеніемъ своимъ съ западными государствами.

Остальные славяне, хотя и оставались независимы, но не занимались своимъ государственнымъ устройствомъ; общественная жизнь ихъ была нѣчто въ родѣ колеблющагося, неопредѣленнаго, неустояващагося *анархизма* (какъ бы выразились здѣшніе *друзья порядка*). Въ мірѣ, можетъ быть, нѣтъ положенія болѣе сообразнаго съ славянскимъ характеромъ, какъ положеніе Украины или Малороссіи со временъ кіевского періода до Петра I.

Это была казачья и земледѣльская республика, управляемая военною дисциплиной, но на основаніяхъ демократическаго коммунизма. Безъ средоточія, безъ правленія, повинувась лишь древнимъ обычаямъ, не подчиняясь ни царю московскому, ни королю польскому. Аристократіи не было, всякій совершеннолѣтній челоувѣкъ былъ дѣятельнымъ гражданиномъ; всѣ должности, начиная отъ десятника до гетмана, были избирательныя. Республика эта существовала отъ XIII вѣка до XVIII, несмотря на безпрестанныя вражды ея съ Великороссіей, съ поляками, литовцами, турками и крымскими татарами. Въ Украинѣ, въ Черногоріи и даже

у сербовъ, иллирійцовъ и далматовъ — повсюду геній славянскій заявилъ себя, свои стремленія, но не развилъ крѣпкой политической формы.

Однако, надо было, наконецъ, пройти *дрессировкой* сильнаго государства, надо было соединиться, сосредоточиться, покинуть вольную, казачью и коммунальную жизнь, жизнь спуща рукава; однимъ словомъ, проснуться отъ продолжительнаго общественнаго сна.

Около XIV столѣтія въ Россіи образуется средоточіе, около котораго тяготеютъ и кристаллизуются всѣ разнородныя части государства, это средоточіе—Москва. Со времени ея появленія какъ центра, она становится столицей всего славянскаго православія.

Москва уничтожила все независимое старой Руси, всѣ вольности народныя. Все было принесено на жертву идеѣ *государства*; все приводится къ его одному знаменателю и все склоняется. Народъ, низвергнувъ иго монгольское, продолжая кровавую вражду съ ливонцами и видя вооруженіе Польши, какъ будто чувствовалъ, что для спасенія своей народности и своей сущности слѣдовало отречься отъ всѣхъ правъ человѣческихъ.

Новгородъ—великая и вольная весь—былъ живымъ упрекомъ едва родившейся столицѣ царей: Москва, съ кровавой жестокостью и безъ малѣйшаго угрызненія совѣсти, задушила своего противника.

Когда вся Россія была у ея ногъ, Москва столкнулась лицомъ къ лицу съ Варшавой.

Борьба двухъ новыхъ соперницъ была продолжительна, она окончилась въ другую эпоху. Нѣкоторое время Польша имѣла верхъ, Москва склонялась передъ ней, Владиславъ, сынъ Сигизмунда, царя польскаго, былъ провозглашенъ царемъ всея Россіи. Домъ Рюрика и Владиміра Мономаха угасъ, не было никакого управления, польскіе военачальники и гетманы казаковъ царили въ Москвѣ.

Тогда народъ, повинувшись воззванію Минина, возсталъ и принудилъ Польшу покинуть Москву и русскую землю.

Москва, окончивши свое дѣло—*спаиванія* частей государства—приостанавливается, не знаетъ, куда употребить ею собранныя и оставшіяся въ бездѣйствіи силы. Выходъ нашелся имъ скоро. Тамъ, гдѣ много силъ, тамъ выходъ всегда есть.

Явился Петръ I и сдѣлалъ изъ *Государства Русскаго—Государство Европейское*.

Скорость, съ которою часть народонаселенія покорилась европейскимъ обычаямъ, отрекшись отъ своихъ старыхъ привычекъ, ясное доказательство того, что московское государство никогда не было полнымъ выраженіемъ жизни народной, и что существованіе его было только временное. Одни крестьяне противудѣйствовали,

когда переменны касались основъ ихъ быта и, страдательно уклоняясь, не приняли преобразованій Петра I. Они остались вѣрнымъ хранителемъ народности, основанной (по выраженію Мишле) на *коммунизмѣ*, т. е. на постоянномъ раздѣлѣ полей по числу работающихъ и на отсутствіи личнаго обладанія землею.

Какъ Сѣверная Америка представляетъ собою послѣдній выводъ республиканскихъ и философскихъ идей Европы XVIII вѣка, такъ С.-Петербургская имперія развила начала монархизма и европейской бюрократіи. Послѣднее слово консервативной Европы произнесено Петербургомъ.

Какими огромными силами располагало петербургское правительство, показываетъ гигантское пространство этого государства. Средства его были такъ велики, что, несмотря даже на время смуть и сквернаго управленія отъ Петра I до Екатерины II, Россія матеріально расширилась съ неимоверной быстротой.

Овладевъ и поглотивъ все, что встрѣчалось на пути, Остзейскія провинціи и Крымъ, Бессарабію и Финляндію, Арменію и Грузію, раздѣливъ Польшу, овладевъ одной турецкой провинціей за другой,—имперія россійская, наконецъ, нашла себѣ мощнаго соперника въ французской революціи,—поставленной къ верху ногами, преобразованной изъ борьбы за свободу въ военный деспотизмъ. Россія вступила въ бой съ Наполеономъ и побѣдила его.

Съ той минуты какъ Европа, въ Парижѣ, въ Вѣнѣ, въ Аахенѣ и въ Веронѣ признала, *volens nolens*, гегемонію императора россійскаго, съ той минуты трудъ Петра былъ завершенъ, и императорская власть снова появилась въ такомъ же положеніи, въ которомъ были цари московскіе до Петра I. Александръ I понималъ это.

Власти ничего не остается дѣлать, какъ вести *войну внѣшнюю*.

Николай, однакожь, постоянно воздерживался отъ войны.

Какъ же это случилось, что, спустя двадцать пять лѣтъ царствованія, онъ бросаетъ свою рукавицу въ лицо Франціи и Китаю, Англіи и Японіи, Швеціи и, пожалуй, Австріи.... не говоря уже о Турціи....

Чтобъ начать войну, онъ долженъ былъ быть совершенно увѣренъ въ жалкомъ состояніи европейскихъ государствъ, онъ долженъ былъ питать къ нимъ безпредѣльное презрѣніе.... Николай, до 1848 года, дулся только на западныя державы, но онъ не презиралъ ихъ. Но послѣ помощи, оказанной имъ Австріи вмѣшательствомъ въ венгерскія дѣла, вмѣшательствомъ также спокойно терпимымъ Англіею, какъ и вступленіе французовъ въ Римъ,—онъ лучше понялъ положеніе своихъ *друзей-противниковъ*. Медленно и постепенно онъ вымѣривалъ глубину ихъ малодушія, ихъ *невѣжества*—и тогда уже началъ *войну*. Хотите

биться объ закладъ, что онъ выйдетъ побѣдителемъ, сжали не вмѣшается въ нее неожиданное третье лицо, — общій врагъ ихъ всѣхъ, т. е. революція?

Лондонъ, 2 января, 1854 года.

Письмо второе.

Любезный Линтонъ.

Формула европейской жизни сложнѣе формулы жизни древняго міра.

Когда образованность Греціи вышла изъ тѣсныхъ границъ муниципальныхъ республикъ, ея политическія формы быстро истощились—Греція обратилась въ Римскую провинцію.

Когда Римъ истратилъ основы своего устройства и перешелъ свои политическія учрежденія, то, не находя болѣе средствъ для перерожденія, онъ распался и возшелъ въ различныя сочетанія съ варварскими народами.

Древнія государства были не зимующія, а однолѣтнія.

Въ XV столѣтіи Европа пережила такой кризисъ, который для древнихъ республикъ былъ бы предвѣстникомъ неминуемой смерти. Совѣсть и разумъ возстали противъ основъ общественнаго зданія. Католицизмъ и феодальная система покачнулись. Борьба продолжалась два столѣтія.

Европа была такъ близка къ смерти, что уже у границъ ея стали показываться варвары—эти вороны, чующіе смерть народовъ.

Византію они уже заклевали и готовились напасть на Вѣну; восходящая луна Магомета, за которой они неслись, остановилась на берегахъ Адриатическаго моря.

На сѣверѣ шевелился другой варварскій народъ, народъ, одѣтый въ баранья шкуры и съ «глазами ящерицы». Степи Волги и Урала, во всѣ времена, служили кочевьемъ бродящимъ народамъ; это было нѣчто въ родѣ мѣстъ сборища и ожиданія, officina gentium, гдѣ, молча, судьба собирала толпы дикарей, чтобъ въ свое время понять ими ветшающія страны и покончить колеблющіяся цивилизаціи.

Тѣмъ не менѣе луна ислама не шла далѣе развалинъ Акрополиса. А волжскіе варвары вмѣсто набѣговъ въ лицѣ одного изъ царей своихъ обращаются къ Европѣ, прося у нихъ науку и государственнаго строя.

Итакъ, первая громовая туча пронеслась надъ головами.

Что же случилось?

Вѣчное переселеніе народовъ къ западу, остановленное на

время у Атлантического океана, продолжилось; человечество нашло себя кормчаго,—Христофоръ Колумбъ показалъ дорогу.

Америка спасла Европу.

Европа вступила въ новый фазисъ существованія, фазисъ, недостававшій древнимъ народамъ, фазисъ разложенія по сю сторону и развитія по ту сторону океана.

Реформація и революція, измѣняя многое, оставались въ стѣнахъ церквей и монархическихъ палатъ. Онѣ не могли совершенно разрушить древнее зданіе, онѣ его поправляли; куполь готическаго собора правда осѣлъ, тронъ пошатнулся, но полуразрушенные они все, таки существуютъ. И ни реформація, ни революція, не имѣютъ болѣе надъ ними никакой власти.

Будетъ ли человѣкъ называться реформаторомъ, лютераниномъ, протестантомъ, квакеромъ,—церковь все-таки существуетъ. Будетъ ли правленіе парламентское, конституціонное, съ двумя палатами или съ одной, съ ограниченнымъ числомъ избирательныхъ голосовъ или съ всеобщимъ,—тронъ все-таки существуетъ. За неимѣніемъ царя въ республикѣ,—его замѣняютъ *соломеннымъ* королемъ, котораго предполагаютъ на тронѣ и для котораго сохраняются и дворцы, и увеселительные замки—Тюльери и Сень-Клу.

Рациональный христіанизмъ, съ своей стороны, борется съ церковью, не обращая вниманія на то, что онъ первый будетъ задавленъ ея сводами. Монархическій республиканизмъ борется съ престоломъ, ломаетъ тронъ, а самъ хочетъ сѣсть на него по царски.

Духъ будущаго не тутъ,—потокъ переимѣнилъ направленіе, оставивъ на второмъ планѣ всѣхъ старыхъ Монтекки и Капулетти продолжать ихъ наслѣдственную вражду. Борьба поднимается уже не противъ священника, не противъ короля, не противъ дворянина, а противъ *хозяина*, противъ владѣльца, захватившаго въ свои руки орудія работы. Оттого революціонеромъ является уже не гугенотъ, не протестантъ, не либераль,—а *работникъ*.

И вотъ Европа еще разъ останавливается у третьяго порога, не смѣя перешагнуть оный. Она трепещетъ передъ словомъ социализмъ, написаннымъ на дверяхъ входа.

Эту черту перейти гораздо труднѣе, чѣмъ прочія. Всѣ реформы пощадили половину стараго, покрыли его развалины новыми ризами; сердце не совсѣмъ разрывалось, прибрѣтенное не терялось сразу; часть того, что мы любили, что было намъ дорого и свято съ самаго дѣтства, что мы привыкли уважать и что перешло намъ преданіемъ,—оставалось на утѣшеніе слабыхъ. Но тутъ отдать пришлось и остальное! Прощайте пѣсни кормилицы, прощайте воспоминанія отцовскаго крова, прощай привычка, власть которой сильнѣе власти генія, сказалъ Бэконъ!

..... Во время разгрома ничто не перейдетъ таможни; а будетъ

ли достаточно терпѣнія у людей, чтобъ дожидаться, когда тучи разсѣются?

Мало по малу всѣ интересы, предубѣжденія, запутанности, занимавшіе въ продолженіе цѣлаго вѣка умы европейскіе начинаютъ блѣднѣть, становятся равнодушными, переходятъ въ вопросы партій. Гдѣ великія слова, потрясавшія сердца и наполнявшія слезами глаза? Гдѣ святая знамена, которымъ Іоаннъ Гуссъ заставилъ поклоняться въ одномъ станѣ, а 89 годъ—въ другомъ? Съ тѣхъ поръ какъ туманъ, покрывавшій февральскую революцію, разсѣялся, рѣзкая простота замѣнила путаницу, осталось только два интересныхъ вопроса.

Вопросъ социальный,

Вопросъ русскій.

Въ сущности, эти два вопроса составляютъ одинъ и тотъ же.

Вопросъ русскій—случайная сторона, отрицательный оттискъ, новое безпокойство варваровъ, чужащихъ предсмертіе стараго свѣта, его «memento mori» и—они его, пожалуй, убьютъ, ежели онъ не имѣетъ силы самъ преобразиться.

Дѣйствительно, ежели социализмъ не въ состояніи будетъ пересоздать распадающееся общество и довершить его судьбы—Россія довершитъ ихъ.

Я не говорю, что это *необходимо*, но это *возможно*.

Ничего нѣтъ необходимо-нужнаго. Будущность не бываетъ неизмѣяемо рѣшена впередъ; неминуемаго предназначенія нѣтъ. Будущность въ нашемъ смыслѣ можетъ вовсе не существовать. Геологическій кризисъ можетъ совершенно уничтожить не только восточный, но и всѣ прочіе вопросы, за недостаткомъ спрашивающихъ. Будущность творится развитіемъ того, что у ней подъ рукой, и смотря по окружающимъ условіямъ; общія влеченія мѣняются по обстоятельствамъ. Они рѣшаются, *какъ* что будетъ, и колеблющаяся возможность становится дѣломъ рѣшеннымъ.

Россія точно также можетъ овладѣть Европою до Атлантическаго океана, какъ и быть, съ своей стороны, побѣжденной до Урала.

Въ первомъ случаѣ, Европа должна быть разрозненной.

Во второмъ, Европа должна быть плотно соединена въ одно цѣлое.

Въ которомъ изъ этихъ положеній она находится?

Безумно было бы воображать, что императоръ Николай можетъ сопротивляться цѣлой Европѣ; это только въ томъ случаѣ возможно, ежели бы Европа сама стала въ рядахъ его авангарда и подняла бы оружіе противъ самой себя, но оно такъ и есть.

Въ борьбѣ Европы съ Россіей старый и боязливый консерватизмъ ослабитъ, заморитъ народное одушевленіе.

Европа раздѣлена на двѣ совершенно противоположныя партіи, ихъ взаимная ненависть гораздо сильнѣе ненависти русскихъ и турокъ между собой, и этотъ *манихеизмъ* общественный существуетъ во всякомъ государствѣ, во всякомъ городѣ, во всякомъ селѣ. Какого же можно ожидать единства въ дѣйствіяхъ—до окончательной побѣды одного изъ спорящихъ? Войска геройски сражаются за границей, когда они увѣрены, что дома есть недремлющій «Комитетъ общественнаго спасенія». Онъ вселилъ войскамъ революціи ту удивительную энергію, которая существовала еще двадцать лѣтъ послѣ его смерти.

Ничего въ мірѣ не можетъ болѣе ослабить духъ арміи, какъ пагубная идея, что за ними остается измѣна. А кто же имѣетъ довѣріе къ правительствамъ нынѣ существующимъ? Въ своемъ собственномъ стану люди *порядка* подозрѣваютъ другъ друга. Мы найдемъ вездѣ, внизу и вверху, измѣнниковъ.

La fusion совершенно русская: «L'Assemblée Nationale», кажется, печатается въ Казани или въ Пензѣ. Если императоръ Николай предоставилъ бы всѣхъ этихъ Шамборъ-Немуровъ сладостямъ семейныхъ примиреній, удовольствіямъ охоты во Фрошдорфѣ и собственнымъ силамъ, давно бы бонапартизмъ сдѣлался не только русскимъ, но—татарскимъ.

Король белговъ имѣетъ въ Брюсселѣ русское агентство; король Даніи—маленькую контору въ Копенгагенѣ; Адмиралтейство, гордое Адмиралтейство Велико-Британіи смиренно служить полиціею царя въ Портсмутѣ, и какой-нибудь самоѣдскій офицеръ презрительно топчетъ ногами актъ habeas corpus на палубѣ англійскаго судна. Король неаполитанскій—самъ корчитъ Николая, а императоръ австрійскій его Антиной,—его страстный обожатель.

Вы видите, что дѣйствительной вражды съ Россіей быть не можетъ, покамѣстъ чисто на чисто не выметутъ у васъ дома.

Николай, объявивъ войну Турціи, сдѣлалъ самую умную шалость XIX столѣтія.

Теперь всѣ блюстители порядка, всѣ друзья, всѣ кліенты Николая, во всеуслышаніе кричатъ противъ него. Они принимали царя за полицейскаго солдата, и рады были стращать своихъ революціонеровъ 400,000 русскихъ штыковъ; они думали, что онъ удовлетворится одною пассивною ролей страшилища; они позабыли, что даже и какой-нибудь Людвигъ Бонапартъ не хотѣлъ довольствоваться должностію «пожарнаго сапера...»

А, вѣдь, какъ все было хорошо, ясные дни снова наставали; снова всѣ были покойны и довольны. Не было уже ни свободы слова, ни трибунъ, ни.... Франціи! Папа, сопровождаемый арміею, вышедшей изъ французской префектуры, снова раздавалъ направо и налево свое апостольское благословеніе. Дѣла, по окончаніи

февральской драмы, шли своимъ порядкомъ. Настала всеобщая эра «любви и бракосочетаній». Бельгія соединялась съ Австріей въ лицѣ австрійской эрцгерцогини; молодой императоръ вѣнскій вздыхалъ у ногъ своей невѣсты; Наполеонъ III, 45 лѣтній «Вертеръ», соединялся по любовному капризу съ своей «Шарлотой» Теба.

Вдругъ, среди всеобщаго спокойствія, всемірнаго благосостоянія, императоръ Николай бьетъ тревогу, начинаетъ религіозную войну, которая легко можетъ перенестись съ береговъ Чернаго моря на берега Рейна.

Донозо Кортесъ, въ замѣчательной рѣчи своей, произнесенной въ Мадритѣ 1849 года, предсказывалъ вторженіе русскихъ въ Европу и не находилъ для цивилизаціи другого якоря спасенія, какъ только въ *единствѣ* власти, т. е. въ неограниченномъ монархизмѣ, подчиненномъ католицизму. Первымъ условіемъ къ достиженію этой цѣли было, по словамъ его, введеніе католицизма въ Англію.

Можетъ быть, *подобное единство* чрезвычайно усилило бы Европу; да, по несчастію, оно невозможно.

Ежели бы не боялись революціи болѣе, нежели русскихъ, чего проще какъ идти на Севастополь, овладѣть Одессой; магометанское народонаселеніе Крыма не было бы враждебно туркамъ. Занявши эту позицію,—сдѣлать воззваніе Польшѣ; дать свободу малороссійскимъ крестьянамъ, ненавидящимъ рабство.

Но, вѣдь, и Галиція—Польша, скажетъ Австрія.

Но, вѣдь, и Познань—Польша, скажетъ Пруссія.

А если Польша освободится, чѣмъ удержать Венгрію и Ломбардію?—скажутъ они вмѣстѣ.

Ну такъ не ходитъ на Севастополь—или развѣ объявить войну только для виду, войну, которая окончится въ пользу Николая или Людвига Бонапарта.

Міръ европейскій въ той формѣ, въ которой онъ теперь существуетъ, окончилъ свою карьеру; но намъ кажется, что ему слѣдовало бы окончить ее торжественнѣе: ежели не безъ страданій и боли, то, по крайней мѣрѣ, безъ стыда и униженія. Консерваторы, какъ вообще старые скупцы, боятся только наслѣдника, и отдаляются отъ него. Ихъ въ ночное время задушатъ и ограбятъ воры и разбойники.

Послѣ бомбардированія Парижа, послѣ заточенія, ссылки и казни безъ суда оставшихъ работниковъ, полагали, что опасность миновала.

Но смерть—Протей. Ее вытолкали, какъ ангела будущей жизни, она возвратилась скелетомъ прошедшаго; ее оттолкнули, какъ республику демократическую и социальную, она возвращается Николаемъ, царемъ русскимъ, или Наполеономъ, царемъ французскимъ.

Тотъ или другой, или оба вмѣстѣ, окончатъ борьбу. Но для

того, чтобы бороться, надобно имѣть противника, съ которымъ стоитъ вступать въ бой. Гдѣ же та приготовленная арена, то послѣднее укрѣпленіе, за которымъ бы цивилизація могла вступить въ бой и защищаться.

Въ Парижѣ?—Нѣтъ.

Какъ Карль V, Парижъ, еще при жизни, отрекся отъ своей міродержавной короны; немного военной славы и очень много полиціи достаточны для сохраненія порядка въ Парижѣ.

Мѣсто для турнира, *champ clos*—въ Лондонѣ.

Пока свободная и гордая своими правами Англія существуетъ какъ теперь, до тѣхъ поръ ничего окончательнаго не сдѣлано въ пользу варварства.

Россія и Австрія перестали ненавидѣть Парижъ съ 10 декабря 1848 года. Парижъ потерялъ свой *prestige* для королей; они его уже не боятся. Вся ихъ ненависть обратилась на Англію. Они ее трусятъ, они ее ненавидятъ и желали бы разграбить ее.

Въ Европѣ существуютъ государства реакціонныя, но не консервативныя. Англія одна—консервативна, потому что ей есть что хранить—*личную свободу*.

Это одно слово соединяетъ въ себѣ все то, что преслѣдуютъ и ненавидятъ Бонапарты. И вы думаете, что они, будучи побѣдителями и въ главѣ армій, оставляютъ въ покоѣ, въ столь близкомъ разстояніи отъ *Парижа поработеннаго*—*Лондонъ свободный*? Лондонъ, гнѣздо пропаганды, гавань, открытая всѣмъ спасающимся; Лондонъ, въ который побѣгутъ толпами люди изъ опустошенныхъ и превращенныхъ въ пепель городовъ материка, унося съ собой науки и художества, промышленность и образованность.

Этого достаточно для войны.

Тогда-то осуществится желаніе Наполеона I—перваго варвара новѣйшихъ временъ! Какое большее несчастіе революціонная Европа можетъ обрушить на Англію, какъ эта война? У свободныхъ народовъ слишкомъ много дѣла дома, чтобы думать о внѣшней войнѣ.

Англичане слѣпы; и слѣпота ихъ происходитъ не отъ эгоизма, не отъ жадности къ деньгамъ, а просто отъ невѣжества, отъ привычки ходить по торной дорогѣ; рутинна дѣлаетъ ихъ неспособными понимать, что человѣку надобно иногда пролагать новый путь, а не все слѣдовать по истоптанному старому шоссе.

Тѣ, которые, имѣя глаза, не хотятъ смотрѣть,—тѣ посвящены богамъ ада. Какъ ихъ спасти?

Глубокая и черная ночь покроетъ свою пеленою трудъ разложенія...

А послѣ?... Послѣ ночи обыкновенно наступаетъ день!

Прольемъ слезу надъ старцемъ, но оставимъ мертвымъ хоронитъ своихъ мертвыхъ—и съ чувствомъ сожалѣнія и уваженія, накрывъ гробовымъ саваномъ отходящее къ смерти, съ твердостью произнесемъ старое восклицаніе:

Король умеръ!—Да здравствуетъ король!...

Лондонъ, 17 февраля, 1854 г.

Письмо третье.

Любезный Линтонъ.

Славянскій міръ гораздо моложе европейскаго.

Онъ моложе политически, точно такъ, какъ Австралія моложе его—геологически. Онъ сложился гораздо позже; онъ еще не развился, онъ еще міръ недавній, и едва только вступающій въ историческій потокъ.

Долгое, вѣковое существованіе ничего не значить. Дѣтство народовъ можетъ продолжаться нѣсколько тысячелѣтій, равно какъ и ихъ старость. Славянскіе народы служатъ примѣромъ первому, азиатскіе — второму.

Но на чемъ можно основывать идею, что теперешнее состояніе славянъ есть ихъ дѣтство, а не дряхлость, что это ихъ начало, а не неспособность къ развитію вообще? Не имѣемъ ли мы передъ глазами примѣръ тому, что народы исчезаютъ, не оставляя по себѣ исторіи, да еще и такіе, которые въ свое время доказали, что они не совѣмъ лишены способностей (финны).

Немного надобно вниманія къ судьбамъ Россіи, чтобъ понять, въ такомъ ли она положеніи. Страшное тяготѣніе ея на Европу—не признакъ маразма или неспособности, напротивъ—признакъ ея полудикой силы, ея дурно направленной, но бодрой юности.

Съ такимъ характеромъ является она при первомъ появленіи своемъ на порогъ міра образованнаго.

Въ Парижѣ господствовало регентство, въ Германіи—нѣчто еще худшее; повсюду растлѣніе, изнѣженность, ослабляющій и унижающій развратъ—грубый въ Германіи, утонченный въ Парижѣ.

Въ этой вредной атмосферѣ, заразительныя испаренія которой едва были заглушаемы косметическими благоуханіями, въ этомъ мірѣ наложницъ, не-законнорожденныхъ дочерей, любовниковъ, управляющихъ государствами, середь расслабленныхъ нервъ, глупорожденныхъ принцовъ и министровъ плутовъ,—какъ-то становится свѣжѣе при видѣ Петра I, этого рослаго варвара въ простомъ мундирѣ изъ толстаго сукна, этого сѣвернаго человѣка, дюжаго, мускулистаго, полнаго простоты, энергіи и силы. Таковъ былъ первый русскій, занявшій свое мѣсто между европейскими

властелинами. Онъ явился за наукой, и узналъ многое, чего не ожидалъ. Онъ понялъ дряхлость западныхъ государствъ и испорченность ихъ правителей.

Тогда еще не предвидѣлась революція, долженствовавшая спасти міръ; а гибель была передъ глазами. Такъ Петръ I понялъ будущее значеніе Россіи въ отношеніи Европы и роль ея въ Азій. Справедливо ли, или несправедливо его завѣщаніе, но оно, конечно, содержитъ въ себѣ его *мысли*, которыя онъ нерѣдко повторялъ въ своихъ замѣчаніяхъ и запискахъ. Русское правительство, до Николая, оставалось вѣрнымъ традиціи Петра I, даже и самъ Николай слѣдовалъ ей въ внѣшней политикѣ.

Россію можно ненавидѣть, можно проклинать,—но можно ли утверждать, что она стара, остановилась, одряхлѣла?

Говорятъ, что русскій народъ неподвижно сидитъ въ своемъ углу въ то время, какъ правительство дѣлаетъ въ Петербургѣ, что хочетъ. Нѣмецкіе писатели выводятъ изъ этого, что народъ русскій косный, азіатскій, не имѣетъ ничего общаго съ правительственной дѣятельностью; что это полудикое племя *дипломатически* завоевано нѣмцами, которые ведутъ его, куда хотятъ. Надобно отдать справедливость нѣмецкимъ побѣдамъ; это самыя величайшія и самыя безкровныя въ мірѣ. Нѣмцы не довольствуются своимъ материнскимъ правомъ на Англію и Сѣверную Америку (*Stamverwand!*), они, сверхъ того, завоевали всю Россію, *рыцарями* Остзейскихъ губерній, тучами генераловъ, дипломатовъ, шпионовъ и другихъ сановниковъ нѣмецкаго происхожденія.

Дѣйствительно, правленіе петербургское не національно. Но и цѣль реформы Петра I была *денаціонализація* московской Руси. Пассивная оппозиція и своего рода неподвижность народа тоже факты неоспоримые. Но, съ другой стороны, русскій народъ невольно составляетъ живую и сильную основу правительству. Народъ смотритъ на него, какъ на представителя своего національнаго единства, своей силы.

Ничто въ Россіи не имѣетъ того характера застоя или смерти, который постоянно и утомительно встрѣчается въ неизмѣняемыхъ повтореніяхъ одного и того же, изъ рода въ родъ, у старыхъ народовъ Запада.

По неспособности народа къ какой-либо переходной формѣ, справедливо ли заключать о всеобщей неспособности его къ развитію?

Славянскіе народы собственно не любятъ ни государства, ни централизаціи. Они любятъ жить въ разбросанныхъ общинахъ, удаляясь какъ можно больше отъ всякаго вмѣшательства со стороны правительства. Петербургскій періодъ—тяжкій искусъ, трудное воспитаніе въ государственную жизнь. Онъ насильно сдѣлалъ

большую пользу Россіи, соединивъ части ея и спаявъ ихъ въ одно цѣлое.

Народъ русскій — народъ земледѣльческій. Улучшеніе быта собственниковъ въ Европѣ принесло почти исключительно пользу однимъ горожанамъ; для крестьянъ революція только окончательно уничтожила крѣпостное состояніе и раздробила поземельную собственность. Раздѣлъ земли въ Россіи былъ бы смертельнымъ ударомъ ея общинному устройству.

Въ Россіи нѣтъ ничего оконченнаго, окаменѣлаго; все въ ней находится еще въ состояніи раствора, приготовленія. Гакстгаузенъ справедливо выразился, что въ Россіи всюду видно «недоконченность, ростъ, начало». Да, всюду чувствуешь извѣсть, слышишь пилу и топоръ.

... Но должна ли Россія пройти всѣми фазами европейскаго развитія, или ея жизнь пойдетъ по инымъ законамъ? Я совершенно отрицаю необходимость этихъ повтореній. Мы, пожалуй, должны пройти трудными и скорбными испытаніями историческаго развитія нашихъ предшественниковъ; но такъ, какъ зародышъ проходить до рожденія всѣ низшія ступени зоологическаго существованія. Оконченный трудъ и добытый результатъ входятъ въ общее достояніе всѣхъ понимающихъ, это — круговая порука прогресса, маіоратъ человѣчества. Я знаю, что результатъ самъ по себѣ не передается, по крайней мѣрѣ бесполезенъ, — результатъ дѣйствителенъ, какъ послѣдствіе цѣлаго логическаго развитія.

Всякій школьникъ долженъ самъ найти рѣшеніе Евклидовыхъ предложеній, но какая огромная разница между трудомъ Евклида, открывшаго ихъ, и трудомъ ученика нашего времени!

Россія продѣлала свою революціонную эмбриогенію въ «европейскомъ классѣ». Дворянство съ правительствомъ представляютъ у насъ европейское государство въ славянскомъ. Мы прошли всѣ фазисы политическаго воспитанія, начиная отъ нѣмецкаго конституціонализма, отъ англійскаго канцелярскаго монархизма до поклоненія 93 году. Подражаніе наше было похоже на аберацію звѣздъ, которая въ маломъ видѣ передаетъ намъ путь, проходимый земнымъ шаремъ по своей орбитѣ.

Народу русскому не нужно начинать снова этотъ тяжкій трудъ. Зачѣмъ ему проливать кровь свою для достиженія тѣхъ полурѣшеній, до которыхъ мы дошли и которыхъ вся важность состоитъ только въ томъ, что мы черезъ нихъ дошли до иныхъ вопросовъ, до новыхъ стремленій.

Мы за народъ отбыли эту тягостную работу, мы заплатились за нее.

Въ Европѣ не подозреваютъ о страшныхъ мученіяхъ, въ которыхъ сломились, изныли два послѣднія поколѣнія. Гнетъ ста-

новится день ото дня сильнѣе, тягостнѣе, обиднѣе; надо прятать свою мысль, удерживать биеніе сердца... И среди этой мертвой тишины, вмѣсто утѣшенія, опоры, мы увидѣли бѣдность революціонной идеи и равнодушіе къ ней народа.

Вотъ источникъ той мрачной тоски, того разлагающаго скептицизма, той тягостной ироніи, которые составляютъ характеръ русской поэзіи. Кто молодъ, кто имѣетъ теплое сердце, тотъ ищетъ какъ-нибудь забыться, усыпить себя чѣмъ-нибудь,—люди талантливые умираютъ на полѣ-дорогѣ, сосланные или сами добровольно удаляющіеся отъ всякаго участія въ страшныхъ дѣлахъ. Объ нихъ и объ ихъ ужасной кончинѣ говорятъ, потому что многіе слышали, какъ билась ихъ голова объ мѣднѣй сводъ, душившій ихъ, потому что имъ удалось, по крайней мѣрѣ, заявить свою силу.... Но сотни другихъ, которые съ отчаяніемъ сложили руки, морально убили себя, отправились на Кавказъ, заперлись въ своихъ имѣніяхъ, не выходятъ изъ игорныхъ или публичныхъ домовъ,—всѣ эти *мнѣтляи*, о которыхъ никто не пожалѣлъ, никто не свѣдалъ,—страдали не меньше ихъ!

Для дворянства наступаетъ конецъ этого искуса. Образованная Россія должна возвратиться къ народу. Русскій народъ собственно стали узнавать только послѣ революціи 1830 года. Съ удивленіемъ увидѣли, что русскій человѣкъ, равнодушный, неспособный ко всѣмъ политическимъ вопросамъ, бытомъ своимъ ближе всѣхъ европейскихъ народовъ подходитъ къ новому социальному устройству. Можетъ, вы скажете на это, что въ этомъ русскій походитъ на нѣкоторые азіатскіе народы, и укажете на сельскія общины у индусовъ, довольно схожія съ нашими. Я и не отвергаю, чтобы у азіатскихъ народовъ не было социальныхъ элементовъ, и даже можетъ больше, нежели у западныхъ народовъ. Не общинное устройство держитъ азіатскіе народы въ неподвижности, а ихъ исключительная народность, ихъ невозможность выйти изъ патріархализма, освободиться отъ рода;—мы не въ томъ положеніи.

Славянскіе народы, напротивъ, имѣютъ большую удобовпечатляемость; они легко усваиваютъ себѣ языки, обычаи, искусства и технику другихъ народовъ. Они равно обживаютъ у Ледяного океана и на берегахъ Чернаго моря.

Въ образованной Россіи (какъ она ни оторвана отъ народа, но все-таки въ ней есть черты его характера) вы не найдете той капризной упорности старой женщины, того упрямаго непониманія, которыя на каждомъ шагѣ встрѣчаются въ старомъ свѣтѣ.

Съ изумленіемъ останавливаемся мы передъ китайскими стѣнами, которыя межуютъ Европу. Англія и Франція едва имѣютъ понятіе объ умственномъ движеніи Германіи. Еще больше, эти два европейскіе Китай, отдаленные только на нѣсколько часовъ

тѣды, связанныя между собой непрерывною торговлею, плохо знаютъ другъ друга: Парижъ и Лондонъ дальше другъ отъ друга, вежели Лондонъ и Нью-Йоркъ. Англичанинъ, простолудинъ, смотритъ на француза съ дикою ненавистью и съ видомъ тупого превосходства; французъ отвѣчаетъ ему жалкимъ презрѣніемъ.

Англійскій буржуа надобѣдаетъ вопросами, открывающими такое глубокое незнаніе сосѣдняго края, что стыдно отвѣчать. Французъ, проживши пять лѣтъ въ Лейстеръ-скверѣ или въ Соо, ничего не понимаетъ, что дѣлается вокругъ него. И въ то же время германская наука, которая не въ состояніи перейти за Рейнъ, очень хорошо доходитъ до береговъ Волги и за нихъ; поэзія Шекспира и Байрона, не выносящая переѣзда черезъ Ла-Маншъ, доплываетъ живо и невредимо до береговъ Балтійскихъ. И все это дѣлается, не забудьте еще, подъ гнетомъ ревниваго правительства, употребляющаго всѣ средства, чтобъ отдалить насъ отъ Европы.

Наше домашнее и общественное воспитаніе имѣетъ въ себѣ тотъ же универсальный характеръ; нѣтъ воспитанія *меньше* религіознаго, чѣмъ наше, и *больше* полиглотнаго. Реформа Петра I, въ высшей степени реалистическая, свѣтская и вообще европейская, дала ему этотъ характеръ. Каѣдры теологіи учреждены были въ вашихъ университетахъ только со временъ Александра I, и то въ послѣдніе годы его царствованія. Что же касается до изученія новыхъ языковъ, то это такъ вошло въ нравы, что невозможно искоренить. Даже правительство многоязычно: официальные газеты печатаются по-русски, по-французски и по-нѣмецки.

Наше воспитаніе не имѣетъ ничего общаго съ тою средою, для которой человѣкъ назначенъ,—и это превосходно. Образование у насъ отдаляетъ молодого человѣка отъ безнравственной почвы, оно его гуманизируетъ, и необходимо ставить его въ оппозицію съ официальной Россіей. Онъ отъ этого много страдаетъ и этими страданіями заглаживаетъ ошибки и преступленія отцовъ своихъ. Но самыя тяжкія времена распаденія проходятъ: развитое меньшинство встрѣчается съ народомъ тогда, когда оно вовсе того не ожидало.

Съ удивленіемъ слушали у васъ наши рассказы о русской общинѣ, раздѣлѣ полей, міровыхъ сходкахъ, объ работничихъ артеляхъ, объ избранныхъ старостахъ. Многіе думали, что все это мечты, социалистическій бредъ.

Но является человѣкъ вовсе не революціонерный и издаетъ три тома о сельской общинѣ въ Россіи. Гакстгаузенъ, католикъ, прусскій баронъ, агрономъ, и до такой степени *радикальный* монархистъ, что, по словамъ его, прусскій король слишкомъ либераленъ.

Факты, нами указанные, описаны имъ in extenso. Я не намѣренъ повторять здѣсь того, что я уже говорилъ о начальной организаціи этого self-government общинъ, гдѣ все избирательно, гдѣ всѣ владѣльцы, а земля не принадлежитъ никому, гдѣ пролетаріатъ — исключеніе.

Теперь вы легко увидите, что русскій народъ, подавленный рабствомъ, не можетъ идти по колеѣ европейскіхъ народовъ, повторяя ихъ прошлыя революціи, исключительно городскія, и которыя тотчасъ пошатнули бы основанія его общинной организаціи.

Сохранить общину и дать свободу лицу, распространить сельское и волостное self-government по городамъ и всему государству, сохраняя народное единство, — вотъ въ чемъ состоитъ вопросъ о будущемъ Россіи, т. е. вопросъ той же социальной антиноміи, которой рѣшеніе занимаетъ и волнуетъ умы Запада.

Государство и отдѣльная личность, власть и свобода, коммунизмъ и эгоизмъ (въ обширномъ смыслѣ слова) — вотъ геркулесовы столбы великой борбы, великой революціонной эпопеи.

Европа даетъ рѣшеніе изуродованное и отвлеченное.

Россія — изуродованное и дикое.

Будущее никогда не формируется вполнѣ прежде своего осуществленія.

Народы англо-саксонскіе освободили лицо насчетъ общественной круговой поруки, обособляя человѣка. Русскій народъ сохранилъ общинное устройство, отрицая личность, поглощая человѣка.

Развитіе личнаго права — закваска, долженствующая привести въ броженіе массу силъ, дремлющихъ въ бездѣйствіи общинно-патріархальнаго порядка. Личное начало входитъ въ русскую жизнь инымъ путемъ, оно осуществилось въ лицѣ царя, отрицающаго традиціи и національность, разрушающаго единство народное внутреннимъ расщепленіемъ.

Русская имперія — твореніе XVIII вѣка; все, что было начато въ это время, носитъ въ себѣ зародышъ революціонный.

Холостой дворецъ Фридриха II и смиренный домъ, служившій дворцомъ отцу его, вовсе не были такъ монархически, какъ Эскуріаль и Тюльери. Въ новыхъ государствахъ воздухъ вѣялъ рѣзкій, утренній; въ нихъ вообще все сухо, просто, положительно, рационально; а это именно убиваетъ религіозный и монархическій духъ.

Петръ I круто отбросилъ традиціи византино-московскія. Онъ предпочиталъ власть престолу; онъ дѣйствовалъ болѣе страхомъ, нежели величіемъ, и ненавидѣлъ mise en scène, необходимую для монархіи.

Императрицу Екатерину II пугали нѣмота и всемогущество, безпредѣльная покорность исполнителей и рабовъ, до того без-

смысленно повинующихся, что ихъ покорность переживаетъ приказывающаго. Она старалась внушить дворянству болѣе независимыя понятія, желая окружить ихъ людьми, добровольно преданными ей, на которыхъ она могла бы надѣяться. Молчаніе писарей и исполнителей страшило супругу Петра III.

Попытки ея новыхъ учрежденій дѣйствительно были замѣчательны. Никто серьезно не вглядывался въ ихъ эксцентрической характеръ, въ нихъ было странное соединеніе демократизма и аристократизма, деспотизма и представительства, Іоанна Грознаго и Монтескьё.

Всѣ эти учрежденія носятъ двойную печать—петровскаго періода и не сложившихся національныхъ стремленій, усовершенствованныхъ развивающейся идеей западной гражданственности.

Судьи *выбираются*, и выбираются на нѣсколько лѣтъ; они принадлежатъ дворянству, мѣщанству и крестьянамъ; *судебнаго сословія* вовсе нѣтъ. Имѣющій право участвовать въ выборахъ можетъ быть выбранъ въ судьи. Отсутствіе судебного сословія—фактъ замѣчательный. Однимъ врагомъ у насъ меньше—да еще какимъ врагомъ! *Другого* чернаго человѣка, свѣтскаго священника, тайнаго жреца *Закона человѣческаго*, имѣющаго монополъ судить, приговаривать, понимать *ratio scripta*,—у насъ нѣтъ. Конечно, смѣшно видѣть отставнаго кавалерійскаго офицера выбраннымъ въ судьи, не понимающаго ни законовъ, ни процедуры; но, съ другой стороны, печально предполагать всѣхъ людей неспособными разобрать дѣло, исключая касты *знатоковъ* по обязанности воспитанныхъ *ad hoc*. Ежели выбранные судьи не хороши, тѣмъ хуже для избирателей,—они должны знать, что дѣлаютъ. Но, скажутъ намъ, юристомъ не сдѣлаешься безъ ученія; законы такъ сложны, что надобно много, большихъ занятій, чтобъ не заблудиться въ этомъ лабиринтѣ... Это справедливо,—но изъ этого не слѣдуетъ, что съ самаго дѣтства нужно приготавливать специальный классъ для пониманія законовъ; а напротивъ, то, что слѣдуетъ бросить всѣ эти запутанные законы. Отношенія людей просты, формальность, судейскіе обычаи, вся эта поэзія адвокатовъ, всѣ *florituri* юриспруденціи только запутываютъ вопросы.

Въ Россіи судъ первыхъ инстанцій составленъ изъ члена, избраннаго дворянствомъ, другого избраннаго мѣщанами и третьяго вольными крестьянами. Два кандидата выбираются дворянствомъ для должности предсѣдателя уголовной палаты. Правительство назначаетъ одного изъ нихъ и, съ своей стороны, посылаетъ прокурора, имѣющаго право останавливать всякое рѣшеніе и пересылать его въ сенатъ.

Ежели вы вспомните, что прокуроръ принадлежитъ также дворянству, то вы ясно увидите, что дѣйствія мѣщанскаго члена и

члена изъ крестьянъ подавлены во всѣхъ случаяхъ разногласія. Они имѣютъ полное право протестовать и внести дѣло на разсмотрѣніе въ сенатъ. Но это случается очень рѣдко по очевидной причинѣ: сенатъ, не имѣющій никакого элемента, ни народнаго, ни избирательнаго, всегда за одно съ дворянами или съ правительствомъ; это такъ, но мы говоримъ о нормѣ, а не о злоупотребленіяхъ, и я обращаю ваше вниманіе на возможное развитіе ея въ будущемъ, а не на современное положеніе.

Десять лѣтъ тому назадъ въ московскія головы былъ избранъ человекъ безкорыстный и строгій. Обязанность городского главы состоитъ въ надзорѣ за городскими суммами; онъ распоряжается городскими приходами и расходами. Обыкновенно на эти мѣста выбираютъ какого-нибудь милліонера, любящаго выказываться въ официальныхъ празднествахъ, давать чудовищные обѣды и балы, подписывающаго все, что угодно правительству и чего хочетъ начальство. Московскій городской глава Шестовъ иначе понималъ обязанность, на него возложенную: онъ подрѣзалъ крылья официальныхъ воровъ, оберъ-полицмейстеръ объявилъ ему отчаянную войну. Глава принялъ вызовъ и битва кончилась паденіемъ оберъ-полицмейстера.

Но не одни судьи избирательные,—земская полиція тоже избирательная. Исправникъ и засѣдатели или становые выбираются дворянствомъ.

Уѣздная полиція оканчивается внизъ сельской общиной—съ своимъ а parte, съ избраннымъ старостой, съ своей избранной полиціей, съ своимъ поглощеніемъ личности во имя традиціоннаго и національнаго коммунизма. За губернскими выборными мѣстами вверхъ начинается правительственная централизація; въ ней теряется всякой слѣдъ самобытнаго права.

Итакъ, идеи личнаго права и идеи независимости могутъ проявиться у насъ только въ дворянствѣ или въ среднемъ сословіи.

Вліяніе мѣщанства не имѣетъ того значенія въ Россіи, какъ въ Европѣ, не только оттого, что развитіе промышленности до сей поры незначительное, но и потому, что высшее мѣщанство или купечество легко получало личное дворянство.

Мало знаемъ мы нравственныя силы мѣщанства. Въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ можно было ихъ видѣть, оно показывало себя отсталымъ, точно консервативнымъ, православнымъ, раболѣпнымъ и тяжело патристическимъ. Угнетенное, всего боящееся, оно скрывало свои богатства, пряталось само, молчало, жило назаперти, строило церкви, раздавало милостыню бѣднымъ и заточеннымъ, давало взятки чиновникамъ и копило милліоны.

Новое поколѣніе, получившее образованіе, можетъ быть, пойдетъ по другой дорогѣ и приметъ инныя идеи.

У насъ дворянство больше администрація, чѣмъ аристократія. Родъ, графскій и княжескій титулъ, древность имени и величина владѣній не даютъ никакихъ особенныхъ привилегій, связанныхъ исключительно съ чинами. Есть повѣрье, что ежели два поколѣнія дворянъ не служили, то правительство можетъ лишить ихъ дворянства.

Эта всеобщность службы даетъ ей самой иное значеніе. Служить въ Россіи не значитъ, какъ во Франціи, быть агентомъ, *à me damnée* власти. Общественное мнѣніе не смѣшиваетъ дѣйствительно преданныхъ чиновниковъ, полныхъ рвенія, служащихъ *по вкусу*, съ чиновниками, не имѣющими этихъ качествъ. Первые иногда боятся, но никогда не уважаютъ. Другіе же составляютъ все независимое общество въ столицахъ и губерніяхъ. Классъ этотъ довольно обширенъ, ежели причислить къ нему военныхъ, вообще меньше раболѣпныхъ, нежели гражданскіе чиновники, людей вышедшихъ въ отставку 25 или 26 лѣтъ и живущихъ въ своихъ имѣніяхъ и служащихъ только по выборамъ.

Вотъ въ этой-то средѣ, наше общее и полиглотное воспитаніе образовало, можетъ быть, самыхъ независимыхъ людей въ Европѣ. Отсутствіе свободы слова, необходимость быть ежеминутно насторожѣ, приучили ее къ внутренней, смѣлой и безжалостной работѣ. Новая литература иногда высказывала долю затаенныхъ страстей, наполняющихъ грудь русскаго человѣка. Безъ страха и жалости дошли передовые люди до социальныхъ идей въ политикѣ, до реализма въ наукѣ, до отрицанія и скептицизма въ философіи.

Соціализмомъ—революціонная идея можетъ у насъ сдѣлаться народною. Въ то время какъ въ Европѣ социализмъ принимается за знамя безпорядка и ужасовъ, у насъ, напротивъ, онъ является радугою, пророчащей будущее народное развитіе.

Теперь, ознакомившись съ элементами русской жизни, вы поймете, что Россіи невозможно сдѣлать шага впередъ, не вступая въ какой-нибудь внутренній переворотъ или въ европейскую войну.

Освобожденіе крестьянъ, дѣло столь простое въ прочихъ государствахъ, невозможно у насъ *безъ уступки крестьянамъ земли, а освобожденіе съ землей*—лишеніе значительной собственности дворянства. Условія дворянскаго быта должны перемѣниться съ освобожденіемъ, а съ ними и его отношенія къ правительству; не забудьте, что судъ и полиція внѣ городовъ принадлежатъ дворянству, и дворянство всякой губерніи организовано въ совѣщательныя собранія и привыкло правильно собираться въ назначенные сроки.

Ежели бы на русскомъ престолѣ былъ дѣйствительно энергичскій человѣкъ, то онъ былъ бы главнымъ двигателемъ освобожден-

ніа крестьянъ; онъ покрылъ бы величайшею славою конецъ петербургскаго періода, онъ самъ бы далъ направленіе неминуемому событію. Но для этого нуженъ Петръ I.

Монархическая и не слишкомъ военная Европа не хочетъ и не должна имѣть серьезной войны съ царемъ. Царь, съ своей стороны, не можетъ воздержаться отъ войны съ Европой, развѣ она ему подаритъ Константинополь.

Константинополь?—Да! Константинополь. Онъ ему необходимъ для того, чтобы отвести глаза русскаго народа на Востокъ, онъ ему необходимъ, чтобы усилить усердіе православной церкви; наконецъ, онъ ему необходимъ *инстинктивно*, потому что, несмотря на все, Николай орудіе судьбы. Онъ безсознательно приводитъ въ исполненіе внутренніе виды исторіи, и скорымъ шагомъ, съ закрытыми глазами, не видя пропасти, идетъ на ихъ совершеніе.

Время славянскаго міра настало. *Таборитъ*, общинный чело-вѣкъ, тревожно раскрываетъ глаза, социализмъ, что ли, его пробудилъ?... Гдѣ водрузитъ онъ свое знамя? Около какого центра соберется онъ?

Это средоточіе ни Вѣна, городъ рококо-нѣмецкій, ни Петербургъ, городъ ново-нѣмецкій, ни Варшава, городъ католическій, ни Москва, городъ исключительно русскій. Настоящая столица соединенныхъ славянъ—Константинополь, Римъ восточной церкви; центръ тяжести всѣхъ славяно-грековъ—Византія, окруженная славяно-эллинскимъ населеніемъ.

Германо-латинскія племена продолжаютъ имперію западную; не знаю, суждено ли славянамъ продолжать имперію восточную, но во всякомъ случаѣ не Петербургъ завоюетъ Константинополь, а скорѣе Константинополь замѣнитъ Петербургъ.

Петербургъ былъ бы такою же нелѣпостью въ имперіи, владѣющей Константинополемъ, какъ какой-нибудь Гольштейнъ-Готторпъ, прикинувшійся Порфирогенетомъ или Палеологомъ.

Добрымъ нѣмецкимъ выходцамъ этимъ много дѣла на старой родинѣ.

Развѣ вы не слышите, какъ за вашей дверью казакъ перешептывается съ двумя нѣмецкими пріятелими, которые вамъ измѣняютъ и готовы служить ему проводниками въ Европу?

Послѣ 1849 года, мы предсказывали, что *домъ габсбургскій и гогенцолернскій приведутъ еще русскихъ въ сердце западнаго міра.*

Для царя война, это выступленіе изъ береговъ отъ избытка гложащихъ силъ, послужить средствомъ отдалить на время всѣ внутренніе вопросы, и утолить жажду битвъ и увеличенія.

Для Европы, всякая война—несчастіе. Европа уже не въ тѣхъ

лѣтахъ, чтобъ вести войну поэтическую. Ей предстоитъ рѣшеніе другихъ вопросовъ, поддержаніе другой борьбы, но она сама накупается на нее.

Завоевательная война—не совмѣстна съ цивилизаціей и промышленнымъ развитіемъ Европы, солдатскій абсолютизмъ нелѣпы въ ней; а однако весь материкъ предпочелъ цезаризмъ—свободѣ!

Цезаризмъ по сущности своей правленіе военное, правленіе матеріальной силы. Статскихъ бонапартовъ нѣтъ, даже сынъ Жерома—генераль-лейтенантъ.

Можетъ быть, среди крови, битвы, пожара, опустошенія народы проснутся и увидятъ, протирая глаза, что всѣ эти сновидѣнія страшныя, уродливыя были не что иное, какъ сновидѣнія, какъ бредъ горячки.... И народы, увидя, какъ солнце высоко, удивятся своему долговому сну. Можетъ быть....

И во всякомъ случаѣ война эта—*introduzione maestosa e marziale* міра славянскаго въ всеобщую исторію и съ тѣмъ вмѣстѣ *una marcia funebre* стараго свѣта.

Прощайте. Дружески кланяюсь вамъ.

Лондонъ, 20 февраля, 1854 года.

ЮРЬЕВЪ ДЕНЬ! ЮРЬЕВЪ ДЕНЬ!

Русскому дворянству.

Первое вольное русское слово изъ-за границы пусть будетъ обращено къ вамъ.

Въ вашей средѣ развилась потребность независимости, стремленіе къ свободѣ и вся умственная дѣятельность послѣдняго вѣка.

Между вами находится то самоотверженное меньшинство, которымъ искупается Россія въ глазахъ другихъ народовъ и въ собственныхъ своихъ.

Къ вамъ первымъ мы и обращаемся.

Не съ словами упрека, не съ невозможнымъ зовомъ на бой, а съ дружескою рѣчью объ общемъ горѣ, объ общемъ стыдѣ и съ братскимъ совѣтомъ.

Горестно, стыдно быть рабами, но всего горестнѣе и больнѣе сознавать, что рабство наше необходимо, что оно въ порядкѣ вещей, что оно естественное слѣдствіе.

На нашей душѣ лежитъ великій грѣхъ, мы его унаслѣдовали, и въ этомъ невиноваты, но мы удерживаемъ неправо унаслѣдованное, оно стягиваетъ насъ какъ тяжелый камень на дно и съ нимъ на шеѣ мы не всплывемъ.

Мы рабы,—потому что наши праотцы продали свое человѣческое достоинство за нечеловѣческія права, а мы пользуемся ими.

Мы рабы,—потому что мы господа.

Мы слуги,—потому что мы помѣщики, и помѣщики безъ вѣры въ наше право.

Мы крѣпостные,—потому что держимъ въ неволѣ нашихъ братьевъ равныхъ намъ по рожденію, по крови, по языку.

Нѣтъ свободы для насъ, пока проклятіе крѣпостного состоянія тяготитъ надъ нами, пока у насъ будетъ существовать гнусное, позорное, ничѣмъ неоправданное рабство крестьянъ.

Съ Юрьева дня начнется новая жизнь Россіи, съ Юрьева дня начнется наше освобожденіе.

Нельзя быть свободнымъ человѣкомъ и имѣть дворовыхъ людей, купленныхъ какъ товаръ, проданныхъ какъ стадо.

Нельзя быть свободнымъ человѣкомъ и имѣть право сѣчь мужиковъ и посылать дворовыхъ на сѣзжую.

Нельзя даже говорить о правахъ человѣческихъ, будучи владѣльцемъ человѣческихъ душъ.

Многіе изъ васъ желали освобожденія крестьянъ. Спорили сначала о томъ: съ землею или безъ земли дать волю? Потомъ всѣ увидѣли нелѣпость освобожденія въ голодъ, въ бродяжничество, и вопросъ шелъ только о количествѣ земли и о возможномъ возмездіи за нее.

Въ самыхъ помѣщичьихъ губерніяхъ, въ Пензѣ и Тамбовѣ, въ Ярославлѣ и Владимірѣ, въ Нижнемъ и, наконецъ, въ Москвѣ вопросъ объ освобожденіи находилъ сочувствіе и нигдѣ не встрѣчалъ того остервенѣнія, съ которымъ американскіе помѣщики защищаютъ свои черныя права.

Тульское дворянство подало проектъ; въ десяти другихъ губерніяхъ совѣщались, дѣлали предположенія.

И вдругъ дворяне и правительство перепугались, и изъ ихъ дрожащихъ рукъ выпали всѣ благія начинанія.

А бояться было вовсе нечего; разливъ 1848 года былъ слишкомъ мелокъ, чтобъ поднять наши стени.

Съ тѣхъ поръ все заснуло.

Куда дѣлось меньшинство, которое шумѣло въ петербургскихъ и московскихъ гостиныхъ объ освобожденіи крестьянъ?...

Чѣмъ кончились всѣ эти комитеты, совѣщанія, проекты, планы, предположенія?...

Наше сонное бездѣйствіе, вялая невыдержка, страдательная уступчивость наводятъ грусть и отчаяніе. Съ этой распущенностью мы дошли до того, что правительство насъ не гонитъ, а только пугаетъ.

А между тѣмъ въ деревняхъ становится неловко. Крестьяне посматриваютъ угрюмо. Дворовые меньше слушаются. Всякія вѣсти бродятъ.

Крѣпостное состояніе явнымъ образомъ надоѣло мужикамъ. Вы, съ своей стороны, знаете, что шагу впередъ нельзя сдѣлать безъ освобожденія крестьянъ. Но оно-то по счастью всего больше зависитъ отъ васъ.

Зависитъ сегодня. Мы не знаемъ, что будетъ завтра.

Чего-жъ вы ждете въ самомъ дѣлѣ?

Разрѣшенія правительства? Оно дало вамъ намекъ въ 1842 году. Вы имъ не воспользовались.

Да и какое тутъ позволеніе? Насильно заставить владѣть невозможно, это было бы тиранство совершенно новаго рода, обратная конфискація.

Вникните въ наши слова, поймите ихъ.

На сію минуту вы имѣете за себя больше, нежели право ¹⁾, фактъ владѣнія—власть. Такъ или иначе, но ключъ отъ цѣпи у васъ въ рукахъ. Намъ кажется умнѣе, *разсчитливѣе* уступить, нежели ждать взрыва. Умнѣе бросить за бортъ долю груза, нежели дать утонуть всему кораблю.

Мы не предлагаемъ вамъ раздать ваше достояніе изъ самоотверженія. Мы ненавидимъ фразы и вовсе не вѣримъ въ повальное великодушіе, ни въ безкорыстіе цѣлыхъ сословій. Французское дворянство 4-го августа 1792 г. поступило въ десять разъ больше умно, нежели самоотверженно.

Взвѣсьте, что вамъ выгоднѣе: освобожденіе крестьянъ съ землею и съ вашимъ участіемъ или борьба противъ освобожденія? Взвѣсьте, что выгоднѣе: начать собой новую, свободную Русь и полюбовно рѣшить тяжелый вопросъ съ крестьянами или начать противъ нихъ крестовый походъ съ ружьемъ въ одной рукѣ, съ розгой въ другой? Если есть только будущность Руси и міру славянскому, *крестьяне будутъ свободны...*

Или вовсе не будетъ Россіи и слѣдъ ея, отмѣченный ненужной кровью и дикими побѣдами, исчезнетъ мало-по-малу, какъ слѣдъ татаръ, какъ второй неудачный слой сѣвернаго населенія послѣ финновъ. Государство, не умѣющее отдѣлаться отъ такого чернаго грѣха, такъ глубоко взошедшаго во внутреннее строеніе его, не имѣетъ права ни на образованіе, ни на развитіе, ни на участіе въ дѣлѣ исторіи.

Но ни вы не вѣрите такой страшной будущности, ни я.

И вы, и я, мы чувствуемъ и знаемъ, что освобожденіе крестьянъ необходимо, неотразимо, неминуемо.

Если вы не сумѣете ничего сдѣлать, они все-таки будутъ свободны.

Неужели грозные уроки былого всегда будутъ нѣмы?

И кого можетъ лучше поучать прошедшее и настоящее, какъ не васъ: вы зрители, вы смотрите, сложа руки, на грозную борьбу, совершающуюся въ Европѣ.

Чѣмъ дошла она, за исключеніемъ Англіи, до того, что образованнѣйшіе города ея превратились въ сѣзжіе дворы, Парижъ—въ человѣческую бойню, Франція—въ католическую Сибирь, Германія—въ остзейскія провинціи? Упорнымъ нехотѣніемъ уступать тому мощному вѣянію, которое неотразимо двигаетъ родъ людской.

Западные мѣщане все потеряли—честь, покой, свободу, все

¹⁾ Всякое дворянство на Западѣ можетъ сослаться на какія-нибудь слабя, призрачныя права владѣнія крестьянами; у насъ и тѣхъ нѣтъ. Не кровью пріобрѣло русское дворянство рабовъ, а рядомъ полицейскихъ мѣръ, плутнями чиновниковъ и безстыдной алчностью своихъ праотцевъ

такъ трудно нажитое ихъ собственною кровью,—и что же, побѣдили ли они тотъ натискъ страстныхъ стремленій къ новому общественному чину, котораго они такъ боятся? Нѣтъ. Правда, сломленные, оттолкнутые порывы отступили, но не исчезли, не уничтожились, они бродятъ и роются глубже въ тайникахъ сердца человѣческаго, дѣлаютъ горькую мысль, острую кровь и трепетнымъ огнемъ гнѣва пробѣгаютъ суставы всего тѣла.

Учитесь, пока еще есть время.

Мы вамъ говоримъ: предупредите большія бѣдствія, пока это въ вашей волѣ.

Спасите себя отъ крѣпостного права.

Но торопитесь,—время страдное, ни одного часа терять нельзя.

Горячее дыханіе больной, выбившейся изъ силъ, Европы вѣтъ на Русь переворотомъ.

Наступающій переворотъ не такъ чуждъ русскому сердцу, какъ прежніе. Слово *соціализмъ* неизвѣстно нашему народу, но смыслъ его близокъ душѣ русскаго человѣка, изживающаго вѣкъ свой въ сельской общинѣ и въ рабочей артели.

ЕЩЕ ВАРИАЦІЯ НА СТАРУЮ ТЕМУ.

(Письмо къ)

Нѣтъ, любезный другъ, я не сдержу обѣщанія, даннаго тебѣ, и не стану писать статьи въ объясненіе того, что я говорилъ о Западѣ и что говорилъ о Россіи.

Послѣ твоего отѣзда, подѣ влияніемъ замѣчаній, сдѣланныхъ тобою, и замѣчаній нашихъ общихъ друзей, я пересмотрѣлъ часть писаннаго мною и нашелъ что мнѣ прибавлять нечего. Что было за душой, что я выразумѣлъ и какъ выразумѣлъ, я все сказалъ. Если я не сумѣлъ въ цѣлыхъ книгахъ, въ рядѣ статей, въ рядѣ писемъ уяснить моего воззрѣнія, какъ же мнѣ это можетъ удалиться на нѣсколькихъ страницахъ? Положимъ, что мой взглядъ и былъ въ самомъ дѣлѣ только болѣзненный, страстный, личный, когда я восемь лѣтъ тому назадъ писалъ «Съ того берега», но время такъ грозно подтвердило его, что онъ сталъ еще незыблемѣе въ моемъ умѣ и, не измѣняясь ни въ чемъ существенномъ, только остылъ. Повторять холодно сказанное тогда съ увлеченіемъ я отказываюсь и пишу теперь больше для того, чтобъ показать, какъ я внимательно слушалъ тебя и искренно принялъ къ сердцу замѣчанія нашихъ друзей.

Главные упреки сводятся на два: *во первыхъ*, что мое воззрѣніе на Западъ потрясаетъ вѣрованія, необходимыя еще у насъ; *во вторыхъ*, что мое воззрѣніе на Россію сближаетъ меня съ славянофилами.

Упреки эти сами собою свидѣтельствуютъ, что усобица ваша съ московскими старовѣрами не улеглась; это жаль.

Увлеченные полемикой, вы не замѣчаете, какъ скучны ваши споры и какъ они надоѣли. Борьба съ славянофилами потеряла интересъ особенно послѣ смерти Николая. Пора бы подвести всѣ эти дрязги подѣ манифестъ 26 августа 1856 года и предать ихъ забвенію съ прочими прегрѣшеніями николаевскаго времени.

Новая жизнь явнымъ образомъ закипаетъ у насъ; само правительство увлечено ею. Вопросы одинъ другого важнѣе, одинъ другого неотлагаемѣе возникаютъ со всѣхъ сторонъ; прибитыя къ землѣ надежды оживаютъ, хочется знать, что думаютъ у насъ объ

освобожденіи крестьянъ, объ уничтоженіи духовныхъ и тѣлесныхъ побоевъ—цензуры и палки—объ обузданіи чиновничьяго грабежа, полицейскаго самоуправства. и вмѣсто того читаешь схоластическія пренія о мѣстничествѣ народовъ и національности истины.

Я никогда не отрицалъ, что у славянъ есть вѣрное сознание *живой души* въ народѣ, есть «*чаяніе будущаго вѣка*», но, по несчастію, долженъ повторить, что «чутье ихъ проникательнѣе разумѣнія»¹⁾ и не только разумѣнія, но и совѣсти. Я съ ужасомъ и отвращеніемъ читалъ нѣкоторыя статьи славянскихъ обзорѣній: отъ нихъ вѣтъ застѣнкомъ, рваными ноздрями, эпитимей, покаяньемъ, соловецкимъ монастыремъ. Попадись этимъ господамъ въ руки власть, они зактнутъ за поясъ III отдѣленіе. И будто я сблизился съ этими дикими по сочувствію, по выбору, по языку? Отчего же не такъ-то давно одинъ изъ нихъ пустилъ въ меня, подъ охраной полиціи, комомъ отечественной грязи съ такимъ *народнымъ* запахомъ передней, съ такой постной отрыжкой семинаріи и съ такимъ нахальствомъ холопа, защищеннаго отъ палки недосытаемостью запятокъ, что я на нѣсколько минутъ живо перенесся на Плющуху, на Козье болото?

Но ваша полемика противъ нихъ никуда не годится, оставьте вы ихъ въ покоѣ, или бейте ихъ на ихъ собственной почвѣ. Они не знаютъ *настоящей* Россіи; это оборотни и мертвецы. съ ихъ поля не отзывается ни одинъ «живъ человѣкъ», они свихнули свое пониманье лицемѣрнымъ православіемъ и поддѣльной народностью.

Мудрено теперь сбить ихъ примѣромъ Запада (и тутъ я отвѣчаю на другой упрекъ), когда достаточно одного нумера любой газеты, чтобы увидѣть страшную болѣзнь, подъ которой ломится Европа. Отворачиваться отъ ея ранъ и проповѣдывать поклоненіе *не только идеямъ*, которыя она выработала и съ которыми не можетъ сладить ея современная жизнь, но и ей самой,—столько же невозможно, какъ увѣрить насъ, что фанатически поврежденная умственная дѣятельность поклонниковъ Будды или карпатскихъ раскольниковъ важнѣе и глубже всѣхъ вопросовъ, занимающихъ насъ.

Вы любите европейскія идеи,—люблю и я ихъ: это идеи всей исторіи, это надгробный памятникъ, на которомъ написано завѣщаніе не только вчерашняго дня, но Египта и Индіи, Греціи и Рима, католицизма и протестантизма, народовъ римскихъ и народовъ германскихъ. Безъ нихъ мы впали бы въ азіатскій квіетизмъ, въ африканскую тупость. Россія съ ними *и только съ ними* можетъ быть введена во владѣніе той большой доли на-

¹⁾ Былое и Думы, гл. X.

слѣдства, которая ей достается. Въ этомъ мы совершенно согласны. Но вамъ не хочется знать, что теперешняя жизнь въ Европѣ не сообразна ея идеямъ. Вамъ становится страшно за нихъ; идеи, не находящія себѣ осуществленія дома, кажутся вамъ нигдѣ неосуществляемыми. Историческая эмбриологія врядъ оправдаетъ ли такое заключеніе. Изъ неприлагаемости новыхъ общественныхъ идей къ современной жизни европейскихъ народовъ (если-бъ это и было окончательно доказано) нельзя судить о ихъ неосуществляемости вообще, о ихъ неприложимости вездѣ. Развѣ одна сторона европейскаго идеала, именно англо-саксонская, не нашла себѣ полнаго выраженія по ту сторону Атлантическаго океана?

Пути развитія очень туги и очень непросты въ природѣ, въ исторіи; они употребляютъ страшное количество силъ и формъ. Намъ это мало видно, потому что мы всегда находимся лицомъ къ лицу съ готовымъ результатомъ, съ выработавшимся, съ успѣхомъ. Ряды неудачныхъ формъ были вызваны по дорогѣ, жили не вполнѣ (по сравненію съ послѣдующими) и замѣнялись другими намъ неизвѣстными. Онѣ не были пожертвованы, потому что онѣ жили для себя, но, отживши, передали наслѣдіе не дѣтямъ, а чужимъ. Мамонты и ихтіосавры—слонамъ и крокодиламъ, Египетъ и Индія—Греціи и Риму. Весьма можетъ быть, что вся творческая способность западныхъ народовъ истратилась, истощилась, создавая свой общественный идеалъ, свою науку, стремясь къ нимъ и осуществляя отдѣльныя, одностороннія фазы ихъ со всею страстностью и увлеченіемъ борьбы, въ которой оттого людямъ такъ легко умирать, что они на всякомъ шагу думаютъ достигнуть *полнаго* идеала своего.

Вырвутъ ли забытыя массы изъ рукъ монополистовъ силы, развитыя наукой, всю эту совокупность техническихъ улучшеній быта человѣческаго и сдѣлаютъ ли изъ нихъ общее достояніе; или собственники, опираясь на правительственную силу и на народное невѣжество, подавятъ массы? Въ обоихъ случаяхъ *идеи спасены*, а въ этомъ для васъ сущность дѣла. Наука, независимая отъ государственныхъ устройствъ, отъ *народности*, остается великимъ результатомъ европейской жизни, готовымъ измѣнить тяжелый историческій бытъ людей вездѣ, гдѣ встрѣтить способную почву, пониманье и вмѣстѣ съ пониманьемъ силу и волю.

— Вопросъ о будущности Европы я не считаю окончательно рѣшеннымъ; но добросовѣстно, съ покорностью передъ истиной и скорѣе съ предразсудками въ пользу Запада, чѣмъ противъ него, изучая его десятый годъ не въ теоріяхъ и книгахъ, а въ клубахъ и на площади, въ средоточіи всей политической и соціальной жизни его, я долженъ сказать, *что ни близкаго, ни хорошаго*

выхода не вижу. Стоит взглянуть, съ одной стороны, на горячее, одностороннее развитіе промышленности, на сосредоточеніе всѣхъ богатствъ, нравственныхъ и вещественныхъ, въ рукахъ меньшинства средняго состоянія, на то, что оно захватило въ руки церковь и правительство, машины и школы; что ему повинуются войска, что въ его пользу судятъ судьи; и, съ другой стороны, глядя на неразвитость массъ, на незрѣлость и шаткость революціонной партіи, я не предвижу безъ страшнѣйшей кровавой борьбы близкаго паденія мѣщанства и обновленія стараго государственнаго строя.

Теперь нечего и думать о прошлыхъ обыденныхъ революціяхъ, которыя дѣлались полшутя съ Беранжеровской пѣсню и сигарой во рту; теперь нѣтъ ни Карла X, готоваго бѣжать передъ опасностью, ни Людовика Филиппа, который не хотѣлъ бомбардировать Парижа; теперь нѣтъ ни австрійскаго императора, который по первому ружейному выстрѣлу даетъ конституцію; прусскій король хоть и тотъ же, но ужъ не сниметъ съ своей головы фуражку передъ убитыми революціонерами; самъ Пій IX поумнѣлъ. Іюньскіе дни 1848 года и Кавеньякъ показали міру, что за Варшоломеевскую ночь, что за сентябрьскіе дни ожидаютъ будущую борьбу.

Выйдетъ ли Европа поюнѣлой изъ этого испытанія, или погибнетъ какъ Сенека въ своей собственной крови, не знаю; но мнѣ сдается, что мы съ тобой не дождемся рѣшенія. У тебя всѣ волосы сѣдые, а мнѣ сорокъ четыре года отроду.

Не естественно ли въ этомъ положеніи современному человѣку порасширить свой взглядъ, осмотрѣться вокругъ, изучить, какъ другія страны, не вовлеченныя въ смертный бой Европы, относятся къ будущему, чего отъ нихъ можно ждать, куда онѣ тянутъ и нѣтъ ли тамъ глухой, пригитовительной работы.

Но внѣ Европы есть только два дѣятельные края — *Америка* и *Россія*, развѣ еще начинающаяся *Австралія*. Остальное, все покоится непробуднымъ сномъ или бьется въ судорогахъ, которыхъ мы не понимаемъ, и которыя чужды намъ, какъ китайское возстаніе со всѣми своими горами труповъ и отвратительнымъ мясничествомъ.

Америка, Европа колонизированная, то же племя и преимущественно англо-саксонское, но при другихъ условіяхъ. Волна за волной несетъ къ ея берегамъ наплывъ за наплывомъ,—и они не остаются на мѣстѣ, но идутъ далѣе и далѣе. Такъ, какъ кромвелевская Англія переплыла океанъ и разсѣялась по сѣвернымъ долинамъ и лѣсамъ, такъ и теперь толпы европейскихъ выходцевъ плывутъ туда отъ голода, отъ духоты, отъ преслѣдованія, «отъ будущаго», предчувствуя дома бѣды. Это продолженіе вѣко-

вого движенія на западъ. Три милліона ирландцевъ выселились со времени Р. Пиля; нѣмецкіе государи, торговавшіе въ XVIII столѣтїи стадами своихъ подданныхъ для веденія войны противъ независимости для населенія Пенсильваніи и пр., задумываются, видя, какъ народонаселеніе утекаетъ. Движеніе продолжается въ самой Америкѣ, новые пришельцы просачиваются сквозь осѣвшее народонаселеніе, иногда увлекаютъ его, — и все стремится, толкаясь и торопясь, на югъ: сегодня разрабатываютъ землю, завтра идутъ дальше, напирая къ экватору, гдѣ будетъ новая встрѣча и новое сочетаніе англо-саксонскаго элемента съ испано-романскимъ.

Мы видимъ, что все это еще расчистка мѣста, вѣхи, поставленныя для означенія арены, и никакая сила не удержитъ сѣверо-американцевъ съ ихъ избыткомъ силъ, пластицизма, неутомимости, отъ присоединенія центральной Америки и Кубы. Въ то время какъ въ Европѣ разваливается Венеція, нищастъ Римъ, вянуть небольшіе города Италіи и Испаніи за недостаткомъ капиталовъ и рукъ, за лѣнью и недостаткомъ дѣятельности, гдѣ-нибудь въ Калифорніи, въ Гондурасѣ и Никарагуѣ въ нѣсколько лѣтъ пустыни превращаются въ поля, починки въ города, степи исчерчиваются желѣзными дорогами, капиталы избыточествуютъ и неутомная сила республики хватаетъ все далѣе и далѣе.

Что растеть, то юно.

Силень былъ и ростъ Россіи, и едва ли онъ совсѣмъ окончился, едва ли она дошла до естественныхъ предѣловъ; это видно, сверхъ географической фізіологіи, изъ непрерывной заносчивости правительства, изъ постояннаго стремленія захватить какой-нибудь клочекъ земли. Но Россія расширяется по другому закону, чѣмъ Америка; оттого, что она въ теперешнемъ состояніи не колонія, не наплывъ, не нашествіе, а самобытный міръ, идущій во все стороны, но крѣпко сидящій на своей собственной землѣ. Соединенные Штаты, какъ лавина, оторвавшаяся отъ своей горы, пруть передъ собою все; каждый шагъ, пріобрѣтенный ими,—шагъ, потерянный индѣйцами. Россія понимаетъ кругомъ какъ вода, обходить племена со всехъ сторонъ, потомъ накрываетъ ихъ однообразнымъ льдомъ—и подъ нимъ дѣлаетъ изъ поклонниковъ Далай-Ламы защитниковъ православія, изъ нѣмцевъ *отчаянныхъ* русскихъ патриотовъ.

И тотъ же юный пластицизмъ. Чему смѣялся Іосифъ II на закладкѣ Екатеринославля, говоря, что императрица положила первый камень города, а онъ послѣдній? Не городъ тамъ построенъ, а государство. Новороссійскій край лучшее доказательство, какова пластическая сила Руси. А вся Сибирь? А теперешнія поселенія на берегахъ Амура, гдѣ на дняхъ будетъ раз-

вваться звѣздчатый флагъ американскихъ республикъ? Да и самыя восточныя губерніи европейской Россіи?

Читая лѣтопись семейства Багровыхъ ¹⁾, я былъ пораженъ сходствомъ старика, переселившагося въ Уфимскую провинцію съ «сетлерами», переселяющимися изъ Нью-Йорка куда-нибудь въ Висконсинъ или въ Иллинуа. Совершенно новая расчистка нежилыхъ мѣстъ и обращеніе ихъ на хлѣбопашество и гражданскую жизнь. Когда Багровъ сзываетъ со всѣхъ сторонъ народъ засыпать плотину для мельницы, когда сосѣди съ пѣснями несутъ землю и онъ первый торжественно проходитъ по побѣжденной рѣкѣ, такъ и кажется, что читаешь Купера или Ирвинга Вашингтона. А, вѣдь, это всего вѣкъ тому назадъ; тоже было въ Саратовскомъ краю и въ Пермскомъ. Въ Вяткѣ въ мое время еще трудно было удержать крестьянъ, чтобъ они не переселялись въ лѣса и не начинали тамъ новыя селенія (починки); земля для нихъ все еще казалась общимъ достояніемъ, той *res nullius*, на которую каждый имѣеть право.

Америка какъ переселеніе не представляетъ новыхъ элементовъ, это дальнѣйшее развитіе протестантской Европы, освобожденной отъ историческаго быта и приведенной въ иныя условія жизни. Величайшая идея, развитая Сѣверными Штатами,—чисто англо-саксонская, идея самоуправленія, т. е. сильнаго народа съ слабымъ правительствомъ, самодержавія каждаго клочка земли безъ централизаціи, безъ бюрократіи, съ внутреннимъ, нравственнымъ единствомъ. Какъ Америка будетъ относиться къ социальнымъ стремленіямъ,—трудно сказать; духъ товарищества, ассоціаціи, предпріятій сообща чрезвычайно въ ней развитъ, но ни общаго владѣнія, ни нашей артели, ни сельской общины нѣтъ; личность соединяется съ другими только на извѣстное дѣло, внѣ котораго ревниво отстаиваетъ полнѣйшую независимость.

Россія, напротивъ, является совсѣмъ особеннымъ міромъ, съ своимъ естественнымъ бытомъ, съ своимъ фізіологическимъ характеромъ—не европейскимъ, не азіатскимъ, а славянскимъ. Она участвуетъ въ судьбахъ Европы, не имѣя ея историческихъ преданій, свободная отъ ея обязательствъ прошедшему. «Какое счастье, сказалъ Бентамъ Александру I, когда онъ былъ въ Лондонѣ послѣ наполеоновскихъ войнъ, что русскому законодателю не приходится бороться на каждомъ шагѣ съ римскимъ правомъ», а мы прибавимъ — ни съ феодализмомъ, ни съ католицизмомъ, ни съ протестантизмомъ. Кормчая книга и Уложеніе не захватываютъ всѣхъ проявленій жизни, не заправляютъ всякимъ дѣйствіемъ, остальные учрежденія введены насиліемъ и держутся насиліемъ.

¹⁾ Семейная хроника, С. Т. Аксакова.

У насъ нигдѣ нѣтъ этихъ наглухо заколоченныхъ предрасудковъ, которые у западнаго человѣка какъ параличемъ отбиваютъ половину органовъ. Въ основѣ народной жизни лежитъ сельская община—съ раздѣленіемъ полей, съ коммунистическимъ владѣніемъ землею, съ выборнымъ управленіемъ, съ правомѣрностью каждаго работника (тягла). Все это находится въ состояніи подавленномъ, искаженномъ, но все это живо, и пережило худшую эпоху.

Если это сколько-нибудь такъ, то ненадобно быть русскимъ для того, чтобъ именно въ эти черные дни Европы обратить на Россію особенное вниманіе. Оно, впрочемъ, такъ и дѣлается, Россія занимаетъ многіе сильные умы. Мнѣ самому случалось говорить объ Россіи съ серьезными людьми, какъ Прудонъ и Маццини... И я увѣряю, что взглядъ ненависти и страха замѣняется раздумьемъ и желаніемъ поближе узнать это новое явленіе, котораго *силу и права на будущее* отрицать нельзя, да они и не хотятъ.

Дѣйствительно, на Западѣ не могли понимать Россію, пока Западъ вѣрилъ въ себя и шелъ впередъ; но онъ убѣдился въ невозможности идти путемъ прежнихъ революцій, потерявъ разомъ все плоды ихъ, кромѣ патологическаго урока. «Равенство рабства» позволило ближе всмотрѣться другъ въ друга, и именно потому Англія всего менѣе понимаетъ Россію; она равно не участвовала ни въ континентальныхъ революціяхъ, ни въ общемъ паденіи. Но другіе народы въ своихъ колодкахъ догадываются, что если временная необходимость втѣснила вчера въ мирный бытъ земледѣльческаго народа казарменную дисциплину и сдѣлала изъ всей Россіи военныя поселенія, то можетъ завтра другая необходимость все это уничтожить, такъ, какъ Александръ II уничтожилъ аракчеевскія поселенія; эпоха военнаго деспотизма пройдетъ, оставивъ по себѣ неразрывно спаянное государственное единство и силы, закаленные въ тяжелой и суровой школѣ.

Порогъ, за который Европа зацѣпилась, для насъ почти не существуетъ. Въ естественной непосредственности нашего сельскаго быта, въ шаткихъ и неустоявшихся экономическихъ и юридическихъ понятіяхъ, въ смутномъ правѣ собственности, въ отсутствіи сильнаго мѣщанства и въ необычайной усвоимости чужого—мы имѣемъ шагъ передъ народами, вполне сложившимися и усталыми.

Утвердилось русское государство страшными средствами; рабствомъ, кнудомъ, казнями гнали народъ русскій къ образованію огромной имперіи, сквозь строй шелъ онъ на совершеніе судебъ своихъ. Сердиться на прошедшее—дѣло праздное; живой взглядъ состоитъ въ томъ, чтобъ равно воспользоваться силами, хорошо ли онѣ приобрѣтены или дурно, кровью ли достались или мирными.

путемъ. Военныя поселенія, какъ я сказалъ, проходить, но села остаются. На нашей движущейся, не сложившейся почвѣ только и есть консервативнаго, что сельская община, т. е. только то, что слѣдуетъ сохранить.

Читалъ я ваши споры объ общинѣ; они очень любопытны, но меньше, чѣмъ кажется, идутъ къ дѣлу. Родовое ли начало сельской общины или государственное, была ли земля общинная, помѣщичья или великокняжеская, скрѣпило ли крѣпостное право общину или нѣтъ,—все это необходимо привести въ ясность; но для насъ всего важнѣе *настоящее* положеніе дѣлъ. Фактъ, отклонившійся или нѣтъ, вѣрный или невѣрный, втѣсняетъ себя, какъ онъ есть. Государство и крѣпостное право по своему сохранили родовую общину; постоянное, *зимующее* начало, оставшееся въ ней изъ патриархализма, вовсе не утратилось: общинное владѣніе землею, мѣръ и выборы составляютъ почву, на которой легко можетъ возрасти новая общественная жизнь, почву, которой какъ нашего червозема почти нѣтъ въ Европѣ.

Вотъ почему, любезный другъ, я середь мрачнаго, раздирающаго душу реквиема, середь темной ночи, которая падаетъ на усталый, больной Западъ, отворачиваюсь отъ предсмертнаго стопа великаго бойца, котораго уважаю, но которому помочь нельзя и съ упованіемъ смотрю на нашъ родной востокъ, внутри радуясь, что я русскій.

Эпоха, въ которую Россія вступаетъ теперь, необыкновенно важна; вмѣсто небольшихъ политическихъ реформъ, для которыхъ мы не опытомы, а умомъ слишкомъ стары, мы стоимъ лицомъ къ лицу съ огромнымъ *экономическимъ* переворотомъ, съ освобожденіемъ крестьянъ. И это не все, вопросы наши такъ поставлены, что они могутъ быть разрѣшены общими соціально-государственными мѣрами безъ насильственныхъ потрясеній. Мы призваны перебрать права поземельнаго владѣнія и отношеній работника къ орудію работы,—не есть ли это торжественное вступленіе въ будущій возрастъ нашъ? Вся новая программа нашей исторической дѣятельности такъ проста, что тутъ ненадобно генія, а просто глаза, чтобы знать, что дѣлать. Одна робость, неловкость, оторопѣлость правительства мѣшаетъ ему видѣть дорогу, и оно пропускаетъ удивительное время. Господи! чего нельзя сдѣлать этой весенней оттепелью послѣ николаевской зимы; какъ можно воспользоваться тѣмъ, что кровь въ жилахъ снова оттаяла и сжатое сердце стукнуло вольнѣе!

Мало чувствъ больше тягостныхъ, больше придавливающихъ человѣка, какъ сознаніе, *что можно теперь, сейчасъ* ринуться впередъ, что все подъ руками и что не достаетъ одного повиманья и отваги со стороны ведущихъ. Машина топится, готова, жжетъ

даромъ топливо, даромъ теряется сила, и все оттого, что нѣтъ смѣлой руки, которая бы повернула ключъ, не боясь взрыва.

Пусть же знаютъ наши кондукторы, что народы прощаютъ многое,—если они только чувятъ силу и бодрость мысли. Но непониманье, но блѣдную шаткость, но неумѣнье воспользоваться обстоятельствами, схватить ихъ въ свои руки, имѣя неограниченную власть,—ни народъ, ни исторія никогда не прощаютъ, какое тамъ доброе сердце ни имѣй.

Мое страстное нетерпѣніе въ этомъ случаѣ нисколько не противурѣчитъ моей самоотверженной покорности трагическимъ судьбамъ Европы. Тутъ я вижу близкую возможность, я ее осезаю, я дотрогиваюсь до нея; на Западѣ ея нѣтъ, по крайней мѣрѣ на сію минуту. Если-бъ я не былъ русскій, я давнымъ давно уѣхалъ бы въ Америку.

Ты знаешь, что я не фаталистъ и ни въ какія предопредѣленія не вѣрю, ни даже въ пресловутое «совершенствованіе челоуѣчества». Природа и исторія плетутся себѣ съ дня на день и во вѣки вѣковъ, сбиваясь съ дороги, прокладывая новыя, попадая на старыя, удивляя то быстротой, то медленностью, то умомъ, то глупостью, толкаясь всюду, но входя только туда, гдѣ ворота отперты. Говоря о возможномъ развитіи, я не говорю о его *неминуемой необходимости*; что изъ возможнаго осуществится, что нѣтъ,—я не знаю, потому что въ жизни народовъ очень много зависитъ отъ лицъ и воли. Я чую сердцемъ и умомъ, что исторія толкается именно въ наши ворота; если мы безсильны ихъ отворить, а сильные не хотятъ или не умѣютъ, дальнѣйшее развитіе прошедшаго найдеть болѣе способные органы въ Америкѣ, въ Австраліи, гдѣ гражданственность складывается совѣмъ на иной ладъ. Можетъ, и сама Европа переработается, встанетъ, возьметъ одръ свой и пойдетъ по своей святой землѣ, подъ которой лежатъ столько мучениковъ и на которую пало столько поту и столько крови. Можетъ быть!

... Но неужели въ самомъ дѣлѣ, выступивъ одной ногой на торную дорогу, мы опять увязнемъ въ болотѣ, давъ міру зрѣлище огромныхъ силъ и совершенной неспособности ихъ употреблять? Что-то перечить сердцу принять это!

Тяжелы эти сомнѣнія, тяжела эта потеря времени, силы!... Когда же падеть завѣса съ ихъ глазъ? И чего они боятся идти по такому громкому зову будущаго? «Новая эпоха наступаетъ для Россіи», говорили мы, услышавъ о смерти Николая, говорятъ теперь всѣ русскіе журналы, говорить иными словами самъ государь. Ну, такъ пусть же она будетъ *новая*.

Во всемъ, что дѣлается, видно нашу несчастную страсть къ предисловіямъ и введеніямъ, на которыхъ мы любимъ съ самоодо-

вольствомъ останавливаться. Какъ будто достаточно рѣшиться что-нибудь сдѣлать, чтобъ дѣло и было сдѣлано.

Пора перестать тупо бояться человѣческаго языка, бѣлаго дня изъ трусости передъ какой-то призрачной революціей, на которую нѣтъ готовыхъ элементовъ. Пора отказаться отъ нелѣпаго вмѣшательства во всѣ европейскія дразги, поддерживая всякій разъ сторону тиранства, грубой силы, вопіющей неправды. Чортъ съ нимъ со всѣмъ съ этимъ дипломатическимъ вліяніемъ, за которое всѣ народы насъ ненавидятъ. Русское императорство совсѣмъ не связано съ судьбою ветхихъ европейскихъ троновъ, зачѣмъ же оно хочетъ дѣлать безъ нужды всѣ ихъ гнусности и обрушивать на себя всѣ ненависти, заслуженныя тѣми?

Задавленные властью, неправосудіемъ, взятками, безгласностью, неуваженіемъ къ лицу, мы хотимъ безбоязненно говорить, чтобъ обвиняться другъ съ другомъ мыслями, обличить злоупотребленія, отъ которыхъ само правительство краснѣетъ и которыя оно никогда не остановитъ безъ гласности. Мы хотимъ освобожденія крестьянъ отъ помѣщичьей власти и всей податной Россіи отъ палокъ, конечно это не rêveries, это очень положительно и чрезвычайно немного.

Да, это очень немного, но въ томъ-то и состоитъ наша юность, наша сила, что намъ такъ мало надобно для того, чтобы бодро и быстро ринуться впередъ. Мы не помощи просимъ отъ правительства, а чтобъ оно не мѣшало. Западъ, напротивъ, имѣя такъ много, не можетъ воспользоваться своими богатствами, они ему достались не легко, онъ скупъ на нихъ, онъ консерваторъ, какъ всякій имущій. Намъ нечего беречь. Конечно, нищета сама по себѣ еще не есть право на иную будущность и долгое рабство на свободу, но вотъ тутъ-то, идучи изъ противоположныхъ началъ къ противоположнымъ цѣлямъ, я встрѣчаюсь не съ славянофилами, а съ нѣкоторыми изъ ихъ мыслей.

Я вѣрю въ способность русскаго народа, я вижу по всходамъ, какой можетъ быть урожай, я вижу въ бѣдныхъ, подавленныхъ проявленіяхъ его жизни — несознанное имъ средство къ тому обществу идеалу, до котораго сознательно достигла европейская мысль.

Вотъ отчего, любезный другъ, вы нашли созвучную струну въ моемъ направленіи и въ направленіи болѣе, нежели ложномъ, вредномъ и опасномъ, московскихъ литературныхъ старообрядцевъ, этихъ православныхъ іезуитовъ, наводящихъ уныніе на всякаго живого человѣка. И вотъ отчего, горячо принимая новую общественную религію, возникшую на дымящихся кровью поляхъ реформаціи и революціи, съ біеніемъ сердца перечитывая великія сказанія тѣхъ временъ, я отворачиваюсь отъ современной

Европы и мало имѣю общаго съ жалкими наслѣдниками сильныхъ отцовъ.

Не станемъ спорить о путяхъ, цѣль у насъ одна, будемте же дѣлать всѣ усилія, каждый по своимъ мышцамъ, на своемъ мѣстѣ, чтобъ уничтожить всѣ заборы, мѣшающіе у насъ свободному развитію народныхъ силъ, поддерживающіе негодный порядокъ вещей, будемте равно будить сознаніе народа и самаго правительства. А потому и заключаю мое длинное письмо къ тебѣ словами: *На работу, на трудъ, на трудъ въ пользу русскаго народа, который довольно въ свою очередь поработалъ на насъ!*

Лондонъ, 3 февраля, 1857.

ЛИШНИЕ ЛЮДИ И ЖЕЛЧЕВИКИ.

«Онигныи и Печорины были совершенно истинны, выражали дѣйствительную скорбь и разорванность тогдашней русской жизни. Печальный типъ *лишняка*, потеряннаго человѣка только потому, что онъ разился въ *человѣка*, являлся тогда не только въ поэмѣхъ и романахъ, но на улицахъ и въ гостинныхъ, въ деревняхъ и городахъ...

... Но время Онигныхъ и Печориныхъ прошло. Теперь въ Россіи нѣтъ *лишнихъ* людей, теперь, напротивъ, къ нашимъ огромнымъ завашкамъ не достаетъ рукъ. Кто теперь не найдетъ дѣла, тому цѣнять не на кого, тотъ въ самомъ дѣлѣ *пустой* человѣкъ, свингъ или дѣвтай...

КОЛОКОЛЪ 1859, г. 44.

Эти два разряда лишнихъ людей, между которыми сама природа воздвигла Обломовскій хребетъ, а генеральное межеваніе исторіи вырыло пограничную яму, постоянно смѣшиваются. А потому мы хотимъ, съ Катоновскимъ пристрастіемъ къ дѣлу побѣжденныхъ, вступить за стариковъ. Лишніе люди были тогда столько же *необходимы*, какъ *необходимо* теперь, чтобъ ихъ не было.

Ничего нѣтъ плачевнѣе, какъ середь возникающей дѣятельности, неустроенной еще и угловатой, но полной стремленій и начинаній, встрѣчать этихъ оторопѣлыхъ, нервно-разслабленныхъ юношей, теряющихся передъ упругостью практической работы и чающихъ дарового разрѣшенія трудностей и отвѣтовъ на вопросы, которые они никогда ясно не могли поставить.

Мы этихъ вольноопредѣляющихся въ лишніе люди отводимъ, и такъ какъ французы признаютъ истинными гренадерами только *les vieux de la vieille*, такъ мы признаемъ почетными и *дѣйствительно* лишними людьми только *николаевскихъ*. Мы сами принадлежали къ этому несчастному поколѣнію и, догадавшись очень давно, что мы лишніе на берегахъ Невы, препрактически пошли вонъ, какъ только отвязали веревку.

Себя намъ, стало, нечего защищать, но бывшихъ товарищей жаль, и мы хотимъ оборонить ихъ отъ слѣдующаго за ними выпуска больныхъ изъ лазарета.

Нельзя не раздѣлять здоровый, реалистическій взглядъ, который въ послѣднее время, въ одномъ изъ лучшихъ русскихъ обзорѣвнй, сталъ выбивать тощую, моральную точку зрѣнія на французскій манеръ, ищущую личной ответственности въ общихъ явленіяхъ. Историческіе слои такъ же худо, какъ геологическіе, обсу-

живаются уголовной палатой. И люди, говорящіе, что не на взяточниковъ и казнокрадовъ слѣдуетъ обрушивать громы и стрѣлы, а на среду, дѣлающую взятки зоологическимъ признакомъ цѣлаго племени, на примѣръ *безбородыхъ русскихъ*, совершенно правы.

Мы только и желаемъ, чтобъ николаевскіе лишніе люди состояли на правахъ взяточниковъ и пользовались бы привилегіями, дарованными казнокрадамъ. Они это тѣмъ больше заслужили, что они не только лишніе люди, но почти всѣ люди умершіе; а взяточники и казнокрады живутъ и не только въ довольствѣ, но и въ историческомъ оправданіи.

Съ кѣмъ тутъ сражаться, надъ кѣмъ смѣяться: съ одной стороны упавшіе отъ утомленія, съ другой помятые машиной; винить ихъ за это такъ же невеликодушно, какъ винить золотушныхъ и лимфатическихъ дѣтей за худосочіе ихъ родителей.

Серьезный вопросъ можетъ быть одинъ,—точно ли эти болѣзненные явленія были обусловлены средой, обстоятельствомъ?...

Кажется, въ этомъ сомнѣваться трудно.

Нечего повторять о томъ, какъ туго, тяжело развивалась Русь. Кнутаомъ и татарами насъ держали въ невѣжествѣ, топороомъ и нѣмцами насъ просвѣщали и въ обихъ случаяхъ рвали намъ ноздри и клеймили желѣзомъ. Петръ I такимъ клиномъ вбилъ намъ просвѣщеніе, что Русь не выдержала и треснула на два слоя. Едва теперь, черезъ полтора ста лѣтъ, мы начинаемъ понимать, какъ раздвинулась эта трещина. Ничего общаго между ними; съ одной стороны—грабежъ и презрѣніе, съ другой—страданіе и недовѣріе. Съ одной стороны, ливрейный лакей, гордый своимъ общественнымъ положеніемъ и надменно показывающій это; съ другой, обобранный мужикъ, ненавидящій его и скрывающій это. Нѣтъ примѣра въ исторіи, чтобы единоплеменная каста, взявшая верхъ, сдѣлалась бы до такой степени чужестранной, какъ наше служилое дворянство. Ренегать всегда доходитъ до крайности, до нелѣпаго и отвратительнаго, до того, наконецъ, чтобъ сажать человека въ тюрьму, потому что онъ, будучи литераторомъ, *отъѣзжаетъ по русски*, не пускать его въ трактиръ, потому что онъ въ кафтанѣ и подпоясанъ кушакомъ. Это колоссально и напоминаетъ индѣйскую Азію!

На окраинахъ этихъ, дико противопоставленныхъ другъ другу, міровъ развились странныя явленія, указывавшія въ самой сломанности своей на потаенныя силы, которымъ неловко, которыя ищутъ другого. Сюда принадлежатъ на первомъ планѣ раскольники, а потомъ всѣ западники и восточники, Онѣгины и Ленскіе, лишніе и желчевые люди,—всѣ они, какъ ветхозавѣтные пророки, были вмѣстѣ протестомъ и надеждой; ими Россія усиливалась отдѣлаться отъ петровскаго періода, или переработать его въ свое

настоящее тѣло и въ свою здоровую плоть. Эти патологическія образованія (формаціи), вызванныя условіями имъ современной жизни, непременно пройдутъ съ переменной условій, такъ, какъ теперь уже прошли *лишніе люди*; но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы они заслуживали судъ и осужденіе, развѣ только отъ своихъ младшихъ товарищей по службѣ? И это на томъ основаніи, на которомъ одинъ изъ жителей Бедлама съ негодованіемъ показывалъ на больного, называвшаго себя апостоломъ Павломъ, въ то время какъ онъ, самъ Христосъ, навѣрное зналъ, что это не Павелъ апостоль, а просто лавочникъ изъ Флитъ-стрита.

Вспомнимъ, какъ развились лишніе люди.

Въ первую половину Николаевского тридцатилѣтія, продолжалась, исчезая и входя внутрь, традиція Александровскаго времени. Дѣти, захваченныя въ школахъ, осмѣливались держать прямо свою голову: они не знали еще, что они арестанты воспитанія.

Такъ они и вышли изъ школъ.

Это уже далеко не тѣ свѣтлые, самонадѣянныя, восторженныя, раскрытыя всему юноши, какими намъ являются при выходѣ изъ лица Пушкинъ и Пущинъ. Въ нихъ уже вѣтъ ни гордой, непреклонной, подавляющей отваги Лунина, ни распушеннаго разгула Полежаева, ни даже свѣтлой грусти Веневитинова. Но еще въ нихъ хранилась вѣра, унаслѣдованная отъ отцевъ и старшихъ братьевъ, вѣра въ то, что *она взойдетъ—заря плънительнаго счастья*, вѣра въ западный либерализмъ, которому вѣрили тогда всѣ: Лафайетъ и Годафруа Кавеньякъ, Бёрне и Гейне. Испуганныя и унылые они чаяли выйти изъ ложнаго и несчастнаго положенія. Это та послѣдняя надежда, которую каждый изъ насъ ощущалъ передъ кончиной близкаго человѣка. Одни доктринеры, красные и пестрые—все равно, легко принимаютъ самые страшные выводы, потому что они ихъ собственно принимаютъ *in effigie*, на бумагѣ.

Между тѣмъ каждое событіе, каждый годъ подтверждалъ имъ страшную истину, что не только правительство противъ нихъ, но что и *народъ не съ ними*, или, по крайней мѣрѣ, что онъ совершенно чужой: если онъ и недоволенъ, то совсѣмъ не тѣмъ, чѣмъ они недовольны. Рядомъ съ этимъ подавляющимъ сознаніемъ, съ другой стороны, развивалось больше и больше сомнѣніе въ самыхъ основныхъ, незыблемыхъ основаніяхъ западнаго воззрѣнія. Почва пропадала подъ ногами; поневолѣ въ такомъ недоумѣніи приходилось въ самомъ дѣлѣ идти на службу, или сложить руки и сдѣлаться *лишнимъ, празднымъ*. Мы смѣло говоримъ, что это одно изъ самыхъ трагическихъ положеній въ мірѣ. Теперь лишніе люди анахронизмъ, но, вѣдь, Ройе Колларъ или Бенжаменъ Констанъ были бы теперь тоже анахронизмомъ, однако нельзя же за это пустить въ нихъ камень.

Пока умы оставались въ тоскѣ и тяжеломъ раздуми, не зная, какъ выйти, куда идти, Николай шелъ себѣ съ стихійнымъ упорствомъ.

Воспитаніе, о которомъ онъ мечталъ, сложилось. Простая рѣчь, простое движеніе считалось такою же дерзостью, преступленіемъ, какъ раскрытая шея, какъ растегнутый воротникъ. И это продолжалось тридцать лѣтъ!

Испуганные родители помогали. Молодежь росла безъ традицій, безъ будущаго — кромѣ карьеры. Канцелярія и казарма мало по малу побѣдили гостиную.

Разумѣется, середь этого несчастія не все погибло. Человѣкъ живучъ. Потребность человѣческаго развитія, стремленіе къ независимой самобытности уцѣлѣло, и притомъ всего больше въ двухъ македонскихъ фалангахъ нашего образованія, въ московскомъ университетѣ и царско-сельскомъ лицей; онѣ пронесли черезъ все царство мертвыхъ душъ, на молодыхъ плечахъ своихъ, кивотъ, въ которомъ лежала будущая Россія, ея живую мысль, ея живую вѣру въ грядущее.

Исторія не забудетъ ихъ.

Но въ этой борьбѣ и они по большей части утратили *молодость* своей юности, они затянулись и преждевременно перезрѣли. Старость ихъ коснулась прежде гражданскаго совершеннолѣтія. Это не *лишніе*, не праздные люди, это люди *озлобленные*, больные душой и тѣломъ, люди зачахнувшіе отъ вынесенныхъ оскорбленій, глядящіе изъ-подлобья и которые не могутъ отдѣлаться отъ желчи и отравы, набранной ими больше, чѣмъ за пять лѣтъ тому назадъ. Они представляютъ явный шагъ впередъ, но все же болѣзненный шагъ; это уже не тяжелая хроническая летаргія, а острое страданіе, за которымъ слѣдуетъ выздоровленіе или похороны.

Лишніе люди сошли со сцены, за ними сойдутъ и *желчевики*, наиболѣе сердящіеся на лишнихъ людей. Они даже сойдутъ очень скоро, они слишкомъ угрюмы, слишкомъ дѣйствуютъ на нервы, чтобы долго держаться. Жизнь, несмотря на восемнадцать вѣковъ христіанскихъ сокрушеній, очень языческимъ образомъ предана эпикуреизму и *à la longue* не можетъ выносить навояющія уныніе лица невскихъ Давиловъ, мрачно упрекающихъ людей, зачѣмъ они обѣдаютъ безъ скрежета зубовъ и, восхищаяся картиной или музыкой, забываютъ о всѣхъ несчастіяхъ міра сего.

Смѣна имъ идетъ; мы уже видимъ, какъ изъ дальнихъ университетовъ, изъ здоровой Украйны, съ здороваго сѣверовостока, являются совсѣмъ иные люди съ непочатыми силами и крѣпкими мышцами, и, можетъ, намъ старикамъ еще придется черезъ болѣзненное поколѣніе протянуть руку кряжу свѣжему, который кротко простится съ нами и пойдетъ своей широкой дорогой.

Типъ желчныхъ людей мы изучили не на мѣстѣ и не по кни-

гамъ, мы его изучили по экземплярамъ, выѣзжавшимъ за Нѣманъ, а иногда и за Рейнъ съ 1850 года.

Первое, что насъ поразило въ нихъ, это легость, съ которой они отчаивались во всемъ, злая радость ихъ отрицанія и страшная беспощадность. Послѣ событій 1848 г., они были разомъ поставлены на высоту, съ которой видѣли поражение республики и революціи, вспять идущую цивилизацію, поруганныя знамена,—и не могли жалѣть незнакомыхъ бойцовъ. Тамъ, гдѣ нашъ братъ останавливался, оттиралъ, смотрѣлъ, нѣтъ ли искры жизни, они шли дальше пустыремъ логической дедукціи и легко доходили до тѣхъ рѣзкихъ, послѣднихъ выводовъ, которые пугаютъ своей радикальной бойкостью, но которые какъ духи умершихъ представляютъ сущность уже вышедшую изъ жизни,—а не жизнь. Въ этихъ выводахъ, русскій вообще пользуется передъ европейцемъ страшнымъ преимуществомъ: у него тутъ нѣтъ ни традиціи, ни родного, ни привычки. Всего безопаснѣе по опаснымъ дорогамъ проходить челоуѣкъ, не имѣющій ни чужого добра, ни своего.

Это освобожденіе отъ всего традиціоннаго доставалось не здоровымъ, юнымъ натурамъ, а людямъ, которыхъ душа и сердце были поломаны по всѣмъ составамъ.

Потомъ они завяли безъ лѣта, не зная ни свободного размаха, ни вольно сказаннаго слова. Они носили на лицѣ глубокой слѣды души помятой и раненой. У cadaго былъ какой-нибудь тикъ и, сверхъ этого личнаго тика, у всѣхъ одинъ общій—какое-то снѣдающее ихъ раздражительное и *свернувшееся* самолюбіе. Отъ обидъ, отъ униженій, отъ отрицанія всѣхъ правъ личности, у нихъ развилось затаенное притязаніе на удивленіе; эти неразвившіеся таланты, неудавшіеся геніи скрывались подъ личиною униженія и скромности. Всѣ они были ипохондрики и физически больные, не пили вина и боялись открытыхъ оконъ, всѣ съ изученнымъ отчаяніемъ смотрѣли на настоящее и напоминали монаховъ, которые изъ любви къ ближнимъ доходили до ненависти ко всему челоуѣческому, и проклинали все на свѣтѣ изъ желанія что-нибудь благословить

Половина ихъ постоянно каялась, другая постоянно карала.

Да, у нихъ остались глубокіе рубцы на душѣ. Петербургскій міръ, въ которомъ они жили, отразился въ нихъ самихъ; вотъ откуда ихъ безпокойный тонъ, языкъ *saccadé* и вдругъ расплывающійся въ бюрократическое празднословіе, уклончивое смиреніе и надменные выговоры, намѣренная сухость и готовность по первому поводу осыпать ругательствами, оскорбительное принятіе впередъ всѣхъ обвиненій и безпокойная нетерпимость директора департамента.

Этотъ тонъ директорскаго распекательнаго слога, презрительный и съ прищуренными глазами, для насъ противнѣе генеральскаго

силага крика, напоминающаго густой лай остепенившейся собаки, ворчащей больше по общественному положенію.

Тонъ не бездѣлица.

Das was innen—das ist draussen!

Добрѣйшіе по сердцу и благороднѣйшіе по направленію, они, т. е. желчныя люди наши, тономъ своимъ могутъ довести ангела до драки и святого до проклятія. Къ тому же они съ такимъ aplomb преувеличиваютъ все на свѣтѣ—и не для шутки, а для огорченія, что просто терпѣнія нѣтъ. На всякое «бутылками и пребольшими» у нихъ готово мрачное «нѣтъ-съ, бочками сороковыми!»

— Что вы заступаетесь за этихъ лѣнтяевъ (говорилъ намъ недавно одинъ желчевикъ sehr ausgezeichnet in seinem Fache), дармоѣдовъ, трутней, бѣлоручекъ, туеядцевъ à la Oneghine?... И извольте видѣть, они образовались иначе, мѣръ, ихъ окружающій, имъ слишкомъ грязенъ, недовольно натертъ воскомъ, замараютъ руки, замараютъ ноги. То ли дѣло стонать о несчастномъ положеніи и притомъ спокойно ѣсть да пить.

Мы было ввернули слово въ пользу нашего раздѣленія лишнихъ людей на ветхозавѣтныхъ и новозавѣтныхъ. Но Даніилъ и слушать не хотѣлъ о раздѣлѣ, ему не было дѣла до Обломовскаго хребта. Напротивъ, онъ напалъ на насъ за нашу защиту и, пожимая плечами, говорилъ, что онъ смотритъ на насъ, какъ на хорошій остовъ мамонта, какъ на интересную ископаемую кость, принадлежащую міру иного солнца и другихъ деревьевъ.

— Позвольте же мнѣ хоть на этомъ основаніи и въ качествѣ homo Benkendorffii testes защитить нашихъ сопластниковъ. Неужели вы въ самомъ дѣлѣ думаете, что эти люди по доброй волѣ ничего не дѣлали, или дѣлали вздоръ?

— Безъ всякаго сомнѣнія, они были романтики и аристократы, они ненавидѣли работу, себя считали бы униженными, взявшись за топоръ или за шило, да и того, правда, они не умѣли.

— Въ такомъ случаѣ я буду называть имена: наприимѣръ, Чаадаевъ, онъ не умѣлъ взяться за топоръ, но умѣлъ написать статью, которая потрясла всю Россію и провела черту въ нашемъ разумѣніи о себѣ. Статья эта была началомъ его литературнаго поприща. Что вышло, вы знаете. Нѣмецъ Вигель обидѣлся за Россію, протестантъ и будущій католикъ Бенкендорфъ обидѣлся за православіе и Чаадаева объявили сумасшедшимъ и взяли съ него подписку не писать. Надеждина, напечатавшаго статью въ «Телескопъ», сослали въ Усть-Сысольскъ, ректора старика Болдырева отставили, Чаадаевъ сдѣлался празднымъ человѣкомъ. Иванъ Кирѣевскій, положимъ, не умѣлъ сапогъ шить, но умѣлъ издавать журналъ; издалъ двѣ книжки—запретили журналъ; онъ помѣстилъ статью въ «Денницъ», цензора Глинку посадили на гауптвахту,—

Кирѣевскій сдѣлался лишнимъ человѣкомъ. Н. Полевого, конечно, нельзя обвинить въ лѣни; человѣкъ онъ былъ изворотливый, а все-таки крылья «Телеграфа» подвязали, и, признаюсь въ моей слабости, когда я читалъ, какъ Полевой говорилъ Панаеву о томъ, что онъ женатый человѣкъ, обремененный семьей, боится квартального, я не смѣялся, а чуть не плакалъ.

— А Бѣлинскій умѣлъ писать и Грановскій умѣлъ читать лекціи, они не сложили рукъ.

— Если являлись люди съ такой энергіей, что могли писать или читать лекціи въ виду тройки и каземата, то не ясно ли, что множество людей съ меньшими силами были парализованы и глубоко страдали этимъ.

— Зачѣмъ же они въ самомъ дѣлѣ не пошли въ сапожники, въ дровосѣки, все лучше бы?

— Затѣмъ, вѣроятно, что у нихъ было настолько денегъ, чтобы не нуждаться въ такой скучной работѣ; я не слыхалъ, чтобы кто-нибудь изъ удовольствія принялся шить сапоги. Одинъ Людовикъ XVI былъ королемъ по ремеслу и слесаремъ по страсти.

— Ископаемый другъ мой, я вижу, что и вы еще на работу смотрите какъ-то сверху внизъ.

— Какъ на вовсе не веселую необходимость.

— Почему же имъ не дѣлать общей необходимости?

— Безъ сомнѣнія. Да, во-первыхъ, родились они не въ Сѣверной Америкѣ, а въ Россіи и, по несчастію, не такъ были воспитаны.

— Зачѣмъ не такъ воспитаны?

— Затѣмъ, что родились не въ податной Россіи, а въ шляхетской; можетъ, это и въ самомъ дѣлѣ предосудительно, но, находясь тогда въ неопытномъ положеніи церкаріевъ, они по малолѣтству за свои поступки отвѣчать не могутъ. А уже разъ сдѣлавъ эту ошибку въ выборѣ родителей, они должны были подвергнуться и тогдашнему воспитанію. Да кстати, на какомъ это правѣ вы требуете отъ людей, чтобы они дѣлали то или другое. Это какая-то новая принудительная организація работъ, что-то въ родѣ социализма, переложеннаго на нравы министерства государственныхъ имуществъ.

— Я не заставляю никого работать, я констатирую фактъ, это были праздные, пустые аристократы, жившіе покойно и хорошо, и не вижу причины, почему мнѣ сочувствовать имъ.

— Заслуживаютъ ли они симпатіи, или нѣтъ, это пусть себѣ рѣшаетъ каждый, какъ хочетъ. Всякое человѣческое страданіе, особенно фаталистическое, возбуждаетъ наше сочувствіе, и нѣтъ ни одного страданія, которому бы нельзя было не отказать въ немъ. Мученики первыхъ вѣковъ вѣрили въ искупленіе, вѣрили въ будущую жизнь. Римскіе Мухановы, Тимашевы, Лужины заставляли

христіанъ склоняться въ прахъ предъ изображеніемъ цезаря, христіане не хотѣли сдѣлать этой пустой уступки, ихъ травили звѣрями. Они были сумасшедшіе, Римляне полуумные, тутъ нѣтъ мѣста ни сочувствію, ни удивленію... Но тогда прощай не только Термопилы съ Голговою, но и Софокль съ Шекспиромъ, да кстати и вся длинная, безконечная эпопея, которая безпрестанно оканчивается сумасбродными трагедіями и безпрестанно идетъ далѣе подъ названіемъ Исторіи.

Даніиль нашъ, какъ и слѣдуетъ въ спорѣ, не сдавался. Мнѣ стало все это надобъдать и я, пользуясь моимъ палеонтологическимъ значеніемъ, сказалъ ему:

— Воля ваша, а, вѣдь, это пустое дѣло гнать людей или умершихъ или приготавлиющихся къ смерти, и гнать въ такомъ обществѣ, гдѣ почти всѣ живые хуже ихъ—военные и штатскіе, помѣщики и попы; знаете ли что, если васъ особенно прельщаетъ *sensura morum* и суровая должность моралиста вамъ такъ нравится, возьмите что-нибудь оригинальное. Я вамъ, пожалуй, укажу типы, вреднѣе не только мертвыхъ, но и живыхъ лишнихъ людей.

— Какіе же типы?

— Ну да хоть бы литературнаго *ruffiano*.

— Не понимаю.

— Въ блѣдной и обиженной цензурой литературѣ нашей, до послѣдняго времени, было множество всякихъ чудаковъ, но большей частію это были люди чистые, люди честные. Аферисты, плуты, дѣлатели фальшивыхъ векселей и истинныхъ доносовъ, если и попадались, то они шныряли гдѣ-то по подваламъ и никогда не лѣзли на видныя мѣста, точно лондонскіе тараканы, держащіеся въ кухнѣ и не являющіеся въ салонѣ. Такимъ образомъ сохранилась у насъ наивная вѣра въ поэта и писателя. Мы не привыкли къ тому, что можно лгать духомъ и торговать талантомъ такъ, какъ продажныя женщины лгутъ тѣломъ и продаютъ красоту, мы не привыкли къ барышникамъ, отдающимъ въ ростъ свои слезы о народномъ страданьи, ни къ промышленникамъ, дѣлающимъ изъ сочувствія къ пролетарію оброчную статью. И въ этомъ довѣрїи, давно не существующемъ на Западѣ, бездна хорошаго, и намъ всѣмъ слѣдуетъ поддерживать его. Повѣрьте, что гонитель неправды, сзывающій позоръ и проклятїе на современный срамъ и запустѣніе и въ тоже время запирающій въ свою шкатулку деньги, явно наворованныя у друзей своихъ, при теперешнемъ броженїи всѣхъ понятїй, при нашей распущенности и удобовпечатлительности—вреднѣе и заразительнѣе всѣхъ праздныхъ и лишнихъ людей, желчевыхъ и слезливыхъ!

Не знаю, согласился ли мой Даніиль...

СТАРИКА ВЕДРИНА КРЪПКОЕ ДО ПОЛЬСКИХЪ БРАТІЙ СЛОВЦО.

Братья! Сестрины дѣти! Одной матери дѣти! Не шали! Полно! Вѣдь, впрямь безмозглые, одна кровь течеть. Забыли, что ли? Ну, побаловали, и шабашъ, надобно честь знать. Люблю васъ, потому и говорю... не любилъ бы, не говорилъ бы; мнѣ что до васъ... велика надобность, пропадайте совсѣмъ со свѣта. Анъ нѣтъ, не усидѣлъ покойно въ своей мурѣ; возьму, молъ, да и скажу имъ слово. Русское сердце не злопамятное, сорветъ злобу и отляжетъ, Михайль-то Николаевичъ спуску не дастъ, мы знаемъ этого Ваньку Каина, тяжель на руку... а васъ небось по головкѣ гладить да вяземскими ковригами кормить? Безъ наказанія нельзя, Домострой того требуетъ, семья безъ кулака не устоитъ, Богъ любитъ наказывать. На что жезлъ у пастыря?—чтобы бить. Скипетръ у царя зачѣмъ? тоже палка, чтобы бить? У Ивана Васильевича Грознаго была долбня; у Петра Алексѣевича дубинка съ желѣзнымъ набалдашникомъ, теперь еще въ кунсткамерѣ хранится. Спинѣ православной бывало больно, зато теперь сердцу хорошо. Петрополь вызвалъ изъ блатъ... флотъ, академію наукъ! Да что толковать, у васъ подъ носомъ торчала германская булава—зачѣмъ? Волосы, что ли, расчесывать? Покойникъ Федоръ Лукичъ Морошкинъ, товарищъ по факультету, говаривалъ: «Булава ничего—обиды нѣтъ, булава объ голову стучится, голова объ голову стучится». Померъ не такъ давно и не старый былъ человѣкъ, смахивалъ на покойнаго Николая Николаевича со стороны, честный мужикъ былъ, малую толику семьѣ оставилъ,—на профессорствѣ не разживешься.

... Что, бишь, я говорилъ?—да, да, помню, ну, круто наказалъ Михайль Николаевичъ, что за бѣда!.. Свой, вѣдь, не нѣмецъ, варяго-руссъ, боляринъ, стыда нѣтъ, одной матери дѣти! Да ужъ что влѣпилъ, того не воротить. Рабъ жестокой наказалъ, царь мягкодушій простить наказаннаго; царь простить,—мужикъ простить! Царевъ умъ—мужиково сердце! Брось дѣло, говорить тебѣ, добра не будетъ! Не слушайся ты у меня этихъ проклятыхъ ксензовъ, эту вѣроломную шляхту. Что за попъ, коли въ православ-

ной церкви не бываетъ, «едино же на потребу?» Что за дворянинъ, коли бѣлому царю не служить? Мятежники, крамольники, бандиты, какъ загнулъ имъ Денской Сергѣичъ ¹⁾. Да и ты, шляхта, одумайся, не баламутъ, одумайся, пока есть время, побереги ты руки, ноги свои, да и копейку-то побереги, пригодится, повѣрь, пригодится. Ты гоноръ-то подь лавку, да и строчи батюшкѣ царю челобитную: такъ молъ и такъ, по молодости лѣтъ, по дурному товариществу и пр. Простить, умъ у него не змѣиный, а сердце голубиное, за всѣхъ болѣетъ, 60 миллионъ—шутка сказать!— А потомъ ужъ заверни къ старику въ первопрестольную; возрадуюсь—что тебѣ Симонъ богопріимецъ,—къ сердцу прижму, въ губы поцѣлюю, не разъ, три раза, по-нашему, по-русски, вытирай рыло, сестринъ сынъ, и баста, все забыто, кто старое помянетъ—глазъ вонъ!

Господи, владыко живота моего! Полякъ, русскій, ляхъ, хорватъ, чехъ, украинецъ, хохоль, москаль, чубъ—единоутробцы, пальцы одной руки, а лѣзутъ въ потасовку!

Разбойники! Братья вы мои родные!

1863 годъ.

¹⁾ Ив. Серг. Аксаковъ, ред. «Дня».

КОНЦЫ И НАЧАЛА.

КЪ ИЗДАТЕЛЮ ¹⁾.

Любезный другъ!

Вы хотите напечатать небольшой сборникъ моихъ статей изъ «Полярной Звѣзды» и «Колокола»,— я ничего не имѣю противъ этого. Желая вамъ успѣха и посылаю небольшой разсказъ «Трагедія за стаканомъ грока», который не былъ напечатанъ по-русски. Я особенно радъ, что въ число перепечатаваемыхъ статей вошли «Варіаціи на старую тему»,—пусть эта статья, писанная въ началѣ 1857 года, еще разъ пройдетъ предъ читателями, напоминая имъ неизмѣнность основаній того возрѣнія, которое я старался проводить. Въ книгѣ, писанной тотчасъ послѣ июньскихъ баррикадъ, въ статьѣ, перепечатаваемой вами, и въ послѣднихъ статьяхъ «Колокола» проповѣдуется одно и то же.

Бездна вещей, тогда довольно новыхъ, прососались въ народное разумѣніе, сдѣлались ходячей монетой, не только стали въ ряду вещей, всѣми принятыхъ, но долею осуществились. Примуть, стало, и другія истины, отъ которыхъ еще пятится робкая совѣсть непривыкшаго, и противъ которыхъ кричитъ безумный изувѣръ и корыстный защитникъ.

Еще разъ желаю вамъ успѣха и жму вашу руку.

Лондонъ, 1864 г.

Письмо первое ²⁾.

Итакъ, любезный другъ, ты рѣшительно дальше не ѣдешь, тебѣ хочется отдохнуть въ тучной осенней жатвѣ, въ тѣнистыхъ

¹⁾ Эти статьи съ прибавленіемъ: «Трагедія за стаканомъ грока», «Западныя арабески», «Донозо Кортесъ, маркизъ Вальдегамасъ и Юліанъ отступникъ», уже напечатанныхъ въ настоящемъ изданіи, были напечатаны авторомъ въ отдѣльномъ томѣ подъ заглавіемъ: «Еще разъ» (1866); при этомъ было напечатано письмо къ издателю и предисловіе, которое мы здѣсь помѣщаемъ.
Примѣчаніе издателя загранич. изданія.

²⁾ Первое изданіе «Концовъ и Началъ» 1863 г., второе—1866. Текстъ, который здѣсь печатается, взятъ съ экземпляра 1866 г., поправленнаго рукою самого автора. Поправки эти довольно значительны.

Примѣчаніе издателя загранич. изданія.

паркахъ, лѣниво колеблющихся свои листья, послѣ долгаго знойнаго лѣта. Тебя не страшить, что дни уменьшаются, вершины горъ бѣлѣютъ и дуетъ иногда струя воздуха зловѣщая и холодная: ты больше боишься нашей весенней распутицы, грязи по колѣно, дикаго разлива рѣкъ, голой земли, выступающей изъ-подъ снѣга, да и вообще нашего упованья на будущій урожай, отъ котораго мы отдѣлены бурями и градомъ, ливнями, засухами и всемъ тяжелымъ трудомъ, котораго мы еще не сдѣлали.... Что же, съ Богомъ, разстанемся, какъ добрые попутчики, въ любви и совѣтѣ.

... Тебѣ остается небольшая упряжка, ты приѣхалъ— вотъ свѣтлый домъ, свѣтлая рѣка, и садъ, и досугъ, и книги въ руки. А я, какъ старая почтовая кляча, затянувшаяся въ гоньбѣ, изъ хомута въ хомутъ, пока грохнусь гдѣ-нибудь между двумя ставціями.

Будь увѣренъ, что я вполне понимаю и твой страхъ, смѣшанный съ отвращеніемъ передъ неустройствомъ ненаѣзженной жизни, и твою привязанность къ выработавшимся формамъ гражданственности и притомъ къ такимъ, которыя *могутъ быть* лучше, но которыхъ *нѣтъ лучше*.

Мы вообще, люди европейской, городской цивилизаціи, можемъ жить только по готовому. Городская жизнь насъ приучаетъ съ малолѣтства къ скрытому, закулискому замиренію и уравновѣшенію нестройныхъ силъ. Сбиваясь случайно съ рельсовъ, на которые она насъ вводитъ съ дня рожденія и осторожно двигаетъ, мы теряемся, какъ кабинетный ученый, привыкнущій къ музеямъ и гербаріямъ, къ звѣрямъ въ шкапу, теряется, поставленный лицомъ къ лицу со слѣдами геологическаго переворота или съ густымъ населеніемъ средиземной волны.

Мнѣ случилось видѣть двухъ, трехъ отчаянныхъ ненавистниковъ Европы, возвращавшихся изъ-за океана. Они поѣхали туда, до того оскорбленные реакціей послѣ 1848, до того озлобленные противъ всего европейскаго, что едва останавливались въ Нью-Йоркѣ, торопясь въ Канзасъ, въ Калифорнію. Года черезъ три, четыре они снова явились въ родные кафе и пивныя лавочки старой Европы, готовые на все уступки, лишь бы не видать дѣвственныхъ лѣсовъ Америки, ея непочатой почвы, лишь бы не быть tête à tête съ природой, не встрѣчать ни дикихъ звѣрей, ни змѣй съ гремушками, ни людей съ револьверами. Пенадобно думать, впрочемъ, что ихъ просто испугала опасность, матеріальная нужда, необходимость работы,—и здѣсь мрутъ съ голода не работая, и здѣсь работаютъ по 16 часовъ въ сутки, а опасность полиціи и шпіонства на старомъ континентѣ превышаетъ опасность звѣрей и револьверовъ. Ихъ испугала, утомила пуще всего нечеловѣчественная природа, отсутствіе того благоустроеннаго порядка, того администраціей обезпеченнаго покоя, того художественнаго

и эпикурейскаго комфорта, которые обусловливаются долгой жизнію на одномъ мѣстѣ, берегутся сильными полицейскими плотинами, покоятся на невѣжествѣ массъ, и защищаются церковью, судомъ и казармами. За эту чечевичную похлебку, *хорошо сервированную*, мы уступаемъ долю человѣческаго достоинства, долю состраданія къ ближнему, и *отрицательно* поддерживаемъ порядокъ, въ сущности намъ противный.

Во Франціи мы видѣли другой примѣръ: беллетристы, жившіе въ риторикѣ, художники, жившіе въ искусствѣ для искусства и для денегъ, были внѣ себя отъ безпокойства, причиненнаго февральской революціей. У насъ есть знакомый учитель пѣнія, который отъ 1848 года переселился изъ Парижа въ Лондонъ, въ отечество горловыхъ болѣзней, бронхитовъ, астмовъ и разговора сквозь зубы,—только чтобы не слышать набата и дѣйствительнаго хора массъ.

Въ теперешней Россіи соединены обѣ причины, заставлявшія людей бѣжать изъ Парижа и изъ Арканзаса. Въ Америкѣ пугала пуще всего *голая* природа, дикая природа, у которой сотвореніе міра на листахъ не обсохло, и которую мы такъ горячо любимъ въ картинахъ и поэмахъ (человѣкъ съ револьверомъ, наивно убивающій ближняго, относится такъ же къ пампамъ, какъ и наивный тигръ съ своими зубами въ вершокъ величины). Во Франціи, природа ничего, прибрана и выметена, тигры не ходять, а виноградъ растеть; но зато въ 1848 тамъ снова разнуздались страсти и снова покачнулись основы благочинія. У насъ, при непочатой природѣ, люди и учрежденія, образованіе и варварство, прошедшее, умершее вѣка тому назадъ, и будущее, которое черезъ вѣка народится,—все въ броженіи и разложеніи, валится и строится, вездѣ пыль столбомъ, стропилы и вѣхи. Дѣйствительно, если къ нашимъ дѣвственнымъ путямъ сообщенія прибавить мужественные пути наживы чиновниковъ, къ нашей глинистой грязи грязь помѣщичьей жизни,—то, сказать откровенно, надобно имѣть сильную *зазнобу или сильное помѣшательство*, чтобы по доброй волѣ ринутся въ этотъ водоворотъ, искупающій все неустройство свое пророчествующими радугами и великими образами, постоянно вырѣзывающимися изъ-за тумана, который постоянно не могутъ побѣдить.

Зазноба и помѣшательство своего рода таланты, и по волѣ не приходятъ. Одного тянетъ непреодолимо въ водоворотъ, другого онъ отталкиваетъ брызгами и шумомъ. Штука собственно въ томъ, что иному сонъ милѣе отца и матери, а другому сновидѣніе. Что лучше? Я не знаю; въ сущности и то и другое, пожалуй, сведется на *одинъ бредъ*.

Но въ эти философскія расужденія мы съ тобой не пустимся;

они же обыкновенно, тѣмъ или другимъ путемъ, приводятъ къ неприятному заключенію, что, валяясь себѣ на перинѣ или безпокойся ~~въ~~ бѣличьемъ колесѣ, полезный результатъ этого будетъ одинъ и тотъ же, чисто агрономическій. Всякая жизнь, какъ поетъ студентская пѣсня, начинается съ: *Juvenes dum sumus*, и оканчивается: *Nos habebit humus!* Останавливаться на этихъ печальныхъ приведеніяхъ всего на свѣтѣ къ нулю не слѣдуетъ,—ты же назовешь эдакъ *нигилистомъ*, а нынче это крѣпкое слово, замѣнившее гегелистовъ, байронистовъ и пр.

Живой о живомъ и думаетъ. Вопросъ между нами даже не въ томъ, имѣеть ли право человѣкъ удалится въ спокойную среду, отойти въ сторону, какъ древній философъ передъ безуміемъ назарейскимъ, передъ наплывомъ варваровъ. Объ этомъ не можетъ быть спору. Мнѣ хочется только уяснить себѣ, въ самомъ ли дѣлѣ вѣковья обитатели, упроченныя и обросшія западнымъ мохомъ, такъ покойны и удобны, а главное такъ прочны, какъ были, и съ другой стороны, нѣтъ ли въ самомъ дѣлѣ какихъ-нибудь чаръ въ нашихъ сновидѣніяхъ подъ снѣжную вьюгу, подъ троечные бубенчики, и нѣтъ ли основанія этимъ чарамъ?

Было время, ты защищалъ *идеи* западнаго міра и дѣлалъ хорошо; жаль только, что это было совершенно ненужно. Идеи Запада, т. е. наука, составляла давнымъ давно всѣми признанный маіоратъ человѣчества. Наука совершенно свободна отъ меридіана. отъ экватора, она, какъ гётевскій «Диванъ», — *западно-восточная*.

Теперь ты хочешь права маіората перенести и на самыя формы западной жизни, и находишь, что исторически выработанный бытъ европейскихъ бель-этажей одинъ соотвѣтствуетъ эстетическимъ потребностямъ развитія человѣка, что *онъ* только и даетъ необходимыя условія умственной и художественной жизни, что искусство на Западѣ родилось, выросло, ему принадлежитъ, и что, наконецъ, другого искусства нѣтъ совсѣмъ. Остановимся на этомъ сначала.

Пожалуйста, не подумай, что съ точки зрѣнія суроваго цизма и аскетической демагогіи я стану возражать на то мѣсто, которое ты даешь искусству въ жизни. Я съ тобой согласенъ въ этомъ. Искусство—*c'est autant de pris*; оно, вмѣстѣ съ зарницами личнаго счастья, единственное, несомнѣнное благо наше; во всемъ остальномъ мы работаемъ или толчемъ воду для человѣчества, для родины, для извѣстности, для дѣтей, для денегъ, и притомъ разбѣшаемъ безконечную задачу; въ искусствѣ, мы наслаждаемся, въ немъ цѣль достигнута, это тоже *концы*.

Итакъ, отдавъ Діанѣ эфесской, что Діанѣ принадлежитъ, я тебя спрошу, о чемъ ты собственно говоришь, о настоящемъ или прошедшемъ? О томъ ли, что искусство развилось на Западѣ, что

Дантъ и Буонаротти, Шекспиръ и Рембрандтъ, Моцартъ и Гёте были по мѣсту рожденія и по мнѣніямъ *западниками*? Но объ этомъ никто не спорить. Или ты хочешь сказать о томъ, что долгая историческая жизнь приготовила и лучшую арену для искусства, и красивѣйшую раму для него, что хранилищницы въ Европѣ пышнѣе, чѣмъ гдѣ-нибудь, галереи и школы богаче, учениковъ больше, учителя даровитѣе, театры лучше обставлены и пр. И это такъ (или почти такъ, потому что, съ тѣхъ поръ какъ большая опера возвратилась къ первобытному состоянію бродячихъ изъ города въ городъ комедіантовъ, одна великая опера и есть *überall und nirgends*). Вся Америка не имѣетъ такого *Camro Santo* какъ Пиза, но все же *Camro Santo* кладбище; къ тому же довольно естественно, что тамъ, гдѣ было больше коралловъ, тамъ и коралловыхъ рифовъ больше... Но гдѣ же во всемъ этомъ новое искусство, творческое, живое, гдѣ художественный элементъ въ самой жизни? Вызывать постоянно усопшихъ, повторять Бетховена, играть Федру и Аталію очень хорошо, но ничего не говоритъ въ пользу творчества. Въ скучнѣйшія времена Византіи, на литературныхъ вечерахъ читали Гомера, декламировали Софокла; въ Римѣ берегли статуи Фидіаса и собирали лучшія изваянія накануне Гензериховъ и Алариховъ. Гдѣ же новое искусство, гдѣ художественная инициатива? Развѣ въ *будущей* музыкѣ Вагнера.

Искусство не брезгливо, оно все можетъ изобразить, ставя на всемъ неизгладимую печать дара духа изыщнаго и безкорыстно поднимая, въ уровень Мадонъ и полу-боговъ, всякую случайность бытія, всякой звукъ и всякую форму, сонную лужу подъ деревомъ, вспорхнувшую птицу, лошадь на водопоѣ, нищаго мальчика, обожженного солнцемъ. Отъ дикой, грозной фантазіи ада и страшнаго суда до фламандской таверны съ своимъ отвернувшимся мужикомъ, отъ Фауста до Фобласа, отъ *Requiem'a* до Камаринской, все подлежитъ искусству... Но и искусство имѣетъ свой предѣлъ. Есть камень преткновенія, который рѣшительно не беретъ ни смычокъ, ни кисть, ни рѣзецъ; искусство, чтобъ скрыть свою немоготу, издѣвается надъ нимъ, дѣлаетъ карикатуры. Этотъ камень преткновенія — *мощанство*... Художникъ, который превосходно набрасываетъ человѣка совершенно голаго, покрытаго лохмотьями, или до того совершенно одѣтаго, что ничего не видать кромѣ желѣза или монашеской рясы, останавливается въ отчаяніи передъ *мощаниномъ во фракѣ*. Отсюда посягательство Роберту Пилю набросить римскую тогу; съ какого-нибудь банкира снять сюртукъ, галстухъ и отогнуть ему рубашку, такъ что, если-бъ онъ постлѣ смерти самъ увидѣлъ свой бюстъ, то передъ своей женой покраснѣлъ бы до ушей... Робертъ Макеръ, Прюдомъ—великій

карикатуры, иногда гениально вѣрныя, вѣрныя до трагическаго у Диккенса, но карикатуры; далѣе Гогарта этотъ родъ идти не можетъ. Ванъ-Дикъ и Рембрандтъ мѣщанства—Пуншъ и Шаривари, это его портретная галлерей и лобное мѣсто. Это—фамилыныя *фасты* и позорный столбъ.

Дѣло въ томъ, что весь характеръ мѣщанства, съ своимъ добромъ и зломъ, противень, тѣсенъ для искусства; искусство въ немъ вянетъ, какъ зеленый листъ въ хлорѣ, и только всему человѣческому присущія страсти могутъ, изрѣдка врываясь въ мѣщанскую жизнь, или, лучше, вырываясь изъ ея чинной среды, поднять ее до художественнаго значенія.

Чинный—это настоящее слово. У мѣщанства, какъ у Молчалина, два таланта и тѣ же самыя: «умѣренность и аккуратность». Жизнь средняго состоянія полна мелкихъ недостатковъ и мелкихъ достоинствъ; она воздержна, часто скупа, бѣжитъ крайности, излишняго. Садъ превращается въ огородъ, крытая соломой изба въ небольшой уѣздный домикъ съ разрисованными щитами на ставняхъ, но въ которомъ всякій день пьютъ чай и всякій день ѣдятъ мясо. *Это огромный шагъ впередъ*, но вовсе не артистическій. Искусство легче сживается съ нищетой и роскошью, чѣмъ съ довольствомъ, въ которомъ видны бѣлыя нитки, чѣмъ съ удобствомъ, составляющимъ цѣль; если на то пошло, оно ближе съ куртизанкой, продающей себя, чѣмъ съ нравственной женщиной, продающей въ тридорога чужой трудъ, вырванный у голода. Искусству не по себѣ въ чопорномъ, слишкомъ прибранномъ, расчетливомъ домѣ мѣщанина, а домъ мѣщанина *долженъ быть* таковъ: искусство чувствуетъ, что въ этой жизни оно сведено на роль внѣшняго украшенія, обоевъ, мебели, на роль шарманки; мѣшаетъ—шарманщика прогонять, захотятъ послушать—дадутъ грошъ, и квитъ... Искусство, которое по преимуществу изящная соразмѣрность, не можетъ выносить аршина; самодовольная въ своей ограниченной посредственности жизнь запятнана въ его глазахъ самымъ страшнымъ пятномъ въ мѣрѣ—*вульгарностью*.

Но это нисколько не мѣшаетъ всему *образованному* миру идти въ мѣщанство, и авангардъ его уже пришелъ. Мѣщанство—идеаль, къ которому стремится, подымается Европа со всѣхъ точекъ дна. Это та «курица во щажъ», о которой мечталъ Генрихъ IV. Маленькой домъ съ небольшими окнами на улицу, школа для сына, платье для дочери, работникъ для тяжелой работы,—да это въ самомъ дѣлѣ гавань спасенія, Havre de Grace!

Прогнанный съ земли, которую обрабатывалъ вѣка для барина, потомокъ разбитаго въ бою селянина, осужденный на вѣчную каторгу, голодь, бездомный поденщикъ, батракъ, родящійся нищимъ и нищимъ умирающій,—только дѣлаясь собственникомъ, хозяиномъ.

буржуа, отираетъ потъ и безъ ужаса смотритъ на дѣтей; его сынъ не будетъ отданъ въ пожизненную кабалу изъ-за хлѣба, его дочь не обречена ни фабрикѣ, ни публичному дому. Какъ же ему не рваться въ мѣщане? Идеаль *хозчина* лавочника — этихъ рыцарей, этихъ поповъ средняго состоянія—носится свѣтлымъ образомъ передъ глазами поденщика до тѣхъ поръ, пока его заскорузлыя и усталыя руки не опустятся на надломленную грудь, и онъ не взглянетъ на жизнь съ тѣмъ ирландскимъ покоемъ отчаянія, которое исключаетъ всякую мечту, всякое ожиданіе, кромѣ мечты о пѣломъ полуштофѣ виски въ слѣдующее воскресенье.

Мѣщанство— послѣднее слово цивилизаціи, основанной на безусловномъ самодержавіи собственности, — демократизація аристократіи, — аристократизація демократіи; въ этой средѣ Альмавива равенъ Фигаро, — снизу все тянется въ мѣщанство, сверху все само падаетъ въ него по невозможности удержаться. Американскіе Штаты представляютъ одно среднее состояніе, у котораго нѣтъ ничего внизу и нѣтъ ничего вверху, а мѣщанскіе нравы остались. Нѣмецкій крестьянинъ — *мѣщанинъ* хлѣбопашества, работникъ всѣхъ странъ — *будущій* мѣщанинъ. Италія, самая поэтическая страна въ Европѣ, не могла удержаться, и тотчасъ покинула своего фанатическаго любовника Маццини, измѣнила своему мужу-геркулесу Гарибальди, лишь только гениальный мѣщанинъ Кавуръ, толстенькой, въ очкахъ, предложилъ ей взять ее на содержаніе.

Съ мѣщанствомъ стираются личности, но стертые люди сытѣе; и С платя дюжинныя, незаказныя, не по талии, но число носящихъ ихъ больше. Съ мѣщанствомъ стирается красота породы, но растетъ ея благосостояніе. Античный бѣднякъ изъ Транстевере употребляется на черную работу гунявымъ лавочникомъ Via del Corso.

Толпа гуляющихъ въ праздничной день въ Елисейскихъ поляхъ, Кенсингтонъ-Гарденъ, собирающихся въ церквахъ, театрахъ, наводитъ уныніе пошлыми лицами, тупыми выраженіями, но для гуляющихъ въ Елисейскихъ поляхъ, для слушающихъ проповѣди Лакордера или пѣсни Левассора до этого дѣла нѣтъ, они даже этого не замѣчаютъ. Но что для нихъ очень важно и замѣтно, это то, что отцы и старшіе братья ихъ не въ состояніи были идти ни на гулянье, ни въ театръ, а они могутъ; что тѣ иногда ѣздили на козлахъ каретъ, а они сами ѣздятъ и очень часто въ фіакрахъ.

Во имя *этого* мѣщанство побѣдитъ и должно побѣдитъ. Нельзя сказать голодному — тебѣ больше къ лицу голодь, не ищи пищи. Господство мѣщанства — отвѣтъ на *освобожденіе безъ земли*, на открьпленіе людей и прикрѣпленіе почвы малому числу избранныхъ. Заработавшая себѣ копейку толпа одолѣла и по своему жуируетъ и владѣетъ міромъ. Въ сильно обозначенныхъ личностяхъ, въ оригинальныхъ умахъ ей никакой необходимости. Наука не мо-

жеть ни натолкнуться на ближайшія открытія. Фотографія, эта шарманка живописи, замѣняетъ артиста; хорошо, если явится художникъ съ творчествомъ, но вопіющей нужды и въ немъ нѣтъ. Красота, талантъ—вовсе ненормальны, это исключеніе, роскошь природы, высшій предѣлъ, или результатъ большихъ усилій, цѣлыхъ поколѣній. Стать лошадей Дерби, голосъ Маріо—рѣдкости. Но хорошая квартира и обѣдъ—необходимость. Въ самой природѣ можно сказать бездна мѣщанскаго; она очень часто останавливается на середкѣ на половину,—видно, дальше идти духу не хватаетъ. Кто тебѣ сказалъ, что у Европы хватить?

Европа провела дурные четверть часа,—мѣщанство чуть не лишилось плодовъ долгой жизни, долгихъ усилій, труда. Внутри человѣческой совѣсти поднялся какой-то неопредѣленный, но страшный протестъ. Мѣщане вспомнили войны свои за права, вспомнили героическія времена и библейскія преданія. Авель, Ремъ, Ома Мюнстеръ, были еще разъ усмирены, и на ихъ могилахъ еще долго будетъ расти трава, въ предупрежденіе того, какъ караетъ самодержавное мѣщанство. Все съ тѣхъ поръ пришло въ свой порядокъ; онъ, кажется, проченъ, онъ рационаленъ изъ своихъ началъ, онъ силенъ ростомъ, но артистическаго смысла, но художественной струны въ немъ не прибавило, онъ ихъ и не ищетъ; онъ слишкомъ практиченъ; онъ согласенъ съ Екатериной II, что серьезному человѣку не идетъ хорошо играть на фортепіанахъ,—императрица тоже смотрѣла на мужинъ съ *практической* точки зрѣнія. Для цвѣтовъ его гряды слишкомъ уважены; для его грядъ цвѣты слишкомъ бесполезны; если онъ иногда раститъ ихъ, то это на продажу.

Весной 1850 года, я искалъ въ Парижѣ квартиру; тогда я уже настолько обжился въ Европѣ, что мнѣ опротивила тѣснота и давка цивилизаціи, которая сначала очень нравится намъ, русскимъ; я съ ужасомъ, смѣшаннымъ съ отвращеніемъ, смотрѣлъ уже на безпрестанно движущуюся, кишашую толпу, предчувствуя, какъ она у меня отнимаетъ полмѣста въ театрѣ, въ дилижансѣ, какъ она бросится звѣремъ въ вагоны, какъ нагрѣетъ и насытитъ собою воздухъ,—а поэтому я и квартиру искалъ не на юру, и сколько-нибудь не похожую на уютно-пошлыя и убійственно-однообразныя квартиры—въ три спальни, à trois chambres à coucher de maître ¹⁾.

Мнѣ кто-то указалъ флигель большого, стараго дома по ту

¹⁾ Одинъ очень умный человѣкъ, графъ Оскаръ Рейхенбахъ, мнѣ разъ сказалъ, говоря о зажиточно мѣщанскихъ квартирахъ въ Лондонѣ: «Скажите мнѣ цѣну и этажъ.—и я берусь безъ свѣчи, въ темную ночь, принесть часы, вазу, графинъ... что хотите, изъ вещей, непремѣнно бывающихъ во всякомъ жилищѣ средняго круга.

сторону Сены, въ самомъ С.-Жерменскомъ предмѣстьи или около. Я пошелъ туда. Старуха, жена дворника, взяла ключи и повела меня *оборомъ*. Домъ и флигель стояли за оградой; внутри двора, за домою зеленѣли какія-то деревья. Флигель былъ неубранъ, запущенъ, вѣроятно, въ немъ много лѣтъ никто не жилъ. Полу-старинная мебель, времени первой имперіи, съ римской прямолинейностью и почернѣлой позолотой. Флигель этотъ былъ не великъ, не богатъ, но расположение комнатъ, мебель, все указывало на *иное* понятіе объ удобствахъ жизни. Возлѣ небольшой гостиной была еще крошечная, совершенно въ сторонѣ, близъ спальной, кабинетъ съ шкапами для книгъ и большимъ письменнымъ столомъ. Я походилъ по комнатамъ, и мнѣ показалось, что я послѣ долгаго скитанья, снова встрѣтилъ человѣческое жильё, *un chez soi*, а не *ну.черъ*, не людское стойло.

Это замѣчаніе можно распространить на все, на театры, на гулянья, на трактиры, на книги, на картины, на платьё, все степенью понизилось и страшно возрасло числомъ. Толпа, о которой я говорилъ, лучшее доказательство успѣха, силы, роста, она прорываетъ всѣ плотины, наполняетъ все и льется черезъ край. Она всѣмъ довольствуется и всего ей мало. Лондонъ тѣсенъ. Паризъ узокъ. Сто прицепленныхъ вагоновъ недостаточны, сорокъ театровъ—мѣста нѣтъ; для того, чтобъ лондонская публика могла видѣть *пьесу*, надобно ее давать къ ряду три мѣсяца.

— Отчего у васъ такъ плохи сигары? спросилъ я одного изъ первыхъ лондонскихъ торговцевъ ¹⁾.

— Трудно доставать, да и хлопотать не стоитъ, знатоковъ мало, а богатыхъ знатоковъ еще меньше.

— Какъ не стоитъ? вы берете 8 пенсовъ за сигару.

— Это у насъ почти никакого разчета не дѣлаетъ. Ну, вы и еще десять человѣкъ будутъ покупать у меня, много ли барыша? Я въ день сигаръ по 2 и по 3 пенса больше продамъ, чѣмъ тѣхъ въ годъ. Я ихъ совсѣмъ не буду выписывать.

Вотъ человѣкъ, постигнувшій духъ современности. Вся торговля, особенно англійская, основана теперь на количествѣ и дешевизнѣ, а вовсе не на качествѣ, какъ думаютъ старожилы, покупавшіе съ уваженіемъ тульскіе перочинные ножики, на которыхъ была англійская фирма. Все получаетъ значеніе гуртовое, оптовое, рядское, почти всѣмъ доступное, но не допускающее ни эстетической отдѣлки, ни личнаго вкуса. Возлѣ, за угломъ, вездѣ дожидается стотысячеголовая гидра, готовая безъ разбора все слушать, все смотрѣть, всячески одѣться, всѣмъ наѣсться,—это та самодержавная толпа сплоченной посредственности (*conglomerated mediocrity*)

¹⁾ У Карраса.

Ст. Милля, которая все покупает и потому всё въ владѣть, толпа безъ невѣжества, но и безъ образованія; для нея искусство кричать, машеть руками, лжетъ, экзажерируетъ, или съ отчаянія отворачивается отъ людей и рисуетъ звѣринныя драмы и портреты скота, какъ Лансиръ и Роза Бонеръ.

Видѣлъ ли ты въ Европѣ за послѣдніе пятнадцать лѣтъ актера, одного актера, который бы не былъ гаеръ, паяцъ сентиментальности или паяцъ шаржи? Назови его!

Эпохѣ, которой послѣднее выраженіе въ звукахъ Верди, на роду могло быть написано много хорошаго, но, навѣрное, не художественное призваніе. Ей совершенно по плечу ея созданье—*cafés chantants*, амфибія, между полпивной и бульварнымъ театромъ. Я ничего не имѣю противъ *cafés chantants*, но не могу же я имъ дать серьезное артистическое значеніе, они удовлетворяютъ общему «костюмеру», какъ говорятъ англичане, общему потребителю, давальцу, стоголовой гидрѣ мѣщанства, чего же больше?

Выходъ изъ этого положенія далекъ. За большинствомъ, теперь господствующимъ, стоитъ *еще большее* большинство кандидатовъ на него, для которыхъ нравы, понятія, образъ жизни мѣщанства—единственная цѣль стремленій, ихъ хватить на десять перемѣнъ. Міръ безземельный, міръ городского преобладанія, до крайности доведеннаго права собственности, не имѣетъ другого пути спасенія и весь пройдетъ мѣщанствомъ, которое въ нашихъ глазахъ отстало, а въ глазахъ полевого населенія и пролетаріевъ представляетъ образованность и развитіе. Забѣжавшіе впередъ живутъ въ крошечныхъ кругахъ въ родѣ свѣтскихъ монастырей, не занимаясь тѣмъ, что дѣлаютъ міряне за стѣной.

Было это и прежде, но и размѣры и сознаніе были меньше; къ тому же прежде были идеалы, вѣрованія, слова, отъ которыхъ билось и простое сердце бѣднаго гражданина, и сердце надменнаго рыцаря; у нихъ были общія святыни, передъ которыми, какъ передъ дарами, склонялись всѣ. Гдѣ тотъ псалмъ, который могутъ въ наше время съ вѣрой и увлеченіемъ пѣть во всѣхъ этажахъ дома, отъ подвала до мансарды, гдѣ наша *Gottes feste Burg* или марсельеза?

Когда Ивановъ былъ въ Лондонѣ, онъ съ отчаяніемъ говорилъ о томъ, что ищетъ новый, религіозный типъ и нигдѣ не находитъ его въ окружающемъ мірѣ. Чистый артистъ, боявшійся, какъ клятвопреступленія, солгать кистью, прозрѣвавшій больше фантазіей, чѣмъ анализомъ, онъ требовалъ, чтобъ мы ему указали, гдѣ тѣ живописныя черты, въ которыхъ просвѣчиваетъ новое искупленіе. Мы ему ихъ не указали. «Можетъ, укажетъ Мацини», думалъ онъ.

Мацини ему указалъ бы на «единство Италіи», можетъ, на

Гарibaldi въ 1861 году, какъ *на предтечу*,—на этого великаго *постыднѣго*.

Ивановъ умеръ, стучась,—такъ дверь и не отверзлась ему.

Isle of Wight, 10 июня, 1862 г.

Письмо второе.

Кстати, къ Маццини. Нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ появился первый томъ полнаго собранія его сочиненій. Въмѣсто предисловія или своихъ записокъ Маццини связалъ статьи, писанныя имъ въ разныя времена, рядомъ пополненій; въ этихъ посвященныхъ страницахъ бездна самаго живого интереса. Поэма его монашескаго житія, посвященнаго *одному* богу и *одному* служенію, раскрывается сама собою въ разбросанныхъ отмѣткахъ, безъ намѣренія, можетъ, больше, чѣмъ онъ хотѣлъ.

Энтузіастъ, фанатикъ, съ кровью лигура въ жилахъ, Маццини отрокомъ безвозвратно отдается великому дѣлу освобожденія Италіи и этому дѣлу остается вѣренъ и нынѣ, и присно, и во вѣки вѣковъ, ога е sempre, какъ говоритъ его девизъ: тутъ его юность, любовь, семья, вѣра, долгъ. Мужъ единой жены, онъ ей не измѣнилъ, и, сѣдой, исхудалый, больной, онъ удерживаетъ смерть, онъ не хочетъ умереть прежде, чѣмъ Римъ не будетъ столицей единой Италіи, и левъ С. Марка не разорветъ на лоскутки развѣвающуюся надъ нимъ черно-желтую тряпку.

Свидѣтельство такого человѣка, и притомъ гонителя скептицизма, социализма, матеріализма, человѣка, жившаго всѣми сердцебіеніями европейской жизни въ продолженіе сорока лѣтъ, чрезвычайно важно.

Послѣ первыхъ *пансионскихъ* увлеченій всякой революціонной карьеры, послѣ поэзіи заговоровъ, таинственныхъ формулъ, свиданій ночью, клятвъ на необагранныхъ кинжалахъ, молодого человѣка беретъ раздумье.

Какъ ни увлекаетъ южную, романскую душу обстановка и ритуаль, серьезный и аскетическій Маццини скоро разглядываетъ, что въ карбонаризмѣ гораздо больше приемовъ, обрядовъ, чѣмъ дѣла, больше сборовъ и приготовленій, чѣмъ пути. Давно догадались и мы, что политическая литургія священно-служителей конспирацій—одно драматическое представленіе. Маццини это замѣтилъ тридцать пять лѣтъ тому назадъ.

Дойдя до этого, молодому карбонару было трудно остановиться. Вглядываясь въ недавнія событія рухнувшей имперіи, свидѣтель монархическихъ реставрацій, революціи, конституціонныхъ попытокъ и республиканскихъ неудачъ, Маццини пришелъ къ

заключенію, что у современной европейской жизни нѣтъ, какъ онъ выразился, «никакой инициативы», что консерваторская идея и идея революціонная имѣютъ только отрицательное значеніе: одна ломаетъ — не зная для чего, другая хранить — не зная для чего; что во всемъ, что дѣлается (а дѣлалась тогда революція тридцатого года), нѣтъ ничего чинополагающаго новый порядокъ дѣль.

Въ этихъ словахъ будущаго соперника папы есть звуки погребальнаго колокола, въ который ударялъ другъ папы, Местръ.

Пустота, которую ощущалъ Маццини, понятна.

Приливъ революціоннаго моря поднимался торжественно въ 1789 и, не мучимый никакими сомнѣніями, затоплялъ старую весь; но когда все было покрыто его волнами, и на минуту всплывшія головы безъ туловища (и въ томъ числѣ одна въ коронѣ), митры безъ головы и шляпы съ плюмажемъ—пошли на дно, тогда впервые почувствовался какой-то страшный *просторъ отсутствія*. Освобожденные силы разбѣдали другъ друга, потомъ устали и остановились,—имъ нечего было дѣлать, онѣ ждали событія дня, какъ поденщики ждуть работы. Постоянныя войска эти во время мира кипѣли боевой энергіей, но не было боя, а главное — не было ясной цѣли. А если цѣли нѣтъ, все можетъ быть цѣлью: Наполеонъ ихъ увѣрилъ, что онъ цѣль, что война цѣль, и отлилъ больше человѣческой кровью, чѣмъ напоръ волнъ революціонныхъ прилилъ идей.

Маццини понялъ это и, прежде чѣмъ произнести окончательный приговоръ, онъ посмотрѣлъ за политическія стѣны. Тамъ ему встрѣтился колоссальный эгоизмъ Гёте, его покойное безучастіе, его любознательность естествоиспытателя въ дѣлахъ человѣческихъ; тамъ ему встрѣтился гложущій себя колоссальный эгоизмъ Байрона.

Поэзія презрѣнія возлѣ поэзіи созерцанія; плачь, смѣхъ, гордое бѣгство и отвращеніе отъ современнаго міра — возлѣ гордаго довольства въ немъ. Герои Байрона поражаютъ Маццини; онъ ищетъ, откуда ведутъ свое начало эти странные отшельники, безъ религіи и монастыря, сосредоточенные на себѣ, ненужные, несчастные, безъ дѣла, безъ родины, безъ интересовъ, эгоисты и аскеты, готовые на жертвы, которыхъ не умѣютъ принести, готовые презирать себя въ качествѣ людей. И снова Маццини наталкивается на ту же причину.—У байроновскихъ героев не достаётъ объективнаго идеала, вѣры; мечта поэта, отвернувшись отъ бесплодной, отталкивающей среды, была сведена на лиризмъ психическихъ явленій, на *внутрь вошедшіе* порывы дѣятельности, на больные нервы, на тѣ духовныя пропасти, гдѣ сумасшествіе и умъ, порокъ и добродѣтель теряютъ свои предѣлы и становятся привидѣніями, угрызеніями совѣсти и вмѣстѣ съ тѣмъ болѣзненнымъ упоеніемъ.

Успокоиться на этомъ *свидѣтельство болѣзни* дѣятельный духъ Маццини не могъ. Ему во что бы ни стало хотѣлось сыскать слово новой вѣры, инициативу,—онъ и сыскалъ ихъ.

Теперь рычагъ въ его рукахъ. Онъ повернетъ міръ, онъ пересоздастъ Европу, замѣнитъ гробъ колыбелью, разрушителей сдѣлаетъ зодчими, разрѣшитъ противорѣчіе общества и лица, свободы и авторитета, дастъ сердцу вѣру, не отнимая у разума—разумъ... Что же, ты думаешь, это *magnum ignotum*?—*Единство и освобожденіе Италіи съ древнимъ Римомъ въ центрѣ.*

Тутъ, само собою разумѣется, нѣтъ мѣста ни разбору, ни критикѣ. Не оттого ли, что Маццини предвидѣлъ новое откровеніе, новое искупленіе міра въ итальянскомъ *risorgimento*, онъ не предвидѣлъ одного—именно Кавура? Кавура онъ долженъ былъ ненавидѣть больше, чѣмъ Антонелли. Кавуръ былъ прозаическимъ переводомъ его поэмы, онъ выполнилъ одну будничную часть мацциневской программы, за Римомъ и Венеціей *à la longue* дѣло не станетъ. Кавуръ—это итальянская Марѳа, мѣшающая хозяйственными дрызгами единой мечтѣ итальянской Маріи. И въ то время, когда Марія съ умиленіемъ видѣла искупленіе міра въ освобождающейся Италіи, Марѳа кроила для Италіи бельгійскій костюмъ, и страна, довольная, что конституція не жметъ ее, пошла себѣ по торной, западной колѣѣ, по большому торговому тракту, а по немъ не доѣдешь ни до какого пересозданія міра, *не пустившись въ опасный бродъ.*

Фанатикъ Маццини ошибался; колоссальность его ошибки сдѣлала возможнымъ соизмѣримаго Кавура и единую Италію. Для насъ, впрочемъ, вовсе неважно, какъ онъ разрѣшилъ вопросъ; для насъ важно то, что западный человѣкъ, какъ только становится на свои ноги и освобождается отъ готовыхъ формулъ, какъ только начинаетъ вглядываться въ современное состояніе Европы,—чувствуетъ неловкость, чувствуетъ, что что-то *не туда идетъ*, что развитіе *дало въ сторону*. Обмануть это чувство замѣною недостающаго начала началомъ національности—легко могутъ революціонеры и консерваторы, особенно если по счастью ихъ родина будетъ покорена. Но что же дальше? Что дѣлать, возстановивши независимость своего народа? Или что дѣлать, когда она и безъ того независима?

Маццини, сознавая какую-то *пустоту* демократической мысли, указываетъ на освобожденіе Италіи отъ «тедесковъ». Ст. Милль видитъ, что все около него пошлѣетъ, мельчаетъ, съ отчаяніемъ смотритъ на подавляющія массы какой-то паюсной икры, сжатой изъ мириадъ мѣщанской мелкоты безъ инициативы, безъ пониманія, но въ Англіи нѣтъ ни австрійскаго ига, ни папы, ни неаполитанскаго Бурбона. Тутъ что дѣлать?

...Я предчувствую гнѣвъ нашихъ крѣпостныхъ людей, приписанныхъ къ научнымъ фабрикамъ и схоластическимъ заводамъ; я вижу, какъ они бѣлымъ днемъ яростно смотрятъ на меня своими ночными глазами филина и говорятъ: «Что онъ за вздоръ несетъ? какъ будто исторія можетъ дать въ сторону, какъ будто она не двигается по своимъ законамъ, какъ планеты, которыя никогда не даютъ въ сторону и не срываются съ орбиты?»

На послѣднее можно сказать, что всякое бываетъ, и нѣтъ причины, чтобъ иной разъ планета и не сорвалась. У Сатурна кольцо уцѣлѣло и вертится съ нимъ; у Юпитера оно лопнуло, и изъ него сдѣлались бусы, у земли одна луна какъ бѣльмо на глазу. Но вмѣсто обсерваторіи стоитъ заглянуть въ любую больницу, чтобъ видѣть, какъ живые организмы *даютъ въ сторону*, развиваются въ своемъ отклоненіи и доводятъ его до относительнаго совершенства, искажая, а иногда и убивая весь организмъ. Шаткое равновѣсіе всего живого колеблется и до нѣкоторой степени уступаетъ уклоненіямъ; но еще шагъ въ ту же сторону,—и худо стянутый узелъ, связующій ихъ, развязанъ, и освобожденные элементы идутъ въ другія сочетанія...

Разумѣется, что общіе законы остаются тѣ же, но въ частныхъ приложеніяхъ они могутъ различаться до совершенно противоположныхъ явленій. Повинуясь одному и тому же закону, пухъ летаетъ, а свинець падаетъ.

При отсутствіи плана и срока, аршина и часовъ—развитіе въ природѣ, въ исторіи не то что *не можетъ* отклониться, но *должно* безпрестанно отклоняться, слѣдуя всякому влиянію и въ силу своей безпечной страдательности, происходящей отъ отсутствія опредѣленныхъ цѣлей. Въ отдѣльномъ организмѣ иногда отклоненіе даетъ себя знать болью, и тутъ часто боль является слишкомъ позднимъ предостереженіемъ. Сложные, сводные организмы сбиваются съ своихъ діагоналей и уносятся по скатамъ, вовсе не замѣчая ни дороги, ни опасности, благодаря смѣнѣ поколѣній. Возможность остановить отклонившееся, удержать забѣжавшее или нагнать его, очень мала и мало желается; желаніе предполагало бы всякій разъ сознаніе и цѣль.

Сознаніе, съ своей стороны, очень далеко отъ практическаго приложенія. Боль не лечитъ, а вызываетъ леченіе. Патологія можетъ быть хороша, а терапія скверная; можно вовсе не знать медицины и ясно видѣть болѣзнь. Требованіе лекарства отъ человѣка, указывающаго на какое-нибудь зло, чрезвычайно опрометчиво. Христіане, плакавшіе о грѣхахъ міра сего, социалисты, раскрывшіе раны быта общественнаго, и мы, *недовольныя, неблагодарныя* дѣти цивилизаціи, мы вовсе не врачи,—мы *боль*; что выйдетъ изъ нашего кряхтѣнія и стога, мы не знаемъ, но *боль заявлена*.

Передъ нами цивилизація, послѣдовательно развившаяся на безземельномъ пролетаріатѣ, на безусловномъ правѣ собственника надъ собственностію. То, что ей пророчилъ Сіэсъ, то и случилось: среднее состояніе сдѣлалось *всѣмъ*—на условіи владѣть *чѣмъ-нибудь*. Знаемъ ли мы, какъ выйти изъ мѣщанскаго государства въ государство народное, или нѣтъ,—все же мы имѣемъ право считать мѣщанское государство одностороннимъ развитіемъ, уродствомъ.

Подъ словомъ уродства, болѣзни, мы обыкновенно разумѣемъ что-то неестественное, противозаконное, не отдавая себѣ отчета, что уродство и болѣзнь *естественныя* нормальнаго состоянія, представляющаго алгебраическую формулу организма, отвлеченіе, обобщеніе, идеаль, собранный изъ разныхъ частныхъ—исключеніемъ случайностей. Отклоненіе и уродство *подзаконны* тому же *закону*, какъ и организмы; въ ту минуту, когда бы они освободились отъ него, организмъ бы умеръ. Но, сверхъ общей подзаконности, они еще состоятъ на особыхъ правахъ, имѣютъ свои частные законы, послѣдствія которыхъ опять-таки мы имѣемъ право выводить, безъ всякихъ ортопедическихъ возможностей, поправлять. Видя, что у жирафа передняя часть развита *односторонно*, мы могли догадаться, что это развитіе сдѣлано насчетъ задней части и что въ силу этого въ его организмѣ непременно будетъ рядъ недостатковъ, соотвѣтствующихъ его одностороннему развитію, но которые для него естественны и относительно нормальны.

Переднюю часть европейскаго камелеопардала составляетъ мѣщанство,—объ этомъ можно бы было спорить, если-бъ дѣло не было такъ очевидно; но однажды согласившись въ этомъ, нельзя не видать всѣхъ послѣдствій такого господства лавки и промышленности. Ясно, что кормчій этого міра будетъ купецъ, и что онъ поставитъ на всѣхъ его проявленіяхъ свою торговую марку. Противъ него равно будетъ несостоятельна нелѣпость родовой аристократіи и несчастье родоваго пролетаріата. Правительство должно умереть съ голоду или сдѣлаться его приказчикомъ; у него на пристяжкѣ пойдутъ его товарищи по непроезводительности, опекуны несовершеннолѣтняго рода человѣческаго—адвокаты, судьи, нотаріусы и пр. Въстѣ съ его господствомъ разовьется пониженіе всего нравственнаго быта, и Ст. Милль, напр., вовсе не превеличивалъ, говоря о суживаніи ума, энергіи, о стертости личностей, о постоянномъ мельчаніи жизни, о постоянномъ исключеніи изъ нея общечеловѣческихъ интересовъ, о сведеніи ея на интересы торговой конторы и мѣщанскаго благосостоянія. Милль прямо говоритъ, что по этому пути Англія сдѣлается *Китаемъ*; мы къ этому прибавимъ: и не одна Англія.

Можетъ, какой-нибудь кризисъ и спасетъ отъ китайскаго ма-

разма. Но откуда онъ придетъ, какъ, и вынесетъ ли его старое тѣло или нѣтъ? Этого я не знаю, да и Ст. Милль не знаетъ. Опытъ насъ проучилъ; осторожнѣе Маццини, мы смиренно держимся точки зрѣнія *прозектора*. Лекарствъ не знаемъ, да и въ хирургію мало вѣримъ.

Мнѣ же особенно посчастливилось,—мѣсто въ анатомическомъ театрѣ досталось славное и возлѣ самой клиники; не стоило смотрѣть въ атласъ, ни ходить на лекціи парламентской терапіи и метафизической патологии; болѣзнь, смерть и разложеніе совершались передъ глазами.

Агонія іюльской монархіи, тифъ папства, преждевременное рожденіе республики и ея смерть, за февральскими *сумерками* іюньскіе *дни*, вся Европа въ припадкѣ лунатизма, сорвавшаяся съ крыши Пантеона въ полицейскую лужу! И потомъ десять лѣтъ въ обширнѣшемъ музеѣ патологической анатоміи—на Лондонской выставкѣ образцовъ всѣхъ прогрессивныхъ партій въ Европѣ, рядомъ съ туземными образцами всѣхъ консерватизмовъ со временъ іудейскихъ первосвященниковъ до шотландскихъ пуританъ.

Десять лѣтъ!

Быль досугъ всмотрѣться въ эту жизнь, въ то, что дѣлалось вокругъ; но мое мнѣніе не измѣнилось съ тѣхъ поръ, какъ въ сорокъ восьмомъ году я осмѣлился, еще съ нѣкоторымъ ужасомъ, разобрать на лбу этихъ людей цинероновское *vixerunt!*

Съ каждымъ годомъ я бьюсь болѣе и болѣе объ непониманіе здѣшнихъ людей, объ ихъ равнодушіе ко всѣмъ интересамъ, ко всѣмъ истинамъ, объ легкомысленную вѣтренность ихъ стараго ума, объ невозможность растолковать имъ, что рутина не есть безапелляціонный критеріумъ, и привычка—не доказательство. Иногда я приостанавливаюсь, мнѣ кажется, что худшее время прошло, я стараюсь быть непослѣдовательнымъ: мнѣ кажется, напимѣръ, будто сгнетенное слово во Франціи вырастаетъ въ мысль... я жду, надѣюсь... бываетъ же иногда и исключеніе... будто что-то брезжить... нѣтъ, ничего!

И этого никто не чувствуетъ... На тебя смотрятъ съ какой-то жалостью, какъ на поврежденнаго... Мнѣ только случилось встрѣчать старыхъ стариковъ, какъ-то очень грустно качавшихъ сѣдой головой.

Этимъ старикамъ было видимо неловко съ своими *чужими*, т. е. съ сыновьями и внучатами...

... Да, *саго шю*, есть еще въ здѣшней жизни великій типъ для поэта, типъ вовсе непочатой... Тотъ художникъ, который здѣсь всмотрится въ *Дядювъ* и *Внучатъ*, въ *Отцевъ* и *Дѣтей* и безбоязненно, беспощадно воплотитъ ихъ въ черную, страшную поэму,—тотъ будетъ надгробный лауреатъ этого міра.

Типъ этотъ—типъ Донъ Кихота революціи, старика 89 года, доживающаго свой вѣкъ на хлѣбахъ своихъ внучать, разбогатѣвшихъ французскихъ мѣщанъ,—онъ не разъ наводилъ на меня ужась и тоску.

Ты подумай объ немъ, и у тебя волосъ станетъ дыбомъ.

Isle of Wight, Cowes, 20 іюля, 1862.

Письмо третье.

... Фу, какое отвратительное лѣто, холодъ, темнота, слякоть, постоянные вѣтры, нервы раздражены, носовая перепонка тоже и все это продолжается три мѣсяца, а предъ ними были семь предшественниковъ ихъ, по ту сторону вступленія въ знакъ Овна!

Наконецъ-то, солнце явилось на безоблачномъ небѣ. Море разгладилось и блеститъ, я сижу у своего окна, въ крошечной фермѣ, и не могу наглядѣться.—такъ давно я не видѣлъ солнца и дали. Сегодня даже тепло. Я просто обрадовался, увидя, что природа еще цѣла; за то пиръ горой: шмели, пчелы, птицы летаютъ, жужжать, поютъ, шумятъ, на дворикѣ фермы кричить во все горло просохнувшій пѣтухъ, и старая собака, забывъ лѣта и общественное положеніе, лежитъ на спинѣ, какъ щенокъ, задравши ноги вверхъ, и покачивается изъ стороны въ сторону, съ невольнымъ эпикурейскимъ ворчаньемъ. Людей не видать изъ моего окна, но полей, но деревьевъ, но садовъ безъ конца; несмотря на море въ сторонѣ, видъ этотъ очень напоминаетъ наши великорусскіе виды, къ тому же пахнетъ травой и деревьями.

Пора была погодѣ исправиться, а то я начиналъ опасаться ужъ не социальнаго переворота, а геологическаго; я такъ и ждалъ, что вслѣдъ за десятизмѣсячной дурной погодой Европа дастъ трещину и вулканической мѣрой разрубитъ гордіевъ узелъ современныхъ вопросовъ и impass'овъ, приглашая желающихъ начать не то что съ азбуки, а съ Адама II.

Ты въ качествѣ поэта и идеалиста, должно быть, не вѣришь такой чепухѣ, а Ламе, въ качествѣ одного изъ величайшихъ математиковъ нашего времени, не того мнѣнія. Ему кажется, что равновѣсіе скучившихся материковъ очень непрочное и что, взявъ къ тому же въ расчетъ быстрое движеніе въ одну сторону и кой-какіе факты передвиженія массъ въ Исландіи, того и смотри, что шаръ земной дастъ трещину въ Европѣ. Онъ даже составилъ рядъ формулъ, сдѣлалъ рядъ вычисленій... Ну, да что тебя пугать, до Орловской губерніи трещина не дойдетъ.

Лучше, пользуясь казусно хорошей погодой, потолкуемъ оныя

объ нашихъ «Концахъ и Началахъ», а придетъ трещина, она сама распорядится.

Донъ Кихотъ революціи не идетъ у меня изъ головы. Суровый, трагическій типъ этотъ исчезаетъ,—исчезаетъ какъ бѣловѣжской зубрь, какъ краснокожіе индѣйцы, и нѣтъ художника, который бы помѣтилъ его черты старья, рѣзкія, носящія на себѣ слѣды всѣхъ скорбей, всѣхъ печалей, идущихъ изъ *общихъ* началъ и изъ вѣры въ человѣчество и разумъ. Скоро черты эти замрутъ, не сдавшись, съ выраженіемъ гордаго и укоряющаго презрѣнія, потомъ сотрутся и человѣческая память утратитъ одинъ изъ высшихъ, предѣльныхъ типовъ своихъ.

Это вершины горъ, которыми заключается хребетъ XVIII столѣтія, ими онъ достигаетъ своего предѣла и замыкается, ими обрывается рядъ усилій подняться. Дальше этимъ вулканическимъ напоромъ идти нельзя.

Титаны, остающіеся послѣ борьбы, послѣ пораженія, при всѣхъ своихъ титаническихъ стремленіяхъ, представителями неудовлетворенныхъ притязаній, дѣлаются изъ великихъ людей печальными Донъ Кихотами. Исторія подымается и опускается между пророками и рыцарями печальнаго образа. Римскіе патриціи, республиканцы, стойки первыхъ вѣковъ, отшельники, бѣжавшіе въ степи, пуритане, наполнившіе цѣлое столѣтіе скрежетомъ зубовъ за недостиженіе своего скучнаго идеала,—все это оставленное отливомъ, упорно рвущееся впередъ и вязнущее въ тинѣ, не поддержанное волною, все это Донъ Кихоты, но Донъ Кихоты, нашедшіе своихъ Сервантесовъ. Для сподвижниковъ начальной церкви есть томы легендъ, есть иконопись и живопись, есть ихъ мозаики, изваянія. Типъ пуританизма закрѣпленъ въ англійской литературѣ, въ голландской живописи; а типъ Донъ Кихота революціи вывѣтривается на нашихъ глазахъ, становится рѣже и рѣже, и никто не думаетъ о томъ, чтобъ, по крайней мѣрѣ, снять фотографію.

Фанатики земной религіи, фантасты не царства божія, а царства человѣческаго, они остаются послѣдними часовыми идеала, давно покинутаго войскомъ, они мрачно и одиноко стоятъ полстолѣтія, безсильные *измѣнить*, и все ожидающіе пришествія республики на землѣ; грунтъ возлѣ понижается, понижается,—они этого не хотятъ видѣть. Я еще засталъ нѣсколько изъ этихъ апостоловъ девяностыхъ годовъ; рѣзкія, печальныя, крупныя фигуры ихъ, переросшія два поколѣнія, казались мнѣ какими-то угрюмыми и неподвижно разрушающимися по камешку Мемнонами въ египетскихъ степяхъ... И у ихъ ногъ копошились, хлопотали, таскали товары крошечные люди и маленькіе верблюды, едва видные изъ-за урагана пыли.

Смерть давала все больше и больше знать о своемъ приближеніи; старый пожелтѣлый взглядъ становился суровѣе, уставалъ отъ напряженія, высматривая смѣну, отыскивая, кому сдать честь и мѣсто.—Сыну? Старикъ хмурится.—Внуку? Онъ махнулъ рукой. Бѣдный король Лиръ въ демократіи, куда ни обращаетъ онъ уга-сающій взглядъ свой къ своимъ, къ приснымъ, вездѣ его встрѣчаетъ непониманье, безучастье, осужденье, полускрытый упрекъ, мелкіе счеты и мелкіе интересы. Его якобинскихъ словъ боятся при постороннихъ, ему просятъ прощеніе, указывая на изрѣдѣвшія сѣдины. Его невѣстка мучить его примиреніемъ съ церковью, и иезуитскій аббатъ шныряетъ по временамъ, какъ мимолетный воронъ, посмотрѣть сколько еще силъ и сознанія, чтобы поймать его въ предсмертномъ бредѣ.

Еще хорошо, если гдѣ-нибудь въ околodкѣ гражданина Лира есть гражданинъ Кентъ, который находить, «что въ его лицѣ есть что-то, напоминающее 94 годъ», какой-нибудь темный сподвижникъ Сантера, солдатъ арміи Марсо и Гоша, гражданинъ Спартакюсъ-Брютюсъ-Жюниоръ, дѣтски вѣрный своему преданью и гордо держащій лавочку рукой, которой держалъ пику съ фригійской шапкой. Лиръ зайдетъ къ нему иной разъ отвести душу, покачать головой и вспомнить старину съ ея огромными надеждами, съ ея великими событіями, побранить Талиена и Барраса, реставрацію съ своими *saffards*, короля-лавочника et ce *traître de Lamartine*. Оба *знаютъ*, что часъ революціи пробьетъ, что народъ проснется какъ левъ и снова подниметъ фригійскую шапку и въ этомъ упованія одинъ изъ нихъ засыпаетъ.

Насупивъ брови, идетъ Лиръ за гробомъ Спартакюсъ-Брютюсъ-Жюниора, или Спартакюсъ-Брютюсъ-Жюниоръ, не скрывая глубокаго отвращенія ко всему родству покойнаго, идетъ за гробомъ Лира — и изъ двухъ величавыхъ фигуръ остается одна, и та совершенно лишняя.

«И его нѣтъ, и онъ не дождался» — думаетъ оставшійся старикъ, возвращаясь съ похоронъ; «неужели, въ самомъ дѣлѣ, сторона Питта и Кобурга окончательно взяли верхъ, неужели вся долгая жизнь, усилія, жертвы... нѣтъ, не можетъ быть, истина съ нашей стороны и побѣда будетъ съ нашей... Разумъ и справедливость восторжествуютъ, разумѣется, сперва во Франціи, потомъ во всемъ родѣ человѣческомъ и «Vive la République, une et indivisible!» молится старецъ восьмидесятилѣтними губами, такъ, какъ другой старецъ, отдавая съ миромъ духъ свой Господу, шепчетъ ему: «да придетъ царствіе твое», и оба спокойно закрываютъ глаза.

Святые Донъ Кихоты, вамъ легка земля!

Эти фанатическія вѣрванія въ осуществимость гармоническаго порядка, общаго блаженства, въ осуществимость истины, *потому*

что она истина, это отрѣшеніе отъ всего частнаго, личнаго, эта преданность, переживающая всѣ испытанія, всѣ удары,—это-то и есть *вершина*... Гора окончена, выше, дальше холодный воздухъ, мгла, ничего. Опять спускаться! Отчего нельзя продолжать? Отчего Монъ-Бланъ не стоитъ на Чимборазо и Гималай не продолжаетъ ихъ,—какова бы была гора?

Такъ нѣтъ — у cadaго геологическаго катаклизма свой романъ, своя поэма горъ, свой хребетъ, свои гранитныя, базальтовыя личности, подавляющія своимъ величіемъ низменные бассейны. Памятники планетныхъ революцій, они давно обросли лѣсами и мохомъ въ свидѣтельство тысячелѣтнаго застоя потомъ. И наши забѣжавшіе пионеры революціи оставили въ исторіи свои Альпы; слѣды ихъ титаническихъ усилій не прошли и долго не пройдутъ. Чего же больше?

Да, для исторіи. Тамъ своя гуртовая, беспощадная оцѣнка; тамъ, какъ въ описаніи сраженій, — движеніе корпусовъ, дѣйствіе артиллеріи, напоръ лѣваго фланга, отступленіе праваго; тамъ свои личности «30-й егерской, а послѣ 45-й». Далѣе бюллетень не идетъ, онъ довольствуется итогомъ труповъ, а «пятое дѣйствіе» cadaго солдата идетъ далѣе, и оно имѣетъ свой совершенно *статскій* интересъ.

Что вынесли эти люди *послѣдняго* прилива, оставленные отливомъ въ тинѣ и слякоти! Что зыстрадали эти *отцы* съ своими *дѣтьми*, одинокіе въ своихъ семьяхъ, больше чѣмъ монахи въ своихъ кельяхъ! Какія страшныя столкновенія всякаго часа, всякаго дня!.. Какія минуты устали и отчаянія!

Не странное ли дѣло, что въ длинномъ ряду «несчастныхъ», вызванныхъ В. Гюго, являются и старики... а *несчастнѣйшій старикъ* по преимуществу отодвинуть на задній планъ, пропущенъ? Гюго едва замѣтилъ, что возлѣ мучительнаго сознанія виновности, есть другая пытка — мучительное *сознаніе ненужной правоты своей*, сознаніе своего бесплоднаго превосходства надъ слабостью всего близкаго, молодого, переживающаго... Великій риторъ и поэтъ, между скорбными существованіями французской жизни, чуть коснулся величайшей скорби въ мірѣ—старца юнаго душею, окруженнаго больше и больше мельчающимъ поколѣніемъ.

Ну, что передъ ними и мучительныя, но ненужныя и чисто субъективныя страданія Жанъ-Валжан', такъ утомительно подробно рассказанныя въ романѣ-омнибусѣ Гюго? Конечно, сострадать можно всякому несчастію, но не всякому—глубоко сочувствовать. Боль отъ перелома ноги и боль отъ перелома жизни вызываютъ розное участіе.

(Мы слишкомъ мало французы, чтобъ понимать такіе идеалы какъ Жанъ-Валжан', и сочувствовать такимъ героямъ полиціи

какъ Жаверъ. Жаверъ для насъ просто отвратителенъ. Вѣроятно. Гюго не думалъ, чертя эту совершенно національную фигуру шакала порядка, какое клеймо онъ выжегъ на плечѣ своей «прекрасной Франціи». Въ Жанъ-Валжан' намъ только понятна его внѣшняя борьба добраго, несчастнаго звѣря, травимаго цѣлымъ гончимъ обществомъ. Внутренняя борьба его для насъ остается посторонней; этотъ сильный человѣкъ мышцами и волей, въ сущности, чрезвычайно слабый человѣкъ. Святой каторжникъ, Илья Муромецъ изъ тулонскихъ галеръ, акробатъ въ пятьдесятъ лѣтъ, и влюбленный мальчикъ чуть не въ шестьдесятъ, онъ исполненъ суевѣрія. Онъ вѣруеть въ клеймо на плечѣ; онъ вѣруеть въ приговоръ; онъ вѣруеть, что онъ отверженный человѣкъ, оттого что тридцать лѣтъ тому назадъ укралъ хлѣбъ, да и то не для себя. Его добродѣтель—болѣзненное раскаяніе; его любовь—старческая ревность. Натянутое существованіе его поднимается до истинно трагическаго значенія только въ концѣ книги, отъ бездушной ограниченности Козетина мужа и безграничной неблагодарности ея самой.

И тутъ Жанъ-Валжан' дѣйствительно граничить съ нашими стариками: раскаяніе одного и правота другихъ смѣшивается въ жгучемъ страданіи. Ртуть термометра, замерзшая въ нулю, обжигаетъ, какъ раскаленная пуля изъ свинца. Сознаніе правоты, отхватывающее полсердца, полсуществованія, стоитъ угрызенія совѣсти и еще хуже — тутъ есть искупленіе исповѣди, вознагражденіе, тамъ ничего. Между старикомъ девяностыхъ годовъ, фанатикомъ, фантастомъ, идеалистомъ и сыномъ, который *старше* его осторожностью, благоразуміемъ, разочарованіемъ, сыномъ черезъ край удовлетвореннымъ «меньшей линіей», и внукомъ, который, щеголяя въ мундирѣ императорскаго гйда, мечтаетъ о томъ, какъ бы лукнуть въ су-префекты, pour exploiter sa position, нарушено естественное отношеніе, нарушено равновѣсіе, искажена органическая преемственность поколѣній.

Жанъ-Валжан' въ своей старческой дѣвственности, въ своей лирической, личной сосредоточенности, самъ не зналъ, чего требовалъ отъ молодой жизни. Чего хотѣлъ онъ въ самомъ дѣлѣ отъ Козеты? Развѣ она могла быть его подругой? Онъ въ неопытной непочатости своего сердца перешагнулъ любовь отца... Онъ исключительно *для себя* хотѣлъ любить ее, а такъ отецъ не любить. Сверхъ того, онъ, всю жизнь внутренне драпируясь въ куртку каторжнаго, сломился подъ бременемъ отвращенія, которое ему показала ограниченнѣйшій молодой человѣкъ,—типическій представитель пошлѣющаго поколѣнія.

Я не знаю, что Гюго хотѣлъ сдѣлать съ Маріусомъ, для меня онъ въ своемъ поколѣніи такой же типъ, какъ Жаверъ въ своемъ.

Въ инстинктахъ этого молодого человѣка мерцаютъ какимъ - то отблескомъ другого дня благородные и горячіе порывы, безъ разсужденія, безъ корня, почти безъ смысла — по преданію, по примѣру. Въ немъ и закваски XVIII вѣка больше нѣтъ — этой неутомимой потребности анализа, критики, этого грознаго вызова всего на свѣтъ на провѣръ ума; у него и ума нѣтъ, но онъ, еще добрый товарищъ, пойдетъ на баррикаду, не зная, что потомъ; онъ живетъ по готовому и, зная à code ouvert, что добро и что зло, такъ же мало беспокоится объ этомъ, какъ человѣкъ, знающій достоверно, что скоромное ѣсть грѣшно въ постъ. На этомъ поколѣніи окончательно останавливается и начинается свое отступленіе революціонная эпоха; еще поколѣніе, и нѣтъ больше порывовъ, все принимаетъ обычный порядокъ, личность стирается, смѣна экземпляровъ едва замѣтна въ продолжающемся жизненномъ обиходѣ.

Я воображаю, что кое - что подобное было въ развитіи животныхъ: складывавшійся видъ, порываясь свыше силъ, отставая ниже возможностей, мало-по-малу уравнивался, умѣрялся, терялъ анатомическія эксцентричности и физиологическія необузданности, прибрѣтая зато плодовитость и начиная изъ рода въ родъ, изъ вѣка въ вѣкъ повторять, по образу и подобию перваго остепенившагося праотца, свой обозначенный видъ и свою индивидуальность.

Тамъ, гдѣ видъ сложился, *исторія* почти прекращается, по крайней мѣрѣ, становится скромнѣе, развивается исподволь... въ томъ родѣ, какъ и планета наша. Дозрѣвши до извѣстнаго періода охлаждения, она мѣняетъ свою кору по немногу; есть наводненія, нѣтъ всемірныхъ потоповъ; есть землетрясенія тамъ-сямъ, нѣтъ общаго переворота... Виды останавливаются, консолидируются на разныхъ возможностяхъ, больше или меньше, въ ту или другую сторону, одностороннихъ; они ихъ удовлетворяютъ, перешагнутъ ихъ они почти не могутъ, а если-бъ и перешагнули, то въ смыслѣ той же односторонности. Моллюскъ не домогается сдѣлаться ракомъ, ракъ—форелью, Голландія—Швеціей... Если-бъ можно было предположить животные идеалы, то идеаль рака былъ бы тоже ракъ, но съ болѣе совершеннымъ организмомъ. Чѣмъ ближе страна къ своему окончательному состоянію, тѣмъ больше она считаетъ себя средоточіемъ просвѣщенія и всѣхъ совершенствъ, какъ Китай, стоящій безъ соперниковъ, какъ Англія и Франція, не сомнѣвающіяся, въ своемъ антагонизмѣ, въ своемъ соревнованіи, въ своей взаимной ненависти, что онѣ передовыя страны міра. Пока одни успокоиваются на достигнутомъ, развитіе продолжается въ несложившихся видахъ возлѣ, около *готоваго*, совершившаго свой циклъ вида.

Вездѣ, гдѣ людскіе муравейники и улы достигали относительнаго удовлетворенія и уравниванія, движеніе впередъ дѣлалось тише и тише, фантазіи, идеалы потухали. Довольство богатыхъ и сильныхъ подавляло стремленіе бѣдныхъ и слабыхъ. Религія являлась всѣхскорбящей утѣшительницей. Все, что сосало душу, по чемъ страдалъ человѣкъ, все, что беспокоило и оставалось неудовлетвореннымъ на землѣ, все разрѣшалось, удовлетворялось въ вѣчномъ царствѣ Ормузда, превыше Гималая. И чѣмъ безропотнѣе выносили люди временныя несчастія земной жизни, тѣмъ полнѣе было небесное примиреніе и притомъ не на короткій срокъ, а во вѣки вѣковъ.

Жаль, что мы мало знаемъ внутреннюю повѣсть азіатскихъ народовъ, вышедшихъ изъ исторіи, мало знаемъ тѣ періоды безъ событій, которые предшествовали у нихъ насильственному вторженію дикихъ племенъ, все избивавшихъ, или хищной цивилизаціи, все искоренявшей и перестраивавшей. Она намъ показала бы въ элементарныхъ и простыхъ формахъ, въ тѣхъ пластическихъ, библейскихъ образахъ, которые создаетъ одинъ востокъ, выходъ народа изъ историческаго тревоженія въ покойное *statu quo* жизни, продолжающейся въ безпорной смѣнѣ поколѣній — зимы, весны, лѣта...

Тихимъ, невозмущаемымъ шагомъ идетъ Англія къ этому покою, къ неизблемости формъ, понятій, вѣрованій. На дняхъ «Теймсъ» поздравлялъ ее съ отсутствіемъ интереса въ парламентскихъ преніяхъ, съ безропотностью, съ которой работники умираютъ съ голоду, «въ то время какъ еще такъ недавно ихъ отцы, современники О'Коннора», потрясали страну своимъ грознымъopotомъ. Прочно, какъ вѣковый дубъ, стоитъ, глубоко пустивши корни, англиканская церковь, милосердо допуская всѣ расколы и увѣренная, что всѣ они далеко не уйдутъ. Упираясь по старой памяти и кобенясь, низвергается Франція задомъ напередъ, чтобъ придать себѣ видъ прогресса. За этими колоссами пойдутъ и остальные двумя колоннами, нѣкогда пророчески соединенными подъ однимъ скипетромъ... Съ одной стороны, худой, суровый, постыный типъ испанца, задумчиваго безъ мысли, энтузіаста безъ цѣли, озабоченнаго безъ причины, принимающаго всякое дѣло къ сердцу и не умѣющаго ничему помочь, словомъ типъ настоящаго Донъ Кихота Ламанческаго. Съ другой — дородный типъ голландца, довольнаго, когда онъ сытъ, напоминающій Санчо Пансу.

Не оттого ли здѣсь дѣти *старше* своихъ отцовъ, старше своихъ дѣдовъ и могутъ ихъ назвать à la Dumas jun. «блудными отцами», что старость-то и есть главная характеристика теперь живущаго поколѣнія? По крайней мѣрѣ, куда я ни смотрю, я

вездѣ вижу сѣдые волосы, морщины, сторбившіяся спины, завѣщанія, итоги, выносы, *концы* и все ищу, ищу *началъ*, — они только въ теоріи и отвлеченіяхъ.

10 августа, 1862 г.

Письмо четвертое.

Прошлымъ лѣтомъ приѣзжаетъ ко мнѣ въ Девонширъ одинъ пріятель, саратовскій помѣщикъ и большой фурьеристъ.

Сдѣлай одолженіе, не сердись на меня, т. е. это не помѣщикъ мнѣ сказалъ, а я тебѣ говорю за то, что я безпрестанно сворачиваю съ дороги. Вводныя мѣста мое счастье и несчастье. Одинъ французъ, литераторъ времени реставраціи, классикъ и пуристъ, не разъ говаривалъ мнѣ, продолжительно и академически нюхая табакъ (такъ, какъ скоро перестануть нюхать): *notre ami abuse de la parenthèse avec intempérance!* Я за отступленія и за скобки всего больше люблю форму писемъ—и именно писемъ къ друзьямъ: можно не стѣсняясь писать, что въ голову придетъ.

Ну, вотъ мой саратовскій фурьеристъ въ Девонширѣ и говорить мнѣ:—Знаете ли какая странность? Я теперь былъ первый разъ въ Парижѣ, ну, конечно... что и говорить, а если разобратъ по глубже, въ Парижѣ скучно... право скучно!

— Что вы? говорю я ему.

— Ей богу.

— Впрочемъ, отчего же вы думали, что тамъ весело?

— Помилуйте, послѣ саратовскихъ степей.

— Можеть именно по этому. А впрочемъ, не оттого ли вамъ было въ Парижѣ скучно, что тамъ черезчуръ весело?

— Вы по прежнему все дурачитесь.

— Совсѣмъ нѣтъ. Лондонъ, смотрящій сентябремъ, намъ больше по душѣ; впрочемъ, и здѣсь скука страшная.

— Гдѣ же лучше? Видно по старой поговоркѣ: *гдѣ насъ нѣтъ!*

— Не знаю, а думать надобно, что и тамъ не очень хорошо.

...Разговоръ этотъ, кажется не то, чтобъ длинный или особенно важный, расшевелилъ во мнѣ рядъ старыхъ мыслей о томъ, что въ мозгу современнаго человѣка не достаетъ какого-то рыбьяго клея; оттого онъ не отстаивается и мутенъ отъ гущи—новыя теоріи, старыя практики, новыя практики, старыя теоріи.

И что за логика? Я говорю, что въ Парижѣ и Лондонѣ скучно, а онъ мнѣ отвѣчаетъ: «Гдѣ же лучше?» не замѣчая вовсе, что эту діалектику употребляли у насъ дворовые люди прежняго покроя; они обыкновенно на замѣчаніе: «Да ты, братецъ, кажется, пьянъ?» отвѣчали: «А развѣ вы подносили?»

На чемъ основана мысль, что людямъ гдѣ-нибудь хорошо? можетъ, должно быть хорошо? и какимъ людямъ? и чѣмъ хорошо? Положимъ, что людямъ въ одномъ мѣстѣ лучше жить, чѣмъ въ другомъ. Почему же Парижъ и Лондонъ предѣлы этого лучше?

Развѣ по гиду Рейхардта?

Парижъ и Лондонъ замыкаютъ томъ всемірной исторіи, томъ, у котораго едва остаются нѣсколько неразрѣзанныхъ листовъ. Люди, старающіеся изъ всѣхъ силъ *скорѣе* перевернуть ихъ, дивятся, что, по мѣрѣ приближенія къ концу, въ прошедшемъ больше, чѣмъ въ настоящемъ, и досадуютъ, что два полнѣйшіе представителя *западнаго міра садятся съ нимъ вмѣстѣ*.

Въ общихъ разговорахъ — удалъ и отвага страшныя, а какъ дойдетъ не только до дѣла, а до критической оцѣнки событій,— все забыто, и старые вѣсы и старые аршины вытаскиваются изъ бабушкиной кладовой.

— Обветшалыя формы только и могутъ спастись — совершеннымъ перерожденіемъ; западъ долженъ возродиться, какъ фениксъ въ огненномъ крещеніи.

— Ну, такъ съ Богомъ въ полымя его.

— А какъ онъ не возродится... а опалить свои красивыя перья, или, пожалуй, сгорить?

— Въ такомъ случаѣ продолжайте его крестить *водой*, и не скучайте въ Парижѣ. Вотъ мой отецъ, напимѣръ, онъ жилъ лѣтъ восемь въ Парижѣ и никогда не скучалъ; онъ черезъ тридцать лѣтъ любилъ рассказывать о праздникахъ, которые давали маршалы и самъ Наполеонъ, объ ужинахъ въ Palais Royal, на которыхъ являлись актрисы и оперныя танцовщицы, украшенные брилліантами, выковырянными изъ побѣжденныхъ коронъ, объ Юсуповыхъ, Тюфякиныхъ и другихъ *princes russes*, положившихъ тамъ больше крестьянскихъ душъ, чѣмъ ихъ легко подъ Бородинымъ. Съ разными перемѣнами и *un peu plus sapaille*, то же существуетъ и теперь. Маршалы *биржи* даютъ праздники не хуже боевыхъ маршаловъ, ужины съ улицы St.-Honoré переѣхали на Елисейскія поля, въ Булонскій лѣсъ... Но вы—человѣкъ серьезный, больше любите смотрѣть за кулисы всемірной исторіи, чѣмъ за кулисы оперы... Вотъ вамъ парламентъ и два, — чего же вамъ больше?.. Съ какой завистью и болью слушалъ я, бывало, людей, пріѣзжавшихъ изъ Европы въ тридцатыхъ годахъ, точно будто у меня отняли все то, что они видѣли... а я не видалъ. Они тоже не скучали, а много надѣялись: кто на Одилонъ Барро, кто на Кобдена. Умѣйте же и вы не скучать... и во всякомъ случаѣ будьте сколько-нибудь послѣдовательны и, если вамъ все-таки скучно, ищите причину. Можетъ, найдете, что вы требуете пустяковъ, тогда лечитесь; это скука праздности, пустоты, неумѣнья найтись. А,

можетъ, вы найдете другое—что вамъ оттого скучно, что на стремленія, больше и больше растущія въ сердцѣ и мозгу современнаго человѣка, Парижъ и Лондонъ не имѣютъ отвѣта, что вовсе не мѣшаетъ имъ представлять высшее развитіе и блестящій результатъ былого, богатые концы богатаго періода.

Я это говорилъ десять разъ. Но безъ повтореній обойтись невозможно. Люди привычные знаютъ это. Я какъ-то сказалъ Прудону о томъ, что въ его журналѣ часто помѣщаются почти одинакія статьи, съ небольшими вариациями.

— А вы воображаете, отвѣчалъ мнѣ Прудонъ, что разъ сказали, такъ и довольно, что новая мысль такъ вотъ и примется сразу. Вы ошибаетесь: долбить надобно, повторять надобно, безпрерывно повторять, чтобъ мысль не только не удивляла больше, не только была бы понята, а усвоилась бы, получила бы дѣйствительныя права гражданства въ мозгу.

Прудонъ былъ совершенно правъ. Есть двѣ, три мысли, особенно дорогія для меня, я ихъ повторяю около пятнадцати лѣтъ; фактъ за фактомъ подтверждаетъ ихъ съ ненужной роскошью. Часть ожидаемаго совершилась; другая совершается передъ нашими глазами. А онѣ также дики, не употребительны, какъ были.

И что всего обиднѣе, люди будто понимаютъ васъ, — соглашаются, но мысли ваши остаются въ ихъ головѣ чужими, не идущими къ дѣлу, не становящая той непосредственностью сознанія и нравственнаго быта, которая вообще лежитъ въ безспорной основѣ нашихъ мнѣній и поступковъ.

Отъ этого двойства люди, повидимому, очень развитые безпрестанно поражены неожиданнымъ, взяты врасплохъ, возмущаются противъ неминуемаго, борются съ неотразимымъ, идутъ мимо нарождающагося и лечатъ всѣми аллопатіями и гомеопатіями — дышащихъ на ладонъ. Они знаютъ, что ихъ часы были хорошо поставлены, но, какъ «неоплаканный» Клейнмихель, не могутъ понять, что меридіанъ не тотъ.

Доктринерство, схоластика мѣшаютъ пониманью, простому, живому пониманью, больше, чѣмъ изувѣрство и невѣжество. Тутъ остались инстинкты мало сознанные, но вѣрны; сверхъ того, невѣжество не исключаетъ страстнаго увлеченія, изувѣрство — непоследовательности, а доктрина вѣрна себѣ.

Во время итальянской войны одинъ добрый почтенный профессоръ читалъ своимъ слушателямъ о великихъ успѣхахъ международнаго права; о томъ, какъ нѣкогда крупно наброшенная основанія Гуго Гроція, развиваясь, вѣдрилились въ народное и правительственное сознаніе; о томъ, какъ вопросы, которые прежде разрѣшались рѣками крови, несчастіями цѣлыхъ провинцій, цѣ-

лыхъ поколѣній, разрѣшаются теперь, какъ гражданскіе вопросы между частными людьми, на началахъ международной совѣсти.

Кто же, кромѣ какихъ-нибудь старыхъ кондотьеровъ по ремеслу, не будетъ согласенъ съ доцентомъ, что это одна изъ величайшихъ побѣдъ гуманности и образованія надъ дикой силой? Бѣда не въ томъ, что сужденіе доцента несправедливо, а въ томъ, что человѣчество этой побѣды вовсе не одерживало.

Когда профессоръ краснорѣчивой рѣчью увлекалъ юношей въ эти созерпанія мира, на поляхъ Маженты и Сольферино дѣлались другіе комментаріи на международное право. Итальянская война тѣмъ меньше могла быть устранена какими-нибудь амфиціонными судами, что на нее никакой международной причины не было, такъ какъ не было спорнаго предмета. Войну эту Наполеонъ велъ съ медицинской точки зрѣнія, чтобъ уgomонить французовъ гимнастикой освобожденія и потрясеніями побѣдъ. Какой же Гроцій и Ватель могли бы разрѣшить такую задачу? Какъ же было возможно отстранить войну, которая была необходима для внутреннихъ интересовъ? Не австрійцевъ, такъ кого-нибудь другого надобно было бить французамъ; остается радоваться, что именно австрійцы подвернулись.

Далѣе—Индія, Пекинъ, война демократовъ за рабство черныхъ, война республиканцевъ за рабство государственной нераздѣльности. А профессоръ продолжаетъ свое, слушатели тронуты, имъ кажется, что слышатъ послѣдній скрипъ церковныхъ воротъ въ Янусовомъ соборѣ, что воины сложили оружія, надѣли миртовые вѣнки и взяли прилки въ руки, что арміи распущены и воздѣлываютъ поля... И все это въ то самое время, когда Англія покрывалась волонтерами, что ни шагъ — мундиръ, что ни лавочникъ—ружье, французское и австрійское войско стояло съ зажженными фитилями и самъ принцъ, кажется Гессенъ Кассельскій, поставилъ на военную ногу и вооружилъ револьверами двухъ гусаръ, мирно и безоружно ѣздившихъ за его каретой со времени вѣнскаго конгресса.

Вспыхни опять война, а это зависѣло отъ тысячи случайностей, отъ одного выстрѣла кстати—въ Римѣ, на границѣ Ломбардіи, она разлилась бы кровавымъ моремъ отъ Варшавы до Лондона. Профессоръ удивился бы, профессоръ огорчился бы. А «кажись не подобаетъ» ни удивляться, ни огорчаться—исторія дѣлается не за угломъ! Бѣда доктринеровъ въ томъ, что они, какъ нашъ Дидро, споря, закрываютъ глаза, чтобъ не видать—противникъ хочетъ возражать: а противникъ то ихъ сама природа, сама исторія.

Въ дополненіе конфузій не слѣдуетъ терять изъ виду, что *отвлеченно-логически* профессоръ правъ, и что, если-бъ не сто

человѣкъ, а сто милліоновъ человѣкъ понимали Гроція и Вателя, такъ они и не стали бы рѣзать другъ друга, ни для моціона, ни изъ клочка земли. Да несчастье-то въ томъ, что при нынѣшнемъ государственномъ устройствѣ, могутъ понимать Гроція и Вателя сто человѣкъ, а не сто милліоновъ. Оттого-то ни лекціи, ни проповѣди не дѣйствуютъ, оттого-то ни отцы доктринеры, ни духовные отцы не могутъ принести намъ облегченія; монахи науки такъ же, какъ и монахи невѣжества, не знаютъ ничего внѣ стѣнъ своихъ монастырей. не повѣряютъ своей теоріи, своихъ выводовъ по событіямъ и тогда, какъ люди гибнуть отъ изверженія вулкана, они съ наслажденіемъ бьютъ тактъ, слушая музыку небесныхъ сферъ и дивясь ея гармоніи.

Бзконъ Веруламскій давнымъ давно уже раздѣлилъ ученыхъ на *пауковъ* и *пчель*. Есть эпохи, въ которыхъ пауки рѣшительно берутъ верхъ и тогда развивается бездна паутины, но мало собирается меду. Есть условія жизни, особенно способствующія паукамъ. Для меда надобны липовыя рощи, цвѣтистыя поля и, пуше всего, крылья и общежительный образъ мыслей. Для паутины достаточенъ тихій уголь, невозмущаемый досугъ, много пыли и безучастіе ко всему, внѣ внутренняго процесса.

Въ обыкновенное время, по пыльной гладкой дорогѣ, еще можно плестись дремля и не обрывая паутины, но чуть пошло черезъ кочки да цѣбликомъ—бѣда.

Была истинно добрая, покойная полоса Европейской исторіи, начавшаяся съ Ватерлоо и продолжавшаяся до 1848 г. Войны тогда не было, а международнаго права и постоянного войска—очень много. Правительства поощряли явно «истинное просвѣщеніе» и давили въ тиши — *ложное*, не было большой свободы, но не было и большого рабства, даже деспоты всѣ были добродушные, въ родѣ патріархальнаго Франца II, піэтиста Фридриха Вильгельма. Промышленность процвѣтала, торговля процвѣтала еще больше, фабрики работали, книгъ писалась бездна, это былъ золотой вѣкъ для всѣхъ паутинь,—въ академическихъ аулахъ и въ кабинетахъ ученыхъ сплелись ткани безконечныя!..

Исторія, уголовное и гражданское право, право международное и сама религія, все было возведено въ область чистаго знанія и падало оттуда самыми кружевными бахромами паутины. Пауки качались привольно на своихъ ниточкахъ, никогда не касаясь земли, что, впрочемъ, было очень хорошо, потому что по землѣ ползали другія насѣкомыя, представлявшія великую идею государства въ *моментъ самозащиты* и сажавшія слишкомъ смѣлыхъ пауковъ въ Шпандау и другія крѣпости. Доктринеры все понимали какъ нельзя лучше *à vol d'araignée*. Прогрессъ чловѣства тогда былъ извѣстенъ какъ высочайшій маршрутъ инког-

нито — этапъ въ этапъ, на станціяхъ готовили лошадей. А тутъ

24 февраля, 24, 25, 26 июня, 2 декабря!

Эти мухи были не по паутинѣ.

Сравнительно слабый толчекъ июльской революціи и тотъ убилъ наповаль такихъ гигантовъ, какъ Нибуръ и Гегель. А еще торжество-то было въ пользу доктринаризма: журналистика, Collège de France, политическая экономія садились на первыя ступени трона вмѣстѣ съ орлеанской династіей. Оставшіеся въ живыхъ оправились и кой-какъ сладили съ 1830 г., они сладили бы, вѣроятно, и съ республикой трубадура Ламартина.

Но какъ совладать съ июньскими днями?

Какъ со вторымъ декабремъ?

Конечно, Гервинусъ поучаетъ, что за демократическимъ переворотомъ *слѣдуетъ* эпоха централизаціи и деспотизма, но все что-то было не ладно. Одни начали поговаривать, не воротиться ли въ средніе вѣка, другіе—просто на просто въ католицизмъ; столпники революціи указывали, неподвижной рукой, по всей желѣзной дорогѣ вѣка — на 93 годъ; іудеи доктринаризма продолжали, вопреки фактамъ, свои лекціи, ожидая, что человѣчество побалууетъ, да и воротится къ Соломонову храму премудрости.

Прошло десять лѣтъ.

Ничего не удалось. Англія не сдѣлалась католической, какъ хотѣлъ Донозо Кортесъ, XIX вѣкъ не сдѣлался XIII-тымъ; по желанію нѣкоторыхъ нѣмцевъ, народы рѣшительно не хотятъ ни французскаго братства (или смерти), ни международнаго права по rease Society, ни почтеннаго убожества по Прудону, ни киргизской діэты—меда и млека.

А католики несутъ свое...

Средневѣковики—свое...

Столпники 93 г.—свое..

И всѣ доктринеры—свое...

Куда же человѣчество идетъ, если оно пренебрегаетъ такими авторитетами?

Можетъ, оно само не знаетъ.

Да мы за него должны знать.

Видно, не туда, куда мы думали. Оно и въ самомъ дѣлѣ трудно знать, куда попадешь, вѣхавши на шарѣ, который нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ чуть не угодилъ подъ комету. А не нынче завтра дастъ трещину, какъ я тебѣ сообщалъ въ прошломъ письмѣ.

1 сентября, 1862.

Письмо пятое.

...«Въ первыя времена моей юности, меня поразилъ одинъ французскій романъ «Arminius», котораго я впослѣдствіи не встрѣчалъ; можетъ, онъ и не имѣеть большихъ достоинствъ, но тогда онъ на меня сильно подѣйствовалъ и я помню главные черты его до сихъ поръ.

«Всѣ мы, больше или меньше, знаемъ встрѣчу и столкновение двухъ историческихъ міровъ въ первые вѣка: одного классическаго, образованнаго, но растлѣннаго и отжившаго, другого дикаго, какъ звѣрь лѣсной, но полнаго непочатыхъ силъ и хаотическихъ стремленій, — только знаемъ мы по большей части одну официальную, *газетную* сторону ихъ столкновения, а не ту, которая совершалась по мелочи, въ тиши домашней жизни. Мы знаемъ гуртовыя событія, а не частныя судьбы; не драмы, въ которыхъ безъ шума ломались жизни и гибли въ личныхъ столкновенияхъ, кровь замѣнялась горькими слезами, опустошенные города разрушенными семьями и забытыми могилами.

«Авторъ «Arminius'a» попытался воспроизвести эту встрѣчу двухъ міровъ у семейнаго очага: одного, идущаго изъ лѣса въ исторію, другого — изъ исторіи въ гробъ. Всемирная исторія тутъ граничитъ со сплетнями и потому становится ближе къ намъ, доступнѣе, соизмѣримѣ¹⁾).

«Не приходило мнѣ тогда въ мысль, что я самъ попаду въ такое же столкновение, что и въ моей жизни развернется, со всей губящей силой своей, подобное столкновение, что и мой очагъ опустѣеть, раздавленный при встрѣчѣ двухъ міровыхъ колесъ исторіи...

«Въ нашемъ отношеніи къ европейцамъ, при всемъ несходствѣ, которое я очень хорошо знаю, есть сходныя черты съ отношеніемъ германцевъ къ римлянамъ. Несмотря на нашу наружность, мы все же варвары. Наша цивилизація наковня, развратъ грубъ, изъ-подъ пудры колеть щетина, изъ-подъ бѣлилъ пробивается загарь. У васъ бездна лукавства дикихъ и уклончивости рабовъ. Мы готовы дать плюху безъ разбора и повалиться въ ноги безъ вины, но... но, я упорно повторяю, мы отстали въ развѣдающей, наслѣдственно зараженной тонкости западнаго растлѣнія.

«У насъ умственное развитіе служить (по крайней мѣрѣ, служило до сихъ поръ²⁾) чистилищемъ и порукой. Исключенія чрез-

¹⁾ Я былъ до того увлеченъ Арминіемъ, что написалъ рядъ подобныхъ сценъ и ихъ критически разбиралъ при мнѣ въ слѣдственной комиссіи (въ 1834 г.) оберъ-полицмейстеръ Цинскій.

²⁾ Все это писано въ 1855 г.

вычайно рѣдки. Образование у насъ кладеть предѣль, за который много гнуснаго не ходить.

«На Западѣ это не такъ. И вотъ почему русскіе мечтатели, вырвавшись на волю, отдаются въ руки всякому человѣку, касающемуся съ сочувствіемъ святынь ихъ, понимающему ихъ заповѣдныя мысли, забывая, что для него эти святыни давно перешли въ обычную фразу, въ форму, что большей частью онъ ихъ повторяетъ, пожалуй, и добросовѣстно, но въ томъ родѣ, въ которомъ попъ, думая вовсе о другомъ, благословляетъ встрѣчнаго. Мы забываемъ, сколько другихъ стихій напутано въ сложной, усталой, болѣзненно пробившейся душѣ западнаго человѣка; сколько онъ уже источенъ, изношенъ завистью, нуждой, тщеславіемъ, самолюбіемъ и въ какой страшный эпикуреизмъ выспаго, болѣзненно-нервнаго порядка перегнулись перенесенныя имъ униженіе, нищета и горячечный бой соревнованія.

Мы все это узнаемъ, когда ударъ нанесенъ; насъ это ошеломляетъ. Мы чувствуемъ себя одураченными и хотимъ отомстить. Глядя на это, иногда мнѣ кажется, что много прольется крови изъ-за столкновенія этихъ двухъ разныхъ развитій»...

Строки эти были писаны нѣсколько лѣтъ тому назадъ ¹⁾.

Я и теперь того же мнѣнія, несмотря на то, что русскіе пользуются въ Европѣ репутацией самыхъ развратныхъ людей. Это происходитъ отъ безцеремонности нашего поведенія и отъ помѣщичьихъ ухватокъ. Мы увѣрили весь свѣтъ въ нашей порочности, такъ, какъ англичане его увѣрили въ своихъ семейныхъ добродѣтеляхъ. На самомъ дѣлѣ ни то, ни другое—не очень глубоко. Русскіе за границей не только безпорядочно живутъ, но хвастаются своими дикими и распущенными привычками. По несчастью встрѣчаясь, при самомъ переѣздѣ границы, съ неловкой и подобострастной родиной кельнеровъ и гофратовъ, русскіе, какъ вообще недовоспитанные люди, перестаютъ стѣсняться, распускаются еще больше и въ этомъ задорномъ состояніи пріѣзжаютъ въ Парижъ и Лондонъ. Мнѣ случалось много разъ замѣчать, какъ русскіе бросаются въ глаза совершенными мелочами, а потомъ поддерживаютъ первое впечатлѣніе какой-то вызывающей *parque*, съ которой они (великіе мастера покорности и вытяжки дома!) не хотятъ покориться принятымъ обычаямъ. Русскаго узнаютъ въ большихъ отеляхъ, потому что онъ кричитъ въ общей залѣ, хохочетъ во все горло и непременно протестуетъ, что нельзя курить въ столовой. Вся эта заносчивость официанта, вышедшаго за ворота господскаго дома, показываетъ гораздо больше незрѣлости, непривычки въ волѣ, чѣмъ глубокой испорченности; съ этой нравственной «сы-

¹⁾ Изъ ненапечатанной части: «Былого и Думъ».

ростью» неразрывно хвастовство. Намъ хочется, какъ 14-лѣтнимъ мальчикамъ, не только напиться, но и показать всему свѣту: «вотъ, молъ, какъ я налился». А весь свѣтъ разсуждаетъ иначе,—онъ, глядя на *то*, что русскіе обнажаютъ, думаетъ, качая головой, что же послѣ этого скрыто - то у нихъ? А тамъ ничего, какъ въ ранцѣ солдатскомъ на парадѣ, только видъ, что туго набито.

Долгая цивилизація, перешедшая поколѣнія и поколѣнія, получаетъ особый букетъ, который *разомъ* не возьмешь, въ этомъ судьба людей схожа съ судьбою рейнвейна. Выработанной пристойностью особенно увлекаться нечего, хотя ходить по ней, какъ по выметенной дорожкѣ гораздо пріятнѣе. Мы, нельзя не признаться, дурно выметены, и грязи много и жесткихъ камней довольно.

Дресура наша въ образованіе свѣжа въ памяти: она дѣлалась черезъ пень колоду, въ томъ родѣ, какъ крестьянина, взятаго во дворъ, стригутъ въ нѣмца и заставляютъ *служить*. Отрекаясь отъ всего склада жизни народной, дворянство упорно сохранило всѣ дурныя ея стороны; бросая за бортъ вмѣстѣ съ предрасудками строгій чинъ и строй народнаго быта, оно осталось при всѣхъ грубо-барскихъ привычкахъ и при всемъ татарскомъ неуваженіи къ себѣ и къ другимъ. Тѣсная, обычная нравственность прежняго времени не замѣнилась ни аристократическимъ понятіемъ чести, ни гражданскимъ понятіемъ доблести, самобытности; она замѣнилась гораздо проще нѣмецкой казарменной дисциплиной *во фронтъ*, подлымъ униженіемъ, подобострастнымъ кліентизмомъ въ *канцеляріи* и ничѣмъ *внѣ службы*.

Внѣ службы дворянинъ превращался изъ битаго деньщика въ бьющаго; въ деревнѣ ему было полное раздолье, тутъ самъ онъ становился капраломъ, вельможей и отцомъ вотчины. Изъ этой жизни волка и просвѣтителя вмѣстѣ вышли всѣ колоссальныя уродства—отъ Бироновыхъ заплечныхъ мастеровъ и Потемкиныхъ большого размѣра до Бироновъ палачей и Потемкиныхъ въ микрометрическомъ сокращеніи; отъ Измайлова, сѣкущаго исправниковъ, до Ноздрева съ оборванной бакенбардой; отъ Аракчеева до баталіонныхъ и ротныхъ Аракчеевыхъ, *заколачивающихъ* въ гробъ солдата; отъ взяточниковъ первыхъ трехъ классовъ до голодной стаи пернатыхъ, *записывающихъ* бѣдныхъ мужиковъ въ могилу—со всеми нестоющими варіаціями пьяныхъ офицеровъ, забіякъ, картежныхъ игроковъ, героевъ ярмарокъ, псарей, драчуновъ, сѣкуновъ, серальниковъ. Въ ихъ числѣ тамъ-сямъ изрѣдка попадался помѣщикъ, сдѣлавшійся иностранцемъ для того, чтобъ остаться человѣкомъ, или «прекрасная душа» Маниловъ, горлица дворянинъ, воркующій въ господскомъ домѣ близъ исправительной конюшни.

Кабацкая оргія нашего разврата имѣетъ характеръ какого-то не-

устоявшася, неуравновѣсившася броженія и бѣснованій; это горячка опьяненія, захватившая цѣлое сословіе, сорвавшееся съ пути, безъ серьезнаго плана и цѣли; но она не имѣетъ еще той въ глубь уходящей, той изъ глуби поднимающейся, тонкой, нервной, *умной*, роковой безнравственности, которыми разлагаются, страдаютъ, умираютъ образованные слои западной жизни.

Но какъ же это случилось? Что за нравственный самумъ подуть на образованный міръ?.. Все прогрессъ да прогрессъ, свободныя учрежденія, желѣзныя дороги, реформы, телеграфы?..

Много хорошаго дѣлается, много хорошаго накапливается, а самумъ-то дуетъ себя да дуетъ, какими то *memento mori*, постоянно усиливаясь и сметая передъ собой все, что на пути. Сердиться за это такъ же нечего, какъ сердиться на бѣлокъ за то, что онѣ ливяють, на море за то, что послѣ прилива (и какъ на смѣхъ въ самую лучшую минуту его) начинается отливъ. Къ этому колебанію, къ этому ритму всего сущаго, къ этой смѣнѣ дня ночью, пора привыкнуть.

Эпоха *лиманья*, въ которой мы застали западный міръ, самая трудная: новая шкура едва показывается, а старая окостенѣла, какъ у носогора — тамъ трещина, тутъ трещина, но *en gros* она держится крѣпко и приросла глубоко. Это положеніе между двухъ шкуръ необычайно тяжело. Все сильное страдаетъ, все слабое, выбивавшееся на поверхность, портится; процессъ обновленія неразрывно идетъ съ процессомъ гніенія и, который возметъ верхъ, неизвѣстно.

Дай мнѣ объяснить мою мысль въ слѣдующемъ письмѣ. Можетъ, я и успѣю тебѣ доказать, что это не *manière de dire*, не субъективное негодованіе (трудно въ самомъ дѣлѣ имѣть личность съ всемірною исторіей), а нѣсколько чертъ, подмѣченныхъ глазами, свободными отъ куриной слѣпоты школьнаго доктринаризма и отъ темной воды мистицизма.

Письмо шестое.

Мы остановились на томъ, что ненадобно сердиться на бѣлокъ за то, что онѣ ливяють, и за то, что всякій годъ зима слѣдуетъ за лѣтомъ. Признаніе неотвратимаго — сила. Только зная морскіе токи и постоянно смѣняющіеся экваторіальные вѣтры, безъ желанія ихъ исправлять, и можно плавать по океану.

Вглядись, какъ вообще дѣла дѣлаются въ природѣ. Въ каждой формаци, въ образованіи каждаго вида, развитіе идетъ на тѣхъ началахъ, съ которыми опредѣлилось зачатіе. Оно укрѣпляется, обособляется, получаетъ больше или меньше безвозвратный

характеръ отъ взаимнаго дѣйствія развивающихся началъ и среды. Новые элементы могутъ превзойти, новыя условія могутъ измѣнить направленіе, могутъ остановить начатое и замѣнить его совсѣмъ инымъ; но опредѣлившееся развитіе, если оно не утратитъ своей индивидуальности, если оно продолжится, пойдетъ далѣе непременно съ своей *особенностью*, развивая свою *односторонность* и односторонность своей среды, т. е. свой *частный случай*. Это нисколько не мѣшаетъ сосѣдямъ, по пространству или по времени, развивать всевозможныя варіаціи на ту же тему, съ разными восполненіями и недостатками, съ своими односторонностями, сообразными другимъ условіямъ и другой средѣ. Только при началѣ образованія видовъ есть неопредѣленная и безхарактерная эпоха, эпоха такъ сказать до-зоологическаго состоянія въ яйцѣ и зародышѣ.

О перерожденіи животныхъ видовъ мы очень мало знаемъ. Вся *исторія* ихъ вообще совершилась за спиной человѣка и въ огромные періоды лѣтъ, въ которыхъ не было *свидѣтеля*. Передъ нами стоятъ теперь оконченные, осѣдлые типы, до того далекіе другъ отъ друга, что всякій переходъ между ними невозможенъ. За каждымъ животнымъ просвѣчиваетъ длинная исторія—стремленій, прогресса, avortement и уравнишенія, въ которомъ формы его успокоились наконецъ, не выполнивъ смутнаго идеала своего, но остановившись на возможномъ, на русскомъ «живетъ и такъ».

Само собою разумѣется, что естественныя явленія не имѣютъ ни въ чемъ ни рѣзкихъ границъ, ни безвозвратныхъ приговоровъ. Приостановившееся творчество, сведенное на одно повтореніе, можетъ всегда быть разбужено; оно въ нѣкоторыхъ случаяхъ перешло изъ-подъ вліяній планетныхъ подъ вліяніе человѣка; онъ своей культурой развилъ растительныя и животныя виды, которые сами собою не развились бы.

Все это бросаетъ огромный свѣтъ на вопросы, насъ занимающіе.

Исторія представляетъ намъ *на самомъ дѣлѣ* схваченную, неосвѣвшую, осѣдающую формацію, хранящую въ памяти своей главныя фазы развитія и ихъ переливы. Однѣ части рода человѣческаго достигли соответствующей формы и побѣдили, такъ сказать, исторію; другія въ разгарѣ дѣятельности и борьбы творятъ ее; третьи, какъ недавно обсохнувшее дно моря, готовы для всякихъ сѣмянъ, для всякихъ посѣвовъ и всѣмъ даютъ неистощенную, тучную почву.

Такъ, какъ нельзя сказать, глядя на тихое море, что оно черезъ часъ не будетъ вовлечено въ бурю, такъ нельзя положительно утверждать, что Китай, напримѣръ, или Японія будутъ продолжать вѣка и вѣка свою отчужденную, замкнутую, остановившуюся

форму бытія. Почему знать, что какое-нибудь слово не падеть каплей дрожжей въ эти сонные милліоны и не подниметь ихъ къ новой жизни? Но если мы не имѣемъ права безусловнаго, непреложнаго заключенія, то изъ этого никакъ не слѣдуетъ, чтобы, всматриваясь и наблюдая, мы не имѣли права дѣлать никакихъ заключеній. Рыбакъ, глядящій на безоблачное небо, во время безвѣтрія, почти навѣрное будетъ правъ, предполагая, что *черезъ часъ* не будетъ бури.

Я только этого права и добиваюсь въ разсматриваніи современной исторіи. Для меня очевидно, что западный міръ доразвился до какихъ то границъ... и въ послѣдній часъ у него недостаетъ духу ни перейти ихъ, ни довольствоваться приобрѣтеннымъ. Тягость современнаго состоянія основана на томъ, что *на сію минуту* дѣятельное меньшинство не чувствуетъ себя въ силахъ ни создать формы быта, соответствующаго новой мысли, ни отказаться отъ старыхъ идеаловъ, ни откровенно принять выработавшееся по дорогѣ *мѣщанское государство* за такую соответствующую форму жизни германо-романскихъ народовъ, какъ соответствена китайская форма—Китаю.

Мучительное состояніе, колебаніе и нерѣшительность дѣлаютъ жизнь Европы невыносимой. Успокоится ли она, отбрасывая предразсудки прошлаго и упованья на будущее, или безпокойный духъ западныхъ *вершинъ и низовъ* смоесть новыя плотины,—я не знаю; но во всякомъ случаѣ считаю современное состояніе какимъ-то временемъ истомы и агоніи. Нельзя жить между двумя идеалами.

Одинъ примѣръ, со всѣми подробностями, даетъ намъ исторія.

Длинный процессъ окончанія древняго міра и водворенія міра христіанскаго представляютъ намъ всѣ формы исторической смерти, переселенія душъ и рожденія. Цѣлыя государства остановились, вышли изъ движенія, не взошли въ христіанскую формацию, одряхлѣли и разрушились. Дикія племена, едва собранныя въ правильныя стада, сложились рядомъ съ ними въ новые, сильные государственные организмы... а Римъ, древній городъ по превосходству, переродился въ городъ по превосходству католическій.

«Тѣ, которые отрицаютъ внутреннюю необходимость смерти древняго Рима и находятъ, что онъ убитъ насильственно, забываютъ одно, что всякая смерть насильственна. Смерть вовсе не лежитъ въ понятіи живого организма, она внѣ его, за его предѣломъ. Старчество и болѣзнь протестуютъ своими страданіями противъ смерти, а не зовутъ ее, и, найди они *въ себѣ силы* или *внѣ себя* средства, они побѣдили бы смерть.»

Варвары — варварами, но ненадобно думать, что вся болѣзнь античнаго міра была отъ побоевъ. Мысль его, съ тацитовскихъ

время, явнымъ образомъ становилась мрачной, усталой. Тягость, тоска доходили до самоубійства, до того, что весь міръ чуть не сошелъ съ ума.

Возлѣ людей, презиравшихъ смерть, возлѣ людей, не вѣрившихъ жизни, возлѣ фанатиковъ, шедшихъ на разрушеніе древней вѣсы до послѣдняго камня, и фанатиковъ, ожидавшихъ, что древняя вѣса возникнетъ съ до-пуническими добродѣтелями, была *толпковая* посредственность, толпа не слѣпыхъ и не зрячихъ, толпа міоповъ, которые за недосугомъ ежедневныхъ заботъ, за военными новостями, за сенатскими дѣлами, придворными сплетнями, схоластической меледой и безконечной задачей домашняго хозяйства ничего не видали, ни Катилину, ни смерти, пожимали плечами, слушая бредъ христіанскихъ якобинцевъ, презирали варваровъ и смѣялись надъ ихъ неотесанностью, не догадываясь, что эти лѣсные готтентоты, бѣлобрысые и длинноволосые, идутъ на историческую смѣну.

Отслужили и варвары свою службу, отстояли свои часы; страшно богатая и широкая эпоха развилась ими, но и они дошли до предѣловъ *своего* образованія: имъ приходится отречься отъ основныхъ началъ своихъ, или въ нихъ успокоиться.

Міру современной цивилизаціи очень трудно сладить съ новыми началами, мучащими его. Что можно было поправить, — поправлено, что переверотить, — переверотчено; далѣе приходится хранить приобрѣтенное или выйти изъ той *односторонности*, изъ того *частнаго случая*, который составляетъ его личность. Послѣднее слово католицизма сказано реформаціей и революціей.

Въ громахъ и ураганахъ, слѣдовавшихъ за торжественнымъ 1789 годомъ, завершился германо-романскій міръ. Землетрясеніе французской революціи шло вершинами и пропастями, великимъ и страшнымъ, побѣдами и терроромъ, частными обрывами и потрясеніями до 1848 года; тутъ *аминь*, нес plus ultra. Катаклизмъ, поднявшійся со времени возрожденія и реформы, окончился.

Внутри идетъ работа; микроскопическое тканье, вывѣтриваніе и наносы, «мышья бѣготня» исторіи, вулканическая работа подъ землей, просасываніе волосяными сосудами прошлой осени въ будущую весну. Вверху страшныя сновидѣнія, мертвецы въ старыхъ доспѣхахъ и старыхъ тіарахъ и фантастическіе, несбыточно свѣтлые образы, мучительныя страданія, безумныя надежды, горькое сознаніе своей слабости и безсилія разума. Внизу бездонная пропасть стихійныхъ страстей доисторическаго сна, дѣтскихъ грезъ, циклопической, кротовой работы; на это дно и голосъ человѣчскій не доходитъ, какъ вѣтеръ не доходитъ до глубины морской; иной разъ только слышится тамъ военная труба и барабанъ, зовущіе на кровь, общающіе убійства и дающіе разореніе.

Между фантастами наверху и дикими внизу колеблется *среднее состояніе*, не имѣя ни силы гордо сказать свое: *Я царь!* ни самоотверженія идти въ іезуиты или въ социалисты.

Этотъ слой, колеблющійся *между двумя нравственностями*, и представляетъ именно своимъ колебаніемъ ту среду порчи, о которой идетъ рѣчь.

Да какъ это между двумя нравственностями? Что такое между двумя нравственностями? И развѣ есть двѣ нравственности, развѣ не одна вѣчная, безусловная нравственность, *une et indivisible*?

Абсолютная нравственность должна дѣлить судьбу всего абсолютнаго,—она внѣ теоретической мысли, внѣ отвлеченій вовсе не существуетъ. Нравственностей *нѣсколько* и всѣ онѣ очень относительныя, т. е. историческія.

Первые христіане высказали это очень прямо, очень смѣло, безъ обиняковъ, и объявивши, что новый Адамъ принесъ новую нравственность, что языческія добродѣтели для христіанина—блестящіе пороки, закрыли Платона, закрыли Цицерона и пошли тащить съ пьедесталей златовласыхъ Афродитъ, волоокихъ Геръ и другія *грѣшныя святѣны* старой нравственности.

Плиній смотрѣлъ на нихъ, какъ на дураковъ, Траянъ презиралъ ихъ, Лукьянъ хохоталъ надъ ними, а они начали новый міръ и *новую* нравственность. Ихъ новая нравственность, въ свою очередь, сдѣлалась старой. Объ этомъ у насъ только и идетъ рѣчь.

Революція, что могла, *секуляризовала* изъ катехизиса, но революція такъ же, какъ реформація стояли на церковномъ погостѣ. У Эгмонта и Альбы, у Кальвина и Гиза, у Людвига XVI и Робеспьера были общія вѣрованія; они отличались, какъ раскольники—оттѣнками. Вольтеръ, пріѣхавшій, закутавшись въ шубу, въ каретѣ смотрѣлъ восхожденіе солнца и ставшій на дрожавія колѣна съ молитвой на устахъ, Вольтеръ, благословившій Франклинова внука «во имя Бога и свободы», такой же богословъ, какъ Василій Великій и Григорій Назіанзинъ, только разныхъ толковъ. Лунный, холодный отсвѣтъ католицизма прошелъ всѣми судьбами революцій и, въ двѣнадцатый часъ ея, еще развернулъ хоругвь съ надписью *Dio e Popolo!*

Кое-гдѣ на вершинахъ начинается заря новаго дня и борется съ мѣсячнымъ свѣтомъ, обличая вопіющее противорѣчіе вѣры и сознанія, церкви и науки, закона и совѣсти, но объ этомъ на долинахъ не знаютъ. Это для малаго числа избранныхъ.

Частный союзъ науки съ религіей невозможенъ, а *союзъ есть*, — отсюда и дѣлай заключеніе о нравственности, которая основана на такомъ союзѣ. Дѣло въ томъ, что разумъ, боясь скандала, скрываетъ свою истину, наука скрываетъ свою беременность отъ Пана и обѣ обмалчиваются, шепчутся, говорятъ шифрами, или

просто лгутъ, оставляя людей въ совершенномъ хаосѣ сбивчивыхъ понятій, въ которыхъ молитвы о дождѣ смѣшаны съ барометрами, химія съ чудесами, телеграфы съ четками.

И это все какъ-то рутинно, по привычкѣ, вѣрь не вѣрь, только исполняй извѣстные приличія. Кто обманутый? Для чего все это? Одно обязательное правило и осталось сильнымъ и общепринятымъ: *думай какъ знаешь*, но *лги* какъ другіе.

Пророки могутъ вести народы видѣніями и страстными словами, но не могутъ вести, скрывая даръ пророчества, или поклоняясь Ваалу.

Чему же удивиться, что пустота жизни растетъ съ страшной быстротой, наталкивая людей неяснымъ пониманьемъ, мертвящей скукой, на всякаго рода безумья—отъ игры на биржѣ до игры въ вертящіеся столы?

Повидимому, все идетъ въ порядкѣ: солидные люди заняты ежедневными заботами, своими дѣлами, возможными цѣлями: они ненавидятъ всякія утопіи и всѣ перехватывающіе идеалы, а въ сущности это не такъ, и сами солидные люди съ своими праотцами все, что ни выработали хорошаго, выработали, постоянно идучи за радугой и осуществляя невозможности въ родѣ католицизма, реформаціи, революціи. Этыхъ-то радугъ больше и вѣтъ, по крайней мѣрѣ, оптический обманъ не обманываетъ больше.

Всѣ прежніе идеалы потухли, *всѣ до единого*.

Страшные, безплодные юньскіе дни 1848 были протестомъ отчаянія; они не создавали, они разрушали, но разрушаемое оказалось крѣпче! Съ взятіемъ послѣдней баррикады, съ отправкой послѣдней депортации безъ суда настаетъ эра для *порядка*.—Утопія демократической республики улетучилась такъ же, какъ утопія царства небеснаго на землѣ. *Освобожденіе* оказалось окончательно несостоятельнымъ.

Но общественное броженіе не настолько успокоилось, чтобъ люди занялись тихо своимъ дѣломъ; надобно было *занять умы*, а безъ утопій, безъ эпидемическихъ увлеченій идеалами плохо. Хорошо еще, если-бъ безъ нихъ, обманутыя въ ожиданіи, народныя массы только бы плѣснѣли и загнивали на ирландскій манеръ, какъ стоячая вода, а то, пожалуй, онѣ поднимутся одичалыя и попробуютъ своими самсоновскими мышцами,—крѣпки ли столбы общественной храмины, въ которыхъ онѣ прикованы!

Гдѣ же взять безопасные идеалы?

Затруднятся нечего,—въ душѣ человѣческой обителей много. Сортировка людей по народностямъ становилась больше и больше бѣднымъ идеаломъ въ этомъ мірѣ, схоронившемъ революцію.

Политическія партіи распустились въ *національныя*,—это не только шагъ за революцію, но шагъ за христіанство. Обще-чело-

вѣческія стремленія католицизма и революцій уступили мѣсто языческому патриотизму и честь знамени осталась единственной, неприкосновенной честью народовъ.

Когда мнѣ приходитъ въ голову, что, двѣнадцать лѣтъ тому назадъ, въ парижскихъ салонахъ, гуляка и шутъ Ромье проповѣдывалъ во всеуслышаніе, что возбужденныя революціонныя силы надобно своротить съ ихъ страшной дороги и направить на вопросы національные. пожалуй династическіе, я невольно, по старой памяти, краснѣю отъ стыда

Воевать за что-бъ то ни было надобно, иначе въ этомъ застоѣ нападетъ китайскій сонъ; ну, а его долго не разбудишь. Да нужно ли будить?—Въ этомъ то и вопросъ.

Послѣднимъ могиканамъ XVIII столѣтія, Донъ-Кихотамъ революціи, социалистамъ и долею литераторамъ, поэтамъ и вообще всякимъ эксцентричностямъ спать не хочется и они, насколько могутъ, мѣшаютъ массамъ заснуть. Первѣчистое мѣщанство совѣстится признаться, что ему спать хочется и туда же бормочетъ въ полуснѣ неясныя слова о прогрессѣ, свободѣ...

Будить надобно войной. А есть ли во всей оружейной палатѣ прошлаго знамя, хоругвь, слово, идея, изъ-за которыхъ бы люди пошли драться, которыхъ бы они не видали опозоренными и въ грязи... Suffrage universel можетъ быть?...

Нѣтъ, не пойдетъ человѣкъ нашего времени ни за одинъ развѣнчанный идолъ съ тѣмъ свѣтлымъ самоотверженіемъ, съ которымъ шель его предокъ на костеръ за право пѣть псалмы, съ той гордой самоувѣренностью, съ которой шель его отецъ на гильотину—за единую и нераздѣльную республику. Вѣдь, онъ знаетъ, что ни псалмы, пѣтые по нѣмецки, ни освобожденіе народовъ по французски, ни къ чему не ведутъ.

А за *незнакомаго бога*, тайкомъ идущаго за стѣнкой, умирать нельзя. Пусть онъ прежде скажетъ, кто онъ такой, пусть признаетъ себя за бога и съ дерзостью св. Августина скажетъ въ глаза старому міру, что его «добродѣтели—пороки, что его истины—нелѣпость и ложь».

Ну, это будетъ не сегодня и не завтра.

«Благоразумный человѣкъ нашего вѣка, какъ Фридрихъ II—*esprit fort* въ своей комнатѣ и *esprit accomodant* на площади. Входя въ свой кабинетъ, изъ котораго выслались лакеи, король дѣлался философомъ; но выходя изъ него, философъ дѣлался королемъ.»

...Вотъ тутъ то «быки и стоятъ передъ горой!»

А, впрочемъ, нельзя отрицать, что свѣтъ разума все больше и больше разсѣиваетъ тьму предрасудковъ... Всего досаднѣе, что людямъ недосугъ и рано умираютъ: только начнетъ въ умъ вхо-

дять человѣкъ, глядишь, а ужъ и несутъ на кладбище. Невольно вспомнишь извѣстную лошадь, которую пасторъ совсѣмъ было отучилъ отъ ѣды, да смерть помѣшала.

...Въ альпійскихъ ледникахъ всякое лѣто оттаиваетъ кора льда, но масса его такъ толста, что осень всякой разъ захватываетъ на полдорогѣ дѣло лучей солнечныхъ и кора опять начинается замерзать, иногда впрочемъ не достигая прежней толщины. Метеорологи рассчитывали много разъ, сколько вѣковъ и вѣковъ необходимо лѣту работать надъ зимой, чтобъ распустить весь ледъ. Многіе сомнѣваются, чтобъ вообще солнце само по себѣ дошло до этого, — развѣ вулканическій взрывъ поможетъ.

Въ исторіи этотъ счетъ еще не дѣланъ.

2а октября. 1862.

Письмо седьмое.

Шесть дней на работу, а седьмой на отдыхъ. Не даромъ Моисей и Прудонъ защищаютъ день субботній. Однообразный трудъ страшно утомляетъ. Надобно періодическія паузы, въ которыя человѣкъ, вымывши руки и надѣвъ чистое платье, идетъ не на работу, а гулять, посмотрѣть на добрыхъ людей, посмотрѣть на природу, одуматься, свободно вздохнуть, «воскреснуть» ¹⁾.

Вотъ и я сдѣлалъ себѣ изъ моей періодической болтовни о «Концахъ и Началахъ» воскресную рекреацію и ухожу въ нее отъ ежедневныхъ диссонансовъ, газетныхъ мерзостей и будничныхъ споровъ, въ которыхъ мѣняются часы и числа, но мнѣнія и рѣчи остаются тѣ же, ... ухожу какъ въ какую-нибудь отдаленную келью, изъ оконъ которой не видать многихъ подробностей, не слышать многихъ звуковъ, но ясно видны молчащіе очерки близкихъ и далекихъ горъ и внятно доходить морской гулъ.

Можетъ, ты найдешь, что я невесело праздную свои праздники, — вспомни, что я въ Англии, гдѣ изъ всѣхъ скучныхъ дней, воскресенье самый скучный.

Ну, что-жъ дѣлать, поскучай еще разъ, а я, съ своей стороны, постараюсь, какъ можно забавнѣе тебѣ рассказать тѣ печальныя вещи, о которыхъ мы говоримъ.

Да точно ли онѣ печальны? И не пора ли, если-бъ и въ самомъ дѣлѣ было такъ, примириться съ ними? Нельзя вѣчно горевать о вещахъ, которыя не въ нашей волѣ перемѣнить. Не лучше

¹⁾ Sie feiern Auferstehung des Herrn,
Denn Sie sind selber auferstanden
Aus niedrigen Häusern, dumpfen Gemächern.—Faust.

ли по добру да поздорову провѣрить приходо-расходныя книги, достающіяся намъ по наслѣдству и, забывая неумѣренныя траты и невознаградимыя потери, принять съ смиреніемъ духа итогъ за новую точку отправления. Тоскуй, сколько хочешь, дѣлу не поможешь; мало ли кто какъ могъ употребить свой наслѣдственный капиталъ, мало ли кто что грезилъ, получая его, и что мы грезили за него. .. *Симфонія эройка* кончена, начинается дѣловая жизнь. Вино отшипѣло, будемъ пить *сухую tisanne de champagne*. Оно не такъ вкусно, но говорятъ здоровѣе.

Часть образованнаго міра страждетъ—стародѣвической тоской—о счастьи, котораго она не утратила, а вовсе не имѣла. И вмѣсто того, чтобъ твердо рѣшиться на вдовство безъ замужества, хнычетъ о томъ, что *идеалъ* молодыхъ лѣтъ не похитилъ, не увезъ ее... Что дѣлать?—не увезъ, а теперь поздно.

Люди досаждаютъ за то, что у нихъ нѣтъ крыльевъ и отъ этого не заботятся объ обуви. Тягость европейской жизни въ наиболѣе развитыхъ слояхъ въ прямой зависимости отъ ея ложнаго положенія между несбыточными мечтами и пренебреженіемъ того, что есть.

Рядомъ съ идеалами серафимскихъ крыльевъ, больше и больше пропадающими въ мракъ прошедшаго, и идеалами другихъ крыльевъ, исчезающихъ въ будущемъ,—сложился цѣлый самобытный міръ, на который мечтатели сердятся за то, что онъ исполнилъ то, что могъ, а не то, что они ожидали, т. е. не крылья. Пока этотъ міръ не признаютъ власть и право имущимъ, до тѣхъ поръ продолжится лихорадочное броженіе, постоянная ложь въ жизни, невольная измѣна и своему идеалу и практической реальности, которая обличается въ непрерывномъ противорѣчьи словъ и дѣлъ, фразы и поведенія.

Міръ этотъ не боекъ на словахъ и не рѣчисть, несмотря на то, что онъ создалъ великій рычагъ, стоящій рядомъ съ паромъ и электричествомъ, рычагъ афиши, объявленій, *рекламъ*,—и совсѣмъ гѣмъ онъ не умѣетъ стать во весь ростъ, во всю толщину и громко сказать народамъ: «Я альфа и омега вашего развитія; идите ко мнѣ и я дамъ, что дать можно; но перестаньте толкаться во всѣ двери, которыя вамъ не отпираютъ: однѣ потому, что некому отпереть, другія потому, что никуда не ведутъ. Помните, наконецъ, что нѣтъ вамъ Бога развѣ меня и перестаньте поклоняться всѣмъ кумирамъ на свѣтѣ и желать всякихъ крыльевъ на свѣтѣ. Поймите, что нельзя проповѣдывать въ одно и то же время христіанскую нищету и политическую экономію, соціальныя теории и безусловное право собственности. Доселѣ моя власть существуетъ какъ фактъ, но не какъ признанная основа нравственности, даже не какъ знамя, и еще хуже—меня отрицаютъ, меня оскорбляютъ въ церквахъ и академіяхъ, въ аристократическихъ залахъ

и сходкахъ клубистовъ, въ рѣчахъ и въ проповѣдяхъ, въ романахъ и журналахъ. . Мнѣ надоѣла роль провинціальной родни, отъ которой столичныя фаты получаютъ деньги и домашніе запасы, но о которой умалчиваютъ или говорятъ краснѣя. Я не только хочу царствовать, но хочу одѣться въ порфиру».

Да, любезный другъ, пора придти къ покойному и смиренному сознанию, что *мѣщанство* окончательная форма западной цивилизаціи, ея совершеннѣе — *état adulte*, *имѣ* замыкается длинной рядъ его сновидѣній, оканчивается эпопея роста, романъ юности — все, вносившее столько поэзіи и бѣды въ жизнь народовъ. Послѣ всѣхъ мечтаній и стремленій... оно представляетъ людямъ скромный покой, менѣе тревожную жизнь и посильнее довольство не запертое ни для кого, хотя и недостаточное для большинства. Народы западныя выработали тяжкимъ трудомъ свои зимнія квартиры. Пусть другіе покажутъ свою прыть. Время отъ времени, конечно, будутъ еще являться люди прежняго броженія, героическихъ эпохъ, другихъ формаций—монахи, рыцари, квакеры, якобинцы, но ихъ мимолетныя явленія не будутъ въ силахъ измѣнить главный тонъ.

Великіе стихійные ураганы, поднимавшіе всю поверхность западнаго моря, превратились въ тихой морской вѣтерокъ—не опасной кораблямъ, но способствующій ихъ прибрежному плаванію. Христіанство обмелѣло и успокоилось въ покойной и каменистой гавани реформаціи; обмелѣла и революція въ покойной и песчаной гавани либерализма. Протестантизмъ, суровый въ мелочахъ религіи, постигъ тайну примиренія церкви, презирающей блага земныя, съ владычествомъ торговли и наживы. Либерализмъ, суровый въ мелочахъ политическихъ, умѣлъ соединить еще хитрѣе постоянный протестъ противъ правительства съ постоянной покорностью ему.

Съ такой снисходительной церковью, съ такой ручной революціей... западный міръ сталъ отстаиваться, уравниваться: все, что ему мѣшало, утягивалось мало-по-малу въ тяжелѣвшія волны, какъ наѣкомыя, захваченныя смолой янтаря. Задыхаясь испустилъ крикъ досады Байронъ и бѣжалъ, одинъ изъ первыхъ, *куда-нибудь*... въ Грецію ¹⁾. Стоически оставшись въ Франкфуртѣ, медленно задыхался Шопенгауеръ, помѣчая, какъ Сенека, съ разрыванными венами, прогрессъ смерти и привѣтствуя ее какъ избавительницу... Это нисколько не мѣшало повороту всей европейской жизни въ пользу тишины и кристаллизаціи, напротивъ, онъ

¹⁾ До какой степени развитые люди чувствовали тогда свое отчужденіе и выдумывали себѣ жизнь, занятія и пр., ты можешь ясно видѣть въ *Recollections of the last days of Byron and Shelley*—Трелоне.

становился яснѣе и яснѣе. Личности стирались, родовой типизмъ сглаживать все рѣзко индивидуальное, *безпокойное*, эксцентрическое. Люди, какъ товаръ, становились чѣмъ-то гуртовымъ, оптовымъ, дюжиннымъ, дешевле, плоше врозь, но многочисленнѣе и сильнѣе въ массѣ. Индивидуальности терялись, какъ брызги водопада, въ общемъ потоцѣ, не имѣя даже слабаго утѣшенія «блеснуть и отличиться, проходя полосой радуги». Отсюда противное намъ, но естественное равнодушіе къ жизни ближняго и судьбѣ лицъ: дѣло въ типѣ, дѣло въ родѣ, дѣло въ дѣлѣ,—а не въ лицѣ. Сегодня засыпало въ угольной копѣ сто человѣкъ, завтра будутъ засыпаны пятьдесятъ, сегодня на одной желѣзной дорогѣ убито десять человѣкъ, завтра убьютъ пять... и всѣ смотрятъ на это какъ на частное зло. Общество предлагаетъ страховать... Что же оно можетъ больше сдѣлать?.. Въ перевозимомъ товарѣ, живомъ и мертвомъ, оттого что убили чьего-нибудь отца или сына, недостатка не можетъ быть; въ живыхъ снарядахъ для углекопей тоже. Нужна лошадь, нуженъ работникъ, а ужъ именно саврасая ли лошадь, или работникъ Анемподистъ—совершенно все равно. Въ этомъ *все равно*, вся тайна замѣны лицъ массами, поглощенія личныхъ самобытностей родомъ.

Одна буря, было, подымалась, грозя всѣхъ разбудить и помѣшать мѣщанской кристаллизаціи, снести колокольни и каланчи, ограды и таможни, но, во время отведенная громоотводами, она вѣт игры. И легче себѣ представить Европу, возвратившуюся въ католицизмъ временъ Григорія Гильдебрандта, по приглашенію Довозо Кортеса и графа Монталамбера, чѣмъ социальной республикой по рецепту Фурье или Кабэ. Впрочемъ, кто же теперь серьезно говорить о социализмѣ! Съ этой стороны западный міръ можетъ быть доволенъ.—ставни закрыты, зарницъ не видать, до грому далеко... Онъ можетъ спокойно покрыться стеганымъ одѣяломъ, повязать фуляръ и погасить свѣчу.

Gute Nacht, Gute Nacht,
Liebe Mutter Dorothee!

Но у бѣдной матери Доротеи, какъ у Гретхенъ, братъ солдатъ и, какъ всѣ солдаты, любить шумъ и драку и не дастъ спать. Она бы его давно сбывла съ рукъ, да есть кой-какіе дорогіе пожитки, такъ насчетъ голодныхъ сосѣдей безъ сторожа нельзя. Ну, а брату мало быть сторожемъ—амбиція. «Я, говоритъ, рыцарь, жажду подвиговъ и повышеній».

...Да, если-бъ можно было свести войско на опричниковъ собственности, на тѣлохранителей капитала и лейбъ-гвардію имущества, все бы быстро достигнуло прочнаго, окончателнаго строя. Но въ мірѣ нѣтъ ничего совершеннаго и наслѣдственный рыцарскій духъ мѣшаетъ покойному осажденію докипающей жизни и

поддерживаетъ броженіе. Какъ грабежъ ни заманчивъ, и кровожадность ни естественна людямъ вообще, но гусарская удалъ и суворовскій задоръ не совмѣстны съ совершеннолѣтіемъ, съ ровнымъ и тихимъ развитіемъ. Отвращеніе Китая отъ всего военнаго гораздо понятнѣе у сложившагося народа, чѣмъ пристрастіе къ «выпушкамъ, погончикамъ, петличкамъ».

Вотъ тутъ и загвоздка! Что дѣлать съ *великимъ народомъ*, который хвастается тѣмъ, что онъ *народъ военный*, который весь состоитъ изъ зуавовъ, пью-пью и французовъ, т. е. тоже солдаты?..

Peuple de France, peuple de braves!

Смѣшно говорить о покойныхъ ночахъ, прогулкахъ при лунномъ свѣтѣ, о свободѣ политической, торговой и всяческой, когда пятьсотъ тысячъ штыковъ, праздныхъ и скучающихъ, требуютъ заявить свое «право на работу».

На то гальскій пѣтухъ, чтобъ ни одна индѣйка, ни одна утка и ни одинъ гусь въ Европѣ не дремалъ покойно.

Въ самомъ дѣлѣ, перейди Франція изъ военной службы въ штатскую (безъ службы она ужъ не можетъ жить) и все пойдетъ какъ по маслу. Англія бросить въ море ненужныя ружья, купленные для рейфльменовъ, мой groscey Джонсонъ (and Son) первый промѣняетъ свой штуцеръ на удочку и пойдетъ въ Темзѣ удить рыбу, Кобденъ ослабитъ все, что укрѣпилъ Пальмерстонъ и фельдмаршала Кембриджскаго выберутъ предсѣдателемъ Peace Society.

Но Франція и не думаетъ выходить изъ военной службы—да и нельзя: на кого оставить Мексику, папу римскаго, и *безъ ма-лаго* единую Италію? Знамя замѣшано, дѣлать нечего!

Peuple de France, peuple de braves!

Какъ же быть?

Позволь мнѣ на этомъ остановиться и рассказать новую встрѣчу съ однимъ старымъ знакомымъ; онъ смѣлѣй, съ своей точки зрѣнія «поврежденнаго», меня рѣшалъ эти вопросы.

Иду я какъ-то года два тому назадъ по Странду, смотрю въ дверяхъ большой лавки съ дорожными вещами хлопочетъ какая-то толстенькая, подвижная фигура, рѣзко не лондонская, съ разными признаками Италіи, въ свѣтлосѣрой шляпѣ, въ легкомъ желтомъ пальто и съ огромной черной бородой; мнѣ казалось, что я гдѣ-то видалъ ее... Всматриваюсь... онъ, точно онъ, мой здоровый, разбитной лекаръ, съ волчьими зубами и веселостью хорошаго пищеваренія, тотъ самый лекаръ, съ которымъ въ былыя времена мы «рѣзали собакъ и кошекъ», какъ онъ выражался, и то не въ Италіи, а въ анатомическомъ театрѣ московскаго университета.

— На этотъ разъ, сказалъ я русскому-итальянцу, не вамъ первому достанется честь узнать стараго знакомаго.

— *Escolò!* вотъ прелесть! скажите пожалуйста—и онъ бросился меня цѣловать, такъ коротко онъ познакомился со мной во время своего отсутствія.

— Если вы будете часто такъ поднимать обѣ руки, замѣтилъ я ему, у васъ непременно отрѣжутъ дорожный мѣшочекъ.

— Знаемъ, знаемъ, классическая страна воровства... Помните Донъ - Жуанъ, ну, тамъ въ концѣ, когда онъ возвращается въ Лондонъ.

— Помню. Ну, а вашъ чудакъ съ вами?

— Какъ же, онъ меня ждетъ въ *Hôtel'ѣ*, сунулся было на улицу, да тотчасъ назадъ, такая, говоритъ, толпа и духота, что боюсь морской болѣзни, вотъ меня и послалъ купить кой-какія вещицы на дорогу, мы завтра отправляемся въ Техасъ.

— Куда?

Въ Техасъ, ну, знаете въ Америкѣ.

— Зачѣмъ?

— А зачѣмъ жили въ Калабріи. Телемакъ-то мой ни на волосъ не перемѣнился, только эдакъ солиднѣе прежняго заговаривается. Помните, какъ онъ вамъ толковалъ, что планета больна и что пора людямъ вылечиться отъ исторіи; вотъ онъ и убѣдился теперь, что леченіе въ Европѣ идетъ медленно,—ну онъ и ѣдетъ въ какой-то Техасъ. Я привыкъ къ нему, все по прежнему споримъ цѣлый день, это людей ужасно связываетъ. Что же, посмотримъ и Америку!

— Ну, а что въ Калабріи?

— Ему-то тамъ сначала понравилось, т. е. по нашему вся Калабрія хуже послѣдняго уѣзднаго города въ какой-нибудь Саратовской губерніи,—тамъ хоть биллиардъ есть, ну какая-нибудь вдовушка чиновница, ну хоть какая-нибудь солдатка въ слободкѣ, а тутъ разбойники, пастухи, да попы, да такіе, что и не различишь, который разбойникъ, который пасторъ, который попъ. Наняли мы тамъ полуразвалившійся радклифовой вертепъ; ящерицы, бестіи, бѣлымъ днемъ по полу ходятъ, а ночью нетопыри по залѣ летаютъ, хлопъ въ стѣну, хлопъ. Я, впрочемъ, уѣзжалъ нѣсколько разъ и въ Неаполь, и въ Палермо... А каковъ Гарибальди? Вотъ человѣкъ-то, съ такимъ не пропадешь!.. А онъ все сидѣлъ въ своемъ замкѣ, только разъ съѣздилъ въ Римъ. Римъ ему по вкусу пришелся, будто сейчасъ пѣвчіе перестали пѣть «со святыми упокой!» Гамлетъ, гробокопатель!

— А что, вашъ Гамлетъ показывается?

— Безъ сомнѣнія. Онъ поминалъ васъ нѣсколько разъ; «онъ, говоритъ, сбивается еще, а, впрочемъ, на хорошей дорогѣ», ха, ха, ха!

— И то хорошо. Пойдемте къ нему.

— Съ удовольствіемъ.

Евгенія Николаевича я нашелъ сильно постарѣвшимъ. Лицо его, больше покойное, получило какой-то клерикально задумчивой отгѣнокъ; сухая, матовая блѣдность придавала его лицу что-то не живое, темные обводы около глазъ, больше прежняго впавшихъ, дѣлали зловѣщимъ прежнее грустное выраженіе ихъ.

— Вы бѣжите отъ насъ, Евгеній Николаевичъ, за океанъ, ска- залъ я ему.

— И вамъ совѣтую.

— Что же такъ?

— Утомительно-съ очень здѣсь.

— Да, вѣдь, вы это знали и прежде, вы мнѣ говорили это во- семь лѣтъ тому назадъ.

— Это правда, но, признаюсь, я думалъ, что будетъ война.

— Какая война?

— Война, и онъ покрутилъ рукой.

— Это вы въ Калабріи сдѣлались такимъ кровожаднымъ?

— Мнѣ собственно ничего, но больно быть свидѣтелемъ, вчужѣ жаль молодое поколѣніе.

— Да войну вамъ на что? чтобъ помочь молодому поколѣнію?

— Я не виноватъ, вопросъ такъ сталъ.

— Каюсь вамъ чистосердечно, что ясно вашей мысли не по- нимаю.

— Нашла коса на камень, вставилъ Филиппъ Даниловичъ.

— Это оттого, что вы и сомнѣваетесь и вѣрите. Это бѣда-съ. «Ясно, что столы не вертятся, а тутъ вопросъ: «ну, а какъ столы въ самомъ дѣлѣ вертятся»,— оно и не ясно-съ. Вотъ Филиппъ Да- ниливичъ другое дѣло, онъ ортодоксъ, онъ и знаетъ, какъ тамъ прогрессъ идетъ и все такъ къ лучшему. А я вотъ какъ ни при- кидываю, вижу, что люди заступили за построжку и все дальше и дальше несутся въ болото.

— Лошадь заступила за построжку, такъ ей ноги прочь, сей- часъ ампутацію. Радикальное леченіе! замѣтилъ лекаръ.

— Найдите снадобье и ампутации ненадобно. А какъ его нѣтъ, такъ такъ и оставить больного? Западные народы изъ силъ выби- лись, да и есть отчего, они хотятъ отдохнуть, пожить въ свое удо- вольствіе, надоѣло безпрестанно перестраиваться, обстраиваться, да и ломать другъ другу дома. У нихъ все есть, что надобно — и капиталы, и опытность, и порядокъ, и умѣренность... что же имъ мѣшаетъ? Были трудные вопросы, были любимыя мечты. — все улеглось. На что вопросъ о пролетаріатѣ — и тотъ утихъ. Голод- ные сдѣлались ревностными поклонниками чужой собственности, въ надеждѣ пріобрѣсти свою, сдѣлались тихими лацдарони инду-

стри, у которыхъ ропоть и негодованіе сломлены вмѣстѣ со всѣми остальными способностями, и это, безъ сомнѣнія, одна изъ важнѣйшихъ заслугъ фабричной дѣятельности... А покоя все нѣтъ, какъ нѣтъ... держи войско, держи флоты, трать все выработанное на защиту,—кто же, кромѣ войны, можетъ покончить съ войскомъ?

— Это гомеопатически клинъ клиномъ вышибать, замѣтилъ Филиппъ Даниловичъ.

— Можно ли, продолжать мой чудакъ, беззаботно работать въ своемъ садикѣ, зная, что возлѣ, въ ущелии какой-нибудь вертепъ бандитовъ, пандуровъ, янычаръ?

— Позвольте, перебилъ Филиппъ Даниловичъ, одно слово: пари на бутылку бургонскаго, что вы не знаете, кто эти тормазы прогрѣшенья, прогресса—эти пандуры и янычары!

— Что-жь, Австрія и Россія?

— Ха, ха, ха—навѣрняка обыгралъ, за вами бутылка шамбертенъ,—я другого не люблю.

— Ну, помилуйте, замѣтилъ съ упрекомъ Евгений Николаевичъ, что же Австрія можетъ сдѣлать? Страна употребляетъ всѣ усилія, чтобъ не умереть, натягиваетъ всѣ мышцы, чтобъ части не распозлились, ну, гдѣ же ей кому-нибудь грозить? Человѣкъ одной рукой придерживаетъ ногу, чтобъ она безъ него не ушла, а другой голову, чтобъ она не отвалилась. А тутъ говорятъ, что она на драку лѣзетъ. Пора и Россію, послѣ кампаніи, отчислить изъ пугаль; ее не только никто не боится, но на нее никто и не надѣется больше, ни сербы, ни болгары, ни всѣ эти славянскіе патріоты, отыскивающіе съ IV столѣтія свое отечество и свою самобытность. Да это и хорошо, пусть Россія *«часть жизни будущаго вѣка»*, а въ настоящемъ отучаетъ чиновниковъ воровать да помѣщиковъ драться. Въ Европѣ есть гнеты, почище устроенные, отъ которыхъ воздуха въ легкихъ и покоя въ сердцѣ не достаешь.

— Такъ это вы Англию и Францію такъ честите.

— Безъ сомнѣнія, еще съ Англіей можно бы было какъ-нибудь сладить, она все эдакъ потихоньку, за угломъ, отрицательно давить, тутъ поддерживаетъ дряхлое, тамъ такъ притиснетъ молодое, что оно расти перестанетъ; голоднаго встрѣтитъ, говоритъ ему: «что-жь, съ Богомъ, ты свободный человѣкъ, иди, я тебя не держу». А Франція... ну, помилуйте,—одинъ баталіонъ: за барабаномъ и двумя дудками вся Франція пойдетъ, куда хотите—въ Казань, Рязань, а въ Англию она и безъ барабана вплавь бросится, лишь бы въ докахъ-то, въ Сити похозяйничать, какъ въ пекинскомъ дворцѣ. Кто могъ ждать, что эти два заклятыхъ врага будутъ покойно смотрѣть другъ на друга, съ той ненавистью, которую не могли преодолѣть ни вѣка, ни образованіе, ни торговая выгода, и притомъ сдвигаясь все ближе и ближе, такъ что ужъ

между Парижемъ и Лондономъ остается только десять часовъ ѣзды? Съ одной стороны Ламанша *legion d'honneur*, съ другой *habeas corpus*, и они терпятъ другъ друга! Понимаете ли вы это, такъ страстно ненавидѣть и не имѣть духу?—Послѣ этого я рѣшительно въ Техасъ.

— Понять трудно, это правда, но что *оно такъ*, это не совсемъ дурно. Вотъ уже когда ваша война будетъ и французы переплывутъ Ламаншъ, чтобъ *освободить* Англiю, тогда я и самъ отправлюсь въ Техасъ.

— *A la bonheur*, — вскрикнулъ обрадованный Филиппъ Даниловичъ.

— Дренажъ-съ, война—дренажъ-съ для расчистки мѣста и воздуха. Гдѣ-жъ имъ въ Лондонѣ остаться, Москва не Лондонъ, и то взяла всякихъ нѣмцевъ по дорогѣ, да и пошла въ Парижъ.

— Или у васъ есть въ запасѣ какой-нибудь Людвигъ XIX?

— *Въ немъ не будетъ необходимости.*

— Евгений Николаевичъ, сказалъ я помолчавъ, и все-то это для того, чтобъ дойти до голландскаго покоя, и за эту похлебку изъ чечевицы проститься съ лучшими мечтами, съ святѣйшими стремленiями.

— А чѣмъ худо, замѣтилъ Филиппъ Даниловичъ, снова показывая свои бѣлые зубы, ѣсть сельди да вафли, съ чистой совѣстью и такой же салфеткой—въ домѣ, который только что выстирали, съ женой изъ рубенсовскихъ мясовъ, и кругомъ малъ мала меньше. Скидамъ, фаро и кюрасо я больше ничего голландскаго не знаю. Ха, ха, ха, изъ чего бились всѣ ваши Фурье да Овены!

— Не они одни, католики и протестанты. энциклопедисты и революціонеры... всѣ изъ чего бились? А ихъ трудъ, ихъ вѣра, ихъ борьба, ихъ гибель... это развѣ ничего? Вамъ еще надобно, чтобъ и вѣсь господня и *Feste Burg*, и фаланстеръ, и яacobинская республика. все бы въ самомъ дѣлѣ осуществилось? Я помню... онъ пріостановился и потомъ съ какимъ-то внутреннимъ умилениемъ спросилъ меня: испытали вы, что чувствуетъ человекъ, когда онъ передаетъ свое воззрѣніе другому и видитъ, какъ оно всходитъ въ немъ?

— Все это хорошо, воля ваша, перебилъ ученикъ Гиппократы, да какой же прокъ съ наслажденiемъ переливать изъ пустого въ порожнее?хлопотать-то изъ чего?

— Эхъ, Филиппъ Даниловичъ. мы-то съ вами изъ чего хлопочемъ, не дошли же мы до того, чтобъ лечиться отъ смерти, а вѣдь гробовой-то покой хуже голландскаго. Ну, да ужъ вамъ и Богъ простить, вы ортодоксъ. А вотъ вы-то какъ же эдакъ спотыкаетесь? прибавилъ онъ, обращаясь ко мнѣ, печально качая головой.

И потомъ, вдругъ расхохотавшись своимъ нервнымъ, невеселымъ смѣхомъ, сказалъ:

— Я вспомнилъ теперь одну нѣмецкую книгу, въ которой разсказывается о труженическомъ существованіи крота, — очень смѣшно. Звѣрь маленькой, съ большими лапами, съ щелчками вмѣсто глазъ, роетъ въ темнотѣ, подъ землей, въ сырости, роется день и ночь, безъ усталы, безъ разсѣянія, съ страстной настойчивостью. Едва перекусить какихъ-нибудь зернышекъ да червячковъ, и опять за работу, зато для дѣтей готова норка, и кротъ умираетъ спокойно, а дѣти то начинаютъ во все стороны рыть норки для своихъ дѣтей. Какова заплатная цѣна за пожизненную земляную работу? Каково отношеніе между усиліями и достигаемымъ?—ха, ха, ха.—Самое смѣшное-то въ томъ, что, выстроивши свои отличные коридоры, переходы, стойвшіе ему труда цѣлой жизни, онъ не можетъ ихъ видѣть, бѣдный кротъ!

Этой моралью моего поврежденнаго я и заключу первый отдѣлъ «Концовъ и Началъ» и послѣдній мѣсяць 1862 г. Черезъ два дня *новый годъ*, съ которымъ тебя поздравляю, надобно набрать къ нему свѣжія силы на кротовую работу, лапы чешутся.

29 декабря, 1862 г.

Письмо восьмое.

Мужайся, стой и дай отвѣтъ!

— ...Halte-la! — Stop! сказалъ мнѣ на этотъ разъ не *поврежденный*, а, напротивъ, одинъ *поправленный* господинъ, входя въ мою комнату съ «Колоколомъ» въ рукѣ. Я пришелъ къ вамъ объяснить. Ваши «Концы и Начала» перешли всякую мѣру, пора честь знать и дѣйствительно положить имъ конецъ, сожалѣя о ихъ началѣ.

— Неужели *до этой* степени?

— До этой. Вы знаете, — я васъ люблю, я уважаю вашъ талантъ...

Ну, подумалъ я, дѣло плохо, видно «поправленный» не на шутку хочетъ меня обругать, а то не сталъ бы заѣзжать такими лестными апрошами.

— Вотъ моя грудь сказалъ я, разите.

Мое самоотверженіе, смѣшанное съ классическимъ воспоминаніемъ, хорошо подѣйствовало на раздраженнаго пріятели, и онъ съ болѣе добродушнымъ видомъ сказалъ мнѣ:

— Выслушайте меня покойно, безъ авторскаго самолюбія, безъ изгнаннической исключительности, — къ чему вы все это пишете?

— На это много причинъ. Во-первыхъ, я считаю истиной то,

что пишу, а у каждого человѣка, неравнодушнаго къ истинѣ, есть слабость ее распространять. Во - вторыхъ... впрочемъ, я полагаю, что и первого достаточно.

— Нѣтъ. Вы должны знать публику, съ которой говорите, ея возрастъ, обстоятельства, въ которыхъ она находится. Я вамъ скажу прямо: вы имѣете самое пагубное вліяніе на нашу молодежь, которая учится у васъ неуваженію къ Европѣ, къ ея цивилизаціи, въ силу чего не хочетъ серьезно заниматься, хватается вершки и довольствуется своей широкой натурой.

— У! какъ вы состарѣлись съ тѣхъ поръ, какъ я васъ не видалъ, и молодежь браните и воспитывать ее хотите ложью, какъ няньки, поучающія дѣтей, что новорожденныхъ приносить повивальная бабка и что дѣвочка отъ мальчика отличается покроемъ платья. Подумайте лучше, сколько вѣковъ люди безбожно гнали съ нравственной цѣлью, а нравственности не поправили; отчего же не попробовать говорить правду? Правда выйдетъ не хороша, примѣръ будетъ хорошъ. Съ вреднымъ вліяніемъ на молодежь — я давно примирился, взявъ въ расчетъ, что всѣхъ, дѣлавшихъ пользу молодому поколѣнію, постоянно считали развратителями его, отъ Сократа до Вольтера, отъ Вольтера до Шелли и Бѣлинскаго. Къ тому же меня утѣшаетъ, что нашу русскую молодежь очень трудно испортить. Воспитанная въ помѣщичьихъ плантаторскихъ усадьбахъ чиновниками и офицерами, окончившая курсъ своихъ наукъ въ господскихъ домахъ, казармахъ и канцеляріяхъ, она или не можетъ быть испорчена, или уже до того испорчена, что мудроно прибавить много какой-нибудь горькой правдой о Западѣ.

— Правдой!.. Да позвольте васъ спросить, правда-то ваша въ самомъ ли дѣлѣ правда?

— За это я отвѣчать не могу. Вы можете быть въ одномъ увѣрены, что я говорю добросовѣстно, какъ думаю. Если же я ошибаюсь, не сознавая того, что же мнѣ дѣлать? Это скорѣе ваше дѣло раскрыть мнѣ глаза.

— Васъ не убѣдишь, и знаете почему, — потому что вы *отчасти* правы. Вы хорошій *прозекторъ*, какъ сами говорили и — плохой акушеръ.

— Да, вѣдь, и живу-то я не въ *maternité*, а въ клиникѣ и въ анатомическомъ театрѣ.

— А пишете для воспитательныхъ домовъ. Дѣтей надобно учить, чтобъ они другъ у друга каши не ѣли, да не таскали бы другъ друга за вихры, а вы ихъ подчуete тонкостями вашей патологической анатоміи. Да еще приговариваете: вотъ, молъ, какія скверныя потрохи были у западныхъ стариковъ. Къ тому же у васъ двѣ мѣры и два вѣса. Взялись за скальпель, ну, и рѣжьте одинакимъ образомъ.

— Какъ же это и живыхъ-то рѣзать? Страсти какія, да еще дѣтей! Что же за Иродъ вамъ достался?

— Шутите, какъ хотите, меня не собьете. Вы съ большой чуткостью произносите діагнозу современнаго человѣка, да только, разобравши всѣ признаки хронической болѣзни, вы говорите, что все это произошло отъ того, что паціентъ французъ или нѣмецъ. А тѣ дома у насъ и въ самомъ дѣлѣ воображаютъ, что у нихъ-то и молодость и будущность. Все, что намъ дорого въ преданіи, въ цивилизаціи, въ исторіи западныхъ народовъ, вы взрѣзываете безъ оглядки, безъ жалости, выставляя наружу страшныя язвы, и тутъ вы въ вашей прозекторской роли. Но валандаться вѣчно съ трупами вамъ надоѣло. И вотъ вы, отрехшись отъ всѣхъ идеаловъ въ мірѣ, сотворяете себѣ новый кумиръ, не золотого тельца, а бараній тулупъ, да и давай ему поклоняться и славословить его: «Абсолютный тулупъ, тулупъ будущности, тулупъ общинный, социальный!» Вы, которые сдѣлали себѣ изъ скептицизма должность и занятіе, ждете отъ народа, ничего не сдѣлавшаго, всякую благодать, новизну и оригинальность будущихъ общественныхъ формъ, и въ ультра-фанатическомъ экстазѣ затыкаете уши, зажимаете глаза, чтобъ не видать, что вашъ богъ въ грубомъ безобразіи не уступаетъ любому японскому кумиру, у котораго животъ въ три яруса, носъ расплюснуть до скулъ и усы сардинскаго короля. Вамъ что ни говори, какіе ни приводи факты, вы «въ восторгѣ нѣкомъ пламенномъ» толкуете о весенней свѣжести, о благодатныхъ буряхъ, о многообѣщающихъ радугахъ, всходахъ! Чему же дивиться, что наша молодежь, упившись вашей непереводившей социальнo-славянофильской брагой, бродить потомъ отуманенная и хмѣльная, пока себѣ сломить шею или разобьетъ носъ объ *дѣйствительную* дѣйствительность нашу. Разумѣется, что и ихъ, какъ васъ, протрезвить трудно: исторія, филологія, статистика, неотразимые факты вамъ обоймъ ни по чемъ.

— Позвольте, однако, и я въ свою очередь скажу, надобно знать мѣру, какіе же это *несомнѣнные* факты?

— Бездна.

— Напримѣръ?

— Напримѣръ фактъ, что мы русскіе принадлежимъ и по языку и по породѣ къ европейской семьѣ, *genus europaeum*, и, слѣдовательно, по самымъ неизмѣннымъ законамъ *физиологіи болѣзны* идти по той же дорогѣ. Я не слыхалъ еще объ *утокѣ*, которая, принадлежа къ породѣ утокъ, дышала бы жабрами...

— Представьте себѣ, что и я не слыхалъ.

...Я останавливаюсь на этомъ пріятномъ моментѣ полнаго согласія съ моимъ противникомъ, чтобъ снова обратиться къ тебѣ

и отдать на твой судъ таковыя до чести и добродѣтели моихъ посланій относящіяся нареканія.

Грѣхъ мой весь въ томъ, что я избѣгалъ догматическаго изложенія и, можетъ, слишкомъ полагался на читателей; это привело многихъ въ искушеніе и дало моимъ *практически*мъ противникамъ орудіе противъ меня — разныхъ закаловъ и не одинаковой чистоты. Постараюсь сжать въ рядъ афоризмовъ основы того воззрѣнія, на которыя опираясь, я считалъ себя въ правѣ сдѣлать тѣ заключенія, которыя передавалъ, какъ сорванные яблоки, не упоминая ни о лѣстницѣ, которую приставлялъ къ дереву, ни о ножницахъ, которыми стригъ. Но прежде, чѣмъ я примусь за это, я хочу тебѣ показать на одномъ примѣрѣ, что мои строгіе суды не то чтобъ были очень хорошо подкованы. Ученый другъ, приходившій возмущать покой моей берлоги, принимаетъ, какъ ты видѣлъ, за *несомнѣнный фактъ, за неизмѣнный физиологическій законъ*, что если *русскіе* принадлежатъ къ *европейской семьѣ*, то имъ предстоитъ та же дорога и то же развитіе, которое совершено романо-германскими народами; но въ сводѣ физиологическихъ законовъ такого § не имѣется.

Это мнѣ напоминаетъ чисто московское изобрѣтеніе разныхъ учреждений, постановленій, въ которыя всѣ вѣрятъ, которыя всѣ повторяютъ и которыя, между прочимъ, никогда не существовали. Одинъ мой (и твой) знакомый называлъ ихъ *законами англійскаго клуба*.

Общій планъ развитія допускаетъ безконечное число вариаций непредвидимыхъ, какъ хоботь слона, какъ горбъ верблюда. Чего и чего не развилось на одну тему: собаки, волки, лисицы, гончіе, борзые, водолазы, моськи... Общее происхожденіе нисколько не обуславливаетъ одинаковость біографій. Каинъ и Авель, Ромуль и Ремъ были родные братья, а какія разныя карьеры сдѣлали. То же самое во всѣхъ нравственныхъ родахъ или общеніяхъ. Все христіанское имѣетъ сходныя черты въ устройствѣ семьи, церкви и пр., но нельзя сказать, чтобъ судьба англійскихъ протестантовъ была очень сходна съ судьбой абисинскихъ христіанъ, или чтобъ очень католическая австрійская армія была похожа на чрезвычайно православныхъ монаховъ аеонской горы. Что утка не дышетъ жабрами, это вѣрно, еще вѣрнѣе, что кварцъ не летаетъ, какъ колибри. Впрочемъ, ты вѣрно знаешь, а ученый другъ не знаетъ, что въ жизни утки была минута колебанія, когда аорта не загибалась своимъ стержнемъ внизъ, а вѣтвилась съ притязаніемъ на жабры, но имѣя физиологическое преданіе, привычку и возможность развиться, утка не останавливалась на бѣднѣйшемъ строеніи органа дыханія и переходила къ легкимъ.

Это значитъ просто на просто, что рыба *приладилась* къ усло-

віямъ водяной жизни и далѣе жабръ не идетъ, а утка идетъ. Но почему же это рыбе дыханіе должно сдунуть мое воззрѣніе, этого я не понимаю. Мнѣ кажется, что оно, напротивъ, объясняетъ его. Въ «genus europaeum» есть народы, состарѣвшіеся безъ полнаго развитія мѣщанства (кельты, нѣкоторыя части Испаніи, южной Италіи и пр.), есть другіе, которымъ мѣщанство такъ идетъ, какъ вода жабрамъ,—отчего же не быть и такому народу, для котораго мѣщанство будетъ переходнымъ, неудовлетворительнымъ состояніемъ, какъ жабры для утки?

Въ чемъ же состоитъ та злая ересь, то отпаденіе отъ своихъ собственныхъ принциповъ, отъ неприложныхъ законовъ мірозданія и отъ всѣхъ божественныхъ и человѣческихъ ученій и уставовъ, что я не считаю мѣщанства окончательной формой русскаго устройства, того устройства, къ которому Россія стремится и, достигая котораго, она, вѣроятно, *пройдетъ* и мѣщанской полосой. Можеть, народы европейскіе сами перейдутъ къ другой жизни, можеть, Россія вовсе не разовьется, но именно потому, что это *можетъ быть*,—*можетъ быть* и другое. И тѣмъ больше что въ томъ череду, какъ стали вопросы, въ случайностяхъ мѣста и времени развитія, въ условіяхъ быта и жизни, въ постоянныхъ *скачкахъ* характера, бездна указаній.

Народъ русскій, широко раскинувшійся *между* Европой и Азіей, принадлежащій какому то двоюроднымъ братомъ въ общей семьѣ народовъ европейскіхъ, онъ не принималъ почти никакого участія въ семейной хроникѣ Запада. Сложившійся туго и поздно, онъ долженъ внести или свою полную неспособность къ развитію, или развить что-нибудь свое подъ вліяніемъ былого и заимствованнаго, сосѣдняго примѣра и своего угла отраженія.

До нашего времени Россія ничего не развила своего, но кое-что сохранила; она, какъ потокъ, отражала верхнимъ слоемъ тѣсвившіе ее берега, отражала ихъ вѣрно, но поверхностно. Вліяніе византійское, можеть, было самое глубокое; остальное шло по петровски, брилась борода, стриглись волосы, рѣзались полы кафтана, народъ молчалъ, уступалъ, меньшинство переряжалось служило,—а государство, которому дали общій европейскій чертежъ, росло, росло... Это обыкновенная исторія рябчества. Оно окончилось. Въ этомъ никто не сомнѣвается. Пора стать на свои ноги, зачѣмъ же непремѣнно на деревянныя, потому что онѣ иностранной работы? Зачѣмъ же наряжаться въ блузу, когда есть своя рубашка съ косымъ воротомъ.

Мы досадуемъ на бѣдность силъ, на узкость взгляда правительства, которое, въ своей бесплодности, усовершенствуетъ нашъ бытъ тѣмъ, что вмѣсто черно-желтой Zwangsjacke, въ которой насъ пасли полтараста лѣтъ, надѣваетъ трехцвѣтную camisole de force, шитую

по парижскимъ выкройкамъ. Но тутъ не правительство, а маңда-рины литературы, сенаторы журнализма, кафедральные профессора проповѣдуютъ намъ, что ужъ такой неизмѣнный законъ *физиологiи*: принадлежишь къ *genus europaeum*, такъ и продѣлывай всѣ старыя глупости на новый ладъ, что мы, какъ бараны, должны спотыкнуться на той же рытвинѣ, упасть въ тотъ же оврагъ и сѣсть потомъ вѣчнымъ лавочникомъ и продавать овощъ другимъ баранамъ.

Пропадай онъ совсѣмъ, этотъ физиологическій законъ! И отчего же это Европа была счастливѣе, ее никто не заставлялъ да саро играть роль Греци и Рима?

Въ природѣ, въ жизни нѣтъ никакихъ монополей, никакихъ мѣръ для предупрежденія и пресѣченія новыхъ зоологическихъ видовъ, новыхъ историческихъ судебъ и государственныхъ формъ; предѣлы ихъ—однѣ невозможности. Будущее импровизируется на тему прошедшаго. Не только фазы развитія и формы быта измѣняются, но создаются новые народы и народности, которыхъ судьбы идутъ иными путями. На нашихъ глазахъ, такъ сказать, образовалась новая порода, *varietas сводно и свободно европейская*. Не только быть, нравы, приемы американцевъ развили свой особый характеръ, но наружный типъ англо-саксонскій и кельтическій измѣнился за океаномъ до того, что американца почти всегда узнаешь. Если достаточно было новой почвы для старыхъ людей, чтобъ изъ нихъ сдѣлать своеобразный, характеристическій народъ, почему же народъ, самобытно развившійся, при совершенно другихъ условіяхъ, чѣмъ западныя государства, съ иными началами въ бытѣ долженъ пережить европейскіе зады, и *это, зная очень хорошо, къ чему они ведутъ?*

Да, но въ чемъ же эти начала?

Я говорилъ много разъ въ чемъ, *ни разу не слышалъ* серьезнаго возраженія и всякой разъ опять слышу *одни и тѣ же* возраженія, добро бы отъ иностранцевъ, а то отъ русскихъ...

Дѣлать нечего, повторимъ и ихъ опять.

15 января. 1863 г.

ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ I и В. Н. КАРАЗИНЪ ¹⁾).

Вамъ Н. А., послѣднему нашему маркизу Позъ, отъ всей души, посвящаю этотъ очеркъ.

I.

Донъ Карлосъ.

Въ первые годы царствованія, когда уроки Лагарпа были еще въ памяти, у императора Александра I бывали литературные вечера, на нихъ приглашались нѣсколько близкихъ лицъ къ государю, особенно извѣстныхъ за грамотныхъ.

Въ одинъ изъ этихъ вечеровъ, чтеніе длилось долго; читали новую трагедію Шиллера.

Чтець кончилъ и остановился.

Государь молчалъ, потупя взглядъ. Можетъ, онъ думалъ о своей судьбѣ, которая такъ близко прошла къ судьбѣ Донъ Карлоса, можетъ, о судьбѣ своего Филиппа? Нѣсколько минутъ продолжалась совершенная тишина, первый перерывъ ее князь Александръ Николаевичъ Голицынъ; наклоняя голову къ уху графа

¹⁾ Въ моей первой юности, я видалъ раза два-три *Василія Назировича Каразина*; помню, что мой отецъ рассказывалъ объ его письмѣ къ Александру I. объ его близости къ нему и о быстромъ паденіи. Въ 1860 году, я прочелъ замѣчательную жизнь этого человѣка въ «Сѣверной Пчелѣ». Въ порывистой, многосторонней, исполненной инициативы дѣятельности Каразина все захватывало вниманіе. всего больше то, чего въ «Сѣверной Пчелѣ» *не было*, т. е. что осталось по ту сторону цензурныхъ колодокъ. Случайно досталъ я письмо Каразина къ императору (оно было напечатано въ «Русскомъ Вѣстникѣ» 1810) и нѣсколько другихъ бумагъ. Сначала я думалъ только напечатать это письмо, въ дополненіе упомянутой статьи. Потомъ мнѣ захотѣлось, по поводу отношеній Александра I къ Каразину, высказать нѣсколько общихъ замѣчаній,—я это и сдѣлалъ. Ни статья «Сѣверной Пчелы», ни эти замѣчанія далеко не составляютъ біографіи В. Н. Каразина. Это только матеріалы для нея, я, съ своей стороны, почти не касался до жизнеописанія Каразина; мнѣ хотѣлось только загрузить fond и набросить обстановку, въ которой выступаетъ его фигура.

Эта статья была напечатана въ *Пол. Зв. Т. VII, стр. 7.*

Виктора Павловича Кочубея, онъ сказалъ ему вполслуха, но такъ, чтобъ всѣ слышали:

— «У насъ есть свой маркизь Поза!»

Кочубей усмѣхнулся и кивнулъ ему головой. Глаза всѣхъ обернулись на человѣка лѣтъ тридцати, сидѣвшаго поодаль.

Императоръ вздрогнулъ, посмотрѣлъ на окружавшихъ, остановилъ недовѣрчивый, пытливый взглядъ на человѣкѣ, сдѣлавшемся предметомъ общаго вниманія, наморщилъ брови, всталъ мрачный и недовольный, откланялся гостямъ и вышелъ.

Князь Александръ Николаевичъ улыбался: будущій министръ просвѣщенія и духовныхъ дѣлъ, инквизиторъ и массонъ, покровитель Магницкаго и Рунича, начальникъ библейскаго общества и почтоваго вѣдомства, другъ Императора Александра, который безжалостно пожертвовалъ его Аракчееву, другъ императора Николая, который не поручилъ ему никогда ничего дѣльнаго, былъ доволенъ. Зная подозрительный характеръ Александра, онъ былъ увѣренъ, что слово его взойдетъ,—и не ошибся. Почему онъ вредилъ этому человѣку, этого онъ не зналъ, это лежало въ его натурѣ царедворца; на всякой случай не мѣшало отстранить лишняго человѣка.

Безъ сомнѣнія, на ту минуту изъ всѣхъ бывшихъ на чтеніи только двое искренно и пламенно желали добра Россіи,—государь и В. Н. Каразинъ, названный маркизомъ Позой.

Эти двѣ личности — одна «вѣнчанная и превознесенная» въ Успенскомъ соборѣ митрополитомъ Платономъ, сокрушившая Наполеона и сокрушившаяся подъ бременемъ славы, и другая личность неутомимаго работника на общую пользу, бравшаяся за все и за все съ необыкновенной энергіей, толкавшася во всѣ двери и встрѣтившаго вездѣ отпоръ, препятствія и невозможность въ этой средѣ произвести что-нибудь путное,—эти двѣ личности бросаютъ два печальныхъ луча на гладко подмерзнувшія тундры петровской Россіи, въ которыхъ затирались, затираются энергія и воля, таланты и силы, пропадая безъ вести въ болотныхъ топяхъ, какъ свая, на которыхъ построены Петербургъ.

Характеръ императора Александра I мало выясненъ. Наши историки не могли о немъ писать, иностранные не могли и не могутъ понять, въ чемъ его трагическій *смыслъ*. Этого равно не объясняютъ ни его царское достоинство, ни его личные несчастія; онъ же, совсѣмъ напротивъ, былъ необыкновенно счастливъ, какъ царь, счастливъ даже послѣ смерти. Нельзя быть рельефнѣе поставлену въ исторіи, какъ онъ.

Сутуловатая фигура императора Александра вырѣзывается какъ то человѣчественно и кротко, то освѣщенная заревомъ Москвы, то озаренная парижскими площадками, то удерживающая руку нѣ-

мецкихъ владѣтельныхъ воришекъ, то останавливающая дикую месть побѣдителей, дорвавшихся до непріятельской столицы.

И эта фигура Агамемнона, примирителя Европы, на вершинѣ своего величія, становится смутнѣе, видимо тускнеть, стирается за страшной тѣнію Аракчеева и пропадаетъ одиноко на берегахъ Чернаго моря.

Every inch, «каждый вершокъ»—потрясающая трагедія.

Трагическій элементъ не опредѣляется ни болью, ни синими пятнами, ни кулачной борьбой; а тѣми внутренними столкновеніями, незивисимыми отъ воли, противорѣчащими уму, съ которыми человѣкъ борется, а одолѣть ихъ не можетъ, напротивъ, почти всегда уступаетъ имъ, измочалившись о гранитные берега неразрѣшимыхъ, повидимому, антиномій. Для того, чтобъ такъ разбиться, надобно извѣстную степень человѣческаго развитія, своего рода помазаніе. Есть природы до того будничныя, до того рутинныя, до того узкія и посредственныя, что ихъ счастье и несчастье пошло, по крайней мѣрѣ, не интересно.

Не таковъ былъ императоръ Александръ. Императрица Екатерина, сосредоточивая на немъ династическій интересъ и то материнское чувство, которое она никогда не имѣла къ своему сыну, дала ему очень человѣческое воспитаніе. Александръ былъ мечтатель, юноша съ романическими идеями, съ той неопредѣленной филантропией, которая тогда была въ ходу и составляла какъ бы сѣверное сіяніе, или холодный и мерцающій отблескъ иной болѣе горячей филантропіи, которая проповѣдывалась тогда въ Парижѣ. Но со всѣмъ тѣмъ, его воспитаніе кончилось рано, и онъ съ Лагарпомъ въ головѣ является на царскій помостъ.

... «Я отнюдь недоволенъ своимъ положеніемъ», пишетъ великій князь В. П. Кочубею, 10 мая 1796 года, т. е. 18 лѣтъ отъ роду ¹⁾. «Я чрезвычайно радъ, что рѣчь объ этомъ зашла сама собою, безъ чего очень затруднился бы завести ее. Да, милый другъ, повторю снова: мое положеніе меня вовсе не удовлетворяетъ. Оно слишкомъ блистательно для моего характера, которому нравятся исключительно тишина и спокойствіе. Придворная жизнь не для меня создана. Я всякій разъ страдаю, когда долженъ являться на придворную сцену и кровь портится во мнѣ при видѣ низостей, совершаемыхъ другими на каждомъ шагу для полученія внѣшнихъ отличій, не стоящихъ, въ моихъ глазахъ, мѣднаго гроша. Я чувствую себя несчастнымъ въ обществѣ такихъ людей, которыхъ не *желаю бы имѣть у себя и лакеями*; а между тѣмъ они занимаютъ здѣсь высшія мѣста. какъ напр. З...., П...., Б..... оба С....., М....., и множество другихъ, которыхъ не стоить

¹⁾ Корфъ, Восшествіе Николая стр. 228—229.

даже называть и которые, будучи надменны съ низшими, пресмыкаются передъ тѣмъ, кого боятся. Однимъ словомъ, мой любезный другъ, я сознаю, что не рожденъ для того высокаго сана, который ношу теперь, и еще менѣе для предназначеннаго мнѣ въ будущемъ, отъ котораго я далъ себѣ клятву отказаться тѣмъ или другимъ образомъ.

«Вотъ, любезный другъ, важная тайна, которую я уже давно хотѣлъ передать вамъ; считаю излишнимъ просить васъ не сообщать о ней никому, потому что вы сами поймете, какъ дорого я могъ бы за нее поплатиться. Я просилъ Г. Гаррика сжечь это письмо, если бы ему не удалось лично вамъ его вручить, и никому не передавать для доставленія его къ вамъ.

«Я обсудилъ этотъ предметъ со всѣхъ сторонъ. Надобно вамъ сказать, что первая мысль о немъ родилась у меня еще прежде, чѣмъ я съ вами познакомился, и что я не замедлилъ придти къ настоящему моему рѣшенію.

«Въ нашихъ дѣлахъ господствуетъ неимовѣрный беспорядокъ: грабятъ со всѣхъ сторонъ; всѣ части управляются дурно; порядокъ, кажется, изгнанъ отовсюду, а Имперія, несмотря на то, стремится лишь къ расширенію своихъ предѣловъ. При такомъ ходѣ вещей возможно ли одному человѣку управлять государствомъ, а тѣмъ болѣе исправить укоренившіяся въ немъ злоупотребленія; это выше силъ не только человѣка, одареннаго, подобно мнѣ, обыкновенными способностями, но даже и генія, а я постоянно держался правила, что лучше совѣмъ не браться за дѣло, чѣмъ исполнять его дурно. Слѣдуя этому правилу, я и принялъ то рѣшеніе, о которомъ сказалъ вамъ выше. Мой планъ состоитъ въ томъ, чтобы, что отреченія отъ этого труднаго поприща (я не могу еще положительно назначить срокъ сего отреченія), поселиться съ женою на берегахъ Рейна, гдѣ буду жить спокойно частнымъ человѣкомъ, полагая мое счастье въ обществѣ друзей и въ изученіи природы.

«Вы вольны смѣяться надо мною и говорить, что это намѣреніе несбыточное, но подождите исполненія и уже тогда произнесите приговоръ. Знаю, что вы осудите меня, но не могу поступить иначе, потому что покой совѣсти ставлю первымъ для себя закономъ, а могла ли бы она оставаться спокойною, если бы я взялся за дѣло не по моимъ силамъ. Вотъ, мой милый другъ, что я такъ давно желалъ сообщить вамъ. Теперь, когда все высказано, мнѣ только остается увѣрить васъ, что гдѣ бы я ни былъ, счастливымъ или несчастливымъ, богатымъ или бѣднымъ, ваша дружба ко мнѣ будетъ всегда однимъ изъ величайшихъ для меня утѣшеній: моя же къ вамъ, вѣрьте, кончится только съ жизнію».

Екатерина умерла.

Тревожно и грустно стоялъ цесаревичъ у подножія трона; лишенный возможности отойти, Александръ, какъ Гамлетъ, бродилъ по этимъ заламъ, не умѣя ни на что рѣшиться.

Также тревожно и грустно взошелъ онъ самъ на вершину страшной скалы. Онъ хотѣлъ добра и ему вѣрили. На его юныя и кроткія черты смотрѣли съ упованіемъ; уповалъ и онъ, что сдѣлать изъ Россіи рай; онъ ей отдаетъ лучшіе годы, лучшія силы, народъ благословить его и тогда, Траянъ и Маркъ-Аврелій, онъ исполнить писанное къ Кочубею и пропадетъ въ виноградныхъ садахъ на берегахъ Рейна ¹⁾).

Александръ былъ откровененъ въ этихъ мечтахъ, онъ имъ вѣрилъ, и не онъ одинъ, имъ вѣрила вся Россія, т. е. Россія *порабочныхъ людей*, Россія, признанная людскою; до *черной* Руси, до Руси податной, это не касалось.

Легко было начать новую эпоху, опираясь на такую любовь, на такую вѣру.

Теперь дай человѣка мнѣ. создатель...
Ты много далъ мнѣ: только человѣка
Ты дай теперь мнѣ.
Молю тебя о другѣ: я не такъ,
Какъ ты, всевѣдущъ. Слуги, мнѣ тобой
Посланные, самъ вѣдаешь, какіе
Они мнѣ слуги. Изъ-за денегъ только
Они мнѣ служатъ.
Мнѣ правды надо....

Прошло дней десять послѣ смерти Павла. Во дворцѣ была большой пріемъ; радостныя лица, одѣтыя въ глубокой трауръ, входили, выходили, низко кланялись, повторяли раболѣпныя фразы. Застѣнчивый Александръ, мало привыкнувшій къ этой работѣ, утомленный, взошелъ послѣ пріема въ свой кабинетъ и бросился на кресло передъ своимъ рабочимъ столомъ. На его столѣ, въ его кабинетѣ, въ который никто не смѣлъ входить, лежало толстое письмо... запечатанное и надписанное ему.

Онъ сорвалъ печать и развернулъ письмо; по мѣрѣ чтенія, глаза его наполнялись слезами, щеки горѣли; онъ положилъ письмо и крупныя слезы продолжали катиться по его щекамъ. Ихъ видѣли графъ Паленъ и Троицкій. «Господа, сказалъ имъ государь. неизвѣстный человѣкъ положилъ на мой столъ это письмо; оно безъ подписи, сыщите мнѣ непременно, кто его писалъ».

¹⁾ Мечта объ отреченіи занимала его до самой смерти.

II

П и с ь м о.

Вотъ что прочелъ императоръ:

«Какимъ прекраснымъ днемъ началось Твое царствованіе? Казалось намъ, что сама природа въ восторгѣ встрѣтила Тебя! ¹⁾ Александръ, любимецъ сердецъ нашихъ! Десятый день уже освѣщаетъ весеннее солнце Твоихъ, надеждами исполненныхъ подданныхъ, и день отъ дня, часъ отъ часу Ты болѣе оправдываешь сіи надежды. Какая лестная будущность ожидаетъ насъ!

Въ сіе время всеобщаго восторга кто пощадилъ бы жизнь свою на защищеніе Твое? Но Ты въ немъ не имѣешь нужды... Прости-жь, если, искавъ принести Тебѣ дань, я дерзновенною рукою начертаю нѣкоторыя истины, я, удаленный отъ двора Твоего и упованія наградъ, одинъ изъ безвѣстнѣйшихъ россиянь. Прости, прости меня за неважную сію жертву, но жертву сердечную; прійми ее засвидѣтельствомъ довѣренности къ Твоимъ добродѣтелямъ, знакомъ истинной подданнической любви. Безъ сомнѣнія, все, что я ни скажу Тебѣ, болѣе или менѣе впечатлѣно уже въ Твоей благородной душѣ, или извѣстно въ сонмѣ мужей мудрыхъ, которыми Ты окружаешь Себя. Но эта мысль не могла меня удержать повергнуть *лету вдовы въ сокровищницу*, такъ точно, какъ самое блистательное понятіе о славѣ Твоей никогда не удержитъ меня отъ рвенія распространять ее во всякомъ для меня приступомъ кругу мою хвалою...

Государь! Ты царствуешь надъ сорокью милліонами человѣкъ, искони приобывшихъ безпредѣльно чтить власть, внѣ которой они не могутъ представить себѣ блаженства. Одного взора ихъ царей часто довольно, чтобъ разлить повсемѣстную радость, и, конечно, одного велѣнія, чтобъ устроить счастье, какимъ только можетъ человѣкъ наслаждаться на землѣ...

Имперія, которая *своимъ* называть Тебя будетъ, не обыкновенное государство. Ей нѣтъ подобной не только въ нынѣшнемъ состояніи Европы и прочихъ частей свѣта, но, можетъ быть, и въ лѣтописяхъ вѣковъ прошедшихъ. Она заключаетъ въ себѣ десять климатовъ, обитаемыхъ народомъ большею частію одинаго языка и единой вѣры. Она отъ сѣвера до юга и отъ запада къ востоку изобилуетъ въ количествѣ и родѣ безчисленными благами, замѣняющими себя взаимно, которыя даютъ возможность поставить всѣ ея сношенія съ чужими странами въ совершенной независи-

¹⁾ Случилось, что 11 марта 1801 года въ Петербургѣ былъ самый неприятный зимній день; 12-го же, напротивъ, погода сдѣлалась тихая, теплая и ясная, какъ будто весна вдругъ наступила.

мости. Она имѣтъ и пространнѣйшія земли для воздѣлыванія большею частію *ей одной свойственныхъ* произведеній и надежныя руки сыновъ своихъ для искусственнаго ихъ обработыванія. Посему богатства ея, не на случайныхъ причинахъ, но на природѣ основанныя, должны возрастать съ самимъ временемъ. Она представляетъ, такъ сказать, подобіе рудника, открытаго при поверхности земли, котораго изобиліе постепенно обнаруживается по мѣрѣ его углубленія. Она изобилуетъ рѣками, которыя, изъ ея средины изливаясь въ пять морей, ожидаютъ только попечительной руки правительства, чтобъ соединить ихъ всѣхъ, чтобы сообщать руководѣлія Европы и Азіи и азіятскія богатства Европѣ *кратчайшими путями*. Она граничитъ въ наибольшей части съ Тедовитымъ океаномъ или странами столько же неприступными, какъ и онъ; въ остальной же части имѣтъ сосѣдей, привыкшихъ почитать русское могущество. Что могу сказать Тебѣ, Государь, новаго о гражданскихъ добродѣтеляхъ Твоего народа, который среди временъ грубѣйшаго невѣжества обращалъ уже на себя вниманіе? народа, въ *нынѣшнемъ* состояніи нравственнаго міра, едва-ль не менѣе всѣхъ прочихъ народовъ поврежденнаго?.. Напомню только одну изъ этихъ добродѣтелей, обезпечивающую незыблемость Отечества. Пожертвованіе жизни за него всегда и вездѣ почитаемо было достойнымъ вѣчныхъ похвалъ; но сіе жертвованіе безъ всякихъ видовъ славы, утѣшительницы умирающихъ героевъ, сіе великое самоотреченіе свойственно рѣдкимъ лишь душамъ и російскіе ратники способны къ нему болѣе всѣхъ древнихъ и новыхъ воиновъ. Рѣшительный военачальникъ идетъ на смерть,— я почитаю его; но вижу, что слава, которая изъ-за предѣловъ гроба простираетъ къ нему свой лавръ, наполняетъ его воображеніе удивленіемъ соотечественниковъ и потомства, что сія слава смягчаетъ ужасы смерти. Честолюбіе, желаніе приобрѣсть блестящее отличіе упоетъ его. Самая необходимость дѣйствовать соотвѣтственно званію, къ которому онъ принадлежитъ, влечетъ его впередъ. Но простой солдатъ, который не мечтаетъ о лаврахъ, не имѣетъ предразсудковъ благородства, заставляющихъ отличатся, не ожидаетъ награды; солдатъ, котораго участь не перемѣняется послѣ двадцати выигранныхъ сраженій и который, не думая о свидѣтеляхъ, о потомствѣ, объ исторіи, умираетъ *весь*, у котораго священный долгъ есть единое побужденіе, для меня прямо великій герой! Таковъ російскій солдатъ, и такихъ имѣешь Ты сотни тысячъ!..

Время образовало человѣческую премудрость; время, усовершенствовавъ все, предуготовляетъ законодателю способъ быть благотворителемъ человечества. Если-бъ Екатерина, если-бъ Маркъ-Аврелій самъ жили въ желѣзномъ вѣкѣ царствованія Ивана Васильевича, когда вся Европа покрыта еще была тьмою суевѣрія, подавляема свое-

волиемъ феодализма, много ли бы они могли сдѣлать въ пользу своихъ подданныхъ? Предположивъ, что они изъ собственнаго сердца, созданнаго для блага человѣковъ, изъ собственнаго всеобъемлющаго разума извлекли бы законы; предположивъ, что они нашли бы возможность въ одно время и сильно дѣйствовать, и глубоко размышлять, проникать безъ всякихъ предварительныхъ познаній въ составъ обществъ, въ сердца людей,—гдѣ взяли бы они достойныхъ исполнителей своего плана? Ни люди, ни средства для образованія общественнаго не были еще произведены. Въ наши дни, Государь, наука законодательства вмѣстѣ съ прочими науками, вмѣстѣ съ общими успѣхами разума необходимо усовершенная, представитъ Тебѣ въ твореніяхъ величайшихъ умовъ тысячу новыхъ идей, которыя, объаты бывъ благодѣтельнымъ Твоимъ духомъ, искушены, подобно какъ золото искушается огнемъ, религіозностію Твоихъ чувствованій, могутъ положиться въ основаніе счастія Россіянъ. Велика заслуга мудреца, многотрудно открывающаго истину; но тотъ, кто силу, данную ему отъ небесъ, обратитъ на дѣйствительныя приложенія сей истины, достоинъ алтарей! Онъ—Богъ, собирающій носимые бесполезно по воздуху пары въ благотворный дождь, который даетъ плодоносіе доливамъ и воды рѣкамъ, орошающимъ ихъ. Ежели земные владыки могутъ назваться подобіемъ великаго, непостижимаго существа, создавшаго миллионы міровъ, то, конечно, тогда только, когда они подражаютъ Его благодѣтельности...

Воззри на послѣдокъ на нынѣшнее состояніе Европы. Могло-ль быть когда либо время *способнѣе* для возведенія Твоей «Россіи на верхъ славы и блаженства», въ сходство обѣщанія Твоего? Притязанія и виды всѣхъ державъ такъ разнообразны, такъ противоположены другъ другу, что Ты никогда не можешь быть въ необходимости принять оружіе, если Самъ будешь имѣть миролюбивыя намѣренія, если суетныя хвалы умовъ праздныхъ (*такъ называемая* слава завоевателей) никогда отъ Тебя не удостоятся быть взвѣшиваемы на ряду съ благословеніями тысячей и темъ человѣковъ которыхъ судьба отъ Тебя зависитъ. Французскій переворотъ, столь гибельный самъ по себѣ, поколебавшій столько правленій, не только не сдѣлалъ вреда Россіи, въ которую его начала не могли проникнуть, но принесъ ей еще ощутительную выгоду, отвративши, во первыхъ, завистливое вниманіе державъ въ самое критическое для нея время и потомъ, новымъ расположеніемъ связей ихъ, уволивши нашъ дворъ отъ необходимости пристать къ той или другой сторонѣ, которыя обѣ теперь, почитая соучастіе наше рѣшительнымъ, должны наперерывъ искать нашего благорасположенія. Россія вышла, чрезъ неожиданное это стеченіе обстоятельствъ, изъ всегдашней (со времени Петра Вели-

каго) скрытой войны со *всѣми* европейскими державами. Самую молодость ея, которая еще чрезъ цѣлое столѣтіе не могла-бы быть забыта, революція навсегда изгладила изъ памяти.

Въ семь состояннн дѣль внутренніе и внѣшніе долги государства Твоего не важны, судя по великости источниковъ Твоихъ доходовъ, кои не расточены еще столько, чтобъ простымъ отмѣненіемъ нѣкоторыхъ предположенныхъ издержекъ не можно было вывести казну въ нѣсколько мѣсяцевъ изъ всякаго затрудненія.

Таковы средства, Государь, которыя Ты имѣешь быть великимъ, счастливѣйшимъ монархомъ. среди счастливѣйшаго народа на землѣ...

Ночью, проходя мимо чертоговъ Твоихъ, я представлялъ себѣ сію картину благословеннаго Твоего политическаго положенія и размышлялъ. каковы будутъ пути Твой?

Неужели захочетъ Онъ, говорилъ я самъ себѣ, произвольно разстроить рѣдкое согласіе неба и земли въ Его пользу и благотворное предуготовленіе цѣлаго полвѣка оставить безъ исполненія? Неужели Онъ, созданному для душъ обыкновенныхъ, удовольствію самовластиа хладнокровно пожертвуетъ надеждою народовъ, безсмертною славою, и той наградою, которая по долговременной, безмятежной, семейственныхъ радостей исполненной жизни, оживаетъ добродѣтельныхъ монарховъ въ странѣ блаженства?

Нѣтъ! Онъ раскроетъ напоследокъ великую ту книгу судьбы нашей и нашихъ потомковъ, которую лишь указаль перстъ Екатерины. Онъ дастъ намъ непреложные законы. Клятвою многочисленныхъ племенъ своихъ подданныхъ утвердить Онъ ихъ въ роды родовъ. Онъ скажетъ Россіи: «Вотъ предѣль самодержавія Моего и Моихъ наслѣдниковъ, нерушимый во вѣки!...» и Россія войдетъ, наконецъ, въ число державъ монархическихъ; и желѣзный своенравія скипетръ не возможетъ сокрушить скрижалей ея завѣта.

Въ этомъ будетъ Онъ дѣйствовать медленно, какъ дѣйствуетъ природа въ таинственныхъ путяхъ, отъ Творца ей уготованныхъ. Онъ призоветъ въ помощь свою вѣчный разумъ, имѣющій озарить Его душу; имъ руководствуясь, обозритъ Онъ весь составъ законовъ до нынѣ существующихъ, дабы безъ нужды и по одной лишь любви къ новостямъ не разрушать утвержденного и оправданнаго уже временемъ. Именемъ Отечества истребуетъ Онъ совѣтъ у мужей мудрыхъ, счастливою для насъ судьбою поставленныхъ близъ Его, и другихъ, голосъ которыхъ изъ отдаленнѣйшихъ краевъ Его государства истину повѣдать Ему можетъ. *Подъ завесою строжайшей скромности* спроситъ Онъ ихъ; со свѣтильникомъ чистой своей совѣсти пройдетъ творенія законодателей міра, древнихъ и новыхъ: сообразитъ оныя съ обстоятельствами своего народа, съ его нравами, обычаями, религіею, съ мѣстнымъ

его положеніемъ, съ просвѣщеніемъ истиннымъ, какое обѣщаетъ намъ наступившій вѣкъ, послѣ жестокихъ испытаній прошедшаго... Онъ составитъ въ тайнѣ, но торжественно, предъ лицомъ внимающей вселенной издастъ Государственное Уложение, основу законовъ, которые *сами*, нечувствительно, могутъ *предварить* ея обновленіе. Онъ повелитъ, напослѣдокъ, въ пространствѣ Россіи избрать старцевъ, достойныхъ безпредѣльнѣйшей довѣренности своихъ согражданъ, и, поставивъ ихъ внѣ сферы честолюбія и боязни, удѣлитъ имъ весь избытокъ своей власти,— да охраняютъ святая святыхъ Отечества... Онъ прійметъ и другія мѣры, почерпнутыя изъ опыта вѣковъ, для утвержденія правъ своихъ подданныхъ. Онъ-то первый употребитъ самовластіе для обузданія самовластія; первый, кто по чистѣйшему движенію сердца пожертвуетъ челоуѣчеству собственными выгодами! И челоуѣчество, возрыдавъ отъ радости, вознесетъ кумирь Его выше кумировъ прочихъ царей, и сонмы народовъ чуждыхъ притекутъ лобызать Его подножіе и вкусить среди насъ блаженство!..

Безъ сомнѣнія, нашъ Александръ, другъ людей, вѣдаетъ, что довѣренность къ правительству, утверждаемая извѣстностію *непремѣнныхъ* его началъ, *одна* рождаетъ взаимную довѣренность гражданъ между собою, что она есть жизнь промысловъ, мать общественныхъ добродѣтелей и источникъ благоденствія...

Съ довѣренностію къ правительству на одной степени поставитъ Онъ *втру* къ правосудію. Безъ нихъ обѣихъ почтенныя слова: гражданинъ, отечество—суть пустые звуки на языкѣ отечественномъ!..

Онъ презреть новыхъ лжеполитиковъ, утверждающихъ, будто частныя неправды не обращаются обществу во вредъ, будто для государства «все равно какъ ни переходитъ собственность изъ рукъ въ руки». Предоставивъ весь судъ *избраннымъ отъ народа*. Онъ удалитъ ихъ отъ соблазновъ не законами, безгласными *по необходимости*, но доставленіемъ судьямъ избыточнаго содержанія, содержанія соразмѣрнаго ихъ безкорыстію и соревнованію обобщей пользѣ. На сей же конецъ подчинитъ Онъ судей общественному мнѣнію. Оно всегда было болѣе непристрастно, болѣе неумолимо, нежели высшія инстанціи, нерѣдко движимыя *одинаковыми-же* началами на вѣщшее посрамленіе законовъ! Судъ при дверяхъ открытыхъ, право тяжущимся публиковать опредѣленія, будетъ однимъ изъ надежнѣйшихъ огражденій правосудія.

Онъ положитъ единожды навсегда твердое основаніе государственному достоянію: изочтетъ богатства Своихъ обширныхъ владѣній; опредѣлитъ возможность и повинности подданныхъ по неподвижному размѣру, измѣненіямъ отъ прилива и отлива *изобразительныхъ знаковъ* богатства не подверженному, и скажетъ: «Симъ

обязаны вы взаимно состоянію къ состоянію; *симъ* обязаны относительно къ государственной сокровищницѣ; *симъ*, на послѣдокъ, располагаетъ лице Государя». Тогда однѣ чрезвычайныя, всею мудростію человѣческою не предвидимыя нужды государства останутся неопредѣленными, но на удовлетвореніе ихъ готовы коренныя. такъ сказать, *утробныя* его силы, которыя съ покоемъ *неопредѣленно-же* возрастають.

Не поводы къ новымъ налогамъ велить Онъ изобрѣтать для безконечнаго умноженія мнимыхъ доходовъ; но съ благоволеніемъ приметъ тѣ мѣры, кои клонятся будутъ къ уменьшенію издержекъ. И симъ *вѣрнѣйшимъ* путемъ, сопровождаемый благословіями гражданъ, трудящихся въ потѣ лица, достигнетъ Онъ до постоянного *избытка государственнаго*, которымъ ни одна держава похвалиться еще не могла.

Онъ ограничить особливо издержки, которыя не служатъ къ пользѣ Имперіи и не возвышаютъ на самомъ дѣлѣ блеска вѣнца Его: уменьшить дворъ Свой; изженеть изъ него толпы ласкателей и прислужниковъ, безстыдно мечтающихъ, что достояніе Имперіи имъ принадлежитъ и что они преимущественное имѣють право на милости Государя по одному тому, что случай поставилъ ихъ близь его особы.

Онъ ограничить суетную *любопытность*: это желаніе украшать улицы и площади столицъ, когда все прочее государство *представляетъ еще безкровныя хижины*. Не искусства призываетъ Онъ въ помощь для сооруженія себѣ памятниковъ; но въ премудрости Своихъ учрежденій и въ любви народной найдетъ ихъ; онѣ не сокрушаемы временемъ и не одно удивленіе празднаго любопытства возбуждаютъ, но почтеніе всѣхъ вѣковъ и всѣхъ народовъ!

Самыя искусства не будетъ Онъ покровительствовать прихотливо и внутри лишь чертоговъ Своихъ, съ условіемъ, чтобъ они платили Ему лестью; но дѣйствительно ободрить ихъ, *умноживъ общее благосостояніе* и разрѣшивъ узы ума и талантовъ.

Вообще Онъ будетъ дорожить произведеніемъ кроваваго пота подданныхъ, посвященнымъ на пользу общую, и *моральное* изыщество будетъ первѣйшимъ Его предметомъ.

Не удостоить онъ занять Себя подробностями и иждивать на мелочи драгоценное время, въ которое едва-едва вмѣститься могутъ *всеобщія* попеченія владѣтеля пространнѣйшей имперіи въ свѣтѣ. Онъ взоромъ будетъ обнимать цѣлыя массы, дать правильное движеніе главнѣйшимъ колесамъ государственнаго состава,—и всѣ прочія потекутъ правильно!

Какъ наисовершеннѣйшіе законы останутся бесполезными въ народѣ развращенномъ и чуждыми смысла въ народѣ не-

вѣждь, то, безъ сомнѣнія, обратитъ Онъ всю Свою внимательность на *воспитаніе* Своихъ подданныхъ соотвѣтственно мѣстнымъ и личнымъ потребностямъ cadaго. Верховное попеченіе объ этомъ предоставитъ Онъ сословію *блостителю законовъ*, а оно будетъ дѣйствовать посредствомъ людей, имѣющихъ надъ народомъ наиболѣе нравственной силы. Духовенство употребится на просвѣщеніе народа, и на сей конецъ предварительно само будетъ просвѣщено: учредятся для него гимназіи. удаленныя отъ тяжелыхъ началъ древней схоластики, и отличія предоставлятся не тѣмъ проповѣдникамъ слова Божія. которые съ поэтическимъ восторгомъ станутъ величать Государя въ городскихъ храмахъ; но тѣмъ. которые докажутъ опытами вліяніе, какое они имѣли на благонравіе своихъ паствъ; тѣмъ, которые, учредивъ училища. не лѣпостно преподавать въ нихъ будутъ чистое ученіе Христово и своимъ примѣромъ наставлятъ должностямъ челоѣка и гражданина.

Такимъ образомъ, не жезль, денно-ношно властію подъятый, заставитъ исполнять законы, но гораздо дѣйствительнѣе собственное удостовѣреніе cadaго въ ихъ пользѣ. Такимъ образомъ, законы будутъ охраняемы нравами. и нравы законами.

Съ другой стороны, еще подѣйствуетъ Онъ на нравственность состояній, называемыхъ *послѣдними*. Онъ обезпечитъ права челоѣчества въ *помѣщичьихъ крестьянахъ*; введетъ у нихъ собственность; поставитъ предѣлы ихъ зависимости. И сіе не закономъ, могущимъ опасно поколебать нынѣшнія общественныя связи, но постепенностію обычая, который бы укрѣпилъ оныя болѣе. Простѣйшимъ поселянамъ предоставитъ Онъ средства вкушать иногда, въ воздаяніе трудовъ своихъ, сладость жизни. не прибѣгая къ своеволю, питьямъ, чувства оглушающимъ, и другимъ побужденіямъ разврата, иногда отчаянія и неключимаго рабства...

Земледѣліе распространится подъ кроткимъ Его скипетромъ. Онъ заселитъ пространныя степи Россіи мало по малу, не насильно исторгая семейства изъ домовъ ихъ и переселяя скоростижно, за цѣлыя тысячи верстъ, въ страны, по одной своей безвѣстности уже страшныя для нихъ и дѣйствительно смертоносныя по чрезвычайному различію климатовъ, но изъ сосѣдственныхъ, населеннѣйшихъ мѣсть вызывая и ободряя наградами и льготою.

Безводные, но впрочемъ тучныя кряжи благословенныхъ климатовъ будетъ Онъ умѣть содѣлать обитаемыми и превратить въ цвѣтущіе сады, проводя каналы изъ сосѣдственныхъ рѣкъ, обращая въ пользу пространныя озера или одѣвая исподволь отлогости горъ лѣсомъ. Неужели однѣ только просвѣщенныя столицы имѣютъ право на подобныя сямъ издержки правительства? Неужель не обязано оно готовить жилища будущимъ родамъ и... убѣжища тѣмъ, которые отъ Запада, вѣроятно, придутъ нѣкогда искать у насъ Отечества?..

Не толпы алчущихъ чиновниковъ поставить Онъ на стражѣ у лѣсовъ, сего украшенія земли и сокровищницы водъ; но, благо-разумнымъ распредѣленіемъ въ собственность, сохранить ихъ для государства. Дикія только степи и непроходимые лѣса могутъ быть помысломъ казны; но должны содѣлаться собственностію частныхъ людей, какъ скоро они досягаемы для трудолюбія. Горе правитель-ствамъ, которыхъ учрежденія служатъ *только къ соблазну*, не искореняя зла въ самыхъ его основаніяхъ!..

Онъ назначить торжественныя награды для поселянъ, кои отли-чаться или рѣдкими примѣрами благонравія, или трудолюбіемъ, изобрѣтеніемъ или введеніемъ новыхъ предметовъ земледѣлія или промышленности. О семь и подобномъ тому предоставитъ Онъ су-дить не мѣстнымъ начальникамъ, удоборазвлекаемымъ пристра-стіемъ, или скудными государственными соображеніями, но устроить временныя путешествія по Имперіи особъ, исполненныхъ позна-ніями въ обозрѣваемой части и достойныхъ представлять собствен-ное Его око. Самъ Онъ нерѣдко оставитъ единообразіе дворской жизни, чтобы *на дѣлѣ* видѣть и слышать, и управленіе Богомъ вѣреннаго Ему, прекраснаго, пространнѣйшаго царства не заклю-чить въ тѣсныя предѣлы работъ надъ подносимыми Ему бумагами.

Руководля возбуждать Онъ станеть не самовластнымъ *внезап-нымъ* запрещеніемъ ввоза иностранныхъ произведеній (можно со-гласить отечественную пользу съ миролюбіемъ къ чужимъ наро-дамъ); но привилегіями данными мануфактурамъ и фабрикамъ и въ особенности святіемъ стѣснительныхъ налоговъ, отнимаю-щихъ охоту заводить новыя. Впрочемъ, Россія *можетъ*, безъ ма-лѣйшей для себя невыгоды, великодушно уступить многія вѣтви промышленности и руководлій народамъ скуднымъ землею. Ей ли, изобилующей существенными богатствами, присвоять ненасытимо *все* источники существованія?.. желать самой *все* обрабатывать, когда она несравненно дешевле можетъ имѣть *наемниковъ* себѣ въ предѣловъ своихъ? Доколѣ мы измѣрять себя будемъ мѣри-лами чуждыми и подражать младенчески?..

Внутренняя торговля, усилясь отъ успѣховъ хлѣбопашества и руководлій, въ теченіе немногихъ лѣтъ, сама собою безъ всякихъ насильственныхъ приемовъ возвыситъ внѣшнюю въ нашу пользу. Великими примѣрами распространяемая, благонравіе и любовь ко всему отечественному послужатъ также къ уменьшенію надобно-стей въ заграничныхъ произведеніяхъ. Цѣна российскихъ суще-ственныхъ богатствъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ и цѣна изобразительныхъ, возрастетъ неминуемо.

Для внутренней и внѣшней торговли, для совершенія великаго подвига законодательства, Онъ, конечно, потщится сохранить миръ съ державами. Онъ употребитъ на сіе счастливыя средства, пред-

ставляемая Ему теперь Провидѣніемъ, которое *явно* простираетъ къ Россіи милующую десницу. Ему, безъ сомнѣнія, предоставлено начертать смѣлый планъ *постоянной* политики, свойственный россійской министерѣ и одной ей принадлежащій. Не имѣтъ ли Онъ надежнѣйшихъ способовъ содержать всѣ Дворы въ почтеніи къ себѣ, не преклоняясь ни на чью сторону? Находитъ ли, по нынѣшнему положенію Своего государства, по его сопредѣльности, по его силамъ, малѣйшія причины, или выгоды входитъ въ раздоры ихъ? Населеніе Россіи, въ *цвѣтъ еще нагодящееся*, таково-ли, чтобъ жертвовать людьми безъ *крайнейшей* необходимости?.. О, какая участь! обращать на себя признательные взоры любви и уваженія всѣхъ народовъ; быть извѣстнымъ со стороны безпредѣльнаго могущества, и благотворить!.. Если Всевышній мерзитъ челоуѣкоубійствомъ и другими гнусными слѣдствіями войны. если Ему угодно, чтобъ когда-либо существовала истинно-христіанская держава, то сей примѣръ удобнѣе всего въ Россіи, и въ царствованіе Александрово.

Въ счастливое сіе время, вооруженная сила не останется безполезною. Напротивъ, тогда-то будетъ она выполнять истинный свой предметъ: *охраненіе общаго спокойствія*. Въ ожиданіи пока безумный какой-либо врагъ дѣйствительно покусился бы на него, найдутся средства занять миліонъ здоровыхъ, сильныхъ рукъ, ежегодно стоящихъ болѣе трети государственныхъ доходовъ, не заставляя ихъ лить кровь въ странахъ и дѣлахъ чужихъ... Прежде всего оградить Онъ западные предѣлы Имперіи Своей удвоеннымъ забраломъ крѣпостей: да кажутся онѣ сосѣдямъ страшными рядами зубовъ покоющагося льва. Потомъ, по примѣру Римлянъ, которые, выше всего ставя воинское ремесло, не сомнѣвались однако же производить воинами общественныя работы, строить славные свои водоводы и свои дороги; по примѣру нѣкоторыхъ европейскихъ государей, кои въ новѣйшія времена предпринимали такіе же опыты, и въ числѣ ихъ самого основателя сей столицы. обезпечившаго продовольствіе ея Ладожскимъ каналомъ, станеть Онъ употреблять, по очереди, часть мощныхъ нашихъ ратниковъ, съ младенчества приобыкшихъ къ повиновенію и трудамъ, на государственныя работы. Нѣкоторая прибавка къ обыкновенному ихъ жалованью возбудитъ ихъ дѣятельность; и какъ много существенно полезнаго окажется въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ! откроются повсюду водяныя и сухопутныя сообщенія, рѣки сдѣлаются судоходными, болота превратятся въ плодоносныя долины... Между тѣмъ и границы Имперіи не останутся безъ защищенія, и русская сила будетъ въ виду и въ понятіи у неприятелей.

Онъ соединитъ война съ поселяннномъ, и поселянина съ прочими состояніями союзомъ взаимной пользы. ощущение которой,

братолюбіе и подданническая обязанность будутъ одно и то же чувство подъ тремя различными только видами.

Онъ... но могу ли я обнять высокое предназначеніе Всевышняго; могу ли представить себѣ, исчислить все дѣянія, которыхъ сѣмя лежить въ его человѣколюбивомъ сердцѣ?..

Народы всегда будутъ то, чѣмъ угодно правительствамъ, чтобъ они были: Царь Иванъ Васильевичъ хотѣлъ имѣть безответныхъ рабовъ — съ нимъ подлыхъ, между собою жестокосердыхъ — онъ имѣлъ ихъ. Петръ желалъ видѣть насъ подражателями иностранцамъ: къ несчастію, мы съ излишествомъ такими стали. Премудрая Екатерина начала образовывать *Россіянъ* Александръ довершитъ великое сіе дѣло. Наслаждался нѣкогда плодами своей юности, Онъ будетъ блаженнѣйшимъ изъ смертныхъ, а слава Его, утвержденная на любви подданныхъ, переходящей изъ рода въ родъ, на всеобщемъ земныхъ племенъ почтеніи, будетъ предметомъ желаній величайшихъ монарховъ!..

Слышалъ я, что юный нашъ владѣтель съ равнодушіемъ затверженныя принимаетъ восклицанія поэзіи, которая безстыдно приравниваетъ ихъ ко всемъ царямъ, увѣряя *каждаго*, что онъ лучше своего предшественника: я смѣлъ начертать сіи мысли...

О, Ты, котораго обожаетъ мое сердце, не отвергни сію дань его, въ простотѣ и съ безкорыстнѣйшими чувствованіями тебѣ приносивую...

Государь, въ душѣ моей повергаюсь къ стопамъ Твоимъ, орошаю ихъ слезами чистѣйшей, вѣчной преданности!.. Геній-благодѣтель любезнаго моего Отечества!»

III.

Маркизь Поза.

На другой день Троцинскій доложилъ государю, что привезъ автора письма, что онъ чиновникъ одной изъ его канцелярій, *Василій Назаровичъ Каразинъ*. Государь, отпустивъ Троцинскаго, пригласилъ Каразина въ кабинетъ и, оставшись съ нимъ одинъ, спросилъ его:

— Вы писали ко мнѣ это письмо?

— Виновать, государь, отвѣчалъ Каразинъ.

— Дайте же мнѣ обнять васъ за него, благодарю васъ, я желалъ бы, чтобъ у меня больше было такихъ подданныхъ. Продолжайте всегда со мной говорить такъ откровенно, продолжайте всегда говорить мнѣ *правду!*

Государь прижалъ его къ своей груди и Каразинъ, рыдая какъ ребенокъ, бросился къ его ногамъ со словами:

— Клянусь, что буду всегда говорить правду.

Александръ усадилъ его, долго бесѣдовалъ съ нимъ, велѣлъ ему писать къ себѣ въ собственныя руки, двери кабинета были открыты для него...

Маркиза Позу допускать ко мнѣ
Впередъ безъ всякаго доклада.

...Маркизь Поза нашъ началъ свою политическую карьеру года за два передъ тѣмъ. Двадцати пяти лѣтъ онъ оставилъ военную службу. Образованный, съ рѣдкой многосторонностью, онъ протиснулся съ Семеновскимъ полкомъ, для того, чтобъ изучать Россію и заниматься точными науками. Когда молодой человѣкъ взглянулся въ положеніе несчастной Россіи, стягаемой направо и налево, безъ разбору, ея палачемъ, такой ужасъ, такое отвращеніе, такое отчаяніе овладѣли его душой, что онъ рѣшился, во что бы ни стало, уѣхать въ чужіе края. Заграничныя паспорта были запрещены. Каразину не дали дозволенія ѣхать. Онъ рѣшился перелетѣть черезъ границу безъ паспорта. При переправкѣ черезъ Нѣманъ, его схватили драгуны и свезли въ Ковно.

Гибель Каразина была неминуема. Онъ хватился за самое опасное и несбыточное средство, оно спасло его. Предупреждая официальное донесеніе, онъ послалъ 14 августа 1798 съ эстафетой слѣдующее письмо къ Павлу:

14 августа 1798. Ковно.

Государь,

«Несчастный преступникъ осмѣливается къ Тебѣ писать: преступникъ противъ Твоихъ повелѣній, Самодержецъ Россіи, не противу чести, совѣсти, религіи и отечественныхъ законовъ. Удостой внять прежде осужденія. Да озаритъ меня *единный* лучъ твоей прозорливости прежде, нежели сожжетъ молнія Твоего гнѣва!

«Я хотѣлъ оставить мое отечество, великую страну Твоей державы; покусился, вопреки Твоей, *двукратно*, т. е. всенародно и частно, на мое лицо, выраженной воли. Ночью противу 3-го числа сего мѣсяца, при переправкѣ въ Ковно черезъ Нѣманъ, я удержанъ объѣздомъ екатерининскаго гренадерскаго полка: въ короткое время достигнетъ о томъ официальное донесеніе.

«Конечно, будутъ собраны обо мнѣ свѣдѣнія въ С.-Петербургѣ, гдѣ я короткое время пробылъ, и въ Слободской украинской губерніи, краѣ моего рожденія и помѣстья. Дерзаю здѣсь предварительно увѣрить, что онѣ не послужатъ въ мое обвиненіе. Я не имѣлъ никакой нужды спастись бѣгствомъ. Оно будетъ загадкою для моихъ слѣдователей.

«Прими мое признаніе: я желалъ укрыться отъ Твоего правле-

ніа, страшась его жестокости. Многіе примѣры, разнесенные молвою въ пространствѣ царства Твоего, молвою вѣроятно удесятенные, грозили мысли и воображенію день и ночь. Я не зналъ за собою вины. Въ уединеніи сельской жизни не могъ я имѣть ни случаевъ, ниже поводовъ оскорбить Тебя. Но свободный образъ моихъ мыслей могъ быть уже преступленіемъ...

«Теперь въ волѣ Твоей наказать меня—и оправдать страхъ мой, или простить, и заставить лить слезы раскаянія о томъ, что я стою ложныя мысли имѣлъ о государѣ великомъ и милосердомъ!»

Павлу не часто приходилось читать такія письма. Ужась передъ его деспотизмомъ, заставившій молодого человѣка бѣжать, и простодушное признаніе его взяли Павла врасплохъ. Опираясь преднамѣренно неловко на трость, Павелъ сказалъ приведенному къ нему *преступнику*: «Я докажу тебѣ, молодой человѣкъ, что ты ошибаешься, что служба въ Россіи можетъ быть не дурна и при мнѣ; при комъ хочешь ты служить?» Хотя намѣреніе Каразина перебраться черезъ границу и не было доказательствомъ особенно сильнаго желанія испытывать прелесть павловской службы, но тутъ разсуждать было нечего, Каразинъ назвалъ Трощинскаго. Павелъ велѣлъ его опредѣлить и оставить въ покоѣ.

Для Александра такой человѣкъ былъ кладъ, казалось, что онъ повялъ это. Неумолимая дѣятельность Каразина и глубокое, научное образованіе его были поразительны: онъ былъ астрономъ и химикъ, агрономъ, статистикъ, не риторъ, какъ Карамзинъ, не доктринеръ, какъ Сперанскій, а живой человѣкъ, внесившій во всякій вопросъ совершенно новый взглядъ и совершенно вѣрное требованіе.

Сначала императоръ безпрестанно посылаетъ за нимъ, пишетъ ему собственноручныя записки ¹⁾. Каразинъ, упоенный успѣхомъ, удесятеняетъ свои силы, пишетъ проекты, между прочимъ, проектъ министерства просвѣщенія, подаетъ записку объ *искорененіи рабства* (т. е. крѣпостного состоянія) въ народѣ, въ которой прямо говоритъ, что послѣ того, что дворяне освобождены имъ дарованной грамотой, чередъ за крестьянами; вмѣстѣ съ тѣмъ пишетъ о народныхъ школахъ, составляетъ самъ два катехизиса, одинъ *святскій*, одинъ духовный, и вдругъ, въ пущій разгаръ своего фавера, беретъ отпускъ и пропадаетъ на своей родинѣ, въ Малороссіи. Не думайте, что онъ поѣхалъ отдохнуть, набрать новыхъ силъ, такіе люди не устаютъ, нѣтъ, онъ возвращается черезъ нѣсколько недѣль въ Петербургъ съ 618.000 р. с., которые онъ вымолилъ, выплакалъ у харьковскаго и полтавскаго дворянства и

¹⁾ Какъ хотѣлось бы намъ видѣть эти записки. Такія достойныя исторіи не должно хранить подъ спудомъ.

купчества, на учрежденіе университета въ Харьковѣ. Государь хочетъ наградить его, Каразинъ отказывается. «Я становился, государь, на колѣна передъ дворянами и купцами, я вымаливалъ у нихъ деньги со слезами, да не будетъ сказано, что я дѣлалъ все это изъ желанія получить награду».

Александръ имъ доволенъ, все идетъ хорошо, но уже замѣтна какая-то непріязненная сила, которая то тамъ подкатить бревно подъ колеса, то тутъ опустить тормазъ...

Проектъ министерства просвѣщенія утвержденъ, но ужь онъ не тотъ; утвержденъ и проектъ харьковскаго университета, но колоссальный замыселъ Каразина суживается въ обыкновенные размѣры нѣмецкой провинціальной Hoch Schule. Каразинъ мечталъ о центральномъ учебномъ заведеніи, не только всей Малороссіи, но и юго-западныхъ славянъ, даже грековъ. Ему хотѣлось привлечь туда величайшія знаменитости ученаго міра. Лапласъ и Фихте согласились ѣхать, вызванные имъ, но правительство нашло ихъ не по карману.

Едва замѣчая *неудачу своихъ удачъ*, Каразинъ выписываетъ изъ чужихъ краевъ, на свой счетъ, въ Харьковъ тридцать два семейства типографовъ, переплетчиковъ и другихъ работниковъ, является во дворцѣ вдовствующей императрицы, пишетъ для нея трактаты о женскомъ воспитаніи, статьи о педагогійи и пр. Это его нисколько не отрываетъ отъ другихъ порученій Александра и отъ другихъ предпринятыхъ работъ. Съ небольшимъ въ два года онъ успѣлъ, сверхъ сказаннаго, написать уставъ для академіи, для университетовъ, для всѣхъ учебныхъ заведеній, собрать матеріалы для исторіи финансовъ и для исторіи медицины въ Россіи, заняться собраніемъ первыхъ статистическихъ свѣдѣній и привести въ порядокъ государственный архивъ.

Въ 1804 г. Каразинъ возвратился съ слѣдствія, которое онъ дѣлалъ, совокупно съ Державинымъ, надъ губернаторомъ Лопухинымъ. Злоупотребленія этого чловѣка, находившаго сильную поддержку, были раскрыты. Лопухинъ отданъ подъ судъ. Оставалось наградить слѣдопроизводителей; но уже нитка, по которой Маркиза Позу пускали ходить, была коротка.

Ничего не замѣчая, онъ явился къ государю. Государь его принялъ съ насупившимися бровями. Каразинъ стоялъ, какъ пораженный громомъ.

— Ты хвастаешься моими письмами?

— Государь... Но государь не далъ ему отвѣтить.

— Посторонніе знаютъ, что я тебѣ писалъ одному и никому не показывалъ. Ты можешь идти.

Каразинъ вышелъ, и между ними все было кончено. Каразинъ подалъ въ отставку; государь принялъ его просьбу.

Итакъ, въ 1804 г. императоръ не зналъ, что содержаніе писемъ бываетъ извѣстно *почтовому вѣдомству*.

Поневоля вспомнишь печальный анекдотъ, рассказанный Н. И. Тургеневымъ, какъ Александръ гдѣ-то на конгрессѣ, получивъ просьбу крестьянина, проданнаго своимъ помѣщикомъ, спросилъ Тургенева, «будто законами дозволяется продажа людей безъ земли, и будто продажа въ розницу допускается?» Тургеньевъ, знавшій хаосъ законовъ по этой части, хотѣлъ воспользоваться вопросомъ, чтобъ уничтожить невольническую продажу и разумѣется, не успѣлъ. Послѣ засѣданія въ совѣтѣ, на которомъ Тургеньевъ горячился, В. П. Кочубей подошелъ къ нему и, горько улыбаясь, сказалъ: «И вы думаете, что изъ этого что-нибудь будетъ?.. *Вы лучше вотъ чему подивитесь, что государь и не зналъ, что у насъ людей продаютъ по одиночку!*»

V.

Faremo da se!

Когда двери государева кабинета затворились для Каразина, онъ еще сдѣлалъ опытъ, пользуясь правомъ ему предоставленнымъ, писать къ нему. Но Маркизь Поза не имѣлъ больше интереса для коронованнаго Донъ Карлоса; къ тому же Александръ теперь былъ поглощенъ и занятъ вопросами другой важности, вопросами европейскими, онъ мѣрился съ Наполеономъ и напрашивался на войну, которая должна была кончиться тѣмъ, что насъ побьютъ подъ Аустерлицомъ.

Начинаетъ заниматься другимъ и Каразинъ; онъ, какъ отверженный любовникъ, *par dépit amoureux*, бросается въ дѣятельность, изумительно многостороннюю. Въ его огненной, безпокойной головѣ несутся, чередуются, переплавляются вереницы мыслей, государственные планы, агрономическіе проекты, ученныя теоріи, машины, наблюденія, снаряды, новое винокуреніе, усовершенствованіе коженнаго производства, земледѣльческіе опыты съ иностранными сѣменами, легкій способъ сушить и сохранять плоды и пр. Начинается война,—Каразинъ пишетъ о средствахъ умноженія селитры, дѣлаетъ мясные консервы и рядомъ съ этимъ хлопочетъ объ учрежденіи повсемѣстныхъ метеорологическихъ наблюденій въ Россіи; ставитъ въ 1808 году совершенно *ясныя наукообразныя* требованія по этой части, которыхъ наука до сихъ поръ не можетъ удовлетворить; ищетъ средствъ употребить на пользу воздушное электричество, заводитъ филотехническое общество въ Слободско-украинской губерніи, печется о своемъ харьковскомъ университетѣ и пр., и пр.

Но главная мысль, главная боль, основной тонъ жизни не тутъ.

Улучшая винокуренные заводы и стараясь на дѣло употребить воздушное электричество, Каразинъ страстно слѣдитъ за другими событіями и ищетъ другого громоотвода. Между тѣмъ время идетъ да идетъ.

Александръ царствуетъ уже двадцатый годъ. Чего и чего не было съ тѣхъ поръ, какъ, со слезами на глазахъ, онъ читалъ письмо Каразина?.. Тильзитъ и 1812 годъ. Москва и Парижъ, Вѣнскій конгрессъ и св. Елена. Общественное мнѣніе, разбуженное столькими выстрѣлами и толчками, двинулось впередъ, правительство стало отставать. Александръ не исполнилъ своихъ обѣщаній. Неудовольствіе росло,—народъ, давшій столько крови и получившій за это шишковскую прозу манифеста, ропталъ на новый рекрутскій наборъ тѣмъ больше, что поговаривали о безсмысленной войнѣ для поддержанія австрійскаго ига въ Италіи, о повтореніи нелѣпнѣйшей суворовской кампаніи.

Молодые люди, энергическіе и образованные смотрятъ угрюмо. Каразинъ все это видитъ, но онъ продолжаетъ вѣрить, что Александръ *можетъ и хочетъ* предупредить собирающуюся бурю.

Въ началѣ 1820 года, государь простилъ какой-то казенный долгъ тестю Каразина. Каразинъ просилъ дозволеніе лично принести свою благодарность—отказъ. Онъ написалъ государю письмо, въ которомъ, между прочимъ, говоритъ:

«Я ничего особеннаго писать не буду; но попрошу только, потребуйте, всемъ государь, у графа Виктора Павловича бумагу въ нѣсколько листовъ, писанную мной для него 31 марта, по поводу одного съ нимъ разговора, и еще письмо удѣйств. тайнаго совѣтника князя Вяземскаго, писанное къ нему изъ Масальской его деревни купцомъ Роговымъ отъ 1-го апрѣля, которое онъ мнѣ читалъ на сихъ дняхъ. Нельзя было безъ ужаса встрѣтить столь рѣшительнаго сходства мыслей *человѣка, столь удаленнаго отъ меня по всѣмъ отношеніямъ*, съ моими, и со всѣмъ тѣмъ, что занимаетъ мою душу постоянно *съ 1817 года*, когда я имѣлъ дерзновеніе открыть сіе въ письмѣ моемъ изъ Украины вашему величеству. Нельзя было не привести себѣ на память, что *точно такъ* изъ разныхъ мѣстъ отзывались во Франціи отголоски благонамѣренныхъ, предъ наступленіемъ гибельнаго переворота, и что *точно такъ* были пренебрегаемы! «Il est singulier que dans ce siècle de lumières, les souverains ne voient venir l'orage que quand il éclate», сказалъ Наполеонъ Ласъ-Казасу на островѣ св. Елены (р. 93, § CCCLXVII). Столь чудное согласіе различныхъ умовъ, не имѣющихъ между собою ничего общаго, заслуживаетъ вниманіе, *должно* въ себѣ заключать нѣчто справедливое, тѣмъ больше, что подобныя чувствованія открываются въ бесѣдахъ частныхъ обѣихъ столицъ съ нѣкотораго времени! Довольно, если половина, если *нѣкоторая доля* есть тутъ основательнаго!»

... «Время—говорить онъ въ запискѣ поданной по приказанію государя В. П. Кочубею—время укрѣпить разслабѣвающей составъ нашего государства; время замѣнить *религіозное* къ престолу почтеніе—другимъ, основаннымъ на законахъ».

«Конечно годъ, два, можетъ, и болѣе еще протянется, но для того-то я теперь и пишу, *для того-то и отваживаю* всего себя. Моя участь должна быть или ссылка за Байкаль, *пока еще ссылать можно*, или смерть съ оружіемъ въ рукахъ при защищеніи послѣдняго входа къ комнатамъ государевымъ. Тогда я писать ужъ не стану».

Каразинъ умоляетъ государя «не вѣрять словамъ, которыми губернаторы его встрѣчаютъ, *все благополучно, все по прежнему!*»— «Великая перемѣна, говоритъ онъ, произошла и ежедневно происходитъ въ умахъ»... Въ семеновской исторіи онъ явно видитъ «ступеньку лѣстницы, которую строить *для насъ духъ въка*».

Но гдѣ же его громоотводы? Вотъ они. «Постепенное освобожденіе крестьянъ и вызовъ выборныхъ людей отъ всего *дворянства*, какъ представителей общественнаго мнѣнія въ семейномъ совѣтѣ правительства»; этой Думой, полагаетъ Каразинъ, «будетъ спасено все и безъ ущерба монархической власти, лишь бы не ушло время». Земля, единственная въ своемъ составѣ, въ преддверіи величайшаго твоего несчастія, ты можешь еще быть спасена *искреннимъ семейнымъ союзомъ твоего государя съ его дворянствомъ!* Впрочемъ, да будетъ какъ и во всемъ воля божія!

... «Да и что можетъ потерпѣть самодержавіе отъ довѣренности къ тому сословію, котораго участь *тѣснѣйшимъ образомъ съ нимъ соединена?*»

... «Всѣ мѣры полицейской и духовной цензуры недостаточны противъ распространяющихся мнѣній. Излишняя строгость возмущаетъ лишь сердца. Натянутая *вервь* внезапно перервется. Въ многихъ *разночинцахъ и отпущенникахъ* я предвижу злодѣевъ, которые превзойдутъ Робеспьеровъ. Есть и дворяне, прожившіе свое имѣніе, воспитанные въ развратѣ и дурныхъ началахъ, недовольные службою, слѣдовательно, готовые присоединиться къ черни. Время Пугачева, московскаго бунта при Еропкинѣ и явленія безначалія при нашествіи въ 1812 году, въ разныхъ мѣстахъ Московской и Калужской губерніи (?) оказавшіяся, возвѣщаютъ завремено, какова чернь наша при невозбранномъ употребленіи вина!»

На этотъ крикъ ужаса и предостереженія, императоръ Александръ велѣлъ В. П. Кочубею потребовать у Каразина «подробностей, доказательства, имена».

Каразинъ отказался. Государь велѣлъ его посадить въ крѣпость и потомъ удалить на житье въ его малороссійское имѣніе.

ЕЩЕ РАЗЪ БАЗАРОВЪ ¹⁾.

Письмо первое.

Вмѣсто письма, любезный другъ, посылаю тебѣ диссертацию, да еще не оконченную. Послѣ нашего разговора, я перечиталъ статью Писарева о Базаровѣ, которую совсѣмъ забылъ, и очень радъ этому, т. е. не тому, что забылъ, а тому, что перечиталъ. Статья эта подтверждаетъ мою точку зрѣнія. Въ своей односторонности, она вѣрнѣе и замѣчательнѣе, чѣмъ объ ней думали ея противники.

Вѣрно ли понялъ Писаревъ Тургеневскаго Базарова, до этого мнѣ дѣла нѣтъ. Важно то, что онъ въ Базаровѣ узналъ *себя* и *своихъ* и добавилъ, чего не доставало въ книгѣ. Чѣмъ Писаревъ меньше держался колодокъ, въ которыя разгнѣванный родитель старался вколотить упрямаго сына, тѣмъ свободнѣе перенесъ на него свой идеаль.

— «Но въ чемъ же можетъ быть интересенъ для насъ идеаль г. Писарева? Писаревъ бойкій критикъ, онъ писалъ много, писалъ обо всемъ, иногда о такихъ предметахъ, которые зналъ, но все это не даетъ его идеалу права на общее вниманіе».

Въ томъ-то и дѣло, что это не его личный идеаль, а тотъ идеаль, который *до* Тургеневскаго Базарова и послѣ *него* носился въ молодомъ поколѣніи и воплощался не только въ разныхъ героев повѣстей и романовъ, но въ живыя лица, старавшіяся принять въ основу дѣйствій и словъ своихъ Базаровщину. То, что Писаревъ говоритъ, я слышалъ и видѣлъ десять разъ; онъ просто-душно разболталъ задушевную мысль цѣлаго круга и, собравъ въ одномъ фокусѣ разсѣянные лучи, освѣтилъ ими нормальнаго Базарова.

Базаровъ для Тургенева больше, чѣмъ посторонній, для Писарева больше, чѣмъ свой; для изученія, конечно, надобно взять тотъ взглядъ, который въ Базаровѣ видитъ свой *desideratum*.

Противники Писарева испугались его неосторожности; отрекаясь

¹⁾ Поляр. Звѣзда, т. VIII, стр. 141.

отъ Тургеневскаго Базарова, какъ отъ шаржи, они отмахивались еще больше отъ его преображеннаго двойника; имъ было непріятно, что Писаревъ опростоволосился, но изъ этого не слѣдуетъ, что онъ его невѣрно понялъ.

Писаревъ знаетъ сердце своего Базарова до тла, онъ исповѣдывается за него. «Можетъ быть», говоритъ онъ, «Базаровъ въ глубинѣ души признаетъ многое изъ того, что отрицаетъ на словахъ, и, можетъ быть, именно это признаваемое, это затаившееся спасаетъ его отъ нравственнаго паденія и отъ нравственнаго ничтожества». Мы считаемъ эту нескромность, заглянувшую такъ далеко въ чужую душу, очень важной.

Дальше Писаревъ такъ характеризуетъ своего героя: «Базаровъ чрезвычайно самолюбивъ, но самолюбіе его незамѣтно (ясно, что это не Тургеневскій Базаровъ), именно вслѣдствіе этой громадности. Удовлетворить Базарова могла бы только *цѣлая вѣчность постоянно расширяющейся дѣятельности и постоянно увеличивающагося наслажденія* ¹⁾.

«Б. вездѣ и во всемъ поступаетъ только такъ, какъ ему хочется, или какъ ему кажется выгоднымъ и удобнымъ, имъ управляетъ только личная прихоть или личные расчеты. Ни подъ собой, ни внѣ себя, ни внутри себя онъ не признаетъ никакого регулятора. Впереди никакой высокой цѣли, въ умѣ никакого высокаго помысла и при всемъ этомъ силы огромныя. Если Базаровщина *болѣзнь*, то она болѣзнь нашего времени и ее приходится выстрадать, несмотря ни на какія ампутаціи и паліативы.

«Б. смотритъ на людей сверху внизъ и даже рѣдко даетъ себѣ трудъ скрывать *свои полу-презрительныя и полу-покровительственныя отношенія къ тѣмъ*, которые его ненавидятъ, и къ тѣмъ, которые слушаются. Онъ никого не любитъ. Онъ считаетъ совершенно излишнимъ стѣснять свою особу въ чемъ бы то ни было. Въ его цинизмѣ двѣ стороны—внутренняя и внѣшняя, цинизмъ мыслей и чувствъ и цинизмъ манеръ и выраженій. Ироническое отношеніе къ чувству всякаго рода, къ мечтательности, къ лиризму составляетъ сущность внутренняго цинизма. Грубое выраженіе этой ироніи, *безпричинная и безцѣльная рѣзкость въ обращеніи* относятся къ внѣшнему цинизму. Б. не только эмпирикъ, онъ, кромѣ того, неотесанный буршъ. Въ числѣ почитателей Б. найдутся, навѣрное, такіе люди, которые будутъ восхищаться его грубыми манерами, слѣдами бурсацкой жизни, будутъ подражать

¹⁾ Юность любитъ выражаться разными несоизмѣримостями и поражать воображеніе безконечно великими образами. Послѣдняя фраза мнѣ такъ и напоминаетъ Карла Мора, Фердинанда и Донъ-Карлоса.

этимъ манерамъ, составляющимъ во всякомъ случаѣ *недостатокъ*, а не достоинство ¹⁾).

«Такіе люди всего чаще вырабатываются при сѣрой обстановкѣ трудовой жизни; отъ суроваго труда грубѣютъ руки, грубѣютъ манеры, грубѣютъ чувства, человѣкъ крѣпнеть и прогоняетъ юношескую мечтательность, избавляется отъ слезливой чувствительности; за работой мечтать нельзя, на мечту человѣкъ смотритъ, какъ на блажь, свойственную праздности и барской изнѣженности, нравственныя страданія онъ считаетъ мечтательными, нравственныя стремленія и подвиги — придуманными и нелѣпыми. *Онъ чувствуетъ отвращеніе къ фразистости*».

Затѣмъ Писаревъ представляетъ генеалогическое дерево Базарова: Онѣгины и Печорины родили Рудиныхъ и Бельтовыхъ, Рудины и Бельтовы — Базарова. (По волѣ или по неволѣ выпущены декабристы, не знаю).

Усталые, скучающіе люди замѣняются людьми, стремящимися къ дѣлу, жизнь бракуетъ обоихъ, какъ негодныхъ и неполныхъ. «Пострадать имъ иногда придется, но сдѣлать дѣло никогда не удастся. Общество къ нимъ глухо и неумолимо. Они не умѣютъ ужиться съ его условіями, ни одинъ изъ нихъ не дослужился до *начальниковъ отдѣленія*. Иные утѣшаются, становясь профессорами и работая для будущаго поколѣнія». Отрицательная польза, приносимая ими, не подлежитъ сомнѣнію. Они размножаютъ людей *неспособныхъ* къ практической дѣятельности, вслѣдствіе чего самая практическая дѣятельность, или, вѣрнѣе, тѣ формы, въ которыхъ она обыкновенно выражается теперь, медленно, но постоянно понижается въ мнѣніи общества.

«Казалось (послѣ крымской кампаніи), что Рудинству придать конецъ, что за эпохой бесплодныхъ мечтаній и стремленій наступаетъ эпоха кипучей и полезной дѣятельности. Но миражъ разсѣялся. Рудины не сдѣлались практическими дѣятелями, изъза нихъ выдвинулось новое поколѣніе, которое съ *укоромъ и насмѣшкой* отнеслось къ своимъ предшественникамъ. «Объ чемъ вы поете, чего вы ищете, чего просите отъ жизни? Вамъ небось счастья

¹⁾ Предсказаніе сбылось. Странная вещь это взаимодействіе людей на книгу и книги на людей. Книга беретъ весь складъ изъ того общества, въ которомъ возникаетъ, обобщаетъ его, дѣлаетъ болѣе нагляднымъ и рѣзкимъ и вслѣдъ за тѣмъ бываетъ обойдена реальностью. Оригиналы дѣлаютъ шаржу своихъ рѣзко оттѣшенныхъ портретовъ и дѣйствительныя лица вживаются въ свои литературныя тѣни. Въ концѣ прошлаго вѣка всѣ нѣмки сбивали немного на Вертера, всѣ нѣмки на Шарлоту; въ началѣ нынѣшняго университетскіе Вертеры стали превращаться въ «разбойниковъ», не настоящихъ, а шпллеровскихъ. Русскіе молодые люди, пріѣзжавшіе послѣ 1862, почти всѣ были изъ «Что дѣлать?» съ прибавленіемъ нѣсколькихъ базаровскихъ чертъ.

хочется? Да, вѣдь, мало что! Счастье надо завоевать. Есть силы, берите его. Нѣтъ силъ—*молчите*, а то и безъ васъ тошно! Мрачная, сосредоточенная энергія сказывалась въ этомъ *недружелюбномъ* отношеніи молодого поколѣнія къ своимъ наставникамъ. Въ своихъ понятіяхъ о добрѣ и злѣ, это поколѣніе сходилось съ лучшими людьми предыдущаго, симпатіи и антипатіи были общія; *желали они одного и того же*, но люди прошлаго *метались и суетились*. Люди настоящаго не мечутся, ничего не ищутъ, не подаются ни на какіе компромиссы и *ни на что не надѣются*. Они такъ же безсильны, какъ Рудины, но они сознали свое безсиліе.

Я не могу дѣйствовать теперь, думаетъ каждый изъ этихъ новыхъ людей, не стану и пробовать, *я презираю все, что меня окружаетъ* и не стану скрывать моего презрѣнія. Въ борьбу со зломъ я пойду, когда почувствую себя сильнымъ. Не имѣя возможности дѣйствовать, люди начинаютъ думать и изслѣдовать... Чувствія и авторитеты разбиваются вдребезги и міросозерцаніе совершенно очищается отъ разныхъ призрачныхъ представленій. Имъ дѣла нѣтъ, идетъ ли за ними общество; они полны собой, своей внутренней жизнью. Словомъ, у Печориныхъ *есть воля безъ жанія*, у Рудинныхъ—*знаніе безъ воли*, у Базаровыхъ—*и знаніе, и воля*. Мысль и дѣло сливаются въ одно твердое цѣлосъ.

Тутъ все есть, какъ видишь, если нѣтъ ошибки, и характеристика, и классификація—все коротко и ясно, сумма подведена, счетъ поданъ и съ той точки зрѣнія, съ которой авторъ взялъ вопросъ, совершенно вѣрно.

Но мы этого счета не принимаемъ и протестуемъ противъ него изъ нашихъ преждевременныхъ и не вступившихъ могилъ. Мы не Карлъ V и никакъ не хотимъ, чтобы насъ хоронили живыми.

Странныя судьбы *отцовъ и дѣтей!* Что. Тургеневъ вывелъ Базарова не для того, чтобъ погладить по головкѣ,—это ясно; что онъ хотѣлъ что-то сдѣлать въ пользу отцовъ,—и это ясно. Но въ соприкосновеніи съ такими жалкими и ничтожными отцами, какъ Кирсановы, крутой Базаровъ увлекъ Тургенева, и вмѣсто того, чтобъ посѣчь сына, онъ выпоролъ отцовъ.

Оттого-то и вышло, что часть молодого поколѣнія узнала себя въ Базаровѣ. Но мы вовсе не узнаемъ себя въ Кирсановыхъ, такъ, какъ не узнавали себя ни въ Маниловыхъ, ни въ Собакевичахъ, несмотря на то, что Маниловы и Собакевичи существовали сплошь да рядомъ во время нашей молодости и теперь существуютъ.

Мало ли какія стада нравственныхъ недоносковъ живутъ въ одно и то же время въ разныхъ слояхъ общества, въ разныхъ направленіяхъ его; безъ сомнѣнія, они представляютъ больше или меньше общіе типы, но не представляютъ самой рѣзкой и характеристичной стороны своего поколѣнія, стороны, наиболѣе выража-

ющей его интенсивность. Писаревскій Базаровъ, въ одностороннемъ смыслѣ, до нѣкоторой степени предѣльный типъ того, что Тургеневъ назвалъ *сыновьями*; въ то время, какъ Кирсановы самыя стертые и пошлые представители отцовъ.

Тургеневъ былъ больше художникъ въ своемъ романѣ, чѣмъ думаютъ; и оттого сбился съ дороги, и, по моему, очень хорошо сдѣлалъ,—шелъ въ комнату, попалъ въ другую, за то въ лучшую.

Что бы ему было прислать Базарова въ Лондонъ? Плюгавый Писемскій не побоялся путевыхъ расходовъ для взбаламученныхъ уродцевъ своихъ. Мы, можетъ быть, доказали бы ему на берегахъ Темзы, что можно, и не дослуживаясь до *начальника отдѣленія*, приносить не меньше пользы, чѣмъ приносить любой *начальникъ департамента*, что общество не всегда глухо и неумолимо, когда протестъ попадаетъ въ тонъ, что дѣло иногда удается, что у Рудиныхъ и Бельтовыхъ иной разъ бываетъ и воля, и настойчивость, и что, видя невозможность дѣятельности, къ которой они стремились по внутреннему влеченію, они бросали *многое*, уѣзжали на чужбину и заводили, «не метавшись и не суетясь», русскую книгопечатню.

Вліяніе лондонскаго ставка отъ 1856 до конца 1863 года не только практическій фактъ, но фактъ историческій. Стереть его нельзя. съ нимъ надобно примириться.

Базаровъ въ Лондонѣ увидѣлъ бы, что это только издали казалось, что мы размахиваемъ руками. а что на самомъ дѣлѣ мы ими работали. Можетъ, онъ смѣнилъ бы гнѣвъ на милость и пересталъ бы относиться къ намъ «съ укоромъ и насмѣшкой».

Я признаюсь откровенно, мнѣ лично это метанье камнями въ своихъ предшественниковъ—противно. Повторяю сказанное («Былое и Думы», IV томъ): «Хотѣлось бы спасти молодое поколѣніе отъ исторической неблагодарности и даже отъ исторической ошибки. Пора отцамъ-Сатурнамъ не закусывать своими дѣтьми, но пора и дѣтямъ не брать примѣра съ тѣхъ камчадаловъ, которые убиваютъ своихъ стариковъ».

Неужели за одной природой остается право, что ея фазы и ступени развитія, отклоненія и уклоненія, даже *avortements*, изучаются, принимаются, обдумываются *sine ira et studio*, а какъ дойдетъ дѣло до исторіи,—тотчасъ въ сторону методъ физиологическій, и на мѣсто его уголовная палата и управа благочинія?

+ Онѣгины и Печорины прошли.

Рудины и Бельтовы проходятъ.

Базаровы пройдутъ... и даже очень скоро. Это слишкомъ натянутый, школьный, взвинченный типъ, чтобъ ему долго удержаться.

Всѣ возникнувшіе типы пройдутъ и всѣ, съ той неутрачиваемостью однажды возбужденныхъ силъ, которую мы научились

узнавать въ физическомъ мірѣ, останутся и взойдутъ, видоизмѣняясь въ будущее движеніе Россіи и въ будущее устройство ея.

А потому, не интереснѣ ли, вмѣсто того, чтобы стравлять Базарова съ Рудинымъ, разобрать, въ чемъ *красныя нитки*, ихъ связующія, и въ чемъ причины ихъ возникновеній и ихъ превращеній? Почему именно эти формы развитія вызвались нашей жизнью и почему онѣ такъ переходили одна въ другую? Несходство ихъ очевидно, но чѣмъ-нибудь были же онѣ и близки другъ другу.

Типы легко схватываютъ различія, для рѣзкости въ нихъ увеличиваютъ углы и выпуклости, обводятъ густой краской предѣлы, обрываютъ связи, переливы теряются и единство остается вдали, за туманомъ, какъ поле, соединяющее подошвы горъ. далекихъ другъ отъ друга, ярко освѣщенными вершинами.

Къ тому же мы грузимъ на плечи типовъ больше, чѣмъ они могутъ вынести, и придаемъ имъ въ жизни значеніе, котораго они не имѣли или имѣли въ ограниченномъ смыслѣ. Братъ Онѣгина за *положительный* типъ умственной жизни двадцатыхъ годовъ, за интеграль въсѣхъ стремленій и дѣятельностей проснувагося слѣя совершенно ошибочно, хотя онъ и представляетъ одну изъ сторонъ тогдашней жизни.

Типъ того времени,—это *декабристъ*. а не Онѣгинъ. Русская литература не могла до него касаться цѣлыя сорокъ лѣтъ, но онъ отъ этого не сталъ меньшимъ.

Сердиться на то, что эти люди явились въ единственномъ словіи, въ которомъ было какое-нибудь образованіе, какой-нибудь досугъ и какая-нибудь обезпеченность—безсмысленно. Если-бъ эти «князья, бояре, воеводы». эти статсъ-секретари и полковники не проснулись первые отъ нравственнаго голода и ждали. чтобъ ихъ разбудилъ голодъ физическій, то не было бы не только ноющихъ и безпокойныхъ Рудиныхъ, но и почившихъ въ своемъ «единствѣ воли и знанія» Базаровыхъ. А былъ бы какой-нибудь полковой лекаръ, который морилъ бы солдатъ, обкрадывая ихъ на пайкахъ и лекарствахъ, и продавалъ бы приказчику Кирсанова свидѣтельства о естественной смерти засѣченныхъ крестьянъ, или былъ бы повятчикъ-взяточникъ, вѣчно пьяный, лупилъ бы четвертаки съ крестьянъ и подавалъ бы шинель и калоши его превосходительству, начальнику губерніи, Кирсанову. Да, сверхъ того, не было бы смертельнаго удара крѣпостному состоянію.

Счастье, что рядомъ съ людьми, которыхъ барскія затѣи состояли въ псарнѣ и дворнѣ, въ насилваніи и сѣченіи дома, въ раболѣпствѣ въ Петербургѣ, нашлись такіе, которыхъ «затѣи» состояли въ томъ, чтобъ вырвать изъ ихъ рукъ розгу и добиться простора не ухарству на отъѣзжемъ полѣ, а простора уму и челоуѣческой жизни.

Если въ литературѣ сколько-нибудь отразился слабо, но съ родственными чертами, типъ декабриста—это въ Чацкомъ.

Въ его озлобленной, желчевой мысли, въ его молодомъ негодованіи слышится здоровый порывъ къ дѣлу, онъ чувствуетъ, чѣмъ недоволенъ, онъ головой бьетъ въ каменную стѣну общественныхъ предразсудковъ и пробуетъ, крѣпки ли рѣшетки. Чацкій шелъ прямой дорогой на каторжную работу, и, если онъ уцѣлѣлъ 14 декабря, то навѣрно не сдѣлался ни страдательно тоскующимъ, ни гордо презирающимъ лицомъ. Онъ скорѣе бросился бы въ какую-нибудь негодующую крайность, какъ Чаадаевъ, сдѣлался бы католикомъ, ненавистникомъ славянъ или славянофиломъ, но не оставилъ бы ни въ какомъ случаѣ своей пропаганды, которой не оставлялъ ни въ гостиниѣ Фамусова, ни въ его снѣгахъ, и не успокоился бы на мысли, «что его часъ не насталъ». У него была та беспокойная неутомимость, которая не можетъ выносить диссонанса съ окружающимъ и должна или сломить его, или сломиться. Это—то броженіе, въ силу котораго невозможенъ застой въ исторіи и невозможна плѣсень на текущей, но замедленной волнѣ ея.

Чацкій, если-бъ пережилъ первое поколѣніе, шедшее за 14 декабря въ страхъ и трепетъ,—черезъ нихъ протянулъ бы горячую руку намъ. Съ нами Чацкій возвращался на *свою* почву. Эти *gimes croisées*—черезъ поколѣнія не рѣдкость, даже въ зоологіи. И я глубоко убѣжденъ, что мы съ дѣтьми Базарова встрѣтимся симпатично и она съ нами «безъ озлобленія и насмѣшки».

Чацкій не могъ бы жить сложа руки, ни въ капризной брюзгливости, ни въ надменномъ самообоготвореніи; онъ не былъ на столько старъ, чтобъ находить удовольствіе въ ворчливомъ будированіи и не былъ такъ молодъ, чтобъ наслаждаться отrotchескими самоудовлетвореніями. Въ этомъ характерѣ безпокойнаго фермента, бродящихъ дрожжей, вся сущность его.

Но именно эта-то сторона и не нравится Базарову, она-то его и озлобляетъ въ его гордомъ стоицизмѣ. «Молчите въ своемъ углу, коли силъ нѣтъ что-нибудь дѣлать, а то и безъ вашего хныканья тошно, говоритъ онъ,—побиты, ну и сидите побитые... Что вамъ ѣсть, что ли, нечего, что плачете, это все барскія затѣи», и т. д.

Писаревъ долженъ былъ такъ говорить за Базарова, этого требовала его роль.

Не играть роли, пока она нравится, трудно. Снимите съ Базарова его мундиръ, заставьте его забыть жаргонъ, на которомъ онъ говоритъ, дайте ему волю *просто*, безъ *фразы* (ему, который такъ ненавидитъ *фразерство!*), сказать одно слово, дайте ему на минуту забыть свою ежевую обязанность, свой искусственно сухой языкъ, свою стегаящую роль,—и мы объяснимся во всемъ остальномъ въ одинъ часъ.

«Въ своихъ понятіяхъ о добрѣ и злѣ новое поколѣніе сходилось съ прошедшимъ. Симпатіи и антипатіи, говоритъ Писаревъ, были общи, желали они одного и того же... въ глубинѣ души они признають многое, что отрицають на словахъ». Мудрено ли послѣ этого столковаться.

Но пока облаченье не снято, Базаровъ послѣдовательно требуетъ отъ людей, сдавленныхъ всѣмъ на свѣтѣ, оскорбленныхъ, измученныхъ, лишенныхъ сна и возможности на яву дѣлать что-нибудь, чтобъ они не говорили о боли,— это сильно сбивается на Аракчеевщину.

На какомъ же основаніи отнять право на горькую жалобу Лермонтова, напр., на его упреки своему поколѣнію, отъ которыхъ многіе вздрогнули? Чѣмъ въ самомъ дѣлѣ былъ бы лучше острогъ, если-бъ въ немъ тюремные сторожа были такъ же раздражительно нервны и привязчивы, какъ Базаровъ,— и подавили бы эти голоса?

— Да зачѣмъ они? Что проку?

— А зачѣмъ камень издаетъ звукъ, когда его бьютъ молотомъ?

— Онъ не можетъ иначе.

— А почему эти господа думаютъ, что люди могутъ страдать цѣлыя поколѣнія безъ словъ, жалобы, негодованія, проклятія, протеста? Если не для другихъ нужна жалоба, то для самихъ жалующихся. Высказанная скорбь утомляетъ боль. Ihm, говоритъ Гёте, gab ein Gott zu sagen was er leidet.

— А намъ что за дѣло?

— Можетъ, вамъ и нѣтъ, такъ другимъ, можетъ, *есть*; но нельзя терять изъ виду, что каждое поколѣніе живетъ тоже и *для себя*. Съ точки зрѣнія исторіи оно переходъ, но въ отношеніи къ себѣ оно цѣль и не можетъ, не должно безропотно выносить на него падающія невзгоды,— особенно не имѣя даже того утѣшенія, которое имѣлъ Израиль, ожидавшій Мессію, и вовсе не зная, что отъ Онѣгивныхъ и Рудиныхъ родится Базаровъ.

Въ сущности нашихъ юношей приводитъ въ ярость то, что въ нашемъ поколѣніи выражалась *наша* потребность дѣятельности, *нашъ* протестъ противъ существующаго *иначе*, чѣмъ у нихъ, и что мотивъ того и другого не всегда и не вполне зависѣлъ отъ голода и холода.

Нѣтъ ли въ этомъ пристрастіи къ однообразію того же раздражительнаго духа, который сдѣлалъ у насъ изъ канцелярской формы сущность дѣла и изъ военныхъ эволюцій—шагистику? Изъ этой стороны русскаго характера развились статская и военная Аракчеевщина. Всякое личное, индивидуальное проявленіе, отступленіе считалось непокорствомъ и возбуждало преслѣдованія и непрерывныя придирки. Базаровъ не оставляетъ никого въ покоѣ, всѣхъ

задираетъ свысока. Каждое слово его—выговоръ высшаго низшему. Это не имѣетъ будущности.

«Если, говоритъ Писаревъ, Базаровщина болѣзнь нашего времени, то ее придется выстрадать».

Ну, и довольно. Болѣзнь эта къ лицу только до окончанія университетскаго курса; она, какъ прорѣзываніе зубовъ, совершеннолѣтію не пристала.

Худшая услуга, которую Тургеневъ оказалъ Базарову, состоитъ въ томъ, что не зная, какъ съ нимъ сладить, онъ его казнилъ тифомъ. Это такая *ultima ratio*, противъ которой никто не устоитъ. Уцѣлѣй Базаровъ отъ тифа, онъ, навѣрное, развился бы вонъ изъ Базаровщины, по крайней мѣрѣ въ науку, которую онъ любилъ и цѣнилъ въ физиологіи и которая не мѣняетъ своихъ приемовъ, лягушка ли, или человѣкъ, эмбриологія ли, или исторія у нея въ передѣлѣ.

«Базаровъ выбилъ изъ своей головы всякіе предрассудки, затѣмъ онъ остался человѣкомъ крайне необразованнымъ. Онъ слыхалъ кое-что о поэзіи, кое-что объ искусствѣ, *не потрудился* подумать *и съ плеча* произнесъ приговоръ надъ незнакомымъ предметомъ. Эта заносчивость *свойственна намъ* вообще, она имѣетъ свои хорошія стороны, какъ умственная смѣлость, но за то порою приводитъ къ грубымъ ошибкамъ».

Наука спасла бы Базарова, онъ пересталъ бы глядѣть на людей свысока, съ глубокимъ и не скрываемымъ презрѣніемъ. Наука учитъ насъ смиренію. Она не можетъ ни на что глядѣть свысока, она не знаетъ, что такое *свысока*, она ничего не презираетъ, никогда не жлетъ для роли и ничего не скрываетъ изъ кокетства. Она останавливается передъ фактами, какъ изслѣдователь, иногда какъ врачъ, никогда какъ палачъ, еще меньше съ враждебностью и ироніей.

Наука, я, вѣдь, не обязанъ скрывать нѣсколько словъ въ тиши душевной, наука—*любовь*, какъ сказалъ Спиноза о мысли и вѣдѣніи.

Письмо второе.

Прошедшее оставляетъ въ исторіи *ступню*, по которой наука, рано или поздно, возстановляетъ былое въ основныхъ чертахъ. Утрачивается одно случайное, освѣщеніе—подъ тѣмъ или другимъ угломъ, подъ которымъ оно проходило. Апотеозы и клеветы, страстія и зависти, все это вывѣтривается и сдувается. Легкая ступня, занесенная пескомъ, исчезаетъ; ступня, имѣвшая силу и настойчивость выдавить себя на камнѣ, и воскреснетъ подъ рукой честнаго труженика.

Связи, степени родства, завѣщатели и наслѣдники и ихъ взаимныя права, все раскроется геральдикой науки.

Безъ предшественниковъ родятся только богини, какъ Венера изъ пѣны морской. Минерва умнѣе ея, родилась изъ готовой головы Юпитера.

Декабристы—наши отцы, Базаровы—наши дѣти.

Мы отъ декабристовъ получили въ наслѣдство возбужденное чувство человѣческаго достоинства, стремленіе къ независимости, ненависть къ рабству, уваженіе къ Западу, юность и непочатость силъ.

Все это переработалось, стало инымъ, но основы цѣлы.

Что же наше поколѣніе завѣщало новому?

Нигилизмъ.

Вспомнимъ немного, какъ было дѣло.

Около сороковыхъ годовъ жизнь изъ-подъ туго придавленныхъ клапановъ стала сильнѣе прорываться. Во всей Россіи прошла едва уловимая перемяна, та перемяна, по которой врачъ замѣчаетъ прежде отчета и пониманья, что въ болѣзни *есть поворотъ* къ лучшему, что силы очень слабы, но будто поднялись, — другой тонъ. Гдѣ-то внутри, въ нравственно-микроскопическомъ мірѣ, повѣялъ иной воздухъ, больше раздражительный, но и больше здоровый. Наружно все было мертво, но что-то пробудилось въ сознаниі, въ совѣсти—какое-то чувство неловкости, неудовольствія. Ужасъ притупился, людямъ надоѣло въ полумракѣ темнаго царства.

Я эту перемяну видѣлъ своими глазами, пріѣхавши изъ ссылки, сначала въ Москвѣ, потомъ въ Петербургѣ. Но я увидѣлъ это въ кругахъ литераторовъ и ученыхъ. Другой человѣкъ, котораго остзейская антипатія къ русскому движенію ставитъ выше подозрѣнія въ пристрастіи, рассказалъ не такъ давно, какъ онъ, возвратившись въ сороковыхъ годахъ въ петербургскую аристократію казармъ, послѣ отсутствія нѣсколькихъ лѣтъ, былъ озадаченъ послабленіемъ дисциплины. Флигель-адъютанты, гвардейскіе полковники роптали, критиковали мѣры правительства. Машина, стала подаваться; всѣ это почувствовали, одни говорили, другіе молчали, запрещали говорить; но тѣ и другіе поняли, что въ сущности все идетъ плохо, что всему тяжело, и что отъ этой тяжести никому нѣтъ прока.

Замѣшался въ дѣло смѣхъ. Мерзость и запустѣніе низшей администраціи дошли до того, что правительство отдало ее на поруганье. Николай Павловичъ, помиравшій со смѣху въ своей ложѣ надъ Сквозникомъ-Дмухановскимъ и Держимордой, помогаль пропагандѣ, не догадываясь, что смѣхъ, послѣ высочайшаго одобренія, пойдетъ быстро вверхъ по табели о рангахъ.

Приложить къ этому времени во всей ихъ рѣзкости рубрики Писарева трудно. Въ жизни все состоитъ изъ переливовъ, колебаній, перекрещиваній, захватываній и перехватываній, а не изъ отломленныхъ кусковъ.

Гдѣ окончились люди безъ знанія съ волей и начались люди съ знаніемъ безъ воли?

Природа рѣшительно ускользаетъ отъ взводнаго ранжира, даже отъ ранжира по возрастамъ. Лермонтовъ лѣтами былъ товарищъ Бѣлинскаго, онъ былъ вмѣстѣ съ нами въ университетѣ, а умеръ въ безвыходной безнадежности печоринскаго направленія, противъ котораго возставали уже и славянофилы и мы.

Кстати, я назвалъ славянофиловъ. Куда дѣтъ Хомякова и его «братчиковъ?» Что у нихъ было, воля безъ знанія, или знаніе безъ воли? А мѣсто они заняли не шуточное въ новомъ развитіи Россіи, они свою мысль далеко вдавили въ современный потокъ.

Или въ какой рекрутскій приѣмъ и по какой мѣрѣ мы сдадимъ Гоголя? Знанія у него не было, была ли воля,—не знаю, сомнѣваюсь, а гений былъ и его вліяніе колоссально.

Итакъ, оставляя *lapides crescunt, planta crescunt et vivunt...* Писарева, пойдемъ далѣе.

Тайныхъ обществъ не было, но *тайное соглашеніе* понимающихъ было велико. Крути, составленные изъ людей, больше или меньше испытывшихъ на себѣ медвѣжью лапу, смотрѣли чутко за своимъ составомъ. Всякое другое дѣйствіе кромѣ слова, и то маскированнаго, было невозможно, зато слово приобрѣло мощь, и не только печатное, но еще больше живое слово.

Двѣ батареи выдвинулись скоро. Периодическая литература дѣлается пропагандой, въ главѣ ея становится, въ полномъ разгарѣ молодыхъ силъ — Бѣлинскій. Университетскія кафедры превращаются въ налои, лекціи въ проповѣди очеловѣченья, личность Грановскаго, окруженнаго молодыми доцентами, выдается больше и больше.

Вдругъ еще взрывъ смѣха. Страннаго смѣха, страшнаго смѣха, смѣха судорожнаго, въ которомъ былъ и стыдъ и угрызеніе совѣсти, и, пожалуй, не смѣхъ до слезъ, а слезы до смѣха. Нелѣпный, уродливый, узкій міръ «Мертвыхъ душъ» не вынесъ, осѣлъ и сталъ отодвигаться. А проповѣдь шла сильнѣй... все одна проповѣдь — и смѣхъ и плачь, и книга и рѣчь, и Гегель ¹⁾ и исторія,— все звало людей къ сознанію своего положенія, къ ужасу передъ крѣпост-

¹⁾ Діалектика Гегеля—страшный таранъ. она несмотря на свое двуличіе, на прусско-протестантскую кокарду, улетучивала все существующее и и распускала все мѣшавшее разуму. Къ тому же это было время Фейербаха, *der kritischen Kritik...*

нымъ правомъ и передъ собственнымъ безправіемъ, все указывало на науку и образованіе, на очищеніе мысли отъ всего традиціоннаго хлама, на свободу совѣсти и разума.

Къ этому времени принадлежатъ первыя зарницы *нигилизма*, зарницы той совершеннѣйшей свободы отъ всѣхъ готовыхъ понятій, отъ всѣхъ унаслѣдованныхъ обструкцій и заваловъ, которые мѣшаютъ западному уму идти впередъ своимъ историческимъ ядромъ на ногахъ...

Тихая работа сороковыхъ годовъ разомъ оборвалась. Времена чернѣе и тяжелѣе начала николаевскаго царствованія наступили послѣ февральской революціи. Передъ началомъ гоненій умеръ Бѣлинскій. Грановскій завидовалъ ему и стремился оставить отечество.

Темная, семилѣтняя ночь пала на Россію и въ ней-то сложился, развился и окрѣпъ въ русскомъ умѣ тотъ складъ мыслей, тотъ приѣмъ мышленія, который назвали *нигилизмомъ*.

Нигилизмъ (повторяю сказанное недавно въ Колоколѣ), это—логика безъ стриктуры, это—наука безъ догматовъ, это—безусловная покорность опыту и безропотное принятіе всѣхъ послѣдствій, какія бы они ни были, если они вытекаютъ изъ наблюденія, требуются разумомъ. Нигилизмъ не превращаетъ *что-нибудь* въ ничего, а раскрываетъ, что *ничего*, принимаемое за *что-нибудь*, оптический обманъ, и что всякая истина, какъ бы она ни перечила фантастическимъ представленіямъ, здоровѣе ихъ и во всякомъ случаѣ обязательна.

Идти это названіе къ дѣлу или нѣтъ, это все равно. Къ нему привыкли, оно принято друзьями и врагами, оно попало въ полицейскій признакъ, оно стало доносомъ, обидой у однихъ, похвалой у другихъ. Разумѣется, если подъ *нигилизмомъ* мы будемъ разумѣть обратное творчество, т. е. превращеніе фактовъ и мыслей въ *ничего*, въ бесплодный скептицизмъ, въ надменное «сложаруки», въ отчаяніе, ведущее къ бездѣйствію, тогда настоящіе *нигилисты* всего меньше подойдутъ подъ это опредѣленіе, и одинъ изъ величайшихъ нигилистовъ будетъ И. Тургеневъ, бросившій въ нихъ первый камень, и, пожалуй, его любимый философъ Шопенгауеръ.

Когда Бѣлинскій, долго слушая объясненія кого-то изъ друзей о томъ, что *духъ* приходитъ къ самосознанію въ человѣкѣ, съ негодованіемъ отвѣчалъ: «такъ это я не для себя сознаю, а для духа... что же я ему за дуракъ достался, лучше не буду вовсе думать, что мнѣ за забота до его сознанія»... Онъ былъ *нигилистъ*.

Когда Бакунинъ уличалъ берлинскихъ профессоровъ въ робости отрицанья и парижскихъ революціонеровъ 1848 года въ консерватизмъ,—онъ былъ вполнѣ *нигилистъ*. Вообще всѣ эти

межеванія и ревнивыя отталкиванія ни къ чему не ведутъ, кромѣ насильственнаго антагонизма.

Нигилизмъ съ тѣхъ поръ расширился, яснѣе созналъ себя, долею сталъ доктриной, принялъ въ себя многое изъ науки и вызвалъ дѣятелей съ огромными силами, съ огромными талантами... Все это неоспоримо.

Но новыхъ началъ, принциповъ, онъ не внесъ.

Или гдѣ же они?

На это я жду отвѣта отъ тебя или, пожалуй, отъ кого-нибудь другого, и тогда буду продолжать.



КЪ СТАРОМУ ТОВАРИЩУ.

Письмо первое.

Одни мотивы, какъ бы они ни были достаточны, не могутъ быть действительны безъ достаточныхъ средствъ.

Иеремія Вентавъ.

(Письмо къ Александру I).

Насъ занимаетъ одинъ и тотъ же вопросъ. Впрочемъ, одинъ *серьезный вопросъ* и существуетъ на историческомъ череду. Все остальное—или его растущія силы, или болѣзни, сопровождающія его развитіе, т. е. страданія, которыми новый и болѣе совершенный организмъ вырабатывается изъ отжившихъ и тѣсныхъ формъ, примѣшивая ихъ къ высшимъ потребностямъ. Конечное разрѣшеніе у насъ обоихъ *одно*. Дѣло между нами вовсе не въ разныхъ началахъ и теоріяхъ, а въ разныхъ методахъ и практикахъ, въ оцѣнкѣ силъ, средствъ, времени, въ оцѣнкѣ историческаго матеріала. Тяжелыя испытанія съ 1848 г. розно отозвались на насъ. Ты больше остался, какъ былъ, тебя жизнь сильно помучила,—меня только помяла, но ты былъ вдали,—я стоялъ возлѣ. Но если я измѣнился, то вспомни, что *измѣнилось* все. Экономически-соціальный вопросъ становится теперь иначе, чѣмъ онъ былъ двадцать лѣтъ тому назадъ. Онъ пережилъ свой религіозный и идеальный, юношескій возрастъ, такъ же, какъ возрастъ натянутыхъ опытовъ и экспериментаций въ маломъ видѣ, самый періодъ жалобъ, протеста, исключительной критики и обличенія приближается къ концу. Въ этомъ великое знаменіе его совершеннolѣтія. Оно достигается наглядно, *но не достигнуто*, не отъ однихъ внѣшнихъ препятствій, не отъ одного отпора, но и отъ внутреннихъ причинъ. Меньшинство, идущее впередъ, не доработалось до ясныхъ истинъ, до практическихъ путей, до полныхъ формулъ будущаго экономическаго быта. Большинство, наиболѣе страдающее, стремится одною частью городскихъ работниковъ выйти изъ него, но удержано старымъ, традиціоннымъ міросозерцаніемъ другой и самой многочисленной части. Знанія и пониманья не возьмешь никакими *coup d'état* и никакими *coup de tête*. Медленность, сбивчивость историческаго хода пониманья насъ бѣситъ и душитъ,

она намъ невыносима, и многіе изъ насъ, измѣняя собственному разуму, торопятся и торопятъ другихъ. Хорошо ли это, или нѣтъ? Въ этомъ весь вопросъ.

Слѣдуетъ ли толчками возмущать съ цѣлью ускоренія внутренней работы, которая очевидна? Сомнѣнія нѣтъ, что акушеръ можетъ ускорять, облегчать, устранять препятствія, но въ извѣстныхъ предѣлахъ; а ихъ трудно установить и страшно переступить. На это, сверхъ логическаго самоотверженія, надобенъ тактъ и вдохновенная импровизація. Сверхъ того, не вездѣ одинакая работа и одни предѣлы. Петръ I, конвентъ научили насъ шагать семимильными сапогами, шагать изъ перваго мѣсяца беременности въ девятый, и ломать безъ разбора все, что попадетъ на дорогѣ. Die Zerstörernde Lust ist eine schaffende Lust—и впередъ за неизвѣстнымъ богомъ-истребителемъ, спотыкаясь на разбитыя сокровища вмѣстѣ со всякимъ мусоромъ и хламомъ.

... Мы видѣли грозный примѣръ кроваваго возстанія, въ минуту отчаянія и гнѣва сошедшаго на площадь и спохватившагося на баррикадахъ, что у него нѣтъ знамени. Сплоченный въ одну дружину, міръ консервативный побилъ его, вслѣдствіе этого было то ретроградное движеніе, котораго слѣдовало ожидать. Но что было бы, если-бъ побѣда стала на сторону баррикадъ? Въ двадцать лѣтъ грозные бойцы высказали ли все, что у нихъ было за душой? Ни одной построющей, органической мысли мы не находимъ въ ихъ завѣтѣ, а экономическіе промахи, не косвенно, какъ политическіе, а прямо и глубже ведутъ къ разоренію, къ застою, къ голодной смерти.

Наше время—именно время окончательнаго изученія, того изученія, которое должно предшествовать работѣ осуществленія, такъ какъ теорія паровъ предшествовала желѣзнымъ дорогамъ. Прежде дѣло хотѣли взять грудью, усердіемъ, отвагой и шли зря на авось; мы на авось не пойдѣмъ.

Ясно видимъ мы, что дальше дѣла не могутъ итти такъ, какъ шли, что, наконецъ, исключительному царству капитала и безусловному праву собственности такъ же пришелъ конецъ, какъ нѣкогда пришелъ конецъ царству феодальному и аристократическому. Какъ передъ 1789 обмиранье міра средневѣковаго началось съ сознанія несправедливаго подчиненія средняго сословія, такъ и теперь переворотъ экономической начался сознаніемъ общественной неправды относительно работниковъ. Какъ тогда упрямство и вырожденіе дворянства помогло собственной гибели, такъ и теперь упрямая и выродившаяся буржуазія тянетъ сама себя въ могилу.

Но общее постановленіе задачи не даетъ ни путей, ни средствъ, ни даже достаточной среды. Насильемъ ихъ не завоюешь. Подорванный порохомъ весь міръ буржуазный, когда уляжется дымъ

и расчищать развалины, снова начнет съ разными измѣненіями— какой-нибудь буржуазный міръ. Потому, что онъ внутри не конченъ и потому еще, что ни міръ строящій, ни новая организація не настолько готовы, чтобъ пополниться, осуществляясь. Ни одна основа изъ тѣхъ, на которыхъ покоится современный порядокъ, изъ тѣхъ, которыя должны рухнуть и пересоздаться, не настолько почата и распатана, чтобъ ее достаточно было вырвать силой, чтобъ исключить изъ жизни.

Пусть каждый добросовѣстный человекъ самъ себя спроситъ, готовъ ли онъ? Такъ ли ясна для него новая организація, къ которой мы идемъ, какъ общіе идеалы коллективной собственности, солидарности, и знаетъ ли онъ процессъ (кромѣ простого ломанья), которымъ должно совершиться превращеніе въ нее старыхъ формъ? И пусть, если онъ лично доволенъ собой, пусть скажетъ, готова ли та среда, которая по положенію должна первая ринуться въ дѣло?

Знаніе неотразимо, но оно не имѣетъ принудительныхъ средствъ. Излеченіе отъ предрасудковъ медленно, имѣетъ свои фазы и кризисы. Насильемъ и терроромъ распространяются религіи и политики, учреждаются самодержавныя имперіи и нераздѣльныя республики; насильемъ можно разрушать и расчищать мѣсто—не больше. Петроградизмомъ социальный переворотъ дальше каторжнаго равенства Гракха Бабёфа и коммунистической барщины Кабе не пойдетъ. Новыя формы должны все обнять и вмѣстить всѣ элементы современной дѣятельности и всѣхъ человѣческихъ стремленій. Изъ нашего міра не сдѣлаешь ни Спарту, ни бенедиктинскій монастырь. Не душишь одни стихіи въ пользу другихъ слѣдуетъ грядущему перевороту, а умѣть всѣ согласовать къ общему благу:

Экономическій переворотъ имѣетъ необъятное преимущество передъ всѣми религіозными и политическими революціями въ трезвости своей основы. Таковы должны быть и пути его, таково обращеніе съ данными. По мѣрѣ того, какъ онъ вырастаетъ изъ состоянія неопредѣленнаго страданія и недовольства, онъ невольно становится на *реальную почву*. Тогда какъ всѣ другіе перевороты постоянно оставались одной ногой въ фантазіяхъ, мистицизмахъ, вѣрованіяхъ и неоправданныхъ предрасудкахъ патриотическихъ, юридическихъ и пр., экономическіе вопросы подлежатъ математическимъ законамъ.

Конечно, математическій, какъ и всякій научный законъ носить доказательство въ самомъ себѣ и не нуждается ни въ эмпирическомъ оправданіи, ни въ большинствѣ голосовъ. Но для *приложенія*, эмпирическая сторона и всѣ внѣшнія условія осуществленія выступаютъ на первый планъ. «Мотивы могутъ быть истинны, но безъ достаточныхъ средствъ они не осуществляются».

Все это принято во всѣхъ дѣлахъ человѣческихъ и обходится слишкомъ сангвиническими людьми въ дѣлѣ такого значенія, какъ общественное пересозданіе. Какой механикъ не знаетъ, что его выкладка, формула, не перейдетъ въ дѣйствительность, пока въ ряду явленій, захватываемыхъ имъ, будутъ элементы не подчиняющіеся, посторонніе, или подлежащіе другимъ законамъ. Большой частью въ физическомъ мірѣ эти возмущающіе элементы не сложны и легко вводятся въ формулу, какъ вѣсь линіи маятника, упругость среды, въ которой дѣлаются его размахи и пр. Въ мірѣ историческаго развитія это не такъ просто. Процессы общественнаго роста, ихъ отклоненія и уклоненія, ихъ послѣдніе результаты, до того переплелись, до того неразымчато вошли въ глубочайшую глубь народнаго сознанія, что приступъ къ нимъ вовсе не легокъ, что съ ними надобно очень считаться, и однимъ реестромъ отрицаемаго, отданнымъ какъ въ «приказѣ по соціальной арміи», ничего, кромѣ путаницы, не сдѣлаешь.

Противъ ложныхъ догматовъ, противъ вѣрованій, какъ бы онѣ ни были безумны, однимъ отрицаніемъ, какъ бы оно ни было умно, бороться нельзя. Сказать «не вѣрь» такъ же авторитетно и въ сущности нелѣпо, какъ сказать «вѣрь». Старый порядокъ вещей крѣпче признаніемъ его, чѣмъ матеріальной силой, его поддерживающей. Это всего яснѣе тамъ, гдѣ у него нѣтъ ни карательной, ни принудительной силы, гдѣ онъ твердо покоится на невольной совѣсти, на неразвитости ума и на незрѣлости новыхъ воззрѣній ¹⁾, какъ въ Швейцаріи и Англии.

Народное сознаніе такъ, какъ оно выработалось, представляетъ естественное, само собой сложившееся, безотвѣтственное сырое произведеніе разныхъ усилій, попытокъ, событій, удачъ и неудачъ людскаго сознанія, разныхъ инстинктовъ и столкновеній; его надобно принимать за естественный фактъ и бороться съ нимъ, какъ мы боремся со всѣмъ безсознательнымъ, изучая его, овладѣвая имъ и направляя его же средства сообразно нашей цѣли.

Вообще въ соціальныхъ нелѣпостяхъ современнаго быта никто не виноватъ и никто не можетъ быть казненъ съ большей справедливостью, чѣмъ море, которое съѣлъ персидскій царь, или вѣчевой колоколъ, наказанный Іоанномъ Грознымъ. Винить, наказывать, отдавать на копьѣ—все это становится ниже нашего по-

¹⁾ Что говорить о папскихъ силлабусахъ и индексахъ, о полицейскихъ наказаніяхъ за такія-то и такія-то мнѣнія, о сенатскихъ рѣшеніяхъ философскихъ вопросовъ, когда неясность, сбивчивость самыхъ элементарныхъ понятій поражаютъ въ мірѣ *свободнаго мышленія*. въ высшихъ сферахъ оппозиціи и революціи... Вспомни старый споръ Маццини противъ Прудона и новое препирательство о вмѣненіи, о волѣ, объ идеализмѣ, о позитивизмѣ Жирардена, Луи-Блана, Жюль-Симона.

вниманья. Надобно проще смотрѣть, физиологичнѣе, и окончательно пожертвовать уголовной точкой зрѣнія, а она, по несчастью, прорывается и мѣшаетъ понятія, вводя личныя страсти въ общее дѣло и превратную перестановку невольныхъ событій въ преднамѣренный заговоръ. Собственность, семья, церковь, государство были огромными воспитательными формами человѣческаго освобожденія и развитія, мы выходили изъ нихъ по минованіи надобности.

Обрушивать отвѣтственность за бывшее и современное на послѣднихъ представителей «прежней правды», дѣлающейся «настоящей неправдой» такъ же нелѣпо, какъ было нелѣпо и несправедливо казнить французскихъ маркизовъ за то, что они не якобинцы; и еще хуже, потому что мы за себя не имѣемъ якобинскаго оправданія: наивной вѣры въ свою правоту, въ свое право. Мы измѣняемъ основнымъ началамъ нашего воззрѣнія, осуждая цѣлыя сословія, и въ то же время отвергая уголовную отвѣтственность отдѣльнаго лица. Это мимоходомъ, для того, чтобъ не возвращаться.

Прежніе перевороты дѣлались въ сумеркахъ, сбивались съ пути, шли назадъ, спотыкались и, въ силу внутренней неясности, требовали бездну всякой всячины, разныхъ вѣръ и геройства, множество выспренныхъ добродѣтелей, патріотизмовъ, піэтизмовъ. Соціальному перевороту ничего не нужно, кромѣ *пониманья и силы*, знанья и средствъ.

Но пониманье страшно обязываетъ. Оно имѣетъ свои неотступныя угрызенія разума и неумолимые упреки логики.

Пока социальная мысль была неопредѣленная, ея проповѣдники, сами вѣрующіе и фанатики, обращались къ страстямъ и фантазіи столько же, сколько къ уму; они грозили собственникамъ карой и разореніемъ, позорили, стыдили ихъ богатствомъ, склоняли ихъ на добровольную бѣдность страшной картиной страданій. (Странная *sarlatio benevolentiae*,— согласенъ). Изъ этихъ средствъ социализмъ выросъ. Не то надобно доказать собственникамъ и капиталистамъ, что ихъ обладаніе грѣшно, безнравственно (понятія, взятыя изъ совѣсть иного міросозерцанія, чѣмъ наше), а то, что нелѣпость его контрафорсовъ пришла къ сознанію неимущихъ, въ силу чего оно становится *невозможнымъ*. Имъ надобно показать, что борьба противъ неотвратимаго—безсмысленное истощеніе силъ и что, чѣмъ она упорнѣе и длиннѣе, тѣмъ къ большимъ потерямъ и гибелямъ она приведетъ. Твердыню собственности и капитала надобно потрясти расчетомъ, двойной бухгалтеріей, яснымъ балансомъ дебита и кредита. Самый отчаянный скряга не предпочтетъ утонуть со всѣми богатствами, если можетъ спасти часть ихъ и самого себя, бросая другую за бортъ. Для этого не-

обходимо только, чтобъ опасность была *такъ же* очевидна для него, какъ *возможность спасенія*.

Новый водворяющійся порядокъ долженъ являться не только мечемъ рубящимъ, но и силой хранительной. Наносъ ударъ старому міру, онъ не только долженъ спасти все, что въ немъ достойно спасенія, но оставить на свою судьбу все не мѣшающее, разнообразное, своеобразное. Горе бѣдному духомъ и тощему художественнымъ смысломъ перевороту, который изъ всего былого и нажитаго сдѣлаетъ скучную мастерскую, которой вся выгода будетъ состоять въ одномъ пропитаніи, и только въ пропитаніи. Но этого и не будетъ. Человѣчество во все времена, самая худшія, показывало, что у него potentialiter больше потребностей и больше силъ, чѣмъ надобно на одно завоеваніе жизни; развитіе не можетъ ихъ заглушить. Есть для людей драгоцѣнности, которыми они не поступятся и которыя у него изъ рукъ можетъ вырвать одно деспотическое насиліе, и то на минуты горячки и катаклизма. И кто не скажетъ, безъ вопіющей несправедливости, чтобъ и въ быломъ и въ отходящемъ не было много прекраснаго и что оно должно погибнуть вмѣстѣ съ старымъ кораблемъ.

Ницца, 15 января, 1869.

Письмо второе.

Международные работничьи съѣзды становятся ассизами, передъ которыми вызывается одинъ социальный вопросъ за другимъ: они получаютъ больше и больше организующій складъ, ихъ члены эксперты и слѣдопроизводители. Они самую стачку и остановку работъ допускаютъ какъ тяжелую необходимость, какъ *pis aller*, какъ средство сосчитать свою силу, какъ боевую организацію. Серьезный характеръ ихъ поразилъ враговъ. Сильное *ихъ покоя* испугало фабрикантовъ и заводчиковъ. Было бы огромное несчастье, если-бъ они преждевременно вышли изъ этого строя.

Работники, соединяясь между собой, выдѣляясь въ особое «государство въ государствѣ», достигающее своего устройства и своихъ правъ помимо капиталистовъ и собственниковъ, составятъ первую стѣну и первый всходъ будущаго экономическаго устройства. Международный союзъ можетъ вырасти въ Авентинскую гору à l'intégrité. Отступая на нее, міръ рабочій, сплоченный между собой, покинетъ міръ, пользующійся безъ работы, и онъ, отлученный *polens volens*, пойдетъ на сдѣлки. А не пойдетъ, тѣмъ хуже для него, тогда гибель его отстранится только настолько, насколько у новаго міра нѣтъ силъ. Угроза при безсиліи вредна. Подавленный взрывъ двинетъ назадъ. Досугъ нуженъ для двойной работы

серьезнаго изученія и вербованья пониманьемъ; а настороженный врагъ, имѣющій силу въ рукахъ, схватится за оружіе для своей обороны прежде, чѣмъ противный станъ успѣетъ построиться. Уничтожать и топтать всходы легче, чѣмъ торопить ихъ ростъ. Тотъ, кто не хочетъ ждать и работать, тотъ идетъ по старой колѣѣ пророковъ и прорицателей, іересіарховъ, фанатиковъ и цеховыхъ революціонеровъ. А всякое дѣло, совершающееся при пособіи элементовъ безумныхъ, мистическихъ, фантастическихъ, въ послѣднихъ выводахъ своихъ непремѣнно будетъ имѣть и безумные результаты рядомъ съ дѣльными. Сверхъ того, пути эти все больше и больше заростають для насъ травой, пониманье и обсуживанье— наше единственное оружіе. Теократическіе и политическіе догматы не требуютъ пониманья; они даже тверже и крѣпче покоятся на вѣрѣ безъ духа критики и анализа. Папу надобно считать непогрѣшимымъ, отечество защищать, писанія и предписанія исполнять...

Все прошлое, изъ котораго мы хотимъ выйти, такъ и шло. Мѣнялись формы, образы, обряды. Сущность оставалась та же. Человѣкъ, склонявшій голову передъ капуциномъ, идущимъ съ крестомъ, дѣлалъ то же, что человѣкъ склоняющій голову передъ рѣшеніемъ суда, какъ бы оно нелѣпо ни было.

Изъ этого-то міра нравственной неволи и подъ-авторитетности, повторяю, мы и бьемся выйти въ ширь пониманья, въ міръ *свободы въ разумъ*. Всякія попытки обойти, перескочить сразу отъ нетерпѣнія, увлечь авторитетомъ или страстью, приведутъ къ страшнѣйшимъ столкновеніямъ и, что хуже, къ почти неминуемымъ пораженіямъ. Обойти процессъ пониманья такъ же невозможно, какъ обойти вопросъ о силѣ. Навязываемое предрѣшеніе всего, что *составляетъ вопросъ*, поступаетъ очень безцеремонно съ *освобожденнымъ веществомъ*. Взять вдругъ человѣка умственно дремавшаго и огорочить его въ первую минуту, съ просонья, рядомъ мыслей, сбивающихъ всѣ его нравственные понятія и къ которымъ ему не поставлено лѣстницы, врядъ ли много послужить развитію; а скорѣе смутить, собьеть съ толку оглушеннаго, или обратнымъ дѣйствіемъ оттолкнетъ его въ свирѣпый консерватизмъ.

Я нисколько не боюсь слова «постепенность», опошленнаго шаткостью и невѣрнымъ шагомъ разныхъ реформирующихъ властей. Постепенность такъ, какъ непрерывность, неотъемлемы всякому процессу разумнѣя. Математика передается постепенно, отчего же конечные выводы, мысли о социологіи могутъ прививаться какъ оспа, или вливаться въ мозги такъ, какъ вливають лошалямъ съ разу лекарство въ ротъ. Между конечными выводами и современнымъ состояніемъ есть практическія облегченія, пути, компромиссы, діагонали. Понять, которыя изъ нихъ короче, удоб-

нѣе и возможнѣе, дѣло практическаго такта, дѣло стратегіи. Идя безъ оглядки впередъ, можно затесаться какъ Наполеонъ въ Москву и погибнуть, отступая отъ нея, не доходя даже до Березины. Международное соединеніе работниковъ, всевозможныя соединенія ихъ, ихъ органы и представители, должны всѣми силами достигать того невмѣшательства власти въ *работу*, котораго оно не дѣлаетъ въ *управленіи собственностію*. Формы, сдерживающія людей въ полунасильственныхъ ковахъ, à la longue не вынесутъ напора логики и развитія общественнаго пониманья. Однѣ изъ нихъ до того внутри сгнили, что имъ дать толчекъ ногой; другія, какъ ракъ, держатся корнями въ дурной крови. Ломаи одинакимъ образомъ тѣ и другія, можно убить организмъ, и, навѣрное заставить огромное большинство отпрянуть. Всего яростнѣе возстанутъ за «ракъ» наиболѣе страдающіе отъ него.

Это очень глупо, но пора съ глупостью считаться какъ съ громадной силой.

Во всей Европѣ подымется за старые порядки сплошь все крестьянское населеніе. А развѣ мы не знаемъ, что такое сельское населеніе, какова его упорная сила и упорная колкость? Отобравъ изъ рукъ революціи земли эмигрантовъ, оно-то и подсиѣло республику и революцію. Конечно, оно отпрянетъ и накинется по неразумью и невѣжеству, но въ этомъ-то вся важность.

На неразуміи и невѣжествѣ зиждется вся прочность существующаго порядка; на нихъ покоятся устарѣлыя воспитательныя формы, въ которыхъ люди выросли изъ несовершеннолѣтія, и которыя жмутъ теперь меньшинство, но которыхъ вредной ненужности не понимаетъ большинство. Мы знаемъ, что значитъ ошибаться въ возрастѣ и въ степени пониманья. Всеобщая подача голосовъ, навязанная неприготовленному народу, послужила для него бритвой, которой онъ чуть не зарѣзался.

Но если понятія государства, суда силыны и крѣпки, то еще крѣпче укоренены понятія о семьѣ, о собственности, о наслѣдствѣ. Отрицаніе собственности само по себѣ бессмыслица; «собственность не погибнетъ», скажу парафразируя извѣстную фразу Людовика-Филиппа. Видоизмѣненіе ея, въ родѣ перехода изъ *личной* въ *коллективную*, неясно и неопредѣленно. Крестьянину на Западѣ такъ же необходимо привилась его любовь къ *своей* землѣ, какъ въ Россіи легко понимается крестьянствомъ общинное владѣніе. Нелѣпаго тутъ ничего нѣтъ. Собственность, и особенно поземельная, для западнаго человѣка представлялась освобожденіемъ, его самобытностью, его достоинствомъ и величайшимъ гражданскимъ значеніемъ. Можетъ быть, онъ убѣдится въ невыгодѣ непрерывно крошащихся и дробимыхъ участковъ и въ выгодѣ свободнаго хозяйства, общинныхъ запашекъ полей; но какъ же его «безъ

пристрастія» уломать, чтобъ онъ спервоначала отказался отъ вѣками взлелѣянной мечты, которою онъ жилъ и тѣшился и которая дѣйствительно поставила его на ноги, прикрѣпила къ нему землю, къ которой онъ былъ прежде крѣпокъ?

Вопросъ, прямо идущій за тѣмъ, вопросъ о наслѣдствѣ, еще труднѣе. Кромѣ холостыхъ фанатиковъ въ родѣ монаховъ, раскольниковъ, икаріанъ и пр., никакая масса не согласится на безусловное отреченіе отъ права завѣщать какую-нибудь часть своего достоянія своимъ наслѣдникамъ. Я не знаю довода, по которому было бы можно противодѣйствовать этой формѣ любви избирательной или кровной, передачѣ вмѣстѣ съ жизнію, съ чертами, даже съ болѣзнями, вещей, служившихъ мнѣ орудіемъ. Развѣ во имя обязательнаго *братства* и любви ко всѣмъ? Въ худшемъ человѣческомъ положеніи, у дворовыхъ крѣпостныхъ людей, были кой-какія тряпки, которыя они оставляли своимъ и которыя почти никогда не отбирались помѣщиками. Отнимите у самаго бѣднаго мужика право завѣщать,—и онъ возьметъ коль въ руки и пойдетъ защищать своихъ, свою семью и свою волю.

— Что же тогда?... Или свернуть свое знамя и отступить, потому что сила, очевидно, будетъ съ ихъ стороны, или ринутся въ бой и, въ случаѣ мѣстной, временной побѣды, начать водвореніе новаго порядка, новаго освобожденія, избіеніемъ.

Аракчееву было сполгоря вводить свои военно-экономическія утопіи, имѣя за себя войско, да и то ничего не сдѣлалъ. А за упраздненіемъ государства, откуда брать «экзекуцію», палачей, и пуще всего фискаловъ? А въ нихъ будетъ огромная потребность. Не начать ли новую жизнь съ сохраненіемъ социальнаго корпуса жандармовъ? Неужели цивилизація кнутомъ, освобожденіе гильотиной, составляютъ вѣчную необходимость всякаго шага впередъ?

Дальше я не пойду теперь, а скажу въ заключеніе вотъ что. Стоя возлѣ труповъ, возлѣ ядрами разрушенныхъ домовъ, слушая въ лихорадкѣ, какъ разстрѣливали плѣнныхъ, я всѣмъ сердцемъ и всѣми помышленіями звалъ дикія силы на мечь, на разрушеніе старой преступной веси; звалъ, даже не очень думая, чѣмъ она замѣнится.

Съ тѣхъ поръ прошло двадцать лѣтъ. Мечь пришла съ другой стороны, мечь пришла сверху. Народы все вынесли *потому, что ничего не понимали* ни тогда, ни послѣ. Середина вся растоптана и втоптана въ грязь... Длинное, тяжелое время дало досугъ страстямъ успокоиться и мыслямъ отстояться, дало досугъ на обдуманіе и наблюденіе.

Ни ты, ни я—мы не измѣнили нашихъ убѣжденій, но розно стали къ вопросу. Ты рвешься впередъ по прежнему, со страстью разрушенія, которую принимаешь за творческую страсть,... ломая

препятствія и уважая исторію только въ будущемъ. Я не вѣрю въ прежніе революціонные пути и стараюсь понять шагъ *людской* въ быломъ и настоящемъ, для того, чтобъ звать какъ итти съ нимъ въ ногу, не отставая и не забѣгая въ такую даль, въ которую люди не пойдутъ за мной, не могутъ итти.

И еще слово. Высказать это въ томъ кругу, къ которомъ мы живемъ, требуетъ если не больше, то, конечно, не меньше мужества и самостоятельности, чѣмъ брать во всѣхъ вопросахъ самую крайнюю крайность.

Я думаю, ты самъ согласишься въ этомъ...

Ницца, 25 января, 1869.

Письмо третье.

Нѣтъ, любезные друзья, мозгъ мой отказывается понимать многое изъ того, что вамъ кажется яснымъ, изъ того, что вы допускаете и противъ чего я имѣю тысячи возраженій.

Мозгъ старѣеть, можетъ быть, и я беру въ свою защиту то, что одинъ изъ нашихъ друзей писалъ обо мнѣ или противъ меня.

«Человѣку очень мудрено толковать что-нибудь, о чемъ этотъ человѣкъ думаетъ иначе. Тутъ дѣйствительно физиологическій процессъ, о которомъ столько говорятъ общими мѣстами и котораго никто не хочетъ принять въ расчетъ, какъ скоро дѣло доходить до дѣла. Мозгъ ничего не вырабатываетъ произвольно, а всегда вырабатываетъ результатъ соотношенія принятыхъ имъ впечатлѣній. Слѣдственно, если впечатлѣнія одного рознятся отъ впечатлѣній другого на какой-нибудь дифференціалъ, то дальнѣйшее развитіе соотношенія впечатлѣній и результата, изъ нихъ выводимаго, т. е. постановка и дальнѣйшее развитіе уравненія (которое есть единственная форма мозговыхъ дѣйствій) можетъ разойтись у одного отъ другого на разстояніе, невозможное къ совпадению.

«Въ этомъ вся мудрость доказательствъ, доходящихъ почти до тщетныхъ усилій».

Эти строки, писанныя противъ меня, совершенно справедливы, печально справедливы.

Отрывокъ этотъ, приведенный изъ отвѣта Огарева на мое письмо къ Бакунину, оканчивается такъ:

«Каждый отдѣльный мозгъ, вслѣдствіе нарощенія въ себѣ своихъ впечатлѣній, встрѣчаетъ отъ нихъ уклоняющіяся новыя впечатлѣнія, или вовсе мимоходно, или не съ достодолжной емкостью, или совсѣмъ отрицательно (т. е. враждебно). Отсюда каждый человѣкъ убѣжденъ или предубѣжденъ, что онъ правъ, что положительно не можетъ быть доказано даже въ такихъ абстрактныхъ

спеціальностейъ, какъ математическія построенія (теорія Тихо-де-Браге такъ же была построена на математическихъ построеніяхъ, какъ и теорія Галилея); и потому, дѣйствительное признаніе истины требуетъ новыхъ мозговъ, не увлеченныхъ предыдущими впечатлѣніями. На этомъ даже зиждется знаменитое историческое развитіе или прогрессъ».

Мои возраженія, такъ, какъ и вообще возраженія, нетерпѣливымъ людямъ начинаютъ надоѣдать. «Время слова, говорятъ они, прошло; время дѣла наступило». Какъ будто *слово* не есть *дѣло*? Какъ будто время слова можетъ пройти? Враги наши никогда не отдѣляли *слово* и *дѣло* и казнили за *слово*, не только одинакимъ образомъ, но часто свирѣпѣе, чѣмъ за *дѣло*. Да и дѣйствительно, какое-нибудь «*Allez dire à votre maitre*» Мирабо не уступитъ по вліянію никакому *coup de main*.

Расчлененіе *слова* съ *дѣломъ* и ихъ натянутое противуположеніе не выноситъ критики, но имѣетъ печальный смыслъ какъ признаніе, что все уяснено и понято, что толковать не о чемъ, а нужно исполнять. Боевой порядокъ не терпитъ разсужденій и колебаній. Но кто же, кромѣ нашихъ враговъ, готовъ на бой и силенъ на *дѣло*? Наша сила въ силѣ мысли, въ силѣ правды, въ силѣ слова, въ исторической *попутности*. Международные сходы только сильны проповѣдью; матеріально, дальше отрицательной силы гревы, они не могутъ идти.

Стало быть, остается попрежнему сидѣть сложа руки весь вѣкъ, довольствуясь прекрасными рѣчами?

Не знаю, весь ли вѣкъ или часть его, но навѣрное до тѣхъ поръ не сходить въ рукопашную, пока нѣтъ ни единства убѣжденій, ни сосредоточенныхъ силъ. Быть правымъ въ бою немного значить: правота давала побѣду только въ судѣ божіемъ; у насъ на небесное вмѣшательство надежды мало.

Чѣмъ кончилось польское возстаніе, невозможное по несоразмѣрности силъ?

Каково теперь на совѣсти тѣмъ, которые подталкивали поляковъ?

На это говорить наши противники съ какимъ-то философскимъ фатализмомъ:

«Избраніе путей исторія не въ личной власти; не событія зависятъ отъ лицъ, а лица отъ событій. Мы только мнимо управляемъ движеніемъ, но въ сущности плывемъ, куда волна несетъ, не зная, до чего доплывемъ».

Пути вовсе не неизмѣнимы. Напротивъ, они-то и измѣняются съ обстоятельствами, съ пониманьемъ, съ личной энергіей. Личность создается средой и событіями, но и событія осуществляются личностями и носятъ на себѣ ихъ печать: тутъ взаимодействіе. Быть страдательнымъ орудіемъ какихъ-то независимыхъ отъ насъ

силъ, намъ не по росту. Чтобъ стать слѣпымъ орудіемъ судебъ, бичемъ, палачемъ божіимъ, надобно наивную вѣру, простоту невѣдѣнія, дикій фанатизмъ и своего рода непочатое младенчество мысли. Честно мы не можемъ брать на себя ни роль Аттилы, ни даже роль Антона Петрова. Принимая ихъ, мы должны будемъ обманывать другихъ или самихъ себя. За эту ложь намъ придется отвѣчать передъ своей совѣстью и передъ судомъ близкихъ намъ по духу.

То, что мыслящіе люди прощали Аттилѣ, комитету общественнаго спасенія и даже Петру, не простятъ намъ. Мы не слышали голоса, призывавшаго насъ свыше къ исполненію судебъ, и не слышали подземнаго голоса снизу, который указалъ бы путь. Для насъ существуетъ одинъ голосъ и одна власть—*власть разума и пониманья*. Отвергая ихъ, мы становимся разстригами науки и ренегатами цивилизаціи. Самыя массы, на которыхъ лежитъ вся тяжесть быта, съ своей македонской фалангой работниковъ, ищутъ слова и пониманья и съ недоувѣріемъ смотрятъ на людей, проповѣдующихъ аристократію науки и призывающихъ къ оружію. И замѣтите, проповѣдники не изъ народа, а изъ школы, изъ книгъ, изъ литературы, жившіе въ отвлеченностяхъ. Старые студенты—они ушли отъ народа дальше, чѣмъ его враги. Попъ и аристократъ, полицейскій и купецъ, хозяинъ и солдатъ имѣютъ больше прямыхъ связей съ массами, чѣмъ они. Оттого-то они и полагаютъ возможнымъ начать экономическій переворотъ съ *tabula rasa*, съ выжиганья до тла всего историческаго поля, не догадываясь, что поле это, съ своими полосами и плевелами, составляетъ всю непосредственную почву народа, всю его нравственную жизнь, всю его привычку и все его утѣшеніе.

Народъ консерваторъ по инстинкту и по тому, что онъ не знаетъ ничего другого, у него нѣтъ идеаловъ внѣ существующихъ условий; его идеаль буржуазное довольство, такъ, какъ идеаль Атта-Троля у Гейне абсолютно бѣлый медвѣдь. Онъ держится за удручающій бытъ, за тѣсныя рамы, въ которыя онъ вколоченъ; онъ вѣрится въ ихъ прочность и обезпеченіе, не понимая, что эту прочность онъ-то имъ и даетъ. Чѣмъ народъ дальше отъ движенія исторіи, тѣмъ онъ упорнѣе держится за усвоенное, за знакомое. Онъ даже новое понимаетъ только въ старыхъ одеждахъ. Пророки, провозглашавшіе социальный переворотъ анабаптизма, облачались въ архіерейскія ризы. Пугачевъ, для низложенія нѣмецкаго дѣла, самъ назвался Петромъ, да еще самымъ нѣмецкимъ, и окружилъ себя андреевскими кавалерами изъ казаковъ и разными псевдо Воронцовыми и Чернышевыми.

Государственныя формы, церковь и судъ, выполняютъ оврагъ между непониманіемъ массъ и односторонней цивилизаціей вер-

шинъ. Ихъ сила и размѣръ въ прямомъ отношеніи съ неразвитіемъ ихъ. Взять неразвитіе силы невозможно. Ни республика Робеспьера, ни республика Анахарсиса Клоотса, оставленные на себя, не удержались; а Вандейство надобно было годы вырубать изъ жизни. Терроръ такъ же мало уничтожаетъ предрасудки, какъ завоеваніе народности. Страхъ вообще вгоняетъ внутрь быть, формы; приостанавливаетъ ихъ отправленіе и не касается содержанія. Иудеевъ гнали вѣка; одни гибли, другіе прятались, и послѣ грозы являлись и богаче, и сильнѣе, и тверже въ своей вѣрѣ.

Нельзя людей освобождать въ наружной жизни больше, чѣмъ они освобождены *внутри*. Какъ ни странно, но опытъ показываетъ, что народамъ легче выносить насильственное бремя рабства, чѣмъ даръ излишней свободы. Въ сущности всѣ формы историческія, *potens volens*, ведутъ отъ одного освобожденія къ другому. Гегель въ самомъ рабствѣ находить (и очень вѣрно) шагъ къ свободѣ; то же явнымъ образомъ должно сказать о государствѣ, — и оно, какъ рабство, идетъ къ самоуничтоженію, и его нельзя сбросить съ себя, какъ грязное рубище, до извѣстнаго возраста. Государство — форма, черезъ которую проходитъ всякое человѣческое сожитіе, принимающее значительные размѣры. Оно постоянно измѣняется съ обстоятельствами и прилаживается къ потребностямъ. Государство вездѣ начинается съ полного поработченія лица и вездѣ стремится, перейдя извѣстное развитіе, къ полному освобожденію его. Сословность — огромный шагъ впередъ, какъ разъясненіе и выходъ изъ животнаго однообразія, какъ раздѣлъ труда. Уничтоженіе сословности — шагъ еще большій. Каждый восходящій или воплощающійся принципъ въ исторической жизни представляетъ *высшую правду* своего времени, и тогда онъ поглощаетъ лучшихъ людей; за него льется кровь и ведутся войны; потомъ онъ дѣлается *ложью* и, наконецъ, воспоминаемъ. Государство не имѣетъ собственнаго опредѣленнаго содержанія; оно служитъ одинаково реакціи и революціи, тому, съ чьей стороны сила; это сочетаніе колесъ около общей оси; ихъ удобно направлять туда или сюда, потому что единство движенія дано, потому что оно прикинута къ одному центру. Комитетъ общественнаго спасенія представлялъ сильнѣйшую государственную власть, направленную на разрушеніе монархіи. Министръ юстиціи Дантонъ былъ министръ революціи. Инициатива освобожденія крестьянъ принадлежит самодержавному царю. Этой государственной силой хотѣлъ воспользоваться Лассаль для введенія соціальнаго устройства. Что же, думалось ему, ломать мельницу, когда ея жернова могутъ молоть и нашу муку? На томъ же самомъ основаніи и я не вижу разумной примѣнимости въ отреченіи.

Между мнѣніемъ Лассалья и проповѣдью о неминуемомъ рас-

пущеніи государства въ федерально-коммунную жизнь лежитъ вся разница обыкновеннаго рожденія и выкидыванія. Изъ того, что женщина беременна, никакъ не слѣдуетъ, что ей завтра слѣдуетъ родить. Изъ того, что государство форма *проходящая*, не слѣдуетъ, что эта форма уже *прошедшая*. Съ какого народа, въ самомъ дѣлѣ, можетъ быть снята государственная опека какъ лишняя перевязка, безъ раскрытія такихъ артерій и внутренностей, которыя *теперь* надѣлаютъ страшныхъ бѣдствій, а *потомъ* спадутъ сами.

Да и будто какой-нибудь народъ можетъ безнаказанно начать такой опытъ, окруженный другими народами, страстно держащими за государство, какъ Франція, Пруссія и проч. Можно ли говорить о скорой неминуемости безъ-государственного устройства, когда уничтоженіе постоянныхъ войскъ и обезоруженіе составляютъ дальніе идеалы? И что значитъ *отрицать* государство, когда главное условіе выхода изъ него *совершенно-лѣтніе* большинства. Посмотрѣли бы вы, что дѣлается теперь въ просыпающемся Парижѣ. Какъ тѣсны грани, о которыя бьется движеніе, и какъ онѣ никѣмъ не построены, и сами выросли какъ изъ земли. Маленькіе города, тѣсные круги, страшно портятъ глазомѣръ. Ежедневно повторяя *со своими одно и то же*, естественно дойдешь до убѣжденія, что вездѣ говорятъ одно и то же. Долгое время убѣждая въ своей силѣ другихъ, можно убѣдиться въ ней самому и остаться при этомъ убѣжденіи до перваго пораженія.

Bruxelles, Paris.
Августъ, 1869 года.

Письмо четвертое.

Иконоборцы наши не останавливаются на обыденномъ отрицаніи государства и разрушеніи церкви; ихъ усердіе идетъ до гоненія науки. Тутъ умъ оставляетъ ихъ окончательно.

Робеспьеровской нелѣпости, что атеизмъ аристократиченъ, только и не доставало объявленія науки аристократіею.

Никто не спрашиваетъ, насколько вообще подобныя опредѣленія идутъ или нѣтъ къ предмету. Вообще, весь споръ о «наукѣ для науки» и о наукѣ только какъ пользѣ, основанъ на чрезвычайно дурной постановкѣ вопросовъ.

Безъ науки *научной* не было бы науки прикладной.

Наука—сила; она раскрываетъ отношенія вещей, ихъ законы и взаимодѣйствія, и ей до употребленія нѣтъ дѣла. Если наука въ рукахъ правительства и капитала, такъ, какъ въ ихъ рукахъ войско, судъ, управленіе, то это не ея вина. Механика равно слу-

жить для постройки желѣзныхъ дорогъ и всякихъ пушекъ и Zündnadelgewähr'овъ.

Нельзя остановить умъ и сказать ему: дальше не изслѣдуй, погоди, пока мы освободимся.

Нельзя же остановить умъ, основываясь на томъ, что большинство не понимаетъ, а меньшинство злоупотребляетъ пониманіемъ.

Дикіе призывы къ тому, чтобъ закрыть книги, оставить науку и итти на какой-то бессмысленный бой разрушенія, принадлежатъ къ самой неистовой демагогіи и къ самой вредной. За ними такъ и слѣдуетъ разнузданіе дикихъ страстей, le dechainement des mauvaises passions. Этими страшными словами мы шутимъ, нисколько не считая, насколько они вредны для дѣла и для слушающихъ.

Нѣтъ, великіе перевороты не дѣлаются разнуздываніемъ дурныхъ страстей. Христіанство проповѣдывалось чистыми и строгими въ жизни апостолами и ихъ послѣдователями, аскетами и постниками, людьми, заморивавшими всѣ страсти, кромѣ одной. Таковы были гугеноты и реформаторы. Таковы были якобинцы 93 года. Бойцы за свободу въ серьезныхъ поднятїяхъ оружія всегда были святы, какъ войны Кромвеля, и оттого сильны.

Я не вѣрю въ серьезность людей, предпочитающихъ ломку и грубую силу развитію и сдѣлкамъ. Проповѣдь нужна людямъ, проповѣдь неустанная, ежели путная; проповѣдь, равно обращенная къ работнику и хозяину, къ земледѣльцу и мѣщанину. Апостолы намъ нужны прежде авангардныхъ офицеровъ, прежде саперовъ разрушенія. Апостолы, проповѣдующіе не только своимъ, но и противникамъ.

Проповѣдь къ врагу — великое дѣло любви: они не виноваты, что живутъ внѣ современнаго потока какими-то просроченными векселями прежней нравственности. Я ихъ жалѣю, какъ больныхъ, какъ поврежденныхъ, стоящихъ на краю пропасти съ грузомъ богатствъ, который ихъ стянетъ въ нее. Имъ надобно раскрыть глаза, а не вырвать ихъ, чтобъ и они спаслись, если хотятъ.

Греки радикальнѣе насъ говорили: «Мудрому законъ ненуженъ, его разумъ законъ». Ну, такъ и начнемъ съ того, что «сдѣлаемъ» сами себя и другъ друга мудрыми. Я не только жалѣю людей, но жалѣю и вещи, и *иная вещи больше иныхъ людей*.

Дико-необузданный взрывъ, вынужденный упорствомъ, ничего не пощадить; онъ за личныя лишенія отомститъ самому безличному достоянію. Съ капиталомъ, собраннымъ ростовщиками, погибнетъ другой капиталъ, идущій отъ поколѣнія въ поколѣніе и отъ народа къ народу. Капиталь, въ которомъ осѣдала личность и творчество разныхъ временъ, въ которомъ сама собой наслой-

лась лѣтопись людской жизни и скристаллизовалась исторія. Разгулявшаяся сила истребленія уничтожить вмѣстѣ съ межевыми знаками и тѣ *предѣлы* силъ человѣческихъ, до которыхъ люди достигали во всѣхъ направленіяхъ съ начала цивилизаціи.

Довольно христіанство и исламизмъ наломали древняго міра. Довольно французская революція наказала статуй, картинъ, памятниковъ; намъ не приходится играть въ иконоборцевъ.

Я это такъ живо чувствовалъ, стоя съ тупою грустью и чуть не со стыдомъ передъ какимъ-нибудь кустодомъ, указывающимъ на пустую стѣну, на разбитое изваяніе, на выброшенный гробъ, повторяя: «все это истреблено во время революціи»...



Примѣчанія.

Стр. 1. Твикнемъ. Дачная мѣстность близъ Лондона, гдѣ жилъ Герценъ въ 1854 г.

— Avenue Marigny—улица въ Парижѣ.

Стр. 4. Гроцій (Гроціусъ), Гуго, голландскій писатель (1583—1645), основатель науки международного права и философіи права. Главный его трудъ: «О правѣ войны и мира».

Стр. 5. Сиккарди былъ въ то время итальянскимъ епископомъ на островѣ Сардиніи.

— Кальярп — главный городъ на островѣ Сардиніи.

— Берсальерами называются въ итальянской арміи стрѣлки.

Стр. 6. Путней, пригородная мѣстность близъ Лондона, гдѣ въ 1858 г. жилъ Герценъ.

Стр. 7. Блазиусъ, Іоганнъ-Гейнрихъ, нѣмецкій натуралистъ (1809—1870). Въ 1840—41 г.г. путешествовалъ по европейской Россіи и изложилъ результаты своего путешествія въ книгѣ «Путешествіе въ европейскую Россію» («Reise in europäisches Russland», 2 т., Брауншвейгъ, 1844).

— Василій Ивановичъ и Иванъ Васильичъ — герои романа гр. В. А. Сологуба «Тарантасъ» (Спб., 1845), гдѣ описаны ихъ путевыя приключенія отъ Москвы до села Мордасы.

Стр. 8. Генгстенбергъ, Эрнстъ-Вильгельмъ, нѣмецкій богословскій писатель и профессоръ берлинскаго университета (1802—1868), отличавшійся въ своихъ сочиненіяхъ крайней нетерпимостью и враждою къ гегельянству и рационализму.

— Гёррессъ Іоганнъ-Іосифъ, нѣмецкій писатель (1776 — 1848), отличавшійся прогрессивнымъ направленіемъ, но въ послѣдніе годы жизни ставшій яркимъ приверженцемъ католицизма.

— Грантъ — англійскій натуралистъ и анатомъ первой половины XIX вѣка.

Стр. 9. Арминій (Германъ), вождь германскаго племени херусковъ (род. 17 г. до Р. Х., ум. 21 по Р. Х.), осво-

бодилъ Германію отъ римскаго владычества, разбивъ римское войско Вара въ Тевтобургскомъ лѣсу въ 9 г. по Р. Х.

Стр. 9. Бирхъ-Перейферъ, Шарлотта, нѣмецкая драматическая писательница и актриса (1800—1868), написавшая безчисленное множество драмъ (23 тома).

Стр. 14. Кирша Даниловъ, малороссійскій казакъ, жившій во время Петра Великаго. Первый собиратель старинныхъ русскихъ былинъ и другихъ памятниковъ древней народной поэзіи.

Стр. 16. Графъ Шамборъ (1820—1883 г.), герцогъ бордосскій, послѣдній въ родѣ представитель старшей линіи Бурбоновъ, не оставившій потомства. Французскіе легитимисты называли его «Королемъ Генрихомъ V».

Стр. 17. Левассеры: 1) французскій политическій дѣятель XVIII вѣка, членъ Конвента (1792—95); 2) французскій актеръ первой половины XIX вѣка.

Стр. 19. «Другъ народа», «Отецъ Дюшень» и «Старый Кордель» — газеты, издававшіяся во время первой французской революціи: первая — Маратомъ, вторая — Геберомъ и третья — Камиллемъ Демуленомъ.

— Mabile и Ranelagh — увеселительныя сады, существовавшія въ Парижѣ въ 1840—50 г.г. и соотвѣтствовавшія нынѣшнимъ кафе-шантанамъ.

Стр. 20. Константина — городъ въ Алжирѣ, взятый французами штурмомъ въ 1837 г.

Стр. 21. Скрибъ Эжень (1791—1861), плодовитый французскій драматургъ, написавшій до 300 пьесъ, создатель буржуазной комедіи, не преслѣдующей высокихъ цѣлей.

Стр. 24. Дежазе, Полина-Виржини, извѣстная французская актриса (1797—1875).

Стр. 25. Курье, Поль-Луи (1772—1825), французскій публицистъ, прославившійся во время реставраціи своими политическими памфлетами.

— Лордъ Норменби былъ въ то время англійскимъ посланникомъ въ Парижѣ.

Стр. 25. Сульть Николай (1769—1851); французскій маршалъ, участвовавшій въ наполеоновскихъ войнахъ, а при Людовикѣ-Филиппѣ дважды бывшій министромъ-президентомъ.

— Подъ Жанъ-Жакомъ здѣсь подразумѣвается Жанъ-Жакъ Руссо.

Стр. 26. Пинети — извѣстный въ свое время фокусникъ.

Стр. 29. Maison d'ог — одинъ изъ знаменитыхъ парижскихъ ресторановъ.

Стр. 34. Подъ «Телеграфомъ» здѣсь подразумѣвается издававшійся въ Москвѣ, въ 1825—34 г.г., журналъ «Московский Телеграфъ», имѣвшій въ свое время большое вліяніе.

Стр. 35. Гувальдъ, Кристофъ-Эрнстъ (1778—1845), нѣмецкій драматургъ и поэтъ.

— Мюльнеръ Амедей-Готфридъ (1774—1829), нѣмецкій драматургъ и театральный критикъ.

— «Британикъ» — одна изъ драмъ Расина.

Стр. 37. Веронъ, Пьеръ, французскій журналистъ 1840—50 г.г., извѣстный продажностью, поклонникъ Наполеона III, служившій ему за деньги своимъ перомъ.

Стр. 38. Гаварни былъ псевдонимъ извѣстнаго французскаго карикатуриста Сюльписа-Гильома Шевалье (1801—66).

— Мари Буффе (1800—80), французскій актеръ, имѣвшій въ свое время успѣхъ.

— Верне, французскій актеръ половины XIX вѣка.

— Этьенъ Арналь (1794—1872), извѣстный въ свое время французскій актеръ-комикъ.

Стр. 39. Подъ «рыцаремъ прессы» подразумѣвается Эмиль Жирарденъ, издававшій газету «Presse».

Стр. 45. Морусъ (Моръ) Томасъ, англійскій гуманистъ и государственный дѣятель (1478—1535). Онъ написалъ «Утопію», а не «Атлантиду», какъ ошибочно говоритъ Герценъ.

— Въ улицѣ Меньильмонтанъ жили вожди сенъ-симонистовъ (въ началѣ 1830 г.г.).

— «Горой» называлась крайняя политическая партія (террористы) во французскомъ конвентѣ 1792—94 г.г., а Жирондой (жирондистами) — умѣренная республиканская партія въ томъ-же конвентѣ.

Стр. 47. Россіи — французскій буржуазный экономистъ первой половины XIX вѣка.

Стр. 49. Quai d'Orsay — набережная Орсе на р. Сентъ, въ Парижѣ. Тамъ

помѣщается министерство иностранныхъ дѣлъ

Стр. 51. Croix Rousse — рабочею предмѣстьемъ Ліона, гдѣ разыгралось возстаніе 1832 года.

Стр. 52. Жоржъ Кутонъ (1756—1794), одинъ изъ крайнихъ революціонеровъ, товарищъ Робеспьера и Сень-Жюста. Былъ гильотинированъ вмѣстѣ съ ними.

Стр. 53. Карье, Жанъ-Баптистъ, (1756—1794), крайній французскій революціонеръ, членъ конвента, гильотинированный послѣ паденія Робеспьера.

Стр. 54 — 55. Сержантъ, французскій революціонеръ-террористъ 1790-хъ годовъ (ум. 1847).

Стр. 56. Карбонары члены тайныхъ революціонныхъ обществъ въ Италіи въ первой половинѣ XIX в., стремившіеся освободить свою родину отъ австрийцевъ. Кромѣ Карла-Альберта, къ карбонарамъ принадлежалъ въ своей молодости и Наполеонъ III.

Стр. 60. Лоренцо Бернини (1598—1680), знаменитый итальянскій архитекторъ и скульпторъ, создавшій много замѣчательныхъ произведеній въ Римѣ.

— Карль Мадерни (1556—1629), итальянскій архитекторъ, доканчивавшій постройку храма св. Петра въ Римѣ, начатую Браманте.

Стр. 64. Карло Дольчи, знаменитый итальянскій живописецъ (1616—1686).

— Жанъ-Баптистъ Грезъ (1726—1805), знаменитый французскій живописецъ-жанристъ. Особенно славятся его женскія головки.

Стр. 68. Ламбрускини, Лунджи, (1776—1854), кардиналъ и статсъ-секретарь папы Григорія XVI. Его крайній абсолютизмъ и ненависть ко всякимъ нововведеніямъ возбудили къ нему крайнюю вражду въ римскомъ народѣ и потому, со смертію Григорія XVI и съ выборомъ папою Пія IX въ 1846 г., его политическая роль была окончена.

Стр. 72. Буквы S. P. Q. R. начальныя буквы девиза древней римской республики: Senatus Populus Que Romanus (сенатъ и народъ римскій).

Стр. 73. Гогенштауфены — династія германскихъ императоровъ (1138—1268), дѣлавшихъ походы въ Италію.

Стр. 77. «La terreur blanche» — («бѣлымъ терроромъ») было прозвано господство сильной реакціи, наступившей во Франціи послѣ возвращенія Бурбоновъ въ 1815 г. Время реставраціи (1815—30) описано французскимъ исто-

рикомъ Волабелемъ въ его замѣчательномъ сочиненіи «Исторія реставраціи».

Стр. 77. Шпильбергъ, Сантъ-Эльмо и Сантъ-Анджело — крѣпости, куда сажали политическихъ преступниковъ: первая въ Австріи, вторая въ Неаполѣ и третья въ Римѣ.

Стр. 78. Сентъ-Олеръ, графъ Луи-Клеръ (1778 — 1854), французскій дипломатъ, бывшій посланникомъ Франціи въ Римѣ въ 1830 годахъ.

Стр. 80. Факлио — артельщикъ, носильщикъ, посылный и уличный провѣдникъ.

Стр. 81. Робертъ (Robert), Леопольдъ (1794 — 1835), французскій живописецъ-жанристъ, прославившійся своими картинами изъ народной итальянской жизни и положившій начало натурализму въ живописи.

Стр. 82. Пулчинелли — тоже, что у французовъ полишинели — комическія лица кукольных комедій.

Стр. 85. Скудо — прежняя итальянская монета, равнявшаяся по цѣнности 5 франкамъ.

Стр. 90. Подъ Робертомъ разумѣется опера Мейербера «Робертъ Дяволь», гдѣ фигурируетъ подземный хоръ.

Стр. 93. Гонфалоньеромъ назывался въ Италіи въ средніе вѣка начальникъ военныхъ силъ.

Стр. 95. Патерь Александръ Гавацци (1809 — 1889) славился какъ талантливый проповѣдникъ, былъ врагомъ папской власти и сподвижникомъ Гарибальди. Объ его дѣятельности см. статью Добролюбова («Сочиненіе», т. IV): «Патерь Александръ Гавацци и его проповѣди».

Стр. 97. Баюко — мелкая мѣдная монета въ Италіи.

Стр. 100. Графъ Шарль Дюшатель (1803 — 1867) былъ министромъ внутреннихъ дѣлъ при Луи-Филиппѣ съ 1840 до 1848 г. Его запрещеніе банкетовъ было непосредственнымъ поводомъ къ февральской революціи 1848 г.

Стр. 106. Жанлисъ, Стефанія (1746 — 1831), французская писательница, издавшая много нравственныхъ и сентиментальныхъ романовъ, въ свое время имѣвшихъ успѣхъ.

Стр. 112. Дюпень, Андрѣ - Мари - Жанъ - Жакъ (1783 — 1865), французскій политическій дѣятель и юристъ. 24 февраля 1848 г. онъ, въ качествѣ президента палаты депутатовъ, настаивалъ на томъ, чтобы палата провозгласила регентство герцогини Орлеанской, но воставшійся народъ разогналъ депутатовъ.

Стр. 211. Мари Пьеръ-Тома (1797-1870), политическій дѣятель, съ 1842 г. депутатъ, въ 1848 г. былъ членомъ временнаго правительства французской республики и затѣмъ министромъ юстиціи.

— Депутатъ Союзѣ 24 февраля 1848 г., за отсутствіемъ Дюпена, занималъ должность президента палаты депутатовъ.

Стр. 119. Дѣло «Ожерелья королевы» надѣлало большой шумъ въ XVIII ст. Ожерелье было будто-бы куплено по порученію королевы Маріи-Антуанетты кардиналомъ Луи Роганомъ, но когда ювелиры потребовали уплаты, королева заявила, что она не поручала покупки. Скандальный процессъ объ ожерельѣ подорвалъ въ народѣ уваженіе къ королеви, а Роганъ былъ лишень придворныхъ должностей и званія епископа.

— 18-го брюмера (9 ноября 1799 г.) Наполеонъ Бонапартъ произвелъ государственный переворотъ, свергнувъ директорію и захвативъ, въ качествѣ перваго консула, верховную власть во Франціи.

Стр. 124. Жозефъ Камбонъ (1754 — 1820), политическій дѣятель, мастерски управлявшій финансами во время первой французской революціи.

Стр. 131. Герцогъ Энгіенскій (род. 1772), принцъ изъ королевскаго дома Бурбоновъ, эмигрировалъ изъ Франціи, но, находясь въ Баденскомъ герцогствѣ, былъ по приказанію Наполеона I захваченъ, судимъ военнымъ судомъ и разстрѣлянъ въ Венсеннѣ въ 1804 г.

Стр. 138. Антуанъ-Жозефъ Сантеръ (1752 — 1809), французскій революціонеръ. Былъ пивоваромъ, затѣмъ генераломъ и главнокомандующимъ парижской національной гвардіей.

Стр. 139. Паскаль Дюпра (1815 — 1885) писатель и политическій дѣятель. Въ національномъ собраніи 1848 г. принадлежалъ къ партіи умѣренныхъ республиканцевъ.

Стр. 143. Нука - Ива или островъ Мадисона — наибольшій изъ принадлежащихъ Франціи Маркизскихъ острововъ. Въ 1848 — 49 г. туда ссылались изъ Франціи политическіе преступники.

Стр. 146. Варскій (на рѣкѣ Варѣ) мостъ отдѣлялъ тогда Францію отъ Пьемонта или Сардинскаго королевства, которому до 1860 года принадлежала и Ницца, перешедшая въ этомъ году во владѣніе Франціи.

Стр. 150. Ромье — французскій публицистъ, издавшій въ 1851 г. надѣлавшую большого шума брошюру «Красный призракъ», гдѣ онъ предсказывалъ

грядущую гибель цивилизации и Европы, если восторжествует революція во Франціи. Спасеніе Франціи онъ видѣлъ въ неограниченномъ цезаризмѣ, что вскорѣ и осуществилъ Наполеонъ III.

Стр. 151. Князь Жюль Полиньякъ (1780—1847) былъ министромъ и главой кабинета при Карлѣ X. Подписавъ известные ордоанасы, уничтожавшіе свободу печати и распускавшіе палату депутатовъ, онъ вызвалъ июльскую революцію 1830 г. Приговоренный къ пожизненному заключенію въ форть Гамъ, онъ просидѣлъ тамъ однако только 6 лѣтъ и въ 1836 г. былъ освобожденъ.

Стр. 154. Гафисъ—знаменитый персидскій лирическій поэтъ XIV в. (ум. 1389). Главное его произведеніе называется «Диванъ».

Стр. 157. Гюберъ — крайній французскій революціонеръ, 15 мая 1848 г. вторгнувшійся съ толпою народа въ національное собраніе съ цѣлью низвергнуть временное правительство республики и передать власть рабочимъ. Попытка его окончилась неудачей.

Стр. 159. Каенна (Каена), главный городъ французской колоніи Гвіаны, въ Южной Америкѣ, до 1854 г. служилъ мѣстомъ ссылки, равно какъ и Нука-Ива.

Стр. 162. Бу-Маза (род. 1820), одинъ изъ непримиримыхъ и фанатическихъ вождей алжирскихъ арабовъ, воевавшій съ французами въ 40-хъ годахъ. Взятый въ плѣнъ французами былъ заключенъ въ крѣпость. Въ Алжирѣ арабы считали его чудотворцемъ и создали о немъ цѣлыя легенды.

Стр. 167. Юліусъ Фребель (1805—93) нѣмецкій писатель, принимавшій дѣятельное участіе въ революціонномъ движеніи 1848—49 г.г. въ Германіи и затѣмъ эмигрировавшій въ Америку. — Якоби—нѣмецкій демократъ 40—70-хъ годовъ.

— Яковъ Фальмерайеръ — нѣмецкій историкъ по Востоку (1790—1861).

Стр. 184. Джовани-Батисто Вико (1668—1744), замѣчательный итальянскій ученый, неаполитанскій профессоръ, главное сочиненіе котораго «Новая наука» («Principi di una scienza nuova», 1725), въ которомъ онъ явился творцомъ философіи исторіи и далъ ей первый опытъ. Въ немъ Вико доказываетъ, что народы и страны, въ ихъ исторіи, совершаютъ вѣчный круговоротъ периодовъ реакціи и прогресса, сдѣлывающіхъ другъ друга («corsi» и «ricorsi»).

Стр. 188. Иоганъ - Францъ Энке (1791—1865), директоръ берлинской обсерваторіи, между прочимъ, изслѣдовавшій открытую въ 1819 г. Понсомъ комету, получившую поэтому названіе «кометы Энке». Одно время (въ 30-хъ годахъ) нѣкоторые полагали, что земля можетъ столкнуться съ этой кометою.

Стр. 205. Помѣтка подъ статьей: 1 октяб. 1848. — Слѣдуетъ, вѣроятно, 1 ноябр., такъ какъ эпиграфомъ этой главы взята фраза изъ рѣчи Ледрю-Роллена, произнесенной 22 окт.

Стр. 213. Герпогиня Марія Тереза Ламбаль (род. 1749 г.) подруга королевы Марин-Антуанетты по тюремному заключенію, была растерзана толпою въ 1792 г.

Стр. 246. Подъ «единственнымъ поэтомъ XIX столѣтія» здѣсь подразумѣвается лордъ Байронъ.

Стр. 260. Бенжаменъ Констанъ написалъ романъ, называвшійся не «Альфредъ», какъ ошибочно указано у Герцена, а «Адольфъ».

Стр. 276. Рагс-аух-серфс—нѣчто въ родѣ гарема, существовавшего у Людовика XV. Здѣсь жили его фаворитки.

Стр. 290. Никол. Ив. Тургеневъ (1789—1871), замѣчательный общественный дѣятель и финансистъ. Будучи противникомъ крѣпостного права и состоя старшъ-секретаремъ государственнаго совѣта при Александрѣ I, онъ приготовилъ нѣсколько проектовъ освобожденія крестьянъ. За принадлежность къ заговору декабристовъ былъ приговоренъ къ смертной казни заочно, такъ какъ находился въ Англіи, которая его не выдала. Его капитальный трудъ, на который здѣсь ссылается Герценъ, — «La Russie et les russes» (3 тома, 1847).

— Князь Викторъ Павловичъ Кочубей (1768—1834), другъ Александра I, который назначилъ его въ 1802 г. первымъ изъ русскихъ министровъ внутреннихъ дѣлъ. При Николаѣ I Кочубей съ 1827 г. былъ предсѣдателемъ государственнаго совѣта (но не при Александрѣ I, какъ ошибочно сказано у Герцена) и комитета министровъ и получилъ княжескій титулъ (1831). Либераль въ молодости, Кочубей во вторую половину царствованія Александра I и при Николаѣ I сталъ консерватормъ.

Стр. 299—300. Графъ Петръ Васильевичъ Завадовскій (1739—1812), былъ фаворитомъ Екатерины II, а при Александрѣ I первымъ министромъ народнаго просвѣщенія.

— Сем. Гавр. Зоричъ (1743—1799),

родомъ сербскій крестьянинъ, былъ однимъ изъ фаворитовъ Екатерины II.

Стр. 304. Революціонной формой слова «Богъ и Народъ» Герценъ здѣсь называетъ девизъ Маццини «Dio e popolo».

Стр. 306. Панноніей римляне называли свою провинцію, занимавшую Венгрію и южныя части нынѣшней Австріи.

Стр. 312. «La fusion» — слияніе, союзъ, который проповѣдывала въ тѣ времена упоминаемая Герценомъ реакціонная газета «L'Assemblée Nationale» между легитимистами въ лицѣ изъ «короля Генриха V» (графа Шамбара) и орлеанистами, представителями которыхъ являлся Немуръ (герцогъ Немурскій), одинъ изъ сыновей Луи-Филиппа.

— Фрошдорфъ — замокъ близъ Вѣны, гдѣ постоянно проживалъ графъ Шамбаръ.

— Антиной былъ красивымъ юношей, любимцемъ римскаго императора Адриана, воздвигнувшего въ память его городъ, храмъ и множество статуй, когда Антиной утопился въ Нилѣ въ 131 г.

Стр. 330. Это письмо обращено къ П. С. Тургеневу (см. книгу В. П. Батуринаго: «А. И. Герценъ, его друзья и знакомые», Спб. 1904, т. I, стр. 59—61 и 63). Письмо было напечатано въ «Колоколѣ» 1857 г. и въ немъ Герценъ суммировалъ результаты своихъ прежнихъ споровъ съ Тургеневымъ о будущности Россіи, — спорахъ, въ которыхъ Тургеневъ являлся прямолинейнымъ западникомъ въ либеральномъ смыслѣ, а Герценъ — представителемъ социализма.

Стр. 341. Въ статьѣ «Лишніе люди и желчевики», въ концѣ ея (стр. 346—348) изложенъ споръ Герцена съ Н. Г. Чернышевскимъ, съ которымъ онъ видѣлся передъ тѣмъ и котораго здѣсь называется «Даниломъ» (см. книгу В. П. Батуринаго: «А. И. Герценъ, его друзья и знакомые», Спб. 1904, т. I, стр. 103—108).

Стр. 343. Декабристъ Ив. Ив. Пушкинъ (1798—1859) былъ близкимъ другомъ Пушкина со времени Царскосельскаго лицея, гдѣ они оба воспитывались. За заговоръ 14 декабря 1825 г. Пушкинъ былъ сосланъ въ Сибирь, гдѣ и провелъ 30 лѣтъ. Возвратясь изъ ссылки въ Москву въ 1856 г., онъ писалъ въ журналахъ («Записки о Пушкинѣ» въ «Атенѣ» и др. статьи).

— Декабристъ Мих. Серг. Лунинъ

служилъ въ военной службѣ, при великомъ кн. Константинѣ Павловичѣ, который послѣ 14 декабря 1825 г. долго не выдавалъ его и не отпускалъ, но Лунинъ самъ явился на судъ, гдѣ вель себя вызывающе и рѣзко. Оужденный на каторгу, онъ внослѣдствіи переведенъ былъ на поселеніе въ Читу и Петровскій заводъ, но за свои рѣзкія статьи, напечатанныя въ Англии, былъ заключенъ въ акаутійскую тюрьму, гдѣ вскорѣ и умеръ.

Стр. 347. Церкаріи — стадія развитія глистовъ, — двуротыхъ сосальщиковъ; они развиваются въ тѣлѣ не тѣхъ животныхъ, въ какихъ живутъ взрослые глисты, а другихъ.

Стр. 349. Печатаемая въ половинѣ 1863 г. «Словцо», Герценъ замѣчалъ: «Ведринъ тряхнулъ стариной, и послѣ двадцатилѣтняго молчанія хватилъ и свой адресъ, я, дескать, тоже Валуевъ» — намекъ на «Путевые записки Ведрина» (напечат. въ IV т.). Здѣсь «Словцо» перепечатывается изъ «Вѣстника Всемирной Исторіи» за 1901 г., № 9, стр. 181 п. сл. Фамилія *Ведрина* — пародія на *Погодина*.

— Подъ Михаиломъ Николаевичемъ разумѣется графъ М. Н. Муравьевъ-Виленскій (1796 — 1866), назначенный въ 1863 г. генераль-губернаторомъ сѣверо-западнаго края и проявившій при усмирении его крайнюю жестокость (по его конфирмаціи было повѣшено 250 чловѣкъ и нѣсколько тысячъ сослано на поселеніе).

Стр. 351. «Концы и начала» представляютъ собою письма, обращенныя къ И. С. Тургеневу. Послѣдній даже собирався отвѣчать на нихъ Герцену въ «Колоколѣ» и уже написалъ начало отвѣта, но обстоятельства не позволили ему исполнить свое намѣреніе, какъ видно изъ писемъ Тургенева къ Герцену, приведенныхъ у В. П. Батуринаго (А. И. Герценъ, его друзья и знакомые, т. I, Спб. 1904, стр. 182 и 183).

Стр. 355. — Прюдомъ — карикатурный типъ буржуа, созданный французскимъ писателемъ Анри Монье (1802—1877).

Стр. 356. «Пончъ» (у Герцена «Пуншъ») — лучший англійскій карикатурный и сатирическій журналъ. «Шаривари» — французскій карикатурный журналъ.

Стр. 358. Дерби — въ Англии скачки безъ препятствій на извѣстныхъ условіяхъ. Они устроены лордомъ Дерби въ Лондонѣ въ 1780 г. и съ того времени существуютъ донынѣ, ставши первыми скачками въ Англии.

Стр. 358. Графъ Джузеппе Марио (1808—1883) знаменитый въ свое время итальянскій пѣвецъ-теноръ.

Стр. 360. Эдвинъ Ландсиръ (1802—1873), англійскій живописецъ, приобрѣвшій особенную извѣстность изображеніями собакъ и юмористическими сценами изъ собачьей жизни. Былъ также и скульпторомъ.

— Роза Бонеръ (1822—1899), французская художница, прославившаяся исключительно картинами изъ жизни животныхъ.

Стр. 361. Св. Маркъ считается патрономъ Венеціи и изображается вмѣстѣ со львомъ. «Черно-желтая тряпка»— австрійское знамя черно-желтаго (національнаго) цвѣта. Въ то время, когда Герценъ писалъ «Концы и начала» (1862 г.) Венеція принадлежала еще Австріи, отъ которой перешла къ Италіи въ 1866 г.

Стр. 363. Кардиналь Джакомо Антонелли (1806—1876), сынъ простаго пастуха, возвысившійся до высокаго церковнаго поста, много лѣтъ былъ у папы Пія IX министромъ иностранныхъ дѣлъ.

— «Гедесками» итальянцы называли вообще всѣхъ нѣмцевъ, въ частности же австрійцевъ.

Стр. 369. Вильямъ Питтъ младшій (1759—1806), англійскій первый министръ, бывшій съ начала французской революціи и до своей смерти постояннымъ врагомъ Франціи и душою всѣхъ направленныхъ противъ нея коалицій.

— Саксонскій принцъ Фридрихъ-Іосія Кобургъ (1737—1815) былъ австрійскимъ фельдмаршаломъ, командовавшимъ въ 1793 г. войсками, дѣйствовавшими противъ французовъ на Рейнѣ.

Стр. 370—371. Жанъ Вальжанъ, Жаверъ, Козетта и Мариусъ — дѣйствующія лица романа Виктора Гюго «Les misérables», который только-что вышелъ въ то время, когда Герценъ писалъ эту статью.

Стр. 373. Фергюсъ О'Конноръ (1796—1855), ирландскій агитаторъ, одинъ изъ вожаковъ партіи чартистовъ, призывавшій англійскихъ рабочихъ къ возстанію, которое, однако, не удалось. Впослѣдствіи основалъ коммунистическое общество, которое также постигла неудача.

Стр. 375. Генрихъ-Августъ Рейхардъ (1751—1828) извѣстенъ своими путе-

водителями, изъ которыхъ «Путеводитель по Германіи» въ 1861 г. достигъ 20-го изданія. Издавалъ также «Театральные календари» и «Театральный журналъ». Его автобіографія опубликована въ 1877 г.

Стр. 380. Въ выноскѣ Герценъ говоритъ о своихъ юношескихъ драматическихъ опытахъ «Лициній» и «Вильямъ Пеннъ», помѣщенныхъ въ I томѣ настоящаго изданія (стр. 98—104 и 476—484).

Стр. 394. «Пью-пью» (prou-prou) — молодые солдаты, новобранцы.

— Рейфльмены—англійскіе стрѣлки.

— Герцогъ Джорджъ-Вильямъ Кембриджскій (род. въ 1819 г.), внукъ англійскаго короля Георга III, фельдмаршалъ. Въ крымскую войну командовалъ дивизіей и участвовалъ въ сраженіяхъ при Альмѣ и Инкерманѣ, въ 1856 г. назначенъ командующимъ англійскими войсками. Съ 1887 по 1899 г. носилъ титулъ главнокомандующаго.

Стр. 394—399. Здѣсь Герценъ снова выводитъ двухъ дѣйствующихъ лицъ своего разсказа «Поврежденный», написаннаго имъ за 11 лѣтъ до настоящей статьи (въ 1851 г.) и напечатаннаго въ I томѣ настоящаго изданія (стр. 388—406).

Стр. 405. Въ посвященіи статья буквы Н. А. обозначаютъ извѣстнаго дѣятеля по крестьянскому вопросу Ник. Ал. Милютина (см. книгу В. П. Батуринаго: «А. И. Герценъ», Спб. 1904).

Стр. 407. Подъ буквами: З., П., Б., оба С. и М., повидимому, слѣдуетъ подразумевать Зубова, Палена, Безбородко, обоихъ Строгоновыхъ и Мамонова.

Стр. 425. Генераль Петръ Дм. Еропкинь извѣстенъ своими энергичными мѣрами во время московской чумы 1771 г., за что получилъ отъ Екатерины II Андреевскую ленту и 4.000 душъ крестьянъ, но отъ послѣднихъ отказался.

Стр. 439. «Письма» къ старому товарищу, напечатанныя впервые въ «Сборникѣ посмертныхъ статей Герцена» (1870 г.), были имъ написаны къ М. А. Бакунину.

Стр. 450. Антонъ Петровъ стоялъ во главѣ взбунтовавшихся въ 1861 г. крестьянъ села Бездны и былъ разстрѣлянъ генераломъ Дренякинскимъ.

Прогрессъ, какъ эволюція жестокости. М. Энгельгардта. Ц. 75 к.
 Вырождение. Психологическія явленія въ области современной литературы и искусства. Макса Нордау. 585 стр. 2-е изд. Ц. 1 р. 50 к.
 Въ поискахъ за истиной. Макса Нордау. Пер. съ нѣм. Э. Зауэръ. 4-е изд. Ц. 1 р.
 Этика. Ученіе о нравственности. Сост. проф. Маккензи. Переводъ съ англійскаго. Ц. 1 р.
 Прогрессивная нравственность. Фаулера. Съ англ. подъ ред. Вл. Соловьева. Ц. 40 к.
 Нравственный инстинктъ. Сутерланда. Съ англ. Ц. 1 р. 50 к.
 Счастье и трудъ. Мантегацца. 3 изд. Ц. 60 к.
 Философія исторіи въ ея главнѣйшихъ теченіяхъ. Д-ра Раппопорта. Ц. 75 к.
 Политическая исторія современной Европы. (1814 — 1896). Сенюбоса. Переводъ подъ ред. проф. А. Трачевскаго. Ц. 1 р. 50 к.
 Исторія французской революціи. И. Карно. Переводъ съ франц. 2-е изд. Ц. 1 р.
 Герои и героическое въ исторіи. Публичные бесѣды Тома Карлейля. 2-е изд. Ц. 1 р.
 Путь къ счастью. Сост. Ф. Кирхнеръ. Ц. 60 к.
 Исторія книги на Руси. А. Бахтіарова. Со многими рисунками. Ц. 1 р. 50 к.
 Европейскіе монархи и ихъ дворы. Политикоса. Съ 16 портретами. Ц. 1 р.
 Іезуиты, ихъ исторія, организація и практическая дѣятельность. Ж. Губера. Съ нѣм. Ц. 1 р.
 Очерки самоуправленія (земскаго, городского, сельскаго). С. Приклонскаго. Ц. 2 р.
 Роль общественнаго мнѣнія въ государственной жизни. Проф. Гольцендорфа. Ц. 75 к.

Популярно-научныя книги.

Нерѣшенные проблемы біологіи. Съ приложеніемъ статей о Р. Вирховѣ и Л. Бюхнерѣ. В. В. Лункевича. Съ 81 рис., 4 таблицами и 8 портретами. Ц. 2 р.
 Основы жизни. Популярная біологія. В. В. Лункевича. Съ 465 рис. и 7 хромолитографіями. 2-е изданіе. Ц. 4 р.
 Научныя и социальныя изслѣдованія. А. Р. Уоллеса. Томъ I-й. Съ 89 рис. и картой. Ц. 1 р. 75 к.
 Социальные этюды. Тарда. Ц. 1 р. 50 к.
 Законы подражанія. Тарда. Ц. 1 р. 50 к.
 Соціальная жизнь животныхъ. Эпинаса. Пер. Ф. Павленкова. 2-е изд. Ц. 1 р.
 Мужчина и женщина. Этюдъ о вторичныхъ полов. признакахъ у человека. Г. Эллса. Ц. 1 р.
 Преступная толпа. Опытъ коллективной психологіи. С. Сигеле. 116 стр. 2 изд. Ц. 30 к.
 Преступленія и проституція, какъ социальныя болѣзни. Гирша. Ц. 30 к.
 Очерки психологіи. Тиченера. Съ англійскаго. Ц. 1 р.
 Психологія чувствъ. Рибо. Ц. 80 к.
 Психологія вниманія. Д-ра Рибо. Ц. 30 к.

Психологія характера. Ф. Полапа. Ц. 75 к.
 Психологія великихъ людей. Проф. Жоли. Переводъ съ франц. 3-е изд. Ц. 60 к.
 Эволюція общихъ идей. Т. Рибо. Переводъ М. Гольдсмитъ. Ц. 60 к.
 Физиологія страстей. Летурно. Ц. 1 р.
 Физиологическія бесѣды. А. Герцена. Проф. Лозанскаго университета. Ц. 1 р.
 Патологія души. Популярныя бесѣды. Д-ра М. Флѣри. Ц. 1 р.
 Гениальность и помѣшательство. Ц. Ломброзо. Съ рисунками. 3-е изд. Ц. 1 р.
 Чудесный вѣкъ. Естественн.-философскій обзоръ XIX ст. проф. Уоллеса. Ц. 1 р. 50 к.
 Душевные движенія. Д-ра Ланге. Ц. 40 к.
 Привычка и инстинктъ. Л. Моргана. Съ англ. Ц. 1 р.
 Міръ грѣзъ. Д-ра Симона. Сновидѣнія, галлюцинаціи, сомнамбулизмъ, гипнотизмъ. Ц. 1 р.
 Экстазы человека. П. Мантегацца. Переводъ съ 5-го итальян. изданія. Ц. 1 р. 50 к.
 Современные психопаты. Д-ра А. Кюллера. Переводъ съ франц. Ц. 1 р. 50 к.
 Характеръ и нравственное воспитаніе. Кейра. Съ франц. Ц. 40 к.
 Воспитаніе воли. Ж. Пэйю. 4-е изд. Ц. 60 к.
 Воспитаніе чувствъ. Тома. Съ франц. Ц. 60 к.
 Духовный прогрессъ и счастье. П. Лоскутова. Ц. 1 р.
 Пессимизмъ. Соч. Джамса Селлп. Обзоръ пессимист. ученій. Съ англ. Ц. 1. 50 к.
 Вѣрить или не вѣрить? Экекурсія въ области таинственнаго. Д-ра Битнера. Ц. 1 р. 50 к.
 Гипнотизмъ въ теоріи и на практикѣ. Д-ра Маррена. Съ франц. Ц. 75 к.
 Исторія міра. Гуйяра. Съ 101 рис. Съ фр. Ц. 1 р.
 Эволюціонная этика и психологія животныхъ. Э. П. Эванса. Пер. съ англ. Ц. 75 к.
 Положительная философія Огюста Конта въ популярномъ изложеніи д-ра Робинъ. Ц. 50 к.
 Философія Герберта Спенсера въ сокр. изд. Коллинса. Перев. съ англ. 2-е изд. Ц. 2 р.
 Философія Шопенгауэра. Т. Рибо. Переводъ Э. К. Ватсона. Ц. 50 к.
 Дарвинизмъ. Э. Ферьера. Пер. съ фр. Ц. 50 к.
 Исторія религіи. Проф. Мензиса. Ц. 1 р.
 О вѣрованіи. Ж. Пэйю. Перев. съ франц. Ц. 50 к.
 Безсмертіе съ точки зрѣнія эволюціоннаго натурализма. Лекція А. Сабатье. 2-е изд. Ц. 50 к.
 Живописная астрономія. Б. Фламмаріона. Съ 382 рисунк. 2-е изд. Ц. 3 р.
 Основы политической экономіи. Шарля Жидя. Перев. съ 4 франц. изданія. Ц. 1 р. 25 к.
 Итоги XIX вѣка. Д. Нордена. Ц. 40 к.
 Жизнь и смерть. Пуб. лек. А. Сабатье. Ц. 75 к.
 Развѣтїе народнаго хозяйства въ Западной Европѣ. М. Ковалевскаго. Ц. 75 к.
 Письма о земледѣліи. М. Энгельгардта. Ц. 50 к.
 Современная женщина.—Ея положеніе въ Европѣ и Америкѣ. Б. Ф. Брандта. Ц. 60 к.

А. И. Герценъ. Его жизнь и литературная дѣятельность (изъ серіи «Жизнь замѣчательныхъ людей»). Ц. 25 к.

Цѣна за 7 томовъ 12 рублей.

Изданіе Ф. Павленкова.

359203

СОЧИНЕНІЯ
А. И. ГЕРЦЕНА

и

Переписка съ Н. А. Захарьиной.

ВЪ СЕМИ ТОМАХЪ.

Съ прилѣжаніями, указателемъ и 8 снимками (7 портретовъ и 1 статуя).

Томъ VI.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Ю. Н. Эрлихъ, Садовый, № 9.
1905.

ИЗДАНИЯ Ф. ПАВЛЕНКОВА.

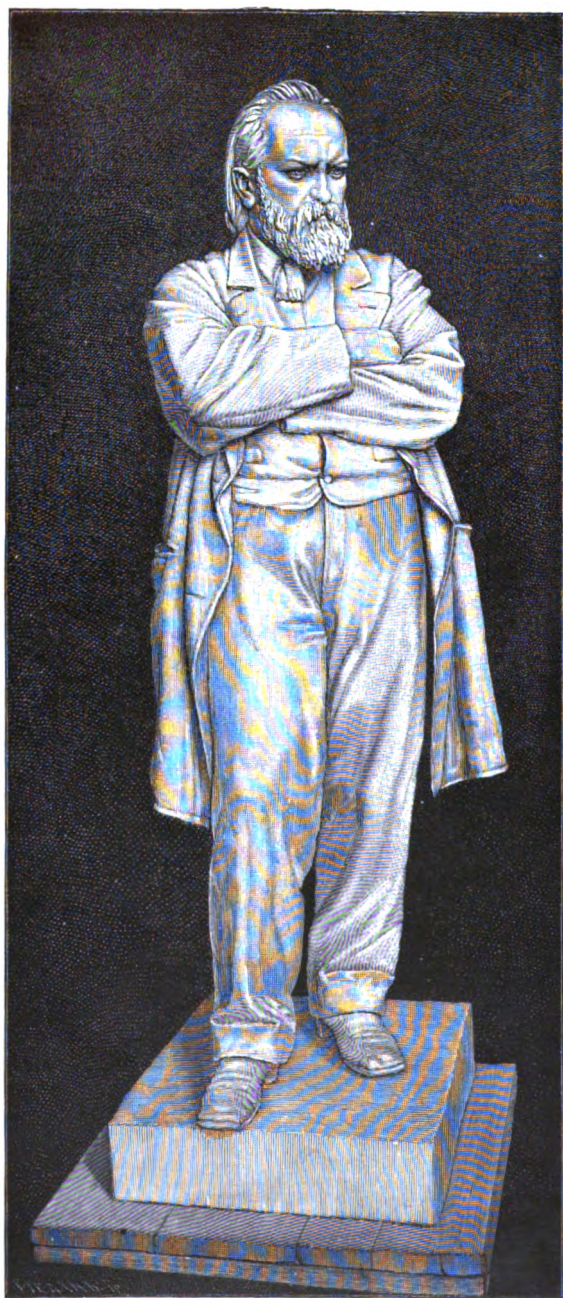
Продаются во всех книжных магазинах. Главный складъ въ книжномъ магазинѣ П. Луковникова. (Спб. Лешуковъ пер., № 2).

Литература, исторія, публицистика.

- Сочиненія Пушкина. Съ портретами, біографіей и 500 письмами. Полное собраніе въ 1-мъ томѣ и въ 10 томахъ. 5-е изд. Цѣна 1-томнаго и 10-томнаго изданія одна и та же: 1 р. 50 к. За переплеты для 1-томнаго изданія — 50 к. Для 10-томнаго (5 переплетовъ) 1 р. и 2 р.
- Сочиненія Н. В. Гоголя. Съ біографіей, портретами и 184 рис. Полное собраніе въ 1-мъ томѣ. Ц. 1 р. 25 к. Въ переплетѣ 2 р.
- Сочиненія Лермонтова. Съ портретами, біографіей и 115 рисунк. Полное собраніе въ одномъ томѣ. Ц. 1 р. Въ переплетѣ 1 р. 50 к.
- Сочиненія Глѣба Успенскаго. 4 изд. Ц. за два тома—3 р.
- Повѣсти и рассказы Н. В. Яковлевой. Автора «Обрусившей». Больше 400 стр. Ц. 1 р. 25 к.
- Капитанская дочка. Повѣсть А. Пушкина. Съ 188 рис. Ц. 60 к. Въ перепл. 75 к. Въ перепл. 1 р.
- Сочиненія Чарльза Диккенса. Полное собраніе въ 10 томахъ. Цѣна каждаго тома 1 р. 50 к.
- 1) Давидъ Копперфильдъ. 2) Домби и сынъ. 3) Холодный домъ и Повѣсть о двухъ городахъ. 4) Крошка Дорритъ и Большія ожиданія. 5) Нашъ общій другъ и Оливеръ Твистъ. 6) Записки Пиквикскаго клуба и Тяжелыя времена. 7) Николай Никльби и три «Святоточныхъ» разсказа. 8) Мартинъ Чезльвигъ. Гимнъ Рождеству. Затравленъ. 9) Барнеби Реджъ. Тайна Эдвина Друда и Колокола. 10) Лавка древностей. Записки путешественника не по торговымъ дѣламъ. Станція Мерби. Мѣдфогскія записки. Рецепты д-ра Мерггольда. Безъ выхода. Портретъ и біографія автора.
- Сочиненія Виктора Гюго. Съ портр. автора и статей А. Скабичевскаго. Два тома. Ц. 2 р. 50 к.
- Сочиненія Эркмана-Шатриана. Въ двухъ томахъ. Ц. 3 р.
- Одинъ въ полѣ — не воинъ. Соціолог. романъ. Шилльгагена. Пер. съ нѣм. Ц. 1 р. 25 к.
- Грядущая раса. Фантастическій романъ. Эд. Бульвера. Перев. съ англ. Ц. 50 к.
- Черезъ сто лѣтъ. Соціалистическій романъ. Э. Бэллами. 4-е изд. Ц. 75 к.
- Голодь. Романъ Гамсуна. Ц. 60 к.
- Забота. Романъ Г. Зудермана. Ц. 60 к.
- Долой оружіе! Антивоенный романъ. Б. Зутверъ. Цѣна 80 к.
- Будущее челоѣчество. Соціалистическая фантазія. Мантегацца. Съ 20 рис. Ц. 40 к.
- Большая любовь. Гигиеническій романъ. П. Мантегацца. 2-е изд. Ц. 50 к.
- Конецъ міра. Астроном. романъ К. Фламариона. Съ 80 рисунками. Ц. 60 к.

- Стелла. Астрономическій романъ К. Фламариона. Ц. 80 к.
- Литература XIX вѣка въ ея главнѣйшихъ теченіяхъ. Г. Брандеса. I. Французская литература. Съ 13 портр. Ц. 2 р.—II. Англійская литература. Ц. 75 к.—III. Нѣмецкая литература Ц. 1 р.
- Исторія новѣйшей русской литературы (1848—1903) А. М. Скабичевскаго. Ц. 2 р.
- Литература различныхъ племенъ и народовъ. Ш. Летурино. Ц. 1 р. 50 к.
- Тургеневъ о русскомъ народѣ. Чтеніе для народа. Съ портретомъ П. С. Тургенева. Ц. 15 к.
- Сочиненія А. М. Скабичевскаго. 2 тома. Съ портретомъ автора, 3 изд. Ц. 3 р.
- Исторія русской цензуры. Его-же. Ц. 2 р.
- Сочиненія В. Г. Бѣлинскаго. Полное собр. въ 4 томахъ. Съ портр., факсимиле и снимкомъ съ карт. Наулова «Бѣлинскій передъ смертью». Ц. 1, 2 и 3-го том. по 1 р., 4-го тома 1 р. 25 к.
- Сочиненія Д. И. Писарева. Полное собраніе въ 6 томахъ. Цѣна каждаго тома 1 рубль.
- Исторія культуры. Ю. Липперта. Переводъ съ нѣм. Съ 83 рис. 6-е изд. Ц. 1 р. 60 к.
- Исторія семьи. Ю. Липперта. Ц. 60 к.
- Исторія первобытныхъ людей. Э. Клодда. Перев. М. Энгельгардта. Съ 88 рис. Ц. 40 к.
- Первобытные люди. Дебьера. Съ 84 р. Ц. 75 к.
- Исторія девятнадцатаго вѣка (1789—1899). Профессора Марешала. Ц. 3 р.
- Исторія французской революціи. Лависса и Рамбо. Перев. М. Голина. Ц. 1 р. 50 к.
- Общественный организмъ. Р. Вормса. Переводъ ред. проф. А. Трачевскаго. Ц. 75 к.
- Общественный прогрессъ и регрессъ. Проф. Греефа. Перев. Паперна. Ц. 1 р. 50 к.
- Соціальное развитіе. В. Кидда. Ц. 75 к.
- Психологія народовъ и массъ. Г. Лебона. Съ франц. Ц. 1 р.
- Психологія французскаго народа. Фуллье. Съ франц. Ц. 1 р.
- Психическіе факторы цивилизаціи. Л. Уорда. Переводъ Л. Давыдовой. Ц. 80 к.
- Современное народоѣдѣніе. Ателпса. Съ нѣм. Ц. 1 р. 50 к.
- Соціологическія основы исторіи. Лакомба. Ц. 1 р. 50 к.
- Исторія цивилизаціи въ Англии. Бокля. Перев. А. Н. Буйницкаго. Съ портр. автора. Ц. 2 р.
- Исторія рабочаго движенія въ Англии. Узбба. Съ англійскаго Ц. 1 р. 50 к.
- Организація свободы и общественный долгъ. А. Ирэнса. Ц. 80 к.
- Представительное правленіе. Дж. Стюарта Милля. Ц. 60 к.
- Въ трущобахъ Англии. Бутса. Ц. 1 р.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS.



Статуя на могилъ А. И. Герцена въ Ниццѣ.

СОЧИНЕНІЯ
А. И. ГЕРЦЕНА.

Томъ VI.

СОЧИНЕНІЯ
А. И. ГЕРЦЕНА


И

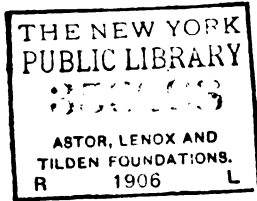
Переписка съ Н. А. Захарьиной.

~~~~~  
ВЪ СЕМИ ТОМАХЪ.  
~~~~~

Съ примѣчаніями, указателемъ и 8 снимками (7 портретовъ и 1 статуя).

Томъ VI.

— — — — —

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе Ф. Павленкова.
1905.



Типографія Ю. Н. Эрлихъ, Садовая, № 9.

Оглавленіе VI-го тома.

ДНЕВНИКЪ И СТАТЬИ ИЗЪ «КОЛОКОЛА».

	СТР.
Отрывки изъ «Дневника»	1
Дневникъ	4—166
Статьи изъ «Колокола»:	
Что сдѣлано для освобожденія крѣпостныхъ людей	169
Революція въ Россіи	170
Лобное мѣсто	177
Западныя книги	180
Что значитъ судъ безъ гласности	189
На дняхъ мы получили письмо	190
Черезъ три года	192
Розги и розги!	194
Матеріалы для некролога Авраамія Сергѣевича Норова	195
Дворянство Сумскаго уѣзда	197
Тамбовское дворянство	197
1 іюля 1858 г.	198
Опять надежды	203
А. Ивановъ	203
Насъ упрекаютъ	207
О бородѣ А. А. Иванова	210
Америка и Сибирь	211
Обвинительный актъ	215
Россія и Польша. (Отвѣтъ автору статьи о русской типографіи въ Лондонѣ)	217
Генералы отъ цензуры и Викторъ Гюго на батарее Сальванди	226
Отвѣтъ русской дамѣ	228
Война (Статья первая)	234
Very dangerous	242
На углу	246
Выговоръ по службѣ	248
Миръ (Вторая статья о войнѣ)	251

Русскіе нѣмцы и нѣмецкіе русскіе:	СТР.
Отрывокъ первый. Русскіе нѣмцы и нѣмецкіе русскіе	255
Отрывокъ второй. Доктринерствующіе нѣмцы	260
Отрывокъ третій. Варіаціи	265
Отрывокъ четвертый (продолженіе)	272
Отрывокъ пятый (окончаніе)	279
Россія и Польша. (Второе письмо къ автору статей: Postępowo mysl rossyjska w obec zadan polskich)	291
«Библиотека» дочь Сенковскаго	299
Розги долой!	303
Записки И. В. Лопухина	305
Духу не достало	308
Манифестъ!	309
Repetitio est mater studiorum	310
Mortuos plango	316
М. А. Бакунинъ	322
Мясо освобожденія	325
Сенаторамъ и тайнымъ совѣтникамъ журнализма	329
Личное объясненіе	332
Дурныя оружія	333
Письмо гг. Каткову и Леонтьеву	336
Изъ заведенія А. А. Краевскаго	338
Михаилъ Семеновичъ Щепкинъ	340
Съ континента (Письмо изъ Неаполя)	345
Ввозъ нечистотъ въ Лондонъ	352
Письма къ будущему другу:	
Письмо первое	356
Письмо второе	362
Письмо третье	368
Письмо четвертое	375
Письма къ противнику:	
Письмо первое	380
Письмо второе	387
П. Ж. Прудонъ	391
Примѣчанія	393

ДНЕВНИКЪ И СТАТЪИ ИЗЪ „КОЛОКОЛА“.



ОТРЫВКИ ИЗЪ «ДНЕВНИКА».

Владимиръ на Клязьмѣ.

Ноябрь 1838 года.

Покойный былъ добръ, но исполненъ предрасудковъ и какъ человѣкъ прошлаго вѣка, и какъ знатный человѣкъ. — Ну, чѣмъ же былъ онъ виноватъ, что родился въ такую эпоху и въ такомъ положеніи? — Мы почти всегда осуждаемъ людей за вины, вовсе не отъ нихъ зависящія! — Но онъ могъ бы быть лучше въ другую эпоху, это тоже доказываетъ безсмертіе души: ежели *могъ*, то и разовьется; за что же индивидуумъ будетъ принесенъ совсѣмъ на жертву человѣчеству?

11 января, 1839 года.

Новый годъ встрѣтилъ меня у постели больной Natalie. Кругомъ тишина; не было ни постороннихъ взглядовъ, ни постороннихъ звуковъ. Странная переменна. Сбылась мечта, и сбылась съ необыкновенной полнотой. Мы хотѣли быть вмѣстѣ. Провидѣніе соединило насъ и оставило *однихъ*, — да, по сю сторону — мы, по ту — люди. Мы точно забытые всѣми въ нашемъ уголку, гдѣ обитаетъ любовь. Мы даны другъ другу, и за это обведены цѣпью, за которую никто не ходитъ, даже письма отъ друзей долетаютъ рѣдко-рѣдко, едва отвѣтъ на два наши... И между тѣмъ мы такъ счастливы.

Новый годъ навѣваетъ много думъ всякому; радостно встрѣчая пришельца, я вздохнулъ о 1838, — онъ для меня былъ хорошъ: выкупъ трехъ мрачныхъ, ужасныхъ предшественниковъ. Лучшаго года въ мою жизнь не будетъ. Какъ скоро стираются несчастья, страданія, а минуты восторга, блаженства вѣчно живы, вѣчно свѣжи въ душѣ; я забылъ сердцемъ все, постигавшее меня съ чернаго 20 іюля 1834 г. А свѣтлое — свѣтить.

Новый годъ — всегда загадка, и мысль о ней наводитъ много меланхолическаго.

Мы — годомъ ближе къ смерти! — Это вѣрно.

А человѣчество — годомъ ближе къ великой эпохѣ братства и гармоніи! — и это вѣрно.

Остальное покрыто; время — тиранъ, отъ прошедшаго оставляетъ тѣнь, а будущему едва-едва приподнимаетъ завѣсу.

Пройдутъ столѣтiя, и новый годъ навѣтетъ кому-нибудь тѣ же мысли, тѣ же мечты. Гдѣ я буду тогда? Будемъ ли мы тоже вмѣстѣ съ Natalie?

Новый годъ есть периодическое memento mori.

Я дивлюсь геройству толпы: она толкуетъ о смерти такъ, о поѣздкѣ въ подмосковную; живетъ въ своихъ мелочныхъ сужденiяхъ, какъ будто каждому отпущено жизни, какъ Маэусъ. Для чего они хлопочуть о вздорѣ? Они—дѣти, потому и играють. Какъ имъ сдѣлалось бы стыдно, ежели-бъ... [конецъ не сохранился].

15, 16, 17, 18 марта 1839 года.

Не въ самомъ ли дѣлѣ въ году есть дни, мѣсяцы, особенно важные, климактерическiе, какъ говорили занимающiеся тайными науками? Въ такомъ случаѣ мартъ отмѣченъ ярко въ моей жизни.

25 марта 1812 я родился.

31 марта 1835 прочли повелѣнiе о ссылкѣ.

3 марта 1838 первое свиданiе съ Natalie послѣ долгой, тяжелой и скорбной разлуки. Съ этого дня я долженъ считать свѣтлую эпоху, за нею идутъ другiя свиданья; но во главѣ ихъ торжественное 3 марта. Одного не доставало для полного блаженства—Генколая, и съ нимъ свиданiе было въ мартѣ.

Онъ пробылъ у насъ съ Марiей 15, 16, 17, 18, и 19-го я проводилъ его.

Когда я буду умирать, велю принести себѣ мои письма, въ которыхъ я писалъ о 3 мартѣ, и хоть эту страницу о свиданьи съ другомъ. Мы четверо вдругъ стали на колѣни и молились передъ распятиемъ. Душа такъ была свѣтла, такъ торжественна!

Свиданье было намъ необходимо, теперь я это понимаю вполнѣ; мы передали другъ другу повѣсть души за 5 лѣтъ, и послѣ свиданья все это улеглось, сердца наши закалились другъ въ другъ и мы благословили другъ друга ¹⁾.

¹⁾ Рукою Наталiи Александровны Герценъ приписано:

Да, и я увидѣла ихъ, наконецъ,—Боже мой! Какое счастье обнять впервые тѣхъ, кого уже давно любила такъ много, съ кѣмъ такъ сроднилась душою, кто, казалось, составлялъ съ нами одно существо... О, съ какимъ восторгомъ я бросилась къ *нему* на шею, какъ искренно, пламенно прижала *ее* къ моему сердцу,—я плакала, смѣялась, молилась, не помнила себя отъ радости.

У меня такъ мало родныхъ..... и которые есть такъ чужды мнѣ..... А мнѣ необходима сестра, душа теплая, родная, душа, исполненная любви, живущая одной любовью, въ которую бы я могла перелить все блженство мое, съ которой бы могла говорить о *ней*, которая бы поняла мою любовь...

Я писала къ Марiи, но этого было мало для меня; нѣтъ, въ ея письмахъ я не находила полного отвѣта, намъ надо видѣться; о! съ какимъ нетерпѣнiемъ ждала я этого времени! она—*подружка Николая*,—кто же можетъ быть ближе ея мнѣ?... И настало это время, они прiѣхали.....

13 июня, 1839 года, десятый часть.

О, Боже, о, великій Боже! Сохрани ее и сохрани его.

Тебя, существо неродившееся, тебя, въ которомъ слились два бытія, Александръ и Наталія, благословляю тебя, благословляю. Иди въ жизнь, иди на службу человѣчеству, я тебя обрекъ на трудный путь, иди, благословляю тебя.—Можеть, погибнешь... но привнесешь чистую душу.—Всею силою отца, всею силою воспитателя, всею силою магнетизма поведу я тебя по пути, не мною избранному для тебя, а Богомъ для человѣчества.

Ея жизнью, твоей жизнью клянусь и присягаю.

Боже, сохрани ихъ!

Первый часть.

Благодарю тебя, великій промыселъ!

Сердце бьется, еще чувства не укладываются въ грудь, не только на бумагу ¹⁾).

¹⁾ На другой страницѣ написано рукою Нат. Александр. Герцень:

1 января, 1841 года.

Вчера, когда истекать сороковой годъ, Александръ далъ мнѣ прочесть этотъ листокъ,—лучшаго подарка онъ не могъ сдѣлать: этотъ листокъ разомъ вдругъ освѣтилъ всю картину трехлѣтняго счастья, непрерывнаго, безпредѣльнаго, основаннаго на одной любви... Мы сжали другъ другу руку крѣпко. Безмолвный поцѣлуй и горячія слезы высказали, что происходило въ душѣ нашей. Такъ очищенные, просвѣтленные, перешли мы въ новый годъ. Боже мой, что бы ни ждало насъ въ немъ,—я склоняю мою голову и говорю за *нихъ обоихъ*: да будетъ Твоя воля!

Мы встрѣчали новый годъ дома, уединенно, только Витбергъ былъ у насъ. Не доставало маленькаго Александра въ кружкѣ нашемъ; малютка покоился безмятежнымъ ангельскимъ сномъ, для него еще не существуетъ ни прошедшаго, ни будущаго. Спи, мой ангель, беззаботно, я молюсь о тебѣ и о тебѣ, дитя мое, еще неродившееся, но которое я люблю уже всей любовью матеря, твое движеніе, твой трепетъ такъ много говорятъ моему сердцу, такимъ блаженствомъ наполняютъ мою душу, да будетъ твое пришествіе въ міръ радостно и благословенно!!!...

Друзья, и никто изъ васъ не забыть. .. соединимъ наши гимны и молитвы.... Духъ святой сойдетъ на насъ.

1*

ДНЕВНИКЪ

съ 25 марта 1842 г.

Новгородъ.

25 марта.—Тридцать лѣтъ! Половина жизни. Двѣнадцать лѣтъ ребячества, четыре школьничества, шесть юности и восемь лѣтъ гоненій, преслѣдованій, ссылокъ. И хорошо, и грустно смотрѣть назадъ. Дружба, любовь и внутренняя жизнь искупаютъ многое. Но, признаюсь, непрерывныя гоненія и оскорбленія нашли средство причинить ужасную боль, и при словѣ 30 лѣтъ становится страшно,—пора, пора отдохнуть. Я навѣрно отслужилъ свои 15 лѣтъ, могу идти въ безсрочно-отпускные. Даже и 25, если считать годы вдвое, какъ у моряковъ за кампанію.

26.—Вчера получилъ вѣсть о кончинѣ Михаила Федоровича Орлова. Горе и пуще бездѣйственная косность подѣдаетъ геркулесовскія силы; онъ вѣрно прожилъ бы еще лѣтъ 25 при другихъ обстоятельствахъ. Жаль его. Эта новость, пришедшая въ день моего рожденія *aviso. Memento mori* въ одномъ отношеніи и *vivere memento* въ другомъ. Примѣръ передъ глазами.

Я никогда не считалъ Михаила Федоровича ни великимъ политикомъ, ни истинно опаснымъ демагогомъ, ни даже чело-вѣкомъ тѣхъ огромныхъ способностей, какъ о немъ была fama. Но онъ имѣлъ въ себѣ много привлекательнаго, благороднаго, начиная съ наружности до обращенія и пр. Онъ былъ *человѣкъ* между московскими аристократами, исполненный предразсудковъ, отсталый отъ новаго поколѣнія, упорно державшійся теоріи репрезентативности, какъ она была постановлена въ концѣ прошлаго и началѣ нынѣшняго вѣка, и выдумывавшій свои теоріи, дивившія своей неосновательностью. Молодое поколѣніе кланялось ему, но шло мимо, и онъ съ горестію замѣчалъ это. Я былъ лѣтъ 19, познакомившись съ нимъ. Тогда онъ былъ еще красавецъ: «чело-какъ черепъ голый», античная голова, оживленныя черты и высокій ростъ придавали ему истинно что-то мощное. Именно съ такой наружностью можно увлекать людей. Возвращенный изъ ссылки, но не прощенный, онъ былъ въ очень затруднительномъ положеніи въ Москвѣ. Сиѣдаемый самолюбіемъ и жаждой дѣятельности, онъ былъ похожъ на льва, сидящаго въ клѣткѣ и не

сѣвшаго даже рычать. Faute de mieux онъ окружилъ себя небольшимъ крутомъ знакомыхъ и проповѣдывалъ тамъ свои теоріи; главное лицо по талантамъ и странностямъ занималъ въ этомъ кругу Чаадаевъ. Подавленное честолюбіе, глубокая увѣренность, что онъ могъ бы дѣйствовать съ блескомъ на высшихъ правительственныхъ мѣстахъ, и воспоминаніе прошедшаго, желаніе сохранить его какъ нѣчто святое, ставило Орлова въ непрерывное колебаніе. «Стереть прошедшее» явиться кающеюся Магдалиной, — говорилъ одинъ голосъ; «не сходить съ величественнаго пьедестала, который данъ ему прошедшимъ интересомъ и оставаться окруженнымъ ореоломъ оппозиціонности», — говорилъ другой голосъ. Отъ этого Орловъ дѣлалъ непрерывныя ошибки, вовсе безъ нужды и безъ пользы громкогласно иной разъ унижался и пріобрѣталъ одинъ стыдъ. Ибо тѣ, передъ которыми онъ это дѣлалъ, не довѣряли ему, а тѣ, которые были свидѣтелями, теряли уваженіе. Правительство смотрѣло на него, какъ на законсѣлаго либерала и притомъ какъ на безхарактернаго человѣка, а либералы — какъ на измѣнника своимъ правиламъ; даже легкое наказаніе его въ сравненіи съ другими декабристами не нравилось. И въ самомъ дѣлѣ, неприятно было видѣть на московскихъ гуляньяхъ и балахъ Михаила Федоровича въ то время, какъ всѣ его товарищи ныли и уничтожались на каторгѣ. Орловъ не умѣлъ носить трауръ, который ему повелѣвала благопристойность высшая. При всемъ томъ, обѣ стороны судили его пристрастно: онъ отнюдь не былъ ни Мирабо, ни Сіезъ для петербургской аутократіи, также не заслуживалъ насмѣшки либераловъ. Главная вина его *неловкость*. Въ сущности онъ сохранялъ много рыцарски доблестнаго до конца жизни, въ немъ была бездна гуманнаго, добраго. За это мы должны его простить. Въ 1834 я оставилъ его въ цвѣтѣ лѣтъ и силъ, моральныхъ и физическихъ. Пришелъ мой чередъ ссылки; возвратившись, наконецъ, въ 1840, я видѣлъ его мелькомъ въ 41 г.; онъ на меня сдѣлалъ ужасное вліяніе: что-то руинное, убитое было въ немъ. Работавши 7 лѣтъ и все попустому, чтобъ получить поприще, онъ убѣдился, что тамъ никогда не простятъ, что ни дѣлай. А юное поколѣніе далеко ушло и съ снисхожденіемъ (а не съ увлеченіемъ) смотрѣло на старика. Онъ все это чувствовалъ и глубоко мучился, занимался отдѣлкой дома, стекляннымъ заводомъ, чтобъ заглушить внутренній голосъ, — но не выдержалъ. Съ моей стороны, я посылаю за нимъ въ могилу искренній и горькій вздохъ; несчастное существованіе отъ того только, что случай хотѣлъ, чтобъ онъ родился въ эту эпоху и въ этой странѣ. Аминь.

28. — Два удара піэтизму и католицизму. Архіерей Шартрскій возсталъ въ Парижѣ противъ германской философіи, пугаль паденіемъ католицизма etc., но правительство, созданное доктринерами,

взяло сторону мысли противъ авторитета. И подобное же повторилось въ Штутгардѣ, гдѣ министръ въ камерѣ рѣшительно вышелъ лицомъ къ лицу сражаться съ католическимъ духовенствомъ. Въ Вяткѣ жилъ сосланный грузинскій князь; онъ не выдержалъ суроваго климата и впалъ въ злѣйшую чахотку; я посѣтилъ его за нѣсколько дней до смерти; онъ былъ едва живъ, но съ видомъ глубокаго убѣжденія сказалъ: «Лишь бы весной не было хуже, а то, пожалуй, сдѣлается чахотка». Вотъ какъ умирающіе не понимаютъ своего положенія; то же о католицизмѣ и піэтизмѣ.

Временной налогъ Пили дѣлаетъ эпоху.

Апрѣль мѣсяцъ.

2.—Получилъ вѣсть о кончинѣ Карла Ивановича Кало 27 марта въ университетской больницѣ. Ему легко было закрыть глаза: одинъ изъ честнѣйшихъ, благороднѣйшихъ людей, несмотря на свое званіе. Онъ инстинктивно какъ-то любилъ меня, съ самаго дѣтства. Что это какъ быстро уносить могила прежнее поколѣніе. «И тебя уже не стало»!..

Завтра подаю въ отставку. Одна четверть желаній исполнится; хоть волю употребленія времени приобрѣту.

4.—Господи, какіе невыносимо тяжелые часы грусти разѣдаютъ меня. Слабость ли это? или послѣдствіе того развитія, которое приняла душа моя, или, наконецъ, мое законное право, образъ отраженія во мнѣ окружающаго. Неужели считать мою жизнь оконченною, неужели все волнующее, занимающее меня, всю готовность труда, всю необходимость обнаруженія сохранить, держать подъ тяжелымъ камнемъ, пока приучусь къ нѣмотѣ, пока заглухнутъ потребности,—и тогда начать жизнь пустоты, роскоши. Да, только послѣднее возможно, когда оно естественно течетъ изъ сущности извѣстнаго рода плоскости духа, въ этотъ міръ чужой не взойдетъ. Есть другая жизнь прекрасная и высокая, съ единой цѣлью внутренняго просвѣтленія; но я чувствую, что среди тихихъ занятій кабинета подчасъ является ужасная тоска. Я долженъ обнаруживаться,—ну, пожалуй, по той же необходимости, по которой пищитъ сверчекъ.

Гейне говоритъ:

Gut verloren—etwas verloren,
Ehre verloren—viel verloren.
Musst Ruhm gewinnen,
Da werden die Leute sich anders besinnen.
Muth verloren—alles verloren,
Da wäre es besser nicht geboren.

Это величайшая истина, и потому-то, когда я сознаю совершенную потерю духа, я паду. Но еще, кажется, я далекъ отъ этого.

Счастливы дѣтски-религіозные люди, имъ жить чрезвычайно легко. Но будто возможно изъ совершеннолѣтія перейти въ ребячество иначе, какъ черезъ безуміе. Одна мать, потерявшая всѣхъ дѣтей своихъ, говорила мнѣ съ веселымъ видомъ: «я не жалѣю ихъ, я ихъ хорошо помѣстила», и она вставала по ночамъ къ заутрени, держала строгій постъ и была счастлива. Я даже завидовать не могу, хоть удивляюсь великой тайнѣ врачеванія безвыходнаго горя—субъективнымъ мечтательнымъ убѣжденіемъ. У ней несчастье переполнило душу и обратилось въ безумное блаженство. Но мои плечи ломаются, но еще несутъ! И ужасная мысль, что еще годы надобно таскать эту тяжесть, разливаешь мракъ, и судорожное негодование щемитъ душу.

6.—Теперь всѣ пугаютъ меня ужасными послѣдствіями отставки, но такъ и быть, лучше годъ лишній ссылки, но спокойное употребленіе времени. Одинъ большой плутъ предлагаетъ выпутаться деньгами. быть можетъ оно и такъ, деньги у насъ всемогущи. Вотъ состояніе! Одно желаніе—силы, силы перенести еще... сколько—ну, навѣрное три года—этихъ гоненій.

8.—Писалъ къ Дуббельту, чтобъ увѣдомить его объ отставкѣ. Я не думаю, чтобъ онъ или г. Бенкендорфъ имѣли что-нибудь противъ меня лично, не думаю даже, чтобы тотъ или другой по охотѣ или по симпатіи дѣлалъ зло. Но боюсь всего отъ равнодушія; у насъ почти нѣтъ инквизиціи изъ убѣжденій (развѣ таковъ былъ М., предмѣстникъ Дуббельта). Какъ бы то ни было, я далъ себѣ слово многое сдѣлать, во многомъ уступать, чтобъ добраться до свободы. Я склонилъ голову,—тамъ нѣтъ борьбы, гдѣ съ одной стороны никакихъ правъ, никакой силы. Понимаю, что, подавая въ отставку, я отдалилъ нѣсколько счастливые шансы. Но жертвовать всѣмъ временемъ—это потеря существенная. Я считалъ годъ лишній удаленія за отставку и нахожу, что выгода перевѣшиваетъ.

Написавши такое письмо, я всякій разъ дѣлался боленъ: усталъ, дрожь, безсиліе и волненіе. Вѣроятно, это то самое чувство, которое испытываютъ публичныя женщины, первые раза продавая себя за деньги, хотя и защищаясь нуждой. Полнаго отпущенія сознательному грѣху нѣтъ. *L'homme se sent flétri*. Да, можетъ, я этимъ спасу свою индивидуальность. А тутъ вопросъ,—да нужна ли индивидуальность моя для чего бы то ни было, или нужна ли на что-нибудь индивидуальность, спасаемая такимъ образомъ? Гдѣ же внутренняя жизнь, если человѣкъ не можетъ покориться обстоятельствамъ, какъ бы они скверны ни были, съ гордымъ сознаніемъ правоты. Эгмонтъ и Оранскій! Эгмонтъ рыцарской доблестью купилъ плаху. Но надобно *быть Оранскимъ*, чтобъ стяжать право поступать, какъ онъ. Спасая себя хитрыми уступками, онъ спасалъ

страну. А я спасаю себя? Но неужели моя жизнь кончена, неужели все это вздоръ. Nein, das sind keine leere Träume!

Я не могу долго пробыть въ моемъ положеніи, я задохнусь, и какъ бы ни вынырнуть—вынырнуть.

12.—Вотъ что значитъ подать въ отставку. Мнѣ стало какъ-то легче; явились свѣжія силы и туманъ нѣсколько разсѣяли. Изъ двухъ чудовищъ, стоящихъ подлѣ меня съ вѣчно поднятой дубиной, одно исчезло. И какъ будто съ выходомъ въ отставку я обязанъ работать, ибо досугъ мой, время мое. И буду работать. А между тѣмъ еще не знаю, чѣмъ разрѣшится, какія послѣдствія принесетъ этотъ шагъ.

Хочется написать пропедевтическое слово желающимъ приняться за философію, но сбивающимся въ цѣли, правѣ средствъ науки. По дорогѣ тутъ слѣдуетъ указать весь вредъ добрыхъ людей, любящихъ пофилософствовать. Враги науки не такъ опасны, какъ всѣ полу-піэтисты, полу-раціоналисты. Началь; что будетъ, не знаю.

13.—Продолжаю въ свободное время лекціи Вильмена. И это мнѣ очень полезно; мы забыли XVIII вѣкъ, тутъ онъ оживаетъ, переносимся снова въ тѣ времена Вольтера, Бюффона,—и, что ни говори, великія имена. Замѣчательно слѣдить, какъ въ началѣ своей карьеры Вольтеръ дивить, поражаетъ смѣлостью своихъ религіозныхъ мнѣній, и черезъ два десятка лѣтъ Гольбахъ, Дидро; онъ отсталъ, матеріализмъ распахнулся во всей силѣ. «Le patri-arche ne veut pas se départir de son rémunérateur vengeur; il raisonne là dessus comme un enfant», пишетъ Гриммъ. А также смѣло и дерзко выказываетъ свою голову и попираетъ ногами нравственность. Тутъ видишь das Werden 93 года.

При всемъ томъ, эта ступень развитія чрезвычайно важна и сдѣлала существенную пользу. Ошибка ихъ состояла въ томъ, что они поняли генезисъ духа во временномъ, конечномъ, приняли его за произведеніе матеріи, за матерію. Генезисъ отчасти вѣренъ у нихъ; даже если бы нѣсколько шаговъ они пробились дальше, то они сами поняли бы, что они со словомъ матерія сопрягаютъ еще что-то обладающее ею, призывающее ее къ жизни, что-то вѣчное, безпокойное, имѣющее цѣлью проявленіе и пр. атрибуты, не идущіе страдательной матеріи. Такъ, какъ Спиноза былъ истиненъ на той точкѣ, на которой стоялъ, и эта точка была необходимой степенью, такъ и ихъ. Что касается до атеизма, онъ послѣдовательнѣе, нежели робкій деизмъ Вольтера и Руссо. Впрочемъ, Руссо случайно натыкался на истинный путь богопознанія. т. е., развитія духа своего до созерцанія Бога. Этотъ ихъ творецъ, геометръ des jenseits, неучаствующій, праздный, котораго мы не можемъ знать и передъ которымъ благоговѣемъ, не удовлетворяетъ ни горечь придыханія религіознаго ума, ни строгость логи-

ческаго. Отрицаніе Бога было шагомъ къ истинному разумѣнію его, отрицаніе его, какъ Иеговы, какъ Юпитера, какъ чуждаго земли, сидящаго гдѣ-то, совлекало съ него послѣднюю конечность и послѣднюю абстракцію философіи, приданную религиозными представленіями. Для нихъ, съ точки зрѣнія анализа и *raison naturelle*, Богъ только существовалъ, какъ природа, какъ вселенная, какъ вѣчный міръ, о которомъ Плиній говоритъ: *Aeternus, immensus, totus in toto, immo vero ipse totum*, тотальность дѣятельности замкнутой *idemque rerum naturae opus et rerum pro natura*. Надо оставить перебродить эту матерію творца и творены вмѣстѣ, а она должна сама выработаться изъ Лукреціевской тенденціи въ направленіе современной духовной философіи. Это движеніе—склепъ разума. Это его феноменологія. Но уже послѣ Гольбаховъ, Дидро et C^o невозможно чувственно-католическое представленіе, вдохновлявшее глубокіе умы гораздо выше матеріализма, потому что они умѣли оторваться (безсознательно) отъ буквы и переноситься въ сферы абсолютной спекуляціи,—но служившее идолопоклонствамъ массъ. Что за огромное зданіе воздвигнула философія XVIII вѣка, у одной двери котораго блестящій, язвительный Вольтеръ, какъ переходъ отъ двора Людовика XIV къ царству разума, а у другой мрачный Руссо, полубезумный наконецъ, но полный любви, и остроты котораго не выражали ни остроумія рѣзкаго, ни родства съ *grand siècle*, а предсказывали остроты *de la Montagne*, С. Жюста и Робеспьера. Вольтеръ съ омерзеніемъ прочелъ въ Эмилѣ: «И если сынъ короля полюбитъ истинно дочь палача, отецъ не долженъ ему препятствовать». Вотъ *réhabilitation de l'homme* чисто демократическая. Масса читала не такъ, какъ Вольтеръ.

Шутки, полуслова дѣйствуютъ, но гордый языкъ лицомъ къ лицу съ властью долженъ былъ поразить у Руссо. Мы привыкли.

И всѣ дѣятели того вѣка были люди жизни въ Англіи и во Франціи: Монтескье, Бюффонъ и пр. Германія выдвинула потомъ свою мысль, свое искусство—обширное и великое, но выращенное въ кабинетѣ. Біографію германскихъ читать нельзя. Первый человекъ у нихъ Шиллеръ, да развѣ Лессингъ еще. Чему же дивиться, что Фридрихъ II, человекъ практической, не могъ сродниться съ своимъ отечественнымъ направленіемъ. Для того, чтобы симпатизировать съ нимъ, надобно было показать ему всю мощь свою (Гёте, Гегель).

15.—2-го вышелъ указъ, позволяющій помѣщикамъ дѣлать условія съ крестьянами, которые остаются при землѣ, но уже дѣлаются въ среднемъ положеніи между крѣпостнымъ и помѣщичьимъ. подъ названіемъ обязанныхъ. Причина, сказано, чтобъ земли не выходили изъ дворянскихъ родовъ; но есть ли это ограниченіе

права отпуска въ свободные хлѣбпашцы, ясно не видать. Силы обязательной указъ не имѣть, это предложеніе тѣмъ, кто хотятъ. Побудительной причины хотѣть не предвидится. Состояніе крестьянъ мнимо улучшится. Это *ex-attachés à la glèbe* среднихъ вѣковъ, *la gente corvéable et taillable*. Замѣчательнѣ циркуляръ министра внутреннихъ дѣлъ, объявляющій, что въ этомъ указѣ (который давно былъ ожидаемъ) ничего новаго нѣтъ, что онъ относится къ желающимъ и чтобъ не смѣли *подразумѣвать* иной смыслъ, *минимое* освобожденіе крестьянъ etc., etc. *Ne réveillez pas le chat qui dort!*

26.—Дней пять занимался статьей о «дилетантизмѣ въ наукѣ»; я доволенъ: кажется, удачно обрисована эта болѣзнь, общая нашимъ pseudo-философамъ.

Крестиль у Рейхеля.

29.—Урокъ отъ Германа. Я поступилъ не вовсе осторожно, однако очень извинительно; мнѣ отвѣчали письмомъ, полнымъ если не дерзости, то желанія показать оскорбленіе и принести оскорбленіе. Мнѣ было больно. Старикъ, оказывающій мнѣ въ коротенькое знакомство учтивость и доброе расположеніе, вдругъ поставилъ въ такое странное положеніе. Я писалъ и извинился, потому что считаю неосторожность виною; другой сатисфакціи не могло быть и полнѣе не могло. Но когда же люди перестанутъ быть китайцами, когда они не будутъ приводить въ зависимость отъ щепетильнаго самолюбія всѣ прекраснѣйшія отношенія. И какая готовность при тѣни не обиды, а подозрѣнія въ забвеніи условнаго поклоненія, которымъ взаимно люди обманываютъ другъ друга,—прервать всѣ связи, доставлявшія удовольствіе etc. Тяжело убѣждаться, что записные эгоисты изобрѣли себѣ лучшей *esprit de conduite*. Надобно совершенную симпатію, единство образа мыслей, много сходнаго въ прошедшемъ и тогда еще нѣсколько лѣтъ близкаго знакомства, шпіонства другъ за другомъ, чтобы дерзнуть откровенно поступать. Я проученъ этими встрѣчами, въ которыхъ за тѣнь симпатіи я простиралъ откровенно объятія и оставался въ дуракахъ. Отъ этого мнѣ тошно, грустно въ томъ мѣстѣ, гдѣ нѣтъ никого близкаго; а этихъ любезныхъ незнакомцевъ хочется ежедневно мѣнять, они надоѣдаютъ.

Теперь еще вопросъ, что онъ сдѣлаетъ, получивши мое письмо? Что скажетъ? Я съ полнымъ сознаниемъ, что не хотѣлъ оскорбить, извинился. Ложный стыдъ можетъ заставить его поддержать и послѣ того мысль, что я поступилъ дурно. Но истинное благородство требуетъ не того.

30.— Самые жесткіе, неумолимые изъ всѣхъ людей, склонные къ ненависти, преслѣдованію за это, ультра-религіозники, — изъ нихъ вѣдетъ святой германдадой. Оттого, что они чрезвычайно вѣш-

нія натуры. глубина ихъ ложная, они въ другую сторону вышли вонъ изъ глубокой и прекрасной среды жизни, въ которой живетъ все благородное и доброе. Ихъ обуялъ формализмъ и, сверхъ всего, они поврежденные. Да, сверхъ того, они играютъ отчаянную игру въ XIX вѣкъ.

М а и м ѣ с я ц ѣ .

4.—Странное сближеніе, читалъ на дняхъ *Прометей* Эсхила и *Двое Фоскари* Байрона. Если сравнить грековъ съ іудеями, то удивительно, насколько греки *больше* люди; они не могли склониться ни подъ какое иго. Что за громкій, энергическій протестъ этотъ прикованный Титанъ, пренебрегающій Зевсомъ, ругающійся надъ нимъ, и этотъ хоръ океанидъ, вѣрный Титану даже послѣ угрозы. Сколько человѣчески прекраснаго въ молчаніи Прометей, когда его приковываютъ, и въ отказѣ Юпитеру объяснить пророчество о низверженіи его съ престола. Э. Кине воспользовался этимъ пророчествомъ и на немъ основалъ поэму, прекрасно придуманную, но плохо и слабо выполненную; въ самомъ дѣлѣ, *post facto* слова Прометей кажутся предсказаніемъ Христа. Гѣте представилъ *того* Прометей, Эсхилова. И эта пьеса давалась въ Аѳинахъ, а въ Парижѣ въ 1842 въ камерѣ депутатовъ какой-то глупецъ съ ужасомъ требовалъ закона, чтобъ отвратить на театрахъ появленіе лицъ въ платьяхъ католическаго духовенства. Народъ, побѣдившій Ксеркса, рукоплескалъ свободному и гордому голосу Титана, несмотря, что этотъ голосъ направленъ противъ Зевса!

Два лица остаются глубоко впечатлѣнными въ душѣ послѣ чтенія Фоскари, Дожъ и Марина. Въ мрачныхъ, конвульсивныхъ созданіяхъ Байрона старикъ Фоскари святой, доблестный, спокойный и великій, а она южная по натурѣ, необузданная въ страстяхъ и сильная именно по южному. Отвѣты дожа председателю Десяти и вся послѣдняя сцена удивительно хороши. Какъ относится Эсхилъ къ Прометей къ Каину Байрона и его Аталантъ къ дѣвамъ? Тутъ измѣрить разстояніе и различіе Греци и XIX вѣка.

9.—Вотъ и опять девятое мая. Но уже одного изъ героевъ этого дня нѣтъ. Бѣдный Астраковъ подъ сырой землей. Четыре года—да, что это, много времени или мало? Кажется, все это было три недѣли, мѣсяцъ тому назадъ. А много прошло. Худшее, это болѣзненное состояніе Наташи въ продолженіе послѣднихъ двухъ лѣтъ. Вся жизнь ея до свадьбы было мученье; два года счастья и потомъ новыя мученья—физическія. Какъ же быть довольнымъ жизнію. Ея болѣзнь и преслѣдованія—двѣ черныя нити, глубоко вплетенныя въ

нашу жизнь. Съ какимъ мучительнымъ чувствомъ я вижу послѣдовательное ослабленіе существа, такъ молодого лѣтами. И она много способствуетъ сама болѣзни, принимая всѣ впечатлѣнія съ чрезвычайной силой и скрывая часто дѣйствія ихъ. Хотѣлось бы скакать на югъ, на европейскую почву—разсѣяніе, климатъ. Люди помогли бы ей. А на ногахъ цѣпь. И тутъ становится досадно, зачѣмъ намъ на смѣхъ есть средства и не велѣно пользоваться. Какую свѣтлую, прекрасную жизнь мы могли бы вести! Нѣтъ желанья роскоши, нѣтъ желанья знатности; симпатическій кругъ людей, умственная, артистическая дѣятельность и свобода. Давно отказался я отъ другихъ мечтаній. Но будущее грозитъ худшимъ.

Есть благо, котораго власть отнять не можетъ,—это воспоминанія. Что это за свѣтлые дни были 8 и 9 мая 1838! Тутъ-то раздается грудь, и человѣкъ безконеченъ въ своемъ блаженствѣ. Но въ этой средѣ долго нельзя удерживаться, жизнь утягиваетъ въ свою прозаическую діалектику, хочетъ непременно поставить изнанку возлѣ лицевой стороны. Будемъ нести изнанку за лицевую сторону,—и съ Богомъ въ дальнюю дорогу.

19.—Писалъ эти дни вторую статью о дилетантизмѣ. Мнѣ самому уясняется мысль, писавши. Вѣроятно, это скорѣе недостатокъ, чѣмъ достоинство.

20.—*Semper idem*. Одно чувство всплываетъ надъ всѣмъ, тягостное и ужасное. Чувство моего положенія. Переписывался съ Денномъ о здоровьѣ жены. Деннъ, какъ и здравый смыслъ, совѣтуетъ ѣхать въ Москву, для основательнаго леченія подъ хорошимъ руководствомъ. И никакихъ средствъ. Ѣхать на недѣлю, на двѣ одной Н. врядъ будетъ ли полезно; надолго она меня не хочетъ оставить. Рѣчь идетъ о жизни человѣка. Я долженъ быть нѣмымъ зрителемъ, какъ слабѣть, разрушается, быть можетъ, это прекрасное существо, и не могу употребить такого простого средства, какъ ѣхать лечиться въ Москву, а уже что и думать о чужихъ краяхъ.

Да гдѣ же вина? Что сдѣлано мною?

Когда человѣкъ въ 30 лѣтъ смотритъ впередъ, какъ я, и видитъ туманъ и мракъ, то онъ долженъ благословить судьбу, если она дала ему характеръ настолько свѣтлый, настолько независимый, что онъ не предается отчаянію. Начать новую жизнь поздно. Продолжать старую невозможно. Великій искусъ, надобно обречься на совершеннѣйшую ничтожность. Тогда, быть можетъ, оставить въ покоѣ.

Это моя великая надежда, ею я живу. У насъ ни въ чемъ нѣтъ многолѣтней послѣдовательности. Перестануть, наконецъ, гнать. И настанутъ годы—спокойной пустоты, тупой боли и пассивной бездѣятельности.

23.—Какъ невыносимо грустно и тягостно жить подъ часъ. Книга выпадаетъ изъ рукъ, перо тоже. Хочется жить, дѣятельсти, движенія, и одно... одно нѣмое, тупое, глупое положеніе славнаго въ пустой городишко. Подъ часъ я изнемогаю. Стыдно дѣлается потому, но что же дѣлать, я человѣкъ, не плутарховскій герой, не лицо изъ житія святыхъ. Больно, унижительно, оскорбительно и существенно убійственно, если взять въ расчетъ время. И умереть, быть можетъ, въ этомъ положеніи... Фи!

І Ю Н Ъ М Ъ С Я Ц Ъ .

10.—Сегодня уѣхалъ Огаревъ послѣ 11 дней. Прекрасно проведенные дни, дни жизни, т. е., когда человѣкъ живетъ въ настоящемъ, хотя не со всѣхъ сторонъ свѣтло; но мы давно не встрѣчались такъ спокойны и веселы. Онъ намѣренъ разойтись съ нею. Дай Бога, но врядъ ли найдетъ достаточно силы. Она хитростью, притворствомъ можетъ еще овладѣть его тихой и благородной душой. Можетъ, еще и настанутъ свѣтлые дни со стороны частной жизни.

Онъ говорилъ и о другихъ надеждахъ; но я такъ отвыкъ отъ нихъ, что едва сердце бьется при словахъ; удивленіе, похожее на то, когда бы мы увидѣли усопшаго намъ близкаго,—а вѣры нѣтъ.

Итакъ, онъ въ Римъ, въ Парижъ, а я—все здѣсь и съ цѣпью на ногахъ. Писалъ къ Дубельту; 1 іюля его серебряная свадьба. Я чувствую психическую необходимость ѣхать въ большой городъ; надобны люди, я вяну, во мнѣ бродитъ какая-то неупотребленная масса возможностей, которая, не находя истока, поднимаетъ со дна души всякую дрянь мелочи, нечистыя страсти.

Если-бъ можно было уловить и рассказать все, что проскользаетъ въ иную минуту бездѣйствія,—какъ бы гадокъ, развратенъ показался человѣкъ.

Мнѣ одиночество въ кругу звѣрей вредно. Моя натура по происхожденію социабельная. Я назначенъ собственно для трибуны, форума, такъ, какъ рыба для воды. Тихій уголокъ, полный гармоніи и счастья семейной жизни, не наполняетъ всего, и именно въ ненаполненной долѣ души, за неимѣніемъ другого, бродитъ цѣлый міръ—безплодно и какъ-то судорожно.

11.—Онъ привезъ «Мертвыя Души» Гоголя,—удивительная книга, горькій упрекъ современной Руси, но не безнадежный. Тамъ, гдѣ взглядъ можетъ проникнуть сквозь туманъ нечистыхъ, навозныхъ испареній, тамъ онъ видитъ удалую, полную силы національность. Портреты его удивительно хороши, жизнь сохранена во всей полнотѣ; не типы отвлеченные, а добрые люди, которыхъ каждый изъ насъ видѣлъ сто разъ. Грустно въ мірѣ Чичикова, такъ, какъ грустно намъ въ самомъ дѣлѣ; и тамъ, и

туть одно утѣшеніе въ вѣрѣ и упованіи на будущее. Но вѣру эту отрицать нельзя, и она не просто романтическое упованіе *ins Blaue*, а имѣетъ реалистическую основу, кровь какъ-то хорошо обращается у русскаго въ груди. Я часто смотрю изъ окна на бурлаковъ, особенно въ праздничный день, когда, подгулявши, съ бубнами и пѣніемъ они ѣдутъ на лодкѣ, крикъ, свистъ, шумъ. Нѣмцу во снѣ не пригрезится такого гулянья; и потомъ въ бурю — какая дерзость, смѣлость, летить себѣ, а что будетъ, ни будетъ. Взглянулъ бы на тебя, дитя, — юношею, но мнѣ не дожидаться, благословляю же тебя хоть изъ могилы. Но все это ни одной іотой не уменьшаетъ горечь жизни. Сверхъ всего повтореннаго много разъ, отдѣльность, несимпатія со всѣхъ сторонъ тягостна. Барству, чиновничеству мы не хотимъ протянуть руки, да и они на нашего брата смотрятъ, какъ на безумнаго, а православный народъ, которому, для котораго, за который всякій благородный человѣкъ готовъ Богъ знаетъ что сдѣлать, если не въ открытой войнѣ, въ которой онъ насъ опутываетъ сѣтью мошенничества, то онъ молчитъ и не довѣряетъ, несколько не довѣряетъ, — я это испытываю очень часто; когда онъ видитъ простой расчетъ, дѣло другое, но когда не изъ расчета, а просто изъ доброжелательства что-нибудь сдѣлать, — онъ качаетъ головой и боится быть обманутымъ.

× 12. — Не у всѣхъ страсти тухнуть съ лѣтами, съ обстоятельствами; есть организаціи, у которыхъ съ лѣтами и страсти окрѣпаютъ и принимаютъ какой-то странный характеръ прочности. Вообще человѣкъ долженъ быть очень остороженъ, радуясь, что онъ миновалъ бурный періодъ, — онъ можетъ возвратиться къ нему вовсе нежданно. И тутъ рѣшается споръ: разумъ или сердце возьметъ верхъ. Выше, свободнѣе, нравственнѣе, когда разумъ; но въ самомъ огнѣ увлеченія есть прелесть, живешь въ-десятеро. А послѣ — раскаяніе, упреки.

Я всегда проповѣдывалъ противъ *Naturgewalt*; но гуманность моя идетъ до того, что я прощаю ей, если только въ силу этой *Naturgewalt* не отрекается человѣкъ самъ отъ всего человѣческаго. Это рѣдко и бываетъ, почти только при помѣшательствѣ, въ какомъ бы то ни было отношеніи. Ибо сама страсть влечетъ къ чему-нибудь человѣческому, хотя часто и не лучшимъ путемъ. Наслажденіе, напримѣръ, есть по превосходству право живущаго *etc., etc.* Все это рѣшительно недоступно піэтистамъ. Вообще въ піэтизмѣ нѣтъ ничего гуманнаго, несмотря на то, что христіанство по превосходству гуманно. Они, заморившіе въ себѣ все, называемое ими земное, не имѣютъ никакой снисходительности, они жестки, даже свирѣпы. Любви въ нихъ нѣтъ, ихъ любовь подлажена *ein Sollen*, по приказу. Нашъ братъ просто человѣкъ; напротивъ, чѣмъ ниже раздается его кругъ, тѣмъ больше отпу-

щать, — да и то подь часъ кажется ненужнымъ, потому что и отпустить нечего (кромѣ уголовныхъ дѣлъ и то не всѣхъ).

16.—Продолжаю. Тотъ, кто нашель въ себѣ силу хранительскую и побѣдилъ распахнувшуюся страсть, не будетъ жестокъ въ осужденіи ближняго, не выдержавшаго напора, увлекшагося, оттого, что онъ помнитъ, что ему стоила побѣда, какъ онъ изнеможенный, сломанный вышелъ изъ борьбы. Жестоки легко побѣждающіе, т. е. такіе, къ которымъ страсти едва притрогиваются, узкія натуры, эгоисты и абстрактно добродѣтельные люди. Но вотъ еще вопросъ, сюда же относящійся. Безспорно всякая побѣда есть освобожденіе отъ внѣшняго, но не приходится ли людямъ часто бороться съ фантомами, ими придуманными. Чтобъ привести совершенно очевидный примѣръ, я не могу приписать достоинство особенно замѣчательное глупому человѣку, отказывающемуся, при желаніи ѣсть, отъ скоромной пищи въ постный день. Борьба нелѣпа, развѣ для упражненія себя въ самообузданіи. Оттого человекъ кажется рабомъ страстей болѣе, нежели онъ есть, что его не выпускаютъ изъ смѣшного рабства sui generis предрасудки, напр. монашескіе обѣты. Примѣръ передъ глазами. Огаревъ понимаетъ ясно, когда бракъ есть что-нибудь, и когда онъ дѣлается нелѣпой формой, взаимнымъ рабствомъ, отвратительнымъ соединеніемъ гетерогеннаго; такой бракъ in facto уже распался, если нѣтъ дѣтей, онъ безслѣдно пропешее. Онъ именно въ этомъ случаѣ,—а не смѣетъ разойтись. Боятся общественнаго мнѣнія, говоритъ онъ; но тутъ есть и другая боязнь отъ совѣсти timorée.

17.—Вчера гонецъ изъ Петербурга отъ Огарева. Дуббельтъ не находитъ возможнымъ дѣлать представленіе, находя бесполезнымъ, ибо по всѣмъ прочимъ обо мнѣ государь отказалъ и предлагаетъ послѣднее средство: писать Наташѣ къ императрицѣ и притомъ съ тѣмъ же нарочнымъ. Прислали черновую. Наташа переписала, подписала и отправили. Просьбу беретъ доставить Сологубъ, много хлопотавшій въ этомъ. И все вмѣстѣ оскорбительно до невѣроятной степени; достоинство моей человѣческой личности, а вмѣстѣ и всѣхъ личностей замято въ грязь.

20.—Чудеса! письмо отъ Дуббельта, и вновь отказъ. Для чего же просьба? Невѣроятно, невѣроятно! Неужели рѣшиться на совершенную пустоту жизни? Какъ ужасно искушается душа, осмѣливающаяся становиться выше толпы. Черезъ четыре дня будетъ 8 лѣтъ. Тутъ нѣтъ словъ. Лишь бы не надломились плечи подъ тяжестью креста.

Проѣзжалъ Фроловъ съ больной сестрой вчера. Мнѣ благотворны всѣ эти проѣзды, я смываю провинціализмъ ими, набираю силы. Оттого я и хочу переѣхать въ Тверь, чтобъ быть опять на большой дорогѣ.

27.— Двѣ замѣчательныя случайности, нѣсколько противорѣчащія сказанному за двѣ страницы о простомъ народѣ. Мнѣ нужны были деньги; одинъ изъ здѣшнихъ купцовъ самъ мнѣ привезъ, даль безъ расписки, и ни подъ какимъ видомъ не хотѣлъ (и не взялъ) процентовъ. Казалось, что онъ радъ былъ, что могъ меня одолжить. Or donc, я никогда положительно ничего для него не сдѣлалъ, а такъ какъ я теперь отставной, то, вѣроятно, и не могу впередъ ничего сдѣлать. Они оцѣнили разницу между мною и прочими чиновниками, и за это спасибо. Второе. Буфетчикъ здѣшней гостиницы совѣщался со мною насчетъ своего сына, онъ третій годъ въ гимназiи. «Да ужъ мнѣ бы хотѣлось его послѣ въ университетъ, чтобъ былъ человѣкомъ». Мальчикъ приходилъ ко мнѣ, живой. Я ему даль книгу и подстрекнулъ заниматься. Совѣтую итти по медицинскому факультету. Отецъ чей-то вольноотпущенный. In potentia много въ русской душѣ. Недавно еще рассказывалъ инженеръ о Боровицкихъ лоцманахъ; что за удаля! что за безконечный stimulus, который развертываетъ въ нихъ эту потребность пѣсней, вина и удали!

28.—Вчера, поздно вечеромъ или, вѣрнѣе, ночью, сидѣлъ я у окна съ Наташей, было тепло и чрезвычайно хорошо. Тишина мертвая. Волховъ сверкалъ; тихо и гладко текъ онъ, ни листокъ не шелохнется, весла шумѣли правильно, ритмомъ раздѣляя время; на другомъ берегу пѣлъ мужикъ какую-то безконечную пѣсню, — мы слушали его съ восторгомъ, какъ дай Богъ, чтобъ слушали Росси и Пасту. Время шло, а онъ пѣлъ да пѣлъ — грустно, уныло. Что заставляетъ его пѣть? Вѣдь, духъ, вырывающійся на волю изъ душевной прозаичной сферы пролетариата, этой пѣснью онъ бессознательно входитъ въ царство Божіе, въ міръ безконечнаго, изящнаго. Духъ, выработавшійся до человѣчности, звучитъ такъ, какъ цвѣтокъ благоухаетъ, но звучитъ и для себя; за трепетомъ жизни, за неопредѣленной радостью бытія животнаго, слѣдуетъ экспансивность человѣка, онъ наполняетъ свою пѣснью окружающее, единство его съ другими и удовлетворяетъ свою жажду. Если глубоко вемотрѣться въ жизнь, конечно, высшее благо есть само существованіе, — какія бы внѣшнія обстановки ни были. Когда это поймутъ, — поймутъ, что въ мірѣ нѣтъ ничего глупѣе, какъ пренебрегать настоящимъ въ пользу грядущаго. Настоящее есть реальная сфера бытія. Каждую минуту, каждое наслажденіе должно ловить, душа непрерывно должна быть раскрыта, наполняться, всасывать все окружающее и разливать въ него свое. Цѣль жизни — жизнь. Жизнь въ этой формѣ, въ томъ развитiи, въ которомъ поставлено существо, т. е. цѣль человѣка — жизнь человѣческая. Читаю Лукреція: De rerum natura. Какой взрослый п во многихъ отношенiяхъ здоровый взглядъ. (Разумѣется, надобно

простить метафизическія ошибки, физическія etc.). Да, древній міръ умѣлъ лучше даже нашего любить и цѣнить космосъ, великое Все, Природу.

Іюль мѣсяцъ.

1.—Вчера была ужасная гроза, и громъ ударилъ въ церковь, шаговъ въ сто отъ нашего сада. Мы сидѣли на террасѣ, ударъ былъ оглушительнѣе. Стало какъ-то неловко и страшно. Ну, если убьетъ меня, насъ! Гроза миновала, но мнѣ было грустно. Гдѣ время вѣры въ будущее, въ жизнь, въ ея необходимость, въ сохраненіе ея, въ ея важную связь съ всемірнымъ, съ всеобщимъ, съ человѣчествомъ. Knabengedanken. Когда тонулъ досчаникъ на Волгѣ, я твердо смотрѣлъ на опасность. Я вѣрилъ въ индивидуальность. И теперь думаю, что естественная смерть не придетъ, пока человѣкъ имѣетъ что-нибудь выразить. Но случай внѣшній ударить, и никому, ничему и дѣла нѣтъ.

6.—Скажи, фонтанъ Бакчи-Сарая,
Таковъ ли былъ я, расцвѣтая?

Я съ страннымъ чувствомъ обращаюсь иногда назадъ, далеко назадъ, къ ребячеству. Какъ богато хотѣла развернуться душа, и что же вышло? какое-то неудачное существованіе, переломленное при первомъ шагѣ. Но гдѣ же внутренняя сила, если внѣшнее могло ее сломить? Стало, и безъ внѣшняго не много бы вышло. А между тѣмъ, какъ всегда грудь была полна чувствъ, голова—мыслей. Зачѣмъ? или что препятствуетъ ихъ проявленію?

9.—Письмо отъ графа Бенкендорфа къ моей женѣ извѣщаетъ о разрѣшеніи ѣхать въ Москву, съ тѣмъ, чтобъ я не пріѣзжалъ въ Петербургъ. Все сдѣлано графомъ Вельегорскимъ. Не даромъ, онъ магнетически какъ-то понравился мнѣ при первой встрѣчѣ; и графъ Сологубъ много хлопоталъ. Оно не все,—но лучше. Я не ждалъ. Ровно 8 лѣтъ взятію Огарева 9 іюля 1834. Въ Москвѣ будутъ и непріятности, но не такъ заглохнешь. И опять фатумъ, фатумъ!

Москва.

25 іюля. Двѣнадцать дней, какъ мы оставили Новгородъ. Но встрѣча съ Москвой не была вполне радостна; изъ близкихъ людей почти никого нѣтъ. Отца я засталъ въ разрушающемся состояніи: отъ сталъ впадать въ какую-то старческую апатію, занимается исключительно мелочами и пр., а потомъ онъ страдаетъ неизлечимой болѣзью, и вся обстановка становится lugubre. И самое положеніе не лишено непріятности, предписано имѣть надзоръ, опять шпионы окружаютъ, опять sur le qui vive. Два, три человека и средства заниматься искупаютъ, съ другой стороны.

29.—Ничего не дѣлаю, а внутри сдѣлалось и дѣлается много. Я увлекался, не могъ остановиться—и послѣ ахнулъ. Но въ самомъ раскаяніи есть что-то защищающее меня передо мною. Не тѣ ли единственно удерживаются, которые не имѣютъ сильныхъ увлеченій. И почему мое увлеченіе было полно упоенія, безумнаго *bien être*, на которое обращаюсь, я не могу его проклясть. Подлѣ не фактъ, подлѣ обманъ, оскорбленіе—обиды нѣтъ. Это я понимаю до ясности. Ригоризмъ не можетъ дать абсолюцію, да я и самъ далекъ отъ того, чтобы дать ее себѣ, но человѣчественный судъ долженъ молчать, снисходить, реабилитировать. Въ этомъ великое призваніе нашего вѣка. Пусть положительное законодательство назначаетъ плети и цѣпи; мы не будемъ съ ними за одно, мы должны съ иной точки взглянуть на паденіе, на искушеніе. Христовъ не бросилъ камня.

Много толковалъ о подобныхъ предметахъ съ Боткинымъ. Да, люди (т. е. разившіеся до современности) не хотятъ, чтобы что-нибудь впередъ шло безъ сознательныхъ уступокъ мнѣнію, положительному законодательству, преданію etc. Все хотятъ провести сквозь горнило сознанія, съ этимъ вмѣстѣ дѣтскія вѣрованія, готовые понятія о добрѣ и злѣ уничтожаются. Человѣкъ ищетъ полной свободы не для своеволія, а для разумно нравственнаго бытія. Многие теперь сковываетъ людей, подобно какъ соблюденіе постовъ. Оскоромившагося угрызала совѣсть, онъ мучился проглоченнымъ кускомъ. Затѣмъ? Затѣмъ, что преступилъ вышнее велѣніе.

Былъ у Чаадаева. Подробности о смерти Михаила Федоровича. Онъ умеръ спокойно, величаво. Все путное въ Москвѣ показало участіе къ больному, даже незнакомые. Оцѣнили, поняли, благословили въ путь.

Толпа народу была на отпѣваніи и проводила его. Витали дѣлаетъ бюстъ. Послѣ его смерти полиція опечатала бумаги и отослала въ Петербургъ.

Толки о «Мертвыхъ Душахъ». Славянофилы и антиславянисты раздѣлились на партіи. Славянофилы № 1 говорятъ, что это апотеоза Руси, Илиада наша, и хвалятъ, слѣдовательно; другіе бѣсятся, говорятъ, что тутъ анаѰема Руси, и за то ругаютъ. Обратнo тоже раздвоились антиславянисты. Велико достоинство художественнаго произведенія, когда оно можетъ ускользнуть отъ всякаго односторонняго взгляда. Видѣть апотеозу смѣшно, видѣть одну анаѰему несправедливо. Есть слова примиренія, есть предчувствія и надежды будущаго полнаго и торжественнаго, но это не мѣшаетъ настоящему отражаться во всей отвратительной дѣйствительности. Тутъ переходъ отъ Собакевичей къ Плюшкинымъ, обдаетъ ужасъ, съ каждымъ шагомъ вязнете, тонете глубже, лирическое мѣсто вдругъ оживить, освѣтитъ и сейчасъ замѣняется опять картиной,

напоминающей еще яснѣе, въ какомъ *рвѣ* ада находимся и какъ Дантъ хотѣлъ бы перестать видѣть и слышать,—а смѣшныя слова *веселаго* автора раздаются. «Мертвыя Души»—поэма глубоко выстрадавшая. Мертвыя души? Это заглавіе само носитъ въ себѣ что-то наводящее ужасъ. И иначе онъ не могъ назвать, не ревизскія—мертвыя души, а всѣ эти Ноздревы, Маниловы и *tutti quanti*—вотъ мертвыя души, и мы ихъ встрѣчаемъ на каждомъ шагу. Гдѣ интересы общіе, живые, въ которыхъ живутъ всѣ вокругъ насъ дышащія мертвыя души? Не всѣ ли мы послѣ юности, такъ или иначе, ведемъ одну изъ жизней гоголевскихъ героевъ. Одинъ остается при Маниловской тупой мечтательности, другой буйствуетъ á la Ноздревъ, третій Плюшкинъ и пр. Одинъ дѣятельный человѣкъ Чичиковъ, и тотъ ограниченный плутъ. Зачѣмъ онъ не встрѣтилъ нравственнаго помѣщика *добросерда-стародума*.... Да откуда попался бы въ этомъ омутѣ человѣкъ столько абнормальный, и какъ онъ могъ бы быть типомъ? Пушкинъ въ Онѣгинѣ представилъ отрадное, человѣческое явленіе въ Владимірѣ Ленскомъ—да и пристрѣлилъ его, и за дѣло. Что ему оставалось еще, какъ не умереть, чтобы остаться благороднымъ, прекраснымъ явленіемъ? Черезъ десять лѣтъ онъ отучивъ бы, сталъ бы умнѣе, но все былъ бы Маниловъ. Да и въ самой жизни у насъ такъ. Все выходящее изъ обыкновеннаго порядка гибнетъ: Пушкинъ, Лермонтовъ впереди, а потомъ отъ А до Z многое множество, отъ того, что они не дома въ мірѣ мертвыхъ душъ. /)

Съ славянофилами столько же мало можно говорить, и они такъ же нелѣпы и вредны, какъ піэтисты. Рѣшительно нѣтъ мѣста рѣчи и слову. Религіозные люди, наиримѣръ, часто прибѣгаютъ къ уловкѣ: «да, по разуму-то такъ, да разумъ-то спотыкается». Такъ и славянофилы: «да, все это по европейски такъ, а по нашему нѣтъ». Вредные они до чрезвычайности. Причина очевидна. Магміеръ въ Москвѣ. Они принялись было его образовывать въ славянофильство, предложили ему изслѣдовать все превосходство православія надъ католицизмомъ (Магміеръ, вѣроятно, послѣ школы впервые услышалъ о важномъ преніи). Затаскали его до того, что ему, наконецъ, опротивѣли монахи, похвалы древняго быта и т. п. Православіе ихъ знамя.

Въ Польшѣ молодые гегелисты отрекаются торжественно отъ всякой положительной религіи, сопряженной съ формализмомъ ритуаловъ etc.

Августъ мѣсяць.

2.—Вчера былъ въ Перовѣ. Первый разъ посѣтилъ тѣ мѣста, гдѣ 8 мая 1838 встрѣтился съ Natalie и откуда мы поѣхали во

Владимірь. Съ той встрѣчи мы не разлучались, и четыре года съ половиной, лучшую безъ малѣйшей тѣни сторону моего бытія, составило это непрерывное присутствіе существа благороднаго, высокаго и поэтическаго. Мало-по-малу все окружавшее меня сошло съ пьедесталовъ, на которые его подняло юношество въ увлеченіи. Но она осталась на своемъ, поднялась еще выше. Мы сидѣли въ той самой комнаткѣ, гдѣ ждали коляску, и я чувствовалъ себя хорошо. Нѣтъ, отдѣльные факты паденій несостоятельны противъ истиннаго чувства: одно — мимолетное состояніе души, другое — Grundton ея.

Дома печально. Состояніе отца ужасно. Къ существенной болѣзни у него, всегда мнительнаго, присоединяется раздраженное воображеніе о ея возможности. Онъ мучитъ себя, самъ мѣшаетъ всѣмъ пособіямъ и проводить дни въ какомъ-то страшномъ состояніи abattement. Морально онъ никогда такъ не падалъ. Онъ началъ на все смотрѣть съ какимъ-то полнѣйшимъ равнодушіемъ и заниматься только своей болѣзнью и мелочами. Можно ли желать, если его болѣзнь неизлечима, продолженія такихъ страданій? Хотя большая часть ихъ воображаемая, но отъ этого не легче ему.

Статья о дилетантизмѣ нравится и очень нравится. Повѣсть нѣтъ. Повѣсть не мой удѣлъ, это я знаю и долженъ отказаться отъ повѣстей. Мнѣ трудно писать повѣсти, сцены (какъ Трензинской въ *Отеч. Зап.*) выдутъ хороши, но цѣлое, но все не имѣетъ выдержанности. Въ такихъ статьяхъ, какъ дилетантизмъ, я дома и пишу ихъ съ увлеченіемъ и свободой.

13. — Наказаніе идетъ рядомъ съ проступкомъ, оно есть одно изъ естественныхъ послѣдствій, а у кого душа такъ свихнута, что проступокъ не развивается въ наказаніе, для него положительное законодательство имѣетъ тюрьмы, штрафы, etc., etc. Страшный судъ переѣхалъ вмѣстѣ со всѣмъ заприроднымъ на землю, онъ наше царство небесное внутри человѣка. Какія минуты ужаснѣйшихъ страданій я перенесъ нѣкогда за М.! Какія угрызенія, униженія за послѣднюю глупость! а она — глупость, увлеченіе мгновенное, а между тѣмъ я страдаю.

Съ жадностью пробѣжалъ я «Hogase» G. Sand, великое произведеніе, вполне художественное и глубокое по значенію. Горась лицо чисто современное намъ, жертва вѣка больше, чѣмъ организаціи. Онъ всегда былъ бы тоже сильныхъ страстей, глубокихъ и непреходящихъ убѣжденій, всегда былъ бы мелокъ и эгоистъ. Но переходное время боренія двухъ міровъ, растравившее всѣ раны, провозгласившее всѣ права личности, указавши безконечную мощь и власть, и дало эгоизму несравненно блистательнѣйшую арену, и притомъ романическую. А потомъ скептическое состояніе умовъ, особенно во Франціи, развило еще болѣе жажду сильныхъ потре-

сеній за дешевую цѣну. Таковъ Горасъ. Онъ не можетъ выйти изъ себя, онъ не способенъ къ сильной страсти, потому что не способенъ жить для другого; въ другомъ, онъ натягиваетъ въ себѣ страсть для того, чтобъ упиться одуряющимъ, огненнымъ сокомъ ея, а между тѣмъ она не даетъ ему жданнаго блаженства, потому что *il y a du louche là dedans*. Эгоизмъ, одинъ онъ истиненъ. Кто его обвинить за увлеченіе Марты? Даже ревность, если-бъ она выражалась не такъ грубо, не такъ гадко, нашла бы отпущеніе. Нѣтъ, не тутъ, ни даже въ своей ничтожности, въ мелочахъ, въ придиркахъ къ ней, въ охлажденіи, — во всей красѣ онъ является гигантомъ эгоизма, узнавши о беременности. Я дивлюсь всему снисхожденію *La Raviniere*.

А между тѣмъ многіе ли, сойдя въ глубину души, не найдутъ въ себѣ много горасовскаго. Хвастовство чувствами, которыхъ нѣтъ, страданіе для народа, желаніе сильныхъ страстей, громкихъ дѣлъ и полная несостоятельность, какъ дойдетъ до дѣла. А слабость раскаяваться, просить прощенія и на другой день впадать снова въ порокъ. Это я испыталъ на себѣ. Господи, какъ себя ридить въ герои человекъ, сидя въ кабинетѣ, и вотъ какъ герой втолкнувъ въ жизнь, кругомъ все кипитъ, несется, страсти раздуваются какъ паяльной трубкой, а онъ остается при своемъ удѣльномъ вѣсѣ. Горькія минуты разочарованія, но счастье тому, кто ихъ имѣлъ. Хуже всего, когда все окружающее догадается прежде самого.

15. — *Deutsche Jahrbücher*. Ими философія германская выступаетъ изъ аудиторіи въ жизнь, становится социальна, революціонна, получаетъ плоть и, слѣдовательно, прямое дѣйствіе въ мірѣ событій. Тутъ видны, ясны большіе шаги въ политическомъ воспитаніи, и вѣщцы дѣлаются почти свободны отъ обвиненій, обыкновенно налагаемыхъ на нихъ. Въ статьѣ, въ которой они говорятъ объ отреченіи отъ положительной религіи со всѣмъ формализмомъ ея, благородство удивительное. «А что (въ концѣ статьи) сдѣлаетъ государство? Или оно оставитъ насъ въ покоѣ и признаетъ тогда церковь за общество, сущее рядомъ и по одинаковому праву съ другимъ обществомъ. Или оно будетъ послѣдовательно характеру, взтому имъ прежде, неразрывно съ церковью, и тогда оно въ правѣ насъ гнать. Тогда насъ ждетъ ссылка. И мы пойдѣмъ въ нее. И для того говоримъ, чтобъ предупредить слабыхъ, чтобъ они знали, что такой шагъ можетъ влечь за собой такіа послѣдствія, и остереглись бы. Сами мы не такъ думаемъ; кто отца или мать возлюбилъ болѣе Христа, тотъ недостоеенъ быть Христовъ». Давно ли вѣщцы стали говорить этимъ языкомъ, давно ли сердце забилось у нихъ отъ такихъ реальныхъ причинъ, и не пророчить ли это многое въ будущемъ, то есть, въ будущемъ близкомъ, которое мы увидимъ. *Se muove, se muove!*

Одна изъ статей оканчивается прямо, — надобно рѣшиться и однажды на всегда: «Христіанство и Монархія, или Философія и Республика!» И вотъ Германія *lancée* въ эмансипацію политическую и съ своимъ характеромъ твердой мысли, глубины и притомъ піэтизма. Какъ противоположны характеры Германіи и Франціи въ дѣлѣ эмансипаціи, — ясно, слѣдя за *Deutsche Jahrb.* и *Revue Indépendante*. Въ *Revue* сколько жизни, огня, словъ такихъ, которыя сейчасъ соберутъ кружки на бульварахъ, и притомъ какая плоскость пониманія истинъ независимо отъ современныхъ интересовъ. Философски-политическія статьи просто смѣшны; Франція двумя вѣками отстала въ спекуляціи отъ нѣмцевъ, такъ, какъ нѣмцы пятью отъ французовъ въ приложеніи идеи права къ дѣйствительности.

21. — Безслѣдно не можетъ пролетѣть испытаніе, на которое тратилось души много, при которомъ были страданія и упоеніе, какъ бы, впрочемъ, для поверхностныхъ людей ничтожны сами факты ни показались.

23. — Странно и оскорбительно участіе большей части людей, даже любящихъ насъ. Человѣкъ палъ, потерялся, ищетъ выхода, страдаетъ и въ безсиліи обращается къ людямъ, увѣреннымъ въ любви къ нему и въ его любви. Они тотчасъ оскорбляютъ его, заставляютъ его привязать себя къ позорному столбу, рассказывая подробности, самымъ ужаснымъ образомъ (сожалѣя и прощая) выскажутъ глубину паденія, которую онъ зналъ. Они не могутъ удержаться отъ суда, ибо они любили не человѣка, а свой идеаль. Потомъ начинается исторія помощи. Не спрашивая, сообразно ли, нѣтъ ли съ характеромъ, съ настоящимъ болѣзненнымъ состояніемъ человѣка, даютъ совѣты и требуютъ исполненія такъ, какъ они хотятъ. А если онъ не можетъ такъ поступить, — радуются его неудачамъ, упрекаютъ ими, терзаютъ. Себя, свою гордость, тѣнь того, что люди разумѣютъ подъ честью, не компрометируютъ они для помощи; тутъ эгоизмъ развертывается съ тою же нахальностью, какъ когда у насъ просятъ знакомый помощи денежной. Мелкіе, мелкіе люди! А къ нимъ принадлежимъ больше или меньше и мы, говорящіе. Однако не совсѣмъ. Любовь и симпатія полная (напримѣръ, въ исторіи *Or.*) окружили его какой-то атмосферой — что-то глупо выразился — *à la Selin*. Что онъ ни дѣлалъ, онъ не могъ выйти изъ любви и дружбы, хотя и были произносимы слова жесткія *etc., etc.*

29. — Мое теперешнее состояніе похоже на похмѣлье, какое-то усталое, лѣнливое состояніе чего-то *wüstes*, неясная память дурачества сдѣланныхъ, на которыя тратилась энергія, энергія пьяная и глупая. Это хорошо, какъ средство смиренія, какъ *memento* слабости. А между тѣмъ я добровольно загрязнился.

Сентябрь мѣсяць.

2. - Случайно попалась на глаза Maupou Lescaut. Когда-то я читала съ большой любовью этотъ романъ. Причина очевидна: коллизія истинная, великая и полная глубокаго интереса и паѳоса. Легкій взглядъ XVIII столѣтїа не умѣлъ разглядѣть во всю ширину и бездонность ужасъ любви къ такому существу, какъ Maupou, хотя понять трагическую сторону, превосходно выразившуюся въ окончанїи. Я его оправдываю. Надобно вообще дойти до высокой степени разврата, чтобъ безъ любви (какая бы она ни была), безъ увлеченїа, холодно и расчетливо заводить интриги, интриги мелкія, которыя при первомъ неудобствѣ бросаются и о которыхъ совсѣмъ не вспоминають или вспоминають такъ, какъ о вчерашнихъ котлетахъ. Для меня этотъ систематическій развратъ отвратителенъ. Въ публичномъ домѣ человѣкъ отрѣшается отъ своего достоинства и остается чисто животнымъ; но въ расчетливой интригѣ онъ падаетъ ниже животнаго, именно потому, что животный актъ убить человѣческимъ размышленїемъ, но человѣческимъ не сдѣлался. Одно физическаго желанїа мало для человѣка, онъ дѣлаетъ тотчасъ требованїе высшаго порядка—красоты. Эта нравящаяся красота должна его увлечь своимъ магнетизмомъ. Ну, какъ-же повѣрить, чтобъ подъ этими изящными чертами крылся развратъ, обманъ, или, и узнавши его, какъ не повѣрить, что весь этотъ обманъ, развратъ—случайное паденїе, отклоненїе отъ истинной, благородной сущности бытїа въ формѣ столь граціозной. Богатство души передаетъ свой избытокъ ей, заблудшейся, несчастливой, и между тѣмъ узы скрѣпляются самымъ обладанїемъ, близостью. Есть что-то отвратительное въ томъ, чтобъ, раскрывая объятїа женщины, не отдаться ей, презирать ее; въ такомъ случаѣ лучше ее ненадобно, тутъ нѣтъ ни увлеченїа, ни огня. Быть обманутымъ лучше. Состоянїе илотизма, въ которомъ держали женщинъ, произвело тотъ ужасный развратъ, который именно гадокъ по его скрытности, по обманчивости своей. Повѣсть о Maupou будетъ всегда прекраснымъ произведенїемъ.

10.—Когда безъ всякаго внѣшняго побужденїа, безъ всякой причины со dna души поднимается какая-то давящая грусть, которая растеть, растеть, и вдругъ сдѣлается нѣмая, жестокая боль и такъ станетъ ясно все дурное, трагическое нашей жизни; готовъ бы умереть, кажется. Суета послѣдняго времени долго заглушала этотъ голосъ; прїѣздъ въ Москву, эпизодъ о торгѣ, досада на себя и матеріальные хлопоты не давали ему мѣста. Лишь только стало поспокойнѣе и лучше, вѣчный голосъ скорби, вопль негодованїа, вопль духа, рвущагося къ формѣ жизни полной, человѣческой, свободной, снова раздался. Судьба рѣшена; половина жизни про-

шла въ боли и борьбѣ, эта половина не замѣняема, вторая врядъ ли будетъ радостнѣе.

Споръ съ Чаадаевымъ о католицизмѣ и современности; при всемъ большомъ умѣ, при всей начитанности и ловкости въ изложеніи и развитіи своей мысли, онъ ужасно отсталъ. Даже мнѣ было жаль употреблять всѣ средства; въ немъ какъ-то благородно воплотилась разумная сторона католицизма. Онъ въ ней нашелъ примиреніе и отвѣтъ, и притомъ не путемъ мистика и піэтиста, а социальна-политическимъ воззрѣніемъ. Но, тѣмъ не менѣе, и это голосъ изъ гроба, голосъ изъ страны смерти и уничтоженія. Намъ страненъ этотъ голосъ. Истиннаго оправданія нѣтъ имъ, что они не понимаютъ живого голоса современности.

11.—Поймутъ ли, оцѣнятъ ли грядущіе люди весь ужасъ, всю трагическую сторону нашего существованія? А между тѣмъ наши страданія—почка, изъ которой разовьется ихъ счастье. Поймутъ ли они, отчего мы лѣнтяи, отчего ищемъ всякихъ наслажденій, пьемъ вино и пр.?. Отчего руки не поднимаются на большой трудъ? Отчего въ минуту восторга не забываемъ тоски?.. О, пусть они остановятся съ мыслью и съ грустью передъ камнями, подъ которыми мы уснемъ, мы заслужили ихъ грусть! Была ли такая эпоха для какой-либо страны: Римъ въ послѣдніе вѣка существованія, и то нѣтъ. Тамъ были святы воспоминанія, было прошедшее, наконецъ, оскорбленный состояніемъ родины могъ успокоиться въ лонѣ юной религіи, являвшейся во всей чистотѣ и поэзіи. Насъ убиваетъ пустота и беспорядокъ въ прошедшемъ, какъ въ настоящемъ отсутствіе всякихъ общихъ интересовъ.

Права утверждающіе, что наша исторія развивается самобытно, *genus originale*,— надобно сознаться.

13.—Сцена, какъ выразился кто-то, есть парламентъ литературы, трибуна, пожалуй, церковь искусства и сознанія. Ею могутъ разрѣшаться живые вопросы современности, по крайней мѣрѣ, обсуживаться, а *реальность* этого обсуживанья, въ дѣйствиіи, чрезвычайна. Это не лекція, не проповѣдь, а жизнь, развернутая на самомъ дѣлѣ со всѣми подробностями, съ всеобщимъ интересомъ и семейственностью, со страстями и ежедневностью. На дняхъ испыталъ я это на себѣ. Небольшая драма заставила меня думать и думать. Юноша влюбился въ дѣвицу старѣ себя. Она его любитъ, и они женились. Прошло пять лѣтъ, молодой человѣкъ влюбляется въ другую, и начинается тотъ ужасный бой, который такъ удивительно выразилъ Гёте въ *Wahlverwandschaft*. Мужъ, человѣкъ честный, благородный, онъ понимаетъ свою обязанность относительно жены, уважаетъ ея высокія достоинства, но не любитъ ея и скрываетъ. Жена, необыкновенно благородное созданіе, любитъ мужа до безумія, и все понимаетъ, въ страданіяхъ. Она рѣшается

умертвиться. Мужъ въ отчаяніи. Проходитъ годъ, она осталась въ живыхъ, но ее считаютъ умершею, и первый онъ убѣжденъ въ томъ. Онъ женится на другой и встрѣчаетъ на дорогѣ свою первую жену. Женатый отъ живой жены! Ему кажется, что онъ сблать что-то чудовищное. Жена (1-я) умираетъ, онъ хочетъ убить себя, но его другъ заставляетъ его жить для второй жены etc. Вотъ что тутъ ужасно: *вся правда*. Молодой человѣкъ откровенно поступилъ, женившись на дѣвушкѣ старше его, но это была неосторожность, въ ней заключалось адское сѣмя, изъ котораго должно, могло по крайней мѣрѣ, вырасти то несчастіе, которое выросло. Но за неосторожность развитіе жизни наказываетъ его въ десятеро противъ всякаго утловнаго преступника. А жена—добродѣтельная, отдававшаяся ему такъ самоотверженно и вовсе, что ей дѣлать? Отойти прочь, оставить его? Да гдѣ эти герои, гиганты или лучше эгоисты? Она и прежде могла бы *расчесть*. Но Богъ съ ними, съ хорошими счетчиками, они не бываютъ несчастны, — но и блаженство жизни и полнота ся не для нихъ. Женщина убита, она ничего не имѣетъ внѣ мужа. Мужъ убитъ, онъ обезчещенъ въ своихъ глазахъ, онъ обманщикъ въ обѣ стороны, онъ рабъ. Они влекутъ быстро другъ друга къ могилѣ, слабѣйшій падетъ прежде, второй спасенъ. Не тутъ-то было, угрызеніе совѣсти на вѣки стало набрасывать трауръ. Хозяинъ—безвыходность! Бракъ, когда отъ него отлетитъ духъ, позорнѣйшая и вельпѣйшая цѣль. Какъ, на какихъ условіяхъ дозволяется ее бросить,—трудный вопросъ, которому фактическое разрѣшеніе дадутъ грядущія поколѣнія, но я замѣчу вотъ что. Да неужели для человѣка только и дано въ удѣлъ, что *любитъ*ся, и развѣ одна любовь даетъ Grundton всей жизни? На все есть время. Зачѣмъ этотъ человѣкъ не раскрылъ свою душу общимъ, человѣческимъ интересамъ, зачѣмъ онъ не доросъ до нихъ? Зачѣмъ и женщина эта построила весь храмъ своей жизни на такомъ песчаномъ грунтѣ? Какъ можно имѣть единымъ якоремъ спасенія индивидуальность чью-нибудь? Все оттого, что мы дѣти, дѣти и дѣти.

Древній міръ вовсе не зналъ той трагической стороны семейной жизни, которая развилась въ сѣни феодально-христіанскаго міра. Древній міръ былъ одностороненъ, онъ не призналъ права женщины; но мы можемъ перестать быть Вертерами и Тогенбургамъ, не впадая въ его односторонность. Какой фазисъ въ жизни занимаетъ любовь, потомъ семейство? Какой бы ни занимало, но исключительно человѣкъ не долженъ себя погружать въ одно индивидуальное чувство. У него якорь спасенія въ идеѣ, въ мірѣ общихъ интересовъ; духъ человѣка носится между этими двумя мірами. Пренебреги онъ сердцемъ индивидуальнымъ, онъ былъ бы уродъ,—обратно тоже.

Встарь религіозные люди находили примиреніе и выходъ въ религіи, она тоже всеобща. Выходъ былъ мнимый, но врачеваль.

22.—Высочайшее произведеніе русской живописи, разумѣется, *Послѣдній день Помпеи*. Странно, предметъ ея переходитъ черту трагическаго, самая борьба невозможна. Дикая, необузданная *Naturgewalt*, съ одной стороны, и безвыходно трагическая гибель всѣмъ предстоящимъ. Мало, воображеніе дополняетъ и видитъ ту же гибель за рамами картины. Что противъ этой силы сдѣлаеть черноволосый Плиній? Что христіанинъ? Почему русскаго художника вдохновиль именно этотъ предметъ?

Наоборотъ. На фронтонѣ Исакиевской церкви будетъ барельефъ, представляющій Исаакія Далматскаго, гордо не покоряющагося императору, бѣсящемуся и досаждующему на него. Надобно думать, что цензура не пропуститъ этотъ барельефъ?

Геройство консеквентности, самоотверженіе принятія послѣдствій такъ трудно, что величайшіе люди остававливались передъ очевидными результатами своихъ принциповъ. Таковъ Гегель, развитіе юнаго гегельянства, развитіе его началъ; но Гегель бы отрекся отъ нихъ, онъ любилъ, уважалъ *das Bestehende*, онъ видѣлъ, что онъ не вынесетъ удара, и не хотѣлъ ударить; ему казалось, на первый случай и того довольно, что онъ дошелъ до своихъ началъ. Юное поколѣніе съ нихъ начало, шагъ впередъ былъ именно тотъ ударъ, который долженъ былъ глубоко поразить *das Bestehende*. Гегель бы отрекся отъ нихъ; но вотъ въ чемъ дѣло, они *втрѣте* были бы ему, нежели онъ самъ, т. е. ему мыслителю, отрѣшенному отъ его случайной личности, эпохи и пр. Шеллингъ живой примѣръ, какъ можно отстать отъ собственной своей мысли, когда мыслитель остановится на половинной дорогѣ ея развитія, не имѣя, впрочемъ, силы остановить имъ же даннаго движенія. Положеніе Шеллинга истинно трагическое, какъ выразился Руге. Всякая остановка, половинность не годится, когда развитіе идетъ впередъ. Жиронда явнымъ образомъ положила голову на плаху, ставши между якобинцами и монархистами. Ежели бы королевская партія одолѣла, ихъ все бы казнили. Таково нынѣ положеніе правой стороны гегельянства. Маргейнеке поступилъ съ доброй цѣлью для Бруно Бауера престранно, онъ хотѣлъ попасть въ *juste milieu* и попалъ между двухъ стульевъ на полъ. И прусское правительство, и юная гегельянская школа его обругали.

Будь горячъ или холоденъ! А главное будь консеквентенъ, умѣй *subig* истину во весь объемъ.

30.—Продолжая, вотъ еще что слѣдуетъ замѣтить. Не должно обвинять Гегеля въ хитрости, въ лицемерствѣ. Новое воззрѣніе такъ далеко отрѣзывало отъ прежняго, что онъ не смѣлъ себя *признаться* во всѣхъ слѣдствіяхъ своихъ началъ, оттого неминуе-

мое послѣдствіе—*неясность* во многихъ практическихъ выводахъ. Онъ хочетъ не истиннаго, естественнаго, само собою текущаго результата, но еще, чтобъ онъ былъ въ ладу съ существующимъ. Ему страшно было говорить такъ, какъ страшно-бъ было другимъ слушать. Юная школа могла высказать больше, для нея не шло впередъ то уваженіе къ окружающему фактическому міру, которое было у Гегеля; но не должно забывать, что не шло именно потому, что Гегель поставилъ юное поколѣніе на высокую точку, съ которой оно могло разомъ увидѣть то, что онъ вырабатывалъ и что ему открывалось, какъ видъ входящему на гору. Когда онъ взошелъ, ему не видать было больше горы, онъ испугался этого, она слишкомъ была связана со всѣми испытаніями, судьбами, которыя онъ пережилъ. Таково всегда было развитіе во времени идеи. А потому величайшая справедливость должна быть въ приговорахъ дѣятелямъ. И Лютеръ, и Мирабо, и Платонъ были переи-
дены, т. е. развиты.

Критика дѣлается исполненною высокою страстности, она дѣлается религіозна, наконецъ. Самое отрицаніе, конечно, вмѣстѣ и положеніе. Ее знаетъ свобода такъ, какъ знала философія самопознаніе. Свобода, т. е. освобожденіе отъ внѣшняго, мертваго ограниченія, отъ цѣпей былого, непризнаннаго за вѣчное самопознаніемъ, свобода дѣйствовать по разумѣнію, мышленію, изложеніе мысли etc.

Христіанство удивительно приготовило индивидуальность къ настоящему. Углубленіе въ себя, признаніе безконечности въ себѣ, очищенный и вмѣстѣ доведенный до высочайшей степени эгоизмъ и, слѣдовательно, развитіе собственнаго достоинства. А съ другой стороны, мысль самопожертвованія для всеобщаго, любовь и пр. Эта борьба сама по себѣ развила все богатство духа человѣческаго. А съ другой стороны, борьба съ матеріальнымъ, временнымъ. Эта *вѣчная ложь* феодальныхъ вѣковъ, говорящихъ объ уничтоженіи страстей, о пренебреженіи землей, и поступающихъ совсѣмъ иначе, сколько должна была развитъ пракческаго и теоретическаго. Современность, ставящая реальнѣйшей сущностью государство (именно царство Божіе на землѣ, по религіозному выраженію), разомъ уничтожаетъ ложь, ибо государство имѣетъ и свою временную сторону и свою вѣчную, любовь и эгоизмъ, развитіе себя и отданіе себя, всеобщее въ каждомъ и каждый, втекающій во всеобщее, которому царь Разумъ. Тутъ истинное осуществленіе темно провидѣннаго христіанствомъ и всему отзвѣтъ etc.

Читалъ на дняхъ комедію Бомарше. Нѣтъ сомнѣнія, что *Свадьба Фигаро* гениальное произведеніе и единственное на французской сценѣ. Въ ней все живо, трепещетъ, пышетъ огнемъ, умомъ, критикой и, слѣдовательно, оппозиціей. Мысль его ясна въ Фигаро,

хотя отъ этого само лицо не приобрѣло особенной дѣйствительности; для меня chef d'œuvre его Сусанна, Херубимъ и графиня.

Вопросъ о семейной жизни, объ отношеніяхъ брака его очень занималъ; это главная тема почти всѣхъ комедій его. Въ *La mère coupable* онъ взялся лицомъ къ лицу со своей задачей. Пьеса немного резонерствующая, писанная въ его старости, но онъ самъ говоритъ, что она для него результатъ долгихъ медитацій и что до нея онъ доходилъ *Севильскимъ Цирюльникомъ* и *Свадьбой Фигаро*. Тема глубока. Графъ Альмавива, бѣсившійся нѣсколько лѣтъ отъ ревности, ненавидящій сына своего по подозрѣнію, что онъ не отъ него родился, добивается доказательствъ и между тѣмъ беретъ мѣры уничтожить имѣнія, передать ихъ. Наконецъ, доказательства пришли. Онъ сынъ Херубима. Графъ жестоко, свирѣпо упрекаетъ жену. Ангельское, самоотверженное существо, павшее давно, случайно, будучи оставлена мужемъ, увлеченная безумной страстью Херубима, она проводила время свое въ глубокомъ раскаяніи. Упреки ей приняты, какъ наказаніе, но подъ тяжестію ихъ она ломится. Человѣческое чувство побѣждаетъ въ графѣ романтизмъ ревности. Онъ проситъ прощенія у жены, отъ души обнимаетъ, признаетъ Леона, такъ, какъ его жена еще прежде признала его побочную дочь, и гармоническое счастье водворяется на мѣсто дикаго боренія страстей, которыми, быть можетъ, слишкомъ искупилась невинная вина графини и легкомысліе (несравненно виновнѣйшаго) графа. Дѣйствіе пьесы хорошо, человѣчески примиряющее. Радуетесь, видя графа, выходящаго изъ заколдованнаго круга предрасудковъ и фанатизма.

Мысль реабилитаціи женщины одна изъ любимыхъ и ярко прорѣзывается вездѣ у Бомарше рядомъ съ негодованіемъ, насмѣшкой противъ аристократіи и тогдашняго состоянія. Уже въ *Barbier de Séville* притѣсенная Розина имѣетъ всѣ его симпатіи, и онъ заставляетъ ее сказать, когда Бартоло говоритъ, что мужъ имѣетъ право читать письма жены: *Mais pourquoi lui donnerait-on la préférence d'une indignité qu'on ne fait à personne?* (Acte II. Scène XV). Въ *Свадьбѣ Фигаро* женщина торжествуетъ безусловно: во-первыхъ, въ этой неуловимой, острой, милой Сусаннѣ, которая побѣдила самого Фигаро, побѣдила торжественно, потому что и въ немъ выражалась тиранская натура мужчины; во-вторыхъ, въ графинѣ. Мужъ волокита смѣетъ, имѣетъ право (и доселѣ) тѣснить жену ревностью, онъ ее мучитъ за взглядъ, шутки; онъ ее готовъ опозорить, предать общественному поруганію за поступокъ, который онъ сейчасъ готовъ былъ совершить, и который, если-бъ совершилъ, извлекъ бы улыбку у всѣхъ, кромѣ Фигаро. Эту неправду, эту дикую неправду и выставилъ Бомарше, и онъ, конечно, былъ изъ первыхъ, понявшихъ плотское состояніе женщины.

И всѣ эти бѣшенныя страсти ревности, мщенія еще казались такъ справедливо текущими изъ самыхъ естественныхъ отношеній мужа и жены. А между тѣмъ, глядя имъ въ глаза прямо и трезво, видишь, что это все привидѣнныя, не имѣющія дѣйствительности. А сколько слезъ, сколько крови пролилось во имя ихъ!

Октябрь мѣсяцъ.

7.—De la Prusse par un inconnu. 1842. Авторъ выдается за француза. Католикъ à la mode, то есть съ демократическими выходками; но книга исполнена интереса, несмотря на односторонность. Пруссія должна была, если не вся, то правительствомъ, покраснѣть до ушей. Скрытый, обманчивый, безэнергичный и тупой деспотизмъ, облеченный въ формы германо-quasi-европейскія. Какъ страшно сдѣлается на душѣ, когда видишь все бѣдное развитіе права гдѣ-нибудь въ Пруссіи; вдругъ взглянешь домой,—и Пруссія покажется раемъ земнымъ.

16.—Пересматривалъ и поправлялъ статью «Grübeln по поводу одной драмы», т. е. развитіе мысли, записанной послѣ бенефиса Самойлова (8 лѣтъ старше), статья вышла не дурна. Она назначается въ *Альманахъ* Грановскаго вмѣсто «Дилетантизма», отнятаго для *Отеч. Зап.* А прогор, въ послѣднемъ № повѣсть извѣстнаго графа Ѳ. В. Ростопчина. Много юмора, остроты и мѣткого взгляда.

22.—День рожденія Наташи—25 лѣтъ. Страшно идетъ время. Вчера я смотрѣлъ долго на два портрета мои Витберговой работы. Одинъ дѣланъ въ концѣ 1835, другой въ половинѣ 1836, оба были похожи, особенно первый. И мнѣ стало грустно, первый разъ я испыталъ чувство человѣка, не токмо вышедшаго изъ юности, но и отдалившагося отъ нея. Гдѣ эти черты, гдѣ это выраженіе, гдѣ мягкость, нѣжность, грація? Семь лѣтъ, и какая перемѣна! Я перенесся въ то время. Это былъ періодъ романтизма въ моей жизни: мистическій идеализмъ, полный поэзіи, любовь, всепоглощающее и всенаправлявшее чувство. Одиночество, первый годъ ссылки, нѣсколько мѣсяцевъ послѣ тюрьмы. Это былъ періодъ der Gemüthlichkeit, но у меня никогда не было жизни такъ сосредоточенной въ личныхъ отношеніяхъ, чтобъ хоть на время забыть всеобщіе интересы. Напротивъ, я со всѣмъ огнемъ любви жилъ въ сферѣ общечеловѣческихъ, современныхъ вопросовъ, придавши имъ субъективно-мечтательный цвѣтъ. Наконецъ, въ 1838 г., жизнь достигла до той высшей степени цѣлаго развитія, далѣе которой итти нельзя. Надобно объяснить. Съ 1838 года шель ли я назадъ, или впередъ? Сомнѣнья нѣтъ, что впередъ: взглядъ сталъ шире, основательнѣе, ближе къ истинѣ, я отдѣлался отъ тысячи предразсудковъ съ

тѣхъ поръ, много занимался, etc. Но для меня, какъ для лица, лучшаго, полнѣйшаго періода жизни не можетъ быть, какъ половина 1838 до половины 1839. Сторона мысли, разума взяла верхъ надъ страстностью (и должна была); но съ тѣмъ вмѣстѣ потухло множество наслажденій. Тотъ годъ тѣмъ важенъ, что тогда все было уравновѣшено и развернуто въ пышный цвѣтъ, стройный, согласный концертъ всѣхъ элементовъ. Такой періодъ въ исторіи челоуѣчества—была греческая жизнь. Челоуѣчество гораздо дальше двинулось въ христіанскомъ и современномъ мірѣ, но того юношескаго, стройнаго согласія внутренняго и внѣшняго нѣтъ, одна сторона пожертвована другой. Тотъ годъ былъ лучшимъ годомъ для нашихъ индивидуальностей. Испивъ всю чашу наслажденія индивидуальнаго бытія, надобно продолжать службу роду челоуѣческому, хотя бы она была и не легка. Да зачѣмъ же переживается такой прекрасный періодъ, зачѣмъ онъ такъ скоро проходить? Онъ не проходитъ, а измѣняется. Да и, сверхъ того, все индивидуальное подчинено времени, хотя, съ другой стороны, полнота наслажденія внѣ всякаго времени, она заключаетъ безконечность въ настоящемъ и есть достойная цѣль индивидуальнаго бытія. А *propos*. Часто говорятъ, земной шаръ, какъ индивидуумъ, имѣющій органическое развитіе, имѣлъ (какое бы оно ни было) временное начало и, слѣдовательно, будетъ имѣть конецъ (недавно еще говорилъ мнѣ объ этомъ *M. Gros philosophe franco-germanique*), а съ нимъ и челоуѣчество; словомъ, судьба планеты—судьба индивидуальнаго. Для чего все развитіе, къ чему и проч. Вопросъ трудный. Физически не знаю, какъ отвѣчать на самую гипотезу гибели планеты. Но этимъ, если хотять (какъ *Gros*) доказать личность Бога или безмертіе души, немного возьмутъ. Да самое развитіе *ist Lohn der reichlich lohnet*—вѣчность не въ числѣ лѣтъ отъ рожденія до безконечности, а въ развитіи въ себѣ божественнаго духа, не имѣющаго зависимости отъ времени.

26.—Вчера въ восьмомъ часу утра умеръ Вадимъ. Онъ былъ боленъ съ мѣсяцъ. Последнюю ночь я провелъ у его кровати, и онъ скончался при мнѣ. Мы послѣдніе годы волею и неволею видались рѣдко. Онъ жилъ въ южныхъ губерніяхъ, я въ сѣверныхъ, онъ въ Москвѣ, я въ Петербургѣ; къ этому присоединялась разница въ образѣ возрѣнія на предметъ слишкомъ яркій, чтобъ можно было примириться, забывъ ее, я недостаточно развитая, чтобъ именно по самой противоположности мнѣній найти другъ въ другѣ особый интересъ. Онъ отъ славянофильства дошелъ до ортодоксности и даже до ненависти къ Западу; такимъ образомъ ему пришлось отвергнуть все историческое развитіе челоуѣчества, всю науку, философію, всю мысль нашего вѣка,—на это силъ не было, осталось *das vornehme Ignoriren* и защита мѣста, тутъ надобно

дойти до безумія, чтобъ сдѣлаться интереснымъ, т. е., какъ Морощинъ. Но при всемъ этомъ и несмотря на другія личныя отношенія, я цѣнилъ въ этомъ человѣкѣ всегда высокое благородство души, чистоту жизни, съ которой онъ проламывался сквозь ужасныя несчастія и недостатки. Годъ тому назадъ, онъ еще былъ полонъ силъ, предприятий, даже когда я пріѣхалъ въ Москву въ іюнь, онъ былъ здоровъ или жаловался на общее разстройство; въ августѣ и именно 26, въ именины Наташи, онъ былъ у меня и говорилъ, что простуженъ, что надобно побережеться. Потомъ я его съ мѣсяць не видалъ, онъ жилъ на дачѣ; пріѣхавши, я засталъ его очень похудѣвшимъ, въ ипохондріи; въ началѣ октября развилась чахотка, и вчера я присутствовалъ при великой тайнѣ смерти, и вся эта, вся потенція, энергія, какъ угодно, — исчезла, уничтожилась, оставя послѣ себя слѣдъ на веществѣ уже гниющемъ и на костяхъ, которыя долго не сгниютъ, но сгниютъ же. Дней пять передъ смертью меня ужаснула не худоба его, не кашель, а замѣтная тупость умственныхъ способностей и чрезвычайная ограниченность даже; это потуханье интеллектуальной стороны шло возрастая: за день до смерти, за два онъ только занимался болѣзнію, говорилъ о лекарствахъ, о ихъ дѣйствіяхъ. Въ два часа ночи (съ 24 на 25) онъ проснулся, ему было полегче; однако жена догадалась, что не передъ добромъ, привела дѣтей, онъ улыбнулся. Жена сказала ему, чтобъ перекрестилъ ихъ; онъ сдѣлалъ видъ, что самъ хочетъ, потомъ закрылъ глаза и уснулъ. Прислали за мною. Я пришелъ въ началѣ четвертаго, онъ спалъ спокойно, изрѣдка только издавая легкій стонъ, и, не просыпаясь, не раскрывая глазъ, не взойдя ни на минуту въ сознаніе, умеръ. Въ 7 часовъ утра дыханіе стало рѣже, прерывистѣе, онъ раза два продолжительно застоналъ, и въ ту же минуту глаза его приняли спокойный видъ и дыханіе прекратилось. Черезъ два часа, мы его уже переносили на столъ, а еще черезъ два часа мальчикъ отъ Кампіони снималъ маску, заливши алебастромъ лицо. Тайна и грозная, страшная тайна! А какъ наглазно видно тутъ, что jenseits мечта, что духъ безъ тѣла невозможенъ, что онъ только въ немъ и съ нимъ что-нибудь! — «Мы увидимся, скоро увидимся», говорила жена; теплое, облегчающее вѣрованіе, мое послѣднее вѣрованіе, за которое я держался всѣми силами. Нѣтъ, и тебя я принесъ на жертву истинѣ! А горько разставаться съ тобою было, романтическое упованіе новой жизни.

Когда я вышелъ изъ ихъ дома, чтобъ послать имъ людей и сдѣлать часть распоряженій, солнце свѣтило, морозный день былъ сѣверно хорошъ, на улицѣ движеніе, жизнь. Жизнь вѣчна, жизнь идетъ своимъ чередомъ, она производитъ для себя и уничтожаетъ, испортивши, износивши формы, не жалѣя объ нихъ. Я пріѣхалъ

къ Кампіони. Никого нѣтъ въ первой залѣ, я въ другую: статуи, картины, роскошныя, граціозныя формы жизни поразили меня послѣ того, какъ я такъ пристально вглядѣлся въ угловатыя, ужасныя формы смерти. А въ другой комнатѣ, дѣвочка лѣтъ 15 пѣла веселую итальянскую пѣсню.

Говоря объ этомъ днѣ, я не долженъ пропустить лицо, поразившее меня изяществомъ всего существа своего. Черткова (Елизавета Григорьевна, урожденная графиня Чернышева, т. е. Чернышевыхъ въ самомъ дѣлѣ, а не военнаго министра), сначала она поразила меня удивительно благородной и выразительной наружностью; въ ней видна аристократическая кровь, это одна изъ героинь Вальтеръ Скотта, высокая, худая, не въ первой молодости, грандіозная и *hehr*, какъ говорятъ нѣмцы. Но потомъ она меня удивила образомъ участія; ни слезъ непрерывныхъ, ни банальныхъ утѣшеній, ни перешептыванья, ни жестовъ, ничего—спокойное, глубокое участіе, безъ словъ, но ясно звучащее въ этой группѣ, составленной изъ мертвеца и его пріятелей, хлопочущихъ около него, и жены въ отчаяніи, и дѣтей испуганныхъ. Эта женщина была похожа на тѣ явленные образа Богородицы, которые видѣлись прежними святыми и которые сходили примирительной голубицей между Богомъ и человѣкомъ. Эта женщина была артистическая необходимость въ этой группѣ,—безъ нея картина была бы *surchargée* чернымъ и безнадежнымъ. Вотъ и моя дань аристократіи; въ ней именно важнѣйшую долю изящной формы и изящныхъ формъ надо отнести чистой, благородной крови и правамъ истинной аристократіи. Проведя весь этотъ день и всѣ сутки въ натянутомъ напряженномъ состояніи, въ которомъ одно сильное чувство смѣнялось другимъ, скорбь, тяжкія мысли и проч. Когда я вечеромъ поздно остался дома, одинъ съ Наташей, возлѣ спальн малютка, тишина,—тогда мнѣ стало чрезвычайно легко, я взшелъ опять въ среду истинной жизни, ибо судорожныя экстагическія минуты составляютъ крайность.

А давно ли Вадимъ, только что выпущенный изъ университета кандидатомъ, въ избыткѣ силъ, съ необузданнымъ самолюбіемъ, съ русской удалю дѣлилъ всѣ мечты, всѣ увлеченія наши? Это было въ концѣ 1831, до начала 1834. Одиннадцать лѣтъ впрочемъ! Послѣ женитьбы онъ много измѣнился; а, можетъ, не онъ, а мы двинулись впередъ, а онъ остался на старомъ мѣстѣ. Попавши въ славянизмъ, онъ даже и на старомъ мѣстѣ не остался, а пошелъ инымъ путемъ назадъ; всѣ общіе человѣческіе интересы, всѣ современные вопросы занимали его только по мѣрѣ ихъ причастности къ славянскому міру, а тутъ надобно замѣтить, что именно имъ-то они вовсе и не занимаются. Мы разстались довольно холодно. Въ 1840 году мы встрѣтились въ Петербургѣ, разстояніе между

нами было непереходимое; но я тогда въ немъ оцѣнилъ прекраснаго семейнаго человѣка, и мы сблизились опять и такъ остались до его кончины. Въ послѣднее время его финансовое положеніе начало-было поправляться; но несчастье за несчастьемъ лишили возможности улучшить жизнь; работой онъ былъ заваленъ, можетъ, онъ касался, наконецъ, до спокойствія въ матеріальномъ отношеніи, но жизнь порвалась.

И она давно ли, кажется, жила у насъ въ домѣ, прїѣзжая изъ Корчевы, Темира, дѣвица беззаботная и un peu pédante. А теперь вдова, въ крайности, съ двумя дѣтьми и съ третьимъ неродившимся. Будущность ея ужасна, не представляется ни пристанища, ни куска хлѣба. Конечно, найдутся люди; но хлѣбъ милостыни, что ни говори, съ пескомъ. Вотъ еще семейство въ счетъ Астраковыхъ, Медвѣдовыхъ, Витберга и многихъ, многихъ. Страшно вспомнить, всѣмъ помочь силъ нѣтъ. А кого же обойти?

29.—Вчера схоронили Вадима въ Симоновѣ. Похороны были торжественны по истинному участию людей, окружавшихъ гробъ. Жена твердо шла за гробомъ, стояла возлѣ и, когда привинтили крышку, она облокотилась на гробъ. Никто не смѣлъ ни двинуть гробъ, ни прервать этой нѣмой горести. Она долго стояла, слезъ не было, но взглядъ ея былъ невыносимъ; кругомъ все рыдало; въ ея взглядъ было видно что-то безпредѣльно отчаянное и убитое, и вмѣстѣ недоумѣніе, вопросъ, упрекъ. Въ Симоновѣ покойника встрѣтилъ самъ архимандритъ (Мельхиседекъ), бывший прїятеlemъ съ Вадимомъ, и эта дань уваженія была хороша. Жена стала возлѣ могилы, ее уже закапывали; такъ же страшно молча и безъ слезъ. Архимандритъ подошелъ къ ней и сказалъ: «Довольно, это не наше въ церковь за мной, молиться Богу». И мы вошли въ церковь уже безъ покойника, уже онъ сталъ совершенно прошедшее. Вотъ гдѣ крѣпость религіи; въ эти минуты человѣкъ готовъ все сдѣлать, чтобъ найти выходъ и примиреніе. Религія врачуетъ все. Когда мыслитель, гражданинъ говоритъ о подчиненіи индивидуальнаго всеобщему, на нихъ смотрятъ, какъ на людей безъ сердца; когда художникъ или ученый скажетъ, что звукъ его лиры, его кисть утѣшительница въ его горести,—назовутъ эгоистомъ. А когда религія рѣзко говоритъ: «оставь, это мое, идемъ молиться, покоряйся безропотно», тогда все покоряется и склоняетъ колѣна, безъ разсужденій, повинуюсь слѣпо.

Ноябрь мѣсяцъ.

1.—Духъ человѣческой роетъ себѣ да роетъ внутри, онъ дѣлаетъ свое какъ въ родѣ, такъ и въ лицѣ. Жена Вадима, которая первые дни своего несчастія была въ полнѣйшей вѣрѣ, вдругъ со

вчерашняго дня начинает сомнѣваться и безпрестанно колеблется между дѣтскимъ признаніемъ и полнымъ отрицаніемъ. Она называетъ это паденіемъ, молится о подкрѣпленіи, но молитва не исполняется; тутъ ясно видно благородное, человѣческое направленіе, не позволяющее обольщать себя, и, съ другой стороны, видно, какъ слабо дѣйствуетъ при современномъ состояніи развитія духа религіозная положительность

2.—Письмо отъ Сатина изъ Ганау. Огаревъ опять надѣлалъ глупости въ отношеніи къ женѣ, снова сошелся съ нею, поступалъ слабо, обманывалъ, унижался и опять сошелся, послѣ всего бывшаго. Вотъ что я писалъ къ Огареву: «Бѣдный, бѣдный Огаревъ, я грущу о твоёмъ положеніи, но ни слова, когда дружба истощила безуспѣшно все, чтобъ предупредить, отвратить; ея дѣло остаться вѣрною въ любви. Дай руку, какъ бы ты ни поступилъ, не хочу быть судьей твоимъ, хочу быть твоимъ другомъ; я отворачиваюсь отъ темной стороны твоей жизни и знаю всю полноту прекраснаго и высокаго, заключеннаго въ ней. У тебя широкія ворота для выхода изъ личныхъ отношеній—искусство, міръ всеобщаго; я хочу не знать жалкой борьбы, отъ которой раны, конечно, будутъ не на груди».

Я откровенно дѣлю съ нимъ его несчастіе, понимаю его слабость (какъ его, ибо во мнѣ есть возможность паденій, увлеченій, но такой слабости нѣтъ и тѣни), не могу простить его поступка, но далекъ и отъ жестокаго приговора. У К. сильная способность любить, но онъ жестокъ на словахъ, скоръ въ приговорахъ, это его недостатокъ, его ограниченность. Для хладнокровнаго наблюдателя это психологическій феноменъ, достойный изученія. Чѣмъ эта ограниченная, неблагородная, некрасивая, наконецъ, женщина, противоположная ему во всѣхъ смыслахъ, держитъ его въ илтизмѣ? Любовью? онъ не любитъ ее, даже не уважаетъ; абстрактной идеей брака? онъ давно не признаетъ власть его. Чѣмъ же? Отталкивающее ея существо такъ сильно, что все, приближавшееся къ ней, ненавидитъ ее; вездѣ, на Кавказѣ, въ Москвѣ, въ Неаполѣ, Парижѣ она возбуждала смѣхъ и негодованіе. Сожалѣніе и слабость, безпредѣльная слабость, вотъ что затягиваетъ цѣпь, которую должно было сбросить, такъ далеко зашелъ ея эгоистическій, дерзкій нравъ. Такая ли будущность ждала Огарева? И въ такомъ-то омутѣ теряетъ онъ силы на глупую борьбу, теряетъ здоровье, жизнь. Это ужасно! Но теперь-то ему и нужна дружба!

6.—Отвратительная тяжесть нашей эпохи тѣмъ ужаснѣе, что людямъ мыслящимъ приходится бороться не съ одними людьми силы и власти, а еще съ долею литераторовъ. Славянофильство приноситъ ежедневно пышные плоды; открытая ненависть къ за-

паду есть открытая ненависть ко всему процессу развитія рода человѣческаго, ибо западъ, какъ преемникъ древняго міра, какъ результатъ всего движенія и всѣхъ движеній, все прошлое и настоящее человѣчество (ибо не арифметическая цифра, счетъ племень или людей—человѣчество). От *donc* вмѣстѣ съ ненавистью и пренебреженіемъ къ западу—ненависть и пренебреженіе къ свободѣ мысли, къ праву, ко всѣмъ гарантіямъ, ко всей цивилизаціи. Такимъ образомъ, славянофилы само собою становятся со стороны правительства, и на этомъ не останавливаются, идутъ далѣе. Но нѣтъ настолько образованныхъ шпионовъ, чтобъ указывать всякую мысль, сказанную изъ свободной души, чтобъ понимать въ ученой статьѣ направленіе и пр. Славянофилы взялись за это. Отвратительные доносы Булгарина не оскорбляли, потому что отъ Булгарина нечего ждать другого, но доносы *Москвитянина* повергаютъ въ тоску. Булгаринъ работаетъ изъ одного гроша, а эти господа? Изъ убѣжденія! Каково же убѣжденіе, позволяющее прямо дѣлать доносы на лица, подвергая ихъ всѣмъ бѣдствіямъ деспотическаго наказанія? Правительство, по счастью, безграмотно, не читаетъ журналы. И что за дикія мнѣнія проповѣдуются ими! А возражать нельзя. Москва центръ всѣхъ этихъ скопищъ. Горько и подчасъ нельзя не сознаться, что Петербургъ, какъ бы то ни было, а выше Москвы. Цензура здѣсь вдесятеро строже, привязчива, притѣснительна, а между тѣмъ цензоръ Крыловъ—профессоръ съ либеральной репутаціею. То, что въ *Отеч. Зап.* печатается, то здѣсь страшно говорить при многихъ. Слава Петру, отрешемуся отъ Москвы! Онъ видѣлъ въ ней зимующіе корни узкой народности, которая будетъ противодѣйствовать европеизму и стараться снова отторгнуть Русь отъ человѣчества.

Для Пашкова *Альманаха* я изготовилъ было свою статью «Къ характеристикѣ неоромантизма». Да, помилуйте, этого цензура не пропуститъ. это будетъ обидно для піэтистовъ, надо такъ измѣнить, такъ скрыть мысль. Боже праведный! Въ образованныхъ государствахъ каждый, чувствующій призваніе писать, старается раскрыть свою мысль, употребляя на то талантъ свой; у насъ весь талантъ долженъ быть употребленъ на то, чтобъ закрыть свою мысль подъ рабски вымышленными, условными словами и оборотами. И какую мысль? Пусть бы революціонную, возмутительную. Нѣтъ, мысль теоретическую, которая до пошлости повторялась въ Пруссіи и въ другихъ монархіяхъ. Можетъ, правительство и промолчало бы, патриоты укажутъ, растолкуютъ, перетолкуютъ! Ужасное, безвыходное состояніе!

Анекдотъ съ графомъ Про....., котораго выслали за границу, напомнилъ, между прочимъ, разговоръ Канарскаго съ кн. Долго-рукимъ за часъ до смертной казни.

10. — Вчера сосѣдъ мой въ театрѣ рассказывалъ, что оперу Россини *Вильгельмъ Телль* даютъ у насъ подь названіемъ *Карль Смѣлый*. Я еще этой глупости не зналъ,—и смѣшно, и досадно, и отвратительно.

14. — *Scène de la vie privée* — горькое объясненіе съ отцомъ. Странное дѣло, какъ живущъ эгоизмъ и какъ онъ растетъ съ лѣтами, до какой безчувственности доводитъ онъ. Послѣ смерти Льва Алек. онъ былъ испуганъ, пораженъ, и съ годъ явно былъ кротче, но теперъ съ каждымъ мѣсяцемъ я вижу, что онъ глубже и глубже падаетъ въ какую-то жизнь скупца и эгоиста, для котораго въ мірѣ ничего не существуетъ, кромѣ капризовъ. Странно видѣть человѣка 74 лѣтъ вблизи, ведущаго такую жизнь, отрѣшенную отъ всѣхъ человѣческихъ интересовъ, и страшно то, что нѣтъ возможности поставить себя такъ, чтобъ или молча быть зрителемъ, или удерживаться въ границахъ при всякомъ оскорбленіи. Я безъ хвастовства могу сказать, что я прожилъ собственнымъ опытомъ и до дна всѣ фазы семейной жизни и увидѣлъ всю непрочность связей крови; они крѣпки, когда ихъ поддерживаетъ духовная связь (то есть, когда ихъ ненужно), а безъ нихъ держутся до перваго толчка. *Vanitas! Vanitas!*

Письмо отъ Бѣлинскаго. Фанатикъ, человѣкъ экстремы, но всегда открытый, сильный, энергичный. Его можно любить или ненавидѣть, середины нѣтъ. Я истинно его люблю. Типъ этой породы людей — Робеспьеръ. Человѣкъ для нихъ ничего, убѣжденіе все.

18. — А. И. Тургеневъ милый болтунъ; весело видѣть, какъ онъ, несмотря на сѣдую голову и лѣта, горячо интересуется всѣмъ человѣческимъ, сколько жизни и дѣятельности. А потомъ пріятно слушать его всесвѣтныя рассказы, знакомства со всѣми знаменитостями Европы. Тургеневъ — европейская кумушка, человѣкъ *au courant* всѣхъ сплетней разныхъ земель и странъ, и все рассказываетъ, и все описываетъ, острить, хохочеть, пишетъ письма, ѣздитъ спать на вечера *et faire l'aimable* всздѣ.

Былъ на дняхъ у Елагиной, матери если не Гракховъ, то Кирѣевскихъ. Видѣлъ втораго Кирѣевского. Мать чрезвычайно умная женщина, безъ *цитатъ*, просто и свободно. Она груститъ о славянобѣсиіи сыновей. Между тѣмъ оно растетъ въ Москвѣ. Чѣмъ кончится это безумное направленіе, становящееся костью въ теченіи образованія. Оно принимаетъ видъ фанатизма мрачнаго, нетерпимаго. Можетъ, хорошо, что возможность такихъ убѣжденій обнаруживается, а съ ними вмѣстѣ обнаруживается вся нелѣпость ихъ.

«Можетъ ли, имѣетъ ли право человѣкъ мѣнять краугольные убѣжденія свои. Если можетъ, гдѣ же незыблемыя основы нрав-

ственного и умственного бытія человѣка?» Въ самомъ дѣлѣ, съ перваго взгляда кажется что-то странное, пустое въ душѣ человѣка, мѣняющаго свои убѣжденія. Но это неправда. (Здѣсь не идетъ рѣчь о тѣхъ плоско-импресіонабельныхъ натурахъ, которыя безъ причины бросаютъ свои мнѣнія). Человѣкъ развивается, истина раскрывается, насколько онъ вмѣщаетъ ее въ себя, въ концѣ развитія, а не съ самаго начала, она имѣетъ свои степени развитія, на которыхъ она иначе понимается подъ извѣстнымъ угломъ,—но человѣкъ не долженъ останавливаться на абстракціи. Человѣчество достигаетъ истины, краеугольныя основы его бытія нравственного лежатъ въ немъ (an sich), но ясны ему могутъ быть на концѣ развитія, а не при началѣ, не въ прошедшемъ. Всею истиной прошедшее никогда не обладало. Да и это фундаментальное, истинное есть всеобщее, идея, Богъ, и притомъ Богъ понятый не jenseitlich, не фантастически образно, а въ имманенціи и присущей ей трансценденціи (міръ мышленія, нравственности, идеи, уничтожающей, снимающей все временное, какъ трансценденція самой природы и человѣка). Важно не слово, а понятіе, смыслъ. Конечно, добродѣтель вѣчна и всегда должна была быть нормою дѣйствованій. Но какъ опредѣлилась и понималась добродѣтель въ данныя эпохи? Міръ эллинскій, юдаическій, христіанскій разумѣли совсѣмъ разное. Все течетъ и текуче, но бояться нечего, человѣкъ идетъ къ фундаментальному, идетъ къ объективной идеѣ, къ абсолютному, къ полному самопознанію, знанію истины и дѣйствованію сообразному знанію, то есть, къ божественному разуму и божественной волѣ. Выдерживать свое частное мнѣніе противъ истины — ограниченность, эгоизмъ, гордость. Случай, когда лицо правѣе вѣка, почти невозможенъ или возможенъ при эксцентрическихъ обстоятельствахъ.

Розенкранца статья о жизни Гегеля въ Пруццовомъ *Альманахѣ* на 1842. Вотъ что тамъ очень хорошо. «Der Gedanke, aus welchem sein (Hegels) ganzes System emporkeimte, war der der Liebe. Die Anschauung aber, an welcher er sich als Charakter orientirte, war der des Gottmenschen. Schon in der Tübinger Periode sprach er die Analogie der Liebe mit der Vernunft aus und stellte sie—obwohl sie nur ein empirisches Prinzip sei—unendlich hoch. Die Bewegung der Liebe aus sich in einem Bruder als in sich selbst unterzugehen, in dem Bruder bei sich zu sein und sich nur zurückzukehren um sich seiner von Neuem zu entäussern, wurde ihm der Weg zu seiner dialektischen Welt». Хотя Розенкранцъ вообще очень недалекій пониматель и формалистъ большой руки, но это не мѣшаетъ отдать ему справедливость, что единственно такъ надобно умѣть понимать Гегеля; и тогда сдѣлается смѣшно отъ глупыхъ сентенцій о сухости ума, объ импосибельности его и проч.

Тамъ же: «Glauben ist die Art, wie das, wodurch eine Antinomie vereinigt ist, in unserer Vorstellung vorhanden ist. Die Vereinigung ist die Thätigkeit. Diese Thätigkeit reflectirt als Object ist das Geglaubte» (Гегель. Теологическое разсужденіе, писанное въ 1794 г.).

Понятіе любви къ женщинѣ, согласное съ высказываемымъ нынче лѣвой стороною; онъ заставляетъ рыцаря разсказывать о своей нѣжной страсти Аристиду.

23.—Вчера провелъ вечеръ у Елагиной. Были оба Кирѣевскіе, Дмитріевъ и вздоръ. Иванъ Кирѣевскій, конечно, замѣчательный человекъ; онъ фанатикъ своего убѣжденія такъ, какъ Бѣлинскій своего. Такихъ людей нельзя не уважать, хотя бы съ ними и былъ діаметрально противоположенъ въ воззрѣніи; ненавистны тѣ люди, которые не умѣютъ рѣзко стоять въ своей системѣ, которые хитро отступаютъ, боятся высказаться, стыдятся своего убѣжденія и остаются при немъ. Кирѣевскій *coeur et âme* свое убѣжденіе; онъ нетерпящъ, онъ грубо и дерзко возражаетъ, вѣренъ своимъ началамъ и, разумѣется, одностороненъ. Человекъ этотъ глубоко перестрадалъ вопросъ о современности Руси, слезами и кровью купилъ разрѣшеніе—разрѣшеніе нелѣпое, однако не такъ отвратительное, какъ пѣстическій оптимизмъ Аксакова. Онъ вѣритъ въ славянскій міръ, но знаетъ гнусность настоящаго. Онъ страдаетъ—и знаетъ, что страдаетъ, и хочетъ страдать, не считая въ правѣ снить крестъ тяжелый и черный, положенный фатумомъ на него. Таковъ онъ показался мнѣ: натура сильная и держащаяся всегда въ какой то экзальтаціи, которая, полагаю, должна быть неразрывна съ фанатической односторонностію. Въ такихъ убѣжденіяхъ страсти участвуютъ наравнѣ съ разумомъ, а страсти не даютъ величаваго спокойствія мысли. М. Дмитріевъ—другого рода человекъ; во первыхъ, какъ родной братъ похожъ на Краевского, умѣренно либераль, умѣренно остеръ, романтикъ à la Casimir Delavigne, говорунъ и оберъ-прокуроръ. Толкуетъ о Европѣ, о жандармахъ и полиціи и печатаетъ доносы въ стихахъ.

Дошла рѣчь до *Отечественныхъ Записокъ* и до Бѣлинскаго. Кирѣевскій отозвался съ негодующимъ презрѣніемъ. Дмитріевъ съ острою. Рѣчь шла о какой-то неважной статьѣ; я вдругъ бросилъ имъ свое мнѣніе также рѣзко въ пользу *Отеч. Зап.* Сдѣлалось молчаніе. Перемѣнили разговоръ тотчасъ. Елагина была съ моей стороны. А смѣшно Дмитріевъ бранить (съ умѣренностью) все—и недоволенъ, что Бѣлинскій не имѣетъ достаточнаго уваженія къ тому, къ чему онъ самъ не имѣетъ уваженія.

Былъ у графа С. Г. Строгонова и провелъ у него часа два. Можетъ, я ошибаюсь, можетъ, онъ имѣетъ особый даръ *fasciner* людей,—но я уважаю и люблю его. Доселѣ изъ всѣхъ аристократовъ.

извѣстныхъ мнѣ, я въ немъ одномъ встрѣтилъ много человѣческаго. Говорили съ нимъ опять о современномъ состоянїи науки въ Германїи. «Да, замѣтилъ графъ, борьба великая и рѣшительная; и страшное положенїе людей критики, они должны были принести на жертву всѣ святѣйшія убѣжденїя, всѣ вѣрованїя, все облегчающее нашу жизнь, и для чего?»—Для истины, для истины, сказалъ я. «Истина ихъ не для насъ, мы не на той степени развитїя, зачѣмъ намъ забѣгать?»—Въ этомъ нельзя не согласиться; но что дѣлать тѣмъ, которые развились до современности?—«Несчастїе для нихъ, но, конечно, нельзя итти назадъ. Впрочемъ, можно заниматься инымъ, полезнѣйшимъ, своевременнѣйшимъ». Строгоновъ отзывается объ Бѣлинскомъ съ признанїемъ его достоинства (вотъ насколько онъ выше славянофиловъ). Онъ понимаетъ значенїе *Отеч. Зап.*, понимаетъ единство ихъ духа. Бранилъ Францію и *Москвитянина*, и кончилъ тѣмъ, что самымъ любезнымъ образомъ пригласилъ приходите къ нему по вечерамъ, поспорить и потолковать. Много неосновательности въ томъ, что онъ говоритъ; но, во-первыхъ, онъ *не всю* свою мысль высказываетъ, во-вторыхъ, ненадобно забывать, что есть уже значительная разниа въ лѣтахъ и что онъ провелъ свою жизнь въ военномъ станѣ и въ высшей аристократїи нашей, которая не отличается особенной современностью образованїя.

Анекдотъ. Пасторъ Зедеггольмъ, ограниченный человѣкъ и во все незнающій философїи, хотя и занимается ею лѣтъ тридцать, вздумалъ за деньги прочесть нѣсколько лекцій хорошо знакомымъ людямъ. На второй лекціи кто-то вздумалъ подшутить надъ Зедеггольмомъ *dans le genre russe*. Является нѣкто, вызываетъ пастора въ другую комнату и увѣдомляетъ его, что *eine hohe Person* предупреждаетъ его, чтобъ онъ прекратилъ свои лекціи подъ опасенїемъ великихъ неприятностей. Ужасъ овладѣваетъ гостями и пасторомъ. Жена его въ отчаянїи, гости бѣгутъ въ смятенїи, и пасторъ уничтоженный, убитый, мученикъ науки, доселѣ не можетъ прийти въ себя. Шутка была глупа, негуманна. А положенїе, въ которомъ такая шутка можетъ удасться, еще въ тысячу разъ глупѣе и негуманнѣе.

29.—Писалъ статью о специализмѣ въ наукѣ. Рядъ этихъ статей идетъ удачно.

Въ *Альманахѣ* Пруцца между разными выписками изъ Гегелевскихъ бумахъ замѣчательна нота его о смертной казни. Онъ начинаетъ съ замѣчанїя Монтескье, что жестокія и частыя казни ожесточаютъ народъ и дѣлаютъ равнодушнѣе и къ наказанїю, и къ преступленїю. Гегель дѣлаетъ вопросъ, почему ожесточаетъ зрѣлище казней? Если привыкаютъ видѣть смерть, то войско видитъ и въ десятеро болѣе. Что же въ казни поражаетъ насъ? Ein

wehrloser Mensch ist es, der uns in die Augen fällt, der gebunden, von einer zahlreichen Menge umgeben, von ehrlosen Henkersknechten gehalten, hinausgeführt und der ganz wehrlos, unter dem Zuruf und Gebet der Geistlichen, die der Missethäter nachspricht, um das Bewusstsein des gegenwärtigen Augenblicks zu übertäuben. So stirbt er. Солдаты, сраженный пулей, не производят того страшнаго чувства, онъ имѣетъ право защиты, были шансы въ его пользу, у преступника отнято право защиты. Die empörende Empfindung einen Wehrlosen von einer, noch dazu überlegenen, Anzahl Bewaffneter hinrichten zu sehen, wird bei den Zuschauern nur dadurch nicht in Wuth verwandelt, dass ihnen der Ausspruch des Gesetzes heilig ist. Wenn die Hencker schon Diener der Gerechtigkeit sind, so hat doch diese bloße Vorstellung die allgemeine Empfindung nicht zu unterdrücken vermocht, welche das Handwerk oder den Stand dieser Menschen, die hier in Angesicht des ganzen Volkes mit kalten Blick einen Wehrlosen tödten können, die hier ganz als blinde Werkzeuge, so wie die wilden Thiere, denen man ehemals die Verbrecher vorwarf, ihren Dienst verrichten, mit dem Brandmal der Ehrlosigkeit stempelt.

Далѣе онъ замѣчаетъ, что палачи всегда бываютъ очень тихие и скромные люди, желая спасти свою личность отъ позора званія и проч.

А въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ* высочайшее повелѣнiе объ учрежденiи особой цензуры при III отдѣленiи; было прежде только для театра, теперь для всѣхъ литературныхъ произведенiй, вѣроятно. Еще шагъ!—Боже, Боже—неужели нѣтъ предѣла? На двѣхъ было 17 *лѣтъ* этой мрачной, страшной страницѣ нашей исторiи.

Въ Барселонѣ провозгласили республику.

Декабрь мѣсяцъ.

9. -- Какъ будто въ этотъ промежутокъ ничего и не было. Все попрежнему. Саша бѣгаетъ, шумитъ, Natalie въ своей комнатѣ. Я за письменнымъ столомъ. А между тѣмъ мрачная, гадкая страница прожита нами. Въ ночь съ 29 на 30 родился малютка, вечеромъ 5 умеръ.—Третiй. Какой *non sens*, какая оскорбительная власть случайности. Дитя родилось легко, здоровое, потомъ утромъ 30 начались судороги, и всѣ пособiя оказались ничтожными; шесть дней оно страдало, мучилось, на седьмой остался изнуренный трупъ. Пятого ему стало легче, надежды явились не токмо у меня, но у самого Рихтера.—отъ этого вѣсть о его смерти ударила больно. Прежде я не надѣялся. А бѣдная мать, третiй разъ обманутая, удивленная, такъ сказать, наглостью безпорядка, задавленная горемъ. Мнѣ пришло въ голову: хорошо, что мы *Persönlichkeit Gottes, übergreifende Subjectivität* принимаемъ не въ томъ смыслѣ.

какъ добрые люди, а то, признаться, не въ похвалу лицу были бы эти бессмысленные удары.

Кетчеръ, благородный Кетчеръ жилъ у насъ всѣ эти дни, не спалъ ночи, самъ пеленаль, помогаль купать, смотрѣль за всѣмъ, касающемся больныхъ, утѣшалъ, хлопоталъ и въ самомъ дѣлѣ успѣль; половину тягости онъ снялъ на свою грудь съ нашей.

М. В. Рихтеръ замѣчательнѣйшій изъ всѣхъ видѣнныхъ мною докторовъ; онъ идетъ къ дѣлу съ обширнымъ взглядомъ, съ обдуманностью и занимается, какъ фактомъ науки, больнымъ, съ усердіемъ и глубокомысліемъ. Когда малютка умеръ, онъ предложилъ мнѣ разрѣшить аутопсію; польза была очевидна, ибо третій подобный случай заставилъ употребить всѣ средства для дознанія истинной причины. Я согласился. Однако страшно щемящее чувство душило меня все время аутопсіи; я было отворилъ дверь, вошелъ въ комнату, гдѣ производилась она, но мнѣ было очень не хорошо, и я тотчасъ ушелъ. Есть какой-то Pietät къ близко-умершему и какая-то профанация въ разоблаченіи тайнъ. Вотъ результатъ. Часть мозга слишкомъ мягка, другая груба, вода въ мозгу; неправильно сильная оссификація. Итакъ, причина смерти hydrocephalus, и отъ абнормальнаго состоянія мозга зависѣли всѣ нервныя явленія, спазмы, конвульсіи etc. Остальное образовано хорошо. Но тутъ-то медицина и въ жалкомъ положеніи, она не умѣетъ отвѣчать на вопросъ: какъ предотвратить въ фѣтальномъ состояніи hydrocephalus? еще менѣе, въ какой зависимости и отъ какихъ причинъ третій разъ отъ довольно здоровыхъ родителей родятся дѣти съ такой болѣзью, въ то время какъ первый ребенокъ, предшествовавшій, былъ совершенно здоровъ? Они ссылаются на слабые нервы жены, на ея нѣжное сложеніе вообще, однако эта слабость далека отъ обмороковъ и другихъ признаковъ болѣзненнаго разслабленія нервовъ; говорятъ (и это мое собственное убѣжденіе), что въ первомъ случаѣ, бывшемъ въ Петербургѣ, испугъ, причиненный присылкою за мной изъ тайной полиціи (belli frutti!), обусловилъ болѣзнь младенца. А второй, а третій случаи? Да натура взяла pli,—да почему же она взяла pli?—chi lo sa?

Рихтеръ совѣтуетъ ѣхать въ теплый край, брать морскія ванны. Хорошо, очень хорошо было бы. Да куда? въ чужіе края—пусть ли? Опять chi lo sa. Тяжкое, не представляющее выхода состояніе. Несчастіе съ одной стороны, гоненія съ другой, даже отношенія къ отцу столь же тяжелы, какъ и гоненія, все вмѣстѣ давить свинцовыми ногами въ грудь.

13.—Иногда такая злоба наполняетъ всю душу мою, что я готовъ кусать себя. И частное, и общее все глупо, досадно. Я мучился, когда стонало бѣдное дитя, теперь хотѣлъ бы еще слушать этотъ стонъ. Стонъ все же бытіе. А это тупое, нѣмое молчаніе

трупа, могилы. Я мучился прежде, что не имѣю права ѣздить въ Москву,—а теперь тѣмъ, что въ Москвѣ. Этотъ городъ мнѣ противенъ. Я въ послѣднее время не могъ ни разу взойти въ старый домъ безъ судорожнаго щемленія. Видь, жизнь отца приводятъ меня въ ужасъ, онъ мало по малу утратилъ всѣ слѣды благородныхъ чувствъ, съ каждымъ днемъ растетъ въ немъ мелочная скупость, привязчивость и страшный холодъ и безучастіе ко всему близкому и дальнему. Не могу вѣрить, чтобъ всякій старецъ оканчивалъ такъ страшно свою жизнь. Нѣтъ, это горькое наказаніе за жизнь. Да зачѣмъ я-то поставленъ зрителемъ и судьей? О, жизнь, жизнь, какая гиря! Но выбора нѣтъ. Впередъ!

21.—Вчера продолжительный споръ у меня съ Хомяковымъ о современной философіи. Удивительный даръ логической fascinаціи, быстрота соображенія, память чрезвычайная, объемъ пониманія широкъ; вѣренъ себѣ, не теряетъ ни на минуту *argiè-re-pensée*, къ которой идетъ. Необыкновенная способность. Я радъ былъ этому спору, я могъ нѣкоторымъ образомъ извѣдать силы свои, съ такимъ бойцомъ помѣриться стоитъ всякому ученью, и мы разошлись, каждый при своемъ, не уступивши юты. Консеквентность его во многомъ выше формалистовъ гегельянскихъ; онъ прямо говорить, что изъ гегелевыхъ началъ на *Persönlichkeit Gottes, die Transcendenz* вывести нельзя, не сдѣлавши великой ошибки, что изъ нея необходимо *Immanenz* и жизнь — *inneres Gähren*, приходящая въ себя къ идеѣ. Но, говорить онъ, такъ какъ этотъ результатъ нелѣпъ, слѣдовательно, послѣднее слово философіи нелѣпость.

Опровергая Гегеля, Хомяковъ не держится въ всеобщихъ замѣчаніяхъ, въ результатахъ, нѣтъ, зная свою изворотливость, онъ идетъ въ самую глубь, въ самое сердце, то есть, въ развитіе логической идеи. Но его недостатокъ главный—невозможность перехода (слѣдовательно, полнаго пониманія) мысли въ фактъ, къ факту. Что фактъ логическій не можетъ *вполнѣ* знать факта реальнаго, и это вотъ почему. Одна изъ сторонъ факта случайна, отъ нея мысль отвлекаетъ; онъ ее признаетъ, но оставляетъ, беретъ необходимое, законъ, реинтегрируетъ понятіе факта во всей чистотѣ его всеобщаго, т. е. абстрактнаго бытія, но фактъ *des Daseins* имѣетъ *необходимо* и сторону случайности и, слѣдовательно, какъ конкретъ не можетъ быть возсозданъ, а только какъ абстракція; отсюда недостатокъ жизни въ логическомъ движеніи. Оставленіе случайности возможно въ теоріи, на дѣлѣ не такъ (все это мнѣніе его). Человѣкъ въ фѣтальномъ состояніи долженъ развиваться въ человѣка совершеннолѣтняго, необходимость лежитъ въ понятіи *Embryo*; но случайность отрѣзываетъ нить жизни, и факта нѣтъ. А потому случайность существенна факту, а мыслью принята за несущественное.

Далѣ. Философія ведетъ къ имманенціи, но если самопознаніе, субъективность развертывается погруженная въ міръ реальный, а міръ реальный *idealiter* долженъ развиваться въ самопознаніе, но можетъ *gehemmt sein* на дорогѣ случайностью, стало, можно предположить такую эпоху вселенной, въ которой субъективности, сознанія вовсе нѣтъ, а есть *dumpfes unklares für sich* броженіе,—а если планета такая же индивидуальность, какъ индивидуальность чловѣка, то и разившись до сознанія, она можетъ погибнуть, и съ ней весь побѣжденный процессъ, который долженъ бы былъ продолжаться на всѣхъ. Но изъ нихъ каждое также зависитъ отъ случайности — отсюда хаотическое, страшное воззрѣніе. Я сказалъ ему, что это свирѣпѣйшая односторонность имманенціи, и доказывалъ кругомъ ограниченныя вліянія случайности *etc., etc.* Результатъ его: Гегель и гегельяне представляютъ высшій моментъ философіи, совершенно послѣдовательный и необходимый изъ всего предшествовавшаго развитія, но этотъ результатъ доводитъ до построенія идеальнаго, параллельнаго реальному, — но и реальное доводитъ въ послѣднемъ словѣ до имманенціи и распадающагося хаотическаго атомизма, слѣдовательно, до нелѣпости. Но эта нелѣпость не есть субъективная ошибка лица или школы, а логическое, необходимое послѣдствіе всего движенія науки. слѣдовательно, наука въ послѣднемъ результатѣ своемъ уничтожаетъ себя и доказываетъ, что живой фактъ можетъ только въ абстракціи быть знаемъ мыслью, строимъ ею, но, какъ конкретъ, онъ выпадаетъ изъ нея. Итакъ, логическимъ путемъ однимъ нельзя знать истину. Она воплощается въ самой жизни — отсюда религиозный путь. По дорогѣ были еще тысячи отступленій и частныхъ соприкосновенныхъ вопросовъ между весьма оригинальными замѣчаніями Хомякова, вотъ примѣръ. Христіанская партія въ Германіи упрекаетъ гегельянъ вообще въ томъ, что личность Бога у нихъ не выходитъ въ замкнутости обыкновенной *Persönlichkeit*. А тѣ защищаются въ этомъ. Между тѣмъ, если бы такая *Persönlichkeit* выходила по логическому пути, то въ самой *Persönlichkeit* было бы полнѣйшее отрицаніе второго лица, и, слѣдовательно, отрицаніе возможности христіанства. Остается принятіе безличнаго Бога, *cela n'arrange pas les affaires піетистовъ*, но можно эманировать христіанство. *Belle alternative*. Греція никогда не знала никакого бога, кромѣ чловѣка. Персія, Индія выше ея, поклонялись хотъ абстрактнымъ, но всеобщимъ идеямъ. Буддизмъ хотѣлъ свободы, хотя бы насчетъ бытія. Въ этомъ безуміи есть высокое направленіе *etc., etc.*

Долго говоривши, наконецъ, я хотѣлъ узнать рѣшительно его построенія, его внутреннюю мысль, ибо такого рода негачія не есть положеніе чего бы то ни было. Но онъ отдѣлался и ничего

не сказалъ. Сперва онъ употребилъ выраженіе *бытіе есть богъ*, потомъ сказалъ *богъ вѣнъ міра*; но какъ же, спросилъ я, бытіе отдѣльно отъ сущаго. Разумѣется, замѣтилъ онъ, не отдѣльно, но для себя,—дальнѣйшаго развитія и главное христіанскаго онъ не сдѣлалъ. Да я думаю, и нѣтъ ничего готоваго.

22.—Такъ, какъ въ прошлый разъ, такъ и теперь Наташа видимо перенесла спокойно ужасный ударъ, плакала, но держалась въ предѣлахъ самоотверженія и грусти,—а не отчаивалась. Эта умѣренность и власть надъ собой, кажется, мнимыя. Теперь, когда прошли недѣли, болѣе и болѣе видны опустошенія, сдѣланныя новымъ ударомъ въ этомъ нѣжномъ и нервномъ существѣ.

Иногда ея безвыходно печальный взоръ мнѣ невыносимъ, онъ для меня тягостнѣе всякаго креста. Доля, конечно, должна относиться къ болѣзненному состоянію, всякая маленькая шероховатость, ничтожное обстоятельство ее оскорбляетъ глубочайшимъ образомъ, и она скрываетъ это; но выраженіе боли и грусти выражается на благородномъ челѣ до такой яркой степени, что ихъ нельзя не видѣть. Я виню себя въ томъ, что не умѣю окружить ея жизнь со всѣхъ сторонъ сферой высшаго порядка, въ которую не входили бы маленькія мелочи. Съ другой стороны, вредъ слишкомъ затворнической жизни также очевиденъ, надобно движеніе, разсѣянность. Но развѣ всякіе люди могутъ разсѣять, а гдѣ же взять иныхъ? Странное устройство жизни. Мы нашли полную гармонію, полное соотвѣтствованіе. Я теперь, какъ пять лѣтъ и шесть тому назадъ, готовъ *huldigen* высокому прекрасному существу. Тупая случайность смутила наше благородно-гармоническое существованіе. Три гробика; три колыбели замѣнились вдругъ тремя гробами. Это страшно. Да, нѣтъ предопредѣленія,—отсутствіе разума въ управленіи индивидуальной жизнью очевидно.

27.—Я иногда сокрушаюсь отъ какого-то сокрушительнаго огня въ крови. Потребность всякихъ потрясеній, впечатлѣній, потребность непрерывной дѣятельности и невозможность сосредоточиться на одной книжкѣ заставляеть духъ безпокойно бросаться на все безъ разбора, безъ разума. А послѣ *je me sens flétri, flétri doublement par le repentir même, repentir d'homme faible, qui a toute la possibilité de tomber demain encore plus profondément*. Этотъ безпокойный духъ, кажется, свидѣтельствуетъ не болѣе, какъ неустоявшійся нравъ; есть жадность вѣчно бродящая и киснущая потомъ, когда перебродить.

Вчера Грановскій говорилъ о своихъ семейныхъ отношеніяхъ,—тоже недурны. Хлопочеть о разводѣ въ бракѣ; а не слѣдуетъ ли допустить разводы всѣхъ узъ родства, не исключая узъ родительскихъ? Одно физическое рожденіе не связываетъ нераз-

рывно, и если родство не родилось въ духѣ,—его нѣтъ, оно цѣпь, натяжка. И будто человѣкъ не можетъ иными дѣйствіями отрѣчься отъ физическаго рожденія. Должно ли въ самомъ дѣлѣ въ грядущихъ вѣкахъ семейственность подавлять, или какъ она измѣнится? Въ современныхъ отношеніяхъ нѣтъ развитія, нѣтъ будущаго. Половина энергіи пропадаетъ на бесплодную борьбу внутри семейства, и сколько нѣжныхъ, благородныхъ душъ гибнутъ безвозвратно, жертвою нелѣпыхъ предразсудковъ. А если и эту цѣпь снять? Посмотрите тогда на животнаго, — да и цѣпи оттого, что люди все еще животныя.

Diplomatische Geschichte der Polnischen Emigration von 1831. Собраніе довольно любопытныхъ документовъ о Польшѣ унесенной, безземельной. Вообще дѣйствіе этой брошюры щемящее и тяжелое. Самая надежда, которую они хранятъ, не оживляетъ, не облегчаетъ, потому что она похожа на надежду чахоточнаго. Демократическая партія совершенно отдѣлилась отъ аристократовъ и предала ихъ позору, обличивъ, сколько они ускорили катастрофу.

Языкъ манифеста 1840 твердъ. Нѣкоторыя подробности о событіяхъ, покрытыхъ непроницаемой завѣсой послѣ революціи. О дѣтяхъ, эмигрантахъ etc. А мы толкуемъ о утопіяхъ, въ то время какъ возлѣ, около... ну, да что объ этомъ говорить Грустно — и съ этимъ грустнымъ чувствомъ, давно знакомымъ, мы проводимъ и этотъ годъ.

Окончилъ этимъ днемъ статью объ ученыхъ. Многіе ее находятъ лучшей изъ моихъ статей. Окончилъ и о романтизмѣ для *Альманаха*. Пора снова приняться за серьезное чтеніе; 1842 проведенъ со стороны занятій прерывисто, хоть не бесполезно. Сначала усердное чтеніе Гегеля, пониманье и воспроизведеніе живое его ученія, тогда и первая статья о дилетантизмѣ; потомъ съ 1-го іюня мѣсяца четыре *dolce far niente*, а въ концѣ нѣсколько исправился. Но все не могъ наладить систематическаго труда. А состарился я много въ этотъ годъ и покидаю его не вовсе довольнымъ собою.

29. —Хомяковъ въ изложенномъ спорѣ, между прочимъ, бросилъ слѣдующее замѣчаніе: древній міръ, оканчиваясь, умирая, выразился двумя индивидуальностями, Пилатомъ и Брутомъ,—Брутомъ, который провелъ всю жизнь въ стоическомъ поклоненіи добродѣтели, преслѣдуя ее, жертвуя ей, окончилъ тѣмъ, что угомонился въ ней. И Пилать, который зналъ, что дѣлаетъ неправое, сдѣлалъ его, омывая руки.

1843.

Январь мѣсяць.

1.—Встрѣтились мы съ 1843 годомъ подъ счастливымъ созвѣздіемъ. Девять лѣтъ я не встрѣчалъ новый годъ въ Москвѣ. Шумно и весело, съ пѣнящими бокалами и искренними объятіями друзей перешли мы въ него. И было чрезвычайно весело, что рѣдко посѣщаетъ насъ; на минуту скорбное отлетѣло, мы были довольны, что вмѣстѣ, послѣ долгихъ и скорбныхъ лѣтъ. Огарева не доставало; но онъ былъ съ нами въ воспоминаніи и въ портретѣ.

7.—Deutsche Jahrbücher запрещены въ Саксоніи. Ввозъ лейпцигскихъ газетъ запрещенъ въ Пруссіи, за крупныя слова между королемъ прусскимъ и Гервегомъ. А какъ все еще смѣшно, жалко! Въ Петербургѣ Клейнмихель, министръ инженерный, велѣлъ посадить двухъ цензоровъ на гауптвахту, и они были посажены, а потомъ кто-то велѣлъ ихъ выпустить, и ихъ выпустили. Послѣ этого, просто по улицамъ ходить опасно, первый генералъ вздумаетъ посадить, потомъ извинится.

Объ Deutsche Jahrbücher жалѣть особенно нечего, потому что полныя энергіи издатели не сядутъ сложа руки, а такъ, какъ переѣхали изъ Галля въ Лейпцигъ, такъ переѣдутъ въ Цюрихъ, Женеву, пожалуй въ Бельгію. Въ одномъ изъ послѣднихъ № была статья француза Jul. Elisard о современномъ духѣ реакціи въ Германіи. Художественно-превосходная статья. И это чуть ли не первый французъ (котораго я знаю), понявшій Гегеля и германское мышленіе. Это громкій, открытый, торжественный возгласъ демократической партіи, полный силъ, твердый обладаніемъ симпатій въ настоящемъ и всего міра въ будущемъ; онъ протягиваетъ руку консерватистамъ, какъ имѣющій власть, раскрываетъ имъ съ неимоверной ясностью *смыслъ* ихъ анахронистическаго стремленія и зоветъ въ челоуѣчество. Вся статья отъ доски до доски замѣчательна. Когда французы примутся обобщать и популяризировать германскую науку, разумѣется понявши ее, тогда наступитъ великая фаза der Bethätigung. У нѣмца нѣтъ еще языка на это. Въ этомъ дѣлѣ, можетъ, и мы можемъ вложить лепту.

8.—Аксаковъ, князь Гагаринъ и др. Когда настанетъ эпоха современнаго развитія, разумнаго и сознательнаго для народа, мыслящія проникнуты единымъ духомъ, увлечены одной всеобщей мыслью, религіей. Возможно еще противодѣйствіе религіи — своя религія прошедшаго. Но когда народъ ощущаетъ одинъ темный трепеть призванія, одно броженіе чего-то неяснаго, но влекущаго его въ сферу шири, тогда мыслящія, не имѣя общей связи, начинаютъ метаться во всѣ стороны. Страшное сознаніе гнусной дѣйствительности, борьбы, заставляетъ искать примиренія во чтобы ни стало, примиренія во всякой нелѣпости, себя обольщенія, — лишь бы была дѣйствительность мысли, лишь бы оторваться отъ дѣйствительности и найти причину, почему она такъ гадка. Вотъ причина этого множества партій самыхъ непонятныхъ въ Москвѣ. Общая связь одна — всѣ убѣждены въ тягости настоящаго, но выходъ находить каждый молодецъ на свой образецъ. Партія католиковъ всѣхъ дальше въ нелѣпости. Она нелѣпа во Франціи, ибо католицизмъ имѣлъ торжественный моментъ развитія и столько же торжественный моментъ признанія дряхлости, безсилія (его воскрешеніе смѣшно думать на западѣ); ну, да французы католики *par métier*, каково же въ нашъ вѣкъ сдѣлаться католикомъ *par affinité élective*, сдѣлаться іезуитскимъ пропагандистомъ. Жаль откровенность, съ которой бросаются въ эти мертвые пути. Таковъ князь Гагаринъ; онъ считаетъ Чаадаева *отсталымъ*. Понять можно: аристократъ, вѣроятно не получившій серьезнаго образованія, ни сильнаго таланта, — между тѣмъ умъ и горячее сердце, Богъ привелъ взглянуть на Францію, на Европу. Дома-то черно, страшно. Путь человѣчества неизвѣстенъ. Основныя, краеугольныя начала современнаго взгляда, аутономія разума, исторія — *terra incognita*. А тутъ случайная встрѣча съ іезуитомъ, съ безумнымъ католикомъ; передъ непривычнымъ глазомъ развертывается въ первый разъ ученіе, мощно развитое изъ своихъ началъ (которыя впередъ втѣсняетъ своимъ авторитетомъ), и удивленный человѣкъ предается вымершему принципу. Таланты Чаадаева дѣлаютъ его болѣе отвѣтственнымъ. *Vice versa*: партія православныхъ, Кирѣевскій *en tête*, а потомъ и Шевыревъ — дилетанты религіи, и славянофилы, и русофилы, и Аксаковъ полу-гегельянецъ и полу-православный. Они передъ католиками имѣютъ важный шагъ впередъ, потому что они родились въ православіи, связаны воспитаніемъ, народными воспоминаніями etc. Сверхъ того, православіе никогда не имѣло такого торжественнаго финала, какъ реформація; оно покойное никогда не шло ни впередъ, ни назадъ, и потому это безжизненное, но и не мертвое бытіе въ самомъ дѣлѣ имѣетъ вѣчто проблематическое, о чемъ мечтать можно. Почему знать, чѣмъ оно разовьется, такъ какъ можно ждать еще развитія

Византійскаго зодчества, а уже готическаго нельзя. Я говорилъ долго съ Аксаковымъ, желая посмотрѣть, какъ онъ примирилъ свое православіе съ своимъ гегельянизмомъ; но онъ и не примиряетъ, онъ признаетъ религію и философію разными областями и позволяетъ имъ жить какъ-то вмѣстѣ, это конкубинатъ *sui generis*. Другіе, какъ Кирѣевскій, отвергаютъ все западное, не хотятъ даже знать, боятся знать, т. е. боятся углубиться въ себя, чтобъ не найти тамъ зародышей скептицизма. Споры между католиками и православными пресмѣшны,—такъ и переносишься въ блаженной памяти средніе вѣка. Типъ этихъ споровъ одинъ: «откуда вѣдьмы,—изъ Кіева или изъ Чернигова?» Для людей невѣрящихъ въ вѣдьмы остается звать и жалѣть расточенія силъ. Эти господа дѣлали преспеціальныя изученія исторіи церкви, знаютъ подробности ненужныя и мелочныя, дающія пищу ихъ контроверзѣ, и совершенно незнакомы съ краугольными истинами историческаго развитія, до смѣшного Князь Гагаринъ однажды доказывалъ, что въ XVI, что ли то, вѣкѣ было незаконное избраніе русскаго патріарха, и отсюда выводилъ заключеніе о мѣрѣ законности постановленій и пр.; но развѣ греко-россійская церковь не есть событіе, которое требуетъ только признанія? и что поможетъ доказательство, что она не имѣетъ въ такомъ-то смыслѣ, такого-то оправданія. Тутъ еще не всѣ. Есть и протестанты, улыбающіеся надъ тѣми и другими, какъ надъ отсталыми, смѣющіеся надъ невѣждами, утверждающими, что вѣдьмы изъ Кіева или изъ Чернигова, а сами они знаютъ навѣрное, что вѣдьмы идутъ изъ Житомира. Ихъ положеніе тѣмъ незавидно, что ихъ бьютъ со всѣхъ сторонъ религіозныя и совсѣмъ не религіозныя; куда они не обернутся, это чужая собака, пристающая къ грызущимся. И грызущіеся тотчасъ обращаются на чужую, оставляя свой раздоръ.

И на это расточается большая дѣятельность, хоть плода ждать нельзя; но, какъ бы то ни было, нельзя не признать, что самая дѣятельность эта утѣшительна, безъ нея Москва была бы гробъ; привычка заниматься всеобщимъ, переносить свои интересы въ сферу вопросовъ религіозныхъ—хороша. Привычка собираться для споровъ, излагать, защищать свое *profession de foi* постановляетъ въ люди насъ, все-таки безличныхъ рабовъ. Итакъ, спасибо и на томъ!

Вчера явился ко мнѣ знакомиться профессоръ Казанскаго университета Григоровичъ. Отраднѣе уже самое юношески-благородное желаніе изъявить свою симпатію людямъ... какъ сказать... людямъ движенія; но еще отраднѣе видѣть профессора славянскихъ языковъ въ Казани, твердо смотрящаго на свой предметъ съ точки зрѣнія современной науки. Мнѣ дорого было и его вниманіе, и узнать, что за Волгой есть такой благородный представитель гуманности.

Разговоръ съ Грановскимъ о личномъ положеніи моемъ, нашемъ, всегда оставляетъ мрачное расположеніе. А впрочемъ, подчасъ кипятъ надежды. Nein, nein, es sind keine leere Träume! Нѣтъ достаточно вѣры, оттого нѣтъ достаточно резигнаціи. Хочется насладиться жизнью, отдохнуть отъ прошлыхъ ударовъ, въ то время, какъ слѣдовало бы самоотверженно оставить домъ. Конечно, мы приносимъ хоть малую, но приносимъ пользу.

14.—Правительство подыскивается и приготовляетъ ловушки славянофиламъ. Оно само поставило знаменемъ народность, но оно и тутъ не позволяетъ итти дальше себя: о чемъ бы ни думали, какъ бы ни думали,—не хорошо. Надобно слугъ и солдатъ, которыхъ вся жизнь проходитъ въ случайныхъ интересахъ и которые принимаютъ за патриотизмъ дисциплину. Передъ Рождествомъ, Клейнмихель велѣлъ посадить на гауптвахту двухъ цензоровъ за не понравившееся ему выраженіе объ офицерахъ. Врядъ поймутъ ли, сообразятъ ли европейцы этотъ случай. Министръ инженерный, который только начальникъ публичныхъ работъ, военный, приказалъ арестовать чиновниковъ, служащихъ по иному вѣдомству и для которыхъ, какъ для всѣхъ, есть же законный судъ, вслѣдствіе котораго можно наказать. Въ родѣ осаднаго положенія.

16.—Опять тяжелый разговоръ съ Natalie, точно въ прошедшемъ году послѣ ея болѣзни. Отчасти всѣ эти Grübeleien именно слѣдствіе болѣзни; но есть корни и глубже въ ея характерѣ, въ ея воспитаніи. Главная вина моя, что я не умѣлъ осторожно, вѣжно вырвать ихъ. Нѣсколько дней я заставлялъ ее въ слезахъ, съ лицомъ печальнымъ. Сначала я молчалъ, но не могъ скрыть и свою грусть, это удвоило ея печаль, наконецъ, я не находилъ болѣе силъ, à la lettre не находилъ силъ вынести этотъ видъ; отъ него приходилъ въ какое-то горячешное состояніе, уходилъ съ какою-то тяжестью въ груди, въ головѣ. За что это благородное, высокое созданіе страдаетъ, уничтожаетъ себя, имѣя всю возможность счастья, возмущеннаго только воспоминаніемъ трехъ гробиковъ, воспоминаніемъ ужаснымъ, но которое одно не могло бы привести къ такимъ слѣдствіямъ. Я просилъ, наконецъ, объяснить, я снова явился ни на чемъ, неоснованныя Grübeleien. «Я тебѣ ненужна, напротивъ, всегда больная, страждущая. Я тебѣ порчу жизнь, лучше было бы избавить отъ себя,—ты меня любишь, я знаю, ударъ тебѣ былъ бы боленъ, но потомъ было бы спокойнѣе», и пр., пр. Я просилъ, умолялъ, требовалъ, наконецъ, разумомъ разобрать всю нашу жизнь, чтобъ убѣдиться, что все это тѣни, призраки. Она плакала ужасно и признавалась, что съ перваго дня нашей жизни вмѣстѣ, ее эти мысли не покидаютъ, что она только ихъ скрывала, что они уже развиты съ самой пер-

вой встрѣчи, что она поняла, какъ моя натура должна была имѣть иную натуру въ соотвѣтственность, болѣе энергичную и пр., и пр., и все это съ видомъ существеннаго, сильнаго горя. Наконецъ, часа черезъ два я уговорилъ ее самое разобратъ по хладнокровнѣе. Тогда начались новыя слезы, извиненія, доказательства, что самый этотъ фактъ подтверждаетъ. Что за причина заставляетъ мучиться ее? Чрезвычайная нѣжность и сющептибельность, чрезвычайная любовь. Но зачѣмъ же болѣзненное выраженіе такого препростого начала? Привычка сосредоточиваться, обвиваться около мыслей скорбныхъ. Если я въ этомъ отношеніи могу себя винить, то это въ разсѣяннѣ, въ возможности предаваться предметамъ занятій и поглощаться ими. Это понято ею какъ нельзя лучше, и мысли никогда не приходило ей въ этомъ видѣть дурное; но она много остается одна. *Безпечность, врожденная мнѣ*, кажется, подчасъ, невниманіемъ, и я не умѣю поправить себя, потому что я живу чрезвычайно просто, поступаю совершенно натурально. Но самое ужасное, самое оскорбительное для меня это невысказываемое, но понятное обвиненіе въ недостаткѣ любви,—оно оскорбительно по ложности. Въ то время, какъ душа моя склоняется, *huldigt* съ умиленіемъ ея прекрасной высокой душѣ; въ то время, какъ ея личность обнимаетъ мою какимъ-то благоуханіемъ любви; въ то время, какъ я только въ нее и вѣрю,—недовѣріе! Я гордился прежде ригоризмомъ своимъ, но опытъ доказалъ, что я могу падать, увлеченный минутнымъ порывомъ знойной страсти; но отъ моего паденія до Grundton всей жизни моей нѣтъ перехода. Моя любовь къ Natalie—моя святая святыхъ, высшее, существеннѣйшее отношеніе въ моей частной жизни, становящееся рядомъ съ моимъ гуманизмомъ. Я такъ сросся съ моей любовью, что мнѣ страшнымъ, чудовищнымъ кажется всякое сомнѣніе. Ну, не нелѣпость ли, что мы мучимъ другъ друга безъ всякихъ достаточныхъ причинъ?

18.—Странное состояніе растеть у Natalie и подавляетъ ее. Ея характеръ принадлежитъ къ такимъ, съ которыми нѣтъ средствъ, на которые ничто не дѣйствуетъ, кромѣ внутренняго голоса. А онъ ей подсказываетъ сомнѣніе и мрачныя вещи. Неужели я довелъ ее до этого ужаснаго состоянія недостаткомъ любви, пустою... Да что же я послѣ этого... У ней нѣтъ вѣры въ меня. Все это составляетъ какой-то узелъ въ жизни, отъ котораго будемъ считать новую эру. А тяжело мнѣ, ужасно тяжело... кара это, что ли? Конечно, но да мимо идетъ скорѣе чаша сія! Недѣлю тому назадъ, жизнь была еще спокойна, и вдругъ безъ причины разверзлись какія-то пропасти подъ ногами,—лишь бы удержаться на краю. Я виноватъ, много виноватъ, глубоко падаль,—но любовь моя была всегда святою святыхъ; я минутами забывалъ ее—

мог забывать—и вотъ чудовищное дѣйствіе. Я отравилъ жизнь, страшно сказать, волосы становятся дыбомъ, я испортилъ жизнь тому существу, которое любилъ и люблю больше всѣхъ. Несчастнѣй правъ! Я мелокъ, загрязненъ,—но что же въ ней нѣтъ милосердія? Я заслужилъ крестъ, лежащій на мнѣ, но колѣни гнутся подъ тяжестью его. А я думалъ, что мои паденія съ рукъ сойдутъ,—низкое упованіе! Жалкая душа, и тѣмъ болѣе жалкая, что она вооружена талантами. Я поднимусь; ну, а рубцы-то, нанесенные мною? Впрочемъ, я не хотѣлъ никогда ни даже темной минуты доставить ей, я всегда готовъ былъ всѣмъ пожертвовать для нея. Но при всемъ этомъ чувствую, какъ справедливъ крестъ; безконечная любовь ея имѣетъ въ себѣ безконечную гордость, эта гордость пренебрегаетъ милосердіемъ—простымъ прощеніемъ, она стираетъ, отбрасываетъ факты, но остается при горести и оплакиваніи утраченнаго счастья. Облегченіе, облегченіе ей и мнѣ! *Grâce, grâce—grâce pour toi même.*

19.—Что дѣлается со мною? Все покрывается какимъ-то туманомъ. И вдругъ трепеть, должно быть въ родѣ того, который ощущаетъ колодникъ, приговоренный къ кнуту передъ наказаніемъ; все мучитъ меня. Неужели я заслужилъ? Не мнѣ вѣшать мѣру наказанія. Высочайшая любовь къ лицу есть эгоизмъ! Высочайшее смиреніе—гордость! А чувствовать себя неправымъ, носить угрызеніе, видѣть терзаніе невиннаго, святаго существа ежеминутно передъ глазами... О, лучше ослѣпнуть!

21.—И во всѣхъ случаяхъ она побѣждаетъ меня. Эта единственная индивидуальность, которая просто поработаетъ меня, можетъ, именно потому, что всякая мысль поработанія далека отъ ея благородной, прекрасной души. Вчера мы долго, долго и скорбно говорили. Я раскрывалъ всѣ раны, всѣ угрызенія, нанесенныя минутами паденія; мало по малу становилось на душѣ свѣтлѣе; я какъ-то выросталъ, ощущалъ всю мощь свою, всю любовь свою и всю ея любовь, обнявшую нимбомъ существо мое. И мы провели минуты высокаго блаженства, все прошедшее было забыто, мы были хороши, какъ въ день свадьбы. Благословеніе этому вечеру!

22.—Истинное, глубокое раскаяніе очищаетъ не токмо отъ событій, въ которомъ раскаивается человѣкъ, но вообще очищаетъ отъ всей пыли и дряни, наносимой жизнью. Небрежность людская позволяетъ насѣсть пыли, паутинѣ на святѣйшія струны души: гордость не дозволяетъ видѣть паденья—и тотчасъ раскаянія (если натура не утратила благородства); человѣкъ восстанавливается, но гордости нѣтъ, нѣтъ сухости, въ немъ трогательная грусть, онъ стыдится и проситъ милосердія, онъ дѣлается симпатиченъ падшему.

Всѣ эти дни рѣшительно ничего не дѣлалъ. Минутами душа

такъ переполнялась, что изъ cadaго пальца, кажется, готова была струиться сила; я, можетъ, впервые въ жизни глубоко жалѣлъ, что я не музыкантъ; то, что мнѣ хотѣлось сказать, только можно было бы сказать звуками. Минутами овладѣвала апатія — тягостная, сонная. Впрочемъ, читалъ Мицкевича. Много прекраснаго, высоко художественнаго въ этомъ плачѣ поэта. Боже мой, какъ хороша у него картина русской дороги зимой! Безконечная пустыня, бѣлая, холодная, море — нераскрывающее груди своей вѣтру, вѣтру, который мететь эту степь, отъ полюса до Чернаго моря Дороги, пересѣкающія ту степь, вызваны не торговлей, не народной нуждой, а проведены по приказу царя, и пр., и пр. Замѣчательно въ той же поэмѣ мѣсто о памятникѣ Петра. Мицкевичъ сравниваетъ его (и влагааетъ это въ уста путника) со спокойной позой Марка Аврелія въ Римѣ. Тутъ лошадь несетъ, она стала на дыбы на краю пропасти, и остановилась какъ замерзнувшая каскада: еще шагъ, и сѣдокъ разбился бы вдребезги. Взойдетъ солнце свободы, подуетъ вѣтеръ западный и растаетъ каскада.

Во второй части «Дѣдовъ» еще духъ отрицанья сильнѣй, истинно байроновскій, борется съ католическимъ воззрѣнiемъ. Но оно съ каждымъ шагомъ беретъ верхъ.

28.—Вѣсть объ Julien Elisard. Онъ смываетъ прежніе грѣхи свои, я совершенно примирился съ нимъ.

31.—Начать статью о формализмѣ — будетъ хороша. Вчера *(die Jüdin)* оставила меня подъ какимъ-то тягостно хорошимъ чувствомъ. Мнѣ, просто, чрезвычайно нравится *libretto*. Много и много навѣваетъ думъ, — притомъ музыка, какъ море обтекающее, томящее и примиряющее безконечными волнами звуковъ. //

Февраль мѣсяцъ.

4.—Боткинъ назвалъ начало статьи о философіи *synphonia egoica*. Я принимаю эту хвалу, — она написалась въ самомъ дѣлѣ съ огнемъ и вдохновенiемъ. Тутъ моя поэзія, у меня вопросъ науки сочлененъ со всѣми социальными вопросами. Я иными словами могу высказывать тутъ, чѣмъ грудь полна.

14.—Тихо проведенное время. Графъ Строгоновъ общалъ написать къ Бенкендорфу и узнать, можно ли ѣхать на короткое время въ чужіе края. Если... Боже мой, я не соображу, что черезъ шесть мѣсяцевъ я могу сидѣть гдѣ бы то ни было, не боясь жандармовъ. Но надежды опереть не на чемъ, лучше не думать объ этомъ. Изъ людей видѣлъ одного, да и тотъ женщина, т. е. Павлова; ея голосъ непритенъ, ея видъ также не вовсе въ ея пользу, но умъ и таланты не подлежатъ сомнѣнiю. Больше на первый случай ничего не могу сказать.

15.—Письмо отъ Огарева. На него только можно сердиться и негодовать, когда ни его нѣтъ, ни письма нѣтъ. Достоинство сирены: сталъ говорить, и симпатическая всему прекрасному и высокому душа все поправила, примирила, восстановила. Письма отъ J. Elisard'a и отъ Бѣлинскаго. Одинъ умомъ дошелъ до того, чтобъ выйти изъ паутины, въ которой сидѣлъ; другой страдаетъ, глубоко страдаетъ, безпокойный духъ его мечется, ломаетъ себя. И когда же онъ дойдетъ до свѣтлага, гармоническаго развитія? или есть природы, которыхъ вся жизнь въ томъ и состоитъ, что они ломаются? Впрочемъ, много и внѣшнихъ обстоятельствъ имѣютъ вліяніе на него. Не деньги, а недостатокъ симпатій, недостатокъ близкихъ людей, одиночество, на которое обрекъ его Петербургъ.

18.— Въ Siècle между прочимъ съ чрезвычайнымъ хладнокровіемъ разсказанъ слѣдующій случай, бывшій, помнится, въ Ліонѣ. Какой-то работникъ, не имѣя нѣкоторое время занятій, пришелъ въ ужасную крайность. На его рукахъ большая жена, оба очень молоды. Они жили на чердакѣ и, не имѣя въ одинъ день хлѣба и видовъ что-нибудь достать, онъ укралъ въ нижнемъ этажѣ какую-то бездѣлицу для того, чтобъ, продавши ее, купить хлѣба и лекарства женѣ. Воровство было сдѣлано такъ неловко, что тотчасъ открыли, кто виновникъ. Работникъ, до того слывшій порядочнымъ человѣкомъ и понявшій, что потерялъ послѣднее благо, ожидая жандармовъ, грустилъ, грустилъ съ женою,—да и рѣшились *повѣситься*. Оба привели въ дѣйствіе предположеніе, но жандармы успѣли отрѣзать веревки. Теперь будетъ судопроизводство. Оно въ высшей степени замѣчательно. Надобно замѣтить, что французское jury смертоубійство легче и снисходительнѣе обсуживаетъ, чѣмъ *воровство*.

Подобные случаи выставляютъ разомъ во всей гнусности современное общественное состояніе. Не можетъ человѣчество идти далѣе съ этими путями незаконія. Но какъ выйти? Тутъ-то весь вопросъ, но на него не можетъ быть полнаго теоретическаго отвѣта. Событія покажутъ форму, плоть и силу реформаціи. Но общій смыслъ понятенъ. Общественное управленіе собственностями и капиталами, артельное житье, организація работъ и возмездій, и право собственности, поставленное на иныхъ началахъ. Не совершенное уничтоженіе личной собственности, а такая инвестирующая обществу, которая государству даетъ право общихъ направленій. Фурьеризмъ, конечно, всѣхъ глубже раскрылъ вопросъ о социализмѣ, онъ далъ такія основанія, такія начала, на которыхъ можно построить болѣе фалангъ и фаланстеровъ. Подобные анекдоты оправдываютъ злобный характеръ Прудоновой брошюры.

20.—Говорятъ. Уваровъ общій отчетъ за управленіе министерства просвѣщенія за десятилѣтіе заключаетъ предложеніемъ

расширить свободу книгопечатанія и, слѣдовательно, измѣнить цензурныя учрежденія. Конечно, это дѣлается для славы, для того, чтобъ даже въ Европѣ поговорили, но тѣмъ не менѣе, что за путаница хорошаго и дурного во всемъ управленіи, въ каждомъ государственномъ лицѣ. Нѣтъ опредѣленныхъ воззрѣній, нѣтъ опредѣленныхъ цѣлей, и вѣчный типъ Хлестакова. Духъ подражанія европейцамъ насъ не оставилъ; мы все еще, какъ мѣщане въ дворянствѣ, хвастаемся, что мы образованы, и стараемся заявить, что имѣемъ либеральныя идеи. Между тѣмъ ихъ нѣтъ, такъ какъ нѣтъ образованія. Но и вражды противъ идей нѣтъ. Оттого выходитъ что такой-то съ спокойной совѣстью говорить и дѣлаетъ въ трехъ разныхъ смыслахъ, нисколько не замѣчая того. Разумѣется, этотъ недостатокъ всего замѣтнѣе въ значительныхъ людяхъ. Наши вельможи не умѣютъ себя держать ни относительно насъ, ни относительно служащихъ, всего менѣе относительно иностранцевъ; или troppo или troppo poco, или дерзко, или фамилиарно, или грубо, или унижительно учтиво. Они не свободны въ своихъ манерахъ, потому что они играютъ роль, а не въ самомъ дѣлѣ аристократы. Одинъ изъ самыхъ лучшихъ магнатовъ, графъ Строгоновъ, исполненный личнаго благородства и пр., со всѣмъ тѣмъ впадаетъ иногда въ страшныя нелѣпости, желая à propos de bottes вдругъ представить изъ себя лорда тори и забывая, что полчаса передъ тѣмъ онъ посмѣялся надъ англійскимъ торизмомъ и излагалъ вещи человѣческія безъ всякихъ предразсудковъ касты. Таковы всѣ, и князь Дмитрій Владиміровичъ Голицынъ, слывущій либераломъ и какъ premier gentilhomme de l'empire. Ein gutes Herz verwirrte Fantasie, das heisst auf Deutsch: ein Narr war Lametrie. А не выражаетъ ли все это вмѣстѣ, что мы не устоялись? броженіе странное, уродливое гетерогенныхъ элементовъ.

А. А. Тучковъ чрезвычайно интересный человѣкъ, съ необыкновенно развитымъ практическимъ умомъ. У насъ это большая рѣдкость, мы или животныя, или идеологи, какъ и азъ грѣшный. Ничѣмъ не занимаемся или занимаемся всѣмъ на свѣтѣ. Еще болѣе интересный потому, что очевидецъ и долею актеръ въ трагедіи слѣдствія по 14 декабря, актеръ, какъ подсудимый, разумѣется. Характеристическія подробности! Разсказъ объ этомъ времени наша genesis, эпопея. Когда-нибудь надобно записать подробности.

28.—Завтра выйдетъ въ Петербургѣ 3 № *Отеч. Зап.*, въ которомъ моя статья о романтизмѣ. Я продолжалъ ее. Или цензура ее изорудуетъ, или эта статья можетъ принести послѣдствія. Можетъ, третью ссылку. Горько будетъ, но я готовъ. Я окрѣпъ и возмужалъ въ послѣднее время, мнѣ нуженъ досугъ, и я теперь болѣе чѣмъ когда-либо, надѣюсь на огромную силу души Natalie. Стран-

ная жизнь! Но жребій брошенъ, я не могу жить иначе, нѣчто похожее на призваніе заставляетъ поднимать голосъ, а они не могутъ вынести человѣческаго голоса. Вліяніе, которое дѣлаетъ мой голосъ, убѣждаетъ всѣмъ жертвовать, ибо кромѣ его я ни къ чему не призванъ. Ссылка заставитъ смолкнуть. Надобно предпринять трудъ продолжительный. А любимая мечта, послѣднее желаніе личное—путешествіе! И вдругъ вмѣсто ссылки дозволеніе ѣхать. И счастье, и несчастье, втѣсняемое внѣшней неразумной силой, противны и оскорбительны. Въ обоихъ случаяхъ личность чело-вѣка подавлена.

Мартъ мѣсяць.

//4.—Еще ужасное и тяжелое объясненіе съ Наташей. Я думалъ, все окончено, давно окончено; но въ сердцѣ женщины не скоро пропадаетъ такое оскорбленіе. Она плакала, отчаянно, горько плакала, я уничтожалъ себя; состраданіе, любовь, мучительное угрызеніе, бѣшенство, безуміе—все разомъ терзало меня. Сегодня я проснулся въ ознобѣ, весь больной, съ какой-то ломотой во всемъ тѣлѣ. Если-бъ была молитва! Въ какую пронасть стащилъ я ее, которая не могла представить себѣ такого паденія. Гнусно, отвратительно! Когда я смотрю пристально на себя и разоблачаю все гадкое, мнѣ является потребность сильная итти ко всѣмъ любящимъ меня и сказать: прежде посмотрите, вотъ вашъ другъ! Да, и это изъ самолюбія, мнѣ больнѣе всего ихъ неправая оцѣнка. Еще пять, шесть такихъ сценъ, и я сойду съ ума, а она не переживетъ. Ночь, ночь, темно, скверно, тяжело. Но что же ей, когда я такъ чисто покаялся, когда это уже давнопрошедшій фактъ? Зачѣмъ подрываться подъ другого? Зачѣмъ? глупо, и тутъ любовь, но въ другомъ видѣ, любовь—немезида. Чтобъ довершить все, чтобъ дать послѣдній ударъ въ самую грудь, я вспомнилъ, что вчера было 3 марта. 3 марта 1838 года я не былъ раскаивающимся и гадкимъ, она не была убитая и невольно карающая. Тогда мы увидѣлись впервые послѣ разлуки. Все было свѣтло, свято, прекрасно. Жизнь сулила одно блаженство. Зачѣмъ же я допустилъ змѣиное жало? Гдѣ мнѣ прибрать черное слово, которымъ бы я могъ выразить мое состояніе?

10.—Кажется, живется себѣ такъ, ничего важнаго не дѣлаешь, *semper idem* ежедневности, а какъ только пройдетъ порядочное количество дней, недѣль, мѣсяцевъ,—видишь огромную разницу возрѣнія. Доселѣ я тридцать лѣтъ не останавливался. Ростъ продолжается, да, вѣроятно, и не остановится. Послѣднее время я пережилъ цѣлую жизнь, и все мрачное переработается во мнѣ въ ткань свѣтлую, лишь бы она не страдала, лишь бы она умѣла прими-

риться, забыть. Мнѣ такъ страшны ея страданія,—за что она, бѣдная, за всю высоту, чистоту купила слезы? Но какъ же любовь не врачуетъ? Неужели моя любовь слаба?

13.—Ея страданія, ея сомнѣнія уничтожаютъ меня. Я палъ, je suis flétri въ ея глазахъ, ее мучить это, она сама унижена въ моемъ униженіи, полное довѣріе потрясено! Время, моя безпредѣльная любовь уврачуютъ, быть можетъ. Я понимаю, что раскаяніемъ, слезами я очистился. Мы вмѣстѣ оплачемъ, вмѣстѣ погрузимъ, но теперь она часто хуже, нежели грустить. Вчера мнѣ было ужасно тяжело. А въ такія минуты я, долго изнемогая, дохожу до мыслей слабыхъ. Мнѣ бы хотѣлось уѣхать одному изъ Москвы, не видать, не знать и отдохнуть такъ. Мнѣ становится страшно въ комнатѣ,—мнѣ больно смотрѣть на игру Саши, онъ такъ беззаботенъ, веселъ. Да чья же грудь не найдетъ въ себѣ полного примиренія за такое полное раскаяніе? Ея страданія, ея сомнѣнія тѣмъ страшнѣе, что вся религіозная сторона упованія, успокоенія—въ ней. Иной религіи я не знаю. Вѣра въ человѣчество, вѣра во всеобщее слишкомъ широка, слишкомъ безлична: она свята мнѣ, но я говорю объ индивидуальномъ вѣрованіи, объ частномъ возношеніи и спокойствіи.

Вторая статья также принята съ рукоплесканіемъ. Меня, если-бъ знали во всѣхъ изгибахъ, поставили бы, можетъ, на одну доску съ Бакунинымъ, т. е. талантъ и дрянной характеръ. *La nature ne fait jamais un pas qui ne soit en tous sens (Buffon).*

14.—Когда человѣкъ съ глубокимъ сознаниемъ своей вины, съ полнымъ раскаяніемъ и отреченіемъ отъ прошедшаго просить, чтобъ его судили, распяли,—онъ не возмутится никакимъ приговоромъ. Онъ вынесетъ всякое наказаніе, поверженный въ прахъ слезами раскаянія, мучительными угрызениями, онъ смиренъ и понимаетъ, что наказаніе должно быть, что это справедливость. Еще болѣе онъ тутъ же подозрѣваетъ, что ему легче будетъ по ту сторону наказанія, что казнь примиряетъ, замыкаетъ, отрѣзываетъ прошедшее отъ грядущаго. Да, онъ не возмутится, а просто приметъ казнь. Но сила карающая должна на томъ и остановиться: если она будетъ продолжать карать, если она безпрестанно будетъ ему напоминать всю гнусность его поступка,—по страшному реактивному дѣйствію — падшій возмутится, онъ себя самъ начнетъ реабилитировать. Отчасти это понятно. Чтò онъ прибавитъ къ своему раскаянію? Чѣмъ ему иначе примириться? Невинный имѣетъ передъ виноватымъ такой страшный шагъ впередъ, что онъ не можетъ быть довольно снисходителенъ. Дѣло человѣческое посадить виновнаго (если его раскаяніе чисто) возлѣ, погрузить о его паденія и показать ему же, что все еще обладаетъ всѣми силами уничтожить сдѣланное раскаяніемъ, что достоинство человѣческое

въ немъ не подавлено. Человѣкъ, котораго удостовѣрять, что онъ сдѣлалъ смертный грѣхъ, которому нѣтъ прощенія, долженъ зарѣзаться или глубже погрязнуть въ пороки,—иного выхода ему нѣтъ.

17.—Жизнь, жизнь! Середь тумана и грусти, середь болѣзненныхъ предчувствій и настоящей боли—вдругъ взойдетъ солнце, и такъ свѣтло на душѣ, ясно, безпредѣльно хорошо. Вчера весь день прошло такъ; мы были какъ 3 марта, какъ 9 мая. Мы тѣснѣе соединились, выстрадавъ другъ друга, намучившись. Волна жизни дѣлается шире, полнѣе,—лишь бы она лишилась ѣдко соленыхъ свойствъ.

Высокая, святая женщина! Я не встрѣчалъ человѣка, въ которомъ бы благороднѣе, чище и глубже былъ взглядъ. Но она безпрестанно себя разлагаетъ, поддерживая себя непрерывно въ восторженномъ состояннн, ей нравится эта полнота жизни; но тѣло ея болѣзненное и слабое не можетъ вынести яркаго огня, которымъ пылаетъ умъ и сердце. За такія минуты, какъ вчера, можно пожертвовать годами. И странное начало этому обновленію, этой гласности любви. Не было мгновенія, не токмо времени, въ которомъ бы я не любилъ ее со всеѣмъ глубокимъ чувствомъ благоговѣннн, но она мучилась и подозрѣвала какую-то холодность, которой не было и не было. Между тѣмъ въ минуту физическаго, нечистаго увлеченія я сдѣлалъ поступокъ, въ которомъ она вовсе меня не подозрѣвала. Я былъ чистъ и правъ въ томъ, въ чемъ ея болѣзненное воображеніе обвинило. Я никогда не придалъ бы огромной важности гадкому, но безслѣдному поступку, если-бъ онъ не прибавилъ ей страданій. Она никогда не пойметъ, никогда не сообразитъ, что можетъ быть чисто физическое увлеченіе, минута буйнаго кипѣннн крови, минута воображенія, разожженнаго образомъ нечистымъ. словомъ, страсть, которая вовсе не переводима на языкъ любви и непонятна для нея, страсть полуживотная, грязная и не благословенная тѣмъ знаменіемъ, которымъ любовь освящаетъ физическій актъ. Мы глубже почувствовали благо нашей жизни! Но я трепещу, что ея Grübeleien опять возвратятся и будутъ мучить. А между тѣмъ ея здоровье разрушается наглазно, она тлѣетъ,—одна надежда у меня на лѣто и на путешествіе. Это, наконецъ, какая-то ядовитая иронія жертвовать тѣломъ за развитіе ума. Какъ широко, прекрасно текла бы жизнь наша, если-бъ каплю силъ прибавить ей. Болѣзнь развиваетъ Grübeleien, а Grübeleien помогаютъ болѣзни.)

19.—Четыре года тому назадъ, 19 марта уѣхалъ Огаревъ изъ Владиміра, послѣ перваго свиданья. Какъ все тогда было свѣтло! Не прошло года послѣ свадьбы; тихая, спокойная, прекрасная идиллія владимірской жизни! Не доставало только друга, и онъ

явился радостный и упоенный своимъ счастьемъ. Все улыбалось. Ни одного диссонанса не было видно. Мы были чрезвычайно счастливы. Любовь, дружба, преданность всеобщимъ интересамъ, сознание блаженства,—это были блестящій эпилогъ юности, точка поворота, къ которой все собралось въ праздничной одеждѣ. Давши эту награду за прошлое, этотъ залогъ будущему, судьба повлекла насъ быстро по желѣзной дорогѣ. Сколько переменялось въ эти четыре года, сколько испытаній! Главное дѣло все цѣло: и дружба, и любовь, и преданность общимъ интересамъ,—но освѣщеніе не то, алый свѣтъ юности замѣнился сѣвернымъ, яснымъ, но холоднымъ солнцемъ реального пониманья. Чище, совершеннолѣтнѣе пониманье, но нѣтъ нимба, окружавшаго все для него. Періодъ романтизма исчезъ, тяжелые удары и годы убили его. Мы, не останавливаясь, шли впередъ, многого достигли, но юныя формы приняли мускулезный и похудѣвшій видъ путника усталого, сожженного солнцемъ, искусившагося всѣми тягостями пути, знающаго теперь всѣ препятствія и пр. Первый ударъ былъ страшенъ, потому что разъ потрясъ самыя нѣжныя струны. Это ссора съ М. Л., а четыре года тому назадъ, мы разстались какъ братъ съ сестрой. Ея раздоръ съ мужемъ, его слабость и цѣлая исторія, отвратительная и мучительная. А потомъ вторая ссылка и многое. Мнѣ кажется, наступаетъ теперь новая эпоха, успокоенія совершеннолѣтняго и дѣятельности болѣе развитой. А, впрочемъ, проживемъ—увидимъ. Теперь одна цѣль, одно желаніе поправить здоровье Natalie и ѣхать, ѣхать на югъ, въ степь. если нельзя въ Италію.

23.—Тихое счастье домашнее снова начинаетъ кротко согрѣвать мое беспокойное существованіе. Здоровье Наташи лучше, духъ ея расправилъ опять свои крылья во всемъ спокойномъ благородномъ характерѣ. Бурные дни эти доказали мнѣ всю великую необходимость для меня въ ней. Всѣ святѣйшіе корни бытія сплетены съ нею неразлучно. Лишь бы какъ-нибудь устроить ея здоровье.

Что за прекрасная, сильная личность Ивана Кирѣевского. Сколько погибло въ немъ и притомъ развитаго. Онъ сломался такъ, какъ можетъ сломаться дубъ. Жаль его, ужасно жаль. Онъ чахнетъ, борьба въ немъ продолжается глухо и подрываетъ его. Онъ одинъ искупаетъ всю партію славянофиловъ.

25.—Годъ какъ начать этотъ журналъ, тридцать одинъ годъ мнѣ. Этотъ годъ былъ съ излишествомъ богатъ опытомъ, толчками по плюсу и по минусу; въ новый вступили весело въ кругу друзей и знакомыхъ.

27.—Не могу не замѣтить острогу уморительную. На дняхъ за ужиномъ я сказалъ, что нашъ девизъ *taceamus*. Хомяковъ прибавилъ *taceamus igitur*. А Александръ Ивановичъ Тургеневъ тот-

часъ спѣлъ: taceamus igitur, Russi dum sumus, post Mongalam servitutem, post Polon... (не упомяну) nos habebit humus! Да, помолчимъ!

Въ Германіи яростныя гоненія на свободу книгопечатанія. Прусскій король является безъ маски, Баварскій выдерживаетъ роль, которую игралъ всѣ жизнь — претенціозной тупости. Когда онъ издалъ свою глупую книжонку, написанную исковерканнымъ языкомъ: Walhala's Gunsten, которую въ Лейпцигѣ назвали Wal-fischhalle's Gunsten, въ одномъ изъ лейпцигскихъ журналовъ было сказано отъ имени Людвигъ Баварца: «Mein Bruder in der Wart der ist redselig, ich aber bin schreibselig». Хороши эти литераторы и говорунны.

30.—Едва прошло нѣсколько спокойныхъ дней,—Саша занемогъ и очень круто. Неужели вся жизнь должна быть пыткой и мученіемъ, смѣняемымъ для отдыха только и для того, чтобъ не уничтожился человѣкъ, покоемъ? Грустно, тяжело и только тѣмъ, что ничего не можешь дѣлать, какъ быть зрителемъ. Человѣкъ по песчинкѣ, несчетнымъ трудомъ, потомъ и кровью копить, а случай хватить и однимъ глупымъ ударомъ разрушаетъ выстраданное. Едва теперь удалось нѣсколько поправить разстроенное здоровье Наташи, спокойствіе, вниманіе, гармонія кругомъ; едва начали возвращаться силы, вотъ новый толчекъ. И кто его знаетъ, каковъ онъ будетъ... и весна... кровью полна голова и гадко.

Апрѣль мѣсяць.

5.—Длинный разговоръ о философіи съ И. Кирѣевскимъ. Глубокая, сильная, энергичная до фанатизма личность. Наука, по его мнѣнію, чистый формализмъ, самое мышленіе способность формальная, оттого огромная сторона истины, ея субстанціальность является въ наукѣ только формально и, слѣдовательно, абстрактно, не истинно или бѣдно истинно. Философія не можетъ рѣшить свою задачу, не достигнетъ примиренія и истины, потому что ея путь недостаточенъ etc., etc. Слово есть также формальное выраженіе, не исчерпывающее то, что хочешь сказать, а передающее односторонно. Конечно, наука par droit de naissance абстрактна и, пожалуй, формальна; но въ полномъ развитіи своемъ ея формализмъ—діалектическое развитіе, составляющее органическое тѣло истины, ея форму, но такую, въ которую утянуто само содержаніе. Содержаніе животнаго—не члены его, взятые какъ члены, но и не внѣ членовъ; оно само ставитъ органы и расчленяется. Конечно, та же наука имѣетъ результатомъ негачію и переходитъ себя, ибо философія каждой эпохи есть фактической, исторической міръ той эпохи, схваченный въ мышленіи. Переходя себя, она переходитъ необходимо въ *новый* положительной міръ, уничтоживъ все незыблемо

твердое старало. А Кирѣевскій хочетъ спасенія старого во имя несостоятельности науки. Такъ легко критика не засыпаетъ.

А propos. Въ 11 № Revue des Deux Mondes статья какого-то Lebre о Гегелѣ и Шеллингѣ. Очень умно и проницательно написана. Честь французу. Все ловко и живо схвачено, многое понято вѣрно и горячо. Жаль, что сжатые рамки не позволили ему высказаться. Онъ говоритъ о реакціи Шеллинга, какъ о неудачной попыткѣ положительной философіи, вѣ логики (а между тѣмъ на разумѣ) опертой и пр. Все то, что я замѣтилъ изъ нѣсколькихъ лекцій, прочтенныхъ мною,—поэтически возвышенное стремленіе, разбивающееся объ форму не свойственную, мистическіе обѣты, видѣнія. Но въ гостяхъ хорошо, а дома лучше. Гречъ подавалъ доносъ на *Отеч. Зап.*, и III отдѣленіе собственной канцеляріи отвергнуло его съ презрѣніемъ, написало ему полный отвѣтъ. Литераторъ. уничтоженный, замятый въ грязь Дуббельтомъ во имя гуманности!

10.—Невольно вспоминается, что было въ эти дни 8 лѣтъ тому назадъ. Меня отправили въ Пермь, день былъ такой же солнечный, но теплѣе. Какъ юнъ я тогда былъ! девятимѣсячная тюрьма только прибавила экзальтаціи. 9 апрѣля я простился и видѣлся съ Наташей; тутъ впервые мысль любви къ ней, благоговѣніе einer Huldigung явились въ головѣ, и я былъ весь подъ вліяніемъ свиданья. Выѣздъ былъ страшно тяжелъ. Въ Перовѣ я часа два ждалъ Кетчера; онъ не пріѣхалъ, и я съ растерзаннымъ сердцемъ поскакалъ, поскакалъ въ жизнь. Да, лишь съ этого дня считается практическая жизнь, и, Господи, сколько прожито и *нажито* въ эти 8 лѣтъ! Будто бы въ пристани,—но это не такъ, эта станція, une halte. Вчера такъ тихо, мирно сидѣли мы вечеръ у Грановскаго, мы, они, Кетчеръ и Боткинъ, какая благородная кучка людей, какой любовью перевязанная! Въ настоящемъ много прекраснаго, ловить, ловить, все ловить и все въ упиваться: дружбой, виномъ, любовью, искусствомъ. Это значитъ жить. Впередъ смотрѣть отрадно и страшно: тучи, вулканическія гибели и хорошая погода послѣ тучь... да, можетъ, солнце этихъ ведренныхъ дней посвѣтитъ на могилы наши. А это скверно. Нѣтъ столько самоотверженія, чтобъ отказаться отъ участія въ наградѣ, когда не отказываемся ни отъ какого труда. И частно то грядущее, и отрадно, и страшно. Болѣзнь Наташи не уменьшается.

И что за странное устройство людское. Намъ хорошо теперь, окруженные удивительной симпатіей, благороднѣйшими лицами, съ которыми давно не видались, которыхъ видѣть люблю. А между тѣмъ, мнѣ бы хотѣлось въ даль, въ глушь, гдѣ бы было тепло, гдѣ бы было море и гдѣ бы мы остались только вдвоемъ.

Сегодня я читалъ какую-то статью о «Мертвыхъ Душахъ» въ *Отеч. Зап.*, тамъ приложены отрывки. Между прочимъ, русскій

пейзажъ (зимняя и лѣтняя дорога); перечитываніе этихъ строкъ задушило меня какой-то безвыходной грустью, эта степь—Русь такъ живо представилась мнѣ, современный вопросъ такъ болѣзненно повторился, что я голову былъ рыдать. Дологъ сонъ, тяжелъ. За что мы рано проснулись,—спать бы себѣ, какъ все около.—Довольно!

13.—Боже мой, какими глубокими мученіями учатъ жизнь, лѣта и событія; только они могутъ совершить становленіе въ жизнь, ни талантъ, ни геній! Въ мышленіи все мое. Тутъ что-то ускользнуло, растетъ независимо и вырастаетъ въ чудовище. Мнѣ такъ тяжело было вчера и сегодня, я становлюсь въ жизни скептикомъ, я себя презираю за этотъ скептицизмъ. Гдѣ сила любви? Я могъ, любя, нанести оскорбленіе, пасть мелко, гнусно. Она, еще болѣе любя, не можетъ стереть этого паденія съ меня, не можетъ привести мнѣ на жертву Grübeleien оскорбленій; что же можетъ человекъ для человека? Сдѣлать жертву въ томъ случаѣ, когда ему пріятнѣе жертвовать, нежели не жертвовать. Страшно; лучшія, святейшія отношенія, индивидуализируясь и углубляясь въ одномъ личномъ, грозятъ страшными ударами. Что замѣшало въ мою жизнь этотъ звукъ, страшно раздирающій душу? А бываютъ минуты, въ которыя жизнь просто становится противна и отвратительна.

15.—Письмо отъ Огарева, письмо отъ Бѣлинскаго и длинный разговоръ съ Кетчеромъ и Наташей. Странная вещь, до какой степени низокъ человекъ; онъ самъ и ни въ какомъ случаѣ не можетъ выйти изъ себя или подняться въ такую сферу, въ которой бы въ самомъ дѣлѣ поглощались его личныя особенности, Eigen-thümlichkeiten характера и пр. Какъ опытъ и навыкъ къ вѣрному взгляду безпрестанно открываютъ въ жизни, въ людяхъ новое и какъ по большей части тягостно трезвое воззрѣніе; нимба нѣтъ, котормъ бы окружалось. Мы удивляемся великимъ самопожертвованіямъ потому, что мѣримъ все на свой аршинъ. Все дѣло въ томъ, что чѣмъ человекъ жертвуетъ, то не есть его существенный интересъ или наслажденіе,—самопожертвованіе превышаетъ его. Всякое я тянетъ къ себѣ, даже въ любви и дружбѣ. Эгоизмъ есть только сосредоточенное, болѣзненное, исключительное, сумасшедшее проявленіе личности, которая имѣетъ сильный, рѣзкій голосъ во всѣхъ начинаніяхъ людскихъ. Сознаніе не вовсе признанная власть надъ личнымъ влеченіемъ. Огаревъ понимаетъ, что онъ свое положеніе дѣлаетъ безвыходнымъ именно по нерѣшительности, и не дѣлаетъ однако ни шагу потому, что самая тягость его положенія для него легче, нежели рѣшится на что-нибудь. И все-таки какъ прекрасны люди, какъ Огаревъ и въ другомъ родѣ, какъ Бѣлинскій. Какой любовью и какимъ привѣтомъ мы окружены!

Графъ Строгоновъ писалъ еще къ Бенкендорфу и просилъ доложить государю о моемъ путешествіи. О, Боже, неужели такъ

близко совершеніе мечты, упованіе самаго заповѣднаго, — мнѣ страшно вздумать, что въ іюлѣ, быть можетъ, проведу мѣсяць съ Огаревымъ на Lago maggiore; я поюнѣю, это одно изъ послѣднихъ требованій чисто личныхъ.

18.—Какъ бы не такъ. Письмо отъ Строгонова, которымъ извѣщаетъ объ отказѣ. Какое постоянное, упорное, злое гоненіе. И за что? Какія тутъ причины? Фридрихъ II говорилъ, что онъ съ однимъ Салтыковымъ не могъ воевать и что тотъ его всегда приводилъ въ замѣшательство своими движеніями, потому что они были лишены всякой причины и всякаго смысла. Не всему можно искать причинъ! Еще мечта, одна изъ предпослѣднихъ, убита. И ея положеніе не измѣняется, все то же болѣзненное настроеніе, та же грусть. Одинъ я какъ-то безобразно здоровъ физически, и внутри иногда бываетъ хорошо, а часто ночь ночью. Какъ-то холодно въ груди, давящая тоска, убійственная, разлагающая мозгъ не костей, а духа.

Друзья, друзья, они много дѣлаютъ, мы ими окружены, какъ прелестнымъ вѣнкомъ, но мнѣ надобно быть безъ всякой задней мысли, чтобъ отдаваться имъ, а когда сквозь ихъ и свои слезы я вижу слезы ея, я кажусь бѣглецомъ съ поля битвы, и радость меркнетъ. Путешествіе, Италія излечили бы ее и меня..

Гибель, потуханье гдѣ-нибудь въ холодныхъ, свѣговыхъ полянахъ, безъ участія, безъ отзыва — хороша будущность! Одно осталось—заниматься. Итакъ, опять за книги, и затаить все живое въ душѣ, и обмануть себя схоластикой.—Abomination!

21.—Спорили, спорили и какъ всегда кончили ничѣмъ, холодными рѣчами и островами. Наше состояніе безвыходно, потому что ложно, потому что историческая логика указываетъ, что мы внѣ народныхъ потребностей и наше дѣло отчаянное страданіе. Страданіе бесимпатичное, не оцѣняемое и, конечно, полезное для будущаго, но намъ не дающее никакого личнаго вознагражденія; жить отвлеченной идеей самопожертвованія неестественно, даже религіозные фанатики имѣли награду личную въ упованіи. Стоицизмъ есть тоже отчаянное положеніе.

22.—Ужасно проведенный вечеръ и ночь. Ея грусть принимаетъ видъ безвыходнаго отчаянія. Бывало, за слезами слѣдовали свѣтлыя слова. Я не знаю, что мнѣ дѣлать. Ни моя любовь, ни молитва къ ней ничего не помогаютъ. Я гибну нравственно уничтоженный, флетрированный. Каплю ея на раны, каплю воды на алканье!.. Изнемогаю. Я шутя, безсознательно, буйствуя, развязалъ руки низкой натурѣ своей, разбилъ зданіе всей жизни, я не умѣлъ сохранить. потому что слишкомъ много дано было.

Теперь нѣтъ помощи; что укажетъ время,—не знаю; я надѣялся, я предвидѣлъ, что все это пройдетъ, что ужасное положеніе прой-

дѣть, какъ катастрофа, но свѣтлое то прошло. Она бываетъ жестка, безпощадна со мной,—много надобно было, чтобъ довести до этого ангельскую доброту.

Она не слушаетъ болѣе словъ моей любви, а все же, подчасъ мнѣ кажется, я не заслужилъ этого; я такъ много люблю, такъ искренно раскаиваюсь. Жизнь ужасно тяжела, — подчасъ мнѣ (и это первый разъ, какъ себя запомню) кажется, хорошо бы умереть, «глупую сказку, какъ говорить Макбетъ, рассказанную дуракомъ» закрыть—и да здравствуетъ небытіе. Страшно земля подъ ногами колеблется. Нѣтъ точки, на которую опереться. А мои мечты—мечты! Иногда хотѣлось бы броситься на грудь кого-нибудь близкаго и говорить, и стонать, а иногда такъ пошлы кажутся всѣ эти друзья; ненужно ихъ, всѣ они ничего не понимаютъ.

У меня не осталось ничего святого, одна она; она и богъ, и безсмертье, и искупленье; передъ ней я святотатецъ. Она хочетъ и не можетъ отпустить мнѣ. Ночь, ночь!!

28.—Она сказала на концертѣ Листа *новость*. Господи, что будетъ, то будетъ. Можетъ, это выходъ, представляемый судьбою. Все взволновалось во мнѣ и какое-то чувство радостное переплелось съ тысячей другихъ чувствъ. О, если-бъ любовь могла творить чудеса, я совершилъ бы ихъ. Надежда и страхъ.

М а и м ѣ с я ц ъ .

1.—На прошлой недѣлѣ слушалъ нѣсколько разъ Листа. Когда столько и столько накричать, ждешь Богъ вѣсть чего, и часто обманываешься—именно потому, что ожиданія сверхъестественныя неисполнимы. Однако, истинные таланты не теряютъ ничего отъ крика фамы. Такова Таліони, на которую я смотрѣлъ иногда сквозь слезы; таковъ и Листъ, котораго слушая, иногда наворачивается слеза. Поразительный талантъ.

Вчера дикій концертъ цыганъ. Для Листа это было ново, и онъ увлекся. Музыка цыганъ, ихъ пѣніе не есть просто пѣніе, а драма, въ которой солистъ увлекаетъ хоръ—безгранично и буйно. Понять легко, почему на вакханаліяхъ цыгане дѣлаютъ такой эффектъ.

6.—Я безпрестанно строю, строю вновь храмъ домашняго счастья, и онъ мнѣ кажется опять незыблемымъ, а черезъ день рушится, какъ прахъ. Какая страшная казнь мнѣ. Все, что я дѣлаю для того, чтобъ исправить, оказывается недостойнымъ. Я святотатственными руками коснулся дерзко и грубо до святыхъ отношеній, я могъ забыть ихъ, я оправдывалъ себя, и обрушилъ страшныя несчастія на голову свою. Я, привязанный внутренно къ позорному столбу, долженъ страдать; я игралъ всѣмъ благомъ жизни,—про-

игралъ, это естественно. Но я понимаю, что это не такъ, что во мнѣ таилась всегда основа святая и чистая. Да зачѣмъ же она не удержала меня? О, если послѣ всѣхъ этихъ мученій должно усугубиться мое несчастіе, если... страшно сказать... что тогда будетъ? Есть выходъ. Да ужъ вѣры нѣтъ въ свою силу. Я нравственно запятнанъ. Тяжело, безконечно тяжело, и тѣмъ тяжеле, что я какъ ребенокъ хватаюсь за каждую тѣнь надежды и, по прежней свѣтлости характера, открываю душу радостнымъ упованіямъ, а время обличаетъ несостоятельность ихъ.

Приемъ Листа у Павлова выразилъ какъ-то всю юность нашего общества и весь характеръ его. Литераторы и шпионы, все выказывающее себя. Мнѣ было грустно. А Листъ милъ и уменъ. 1) 9.—Пять лѣтъ послѣ моей свадьбы. Этотъ пятый годъ былъ тяжелъ, онъ раздавилъ послѣдніе цвѣты юности, послѣднія упованія,—и былъ правъ. Налегать, играть своимъ счастіемъ, значить оправдать бѣдствія, накликать ихъ. Одно осталось цѣло, свято, какъ было: это она, она изнуренная, склоненная подъ бременемъ жизни, подъ бременемъ, которое я не умѣлъ сдѣлать легче. Я взглянулъ на себя и въ жизнь. У меня характеръ ничтожный, легкомысленный; людямъ нравится во мнѣ широкій взглядъ, чело-вѣческія симпатіи, теплая дружба, доброта, и они не видятъ, что fond всему слабый характеръ, не въ томъ смыслѣ, какъ у Огарева—инертивно-слабый, а суетливо-слабый, и, какъ такой, склонный къ прекраснымъ порывамъ и гнуснѣйшимъ поступкамъ. Послѣ гнуснаго поступка, я понимаю всю отвратительность его, то-есть слишкомъ поздно, а твердой хранительной силы нѣтъ. И эти паденія повергаютъ меня въ скептицизмъ страшный, убійственный, повязка падаетъ за повязкой, мечта за мечтой, и простота результатовъ, до которыхъ доходишь этимъ путемъ, страшна, хуже всякаго отчаянія именно по наглой наготѣ своей. Вчера говорилъ объ этомъ съ ближайшими людьми, но и они не хотятъ понять: одинъ умъ ставится ими во что-нибудь и благородная *поступь*, такъ сказать. Мнѣ больно принимать ихъ любовь, зная, что они ее дурно помѣстили. Да, да, послѣдніе листы облетѣли; будетъ ли весна и новый листъ, могучій по возврату? кто скажетъ. И призваніе общее, и частное призваніе, все оказалось мечтою, и страшныя, раздирающія сомнѣнія царятъ въ душѣ,—слезы о вѣкѣ, слезы о странѣ, и о друзьяхъ, и объ ней. Чаша эта горька! А пять-то лѣтъ тому назадъ, какъ все было свѣтло и ясно; это былъ предѣлъ, далѣе котораго индивидуальное счастье не идетъ. Шагъ далѣе, шагъ вонъ. Шагъ вонъ значило для нея шагъ къ могилѣ. Страшная логика у жизни. Иногда, кажется, для того можно лишить себя жизни, чтобъ испортить развитіе этихъ королларій, чтобъ сдѣлать насмѣшку.

На днях читаль я Кирѣевскому и Хомякову четвертую статью— большой эффектъ и рукоплесканіе. Третья статья напечатана въ *Отеч. Зап.* и тоже производитъ говоръ, но прежде я болѣе бы вкусилъ эти рукоплесканія, упился бы ими отъ души; теперь для меня существуетъ одно упоеніе—*via humida*, т. е. виномъ.//

13.—Баронъ Гакстгаузенъ и Козегартенъ, путешественники изъ Пруссіи, занимающіеся изслѣдованіемъ славянскихъ племенъ и въ особенности бытомъ и состояніемъ крестьянъ въ Европѣ. Я имѣлъ случай говорить съ Гакстгаузеномъ; меня удивилъ ясный взглядъ на бытъ нашихъ мужиковъ, помѣщичью власть, земскую полицію и управленіе вообще. Онъ находитъ важнымъ элементомъ, сохранившуюся изъ древности, общинность, ее-то надобно развивать, сообразно требованіямъ времени. Индивидуально освобожденіе съ землею и безъ земли онъ не считаетъ полезнымъ, оно противопоставляетъ единичную, слабую семью всѣмъ страшнымъ притѣсненіямъ земской полиціи, *das Beamtenwesen ist grässlich in Russland*. «Зачѣмъ у васъ судейская власть не поставлена самобытно относительно другихъ властей? Зачѣмъ дворяне не умѣютъ пользоваться выборами и избирать на уѣздныя мѣста порядочныхъ людей?» Мало ли зачѣмъ. Затѣмъ, что правительство не вынесетъ никакой самобытной власти, затѣмъ, что исправникъ трактуется какъ лакей, затѣмъ, что въ уѣздныхъ городахъ жить нельзя— нѣтъ ни лекарей, ни средства воспитать дѣтей, ни общества, ни удобствъ жизни. Онъ хотѣлъ, чтобъ ему сказали нормальное отношеніе помѣщичьихъ крестьянъ къ господину, напримѣръ, въ Московской губерніи, алгебраическую формулу, такъ сказать. Но это вздоръ; если-бъ отношеніе общины сельской къ помѣщику измѣнялось съ ея величиною, съ количествомъ земель или иныхъ условій жизни, тогда можно бы понять какую-нибудь норму. Это не такъ. Состояніе общины N, зависитъ отъ того, что помѣщикъ ея богатъ или бѣденъ, служитъ или не служитъ, живетъ въ Петербургѣ или въ деревнѣ, управляетъ самъ или приказчикомъ. Вотъ это-то и есть жалкая и беспорядочная случайность, подавляющая собою развитіе. Между прочимъ, говоря о дворовыхъ людяхъ и мастеровыхъ, баронъ Гакстгаузенъ замѣтилъ: *il y a des principes d'un saint-simonisme renversé (à chacun selon ses talents)*, т. е., что чѣмъ талантливѣе, тѣмъ больше дуютъ съ него оброка. Демократическая нивелировка.

15. Скоро будетъ Бѣлинскій; жду, очень жду его. Я мало имѣлъ близкихъ отношеній по внѣшности съ нимъ, но мы много понимаемъ другъ друга. И я люблю его рѣзкую односторонность, всегда полную энергіи и безстрашную. Потому онъ по своему симпатиченъ. Мнѣ надобны эти обновленія, какъ свѣжія примочки воспаленному мѣсту: я какъ-то быстро изнашиваю жизнь. Онъ

пишетъ мнѣ о моемъ счастиі, а я ему хочу высказать, какъ я не умѣлъ понять его, какъ я забылся, зазнался. Онъ меня осудить, и мнѣ останется, покраснѣя и затаивъ слезу, слушать. То же будетъ, когда явится Огаревъ! Одно, одно, лишь бы новыя силы помогли ей; мнѣ страшно жить такъ, я стою со всѣмъ благомъ моей жизни, съ моимъ руномъ на весеннемъ льду, и эти минуты внутренняго трепета, ихъ ничѣмъ ничто не вознаградитъ. Страшный скептицизмъ остается результатомъ всего этого, и ни занятія, ничто не мощно побѣдить боль.

26.—Одиннадцать дней не дотрагивался до журнала, ну, что же въ нихъ?—ничего. Жадное стремленіе къ какой-то полной жизни и скептицизмъ все мутящій. Всякій день уносить что-нибудь. Я быстро отцвѣлъ и отживаю теперь свою осень, за которой не будетъ весны. Шиллеръ безконечно правъ, говоря, что *Irrthum ist Leben*; медузины взгляды скептицизма убили черты, оживленные мечтами, и пр. Я смотрю около — все дѣти, умныя, полныя благородства, высоты, симпатіи и вѣры, дѣтской вѣры; всѣ они могутъ дѣлать, потому что они игру принимаютъ за дѣло. Дитя потому сонъ амоге дергаетъ шнурокъ, что онъ твердо убѣжденъ въ лошади на концѣ шнурка. На дняхъ говорили о безсмертіи. Я не вѣрилъ въ безсмертіе, но желалъ его; этотъ разъ я съ ужасомъ замѣтилъ, что мнѣ все равно и что мысль уничтоженія даже сладка въ иную минуту; выдохнуться подъ прекраснымъ небомъ, среди людей свободныхъ, пышныхъ растений, благословляя дѣтей, друзей,—лишь бы не увидѣть упрека на чьемъ-либо лицѣ. Зачѣмъ женщина вообще не отдается столько живымъ общимъ интересамъ. а ведетъ жизнь исключительно личную? Зачѣмъ онѣ терзаются личнымъ и счастливы личнымъ? Соціализмъ какую перемѣну внесетъ въ этомъ отношеніи?

29. — Я забывался, падалъ и очистился, какъ христіанинъ, кровью невиннаго. Но эта кровь вопіетъ, я изнемогаю, теряю всѣ силы. Ея слова, ея уничтоженіе, горесть. Нѣтъ, я не такъ палъ; къ падшему пощада; если бы у меня былъ характеръ, я зарѣзался бы. Кромѣ эгоизма есть натяжки у людей, гипостазія эгоизма, онъ начало и конецъ всего, плюсь гордость и желаніе наслажденій. Жить иную минуту легко, а всегда—тяжело, безконечно тяжело. Я ослабѣлъ какъ-то.

31.—Сегодня или вчера годъ, какъ пріѣхалъ Огаревъ въ Новгородъ. Этотъ годъ страшно обширенъ по внутреннимъ событіямъ, и въ немъ я отстрадался за все благо моей прошлой жизни. Последній безотчетно свѣтлый мигъ, былъ мигъ, въ который мы проводили его. Вслѣдъ за тѣмъ нечистыя волненія, тоска душнаго состоянія ссылки, переѣздъ, дурачество и горестное, раздирающее душу сознаніе, что я, дурачась, не смотрѣлъ на существо, близъ

меня стоящее; что я поколебаль ея вѣру, отнялъ основу нравственнаго быта, убилъ, разрушилъ. Когда я опомнился, я бросился на колѣни, я рыдалъ, я умолялъ, но было поздно. Есть страшныя развитія души, которыя не имѣютъ прошедшаго; для нихъ прошедшее вѣчно живо, они не гнутся, а ломаются, они падаютъ паденіемъ другого и не могутъ сладить съ собою. Вчера вечеромъ нашъ разговоръ объ этомъ былъ кротокъ, меня посѣтило опять давно неизвѣстное чувство гармоніи, и я плакалъ отъ радостнаго чувства. О, если-бъ она знала все, что дѣлается въ душѣ моей, она увидѣла бы, что никогда я не былъ достойнѣ блага ея любви, я сталъ чище, выше всею глубиною моего паденія.

Размышленіе по поводу *Записки объ Останкинѣ*. Дружба и любовь должны бѣжать холодной, юридической справедливости. Любовь въ основаніи пристрастна, лицепріятна, въ этомъ ея характеръ. Тактъ, уваженіе, деликатность на всѣхъ степеняхъ сношенія людей другъ съ другомъ; близость, пренебрегающая этимъ, близка къ шероховатости. Уваженіе, вѣра—вотъ риза истинной симпатіи.

І Ю Н Ъ М Ъ С Я Ц Ъ .

4.—Histoire de Dix ans, L. Blanc. Чрезвычайно замѣчательное явленіе по взгляду, по изложенію и по ревелациі. Въ революціи 30 іюля вся Франція и вся первая половина XIX вѣка имѣютъ представителей en bien et en mal. Франція величественно и торжественно возстааетъ, оскорбленная глупыми ордонансами; противодѣйствіе геройское, но которое, умѣвши побѣдить, не имѣло выдержки и позволило себя глупо обмануть. Скептический, не дошедшій до формулированія своей мысли, XIX вѣкъ не имѣлъ ничего готоваго. Демократія была безсистемная, социализмъ едва родившійся, съ первыхъ дней революціи провидитъ, чья побѣда. Робкая, трусливая, корыстолюбивая и переменчивая bourgeoisie завладѣетъ всѣмъ, и въ центрѣ ея, окруженный неблагородными лицами и нѣсколькими обманутыми, какъ Казимиръ, хитрый Людовикъ Филиппъ, человекъ прозаическій, далекій отъ всякой геніальности, царь во имя посредственности и для нея. Камера—грязное болото, въ которомъ исчезаетъ великій потокъ революціи, боясь народа болѣе, нежели Бурбоновъ, спѣшила сдѣлать короля. А король ея разомъ обманулъ мошеннически Карла X, и камеру, и народъ. Отъѣзжающій старикъ, окруженный своей семьей, вѣрный этикетамъ и рыцарски преданный идеѣ, которой уже нѣтъ, примиряетъ съ собою; его жаль, онъ окруженъ какимъ-то поэтическимъ отблескомъ прошедшихъ вѣковъ. Людовикъ Филиппъ, принимающій безъ штановъ депутацію, представляетъ какую-то циническую фигуру. поселяющую отвращеніе.

Покровское.

14.---Странно идетъ наша жизнь. Возлѣ каждой минуты блага и счастья какая-то безотходная иронія ставитъ страшныя привидѣнія. Третьяго дня мы приѣхали сюда и я давно не былъ въ такомъ свѣтло-радостномъ расположеніи. Видъ полей меня обмылѣ, мнѣ было хорошо, очень хорошо... тишина кругомъ, спокойствіе, все расположило душу къ ряду впечатлѣній безотчетно гармоническихъ. А сегодня утромъ въ нѣсколькихъ шагахъ отъ дома утонулъ Матвѣй. Я любилъ его, онъ былъ для меня болѣе, нежели слуга, я въ немъ воспиталъ благородныя свойства и они принялись; онъ мальчишкомъ вступилъ въ мой домъ и съ лѣтами прибрѣлъ истинно человѣческія достоинства. Онъ развился болѣе, нежели надобно, авес une prècocité, которая начинала его мучить неравномѣрностью своей. Онъ тяготился своимъ состояніемъ, часто бывалъ небреженъ, но всегда благороденъ, онъ искупалъ цѣлый классъ людей въ моихъ глазахъ. И вдругъ погибнуть такъ глупо, такъ безмысленно случайно, 22 лѣтъ, это страшно. Какой скептицизмъ навѣваютъ такіе примѣры. Вчера онъ упалъ было съ плотины. Саша со слезами бросился къ нему и сказалъ: «я тебя люблю, не утони», это послѣдняя сладкая минута его. Я совѣтовалъ не купаться за плотиною, онъ не послушался; сегодня утромъ пошелъ и заплатилъ жизнью за неосторожность. Можетъ, для него смерть благо, жизнь ему сулила страшные удары; съ вѣжной душой, онъ былъ все же слуга, у него не было будущаго. Но страшно быть свидѣтелемъ такого спасенія отъ будущаго.

Когда я прибѣжалъ на берегъ, его искали и полчаса не могли найти въ глубинѣ; я велѣлъ спустить плотину, его поймали веводомъ и вытащили. Боже, этотъ, цвѣтушій силами, молодой человекъ, который вчера вечеромъ пребеззаботно говорилъ со мною, который не думалъ, конечно, о смерти, теперь посинѣлый трупъ съ открытыми глазами. Что думалъ онъ, какъ шелъ вдвоемъ купаться? они дурачились въ рѣкѣ; что думалъ онъ, протянувши руки и не найдя тотчасъ помощи? Еще разъ страшно!

Грустное впечатлѣніе этого случая надолго отравитъ нашу деревенскую жизнь, а она было началась такъ благотворно. Бѣдный Матвѣй! Писалъ къ его матери.

Вчера деревенскіе мальчики приходили играть съ Сашей, мнѣ грустно было смотрѣть на нихъ. Съ какимъ радушіемъ наперерывъ они старались чѣмъ-нибудь потѣшить Сашу.

Низшіе классы ужасно оклеветаны. Посмотрите, какъ добръ, какъ весь предается ласкѣ простолюдинъ (разумѣется, исключая дворовыхъ); стоитъ съ нимъ обходиться по человѣчески. Грубые приемы наши ставятъ его en garde; самая привычка подозрѣвать.

что его хотягь обидѣть, насторожила ихъ. Но когда онъ увѣрится, что къ нему подходятъ съ любовью, онъ встрепенется и радъ жизнь положить за всякаго. Горе людямъ, пользующимся властью, чтобъ еще болѣе втапывать въ грязь народъ, и стыдъ имъ за клевету подлую и низкую на нихъ: они клеветуютъ, чтобъ оправдаться. А тѣ бѣдныя не имѣютъ этой послѣдовательности ненависти къ истинно враждебному стану.

Вчера хоронили его; Кетчеръ и я несли гробъ. Миръ его памяти! Какъ земное быстро минуетъ, переходитъ, пораженное смертью. Жизнь, какъ потокъ, тотчасъ находитъ свое русло и течетъ.

Уединеніе сельской жизни, близость съ природой и даль отъ людей чрезвычайно хороши. Человѣкъ долженъ по временамъ отходить въ сторону, чтобъ собраться. Внѣшнее однообразіе жизни деревенской даетъ просторъ внутреннимъ процессамъ.

Каждая бездѣлица въ этомъ домѣ и въ околныхъ мѣстахъ напоминаетъ мнѣ меня въ разныя эпохи моей жизни: я нашелъ надпись, сдѣланную мною въ 1827 г., и другую—въ 1838. Какая поэма, романъ, какой рядъ событій и видоизмѣненій между этими годами! Стремлюсь побывать въ Васильевскомъ, тамъ я долѣе живалъ и лучшія воспоминанія дѣтства и отрочества связаны съ горами, водами этой деревни. Лѣта развитія не прибавляютъ грузъ, а, напротивъ, потребляютъ массу мечтаній и вѣрованій юношескихъ; становится все легче, плечи многихъ довлѣютъ нести тяжести, но ничего не нести надобно имѣть въ десятеро болѣе силъ. Думать, что судьба человѣка, напр., таинственно предопредѣлена, стараться разгадать эту тайну, узнать нѣчто грозное—легче, нежели знать, что никакого секрета нѣтъ спрятаннаго о жизни каждаго человѣка. До большей легкости ноши достигъ я рядомъ бурныхъ испытаній, но мнѣ грустнѣе. Въ 1827 г. я былъ 15 лѣтъ, идеи древняго республиканизма бродили въ головѣ, я вѣрилъ непременно, что «взойдетъ заря плѣнительнаго счастья». Тутъ, въ этой комнаткѣ, лежа на этомъ диванѣ, я читалъ Плутарха, и свѣжее, отроческое сердце билось. Въ 1838 г. я пріѣзжалъ изъ ссылки, черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ свадьбы, мнѣ было 26 лѣтъ, жизнь раскрыла всѣ прелести и упоенія. Теперь, въ 1843 г., измученный многими, съ скептицизмомъ въ душѣ, я ищу у тѣхъ же полей участія. А юности уже нѣтъ, а вѣрованій нѣтъ, только что-то похожее волнуетъ подчасъ кровь.

18.—2-й томъ L Blanc, 1831 годъ. Отличительная черта французскаго правленія послѣ революціи 30 года — ограниченность, коварство и стараніе мошенническими штуками скрыть свои корыстные и жалкіе виды. Дома, въ камерѣ, въ сношеніяхъ съ государями и съ народами—то же самое. Талейранъ доказалъ, наконецъ, что плутовство не значить геніальность. Король потерялъ всякое

уваженіе,—Dupont (de l' Eure) уличилъ его во лжи. Людовикъ Филиппъ взбѣсилъся и сказалъ, что онъ обнародуетъ его грубость. «Почемъ знать, отвѣчалъ министръ, кому повѣрять, вамъ или Dupont (de l' Eure)». Король смирился. Обиднѣе всего тупость тогдашняго управленія; Франціи выпадала гегемонія всей либеральной Европы, а она загрязнилась въ дипломатическихъ сдѣлкахъ, выдавала, продавала своихъ приверженцевъ. Орлеанская эпоха не смоеть этихъ пятенъ. Бельгія, Испанія, Италія и Польша уличаютъ ее въ эгоизмъ и трусости. Въ противоположность ей, карлисты получаютъ благородный свѣтъ. Одно объясненіе — неразвитость демократической партіи; политическіе перевороты безъ соціального сдѣлались невозможны. А царство средняго сословія было все же продолженіе феодальнаго соціализма, котораго высшее развитіе въ Америкѣ, остановившейся на односторонней тенденціи. Сѣверная Америка — *non plus ultra* феодальнаго развитія, такъ, какъ оно должно было явиться въ мірѣ реформаціонномъ.

26.—А какъ взглянешь около себя... Бѣдный, бѣдный русскій мужикъ. И что досаднѣе всего видѣть, средство поправить его состояніе по большей части подъ руками: алчность помѣщиковъ и неустройство государственныхъ крестьянъ повергаетъ ихъ въ это положеніе. Глядя на ихъ жизнь, кажется чѣмъ-то чудовищно-преступнымъ жить въ роскоши; обыкновенно мужикъ здѣшней полосы никогда не ѣстъ мяса, у него едва хватаетъ хлѣба, коли по-богаче, ѣстъ капусту; онъ каждый день съ своей семьей отыгрывается отъ голодной смерти. О запасахъ думать нечего; умри лошадь, корова, онъ пошелъ ко дну. У кого много работниковъ въ семьѣ, тѣ живутъ получше; но много ли такихъ? Возлѣ ихъ бѣдныхъ полей, богатая поля помѣщика, обработанныя его руками, скирды хлѣба, копны сѣна. Какое ангельское самоотверженіе! Сегодня прихотили къ окну нищія изъ сосѣдней деревни; помѣщикъ выгоняетъ ихъ ежедневно на работу поголовно, — у нихъ хлѣба нѣтъ, это бросается въ глаза, а если ѣсть только хлѣбъ, то совѣсть помѣщика чиста: чего же имъ болѣе, они сыты. Мы дивимся гладіаторамъ, а развѣ черезъ вѣкъ не будутъ дивиться намъ, нашей свирѣпой жестокости, отсутствію человѣколюбія въ насъ? Чѣмъ мы лучше суринамскихъ колонистовъ, англичанъ въ Индіи? Нѣтъ, мы хуже, потому что крестьяне наши лучше дикихъ: кротко, грустно несутъ они тяжелый крестъ жизни, черно проводятъ ее, имѣя въ перспективѣ розги, голодь и барщину, если оброчный, рекрутство, взятіе во дворъ. Наши славянофилы толкуютъ объ общинномъ началѣ, о томъ, что у насъ нѣтъ пролетаріевъ, о раздѣлѣ полей; все это хорошіе зародыши и долею оны основаны на неразвитости, — такъ, у бедуиновъ право собственности не имѣетъ эгоистичнаго характера европейскаго; но они за-

бываютъ, съ другой стороны, отсутствіе всякаго уваженія къ себѣ, глупую выносливость всякихъ притѣсненій, словомъ—возможность жить при такомъ порядкѣ дѣлъ. Мудрено ли, что у нашего крестьянина не развилось право собственности въ смыслѣ личнаго владѣнія, когда его полоса не его полоса, когда даже жена, дочь и сынъ—не его. Какая собственность у раба? Онъ хуже пролетарія—онъ *res*, орудіе для обработыванія полей. Баринъ не можетъ убить его, такъ же, какъ не могъ при Петрѣ, въ извѣстныхъ мѣстахъ, срубить дубъ; дайте ему права суда, тогда только онъ будетъ человѣкомъ. Двѣнадцать милліоновъ людей *hors la loi*. *Carmen horrendum*.

29. — Дочиталъ первые три тома L. Blanc. Какъ поэтически явился сенъ-симонизмъ, какъ геройски явилась республиканская партія и какъ вдругъ уничтожились одни и обезсилили другіе. Но если они видимо уничтожились и ослабли, то въ нравахъ, въ общемъ мнѣніи осталось очень-очень много. У нихъ не было полной отгадки. Между тѣмъ необходимость социальнаго переворота теперь стала очевидна; враги развитія, какъ Гизо, понимаютъ и трещатъ. Измѣненіе права собственности, коммунальная жизнь, организація работъ—вопросы, занимающіе всѣхъ, видящихъ далѣе носа; нелѣпость случайнаго и нелѣпаго распредѣленія такого важнаго орудія какъ богатство, нелѣпость гражданскаго порядка, приносящаго на жертву огромное большинство, невозможность равенства при такомъ устройствѣ,—все это стало очевидно, а давно ли? Возрѣнія со стороны консерватистовъ проникнуты сознательно или безсознательно эгоизмомъ и своекорыстіемъ привилегированныхъ кастъ. Теперь, напримѣръ, толкуютъ, что при организаціи равнаго воспитанія отецъ не можетъ дать того воспитанія, которое онъ считаетъ лучшимъ, а забываютъ, что теперь всѣ отцы низшихъ классовъ не могутъ дать никакого воспитанія своимъ дѣтямъ. Конечно, при лучшемъ общественномъ устройствѣ многіе не будутъ имѣть возможности тратить деньги какъ теперь, они стѣсняются,—но никто не будетъ мереть съ голоду. Франція принадлежитъ великая инициатива этого переворота. Она ему положила начало конвентомъ. Болѣзненно достигаетъ она до осуществленія. Достигнетъ ли когда? Все равно, человѣчество ей не забудетъ первый шагъ. Удивляюсь, какъ славянобѣснующіеся не понимаютъ исторіи, не понимаютъ европейскаго развитія, — это помѣшательство. Славяне въ будущемъ, вѣроятно, призваны ко многому, но что же они сдѣлали въ прошедшемъ со своимъ стоячимъ православіемъ и чуждостью отъ всего человѣчества?

30. — Гостили Бѣлинскій, Боткинъ, Грановскіе. Исторія Боткина отравила почти все время, она поселила неловкость между нами и покрыла чѣмъ-то тяжелымъ все время. Конечно, онъ не

правъ, какъ смѣшно-слабый характеръ, какъ человѣкъ, пріучившійся рефлектировать тамъ, гдѣ должно дѣйствовать, наконецъ какъ человѣкъ, ставящій эгоистически выше всего какое-то себѣ-потворство, обоготворяющій маленькія удобства и боящійся поднести чашу жизни къ устамъ, потому что тяжело держать ее. Все это такъ; далѣе, мы только тѣхъ людей можемъ уважать, которые, рѣшивши въ сердцѣ и въ головѣ вопросъ, ломаютъ все препятствія, пренебрегаютъ ранами, словомъ, имѣютъ храбрость поступка и всехъ послѣдствій его, доросли до дѣйствительной жизни. Но, съ другой стороны, нельзя не видѣть, что слабость Боткина испугалась въ самомъ дѣлѣ страшнаго. Онъ содрогнулся отъ слова бракъ; истинная любовь не содрогнулась бы, но все же бракъ страшенъ: контрактованіе себя, кабала, цѣпь.

Бракъ не есть истинный результатъ любви, а христіанскій результатъ ея; онъ обрушиваетъ страшную отвѣтственность воспитанія дѣтей, семейной жизни etc., etc. Мнѣ семейная жизнь легка съ этой стороны, но это случайность, и именно потому я имѣю голосъ. Между свободнымъ счастьемъ человѣка и его осуществленіемъ всегда пути и препятствія прежняго религіознаго возрѣнія. Въ будущую эпоху нѣтъ брака, жена освободится отъ рабства, да и что за слово жена? Женщина до того унижена, что, какъ животное, называется именемъ хозяина. Свободное отношеніе половъ, публичное воспитаніе и организація собственности. Нравственность, совѣсть, а не полиція, общественное мнѣніе опредѣляютъ подробности сношеній.

Глубоко грустные стоны издаются и теперь еще по временамъ изъ болѣзненной души Наташи. Ей судьба привила духъ страданій; исторія Боткина опять потрясла ее и растрвила старое: причина все одна; мы не можемъ свободно и широко взглянуть на отношенія людей между собою, христіанскіе призраки мѣшаютъ. Они были необходимы въ свое время, — теперь ихъ не нужно. Христіанскій бракъ былъ нуженъ для того, чтобъ пріучить людей въ женѣ уважать женщину; ревнивая любовь среднихъ вѣковъ, идеализація дѣвицы окружили женщину свѣтлымъ кругомъ; и онъ останется и будетъ тѣмъ свѣтлѣе, чѣмъ далѣе разовьется нравственность.

Христіанское общество, какъ всякое одностороннее, имѣетъ всегда въ себѣ самомъ обратную сторону. Неразрывный бракъ, съ одной стороны, и, съ другой, публичные дома, гдѣ женщина брошена въ грязный развратъ, поставлена ниже животнаго. Но какъ примирить, какъ устроить? Сень-симонисты дали великій примѣръ смиренія, они ждали голоса женщинъ, чтобъ рѣшить вопросъ; но съ тѣхъ поръ, развѣ голосъ G. Sand не заявлялъ мнѣніе женщины?

Бѣлинскій не перемѣнился ни на волосъ, вѣчно въ экстремѣ; но глубоко вникающій и симпатичный съ одной стороны, рѣзкій до цинизма въ словахъ, но вѣрный въ смѣлости и не трусь, конечно, въ консеквентности. Я люблю его рѣчь и недовольный видъ и даже ругательство.

Іюль мѣсяць.

4.—*Révolution d'Angleterre. Charles I. par Guizot.* Для того, чтобы дойти до вселенскаго переворота конца XVIII столѣтія, надобно было испытать частные эмансипаціонные перевороты. Реформація торжественно заключается англійской революціей. Она далеко отъ всеобъемлющаго характера французской, она боится инициативы, старается каждому требованію придать историческую основу, она предоставляет только такія права, на которыя она имѣетъ историческіе antecedents, она двигается впередъ, но спиною, безпрестанно смотря на прошедшее и боясь, особенно въ первую половину, сознаться, что идетъ по вовсе не разработанной землѣ и новой. Между тѣмъ всѣ вопросы первой важности обсуживаются съ трибуны и въ брошюрахъ. Республиканское устройство пресвитеріальной церкви, разногласіе независимыхъ, нижній парламентъ, въ глазахъ народа захватывающій власть,—внѣдряютъ великія идеи о правѣ народа, о самодержавіи народа; массы воспитываются. Гизо приводитъ въ *pièces justificatives* примѣръ лорда при Елизаветѣ, говорившаго въ парламентѣ очень сильно противъ нея. Съ какою доблестью отвѣчаетъ онъ и съ какою доблестью члены верховнаго суда понимаютъ правоту его. Права свободно разумной личности признаны съ тою же непоколебимостью, съ какою у насъ, напримѣръ, они всѣ отвергнуты. Во время первой войны, король и парламентъ плѣннымъ ни съ той, ни съ другой стороны не дѣлали обидъ, и общественное мнѣніе громко возстало, когда король для униженія плѣнниковъ велѣлъ имъ дефилировать передъ собою, а въ его глазахъ они были государственными преступниками. Вотъ этого-то воспитанія въ правомѣрное состояніе у насъ вовсе нѣтъ; даже мы не уважаемъ и ту законность, которая дается нашимъ сводомъ. Оттого сводъ безпрестанно нарушается внизу массою подлыхъ агентовъ и самимъ народомъ, для выгодъ котораго сдѣланъ законъ; съ другой стороны, высшей властью, которая не видитъ въ немъ закона, а распоряженіе, указы, состоящіе до новаго указа. Отсюда этотъ хаосъ неопредѣленныхъ правъ, гдѣ иной разъ власть старается о развитіи элективнаго начала или коллегіальнаго управленія, а массы противодействуютъ ему: а другой разъ малѣйшее поползновеніе пріобрѣсти гражданскія права со стороны лицъ, особенно же заявленіе своихъ правъ,

сознаніе ихъ, принимаются за бунтъ и также властью наказываются кнутомъ и всѣмъ на свѣтѣ.

Разстояніе наше съ Европой во всемъ неизмѣримо.

6.—Обыкновенно возстаютъ противъ дѣлопроизводства процессовъ Людовика XVI и Карла I. Политическіе преступники во время переворота всегда судятся внѣ обыкновенныхъ формъ, цѣль этого рода процессовъ вовсе не раскрытіе истины, виновности, а обвиненіе, побѣда принципа. Людовикъ XVI и Карлъ I положили головы для торжества идеи революціонной и для спасенія самой революціи; обстоятельства Англии и Франціи, сверхъ фанатизма, привели къ трагической катастрофѣ. Не гораздо ли страннѣе и гнуснѣе видѣть, какъ въ спокойное время, когда ничего не боятся, судить исключительными судами и инквизиторскими порядками не токмо политическихъ преступниковъ, но людей не осторожныхъ, авторовъ эпиграммы или остроты за чашей вина. Зачѣмъ всегда указывать на бурное время, когда въ штиль, безъ нужды, дѣлаютъ то же.

|| Перечитывалъ наши письма 1835—36 годовъ. Хороши всѣ эти и звуки, и пѣсни любви, какъ давно неслышанная національная пѣсня, а ужъ сколько прожито съ тѣхъ поръ! Эта восторженная любовь, полная юности и романтизма, перешла въ иную форму, болѣе истинную и дѣйствительную, но не такъ радужно и ярко свѣтлую. Читая, навертывается улыбка, переносишься въ тѣ времена, завидуешь имъ и чувствуешь, что теперь совершеннолѣтіе. Эти шаги въ совершеннолѣтіе считаются потерями душами нѣжными. Трезвый взглядъ очень труденъ, такъ же, какъ консеквентность своимъ началамъ. И истинно тяжело тому, кого судьба наградила страшной логикой и когда у него нѣтъ недвижимаго имѣнія,—куда онъ не пускаетъ мысль. //

9.—Histoire de la Contre-Révolution en Angleterre, par Ar. Carrel. XVI вѣкъ началъ, въ границахъ реформаціи, эмансипацію Европы отъ христіанства; нельзя было міру феодальному и католическому безъ боя уступить, тѣмъ болѣе, что и сами реформаторы и всѣ секты противоположныя, кромѣ малыхъ исключеній, не отдѣлались отъ феодализма. Распутный Карлъ II и отвратительно ограниченный Яковъ II были органами этого прошедшаго, ищущаго себѣ мѣста въ мірѣ, явно отрекшемся отъ него. Каррель замѣчаетъ, что республика была невозможна для Англии при ея раздѣленіи на классы,—безсомнѣнно. Оттого-то и во Франціи не провозглашаютъ республики. Государство раздѣленное должно имѣть центръ, связующій его,—государь; иначе будетъ охлократія или régime de terreur. Самая власть Кромвеля опиралась на консервативные интересы одного класса, такъ, какъ власть Людовика Филиппа.

10.—Феодальный бытъ и управленіе развились органически

изъ элементовъ народныхъ и историческихъ, и развились во всей силѣ и красѣ съ чрезвычайной многосторонностью и послѣдовательностью. Въ немъ и имъ развиты католицизмъ и рыцарство, романтизмъ и общины. Но стремительно развивающійся духъ Европы, въ нѣсколько вѣковъ, *изжилъ* романтично-феодалное содержаніе, остались формы, да и тѣ должны были ждать видоизмѣненій, — часть христіано-германскаго міра наступаль; онъ дѣлался тѣсенъ для вновь развивавшихся идей, — революція за революціей начинаютъ съ XV столѣтія громить феодальное statu quo. Реформація начала освобожденіе отъ католицизма и вмѣстѣ съ тѣмъ отъ христіанства; считаютъ послѣ реформаціи одну политическую революцію, состоящую въ освобожденіи народовъ отъ власти, приобрѣтеніе правъ и пр., но параллельно съ нею шла другая революція, неиспровергавшая съ другого конца все феодальное устройство — развитіе центральной власти, абсолютизма; абсолютизмъ, для покрытія своей новизны, революціонности, назвалъ себя историческимъ, повелъ свое начало отъ временъ до-историческихъ; но это чистая ложь. Абсолютизмъ центральной власти относительно феодальнаго устройства такъ же революціонеръ, какъ либерализмъ и политическій характеръ деспотизма Людовика XIV не имѣтъ той религіозной связи съ народомъ, съ государствомъ, какъ власть королей въ средніе вѣка.

Послѣ Вестфальскаго мира разработался новый элементъ, сдѣлавшійся преобладающимъ до французской революціи, — это дипломатія и политика, основаніемъ ихъ эгоизмъ и плутовство, все дѣлалось какъ у игроковъ съ подтасованными картами; народный голосъ становился ненуженъ, самый голосъ чести, сильный въ средніе вѣка, умолкъ. Народы управлялись дворами. Тамъ гнѣздились торгаши народной крови и благосостоянія, дѣлили земли, присоединяли чужое, отчуждали свое полицейскими распоряженіями, поддерживая ихъ въ случаѣ нужды арміями. Постоянныя арміи (учрежденіе анти-феодалное) сдѣлались величайшей опорой централизаціи и всѣхъ увеличеній королевской власти. Но разъединенная съ народомъ власть эта становилась болѣе и болѣе оскорбительною и должна была, пройдя грязнымъ періодомъ публичной безнравственности и разврата, пасть, если не вездѣ фактически, то вездѣ во мнѣніи. Миновало съ дипломатіей и дворами то величавое, видѣвшееся на челѣ царей среднихъ вѣковъ, о чемъ Шекспиръ такъ прекрасно сказалъ: «и океанъ не смоетъ слезъ съ чела моего», цари, окруженные непреклонными, гордыми герцогами и вассалами, тогда они были необходимы и въ нихъ вѣровали и они вѣровали въ себя (какія бы индивидуальныя отступленія ни были). Рыцари стали дворовыми людьми, челядью королей. Обманъ и ложь считались не пороками для власти; а рядомъ, реформація

подталкивала дѣтскія вѣрованія; уму, мысли дано было уваженіе. Французская революція является совершенно послѣдовательнымъ вторымъ отрицаніемъ феодализма. Центральная власть отеклась отъ народа и аристократовъ, оставя божественность короля въ пользу его. Французская революція была тѣмъ же дѣйствіемъ со стороны массъ, она замкнула приготовительную эру перехода въ новый міръ. Въ наше время, фактически, по старой памяти, многое стоитъ, но дряхлое, оглуѣвшее, какъ Талейранъ въ послѣдніе годы, представитель этого былого. Плутство въ дипломатіи осталось мерзкой привычкой,—оно невозможно. Это изнашивание формъ, нѣкогда прекрасныхъ, есть признакъ сильной жизни; это, говоря языкомъ философіи, та великая трансценденція *der übergreifenden Subjectivität* человѣчества, изъ которой состоитъ исторія. Народы, слабые внутренними началами, бѣдные жизнью и мыслью, какъ Китай, Персія,—вѣка живутъ подъ одной формой и имъ она довлѣетъ.

11.—XVIII вѣкъ начался въ мракѣ страшныхъ событій, которыми окончивался христіанскій міръ. Людовикъ XIV давилъ полстолѣтія почти всю Европу, онъ уже совершилъ отрицаніе былого безсознательно и былъ просто деспотъ, тиранъ. Его назвали великимъ, потому что современники его, за исключеніемъ Вильгельма III, были малы и низки. Читая объ немъ, мѣришь наглазно, сколько мы подвинулись; для Европы теперь все это невозможно, у насъ хотя возможно, но уже дико. Гоненіе гугенотовъ, уничтоженіе цѣлыхъ городовъ, обманы и пронырство въ сношеніяхъ съ союзниками — это величіе. Хороша и Германія того вѣка! Однѣ Англія и Голландія искупали тогда челоуѣчество и ими успокоивается взглядъ, останавливаясь на Вильгельмѣ III. Англія велика своимъ предвареніемъ въ политическомъ воспитаніи всѣхъ народовъ. Около Людовика составилаь атмосфера подлости, все въ ней было подло: Боссюэтъ и Кольберъ, литература и церковь, войско и парламентъ, все были лакеи; едва кое-гдѣ вырѣзывается, величественная въ своей простой красотѣ, фигура Фенелона. Вильгельмъ III былъ не тори и не вигъ; Наполеонъ еще болѣе былъ внѣ всѣхъ партій. Въ этомъ свидѣтельство ихъ превосходства надъ современниками; они глядѣли обширнѣе, они вышли изъ пробитыхъ полей на свѣжую дорогу. Сверхъ того, въ этомъ глубокой тактъ дѣйствительности. Партіи сердятся на такихъ людей, они кажутся измѣнниками съ обѣихъ сторонъ, чаще всего они бываютъ правѣе обѣихъ сторонъ, и именно потому не могутъ принять а *soeui* всѣ увлеченія которой-нибудь. Есть другого рода люди, которые потому не принадлежать къ партіи, что имъ это не серьезно, что они ниже всеобщихъ интересовъ, напр. Талейранъ, или гнусно алчны и подчиняють подлому расчету интересы общіе, напр. Фуше.

Но мы говоримъ объ истинныхъ дѣятеляхъ въ исторіи. Имѣть свою теорію, свои твердыя, однажды оконченныя стремленія и цѣли, — такъ-же негодно въ политической дѣятельности, какъ въ наукѣ. Кромвель говорилъ: «въ переворотѣ всѣхъ дальше уйдетъ тотъ, кто не знаетъ, куда идетъ». Онъ на себѣ доказалъ истину этихъ словъ. Само собою разумѣется, что есть краеугольныя начала, общія тенденціи очень сознательныя и очень сознанныя, во лишь бы не было требованія осуществить ихъ по субъективному мнѣнію; надобно дать волю обстоятельствамъ и, выразумѣвъ ихъ указаніе, стать во главѣ ихъ, покоряясь имъ, — покорить ихъ себѣ: это принесеніе на жертву мнѣнія, не говоря о прочемъ, совершенно законно уже потому, что я смотрю на предметъ съ известной точки, а событіе, развивая его, развиваетъ влѣдствіе всѣхъ сторонъ. Самый трогательный примѣръ вреда отъ настроеній — Лафайетъ. Это идеализмъ въ политикѣ. Человѣкъ жизни идетъ до конца, до послѣднихъ слѣдствій. Человѣкъ рефлексіи и теорій не идетъ дальше грани, поставленной имъ самимъ, и тутъ всегда, при благопріятнѣйшемъ стремленіи, при безусловной чистотѣ, при талантѣ, онъ тормозитъ ходъ происшествій, а такъ какъ гора крута, — его расшибаетъ, какъ Жиронду. Ни Робеспьеръ, ни Наполеонъ не могли имѣть предварительно опредѣленнаго плана дѣйствія; они были живые органы, отдавшіеся событіямъ, участникамъ и развивателямъ ихъ, и, наоборотъ, развивались ими. Наполеонъ разъ въ жизни былъ съ *arrière pensée*, противоположной духу обстоятельствъ; онъ, по собственнымъ словамъ его, понимая, что надобно надѣть республиканскую шапку, а вмѣсто ея онъ надѣлъ токъ съ перьями Карла Великаго. Ватерлоо было отвѣтомъ на эту ошибку. Но нелегко уразумѣть, сродниться съ своимъ временемъ такъ, чтобъ понимать его, слѣдить за нимъ, забѣгать и не потерять ни своего, ни того, что видоизмѣняетъ его. Послѣ легко обсуживать ошибки, событія прошедшія, какъ трупъ разсѣченный ясно показываетъ, гдѣ причина смерти; но когда онѣ живы, — одному острому глазу доступно внутреннее строеніе, изъ-за швѣта и пара страстей и односторонности.

13.—Нѣтъ скорбѣе и грустнѣе чувства, какъ несчастно вѣрныи взглядъ на вещи, снимающій съ нихъ наружный покровъ, удовлетворяющій другихъ въ томъ случаѣ, когда не токмо нѣтъ возможности дѣйствовать на вещи, но даже нѣтъ средства показать другимъ, что они заблуждаются. Это особое положеніе, невѣріе въ то, чему вѣрятъ другіе; неразрывная съ ними, горькая иронія и досада даютъ душу живую и раскрытую. Взглядъ этотъ отъ общаго переходитъ къ лицамъ, и тутъ еще хуже; онъ безжалостно вскрываетъ ихъ, указываетъ неподложныя точки помѣшательства ихъ, къ которымъ они приросли, и становится больно за совре-

меннаго человѣка. Какъ мало цѣлыхъ, трезвыхъ натуръ! Иной и трезвѣ другихъ разумомъ, эстетическимъ чувствомъ, да характера ни на грошъ. Не признакъ ли это несовершеннолѣтія?

Читаль *Von der aesthetischen Erziehung der Menschheit* Шиллера. Великое и пророческое твореніе; оно, какъ Лессингово воспитаніе человѣчества, предупредило многимъ свое время. Шиллеру не отдавали въ послѣднее время достоюжнаго; письма эти писаны въ 1795 или около, тогда едва начиналъ писать Шеллингъ. Шиллеръ пошелъ съ точки зрѣнія Канта; какіе сочные, жизненно-прекрасные плоды, — онъ далеко перешелъ взглядъ критической школы. Тутъ, какъ въ нѣкоторыхъ страницахъ Гёте, первые аккорды, поэтическіе и звучные, новой науки (Фихте онъ изучалъ, ссылается на него).

16.—Schlosser, *Geschichte des XVIII Jahrhunderts*. Великій XVIII вѣкъ начался съ такой же крайности, какъ кончился; но вовсе въ противоположномъ смыслѣ. Что можетъ лучше характеризовать этотъ періодъ, какъ война за испанское престолонаслѣдіе и потомъ за австрійское. Около десяти лѣтъ Европа облита кровью, государства разорены, города уничтожены, арміи погублены — изъ чего? гдѣ интересы бойцовъ? Изъ того, чтобъ втѣснить народу полубезумнаго меланхолика, чуждаго по правамъ и по происхожденію, въ короли, нисколько не заботясь, хочетъ ли его или нѣтъ народъ. Чтобъ увѣнчать тупость подобной войны, судьба шутила, призвавъ его соперника — лицо столь же ничтожное — смертью брата на другой тронъ. Съ какою наглостью дѣлать и передѣливаютъ кровавые куски испанской монархіи; какое право, какой смыслъ? Идея законности наслѣдія одна выдвигается впередъ, это неблагогородный бой у гроба о достояніи покойника; милліоны людей составляютъ это достояніе, а съ ними обращаются, какъ съ стадами. Вотъ къ чему пришелъ христіанскій міръ, вѣчно стремившійся къ недосыгаемому идеалу, невозможному и мечтательному. А массы — массы смотрѣли, оцѣпенѣлыя отъ ужаса. Жалкая Германія выпила всю горечь позора и бѣдствій; ея династы валялись въ грязи, нанимаясь къ Людовику XIV или императору, опозоренные, они утопали въ развратѣ и пили по каплѣ кровь глупыхъ народовъ. не умѣвшихъ даже негодовать. Династы занимались церемоніалами и дипломатіей, никогда не подумавши о томъ, что дѣлается у нихъ подъ ногами. Можетъ, этотъ гешве-мѣnage пригодился для будущаго, растолкалъ народы, занесъ зародыши человѣческихъ идей въ косные классы; живой организмъ европейскій все перетворилъ и переработалъ, но изъ этого нельзя ни ютой уменьшить печать позора абсолютической эпохи. И не умѣли видѣть народы возлѣ стоявшую Англію, возлѣ стоящую Голландію; слѣпота несовершеннолѣтія, дѣтскаго взгляда только излечивается временемъ.

Сѣверная война не лучше. Собственно цѣль, интересъ былъ у Петра I, и Петръ I тутъ, какъ Фридрихъ II послѣ, не принадлежатъ къ стаѣ самодержцевъ начала XVIII вѣка. Во-первыхъ, они революціонеры, во-вторыхъ, гениальные люди; они шли своей дорогой, во многомъ впадали въ ошибки, но имѣли интересы великіе, результаты, до которыхъ достигли, гигантскіе. Петръ съ наружною и съ духомъ полуварвара, но гениальный и незаблѣмый въ великомъ намѣреніи приобщить къ человѣческому развитію заключенную страну свою, очень страненъ въ дикой грубости своей, возлѣ изнѣженныхъ и утонченныхъ Августовъ и С°. Человѣкъ, отрѣкшійся отъ всего былого страны своей, покраснѣвшій за нее и кровью водворявшій новый порядокъ, имѣетъ всегда что-то революціонное, хотя и на тронѣ, и въ самомъ дѣлѣ въ немъ даже нѣтъ требованій на феодальное поклоненіе, на церемонность и проч., общую всѣмъ въ то время. Онъ схватилъ европеизмъ въ Голландіи — лучший источникъ того времени, онъ принадлежалъ новой Европѣ, вѣдрялъ ее какъ варваръ, но правительство втолкнулъ въ колею вовсе не похожую на европейскихъ династовъ; хуже или лучше, навѣрное не такую. Матеріальный, положительный гнетъ, не опирающійся на прошедшее, опережающій страну для того, чтобъ не давать ей развиваться вольно, европеизмъ въ наружности и совершенное отсутствіе человѣчности внутри,—таковъ характеръ современный, идущій отъ Петра. Тѣмъ не менѣе, лицо его велико въ этомъ вѣкѣ и мысль его велика, она еще не совсѣмъ исполнилась, но, вѣроятно, будетъ и ей осуществленіе. Петръ, какъ только почувствовалъ силу, замѣшался въ большую часть европейскихъ интригъ, принялъ участіе, подалъ голосъ, посылалъ войско, справедливо или нѣтъ, но Европа приучилась къ имени Россіи, и Россія была втолкнута въ семью европейскихъ народовъ. Россія и Пруссія два свѣжіе элемента для развитія; Пруссія—королевство послѣ-реформаціонное, ей въ основѣ не феодальная мысль, но нельзя не согласиться, что въ ея начальномъ развитіи ужасная прозаичность и ея геній—прозаикъ Фридрихъ II. Странно видѣть, какъ капральской палкой и мѣщанскимъ понятіемъ объ экономіи въ Пруссіи, кнутомъ и топоромъ въ Россіи вселяется гуманизмъ. Дурныя средства должны были отразиться въ результатахъ. Пруссія бездушна и *zu nüchtern*. Германія вообще, потративши всю силу на бой за религію, на тридцати-лѣтнюю войну, ниже всей Европы въ развитіи гуманности. Какъ согласить такую почву съ литературой, вскорѣ имѣвшей Лессинга, Гёте и Шиллера.

21.—Посѣщеніе Философова; оно мнѣ было дорого, сверхъ личныхъ отношеній, потому что показываетъ жажду людей сообщаться, обновляться, передавать свое; сто верстъ скверной дороги и три

дня, жертва, которую даромъ не дѣлаютъ, особенно люди, дѣлающіе это не отъ пустоты и скуки. Такія вещи иногда, если не мрутъ, то укрощаютъ мою нелюбовь къ нашему обществу. Письмо отъ Огарева изъ *bagno di Lucca*—и хорошо. Главное въ немъ не *видать горизонта*. Ничего не можетъ быть страшнѣе, когда въ человѣкѣ виденъ горизонтъ, — съ нимъ нѣтъ полной свободы, нѣтъ той безконечности симпатіи.

23. -- Въ началѣ XVIII столѣтія твердо и мощно стоитъ міръ христіано - самодержавный, феодально - монархическій. Внизу безсознательная толпа за все страдаетъ и платитъ, вверху власть, *par la grâces de Dieu*, поддерживаемая дворянствомъ и войскомъ. Она не боится, да и гдѣ ея состоятельные враги, неужели нѣсколько литераторовъ? А между тѣмъ, червь гробовой уже точитъ этотъ міръ; страшное дуновение Англии, два раза освобожденной и, наконецъ, вышедшей лучшими умами изъ религіозной односторонности, вѣяло скептицизмомъ и разсудочнымъ движеніемъ на Францію и вызывало людей, далеко ушедшихъ впередъ съ легкой руки англійской пропаганды, — Монтескье, Вольтеръ, etc., etc. Какъ слабъ былъ этотъ твердый существующій порядокъ! Его сила и мощь были призрачны; такъ сгнившій пенъ стоитъ будто силенъ и здоровъ, сгнивши и превратившись въ землю внутри. Замѣчательно, что антихристіанская пропаганда развилась вмѣстѣ съ рядомъ либеральныхъ идей въ Англию и Францію въ аристократіи, которой сила только и зависѣла отъ того же феодально-религіознаго возрѣнія, которое подрывалось. И возможно ли было мечтать, что послѣ этихъ ударовъ христіанство и феодализмъ еще живы. Толпы тогда были изъяты изъ движенія, но Руссо далъ иное направленіе развитію.

27. — Судьбы Германіи жалки и пошлы въ XVIII вѣкѣ. Ея аристократы все-таки мѣщане, *cela n'est pas du comme il faut*. нѣтъ граціи, нѣтъ благородства. Вотъ великіе результаты картофельной экономіи. Безнравственность въ Германіи доходила до высшаго предѣла, ни малѣйшей тѣни человѣческаго достоинства. Крѣпости набиты арестантами, гоненія за религію, гоненія за стихи, гоненія за дерзкое слово о министрѣ, все это тихо, безъ шума, — и народъ ничего. Были и въ другихъ земляхъ ужасы въ половинѣ XVIII вѣка, напр., англійскій парламентъ страшно наказалъ Шотландское возстаніе, но тамъ это абнормальность, а тутъ все это въ порядкѣ вещей. Ученые и духовенство первые клеветы власти. Французы, сгнетенные деспотизмомъ Людовика XIV, гнушались нѣмецкой подлостью. Во Франціи чувствуется влияніе новаго духа въ каждомъ литературномъ произведеніи; тамъ читаешь, улыбаясь. видя, какъ эти люди пляшутъ на шагъ отъ пропасти, но другую сторону которой Франція обновляется. Въ Германіи нѣтъ ни одного

луча свѣта, тамъ одинъ либераль Фридрихъ II, самодержавецъ Пруссіи.

И какъ подумаешь, что едва 75 лѣтъ прошло, какъ Европа спала въ униженіи, едва пробуждаемая благовѣстомъ водворителей новаго міра, и взглянешь на современное ея состояніе, далекое отъ достиженія, но тѣмъ не менѣе развитое потребностью, невольно благоговѣйный трепетъ уваженія къ человѣчеству обнимаетъ душу. Велика французская революція; она первая возвѣстила міру, удивленнымъ народамъ и царямъ, что міръ новый родился.

30.—Блестящая, острая и аристократическая оппозиція Вольтера и общества Гольбаховъ не видала всего результата своихъ началъ; они думали разрушать старое въ извѣстномъ кругу; смѣлые въ отрицаніи, въ построеніи своей системы матеріализма, они держались вдали отъ массъ. Появленіе Руссо должно было поразить ихъ. Руссо былъ монтаньяръ между ними, жирондистами. Руссо имѣлъ инныя симпатіи и другое провидѣніе. Ихъ идеаль была Англія, ее поставилъ цѣлью Монтескье; Руссо въ учрежденіяхъ Англіи видѣлъ также феодализмъ. Легкая и смѣлая въ словахъ, оппозиція приняла у Руссо характеръ плача и проклятія. Руссо мечталъ, хотя и превратно, о новомъ мірѣ; его поняли только въ революцію. Шлоссеръ говоритъ, между прочимъ, что въ половинѣ XVIII вѣка добрые нѣмецкіе теологи еще толковали, подкрѣпляясь ужасной начитанностью, о томъ, кто писалъ заповѣди Моисея, Богъ или Христосъ. Добрые нѣмцы!

31.—А въ 1770-80 Лессингъ и Базедовъ были въ полномъ цвѣтѣ, въ полной дѣятельности, и огромная потребность свѣта обличилась въ Германіи, и наставало время Шиллеровыхъ драмъ, поэмъ Гёте, Гердеръ уже писалъ.

Противодѣйствіе галломаніи было безсомнѣнно полезно; но эпоха галломаніи была весьма необходима, чтобъ очеловѣчить нѣмцевъ.

Удивительное развитіе; гдѣ и какъ прозябали зародыши, распустившіеся вдругъ, откуда столько силъ у Германіи, изнуренной войнами? Какъ просвѣщеніе коснулось массъ въ столь короткое время?

Августъ мѣсяць.

8.—На дняхъ исполнилъ давнишнее желаніе, ѣздилъ въ Васильевское. Послѣдній разъ я былъ тамъ 1830 года. По дорогѣ туда услышалъ вѣсть о іюльской революціи — итакъ, 13 лѣтъ. Васильевское тѣсно связано съ ребячествомъ и отрочествомъ; съ 1842 всякое лѣто или черезъ лѣто я проводилъ тамъ мѣсяцы. Въ Москвѣ ученье, товарищи, дѣтская суета; въ Васильевское я пріѣзжалъ будто бы для отдыха, для отчета, и потому память объ

этомъ мѣстѣ вплетена во всѣ воспоминанія. У меня пробѣжало какое-то странное чувство, когда я увидѣлъ и узналъ давно знакомыя мѣста, мнѣ хотѣлось и смѣяться, и заплакать. И помимо всего прелестное мѣсто. Жаль, что оно продано. Я понимаю аристократическое чувство привязанности къ обладанію мѣстомъ. Разныя фазы жизни живо промелькнули: вотъ дерево, гдѣ я сиживалъ ребенкомъ, вотъ дорога, по которой юношей я хаживалъ къ сельской красавицѣ и тратилъ на легкую интригу огромную энергію, не оцѣненную, разумѣется. Встрѣтилъ горбатую работницу священника, которая во время оно была уже лѣтъ семидесяти; одинъ мужикъ узналъ меня. Та же рѣка, гористые берега, обширные виды, мнѣ жаль было ѣхать: я только при этой рѣкѣ, при этихъ липовыхъ аллеяхъ могу ярко перенестись въ тѣ времена, когда вся жизнь лежала впереди и на душѣ все было пестро и зелено.

Omnia idola cons anti et solenni decreto sunt abneganda et renuntianda et Intellectus ab iis omnino liberandus est et expurgandus, ut non alius fere sit aditus ad regnum Hominis, quod fundatur in scientiis, quam ad regnum Coelorum, in quod nisi sub persona infantis intrare non datur.—Vaco, ab Veritas.

Метода Бекона *вовсе не* эмпирія въ томъ смыслѣ, въ которомъ поняли ее нѣкоторые изъ французскихъ и англійскихъ естествоиспытателей. Онъ за истину вѣдѣнія и цѣль принималъ форму какъ всеобщее, какъ идею, но не абстрактную, а внутренне опредѣленную; онъ, возвышаясь къ всеобщности, искалъ единство.

16.—Былъ въ Москвѣ. Москва на меня наводитъ глубокое уныніе, я не могъ дождаться часа отъѣзда. Тоска отъ окружающаго и тоска отъ того, что былъ одинъ; я привыкъ, вжилъ въ мою маленькую семейную жизнь. мнѣ необходимы и слова Наташи, и смѣхъ Саши. Потребность воротиться была мучительно сильна.

18.—Брошюра Фрауенштета о Шеллингѣ. Нѣтъ дѣла болѣе благодарнаго, какъ то, что дѣлаетъ Шеллингъ: подготовка и прилаживание философскаго мышленія къ данному неподвижному, прошедшему возрѣнію. Это схоластика и съ тѣмъ вмѣстѣ ложь. Сколько поэтическаго дара и остроумія истощено на объясненіе миеовъ, и между тѣмъ объясненія эти оставляютъ какое-то неприятное чувство; чувствуете, что все придумано послѣ. Положеніе Шеллинга понятно; понятно, какъ его платоническому духу болѣзненно видѣть негачію, одну негачію; но какъ понять, что онъ удовлетворился жалкими мистико-философскими, натянутыми и худо склеенными возрѣніями. Онъ начинается съ пантеизма и приходитъ къ іуданзму, и этотъ іуданзмъ называетъ положительной философіей. По мѣрѣ того, какъ онъ развиваетъ свою положительную науку, становится тягостнѣе и неловче; чувствуешь,

что его рѣшеніе не разрѣшаетъ, что все покрыто туманомъ, не-свободно. Мало-по-малу онъ совершенно оставляетъ наукообразный путь и теряется въ самомъ эксцентрическомъ мистицизмѣ, объясняетъ сатану, чудеса, воскресеніе, сошествіе духа au pied de la lettre. Не вѣришь, что это писано въ XIX вѣкѣ; кажется, это слова схоластика XIV вѣка или теолога первыхъ лѣтъ реформаци. Языкъ и воззрѣніе Бекона понятнѣе для насъ и современнѣе. Новое доказательство, какъ германскій умъ всегда готовъ свихнуться въ область туманныхъ фантазій и тратить талантъ и гений на пустую работу, лишь бы внѣ практическихъ сферъ, лишь бы внѣ тѣхъ сферъ, въ которыя человѣкъ призванъ. А послѣ Канта могли бы идти путемъ трезвымъ. Впрочемъ Шеллингъ нанесъ ударъ страшный христіанству, его философія обличила, наконецъ, всю нелѣпость христіанской философіи, онъ своимъ именемъ, своей ссорой съ Гегелемъ заставилъ обернуться на себя всю ученую Германію и подумать о своемъ бредѣ. Есть вещи, для которыхъ гласность, обличеніе, обслѣдованіе—смерть.

Шеллингъ сдѣлался вверхъ ногами поставленный Яковъ Бемъ. Тотъ, полный мистическаго созерцанія во всѣ стороны, восходилъ къ глубокому философскому воззрѣнію; Шеллингъ изъ глубокаго философскаго воззрѣнія опустился въ дѣтскій мистицизмъ. Бемъ, заключенный въ мистическую терминологию, живши въ началѣ XVII столѣтія, нашель твердость не останавливаться на буквѣ, имѣль мужество принимать страшныя консеквенціи для боязливой совѣсти того вѣка; онъ дѣйствовалъ разумомъ, и мистицизмъ окрыляль его разумъ. У Шеллинга вездѣ видна покорность разума и устремленіе всѣхъ силъ подчиниться теизму и преданію, безъ истинно наивной вѣры. Простая вѣра не станеть употреблять его Spitzfindigkeiten.

25.—Завтра утромъ ѣдемъ въ Москву. Меня душитъ тоска, ужъ не предчувствіе ли? Съ какимъ-то отвращеніемъ ѣду я, мнѣ ужасно хотѣлось бы еще пожить въ Покровскомъ. Здѣсь тихо, вдали отъ людей, отъ сплетенъ, отъ гнусностей. Да и этотъ простой, добрый народъ, я любилъ его, и славный народъ,—сколько надежды на эти умныя, развязныя, бойкія физиономіи.

Сентябрь мѣсяцъ.

9.—Съ 26 въ Москвѣ. Время суетъ, внѣшнихъ занятій, почти потерянное, если бы не было *занимательныхъ* эпизодовъ; наконецъ, все успокоивается, и я могу надѣяться на покой и мою обычную жизнь. Эпизодъ свадьбы страшень. И что за уродливое и вѣдѣтъ высоко благородное, поражающее лицо несчастнаго Е. И. Въ ту минуту, когда вѣнчали, онъ убитый и оскорбленный читаль

молитвы объ нихъ. Онъ прислалъ образъ благословить ихъ. И откуда эта дѣвушка взяла столько коварной хитрости, чтобы обманывать всѣхъ, и, уличенная, она не раскаялась, и пошла къ вѣнцу легко и свободно, осыпаемая горькими упреками. *L'une vaut l'autre*. Но мнѣ ихъ стало жаль, когда они стояли подъ вѣнцомъ и священникъ клалъ страшныя чары, изъ которыхъ имъ не выпутаться. А они думали, кажется, о постороннемъ, не зная, что и зачѣмъ, а между тѣмъ все придумали и устроили сами, во имя любви То была обоюдная афера, и оба ошиблись.

18.—Беконъ и Декартъ представляютъ генезисъ философія, какъ науки, безъ метода того и другого она никогда не развилась бы въ наукообразной формѣ. Яковъ Бемъ, болѣе глубокой и мощный силой, гениальной интуиціей поднялся до величайшихъ истинъ, но это путь генія, путь индивидуальной мощи. Но генезисъ не есть еще сама философія. Ни признаніе факта Бекона не покорило ему вопль природы, ни идеализмъ Декарта не покорилъ ему духа. Сѣмя, брошенное Декартомъ, возросло въ Спинозѣ. Спиноза истинный и всесторонній отецъ новой философіи. «*Ego, говоритъ онъ, non presumo, me optimum invenisse Philos., sed verum me intelligere scio*». Это сознаніе почерпнуто изъ глубокаго созерцанія и оно истинно. Высота Спинозы поразительна. И какое полное жизни мышленіе. Онъ далъ основу, изъ которой могла развиться германская философія, одна сторона была имъ исчерпнута (духъ какъ субстанція) и онъ первый не взялъ ничего внѣшняго, не прибѣгнувъ къ религіознымъ или традиціоннымъ средствамъ. Спиноза былъ врагъ формализма, несмотря на схоластическія формы, въ которыхъ излагаетъ свое ученіе,—это недостатокъ вѣка. Напримѣръ, требованіе доказательствъ искусственныхъ, не ясное само по себѣ, ему противно.

И немудрено, онъ мышленіе почиталъ высшимъ актомъ любви, цѣлью духа, его жизнью. Не говоря о цѣломъ ученіи его, замѣчу, какія молніи генія безпрестанно прорываются у него, напр: «*Homo liber de nulla re minus quam de morte cogitat et ejus sapientia non mortis sed vitæ meditatio est... Beatitudo non est virtutis premium, sed ipse virtus*». Его взглядъ на временное *sub specie eternitatis*, всецѣлость разнообразія вѣчно живетъ въ его разумѣ, оставляетъ далеко за нимъ его предшественниковъ. Для него мышленіе было дѣломъ высоко религіознымъ и чисто нравственнымъ. А какъ его принялъ вѣкъ? и должно ли дивиться этому намъ,—онъ умеръ въ 1677 году.

22.—Споръ о дуэли. Что значить отсутствіе всеобъемлющихъ религіозныхъ убѣжденій: каждый человекъ по своему принимаетъ за путеводную нравственность остатки старыхъ убѣжденій, начатіе новыхъ, и все это существуетъ въ хаотическомъ безпорядкѣ.

Старый міръ имѣеть сильныя корни въ нашей душѣ, и, несмотря на то, что его характеръ во всемъ аристократиченъ, монашесственъ, противуестественъ, бездна его самыхъ существенныхъ мнѣній перешла въ нашъ вѣкъ, развивающійся подъ знаменемъ демократіи, реальности и самозаконности разума.

Кто осмѣлится говорить противъ дуэли, противъ щепетильной дворянской чести и *point d'honneur*, а между тѣмъ нелѣпость дуэли очевидна. Человѣкъ смѣлѣе дотронулся рукою до Бога, до всего общаго, но до частнаго, личнаго не смѣетъ коснуться. Честь, честь,—и никогда не дать себѣ отчета, что именно честно и что оскорбительно и какое удовлетвореніе какимъ образомъ исправляетъ. Дуэль есть смертная казнь сопряженная съ опасностью палача, дуэль есть актъ дикой, кровавой мести, на которую не токмо отдѣльное лицо, но и общество не имѣетъ никакого права. Феодалыне вѣка доказали всю случайность содержанія чести, но тогда личность должна была требовать безконечнаго признанія, иначе не развилось бы понятіе о достоинствѣ человѣка. А теперь!..

25.—Новость о покушеніи въ Польшѣ и другая въ *Journal de Débats* объ арестованіи 3000 человѣкъ. Грустно, тяжело грустно. Конечно, пройдутъ вѣка... стара пѣсня, разумѣется такъ, но видѣть около, возлѣ и всю жизнь быть только страдальнымъ зрителемъ... Какую грудь, какія плечи надобно имѣть!

30.—XVIII вѣкъ имѣлъ что-то революціонное въ костяхъ и мясѣ. Во имя абсолютизма такіе люди, какъ Помбаль, Аранда, приобщали цѣлыя страны къ новому порядку идей. Или Струэнзе въ Даніи. Когда наступаетъ время, духъ находитъ себѣ мѣсто въ самомъ вражескомъ станѣ. Теорія открытаго эгоизма и себякорыстія дали послѣдній ударъ христіано-феодалной нравственности. Отсутствіе нравственности—отличительный характеръ тогдашней политики. Фридрихъ и Екатерина равно не гнушались всѣми средствами.

Не говоря уже о раздѣленіи Польши, достаточно вспомнить все оскорбительное тиранство косвенныхъ налоговъ, перенятыхъ Фридрихомъ II у Франціи, но развитыхъ въ какой-то грязно гнусной формѣ, до которой они никогда не достигали во Франціи (напримѣръ, акцизъ на жженый кофе и пр.).

Октябрь мѣсяцъ.

6. — Schlosser приводитъ мѣсто, въ которомъ Рейнгольдъ, будучи юношей и ученикомъ іезуитовъ, писалъ къ отцу: «*Ein so eifriger Christ, wie du, mein bester Papa, weiss beinahe so gut als ein Geistlicher, dass es heiligere Brüder giebt, als jene der sündhaf-*

ten Natur, und dass ein Mensch, der dem Fleische abgestorben ist, eigentlich keinen andern Vater mehr haben könne, als den himmlischen, keine andere Mutter, als seinen Orden, keine andere Verwandte, als seine Brüder in Christo, und kein anderes Vaterland, als den Himmel. Die Anhänglichkeit an Fleisch und Blut ist eine von den stärksten Ketten, mit denen uns Satan fest an die Erde schmieden will». Писано 13 сентября, 1773 г. Но за что же Шлоссеръ такъ негодуеъ на іезуитовъ при томъ и выставляетъ это мѣсто, какъ документъ превратнаго ученія. Да это просто логическая конвенція христіанскаго ученія, начало этого воззрѣнія въ самомъ Евангеліи. Да они, сверхъ того, не истинны только по супранатуральному устремленію духа къ jenseits, воззрѣніе это широко и глубоко человѣчественно. Безъ сомнѣнія, естественныя связи ниже духовныхъ.

9. — 3 сентября въ Аѳинахъ и движеніе въ Италиі. Итакъ, югъ Европы не спитъ. Въ Италиі будутъ казни, въ Греціи—Богъ знаетъ что. Правительство Людовика Филиппа противъ, — оно не хочетъ понять своего призванія въ борьбѣ двухъ началъ и укрѣпляетъ Парижъ. Безъ крови не развяжутъ эти узлы. Отходящее начало судорожно выдерживаетъ свое мѣсто и, лишнее всякихъ чувствъ, готово всѣми человѣческими средствами отстаивать себя. А намъ, славянамъ, предстоитъ молчаніе или слово внѣ отчества, какъ сказалъ Мицкевичъ, начиная нынѣшній курсъ свой. Но и вездѣ несовершеннолѣтіе поразительное; въ Англии, напр., радикалы хотятъ требовать, чтобъ неплатящіе земледѣльцы владѣльцу земли наемной суммы были судимы и наказывались на общихъ установленіяхъ о долгахъ. Это они догадались въ 1843 году.

24. — Вчера проводили Кетчера въ Петербургъ; ему болѣе, нежели кому-либо, нужны друзья и симпатическій кругъ, онъ только въ немъ и живетъ; въ Петербургѣ у него нѣтъ ни друзей, ни близкихъ. Такая жизнь ему будетъ тяжела; но собственно для его развитія петербургская жизнь для него важная фаза. Москва располагаетъ къ квіетическому и мечтательному взгляду, онъ въ Москвѣ начиналъ принимать свой ріи и состарился бы въ немъ: тамъ взойдутъ новые элементы въ жизнь.

26.—Разговоръ съ П. В. Кирѣевскимъ. Ихъ воззрѣніе странно до поразительности, оно, безъ сомнѣнія, не изъято поэзіи, хотя односторонность очевидна. Религіозное воззрѣніе имѣетъ необходимо долю ложную, но ихъ воззрѣніе есть еще частно религіозное, именно греко-россійское христіанство: они отвергаютъ все западное христіанство; исторія, какъ движеніе человѣчества къ освобожденію и себяпознанію, къ сознательному дѣянію, для нихъ не существуетъ; ихъ взглядъ на исторію приближается къ взгляду скептицизма и матеріализма съ противоположной стороны. Вся

жизнь человечества—болѣзненное, абнормальное явленіе. Въ этомъ есть сумасшедшая консеквенція, принять грѣхопаденіе, т. е., осуществленіе развитія передъ ними должно ввести страшный безпорядокъ и перекувыркнуть смыслъ исторіи. Они принимаютъ за истинную церковь, за единую дверь къ благодати, остальное все нечисто, сбилось съ дороги etc. И съ тѣмъ вмѣстѣ признаютъ, что и греческая церковь подавлена, никуда негодна у насъ. Что же остается? И для кого искупленіе рода человѣческаго? Неужели христіанство, въ началѣ имѣвшее 12 апостоловъ, черезъ 1800 лѣтъ оканчивается двумя или тремя лицами, знающими какую-то подъ спудомъ хранящуюся истину въ церкви, живущей по ихъ сознанию во лжи? Дѣятельность и стремительное движеніе европейское они называютъ мелочной хлопотливостью и находятъ единымъ идеаломъ квіетическое спокойствіе какой-то созерцательной жизни на индійскій манеръ. Внутренній страхъ, что ихъ мысль не признана, дѣлаетъ ихъ фанатически нетерпимыми, въ нихъ, какъ во всѣхъ фанатикахъ, недостаетъ любви. Они на западъ смотрятъ съ ненавистью. Это такъ же пошло и нелѣпо, какъ воображать, что все наше національное гнусно и отвратительно. Оттого что Руси общечеловѣческое начало начали прививать неестественно, насильственно, они ополчились противъ общечеловѣческой цивилизаціи Европы, считая ее однимъ блескомъ пустымъ и ложнымъ. Присутствуя при прививкѣ формъ, они проглядѣли, что долго на родной почвѣ въ этихъ формахъ обитала прекрасная сущность. Въ одномъ французскомъ водевилѣ кто-то кричитъ: «Ma voiture, ma voiture, 50 fr. pour ma voiture!» Въ переложеніи на русскіе нравы того же водивила, актеръ кричитъ: карету, карету или 50 палокъ! Винавать ли европеизмъ! Да, какъ тяжело отъ этого искусственнаго періода. А за чѣмъ же мы представляли нѣсколько вѣковъ стоячее болото? Да въ этой-то стоячести вся прелесть созерцательной жизни. Противъ этого говорить нечего, разные критеріумы,—надобно идти врозь или замолчать... Петръ Кирѣевскій выражаетъ собою, въ числѣ самыхъ отчаянныхъ славянофиловъ, ультраславяниста; разумѣется, что, при всемъ уродливомъ взглядѣ, онъ—человѣкъ талантливый, восторженный и благородный, онъ можетъ, во многомъ долженъ будетъ, уступить брату, но далеко оставляетъ за собой многихъ одномышленниковъ. Съ своей точки зрѣнія они очень консеквентны. А опору точки зрѣнія не подвергаютъ анализу, даже минуютъ ее высказать. Это вѣрованіе и, какъ вѣрованіе, имѣетъ корень въ субъективномъ чувствѣ. Кирѣевскіе послѣдовательнѣе Аксакова и Самарина; тѣ хотятъ на основаніяхъ современной науки построить зданіе славяно-византійское, они до Гегеля доходятъ до православія и по западной наукѣ до отверженія западной исторіи; они принимаютъ прогрессъ, смотрятъ нашими глазами на будущность человечества,

оттого у нихъ потеряна необходимая консеквентность. П. В. обращенъ на одно прошедшее Руси, онъ смотритъ на будущее безъ вѣры; народъ, какъ индивидуальность, какъ случайная личность, носить въ груди возможность гибели, но прожитое имъ—его руно, которое онъ стремится возстановить для Руси.

Пробѣжалъ IV томъ Кюстина. Безъ сомнѣнія, это самая занимательная и умная книга, писанная о Россіи иностранцемъ. Есть ошибки, много поверхностнаго, но есть истинный талантъ путешественника, наблюдателя, глубокой взглядъ, умѣющій ловить на лету, умѣющій по нѣсколькимъ образчикамъ догадаться о массѣ. Всего лучше онъ схватилъ искусственность, поражающую на всякомъ шагу, и хвастовство тѣми элементами европейской жизни, которые только и есть у насъ для показа. Есть выраженія паразитической вѣрности: «un empire de façades... la Russie est policée по сivilisée...» и др.; онъ глубоко подловилъ характеръ общества, описывая иронию и грусть его, подавленность и своеволие, онъ оцѣнилъ національный характеръ,—это большое достоинство. Онъ успѣлъ въ грубой, дикой и рабствомъ искаженной физиономіи разглядѣть черты высокихъ свойствъ, прекрасныхъ надеждъ и намековъ. Горько улыбаешься, читая, какъ на француза дѣйствовала безпредѣльная власть и ничтожность личности передъ нею: какъ онъ пряталъ свои бумаги, боялся фельдъегеря и т. д. Онъ пробѣжалъ, чужой, чуть не ускакалъ отъ удущья, — у насъ грудь крѣпче организована. Мы привыкаемъ жить, какъ поселяне возлѣ огнедышащаго кратера. Ложь, притворство, связанность рѣчи въ обществѣ также не могли не броситься въ глаза французу. Теплое начало его души и добросовѣстность сдѣлали особенно важной эту книгу; она вовсе не враждебна Россіи, напротивъ, онъ болѣе съ любовью изучалъ насъ и, любя, не могъ не бичевать многого, что насъ бичуетъ. На Петра онъ смотрѣлъ съ точки зрѣнія славянофиловъ: судить слишкомъ рѣзко, во многомъ справедливо, но безъ глубокаго историческаго смысла; такія событія, какъ Петровский переворотъ, должно брать шире и обще. Царствованіе Екатерины онъ назвалъ длинной комедіей, которой она обманывала Европу. Ловко и къ мѣсту припомнилъ онъ слово Александра M-me de Staël: «je ne suis qu'un heureux accident pour la Russie».

Арестъ и незаконное взятіе француза Pernet сильно подѣйствовали на Кюстина, они наполнили его знакомымъ чувствомъ негодованія; но онъ не по-русски, не затаилъ въ душѣ и слово, и слезу, онъ далъ волю своей рѣчи и къ концу онъ одушевляется и сильной рѣчью отбрасываетъ всю отвѣтственность народныхъ бѣдствій страны, населенной прекраснымъ племенемъ, правительству. Слова его язвятъ и попадаютъ мѣтко. Полный грусти летитъ онъ за границу, и въ Тильзитѣ грудь его вздохнула свободно,

гора свалилась съ плечъ. Онъ пріѣхалъ въ Россію съ *aggrè-repensée* враждебной европейскому либерализму, а уѣхалъ примирившись. Онъ совѣтуетъ недовольнаго француза прислать посмотрѣть Россію для излеченія. Тягостно вліяніе этой книги на русскаго, голова склоняется на грудь и руки опускаются; и тягостно отъ того, что чувствуешь страшную правду, и досадно, что чужой дотронулся до больного мѣста, и миришься съ нимъ за многое и болѣе всего за любовь къ народу.

29.—Вчера Fenella, которую видѣлъ и прежде, увлекла меня сильнѣе обыкновеннаго. Голандъ очень хорошій актеръ; не имѣя голоса, онъ игрой выкупаетъ многое. Бельгійцы съ представленія «Фенеллы» пошли на площадь. Парижане бѣсновались и съ колѣбнопреклоненіемъ заставляли пѣть марсельезу.

Что ни говори записные музыканты, а *libretto*, а сама драма, развиваемая въ оперѣ, очень важное дѣло; тогда музыка дѣйствуетъ не отвлеченно, а захватываетъ вмѣстѣ съ драмой всего человѣка и дѣйствіе ея не ослаблено, а увеличено. *Libretto* «Жидовки», «Вильгельма Телля», «Фенеллы» — наши, современные. Есть мѣста въ «Вильгельмѣ Теллѣ», при которыхъ кровь кипитъ, слезы на рѣсницахъ, и между тѣмъ музыкой все это обнимается какою-то примиряющей средой.

Н о я б р ь м ѣ с я ц ь .

3. — Письмо изъ Ганау, и еще нѣсколько писемъ теплыхъ, симпатичныхъ, воскрешающихъ много хорошаго изъ былого. Я всегда и вездѣ встрѣчалъ людей готовыхъ любить.

4. — *Die Kommunisten in der Schweiz*. Wörtlicher Abdruck des Kommissionalberichtes an die Regierung von Zürich. Первое, что удивило въ этой книгѣ, это фамилія Бакунина, названнаго не токмо въ числѣ коммунистовъ, но упомянутый какъ одинъ — изъ «*ve-pin*». Они были захвачены, слѣдовательно, и онъ. Странная судьба этого человѣка. Пока онъ былъ въ Россіи, этого конца предсказать было нельзя. Jules Elysard указалъ великую перемѣну, — его консеквентность не могла остановиться. Что съ нимъ будетъ? Коммунистское движеніе въ Швейцаріи имѣло представителемъ своимъ Вейтлинга, прежде портного, потомъ энергическаго писателя и пропагандиста. Мѣста изъ его писаній, приведенныя комиссіей, краснорѣчивы и сильны. Распространеніе коммунизма шло очень быстро между работниками швейцарскими и германскими. Начала ихъ извѣстны: *Eine vollkommene Gesellschaft hat keine Regierung, sondern eine Verwaltung* — организація работъ, равенство *in facto*, война собственности *etc., etc.* Много одушевленія; слова Вейтлинга иногда поднимаются до апостольской проповѣди; прекрасно опредѣляютъ

они свое отношеніе къ либераламъ. Есть нелѣпости (напримѣръ, теорія воровства), но есть зато рѣзкая истина.

Болтовня де-Санглена имѣетъ свой интересъ, какъ живая хроника за 50 послѣднихъ лѣтъ. Поверхностный и малообъемлющій умъ, но большая живость, своего рода острота и бездна фактовъ интересныхъ. Нѣкоторые подробности о смерти Павла, множество анекдотовъ объ александровскихъ временахъ, которые онъ имѣлъ случай хорошо знать en qualiti начальника тайной полиціи, о Барклаѣ (онъ былъ генераль-полицмейстеромъ первой арміи 1802). Конечно, незавидное время было тогда, но какая разница! Что-то гуманное, кроткое, хранившее благопристойность было въ правительствѣ. Нынче маска не считается нужной.

Недавно сѣкли инженерныхъ юнкеровъ, и потомъ на 6 лѣтъ въ солдаты за какую-то дѣтскую шалость. Боже мой!

10. — Кетчерово письмо, проникнутое любовью и нѣжностью. Какъ въ немъ странно спаялись его демократическая угловатость, грубость внѣшняя съ дѣтской нѣжностью и свѣжестью души... Онъ долго въ Петербургѣ не проживетъ.

Длинный и презанимательный разговоръ съ Самаринимъ. Онъ согласенъ, что ясно не можетъ развить логически свою мысль о имманентномъ сосуществованіи религіи съ наукой, что *das Aufheben* наукой оставляетъ церковь во всей ея дѣйствительности. Онъ согласенъ, что расторжимость человѣка, который мышленіемъ разрушаетъ то, что принимаетъ фантазіей и сердцемъ, съ другой стороны, усыпляя мышленіе, снова даетъ мѣсто представленію, непримирима. Но они требуютъ этого, хотятъ, etc.

Требованіе это вмѣстѣ съ славянизмомъ дѣлается религіей. Они говорятъ, что плодъ европейской жизни созрѣетъ въ славянскомъ мірѣ, что Европа, достигнувъ науки, негации существующаго, наконецъ, провидѣнія будущаго въ вопросахъ социализма и коммунизма, совершила свое, и что славянскій міръ—почва симпатическаго, органическаго развитія будущаго. Это мысль не токмо ихъ, но и западныхъ славянъ, напримѣръ Мицкевича; но у нашихъ важное различіе. У нихъ славянизмъ не раздѣленъ съ греческой религіей: церковь одна—это наша церковь; они ждутъ, что католицизмъ и протестантизмъ равно признаетъ истинность ея, и это самая отчаянная гипотеза изъ всѣхъ. Такое созерцаніе будущаго, безъ сомнѣнія, религія, и можетъ дойти до фанатизма.

Читалъ V томъ Кюстина. Книга эта дѣйствуетъ на меня, какъ пытка, какъ камень, приваленный къ груди; я не смотрю на его промахи, основа воззрѣнія вѣрна; и это страшное общество, и эта страна—Россія. Его взглядъ оскорбительно много видитъ. Какъ вѣрно сказалъ онъ: «la pensée inutile s'envenime dans l'âme qu'elle empoisonne faute d'autre emploi». Славянофилы, вѣря въ мечтаемую

будущность, хотя и понимаютъ настоящее, но, радуясь будущему, мирятся съ нимъ. Ихъ счастье!

16.—Замѣчательно, что византійская архитектура, иконопись, церковная музыка и ваиніе не имѣютъ въ смыслѣ художественномъ высокаго развитія. Съ одной стороны, это подтверждаетъ мысль славянофиловъ, что восточная церковь *чище* и *вѣрнѣе* христіанству, съ другой, свидѣтельствуетъ объ несомвѣстности христіанства со всякой живой сферой, такъ и съ искусствомъ. Католическая церковь, имѣвшая сама въ себѣ негацию и, слѣдовательно, развитіе, не могла не найти стилиа и высокаго развитія. Живопись была эмансипаціей изъ-подъ власти исключительности религіозной. И въ этомъ великое достоинство католицизма, не понимаемое православными. Они не понимаютъ, что абстрактное, не выходящее въ жизнь существованіе церкви, потому именно и *чисто* (употребляя ихъ выраженіе), что оно отдѣлено отъ жизни; да въ этомъ собственно опредѣленъ недостатокъ, а не достоинство. Вѣрность буквальная христіанству должна была привести къ квітико-созерцательному покою и къ мертвой церкви съ пассивнымъ характеромъ. Католицизмъ есть само христіанство развивающееся; оно есть дѣйствительно христіанство. Восточная церковь, скажутъ теперь, когда католицизмъ изжилъ свои формы, явится какъ высшая религіозная форма и съ ней сочетаются идеи социализма и коммунизма. Да на чемъ же это основано? Во-первыхъ, челоѡчество не можетъ опредѣлиться въ религіозномъ отношеніи византизмомъ, потому что византизмъ не можетъ удовлетворить развитію самобытленія, возникшаго на развалинахъ католицизма; добросовѣстно никто не можетъ сказать, чтобы была адекватность между ученіемъ восточной церкви и требованіями духа времени. Мудрено ли послѣ этого, что вся ея жизнь выражаетъ недѣйствительность ея. Она не признаетъ государства, а государство тѣснить ее. она ограничивается жизнью монастырской, постомъ и молитвой, а жизнь развивается возлѣ, внѣ ея вліянія, она считаетъ искусство чуждымъ себѣ, науку—игнорируетъ, все временное—давить. И всю жизнь была давила всѣмъ временнымъ и попираема.

24. — Вчера Грановскій началъ свои публичныя лекціи. Превосходно. Какой благородный, прекрасный языкъ, потому именно, что выражаетъ благородныя и прекрасныя мысли. Я очень доволенъ. Его лекція въ самомъ дѣлѣ событіе, какъ говорить Чаадаевъ; слыханое ли дѣло, чтобъ на лекціи, безъ опытовъ физики или химіи, сошлось множество людей, изъ которыхъ 50 заплатили за входъ по 50 рублей. И какъ современны онѣ, какой камень въ голову узкимъ націоналистамъ. Писалъ сегодня статейку объ нихъ для *Москов. Вѣдом.*, повезу ее завтра къ графу Строгонову,—кажется, не дурно. Множество дамъ; разумѣется, онѣ не слушать

бздять, а казать себя,—но все это хорошо и, впрочемъ, въ самомъ дѣлѣ есть желаніе интересовъ всеобщихъ.

А между тѣмъ дома опять тучи. Удивительная вещь, только что все успокоится, только покажется, что пришло время гармоніи, новый ударъ въ самую грудь напомнитъ всю наготу и ломкость. Саша очень боленъ. Страшные опыты меня сдѣлали почти трусомъ, и теперь именно, когда Наташа такъ ищетъ покоя. Я вѣрю, почти убѣжденъ, что безъ чего-нибудь новаго болѣзнь его минуетъ благополучно; но у меня, т. е., у мужчины, и притомъ вовсе не нервнаго, сердце надрывается видѣть страданія ребенка. А она... страшно! Для меня есть минуты еще больше горькія, нежели самые болѣзненные припадки коклюша, это когда въ промежуткѣ сильныхъ припадковъ онъ начинаетъ играть и говорить восторжъ; такъ видна тутъ слабость, какое-то невыразимо тяжкое состояніе вызываетъ болѣзненный видъ ребенка, безопасно играющаго, не зная, что съ нимъ дѣлается и какія страданія его ждутъ черезъ минуту.

Что тутъ придумаетъ человѣчество? Чѣмъ укрѣпить оно себя отъ страшныхъ ударовъ случайности,—тутъ страховыя общества не помогутъ; он а beau dire о мірѣ всеобщемъ; разумѣется, человѣку, имѣющему широкіе интересы, нѣсколько легче, нежели сосредоточенному на одномъ личномъ и семейномъ, но легче не значить легко. Легко однимъ эгоистамъ, тѣ истинные цари жизни.

26.—Вчера возилъ графу Строгонову первую статью о лекціяхъ Грановскаго. Онъ согласился, чтобъ она была напечатана въ *Московск. Вѣд.*, но чтобъ имя Гегеля не было произнесено. Откуда эта гегелефобія? Потомъ длинный разговоръ объ *Отеч. Зап.*, Бѣлинскомъ, Боткинѣ, etc.; онъ знаетъ множество подробностей. Странно, какое вниманіе обращено на меня и на всѣхъ. Предостереженія, совѣты. Въ графѣ Строгоновѣ бездна рыцарски-благороднаго. Длинный, замѣчательный разговоръ.

28.—Вчерашняя лекція Грановскаго была превосходна. Какое благородство языка, смѣлое, открытое изложеніе. Были минуты, въ которыхъ его рѣчь подымалась до вдохновенія. Рѣчь шла о философіи исторіи; есть нѣкоторыя неясности, отъ которыхъ люди отдѣлываются словами, которымъ придаютъ какое-то страшное по содержанию значеніе, или себя увѣряютъ, что вопросъ уясненъ, а онъ только переведенъ на другой языкъ. Читая Гегеля и находясь весь еще подъ его самодержавной властью, я самъ во многихъ случаяхъ разрѣшалъ логическими штукаами или логической поэзіей не такъ-то легко разрѣшимое. Съ такими вещами я встрѣтился и у Грановскаго; онъ, не имѣя твердости сдѣлаться свирѣлымъ имманентомъ (какъ выражается Хомяковъ) и удерживая своего рода идеализмъ, необходимо наталкивается на антиномію, которую приходится разрѣшать поэзіей, антропоморфизмомъ все-

общаго etc. Онъ прекрасно защитилъ философію въ обвиненіи, что она всегда за сильнаго, и объяснилъ намъ... Словомъ, ничего подобнаго въ Москвѣ никогда не было читано всенародно. И публика была внимательна, даже увлечена. Статья моя объ его лекціяхъ напечатана вчера. Сюрпризъ удался вполнѣ, онъ и не подозрѣвалъ. Утромъ Коршъ ему прислалъ №. Грановскій былъ такъ тронуть, что не могъ сразу все прочесть. Когда кончилась лекція, все порядочное въ аудиторіи съ восторгомъ изъявляло свою благодарность профессору. Это одинъ изъ лучшихъ дней въ жизни Грановскаго. И какъ счастлива, съ горящимъ лицомъ и со слезами на глазахъ, сидѣла его жена. Публичныя чтенія удивительно заманчивы, кабы позволили... Статья сдѣлала эффектъ, всѣ довольны, славянофилы и яростные тоже довольны. Пора приниматься за вторую статью.

Декабрь мѣсяцъ.

1.—Вчера Грановскаго встрѣтили страшными рукоплесканіями, онъ не ждалъ и смѣшался. Долго не могъ прійти въ себя. Лекціи его дѣлаютъ фуроръ; мода ли, скука ли,—чтобъ ни вело большинство въ аудиторію, польза очевидна: эти люди пріучаются слушать. Публичныя чтенія пойдутъ въ ходъ, sui generis публичность.

6.—Анненковъ и письмо изъ Петербурга. Бѣлинскій женился; кажется, въ мірѣ нѣтъ человѣка менѣе способнаго къ семейной жизни, несмотря на то, что въ груди его гигантская способность любви и даже самоотверженія. Кетчеръ предлагаетъ пріѣхать; удивительный человѣкъ, сколько высокой любви помѣщается въ немъ и притомъ любви дѣятельной, готовой на пожертвованія; меня глубоко трогаетъ его дружба. Не скверно ли, что мы все доброе и благородное считаемъ жертвой, какою-то абнормальной натяжкой.

Перечиталъ введеніе въ Гегелеву философію исторіи. Чѣмъ болѣе мы зрѣемъ, тѣмъ замѣтнѣе рѣшительный идеализмъ великаго замыкателя христіанства и Колумба для философіи и человечественность; что за странные два концентрическіе круга, которыми онъ опредѣляетъ духъ человечества: исторія—это поприще духа, одѣйствованіе его, его истина, его полное бытіе. Потомъ духъ самъ по себѣ, въ своей области; эти круги то имѣютъ одинакій радіусъ и тогда одинъ кругъ, то радіусъ духа самого по себѣ получаетъ какую-то безконечную величину.—и тогда опять кругъ одинъ, а онъ въ обоихъ случаяхъ считаетъ два круга. Человѣчество знаетъ духъ такъ, какъ духъ себя знаетъ; во всемъ этомъ есть таутологическая бифуркація, затрудняющая смыслъ истины для того, чтобъ ее высказать глоссологіей вѣка.

11. — Неблагодетство славянофиловъ *Москвитянина* велико;

они добровольные помощники жандармовъ. Они негодуютъ на Грановскаго за то, что онъ не читаетъ о Руси (читая о среднихъ вѣкахъ въ Европѣ), не толкуетъ о православіи, негодуютъ, что онъ стоитъ со стороны западной науки (когда восточной вовсе нѣтъ) и что будто бы мало говорить о христіанствѣ вообще. Все это было бы ихъ дѣло; но они кричатъ объ этомъ, такъ что и Филаретъ началъ толковать, хотятъ печатать въ *Москвитянинъ*, что онъ читаетъ по Гегелю etc. Публика, дамы за него. Живое участіе къ его чтеніямъ растетъ, все это придаетъ хоть нѣсколько жизненности обществу; а между тѣмъ, того и смотри закроютъ лекціи. Главный характеръ нашего періода у насъ это хаосъ, анархія, толку не найдешь ни въ чемъ. Въ *Отеч. Зап.* напечатана моя IV статья почти вся. Я со всякимъ днемъ нахожу вѣроятнымъ, что надъ всѣми нами опять разразится громъ, а между тѣмъ истинно никто ничего не дѣлаетъ такого, чтобъ выходило изъ предѣловъ: полуслова, абстракціи. Что за жизнь!

17.—Вторую статью о лекціяхъ Грановскаго графъ Строгоновъ отказалъ помѣстить въ *Моск. Вѣдом.*—можетъ, онъ правъ: боязнь крика, поповъ, доносовъ справедлива. Я долго былъ у него, разстались, кажется, довольные другъ другомъ; странный онъ чловѣкъ, но я уважаю многое изъ его качествъ, и, безъ сомнѣнія, онъ очень важенъ для Московскаго университета а partant de là и для просвѣщенія всей Россіи. *Москвитянина* нѣтъ еще.

Доселѣ въ Петербургѣ говорятъ и говорятъ о страшномъ беззаконіи наказанія инженерныхъ юнкеровъ. Даже Петербургъ ужаснулся и смѣлъ показать негодованіе на К. Подробности этой исторіи поразительны: ни покрывала, ни стыда. Да не сказка ли это изъ 1743 года. Вѣрить ли, что въ 1843 г. она была?

21.—Вчера Грановскій публично съ каѳедры оправдывался въ гнусныхъ обвиненіяхъ, расточаемыхъ Шевыревымъ и Погодинымъ и, наконецъ, напечатанныхъ въ *Москвитянинъ* Окончивъ чтеніе, онъ сказалъ: «Я считаю необходимымъ оправдаться передъ вами въ нѣкоторыхъ обвиненіяхъ на мой курсъ. Обвиняютъ, что я пристрастенъ къ Западу; я взялся читать часть его исторіи, я это дѣлаю съ любовью и не вижу, почему мнѣ должно бы читать ее съ ненавистью. Западъ кровавымъ потокомъ выработалъ свою исторію, плодъ ея намъ достается почти даромъ, какое же право не любить его? Если-бъ я взялся читать нашу исторію, я увѣренъ, что и въ нее принесъ бы ту же любовь. Далѣе меня обвиняютъ въ пристрастіи къ какимъ-то системамъ; лучше было бы сказать, что я имѣю мои ученые убѣжденія; да, я ихъ имѣю, и только во имя ихъ я явился на этой каѳедрѣ; рассказывать голый рядъ событій и анекдотовъ не было моей цѣлью. Проникнуть ихъ мыслью»... и тутъ еще нѣсколько словъ, которыя я не разобралъ. Громъ

рукоплесканій и неистовое bravo, bravo окончило его рѣчь; съ невыразимымъ чувствомъ одушевленія былъ сдѣланъ этотъ аплодисментъ, проводившій Грановскаго до самыхъ дверей аудиторіи. На этотъ разъ публика была достойна профессора. И какая плюха доносчикамъ! Такія проявленія, сколько они ни бѣдны, какъ они ни рѣдки,—радуютъ. Глядя на гамъ и шумъ, у меня сердце билось и кровь стучала въ голову: есть таки симпатіи. Можетъ, послѣ этого, власть наложить свою лапу, закроютъ курсъ, — но дѣло сдѣлано, указанъ новый образъ дѣйствія университета на публику, указана возможность открыто, благородно защищаться передъ публикой въ обвиненіяхъ щекотливыхъ, и подтверждена возможность единодушнѣйшей оцѣнки такого подвига, возможность возбудить симпатію.

Что за великое дѣло публичность! Именно какъ Proudhon говорить, что работникамъ платять каждому отдѣльно, а не цѣнять новую силу, происходящую изъ совокупности ихъ. Да, множество людей представляетъ не ариѣметическую суммѣ силъ ихъ, а несравненно сильнѣйшую мощь, происходящую отъ поглощенія ихъ въ едино, каждый сильнѣе всею мощью всѣхъ.

Читаю IV томъ L. Blanc. Какъ подлъ и отвратителенъ Людовикъ Филиппъ и его правительство въ исторіи съ герцогиней Беррійской. Вотъ что значить отсутствіе того голоса въ сердцѣ, который громко вопіетъ противъ всего нечистаго, сальнаго. Не говоря о томъ, что воспользоваться беременностью женщины, чтобъ опозорить ее, — подло, особенно когда (по ихъ же понятіямъ) эта женщина свое пятно бросаетъ и на идею королевской власти и на свою семью, которая есть семья Людовика Филиппа, но и это можно бы простить; страшны средства, употребленныя для доказательства. Ей, женщинѣ, послать сказать, чтобъ она встала и прошла по комнатѣ для того, чтобъ ея животъ былъ виденъ, подписка, допросы въ самое время родовъ, восемнадцать свидѣтелей, пушечные выстрѣлы. Низко и грязно, къ тому же и несправедливо. Это только наше варварское понятіе о женщинѣ могло поставить въ важное обвиненіе женщинѣ, что она, будучи нѣсколько лѣтъ вдовою, нашла себѣ друга, любовника, мужа. Вообще исторію этого времени читать грустно, все такъ мелко, пошло.. разумѣется прорываются громадныя дѣянія и громадныя характеры, но это исключеніе. Таковъ книгопродавецъ и типографъ Ботъ, въ первыхъ дняхъ іюльской революціи, отдѣльныя сцены въ исторіи Cloître de St-Mery, Rodde, идущій продавать афишку, рыцарь-демократъ Ар. Каррель, итальянецъ Буонаротти, старецъ карбонаризма, великая, святая личность и огненная натура Маццини, и... и вся бесполезность ихъ усилій. Это опять отбрасываетъ во всѣ ужасы скептицизма. На дняхъ пробѣжалъ я 1-й № *Европейца*. Статьи

Ив. Кирѣевского удивительныя, онѣ предупредили современное направленіе въ самой Европѣ; какая здоровая, сильная голова, какой талантъ, слогу... и что вышло изъ него. Сломился какъ благородная натура, онѣ не измѣнилъ своему направленію, а бросился въ самый темный лѣсъ мистицизма,—тамъ ищеть спасенья. Бѣдныя жертвы и великія жертвы, приносимыя молоху!

24. — Прїѣзжалъ Бѣляевъ изъ Вятки. Удивительно, до чего безуміе и опьяненіе власти доходитъ; въ Вятской губерніи, въ Нолинскомъ уѣздѣ крестьяне за ослушаніе чиновникамъ палаты государственныхъ имуществъ были усмиряемы губернаторомъ вооруженной рукой; они стояли въ толпѣ и не дѣлали никакихъ насилій, ждали объясненія, въ нихъ стрѣляли картечью и 60 человекъ убито. Они бросились на колѣни и ихъ передрали плетями. Губернаторъ этотъ — знаменитый шпионъ М., управлявшій нѣсколько лѣтъ III отдѣленіемъ; были мѣрами толь отеческими недовольны,—и его повисили въ директоры одного изъ департаментовъ министерства финансовъ. Вторая исторія въ 1842 году въ Казани, гдѣ, отнявши у мужиковъ картофель, велѣли его сѣять, потомъ освободили ихъ за деньги, потомъ опять велѣли сѣять. Выведенные изъ себя крестьяне взбунтовались и были усмиряемы пулями и тесаками; цѣлыя семьи бѣжали въ лѣса и мѣсяцы не смѣли возвратиться. Кто-нибудь долженъ проснуться, или правительство, или народъ. О первомъ такъ-же трудно повѣрить, какъ о другомъ; впрочемъ, министръ Киселевъ проѣзжалъ по Космодемьянску, гдѣ была военно-судная коммиссія по этому дѣлу, и даже не озаботился спросить о немъ. И этотъ господинъ хочеть быть Umwälzungsmann! Misère, misère! Разумѣется, они могутъ быть стимулосомъ, тѣми толчками въ лицо спящаго, отъ котораго тотъ вскочить; но быть великими дѣятелями,—для этого надобна любовь къ идеѣ, любовь къ народу.

На генерала Киселева
Не положу своихъ надеждъ,
Онъ очень милъ,—о томъ ни слова!

сказалъ Пушкинъ.

Съ 29 на 30, ночь.. Ни вѣры нѣтъ, ни надежды... я себя какъ то ненавижу... хотѣлось бы, чтобъ тутъ былъ Грановскій и вино хотѣлъ бы пить... этого не должно бы быть. Время тащится тихо, можетъ, вопросъ нѣсколькихъ существованій рѣшается теперь. Тупая сила, глупая сила... Ну, что же, смертный приговоръ или милость?—случай.

30.— Вечеръ. Въ часъ безъ 10 минутъ родился мальчикъ; доесть все счастливо, но я еще не смѣю, боюсь надѣяться. Страшные опыты прочили.

31. — Вечеръ. Полтора сутокъ прошло и rien d'alarmant, дитя малъ и не изъ крѣпкихъ; но доселѣ болѣзненнаго ничего не видать и грудь беретъ. Для Наташи нестошное благо, если это дитя будетъ живо; это ее морально и физически успокоить.

Дружба, любовь окружаетъ насъ прекраснымъ вѣнкомъ, сколько симпатіи горячей, полной, благородной. Это наше великое благо въ жизни, награда и пр. Грановскій, получивши записку, не могъ ее читать отъ волненія и передать другому. Утромъ, когда еще ожидали, онъ молился. Я не могу этого дѣлать. Въ рѣшительныхъ минутахъ, я, наконецъ, нахожу силу и стою будто на барьерѣ во время дуэли, жду, что пуля мимо или въ грудь... Жду мрачно, собравши всю твердость. Середь ожиданія является рефлексія, и я иду и на гору и подъ гору съ дикой, свирѣпой послѣдовательностью, не отклоняя страшнаго, а всматриваясь въ него. Всякій по своему.

Черезъ часъ наступитъ и новый годъ. Въ прошломъ не было страшныхъ внѣшнихъ толчковъ, но страшныя внутреннія событія. Я съ содроганіемъ вспоминаю весну, — да покроетъ могила 1843 многое слышанное и сказанное тогда! Но рубцы остались неизгладимы, но *выжитое* всѣмъ этимъ осталось.



Январь мѣсяцъ.

2.—Трое сутокъ прошло, — и все идетъ хорошо. Я начинаю убѣждаться, хотя и съ робостью, со страхомъ, что на этотъ разъ не предвидится такой катастрофы, какъ въ прошлый.

7.—Вчера Грановскій окрестилъ новорожденнаго; все было весело и торжественно, напомнило рожденіе Саши. Огаревъ считаетъ себя крестнымъ отцомъ Саши; Сатинъ и Кетчеръ крестили несчастныхъ малютокъ умершихъ, и Грановскій вновь начинаетъ съ перелома. Сегодня девятый день и все исправно.

Былъ на дняхъ у графа Строгонова, интриганы изъ профессоровъ сбиваютъ его видимо; онъ любитъ и желаетъ просвѣщенія, онъ любитъ Европу и все благородное, но боится рѣзко и рѣшительно объявить себя противъ дикихъ славянофиловъ, а они, пользуясь его шаткостью, пугаютъ, лгутъ и получаютъ мѣсто въ его убѣжденіяхъ. «Я, говорилъ онъ, всѣми мѣрами буду противо-дѣйствовать гегелизму и нѣмецкой философіи. Она противорѣчитъ нашему богословію. На что намъ раздвоенность. два разные догмата, догматъ откровенія и догматъ науки? Я даже не приму того направленія, которое афишируетъ примиреніе науки съ религіей: религія въ основѣ». На это я сказалъ ему, что очень хорошо не принимать людей, толкующихъ о соглашеніи и примиреніи. потому что они лжецы и трусы. Примиренія нѣтъ въ томъ смыслѣ, въ какомъ его понимаютъ, и наука не имѣетъ нужды ни въ мирѣ, ни въ войнѣ. Въ заключеніе графъ сказалъ, что если онъ не успѣетъ другимъ образомъ, то готовъ или оставить свое управленіе, или закрыть нѣсколько кафедръ: «вы, вѣроятно, съ другими, назовете тогда меня варваромъ, вандаломъ». Я опустилъ глаза и промолчалъ. Разговоръ сталъ слабѣть и скоро кончился. Не жаль ли, что эта доблестно-рыцарская натура падаетъ подъ нерѣшительностью?

И какъ будто есть двѣ науки въ самомъ дѣлѣ. Останавливать современную науку, значитъ убивать вообще развитіе науки и сводить преподаваніе на сухія, историческія, филологическія, естествозна-тельные, математическія свѣдѣнія, не связанныя ни единою мыслью.

8.—Какъ шатко, страшно шатко все въ жизни, кромѣ мысли, которая собственно уже и есть снятіе жизни индивидуальной, единственно полной. Какъ спокойны мы были, а сегодня опять страшный день. и едва теперь я нѣсколько сталъ спокойнѣе, а днемъ намучился и настрадался, особенно вечеромъ. Наташа сильно занемогла; вчера немного неосторожно понадѣялась она на свои силы и, можетъ, дорого еще заплатитъ за это; я боялся, что разовьется воспаленіе; но, кажется, еще нѣтъ и не будетъ, сильныя спазмы, боли нестерпимыя... воспаленіе поставитъ на край гроба. Отъ этой мысли дѣлается какая-то лихорадка. Теперь два часа, она спитъ, что-то будетъ завтра. А мы послѣдніе дни были спустя рукава. Случай этотъ разразился такъ неожиданно, колѣна мои подгибались. Хорошо, что Елизавета Богдановна у насъ, она облегчила меня; безъ близкаго человѣка страшно въ такія минуты, убійственно. Къ тому же я такъ неловокъ, когда ухаживаю за больными. Да мимо идетъ чаша сія!

11.—И прошла. А душа какъ корабль: что ни побѣжденная буря, то ближе къ разрушенію. Матросы становятся лучше, а дерево хуже.

Странная вещь: въ Börsenhalle—новость объ опредѣленіи бывшаго дерптскаго профессора Мадай къ Нассаускому герцогу, по рекомендаціи великой княгини Елены Павловны. Мадай это тотъ благородный профессоръ, который, послѣ дикой и отвратительной исторіи съ Ульманомъ и Бунге, напечаталъ спустя нѣкоторое время статью въ Allgemeine Zeitung обо всемъ дѣлѣ, изложилъ всю закулисную исторію драмы, грубое и несправедливое окончаніе ея отрѣшеніемъ Ульмана и Бунге за принятіе однимъ Ständchen и за то, что другой сказалъ, что нѣтъ закона, препятствующаго студентамъ такимъ образомъ изъяслять свою симпатію. Статью эту Мадай подписалъ. Ясное дѣло, что послѣ этого онъ долженъ былъ оставить Дерптъ; не знаю, какъ сошло ему съ рукъ такъ легко, у насъ не очень смотрятъ на права иностранцевъ Мадай всю гадкую часть интригующаго приписываетъ Уварову. Or donc, въ Börsenhalle написано, что Мадай опредѣленъ герцогомъ по рекомендаціи великой княгини, засвидѣтельствовавшей, что Мадай прекрасный человѣкъ и оставилъ службу по личнымъ отношеніямъ съ министромъ просвѣщенія. Кто въ состояніи что-нибудь понять въ этой галиматіѣ нашего управления? Въ другихъ государствахъ какъ бы скверно правительство ни было, какіе бы раздоры внутри совѣта ни были, наружно министры держатся за-одно, идутъ подъ однимъ знаменемъ, съ одною мыслью, которая есть съ тѣмъ вмѣстѣ мысль правительства. Примѣры такіе, какъ недавно съ Олозагой или вѣкогда съ Фоксомъ, когда дѣло шло объ Индійской компаніи, и гдѣ король подкапывалъ министерство черезъ пѣровъ, рѣдки и не-

нормальны. У насъ, напротивъ, министерство не связуется никакою мыслью, въ немъ нѣтъ даже формальнаго единства: Меншиковъ отпускаетъ злыя колкости надъ Канкринымъ, Клейнмихелемъ, etc., публично; Киселевъ идетъ своей дорогой, Перовскій—своей. Разумѣется, голосъ великой княгини въ этомъ дѣлѣ благородное дѣло, честь ей. Уваровъ пользовался прежде ея расположеніемъ. Можетъ, слетить, лучше ли это, хуже ли, какъ сказать? Онъ чело-вѣкъ дрянный, мелкій и точный, а пользы надѣлалъ бездну. Строгоновъ благороденъ, рыцарь и тоже очень полезенъ округу, а сдѣлають министромъ, не знаю, что будетъ, и трудно сказать, впередъ это или назадъ. Вотъ истинно вавилонское столпотвореніе!

14.—Крикъ и гамъ объ лекціяхъ Грановскаго. Онъ имѣлъ разговоръ съ гр. Строгоновымъ: и онъ боится, а сначала такимъ жаркимъ защитникомъ былъ. М. милый типъ важной глупости,—боится ѣздить. Страхъ замѣтно развивается.

18.—Наступилъ годъ мрачными днями, страшными страданіями, которыми я думалъ искупить все и, можетъ, въ самомъ дѣлѣ испу-пилъ какую-нибудь долю. Вѣчно довѣрчивый, я думалъ, что все темное забыто; но достаточно было воскреснуть въ памяти по поводу числа миновавшимъ образамъ и мыслямъ, чтобы снова повергнуть се во всю безумную грусть. Какая доля слабымъ нер-вамъ и какая память оскорбленія! И что ей дѣлать, если нѣтъ силъ и средствъ забыть, примириться истинно, простить безслѣдно. Всякій разъ подобно нежданно и разомъ выталкиваетъ меня изъ той сферы жизни, которая мнѣ свойственна, и я себѣ кажусь какъ-то жалко гадокъ. Лишь бы не возвратились прошлогодні сцены. Жизнь послѣдняго малютки, думалъ я, все уврачуешь.

Самаринъ возвратился: онъ съ ужасомъ начинаетъ разглядывать невозможность удержаться на ихъ тонѣ ортодоксно-философскомъ. Благородное устройство его головы не позволяетъ ему остановиться на формальномъ, внѣшнемъ сосуществованіи или, лучше, на юкта-позиціи. Его поразилъ въ Казани лама, увѣренный, спокойный въ своей ортодоксіи. Но онъ грустенъ, процессъ совершается круто, и я знаю по себѣ, какъ тяжело разставаться съ нѣкоторыми мечтами, хотя я въ нихъ и не такъ вжился, какъ онъ. Недавно «Allgemeine Zeitung» à propos de bottes цитировала удивительное мѣсто изъ Гёте объ Америкѣ (хотя оно и не вовсе къ ней идетъ):

Dich stört nicht im Innern,
Zu lebendiger Zeit,
Unnützes Erinnern
Und vergeblicher Streit.

Пора начать и чело-вѣчеству забывать ненужное изъ былого, то есть, помнить о немъ, какъ о быломъ, а не какъ о сущемъ.

Филаретъ поручилъ Голубинскому опровергнуть Гегеля; Голу-

бинскій отвѣчалъ, что ему не совладать съ берлинскимъ великаномъ и что онъ не можетъ его безусловно отвергнуть. Филаретъ требовалъ, чтобъ онъ, по крайней мѣрѣ, противъ тѣхъ сторонъ возсталъ, съ которыми не согласенъ. Но Голубинскій опять отвѣчалъ тѣмъ, что онъ такъ послѣдователенъ, что можно или все отвергать или все принять. Итакъ, кротъ прокапываетъ и въ духовную академію. Строгоновъ всеѣмъ растерялся, ему хочется и свободы преподаванія и чтобъ оно не выходило изъ границъ, имъ выдуманныхъ; онъ боится рѣзко принять ту или другую сторону и качается въ неприятномъ, ужасномъ положеніи. Имъ всеѣмъ хотѣлось бы дать все права наукѣ на условіи, чтобъ она не пользовалась ни однимъ. Въ родѣ томъ, какъ Екатерина II сзывала депутатовъ или какъ испанскіе гранды снимали шляпу передъ королемъ, но онъ долженъ былъ всякій разъ остановиться.

24.—Безпрерывные споры и разговоры съ славянами много способствовали, съ прошлаго года, къ уясненію вопроса, и добросовѣтность съ обѣихъ сторонъ сдѣлала большія уступки, образовавшія мнѣніе болѣе основательное, чѣмъ чистая мечтательность славянъ и гордое презрѣніе ультра-оксидентныхъ.

Gottes ist der Orient,
Gottes ist der Occident. .

Главная ошибка ихъ, что вѣря (и не безъ основанія) въ огромное будущее славянъ, какъ того племени, которое имѣетъ призваніе своею непосредственностью соответствовать высшему, логическо-историческому вопросу, выработанному Европой, они хотятъ и въ самомъ младенчествѣ его видѣть что-то высшее европейскаго развитія, какъ будто возможность будущаго значить превосходство и надъ дѣйствительностью развитою и осуществившею свое призваніе. Впрочемъ, я собираюсь объ этомъ писать цѣлую статью. Движеніе умственное, безпокойное, ищущее разрѣшеній, говорящее въ Москвѣ, усиливается очевидно. Страшно думать: что когда эту дѣятельность хорошенько разглядятъ, развѣютъ опять по лицу Россіи всеѣхъ порядочныхъ людей.

25.—Терроръ. Какая-то страшная туча собирается надъ головами людей, вышедшихъ изъ толпы. Страшно подумать: люди совершенно невинные, не имѣющіе ни практической прямой цѣли, не принадлежащіе ни къ какой ассоціаціи, могутъ быть уничтожены, раздавлены, казнены за какой-то образъ мыслей, котораго они не знаютъ, который имѣтъ или не имѣтъ не состоитъ въ воли челоуѣка и который остановить они не могутъ.

Противники мысли объ экспатріаціи совѣтуютъ ѣхать по добру да по здорову. Строгоновъ, испуганный, преслѣдуетъ порядочныхъ профессоровъ требованіемъ иначе читать; они хотятъ бѣжать изъ

Москвы, искать слушателей въ другихъ университетахъ. Что то будетъ? Ударъ не минуетъ моей головы, меня знаютъ они давно. Впрочемъ, я на все готовъ. А, кажется, въ самомъ дѣлѣ лучше бы бѣжать, только не тогда, когда другіе ждутъ цѣпей—*felonie!*

Февраль мѣсяцъ.

Письмо отъ Кетчера. — Булгаринъ писалъ къ князю Волконскому, что со времени его попечительства въ литературу показывается вредная тенденція, что *Отеч. Зап.* подрываютъ православіе, самодержавіе и народность, что должно назначить комиссію для разбора этого журнала, что онъ туда явится присяжнымъ доносителемъ, и грозить Волконскому, буде онъ не сдѣлаетъ никакихъ распоряженій, довести все это до свѣдѣнія государя черезъ прусскаго короля. Волконскій ничего не могъ сдѣлать противъ подлаго шпіона, цензуру стѣснили, тѣмъ пока и кончилось. Итакъ, всего аристократическаго положенія Волконскому недостаточно было, чтобъ подавить доносъ. Еще шагъ и *Отеч. Зап.* рухнули бы со всеми участниками. Чѣмъ болѣе мерзости, тѣмъ ближе къ концу, но въ данномъ случаѣ близкаго конца нигдѣ не видать. За ихъ покой, за ихъ жизнь въ будущемъ вѣкѣ, за ихъ праздность въ настоящемъ,—нѣтъ полной симпатіи къ славянамъ. А славянофилъ за надежды, за возможности смотреть съ пренебреженіемъ на европейцевъ съ гордостью. Дѣтское заблужденіе. Въ этомъ, какъ и во многомъ, останутся рѣзкія преграды между нами.

3.—Чего и чего не случается въ жизни; за минуту нельзя предвидѣть, какая новая нелѣпость случайности хватить въ голову. Вчера мы преспокойно сидѣли, смѣялись; вдругъ Саша зацѣпился за ножку трюмо и объ противоположную разсѣкъ глубоко себѣ лобъ, кровь полилась рѣкою; что дѣлать, какія мѣры, какъ велико поврежденіе, цѣла ли кость? Къ тому же слабость Наташи, ея страшный испугъ. Положили компрессъ изъ холодной воды съ уксусомъ, явная недостаточность этихъ средствъ, страхъ употребить другія. Я послалъ за Альфонскимъ и за Варвинскимъ. Онъ ушибся во второмъ часу, Альфонскій пріѣхалъ въ три, склеилъ рану и, кажется, все сойдетъ съ рукъ. Но что же это за страшное бытіе наше,—безпрестанно и съ физической, и съ нравственной стороны ждешь ударовъ, или не ждешь, но поражаешься ими.

6.—Читаю письма Форстера, знаменитаго Майнцакаго депутата при конвентѣ 93 года. Удивительная натура, всесторонняя гуманность, пламенное желаніе практической дѣятельности, энергія его рѣзко отличаютъ отъ германцевъ того времени. Какъ въ его юношескихъ письмахъ все понятно и близко душѣ! Первый высокій человекъ, съ которымъ онъ встрѣтился, былъ Якоби; до того моло-

дой Форстеръ, чрезвычайно рано развитый, ѣздилъ вокругъ свѣта, потомъ жилъ въ Лондонѣ и между людьми, которые не могли сильно дѣйствовать на него. Истинно глубокой симпатіи не могло быть между Якоби и Форстеромъ,—но какъ юношески ринулся онъ къ нему, какъ любилъ его горячо, подчинялся ему, принималъ религіозныя фикціи; онъ по преимуществу реалистъ. Когда вспомню, какъ, переламывая тяжелую скуку, я заставлялъ себя читать переписку Гёте съ Шиллеромъ, гдѣ иногда проблескиваютъ мысли гениальныя, затеряныя въ филистерскія и гелертерскія подробности, [и сопоставлю] съ поглощающимъ интересомъ этихъ писемъ,—становится странно. Жизнь полная выше гениальной односторонности.

Форстеръ никакъ не могъ ужиться съ жалкой жизнью нѣмецкихъ ученыхъ, онъ истинную симпатію нашелъ въ одномъ Лихтенбергѣ. Они были прямые продолжатели Лессинга. Тяжело было имъ жить въ совершенно не сочувствующемъ обществѣ, но какая широкая, ученая дѣятельность, академическая, и съ какимъ уваженіемъ эта дѣятельность признана самимъ правительствомъ. Наше страшное состояніе имъ не было извѣстно; въ Европѣ всегда уважались лица, у насъ именно лицо (какъ въ Азій) и считается за ничтожность.

А гророс. Кіевскій генераль-губернаторъ Бибииковъ донесъ на Рѣдкина *Юридическія Записки*, что въ нихъ была помѣщена статья о Литовскомъ статутѣ апологическая въ то время, какъ онъ замѣняется русскимъ законодательствомъ. Статья эта напечатана года два. Министръ, Бенкендорфъ тотчасъ начали переписку, запросы и, если-бъ не хотѣлъ того Строгоновъ, дѣло кончилось бы хуже замѣчанія. Въ то же время и черезъ того же Бибиикова Маркевичъ, сочинитель исторіи Малороссіи, съ нимъ 40 человекъ малороссовъ, подали доносъ на Сенковского, что онъ оскорбительно отзывался о Малороссіи въ *Библиотеку для чтенія*, что онъ называлъ ихъ бѣглыми холопами польскими, и для того чтобъ доказать, что они не холопы, а свободные люди, они подаютъ доносъ баринуву управляющему нѣмцу, прося защитить народность. Истинно, черезъ десять лѣтъ кроютъ III отдѣленіе собственной канцеляріи, потому что оно, а равно и шпионы будутъ ненужны, доносъ будетъ обыкновенное дѣло, знакъ преданности отечеству, acte de dévouement. Не правъ ли К. Козловскій, говорившій Кюстину, что въ Россіи есть des dilettanti de bassesse. Въ прежнее время они скрывались, теперь они, поднявши голову и вытянувши уши, ходятъ между нами—и, добрые, щадятъ насъ еще, ибо въ ихъ рукахъ судьба насъ и нашихъ семействъ.

9.—Продолжаю читать Форстера. Удивительно полная, реальная, ясно и глубоко видящая натура. Его переписка начинается

собственно съ 1778 года; вскорѣ знакомится онъ съ Якоби и подчиняется его вліянію, но долго онъ не могъ живую душу свою пеленать въ романтическую философію, — и съ 1783 года настаётъ рѣшительная реакція и полное развитіе силъ и самосознанія, и тутъ Форстеръ появляется лицомъ великимъ, достигающимъ колоссальности въ 1791, 92, 93 годахъ. Эпоха его переворота, отъ религиозныхъ мечтаній къ трезвому сознанию, безконечно занимательна. Чѣмъ болѣе онъ отходитъ отъ мечтаній, тѣмъ ярче начинаетъ онъ понимать социальное положеніе человѣка, тѣмъ глубже разумѣть жизнь и природу; ему нѣсколько тяжель сначала разлагающій скептицизмъ, но истина ему дороже всего, и онъ тотчасъ мирится съ потерей, тотчасъ видитъ пользу и благо истины, хоть она не такъ пестра, какъ ложь. Конечно, по слову Пушкина:

Стократъ блаженъ, кто преданъ вѣрѣ.
Кто хладный умъ угомонивъ,
Покоится въ сердечной нѣгѣ.
Какъ пьяный путникъ на ночлегѣ.

Но истинно благородная душа не можетъ довольствоваться благомъ, основаннымъ на опьяненіи, купленномъ цѣною свободы. Для суетной гордости, для поверхностнаго примиренія, разумѣется, религія выше науки, разума. Это Форстеръ прекрасно оцѣнилъ; она удовлетворяетъ страшно самолюбіе, сближая человѣка съ Богомъ такъ, что садится торжественно въ центръ управленія міромъ и видитъ все сокровенное въ природѣ, и видитъ все подъ ногами своими. Съ другой стороны, всесторонне гуманная натура Форстера не скрываетъ ни великаго развивательнаго свойства этихъ мечтаній, ни глубоко человѣческаго смысла вообще. Глядя въ Вѣнѣ на толпу молельщиковъ, колѣнопреклоненныхъ на улицѣ передъ церковью, въ которой продаютъ индульгенціи, Форстеръ видитъ не одно слѣпое и глупое, напротивъ: «*der Mensch ist ein weichherziges Thier, Ver-söhnung und Frieden sucht er so gern und ist so froh, wenn er sie erlangt zu haben glaubt!*» Отступая отъ искусственной экзальтаціи, обыкновенно сопутствующей аскетизму религиозному, Форстеръ начинаетъ тотчасъ давать мѣсто чувству и самой чувственности: слово наслажденіе уже не равнозначительно для него со словомъ порокъ, паденіе и пр. Напротивъ, логическая натура его указываетъ ему на другое, на признаніе страсти, на такой гармоническій бытъ, въ которомъ и страсть будетъ имѣть мѣсто, но уже не разрушительное. Онъ пишетъ къ Зѣмерингу: «*... ich bin sinnlicher wie du, und bin es mehr als jemals, seitdem ich der Schwärmerei auf immer Adieu gesagt habe, dass es Thorheit sei um den ungewissen Zukünftigen Willen das sichere Gegenwärtige zu verscherzen... ich werde nicht wieder glauben, dass wir der Süßigkeit angenehmer Empfindungen empfänglich gemacht worden sind, blos um den Schmerz*

zu fühlen, sie uns selbst verfasst zu haben... Empfinden war immer meine erste Wollust, Wissen nur die Zweite, und wie viel Überwindung es mich gekostet hat in der Zeiten der traurigen Schwärmerei und Bigotterie mein Gefühl zu kreuzigen, ist mir selbst in der Erinnerung entsetzlich».

Поразительнѣ всего у Форстера необыкновенный тактъ пониманія жизни и дѣйствительности; онъ принадлежитъ къ тѣмъ рѣдкимъ практическимъ натурамъ, которыя равно далеки отъ идеализма, какъ отъ животности. Нѣжнѣйшія движенія души понятны ему, но всѣ онѣ отражаются въ ясномъ, свѣтломъ взглядѣ. Этотъ ясный взглядъ и симпатія ко всему человѣческому, энергическому раскрылъ ему тайну французской революціи среди ужасовъ 93 года, которыхъ онъ былъ очевидецъ.

12.—Лекціи Мицкевича au Collège de France, 1840—1842. Мицкевичъ славянофилъ, въ родѣ Хомякова и С°, со всею той разницей, которую ему даетъ то, что онъ полякъ, а не москаль, что онъ живетъ въ Европѣ, а не въ Москвѣ, что онъ толкуетъ не объ одной Руси, но о чехахъ, иллирійцахъ и пр., и пр. Нѣтъ никакого сомнѣнія, въ славянизмѣ есть истинная и прекрасная сторона; эта прекрасная сторона вѣрованія въ будущее всего прекраснѣе у поляка, у поляковъ, носящихъ съ собою свою родину. Но съ этимъ прекраснымъ характеромъ надежды у славянъ всегда является какое-то самодовольство, *jaçtance*, которое тѣмъ страннѣе, чѣмъ очевиднѣе ужасъ современнаго положенія. Славяне всегда рабы, вездѣ холопы—смирные, пассивные холопы. Демократическій элементъ, на который они опираются, утраченъ, крѣпостное состояніе—достаточное доказательство. И когда цвѣло это общинное устройство? Въ періодъ величайшей неразвитости. Бедуины—демократы, и патриархализмъ имѣетъ всегда своего рода семейно-общинное начало. Конечно, славяне имѣли болѣе внѣшнихъ препятствій къ развитію, нежели романо-германскіе народы; одни физическія препятствія очень важны (которыя никакъ не должно пренебрегать, какъ это дѣлають идеалисты), климатъ болѣею частью сырой и холодный, перемѣнчивый и суровый, плоскость, недостатокъ водяныхъ сообщеній и ужасныя разстоянія. Тутъ, впрочемъ, и могла развиться *деревня*, но всякая централизація должна была встрѣтить большія препятствія, города не могли получить важнаго значенія, а деревни были впоследствии подавлены. Демократическій элементъ не могъ выработаться; лучшее доказательство—псевдо-аристократія, крѣпостное состояніе и страшно нелѣпый фактъ, что лишеніе правъ большей части населенія шло, увеличиваясь отъ Бориса Годунова до нашего времени.

17.—Мицкевичъ говоритъ, что разгадка судебъ міра славянскаго лежитъ сокрытая въ будущемъ. Это говорятъ всѣ славянофилы,

но они не имѣютъ геройства послѣдовательности, они все же хотятъ отыскать отгадки въ прошедшемъ. Прошедшее христіанство принадлежитъ Европѣ романо-германской, католицизму, феодализму и ихъ разложенію. Во всемъ этомъ славяне не участвовали. Разумѣется, и Византія, и Русь имѣли жизнь, и жизнь болѣе близкую къ Европѣ, нежели Китай etc.; но для нихъ, ихъ исторія не была полнымъ осуществленіемъ всей скрытой въ нихъ мысли. Византія замирала въ чиновничьей, мертвой централизаціи, мудрствовала о догматахъ и развивала ихъ въ теологическія тонкости. Русь по какому-то глубокому провидѣнію взяла, сложившись, гербомъ Византійскаго орла, двуглаваго, врозь смотрящаго. Истинно полного слитія государства съ народомъ никогда не было; народъ спокойно, покорно, но безучастно прозябалъ въ своихъ деревняхъ, будто ожидая чего то. Великій смыслъ былой исторіи государства, это тихое гигантское развитіе его, несмотря на всѣ препятствія. Еще менѣе вѣрно воззрѣніе, что Польша представила своимъ былымъ самую развитую фазу славянскаго міра. Конечно, самую развитую, но не славянскую; это было совершенно ложное направленіе для славянскаго народа, и тѣмъ хуже, что оно глубоко проникло въ высшіе классы. Мицкевичъ сравниваетъ поэмы и лѣтописи чеховъ, руссовъ, поляковъ и пр.; безучастіе и простота Нестора ему не понравились, а между тѣмъ Галлусъ—сколокъ съ западныхъ лѣтописцевъ; духъ, вбѣющій въ немъ, не чисто славянскій, какъ, напр., въ *Словѣ о Полку Игоревѣ* или какъ въ сербскихъ отрывкахъ, имъ приведенныхъ. Сербы были всего менѣе подъ влияніемъ Запада. Образецъ высшаго развитія славянской общины—черногорцы. Русское правительство сдѣлало въ 1834 опытъ, надавало земли владыкѣ, посовѣтовало завести сенатъ,—все это не удалось, у нихъ полнѣйшая демократія, патриархально-дикая, но энергическая и сильная. Европа болѣе и болѣе обращаетъ вниманіе свое на этотъ нѣмой міръ, который называетъ себя словенами. Много, много удивительнаго въ этомъ мірѣ, напр., у насъ, при управленіи не національномъ, съ каждымъ десятилѣтіемъ виденъ шагъ впередъ. Оппозиціонность растеть, всѣ боятся и всѣ говорятъ, мы менѣе всѣхъ, потому что мы сознаемъ себя оппозиціей, а другіе безсознательно; по счастью, они не умѣютъ слѣдить ни за литературой, ни за чѣмъ,—нѣтъ умно учрежденнаго шпионства, оно болѣе устроено, нежели сообразно цѣли. Если бы теперь сколько-нибудь не такъ терзали всякую свободную мысль, доходящую до нихъ, мы вдругъ шагнули бы ужасно.

Запрещено въ московскихъ газетахъ печатать отрывки изъ отчета полиціймейстера о Петербургѣ,—с'est significatif, они боятся гласности, говорящихъ фактовъ объ безобразіи этого города, гдѣ все искусственно, гдѣ на четырехъ мужчинъ падаетъ одна женщина,

гдѣ число солдатъ страшно, гдѣ сотни умирають отъ венерической болѣзни и пр. Итакъ, они стыдятся его закулисной жизни. Вавилонъ, можетъ, необходимый нѣкогда, полезный даже теперь, но у котораго нѣтъ никакой будущности.

21.—По поводу книги Штура *Untergang der Natur-Staaten*, пришлю опять въ голову о славянахъ и германцахъ или, лучше, объ европейцахъ. Азія не умѣла выйти въ сознательно дѣятельную жизнь изъ непосредственной, оттого ея государства или дробились внѣшнею силою, или замирали въ формализмѣ, въ стоячести внѣ-исторической жизни. Греція и Римъ уже имѣли потребность отрѣшиться отъ естественныхъ опредѣленій, но не могли вынести въ своей односторонности такого отрѣшенія. Противоборствующій плебей былъ олицетвореніемъ отрицанія патриціатскаго, гречески-аристократическаго государства, тяготѣвшаго во имя преданія. Римъ и Греція пали сами отъ себя и въ этой борьбѣ естественнаго, непосредственнаго порядка съ демократіей, религіи—съ философій развились и ихъ смертныя болѣзни и ихъ высокое человѣческое значеніе для всемірной исторіи. Германецъ съ перваго появленія является съ характеромъ несравненно болѣе освобожденнымъ отъ всего непосредственнаго, отъ почвы, отъ поколѣнія, даже отъ семьи: личность—вотъ идея, которую онъ вноситъ въ міръ, и, исчерпавъ все необъятное содержаніе своей мысли, онъ, будто оканчивая свое призваніе, какъ завѣщаніе будущему, оставляетъ *Déclaration des droits de l'homme*. Но имѣли ли мы право сказать, что грядущая эпоха, которая на знамени своемъ поставитъ не личность, а общину, не свободу, а братство, не абстрактное равенство, а органическое распредѣленіе труда, не принадлежитъ Европѣ? Въ этомъ весь вѣресъ. Славяне ли, оплодотворяясь Европой, одѣйствуютъ идеаль ея и приобщать къ своей жизни дряхлую Европу, или она насъ приобщитъ къ поконѣвшей жизни своей. Славянофилы разрѣшаютъ этого рода вопросы скоро, какъ будто дѣло давно рѣшенное. Есть указанія, но далеко нѣтъ полнаго рѣшенія. Въ германцахъ съ перваго шага ясна идея, которую они внесутъ въ міръ. Я недавно читалъ Тацита о германскомъ народѣ: они, говоритъ онъ, любятъ жить по-одиночкѣ, разсѣиваться на большомъ пространствѣ, но любятъ хлѣбопашество и пр. Законъ ихъ предоставляетъ мести вступаться за обиды, связь ихъ между собой свободна, дружба къ герцогу, вѣрность, преданность свободная, высокое понятіе о чести, особаго рода уваженіе къ женщинѣ, къ цѣломудрію,—все вмѣстѣ говоритъ и предсказываетъ монадную жизнь феодализма и развитіе личности. Католицизмъ является великою мощью освобожденія отъ національныхъ непосредственностей и единою связью разноплеменныхъ. Путь развитія славянскаго міра совсѣмъ не такъ ясенъ. Она говорятъ, что всякая односторонность ярче бросается въ глаза

и легче удобоволнима, но гдѣ же, въ самомъ дѣлѣ, въ исторіи славянъ всесторонность? Она лежитъ только въ инстинктѣ и нигдѣ непроявляемой до нашего періода, который именно ими и отвергается. Они говорятъ, что судорожное движеніе замѣтнѣе органически нормальнаго развитія, но это фразы, не имѣющія смысла. Ибо органическое развитіе всемірной исторіи, совершившееся внѣ славянскаго міра, очевидно такъ же, какъ каменная жизнь славянъ, ограничившаяся до Петра гигантской кристаллизацией. Славянскій міръ, котораго мощный и полнѣйшій представитель Русь, изъ чисто непосредственной жизни въ Кіевскій періодъ переходитъ въ сознательно государственнѣй періодъ съ перенесеніемъ столицы въ Москву; но силу его хватило только на ростъ. Выросши, Русь начинала входить, несмотря на юность, въ маразмъ и се ждало или разложеніе, или искупленіе извнѣ. Это искупленіе принесъ съ собою съ запада Петръ I и сунуль его жесткой рукой бунтовщика, который былъ вмѣстѣ съ тѣмъ и царемъ. Народъ собственно мало участвовалъ въ исторіи. онъ пробуждался иногда, являлся съ энергіей какъ въ 1612, такъ и 1812, никогда не показывая ни малѣйшаго строяющаго, зиждущаго начала и удалялся пахать землю. Эта даль и безучастіе народа есть, можетъ, великое пророчество, но его прежде надобно признать какъ фактъ,—этого славянофилы не хотятъ. Съ другой стороны, венадобно никакъ забывать, что какое бы двойство между народомъ и правительствомъ ни было, однако правительство принадлежитъ къ народу. а до Петра оно вмѣстѣ съ церковью было совершенно русское: между тѣмъ, чуждое всякаго развитія и прогресса, оно дошло до того, что первый гениальный царь, попавшійся на престолъ, отбросилъ ржавые рычаги патріархально-помѣщичьяго управленія огромной страной и, желая привить ей европеизмъ, началъ съ учрежденія страшнаго, высшаго деспотизма и инквизиціонно-канцелярскаго управленія. Эта расторженность спасла Россію; ей мы обязаны тѣмъ развитіемъ, которое теперь по частнымъ случаямъ даетъ намъ право дѣлать высокія заключенія о будущемъ призваніи. Въ сторону всѣ предразсудки, съ которыми по преданію смотрятъ самые философы. Напримѣръ, ставятъ въ первое достоинство воинственность народа, богатство городовъ и пр., въ то же время какъ проповѣдуютъ уничтоженіе войны и неестественность большихъ городовъ; количество земли занимаемой ставится до сихъ поръ въ достоинство, расширеніе границъ принимаютъ за успешное развитіе etc. И не этихъ условій ищутъ у былой жизни славянъ (хотя надобно сознаться, что завоеваніе, богатство и проч. свидѣтельствуетъ въ пользу энергіи и богатства не пришедшей въ ясность мысли), а ищутъ того сочлененія, того намека на будущее. какъ у древняго германизма временъ Тацита; намеки эти едва видны въ

быть, въ направленіи хлѣбопашескомъ, въ деревняхъ и равнодушной негациі всего прочаго. Исторія же скучна, бѣдна, она не вовлекала всѣхъ силъ народа въ свою ткань, она оставляла его почвой и не болѣе.

24. — Мицкевичъ приводитъ, между прочими черногорскими пѣснями и легендами ихъ и сербовъ, одну прекрасную и исполненную граціи. Три брата строили крѣпость, но она все не строилась: наконецъ, какое-то видѣніе сказало имъ, что надобно закласть въ стѣну первую особу, которая на другой день принесетъ имъ завтракъ. Они согласились и дали другъ другу слово молчать. Но старшіе братья предупредили своихъ женъ. Меньшой смолчалъ. На другой день, жена его кормила грудью ребенка и мать ея предложила ей идти за нее нести завтракъ, но она остановила старуху, дала ей нянчить младенца и пошла. Мужъ обнялъ ее съ горькими слезами и отдалъ каменщикамъ; начали закладывать бѣдную женщину; она сначала думала, что съ нею шутятъ, потомъ испуганная начала молить, просить, — всѣ отъ нея бѣжали; тогда она стала молить каменщиковъ оставить два окошечка, одно для груди, чтобы покормить своего милаго ребенка, другое для глазъ, чтобы взглянуть на него. Такъ жила она годъ, потомъ окаменѣла и остались окошечки, и изъ обоихъ льются два вѣчныхъ ручья, одинъ изъ ея груди, другой ручей слезъ изъ глазъ. Чрезвычайно поэтической образъ. Поэма о свадьбѣ Зерновича съ дочерью венеціанскаго дожа, вѣроятно, славянофиламъ не понравится, она вся сплетена изъ обмановъ, лжей, коварныхъ убійствъ и, наконецъ, ренегатства. Максимъ дѣлается Скандербегомъ. Замѣчательно удивленіе славянъ, когда Венеціанка заговорила о своихъ правахъ; они не привыкли, чтобы жены ихъ говорили противъ воли мужей. Сравнить съ этой поэмой, напр., Лонгобардскіе рассказы Павла діакона, въ которыхъ видна вся сентиментальность, чистота нравовъ и уваженіе къ женщинамъ германцевъ. И притомъ надобно вспомнить, что Павелъ жилъ въ VIII вѣкѣ, а славянская поэма писана не ранѣе XV.

Мартъ мѣсяцъ.

5. — Чаадаевъ превосходно замѣтилъ однажды, что одинъ изъ величайшихъ характеровъ христіанскаго возрѣнія есть понятіе надежды въ добродѣтель и постановленіе ее съ вѣрою и любовью. Я съ нимъ совершенно согласенъ. Эту сторону упованія въ горести, твердой надежды въ повидимому безвыходномъ положеніи, должны по преимуществу осуществить мы. Вѣра въ будущее своего народа есть одно изъ условій одѣйствоворенія будущаго. Былое сердцу нашему говоритъ, что оно не напрасно; оно это доказы-

ваетъ тѣмъ глубоко трагическимъ характеромъ, которымъ дышетъ каждая страница нашей исторіи. Польша имѣла свои свѣтлые годы при Ягеллонахъ, свою блестящую жизнь при Сигизмундѣ-Августѣ, свои упоенія славой при Стефанѣ Батори, при Янѣ Собѣсскомъ. Она жила, жила аристократіей, какъ и вся Европа тогдашняя. Русь въ это время переходила отъ скорби къ скорби, и первые самобытные, государственные шаги ея дѣлаетъ царь Іоаннъ Васильевичъ Грозный, самое трагическое лицо въ исторіи человѣчества,— великій умъ, сердце гienы и иронія, почерпнутая изъ глубокаго презрѣнія людей и своего народа, развитая византійской-схоластической софистикой. И отъ него Русь унаслѣдовала Петру. И съ положеніемъ перваго камня на Балтійскомъ берегу начался новый актъ трагедіи; его характеръ — открытое расторженіе народа на двѣ части: одну нѣмую, другую постороннюю народу, безхарактерную. Безхарактерность высшихъ классовъ у насъ до того велика, что они принимаютъ весь характеръ царствующаго лица. Характеристика Екатерины, Павла и Александра — единственный ключъ къ пониманію русской исторіи новаго времени.

6. — Гречева защита государя противъ Кюстина фактъ паразитическій,—она обвиняетъ правительство гораздо хуже Кюстина токомъ апологіи и тѣмъ, что она хвалитъ. Явная ложь, наглость, презрительныя ссылки на дѣла всѣмъ извѣстныя и представленныя совсѣмъ иначе; рабскій, холопскій взглядъ и дерзкая фамилярность, для того выставленная, чтобъ показать нашу удивительную патріархальность относительно государя. Онъ его трактуетъ *comme un des ses amis*. Есть страницы, поражающія цинизмомъ раба, потерявшаго всякое уваженіе къ человѣческому достоинству. Онъ полагаетъ, на примѣръ, что человѣкъ, не находящій правительство разнообразнымъ съ своими понятіями о правѣ и недовольный имъ, *долженъ* ежеминутно трепетать, ибо онъ знаетъ, что достоинъ Сибири. Нигдѣ не защищаетъ онъ Россіи, онъ говоритъ только о лицѣ государя, оправдываетъ его и, говоря о секретныхъ дѣлахъ, всякій разъ увѣряетъ, что онъ знаетъ ихъ изъ достовѣрнаго источника. Такъ какъ Гречъ органъ правительства, то, по его брошюрѣ, разомъ измѣряется все разстояніе между народомъ и Петербургомъ. Если-бъ была симпатія, этимъ ли путемъ, этими ли устами защищалось бы правительство? Гречъ предалъ на позоръ дѣло, за которое поднялъ подлую рѣчь. Лабинскій показалъ болѣе такта,— онъ не смѣлъ съ презрѣніемъ говорить о Трубецкой и проч., что цензура учреждена не для правительства, а для народа, что благороднѣйшая часть народонаселенія фурнируетъ полицейскихъ чиновниковъ, что въ Петербургѣ можно такъ-же свободно говорить, какъ въ Лондонѣ и Парижѣ. Наконецъ, отрицая факты всѣмъ

извѣстные, Гречь усугубляетъ вдвое силу діатрибы. Такое оправданіе—кара, кара за неуваженіе къ національному перу, кара за боязнь замѣшать мысль въ оправданіе, кара за свою разобщенность.

7.— Умеръ Юшневскій, одинъ изъ главныхъ членовъ южнаго общества, нѣкогда генераль-интендантъ II арміи, отправленный въ 26 году въ каторжную работу. Онъ умеръ на поселеніи. Другъ его, съ которымъ онъ вмѣстѣ жилъ, Вадковскій умеръ за три дня; Юшневскій несъ гробъ его и въ церкви, когда священникъ сталъ читать Евангеліе, колѣна его погнулись, голова опустилась,—пошли къ нему и нашли одинъ трупъ. Тутъ все колоссально и страшно И 19 прошедшихъ лѣтъ, и безвыходность, и смерть этихъ лицъ. Быстро идутъ они въ могилу, и ни одинъ радостный лучъ не освѣтитъ имъ при переходѣ на тотъ свѣтъ—*Væ victis!*

Грановскій заключилъ послѣднюю лекцію превосходными словами: рассказавъ, какъ французскій король губилъ Тамплиеровъ, онъ прибавилъ: «Необходимость гибели ихъ, ихъ виновность даже ясны, но средства употребленные гнусны; такъ и въ новѣйшей исторіи мы часто видимъ необходимость побѣды, но не можемъ указать ни въ симпатіи къ побѣжденнымъ, ни въ презрѣніи къ побѣдителю». И неужели эта аудиторія, принимающая его слова, особенно такія слова съ ужаснѣйшими рукоплесканіями, забудетъ ихъ? Забыть она ихъ, впрочемъ, имѣетъ право, но неужели они пройдутъ безслѣдно, не возбудивъ ни одной мысли, ни одного вопроса, ни одного сомнѣнія? Кто на это отвѣтитъ? Страшно сказать *нѣтъ*, и да страшно сказать.

10.— Перечиталъ рѣчь объ Уложеніи, Морошкина. Изъ всего, что я читалъ. писаннаго славянофилами, это, безъ сомнѣнія, и лучшее и талантливѣйшее сочиненіе. Онъ глубоко понималъ русскую юридическую жизнь. Уложеніе представляло возможность органическаго развитія, а не Петровскаго столпотворенія, помутившаго новыми началами старыя, старыми—новыя. Время приведетъ все въ порядокъ, но въ петровскій періодъ внесена бездна зла: аристократія, инквизиціонный процессъ, военный деспотизмъ, раздѣленіе сословій, произвольныя нововведенія, составлявшія иллогизмъ. Они имѣли поползновеніе внести аристократическій элементъ въ духовенство, они убили остатки славянскаго судопроизводства и сельское маклерство. Но что было дѣлать для вывода Россіи изъ коснаго положенія Конихинскихъ временъ? Намъ хорошо теперь заднимъ умомъ разсуждать. Удивительная задача въ исторіи—развитіе Россіи.

14.— Петровскій періодъ важенъ именно какъ разрывъ, какъ критика и отрицаніе. Русь не выступала изъ узъ семейно-патріархальныхъ. Царь Алексѣй Михайловичъ былъ помѣщикъ. Петръ разрушилъ въ правительствѣ единство съ народомъ; онъ отвле-

ченныя понятія поставилъ вмѣсто косныхъ, непосредственныхъ понятій. Онъ вызвалъ полярность, противопоставилъ одинъ элементъ другимъ; родные братья, вовлеченные въ борьбу, не узнавали другъ друга, и тутъ ихъ вина болѣе, нежели переворота; они безсознательно были братья, и потому инстинктъ не устоялъ противъ революціи. Правительство заняло относительно народа совсѣмъ другое мѣсто, оно не его мысль выражало, а мысль европеизма и отвлеченной централизаціи, оно сочло себя, за одно желаніе образованія, образованнымъ и смотрѣло на народъ, какъ на стадо. Реформа мало касалась народа, реформированною толпою сдѣлалось дворянство,—его обрили, дали право не быть сѣченымъ и проч. Теперь реформа приближается къ деревнѣ. Все вмѣстѣ дало тѣ начатки движенія и жизни, которые мы видимъ своими глазами.

Перелистывалъ Баланша *Palingénésie Sociale*; умъ слоя Морощинскаго, пластическій, чувственно логическій и неспособный къ діалектикѣ; но множество *предчувствій* истинныхъ, симпатій и предсказаній къ будущему. Его появленіе, вскорѣ послѣ начала реставраціи, должно было сдѣлать большое вліяніе, онъ гораздо далѣе смотрѣлъ, нежели Шатобрианъ или Местръ. Его языкъ темень, фантазія мѣшаетъ и помогаетъ ему, онъ объясняется мѣтами, и, кажется, самъ чувствуетъ недостатокъ ясности; этотъ недостатокъ онъ думаетъ вознаграждать повтореніями и многословностью. Но имя его не должно забывать ни въ развитіи философіи исторіи, ни въ исторіи социализма.

17. — Дочиталъ Мицкевича лекціи. Много прекраснаго, много пророческаго, но онъ далекъ отъ отгадки; напротивъ, грустно видѣть, на чемъ онъ основываетъ надежду Польши и славянскаго міра. Въ его надеждѣ, если ее принять за надежду всѣхъ поляковъ, полный приговоръ Польшѣ. Нѣтъ, не католицизмъ спасетъ славянскій міръ и воззоветъ его къ жизни, и (истина заставляетъ признаться) не поляки поймутъ будущность. Мицкевичъ самъ цитовалъ стихи своего соотечественника, который говорить: «Геній, въ тысяча голосахъ его окружающихъ, умѣетъ понять истинный, вслушаться въ него и потомъ смѣло броситься въ колесницу и летѣть на совершеніе». Мицкевичъ не узналъ этого голоса. Онъ далекъ отъ ненависти къ Россіи, напротивъ, онъ хвалитъ ее, но не понимаетъ, до того не понимаетъ, что иной разъ лучшія ея стороны приводятъ его въ отчаяніе; такъ, въ Петрѣ онъ понялъ одну отрицательную сторону, равно и въ Пушкинѣ, а онъ былъ друженъ съ нимъ; и какъ-же его душѣ поэта было не понять Пушкина! Литературное движеніе послѣ Пушкина вовсе не существуетъ для него. Во всемъ вѣетъ трагическій духъ графа въ *Comédie infernale*; но Польша будетъ спасена помимо мессіанизма и папизма.

19 - Превосходные рассказы Михаила Семеновича ¹⁾ о своихъ былыхъ годахъ и, между прочимъ, о мелкомъ чиновничествѣ, о протоколистѣ Котельниковѣ, имя котораго не должно изгладиться изъ исторіи бюрократіи. Во всѣхъ этихъ рассказахъ пробивается какая-то sui generis струя демократіи и ироніи. Люди эти, ненавидимые народомъ и презираемые властью, съ злою улыбкой смотрятъ внизъ и вверхъ и побѣждаютъ умомъ, безнравственной казуистикой, которая съ тѣмъ вмѣстѣ свидѣтельствуешь о чрезвычайномъ развитіи юридической способности. Мелкіе чиновники не худшее сословіе въ Россіи; пора перестать исключительную стрѣльбу по маленькимъ взяточникамъ, довольно рутали титулярныхъ совѣтниковъ и канцелярскихъ, пора иронію возвести въ чинъ; правда, развратъ ихъ и цинизмъ глубоки, но сквозь гнусныя испаренія, мнѣ виднѣется важный элементъ, религіозно-гражданское чувство, консервативное; преданности у нихъ нѣтъ. Котельниковъ говорилъ, «что онъ ѣздилъ на двухъ исправникахъ, вѣдь, всякіе бываютъ, къ иному подойти страшно, точно бѣшенный жеребецъ и фыркаеть, и бьетъ, а смотришь въ ѣздѣ куда хорошъ». И посмотришь на этого сальнаго протоколита, который кланяется въ ноги исправнику, стоитъ дрожа передъ губернаторомъ,—вѣдь, это одна комедія, онъ равно смѣется въ душѣ надъ исправникомъ, какъ надъ губернаторомъ, онъ обманываетъ ихъ подлостью и они не вибуютъ средствъ миновать, онъ понимаетъ свое превосходство надъ ними, свою необходимость; вѣдь, для практическаго и истиннаго исполненія ни одинъ законъ, ни одно распоряженіе не минуетъ мелкаго чиновника, а онъ-то и обрѣжетъ крылья министерской фантазіи.

У насъ понятіе о винѣ и правотѣ подсудимаго для судьи лишнее: онъ знаетъ, что подсудимый подошелъ подъ такую-то статью, и судья всегда жалѣеть о *неосторожности* и готовъ указать возможность миновать статью.

24. — Gfrörer, Geschichte der geistlichen Kirche, 1-ая ч. Паразитическое сходство современнаго состоянія человѣчества съ предшествующими Христу годами придаетъ удвоенную важность исторіи развитія церкви и времени, предварившаго евангельское ученіе. Съ одной стороны, древній міръ былъ весь собранъ въ одинъ узелъ, въ одинъ царящій органъ; съ другой, въ самомъ этомъ средоточіи обличилась ярко необходимость возрожденія. Между тѣмъ, вдали отъ центра разрабатывались, бродили неустроенныя и приходили въ органической порядокъ смутныя идеи новаго порядка дѣлъ, міра возникающаго. Окаменѣлое ученіе саддукеевъ, нѣсколько принявшее въ себя чуждыхъ началъ ученія фарисеевъ, дряхлѣеть, терапевты и ессениане выступаютъ изъ іудайскаго

¹⁾ Щепкина (актера).

міра въ иной, въ которомъ неоплатонизмъ, александрійская мистика дають совершенно новое направленіе. Главнѣйшія истины христіанской теодицеи и христіанская нравственность проявляются отрывочно въ новыхъ ученіяхъ. Ессениане учреждаются точно такъ, какъ послѣ апостолы по свидѣтельству св. Луки. Іосифъ говоритъ, «что у нихъ каждый вступавшій въ орденъ приносилъ свое имущество, которымъ распорядилось общество; бѣдныхъ не было, такъ, какъ и богатыхъ, собственность была слитная, братству принадлежащая». Чистота нравовъ, доведенная до монашескаго аскетизма и плотиумерщвления, свидѣтельствуеъ ясно, что они такъ же, какъ Христосъ, принимаютъ плоть за зло и умерщвляютъ ее считаютъ святѣйшимъ дѣломъ. Они отрекаются отъ кровавыхъ жертвъ. Наконецъ, у нихъ, какъ у мистическихъ неоплатониковъ, слагается ученіе о единичной троиственности Бога; отъ основной нравственности берутъ смиреніе, вѣру и любовь,— все вѣдетъ Евангеліемъ и во всемъ чего-то недостаетъ, того властнаго слова, той конкреціи, той молніи, которая единымъ ученіемъ, полнымъ и соотвѣтственнымъ, выразить, осуществить бродящія и несочлененныя части, предсуществующія ему. Неопредѣленное чувство этой неполноты выражается упованіемъ Мессіи. Въ наше время социализмъ и коммунизмъ находятся совершенно въ томъ же положеніи; они предтечи новаго міра общественнаго, въ ихъ разсѣянно существуютъ *membra disjecta* будущей великой формулы, но ни въ одномъ опытѣ нѣтъ полного лозунга. Безъ всякаго сомнѣнія, у сень-симонистовъ и у фурьеристовъ высказаны величайшія пророчества будущаго, *но чего-то* не достаетъ. У Фурье убійственная прозаичность, жалкія мелочи и подробности, поставленныя на колоссальномъ основаніи; счастье, что ученики его задвинули его сочиненія своими. У сень-симонистовъ ученики погубили учителя. Народы будутъ холодны, пока проповѣдь пойдетъ этимъ путемъ; но ученія эти велики тѣмъ, что они возбуждаютъ, наконецъ, истинно народное слово—какъ Евангеліе. Доселѣ съ народомъ можно говорить только черезъ священное писаніе и, надобно замѣтить, социальная сторона христіанства всего менѣе развита; Евангеліе должно взойти въ жизнь, оно должно дать ту индивидуальность, которая готова на братство. Коммунизмъ, конечно, ближе къ массамъ, но доселѣ онъ является болѣе какъ негачія, какъ та громовая туча, которая чревата молніями, разобьющими существующій нелѣпый общественный бытъ, если люди не покаются, видя предъ собою судъ божій. «Искушеніе, примиреніе»—слова, произносимыя тогда и теперь. Обновленіе неминуемо. Принесется ли оно вдохновенной личностью одного, или вдохновеніемъ цѣлыхъ ассоціацій пропагандистовъ,—собственно все равно; разумѣется и то, что пути эти вовсе не противоположны. Христіанство не заклю-

чается въ Христѣ, а въ Христѣ и апостолахъ, въ апосталахъ и ихъ ученикахъ, въ живой средѣ ихъ оно развивалось и становилось тѣмъ, чѣмъ человѣчеству надобно было.

// 27.— Жизнь человѣка непрерывная, злая борьба; лишь только, съ одной стороны, побѣждены препятствія, улаженъ миръ, съ другой, возстаютъ изъ-подъ земли, падаютъ съ неба враги, нарушающіе спокойное пользованіе жизнью, гармонію и развитіе. Настоящимъ надобно чрезвычайно дорожить, а мы съ нимъ поступаемъ неглижé и жертвуемъ его мечтамъ о будущемъ, которое никогда не устроится по нашимъ мыслямъ, а какъ придется, давая сверхъ ожиданія и попирая ногами справедливейшія надежды. Только-было наша внутренняя жизнь пошла поспокойнѣе, страшная болѣзнь малютки повергла опять въ судорожное состояніе людей, ожидающихъ сентенцію царя... Снова слезы, разрушеніе едва возстановленныхъ силъ ея, и темная ночь. Безпрерывный стонъ младенца имѣетъ въ себѣ что-то уничтожающее для всякаго уха (человѣческаго). А для матери? И это безпрестанное присутствіе съ невозможностью помощи, съ ненужностью пособій. Кто главный виновникъ этихъ страданій, неразрывныхъ съ семейнымъ бытомъ? Устройство ли семейства? или при всякомъ сожитіи людей не отстранятся эти удары? Отвернуться отъ нихъ можно. Избытокъ эгоизма и сосредоточенности на себѣ или совершенная преданность всеобщимъ интересамъ облегчаетъ крестъ частной жизни. Но для всѣхъ ли? Фурье разрубилъ вопросъ, но не развязалъ узла кровныхъ сношеній: Фурье не понялъ женщины, не понялъ любви, ему безпрестанно мерещились развратные браки, негодныя женщины, скверные отцы и ложная наружность, у которой все это прикрыто лицемѣрной внѣшностью, и кто не согласится, что легальное, юридическое опредѣленіе брака, родства etc., сходное съ католическимъ и феодальнымъ возрѣніемъ,—не состоятельно? Но внутреннее вѣнчаніе любовью, истинныя отношенія мужчины къ женщинамъ, обоихъ къ дѣтямъ, не улаживаются такъ легко словомъ: общественное воспитаніе. Напротивъ, при совершенной свободѣ отношеній, вся отвѣтственность падаетъ на самого человѣка. Брака не будетъ—любовь останется, наслѣдства не будетъ—дѣти будутъ. Отстранить мать отъ воспитанія дѣтей можно только тогда, когда она хочетъ этого. Но та мать, которая этого хочетъ, и въ теперешнемъ устройствѣ не много страдаетъ отъ дѣтей,—рѣчь не о ней, рѣчь о матери любящей. Силой отнять дѣтей -- варварство и противорѣчіе съ системой, дающей всякой страсти развитіе. И жизнь снова утянута въ жизнь дѣтей, истощена ими, и она, исходя любовью, исходитъ силами. Но такое несчастное положеніе не лучше ли довольства? Но среди этихъ бореній не являются ли минуты, о свѣтѣ которыхъ другіе и понятія имѣть не могутъ?

28. — Конечно, любящая мать будетъ страдать отъ случайностей, которымъ подвержено существованіе дѣтей. Но въ общинной жизни, развитой на широкихъ основаніяхъ, женщина будетъ болѣе причастна общимъ интересамъ, ее нравственно укрѣпитъ воспитаніе, она не будетъ такъ односторонне прикрѣплена къ семейству и тогда удары будутъ выносимѣе. Въ прошломъ бытѣ также было утѣшеніе въ отрываніи себя отъ частнаго, возношеніемъ къ Богу, въ молитвѣ. Личность Иисуса, лишенная своей сверхъестественной стороны, выступаетъ у Грѣрера недосытаемо прекрасна, великое помазаніе всемірнаго призванія, самоотверженіе, безконечная любовь, наконецъ, самопожертвованіе для запечатлѣнія истины, для торжества идеи. Грѣреръ очень хорошо разсматриваетъ отношеніе Иисуса къ Иоанну, къ положительной религіи и къ положительному праву. Враждебныя начала христіанству должны были привиться съ перваго шага апѣстольской пропаганды; конечно, Христосъ не хотѣлъ церкви съ окаменѣлыми институтами, цѣликомъ взятыми отъ левитъ, но какъ безъ наружной церкви могла возрасти внутренняя идея? Первая христіанская община была ессеиски-иудайская, она не оторвалась отъ преданія и отъ нравовъ израильскихъ, она дѣлила съ фарисеями вѣру второго для нея, перваго для нихъ, пришествія. Она мало сообщалась съ язычниками. Апостоль Павелъ словомъ и разореніе Иерусалима событіемъ оторвали христіанъ отъ іудаизма. Иерусалимъ не могъ уже быть средоточіемъ новой религіи, и ученіе Христа приняло свой вселенскій характеръ; запутанное въ іудейскія формы, оно не могло бы быстро перейти въ другіе народы. /

30.—Никто ранѣе 25 лѣтъ не можетъ ѣхать за границу, пошлины 700 рублей въ годъ, паспорта выдаются только въ Петербургѣ, жена безъ мужа не можетъ ѣхать. Я желаю прочесть этотъ указъ печатный.

Апрѣль мѣсяць.

3.—Пасторъ Reuter въ Гессенъ-Дармштадтѣ былъ взятъ подъ стражу за политическія мнѣнія и при допросѣ пытаемъ ужасными средствами: ему набивали кольцо цѣпи на кость руки, сѣкли его etc. Приведенный въ отчаяніе и бѣшенство, старикъ хотѣлъ перерѣзать себѣ горло стекломъ, и, какъ разумѣется, не могъ; однако его нашли мертвымъ. Доктора нашли, что смерть причинена не разрѣзомъ стекла, а другими острыми орудіями (которыхъ въ тюрьмѣ не было). Вотъ плодъ инквизиціоннаго процесса и прекрасный матеріалъ къ исторіи современныхъ германскихъ правительствъ. Судья, пьяница и дѣлатель фальшивыхъ документовъ, осыпанъ крестами etc.

Разные анекдоты о Петрѣ I. Странное сочетаніе геніальности съ натурой тигра. Страшенъ процессъ, которымъ страна могла дойти до необходимости появленія такого врача, до возможности его и до того, что она могла вынести такое царствованіе. Марать, Робеспьеръ и Фукье Тенвиль вмѣстѣ. Понять, оправдать, отдать не токмо справедливость, но склониться передъ грозными явленіями конвента и Петра — долгъ. Но не всѣхъ актеровъ 93 года можно любить, также и Петра.

5.—Итакъ, указъ о путешествіяхъ не пуфъ. Усовершенствованіе въ художествахъ и ремеслахъ позволено, но не въ наукахъ! Страшное время—силы истощаются на бесплодную борьбу, жизнь утекаетъ, и ни капли отрадной, ни близкой надежды—ничего.

14.—Замѣчательная статья въ 3 послѣднихъ № *Московскихъ Вѣдомостей* объ освобожденіи негровъ. Приложение прямое и въ официальной газетѣ.

Читалъ Гегелеву философію природы (*Encyclopedie II. Th.*). Вездѣ гигантъ, многое едва набросано, очеркнуто, но ширина и объемъ колоссаленъ. Какой огромный шагъ въ освобожденіи отъ абстрактныхъ силъ, во введеніи въ свои рамы категорію величины, которой подавляли все земное, и какой перевѣсъ качеству, конкрети. Онъ освобождаетъ въ полномъ развитіи человѣка отъ его матеріальнаго опредѣленія, отъ его теллурической жизни, адекватностью его формы понятія (чѣмъ бѣднѣе его развитіе, тѣмъ болѣе онъ зависитъ отъ природы). Духъ вѣченъ, матерія всегдашняя форма его инобытія. Лишь только форма способна, лишь только она можетъ выразить духъ, она и выражаетъ его: здѣсь, тамъ, вездѣ, гдѣ условія органическаго возстановленія собрались, одѣйствовались. Какъ началась индивидуализація планеты, солнечной системы, что было прежде etc., etc.,—на все это очень трудно отвѣчать, главное всякій разъ попадешь въ ту ли, въ другую ли сторону in die schlechte Unendlichkeit. Инобытіе, чѣмъ полнѣе одна внѣшность, чѣмъ далѣе отъ адекватности съ понятіемъ, тѣмъ упрямѣе оно въ своей матеріальности, тѣмъ естественнѣе оно удерживается отъ разрѣшенія въ мысль и схваченное въ односторонности, представляетъ именно die schlechte Unendlichkeit вещества. Разсудкомъ не выйдешь изъ этихъ логическихъ круговъ, такъ какъ разсудкомъ никогда не поймешь жизнь органическую, ибо жизнь сама въ себѣ, an sich, спекулятивна. Разсудочная истина формально до оконченности ясна, но плоска, и истиннаго примиренія въ ней нѣтъ. Спекулятивная. повидимому, смутна, но она глубока.

19 — Конечно, Гегель въ отношеніи естествовѣдѣнія далъ болѣе огромную раму, нежели выполнилъ, но coup de grâce естественнымъ наукамъ въ ихъ настоящемъ положеніи окончательно нанесенъ. Признаютъ ли ученые это, или нѣтъ,—все равно, тупое

Vornehmthuerei des Ignoriren ничего не значить. Гегель ясно развил требованіе естественной науки и ясно показалъ всю жалкую путаницу физики и химіи, не отрицая, разумѣется, частныхъ заслугъ. Имъ сдѣланъ первый опытъ понять жизнь природы въ ея діалектическомъ развитіи отъ вещества самоопредѣляющагося, въ планетномъ отношеніи, до индивидуализаціи въ извѣстномъ тѣлѣ, до субъективности, не вводя никакой агенціи, кромѣ логическаго движенія понятія. Шеллингъ предупредилъ его, но Шеллингъ не удовлетворилъ наукообразности. Самъ Гегель не можетъ (въ чемъ его упрекаетъ Тренделенбургъ) держаться безпрестанно въ изрѣженной средѣ абстракціи, и дѣйствительность жизненно, со всеѣмъ огнемъ, врывается представленіями, фантазіями, поэтическими образами (за что Гегель заслуживаетъ большую похвалу), но онъ вѣренъ и неумолимо строгъ въ общемъ развитіи; Шеллингъ провидѣлъ требованіе, но слишкомъ легкой дорогой удовлетворился имъ.

22. — Окончился курсъ Грановскаго. Этотъ курсъ событіе, событіе, имѣющее большое значеніе. Сверхъ внутренняго своего достоинства, онъ имѣетъ внѣшнюю важность тѣмъ, что теперь начнутся публичные курсы; публика узнала новое, сильное, волнующее наслажденіе всенародной, энергической рѣчи. Доценты увидѣли, какою аудиторією можетъ Москва окружить ихъ.

Симпатія къ Грановскому далеко превосходитъ все, что можно себѣ представить: публика была удивлена, поражена благородствомъ, откровенностью и любовью; Грановскій прямо касался самыхъ волнующихъ душу вопросовъ и нигдѣ не явился трибуномъ, демагогомъ а вездѣ свѣтлымъ и чистымъ представителемъ всего гуманнаго. На послѣдней лекціи аудиторія была биткомъ набита. Когда онъ въ заключеніе началъ говорить о славянскомъ мірѣ, какой-то трепетъ пробѣжалъ по аудиторіи, слезы были на глазахъ и лица у всѣхъ облагородились. Наконецъ, онъ всталъ и началъ благодарить слушателей, — просто, свѣтлыми, прекрасными словами, слезы были у него на глазахъ, щеки горѣли, онъ дрожалъ... «Благодарю тѣхъ, такъ кончилъ онъ, которые съ симпатіей слушали меня и раздѣляли добросовѣстность тона ученыхъ убѣжденій; благодарю и тѣхъ, которые, не раздѣляя ихъ, съ открытымъ челомъ, прямо и благородно высказывали мнѣ свою противоположность. Еще разъ благодарю васъ!» Онъ молчалъ и кланялся. Безумный, буйный восторгъ увлекъ аудиторію: крики, рукоплесканія, шумъ, слезы, какой-то торжественный беспорядокъ, нѣсколько шапокъ было брошено на воздухъ. Дамы бросились къ доценту, жали его руку; я вышелъ изъ аудиторіи въ лихорадкѣ. Слава доценту и слава аудиторіи! Литераторы, товарищи, друзья приготовили обѣдъ; вліяніе послѣднихъ словъ было такъ сильно и такъ живо, что всѣ противоположныя воззрѣнія примирились

въ дружескомъ торжествѣ и самыя противоположныя натуры искали другъ друга, чтобъ заявить свое различіе и уваженіе. Весело, шумно и, наконецъ, пьяно окончился этотъ день. Его отмѣтятъ многіе, онъ многимъ вспомнётся, какъ прекрасный праздникъ любви и симпатіи.

27.—Споръ университета и церкви развивается и далекъ отъ конца. Современное состояніе истинно удручаетъ неуволимостью своей, видомъ всесовершеннѣйшаго безпорядка. Въ былое время вопросъ современной жизни разрѣшался односторонне, ко всему его жали. Непримиимость элементовъ рѣзко кидается теперь въ глаза и не дозволяетъ трезво мыслящему удовлетворенія частнымъ рѣшеніемъ. Давно забытые элементы жизни, вызванные со дна моря невыносимой тоскою ожиданія, въ буйномъ броженіи смѣшались съ новымъ и младенчествуящимъ, осадокъ и пѣна равно увлеклись броженіемъ. Это послѣднее явленіе; передъ новымъ пришествіемъ истины и мертвые подали свой голосъ и заявили свои права, чтобъ не быть забытыми при воскресеніи. Но какъ тяжело съ этими мертвецами, и тяжело потому, что, не будучи слѣпыми, мы не можемъ отрицать въ нихъ остатокъ жизненности, а въ противоположномъ зачатокъ смерти. Именно это-то и страшно, и давить. Человѣкъ 93 года зналъ знамя, къ которому стать и которое вполне соответствовало ему. А тутъ, напротивъ, вамъ равно не хочется ни съ доктринерами защищать полицейскими мѣрами университетъ, ни съ иезуитами, усилившимися тѣмъ, что полиція ихъ толкаетъ. Такъ и наши ультра-славянофилы: чувствуешь все дѣлящее отъ нихъ и чувствуешь симпатію, и понимаешь, какъ они пришли къ своему воззрѣнію и какъ противоположное воззрѣніе при неосторожности переходитъ въ петербургскій взглядъ,—въ то время какъ западно-либеральныя головы считаютъ націонализмъ подпорою правительства. Что тутъ дѣлать? Ждать ли, пока вырастетъ уже родившійся мессія, о которомъ проповѣдуютъ Товіанскій и Вронскій, или броситься à corps perdu въ односторонность и понять ихъ приготовленными буквами святого глагола, который раздастся? Или сложить руки и лечь спать?

Май мѣсяць.

4. — Нѣтъ ничего забавнѣе и досаднѣе, какъ *juste milieu* во всякомъ дѣлѣ; это безразличная точка въ магнитѣ, это статическая задача, употребляющая всѣ силы на поддержаніе равновѣсія и не имѣющая послѣ силъ въ остаткѣ для какого-нибудь дѣйствованія, это австрійская политика. Храбрость послѣдовательности великое дѣло. Вчера я душевно смѣялся на стараніе Рѣдкина вывести личнаго Бога и христіанство путемъ чистаго мышленія.

Логика доводитъ до идеи, до безличнаго духа, который личень въ человѣкѣ и черезъ человѣка себяпознающъ; далѣе не выведешь ничего, кромѣ непростительной таутологіи, которой угощали берлинскіе философы Германію. Разъ духъ—какъ всеобщій духъ человѣчества, которому оно необходимо, другой духъ—личный, экстрамундальный; но духъ безъ міра, an sich, есть логическая абстракція, стало, и тотъ духъ имѣеть свою объективность, свое aussersich sein—и опять schlechte Unendlichkeit. Въ логикѣ слова: Gott, Geist, übergreifende Subjectivität, вовсе не значать eine bestimmte Persönlichkeit, eine Individualität; индивидуальность подчинена категоріи времени, она употребляетъ эти слова какъ persona moralis, какъ духъ такого-то народа, такой-то эпохи. А этимъ господамъ страшно, они имѣютъ голосъ въ груди, препятствующій идти до этихъ результатовъ. Хорошо, ну, такъ принять, что путь, который привелъ къ нелѣпости, ложенъ, и надобно отбросить науку; опять трусость и непослѣдовательность. Да мы примиримъ, уладимъ и науку, и религію. Религія приметъ ли такое примиреніе? Она отречется во имя церкви такъ, какъ наука отречется во имя логики. Бакунинъ горько выразился, говоря, что люди du juste milieu похожи на польскихъ жидовъ, которыхъ и Россія, и Польша вѣшала.

12. — Наши праздники 8 и 9 были хороши неожиданнымъ прїѣздомъ для нихъ стараго друга, участника на первомъ планѣ тогдашнихъ дней. Обстановка въ прошломъ году была страшнѣе: теперь фактически чернаго мало, но таковъ рубецъ, оставляемый отъ зажившихъ ранъ, такова его жизнь въ памяти, что того полнаго довѣрія, простосердечнаго, нѣтъ. Однажды обожженный молніей боится каждой грозы, онъ свои силы на противодѣйствіе истощилъ: напрасно думаютъ, что силы развиваются въ мукахъ.

Хомяковъ писалъ къ Ивану Васильевичу, предлагая *Москвитянина* и страдая его, что ихъ противники хотятъ купить голосъ его; все это продолжалось въ то время, какъ Хомяковъ торжественно мирилъ и примирялъ. Иванъ Васильевичъ отклонилъ предложеніе и спрашиваетъ, кто эти противники, не Грановскій ли съ друзьями, что въ такомъ случаѣ онъ къ нимъ чувствуетъ болѣе симпатіи, нежели ко всемъ славянофиламъ. Черта истинно московско-русская въ Хомяковѣ, это лукавство, прикрытое бономіей. Истиннаго сближенія между ихъ воззрѣніемъ и моимъ не могло быть, но могло быть довѣріе и уваженіе, которое и есть между другими, напримѣръ между нами и Кирѣевскими. Съ полной гуманностью, подвергаясь упрекамъ со стороны всехъ друзей, протягивалъ я имъ руку, желалъ ихъ узнать, оцѣнилъ хорошее въ ихъ воззрѣніи. Но они фанатики и нетерпящіе люди. Они создали міръ химеръ и оправдываютъ его двумя-тремя порядочными мыслями, на ко-

торыхъ они выстроили не то зданіе, которое слѣдовало. Всѣхъ ближе изъ нихъ къ общечеловѣческому взгляду — Самаринъ; но и у него еще много твердо и исключительно славянскаго. Аксаковъ во вѣки вѣковъ останется благороднымъ, но и не поднимется дальше Москвафилиі.

17.—Огромное письмо, въ родѣ диссертациі, отъ Бѣлинскаго. Возраженіе на мое, писанное къ Ивану Павловичу; энергія и невозможность дѣла сломили его. Возможность внутренняя и невозможность внѣшняя превращаютъ силы въ ядъ, отравляющій жизнь; онѣ загниваютъ въ организмѣ, бродятъ и разлагаютъ, отсюда взгляды гнѣва и желчи, односторонность въ самомъ мышленіи. Бѣлинскій пишетъ: «я жидъ по натурѣ и съ филистимлянами за однимъ столомъ ѣсть не могу»; онъ страдаетъ и за свои страданья хочетъ ненавидѣть и ругать филистимлянъ, которые вовсе не виноваты въ его страданьяхъ. Филистимляне для него славянофилы, я самъ не согласенъ съ ними, но Бѣлинскій не хочетъ понять истину въ *fatras* ихъ нелѣпостей. Онъ не понимаетъ славянскій міръ; онъ смотритъ на него съ отчаяніемъ, и неправъ, онъ не умѣетъ *чаять жизни будущаго вѣка*, а это чаяніе есть начало возникновенія будущаго. Отчаяніе — умерщвленіе плода во чревѣ матери. Буду писать къ нему такое же длинное письмо. Странное положеніе мое, какое-то невольное *juste milieu* въ славянскомъ вопросѣ: передъ ними я челоуѣкъ запада, передъ ихъ врагами челоуѣкъ востока. Изъ этого слѣдуетъ, что для нашего времени эти одностороннія опредѣленія не годятся.

19.—Какой-то пилигримъ рассказывалъ о Соловецкомъ монастырѣ: монахи истязаютъ тамъ арестантовъ ужаснѣйшимъ образомъ, они ихъ сбьютъ, вынуждая требовать денегъ, заставляя въ трескучіе морозы полуодѣтыхъ работать и пр. Этими сѣченіями предводительствуетъ настоятель, сбьютъ въ трапезѣ, на техническомъ языкѣ это называется «лозами стирать гордыню!» Ну, въ этомъ я полагаю славянофиламъ не обвинить Петровскую реформу. Это такъ и вѣдетъ Русью царя Ивана Васильевича и прежними нравами ея.

27.—У насъ до того всѣ элементы перепутаны, что никакъ нельзя указать, съ которой стороны враждебный станъ; быть можетъ, оно и хорошее начало, указующее, что всѣ стороны, отдѣльно взятыя въ европейскомъ бытѣ, отдѣльно взятыя не могутъ служить опредѣленіемъ, развѣ только отчасти. Конечно, подобное совершается теперь въ Европѣ; этому лучшее свидѣтельство упадокъ либерализма, конституціонной оппозиціи, вигизма; тамъ, на примѣръ, теперь возникаютъ вопросы въ парламентѣ (Эшлея предложеніе и др.), въ которыхъ голоса дѣлятся по другимъ началамъ и доля виговъ съ долею тори противъ такой же помѣси. Зато

тамъ правительство всегда понятно—съ какой стороны. У насъ и этого нѣтъ. Новыя постановленія объ экзаменахъ и полученіи степеней ученыхъ идутъ изъ совершенно иного источника, нежели законъ о паспортахъ. Никакой системы, никакой единой мысли,—это, чего нѣтъ другого, придаетъ интересъ сюрприза.

30.—Вчера проводили Кетчера. Время идетъ да идетъ. Мы разлучаемся, снова сталкиваемся, и все въ томъ же элементѣ бездѣйствія, пустоты и духоты. Иногда мнѣ кажется, что старость возлѣ носа, что она насъ застигнетъ и намъ останутся одни воспоминавія стремленій, надеждъ, и лѣнь еще болѣе западетъ въ душу... Право, отъ этого болѣе нежели близко, и что-то такъ тягостно, страшно начинаетъ дѣлаться. Писалъ къ Бѣлинскому, утѣшалъ его, а въ сущности я вовсе не такъ далекъ отъ многихъ воззрѣній его.

І Ю Н Ъ М Ъ С Я Ц Ъ .

2.—Дочиталъ вторую часть Гегелевой энциклопедіи. Конечно, это не такое оконченное и полное зданіе, какъ его эстетика, но великій мыслитель не измѣнилъ себѣ въ философіи природы, геніальныя мысли, заставляющія трепетать, поразительныя простотою, поэзіей и глубиной, разсѣяны вездѣ. Зоологическій отдѣлъ и органика вообще превосходны (не вступая въ мелочи и дробныя разсматриванія cadaго параграфа); я не знаю никого, кто бы такъ вполне понялъ жизнь и такъ умѣлъ сказать понятное, развѣ Гёте. Въ деревнѣ перечитаю еще и составляю записки.

4.—Вчера Самаринъ защищалъ свою диссертацию. Непонятно сочетаніе высокихъ діалектическихъ способностей этого человѣка съ жалкими православными теоріями и съ утрированнымъ славянизмомъ; въ немъ противорѣчіе это бросается особенно въ глаза потому, что у него рѣшительно логика преобладаетъ надъ всѣмъ. Онъ, правда, и самъ видитъ шаткость своей фантастической основы, но не отступаетъ отъ нея. Можетъ, юность, всегда готовая предаваться отвлеченнымъ теоріямъ, виною этого направленія, недостатокъ фактическихъ свѣдѣній и неумѣнье покоряться историческому элементу. Вообще диссертациа и защита ея произвела какое-то грустное чувство. Во всемъ этомъ есть что-то ретроградное, негуманное, узкое, какъ и во всей партіи національной. Какъ съ ними ни ладъ въ нѣкоторыхъ вопросахъ,—остается страшный оврагъ, дѣлящій и непреходимый. Въ нихъ бездна дѣтской суетливости: такъ, вчера Хомяковъ восторгался фразами о православіи, на которыя никто не смѣлъ возражать. Католикъ могъ точно такъ же изъ своихъ началъ хвалить католицизмъ. Это былъ бы разговоръ двухъ поврежденныхъ.

Продолжалъ читать давно оставленнаго Gfrörer'a. Явленіе гно-

стическихъ школъ чрезвычайно важно, здѣсь всѣ фазы древняго міросозерцанія сдѣлали опытъ соединиться съ философіей новой религіи. Они проглядѣли главное—практической характеръ и простоту христіанства; но требованія ихъ были справедливы, они хотѣли догматъ превратить по своему въ мысль, въ мысль ученую, *аристократическую*, но этимъ самымъ они и были еретиками, потому что христіанство имѣло именно значеніе какъ религія, какъ откровеніе. Гностицизмъ нѣкоторымъ образомъ привился къ греческой церкви, оттого она непрерывно занималась теодицеей, а западная церковь жизнью; западная церковь осталась вѣрною апостолу Петру, а Петръ былъ весь въ преданіи іудаизма, іерархіи, храма Іерусалимскаго. Во II вѣкѣ является уже протестантъ, личность сильная, энергическая и гениальная, Марціонъ. Послѣдователь апостола Павла, отрѣшившійся отъ всего прошедшаго іудаизма, человекъ не буквы, а духа, онъ имѣлъ огромное вліяніе и его школа жила до VI столѣтія. Онъ понялъ то, что и до сихъ поръ христіане не поняли, что Христомъ снимается Іегова, такъ, какъ Юпитеръ и пр., что понятіе Бога, сопрягаемое съ Іеговою, противорѣчитъ Христу. Итакъ, во второмъ столѣтіи существуетъ зародышъ протестантизма, являвшійся непрерывно въ разныхъ формахъ, мнимо подавленный, гнетомый и, наконецъ, восторжествовавшій въ Лютерѣ. Тертуллианъ западный католикъ, въ немъ пуническая кровь карфагенца очистилась римскимъ законовѣдѣніемъ, но осталась африканская; пламенный и практический, онъ нисколько не похожъ на трансцендентальныхъ отцовъ восточныхъ. Восточная церковь всегда глубже и шире занималась догматами и не переходила въ жизнь. Католицизмъ, болѣе односторонній, восполнялся жизнью, на которую имѣлъ сильнѣйшее вліяніе, и недостатокъ его отвлеченнаго принципа стирается полнотою историческаго развитія. Это два сына Евангельской притчи, изъ которыхъ одинъ зовущему отцу сказалъ: «не пойду», и пошелъ, а другой: «пойду», и не пошелъ въ виноградникъ. Надобно замѣтить, что въ первые три вѣка ученіе Евангельское и самыя основныя положенія были далеки отъ всякой твердой и ограниченной догматики. напротивъ, всѣ вопросы обсуживаются, рѣшаются разнo, умъ борется съ догматомъ, ищетъ примиренія. Оригенъ, напротивъ, совершенно свободенъ въ своихъ философски-религіозныхъ писаніяхъ. Марціонъ принимаетъ Евангеліе за людьми записанныя преданія и не называется буквой.

10.—Въ третьемъ вѣкѣ уже ярко обозначается характеръ римской церкви. Въмѣсто распушенности, спекулятивности востока, является энергическая односторонность, изъ духовной академіи выходитъ въ юридически развивающуюся церковь. Видны сильныя корни и *eine mächtige Thatkraft*. Римскій первосвященникъ

безъ всякаго права, кромѣ высокой іерархической мысли и римской почвы, напитанной своимъ царственнымъ призваніемъ, вѣсняетъ свою власть братьямъ; они ее сносятъ, возражая, но покоряясь тому законному насилію, которое присуще внутренней силѣ, власти. Кипріянь карфагенскій—душою іудейскій аскетъ, все западное духовенство тянетъ къ жидовскому. Слѣпая вѣра въ догматы, казуистика въ соподчиненныхъ вопросахъ, фанатизмъ, дѣятельность неутомимая, страстная восторженность, вотъ характеръ западныхъ отцовъ; всѣ сочиненія ихъ исполнены практическаго христіанства, а не теологическихъ тонкостей; это люди буквы въ догматѣ, но люди живые въ жизни. Одинъ грекъ, Діонисій, завелся между латинскимъ духовенствомъ и тотъ написалъ теорію логоса, послужившую основаніемъ Никейскаго изложенія.

Въ спорѣ донатистовъ, въ началѣ III вѣка, впервые христіане отдають временной власти на рѣшеніе свой спорный вопросъ. Константинъ сначала удивленъ, но, вѣрный царской натурѣ, тотчасъ беретъ за рѣшеніе.

Періодъ гоненій полонъ предметовъ для драмъ и сценъ, тѣмъ важнѣе это, что и у насъ рассказы о мученикахъ возможны, хотя они и столько же *возмутительны*, какъ отрывки изъ исторіи французской революціи. Великое одушевленіе, заставлявшее ихъ такъ смѣло становиться противъ власти, несмотря на то, что и они знали текстъ апостола Павла, служащій опорой всѣмъ незаконнымъ властямъ. Восточные отцы перенесли въ свою религію неоплатонизмъ и софистику эллинскую такъ, какъ западныя государства понятыя о единствѣ и мощномъ устроеніи.

12.—La destinée terrestre de l'homme est la gestion de son globe... tous les procédés sociaux sortis de l'arsenal philosophique, lois et systèmes, reposent sur des bases essentiellement fausses, puisqu'ils sont contradictoires entre eux, variables et flottans... L'organisation de la Commune est la pierre angulaire de l'édifice social, quelque vaste et quelque parfait qu'il soit. V. Considérant, Destinée sociale.

15.—Вчера письма отъ нашихъ изъ Берлина, ѣдутъ обратно къ концу августа, опять соберется старая семья друзей; давно не видались. Хотѣлось бы поскорѣе передать все пережитое и ихъ послушать

17.—La morale n'est qu'une science mensongère et pédante, qui affiche depuis 3000 ans la prétention de conduire les hommes à la vertu et aux bonnes mœurs avec ses dogmes absurdes de modération et de répression de passions, qu'il faut, au lieu de vouloir les comprimer—trouver les moyens d'utiliser et de satisfaire.

Nous attaquons la morale, précisément parce qu'elle est impuissante à conduire les hommes au bien etc. V. Considérant.

Его сочиненіе несравненно энергичнѣе, полнѣе, шире по кон-

цепции и по исполнению всего вышедшаго изъ школы Фурье. Разборъ современности превосходитъ, становится страшно и стыдно. Равы общественныя указыны и источники ихъ обличены съ безпощадностью.

Государь былъ въ Лондонѣ, видѣлъ свободный народъ и свободное God save the queen. Въ новомъ журналѣ, который началъ выходить со дня объявленія свободы книгопечатанія въ Саксоніи для книгъ свыше 20 листовъ (Wigand's Vierteljahresschrift), замѣчательная статья о войнѣ; тамъ для Германіи европейская война представлена якоремъ спасенія, и именно война съ Россіей. Можетъ, и для насъ война принесла бы что-нибудь. Объ эмансипации не говорятъ. На дняхъ въ *Москов. Вѣдом.* былъ указъ сенатскій по дѣлу о засѣченномъ крестьянинѣ; 42 пучка розогъ сломали объ него,—онъ умеръ. Курская уголовная палата не признала помѣщика виновнымъ и, между прочимъ, заключаетъ, «что люди однихъ лѣтъ съ умершимъ крестьяниномъ выносятъ несравненно сильнѣйшія наказанія». Каковъ цинизмъ? Но хорошъ и сенатъ, онъ очень основательно разобралъ всю гнусность дѣйствій уголовной палаты и велѣлъ ей сдѣлать выговоръ, въ то время какъ и здравый смыслъ, и законъ заставляютъ удалить отъ должностей чиновниковъ, явнымъ образомъ пристрастныхъ. Въ pendant къ этой ужасной исторіи, еще въ здѣшнемъ сенатѣ было дѣло о помѣщикѣ, сославшемъ своего дворового человѣка на поселеніе, для того, чтобы воспользоваться значительнымъ капиталомъ, принадлежащимъ дворовому человѣку; тотъ подалъ на него просьбу, и дѣло дошло до сената; оберъ-секретарь полагалъ, что помѣщикъ долженъ выдать сосланному деньги. Сенатъ и министр юстиціи рѣшили напротивъ; но этого мало: оберъ-секретарю за его мнѣніе, съ закономъ несогласное, велѣно сдѣлать выговоръ. Случаи такого грабежа рѣдки въ прошедшемъ, не этимъ способомъ помѣщикъ эксплуатировалъ крестьянъ. Прежде существовала невыраженная въ законѣ связь между владѣльцемъ и крестьяниномъ. Теперь изъ этой непосредственности одна часть выходитъ къ сознанію формальнаго права своего и къ желанію воспользоваться имъ; это превосходно, потому что другая половина не отстанетъ и пойметъ разомъ всю несообразную нелѣпость своего безправія. Доказательствомъ можетъ служить уже и то, что дворовый подалъ просьбу. Они до сихъ поръ не могутъ совершенно повѣрить въ свое безправіе и никакъ не понимаютъ, чтобы ихъ собственность была собственностью барина; они даже иногда думаютъ что правительство въ случаѣ неправаго съ ними поступка защититъ ихъ! Больше такихъ рѣшеній, и сенаторы, сходя въ могилу, могутъ сказать: и мы принесли свою ленту.

Въ Силезіи бунтуютъ работники, ломаютъ машины, бросаютъ

издѣлія etc., etc. Семья выработываетъ тамъ въ недѣлю 16 Gute Groschen, изъ которыхъ въ послѣднее время уменьшили еще 2! И послѣ этого фурьеристы неправы, что обличили меркантилизмъ и современную индустриальность, какъ сифилитическій шанкеръ, заражающій кровь и кость общества! Купецъ сказалъ просившимъ работникамъ прибавки: если хлѣбъ дорогъ, ѣшьте сѣно! Местъ бунтовавшихъ очевидна, они жгли векселя, выбрасывали бумаги, деньги, портили товаръ и не крали.

26.—Опять въ *Покровскомъ*. Дождь, дурно, сѣро, — а кругомъ поля, лѣсъ и тишина. Я ужасно люблю тишину; я счастливѣе въ деревнѣ, — вѣроятно цѣлый годъ или годы надоѣло бы жить въ деревнѣ, но полгода я готовъ. Я устаю отъ шума, отъ людей, отъ слуховъ, отъ невозможности сосредоточиться, устаю отъ неестественности городской жизни, мнѣ становится невыносимымъ домъ противъ моихъ оконъ, улица, habitués этой улицы, которыхъ поневолѣ, наконецъ, замѣтишь. Дочитываю V. Considérant I томъ; хорошо, чрезвычайно хорошо, но не полное рѣшеніе задачи. Въ широкомъ, свѣтломъ фаланстерѣ ихъ тѣсновато; это устройство одной стороны жизни, другимъ неловко.

29.— Въ Вигандовомъ журналѣ статья Иордана объ отношеніи всеобщей науки къ философіи весьма замѣчательна. Критика, снятая религію, стоя на философской почвѣ, должна идти далѣе и обратиться противъ самой философіи. Философское воззрѣніе есть послѣднее теологическое воззрѣніе, подчиняющее во всемъ природу духу, полагающее мышленіе за prius, не уничтожающее въ сущности противоположность мышленія и бытія своимъ тождествомъ. Духъ, мысль — результаты матеріи и исторіи. Полагая началомъ чистое мышленіе, философія впадаетъ въ абстракціи, восполняемая невозможностью держаться въ нихъ, конкретное представленіе непрерывно присуще; намъ мучительно и тоскливо въ сферѣ абстракцій,—и срываемся непрерывно въ другую. Философія хочетъ быть отдѣльной наукой, наукой мышленія und darum zugleich Wissenschaft der Welt, weil die Gesetze des Denkens dieselben seien mit den Weltgesetzen; dies muss zunächst umgekehrt werden: das Denken ist nichts anderes als die Welt selbst, wie sie von sich weiss, das Denken ist die Welt, die als Mensch sich selbst klar wird. А потому нельзя наукою мышленія начинать и изъ нея выводить природу. Философія не отдѣльная наука, на мѣсто ея должно быть соединеніе всѣхъ нынѣ разрозненныхъ наукъ.

Іюль мѣсяцъ.

1.—Der Muth der Wahrheit. Glauben an die Macht des Geistes ist die erste Bedingung des philosophischen Studiums; der Mensch

soll sich selbst ehren und sich des Höchsten würdig achten. Das verschlossene Wesen des Universums hat keine Kraft in sich welche dem Muthe des Erkennens Widerstand leisten könnte, es muss sich vor ihm aufthun und seinen Reichthum und seine Tiefen ihm vor Augen legen und zum Genusse bringen. — Hegel's Anrede an seine Zuhörer. 1818. Berlin. Къ этому надобно только присовокупить, что такую же вѣру твердую и непоколебимую должно имѣть и къ природѣ, къ этой вселенной, которая не имѣетъ силы скрыть свою сущность передъ духомъ, потому что она стремится раскрыться ему. Потому еще, что, открываясь ему, она открывается себѣ

4. — Писалъ статью для новаго журнала (который будетъ ли, Богъ и Уваровъ знаютъ) объ натурфилософiи. По этому поводу прочиталъ или, лучше, пробѣжалъ Шиллера исторiю натурфилософiи отъ Бэкона до Лейбница; скучная книга, хотя и есть интересныя подробности. Какая необъятная разница съ Фейербаховой исторiей. Потомъ попалась извѣстная брошюра Фихте о назначенiи человѣка, я ее очень давно читалъ, лѣтъ двѣнадцать или больше тому назадъ. Не помню, въ которую эпоху онъ писалъ, но странно удовлетвориться этой profession de foi, какъ послѣднимъ словомъ. Отвлеченное умозрѣнiе не спасаетъ его отъ скептицизма, знанiе не удовлетворяетъ, онъ хочетъ дѣянiя и вѣры (непосредственнаго и созерцательнаго начала). Но вѣра его приводитъ не къ реальному, а идеалистическому міру; правда, этотъ духовный міръ у него и здѣсь и jenseits, т. е., сфера духа Гегеля и отчасти религіозная будущая жизнь, но въ основѣ ему лежитъ какое-то странное желанiе быть неземною; данъ ли это времени, или требованiе стоической, строго нравственной натуры? Онъ волю ставитъ выше дѣянiя.

8.—Пренiе о правѣ вскрытiя писемъ въ Лондонѣ. Тамъ жаловались Маццини и какой-то полякъ, что у нихъ министерство читаетъ письма. Возмутился гордый духъ законности у передовыхъ англичанъ, дебаты кончились ничѣмъ, но высказанное велико и прекрасно. Между прочимъ, оппозиція замѣтила, что подлѣйшее въ этомъ—запечатыванiе писемъ; что если нужно, то правительство должно дѣлать открыто вскрытiе и отмѣчать на письмѣ, а иначе это подлое шпионство и фальшивый поступокъ. А у насъ—Боже мой—лучше и не оборачиваться!

9. — L'Alcade de Zalamea Калдерона. Характеръ Pedro Crespo превосходитъ, Don Lore и Etimelle также, мнѣ прекрасны и чрезвычайно драматическiй, особенно въ третьемъ днѣ. Великъ испанскiй плебей, если въ немъ есть такое понятiе о законности; вотъ онъ, элементъ, вовсе не развитой у насъ не токмо у мужика, но и у всѣхъ. У насъ оскорбленный или снесетъ какъ рабъ, или отомститъ какъ взбунтовавшiйся холопъ. Я смотрю здѣсь безпре-

рывно на низшій классъ, во всегдашнемъ сопркосновеніи съ нами; чего не достаетъ ему, чтобъ выйти изъ жалкой апатіи? Умъ блеститъ въ глазахъ, вообще на десять мужиковъ навѣрное восемь не глупы и пятеро положительно умны, смѣтливы и знающіе люди; на нихъ много клеветуютъ съ нравственной стороны; они лукавы и готовы мошенничать, но это тогда, когда становятся въ противоположность намъ. Иначе не можетъ быть, мы явно и законно грабимъ ихъ, сила не одинаковая. Но когда они убѣдятся въ чело-вѣкѣ (и я имѣю гордость себя включать въ это очень и очень ограниченное изыатіе), тогда они поступаютъ просто, даже наивно. Они не трусы, каждый пойдетъ на волка, готовъ на дракѣ положить жизнь, согласенъ на всякую ненужную удалъ, плыть въ омутѣ, ходить по льду, когда онъ ломается, etc. А видно,—какъ Чаадаевъ говорить въ своей статьѣ—чего-то недостаетъ въ головѣ, мы не умѣемъ сдѣлать силлогизмъ европейскій. Эта община, понимающая всю беззаконность нелѣпаго требованія, не признающая въ душѣ неограниченной власти помѣщика, трепещетъ и валяется въ ногахъ его при первомъ словѣ!!

Memento mori! Разные memento стоятъ навсегда, какъ погребальные памятники въ воспоминаніяхъ. Иной разъ идешь гулять и невзначай забредешь на кладбище,—и сдѣлается тяжело. Правда ли это, что въ духѣ человѣческомъ, какъ въ морѣ, ничего не пропало, что кануло въ него, а хранится на днѣ и при первой бурѣ готово все выбросить, какъ упрекъ. Или только то хранить, что ядовито или жестко, а прекрасное, какъ эфирное масло, улетаетъ, оставляя неопредѣленное благоуханіе. Многое горькое вспомнилось; вѣтъ примиренія видно до гроба, а за гробомъ ни войны, ни мира, одна логика. Пусть тѣшатся другіе.

10.—Читаю Маржерета и только что кончилъ Бера. Беръ очень тупъ, Маржеретъ менѣе, какъ французъ и aventurier, притомъ много у него схвачено живо. И послѣ всего этого не видать необходимости Петровскаго переворота? Нѣчто сильное бродитъ неустроенно и дико середь давящей, гнетущей и узкой государственной формы; какъ было не разбить этотъ пошлый сосудъ народной жизни, какъ бы ни отречься, лишь бы отречься отъ этого міра мѣстничества, нелѣпаго патриархализма и совершеннаго невѣдѣнія достоинства человѣческаго. Годуновъ, гениальный чело-вѣкъ, падеть жертвою династической нелѣпости, а больше переменчивости народнаго характера, бросающагося нелѣпо на все. Первый Димитрій—энергическій воинъ, образованный, благородный юноша, падеть за то, что ѣлъ телятину. Плутъ, совершенно въ русскомъ характерѣ, староста-мошенникъ, Шуйскій падеть за то, что избранъ одной Москвой и что теряетъ сраженія (тутъ есть хоть смыслъ).—и въ то же время полъ Россіи стоитъ за грязнаго тушинскаго вора.

представителя, пожалуй, не демократической, а кабацкой партіи. Потомъ дума думала, думала да и выбрала мальчика царемъ, и покорилась вся страна старику монаху, сдѣлавшемуся патріархомъ всероссійскимъ. Между прочимъ, Маржереть говоритъ о вѣротерпимости русскихъ; это почти была бы аномалія, если-бъ въ самомъ дѣлѣ религія такъ сильно была вкоренена въ народѣ. Правда, они строго уважали формы, а этотъ формализмъ всего склоняетъ къ нетерпимости, но у насъ и эта сторона жизни не имѣла глубокихъ корней.

15. — Wer gegen das Endliche zu ekel ist, der kommt zu gar keiner Wirklichkeit, sondern er verbleibt in Abstrakten und verglimmt in sich selbst.—Encycl. I. Th. § 92.

16.—По поводу статьи перечитывалъ первую часть Гегелевой энциклопедіи; всякій разъ подобное перечитываніе открываетъ цѣлую безконечность новаго, поправляетъ, дополняетъ, уясняетъ и самымъ убѣдительнымъ образомъ показываетъ невѣдѣніе или неполноту знанія. Что сдѣлала наука съ обнародываніемъ Гегелемъ его философіи? а она была обработана въ 1818 году, т. е., 25 лѣтъ тому назадъ. Только научились его понимать. и кое въ чемъ поправили языкъ его, привыкнувшій слишкомъ къ школьной глоссологіи и, несмотря на всю мощь своего генія, къ представленіямъ,—болѣе ни шагу.

17. — Въ Allgemeine Zeitung статья о новыхъ открытіяхъ по части палеонтологіи. Важное расширеніе къ пониманію развитія органической жизни. Агассисъ доказалъ разборомъ ископаемыхъ рыбъ, что каждый геологическій періодъ имѣетъ цѣлое населеніе свое, несходное (кромѣ, разумѣется, общихъ характеристикъ) ни съ предыдущимъ, ни съ послѣдующимъ. Еще болѣе онъ открылъ, что чѣмъ древнѣе періодъ, гдѣ найдены рыбы, тѣмъ болѣе неразвитому, фѣтальному состоянію соотвѣтствуютъ рыбы. Это напоминаетъ теорію Жофруа Сентъ-Илера о томъ, что высшіе млекопитающіе переходятъ въ утробѣ матери главныя фазы животнаго царства отъ инфузоріи до млекопитающаго.

Открытіе д'Орбиньи, разсматривавшаго наиболѣе ископаемые безпозвоночные, ведетъ къ тому же заключенію; но Эренбергъ съ своими инфузоріями еще ничего не открылъ, указывающаго на соотношеніе ихъ формъ къ періодамъ. Извѣстно, что Эренбергъ доказалъ, что цѣлые слои известняка и разныхъ горнокаменистыхъ слоевъ принадлежать чешуѣ инфузорій.

20. — Кончилъ первое письмо объ естествовѣдѣніи. Кажется хорошо, а впрочемъ сначала все написанное кажется хорошо. Надобно перечитать черезъ мѣсяць или два. Вотъ бѣда журналистовъ и ихъ сотрудниковъ: они все печатаютъ съ брызгу, и вѣроятно дорого иной бы разъ дали за право вырубить топоромъ закрѣпленное типографскимъ станкомъ.

Началь вторую часть Грёрера, интересъ поглощающій. Древній міръ, умирая, утратилъ почти все человѣческое достоинство; то, что было посянано всѣми цезарями, развилось при Діоклетіанѣ. Діоклетіанъ дѣлается царемъ въ смыслѣ восточномъ, онъ отрѣзывается отъ всѣхъ, онъ является мистическимъ лицомъ, божествомъ. Въ Римѣ воздухъ былъ не хорошъ для такихъ затѣй; Діоклетіанъ, жившій въ Никомедіи, разъ пріѣхалъ въ Римъ, но и то ускакалъ въ Равенну. Римъ—это европейская почва! Новой, поглощающей всякую свободу, власти надобно было новой городъ. Константинъ нашель его. Діоклетіана монархія вполнѣ развилась при Константинѣ, гнусная, рабская, чиновничья, подлая; народъ былъ до того обремененъ налогами, что толпами бѣжалъ съ своихъ земель; пытка, которой не смѣлъ Неронъ и С^о подвергать римскихъ гражданъ, распространилась на всѣхъ въ дѣлахъ оскорбленія величества. Восточные христіане и ихъ духовенство утратили тогда благородство первыхъ вѣковъ. Оно, какъ всѣ *вышія натуры*, до того пренебрегало дѣйствительностью и до того жило въ сферѣ теологическихъ тонкостей, что не замѣчало своего положенія относительно власти. Константинъ принялъ благословеніе новой церкви и имъ окончательно укрѣпилъ самодержавіе свое. Евсевій рассказываетъ, что онъ смѣлъ называть себя «епископомъ внѣ церкви», и самъ называетъ его всеобщимъ епископомъ. Его тронъ въ церкви стоялъ возлѣ епископскаго, онъ имѣлъ право входить въ алтарь. Амвросій *Медіоланскій*, возмущенный этимъ, велѣлъ первый тронъ Θεодосія поставить внѣ храма. Константинъ распоряжался съ церковью, какъ хотѣлъ. Она молчала, греческая святая церковь, и встрѣчала въ 448 году императора Θεодосія II словами: «да здравствуетъ императоръ и первосвященникъ». Никогда западное духовенство не падало до этой степени; римская почва осталась чиста; хорошо, что столица была перенесена. Зато византійскіе епископы богатѣли. Гнусному порядку азіатскаго деспотизма въ Римской имперіи принадлежитъ честь укрѣпленія мужиковъ (coloni) въ рабство. Бѣдные мужики кабелили себя богатымъ собственникамъ земли, потому что не могли платить подати.

Чему удивилась (или теперь удивляется, въ то время она и не думала ни о чемъ, кромѣ рабскаго повиновенія) церковь учрежденію синода и оберъ-прокурора,—это лежитъ глубоко въ самомъ принципѣ восточной церкви. Императоры при соборахъ назначали одного или многихъ чиновниковъ *для наблюденія за порядкомъ*. Это такъ было со временъ Константина. Я не удивляюсь Юліану Отступнику. Церковь представилась ему съ такой стороны, что онъ долженъ былъ отвернуться отъ нея. Евсевій совѣтовалъ его умертвить, понимая, что такой человѣкъ не ихъ. Споръ съ ариа-

низмомъ весьма важенъ, и Грёреръ его вовсе не понималъ. Если Христось не единодушень, не тождественъ Богу, не Богъ, то христіанство падаетъ въ одну изъ тѣхъ религій, гдѣ соподчиняется Богу его избранникъ, и монотеизмъ, ограниченный въ родѣ іудейскаго или магометанскаго, остается. Все дѣло христіанства именно въ томъ и состоитъ, что Христось-человѣкъ—Христось-Богъ, Бого-человѣкъ. Но въ самой борьбѣ сколько интригъ; какъ церковь стала искательна. Люди помнили еще мученическія гоненія, были епископы, сидѣвшіе въ тюрьмахъ при Діоклетіанѣ. И черезъ нѣсколько десятковъ лѣтъ, какъ они жалки, разумѣется, исключая римское духовенство, папу и съ нимъ Аѳанасія. Константинъ приказалъ объявить исправленный символъ и велѣлъ отрѣшить Аѳанасія,—толпа слушалась. Какъ величественны тутъ западные епископы. Пусть въ нихъ преобладала гордость, но въ нихъ мы видимъ людей.

Весьма можетъ быть, что въ теоретическомъ смыслѣ восточные были несравненно выше западныхъ; но ихъ уклончивый, лукавый характеръ, ихъ готовность унижаться передъ властью—покрываетъ ихъ пылью.

Лучшій изъ нихъ Григорій Назіанзинъ. Но и въ немъ нечего искать величія, колоссальности Аѳанасія; онъ одинъ носилъ въ себѣ идею православія, онъ осуществилъ ее, онъ исполнилъ Никейскій соборъ. Замѣчательно, что Юліанъ Отступникъ былъ полезенъ своимъ предшественникамъ для ортодоксіи. Іоаннъ Златоустъ сдѣлалъ несчастный опытъ: греческую церковь поставить нѣсколько независимѣе отъ власти; онъ умеръ въ ссылкѣ. Никонъ забылъ его біографію. Конечно греческая церковь иногда становилась посамобытнѣе, напр., въ Египтѣ, при Теофилѣ и Кириллѣ (проклявшемъ Нестора въ Ефесѣ); но и тогда она прислонялась къ Римскому папѣ, и этотъ Кириллъ одинъ изъ ревностнѣйшихъ поборниковъ православія. Во второмъ Ефескомъ соборѣ, собранномъ противъ Флавіана Константинопольскаго, Діоскоридъ Александрійскій ввелъ толпу вооруженныхъ монаховъ, въ шумѣ и дракѣ переколотили всѣхъ несогласныхъ ему архіереевъ, Флавіана онъ самъ топталъ ногами и избилъ его такъ, что онъ черезъ три дня умеръ. И все, что было положено этимъ соборомъ, утверждено императоромъ. Одинъ голосъ протестовалъ энергически, сильно и открыто,—голосъ римскаго папы Льва I; онъ назвалъ этотъ соборъ *latrocinium*, и имя это осталось въ народѣ. Но восточная церковь не думала отстаивать своего собора: когда подулъ иной вѣтеръ, она въ Халкедонѣ прокляла недавно принятое.

Споръ о двойной натурѣ Спасителя самъ по себѣ чрезвычайно важенъ; но не онъ вовсе занималъ благочестивыхъ архіереевъ, а мелкія личности, ненависть и властолюбіе безъ границъ или огра-

ническое только страхомъ передъ временною властью. Замѣчательно, что Федоръ Монсуестійскій, доказывая, что Христосъ былъ истинно человѣкъ, говоритъ: «Что за польза была бы намъ отъ страданій Христа, если онъ не имѣлъ человѣческую душу; это была бы комедія, а не истинная борьба жертвы, зрѣлище, въ которомъ побѣдоносный исходъ былъ приготовленъ и пр.». Въ этомъ замѣчаніи виденъ глубокой смыслъ истины Федора; теологи доселѣ не понимаютъ, что не токмо Христовы страданія, но вся исторія съ ихъ точки зрѣнія выходитъ приготовленной комедіей, а если принять это, то надобно будетъ по совѣсти сказать прескверной, ибо какъ же объяснить миллионы миллионъ страдавшихъ всю жизнь, умершихъ въ цѣпяхъ, казненныхъ etc., etc. Пусть бы подумали теологи о словахъ Федора. Замѣчательно, что въ африканской церкви, и всего болѣе у донатистовъ, понятіе объ отношеніи государства къ церкви и независимости послѣдней было наиболѣе развито. Католицизмъ, отпавляясь отъ великой мысли единства и поглощая государство, самъ сталъ церковью и государствомъ. Независимыми остались нѣкоторые расколы—эти вѣчные протесты противъ іерархіи и оцѣненій. Когда къ Донату пришли увѣщаватели отъ императора, онъ гордо отвѣчалъ: *Quid est imperatoris cum ecclesia?* Можетъ, въ сирійской церкви и иныхъ отдѣльныхъ и дальнихъ епархіяхъ было болѣе независимости, нежели въ средоточіяхъ греческой церкви.

Споръ пелагианъ точно такъ же былъ витальный вопросъ христіанства, какъ аріанизмъ. У нихъ христіанство превращалось въ иоикю; безъ грѣхопаденія, безъ августиновскаго понятія о благодати нѣтъ церкви, нѣтъ католицизма. Въ Августинѣ и всемъ его ученіи виденъ уже сложившійся католикъ, принимая это слово въ его обширномъ смыслѣ; въ тѣсномъ смыслѣ, напротивъ, Августина католики отвергали, напримѣръ, іезуиты. Споръ пелагианъ съ католиками потому не могъ кончиться, что истина рѣшительно между обоими.

Сегодня *десять* лѣтъ послѣ того, какъ я былъ взятъ, и началась сначала тюрьма, потомъ ссылка, потомъ гоненіе, продолжающееся поднесъ!

23.—Ужасное лѣто, холодъ, дожди, дожди и дожди. И прошлое лѣто было скверно. Печальная полоса земного шара, какъ мало и скудно даетъ она человѣку! Пишутъ, что въ Германіи замѣтили астрономы пятно на дискѣ солнечномъ и что отъ этого пятна зависятъ разныя метеорологическія перемѣны. Такъ или нѣтъ, все равно. Возможность очевидная. Кто поручится за то, что какая-нибудь перемѣна въ солнцѣ вызоветъ катаклизмъ во всю поверхность земного шара, и тогда мы съ звѣрыми и растеніями погибнемъ и на наше мѣсто явится новое населеніе, прилаженное къ новой

землѣ. Страшная вещь, а отвѣчать нельзя. Одно настоящее наше, а его-то пѣнить не умѣемъ.

27.— Сегодня здѣшніе крестьяне, испуганные страшнымъ лѣтомъ, видя хлѣбъ и луга погибающими отъ дождей, служили молебень. Печально и съ какою-то торжественностью шли они въ церковь. Мнѣ стало ихъ вдвое жаль.

29.— Въ Прагѣ и около работники продолжаютъ войну съ машинами; въ Тюбингенѣ одинъ *честный* и *трудолюбивый* мастеровой, нѣсколько лѣтъ трудами своими кормившій пять человѣкъ дѣтей, и все едва выработывая хлѣбъ насущный, наконецъ, приведенный въ совершенное отчаяніе безвыходностью положенія и желая спасти отъ бѣдности дѣтей, зарѣзалъ ихъ!

Августъ мѣсяцъ.

5.— Вчера ужасная гроза застала насъ въ лѣсу. Страшные удары грома вслѣдъ за молніями, казалось, раздробить насъ, дождь и градъ лился и сыпался. Какъ безпомощенъ и жалокъ человѣкъ въ этихъ случаяхъ. Одинъ Саша радовался на то, что его мочить. Мы уныло и глипо смотрѣли, чѣмъ кончится. Какъ помириться съ этой зависимостью

6.— Вторая гроза еще ужаснѣйшая, потому что была почти ночью. И въ эту грозу бѣдный Коршъ съ женой и малюткой былъ на дорогѣ къ намъ. Мы дома жались все въ одной комнатѣ. Я ему былъ ужасно радъ. Сегодня утромъ Natalie едва оправилась отъ грозы послѣ неспанной ночи; вдругъ опять сильное потрясеніе. Саша всталъ совсѣмъ здоровый и вдругъ упалъ безъ чувствъ, вскорѣ онъ пришелъ въ себя; не понимаю, что такое. Я не былъ тутъ въ комнатѣ, все это случилось при ней и на ея рукахъ. Что это за страшный омутъ случайностей, въ который вколочена жизнь человѣка? Я иногда сознаю себя безсильнымъ бороться съ тупой, но мощной силой, во власти которой личность и все индивидуальное. Я—здоровый и крѣпкій—что-то измученъ, какъ же ей слабой?

8.— Сашѣ нездоровится съ тѣхъ поръ, какъ его застала гроза. Дороги страшны, 50 верстъ отъ Москвы и нѣтъ средствъ въ большинствѣ экипажѣ проѣхать. Я лишенъ воспитаніемъ, а можетъ вслѣдствіе физическаго устройства, этой особой оборотливости въ практической жизни, ловкости умно и догадливо устраивать все подробности *du ménage*. Меня потому все такое сильно беспокоитъ. На то, чтобы середь непрерывныхъ ударовъ случайности имѣть всегда твердость и мудрость корабельнаго капитана въ бурю, надобно несравненно болѣе силы характера, нежели на подвигъ, которымъ обыкновенно удивляются, сдѣланный въ минуты увле-

ченія, вдохновенія. Человѣкъ живетъ минутами, свѣтлыми полосами, между которыми темные, сѣрые переходы, что-то мутное, если не совсѣмъ черное. Эти рѣдкія мгновенія исполняютъ то, что жизнь обѣщаетъ, чего требуетъ она, это ея истина, высшая дѣйствительность идеи, осуществляющейся всегда во всякой эпохѣ человѣческой исторіи. Для лицъ только. Оно много, если-бъ мы умѣли пользоваться. А то эти минуты летятъ не уваженныя, а за ними туманъ, изморозь, сырость, мелочи длятся, длятся.

К. рассказывалъ, что по дѣлу о книжкѣ *Кавказскія протѣлки* графъ Строгоновъ получилъ бумагу отъ графа Орлова съ повелѣніемъ прислать Крылова съ жандармомъ въ Петербургъ. Строгоновъ, не показывая Крылову предписанія, отвѣчалъ графу Орлову, что у него жена больна и что онъ не можетъ исполнить этого предписанія; буде-же государь прикажетъ, готовъ выйти въ отставку. Позволили Крылову пріѣхать безъ жандармовъ. Что за нерусская черта! Честь и слава графу. А прогос къ графамъ и жандармамъ, дочитываю теперь *Consuelo*,—что за гениальное возстановленіе жизни высшаго общества въ половинѣ XVIII вѣка; какъ она постигнула дворъ Маріи Терезы, Фридриха. Что сказать объ эпизодѣ маркграфини съ ея дочерью? А вербовщики короля-философа, правленіе людей, какъ торгующіе неграми, безъ апелляціи и надежды. Подобнаго во Франціи не дѣлалось, ни въ Англіи, это только возможно съ нѣмцами и въ Германіи. Хорошъ анекдотъ, цитированный барономъ Тренкомъ, что, когда герцогъ Брауншвейгскій удивлялся страшнымъ эволюціямъ Фридрихова войска, тотъ ему сказалъ: «Подивитесь тому, что среди его мы съ вами безопасны». Да, этому можно дивиться. Я далекъ, чтобы историческихъ дѣятелей судить съ сентиментальной точки зрѣнія, но нельзя-же и симпатіи имѣть къ прозанически-холодному ироническому безчеловѣчію.

9.— Читалъ Фейербаха о Лейбницѣ. Одна Германія, безпрестанно спящая, имѣетъ такія громадныя пробужденія—какъ Лейбницъ, Лессингъ, Гёте. Что за гигантская дѣятельность, что за многосторонность; всѣмъ занимается, со всѣми въ сношеніяхъ, обо всемъ хлопочетъ, всюду вноситъ свѣтъ своего генія, безпрестанно раскрыть, готовъ писать, объяснять, обдумывать. Монадологія необходимо должна была быть изложена имъ. Спиноза, все пожертвовавшій философіи, видѣлъ только субстанцію, около которой кружится міръ акциденцій; его субстанція должна быть единою. У Лейбница субстанція биномопадна—начало дѣятельности, движенія, себя опредѣляющая въ различіе съ другими, живая именно въ расчлененіи и въ противоположности. Это переходъ въ логикѣ отъ единицы къ многообразію, это репульсія отъ себя. Изъ картезіанскаго протяженія наука углубляется въ субстанцію Спинозы;

но эта субстанція опредѣляется *силою* Лейбница, силою живой, субстанціальной, но не единой, а душою атома, монады, которыхъ безчисленное множество. Монада есть идеальный атомъ предмета, сила матеріи, ея единство; истиннаго единства невозможно найти въ матеріи, какъ въ страдательномъ, ибо все въ ней куча частей, идущихъ въ безконечность; а такъ какъ множество получаетъ реальность только отъ инстинвныхъ единствъ, то я и прибѣгъ къ атомамъ, понимая подъ ними силу, etc. Онъ очень близокъ къ понятію, — монада есть уже въ нѣкоторомъ смыслѣ понятіе. Смутность представленія матеріальности и матеріи, какъ необходимая связь монадъ, какъ ихъ среда, наконецъ живая связь всей вселенной, отражающейся, находящейся въ соотношеніи съ каждой монадой и наоборотъ, все это ставитъ Лейбница воззрѣніе на природу несравненно выше Декарта, Бэкона, Спинозы. У него въ каждой росинкѣ блеститъ то солнце, которое одно на небѣ Спинозы.

14. — Письмо отъ Бѣлинскаго съ желчью и досадою писанное. Странный человѣкъ, онъ ищетъ любви, онъ полонъ нѣжности и, между тѣмъ, такъ раздражителенъ, такъ *невротертимъ*, что при малѣйшемъ разномыслии готовъ обругать человѣка. Я знаю его и люблю, но иной могъ бы отвѣчать въ квадратъ колко; Бѣлинскій не остался бы назади, и прекрасныя отношенія лопнули бы. Не такъ ли онъ разошелся съ Аксаковымъ? Разумѣется, онъ къ мнѣніямъ Аксакова симпатіи наконецъ не могъ имѣть; Аксаковъ свое москвобѣсіе довелъ до *absurdissimum*, но нельзя же было и порвать такъ холодно связи многихъ лѣтъ. Дружба должна быть снисходительна и пристрастна, она должна любить лицо, а не идею; идея—общій элементъ сближенія, она можетъ дать товарища, единовѣрца, но дружба требуетъ признанія лица, а не всеобщей мысли его. Психологически занимательный вопросъ, отчего пріятель, любящій другого, любитъ непремѣнно укорить его, радуется, старается доказать, высказать его маленькій недостатокъ и готовъ, можетъ быть, въ то же время скрыть его пороки, пожертвовать собою, защищая его. *Sonderbar!* ✓

22. — Дѣятельность должна имѣть ограниченіе, чтобъ не разсѣяться, вотъ призваніе матеріи у Лейбница; матерія ограничиваетъ чистую монаду, она раздѣляетъ монады между собой, она страдательный предѣлъ дѣятельности и съ тѣмъ вмѣстѣ опредѣленность ея. Монада непрерывно стремится освободиться отъ матеріи, т. е., отъ частности къ всеобщему. Дѣятельность, жизнь, душа и тѣло ея необходимые полюсы, это міровой идеализмъ и міровая эмпірія; всеобщность, родъ—единичность и частность. Теодицея неудачна, задача невозможна, какъ ни разрѣшай ее. Въ религіозномъ воззрѣніи доля произвола всегда возможна и велика,

«наука невозможна тамъ, гдѣ все возможно». Различіе разума и безумія стерто, гдѣ же опора науки? Возрѣніе людей во время Лейбница было еще сильно пропитано антропоморфизмомъ, субъективной телеологіей; Лейбницъ не могъ отдѣлаться отъ вліянія среды, онъ для этого былъ слишкомъ живой и увлеченный современностью человѣкъ. Онъ продолжалъ трудъ Спинозы, но онъ не имѣлъ силы отрѣшиться, какъ Спиноза, и съ высоты напомнить христіанскому міру «забытую имъ категорію отношенія предмета къ самому себѣ» (а не къ человѣку); наконецъ, я полагаю, Лейбницъ, не хотѣлъ слишкомъ гертировать понятія своего вѣка, у него не доставало той *неподкупной честности*, которая была у Спинозы. Высшая честность языка не токмо бѣжитъ лжи, но тѣхъ неопредѣленныхъ, полузакрытыхъ выраженій, которыя какъ будто скрываютъ вовсе не то, что ими выражается. Напротивъ, она стремится впередъ высказать, какъ понимаетъ и предупреждаетъ неистинное толкованіе. Впрочемъ, въ тѣ времена умѣли религія отводить скромный уголокъ, она жила тамъ сама въ себѣ, а наука занимала все остальное въ душѣ, — и онѣ не ссорились. Декартъ ходилъ пѣшкомъ къ Лоретской божьей матери просить ее на колѣняхъ помочь его скептицизму и никогда не подвергалъ религію разуму, т. е., не хотѣлъ думать объ ней. Даже матеріалисты, какъ Локкъ, были на свой манеръ религіозные, и все это въ неспѣлости и противорѣчьи, какъ у нашихъ Гегеле-православныхъ славянофиловъ; Лейбницъ, напротивъ, искалъ живого примиренія, и ничего не выходило, кромѣ запутанности, затемнившей его прекрасное ученіе ученикамъ.

28. — Нѣсколько дней, прекрасно проведенныхъ въ симпатическомъ кругу друзей и хорошихъ знакомыхъ. пріѣхавшихъ сюда. Къ тому же и письма изъ Берлина. Семейныя дѣла Огарева никакъ не распутываются, что за фатумъ надъ нимъ! Нѣтъ, юность не прошла еще, и подчасъ кажется, что есть элементы юности, которые умѣютъ храниться не токмо при входѣ въ мужество, но и съ сѣдиною. Дружба всегда была для меня великимъ поэтическимъ вознагражденіемъ; не мечтательный, не сосредоточенный въ себѣ, я искалъ наслажденія на людяхъ, дѣлили мысль и печаль съ людьми. Дружба привела меня къ любви. Я не отъ любви перешелъ къ дружбѣ, а отъ дружбы къ любви. И эта потребность симпатіи, обмѣна, уваженія и признанія сохранились во всей силѣ. Юношески билось сердце, когда я видѣлъ подтѣзжающіе экипажи, какъ искренно хотѣлось мнѣ обнять добрыхъ друзей, какъ полно оцѣнилъ я ихъ жертву. О, страшно вздумать охолодѣть и перестать чувствовать въ груди своей эти минуты безотчетной радости! Никакіе опыты не даютъ права душѣ оттолкнуть все хорошее.

Кто изъ-за ошибки, изъ-за одного обмана плюнетъ на все, тотъ

гордъ и безмѣрно самолюбивъ; нельзя теперь, какъ нѣкогда, дѣтски довѣряться, дѣтски играть,—это уродливое Bettina will schlafen, сказанное сорокалѣтней m-me von Arnim. Но есть кое-что, не бросаемое ни въ какомъ случаѣ въ море, лучше утонуть самому.

А изъ Москвы пишутъ и говорятъ о мерзкихъ интригахъ и проискахъ. Богатство, деньги—самый лучший оселокъ для человѣка. Патріотизмъ, смѣлая гордость, открытая рѣчь, храбрость на полѣ битвы, услужливая готовность одолжить, все это легко встрѣтить; но человѣка, который бы твердо сочеталъ свою честь съ практикой такъ, чтобы не качнуться на сторону 1000 душъ или полумилліона денегъ,—трудно. Собственность гнусная вещь; сверхъ всего несправедливаго, она безнравственна и, какъ тяжелая гиря, гнетъ человѣка внизъ, она развращаетъ человѣка, и онъ становится на одной доскѣ съ дикимъ звѣремъ, когда корысть сбрасываетъ его съ пьедестала историческаго Standpunkt. Оттого ни одна страсть не искажаетъ до того человѣка, какъ скупость, несмотря на все то, что Байронъ сказалъ въ ея защиту. Расточительность, мотовство не разумны, но не подлы, не гнусны. Оно потому дурно, что человѣкъ ставитъ высшимъ наслажденіемъ самую трату и нѣгу роскоши; но его неуваженіе къ деньгамъ скорѣе добродѣтель, нежели порокъ. Они недостойны уваженія такъ, какъ и вообще всѣ вещи; человѣкъ ихъ потребляетъ, употребляетъ и на это имѣетъ полное право, но любить ихъ страстно, т. е., поддаваться корыстолюбію—верхъ униженія. Христіанство не даромъ такъ враждебно смотритъ на собственность и на имущество, *точимое молью*. Въ роскошномъ уничтоженіи временное достигаетъ цѣли, оно гибнетъ, доставивши наслажденіе высшему существу. Въ скопленіи, совсѣмъ напротивъ, человѣкъ начинаетъ принадлежать вещи. Слово «недвижимое имущество» выражаетъ капканъ, въ которомъ пойманъ подвижной духъ. Звѣрь и тотъ уже освобожденъ отъ неподвижности,—человѣкъ возвращается къ ней черезъ гражданскій порядокъ. Гегель въ молодости своей занимался французской революціей, когда она догорала и, разбирая политическое состояніе человѣка, указываетъ превосходно на жалкое положеніе, въ которое втолкнулись люди: «Es war eine Beschränkung auf eine ordnungsvolle Herrschaft über sein Eigenthum, ein Beschauen und Genuß seiner völlig unterthänigen kleinen Welt; und dann auch diese Beschränkung versöhnliche Selbstvernichtung und Erhebung im Gedanken an den Himmel». Да, недвижимое имущество здѣсь и награда *тамъ*. Это двѣ цѣпи, на которыхъ и поднесъ водить людей. Но теперь *работники* принялись потряхивать одну изъ нихъ, а другая давно заржавѣла отъ лицемѣрныхъ слезъ пастырей о погибшихъ овцахъ. Наши внуки увидятъ.

Зато какъ спокойно и съ какимъ благороднымъ сознаніемъ

смотреть человекъ на эти злобныя, искажающія все хорошее въ мелкой душѣ страсти, и равно торжествуетъ: онъ ли побѣдитъ, или онъ побѣдятъ. Нищеты я боюсь, такъ устроенъ мѣръ; особенно боюсь я въ Россіи, гдѣ одни деньги и даютъ право. Но далѣе того, что называется une position honnête, хлопотать не стану ни для себя, ни для дѣтей.

30. — Hegel's Leben — Розенкранца. Розенкранцъ—ограниченный человекъ и плохой мыслитель; слѣдственно, его рассказъ плохъ и взглядъ очень ограниченный, но книга важна выписками и приложеніями. Жизнь Гегеля была жизнь и развитіе его системы, она текла совершенно по-германски, по школамъ, гимназіямъ и университетамъ. Самое поэтическое отношеніе у него было съ Геллерлиномъ, близости съ Шеллингомъ я не вижу. Систему свою въ первый разъ Гегель набросалъ въ 1800 году, ему было 30 лѣтъ (родился 1770). Прекрасный подарокъ на зубокъ XIX вѣку; тогда уже онъ съ Шеллингомъ распался. Главный планъ и основное тогдашней системы не перемѣнилось, но только развилось. Мѣстами въ приводимыхъ отрывкахъ языкъ напоминаетъ мистическое вліяніе; пластичность выраженій и образы мѣткіе встрѣчаются вездѣ, возражая Рѣдкину, требующему, чтобъ предметы наукообразнаго содержанія излагались языкомъ чистаго мышленія и пр. Въ тогдашнемъ опытѣ философіи природы находится замѣчательное мѣсто о строеніи земного шара; расчлененіе онаго (надобно замѣтить, что Гегель отдѣлилъ земную планету, какъ всеобщій индивидуумъ ея элементарныхъ процессовъ и какъ распаденіе (auseinanderfallen) внѣшняго смѣшенія камней и земель) принималъ онъ за результатъ безусловнаго прошедшаго, котораго они нѣмымъ представителемъ и остались, они теперь равнодушно стоятъ рядомъ, потерявши отношеніе свое, пораженные будто параличемъ. Мысль чрезвычайно важная; отсюда нельзя ли ждать когда-нибудь отгадки, для чего и какъ явилось вещество планеты простыми тѣлами; что побудило сочетаться въ извѣстныя горнокаменные породы, не былъ ли это опытъ жить всею планетой, такъ, какъ растенія—опытъ жить всею поверхностью?.. Въ отдѣлѣ Geist, Гегель тогда опредѣлилъ семейство индифферентностью рабства и свободы. «Въ естественномъ состояніи человекъ говоритъ женщинамъ: ты плоть отъ плоти моей; въ нравственномъ онъ говоритъ ближнему: ты духъ отъ духа моего»—водворяя такимъ образомъ равенство отношеній. Философія права того времени отвлеченна и полна схоластицизма, она не удовлетворяетъ широкимъ основаніямъ и стремится оправдать существующее. Философія религіи почти вполнѣ понимаема имъ была такъ, какъ въ послѣдствіи. Абстрактность и формализмъ приводятъ его къ результатамъ страшнымъ; на примѣръ, онъ находитъ необходимость дворянства, какъ

противоборство въ формѣ повиновенія, необходимость всѣхъ словей, трусости купцовъ и проч. Воинамъ не убитымъ онъ вмѣсто утѣшеній предлагаетъ спекуляціи, чтобъ вознаграждать несчастіе остаться въ жизни и пр. Въ философіи религіи онъ ясно высказываетъ, что протестантизмъ временная форма, и что возможна новая религія, въ которой духъ на собственной своей почвѣ, въ величіи собственнаго образа явится религіей и философіей вмѣстѣ. Впослѣдствіи онъ этотъ результатъ такъ просто не высказывалъ. 2 ноября 1800 г. писалъ онъ къ Шеллингу о своей системѣ, гдѣ между прочимъ говоритъ: «Ich frage nicht jetzt, welche Rückkehr zum Eingreifen in das Leben der Menschen zu finden ist?» Въ 1805 году, Гегель, читая курсъ исторіи, опредѣлилъ себя относительно Шеллинга и Шеллинга относительно науки такъ, какъ послѣ они и остались. Замѣчательно, что вся Германія отстала отъ Гегеля и уже въ наше время смекнула, въ чемъ дѣло, да и то Шеллингъ своимъ мистическимъ дурачествомъ самъ привелъ къ критикѣ. Въ Іенѣ у Гегеля было очень мало слушателей.— его рѣшительно не понимали студенты. Тамъ въ 1806 обочилъ онъ свою феноменологію (Розенкранцъ очень хорошо ее назвалъ Пургаторіемъ), и когда французы взошли въ Іену, онъ положилъ въ карманъ рукопись и пошелъ искать пристанища у Габлера. Тутъ онъ видѣлъ Наполеона— diese Weltseele, какъ онъ говоритъ. «Странное чувство, продолжаетъ онъ, видѣть такое лицо, вотъ эта точка, сидящая на лошади, тутъ... царить міромъ».

И прибавить слѣдуетъ: въ толпѣ, едва замѣтная фигура, бѣдный профессоръ несетъ въ карманѣ исписанные листы, которые не меньше будутъ царить, какъ приказы Наполеона. Жизнь! Гегель женился въ 1811 году и писалъ въ честь своей невѣсты очень невзвучные, но зато очень основательные стихи. Въ жизни былъ великій фелистеръ.

Сентябрь мѣсяць.

3.— Не знаю, счастье или нѣтъ великимъ людямъ, что передавать ихъ жизнь всего чаще случается людямъ ограниченнымъ. Ласъ-Казъ, Эккерманъ, Розенкранцъ приносятъ въ свое дѣло усердіе и честность, но ни понятія, ни таланта. Другой иначе бы воспользовался жизнью Гегеля, онъ представилъ бы этого человѣка демоническимъ явленіемъ, мыслью, поглотившею всю дѣятельность, но мыслью, носившею религію, науку, искусство, право будущаго. У Гегеля внѣшней жизни не было; одно существованіе: онъ жилъ въ логикѣ, въ наукѣ и довлѣлъ себѣ; у него не было друзей. Женившись 40 лѣтъ, онъ передъ свадьбой писалъ къ невѣстѣ диссертацию объ обязанностяхъ брака, онъ отталкивалъ

своими приемами, его улыбка была добродушие съ ироніей, онъ не умѣлъ говорить. И все это вмѣстѣ характеризуетъ его въ десять разъ болѣе, нежели натяжки Розенкранца представить его дѣятельнымъ ректоромъ, прекраснымъ пріятелемъ, мужемъ. Гегель былъ величайшій представитель переворота, долженствовавшій отъ А до Z провести новое сознаніе человѣчества въ науку; въ жизни онъ былъ ничтоженъ. Къ этому, само собой разумѣется, много способствовало время, въ которое онъ жилъ, и страна. Берлинъ, сверхъ того, имѣлъ на него вліяніе; въ практическомъ мірѣ Гегель былъ мѣщанинъ. Онъ не постыдился просить защиты прусскаго министерства противъ злой критики, помѣщенной въ прусскомъ журналѣ, по поводу неделикатной и почти подлой выходки противъ Фриза, онъ совѣтовалъ ограничить свободу печатанія журнала. Наконецъ, его преподаваніе философіи права, сколько принесло важной пользы и разсѣяло пустую и всеобщую теоретическую демагогію, столько же сдѣлало вреда, защищая съ энергіей существующее зло и ругаясь, какъ надъ величайшей пошлостью, надъ *прекрасной душой* юношескихъ порывовъ.

4.— Пора ѣхать въ Москву, а смерть не хочется. Здѣсь жизнь какъ-то чище и благороднѣе. Дѣйствительнаго дѣянія, на которое мы бы были призваны, нѣтъ; выдыхаться въ вѣчномъ плачѣ, въ сосредоточенной скорби не есть дѣло. Что-же мнѣ дѣлать въ Москвѣ? Быть тутъ — зачѣмъ? Два, три близкихъ человѣка и толпа глупая, гадкая. Когда я смотрю на бѣдныхъ крестьянъ, у меня сердце обливается кровью, я стыжусь своихъ правъ, стыжусь, что и я долей способствую заѣдать ихъ жизнь, и этотъ стыдъ поднимаетъ душу и не безплоденъ; тутъ на бѣдной, жалкой скалѣ я могу что-нибудь сдѣлать. А та толпа вселяетъ презрѣніе, она не голодна, она сыта и рада, что сыта. О, если-бъ гдѣ-нибудь въ тепломъ краю годъ-два пожить, пожить дѣятельно и мыслию и сердцемъ, но безъ толпы. Мнѣ даже люди выше обыкновенныхъ начинаютъ быть противны; этотъ суетный, сорокалѣтній парень Хомяковъ, просмѣявшійся цѣлую жизнь и ловившій нелѣпый призракъ Русско-византійской церкви, дѣлающейя всемірной, повторяющій одно и то же, погубившій въ себѣ гигантскую способность, и Аксаковъ, безумный о Москвѣ, ожидающій не нынче-завтра воскресенія старинной Руси, перенесенія столицы и чертъ знаетъ что... Даже И. В. Кирѣевскій страненъ при всемъ благородствѣ. Бѣлинскій правъ. Нѣтъ мира и свѣта съ людьми до того разными.

А propos, въ Allgemeine Zeitung выписка изъ статьи Бѣлинскаго о «Парижскихъ тайнахъ», и именно они вапали на то, что меня остановило; у насъ нельзя такимъ образомъ хвалить сытость (тѣмъ болѣе, что и она очень апокрифна) и ругать революцію 30

года—impasse. Опять бросить онъ на себя подозрѣніе въ сервильности.

Москва.

15.—Давно пріѣхалъ; но что-то не хотѣлось брать въ руки журналъ. Первая новость, которую я услышалъ, происшествіе на Лепешкинской фабриктъ. Какіе-то помѣщики Дубровины отдали въ кабалу 700 человѣкъ крестьянъ, оторвавши ихъ отъ семействъ и заставляя оставшихся въ деревнѣ стариковъ и дѣтей обрабатывать барщину.

Пригонять крестьянъ на работу дѣло обыкновенное, на дорогу и въ разные мѣста, преимущественно казенныя; нелѣпость и даже незаконность поступка очевидны. Крестьянинъ по закону работаетъ только три дня на господина, а тутъ онъ для себя не можетъ ничего сдѣлать. Но, благо, они терпятъ, правительство молчитъ. Дубровинскіе крестьяне оказались не такъ нравственными, оставили работу и пошли толпою жаловаться къ генералъ-губернатору; онъ собрался ѣхать въ деревню, откуда онъ управлялъ въ теплую погоду губерніей, и поѣхалъ, поручивъ разобрать какому-то адъютанту. Тотъ, желая отличиться усмиреніемъ революціи и найдя сопротивление, далъ залпъ по голодной толпѣ, перебилъ нѣсколько человѣкъ, и все вошло въ порядокъ. Теперь присланъ чиновникъ изъ министерства внутреннихъ дѣлъ дѣлать слѣдствіе. Благородное російское дворянство, нечего сказать! Въ Новгородѣ выборные чиновники до того напакостили, что государь велѣлъ новгородскому дворянству объявить и просить дать знать, что онъ «съ горестью видитъ, что дворянство не умѣетъ пользоваться правами, ему дарованными, и, буде впредь оно не исправится, онъ отмѣнитъ права».

Что за люди, а впрочемъ они потому и не умѣютъ пользоваться, что права дарованы и дарованы тогда, когда объ нихъ и въ голову не приходило. Въ pendant. А судъ парламента освободилъ О'Коннеля. Великая страна, благоговѣть надобно передъ этой высокой, святой правомѣрностью. Это событіе всемірное, важность его неисчислима. «О'Коннель противъ королевы». Англичане-враги, пэры, аристократы, все подчинили закону,—и великое, пластическое, плутарховское лицо агитатора снова явилось среди Дублина, съ тою же рѣчью, съ тѣмъ же видомъ. Истинно доблестная личность: его не удивила, не ошеломила свобода; онъ вышелъ изъ тюрьмы готовымъ на трудъ, вооруженнымъ, его первое слово было въ пользу репиля, онъ требуетъ, чтобъ судили пристрастныхъ судей и смѣется надъ юриспруденціей attorney general. Бѣдные, жалкіе славянофилы! Ну, что же Англія-то не проваливается, или въ Европѣ, въ запусѣвающемъ Западѣ остались двѣ, три жилы,

полныя здоровой кровью? И не эта ли кровь недавно въ монархической Пруссіи раздалась при закладѣ Кёнигсбергскаго университета почти надъ ухомъ самого короля, клавшаго первый камень. Святая почва Европы, благословенье ей, благословенье!

Кончилъ Розенкранцеву книгу. Нѣтъ ничего смѣшнѣе, что до сихъ поръ нѣмцы, а за ними и всякая всячина, считаютъ Гегеля сухимъ логикомъ, костянымъ діалектикомъ въ родѣ Вольфа, въ то время какъ каждое изъ его сочиненій проникнуто мощной поэзіей, въ то время какъ онъ, увлекаемый (часто противъ воли) своимъ гениемъ, облакаетъ спекулятивнѣйшія мысли въ образы поразительности, мѣткости удивительной. И что за сила раскрытія всякой оболочки мыслью, что за молниеносный взглядъ, который всюду проникаетъ и все видитъ, куда ни обернулъ бы взоръ. Взглянулъ ли на хитрость, онъ говоритъ: «хвала хитрости, она—женственность воли, иронія безумной силы. Она не плутовство—она совмѣстима съ чрезвычайной открытостью. Величіе поступковъ (das Betragen) состоитъ въ томъ, чтобъ своею открытостью заставить другихъ показаться такими, какими они есть, такая открытость перехитритъ безъ интриги». Стыдъ, что такое стыдъ? «Das Trennbare, so lange es vor der vollständigen Vereinigung noch ein Eigenes ist, macht den liebenden Verlegenheit. Es ist eine Art von Widerstreit zwischen der völligen Hingebung, der einzig möglichen Vernichtung, der Vernichtung des Entgegengesetzten in der Vereinigung und der noch vorhandenen Selbstständigkeit. Jene fühlt sich durch diese gehindert. Die Liebe ist unwillig über das noch Getrennte, über ein Eigenthum. Dieses Zürnen der Liebe über Individualität ist die Schaam. Sie ist nicht Zucken des Sterblichen, nicht Aeußerung der Freiheit, sich zu erhalten, zu bestehen. Bei einem Angriff ohne Liebe wird ein liebevolles Gemüth beleidigt. Seine Schaam wird zum Zorn, der jetzt nur das Eigenthum, das Recht vertheidigt. Wäre die Schaam nicht eine Wirkung der Liebe, die nur darüber, dass etwas Feindseliges ist, die Gestalt des Unwillens hat, sondern ihrer Natur nach selbst etwas Feindliches, das ein angreifbares Eigenthum behaupten wollte, so müsste man von den Tyrannen sagen, sie haben am meisten Schaam, so wie von Mädchen, die ohne Geld ihre Reize nicht preisgeben, oder von den Eiteln, die durch sie fesseln wollen. Beide lieben nicht. Ihre Vertheidigung des Sterblichen ist das Gegenheil des Unwillens über dasselbe. Sie legen ihm in sich einen Werth bei, sie sind Schaamlos. Ein reines Gemüth schämt sich der Liebe nicht, es schämt sich aber, dass diese noch nicht vollkommen ist, sie wirft es sich vor, dass noch eine Macht, ein Feindliches ist, welches der Vollendung hinderlich, и проч. Такихъ мѣсть чрезвычайно много. Я читаю теперь его исторію философіи. Что за изложеніе! Софисты, Сократъ, Аристотель, да это такія, высоко художественныя,

оконченныя возстановленія, передъ которыми долго останавливаешься, пораженный свѣтомъ. И все это сухой логикъ!

(17.—Оттого, что мы глубоко, непримиримо распались съ существующимъ, оттого ни у кого нѣтъ собственно практическаго дѣла, которое было бы принимаемо за дѣло истинное, вовлекающее въ себя всѣ силы души. Отсюда небрежность, nonchalence, долею эгоизмъ, лѣнь и бездѣйствіе. Вотъ среда благоприятная для развитія! Чѣмъ больше, чѣмъ внимательнѣе всматриваешься въ лучшихъ, благороднѣйшихъ людей, тѣмъ яснѣ видишь, что это неестественное распадѣніе съ жизнію ведетъ къ идиосинкразіямъ, къ всякимъ субъективнымъ блажнямъ. *Beatus ille, qui procul negotiis* можетъ съ головою погрузиться въ частную жизнь или въ теорію. Не всякій можетъ. И эти-то немогущіе вянуть въ монотонной, длинной агоніи, плачевной и главное убійственно скучной. Въ юности все еще кажется, что будущее принесетъ удовлетвореніе всему, лишь бы добраться поскорѣе до него, но *nel mezzo del camin di nostra vita* нельзя себя тѣшить,—будущее намъ лично ничего не предвѣщаетъ, развѣ гоненія усугубленныя и опять скуку бездѣйствія. Будутъ ли наши дѣти счастливы? Всякій разъ, какъ я вижу Чаадаева, напримѣръ, я содрогаюсь. Какая благородная, чистая личность, и что же? въ этой жизни тяжелая атмосфера сѣверная сгибаетъ въ ничтожную жизнь маленькихъ преній, пустой траты себя словами о ненужномъ, ложной замѣной истиннаго дѣла и слова. Хорошо, кому это по натурѣ, какъ Хомякову: онъ родился для византійско-петербургскаго порядка дѣлъ.

Жизнь безъ сильныхъ искушеній, несчастій такъ же неполна, какъ безпрестанно подавляемая несчастіемъ. Вѣчное горе дѣлаетъ скрытнымъ, недовѣрчивымъ, наконецъ, повергаетъ въ совершенное безучастіе къ себѣ и къ окружающему, и въ этомъ оно похоже на счастье, никогда не возмущавшееся; благородная натура не теряетъ симпатій своихъ ни въ томъ, ни въ другомъ случаѣ, но онѣ остаются въ какой-то непроявляемой *Innerlichkeit*. Вообще жизнь для полнаго развитія требуетъ событій; въ иномъ хранится бездна возможностей, о которыхъ онъ и не подозрѣвалъ и которыя никогда не дойдутъ до одѣйствованія, не будучи вызваны внѣшними условіями; наоборотъ, теоретически можно увѣриться въ такихъ силахъ своихъ, которыхъ вовсе нѣтъ. Бѣда нашего вѣка въ расторженіи теоретической жизни и практической, исключая впрочемъ Англію. У грековъ было не такъ; отъ того жизнь ихъ (въ своихъ предѣлахъ, разумѣется) была виртуознѣе и лучше. Между прочимъ, мы себя раздражаемъ непрерывно мечтами, этимъ суррогатомъ дѣйствительныхъ страстей. Одинъ никого не любить, а влюбленъ, теоретически хочетъ жениться во что бы ни стало; другой выдумываетъ другую мнимую муку и носится съ нею; все это

одинакимъ образомъ свидѣтельствуесть о совершенномъ недостаткѣ истинныхъ, все поглощающихъ занятій; дѣятельность теоретическая недостаточна.

23.—Объясненіе съ Д. П.—*omni casu* его поступокъ благороденъ: ничѣмъ не понуждаемый, онъ самъ пришелъ ко мнѣ, чтобъ подробно и, какъ кажется, открыто изложить причину своего образа дѣйствій относительно наслѣдства. Гордость, аристократическія понятія на первомъ планѣ Старику это достойное наказаніе за цѣлую жизнь эгоизма и непоследовательности убѣжденіямъ, когда только замѣшивалась корысть, за его неуваженіе къ человѣку, за его скрытную двуличность. Мы разстались не безъ уваженія другъ къ другу; я совершенно прямо говорилъ о моихъ отношеніяхъ, мнѣ нечего прятать, все, что я дѣлаю, я могу дѣлать всенародно, особенно въ этомъ, т. е., въ финансовомъ отношеніи. А между тѣмъ, онъ одному Д. П. вѣрилъ, насколько могъ. И въ этомъ продолженіе казни *Au reste qui vivra verra*. Рано или поздно придется и окончательно высказаться.

Все время штудироваль Аристотеля въ Гегелевой исторіи философіи. Господи, вотъ талантъ-то. Я его считаю замыкателемъ греческой философіи. Нео-платонизмъ не имѣетъ того огромнаго сціентифическаго значенія, кажется мнѣ, которое ему придають теперь и Гегель.

А впрочемъ, кто гигантъ—Аристотель или Греція? Гераклитъ за 500 лѣтъ до Рождества Христова положилъ въ основу *πάντα ρεῖ*. А софисты, это—бретеры діалектики.

30.—*Agtañce* возвратилась. Что за странная, уродливая исторія! Я не обвиняю, не хочу обвинять; но не могу не видать безумія во всемъ и въ нихъ обоихъ. Конечно, Б. болѣе виноватъ, нежели 18-ти лѣтняя не развитая, пылкая парижанка; ему 35 лѣтъ да и нравъ не такъ порывистъ. Для чего же онъ женился? Для чего она шла за него, видя его рефлексію и пр. Черезъ 7 дней—въ ссорѣ, черезъ мѣсяцъ въ разлукѣ и навсегда. Она оскорблена, страдаетъ.

Неразвитость ея не резонъ, онъ долженъ былъ развить ее. Эгоизма бездна виднѣется въ этомъ пренебреженіи къ ближнему, что-то Горасовское. И зачѣмъ она пріѣхала? Ей-ей, все безуміе и одно безуміе.

Бакунину префектъ въ Парижѣ велѣлъ выѣхать, — знай нашихъ; одинъ испанскій *exaltado* говорилъ, что Бакунинъ далеко ушелъ. Въ Цюрихѣ—въ тюрьмѣ, а изъ Парижа выслали.

Октябрь мѣсяцъ.

3.—Постоянно занимаюсь чтеніемъ Гегелевой исторіи философіи и статей. Началь ходитъ къ Глѣбову на лекціи, читаетъ прекрасно сравнительную анатомію и анатомію человѣческаго тѣла.

8.—Продолжаю заниматься и оттого рѣдко добираюсь до журнала. Надобно обратить побольше вниманія на естественныя науки, ими многое усняется въ вѣчныхъ вопросахъ. Я отсталъ. десять лѣтъ почти вовсе не занимался ими.

15.—На дняхъ получилъ прекрасное письмо отъ Огарева; несмотря на всѣ странности, на всѣ слабыя стороны его характера, я рѣшительно не знаю человѣка, который бы такъ поэтически, такъ глубоко и вѣрно отзывался на все человѣческое. Я совершенно примирился съ нимъ, а то были минуты, въ которыя я негодовалъ и очень. Женщина эта мучить его, преслѣдуетъ и не выпускаетъ изъ рукъ добычи. Онъ ея не любитъ и между тѣмъ не можетъ отвязаться отъ нея,—психическая задача. Долго ни онъ, ни Сатинъ не прѣдутъ, и прекрасно для нихъ, пусть надышатся европейскимъ воздухомъ. А у насъ подтвержденіе ѣздить по чинамъ, какъ Петръ и Павелъ учреждали. Говорятъ еще, что право носить бобровые воротники предоставится только оберъ-офицерамъ. Чиновничество и византійскій китаизмъ. Женѣ Юшневскаго не позволяютъ возвратиться черезъ 19 лѣтъ.

Я чрезвычайно радъ, что попалъ опять на естественныя науки: надобно чѣмъ-нибудь заглушить все, что остается отъ энергіи; кругомъ туманъ, и конца ему не видать. Итакъ, кажется, мы начинаемъ дѣлаться прошедшимъ! Вотъ и упованія. Здѣсь особенно скучны эти славянофилы, опять сдѣлались мнѣ противны; они, сверхъ тупости, хитры, коварны, исключая, разумѣется, двухъ, трехъ. Ихъ представитель «Маякъ», напечатавшій нагло свое позорное и невѣжественное profession de foi...

Разрѣшенія на журналъ нѣтъ; это, кажется, послѣдняя мечта, и та не сбудется! Стыдная жизнь; иногда бываетъ такъ тяжело, такъ тяжело, что апатія овладѣваетъ всѣмъ существомъ и хотѣлъ бы только ѣсть и пить.

21.—Переговоры о наслѣдствѣ etc. Удивительную мощь даетъ человѣку неуваженіе денегъ или, по крайней мѣрѣ, когда въ немъ есть извѣстныя убѣжденія, которыя онъ ставитъ выше денегъ. Разумѣется, въ томъ случаѣ, когда это неуваженіе происходитъ не отъ Ноздревской безчестности, а, напротивъ, соединено съ полнымъ сознаніемъ важности денежныхъ средствъ. Я отказался отъ Покровскаго, чтобъ не быть причиной ссоръ и дальнѣйшей запутанности. Отказъ съ моей стороны выкажетъ всѣхъ. Дм. Пав. странно судить, исполненъ предрасудковъ, но прямо обвинить его еще не могу, напротивъ, много дѣльнаго и *шляхетно* благороднаго. Но что дѣлаетъ старикъ, Боже мой! Боже мой! Какъ страшно правъ Гоголь, говоря: забирайте теплыя и святыя чувства съ собою изъ юности, безъ нихъ старость страшитъ хуже могилы; на могилѣ хоть есть надпись, а въ безувственныхъ чертахъ ста-

рости ничего не прочтешь. Эгоизмъ все вытраиваетъ съ лѣтами, если только неэгоистическія, человѣческія стороны такъ слабы, что могутъ вытравиться. Нѣтъ, такой старости не желаю, лучше умереть въ разгарѣ жизни, нежели живому пережить себя.

29.—Анатомія со всякимъ днемъ открываетъ мнѣ бездну новыхъ фактовъ, а съ ними мыслей, взглядовъ etc. на природу. Много знаютъ натуралисты, а во всемъ есть *нѣчто*, чего они не знаютъ, и это нѣчто важнѣе всего, что они знаютъ. Объ этомъ именно я много писалъ въ своей статьѣ. А проpros, я увѣренъ, что зоогностическая классификація Кювье и новѣйшихъ зоологовъ не удержится. Почему инфузоріи помѣщаются ниже полиповъ? Потому что малы... Вообще безпозвоночные худо размѣщены у Кювье: моллюски вслѣдъ за позвоночными, но есть моллюски чрезвычайно бѣдно организованные, всѣ безголовые; articulata не ниже высшихъ моллюсковъ. Дѣло въ томъ, что прямолинейно нельзя расположить никакого царства природы, она разбрасывается и по множеству направленій достигаетъ высшихъ типовъ. Декандоль давно предлагалъ классификацію представлять въ томъ видѣ, какъ географическія карты. Читалъ Либиха органическую химию; много хорошаго, но и много гипотетическаго.

Ноябрь мѣсяць.

2.—Вчера въ плохомъ французскомъ спектаклѣ я былъ взволнованъ плохую пьесой и всего болѣе плохую публикою. Пьеса очень не важная, изъ нынѣшнихъ сентиментальныхъ и моральныхъ французскихъ пьесъ, гдѣ музыка играетъ въ мѣстахъ лирическихъ, а человѣкъ бредитъ на яву въ мѣстахъ патетическихъ. Но не въ этомъ дѣло. На сценѣ былъ представленъ старикъ музыкантъ, не бвшій, бѣдный, котораго хозяинъ дома выгоняетъ на улицу, у котораго отнимаютъ послѣднюю утѣху, старое фортепіано; старикъ проситъ, умоляетъ оставить ему инструментъ; строго исполняющій законъ и защищаемый имъ проgrigétaire не слушаетъ. Сцена страшная, вопіющая противъ современной общественной. Сцена, производящая тупую боль, щемление, и до отвратительной степени вѣрная. ежедневная, ну, возмутительная, наконецъ. Я посмотрѣлъ на кресла, я поднялъ глаза на ложи. По сытому выраженію лица видно было, что они голоднаго не разумѣютъ. Что съ ними надобно сдѣлать, чтобъ они начали понимать, чтобъ у нихъ сердце, сверхъ приливовъ и отливовъ крови, еще имѣло бы какое-нибудь содержаніе?

Гагаринъ католикъ сдѣлался іезуитомъ, онъ хочетъ натурализироваться во Франціи и потомъ, сдѣлавшись священникомъ, возвратиться въ Россію. Всякое убѣжденіе, заставляющее чело-

вѣка пренебрегать всѣмъ временнымъ, особенно русскаго, почтенно не само въ себѣ, а въ человѣкѣ. Au reste все это невозможно, его на границѣ схватятъ, или не пустятъ въ Россію, или онъ безъ вѣсти исчезнетъ. И за что идетъ онъ, понукается на мученичество? Изъ-за идеи мертвой, погибшей. Русскій, развивающійся до всеобщихъ интересовъ, готовъ схватиться за всякій вздоръ, чтобъ заглушить только страшную пустоту.

9 — Читаль Гётевскія сочиненія по части естествовѣдѣнія; что за исполинъ,—намъ слѣдить невозможно за всѣмъ тѣмъ, что имъ сдѣлано и какъ! Поэтъ не потерялся въ натуралистѣ, его наука точно также поэзія жизни, реализма, съ такимъ же пантеистическимъ характеромъ и съ тою же глубиною. Теоретическимъ мыслителемъ, діалектикомъ онъ не былъ. Между прочимъ, онъ въ предисловіи къ *Metamorphosen der Pflanzen* говоритъ о незамѣтномъ переломѣ, какъ человѣкъ сначала съ юными силами непрерывно расширяетъ область своего вѣдѣнія и мало-по-малу переходитъ къ храненію нажитаго, и уже нѣтъ того стремленія къ новому. И мы скоро перейдемъ въ эту фазу, да только что хранить? Мы пали подъ бременемъ вѣка и страны, у насъ будущности нѣтъ, изъ прошлаго вынесли любовь къ людямъ и скептицизмъ. Ученыя убѣжденія слабы, бѣдны, набирать ихъ поздно. Жизнь, если не пересѣчется нелѣпой случайностью, представитъ монотонную и однообразную іереміаду негодованій на окружающее, повтореній; та же невозможность писать то, что хочешь, и неспособность писать то, что можно. «Это наказаніе людей, выходящихъ изъ современности своей страны». Такія сентенціи хороши въ философіи, а на дѣлѣ скверны; а кто насъ вывелъ изъ современности?... Развѣ можно было найтись въ подобныхъ странныхъ обстоятельствахъ, не потерявъ человѣческаго достоинства?

Грановскій написалъ диссертацию о Винетѣ и Волинѣ, гдѣ онъ доказываетъ, что Винета славянскихъ преданій никогда не существовала и пр. Такова дикая нетерпимость славянофиловъ, что они хотятъ возвратить диссертацию, что вѣроятно примѣра не имѣетъ, и готовы преслѣдовать Грановскаго, какъ лицо. Преслѣдовать за Винету — это дѣлаетъ маленькое указаніе: если-бъ эти люди получили власть въ руки, что бы они сдѣлали со всѣми непокоряющимися ихъ варварскимъ мнѣніямъ; они показали бы, что такое цензура великаго народа и что такое краткая сила слова православной церкви. Теперь они ликують и не нарадуются вѣсти, что *Отеч. Зап.* запрещены, и черезъ кого, какъ не черезъ Погодина и Шевырева. И Грановскаго журналъ отчего не позволяють; я увѣренъ, что по ихъ гадкимъ доносамъ и проискамъ.

9.—Толки и переговоры съ Иваномъ Васильевичемъ насчетъ участванія нашего въ *Москвитянинѣ*. Я сначала сказалъ, что

такъ какъ опредѣленная и весьма большая разница въ нашихъ убѣжденіяхъ очевидна, но тѣмъ не менѣе нельзя отрицать личныхъ симпатій, искренняго уваженія къ его лицу, то я полагаю лучше подождать книжку, другую журнала и потомъ посмотреть, возможно ли намъ участвовать. Безпристрастіе есть своего рода неопредѣленность и апатія; личное уваженіе есть тоже личность вредная дѣлу. Сверхъ того, Иванъ Васильевичъ не дошелъ до послѣдней точки москвизма, но вся его партія щеголяетъ дикими и исключительными анти-гуманными мыслями. Хомяковъ согласился со мною и присовокупилъ, что онъ не далъ бы статьи Грановскому. Я замѣтилъ ему, что, проводя ту же консеквентность, Грановскій не взялъ бы и не помѣстилъ бы ея. Многосторонность симпатій nous égarillent; надобно рѣзко и опредѣленно обозначить, въ чемъ наша мысль, и прямо высказать дѣломъ и словомъ невозможность общенія съ противоположнымъ мнѣніемъ.

Жалкія и парадоксальныя мнѣнія отчаянныхъ славянофиловъ не такъ бы бѣсили, если-бъ они были только нелѣпы, а то они нечеловѣчественны и противны. На похоронахъ Погодиной въ лютеранской церкви они держали себя неблагопристойно; я просилъ Хомякова вспомнить, какъ онъ рекомендовалъ поступить съ иностранцемъ, который бы не снялъ шляпы въ проходѣ сквозь Спасекія ворота.

Потомъ толкъ о Гагаринѣ. Хомяковъ находитъ наглымъ и дерзкимъ до невѣроятности намѣреніе его возвратиться сюда проповѣдывать католическимъ пасторомъ, натурализовавшись французомъ.—Ну, да если онъ убѣжденъ чисто и благородно, что католицизмъ есть единая дверь ко спасенію. «Да какъ же онъ отказался отъ отечества?» — Не отъ отечества, а для своего спасенія отъ каторги принялъ онъ видъ француза. Этого онъ понять не могъ. «Если-бъ, говоритъ онъ, англичанинъ сдѣлалъ подобный поступокъ?» Ну, что же, былъ бы кругомъ виноватъ, потому что въ Англіи его защищаль законъ его и проч.

20.—Болѣе и болѣе расхожусь съ славянами; кажется, ихъ удивилъ прямой языкъ, мой тонъ у Свербѣева. Потому думаю, что меня всѣ спрашиваютъ, какъ было, что было, главное, какъ я рѣшился сказать поэту-лауреату береговъ Неглинной, «что и не помѣстятъ его статьи въ нашъ журналъ».

И Аксаковъ становится скученъ отъ фанатизма московщины: мой разговоръ за недѣлю тому назадъ озлобилъ и удивилъ многихъ. Когда люди начинаютъ сердиться, они дозволяютъ всплыть многому, что лежитъ на днѣ души и въ чемъ неохотно себѣ сознаются. Изъ манеры славянофиловъ видно, что если бы матеріальная власть была ихъ, то намъ бы пришлось жариться гдѣ-нибудь на лобномъ мѣстѣ.

29.—Нѣтъ человѣка, который былъ бы менѣе меня подверженъ всякаго рода Grübeleien; но подѣ часъ душа вдругъ стѣсняется какимъ-то ужасомъ, трепещетъ передъ грозными возможностями, и за этими минутами слѣдуетъ печальная полоса, отъ которой долго не отдѣлываешься: черныя грѣзы съ какою-то подробностью вѣсняются одна хуже другой. Шаткость всего святѣйшаго и лучшаго въ жизни можетъ свести съ ума. А то, чего утратить нельзя, —не сытять вполнѣ.

Встрѣтилъ, въ числѣ слушателей Глѣбова, одного замѣчательно умнаго молодого человѣка и съ горестью наглазно измѣрять, сколько свободного и благороднаго задавили въ насъ опытъ и гоненія. Этотъ молодой человѣкъ открыто, прямо говоритъ свои убѣжденія, не кастрируя каждую мысль, не оглядываясь воровски. Я перенесся въ тѣ времена, когда я, студентъ, отдавался также увлеченію свободной, смѣлой рѣчи. И теперь бываютъ такія минуты, но потомъ спохватишься, вотъ что скверно. Хитрить, искажать мысль, заставить догадываться... конечно «это иронія der vitalen Macht», но громкая, открытая рѣчь одна можетъ вполнѣ удовлетворить человѣка. Упрекаютъ мои статьи въ темнотѣ; несправедливо, они намѣренно затемнены.—Грустно!

Декабрь мѣсяць.

3.—Наконецъ, я дочиталъ брошюру Прудона *О собственности*. Прекрасное произведеніе, не токмо не ниже, но выше того, что говорили и писали о ней. Разумѣется, для думавшихъ объ этихъ предметахъ, для страдавшихъ надъ подобными социальными вопросами главный тезисъ его не новъ; но развитіе превосходно, мѣтко, сильно, остро и проникнуто огнемъ. Онъ совершенно отрицаетъ собственность и признаетъ владѣніе индивидуальное. Очень кстати къ этой брошюрѣ заключеніе отчета министра Киселева, помѣщенное въ газетахъ. Это министерство тоже не признаетъ собственности, ни даже владѣнія; въ то время какъ стонъ со всѣхъ сторонъ Россіи поднимается до Москвы и до Петербурга, этотъ человѣкъ имѣетъ мѣдный лобъ говорить, что ропотъ крестьянъ происходитъ отъ ихъ непривычки къ правильному управленію и порядку, что ихъ благосостояніе растеть, что учрежденія не требуютъ коренныхъ измѣненій, что стоитъ имъ развиваться въ томъ же духѣ, и заключаетъ, наконецъ, тѣмъ, что встрѣчаемыя имъ неудовольствія—необходимыя слѣдствія переворота, въ родѣ испытанія людямъ, идущимъ на исполненіе святой воли Господа. Съ какимъ негодованіемъ лѣтъ черезъ 50 будутъ читать такую колоссальную ложь и такое безстыдство; и никто не смѣетъ уличить, отвѣтить, по крайней мѣрѣ раскрыть глаза.

4.—Писалъ къ Самарину. Не могъ, да и не хотѣлъ удержаться, чтобъ не написать ему вполнѣ мое мнѣніе о славянахъ, объ этой пустотѣ, болтовнѣ, узкомъ взглядѣ, стоячести и пр. Ему изъ Петербурга по воспоминанію, издали, долго не отдѣлаться отъ нихъ; я не полагаю, чтобъ мое письмо на него подѣйствовало, но пусть же онъ услышитъ и другую сторону. Онъ одинъ изъ нихъ можетъ, кажется, еще спастись. Исторія съ диссертацией Грановскаго послужила на пользу, всѣ сняли перчатки и показали настоящей цвѣтъ кожи. Грановскій отказался отъ всякаго участія въ *Москвитяинѣ*.

10.—Славянофильство имѣеть подобное себѣ явленіе въ новой исторіи западной литературы. Появленіе національно-романтической тенденции въ Германіи послѣ наполеоновскихъ войнъ, тенденции, которая находила слишкомъ всеобщую и космополитическую науку и мысль, шедшую отъ Лейбница, Лессинга до Гердера, Гёте, Шиллера. Какъ ни естественно было явленіе неоромантизма, но оно было не болѣе какъ литературное, научное явленіе безъ симпатіи массъ, безъ истинной дѣйствительности; не трудно было угадать, что черезъ десять лѣтъ объ нихъ забудутъ. Точно такое же положеніе занимаютъ славянофилы. Они никакихъ корней не имѣють въ народѣ, они западной наукой дошли до своихъ національныхъ теорій; это болѣзнь литературная и больше никакого значенія не имѣющая. Они вспоминаютъ то, что народъ забываетъ, и даже о настоящемъ имѣють вовсе несходное мнѣніе съ народнымъ. Недавно я слышалъ, какъ они говорятъ о нравственной и кротко семейной жизни сельскаго духовенства, о вліяніи этихъ добрыхъ отцовъ семейства на крестьянъ; отъ донс, кто когда-нибудь живалъ въ деревняхъ или говорилъ съ крестьянами хоть на большой дорогѣ, тотъ знаетъ истину такой идилліи.

«Зачѣмъ иностранцы насъ не понимаютъ, зачѣмъ смотрятъ враждебно, зачѣмъ мало занимаютъ нами etc.» Да зачѣмъ мы сами не болѣе 15 лѣтъ стали заниматься собою, какъ самобытными; заниматься кѣмъ-нибудь тогда только можно, когда онъ стоитъ этого. Европа очень занимается нашей силой, потому что она въ ней видитъ мощнаго раба подъ вліяніемъ розги и бича, который готовъ на время разрушить великіе плоды вѣковъ; Европа tacitement стоитъ подъ однимъ знаменемъ отъ Кенигсберга до Дублина, разногласіе ихъ частные вопросы, но есть лабарумъ, около котораго всѣ народы готовы были бы соединиться (исключая, можетъ, части Австріи).

11.—Когда при возрожденіи наукъ явилась древняя гуманная цивилизація, весь средневѣковый міръ испыталъ то, что русское государство испытало при принятіи западной цивилизаціи. Иная, вполнѣ развитая, мысль внѣдрялась въ Европу католическую и сочеталась съ нею; къ намъ такъ явилась мысль европейская.

14.—Вчера въ десять минутъ двѣнадцатаго родилась малютка. Страданія были велики, но вѣры больше, нежели тѣ роды. Рожденіе малютки—потрясающій религіозно-физическій актъ; люди со слабыми нервами не могутъ присутствовать при страданіяхъ женщины. Очень вѣроятно, я вовсе не подверженъ нервнымъ припадкамъ, но и то чувствую, что еще немного, и волненіе сдѣлается не по груди, то есть, сильнѣе сознанія. Особенно минута рожденія, перваго крика: какъ будто что-нибудь обрывается въ груди, можетъ, это магнетическое соотношеніе съ родильницей. Итакъ, дочь! Мнѣ хотѣлось дочери: если наша семья не уменьшится, останется такъ, какъ есть, пожалуй, и не увеличится,—она какъ-то теперь дѣла, замкнута. Надобна была дѣвочка, чтобъ въ ней повторилась мать, чтобъ былъ элементъ des Weiblichen, мягкости, кротости. Если-бъ я могъ быть счастливъ въ одномъ домашнемъ счастьи, если-бъ я имѣлъ эгоизмъ людей, называемыхъ добрыми отцами семействъ, я былъ бы вполне счастливъ. И теперь, когда черныя мысли о безвыходности, о бездѣйственности, объ утратѣ всѣхъ упованій найдутъ на душу, одно утѣшеніе семья и двое, трое друзей. Оно врачуетъ, это правда, но врачеваніе есть само по себѣ актъ скорбный и пр.

16.—Давно, а можетъ и никогда, я не испытывалъ такого кроткаго чувства спокойнаго обладанія счастьемъ очага своего, какъ нынѣ. Правда, торжественна была минута рожденія Саши, но наша неопытность повергала насъ въ непрерывный страхъ. Этотъ страхъ только развился отъ несчастныхъ случаевъ, и когда родился Николенька, я ничего не надѣялся, я былъ увѣренъ, что онъ не останется живъ... Совсѣмъ напротивъ теперь, я твердо вѣрилъ, и вѣра сбылась. Вся обстановка теперь какъ-то тихо, прекрасно покойна. Такими днями, полосами въ жизни человѣкъ долженъ дорожить; проклятое невниманіе наше къ настоящему дѣлаетъ то, что мы только умѣемъ вспоминать утраченное. Конечно, мудрено оттолкнуть страшную мысль возможностей, случайностей; зачѣмъ смотрѣть впередъ, предвидѣть, чего нѣтъ, что можетъ не быть, это своего рода Grübeleien, отъ которыхъ я не такъ свободенъ, какъ отъ романтическихъ. Идеализмъ выводитъ изъ этой шаткости благъ необходимость пренебреженія ими; конечно, сфера идей не зависитъ отъ случайности и исключительное погруженіе въ частности гибельно, но нельзя же опять выйти изъ своей кожи для того, чтобъ существовать только какъ мысль. Не токмо блага жизни шатки, но сама жизнь шатка: малѣйшее неравновѣсіе въ этомъ сложномъ химизмѣ, въ этой отчаянной борьбѣ организма съ своими составными частями,—и жизнь потухла; однако изъ этого не слѣдуетъ, что лучше не родиться или, родившись, зарѣзаться, чтобъ не подвергнуться случайностямъ. Все прекрасное нѣжно, это цвѣты, ко-

торые мрутъ отъ каждаго холоднаго вѣтра, въ то время какъ суровый стебель крѣпнеть, но зато онъ и не благоухаетъ и не имѣетъ яркихъ лепестковъ. Жизнь въ высшемъ проявленіи слаба, потому что вся сила матеріальная была потрачена, чтобы достигнуть этой высоты; мускулы можно рѣзать, члены отнимать, а до мозга нельзя грубо прикоснуться. Таковы блага любви, ими надобно упиваться, отдаваться имъ, жизнь въ нихъ ловить, цѣнить каждое мгновение. Nur wenn er glühet, labet der Quell. Августинъ говоритъ, что человѣкъ не можетъ быть цѣлью человѣка, страшные удары смерти ежедневно доказываютъ это; тотъ, кто все положилъ на одну голову, для кого нѣтъ Бога, кромѣ этого лица, подвергается грозной случайности, безумію, самоубійству. Но что это *все*, какъ оно принято, въ какихъ предѣлахъ? Мать, стенающая у гроба единственнаго сына и молящаяся о душѣ его, этимъ актомъ показываетъ, что не все для нея было въ сынѣ. Но кое-что, и кое-что много, должно лежать на людяхъ, должно имѣть цѣлью ихъ, иначе холодъ и запустѣніе посѣтятъ душу, эгоизмъ или монашество—одинъ выходъ. Что за стертое и дерзко-скупое лицо, которое оттого заморить въ своей душѣ потребность любви, что предметъ его любви можетъ умереть, измѣнить и пр. Конечно, могутъ быть выродки, т. е., люди, не чувствовавшіе вовсе этой потребности; другое дѣло, глухимъ никто не рекомендуетъ слушать Salvi. Ловить настоящее, одѣйствоворить въ себѣ всѣ возможности на блаженство—подъ нимъ я разумѣю и общую дѣятельность, и блаженство знанія такъ же, какъ блаженство дружбы, любви, семейныхъ чувствъ—а тамъ, что будетъ, то будетъ; на мнѣ отвѣтственность не лежитъ; тотъ отвѣтитъ, кто скрылъ талантъ въ землю, чтобъ его не украли. Талантъ, мы беремъ его со стороны его развитія, какъ великую возможность дѣятельности для другихъ; но зарыть талантъ не токмо можно для другихъ, но то же преступленіе человѣкъ можетъ сдѣлать относительно себя.

Развѣ не глупый поступокъ сдѣлаетъ тотъ, который, страстно любя музыку, не пойдетъ ее слушать, имѣя на то возможность. Мнѣ всегда казались противны и смѣшны люди, изъ какой-то экономіи ощущеній отказывающіеся отъ лучшихъ даровъ жизни; на это имѣютъ право одни безумные религіозники; для нихъ самоотверженіе, ненужное и подавляющее самая естественная потребности,—потѣха. Такое прекрасное лицо, какъ Григорій Назіанзинъ, писалъ къ Василю Великому: «Помнишь ли, какъ мы тогда роскошествовали лишеніями». Стало—всѣ страсти, развратъ, обжорство имѣютъ полное право... Нѣтъ, не стало. У низкаго человѣка низкія желанія; но человѣкъ долженъ быть высокъ, поднимаясь, онъ подниметъ свою страсть, а поднимаясь, она проходитъ великое чистилище. Страсти низкія большею частью сильны потому, что

хорошія сгнетены, или, лучше, онѣ сами по себѣ хороши, но низки отъ сгнетенія. Отчего многіе изъ людей развитыхъ охотно выпьютъ стаканъ благороднаго вина и, можетъ, одинъ на тысячу пьютъ мертвую чашу, а въ несчастныхъ классахъ, на которыхъ груди стоитъ безобразное зданіе нашей общественности, наоборотъ? Отчего во всѣхъ слояхъ общественныхъ есть женщины увлекавшіяся, падавшія, какъ говорятъ, а публичные дома снабжаются только низшими классами? Неужели эти бѣдныя жертвы гнусной несправедливости такъ легко попали бы въ свое ремесло, если-бъ онѣ имѣли воспитаніе? Чѣмъ больше разовьется человѣкъ, тѣмъ чище сдѣлается грудь и тѣмъ труднѣе будетъ его увѣрить, что бѣлое—черно, что все естественное—преступно, что все доставляющее истинное наслажденіе должно быть избѣгаемо. Есть несчастная распущенность, которая, какъ и вообще слабость характера, унижаетъ человѣка; такой человѣкъ слѣдуетъ уже не разуму, не сознанію, а однимъ естественнымъ влеченіямъ, и тогда онъ становится ниже человѣческаго достоинства. Опять та же статика. Всѣ стороны, составляющія живой духъ человѣка, должны слитно, гармонически участвовать въ его дѣяніи ¹⁾, иначе выйдетъ односторонность. Физически это очень понятно, потому что въ физическомъ мірѣ царятъ драконовы законы, жесткіе и кровавые; пусть въ крови недостанетъ одной изъ существенныхъ составныхъ частей—смерть за эту неполноту; то негодно, что неполно. Но на эту тему можно написать цѣлую тетрадь. Возвращаюсь. Это чувство d'une béatitude tranquille давно мною не чувствовалось такъ; святые, прекрасные мѣсяцы моей Владимірской жизни были ярче, потому что мы были юнѣе, но есть и поэзія возмужалости, такъ какъ есть юное въ совершеннолѣтіи; теперь отчетливѣе, реальнѣе то, что было тогда лучезарнѣе и мечтательнѣе. За день до рожденія Наташи я какъ-то превосходно настроился, съ какимъ-то Sehnsucht хотѣлъ видѣть Грановскаго и Корша, т. е., всѣхъ, по комъ у меня здѣсь можетъ быть Sehnsucht; на душѣ было легко, юное вспомнулось. Итакъ, да благословится же на жизнь этотъ младенецъ, пусть она будетъ какъ ея братья, а главное какъ ея мать. Въ Николенькѣ есть что-то женское, что за безконечная кротость въ его дѣтскихъ чертахъ, что за мило-доброе и вѣчно смѣющееся лицо.

¹⁾ Вспомнилъ мысль, рѣзко высказанную Павловымъ (студентомъ). Онъ называетъ всемірный процессъ химизмомъ: двуначальный химизмъ неорудной природы и многоначальный—орудной; такъ что послѣдній результатъ—мышленіе и человѣкъ. Человѣкъ высшее равновѣсіе и взаимодѣйствіе составныхъ радикаловъ. малѣйшее неравновѣсіе—онъ животное, рядъ неравновѣсій—рядъ животныхъ; прочность покупается степенью пониженія, напр., амфибии, устраненіе слабости даетъ крѣпость, приближающую къ минералу и пр.

17.—Языковъ написалъ какіе-то ругательные стихи на Чаадаева, Грановскаго и Герцена! Онъ done, Грановскаго онъ никогда не видалъ, меня разъ. Я не читалъ это произведеніе славянофильскихъ наущеній Хомякова и оскорбленнаго самолюбія поэта, вѣкогда нравившагося, теперь выжившаго изъ ума, отсталого. Мы не курили ему фиміамъ, не считали за счастье раздѣлять его томящую бесѣду. Наконецъ, *Отеч. Зап.* недавно въ прекрасной и ловкой статьѣ оцѣнили его по заслугамъ.

Признаюсь, мнѣ хотѣлось бы прочесть для того, чтобъ убѣдиться еще въ одной чертѣ этой котеріи; я почти увѣренъ, что тутъ есть невольный доносецъ. А Аксаковъ написалъ премилые стихи, отказываясь отъ Дмитрія Коптева и Вигеля. Это свой кругъ стариковъ, изжившихъ все бѣдное умственное достояніе, непризнанныхъ, отсталыхъ, съ ненавистью встрѣчающихъ каждую мысль, піэтисты, доносчики, злыя самолюбія, оскорбленные притязательности: тутъ Глинка, Лихотинъ, Сушковъ и юный лѣтами, но старый подлостью, Коптевъ. Эта замкнутая котерія бездарности, догнивающіе остатки чего-то загнивашаго прежде зрѣлости. О, милая Москва, да еще Вельтмановская котерія съ Нееловымъ Рабугомъ!

Мнѣ прежде казался Иванъ Васильевичъ несравненно окончениѣ Петра Васильевича,—это не такъ. Петръ Васильевичъ головою выше всѣхъ славянофиловъ, онъ принялъ одинъ во всю ширину нелѣпую мысль, но именно за его консеквенцію исчезаетъ нелѣпость, и остается трагическая грандіозность. Онъ—жертва, на которую палъ громъ за его народъ, за ту національность, которая бичуется теперь. Но Иванъ Васильевичъ хочетъ какъ-то и съ Западомъ поладить, вообще онъ и фанатикъ, и эклектикъ. Фанатикъ, чтобъ быть полнымъ, именно долженъ не быть эклектикомъ; иначе то, что придаетъ ему силу, рѣзкость, какъ паяльная трубка, усиливающая огонь, сгибая его на одну сторону, сглаживается, эмуссируется, и выходитъ вѣчто неопредѣленное. Бездушному Хомякову все идетъ: и эта многосторонность публичныхъ женщинъ, и это лукавство, предательски соглашающееся, и этотъ смѣхъ, которымъ онъ встрѣчаетъ негодованіе. Но Кирѣевскій долженъ бы быть окончениѣ.

18.—Наши личныя отношенія много вредятъ характерности и прямотѣ мнѣній. Мы, уважая прекрасныя качества лицъ, жертвуемъ для нихъ рѣзкостью мысли. Много надобно имѣть силы, чтобъ плакать и все-таки умѣть подписать приговоръ Камилля Демулена!

27.—«Государь не соизволилъ разрѣшить господину Грановскому издавать журналъ». Вотъ вамъ и дѣятельность! можетъ ли профессоръ быть терпимъ на кафедрѣ, если онъ подозрителенъ какъ журналистъ? И на что у нихъ цензура, если и она не гарантія, что

ничего прямого, яснаго не проскочить; а для косвеннаго, скрытаго всегда есть пути. Министръ внутреннихъ дѣлъ, искореняя сифилитическую болѣзнь, велѣлъ свидѣтельствовать всѣхъ дѣвушекъ, опредѣляющихся въ услугу, берушихъ адресные билеты и пр. Это уже нивелировка позора: между публичной дѣвкой и скромно ведущей себя мѣщанкой въ чемъ же разница? тѣ же руки безстыдно и, вѣроятно, съ приправою остротъ, грубо, нагло будутъ свидѣтельствовать тѣхъ и другихъ. Каждый сифилитическій, явившись въ больницу, обязанъ сказать, отъ кого онъ занемогъ, и тотчасъ полиція обязана освидѣтельствовать указанную особу; итакъ, послѣдній мерзавецъ можетъ доставить позоръ свидѣтельства всякой дѣвушкѣ, на которую онъ золъ. Да послѣ откроется истина; положимъ, но развѣ у насъ общественное мнѣніе такъ образовано, что оно сумѣетъ понять, что тутъ гнусно собственно и кто гнусенъ? Нѣтъ, оно ошельмуетъ бѣдную жертву.

Толкуютъ о новомъ указѣ объ эмансипаціи. Толки основаны на пропущенной статьѣ въ *Journal de Francfort*. Хотя бы это! И чего они боятся, если хотятъ; кого — ужъ не помѣщиковъ ли? Дворцовую аристократію? ее деньгами, звѣздами можно утѣшить.

30. — Языковъ написалъ еще два стихотворенія: одно противъ насъ же, другое противъ Чаадаева, болѣе оскорбительное и подлое, вежели первое. Гадкая котерія, стоящая за правительствомъ и церквю и смѣлая на языкъ, потому что имъ громко отвѣчать нельзя. Они, кромѣ Аксакова и Кирѣевскихъ, не имѣютъ тѣни гуманности и благородства. И что за сумбуръ въ головѣ у этихъ людей. Недавно я вытѣснялъ на чистую воду Хомякова изъ-за лѣса фразъ, остротъ, анекдотовъ, которыми онъ уснащаетъ свою рѣчь, и онъ вывертывался старыми понятіями идеализма, битыми мистическими представленіями.

1845.

Январь мѣсяць.

3. — Кажется, въ частномъ отношеніи, жизнь моя, наконецъ, потекла поспокойнѣе. Прошлый годъ былъ тихъ. А какая пестрая и богатая эффектными положеніями жизнь, какъ много для воспоминанія, — едва теперь я начинаю объективно смотрѣть на это бывшее. Десять лѣтъ тому назадъ, я новый 1835 годъ встрѣтилъ въ тюрьмѣ. Только десять лѣтъ, и что съ тѣхъ поръ событій. Уже десять лѣтъ, а кажется вчера только или очень недавно!

Въ самый новый годъ длинное письмо Огарева; онъ развивается и притомъ одинаково со мной, съ нами. Впрочемъ, сверхъ близости души, одна атмосфера современной мысли обнимаетъ насъ.

8. — Казнь Чеха какъ-то тупа; король плакалъ, а велѣлъ казнить. Министры умоляли казнить его тайкомъ утромъ. Въ Шпандау отрубили ему голову и объявили афишами. Чехъ выдержалъ характеръ до послѣдней минуты и, слѣдовательно, остался побѣдителемъ. Не понимаю, какъ такія простыя вещи, какъ ненужность казней, вредъ ихъ не бросаются въ глаза правительствамъ. Еще въ Испаніи, гдѣ все мечется въ какомъ-то опьяненіи, понятно, что Нарвацъ казнить своихъ враговъ, такъ какъ его самого, очень можетъ быть, казнятъ завтра. Но тутъ спокойно, *gemüthlich und romantisch*, отрубить голову при современныхъ понятіяхъ глупо, безрасчетно даже, потому что человѣкъ твердый реабилитируется казнью и обращаетъ къ себѣ симпатіи. Еще глупѣе, ежели прусскіе министры доктринеры, Эйхгорнъ историкъ на примѣръ, думаютъ остановить будущихъ охотниковъ до стрѣльбы этимъ средствомъ. Неужели вся исторія на всякой страницѣ не говоритъ имъ, что не токмо ни одного фанатика никогда не останавливала казнь, но даже людей увлеченныхъ случайной страстью. Тутъ проглядываетъ совсѣмъ иное, месть, просто месть, жажда крови дерзкаго, который даже не раскаялся, не далъ случая показать милосердія на себѣ, потому что не просилъ его.

Два наказанія только могутъ остановить человѣка, это — угроженіе совѣсти и общественное мнѣніе. Безъ уваженія къ себѣ, отъ

самого себя и отъ близкихъ, человѣкъ жить не можетъ; никакія казни не могутъ сравниться съ постояннымъ сознаніемъ своей гнусности и справедливости презрѣнія отъ другихъ. Человѣкъ готовъ на всякую эпитемію, онъ будетъ на лобномъ мѣстѣ просить прощеніе, пойдетъ въ иное мѣсто (т. е., самъ сошлетъ себя), только чтобъ примириться съ собою, ибо въ раздорѣ этомъ онъ задохнется.

Разумѣтся, и власть, и общественное мнѣніе въ неразвитомъ народѣ сливаются въ религіозной нравственности. въ вѣлѣніяхъ свыше; критеріумъ, внѣшній законъ замѣняетъ недостатокъ сознанія о добрѣ и злѣ, о человѣчественномъ и нечеловѣчественномъ. Отчего русскій крестьянинъ одинъ на дорогѣ не ѣтъ скромнаго, въ то время, какъ за нарушеніе поста онъ наказанъ не будетъ, а березу на большой дорогѣ срубить, хотя самъ знаетъ, что за это его накажутъ розгами, плетью. Есть переходныя полосы государственной жизни, гдѣ религіозная и всякая идея нравственности теряется, какъ напримѣръ, въ современной Россіи; но и тутъ, если совѣсть нѣкоторыхъ молчитъ, общественное мнѣніе слабое, неразвитое — все же отталкиваетъ безусловно гнусное. Отчего нигдѣ, никогда въ обществѣ не бываетъ полицейскихъ чиновниковъ? Если переодѣтые шпіоны, пользуясь анонимностью, и являются, то явныхъ нѣтъ. Наказаніе — современная нелѣпость; въ развитомъ государствѣ и въ будущемъ будутъ удивляться, какъ правительство вступало въ соревнованіе съ каждымъ злодѣемъ и дѣлало такую же мерзость надъ нимъ, которую онъ сдѣлалъ, съ тѣмъ различіемъ, что онъ былъ болѣе или менѣе вынужденъ обстоятельствами, а правительство такъ, безъ всякой нужды. Но гдѣ же истинное, непогрѣшающее мѣрило того, что хорошо, и того, что дурно для человѣка? Въ самомъ понятіи человѣка, развивающагося въ исторіи, въ историческомъ моментѣ, въ средѣ, въ которой онъ выросъ. Хорошо все то, что развиваетъ слитно родовое и индивидуальное значеніе человѣка; дурно — если индивидуальное, феноменальное совершенно поглощаетъ общечеловѣческое, дурно — если тѣло совершенно задавить духъ, но наказывать (*scilicet* въ развитомъ государствѣ) и за это нельзя; такіе люди будутъ презираемы, а дѣло положительныхъ законодательствъ, чтобъ эти отрицательные люди не могли положительно вредить, какъ безумные, какъ дураки, какъ животныя. Критеріумъ добра и зла всегда есть въ человѣкѣ, какъ бы онъ ни выражался, подъ вліяніемъ исторической эпохи; человѣкъ, который отрицаетъ его, дурачится, лжетъ. Стоитъ слушать формальныя фразы говорящаго, и ясно увидишь, какъ онъ понимаетъ вмѣстѣ съ своимъ народомъ или кастой добро и зло. Слово «честь» развѣ не было на устахъ Цезаря Борджіа, ненарушимость обѣта развѣ и имъ не принималась въ основу договора и пр., но онъ нарушалъ ихъ. Въ этомъ-то и

доказательство, что онъ индивидуальную волю свою, удовлетвореніе страсти ставилъ выше всеобщаго понятія о нравственности своего времени. Ну, какъ же не наказать его? Во-первыхъ, онъ не былъ наказанъ — *il était trop haut placé*, чтобъ быть наказаннымъ,—а если-бъ онъ былъ менѣе высоко поставленъ, то онъ не могъ бы сдѣлать всего того, что онъ сдѣлалъ, и тогда судъ былъ бы иной надъ нимъ. Зачѣмъ же гражданское общество было еще на той жалкой степени развитія, что не могло провести своихъ же понятій о чести, о христіанскихъ обязанностяхъ и пр., а во всѣхъ проявленіяхъ жизни было непослѣдовательно, путалось въ противорѣчіяхъ, зачѣмъ оно имѣло такихъ преступниковъ, которыхъ не достигалъ законъ, и такой законъ, который разилъ чаще всего не по преступникамъ? Въ наше время, на западѣ Европы можно себѣ представить плантатора, злодѣя работниковъ, мужа варвара, развратника, убійцу, вора,—но не Цезаря Борджіа. Ну, что сдѣлалъ бы такой Цезарь? Купилъ бы журналъ, ругалъ бы противниковъ въ фелъетонѣ, подкупалъ бы голоса и, можетъ, вышелъ бы фродюлезно на дуэль. Вотъ насколько современная Франція и Англія стоятъ выше тогдашней Италіи. Если представить себѣ будущую общественную форму, когда вопросъ о голодѣ и обжорствѣ, о наготѣ и пышности приведется въ порядокъ, когда невозможно будетъ оставаться безъ воспитанія никому, ни сыну богача, ни сыну нищаго, когда самое значеніе слова *богачъ* будетъ безсмысленно по ненужности, сколько измѣнится въ нравственномъ быту того класса, который теперь фурнируетъ шахішмъ преступниковъ—плебса. Тогда образцовые кнуты будутъ ненужны, я думаю. Кстати о наказаніяхъ; вотъ случай, рассказанный Тучковымъ, въ Пензенской губерніи. Какой-то помѣщикъ, великій злодѣй, страшно тяжель пришелся крестьянамъ; молодой крестьянинъ сказалъ односельцамъ, что онъ намѣренъ избавить ихъ отъ «отца общины»; тѣ перепугались суда, послѣдствій и пр. Молодой человѣкъ сказалъ, что все возьметъ на себя, что лишь бы они о немъ молились Богу, что никому не достанется. Такимъ образомъ, онъ отправился на плотину, черезъ которую помѣщикъ долженъ былъ идти, и à la G. Tell сталъ его ждать; когда тотъ пошелъ, онъ побѣждалъ ему навстрѣчу, схватилъ его въ перехватъ и вмѣстѣ въ омутъ. Оба утонули. Это античный героизмъ. Полагаю, что такого человѣка смертная казнь *in spe* не очень остановила бы. При всей неразвитости русскаго, его останавливаетъ: «на міру будетъ стыдно»; онъ уважаетъ мнѣніе своей общины. боится онъ помѣщика — это другое, это рабство; онъ ему повинуется, оскорбляясь, а тамъ онъ признаетъ.

10. — Славянофилы, наконецъ, болѣе и болѣе являются узенькими людьми раскола. Стихи Языкова съ доносомъ на всѣхъ насъ

привели къ объясненіямъ, которыя, съ своей стороны, чуть не привели къ дуэли Грановскаго и Петра Кирѣевскаго. Я въ душѣ ненавижу не принципъ дуэлей, а нелѣпость смертной казни за оскорбленія этого принципа, однако дѣлать было бы нечего. Послѣ всего этого, наконецъ, личное отдаленіе сдѣлалось необходимымъ. Аксаковъ торжественно растался съ Грановскимъ и мною; видно было, что ему жаль: онъ благороденъ, чистъ, но одностороненъ, ограниченъ въ своемъ расколѣ. Мы дружески сказали другъ другу, что служили инымъ богамъ и что потому должны разойтись одинъ направо, другой налево, въ уваженіи ему, какъ характеру, я не могу отказать. Онъ и, можетъ, оба Кирѣевскіе уносятъ личное уваженіе, а остальные—чортъ съ ними. Самаринъ не думаю, чтобъ ихъ было.

Странная Русь, изъ нея высшими плодами являются или люди, опередившіе свое время до того, что, задавленные существующимъ, они бесплодно умираютъ по ссылкамъ, или люди, опертые на прошедшее, никакой симпатіи не имѣющіе въ настоящемъ и такъ же бесплодно влачащіе жизнь.

13.— Иванъ Васильевичъ Павловъ рассказывалъ, какъ были приняты студентами мои статьи въ *Отеч. Зап.* Признаюсь, мнѣ было очень весело слышать; большой награды за трудъ не можетъ быть. Юноши тотчасъ оцѣнили, въ чемъ дѣло, и гурьбою ходили въ кондитерскія читать. Грановскій пользуется между студентами чрезвычайнымъ авторитетомъ, для нихъ мѣра, къ которой прикидываютъ другихъ профессоровъ.

17.— Исторія химіи Дюма чрезвычайно замѣчательная книга. Химія настоящая опора эмпириі, важность ея теперь только начинаютъ чувствовать. Безъ химіи нѣтъ физиологіи, нѣтъ, слѣдовательно, и естественныхъ наукъ. Естественныя науки доселѣ имѣли чрезвычайно шаткую основу, потому что они занимались одной морфологіей, а не тѣмъ, что измѣняется въ ней. Самъ гигантскій геній Гёте не постигнулъ этой важности химизма, и его метаморфоза растений — одна морфологія. Новая химія идетъ не далѣе конца XVIII столѣтія, т. е. не далѣе Лавуазье. Онъ сказалъ: матерія вѣчная, утратиться ничего не можетъ, все видоизмѣняется, ничего не пропадаетъ,—и пошелъ, съ вѣсами въ рукахъ, слѣдить за химическими процессами. Эта мысль, руководившая имъ, конечно, не менѣе важна, какъ открытіе кислорода; онъ посадилъ химію на ту базу, съ которой стоило ей органически развиваться, по крайней мѣрѣ расти фактами и наблюденіями, ожидая возможности перейти отъ грубой эмпириі къ эмпириі спекулятивной.

27.—Отправляю письмо къ графу Орлову о разрѣшеніи вѣзда въ Петербургъ. Это проба, какъ они смотрятъ на меня; если пустать, можно будетъ проситься въ чужіе края.

Февраль мѣсяць.

8.—Два первыхъ письма объ естествовѣдѣніи отправилъ Краевскому. Занимался третьимъ; кажется, изложеніе греческихъ философовъ удачно, особенно софистовъ и Сократа. Послалъ діатрибу на *Москвитянина*, дѣлать нечего, пусть ихъ сердятся.

Говорятъ, что въ Пруссіи скоро издается конституція; вотъ тамъ своя эмансипація. а объ нашей и говорить перестали — фактъ важный. Адресы, которые готовятся послать изъ Рейнскихъ провинцій дышать силой и рѣшительнымъ радикализмомъ, они требуютъ народнаго представительства, свободы книгопечатанія и эмансипаціи жидовъ. Къ языку этихъ адресовъ почтенный прусскій король не привыкъ.

12.—Бареръ говоритъ, что Мирабо сказалъ однажды Барнаву: «Barnave, tu as les yeux froids et fixes, il n'y a pas de divinité en toi...» Въ этомъ выраженіи. какъ и во многихъ того времени, ярко отозвалось то время энергіи въ словахъ и дѣлахъ, которое имѣло свой языкъ, свой романтизмъ. свою поэзію. Въ наше время никто не скажетъ подобнаго замѣчанія и такъ сильно.

14. — Сегодня Глѣбовъ вскрывалъ живую собаку. Въ первыя минуты зрѣлище страшное, отвратительное; но потомъ интересъ поглощаетъ все другое: вотъ она пульсація артерій, вотъ нервы, производящія судороги при прикосновеніи и, наконецъ, сердце еще горячее, еще бьющееся. Я положилъ на него руку — есть что-то торжественное въ этомъ святотатственномъ прикосновеніи къ тайнику жизни. Она жила полчаса, послѣднее время, кажется, уже была въ онѣмѣніи, но легкая пульсація и перистальтическія движенія кишекъ продолжались. При всрытіи груди, когда воздухъ коснулся легкихъ, собака стала кашлять. Великая мистерія жизни. это таинство не падеть, оно болѣе и болѣе вселяетъ благочестиваго уваженія къ себѣ.

А прогоръ къ сравнительной анатоміи и къ зоологіи, славянофилы жестоко освирипѣли, *Отеч. Зап.* имъ пришлись соловы.

20. — Странное, нелѣпое предчувствіе мучитъ меня. Темный фатумъ царитъ надъ нами и дѣлаетъ чортъ знаетъ что, изъ безразличнаго поступка развиваетъ чудовищный результатъ; человекъ спокойно спитъ, а онъ путаетъ, путаетъ нити, и онъ прежде нежели что — нибудь почувствуетъ, сознаетъ, вовлеченъ въ безвыходное положеніе.

Гдѣ свобода?—Не знаю отчего, а что-то тяжело на душѣ.

23. — Третьяго дня Грановскій защищалъ свою диссертацию о Юмбургѣ и Винетѣ. Это было публичнымъ и торжественнымъ пораженіемъ славянофиловъ и публичной оваціей Грановскаго. Нападки были дѣланы съ невѣроятной дерзостью, съ цинизмомъ

грубымъ до отвратительности. Грановскій отвѣчалъ тихо, спокойно, кротко, вѣжливо, улыбаясь; нравственно оппоненты были уничтожены имъ. Но толстая шкура ихъ не поняла бы этого. Другой голосъ посильнѣе осудилъ ихъ. Грановскій былъ встрѣченъ громомъ рукоплесканій, каждое слово Бодянского награждалось всеобщимъ шиканіемъ. Изъявленія эти были такъ сильны и энергичны, что никто и не подумалъ останавливать ихъ. Сверхъ дерзости въ выраженіяхъ, гнусныя продѣлки Шевырева, Бодянского и другихъ были извѣстны всей публикѣ, на нихъ смотрѣли съ омерзѣніемъ. Когда кончился диспутъ, и графъ Строгоновъ поздравилъ Грановскаго, раздались: *Vivat! vivat!* продолжавшіеся съ четверть часа. На лѣстницѣ потомъ увидѣли какъ-то Грановскаго, — и новыя рукоплесканія; даже передъ университетомъ собралась толпа студентовъ, ожидавшая его выхода, но ее уговорили разойтись. Этотъ день торжества Грановскаго да вмѣстѣ съ тѣмъ торжества всего университета. Университетъ доказалъ, что онъ имѣетъ и мнѣніе, и голосъ. Намъ доказалъ онъ, что его симпатіи далеки отъ славянофильства. Хвала студентамъ. Вчера за обѣдомъ я предложилъ первый тостъ за здоровье студентовъ Московскаго университета. Славяне огорчились и какъ-то не находятся; *au reste* благородные изъ нихъ были противъ всѣхъ продѣлокъ, а подлые выдумаютъ въ свое оправданіе несбыточные мерзости, что это интрига и пр., и по своимъ котеріямъ будутъ насъ вдвое ругать. Сегодня видѣлъ Петра Васильевича — чудный человекъ. Славянофилы постоянно набрасываютъ на насъ смѣшной и жалкій упрекъ, что мы ненавидимъ Россію; да изъ которой же стороны нашихъ словъ, дѣлъ, мнѣній это видно? Неужели изъ того, что мы страдали, а они нѣтъ, что мы становились въ оппозицію, которая только могла насъ вести въ ссылку, а они нѣтъ. Дѣло, кажется, просто, и одна узкая нетерпимость ихъ могла взвести на насъ пошлое обвиненіе. Мы розно поняли вопросъ о современности, мы разнаго ждемъ, желаемъ; развѣ это мѣшаетъ намъ быть столько же патриотическими. Да, въ нашъ патриотизмъ входитъ общечеловѣческое, и не токмо входитъ, но занимаетъ первое мѣсто; а у нихъ развѣ христіанство какое-нибудь суздальское явленіе? Изъ этого никакъ не слѣдуетъ, чтобы мы протянули другъ другу руки, — нѣтъ; но не слѣдуетъ и того, чтобы вся монополия любви къ отечеству принадлежала имъ и они имѣли бы право насъ упрекать въ ненависти къ Россіи. У больного два врача: одинъ думаетъ его лечить отъ гемороя, другой отъ чахотки; быть можетъ, что они оба правы; однако гдѣ же достаточная причина считать того или другого отравителемъ? Они могутъ ни въ чемъ не соглашаться, но цѣль ихъ остается та же: желаніе излечить больного. Имъ нужно былое, преданіе, прошедшее, намъ хочется оторвать

отъ него Россію; словомъ, мы не хотимъ той Руси, которой и нѣтъ, т. е., до-петровской, а той новой Руси они совершенно не знаютъ, они отрицаютъ ее такъ, какъ мы отрицаемъ древнюю.

26.—На дняхъ получилъ письмо отъ Самарина. Удивительный вѣкъ, въ которомъ человѣкъ до того умный, какъ онъ, какъ бы испуганный страшнымъ, непримиримымъ противорѣчіемъ, въ которомъ мы живемъ, закрываетъ глаза разума и стремится къ успокоенію въ религіи, къ квіетизму, толкуетъ о связи съ преданіемъ. Письмо его подѣйствовало на меня грустно. Сегодня писалъ ему отвѣтъ, въ немъ я сказалъ ему: «Encore une étoile qui file et disparaît! Прощайте, идите иной дорогой: какъ попугайчики, мы не встрѣтимся, это навѣрное». Да какъ это ему не стыдно принадлежать къ такимъ запакощеннымъ славянофиламъ!

28.—Студенты приготовили было новый аплодисментъ Грановскому при первой лекціи. Инспекторъ просилъ его какъ-нибудь предупредить; онъ предупредилъ по своему. Взошедши на кафедру, онъ сказалъ, стоя, à peu près такъ: «Милостивые государи! Позвольте мнѣ благодарить васъ за 21 февраля; этотъ день скрѣпилъ наши отношенія неразрывными узами, я получилъ отъ васъ самую прекрасную, самую благородную награду, какую только можете получить преподаватель въ университетѣ,—вполнѣ чувствую ее и еще съ большей ревностью посвящу жизнь мою Московскому университету. Позвольте мнѣ обратиться къ вамъ съ просьбой; я осмѣливаюсь просить васъ, милостивые государи, не изъявлять болѣе наружнымъ образомъ вашего сочувствія. Мы слишкомъ близки другъ къ другу, чтобъ нужны были такія доказательства. Не потому я прошу васъ объ этомъ, что считаю опасными для васъ или для себя такія изъявленія, — я знаю, что это не остановило бы васъ,—а потому, что они излишни послѣ того изъявленія вашей симпатіи, которое останется на всю жизнь мою лучшимъ воспоминаніемъ. Зачѣмъ наружные знаки? Вы и я принадлежимъ къ молодому поколѣнію, мы имѣемъ общее, прекрасное дѣло посвятить занятія наши серьезно изученію, служенію Россіи,—Россіи, вышедшей изъ рукъ Петра I, равно удаляясь отъ пристрастныхъ клеветъ иноземцевъ и отъ старческаго, дряхлаго желанія возстановить древнюю Русь во всей ея односторонности».

Студенты, разумѣется, не аплодировали; съ благоговѣніемъ и молчаніемъ выслушали они превосходныя слова. Во всемъ, что дѣлаетъ Грановскій, есть какая-то стройная грація: какое удивительное благородство и умѣнье притомъ остановиться въ необходимыхъ предѣлахъ.

Шевырева готовятся принять свистками или ошкаты, если онъ будетъ говорить, т. е., выговаривать студентамъ. Это было бы хорошо, но за это можно уѣхать бѣднымъ юношамъ на Кавказъ,

а потому лучше было бы имъ, т. е., всѣмъ студентамъ, рѣшительно не ходить на его публичныя лекціи.

Бѣдный Крюковъ умираетъ. Еще однимъ свѣтлымъ, прекраснымъ человѣкомъ меньше въ нашемъ кругѣ.

De la création de l'ordre dans l'humanité того Прудона, который писалъ о собственности. Книга эта, вышедшая около двухъ лѣтъ тому назадъ, чрезвычайно замѣчательное явленіе. Во-первыхъ, надобно, читая Прудона, какъ П. Леру и другихъ французовъ-философствующихъ, непрерывно помнить, что у нихъ есть свои странныя мысли и приемы, *des piaiseries*, иллогизмы и пр. Сквозь это надобно пробиться, надобно это принять за дурную привычку, которую мы терпимъ въ талантливомъ человѣкѣ, и идти далѣе; поверхностныхъ читателей того и гляди страшатъ такія выраженія. Прудонъ рѣшительно поднимается въ спекулятивное мышленіе, онъ рѣзко и смѣло отдѣлался отъ разсудочныхъ категорій, прекрасно выводитъ недостатокъ каузальности, субстанціальности и снимаетъ ихъ своими серіями, т. е., понятіемъ расчленяющагося на всѣ свои моменты и снятаго разумніемъ, какъ тотальность.

Бездна яркихъ мыслей. Напр., говоря о Кантовыхъ необходимыхъ координатахъ мышленія, о времени и пространствѣ, онъ ставитъ рядомъ съ ними необходимость человѣческаго воззрѣнія видѣть каждый предметъ не единичностью, а звеномъ ряда, а принадлежащимъ, отнесеннымъ къ цѣлому порядку явленій. Для него чувственная достовѣрность сама въ себѣ носитъ очевидное свидѣтельство своей истины etc. Выходя вездѣ къ конкретнымъ приложеніямъ, онъ превосходитъ въ иныхъ мѣстахъ; самая лучшая часть, это его доказательства невозможности религіи въ грядущемъ; выводъ его силенъ, энергиченъ и смѣлъ, онъ заключаетъ словами прекрасно благородными. Религія—откровеніе причины, философія — наука причины... (явнымъ образомъ несправедливо). Метафизика — наука о серіальныхъ отношеніяхъ — одна остается съ частными науками. Да почему же это метафизика? Если онъ подъ философіей разумѣетъ исключительный идеализмъ, дѣло другое, но гдѣ же право? развѣ онъ въ Спинозѣ и въ Гегелѣ и въ самомъ Кантѣ (котораго онъ изучалъ, кажется) не видѣлъ больше своего опредѣленія?

Мартъ мѣсяцъ.

2.—Большое письмо изъ Берлина, вѣсти о Парижѣ, письма изъ Петербурга etc., etc. Между прочимъ, статья Бакунина въ *La Réforme*; вотъ языкъ свободнаго человѣка, онъ дикъ намъ, мы не привыкли къ нему. Мы привыкли къ аллегоріи, къ смѣлому слову

intra muros, и насъ удивляетъ свободная рѣчь русскаго, такъ, какъ удивляетъ свѣтъ сидѣвшаго въ темной конурѣ. Огаревъ пишетъ о томъ, что нельзя жить дома; да, мы знаемъ это получше его. Слабость что ли, надежда ли, а что-то да держить. Будемъ думать да думать, да почти ничего не дѣлать, а жизнь будетъ идти да идти.

5.—Вчера въ 9 часовъ утра умеръ Крюковъ. Еще одно свѣтлое существованіе кануло въ прошедшее, прежде нежели что-нибудь успѣло совершить. Я видѣлся съ нимъ наканунѣ, онъ былъ въ полномъ сознаніи, держалъ мою руку, говорилъ, что любить насъ всѣхъ... смерти, кажется, не предвидѣлъ; онъ былъ страшно худъ, однако выраженіе лица было прекрасно, взглядъ свѣтлый, покоенъ и кротокъ. Вчера сняли маску съ него. Охъ, что-то тяжелое въ воздухѣ нынѣшняго года, какая-то плита на груди.

7.—И схоронили его. Студенты несли до кладбища. Въ церкви было видно, сколько цѣнили его; величаво и благородно быть такъ отпѣту не попами, а толпою друзей и почитателей. Я усталъ отъ этихъ дней, какъ-то горечь переполнила душу. А, впрочемъ, надобно свыкнуться со смертью, надобно настолько уморить въ себѣ личность, чтобъ не бояться смерти; хорошо, — но какъ примириться со смертью друга?... мыслью, что всѣ люди смертны, а такъ какъ Н. человекъ, то и онъ смертенъ? Піэтисты кричатъ теперь, что Крюковъ обратился, но, по несчастію, онъ послѣднее время былъ только короткія минуты въ сознаніи, а остальные въ полупомѣшательствѣ. То ли дѣло кружокъ друзей, горестныхъ, убитыхъ, молча опускающихъ въ могилу тѣло товарища.

12.—Geb ihm ein Gott zu sagen, was er leidet. Сказанное слово устремляетъ ядъ вовнъ изъ души. Та эпоха страшна въ горести, въ опасеніи, когда нѣтъ слова, нѣтъ силы сказать, когда человекъ боится себѣ сказать, признаться. А между тѣмъ, высказанное слово — полуисполненное опасеніе, начало его осуществленія внѣ насъ. Я истерзанъ здоровьемъ Наташи, и я, я снова спсобствовалъ ея болѣзни; а если болѣе, нежели болѣзни? Что за проклятая ничтожность характера, что за преступная распушенность.

14.—Мнѣ бываетъ тягостно смотрѣть на близкихъ мнѣ друзей; я чувствую, что я хуже ихъ нравственно, что я слабъ, готовъ всегда увлечься всякими побужденіями. Могутъ ли, должны ли они любить меня? Любовь, впрочемъ, къ человеку есть личность, предупрежденіе, несправедливость, пристрастіе. Справедливость мнѣ обязанъ оказать кварталный, если онъ исполнитъ свой долгъ: дружба не судъ, дружба любить всего человека, а не одинъ какой-нибудь элементъ его. Любовь къ одному элементу далеко не дружба; я могу съ восторгомъ слушать Листа, поклоняться его

способности, но не быть съ нимъ другомъ; уважать въ человѣкѣ: однѣ умственныя способности можно, но тогда лицо его дѣлается лишнимъ; такъ съ нами симпатизируетъ и книга; дружба не осуждаетъ, но оплакиваетъ. Но въ этомъ-то и вся страшная карательная сила ея. Человѣкъ можетъ только наказывать самъ себя и безошаднѣе инквизитора нѣтъ, какъ совѣсть; не нравственные должны корить падшаго, а падшій долженъ сознавать свою ничтожность передъ ними. Это страшное чувство; мнѣ бываетъ до того тяжело смотрѣть на Грановскаго, что слезы навертываются на глазахъ.

17.— Майкова поэма: «Двѣ судьбы». Много прекрасныхъ мѣстъ много разъ онъ умѣлъ коснуться до тѣхъ струнъ, которыя и въ нашей душѣ вибрируютъ болѣзненно. Хорошо отразилась въ немъ тоска по дѣятельности, наша чуждость всѣмъ интересамъ Европы, наша апатія дома etc., etc.

Цензура Петербурга гораздо снисходительнѣе. Да, что ни дѣлай правительство, а однажды привитая мысль заглглась и обращается по жиламъ,—чуть маленькое отверстіе, огонь выбиваетъ; цензоры устаютъ, дѣятельная мысль сотенъ головъ ни на минуту не устаетъ.

25.— Три года тому назадъ начать этотъ журналъ въ этотъ день. Три года жизни схоронены тутъ, или не то что схоронены, а прикрѣплены во всей мимолетности; перечитывая, все оживаетъ какъ было, а воспоминаніе, одно воспоминаніе не восстанавливаетъ былого, какъ оно было; оно стираетъ всѣ углы, всю рѣзкость и ставитъ туманную среду.

Ну, Аминь.

Октябрь мѣсяць.

3.— Болѣе 6 мѣсяцевъ прошло и я не заглядывалъ въ журналъ, и не писалъ въ него, и не завелъ другого. Не отъ внутренней пустоты, а такъ, жизнь шла довольно тихо. Все болѣе и болѣе уравнивается, но есть и печальныя стороны, и я удерживался иной разъ писать, чтобъ подъ вліяніемъ первыхъ минутъ не записать съ тою рѣзкостью, которая послѣ сдѣлается противною.

На первомъ планѣ скитанье Огарева и всѣ вѣсти, приходящія объ этомъ скитаньѣ, ибо онъ самъ не пишетъ. Вѣра въ способность его ко всему прекрасному и высокому не можетъ потрясена быть во мнѣ, но что же въ одной возможности, когда же наступитъ пора дѣла; что за противорѣчіе между жизнью *gentier*, безцѣльной, безъ занятій, и этими *слезами* симпатіи всему прекрас-

ному. Я не токмо не противъ заграничной жизни, но допускаю въ извѣстныхъ случаяхъ экспатріацію, но не для того, чтобъ жить тамъ праздному и проживать все свое состояніе пошло; такое употребленіе богатства въ наше время преступно. Да и такая жизнь за границей — безнравственное бѣгство. Видно, пора перестать слишкомъ много класть на голову индивидуальностей. Охъ, — Спиноза правъ!

29.—И на послѣднемъ листѣ повторится то же, что было сказано на первомъ. Страшная эпоха для Россіи, въ которой мы живемъ, и не видать никакого выхода. И, какъ эти три года, пройдутъ годы еще и еще, и мы состаримся и яснѣе увидимъ, что жизнь потеряна...

СТАТЬИ ИЗЪ „КОЛОКОЛА“.



Что сдѣлано для освобожденія крѣпостныхъ людей.

Правительство учредило комитетъ, подъ предсѣдательствомъ графа Блудова, для разсмотрѣнія вопроса объ освобожденіи крѣпостныхъ людей. Нѣсколько проектовъ было представлено, на которые комитетъ не далъ никакого отвѣта, и, наконецъ, самъ комитетъ закрылся, ничего не сдѣлавъ. Результатомъ его безплодныхъ засѣданій были кое-какія цензурныя преслѣдованія.

Вотъ слухи, еще требующіе подтвержденія. Но что выше вѣроятія, что не подвержено никакому сомнѣнію, — это то, что съ вступленія на престолъ Александра II, несмотря не всѣ ожиданія и надежды, правительство ничего не сдѣлало для освобожденія крѣпостного сословія и не подвинуло ни на шагъ рѣшеніе этого вопроса.

Что же оно дѣлаетъ? Некогда ему, что ли? Или важное занятіе формою военныхъ и штатскихъ мундировъ до такой степени поглотило государственную мысль, что ни на какое дѣло не хватаетъ времени? Или правительство довольствуется собственными слезами умиленія, и далѣе ничего не хочетъ дѣлать? Или сквозь шумъ праздниковъ и охотничьихъ трубъ псарей, оно не умѣетъ разслушать кликъ народный?

Приходится звонить въ «Колоколь» и сказать этому правительству: Пора проснуться! Теперь еще время. Ты можешь мирнымъ путемъ рѣшить вопросъ освобожденія крѣпостныхъ.

Vivos voco! Или правительство уже такое мертвое, что никакая государственная нужда его не разбудитъ? Или оно думало, что Россію можно спасти безъ государственной мысли, а только маленькимъ добродушіемъ, доходящимъ до потачки государственнымъ ворами? Въ такомъ случаѣ оно только позорится передъ свѣтомъ.

Пора проснуться! Скоро будетъ поздно рѣшать вопросъ освобожденія крѣпостныхъ мирнымъ путемъ; мужики рѣшатъ его по своему. Рѣки крови прольются, — и кто будетъ виноватъ въ этомъ?

Проснись! Работай — не надъ мертвечиной формалистики, а надъ живымъ государственнымъ вопросомъ. Работай, пока время не ушло.

Vivos voco!

(1857, № 1).

Революція въ Россіи.

«Господа! лучше чтобъ эти перемѣны
сдѣлались сверху — нежели снизу.»

(Александръ II— Рѣчь къ московскому дворянству).

Мы не только наканунѣ переворота, но мы вошли въ него. Необходимость и общественное мнѣніе увлекло правительство въ новую фазу развитія, перемѣнъ, прогресса. Общество и правительство натолкнулись на вопросы, которые вдругъ получили права гражданства, стали неотлагаемы. Эта возбужденность мысли, это безпокойство ея и стремленіе вновь разрѣшить главныя задачи государственной жизни, подвергнуть разбору историческія формы, въ которыхъ она движется,—составляетъ необходимую почву всякаго коренного переворота.

Но гдѣ-же знаменія, обыкновенно предшествующія революціямъ?—все въ Россіи такъ тихо, такъ подавлено и еще больше съ такимъ добродушнымъ довѣріемъ смотритъ на новое правительство, ждетъ отъ него помощи, что скорѣе можно думать, что вѣка пройдутъ прежде, нежели Россія вступить въ новую жизнь.

Да на что же эти знаменія? Въ Россіи все шло инымъ порядкомъ, у нея былъ разъ коренной переворотъ, его сдѣлалъ одинъ человекъ—Петръ I. Мы такъ привыкли съ 1789 г., что всѣ перевороты дѣлаются взрывами, возстаніями, что каждая уступка вырывается силой, что каждый шагъ впередъ берется съ боя,—что невольно ищемъ, когда рѣчь идетъ о переворотѣ: площадь, баррикады, кровь, топоръ палача. Безъ сомнѣнія, возстаніе, открытая борьба, одно изъ самыхъ могущественныхъ средствъ революціи, но отнюдь не единственное. Въ то время, какъ Франція съ 1789 г. шла огнедышащимъ путемъ катаклизмовъ и потрясеній, двигаясь впередъ, отступая назадъ, метаясь въ судорожныхъ кризисахъ и кровавыхъ реакціяхъ, Англія совершала свои огромныя перемѣны и дома, и въ Ирландіи, и въ колоніяхъ, съ обычнымъ флегматическимъ покоемъ и въ совершенной тишинѣ. Весь правительственный тактъ торіевъ и виговъ состоитъ въ умѣнны упирается, пока можно, и уступать, когда время пришло. Такъ, какъ Робертъ Пиль переходомъ своимъ на сторону свободной торговли одержалъ экономическое Ватерлоо для правительства, такъ одно изъ будущихъ министерствъ вступить въ сдѣлку съ чартистами и дать интересамъ работниковъ—голосъ и представительство.

На нашихъ глазахъ переродился Піемонтъ. Въ концѣ 1847 года управленіе его было іезуитское и инквизиторское, безъ всякой гласности, но съ тайной полиціей, съ страшной свѣтской и духовной цензурой, убивавшей всякую умственную дѣятельность. Про-

шло десять лѣтъ и Пиемонтъ нельзя узнать, фізіономія городовъ, народонаселенія измѣнилась, вездѣ новая, удвоенная жизнь, открытый видъ, дѣятельность; а, вѣдь, эта революція была безъ малѣйшихъ толчковъ, для этой перемѣны достаточно было одной *несчастной войны и ряда уступокъ общественному мнѣнію* со стороны правительства.

Артисты-революціонеры не любятъ этого пути, мы это знаемъ; но намъ до этого дѣла нѣтъ, мы просто люди глубоко убѣжденные, что нынѣшнія государственныя формы Россіи никуда негодны,— и отъ души предпочитаемъ путь мирнаго, человѣческаго развитія пути развитія кроваваго; но съ тѣмъ вмѣстѣ также искренно предпочитаемъ самое бурное и необузданное развитіе—застою николаевского statu quo.

Государь хочетъ перемѣнъ, хочетъ улучшеній, пусть же онъ вмѣсто безполезнаго отпора, прислушается къ голосу мыслящихъ людей въ Россіи, людей прогресса и науки, людей практическихъ и жившихъ съ народомъ. Они сумѣютъ не только ясно понять и формулировать, чего они хотятъ, но сверхъ того сумѣютъ понять за народъ его желанія и стремленія. Вмѣсто того, чтобъ малодушно обрѣзывать ихъ рѣчь,—правительство само должно принятъся съ ними за работу общественнаго пересозданія, за развитіе новыхъ формъ, новыхъ органовъ жизни. Ихъ теперь ни мы не знаемъ, ни правительство не знаетъ, мы идемъ къ ихъ открытію, и въ этомъ состоитъ потрясающій интересъ нашей будущности.

Петръ I носилъ въ себѣ одномъ ту непредвидѣнную, новую Россію, которую онъ осуществилъ сурово и грозно противъ воли народа, опертой на самодержавную власть и личную силу. Нынѣшнему правительству не нужно прибѣгать ни къ какому прогрессивному террору. Есть цѣлая среда, зрѣлая мыслію, готовая идти съ правительствомъ за народъ и съ народомъ. Среда эта можетъ не велика, но мы рѣшительно не принимаемъ, чтобъ она была ниже сознаниемъ и развитіемъ какой бы то ни было среды на Западѣ. Если она у насъ непривычна къ обскуживанію общественныхныхъ вопросовъ, зато она гораздо свободнѣе отъ всего традиціоннаго, она новѣе, проще, юнѣе западнаго общества. Страданія, неудачи, опыты европейской жизни, она также пережила, но пережила воспитаніемъ, мыслію, сердцемъ, не истощивъ всѣхъ силъ своихъ, а нося въ памяти грозный урокъ послѣднихъ событій. Такъ юноша, пораженный какимъ-нибудь великимъ несчастіемъ, совершившимся передъ его глазами, быстро зрѣетъ и смотритъ совершеннолѣтнимъ взглядомъ на жизнь, сквозь печальный примѣръ.

Но для этого общаго труда правительству необходимо перешагнуть за частоколы и заборы табели о рангахъ, мѣшающей ему видѣть, и прислушаться къ совершеннолѣтней рѣчи, которая

робко и полутайкомъ высказывается въ литературѣ и въ образованныхъ кружкахъ.

Неужели мысль о возможности двинуть впередъ цѣлую часть свѣта, соединить двѣ Россіи, между которыми прошла петровская бритва, въ общемъ дѣлѣ очищенія, освобожденія, развитія, касаясь по дорогѣ тѣхъ страшныхъ и колоссальныхъ вопросовъ: о поземельномъ владѣніи, о трудѣ и его вознагражденіи, объ общинѣ и пролетаріатѣ, передъ которыми трепещутъ всѣ правительства европейскія,—неужели это громадное историческое призваніе, само собою дающееся, меньше льститъ Александру II, нежели одинокая высота императорскаго самовластья, опертаго на крѣпостное состояніе, винные откупы, невѣжество и побои, царящіе среди всеобщаго молчанія и подавленныхъ стонovahъ?

Мы не думаемъ. Да если-бъ и было такъ, врядъ возможно ли теперь продолженіе николаевскаго царствованія? Правительство само это чувствуетъ, но ему такъ ново и неловко въ мірѣ реформъ, улучшеній, человѣческаго слова, что оно дичится, упирается, не вѣрится въ свои силы и теряется передъ трудностію и сложностію задачи. Это мертвящее мнѣніе о собственномъ безсиліи, о томъ, что трудъ намъ не по плечамъ, существуетъ у насъ, по несчастію, не только въ правительствахъ, но и въ насъ самихъ.

Это не скромность, а начало отчаянія, подавленность, мы такъ долго были забыты, загнаны, такъ привыкли краснѣть передъ другими народами и считать неисправимыми всѣ гадости русской жизни, отъ взятокъ до розогъ, что дѣйствительно почти потеряли довѣріе къ себѣ. Это несчастное чувство непременно должно пройти. Гѣте совершенно справедливо говорить:

Muth verloren—alles verloren,
Da wäre es besser nicht geboren.

Конечно, послѣднее тридцатилѣтіе было тяжело и все историческое развитіе наше шло труднымъ и мудренымъ путемъ, но развѣ оно не дало своихъ залоговъ, развѣ мы остановились, устали, развѣ Русь раздробилась на части, подпала чужому владычеству? Нѣтъ, мы стоимъ цѣлы и невредимы, полные силъ, связанные единствомъ передъ новымъ путемъ.

Насъ пугаетъ отсталое и ужасное состояніе народа, его привычка къ безправію, бѣдность, подавляющая его. Все это неоспоримо затрудняетъ развитіе, но, въ противоположность Бюргеровой баллады, мы скажемъ: *живые ходятъ быстро*,—и шагъ народныхъ массъ, когда онѣ принимаются двигаться, необычайно великъ. У насъ же не къ новой жизни надобно ихъ вести, а отнять то, что подавляетъ ихъ собственный стародавній бытъ.

Мы обыкновенно смотримъ на другіе народы или въ ихъ современномъ состояніи, или среди ихъ революціоннаго разгара, и намъ становится больно и страшно за народъ русскій. Но для сравненія вѣрнѣе было бы брать состояніе другихъ народовъ до ихъ переворотовъ. Взгляните, напримѣръ, на жизнь Франціи наканунѣ революціи 1789, и подумайте, что она за шагъ сдѣлала въ пятьдесятъ лѣтъ времени.

Позвольте намъ напомнить событія извѣстныя, но на которыя, можетъ, у насъ съ этой точки не смотрѣли.

Смерть Людовика XIV. Вся страна свободнѣе вздохнула. Восхваленное царствованіе его оставило Францію разоренной ненужными войнами, съ побитой арміей, съ европейской коалиціей на шеѣ. Денегъ не было; король подъ конецъ сдѣлался главнымъ взяточникомъ въ государствѣ, онъ все продавалъ — крупныя и мелкія должности, военныя и статскія мѣста, разоряя въ конецъ откупамъ, акцизамъ и монополіями торговлю, промышленность и ремесла. Народъ умиралъ съ голоду, сотни тысячъ людей питались въ разныхъ концахъ Франціи древесной корой ¹⁾.

До министерства Тюрго ничего не поправилось, — дефициты росли, военная слава замѣнилась позорными мирами, заключенными въ Парижѣ въ 1756 г., государственное хозяйство свелось на ажіотажъ, на него бросились всѣ, попы и министры, члены парламента и принцы крови. Общественное вниманіе было занято междоусобными бранями парламента съ правительствомъ, ясеністовъ съ моленистами; идеи энциклопедистовъ бродили и Вольтеръ хохоталъ, печатая въѣ Франціи свой смѣхъ. такъ, какъ это дѣлалъ Баль. Амстердамъ не трогалъ французскаго вольнаго станка, такъ, какъ Лондонъ не трогаетъ русскаго.

Это сверху, а что было внизу?

Мужики страдали подъ невыносимымъ гнетомъ землевладѣльцевъ; если-бъ ихъ помѣщики сѣкли и земская полиція была, то положеніе ихъ было бы ничемъ не лучше нашего. Деньги помѣщикамъ были крайне нужны для того, чтобъ бросать ихъ горстями въ Парижѣ и Версалѣ. Промотавшись, они ѣхали въ свои замки, на годъ или на нѣсколько мѣсяцевъ, выжимали кровь и потъ изъ мужиковъ, шлялись на охоту, грязно и скупно жили въ запустѣлыхъ замкахъ, мечтая о томъ, какъ скорѣе наколотить денегъ и снова ринуться въ вихрь и блескъ придворной жизни. Сношенія съ сосѣдями были рѣдки, отчасти отъ бережливости, отчасти отъ непроѣзжаемыхъ дорогъ. Объ умственныхъ занятіяхъ, объ улучшеніяхъ хозяйства не было и рѣчи.

¹⁾ Подробности взяты, сверхъ всѣхъ извѣстныхъ исторій, изъ «Geschichte der Revolutionszeit» Siebel'я, изъ новой книги Токвиля и пр.

Поля, разбитыя на участки отъ 10 до 15 гектаровъ, отдавались половникамъ. Помѣщики, не смыслившіе ничего въ управленіи, продавали, сверхъ того, права сбора произведеній и податей нотаріусамъ. Нотаріусы, въ родѣ польскихъ жидовъ-арендаторовъ, раззоряли мужиковъ въ конецъ, запускали хлѣбопашество, брали быковъ отъ плуга подъ подводы, кормили своихъ гусей въ пшеничныхъ поляхъ крестьянъ и проч. Такъ какъ все это хозяйство шло безпорядочно, безъ знанія, безъ капитала, то и не удивительно, что французскія поля давали вполонину меньше, нежели англійскія, а платили вдвое больше (въ Англии брали помѣщики одну четвертую произведеній, да еще несли разныя общественныя тяги, въ то время, какъ во Франціи они ничего не платили, взимая половину произведеній). Крестьяне едва не умирали съ голоду, о запасѣ, о барышѣ нечего было и думать. Отчаянно борясь изъза куска хлѣба, не видя ничего впередъ какъ ту же нужду, тотъ же подавляющій трудъ, у крестьянина падали руки и онъ обрабатывалъ меньше и меньше земли. Въ 1790 г., Артуръ Юнгъ считалъ, что число заброшенной пахотной земли возросло до 9.000.000 гектаровъ.

Мужики жили въ бѣдныхъ лачугахъ, часто объ одномъ отверстіи, такъ что у иныхъ дверь служила окномъ, у другихъ окно дверью; сами ткали они себѣ на одежду толстое, но не плотное сукно, цѣлыя провинціи ходили босикомъ, другія носили деревянные башмаки, кожаные составляли, какъ у насъ, рѣдкую роскошь. Грамотѣ они не знали. Вся умственная жизнь сосредоточилась въ лицѣ пролетарія церкви, сельского священника, онъ поучалъ ихъ ненависти къ протестантамъ и прибавлялъ католическое изувѣрство къ кельтическимъ предразсудкамъ, которыми была полна ихъ голова.

О томъ, что происходило внѣ деревни, никто не зналъ, и не интересовался знать. Сношенія были чрезвычайно затруднительны. Правда нѣсколько пышныхъ «королевскихъ» дорогъ въ 60 футовъ шириной, перерѣзывали Францію, но на нихъ до 1776 г. ходили только двѣ почтовыхъ кареты и по цѣлымъ днямъ путешественникъ не встрѣчалъ никакого экипажа. Извѣстно, что отправляясь въ Ліонъ, тѣмъ паче въ Марсель изъ Парижа, путникъ прощался съ родными и дѣлалъ завѣщаніе. Боковыхъ дорогъ было мало, содержаны онѣ были скверно, несмотря на то, что дорожная повинность вмѣстѣ съ работой въ господскомъ домѣ была еще дополнительной тяжестью, падавшей на долю бѣднаго поселянина. Такъ тянулось печальное существованіе двадцати милліоновъ, т. е., огромнаго большинства французовъ, «безъ отдыха, безъ надежды, безъ другой радости, кромѣ пестраго наряда, въ которомъ они ходили къ обѣднѣ въ праздникъ; безъ перемѣны, развѣ кого-нибудь

голодъ загонялъ въ городъ поденщикомъ или въ полкъ солдатомъ, въ послѣднемъ случаѣ ушедшій рѣдко возвращался въ родительскій домъ». А надъ этими паріями жила стая хищнаго дворянства, смотрѣвшаго на нихъ съ высокоумнымъ презрѣніемъ и грабившаго ихъ съ безпощадной жестокостью. «Зато и мужикъ поглядывалъ съ затаенной ненавистью на башни замка, мечтая о томъ времени, когда онъ подожжетъ и его, и въ немъ книгу недоимокъ» (Зибель).

Небольшое число оброчныхъ крестьянъ въ сѣверной Франціи, да 2—3 уголка съ патриархальнымъ дворянствомъ, безвыѣздно жившимъ въ своихъ помѣстьяхъ, гдѣ-нибудь въ Вандеѣ, въ нижней Британіи, жили лучше.

Не много лучше было и въ городахъ для работниковъ и мастеровыхъ. Руководствуясь средневѣковымъ правиломъ, что «только король даетъ человѣку право на работу», правительство продавало всѣ занятія и промыслы: прачкѣ — право стирать, швеѣ — право шить, мостовщику — право мостить. Когда Тюрго хотѣлъ уничтожить цехи, вся Франція испугалась, и правительство, уступивъ было, снова ихъ ввело.

Взятки и наглое казнокрадство не было во Франціи такъ національно и всеобще, какъ у насъ, но они отчасти восполнялись ажіотажами и продажей мѣстъ; покупщики, какъ собственники мѣстъ, грабили народъ по праву, стремились вмѣстѣ съ аристократіей праздно, безъ труда жить доходами и наслаждаться на чужой счетъ, на счетъ какого-то *неизвѣстнаго*, не имѣющаго имени, котораго не стоило знать и который, истощая силы мышцъ и силы мозга, долженъ былъ работать—для нихъ.

Этотъ анонимъ былъ — народъ французскій!

Но при всемъ этомъ ни энциклопедисты съ Вольтеромъ, ни то общество молодыхъ адвокатовъ и литераторовъ, которое впоследствии явилось членами грознаго конвента, ни молодое дворянство съ Мирабо и Лафайэтомъ, ни армейскіе сержанты, эти будущіе Гоши и Марсо, — никто не отчаивался и Франція въ пять лѣтъ вышла изъ этого положенія,

Теперь для насъ не въ томъ вопросъ, — исполнился ли идеалъ революціи или нѣтъ, былъ-ли онъ осуществленъ или нѣтъ и почему Франція черезъ полъ вѣка сломилась и пала подъ бременемъ гражданской симоніи и мѣщанскаго разврата. Мы не обязаны дѣлать ту же революцію, у насъ и задача иная и силы къ ея разрѣшенію иныя. Для насъ важно то, что въ сорокъ лѣтъ самаго судорожнаго развитія, несмотря на грозныя войны революціи, на преступную трату цѣлыхъ поколѣній Наполеономъ, на вторженіе непріятельскихъ войскъ, на конскрипціи и контрибуціи, народъ французскій перешелъ отъ состоянія, въ которомъ былъ при министерствѣ

Тюрго и Неккера, до того состоянія, въ которомъ, напримѣръ, засталъ его Людовикъ Филиппъ.

Сверхъ того, ненадо забывать, что историческій бытъ Франціи сложился вѣками и учрежденія имѣли глубокіе корни въ нравахъ и жизни народной. Гдѣ у насъ эти *us et coutumes*, связывающіе каждый шагъ, тяжелая парламентская жизнь, роды родовъ судейскихъ фамилій, которыя словно по наслѣдству судили и рядили народъ, наконецъ, гдѣ у насъ древній, сѣдой институтъ королевской власти, связанной со всѣми воспоминаніями исторіи, и съ феодализмомъ, и съ городскою жизнію, и съ католицизмомъ, и съ славою «великаго вѣка», — институтъ, послѣдовательно разработавшійся въ цѣлую систему аристократической монархіи? Народы вживаются до того въ вѣковыя формы и обряды, что не понимаютъ жизни въ другихъ формахъ, хотя бы онѣ были лучше. Консерватизмъ Англіи основанъ на этомъ, но для того, чтобы имѣть эти обязательныя воспоминанія, надобно много прожить, надобно что-нибудь имѣть для храненія.

У насъ ничего подобнаго нѣтъ. Что у насъ преемственное, древнее, неискоренимо-прочное? Табель о рангахъ, дворянская грамота, городовыя положенія, сенатъ, синодъ, крѣпостное право, чиновники, лейбъ-гвардія? Или не въ самомъ ли дѣлѣ иностранная шутка — *the old Moscovit party, the old boyards*? По счастью, это *old* — самое *новое* въ русской жизни, мы воротились школой и книгой къ нашему православному Геркулануму и къ нашей славянофильской Помпеѣ; оно очень интересно, но мертвый живому не товарищъ.

Мы сто пятьдесятъ лѣтъ живемъ въ ломкѣ стараго; цѣлаго ничего не осталось, да и жалѣть не о чемъ. У насъ есть сельскій бытъ, всякаго рода учрежденія, попытки, начинанія, да мысль, больше и больше оживающая, не привязанная ни къ какой кастѣ, ни къ какому изъ существующихъ порядковъ. Мы съ Петра I въ перестройкѣ, ищемъ формъ, подражаемъ, списываемъ, и черезъ годъ пробуемъ новое. Достаточно перемѣнить министра, чтобы вдругъ изъ государственныхъ крестьянъ сдѣлать удѣльныхъ или наоборотъ. У насъ только не мѣняется почва, грунтъ, т. е., опять село, но крестьянскій бытъ скорѣе физиологическій характеръ, догосударственное *statu quo*, состояніе, посылка, которой силлогизмъ будетъ въ будущемъ, — нежели продолженіе московскаго царства; оно было и при немъ, вотъ все, что мы можемъ сказать. Измѣнить его было бы очень трудно, да это и ненужно, совсѣмъ напротивъ, на немъ-то и соиздается будущая Русь!

Конечно, не легко перейти отъ нѣмецкой бюрократіи, къ болѣе простымъ и народнымъ началамъ государственнаго строенія. Но гдѣ же эти непреодолимыя препятствія? Разумѣется, мудро ви-

дѣть истину, если однимъ не позволяютъ говорить, а другіе заинтересованы, чтобъ скрывать. Государь ничего не видитъ изъ-за стропиль и лѣсовъ канцеляріи и бюрократіи, и поэтому правительство, вступивъ въ эпоху реформъ, идетъ ощупью, хочетъ и не хочетъ; а тѣ, которые могли бы дать совѣтъ, тѣ бьются какъ рыба объ ледъ, не имѣя голоса.

Для того, чтобъ продолжать петровское дѣло, надобно государю такъ же откровенно отречься отъ петербургскаго періода, какъ Петръ отрёкся отъ московскаго. Весь этотъ искусственный снарядъ императорскаго управленія устарѣлъ. Имѣя власть въ рукахъ и опираясь, съ одной стороны, на народъ, съ другой, на всѣхъ мыслящихъ и образованныхъ людей въ Россіи, нынѣшнее правительство могло бы сдѣлать чудеса, безъ малѣйшей опасности для себя.

Такого положенія, какъ Александръ II, не имѣеть ни одинъ монархъ въ Европѣ,—но кому много дается, съ того много и спросится.

(1857 г., № 2).

Лобное мѣсто.

До насъ дошли слухи, что славянофилы «Русской Бесѣды» недовольны отзывомъ «Полярной Звѣзды» объ ихъ «Сборникѣ».

Почему же намъ было иначе отзываться? Пусть сами славяне скажутъ, могли ли мы равнодушно говорить о «Сборникѣ», въ которомъ бывшіе Липрандѣевскіе чиновники ¹⁾, клеветуютъ на дорогихъ намъ покойниковъ подъ предлогомъ дружбы, въ которомъ нагло проповѣдуютъ цареградскую философію рабства?

¹⁾ «Послѣ 1848 года была учреждена въ Петербургѣ тайная коммиссія для надзора надъ литературой и журналами. Душой этой коммиссіи считался Липранди. Онъ и нѣкогда профессоръ московскаго университета И. Давыдовъ, «вѣрноподанный»

«По сердцу и изъ видовъ»,

довели усердіе до того, что первый предлагалъ не перепечатывать цѣликомъ ни Библию, ни Новый Завѣтъ, а другой—исключеніе двѣнадцати басенъ Крылова. Однимъ изъ ревностнѣйшихъ сподвижниковъ Липранди былъ Григорьевъ, авторъ статьи о Грановскомъ въ «Русской Бесѣдѣ». Онъ особенно прославился порученіемъ въ остзейскія губерніи, имѣвшемъ цѣлью осмотръ книжныхъ лавокъ и частныхъ библиотекъ въ случаѣ нужды. Ему содѣйствовали два жандармскихъ офицера при отборѣ и запечатываніи книгъ. По окончаніи этого порученія, Григорьевъ былъ назначенъ въ Оренбургъ. Проездомъ черезъ Москву ему вздумалось навѣстить Грановскаго, можетъ, и затѣмъ, чтобъ заглянуть въ его библиотеку. Грановскій, знавшій про подвиги Григорьева, велѣлъ своему слугѣ не впускать его на дворъ».—Отсюда говорятъ гнѣвъ! Эта молва не въ пользу Григорьева! (Изъ совершенно достовернаго письма изъ Москвы).

Мы знаемъ, какъ многимъ изъ нихъ противны эти ученія.— Зачѣмъ же они допускаютъ такія статьи, зачѣмъ защищаютъ ихъ?

Казалось, что есть почва, на которой мы могли бы понимать другъ друга, мы чуяли родственное біеніе сердца, когда шла рѣчь о народѣ русскомъ. Но у насъ, сверхъ любви къ родинѣ, есть свои глубокія, незыблемыя убѣжденія; имъ мы были вѣрны во всю жизнь, они составляютъ наше нравственное достояніе, наше *человѣческое* православіе. Они-то оскорблены въ каждой книгѣ славянскаго «Сборника». Этого мы не можемъ, не должны пропустить молча.

Наше положеніе обязываетъ насъ обличать то, чего скованная рѣчь въ Россіи не смѣетъ еще высказать дома. Есть ученья, есть люди, для которыхъ нашъ станокъ превратится въ *лобное мѣсто*, мы ихъ выведемъ и покажемъ всему честному народу.

Вотъ вамъ на первый случай профессоръ Крѣвовъ и его статья. Слушайте и судите, мы отдаемся на судъ всѣхъ не служащихъ съ Липранди... славянъ и не славянъ.

«Величайшій, чистѣйшій, христіанскій апофеозъ совершился надъ ликомъ византійскаго, номоканоническаго императора. Но государственное тѣло было ветхое, старое, *невлажное* (?), а потому благодатный элементъ не укрѣпилъ свѣтскаго государства; зато какимъ избраннѣйшимъ сосудомъ былъ византійскій міръ для христіанской благодати,—здѣсь, *только здѣсь* образовалась святая вселенская церковь, хранящая свой заветъ въ неприкосновенномъ священнѣйшемъ кивотѣ—іерусалимскомъ храмѣ».

Сквозь этотъ дымъ ладона — не мудрено ужъ разглядѣть въ перспективѣ другое племя, новое, *моченое*, которому благодатный элементъ пришелся какъ разъ.

Нѣтъ, этимъ языкомъ у насъ русская литература не говорила никогда: это de Sade—раболѣпія!

Въ это циническое безстыдство мысли, въ это теоретическое холопство міръ падалъ только два раза, оба раза легистами: разъ въ мертвой Византіи, да разъ въ австрійской мертвящей казуистикѣ имперскаго права. И намъ теперь при возрожденіи Россіи, послѣ тридцатилѣтняго несчастія, пришлось видѣть то же направленіе, также идущее отъ легистовъ и римскаго права, — и притомъ не въ XV томѣ, а въ «Сборникѣ», выдающемъ себя представителемъ народной Россіи.

На минуту самъ авторъ испугался, — слабый лучъ совѣсти скользнулъ по душѣ падшаго легиста. «Дѣло наше, говоритъ онъ, получаетъ какъ будто характеръ личной обиды и, слѣдовательно, подлежить суду; впрочемъ, не бойтесь *этого суда*, онъ не имѣетъ ни уголовнаго, ни полицейскаго, ни даже гражданскаго искового

характера, а есть чисто литературная тяжесть». Ну, а если-бъ кн. Долгорукій былъ не вашего мнѣнія, да сдѣлалъ бы не чистую, да и не литературную тяжесть, чѣмъ пришлось бы тогда приложить вамъ римскій *lex talionis*?

Знаете что я обращаюсь къ вамъ потому, что вы не любите говорить съ мнѣніями, вамъ надобенъ «живой человѣкъ»; къ тому же мы старые знакомые, вѣдь, у васъ не *всегда* была византійская болѣзнь; ну, такъ по прежнему-то знакомству знаете, какой я вамъ дамъ совѣтъ. Подайте-ка въ отставку,—вѣдь, вамъ послѣ этой полемики нельзя больше явиться на кафедру. Спрячьте отъ студентовъ печальное зрѣлище вашего умственного разврата.

Хотя зрѣлище это, съ другой стороны, и очень поучительно!

Вотъ они, продавцы даровъ духа святого! отступники ума!—какая неумолимая логика! Вотъ какъ оканчиваютъ люди, безъ вѣры и чистоты подшедшіе къ наукѣ, люди, безъ убѣжденія и любви вышедшіе на ея амвонъ поучать юношество. Крыловъ не новый человѣкъ, и свихнулся онъ не въ «Русской Бесѣдѣ»; больше десяти лѣтъ тому назадъ—люди полные снисходительности и гуманности, какъ Грановскій, отвернулись отъ него. Но смѣтливость русскаго ума, оригинальность, бросающаяся въ глаза молодыхъ людей, дватри смѣлыхъ замѣчанія, полныхъ демократіи-зависти, поддерживали его въ мнѣніи студентовъ. Забытый публикой, обойденный ею,—молчалъ бы онъ себя въ своемъ углу; лѣта шли, съ ними чины, экзамены и другія не столько громкія, сколько пріятныя удовольствія,—такъ нѣтъ, бѣсъ самолюбія толкнулъ его на арену съ молодыми бойцами.

И что-же оказалось, что онъ и своей науки не знаетъ, по крайней мѣрѣ, не силенъ въ чтеніи ея на ея языкѣ. Сшибленный противникомъ, осмѣянный зрителями, этотъ молчаливый сфинксъ римскаго права съ досадой и ожесточеніемъ бросился защищаться, чѣмъ попало — доводами, кронеберговымъ лексикономъ, аппеляціями къ профессору латинскаго языка,—что же вышло?

Посмотрите на его философское воззрѣніе: точно встрѣчаешь какого-нибудь провинціального чиновника, выползающего откуда то во фракѣ 1830 года, у него не наука того времени, а ея манеры, ея искусственная риторика... Тутъ есть и разглагольствованія о вѣчной борьбѣ двухъ элементовъ въ человѣкѣ, одного идущаго *горь* и другого припирающагося въ землю, и бессмысленная нелѣпность о *непримиримой* враждѣ «подвластной природы» и «человѣка властителя». И съ чего онъ воображаетъ, что его воззрѣніе *народное* въ противоположность воззрѣнію его противника? Это очень извѣстное, школьно-нѣмецкое воззрѣніе средней руки и прошлаго поколѣнія, обросшее (или намѣренно прикрытое) дикимъ русскимъ мясомъ.

А эта противная адвокатская манера *заговаривать*, употреблять тяжелыя и ненужныя сравненія, останавливаться на нихъ, филологически разлагать и вывертывать слова, иногда приходитъ въ горячность, иногда смѣнить гнѣвъ на милость и пр. Онъ не говорить,—il plaide, какъ Бомарше отвѣчаетъ въ Фигаро.

Загляните подальше, за всю эту стряпческую элоквенцію, за всѣ нѣмецкія стропилы, за всѣ эти латинскія слова въ скобкахъ (и въ ошибкахъ),—какая пустота! Такъ и вѣтъ затхлымъ схоластицизмомъ, пустой семинарской контроверзой — безъ вѣры, безъ живой мысли. Неужели эту пустоту можно выкупить смѣлыми оборотами, въ которыхъ намѣренно смѣшаны ученые термины римскаго права съ терминами торговой бани?

Если есть что-нибудь живое въ этой полемикѣ, то это полутаенный, полувывысказываемый дрожащими губами—доносъ!

Въ отставку, Никита Ивановичъ, въ отставку, не бось, вѣдь, дѣйствительнаго статскаго дадутъ, чего же больше? А не то въ другое вѣдомство переходите!

(1857, № 3).

Западныя книги.

Многіе изъ писавшихъ къ намъ изъявили желаніе, чтобъ мы указывали въ «Колоколѣ» на важнѣйшія литературныя произведенія на Западѣ и въ особенности на книги о Россіи.

Съ удовольствіемъ исполнимъ мы ихъ желаніе, и именно будемъ указывать на книги,—но не больше; разборы ихъ отвлекли бы насъ отъ нашихъ занятій, которыя всѣ въ Россіи, въ русскихъ дѣлахъ и книгахъ, а не въ западныхъ людяхъ и интересахъ.

Наше время не богато особенно замѣчательными книгами. Мы больше перечитываемъ, нежели читаемъ и пишемъ вновь; и это чрезвычайно важно. Обрывъ, къ которому пришло человѣческое разумѣніе и который обличился послѣ 1848 г., сбиль съ толку умы слабыя и обратилъ сильныя умы на внутреннюю работу. Мыслию и сознаниемъ было много прожито въ послѣднее десятилѣтіе, горькіе опыты, потрясающія сомнѣнія подкосили легкую рѣчь и старая школа риторовъ на манеръ Ламартина умолкла, или болтаетъ свой вздоръ, не возбуждая никакого участія. Въ самомъ дѣлѣ, трудно было послѣ такихъ потрясеній «свистать одно и то же».

Ненадобно забывать, что только Англія, одна Англія тихо продолжала свое нравственное развитіе и невозмущаемый трудъ. Другимъ было не до продолженія и не до писанія. Съ внѣшней

стороны—своеволие власти, конкордаты, казни ¹⁾. Съ внутренней—раздумье челоѣка, который, прошедши полдороги, начинаетъ догадываться, что онъ ошибся, и вслѣдствіе того перебираетъ свое прошедшее, близкое и далекое, припоминаетъ бывшее и сличаетъ его съ настоящимъ.

Въ литературѣ дѣйствительно все поглощено исторіей и социальнымъ романомъ. Жизнь отдѣльныхъ эпохъ, государствъ, лицъ, съ одной стороны, и съ другой, какъ бы для сличенія съ былымъ—исповѣдь современнаго челоѣка подъ прозрачной маской романа или просто въ формѣ воспоминаній, переписки.

Развѣнчаннй Ричардъ II говоритъ своей женѣ (въ трагедіи Шекспира), разставаясь съ нею передъ ссылкой, куда его отправлялъ Боленбрукъ: «Скучными, зимними вечерами собирай стариковъ и заставь ихъ рассказывать о давноинувшихъ скорбяхъ ихъ. Но прежде, нежели ты простишься съ ними, расскажи, чтобъ ихъ утѣшить, о нашемъ печальномъ паденіи». Слова эти идутъ къ Европѣ и къ тому литературному направленію, о которомъ мы говорили.

Критическое положеніе Запада все еще у насъ кажется преувеличеннымъ. Насъ сильно увлекаетъ наружность. Извѣстная гладкость формъ, отсутствіе наглаго населенія правительственной грубости, отсутствіе всякаго рода побоевъ, результаты длинной цивилизаціи—скрываютъ, несмотря на всѣ событія, отъ глазъ нашихъ соотечественниковъ, серьезный характеръ нравственной болѣзни Франціи и Германіи, увлекающихъ за собою меньшія государства материка.

Сколько мы ни говорили объ этомъ предметѣ, но по повторяющимся возраженіямъ видимъ, что мысль наша не ясна, по крайней мѣрѣ, не находитъ сочувствія. Здѣсь не мѣсто ее доказывать; сверхъ того, намъ придется еще разъ коснуться ея ²⁾, — мы напомнимъ только нашимъ противникамъ, что люди, которые посѣщали Римъ и Галлію ³⁾ въ IV или V столѣтіи, также мало могли видѣть смерть за плечами Имперіи, какъ русскіе не видятъ разрушительную лихорадку въ усиленномъ и неестественномъ біеніи парижакаго пульса. Тѣмъ болѣе, что французы съ искрен-

¹⁾ Недавно вѣнскій архіерей въ силу конкордата запретилъ давать въ анатомической театрѣ трупы умершихъ католиковъ; такимъ образомъ. Ракиганскіе, Шкоды и др., если не найдется какого-нибудь несчастнаго грека или протестанта, должны будутъ читать по кукламъ. Въ одномъ императорѣ Николай былъ правъ, это что Янъ-Собѣскій и онъ сдѣлали огромную глупость, спасая Австрію.

²⁾ Въ предисловіи ко второму трюбнеровскому изданію «Письма изъ Франціи и Италіи».

³⁾ У васъ подъ руками «Аполлинарій Сидоній» Ешевскаго.

ней (и обдающей насъ холодомъ) надеждой ждуть завтра исправленія всѣхъ золъ и считаютъ настоящую эпоху за временную остановку, за небольшой отдыхъ между двумя роцями лавровъ.

Государственныя формы европейскія несомвѣстны съ идеаломъ общественности, который выработался цивилизаціей; вотъ главная причина. То, что можно было сдѣлать взаимными ограниченіями, соглашеніями, уступками, то сдѣлано; новый бытъ стремился съ XVIII столѣтія установиться, мѣшая въ разныхъ пропорціяхъ преемственный бытъ, историческое начало власти—съ выводами науки и началами революціонными.

Борьба, которая необходимо должна была выйти отсюда, продолжалась больше полувѣка; она-то и привела къ той внутренней работѣ, о которой мы сказали, и къ тому новому глубокомысленному пониманію, которое мы находимъ въ передовыхъ мыслителяхъ, какъ Прудонъ, въ социальныхъ и положительныхъ стремленіяхъ современныхъ умовъ.

Но практически, въ послѣдней борьбѣ погибли всѣ прежнія упованія. Она открыла ясно, что, какъ бы идеаль ни былъ вѣренъ, онъ принадлежитъ одному образованному меньшинству, а массѣ до него дѣла нѣтъ, или она разумѣетъ подъ нимъ совсѣмъ иное. Отсюда замѣчательный логическій кругъ въ жизни: экономическія условія историческаго быта должны измѣниться для того, чтобъ массы поняли вопросъ, и измѣниться въ явную невыгоду тѣхъ, которые понимаютъ его теперь!

Въ этомъ тяжеломъ противорѣчій, при матеріальной побѣдѣ власти, незанятая силы, уже зараженные исключительною страстью стяжанія, отклонились совсѣмъ отъ общаго развитія и ударились въ судорожную спекуляцію, въ болѣзненный ажютажъ, въ продажу всего.

Доведеть ли деспотическое своеволіе правительствъ до государственнаго банкротства, до экономическаго переворота, и выйдетъ ли изъ этого переворота Европа не только цѣлой, невредимой, но и обновленной, въ этомъ весь вопросъ,—именно онъ-то и не рѣшенъ; а не рѣшенный вопросъ имѣетъ, разумѣется, и противъ себя шансы. Но во всякомъ случаѣ этотъ-то переходъ черезъ экономическій катаклизмъ и будетъ тѣмъ разрушеніемъ старыхъ формъ, который необходимъ или для новаго порядка вещей, или для того, чтобы исторія приняла окончательно другое русло.

Разсматривая литературныя произведенія этого времени недоумѣнья и борьбы, мы видимъ явный слѣдъ ихъ въ каждой замѣчательной книгѣ. Съ одной стороны, потребность отдѣлать чище и прямѣе науку отъ случайностей и судебъ рушащагося міра политическаго; съ другой, это себя ощищиваніе, это тревожное состояніе тяжело-больного, который хочетъ позднимъ изученіемъ

уяснить себѣ свое положеніе, раздумье купца, который, видя неминуемое раззореніе, старается спасти что-нибудь.

Реализмъ естествознанія захватываетъ больше и больше всю ученую дѣятельность, отвлекая ее отъ юридическихъ и гражданскихъ предметовъ. Школы Конта, Стюарта Милля, нѣмецкихъ натуралистовъ и медиковъ, пріобрѣли большую смѣлость откровеннаго языка, совершеннолѣтнюю возмужалость мысли, и съ тѣмъ вмѣстѣ чрезвычайную даль отъ общепринятыхъ понятій. Возстановляя сбившуюся съ дороги традицію ясныхъ и геніальныхъ умовъ, какъ Кантъ, Биша, Кабанисъ, Лапласъ, наука дѣлается прямо и открыто анти-идеализмомъ, сводя на естественное и историческое все богословское и таинственное. А народы въ то же время, словно испуганные бесплодностью переворотовъ, снова отступаютъ въ подогрѣтый католицизмъ или теряются въ холодномъ изувѣрствѣ протестантизма. Общественное мнѣніе снова безъ всякой терпимости требуетъ рѣшительнаго лицемѣрія, и Агассисъ или Либихъ, въ Филадельфій и Мюнхенѣ, все равно—принуждены слабодушно отрекаться отъ истинъ науки и искажать ихъ для того, чтобъ не распугать толпу и имѣть полную аудиторію; а, такъ называемые, политическіе революціонеры, республиканцы, демократы—проповѣдуютъ риторическій деизмъ, идеализмъ въ политикѣ, всѣ предразсудки военно-теократическаго государства, такъ что ихъ свобода очень похожа на заспанную фигуру Людовика XVI, которому въ Версалѣ нахлобучили на голову—фригійскую шапку.

Рядомъ съ отчуждающей наукой, входящей въ жизнь только приложеніями, идетъ другая внутренняя работа, мы ее можемъ назвать соціальной патологіей. Къ ней равно принадлежатъ Прудонъ и Диккенсъ. Новая вивисекція Прудона кажется намъ самымъ замѣчательнымъ явленіемъ послѣднихъ двухъ лѣтъ,—дальше скальпель еще не шель. Если вы не читали его «Manuel d'un speculateur à la bourse», котораго четыре изданія расхватили въ нѣсколько мѣсяцевъ въ Парижѣ, то мы не только рекомендуемъ, но настоятельно просимъ изучить это сочиненіе. Врачемъ, наблюдателемъ сидитъ Прудонъ у изголовья разлагающагося организма и слѣдитъ шагъ въ шагъ (копейка въ копейку) за успѣхомъ болѣзни, считая пульсъ по биржевому курсу, по приливу и отливу, «hausse» и «baisse», и спокойно приписывая на счетахъ увеличивающій debit смерти.

Не имѣя права говорить словами, онъ говоритъ цифрами, сложеніемъ и вычитаніемъ: онъ держитъ приходо-расходную книгу общества, несущагося къ банкротству. Его «Manuel» ариѳметическое de profundis и съ тѣмъ вмѣстѣ сторожевой крикъ съ высоты биржи.

Несмотря на большой расходъ книги Прудона, французы мало понимаютъ его, напротивъ, его обвиняютъ въ безнравственномъ

вліяніи, въ томъ, что онъ приводитъ въ отчаяніе въ то время, какъ надобно ободрять, — вѣроятно, велерѣчиво толкуя о величии de la grande nation и о скоромъ водвореніи братства народовъ и всемірной республики...

«Вмѣсто того, говоритъ одинъ путешественникъ о юго-испанскихъ республикахъ въ центральной Америкѣ, чтобъ изученіемъ собственныхъ ошибокъ подняться, вырваться изъ своего жалкаго положенія, испано-американцы стараются высокоумнымъ хвастовствомъ обмануть себя. Опьяняющія средства эти отводятъ имъ глаза отъ предстоящихъ судьбъ».

Слова эти, по несчастію, относятся и не къ одной Коста-Рикѣ. Оттого-то мнѣ современное состояніе европейскаго материка и кажется такъ печальнымъ. Несчастіе бываетъ въ двухъ случаяхъ очень опасно: когда сознание сопровождается съ совершенной протраціей, т. е., когда ровное отчаяніе и преданность судьбѣ заставляютъ покойно сложить руки и понурить голову, или когда человѣкъ безсмысленно идетъ, не замѣчая рва, пропасти и считая ихъ неглубокими. Кто не видалъ съ содроганіемъ самонадѣянность большого, спокойно разсуждающаго съ вами о будущемъ, не зная, сколько его умрело?

Франція такъ увѣрена въ своемъ передовомъ мѣстѣ, что какъ Далай-Лама и не считаетъ нужнымъ доказывать это; но любопытно видѣть притязанія Германіи (именно теперь) на всемірно-историческое первенство. Ихъ исключительный націонализмъ, окруженный космополитическими фразами, ихъ ревнивая ненависть старой женщины къ Россіи и злопамятная зависть къ Франціи, вмѣстѣ съ высокимъ мнѣніемъ о себѣ,—доходитъ до комизма.

Года три тому назадъ, двѣ книги, изданныя Дигелемъ, обратили сильное вниманіе публики. Одна трактовала о германской цивилизаціи, другая о Франціи и ея элементахъ развитія. Велѣдъ затѣмъ Дигель издалъ брошюру «Russland, Deutschland und die östliche Frage». Брошюра эта, написанная съ тою же заднею мыслью, дополнила и округлила его воззрѣніе, которое вовсе не принадлежитъ ему лично, а есть въ сущности воззрѣніе всѣхъ нѣмецкихъ патріотовъ-философовъ и людей движенія.

Основная мысль Дигеля состоитъ въ томъ, что романскіе народы, нося въ себѣ элементы міра древняго, по той мѣрѣ принадлежатъ новому міру, по которой взошелъ въ нихъ германскій элементъ, побѣждая и вытѣсняя элементъ романскій. Во Франціи гальское начало беретъ верхъ надъ франкскимъ—цезаризмомъ, подавляющей идеей государства, поглощеніемъ личности, вслѣдствіе чего Дигель осуждаетъ Францію на испанское старчество и вмѣстѣ съ нею считаетъ огуломъ весь романскій міръ отжившимъ, прошедшимъ.

Отвертываясь от маститаго романскаго старца, классически согбеннаго надъ клюкой, Дицель обращается къ славянамъ. Если тому пора умирать, то славяне врядъ родились ли еще. Это дикія орды, сформированныя въ колоссальное *военное поселеніе нѣмецкимъ* деспотизмомъ. Дицель отказываетъ народу русскому во всѣхъ политическихъ способностяхъ, считаетъ ихъ только годными на коммунистическое житье. и досадуетъ на нѣмцевъ, сдѣлавшихъ изъ этихъ людскихъ табуновъ—регулярные полки и усовершенствовавшихъ ихъ благосостояніе (вѣроятно, канцелярскимъ устройствомъ и письменнымъ инквизиторіальнымъ процессомъ)!

Изъ этого ясно, что современность и ближайшая будущность принадлежать той странѣ, которая находится, между дряхлымъ старцемъ и лѣнтяемъ мальчишкой, представительницей всего возмужалаго и энергическаго—*Германія*. Когда ему пришлось это сказать, онъ самъ испугался великаго призванія Германіи и скромной роли, которую она играетъ съ своими 36 суставами, «съ прусскимъ отечествомъ, австрійскимъ отчествомъ, и проч.» («А, кажись, не подобаетъ Дундуку такая честь?» Пушкинъ). Дицель не могъ не остановиться передъ этой горькой ироніей—и тотчасъ прибѣгнулъ къ средству не новому съ нѣкоторыхъ поръ, именно къ тому, чтобъ находить истиннаго представителя германизма—въ Англии.

Это на томъ основаніи, на которомъ извѣстный добрякъ, котораго хотѣли пригласить аккомпанировать, отвѣчалъ на вопросъ: играете ли вы на скрипкѣ?—Нѣтъ, но мой двоюродный братъ, который въ Парижѣ, играетъ и очень хорошо!

Признавъ Англию за Германію, нечего перемониться и съ Северо-Американскими Штатами.

На легкое замѣчаніе мое въ одномъ журналѣ одинъ изъ патріарховъ нѣмецкой *космополитической* и исключительной національности отвѣчалъ, что не только это справедливо, что Америка нѣмецкая, но что собственно и Россія—Германія, что въ ней русскаго *только народъ*. Этимъ мы обязаны Сарептѣ, памятной книжкѣ, нѣмецкимъ чинамъ и городамъ, оканчивающимся на несчастное *бургъ*.

Но середь этихъ философскихъ преній, въ продолженіе которыхъ «Эдгаръ Бауеръ» *построилъ* свою Россію *à priori*, нѣмцамъ въ острастку, да такую византійскую и православную, что сами славянофилы бы отказались отъ нея; а Дицель снялъ ее на основаніяхъ всемірно-историческаго развитія и причислилъ къ *будущимъ*,—явилась книга Вагнера о Коста-Рикѣ (*Costa Rica und das Central America*), изъ которой сейчасъ мы сдѣлали выписку. Извѣстный путешественникъ, жившій болѣе на Кордельерахъ и въ Пампахъ, нежели въ аудиторіяхъ и кабинетахъ, самъ былъ въ Россіи и, взглядываясь въ нее, пришелъ къ иному результату. Его

поразило сходство роста и духа между Америкой и Россіей, и онъ, совсѣмъ напротивъ, утѣшаетъ утомленную Европу, указывая ей на Америку и Россію, какъ на страны будущаго, могучаго, историческаго развитія.

Само собой разумѣется, что его введеніе (которое мы рекомендуемъ прочесть) возбудило большое негодованіе.

И чтобъ и намъ не впасть въ израильскій грѣхъ и не считать себя народомъ божіимъ, какъ это дѣлаютъ наши (двоюродные) братья славянофилы, мы замѣтимъ мимоходомъ, что исторія не такъ просто и легко двигается, чтобъ ѣздить въ одиночку; она скорѣй похожа на тяжелый дилижансъ, котораго тащатъ въ гору разныя кляченки, — одна посильнѣе, другая послабѣе, одна моложе, другая старше, но каждая тащитъ постромку. Въ числѣ лошадей, употребляемыхъ на историческую гоньбу, есть добрые кони, но ни одного, который бы не имѣлъ своихъ пороковъ, ни одного, который бы въ одиночку стащилъ старый рыдванъ. Русская лѣнь да сонъ, приобрѣли ей до сихъ поръ только отрицательную силу; ничего не дѣлая, нельзя ни затянуться, ни истощить силъ; надеждъ у насъ не мало, притязаній тоже, но надобно посмотрѣть на дѣлѣ.

Мы бы нѣмецкимъ космо-патріотамъ стали возражать на другое. Куда имъ знать славянскій міръ, который самъ себя едва знаетъ, и который знать только можно съ *той точки зрѣнія*, съ которой естественный коммунизмъ нашъ считается не слѣдствіемъ дикаго, стаднаго состоянія, а условіемъ будущаго соціальнаго развитія. Но съ чего они воображаютъ, что Англія и Америка органическое продолженіе Германіи? Неужели Байронъ похожъ на нѣмца? Англія, совсѣмъ напротивъ, доказала, что можно сдѣлать изъ германской породы, когда она перемѣшается съ другою кровью, т. е., перестаетъ быть нѣмецкой. Въ основѣ англійской жизни лежатъ циклопическіе фундаменты саксонскаго повятія о правѣ, съ нимъ много германскихъ элементовъ перешло въ британскій характеръ; но на этихъ основаніяхъ Англія развила свою собственную народность, рѣзко отдѣленную, какъ ея островъ, отъ всѣхъ другихъ народностей. Отыскивать въ англичанахъ—нѣмцевъ, такъ смѣшно, какъ въ Ефраимѣ Лессингъ—славянина Ефрема Лѣсника.

Сводя отдѣльныя національности къ соплеменнымъ народамъ и возводя ихъ далѣе и далѣе къ источникамъ и началамъ, мы всѣ потеряемъ въ жидовской семьѣ Адама; или, по крайней мѣрѣ, должны считать нѣмцевъ за персіанъ, по иранскому происхожденію.

Ritter Бунзенъ—имъ это доказаль своимъ «Ипполитомъ».

Переходя къ книгамъ, собственно вышедшимъ въ 1857 г., я упомяну, во-первыхъ, о IV томѣ поэтической, художественной «Исто-

ріи XVI столѣтія» Мишле. Генрихъ IV, Габріель, Ришелье — все лица знакомыя, но такъ живо, близко, sans gêne, съ такимъ свѣжимъ колоритомъ и освѣщеніемъ мы ихъ не видали. Можетъ, есть частности, въ которыхъ историкъ увлекся воображеніемъ, но вообще эта книга, какъ мы имѣли случай замѣтить въ «Полярной Звѣздѣ», 1855, говоря о первомъ томѣ ея, произведеніе мастерское, исторія тутъ становится искусствомъ, эпопеей въ прозѣ. Лѣта не имѣютъ никакой власти надъ сѣдымъ Мишле,—онъ юнѣтъ.

Луи Бланъ напечаталъ IX томъ своей «Исторіи Французской Революціи», еще начатой до февральской революціи. Онъ остановился на началѣ процесса гебертистовъ; само собой разумѣется, что этотъ кровавый эпизодъ кроваваго террора разсказанъ у него съ точки зрѣнія комитета общественнаго спасенія, т. е., Робеспьера.

О новомъ томѣ Тьеровой «Исторіи Консульства и Имперіи» вы знаете. Интересно, бойко, поверхностно-быстро плыветъ онъ, по плоскодонному устройству, во всякой водѣ.

Изъ «Записокъ» особенно замѣчательны послѣдніе томы «Мемуаровъ» маршала Мармонъ, испортившіе много корсиканской крови въ бонапартовской семьѣ. Иначе и быть не могло, пучки лавровыхъ вѣнковъ развязалъ герцогъ Рагузскій, чтобъ надѣлать изъ нихъ простыя розги. Съ каждымъ годомъ исчезаетъ больше и больше prestige солдатской имперіи и отяжелѣвшій Наполеонъ, замѣняющій упорными капризами тухнущій геній, окруженный своими кондотьерами въ герцогскихъ мантияхъ, готовыми предать его, какъ предали ему республику, являются совсѣмъ иными въ запискахъ Мармона, нежели въ пѣсняхъ Беранже и литографіяхъ временъ Карла X. Книгѣ *полковника Шараса*—человѣка высокаго нравственнаго достоинства и большого знатока военныхъ наукъ—*О кампаніи 1815 года*—суждено, кажется, еще тяжело обрушиться на гробовую крышку въ домѣ Инвалидовъ.

Записки и письма *Чарльза Непира*, изданныя послѣ его смерти, сдѣлали нѣкоторую сенсацію въ Англіи. Личность Непира въ самомъ дѣлѣ ярко и поэтически отдѣляется на тяжеломъ и туманномъ фонѣ бездарной англійской high life. Человѣкъ этотъ во всемъ далекъ отъ толпы, во всемъ поэтъ и мыслитель, много передумаль, много и поняль. и подъ конецъ управляя цѣлыми арміями и провинціями, печально, прямо смотрѣлъ на людей и дѣла. Въ его гордомъ, своеобразно рѣзкомъ, самостоятельномъ умѣ, въ его независимости отъ положенія, намъ такъ и бросается въ глаза различіе англійскаго и французскаго духа. Главнокомандующимъ войсками въ 1848 году, во время чартистскаго движенія О. Брайна, Митчеля и пр., онъ, далекій отъ того, чтобы восхищаться рѣзней, которая могла бы ему доставить Кавеньяковскіе и Ламорисьеровскіе лавры, отмоченные въ англійской крови,—съ грустью пишетъ

въ своемъ журналѣ о томъ, что вопросы, волнующіе умы и являющіеся въ чартизмѣ,—на череду; что, что ни дѣлай, ихъ не обойдешь, и что народы, какъ будто влекомые провидѣніемъ, идутъ къ ихъ разрѣшеніямъ; а потому будущность все же ихъ... Къ современнымъ политическимъ дѣятелямъ онъ имѣлъ мало сочувствія: къ партіямъ, попеременно стоящимъ у руля Англій, онъ тоже не могъ принадлежать, думаемъ мы, по его рѣзкой характеристикѣ ихъ: «Тори, говоритъ онъ, это грабители на большихъ дорогахъ. *разбойники*; а виги—*ворюхи* въ маленькихъ переулкахъ,—pick-pockets».

О жизнеописаніи Толя, изданномъ Бернгарди (вѣроятно по собственнымъ запискамъ или рукописямъ Толя) и запискахъ Сиверса, мы поговоримъ особо, въ одномъ изъ слѣдующихъ листовъ «Колокола». У Толя есть мастерскіе портреты и чрезвычайно интересныя страницы. Писать военную исторію такъ, чтобъ она занимала и не военныхъ, дѣло не легкое. Мы читали только первый томъ (ихъ вышло три, но сочиненіе не окончено, третій томъ останавливается на кампаніи 1813 года). Итальянскій походъ—и Суворовъ выходятъ очень рельефно и необычайно занимательны... Предоставляя русскимъ журналамъ помѣстить его очеркъ Суворова, мы скромно ограничимся—штатскимъ и мирнымъ генераломъ отъ розогъ, графомъ Алексѣемъ Андреевичемъ Аракчеевымъ.

Записки Сиверса мы еще не получили; что же касается до брошюры Чичагова, напечатанной въ Берлинѣ, она мало имѣетъ общаго интереса, или можетъ только возбудить его тѣмъ чувствомъ уваженія, которое имѣютъ всѣ къ памяти даровитаго адмирала.

Изъ разныхъ компиляцій о Россіи мы можемъ назвать, какъ нѣсколько интересную: «Menschen und Dinge in Russland». Шницлеръ продолжаетъ свою: «Empire des Tzars». Къ исторіи «Русскаго двора со временъ Петра I», Магнуса Крузенштольпе,—Гоффманъ и Кампе прибавили исторію императора Николая, для насъ сведенныхъ на Устрялова и Корфа, и эта книга не безъ интереса. Мы рекомендуемъ, впрочемъ, и остальные томы, въ нихъ русскій читатель много найдетъ любопытнаго, особенно о временахъ Елизаветы, Екатерины II, и о совершенно неизвѣстномъ у насъ царствованіи Павла I.

Книга Валейдье, о которой мы упоминали въ предпрошломъ листѣ «Колокола»: «Тридцать лѣтъ царствованія Николая», не принадлежитъ къ числу произведеній, о которыхъ можно серьезно говорить. Это самая смѣшная и самая жалкая лесть, она даже жалка и смѣшна послѣ плюгавой книги г. Зотова, подъ тѣмъ же названіемъ. У Валейдье Николай представленъ однимъ изъ величайшихъ людей нашего времени, и притомъ какимъ-то сентиментальнымъ, сбивающимся на Векфильдскаго священника и на До-

миціана... Предоставляемъ самому статсъ-секретарю Модесту быть Парисомъ и наградить почетнымъ яблокомъ достойнѣйшаго изъ двухъ состязателей отечественнаго Рафаила, или вчуже преданнаго Альфонса.

Р. С. Отчего въ нашихъ обзорѣніяхъ не переводятъ отрывковъ изъ чудесныхъ и поэтическихъ брошюръ Грегоровіуса, о Корсикѣ, Италіи, Римѣ?

(1857, № 6).

Что значитъ судъ безъ гласности.

Торжественнѣе думали мы начать нашъ звонъ на 1858 г., видно нашему «Колоколу» не суждено еще издавать полные радостные звуки, звать на праздники и ликованія, возвѣщать благія вѣсти. Видно, еще надолго онъ будетъ обреченъ на долю тюремнаго звонка, печально возвѣщающаго всякій разъ, что преступленіе, что несчастье возшло или вышло, что явился палачъ, заплаканная мать переступила порогъ или процессія двинулась къ лобному мѣсту.

А какъ искренно, какъ горячо хотѣлось намъ, чтобъ было иначе, съ какимъ сердечнымъ упованіемъ смотримъ мы на усилія Александра II вырвать у упорно-своекорыстнаго дворянства—веревку, на которой оно держитъ крестьянъ въ кабалѣ. «Опора престола» стала бревномъ на дорогѣ, когда государь захотѣлъ сдѣлать доброе дѣло!

Еще хуже съ гласностью въ судѣ. Панины и компанія умѣли остановить проекты, заставили молчать объ этихъ жизненныхъ вопросахъ. Съ этими гириями на ногахъ недалеко уйдетъ Александръ Николаевичъ, спутанный формализмомъ, этикетомъ, ограниченный табелью о рангахъ, окруженный политическими старобрядцами.

Государь, очевидно, стремится вырваться изъ заколдованнаго круга, но, не слыша свободнаго голоса, не имѣя средствъ узнать истины, теряется.

Князь Долгорукій, послѣ заграничнаго путешествія государя, поднесъ ему полную «Хрестоматію», составленную Прянишниковымъ изъ подпечатанныхъ писемъ, свидѣтельствующихъ о крамольныхъ мысляхъ и крайнемъ неудовольствіи благороднаго російскаго дворянства, при слухѣ объ освобожденіи крестьянъ. Отчего же онъ ему не доставляетъ «Колоколу»? Ужъ коли доносить, такъ все доносить, что тутъ за выборъ!

Государь не услышитъ отъ насъ ничего оскорбительнаго.

Мы ему скажемъ: будьте мужественны, человѣчество глядитъ на васъ, исторія записываетъ ваши дѣла, бѣдная Россія ждетъ; но что же исторія запишетъ, если Россія ничего не дожидается, если вы ее оставите на произволъ новымъ Аракчеевымъ.

У него было доброе сердце и слабая воля! Неужели ваше самолюбіе не идетъ дальше?

Вамъ, такъ благородно поступившему въ дѣлѣ Липранди, предлагавшаго академію шпіонства, очень легко узнавать людей и дѣлать ихъ ошую и одесную, шиболеть вашъ совѣтъ готовъ. Кто противъ гласности, кто противъ освобожденія крестьянъ, тотъ врагъ народа, тотъ вашъ врагъ...

Отчего вы не боитесь гласности, а П. и В. боятся?

Отчего вы хотите искоренить взятки, а Л. призывалъ двухъ литераторовъ и запретилъ имъ касаться этого предмета, освященнаго вѣками?

Постараемся показать на дѣлѣ—отчего.

Къ новому году намъ прислали выписку изъ одного дѣла—нисколько нечрезвычайнаго, но очень характеристическаго для объясненія, почему запертыя двери необходимы вертепамъ, называемымъ у насъ *судами*.

(1858 г., № 7).

* * *

На дняхъ мы получили письмо, строго критикующее «Колоколъ».

Письмо это проникнуто такимъ теплымъ чувствомъ любви къ *дѣлу* и желаніемъ добра отъ нашихъ изданій, что намъ остается искренно поблагодарить анонима критика и воспользоваться тѣми изъ его совѣтовъ, съ которыми согласна наша совѣсть.

Намъ очень жаль, что въ письмѣ именно сказано, чтобъ мы его не печатали, намъ хотѣлось бы сообщить его нашимъ читателямъ.

Одно замѣчаніе мы позволимъ себѣ Авторъ письма могъ видѣть съ перваго листа «Колокола» до послѣдняго, какъ усердно мы просимъ всѣхъ, сообщающихъ намъ вѣсти, подвергать ихъ прежде строгой критикѣ. Какія же мы можемъ имѣть средства повѣрки? Если и въ нашихъ листахъ, какъ во всѣхъ журналъ, прокрадываются ошибки, мы готовы ихъ поправить, но не всегда можемъ предупредить.

Мы въ VI листѣ сказали, что московскій оберъ-полицмейстеръ *Берингъ*—остался, а онъ подалъ въ отставку. «Le Nord», имѣющій полуофициальныя корреспонденціи, говоря объ окончаніи студентской исторіи въ Москвѣ, сообщилъ только объ отставкѣ

частнаго пристава. Вслѣдъ за тѣмъ получили мы письмо, въ которомъ обращается вниманіе на то, «что Закревскій отстоялъ Беринга». Дней десять спустя, мы увидѣли, что Берингъ замѣненъ Кропоткинскимъ. Намъ остается повиниться въ ошибкѣ, поблагодарить и посовѣтовать Закревскому сдѣлать намъ такой же милый сюрпризъ.

Что касается до смѣшнаго, мы не совсѣмъ согласны съ нашимъ критикомъ. Смѣхъ—одно изъ самыхъ сильныхъ орудій противъ всего, что отжило и еще держится, Богъ знаетъ на чемъ, важной развалиной, мѣшая расти свѣжей жизни и пугая слабыхъ. Повторяю, «что предметъ, о которомъ человѣкъ не можетъ улыбнуться, не впадая въ кощунство, не боясь угрызений совѣсти,—фетишъ, и человѣкъ подавленъ имъ, онъ боится его смѣшать съ рядовыми предметами».

Смѣхъ вовсе дѣло не шуточное и имъ мы не поступимся. Въ древнемъ мірѣ хохотали на Олимпѣ и хохотали на землѣ, слушая Аристофана и его комедіи, хохотали до самаго Лукіана. Съ IV столѣтія человѣчество перестало смѣяться, оно все плакало, и тяжелыя цѣпи пали на умъ середь стenanій и угрызений совѣсти. Какъ только лихорадка изувѣрства стала проходить, люди стали опять смѣяться. Написать исторію смѣха было бы чрезвычайно интересно. Въ церкви, во дворцѣ, во фронтѣ, передъ начальникомъ департамента, передъ частнымъ приставомъ, передъ нѣмцемъ управляющимъ никто не смѣется. Крѣпостные слуги лишены права улыбки въ присутствіи помѣщиковъ. Одни равные смѣются между собой.

Если низшимъ позволить смѣяться при высшихъ, или если они не могутъ удержаться отъ смѣха, тогда прощай чинопочитаніе. Заставить улыбнуться надъ богомъ Аписомъ значить разстричь его изъ священнаго сана въ простые быки. Снимите рясу съ монаха, мундиръ съ гусара, сажу съ трубочиста, и они не будутъ страшны ни для малыхъ, ни для большихъ. Смѣхъ нивелируетъ, а этого-то и не хотятъ люди, боящіеся повиснуть на своемъ собственномъ удѣльномъ вѣсѣ. Аристократы всегда такъ думали, и жена *графскаго дворецкаго* Фигаро, жалуясь въ «*La mère coupable*» на горькіе слѣды 1789 года, говорить, что теперь всѣ сдѣлались *какъ всѣ, comme tout le monde!*

Въ русскомъ характерѣ вообще есть азіатская склонность къ вычурному подобию страсти, съ одной стороны, и къ надменному чванству, съ другой. Объясните иностранцу и въ особенности не нѣмцу, что простой смертный носитъ *рубашку*, а баринъ *сорочку*, что одинъ—*спитъ*, а другой *почиваетъ*, одинъ *пьетъ* чай, а другой изволить его *кушать*; все это пришло изъ золотой Орды и изъ томпаковой Германіи.

И отчего это мы такъ обидчивы, когда дѣло идетъ о шуткѣ, и такъ выносливы, когда насъ бранять сверху? Это уже лѣтъ пятнадцать тому спрашивалъ Бѣлинскій. Перелистуйте лондонскій «Пуншъ», посмотрите на политическія карикатуры его, въ которыхъ всего меньше пощаженъ мужъ королевы; что дѣлаетъ Викторія, что дѣлаетъ Альбертъ, — глядятъ «Пуншъ» и смѣются съ другими. Вотъ лучшее доказательство, какъ совершеннолѣтняя Англія. Съ другой стороны, посмотрите это изступленіе, эту тревогу, съ которой преслѣдуютъ каждый свистокъ, каждую улыбку во Франціи... и подумайте о причинахъ.

Другой корреспондентъ пишетъ, что въ исторіи о слѣдствіи, дѣланномъ Эльстонъ - Сумароковымъ, фамилія помѣщика, продавца имѣніе, не вѣрно выставлена. Въ «Теймсѣ» была только фамилія П.; въ письмахъ, нами полученныхъ, *три разныхъ фамиліи*, но обстоятельства разсказаны одинакимъ образомъ, а въ этомъ-то и сущность. Мы совершенно убѣждены, что каждый изъ благороднаго сословія помѣщиковъ, мѣшающихъ государю освободить крестьянъ, способенъ такъ же поступить. Тѣмъ не менѣе мы благодаримъ за поправку и готовы впредь и всегда печатать *всякое опроверженіе, основанное на фактахъ*.

(1858 г., № 8).

Черезъ три года.

Ты побѣдилъ, Галилеянинъ! и намъ легко это сказать потому, что у насъ въ нашей борьбѣ не замѣшано ни самолюбіе, ни личность. Мы боролись изъ дѣла, — кто его сдѣлалъ, тому и честь.

Середь общаго сѣтованія, перерываемаго дикими криками бѣсновавшихся реакціонеровъ и солдатъ пьяныхъ отъ крови, середь нелѣпой войны и глубокаго паденія всего западнаго материка, — мы, со страхомъ гадая, обращали взглядъ нашъ на молодаго чело-вѣка, шедшаго занять упраздненное мѣсто на желѣзномъ тронѣ.

«Отъ васъ ждутъ кротости», говорили мы ему, «отъ васъ ждутъ человѣческаго сердца, — вы необыкновенно счастливы!» И робко, мучимые сомнѣніемъ, прибавляли: «Дайте свободу русскому слову! Смойте съ Россіи позорное пятно *крѣпостного состоянія*».

И потомъ мы ждали съ внутреннимъ трепетомъ, надѣясь, не-годуя, прислушиваясь къ движенію, къ вѣстямъ. Послѣ тридцати-лѣтняго ожиданія — нетерпѣніе простительно.

Книга Корфа оскорбила насъ, она такъ грубо дотронулась до воспоминаній святыхъ намъ, она такъ беспощадно напоминала намъ свинцовое время, въ которое мы столько страдали.

...А тамъ это старье, эта олицетворенная подагра правительства, эти мозоли, мѣшающіе ему идти впередъ... Надежды удалялись, мы становились еще бѣднѣе и готовились, скрестя руки на груди, остаться печальными обличителями нѣмыхъ злодѣйствъ, совершающихся во мракѣ канцелярскихъ тайнъ.

Но съ того дня, какъ Александръ II подписалъ первый актъ; всенародно высказавшій, что онъ со стороны освобожденія крестьянъ, что онъ его хочетъ, съ тѣхъ поръ наше положеніе къ нему измѣнилось.

Мы имѣемъ дѣло уже не съ случайнымъ преемникомъ Николая, а съ мощнымъ дѣятелемъ, открывающимъ новую эру для Россіи. Онъ работаетъ съ нами—для великаго будущаго.

Имя Александра II отнынѣ принадлежитъ исторіи; если-бъ его царствованіе завтра окончилось, если-бъ онъ палъ подъ ударами какихъ-нибудь крамольныхъ олигарховъ, бунтующихъ защитниковъ барщины и розогъ, — все равно. Начало освобожденія крестьянъ сдѣлано *имъ*, грядущія поколѣнія этого не забудутъ!

Но изъ этого не слѣдуетъ, чтобъ онъ могъ остановиться. Нѣтъ, нѣтъ, пусть онъ довершитъ начатое, — пусть полный вѣнокъ закроетъ его корону. Гнилое, своекорыстное, дикое, алчное противудѣйствіе законсѣлыхъ помѣщиковъ, ихъ волчій вой—не опасенъ. Что они могутъ противопоставить, когда противъ нихъ *власть и свобода*, образованное меньшинство и весь народъ, царская воля и общественное мнѣніе.

И пуще всего общественное мнѣніе. Лишь бы теперь нашимъ плантаторамъ и ихъ противникамъ позволено было вполне высказаться, помѣриться... И тутъ, какъ во всемъ, по неволѣ бьешься въ другое *великое искомое* современной Россіи — въ *гласность*. Гласность ихъ казнить прежде, нежели дойдетъ дѣло до правительственнаго бича.

Посмотрѣли бы мы, право, au grand jour на этихъ защитниковъ розогъ и крещеной собственности, забрызганныхъ кровью жертвъ, на этихъ грабителей по дворянской грамотѣ, на этихъ людокрадовъ, отнимающихъ у матерей дѣтей, торгашей, продающихъ дѣвокъ, барышниковъ рекрутами! Выходите же на арену, дайте на васъ посмотрѣть, родные волки великороссійскіе, можете, вы поумнѣли, какая у васъ шерсть, есть ли у васъ зубы, уши? Знаете, что—до помѣщицкаго права добираются, до вольности дворянской? Это мужика-то и не посячь, и не заставить поработать четвертый и пятый день, двороваго-то и не поколотить. Помилуйте! Выходите же изъ вашихъ тамбовскихъ и всяческихъ берлогъ — Собакевичи, Ноздревы, Плюшкины и пуще всего Пѣночкины, попробуйте не розгой, а перомъ, не въ конюшнѣ, а на бѣломъ свѣтѣ высказаться.—Помѣряйтесь!

Вамъ можно было отпустить грѣхъ неправого наслѣдства, преступленія вашихъ злодѣевъ-отцовъ, вашихъ изверговъ-матерей, за раскаяніе, за молчаніе, за умѣнне понести потерю, за угрызения совѣсти. Но вы упорствуете, вы защищаете ваше право... стало, вы сознательно, обдуманно берете на себя всю отвѣтственность. Вы никогда не осмѣливались даже поворчать, когда вашихъ дѣтей ссылали въ Сибирь, когда съ самими вами обращались, какъ съ холопами, и вы осмѣливаетесь теперь показывать зубы. Исторія васъ разсудитъ съ императоромъ Александромъ II и съ народомъ русскимъ,—смотрите только, какъ бы она для васъ не настала слишкомъ скоро. Подумайте объ этомъ!

Что касается до насъ, — нашъ путь впередъ назначенъ: мы идемъ съ тѣмъ, кто освобождаетъ и пока онъ освобождаетъ; въ этомъ мы послѣдовательны всей нашей жизни. Какъ бы слабъ нашъ голосъ ни былъ, все же онъ *живой голосъ*, и какъ бы нашъ *Колоколъ* ни былъ малъ, все же его слышно въ Россіи, а потому скажемъ еще разъ, что мы убѣждены, что Александръ II неравнодушно приметъ привѣтствіе людей, которые сильно любятъ Россію, но также сильно любятъ и свободу, «которымъ ненужно его бояться и которые для себя лично *ничего не ждуть, ничего не просятъ*».

Но ничего не прося, они желали бы, чтобъ Александръ II видѣлъ въ нихъ представителей свободной русской рѣчи, противниковъ всему, останавливающему развитіе, во всемъ, ограничивающему независимость,—*но не враговъ!* Они потому этого хотятъ, что имъ стало дорого мнѣніе *освободителя крестьянъ*.

«Ты побѣдилъ, Галилеянинъ!»

(1858 г., № 9).

Розги и розги!

Газеты сообщаютъ изъ Россіи вѣсти о мѣстныхъ крестьянскихъ бунтахъ. Это надо было ожидать, потому что вопросъ освобожденія крестьянъ не былъ разрѣшенъ общей государственной мѣрой.

Теперь болѣе, чѣмъ когда-нибудь, нѣжны во главѣ правительства люди твердыхъ убѣжденій, которые шли бы впередъ, не пугаясь ни своекорыстнаго ропота помѣщиковъ, ни мѣстныхъ волненій и не обращаясь изъ эмансипаторовъ въ истязатели.

Пора приступить къ общей государственной мѣрѣ выкупа крестьянъ съ землею. Или мы пойдемъ навстрѣчу страшныхъ несчастій. Они начались,—и сердце обливается кровью при мысли, что теперь дѣлается!

Злодѣйства совершаются, людей засѣкутъ, какъ это было въ Кіевской губ. годъ тому назадъ! Злодѣйства эти скроются, благодаря второму бичу русской жизни,—*безгласности*, народъ будетъ оклеветанъ. Ужасъ! ужасъ!

Нельзя служить двумъ господамъ, нельзя разомъ освобождать крестьянъ и сѣчь ихъ!

(1858 г., № 15).

МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ НЕКРОЛОГА

Авраамія Сергіевича Норова.

Что городъ—то Норовъ,
что столица—то Закревскій.

Авраамій Сергіевичъ почилъ отъ министерства, и для него, какъ для Наполеона на островѣ св. Елены, «уже потомство настаётъ». Отставной министръ просвѣщенія, Гизо, самъ пишетъ свою біографію; келарь Авраамій Палицынъ тоже о себѣ писалъ самъ! но Авраамій Сергіевичъ, подобно родоначальнику всѣхъ Авраамовъ (доведшему свое историческое подобострастіе и вѣрно-подданническія чувства до того, что чуть не прирѣзалъ роднаго сына Исаака)—ждетъ новаго Моисея.

Для этого-то будущаго Моисея хотимъ и мы передать нѣсколько подробностей о добросовѣстныхъ трудахъ Авраамія Сергіевича и о неусыпныхъ попеченіяхъ его, сдѣланныхъ съ просвѣщенной цѣлью помѣшать распространенію нашихъ книгъ.

Лѣтомъ 1857 г. Авраамій Сергіевичъ проживалъ въ Берлинѣ, лихорадочно поджидая государя (какъ будто онъ не могъ наговориться съ нимъ до сыта и до ленты въ Петербургѣ?). Вдругъ... въ его замкѣ народнаго просвѣщенія *in partibus* раздается рожокъ, гремятъ цѣпи подъемнаго моста и въѣзжаетъ оруженосецъ *Марковскій*, посланный отъ маркиза Паулуччи, начальника тайной полиціи въ Варшавѣ. Паулуччи поручалъ министру просвѣщенія, черезъ Марковскаго, имѣть неослабное наблюденіе въ Германіи за русскими книгами, печатаемыми въ Лондонѣ. Просвѣщенный министръ, желая оправдать довѣріе Паулуччи, тотчасъ принялся за дѣло и самъ поѣхалъ съ пакетомъ въ Дрезденъ. Въ Германіи, надо вамъ сказать, есть два, три отдѣленія третьяго отдѣленія собственной е. и. в. канцеляріи. Еще при незабвенныхъ Леонтіи Васильевичѣ и Николаѣ Павловичѣ онѣ были очень хорошо устроены: Берлинскимъ отдѣленіемъ III отдѣленія собственной канцеляріи завѣдывалъ Мантейфель, Саксонскимъ — Бейтъ. Къ нему-то первому и обратился старецъ Авраамій, поддерживаемый

старцем Шредеромъ (изъ русскихъ), человѣкомъ, котораго учтивость была до того велика, что почти выходила изъ предѣловъ приличія.

Бействъ, видя жандармское рвеніе министра народнаго просвѣщенія, поддержанное учтивѣйшимъ человѣкомъ изъ всѣхъ Шредеровъ, не исключая Шредера Девриенъ, далъ слово (и сдержалъ его) запретить въ Саксоніи русскія книги, печатаемыя въ Лондонѣ, признаваясь откровенно и всенародно этимъ фактомъ, что Саксонія находится на положеніи Грузіи, и что ея царь Ираклій — гражданскій губернаторъ саксонской и военный генераль-губернаторъ города Дрездена.

Авраамій Сергіевичъ, довольный успѣхомъ, снова возвратился въ Берлинскую область. Въ уѣздномъ городѣ Потсдамѣ онъ встрѣтилъ г. Адлерберга, к. Горчакова и самаго государя; съ ужасомъ жаловался онъ имъ всѣмъ на распространеніе русскихъ книгъ, печатаемыхъ въ духѣ свободы и независимости, дерзающихъ касаться не только до предметовъ священныхъ, но и до первыхъ трехъ классовъ, не щадящихъ ничего, ни даже графа Павина. Онъ удивлялся преступному равнодушію Брунова, который терпитъ въ Берлинѣ продажу ихъ. (Онъ не разсудилъ, что Бруновъ, проживши въ Англіи такъ долго, утратилъ рабскую книгобоязнь). Горчаковъ обѣщался принять мѣры, попросить, убѣдить, склонить кого надобно; у короля намѣстника мозгъ уже размягчался тогда не по днямъ, а по часамъ, Мантейфель свой человѣкъ, Герлахъ покойниковъ человѣкъ, — успѣхъ былъ несомнѣнъ. Но что довольно для успѣха, — того не довольно для усердія, и потому состоящій при маркизѣ Паулуччи министръ народнаго просвѣщенія отправился самъ къ Мантейфелю. — «Кейзеръ, говоритъ, нихъ волень... Зи мусень махень, — Прусись, Русишь — камрадь!»

Мантейфель запретилъ наши книги во всей вѣрренной ему губерніи.

И намъ пришлось печатать послѣ всѣхъ этихъ рекламъ, переписокъ, совѣщаній, Бейстовъ, маркизовъ отъ инквизиціи, министровъ отъ просвѣщенія, Марковского, Мантейфеля, — ровно *вдвое больше* нашихъ книгъ!

А надобно признаться, оригинально понималъ отецъ Авраамій министерство просвѣщенія: онъ вѣрно думалъ, что оно, какъ пожарное депо, назначено не для увеличенія просвѣщенія, а для предупрежденія и прекращенія его, гдѣ оно (чего Боже сохрани) нечаянно случится. Зато по-еврейски знаетъ онъ, по свидѣтельству Аугсбургской газеты, лучше всякаго равина и талмудъ толкуетъ, какъ будто не выходилъ всю жизнь изъ синагоги.

(1858 г., № 15).

Дворянство Сумскаго уѣзда.

Намъ пишутъ:

«Помѣщики Харьковской губерніи, Сумскаго уѣзда, собрались къ своему предводителю дворянства, г. Савичу, и единодушно изъявили желаніе: немедленно освободить крестьянъ, надѣливъ ихъ не только землей усадебною, но и пахатною, въ личное вѣчное и потомственное владѣніе, за которую землю они должны уплатить помѣщику деньги (отъ 45 до 50 за десятину) въ продолженіи 12 лѣтъ. Ежели же кто въ продолженіи этого срока, по разнымъ несчастнымъ причинамъ, какъ то: голода, падежа скота, пожара, и т. п. не будетъ въ состояніи выплатить, то таковымъ разрочить платить на долѣе время, только положить 5% на остающую неуплаченную сумму, до окончательной уплаты.

«Такъ какъ мы ничего не можемъ сдѣлать безъ соглашенія, позволенія, разрѣшенія высшаго начальства, то предводитель дворянства и депутатъ отправились къ 15 (27) марту въ Харьковъ бить челомъ. Къ тому же времени должны были съѣхаться предводители и депутаты другихъ уѣздовъ, для обсужденія въ депутатскомъ собраніи подобнаго вопроса. Когда въ этомъ собраніи дошла очередь до Сумскаго уѣзда, предводитель представилъ желаніе дворянъ своего уѣзда. Всѣ возстали противъ предложенія, сдѣланнаго Савичемъ.

«Какъ ни было ему трудно, однако онъ не согласился съ мнѣніями другихъ предводителей, и потому послѣ долгихъ толковъ и пересудовъ составили протоколъ, въ которомъ губернія просить разрѣшеніе составить въ каждомъ уѣздѣ комитеты для обсужденія главныхъ потребностей согласно мѣстности и характеру народной промышленности, и дозволить поставить правила для освобожденія крестьянъ въ каждомъ уѣздѣ особо».

Нельзя не поблагодарить помѣщиковъ Сумскаго уѣзда и ихъ предводителя за благородный вызовъ и не пожелать имъ успѣха въ добромъ намѣреніи ихъ освободить въ наискорѣйшее время крестьянъ съ землею.

(1858 г., № 16).

Тамбовское дворянство.

Мы получили на дняхъ письмо, въ которомъ какой-то другъ тамбовскаго дворянства упрекаетъ насъ въ послѣдственности, съ которой мы «предали это дворянство анаѣмѣ», повѣривъ статѣ въ «Норда». Хотя авторъ письма и сознается, что онъ «мало знаетъ

расположеніе тамбовскаго дворянства относительно освобожденія крестьянъ», тѣмъ не менѣе желаетъ защитить его. И мы ничего лучше не просимъ, какъ исполнить его доброе желаніе и «снять анаѣму»; мы сдѣлаемъ это тотчасъ, какъ только почтенный корреспондентъ нашъ *много узнаетъ* о хорошемъ расположеніи тамбовскаго дворянства относительно освобожденія крестьянъ. Мы до сихъ поръ, сверхъ статьи «Норда», читали рѣчь какого-то Бланка, передъ которой іезуитское сочиненіе Безобразова зажигательная статья, и циркуляръ министра Ланскаго такое же якобинское произведеніе, какъ бюллетень Ледрю-Роллена. Въ концѣ этого отвратительнаго диѳирамба въ пользу крѣпостнаго состоянія и рабства сказано въ скобкахъ: «Рѣчь сія была принята собравшимся дворянствомъ съ восторгомъ и рукоплесканіемъ».

Что касается до князя Голицына и до г. Ліона, намъ до нихъ нѣтъ дѣла; мы охотно вѣримъ корреспонденту, что кн. Голицынъ виноватъ, и безъ малѣйшаго труда примемъ, что г. Ліонъ неправъ. Мы знаемъ, что такое руссійское благородное дворянство.

Мы искренно будемъ рады, если тамбовское дворянство, да и всѣ прочія поймутъ, что оппозиція правительству и народу въ дѣлѣ освобожденія не только безнравственна и гнусна, но чрезвычайно опасна и можетъ навлечь на нихъ вещи несравненно болѣе чувствительныя, чѣмъ нѣсколько строкъ «Колокола».

(1858 г., № 16).

1 іюля 1858 г.

Годъ тому назадъ вышелъ *первый листъ Колокола*. Невольно останавливаемся мы, смотримъ на пройденный путь... и на душѣ становится грустно и тяжело.

А между тѣмъ въ продолженіи этого года сбылось одно изъ нашихъ пламеннѣйшихъ упованій, начался одинъ изъ величайшихъ переворотовъ въ Россіи, тотъ, который мы предсказывали, жаждали, звали съ дѣтскихъ лѣтъ, — началось освобожденіе крестьянъ.

Но на душѣ не легче и чуть ли мы въ этотъ годъ не сдѣлали шагъ назадъ.

Причина очевидна, мы ее скажемъ прямо и мужественно: *Александръ II не оправдалъ надеждъ, которыя Россія имѣла при его воцареніи*. Въ прошломъ іюнѣ онъ еще стоялъ, какъ богатырь нашихъ сказокъ, на перекресткѣ, — пойдетъ ли онъ направо, пойдетъ ли онъ налево, нельзя было знать, казалось, что онъ непременно пойдетъ по пути развитія, освобожденія, устройства... вотъ шагъ и еще шагъ, — но вдругъ онъ одумался и повернулъ:

Слѣва да направо.

Можеть, еще есть время... но его мчатъ дворцовые кучера, пользуясь тѣмъ, что онъ дороги не знаетъ. И нашъ «Колоколь» напрасно звонить ему, что онъ сбился съ дороги, звонить ему бѣдствію Россіи и собственную опасность.

Но въ томъ-то и бѣда, что сильные міра сего не умѣютъ ни слушать, ни даже вспоминать. Исторія передъ ними, но не для нихъ она передаетъ горькій опытъ народовъ и строгій судъ царей потомствомъ.

Выбрать, имѣя въ своей волѣ выборъ, изъ двухъ ролей Петра I и Пія IX, — роль Пія IX, это высшій примѣръ христіанскаго смиренія.

Но скажутъ намъ: Петръ I былъ геній, геніи рождаются вѣками, не всякій царь, который захочетъ быть Петромъ, будетъ имъ.

Въ томъ-то и дѣло, чтобъ быть для Россіи вторымъ Петромъ въ наше время, ненужно быть геніемъ, для этого достаточно любить Россію, уважить, понять человѣческое достоинство въ русскомъ, и вслушаться въ его мысль, въ его стремленія. Можеть, геній повредилъ бы многому, какъ самъ Петръ I, онъ втѣснилъ бы свою личную волю вмѣсто развитія зародышей, которые взошли и которыхъ только ненадо ни полоть, ни топтать, ни насиловать,—предоставляя имъ самимъ ростъ и устраняя препятствія. Петру I приходилось создавать и казнить, въ одной рукѣ у него былъ заступъ, въ другой топоръ. Онъ дѣлалъ просьбу въ дичи и, разумѣется, зря порубилъ хорошее рядомъ съ дурнымъ. Мы перестали любить терроръ, въ чемъ бы онъ ни былъ, и какая бы цѣль его ни была.

Терроръ столько же ненуженъ, какъ и геній, въ наше время. Дѣятельная, мыслящая часть Россіи идетъ быстро впередъ, знаетъ, чего хочетъ, заявляетъ это общественнымъ мнѣніемъ. Въ концѣ прошлаго царствованія, несмотря на опасность, на гоненія, мысли, бродившія въ умахъ, были до того сильны, что создали подземную рукописную литературу, ходившую изъ рукъ въ руки. Въ послѣдствіи тотъ же порядокъ мыслей выражался восторгомъ, съ которымъ были приняты всѣ хорошія начинанія новаго правительства. Половина петровскаго дѣла, и самая трудная, дѣлается теперь хоромъ. Около Петра все молчало, онъ, проснувшись раньше другихъ, долженъ былъ будить, догадываться, выдумывать. Теперь проснулись многіе, теперь многіе опередили и ждутъ, когда ихъ позовутъ на совѣтъ. Реформамъ Петра противился весь народъ, кромѣ нѣсколькихъ человѣкъ; реформамъ Александра II весь народъ готовъ содѣйствовать, кромѣ гнилой части дворянства и стариковъ, выжившихъ изъ ума. Что касается до поддѣльной, служилой олигархіи, до всѣхъ рагvenus изъ казармъ и изъ червильницъ, до этого смирительнаго дома, до этихъ арестантскихъ

ротъ николаевскихъ питомцевъ,—они никакого мнѣнія не имѣютъ. Сегодня они будутъ засѣкать крестьянъ за то, что они хотятъ освободиться, — завтра разстрѣливать дворянъ за то, что они не хотятъ освобождать.

Но, можетъ быть, реформы, о которыхъ говорилъ Александръ II въ рѣчахъ, въ манифестахъ, указахъ, приказахъ и официальныхъ журналахъ, не совпадаютъ съ тѣми желаніями мыслящей Россіи, которыя проявляются въ литературѣ, въ общественномъ мнѣніи.

Совсѣмъ нѣтъ, онѣ однѣ и тѣ же.

Въ этомъ-то и состоитъ безпредѣльная, раздирающая сердце пропія, трагическій комизмъ нашего положенія. Правительство никогда не бываетъ такъ мощно, какъ въ согласіи съ общественнымъ мнѣніемъ. Легисты Англій, страны строжайшей законности, много разъ выражали мысль, что «исполнительная власть сильнѣе закона въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ она встрѣчается съ народнымъ желаніемъ». Какова же у насъ должна быть самодержавная власть, когда она за одно съ народомъ?

Царь силится подать руку народу, народъ силится взять ее и не можетъ достать черезъ П. и компанію. Это аристофановская сцена! Только что государь совсѣмъ готовъ, приподнявшись на ципочкахъ, коснуться протянутой къ нему руки, какъ кто-нибудь изъ этихъ сѣдыхъ шалуновъ — Орловъ, Закревскій, закричитъ: «Ваше величество, Боже мой!...»

Ну, что бы попробовать, кажется? Былъ же, вѣдь, государь на Кавказѣ въ дѣлѣ съ горцами, любить охотиться по медвѣдямъ. Да и что черкесы и медвѣди? Развѣ государь не подвергается ежедневно опасности быть съ этими столпами отечества, которые заслоняютъ ему Россію.

У насъ ничего нѣтъ за душой, мы все говоримъ. Пусть же каждый читатель, положа руку на сердце, скажетъ, гдѣ были въ «Колоколѣ» несбыточныя требованія, политическія утопіи, призывы къ возстанію?

Въ существованіи «Колокола» есть черта, переломъ. Съ обнаруженія рескрипта объ освобожденіи крестьянъ, нашъ путь долженъ былъ измѣниться, не въ существенномъ, но въ образѣ дѣйствія. Мы пожертвовали частью полемики и стѣснили еще больше кругъ нашихъ вопросовъ. Мы сдѣлались ближе къ правительству, потому что правительство сдѣлалось ближе къ намъ. Намъ дѣла нѣтъ до формъ правленія, мы всѣ ихъ видѣли на дѣлѣ и видѣли, что всѣ онѣ никуда негодятся, если онѣ реакціонны, и всѣ хороши, если онѣ современны и прогрессивны. Намъ искренно и откровенно казалось, что Александръ II замѣнитъ кровавую эру революціи и будетъ мирнымъ, кроткимъ переходомъ къ человѣчески-свободному состоянію Россіи.

Ошибались ли мы, нѣтъ ли, но, думая такимъ образомъ, мы совершенно послѣдовательно въ продолженіи шести мѣсяцевъ послѣ изданія рескрипта занимались почти исключительно осуществленіемъ его ¹⁾.

Чего требовали мы, о чемъ писали?

Мы требовали, чтобъ помѣщики не украли у крестьянъ освобожденіе, чтобъ желаніе, выраженное робко правительствомъ относительно усадебъ и земли, не было объяснено въ пользу собственниковъ. Были ли мы правы? Это доказываютъ — краснорѣчіе Бездарова и Бланка, центральный комитетъ, усиленная цензура, дворянская оппозиція и *насилъственные переселенія* крестьянъ на неудобную землю.

Мы говорили, сверхъ того, что освобожденіе крестьянъ само по себѣ недостаточно, что рядомъ съ помѣщикомъ стоитъ второй бичъ русскаго народа — чиновникъ, т. е., полиція и судъ. Мы говорили, что пока не падетъ японская табель о рангахъ, пока судъ будетъ инквизиціонный съ запертыми дверями, съ канцелярской тайной, пока полиція будетъ увѣщевать розгами, допрашивать кулаками, наказывать палками *безъ суда*, — до тѣхъ поръ освобожденіе крестьянъ не принесетъ настоящей пользы.

Но развѣ самъ государь, испуганный тѣмъ, что вся гражданская служба — одно огромное faux dans les papiers publics, не заявлялъ того же мнѣнія и, если-бъ Панинъ утвердилъ или принялъ бы бла-

¹⁾ Многие упрекаютъ «Колоколь», и въ томъ числѣ прусская *Крестовая* газета, въ непочтительномъ тонѣ и фамиллярномъ обращеніи съ лицами, которые хотя и стали костью во всякомъ улучшеніи, но все же принадлежать къ первымъ двумъ классамъ. На этой выси высотъ сановники уже становятся матронами, до коихъ не должны касаться не смягченныя слова. Вѣроятно, въ Пруссіи запрещенъ «Пуншъ», и въ Берлинѣ не знаютъ, какъ свободные люди свищутъ дурнымъ скоморохамъ. Къ этому замѣчанію прибавляютъ: «Да хорошо ли издали, съ недоступнаго острова, бросать печенныя яблоки въ нихъ?» — *Очень*, потому что вблизи они сами защищены моремъ полицій, цензуръ. Да къ тому же у насъ есть своя очистка. Мы не издали въ началѣ Крымской войны писали наши статьи о Россіи (*Le vieux monde et la Russie*) и не приостановились нынѣшней весной, во время пушгаго разгара боязни передъ сосѣдомъ, напечатать — «*La France ou l'Angleterre*». — Да лица-то, на которыя нападаетъ «Колоколь», растутъ отъ этого въ силѣ. Если это правда, остается жалѣть объ темной водѣ мѣшающей государю видѣть истину. Но намъ и до этого дѣла нѣтъ, наша отмѣтка не для герольдин, наша отмѣтка для всего честнаго люда русскаго. — «Все это такъ, да въ тонѣ нѣкоторыхъ статей *пенужимья* выраженія». — «Крикъ мучимаго не можетъ бытъ приведенъ въ хроматическую гамму», говорилъ мнѣ одинъ старый знакомый, понимавшій, что въ звонъ нашего «Колокола» входитъ именно вопль, поднимающійся изъ сѣбѣжихъ, изъ казармъ, съ помѣщичьихъ конюшенъ, съ барщинныхъ полей, съ цензурной бойни. — «Колоколь» рѣшительно принадлежитъ дурному обществу, оттого у него и нѣтъ ни канцелярской вѣжливости, ни секретарской учтивости.

госклонно его предложеніе, то, можетъ, у насъ явились бы и защитники подсудимыхъ, и присяжные, и судъ производился бы при дневномъ свѣтѣ.

Государь хотѣлъ бы измѣнить, но бродить въ потьмахъ, не знаетъ, съ чего начать; отъ подканцеляриста до канцлера, всѣ его обманываютъ; а голосъ неслужащихъ до него не доходитъ. Общественное положеніе всей неслужащей Россіи или невыслужившейся таково, что она только можетъ въ присутствіи монарха танцовать на балѣ,—если изъ дворянъ, и по всякому поводу, счастію и несчастію, носить на золотомъ блюдѣ хлѣбъ и соль,—если она изъ купечества.

Это также логически приводитъ къ нашему третьему требованію, къ—*гласности*.

Не смѣшно ли, что сами поставили плотину, заперли ее, да и удивляются, что воды нѣтъ. Поднимите цензурный шлюзъ, и тогда узнаете, что думаетъ народъ, отъ чего ему больно, что его жметъ, мучить, раззоряетъ... Можетъ, сначала пойдетъ по поверхности всякая всплывшая дрянь,—что за важность, лишь бы этой водой унесло всѣхъ этихъ полумертвыхъ кошекъ и зайцевъ.

Требовали ли мы чего-нибудь больше?

Какія бы ни были наши теоретическія мнѣнія, какъ бы мы ни были въ нихъ «ненсравимы», мы ихъ не высказывали, мы стирались и охотно это дѣлали, пока государственный рыдванъ плелся такъ себѣ впередъ; но когда бнъ рѣшительно начинается пятиться, давить своими тяжелыми колесами ноги, тогда мы пойдемъ другой дорогой.

И вотъ третья фаза, въ которую входитъ «Колоколь».

Мы поставили эпиграфомъ—*Vivos voco!* Гдѣ же живые въ Россіи? Намъ показалось, что живые есть въ самомъ дворцѣ, мы обращали нашу рѣчь къ нимъ, мы не раскаиваемся въ этомъ. Какъ бы то ни было и что бы ни случилось, но государь, положившій начало освобожденію крестьянъ, заслужилъ великое имя въ исторіи и благодарность наша останется неизмѣнной. *Живые*.— это тѣ разсѣянные по всей Россіи люди мысли, люди добра всѣхъ сословій, мужчины и женщины, студенты и офицеры, которые краснѣютъ и плачутъ, думая о крѣпостномъ состояніи, о безправіи въ судѣ, о своеволіи полиціи, которые пламенно хотятъ гласности, которые съ сочувствіемъ читаютъ насъ.

«Колоколь» ихъ органъ, ихъ голосъ,—на бесплодныхъ, каменистыхъ вершинахъ некому его слушать, чистый звонъ его можетъ раздастся сильнѣе въ долинѣ!

(1858, № 18).

О п я т ь н а д е ж д ы !

Государь отпустилъ удѣльныхъ крестьянъ на волю и съ жемлю! Это великій поступокъ, это дѣйствительный примѣръ дворянству: главный помѣщикъ русскій оказывается лучшимъ; неужели же остальнымъ помѣщикамъ не будетъ стыдно и они не послѣдуютъ благородному примѣру? А Богъ ихъ знаетъ,—безуміе и корысть людскія безграничны: тутъ ничего не предугадаешь. Но пусть государь идетъ по этой стезѣ, пусть для него будетъ всего дороже сочувствіе русскаго народа; эта награда стоитъ того, чтобы о ней похлопотать. Останавливаться на отпускѣ на волю удѣльныхъ крестьянъ нельзя. Надо отпустить на волю и государственныхъ крестьянъ, т. е., надо уничтожить министерство государственныхъ имуществъ со всѣми его палатами и окружными. Не бойтесь за подати. Недоимка существуетъ теперь, потому что государственные крестьяне платятъ окружнымъ взятки втрое болѣе, чѣмъ законная подать. Уничтожьте министерство государственныхъ имуществъ, дайте крестьянамъ выбрать своихъ сборщиковъ и платить подать въ сроки, ими самими назначенные,—и недоимки не будетъ, и неужно будетъ выдумывать винные откупа для пополненія недостающихъ казнѣ денегъ. Отпустите же дѣйствительно на волю и удѣльныхъ, и помѣщичьихъ, и казенныхъ крестьянъ; дайте имъ самимъ устроиться; повѣрьте, они лучше устроятся сами, чѣмъ если ихъ станутъ устраивать. Намъ нечего заводить или продолжать усиленныхъ бюрократій; въ западной Европѣ бюрократіи развились отъ того, что тамъ главное—города, а села имъ подчинены; городъ стремится къ бюрократіи. А у насъ городовъ нѣтъ, наши города только по названію города, а въ дѣйствительности не существуютъ. У насъ главное—села. Дайте селамъ устроиться своимъ умомъ,—и Россія останется спокойною, и правительству будетъ легче, и народу будетъ легче.

(1858 г., № 21).

А. И в а н о в ъ .

Еще разъ коса смерти прошла по нашему бѣдному полю и еще одинъ изъ лучшихъ дѣятелей палъ — странно, безвременно. Дворовые косари помогли его подкосить въ то самое время, какъ онъ усталой рукой касался, послѣ цѣлой жизни труда и лишеній, лавроваго вѣнка. Больной, измученный нуждой, Ивановъ не вынесъ грубаго прикосновенія и — умеръ!

Да и зачѣмъ намъ художники и поэты, зачѣмъ эти нѣжныя, вервныя организациі, которыя не могутъ выносить воздуха перед-

ней, дерзости дворецкихъ, образованности фельдфебелей? Теперь намъ надобны бойцы, теперь намъ надобны люди, которые за обиду платятъ не своимъ здоровьемъ, а двойной обидой, за пренебреженіе невѣждъ—презрѣніемъ и ненавистію!

Жизнь Иванова была анахронизмомъ; такое благочестіе къ искусству, религиозное служеніе ему съ недоувѣріемъ къ себѣ, со страхомъ и вѣрою, мы только встрѣчаемъ въ разсказахъ о средневѣковыхъ отшельникахъ, молившихся кистью, для которыхъ искусство было нравственнымъ подвигомъ жизни, священнодѣйствіемъ, наукой.

Молодымъ человѣкомъ принялся Ивановъ за свою картину «Іоанна Предтечи» и состарѣлся съ нею; кисть, взятая юношеской рукой, ослабѣла на томъ же полотнѣ; цѣлая жизнь была употреблена на созерцаніе, обдумываніе, изученіе своего предмета, и при какихъ условіяхъ. «Нищета его, пишетъ мнѣ одинъ изъ друзей его, была такова, что онъ по суткамъ довольствовался стаканомъ кофея и черствой булкой или чашкой чечевицы, сваренной изъ экономіи имъ самимъ, въ той студіи, гдѣ работалъ, и на водѣ, за которой нашъ художникъ ходилъ самъ къ ближайшему фонтану». И въ этой борьбѣ шли годы и годы. Въ продолженіи двадцати лѣтъ онъ получилъ *десять тысячъ руб.* изъ кассы цесаревича Александра Николаевича, который, будучи въ Римѣ, сказалъ Иванову, что онъ его картину считаетъ своей.

Въ прошедшемъ году онъ выставилъ свою картину въ Римѣ: общество художниковъ всѣхъ странъ осыпало ее похвалами,—это были единственныя сладкія минуты Иванова, но и онѣ не были безъ примѣси горькаго элемента внутренней борьбы. Объ ней мы скажемъ послѣ.

Его звали въ Россію; два мѣсяца передъ кончиной пріѣхалъ онъ въ Петербургъ. Полный надеждъ и думъ, онъ мечталъ, что для него легко откроется новая дѣятельность. Онъ мечталъ о своихъ давно задуманныхъ эскизахъ изъ жизни Христа, думалъ съѣздить въ Іерусалимъ и потомъ ему хотѣлось распространять больше и больше великую художественную традицію живописи—молодому поколѣнію. Какъ дѣйствительный художникъ, онъ съ грустью смотрѣлъ, съ одной стороны, на легкую, эффектную манеру, съ другой, на растлѣніе вкуса иконописью,—этимъ лицемѣріемъ въ живописи, этой ложью въ искусствѣ.

Петербургскую жизнь Ивановъ совсѣмъ не зналъ или зналъ смутно, по слухамъ. Простой, отвыкшій отъ людей, онъ какимъ-то чуждымъ явился съ своей картиной—передъ толпой цеховыхъ интригановъ, равнодушныхъ невѣждъ, казарменныхъ эстетиковъ.

Начались маленькія *avaries*, которыхъ онъ не умѣлъ переносить,—все огорчало его, мучило. Ему дали во дворцѣ бѣлую залу

со сквернымъ освѣщеніемъ для картины. Государь взглянулъ на нее, оглушенный громомъ и звономъ, разсѣянный торжествомъ освященія Исакиевскаго собора.

Второй и третьей гильдіи живописныхъ дѣлъ мастера пожимали плечами, придворнымъ было не до Иванова...

Ему бы къ Минѣ Ивановнѣ,—не догадался.

Денегъ у него не было, онъ жилъ у одного пріятеля, не понимая, что ему надобно было снискать покровителей, приобрести хадатаевъ.

Наконецъ, 29 іюня президентъ академіи художествъ, т. е., графиня Строгонова, потребовала Иванова и объявила ему, что ему опредѣляется 10.000 рублей вознагражденія и назначается 2.000 рублей пенсіи, и желала знать, доволенъ ли онъ. Несмотря на свою застѣнчивость, Ивановъ не спѣшилъ принять предложенія и просилъ его обдумать.

На другой день, 31 іюня, курьеръ снова требуетъ Иванова. Его заставляютъ ждать въ передней *три часа*, послѣ которыхъ выходитъ графъ Строгоновъ и объявляетъ ему, чтобъ онъ за окончательнымъ отвѣтомъ обратился къ Адлербергу.

Чего же церемониться съ живописцемъ, что такое живописецъ? Вѣдь, мы не папы римскіе, чтобы дружески принимать какого-нибудь Бенвенуто-Челлини, или съ уваженіемъ какого-нибудь Буонаротти. Графъ Строгоновъ, помнится, бывши въ Женевѣ, находилъ, что Александръ Николаевичъ красный революціонеръ и что пора его остановить на этой скользкой стезѣ... Столбовые-съ!

Ивановъ, пораженный этимъ приемомъ, не пошелъ къ Адлербергу, ему довольно было одной передней. Разстроенный, огорченный, побрелъ онъ къ одному знакомому; вечеромъ онъ почувствовалъ себя дурно, къ полуночи явились первые признаки холеры и ночью съ 2/14 на 3/15 іюля его не стало.

На утро явился курьеръ съ пакетомъ, возвѣщавшимъ трупъ художника, что ему жалуются 15.000 руб. и *владимірскій крестъ* въ петлицу.

Мы не думаемъ, чтобы Иванова намѣренно тѣснили, но, вѣдь, это тѣмъ хуже. Тутъ одна небрежность, разсѣянность вздоромъ, чиновничье неуваженіе къ искусству и къ художнику. Имъ въ голову не приходитъ, что нельзя одинакимъ образомъ обращаться съ Ивановымъ и съ Сквозникомъ-Дмухановскимъ; что на художникѣ есть свое помазаніе, что художникъ тоже власть, что это ровный — *parés*; что генераловъ, оберъ-форъ-шнейдеровъ, нидеръ-нахъ-шустеровъ можно дѣлать десятками, стадами, а художники рождаются, и что если владимірскій крестъ можетъ иной разъ предохранить лице станціоннаго зрителя отъ генеральскаго кулака, то онъ смѣшенъ въ петлицѣ такого артиста.

Картину свою Ивановъ завѣщалъ своему брату—зодчему; интересно узнать, какъ съ нимъ будутъ торговаться...

Теперь скажу нѣсколько словъ о моихъ личныхъ сношеніяхъ съ Ивановымъ. Я познакомился съ нимъ въ Римѣ, въ 1847 году. При первомъ свиданіи мы чуть не поссорились. Разговоръ зашелъ о «Перепискѣ» Гоголя. Ивановъ страстно любилъ автора, я считалъ эту книгу преступленіемъ. Вліяніе этого разговора не изгладилось, многое поддерживало его. Насталъ громовый 1848 г., я жилъ на площади, Ивановъ плотнѣе запирался въ своей студіи, сердился на шумъ исторіи, не понималъ его, я сердился на него за это. Къ тому же онъ былъ тогда подъ вліяніемъ восторженнаго мистицизма и своего рода эстетическаго христіанства. Тѣмъ не менѣе иногда вечеромъ Ивановъ приходилъ ко мнѣ изъ своей студіи и всякій разъ, наивно улыбаясь, заводилъ рѣчь именно о тѣхъ предметахъ, въ которыхъ мы совершенно расходились.

Въ Парижѣ была провозглашена республика, престолъ папы покачнулся, вся Европа приподымалась, я забылъ Иванова и по-скакалъ въ Парижъ.

Десять лѣтъ миновали, и между нами не было никакихъ сношеній.

Вдругъ получаю въ августѣ мѣсяцъ прошлаго года изъ Интерлакена письмо отъ Иванова. Каждое слово его дышетъ инымъ вѣяніемъ, сильной борьбой; запертая дверь студіи не помѣшала мысли вѣка прошла сквозь замокъ, страданія побитыхъ разбудили его.

«Слѣдя за современными успѣхами, я не могу не замѣтить, что и живопись должна получить новое направленіе. Я полагаю, что нигдѣ не могу разъяснить мыслей моихъ, какъ въ разговорахъ съ вами, а потому рѣшаюсь пріѣхать на недѣлю въ Лондонъ, отъ 3 до 10 сентября...

...«Въ итальянскихъ художникахъ не слышно ни малѣйшаго стремленія къ новымъ идеямъ въ искусствѣ; не говоря уже о теперешнемъ гниломъ состояніи Рима, они и въ 1848 и 49 годахъ, когда церковь рушилась до основанія, думали, *какъ бы получить для церкви новые заказы*».

Въ заключеніе онъ писалъ мнѣ, что ему было бы пріятно встрѣтиться у меня съ Маццини. (Это ему не удалось, Маццини былъ тогда на континентѣ, но я познакомилъ Иванова съ Саффи).

Письмо Иванова удивило меня, съ нетерпѣніемъ ждалъ я его. Наконецъ, онъ пріѣхалъ; много состарился онъ въ эти десять лѣтъ, посидѣли волосы, типически русское выраженіе его лица стало еще сильнѣе; простота, добродушіе ребенка во всѣхъ приемахъ, во всѣхъ словахъ. На другой день мы ходили съ нимъ въ National Gallery, потомъ пошли вмѣстѣ обѣдать; Ивановъ былъ задумчивъ.

тяжелая мысль сквозила даже въ его улыбкѣ. Послѣ обѣда онъ сталъ разговорчивѣе и, наконецъ, сказалъ:—«Да, вотъ что меня тяготитъ, съ чѣмъ я не могу сладить,—я утратилъ ту религіозную вѣру, которая мнѣ облегчала работу, жизнь, когда вы были въ Римѣ. Часто поминалъ я наши разговоры, вы правы,—да что мнѣ отъ этого, что отъ этого искусству. Миръ души разстроился,—сыщите мнѣ выходъ, укажите идеалы?...

«Событія, которыми мы были окружены, навели меня на рядъ мыслей, отъ которыхъ я не могъ больше отдѣлаться; годы цѣлые занимали онѣ меня, и когда онѣ начали становиться яснѣе, я увидѣлъ, что въ душѣ нѣтъ больше вѣры. Я мучусь о томъ, что не могу формулировать искусствомъ, не могу воплотить мое новое воззрѣніе, а до стараго касаться я считаю преступнымъ, прибавилъ онъ съ жаромъ. — Писать безъ вѣры религіозныя картины, это безнравственно, это грѣшно, я не надивлюсь на французовъ и итальянцевъ: разбирая по камню католическую церковь, они наперехватъ пишутъ картины для ея стѣнъ. Этого я не могу, нѣтъ, никогда — никогда! Мнѣ предлагали главное: завѣдываніе живописныхъ работъ въ новомъ соборѣ. Мѣсто, которое доставило бы и славу, и матеріальное обезпеченіе; я думалъ, думалъ, да и отказался: что же я буду въ своихъ глазахъ, взойдя безъ вѣры въ храмъ и работая въ немъ съ сомнѣніемъ въ душѣ,—лучше остаться бѣднякомъ и не брать кисти въ руки!»

— Хвала русскому художнику, безконечная хвала, сказалъ я со слезами на глазахъ и бросился обнимать Иванова.—Не знаю, сыщете ли вы формы вашимъ идеаламъ, но вы подаете не только великій примѣръ художникамъ, но даете свидѣтельство о той непочатой, цѣльной натурѣ русской, которую мы знаемъ чутьемъ, о которой догадываемся сердцемъ и за которую, вопреки всему дѣлающемуся у насъ, мы такъ страстно любимъ Россію, такъ горячо надѣемся на ея будущность!

Сими словами и заключимъ надгробную скорбь нашу объ истинномъ художникѣ русскомъ ¹⁾.

(1878 г., № 22).

Насъ упрекаютъ.

Насъ упрекаютъ либеральные консерваторы въ томъ, что мы слишкомъ нападаемъ на правительство, выражаемся рѣзко, бранимся крупно.

Насъ упрекаютъ свирѣпо красные демократы въ томъ, что мы

¹⁾ Выѣзжая изъ Рима, Ивановъ послалъ мнѣ фотографію съ своей картины; она залежалась въ Парижѣ и пришла ко мнѣ вмѣстѣ съ вѣстью о его кончинѣ.

мирволимъ Александру II, хвалимъ его, когда онъ дѣлаеть что-нибудь хорошее, и вѣримъ, что онъ хочетъ освобожденія крестьянъ.

Насъ упрекають славянофилы въ западномъ направленіи.

Насъ упрекають западники въ славянофильствѣ.

Насъ упрекають прямолинейные доктринеры въ легкомыслии и шаткости, оттого что мы зимой жалуемся на холодъ, а лѣтомъ совсѣмъ напротивъ—на жаръ.

На сей разъ только нѣсколько словъ въ отвѣтъ послѣднему упреку.

Онъ вызванъ двумя или тремя признаніями, что мы *ошиблись*, что мы были *увлечены*; не станемъ оправдываться тѣмъ, что мы ошибались и увлекались со всей Россіей, мы не отклоняемъ отвѣтственности, которую добровольно взяли на себя. Мы должны быть послѣдовательны, *единство*—необходимое условіе всякой пропаганды, съ насъ въ правѣ его требовать. Но, принимая долю вины на себя, мы хотимъ ее раздѣлить съ другими виновниками.

Идти по одной линіи легко, когда имѣешь дѣло съ спѣтымъ порядкомъ дѣлъ, съ послѣдовательнымъ образомъ дѣйствія,—что труднаго взять рѣзкое положеніе относительно англійскаго правительства или французскаго императорства? Трудно ли было быть послѣдовательнымъ во время прошлаго царствованія?

Но мы этого *единства* не находимъ въ дѣйствіяхъ Александра II; онъ то является освободителемъ крестьянъ, реформаторомъ, то грозитъ растоптать едва всходящіе ростки.

Какъ согласить рѣчь его къ московскому дворянству и генералъ-губернаторство Закревскаго?

Какъ согласить облегченіе цензурныхъ путей и запрещеніе писать объ освобожденіи крестьянъ съ землею?

Какъ согласить амнистіи, желанія публичности съ проектомъ Ростовцева, съ силой Панина?

Фридрихъ II говорилъ, что онъ не боялся ни одного генерала такъ, какъ Салтыкова, потому что никогда не могъ догадаться за минуту впередъ, какое движеніе онъ сдѣлаеть: Салтыковъ всѣ ихъ дѣлалъ зря.

Шаткость въ правительствѣ отразилась въ нашихъ статьяхъ. Мы, слѣдуя за нимъ, терялись и, откровенно досадуя на себя, не скрывали этого. Въ этомъ была своего рода связь между нами и нашими читателями. Мы не вели, а шли вмѣстѣ; мы не учили, а служили отголоскомъ думъ и мыслей, умалчиваемыхъ дома. Ринуемые въ современное движеніе Россіи, мы носимся съ нимъ по переменному вѣтру, дующему съ Невы.

Конечно, тотъ, кто, останавливая надежду и страхъ, молча ждетъ результата, тотъ не ошибется. Надгробное слово исторіи—гораздо больше предохранено отъ промаховъ, нежели всякое участіе въ совершающихся событіяхъ.

Доктринеры на французскій манеръ и геллертеры на нѣмецкій, люди, производящіе слѣдствія, составляющіе описи, приводящіе въ порядокъ, твердые въ положительной религіи или религіозные въ положительной наукѣ, люди обдуманые, точные — доживаютъ до старости лѣтъ, не сбиваясь съ дороги и не сдѣлавъ ни орографическихъ, ни иныхъ ошибокъ; а люди, брошенные въ борьбу, исходятъ страстной вѣрой и страстнымъ сомнѣніемъ, истощаются гнѣвомъ и негодованіемъ, перегораютъ быстро, падаютъ въ крайность, увлекаются и мрутъ на полдорогѣ,—много разъ споткнувшись.

Не имѣя ни исключительной системы, ни духа партіи, все отталкивающаго, мы имѣемъ незыблемыя основы, страстные сочувствія, проводившія насъ отъ ребячества до сѣдыхъ волосъ, въ нихъ у насъ нѣтъ *легкомыслія*, нѣтъ *колебанія*, нѣтъ *уступокъ*! Остальное намъ кажется второстепеннымъ; средства осуществленія безконечно различны, которое изберется... въ этомъ политическій капризъ исторіи,—мѣшать ему неучтиво.

Освобожденіе крестьянъ съ землею—одинъ изъ главныхъ и существенныхъ вопросовъ для Россіи и для насъ. Будетъ ли это освобожденіе «сверху или снизу»,—мы будемъ за него! Освободятъ ли ихъ крестьянскіе комитеты, составленные изъ заклятыхъ враговъ освобожденія,—мы благословимъ ихъ искренно и отъ души. Освободятъ ли крестьяне себя отъ комитетовъ, во первыхъ, а потомъ отъ всѣхъ избирателей въ комитеты,—мы первые поздравимъ ихъ братски и также отъ души. Прикажетъ ли, наконецъ, государь отобрать имѣнья у аристократіи, а ее выслать... ну, хоть куда-нибудь на Амуръ къ Муравьеву, мы столько же отъ души скажемъ: «Быть по сему».

Изъ этого вовсе не слѣдуетъ, что мы рекомендуемъ эти средства, что нѣтъ другихъ, что это лучшія, совсѣмъ нѣтъ,—наши читатели знаютъ, какъ мы думаемъ объ этомъ.

Но такъ какъ главное дѣло въ томъ, чтобъ крестьяне были освобождены съ землею, то изъ-за средствъ спора мы не поднимемъ.

При такомъ отсутствіи обязательной доктрины, предоставляя, такъ сказать, самой природѣ дѣйствовать, и сочувствуя каждому шагу, согласному съ нашимъ возрѣніемъ, мы можемъ часто ошибаться; всегда будемъ очень рады, когда «ученые друзья наши», спокойно сидящіе въ сторожкахъ на берегу, прокричатъ намъ «правѣе или лѣвѣе» держаться; но мы желали бы, чтобъ и они не забывали, что имъ легче дѣлать наблюденія надъ силой волнъ и слабостью пловцовъ, нежели намъ плыть... и притомъ такъ далеко отъ берега.

Изъ-за стѣнъ доктрины, какъ изъ-за монастырскихъ стѣнъ,

сполугоря смотрѣть на тревоженіе мірское. Доктринеры счастливы, они не увлекаются и... *не увлекаютъ другихъ.*

(1858 г., № 27).

О бородѣ А. А. Иванова.

Когда мы писали наши печальныя строки о кончинѣ Иванова («Колоколь», листъ 22), мы не знали еще одной гнусной подробности его приѣма въ Петербургѣ. Одинъ изъ петербургскихъ сановниковъ нагрубилъ ему за то, что онъ носилъ бороду.

Ради имени Христова, подайте намъ фамилію этого осла!

Теряемся, теряемся въ этомъ омутѣ глупости, преступленій и грубости.

(1858 г., № 26).

Иванова борода и Г. лобъ.—Въ 26 листѣ «Колокола» мы спрашивали имя того образованнаго придворнаго, который осмѣлился нагрубить Иванову за то, что онъ не брилъ бороды. Мы получили въ отвѣтъ на нашу просьбу слѣдующее письмо.

«Наканунѣ освященія Исакиевского собора въ Петербургѣ, Ивановъ представлялся в. к. Маріѣ Николаевнѣ. Она, между прочимъ, спросила его, — будетъ ли онъ завтра въ соборѣ на освященіи храма. «Я не могу быть, в. в., отвѣчалъ художникъ, тамъ будутъ только особы первыхъ пяти классовъ». Она, какъ образованная и умная женщина, возразила: «Что за пустяки, вы художникъ перваго класса, вамъ слѣдуетъ быть», и написала записку къ графу Г., члену государственнаго совѣта, президенту всѣхъ возможныхъ веселыхъ и грустныхъ церемоній въ Петербургѣ о дозволеніи Иванову присутствовать при освященіи храма.

«Ивановъ отъ в. княгини отправился прямо къ г. Г. и передалъ записку. Графъ, прочтя ее и оглядѣвъ Иванова съ головы до ногъ, переважно спрашиваетъ: «Вы нѣмецъ, или французъ?» — «Вы можете судить, графъ, по фамиліи, я русскій, Ивановъ». «А борода, говоритъ онъ грубо, — вы знаете, что въ церкви будетъ государь, вся царская фамилія, васъ съ бородой не пустятъ, обрѣйтесь». Ивановъ скромно замѣтилъ, что онъ имѣлъ честь представляться такъ государю императору и царской фамиліи, и брить бороды не намѣренъ. — «Я поставленъ вашимъ рѣшеніемъ въ необходимость, прибавилъ онъ, явиться снова къ ея высочеству и доложить, что я не могу исполнить ея приказанія». — «Ну, стойте, стойте, — сказалъ недовольный графъ, видя, что художникъ хотѣлъ удалиться, — вотъ вамъ билетъ».

И эти герои мыла, гребенки и бритвы, гонители сигаръ на улицахъ, фанатики форменныхъ пуговицъ и голыхъ подбородковъ.

все еще существуют на святой Руси? Говорятъ, что гдѣ заведется въ грядахъ хрѣнъ, такъ его не выведешь... Хрѣнъ по крайности съ говядиной можно ѣсть,—ну, а что прикажете дѣлать съ эдакими Г.?—Нельзя ли выдумать, въ pendant къ оберъ-форшней-деру, чинъ генераль-фельдшеръ-мейстера,—а потомъ... ну, потомъ сдать ихъ въ сумасшедшій домъ...

(1858 г., № 28).

Америка и Сибирь.

«Когда окончится желѣзная дорога къ Тихому океану и Россія съ своей стороны будетъ имѣть открытый берегъ на немъ, тогда русскіе и американцы могутъ, спокойно обращаясь спиной къ Европѣ, протянуть другъ другу руку черезъ него, и да будетъ самое имя океана (Pacific) добрымъ знаменіемъ будущаго союза!

... «Нашъ вѣкъ—вѣкъ быстросовершающихся событій; новыя государства возникаютъ на берегахъ невѣдомыхъ морей, едва сбыточные планы не только замышляются, но и приводятся въ исполненіе, Россія и Америка далеко оставляютъ за собой другія государства въ выполненіи ихъ. Если управленіе русской колоніей на Амурѣ еще лѣтъ десять пойдетъ тѣмъ быстрымъ шагомъ къ развитію, какъ въ прошломъ году, то мы двинемся на полстолѣтія впередъ. Трактатъ, заключенный Муравьевымъ, со временемъ будетъ имѣть мировое значеніе».

Вотъ что говоритъ филадельфской Daily Evening Bulletin отъ 8 октября, 1858 года въ статьѣ подъ заглавіемъ: «Our western neighbor».—«Трактату этому, прибавляетъ авторъ статьи,—мы имѣемъ столько же причинъ радоваться, какъ жители Иркутска и всей Сибири».

Мы не избалованы сочувствіемъ другихъ народовъ, не избалованы также и ихъ пониманіемъ. Причинъ на это было много и на главномъ планѣ вся петербургская политика съ 1825 г. Но Россія изъ этого періода выходитъ, отчего же одна Америка догадывается объ этомъ и первая привѣтствуетъ?

Оттого, что Россія съ Америкой встрѣчаются *по ту сторону*. Оттого, что между ними цѣлый океанъ соленой воды, но нѣтъ цѣлаго міра застарѣлыхъ предразсудковъ, остановившихся понятій, завистливаго мѣстничества и остановившейся цивилизаціи.

Скоро будетъ *десять лѣтъ* съ тѣхъ поръ, какъ мы высказали нашу мысль о взаимномъ отношеніи этихъ *будущихъ* въ подорожной современной исторіи. Мы говорили, что у Россіи въ грядущемъ только и есть одинъ товарищъ, одинъ попутчикъ—Сѣверные Штаты, мы повторяли это много разъ и еще нѣсколько мѣ-

сяцевъ тому назадъ ¹⁾ имѣли случай сказать: «Одно пустое, раздражительное, дипломатическое самолюбіе и притомъ нѣмецкое, заставляеть Россію мѣшаться во всѣ западныя дѣла. Въ предстоящей борьбѣ, къ которой невольно влечется Европа, Россіи вовсе ненужно принимать дѣятельнаго участія. Намъ тутъ нѣтъ наслѣдства, и мы равно не связаны ни воспоминаніями, ни надеждами съ судьбами этого міра. Если Россія *освободится* отъ *петербургской* традиціи, у ней есть одинъ союзникъ—*Сѣверо-Американскіе Штаты*».

Умнѣйшіе люди нашего времени, люди смѣлаго прогресса, какъ Мацини, нѣсколько лѣтъ тому назадъ слушали, слегка улыбаясь, наши сужденія; они въ нихъ видѣли несчастный патріотизмъ, утѣшающійся несбыточными мечтами, и не отнимали у насъ изъ состраданія этой «мыши колодника». Россія съ запертыми воротами, занесенными снѣгомъ, передъ которыми шагаль грозный часовой въ мѣдной каскѣ и ботфортахъ, пугала издали, оставаясь какимъ-то непонятнымъ, зловѣщимъ зданіемъ изъ-за едва вырѣзывающагося полуночнаго мрака.

До Крымской войны никто не подозрѣвалъ внутренней работы Россіи, за нѣмыми устами предполагали нѣмой умъ и нѣмое сердце, а между тѣмъ мысли—зрѣли, разѣдали грудь и подтачивали незамѣтно дубовыя ворота острога. Прежде чѣмъ кончилась эта работа, стѣны его треснули. Ихъ пробили ядра союзниковъ. Скрытое, спертое броженіе вырвалось наружу, неправильно забѣгая, отставая, отклоняясь, но со всею мощью сгнетенной силы.

Все, о чемъ мы свидѣтельствовали, поднимая рѣчь на свой страхъ въ непріязненномъ Западѣ, все что мы предсказывали—отъ тайно бродящихъ силъ, отъ неминуемаго освобожденія крестьянъ съ землею, до избирательнаго сродства съ Сѣверо-Американскими Штатами—все совершается очю.

Это хронологическое *право давности* намъ слишкомъ дорого, чтобъ мы его уступили, именно въ то время, какъ листъ исторіи перевертывается, и съ новой страницей забудутся работники, пришедшіе на трудъ, предваривши утро.

Впрочемъ, особеннаго дара пророчества ненадобно было имѣть, чтобъ догадаться; для этого только надобно было освободиться отъ домашнихъ предразсудковъ и отъ чужихъ, отъ свинцовой петербургской атмосферы и отъ забытыхъ понятій старой цивилизаціи. Для этого достаточно было независимо взглянуть на міръ. Чередъ былъ явнымъ образомъ за Америкой и Россіей. Обѣ страны преизбыточествуютъ силами, пластицизмомъ, духомъ организаціи, настойчивостію, не знающей препятствія, обѣ бѣдны прошедшимъ,

¹⁾ Въ предисловіи къ русскому переводу: «Франція или Англія?»

объ начинаютъ вполне разрывомъ съ традиціей, объ расплываются на безконечныхъ долинахъ, отыскивая свои границы, объ съ разныхъ сторонъ доходятъ черезъ страшныя пространства, помѣчая вездѣ свой путь городами, селами, колоніями—до береговъ Тихаго океана, этого «Средиземнаго моря будущаго» (какъ мы разъ называли его и потомъ съ радостью видѣли, что американскіе журналы много разъ повторяли это).

Если вы обратите вниманіе на особенность американской мысли (она собственно не оригинальна, а та же мысль англо-саксонскаго племени и философіи XVIII столѣтія,—одну вы видите въ Вашингтонѣ, другую въ Франклинѣ и Джефферсонѣ) и именно на ту особенность, которая заявила себя въ послѣднее время, то васъ поразятъ двѣ вещи: первое, что федеральная демократія съ само-законностію каждаго мѣстечка, каждаго избирателя—есть форма гражданскаго быта, совершенно соотвѣтствующая заатлантическому колоніисту Соединеннаго королевства (мы нарочно такъ выражаемся, чтобъ напомнить ирландцевъ). Вторая вещь—это свѣжесть и простота, которую вносятъ въ схоластическій хламъ политическихъ вопросовъ американскій умъ¹⁾. Точно изъ тунеля или изъ Позиліпова подземелья снова выходишь на утренній свѣтъ, на освѣжительный вѣтеръ, читая американскую брошюру или газеты,—послѣ прусско-королевской философіи права Штара, феодальныхъ требованій Герлаха, споровъ о династіяхъ, о централизаціи и пр. Это простое, жизненное, здоровое отношеніе американскаго ума къ вопросамъ государственнымъ и экономическимъ совершенно соотвѣтствуетъ понятію демократической республики.

Можно ли по совѣсти сказать также, что въ Россіи—окончательная форма гражданскаго устройства, вполне соотвѣтствующая ея генію?

Будь мы какое-нибудь несчастное племя, безъ будущности, кельты, финны,—если-бъ мы и пережили татарское иго,—то, вѣроятно, сломились бы подъ игомъ крѣпостнаго состоянія, чиновничьяго растлѣнія и не вынесли бы напора непріятельскаго. Но событія обличаютъ зародышъ сильный и мощный. Не въ Петербургѣ—тамъ умирала старая Россія, маловѣрная, потерявшая голову при первой неудачѣ—нѣтъ, онъ двигался и заявилъ себя въ блиндажахъ Севастополя, на его стѣнахъ. Развѣ слабые народы дерутся такъ?—Николай умеръ, и наступило утро ожиданій и пробужденія. Вопросы эти вообще рѣшаются самими событіями, а не теоріями. Является кризисъ, одинъ больной умираетъ, другой обновляется имъ. Россія, уступившая въ неравномъ бою съ четырьмя союзни-

¹⁾ Для примѣра очень рекомендуемъ The science of Society — Carey, Philadelphia, 1858.

ками, почувствовала себя вдвое здоровѣе, а Турція тѣ же союзники такъ хорошо помогли, что она на ладонѣ дышетъ.

Война застала русскій умъ за крѣпкой думой. Событія европейскія, несмотря на всѣ уродливыя мѣры съ 1825 года, сильно отражались на черномъ фонѣ русской жизни. Іюльская революція и паденіе Бурбоновъ во Франціи, девяти-мѣсячная борьба съ возставшей Польшей, наконецъ, новое движеніе соціальной и философской литературы во Франціи и Германіи, эти послѣдніе энергическіе звуки западнаго разумѣнія,—все это очень не даромъ проходило по той окраинѣ Россіи, которая была освѣщена.

Но какая же живая, самобытная мысль во всей этой подземной работѣ? Какое-то сумасшествіе овладѣваетъ людьми: вмѣсто того, чтобы придти въ отчаяніе за себя, за Россію, русская мысль осмѣливается *сомнѣваться* въ Европѣ, ищетъ въ грубыхъ началахъ своей жизни элементы для будущаго, и когда, наконецъ, событія, слѣдовавшія за 1848 г., такъ ясно доказали, что европейскіе народы несостоятельны осуществить ту мысль экономическаго и государственнаго устройства, до котораго дошла наука,—русская мысль начала нравственно освобождаться отъ авторитета.

Замѣтимъ, что середь этого внутренняго развитія ударила Крымская война, которая доказала въ свою очередь всю несостоятельность Россіи бороться противъ Европы. Ничего не могло быть больше на мѣстѣ. Нравственное освобожденіе отъ Европы было началомъ освобожденія отъ петербургской традиціи, основанной на подчиненіи всего русскаго всему иностранному и на мысли превосходства русскаго войска надъ всѣми въ мѣрѣ, сокрушенной неудачной войной. Начать вѣрять въ свою нравственную самобытность и перестать вѣрять въ грубую силу и превосходство своего кулака,—въ самомъ дѣлѣ начало премудрости.

Пока мы только подражали Западу, мы не знали своей почвы подъ ногами. Такъ, еще теперь найдутся помѣщики, съ завистью думающіе о каменистомъ грунтѣ Италіи, стоя на черноземѣ. Какъ только мы обратились къ своей почвѣ, такъ встрѣтились съ послѣднимъ вопросомъ всей западной жизни, съ вопросомъ поземельнаго владѣнія, владѣнія общиннаго, общиннаго устройства.

Изъ сказаннаго никакъ не слѣдуетъ, чтобы намъ перестать учиться западной наукѣ или выдумывать свою; во первыхъ, наука по той мѣрѣ и наука, по которой она не принадлежитъ никакой странѣ, а во вторыхъ, учится человѣкъ собственно цѣлую жизнь, но въ извѣстный возрастъ людямъ ненужны учителя, уроки. При выходѣ изъ школы человѣкъ вступаетъ въ дѣятельный обмѣнъ, въ рядъ дѣловыхъ отношеній; тутъ онъ прикладываетъ, повѣряетъ свои теоріи, заимствуетъ новыя и, дѣйствуя, расширяетъ кругъ своего вѣдѣнія. Выходя изъ подъ губернерства

Запада, мы вовсе не дальше от него становимся, а скорѣе ближе всѣмъ разстояніемъ, которое дѣлится позирующей оригиналь отъ уничиженнаго подражателя.

Дома у насъ бездна дѣла, не оберешься. Наука Запада столько же наша, сколько его. Но теперь спрашивается,—гдѣ у насъ *общее дѣло* съ Европой? Вѣчный вопросъ о «больной Турціи», или о «смердящей Австріи», или, хуже, борьба французской солдатчины съ англійскими учрежденіями,—и все опять война, война и кровь, налоги и голодъ....

О выборѣ тутъ не можетъ быть рѣчи, на Западѣ нѣтъ другаго дѣла... «Да это у него пройдетъ, это болѣзнь»,—ну, тогда поговоримъ объ этомъ, а до сихъ поръ она не проходила. И въ то же время дѣло само набивается, стучится въ ворота, дѣло *творческое, живое* и которое нисколько не мѣшаетъ намъ рубить свою новую избу и продолжать нашу коренную великую работу внутренняго пересозданія, починъ котораго начался съ освобожденіемъ крестьянъ.

Имя Муравьева, Путятина и ихъ сотоварищей внесено въ исторію, они вбили сваи для длиннаго моста... черезъ цѣлый океанъ. Во время мрачныхъ европейскихъ похоронъ, гдѣ каждый что-нибудь оплакивалъ, они съ одной стороны, американцы съ другой—сколачивали *колыбель!*

(1858 г., № 29).

Обвинительный актъ.

Я являюсь передъ нашими читателями съ *обвинительнымъ актомъ* въ рукѣ.

На этотъ разъ обвиняемый не Панинъ, не Закревскій—обвиняемый *я самъ*.

Обвиненіе это, высказанное отъ имени «значительнаго числа мыслящихъ людей въ Россіи», для меня имѣетъ большую важность. Его послѣднее слово состоитъ въ томъ, что вся дѣятельность моя, т. е., дѣло моей жизни—приноситъ *вредъ Россіи*.

Если-бъ я повѣрилъ этому, я нашелъ бы самоотверженіе передать свое дѣло другимъ рукамъ и скрыться гдѣ-нибудь въ глуши, скорбя о томъ, что ошибся цѣлой жизнію. Но я не судья въ своемъ дѣлѣ, мало ли есть маньяковъ, увѣренныхъ, что они дѣлаютъ дѣло,—тутъ ни горячей любовью, ни чистотой желанья, ни всѣмъ существованіемъ ничего не докажешь. И потому я безъ комментариевъ передаю обвиненіе на судъ общественнаго мнѣнія.

До тѣхъ поръ, пока оно не станетъ громко со стороны обвиненія,—я упорно пойду тѣмъ путемъ, которымъ шелъ.

До тѣхъ поръ, пока на одно такое письмо я буду получать десятки самыхъ пламенныхъ выраженій сочувствія,—я буду упорствовать.

До тѣхъ поръ, пока число читателей будетъ возрастать, какъ оно теперь возрастаетъ,—я буду упорствовать.

До тѣхъ поръ, пока Бутеневъ въ Константинополѣ, Киселевъ въ Римѣ, не знаю кто въ Берлинѣ, Вѣнѣ, Дрезденѣ,—будутъ выбиваться изъ силъ, метаться къ визирямъ и трехъ-бунчужнымъ пашамъ, къ министерскимъ секретарямъ и кардинальскимъ послушникамъ, прося и вымаливая запрещеніе «Колокола» и «Полярной Звѣзды», до тѣхъ поръ, пока Аугсбургская газета и герлаховская Kreuz-Zeitung не перестанутъ оплакивать гибельное вліяніе «Колокола» на нервы петербургскихъ сановниковъ,—я буду упорствовать.

Я стою передъ вами въ моей «неисправимой закоснѣлости»,—такъ меня характеризовалъ въ 1835 г., когда я былъ подъ судомъ слѣдственной комиссіи, Г. junior. Будьте строги, жестоки, несправедливы, но объ одномъ я прошу: будемъ-те на англійскій манеръ говорить о дѣлѣ, не прибавляя личностей.

Я готовъ все печатать, что *качественно и количественно* возможно.

«Обвинительное письмо», — напечатанное нами сегодня, существенно отличается отъ прошлыхъ писемъ противъ «Колокола». Въ тѣхъ былъ дружескій упрекъ и тотъ дружескій гнѣвъ, въ негодованіи котораго звучала знакомо и привѣтливо родная струна.

Ничего подобнаго въ этомъ письмѣ.

Тѣ были писаны съ *нашей стороны*, оттого въ самыхъ несогласіяхъ и упрекахъ было сочувствіе. Это письмо писано съ совершенно *противной* точки зрѣнія, т. е., съ точки зрѣнія административнаго прогресса, гуверnementальнаго доктринаризма. Мы ее никогда не принимали, что же удивительнаго, что мы не ея путями и шли. Мы не представляли себя никогда ни правительственнымъ авторитетомъ, ни государственными людьми. Мы хотѣли быть протестомъ Россіи, ея крикомъ освобожденія и крикомъ боли, мы хотѣли быть обличителями злодѣевъ, останавливающихъ успѣхъ, грабящихъ народъ, мы ихъ тащили на лобное мѣсто. Мы ихъ дѣлали смѣшными, мы хотѣли быть не только местью русскаго человека, но его ироніей,—не больше. Какіе мы Блудовы и Паняны,—мы книгопечатальщики *«значительной части людей страдающихъ въ Россіи»*.

Но и тутъ я долженъ прибавить, мы совсѣмъ не находимся въ томъ исключительномъ положеніи, которое намъ часто даютъ. которое даетъ авторъ письма, и противъ котораго я протестую всѣми силами моими. Что въ самомъ дѣлѣ за монополь русскаго

печатанія у насъ, точно мы взяли русскую рѣчь въ чужихъ краяхъ на откупъ?

Если мы, какъ говорить авторъ письма, «*сила и власть въ Россіи*», то причина этого вовсе не въ томъ, что у насъ у однихъ есть органъ.

Съ нашей легкой руки теперь можно печатать по-русски въ Берлинѣ, въ Лейпцигѣ, въ самомъ Лондонѣ¹⁾. И если по совѣсти нельзя рекомендовать какъ русскій журналъ, для помѣщенія статей, брюссельскій *Le Nord*, то что же препятствуетъ помѣщать ихъ въ «Заграничномъ Сборникѣ»?

Намъ принадлежитъ *честь почина и честь успѣха*, а вовсе не монополь.

(1858 г., № 29).

* * *

— Графъ Гуровскій въ письмѣ къ редактору нью-іоркскаго журнала *Evening Post* говоритъ, между прочимъ, что я приобрѣлъ богатство *продажею крестьянъ* въ Россіи, и, взявъ вырученныя деньги съ собою за границу, проповѣдую освобожденіе крестьянъ; на эту *гнусную клевету* я отвѣчалъ письмомъ, посланнымъ мною въ американскіе, англійскіе и нѣмецкіе журналы. Наши русскіе читатели, быть можетъ, вспомнятъ, что въ I книжкѣ «Полярной Звѣзды», стр. 214, я объяснялъ одному «анониму», что я никогда во всю мою жизнь ни продалъ, ни заложилъ ни одного крестьянина, ни одного крѣпостнаго человѣка, и что мое *костромское имѣніе находится подъ секвестромъ*, вслѣдствіе чего я и не могу имъ распоряжаться. Прилагая при нынѣшнемъ листѣ «Колокола» мое объясненіе по этому дѣлу, я не счелъ нужнымъ переводить его. Самые противники мои въ Россіи знаютъ, что это *клевета*.

(1858 г., № 29).

Россія и Польша.

Отвѣтъ автору статьи о русской типографіи въ Лондонѣ.

(Письмо первое).

Милостивый Государь!

Я прочиталъ вашу статью обо мнѣ и о вольной русской типографіи въ Лондонѣ съ вниманіемъ, съ благодарностью. Въ васъ бьется славянское, родное сердце, оттого и рѣчь моя такъ понятна вамъ, оттого и мнѣ такъ хочется вамъ отвѣчать.

Само собою разумѣется, что я обратилъ особенное вниманіе

¹⁾ Сверхъ нашей типографіи, въ Лондонѣ, какъ, вѣроятно, наши читатели знаютъ, существуетъ типографія З. Свентославскаго.

на тѣ мѣста, въ которыхъ вы выражаете ваше несогласіе или недоумѣніе. Замѣчанія и самыя обвиненія противниковъ и враговъ можно иной разъ перешагнуть, но замѣчанія, дѣлаемые друзьями, должны влечь за собой объясненіе или сознание въ ихъ правдѣ.

Я радъ, что ваша статья даетъ мнѣ поводъ коснуться главныхъ основъ моихъ убѣжденій и дать отчетъ, почему я поступаю такъ, а не иначе, съ увѣренностью, что поступаю совершенно сообразно съ ними. Я былъ до того занятъ частными русскими вопросами, что всѣ общія мѣста, professions de foi, отступили на второй планъ.

Ваши замѣчанія напомнили мнѣ, что это умалчиваніе или подразумѣваніе можетъ быть иначе истолковано и дурно понято.

Я не говорилъ объ общихъ теоріяхъ просто потому, что не считалъ этого своевременнымъ. Общія мѣста, планы, теоріи, утопіи должны предшествовать работѣ исполненія, общественной перестройкѣ. Идеи, воплощаясь, скрываются, какъ зерно въ землѣ, въ своихъ приложеніяхъ, существуютъ какъ развитіе, какъ жизнь въ организмѣ, какъ законы природы, — обнаруживающіеся только въ самихъ явленіяхъ.

Къ тому же злоупотребленіе громкихъ словъ, шедшихъ рядомъ съ черезъ чуръ скромными дѣлами, утомившее въ послѣднее время и самихъ французовъ, противно русскому характеру, чрезвычайно реальному и мало привыкшему къ риторикѣ.

Русскихъ дѣйствительно поражаетъ бесплодное, театрально-натянутое повтореніе возгласовъ и битыхъ мѣстъ въ революціонной литературѣ, въ рѣчахъ и статьяхъ, на сходкахъ изгнанниковъ и въ ихъ журналахъ. Но оно поражаетъ не однихъ русскихъ. Вы сѣтуете сами на то, что изданія польскихъ изгнанниковъ мало расходятся въ сравненіи съ «Колоколомъ»; не слѣдуетъ ли искать одну изъ причинъ въ томъ, что ихъ публикаціи больше занимаются *общими*, нежели *настоящими*, вопросами своего края.

Въ Жерсеѣ выходилъ французскій демократическій журналъ, редакторъ его былъ человѣкъ съ большимъ талантомъ, а между тѣмъ, несмотря на пожертвованія, журналъ не могъ идти при всемъ благородствѣ своего направленія, при всей чистотѣ своихъ намѣреній. Разобченный съ живой почвой, безъ истинныхъ корреспонденцій, онъ былъ сведенъ на вѣчное повтореніе въ прозѣ того, что ужъ высказалъ В. Гюго въ стихахъ.

Дѣло въ томъ, что послѣ реакціи, начавшейся съ іюньскихъ дней, наступилъ переломъ. Люди увидѣли, что *общія мѣста и частныя событія* совершенно расходятся и что словами ихъ не примиришь. Громкія фразы и громовыя слова съ каждымъ днемъ

теряютъ больше и больше своего значенія. Онѣ не дѣйствуютъ на насъ.

Бывало, я это очень помню, при одномъ словѣ *республика* билось сердце, а теперь, послѣ 1849, 50, 51 г., слово это возбуждаетъ столько же надежды, сколько сомнѣній. Развѣ мы не видали, что республика съ правительственной инициативой, съ деспотической централизаціей, съ огромнымъ войскомъ, гораздо меньше способствуетъ свободному развитію, чѣмъ англійская монархія безъ инициативы, безъ централизаціи? Развѣ мы не видали, что французская *демократія*, т. е., равенство въ рабствѣ, самая близкая форма къ самовластью?

Мы съ какимъ-то сыновнимъ уваженіемъ боялись до сихъ поръ признаться въ этихъ горькихъ истинахъ, скрывали ихъ отъ себя изъ понятнаго чувства благочестія. Но и оно не должно заслонять истину, мѣшать откровенному, добросовѣстному разбору. Я смѣло скажу, переиначивая извѣстную латинскую пословицу: «Я другъ республики, я другъ демократіи, но гораздо больше другъ *свободы, независимости и развитія*».

Если мнѣ возразятъ, да можетъ ли быть свобода и независимость внѣ республики и демократіи,—я отвѣчу, что и съ ними онѣ не могутъ быть, если народъ *не доросъ* до нихъ.

Всякая церковь оканчивается выходомъ изъ нея и всякая монархія идетъ къ высшему соціальному устройству, т. е., къ разумному и свободному экономическому быту,—если она не идетъ къ разрушенію и смерти. Тамъ, гдѣ республика и демократія сообразны развитію народному, тамъ, гдѣ онѣ не только *слово*, но и *дѣло*, какъ въ Соединенныхъ Штатахъ или въ Швейцаріи, тамъ, безъ всякаго сомнѣнія, наибольшая личная независимость и наибольшая свобода. Совсѣмъ иные результаты показываютъ намъ страны, которымъ эти формы общественныя слишкомъ широки или несоответственны ихъ развитію. Возьмите въ примѣръ народъ невѣжественный, солдатскій внизу, вверху растлѣнный и преданный одному стяжанію,—республика у него превратится черезъ четыре мѣсяца въ Кавеньяка, а черезъ девять въ Наполеона. Всеобщая подача голосовъ сдѣлала изъ Франціи смиренный домъ.

Слѣдуетъ ли изъ сказаннаго, что я предпочитаю представительную монархію—республикѣ и электоральную таксу—всеобщей подачѣ голосовъ?—Нисколько.

Я констатирую фактъ и больше ничего. Видя его, я не могу сказать по совѣсти: «Такъ какъ всеобщая подача голосовъ гораздо справедливѣе ценза, стало быть, Франція слѣдующій разъ, т. е., пройдя еще новой эпохой рабства и растлѣнія, сдѣлаетъ лучше свои выборы всеобщей подачей голосовъ, чѣмъ ограниченной». Я не вѣрю этому, такъ какъ не вѣрю, чтобъ турки, оставаясь маго-

метанами, съ фаталистическимъ ученіемъ Алкорана, много выиграли провозглашеніемъ республики османлинской и гяурской.

Мы стремимся и хотимъ дѣйствовать въ нашемъ времени, въ современной Россіи,—это заставляетъ насъ не втѣснять вопросовъ, но стараться овладѣть тѣми, которые уже возникли.

Людыамъ дальняго идеала, пророкамъ разума и прорицателямъ будущаго мало дѣла до прикладныхъ затрудненій; они указываютъ на разумныя начала, къ которымъ общество стремится, его законы, общую формулу его движенія, предоставляя грядущимъ поколѣніямъ посылно осуществлять ихъ въ ежедневной борьбѣ сталкивающихся выгодъ и партій.

Одного изъ этихъ людей, мѣсяца полтора тому назадъ, опустила въ шотландскую землю скромная кучка друзей, и я очень благодаренъ судьбѣ, что успѣлъ еще застать его въ живыхъ и позать почтенную и много трудившуюся руку Роберта Оуэна. Оуэнъ былъ правъ, и Англія пойметъ его, но, конечно, не въ XIX столѣтіи. Такіе люди, возстановители правъ разума въ капризной и фантастической сказкѣ исторіи, велики и необходимы, и всѣ эти предтечи новаго міра, какъ Сень-Симонъ, Фурье, займутъ огромное мѣсто въ сознательномъ развитіи человѣчества, въ самопознаніи общественнаго быта, но имъ почти нѣтъ прямого участія въ текущихъ дѣлахъ, это—доля насъ, будничныхъ работниковъ.

Чѣмъ тяжелѣе и мертвѣе настоящее, тѣмъ сильнѣе стремленіе отрѣшиться отъ него и подняться на алгебраическую высоту теоріи. Германія въ своей гражданской ничтожности шла дальше всѣхъ странъ въ философіи права и, сама не имѣя исторіи, являлась, какъ пробужденная совѣсть другихъ народовъ. Таково было для двухъ поколѣній Россіи царствованіе Николая.

Государственная фура, управляемая имъ, заѣхала по ступицу въ свѣгъ, обледенѣвшія колеса перестали вертѣться; сколько онъ ни билъ своихъ клячъ, фура не шла. Онъ думалъ, что поможетъ дѣлу. Писать было запрещено, путешествовать запрещено. можно было думать, и люди стали думать. Мысль русская, въ эту темную годину, страшно развилась, и если вы сравните тайное вѣяніе ея, ея безстрашную логику, не блѣднѣющую ни передъ какимъ послѣдствіемъ, съ юнымъ, благороднымъ и чисто французскимъ направленіемъ литературы за двадцать пять лѣтъ, вы увидите это ясно.

Отголосокъ новаго направленія вы могли замѣтить и въ моихъ книгахъ. Я ссылаюсь на нихъ только потому, что въ нихъ проще высказано то, что у насъ печаталось намеками и полусловами.

Но вотъ фура съ нѣсколькими обитыми сторонами снова двинулась, явнымъ образомъ наступило другое время, потянуло инымъ воздухомъ. Задача человѣка, желающаго участвовать въ новомъ

движеніи, становится другая, она становится *спеціальнѣе*. Мало знать станцію, къ которой ѣдемъ, надо опредѣлить, *которую* версту по пути къ ней мы продѣлываемъ, и какіе ритвины и мосты именно на этой верстѣ.

Наше положеніе измѣнилось, иные вопросы насъ занимаютъ и занимаютъ исключительно. Въмѣсто «предисловіи, программъ и эпиграфовъ», мы вошли въ *текстъ*... «Есть время камни собирать, говоритъ Соломонъ, и есть время камни метати». А, вѣдь, для того, кто хочетъ воевать пращей, это не два дѣла, а *два момента одного и того же дѣла*.

Я *убѣжденъ*, что съ Крымской войны Россія входитъ въ новую эпоху развитія, что, разставаясь съ трудными путями своего жестокаго воспитанія, *она вступаетъ теперь въ широкое русло совершеннолѣтней жизни*.

Я знаю, что я разнуюсь со многими и съ вами самими во внутренней оцѣнкѣ русскаго народа. Всѣ тѣ, которые не умѣютъ отдѣлить русскаго правительства отъ русскаго народа, ничего не понимаютъ. Всѣ тѣ, которые хотятъ Русь мѣрить на ярды и метры, не знаютъ ея. Нормы, сложившіяся въ нашей головѣ отъ изученія западной цивилизаціи, не обнимаютъ собой, не улавливаютъ отклоненій и особенностей русскаго народнаго быта, а опредѣляютъ его только отрицательно. Обманчивое сходство правительственныхъ формъ съ западными окончательно мѣшаетъ пониманію. За петербургскими декораціями—народа было не видать и не слышать, а слышался барабанъ и официальный говоръ, видѣлись штыки и писаря. Были люди, которые стали догадываться, что за знакомыми формами проглядываетъ какое-то незнакомое содержаніе; стали догадываться, что формы набиты насильственно какъ колодки, но они не стали изучать характера бѣднаго колодника, а отвернулись отъ него, сказавши: «Коли терпѣть, видно, лучшаго не стоитъ!»

Чтобъ понять русскій народъ, не будучи русскимъ (и притомъ русскимъ, не запуганнымъ съ малыхъ лѣтъ своимъ ничтожествомъ и величіемъ Запада), надобно быть или социалистомъ въ Европѣ, или гражданиномъ Сѣверной Америки. Можетъ, вамъ это покажется странно, другимъ смѣшно, но оно такъ!

Условія, свойства русской жизни, русскаго быта—иные, оригинальныя, *свои*. Этого ни признать, ни изслѣдовать никто не хочетъ; особенность же его ставится ему въ преступленіе на томъ основаніи, на которомъ французъ не можетъ простить англичанину, что онъ обѣдаетъ безъ салфетки, а англичанинъ французу, что онъ носитъ бороду. Западная цивилизація срѣзывается на своемъ первомъ слѣдственномъ допросѣ своей собственной нетерпимостью и остается при одномъ негодованіи.

Все то, что ставится такъ дорого другимъ народамъ, Россіи не

было зачтено ни во что, или, хуже, послужило ей же въ обвиненіе: ни то, что она уцѣлѣла подѣ татарскимъ игомъ, ни то, что втихомолку выросла и сложилась въ огромное государство, отбившееся отъ всѣхъ сосѣдей и сохранившее свою самостоятельность; ни ея 1612, ни ея 1812 годъ. О пожарѣ Москвы говорятъ только потому, что слишкомъ много иноплеменниковъ видѣли зарево. Избавила ли Россія Европу отъ грубаго солдатскаго гнета или замѣнила его другимъ,—объ этомъ можетъ быть вопросъ; но что Россія спасла Германію отъ французскаго ига, въ этомъ нѣтъ никакого вопроса. Разверните Штейна, Арндта и другихъ современниковъ, и посмотрите, какъ, въ черную годину для Германіи, лучшіе люди ея глядѣли на Александра I и на Россію. Что же вышло изъ этого? Полнѣйшая ненависть не къ русскому правительству, не къ русскому вмѣшательству, а къ русскому народу, ко всякому нашему успѣху, ко всякому нашему человѣческому порыву. Такъ и узнаешь въ современныхъ публицистахъ Германіи измѣщанившихся братій ливонскихъ рыцарей, не пропусавшихъ въ XVI столѣтіи докторовъ въ Россію. Не странно ли все это?

Вотъ вамъ еще примѣръ: Англія, ломящаяся отъ тучности и избытка силъ, выступаетъ за берега, переплываетъ за океаны и создаетъ новые міры. Ей удивляются, и она заслуживаетъ это удивленіе. Но такъ ли смотрять на подвиги колонизаціи Сибири, на ея почти безкровное завоеваніе? Горсть казаковъ и нѣсколько сотъ бездомныхъ мужиковъ перешли на свой страхъ океаны льда и снѣга, и вездѣ, гдѣ осѣдали усталыя кучки въ мерзлыхъ степяхъ, забытыхъ природой, закипала жизнь, поля покрывались нивами и стадами, и это отъ Перми до Тихаго океана... И такія колоссальныя событія едва помѣчены исторіей, или помѣчены для того, чтобы поразить воображеніе дантовскимъ образомъ ледяного острога въ нѣсколько тысячъ верстъ...

Наконецъ, является новый оселокъ. Европа, послѣ всѣхъ реформъ и революцій, остановилась на горахъ труповъ, по колѣна въ крови передъ страшнымъ, неразрѣшимымъ сфинксомъ — поземельной собственности и пролетаріата, капитала и работника. Ни французскій дѣлежъ земли на атомы, ни паразитная жизнь англійскаго фермерства, ничего не устраняютъ, ничего не предупреждаютъ. Земли становится меньше и меньше, владѣлецъ губитъ пахаря, капиталъ работника, и хоръ пролетаріевъ изъ мастерскихъ, изъ фабрикъ, съ полей сильнѣе и сильнѣе поетъ ліонскій припѣвъ: «свинецъ или хлѣбъ! смерть или работу!»

Говорятъ, что возлѣ есть народъ, у котораго совсѣмъ другое отношеніе къ поземельной собственности, у котораго на дѣлѣ существуютъ вѣкми уцѣлѣвшіе разные виды коммунистическаго

владѣнія землею—отъ ежегоднаго дѣлежа полей между общинниками до полной собственности; правда ли, нѣтъ ли, но согласитесь, что, при настоящемъ положеніи экономическаго вопроса, нельзя не изслѣдовать такого важнаго факта. Изученіе его можетъ же дать столько же наблюденія, какъ микрометрическіе опыты фаланги и икарійцевъ?

Что же вы думаете, обратились ли люди на эти факты, изучили ихъ, опровергли, подтвердили? Нѣтъ. Они осмѣяли тѣхъ, которые говорили; такъ, какъ до сихъ поръ они хохочутъ тому, что я сказалъ во время войны, что Украина была казацкая республика, въ основаніи которой лежали демократическія и социальныя начала, что Запорожская Сѣчь представляла удивительное явленіе плебеевъ-витязей, рыцарей-мужиковъ. Вы, какъ полякъ, слишкомъ хорошо знаете свою исторію, чтобъ я счелъ нужнымъ настаивать на всей наглости невѣжества, которое не только не знаетъ, но и смѣется.

Поверхностная привычка смотрѣть исключительно на жизнь государственную и политическую, не обращающаю никакого вниманія на жизнь народную, на экономическій бытъ, разумѣется вела къ однимъ ошибочнымъ сужденіямъ о Россіи, потому что въ Россіи политической жизнью жило одно правительство. Въ самой Польшѣ народную русскую жизнь такъ же мало знаютъ, какъ во всей Европѣ. Я скажу безъ преувеличенія, что изъ вашихъ соотчичей понимаютъ и знаютъ внутренній бытъ Руси только тѣ, которые были сосланы въ Сибирь или въ дальнія сѣверо-восточныя губернии. Все это удивительно! Неужели вамъ не приходило въ голову, глядя на великороссійскаго крестьянина, на его умный, развязный видъ, на его мужественныя красивыя черты, на его крѣпкое сложеніе, что въ немъ таится какая-нибудь *иная сила*, чѣмъ одно долготерпѣніе и безотвѣтная выносливость? Неужели вамъ не приходило на мысль, читая Пушкина, Лермонтова, Гоголя, что, кромѣ официальной Россіи, есть другая. Подумайте, если-бъ не было *иной силы и иной Руси* кромѣ правительственной, неужели въ самомъ дѣлѣ достаточно бы было нѣсколько неудачъ въ Крыму и смерти Николая, чтобъ цѣлое огромное царство обнять той дѣятельностью, тѣмъ *китніемъ впередъ*, которое совершается передъ нашими глазами? Да, сѣверный Левіоанъ прошелъ черезъ доки, покачнулся, справился и плыветъ; доказывать этого я не стану, такъ, какъ не стану и пророчить,—можетъ, онъ завтра сядетъ на мель, это зависитъ отъ лощмановъ. Допустивъ это, чрезвычайно важно узнать, какимъ вопросомъ начинается это новое плаванье, какими воротами входитъ корабль въ море, что на его флагб: конституція, республика, парламентъ, муниципальная свобода, война съ Австріей, завоеваніе Турціи? — Нѣтъ, у него на знамени *осво-*

божденіе крестьянъ съ землею, т. е., опять социальный вопросъ передъ политическимъ.

Увидавъ это, мы бросили все и прильпились къ этому жизненному вопросу для Россіи. И вотъ вамъ причина нашего успѣха. Тотъ только *Колоколъ* и слушаютъ люди, который зоветъ ихъ *туда, куда имъ идти надобно*.

Представьте себѣ, что середь распрей и споровъ въ самомъ дворянствѣ, середь зачатой борьбы двухъ бойцовъ, до того времени гладившихъ другъ друга по головкѣ и въ первый разъ поглядѣвшихъ съ ненавистью другъ на друга, — представьте, что середь этой борьбы, совершающейся передъ необозримымъ количествомъ народа, мрачно ждущаго, кто кого сломить, но который нисколько не намѣренъ уступить ни вершка земли, нашъ «Колоколъ» сталъ бы звонить всемірной республикѣ и солидарности народовъ?

Какъ вы думаете, эти люди, дерущіеся не на животь, а на смерть, которые теперь съ любовью или ненавистью читаютъ наши слова, стали бы читать наши диѳирамбы и разглагольствованія? Ихъ отвѣтъ можно предвидѣть: «Что вы намъ толкуете о всемірной республикѣ, которой нигдѣ нѣтъ, о братствѣ народовъ, которые вездѣ рѣжутся; мы все это читали въ Руссо и Вольтерѣ, въ исторіи первой революціи и въ газетахъ 1848 года. У насъ теперь забота растолковать, что такое усадебная земля и сколько десятинъ пашни дать крестьянину, ну,—гдѣ же намъ читать ваши декламаци!»

«Колоколу» пришлось бы прикусить свой желѣзный языкъ.

Вы видите, что нашъ макиавеллизмъ, наша политика очень просты. Мы говоримъ о тѣхъ *вопросахъ*, которые *теперь выдвинуты жизнью*, и безъ разрѣшенія которыхъ Левіоанъ сядетъ на мель.

Не отвлекаясь нисколько отъ дѣла, мы предоставили другую часть журнала обличеніямъ, особенно лицъ, поставленныхъ выше закона въ Россіи. Трудно себѣ представить, какой сильный отголосокъ находятъ эти обличенія и какой ужасъ наводятъ не только на обличенныхъ, но и на тѣхъ, которые еще не обличены строками «Колокола». До сихъ поръ эти дѣйствительные тайные газели прыгали по вершинамъ правительственныхъ Альпъ, съ презрѣніемъ посматривая внизъ на облака, изъ которыхъ сыпались уголовные и литературные громы на становыхъ и секретарей, оставляя ихъ въ покоѣ, и вдругъ ихъ дѣла напечатаны русскими буквами съ именемъ и этотъ ужасъ, эта безнравственность ходитъ изъ рукъ въ руки, можетъ попасть въ тайную канцелярію, быть прочтена въ передней...

Вотъ почему для насъ исторія о томъ, какъ П., министръ юстиціи, хотѣлъ отжилить чужой домъ, важнѣе теоріи о «непосред-

ственномъ правительствѣ», занимавшей лѣтъ пять тому назадъ западныхъ публицистовъ.

Остается одно слово, прежде чѣмъ я перейду ко второму вопросу нашей статьи.

Вы, мнѣ кажется, съ нѣкоторымъ упрекомъ говорите, что я нахожусь въ другомъ отношеніи къ Александру II, чѣмъ былъ къ Николаю. Вы думаете, что я перемѣнился; нѣтъ, не я перемѣнился. Какъ же я могу относиться къ Александру II, который никого не казнилъ, никого не ссылалъ въ каторжную работу за мнѣнія, не губилъ русскіе университеты и русскую литературу, такъ, какъ относился къ Николаю? Такой упорной неподвижности вы не можете предположить въ живомъ человѣкѣ, у котораго мозгъ не пораженъ мономаніей.

И это не все. Александръ II, и никто иной, поднялъ крикъ «освобожденія крестьянъ», и я еще разъ повторяю, если онъ ничего не сдѣлаетъ, если этотъ вопросъ и его рѣшеніе ускользнутъ изъ неловкихъ его рукъ, то и тогда имя его останется въ исторіи на ряду съ вѣнценосцами-реформаторами.

Откровенно ли онъ хочетъ освобожденія?—Я не знаю, и еще больше, мнѣ до этого дѣла нѣтъ. Это интересно какъ психическій студіумъ его личности—не больше. Рѣчи Александра II, особенно рѣчь къ московскому дворянству, показываютъ, что онъ понимаетъ неотлагаемую необходимость этой мѣры, и если Александръ *нехотя* освободитъ крестьянъ, такъ, какъ Николай всю жизнь *хотѣлъ* (какъ нынче стали увѣрять) ихъ освободить и не освободилъ, то я предпочитаю такую неоткровенность. Понимать необходимость реформы и не противиться ей, это все, что можно требовать отъ правительства; остальное мы должны сами слѣдовать, если хотимъ, чтобъ было *хорошо сдѣлано*.

Но Александръ II по своему чину долженъ быть отлученъ нами... Неужели это не такъ же смѣшно, какъ считать, по легитимистскимъ и иезуитскимъ учебникамъ, революцію 1789 за мятежь, Робеспьера за разбойника съ большой дороги, якобинцевъ за шайку воровъ?

Я знаю, что съ *религіей демократіи* не совмѣстно говорить что-нибудь о вѣнценосцахъ, кромѣ зла; признаюсь вамъ, что мнѣ *религія* демократія такъ же не по сердцу, какъ религія пана Фіалковскаго и какъ религія «возсоединеннаго» Симашки. Демократическое православіе такъ же не даетъ воли уму и жметъ его, какъ кіево-печерское. Тотъ кто истину—какая бы она ни была—не ставитъ выше всего, тотъ кто не въ ней и не въ своей совѣсти ищетъ норму поведенія, *тотъ не свободный человѣкъ*.

(1859 г., № 32).

Генералы отъ цензуры и Викторъ Гюго на батарее Сальванди.

Генераль-адъютантъ Ржевускій и генераль-редакторъ «Сѣверной Пчелы» Н. И. Гречъ начинаютъ плачь двухъ Рогнѣдъ на гробѣ николаевской цензуры. Соотечественникъ Костюшки не могъ удержать своего патріотическаго негодованія, видя, что страданія русскаго солдата, этого мученика, обкрадываемаго генералами, комиссаріатомъ, полковникомъ, ротнымъ командиромъ, вахмистромъ, фельдфебелемъ, битаго всѣми штабъ и оберъ-офицерами,—выходятъ на бѣлый свѣтъ изъ-за стѣнъ казармы и возбуждаютъ участіе къ этимъ невиннымъ, осужденнымъ почти на пожизненную каторжную работу.

Ржевускій возсталъ противъ этой болтовни; онъ думаетъ, что это касается до гонора, разрушаетъ уваженіе къ священному сану генераловъ... Такъ повѣствуетъ намъ «Аугсбургская газета». Ужъ эти Ржевускіе, которые хотятъ заглушить крикъ голода изнуреннаго солдата и прикрыть винограднымъ листомъ гонора избитую спину его! Въ самомъ дѣлѣ, Голицынъ въ «Печатной Правдѣ» дѣльно замѣтилъ, что въ этой звѣриной пещерѣ «не сдобровать бушкѣ барану».

Отчего же всѣ военные, которыхъ мы видали, прекраснѣйшіе, исполненные силы и энергіи молодые люди, проросшіе на свѣтъ, несмотря на то, что они служили лѣстницей, по которой всходилъ Іаковъ, несмотря на кадетскую стрижку мыслей подъ гребенку,— всѣ они совсѣмъ не обижаются, что воровъ называютъ ворами, они сами говорятъ съ омерзѣніемъ объ этихъ злоупотребленіяхъ. Они даже не обидѣлись бы, если-бъ, напр., Л. отдала вмѣсто очищенія минеральной водой очищенію судомъ и промылы бы ему не только желудокъ, но и совѣсть. Они не обидѣлись бы, если бъ надъ пятымъ союзникомъ, ограбившимъ не только Керчь, а всю армію въ Крыму,—З., велѣли произвести въ самомъ дѣлѣ судъ, вмѣсто маневровъ, представляющихъ судъ.

Отчего же это нашъ ясновельможный Ржевускій такъ расхотѣлся за гоноръ, и съ чего Гречъ, выросшій на голландской сажѣ, имѣеть такую же ржевускую ненависть къ свободному слову? Мы думаемъ, это врожденное отвращеніе. Намъ недавно попалась «Сѣверна Пчела» отъ 27 октября прошлаго года; тамъ Гречъ помѣстилъ свою задушевную *profession de foi*, приправивши ее разными доносами, напшиговавши намеками. Въ статьѣ этой онъ рассказываетъ, какъ онъ двадцать лѣтъ тому назадъ «на непріа-

тельской батарее» защищал русскую цензуру и оплакивал вред свободной рѣчи. Причемъ Грець сказалъ «напрямки», что «только тотъ литераторъ достоинъ уваженія, который возвышаетъ достоинство человѣка». Вы видите, что если Грець пойдетъ рѣзать правду, его не остановишь и онъ напрямки, стоя на батарее, скажетъ, что дважды два четыре.

Опасности большой не было; эта легкая батарея, на которой нашъ артиллеристъ защищалъ николаевскую цензуру, была просто *batterie de cuisine* Сальванди.

Одинъ изъ присутствовавшихъ, прислушивавшійся къ разговору, сказалъ Гречу: «Я совершенно съ вами согласенъ». Этотъ неизвѣстный господинъ оказался ужасно извѣстнымъ поэтомъ и раторорцемъ свободы книгопечатанія—В. Гюго *ni plus, ni moins*; вслѣдствіе такого согласія, «мы съ нимъ познакомились и, могу сказать, подружались».

Съ чѣмъ же былъ согласенъ Гюго?—Вѣдь, не съ пошлой же мыслью, что нравственность лучше безнравственности; онъ былъ согласенъ, стало, съ пользой цензуры *à la russe* и на этомъ по дружилъ съ Н. И. Гречемъ.

Каковъ у насъ Николай Ивановичъ! Уѣздныя барышни, проливавшія столько слезъ надъ его грамматикой, которую онъ принимали за черную женщину, помирились съ Гречемъ. *Ah, que c'est interressant, ma Nastinka; M'sieur Gretch c'est un ami de V. Hugo... Mais c'est charmant!* Ахъ, какъ бы я хотѣла видѣть В. Гюго,—у него такой большой лобъ! *Maman, il faut nécessairement podpisatsa à la Pchela.*

Не торопитесь, барышня. Если Николай Ивановичъ имѣетъ летучія воспоминанія о словахъ В. Гюго, то мы имѣемъ остающіяся письма того же В. Гюго, который обѣдалъ на батарее у Сальванди и подружился съ Гречемъ, сойдясь въ сочувствіи къ русской цензурѣ. Лучше ужъ подпишитесь на «Колоколъ».

Прикажете образчикъ? Вотъ вамъ и образчикъ:

Говиль-гоузъ, Островъ Гернсей.

17 января, 1859 г.

...«Кто прочелъ хоть одну страницу моихъ сочиненій, тотъ не осмѣлится сказать, чтобъ я когда-нибудь становился за цензуру. Всегда, даже во время моей роялистокой юности, я былъ безграничнымъ противникомъ цензуры, въ какой бы формѣ она ни являлась. А потому нашъ другъ Герценъ имѣетъ полное право сказать, что все это неправда. Помнится, я этого Греча раза два

видѣлъ у себя, и, если не ошибаюсь, его привозилъ маркизь де-Кюстинъ». «В. Гюго».

Н. Полевой (и да не возмутить это воспоминаніе греческой дружбы Ксенофонта съ Булгаринымъ) давно замѣтилъ, что Ѳаддей Венедиктовичъ, рассказывая геройскія событія своей юности, очень ловко подбираетъ понятыхъ и свидѣтелей.

«Покойный императоръ Наполеонъ, напр., подѣзжая ко мнѣ съ покойными маршалами—Неемъ и Даву, остановилъ свою бѣлую лошадь (которая, вѣроятно, тоже почилъ отъ земного галопа)»... Ну, чтобъ Гречу сослаться на покойнаго Казимира Перье или Людовика-Филиппа и концы бы въ воду.

1859 г., № 35.

|| Отвѣтъ русской дамѣ.

Милостивая государыня!

Вы мнѣ писали съ доброй цѣлью, я этому вѣрю, я это вижу изъ нѣкоторыхъ мѣстъ вашего письма. Напрасно вы извиняетесь въ концѣ его и избавляете меня отъ отвѣта, думая, что я не буду и не могу отвѣчать искренно. Совсѣмъ напротивъ, я самъ хочу вамъ отвѣчать и притомъ очень откровенно. Я вообще не скрывать, а тутъ и нѣтъ причины.

Въ вашемъ письмѣ, признаюсь вамъ, въ самомъ началѣ два замѣчанія странно подѣйствовали на меня, потому ли, что оба нисколько не заслужены мною, или потому, что оба касаются до предметовъ очень дорогихъ мнѣ.

Вы говорите, что я *все* браню въ Россіи,—полно, все ли? Вы, мнѣ кажется, думаете, что я имѣю какой-то зубъ на Россію, что я полонъ нелюбви ко всему русскому. Увѣрять въ противномъ я не стану, а скажу только, что вся моя жизнь, всѣ мои слова, все, что я дѣлалъ и дѣлаю, лучшее возраженіе на ваше замѣчаніе. Вы были предупреждены, читая «Полярную Звѣзду».

А потому, что вы были предупреждены, вы увидели какой-то холодной, чуть не саркастическій смыслъ въ строкахъ, писанныхъ трепетной рукой, въ строкахъ, писанныхъ съ бьющимся сердцемъ, гдѣ я говорилъ: «о тяжелыхъ вѣнцахъ, которыми вѣнчали ямщиковъ, и дьячкѣ, подававшемъ дрожащей рукой ковшъ единенія». Я васъ не понимаю; сдѣлайте одолженіе, перечитайте это мѣсто ¹⁾.

¹⁾ «Полярная Звѣзда», III кн., стр. 134—135.

Мнѣ хотѣлось въ самомъ началѣ покончить эти личные вопросы. Теперь позвольте мнѣ обратиться къ главному предмету вашего письма.

Цѣль его—обращеніе меня въ христіанскую религію.

Вы видите во мнѣ что-то «неспокойное», какую-то разорванность, подозрѣваете какую-то тайну, чуть ли не угрызеніе совѣсти, и хотите меня спасти, или, лучше, не самого меня, а мою душу. Вы предполагаете, что я хочу успокоиться во что бы ни стало, и, жалѣя меня, вы подаете мнѣ потирь.

Но вы ошибаетесь въ моемъ духовномъ настроеніи. Тайнъ у меня нѣтъ. Въ прошедшемъ меня посѣтили страшныя несчастія, но угрызеній совѣсти они не оставили. Отъ этого не легче; есть случаи, въ которыхъ угрызенія совѣсти примиряють съ несчастіями, вводя какой-то мстительный разумъ въ противное безсмысліе, въ хаотическую нелѣпость случайностей.

Но при всемъ этомъ гдѣ же вы видѣли во всемъ писанномъ мною эту усталую потребность *одного* покоя, въ которомъ терзающіе меня диссонансы разрѣшились бы не *въ самомъ дѣлѣ*, а въ моемъ слухѣ...

Я не ищу страданій и не бѣгу отъ нихъ.

Но представьте, что вы были бы правы, что измученный, обезсиленный, усталый, я жаждалъ бы успокоенія и вѣры... Неужели вы думаете, что стоять захотѣть и повѣришь?

Я уже не разъ повторялъ отвѣтъ Байрона дамѣ, которая ему писала въ Грецію письмо въ томъ же родѣ, какъ вы написали ко мнѣ въ Лондонъ. Байронъ оцѣнилъ ея участіе и, отвѣчая ей съ грустной кротостью, спросилъ ее: «Съ чего же начать, чтобъ *повѣрить*, когда не вѣришь,—какъ это сдѣлать?» Вѣдь, это въ самомъ дѣлѣ задача невозможная!

Вѣра—страсть; но и любовь къ истинѣ—страсть; вѣра требуетъ жертвъ, и любовь къ истинѣ требуетъ жертвъ, и притомъ вѣра беретъ взаимы съ лихвою, а любовь къ истинѣ безъ всякаго вознагражденія, такъ она самодѣянна и сильна. На которую изъ двухъ дорогъ попадетъ человѣкъ, выборъ почти не зависитъ отъ него.

Вы знаете, что внутренняя жизнь наша опредѣляется вовсе не по обдуманной программѣ; въ раннемъ отрочествѣ, иногда въ ребячествѣ—инстинктъ, окружающая среда безъ преднамѣренія, безъ полнаго сознанія, безъ участія воли съ той и другой стороны даютъ направленіе. Когда молодой человѣкъ впервые приостанавливается въ раздумьи и начинаетъ разборъ себя,—его мысли уже подтасованы, движеніе по извѣстному направленію уже дано. Остальное зависитъ отъ силы логики, отъ силы характера, отъ

послѣдовательности. Большею частію умственная жизнь у людей такъ поверхностна, и ихъ интересы въ ней такъ несерьезны, что изъ нихъ равно можно сдѣлать мистиковъ и матеріалистовъ, и даже то и другое вмѣстѣ; у однихъ будетъ немного мистицизма въ ихъ матеріализмѣ, а у другихъ небольшая толика матеріализма въ ихъ мистицизмѣ. Но если для человѣка мысль и сознание не шутка, если истина въ самомъ дѣлѣ составляетъ для него существенную потребность, если онъ далъ въ своей груди мѣсто ея труду, если онъ развилъ въ себѣ тоску, боль по ней,—тогда ему будетъ трудно отказаться отъ самобытнаго разума, отъ независимаго анализа въ пользу какого бы то ни было авторитета; мысль его будетъ въ тиши подтачивать на вѣру взятое, взвѣшивать слова и класть пальцы во всѣ раны, хотя отъ этого и сдѣлается въ сто разъ больнѣе.

Многіе (и вы въ томъ числѣ) думаютъ, что это гордость мѣшаетъ вѣрить. Но отчего гордость не мѣшаетъ учиться? Что можетъ быть смиреннѣе работы мыслителя, наблюдающаго природу? Онъ исчезаетъ, какъ личность, и дѣлается однимъ страдательнымъ сосудомъ для обличенія, для приведенія къ сознанию какого-нибудь закона. Онъ знаетъ, какъ онъ далекъ отъ полного вѣдѣнія, и говоритъ это. Сознание о томъ, чего мы не знаемъ, своего рода начало премудрости.

До сихъ поръ религіозное воззрѣніе безнаказанно злоупотребляло словами, не отдавая себѣ отчета,—по привычкѣ, традиціи.

Передъ высококомѣрнымъ уничиженіемъ вѣрующаго не только гордость труженика науки ничего не значитъ, но гордость царей и полководцевъ теряется и исчезаетъ. Да и какъ же ему не гордиться,—онъ знаетъ безусловную, несомнѣнную истину о Богѣ и о мірѣ; онъ знаетъ не только этотъ, но и *тотъ* свѣтъ... онъ смирененъ, даже застѣнчивъ отъ избытка богатства, отъ увѣренности.

Посмотрите, какъ безпощадно, строго вы у меня отнимаете право рѣчи, которое мнѣ дала природа, какъ гордо и рѣзко вы меня спрашиваете,—кто мнѣ поручилъ проповѣдывать? гдѣ мое помазаніе? То, что я самъ себѣ это поручилъ въ вашихъ глазахъ ничего не значитъ,—что такое я? Помазаніе любви, помазаніе труда, все это не спасаетъ меня, я самозванецъ и долженъ замолчать. Съ другой стороны, какое спокойствіе, какая увѣренность въ васъ самихъ! Въ вашемъ помазаніи *вы не сомнѣваетесь*, вы увѣрены, что Богъ вамъ поручилъ меня спасти; вамъ легко, потому что вы дѣйствуете съ нимъ заодно. Не думайте, что я хочу этими строками сдѣлать вамъ личный упрекъ,—нисколько. Папа римскій, «царь царей», всегда называетъ себя *рабомъ рабовъ*.

Вы говорите, что «я могъ бы многое сдѣлать для Россіи, если-бъ любилъ ее *безкорыстно*». Какая же корысть у меня? Видѣть развитіе Россіи, участвовать въ немъ, какъ одинъ изъ сотенъ тысячъ, видѣть ея освобожденіе, освобожденіе крестьянъ,—неужели это корысть? Неужели вы не шутя говорите, что я «живу для одной славы»? Помилуйте, вѣдь, я не шестнадцатилѣтній студентъ, не Карлъ Моръ, не маркизъ Поза. Въ нашъ вѣкъ волокитство за славою вообще миновало, и милый Камиллъ Демуленъ съ милыми жирондистами и грознымъ Дантономъ, говорившими о славѣ на ступеняхъ эшафота,—были послѣдніе люди, которые несмѣшно о ней говорили.

Въ нашъ вѣкъ люди скорѣе живутъ для власти, для денегъ, чѣмъ для славы.

Если-бъ я только хотѣлъ шуму, неужели вы думаете, что я бы не нашелъ дѣла въ Англіи, во Франціи, въ Америкѣ, наконецъ, въ Швейцаріи, которая такъ дружески усыновила меня? Или, можетъ, я ищу власти въ Россіи? Нечего сказать, хорошъ путь выбралъ я въ первыя страницы адресъ-календаря? Не денегъ ли?.. Этого ужъ никто не думаетъ.

Такъ изъ чего же я хлопочу?

Вы говорите мнѣ: «Напрасно вы заботитесь о Россіи, она могучая, здоровая, *сама справится*». Что такое *сама*? Да развѣ вы, я, всѣ проснувшіеся, всѣ говорящіе, всѣ недовольные, западники, славянофилы... не принадлежатъ къ этой самости, не составляютъ ея свободной личности? Развѣ она не нами развивается, развѣ мы не ею развиты? Не съ неба же свалились мои мысли, мое направление. Я «забочусь о Россіи», потому что *не могу* не заботиться объ ней, потому что утромъ, просыпаясь, и ночью, засыпая, невольно думается о Россіи, потому что каждая вѣсть оттуда заставляетъ биться сердце двойнымъ негодованіемъ или двойной радостью. Что же удивительнаго, что я «забочусь о Россіи». Вѣдь, можетъ, и я, какъ Россія, «самъ справлюсь», а вы заботитесь однако о спасеніи моей души, и я въ этомъ нахожу очень человѣческое чувство и душевно васъ благодарю.

Перехожу къ послѣднему. Вы говорите, что я браню все на Западѣ, браню все въ Россіи — безъ различія *сана и лѣтъ*, и спрашиваете, да гдѣ же мой рецептъ на спасеніе людское... Вы говорите, что я только сѣю раздражительное неудовольствіе и сомнѣніе, что я только развиваю жажду, не поднося питья.

Что касается до «сана и лѣтъ»,—это мы отложимъ въ сторону: лѣта только тогда достойны уваженія, когда они служатъ доказательствомъ не только крѣпости мышцъ и пищеваренія, но и человѣчески прожитой жизни; и кто же не склоняется передъ стар-

цемъ Гумбольдтомъ, кто не склонялся передъ старцемъ Оуэномъ,— бывали и на Руси старцы, которыхъ всѣ уважали, какъ Н. С. Мордвиновъ. Но уважать эти сѣдыя пѣявки, сосущія русскую кровь, этихъ николаевскихъ писцовъ, ординарцевъ оттого, что они живутъ до аредовыхъ лѣтъ, оттого что ихъ и смерть не беретъ, и они, пользуясь этимъ, сдѣлались какими-то мозолями, мѣшающими ступить Россіи шагъ впередъ? Нѣтъ, они не заслуживаютъ даже снисхожденія.

Если взять табель о рангахъ и прочность желудка за мѣру уваженія, гдѣ же мы поставимъ границы ему? Эдакъ мы дойдемъ черезъ пять лѣтъ до уваженія Д., а черезъ пятнадцать до І. Энтузіаста. Тутъ вы меня извините, я не только не могу вамъ уступить главныхъ въ родѣ П., но даже ихъ подмастерій въ родѣ З. Да вотъ скажите кстати сами, что же, вы уважаете его за его санъ и за его безъ малаго сто лѣтъ?...

Итакъ, вы говорите, что я *только* вношу сомнѣніе въ сердца молодого поколѣнія и пробуждаю въ немъ жажду. Это *только* само по себѣ кое-что. Человѣкъ сомнѣвающийся будетъ безпокоенъ, станетъ искать выхода изъ сомнѣнія; человѣкъ, у котораго жажда возбуждена, пойдетъ отыскивать утоленіе ея. Послѣ нравственной косности прошлаго тридцатилѣтія, послѣ старческаго маразма, внесеннаго въ самую юность искаженнымъ воспитаніемъ, всякое возбужденіе къ жизни, всякій голосъ, бросающій вопросъ, разрушающій разсѣянное равнодушіе, останавливающій молодого человѣка между университетскимъ дипломомъ и дипломомъ на чинъ титулярнаго совѣтника, между кадетскимъ корпусомъ и полкомъ, и зовущій на раздумье—спасительный голосъ.

Тѣхъ рѣшеній, о которыхъ вы говорите, я не могу дать, я ихъ не имѣю, я самъ ихъ ищу, я не учитель, я попутчикъ. Мы вмѣстѣ донскиваемся, оттого, можетъ быть, у насъ есть сочувствіе. Я не берусь имъ говорить, *что надобно*, но, кажется, довольно вѣрно указываю, *чего не надобно*.

Вы хотите отъ меня доктрины. Вы правы. Доктрина дѣйствительно стоитъ между церковью и свободнымъ мышленіемъ, въ родѣ растриженнаго монаха, не привыкнущаго еще къ свѣтскому платью. Того разлада, той неудовлетворительности, которую вы находите во мнѣ, конечно, нѣтъ у доктринеровъ, какъ вообще нѣтъ у религиозныхъ людей. Доктрина — религія, изъ которой Богъ выѣхалъ, а церковная утварь осталась; отъ этого она вамъ знакомѣе, въ ней еще ладномъ пахнетъ. Церковь замѣняется государствомъ, монастырь—присутственнымъ мѣстомъ, чины небесныя—служебными чинами, поглощеніе лица въ Бога—поглощеніемъ его въ государствѣ; священники стали квартальными. Народъ по прежнему остается паствой, пастухи бюрократы знаютъ,

куда пасуть его. Такой доктрины, опредѣленной, ограниченной, умѣренной и воздержной у меня такъ же нѣтъ, какъ вѣры.

Но если я не имѣю доктрины, не пишу заповѣдей гдѣ-нибудь на горѣ, ни приказовъ гдѣ-нибудь въ канцеляріи, — неужели же я не могу кричать о рабствѣ и передней всякій разъ, какъ увижу галунъ, на какой бы ливреѣ онъ ни былъ... Неужели я не могу проповѣдывать освобожденіе мысли и совѣсти отъ всего хлама, не проведеннаго сквозь очистительный огонь сознанія; звать на борьбу со всѣми остающимися узами на независимости мышленія, со всѣмъ ограничивающимъ самозаконность личности, этой высшей, дѣйствительной цѣли церкви и государства. Неужели я не имѣю права покачать діалектическими мышцами всѣ эти почтенные идолы, пугающіе слабыхъ — во имя логической свободы, во имя безпрепятственнаго мышленія, разбирающаго все, посягающаго на все... Или неужели вы не дадите права русскому сдѣлать гласнымъ біеніе сердца, слезы, надежды и сомнѣнія... во всемъ, касающемся до русскаго народа въ современныхъ вопросахъ нашихъ, который можетъ меня упрекнуть во всемъ, кромѣ недостатка сочувствія и любви.

И къ тому же зачѣмъ меня лишать права рѣчи? Если мои слова безъ мистическаго вѣрованія, безъ школьной доктрины будутъ пусты, будутъ нелѣпы, ихъ прочтутъ, забудутъ и, наконецъ, совсѣмъ не будутъ читать. Зачѣмъ же отнимать у человѣка такое естественное право, какъ участіе рѣчью въ современномъ дѣлѣ своей родины? Довольно въ Россіи всякихъ цензуръ, всякихъ стѣсненій, всякихъ монополій, научитесь выносить свободу!

Въ заключеніе моего письма я попрошу васъ не сомнѣваться ни на одну минуту, что, несмотря на различіе нашихъ возрѣній, я вполне цѣню и теплоту душевную, съ которой вы писали, и ваше доброе, человѣческое желаніе свести миръ въ мою душу, и потому искренно и откровенно благодарю васъ. ,

(1858 г., № 36).

Война.

(Статья первая).

... Je suis outré de l'appui que prête l'Allemagne à cette honteuse Autrich, à cette «Capua der Geister», concordée. Je prêche l'exclusion de toute province non-allemande; l'union plus étroite nationale, l'abandon de l'Autriche — pour rendre la main libre, non seulement à l'Italie, mais aussi à la Hongrie et aux provinces slaves. Cher ami, vous avez dit avec raison, que le bonapartisme c'est la mort; mais souvenez vous que l'Autriche c'est la *d a m n a t i o n* éternelle, et que ce n'est qu'en détruisant cette dernière que vous enlevez à la mort sa terreur en la réduisant au rang d'un simple accident ¹⁾.

Charles Vogt.

(Письмо къ издателямъ «Колокола», 3 апрѣля, 1859 г.)

.. Австрія не народъ, Австрія полицейская мѣра, сводная администрація, она ни къ чему живому не примыкаетъ, не покоится на себя; безъ частей ея нѣтъ, это величайшій историческій призракъ, который когда-либо существовалъ. Тутъ все ложь. Римская имперія—въ Германіи. Германская имперія—состоящая преимущественно изъ славянъ, итальянцевъ, мадьяръ. Избирательное правительство—переходящее по наследству. Связь нѣсколькихъ народностей—основанная на перекрестномъ отвращеніи другъ отъ друга. Тутъ нѣтъ ничего органическаго: отнимите Ломбардію справа и придайте слѣва Молдо-Валахію—и такъ хорошо. Отнимите Галицію и прибавьте Сербію—и это не дурно, die Staats Kanzley пойдетъ своимъ порядкомъ. Имперія австрійская не имѣетъ никакой будущности; когда ее *отмѣняютъ*, тогда только люди настоящимъ образомъ удивятся, какъ могла существовать такая нелѣпость, считая изъ лоскутковъ конгрессами и упроченная глубокими дипломатическими соображеніями. Имперія, необходимая—*никогда*, чтобъ перетягивать папу, *теперь*, чтобъ папу не перетянули. Оплотъ Европы противъ исламизма, спасающій Турцію отъ Россіи. Мнимая представительница германскаго единства, ненавидимая всей Германіей и защищающая Рейнъ «на По и на Аджъ» славянской и венгерской кровью противъ Италіи. Это какой-то сонъ больного горячкой!

«Колоколь», № 34.

I.

Мы не рады войнѣ, намъ противны всякаго рода убійства—оптомъ и въ разбивку; тѣ, за которыя вѣшаютъ, и тѣ, за кото-

¹⁾ ... «Меня возмущаетъ опора, которую Германія даетъ этой постыдной, *конкордированной* Австріи «этой Капуѣ умовъ». Я проповѣдую исключение всякой не-нѣмецкой области изъ нѣмецкой конфедерации, болѣе тѣсное національное соединеніе и предоставленіе Австріи своимъ судьбамъ, чтобъ не только Италія, но и Венгрія и славянскія провинціи могли освободиться. Любезный другъ, вы справедливо сказали, что Бонапартизмъ—*смерть*... но вспомните, что Австрія—*вѣчная мука*... и что только уничтожая ее, вы отнимите у смерти ея ужасъ, и сведете ее на степень простаго случая».

рыя дають кресты; намъ жаль всякую кровь, потому что крови веселѣ течь въ жилахъ, чѣмъ по травѣ и по песку; намъ всего больше жаль австрійскую кровь, которая будетъ литься за неправое дѣло, и, сверхъ того, изъ подъ палки. Дики еще образованные народы и недалеко ушли отъ временъ Нимврода и Сезостриса, если не могутъ иначе рѣшать дѣла, какъ дубиной и пращею.

Сверхъ того, мы не рады войнѣ какъ русскіе, война остановить внутреннюю работу, усилить снова управленіе шпорами, и снова истощить силы бѣднаго народа, не давъ ему взамѣнъ ничего, кромѣ множества калѣкъ и нѣсколькихъ лубочныхъ картинъ, представляющихъ генераловъ, лошадей, трупы и дымъ:

Но вѣрные нашему реализму, мы принимаемъ войну за фактъ и нисколько не намѣрены терять время чувствительно и бесполезно, разглагольствуя о всеобщемъ мирѣ, тоскуя о вселенскомъ братствѣ—въ виду двухъ армій, которыя, быть можетъ, теперь рѣжутся.

Еще меньше будемъ мы отыскивать, — справедливы ли причины войны, достаточны онѣ или нѣтъ, кто виноватъ и кто правъ. Вѣроятно, никто не смѣшиваетъ *предлоги* войны, *les à propos*, съ ея настоящими причинами. Развѣ кто-нибудь вѣрилъ, что Крымская война дѣлалась въ пользу Турціи, или развѣ есть люди настолько нищѣ пониманіемъ, что и взаправду думаютъ, что Наполеонъ ночи не спитъ, а все кручинится о томъ, что Италія не свободна?

Кто юридически правъ въ этой войнѣ, можетъ, и можно бы доискаться по Гроцію и по другимъ, но это очень неинтересно и совершенно бесполезно.

Теперьшняя война, послѣ десятилѣтняго натянутого состоянія, въ продолженіи котораго зло входило внутрь и подтачивало организмъ европейскій, имѣетъ ту же причину, по которой когда-то Везувій затопилъ раславленнымъ камнемъ цѣлые города, т. е., излишнее накопленіе горючихъ веществъ, праздныхъ силъ. Наполеонъ — случайная искра, она должна или потухнуть, или сжечь что-нибудь; сколько загорится и сколько сгоритъ,—онъ не отвѣчаетъ; въ Крымскую войну пожаръ былъ невеликъ, искра стала тухнуть, но вотъ она подожгла Италію...

Для того, чтобъ предвидѣть, что выгоритъ и что останется, надобно знать, *насколько* грудь здорова, насколько кровь жива у европейскихъ народовъ. «Здоровому все здорово!» говорятъ русскіе; дѣйствительно, въ хорошей крови многое перерабатывается, въ дурной—оно разовьется въ ракъ, въ туберкулы...

Крымская война имѣла цѣлью повредить Россіи, но только ей и принесла пользу. Веревки, которыми мы были связаны по

рукамъ и по ногамъ, ослабли, перетерлись во время войны. Осадой Севастополя началось освобожденіе крестьянъ, призывъ къ оружію былъ призывомъ къ мысли, и Россія съ тѣхъ поръ идетъ мощно впередъ по широкой дорогѣ, несмотря на всѣ черепки и битыя бутылки, оставленныя у ней подъ ногами упрямствомъ и небрежностью шоссейнаго смотрителя, несмотря на дворянскія комитетскія лужи и бакалдины, ни на ложные маяки доктринеровъ.

Если война завяжется, то мы можемъ смѣло сказать: Европа не возвратится на ту *мель*, съ которой война ее стащитъ, и на которой она застряла съ 1849 года. Это уже само по себѣ чрезвычайно важно, и вотъ гдѣ причина, по которой Англія, единственная страна рациональнаго консерватизма, готова сдѣлать все, чтобы отвратить эту войну. Ей, какъ она сложилась, всякое быстрое движеніе вредно.

Но куда пойдутъ эти міры, снятые съ якоря? Мы думаемъ, что романскій міръ одолѣетъ сводную, разношерстную Австрію... что же будетъ съ побѣжденнымъ, что будетъ съ побѣдителемъ?

Во-первыхъ, для побѣдителя будутъ предстоять тѣ же два пути на другой день послѣ побѣды, какъ накануне войны.

Побѣдоносный и обнищальный, покрытый славою и солдатами, романскій міръ можетъ послѣ войны замереть подъ сѣнью всепоглощающаго самодержавія, личность человѣческая и ея права пропадутъ окончательно, государство сдѣлается цѣлью всего; римское, античное начало это, вооруженное телеграфами, желѣзными дорогами, опертое на страшныя средства бюрократіи, полиціи и безчисленнаго постояннаго войска, — сосредоточить всю жизнь, всю энергію въ правительствѣ, въ цезарѣ и однообразное существованіе галло-романской державы съ своими сестрами и родными обезпечится на вѣка и вѣка.

Можетъ, случится и другое, можетъ, франкское начало, разбуженное войною, также подниметъ голову; можетъ Италія, ненавидящая централизацію, однообразность формъ, гуртовой гнетъ, иначе пойметъ свое освобожденіе. Она теперь, при самомъ началѣ, перевела *войну* на революцію. Гарибальди начальствуетъ легіонерами, тосканскій герцогъ въ бѣгахъ, Уллой чуть не на его мѣстѣ. Если Италія увлечетъ Францію, если Франція послѣ войны хоть одинъ годъ будетъ въ состояніи вытерпѣть свободныя учрежденія, не дѣлая генерала Макъ-Магона или генерала Бурбаки императоромъ, тогда, можетъ быть, начнется на древней почвѣ великихъ воспоминаній, между Средиземнымъ моремъ и Атлантикой—третья эпоха событій, и исторія не сдѣлаетъ географической измѣны.

То ли будетъ, или другое, намъ кажется, что не въ этомъ бли-

жайшая задача теперешняго положенія дѣль, и не въ этомъ главный результатъ войны.

Первую роль, по неволѣ, надо уступить Австріи. Весь вопросъ состоитъ въ томъ: вгонится-ли, наконецъ, эта *германская* имперія въ границы *нѣмецкаго* государства, или нѣтъ? Растворятся-ли, наконецъ, двери этой полурасцѣвшей и покачнувшейся *бастиліи народовъ*, готовыхъ ринуться впередъ, или старая дипломатія оставитъ подшибленнаго коршуна, изгнаннаго изъ Ломбардіи, заѣдать чуждыя земли отъ Адриатики до Дуная?

Если послѣднее будетъ,—кровь лилась напрасно и Европа снова, какъ въ 1848 году, дастъ доказательство своей неспособности исполнѣ совершить что-нибудь.

Если же Австрія уничтожится какъ *сводное* государство, то тогда какія бы судьбы романскаго міра ни были,—*мы всеми народами входимъ въ новую эпоху*. И если въ самомъ дѣлѣ міръ великаго прошедшаго, послѣ двухъ-тысячелѣтнихъ дѣятельностей, усталъ, то чѣмъ можетъ онъ доблестнѣе завершить свою длинную жизнь, какъ не открывая для исторіи новыя, непочатыя пажити, оттертыя отъ свѣта и всякаго развитія игомъ безплоднымъ и иноплеменнымъ.

II.

Нѣмецкіе публицисты выдумали для австрійской имперіи всемірно-историческое *призваніе*: оно, видите, именно состоитъ въ *образованіи полу-дикаго юго-востока Европы*. Но какое значеніе имѣетъ австрійская цивилизація, и что она сдѣлала кромѣ того, что ввела ту же полицію и тѣ же наказанія во всѣ страны? Ну, если не въ политическомъ, то въ торговомъ, въ экономическомъ отношеніи?... Королевско-имперская цивилизація состоитъ въ постоянномъ гнетѣ всего народнаго и въ *охлажденіи*. Но ни итальянцы, ни мадьяры, ни славяне не хотятъ вовсе образоваться въ нѣмцевъ. Между ними и нѣмцами лежитъ та *incompatibilité d'homme*, по которой разводять мужа съ женою. Мы знаемъ, что значитъ насильно образовывать, это одна изъ гибельнѣйшихъ идей, въ силу которой бездушная дрессировка и фельдфебельской выправки дается видъ благодѣянія. Маленькихъ дѣтей не гоняютъ больше въ школу розгой.

Замѣчательная вещь, что вообще германскій міръ, школьный и ученый по преимуществу, очень плохой образователь подавленныхъ имъ народовъ. Стоитъ взглянуть на эстовъ и леттовъ въ остзейскихъ провинціяхъ, чтобъ убѣдиться въ этомъ; особенно если ихъ сравнить съ финнами, бывшими въ соприкосновеніи не съ нѣмцами, а со шведами.

Какъ Австрія спеціально образовывала, мы знаемъ по Богеміи. Она употребила два столѣтія на систематическое забиваніе всего независимаго и національнаго въ этомъ народѣ; она совершала тамъ злодѣйства, передъ которыми блѣднѣють дѣла протестантской Англіи въ Ирландіи,—казни, конфискаціи, гоненія продолжались поколѣнія подъ руководствомъ іезуитовъ и бюрократовъ, въ распоряженіи которыхъ состояла развратная, наемная, скотски-свирѣпая солдатеска, хранившая въ памяти преданіе Валленштейновскихъ временъ и тридцатилѣтняго разбоя. Вѣшали, сѣкли, морили въ тюрьмѣ, жгли людей, жгли книги, грабили, выселяли, и дошли до того, что аристократическая помѣсь и часть мѣщанъ сдѣлались нѣмцами, а народъ остался чешскимъ; и въ первую минуту, какъ потерявшійся палачъ приподнялъ свою руку и далъ жертвѣ немного вздохнуть, въ началѣ нашего вѣка, явилась цѣлая чешская литература.

Про Италію говорить нечего. Сами нѣмцы согласны, что Ломбардія образованнѣе нѣмецкой Австріи. Нѣкоторые изъ нихъ признаютъ даже, что Ломбардія имѣетъ право отказаться отъ отеческаго воспитанія Австріи. Они все нашего брата варвара-славянина, мадьяра нарываютъ Австріей выдѣлать въ вѣнцевъ.

Но что же приняли, напрімѣръ, отъ австрійцевъ мадьяры? Я въ мірѣ не знаю ничего противоположнѣе нѣмцамъ, какъ мадьяровъ съ ихъ полудикой разметистой волей, къ которой такъ идетъ ихъ отвага, съ этой жизнію въ лѣсахъ, съ ихъ бурными и независимыми комитатами. Это какое-то кованное племя, до того упругое, что самъ Меттернихъ не могъ никогда его сломить. И когда Венгрія возстала, Австрія дышала на ладонь.

Или не въ Галиціи-ли, можетъ въ Иллиріи, въ Далмаціи особенно, успѣшно привился германизмъ?..

Ничего подобнаго, напротивъ,—международныя распри, напрімѣръ, между мадьярами и славянами, стали съ 1848 года стираться передъ ненавистью къ *общему отечеству*. Пока Австрія льстила ограниченнымъ сторонамъ народностей и раздувала ихъ непріязнь, ссоры оставались; но когда она принялась послѣ революціи подводить всѣхъ подъ одинъ знаменатель, убѣдившись, что иной разъ не сладишь съ національностями, и что не всегда народное пробужденіе ограничится филологическими изслѣдованіями,—тогда народы поняли, гдѣ ихъ настоящій врагъ.

Печальная судьба пала на долю Австріи: она послѣ Гогенштауфеновъ не имѣла ни красныхъ дней, ни благородныхъ воспоминаній, а при Гогенштауфенахъ она не была тѣмъ, чѣмъ теперь. Зловѣщая династія Габсбурговъ является какой-то карой людямъ за ихъ стремленіе къ независимости, она постоянно противудѣйствуетъ всему человѣческому — старымъ вольностямъ и новой

свободѣ, постоянно умиряетъ, подавляетъ, моритъ. Въ имперскомъ устройствѣ ея соединяется все мрачно-инквизиторское, ядовитое и злое испанскаго католицизма, съ скупой алчностью, съ кастратскимъ безстрастіемъ клерикальнаго управленія, съ наглою дерзостію нѣмецкаго риттера и съ холоднымъ капральствомъ казарменной дисциплины. Умственное движеніе никогда не было настолько сильно въ этой странѣ, чтобъ получить себѣ права; у ней нѣтъ литературы. Вѣна только извѣстна своей кухней и обжорствомъ, нѣсколько знаменитыхъ ученыхъ или славяне или иностранцы, во всемъ чисто австрійскомъ что-то бездарное, лишенное поэзіи. Гдѣ свѣтлыя воспоминанія этого края? Годы его пущей силы—годы плача и стenanій для народовъ, какъ въ царствованіе Карла V, этого бревна, брошеннаго на дорогѣ чelовѣчества, отъ котораго мрутъ живые остатки прежней Европы и блекнутъ новые всходы.

Или эти свѣтлые дни были при Іосифѣ II? Но онъ былъ окруженъ одной ненавистію разбуженныхъ имъ галокъ и летучихъ мышей. Или въ дни *побѣды* надъ Наполеономъ, когда, избитая и окровавленная съ обѣихъ сторонъ, Австрія входила въ видѣ длинной фигуры своего Франца въ Парижъ, и на другой день послѣ побѣды принялась за полицейскія слѣдствія, которыми и занималась тихо до 1848 года и отъ 1848? Военные суды, тайные суды, палки, цѣпи, двадцать лѣтъ, пятнадцать лѣтъ, десять лѣтъ *sage-se dire*... И они находятъ, что это цивилизація?

Быть можетъ, въ тѣ отдаленныя времена, когда турки были опасны, когда весь юго-востокъ Европы бродилъ въ неустроенномъ состояніи, открытый нападеніямъ и не имѣлъ опоры, можетъ, тогда и была какая-нибудь польза отъ этого желѣзнаго обруча, набитаго на нѣсколько народовъ; хотя и тутъ надобно замѣтить, что Польша и Венгрія спасли Вѣну отъ турокъ, а не *Вѣна ихъ*. Но время это *прошло*, а въ исторіи самое *смертное* преступленіе—быть несовременнымъ. Главная вина Австріи не въ вѣковыхъ злодѣянιάхъ ея—мало-ли что было въ прошедшей жизни каждаго народа—главная вина ея въ томъ, что *она мѣшаетъ*. Уголовный судъ исторіи не совпадаетъ съ нашимъ, это не морально справедливый судъ, а *физиологически вѣрный*. Скорлупа, насильственно удерживающая части отъ распадения, становится *ненужной*, потомъ вредной, она можетъ задушить зародышъ, а потому ее слѣдуетъ разбить клювомъ изнутри или ударомъ снаружи.

Австрія заживаетъ чужою вѣжъ, за это въ исторіи смерть, если то, чему она мѣшаетъ, достойно жить и имѣетъ силы.

Исторія не убиваетъ, какъ нѣкогда камчадалы за одну старость, она оставляетъ и Китай, и Японію. Но если-бъ внутри не-

бесной имперіи бились живыя силы, которымъ бы было тѣсно и которыя сами по себѣ были бы здоровы и мощны, онѣ давно подорвали бы мандаринскую табель о рангахъ, несмотря на то, что китайское устройство гораздо умнѣе и сообразнѣе правамъ своей страны, чѣмъ австрійское *иностранцамъ*, составляющимъ это *отечество по неволѣ!*

Неспособность мадьяръ и славянъ онѣмечиться, ихъ неспособность къ извѣстнымъ государственнымъ формамъ, къ извѣстному канцелярскому порядку, вовсе не доказываетъ ни ихъ дикость, ни дѣйствительную неспособность ихъ. Это одна изъ старческихъ ошибокъ западныхъ народовъ; они думаютъ, что имѣютъ монополь историческаго бытія и единоспасающую форму образованія. Все самобытное и независимое кажется имъ варварскимъ или крамольнымъ, все новое обижаетъ ихъ какъ нелѣпость; къ тому же они до такой степени привыкли думать и рассуждать по своимъ шаблонамъ, что они не понимаютъ ничего не подходящаго подъ нихъ. Въ той *неспособности* славянъ, въ которой нѣмцы видятъ низшую, неразвившуюся *до нихъ* натуру, мы видимъ залогъ нашего *будущаго развитія!*

Ни славяне, ни мадьяры не составляютъ ни сателлитовъ, ни даже попутчиковъ германскому міру. Славяне—это *грядущая* часть человечества, вступающая въ исторію. Мадьяры составляютъ какую-то самобытную случайность, они имѣютъ столько же правъ на независимость, сколько Швейцарія, сколько Греція, сколько Молдо-Валахія.

Разноплеменность въ вольномъ союзѣ, въ конфедераціи, ничего не значитъ; тессинецъ, гризонъ считаютъ себя гражданами единой и кантональной республики, точно такъ, какъ житель Апенцеля или Лозанны.

Стоитъ взглянуть на карту, чтобъ понять, что отъ Балканъ до Адриатики готовы звенья обширной конфедераціи съ славными берегами, съ естественными границами и съ плодоноснѣйшей почвой. Австрійскій кордонъ стоитъ плотиною между ними и Европой, не давая ни имъ *ринуться* впередъ, ни свѣту проныкать къ нимъ.

III.

...Но ринувшись изъ старой Бастиліи, какъ бы народы не попались въ *новый острогъ*. Въ Европѣ не одинъ двуглавый орелъ, а два, и перемѣна австрійскаго самовластья—не находка.

Объ этомъ-то мы и хотимъ поговорить.

Россія находится теперь въ одномъ изъ тѣхъ кризисовъ развитія, изъ котораго организмъ выходитъ разомъ сложившись, или доказавъ свою неспособность. Я наше время для Россіи считаю

столько-же важнымъ, какъ эпоху Петра I. Если слѣпые и глупые не хотятъ понять, что за вопросъ поднять теперь въ Россіи, и смѣшиваютъ признаніе *права человека на землю съ личнымъ освобожденіемъ отъ помѣщичьей власти*,—пусть остаются при своей темной водѣ въ глазахъ.

Съ того дня, какъ Александръ II призналъ основой освобожденія крестьянъ ихъ право на землю, онъ еще разъ переломилъ исторію и пошелъ новымъ путемъ. Если онъ и Россія пойдутъ имъ, то, безъ всякаго сомнѣнія, ей будетъ принадлежать первое мѣсто въ союзѣ славянскихъ народовъ. Но для того, чтобъ занять это мѣсто, ей окончательно надобно понять себя *русской* не въ противоположность общечеловѣческому, а въ различіе съ старо-европейскимъ.

Если Россія, продолжая свою иностранную политику, вздумаетъ воспользоваться паденіемъ Австріи и пріобрѣсть себѣ какіе-нибудь новые улусы, она усугубитъ ненависть другихъ странъ новымъ землекрадомъ, и народы ничего не выиграютъ, перемѣнивъ ошейникъ. Конечно, не отъ насъ они услышатъ приглашеніе; намъ не легче будетъ, если отъ Панина и сквернаго управленія Муравьева будутъ страдать другіе.

Но мы имѣемъ залогъ, что правительство *чуветъ* необходимость переродиться, подождемъ, чѣмъ кончатся его начинанія.

Первый актъ возмущенія противъ западно-историческаго ига сдѣланъ *образомъ постановленія* вопроса объ освобожденіи крестьянъ; тутъ правительство сорвалось съ битой западной колеи, взявъ въ основу *нелѣпность* общиннаго владѣнія и *предразсудокъ* освобожденія *съ землей*. Надобно, чтобъ правительство нашло мужество независимости передъ *порицаніемъ мудрыхъ міра сего*, такъ, какъ его имѣлъ апостоль Павелъ, сознаваясь, что его *истина*—сумасбродство для эллиновъ.

Пусть же Александръ II найдетъ въ себѣ силы невозвратнымъ актомъ разорваться съ петровскимъ преданіемъ, такъ, какъ Петръ съ московскимъ, и заявитъ передъ всѣмъ свѣтомъ, что Россія кончила свою военную службу, что она не хочетъ быть *завоевывающей* имперіей, съ нѣмецкимъ устройствомъ, а славянскимъ государствомъ и *мирной главой* новаго союза.

Для этого надобно перешагнуть черезъ многіе и многіе предразсудки, надобно умѣть принести на жертву будущему настоящую выгоду, и общую пользу славянскаго міра поставить выше интереса прусскихъ сродниковъ.

Судьба, совѣсть указываютъ, что надобно сдѣлать.

... Разумъ не *одинъ*, ихъ *два*. Разумъ міра *сидящагося, вечерняго*—не совпадаетъ съ разумомъ міра *восходящаго, утренняго!*

(1859 г., № 44).

А. И. Герцель, т. VI.

Very dangerous!!!

Въ послѣднее время въ нашемъ журнализмѣ стало повѣвать какой-то тлѣтворной струей, какимъ-то *развратомъ* мысли; мы ихъ вовсе не принимаемъ за выраженіе общественнаго мнѣнія, а за наитіе *направительнаго* и *назидательнаго* цензурнаго триумвирата.

Чистымъ литераторамъ, людямъ звуковъ и формъ, надоѣло гражданское направленіе нашей литературы, ихъ стало оскорблять, что такъ много пишутъ о взяткахъ и гласности и такъ мало *Обломовыхъ* и антологическихъ стихотвореній. Если-бъ только единственный Обломовъ не былъ такъ непроходимо скученъ, то еще это мнѣніе можно бы было имъ отпустить. Люди не виноваты, когда не имѣютъ сочувствія къ жизни, которая возлѣ нихъ ломится, рвется впередъ и, сознавая свое страшное положеніе, начинаетъ, положимъ нескладно, говорить объ немъ, но все-таки говорить. Мы видѣли въ Германіи всякихъ Жанъ Полей, которые въ виду революцій и реакцій неходили млѣніемъ, составляли лексиконы или сочиняли фантастическія повѣсти.

Но вотъ шагъ дальше.

Журналы, сдѣлавшіе себѣ пьедесталь изъ благородныхъ негодований и чуть не ремесло изъ мрачныхъ сочувствій со страждущими, катаются со смѣху надъ *обличительной* литературой, надъ неудачными опытами *гласности*. И это не то, чтобъ случайно, но при большомъ театрѣ ставятъ особые балаганчики для освистыванія первыхъ опытовъ свободнаго слова литературы, у которой еще не заросли волосы на полголовѣ, такъ она недавно сидѣла въ острогѣ.

Когда товарищи Поэріо, встрѣченные тысячами и тысячами англичанъ при въѣздѣ въ Лондонъ, не знали, что имъ сказать, и, наконецъ, просили простить ихъ нескладную благодарность, говоря, что они отвыкли вообще отъ человѣческой рѣчи въ десятилѣтнихъ оковахъ, народъ не хохоталъ имъ въ отвѣтъ и «Пуншъ», смѣющийся надо всѣмъ на свѣтѣ, надъ королевой и парламентомъ, не сдѣлалъ карикатуры.

Смѣхъ есть вещь судорожная, и на первую минуту человѣкъ смѣется всему смѣшному, но бываетъ вторая минута, въ которой онъ краснѣетъ и презираетъ и свой смѣхъ, и того, кто его вызвалъ. Всего генія Гейне чуть хватило, чтобъ покрыть двѣтри отвратительныя шутки надъ умершимъ Бёрне, надъ Платеномъ и надъ одной живой дамой. На время публика отшарахнулась отъ него, и онъ помирился съ нею только своимъ необычайнымъ талантомъ.

Безъ сомнѣнія, смѣхъ одно изъ самыхъ мощныхъ орудій разрушенія; смѣхъ Вольтера билъ и жогъ какъ молнія. Отъ смѣха падаютъ идолы, падаютъ вѣнки. Съ этой революціонной, нивелирующей силой, смѣхъ страшно популяренъ и прилипчивъ; начавшись въ скромномъ кабинетѣ, онъ идетъ расширяющимися кругами до предѣловъ грамотности.

Мы сами очень хорошо видѣли промахи и ошибки обличительной литературы, неловкость первой гласности; но что же тутъ удивительнаго, что люди, которыхъ всю жизнь грабили квартальные, судьи, губернаторы, слишкомъ много говорятъ объ этомъ теперь. Они еще больше молчали объ этомъ!

Давно ли у насъ вкусъ такъ избаловался, утончился? Мы безропотно выносили десять лѣтъ болтовню о всѣхъ петербургскихъ камеліяхъ и аспазіяхъ, которыя, во первыхъ, во всемъ мірѣ похожи другъ на друга, какъ родныя сестры, а, во вторыхъ, имѣютъ то общее свойство съ котлетами, что ими можно иногда наслаждаться, но говорить объ нихъ совершенно нечего.

«Да зачѣмъ же обличительные литераторы дурно рассказываютъ, зачѣмъ ихъ повѣсти похожи на дѣло?» Это можетъ относиться къ лицамъ, а не къ направленію. Тотъ, кто дурно и скудно передаетъ слезы крестьянина, неистовство помѣщика и воровство полиціи, тотъ, будьте увѣрены, еще хуже расскажетъ, какъ златокудрая дѣва, зачерпнувши воды въ бассейнѣ, облилась, а черноокой юноша, видя быстротекущую влагу, жалѣлъ, что она не течетъ по его сердцу.

Въ «обличительной литературѣ» были превосходныя вещи. Вы воображаете, что всѣ рассказы Щедрина и нѣкоторые другіе, такъ и можно теперь гуломъ бросить съ Обломовымъ на шею въ воду? Слишкомъ роскошничаете, господа!

Вамъ оттого не жаль этихъ статей, что міръ, о которомъ онѣ пишутъ, чуждъ вамъ; онъ васъ интересовалъ только потому, что объ немъ запрещали писать. Столичные растенія, вы вытянулись между Грязной и Мойкой, за городской чертой для васъ начинаются чужіе края. Суровая картина какого-нибудь «Перевоза» съ тельгами въ грязи, съ раззоренными мужиками, смотрящими съ отчаяніемъ на паромъ и ждущими день, и другой, и третій,—васъ не можетъ столько занять, какъ длинная Одиссея какой-нибудь полузаглухшей, ледящейся натуры, которая тянется, соловѣтъ, рассыпается въ однѣ безсмысленныя подробности. Вы готовы сидѣть за микроскопомъ и разбирать этотъ гной (лишь бы не съ паталогической цѣлью, это противно чистотѣ искусства, искусство должно быть бесполезно, иногда можетъ быть немного вредно, но подлая утилитарность его убиваетъ),—это возбуждаетъ вамъ нервы. Мы, совсѣмъ напротивъ,

безъ зѣвоты и отвращенія, не можемъ слѣдить за физиологическими описаніями какихъ-то невскихъ мокриць, пережившихъ тотъ героическій періодъ свой, въ которомъ ихъ предки—чего нѣтъ—были Онѣгины и Печорины.

И, сверхъ того, Онѣгины и Печорины были совершенно истинны, выражая дѣйствительную скорбь и разорванность тогдашней русской жизни. Печальный рокъ лишняго, потеряннаго человѣка только потому, что онъ развился въ *человѣка*, являлся тогда не только въ поэмахъ и романахъ, но на улицахъ и въ гостиныхъ, въ деревняхъ и городахъ. Наши литературные фланкеры послѣдняго набора шпыняютъ теперь надъ этими слабыми мечтателями, сломавшимися безъ боя, надъ этими праздными людьми, не умѣвшими найтиться въ той средѣ, въ которой жили. Жаль, что они не договариваютъ,—я самъ думаю, если-бъ Онѣгинъ и Печоринъ могли, какъ многіе, приладиться къ николаевской эпохѣ, Онѣгинъ былъ бы Викторъ Никитичъ Панинъ, а Печоринъ не пропалъ бы по пути въ Персію, а самъ управлялъ бы, какъ Клейнмихель, путями сообщенія и мѣшалъ бы строить желѣзныя дороги.

Но время Онѣгиныхъ и Печориныхъ прошло. Теперь въ Россіи нѣтъ лишнихъ людей, теперь, напротивъ, къ этимъ огромнымъ запашкамъ рукъ не достаетъ. Кто теперь не найдеть дѣла, тому пенять не на кого, тотъ въ самомъ дѣлѣ *пустой* человѣкъ, свищъ или лѣнтяй. И оттого очень естественно Онѣгины и Печорины дѣлаются Обломовыми.

Общественное мнѣніе, баловавшее Онѣгиныхъ и Печориныхъ потому, что чужло въ нихъ *свои страданія*, отвернется отъ Обломовыхъ.

Это сущій вздоръ, что у насъ нѣтъ общественнаго мнѣнія, какъ говорилъ недавно одинъ ученый публицистъ, *доказывая, что у насъ гласность не нужна*, потому что нѣтъ общественнаго мнѣнія, а общественнаго мнѣнія нѣтъ потому, что нѣтъ *буржуазіи!*

У насъ общественное мнѣніе показало и свой тактъ, и свои симпатіи, и свою неумолимую строгость даже во времена общественнаго молчанія. Откуда этотъ шумъ о чаадаевскомъ письмѣ, отчего этотъ фуроръ отъ *Ревизора* и *Мертвыхъ Душъ*, отъ разсказовъ *Охотника*, отъ статей Бѣлинскаго, отъ лекцій Грановскаго? И, съ другой стороны, какъ оно зло опрокидывалось на свои идолы за гражданскія измѣны или шаткости. Гоголь умеръ отъ его приговора.

Примѣръ Сенковскаго еще поразительнѣе. Что онъ взялъ со всѣмъ своимъ остроуміемъ, семитическими языками, семью литературами, бойкой памятью, рѣзкимъ изложеніемъ? Сначала—

ракеты, искры, трескъ, бенгальскій огонь, свистки, шумъ, веселый тонъ, развязный смѣхъ привлекли всѣхъ къ его журналу,— посмотрѣли, посмотрѣли, поохотали и разошлись мало-по-малу по домамъ. Сенковскій былъ забытъ, какъ бываетъ забытъ на ооминой недѣлѣ какой-нибудь покрытый блестками акробатъ, занимавшій на святой отъ мала до велика весь городъ, въ балаганѣ котораго не было мѣста, у дверей котораго была давка.

Чего ему не доставало? А вотъ того, что было въ такомъ избыткѣ у Бѣлинскаго, у Грановскаго,— того вѣчно тревожащаго демона любви и негодованія, котораго видно въ слезахъ и смѣхѣ. Ему не доставало такого убѣжденія, которое было бы *дѣломъ* его жизни, *картой*, на которой все поставлено,—страстью, болью. Въ словахъ, идущихъ отъ такого убѣжденія, остается доля магнитическаго демонизма, подъ которымъ работалъ говорящій, оттого рѣчи его беспокоятъ, тревожатъ, будятъ... стаповятся силой, мощью и двигаютъ иногда цѣлыми поколѣнїями...

Но мы далеки отъ того, чтобъ и Сенковскаго осуждать безусловно, онъ оправдывается той свинцовой эпохой, въ которой онъ жилъ. Онъ могъ сдѣлаться холоднымъ скептикомъ, равнодушнымъ *blasé*, смѣющимся добру и злу и ничему не вѣрующимъ—точно такъ, какъ другіе выбрили себѣ темя, сдѣлались иезуитскими попами и повѣрили всему на свѣтѣ...

Что же похожего на то время, когда балагурничалъ Сенковскій подъ именемъ Брамбеуса, съ нашимъ временемъ? Тогда нельзя было ничего дѣлать. Теперь все, вездѣ зоветъ живого человѣка, все въ починѣ, въ возникновеніи, и если ничего не сдѣлается, въ этомъ никто не виноватъ, ни Александръ II, ни его цензурный терцетъ, ни квартальный вашего квартала, ни другіе сильные міра сего,—виной будетъ ваша слабость, пѣняйте на себя, на ложное направленіе и имѣйте самоотверженіе сознать себя выморочнымъ поколѣніемъ, переходнымъ, тѣмъ самымъ, которое воспѣлъ Лермонтовъ съ такой страшной истинной!...

Вотъ потому-то въ такое время пустое балагурство скучно, неумѣстно; но оно дѣлается отвратительно и гадко, когда привѣшиваетъ свои ослиные бубенчики къ тройкѣ, которая, въ поту и выбиваясь изъ силъ, вытаскиваетъ—можетъ иной разъ оступаясь—нашу телѣгу изъ грязи.

Не лучше ли въ сто разъ, господа, вмѣсто освистываній, неловкихъ опытовъ, вывести на торную дорогу,—самимъ на дѣлѣ помочь и показать, какъ надо пользоваться гласностью?

Мало ли на что вамъ есть точить желчь,—отъ цензурной троицы до покровительства кабаковъ, отъ плантаторскихъ комитетовъ до полицейскихъ побоевъ. Истоющая свой смѣхъ на обличіи-

тельную литературу, милые паяцы наши забываютъ, что по этой скользкой дорогѣ можно *досвистаться* не только до Булгарина и Греча, но (чего Боже сохрани) и до *Станислава на шею!*

Можетъ, они объ этомъ и не думали, — пусть подумаютъ теперь.

(1859 г., № 44).

Н а у г л у .

— Пойдите, пойдите, — очень радъ, что васъ встрѣтилъ, неужели и вы за Францію?

— Нѣтъ.

— Стало, вы за Англию, — я такъ и думалъ, а то мнѣ говорили, что вы...

— Нѣтъ, нѣтъ, я не за Англию, въ этомъ случаѣ.

— Такъ за кого же вы?

— Я противъ Австріи.

— Позвольте, стало быть, вы все-таки за Францію? Помилуйте! Бонапартизмъ!

— Нисколько.

— Ну, такъ вы противъ всѣхъ?

— Отчасти.

— Это невозможно... Если вы противъ Австріи, вы должны быть за Францію.

— Вы забыли вашу математику и аналитическую геометрію. Я здѣсь стою по ту сторону координатъ, у меня все отрицательныя величины, я могу быть *противъ* одному, чѣмъ другому, — вотъ и все. Какъ вы думаете, можно не въ примѣръ будущимъ случаямъ употребить слово *противъ*?

— Развѣ *in uso et obuso Austriae*.

— Иногда грамматическія ошибки очень важны. Въ Вяткѣ былъ у меня одинъ пріятель, имѣвшій слабость пить запоемъ и притомъ тайкомъ отъ жены (ему было лѣтъ 50). Такъ какъ у него отбирали ключи, вино и деньги, то онъ обыкновенно приходилъ ко мнѣ освѣжиться тенерифомъ и бранить своего свекра. Разъ онъ мнѣ сказалъ: «Если бъ вы знали, что это за шельма — нѣтъ, — онъ остановился въ раздумьи и потомъ прибавилъ: — нѣтъ, онъ не шельма, шельмой можетъ быть всякій, а онъ — онъ не шельма, онъ шельма.» Этимъ ненужнымъ хвостикомъ къ ш, онъ мнѣ совершенно объяснилъ свою мысль.

— Вы все смѣетесь, это никуда не годится, особенно когда идетъ рѣчь о такихъ важныхъ предметахъ, о предметахъ, такъ сказать, всемірно-историческаго значенія.

— Извольте, я постараюсь тоже сказать, но очень скучно. Если-бъ вы были первый адресовавшийся ко мнѣ съ этимъ вопросомъ, я съ самаго начала сталъ бы съ вами скучно говорить. Но, наконецъ, надоѣло, мочи нѣтъ. Дамы въ застарѣлой итальянской болѣзни, нѣмцы въ складной патріотической, англичане въ неизлечимой англійской и французы въ хронической военной, постоянно спрашиваютъ то же самое, — проходу нѣтъ; я обхожу переулками Режентъ-стритъ, на нихъ можно задохнуться и зарыться, да никто не спрашиваетъ.

— Отчего же не спрашивать, этотъ вопросъ теперь такъ естественно приходится каждому въ голову.

— Мало чего нѣтъ. А я вопроса-то вовсе не понимаю... Отчего же это быть *противъ* Австріи значить быть *противъ* Англии? Развѣ союзы дѣлаются по азбучному порядку?... тогда придется прибавить Абиссинію, Аркадію и Аравію.

— А, вѣдь, общались не острить.

— Извините, повѣрьте, я буду невѣроятно тупъ, но разсудите сами. Въ мірѣ нѣтъ ничего противоположнаго Англии и Австріи. Страна ультра-протестантская, съ одной стороны; страна краснаго католицизма, съ другой. Въ Австріи одна военно-судная расправа и законъ—рабъ произвола; въ Англии всѣ люди, не исключая королевы—рабы закона. Тутъ вся сила, все могущество—въ торговлѣ, въ богатствѣ, въ корабляхъ; тамъ—въ фальшивыхъ ассигнаціяхъ, штыкахъ и пѣхотѣ. Въ Англии запрещаютъ жестоко обращаться съ кошками и собаками; въ Австріи дерутъ розгами женщинъ и платятъ 20 цванцигеровъ дамамъ, которыя принимаютъ на себя государственную обязанность сѣчь ихъ.

— Да, вѣдь, вамъ никто не говоритъ, что Англія *сочувствуетъ* Австріи, она, оберегая свои собственные интересы, хочетъ ее поддерживать.

— Ненавидя ее?

— Можетъ быть, но для *сохраненія* равновѣсія...

— Ученый другъ мой, придите въ мои объятія! На самомъ этомъ основаніи, я желаю побѣды французскому войску,—Англія готова зарѣзать Италію и на вѣкъ еще отбросить въ варварство весь югъ Европы, поддерживая ненавистный ей порядокъ—для *сохраненія* *мнимого* равновѣсія; я желаю побѣды противоположному стану — для *разрушенія* слишкомъ дѣйствительнаго самовластія въ Европѣ. Тутъ вся разница въ томъ, что я желаю *дѣла*, а Англія *вздора*... Если только Англія этого желаетъ?

— Въ этомъ нѣтъ сомнѣнія, читали ли вы сегодня *leading-article* въ Теймсѣ?

— Я знаю очень хорошо, что думаютъ — Теймсѣ, банкиры, мѣнялы, биржевые клерки и другіе патріоты. Но такъ ли ду-

маеть Англія, не знаю. Большая часть ея совѣтъ не заявила своего голоса. Подождемте осуждать до суда. Помните Conspiracy Bill и Бернардовъ процессъ. Пальмерстонъ и Дерби, Кларендонъ и Дизраэли, ни въ чемъ несогласные, — были братски душа въ душу согласны въ желаніи прислужить сосѣднему барину и повѣсить Бернара; все было сдѣлано для этого: Наполеонъ прислалъ обозъ свидѣтелей, женщинъ, дѣтей, преклонныхъ старцевъ, свинченныхъ и развинченныхъ гранатъ, легионъ шпионовъ съ всевозможнѣйшими усами, отъ красно-эльзаскихъ, до смольпирейскихъ, съ тяжелыми золотыми цѣпочками и поддѣльными брильянтовыми булавами; 30.000 фунтовъ стерлинговъ стоилъ этотъ процессъ; за эту сумму какъ, кажется, не повѣсить всякаго человѣка, — а небогатый портной изъ Сити, отъ имени двѣнадцати плебеевъ, положилъ свое Veto — и Кембель въ шубѣ и оперномъ парикѣ, и Фицрой-Келли...

— Вотъ опять, — а уговоръ?

— Я хотѣлъ сказать и Фицрой-Келли безъ шубы въ парикѣ — согласитесь, что это было бы очень глупо.

— Да, не особенно умно.

— Очень радъ, что успѣлъ угодить. Однакоже прощайте, а а то опять скажешь что-нибудь...

— Что же заключеніе, стало, вы думаете?...

— Подождите же, что скажетъ *портной изъ Сити*.

(1859 г., № 45).

Выговоръ по службѣ.

Разсказываютъ, что въ тѣ патріархальныя времена, когда «еще намъ новы были» всѣ канцелярскіе порядки, и нѣмецкая бюрократія чуть-чуть пускала солотковые корешки свои въ едва распаханную русскую землю, — въ какую-то дикастерію сошла или лучше наслалась бумага изъ Петербурга, въ которой велѣно было сдѣлать одному чиновнику *строжайшій выговоръ* при отворенныхъ дверяхъ присутствія. Презусъ потеръ лобъ, поморщился, да и давай его въ дверяхъ пушить, на чемъ свѣтъ стоитъ.

— Ахъ, говоритъ, ты такой - сякой, чего не идешь въ отставку, коли службы не знаешь.

Тотъ слушалъ, слушалъ, наконецъ, потерявъ терпѣніе, объявилъ, что онъ будетъ жаловаться высшему начальству *за афронтъ чести*.

Презусъ, видя, что чиновникъ хочетъ идти, велѣлъ его задержать въ канцеляріи, вышелъ изъ присутствія, снялъ мун-

дирь, надѣлъ сюртукъ и, протягивая обѣ руки, сказалъ разсерженному чиновнику:

— Другъ ты мой сердечный, вѣдь, мнѣ-то каково было, вѣдь, я тебя люблю душевно, вѣдь, клѣбъ-соль двадцать лѣтъ водилъ, не каменный я какой. Пожалуйста, прости!

— Съ чего же вы взѣлись на меня? — спросилъ титулярный и обиженный совѣтникъ.

— Служба, служба, вотъ видите предписаніе изъ Петербурга—написано: «Сдѣлать *строжайшій* выговоръ».

— Такъ это вы изъ-за этого меня и въ хвостъ, и въ гриву.

— Какъ же, батюшка, *строжайше*.

— Ну, Богъ васъ простить!

Этотъ анекдотъ пришелъ намъ въ голову вслѣдствіе письма, недавно полученнаго нами, *ставящаго намъ на видъ* наши упущенія и недостатки.

Странный рлі принялъ русскій умъ. Наклонность къ насмѣшкѣ, къ ироніи—совершенно національныя и прекрасныя свойства въ нашемъ характерѣ—превратились подъ канцелярскимъ вліяніемъ петровской эпохи въ страсть къ *начальническимъ выговорамъ*.

Мы получали ихъ не одинъ разъ. Вотъ нѣсколько словъ въ отвѣтъ послѣднему, писанному отъ имени «Легіона» нашихъ доброжелателей.

«Не довольно, говорить авторъ, въ *прекрасномъ* далеко изготовлять бомбы, надобно ихъ умѣть бросать и чѣмъ больше и чаще, тѣмъ лучше; никто не требуетъ отъ васъ, чтобъ вы были въ одно и то же время писателемъ и книгопродавцемъ. Никто также не потребуетъ, чтобъ вы разорились на общую пользу, но объявивъ, что труды ваши въ настоящее время вознаграждаются матеріально, вы *дали публикѣ право контролировать ваши изданія...* ¹⁾

«Если, продолжаетъ авторъ, вашихъ собственныхъ силъ не достаточно, пригласите печатно сотрудниковъ. *Многіе* поѣхали бы даже въ корректоры, но не зная, какой ассиеіі вы имъ сдѣлаете, не рѣшались ѣхать на авось. Кстати, корректура въ вашихъ изданіяхъ все хуже и хуже, и есть строки, которыхъ смыслъ совершенно не понятенъ, *непростительная небрежность*—за *огромныя деньги*. Если въ Лондонѣ дорого издавать, то перенесите

¹⁾ Вотъ какъ дѣлается этотъ контроль. Авторъ обвиняетъ г. Трюбнера въ томъ, что въ V книжкѣ «Полярной Звѣзды» много *блгой бумаги*, что есть страницы, на которыхъ только 5 строчекъ и что стихи можно бы было напечатать на меньшемъ пространствѣ. Объемъ «Полярной Звѣзды» и число строчекъ *совершенно независимы* отъ г. Трюбнера; цѣна «Пол. Зв.» нисколько не измѣнилась бы отъ того, что листомъ было бы больше или меньше,—мы не думали продавать ее ни на вѣсъ, ни на ярды. *Ред.*

изданіе, т. е., печатаніе въ Германію. Вѣдь, печатають-же Schneider и Frank вещи не менѣе кричащія».

«Жалательно, чтобы Колоколъ выходилъ чаще, обратился бы въ газету: всѣ указы, приказы и т. п. должны тотчасъ обсуживаться въ Колоколъ. Иные Н. Н. Колокола, извините, чрезвычайно бѣдны по содержанію. Повторяю, если вы не признаете въ себѣ редакторскаго таланта, то вызовите, стоитъ только кличъ кликнуть».

Мы увѣрены, что авторъ безъ умысла употребилъ этотъ тонъ, который никогда не придетъ въ голову ни одному англійскому журналисту, потому что въ Англіи есть борьбы, нетерпимости, доходящія до грубости, — но нѣтъ вышениій, нѣтъ служебныхъ распеканій, нѣтъ начальническихъ повторяю, пора отучиться и намъ.

Что касается до разсылки книгъ, это дѣло г. Трюбнера, и нельзя не отдать ему полной справедливости, что онъ дѣйствовалъ съ большимъ умомъ и съ большимъ успѣхомъ, доказательствомъ этому—расходъ вторыхъ изданій и продажа Колокола ¹⁾.

Ненадобно забывать, какія препятствія дѣлають циркуляціи нашихъ книгъ. Когда Норовъ вымолилъ у Мантейфеля и у Бейста запрещеніе Колокола, цѣлыя посылки его пропадали или отсылались назадъ съ такимъ порто, что лучше было отказываться отъ нихъ. Мѣсяцъ тому назадъ Тимашевъ исходатайствовалъ новое гоненіе въ Парижѣ и 5-я книжка «Полярной Звѣзды» и три послѣднихъ листа Колокола нашли свою преждевременную кончину въ закормахъ французскихъ таможенъ.

Этими мѣрами полиція ничего не сдѣлають, въ этомъ нѣтъ сомнѣнія. Но желающій контролировать не долженъ забывать, что періодическія потери эти падаютъ на Трюбнера, въ силу этого онъ назначаетъ цѣны слишкомъ дорогія; мы съ этимъ согласны, и будущія изданія онъ очень понизитъ по нашему совету.

Что касается до цѣнъ, по которымъ продаются русскія книги въ Берлинѣ, Парижѣ и пр., — мы совсѣмъ не отвѣчаемъ, эта надбавка совершенно противузаконна.

Вы видите, что сдѣлалъ г. Трюбнеръ для распространенія русскихъ книгъ, и что полиція—для уничтоженія ихъ. Но что сдѣлала русскіе для того, чтобы способствовать циркуляціи? — Ничего!

¹⁾ Въ іюнѣ мѣсяцѣ, напр., сверхъ 3 листовъ вновь напечатанныхъ, г. Трюбнеръ получилъ заказъ на 4,800 разныхъ листовъ «Колокола» и на 25 полныхъ экземпляровъ. Типографія не могла ихъ выставить и отправила только 4,300.

Мы двадцать разъ предлагали посылать куда угодно наши книги и *Колоколь*, за *полцѣны и доставку*, мы не получили заказа ни на одну *гинею*. На что намъ кликать кличъ, на что намъ *commis-voeuageur*,—кто мѣшаетъ вамъ съ той стороны протянуть руку, когда съ этой подають книгу?

Открывая русскую типографію, въ 1853 году, мы говорили вамъ: «Дверь открыта, хотите вы ей воспользоваться или нѣтъ,—останется на вашей совѣсти».

Считаемъ ли мы себя способными издавать журналъ или нѣтъ, это къ дѣлу не идетъ. Можно себя считать очень способнымъ и не имѣть никакого таланта. Самый вопросъ показываетъ, что наша способность очень сомнительна, но *кличи* и въ этомъ случаѣ мы не будемъ *кликать*. Неужели почтенный авторъ думаетъ, что въ изданіи, основанномъ на безусловной тайнѣ корреспонденціи, можетъ участвовать каждый *незнакомецъ*, умѣющій писать по русски, и не имѣющій другаго занятія? Если же есть близкіе намъ люди, способные и желающіе работать съ нами, они насъ найдутъ безъ клича и мы имъ будемъ очень рады.

Полярная Звѣзда и *Колоколь* доказали возможность и своевременность русскихъ изданій за границей. Первые ручки всегда бывають бѣднѣе послѣдующихъ рѣкъ. Миръ не клиномъ сошелся,—развѣ кто-нибудь говоритъ, что внѣ Россіи можетъ быть только одинъ русскій журналъ, да и то въ Лондонѣ. Вы довольны русскими изданіями въ Лейпцигѣ и Берлинѣ, вы вѣрите *возможности* свободнаго слова въ настоящей Германіи, — издавайте тамъ новый журналъ.

Мы, съ своей стороны, готовы братски помогать всякому свободному органу русской мысли.

(1859, № 48).

М и р ъ.

(Вторая статья о войнѣ).

Какъ-то въ 1851 году, будучи на нѣсколько дней въ Парижѣ, я рано утромъ сидѣлъ и читалъ *Le spectre rouge* Ромье. Брошюра эта, нынче забытая и занесенная разными слоями политическихъ памфлетовъ и реакціонныхъ брошюръ, сдѣлала нѣкоторый шумъ при своемъ появленіи. Ее хвалили немногіе, ее ругали почти всѣ,—ея *рогѣе* не поняли ни тѣ, ни другіе. Я ее читалъ съ какимъ-то нервнымъ раздраженіемъ, удивляясь преступной откровенности, безстыдству выраженій и дерзости тѣхъ истинъ, которыя высказывались въ ней съ наивнымъ цинизмомъ.

Кто-то постучался въ дверь.

— Взойдите, сказалъ я почти съ досадой. Но взойшелъ человекъ, котораго я искренно уважалъ, и я съ радостью протянулъ ему руку.

— Вы меня застаете, сказалъ я, подъ магнитическимъ вліяніемъ ядовитой книги; я часа полтора испытываю удовольствіе американскихъ птицъ, когда онѣ находятся подъ чарами гремучей змѣи.

— И эта змѣя? спросилъ И. Мишле.

— Ромье.

— Ромье? повторилъ Мишле съ удивленіемъ.

— Вы, вѣрно, читали его «Красный призракъ»?

— И да, и нѣтъ... Я имѣлъ эту книженку въ рукахъ, взглянулъ тамъ, сямъ... Вы знаете очень хорошо, кто такой и что такое Ромье; его статьи о цезаризмѣ, его брошюра, какъ тысячи другихъ, принадлежать къ массѣ печатной грязи, которую сегодня пишутъ по заказу, а завтра, по прошествіи надобности, сметаютъ въ канаву.

— Я вижу, что вы ее не читали. Мнѣ кажется, что этотъ памфлетъ имѣетъ гораздо большее значеніе.

— Главную мысль его я знаю очень хорошо, что же въ ней новаго?

— Какъ, что новаго? Да кто же смѣлъ съ такимъ цинизмомъ распорядиться будущностью Франціи,—развѣ одинъ Донозо Кортезъ? Книжка Ромье грозное пророчество.

— Хорошъ Исаія, нечего сказать.

— Что дѣлать, Богъ иногда не брезгаетъ и ослицами; вы лучше подумайте, какова эпоха, въ которой Фалстафы становятся пророками и проповѣдуютъ, вмѣсто Синайской горы и острова Патмоса, у провансальскихъ братьевъ и въ rue Joubert.

Мишле я не убѣдилъ, брошюра забыта, старый гуляка Ромье умеръ,—а предсказанія его сбылись до послѣдняго слова.

Лѣтъ черезъ семь, въ другой странѣ, не гуляка, не пустой шутъ, а человекъ науки и мысли — показалъ своему отечеству вмѣсто *краснаго призрака китайскую куклу*, кивающую пальцемъ и головою съ правильностью часовъ и съ ихъ безмозглостью, куклу безъ личности, безъ особы, безъ отчета въ движеніяхъ, и замѣтилъ, что со всѣми желѣзными дорогами и телеграфами, свободой книгопечатанія и религіозной неволей — Англія идетъ въ Китай ¹⁾.

И его книга прошла, не настороживъ никого, не поднявши даже пыли за собой, только литературные сторожа, въ двухъ-

¹⁾ On Liberty, J. S. Mill [См. выше ст. о Миллѣ].

трехъ журналахъ, приподняли голову, пробормотали какой-то вздоръ со сна объ книжкѣ Милля, и она канула въ воду, какъ «Красный призракъ».

«Насильно спасать людей нельзя!» замѣтилъ взбѣшенный маршалъ Бюжо, когда Людовикъ Филиппъ не позволилъ ему то, что законодательное собраніе не только позволило Кавеньяку, но вмѣнило ему въ обязанность — бомбардировать предмѣстье св. Антонія.

При всемъ этомъ нельзя сердиться на западнаго человѣка за его упорное непониманіе. Вѣтхія стѣны общественнаго зданія — *свои* ему, родныя, наслѣдственные, *его все* — въ нихъ кровная связь, память усилій, страданій, казней, память побѣдъ; оно узко, давить, понагнулось, но ему жаль ломать.

Наши добровольные, *нареченные* западники гораздо менѣе понятны для меня. Ихъ жизнь не связана съ падающей храминой, имъ не будетъ лучше, если она поддержится контрфорсами, имъ не будетъ хуже, если она совсѣмъ развалится. У нихъ только архитектурные чертежи и картонныя модели. Иной разъ кажется, что они прикидываются ограниченными для того, чтобъ выдать себя за принадлежащихъ къ столбовой европейской семьѣ.

Такъ или иначе, но намъ періодически приходится повторять *одно и то же* и дѣлать тѣ же анатомико-паталогическія объясненія; по счастью, они дѣлаются все легче и легче — *трупа больше*.

Въ печальное время горячечной трусости Цезаря, послѣ трагическаго героизма Орсини, когда необузданное раболѣпіе Франціи выступало изъ береговъ и Пальмерстонъ посягалъ на краугольные основы англійской свободы, — мы говорили, глядя на новыя разсѣлины вѣтхаго зданія, еще больше осунувшагося и покачнувшагося: «Миръ сдѣлалъ еще шагъ впередъ, старыя къ могилѣ, юныя къ возмужалости». Умники наши кричали о необузданности рѣчи, о пессимизмѣ; а между тѣмъ и на этотъ разъ все подтвердилось, кромѣ одного — *юныя не возмужали!*

«Наполеонъ III, писали мы тогда, *представитель смерти*. Бонапарты, какъ Цезари, не причина, но послѣдствіе, признакъ. Это туберкулы на легкихъ отходящаго Рима. Это болѣзнь старости, это сила судорогъ, безумная энергія горячки.

«Бонапартизмъ идетъ рука въ руку съ смертью. Его слава — кровавая, она вся изъ труповъ. Въ немъ нѣтъ силы зиждательной, нѣтъ производительной дѣятельности; онъ — совершенно безплоденъ, все созданное имъ — обманъ, мечта: *кажется будто что-то есть*, а въ сущности нѣтъ ничего, — все это призраки, тѣни... имперіи, королевства, династіи, герцоги, принцы, маршалы, границы, союзы... подождите четверть часа, — все исчезло, все это не въ самомъ дѣлѣ. Дѣйствительность его — это Испанія, утучненная трупами

французовъ, это египетскіе пески, усыпанные французскими костями, это снѣга Россіи, обогранные французскою кровью.

«Бонапартизмъ, какъ бредъ, не имѣетъ ни цѣли, ни основанія; это постоянное противурѣчіе и маскарадъ. Когда онъ поетъ, онъ поетъ безмыслицу: *Partant pour la Syrie!*»

«Чего хотѣлъ Наполеонъ? На вопросы наивнаго Ласъ-Каза онъ никогда не могъ дать основательнаго отвѣта. Зачѣмъ было предпринимать египетскую кампанію? Востокъ—это прекрасный пьедесталъ, великолѣпный фонъ картины. Жестокая испанская война—потому, что Имперія—вѣнчанная революція, освобожденіе народовъ.»

Les nations reines par nos conquetes,
Ceignaient de fleurs le front de nos soldats,

«Люди, силіящіеся разумно объяснить оргіи убійства, которыя составили славу Франціи во время имперіи, не находятъ ничего лучшаго сказать, какъ то, что Наполеонъ велъ войну, чтобы занять умы во Франціи. Слыхали ли вы что-нибудь болѣе цинически-безравственное, что-нибудь болѣе уродливое, какъ это объясненіе? Убивать людей съ цѣлью развлечь другихъ; уничтожать поколѣнія для того, чтобы у тѣхъ, которые останутся, замѣнить идеи общественнаго прогресса—какимъ-то бредомъ кровавой славы, апогеевой убійства и безконечной любовью къ ордену почетнаго легіона?»

«Да, это деспотизмъ конца, онъ только разрушаетъ, убивая вмѣстѣ и революцію, и традицію; революцію церковною, а церковь революціей; убивая, наконецъ, *suffrage universel* самимъ избранникомъ. Онъ все убиваетъ. Онъ чуть не погубилъ Англію своимъ прикосновеніемъ: нѣтъ здоровья, которое бы вынесло каплю гнилой крови».

Но если ему не удалось погубить Англію *дружбой*, то Италію онъ погубилъ *помощью*, утопилъ ее въ французской крови, пролитой *за нее*.

Неужели и тутъ кто-нибудь еще не узнаетъ тлетворный характеръ смерти, отъ дыханія которой гибнетъ виноватое и невинное, враждебное и дружеское, — лишь бы попасть на дорогѣ. Неужели ученые друзья не замѣчаютъ, что *все* пало, *все* понизилось — побѣдитель и побѣжденный, Наполеонъ, его противникъ, его союзникъ, Кавуръ и Гарибальди, Кошутъ и Жеромовъ сынъ. Это та разрушающая сила, которая бьетъ всѣ живые всходы, обращая ихъ въ неорганическія кучи—и называется *смертью*.

Изъ затворяющихся дверей Янусова храма бредутъ какіе-то печальные калѣки, состарѣвшіеся, съ бритой головой, исхудалые,

не вылечившіеся, а только не умершіе. Никого узнать нельзя, ни даже папу—*титულлярнаго* президента Италіи.

Насъ обвиняють въ пессимизмъ. Помилуйте, если насъ въ чемъ-нибудь можно обвинять, такъ это въ оптимизмъ.

При началѣ войны намъ казалось, что Наполеонъ хочетъ, исполняя программу Ромъе, революціонный вопросъ *покинуть* въ вопросъ народностей и распустить его въ немъ. Мы думали, что онъ выгонитъ австрійцевъ изъ Италіи и задавитъ ее потомъ своимъ деспотическимъ покровительствомъ. Такой ударъ — чего нѣтъ другого, оканчивалъ чужеядную австрійскую имперію, призывалъ къ жизни славянъ и мадьяръ. Но *смерть* рука въ руку съ «вѣчной карой» ¹⁾. Наполеонъ только унизилъ, опозорилъ Австрію,—потомъ спасъ ее!

Нѣмецкія газеты говорятъ, что къ этому союзу приступить и Александръ,—это невозможно, мы *не въри.мъ!* Союзъ съ Австріей, у просыпающейся Россіи... Нѣтъ... нѣтъ... Александръ II можетъ ошибаться, быть обманутъ лакеями стараго барина, своимъ собственнымъ хоромъ, но этого онъ не можетъ, — *вѣдь, онъ любитъ Россію!*

(1859 г., № 50).

Русскіе нѣмцы и нѣмецкіе русскіе ²⁾.

Отрывокъ первый.

Русскіе нѣмцы и нѣмецкіе русскіе.

Историки дѣлаются, поэты рождаются,—говоритъ латинская сентенція. Наши правительствующіе нѣмцы имѣють ту выгоду противъ историковъ и поэтовъ, что они *и дѣлаются, и рождаются*. Рождаются они отъ обрусѣлыхъ нѣмцевъ, дѣлаются изъ онѣмечившихся русскихъ. Плодородіе это—спору нѣтъ—дѣло хорошее, но чтобъ они не очень гордились этимъ богатствомъ путей народженія, мы имъ напомнимъ, что только низшія животныя разводятся на два, на три манера, а высшія имѣють одну методу, зато хорошую.

Изъ всѣхъ правительственныхъ нѣмцевъ, само собою разумѣется, русскіе нѣмцы самые худшіе. Нѣмецкій нѣмецъ въ правительствѣ бываетъ наивенъ, бываетъ глупъ, снисходитъ иногда къ варварамъ, которыхъ онъ долженъ очеловѣчить. Русский нѣ-

¹⁾ См. эпиграфъ статьи «Воина» въ № 44 «Колокола». Фохтъ говоритъ: «Le bonapartisme c'est la mort, mais l'Autriche c'est la damnation éternelle».

²⁾ Статьи, здѣсь соединенныя, помѣщены въ №№ 53, 54, 56, 57/58 и 59 «Колокола», 1859.

мецъ ограниченно уменъ и смотритъ съ отвращеніемъ стыдящагося родственника на народъ. И тотъ и другой чувствуетъ свое безконечное превосходство надъ нимъ, и тотъ и другой глубоко презираютъ все русское, увѣрены, что съ нашимъ братомъ ничего безъ палки не сдѣлаешь. Но нѣмецъ не всегда показываетъ это, хотя и всегда бьетъ; а русскій и бьетъ, и хвастается.

Собственно *нѣмецкая* часть правительствующей у насъ Германіи имѣетъ чрезвычайное единство во всѣхъ семнадцати или восемнадцати степеняхъ нѣмецкой табели о рангахъ. Скромно начинаясь подмастерьями, мастерами, гезеллями, аптекарями, нѣмцами *при дѣтяхъ*, она быстро взползаетъ по отлогой для ней лѣстницѣ — до нѣмцевъ *при Россіи*. Выше этихъ *горъ* и *орловъ* ничего нѣтъ, т. е., ничего земнаго...

Всѣ они, отъ юнѣйшаго нѣмца подмастерья до старѣйшаго дѣдушки изъ снѣговержцевъ Олимпа, отъ рабочей сапожника, гдѣ ученикъ заколачиваетъ смиренно гвозди въ подошву, до экзерциргауза, гдѣ нѣмецъ, корпусный командиръ, заколачиваетъ въ гробъ солдата,—всѣ они имѣютъ одинакіе зоологическіе признаки, такъ что въ нѣмцѣ-сапожникѣ бездна генеральскаго и въ нѣмцѣ-генералѣ пропасть сапожническаго; во всѣхъ нихъ есть что-то ремесленническое, чрезвычайно аккуратное, цеховое, педантское, всѣ они любятъ стяжаніе, но хотятъ достигнуть денегъ честнымъ образомъ, т. е., скупостью и усердіемъ; это даетъ имъ ихъ черствый, холодный, осторожный и безстрастный характеръ. Воруя на службѣ, можно еще быть добродушнымъ плутомъ; навивать честнымъ образомъ—все же будешь плутомъ,—но злымъ и безпощаднымъ, напр., исполняя съ точностью безумные приказы.

Сверхъ этихъ общихъ признаковъ, всѣ правительствующіе нѣмцы относятся одинакимъ образомъ къ Россіи, съ полнымъ презрѣніемъ и таковымъ же непониманіемъ.

Не знаю, каковы были шведскіе нѣмцы, приходившіе за тысячу лѣтъ тому назадъ въ Новгородъ. Но новые нѣмцы, особенно идущіе изъ остзейскихъ провинцій, послѣ того, какъ Шереметьевъ «изрядно повоевалъ Лифляндю», похожи другъ на друга, какъ родные братья. Самый полный типъ ихъ, это коныхъ-регентъ, герцогъ на содержаніи, *Эристъ-Иоганнъ Биронъ*.

Въ мою молодость въ Москвѣ я имѣлъ случай изучить, по крайней мѣрѣ, человекъ пять Бироновъ, только они не были на содержаніи, а жили на свой счетъ. Отецъ мой охотно отдавалъ дворовыхъ мальчиковъ къ нѣмцамъ *въ науку*. Всѣ хозяева были неумолимые, систематическіе злодѣи и при томъ какіе-то *беззлобные*, что еще больше дѣлало невыносимымъ ихъ тиранство. Я помню очень живо щеточника въ Леонтьевскомъ переулкѣ,

бѣлобрысаго нѣмца, съ испорченными зубами, лѣтъ 35, чисто одѣвавшагося, говорившаго тихо и скромно державшаго себя внѣ мастерской. Дома при немъ постоянно лежалъ ремень, и онъ, какъ американскій плантаторъ или какъ пьяный кучеръ, стегалъ то и дѣло — то того, то другого мальчика, и стегалъ два раза, если тотъ отвѣчалъ. Я даже не думаю, чтобъ этотъ чело-вѣкъ былъ особенно свирѣпъ, онъ съ тупымъ убѣжденіемъ продолжалъ дѣло Петра I и вколачивалъ ремнемъ европейскую цивилизацію. „Es ist ein Vieh—man muss der Bestie den Russen herausschlagen“, думалъ онъ съ спокойной совѣстью.

Я увѣренъ, что Биронъ, ужиная en petit comité съ своими Левенвольденами, Менгденами, точно также относился о своей Россіи, и Остерманъ ему поддакивалъ, если не было никого изъ русскихъ, и жаловался на глухоту, если кто-нибудь былъ налицо. И добрые нѣмцы, какъ добрый щеточникъ, безъ усталы употребляли ремни, въ родѣ Ушаковыхъ, Бестужевыхъ, которые подымали Россію на дыбу, ломали ей руки и ноги и были вдвое мерзѣ своихъ нѣмецкихъ хозяевъ.

Объ нихъ-то именно мы и хотимъ поговорить.

Типъ Бирона здѣсь блѣднѣетъ, русскій *на манеръ нѣмца* далеко превзошелъ его; мы имѣемъ въ этомъ отношеніи предѣлъ, геркулесовъ столбъ, далѣе котораго «отъ жены рожденный» не можетъ идти, это графъ Алексѣй Андреевичъ Аракчеевъ. Въ немъ совмѣстились всѣ роды бичей, которыми Русь воспитывалась, это былъ раболѣпный татарскій баскакъ, наушникъ дворецкій изъ крѣпостныхъ и прусскій вахмистръ временъ курфюрста Фридриха Вильгельма. Но что же было въ немъ русскаго? Какое-то національное ensemble, какое-то національное сочетаніе нагайки, розогъ и шпицрутена.

Аракчеевъ совсѣмъ не нѣмецъ, онъ и по-нѣмецки не зналъ, онъ хвастался своимъ руссопетствомъ, онъ былъ, такъ сказать, *по службѣ* нѣмецъ и, не отдавая себѣ никогда отчета, выбивалъ изъ солдата и мужика не только русскаго, но и чело-вѣка.

Такъ, какъ въ Саксоніи есть своя небольшая Швейцарія, такъ у насъ своя и притомъ очень большая Германія. Средоточіе ея въ Петербургѣ, но точки окружности вездѣ, гдѣ есть стоячіе воротникъ, секретарь и канцелярія, во всѣхъ администраціяхъ: сухопутныхъ, горныхъ, соляныхъ, военно-статскихъ и статски-военныхъ. Настоящіе нѣмцы составляютъ только ядро или закаску, но большинство состоятъ изъ всевозможныхъ русскихъ — православныхъ, столбовыхъ, съ нашимъ жирнымъ носомъ и монгольскими скулами, ученыхъ, невѣждъ, эскадронныхъ командировъ, журналистовъ и начальниковъ отдѣленія. Они-то и занимаютъ всѣ первыя мѣста, когда нѣтъ подъ рукою настоя-

щаго нѣмца, и всѣ вторыя, когда есть, или вѣрнѣе, всѣ остальные, кромѣ поповскихъ, и это оттого, что нѣмецъ ех *efficio* долженъ ходить по нѣмецки, т. е., брить бороду, а попъ изъ религиозныхъ причинъ долженъ быть женатъ и съ бородой.

Вступивъ однажды въ нѣмцы, выйти изъ нихъ очень трудно, какъ свидѣтельствуется весь петербургскій періодъ; какой-то нервъ портится, какой-то уголъ отшибается, и въ силу этого теряется всякая возможность понимать что-нибудь русское, по крайней мѣрѣ, то русское, что составляетъ народную особенность.

Дѣло-то въ томъ, что жизнь русскую, не установившуюся, задержанную и искаженную, вообще трудно понимать безъ особеннаго сочувствія, но во сто разъ труднѣе въ *нѣмецкомъ переводѣ*, а мы ее только въ немъ и читаемъ. Она ускользаетъ отъ чужихъ опредѣленій, а сама не достигла того отстоявшагося полного сознанія и отчета, которое является у старыхъ народовъ вмѣстѣ съ сѣдиною и печальнымъ припѣвомъ: *Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait!*

Вмѣсто статистическихъ, юридическихъ, историческихъ торныхъ дорогъ, по которымъ мы ѣздимъ во всѣ стороны на Западѣ, у насъ вездѣ лѣсъ, проселки, дичь... Стремленія, способности, огромный ростъ, въ ужасъ приводящее молчаніе и какой-то народный бытъ, засыпанный мусоромъ... вотъ и все. Есть признаки, *примѣты*, звуки, симпатія, по которымъ многое дѣлается понятнымъ для простаго ума, т. е., не предупрежденнаго, для простаго сердца, для кровной связи; это чутье совершенно притупляется нѣмецкой дрессировкой.

Кто не видалъ въ свою жизнь истаго городского жителя, какъ онъ теряется въ полѣ, въ лѣсу, въ горахъ?... Ни будочника, чтобъ спросить дорогу, ни номеровъ, ни фонарей; а крестьянскій мальчикъ попѣваетъ пѣсни, щелкаетъ орѣхи и преспокойно идетъ домой.

Той ясности, той легкости, къ которой насъ приучаетъ чтеніе духовныхъ завѣщаній, надгробныхъ надписей, оконченныхъ процессовъ, мы не находимъ и, обращаясь къ хаосу русской жизни, ломаемъ и гнемъ непонятные факты въ чужую мѣру.

Это метода Петра, перваго императора и перваго русскаго нѣмца. Петръ былъ совершенно правъ въ стремленіи выйти изъ неловкихъ, тяжелыхъ государственныхъ формъ московскаго царства, но разорвавшійся съ народомъ и равно лишенный геніальнаго чутья и геніальнаго творчества, онъ поступилъ проще. Возлѣ, рядомъ иныя формы прочной нѣмецкой работы, въ нихъ такъ могуче развилась западная жизнь, чего же лучше: *Herr Nachbar, eine kleine Corie...* Въ самомъ дѣлѣ, коли эти формы были хороши для такихъ аристократовъ, какъ французы, шведы, нѣмцы,

какъ же имъ не быть хорошими для русскихъ мужиковъ, стоитъ сначала приневолить, обрить, посѣчь, и все пойдетъ какъ по маслу.

Такъ оно и пошло; ясно, что для вколачиванія русскихъ въ нѣмецкія формы слѣдовало взять нѣмцевъ: въ Германіи была бездна праздношатающихся пасторскихъ дѣтей, егерей, офицеровъ, берейторовъ, фореиторовъ; имъ открываютъ дворцы, имъ вручаютъ казну, ихъ обвѣшиваютъ крестами; такъ, какъ Кортесъ завоевывалъ Америку испанскому королю, такъ нѣмцы завоевывали шпицрутенами Россію нѣмецкой *идеть*.

Если Биронъ ссылалъ сотнями, сѣкъ тысячами, это значитъ, что русскіе дурно учились.

Вѣдь, за то-то и Аракчеевъ билъ всю жизнь русскаго человѣка, чтобъ лучше его пригнать въ солдатскую мѣру, а ее Аракчеевъ унаслѣдовалъ изъ чистѣйшаго голштинскаго источника, преданіе котораго хранилось свято и исправно. Идеаль вахтпараднаго солдата, до котораго Аракчеевъ доколачивалъ, былъ хорошъ, а скотина мужикъ этого не понималъ... 1000 шпицрутеновъ, 2000, 3000,—да чего жалѣть прутьевъ, нашъ край дубравенъ—10.000.

Нѣмцы изъ настоящихъ и изъ поддѣльныхъ приняли русскаго человѣка за *tabula rasa*, за листъ бѣлой бумаги... и такъ какъ они не знали, что писать, то они положили на немъ свое тавро, и сдѣлали изъ простой бумаги гербовый листъ и исписали его потомъ нелѣпыми формами, титулами, а главное крѣпостными актами, которыми закабалали больше и больше это *живое тѣсто*, которое они были призваны выцивилизовать.

За работу они принялись усердно: что помѣщикъ—то Петръ I, что нѣмецъ—то Биронъ. Помѣщикъ высѣкалъ изъ крестьянина лакея, Аракчеевъ—солдата. Добросовѣстные изъ нихъ были увѣрены, что они образуютъ ихъ. «Посмотрите, говоритъ помѣщикъ, на Гришку, три года тому назадъ за сохой ходилъ, а вотъ теперь служить въ англійскомъ клубѣ не хуже всякаго офиціанта, у меня есть секретъ ихъ учить. Тяжело было, нечего дѣлать, не одну березовую припарку вынесъ, зато теперь самъ чувствуетъ мои благодѣянія».

И дѣйствительно, Гришка чувствовалъ это и Богу молилъ за барина, и отца съ матерью въ деревнѣ презиралъ какъ сиволапыхъ мужиковъ.

Такъ у насъ шло тихо да келейно, посѣкая да постегивая, и долго бы прошло, да вдругъ русская жизнь натолкнулась на *русскій* вопросъ, а по-нѣмецки его разрѣшить нельзя.

Вопросъ этотъ въ освобожденіи крестьянъ съ землею... и во всякихъ чудесахъ—въ правѣ на землю, въ общинномъ владѣніи.

(1859 г., № 53).

Отрывокъ второй.

Доктринерствующіе нѣмцы.

То, что дѣлалось грубо, хирургически, въ передней и казармѣ, повторялось, съ разными утонченными и нервными видоизмѣненіями, во всѣхъ другихъ сферахъ.

Разрывъ, которымъ для насъ началась *нѣмецкая наука*, невольно ставилъ все, отторгаемое отъ прежняго единства, въ враждебное отношеніе ко всему, остававшемуся по старинѣ. Освобождаясь отъ цѣлаго міра нелѣпыхъ предрасудковъ и тяжелыхъ формъ, *новая Россія* не дѣлалась свободной, на это она еще не имѣла достаточной самостоятельности, а подчинялась другому нелѣпому порядку и принимала его предрасудки,—второй степени, такъ сказать.

Допетровская жизнь была виновата въ разрывѣ, она обусловила и вызвала его; въ ея сонномъ прозябаніи нельзя было долѣе оставаться, не покрывшись плѣсенью, не расползаясь, не впадая въ восточную летаргію. А на все на это не доставало азіатской лѣни и старческаго покоя. Совсѣмъ напротивъ, въ русской жизни бродила бездна силъ неустоявшихся, съ одной стороны, казачество, расколы, неосѣдность крестьянъ, ихъ бродяжничество, съ другой, государственная пластичность, сильно обнаруживавшаяся въ стремленіяхъ раздаться, не теряя единства.

Какимъ путемъ эта стихійная жизнь, равнодушная къ развитію своихъ собственныхъ силъ и даже къ сознанію ихъ, должна была выйти къ совершеннолѣтнію и измѣниться,—это зависѣло отъ разныхъ обстоятельствъ, но *необходимость* выхода вовсе не была случайностью. Оторвавшаяся часть нѣмой и спящей горы, представляла именно тотъ революціонный ферментъ, то дѣятельное меньшинство, которое должно было волею или неволею увлечь за собою всю массу. Что меньшинство это было само увлечено подражаніемъ чужеземному,—и это естественно. Русская жизнь, таившая въ себѣ зародыши будущаго развитія, вовсе не подозрѣвая того, держалась за старину по капризу, не умѣя объяснить почему, а революція, напротивъ, указывала на блестящіе идеалы, на широкую будущность и, наконецъ, на существующую Европу съ ея наукой и искусствомъ, съ ея государственнымъ строемъ и общежитіемъ.

Что европейскія гражданскія формы были несравненно выше не только старинныхъ русскихъ, но и теперешнихъ, въ этомъ нѣтъ сомнѣнія. И вопросъ не въ томъ, догнали ли мы Западъ или нѣтъ, а въ томъ, слѣдуетъ-ли его догонять по длинному

поссе его, когда мы можем пуститься въ объѣздъ. Намъ кажется, что пройдя западной дрессировкой, подкованные ею, мы можемъ стать на свои ноги, и вмѣсто того, чтобъ твердить чужіе зады и прилаживать стоптанные сапоги,—намъ слѣдуетъ подумать, нѣтъ-ли въ народномъ быту, въ народномъ характерѣ нашемъ, въ нашей мысли, въ нашемъ художествѣ чего-нибудь такого, что можетъ имѣть притязанія на общественное устройство, несравненно высшее западнаго. Хорошіе ученики часто переводятся черезъ классъ.

Представьте себѣ, что какимъ-нибудь колдовствомъ, кто-нибудь вдругъ развилъ бы изъ куринаго яйца ящерицу или лягушку. Безъ всякаго сомнѣнія, состояніе ящерицы было бы для яйца прогрессомъ, но въ сущности зародышъ цыпленка могъ имѣть высшія притязанія, именно сдѣлаться птицей. Если бы мы теперь остановили развитіе цыпленка, основываясь на томъ, что ящерица или лягушка, выведенная изъ птичьяго яйца, потому не можетъ еще сдѣлаться птицей, что она не достигла всѣхъ лягушечьихъ совершенствъ, и, основываясь на этомъ, будемъ его заставлятъ прыгать на брюхѣ, подтянувши ноги, въ то время какъ онъ могъ-бы летать,—то мы все-же сдѣлаемъ avortement птицы и дальше лягушки ее не разовьемъ.

Наука, которую мы прошли, была трудна, помѣчена слезами, кровью и костями. Она пошла въ прокъ, наша здоровая организація все вынесла. Сначала мы были у нѣмца въ ученіи, потомъ у француза въ школѣ,—пора брать дипломъ.

А страшное было воспитаніе!

При Петрѣ I дрессировка началась нѣмецкая, т. е., наиболѣе противоположная славянскому характеру. Военный артикулъ и канцелярскій стиль были первыми плодами нѣмецкой науки. Тяжелые и неповоротливые бояре и князья наперерывъ старались походить на капраловъ и берейторовъ, германскій бюрократизмъ обогащался византійскимъ раболѣпіемъ, а татарская нагайка служила превосходнымъ пополненіемъ шпицрутеновъ. Около трона—нѣмцы, полководцами—нѣмцы, министрами иностранныхъ дѣлъ—нѣмцы, булочниками—нѣмцы, аптекарями—нѣмцы, вездѣ нѣмцы, до противности. Нѣмки занимали почти исключительно мѣста повивальныхъ бабокъ.

Затѣмъ нѣмцы уступаютъ французамъ, но если французы господствуютъ въ гостиной и на кухнѣ, то передняя и правительственное остается за нѣмцами.

Et par diverses raisons

Gardons ses amis de la maison.

Они любятъ правительство, правительство ихъ любить, да и какъ не любить людей, которыхъ отечество въ канцеляріи и казармѣ.

И не только правительство, мы сами такъ привыкли, что нельзя хорошо управлять Россіей безъ нѣмцевъ, что намъ кажется просто страннымъ, какъ быть русскому министерству, русской арміи безъ Нессельроде, Канкринъ, Дибича,—нельзя! Ну, хоть какой-нибудь Балтазаръ Балтазаровичъ, или Фабіанъ Вильгельмовичъ, а все нужно.

Пока нѣмцы владѣли Русью, какъ справедливой наградой за аккуратность и умѣренность, общество продолжало спрягать французскіе глаголы и обогащать русскій языкъ галлицизмами. Кафтаны и танцы, книги и прически—все шло изъ Франціи, и это былъ большой шагъ впередъ. Въ концѣ XVIII столѣтія Франція дѣйствительно была страной великой пропаганды, духъ будущаго носился надъ Парижемъ и наше молодое поколѣніе незамѣтно переходило отъ французской грамматики къ французскимъ идеямъ... Одно правительство дальше языка не пошло и, щегольски говоря по-французски, руководствовалось чисто нѣмецкими мѣрами, ограждая себя по прежнему остзейскими опричниками отъ французскихъ идей и русскихъ притязаній. Но несмотря на это, ни на Аракчеева, ни на военные поселенія, ни на винные откупа, александровская эпоха была великимъ временемъ. Это была эпоха университетовъ и лицеевъ, Пушкина и 1812 года, эпоха гражданственнаго сознанія и государственной мощи. Она служить лучшимъ отвѣтомъ слѣпымъ порицателямъ петровскаго разрыва, ею онъ оправданъ и заключенъ.

Юныя, гордыя силы были уже готовы выступить за гранитные берега. Грубый отпоръ осадилъ ихъ, тяжелый гидравлическій прессъ налегъ на все, сгущая, сосредоточивая, и все выросло въ молчаніи. Юношеская, самонадѣянная мысль александровскаго времени—смирилась, стала угрюмѣе, и съ тѣмъ вмѣстѣ серьезнѣе. Боясь свѣтить ярко, свѣтить вверхъ, она, таясь, жгла внутри и иной разъ свѣтила внизъ. Громкія рѣчи замѣняются тихимъ шопотомъ, подземная работа идетъ въ аудиторіяхъ, идетъ въ военныхъ училищахъ, идетъ подъ благословеніемъ митрополитовъ въ семинаріяхъ. Живая мысль облекается въ схоластическія одежды, чтобъ ускользнуть отъ наушниковъ, и надѣваетъ рабскую маску, чтобъ дать знакъ глазами, и каждый намекъ, каждое слово прорвавшееся—понято, становится силой. Удивительное время наружнаго рабства и внутренняго освобожденія: настоящая исторія этого времени въ двухъ-трехъ бѣдныхъ профессорахъ, въ нѣсколькихъ студентахъ, въ кучкѣ журналистовъ.

Мысль растеть, смѣхъ Пушкина замѣняется смѣхомъ Гоголя. Скептическая потерянности Лермонтова составляетъ лиризмъ этой эпохи.

Печальны, но изящны были люди, вышедшіе тогда на сцену, съ сознаниемъ правоты и безсилія, съ сознаниемъ разрыва съ народомъ и обществомъ, безъ вѣрной почвы подъ ногами, чуждые всему окружающему, не знавшіе будущаго, они не сложили рукъ, они проповѣдовали цѣлую жизнь, какъ Грановскій, какъ Бѣлинскій, оба сошедшіе въ могилу, рано изношенные въ суровой и безотрадной борьбѣ.

Они по духу, по общему образованію, принадлежали Западу; ихъ идеалы были въ немъ... Русская жизнь ихъ оскорбляла на всякомъ шагу, и между тѣмъ съ какой святой непослѣдовательностью они любили Россію и какъ безумно надѣялись на ея будущее... И если когда въ минуты безконечной боли они проклинали неблагодарный, суровый родительскій домъ, то, вѣдь, это одни крѣпкіе на умъ не слышали въ ихъ проклятіяхъ—*благословенія*:

Грановскій и Бѣлинскій стоятъ на рубежѣ, далѣе въ ихъ направленіи нельзя было идти. Послѣдніе благородные представители западной идеи, они не оставили ни учениковъ, ни школы. Молодое поколѣніе *выслушало* результаты, до которыхъ они домыслились и, предостереженное ихъ примѣромъ, не впадало въ ихъ непослѣдовательность: спокойное и разсудительное, оно или примирилось съ «разумной дѣйствительностью» русской гражданской жизни, или, какъ подсолнечникъ, склонило свой тяжелый цвѣтокъ къ садящемуся на западѣ солнцу. Изъ нихъ-то составились наши *доктринеры-бюрократы* и *западные доктринеры*,— послѣдняя фаланга Петровскаго войска, лучшіе нѣмцы изъ русскихъ, умные, образованные, но не русскіе, и именно потому способные съ наилучшими намѣреніями надѣлать бездну вреда.

Въ первое десятилѣтіе, слѣдовавшее за 1825, поднялось рядомъ съ тѣмъ движеніемъ, о которомъ мы говорили, совсѣмъ иное направленіе. Нѣсколько дѣятельныхъ умовъ, отворачиваясь отъ луннаго, холоднаго просвѣщенія, которымъ вѣяло изъ Петербурга, стали проситься домой изъ «нѣмецкой науки» и, понавъ на мысль, что Русь руссею не уразумѣешь изъ однѣхъ иностранныхъ книгъ, отправились ее искать, *ее живую*, въ лѣтописяхъ такъ, какъ Марія Магдалина искала Иисуса въ гробѣ, въ которомъ его не было.

Надъ ними смѣялись, и они дѣйствительно были смѣшны, юродствовали, переѣзжали за два вѣка назадъ, наряжались по старо-русски, такъ, какъ ихъ предки наряжались по нѣмецки, отращивали бороду, которую полиція имъ брила, натягивали подогрѣтое православіе, сомнѣвались, слѣдуетъ ли ѣсть телятину, и не сомнѣвались, что иконопись выше живописи. Мы смотрѣли на нихъ съ негодованіемъ и были правы: мы искали свободы совѣсти,—они, исполненные раскольнической нетерпимости, про-

повѣдывали православное рабство. Мы не понимали (да и они сначала сознательно не понимали), что у нихъ, какъ у старовѣровъ, подѣ археологическими обрядами, бился живой зародышъ, что они, повидимому, защищая одинъ вздоръ, въ сущности отстаивали въ уродливо-церковной формѣ—вѣру въ *народную жизнь!*

Пока продолжалась борьба свободной совѣсти противъ рабской, и партія не могли другъ друга понять, грянула февральская гроза и перемѣшала всѣ карты въ Европѣ. Когда она улеглась, полюсы шара земнаго были перемѣнены.

Западники, безземельные дома, теряли теперь шагъ за шагомъ свои владѣнія въ обѣтованной землѣ. Славянофилы, думая отрыгать трупы на кладбищѣ, по дорогѣ пахали поле. Западная партія была разбита на Западѣ: кирпичное, въ одинъ камень, зданіе политической экономіи покривилось и осѣлось, теорія общественнаго прогресса падала въ бесплодную риторику, Франція, какъ покорное стадо единаго пастыря, и Германія, какъ покорное стадо множества пастырей, утратили, разъ за разъ, свободныя учрежденія, личную безопасность, право рѣчи, утратили талантъ, серьезность; общее паденіе, какъ неотразимый рокъ, влекло всю Европу въ хаосъ разложенія; явились трогательныя, печальныя личности, упорно остающіяся вѣрными всякому паденію, надѣющіяся, что храмъ западный, какъ храмъ Соломоновъ, скоро воскреснетъ во всей славѣ и силѣ, лишь бы только отдѣлаться отъ социализма и деспотизма, отъ католицизма и *невѣжества массы...*

И наши западные доктринеры вслѣдъ за ними не измѣнили своей вѣрѣ, не уступили стѣнъ своей ученой крѣпости, они печально, но твердо ждутъ, когда уляжется дикое славянофильство, варварство социальныхъ идей, и французская централизація, на основаніяхъ нѣмецкой Schul-Wissenschaft, будетъ царить отъ Таурогена до Амура.

Чѣмъ больше западная партія удалялась отъ реальной почвы и переносила шатры свои въ абстрактную науку, тѣмъ тверже становились славяне на практической грунтъ. Вопросъ объ общинномъ владѣніи, по счастью, вывелъ ихъ изъ церкви и изъ лѣтописей на пашню.

И вотъ какъ роковымъ колебаніемъ историческихъ волнъ *люди прогресса* стали въ свою очередь консерваторами, старообрядцами реформы, стрѣльцами западной цивилизаціи, хвастающимися неподвижностью своихъ мнѣній!

Старая шутка софистовъ рѣшилась обратно: черепаха опередила Ахилла... Ахиллъ забѣжалъ далеко, а путь переломился.

Какъ это дѣлается, приведу одинъ примѣръ: споръ, длившійся въ русскихъ журналахъ о народности въ наукѣ. Западники были

совершенно правы въ томъ, что объективная истина не можетъ зависѣть ни отъ градуса широты, ни отъ градуса лицевого угла; но говоря это, у нихъ есть задняя мысль, что *западная наука*, какъ единая сущая, и есть эта объективная, католическая, безусловная наука. Конечно, другой науки нѣтъ, но развѣ быть *одной*, значить быть безусловной ¹⁾. Западная наука, съ своимъ схоластическимъ языкомъ и дуализмомъ въ понятіяхъ, въ тысячахъ случаяхъ не умѣетъ не только разрѣшить, но поставить вопросъ. Она слишкомъ завалена грубымъ матеріаломъ, слишкомъ избалована своими старыми приѣмами, чтобъ просто относиться къ предмету; она слишкомъ облегчила себѣ трудъ—рубриками, словами, трафаретками и шаблонами, чтобъ искать новыхъ мѣховъ для новаго вина.

Славянофилы поняли, что ихъ истина плохо выражается западной номенклатурой; они пытались науку сдѣлать русской, православной, остриженной въ скобку, такъ, какъ пытались архитектуру и живопись свести на византизмъ, а въ сущности они достигаютъ совсѣмъ другого—высвобожденія мысли и истины отъ обязательныхъ колодокъ нѣмецкой работы, набитыхъ на нашъ умъ западнымъ воззрѣніемъ.

Вотъ почему мы, не хвастающіеся достоинствомъ Симеона Столпника, стоявшаго шесть, десять лѣтъ на одномъ и томъ же мѣстѣ,—оставаясь совершенно вѣрными нравственнымъ убѣжденіямъ нашимъ... *живые*, т. е., измѣняющіеся

теченіемъ времени,

стали гораздо ближе къ московскимъ славянамъ, чѣмъ къ западнымъ старообрядцамъ и къ русскимъ нѣмцамъ, во всѣхъ родахъ различныхъ.

(1859 г., № 54).

Отрывокъ третій.

Варіаціи.

I.

Намъ кажется, что западный мозгъ, такъ, какъ онъ выработался своей исторіей, своей односторонней цивилизаціей, своей школьной наукой, не въ состояніи уловить *новыя явленія жизни ни у себя, ни въ чужь*.

¹⁾ Развѣ по той логикѣ, по которой, шутя, доказываютъ, что человѣкъ, сидящій одинъ въ лучшей комнатѣ всего Парижа, есть лучший человѣкъ во всемъ мірѣ.

Наука (исключая естествовѣденіе) измѣнила прогрессивному характеру своему и перешла въ доктринаризмъ, который расходится съ живою средою такъ, какъ нѣкогда разошлась съ нею церковь католическая, а потомъ и протестантская... Академическая кафедра и церковный налогъ остаются какими-то *vegetabilia*, которымъ изъ уваженія позволяютъ поучать, мѣшаться въ жизнь, но которымъ жизнь не позволяетъ управлять собой.

Западное міросозерцаніе, съ его гражданскимъ идеаломъ и философіей права, съ его политической экономіей и дуализмомъ въ понятіяхъ, принадлежитъ къ извѣстному порядку историческихъ явленій и внѣ ихъ несостоятельно.

Идеаль его, какъ всегда бываетъ съ идеалами, тотъ же существующій историческій бытъ, но преобразенный на горѣ Фаворѣ. Къ этимъ идеаламъ шли, увлекаая поколѣнія, великіе мыслители XVIII вѣка, радостные люди 1789 и мрачные 1793, мѣщане 1830 и ихъ сыновья 1848; къ нимъ не идутъ народы нашего времени, потому что они отслужили свою службу, они ободены чуткимъ инстинктомъ... и на этомъ растеть разрывъ.

Пока западный миръ въ мученіяхъ и трудѣ строилъ изъ своей дѣйствительности свои теории и стремился потомъ изъ теорій вывести свою дѣйствительность, — *истины его пережили свою истинность*. Онъ не хочетъ этого знать... Тутъ предѣлъ, и настоящая Европа представляетъ намъ удивительное зрѣлище политическаго и научнаго консерватизма, соединенныхъ не на взаимномъ довѣрїи, а на страхѣ чего-то отрицающаго ихъ авторитетъ.

Страхъ не совмѣстенъ ни съ свободой, ни съ прогрессомъ. Противузаконный союзъ науки съ властью сдѣлалъ изъ нея схоластическій доктринаризмъ во всемъ относящемся къ жизни.

Старая цивилизація истощила свои средства, она становится все больше и больше *книжной*, способность прямо, безъ письменныхъ документовъ относиться къ предмету—теряется; заучившійся человекъ меньше наблюдаетъ, чѣмъ вспоминаетъ; привычка все узнавать изъ книгъ дѣлаетъ его больше способнымъ для чтенія и меньше способнымъ для смотрѣнія. Ученый авторитетъ, сѣдѣя, теряетъ терпимость, становится обязательнымъ и принимаетъ отрицаніе за обиду и крамолу. У него есть прочный запасъ давно рѣшенныхъ истинъ, началъ, законовъ, къ нимъ онъ не возвращается, оно и не было нужно, пока дѣло шло о продолженіи, о приложеніи, о развитіи прежняго, словомъ о продолженіи. Но тутъ, какъ нарочно, міръ не можетъ идти по старому, а догматики не вѣрятъ, чтобы міръ могъ шагъ сдѣлать внѣ формъ и категорій, впередъ ими признанныхъ.

Я съ ужасомъ слышу грозное негодованіе моихъ ученыхъ друзей.

Да онъ властей не признаетъ!

говорятъ они. Что же это, наконецъ, кощунство въ дѣвичьей спальнѣ Минервы, этого мы не потерпимъ. Дѣло теперь не о русскихъ нѣмцахъ и не о нѣмецкихъ русскихъ, дѣло о достоинствѣ науки, за нее мы заступимся: *Moriatur pro regina nostra.*

— Равви, если-бъ вы выслушали меня...

— Да что вы можете сказать, вы софистъ, вы скептикъ, вы любите парадоксы!

— Во-первыхъ, я бы васъ успокоилъ насчетъ науки, она *assez grand garçon*, чтобъ не нуждаться въ защитѣ дядекъ отъ нападокъ какого-нибудь поврежденнаго. Наука такой же сущій непреложный фактъ, какъ воздухъ, какъ луна; можно сказать, что воздухъ сегодня не чистъ и луна тамъ-то не свѣтитъ, но начать бранить воздухъ или луну можетъ только сумасшедшій. Представьте себѣ человѣка, который бы сталъ говорить, что воздухъ глупъ, и другого, который съ негодованіемъ сталъ бы ему возражать, защищая благородный, хотя и нѣсколько вѣтреный характеръ его.

— Все это такъ, но вредъ отъ нападокъ вашихъ унижаетъ цивилизацію и науку въ глазахъ невѣждъ и лѣнтяевъ, а намъ надобно учиться, много учиться.

— И будемте, какъ же не учиться и гдѣ же лучше учиться, какъ не у старшихъ братьевъ. Но скажите мнѣ на милость, ваши похвалы наукамъ и искусствамъ подняли-ли ихъ, напр., въ глазахъ первыхъ трехъ классовъ въ Россіи? Не проймете ихъ превосходительства велерѣчіемъ; они могутъ только уважать по волѣ высшаго начальства. Но дѣло не въ томъ, а въ томъ, что, уважая науку всѣмъ сердцемъ и всѣмъ помышленіемъ и отдавая ей все, что ей принадлежитъ, я не хочу создавать себѣ изъ нея кумира; а совсѣмъ напротивъ, призвавъ ея логическое благословеніе, скажу, что безусловной науки нѣтъ (какъ вообще нѣтъ ничего безусловнаго). Наука въ дѣйствительности всегда обусловлена; отражаемый міръ явленій въ *человѣческомъ* сознаніи, она дѣлитъ его судьбы, съ нимъ движется, растетъ и отступаетъ, постоянно находясь въ взаимодействіи съ исторіей. Оттого въ развитіи ея тотъ же поглощающій, страстный интересъ, та же поэзія и драма, тѣ же страданія и увлеченія, какъ въ исторіи. Ея *относительная* истина всегда отклонена отъ прямой линіи мозговымъ преломленіемъ и подкрашена средой — и тѣмъ больше, чѣмъ предметъ ближе къ намъ.

Западный міръ, и это совершенно естественно, считалъ и считаетъ свою науку абсолютной, свой путь — единымъ, ведущимъ

къ спасенію. Но такъ какъ магнитная стрѣлка его сильно отклонилась отъ прямого направленія, въ продолженіи долгаго историческаго плаванія, то онъ, наконецъ, хватился объ утесъ п. боясь потонуть, бросился на мель. Теперь всѣ усилія, весь трудъ употребляется, чтобъ неподвижному сидѣнію на мели придать видъ прогрессивнаго движенія.

Для того, чтобъ въ самомъ дѣлѣ плыть дальше, надобно весь грузъ бросить въ море, а его много и жаль. Жаль ученымъ не меньше банкировъ, и они переходятъ на консервативную сторону. Въ самомъ дѣлѣ, развѣ какому-нибудь юристу легко признаться, что все уголовное право — нелѣпая теорія мести; что лучшей уголовный судъ—очищенная инквизиція; и что въ лучшемъ кодексѣ нѣтъ ни логики, ни психологіи, ни даже здраваго смысла?

Къ тому же теоретическія убѣжденія упорнѣе всѣхъ на свѣтѣ, упорнѣе религиозныхъ вѣрованій, именно потому, что они имѣютъ свое одностороннее логическое оправданіе, свое діалектическое доказательство, основанное не на патологическомъ состояніи мозга, а на относительной истинности. Средствъ переубѣдить человѣка теоретически убѣжденнаго никакихъ нѣтъ, это совершеннѣйшій предрасудокъ. Логика не имѣетъ такой силы надъ привычнымъ складомъ ума, надъ застарѣлыми приемами его. Убѣдить вообще можно только того, кто или никакого мнѣнія не имѣетъ или чувствуетъ, что его мнѣніе шатко. А западный умъ совсѣмъ напротивъ, убѣжденъ въ непогрѣшительности своей методы и въ истинѣ своихъ истинъ.

Но будто нѣтъ исключенія?

Есть. Но эти люди такіе же иностранцы на Западѣ, какъ и мы. Старая Европа — ученая, юридическая, этико-политическая и политико-экономическая, филологическая и либеральная. относится къ нимъ съ такимъ же непониманіемъ, какъ къ намъ, и съ двойной ненавистью.

Къ тому же они побѣждены!

II.

Съ того дня, когда невозможность величайшей утопіи, когда-либо волновавшей духъ человѣческой, обличилась, когда усталый народъ и откипѣвшія партіи поняли, что изъ монархической Франціи не легко соудать, даже съ помощью гильотины, демократическую республику, основанную на разумѣ, равенствѣ и братствѣ, и все стремилось взойти въ покойное русло, т. е., найти себѣ господина, который бы снялъ на свои плечи бремя самоуправления; съ того самого дня поднялся голосъ *протеста*, гворявшій, что революція не удалась, не потому что она сбилась

съ своихъ началъ, а что она сбилась съ нихъ потому, что изъ нея началъ не выведешь новаго общественнаго устройства, сообразнаго съ потребностями разума.

Революція отвѣчала на дерзкій протестъ ржавымъ топоромъ, уже выходившимъ изъ употребленія. Человѣкъ былъ убитъ, голосъ остался, и иной разъ его слышали издали, даже во времена нравственной протраціи всеобщей бойни «періода славы», потомъ погромче во времена Лазарева воскресенія Бурбоновъ и, наконецъ, очень громко, когда за прилавокъ Франція сѣлъмышленный хозяинъ, Людовикъ Филиппъ.

Въ процессѣ улицы Menilmontant люди увидѣли въ первый разъ, послѣ Плинія и Тертуліана, небольшую кучку сектаторовъ, отвергавшихъ не то или другое учрежденіе, не ту или другую форму правительства, но все современное общественное устройство, и притомъ не одно австрійское, не одно папское, а съ тѣмъ вмѣстѣ и все либерально-конституціонное короля-гражданина и харти, «сдѣлавшейся правдой».

Государство должно было ихъ преслѣдовать, это былъ вопросъ на жизнь и смерть, и не одно государство опрокинулось на нихъ, но и общественное мнѣніе, руководимое либеральной буржуазіей. Тутъ не было мѣста для взаимныхъ уступокъ, не на чѣмъ было примириться; между католикомъ и кальвинистомъ, между легитимистомъ и якобинцемъ, при всей ихъ противоположности были общія данныя, общія истины, были идолы, которымъ поклонялись тѣ и другіе, святыни, чтимыя ими обоими. Между судьями и с.-симонистами ничего не было общаго. Они отвергали весь существующій порядокъ. «Да какъ-же это, говорили не только судьи, но и либералы,—развѣ наша цивилизація рядомъ съ своими недостатками ничего не выработала прочнаго, дѣльнаго, кромѣ воротъ, которыми изъ нея выходятъ... Что же станется со всѣмъ этимъ міромъ богатства, просвѣщенія, искусства, промышленности, свободныхъ учреждений?» И борьба ассизовъ сдѣлалась общественной борьбой. Либерализмъ, ополчаясь противъ социализма, съ самаго начала громко возвѣстилъ міру, что онъ идетъ на защиту *цивилизаціи*, противъ новыхъ варваровъ.

Чего же такъ испугалось государство — этихъ блудныхъ сыновъ образованія, осмѣлившихся слабыми руками покачнуть столпы вѣковаго зданія? Того, что всѣ столпы и своды, дворцы и академіи были построены на корабельной палубѣ, отдѣленные досками отъ бездонной, дремлющей пропасти, отъ пропасти пролетаріата и голода, изнуряющей работы и недостаточнаго вознагражденія за нее.

Борьба продолжалась бы, вѣроятно, долго. Но послѣ пятнадцатилѣтняго застоя дѣла пошли быстро. Прогнали *возможнаго* Людо-

вика Филиппа, провозгласили невозможную республику и невозможный *suffrage universel*. Груша была зрѣла для гніенія. Споръ перешель изъ книгъ и журналовъ на площадь. «Варвары» были побѣждены, цивилизація была спасена, Сенаръ отъ ея имени благодарилъ Кавеньяка. Свобода, равенство и братство были обезпечены!

Но вотъ что странно, съ этой побѣдой что-то убыло, какой-то нервъ былъ перерѣзанъ. Республика стала безмысленна, народъ равнодушенъ къ ней, и отъ паденія до паденія Франція упала по горло въ Наполеона и успокоилась въ немъ. Что же случилось? Варвары были побѣждены, цивилизація торжествовала, а между тѣмъ... то будто Франція было стыдно, то будто на совѣсти что-то неловко. Соціальныя идеи скрылись, взосли внутрь, и рядомъ съ тѣмъ, какъ на смѣхъ, нелѣпость республики обличилась до того, что одной темной ночью президентъ ея послалъ квартальнаго взять ее за шиворотъ и выбросить вонъ. Онъ ее и выбросилъ, при хохотѣ работниковъ, которые думали, что выбрасываютъ Шангарнье и квесторовъ.

Съ тѣхъ поръ умъ, пониманье отступили на столѣтіе во всей Европѣ. Одичалыя правительства безпрепятственно давили и гнали, заключали конкордаты, преслѣдовали мысль, что-то кровавадное снова развилось въ европейскихъ нравахъ, начались ненужныя войны. И въ третій разъ подогрѣтыя мнѣнія либерализма, снова гонимыя, стали подымать голову въ респейниковомъ вѣнциѣ и дѣлать дальніе намеки о парламентской трибунѣ, о свободномъ книгопечатаніи.

Зачѣмъ было выгонять Людовика Филиппа, онъ отлично уравнивалъ своимъ безмѣномъ свободу и рабство, революцію и консерватизмъ. Я не говорю, чтобъ формы іюльской монархіи были особенно хороши, но онѣ были лучшія формы, до которыхъ Франція доросла. Людовикъ Филиппъ служилъ фонтанелью, оттягивающей въ себя четверную ненависть легитимистовъ, бонапартистовъ, республиканцевъ и социалистовъ. Какъ только мартингаль королевской власти былъ святъ, партія вѣщились другъ другу въ волосы.

Ну, къ какому же самоуправленію, къ какой же подачѣ всеобщихъ голосовъ была готова Франція? Она была готова къ дееспотизму, онъ и явился подъ фирмой Бонапарта.

Но какъ бы то ни было, одна изъ главныхъ побѣдъ—*побѣда надъ социализмомъ*, была сдѣлана, объ немъ перестали говорить.

«Не далѣе!» сказалъ западный умъ и остановился, такъ, какъ нѣкогда онъ уже останавливался по приказу Лютера и Кальвина. Можетъ, предѣлъ былъ практически необходимъ, но онъ необыкновенно кастрировалъ вольный полетъ мысли, сунуль.

взглядъ и лишилъ способности понимать все, выходящее изъ предѣловъ стараго порядка вещей. Одинъ страхъ попасть въ социальныя идеи самъ по себѣ заставляетъ теперь осматриваться, сжиматься, оговариваться и это тѣмъ труднѣе, что социальныя идеи, какъ неминуемый силлогизмъ либеральныхъ посылокъ, стоятъ на каждомъ логическомъ шагу впередъ.

Середь этого застоя, вызваннаго противудѣйствіемъ естественному развитію, середь конфузіи, происходящей отъ постоянно поднимающихся выше и выше волнъ неотразимой реакціи, вдругъ представляется русскій вопросъ *объ освобожденіи крестьянъ съ землею, объ общинномъ владѣніи*. Страна, которую знали за кнутъ и взятки, за ея штыки, направленные противъ всякаго прогресса, за ея сѣкущее дворянство и мужиковъ, продаваемыхъ чуть не на вѣсъ,—эта страна является съ какимъ-то вопросомъ, сильно пахнущимъ социализмомъ.—Что за вздоръ!

— Явное дѣло, что все это нелѣпость! — говорятъ западные западники ¹⁾).

— Явное! — отвѣчаютъ имъ восточные.

... Что касается до старой цивилизаціи, которая возвела свой бытъ въ науку, обобщила его въ законъ и все на свѣтѣ разрѣшаетъ по аналогіи съ собой, мы очень хорошо понимаемъ не только ея непонятливость, но и ея озлобленіе... Два полюса всѣхъ ея ненавистей, два пугала, употребляемыя то властью, то народами, чтобъ стращать другъ друга—*Россия и социализмъ* являются въ одномъ вопросѣ.

Не раздѣляя этой ограниченности, мы можемъ себѣ объяснить ее; но возвращаясь, какъ французы говорятъ, *à nos moutons*, мы совершенно перестаемъ понимать непониманіе русскихъ нѣмцевъ.

У насъ что засорило умъ?.. Какое великое воспоминаніе отклонило его?.. Этотъ почтенный вѣковой мохъ, эта сѣдая плѣсень на нашихъ мысляхъ, что-то подозрительно и сильно сбивается на сженную хлопчатую бумагу, которой для новичковъ обертываютъ бутылку молодого вина... Мы *прикидываемся* тѣмъ, чѣмъ европейцы стали на старости лѣтъ и—страстные актеры—оканчиваемъ добросовѣстно, но карикатурно сживаясь съ маской.

¹⁾ Изъ европейцевъ стараго толка Гакстаузенъ понять русскую сельскую общину. Но самъ Гакстаузенъ находится въ какомъ-то исключительномъ положеніи, въ семейной ссорѣ съ современностью. Иезуитъ и патриархальный Freiherr, онъ изъ рыцарскихъ видовъ ненавидитъ бюрократію и централизацию, за то изъ католическихъ—монархистъ. Онъ плѣнился въ славянской общинѣ возможностью self-government, допускающаго деспотизмъ.

На берегахъ Средиземнаго моря есть раковины, въ которыхъ живутъ крабцы; это вещь очень смѣшная: креветка маленькая, находя пустую раковину, помѣщается въ ней; комнатка, отдѣланная перламутромъ, ей нравится, она растеть себѣ въ ней, выпуская клещи и ноги, и растеть до того, что выльзти не можетъ, и тогда креветка таскаетъ на себѣ всю раковину, едва передвигая ноги... Наши русскіе западники ужасно похожи на этихъ креветокъ въ маскарадномъ платьѣ, они даже, какъ раки вообще, пятятся назадъ, думая идти впередъ!

(1859 г., № 56).

Отрывокъ четвертый.

(Продолженіе).

III.

Быть европейскій—последнее слово тысячелѣтней исторической жизни, это ея результатъ, ея предѣлъ, до *этого* она выработалась. Россія, напротивъ, еще складывается и ищетъ своего устройства; у насъ все, кромѣ сельскаго быта, носить характеръ внѣшней необходимости, временной мѣры, чего-то переходнаго—стропиль, лѣсовъ, карантина.

Это различіе возрастовъ и положеній поражаетъ русскаго, переѣзжающаго западную границу. Мы видимъ на каждомъ шагу слѣды старой, глубоко вкоренившейся цивилизаціи,—личность независимѣе, образованіе шире, потребности развитѣе, намъ становится завидно и стыдно, вспоминая страну помѣщичьихъ и полицейскихъ розогъ, наглаго произвола и безответнаго молчанія.

Многіе изъ русскихъ, и между прочимъ Чаадаевъ въ своемъ знаменитомъ письмѣ, сѣтуютъ на отсутствіе у насъ того элементарнаго гражданскаго катехизиса, той политической и юридической азбуки, которую мы находимъ съ разными измѣненіями у всѣхъ западныхъ народовъ. Это правда, и если смотрѣть только на настоящее, то вредъ отъ этихъ неустоявшихся понятій объ отношеніяхъ, обязанностяхъ и правахъ дѣлаетъ изъ Россіи то печальное царство беззаконія, которое ставитъ ее во многихъ отношеніяхъ ниже восточныхъ государствъ.

Въ самомъ дѣлѣ, идея права у насъ вовсе не существуетъ или очень смутно, она смѣшивается съ признаніемъ силы или совершившагося факта. Законъ не имѣетъ для насъ другого смысла, кромѣ запрета, сдѣланнаго властью имущимъ, мы не его

уважаемъ, а кварталнаго боимся... Нѣтъ у насъ тѣхъ завер-
шенныхъ понятій, тѣхъ гражданскихъ истинъ, которыми, какъ
считомъ, западный мѣръ защищался отъ феодальной власти, отъ
королевской, а теперь защищается отъ социальныхъ идей; или
онѣ до того у насъ спутаны, искажены, обезображены, что са-
мый яростный западный консерваторъ отъ нихъ шарахнется
назадъ. Что въ самомъ дѣлѣ можетъ сказать въ пользу непри-
косновенной собственности своей русскій *помѣщикъ-людостыкъ*,
смѣшивающій въ своемъ понятіи собственности—огородъ, бабу,
сапоги, старосту?

Все это такъ. Но тутъ-то мы сейчасъ и разойдемся. Петров-
ская метода избаловала насъ своей необычайной легкостью.
Нѣтъ гражданского катехизиса, — взять нѣмецкій, переложить
на наши нравы, какъ перекладываютъ французскіе водевили,
переплести въ юфть, вотъ и будетъ катехизисъ. Такъ думаютъ
девятъ десятыхъ изъ нашихъ просвѣтителей *in spe*. Такъ посту-
пали англичане съ индѣйцами; находя у нихъ какіе-то не-
развившіеся зачатки партіархально-общиннаго управленія, они
его замѣнили англійскимъ. Которое изъ двухъ законодательствъ—
индѣйскаго или англійскаго—выше, кажется нельзя спрашивать.
Посмотрите, что въ приложеніи къ индѣйскимъ земледѣльцамъ
сдѣлало это повышеніе къ юридическомъ чинѣ. Оно кретинизи-
ровало народъ, мѣстами убило его, мѣстами развило ту нена-
висть къ Англіи, которую мы видѣли годъ тому назадъ.

Князь Козловскій, встрѣтивъ на пароходѣ маркиза Кюстина,
замѣтилъ ему, что въ нашемъ обществѣ большой пробѣлъ отъ
недостатка рыцарскихъ понятій, съ которыми связано уваженіе
къ себѣ и признаніе личнаго достоинства въ другихъ. Князь
Козловскій совершенно правъ... Только подумайте, что было-бы
au jour d'aujourd'hui, если-бъ у насъ вмѣсто выслужившихся
писарей и вахмистровъ, вмѣсто разныхъ Собакевичей и Ноздро-
выхъ, была бы, на примѣръ, аристократія въ родѣ польской?
Для дворянъ это было бы лучше,—нѣтъ сомнѣнія; они были бы
свободнѣе, они шире бы двигались, противъ этого спорить
нельзя. Но какъ бы пошелъ вопросъ объ освобожденіи кресты-
янъ съ землею?... А потому врядъ не лучше ли, что наши там-
бовскіе Роганы и калужскіе Ноайльи не прошли рыцарскимъ за-
баломъ, а одѣлись только въ рыцарскіе доспѣхи... въ родѣ ди-
кихъ на Маркизскихъ островахъ, приходившихъ къ Дюмонъ
Дюрвиллю на корабль въ европейскихъ мундирахъ съ эполетами,
но безъ штановъ.

То же самое придется сказать объ отсутствіи уваженія къ за-
конности съ обѣихъ сторонъ, со стороны народа и со стороны
правительства.

На первый взгляд совершенно ясно, что уваженіе къ закону и его формамъ ограничило бы произволь, остановило бы всеобщій грабежъ, утерло-бы много слезъ и тысячи вздохнули бы свободнѣе... Но представьте себѣ *то великое и то тупое уваженіе*, которое англичане имѣютъ къ своей законности, обращенное на нашъ сводъ. Представьте, что чиновники не берутъ больше взятокъ и исполняютъ буквально законы, представьте, что народъ *вспрять*, что это *въ самомъ дѣлѣ* законы,—изъ Россіи надо было бы бѣжать безъ оглядки.

Стало быть, серьезный вопросъ не въ томъ, которое состояніе лучше и выше — европейское, сложившееся, уравновѣшенное, правильное, или наше хаотическое, гдѣ только однѣ рамы какъ-то сколочены, а содержаніе вяло бродитъ или дремлетъ въ какомъ-то допотопномъ растворѣ, въ которомъ едва сдѣлано различіе свѣта и тьмы, добра и зла. Тутъ не можетъ быть двухъ рѣшеній.

Остановиться на этомъ хаосѣ мы не можемъ,—это тоже ясно; но для того, чтобы *сознательно* выйти изъ него, намъ предстоитъ другой вопросъ для разрѣшенія: есть-ли путь европейскаго развитія единый возможный, необходимый, такъ что каждому народу, гдѣ-бы онъ ни жилъ, какіе бы антецеденты ни имѣлъ, должно пройти имъ, какъ младенцу прорѣзываніемъ зубовъ, сростаніемъ черепныхъ костей и пр.? Или оно само частный случай развитія, имѣющій въ себѣ общечеловѣческую канву, которая сложилась и образовалась подъ вліяніями частными, индивидуальными, вслѣдствіе извѣстныхъ событій, при извѣстныхъ элементахъ, при извѣстныхъ помѣхахъ и отклоненіяхъ. И въ такомъ случаѣ не странно-ли намъ повторять теперь всю длинную метаморфозу западной исторіи, *зная впередъ le secret de la comédie*, т. е., что со всѣмъ этимъ развитіемъ рано или поздно насъ также причалитъ къ той межѣ, передъ которой вся Европа свернула паруса и, испугавшись, гребетъ назадъ...

Я могу понять русскихъ помѣщиковъ тридцатыхъ годовъ, возвращавшихся изъ чужихъ краевъ, корча буржуа и фабрикантовъ, съ умиленіемъ смотрѣвшихъ на французскій либерализмъ; я еще больше пониманію поклоненіе Германіи русскихъ ученыхъ, которые изъ Берлина привозили намъ въ сороковыхъ годахъ живое слово науки и тайкомъ передавали его намъ. Это было время Людовика Филиппа, конституціонной свободы, свободы мысли и преподаванія. Это было при Николаѣ, Западъ становился намъ дорогъ, какъ запрещенный плодъ, какъ средство оппозиціи... То ли время теперь?

Мы столѣтіемъ отдѣлены отъ него.

И мы, и Европа совсѣмъ не тѣ, и мы, и Европа стоимъ у какого-то предѣла, и мы, и она коснулись черты, которой оканчивается томъ исторіи.

Тогда западные люди не знали еще своей границы, они свой бытъ высокомѣрно принимали за идеалъ всѣхъ народовъ, они соглашались, что въ немъ надобно кое-что почистить, но въ фондѣ никто не сомнѣвался. Гегель видѣлъ въ монархіи на манеръ Прусской, съ ея потсдамской религіей, *абсолютную политическую и религиозную форму* государства. А если съ нимъ не были согласны Барбесъ и Годафруа Кавеньякъ, то это потому, что они навѣрное знали, что абсолютная форма государственная—это французская республика на манеръ 1793 года, avec un pouvoir fort!

Тогда, униженные, забытые, и мы вѣрили въ западный бытъ, и мы тянулись къ нему.

Теперь—Западъ пошатнулся, мы вышли изъ оцѣпенѣнія; мы рвемся куда-то, онъ стремится удержаться на мѣстѣ. Черта, до которой мы дошли, значитъ, что мы кончили ученическое подражаніе, что намъ слѣдуетъ выходить изъ Петровской школы, становиться на свои ноги и не твердить больше чужихъ задовъ. Въ идеѣ, въ меньшинствѣ мыслящихъ людей, въ литературѣ, въ казетахъ,—мы прожили западную исторію, и будто теперь намъ надобно ее повторять оптомъ.

Европа перешла отъ скверныхъ проселковъ къ хорошимъ шоссе, а отъ нихъ къ желѣзнымъ дорогамъ. У насъ и теперь прескверные пути сообщенія,—что же намъ сперва дѣлать шоссе, а потомъ желѣзныя дороги? Эта педагогія напоминаетъ мнѣ Гейне, онъ находитъ очень хорошимъ, что въ нѣмецкихъ школахъ преподаютъ Римскую исторію такъ, какъ ее преподавали до Нибура. Иначе, замѣчаетъ онъ, трудно было бы молодому поколѣнію оцѣнить всю заслугу великаго историка, доказавшаго, что все то, что ихъ заставляли учить,—сущій вздоръ.

IV.

Наши отношенія къ Западу до сихъ поръ были очень похожи на отношенія деревенскаго мальчика къ городской ярмаркѣ. Глаза мальчика разбѣгаются, онъ всѣмъ удивленъ, всему завидуетъ, всего хочетъ отъ сбитня и пряничной лошадки съ золотымъ пятномъ на гривѣ, до отвратительнаго нѣмецкаго картуза и подлой гармоники, замѣнившей балалайку. И что за веселье, что за толпа, что за пестрота,—качели вертятся, разносчики кричатъ, паяцы кричатъ, а выставокъ-то винныхъ, кабаковъ... и мальчикъ почти съ ненавистью вспоминаетъ бѣдныя избушки своей деревни, тишину ея луговъ и скуку темнаго, шумящаго бора.

Вслушиваясь въ толки нашихъ «ученыхъ друзей», мнѣ часто приходило въ голову это сравненіе. Одинъ тоскуетъ, отчего у насъ не развилась такая муниципальная жизнь, какъ въ Европѣ, отчего у насъ нѣтъ средневѣковыхъ городовъ, съ узкими улицами, по которымъ ѣздить нельзя, съ уродливыми домами, въ которыхъ жить скверно, съ переулками, копотью и памятниками XIII, XIV столѣтія... Другой не можетъ утѣшиться, что у насъ нѣтъ средняго состоянія въ западномъ смыслѣ,—той настойчивой, трудолюбивой буржуазіи, которая такъ упорно боролась съ рыцарями и королями, такъ ловко защищала свои права, и пр.

Мы не имѣемъ ничего въ защиту нашихъ уѣздныхъ сель, называемыхъ городами, и сами жалѣемъ, что Николай Павловичъ, который все могъ, не велѣлъ въ нихъ построить древнихъ памятниковъ и узкихъ улицъ. Мы также ничего не имѣемъ въ защиту нашихъ мѣщанъ, отданныхъ въ крѣпость квартальнымъ, и нашихъ купцовъ, пожалованныхъ губернаторамъ. Тѣмъ не меньше остановимся на этомъ примѣрѣ. Неужели «ученые друзья» наши, восхищаясь средневѣковыми зданіями, не замѣчаютъ, что односторонне развитая муниципальная жизнь Европы сдѣлала страшный разрывъ между сельскими и городскими жителями, и что этотъ антагонизмъ двухъ населеній составляетъ теперь вмѣстѣ съ постояннымъ войскомъ и настойчивой, трудолюбивой буржуазіей—твердѣйшій оплотъ реакціи? Между селомъ и городомъ—вѣка: иныя понятія, другая религія, другіе нравы, часто другой языкъ. Сельскія народонаселенія Запада намъ кажутся его резервомъ, народомъ *будущей* Европы, *по ту сторону* городской цивилизаціи и городской черни, по ту сторону правительствующей буржуазіи и по ту сторону утягивающихъ всѣ силы страны столицъ.

Бѣдныя массы городовъ, безотраднѣйшія жертвы разработки лучшей жизни для другихъ, врядъ имѣютъ ли будущность: онѣ изнурены, онѣ нервны, въ ихъ жилахъ большая кровь, унаслѣдованная отъ поколѣній, выросшихъ и умершихъ въ нуждѣ, духотѣ, сырости; у нихъ развивается иногда звѣриная хитрость, но не умъ, міръ ихъ узокъ, не идетъ далѣе прибыли нѣсколькихъ копеекъ; они идутъ въ лаццарони. Люди полей смѣняютъ ихъ. Въ этомъ отсталомъ, но крѣпкомъ мышцами кражѣ осталась бездна родоначальныхъ силъ; оно въ своей бѣдности и ограниченности не такъ истощало, не такъ обносилось, не такъ покрывалось пылью, какъ городской пролетаріатъ и мелкое мѣщанство; оно работало на чистомъ воздухѣ, на солнцѣ и дождѣ. Гордая цивилизація пронеслась мимо деревень, не раскрывая токовъ своихъ; но минуя сельскаго жителя, она спасла его отъ пошлаго полуобразованія и оставила при своей самобытной и про-

стой поэзии въ жизни и одеждѣ, въ рѣчи и пляскѣ, въ то время какъ бѣдный горожанинъ утратилъ все, вытягиваясь для карикатурнаго подражанія аристократамъ.

Житель полей былъ всѣмъ обойденъ: не для него строились театры и академіи, не для него писались книги на языкѣ, почти незнакомомъ ему, не для него издавались журналы, — ему была оставлена поэзія церкви, и, вмѣсто училища, каѳедры, литературы, онъ былъ покинутымъ на попа-невѣжду. И, дѣйствительно, сельское населеніе словно замерло на тяжелой работѣ, около убогихъ очаговъ своихъ. Оно не брало страстнаго участія въ политическихъ партіяхъ, раздиравшихъ города: оно платило подать, давало солдатъ и вовсе не понимало вопросовъ, которые *никогда* казались такъ просты и въ которыхъ теперь всѣ перестаютъ что-нибудь понимать.

Той необходимости, которая вызвала города и обусловила ихъ необходимость, больше нѣтъ; ту пользу, которую они могли принести, они принесли. Гдѣ теперь та трудность сообщеній, которая заставляла людей не разъѣзжаться, найдя выгодное мѣсто, гдѣ опасность феодальныхъ набѣговъ, противъ которыхъ люди лѣпились какъ можно тѣснѣе, окружали свои дома оградами, строили заставы и крѣпости? Обстоятельства измѣнились, послѣдній врагъ—пространство—побѣждено. Города продолжаютъ расти на томъ основаніи, на которомъ все живое растетъ, но все живое имѣетъ свой предѣлъ, за которымъ смерть или страданіе.

Мы живемъ въ *городѣ городовъ*—въ Лондонѣ. Неужели вы думаете, что такая нелѣпость имѣетъ какую-нибудь будущность?

Одна волна населенія за другой прибывалась къ этимъ докамъ вселенной и осѣдала, какъ саранча на падающія крупяны... И вотъ скипѣлась трехмилліонная толпа, заражающая воздухъ, заражающая воду, тѣснящаяся, мѣшающая другъ другу и сросшаяся въ какіе-то плотные колтуны своими самыми больными частями... Взгляните на темные, сырые переулки, на населеніе, вросшее на сажень въ землю, отнимающее другъ у друга свѣтъ и землю, кусокъ хлѣба и грязное логовище; посмотрите на эту рѣку, текущую гноемъ и заразой, на эту шапку дыма и вони, покрывающую не только городъ, но и его окрестности... и вы думаете, что это останется, что это необходимыя условія цивилизаціи?

Сначала эта безконечность улицъ, эта огромность движенія, эти пять тысячъ омнибусовъ, снующихъ взадъ и впередъ, эта давка, этотъ оглушающій шумъ поражаетъ насъ удивленіемъ, и мы, краснѣя, признаемся, что въ Москвѣ съ небольшимъ триста тысячъ жителей... Но нельзя же остановиться на точкѣ зрѣнія нашего мальчика на ярмаркѣ. Простой человѣческой инстинктъ шепчетъ вамъ: «Тутъ быть бѣдѣ!»

Богатый Лондонъ, какъ будто чуя это, расплзается, выходитъ самъ изъ себя по всѣмъ подгороднымъ окрестностямъ, и, замѣтите, онъ не продолжаетъ пристраиваться, какъ дѣлалъ двадцать лѣтъ тому назадъ, а кладетъ между собой и этимъ гнилымъ моремъ двѣ нитки желѣзной дороги.

Ну, а бѣдный Лондонъ, что сдѣлаетъ? Что сдѣлаетъ это выгорѣлое топливо цивилизаціи, этотъ слой мокриць, кишачихъ въ Бетналь-Гринѣ и въ Вайтъ-Чапелѣ, въ ирландскихъ кварталахъ и въ Ламбетѣ? Энергію искать другой судьбы—они давно потеряли; силы пробовать новое счастье—утрачены; они *пошли назадъ*, запуганные не людьми, а гнетущимъ рокомъ, безжалостнымъ и нелицеприятнымъ; они не вѣрятъ въ себя, не вѣрятъ въ лучшую судьбу; у нихъ явилось, если не христіанское смиреніе, то смиреніе и покорность отчаянія, иногда только нарушаемое такимъ дикимъ взрывомъ страстей, такимъ страшнымъ преступленіемъ, что волосъ дыбомъ становится... Куда же они дѣнутся,—развѣ Темза поможетъ смести ихъ холерой и тифомъ...

Я останавливаюсь на этомъ, моя цѣль не изслѣдовать, что будетъ съ Лондономъ, мнѣ хотѣлось только насторожить нашихъ правовѣрныхъ западниковъ и заставить ихъ остановиться передъ вопросомъ.

— Стало быть, въ Россіи все очень хорошо и лучше, чѣмъ въ Европѣ?

— Нѣтъ, не стало.

Неужели вы въ самомъ дѣлѣ не видите, въ чемъ дѣло? Историческія формы западной жизни—въ одно и то же время будучи *несравненно выше* политическаго устройства Россіи, не соответствуютъ больше современной нуждѣ, современному пониманью. Это пониманье развилось на Западѣ, но съ той минуты, какъ оно было сознано и высказано, оно сдѣлалось общечеловѣческимъ достояніемъ всѣхъ понимающихъ. Западъ носить въ себѣ зародышъ, но желаетъ продолжать свою прежнюю жизнь и дѣлаетъ все, чтобъ произвести абортивъ. Кто изъ нихъ останется живъ,—мать ли, ребенокъ ли, или какъ они примирятся, этого мы не знаемъ. Но что мать представляетъ больше воспоминаній, а зародышъ больше надеждъ, въ этомъ нѣтъ сомнѣнія.

Въ виду этой борьбы возникаетъ страна, имѣющая только маску, и то прескверную, западной гражданской жизни, только ея фасадъ и народный бытъ неразвитый, полудикій, но нисколько не похожій на народный бытъ европейскихъ народовъ. Онъ въ своей маскѣ такъ же мало можетъ идти, какъ Европа въ своей кожѣ. Что же ему дѣлать? Слѣдуетъ ли ему пройти всѣми фазами западной жизни для того, чтобы дойти въ потѣ лица, съ подгибающимися колѣнами, черезъ рѣчки крови — до того же выхода,

до той же идеи будущаго устройства и невозможности современныхъ формъ, до которыхъ дошла Европа? И притомъ зная впередъ, что все это не въ *самомъ дѣлѣ*, а только для какого-то искусства. Да развѣ вы не видите, что это безумно? Довольно, что мы постоянно играемъ въ маневры и представляемъ мирную войну, зачѣмъ же еще представлять прошлую исторію цивилизаціи?

А потому существенный вопросъ въ томъ, — *какъ* относится нашъ народный бытъ не къ обмирающимъ формамъ Европы, а къ тому новому идеалу ея будущности, передъ которымъ она поблѣднѣла, какъ передъ головой Медузы!

(1859 г., № 57 и 58).

Отрывокъ пятый.

(Окончаніе).

V.

Въ исторіи бываютъ чудеса мудренѣе всѣхъ сказочныхъ чудесъ, въ ней иногда спятъ крѣпче двѣнадцати спящихъ дѣвъ, въ ней точно такъ-же есть живая и мертвая вода, вода чрезвычайной памяти и удивительнаго забвенія.

Не чудо ли въ самомъ дѣлѣ, что въ продолженіи полутора вѣковъ мы не имѣли никакого понятія о русскомъ народѣ. Все время, пока насъ вытягивали въ колоссальную имперію, пока намъ прививали цивилизацію и мы съ успѣхомъ учились тому и другому, у насъ не было никакого сознанія о нашемъ народѣ; были люди, знавшіе русскую исторію, но современнаго народа не знали ни одинъ человѣкъ.

Возлѣ, около, со всѣхъ сторонъ, на необозримомъ пространствѣ жило населеніе, считаемое десятками милліоновъ, единоплеменное съ нами, говорящее съ нами однимъ языкомъ, находившееся въ непрерывномъ и самомъ тѣсномъ сношеніи съ нами, уже по тому самому, что оно намъ было отдано на кормленіе,—и мы объ немъ не больше знали, какъ въ Англіи знаютъ объ индѣйцахъ, т. е., что его легко обирать.

Употребляя его въ снѣдь, тучнѣя отъ него, мы такъ же мало думали о немъ, какъ о гречневой кашѣ или буженинѣ — питательно и хорошо. Народъ, съ своей стороны, не напоминалъ о себѣ, а только кланялся въ поясъ при всякомъ заѣденномъ поколѣніи помѣщиками и чиновниками, приговаривая: «Дай Богъ на здоровье, мы на то ваши дѣти, вы на то наши отцы, чтобъ насъ кушать».

Ну, въ какой же сказкѣ, въ какомъ Бовѣ-королевичѣ, въ какомъ Ерусланѣ Лазаревичѣ вы найдете что-нибудь удивительнѣе?

Между тѣмъ западное образованіе прививалось не даромъ; мы въ немъ дочитались до того, что ни антропофагія, ни раболѣпіе не составляютъ высокихъ качествъ человѣка, что человѣкъ, который сѣчетъ и насильничаетъ, очень легко получаетъ самыя пинки; и мало-по-малу началось у насъ складываться *либеральное мнѣніе*, сначала въ небольшомъ кругѣ образованныхъ.

Какъ только у насъ явилась мысль объ обузданіи произвола, рядомъ съ нею явилась, какъ дополненіе, мысль объ освобожденіи народа. Но долгій разрывъ высказался тутъ всего яснѣе тѣмъ, что развитое меньшинство, имѣя благородныя, общечеловѣческія стремленія, не знало быта народнаго и, слѣдственно, его истинныхъ потребностей.

Надо правду сказать, что либерализмъ нигдѣ не отличался глубокимъ знаніемъ народа, особенно сельскаго. Либерализмъ вообще явленіе переходное, развившееся въ городской цивилизации, необходимая расчистка мѣста между старой и новой постройкой. Онъ всегда довольствовался отвлеченнымъ понятіемъ о народѣ, риторическимъ образомъ его, въ которомъ были совмѣщены—простота геснеровыхъ патріарховъ, нравы дезульеровскихъ пастушекъ и свирѣпые добродѣтели римскаго плебея допуническихъ временъ.

У насъ разстояніе между народомъ и либеральнымъ дворянствомъ казалось тѣмъ страшнѣе, что между ними ничего не было, какая-то безконечная пустота, въ которой едва замѣтно плетутся купцы, плетутся мѣщане, фельдъ-егери скачутъ взадъ и впередъ, помѣщики мелькаютъ, чиновники мчатся на слѣдствія,—нисколько не сближая двухъ Россій, остающихся двумя враждебными станами.

И при всемъ томъ разрывъ этотъ въ нашей жизни вовсе не былъ слѣдствіемъ всей исторической жизни, какъ распаденіе горожанъ съ крестьянами, престолюдиновъ съ феодалами въ Европѣ. Разрывъ былъ сдѣланъ у насъ по указу, насильственно, съ педагогической цѣлью, и былъ до того сначала чуждъ, ненатураленъ, что въ предупрежденіе новаго сближенія—правительство выдумало ставить тавро на лица, своего рода обрѣзаніе, и стало мѣтить своихъ бритвой и ножницами, чтобъ они не мѣшались съ прочими. Однажды разрѣзанныя части цѣлаго, намѣренно поставленныя во враждебное положеніе, по свойственной тѣламъ упругости, удалились другъ отъ друга съ какимъ-то отвращеніемъ. «Мужикъ!» говорила съ высокомѣріемъ обрита и одѣтая въ ливрею Русь объ народѣ. «Нѣмцы!» бормоталъ себѣ въ бороду съ затаенной злобой народъ, глядя на дворянъ.

Такъ и устроились мы. Съ одной стороны, народъ въ угрюмомъ а parte, задавленный работой, полиціей, помѣщиками, живущій никому неизвѣстной жизнью расколовъ и не имѣющій ничего общаго съ просвѣщающимъ правительствомъ; съ другой стороны, дворянство нераздѣльное съ правительствомъ, и потому само представляющее правительство. Русское повѣріе, что дворянинъ долженъ служить, иначе онъ теряетъ свое званіе, самое слово «недоросль» доказываетъ, что у насъ дворянство принято народомъ за коронную службу.

Съ развитіемъ просвѣщенія возникаетъ удивительное зрѣлище. Правительственная Россія дѣлится сама въ себѣ на правительство и оппозицію; такъ что одни чиновники представляютъ протестъ, либеральное начало, другіе консерватизмъ, начало авторитета,—и оба остаются на службѣ, получая чины и отличія. Это одна изъ причинъ, отчего не только русскій народъ ничего не понимаетъ во всемъ этомъ, но и всѣ европейскіе.

«У насъ все дѣлается наизнанку, сказалъ умирающій Ростовчинъ, услышавъ вѣсть о 14 декабря,—въ 1789 году французская готиче хотѣла стать въ ровень съ дворянствомъ и боролась изъ за этого, это я понимаю. А у насъ дворяне вышли на площадь, чтобы потерять свои привилегіи,—тутъ смысла нѣтъ».

Федоръ Васильевичъ былъ умный человекъ, умѣвшій не хуже фанъ-Амбурга обходиться съ Павломъ, не обжигаясь, и съездъ во-время Москву, но и онъ не понялъ этого страннаго явленія съ своей философіей XVIII столѣтія. Можетъ, въ раздвоеніи дворянскаго стана въ противность собственной выгодѣ лежитъ лучшее доказательство, что порча его не глубока, и единственный путь искупленія.

Не имѣя за собой балласта народнаго населенія, разорвавшееся съ нимъ образованное меньшинство понеслось, какъ порожняя телѣга, быстро догоняя западное движеніе, подпрыгивая на тѣхъ кочкахъ, на которыхъ предшественники ломали себѣ шею.

Но сравниваясь съ Европой, мы оставались въ петровскомъ отношеніи къ народу, т. е., смотрѣли на него какъ на грубую массу, которую намъ надобно очеловѣчить. Нѣмецкаго презрѣнія Бирона съ компаніей у меньшинства, разумѣется, не было, оно замѣнилось чувствомъ болѣе мягкимъ сострадательнаго покровительства къ неразумнымъ дѣтямъ.

На этомъ насъ застаютъ два событія. Паденіе Европы передъ социальнымъ вопросомъ. Соціальный вопросъ, поставленный Александромъ II, какъ призывъ Россіи къ жизни.

Западные публицисты съ тѣмъ несокрушимымъ упрямствомъ, которое имъ даетъ ненависть къ Россіи и невѣжество, смѣются, когда мы говоримъ о великомъ историческомъ значеніи нашего

освобожденія крестьянъ съ землею. А намъ кажется вопросъ этотъ до того важнымъ, что одно, постановленіе его ставитъ насъ совѣмъ на другую ногу съ Европой и даетъ Александру II мѣсто въ числѣ величайшихъ государственныхъ дѣятелей нашего времени.

Передъ *соціальнымъ* вопросомъ начинается наше равенство съ Европой, или, лучше, это дѣйствительная точка пересѣченія двухъ путей; встрѣтившись, каждый пойдетъ своей дорогой.

Западный міръ, дойдя до своего предѣла, самъ указалъ, что ему мѣшаетъ, и отрицательно опредѣлилъ свое искомое. Случайное распредѣленіе силъ; богатствъ, орудій работы, оставленное ему въ наслѣдство, окаменѣло давностью и, укрѣпленное всѣми новыми средствами, ставитъ стѣну, которую до сихъ поръ нельзя взять никакимъ приступомъ. Трудъ съ одной стороны, капиталъ съ другой, работа съ одной стороны, машина съ другой... Сколько социализмъ ни ходитъ около своего вопроса, у него нѣтъ другаго разрѣшенія, кромѣ лома и ружья. *Vivre en travaillant ou mourir en combattant*—кричатъ работники. *Qui a du plomb a du pain*—отвѣчаетъ имъ Бланки.

Мирное рѣшеніе у нихъ было одно, но зато оно не было рѣшеніе. Соціальное меньшинство требовало у законодательнаго собранія *признаніе права на работу*. Подъ нимъ крылось министерство работъ, т. е., разрѣшеніе правительствомъ борьбы между капиталомъ и работой, доходомъ и трудомъ, завѣдываніе государствомъ всѣми производительными силами, иначе—промышленный деспотизмъ, прибавленный ко всѣмъ остальнымъ.

Сверхъ всего, такое рѣшеніе могло только водвориться на полномъ устраненіи стараго порядка вещей, на полномъ отреченіи его отъ всѣхъ правъ своихъ. Но онъ вовсе непохожъ на качающійся зубъ, который стоитъ тронуть, чтобъ онъ выпалъ, а скорѣе на слоновый клыкъ, почернѣлый, испорченный, но глубоко вросшій въ челюсть.

Единственная органическая попытка и была сдѣлана — работничьими артелями и товариществами. При томъ общественномъ устройствѣ, въ которомъ капиталъ, сверхъ своей силы, гнететъ всюою силой правительства, они не могли выдержать ни конкуренціи, ни полицейскаго преслѣдованія, — стало, и тутъ не было выхода.

Либералы стараго толка, политическіе экономеры стараго исповѣданія рѣшили, не безъ внутренняго удовольствія, что задача невозможная, что надобно все предоставить снова знаменитому *laissez faire* и, улучшая вообще существующія формы, ждуть благотѣльныхъ послѣдствій отъ увеличенія школъ и уменьшенія браковъ, отъ свободы торговли и техническихъ усовершен-

створеній. Пока они этого ждуть, девять десятыхъ континента сломались подъ грубымъ солдатскимъ деспотизмомъ, народы раззорены содержаніемъ арміи, тѣнь политическихъ правъ исчезла и послѣдній остатокъ ихъ Франція употребила на то, чтобы противудѣйствовать Наполеону въ его замыслахъ свободной торговли.

Зато въ Американскихъ Штатахъ осуществилось все, о чемъ либералы мечтали, да, сверхъ того, такое развитіе невольническаго труда, его признанія, его оправданія, о которомъ они и не мечтали. Съ двадцатыхъ годовъ, когда американцы, еще краснѣя, говорили объ этомъ наслѣдственномъ злѣ, когда они проводили на своей картѣ рѣзкую черту, чтобъ отдѣлить себя отъ рабовладѣтелей, до нашего времени, понятія такъ измѣнились въ пользу рабства, что оно теперь возводится въ одно изъ краеугольныхъ основаній союза, въ одно изъ неотъемлемыхъ правъ республики; и сынъ американца Сѣверныхъ Штатовъ, котораго отецъ убилъ бы всякаго осмѣливагося охотиться на его землѣ по чернымъ, спокойно вяжетъ ихъ теперь и отдаетъ хозяевамъ на казнь. Рабство, только терпимое прежде, сдѣлалось закономъ, основой, на которой покоится американская демократія. Въ то время, какъ мы это пишемъ, можетъ быть, палачъ вѣшаетъ героевъ Герперсъ-Ферри.

Итакъ, вотъ къ чему пришелъ весь образованный міръ!...

Представьте же себѣ то удивленіе, которымъ было поражено наше образованное меньшинство, когда оно, обращая съ отчаяніемъ взглядъ свой среди этого кораблекрушенія, въ эту темную ночь, и не находя нигдѣ ни совѣта, ни помощи, ни указанія, ни маяка, увидѣло какой-то тусклый свѣтъ, и этотъ свѣтъ мерцалъ отъ лучины, зажженной въ избѣ русскаго мужика!

...Этотъ дикій, этотъ пьяный въ барашемъ тулупѣ, въ лаптяхъ, ограбленный, безграмотный, этотъ парій, котораго лучшіе изъ насъ хотѣли изъ милосердія оболванить, а худшіе продавали на свозъ и покупали по счету головъ, этотъ нѣмой, который въ сто лѣтъ не вымолвилъ ни слова и теперь молчитъ,—будто онъ можетъ что-нибудь внести въ тотъ великій споръ, въ тотъ нерѣшенный вопросъ, передъ которымъ остановилась Европа, политическая экономія, экстраординарные и ординарные профессора, камералисты и государственные люди??

Въ самомъ дѣлѣ, что можетъ онъ внести, кромѣ продымленнаго запаха черной избы и дегтя?

Вотъ подите тутъ и ищите справедливости въ исторіи: мужикъ нашъ вноситъ не только запахъ дегтя, но еще какое-то допотопное понятіе о *правѣ каждаго работника на даровую землю*. Какъ вамъ нравится это? Положимъ, что еще можно допустить *право на работу, но право на землю?*...

А между тѣмъ оно у насъ гораздо больше, чѣмъ право, оно фактъ; оно больше, чѣмъ признано, оно существуетъ. Крестьянинъ на немъ стоитъ, онъ его мѣритъ десятинами и для него его право на землю естественное послѣдствіе *рожденія и работы*. Оно такъ же несомнѣнно въ народномъ сознаніи, такъ же логически вытекаетъ изъ его понятія родины и необходимости существованія возлѣ отца, какъ право на *воздухъ*, приобретаемое дыханіемъ, вслѣдъ за отдѣленіемъ отъ матери.

Право cadaго на пожизненное обладаніе землею до того вошло въ понятія народа русскаго, что, переживая личную свободу крестьянина, закабаленнаго въ крѣпость, оно выразилось, повидимому, бессмысленной поговоркой: *Мы господскіе, а земля наша*.

Само собою разумѣется, что Русь дворянская, согласно съ западнымъ понятіемъ права собственности, смотрѣла совсѣмъ иначе на вопросъ о крестьянахъ и землѣ. Наболѣе образованные, допуская, что рано или поздно крестьяне, когда они окончатъ ихъ воспитаніе (барщиной и оброкомъ), выйдутъ на волю, были увѣрены, что *земля* останется неприкосновенной собственностью воспитателей. Но Александръ Николаевичъ не того мнѣнія, онъ не любитъ слишкомъ дорого платить за воспитаніе, онъ и Зиновьева отблагодарилъ табакеркой во время совершеннолѣтія наследника,—а тутъ дай полъ-Россіи.

Счастіе, что мужикъ остался при своей нелѣпой поговоркѣ. Она перешла въ правительственную программу, или, лучше сказать, въ программу одного человѣка въ правительствѣ, искренно желающаго освобожденія крестьянъ, т. е., государя. Это обстоятельство дало, такъ сказать, законную скрѣпу, государственную санкцію народному понятію.

И это не все. Сверхъ признанія права cadaго на землю, въ народномъ бытѣ нашемъ есть другое начало, необходимо пополняющее первое, безъ котораго оно никогда не имѣло бы своего полнаго развитія. Это начало состоитъ въ томъ, что земля, на пользованіе которой каждый имѣетъ право, съ тѣмъ вмѣстѣ не принадлежитъ никому лично и потомственно.

Далѣе, *право на землю и общинное владѣніе* ею предполагаютъ сильное *мірское устройство*, какъ родоначальную базу государственнаго зданія, долженствующаго развиваться на этихъ началахъ. Мірское управленіе уцѣлѣло подъ гнетомъ иностраннаго правительства и помѣщичьей власти, такъ, какъ въ Морѣ уцѣлѣли коммунальныя и городскія права подъ владычествомъ Османлисовъ. Этотъ характеръ мірскаго управленія русскихъ деревень поразилъ Гакстгаузена, потомъ разныхъ американскихъ путешественниковъ и въ томъ числѣ извѣстнаго экономиста Кери, который мнѣ самъ говорилъ, возвратясь изъ Россіи въ ны-

нѣшнемъ году, «что въ мірскомъ началѣ нашихъ коммунъ лежить великая основа самоуправленія».

Итакъ, элементы, вносимые русскимъ крестьянскимъ міромъ, элементы стародавніе, но теперь приходящіе къ сознанію и встрѣчающіеся съ западнымъ стремленіемъ экономического переворота, состоятъ изъ трехъ началъ, изъ:

1. *Права каждаго на землю,*
2. *Общиннаго владѣнія ею,*
3. *Мірскаго управленія.*

На этихъ началахъ и *только на нихъ* можетъ развиваться будущая Русь.))

VI.

Не допетровская Русь должна быть воскрешенной, оставимъ ее въ ея иконописномъ склепѣ. Не петербургскій періодъ долженъ продолжаться въ своемъ нѣмецкомъ мундирѣ; онъ не можетъ идти далѣе, не измѣнивъ себѣ, его граница обозначена тѣмъ же заборомъ, передъ которымъ остановилась Европа. Онъ намъ далъ широкое поле, сильное государство, онъ привилъ намъ вѣдущую форму западнаго образованія, какъ прививаютъ оспу, а съ формою перешла само собою и внутренняя мысль его и стремленіе къ личной свободѣ, не выработавшееся въ общинной жизни нашего народа, ни въ служиломъ дворянствѣ нашемъ. Задача новой эпохи, въ которую мы входимъ, состоитъ въ томъ, чтобъ на основаніяхъ науки, сознательно развить элементъ нашего общиннаго самоуправленія до полной свободы лица, минуя тѣ промежуточные формы, которыми по необходимости шло, плутаясь по неизвѣстнымъ путямъ, развитіе Запада. Новая жизнь наша должна такъ заткать въ одну ткань эти два наслѣдства, чтобъ у свободной личности *земля осталась подъ ногами*, чтобы общинникъ былъ совершенно *свободное лицо*.

Лучшаго времени для внутренняго переворота нельзя найти. Въ началѣ нашего вѣка мы были слишкомъ подъ вліяніемъ западно-либеральныхъ идей буржуазнаго гарантизма; ни мы, ни правительство не знали народа. Навѣрное тогда были бы сдѣланы страшныя ошибки, которыхъ не поправили бы вѣка; въ то время какъ теперь, настороженные опытомъ сосѣдей, мы должны иначе смотрѣть на свое и на чужое; самъ Западъ повернулъ угасающій фонарь свой на нашъ народный бытъ и бросилъ лучъ на кладъ, лежавшій подъ ногами нашими. Не доставало счастливой случайности. Пришла и она.

Съ небольшимъ пять лѣтъ тому назадъ, Яковъ Ростовцевъ спрашивалъ въ Петропавловской крѣпости у Петрашевскаго и его друзей, — не было ли у нихъ *преступныхъ* разговоровъ объ

освобожденіи крестьянъ. Теперь царь сталъ во главѣ освобожденія и Іаковъ Ростовцевъ—предсѣдатель въ комитетѣ освобожденія.

Не воспользоваться этимъ временемъ, чтобъ тихо, *безкровно* взойти въ новый возрастъ, или сбиться съ дороги, когда она такъ ясна,—было бы великое несчастье и великое преступленіе. Но что же мѣшаетъ?

Сверхъ невѣжества, окружающаго государя, и чиновничества, основаннаго на плутовствѣ, одинъ врагъ всего опаснѣе.

— Кто?—Войско?

— Нѣтъ. Войско бессмысленно какъ ножъ, въ чьи руки онъ попадаетъ, тотъ имъ и рѣжетъ; войско имѣетъ одинъ постоянный характеръ—оно никогда не разсуждаетъ. Наше войско, я думаю, скорѣе ближе къ народу, чѣмъ другія.

— И такъ, барство?

— У насъ барство не имѣетъ ни нравственныхъ, ни физическихъ силъ. Оно по своему положенію слишкомъ зависимо отъ трона, оно все служилое и выслужившееся, богатства его жалованныя. У насъ нѣтъ торизма, который бы самъ въ себѣ представлялъ и охраняющую партію и реформу, упрямаго лорда Дерби и роднаго сына его лорда Стенли. Большая часть нашихъ аристократовъ люди совершенно недѣловые и неполитическіе, они вносятъ въ общество свое чванство, свои деньги, но никакой идеи. Тѣ же изъ нихъ, которые развились, тѣ оставили за собой многихъ западныхъ аристократовъ, но они не принадлежатъ больше ни къ своей кастѣ и ни къ какой другой, они стали просто людьми. Сверхъ того, *гдѣ* почва гражданской дѣятельности нашего барства—въ англійскомъ клубѣ, въ московскихъ гостиницахъ?... даже домовая церковь князя Сергія Михайловича Голицына закрылась. Наши аристократы не умѣли никогда воспользоваться ни дворянскими собраніями, ни дворянскими выборами. Последнее политическое право, которымъ они пользовались со временъ Петра, *право стѣчь себѣ подобныихъ*, и съ нимъ они, бѣдные, расстаются теперь!

— Но тогда кто же мѣшаетъ ринуться Россіи впередъ?

— Прислушайтесь...

Entendez vous dans les campagnes,
Mugir ces feroces Allemands,
Ils viennent...

Вотъ кого мы боимся, опять-таки *русскихъ немцевъ и немецкихъ русскихъ*; ученыхъ друзей нашихъ, западныхъ доктринеровъ, донашивающихъ старое платье съ плечъ политической экономіи, правовѣденія и пр., централизаторовъ по-французски и бюрократовъ по-прусски. Они дѣльнѣе барства, они честнѣе чиновни-

чества, оттого-то мы и боимся ихъ; они собьютъ съ толку императора, который стоитъ безпомощно, и шаткое, едва складывающееся общественное мнѣніе. Они могутъ ихъ сбить, потому что ихъ воззрѣніе выше общаго уровня нашего образованія и очень доступно среднему пониманію. Ихъ мнѣнія либеральны, они въ пользу разумной свободы и умѣреннаго прогресса, они говорятъ противъ взятокъ, противъ произвола, они хотятъ улучшить *сверное само по себѣ*, и, пожалуй, заставятъ насъ уважать приказныхъ, полицію, земскій судъ, сдѣлавши кварталнаго—Козьмой безребрянникомъ и оберъ-секретаря—неподкупнымъ Робеспьеромъ. Они примирятъ насъ со всѣмъ тѣмъ, что мы презираемъ и ненавидимъ, и, улучшивши, упрочатъ все, что слѣдовало выбросить за окно, что, оставленное въ своей гнусности, само собою выгнило бы, окруженное здоровыми силами народа русскаго.

Къ тому же, завися, какъ католическое духовенство, отъ чужой власти, они должны по стопамъ своихъ учителей питать зубъ противъ всего соціальнаго, а тутъ какъ нарочно на самомъ порогѣ «право на землю, общинное владѣніе». Вотъ почему мы думаемъ, что если они одолѣютъ, они помѣшаютъ взойти тѣмъ всходамъ чисто народнаго устройства, которому стоитъ не мѣшать, чтобъ урожай былъ хорошъ; а улучшенія, которыя они принесутъ намъ, хотя и будутъ улучшенія, но съ ними развѣ можемъ надѣяться, вѣка черезъ полтора, дойти до того состоянія, изъ котораго Пруссія стремится теперь выйти.

Знаемъ мы, что попы и монахи никогда не бываютъ свирѣпѣе, какъ наканунѣ паденія церкви. Иезуиты, эти зуавы св. Петра, и всѣ, жарившіе, вытягивавшіе у гугенотовъ жилы, инквизиторы явились послѣ Лютера и Кальвина. Но тѣмъ не меньше они упрочили и утвердили еще на цѣлые вѣка католическій порядокъ. Трудно своротить русскій народъ съ его родной дороги, онъ упрется, ляжетъ на ней, врасчетъ въ землю и притаится спящимъ, мертвымъ. Петровская эпоха лучшее доказательство; но та же эпоха доказываетъ, какъ надолго можно приостановить его жизнь и какія страданія можно заставить его вынести однимъ матеріальнымъ гнетомъ,—зачѣмъ же подвергать его имъ à propos délibéré.

Петръ I, конвентъ 1793 не несутъ на себѣ той отвѣтственности за всѣ ужасы, сдѣланные ими, которую хотятъ на нихъ опрокинуть ихъ враги. Они оба были увлечены, хотѣли великаго, хотѣли добра, ломали, что имъ мѣшало, и, сверхъ того, вѣрили, что это единственный путь. Но не такая отвѣтственность падеть на наше поколѣніе, искушенное мыслию, когда оно приметъ ломать, исказить народный бытъ, зная впередъ, что за всякимъ насиліемъ такого рода слѣдуетъ ожесточенное противудѣйствіе,

страшные взрывы, страшныя усмиренія, казни, раззореніе, кровь, голодь.

Мы не западные люди, мы не вѣримъ, что народы не могутъ идти впередъ иначе, какъ по колѣна въ крови, мы преклоняемъ съ благоговѣніемъ передъ мучениками, но отъ всего сердца жалаемъ, чтобъ ихъ не было.

Если-бъ только наши доктринеры могли *просто* взглянуть на вопросъ, отрѣшаясь отъ магистрскаго диплома, безъ самолюбія, безъ той самонадѣянной гордости, которую даетъ сознаніе, что они хорошо учились, если бы они, какъ Фаустъ, который тоже хорошо учился и много и назывался не только «магистромъ, но даже докторомъ», умѣли бы останавливаться въ добросовѣстномъ раздумьи и отъ книги снова бы обращались къ непосредственной жизни,—они сейчасъ поняли бы, въ чемъ дѣло.

Отчего у естествоиспытателя нѣтъ ничего завѣтнаго передъ природой, къ ней онъ постоянно обращается съ сыновнимъ повиненіемъ, безъ лукавства, въ ней онъ ищетъ повѣрки, ей онъ жертвуетъ вѣковой теоріей своихъ предшественниковъ и собственной системой, какъ только она требуетъ этого? Неужели смиренное самоотверженіе натуралиста основано единственно на томъ, что у него подъ руками—то камень, то трава, то звѣрь, и потому съ ними не можетъ быть личностей? Природа въ своей фактической безсознательности и безотвѣтственности такъ явно независима отъ человѣка, что онъ съ ней не пикируется; въ то время, какъ міръ людской ему кажется собственнымъ домомъ и его самостоятельную волю онъ принимаетъ за оппозицію и выходитъ изъ себя, особенно когда за него наука вѣковъ, ученая традиція.

Это помѣщицье чувство строптивости особенно развилось у насъ въ петербургскій періодъ, въ эту классическую эпоху насильственныхъ образователей и безпощадныхъ цивилизаторовъ. И тутъ странная смѣсь жалкаго и возмутительнаго. Цивилизаторы очень часто откровенно и благородно стремились къ добру, лелѣяли мысль, напимѣрь, объ освобожденіи крѣпостныхъ крестьянъ, готовы были жертвовать частью достоинства, говорили объ этомъ въ то время, когда это было опасно, изучали западное сельское устройство... И вдругъ, когда освобожденіе очью совершается, у крестьянъ открывается готовый бытъ, который они вовсе не хотятъ мѣнять. Имъ кажется это неблагодарной дерзостью, и натура русскаго нѣмца беретъ верхъ... Та натура, въ которой такъ и вѣтъ сквозь австрійскаго писаря, прусскаго капрала—татарскимъ баскакомъ; которая, щуря безжизненные глаза и блѣднѣя отъ бѣшенства, говоритъ безъ звука: «Да вы, кажется, разсуждаете, знаете ли вы, съ кѣмъ вы говорите?» Или кричить раздавленнымъ голосомъ, какъ псковскій городничій, *молчатъ!*

путешественнику только за то, что онъ въ *крестьянскомъ* армякѣ. Вѣдь, и русскій-то нѣмецъ цивилизаторъ за то и сердится на нашъ крестьянскій бытъ, что онъ въ своемъ мужицкомъ кафтанѣ не слушается его, одѣтаго по-нѣмецки.

Псковскій частный приставъ обиженъ тѣмъ, что человѣкъ, одѣтый по-русски, т. е., состоящій внѣ закона, не подавленъ его величіемъ, властью, которую онъ представляетъ, воротникомъ, который онъ носитъ. Доктринеръ скандализованъ тѣмъ, что его экономическая наука, наука Робертовъ Пилей и Гокиссоновъ не находитъ безпрекословнаго повиновенія, что ее, разработанную столѣтними усиліями, *хотятъ обратить вспять* къ общинному владѣнію, къ коммунизму въ лаптяхъ. «Помилуйте, говоритъ онъ, что вы суетесь съ вашимъ общиннымъ устройствомъ, какъ съ послѣдней новостью, оно было у германовъ временъ Тацита, общинное владѣніе *соотвѣтствуетъ* младенческому возрасту гражданскихъ обществъ и «разсѣвается отъ лица просвѣщенія, какъ тучи разсѣваются отъ лица солнца», уступая *высшимъ* гражданскимъ формамъ. «Народы дикіе любятъ общинное владѣніе, народы образованные—порядокъ» и голодъ, добавимъ мы, видя, какъ девять десятыхъ населенія не наѣдаются досыта, для того, чтобъ собственность развивалась правильно.

«Что же дѣлать, таковъ законъ общественнаго роста, *народы должны* пройти его фазами, каждая имѣетъ свое неудобство но зато и свой прогрессъ. Сначала дикіе люди владѣютъ со-обща, посемейно, родами, потомъ развивается сильнѣе и сильнѣе право личной и наслѣдственной собственности... Конечно, было бы хорошо, если-бъ каждому можно было дать клочекъ земли, но такъ какъ на *право собственности* не всѣ приглашены природой, то...»

Вотъ тутъ-то въ самомъ дѣлѣ намъ становятся пути провидѣнія *неисповѣдимы*; для того, чтобъ нѣсколько государствъ имѣли правильно развитую собственность, огромное большинство должно остаться безъ кола и двора! Библейскимъ языкомъ эдакой законъ прогресса, по крайней мѣрѣ, называется *проклятіемъ* въ родъ и родъ. Тогда уже знаешь à quoi s'en tenir и не обижаешься, а чувствуешь, что это справедливая месть божья — за какогонибудь Еноха или Іафета, что-нибудь напакостившаго шесть тысячъ лѣтъ тому назадъ... А тутъ признай я разумомъ, своимъ собственнымъ разумомъ, что есть такой нелѣпый законъ!

Откуда экономическая наука вывела этотъ законъ? Она порядкомъ знаетъ только одно экономическое развитіе германо-романскихъ народовъ. Нельзя же по біографіи одного человѣка составлять антропологию, хотя въ ней непремѣнно есть общечеловѣческой стороны, но рядомъ и въ связи съ совершенно частнымп.

Къ тому же развѣ гражданственность, развѣ собственность въ самомъ дѣлѣ въ Европѣ развивались нормально, или, по крайней мѣрѣ, безпрепятственно? Развѣ общинное владѣніе и весь прежній порядокъ уступили внутреннему развитію, а не огню и мечу завоевателей? Или, можетъ, феодальная система была крутой экономической мѣрой, эдакимъ цезаревымъ сѣченіемъ, хирургически облегчившимъ народженіе правильной собственности?..

Но, вѣдь, и цезарево сѣченіе не дѣлается изъ подражанія надъ здоровой женщиной, а только по необходимости. Зачѣмъ же народъ, который никогда не былъ побѣжденъ, у котораго не враги отняли землю, а свои какъ-то *отписали ее*, долженъ непременно пройти тѣми же фазами? Если же подражать, то давайте строить крѣпости въ городахъ, на которыя никто кромѣ полиціи не нападаетъ, будемте на ночь улицы запираеть цѣпами и рогатками, пусть городской голова не спитъ, а ходитъ рундомъ, гласному бердышъ въ руки,—это будетъ, по крайней мѣрѣ, забавнѣе; а коли кто спроситъ, что мы дѣлаемъ, — мы скажемъ, что проходимъ феодальную фазу развитія городской жизни...

Лѣтъ тридцать тому назадъ, Н. А. Полевой заботился же о раскрытіи въ русской исторіи той борьбы двухъ началъ, которая такъ ясно представлена Август. Тьери въ письмѣ его о французской исторіи.

Пора же перестать ребячиться.

Не то важно, что у кельтовъ, германовъ, пожалуй, у кафровъ и готтентотовъ *было* общинное владѣніе въ дикомъ состояніи, а то, что у насъ *сохранилось* оно въ государственный періодъ.

А потому въ настоящемъ положеніи дѣлъ серьезно можно поставить только два вопроса:

Есть ли личное, наслѣдственное, неограниченное владѣніе землею—*единственно возможное* для развитія личной свободы,—и въ такомъ случаѣ, какъ спасти большинство населенія, не имѣющаго собственности,—отъ рабства собственниковъ и капиталистовъ?

Есть ли, съ другой стороны, поглощеніе лица въ общинѣ—*необходимое, неминуемое* послѣдствіе общиннаго землевладѣнія, или оно относится къ неразвитому состоянію народа вообще,—и въ такомъ случаѣ какъ соединить полное, правомѣрное развитіе лица съ общиннымъ устройствомъ?

Объ этихъ вопросахъ мы просимъ нашихъ читателей подумать.

(1859 г., № 59).

Россія и Польша.

Второе письмо къ автору статей:

Postępową myśl rossyjską w obec zadań polskich.

«Если Польша хочет *другого* рѣшенія, да *будетъ на то воля ея*, но пусть она короче узнаетъ Русь...»

«Колоколь», 1 марта 1859.

Милостивый государь,

Матеріаль, собранный петровской эпохой, огроменъ. Средства, которыми Петербургъ ихъ накопилъ и берегъ, не имѣютъ прямого вліянія на ихъ будущее употребленіе.

Общую атмосферу, обстановку, въ которой мы развиваемся, вы превосходно характеризовали; вотъ ваши слова:

«Въ сущности русскій не виноватъ, что, отъ пеленокъ при-выкнувъ къ чрезвычайнымъ и обширнымъ размѣрамъ и цѣлямъ, онъ и въ мечтахъ своихъ невольно стремится за наружнымъ величіемъ. Въ самомъ дѣлѣ, все вокругъ его гигантское—пространство, народонаселеніе, однообразіе даже въ языкѣ, жестокое невольничество и страшное упрямство, варварскій мракъ и дикая дерзость замысловъ, притязаній и надеждъ! Оттого вся мысль его обращена къ обширнымъ видамъ, къ наружной колоссальности, и онъ невольно въ полетахъ думы своей теряетъ въ этой колоссальности. Такъ, напримѣръ, его будущая Россія должна быть демократической и соціальной, если же федеративной, — то въ такихъ размѣрахъ, которыхъ свѣтъ не видалъ и передъ которыми онъ бы содрогнулся отъ страха. Воспитанный въ виду гигантскаго міра, при свѣжихъ силахъ соображенія, съ умомъ еще не возмужалымъ, онъ развиваетъ всякую мысль въ громадныя размѣры, не предчувствуя другого *внутренняго величія*. Это младенческій восторгъ, а не мужская обдуманность».

Согласитесь, что родиться съ такимъ небосклономъ дѣло не шуточное; я не знаю, что вы разумѣете подъ словомъ «внутреннее величіе», но замѣчу вамъ, что желаніе, чтобъ «будущая Россія была *демократической и соціальной*», можетъ, и подтверждаетъ «дикую дерзость замысловъ, притязаній и надеждъ», но, конечно, не можетъ быть названо «внѣшнимъ». Что касается до самой «дерзости замысловъ и надеждъ»,—это своего рода огромная сила, нисколько не похожая на квіетическое себяобоготвореніе восточныхъ народовъ, думающихъ, что они достигли высшаго состоянія, а, напротивъ, источникъ движенія впередъ. Тѣ только дости-

гаютъ великаго, которые имѣютъ въ виду еще большее и инстинктивно вѣрятъ въ возможность его. Вы знаете поговорку: *man will was man kann, man kann was man will*. Смѣлость замысловъ и обширность видовъ идетъ *юному возрасту*, а, вѣдь, онъ обыкновенно лежитъ между «младенческимъ восторгомъ и мужеской обдуманностью».

Сверхъ колоссальнаго горизонта и неустановившейся атмосферы, вы забыли еще одинъ элементъ, дающій огромную свободу мысли, именно нашу привычку, тоже «отъ самыхъ пеленокъ», вовсе не думать о политической независимости, о государственной самобытности; мы не доказываемъ нашу народность, мы не боимся за нее, *nous ne la faisons pas valoir*; она такой незыблемый, неопровергаемый, очевидный фактъ, что мы забываемъ ее, какъ дыханіе, какъ биеііе сердца.

У насъ эта государственная самоувѣренность развита такъ, какъ у англичанъ и французовъ; это необычайно помогаетъ въ внутренней работѣ, въ счастья и въ горѣ. Не имѣй англичанинъ ея, онъ не достигъ бы своихъ свободныхъ учреждений; не имѣй ея французъ, онъ сломился бы подъ игомъ рабства.

Но я тороплюсь сказать, что тѣмъ и оканчивается сходство. У старыхъ западныхъ народовъ преданіе такъ же живо, какъ современность, они владѣютъ маіоратами, данными съ условіемъ сохранной передачи. У нихъ столько же *отечества* въ прошедшемъ, какъ въ настоящемъ, у англичанъ можетъ больше. Совсѣмъ напротивъ, мы такъ же *независимы во времени*, какъ въ пространствѣ. У насъ нѣтъ связующихъ воспоминаній, обязывающихъ наслѣдствъ. Мы забыли наше давнопрошедшее и стараемся отпихнуться отъ вчерашняго; наша исторія впереди.

Мы всѣ родились на наносной почвѣ и только объ петербургской, полуиностранный эпохѣ слышали отъ нашихъ отцовъ и дѣдовъ. Одна сельская Русь продолжала не московскую исторію, а старую бытовую, общинную жизнь. До московскаго управленія сѣ дѣла не было, она же еще до Петра распалась съ нимъ расколами. Связь съ Москвой была исключительно основана на томъ чувствѣ государственнаго единства и независимости, о которомъ мы сказали. Эта связь отдѣльныхъ частей съ земскою цѣлостью осталась и въ петербургскую эпоху — 1812 соотвѣтствуетъ 1612 году.

Московская Русь, казенная въ видѣ стрѣльцовъ, запертая въ монастырь съ Евдокіей, исключилась безслѣдно, и натянутый, старческій ропотъ кн. Щербатова (который мы передали гласности) замолеъ безъ всякаго отзыва.

Имѣй Москва такое живое, соотвѣтствующее духу народному значеніе, какъ Рѣчь Посполитая—польскому народу, неужели бы

Петръ I—бритвой, топоромъ и переѣздомъ въ финское болото—связъ ее какъ мозоль.

Какъ ни бились Кромвель и конвентъ, — но прошедшаго, вросшаго въ сердце, кровно связаннаго съ настоящимъ, не одолѣли.

Новгородъ, Псковъ—надобно было подавить, сослать на поселенье, испугать кровью и пожаромъ, чтобъ довести до народнаго забвенія. Въ Украинѣ—ни польская шляхта, ни Петръ I, ни Екатерина II не зашибли памяти. А московскій періодъ разсѣялся какъ тѣнь и тихо перешелъ въ какое-то книжное воспоминаніе, и то не у народа, а у ученыхъ и духовенства.

Изъ этого нисколько не слѣдуетъ, что народъ сочувствовалъ петровской реформѣ или принялъ ее потомъ; онъ въ ней видѣлъ какое-то чужое насиліе, правительство въ немъ видѣло государственную барщину. Петровская Русь съ самаго начала является съ своимъ дуализмомъ. Это двѣ Россіи, изъ которыхъ одна не народъ, а только правительство; а другая народъ, но вытолкнутый внѣ закона и отданный въ работу. Государство оканчивалось на канцеляриствѣ, прапорщикѣ и недорослѣ изъ дворянъ; по другую сторону были уже не люди, а матеріаль, ревизскія души, продажныя, купленныя, пожалованныя, приписанныя къ фабрикѣ, экономическія, податныя,—но не признанныя человѣческими.

И эта *табель о рангахъ*, опираясь на несчастныя жертвы рекрутскихъ наборовъ, осужденныя на двадцатипятилѣтній голодъ и палки, и наполняя возы бумаги безграмотной канцелярской болтовней и ябедой, произвела чудеса, заселила цѣлыя страны, колонизировала Сибирь, просочилась до Тихаго океана, до Персіи, до Швеціи. Она подходила къ Берлину, переходила Балканы, устраиваясь внутри въ какомъ-то хаосѣ серальныхъ переворотовъ, крови и разврата, и притомъ безъ всякаго сочувствія въ отрѣзанномъ и подавленномъ народѣ. Не доказываетъ ли это чрезвычайную пластическую силу?

Да, зато какой цѣной все это куплено?

Это правда, безчеловѣчно тяжелъ былъ путь русскаго развитія, въ этомъ нѣтъ сомнѣнія, дорого заплатилъ народъ за безпечный сонъ въ селлахъ и деревняхъ! Татарское варварство и нѣмецкая цивилизація чудовищно наказали его. Татары съ тѣхъ поръ усмирились и тихо продаютъ красные сапоги въ Казани; нѣмцы сильны еще, тѣмъ больше, что большая часть изъ нихъ русскіе, но и ихъ иго идетъ быстро къ концу; а циклопическія работы и выведенные фундаменты остаются. Повѣрьте, что о жертвахъ, падшихъ при этихъ постройкахъ, о поколѣніяхъ, безотрадно умершихъ на тяжелой работѣ, мы не меньше скорбимъ, чѣмъ кто-либо. Но желая выйти изъ этихъ мрачныхъ путей, мы

стараясь понять ихъ смыслъ, для того, чтобъ отыскать выходъ, для того, чтобъ воспользоваться выработаннымъ кровавыми слезами, и благословеніемъ грядущихъ поколѣній загладить прошедшія страданія.

Осудивъ оптомъ звѣрскіе пути петровскаго періода, отрекаясь отъ нихъ, мы отказываемся отъ процесса этапныхъ офицеровъ, тѣмъ больше, что они перемерли на дорогѣ, и точно также отказываемся отъ ретроспективной филантропіи,—она опоздала.

Можетъ, Турнеръ и вѣрно представилъ, въ своей картинѣ Ватерлооской битвы, на первомъ планѣ какой-то въ ужасъ приводящій ворохъ труповъ, раненыхъ, плачущихъ женщинъ, — но смысла битвы нѣтъ, и извѣстный Наполеонъ со слезою на глазахъ, и блѣдный, мраморный Веллингтонъ въ шинели, не спускающій глазъ съ отступающихъ французовъ, объясняютъ во сто разъ больше, что тутъ было. А что и то было, что Турнеръ нарисовалъ, въ этомъ нѣтъ сомнѣнія; да это было во всякой рѣзкѣ отъ битвы Немврода до Сольферино. Податная Русь страдала много, конечно, не меньше крѣпостной Польши; всего хуже, что она и теперь страдаетъ, но одной чувствительностью не поможемъ. Врачъ, призванный къ больному, смотритъ, сколько силъ, чтѣ дѣло и чтѣ повреждено; и если онъ спрашиваетъ, какъ больной дошелъ до настоящаго положенія и чѣмъ были больны его отецъ и мать, то совсѣмъ не съ тѣмъ, чтобъ читать ему мораль; болѣзнь такая краснорѣчивая мораль, что если и она не поможетъ, то что сдѣлаютъ фразы?

Тѣ народы пусть отвѣчаютъ за свое прошедшее, которыхъ пуповина съ исторіей не разрѣзана, которые горды своимъ прошедшимъ. Мы, напротивъ, только разрываясь съ нимъ, идемъ впередъ. Мы скорѣе похожи на двуутробку, бѣгущую съ обнищалаго поля, унося съ собой свое будущее поколѣніе,—чѣмъ на верблюда, несущаго черезъ степи кивотъ съ старымъ завѣтомъ.

То, что было съ московскимъ періодомъ, то будутъ неминуемо съ петербургскимъ. И такъ, какъ реформа Петра убила московскій порядокъ, такъ предстоящая реформа убьетъ Петербургскій. Первая *органическая*, народная мысль, которая пробилась въ этихъ снѣговыхъ вершинахъ, носитъ въ себѣ зародышъ *освобожденія отъ нѣмецкаго ига*.

До сихъ поръ все шло иначе.

Работа петербургская была чисто внѣшняя, алчная, все захватывавшая, все жавшая. И если петербургское правительство дивило дерзкой отвагой объемовъ, то всѣ его созданія представляли какія-то огромныя, пустыя формы безъ содержанія, чего-то ждущія и покамѣстъ наполненныя всякой казарменной рухлядью и канцелярской дрянью, которыя такъ мало шли къ жизни, что

онѣ постоянно уродовали ее; а она постоянно искажала ихъ, прорывала, расширяла трещины, ускользала.

Къ чему копились силы, что выжималъ Петербургъ своимъ прессомъ изъ шестой части земнаго шара, зачѣмъ расширялъ онъ предѣлы, зачѣмъ ковалъ народъ въ цѣпи? На это онъ такъ мало могъ бы вамъ отвѣчать, какъ какой-нибудь китъ, на что онъ поглащалъ тысячи рыбъ въ день, для того чтобъ вырастить свое тѣло,—его голодъ и органическая пластика того требовали.

Наконецъ, петербургскій періодъ дошелъ до своего предѣла, стукнулся объ Западъ и увидѣлъ, что ему его не сломить; внутри онъ заправился до такой нелѣпости, что сталъ, по нѣмецкому выраженію, какъ волъ у горы, ему некуда было больше идти въ его ботфортахъ. И очень хорошо,—онъ все сдѣлалъ, что могъ, оцѣпилъ огромную арену, приготовилъ эстраду, учредивъ въ ней полицейскій порядокъ. Когда его зданіе было готово не только стоять, но и рухнуть, ему пришлось сложить руки. Вышелъ Александръ II и объявилъ: *«Освобожденіе крестьянъ съ землею»*.

Это requiem петербургской эпохи.

Еще ничего не сдѣлано, а Россія вся перемѣнилась... Вы, вѣрно, слышали гулъ внутренняго содроганія силы въ котлѣ парохода, когда колесо еще стоитъ, паръ вырывается, сжатый, опасный, бѣлый, въ небольшую трубку, и пароходъ, стоя на одномъ мѣстѣ, уже повинуется не одному качанью волнъ, а своему сдержанному пульсу.

Вотъ что мы слышимъ теперь, вотъ что можете слышать вы, только для этого надобно не только прислушаться и прекратить частные разговоры, но бросить западный стетоскопъ.

Слово «освобожденіе крестьянъ» раздалось, какъ труба на зарѣ. Крестьянинъ, раскольникъ, чиновникъ-либераль и чиновникъ-чиновникъ, образованный дворянинъ и дворянинъ сѣкущій, все это проснулось отъ тяжелаго сна въ какомъ-то нервномъ раздраженіи и бросилось укладываться и собираться въ путь. Берутъ мѣры, боясь какой-то грозящей невзгоды; правительство чувствуетъ себя слабѣе... у всѣхъ сдѣлалось больше крови въ жилахъ, у него одного меньше, а между тѣмъ колодки не измѣнились.

Вдругъ всѣ открыли, точно какую-нибудь новость, удивительную нелѣпость и чрезвычайный беспорядокъ петербургскаго государственнаго устройства. Ни законовъ, ни суда, ни охраняющихъ формъ, ни честности, ни въ самомъ дѣлѣ повиновенія, ничего.

Ни одной ясной, послѣдовательно проведенной идеи юридической, административной нѣтъ во всей Россіи. Нелѣпость въ

одну сторону приводится къ нѣкоторому равновѣсію нелѣпостью въ другую.

Крѣпостное право, напримѣръ, никогда не утвержденное закономъ въ той силѣ, въ которой оно существуетъ, вовсе не укрѣпшило, а спутало понятіе о собственности. Какъ себя помѣщикъ ни увѣрялъ въ правомѣрности имѣть крѣпостныхъ, и какъ правительство ни усердно сѣкло съ нимъ мужиковъ въ доказательство, что они собственность, на днѣ души оставалось сомнѣніе, почти угрызение совѣсти, которое мало-по-малу перенеслось и на понятіе земельной собственности,—и въ то же время обратнымъ путемъ и крестьянинъ дошелъ до того, что *онъ* барскій, а земля *его*.

Иностранцы, пораженные этимъ неустройствомъ, и даже многіе изъ русскихъ смотрятъ съ ужасомъ на него, не думая о томъ, что если-бъ петербургское управленіе могло быть возведено въ порядокъ и принято народомъ, то мы бы погибли. Человѣкъ, схваченный враслохъ за горло, отдаетъ разбойнику свой кошелекъ, но нравственно онъ отъ него свободенъ; а несчастный, который кошелекъ отдаетъ папѣ за индульгенцію, рабъ въ душѣ, хотя папа и не держитъ его за горло.

Каждый русскій долженъ благословить, что временныя смирительныя учрежденія вызвали только одни нелѣпѣйшія безобразія, а не стараться *какъ-нибудь* привести ихъ въ *порядокъ* на основаніяхъ нѣмецкой бюрократіи. Наше неустройство, это великій протестъ народный, это наша magna charta, нашъ вексель на будущее. Ненадобно ошибаться въ его характерѣ, это не распадненіе на части ветхаго тѣла, а безпокойное ломанье живого организма, отдѣлывающагося отъ постороннихъ путъ; не гнилое броженіе, а броженіе около бьющагося зародыша.

Да гдѣ же онъ?

Конечно, не въ правительствующемъ сенатѣ и не въ главномъ штабѣ, не въ министерствахъ и ихъ канцеляріяхъ...

Говорить еще разъ о томъ, что такое *право на землю и общинное устройство* русской деревни, я не стану; я такъ недавно сдѣлалъ опытъ объяснить, насколько понимаю эти вопросы (58 и 59 №№ «Колокола»), что не имѣю почти ничего прибавить къ сказанному.

Напомню вамъ только сказанное въ прошломъ письмѣ объ иномъ отношеніи нашемъ къ Западу; *мы ближе и дальше* отъ него, чѣмъ прежде. Утомленная долгой борьбой за личную свободу, Европа, снова скованная, выбиваясь изъ силъ, сѣла на камень возлѣ границы, къ которой съ другой стороны и насъ пригнали съ цѣпями на рукахъ и ногахъ. Это нашъ первый этапъ; но ужъ по прежней западной дорогѣ, если насъ раскуютъ, мы не поидемъ,—примѣръ передъ глазами.

Не величайшее ли счастье, что мы такъ поздно сблизились? Весьма можетъ быть, что при иной встрѣчѣ съ западной цивилизаціей, когда она сама была полна вѣры въ себя, энергіи и силъ,—мы продолжали бы внутри петровскую работу и, вѣроятно, разбили бы неказистые крестьянскіе ларцы, единственное наслѣдіе наше, для того, чтобъ сдѣлаться чѣмъ-нибудь въ родѣ плохой Пруссіи.

Едва ли не придется намъ также благословить чудскіе и туранскіе элементы, попризадержавшіе наше старо-славянское развитіе, какъ мы благословляемъ теперь петербургское неустройство. Можетъ, безъ нихъ мы имѣли бы въ исторіи нѣсколько страницъ болѣе блестящихъ, мы вспоминали бы, можетъ, вмѣсто дани, платимой Золотой ордѣ, какое-нибудь спасеніе à la Jean Sobieski вѣнской орды; вѣроятно, католицизмъ и римское право прикрѣпили бы и насъ къ кораблю, который теперь тонетъ, и все свое тащитъ съ собой въ пропасть; общинное владѣніе, міръ, все это было бы разрушено панами, какъ въ Польшѣ, и *дикое право каждаго на землю* замѣнилось бы образованнымъ, но *невозможнымъ*—*правомъ на работу*.

Случилось иначе,—и теперь позвольте вамъ сдѣлать вопросъ: Вѣрите вы или нѣтъ, что казненный социализмъ «умеръ и похороненъ»? Мнѣ все кажется, что ему забыли перебить голени и что онъ также какъ-нибудь, «предваривши утро», сброситъ съ себя саванъ и пойдетъ бродить по ученикамъ. Кажется мнѣ это оттого, что социализмъ *необходимое послѣдствіе*; пока существуютъ послышки, а они такъ глубоко вросли въ современную жизнь или выросли изъ такой глубины ея, что ихъ съ корнемъ вырвать нельзя,—социализмъ будетъ ставиться ихъ живымъ силлогизмомъ, по крайней мѣрѣ до тѣхъ поръ, пока мозгъ будетъ дѣйствовать нормально.

Силлогизмъ этотъ, послѣдній логическій выводъ западнаго сознанія, является у насъ какъ естественная непосредственность. Мы общинный бытъ, право на землю напли какъ наши руки, т. е., онъ были тутъ, когда мы пришли въ себя и въ первый разъ подумали объ нихъ. Такъ дикое, но рѣзкое начало личныхъ правъ лежало въ непосредственности доисторической природы германскихъ племенъ.

Петръ I задержалъ своимъ хлороформомъ народную жизнь на время операцій и перевязокъ, но онъ не разрушилъ ея элементовъ не только въ податной Руси, но и въ неподатной. По мѣрѣ того, какъ геній русскій выходилъ изъ оцѣпенѣнія и развивался наукой, онъ догналъ теоретическую мысль Запада; но, догнавши, онъ разошелся съ его практическимъ приложеніемъ, потому что былъ послѣдователенъ; онъ въ своей народной совѣсти не нахо-

диль тѣхъ граней и препятствій, о которыя спотыкалась Европа. Безправный рабъ помѣщика не мечталъ объ освобожденіи безъ земли, безправный рабъ царя пересталъ восхищаться феодально-буржуазнымъ представительствомъ ¹⁾. Дерзость замысловъ наша дошла, напимѣръ, до того, что правительство, дворянство и народъ, споря о выкупѣ и переходномъ времени, толкуя о количествѣ земли и ея оцѣнкѣ, согласны въ одномъ, что безъ земли нельзя освободить русскаго мужика, признавая такимъ образомъ безусловно его *право на землю*.

Подумайте теперь о результатѣ, когда эта шестая доля земного шара, со всѣми своими туранскими и чудскими примѣсами, съ социальными инстинктами, освобожденная отъ нѣмецкихъ колодокъ и лишенная воспоминаній и наслѣдства, перекликнется съ пролетаріемъ-работникомъ и съ пролетаріемъ-батракомъ на Западѣ, и они поймутъ, что собственно у нихъ дѣло одно.

Кто можетъ предвидѣть всѣ столкновенія и всѣ борьбы, которыя вызовутся въ тѣ дни. Но что онѣ будутъ страшны, въ этомъ нѣтъ сомнѣній. Передъ борьбой намъ хотѣлось, чтобъ славяне подали другъ другу руку на братскій союзъ,—не для помощи Россіи, ужъ она то *faça da se*, не для составленія съ ней чудовищной имперіи, мы ничего не знаемъ нелѣпѣ этихъ китообразныхъ государствъ, которымъ двигаться тяжело отъ роста, а для того, чтобъ они не остались по ту сторону, по сторону *проше-шаго* или не сдѣлались бы кровавымъ театромъ страшной борьбы. Но, можетъ, Польша дѣйствительно больше принадлежитъ къ старо-западному міру и хочетъ рыцарски дѣлать его послѣднія судьбы, лить за него кровь, какъ герой Понятовскій, и увидѣть, какъ самъ Понятовскій, въ пѣсни Беранже, какъ Западъ руки не подастъ тонущему за него? Да будетъ ея святая воля!

Мы требовали одного и теперь требуемъ, чтобъ, разрываясь съ Россіею, она глубже узнала, что за всходы прозябаютъ въ ней... Позвольте мнѣ этимъ заключить письмо мое.

(1860 г., № 67).

¹⁾ Есть въ Россіи каста оступившихъ отъ школьной политики педантовъ и доктринеровъ, которая съ комическимъ *suffisance* репетируетъ идеи Шлепской реформы и либерализма времени Казимира Перье. Тяжелая ученость, схоластическія занятія выѣли ихъ слабыя способности; а совершенное безучастіе къ живой жизни не вызвало ихъ сойти съ каедръ на рынокъ. Испуганные дикими, неустроенными элементами русскаго развитія, они попадаютъ то во французскую болѣзнь — централизаціи, то въ англійскую — буржуазнаго *selfgovernment'a*. Но это ничего не значитъ, люди эти и съ цѣлымъ мозгомъ не сдѣлали бы ничего; а скорѣе только доказываетъ крѣпость народнаго духа, который не переваривается «нѣмецкими, гладенскими» утками.

„Библиотека“ дочь Сенковского.

Сенковский также принадлежит николаевскому времени, как шефъ корпуса жандармовъ, подслушивавшій Дуббельтомъ, какъ Клейнмихель, исправлявшій пути сообщенія, какъ прихотливая «Пчела», какъ комиссаріатъ, постоянно побѣдоносный надъ русской арміей, какъ и пр. и пр. Положеніе Сенковского было поэтичнѣе и независимѣе кварталныхъ, онъ не былъ въ самомъ дѣлѣ на службѣ, а съ горя и по влеченію создалъ себѣ мѣсто въ родѣ Мефистофеля. Именно въ этомъ качествѣ онъ и затѣялъ журналъ, который было вредно читать, и—Geist des Widerspruchs— назвалъ его «Библиотекой для чтенія». Основная программа его была проста—она была цѣликомъ взята изъ разговора Мефистофеля съ студентомъ.

Николай умеръ.

Сенковский умеръ.

Россія и «Библиотека для чтенія» остались въ разстроенномъ состояніи,—но живы.

Объ наслѣдникѣ Николая и объ Россіи мы довольно говорили, о «Библиотекаѣ для чтенія» и о мефистофелидахъ очень мало. Это было вовсе не отъ невниманія, а оттого, что мы минуемъ говорить о русской литературѣ изъ разныхъ гигиеническихъ соображеній.

Великіе злые духи, точно такъ же какъ великіе люди, рѣдко оставляютъ достойныхъ наслѣдниковъ. Сынъ Кромвеля, сынъ Богдана Хмѣльницкаго и «Библиотека», урожденная Сенковская, показываютъ, что это случается не только въ Великобританіи и Малороссіи, но и въ Петербургѣ.

Главное намѣреніе быть злымъ духомъ осталось у новой редакціи, — но безъ остроты въ крови, а съ одной золотушной худостью, съ дурными привычками эстетическаго жеманства, старонѣмецкаго бѣгства отъ общественныхъ вопросовъ, выражавшагося неприличной радостью при встрѣчѣ разсказа, гдѣ они обойдены, стиховъ, въ которыхъ бесплодно испаряется млѣніе души чуждой суеть мірскихъ.

Хотя и досадно было, однако мы молчали, предупредивши разъ, что это дѣло опасное.

Но на-дняхъ мы прочли и то не въ «Библиотекаѣ для чтенія», а въ «Отечественныхъ Запискахъ», за декабрь, которыя благодаря компаніи du roulage Adlerberg-Pranischnikoff пришли въ Лондонъ въ половинѣ апрѣля, отвѣтъ (слабый и бѣдный) на статью противъ Марка Вовчка, помѣщенную въ ноябрьской «Библиотекаѣ для чтенія», вовсе не приходившей.

По опилкамъ можно судить о достоинствѣ металла. Это чистое желѣзо съ крестьянскихъ колодокъ... Halte là, господа!—Есть предѣлы, далѣе которыхъ «Колоколъ» не выдерживаетъ, и долженъ треснуть или звонить. Мы не на откупѣ у Панина и Мурьева съ К^о, мы звонимъ не по чинамъ.

Задача Мефистофеля совсѣмъ не въ томъ, чтобъ говорить безнравственныя вещи съ серьезнымъ доктринаризмомъ, да и принимать это tout de bon за истину. Сбивающія съ сердца сентенціи и бездушныя остроты гётевскаго Мефистофеля не покрываютъ своимъ мерцаніемъ внутренняго сознанія ихъ пустоты и призрачности,—и иное возрѣніе просвѣчиваетъ во всей поэмѣ, примиряя съ преднамѣренными диссонансами.

Желчевая, закусившая удила, насмѣшка Сенковскаго, была месть, была досада, отраженіе обстоятельствъ, отрицательное раскаяніе въ своей слабости, была маской, — но никогда не была убѣжденіемъ; почтительная дочь его, принимая за «въ самомъ дѣлѣ» эту лихорадку мысли и словъ, начала проповѣдывать воздержаніе отъ сердца, дѣйствительное статское равнодушіе къ людскимъ дѣламъ и легкой эстетическій эпикуреизмъ. Это уже не иронія, а доктрина.

Много смѣшнаго, нелѣпаго, уродливаго является въ нашемъ литературно-ученомъ мірѣ, мы никогда не затрогиваемъ этихъ сторонъ.

Что за бѣда, если люди, не смѣвшіе громко сказать слово при трехъ свидѣтеляхъ, теперь рѣшаютъ публичными спорами ариѳметическіе и этнографическіе вопросы. Что за бѣда, если они даютъ обѣды со спичками какому-нибудь «знаменитому иностранцу», удивленному своею знаменитостью, о которой онъ не подозрѣвалъ. Что за бѣда, если и онъ, оправившись, начинаетъ чувствовать свое величіе и, какъ графъ Нулинъ, радоваться, что у насъ «умы уже развиваться начинаютъ», и желать, чтобъ мы просвѣтились наконецъ. Да и въ томъ нѣтъ бѣды, если на показъ передъ «знаменитымъ путешественникомъ» двое или трое учениковъ выйдутъ на диспутъ, и одинъ какъ Утѣшительный говоритъ, что человѣкъ весь принадлежитъ обществу, а другой какъ практической Швохневъ увѣряетъ, что человѣкъ принадлежитъ обществу, но не весь.

Все это смѣшно, но все же лучше публично рѣшать ученые вопросы и дѣлать знаменитыхъ людей для обѣдовъ, чѣмъ бояться произнести слово при постороннихъ и дѣлать обѣды для «ихъ высокопревосходительства, глубоко уважаемаго и сердечно-чтимаго начальника, начальника и отца».

Но когда редакція журнала беретъ перо для того, чтобъ въ торжественную минуту государственнаго покаянія, въ минуту

борьбы между отстаиваніемъ неправаго стяжанія и отреченіемъ отъ застарѣлаго преступленія, своими софизмами—ослабить тотъ ужасъ, который овладѣваетъ нами по той мѣрѣ, по которой мы вглядываемся въ домашнюю контору, въ застѣнокъ передней и сераль дѣвичьей, когда она разглагольствуетъ для того, чтобъ прикрыть изсѣченныя спины, изнасилованныхъ женщинъ высокомерной улыбкой, отводя глаза нищихъ умомъ къ другой сторонѣ вопроса,—тогда мы зовемъ ее на лобное мѣсто!

Извольте видѣть,—слабые нервы петербургскіе не выносятъ такихъ ужасей, такихъ отвратительныхъ картинъ... Да, вѣдь, и распятіе, когда на него смотрѣть безъ вѣры и безъ любви, возмутительная картина, и этотъ мясникъ Рубенсъ, и этотъ палачъ Рембрандтъ—чему обрадовались, представляя смердящихъ Лазарей, да карачащихся въ агоніи разбойниковъ на крестѣ?... Имъ бы нарисовать всѣ части Гиббоновой книги о паденіи Рима, тогда было бы понятно, что и римлянинъ могъ иной разъ повѣсить невиннаго, но что это рѣдкій исключительный случай, не сообразный съ «благодушіемъ» римскихъ начальниковъ когортъ и департаментовъ.

...Пожалуй, можно указать на Гуда, подслушавшаго, не «выходя изъ кабинета», страшное рыданіе бѣдной needle woman, вмѣсто того, чтобъ положить на куплеты теорію уничтоженія пауперизма, или на Диккенса съ его Оливеромъ Твистомъ и героями, сорвавшимися съ висѣлицы, о которыхъ онъ рассказываетъ подробности shocking... И что тутъ рассказывать,—стоитъ «усилить» полицію, а главное веревки и палачей, ихъ какъ рукой сниметь... Но вѣдь Гудъ и Диккенсъ для своихъ героевъ не унижались до русскихъ «псарей» и «крѣпостныхъ нимфъ», отдаваемыхъ насильно замужъ, а брали хоть и плебеевъ, но все англійскихъ.

Для полной бережи нервъ, редакція успокаиваетъ насъ и себя тѣмъ, что въ повѣстяхъ «писакъ» противъ помѣщичьяго права все преувеличено, что жестокости рѣдкость, что наши помѣщики, точно пеликаны, готовы своихъ мужиковъ кормить грудью!

Такъ-съ!

Да развѣ «Библиотека» не читаетъ «Колокола?» Листа, вѣдь, нѣтъ, гдѣ бы не было какой-нибудь каннибальской исторіи, или Гутцейта, насилующаго дѣтей, или усмиренія вродѣ Эльстона-Сумарокова? Генераль Кандыба, штабсъ-капитанша Баранова, помѣщица Клопотовская и сотни другихъ, это не мифы.—«Но много ли они засѣкли въ сравненіи со всѣми рождающимися въ Россіи?» Это правда, и зачѣмъ это вся Европа хлопотала, когда папа укралъ мальчика Мортару? Вѣдь, не всякой же день св. отецъ крадетъ по нѣскольку дѣтей.

Насъ вотъ что удивляетъ,—когда эти разсказанные стоны нашихъ крестьянъ и дворовыхъ успѣли до того раздражить опустившіеся нервы «Библиотеки», что она называетъ ихъ «мерзостно-отвратительными картинками», какъ будто это извѣстныя ободрительныя изображенія, тоже сильно дѣйствующія на нервы?.. Помилуйте, пять лѣтъ тому назадъ людей ссылали въ Сибирь, если они не раздѣляли мнѣнія «Библиотеки» о благодушіи помѣщиковъ.

— «Мнѣ тебя-то, матушка, стало жаль,—говорить Недоросль, что ты очень устанешь (колотивши отца).»

Въ самомъ дѣлѣ, что вы такъ разстопались, барыню обезпокоите, барыня антологию въ книжкѣ изволить читать.

...Итакъ, горемычные, пропадайте безъ вѣсти. За ваши предсмертныя муки на конюшнѣ, за ваши слезы дѣвичьи, слезы матери о поруганномъ ребенкѣ, за ваши мученическія существованія отъ колыбели до могилы — васъ ждетъ свирѣпое забвеніе. Вопль вашъ исключится изъ пѣсни, изнуренный образъ вашъ вытолкають взаеи изъ сказки. Кто поминаетъ о прошлогодней травѣ, о разоренномъ муравейникѣ?

...Жизнь ваша, заѣденная хищнымъ помѣщицествомъ, не отзовется ни угрызениемъ совѣсти, ни примиряющей слезой; даже въ книгѣ, въ этой общей родительской субботѣ всего схороненнаго, не помянется она. Отъ вашихъ грусть наводящихъ тѣней отвернется пасоконосный потомокъ вашихъ господъ. Да и въ самомъ дѣлѣ, что за бѣда, что такого-то «псаря» отодрали, а такую-то «дѣвчонку» выдали замужъ поневолѣ. Изъ-за этого, если-бъ освободить крестьянъ, «игра не стоила бы свѣчъ.» Дѣло не въ томъ, а въ глубокихъ экономическихъ соображеніяхъ ¹⁾.

Но этого не будетъ!

И лучшее доказательство, что не будетъ, это появленіе такихъ изящныхъ въ своей сельской свѣжести разсказовъ, какъ тѣ, которые навели «Библиотеку» на ея безобразную выходку.

Разсказы эти, попавшіеся намъ въ руки съ другими книгами, вовсе намъ неизвѣстными, остановили насъ именемъ переводчика. Прочитавши, мы поняли, почему величайшій современный русскій художникъ И. Тургеневъ перевелъ ихъ.

Въ петербургскихъ болотахъ, въ московской пыли не растутъ такіе дубравные цвѣты; тутъ все чисто и здорово, неистощенная земля, непочатое сердце; тутъ вѣетъ полемъ послѣ весенняго

¹⁾ Само собою разумѣется, что мы согласны въ мнѣніи о нелѣпомъ экономическомъ устройствѣ оброка, но какъ же это выходитъ, что знаменитая школа «l'art pour l'art» переходитъ въ «comptabilité en partie double pour l'art?..»

дождя, вѣтъ и проклятьемъ русскаго поля—господскимъ домомъ; шумъ листьевъ, лепеть, жуужаніе не заглушаютъ ни плачь «дѣвченки», оторванной на вѣки-вѣковъ грубымъ насиліемъ у матери, ни вопль «псаря», стегаемаго за unesthätisch... Украинецъ-разсказчикъ не брезгливъ—вѣдь, и природа не брезглива—онъ не прячетъ своего кровнаго родства съ «дѣвченкой» и не стыдится, что слезы его льются на грязный посконный холстъ, а не на мягкое «пате» (непремѣнно Гамбсовой работы).

А сказать вамъ, отчего онъ не стыдится? Оттого, что въ этихъ дѣвченкахъ, въ этихъ псаряхъ онъ почуялъ именно сердцемъ, которое вытравливаютъ столичные доктринеры,—заморенную силу, близкую, понятную, кровную намъ. Отъ того-то и слезы его не наполняютъ душу однимъ безвыходнымъ, поѣдающимъ горемъ, а дрожать какъ утренняя роса на сломанныхъ и истоптанныхъ цвѣтахъ; ихъ не воскресятъ онѣ, но другимъ возвѣщаютъ зарю!

(1860 г., № 71.)

Розги долой!

Мы хотимъ сдѣлать очень простое и очень возможное предложеніе образованному меньшинству дворянства, предложеніе, не влекущее за собой ни отвѣтственности, ни опасности. Мы предлагаемъ ему составить:

Союзъ воздержанія отъ тѣлесныхъ наказаній.

Степень образованія этого меньшинства, его поведеніе въ губернскихъ комитетахъ, его совершеннolѣтіе, выразившееся въ желаніи самоуправленія,—все это несовмѣстно съ дикимъ битьемъ и сѣченіемъ крѣпостныхъ. Во времена неразвитости и патріархальнаго звѣрства совѣсть наказывающаго была, да нѣкоторой степени, чиста, онъ вѣрилъ, что это не только его право, но думалъ, что это его долгъ. Теперь этому никто не вѣритъ, всякій знаетъ теперь, что наказаніе безъ суда, изъ личныхъ видовъ, есть своекорыстное употребленіе права сильнаго,—такая же пытка, какъ стеганье лошади. Крестьянъ и дворовыхъ бьютъ исключительно и единственно изъ денежныхъ выгодъ и мелкихъ удобствъ.

Правительству не можетъ препятствовать и не будетъ такому отрицательному союзу... Правительству не вмѣняеть дворянству въ обязанность сечь крѣпостныхъ. Оно только дозволяетъ.

Пусть помѣщики подумаютъ, что сечь и такъ остается недолго: вслѣдъ за нелѣпостью переходнаго состоянія придется

поневоля разстаться съ розгой, — не лучше ли же добровольно отказаться отъ нея? Бросить розгу такъ, какъ французское дворянство 4 августа бросило въ огонь свои феодальныя грамоты.

Отказаться отъ права съчь въ виду Черкасской партіи, въ виду Самарина и Милютина, возсоединенныхъ съ Черкасскимъ, — благородно. За кого въ самомъ дѣлѣ васъ принимаетъ правительство, думая, что вы требуете для себя правъ человѣческихъ и хотите съчь безъ суда, — и это въ то время, когда само правительство начинаетъ ограничивать въ военной службѣ побой?

Пусть въ каждой губерніи три-четыре помѣщика дадутъ между собою *честное слово никогда не прибѣгать къ тѣлеснымъ наказаніямъ*, никогда не допускать себя до побоевъ, — этого довольно для начала. Само собою разумѣется, что дѣло надобно дѣлать не въ половину, мало не бить людей изъ собственныхъ рукъ и не посылать ихъ съчь, — надобно запретить управляющимъ, старостамъ, дворецкимъ и запретить такъ, чтобъ крестьяне знали, чтобъ дворовые знали!

Не первый разъ приходится намъ стыдиться бѣдности нашихъ требованій... Да, многое надобно укротить въ себѣ, многое заставить молчать, чтобъ протянуть руку, прося какъ милостыню... чего?.. признанія въ себѣ и ближнемъ человѣческаго достоинства!

Но лишь бы голосъ нашъ не остался тщетнымъ, лишь бы напомнить однимъ, надумать другихъ, что пришло время оставить палачество; лишь бы удалось на первый случай избавить нѣсколько мужиковъ отъ истязаній и нѣсколько помѣщиковъ отъ пятна.

Что помѣщики дѣлали прежде, мы знать не хотимъ. На прошедшее мы закрываемъ глаза, многое дѣлалось по невѣдѣнію, по привычкѣ, по скверному воспитанію, по безобразному примѣру родительскаго дома... Амнистія, забвеніе и тутъ необходимы. Но три года тому назадъ положеніе измѣнилось; и съ тѣхъ поръ, какъ вопросъ объ освобожденіи былъ поднятъ правительствомъ, обсуживался въ журналахъ, въ гостиныхъ и переднихъ, въ столицѣ и провинціяхъ, *съ тѣхъ поръ нельзя быть честнымъ и образованнымъ человѣкомъ и бить своихъ людей*. (Разумѣется, мы исключаемъ теоретическихъ фанатиковъ розги, это поврежденные, они могутъ вратъ вздоръ и быть честнѣйшими людьми, какъ всякій сумасшедшій).

Давайте же другъ другу честное слово не съчь вашихъ мужиковъ, составляйте не одинъ союзъ, а сотни, въ разныхъ губерніяхъ, въ разныхъ уѣздахъ. Не бойтесь пуще всего вашей малочисленности, два дѣятельныхъ человѣка, твердо идущихъ къ своей цѣли, сильнѣе цѣлой толпы, никакой цѣли не имѣющей. Развѣ Уилберфорсъ, развѣ Кюбденъ не начинали съ трехъ-четы-

рехъ человѣкъ, столковавшихся въ клубѣ или въ тавернѣ?.. Человѣкъ—и слабъ какъ *искра*, и силенъ какъ *искра*, если вѣрится въ свою силу и *во-время* попадаетъ въ приготовленную среду.

Бросайте же подлую розгу и давайте другъ другу ваши руки на *Союзъ противъ тѣлесныхъ наказаній!*

(1860 г., № 75).

Записки И. В. Лопухина.

Всякое правдивое сказаніе, всякое живое слово, всякое современное свидѣтельство, относящееся къ нашей исторіи за послѣднія сто лѣтъ, чрезвычайно важно. Время это едва теперь начинаетъ быть извѣстнымъ. Времена татарскаго ига и московскихъ царей намъ несравненно знакомѣе царствованія Екатерины, Павла. Исторія императоровъ—канцелярская тайна, она была сведена на дифирамбъ побѣдъ и на риторику подобострастья.

Не думаемъ, чтобъ въ самой Австріи употреблялись когда-либо такія многостороннія мѣры, какъ у насъ, чтобъ скрывать и искажать историческія событія.

Казалось, что въ нашу эпоху *ожиданій и упованій* можно было уповать и на то, что мы, наконецъ, узнаемъ исторію послѣдняго времени не по канцелярскимъ Титъ-Ливіямъ, а по документамъ, и дѣйствительно показали превосходныя монографіи, чрезвычайно интересныя письма, записки. Половина матеріаловъ, присланныхъ намъ для нашего историческаго сборника, явилась на свѣтъ въ Россіи. Словомъ сказать, дѣла и люди настолько усовершеншились, что Устряловъ, писавшій свою исторію Россіи по трафаретамъ министра Уварова, сталъ издавать исторію Петра по источникамъ. VI томъ его исторіи испугалъ. Цензорамъ не велѣли ничего пропускать непохвальнаго о лицахъ, родственныхъ къ императорской фамиліи и умершихъ послѣ кончины Петра I.

Нечего дѣлать, мы снова должны приняться за печатаніе въ Лондонѣ историческаго сборника. Документовъ, записокъ, писемъ у насъ набралось довольно.

На первый случай мы издаемъ записки Лопухина.

Лопухинъ представляетъ явленіе рѣдкое. Тихій, честный, чистый, твердый и спокойный, онъ съ своимъ мистицизмомъ и маргинализмомъ идетъ такъ не похоже, такъ противоположно окружающему морю интригъ, исканій, раболѣпія, что это бросается въ глаза не только генераль-губернатору Брюсу, но даже самой Екатеринѣ, которая велитъ сослать его покаявшагося товарища, а его не велитъ; Павлу, который вынесъ отъ него два

раза возраженія; Александру, благодарившему его за превосходную записку о духоборцахъ. Совѣтникомъ московской уголовной палаты Лопухинъ начинаетъ свою карьеру тѣмъ, что склоняетъ суроваго генераль-губернатора по мѣрѣ возможности уменьшать число ударовъ кнутомъ, а черезъ двадцать лѣтъ съ энергіей отстаиваетъ сперва духоборцевъ, сенаторомъ, ревизующимъ Слободско-Украинскую губернію, и убѣждаетъ государя остановить разбойничьи набѣги на нихъ хищной полиціи и хищныхъ поповъ; потомъ, возвратившись изъ Крыма, съ такой же ревностью защищаетъ Джантимира-Мурзу и его товарищей-татаръ, которыхъ невинно хотѣли отодрать кнутомъ и послать въ каторжную работу. Своей горячностью въ этомъ дѣлѣ Лопухинъ заслужилъ *насмѣшки* сенаторовъ. «Еще вотъ что странно, говоритъ онъ, оправданіе мертваго Калласа читаютъ съ восторгами, а что свои безпокровныя бѣдняки, живые, сидѣли въ тюрьмахъ безвинно и пытаны,— это дѣло кажется очень неважнымъ, и сдѣлается по немъ что-нибудь развѣ потому, что уже нельзя иначе, или когда нѣтъ никакой поддержки тѣмъ, которые тѣснили и пытали!.. Неужели отъ того, что тамъ Вольтеръ, Калласъ и Франція, а здѣсь Джантимиръ-Мурза, поселяне Мухинъ съ Гласовымъ и Русская Таврида?» (стр. 163).

Во всей жизни И. В. Лопухина удивительное единство, онъ нигдѣ не измѣняетъ своего нравственного склада. Молодымъ совѣтникомъ онъ возстаетъ противъ дикаго гоненія нищихъ Прозоровскимъ и говоритъ по этому поводу:

«Кстати о милостынѣ. Странно, какъ очень многіе противъ нея умствуютъ. Главная тому причина, кажется, желаніе оправдывать свое нехотѣніе подавать ее.

«Правительству, конечно, нужно и должно стараться, чтобъ нищія не шатались по улицамъ и по дорогамъ, однако, такими средствами устройства, чтобъ, во-первыхъ, не было ихъ, если то можно и, наконецъ, чтобъ ихъ, переводя, не сдѣлать вдвое несчастныхъ, т. е., чтобъ лишать людей сихъ единственнаго способа къ пропитанію, и притомъ еще съ притѣсненіемъ.

«Но частному человѣку, имѣющему въ сердцѣ хотя искру любви къ ближнему, какъ отказать ему въ помощи, какая можетъ быть въ томъ ошибка? Что поданныхъ нѣсколько копеекъ иной проплетъ? А ежели отъ сдѣланнаго по сему отказа иногда человѣкъ долженъ будетъ сутки или больше терпѣть голодъ, или покусится на преступленіе, или замазаетъ душу свою ропотомъ на судьбу; то каково должно это быть душѣ того, кто откажетъ, ежели въ ней есть чувствительность истиннаго человѣколюбія.

«И мнѣ случалось иногда отказывать и съ нѣкоторою досадою потому, что просящій милостыни покажется мнѣ пьянымъ;

однако, признаюсь, я всегда очень радъ бывалъ, когда въ такомъ случаѣ, воротивъ того, кому отказалъ, заслуживалъ ему и себя какъ бы наказывалъ дачею ему вдвое, говоря себѣ въ мысляхъ: — Что, развѣ ты самъ не преступалъ никогда предѣловъ трезвости, и развѣ бѣдному и подлинно крайнюю нужду имѣющему не можетъ случиться лишнее выпить.

«Впрочемъ, я въ себѣ расположеніе къ милостынѣ никакъ не считаю добродѣтелью. Это во мнѣ природная склонность, какъ въ иныхъ бываетъ къ разнымъ охотамъ. Дѣлать удовольствіе людямъ всегда была страсть моя. Будучи еще ребенкомъ, я нарочно проигрывалъ мальчику, служившему при мнѣ, деньги, какія у меня случались, и любовался его о томъ радостью».

Старикомъ сенаторомъ онъ отвѣчаетъ своимъ товарищамъ, говорившимъ ему *часто* по поводу голосовъ, которые онъ подавалъ: «Вѣдь, не будетъ же по твоему». — «Какъ будто надобно рѣзать и грабить людей для того, что многіе грабятъ и рѣжутъ?»

Странно встрѣтить, при столько хорошемъ развитіи и гуманномъ, закоснѣлое упорство Лопухина въ поддержаніи помѣщичьей власти. Онъ не имѣлъ права на этотъ предразсудокъ въ началѣ царствованія Александра и тутъ онъ невольно противурѣчить самъ себѣ, и отъ этого впадаетъ въ фразы. Онъ пишетъ, напр., къ императору, что стыдится слова холопъ, что желалъ бы, чтобъ всѣ русскіе были свободны, и съ тѣмъ вмѣстѣ говорить, что вторженіе непріятеля было бы менѣе гибельно, чѣмъ ограниченіе помѣщичьей власти ¹⁾.

Распространяться о «Запискахъ» Лопухина нечего, книга у читателя въ рукахъ; но въ заключеніе нельзя не обратить вниманія на одинъ вопросъ: откуда у Лопухина — это единство, этотъ сознательный, вѣрный себѣ шагъ по дорогѣ, однажды имъ избранной? Его странно видѣть среди хаоса случайныхъ, безцѣльныхъ существованій, его окружавшихъ; онъ идетъ куда-то, а возлѣ, рядомъ цѣлыя поколѣнія живутъ ощупью, въ просонкахъ, составленные изъ согласныхъ буквъ, ждущихъ звука, который опредѣлитъ ихъ смыслъ; изъ людей слабыхъ, безъ отпора, людей азартныхъ, въ томъ смыслѣ, въ которомъ такъ называютъ безкозырные игры; въ ихъ жизни есть внѣшняя необходимость, связь оглавленія, табель о рангахъ и послужной списокъ, но единства высшаго порядка, связующей мысли, общаго стремленія — никакого.

¹⁾ Какъ въ немъ боролся помѣщикъ съ человѣкомъ и мистикомъ, ясно видно въ случаѣ, который онъ рассказываетъ въ первой части записокъ. Во время говѣнія онъ разобралъ и разобидѣлъ своего камердинера и вдругъ, опомнившись, бросился къ нему въ ноги и сталъ просить прощенія.

Изъ пѣнящагося броженія столбовыхъ атомовъ, тянущихся разными кривыми линиями и завитками къ трону и власти, Лопухинъ былъ выхваченъ своею встрѣчею съ Новиковымъ, своимъ вступленіемъ въ мартинисты. Ими пустое броженіе, покорное стихійнымъ силамъ, старалось вынырнуть, схватить въ свои руки свою судьбу. Удачно ли, или нѣтъ,—все равно. Присутствіе стремленія и силы было неотразимо. Между мартинистами была человѣческая связь, опора, круговая порука, обмѣнъ силъ, и какъ бы они мистически ни понимали и какими бы іероглифами ни замѣняли ее, они стояли гораздо выше шаткой и безцѣльной толпы образованныхъ русскихъ. Они жили задней мыслью, у нихъ было сознаніе совокупнаго труда. Членъ союза чувствуетъ себя не одинокимъ сиротой, а живую часть живого организма.

И вотъ откуда нравственная сила Лопухина.

(1860 г., № 79).

Духу не достало!

Отложили!.. Зачѣмъ?.. Неужели въ самомъ дѣлѣ по случаю масленицы?—Что за пансіонскія затѣи! Развѣ они не знаютъ, что между кубкомъ и губами есть всегда мѣсто бѣдѣ.

Эта отсрочка, это ожиданіе—сверхъ силъ человѣческихъ; тоска, тоска и страхъ! Если-бъ было возможно, мы бросили бы все и поскакали бы въ Россію. Никогда не чувствовали мы прежде, до какой степени тяжела жертва отсутствія. Но выбора нѣтъ! потерянный вдали ведетъ, мы не можемъ безъ смѣны оставить нами самими избранный постъ и желали бы только, чтобъ помянулъ насъ кто-нибудь въ день великаго народнаго воскресенія.

Зачѣмъ русскіе, которые могутъ ѣхать и живутъ безъ дѣла, скучая и зѣвая въ Парижѣ, въ Италіи, въ Лондонѣ... не ѣдутъ? Что за умѣренность и воздержность! Англичане ѣздили ватагами взглянуть на Гарибальди, на свободный Неаполь; а наши туристы—тянутъ канитель за границей, какъ будто обыкновенное, будничное время! Что это—эгоизмъ, неразвитіе общихъ интересовъ, разобщенность съ народомъ, недостатокъ сочувствія?

Мы, разумѣется, не говоримъ о дикихъ крѣпостникахъ, кричащихъ въ парижскихъ кабакахъ и лупанарахъ противъ освобожденія—съ остервенѣніемъ, возбуждающимъ отвращеніе гарсоновъ. Этимъ чужедднымъ татарамъ надобны деньги, и какими бы злодѣйствами они ихъ ни получали, имъ все равно. Намъ удивляютъ люди образованные, люди скорбящіе о народѣ, вздыхающіе о его несчастіяхъ,—но не настолько, чтобъ побезпокоить себя, бросить

привычную жизнь и явиться на лицо въ дни великаго историческаго событія.

(1861 г., № 94).

Манифестъ!

Первый шагъ сдѣланъ!— Говорять, что онъ труднѣе прочихъ: будемъ ждать *второго* — съ упованіемъ, хотѣли бы ждать его съ полной увѣренностью; но все дѣлается такъ шатко, такъ половинно и тяжело!

Освобожденіе крестьянъ только *началось* съ провозглашенія манифеста. Не отдыхъ, не торжество ждетъ государя, — а упорный трудъ; не отдыхъ, не воля ждетъ народъ, — а новый страшный искусь.

Скорѣе, — скорѣе *второй шагъ!*

Александръ II сдѣлалъ много, очень много: его имя теперь уже стоитъ выше всѣхъ его предшественниковъ. Онъ боролся во имя человѣческихъ правъ, во имя состраданія противъ хищной толпы законсѣбныхъ негодяевъ — и сломилъ ихъ? Этому ему ни народъ русскій, ни всемірная исторія не забудутъ. Изъ дали нашей ссылки мы привѣтствуемъ его именемъ, не возбуждая горькой улыбки, — мы привѣтствуемъ его именемъ *освободителя!*

Но горе, если онъ остановится, если усталая рука его опустится. Звѣрь не убитъ, онъ только ошеломленъ! Теперь, пока стоголовая гидра не совсѣмъ опомнилась, надобно покончить ее и освободить вмѣстѣ съ русскимъ крестьяниномъ новую русскую государственную мысль — и отъ нѣмецкихъ колодокъ, и отъ русскихъ татаръ, тучныхъ нашей кровью, нашими слезами, нашимъ изнуреніемъ.

Слово *освобожденія* сказано. Государь признался. Это дѣло великое, но не все, — слово должно стать дѣломъ, освобожденіе быть истинной!

Выборъ в. кн. Константина Николаевича, кажется, удаченъ. Онъ необыкновенно выросъ, явившись опорой своего брата въ дѣлѣ освобожденія, и когда Александръ его обнялъ въ первомъ засѣданіи, его обняла вся Россія.

Какая огромная полоса славы передъ обоими. Вы оба, какъ говорятъ русскіе, родились въ сорочкѣ.

Борьба ваша, Константинъ Николаевичъ, легка; съ вашей стороны не только справедливость, но все думающее и все страдающее, мевъшинство образованныхъ людей и большинство массы. А противъ васъ кто? Горсть пустыхъ стариковъ, алчныхъ не-

вѣждъ, мощенныхъ звѣздами и переплетенныхъ лентами; вѣдь, они только сильны вами; у нихъ опоры нѣтъ, кромѣ дворовыхъ людей, которыхъ рабство они зажилили еще на два года. Ихъ бояться нечего. Затѣмъ остается дикій, лѣсной помѣщикъ, еще менѣе опасный, — на такихъ ли медвѣдей ходитъ вашъ братъ. Лѣсной, степной помѣщикъ былъ своеволенъ и неукротимъ подъ материнскимъ крыломъ полиціи, онъ буйствовалъ на основаніи царскихъ льготъ; отнимите отъ него руку и вы увидите, какъ онъ присмирѣеть...

Но врядъ ли можно успѣть во многомъ однимъ канцелярскимъ порядкомъ, одной бюрократіей. Окружите себя свѣжими, живыми людьми, не рутинистами, не доктринерами, а людьми, понимающими, любящими Россію, и, главное, не бойтесь гласности, какъ бы она ни была рѣзка!

Вспомните одинъ примѣръ.

Вольнѣ нашего никогда не раздавалась русская рѣчь. Что же говорила она, что распространяла, что поставила на своемъ знамени?

Нѣсколько дней послѣ 3-го марта (19 февраля) 1855 года мы писали, что Россія ждетъ отъ новаго государя: *освобожденія крестьянъ съ землею, уничтоженія тѣлесныхъ наказаній и гласности въ судѣ и печати.*

Прошло шесть лѣтъ, и нѣсколько дней спустя послѣ 3 марта (19 февраля) 1861 всенародно возвѣщено уничтоженіе крѣпостнаго права. Вы сами стараетесь вывести во флотѣ тѣлесныя наказанія.

Чередъ за гласностью!

(1861 г., № 95).

Repetitio est mater studiorum.

Въ послѣднее время съ особеннымъ озлобленіемъ нападаютъ на нѣкоторыя мнѣнія, защищаемыя нами. Можетъ, мы и ошибаемся во многомъ, но хотѣли бы отвѣчать только за *свое*, а не за намѣренно искаженныя мысли наши враждебной или желчевой критикой. Это заставило насъ помѣстить предлагаемый *отрывокъ* (изъ статьи, назначенной въ «Полярную Звѣзду») въ «Колоколѣ», несмотря на то, что мы избѣгаемъ въ немъ всѣми средствами общихъ взглядовъ, professions de foi и пр. Мы печатаемъ его не какъ *ответъ*, а какъ *предлѣль*, или между, для опредѣленія границъ, за которыми мы не отвѣчаемъ за нелѣпости, которыя ставятъ на нашъ счетъ.

Torquay (Devonshire), 30 августа, 1861.

... Прежде всего слѣдуетъ вспомнить опредѣлительно, что я говорилъ.

Я говорилъ и теперь утверждаю, что современный государственный бытъ дошелъ въ Европѣ до того предѣла измѣняемости, далѣе котораго онъ не можетъ развиваться сообразно новымъ потребностямъ людскимъ, не *измѣняя* своихъ основаній, т. е., не переставая быть самимъ собою. Сознаніе этого явилось въ немъ самомъ. Соціальныя ученія, какъ бы они ни были формулированы, далеко перехватываютъ за возможность улучшеній существующаго порядка. Они стремятся водворить иное отношеніе людей къ собственности, къ обществу и между собой. При измѣненіи этихъ основныхъ отношеній, прежніе институты, формы, могутъ остаться, но они *иначе* взойдутъ въ общественную формулу, т. е., иною функціей, и тогда, между новымъ обществомъ и старымъ государствомъ, останется столько же общаго, какъ между Римомъ императоровъ и Римомъ папъ. Какъ внутренній историческій химизмъ разлагаетъ одно тѣло, одинъ организмъ, и соединяетъ его составныя части въ инныя ткани другого организма, намъ еще недавно показавъ, по трупу, страшной силы анатомъ на величайшемъ кладбищѣ міра. Читая книгу Грегоровіуса, можно наглядно прослѣдить, какъ съ каждымъ поколѣніемъ, алчный Римъ слабѣетъ, вывѣтривается, а христіанскій крѣпнетъ и растетъ. Подъ конецъ не было и борьбы, а неотразимо совершающееся превращеніе. Случайный элементъ, прорвавшійся изъ германскихъ лѣсовъ, доломалъ силой старую весъ; было ли это счастье или несчастье, — я не знаю и никогда не говорилъ объ этомъ... Пути исторіи, пути природы оттого намъ и кажутся такъ неисповѣдимы, что они прокладываются безъ плана, ломаютъ безъ жалости и пользуются всѣмъ по дорогѣ, какъ настоящіе мародеры.

Что было бы съ Римомъ безъ нашествія варваровъ и какъ бы онъ справился съ новыми идеями, или какъ бы ихъ побѣдилъ своей философійей, сказать тоже нелегко. Мы имѣемъ одинъ рѣзкій примѣръ античнаго порядка и христіанскаго вліянія—въ Византіи. Она не жила, а тянулась до своего паденія, она была очень стара, несмотря на то, что дѣти родились не сѣдя и не плѣшивыя. Турки дали ей честную кончину.

Жизнь западнаго міра гораздо сложнѣе римской, у ней нѣтъ одной головы, которую искалъ Калигула, а потому и судьбы его не такъ просты. Сильно поврежденный бурями, онъ, какъ корабль, накренился на одну сторону, отлилъ часть себя за океанъ, оправился и поплылъ на всѣхъ парусахъ; но вмѣсто гавани, которая постоянно виднѣлась и которая врядъ существуетъ ли, онъ доплылъ до новаго водоворота, — обогнуть его, уплыть отъ

него трудно. Какъ разрѣшить онъ вопросъ, стоящій передъ нимъ и требующій неотложнаго отвѣта, и разрѣшить ли его? Сказать положительно *да* или *нѣтъ*, такъ или *эдакъ*, можетъ поврежденный или пророкъ. Но дѣлать предположенія мы имѣемъ полное право, не будучи ни безумными, ни преступниками.

Предположенія могутъ быть разны уже потому, что трудно себѣ представить одно рѣшеніе и одинакій результатъ. Неужели общественное пересозданіе пойдетъ одинакимъ образомъ въ странѣ тихаго, настойчиваго, поступательнаго развитія, въ странѣ, гдѣ митингъ покоенъ, свобода книгопечатанія не вводитъ въ грѣхъ, и Бокль такъ флегматически спокойно проповѣдуетъ прогрессъ исподволь, — и въ странѣ вулканическихъ взрывовъ, рабства и своеволя, гдѣ Прудонъ мечется и прыгаетъ на своей цѣпи, какъ пойманный вепрь? Гдѣ начнется разгромъ, — въ потухнувшемъ ли французскомъ кратерѣ или на морскомъ днѣ англійской жизни, куда вѣтеръ не доходить, гдѣ бури не слышны, куда самый свѣтъ едва проникаетъ?

Да и вообще въ Англій ли и во Франціи начнется онъ? То, что онѣ царятъ въ настоящемъ, что онѣ мощны — не резонъ? Въ полномъ, могучемъ разгарѣ вѣковаго развитія, въ богатомъ урожаѣ его, трудно пробиться, прорасти чему-нибудь новому, особенно отрицающему существующее. Все занято, все ринуту, увлечено, все дѣйствуетъ въ очерченномъ кругу, все бережетъ свое состояніе и не хочетъ рисковать имъ въ пользу неизвѣстнаго.

Что же нелѣпаго въ предположеніи, что новыя общественныя формы, новыя экономическія основы прозябнуть и разовьются въ другихъ странахъ, мало имущихъ, съ бродячими и неустроенными силами, съ несложившимися складками, — пока пышный цвѣтъ прежней жизни будетъ доцвѣтать до утраты послѣдняго благоуханія, послѣдняго яркаго лепестка? Тутъ нѣтъ ничего удивительнаго, это общій путь жизни съ ея вѣчнымъ рожденіемъ молодаго, безъ ущерба старому. Чѣмъ дольше общество жило исторической, государственной жизнью, чѣмъ богаче былымъ, тѣмъ прочнѣе, тѣмъ больше сложились формы, въ которыхъ движется его жизнь, тѣмъ онѣ глаже, удобнѣе, тѣмъ больше крѣпость ихъ покоится на внутреннемъ признаніи, на самой народной совѣсти, выработавшей ихъ; онѣ дѣйствительно многому соотвѣтствуютъ и съ тѣмъ вмѣстѣ многому препятствуютъ. Новому порядку вещей приходится вступать въ борьбу со всей совокупностью этихъ признанныхъ и дѣйствующихъ институтовъ. Борьба почти никогда въ исторіи не оканчивается безусловной побѣдой той или другой стороны, — хоть камни и колонны какого-нибудь Юпитерова храма взойдутъ въ постройку новой церкви. Развитіе вообще идетъ разными сочетаніями двухъ взаимодѣйствующихъ

силъ *традиціи и идеала*. Чѣмъ сильнѣе, чѣмъ крѣпче, чѣмъ богаче преданіе, тѣмъ упорнѣе оно себя отстаиваетъ, тѣмъ больше проникаетъ въ идеалъ, стягивая его въ свою сторону. То, что стоять за себя, то имѣетъ *неоспоримое право жить*,—какъ вамъ это ни досадно ¹⁾).

Нѣкогда передъ подобными твердынями разбивалась мысль и разбивался человѣкъ. Кругъ былъ очерченъ — для Катона Утическаго городскимъ валомъ, для Дантона французской границей. Теперь человѣкъ удободвижимѣе, онъ можетъ легко «нести на своихъ подошвахъ отечество» и во многихъ странахъ понялъ это. Не естественно ли ему оглядѣться направо и налево, посмотреть нѣтъ ли менѣе заваленной почвы, менѣе защищаемыхъ бойницъ. Развѣ многое, чего нельзя было достигнуть въ Англіи, не достигнуто въ Канадѣ, въ Австраліи?

Къ тому же, чего нельзя было взять съ собой — «на подошвахъ», то не лучшее; важнѣйшее достояніе западной жизни—*движимое*, отрѣшенное отъ земли, отъ города, отъ церкви, отъ суда, отъ государства, отъ всего недвижимаго маіората среднихъ вѣковъ и вѣковъ религіозной и политической борьбы, благопріобрѣтенное и принадлежащее всѣмъ имуществу, это—*наука*.

Развилась она въ этомъ мірѣ, въ немъ рѣзались ея зубы, въ немъ чахла она отъ золотухи и выздоровѣла, въ немъ поумнѣла и потому сдѣлалась чужая въ семьѣ. Она можетъ сказать своей матери: «Женщина, что тебѣ до меня? я проповѣдую разумъ, я ищу,—ты вѣришь». Что общаго у академіи и церкви, что общаго у астронома, вычисляющаго будущія явленія, и попа, молящагося о дождѣ?

Если западному человѣку, у котораго голова устроена логически и есть достаточно храбрости, чтобъ оторваться отъ привычки, представляется вопросъ о иныхъ невоздѣланныхъ почвахъ и онъ вглядывается въ Австралію, Америку, во всякую дичь, ничего не дающую положительнаго, кромѣ физическихъ условій и отсутствія традиціи,—то, безъ сомнѣнія, русскому, связанному съ Западомъ одной наукой и больше ничѣмъ, еще легче освободиться отъ чужой традиціи и совершенно естественно взглянуть на то, что дѣлается около него, на своей собственной почвѣ.

¹⁾ Въ настоящемъ сопротивленіе консерватизма насъ бѣситъ. Благодушный покой и умѣренность въ борьбѣ невозможны. Оскорбительное сознаніе своего безсилія идетъ рядомъ съ досадой на несостоятельность разума, на простодушное непониманье массъ и на корыстный эгоизмъ понимающихъ. Вотъ отчего иной разъ вырывается горькое слово проклятъя міру гупого самодовольства и призывъ на его узкій черепъ грома и молніи. Это дѣло страсти; со стороны его можно не оправдывать, но нельзя не понимать.

О странномъ и независимомъ положеніи русскаго относительно Европы, этого *своего и чужого*, мы говорили много разъ. Мысль Запада легко усваивается нами,—у насъ нѣтъ азіатскаго отвращенія отъ науки. Историческій бытъ его для насъ не объяснителенъ, для насъ все это одинъ костюмъ; сверхъ того, на Западѣ мы были знакомы съ однимъ образованнымъ слоємъ. Отдѣленные отъ своего народа, мы и съ нимъ потеряли связь. Его *незападный бытъ* былъ непонятенъ намъ, да и не интересовалъ насъ. Между тѣмъ Западъ коснулся вопросовъ, несовмѣстныхъ съ его государственными формами, и на первый случай сръзался. И мы вспомнили тутъ особенно ярко, что, подъ внѣшними западными формами русскаго государства, сохранился какой-то *иной* народный бытъ, основанный на *иномъ понятіи* объ отношеніи человѣка къ землѣ и къ ближнему.

Труды славянофиловъ приготовили матеріаль для пониманія,—имъ принадлежитъ честь и слава почина.

Они первые поняли, что въ подавленныхъ и дремлющихъ силахъ народа русскаго, въ разъединеніи народа съ государствомъ, въ тѣсныхъ формахъ, сдѣланныхъ не по мѣркѣ, въ которыя попалась русская жизнь, больше, чѣмъ *tabula rasa*,—задатокъ самобытнаго будущаго развитія.

Что же тутъ удивительнаго, что, видя народъ общинный, артельный, съ *своимъ* понятіемъ о правѣ на землю и о круговой порукѣ, живущій въ какомъ-то чужестранномъ государственномъ неустройствѣ, которое ничему не удовлетворяетъ, ни, наконецъ, даже защитѣ границъ, нашлись люди, которые предположили, что этотъ народъ ближе къ осуществленію экономическаго, т. е., соціальнаго переворота, чѣмъ римско-феодалная, мѣщански-индустриальная Европа? Сказалъ же Христосъ, что богатому Никодиму труднѣе совлечь съ себя стараго Адама, чѣмъ нищему. То, что на Западѣ можетъ только совершиться рядомъ катастрофъ, потрясеній, то можетъ развиться въ Россіи на основаніи существующаго. Одинъ фактъ *общиннаго владѣнія землей*...

Дошли таки, наконецъ, до вашего большого мѣста, ха! ха! ха!.. Я такъ и слышу это возраженіе.

Что дѣлать! дошелъ! и какъ Эзопъ, расскажу вамъ притчу по этому поводу. Въ концѣ 1848 года Пьеръ Леру особенно усердно старался передать французамъ свою Триаду и свой *Circulus*; когда онъ произносилъ одно изъ этихъ словъ, а онъ непременно произносилъ ихъ нѣсколько разъ въ каждой рѣчи, въ народномъ собраніи поднимался гвалтъ смѣха; въ журналахъ его дразнили ежедневно, какъ мономана, Шаривари пускалъ каррикатуру за каррикатурой насчетъ знаменитаго *Circulus'a* и пресловутой *Triad'ы*. Около этого времени, я случайно шелъ мимо

«клуба революціи», осиротѣвшаго послѣ взятія Барбеса, Бланки и пр. Я взошелъ въ залу. Вслѣдъ за какимъ-то дюжиннымъ болтуномъ, явился на трибунѣ, въ широкомъ, нечистомъ пальто, съ нечесаннымъ шалашомъ волосъ Пьеръ Леру. Его доброе лицо вообще не безъ лукавства; онъ, переступая съ ноги на ногу и насмѣшливо посматривая, началъ такъ: «Граждане! Я очень хорошо знаю, какъ надо мной издѣваются за повтореніе одного великаго закона; но что же мнѣ дѣлать, вотъ, напримѣръ, нынче мнѣ необходимо вамъ сказать о Тріадѣ...» Публика разразилась хохотомъ. Пьеръ Леру переждалъ, — ну, молъ, теперь слово сказано, — уймутся и будутъ слушать. Такъ и было.

И я бы, какъ Пьеръ Леру, приостановился и переждалъ хохотъ. Но у моихъ ученыхъ обвинителей и желчевыхъ критиковъ смѣху нѣтъ.

Тѣмъ не меньше я смѣло повторяю, что одинъ фактъ общиннаго владѣнія землею и передѣлежя полей, самъ по себѣ, оправдываетъ предположеніе, что наша невоздѣланная почва, нашъ черноземъ способнѣе для посѣва зерна, собраннаго съ западныхъ полей. Способнѣе по стихіямъ, изъ которыхъ она состоитъ, способнѣе потому, что на ней меньше мусора и всякаго рода развалинъ, чѣмъ на западныхъ поляхъ.

— Стало-быть, Россія все-таки отъ Запада возьметъ это оплодотворяющее зерно? ¹⁾

— Стало-быть.

— Ну, гдѣ же тутъ новый элементъ, который она вноситъ въ жизнь устарѣлаго Запада, долженствующій пересоздать его?

— На это пусть отвѣчаютъ тѣ, которые это говорятъ. Я этого никогда не говорилъ ²⁾.

(1861 г., № 107).

¹⁾ «Одна могучая мысль Запада, къ которой примыкаетъ вся длинная исторія его, въ состояніи оплодотворить зародыши, дремлющіе въ нашемъ патріархальномъ быту. Артель и сельская община, раздѣлъ прирѣвья и раздѣлъ полей, мірская сходка и соединеніе селъ въ волости, управляющія сами собой, — все это красугольные камни, на которыхъ соизидется храмнина нашего будущаго свободно-общиннаго быта. Но эти красугольные камни, все же камни... и безъ западной мысли нашъ будущій соборъ остался бы при одномъ фундаментѣ». («Полярная Звѣзда» на 1856 г., стр. 168 и 169).

²⁾ Во французскихъ статьяхъ я много разъ употреблялъ слово, еще болѣе выражающее мою мысль, — l'aptitude. Aptitude не значитъ, что что-нибудь сдѣлано, что кладъ найденъ, оно даже не обуславливаетъ развитіе, а показываетъ большую способность къ нему.

Mortuos plango.

Поминать, такъ поминать!

Пушкинъ.

I.

Новый годъ, какъ верстовой столбъ, всякій разъ заставляетъ подумать, скоро ли доѣдешь, и вспомнить, какова была дорога... Плоха и очень плоха была, а вотъ и доѣхали до 1862 года, и на русской душѣ нашей словно легче и свѣтлѣе...

Когда я сравню теперешнее время съ тѣмъ, что было десять лѣтъ тому назадъ, морозъ пробѣгаетъ по кожѣ, — нѣтъ, не все, что прошло, будетъ мило... Тогда было такъ тяжело, такъ тяжело, что одно желаніе и оставалось: «Бѣжать, уйти куда-нибудь, уничтожиться безслѣдно, безсознательно, лишь бы отдохнуть, лишь бы не видать, что дѣлается вокругъ»; ¹⁾ такъ тяжело, что, когда разразился *последній ударъ*, невольно вырвался изъ груди радостный крикъ: *vive la mort!*

Съ этимъ крикомъ вступили мы въ новый 1852 годъ.

Слишкомъ много было страданій, стоновъ вокругъ, какая-то духота. Похороны все лучше.

Что было потомъ,—трудно сказать. Какая-то нравственная холера, нервы опустились, мысли потускли, тамъ-сямъ спасались люди, кто въ Англію, кто въ Америку; впрочемъ, свирѣпыхъ гоненій, ужасныхъ казней и отвагъ, этой послѣдней поэзіи мрачныхъ эпохъ, не было. Люди изнашивались, затомлялись какъ-то исподволь пошлыми неприя́тностями, мелкими лишеніями, они старѣли, не вынося съ собой — выкупомъ за страданія — тѣхъ страшныхъ образовъ бурь и урагановъ, которыми тѣшится морякъ, сидя на берегу. Объ этомъ времени *нѣтъ воспоминаній*.

...Хоронили Веллингтона.

...Прусскій король сошелъ съ ума...

...А возлѣ хоронили цѣлый міръ идей и стремленій, не замѣчая того, и цѣлый міръ, если не сходилъ съ ума, то суживался въ умѣ. Легкомысленное непониманіе того, что совершалось, надменное самодовольство передовыхъ людей, передовыхъ журналовъ, общественнаго мнѣнія наводило тоску и ужасъ. На откровенныя слова, указывавшія грядущія бѣды, отвѣчали свистомъ и насмѣшками. У насъ въ Россіи разные доктринеры тоже натягивали на себя западную тупость; это явленіе, вызванное негодо-

¹⁾ «Письма изъ Франціи», пис. XIV, 31 дек. 1851 и «Съ того берега», Эпиграмм., 1849 года.

ваніємъ, оппозиціей, у насъ не имѣло корней; но видѣть на мѣстѣ, дома, обтерканныхъ людей, которые съ надменностью Донъ-Сезаръ де Базанъ а величественно завертываются въ грязный, продырявленный плащъ, съ полной увѣренностью, что ихъ дѣла завтра пойдутъ блестящимъ образомъ, и знать, что они завтра пойдутъ еще хуже и все хуже,—это ужасно!

Годы шли и шли... все больше дрогъ, распущенныхъ шляпъ, факеловъ... Мало-по-малу мы стали догадываться, что это все хоронятъ *чужихъ* или дальнихъ родственниковъ, отъ которыхъ мы получаемъ въ наслѣдство все, за исключеніемъ горести объ умершемъ, *мы* — осмѣлившіеся надѣяться, когда ночь кругомъ становилась темнѣе, мы — вѣровавшіе въ Россію тогда, когда вѣра въ нее была безуміемъ.

II.

А не пощадила Донъ-Сезаръ де Базанъ а судьба, не обошла его ни одной каплей горечи, ни однимъ униженіемъ, ни однимъ ударомъ.

Была у гордаго старика одна мечта, одна надежда... казалось въ самомъ дѣлѣ сбыточная. Онъ утѣшался, какъ король Лиръ, мыслью, что у него вдали есть дочь—богатая и вольная, которой онъ при жизни завѣщалъ свое лучшее достояніе; она-то, думалъ онъ, исполнить его послѣднюю волю. И въ тѣ минуты, когда старику дома становилось тяжело, онъ мечталъ объ ней и собирался къ ней перебраться.

Мы сами были увлечены и вѣрили въ нее.

Но не Корделіей оказалась и эта дочь.

...Разверните лѣтописи міра, отъ потопа, отъ Мельхиседека до вчерашняго дня, и найдите на Югѣ, на Востокѣ, гдѣ хотите, знамя гнуснѣе того, на которомъ написано: *Рабство или Смерть!* Было ли что-нибудь чудовищнѣе въ библейскихъ бойняхъ, въ уничтоженіи альбигойцевъ, во времена инквизиціи, исламизма... Что передъ этимъ сумасшедшій бредъ *умнаго* прусскаго короля въ Кенигсбергѣ, отбросившаго Германію за вестфальскій миръ?

Война за рабство! «За наше *святое дѣло!*» Какъ выразился южный президентъ въ рѣчи своей.

До Сѣверо и Юго-Американскихъ Штатовъ было рабство и крѣпостное состояніе, неправая война и неправое стяжаніе, но этотъ цинизмъ, эта наглость, эта преступная простота, это безстыдное обнаженіе—это ново и принадлежитъ Америкѣ.

Та ли эта Америка? Та ли Франція? Какъ онѣ могли такъ измѣниться?

Онѣ не измѣнились, только мы ихъ не знали прежде. Мы смотрѣли картинки, читали вывѣски... Революція проѣхала какъ

императрица, картонныя избы упали, декораціи сельскаго благосостоянія сняты, новыя кафтаны обобраны. Что же осталось?— Истина.

Страна Уильберфорса снащаетъ корабли, нехотя становясь за рабство; рѣками, можетъ, полется кровь въ Атлантическій океанъ, корабли погрузнуть на его дно, «святая основа» южныхъ республикъ будетъ принята всей Европой.

А въ это время развѣ онъ будетъ сидѣть сложа руки?

...Римъ, Рейнъ, Бельгія, Востокъ—Ave Cæsar!

Ужъ не въ самомъ ли дѣлѣ это пятое дѣйствіе—трагедіи, начавшейся въ 1789?

Если же такъ, куда послѣ театра?

Не знаемъ, куда актеры, а мы ко дворамъ.

III.

У насъ въ старыя годы все перекладывали французскіе водевили на русскіе нравы. Какъ бы не случилось теперь того же съ европейской трагедіей.

Она выйдетъ у насъ грубѣе, но гораздо проще. У насъ *старое* то ново и не пустило корней; у насъ морщины на кожѣ, но кровь молода.

Упорная живучесть всего существующаго въ Европѣ прочно основана на всемъ быломъ ея. Ея многосложный бытъ сложился самъ по себѣ, выработался въ длинной и тяжелой борьбѣ; онъ ей естествененъ, у ней есть другіе *идеалы*, но другого *быта* нѣтъ. Къ тому-жь, въ обветшалыхъ и узкихъ формахъ ея захвачено бездна изящнаго и хорошаго. Оно-то и утратилось при *переложеніи на наши нравы*, удивляться этому нельзя.

Европейскій бытъ и цивилизація были надѣты на насъ въ томъ родѣ, какъ въ Лондонѣ мальчишки зашивають для продажи плейбейскаго происхожденія щенка въ волнистую шкуру аристократической собаченки; щенокъ, вымытый и расчесанный, бѣгаетъ въ своемъ *болонскомъ* кафтанѣ по гостиннымъ, спитъ на диванахъ,—но увы, онъ растеть, и чужая шубенка лопається по швамъ.

Какъ бы то ни было, но теперь вопросъ собственно вотъ въ чемъ: имѣя западную фасаду и формы безъ лучшей стороны содержанія, что намъ придется — разбить ли чужія формы или усвоить чужое содержаніе?

То, что въ Европѣ есть общечеловѣческаго — т. е., наука, и больше ничего,—само собой принадлежитъ всѣмъ, какъ воздухъ принадлежитъ каждому, имѣющему легкія. Стало быть, рѣчь не о наукѣ, а о томъ, могутъ ли другіе результаты западнаго развитія усвоиться нами, не мѣшая нашему собственному росту, или мы разовьемъ какіе-нибудь иные историческіе элементы?

Конечно, было бы лучше воспользоваться тѣмъ и другимъ. Человѣкъ скупъ, стяжательнъ, ему жаль терять, онъ завистливъ, ему хотѣлось бы всего—всего. Но силъ нѣтъ на обладаніе, нельзя же въ самомъ дѣлѣ быть разомъ средневѣковымъ монахомъ и Алкивиадомъ, кастильянскимъ грандомъ въ шляпѣ и якобинцемъ въ красной шапкѣ; такъ, какъ нельзя, переѣзжая изъ города въ деревню, захватить съ собой всѣ городскія удобства, — довольно того, что въ городѣ вмѣстѣ съ ними останется и зараженный воздухъ, и пыль, и противная толкотня.

Не все юное и свѣтлое изъ жизни Эллады перешло въ Римъ, не все изящное античнаго міра осталось въ христіанствѣ и не все граціозное аристократической Европы сохранилось въ мѣщанской. И въ этомъ лежитъ великая печать личной самобытности каждой эпохи и ея художественная замкнутость.

Природа постоянно идетъ этими путями, — развиваясь въ разныя стороны лучами, діагоналями, кривыми. Молча благоухаетъ роза, славно поетъ соловей, но совѣмъ не пахнетъ. Не смѣйтесь надъ этимъ примѣромъ. Дѣло въ томъ, что все, *удавшееся* въ природѣ, сохраняетъ свои особенности съ упорнымъ консерватизмомъ побѣдителя, поддерживая свои династическіе интересы и предоставляя новымъ *ragueus* доискиваться иныхъ завоеваній и формъ. На этомъ-то и основано страшное множество видовъ и родовъ. Въ природѣ нѣтъ табели о рангахъ, ни перевода изъ класса въ классъ, иначе давнымъ давно всѣ животныя дослужились бы до человѣческихъ чиновъ, и на островѣ Цейлонѣ или на берегахъ Евфрата цвѣла бы демократическая и социальная Атлантида.

Иными словами — переходъ отъ менѣе совершенныхъ видовъ къ болѣе совершеннымъ вообще не дѣлается развитіемъ *наименѣе несовершеннаго* вида въ болѣе развитой. Онъ и такъ хорошъ, и такъ дорого стоилъ, пусть же онъ и остается самъ по себѣ, въ то время, какъ ряды другихъ попытокъ направо, налево, со всѣхъ сторонъ тянутся, гибнуть, отстаютъ, *обходятъ, забываютъ* существующій видъ.

Каждый видъ представляетъ поступательное развитіе, съ одной стороны, и, съ другой, предѣлъ, т. е., препятствія, на которыя онъ натолкнулся съ *стремленіемъ ихъ перейти*. Это безсиліе нисколько не мѣшаетъ другому виду, можетъ, бѣднѣе организованному въ чемъ-нибудь иномъ, перешагнуть именно *это* препятствіе.

Мы понимаемъ, но гдѣ же предѣлъ европейскаго развитія, гдѣ препятствія, за которыя оно запнулось?

Во первыхъ, въ сознаніи необходимости коренного переворота, въ сознаніи нелѣпости государственной, юридической и экономической жизни, отставшей вѣками отъ общественной и научной.

Во вторыхъ, въ немогутъ не только совершить этотъ социальный переворотъ, но даже формулировать его.

Вотъ на чемъ оборвались реформаціи и революціи, республики и конституціи, вотъ порогъ, за который запнулся смѣлый бѣгъ Запада и, смутившись, бросился въ цезаризмъ, націонализмъ и въ тупой смѣхъ надъ социальными вопросами, напоминающей намъ тупой смѣхъ римскихъ патриціевъ и доктринеровъ надъ назаряями. Плакать надобно, а не смѣяться. Мы ждали четырнадцать лѣтъ. Слово, если и было сковано, мысль не была скована, да и есть слова и мысли, которыхъ не скуешь. Гдѣ это слово? Гдѣ эта мысль? Что прибавилось къ торжественному протесту противъ общественной лжи и неправды, сдѣланному сенсимионистами и ихъ товарищами, что къ грозному обличенію, раздававшемуся середь кровавой бури іюньскихъ дней?

Социализмъ стоитъ тѣмъ же гнѣвнымъ Даниломъ, указывая страшныя, огненные буквы, которыхъ полного смысла мы не знаемъ, которыя пророчатъ бѣду и молчатъ объ искупленіи...

Вотъ предѣлъ...

IV.

Но предѣлъ ли это для насъ, приемышей, пасынковъ западной цивилизаціи?

Прошедшее Запада обязываетъ его, — не насъ. Его живыя силы скованы круговой порукой съ тѣнями прошедшаго, съ тѣнями дорогими ему, не намъ. Свѣтлыя, человѣческія стороны современной европейской жизни выросли въ тѣсныхъ средневѣковыхъ переулкахъ и учрежденіяхъ; онѣ срослись съ старыми доспѣхами, рясами и жильями, рассчитанными совсѣмъ для другого быта, — рознять ихъ опасно, тѣ же артеріи пробѣгаютъ по нимъ. Западъ, въ неудобствахъ наслѣдственныхъ формъ, уважаетъ свои воспоминанія, волю своихъ отцовъ. Ходу его впередъ мѣшаютъ камни, но камни эти памятники гражданскихъ побѣдъ или надгробныя плиты.

У насъ ничего подобнаго. Наши преданія впереди. На нашихъ старинныхъ зданіяхъ извѣсть не обсохла, наши развалины — состарѣлись не отъ лѣтъ, а отъ того, что фундамента нѣтъ. Мы еще не обстраивались, и это превосходно. Военныя поселенія ужасно легко переходятъ опять въ деревню.

Въ самомъ дѣлѣ, какой камень, какую улицу намъ жалѣть? Царицынъ лугъ — гдѣ полтора ста лѣтъ ежедневно били палками солдатъ, или Старую Руссу — гдѣ ихъ засѣкали десятками? Не съѣзжіе ли господскіе дома — эти омуты, эти паутины, въ которыхъ выбились изъ силъ, зачахли цѣлыя поколѣнія, гдѣ засѣ-

кали старцевъ и насилывали дѣтей годъ тому назадъ, а можетъ и ближе?

Нѣтъ, уже объ *нашу-то* Европу мы не запомнимъ; мы слишкомъ дорого заплатили за науку, чтобъ такъ малымъ довольствоваться.

Полтора ста лѣтъ безчеловѣчнѣйшихъ истязаній, униженій, неслыханныхъ въ лѣтописяхъ міра, полтора ста лѣтъ пытки, застѣнка, — и все это только для того, чтобъ стать на краю пропасти, на которой стоятъ всѣ западныя государства и дѣлать ихъ судьбу, не имѣя взаимнѣ ни логическаго оправданія въ прошедшемъ, ни удобствъ настоящаго... Нѣтъ, или сѣченіе не стоило шпицрутеноевъ!

— И будто вамъ не жаль?

— Жаль? Кому и что?

Насъ двое, разнo взрощенныхъ. По воспитанію можно судить о степени нашей чувствительности.

Мы, на примѣръ, внуки людей, издѣвавшихся надъ своими отцами, когда ихъ насильно брили, людей, собственными руками пытавшихъ по застѣнкамъ, казнившихъ стрѣльцовъ, людей, представлявшихъ разомъ гаеровъ, холоповъ, вельможъ и доносчиковъ, — мы выросли возлѣ конюшенъ, гдѣ наши отцы и дѣды сѣкли дворовыхъ, и возлѣ дѣвичьихъ, гдѣ они *отдыхали* отъ трудовъ. Они тоже въ свое время были палачами солдатъ, грабили цѣлыя губерніи и безропотно ссылали на каторгу своихъ дѣтей и чужихъ. У дѣтей, у которыхъ съ первымъ пробужденіемъ человѣческаго, святаго чувства любви къ ближнему и слабому, сочеталась ненависть къ отцу, матери и ко всей семьѣ, не ищите сожалѣнія въ *эту сторону*, они слишкомъ желѣли въ *другую*.

... А *другой*— тотъ, котораго дѣда и отца сѣкли, которому брили лобъ, котораго брали во дворъ, котораго жена, сестра, дочь были обезчещены,—какъ вы думаете—пожалѣеть?

... Оставьте мертвымъ хоронить мертвыхъ... Ихъ не воскресите... ихъ можно только *оплакивать*; звать надобно живыхъ, мы и зовемъ... Откликайтесь же—есть ли въ полѣ живъ человѣкъ?

Vivos voco!

(1862 г., № 118).

М. А. Бакунинъ.

Бакунинъ въ Лондонѣ!.. Бакунинъ, погребенный въ казематахъ, потерянный въ восточной Сибири,—является бодрый и свѣжій среди насъ—*Redivivus et Ultor*, сказали бы мы въ подражаніе Емельяну Пугачеву... Но ни Бакунину, ни намъ не до мести, слишкомъ много дѣла. Бакунинъ приходитъ къ намъ съ удвоенной любовью къ народу русскому, съ несокрушимой энергіей надеждъ и силъ, закаленныхъ здоровымъ, свѣжимъ, молодымъ воздухомъ Сибири.

Видно скоро весна, коли старые знакомые прилетаютъ изъ-за Тихаго океана!

Съ Бакунинымъ невольно оживаютъ стаи тѣней и образовъ *бурнаго года*... И мы съ вновь разбуженнымъ ожиданіемъ смотримъ на соплеменный намъ Востокъ Европы, и снова будто слышится, какъ разсѣдаетъ и трещитъ штучная вѣнская имперія, какъ двигается и закипаетъ славянскій міръ.

Мечты 1848 года! Да, мечты... но «еще одно сказанье»... и мечты 1848 года, обогнувъ трехъ гордыхъ стариковъ цивилизаціи, осуществляются отъ Мессинскаго пролива до Дуная и Вислы—до Волги и Урала... 1848 годъ не умеръ, онъ переѣхалъ на другую квартиру.

Дѣятельность Бакунина до Кенигштейнской цитадели была сначала отвлеченно-философская, потомъ вообще социальнореволюціонная, теперь она будетъ, надѣмся мы, исключительно славяно-русская. Объ этомъ мы поговоримъ въ другое время, теперь напомнимъ самымъ сжатымъ образомъ прохожденіе его службы, его *формулярный списокъ*.

Бакунинъ оставилъ Россію въ 1841 году; въ 1845 онъ попалъ въ швейцарскій процессъ социалистовъ; Блунчли указалъ на него русскому правительству. Ему велѣли немедленно возвратиться,—онъ не поѣхалъ. Николай велѣлъ его судить. Сенатъ лишилъ его офицерскаго чина, дворянства и пр. Онъ уѣхалъ въ Парижъ.

Тамъ въ 1847 году, 29 ноября, Бакунинъ произнесъ свою извѣстную рѣчь на польской трибунѣ въ день годовщины варшавскаго возстанія. Вліяніе его рѣчи было огромно. Гизо его выслалъ изъ Парижа, но едва Бакунинъ осмотрѣлся въ Брюсселѣ, Парижъ въ свое очередь выслалъ Гизо и Людовика Филиппа изъ Франціи. Бакунинъ возвратился въ Парижъ и бросился съ увлеченіемъ въ раскрывшуюся тогда политическую жизнь. Ламартино-Марастовское правительство косо смотрѣло на людей, принявшихъ республику за слишкомъ серьезную правду,

и охотно сплавляло ихъ направо и налево, лишь бы вонъ изъ Франціи. Оно обрадовалось, что Бакунинъ уѣхалъ. Въ затишьи славянскаго міра закипала тогда новая жизнь, въ Бреславлѣ собирався польско-славянскій съѣздъ. На немъ и еще болѣе на пражскомъ конгрессѣ Бакунинъ уже является сильнымъ дѣятелемъ; тамъ написалъ онъ свою соціально-славянскую программу, которую до сихъ поръ чехи не забыли, и дѣйствовалъ за одно съ славянами ¹⁾ до тѣхъ поръ, пока Виндишгрець не разогналъ конгресса австрійскими пушками. Оставивъ Прагу, Бакунинъ сдѣлалъ опытъ въ противность Палацкому соединить славянскихъ демократовъ съ венгерцами, искавшими независимости, и съ нѣмецкими революціонерами. Союзъ этотъ былъ составленъ съ многими поляками, на него отъ венгровъ пріѣзжалъ графъ Л. Телеки. Бакунинъ, желая скрѣпить собственнымъ примѣромъ союзъ, принялъ главное управленіе въ защитѣ Дрездена; тамъ онъ покрылъ себя славой, которую никогда не отрицали его враги; послѣ взятія Дрездена пруссаками, Бакунинъ отступилъ. Въ Хемницѣ онъ былъ предательски схваченъ съ двумя изъ своихъ товарищей и отправленъ въ Кеннигштейнъ. Отсюда начинается его длинный мортирологъ.

Замѣтимъ мимоходомъ, что Бакунинъ такъ страшно заплатилъ за благородную ошибку, за несбыточную мечту общаго дѣйствія съ нѣмецкими демократами. У большей части нѣмцевъ слишкомъ развита племенная ненависть къ намъ. Мы знаемъ, что нѣмецкій общественный дѣятель работаетъ въ пользу нѣмецкаго народа, не удивляемся этому и уважаемъ его. Но нѣмецъ ждетъ отъ русскаго и славянина, чтобъ онъ презиралъ свой народъ и несъ бы нѣмецкую цивилизацію своимъ дикарямъ, забывая, что у насъ на это, сверхъ Петербурга, есть Кур-Эстъ и Лифляндія, а у чеховъ и западныхъ славянъ Австрія.

Въ то самое время, какъ саксонскій король держалъ въ рукахъ перо, чтобъ подписать смертный приговоръ Бакунину, Гейбнеру и Реккелю, нѣмецкіе публицисты писали въ журналахъ, что Бакунинъ русскій агентъ, т. е., агентъ русскаго правительства. Король пріостановился и измѣнилъ плаху на вѣчную тюрьму; Umwalzungsmänner'ы не остановились и года черезъ два - три повторяли свои обвиненія.

Въ маѣ 1850 Бакунинъ былъ отправленъ скованный въ Прагу. Австрійское правительство хотѣло отъ осужденнаго *на вѣчную тюрьму* узнать тайны славянскаго движенія. Бакунинъ отказался отвѣчать, его около года оставили въ Грачинѣ, ничего не спра-

¹⁾ На конгрессѣ въ Прагѣ Бакунинъ не былъ одинъ русскій, съ нимъ вмѣстѣ участвовалъ въ немъ одинъ единавѣрческій иннокъ.

шивая. Въ мартѣ 1851, испугавшись слуха, что Бакунина хотятъ освободить, его перевели въ Ольмюць, тамъ онъ просидѣлъ шесть мѣсяцевъ, *прикованный къ стѣнѣ*. Затѣмъ австрійское правительство выдало его русскому. Носился слухъ, что Бакунина, привезеннаго скованнымъ по рукамъ и ногамъ на русскую границу, расковали. Такихъ нѣжностей не дѣлали. Австрійскія цѣпи были сняты съ него, какъ имперская собственность, и замѣнены отечественными, вдвое тяжелѣйшими желѣзами.

Три томныхъ года просидѣлъ Бакунинъ въ Алексѣевскомъ равелинѣ и вышелъ изъ него въ 1854 году для того, чтобъ ѣхать въ Шлиссельбургъ.

Воцарился Александръ II, разныя амнистіи были обнародованы. О Бакунинѣ ни слова. Въ 1857 году Бакунинъ былъ отправленъ на житье въ восточную Сибирь.

Въ 1860 былъ сдѣланъ еще разъ опытъ выпросить Бакунину разрѣшеніе переѣхать въ Россію; государь снова отказалъ, прибавивъ, указывая на его письмо, *писанное къ Николаю въ 1851*: «я не вижу въ немъ раскаянія!». Но не разрѣшая ему возвратиться, государь даровалъ ему право *вступить въ службу канцелярскимъ чиновникомъ 4-го разряда*. Это какая-то особенная категория писцовъ, выдуманная для нѣжинскихъ грековъ и цыганъ. Бакунинъ не нашелъ себя способнымъ воспользоваться этой милостью.

Ему, послѣ восьмилѣтнихъ казематъ и четырехлѣтней ссылки, предстояла послѣ отказа мрачная анфилада лѣтъ въ Сибири.

Трепетъ новой жизни пробѣгалъ по Россіи; разбитая Австрія отступила, итальянское знамя развѣвалось въ Миланѣ. Бакунинъ рассказывалъ намъ жадность, съ которой онъ въ Иркутскѣ слѣдилъ за Гарибальди, за полуостровомъ, выступавшимъ ярче и ярче на свѣтъ свободы. Обречь себя на эту роль страдательнаго зрителя въ дальней ссылкѣ, въ 47 лѣтъ отроду и чувствуя полный пульсъ, было тяжело. Довольно заплатилъ онъ за молодья увлеченья, за вѣру въ возможность союза съ нѣмецкими демократами... Онъ рѣшился тайно оставить Сибирь.

Подъ предлогомъ торговаго дѣла, онъ пробрался на Амуръ, слѣлъ на американскій клиперъ и приплылъ въ Иокогаму въ Японіи. Чуть ли онъ не первый социалистъ, первый политическій изгнанникъ, искавшій убѣжища у японцевъ.

Изъ Японіи онъ приплылъ въ С.-Франциско и перебрался черезъ панамскій перешеекъ въ Сѣверные Штаты. Изъ Нью-Йорка онъ 26 декабря приплылъ въ Ливерпульъ и 27 былъ встрѣченъ нами въ Лондонѣ.

Но чтобъ ничего не недоставало, человекъ этотъ, выходя послѣ 14 лѣтъ страданій, со знаками отъ цѣпей, которые не прошли

еще, утомленный путем кругъ свѣта, не только былъ встрѣченъ старыми друзьями, но и обвиненіями одной радикальной нѣмецкой газеты, напоминавшей, что онъ ein verdächtiger Character.

А впрочемъ, пожалуй, нѣмцы и правы! Бакунинъ и мы агенты *русскаго народа*, мы работаемъ для него, ему принадлежатъ наши силы, наша вѣра, и никакому народу развѣ его.

(1862, № 119 и 120).

Мясо освобожденія.

Отъ русскихъ доктринеровъ и прогрессивныхъ консерваторовъ, отъ очень молодыхъ людей, ищущихъ для скорости авторитетовъ, и отъ очень лѣнивыхъ людей, любящихъ готовый хлѣбъ, слышали мы много разъ упрекъ, зачѣмъ, вмѣсто разбора существующаго, у насъ нѣтъ программы будущаго, зачѣмъ мы порицаемъ то, что есть, а не поучаемъ тому, что должно быть. Словомъ, зачѣмъ мы рушимъ, не созидая... Косвенно мы отвѣчали нѣсколько разъ на эти нападки и вовсе не готовились говорить объ нихъ теперь. Но упреки переѣхали за границу. Аугсбургская, подслѣзная, сѣдая старушенка, съ качающейся головой и вѣнскимъ бѣльмомъ на глазу, начала ворчать о томъ же; за ней близорукой листъ, скроенный нѣмецкими работниками по французскимъ выкройкамъ, зеленѣющій близъ лабораторіи, въ которой Johann Maria Farina троеитъ для вселенной свою воду, сталъ намъ читать выговоры; а тутъ, черезъ *естественную границу* Франціи, вѣсти дошли до Парижа, и тамъ подхватили кельнскую воду съ аугсбургскимъ букетомъ и давай насъ кропить да поливать, поливать да присказывать, что «мы, нравственно ломая старыя учрежденія и нападаая на нихъ, не предлагаемъ никакихъ новыхъ порядковъ, которымъ бы народъ повиновался и уважалъ бы и пр.»¹⁾

Особеннаго вниманія мы и на это не обратили бы не потому, чтобъ мы не дорожили мнѣніемъ на Западѣ, но потому, что мы убѣдились, что журналисты не знаютъ ничего о Россіи и не хотятъ серьезно знать²⁾; къ тому-жъ у насъ есть интересы гораздо ближе, роднѣе намъ, чѣмъ желаніе оправдываться передъ ними.

¹⁾ Siecle, 8 Janv., 1862.

²⁾ Мы говоримъ всего больше о журналахъ псевдо-республиканской декламации, правительственныхъ демократій, нѣмецкой руссобоязни... Въ серьезныхъ періодическихъ изданіяхъ бывають замѣчательныя статьи о Россіи. Не далѣе какъ во 2-й январской книжкѣ Revue des deux Mondes

Когда еще намъ были новы
Парижъ и Кельнъ и шумъ дубровы,

въ которой общественное мнѣніе шелестить печатными листами,—
отвѣчали и мы, воображая, что наше призваніе поучать Россію.

Helas, ce temps n'est plus,
Il reviendra, peut être,
En attendant...

мы будемъ говорить съ своими, и для нихъ теперь начинаемъ рѣчь. Путешествующій упрекъ скоро воротится изъ Парижа домой, удесятеренной силой верженія. Мы видали, какъ гордо возвращается домой изъ Англіи отправляемая туда изъ Архангельска русская щетина,— и продается уже вчетверо дороже. Въ отклоненіе такого усиленнаго рикошетнаго удара, мы рѣшились сказать нѣсколько словъ.

Упрекъ этотъ, во-первыхъ, несправедливъ: передъ вами два тома «*За Пять Лѣтъ*», передъ вами «*Колоколъ*» за прошлый годъ; въ нихъ нѣтъ законодательныхъ диссертацій, нѣтъ доктринерской схоластики; но вы найдете въ нихъ наше мнѣніе о томъ, что нужно народу, войску, помѣщикамъ и пр.

— Да нѣтъ, это все не то. Отчего вы *просто* не предлагаете проектъ цѣлаго уложенія, ну, по крайней мѣрѣ, Code penal, уголовный сводъ.

— Душей бы рады, да не знаемъ ни того, ни другого.

— Ну, а не знаете, такъ и не критикуйте существующаго; нельзя же шестидесяти милліонамъ жить безъ учреждений, безъ суда, въ ожиданіи будущихъ благъ.

— И то... вотъ поляки въ XVIII столѣтіи дѣйствительно хорошо догадались: дома неурядица, согласиться не могутъ, они взяли да и пошли къ Жанъ Жаку Руссо,—потрудитесь, молъ, написать намъ конституцію. Ну, Жанъ Жакъ и написалъ.

— И что же?

— То же, что поляки *прочитали*, т. е., не всѣ поляки, а тѣ, которые знали по-французски.

...Нѣтъ, господа, полно намъ изъ себя представлять громовержцевъ и Моисеевъ, возвѣщающихъ молніей волю Божью, полно представлять пастырей мудрыхъ стадъ людскихъ! Метода *просвѣщеній* и *освобожденій*, придуманныхъ за спиною народа и втѣсняющихъ ему *его неотъемлемыя права и его благосостояніе* то-

помѣщена очень интересная статья Charles de Mazade: La Russie sous le regne d'Alexandre II. Мы поговоримъ объ ней въ одномъ изъ слѣдующихъ листовъ.

поромъ и кнутомъ, исчерпана Петромъ I и французскимъ терроромъ.

Манна не падаетъ съ неба,—она вырастаетъ изъ почвы, вызывайте ее, умѣйте слушать, какъ растетъ трава и не учите ее *колосу*. а помогите ему развиться, устраните препятствія, вотъ все, что можетъ сдѣлать человѣкъ, и это за глаза довольно. Скромнѣе надо быть, полно воспитывать цѣлые народы, полно кичиться *просвѣщеннымъ* умомъ и абстрактнымъ пониманіемъ. Много сдѣлала Франція своими указами равенства и свободы, много Германія апріоричнымъ построеніемъ государства и доктринерской догматикой права?

Намъ досталось печальное богатство, но богатство; горькимъ, чужимъ опытомъ—мы богаты, тяжело нажитой мудростью старшихъ, ихъ бѣдами—мы богаты. Это юбилейная выгода бѣдныхъ народовъ, вступающихъ послѣ жнитва на историческую ниву. Въ этомъ вся сущность преемственно-кругового поученія народовъ, называемаго совершенствованіемъ. Не спасетъ никакой опытъ и никакая мудрость вступающіе въ полную жизнь народы отъ увлеченій, отъ отклоненій, отъ всякихъ глупостей,—но пусть же глупости эти будутъ *не тѣ же самыя*; если намъ суждено разбиться объ утесъ, такъ не о тотъ же, о который разбился цѣлый рядъ шкунъ, барокъ, линейныхъ кораблей.

Общественный договоръ, объявленіе человѣческихъ правъ, уложеніе III года, VII года, опыты всеобщаго гражданскаго устройства и проч. имѣютъ совсѣмъ иное историческое значеніе, чѣмъ отвлеченная схоластика нѣмцевъ. Но вовсе не въ практическомъ примѣненіи. Сознаніе людское отрѣшалось ими отъ религіозно-обязательной, несвободной традиціи, отъ рокового, безапелляціоннаго государственнаго быта. Значеніе *Contrat social* только и было важно, какъ великій фактъ освобожденія мысли, совѣсти въ сознаніи человѣческомъ, какъ утренняя заря, освѣтившая вершины... Человѣку, видящему свѣтъ, страшно тяжело оставить другихъ во тьмѣ. Проповѣдь тиха, изученіе медленно, а власть быстра, и передовые люди, съ полной любовью и вѣрой, *приказали* другимъ видѣть въ темнотѣ, утѣшаясь, какъ наши предки, тѣмъ, что «поживутъ вмѣстѣ — слюбятся». Великая основная мысль революціи, несмотря ни на философскія опредѣленія, ни на римско-спартанскіе орнаменты своихъ декретовъ, быстро перегнула въ полицію, инквизицію, терроръ; желая *возстановить* свободу народа и признать его совершеннолѣтіе, для скорости обращались съ нимъ какъ съ матеріаломъ благосостоянія, какъ съ *мясомъ освобожденія*, *chair au bonheur public*, въ родѣ наполеоновскаго пушечнаго мяса.

А тутъ, по несчастію, оказалось, что у народа именно мяса-то на костяхъ мало, да, до того мало, что онъ на всѣ реформы, революціи, объявленія правъ отвѣчалъ:

Голодно, странничекъ, голодно!
Холодно, родименькій, холодно!

А, вѣдь, законодатели не только ломали, но и строили, не только обличали, но и поучали, да мало, что поучали, заставляли учиться, и что, можетъ, всего печальнѣе въ большихъ случаяхъ, они были правы...

За собственнымъ шумомъ и собственными рѣчами, добрые квартальные правъ человѣческихъ и Петры I свободы, равенства и братства долго не слыхали, что говоритъ *государь-народъ*; потомъ разсердились за навуходоносоровскій матеріализмъ его... Однако и тутъ не спросили его, въ чемъ дѣло.

Они были убѣждены, что лучше народъ поучать, чѣмъ учиться у него, что лучше строить, чѣмъ ломать, что лучше писать у себя въ кабинетѣ счетъ безъ хозяина, чѣмъ его спрашивать у него... Не только Сіесъ и Сперанскій писали всякаго рода блѣдныя конституціи, но нѣмцы-то, нѣмцы что ихъ написали и что возвели въ науку!? А пропасть между ними и народомъ не только не уменьшалась, но увеличивалась, и это вслѣдствіе трагической, неотвратимой необходимости. Всякой успѣхъ, всякой шагъ впередъ увлекаетъ свѣтлый берегъ, онъ двигается быстрѣе, быстрѣе и становится дальше и дальше отъ темнаго берега и темнаго люда. Чѣмъ тутъ наполнишь пропасть, какимъ доктринерскимъ схоластицизмомъ тутъ поможешь, какая догматическая регламентація, какое академическое упражненіе хватить черезъ нее? Сдѣланъ былъ опытъ, не удался и опять-таки потому, что социаллисты учили прежде, чѣмъ знали, устраивали фаланстеры, не отыскавъ нигдѣ такой породы людей, которая хотѣла бы жить въ рабочихъ домахъ.

И вотъ изъ этой-то пропасти выходятъ, выплываютъ гильотины, красныя шапки на пикахъ, Наполеоны, арміи, арміи, легитимисты, орлеанисты, другая республика и, наконецъ, *Іюньскіе дни*, дни, ничего не создавшіе, ничего не уложившіе, дни, въ которые самые лучшіе и самые несчастные изъ народа, гонимые нуждой и отчаяніемъ, вышли безумно, безъ плана, безъ цѣли, отъ отчаянія и сказали своимъ опекунамъ-законодателямъ и воспитателямъ: *Мы васъ не знаемъ!* Мы были голодны, — вы намъ дали парламентскую болтовню; мы были наги, — вы насъ послали на границу убивать другихъ голодныхъ и нагихъ; мы просили совѣта, мы просили научить насъ, какъ выйти изъ нашего положенія, — вы научили насъ риторикѣ; мы возвращаемся въ тьму

сырыхъ подвалось нашихъ, часть насъ ляжетъ въ неравномъ бою,—но прежде мы *вамъ*, книжники революціи, скажемъ громко и ясно:

Народъ не съ вами!

(1862 г., № 121).

Сенаторамъ и тайнымъ совѣтникамъ журнализма.

Studiate la matematica, et lasciate le donne!

Совѣтъ, данный Ж. Ж. Руссо
маленькою итальянкой.

Вы, господа, не призваны къ *живой жизни*, вамъ не понятенъ ея странный, нестройный голосъ; вы слишкомъ хорошо знаете генераль-басъ, чтобы вынести ея диссонансы, и умно дѣлаете, что не бросаетесь въ море, закипающее около васъ; но зачѣмъ же вы другихъ смущаете? Книжники почти всегда, вездѣ держатся въ сторонѣ отъ тревожныхъ житейскихъ; не они дѣлаютъ исторію, они ее только пишутъ и являются послѣ битвы съ своимъ фонаремъ осмотрѣть раны падшихъ, сдѣлать опись покинутаго имущества и мудро разсудить, — отчего побитые побиты, а побѣдители взяли верхъ, будущимъ поколѣніямъ въ наученіе, современнымъ въ назиданіе. Исторія, это—Мольеровъ мѣщанинъ, говорящій живо, краснорѣчиво иногда, но не знающій, что онъ говорить прозой; ученые историки не говорятъ въ этомъ шумѣ и гамѣ, похожемъ на извѣстную рыночную сцену въ «Севильскомъ Цирюльникѣ», но знаютъ, что Журденъ говорилъ прозой. Все это въ порядкѣ вещей, но надобно честь знать. Нельзя же позволить книжникамъ, какими бы сановниками они ни были, сбивать съ толку своей школьной контраверзой общественное мнѣніе; нельзя имъ позволить праздно таскаться по лагерю валленштейновымъ капуциномъ, нагоняя схоластической дичью тоску и недоувѣріе на ратниковъ. Подъ руку человѣку, сосредоточенному на одномъ дѣйствіи, можетъ говорить или личный врагъ его, или врагъ дѣла, или человѣкъ до того занятый собой, что не въ состояніи думать о другомъ. Крикните Блондену, когда онъ середь каната, крикните ему изъ чистѣйшаго желанія показать, что вы знаете лучше его статику, а Блонденъ-то все-таки упадетъ.

Такой силы наши тузы журнализма не имѣютъ, но вредъ, приносимый ими, значителенъ. Въ личной жизни человѣка и въ извѣстныя эпохи народной жизни есть кризисы и переломы, есть торжественныя минуты усилій и увлеченій, въ которыя нервы до того подняты и натянуты, что неумѣстно сказанное слово

разстроиваетъ гармонію, разрушаетъ строй, бросаетъ подъ ноги полѣно.

— Но такое ли время теперь для Россіи?

— Нѣтъ... этого вопроса не сдѣлаетъ, не можетъ сдѣлать *ни одинъ русскій* въ самомъ дѣлѣ! Каждый внутри своей груди, въ своей крови, въ волненіи, въ которомъ онъ живетъ, въ мучительномъ ожиданіи чувствуетъ, знаетъ—мыслью, любовью, ненавистью знаетъ. Неужели же найдутся не нѣмцы, а литераторы журналисты, публицисты до того *выучившіеся вонъ* изъ всякаго сочувствія съ поднимающей ихъ волной, что они не могутъ, изъ-за случайностей, брызговъ, шероховатостей, безпорядка морскихъ зыбей, разглядѣть величавый потокъ, захватившій и влекущій все: волостное правленіе, расколъ, университетъ, крестьянъ, дворянъ, суды, дворцы, царя?

Нѣтъ, это невозможно, до этого они не забыли родину.

Зачѣмъ же берутъ на себя люди скучную до безконечности роль: резонеровъ старыхъ комедій, *trouble fête*, мухъ въ бокалѣ съ виномъ, тяжелыхъ гостей въ дружеской бесѣдѣ?

Зачѣмъ эта натянутая брюзгливость, эта начальническая раздражительность? Зачѣмъ они такъ распускаются—наши почетные попечители общественнаго мнѣнія, наши Гизо Леонтьевскаго переулка и Гнейстущіе Кузени? Зачѣмъ это важничаніе нѣмецкихъ гувернеровъ, свысока смотрящихъ на молодежь въ пансіонахъ, потому что она молода и потому что она состоитъ изъ русскихъ?

Добрѣйшіе педели нашего просвѣщенія, оберъ-нахъ-шнейдеры нѣмецкой науки, подумайте, нельзя же вносить всѣхъ привычекъ и всѣхъ пріемовъ школьнаго учителя въ окружающую васъ жизнь. Знаемъ мы, что каедральныя занятія невольно передаютъ чловѣку что-то дидактическое и назидательное, поучающее съ властью и внушающее со строгостью въ формахъ и рѣчахъ. Купаясь въ рѣкѣ, можно узнать учительствующаго ученаго такъ же легко, какъ военнаго фрунтовика, статскаго чиновника и соединяющаго въ себѣ обѣ службы—военнаго и партикулярнаго портного.

Учитель по должности, потому, что онъ сидитъ на каедрѣ, потому, что ему платятъ за это, долженъ не говорить, *а поучать*, долженъ больше знать, чѣмъ ученики, и не только не скрывать, что больше знаетъ ихъ, но застраивать своимъ непогрѣшительнымъ вѣдѣніемъ и безапелляціоннымъ авторитетомъ.

Внѣ школы этого тона вынести нельзя, особенно когда къ нему примѣшивается снисходительное, но вмѣстѣ съ тѣмъ и сладострастное сознаніе своего превосходства. Этотъ тонъ рѣшительно больше возбуждаетъ отпора и озлобленія, чѣмъ всякая желчевая выходка и всякая злая иронія. Тамъ предполагается, что чловѣкъ сердится, что онъ раздраженъ, можетъ быть, страдаетъ,

можетъ, ему больно,—это примиряетъ. А тутъ, совсѣмъ напротивъ, въ каждомъ словѣ сквозитъ спокойное, олимпическое чувство самодовольства, готовое даже перегнуться въ скромность схимника, считающаго себя ниже червя и выше фельдмаршала. Это какое-то платоническое наслажденіе самимъ собою, эпикурейское душевнейство, глядящее съ сожалѣніемъ на насъ смертныхъ, съ аттическою солью шпыняющее надъ милліонами мелюзги, готовое и жалѣть ее, и журить, и пощакать объ ней, какъ плакаль умирающей Перонъ, думая,—какого тенора лишится въ немъ Римская имперія.

Къ этому фонд присоединяется еще берлинское нѣмцо-поклонство тридцатыхъ годовъ, вердеревскихъ временъ и фатство графа Нулина, *патріотически* радующагося, «что умы у насъ ужъ развиваться начинаютъ», и душевно желающаго, чтобъ à la fin des fins и мы «просвѣтились».

«Если со временемъ» — внушаютъ сенаторы — «разовьется у насъ политическая жизнь и образуются партіи», тогда мы съ вами поговоримъ. До тѣхъ поръ извините, великъ инструментъ, не по вашему мозгу.

«У насъ ничего нѣтъ похожего на политическую жизнь. У насъ есть слова и нѣтъ дѣла... Наши кружки, наши партіи, ихъ борьба и ихъ сдѣлки, ихъ статьи и ихъ журналы,—все это явленія воздушныя, все это чистѣйшій обманъ, призракъ, пустота».

«Что пріятнѣе нашей жизни? Постоянная вѣчная игра! *Прежде* (вѣроятно, во времена Станкевича, Ефлинскаго, Бакунина) *играли* въ философскія партіи, теперь *играютъ* въ политическія партіи» (Михайловъ? Обручевъ? высланные студенты? Убитый Лебедевъ? 13 мировыхъ посредниковъ въ казематахъ?.. Впрочемъ, и прежде были шалуны).

«Мы никогда не искали чести принадлежать къ какой-нибудь изъ *нашихъ* партій, не только къ этимъ *шотовскимъ* партіямъ, но и къ партіямъ *серьезнымъ*, если бы онѣ когда-нибудь образовались у насъ, мы не могли бы примкнуть».

И это было сказано въ 1862, когда дворянство нѣсколькихъ губерній порывается сбросить съ себя словесныя привилегіи, когда весь народъ русскій заявилъ еще разъ, спокойно и твердо, свое право на землю, когда московскіе профессора подали свой благородный протестъ противъ ссылки Павлова—т. е., я ошибся, московскіе профессора послали доносъ Путятину, это петербургскіе профессора,—когда вся Русь поднимается отъ тяжелаго сна и идетъ на совершеніе судебъ, которыхъ главные черты начинаютъ прорѣзываться изъ-за несущихся тучъ, стѣсняющихся облаковъ.

Господа, *Studiate la matematica e lasciate le donne!*

Ни микроскопъ, ни телескопъ вамъ не помогутъ, тутъ надобно имѣть *простые* глаза, а вы ихъ-то и испортили сѣрой нѣмецкой печатью. Лучше ужъ и не выходить изъ аула, да изъ кабинета, а то какъ бы вамъ не пришлось опростоволоситься, какъ это случилось съ вашими предшественниками, іерусалимскими профессорами богословскаго факультета, — и не услышать грозный упрекъ:

«Я былъ среди васъ, и вы меня не узнали!»

— Да гдѣ? когда? Помилуйте!

Въ томъ-то и дѣло, что не узнали. Вы еще ждете Мессію по *писаніямъ*, въ церковномъ облаченіи, въ сіяніи и торжествѣ, въ сопровожденіи самого Молинали... а онъ родился опять въ *очарнѣ*. Мы согласны съ вами, что за мѣсто для потомка царя Давида — въ ясляхъ?

— Да что-жъ дѣлать!

(1862 г., № 130).

Личное объясненіе.

Двадцать пять лѣтъ тому назадъ, 6 декабря 1837, въ Вяткѣ, я произнесъ плохую рѣчь, исполненную уступокъ, и очень дурно сдѣлалъ.

Двадцать пять лѣтъ спустя первое слово мое, вышедшее изъ гроба, въ которомъ было схоронено четырнадцать лѣтъ все мною писанное, первая статья, всплывшая гласно въ Россіи, — та самая *вятская рѣчь*.

Съ какою цѣлью «Сѣверная Пчела» (9/21 мая 1862) напечатала ничтожную рѣчь *6 декабря 1837 г.*? — Я не знаю, могу догадываться, но не мнѣ судить объ этомъ. Она имѣла на это право и воспользовалась имъ.

Вотъ при какихъ обстоятельствахъ сказана была вятская рѣчь. На мѣстѣ губернатора Тюфяева былъ Корниловъ; объ немъ у меня осталось хорошее воспоминаніе; я полагаю, что онъ былъ благородный человѣкъ и очень не глупый, хотя большой педантъ въ мелочахъ. Онъ присталъ ко мнѣ съ просьбой сказать рѣчь при открытіи бібліотеки, — просьба губернатора для человѣка, состоящаго подъ надзоромъ, всегда убѣдительна. — Сначала я отказывался, потомъ написалъ черновую. Корниловъ расхвалилъ ее, но тутъ же *собственной рукой* вписалъ *два-три* выраженія, говоря, что этого требуетъ *haute convenance* и что это не больше имѣетъ смысла, какъ слова «вашъ покорнѣйшій слуга» въ концѣ письма, — я спорилъ. Наконецъ, мы раздѣлили грѣхъ пополамъ.

Рѣчь была сказана, при чемъ пермскій архіепископъ Нилъ, шеллингистъ и страшный гонитель раскольниковъ (такъ, какъ бываютъ у насъ страшные гонители раскольниковъ—и либералы) меня благословилъ. Казалось бы тѣмъ и кончено. Но этой рѣчи было на роду написано имѣть странную судьбу. Когда ее въ корректурныхъ листахъ показали Корнилову, онъ переправилъ нѣсколько выражений, потомъ опять переправилъ, у меня осталось въ памяти, что онъ вымаралъ нѣсколько словъ, сказанныхъ въ похвалу Н. С. Мордвинову. Это было передъ самымъ моимъ отъѣздомъ во Владиміръ, бумага о моемъ переводѣ была получена. Жуковскій и Арсеньевъ писали, что они больше сдѣлать не могли, но обѣщались хлопотать впослѣдствіи. Я уже предчувствовалъ Москву и волю. А Корниловъ опять поправлялъ несчастную рѣчь. Она мнѣ опротивѣла, я махнулъ рукой, забылъ объ ней и уѣхалъ.

Все вмѣстѣ было дурно.

И вотъ черезъ *двадцать пять лѣтъ* пожелтѣлые корректурные листы моей рѣчи поднимаются, какъ тѣнь Банко, жужжать на пчелиныхъ крыльяхъ, цивически упрекаютъ и зовутъ меня къ отвѣту ¹⁾.

(1862 г., № 135).

Дурныя оружія.

Hamlet	One!	
Lacertes	No!	
Hamlet		Judgement.

Вотъ какія времена пришли: нашъ *монологъ* становится мало-по-малу *диалогомъ*, продолжая говорить и говорить безъ отвѣта, мы договорились таки до того, что начальство разрѣшило насъ упоминать, намъ отвѣчать, насъ бранить. Спасибо и на томъ.

«Современная Лѣтопись» (№ 20) ударила насъ своей учительской линейкой, но сгоряча чуть ли не повредила себѣ больше, чѣмъ намъ. Говорятъ, что если хочешь узнать характеръ знако-

¹⁾ Рѣчи этой у меня не было и я ее перечиталъ только теперь въ «Сѣверной Пчелѣ», но объ ней я помнилъ, да и трудно было забыть—и по корректурамъ, и по Нильскому благословенію. Но въ прошедшемъ году я получилъ мою статью изъ «Владимірскихъ Губернскихъ Вѣдомостей» (начала 1838 г.) объ открытіи публичной бібліотеки во Владиміръ. Та же рѣчь, но перефразированная. Сколько я ни ломалъ себѣ голову, этой статьи совсѣмъ не помню. А знаю навѣрное, что при открытіи бібліотеки во Владиміръ я не былъ. Очень вѣроятно, что я подписалъ статью, писанную моимъ товарищемъ по редакціи — кандидатомъ Небабой (см. «Былое и Думы»). Можетъ, даже онъ составилъ ее по моей рѣчи.

маго, то надобно посмотрѣть на него, когда онъ проигрываетъ въ карты. Не всѣ игроки, да еще поди жди проигрыша; а сердятся всѣ, стоитъ посмотрѣть на человѣка, *какъ* онъ сердится, *какъ* онъ даетъ отместку, *какими* оружіями нападаетъ, мститъ, и сейчасъ узнаешь,—левъ ли это, заносащій лапу и готовый разорвать, осель ли, отвѣчающій копытомъ, да и то повернувшись задомъ, или звѣрь, который обороняется вонюю... Примѣръ животныхъ, впрочемъ, не идетъ, средства ихъ очень ограничены, судьба ихъ лишила мощныхъ человѣческихъ орудій,—доноса и клеветы. Животное царство не имѣетъ третьяго отдѣленія скотнаго двора.

Статья наша «Сенаторамъ и тайнымъ совѣтникамъ журнализма» попала въ цѣль. Сенаторы разсердились, и разсердились, какъ слѣдуетъ сенаторамъ, не римскимъ, а московскихъ департаментовъ, т. е., до потери сознанія *о добротѣ и злѣ* средствъ, ими употребляемыхъ. Что избалованные люди, привыкшіе себя считать неприкосновенными—статсъ-дамами общественнаго мнѣнія, разсердились за нашъ совѣтъ заниматься *математикой* и не тормозить мертвящей схоластикой юные порывы просыпающейся страны,—это понятно; что ученый гнѣвъ ихъ разразился тяжело и туго,—и это въ порядкѣ вещей. Но что насъ удивило,—это отсутствіе того такта, того декорума, того нравственнаго чутья, по которому человѣкъ никогда не берется за нѣкоторыя оружія. Какъ могли они подъ вліяніемъ раздраженнаго самолюбія наклониться до полицейской лужи и съ ея два брать камня для своего праща, какъ будто они не знаютъ, что оттуда никуда не добросишь, а камень падаетъ назадъ? Какъ могли они подогрѣть обвиненія Елагина и повторить остроумныя замѣчанія III отдѣленія?

Насъ этимъ они не оскорбили, но пусть посмотрятъ на свои руки,—чисты ли онѣ.

«Нсужели суждено (говорить лѣтописецъ) еще продлиться этому анархическому состоянію общественнаго мнѣнія, этому положенію вещей, въ которомъ раздраженныя и разлаженныя общественныя силы сталкиваются между собою, парализируя себя взаимно и предоставляя агитировать кому вздумается, какому-нибудь *свободному артисту* ¹⁾, который уже серьезно воображаетъ себя представителемъ русскаго народа, рѣшителемъ его судьбы, распорядителемъ его владѣній, и дѣйствительно вербуетъ себѣ приверженцевъ во всѣхъ углахъ русскаго царства, и самъ, сидя въ безопасности, за спиною лондонскаго полисмена, для своего развлеченія высылаетъ ихъ на разные подвиги, которые конча-

¹⁾ Должно быть, это какое-нибудь новое ругательное слово, можетъ это значить воръ, доктринеръ или шулеръ? Ей Богу, не знаемъ.

ются казематами или Сибирью, да еще не велить «сбивать ихъ съ толку» и «не говорить ему подъ руку?» Къ этому остро слову, «выболтавшемуся вонъ» (*sit venia verbo*) изъ всякаго смысла, — кто даетъ ему эту силу и этотъ призракъ власти? Не даромъ же воображаетъ онъ себя Цезаремъ, презрительно ожидающимъ своихъ Брутовъ и Кассиевъ, и, наконецъ, «мессіей въ ясляхъ». Легко смѣяться надъ безобразіемъ и безуміемъ; но явленіе, котораго мы коснулись, не смѣшно, а прискорбно. Въ этомъ цезарѣ и въ этомъ мессіи читаемъ мы ясно свое собственное безобразіе. Можетъ быть, намъ удастся поговорить нѣсколько подробнѣе объ этомъ; но мы не можемъ не замѣтить, что должно же быть въ настоящемъ порядкѣ вещей что-нибудь радикально неправильное, если оно дѣлаетъ возможными подобныя явленія...

Мы обращаемся прямо къ совѣсти издателей «Современной Лѣтописи» и спрашиваемъ ихъ. *Кого же это, когда*, при какомъ случаѣ погубилъ нашъ совѣтъ, кого свелъ въ казематы и Сибирь? Намъ достаточно одного имени. Если издатели не могутъ назвать его (*по обстоятельствамъ отъ редакціи не зависящимъ*), пусть назовутъ его самимъ себѣ... для насъ и этого довольно. Если рѣчь идетъ о Михайловѣ, то неужели вы, публицисты, журналисты, остались при первыхъ выдумкахъ, при *голубыхъ* уткахъ и московскихъ сплетняхъ? Его исторія теперь извѣстна, она не тайна съ тѣхъ поръ, какъ несчастный Михайловъ на каторгѣ... Да, можетъ, вы такъ сказали для тѣни...

Далѣе, чему вы обрадовались чужой остротѣ, что я считаю себя Цезаремъ? Какъ же вы-то сами, Цицероны, не поняли всю нелѣпость этой уловки, надъ которой въ первый разъ можно было улыбнуться, а во второй нельзя даже зѣвнуть. Нѣтъ, господа, вы дурно сердитесь... И мы вамъ совѣтуемъ всего прежде успокоиться, дать улечься дурнымъ сокамъ, поднимающимся съ кровью въ вашу голову, и потомъ отвѣчать. А то посмотрите, вы въ азартѣ не понимаете простого смысла фразъ; скажите на милость, можно ли человѣку, *сохранившему* здравый смыслъ, прибавить къ чужому Цезарю свою чужь объ ясляхъ ¹⁾. Нѣтъ, господа, вы не умно сердитесь!

По словамъ вашего предшественника, Елагина, вы толкуете съ упрекомъ о томъ, что мы сидимъ *безопасно* въ Лондонѣ за

¹⁾ Дѣйствительно, намъ приходится сомнѣваться въ добросовѣстности или въ здоровомъ смыслѣ ученыхъ редакторовъ «Лѣтописи»; въ заключеніи моей статьи сказано: «Вы еще ждете Мессію по *писаніямъ*, въ церковномъ облаченіи, въ сіяніи и торжествѣ, въ сопровожденіи самого Молинали... а онъ родился опять въ *овчарнѣ*. Мы согласны съ вами, что за мѣсто для потомка царя Давида—въ ясляхъ»

И это будто они приняли за то, что я говорю о себѣ.

спиною полисмена. Почему же полисмена, ученики Елагина, не и ученики Гнейста? Почему же не за спиной свободной англійской конституціи? Отчего это, когда вы писали вашу статью, васъ все безпокоили полицейскіе образы и тѣни?

Вамъ не нравится то, что мы печатаемъ за границей,—отчего же вы сами не печатаете? если мы ошибались,—отчего вы не возражали намъ? если мы сбивались съ пути,—отчего вы намъ не указывали его?.. Намъ кажется, что свободная рѣчь, какъ чистый воздухъ чахоточному, слишкомъ рѣзка для васъ. То ли дѣло съ сурдинкой, съ *важнымъ* не высказываемымъ, съ намекомъ на какую-то глубь премудрости... «Отворите мнѣ темницу, отнимите мнѣ цензуру и посмотрите, что за гималайская манна словъ посыплется на васъ...» Ну, какъ вы въ самомъ дѣлѣ, господа, накликаете свободу книгопечатанія... вѣдь, бѣда!

На первый случай довольно; впрочемъ, еще одно слово, и я не буду больше отнимать ваше драгоценное для *математики* время. Вы, кажется, полагаете, что я изъ фанфаронства выдумалъ, или изъ безумнаго самолюбія повѣрилъ шуткѣ, и въ силу того передалъ общественному позору угрозы полицейскихъ Брутовъ и Касіевъ; если вы *думаете такъ* (знать навѣрное вамъ нельзя), то не хотите ли убѣдиться въ противномъ? *Именно теперь* я могу указать вамъ *одну изъ путей*, по которому я получилъ извѣщеніе, и лицо, въ *высокомъ нравственномъ достоинствѣ котораго вы не сомнѣваетесь*, можетъ вамъ сказать,—была ли это шутка или нѣтъ.

Хотите?

(1862 г., № 137).

Письмо гг. Каткову и Леонтьеву.

Милостивые государи и ученые редакторы!

Если-бъ вы, въ вашей полемикѣ противъ насъ, держались въ общихъ сферахъ и въ общихъ грубостяхъ, я не позволилъ бы себѣ утруждать васъ письмомъ, съ одной стороны, очень уважая многосложность вашихъ занятій, а съ другой, вовсе не уважая ни васъ, ни вашихъ мнѣній.

Но вы позволили себѣ публично сдѣлать намекъ чрезвычайно неопредѣленный, но явно относящійся къ частной жизни нашей, и тѣмъ дали намъ—и въ особенности мнѣ, какъ несчастному виновнику статьи, раздражившей васъ—право требовать отъ васъ поясненія. Публичные намеки и клеветы имѣютъ большое неудобство передъ келейнымъ злословіемъ и служебными доносами, до поры, до времени покрываемыми канцелярской тайной.

Вотъ ваши слова: «*наши заграничные réfugiés (мы хорошо знаемъ, что это за люди...)*» (Совр. Лѣт.).

Вѣроятно, вы не станете отречься, что подъ словомъ *заграничные réfugiés* (и при этомъ я долженъ признаться, что я до сихъ поръ думалъ, что всѣ *réfugiés* и эмигранты болѣе или менѣе заграничные)—вы разумѣли насъ, *издателей «Колокола»*, и потому. позвольте васъ спросить:

Какіе же мы люди, г. Катковъ?

Какіе же мы люди, г. Леонтьевъ?

Вы, вѣдь, *хорошо* знаете, какіе мы люди,—ну, какіе же?

Если въ васъ обихъ есть одна малѣйшая искра чести, вы не можете не отвѣчать; не отвѣчая, вы меня приведете въ горестное положеніе сказать, что вы сдѣлали *подлый намекъ*, имѣя въ виду очернить насъ въ глазахъ вашей публики.

Говорите все... Въ нашей жизни, какъ въ жизни каждого человѣка, жившаго не только въ латинскомъ синтаксисѣ и нѣмецкомъ учебникѣ, но въ толокъ дѣйствительной жизни, есть ошибки, промахи, увлеченья, *но нѣтъ поступка*, который бы заставилъ насъ покраснѣть передъ кѣмъ бы то ни было, который мы бы хотѣли скрыть отъ кого бы то ни было.

Если вы тоже можете сказать, поздравляю васъ, г. Катковъ, поздравляю васъ, г. Леонтьевъ... Хотя я и не сомнѣваюсь, что вы можете.

Да, гг. ученые редакторы, мы, поднявши голову, посмотримъ въ ваши ученые глаза... кто кого пересмотрить?

Можетъ, вы слышали, какъ въ 1849 году, въ народномъ собраніи въ Парижѣ Прудонъ, задѣтый такимъ же образомъ Тьеромъ, сказалъ ему спокойно, стоя на трибунѣ, превратившейся на ту минуту въ страшный судъ: «Говорите о финансахъ, но не говорите о нравственности; я могу это принять за личность и тогда я не картель вамъ пошлю, а предложу вамъ другой бой: здѣсь, съ этой трибуны я расскажу всю мою жизнь, фактъ за фактомъ, каждый можетъ мнѣ напомнить, если я что-нибудь пропущу или забуду. *И потомъ пусть расскажетъ мой противникъ свою жизнь.*»

Затѣмъ позвольте надѣяться, что вы, милостивые государи, испросите у вашего начальства разрѣшеніе напечатать это письмо въ многоуважаемой «Лѣтописи» вашей. Вы слишкомъ любите гласность и англійскую ширь оправданія, чтобъ намъ можно было сомнѣваться въ этомъ.

Желаю въ заключеніе, чтобъ письмо это застало васъ въ добромъ здоровьи.

(1862 г., № 139).

Изъ заведенія А. А. Краевскаго.

... «Таково... (каково было поведеніе французскихъ эмигрантовъ первой революціи) свойство всѣхъ выходцевъ, неумѣющихъ дѣйствовать въ трудныя минуты отечества, котораго они не знаютъ и не любятъ, а принимающихъ на себя разныя красивыя позы агитаторовъ *издали, съ того берега.*

«Съ нашими эмигрантами та же исторія. Именно въ то время, когда Россія приготовлялась къ обновленію и наболѣе нуждалась въ людяхъ талантливыхъ, честныхъ, дѣльныхъ и знающихъ; когда готовилась уже крестьянская реформа, поднимавшая народный духъ и оживившая весь организмъ государства; когда мы напрягали всѣ силы, чтобъ вступить на путь новой гражданской жизни,—эти господа почли за благо *распродать* свои имѣнія съ своими *крѣпостными*, собрать деньги и уѣхать изъ родной земли, чтобы тамъ, на другомъ берегу, спокойно наслаждаться зрѣлищемъ болѣзней, переносимыхъ обновляющейся Россіей, и утѣшать себя тѣмъ, что воть они, эмигранты, такъ высоко поставлены натурою и такъ великодушны, что не могутъ перенести русскихъ порядковъ, предоставляя намъ, чернорабочимъ, трудиться на самомъ дѣлѣ; они же будутъ только издали писать намъ наставленія, похвалявать изрѣдка за прилежаніе, или пускать въ насъ каламбурами, если что не по нимъ сдѣлается... Гаже этой роли—трудно что-нибудь придумать!..» (*Голосъ, № 195*).

Если-бъ ученый авторъ этихъ достопримѣчательныхъ строкъ спросилъ у своего принцепала, онъ увидаль бы, что очень легко не только придумать, но вспомнить роли гораздо гаже. Андрей Александровичъ Краевскій, занимаясь двадцать пять лѣтъ пристанодержательствомъ въ русской литературѣ, много видѣлъ и много помнить.

Дѣйствительно, судьба этого замѣчательнаго содержателя литературныхъ притоновъ сама по себѣ очень интересна и можетъ служить примѣромъ несправедливости и безапелляціонности нашего суда. Краевскій состоитъ четверть столѣтія въ подозрѣніи *грамотности и образа мыслей*, обнаруженнаго въ рядѣ статей, писанныхъ другими, но подшитыхъ листъ къ листу имъ самимъ. Напрасно люди, принимавшіе участіе въ немъ, оправдывали его, говорили, что грамота грамотѣ рознь, что есть три грамоты: одна читаетъ, одна пишетъ, одна счеты сводить, и что Краевскій только дошелъ до первой и отличился въ послѣдней. Мало ли, говорили они, примѣровъ у насъ: читать человекъ читаетъ, а писать не пишетъ, другой не пишетъ и не читаетъ, а на счетахъ пощелкиваетъ, словно орѣхи грызетъ. Но противники Краевскаго и

туть нашлись; они говорятъ, это не доказываетъ, что у него нѣтъ образа мыслей, онъ не писалъ, но онъ диктовалъ,—одному Бѣлинскому томовъ десять продиктовалъ, а Бѣлинскій-то, сами знаете, что такое за человѣкъ. Такъ и остался Краевскій въ подозрѣніи имѣнія образа мыслей. Двадцать пять лѣтъ не шутка,—кабы мнѣніе его было безпорочное, можно было бы его представить къ пряжкѣ, вмѣсто которой онъ исходатайствовалъ бы у Головина денежное вознагражденіе. Это, впрочемъ, одно предположеніе. Безпорочнаго образа мыслей у насъ нѣтъ, по крайней мѣрѣ, онъ не называется *образомъ мыслей*.

Открывая свои притоны приходящимъ, Краевскій не могъ отвѣчать за нравственность и умъ посягателей. Радикалы и полицейскіе, натуралисты и богословы, кто не завертывалъ въ горькую минуту къ нему. Дѣло Краевского было торговое, теткинское, онъ искалъ сбить цѣну товара, покупалъ иногда гнилой; но прежде у него была сметка, чутье, а съ лѣтами и богатствомъ—все это притупилось. Мы ему совѣтуемъ, по старому знакомству, возбудить свою бдительную осторожность; она можетъ съ успѣхомъ замѣнить благородство.

Статья, изъ которой мы выписали нѣсколько строкъ, направлена противъ кн. П. В. Долгорукова, и онъ въ долгу не остался, но по дорогѣ задѣты и мы.

О правѣ и значеніи эмиграціи, о томъ, полезна или нѣтъ была наша десятилѣтняя дѣятельность, мы съ Краевскимъ и его лаборантами разсуждать не будемъ. Этого дѣла не разрѣшишь въ коммерческомъ судѣ, на это есть инстанціи повыше. Мы возьмемъ предметъ, больше доступный практическому взгляду негоціанта, а именно: *продажу имѣнія съ крѣпостными людьми*. Положимъ, честнѣйшій Андрей Александровичъ, что вышъ фельетонщикъ не знаетъ продавалъ я или нѣтъ *Крещеную Собственность*, но вы-то знаете, что я не продавалъ никогда никакого имѣнія, никакихъ людей; я смѣло говорю, что вы это знаете. Не отговаривайтесь тѣмъ, что я не названъ по имени,—это только *гаже*, говоря языкомъ вашего фельетонщика; за прямое обвиненіе есть отвѣтственность, а въ прозрачномъ намекаѣ всегда остается возможность ее отклонить. «Съ того, молъ, берега, это не значить съ вашего».

Итакъ, вы, безсребреннѣйшій Андрей Александровичъ, помѣстили *эту клевету совершенно сознательно*, чтобъ подслужиться Головнину, угодить Валуеву, подладиться Долгорукову и вы воображаете, что поступили разсчетливо. Гдѣ ваше чутье? Великій... (*даже цензура не пропустила*).

(1863 г., № 170).

Михаилъ Семеновичъ Щепкинъ.

Пустьбеть Москва... и патриархальное лицо Щепкина исчезло... а оно было крѣпко вплетено во всѣ воспоминанія нашего московскаго круга. Четверть столѣтія старше насъ, онъ былъ съ нами на короткой, дружеской ногѣ родного дяди или старшаго брата. Его всѣ любили безъ ума, дамы и студенты, пожилые люди и дѣвочки. Его появленіе вносило покой, его добродушный упрекъ останавливалъ злые споры, его кроткая улыбка любящаго старика заставляла улыбаться, его безграничная способность извинять другого, находить облегчающія причины—была школой гуманности.

И при томъ онъ былъ великій артистъ. Артистъ по призванію и по труду. Онъ создалъ *правду* на русской сценѣ, онъ первый сталъ *нетеатраленъ* на театрѣ, его воспроизведенія были безъ малѣйшей фразы, безъ аффектаціи, безъ шаржи; лица, имъ созданныя, были Теньеровскіе, Остадовскіе.

Щепкинъ и Мочаловъ, безъ сомнѣнія, два лучшихъ артиста изъ всѣхъ видѣнныхъ мною въ продолженіи тридцати пяти лѣтъ и на протяженіи всей Европы ¹⁾. Оба принадлежать къ тѣмъ *намекамъ* на сокровенныя силы и возможности русской природы, которыя дѣлають незыблемой нашу вѣру въ будущность Россіи.

Въ разборъ таланта и сценическаго значенія Щепкина мы не взойдемъ; замѣтимъ только, что онъ былъ вовсе не похожъ на Мочалова. Мочаловъ былъ человѣкъ порыва, не приведеннаго въ покорность и строй вдохновенія: средства его не были ему послушны, скорѣе онъ имъ. Мочаловъ не работалъ, онъ зналъ, что его иногда посѣщаетъ какой-то духъ, превращавшій его въ Гамлета, Лира или Карла Мора, и поджидалъ его... а духъ не при-

¹⁾ Въ 1847 я еще успѣлъ видѣть два, три превосходныя созданія Фредерика Леметра, и его я охотно поставилъ бы въ сторонѣ отъ больше или меньше талантливаго гаерства парижскихъ театровъ; но, по мѣрѣ старости и потери настоящихъ силъ, Фредерикъ Леметръ замѣнялъ ихъ преувеличеніемъ и впадалъ въ такое нещадное ставленіе точекъ на і, что я на него смотрѣлъ какъ на развалину, ярко раскрашенную пестрыми красками, въ томъ родѣ, какъ наше художественное правительство, бывало, бѣлитъ и размазываетъ памятники. Въ историческихъ воспроизведеніяхъ и въ необыкновенной свѣтлости игры — Théâtre Français сдѣлалъ много; великихъ артистовъ онъ не развилъ, но развилъ необыкновенно умныхъ артистовъ и превосходную труппу, играющую прескверныя пьесы. Мы преимущественно говоримъ о мужчинахъ; женщинами европейская сцена богаче. Несмотря на всѣ нѣмецкіе возгласы русскихъ цѣновщиковъ, Рашель была великая художница; а Франція реставраціи, Франція Беранже, послѣдняя веселая Франція, имѣла своимъ живымъ, веселымъ, гениальнымъ представителемъ—Дежазе.

ходилъ и оставался актеръ, дурно знающій роль. Одаренный необыкновенной чуткостію и тонкимъ пониманіемъ всѣхъ оттѣнковъ роли, Щепкинъ, напротивъ, страшно работалъ и ничего не оставлялъ на произволъ минутнаго вдохновенія. Но роль его не была результатомъ одного изученія. Онъ также мало былъ похожъ на Каратыгина, этого лейбъ-гвардейскаго трагика, далеко не безталаннаго, но у котораго все было до того заучено, выштудировано и приведено въ строй, что онъ по темпамъ закипалъ страстью, зналъ церемоніальный маршъ отчаянія и, правильно убивши кого надобно, мастерски дѣлалъ на погребеніе. Каратыгинъ удивительно шелъ николаевскому времени и военной столицѣ его. Игра Щепкина вся отъ доски до доски была проникнута теплотой, наивностью, изученіе роли не стѣсняло ни одного звука, ни одного движенія, а давало имъ твердую опору и твердый грунтъ.

Но, вѣроятно, о талантѣ Щепкина и о его значеніи будетъ у насъ довольно писано. Мнѣ хочется рассказать мою послѣднюю встрѣчу съ нимъ.

Осенью 1853 г. я получилъ письмо отъ М. К. изъ Парижа, что такого-то числа Щепкинъ ѣдетъ въ Лондонъ черезъ Булонь. Я испугался отъ радости... Въ образѣ свѣтлаго старика выходила молодая жизнь изъ-за гробовъ: весь московскій періодъ... и въ какое время... десять разъ говорилъ я о страшныхъ годахъ между 1850 — 1855, объ этомъ пятилѣтнемъ безотрадномъ искусствѣ въ многолюдной пустынѣ. Я былъ совершенно одинокъ въ толпѣ чужихъ и полужнакомыхъ лицъ... Русскіе въ это время всего меньше ѣздили за границу и всего больше боялись меня. Горячешный терроръ, продолжавшійся до конца венгерской войны, перешелъ въ равномерный гнетъ, передъ которымъ понизилось все въ безвыходномъ и беспомощномъ отчаяніи. И первый русскій, ѣхавшій въ Лондонъ, не боявшійся по старому протянуть мнѣ руку, былъ Михайлъ Семеновичъ.

Ждать я не могъ, и утромъ въ день его приѣзда отправился съ экспресомъ въ Фокстонъ.

Что-то онъ мнѣ расскажетъ, какія вѣсти привезетъ, какой поклонъ, какія подробности, чьи шутки... рѣчи. *Тогда* я еще такъ многихъ любилъ въ Москвѣ!

Когда пароходъ подошелъ къ берегу, толстая фигура Щепкина въ сѣрой шляпѣ, съ дубиной въ рукахъ, такъ и вырѣзалась; я махнулъ ему платкомъ и бросился внизъ. Полицейскій меня не пускалъ, я оттолкнулъ его и такъ весело посмотрѣлъ, что онъ улыбнулся и кивнулъ головой, а я сбѣжалъ на палубу и бросился на шею старика. Онъ былъ тотъ-же, какъ я его оставилъ, съ тѣмъ же добродушнымъ видомъ, жилетъ и лацканы на пальто

такъ-же въ пятнахъ, точно будто сейчасъ шелъ изъ Троицкаго трактира къ Сергѣю Тимоѣевичу Аксакову.

— Экъ куда его принесло, это ты пріѣхаль эдакую даль встрѣчать! — сказалъ онъ мнѣ сквозь слезы.

Мы поѣхали вмѣстѣ въ Лондонъ; я спрашивалъ его подробности, мелочи о друзьяхъ, мелочи, безъ которыхъ лица перестаютъ быть живыми и остаются въ памяти крупными очерками, профилями. Онъ рассказывалъ вздоръ, мы хохотали со слезами въ голосъ.

Когда улеглось нервное раздраженіе, я мало-по-малу замѣтилъ что-то печальное, будто какая-то затаенная мысль мучила честное выраженіе его лица. И дѣйствительно, на другой день мало-по-малу разговоръ склонился на типографію, и Щепкинъ сталъ мнѣ говорить о тяжеломъ чувствѣ, съ которымъ въ Москвѣ была принята сначала моя эмиграція, потомъ моя брошюра «Du Developpement des idées révolutionnaires» и, наконецъ, лондонская типографія.

Какая можетъ быть польза отъ вашего печатанія? Однимъ или двумя листами, которые проскользнутъ, вы ничего не сдѣлаете, а III-е отдѣленіе будетъ все читать да помѣчать, вы сгубите бездну народа, сгубите вашихъ друзей...

— Однакожь, М. С., до сихъ поръ Богъ миловалъ, и изъ-за меня никто не попался.

— А знаете ли вы, что послѣ вашихъ похвалъ Бѣлинскому объ немъ запрещено говорить въ печати.

— Какъ и обо всемъ остальномъ. Впрочемъ, я и тутъ сомнѣваюсь въ моемъ участіи. Вы знаете, какую роль играло знаменитое письмо Бѣлинскаго къ Гоголю въ дѣлѣ Петрашевскаго. Смерть спасла Бѣлинскаго, — мертвыхъ я не боялся компрометировать.

— А Кавелинъ-то, кажется, не мертвый?

— Что же съ нимъ было?

— Да то, что послѣ выхода вашей книги, гдѣ говорится объ его статьѣ о родовомъ началѣ и о спорѣ съ Самаринимъ, его призывали къ Ростовцеву.

— Ну!

— Да что же вы хотите? Ну, ему и сказалъ Ростовцевъ, чтобъ онъ *впередъ былъ осторожнѣе*.

— Михайлъ Семеновичъ, неужели вы уже и это считаете мученичествомъ—пострадать совѣтомъ быть осторожнѣе?

Разговоръ продолжался въ этомъ родѣ; я видѣлъ ясно, что это *не только* личное мнѣніе Щепкина; если-бъ оно было такъ,— въ его словахъ не было бы того императивнаго тона.

Разговоръ этотъ для меня очень замѣчателенъ; въ немъ слышны первые звуки *московскаго консерватизма*, не въ кругѣ кн. Сергія Михайловича Голицына, праздныхъ помѣщиковъ, праздныхъ чиновниковъ, а въ кругѣ образованныхъ людей, литераторовъ, артистовъ, профессоровъ. Я слышалъ въ первый разъ это мнѣніе, выраженное такимъ яснымъ образомъ; оно меня поразило, хотя я тогда былъ очень далекъ, чтобъ понять, что изъ него впоследствии разовьется то упрямо-консервативное направление, которое изъ Москвы сдѣлало въ самомъ дѣлѣ Китай-городъ.

Тогда это еще была *усталь, загнанность*, теперь сознание своего безсилія и материнская боязнь за дѣтей.

— А. И.,—сказалъ Щепкинъ, вставая и прохаживаясь съ волненіемъ по комнатѣ,—вы знаете, какъ я васъ люблю и какъ всѣ наши васъ любятъ... Я вотъ на старости лѣтъ, не говоря ни слова по-англійски, пріѣхалъ посмотрѣть на васъ въ Лондонъ; я сталъ бы на свои старыя колѣна передъ тобой, сталъ бы просить тебя остановиться, пока есть время.

— Что же вы, Михаилъ Семеновичъ, и ваши друзья хотите отъ меня?

— Я говорю за одного себя и прямо скажу: по моему, поѣжай въ Америку, ничего не пиши, дай себя забыть, и тогда года черезъ два, три мы начнемъ работать, чтобъ тебѣ разрѣшили въѣздъ въ Россію.

Мнѣ было безконечно грустно, я старался скрыть боль, которую производили на меня эти слова, жалѣя старика, у котораго были слезы на глазахъ. Онъ продолжалъ развивать заманчивую картину счастья — снова жить подъ умилостивленнымъ скипетромъ Николая, но видя, что я не отвѣчаю, спросилъ:

— Не такъ ли, А. И.?

— Не такъ, Михаилъ Семеновичъ. Я знаю, что вы меня любите и желаете мнѣ добра. Мнѣ больно васъ огорчить, но обманывать я васъ не могу: пусть говорятъ наши друзья, что хотятъ, я *типографію не закрою*; придетъ время, они иначе взглянуть на рычагъ, утвержденный мною въ англійской землѣ. Я буду печатать, безпрестанно печатать... Если наши друзья не оцѣнятъ моего дѣла, мнѣ будетъ очень больно, но это меня не остановитъ, оцѣнятъ другіе, молодое поколѣніе, будущее поколѣніе.

— Итакъ, ни любовь друзей, ни судьба вашихъ дѣтей?

Я взялъ его за руку и сказалъ ему:

— Михаилъ Семеновичъ, зачѣмъ вы хотите мнѣ испортить праздникъ свиданья? Я въ Америку не поѣду, я въ Россію при этомъ порядкѣ дѣлъ тоже не поѣду, печатать я буду, это единственное средство сдѣлать что-нибудь для Россіи, единственное

средство поддержать съ ней живую связь; если же то, что я печатаю, дурно, скажите друзьямъ, чтобъ они присылали рукописи, — не можетъ быть, чтобъ у нихъ не было тоски по вольномъ словѣ.

— Никто ничего не пришлетъ, говорилъ уже раздраженнымъ голосомъ старикъ; мои слова его сильно огорчили, онъ почувствовалъ приливъ въ головѣ и хотѣлъ послать за докторомъ и пиявками.

На разговоръ этотъ мы не возвращались. Только передъ отъѣздомъ въ амбаркадеръ онъ грустно сказалъ, качая головой:

— Много, много радости вы у меня отняли вашимъ упрямствомъ.

— М. С., оставьте каждого идти своей дорогой, тогда, можетъ, иной и придетъ куда-нибудь.

Онъ уѣхалъ; но неудачное посольство его все еще бродило въ немъ, и онъ, любя сильно, сильно сердился и, выѣзжая изъ Парижа, прислалъ мнѣ грозное письмо. Я прочиталъ его съ той же любовью, съ которой бросился ему на шею въ Фокстонѣ, и — *пошелъ своей дорогой.*

Прошло пять лѣтъ послѣ моего свиданья съ Михайломъ Семеновичемъ, и русскій станокъ въ Лондонѣ снова попался ему на дорогѣ. Дирекція московскихъ театровъ задерживала какія-то экономическія деньги, которыя слѣдовали въ награду артистамъ. Тогда было время *рекламаціи* и артисты избрали Щепкина своимъ ходатаемъ въ Петербургѣ. Директоромъ тогда былъ извѣстный Геденовъ. Геденовъ началъ съ того, что отказалъ наотрѣзъ въ выдачѣ денегъ за прошлое время, говоря, что книги были контролированы и возвращаться на сдѣланныя распоряженія было невозможно.

Разговоръ сталъ упорнѣе со стороны Щепкина и, какъ разумѣется, держалъ со стороны директора.

— Я долженъ буду беспокоить министра, замѣтилъ артистъ.

— Хорошо, что вы сказали, я ему доложу о дѣлѣ, и вамъ будетъ отказъ.

— Въ такомъ случаѣ я подамъ просьбу государю.

— Что вы это, — съ такими дрызгами соваться къ его императорскому величеству? Я, какъ начальникъ, запрещаю, вамъ.

— Ваше превосходительство, сказалъ, откланяваясь, Щепкинъ, деньги эти принадлежатъ, въ этомъ и вы согласны, бѣднымъ артистамъ, они мнѣ поручили ходатайствовать объ ихъ полученіи; вы мнѣ отказали и общаете отказъ министра. Я хочу просить государя, вы мнѣ запрещаете, какъ начальникъ... Мнѣ остается одно средство, я передамъ все дѣло въ «Колоколь».

— Вы съ ума сошли, закричалъ Геденовъ, — вы понимаете ли, что вы говорите, я васъ велю арестовать. Послушайте, я васъ

извиняю только тѣмъ, что вы горяча это сказали. Изъ эдакихъ пустяковъ дѣлать кутерьму, какъ вамъ нестыдно. Приходите завтра въ контору, я посмотрю.

На другой день сумма была назначена артистамъ, и Щепкинъ поѣхалъ домой¹⁾.

... А какъ-то потухала его жизнь?.. Декораціи, актеры и самая пьеса еще разъ измѣнились... Что дѣлалъ старикъ, дожившій съ одной стороны до осуществленія своей вѣчной мечты объ освобожденіи крестьянъ,—въ средѣ пресыщеннаго либерализма, патриотизма кровожаднаго по службѣ, въ средѣ доносовъ университетскихъ, литературныхъ, окруженный измѣнниками своей юности, своихъ благороднѣйшихъ стремленій, рукоплескающими возгласами Писемскаго, статьями «Московскихъ Вѣдомостей»?..

(1863 г., № 171).

Съ континента.

Письмо изъ Неаполя.

5 октября, 1863 г., Неаполь.
Chiaja, Hôtel Washington.

Ну, вотъ я и на Кіайѣ, и потухнувшій Везувій передо мной и синее небо и синее море... Опять увидалъ я своими глазами романскую половину стараго міра, провѣрилъ ее еще разъ отъ Кале до Неаполя и съ тѣмъ же тяжелымъ чувствомъ, съ которымъ я покидалъ Лондонъ, гляжу на Сентъ Эльмъ и Капри.

Свѣтлыхъ замѣтокъ, хорошихъ воспоминаній я не привезу. На этотъ разъ все хорошее и свѣтлое принадлежитъ природѣ и *партикулярной* жизни.

Положеніе русскаго становится безконечно тяжело. Онъ все больше и больше чувствуетъ себя чужимъ на Западѣ, и все глубже и глубже ненавидитъ все, что дѣлается дома. Ни вблизи, ни вдали нѣтъ для него ни успокоенія, ни отрады,—такое печальное положеніе рѣдко встрѣчалось въ исторіи. Развѣ въ первые вѣка христіанства испытывали подобную скорбь—*чуждости въ обѣ стороны*—монахи германскаго происхожденія, развившіеся въ римскихъ монастыряхъ. Спасать языческій міръ не ихъ было дѣло, его паденіе они предвидѣли, но не могли же они сочувствовать дикимъ ордамъ единоплеменниковъ, бессмысленно шедшихъ

¹⁾ Анекдотъ этотъ, тогда же переданный намъ изъ очень прямого источника, мы не печатали по понятной причинѣ.

на кровавую работу совершающихся судебъ. Имъ оставалось одно, идти съ крестомъ въ рукахъ и съ словомъ братскаго увѣщанія къ разсвирѣпѣвшимъ толпамъ, стараясь добраться до чего-нибудь человеческого въ ихъ загрубѣлыхъ сердцахъ. У насъ слово осталось... но до человѣческаго чувства мы еще не договорились...

Какъ далеко мы разошлись въ послѣднія десять лѣтъ съ западнымъ міромъ, трудно себѣ представить. Мы въ это время расправили немного наши мысли, дали имъ обжиться въ груди нашей и съ ними намъ стало вдвое невыносимѣе стучаться на каждомъ шагу въ какія-то крѣпостныя стѣны, негодныя на защиту, но оскорбляющія глазъ и суживающія горизонтъ. Западные декорации намъ приглядѣлись, приглядѣлись и здѣшніе актеры, мы знаемъ ихъ силу и ихъ границу; они насъ вовсе не знаютъ. Мы оскорблены здѣсь въ тѣхъ сторонахъ нашей внутренней жизни, которыя мы дорого цѣнимъ въ себѣ, и уважены въ тѣхъ, которыя мы сами презираемъ.

Еще въ Англіи жить сносно, не потому что тамъ больше роднаго, а потому что тамъ чуждость полнѣе, рѣзче, серьезнѣе. Колоссальность добра и зла, размѣръ утесовъ, которые двигаетъ этотъ дебелый полнокровный Сизифъ, привязываютъ къ нему и къ его оригинальнымъ судьбамъ. Къ тому же онъ такъ занятъ, что ему дѣла нѣтъ до какого-нибудь иностранца, копышащаго въ своемъ углу. Великій талантъ оставлять человѣка въ покоѣ— принадлежитъ одной Англіи.

Но, какъ бы то ни было, я въ Неаполѣ, и хочу вамъ рассказывать свои *сенсацѣи*.

Съ теплымъ, мягкимъ воздухомъ, съ южными горизонтами становится легче на душѣ; люди и города меньше давятъ, меньше занимаютъ, природа выступаетъ на первый планъ. Съ Генуи начиная, свободнѣе дышать, и мнѣ не разъ приходило въ голову, не правъ ли нашъ другъ Маццини, и не найдетъ ли вдова двухъ міровъ, двухъ Римовъ, свѣжія силы въ себѣ для третьяго брака. Но, шумная, яркая, пестрая Италія въ худшее время своего угнетенія такъ же благотворно дѣйствовала на путешественника, какъ и теперь; она беретъ своимъ теплымъ вѣяніемъ и яснымъ солнцемъ, двумя-тремя закраинами, взморьями, да очерками горъ.

Вольтеръ говоритъ, что если-бъ у Клеопатры линія носа была другая, то судьбы древняго Рима были бы иныя. Тутъ нѣтъ ничего удивительнаго. Шутка линія носа, линія вообще! Отнимите у Неаполя линію моря, линію горъ, полукругъ его залива, что же останется? Кишащее гнѣздо нравственной ничтожности и добродушнаго шутовства, грязь, вонь, нестройные звуки, ослиный крикъ возчиковъ и самихъ ословъ, крикъ и брань торговцевъ, дребезжанье скверныхъ экипажей и хлопанье бичей, рядомъ съ

совершеннымъ умственнымъ затишьемъ и съ отсутствіемъ всякаго стремленія выйти изъ него. А съ ними онъ будетъ во-вѣки вѣковъ звать путника, и путникъ, откуда бы ни шелъ, преклонится передъ этими предѣлами красоты. Я смѣло говорю предѣлами; могутъ быть такія же красоты, могутъ быть иныя, но лучше, изящнѣе, музыкальнѣе не могутъ быть.

Когда нашъ пароходъ при восхожденіи солнца тихо и плавно огибалъ мысъ Мизенъ и вслѣдъ за Искіей и Прочидой открывалась вся дуга отъ Позилипо до Сорренто, все присмирѣло на палубѣ, все съ умиленіемъ молилось этому великому преобразенію земли, воды и воздуха.

Но съ городомъ я далеко не такъ свѣтло встрѣтился, какъ пятнадцать лѣтъ тому назадъ. Кто изъ насъ измѣнился,—не знаю. Вѣроятно, оба. Судьбы Неаполя были тяжелы, пока мы не видались. Отъ баррикадъ на улицѣ Толедо въ 1848 г. и бойни, которой Фердинандъ II окончилъ конституціонную эру своего правленія, до вшествія Гарибальди съ своими ополченцами, жизнь Неаполя, шумливая, суетливая, но не сильная и пустая, была подавлена, забита и еще больше обращена на бессмысленный толчокъ и ежедневныя дразги. Потеря политической дѣятельности въ другихъ мѣстахъ замѣнялась матеріальными улучшеніями; я не узналъ марсельскихъ улицъ, проѣжая теперь. Ничего подобнаго въ Неаполѣ. Неаполитанскіе Бурбоны были скряги, мелкіе стяжатели. Въ Капо-ди-Монте до сихъ поръ мебели и бронзы все Мюратовское; Бурбоны обрадовались добычѣ и захватили все обзаведеніе пышнаго врага, легли спать въ его постель, стали обѣдать на его посудѣ. На огромномъ столѣ былъ вензель Іоахима, вензель перемѣнили, но на бѣду вся мозаичная кайма кругъ стола покрыта наполеоновскими пчелами, ихъ мѣнять было дорого, добрые Бурбоны не побрезгали, такъ и сѣли кушать и кушали до 60 года. Такіе короли не поправляютъ городовъ, и новая дорога Via Terezia (какъ-то вдругъ сдѣлавшаяся Via Vittorio Emanuel) начата ужъ при Францескѣ. Нечего дивиться, что Неаполь, по большей части, скверно построенный, старѣлъ, чернѣлъ и совсѣмъ осунулся въ послѣдніе годы. Гдѣ тутъ было думать объ улучшеніяхъ и о комфортѣ. Онъ жилъ все это время въ вѣчной тревогѣ, боясь явнаго правительства короля и тайнаго каморристовъ: откупаясь отъ обоеихъ, боясь полиціи и революціонеровъ, боясь свѣтской и духовной цензуры, запертый на ключъ отъ всего міра, онъ радъ былъ, что его сколько-нибудь оставляютъ въ покоѣ. Слѣды того, что было, остались; въ Неаполѣ нѣтъ никакой умственной дѣятельности, книжныя лавки бѣдны книгами, кафе газетами, въ кабинетѣ для чтенія на Толедо нѣтъ книгъ, да нѣтъ и журналовъ; хозяинъ извиняется тѣмъ, что иностранцевъ еще мало, а неаполитанцы не читаютъ.

... Однимъ вечеромъ Неаполь по обыкновенію легъ спать у ногъ своего короля и утромъ проснулся у ногъ Гарибальди. Это пришло сюрпризомъ для всѣхъ. «Что ждѣлать теперь?»—спросилъ испуганный король Либерио Романо.—«Бхать вонъ»—отвѣчала министр. Король уѣхалъ, Гарибальди пріѣхалъ, а вслѣдъ за нимъ пріѣхалъ и Викторъ Эмануиль — *la révolution était faite!* Неаполь остался при этомъ *avortement*, но не сталъ на свои ноги, какъ Генуя, и не могъ, онъ вовсе не такъ воспитанъ; онъ, какъ всѣ города, выходящіе изъ подъ самодержавнаго гнета, привыкъ къ помочамъ, къ опека, къ покровительству и поощренію и вовсе не привыкъ ни къ какой инициативѣ. Неаполь ждалъ обновленія откуда-то свыше, ждалъ политическихъ подарковъ и административныхъ «маккарони», а ему говорятъ: «Ты не маленький, самъ возрастъ имѣешь, вотъ тебѣ права, вотъ тебѣ выборы, дѣлай, какъ знаешь». А онъ не знаетъ какъ, и чувствуетъ, что вмѣсто благъ, которыя онъ ожидалъ, онъ дождался потери своего значенія какъ столицы, конскрипціи и разныхъ податей.

Безпечное легкомысліе и вѣчное разсѣяніе мѣшаютъ неаполитанцу сложиться до совершеннолѣтія и подумать о своемъ положеніи, и то же беспечное легкомысліе помогаетъ ему весело переносить все на свѣтѣ. Станный народъ, онъ труситъ передъ вздоромъ и строитъ свои дома подъ вчерашнимъ кратеромъ. Всѣ остальныя стороны его жизни носятъ тотъ же характеръ небрежности и необдуманности. Работники и простой народъ живутъ въ каменныхъ щеляхъ между шестиэтажными домами, въ грязи и вони, о которой теперь въ Европѣ не имѣютъ понятія; для нихъ ничего не сдѣлано, у нихъ нѣтъ ни воздуха, ни воды, а они-то и составляютъ все населеніе Неаполя. Народу уступлена правда улица—улица, но не солнце—солнце за стѣной, и этотъ народъ, такъ грязно живущій, страстно любитъ свѣтъ, цвѣтъ, веселье, хохотъ, зрѣлища, наружный блескъ; ему королевскій дворецъ необходимѣе чистой квартиры, и въ три мѣсяца одинъ фейерверкъ дороже свѣчки у себя дома.

Озабоченный король Италіи, мучимый какъ Танталъ Венеціей и Римомъ, ничего не дѣлаетъ, чтобъ занимать этого большого ребенка и, не замѣчая того, оскорбляетъ его безъ нужды всякими пустяками. «Посудите сами», говорилъ одинъ недовольный офицеръ изъ неаполитанцевъ, «при Франческѣ у насъ было нѣсколько формъ, четырехъ разныхъ цвѣтовъ панталоны, считая бѣлыя лѣтнія, а теперь—какъ насъ одѣли? Стыдно ходить по улицѣ, служба потеряла весь престижъ».

Вы будете смѣяться надъ офицеромъ, и я смѣялся. А въ сущности зачѣмъ Викторъ-Эмануиль не прибавилъ пятую пару? «Оставляя, молъ, въ ознаменованіе признанной самобытности коро-

левства обѣихъ Сицилій, прежнюю военную форму, Мы прибавляемъ еще общую итальянскую съ такимъ-то шитьемъ» и пр. Офицеръ нашель бы въ панталонахъ del'unitá новую приманку для службы, и не сталъ бы вздыхать о Франческѣ.

Трезвый Пиемонтъ эрихъ вещей не понимаетъ, онъ думаетъ какъ нѣкогда княгиня¹⁾, «что если у ребенка есть башмаки, такъ игрушекъ ему ненадобно». Оттого-то онъ и не имѣеть ничего общаго съ разгульнымъ городомъ. Требованія Пиемонта большей частью дѣльны и справедливы, да Неаполю ненужно ни дѣла, ни справедливости; онъ хочетъ, чтобъ его занимали, а тамъ, пожалуй, можно его и постращать...

Бракъ Неаполя съ Пиемонтомъ рѣшительно не удался; онъ такъ и просится на San Carlino. Розина, Колумбина, сидѣвшая на заперти и бросавшая исподтишка любовныя цидулки Донъ Маццини и назначавшая свиданія Донъ Гарибальди, вышла замужъ за Бартоло,—за дѣльнаго, но безконечно скучнаго, прозаическаго, ограниченнаго, провинціальнаго Бартоло. И Розина очень ограничена, только на свой ладъ, на веселый; она хочетъ жить спуста рукава, а, пожалуй, и платье; она любитъ жуировать, любить зрѣлище; не все же смотрѣть процессіи, въ которыхъ богородица съ криолинами, — ей надобно дворъ, гвардія, балы, на которые ее не пригласятъ, но и не запретятъ смотрѣть, какъ подѣбзжаютъ пышные экипажи, выходятъ пышныя принцессы... Это опять пятыя панталоны. Розина совершенно права,—на пустой дворецъ гадко смотрѣть, и лошади, подаренныя Николаемъ своему другу Фердинанду II, ушли бы, если-бъ не были мѣдныя. И на что же всѣ эти принцы Умберты²⁾, герцоги и князья Кариніанскіе? да и зачѣмъ самъ хозяинъ живетъ круглый годъ въ какомъ-то захолустьи, когда есть Неаполь и Казерта?

Пиемонтъ вѣрить въ свою магнитную силу, Туринъ въ свое значеніе итальянской столицы и подтягиваютъ къ себѣ части Италіи. Великое самоотверженіе Флоренці избаловало ихъ. Какъ будто тамъ, гдѣ есть Римъ, можетъ быть другая столица! Да, по счастью, и самый Римъ никогда не сдѣлается поглощающимъ центромъ Италіи, какъ онъ былъ въ эпоху цезарей.

... Бѣдный народъ, едва имѣющій одни панталоны и тѣ съ заплатами, такъ же недоволенъ, какъ и офицеръ, которому надобно было четыре пары панталонъ разнаго цвѣта для того, чтобъ защищать отечество. Онъ недоволенъ вводимыми порядками, потому что они порядки, онъ недоволенъ и тѣмъ, что ничего не

¹⁾ См. «Былое и Думы».

²⁾ Сонъ въ руку. Умберто приѣхалъ въ Неаполь пять дней послѣ нашего отъѣзда.

выигралъ при перемѣнѣ, для совершенія которой онъ, впрочемъ, ничего и не сдѣлалъ. «*Re ladro, re galantuomo e lo stesso. Ni l'un capite, ni l'atro, non mi pagano niente!*» — говоритъ онъ, и въ сущности жалѣеть о прежнемъ порядкѣ вещей, когда правительство, грабя Сицилію, давало льготы неаполитанской черни, по-творствовало всѣмъ ея гадостямъ, принимало участіе въ распряхъ лаццаронъ С. Лучіи съ лаццаронами порта и горь и жило въ той же нравственной грязи и неразвитости, въ которой и она. Неаполитанскіе Бурбоны и неаполитанская чернь любили другъ въ другѣ родныя черты. Разбойникъ Нарди, сдѣлавшійся полковникомъ Франческа, входя въ Раполло съ своей шайкой, сказалъ собравшемуся народу: *Si dice che Francesco II-e un ladro. Or bene — io ladro di professione vengo a restaurare un ladro sul trono* ¹⁾).

Народъ, выносившій все, даже побои (которыхъ не выносить нигдѣ итальянецъ), будируетъ теперешнее правительство, съ недоумѣніемъ смотритъ на пьемонтскихъ берсальеровъ и съ негодованіемъ принимаетъ усилія правительства очистить городъ, подмести улицы. Какъ ни старалось новое «муниципіо», чтобъ завоевать половину широкаго тротуара на Санта Лучіи, заваленнаго плетущками, шкاپчиками, столиками съ продажной рыбой, съ *frutti di mare*, — не могло. Лаццарони уперся и отстоялъ себѣ Санта Лучію, по тротуару ходить нельзя. «Умру или останусь грязенъ!» Бѣдный Лазарь! Грязный Лазарь! и главное Лазарь, сидящій на первомъ мѣстѣ!

Въ этомъ-то все и дѣло, что въ Неаполѣ лаццарони занимаетъ казовой конецъ. Здѣсь нѣтъ богатой, образованной буржуазіи, которая служила бы крытымъ переходомъ между принчапе и нищимъ. Есть правда какая-то балаганная торговля, которая въетъ свою паутину отъ шести-этажныхъ домовъ къ каменнымъ конурамъ работниковъ, но она не скрываетъ пустоты между ними, а только придаетъ ей нечистый видъ.

Государство безъ сильнаго средняго состоянія поражаетъ насъ отсталой дикостью въ самыхъ обычныхъ вещахъ, оно выводитъ насъ изъ торной колеи нашихъ образованныхъ привычекъ,

¹⁾ M. Monnier, Brigantaggio nelle provincie napoletane 1863.

Сочувствіе это обоюдное. Когда Фердинандъ I плелся съ австрійскимъ обозомъ, чтобъ послѣ Мюрата занять тронъ своихъ праотцевъ, австрійскій генералъ, рассказывалъ мнѣ извѣстный Пепе, при переходѣ черезъ неаполитанскую границу, доложилъ королю, что ему слѣдуетъ лично принять начальство и въѣхать въ Неаполь безъ иностраннаго войска, которое будетъ его охранять на благородной дистанціи; Фердинандъ не хотѣлъ ни подъ какимъ видомъ «подвергать себя такой опасности». — «Да чего в. в. боится, сказать наконецъ, выведенный изъ терпѣнія генералъ, — развѣ вы не знаете, что неаполитанцы трусы?» — «Знаю», отвѣчалъ король. «*Anch'io sono napoletano ho paura*».

и мы теряемся. При известныхъ условіяхъ въ буржуазномъ государствѣ жить легко и удобно.

Среднее состояніе, какъ гумиластиковая подушка, смягчаетъ всѣ столкновенія, стираетъ всѣ разности, мѣшаетъ революціи, мѣшаетъ реакціи, разоряетъ богатаго, поглощаетъ бѣднаго, все уравниваетъ, все приводитъ въ порядокъ, ограничиваетъ кражу и обманъ и возводитъ ихъ зато въ тарифъ и привилецію, не позволяетъ извозчику брать лишній франкъ, ни истцу заплатить адвокату или нотаріусу золотымъ меньше,—оно-то смеетъ съ улицъ нечистоту и съ нечистотой мелкую торговлю и вищихъ. Въ Неаполѣ его нѣтъ, и оттого Неаполь остается *столицей черни*. Слѣдуетъ ли радоваться этому или печалиться?

Трудно сказать, потому что трудно себѣ представить, чтобы неаполитанскій народъ легче перешелъ въ больше человѣческую жизнь, чѣмъ оттертый корыстнымъ посредникомъ пролетаріатъ другихъ странъ. Чѣмъ онъ доказалъ это? Онъ живетъ вѣка такъ, какъ теперь. Возьмите хроники, возьмите путешественниковъ прошлаго вѣка, и вы увидите, что онъ такъ же мало измѣнился, какъ кошки и обезьяны... Глядя на то, что здѣсь, при отсутствіи сильной буржуазіи, столичная чернь остается лаццаронами, а провинціальная становится разбойниками, поневоля приходится въ голову, что народъ по тяжелому закону selection только и поднимается черезъ буржуазію къ болѣе развитой жизни.

Можетъ, буржуазія вообще *предвѣтъ* историческаго развитія: къ ней возвращается забѣжавшее, въ нее поднимается отставшее, въ ней народы успокоиваются отъ метанія во всѣ стороны, отъ національнаго роста, отъ героическихъ подвиговъ и юношескихъ идеаловъ, въ ея уютныхъ антресоляхъ людямъ привольно жить.

Какой-то внутренней голосъ, какая-то человѣческая скорбь заставляють насъ протестовать противъ окончательнаго рѣшенія; претить намъ сознаться, что всѣ рѣки исторіи (по крайней мѣрѣ всѣ западныя) текутъ въ мареммы мѣщанства... Но мало ли у насъ такихъ скорбей, развѣ алхимики не скорбѣли о прозѣ технологіи, и мало ли по какимъ идеаламъ мы тоскуемъ. Я очень недавно испыталъ, какъ страшно больно стоять у могилы и знать, что нѣтъ *того свѣта!*

... Однако, вопросъ этотъ оставимъ открытымъ.

А я лучше скажу въ заключеніе моего письма, какая мысль пришла мнѣ на дняхъ въ голову въ Камалдулинскомъ монастырѣ. Монастырь этотъ стоитъ одиноко на вершинѣ горы, съ которой видна Гаета и Террачина, гряды горъ, идущихъ въ Абруццы, гряды идущихъ въ Калабрію, Неаполь, море, острова. Старый монахъ указывалъ мнѣ и называлъ горы и мѣстечки, потомъ замолчалъ. Сдѣлалась та особая нагорная тишина, которую я когда-

то слушалъ на Monte Rosa; солнце садилось не по-итальянски, тускло и блѣдно; даль покрывалась съ одной стороны темносиними тучами, наканунѣ былъ сильный дождь и гроза, къ ночи готовилась другая. Я облокотился на ограду и смотрѣлъ... и смотрѣлъ...

И не только смотрѣлъ на видъ, но и на монаха, и на него-то именно я смотрѣлъ съ глубокой завистью,—пожилъ бы въ этомъ торжественномъ одиночествѣ, но монастырь для насъ запертъ, это чужой отдыхъ, покой отъ другого бремени, отвѣтъ на другія стремленія. Куда въ самомъ дѣлѣ денется человѣкъ усталый, сломленный или просто неосторожно заглянувшій за кулисы, и понявшій *оптический обманъ*?

Потребность одиночества и удаленія будетъ непременно расти; она, разумѣется, никогда не поглотитъ столько рукъ и силъ, какъ всякій гарнизонъ, но расти будетъ. Для страждущихъ духомъ современное общество приготовило только *сумасшедшій домъ*.

Психологія христіанства была глубже и гуманнѣе,—она пожалѣла уставшихъ.

(1863 г., № 173).

Ввозъ нечистотъ въ Лондонъ.

Какой-то плочкой корресподентъ «Сѣверной Пчелы» (№ 308) повѣтствуетъ о томъ, что «я сложилъ свой вольный станокъ и собираю компанію, чтобы вывозить нечистоты изъ Лондона». Плоской корресподентъ ошибся, до него дошли слухи о нечистотѣ, о Лондонѣ, о станкѣ... но онъ не понялъ, въ чемъ дѣло. Я расскажу его самъ для пользы сѣверныхъ пчель, жуковъ и другихъ насѣкомыхъ.

Послѣ трехмѣсячнаго отсутствія изъ Англіи, меня чуть не постигла участь генераль-адъютанта Кокошкина; я попалъ въ кучу русскихъ газетъ и чуть не задохнулся въ этихъ ямахъ полицейскаго срама и инквизиторскаго гноя. Что передъ ними неаполитанскія катакомбы и парижскія клоаки, что передъ ними Марать и Гебертисты... тѣ были фанатики tout de bon, не по тысячу цѣлковыхъ съ фанатизма, они, едва воскреснушіе отъ долгаго гнета; неслись безъ оглядки, ошибались, ломали, лили кровь, теряли морально и физически голову, но были честны, но были чисты въ своемъ идеалѣ, въ своей вѣрѣ, а наши невскіе и москворѣцкіе Камилль Демулены, наши Père Duchên'ы, фанатики рабства, бульдоги, дрессированные на поляковъ, циническіе, дерзкіе, мерзкіе, наглые, опертые на двѣ полиціи, на цензуру, на консисторію, они возвели въ литературную рѣчь все грубое и гадкое,

что грязнело у насъ казарму, съѣзжую, помѣщичью переднюю и исправительную конюшню російскаго демократическаго дворянства.

Меня почти обрадовалъ ввозъ этихъ нечистотъ въ Лондонъ,— дальше гниль, тупость, глупость, паденье идти не могутъ, да- лѣе полное разложеніе или новая жизнь... Ну, до разложенія намъ далеко,—здѣсь я скажу, какъ нянюшка принцессы Тюндентентронгъ въ «Кандидѣ»—on ne meurt pas de ces choses... Россія загрязни- лась, но вынесетъ эту Mist-Kuhr!

А забавно видѣть, какъ на вонючей поверхности этой помой- ной ямы всякія пчелы, черви, оводы и золотомъ шитыя мухи поѣдаютъ другъ друга, особенно московскія петербургскихъ. Тутъ нашъ литературный Шешковскій-Катковъ оттасталъ въ одномъ номерѣ двухъ министровъ и прямо говоритъ: «я служу,— да, я несу добровольную службу», какъ будто можно человѣка заставить противъ воли и доносить, и клеветать, и указывать жертвы и рукоплескать палачамъ? Твердо идетъ Катковъ по слѣ- дамъ Шервуда на завоеваніе титула *Вьрнаго*, не даромъ Байбо- рода напоминалъ съ поконъ вѣка Майбороду... Тутъ, возлѣ силь- ныхъ доносами—слабые, дрянные фискальчики:

Куда конь съ копытомъ мчится,

Ракъ съ клешней туда тащится

И давай писать.

Какой-нибудь эксъ-ракъ «Библиотеки для чтенія», романистъ, аферистъ, драматистъ, ставитъ на сцену новую русскую жизнь съ подхалюзой точки зрѣнія подъячаго, не совсѣмъ вымысшаго руки отъ... канцелярскихъ чернилъ, дѣлаетъ шаржи на событія, отъ которыхъ еще до сихъ поръ льются слезы, и чертитъ силуэты какихъ-то дураковъ въ Лондонѣ, воображая, что это наши портреты.

Видно, придется намъ выручать рака и прибавить ему не- большую картинку изъ романа:

ВЗБОЛТАННАЯ ПОМОЙНАЯ ЯМА.

Глава XVIII.

Подчиненный и начальники.

Подчиненный. — Находясь проездомъ въ здѣшнихъ мѣстахъ, счелъ обязанностью явиться къ вашему превосходительству.

Начальникъ А. — Хорошо, братецъ. Да что-то про тебя ходятъ дурные слухи?

Подчиненный. — Невиненъ, ваше пре- восходительство, все канцелярская молодежь напакостила, а я передъ вами, какъ передъ Бо- гомъ, ни въ чемъ-съ.

Начальникъ В. — Вы не маленькій, чтобъ ссылаться на другихъ. Ступайте.

Эпиграфъ этотъ изъ романа, который былъ бы очень извѣ- стень, если-бъ существовалъ, живо представился герою нашего разсказа однимъ лѣтнимъ днемъ 1862 года...

Было вечеромъ, было въ дождливую погоду, было на островѣ Вайтъ.

Герой нашъ сидѣлъ у окна и смотрѣлъ на море.

Почтовой факторъ стоялъ у дверей и смотрѣлъ на рыжукъ Кецаю.

Кецаія взошла съ письмомъ и посылкой и вышла безъ письма и посылки.

Герой нашъ пересталъ смотрѣть на море.

Почтовой факторъ продолжалъ смотрѣть на златовласую Кецаю.

Герой нашъ прочелъ слѣдующее: «Одна изъ главнѣйшихъ цѣлей моей поѣздки въ Лондонъ состояла въ томъ, чтобъ лично узнать васъ, чтобъ пожать руку человѣка, котораго я такъ давно привыкъ любить и уважать. Когда вы воротитесь? Пожалуйста, сообщите объ этомъ NN, котораго я имѣлъ счастье знать еще въ R. R.».

P. S. «Я прошу васъ принять новое изданіе моихъ сочиненій въ знакъ *глубокаго... глубокаго* уваженія къ вамъ»...

И герой нашъ развернулъ сочиненія, переплетенныя въ сафьянахъ и позолотахъ, и не читалъ ихъ.

Прошла недѣля, лѣто и дождь продолжались... Кецаія осталась на маленькомъ островѣ, герой нашъ былъ на очень большомъ. Въ девять часовъ вечера шелъ дождь на Вестборнъ Террасъ и не одинъ дождь...

(Продолженіе потомъ).

P. S. По какому-то странному случаю, который мнительному человѣку показался бы вовсе *не случаемъ*, мы получили всѣ №№ «Сѣверной Пчелы», *за исключеніемъ 308*. Если-бъ князь П. В. Долгоруковъ не сказалъ намъ о томъ, что въ немъ напечатана навозная новость, мы не позаботились бы достать его. Нѣсколько предшествующихъ строкъ были набраны, когда мы прочли полную корреспонденцію. Вотъ что пишетъ плодкой корреспондентъ «Сѣвер. Пчелы»:

«Я прежде удивлялся, читая повѣсти и рассказы изъ прошедшаго Польши, въ которыхъ говорится, что ни одного семейства у поляковъ не обходилось безъ сабли и драки. Теперь это меня ни мало не удивляетъ, какъ не удивляетъ и то, что Герценъ вступилъ съ поляками въ близкое родство. Кстати, объ Герценѣ. Поляки считаютъ Герцена своимъ передовымъ человѣкомъ и хотятъ усыновить его (прекрасно! наши законы не мѣшаютъ такому сочетанію); черезъ евреевъ они въ большомъ количествѣ прежде выписывали печатныя бредни Герцена. Припомнился мнѣ

при этомъ случай, бывшій со мной года 3 тому назадъ. Мнѣ при-
велось по дѣламъ службы быть въ обществѣ польскихъ помѣ-
щиковъ. Между своими разговорами они, между прочимъ, завели
рѣчь и о Герценѣ: хвалили его, изъявляли сожалѣніе, что они
не довольно хорошо знаютъ русскій языкъ, чтобы понимать Гер-
цена. Я, разумѣется, потупя глаза, слушалъ, а самъ думалъ про
себя: «подождите, онъ еще удружить вамъ и выведетъ васъ на
свѣжую воду». И точно вывелъ. Въ самомъ дѣлѣ, если сличить
ученіе Герцена съ дѣйствіями поляковъ, то нетрудно замѣтить
въ польскомъ пожарѣ тѣнь этого человѣка. Поляки вѣшаютъ,—
это родная мысль Герцена; поляки отравляютъ,—это тоже по его
части; поляки бросаютъ гранаты и жгутъ,—этому ремеслу под-
училъ ихъ Герценъ. Теперь поляки понемногу начинаютъ по-
нимать Герцена. Сужу это потому, что они пускаютъ про него
не очень лестные слухи. Напримѣръ, здѣсь говорятъ, что Гер-
ценъ уже сложилъ свой «вольный станокъ, поставленный на бри-
танской землѣ», и собираетъ компанію, какъ вы думаете для
чего? Для того, чтобы подрядиться у англичанъ вывозить всѣ
нечистоты изъ Лондона. Выгоды громадныя, говорятъ, отъ этого
подряда, а главное, тутъ будетъ много работы уму. Немало также
услужилъ полякамъ и странствующій Долгорукій своимъ сочи-
неніемъ о Россіи. По его словамъ, такъ вотъ Россія и упадетъ
и разрушится, и онъ же ящерицей ползетъ по ея развалинамъ,
а поляки ему и повѣрили, да и не одни поляки, а кто-то и по-
выше ихъ повѣрилъ. Недаромъ Наполеонъ заученымъ языкомъ
говорить: «Мнѣ измѣнили, мнѣ измѣнили!» Стыдася сказать: «Меня
обманули, меня обманули Герценъ, Долгорукій и подобные имъ
индивидуумы».

Мы не могли не перепечатать этихъ гнусныхъ строкъ, мы
указываемъ ихъ всѣмъ честнымъ противникамъ и врагамъ на-
шимъ, пусть они знаютъ, съ кѣмъ они идутъ заодно. Не вытерпѣла
«Сѣверная Пчела», ей не спалось отъ зависти,—и въ одинъ фелье-
тонъ обѣжала Каткова... а, вѣдь, какъ она огорчилась, когда мы
ее назвали офиціозной?

(1863 г., № 175).

Письма къ будущему другу.

NB. Авторъ этихъ писемъ былъ въ большемъ затрудненіи и только недавно вышелъ изъ него. Ему хотѣлось писать о всякой всячинѣ, т. е., исключительно о русской всякой всячинѣ, для этого форма письма самая широкая, она свободна какъ женская блуза, нигдѣ не шнуруетъ и нигдѣ не жметъ. По несчастью, у него не оказалось въ наличности ни одного отсутствующаго друга, по крайней мѣрѣ, такого, который желалъ бы что-нибудь знать, ни такого, которому бы хотѣлось что-нибудь писать. Единственный человѣкъ, который могъ бы выручить автора, живетъ съ нимъ черезъ коридоръ, что дѣйствительно не мѣшаетъ имъ иногда переписываться, но все же не въ такой степени, чтобъ изъ переписки сдѣлать литературную корреспонденцію.

Занятый этимъ предметомъ, авторъ вспомнилъ *предвареніе чело- ловѣка*, открытое почтамтомъ въ Россіи (кому въ самомъ дѣлѣ и умѣть открывать все запечатанное для другихъ, какъ не ему?). Если можно путешествовать по подорожной съ *будущимъ*, отчего же съ нимъ нельзя переписываться. Авторъ самъ былъ *буду- щимъ* въ одномъ *давно прошедшемъ* путешествіи, а *настоящимъ* былъ Васильевъ, рядовой жандармскаго дивизіона.

Взявъ все это въ расчетъ, авторъ рѣшился писать къ *буду- щему другу*, желая отъ всей души, чтобъ онъ сохранилъ свое доброе здоровье до первой встрѣчи съ нимъ, впередъ радуясь пріятному будущему знакомству.

Письмо первое.

Будущій другъ,

Извините, что я къ вамъ пишу, не зная порядкомъ, сколько вы заняты и много ли у васъ времени празднаго или, лучше, скучнаго, которое вы хотѣли бы разсѣять невеселой бесѣдой человѣка, начинающаго старѣть и продолжающаго ворчать...

Я долго крѣпился... но силъ не стало. Русскія новости и русскіе журналы дѣйствуютъ на меня какъ дурманъ или какъ пневматическая машина; я чувствую безпокойство чижа въ безвоздушномъ пространствѣ, я задыхаюсь, мнѣ кажется, что я, вы, мы оскорблены, унижены тѣмъ, что съ нами, при насъ смѣютъ такъ говорить, — злоба кипитъ, является желаніе мести, самозащиты...

Долго думалъ я, что бы сдѣлать, чтобъ отвести душу, сначала придумалъ составить небольшую хрестоматию à la Noël et Char- sal изъ образцовыхъ усердій, преданностей, фискальствъ и проч. Журналы забываются, хрестоматіи—остаются. Обложилъ я себя.

какъ Лазарь, всѣмъ гноемъ, привезеннымъ за декабрь мѣсяцъ изъ-за Бельта и Зунда, съ береговъ счастливой Невы и благоравумной Москвы-рѣки.

Сначала все шло хорошо, я пріискалъ заглавіе и началъ, какъ ветошникъ, удить въ отечественныхъ канавахъ нашей журналистики... На всякій случай я вамъ сообщу, мой любезный будущій другъ, мой futur, написанный мною проспектъ-специменъ:

ПЕРЛОСЛОВІЕ.

Подъ этимъ многознаменательнымъ названіемъ вознамѣрились мы низать крупницы, падающія съ богатаго стола нынѣ пирующихъ сановниковъ и іерарховъ русской мысли. Мы равно будемъ низать на наши четки, на наши ожерелья—духовно-полицейскіе апофтегматы Аскоченскаго и военносудныя сентенціи Каткова, бусы максимъ Громеки и капли офиціознаго воска, очищенные отъ меда сѣверныхъ пчельниковъ и иныхъ вертоградарей россійскихъ, ежедневниковъ и мѣсячниковъ, наиболѣе апробованныхъ, поощренныхъ и взисканныхъ милостями высшаго начальства. Безъ излишней самонадѣянности думаемъ мы, что такое ожерелье равно пригодится старцу, женщицѣ, квартальному и ребенку для образованія ума, сердца и руки—да, и руки. Ибо рѣдкое перлословіе не напоминаетъ прописей,—здоровая мысль въ здоровомъ почеркѣ гораздо важнѣе, чѣмъ думаютъ нигилисты.

Но такъ какъ самыя пламенныя «пожеланія» ¹⁾ все же имѣютъ

¹⁾ Желанія — *s'est commun, vulgare*, монархи, архіереи и сильные міра сего говорятъ въ важныхъ случаяхъ «пожеланія». Эта-та извѣстная разнища Сергѣя и Сергія, сорочки и рубахи, которую мы не разъ объясняли. Послѣ новаго года государь-редакторъ «Моск. Вѣд.» обратился къ крѣпостникамъ разныхъ областей своихъ, «къ князьямъ, боярамъ, восводамъ, пришедшимъ (письменно) за Донъ отыскивать свободу крѣпостного права и благодарить за поддержку Муравьева, съ слѣдующими царственными словами: «Мы заключаемъ истекающій годъ изъявленіемъ благодарности нашимъ читателямъ, которые выраженіемъ своего сочувствія подкрѣпляли насъ въ нашей дѣятельности и теперь напутствуютъ насъ на дальнѣйшій трудъ. Эти сотни писемъ, которыя приходятъ къ намъ со всѣхъ концовъ Россіи отъ людей всѣхъ классовъ и званій, мы сохранимъ какъ дорогое свидѣтельство, что дѣятельность наша была не бесплодна, и что она дѣйствительно была органомъ русскаго общественнаго мірнія. Никогда еще, сколько мы знаемъ, между газетою и обществомъ не устанавливалась такая несомнѣнная связь, какая въ настоящемъ году соединила «Московскія Вѣдомости» съ ихъ читателями. Мы были бы не въ состояніи отвѣчать на каждое изъ этихъ заявленій; но мы не можемъ не упомянуть о нѣкоторыхъ полученныхъ нами коллективныхъ письмахъ. Мы благодаримъ дворянъ *Пензенскаго уѣзда* и чувствуемъ всю силу нравственнаго обязательства, которое возлагаютъ на насъ ихъ добрыя *пожеланія*: мы благодаримъ также дворянъ разныхъ уѣздовъ *Рязанской губерніи*, и проч. и проч. и проч.

преграды, несмотря на эпиграфъ «Man kann was man will», избранный Н. А. Полевымъ (столь преждевременно опочившимъ отъ полезныхъ трудовъ своихъ, не предвидя, какъ много послѣ него разведется въ отечествѣ нашемъ—Телеграфовъ и Булгариныхъ), то мы и признаемся откровенно, что, по дальности мѣстожитель-ства, не имѣемъ возможности слѣдить за всеми сокровищами, поистинно-обильной словесности нашей, особенно съ незабвенныхъ временъ, въ которые отечество наше было достигнуто прогрессами. А потому мы съ благодарностью примемъ каждую крошку и крупицу, сметенную съ лукулловскаго стола отечественныхъ музъ, возлежащихъ пышнымъ вѣнкомъ голубыхъ васильковъ около чадолюбивой Паллады-Головнина.

Не стѣсняясь излишне строгой классификаціей, мы однако будемъ придерживаться системы, съ успѣхомъ употребленной въ народныхъ пѣсенникахъ, издававшихся въ началѣ нашего столѣтія.

Все афоризмы, апофтегматы, изреченія, сентенціи и максимы мы будемъ дѣлить на:

- I. Любовныя: а) *Любовь къ доносамъ,*
b) *Любовь къ «энергии»,*
c) *и проч.*

II. Военныя: *Съ включеніемъ корпуса жандармовъ.*

III. Мирныя: *Съ включеніемъ управы благочинія и «Московскихъ Вѣдомостей».*

IV. Театральныя и т. д.

Но передъ первой рубрикой мы помѣстимъ, какъ и слѣдуетъ, безъ цифры (числа и мѣры нѣтъ!) отдѣлъ

- Богословскій а) *Богословіе смирительное,*
b) *Богословіе уголовное.*

НВ. Барковъ православія Аскаченскій и Катковъ безпоповщинцевъ Ермиловъ облегчатъ намъ весьма этотъ важный по нравственному значенію отдѣлъ. Эти великіе сподвижницы и ратаи блѣднѣющей власти духовной—не холодные «Камни Вѣры», а, такъ сказать, каменная болѣзнь православной церкви и неправославнаго кладбища.

Иногда мы дозволимъ себѣ, и то только въ нужныхъ мѣстахъ, приличныя поясненія, но никогда не дозволимъ неприличныя.

Напримѣръ, когда маститый П. М. Погодинъ говоритъ, а «Моск. Вѣд.» повторяютъ о томъ, «что прежде нежели думать объ освѣщеніи московскихъ улицъ газомъ или фотогеномъ, нужно подумать о томъ, чтобъ городъ имѣлъ полицію»,—не слѣдуетъ комментировать, стоитъ только пожалѣть бѣдное и обширное отечество наше, все имѣющее, и свободу, и законы, словомъ все, и не имѣющее *полиции*.

Или когда самъ Катковъ въ статьѣ, направленной противъ Суворова («Моск. Вѣд.», 31 дек.) и слабыхъ душъ въ правительствѣ: — «Эти люди въ польскомъ помѣщикѣ готовы видѣть жертву, но русскаго помѣщика, *который былъ главнымъ орудіемъ государственной жизни Россіи*, они готовы были бы затравить всѣми собаками»... Что же тутъ прибавлять, развѣ ободреніе помѣщикамъ, что отъ всѣхъ людей и отъ всѣхъ собакъ ихъ спасеть, ихъ упокоить и отогрѣть редакція «Московскихъ Вѣдомостей».

Но когда максима Громеки, упрекая (не безъ оговорокъ въ взаимномъ уваженіи) Каткова въ томъ, что онъ «воздвигъ гоненія даже на малороссійскія азбуки», ставитъ ему въ вину, что онъ «приглашаетъ прекратить гоненіе на всю раскольничью литературу, на твердо организованныя секты, на изувѣровъ, непризнающихъ ни *Бога*, ни властей, ни брака, ни собственности», восклицаетъ: «Развѣ расколъ не интрига!», — нельзя не сказать нѣсколько словъ.

Отдавая полную справедливость искусному движенію краснорѣчія и вполне соглашаясь, что если *брака нѣтъ*, то, конечно, это *интрига*, читатель все же въ правѣ спросить, какія же именно секты не признаютъ *Бога*? Конечно, тутъ считано на одно ораторское движеніе и на рикошетъ, конечно, *similia similibus* можно приложить къ доносамъ, но тогда надобно быть увѣрену, что контроль доносъ можетъ быть вреденъ одному Каткову. Въ сущности, что за бѣда, что Катковъ кого-нибудь помилуетъ, кому-нибудь смирволить... Петербуржцы думаютъ, что все дѣлается изъ корысти, — нѣтъ, многое дѣлается и просто изъ выгоды, изъ обмѣна братскихъ послугъ...

... Au clair de la lune
Mon ami Katkoff,
Prête moi ta plume,
Je signe Ermiloff!

... На этой пѣсни я запнулся и далѣе ни мой specimen-prospectus, ни мое назаніе перловъ не пошло. Мнѣ попалась такая жемчужина, что я остановился...

Беру свѣжій листъ «Московскихъ Вѣдомостей» и читаю:

«Мятежные помѣщики (Августовской губ.) не забыли и слабыхъ сторонъ челоѳческаго сердца (для привлеченія крестьянъ къ возстанію), они во многихъ мѣстахъ простили чиншъ крестьянамъ и подарили имъ землю, подъ условіемъ ратовать совмѣстно съ ними за отчизну; но и это не пошло имъ впрокъ; крестьяне чинша не заплатили, а возмутителей выдали».

Есть гнусности, надъ которыми смѣшное не имѣетъ призу, онъ слишкомъ гадки, гадки до какой-то нѣмой печали. Какъ дол-

женъ былъ пасть отъ рабства народъ, который одной рукой беретъ даръ, а другой сѣдлаетъ клячу, чтобъ скакать съ доносомъ на того, котораго сейчасъ благодарилъ за его даръ. Это ужасно. И замѣтите, что коронный журналистъ передаетъ это не только безъ малѣйшаго порицанія, но чуть ли не съ улыбкой.

Бросаю «Вѣдомости» и беру «Русскій Вѣстникъ». Развертываю статью о «Гайдамачинѣ» и читаю (дѣло идетъ о взятіи Желѣзняка). «Генералу Кречетникову велѣно было отправиться подъ Умань, гдѣ находился Желѣзнякъ... Казаки не знали, зачѣмъ явились войска. Кречетниковъ, *избѣгая кровопролитія*, рѣшился захватить гайдамаковъ хитростью. Устроивъ свой обозъ, онъ послалъ просить къ себѣ Желѣзняка и старшинъ; велѣлъ сказать имъ, что у него есть до нихъ важное дѣло. Казацкіе старшины отказались ѣхать къ Кречетникову. Тогда, взявъ съ собой нѣскольکو офицеровъ, онъ самъ отправился въ казацкій лагерь. И генераль, и офицеры старались быть какъ можно *любезнѣе съ казаками*, и предлагали имъ вмѣстѣ идти противъ конфедератовъ. Послѣ этого перваго посѣщенія, Кречетниковъ *ежедневно* бывалъ въ казацкомъ лагерѣ и скоро успѣлъ уничтожить въ казацкихъ старшинахъ всякую тѣнь подозрѣнія.

«Такъ прошло нѣсколько дней. Остальныя войска уже приближались и Кречетниковъ рѣшился приступить къ развязкѣ. Однажды онъ объявилъ старшинамъ, что уже пришло время идти *противъ конфедератовъ*, и пожелалъ передъ походомъ обзрѣть войско въ боевомъ порядкѣ и осмотрѣть оружіе и прочія походныя принадлежности. *Ничего не подозрѣвая*, старшины велѣли казакамъ собраться вмѣстѣ, пригнать лошадей и сложить въ одно мѣсто для обзора сѣдла, оружіе и прочую аммуницію.

«Послѣ смотра Кречетниковъ позвалъ казаковъ на пиръ. У него было заранее приготовлено большое количество вина, меду и другихъ напитковъ. Русскіе солдаты получили приказаніе остерегаться много пить, а болѣе потчевать казаковъ. Старшины были приглашены въ ставку генерала, гдѣ Кречетниковъ не жалѣлъ для нихъ вина. Казаки загуляли, вино лилось рѣкой. Это былъ послѣдній казацкій пиръ: *впереди ихъ ожидала тяжелая участь*.

«Ночью, когда въ казацкомъ лагерѣ все спало мертвецкимъ сномъ, Кречетниковъ отдалъ приказъ полку донскихъ казаковъ, еще во время пира незамѣтно приблизившемуся къ лагерю и ожидавшему условленнаго сигнала, двинуться въ лагерь, захватить сложенное въ одномъ мѣстѣ оружіе, забирать лошадей, вязать казаковъ, но не стрѣлять, чтобы не надѣлать шума. Войска въ точности выполнили приказъ. Оружіе было взято, и сонныхъ безоружныхъ казаковъ начали вязать. Желѣзнякъ и Гонта были захвачены вмѣстѣ съ другими старшинами и атаманами. На слѣ-

дующее утро плѣнники спросили Кречетникова, что значить этотъ плѣнъ и его поступокъ съ ними. Кречетниковъ отвѣчалъ, что, по приказанію русскаго правительства, онъ долженъ былъ взять ихъ какъ разбойниковъ. Запорожцы были отправлены въ Кіевъ; поселянъ и казаковъ заднѣпровскихъ Кречетниковъ отдалъ польскому рейментарю Іосифу Стемповскому и субальтерну его Якову Комаровскому. Желѣзнякъ пошелъ въ Кіевъ, Гонта остался въ рукахъ поляковъ.

«По произведенному въ Кіевѣ слѣдствію 154 казака были разосланы во внутренніе гарнизоны; 6 человекъ пошли въ Сибирь; нѣкоторые были наказаны кнутомъ.

«Надъ гайдамаками заднѣпровской Украйны, отданными въ руки польскаго правительства, былъ учрежденъ генеральный военный судъ. Исполнителемъ приговоровъ этого суда былъ рейментаръ украинской партіи, Стемповскій. Какъ отъ суда, такъ и отъ жестокой личности рейментаря Стемповскаго нельзя было ожидать гайдамакамъ ни пощады, ни милосердія. Стемповскій хотѣлъ было казнить Гонту сейчасъ же по взятіи его, но имѣя въ отрядѣ только 400 человекъ, онъ боялся остаться лишній день и повелъ Гонту съ товарищами къ Могилеву на Днѣстрѣ. Тамъ, недалеко отъ Могилева, въ селѣ Сербовѣ, остановились палачи съ своими жертвами. Гонтѣ былъ прочитанъ приговоръ, по которому казнь распредѣлялась на четырнадцать дней. Онъ выслушалъ приговоръ хладнокровно и стойчески приготовился къ смерти. Началась лютая казнь. Гонта героически вынесъ ее, не просилъ ни пощады, ни помилованія. Отрубленную голову его воткнули на колы, а тѣло было разрублено на 14 частей и развѣшено въ различныхъ мѣстахъ на 14 висѣлицахъ».

И народъ долго помнилъ казнь Гонты и плѣлъ—

Підкинувшись підъ Умань, Гонту изловили.
Вони-жь його на самъ передъ барзо привітали,
Черезъ сѣмь дней зъ його кожу на полі здирали.
И голову облупили, сѣлю насолили,
Потімъ ему якъ чесному назадъ положили.

Итакъ вотъ нравственный результатъ великаго *материка* рабства... Вотъ какво было *главное* орудіе государственной жизни въ Россіи, и вотъ что сдѣлано этимъ орудіемъ изъ народа. Вѣдь, сто страшно! Масса—потерявшая чувство *правды* отъ двойного гнета. Холопская аристократія, генералы и офицеры, играющіе роль капканщиковъ, дружески бесѣдуютъ, пьютъ цѣлые дни, чтобъ безъ малѣйшей опасности перехватать людей, вѣрившихъ, и не безъ основанія, въ помощь Россіи, и выдать ихъ — ихъ злѣйшему врагу...

Какое же искупленіе будетъ достаточно и народу, и правительству, и его дворнѣ, и развратникамъ слова наши?..

Прощайте,—невозможно продолжать.

(1864 г., №№ 180 и 181).

Письмо второе.

Отлегло немного на сердцѣ... я опять къ вамъ... Ну, надѣвайте-ка охотничьи сапоги, съ высокими голенищами, и пойдѣмъ мѣсить грязь и продираться разными чапыгами родныхъ болотъ и сѣчей.

Куда идти?—Да вотъ по дорогѣ, страшная, двухмѣсячная маршемма «Отечественныхъ Записокъ», рыхлая, глинистая... Лѣтъ двѣнадцать тому назадъ и она, какъ нѣкогда болота понтійскія, была плодоносна... но вы знаете, что подъ солнцемъ (а можетъ, и надъ нимъ) ничто непрочно.

Съ «Отечественными Записками» былъ, между прочимъ, года два тому назадъ переломчикъ; обожглись онѣ самымъ неприятнымъ образомъ на пожарѣ Апраксинскаго двора, явившись на пепелищѣ онаго, безъ всякой нужды, какими-то саперами предкатковитами и требуя небывалыя казни *зажигателямъ*, тоже небывалымъ. Ошибка была очевидна; начальство, скупавшее тогда по дешевымъ цѣнамъ на Конной въ Москвѣ игроковъ, шулеровъ, школярей, риторей, не приняло «Отеч. Записки» за свои, а честная сторона публики отпыхнула отъ нихъ (это было до патріотической моровой язвы). Сердится Андрей Александровичъ, сердится Громека, «все это крайнія мнѣнія, рѣзкія сужденія, ненадобно крайнихъ мнѣній, ненадобно рѣзкихъ сужденій,—надобно ничего не рѣжушій, обоюдотупой мечъ, чтобъ всякій разъ, когда вы ничего не рѣжете, каждый, не чувствуя боли, могъ бы думать, что вы рѣжете его противника».

Затѣмъ вершины «Отечественныхъ Записокъ», для перемѣны декорациі, подернулись туманомъ благоразумія и потеряли очертанія односторонностей; величественная масса облаковъ, которыя можно принять за верблюда и за рыбу, какъ въ Гамлетѣ, и которыя въ сущности *ни рыба, ни мясо*, покрыли ихъ. Своей двуснастной натурой онѣ напоминаютъ намъ, во-первыхъ, опять-таки болото, которое не земля, да и не вода, во-вторыхъ, одного русскаго помѣщика, проживавшаго въ Парижѣ лѣтъ 15 тому назадъ. Онъ довелъ свое бѣгство отъ крайностей и свою многосторонность до того, что лишился всякой способности заказать себѣ штаны или сюртукъ. «Мнѣ бы хотѣлось», толковалъ онъ портному, «просто сюртукъ, чтобъ можно было гулять утромъ, разумѣется, все же, чтобъ запросто вечеромъ можно было въ немъ

куда-нибудь идти,—вы ужъ, пожалуйста, не очень узко, пускайте иногда въ дурную погоду придется его вмѣсто пальто надѣть, только сдѣлайте одолженіе не слишкомъ широко, такъ чтобъ и пальто можно было сверхъ него надѣть».

По несчастью, сбивчивость понятій обязываетъ, не меньше дворянства, не только къ безвредной и прѣсной галиматьѣ, но и къ дѣйствительно-статскосовѣтническому взгляду на дѣла людскія, важно скрывающему неважное содержаніе свое, къ жаднѣ чиновитой *респектабельности*, къ привычкѣ говорить нѣсколько въ вѣсь о заблужденіяхъ молодежи и къ легкому усилію соединять съ несомнѣннымъ либерализмомъ полицію и справедливость къ благодѣтельнымъ видамъ правительства.

Все это очень старо и потому вынести можно; но когда какой-нибудь литературный охотникъ «Записокъ» ставитъ почтеннаго автора «Записокъ Охотника» на ряду съ моею внучатной бабушкой Фаеной Егоровной, этого допустить нельзя. Но я забылъ, что вы обязаны знать, кто сочинитель «Записокъ Охотника», но вовсе не обязаны знать, кто была Фаена Егоровна. Ихъ было двѣ, т. е., не двѣ Фаены Егоровны, а у нея была сестра не-Фаена Егоровна; у каждой сестры былъ мужъ въ незапамятныя времена и тогда же умеръ. Не-Фаена Егоровна поселилась въ Троицкосергіевской Лаврѣ и занялась исключительно богомольемъ. Фаена Егоровна поѣхала въ Орловскую деревню и занялась не только духовнымъ хозяйствомъ, но и сельскимъ. Она иногда, года черезъ два-три, наѣзжала въ Москву; все это принадлежитъ къ тѣмъ временамъ, когда гражданинъ Бушо преподавалъ мнѣ сюбжонктивы и французскую революцію, а гражданинъ московскаго университета—«Думы» Рылѣва и ариѳметику.

Пріѣзжаетъ такимъ образомъ однажды Фаена Егоровна сперва въ Москву, потомъ въ нашъ домъ. Вышла она за чѣмъ-то въ дѣвичью и видитъ, что пожилая горничная учитъ грамотѣ какую-то дѣвочку.—«Мать пресвятая богородица»—взговорила, оставившись въ дверяхъ, Фаена Егоровна. «Это что? съ какой это стати и къ чему дѣвочкѣ знать грамотѣ,—въ полномъ-ли умѣ баринъ-то вашъ? Гдѣ ты-то сама, безстыдница, набралась въ книжку читать, вѣдь, я тебя помню, когда ты босикомъ бѣгала и мать твою курносую дуру помню», и разсерженная старуха, съ вѣкоторой горестью и участіемъ къ дѣвочкѣ, говорила моему отцу: «Нехорошо, мой другъ, нехорошо (слово *несвойственно* не употреблялось въ тѣ патриархальныя времена)—къ чему, подумай, она выучится читать—раба. . . . служить надобно, покоить господъ... а тутъ то ли на умѣ... нѣсни гадкія прочтеть... Чего добраго, выучится читать — выучится писать, и напишетъ любовную цидулку».

По странному стеченію географическихъ случайностей, въ то время какъ Орловская помѣщица проповѣдывала этотъ путятинскій взглядъ на народное образованіе, въ той же Орловской губерніи беззаботно бѣгало въ своемъ саду въ красенькой рубашечкѣ, подпоясанной торжковскимъ пояскомъ двухъ-трехлѣтнее дитя, о которомъ вотъ что пишутъ въ четверомѣстной книжкѣ «Отечеств. Записокъ»:

«Г. Тургеневъ, желая выразить, до какой уродливости можетъ доходить эмансипація дѣвушки, вывелъ въ своемъ романѣ «Отцы и дѣти» нѣкую Кукшину, занятую въ Гейдельбергѣ эмбриологіей. Онъ думалъ, что этимъ поразить на голову несвойственныя женщинамъ занятія. И, однакожь, онъ рѣшительно не достигъ цѣли, сколько можемъ судить по существующимъ и процвѣтающимъ у насъ Кукшинымъ. Спрашивается, отчего, казалось бы, ударъ, направленный такъ вѣрно, не удался? Предполагаемая ложь осталась живущей въ обществѣ, и намъ случилось читать одинъ рукописный рассказъ, гдѣ именно, наперекоръ г. Тургеневу, молодая дѣвушка, бесѣдуя въ самомъ интимномъ *tête à tête*, рассказываетъ своему *милому* цѣлый курсъ эмбриологіи. Повѣсть именно написана для доказательства, что ни чувство дѣвической скромности, ни та стыдливость, которая выработана двухтысячелѣтнею христіанскою цивилизаціей, нисколько не шокируется подобнымъ разговоромъ, подобнымъ занятіемъ.

«Все это доказываетъ только, что г. Тургеневъ слишкомъ вскользь коснулся того вліянія, которое требовало болѣе всесторонней разработки, которое проявляется не въ однихъ безобразныхъ Кукшиныхъ».

Не смѣю сомнѣваться въ словахъ ученаго критика, но признаюсь откровенно, онъ не убѣдилъ меня. Я читалъ все, что писалъ Тургеневъ, не только хорошее, но и дурное. Тургеневъ очень умный человекъ, у него бездна образованія, такта и вкуса. Какъ же я повѣрю, что онъ «думалъ Кукшиной поразить на голову *несвойственныя* занятія женщинамъ», понимая подъ ними *физиологію*? Не вѣрю, да и только. Лице Кукшиной вообще неудачно и пошло... Тургеневъ слабъ и даже плохъ тамъ, гдѣ онъ, насылая свой талантъ, пишетъ на заданную политическую и полемическую тему; онъ впадаетъ въ шаржу и Кукшина такъ же не типъ, а карриатура, какъ князь Луповицкій К. Аксакова. Особеннаго вреда въ этихъ паясничествахъ нѣтъ; назначаемыя для потѣхи извѣстнаго райка, намалеванныя яркими красками, иногда избалованной кистью зазнавагося мастера, иногда памфлетистомъ для того, чтобъ приударить противниковъ, они не имѣютъ серьезнаго значенія, и тѣмъ паче такого громаднаго значенія, какъ г. критикъ приписалъ Тургеневу. Вѣдь, не у Тур-

генева размягчился мозгъ въ Парижѣ, чтобъ можно было думать, что онъ поддерживаетъ мнѣніе Фаены Егоровны объ исключеніи женщинъ изъ науки и о томъ, что плохой фарсой «онъ на голову побилъ» вопросъ, стоящій теперь на первомъ планѣ въ Европѣ и Сѣверной Америкѣ.

Что женщина, занимающаяся эмбриологіей, можетъ быть очень смѣшна и очень противна, это правда; но и то правда, что въ комедіяхъ Островскаго вы найдете женщинъ еще смѣшнѣе и еще противнѣе, никогда не занимавшихся теоретической эмбриологіей. Стало быть, если за это кого-нибудь надобно казнить, то не теоретическую и не практическую эмбриологію, а женщинъ вообще.

Запретить ихъ какъ-нибудь на французскій манеръ, конечно, можно и дѣло пойдетъ какъ по маслу:

§ 1. Женскій полъ отмѣняется.

§ 2. Родъ человѣческій раздѣляется по образу кавалеріи на два мужскихъ пола:

a) Тяжелый мужской полъ.

b) Легкій мужской полъ (прежде бывшій женскій).

Тогда у женщины не отнимется возможность изъ *матери-самки* перебраться хоть черезъ Кукшину, но все-таки къ человѣческому значенію. Тогда не будутъ имъ запрещать учиться вообще или позволять учить только до такой-то главы, какъ въ старые годы гувернантки особенно назначали барышнямъ тѣ страницы, которыхъ читать ненадобно.

Говорить о несвойственности эмбриологіи для того и другого пола,—безумно. Можно заниматься эмбриологіей съ чистотой дѣвы и читать Библію какъ Фоблаза. Грязенъ не предметъ, грязенъ человѣкъ и, разумѣется, всего грязнѣе монахъ, боящійся чего-то развратнаго во всемъ тѣлесномъ.

Не знаю, приводилось ли слышать издателямъ «Отечеств. Записокъ» о томъ, что лѣтъ двѣсти тому назадъ жилъ одинъ еврей (евреи бываютъ очень богатые люди ¹⁾), по прозванію Барухъ Спиноза; оттого ли, что ему, какъ еврею, не доставало стыдливости, выработанной «двухтысячелѣтней христіанской цивилизаціей», или оттого, что онъ не родился въ Орловской губерніи, но только онъ тогда еще проповѣдывалъ, что природа вообще не нравственна и не безнравственна, и что, слѣдственно, ея знаніе само по себѣ не можетъ быть ни цѣломудренно, ни пахабно; а цѣломудріе и пахабство вносятся лицомъ, въ томъ родѣ какъ въ простонародномъ повѣртіи человѣкъ въ желтухѣ, пристально смотря на рыбу, передаетъ ей желчь. Ту же нехристіанскую мысль имѣлъ и христіанинъ Шекспиръ, го-

¹⁾ Замѣчаніе для directeur en chef „Отечественныхъ Записокъ“.

воривши, что человекъ придаетъ предмету его высоко-эстетическое значеніе или грязно-гадкое.

Но кто прежде Шекспира и Спинозы это выразилъ не на словахъ, а на дѣлѣ,—это искусство; первый «ударъ по головѣ» монашеской стыдливости нанесли кисти и рѣзцы всѣхъ великихъ художниковъ. Лишь только искусство стало на свои ноги и оперилось послѣ церковнаго мрака, духоты, подавляющаго молчанія, оно начало срывать съ себя рясы и покровы; снова голое человѣческое тѣло стало обнажаться во всей пластической апотеозѣ своей, и что же вышло изъ подъ не стыдливаго рѣзца, не цѣломудренной кисти? Образа, *одни образа!*

Обернулись люди, съ историческимъ угрызеніемъ совѣсти, въ отверженное былое, порылись между развалинами безпутной Греціи, распутнаго Рима (извѣстно, что древніе безстыдники, лишенные двухтысячелѣтняго воспитанія въ тѣлобязнь и тѣлоумерщвление, ваяли свои статуи такъ-таки нагишемъ, какъ мать родила), и откопали нѣсколько грѣховныхъ истукановъ ихъ. Что же вышло? И это *все образа*, и человекъ невольно очищается и молится передъ ними.

Надобно было все вліяніе «двухтысячелѣтняго воспитанія» въ развратѣ празднаго, несыто-холостого, клерикальнаго воображенія, чтобъ попомъ пришло въ голову въ Римскихъ галлерейхъ наградить статуи виноградными листьями—и натянуть черезъ это нечистый намекъ. Дѣвственники вы мои, цѣломудренники Иваны Орлеанскіе, какъ вы мелко плавааете!

И неужели критиканъ «Отечеств. Записокъ» думаетъ, что достаточно было бы Тургеневу уговорить Кукшину (что, вѣроятно, при ея леченіи шампанскимъ и не представило бы большихъ затрудненій) стать возлѣ Венеры въ флорентійскихъ Уффиціяхъ на пьедесталѣ и снять съ себя рубашку, что онъ и поразить на голову *несвойственное* неглиже статуй и что искусство снова лишится великаго, единаго идеала своего—красоты человѣческаго тѣла?

И знаете ли, что всего страннѣе, передъ полиціей виноватыми остались бы не Венера и не Кукшина, а Тургеневъ, *vir pudicus*, который привелъ пьяную дуру въ порядочное общество. Вотъ и ищи справедливости въ мірѣ.

Сказанное объ искусствѣ относится и къ наукѣ. Простое отношеніе къ природѣ, къ ея наивной наготѣ, къ ея святой, чистой наготѣ, никогда не загрязнить ничьего воображенія.

Не *эмбриологія* *несвойственна*; а болѣзненная, натянутая цивилизація, вгоняющая равно все страстное и свѣтлое, всякое естественное чувство и здоровое отношеніе внутрь—*несвойственна* больше человекъ. Она такъ исказила воображеніе, что все есте-

ственное приводитъ его въ краску при *свидѣтеляхъ*; она его, сверхъ того, привела къ тому ряду тайныхъ и постныхъ грѣховъ, въ которыхъ страсть нераздѣльна съ преступленіемъ, ложью и двуличіемъ.

Не естественныя науки образовали игуменью Дидро, эту несчастную мученицу нелѣпаго обѣта.

И я готовъ сослаться даже на какого-нибудь путешественника къ святымъ мѣстамъ, что *голой* мальчикъ Фландрена, напр., *и ему* не навѣялъ ничего чувственного.

Все это кажется ясно и можно бы кончить. Но тутъ по дорогѣ является вотъ какая дилемма. Если женщинѣ несвойственно заниматься эмбриологіей, то тѣмъ болѣе несвойственно заниматься и акушерствомъ, или всѣ повивальныя бабки и акушерки должны быть поставлены *au ban de la société*, какъ палачи, сыщики, шпионы, люди, сгубленные въ общественномъ мнѣніи въ пользу общественной нужды. А между тѣмъ я, не находящій ничего несвойственного для женщины заниматься эмбриологіей, совершенно раздѣляю отвращеніе русской женщины отъ акушера. Надобно и тутъ было ниспроверженіе всѣхъ понятій, что бы въ странѣ, въ которой слово «*shocking*» гораздо выше поставлено, чѣмъ слово «безнравственно», чтобъ тамъ приучить женщину родить, и родить въ первый разъ, на рукахъ у какого-нибудь атлета 30 лѣтъ съ пробормомъ сзади и спереди. На Западѣ, благодаря католико-пуританскому воспитанію,—это сдѣлалось необходимою; повивальныхъ бабокъ, акушеровъ, сколько-нибудь смыслящихъ дѣло, нѣтъ, нѣтъ почти нигдѣ; тутъ, стало, и выбора нѣтъ. Америка первая возстала противъ этого. Въ Россіи, при университетахъ, при воспитательныхъ домахъ, образовались и образуются повивальныя бабки; что же, не закрыть ли во имя Кукшиной всѣ эти школы по *несвойственности* эмбриологіи съ цѣломудріемъ и двухтысячелѣтней стыдливостью?..

Въ заключеніе, расскажу вамъ одинъ случай, бывшій на моихъ глазахъ. Одинъ мальчикъ, лѣтъ тринадцати, занимался у одного изъ моихъ друзей сравнительной анатоміей. Естественно въ молодомъ человѣкѣ явилась подъ вліяніемъ обычныхъ намековъ и укрываній рьяность узнать все относящееся до тайны зачатія, беременности и пр...

— Погодите, сказалъ мнѣ натуралистъ, я вылечу молодого человѣка.—Такъ ты, другъ мой, очень интересуешься рожденіемъ дѣтей, беременностью? Что же, дѣло похвальное, брось пока остальныезанятія, мы займемся исключительно эмбриологіей, и начнемъ съ самыхъ простыхъ животныхъ.

Натуралистъ этого—извѣстный Карлъ Фогтъ; молодой человѣкъ—мой сынъ. Какъ онъ его выдержалъ мѣсяца два-три на

разныхъ препараціяхъ, да потребоваль, сверхъ препараціи, знанія до мелочей всѣхъ органовъ, частей, съ звѣздчатыхъ начиная,— какъ рукой снялъ шаловливой интересъ.

Конечно, жаль, что Карль Фогтъ не догадался сказать мальчику, что это несвойственно съ его двухтысячелѣтнимъ воспитаніемъ въ христіанскую стыдливость... Я ему напишу завтра объ этомъ для руководства. А теперъ прощайте.

(1864 г., № 182).

Письмо третье.

Любезный другъ,

Моя любовь къ вамъ, съ которымъ я никогда не встрѣчался, можетъ служить завѣреніемъ, какъ я люблю людей, съ которыми встрѣчался хоть одинъ разъ, и вы нисколько не удивитесь, когда я вамъ скажу, что я съ радостью увидѣлъ записки Ф. Вигеля въ *Русскомъ Вѣстникѣ*.

Ф. Вигеля я встрѣчалъ нѣсколько разъ въ 1845—46 годахъ. Онъ слылъ человѣкомъ злорѣчивымъ, самолюбивымъ, обидчивымъ, колкимъ и «умнымъ»; онъ былъ извѣстенъ объясненіемъ Пушкина, почему портной Бригель кроить иначе платье, когда ему заказываетъ ихъ Вигель. Чаадаевъ былъ увѣренъ, что онъ въ Петербургѣ поднялъ официальное гоненіе на его извѣстное письмо. За всѣ эти достоинства, мягкое московское общество принимало его съ нѣкоторымъ почетомъ.

Съ первой встрѣчи онъ сдѣлался мнѣ противенъ; жеманно-натянутый, онъ кокетничалъ злословіемъ; привыкнувъ говорить съ людьми меньше его образованными, онъ придавалъ вѣсь своимъ обыденнымъ замѣчаніямъ; дѣльнаго или дѣйствительно умнаго, я отъ него ничего не слыхалъ. Такимъ онъ является и въ своихъ запискахъ.

Вигель называетъ себя «посредственнымъ», считая, что читатель это отнесетъ къ его скромности; но именно его *посредственность*, его не глупость и не умъ, его узкій взглядъ придаетъ достоинство его рассказамъ. Кругъ, освѣщенный его фонаремъ,—не великъ, но онъ не подкрашиваетъ предметы, а только, какъ всѣ дурныя стекла, дѣлаетъ около нихъ рамки. Вигель ни на волосъ не выше той среды, въ которой жилъ свою жизнь. Онъ исполненъ всѣми предразсудками того накожнаго и нездороваго края, къ которому онъ принадлежалъ и у котораго все заимствовалъ даже *нѣмецкую* любовь къ русскому отечеству. Отъ того онъ и намѣренно не могъ настолько исказить гуртовые факты, или настолько отойти отъ истины, чтобъ это мѣшало дѣлу. Человѣкъ лжетъ по образу и подобию своему.

«Семейная хроника» С. Т. Аксакова, простодушные записки честнаго Болтова и вовсе недобродушные рассказы Вигеля помогают намъ сколько-нибудь узнать наше неизвѣстное прошедшее—не VIII столѣтія, его знаетъ М. П. Погодинъ, а XVIII и XIX. Прошлый вѣкъ—канцелярская тайна, мы его знали по официально-газетной риторикѣ, и то чрезвычайно мало. Оттого-то намъ и кажется, что Россійская имперія—какая-то стародавняя всегдашность, изъ подъ вѣкового гнета которой трудно выйти, что ея учрежденія окрѣпли и посѣдѣли, распускаясь вѣтвистыми корнями въ глубь глубины.

А все это еще не просохло и едва построено вчернѣ, все грубо, кое-какъ наброшено и очень недавно стало осѣдать и принимать почтенный видъ правильнаго государственнаго организма.

Въ половинѣ XVIII столѣтія имперія представляетъ собой продолжающееся военно-гражданское занятіе обширной и малонаселенной страны, мирно завоеванной какой-то петербургской лейбъ-компаніей. Тянутся еще дворяне-сеттлеры расчищать лѣса, заводятъ пашни въ степяхъ, строятъ усадьбы, скупаютъ рабовъ, сгоняютъ ихъ на плантаціи, наполняютъ житницы хлѣбомъ, сѣкутъ мужиковъ и бабъ, а иногда и собственныхъ женъ. Судъ, земская полиція почти неизвѣстны, а въ случаѣ несчастья есть у нихъ милостивцы въ Петербургѣ. Плетутся еще чиновники на кормленіе службой—голодные и алчные, но съ краснымъ воротникомъ и съ пропорціональной долей царской власти и осѣдаютъ саранчей на города и уѣзды... тяжелѣютъ и сливаются съ общей массой помѣщиковъ, гибнутъ въ грязи и бѣдности, или вновь тянутся къ источнику всѣхъ благъ—къ канцелярской родинѣ своей на берега Невы, чтобъ плестись оттуда въ иные вѣдомства и края.

Закабаленные *туземцы*, отданные во власть военно-гражданской компаніи, еще не были окончательно сломлены и порывались сбросить съ себя кучку пришлецовъ и пройдохъ. Но цивилизаторы побили дикихъ; крамольный кадикъ нашихъ православныхъ индѣйцевъ, Пугачевъ, замученъ въ Москвѣ и крѣпостной порядокъ мирно и невозмущаемо упрочился до 19 февраля 1861 года. Возстанія были степныя, сельскія, полевая, которыя иногда овладевали городами, но въ самихъ городахъ все обстояло благополучно и это потому, что они по большей части были выдуманы и существовали для администраціи и чиновниковъ-побѣдителей.

Но что это за каста, что за народъ, который побѣждаетъ и усмиряетъ, расчищаетъ лѣса и пишетъ протоколы, водить солдатъ и подводить законы.

Невѣроятнѣйшій сбродъ всего на свѣтѣ составлялъ эту петербургскую *сечь*,—сказали бы мы, если-бъ намъ не жаль было

бѣдныхъ запорожцевъ. Бритые русскіе князья и бояре, иностранная сволочь, шедшая на добычу, рейтеры и ланскене всѣхъ краевъ міра, пасторскіе дѣти и профессора, шулера и военноплѣнные, остзейцы, финляндцы, шведы, поляки, молдоване, сербы, греки, татары, нѣмцы и нѣмцы... Чего и чего тутъ не было—отъ свѣтлѣйшаго князя Кантемира до чернаго инженеръ-генерала, оставившаго Пушкину въ наслѣдство курчавые волосы и африканскія черты. П. В. Кирѣевскій говаривалъ, что разсадникъ великихъ фамилій, окружавшій Петра I, представлялъ тотъ элементъ въ народѣ нашемъ, который онъ самъ выразительно называетъ *голю кабацкой*; она-то—какъ нормандскіе бароны Англію—раздѣлила Россію на вѣдомства и управленія, провинціи и округи и пошла володѣть ею.

Откуда и какъ идутъ эти новые Рюрики и Синавы, можно ясно прослѣдить въ генеалогіи нашего героя.

Не предвидя своего будущаго патриотизма, Вигель долго гордился своимъ шведскимъ происхожденіемъ и пересталъ не потому, чтобъ Россію предпочелъ Швеціи, а потому, что узналъ, что прадѣдъ его былъ финнъ, да еще низкаго происхожденія. Чтобъ придать себѣ важности, финнъ прибавилъ къ своей фамиліи латинское *us* и сдѣлался *Вигелиусъ*. Но это окончаніе не понравилось дѣду нашего повѣствователя, и онъ снова возвратился къ фамиліи Вигель. Служилъ онъ съ самаго дѣтства въ шведской военной службѣ и капитаномъ драбантскаго полка былъ взятъ русскими подъ Полтавой. Въ Сибирь его не послали, думаетъ его внукъ, потому, что «изъ числа ссылаемыхъ были изъяты владѣльцы остзейскихъ провинцій, содѣлавшіеся новыми подданными Петра I».

«Новаго своего отечества не полюбилъ дѣдъ мой, говоритъ Вигель, и не хотѣлъ ему служить. Онъ спрятался на мызѣ, женился, плакалъ при имени Карла XII и постоянно ненавидѣлъ Россію». У него было семь сыновей. Четырехъ онъ отправилъ на службу Фридриха II; одинъ старшій сынъ уцѣлѣлъ, трое другихъ погибли, сражаясь противъ русскихъ. «Младшихъ сыновей своей рѣшился онъ посвятить Россіи, на то были особенныя причины. Карлъ Петръ Ульрихъ, герцогъ голштинскій, былъ наслѣдникомъ престола. Почти въ ребячествѣ привезенный въ Россію и крещенный въ нашу вѣру, онъ никакъ не умѣлъ сдѣлаться русскимъ. Нѣмцы надѣялись воскресить времена Бирона. Подъ его покровъ поставилъ дѣдъ трехъ маленькихъ сыновей, можетъ быть, видя въ нихъ тайно *будущихъ мстителей*, будущихъ повелителей въ ненавистой странѣ. Ихъ приняли въ кадетскій корпусъ и, когда половина моего семейства проливала русскую кровь, другая содержалась и воспитывалась на русскія деньги».

Изъ этихъ трехъ сыновей старшій былъ забубенный малый и умеръ премьеръ-маіоромъ и комендантомъ Орской крѣпости. Онъ былъ женатъ на *одной* женѣ, а именно «на дочери какого-то гарнизоннаго офицера Семенова, что я упоминаю только потому, что я ее зналъ, и намѣренъ сказать объ ней нѣсколько словъ. Другой былъ женатъ на *восьми женахъ*, и всѣ онѣ его пережили».

Браки этой почтенной семьи вообще были курьезны. Вигель рассказываетъ, что родственникъ его отца, Сандерсъ, выигралъ жену свою на бильярдѣ у князя Яблоновскаго. Выигранная старикомъ жена обманывала его, холила и «за *нѣсколько лѣтъ* до смерти была посредницей между нимъ и красавицами, въ которыхъ онъ влюблялся», а умеръ онъ 90 лѣтъ отроду 1 января 1836, на лѣстницѣ зимняго дворца, куда явился въ полной генераль-лейтенантской формѣ для поздравленія съ новымъ годомъ.

Таковы нѣмецко-финскія составныя части дворянской русской семьи Вигелей.

Взглянемъ теперь на ея славянскій элементъ. Мать Ф. Вигеля была дочь какого-то пензенскаго уроженца Лебедева. Оставшись сиротой, она воспитывалась подъ покровительствомъ дальняго родственника Чулкова, о которомъ за его доброе дѣло Вигель жалеетъ сохранить *трогательное* семейное преданіе.

«Родившись въ низкомъ званіи, онъ неизвѣстно какъ попалъ въ придворные истопники на половину цесаревны Елизаветы Петровны. По усердію своему онъ сталъ извѣстенъ ей и *близокъ*». Почести посыпались на него съ ея воцаренія: онъ сдѣлался дѣйствительнымъ камергеромъ, александровскимъ кавалеромъ и *даже, наконецъ, генераль аншефомъ, хотя въ военной службѣ никогда не былъ*. Тогда-то «дворянка Кривская, урожденная хотя татарская, но все-таки княжна (Мещерская), съ благодарностью приняла его предложеніе и вышла за него замужъ».

Наслышался Вигель отъ матери своей, бывшей въ такомъ высокопоставленномъ обществѣ, о жизни императрицы Елизаветы. Во внутренности дворца, она была окружена толпою женщинъ изъ престонародія, болтуній, сплетницъ. Суевѣріе, ложные слухи производили въ ней бессонницу, и эти женщины должны были сначала рассказывать ей сказки, а потомъ шопотомъ говорить между собой. Генераль аншефъ Чулковъ долженъ былъ также тутъ находиться, онъ каждую ночь приносилъ свой тюфякъ, *жаль его на полъ* и какъ безсмѣнный стражъ ложился у ея ногъ... Случалось, что она вставала раньше старика, тащила его, шутила съ нимъ, а онъ, приподнимаясь, легонько *потрепывалъ* ее, говоря «огъ, ты, моя лебедка-бѣлая».

Далѣ идетъ разсказъ о скитаніи по губерніямъ. Поселившись по дѣламъ службы въ Саратовѣ, отецъ Вигеля часто посѣщаль Пензу. Пензу онъ предпочиталь Саратову, городу торговому и плебейскому; но сынъ отзывается такъ объ ней: «Между дворянами, вездѣ почти одинаковая, невѣжественно-олигархическая (?) спѣсь, въ простомъ народѣ встрѣчаешь почти одинаковую *золотью дерзость или низость*».

При этомъ нашъ хронистъ, пораженный величіемъ Екатерины II, восклицаетъ: «Геній и улыбка ея творили чудеса. Желѣзная трость Петра Великаго, переходя изъ рукъ въ руки, обратилась въ магическій жезлъ, какъ скоро коснулась ея сія могущественная очаровательница. Сія новая Цирцея хотѣла и умѣла *скотовъ образовать* въ люди!»

Послѣ разныхъ переселеній по казенной надобности и перемѣщеній по службѣ, отецъ Вигеля находитъ гавань въ Кіевѣ; тамъ онъ усаживается съ 1788 г. комендантомъ и будетъ сидѣть до тѣхъ поръ, пока безумный Павелъ его прогонитъ, безъ всякой причины. Около, возлѣ продолжаетъ итти переселеніе и перемѣщеніе чиновниковъ, все это только приостанавливается и идетъ туда, сюда; лица мелькають, да и не лица, а ранги, разница собственно въ томъ, что одни нѣмцы русскаго происхожденія, другіе русскіе нѣмецкаго происхожденія, къ нимъ впослѣдствіи начинаютъ примѣшиваться французскіе скитальцы: эмигранты, дѣлающіеся чиновниками, виконты, дѣлающіеся гувернерами.

Какъ они странно акклиматизировались, доказываетъ почтенный инженеръ-генералъ Шардонъ, завѣдывавшій инженерной частью въ Кіевѣ; онъ *не хотѣлъ умѣть* по-русски, всѣ дѣла обдѣлываль на французскомъ языкѣ, кромѣ одного: при малѣйшей неисправности солдатъ, онъ очень спокойно приказываль по-русски: «Клади его на сюртюрокъ и давай ему сто палкъ».

Вигелю самому кажется странной фізіономія городовъ, въ которыхъ собственно нѣтъ туземцевъ. «Въ Россіи есть города, кои слѣдуетъ называть казенными, потому что въ нихъ встрѣчаются по большей части одни должностныя лица, помѣщики бывають въ нихъ только иногда по дѣламъ. Въ нихъ безпрестанно мѣняется картина общества, которая черезъ десять лѣтъ можно сказать возобновляется въ своемъ составѣ».

Гдѣ тутъ органическая связь съ народомъ, гдѣ прочность такой жизни, ея естественный ростъ? Вигель и не замѣтилъ, какъ рѣзко выступаетъ въ его разсказѣ противоположность *настоящихъ* жителей края съ забѣглымъ наплывомъ. Богатые кіевскіе помѣщики, говоритъ онъ, рѣдко покидали свои хуторы, прежде ихъ отталкивали поляки, а, со временъ Петра, «начальствующіе москали и нѣмцы». Съ своимъ народомъ имъ было

роднѣ. У польскихъ аристократовъ, являющихся въ разсказѣ, рѣзкая самобытность. Въ нихъ жизнь сложилась, выработалась во многомъ очень дурно, но вездѣ съ своимъ характеромъ, съ своими пороками и своей поэзіей; въ то время какъ у казенной Россіи, у Россіи петербургскаго слоя, характеристична одна начальная власть и та принадлежитъ «не имъ, не имъ, а имени царскому», передъ которымъ они холопы. Отъ Казани и Рязани до Кіева и Перьми, одна общеоармейская и общеканцелярская фізіономія чиновничьяго дворянства; тотъ же кулакъ, обращенный внизъ, и та же выправка вверхъ... прямолинейная для военныхъ, понурая для штатскихъ.

Мы вовсе не кручинимся объ этомъ, но заявляемъ фактъ п фактъ для насъ чрезвычайно утѣшительный. Тамъ, гдѣ нѣтъ ни воспоминаній, ни традицій, ни своихъ нравовъ, ни своихъ вѣрваній, тамъ гдѣ не просвѣчиваетъ историческая жизнь, а только формулярный списокъ, не только легче сдѣлаться злодѣемъ, но и легче сдѣлаться человѣкомъ.

Наша аристократія—предрасудокъ, въ который вѣрили отчасти выслужившіеся чиновники и богатые наслѣдники: я говорю *отчасти*, потому что большинство никогда объ этомъ не думало; оно пользовалось, не мудрствуя лукаво, тѣмъ, что казна уступала и позволяла. Княгиня Голицына, о которой разсказываетъ Вигель, вовсе не изъ аристократіи, порола земскаго засѣдателя за то, что дорога была дурна; доказательствомъ этому служить, что она разъ оттаскала за волосы гостью у себя въ домѣ, что уже вполне противурѣчить всякому аристократическому чутью,—она это дѣлала гораздо наивнѣе, потому что была племянница Потемкина и жена фельдмаршала Голицына.

До какой степени у насъ новы западно-аристократическія понятія, вы можете видѣть у Вигеля. Онъ разсказываетъ, какъ графиня Чернышева, впоследствии княгиня Наталья Петровна Голицына, начала распространять аристократическую *этру*, вывезенную ею изъ Сень-Жерменскаго предмѣстья. «Находясь въ Парижѣ во время революціи, сія знаменитая дама схватила священный огонь, угасающій во Франціи, и возгла его у насъ на Сѣверѣ. Сотни свѣтскаго и духовнаго званія эмигрантовъ способствовали ей... Составилась компанія на акціяхъ, куда вносились титулы, богатства, кредитъ. . . . Присвоивъ себѣ ложныя привилегіи, компанія сія *называлась* высшимъ обществомъ и правила французской аристократіи начала прилаживать къ русскимъ правамъ... Екатерина благопріятствовала сему обществу, видя въ немъ одинъ изъ оплотовъ престола противъ вольнодумства»... (на этомъ мѣстѣ цензура чего-то не пропустила). «Не одинъ разъ придется мнѣ, продолжаетъ Вигель, говорить о семъ высокомъ

сословія, не болѣе какъ съ полсотни лѣтъ у насъ образовавшемся»....

То, что Вигель говоритъ о высшемъ обществѣ, то относится ко всѣмъ нашимъ кастамъ и сословіямъ. Масса русская не идетъ въ правильную слойку, на этомъ держится доля всѣхъ надеждъ. При чрезвычайной впечатлительности и поверхностной подражательности, у насъ все перенималось,—и ничего не пустило корней. Всѣ монополии, исключительныя права, привилегія, сословныя разграниченія являлись съ карикатурными преувеличеніями, грубо, дерзко и нестерпимо ярко, но краски (большею частью казенныя) были линючи, не могли выдержать перваго ливня. Одна сильная мятель и все исчезнетъ, какъ исчезли военныя поселенія, стоившія столько же жизней, какъ сраженіе, и вдвое больше страданій, чѣмъ цѣлая война. И какъ исчезнетъ ¹⁾?... Не оставляя по себѣ ни жалости, ни другого слѣда, кромѣ пыльных бумагъ въ архивѣ, да изумленія, что это было, что это могло быть въ самомъ дѣлѣ.

Если-бъ присноприцѣвающіе панегиристы «вѣрности Россіи бытовымъ началамъ своимъ» такъ просто и говорили бы, что у насъ ужасно мерзко, но что всѣ эти прививные институты и учрежденія быстро нарывають и быстро проходятъ, какъ коровья оспа, съ ними можно бы столковаться. Но обращая свои смѣлыя надежды въ смѣлыя воспоминанія, они пишутъ официальные памфлеты, сводящіе съ ума простыхъ людей и наводящіе на умъ правительство. И вотъ причина, почему безъ глубокаго негодованія нельзя читать напимѣръ такія строки: «Внутренняя исторія Польши представляетъ уродливое непомѣрное развитіе одного органа насчетъ всѣхъ другихъ, — общества насчетъ государства и простого народа. Государство расплылось въ общество — въ шляхту; простой народъ, который во всѣхъ славянскихъ земляхъ составлялъ и составляетъ необходимое условіе полноты общественнаго развитія, именно какъ простой народъ, какъ живая, непосредственная, самородная сила, подобная силѣ зерна или корня въ организмѣ растений, — простой народъ былъ лишень всякаго политическаго значенія, духовно презрѣнъ и низведенъ на степень вещественнаго матеріала. Польская шляхта не только не удостоивала признавать въ немъ присутствіе какой-либо органической силы, не только отвергала въ крестьянинѣ его значеніе, какъ поляка,—но и его достоинство, какъ человѣка. Польская шляхта не только именовала себя «польскими государями» (историческое выраженіе), но и «польскимъ народомъ», «поль-

¹⁾ Nord говоритъ, что Бахтинъ работаетъ надъ проектомъ распространенія рекрутчины на дворянъ. Encore une étoile qui file!

скою націею»,—и, дѣйствительно, слово «Польша» и въ исторіи и въ жизни было тождественно съ словомъ «польская шляхта». Развитие пошло въ древесину и листву, въ ущербъ корѣ и корню; вытянувшійся и почти обнаженный стволъ едва держался на отошавшемъ корню... («День», № 9).

Итакъ, *стало быть*, въ Россіи простой народъ не былъ лишень всякаго политическаго значенія, былъ духовно уважаемъ и возведенъ на степень органическаго матеріала, который, впрочемъ, продавался гуртомъ и въ одиночку, вырывался изъ семьи, переселялся, брался во дворъ, шелъ на барскій развратъ, тратился поколѣніями на черную работу и притомъ непрерывно сѣлся.

Представляютъ русское дворянство уважавшимъ быть народный, въ противоположность польскому шляхетству — вопіющая неправда. Всѣ мы, воспитанные въ помѣщичьихъ домахъ, жившіе по деревнямъ часть года, знаемъ, какъ русское дворянство уважало человѣческое достоинство товара, который оно сотнями посылало на дороги, отдавало на фабрики, переселяло и проч. Неужели г. Аксаковъ, жившій всю жизнь въ этой сферѣ, вздвигшій на изученіе ярмарокъ, участвовавшій при слѣдствіяхъ, не знаетъ этого? Какъ не знать,—но онъ изъ патріотизма не помнить.

Исторію о Надеждѣ Ивановнѣ Вигель я поберегу до слѣдующаго письма, а съ вами теперь прощаюсь.

(1864 г., № 184).

Письмо четвертое.

Любезный другъ,

Хотѣлъ было я къ вамъ писать о двухъ пріятельницахъ моего дѣтства, о милѣйшей старушкѣ Надеждѣ Ивановнѣ Вигель, кочевавшей послѣ комендантства въ Орской крѣпости лѣтъ тридцать по разнымъ чужимъ домамъ, прежде чѣмъ успокоилась въ одномъ изъ нихъ, и о ея соперницѣ Варварѣ Якимовнѣ, заключившей свои долги странствованія собственнымъ комендантствомъ въ московскомъ острогѣ, гдѣ она начальствовала надъ прекраснымъ поломъ. Хотѣлъ я при этомъ рассказать о томъ, какъ княгиня Хованская пресерьезно запрещала Надеждѣ Ивановнѣ кашлять по ночамъ, и о томъ, какъ одна близкая родственница Ф. Вигеля, дѣвствовавшая въ преклонныхъ лѣтахъ и въ губернскомъ городѣ Пензѣ, изобрѣла особый способъ—неоцѣненный ни графиней Антониной Блудовой, ни Аскоченскимъ—прикладываться къ высоко поставленнымъ иконамъ. Старушка-барышня клала поцѣлуи свои на набалдашникъ своего посошка и возносила ихъ на немъ къ образу... Хотѣлъ я рядомъ съ ними,

по поводу Вигелевской всеобщей исторіи его семейства, воскресить еще двѣ-три комическія личности, но... оставлю до другого раза.

Старое письмо, попавшееся на глаза, спугнуло всю эту семью сѣдыхъ совъ въ бѣломъ чепчикѣ, воронѣ, порхающихъ съ задняго двора на задній дворъ... Я остался въ прошедшемъ, но не въ томъ, которое шло между дѣвичьей княгини и передней моего отца, а въ томъ, которое неслоь между аудиторіей и ссылкой.

Сколько людей осталось незатронутыми въ моихъ воспоминаніяхъ, людей погибшихъ безъ малѣйшаго слѣда, забытыхъ, какъ забываются прошлогодні листья, вчерашнія облака!

Человѣкъ, котораго письмо мнѣ попало, умеръ, года два тому назадъ, въ небольшомъ городѣ на Ронѣ. Подробности объ его смерти я узналъ мѣсяцевъ черезъ шесть. Никто не шелъ за его гробомъ, никто не былъ пораженъ вѣстью о его смерти. Печальное существованіе его, переброшенное на чужую землю, сѣло какъ-то незамѣтно, не исполнивъ ни своихъ надеждъ, ни ожиданія другихъ. *Бьгунъ* образованной Россіи, онъ принадлежалъ къ тѣмъ празднымъ, лишнимъ людямъ, которыхъ когда-то поэтизировали безъ мѣры, а теперь побиваютъ камнями безъ смысла. Мнѣ больно за нихъ. Я многихъ зналъ изъ нихъ и любилъ за родную мнѣ тоску ихъ, которую они не могли пересилить и ушли,—кто въ могилу, кто въ чужіе края, кто въ вино.

Много разъ хотѣлось мнѣ поговорить объ ихъ *трудѣ существованія*... и я останавливался всякій разъ съ той внутренней дрожью, которую испытываетъ фیزیологъ, дотрогиваясь до разоблаченныхъ готовалень жизни... Удастся ли мнѣ побѣдить это чувство,—не знаю, а хотѣлось бы. Каждая эксцентрическая жизнь, къ которой мы близко подходили, можетъ дать больше отгадокъ и больше вопросовъ, чѣмъ любой герой романа, если онъ несуществующее лицо подъ чужимъ именемъ ¹⁾. Герои романовъ похожи на анатомическіе препараты изъ воска. Восковой слѣпокъ можетъ быть выразительнѣе, нормальнѣе, *типичнѣе*; въ немъ можетъ быть изваяно все, что зналъ анатомъ, но нѣтъ *того*, чего онъ не зналъ, нѣтъ дремлющихъ въ естественномъ равнодушіи, но готовыхъ проснуться отвѣтовъ,—отвѣтовъ на такіе вопросы, которые равно не приходили въ голову ни прозектуру, ни ваятелю. У слѣпка, какъ у статуи, все снаружи, ничего за душой, а въ препаратѣ засохла, остановилась, оцѣпенѣла сама жизнь, со всѣми случайностями и тайнами.

¹⁾ Какъ напр. *Бекки Чарльзъ* въ *Vanity Fair*. Кстати, вторыя лица, едва набросанныя, стояція на дальнемъ планѣ, нравятся намъ обыкновенно больше героевъ, просто оттого, что авторъ не даетъ себѣ труда ихъ изобрѣтать. Это все сосѣди, пріятели, слуги, путешествующіе *incognito*.

Къ тому же у насъ необходимѣе, чѣмъ гдѣ-нибудь, снимать маски и портреты, мы ужасно легко распадаемся съ только-что прошедшимъ. У насъ жизнь не продолжается исподволь, а перескакиваетъ отъ одного направленія къ другому. Недостатокъ корней и балласта дѣлаетъ эти перескакиванія чрезвычайно легкими для верхняго слоя. Я не хвалю и не порицаю этого, а только констатирую.

Близкое прошедшее, впрочемъ, вездѣ становится рѣзко отчуждаемымъ, почти враждебнымъ съ настоящимъ; противоположности, разницы не примирены еще далью и перспективой, не оправданы пониманіемъ. Мы скорѣе узнаемъ близкое и родное въ шитыхъ бархатныхъ и гродетуровыхъ кафтанахъ, въ пудренныхъ парикахъ, въ якобинскомъ костюмѣ и въ англійскомъ фермерскомъ фракѣ временъ Питта и Фокса, чѣмъ въ талии на затылкѣ и рукавахъ съ буфами двадцатыхъ годовъ. Тотъ только схватываетъ единство въ этихъ превращеніяхъ, кто самъ носилъ суконныя тунели на шеѣ, вмѣсто воротника, сплющенные воротники въ четверть шириною, а теперь носить исчезающей, едва замѣтный воротникъ нынѣшняго покроя.

Я въ этомъ отношеніи былъ счастливо поставленъ, потому-то мнѣ и хочется этимъ воспользоваться.

Жизнь моя сложилась рано и я долго оставался молодъ. Воспоминанія мои переходятъ за предѣлы николаевского времени; это имъ даетъ особый фондъ, онѣ освѣщены вечерней зарей другого, торжественнаго дня, полного надеждъ и стремленій. Я еще помню блестящій рядъ молодыхъ героевъ; неустрашимо, самонадѣянно шедшихъ впередъ... Въ ихъ числѣ шли поэты и войны, таланты во всѣхъ родахъ, люди, увѣнчанные лаврами и всевозможными вѣнками... Я помню появленіе первыхъ пьесъ «Онѣгина» и первыхъ сценъ «Горе отъ ума!»... Я помню, какъ перерывая смѣхъ Грибоѣдова, ударялъ, словно колоколъ на первой недѣлѣ поста—серьезный стихъ Рылѣева...

И вся эта передовая фаланга, несшаяся впередъ, однимъ днемъ сорвалась въ пропасть и за глухимъ раскатомъ исчезла...

Въ странѣ мятежей и снѣговъ,
На берегахъ широкой Лены...

Я четырнадцатилѣтнимъ мальчикомъ плакалъ объ нихъ, и обрекалъ себя на то, чтобъ отомстить ихъ гибель.

Время свѣтлыхъ лицъ и надеждъ, свѣтлаго смѣха и свѣтлыхъ слезъ кончилось. Порядкомъ понялъ я это послѣ, но впечатлѣнія того времени, переплетаясь съ мнѣническими рассказами 1812 года, составили въ моей памяти то золотое поле иконописи, на которомъ еще чернѣе выходятъ лики святыхъ.

Когда немного улегся шумъ николаевского вѣнчанья на царство, начали показываться какіе-то потерянные люди, несчастные, *ненужные*, не знающіе, куда идти, т. е., не знающіе ни цѣли, ни дороги, но чувствующіе, что *такъ жить нельзя*, что выйти надобно, люди, откуда-то оторванные и покинутые въ опасномъ мѣстѣ, какъ «Дѣти въ лѣсу». Старшіе изъ нихъ были уцѣлѣвшіе декабристы, мы замыкали ихъ процессію, какъ уличные мальчишки замыкаютъ уходящій полкъ, и сами росли въ лишнихъ людей. За нами шло уже поколѣніе безъ воспоминаній, кромѣ дѣтской и годовъ школы, оскорбленное грубымъ притѣсненіемъ, безъ прямой связи съ прошедшимъ, безъ прямого упованія на будущее, болѣзненное, чахлое, оно вяло въ листѣ и безотрадно гибло на полдорогѣ. Многіе изъ нихъ умерли моложе насъ лѣтами и старѣе сломившимся духомъ.

Немного въ ихъ числѣ развилось энергіи, но много ея сгублено въ внутренней работѣ и въ внутреннемъ разладѣ, въ поднятыхъ вопросахъ, въ поднятыхъ сомнѣніяхъ и въ неимовѣрной тяжести жизни. Грѣшно въ нихъ бросать камни. Вообще *лишние* людямъ тѣхъ временъ обязано новое поколѣніе тѣмъ, что оно не лишнее.

...Въ тридцатыхъ годахъ меня поразили двѣ личности, двѣ уцѣлѣвшія античныя колонны на топкомъ грунтѣ московскаго великосвѣтскаго сапро тассино. Они стояли рядомъ, напоминая своей печальной, своей изящной ненужностью, что-то рухнувшее, что именно, было трудно сказать,—полиція подобрала всѣ развалины и всѣ осколки. Орловъ и Чаадаевъ были первые *лишніе люди*, съ которыми я встрѣтился.

Они были розны (я писалъ объ обоихъ ¹⁾). Я лучше многихъ зналъ ихъ недостатки, но для меня они были библейскими личностями, живыми легендами, я ихъ принималъ, какъ они есть, не торгуясь, не бракуя, и потому-то, можетъ, лучше другихъ понималъ ихъ трагическое явленіе. Они были сломанные люди; одинъ совершенно *décausé*, другой оскорбленъ; ихъ упрекали за это люди, которые никогда не рѣшились бы упрекнуть человѣка съ переломленной ногой, что онъ хромаетъ.

Косо посматривалъ мой отецъ на то, что я, дичась общества почтенныхъ и солидныхъ людей, съ такой горячностью и готовностью бѣжалъ по первому приглашенію Орлова — «конечно умнаго, но опаснаго человѣка». Я тогда только-что вышелъ изъ Карловъ Моровъ и поступилъ въ московскій университетъ; особаго рода восторженность, которая сопровождаетъ переходъ отъ отрочества въ юность, еще не проходила.

¹⁾ •Былое и Думы.»

Впечатлѣніе, сдѣланное на меня первыми лишними людьми, было до такой степени сильно, что, послѣ долгой разлуки съ ними, они всего живѣе остались въ памяти.

Переведенный изъ Вятки во Владиміръ, я принялся описывать подъ именемъ Малинова вятское житье-бытье. Сначала я писалъ ¹⁾ весело, потомъ мнѣ сдѣлалось тяжело отъ собственнаго смѣха, я задыхался отъ поднятой пыли и искалъ человѣческаго примиренія съ этимъ омутомъ пустоты, нечистоты, искалъ выхода хоть въ отчаяніи, но только въ разумномъ, сознательномъ, и ничего не найдя, наклепалъ на Малиновъ—Трензинскаго, и, не думая-негадая, сдѣлалъ портретъ Чаадаева, даже наружность взята съ него: «Нѣжное, бѣлое какъ мраморъ лицо, сѣрогубоватые глаза, холодная улыбка, чело какъ черепъ голый»—такъ рѣзко осталась его личность въ моей памяти.

Когда я воротился въ Москву, Орловъ угасалъ и вскорѣ угасъ. Чаадаевъ былъ еще утвержденнымъ сумасшедшимъ и стоялъ какъ-то особнякомъ между новыми людьми и новыми вопросами.

Передъ моимъ отъѣздомъ изъ Россіи, на прощальномъ ужинѣ, я предложилъ прежде всѣхъ тостовъ выпить за старшаго изъ насъ—за Чаадаева. Чаадаевъ былъ тронутъ, но тотчасъ принялъ свой холодный видъ, выпилъ бокалъ, сѣлъ и вдругъ опять всталъ, подошелъ ко мнѣ, обнялъ меня, пожелалъ намъ счастливаго пути и съ словами: «Простите меня, мнѣ пора», вышелъ вонъ. Я его не удерживалъ и проводилъ до дверей; стройная, прямая въ старости фигура Чаадаева исчезла въ дверяхъ среди пріутихшаго пира, и такъ осталась въ моей памяти; я его больше не видѣлъ.

Жаль, что два послѣднихъ поколѣнія не знали такихъ предшественниковъ. Имѣя много ненавидѣть и презирать, имъ почти нечего было любить и уважать. Цѣлыя стороны внутренней жизни остаются непонятными, наглухо и навѣки заросшими—въ сердцѣ человѣка, не перешедшаго ни безпредѣльной любовью къ матери, ни восторженнымъ уваженіемъ къ своимъ отцамъ *Maestri*.

Прошло пятнадцать лѣтъ послѣ того, какъ Чаадаевъ исчезъ въ дверяхъ. Я пережилъ цѣлый томъ исторіи, да свою цѣлую жизнь, и вдругъ въ 1861 году возобновилась одна изъ встрѣчъ 1831 года и я опять чувствовалъ себя молодымъ студентомъ.

Старикъ, величавый старикъ, лѣтъ восьмидесяти, съ длинной серебряной бородой и бѣлыми волосами, падавшими до плечъ, рассказывалъ мнѣ о тѣхъ временахъ, о *своихъ*, о казематахъ, о

¹⁾ «Записки одного молодого человѣка».

каторгѣ, куда онъ пошелъ молодымъ, блестящимъ и откуда только-что воротился сѣдой, старый, еще болѣе блестящій, но уже инымъ свѣтомъ...

...Я слушалъ, слушалъ его—и, когда онъ кончилъ, хотѣлъ у него просить напутственнаго благословенія въ жизнь, забывая, что она уже прошла... и не одна она... Прошли, смѣняя другъ друга въ холодныхъ, темныхъ сумеркахъ *три шеренги*... скоро ступаютъ ихъ очерки и пропадутъ въ дальней синевѣ. Пограничные споры двухъ поколѣній, поддерживающіе ихъ память, надоѣдаютъ, и имъ предоставятъ амнистію забвенія. Изъ-за нихъ всплывутъ тѣни старцевъ-хранителей и, черезъ кладбище сыновей своихъ, призовутъ внуковъ на дѣло и укажутъ имъ путь.

Пусть они и идутъ по немъ. Но пусть-же поймутъ и то, что тоской и стремленіемъ выйти изъ насильственнаго бездѣйствія, томной затратой себя, промежуточные поколѣнія людей лишннихъ и праздныхъ приблизили, сгладили его,—и мирно благословятъ ихъ разбросанныя могилы.

\ ...Зачѣмъ у меня нѣтъ такого таланта, какъ у И. Тургенева, какую-бы я составилъ группу праздныхъ и затерянныхъ людей, для того, чтобъ помирить *дѣтей съ отцами*.

Но за неимѣніемъ его, прощусь съ вами, мой милый будущій другъ, вы меня простите, что я говорилъ съ вами о прошедшихъ друзьяхъ (пожалуйста, не смѣшывайте ихъ съ *ушедшими* друзьями... о тѣхъ писать еще не настало время), я чувствую, что это не деликатно, но полагаюсь на вашу снисходительность. Не могу вамъ сказать, какъ я доволенъ, что не знаю васъ и что вы мнѣ никогда не отвѣчаете, это мнѣ даетъ страшную волю и я, не стѣсняясь, пускаюсь въ письмахъ къ вамъ, какъ Камюэнсъ—*nel largo Oceano*.

(1864, № 186).

— Письма къ противнику.

Письмо первое.

Сегодня первое тихое утро послѣ свиданья съ вами и ряда нашихъ разговоровъ. Я перебралъ слышанное отъ васъ и старался, насколько могъ, спокойно обдумать и привести въ порядокъ сказанное вами. Мы какъ-то сбиваемся на генерала Ли и генерала Гранта, служа оба двумъ *распавшимся частямъ одного цѣлаго*: мы, какъ они, ничего не уступаемъ и, какъ ни мѣняемъ позиціи, все находимся во враждебномъ положеніи. Мнѣ кажется, что съ нами можетъ случиться то же, что съ ними, почти навѣр-

ное будетъ, т. е., что миръ заключать другіе за спиной нашей, пока мы будемъ продолжать старую войну.

Принимаясь за перо, я не имѣю притязанія васъ побѣдить, ни предчувствія быть побитымъ вами; но полагаю, что если мы и не дойдемъ до общаго пониманья, то все же не будетъ бесполезно опредѣленнѣе высказаться. Въ два послѣднихъ года всѣ понятія и оцѣнки, всѣ люди и убѣжденія такъ измѣнились въ Россіи, что не мѣшаетъ напомнить друзьямъ и противникамъ—*кто мы*. Пусть одни хвалятъ, другіе бранятъ, зная, кого они глядятъ по головѣ и кого бьютъ.

Я васъ слушалъ честно и добросовѣстно, но вы не убѣдили меня, и это не личное упрямство и не упорство партіи. Объективная истина для меня и теперь такъ же свята и дорога, какъ во времена юныхъ споровъ и университетскихъ препираній. Мнѣ ненадобно было внѣшняго побужденія, чтобъ заявить въ пятидесятихъ годахъ, насколько я ошибался въ спорѣ съ нашими славянами, и я не очень испугался западныхъ авторитетовъ, обличая и уличая ихъ революціонную несостоятельность, такъ, какъ она мнѣ раскрылась въ 1848 г.

Ваше оправданіе тому, что въ Россіи теперь дѣлается, я рѣшительно отвергаю. Изъ глубины моей совѣсти, изъ глубины моего сердца подымается крикъ протеста и негодованія. Оправданіе того, что дѣлается въ Россіи, не въ смыслѣ объясненія причинъ, а въ смыслѣ сочувствія и солидарности, ниспровергаетъ всякое простое, прямое, человѣческое пониманье, всякую нравственность и тѣмъ больше оскорбляетъ, что оно вовсе ненужно. Дикая сила имѣетъ верхъ и того съ нея довольно; какія оправданія нужны напору стихій, сибирской язвѣ, наводненію?

Это я долженъ былъ заявить съ самаго начала, объ остальномъ я готовъ разсуждать съ вами. Тутъ я не сдѣлаю ни одной уступки и не имѣю права.

Затѣмъ мнѣ хотѣлось бы также въ самомъ началѣ указать, въ чемъ мы согласны. Если-бъ у насъ не было ничего общаго, то о чемъ же намъ было бы говорить. Мы махнули бы другъ на друга рукой и пошли бы одинъ въ свою сторону, другой въ свою.

Дѣйствительно, трудно себѣ представить двухъ человѣкъ, которыхъ весь нравственный бытъ и строй, все святое святыхъ, всѣ идеалы и стремленія, всѣ упованія и убѣжденія были бы до такой степени противоположны, какъ у меня съ вами... Мы люди разныхъ міровъ, разныхъ вѣковъ, и при всемъ томъ и вы, и я *служи́мъ одному дѣлу*, преданы ему искренно и такими признаемъ другъ друга.

Разными путями дошли мы до *одной точки*, въ которой согласны. Я знаю, что вы не допустите возможности неодинакимъ

образомъ доходить до истины, но фактъ противъ васъ. *Исторически* почти всѣ истины открывались путемъ ломанымъ, кривымъ, фантастическимъ; однажды сознанная, истина освобождается отъ случайныхъ эмбриогеническихъ путей и получаетъ не только признаніе помимо ихъ, но и примыкаетъ къ методѣ,— вмѣсто личнаго, относительно-случайнаго проселка, она потомъ создаетъ свой логическій, широкій путь.

Насъ занимающій вопросъ не въ теоріи и не въ методѣ, насъ занимаетъ практическая, прикладная сторона его. Дѣло для насъ не въ точкѣ отправленія, не въ личномъ процессѣ, не въ діалектической *драмѣ*, которыми мы отыскиваемъ истину, а въ томъ *истинна-ли истина*, которая стала нашей плотью и кровью, нравственнымъ основаніемъ всей жизни и дѣятельности, и вѣрны-ли пути, которыми мы осуществляемъ ее. Что слово *драма* или романъ идутъ къ процессу развитія живыхъ ученій, это мы знаемъ по опыту. Вспомните борьбу славянофиловъ съ нами въ сороковыхъ годахъ и сравните ее съ тѣмъ, что теперь дѣлается. Два противоположные стана, какъ два бойца, перемѣнили въ продолжительномъ состязаніи мѣсто, перемѣшали оружія. Славянофилы сдѣлались западными террористами, защитниками нѣмецкихъ государственныхъ идей, а часть западниковъ (и мы въ томъ числѣ), отрекаясь отъ *salus populi* и кроваваго прогресса, стоимъ за самоправность каждой области, за общину, за право на землю. При этомъ круженіи, при этомъ обмѣнѣ сторонъ и оружій, осталась неизмѣнной та точка, около которой совершилось все это. Мое воззрѣніе отчасти вамъ извѣстно, я думаю, что знаю ваше, а потому *точку* опредѣлить не трудно. Господствующая ось около которой шла наша жизнь,—это *наше отношеніе къ русскому народу, въра въ него, любовь къ нему* (которую я такъ же, какъ и *День*, не смѣшиваю съ больше и больше ненавистной мнѣ добродѣтелью патріотизма) и *желаніе дѣятельно участвовать въ его судьбахъ*.

Любовь наша не только фізіологическое чувство племенного родства, основанное исключительно на случайности мѣсторожденія, она, сверхъ того, тѣсно соединена съ нашими стремленіями и идеалами, она оправдана вѣрой, разумомъ, и потому она намъ легка и совпадаетъ съ дѣятельностью всей жизни.

Для васъ русскій народъ преимущественно народъ *православный*, т. е., наиболѣе христіанскій, наиблизайшій къ *веси небесной*. Для насъ русскій народъ преимущественно *соціальный*, т. е., наиболѣе близкій къ осуществленію одной стороны того экономического устройства, той *земной веси*, къ которой стремятся всѣ соціальныя ученія.

Не мы перенесли на народъ русскій свой идеаль, и потомъ,

какъ это бываетъ съ увлекающимися людьми, сами же стали имъ восхищаться, какъ находкой. Мы просто встрѣтились. Событія послѣднихъ годовъ и вопросы, возбужденные крестьянскимъ дѣломъ, открыли глаза и уши слѣпымъ и глухимъ. Съ тѣхъ поръ, какъ огромная сѣверная лавина двинулась и пошла, что-бъ ни дѣлалось, даже самого противоположнаго въ Россіи, она идетъ отъ одного соціального вопроса къ другому.

Соціалистъ я не со вчерашняго дня. Тридцать лѣтъ тому назадъ я утвержденъ Николаемъ Павловичемъ въ званіи соціалиста—*cela commence à compter*. Черезъ двадцать лѣтъ я напомнилъ объ этомъ его сыну въ письмѣ, которое вы знаете, и черезъ десять другихъ говорю вамъ, что я рѣшительно не вижу выхода изъ всеобщаго импаса образованнаго міра, кромѣ старческаго обмиранія или соціального переворота, крутого или идущаго исподволь, нарастающаго изъ жизни народной или вносящаго въ нее теоретической мыслью,—все равно. Вопросъ этотъ нельзя обойти, онъ не можетъ ни устарѣть, ни сойти съ очереди, онъ можетъ быть оттертъ, заставленъ другими, но онъ тутъ, какъ скрытая болѣзнь, и если онъ не постучится въ дверь, когда всего меньше думаютъ, то постучится смерть.

Политическая революція, пересоздающая формы государственныя, не касаясь до формъ жизни, достигла своихъ границъ; она не можетъ разрѣшить противурѣчія юридическаго быта и быта экономическаго, принадлежащихъ совершенно разнымъ возрастамъ и возрѣніямъ, а, оставаясь при ихъ противурѣчій, нечего и думать о разрѣшеніи антиномій, и прежде существовавшихъ, но теперь пришедшихъ къ сознанию—въ родѣ безусловнаго права собственности и неотрицаемаго права на жизнь, правомѣрной праздности и безвыходнаго труда... Западная жизнь, чрезвычайно способная ко всѣмъ развитіямъ и улучшеніямъ, не касающимся перваго плана ея общественнаго устройства, оказывается упорно консервативной, какъ дѣло доходить до линіи фундамента. Феодально-муниципальное устройство его стоитъ твердо и втѣсняетъ себя ужъ не какъ разумный или оправданный фактъ, а какъ существующій и привычный. За городовымъ валомъ своимъ онъ не боится сельской нищеты и полевого невѣжества окружающихъ его. Противъ оторванныхъ отъ земли, противъ номадовъ цивилизаціи, сражающихся съ голодною смертію, онъ защищенъ — арміей, судомъ, полиціей. Внизу—готизмъ, католицизмъ, піэтизмъ и дѣтское состояніе мозга. На вершинахъ—отвлеченная мысль, чистая математика революціи, стремящаяся примирить безуміе существующаго съ разумомъ водворяемаго компромиссомъ между готизмомъ и соціализмомъ. Этотъ *half and half* и есть *мѣщанское государство*.

Когда я спорилъ въ Москвѣ съ славянофилами (между 1842—1846 годами), мои воззрѣнія въ основахъ были тѣ же. Но тогда я не зналъ Запада, т. е., зналъ его книжно, теоретически и еще больше я любилъ его всею ненавистью къ петербургскимъ порядкамъ. Видя, какъ Франція смѣло ставитъ социальный вопросъ, я предполагалъ, что она хоть отчасти разрѣшитъ его, и оттого былъ, какъ тогда называли, *западникомъ*. Парижъ въ одинъ годъ отрезвилъ меня, — за то этотъ годъ былъ 1848. Во имя тѣхъ же началъ, во имя которыхъ я спорилъ съ славянофилами за Западъ, я сталъ спорить съ нимъ самимъ.

Обличая революцію, я вовсе не былъ обязанъ переходить на сторону ея враговъ,—паденіе февральской республики не могло меня отбросить ни въ католицизмъ, ни въ консерватизмъ, оно меня снова привело *домой*.

Стоя въ стану побитыхъ, я указывалъ имъ на народъ, носящій въ бытѣ своемъ больше условій къ экономическому перевороту, чѣмъ окончательно сложившіеся западные народы. Я указывалъ на народъ, у котораго нѣтъ тѣхъ нравственныхъ препятствій, о которыхъ разбивается въ Европѣ всякая новая общественная мысль, а напротивъ есть *земля подъ ногами* и вѣра что *она его*.

И вотъ пятнадцать лѣтъ я постоянно проповѣдую это. Слова мои возбуждали смѣхъ и негодованіе, но я шель своей дорогой. Пришла Крымская война, смѣхъ замѣнился свистомъ, клеветой... но я шель своей дорогой. По странной ироніи мнѣ пришлось на развалинахъ французской республики проповѣдывать на Западѣ часть того, что въ сороковыхъ годахъ проповѣдывали въ Москвѣ Хомяковъ, Кирѣевскіе... и на что я возражалъ.

Годъ тому назадъ я встрѣтилъ на пароходѣ между Неаполемъ и Ливорно русскаго, который читалъ сочиненія Хомякова въ новомъ изданіи. Когда онъ сталъ дремать, я попросилъ у него книгу и прочелъ довольно много. Переводя съ апокалиптического языка на нашъ обыкновенный и освѣщая дневнымъ свѣтомъ то, что у Хомякова освѣщено паникадиломъ, я ясно видѣлъ, какъ во многомъ мы одинакимъ образомъ поняли западный вопросъ, несмотря на разныя объясненія и выводы. Патологическое описаніе Хомякова—вѣрно, но изъ этого не слѣдуетъ, что я согласенъ съ его теоріей и съ его объясненіями зла. То же самое въ его оцѣнкѣ бытовыхъ элементовъ русской жизни, на которыхъ возникаетъ наше развитіе. Хомяковъ, наприм., полагаетъ, что вся исторія Запада, т. е., почти *вся* исторія полутора-тысячи лѣтъ, не удалась оттого, что германо-романскіе народы приняли католическую вѣру, а не греческую, и даетъ чувствовать, что спасеніе ихъ собственно возможно при перемѣнѣ одного христіанскаго исповѣданія на другое. Я считаю что такіа длин-

ныя, хроническія болѣзни далеко неизлечимы такими простыми, *симпатическими* (какъ говаривали встарь) средствами, ни такимъ гомеопатическимъ вышибаніемъ клина клиномъ. Вообще я ни прежде, ни теперь не могъ понять, отчего все христіанство за стѣнами восточной церкви *не-христіанское*, и отчего Россія представляетъ ученіе о свободѣ (разумѣется, не на практикѣ...), а Западъ—ученіе, основанное на необходимости. Это становится еще темнѣе, читая католическія любезности той же пробы на счетъ схизматиковъ....

...На этомъ мѣстѣ меня застало ваше письмо... Оно измѣняетъ температуру. Изъ вашего письма и изъ его сильнаго одушевленія я вижу, что былъ совершенно правъ, «отмахиваясь» отъ богословско-метафизической контроверзы. Я зналъ, что она не приведетъ къ добру и не принесетъ того огня, который свѣтитъ и грѣетъ, а раздуетъ тотъ, которымъ жарили еретиковъ и невѣрующихъ.

Дѣлить людей на агнцевъ и козловъ — дѣло не хитрое и не новое; ставить въ одну категорію всѣхъ людей религиозныхъ и преимущественно православныхъ, а въ другую всѣхъ остальныхъ и преимущественно матеріалистовъ—легко. Жаль только, что это дѣленіе имѣетъ одинъ важный недостатокъ—полнѣйшую невѣрность въ практикѣ. Вамъ, какъ всѣмъ идеалистамъ и теологамъ, это все равно, вы строите міръ а ргіогі, вы знаете, какой онъ *долженъ быть* по откровенію,—ему же хуже, если онъ не такой, какой долженъ быть! Если-бъ вы были просто наблюдатель, васъ остановили бы факты, противурѣчащіе вашему мнѣнію, они заставили бы васъ возвратиться къ перебору началъ и рѣшить,—исторія ли и жизнь нелѣпы, или ученіе ложно. Увѣренные въ непогрѣшительности ученія, вы шагаете черезъ. Что вамъ за дѣло, что возлѣ мартиролога христіанства—мартирологъ революціи. Исторія вамъ указываетъ, какъ язычники и христіане, люди, не вѣрившіе въ жизнь за гробомъ и вѣрившіе въ нее, умирали за свое убѣжденіе, за то, что они считали благомъ, истиной, или просто любили... А вы все будете говорить, что человѣкъ, считающій себя скученіемъ атомовъ, не можетъ собою пожертвовать; а человѣкъ, который считаетъ свое тѣло искусными, но презрѣнными ножами души, — жертвуетъ собой по праву, не смотря на то, что исторія вовсе не доказываетъ, чтобъ матеріалисты 93 года были особенные трусы, а вѣрующіе по ремеслу—попы, монахи—были бы (кромѣ Польши) особенно падки на самоотверженіе и героизмъ. Дѣло въ томъ, что всѣ эти *первыя мотивы* и метафизическія міросозерцанія вовсе не имѣютъ такого рѣшительнаго и рѣзкаго вліянія на характеръ и дѣйствія, какъ вы полагаете. Большое счастье, что голодъ и жажда развиваются

прежде, чѣмъ человѣкъ обдумаетъ,—стоитъ ли кормить ничтожные атомы и достойно ли поить презрѣнные ножны. Привычка сдѣлана и ѣда идетъ своимъ чередомъ, а трансцендентальная психологія—своимъ. Матери ненужно ни религіи, ни атеизма, чтобъ любить своего ребенка; человѣку вообще ненужно ни откровеній, ни сокровеній, чтобъ быть привязаннымъ къ своей семьѣ, своему племени и, если случится, вступить за нихъ; а кто вступаетъ, тотъ иной разъ ложится костями—изъ ничтожныхъ ли атомовъ онѣ, или изъ творческаго вовсе ничего,—это все равно.

Обо всемъ этомъ можно наговорить бездну интересныхъ вещей, бездну вещей давно сказанныхъ, не говоря ни слова о русскомъ вопросѣ, который меня занимаетъ гораздо больше этихъ безвыходныхъ параллелей, въ которыхъ можно биться до конца жизни, не двигаясь ни на шагъ и не выплывая на берегъ.

Вы находите, напр., непослѣдовательнымъ, что человѣкъ, невѣрующій въ будущую жизнь, вступаетъ за настоящую жизнь ближняго. А мнѣ кажется, что *только онъ* и можетъ дорожить *временной* жизнью своей и чужой; онъ знаетъ, что лучше этой жизни для существующаго человѣка ничего не будетъ, и сочувствуетъ каждому въ его самохраненіи. Съ теологической точки зрѣнія смерть представляется совсѣмъ не такой бѣдой; религіознымъ людямъ была нужна заповѣдь «не убей», чтобъ они не принялись людей спасать отъ грѣховнаго тѣла: смерть собственно одождаетъ человѣка,—ускоряя его вѣчную жизнь. Грѣхъ убійства состоитъ вовсе не въ актѣ плотоумерщвленія, а въ самовольномъ повышеніи паціентовъ въ высшій классъ. Вы дивитесь, почему мы дорожимъ такъ кровью, будучи «материалистами» (я для васъ повторяю это слово, оно и не выражаетъ дѣла, и очень школьно); изъ этого ясно, что вы, съ вашей точки, имѣете полное право состраданія,—отчего же вы имъ не пользуетесь? Отчего я въ вашихъ словахъ, въ вашемъ письмѣ не видалъ ни одного слова участія и состраданья къ казнимымъ, къ идущимъ на каторгу? Почему вы думаете, что все это виновные, какъ будто бываютъ тысячи виновныхъ, какъ будто въ числѣ казнимыхъ нѣтъ людей чисто преданныхъ своему дѣлу!.. Да и, наконецъ, если-бъ всѣ были виноваты, кто же за ихъ вину васъ-то наказалъ безучастіемъ къ судьбамъ ихъ? Отчего вы вообще гораздо больше заняты опредѣленіемъ *виѣнненій*, наказаній, чѣмъ оправданіемъ обвиняемыхъ?

Вы меня даже спрашиваете, какими нравственными наказаніями я замѣняю тѣлесныя, и не тѣлесныя ли наказанія—тюрьма, ссылка и пр.,—какъ будто я когда-нибудь брался, какъ князь Черкасскій, находить дѣтскія или старческія, свѣтскія или ду-

ховныя розги и ихъ эквиваленты? Изъ того, что я говорилъ о нелѣпости, о гнусности полосовать человѣку спину за прошлый поступокъ, не слѣдуетъ вовсе, что я тюрьму считаю умной и рациональной, а штрафъ справедливымъ.

— «Хотите уничтоженія холеры?»—Безъ сомнѣнiя.—«Но какой же заразой ее замѣнить? И легче ли будетъ новая зараза?»—Такого вопроса ни одинъ докторъ не разрѣшитъ.

Розги и тюрьмы, грабежъ судомъ выработаннаго и насильственная работа виновнаго,—все это *тѣлесныя* наказанiя, и могутъ быть только замѣнены инымъ общественнымъ устройствомъ.

Материалистъ Оуэнъ не искалъ ни преступниковъ, ни наказанiй, ни уравненiй между кандалами и побоями, а думалъ, какъ найти такiя условiя жизни, которыя не наводили бы людей на преступленiя. Онъ началъ съ воспитанiя; испуганные безнаказанностью дѣтей, пiетисты закрыли его школу.

Фурье попытался самая страсти, причиняющiя въ своемъ необузданномъ и вмѣстѣ съ тѣмъ стѣсненномъ состоянiи всѣ преступныя взрывы и отклоненiя, направить на пользу общества; въ немъ замѣтили одну смѣшную сторону...

Цѣлыя страны существуютъ безъ тѣлесныхъ наказанiй, а у насъ еще ведутъ контроверзу о томъ,—сѣчь или не сѣчь? Если сѣчь,—чѣмъ сѣчь? Если не сѣчь,—сажать ли на цѣпь или въ клѣтку?... Что лучше, розга или клѣтка?... Какова клѣтка, какова розга?—Дѣтская розга хороша, а дѣтская клѣтка никуда не годится.

«Уничтоженiе наказанiй невозможно», скажете вы съ точки зрѣнiя религiи, которая сдѣлала себѣ спеціальностью все прощать, все прощать. Можетъ быть, но, вѣдь, изъ этого не слѣдуетъ, что наказанiя надобно выдавать за правду, а за то, что они есть—за печальную необходимость, за несчастное послѣдствiе. О самихъ вмѣненiяхъ хлопотать нечего, они найдутся. Пока будетъ судейское ремесло, пока останется кровавый кодексъ общественной мести и средневѣковое невѣжество массъ,—хирургъ правосудiя, палачъ, не умретъ безъ работы.

Но оставимте, наконецъ, всѣ эти общiя диссертацiи, я еще разъ «отмахиваюсь» отъ нихъ и перехожу къ нашимъ домашнимъ дѣламъ.

(1864 г., № 191).

Письмо второе.

Вы строго насъ судите. «Ваша пропаганда, говорите вы, подѣйствовала на цѣлое поколѣнiе, какъ гибельная, *противуестественная привычка*, привитая къ молодому организму, еще не

успѣвшему сложиться и окрѣпнуть. Вы изсушили въ немъ мозгъ, ослабили нервную систему и сдѣлали его неспособнымъ къ сосредоточенію, выдержкѣ и энергической дѣятельности... Причина всему этому злу—*отсутствіе почвы*, заставляющее васъ продолжать безъ вѣры какую-то *революціонную чесотку*, по старой памяти».

Что у насъ есть *почва* и даже отчасти общая съ вами, я вамъ сказалъ. Мы на нашей почвѣ, очень реальной, стоимъ очень реально; почва обыкновенно бываетъ подъ ногами; у васъ есть другая надъ головой; вы богаче насъ, но, можетъ, по этому земные предметы вамъ представляются обратными.

Что касается до «чесотки», объ ней поговоримъ послѣ, а теперь позвольте васъ спросить,—да въ самомъ ли дѣлѣ у новаго поколѣнія изсушенъ мозгъ и ослаблена нервная система, въ самомъ ли дѣлѣ оно неспособно къ *выдержкѣ* и *энергіи*? Я ставлю сильный вопросительный знакъ.

Какъ бы намъ, старикамъ, не пришлось себя винить въ противуестественныхъ привычкахъ, вмѣсто молодого поколѣнія? И вы, и мы по положенію, по необходимости были рефлектерами, резонерами, теоретиками, книжниками, *тайнобрачными* супругами нашихъ идей. Все это было умѣстно, необходимо послѣ перелома русской жизни въ 1825 году; надобно было сойти поглубже въ себя, добраться до какого-нибудь свѣта, все это такъ,—но *энергіей*, но *дѣломъ*, но *мужествомъ* мы мало отличились. Вы скажете, что когда нѣтъ войны, нѣтъ и случая показать свою военную отвагу; безъ сомнѣнья, но нечего же и бросать камня въ юношей, рвущихся на бой, за то, что они пошли слишкомъ задорно и, главное, не дочитали своихъ учебниковъ. Исторія и географія вещи хорошія, но за ихъ незнаніе нельзя предавать цѣлое поколѣніе проклятію. Въ 1812 году мальчики шли на войну и никто не бранилъ ихъ за то, что они, не кончивъ курса, брали георгіевскіе кресты.

Невѣжество тамъ, гдѣ оно не роковая необходимость, а слѣдствіе лѣтъ и небрежности, я, конечно, ненавижу не меньше вашего; но, во-первыхъ, я желалъ бы знать, что вы разумѣете подъ невѣжествомъ? Изученіе филологіи, *классическое* образованіе составляли прежде все образованіе; теперь больше другихъ специалистовъ; теперь больше занимаются естественными науками. А, во-вторыхъ, есть въ исторіи народовъ полосы, въ которыя пульсъ усиливается и мѣшаетъ обыкновенному строю, въ которомъ все кругомъ колеблется, измѣняется, другія потребности овладѣваютъ умами, чѣмъ во времена застоя, и увлекаютъ ихъ. Россія явнымъ образомъ въ этомъ положеніи съ Крымской войны. Спокойно, кабинетно заниматься врядъ было ли возможно не только молодежи, но и сѣдымъ головамъ.

Намъ учиться былъ страшный досугъ. Мы кромѣ книги ни за что и не брались, мы удалялись отъ дѣла, оно было или такъ черно, или такъ невозможно, что не было выбора; люди, какъ Чаадаевъ, какъ Хомяковъ, исходили болтовней, ѣздили изъ гостинной въ гостиную спорить о богословскихъ предметахъ и славянскихъ древностяхъ. Мы всѣ были отважны и смѣлы только въ области мысли. Въ практическихъ сферахъ, въ столкновѣнiяхъ съ властью являлась большей частію несостоятельность, шаткость, уступчивость; Хомякову было за сорокъ лѣтъ, когда ему Закревскій велѣлъ обриться, и онъ обрился. Бывши подлѣ слѣдствіемъ въ 1834 году, я скрывалъ свои мнѣнія, мои товарищи тоже. Не знаю, что скажутъ другіе бывшіе по крѣпостямъ и призываемые въ III отдѣленіе, но мнѣ кажется, что послѣ декабристовъ до петрашевцевъ всѣ лыняли. Самая революціонная натура николаевского времени, *Бѣлинскій*, и онъ былъ сведенъ на эстетическую критику, на Гегелеву философію и дальніе намеки.

Все печально сидѣло по щелямъ, читало книги, писало и, по большей части, украдкой показывало потомъ статьи. Вдругъ, когда всего меньше ждали, въ Петровскомъ кораблѣ открылась течь. Шкиперъ первый растерялся и умеръ. Середь мрачной и мертвой тишины, вѣсть о его смерти сверкнула молніей и все зашевелилось, подняло голову, подняло голосъ, всѣ были готовы ринуться, исполненные надеждъ, ожиданій... Куда?... Этого еще никто не зналъ, а только спрашивали: когда же? что же?... да скоро ли?

Минуты великія, въ которыя начинается пробужденіе цѣлой страны, на вершинахъ всѣхъ слоевъ занимается заря... и всѣ чувствуютъ, что начинается другое время, новый день...

И вы могли думать, что молодежь, что шестнадцати-семнадцатилѣтніе юноши останутся спокойно и благонаравно доучиваться, съ тѣмъ втѣсненнымъ безучастіемъ къ жизни и отчаяннымъ усердіемъ, съ которымъ мы сидѣли на университетскихъ лавкахъ? И это несмотря даже на то, что у нихъ не было больше профессоровъ, какъ Грановскій, и со всѣхъ сторонъ врвался въ аудиторію говоръ объ общественныхъ дѣлахъ? Какой же вы плохой знатокъ челоуѣческаго сердца!

Что собственно васъ сконфузило и испугало? Что студенты стали дѣлать сходки, посылать депутатовъ къ начальству, говорить рѣчи? Больныхъ въ комнатахъ не было, а была горячая молодежь, которой разрѣшили немного погромче говорить. За чѣмъ вы и ваши друзья принесли на эти весенніе праздники угрюмую фигуру недовольныхъ учителей, монаховъ на пирушкѣ? За чѣмъ вы видѣли въ этомъ естественномъ взрывѣ молодыхъ силъ одинъ

беспорядокъ и нарушеніе строя (и какого строя!)? Зачѣмъ въ языкѣ, который обращался къ молодежи, былъ слышенъ клерикальный и начальнической тонъ? Одно мягкое братское слово могло сдѣлать больше впечатлѣнія, чѣмъ томы черствыхъ проповѣдей. Вы оскорбили молодежь безучастіемъ и порицаніемъ въ минуты дорогія для нея. Чему же дивиться, что и та часть ея, которая слушала васъ прежде, отстранилась и ускользнула отъ васъ?

Новые дѣятели, выступившіе на сцену, мало-по-малу оставленную старыми актерами, испугавшимися, что пѣса, которую они весь вѣкъ представляли, начинаетъ превращаться въ быль, двинули молодежь въ иномъ направленіи и, если они меньше учили ее по книгѣ, то учили больше примѣромъ. Оттого молодое поколѣніе стало складываться съ большимъ мужествомъ, съ большей выдержкой и съ большей готовностью на бой; вамъ это можетъ не нравиться, но все же это совершенно противоположно той *энерваціи*, о которой вы говорите.

Хотите примѣры, я вамъ напомнимъ три четыре случая, извѣстные всей Россіи; мало ихъ, я готовъ привести двадцать. Боюсь одного, что они не подѣйствуютъ на васъ; для того, чтобъ вы оцѣнили подвигъ преданности, любви, вамъ надо, чтобъ онъ былъ въ Четьи-Минейхъ, или, по крайней мѣрѣ, въ Болгаріи или Сербіи, а это все примѣры свѣтскіе, петербургскіе и иногородные.

Гдѣ же доказательства той нравственной распущенности, той неспособности къ энергическому дѣлу, въ которой вы обвиняете молодое поколѣніе? Изъ-за чего вы такъ осерчали противъ него? Неужели только изъ-за того, что оно мало и дурно учится? У насъ спокойнѣе вѣка учились мало и скверно, и неужели молодежь, шедшая въ юнкера и выходившая изъ кадетскихъ корпусовъ, училась больше? Отчего же вы объ ней не кручинились?

Вы совсѣмъ въ другомъ положеніи. Вы увѣрены, что всякая революціонная попытка въ Россіи невозможна, что «русскій народъ не пойдетъ противъ своего царя, что дворянство безъ него бессильно и что надобно быть поврежденнымъ, чтобъ предположить, что нѣсколько студентовъ, не кончившихъ курсъ, сдѣлаютъ въ Россіи переворотъ прокламаціями à la Babeuf». — Прекрасно, ну, такъ и оставьте это безсиліе и не дѣлайте изъ него силу. Люди настолько въ самомъ дѣлѣ становятся сильны, насколько сами вѣрятъ и вѣрятъ ихъ окружающіе.

— «Да, но они ошибаются, ихъ надобно поставить на путь истинный». — Но, вѣдь, ошибаются и тѣ, которые столы вертятъ и которымъ Юмъ ходитъ по головѣ, что же вы не направите паяльную трубку вашу на нихъ?

Если васъ испугалъ самый фактъ «подпольной литературы», то это только доказываетъ нашу великую дѣвственность въ этихъ дѣлахъ. Въ какой же странѣ, гдѣ существовала цензура и правительственный произволъ, когда въ ней возбуждалось умственное движеніе и желаніе воли, не было тайныхъ типографій, тайнаго распространенія рукописей? Это такой-же естественный фактъ, какъ печатаніе за границей, какъ эмиграція.

Нѣтъ, тутъ что-то другое, все это не объясняетъ священнаго гнѣва вашего. Ужъ не особенно ли сердить васъ *то ученіе*, которое легло въ основу новаго направленія?

Не гоните ли вы въ молодомъ поколѣнн *материализмъ*, такъ, какъ гоните въ полякахъ *католицизмъ*?

Въ раздраженіи вашемъ, въ томъ, что вы меня обвинили, что я губельно подѣйствовалъ на цѣлое поколѣніе, нѣтъ ли у васъ особаго чувства *dépit*, отъ котораго надобно чрезвычайно остерегаться и въ которомъ невольнo лежитъ сознаніе, что ваша пропаганда, несмотря *ни на тяжелья бестды, ни на нелегкіе дни*, не имѣла никакого успѣха въ молодомъ поколѣнн, не соблазнила бы его безъ патриотическихъ конфортивовъ.

(1865 г., № 193).

П. Ж. Прудонъ.

Прудонъ умеръ 19 января въ Пасси. Ему было едва 56 лѣтъ.

Быстро сходятъ со сцены мощные бойцы борьбы — не оконченной, но приостановившейся за туманомъ, въ которомъ трудно стало узнавать своихъ и чужихъ, борьбы, ослабнувшей отъ неопредѣленныхъ цѣлей и неяснаго пониманья исхода.

Прудонъ принадлежалъ къ сильнѣйшимъ двигателямъ общественаго самосознанія, именно въ то время, въ которое по Франціи пробѣгала соціальная дрожь, и она, чтобъ выйти изъ старыхъ путь, пробовала все: фаланстеры и проповѣди сенъ-симонистовъ, іюньскія баррикады и американскія Икаріи. Прудонъ не разрѣшилъ великихъ вопросовъ, не снялъ страшныхъ сомнѣній, онъ не основалъ школы, но оставилъ діалектическій таранъ. Можетъ, онъ и думалъ, что умѣетъ лечить, но сила его была не въ леченіи, а въ разсѣченіи труповъ. Прудонъ не создавалъ, онъ ломалъ, онъ воевалъ, а главное онъ *двигалъ*, онъ все *двигалъ*, все покачивалъ, все затрогивалъ, отбрасывая условныя уваженія, освященныя навывкомъ понятія и принятый безъ критики церемоніаль. Надобно вспомнить внутреннюю робость романской мысли,—дерзкой снаружи, волнующейся на поверхно-

сти, быстро несущейся въ извѣстномъ слоѣ и упорно хранящей въ глубинѣ своей завѣтныя начала, занесенныя вѣковой тиной; туда-то проникалъ Прудонъ и, несмотря на крикъ негодованія и скрежетъ зубовъ, своей крѣпкой, плебейской, крестьянской рукой толкалъ эти мнимые клады въ общій потокъ. Это была своего рода *ликвидация* — нравственно-недвижимыхъ имуществъ.

Когда-нибудь мы поговоримъ о его подвигѣ, теперь намъ хотѣлось бросить и нашу горсть земли на гробъ учителя.

...Serrez les rangs, serrez les rangs! Да, старое меньшинство *юныхъ стариковъ* таетъ не по днямъ, а по часамъ во Франціи. Недолго послѣднимъ ветеранамъ простоять на часахъ... угрюмо смотрятъ они вдаль дороги, не идетъ-ли *сѣтѣна*. Много идетъ... Все мимо, все чужое, все мелкое, все безъ помазанія. Иногда кажется, вотъ закипаетъ мысль, вотъ является энергія, завязывается узелъ, выступаютъ новыя силы.

...Сестра Анна, сестра Анна, что, идутъ ли?—Пылить дорога, раздается топотъ, это они, это *наши*... Нѣтъ, это идетъ какое-то стадо...

Тяжелая перемычка для всей Европы!

(1865 г., № 194).

Примѣчанія.

Стр. 1. «Отрывки изъ дневника». Подъ 25 марта 1845 г. Герценъ записалъ въ своемъ «Дневникѣ»: «Три года тому назадъ начать этотъ журналъ въ этотъ день»; дѣйствительно, печатаемый ниже «Дневникъ» начинается 25 марта 1842 года. Но изъ этой замѣтки не слѣдуетъ, что Герценъ не велъ дневника и раньше. Дѣло въ томъ, что подъ «журналомъ» онъ разумѣетъ, повидимому, особую каждый разъ тетрадь, какъ видно изъ его записи подъ 3 октября: «Болѣе 6 мѣсяцевъ прошло, и я не заглядывалъ въ журналъ, и не писалъ въ него, и не велъ другого». Нѣтъ сомнѣнiя, что Герценъ еще въ ссылкѣ нѣсколько разъ принимался вести дневникъ, но отъ этого времени уцѣлѣло только нѣсколько разрозненныхъ листовъ, текстъ которыхъ былъ впервые напечатанъ въ № 11 *Съѣзднаго Вѣстника* за 1894 г. и перепечатывается здѣсь отсюда.

— «Покойникомъ» Герценъ называетъ здѣсь, вѣроятно, отца Н. П. Огарева, Платона Богдановича, который умеръ 2 ноября 1838 года; онъ узналъ о его смерти изъ письма Н. П. Огарева отъ 7 ноября (оно напечатано въ *Русской Мысли* 1888 г., X, стр. 7—«Изъ переписки недавнихъ дѣятелей»).

Стр. 2. Николая—Николая Платоновича Огарева.

Марія первая жена Огарева—Марія Львовна. Объ этомъ свиданiи (съ Н. П. Огаревымъ и его женою) во Владимірѣ Герценъ подробно говоритъ въ «Дневникѣ» (подъ 19 марта 1843 г.) и въ «Былое и Думы», ч. 3, гл. XXIII, и ч. 4, гл. XXV.

Стр. 3. Писано за часъ до рожденiя первенца-сына, Александра (А. А. Герцена, теперь профессора физиологiи въ Лованнѣ). Ребенокъ родился въ 11 часовъ утра (объ этомъ подробно—въ

«Былое и Думы», ч. 3, гл. XXIV); слѣдующая ниже приписка сдѣлана уже послѣ рожденiя ребенка.

Стр. 8. «Хочется написать пропедевтическое слово желающимъ приняться за философию... Началъ; что будетъ, не знаю». Здѣсь говорится о статьѣ «Дилетантизмъ въ наукѣ», подъ первой главою которой стоитъ дата: «1842, апрѣля 25» (см. т. IV, стр. 80, настоящаго изданiя).

Стр. 12. Буковою Н. обозначена Нат. Александр. Герценъ.

Стр. 15. Никол. Григор. Фроловъ (1812—1855), переводчикъ на русскiй языкъ «Космоса» Гумбольдта, «Идей о сравнит. землевѣдѣнiи» Риттера и издатель «Магазина землевѣд. и путешествiй».

Стр. 16. Джудита Паста (1798—1865), славившаяся въ свое время итальянская оперная пѣвица.

Стр. 17. Графъ Михаилъ Юрьев. Вельегорскiй (1788—1856), извѣстный въ свое время меценатъ и композиторъ.

Стр. 18. «Михаилъ Федоровичъ»—М. Ф. Орловъ, о которомъ уже говорилось ранѣе (стр. 4—5 этого тома).

— Ив. Петр. Витали (1794—1855), извѣстный въ свое время скульпторъ, академикъ съ 1840 г. и профессоръ съ 1842 г.

Стр. 19. Ксавье Мармье (1809—1892), франц. писатель, много путешествовавшiй по Америкѣ и Европѣ, писавшiй, между прочимъ, и о Россiи.

Стр. 20. «Повѣсть», о которой здѣсь говорится, — романъ «Кто виноватъ», первая часть котораго была написана въ 1842 году.

— Бувою М. обозначена здѣсь (въ «Быломъ и Думахъ» она обозначена буквою Р) Прасковья Петр. Медвѣдова, съ которою Герценъ имѣлъ романъ въ Вяткѣ.

Стр. 22. «Ог.» обозначает Н. П. Огарева.

Стр. 23. «Манонъ Леско» — известный романъ аббата Прево (1697—1763). Дважды переведенъ по русски.

Стр. 26. Бруно Бауэръ (1809—1882), нѣм. философъ и ученый критикъ, прославившійся своими критическими изслѣдованіями о книгахъ св. Писанія.

Стр. 29. Статья «По поводу одной драмы», помѣщенная въ IV томѣ настоящаго изданія (стр. 31—51), была напечатана въ «Отеч. Запискахъ».

— Повѣсть гр. Ѳ. В. Ростопчина, о которой здѣсь говорится, называется «Охъ, французы!» и была напечатана въ «Отеч. Запискахъ», 1842 г., № 10.

— Предполагавшійся *Альманакъ* Грановскаго не былъ изданъ.

Стр. 33. Подъ «прѣважею изъ Корчевы» и «Темирою» подразумѣвается Татьяна Петр. Пассекъ, жена Вад. Вас. Пассека.

Стр. 34. Произвольно взяты буквы К. обозначаютъ первую жену Н. П. Огарева — М. Л. Рославлеву.

Стр. 37. Поэтъ и историкъ литературы Робертъ Прутцъ (1816—1872) писалъ въ разнообразныхъ родахъ литературы. *Альманакъ* его, о которомъ здѣсь говорится — это ежегодно издававшаяся Прутцемъ въ 1842—1848 гг. «Litterarhistorisches Taschenbuch».

Стр. 38. Михаилъ Александр. Дмитриевъ (1796—1866), племянникъ баснописца М. И. Дмитриева, консервативный писатель 20—60-хъ годовъ. Сотрудничалъ въ «Москвитининѣ», писалъ много въ стихахъ и прозѣ. Былъ оберъ-прокуроромъ сената въ Москвѣ.

— Казимиръ Делавинъ (1793—1843), одинъ изъ самыхъ популярныхъ французскихъ поэтовъ своего времени.

Стр. 39. Подъ 29 ноября въ «Дневникѣ» говорится о статьяхъ «Дилетантизмъ въ наукѣ» (помѣщены въ IV томѣ настоящаго изданія).

Стр. 45. Статья объ ученыхъ — это одна изъ статей «Дилетантизмъ въ наукѣ» (см. IV-й т. настоящаго изданія).

Стр. 46. Подъ псевдонимомъ Жюльена Элизара (Julien Elisard) въ «Deutsche Jahrbücher» писалъ М. А. Бакунинъ.

Стр. 47. Князь Ив. Сер. Гагаринъ (1814—1882), послѣ непродолжительной службы, оставилъ Россію и, посѣлаясь въ Парижъ, перешелъ въ католицизмъ и сталъ іезуитомъ. Но, интересуясь Россіей, поддерживалъ сношенія съ Герленомъ и со своими московскими зна-

комыи. Основалъ въ Парижѣ «Musée Slave» и написалъ рядъ книгъ на французскомъ языкѣ о старообрядцахъ и вообще по религиознымъ вопросамъ.

Стр. 48. Викторъ Ив. Григоровичъ (1815—1877), известный славистъ профессоръ, издавшій рядъ цѣнныхъ трудовъ по исторіи славянскихъ литературъ.

Стр. 52. «Die Jüdin» («Жидовка») — названіе оперы.

— Каролина Карловна Павлова, урожденная Янишъ (1810—1894), поэтесса. Сперва была невестою Мишневича, затѣмъ вышла замужъ за писателя Н. Ф. Павлова. Писала много стихотвореній, переводила Шиллера («Валленштейнъ») и пр.

Стр. 58. Буквами М. Л. обозначена первая жена Н. П. Огарева — Марья Львовна (урожд. Рославлева).

Стр. 64. Никол. Филипп. Павловъ (1805—1864), беллетристъ, критикъ и журналистъ. Издавалъ «Наше Время» и основалъ «Русскія Вѣдомости».

Стр. 71—72. «Исторія Боткина», т. е. исторія увлеченія Боткина французскою Армансъ, подробно разсказанная въ статьѣ «Базиль и Армансъ» (II т. настоящаго изданія, стр. 496—502).

Стр. 78. Известный нѣм. историкъ Фридрихъ-Кристофъ Шлоссеръ (1776—1861) былъ профессоромъ Гейдельбергскаго университета. Его классическая «Исторія XVIII ст.» о которой разсуждаетъ здѣсь (стр. 78—81) Герценъ, была впоследствии переведена на русскій языкъ Н. Г. Чернышевскимъ и являла у насъ 2 изданія (Спб. 1858—60 и 1868—71).

Стр. 82. Юлія Фрауенштедтъ (1813—1879), нѣмецкій философъ, послѣдователь Шопенгауера.

Стр. 83. Буквами Е. И. обозначенъ братъ Герцена Егоръ Ивановичъ.

Стр. 85. Графъ Педро д'Аранда (1718—1799), испанскій госуд. чловѣкъ, уничтожившій въ Испаніи инквизицію и изгнавшій іезуитовъ.

— Маркизъ Помбаль (1699—1782), португальскій реформаторъ, изгнавшій іезуитовъ и много заботившійся о прогрессѣ Португаліи.

— Графъ Іоганнъ-Фридрихъ Струэнзе (1737—1772), датскій министр-реформаторъ, освободившій крестьянъ и много сдѣлавшій для благосостоянія Даніи. Былъ казненъ реакціонерами. Аранда, Помбаль и Струэнзе — представители просвѣщеннаго деспотизма.

— Карль Рейнгольдъ (1758—1823), нѣм. философъ, воспитанникъ іезуитовъ перешедшій въ протестантизмъ. Былъ профессоромъ въ Іенѣ и Киль и приобрѣлъ славу разъясненіемъ и толкованіемъ философіи Канта.

Стр. 88. Маркизь Адольфъ Кюстинъ (1793—1857) путешествовалъ по разнымъ странамъ Европы, былъ и въ Россіи, о которой вдалъ замѣчательную книгу «La Russie» (5 т.), рисующую бытъ и порядки Россіи 30-хъ годовъ XIX в.

Стр. 89. «Письмо изъ Ганау», т. е., отъ Н. М. Сатина, который тогда жилъ въ Ганау.

Стр. 95. «Европеецъ», ежемѣсячный журналъ, который пытался издавать въ 1832 г. И. В. Кирѣвскій. Журналъ былъ запрещенъ послѣ 2-ой книжки.

Стр. 99. Елизавета Богдановна—жена проф. Т. Н. Грановскаго.

— Фридрихъ-Георгъ Буге (1802—1897), съ 1823 г. былъ прив.-доцентомъ, а съ 1831 г. профессоромъ дерптскаго университета; съ 1842—бургмистромъ и синдикомъ въ Ревелѣ; въ 1856—65 гг. служилъ во II отдѣленіи с. е. и. в. Канцеляріи, затѣмъ до смерти жилъ за границей.

— Донъ-Салустіано Олозага (1803—1873), испанскій госуд. дѣятель, глава прогрессивной партіи. Нѣсколько разъ онъ былъ вынужденъ бѣжать изъ Испаніи, нѣсколько разъ былъ министромъ, а въ 1843 г. главою министерства.

Стр. 100. Протоіерей Ѳеодоръ Александровичъ Голубинскій (1797—1851) болѣе 80 лѣтъ былъ профессоромъ философіи въ московской духовной академіи и считался однимъ изъ талантливыхъ знатоковъ своего предмета.

Стр. 102. Аркадій Алексѣевъ Альфонскій (1796—1869) съ 1829 былъ профессоромъ, а въ 1842—63 гг. ректоромъ московскаго университета. Извѣстный въ свое время хирургъ.

— Осипъ Вас. Варвинскій (1811—1878), врачъ, профессоръ московск. университета.

Стр. 103. Георгъ-Кристофъ Лихтенбергъ (1742—1799), талантливый нѣмецкій сатирикъ и физикъ. Съ 1780 г. онъ издавалъ вмѣстѣ съ Георгомъ Форстеромъ «Геттингенскій Магазинъ».

— Николай Андреев. Маркевичъ (1804—1860), малороссійскій писатель, главный трудъ котораго «Исторія Малороссіи» (5 т., М. 1842—43).

Стр. 104. Самуэль-Томасъ Зѣмерингъ (1755—1830) былъ профессоромъ анатоміи съ 1778 г., издалъ рядъ медицинскіхъ сочиненій, а въ 1809 г. составилъ планъ электрическаго телеграфа особеннаго устройства.

Стр. 109. Скандербегъ или Георгій Кастриотъ (1403—1468), герой Албаніи, отнявшій ее отъ турокъ и сдѣлавшій ее независимой. Послѣ его смерти Албанія снова была покорена турками.

Стр. 111. Декабристъ Ѳеодоръ Ѳеодор. Вадковскій (1800—1844), служилъ сперва въ кавалергардскомъ, а затѣмъ въ нѣжинскомъ конно-егерскомъ полку. Былъ однимъ изъ дѣятельныхъ членовъ южнаго общества, въ которое принялъ много новыхъ членовъ.

— Декабристъ Алексѣй Юшневскій (ум. въ 1844 г.) былъ генер.-майоромъ и генералъ-интендантомъ 2-й арміи. Состоялъ членомъ южнаго общества.

Стр. 112. Пьеръ-Симонъ Балланшъ (1776—1847) франц. писатель. Мистическій философъ-соціалистъ и талантливый прозаикъ, онъ пользовался популярностью при реставраціи и июльской монархіи.

Стр. 118. Августъ-Фридрихъ Гфреръ (1803—1861), нѣм. историкъ, написавшій рядъ сочиненій по политической и по церковной исторіи.

Стр. 118. Фридрихъ-Адольфъ Тренделенбургъ (1802—1872), нѣм. философъ, написавшій рядъ цѣнныхъ сочиненій по философіи и логикѣ.

Стр. 120. «Иванъ Васильевичъ» — И. В. Кирѣвскій (и ниже такъ).

Стр. 121. «Иванъ Павловичъ» — И. П. Галаховъ, одинъ изъ пріятелей Герцена, рано умершій (въ концѣ 40-хъ годовъ).

Стр. 122. Диссертация Ю. Ѳ. Самарина «Стефанъ Яворскій и Ѳеоданъ Прокоповичъ, какъ проповѣдники» (М. 1844) была перепечатана, по требованію тогдашней цензуры, и въ своемъ первоначальномъ видѣ явилась лишь въ наше время въ «Собр. сочин.» Самарина.

Стр. 129. Альсидъ'Орбиньи (1802—1857), франц. геологъ и палеонтологъ, съ научными цѣлями путешествовавшій по Южной Америкѣ.

— Христіанъ-Готфридъ Эренбергъ (1795—1876), нѣм. естествоиспытатель, основатель ученія объ инфузоріяхъ.

— «Первое письмо объ естествовѣдѣніи» — это первая статья «Писемъ объ изученіи природы», помѣщенныхъ въ IV т. настоящаго изданія.

Стр. 134. Книга «Продълки на Кавказъ», изданная въ то время подъ псевдонимомъ Хамаръ-Дабанова нѣкимъ Лачиновымъ и пропущенная цензурою А. Л. Крыловымъ, надвѣвала тогда большого шуму.

— Баронъ Фридрихъ Тренкъ (1726—1794), авантюристъ XVIII в., служившій въ Пруссіи, Россіи и Австріи, сидѣвшій въ Магдебургской крѣпости въ 1754—1763 гг. и казненный въ Парижѣ, какъ агентъ иностранныхъ державъ.

Стр. 140. Яковъ-Фридрихъ Фризъ (1773—1843), нѣм. философъ, профессоръ въ Ленѣ и Гейдельбергѣ, написавшій рядъ солидныхъ философскихъ трудовъ.

Стр. 144. Буквы Д. П. обозначаютъ Дж. Павл. Голохвастова, двоюроднаго брата Герцена.

— Буквою Б. обозначенъ Вас. Петр. Боткинъ; Агтапсе—см. въ «Былое и Думы», т. II, статью «Армансъ и Бааль».

— Ив. Тимоф. Гайбовъ (1806—1884) былъ съ 1832 адъюнктъ-проф., а съ 1841 ордин. проф. московскаго университета, гдѣ преподавалъ зоологію, анатомію, физиологію и патологию.

Стр. 154. Александръ Ѳомичъ Вельманъ (1800—1870), романистъ и археологъ. Написалъ рядъ фантастическихъ романовъ, сказокъ, драматическихъ произведеній и историческихъ изслѣдованій весьма сомнительнаго достоинства.

— «Петръ Васильевичъ» — П. В. Кирѣевскій (и ниже такъ).

Стр. 156. Рамонъ Нарваецъ (1800—1868), испанскій политическій дѣятель, нѣсколько разъ занималъ должность министра-президента, будучи представителемъ реакціи.

— Иоганнъ Эйхгорнъ (1779—1856), прусскій госуд. дѣятель. Въ 1840—48 гг. былъ министромъ духовныхъ дѣлъ и народнаго просвѣщенія. Онъ принадлежалъ къ консервативной партіи.

Стр. 159. Жанъ-Баптистъ Дюма (1800—1879), одинъ изъ творцовъ органической химіи, которую онъ значительно подвинулъ своими работами.

Стр. 160. «Два первыхъ письма объ естествовѣдѣніи»—т. е., «Письма объ изученіи природы» (см. IV т. настоящаго изданія).

Стр. 161. Осипъ Максим. Бодянский (1808—1877), славистъ. Въ 1846—48 и 1858—77 гг. издавалъ «Чтенія въ Общ. Исторіи и Древностей росс.». Написалъ много изслѣдованій по филологіи, славянскимъ литературамъ и древностямъ.

Самый цѣнный его трудъ—магист. диссертация: «О народной поэзіи славянскихъ племенъ».

Стр. 173. Генрихъ Зибель (1817—1896), нѣм. историкъ, главный трудъ котораго «Исторія франц. революціи» переведенъ и на русскій языкъ.

Стр. 174. Артуръ Юнгъ (1741—1820), знаменитый англ. агрономъ, опиравшій поземельное положеніе Франціи передъ великою революціей.

Стр. 177. Ив. Ив. Давыдовъ (1794—1863), академикъ съ 20-хъ гг. былъ проф. московскаго университета, а съ 1847 г. директоромъ главнаго педагогич. института въ Спб., который довелъ до упаденія въ 1858 г.

— Вас. Вас. Григорьевъ (1816—1881), ориенталистъ, былъ проф. спб. университета, а въ послѣдніе годы жизни начальникомъ главнаго управленія по дѣламъ печати.

Стр. 178. Маркизъ Альфонсъ-Франсуа де-Сахъ (1740—1814), франц. порнографическій писатель, во время революціи примкнувшій къ демократамъ и умершій въ сумасшедшемъ домѣ.

Стр. 179. Князь Вас. Андреев. Долгоруковъ (1804—1868) съ 1853 г. былъ военнымъ министромъ, а въ 1856—1866 гг. шефомъ жандармовъ и начальникомъ III отдѣленія.

Стр. 181. Аполлинарій Сидоній (430—488), римскій поэтъ и патрицій конца имперіи. Обширную монографію о немъ написалъ Степ. Васил. Елевскій (1829—1865), проф. исторіи московскаго университета.

— Карлъ Рокитанскій (1804—1878), нѣм. патологъ, проф. вѣнскаго университета.

Стр. 185. Морицъ Вагнеръ (1813—1887), естествоиспытатель и путешественникъ. Въ 1842—45 гг. объѣзжалъ берега Чернаго моря, Кавказъ и Персію, въ 1852—57 гг. Сѣверную и центральную Америку, а въ 1857—60 гг. Южную Америку. Его книга «Республика Коста-Рика», о которой говоритъ Герценъ, вышла въ 1856 г.

Стр. 186. Христіанъ Бунзенъ (1791—1860), нѣм. ученый, давшій рядъ капитальныхъ изслѣдованій по богословскимъ вопросамъ и археологіи.

Стр. 187. Маршалъ Огюстъ-Фредерикъ-Людвигъ Мармонъ, герцогъ рагузскій (1774—1852) участвовалъ въ войнахъ Наполеона I, но въ 1814 г. измѣнилъ ему. Въ 1830 г. не могъ подавить польскую революцію и эмигрировалъ.

— Англ. генералъ Чарльзъ - Джемсъ Непиръ (1782 — 1853) участвовалъ въ покореніи Синда и Белуджистана.

— Вильямъ О'Брайвъ (1803—1864), ирландскій дѣятель. Въ 1848 г. былъ сосланъ пожизненно въ Австралію, но въ 1854 г. получилъ свободу.

Стр. 188. Генералъ графъ Карлъ Фѣдор. Толь (1777—1842) участвовалъ въ войнахъ 1799 г., а въ 1812—14 гг. былъ руководителемъ военныхъ дѣйствій. Затѣмъ участвовалъ въ турецкой (1829) и польской (1831) войнахъ.

— Теодоръ Бернгарди (1802—1887), нѣм. историкъ; ознакомился съ Россіей, проведя въ ней молодость; издавалъ «Записки» гр. К. Ф. Толя (4 т.), «Исторію Россіи и Европ. политики въ 1814—31 гг.» и др. соч.

— Графъ Яковъ Ефим. Сиверсъ (1731—1808) былъ новгородскимъ губернаторомъ (съ 1764 г.), тверскимъ и новгородскимъ ген.-губ. (съ 1776—1781), посломъ въ Польшу (1789—1794). Записки его издавалъ Блаумъ (1857—58).

— Адмиралъ Пав. Вас. Чичаговъ (1762—1849) съ 1802 г. управлялъ морскимъ министерствомъ, въ 1812 г. заключилъ съ Турціей бухарестскій миръ. Обвиненный въ неумѣнн предсудрѣдѣть при Березинѣ переправу Наполеона, вышелъ въ отставку и уѣхалъ за границу, гдѣ и жилъ до смерти.

— Магнусъ - Яковъ Крузенштольпе (1795—1865), шведскій историкъ и публицистъ, написавшій рядъ книгъ по исторіи Швеціи и Европы.

— Никол. Герасим. Устряловъ (1805 — 1870), историкъ, профессоръ; его труды: «Исторія Россіи», «Исторія Петра Великаго» отличаются официальной сухостью при богатствѣ матеріала.

— Графъ Модестъ Андреев. Корфъ (1800—1876) былъ директоромъ публичной библіотеки и главноуправляющимъ II отдѣленіемъ. Его труды «Жизнь гр. Сперанскаго» и «Восшествіе на престолъ имп. Николая I» проникнуты слишкомъ панегирическимъ тономъ.

— Рафаилъ Михайл. Зотовъ (1795—1871), плодовитый драматургъ, писавшій также плохіе историческіе романы и издавшій книгу «30-лѣтіе Европы въ царствованіе Николая I» (Спб. 1857, 2 ч.).

Стр. 189. «Статсъ-секретарь Модестъ» — гр. Мод. Андр. Корфъ.

— Фердинандъ Грегоровіусъ (1821—1891), выдающійся нѣм. историкъ, поэтъ и путешественникъ. Его «Исторія Рима въ средніе вѣка» и «Исторія

Аѳинъ въ средніе вѣка» переведены на русскій языкъ.

Стр. 191. Графъ Алексѣй Андреев. Закревскій (1783—1865), крѣпостникъ, оставившій по себѣ мрачную память. Будучи московскимъ генералъ-губернаторомъ, онъ запрещалъ говорить объ освобожденіи крестьянъ, когда правительство уже стало окончательно готовить это освобожденіе.

Стр. 195. Авраамъ Серг. Норовъ (1795—1869) съ 1850 г. былъ товарищемъ, а въ 1854—58 гг. министромъ народнаго просвѣщенія. Издавалъ описанія своихъ путешествій по Востоку и Европѣ.

— «Леонтій Васильевичъ» подраажается Л. В. Дуббельтъ.

— Отто-Теодоръ Мантейфель (1805—1882) съ 1848 г. прусскій мин. внутр. дѣлъ, а въ 1850—56 гг. министръ-президентъ.

— Графъ Фридрихъ - Фердинандъ Бейстъ (1809—1886) съ 1849 г. министръ въ Саксоніи; съ 1867 г. министръ-президентъ и канцлеръ въ Австріи.

Стр. 196. Графъ Владим. Фѣдор. Адлербергъ (1790—1884), любимецъ императора Николая I. былъ министромъ импер. двора отъ 1852 до 1872 г.

— Графъ Филиппъ Ив. Брунновъ (1797—1875) съ 1840 до 1874 г. былъ русскимъ посланникомъ въ Англіи.

— Леопольдъ Герлахъ (1790—1861), генералъ, реакціонный прусскій дѣятель, близкій другъ прусскаго короля Фридриха-Вильгельма III.

Стр. 198. Петръ Борис. Бланкъ (род. въ 1821 г.), реакціонный публицистъ, сотрудникъ «Моск. Вѣд.» и «Вѣсти».

— Николай Александр. Безобразовъ (1816—1867), публицистъ-крѣпостникъ и защитникъ реакціи, основалъ газету «Вѣсть» и издавалъ въ Россіи и за границей брошюры противъ освобожденія крестьянъ.

— Графъ Серг. Степ. Ланской (1787—1862) въ званіи министра внутр. дѣлъ въ 1855—61 гг. содѣйствовалъ освобожденію крестьянъ, за что получилъ графскій титулъ, но послѣ 19 февраля 1861 г. былъ уволенъ въ отставку въ видѣ уступки крѣпостникамъ.

Стр. 207. Статя «Насъ упрекають» направлена по адресу Б. Н. Чичерина, выступившаго тогда съ нападкама на «Колоколъ» (см. статью В. П. Батуринскаго во «Всемирн. Вѣстн.» 1905 г., № 2, стр. 48—51).

Стр. 213. Американскій экономистъ Генри-Чарльзъ Керр (1793—1879), сперва защитникъ свободной торговли, затѣмъ протекціонистъ. Главное его сочиненіе (на которое ссылается въ выноскѣ Герценъ) о наукѣ объ обществахъ переведено на русскій языкъ въ 1869 г.

Стр. 215. Адмиралъ графъ Ефимъ Вас. Путятинъ (1803—1883). Въ 1852 г., отправясь посломъ въ Японію на фрегатѣ «Паллада», заключилъ договоръ о допущеніи русской торговли въ японскихъ портахъ, за что получилъ графскій титулъ. Въ 1858 г. заключилъ новый договоръ съ Японіей, а также и съ Китаемъ. Въ 1861 г. былъ министромъ нар. просвѣщенія.

— Статья «Обвинительный актъ» является предисловіемъ къ напечатанному въ томъ-же № «Колокола» письму Б. Н. Чичерина противъ Герцена (см. статью В. П. Батурина: «Всемирн. Вѣстн.», 1905 г., № 2).

Стр. 216. Аполонарій Петр. Бутеневъ (1787—1866) служилъ по дипломатической части и въ 1830—58 гг. былъ посланникомъ въ Турціи.

— Буквою Г. обозначенъ князь А. Ѳ. Голицынъ.

Стр. 222. Эрнстъ - Морицъ Арндтъ (1769—1860) прославился какъ сотрудникъ Штейна и какъ патриотъ, стремившійся къ освобожденію Германіи отъ власти Наполеона I и къ ея объединенію.

Стр. 225. Антонъ - Мельхиоръ Фіалковский (1778—1861) былъ въ это время варшавскимъ архіепископомъ.

— Иосифъ Сяманко (1798—1868), перейдя въ 1834 г. изъ униатовъ въ православіе, сталъ усерднымъ дѣятелемъ воссоединенія униатовъ съ православной церковью въ качествѣ архіепископа (съ 1838) и затѣмъ митрополита литовскаго (съ 1850 г.).

Стр. 226. Графъ Нарсисъ - Ашплъ Сальванди (1795—1856), франц. политическій дѣятель и писатель, дважды бывший министромъ народнаго просвѣщенія при Луи-Филиппѣ (1837 и 1845 гг.).

— Князь С. П. Голицынъ издалъ въ то время брошюру «Печатная правда» (М. 1858), посвященную волновавшему тогда всю Россію вопросу объ освобожденіи крестьянъ.

Стр. 228. Ксенофонтъ—это Ксеноф. Алексѣев. Полевой (1801—1867), братъ П. А. Полевого. Онъ въ концѣ 50-хъ годовъ сотрудничалъ въ «Сѣв. Пчелѣ» Булгарина и Греча.

Стр. 236. Франц. генералъ Шарль-Дени Бурбаки (1816—1897) участвовалъ въ крымской и итальянской 1859 г. (о которой здѣсь говорится) войнахъ, а въ 1871 г. перешелъ съ цѣлой арміей въ Швейцарію, чтобы избѣжать капитуляціи.

Стр. 242. Статья «Very dangerous!!! (Очень опасно)» направлена была противъ Добролюбовскаго «Свистка», прилагавшагося при «Современникѣ» того времени (1859 г.). Ср. В. П. Батуринаскаго «А. И. Герценъ, его друзья и знакомые». Спб. 1904, стр. 97, 98 и 102).

— Баронъ Карло Позоріо (1803—1867), итальянскій политич. дѣятель, посланный на каторгу послѣ 1848 г., что вызвало възыскательство Англии. Въ 1859 г. Позоріо прибылъ въ Англію, а впоследствии состоялъ депутатомъ итальянскаго парламента.

Стр. 243. «Суровая картина какогонибудь «Перевоза» съ тѣлками въ грязи, съ разоренными мужиками...» — говорится по поводу разсказа «У перевоза», съ которымъ выступилъ тогда (въ «Военн. Сборникѣ») навѣстный впоследствии беллетристъ-народникъ Н. И. Науумовъ.

Стр. 248. Франц. эмигрантъ Бернаръ участвовалъ въ заговорѣ гр. Орсини на жизнь Наполеона III въ 1858 г. На требованіе франц. правительства о выдачѣ Бернара Англія отвѣчала отказомъ, а англійскій судъ призналъ Бернара невиновнымъ въ покушеніи Орсини.

Стр. 257. Графъ Карлъ-Густавъ Левенвольдъ, приближенный императрицы Анны Иоанновны и ея фаворитъ паравиъ съ Бирономъ. Въ 1730 г. сдѣлавъ должникомъ Измайловскаго полка, затѣмъ его послали за границу съ дипломатическими порученіями, а впоследствии онъ сталъ посломъ въ Варшаву. Умеръ въ 1738 г.

— Юліана Менгенъ (1719—1786), фаворитка Анны-Леопольдовны, имѣвшая такое сильное вліяніе въ царствованіе Анны Иоанновны, что даже иностранные дворы заискивали въ ней. Послѣ низверженія брауншвейгской династіи до 1762 г. раздѣляла съ ними изгнаніе.

— Алексѣй Петр. Бестужевъ-Рюминъ (1693—1766) въ 1744—58 гг. въ качествѣ канцлера завѣдывалъ иностранной политикой Россіи. Въ 1759 г. былъ сосланъ въ свое помѣстье, но возвращенъ ко двору Екатерины II въ 1762 г.

— Графъ Андрей Ив. Ушаковъ (1670—1747) былъ въ царствованіе Анны

Юанновны съ 1731 г. начальникомъ тайной розыскной канцеляріи, причеъ оставилъ по себѣ мрачную память. При императрицѣ Елизаветѣ сдѣланъ былъ сенаторомъ и получилъ графство.

Стр. 283. Въ Гернерсъ - Ферри въ 1859 г. былъ повѣшенъ южными рабобладѣльцами Съверо-Америк. Соед. Штатовъ Джонъ Броувъ за то, что освобождалъ негровъ изъ рабства.

Стр. 292. Князь Мих. Мих. Щербатовъ (1733—1790), историкъ, написавшій «Исторію Россійскую отъ древнѣйшихъ временъ» (15 книгъ). Въ другихъ своихъ сочиненіяхъ («О поврежденіи нравовъ въ Россіи» и др.) является противникомъ реформъ Петра Великаго.

Стр. 301. Талантливый англ. поэтъ и юмористъ Томасъ Гудъ (1798—1845) болѣе всего прославился своей знаменитой «Пѣсней о рубашкѣ».

— Въ концѣ 50-хъ год. въ Европѣ много шуму надѣлалъ случай насильственнаго крещенія въ католицизмъ еврейскаго мальчика Мортары.

Стр. 302. Въ концѣ этой страницы говорится о малороссійскихъ народныхъ разсказахъ Марко Вовчка (М. А. Марковичъ), переведенныхъ на русскій языкъ И. С. Тургеневымъ.

Стр. 304. Князь Владим. Александр. Черкасскій (1821—1878), славянофилъ, принимавшій дѣятельное участіе въ освобожденіи крестьянъ, въ 1863—67 гг. сотрудникъ Н. А. Милютина по устройству крестьянъ въ Польшу, а въ 1877—78 гг. губернаторъ Болгаріи.

Стр. 305. Сенаторъ Ив. Владимір. Лопухинъ (1756—1816) былъ массономъ и принадлежалъ къ кружку Н. И. Новикова. При Павлѣ I ревизовалъ Харьковскую и др. губ., причеъ вступался за духоборовъ, чьеъ остался доволенъ Александръ I, дававшій ему многія важныя порученія. Его «Записки», о которыхъ здѣсь идетъ рѣчь, изданныя Герценомъ въ Лондонѣ въ 1860 г., были перепечатаны въ «Рус. Архивѣ» 1884 г.

— Графъ Яковъ Александр. Брюсъ (1731—1791) былъ не генераль-губернаторомъ, какъ сказано у Герцена, а главнокомандующимъ въ Москвѣ съ 1782 г.

Стр. 306. Жанъ Каласъ, франц. протестантъ, невинно казненный по поддартію къ убійствѣ своего сына (въ 1762 г.). Вольтеръ добился въ 1765 г. признанія его невиннымъ съ стороны парижскаго парламента.

Стр. 308. Мартинисты—общество русскихъ массоновъ, основанное въ Москвѣ въ 1780 г., во главѣ котораго стояли Н. И. Новиковъ, И. В. Лопухинъ и др. Назывались такъ по имени теософа и мистика Сенъ - Мартена (1743—1803).

Стр. 318. Вильямъ Уильберфорсъ (1759—1833), англ. дѣятель, способствовавшій освобожденію негровъ въ англ. колоніяхъ и прекращенію торговли невольниками.

Стр. 322. Иоганъ-Каспаръ Блунчли (1808—1881), нѣм. юристъ, представитель органической школы въ государственномъ правѣ. Издавалъ много сочиненій по государственному праву.

Стр. 323. Францъ Палацкій (1798—1876), чешскій историкъ и выдающійся политическій дѣятель, вождь старочеховъ, членъ австрійской палаты господъ, авторъ капитальной «Исторіи чешскаго народа» и др. книгъ.

Стр. 325. «Аугсбургская, подслѣпая, съдалъ старушонка», — одна изъ старѣйшихъ нѣм. газетъ «Augsburger Allgemeine Zeitung».

— Johann Maria Farina — фабрикантъ одеколона въ Кельнѣ.

Стр. 326. Шарль де-Мазадъ (1821—1893), франц. публицистъ, въ 50-хъ—60-хъ годахъ обращавшій на себя вниманіе своими историческими этюдами, а также статьями о Россіи и Польшѣ.

Стр. 331. Проф. исторіи Платонъ Вас. Павловъ (1833—1894), въ 1862 г. былъ административно высланъ въ Велдугу за публичную лекцію о тысячелѣтіи Россіи.

Стр. 336. Пав. Мих. Леонтьевъ (1822—1875), классикъ - латинистъ, редакторъ Каткова по «Москов. Вѣд.», основавшій съ нимъ лицей цесаревича Николая въ Москвѣ и дѣятельно поддерживавшій классическую систему образованія противъ реальной.

Стр. 339. Александръ Васил. Головинъ (1821—1886) былъ въ то время (1861—66 гг.) министромъ народнаго просвѣщенія, Вас. Андр. Долгоруковъ (см. прим. къ 179 стр. этого тома) шефомъ жандармовъ, а Петръ Александр. Валуевъ (1814—1890) министромъ внутреннихъ дѣлъ.

Стр. 341. Буквами М. К. обозначена Марья Каспаровна Эрнъ.

Стр. 349. San Carlino — театръ въ Неаполѣ.

— Розина и Бартоло—дѣйствующія лица въ комедіи Бомарше «Свадьба Фигаро».

Стр. 353. Шешковскій былъ начальникомъ тайной полиціи при Екатеринѣ II.

— Майборода и Шервудъ донесли о заговорѣ декабристовъ. Байборода былъ псевдонимъ Каткова. Шервудъ за свой доносъ получилъ къ своей фамиліи прибавку Вѣрный.

Стр. 357. Викторъ Ипатьев. Аскоченскій (1813—1879), реакціонный журналистъ, издававшій въ 60-хъ годахъ проникнутый мракобсіемъ журналъ «Домашнюю Бесѣду».

— Степ. Степ. Громека (1823—1877) до 1859 г. служилъ въ жандармахъ, а послѣ сталъ сотрудникомъ «Отеч. Записокъ», гдѣ писалъ либеральныя статьи. Подъ конецъ жизни былъ сдѣланнымъ губернаторомъ и насильственно обращалъ униатовъ въ православіе.

Стр. 359. Князь Александръ Аркад. Суворовъ (1804—1882) служилъ въ Польшѣ, исполнялъ дипломатическія порученія, а въ 1861—66 гг. былъ петербургскимъ генералъ-губернаторомъ.

Стр. 360. Генералъ Мих. Никит. Кречетниковъ (1732—1793) отличался во время Екатерины II въ турецкихъ войнахъ и усмирилъ гайдамаковъ, пропавшихъ уманскую рѣзню 1768 г.

— Максимъ Желъзнякъ предводитель гайдамаковъ, пропавшихъ умань-

скую рѣзню, былъ сосланъ въ Сибирь; онъ въ народной памяти чтится, какъ герой борьбы съ поляками за народность и вѣру.

— Иванъ Гонта вмѣстѣ съ Желъзнякомъ былъ инициаторомъ уманской рѣзни.

Стр. 369. Андрей Тимоф. Болотовъ (1738—1833) извѣстенъ своими «Записками», дающими драгоценный матеріалъ для изученія быта и нравовъ Россіи второй половины XVIII в.

Стр. 376. Бекки Чарльзъ — геройнаго романа Теккереля «Базаръ житейской суеты» (Vanity Fair).

Стр. 379—380. «Величавый старикъ съ длинной серебряной бородой» и т. д. — здѣсь Герценъ говоритъ о декабристѣ князѣ Серг. Григ. Волконскомъ (1788—1865), посѣтившемъ его въ Лондонѣ въ 1861 г.

Стр. 380. Генералъ Улиссъ Грантъ (1822—1885) во время междоусобной войны въ Сѣв. Америкѣ за освобожденіе негровъ, назначенный въ 1864 г. главнокомандующимъ войсками сѣверныхъ штатовъ, успѣшно окончилъ войну. Былъ президентомъ съ 1869 по 1875 г.

— Генералъ Робертъ - Эдмундъ Ли (1807—1870), во время междоусобной войны былъ главнокомандующимъ арміи южныхъ штатовъ и, благодаря своей энергіи, долго поддерживалъ сопротивление южныхъ штатовъ.

Прогрессъ, какъ эволюція жестокости. М. Энгельгардта. Ц. 75 к.
 Вырожденіе. Психологическія явленія въ области современной литературы и искусства. Макса Нордау. 585 стр. 2-е изд. Ц. 1 р. 50 к.
 Въ поискахъ за истиной. Макса Нордау. Пер. съ нѣм. Эд. Зауэръ. 4-е изд. Ц. 1 р.
 Этика. Ученіе о нравственности. Сост. проф. Маккензи. Переводъ съ англійскаго. Ц. 1 р.
 Прогрессивная нравственность. Фаулера. Съ англ. подъ ред. Вл. Соловьева. Ц. 40 к.
 Нравственный инстинктъ. Сутерланда. Съ англ. Ц. 1 р. 50 к.
 Счастье и трудъ. Мантегацца. 3 изд. Ц. 60 к.
 Философія исторіи въ ея главнѣйшихъ теченіяхъ. Д-ра Раппопорта. Ц. 75 к.
 Политическая исторія современной Европы. (1814—1896). Сеньбоса. Переводъ подъ ред. проф. А. Трачевскаго. Ц. 1 р. 50 к.
 Исторія французской революціи. И. Карно. Переводъ съ франц. 2-е изд. Ц. 1 р.
 Герои и героическое въ исторіи. Публичные бесѣды Томаза Карлояли. 2-е изд. Ц. 1 р.
 Путь къ счастью. Сост. Ф. Кирхнеръ. Ц. 60 к.
 Исторія книги на Руси. А. Бахтіарова. Со многими рисунками. Ц. 1 р. 50 к.
 Европейскіе монархи и ихъ дворы. Политикоса. Съ 16 портретами. Ц. 1 р.
 Иезуиты, ихъ исторія, организація и практическая дѣятельность. Ж. Губера. Съ нѣм. Ц. 1 р.
 Очерки самоуправленія (земскаго, городского, сельскаго). С. Приклонскаго. Ц. 2 р.
 Роль общественнаго мнѣнія въ государств. жизни. Проф. Гольцендорфа. Ц. 75 к.

Популярно-научныя книги.

Нерѣшенные проблемы биологіи. Съ приложеніемъ статей о Р. Вирховѣ и Л. Бюхнерѣ. В. В. Луневича. Съ 81 рис., 4 таблицами и 8 портретами. Ц. 2 р.
 Основы жизни. Популярная биологія. В. В. Луневича. Съ 465 рис. и 7 хромолитографіями. 2-е изданіе. Ц. 4 р.
 Научныя и социальныя изслѣдованія. А. Р. Уоллеса. Томъ 1-й. Съ 89 рис. и картой. Ц. 1 р. 75 к.
 Соціальныя этюды. Тарда. Ц. 1 р. 50 к.
 Законы подражанія. Тарда. Ц. 1 р. 50 к.
 Соціальная жизнь животныхъ. Эспинаса. Пер. Ф. Павленкова. 2-е изд. Ц. 1 р.
 Мужчина и женщина. Этюдъ о вторичныхъ полов. признакахъ у человѣка. Г. Эллиса. Ц. 1 р.
 Преступная толпа. Опытъ коллективной психологіи. С. Сигеле. 116 стр. 2 изд. Ц. 30 к.
 Преступленія и проституція, какъ социальныя болѣзни. Гирша. Ц. 30 к.
 Очерки психологіи. Тиченера. Съ англійскаго Ц. 1 р.
 Психологія чувствъ. Рибо. Ц. 80 к.
 Психологія вниманія. Д-ра Рибо. Ц. 30 к.

Психологія характера. Ф. Полана. Ц. 75 к.
 Психологія великихъ людей. Проф. Жоли. Переводъ съ франц. 3-е изд. Ц. 60 к.
 Эволюція общихъ идей. Т. Рибо. Переводъ М. Гольдсмитъ. Ц. 60 к.
 Физиологія страстей. Летурно. Ц. 1 р.
 Физиологическія бесѣды. А. Герцена. Проф. Лозанскаго университета. Ц. 1 р.
 Патологія души. Популярныя бесѣды. Д-ра М. Флэри. Ц. 1 р.
 Геніальность и помѣшательство. Ц. Ломброзо. Съ рисунками. 3-е изд. Ц. 1 р.
 Чудесный вѣкъ. Естествен.-философскій обзоръ XIX ст. проф. Уоллеса. Ц. 1 р. 50 к.
 Душевные движенія. Д-ра Ланге. Ц. 40 к.
 Привычка и инстинктъ. Л. Моргана. Съ англ. Ц. 1 р.
 Миръ грѣзъ. Д-ра Симона. Сновидѣнія, галлюцинаціи, сомнамбулизмъ, гипнотизмъ. Ц. 1 р.
 Экстазы человѣка. П. Мантегацца. Переводъ съ 5-го итальян. изданія. Ц. 1 р. 50 к.
 Современные психопаты. Д-ра А. Кюллера. Переводъ съ франц. Ц. 1 р. 50 к.
 Характеръ и нравственное воспитаніе. Кейра. Съ франц. Ц. 40 к.
 Воспитаніе воли. Ж. Пэйо. 4-е изд. Ц. 60 к.
 Воспитаніе чувствъ. Тома. Съ франц. Ц. 60 к.
 Духовный прогрессъ и счастье. П. Лоскутова. Ц. 1 р.
 Пессимизмъ. Соч. Джамса Сэлли. Обзоръ пессимист. ученій. Съ англ. Ц. 1. 50 к.
 Вѣритъ или не вѣритъ? Экскурсія въ области таинственнаго. Д-ра Витнера. Ц. 1 р. 50 к.
 Гипнотизмъ въ теоріи и на практикѣ. Д-ра Маррона. Съ франц. Ц. 75 к.
 Исторія міра. Гюйара. Съ 101 рис. Съ фр. Ц. 1 р.
 Эволюціонная этика и психологія животныхъ. Э. П. Эванса. Пер. съ англ. Ц. 75 к.
 Положительная философія Огюста Конта въ популярномъ изложеніи д-ра Робина. Ц. 50 к.
 Философія Герберта Спенсера въ сокр. изд. Коллинса. Пер. съ англ. 2-е изд. Ц. 2 р.
 Философія Шопенгауэра. Т. Рибо. Переводъ Э. К. Ватсона. Ц. 50 к.
 Дарвинизмъ. Э. Ферьера. Пер. съ фр. Ц. 50 к.
 Исторія религіи. Проф. Мензиса. Ц. 1 р.
 О вѣрованіи. Ж. Пэйо. Перев. съ франц. Ц. 50 к.
 Безсмертіе съ точки зрѣнія эволюціоннаго натурализма. Лекція А. Сабатье. 2-е изд. Ц. 50 к.
 Живописная астрономія. К. Фламариона. Съ 382 рисунк. 2-е изд. Ц. 3 р.
 Основы политической экономіи. Шарля Жюда. Перев. съ 4 франц. изданія. Ц. 1 р. 25 к.
 Итоги XIX вѣка. Д. Пордена. Ц. 40 к.
 Жизнь и смерть. Пуб. лек. А. Сабатье. Ц. 75 к.
 Развитие народнаго хозяйства въ Западной Европѣ. М. Ковалевскаго. Ц. 75 к.
 Письма о земледѣліи. М. Энгельгардта. Ц. 50 к.
 Современная женщина.—Ея положеніе въ Европѣ и Америкѣ. Б. Ф. Брандта. Ц. 60 к.

А. И. Герценъ. Его жизнь и литературная дѣятельность (изъ серіи «Жизнь замѣчательныхъ людей»). Ц. 25 к.

Цѣна за 7 томовъ 12 рублей.

Изданіе Ф. Павленкова.

3300000

СОЧИНЕНІЯ

А. И. ГЕРЦЕНА^ъ

и

Переписка съ Н. А. Захарьиной.

ВЪ СЕМИ ТОМАХЪ.

Съ примѣчаніями, указателемъ и 8 снимками (7 портретовъ и 1 статуя).

Томъ VII.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія Ю. Н. Эрлихъ, Садовая, № 9.

1905.

ИЗДАНИЯ Ф. ПАВЛЕНКОВА.

Продаются во всѣхъ книжныхъ магазинахъ. Главный складъ въ книжномъ магазинѣ П. Луковникова. (Спб. Лейтунковъ пер., № 2).

Литература, исторія, публицистика.

- Сочиненія Пушкина. Съ портретами, биографіей и 500 письмами. Полное собраніе въ 1-мъ томѣ и въ 10 томахъ. 5-е изд. Цѣна 1-го тома и 10-гомаго изданія одна и та же: 1 р. 50 к. За переплеты для 1-гомаго изданія — 50 к. Для 10-гомаго (5 перешетовъ) 1 р. и 2 р.
- Сочиненія Н. В. Гоголя. Съ биографіей, портретами и 184 рис. Полное собраніе въ 1-мъ томѣ. Ц. 1 р. 25 к. Въ переплетѣ 2 р.
- Сочиненія Лермонтова. Съ портретами, биографіей и 115 рисунк. Полное собраніе въ одномъ томѣ. Ц. 1 р. Въ переплетѣ 1 р. 50 к.
- Сочиненія Глѣба Успенскаго. 4 изд. Ц. за два тома—3 р.
- Повѣсти и рассказы Н. В. Яковлевой. Автора «Обручелей». Богѣ 400 стр. Ц. 1 р. 25 к.
- Капитанская дочка. Повѣсть А. Пушкина. Съ 188 рис. Ц. 60 к. Въ папкѣ 75 к. Въ перепл. 1 р.
- Сочиненія Чарльза Диккенса. Полное собраніе въ 10 томахъ. Цѣна каждаго тома 1 р. 50 к.
- 1) Давидъ Копперфильдъ. 2) Домби и сынъ. 3) Холодный домъ и Повѣсть о двухъ городахъ. 4) Крошка Дорритъ и Большая оживленія. 5) Нашъ общій другъ и Оливеръ Твистъ. 6) Записки Пиквикскаго клуба и Тяжелыя времена. 7) Николай Никльби и три «Святоточныхъ» разсказа. 8) Мартинъ Чезльвиль. Гимнъ Рождеству. Затравленъ. 9) Барнеби Реджъ. Тайна Эдвина Друда и Колокола. 10) Лавка древностей. Записки путешественника на по торговымъ дѣламъ. Станція Мегби. Мѣдфогскія записки. Рецепты д-ра Мерингольда. Безъ выхода. Портретъ и биографія автора.
- Сочиненія Виктора Гюго. Съ портр. автора и статей А. Скабичевскаго. Два тома. Ц. 2 р. 50 к.
- Сочиненія Эркмана-Шатриана. Въ двухъ томахъ. Ц. 3 р.
- Одинъ въ полѣ — не воинъ. Соціолог. романъ Шпилягагена. Пер. съ нѣм. Ц. 1 р. 25 к.
- Грядущая раса. Фантастическій романъ. Эд. Бульвера. Перев. съ англ. Ц. 50 к.
- Черезъ сто лѣтъ. Соціалистическій романъ. Э. Беллами. 4-е изд. Ц. 75 к.
- Голодь. Романъ Гамсуна. Ц. 60 к.
- Забота. Романъ Г. Зудермана. Ц. 60 к.
- Долой оружіе! Антивоенный романъ. Б. Зутнеръ. Цѣна 80 к.
- Будущее человѣчество. Соціалистическая фантазія. Мантегацца. Съ 20 рис. Ц. 40 к.
- Большая любовь. Гигиеническій романъ. П. Мантегацца. 2-е изд. Ц. 50 к.
- Конецъ міра. Астроном. романъ К. Фламариона. Съ 80 рисунками. Ц. 60 к.
- Стелла. Астрономическій романъ К. Фламариона. Ц. 80 к.
- Литература XIX вѣка въ ея главнѣйшихъ теченіяхъ. Г. Брандеса. I. Французская литература. Съ 13 портр. Ц. 2 р.—II. Англійская литература. Ц. 75 к.—III. Нѣмецкая литература Ц. 1 р.
- Исторія новѣйшей русской литературы. (1848—1903) А. М. Скабичевскаго. Ц. 2 р.
- Литература различныхъ племенъ и народовъ. III. Летуано. Ц. 1 р. 50 к.
- Тургеневъ о русскомъ народѣ. Чтеніе для народа. Съ портретомъ И. С. Тургенева. Ц. 15 к.
- Сочиненія А. М. Скабичевскаго. 2 тома. Съ портретомъ автора, 3 изд. Ц. 3 р.
- Исторія русской цензуры. Его же. Ц. 2 р.
- Сочиненія В. Г. Бѣлинскаго. Полное собр. въ 4 томахъ. Съ портр., факсимиле и снимкомъ съ карт. Наумова «Бѣлинскій передъ смертью». Ц. 1, 2 и 3-го том. по 1 р., 4-го тома 1 р. 25 к.
- Сочиненія Д. И. Писарева. Полное собраніе въ 6 томахъ. Цѣна каждаго тома 1 рубль.
- Исторія культуры. Ю. Липперта. Переводъ съ нѣм. Съ 83 рис. 6-е изд. Ц. 1 р. 60 к.
- Исторія семьи. Ю. Липперта. Ц. 60 к.
- Исторія первобытныхъ людей. Э. Клодда. Перев. М. Энгельгардта. Съ 88 рис. Ц. 40 к.
- Первобытные люди. Дебьера. Съ 84 р. Ц. 75 к.
- Исторія девятнадцатаго вѣка (1789—1899). Профессора Марешала. Ц. 3 р.
- Исторія французской революціи. Лависса и Рамбо. Перев. М. Голшина. Ц. 1 р. 50 к.
- Общественный организмъ. Р. Ворриса. Переводъ рек. проф. А. Трачевскаго. Ц. 75 к.
- Общественный прогрессъ и регрессъ. Проф. Греефа. Перев. Паперна. Ц. 1 р. 50 к.
- Соціальное развитіе. В. Кидда. Ц. 75 к.
- Психологія народовъ и массъ. Г. Лебона. Съ франц. Ц. 1 р.
- Психологія французскаго народа. Фулье. Съ франц. Ц. 1 р.
- Психическіе факторы цивилизаціи. Л. Уорда. Переводъ Л. Давыдовой. Ц. 80 к.
- Современное народовѣдѣніе. Ахелкса. Съ нѣмец. Ц. 1 р. 50 к.
- Соціологическія основы исторіи. Лаконба. Ц. 1 р. 50 к.
- Исторія цивилизаціи въ Англии. Бокля. Перев. А. Н. Буйницкаго. Съ портр. автора. Ц. 2 р.
- Исторія рабочаго движенія въ Англии. Уэбба. Съ англійскаго Ц. 1 р. 50 к.
- Организація свободы и общественный долгъ. А. Прэнса. Ц. 80 к.
- Представительное правленіе. Дж. Стюарта Милла. Ц. 60 к.
- Въ трущобахъ Англии. Бутса. Ц. 1 р.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS.



Наталія Александровна Герценъ.

(Съ дагерротипа, 1849 г.).



А. И. Герценъ.
(Съ литографиѣи, 1848 г.).

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS.

СОЧИНЕНІЯ
А. И. ГЕРЦЕНА.

Томъ VII.

СОЧИНЕНІЯ
А. И. ГЕРЦЕНА

И

Переписка съ Н. А. Захарьиной.

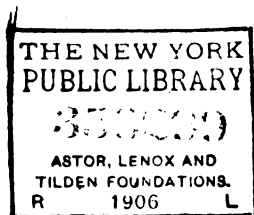
~~~~~  
ВЪ СЕМИ ТОМАХЪ.  
~~~~~

Съ примѣчаніями, указателемъ и 8 снимками (7 портретовъ и 1 статуя).

Томъ VII.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Издание Ф. Павленкова.
1905.



Типографія Ю. Н. Эрлихъ, Садовая, № 9.

Оглавленіе VII-го тома.

Переписка А. И. Герцена съ Н. А. Захарьиной.

Переписка А. И. Герцена съ Н. А. Захарьиной.		СТР.
Первыя записочки		1
1833 годъ		2
1834 годъ		4
1835 годъ:		
Февраль мѣсяцъ		7
Мартъ мѣсяцъ		9
Апрѣль мѣсяцъ		10
Май мѣсяцъ		13
Іюнь мѣсяцъ		15
Іюль мѣсяцъ		22
Августъ мѣсяцъ		25
Сентябрь мѣсяцъ		29
Октябрь мѣсяцъ		36
Ноябрь мѣсяцъ		42
Декабрь мѣсяцъ		48
1836 годъ:		
Январь мѣсяцъ		56
Февраль мѣсяцъ		62
Мартъ мѣсяцъ		71
Апрѣль мѣсяцъ		79
Май мѣсяцъ		89
Іюнь мѣсяцъ		97
Іюль мѣсяцъ		108
Августъ мѣсяцъ		117
Сентябрь мѣсяцъ		130
Октябрь мѣсяцъ		150
Ноябрь мѣсяцъ		168
Декабрь мѣсяцъ		188
1837 годъ:		
Январь мѣсяцъ		207
Февраль мѣсяцъ		221

	СТР.
Мартъ мѣсяцъ	235
Апрѣль мѣсяцъ	258
Май мѣсяцъ	279
Іюнь мѣсяцъ	297
Іюль мѣсяцъ	309
Августъ мѣсяцъ	324
Сентябрь мѣсяцъ	340
Октябрь мѣсяцъ	354
Ноябрь мѣсяцъ	373
Декабрь мѣсяцъ	394
1838 годъ:	
Январь мѣсяцъ	413
Февраль мѣсяцъ	449
Мартъ мѣсяцъ	490
Апрѣль мѣсяцъ	549
Май мѣсяцъ	584
Примѣчанія	589
Именной указатель	595

Переписка А. И. Герцена съ Н. А. Захарьиной.

Первыя записочки.

(БЕЗЪ УКАЗАНІЯ ГОДА И ЧИСЛА.)

(Безъ обозначенія числа).

Сдѣлайте одолженіе, любезнѣйшая Наталья Александровна! Увѣрьте княгиню Марью Алексѣевну, что я упалъ самымъ безвреднымъ образомъ и поблагодарите за участіе и вниманіе. Эмиль Михайловнѣ мое почтеніе. Я на дняхъ самъ буду.

Весь вашъ *Александръ Герцень*.

15 августа 1832 (или 1833) г.

Любезнѣйшая Наталья Александровна! Сегодня день вашего рожденія, съ величайшимъ желаніемъ хотѣлось бы мнѣ поздравить васъ лично; но, ей Богу, нѣтъ никакой возможности; я виноватъ, что давно не былъ, но обстоятельства совершенно не позволили мнѣ по желанію расположить временемъ. Надѣюсь, что вы простите мнѣ, и желаю вамъ полнаго развитія всѣхъ вашихъ талантовъ и всего запаса счастья, которымъ надѣляется судьба души чистой. Эмилиі Мих. мой поклонъ.

Преданный вамъ *Александръ Герцень*.

Надѣюсь на нынѣшней недѣлѣ у васъ быть (вѣроятно въ субботу).

18 сентября.

Люб. Н. А.!

Посылаю в[амъ] требуемый томъ исторіи Карамзина.

Пред. отъ всей души *А. Г.*

(Безъ обозначенія числа).

Natalie! Мы ждемъ васъ съ нетерпѣніемъ къ намъ. Маменька надѣется, что, несмотря на угрозы вчерашнія отъ Егора Ив., Эмилиі Михайловна, *навѣрное*, будетъ къ вамъ.

Итакъ до свиданія. Весь вашъ *Алекс. Герцень*.

(Безъ обозначенія числа).

Любезнѣйшая Наталья Александровна! Жалю, что вы такъ врасплохъ просите у меня книгъ; ей Богу нѣту; посылаю *Уранию*, тамъ повѣсть *Нишій* и романъ Вальтеръ Скотта. Статья моя ужъ болѣе не моя! Стихи вы найдете списанными на другой сторонѣ записки, для меня они прелестны; какъ видна душа чистая, неземная, гдѣ еще не померкло небесное начало ея. Впрочемъ, у вся-

каго свой вкусъ! Боюсь дурной хвалой портить. Эмиль Михайловнѣ кланяюсь и очень желаю, чтобъ вамъ обѣимъ время шло весело.

До свиданія *Ал. Герценъ.*

Отрадный міръ.

Съ тѣхъ поръ, какъ я сроднилась
Съ страданіемъ горькимъ и тоской,
Звѣзда надеждъ моя затмилась
И ненавистенъ край земной!
Но есть міръ вѣчный и прекрасный,
Куда летаю я,
Гдѣ чувствую душою страстной
Всю прелесть бытія.
Тотъ міръ открытъ для наслажденья.
Въ немъ вѣчная любовь,
Въ немъ нѣтъ тоски, и нѣтъ мученья
И страсти не волнуютъ кровь.

Л.

Удивительно ли, Natalie! что я тамъ бываю почти всякій день, и все мало; вотъ образчикъ первый попавшійся чувствъ и души не у одной особы, а у всего семейства.

Александръ Герценъ.

Суббота.

Хоть и очень недавно я писалъ къ вамъ, Наталья Александровна, но хорошій случай жаль пропустить, и потому я пишу опять (Вы въ прошлой разъ сами ничего мнѣ). Татьяна Петровна ѣдетъ надняхъ къ дядѣ въ Тулу, который за нею прислалъ лошадей. Но ея еще здѣсь нѣтъ. Пассеки всѣ здоровы. Вотъ отвѣты на ваши вопросы. Теперь остается, пожелавъ вамъ покойной ночи и пріятнаго сна (ибо вѣрно у васъ спать одна изъ самыхъ значительныхъ забавъ), повторить искреннѣйшую преданность.

Ал. Герценъ.

Эм. Мих. больна *тоскою по Москвѣ*; есть очень дѣйствительное лѣкарство—воротиться въ Москву, чему и я весьма буду радъ.

1833 годъ.

Юня 26.

Я обѣщался вамъ написать, любезнѣйшая Наталья Александровна! и вотъ съ величайшей аккуратностью выполняю обѣщаніе.

Экзаменъ кончился, и я—кандидатъ! Вы не можете себѣ представить сладкое чувство воли послѣ четырехлѣтнихъ непрерывныхъ насильственныхъ занятій; теперь я отданъ самому себѣ и теперь только начну свое образованіе, ибо хотя я и *кончилъ курсъ*, но собралъ такъ мало, что стыдно на людей смотрѣть.

Вспомнили ли вы и Эмиля Михайловна обо мнѣ въ четвергъ? День былъ душевной, и пытка наша продолжалась отъ 9 утра до 9 вечера.

Какъ проводите время? Теперь деревня рай, и я съ радостью бы поѣхалъ, ... на короткое время, ибо для меня и Москва не хуже рая. Я привыкъ, я люблю Москву, въ ней я выросъ, въ ней тѣ нѣсколько человѣкъ, которые искренно,

долго будутъ жалѣть обо мнѣ; другіе города представляютъ мнѣ только множество людей, и я посреди ихъ одинъ одиноконекъ,—а это грустно! Впрочемъ, ежели будетъ нужда, будетъ польза, я готовъ ѣхать хоть въ Камчатку, хоть въ Гривію, лишь бы въ виду было принести какую-нибудь пользу родинѣ.

Я думаю, вы теперь все гуляете, а я что же за *trouble fête*, что останавливаю своимъ письмомъ. Итакъ, прощайте. Преданный вамъ Александръ Герценъ.—Маменька кланяется вамъ и Эм. М. и М. С.

Р. С. Марья Степ. прошу свидѣтельствовать [не разобрано]. Эмиль Михайловичъ мое почтеніе и благодарность за пріятныя минуты, которыя я съ нею провелъ. Пасеки *остъ* вамъ кланяются. Я ихъ рѣдко теперь видаю; но, впрочемъ, я насытенъ: никогда не скажу, что довольно часто. Сейчасъ отъ васъ письмо, благодарю за все. Пас. буду кланяться и, еще болѣе, покажу ваше письмо. Я васъ спрошу такъ же, какъ вы нѣкогда меня: *почему же вы собирались* писать именно Любѣ. Но надѣюсь, что васъ этотъ вопросъ не такъ удивитъ, какъ меня вашъ.

А. Г.

Юля 5 или 6 не знаю.

Напрасно, Наталья Александровна, напрасно вы думаете, что я ограничусь однимъ письмомъ; вотъ вамъ и другое. Мнѣ чрезвычайно пріятно писать къ тѣмъ особамъ, съ которыми есть какое-то сочувствіе. Такихъ людей такъ мало, такъ мало, что и десяти бумаги не изведешь въ годъ къ нимъ на письма.

Я кандидатъ—это правда; но золотую медаль дали не мнѣ; впрочемъ, дали такому человѣку, съ которымъ я бы постыдился вступить въ соперничество. Весь университетъ дивится этому. Мнѣ серебряная медаль. Одна изъ трехъ!

Замѣчаніе Эмилиі Мих. на мое письмо, вѣроятно, очень хорошо; но я его совершенно не понялъ и не постигаю, почему самую простую фразу обратить въ насмѣшку, и съ этой насмѣшкой вспомнить давно забытое что-то. Я очень благодарю Эм. Мих. за участіе въ моемъ кандидатствѣ.

Живу я теперь—небо копчу, то есть почти ничего не дѣлаю. Ежели гулять не дѣло, ежели купаться не дѣло, ежели ѣсть не дѣло? Вчера былъ я съ Пасеками на Воробьевыхъ горахъ; это—священное мѣсто для меня; тамъ я еще при переходѣ изъ младенчества въ юношество болѣе и болѣе знакомился съ Огаревымъ; тамъ довѣряли мы другъ другу мысли, томившія души наши, тамъ бывалъ я чистымъ, восторженнымъ юношею, и теперь во многомъ разочарованный, кое-гдѣ сожженный страстями, я съ восхищеніемъ перебиралъ тамъ всѣ переѣны, бывшія со мною въ эти 10 лѣтъ; можетъ, во многомъ я улучшился, но это не въ самое послѣднее время. У меня есть статья о Воробьевыхъ горахъ, я ее прочту вамъ и Эм. Мих., я о ней, кажется, ужъ говорилъ вамъ. Дивно дѣйствіе нагорнаго воздуха! Какая-то гармонія, звенить въ ухахъ, вы задыхаетесь, вы готовы плакать, все земное исчезло, все небо на землѣ. И тутъ-то, тутъ-то имѣть возлѣ себя друга, и ему передать свои опущенія не черезъ холодыльничекъ пера, а пламенной, каленой лавой рѣчи. Но, впрочемъ, въ эти торжественныя минуты мало или ничего нельзя говорить,—земной языкъ недостаточенъ. Музыка, одна музыка неопредѣленная, таинственная перенесетъ душъ ощущеніе другой души. Я заврался, извините!

Право, болѣе писать не о чемъ; была ужасная гроза, перебило нѣсколько чело-
вѣкъ; вообще, не проходитъ недѣли, чтобы не было или вьюги, или града, или

чего-нибудь. Жары смертныя, для меня это всего ужаснѣе, ибо и внутри жаръ и снаружи жаръ, есть отчего сдѣлаться котлетой жареной. Это презабавно, будутъ подавать котлеты изъ Герцева, немножко сухо мясо! Вотъ вамъ и Эм. Мих. новые стихи Огарева, которые недавно получилъ изъ Пензы. Книгинѣ Мар. Ал. мое *любочайшее* почтеніе, Эм. Мих. *дружескій* поклонъ, вамъ—два.

Александръ Герцень.

Сегодня актъ, но я не былъ! ибо не хочу быть вторымъ при полученіи награды.

7 1834 годъ.

(Безъ обозначенія числа).

Теперь я понялъ *le ton de l'exaltation* твоихъ записокъ: ты влюблена. Я не претендую на то, что ты не сказала мнѣ этого сама, ибо эти вещи трудно говорятся. Но я знаю, и посему почитаю вправѣ говорить съ тобою объ этомъ. Ни слова объ опасности любить, о цѣли, о планѣ, это все не по моей части. Но достоинъ ли онъ тебя? Умѣетъ ли, можетъ ли любить?—Пришли мнѣ листокъ его журнала, я тебѣ его возвращу, но тогда я буду судить холодно, строго, какъ палачъ. Ты не знаешь, что такое люди, и еще менѣе, что такое юноша: между юношею въ 19 лѣтъ и въ 23 уже нѣтъ сходства, это разные люди. Не трать напрасно своего сердца, не играй страстями, — обожжешься, вѣрь мнѣ въ этомъ; я опаленъ со многихъ сторонъ. Я знаю, что по большей части *les premières amours* — это ничего, *c'est de l'eau tiède*, это одинъ опытъ; но зачѣмъ же изнашивать равно сердце? Я не знаю его, — но у меня нѣтъ голоса внутри, который бы говорилъ, что онъ достоинъ моей сестры. Повторяю, что не знаю его, не обижайся. Но вѣрь, что ежели бы отъ меня зависѣлъ этотъ выборъ, я былъ бы ужасно разборчивъ; развѣ ты не знаешь себя, что такъ неглиже бросаешь свое сердце первому встрѣтившему отъ того, что онъ первый? Ежели ты мнѣ напишешь, что уже рѣшено, конечно, ты любишь его серьезно, я умоляю, ибо тутъ оканчивается власть брата, еще болѣе, я готовъ всѣми силами помогать тебѣ. Но слова эти мнѣ надобно было сказать. Ты знаешь ли, что такое люди обыкновенные?.. Иоаннъ, поэтъ-Евангелистъ, сказалъ: «*Ты ни холоденъ, ни горячъ. О, если бы ты былъ холоденъ или горячъ!*» Впрочемъ, они могутъ *составить счастье*; но твое ли это счастье, Наташа? Ты слишкомъ мало цѣнишь себя. Лучше въ монастырь, нежели въ толпу.

Помни одно, что я говорю по тому, что я твой братъ, потому, что я гордъ за тебя и тобою, потому, что я хотѣлъ бы, чтобы твоя жизнь была полна и извѣстна. Но ежели ты сама уже рѣшила, то прости мнѣ и знай, что я ничего не имѣю противъ твоей любви. Люби и не испытай никогда, что мои слова истинны; пусть они ложь, лишь бы ты счастлива.

Въ горькую минуту послалъ я тебѣ прошлую записку; оттого она глупа, брось ее въ печь. Я съ тѣхъ поръ еще разъ получилъ письмо отъ Ог.; вотъ тебѣ выписка: «*L'autre jour donc je repassais dans me mémoire toute ma vie. Un bonheur qui ne m'a jamais trahi—c'est ton amitié. De toutes mes passions une seule qui est restée intacte —c'est mon amitié pour toi—car mon amitié est une*

passion». — О, дружба! Ни слова болѣе; но какво долженъ любить тотъ, у кого дружба страсть.

Отчего ты не въ ладу съ Эмильею Мих.? Мнѣ, кажется, что, кромѣ меня да ея, у тебя ужъ нѣтъ друзей.

Въ заключеніе еще слово: онъ тебя любить, вѣрю, что жъ тутъ мудреннаго и что же бы онъ былъ, еслибъ не любилъ, видя хоть тѣнь вниманія; но я умоляю тебя, не говори ему о своей любви долго, долго, этотъ мигъ ужасенъ (но можеть ты уже сказала?), тогда ты въ его власти. Наташа, ежели бъ я могъ разсказать тебѣ одно происшествіе,—но я не могу сего сдѣлать. Прощай.

Твой братъ *Александръ Герценъ*.

(Безъ обозначенія числа)

Какихъ чудесъ на свѣтѣ не водится, Natalie: я, прежде нежели получилъ послѣднюю твою записку, отвѣчалъ тебѣ на всѣ вопросы, какъ будто въ магнитическомъ ясновидѣніи. Я слышалъ, ты больна, грустна. Береги себя, пей съ твердостью не столько горькую, сколько отвратительную чашу, которую наполняютъ тебѣ *благодѣтельные* люди. На счетъ меня ты мечтаешь какъ ребенокъ, то есть какъ существо чистое и незнакомое съ людьми. Не одиночество, а размышленія довели меня до страшныхъ слѣдствій; конечно, бываютъ минуты грустныя и отъ одиночества, но не всѣ отъ него. Не стыдно ли думать, что я сержусь за такой вздоръ; это тебѣ вѣрно сказали, шутя. Очень много надобно, чтобъ разсердить меня.

Я вспомнилъ анекдотъ, думая о твоёмъ намѣреніи идти въ монастырь. Въ 1820 году австрійское правительство хватало и судило за карбонаризмъ всѣхъ итальянцевъ. Между прочими взяли поэта Сильвіо Пеллико. У него была сестра, которую онъ ужасно любилъ. Пеллико былъ приговоренъ къ смерти и *по милосердію* монарха отосланъ на десять лѣтъ въ подземелье Шпигельберга. Сестра его, не перенося разлуки, пошла въ монастырь. И какъ прелестно описываетъ Пеллико чувства, съ которыми онъ узналъ въ мрачной тюрьмѣ судьбу сестры. Его другъ, заключенный съ нимъ вмѣстѣ, Марончелли, написалъ поэму ей въ честь ¹⁾.—Прошло 10 лѣтъ; въ 1831 году Сильвіо, худой и изнеможенный, вышелъ изъ подземелья, полетѣлъ въ свою Италію и что же онъ нашель?—Одинъ гробовый крестъ на могилѣ своей сестры... Ужасная минута для брата.

Прощай, я тороплюсь. хочу писать и ужъ некогда, и пишу именно для того, чтобы тебя разсѣять чѣмънибудь; мнѣ досадно, что ты грустна.

J'ai l'honneur de vous saluer.

Alexandre.

10 декабря.

Сейчасъ написалъ я къ полковнику письмо, въ которомъ просилъ тебѣ о пропускѣ; отвѣта еще нѣтъ, вѣроятно, спросятъ твою фамилію, и ты также будешь упомянута между нашими возмутительными кинжалными именами. Но

¹⁾ *Воскресенье*. Тамъ по крайней мѣрѣ не разлучаютъ друзей, и не [не разобрано] цѣпь, за которую скованъ человекъ съ рукою друга.

у васъ это будетъ труднѣе обдѣлать, я полагаюсь на маменьку. Ты бы могла прожить сто лѣтъ, не побывавши въ жандармской казармѣ у арестанта. Итакъ, твое счастье на счетъ меня: ты была послѣдній изъ моихъ друзей, котораго я видѣлъ передъ взятіемъ (мы разстались, съ твердой надеждою увидѣться скоро, въ десятомъ часу, а въ два часа я уже сидѣлъ въ части) и ты первая опять меня увидишь; зная тебя, я знаю, что это тебѣ доставитъ удовольствіе, будь увѣрена, что и мнѣ тоже, — ты для меня родная сестра, иначе я не почитаю. Мнѣ раздраютъ душу твои домашнія непріятности, положеніе твое ужасно; но несчастія приносятъ ужасную пользу, они поднимаютъ душу, возвышаютъ насъ въ собственныхъ глазахъ.

О себѣ много нечего мнѣ говорить: я обжился, привыкъ быть колодникомъ, выбрышеннымъ изъ общества, государственнымъ преступникомъ, на будущее я не смотрю, — что будетъ, то будетъ. Самое грозное для меня это разлука съ Огаревымъ; этотъ человекъ мнѣ нуженъ, необходимъ, я безъ него одинъ томъ недоконченной поэмы, отрывокъ. И какъ онъ твердъ въ своемъ несчастіи! Но его ли глубокой душѣ потрясаться отъ этихъ земныхъ толчковъ? Я его ни разу не видалъ — то есть порядочно; но однажды я сидѣлъ одинъ въ горницѣ въ комиссіи, допросъ кончился, но намъ не даютъ встрѣчаться; изъ моего окна видны были освѣщенные сѣни; вдругъ подали дрожки, я бросился инстинктомъ къ окну, отворилъ форточку и видѣлъ, какъ сѣлъ плацъ-адъютантъ и съ нимъ Огаревъ; я весь дрожалъ, какъ влюбленный, но дрожки укатились, и ему нельзя было меня замѣтить, я самъ едва его видѣлъ, едва разглядѣлъ, можетъ даже это былъ не онъ. Неужели намъ суждена гибель, и какая гибель, вѣмая, глухая, о которой никто не узнаетъ! Зачѣмъ же природа дала намъ эти огненные души, стремяшіяся къ дѣятельности и къ славѣ, неужели это насмѣшка? — А въ такомъ случаѣ это самая забавная насмѣшка; такъ смѣялся, я думаю, Аббадонна, падая съ рая въ адъ. Но нѣтъ, здѣсь въ груди горитъ вѣра сильная, живая, есть Провидѣніе! Я читаю съ восторгомъ Четьи-Миней, вотъ гдѣ божественные примѣры самоотверженія, вотъ были люди! — Итакъ Эм. Мих. будетъ въ Москвѣ и вы съ ней будете говорить пантомимами — хорошо; но я никакъ не буду съ ней говорить, ибо не надѣюсь на скорый выпускъ: стоитъ разъ поймать человека, ужъ они постоятъ за то, чтобъ не отворить клѣтку. Можетъ, развѣ по старому русскому обычаю, къ Святой откроютъ клѣтку. Жаль, но que faire! — Я слышалъ, ты читала *Пиковую Даму*; игра, это — страсть, о которой ты не имѣешь никакого понятія, но страсть сильная, часто волнуетъ она меня, и стоитъ разъ пуститься мнѣ, я сдѣлаюсь самымъ бѣшеннымъ игрокомъ, но я боюсь, какъ Германъ. — Прощай и помни и люби брата твоего Ал. Герцена. Отвѣтъ слишкомъ веселый, позволенія пропустить не даютъ.

31 декабря.

|| Я ужаснулся, написавъ тебѣ прошлую записку, и долго думалъ, посылать ли ее, и еще болѣе ужаснулся, получивъ твой отвѣтъ. Никогда не возьму я на себя той отвѣтственности, которую ты мнѣ даешь, никогда! Я предложилъ тебѣ быть другомъ, и другомъ въ полномъ смыслѣ, то есть я хотѣлъ сообщить тебѣ взглядъ истинной на людей; но присемъ я предположилъ твердость характера, которая у тебя и есть и которая необходима; я знаю, у тебя есть много *своего*, зачѣмъ же ты такъ отдаешься въ волю мою; ты еще не совсѣмъ знаешь меня, во мнѣ ху-

люго, можетъ, болѣе, нежели добраго; я знаю себя. мое воображеніе испачкано, мое сердце замарано, пятно разврата вѣдается глубоко, стереть его могутъ одни несчастія; зачѣмъ же ты говоришь: дѣлай изъ меня, что хочешь? Нѣтъ, я хочу, *чтобъ ты сдѣлала изъ себя, то что ты можешь изъ себя сдѣлать*; съ своей стороны, я берусь способствовать этому развитію, отнимать преграды. Я ненавижу покорность въ друзьяхъ, я ее только хотѣлъ бы въ толпѣ, покорность унижаетъ. Я не такъ милъ себѣ, чтобы хотѣть видѣть въ тебѣ себя; нѣтъ, я хочу *съ тебѣ видѣть тебя*, и тебя такъ, какъ Богъ создалъ твою душу, безъ примѣси обстоятельствъ, потому что Богъ твою душу хорошо создалъ. Пойми меня и не толкуй въ кривь все сказанное тутъ, это не отказъ, но объясненіе. Скажу яснѣе: я не хочу, чтобы ты отвергла всѣ узы родства, отъ того что я ихъ отвергаю, сойди въ свою душу и спроси себя и слушай отвѣта, -- я, съ своей стороны, только сдѣлаю вопросъ. Впрочемъ, я знаю, что ты писала свою записку *сторяча*, а тутъ нишется многое, что несогласно съ холодною мыслию.

Что касается до твоего положенія, оно не такъ дурно для твоего развитія, какъ ты воображаешь. Ты имѣешь большой шагъ надъ многими, тебя опытъ научилъ кой-чему; правда, опытъ учить желѣзною рукою, но за то его уроки съ плодомъ. Ты, когда начала понимать себя, очутилась одна — одна во всемъ свѣтѣ. Другіе знали любовь отца и нѣжность матери, у тебя ихъ не было. — Никто не хотѣлъ тобою заняться, ты была оставлена себѣ. Что же лучше для развитія? Благодаря судьбу, что тобою никто не занимался; они тебѣ навѣяли бы чужого, людского, они согнули бы ребяческую душу; теперь это поздно. Ежели же ты говоришь о свѣтскомъ воспитаніи, надобно умѣть презирать его: оно хорошо для людей, которые не имѣютъ никакого звука, ибо оно имъ придаетъ видъ людской. У кого же есть душа, тотъ въ ней найдетъ болѣе нежели въ воспитаніи. Ты какъ будто жалѣешь, что твоя жизнь несчастлива, но на что счастье, и какое счастье здѣсь на землѣ?

Еще замѣчаніе: ты пишешь, что ты обрекла себя прежде на *шбелъ безтѣстную*; я не понимаю послѣдняго слова. Чего же ты хочешь? извѣстности, славы? Храни Богъ, чтобы тебя коснулась эта ужасная болѣзнь; я испытала и испытываю, что это такое, и не могу подняться до самоотверженія, потому что я нечистъ, потому что мысль эта западала слишкомъ рано въ грудь мою, слишкомъ истерзала ее, — но ты... Впрочемъ, можетъ ты не понимаешь. ≡

Прощай, твой братъ *Александръ*.

Ежели тебѣ нѣтъ средствъ беречь мои записки, жги ихъ; бѣда тебѣ, ежели попадутся М. С. — При семъ записка къ Эм. Мих.

У колодника нѣтъ праздника и нѣтъ Новаго года; но у васъ есть — поздравляю.

1835 годъ.

8 февраля.

Наташа, тебѣ, какъ сестрѣ Герцена, Герценъ не боится прямо объявить новость, которая съ виду хуже нежели въ сущности. Комиссія приговорила меня, Огарева и Сатина (кромѣ нѣкоторыхъ еще) сослать на 5 лѣтъ на Кавказъ; но обыкновенно государь, утверждая, уменьшаетъ срокъ въ половину. Итакъ, я

поѣду на 2¹/₂ года на Кавказъ; тамъ дивная природа, дикая и необузданная, какъ черкесы; мнѣ эта новость и не горька, и не сладка,—лучше на Кавказѣ 5 лѣтъ, нежели годъ въ Бобруйскѣ. Хуже всего, что все то время должно пропасть въ моей карьерѣ, ежели забудемъ пользу отъ занятій. Я не разлюбилъ Русь, мнѣ все равно, гдѣ-бъ ни было мнѣ дано поприще, идти по немъ я могу; но создать поприще не въ силахъ человѣка. О Боже, Боже, когда же сбудется хоть одна мечта изъ тѣхъ, которыя раздражаютъ мнѣ душу,—неужели никогда ¹⁾).

У меня была Эмилія Мих.; спасибо ей, не забыла колодника. Очень мало людей, которыхъ я желаю видѣть теперь, она въ этомъ числѣ; я люблю людей, которые ярко чувствуютъ, на нихъ не такъ замѣтно клеймо, которымъ чеканить людей судьба, «нужныхъ на мелочные расходы», какъ сказалъ кто-то. — Она меня весьма потѣшила твоей встрѣчей съ кн. Оболенскимъ. Бѣдная Natalie! Тебѣ отстается за брата, но, ей Богу, твоя дружба ко мнѣ имѣетъ самый звонкій отголосокъ въ моей душѣ. Ни въ счастья, ни въ тюрмѣ, ни ссылкоймъ я не переищуся. У тебя, говорятъ, мысль о монастырѣ,—не жди отъ меня улыбки при этой мысли; я понимаю твою мысль, она высока; но ее взвѣсить надобно очень и очень. Неужели тебѣ не волновала грудь мысль сильная, огненная—любовь? Монастырь—отчаяніе; теперь нѣтъ монастырей для молитвъ. А ты развѣ сомнѣваешься, что встрѣтишь человѣка, который тебя будетъ любить, котораго ты будешь любить. О, съ какою радостью я возьму его руку и твою,—онъ будетъ счастливъ, у тебя прелестная душа. Ежели же этотъ онъ, этотъ идеалъ, который зрѣветъ съ 16 лѣтъ въ груди дѣвушки, не явится,—вдѣ въ монастырь, это въ милліонъ разъ лучше пошлаго замужества. Но, ради Бога, думай объ этомъ дольше.

Сегодня уѣзжаетъ изъ Москвы капитанъ Ивашкинъ, бывшій жанларъ. повѣришь ли, что я съ нимъ прощался тронутымъ: онъ простой, добрый человѣкъ и болѣе ничего, но онъ первый принялъ участіе въ преступникѣ, котораго боялись. онъ первый протянулъ безъ всякихъ мыслей мнѣ здѣсь руку. О, какъ чувствительны эти знаки въ моемъ положеніи, какъ больно, обращая глазъ свой, видѣть коварные глаза чиновниковъ тайной полиціи и ихъ исполнителей! Прощай, твой братъ

Александръ.

21 февраля.

Въ горестяхъ есть какая то сильная поэзія. Вообрази себѣ эту минуту, когда Христосъ сказалъ, что его предадутъ ученики, и опечаленный Іоаннъ, ювошалоубимецъ, склонилъ свою голову на грудь Спасителя. Какое счастье можетъ сравниться съ этой минутой—для нихъ обоихъ. Какъ сладко было склонить Іоанну свою голову на эту грудь, въ которой созрѣла мысль перерожденія человѣка и въ которой были силы и выполнить ее, и сѣсть рядомъ съ Богомъ, и погибнуть за людей. И съ какимъ чувствомъ смотрѣлъ Христосъ на Евангелиста-поэта, который такъ вполне понялъ его и такъ чисто предался ему. Но гдѣ же *наша* Христосъ? Кому *мы* склонимъ на грудь опечаленную голову? Неужели *мы* ученики безъ учителя, апостолы безъ Мессіа? Я готовъ переносить страданія и не

¹⁾ Въ подлинникѣ позднѣйшая приписка рукой Н. А. Герцена карандашомъ: «сбылась мечта и совсѣтъ не та, о которыхъ думалъ!»

Прим. издат.

такія, какъ теперь; но не могу снести холода, съ какимъ смотритъ свѣтъ на насъ оловянными глазами, пусть бы насъ ненавидѣли, это все лучше. Вотъ колодникъ Петръ въ цѣпяхъ приближается къ Риму, и весь народъ бѣжитъ встрѣтить его; насъ кто встрѣтитъ и кто проводить? Можетъ, одинъ смѣхъ. Меня въ комиссіи обвиняли въ сень-симонизмѣ, я не с.-симонистъ, но вполнѣ чувствую многое съ ними заодно. Нѣтъ жизни истинной безъ вѣры...

Господи, какъ этотъ опытъ показали мнѣ людей; нынче въ модѣ ругать людей и вѣкъ, не потому я говорю, а по глубокому убѣжденію. Одни грустные звуки вырываются изъ моей души нынче, она похожа на монастырскій колоколь.

Статью ты получила, слышалъ я сейчасъ; прошу обратить вниманіе на IV главу (разговоръ Игумна съ эпитафомъ изъ Августина); это, можетъ, лучшее, остальное все гиль.—Твое *безпристрастное* мнѣніе о ней. Addio

Ал. Герценъ.

Мартъ.

Наташа, другъ мой, сестра, ради Бога не унывай, презирай этихъ гнусныхъ эгоистовъ, ты еще слишкомъ снисходительна къ нимъ, презирай ихъ всѣхъ! Они мерзавцы. Ужасная была для меня минута, когда я читалъ твою записку къ Emilie. Я весь трепеталъ. И она теперь въ рукахъ Льва Алексѣевича и я писалъ ему письмо, писалъ и къ папенькѣ и *иное* выраженіе имъ не понравится. Но я одинъ въ отвѣтъ, мои плечи здоровы, они вынесутъ, лишь бы тебѣ помочь. Боже, въ какомъ я положеніи, ну, что я могу сдѣлать для тебя, колодникъ и не нынѣ-завтра ссыльный, какая слабая опора! Клянусь, что ни одинъ братъ не любить болѣе сестру, какъ я тебя, но что я могу сдѣлать. О власть! Ежели теперь ты не будешь видѣться съ Emilie, пиши черезъ меня къ ней. Но что же тебѣ дѣлать, еще не знаю, я слишкомъ бѣшуся, чтобы разсуждать. А скоты, дураки счастливы!

Твоя записка объ Ал. С. получена, и я доволенъ тобой до крайности. Забудь его коли такъ, это былъ опытъ, а ежели бы любовь въ самомъ дѣлѣ, то она не такъ бы выразилась. Его журналъ *rag malheur* смѣшонъ, любовь къ Поварской и пр.. Но для чего ты пишешь: «можетъ онъ надѣется». Пускай себѣ. Развѣ для него недовольны *счастливые дни*, которые ты ему дала, или развѣ ты виновата, что онъ любить. Это тебѣ должно быть приятно, и какъ же иначе? ¹⁾ Привыкай къ удивленію толпы, ты выше ея. Нѣтъ, что-то тяжело на сердцѣ, погожу писать. Ахъ, Natalie, несчастье намъ суждено,—но на что же счастье; я какъ то всегда дѣлаюсь выше послѣ такой неприяности. «Прощай, покаместъ, истинный другъ».

Я вообще сталъ какъ то ярче чувствовать съ тѣхъ поръ, какъ выброшенъ изъ общества людей. И потому нынче провелъ такъ скучно, какъ нельзя болѣе. Теперь я писалъ къ Эм. Мих., второй часть, а все еще спать не ложусь, тутъ попала мнѣ повѣсть Гоголя (Арабески, ч. II) «Невскій проспектъ»; во всякое другое время я бы расхохотался надъ нею, но тутъ она свернула меня вдосталь. Поэтъ-живописецъ влюбился въ публичную женщину; ты не знаешь, что такое эти твари, продающія любовь: не можетъ быть болѣе насмѣшки надъ всѣмъ чистымъ какъ онъ, я знаю ихъ очень. Повѣришь ли, что повѣсть эта меня тронула, не-

¹⁾ Позднѣйшая приписка карандашемъ рукой Н. А. Герценъ: «ты тогда не зналъ меня совершенно».

Примѣч. издат.

смотря что она писана смѣшно. Я вспомнилъ подобный примѣръ, бывшій при моихъ глазахъ. Какъ можно ихъ любить любовью?

.... Власть красоты, красота земная есть отблескъ Бога.

Ха-ха-ха, что я вздумалъ,— какъ Левъ Алексѣев. и пап[енька] и Сомр. нынче, чай, весело день провели.

Я къ тебѣ съ просьбою, въ которой я хочу испытать твою дружбу (зачѣмъ ты меня все подчуешь властью, не хочу власти,— дружбы, равенства). Я слышалъ, что тебѣ часто бываетъ нужда въ деньгахъ, напиши сколько; твои нужды такъ ограниченны, что я всегда могу, не дѣлая обиды себѣ, открывать тебѣ кредитъ. Особенно теперь мнѣ некуда деньги дѣть, да еще сверхъ того, шалостями играя (съ дурацкимъ счастьемъ во всѣхъ мерзостяхъ), я набралъ даже лишнія. Когда мнѣ нужны деньги, я просто беру ихъ у Огарева. Вѣрно ты не откажешься сдѣлать мнѣ это удовольствіе. У друзей все общее. Итакъ пиши сколько?

Je veut renier terre et ciel pour vous voir le jour de ma naissance, mais je ne le crois guère. Diable, c'est bien triste que peut être nous verrons pas plus de 2 fois avant de partir pour l'exil, et comment— en présence de m-me la princesse et de son amie. Но ты сама писала мнѣ что не пространство дѣлать друзей.

Суббота. Вчера былъ у меня Левъ Алексѣев.; это хорошо,— показываетъ, что онъ не сердитъ за письмо, напротивъ; но ни какъ не могъ я завести разговоръ объ этомъ, офицеръ мѣшалъ.

Со мною преуморительная перемена: я съ нѣкотораго времени видимо глупѣю, и вообрази, что ежели такъ буду я усовершенствоваться въ глупости, то года черезъ два я un fou à lier; это должно быть очень пріятно, я еще не испыталъ этого; тогда счастье ко мнѣ рѣкою.

Знаешь, какъ я теперь фантазирую: читаю долго-долго что нибудь хорошее и, бросивъ книгу, переносусь туда, въ міръ этой книги, и я могу нѣсколько часовъ совершенно жить въ другомъ вѣкѣ, съ его понятіями и пр. Мило. очень мило; ежели это первый шагъ сумасшествія, то я непрочъ сойти съ ума.

Прощай, пиши же, что было и какъ. А я тебя всю ночь тогда видѣлъ во снѣ, но какъ то странно, смутно. То я у васъ, и все какъ надобно: Аркадій въ первой передней, Макашина въ послѣдней передней, потомъ ты, мы давно не видались, но ты гораздо меньше, почти такая, какъ ты была еще при Александрѣ Алекс., когда мнѣ показывала рулетку (помнишь?), но тутъ дѣлался изъ всего сать, и я искалъ съ тобою проститься, ибо мнѣ надобно ѣхать въ ссылку (этого то я не забылъ во снѣ) и пр. и пр.

Александръ Герценъ.

P. S. Ты не будь въ претензіи, что такъ долго тебѣ не возвращена *Легенда*; это нужно, мои партизаны пустили ее по Москвѣ, спасибо и на этомъ.

2 апрѣля.

По клочкамъ изодрано мое сердце, не знаю, во все время тюрьмы я не былъ до того задавленъ, стѣсненъ, какъ теперь. Не ссылка этому причиною. Что мнѣ Пермь или Москва, и Москва—Пермь. Но слушай все до конца.

31 марта потребовали насъ слушать сентенцію. Торжественный день. Кто не испыталъ этого, тотъ никогда не пойметъ. Тамъ соединили 20 человекъ, которые должны прямо оттуда быть разбросаны, одни по казематамъ крѣпо-

стей, другіе по дальнимъ городамъ; всѣ они провели девять мѣсяцевъ въ неволѣ. Шумно и весело сидѣли эти люди подъ ножемъ, въ большой залѣ, когда я взошелъ, и Соколовскій, главный преступникъ, съ усамъ и съ бороною бросился мнѣ на шею, а тутъ Сатинъ; уже долго послѣ меня привезли Огарева, все высунуло встрѣтить его. Со слезами и улыбкой обнялся мы. Все воскресло въ моей душѣ, я ожилъ, я былъ юноша, я жалъ всѣмъ руку, я любилъ всѣхъ ихъ, я мечталъ. Словомъ, это одна изъ счастливѣйшихъ минутъ жизни, — ни одной мрачной мысли, чего было мнѣ бояться на ту минуту? Наконецъ, намъ прочли приговоръ, сначала смертную казнь, потомъ каторгу по законамъ и объявили, что Государь милуетъ и приказываетъ только разослать по городамъ (Соколовскій въ крѣпость): Огаревъ въ Пензу, Сатинъ въ Симбирскъ, я въ Пермь. И надежда свободы отъ тюрьмы свѣтилась, и съ сей надеждой я воротился въ казармы. Все было хорошо, но вчерашній день, да будетъ онъ проклятъ, сломалъ меня до послѣдней жилы. Я тебѣ расскажу. Со мною содержится Оболенскій. Когда намъ прочли сентенцію, я спросилъ дозволеніе у Цинскаго намъ видѣться; мнѣ позволили. Возвратившись, я отправился къ нему, между тѣмъ, объ этомъ дозволеніи забыли сказать полковнику. На другой день мерзавецъ офицеръ Соколовъ донесъ полковнику объ этомъ, какъ о противозаконномъ поступкѣ, и я такимъ образомъ замѣшалъ трехъ лучшихъ офицеровъ, которые мнѣ дѣлали Богъ знаетъ сколько одолженій; всѣ они имѣли выговоръ и всѣ наказаны и теперь должны, не смѣняясь, дежурить три недѣли (а тутъ Святая). Я грызъ себѣ пальцы, я плакалъ, бѣсился, рвался, и первая мысль, пришедшая мнѣ въ голову, было мщеніе. Я опозорилъ этого Соколова, я рассказалъ про него вещи, которыя могутъ погубить его, — и вспомнилъ, что онъ бѣдный человѣкъ и отецъ 7 дѣтей. Но должно ли шадить фискала, развѣ онъ щадилъ другихъ? Чертъ съ нимъ! Мнѣ надобно, чтобъ я былъ отмщенъ. Это происшествіе тѣмъ сильнѣе огорчило меня, что я еще весь былъ мягокъ и полонъ отъ вчерашняго свиданія; вдругъ весь чистый, поэтическій восторгъ превратился въ какую то злость, и я доселѣ готовъ, ей-Богу, готовъ зубами грызть всякаго. Къ этому прибавокъ. Кто, кто смѣетъ насъ теперь держать? Намъ прочли сентенцію и не берутъ труда выпустить. О звѣри, звѣри, дикіе звѣри, а не люди. «Люди — порожденіе крокодиловъ, ваши слезы вода, ваше сердце желѣзо», какъ говоритъ Шиллеръ. Ты не можешь себѣ вообразить, какъ эта ничтожность тяжела. Что же мы? Игрушки. Какъ высокъ и необъятно высокъ Огаревъ, — этого сказать нельзя; передъ этимъ человѣкомъ добровольно склонилъ бы я голову, ежелибъ онъ не былъ нераздѣльною частію меня. Этотъ человѣкъ исполнѣ, весь принадлежитъ идеѣ и общей дѣятельности; что для него жизнь, богатство... Помнишь, что я писалъ тебѣ въ прошлый разъ, наша жизнь рѣшена, жребій брошенъ, буря увлекла, куда? не знаю. Но знаю, что тамъ будетъ хорошо, тамъ отдыхъ и награда. Человѣчество! для него все, для него родятся люди, ему обязаны мы; но что мы можемъ? Малое, — но и малое есть нѣчто. «*Послушайте, братія, не нищизъ ли міра сею Богъ избралъ быть богатыми тѣрою*» (посл. Іакова). Да и кто были апостолы? Нѣтъ, наша будущность въ нашихъ рукахъ. Да будемъ мы забыты и презрѣнны, ежели схоронимъ въ землю тѣ малые таланты, которые намъ далъ Богъ!

Прощай, Наташа, скоро, скоро увидимся, скоро, скоро разстанемся надолго. Ежели меня еще дней пять продержатъ, я надѣлаю чертъ знаетъ что. Я умѣю терпѣть, но теперь ужъ они превосходятъ мѣру. Прощай, посылаю тебѣ братскій поцѣлуй.

Александръ.

10 апрѣля.

») За нѣсколько часовъ до отъѣзда я еще пишу, и пишу къ тебѣ; къ тебѣ будетъ послѣдній звукъ отъѣзжающаго. Вчерашнее посѣщеніе растаяло мое каменное направленіе, въ которомъ я хотѣлъ вхаты. Нѣтъ, я не камень, мнѣ было нынче грустно ночью, очень грустно. Natalie, Natalie, я много теряю въ Москвѣ, что у меня только есть. О, тяжело чувство разлуки, и разлуки невольной. Но такова судьба, которой я отдался, она влечетъ меня, и я покоряюсь. Когда же мы увидимся? Гдѣ? Все это темно; но ярко воспоминаніе твоей дружбы; изгнанникъ никогда не забудетъ свою прелестную сестру.

Итакъ, участь голубя тебя не пугаетъ, голубь—что то небесное, отъ него навѣваетъ не землю. Именно, чистота твоей души вчера такъ сильно на меня дѣйствовала.

Можетъ быть.... но окончить нельзя, за мною пришли. Итакъ прощай, прощай надолго, но ей Богу не навсегда, я не могу думать сего.

Все это писано при жандармахъ 10 апрѣля 1835 г., 9 часовъ.

На оборотѣ написано карандашомъ рукою Н. А. Герцень:

«Моя любимая записка. Когда-то мы прочтемъ вмѣстѣ, это безпредѣльное *можетъ быть!* Когда посмотримъ на эти царскія врата, за которыми Святая Святыхъ».

Затѣмъ—приписано чернилами рукою А. А. Герцень:

«Не хочу, Ангелъ мой, чтобъ ты безъ любимой записки встрѣтила 9 апрѣля. Да, *можетъ быть* теперь ясно...

Люблю, люблю, люблю тебя—на этомъ листкѣ недоставало этого слова».)

1838 года 3 апрѣля.

Твой Александръ.

Безъ обозначенія числа.

En bien, chère soeur, voila que tout est fini, voila qu'il faut partir. Колокольчикъ динь-динь-динь. Et vive l'exil et les exilés. On ne sait pas encore le sort d'Ogareff. En tout cas nous nous verrons. Посылаю тебѣ своихъ волосъ ¹⁾.

x

Нижній-Новгородъ, 16 апрѣля.

Наташа! Вотъ и тебѣ нѣсколько словъ отъ изгнанника. Всякая минута отталкиваетъ меня далѣе и далѣе отъ всѣхъ васъ. Ничего нѣтъ у меня въ Перми, а туда ѣду; все въ Москвѣ, а она меня выбросила. Прощай, некогда писать, иду смотрѣть царь-рѣку Волгу. Прощай.

Эм. Мих. поклонъ.

Твой Ал. Герцень.

Апрѣля 22, Казань.

Далеко, далеко умчало меня, другъ Natalie! Страшное положеніе быть доведену до такого одиночества, въ которомъ надобно въ себѣ одномъ искать все;

¹⁾ На подлинникѣ карандашомъ приписано рукою Н. А. Герцень:

«Это было на Страстной недѣлѣ; получивъ, я воображала, что ужъ ты ухалъ—слезы не лили, синія пятна выступили на лицѣ, я бросилась къ Петру— «нѣтъ еще-съ» и сердцу легче, я заплакала, пятна еще не прошли и меня повезли подъ Новинскъ! Тутъ-же послалъ медальонъ!»

Примѣч. издат.

нѣтъ человѣка, нѣтъ груди дружеской на этомъ пути, нѣтъ звука понятнаго или... Виновать. Воспоминаніе—надгробный памятникъ прошедшему, но памятникъ живой, и природа, съ другой стороны,—вотъ что у меня осталось. Я разсѣявъ, мнѣ мудроно это движеніе послѣ 9 мѣсяцевъ тюрьмы, я не могу себѣ еще дать ни въ чемъ отчета. Неси же, неси же, буря, которая увлекла меня, я вѣряюсь тебѣ!

Часто вижу я Москву и васъ всѣхъ во снѣ,—сонъ есть положительное добро, и какъ хороши сны иногда, и будто бы это вздоръ, — вѣдь, живемъ же, когда спимъ, и помнимъ сонъ, какъ былъ.

Прощай. Твой братъ *Ал. Гер.*

Ты получишь отсюда казанскій гостинецъ отъ меня. Чѣмъ богатъ, тѣмъ и радъ.

Эмилиі Михайловнѣ кланяйся и скажи, чтобъ она не забывала пріятелей и друзей за одною далью.

[Пермь].

Теперь, chère Natalie, твой чередъ писать ко мнѣ. Я, наконецъ, въ Перми.

Это ужасно, что было со мною нынче утромъ; прихожу нанимать квартиру, а хозяйка спрашиваетъ: «нуженъ ли вамъ огородъ и стоило для коровы?» Grand Dieu! Неужели есть возможность мнѣ имѣть огородъ и корову? Ха, ха, ха, да это чудо! Огородъ и корову,—я скорѣе заживо въ гробъ лягу. Вотъ какъ мелочная частность начинаетъ виться около меня! А что, въ самомъ дѣлѣ, бросить всѣ эти высокія мечты, которыя не стоятъ гроша, завести здѣсь домъ, купить корову, продавать лишнее молоко, жениться по расчету и умереть съ плюмажемъ на шляпѣ, — право, не дурно, «исчезнуть какъ дымъ въ воздухъ, какъ пѣна на водѣ» (Данте).

Пріѣхавши на мѣсто, я только узналъ все, что я потерялъ, разставаясь съ Москвою; нѣтъ, сколько ни мудри, а разлука дѣло ужасное; это замерзшее озеро— и пѣмо, и холодно. Какъ живо у меня въ памяти твое посѣщеніе въ Крутвицахъ, и что же это было?—Нѣсколько часовъ въ цѣлой громадѣ времени— и прежде, и послѣ. Да, у насъ въ жизни только есть нѣсколько минутъ, и свѣтлыхъ, и изящныхъ, остальное что-то земное и грязное. Это фонари, освѣщающіе дорогу; далеко назадъ блестятъ они звѣздочкой. Когда же, сестра; когда же мы увидимся?

Ахъ люди, люди, люди злые.
Вы ихъ разрознили... ¹⁾

Да, вы меня разрозняли со всѣми. Прощай, пиши. *Александръ.*

Москва, мая 28, вторникъ.

И я пишу къ тебѣ, Александръ, другъ мой! Отрадно мнѣ поговорить съ тобою, и это еще въ первый разъ послѣ нашей разлуки, — не сердись на меня за это, я не виновата. Ужасно тяжело было у меня на сердцѣ, взяла перо писать

¹⁾ Приписка карандашомъ, сдѣланная впоследствии: «Не посмѣлъ написать сердца».

Примѣч. издат.

къ тебѣ, — и легче, какъ будто мы съ тобою ближе стали. Грустно безъ тебя здѣсь, Александръ, ужасъ какъ грустно! Ты разсѣянь, тебѣ представляются все новые предметы, новые лица, ты смотришь на Пермь и иногда забудешь, что въ уголкѣ Москвы живетъ Наташа, а я... мнѣ все, все напоминаетъ, что другъ далеко. Ахъ, повѣришь ли, сердце обольется кровью, какъ раздумаясь о тебѣ: за тысячу верстъ, одинъ, Богъ знаетъ что съ тобою, и если бы не вѣра, не крѣпкая надежда на Провидѣніе, я бы совершенно упала духомъ. Но нѣтъ, еще вѣра моя слишкомъ слаба, чтобъ предать тебя въ руки Его и быть совершенно спокойной на твой счетъ. Я читаю Посланія Іакова, — тутъ почерпаю многое; они очищаютъ душу мою и укрѣпляютъ мою вѣру. Ну, не все ли напоминаетъ мнѣ тебя? Беру Евангеліе — вспоминаю тебя; вѣдь, ты велѣлъ мнѣ читать Посланія. Да, тысячевостное пространство раздѣляетъ насъ, — и мы такъ близки!

Часто перечитываю я твои прежнія письма, и что хочешь говори, а я въ нихъ нахожу все: радость, утѣшеніе, мудрость, — однимъ словомъ, нахожу въ нихъ тебя; и какъ выше становлюсь я въ собственныхъ глазахъ, прочитавши нѣсколько изъ нихъ; тотъ, кого я такъ люблю, чья дружба для меня все на свѣтѣ, въ кого такъ вѣрую, говорить мнѣ: «я гордъ за тебя и тобою». О, какъ много выражаютъ эти слова! Они для меня, дороже цѣлаго листа, кругомъ описаннаго похвалю; а не вѣрить тебѣ — не вѣрить собственному существованію; съ тобою (хоть ты и за тысячу верстъ, но всегда со мною) я забываю, что существуетъ на землѣ лествъ, что истины нѣтъ во многомъ.

Помню, ярко помню день нашего свиданія и прощанія; сказать тебѣ не умѣю, себѣ отчета дать не могу въ чувствахъ, волновавшихъ тогда душу мою: небо и земля, рай и адъ! Сердце мое было такъ полно, такъ полно, что я забывала говорить; но какъ будто высказала все, будто незамѣтно мнѣ самой душа моя вылилась въ твою душу; тогда я забыла весь свѣтъ, глядя на эту маленькую горницу, забыла, что у меня есть жилище, что есть зданія красивѣе; глядя на тебя, забыла все на свѣтѣ; я не видала, какъ прошли эти часы; все это время показалось мнѣ однимъ мгновеніемъ, а минута прощанія — о, горькая минута! — тысяча счастливейшихъ въ будущемъ едва ли мнѣ заплатятъ за нее. Простившись съ тобою въ корридорѣ, я хотѣла воротиться къ тебѣ, взглянуть еще разъ, но не было силъ.

Дорогою все еще я была согрѣта свиданіемъ, но, когда вошла въ твою комнату... Потомъ, странно, явилась въ душѣ надежда видѣть тебя еще, даже въ день твоего отъѣзда мнѣ все казалось; но въ третьемъ часу принесли мнѣ твою послѣднюю записку, тутъ... О, эта минута еще была ужаснѣе прощанья! Тамъ самая горестъ умялялась твоимъ присутствіемъ; еще глядя на тебя, я думала, что не увижу долго, а тутъ, тутъ... и нѣтъ болѣе надежды! О, когда же мы увидимся, когда, Боже мой? Пиши мнѣ, братъ, ради Бога, пиши. Послушай, если живши долго въ дальней сторонѣ, ты перемѣнишься и при свиданіи будешь только дивиться прежнему желанію видѣться, — избави Богъ! Чему-жъ мнѣ послѣ вѣрить? Но нѣтъ, нѣтъ, я не сомнѣваюсь въ тебѣ!

Emilie нѣтъ въ Москвѣ, и я еще не писала къ ней и отъ нея не получала; вотъ всѣ раздѣзжаются, оставляютъ меня — и Егоръ Ивановичъ ѣдетъ; грустно! Ты, вѣрно, усталъ читать, — я потому такъ мелко пишу, чтобъ больше уписалось. Два письма, на которыя я не отвѣтила, — зонтикъ прелестный и башмаки я получила, — честь твоему вкусу! Благодарю отъ души, за все! Прощай, Александръ, будь здоровъ, спокоенъ, не забывай меня, но вспоминай безъ горестнаго

чувства. Что ты дѣлаешь? Мы ѣдемъ скоро въ деревню, тамъ я спишу твою *Legendu*. Еще прощай, Христось съ тобой. Твоя сестра Наташа.

Блажяюсь Петру, онъ, кажется, такъ тебя любить и служить усердно. Когда ты возьмешь огородъ и корову, тогда, вѣрно ужъ женишься на этой хозяйкѣ, ежели она богатая вдова, но, я думаю, ты до садоводства не охотникъ. Вообрази, что послѣ тебя я ни разу не была у васъ и не видала маменьку, вѣдь, это ужасно! Когда-жъ взойдетъ моя звѣзда, моя свобода?

Довольно часто посѣщаю я гулянья, но все это такъ скучно, нѣмо. Да, когда ты женишься вотъ на этой вдовѣ, тогда я выйду замужъ за князя Оболенскаго, который бываетъ у насъ довольно часто; маменька даетъ намъ случай быть виѣстѣ; онъ... да что, все глупости, вздоръ, не стоитъ объ этомъ писать; богатство, княжество для меня на что?—красивый мундиръ и подавно, скорѣ буду послушницей, нежели княгиней. Пусть они доканчиваютъ ничтожные дни свои ничтожно, а мнѣ — далека я отъ всего этого. Низки и жалки они для меня. Не шумныхъ свѣтскихъ удовольствій, не княжества ищю я.. скорѣ ничего! Прощай, пиши сестрѣ твоей, которая тебя такъ много любитъ. /

11

Москва, іюня 3, понедѣльникъ.

Братъ, послѣднее письмо твое разстроило меня до слезъ (не потому, что я женщина, — нѣтъ, я во многомъ умѣю быть твердою). Ахъ, Александръ, Александръ! и ты думалъ, что я не хотѣла писать къ тебѣ, что я забыла, кого же?—тебя! Мнѣ больно, что ты такъ мало увѣренъ во мнѣ, — сомнѣнне друга убиваетъ, сердце мое сжато тоской. *Впрѣ же*, что я не виновата. О, если бы ты зналъ, если бы *тпруль*, съ какою радостью, съ какимъ неизъяснимымъ восторгомъ я получаю твои письма! Въ разлукѣ съ тобой они одни, какъ яркія звѣзды на мрачномъ небѣ, освѣщаютъ путь мой, и послѣднее, хотя въ немъ... но, вѣдь, это все ты, ты, такъ пиши же. Теперь ты въ Вяткѣ; слава Богу, почти 400 верстъ ближе къ намъ! Тебя окружаетъ все новое, перо утомилось бы, если бы вздумалъ описывать, но что я скажу тебѣ новаго? *Все* такъ, какъ было прежде, нигдѣ, ни въ чемъ не нахожу новаго, кромѣ себя; да, во мнѣ новыя силы, всѣ непріятности сношу я съ большею твердостью; я какъ-то становлюсь надъ этимъ все выше и выше, ничто мелочное, частное не тревожитъ меня, вовсе не касается меня. «Они мнѣ жалки, какъ червь презрѣнный, безмолвно гибнущій въ пыли». Жизнь моя все такъ же однообразна, я и не ищю разсѣянности, одно воспоминаніе, одна мечта дѣлаютъ меня болѣе счастливою, нежели всѣ эти глупости. Мечта, мечта!.. а ты не велишь мечтать.

Помнишь ли, разъ послѣ ужина мы сидѣли въ саду, еще мѣсяцъ такъ ярко намъ свѣтилъ, ты говорилъ намъ съ *Emilie*, что не должно мечтать; но когда нѣтъ ничего въ существенности? О, какъ иногда я счастлива въ мечтахъ! Забудешь суровость настоящаго, мечта унесетъ далеко-далеко въ края будущаго, которые такъ близки, но такъ непостижимы, воображеніе разрисуетъ ихъ, и прелестны *тѣ края*, но—все мечта! Иногда уснешь съ милою мечтой, и — какіе сны! Видаю тебя, другъ Александръ, часто видаю, и какъ люблю я этотъ сонъ, и страшно мнѣ проснуться, но все мечта! Я ничего не ищю, ничего не желаю, я все имѣю въ друзьяхъ и пусть, о, пусть я погибну, какъ голубь, но участію моею не промѣняюсь ни съ кѣмъ! О, если бы я могла жить для друга, жертво-

вать ему всёми, если бы жизнь моя была ему полезна... тогда на что же искать другого неба?

Бываютъ дни, въ которые я совершенно счастлива; наканунѣ праздника пошла я ко всеночной; въ храмѣ душа свѣтлѣе, выше, я *молилась*; прихожу домой, мнѣ *подаютъ твою записку*.

Эта страница у тебя всегда пустая, но я не буду отмщать, пишу еще, и врядъ ли у тебя стасть терпѣнья читать такую мелочь. Брось, взорви, когда тебѣ наскучило. я все снесу, но только не сомнѣвайся во мнѣ, ради Бога, не сомнѣвайся; сомнѣнье друга — это такъ холодно, такъ отъ него вѣетъ льдомъ, грусть сжимаетъ сердце, душа цѣпенѣетъ, и гдѣ же дружба, съ которой жизнь, небо и вѣчность?

До сихъ поръ, до сихъ еще поръ не могу привыкнутьъ къ мысли, что тебя ужъ здѣсь нѣтъ, что тысяча верстъ насъ раздѣляетъ. Въ деревню, въ деревню! Мнѣ душно, мнѣ тѣсно въ Москвѣ, такъ *все* въ ней пыльно, все камень, каменные люди, каменные сердца!

Все еще не получаю писемъ отъ Emilie; можно ли такъ быть невнимательной къ друзьямъ? Ахъ, люди, люди, все вы *люди!*

Прощай, прощай, другъ Александръ.

Не забывай ты меня.

Пиши, пиши.

Досадно: осталось пустое мѣсто, да нечего написать.

Continuer à vous dire tout ce que j'ai sur le coeur, il me semble que je ne finirais pas.

Ахъ, Вятка, Вятка! *Коханна* Вятка!.. Скажи. Александръ, еще, неужели намъ суждено не видаться долго, долго? Какъ эта мысль ужасна, и то жизнь наша коротка, и такъ мы мало *живемъ*, и еще половину жизни — быть въ разлукѣ съ любезными сердцу... Прощай. *досвиданія* не здѣсь, такъ *тамъ!* Чтобы было съ нами. если-бы не вѣрили въ будущую жизнь, иногда и о смерти мысль утѣшительна, но Его воля. "

6 и 12 іюня [Вятка].

Письмецо твое, Natalie, я получилъ; это первый голосъ московскихъ друзей, ибо я, кромѣ писемъ изъ дому, ни откуда не получалъ. Грусть навело оно на меня. Какое нѣмое и больное чувство разлуки! Я готовъ былъ плакать, все перевернулось въ моемъ сердце. Нѣтъ, страшны письма, когда разлука такъ грозна и такъ непроизвольна!

Что тебѣ сказать о себѣ? Пережѣны? Пережѣна въ душѣ собственно не бываетъ у людей, у которыхъ есть душа. Но я не тотъ же. Ты не знаешь, что такое быть изгнанникомъ въ чужбинѣ, гдѣ (по словамъ Гёте) часто протянешь руку и, вмѣсто человѣческой руки, сдставишь кусокъ дерева. Были минуты сладкія, — горестъ имѣеть свою поэзію, — минуты полноты душевной, минуты, въ которыхъ даже надобно было хоть нѣсколько излить все, въ ней клубящееся. Но все-таки. какая-то пустота въ сердцѣ, и это меня мучаетъ. Вообрази себѣ, что я мало занимаюсь. иногда часы цѣлые послѣ обѣда лежу въ *dolce far niente*, двадцать разъ привожу себѣ я въ память минуты счастья въ Москвѣ и съ какою-то насмѣшкой сравниваю тогда съ теперь. Природа одна могла бы мнѣ замѣнить друзей, но и она здѣсь такъ скупа и свирѣпа, что доселѣ я мало пользуюсь ею. Но не думай, что я сдѣлался томнымъ, печальнымъ съ виду; нѣтъ, я все съ тою

же наружностью, все такъ же остро, заставляю хохотать и смѣюсь, но вдругъ середь этого смѣха... Душно. Наташа, душно!

Вѣра, она меня не оставила, что же я былъ бы безъ нея; вѣра твердая, но развѣ Онъ не вѣрилъ, когда, изнемогая отъ злобы людей, Онъ—Сынъ Божій—просилъ, да мимо идетъ Его чаша сія?

Теперь я въ Вяткѣ. Пермь меня ужаснула, это предверіе Сибири, тамъ мрачно и угрюмо. Здѣсь получше и ближе, теперь я не 1,400, а только 1,000 верстъ отъ Москвы.

Говоря о Перми, я вспомнилъ слѣдующій случай на дорогѣ; гдѣ-то проѣзжая въ Пермскую губернію, ночь я почти не спалъ, ибо дорога была дурна, на разсвѣтъ я уснулъ крѣпкимъ сномъ; вдругъ множество голосовъ и сильные звуки желѣза меня разбудили. Проснувшись, увидѣлъ я толпы скованныхъ на телѣгахъ и пѣшкомъ отправляющихся въ Сибирь. Эти ужасныя лица, этотъ ужасный звукъ и рѣзкое освѣщеніе разсвѣта и холодный утренній вѣтеръ,—все это напоянило такимъ холодомъ и ужасомъ мою душу, что я съ трепетомъ отвернулся; вотъ эти-то минуты остаются въ памяти на всю жизнь.

Да, ты правду пишешь, что въ послѣднее свиданіе ты, забывъ говорить, сказала все. Да, Наташа, я все понялъ и на что были слова? Можетъ, не все сказала бы ты, можетъ, они ослабили бы то, что мы понимали тою высшею симпатіей, тою гармоніей душъ, которая такъ сблизила наши существованія ¹⁾.

«Ты смотришь на Пермь и иногда забудешь, что въ уголкѣ Москвы живетъ Наташа». О, это-то и лучшія минуты, когда я забываю все! Побольше этихъ минутъ забвенія, въ нихъ я только и отдыхаю, это сонъ души, не упрекай меня за нихъ. Прощай. Еще напишу нѣсколько словъ, но не теперь (6 іюня).

Нѣтъ, больше ни слова (12 іюня). „

А. Герценъ.

[Москва].

Qu'il est dur d'être continuellement séparée des personnes avec lesquelles je voudrais passer ma vie, et de remonter, de voir et revoir sans cesse tant d'êtres ennuyeux! Mon cœur voudrait parler il sent qu'il n'est point écouté, il voudrait répondre, on ne dit rien, qui puisse aller jusqu'à lui. Ah! mon frère, est ce que toute ma vie je dois passer au milieu de ces êtres froids! Cette idée me fait horreur. Et le monde, qu'est ce que ce monde pour moi? Un vaste desert; et ce chaos ne m'offre qu'une solitude affreuse où règne un morne silence.

Ты мнѣ все ценишь, что я не пишу къ тебѣ, теперь ужъ, вѣрно, ты получаешь мое мелкое писаніе и бранишь за него—ломать глаза надъ пустяками! Ахъ, Александръ, Александръ, если бы ты читалъ моя письма съ такимъ удовольствіемъ, съ какимъ я пишу ихъ. Тутъ я забываю разлуку, забываю, что эти строки, прежде нежели дойдутъ до тебя, измѣрятъ 1.000 верстъ. Но не грозны для меня эти тысяча верстъ если бы воля! Посохъ въ руки, съ котомкой за спиною, вѣра въ Провидѣніе, надежда видѣть тебя родили бы во мнѣ новыя силы, съ ними я презирала бы всѣ трудности дальней дороги, и... вотъ ужъ Вятка!

¹⁾ Позднѣйшая приписка рукой Герцена (карадашемъ): „И послѣ этого я могъ такъ низко пасть, такъ забыться? Вотъ куда привели эти лучшія минуты забвенія“.

Примѣч. издат.

Ноги чуть двигаются, спѣшу, удваиваю шаги, спрашиваю квартиру Герцена, бѣгу и... нахожу тебя, любезный братъ мой!.. Какой восторгъ! Какое восхищеніе!.. Ты не *думай*, чтобъ я говорила это потому, что теперь этого невозможно сдѣлать, — нѣтъ, клянусь, если бы только воля... Ахъ, ты, воля моя, волюшка дорогая!..

И такъ, эти тысяча верстъ только тебя унесли отъ насъ далеко, а насъ отъ тебя онѣ не отдалили, мы тебя любимъ также, ты живешь въ Вяткѣ и въ сердцахъ нашихъ. Часто, очень часто, поздно вечеромъ, подъ открытымъ окномъ, провожу я по цѣлымъ часамъ (только тутъ мнѣ не мѣшаютъ думать), мечтая о всѣхъ милыхъ, дальнихъ. Случается, исчезнетъ Поварская, дома, люди, все, кромѣ неизмѣримаго пространства, и вдали я вижу домъ, открытое окно и подъ окномъ сидишь ты, какъ будто глядишь на дальнюю дорогу, и въ глазахъ твоихъ, во всѣхъ движеніяхъ выражается грусть по родинѣ; кажется, я слышу шорохъ твой, кажется, вздохъ твой долетѣлъ до меня и жду я голоса, различаю слова твои. «Пора спать!»—прокричить стражъ мой, и я пропущу съ окномъ, съ ясными вечеромъ, но не съ друзьями, и во снѣ я вижу все ихъ-же.

На-дняхъ напишу я къ моей Emilie; отъ нея еще не получила ни строчки,—какая холодность! Я не могу равнодушно сносить равнодушія тѣхъ, кого люблю. Но пусть она забыла меня, только я вѣчно буду я. Я не разлюблю людей, пока Александръ будетъ мнѣ другомъ, и не сомнѣваюсь, что онъ будетъ имъ вѣчно.

Не правда ли, другъ? О, дивная душа, тебѣ ли играть дружбой, тебѣ ли быть подобнымъ *людямъ*?

Александръ, прости мнѣ, что я пишу тебѣ только о себѣ, но, ей-Богу, не знаю никакихъ новостей, хотя и живу въ столицѣ, не знаю, потому что не хочу знать. И этотъ маленькій листокъ исписала весь о себѣ,—какъ интересно!

Не вижу почти никого, даже, вообрази, не была ни разу у васъ и не видала маменьку; вѣдь, это, ей-Богу, ужасно!

Скоро поѣдемъ въ деревню, еще въ маѣ собирались и до сихъ поръ въ этой душевной Москвѣ, гдѣ все напоминаетъ разлуку.

Прощай, не забывай твою Наташу. Съ нетерпѣніемъ жду отъ тебя письма. Пиши, пиши, это—единственная отрада друзьямъ въ разлукѣ. Не заживайся долго въ дальней сторонѣ, нашъ путникъ милый. Ты не *повѣришь*, какъ безъ тебя скучно, пусто.

Adieu, mon frère, n'oubliez pas votre soeur et soyez assuré de mon amitié vive et éternelle.

Іюнь мѣсяцъ, всѣ жалуются на несносный жаръ, а для меня Москва — погребъ, гадкій, душный погребъ.

О комъ ты совершенно не помнишь, та тебѣ кланяется, — это Сашенька поповна; она милая дѣвочка, я ее люблю, она вмѣстѣ со мной плачетъ о тебѣ и восхищается, когда я получу отъ тебя письмо. Я всѣхъ люблю, кто тебя любить. //

Москва, іюня 17, понедѣльникъ.

Александръ, ты мнѣ певалъ, что не пишу, а самъ не хочешь утѣшить и строчкой. Вотъ, наконецъ, мы ѣдемъ въ деревню, наконецъ, я была у васъ! Ты не можешь вообразить, съ какимъ восхищеніемъ я ѣхала; непремѣнно надѣялась увидѣть маменьку, но надежда меня обманула. Тѣмъ-то и тяжка мнѣ жизнь

ноя. Александръ, что меня удаляютъ ото всѣхъ, ото всѣхъ, съ кѣмъ отрадна мнѣ каждая минута, кто принимаетъ во мнѣ участіе.

Дальній, милый другъ! Утѣшь меня хоть строчкой. Какъ съ дѣтства заключенному въ темницу отраденъ свѣтъ, мелькнувшій на минуту, такъ для меня отрадно каждое слово твое. Ты не постигаешь этого вполне, о, конечно, нѣтъ! Но вѣрь мнѣ, что даже и не въ темницѣ, даже и не заключенная я съ одинаковымъ восторгомъ буду получать твои письма, и въ ясной жизни тотъ день будетъ мнѣ прекраснымъ днемъ (но какая же ясная жизнь, когда съ тобой въ разлуку?!)

Можетъ быть, мнѣ запретятъ брать перо въ руки и тогда я совсѣмъ не буду къ тебѣ писать, а, можетъ быть... о, тогда много, много буду писать! Мнѣ былъ допросъ, не получаю ли отъ тебя писемъ, не пишу ли къ тебѣ? Разумѣется, я отвѣчала *нѣтъ*. а папенька сказалъ маменькѣ, что я пишу; она говоритъ: *мнѣ* послышалось.

И такъ, видишь, какъ страшно къ тебѣ писать. Но что будетъ, то и будетъ, я не боюсь страшнаго, я подниму руку и съ тяжелою цѣпью и сквозь желѣзную рѣшетку достану начертить слово, когда ты этого хочешь. А ты... у тебя не такъ душно, ты можешь дѣйствовать рукой свободно, почему же не хочешь написать?

Какъ грустно мнѣ стало, когда я была у васъ!

Какой мракъ, какая стужа! Когда же взойдетъ солнышко? Когда настанетъ ясный день?

Я скоро замерзну, глаза такъ привыкнуть къ темнотѣ, что послѣ свѣтъ для нихъ будетъ невыносимъ. Скажи, Александръ... нѣтъ, не то...

Когда я взяла перо, думала, что много скажу тебѣ, но написала много, а ничего не сказала. Погоди немножко, теперь я въ хлопотахъ, во вторникъ ѣдемъ, т. е. завтра, все укладываю, отправляю, ужасная суматоха.

Писала я къ Emilie...

Послушай. Александръ, ежели ты мнѣ не напишешь... нѣтъ, все-таки, буду писать, лишь бы тебѣ не наскучить.

Пора, прощай, другъ.

Наташа.

Нѣтъ, не могу проститься съ тобой, не пожелавъ тебѣ ничего; и такъ, всего лучшаго въ свѣтѣ!.. Прощай!

Каждый четвергъ я жду съ такимъ нетерпѣніемъ: изъ Вятки приходитъ почта... Придетъ четвергъ, — уже солнце на закатѣ, а нѣтъ письма; грустно, тяжело: здоровъ ли другъ? Но мрачныя мысли исчезаютъ, вѣра, надежда и молитва оживляютъ душу. Мнѣ кажется, я слышу, ты говоришь мнѣ: «Полно, не грусти, Наташа, я буду писать къ тебѣ».

Дай же мнѣ обнять себя за это утѣшеніе, братъ, другъ. Я получу уже твое письмо въ Загорьѣ. Жаль мнѣ разставаться съ Москвой, хоть и не *все* въ ней, во есть еще люди, которыхъ я люблю искренно. Вотъ *человѣкъ*, онъ хочетъ того, что его иногда огорчаетъ: грустно, а, все-таки, хочу ѣхать въ деревню!.. [Послѣ двухъ зачеркнутыхъ строкъ]. Прости, что замарала, не учтиво.

[Безъ обозначенія числа].

Прости, другъ мой Natalie, прости мои глупыя упреки. Ты сама знаешь, какъ давить эта нѣмая разлука, и ни вѣсточки, ни отрадной капли!..

Твои записки на меня имѣютъ давно страшное вліяніе. Ими я возобновляю въ памяти всю юность. Отъ О. писемъ нѣтъ, и я не пишу, твои же записки такъ ярко вспоминаютъ все время восторженной и фантастической жизни въ Москвѣ. Да и въ нихъ такая полнота чувствъ! О. Наташа, Наташа, да, ты сестра моя, ты самая близкая родная моей души. И ты всякой разъ пишешь, что увѣрена въ моей дружбѣ,—это худо, это признаки сомнѣнія. Нѣтъ, въ тебѣ я не сомнѣваюсь, въ твоемъ сердцѣ есть у меня мѣсто...

Мнѣ не нужно себя увѣрять, что ты мнѣ сестра.

Но зачѣмъ же я падаю? Да, я падаю. Эта буря прошлаго года меня подняла, а ссылка томить, я падаю.

Наташа, другъ мой! Прощай!

А. Герценъ.

25 іюня, Вятка.

Carissima! Нѣтъ, ей-Богу, я не могу привыкнутьъ къ этой жизни. Не имѣтъ ни одного сердца, въ которое бы могъ перелить восторгъ свой, свои чувства, нѣтъ ни одного человѣка, который хотѣлъ бы понять меня или могъ бы. Безъ симпатіи я не могу жить. За одинъ часъ, проведенный съ О., за одинъ часъ, проведенный съ тобою, я отдалъ бы много, согласился бы мѣсяцъ сидѣть въ тюрьмѣ, мѣсяцъ лежать больнымъ. Тюрьма! Да что же страшнаго въ тюрьмѣ? Я смотрю, какъ на блаженное время, на прошлые 9 мѣсяцевъ тюрьмы. Тамъ возвышалась моя душа, тамъ прахъ земной слеталъ съ нея, тамъ я ежели не видалъ друзей, то слышалъ, какъ билось ихъ сердце. А потомъ эти свиданія... свиданіе съ тобою... Отдайте мнѣ мою тюрьму, отдайте моего жандарма у дверей, лишь бы мелькомъ я могъ видѣть тѣхъ, въ сердцахъ коихъ я создалъ храмъ свой,—тѣхъ, которые стоятъ божествами, святыми въ храмѣ моего сердца. А здѣсь я вяну, тухну и долженъ видѣть это. Какая пошлая жизнь!

Загорье, іюня 26 дня

« Другъ, ты узнаешь, ты поймешь, какъ утѣшило меня твое письмо. Это—ясный лучъ солнца, изрѣдка освѣщающій мрачное мое жилище; это—звѣздочка, которая горитъ на темномъ сводѣ и свѣтитъ во мглѣ. Горы, горы, моя звѣзда, освѣщая путь мой, свѣтъ твой сладокъ и отраденъ душѣ моей!

Я совершенно оживаю, обновляюсь, когда получаю отъ тебя письма, снова чувствую, снова желаю, надѣюсь и молюсь. Но этотъ промежутокъ, когда я не имѣю отъ тебя никакого извѣстія, убиваетъ меня. Пространство, раздѣляющее насъ, дѣлается для меня безмѣрнымъ, надежда свиданія исчезаетъ, мрачныя мысли затмѣваютъ душу, грусть, тоска стѣсняютъ сердце; тогда... я исчезаю, я не живу,—какъ мало въ жизни моей часовъ, въ которые я живу!

Письмо твое дышетъ какою-то грустью и безнадежностью, Александръ. Твоей-ли душѣ изнемогать подъ ударами судьбы? Тебѣ-ли... но и Сынъ Божій просилъ: «да мимо идетъ Его чаша сія», и явился ангелъ съ небесъ, укрѣпляя Его. Отецъ Его—твой Отецъ—ниспослетъ и въ твою душу лучъ отрады и терпѣнія. Крѣпись, мой другъ, въ странѣ страданій не вѣченъ нашъ жестокой пѣнн. Да, не вѣченъ, и разлука наша не вѣчная,—придетъ пора, настанутъ дни счастья и снова другъ нашъ съ нами, и Александръ съ друзьями!

Вотъ уже двѣ недѣли, какъ я въ Загорьѣ. Мнѣ правится сельская жизнь. Домъ нашъ съ одной стороны на горѣ, передъ окнами прелестный палисадникъ,

внизу большой прудъ; направо роща и видны развалины плотины; на лѣвой сторонѣ садъ на 4 десятинахъ,—огромныя липовыя аллеи; на томъ [берегу]—горы, церковь и сосѣднія села и деревни. Позади дома идетъ дорога изъ Москвы, и далеко-далеко видно, кто ѣдетъ. Прелестное мѣстопоположеніе! Множество маленькихъ овраговъ, и куда ни поди, вездѣ остановишься: прекрасно, прекрасно! Тѣмъ еще грустнѣе вздумать, что дальній другъ переноситъ и холодъ, и самую несносную погоду. Рано утромъ я встаю, — твой зонтикъ, книга и въ корзинкѣ твой стаканъ,—отправляюсь гулять, изъ родника пью воду и хожу по аллеямъ. Ясное утро, ароматическій воздухъ и гимны птицъ,— все это гонитъ прочь мрачныя мысли и приводитъ душу въ священный трепетъ.

Тутъ часто, стоя на горѣ, привожу себѣ на память счастливыя минуты моей жизни: ихъ мало, но тѣмъ еще онѣ для меня дороже, и этотъ дивный, прелестный, страшный день—день моего свиданія и прощанія съ тобою на Крутицахъ... Но вотъ въ ближайшей церкви раздакъ звукъ колокола къ заутрени... исчезло все... Какое умиленіе, какая небесная тишина въ сердцѣ и какъ высоко отъ земли молитва поднимаетъ, уноситъ мою душу, колѣна преклоняются... Отецъ небесный! Ты видишь глубину сердецъ. Ты слышишь тайное моленіе....

Прощай, Александръ, прощай. до свиданія. Когда ты не будешь имѣть свободы воротиться сюда, сюда—въ Москву, гдѣ радости и горе твой юный духъ, пылая, обнималъ, тогда я (вѣдь, буду-же я когда-нибудь свободна) прилечу въ мою родину—Вятку!!!

Твоя *Наташа*.

Ты знаешь, что мнѣ запрещено писать къ тебѣ, и ежели узнаютъ даже, что ты пишешь ко мнѣ, то... но чему быть, того не миновать; мнѣ ничего не страшно здѣсь, я не боюсь обломковъ стараго строенія,—они не ушибутъ меня. Дай руку мнѣ. Александръ, прости!

Какъ ни хорошо Загорье, но я одна здѣсь. со мною нѣтъ Emilie, мнѣ все чуждо и всѣмъ я чужда, но... тамъ, далеко, живутъ мои милые друзья... Ахъ, Александръ, Александръ... Напиши крошечную записочку къ Emilie, я пошлю ей; вѣрно, ты ее этимъ много утѣшишь. Она ко мнѣ недавно писала. Что-то она, моя Эмилиа? Всѣ, всѣ далеко отъ меня!

Загорье, іюня 28.

Прихожу домой. мнѣ подають пакетъ изъ Москвы. *Пакетъ изъ Москвы!* Нѣтъ-ли и отъ Александра записки? Ахъ, вотъ, вотъ его рука!

Да, ты правъ, на что увѣренія, на что слова тамъ, гдѣ душа и сердце?.... Ты не имѣешь извѣстія объ О., ужасно! Какъ тяжело мнѣ было, когда я не получала писемъ отъ Emilie!

На-дняхъ въ будни пошли мы къ обѣднѣ, наканунѣ я получила твое письмо. и такъ еще радость была свѣжа въ душѣ моей; дорогой я думала о тебѣ; устала, день былъ жаркой и надо все входить на горы и спускаться въ овраги; храмъ стоитъ на горѣ одинъ, ничего нѣтъ подлѣ него, ни жилища, ни дерева, однѣ могилы кругомъ, простыя, надъ коими памятникъ—свѣжій дернъ или кирпичъ, все тихо, тихо и еще не благоувѣстятъ,—все это наполняетъ душу необыкновенными чувствами. Наконецъ, обѣдня началась. церковь пуста, никого не было, кромѣ насъ; мнѣ что-то тяжело было на сердцѣ, не было въ душѣ этой небесной тишины, которая ограждаетъ ее отъ *житейскаго*. Въ храмѣ на молитвѣ и съ

душой, полной земли, я стояла безъ вниманія,—вотъ ужъ и Апостола читають; вдругъ душу мою пробудили эти слова: «*во всемъ скорбяще, но не стужающе си: не чаеми, но не отчаяваеми. Гоними, но не оставляеми: низлагаеми, но не погибающе*». Помнишь-ли, въ первой запискѣ ты писалъ мнѣ эти слова?

Прощай, Александръ, нельзя писать.

Наташа.

[Приписка карандашемъ; іюля 1, понедѣльникъ, 5 часовъ утра].

Какое ясное утро! И какъ ясно въ душѣ моей! Ахъ, Александръ, это нецелостижимо, почему въ душѣ моей такая безпечность! Я живу только друзьями, воспоминаніями; ничто, ничто *окружающее* меня не имѣетъ никакого вліянія на душу мою; *все*, мнѣ все равно, ни радуется, ни печалитъ.

Какое утро! Что-то ты дѣлаешь теперь. Вѣрно спишь крѣпкимъ сномъ на постели; а я—вотъ, вокругъ меня и зелень, и цвѣты, подъ ногами прудъ, птицы поютъ, вотъ и къ заутрени ударили...

О если бы ты былъ въ Москвѣ, какъ бы часто смотрѣла я на дорогу, не идетъ ли другъ, какъ бы я побѣжала къ тебѣ навстрѣчу... Но... Да, вѣдь, придетъ же время, побѣгу навстрѣчу тебѣ. Прощай, Александръ, другъ, братъ мой.

Твоя Наташа.

Загорье, іюля 12.

Тебѣ не страшна тюрьма, тамъ ты слышалъ, какъ билось сердце друзей твоихъ, а теперь? Теперь неужели ты не слышишь?.. О, какъ сильно оно бьется! Что-жъ тебѣ страшно, мой другъ, не эти ли 1000 верстъ? Но овѣ не раздѣляютъ тебя съ друзьями; нѣтъ той минуты, когда бы я не была съ тобою. Одиночество? Одинокъ тотъ, у кого на всемъ свѣтѣ никого нѣтъ, а кто въ разлукѣ... Нѣтъ, Александръ, ты не одинокъ!

Черезъ недѣлю настанетъ день, ужасный день, въ который годъ тому назадъ я узнала, что такое въ жизни несчастье, память его никогда не умретъ въ душѣ моей; глубоко, глубоко запечатлѣлась она въ ней. Ничто не можетъ стереть клейма, вклеяннаго жестокою рукой судьбы. Такъ, Александръ, мнѣ страшна тюрьма, теперь ты далеко, но сердце спокойно, другъ свободенъ, а тогда... О, ужасное время! Нѣтъ, нѣтъ, не хочу тюрьмы твоей; жить на волѣ и знать, что тутъ, за этою рѣшоткой, за этимъ страшнымъ ключемъ, сидитъ мрачный и одинокій другъ, что этотъ жандармъ у дверей стережетъ его! О, нѣтъ, пусть я не вижу тебя, пусть не слышу твоего голоса, лишь бы ты на волѣ, лишь бы ты свободенъ!

Порой приходитъ смущать душу страшное воспоминаніе, какъ я проходила мимо твоего окна... Бѣгите, бѣгите прочь горькія мысли! Александръ, другъ мой, свободенъ!

Списала я твою *Легенду*; не думала, чтобъ ее послали тебѣ: не хорошо написана, а папенька желалъ имѣть; но ее къ тебѣ послали... извини, что дурно писано. Теперь буду переписывать *Германскаго путешественника*. Съ какимъ удовольствіемъ жду я, когда мнѣ пришлютъ его.

Прощай, не упадай духомъ, обопрись на святое слово Евангелія, тогда ты перевесешь все, и не разлuku!

О, какъ люблю я тебя, родная Вятка, ты мнѣ болѣе столицы, въ тебѣ я живу, въ тебѣ все!

Ты купилъ лошадей, наконецъ, заводишься хозяйствомъ, можетъ быть, теперь тебѣ не такъ страшно будетъ [завести] огородъ и корову.

Я слышала, что твоя должность трудная и много дѣла, — какъ же ты пишешь, что мало занимаешься? Обнимаю тебя. Будь здоровъ.

Наташа.

Теперь три часа пополудни, я одна сижу въ саду подъ огромною липой и пишу на скамейкѣ одна - одиноконька. Я сейчасъ была на сѣнокосѣ, сгребала сѣно и уже пойду работать въ саду: розы и всѣ цвѣты обработаны моими руками. Въ день Казанской Божіей Матери, я только что пришла отъ обѣдни, мнѣ принесли изъ Москвы твое письмо.

Вятка, 24 іюля.

Другъ мой, Наташа, я долженъ былъ себѣ на долгое время отказать въ утѣшеніи писать къ тебѣ; я знаю все, что было въ Москвѣ; первый разъ могу это сдѣлать и сдѣлаю.

Я былъ грустенъ, очень грустенъ... Несмотря на всѣ опыты, я еще не совсемъ увѣрился въ низости людей: на-дняхъ одинъ изъ здѣшнихъ знакомыхъ, также несчастный, также сосланный, поразилъ меня своею подлостью. Ледъ облегло мое сердце, еще сверхъ сего одна ошибка въ человѣкѣ, — и ледъ сталъ толще, но вдругъ твое письмо! Наташа, ты мой ангелъ утѣшитель! Ты и О. заняли всю душу мою. Какъ звучны, какъ исполнены высокихъ чувствъ твои слова! Благодарю тебя! Это не какая-нибудь phrase banale; нѣтъ, эта благодарность вылетѣла изъ глубины души. Какъ пусто все вокругъ меня, пусто и въ душѣ! Есть минуты, въ которыя я натягиваю какое-то забвеніе, но обстоятельства не хотять никогда меня долго усыплять; холодная, костяная рука дѣйствительности будитъ меня среди сна. Отчаявшись найти человѣка, я сначала выдумалъ себѣ разныя занятія, гдѣ было бы много всего, но мало людей, — гулять за городомъ, ѣздить на охоту; но все это утомляетъ и пустота, какъ умирающій съ голоду, просить хлѣба, пищи, а тутъ нѣтъ ея. Потомъ обратился я къ свѣтской жизни, — ибо и здѣсь есть гостинья, — но сплетни меня выгнали; сплетни только по слуху знаютъ въ столицѣ, надобно побывать въ маленькомъ городкѣ, чтобъ узнать ихъ, надобно углубиться въ плоскую жизнь провинціала, чтобы ненавидѣть ее. Что же оставалось? Прихоти и *тыя* въ полномъ объемѣ; попробовалъ я, я утопалъ, задыхался въ восточной нѣгѣ и, признаюсь, тутъ была пища воображенію моему, — оно какъ-то сдѣлано на манеръ южной, итальянской, — я проводилъ по нѣсколькимъ часамъ въ какомъ-то упоеніи, но и тутъ подложили отраву и съ этимъ я долженъ былъ разстаться. Что же осталось? То, съ чего бы надлежало начать, — возвратиться въ себя, употреблять всѣ силы, чтобы воскреснуть, для этого-то мнѣ и нужны твои слова и слова О., но послѣднихъ нѣтъ и ждать нельзя скоро.

Да, твое письмо потрясло меня, и это не первой разъ. Оттаялъ ледъ души моей. Твой образъ, какъ образъ Дантовой Беатриче, заставляетъ меня стыдиться моей ничтожности. Пиши же, пиши же, моя Беатриче. Не брани меня, другъ мой, за это самозабвеніе, не брани, что я предавался страстямъ, какъ бы забывая свое призваніе. Мой пламенный, порывистый характеръ ищетъ непре-

рывной дѣятельности, и ежели нѣтъ ея въ хорошемъ, обращается въ худое. «Чѣмъ способнѣе къ произростанію земля,—говоритъ Данте, — тѣмъ болѣе на ней родится плевелъ и тѣмъ диче, лѣсистѣе она становится, ежели ее не засѣвають».

Прощай же, сестра, другъ, моя Наташа; грустна жизнь Александра, но онъ не потерялъ ни вѣры въ себя, ни вѣры въ будущее.

Доставь прилагаемую записку Эм. М.

Ал. Герцень.

Загорье, 26 іюля.

«Другой мѣсяцъ нѣтъ мнѣ отъ тебя ни строчки, ты, вѣрно, хочешь узнать мое терпѣніе; не испытывай такъ жестоко; вѣрнѣе, у меня его много, я все снесу съ терпѣніемъ и всего буду ждать съ терпѣніемъ, но отъ тебя... да ты самъ знаешь все. Пиши, вѣдь, откладывая день за день, легко можно отвыкнуть и совсѣмъ забыть, и что ежели ты... на что тогда мнѣ жизнь? Умирая, я расстаюсь съ одними воспоминаніями.

Какъ обѣденъ и какъ малъ человекъ въ отсутствіи друга, какъ все холодно и нѣмо вокругъ него! Яркое солнышко его не грѣбегъ, луна не свѣтитъ ему привѣтно, люди не такъ къ нему радушны и самъ онъ не любитъ ихъ, какъ братьевъ, и жизнь его—сонъ.

Вчера вовсе неожиданно пріѣхалъ къ намъ Левъ Алексѣевичъ съ Сереей. Онъ мнѣ сказывалъ, что ты веселишься въ Вяткѣ, мнѣ это было чрезвычайно пріятно слышать, еще, что, *можетъ быть*, ты скоро возвратишься...

Другъ, ты все поймешь!

Прелестна деревенская жизнь, Александръ! Какъ бы отдохнула душа жителя столицы въ этихъ мѣстахъ, гдѣ природа сама украсилась безъ помощи рукъ человѣка! На что паркъ, на что бульваръ и пруды? Что они передъ этимъ простымъ, но очаровательнымъ ландшафтомъ? Смотри, вонъ противъ дома, на томъ берегу рѣки, на горѣ, между березъ, которыя уныло наклоняютъ густыя вѣтви свои въ воду, виднѣется стадо, а подъ одной изъ этихъ березъ пастухъ играетъ на свирели; не промѣняю я этого поэтического звука на цѣлый оркестръ. пусть онъ гремитъ тамъ, гдѣ зной веселости безумной обдаегъ толпу, тамъ, гдѣ нуженъ сильный, страшный громъ, чтобы разбудить душу, а мнѣ отдайте мою свирель.

Часто по вечерамъ хожу я гулять по берегу и не далѣе, какъ вчера,—что за дивный вечеръ! Тихо, маленькій вѣтерокъ чуть колышетъ деревьями. кое-гдѣ пернатая вспорхнетъ, споетъ вечерній гимнъ и умолкнетъ; полный мѣсяцъ смотрится въ рѣкѣ, яркія звѣзды горятъ въ небѣ... и въ эти часы, полные поэзіи и святости, чья душа не вознесется *туда*, чьи колѣна не преклонятся предъ *Нимъ*?

Въ эти-то только часы я отдыхаю отъ *дневныхъ трудовъ*, въ эти часы слетаетъ небесная отрада въ мою душу и въ эти часы ты всегда со мною. Я забываю тебя, когда глаза мои видятъ гнусность и низость, когда уши мои слышатъ только хулы и брань. Нѣтъ, зачѣмъ воспоминаніе о тебѣ помѣшать въ *эти черные часы*? У меня есть часы святые.

Пора! Дай мнѣ на прощанье руку твою, другъ. Прости! *Наташа.*

Мнѣ за тебя пеняетъ маменька, что рѣдко пишу, а тебѣ кто за меня попеняетъ? Некому! Но на что же пенять?

Ахъ, если бы это сбылось, если бы мы вмѣстѣ вѣхали въ Москву! Но, вѣдь, ты не любишь Москву, можетъ, тебѣ Вятку будетъ жаль?

А теперь какъ уныло гудитъ вѣтеръ, мнѣ что-то грустно стало и темно такъ; ужъ близко полночь; лягу спать, не увижу ли во снѣ тебя? ||

Загорье, августа 1.

Августъ! Осень приближается, ужасъ, какъ не люблю я осень! Другъ, Александръ! Прости мнѣ, я тебѣ пеняла, что ты мнѣ не пишешь, но, можетъ быть, папенька не приказалъ тебѣ, можетъ быть, ты думаешь, что мнѣ чрезъ это выйдетъ неприятность,—я ничего рѣшительно не боюсь; но что бы то ни было, да ежели ты находишь какія препятствія,—не пиши, и за 1000 верстъ я узнаю и откликнусь тебѣ, когда ты позовешь меня. Счастлива я, что, несмотря на всѣ опасности, еще могу беречь у себя твои письма; къ нимъ я буду прибѣгать съ грустною душой и въ нихъ найду то, что люди у меня отнимаютъ и, *когда можно*, буду къ тебѣ писать. Еще есть у меня утѣшеніе! Люди, вы не всего лишили меня, лишая забавъ и удовольствій, которыми только и живеть, и дышать юность; веселье, счастье души моей вы не поймете, вы не отнимите ихъ у меня, они вѣчно будутъ моими. Да, Александръ, горька разлука, горька жизнь безъ друга; родина становится чужбиной, сама себѣ чужда, но, когда блеснетъ мысль свиданія, мысль этой встрѣчи,—надежда, какъ свѣтлое солнце, разгонитъ мрачныя мысли и яркимъ свѣтомъ озаритъ все существованіе.

Александръ, неужели... нѣтъ, я этому боюсь вѣрить; еще ужаснѣе, когда обманешься, и возможно ли, чтобы такъ скоро?.. О, другъ! Когда же, гдѣ увидамся съ тобою? Такъ далеко... и нельзя писать!..

Сегодня я тебя видѣла во снѣ, будто ты пріѣхалъ сюда, въ Загорье; я повела тебя въ садъ, въ рошу, сидѣла съ тобою на берегу рѣки, показывала тебѣ свою комнату... и, проснувшись, чуть не заплакала, что это былъ сонъ. Прощай. Послушай, Александръ, когда, когда-нибудь, ежели будетъ можно, напиши мнѣ хоть слово. Теперь прощай, не могу болѣе писать; когда будетъ можно, напишу еще.

Слава Богу, еще есть свободная минута! Есть дальнія пустыни, куда приходять посвящать себя Богу и ведутъ самую строгую жизнь. Не могу допустить, чтобы человѣкъ палъ до такой степени, чтобы не было на землѣ святой обители, общества людей, истинно посвятившихъ себя уединенной и строгой жизни для собственнаго усовершенствованія въ добродѣтели и для блага ближнихъ,—есть на землѣ святая обитель, есть между нами такіе люди, но гдѣ же эта обитель? Гдѣ эти люди? Современемъ,—теперь я не могу объ этомъ думать... Ты писалъ ко мнѣ, что когда еще жизнь кажется запечатаннымъ письмомъ, не должно бросать его. Пора, пора сорвать эту печать! Несносно! Прощай! Ужъ солнце на закатѣ, какъ страшенъ кровавый видъ его! Будемъ ли мы когда-нибудь смотрѣть вмѣстѣ на закатъ солнечный?

„Взойдетъ заря
И съ той зарей“...

Наташа.

Гдѣ-то теперь моя Эмилія? Во все время разлуки она только разъ писала ко мнѣ.

7 августа.

Другъ мой, Наташа! Отнюдь не хотѣлъ тебя испытывать, меня судьба хочетъ всёми испытывать. Впрочемъ, я недавно писалъ къ тебѣ и къ Emilie, но ты еще не могла получить.

Я нѣсколько воскресъ, нѣсколько сталъ выше обстоятельствъ, но душа моя еще больна, раны закрылись, но горе, ежели кто къ нимъ притронется! Со всякимъ днемъ я болѣе и болѣе разочаровываюсь въ людяхъ. «Ихъ сердце—камень, ихъ слезы—вода, люди—порожденіе крокодиловъ»,—какъ говорилъ Шиллеръ, проводшій всю жизнь въ любви къ людямъ. Еще когда люди просто злы, просто злодѣи, тогда они, по крайней мѣрѣ, имѣютъ свою фізіономію. Но обманщики,—обманъ унижаетъ человѣка до послѣдней степени. Измѣна! Ужасное слово! Но не былъ ли я когда нибудь измѣнникомъ? Я когда-то любилъ, а теперь не люблю. Но я любилъ откровенно, отъ души, и разлюбилъ откровенно, отъ души. А, впрочемъ, это доселѣ клеймить меня, это пятно. За то я здѣсь былъ славно обманутъ. Я все могу перенести, кромѣ обмана; обманутый всегда шутъ. надъ нимъ смѣются. Впрочемъ, за всякую опытность благодарю душевно судьбу, опытъ—дивная вещь; но да не испытаетъ душа твоя *опытовъ*, пусть она останется и свѣтла, и чиста, пусть твоя душа будетъ мѣстомъ отдохновенія моей души. О, какъ я благодарю Бога, что мы братъ и сестра, но нѣтъ, мы болѣе, мы ближе!

«Что такое дружба?—спросилъ онъ. — «Два пальца на одной рукѣ, соединенные, но не одно»,—отвѣчала Эсмеральда.

«Что такое любовь?»

«Два существа, соединяющіяся для составленія одного ангела».

А прггос прочти этотъ романъ: *Notre Dames de Paris*. Егоръ Нв. пусть достанетъ.

Ты пишешь, что я здѣсь веселюсь. Сережа вретъ. Не завидуй этому веселью.

Ал. Герцень.

Загорье, 16 августа.

!! Нѣтъ, я не могу болѣе вынести этого! Теперь жизнь моя какъ темная, холдная ночь. Александръ, другъ мой, дай мнѣ слово, одно только слово; оно, какъ яркая звѣзда, засіяетъ на этихъ небесахъ, на которыхъ померкла для меня красота съ тѣхъ поръ, какъ ты мнѣ не пишешь. Милый братъ, зажги звѣзду на моемъ темномъ небѣ; въ ней вся моя отрада, все утѣшеніе, надъ нею Богъ! Вчера въ пакетѣ Егора Нв. я нашла письмо ко мнѣ, написано: «Наташѣ», точно твоя рука! Я вся затрепетала и такъ крѣпко сжала его, какъ будто нѣсколько сильныхъ хотѣли у меня отнять его, и долго, долго не распечатывала... какъ будто сердце предчувствовало—это было не отъ тебя... И гдѣ же это время золотое, куда умчалось ты, когда почти каждую недѣлю я получала отъ тебя? Оно умчалось, умчалось далеко! Но пусть такъ, пусть оно не приходитъ, теперь ты свободенъ. Кругомъ меня все такъ мертво, нѣмо; и небо, и люди мнѣ чужды, и эти письма... о, теперь они терзаютъ мнѣ душу! Въ нихъ такъ ярко влита печать минувшаго-счастливаго, давно ужъ не читаю я ихъ; какъ возьму въ руки, слезы градомъ; возьмите отъ меня все за одинъ часъ на Крутицахъ. за одинъ только часъ! Вчера же папенька прислалъ мнѣ платочекъ и пишетъ, что онъ приславъ отъ тебя мнѣ къ именинамъ,—не знаю, что-то мнѣ не вѣрится...

Но хочу вѣрить, что онъ отъ тебя, мнѣ пріятнѣе будетъ надѣть его Спѣшу обнять, я не могу болѣе писать.

Наташа.

16-е. Завтра ѣдутъ въ Москву, — вотъ тебѣ еще нѣсколько строкъ. На той недѣлѣ, вовсе неожиданно, я крестила сына у одного крестьянина; хочешь ли, я тебѣ опишу сельскія крестины? 8 числа с. м. у насъ на полѣ служили молебень, ибо время засѣвать хлѣбъ; тутъ одинъ крестьянинъ просить священника окрестить родившагося въ эту же ночь у него сына. Маменька мнѣ позволила быть крестною матерью, священникъ—крестнымъ отцомъ, и вотъ я съ младенцемъ на рукахъ предъ Всевышнимъ отрекаюсь отъ дьявола и всѣхъ грѣховъ за невиннаго! По окончаніи таинства я понесла моего крестнаго сына къ его матери. Боже мой, какія шумныя веселости столицы замѣняютъ это тихое сладкое удовольствіе? Въ эту минуту я бы не промѣняла цѣлый городъ на одну эту бѣдную хижину. Ты не можешь вообразить, какая радость и какое восхищеніе изображались на лицѣ кумы моей, когда я сѣла подлѣ нея на соломенную постель. Со всѣхъ сторонъ благодаренія и благословленія сыпались на меня градомъ; меня тронули слова старушки. «Барышня, ты—ангелъ!»—сказала она мнѣ такъ выразительно, съ такимъ чувствомъ. Ей Богу, и въ этихъ душахъ есть сильная поэзія! Когда я, благословивъ моего крестнаго сына, пошла домой, вся семья вышла меня провожать, съ истиннымъ усердіемъ прося мнѣ у Бога всѣхъ благъ. День этотъ сдѣлалъ на меня пріятное вліяніе. Да, бываютъ дни, коихъ впечатлѣнія остаются надолго въ памяти. Разъ въ Москвѣ сажу я подъ окномъ, идетъ еще довольно молодой человекъ; выразительное лицо его говорило, что душа была растерзана отчаяніемъ, большіе, черные глаза его были полны слезъ; онъ говорилъ по-пѣмски — я не понимала, по-французски и по-русски. Онъ служилъ въ гвардіи и по какому-то случаю лишился всего: одежда его была вся изодрана ужаснѣйшимъ образомъ и онъ просилъ хлѣба; я дала ему хлѣба и рубль (у меня не было больше денегъ). «Боже, и хлѣба, и денегъ!» сказалъ онъ, горько заплакавъ. Я сама едва удержала слезы; съ тѣхъ поръ не видала болѣе незнакомца, но его лицо у меня въ глазахъ и эти слова, произнесенныя съ сильнымъ волненіемъ: «Боже, и хлѣба, и денегъ!» еще отдаются и теперь въ моихъ ушахъ. «Есть думы—ихъ не отогнать, есть тѣни—имъ не исчезать».

Прощай, Александръ, умоляю тебя, ежели *можно*, напиши мнѣ хоть одно слово. Осенній вѣтеръ бушуетъ, небо пасмурно, какъ печалень теперь видъ Загорья! Ну, что же? Въ Москву! Въ Москву! Но и тамъ все печально, и тамъ все нѣмо и пусто для меня!

Наташа.

Безпрестанные дожди и стужа мѣшаютъ бѣднымъ крестьянамъ сѣять хлѣбъ. У насъ ужасный холодъ, пренепріятно теперь жить въ деревнѣ; я думаю, теперь и ты озябъ? //

Загорье, августа 26.

Наконецъ, голосъ родной души раздался въ моей душѣ, — и я воскресла! Этотъ голосъ необходимъ для нея, онъ одинъ только уничтожаетъ въ ней все грустное, одинъ только возвышаетъ ее надъ всѣмъ земнымъ. Душа твоя еще больна; ежели бы люди были добрѣе, радушнѣе, тебѣ бы не такъ горька была разлука, но и ты

обмануть, Александръ! Провидѣніе, можетъ быть, предназначило тебѣ совершить многое, потому и испытуетъ во многомъ. «Оно сперва хочетъ закалить свое оружіе, потомъ употребляетъ его»,—сказалъ ты самъ. Безъ этой мысли ужасны *опыты*. Но забави тебя Богъ подобныхъ встрѣчъ, мнѣ больно за тебя. Да, дивная вещь—любовь! Люби, но чтобъ она была *тебя достойна*, тогда ты уже не разлюбишь и самъ не будешь обмануть. Но гдѣ-жъ *она*, гдѣ достойная тебя?

Утомленный битвой жизни, усталый, разочарованный, ты будешь вознагражденъ, ты встрѣтишься съ *нею*, и *она* примиритъ тебя съ землею, ея любовью обновится предъ тобою человекъ. О, какъ я люблю всѣхъ тѣхъ, кого ты любишь, каково же я буду любить ту, которая сдѣлаетъ тебя счастливымъ!...

Нѣтъ, Александръ, нѣтъ, другъ мой, я имѣю понятіе выше о дружбѣ, нежели Эмеральда. Какое слабое сравненіе: «два пальца, на одной рукѣ соединенные»! Святѣйшее чувство! Оно такъ сильно, такъ пламенно въ душѣ моей, что уже любви нѣтъ мѣста въ ней. Смерть не различаетъ двухъ существъ, связанныхъ любовью,—но дружбою?...

Дружба имѣетъ начало свое въ *Немѣ*. Мы всѣ соединимся съ Нимъ, ежели будемъ этого достойны. О, какъ эта мысль ведетъ меня къ добродѣтели, какимъ умиленіемъ наполняетъ мою душу; тамъ я неразлучна съ Нимъ и... съ тобою!...

Покаместъ прости, другъ; ежели можно будетъ, напишу еще слово. Теперь 7 часовъ утра, наши встаютъ, а у меня нѣтъ особенной комнаты. Сегодня я жду Егоръ. Иванъ. Онъ обѣщался достать мнѣ *Notre Dame de Paris*. Adieu, oh, mon aimable frère!

6 часовъ вечера.

Нѣтъ, нельзя писать, прощай, мой другъ, да сохранить тебя Всевышній!...

Наташа.

Помнишь ли, два года тому назадъ ты въ этотъ день былъ у насъ и подарилъ мнѣ статью, посвященную тобою сестрѣ Людмилкѣ?

Вятка.

Другъ мой, Наташа! Ты знаешь причины, по коимъ я сталъ рѣже писать къ тебѣ; ни слова объ этомъ.

Поздравляю тебя съ твоими именинами: я знаю, что вниманіе и въ дружбѣ утѣшаетъ; я думаю, ты получила и подарокъ, о коемъ я писалъ; я въ твои именины былъ на огромномъ обѣдѣ и пилъ за твое здоровье чистѣйшимъ клико.

Наконецъ, и здѣсь нашелъ я одного человекъ, съ которымъ немного... покороче,—это для меня необходимость; я часто говорю съ нимъ о тебѣ, мой другъ, даже показываю иногда твои письма. Ты пишешь о скоромъ свиданіи,—я не думаю, чтобъ оно очень скоро было.

Въ *Легендѣ* я прибавляю новый опытъ своей души, тамъ хочу я выразить, какъ самую чистую душу увлекаетъ жизнь пошлая, такая, которую я веду здѣсь. Жизнь та же, которую ведутъ *всѣ* ¹⁾.

Часто, другъ мой, беру я твой медальонъ; много мнѣ говоритъ онъ; ты—чистая сторона моей жизни, ея поэтическая сторона, ибо наша дружба—поэзія, въ ней даже не участвуетъ мое славолюбіе, которое участвуетъ у меня во всемъ. Это самое святое чувство. О, Наташа, когда же, когда же я опять увижу тебя?

¹⁾ Позднѣйшая приписка рукой Герцена: „И не написалъ ничего“. *Примѣч. издат.*

Ты все пишешь объ уединеніи отъ свѣта... и я опять повторю, что смѣшно бросать запечатанное письмо, не читая его Впрочемъ, въ семъ отношеніи положеніе дѣвицъ лучше нашего; вы и такъ далеко отъ свѣта, и ежели ваша жизнь такъ же полна, какъ наша, она отстранена отъ жизни *собственно*,—ты понимаешь смыслъ, въ которомъ я употребляю это слово.

Прощай, прощай, посылаю тебѣ братскій поцѣлуй.

Алек. Гершенъ.

Москва, 3 сентября.

Александръ! Ты избаловалъ меня своими письмами; вотъ уже скоро три недѣли, какъ я не получала отъ тебя, мой другъ, и стало и скучно, и грустно. Я повторяю тебѣ, голосъ твой мнѣ необходимъ, но ужъ, вѣрно, ты писалъ, да письма долго не приходять,—жду и не дождусь. Одно утѣшеніе—перечитываю прежнія твои письма. Ахъ, другъ мой, я къ тебѣ съ просьбой: вечеромъ, когда тебѣ не захочется ничего дѣлать, вели кому-нибудь снять съ себя силуэтъ и пришли эту бумажку мнѣ; это можно сдѣлать въ одну минуту, и ты не можешь соскучиться сидѣть безъ движенія. Я вчера цѣлый вечеръ сидѣла недвижно, двадцать разъ снимали съ меня силуэтъ, и никто не могъ сдѣлать похоже, а я хотѣла сдѣлать его послѣ въ миниатюрѣ и послать къ тебѣ.

Вчера была я въ городѣ, покупала шелкъ и атласъ, а теперь спѣшу начать вышивать тебѣ портфель, потому и прощаюсь съ тобою такъ скоро, братъ мой.

Твоя *Наташа.*

4-е, пятница. Еще тебѣ нѣсколько словъ. Глядя на комету, я думала о тебѣ, мой другъ, можетъ быть, и ты въ это же самое время смотрѣлъ на нее, и, можетъ быть, и ты вспомнилъ меня въ эту минуту. Иногда бываютъ минуты, въ которыя мнѣ такъ хорошо и весело, и радостно. Это тѣ минуты, въ которыя ты вспоминаешь меня, мой другъ; я вѣрю этому—и еще веселѣе и радостнѣе на сердцѣ. А какъ весело работать для тебя! О, другъ мой! мой Александръ!

Прощай, мнѣ некогда. Твоя *Наташа.*

А пишешь ли ты свой журналъ? Я десять разъ начинала и каждый разъ, написавши нѣсколько страницъ, сожгу его; иное слишкомъ монотонно, холодно, нѣмо и мертво, а другое... что *слова* съ дѣйствительностью? Не мнѣ...

Москва, сентября 7 (?).

Сердце мое истерзано, я видѣла еще ужасный опытъ окамененья сердца чело-вѣческаго, не надъ собой только, мой другъ; но это было бы для меня сноснѣе, а видѣть другого страдающимъ и не имѣть средствъ помочь ему,—о, это—ужасно! Чувствовать въ душѣ такое сильное желаніе, такое стремленіе, и встрѣчать на каждомъ шагѣ, каждую минуту препятствія!... О люди, люди! О, другъ мой, какъ страшно жить среди такихъ людей! Какъ ужасны картины несчастія ближняго, какъ раздраютъ оны мнѣ душу, и ни голосъ мой не достигаетъ до людскаго сердца, ни я не имѣю возможности пособить. Душа моя такъ смущена, мой другъ, сердце сжато, снѣгомъ занесло меня всю;... одно утѣшеніе, одна отрада, одно убѣжище душѣ моей—твоя душа, другъ мой; ты согрѣешь, оттаешь мою душу, ты не дашь мнѣ возненавидѣть чело-вѣка; о, какъ необходимъ мнѣ твой

голосъ, твои слова; люди все болѣе и болѣе открываютъ мнѣ свою низость, ввѣщаютъ къ себѣ ненависть, презрѣнье; но, другъ мой, это—грѣхъ, ужасный грѣхъ, надо любить и жалѣть каждаго, а я боюсь ихъ и удаляюсь съ ужасомъ; о ежели бы я могла переимѣнить ихъ, дать имъ другое сердце, но я — ничто, я — ничтожное существо, со вѣсѣмъ желаніемъ, но ничего не могу сдѣлать. Какъ убиваетъ это чувство собственной ничтожности.

Ты мнѣ не пишешь другой мѣсяць. Пиши, право, мнѣ ужасъ какъ грустно. О, какое утѣшеніе мнѣ твои письма, какъ примиряютъ они меня и съ жизнью, и съ землею, примиряютъ меня съ собой, — ты, мой другъ, твоею дружбою заставилъ меня любить самое себя; я теперь такъ горда, что мнѣ больно вспомнить, кто были моими воспитателями и съ кѣмъ я провела всю жизнь мою; и еще больнѣе, что, можетъ быть, еще долго, долго буду зависеть отъ нихъ и должна подражать имъ. Но, вѣтъ, прости мнѣ этотъ ропотъ; я сегодня въ грустномъ расположеніи; меня чрезвычайно разстроила грубость сердца человѣка, я страдаю при каждой новой встрѣчѣ его паденія. Да простить имъ Богъ, не знаютъ, что дѣлаютъ!

На дняхъ была у меня Сапа; намъ ничего нельзя съ нею говорить, вѣдь нею и надо мною есть караулъ; когда мы ѣдемъ другъ къ другу, тогда я пишу, беру съ собою письмо и, ежели можно, отдаю ей, и она—также. Во всемъ смыслѣ плѣнницы! Хоть и говорить нельзя, молча приятно быть съ тѣмъ, чья душа родная моеи душѣ, онѣ бесѣдуютъ, онѣ понимаютъ другъ друга и тутъ не нуженъ земной языкъ.

Получила письмо отъ Emilie; она огорчается, что ты ей не пишешь, но теперь ужъ вѣрно получила и мое, и твое письмо.

Уѣзжая изъ деревни, я воображала, что въ Москвѣ найду что нибудь новое. — все какъ было прежде!

Другъ мой, я тороплюсь писать, сейчасъ только узнала, что есть возможность писать къ тебѣ и ужъ время отсылать письмо.

Прощай, мой другъ, будь веселъ, твоя сестра *Наташа*.

Вятка, 6 сентября.

Другъ мой, Наташа! Грустна твоя прошлая записка. Ты давно не получала отъ меня писемъ, но, я думаю, съ тѣхъ поръ получила три. Трудно мнѣ было отказывать тебѣ и себѣ въ этомъ, но я какъ-то окрѣпъ, привыкъ ко всякаго рода лишенію. Какъ давно не читалъ я ни строки отъ О! Повторяю тебѣ, твои записки на меня имѣютъ дивное дѣйствіе: это струя теплоты на морозѣ, дыханіе ангела на мою больную грудь. Завидую твоей чистотѣ, святости твоей души. Я, впрочемъ, не совсѣмъ падшій, я понялъ то наслажденіе, которое ты испытала на крестинахъ у крестьянина. Люблю я народъ, люблю, несмотря на его невѣжество, на его униженной, подлой характеръ, ибо сквозь всей этой коры проглядываетъ душа дѣтская, простота, даже что-то доброе. Встрѣча твоя съ солдатомъ нашла еще живѣйшій отголосокъ въ сердцѣ ссыльнаго. Много видѣлъ я теперь несчастныхъ, но одного не могу забыть. ¹⁾ Теперь мнѣ здѣсь немног

¹⁾ Приписано карандашемъ: „встрѣча въ Перми, вѣроятно, ссыльнаго поляка Цихановича, которому на прощанье Герценъ подарилъ въ Перми заповку, а Цихановичъ далъ ему вѣсковый звеневъ изъ желѣзной цѣпочка“.

Примѣч. издат.

лучше; во-первыхъ, потому, что я потерялъ послѣднюю надежду скоро возвратиться; во-вторыхъ, потому, что губернаторъ обратилъ вниманіе на меня и употребилъ на дѣло болѣе родное мнѣ: на составленіе статистики здѣшней губерніи. Смѣшной у меня нравъ.—я, какъ кокетка: бѣда, ежели на меня не обращаютъ вниманія, я вяну тогда. ¹⁾ Вниманіе друзей избаловало меня.

7 сентября. Вчера былъ на бумажной фабрикѣ. Чудное впечатлѣніе сдѣлала на меня машины! Огромныя колеса влекутся съ бѣшенствомъ какою-то невидимою силой, обращая бездну другихъ колесъ съ трескомъ и шумомъ. Я сошелъ внизъ, и одна скользкая, мокрая доска отдѣляла меня отъ этого ада; стоило оступиться, чтобы погибнуть, но я остановился; трескъ, шумъ, обращеніе колесъ,—все это наполнило меня чѣмъ-то поэтическимъ. Пѣмецъ, водившій меня, сказывалъ, что когда-то солдатъ поскользнулся и упалъ; черезъ секунду выбросило его голову и колесо облило кровью стѣну и потомъ выбросило [письмо обрывается].

Загорье, 8 сентября, воскресенье.

«Пусть душа твоя будетъ мѣстомъ отдохновенія моей души». О, какую высокою мыслью, какою благородною гордостью эти слова наполняютъ мою душу! Что мнѣ эти несчастія, эти несприятности, которыя каждую минуту отравляютъ мою жизнь! Съ твоею дружбой, съ вѣрою, съ любовью къ человѣку и съ истиннымъ глубокимъ состраданіемъ къ его слабостямъ я иду твердо и рѣшительно по пути, мнѣ предназначенному. Впереди я не вижу для себя ничего, не вижу цѣли моего существованія, но съ тобою оно мнѣ не тягостно; стремиться къ добродѣтели, содѣлать душу мою достойной быть мѣстомъ *отдохновенія твоей души*—вотъ цѣль моего существованія. Но твоя душа, Александръ, *всегда* была мѣстомъ отдохновенія моей души; иногда злоба людей перевѣшиваетъ твердость моего духа, силы меня оставляютъ и я склоняюсь подъ ихъ ударами, но одно воспоминаніе, одна мысль о тебѣ даютъ мнѣ новую твердость,—и снова я выше ихъ, снова счастлива и довольна. О, Александръ! твоя дружба въ несчастіи—моя отрада и утѣшеніе. въ счастіи—подпора и вожатый!

Вотъ уже три мѣсяца я не видала Москвы, но не желаю и видѣть ея, исключая нѣкоторыхъ живущихъ тамъ. Я люблю деревню, здѣсь менѣе слѣдовъ чело-вѣка, а гдѣ менѣе слѣдовъ его, тамъ меньше и разрушенія; здѣсь свободнѣе; я много гуляю, *иногда* далеко одна ухожу отъ дому, и тутъ—я не одна: всѣ, всѣ вы, друзья мои. со мною, всѣ такъ близко меня; тутъ я могу свободно говорить съ вами, смотрѣть на васъ, и эти минуты для меня блаженны, но не продолжительны,—меня тотчасъ позовутъ домой, и опять—все тѣ же пѣсни. А теперь, какъ многихъ, я думаю, стремятся мысли и желанія въ Москву,—центръ веселостей и удовольствій, но ты не думай, чтобъ они плѣняли и меня; нѣтъ, я слишкомъ чужда этихъ шумныхъ обществъ, ничто въ нихъ меня не привлекаетъ, мнѣ кажется, тамъ толпятся люди, которые проводятъ всю жизнь свою ничтожно, полагая главнѣйшею обязанностью не пропустить ни одного бала, но что же. развѣ моя жизнь не ничтожна?..

Ты проведь всю жизнь въ занятіяхъ и не можешь вообразить, какъ несносна эта бездѣйственность; она тяготитъ меня, убиваетъ и разливаетъ въ душѣ моей какою-то мрачность, но, видно, такъ суждено!

¹⁾ Позднѣйшая приписка карандашомъ рукою Герцена: „вотъ одна изъ причинъ паденья“. *Примѣч. издат.*

Ты переѣнилъ и прибавилъ многое къ *Легендѣ*, — очень бы желала я переписать ее для себя. Ты пишешь, чтобъ я не завидовала твоему веселью, — нисколько, но желаю отъ всей души, чтобъ ты сколько-нибудь забылъ грустную разлуку. Ахъ, не грусти, братъ, когда-нибудь и мы соединимся на пути;... а покамѣстъ прости, не забывай

Твою *Наташу*.

Недавно получила отъ Emilie, она ужасно скучаетъ и груститъ, — какъ бы я желала ее видѣть!.. »

Сентября 18-го, Загорье.

Отъ души благодарю тебя и за поздравленіе, и за подарокъ, другъ мой, братъ! А я еще все собираюсь вышить тебѣ что-нибудь; въ деревнѣ нельзя, а вотъ — прїѣхавъ въ Москву...

Наконецъ, и въ Вяткѣ ты нашелъ существо, которое можетъ тебя постигнуть, — уважай этого человѣка. Теперь у меня мысль занята однимъ. Ты не знаешь, Emilie любить N., я долго тебѣ не писала объ этомъ, потому что не имѣла на оное ея согласія; теперь она пишетъ: «жели ужъ ты писала объ этомъ брату, такъ и я стану писать». Давно онъ ей открылся въ любви, и она сказала ему, что любить его; обручились, и онъ писалъ къ ней уже два раза. Она не хотѣла отвѣчать ему на первое письмо, потомъ пишетъ ему, что она его любитъ, принадлежитъ ему и здѣсь, и тамъ, но не идетъ за него, ибо не можетъ его сдѣлать счастливымъ, будучи бѣдна. На что же ему богатство, когда онъ ее любить?... Онъ не бѣденъ самъ; я увѣрена, Александръ, что они бы были счастливы, — у нея прекрасная душа. Его же ты знаешь. О, какъ бы я желала, чтобъ они соединились!.. Половина горя моего убудеть, когда Emilie будетъ счастлива. Только мнѣ на нее ужасно досадно, зачѣмъ такъ жестоко испытывать его? Я читала его письма: нѣтъ сомнѣнія, что онъ ее любитъ, что она будетъ счастлива. Теперь ея положеніе ужасно, оно раздраетъ мнѣ душу, — ее сгубила бѣдность, она много перетерпѣла въ своей жизни, много испытала, и въ душѣ ея осталась какая-то мрачность, отпечатокъ ударовъ судьбы. Еще она пишетъ ему, чтобъ онъ выбиралъ себѣ невѣсту. «Кто страстно любить, тотъ ревнуетъ», и она почти созналась въ этомъ мнѣ; сестра его писала къ ней, что онъ бываетъ часто на балахъ и веселится тамъ, — да развѣ, любивши, нельзя находить удовольствіе на балѣ? Пиши къ ней ради Бога, чтобъ она не сумасшествовала. Какъ жаль, что мы съ ней не имѣемъ, даже и писать часто не могу. Сейчасъ я окончила письмо къ Сашѣ Боборыкиной, ты, кажется, знаешь ея братьевъ. Я ее ужасно люблю, это прелестное существо; давно мы были знакомы, давно я любила ее въ душѣ, но боялась обмануться; наконецъ, несчастіе насъ свело, она открыла мнѣ свою душу, прелестную благородную душу, чуждую вовсе ничтожества свѣта, и съ тѣхъ поръ мы съ нею близкія, родныя сестры. Часто говорю я съ ней о тебѣ, дальній другъ. Она умѣетъ чувствовать, умѣетъ цѣнить все прекрасное, высокое, понимаетъ меня и восхищается тобою. Какое счастье найти между этими холодными, мраморными сердцами модныхъ дѣвицъ — теплую душу съ чистѣйшими понятіями! Не любивши свѣтъ, не любивши часто выѣзжать, она бываетъ на балахъ и въ собраніи, ибо на это воля ея отца, но она совершенно не находитъ удовольствія въ шумныхъ обществахъ. У нея есть другая сестра, старше ея... ту я не люблю; она вовсе не сходна ни нравомъ, ни душою съ Сашей; въ ней

ужасный эгоизмъ и она причиняетъ много неприятностей сестрѣ своей. Въ Москвѣ мы часто переписываемся, ибо рѣдко видимся, а здѣсь я живу три мѣсяца и не могла ни разу къ ней написать. Дивное вліяніе дѣлаетъ на меня бесѣда съ тѣми, съ кѣмъ у меня есть сочувствіе; кажется, я дышу другимъ воздухомъ, кажется, всѣ люди не такъ дурны, и я сама становлюсь выше.

Ты часто берешь мой медальонъ, часто и я смотрю на твои волосы; они у меня на шеѣ, на шнурочкѣ. Какъ ты испугалъ тогда меня этимъ подаркомъ! Я воображала, что ужъ въ Москвѣ мнѣ остался только этотъ маленькій пучокъ волосъ! Завтра, завтра мы въ Москвѣ! Для меня это все равно, что завтра мы въ лѣсу, — и пусто, и нѣма для меня тамъ все. Есть люди, которыхъ люблю, знаю, и они меня любятъ, но все тамъ нѣтъ тебя! Невидимкой прилетѣла бы я къ тебѣ, взглянула бы на тебя, мой несравненный другъ, и опять, — когда такъ судьбѣ угодно, — въ толпу, въ среду живыхъ мертвецовъ.

Душевно поздравляю тебя съ перемѣной должности; по этой части я не понимаю ничего, но радуюсь, ибо знаю, что этого ты желалъ.

Экипажи вывезены, все суетится, шумить... Прощай!... И я иду укладываться... Прощай! Какъ грустно это слово! Лучше до свиданія!

Обнимаю тебя. Твоя сестра *Наташа*.

P. S. A *Notre Dame de Paris* я не могла достать прочесть, ужасно досадно!
Въ послѣдній разъ Загорье.

Москва, 23 сентября.

Вотъ уже третій день я въ Москвѣ; мудроно этотъ шумъ и суета послѣ деревни. Подѣзжая къ Москвѣ, мнѣ видѣнъ сталъ Симоновъ монастырь и Крутицы. Я и безъ того думала всю дорогу о тебѣ, но тутъ проснулось все въ моей душѣ. Крутицы! Зачѣмъ же вы прячетесь за монастырь? Зачѣмъ же мнѣ робко говорить: «теперь мы чужіе тебѣ, его уже нѣтъ здѣсь»? Да, его уже нѣтъ здѣсь, онъ далеко-далеко, но вы все мнѣ знакомы, ваши стѣны мнѣ родныя, въ нихъ споровено много его думъ и мечтаній, онъ цѣлыхъ 9 мѣсяцевъ были свидѣтелями его терпѣнія, 9 мѣсяцевъ повѣрялъ онъ имъ тайны души своей; онъ священныя для меня. И слова эти не исчезли даромъ, холодный камень далъ имъ отголосокъ; онъ грустно, сиротливо простоналъ: «онъ далеко-далеко!...» И всѣ длинныя, безконечныя казармы повторили: «онъ далеко!» Какъ печалень видѣ ихъ, онъ все еще тоскуютъ о тебѣ, — я разсталась съ ними, какъ родными, и грустно стало, и долго смотрѣла вдаль, ужъ когда онъ исчезли изъ виду. Въѣхали въ Москву; все та же дѣятельность и все, все попрежнему, но только въ этотъ разъ Москва приняла меня какъ-то холодно, безпривѣтно, и сердце облегчилось лишь на другой день — пріѣздомъ моей Саши. Я къ ней послала сказать, и черезъ нѣсколько часовъ она пріѣхала. Трехмѣсячная разлука сблизила насъ еще болѣе, мы сильнѣе любимъ другъ друга. Она была больна, ужасно пережнялась и горе... но, однимъ словомъ, она на меня сдѣлала ужасное впечатлѣніе; мнѣ и теперь грусно, *ужасно* видѣть близкаго страдалца. Новая неприятность: они наняли домъ очень далеко отъ насъ; нѣтъ надежды видѣться съ нею часто, даже и переписываться.

Я думаю, ужъ ты получилъ мое письмо, гдѣ писано объ Эмилиі; я увѣрена, что ты не противъ этого. Напиши къ ней, я прошу тебя объ этомъ. Она пріѣдетъ въ Москву еще только въ декабрѣ.

Сегодня цѣлое утро у насъ были *гости*; несносно для меня это положеніе убивать время самымъ глупѣйшимъ образомъ. Но потомъ пришелъ папенька, отъ него я услышала многое о тебѣ и отдохнула, и стало веселѣе. Прощай, теперь 4 часа послѣ обѣда, нельзя болѣе писать.

11 часовъ вечера. Послушай, другъ мой, зачѣмъ ты такъ рискуешь, на что было подходить такъ близко къ колесу? Самъ же ты пишешь о солдатѣ; о! у меня отъ воображенія волосы дыбомъ становятся; ради Бога, впередъ не рискуй такъ, я на тебя сержусь за это. Когда еще тебѣ вздумается пошлать, поиграть опасностью,—вспомни меня. О, мой другъ, мой Александръ! Зачѣмъ ты называешь себя падшимъ? Неужели я ослѣплена? Нѣтъ, въ тебѣ все *безподобно*, ты для меня безподобный.

И такъ, еще намъ съ тобою долго не видаться; это твое желаніе, ты доволенъ этимъ; но, впрочемъ, страшно сжато сердце при этой мысли. Помнишь ли, разъ ты сидѣлъ у насъ въ залѣ и, склонивъ голову на руку, сказалъ, что уѣдешь *когда-нибудь* въ Италію; у меня навернулись слезы отъ того только, что мы когда-нибудь разстанемся, а теперь еще, можетъ, нѣсколько лѣтъ предстоитъ быть розно... Да будетъ Его воля!

Передъ отъѣздомъ изъ деревни я любовалась чудною картиной: у насъ [загорѣлся] оwinъ въ 9 часовъ вечера, противъ самыхъ оконъ; я никогда не видала такъ близко пожара. Когда опасность миновала, а оwinъ еще все горѣлъ, и чернѣйшій дымъ столбомъ, и зарево кровавою лентой на небѣ,—я вышла на дворъ; полная, блѣдная луна ярко свѣтила, и свѣтъ ея сливался съ пламенемъ, съ искрами, съ чернымъ клубящимся дымомъ, съ кровавою полосой, и я не знала, которому *свету* отдать преимущество. Ежели бы былъ маленькій вѣтерокъ, такъ, можетъ быть, ужъ Загорья не существовало бы. А жаль, что мы оттуда уѣхали: 4 свадьбы вдругъ тамъ будутъ играть; я бы *повеселилась*.

Надо лечь спать; не знаю, завтра удастся ли приписать еще. Прощай же, мой безподобный другъ. Прощай, обнимаю тебя, жму твою руку.

Наташа.

А зачѣмъ у тебя такіе засаленные карманы? Не велика бѣда, что записки мои вымараны, а ежели ты положишь въ нихъ что-нибудь лучше, такъ жаль будетъ замарать. А и какъ богата твоими письмами! Съ 1833 года ты писалъ ко мнѣ 51 разъ, слѣдственно 51 разъ думалъ и помнилъ обо мнѣ!

Прощай! Какая свѣтлая ночь! Какія звѣзды! Что то ты дѣлаешь теперь, мой другъ? Въ этотъ часъ мы съ тобою никогда не бывали вмѣстѣ. Какъ не хочется оставлять пера, какъ не хочется гасить свѣчу, однако... прости, покойной ночи!

Москва, 24 сентября.

// Сегодня я получила твое письмо отъ 24 іюля, два мѣсяца тому назадъ!.. О, другъ мой, мой Александръ! И кто же выдернулъ меня изъ ничтожества, какъ не ты? Кто мнѣ далъ повяты высокое, прекрасное, кто поставилъ меня высоко надъ толпою, какъ не ты? И ты, мой другъ, ты, мой ангелъ хранитель, ты же зовешь меня своимъ ангеломъ утѣшителемъ! О, счастливая, счастливая! Но нѣтъ, это слово слишкомъ слабо выражаетъ состояніе души моей; я болѣе, нежели счастлива, я пью небесное блаженство на землѣ. Еще ребенкомъ я любила тебя безъ памяти, боялась тебя и каждое слово твое было мнѣ—законъ; я прыгала отъ ра-

дости, когда ты обращалъ на меня вниманіе и всегда завидовала Тат. Пет., всегда спрашивала ее о всемъ твоёмъ мнѣніи и твоихъ мысли. Можетъ быть, ты и не думала о мнѣ тогда, какъ уже я гордилась тѣмъ, что твоя сестра. Потомъ все болѣе и болѣе любила тебя, все выше и выше становился ты въ душѣ моей и, наконецъ, сталъ самымъ близкимъ, роднымъ ея другомъ, божествомъ. Съ какимъ восторгомъ я принимала каждое доказательство твоей дружбы, съ какимъ нетерпѣніемъ ждала той блаженной минуты, когда бы ты назвалъ меня своимъ другомъ! Насталъ этотъ часъ, истинно блаженный часъ, святой! Съ твоею дружбой я нашла небо на землѣ. И ты, дивной другъ мой, ты завидуешь чистотѣ души моей, — тобою, твоею дружбой (очищенъ) съ нея прахъ земли, ты мнѣ далъ свободный полетъ *туда!* Горжусь, горжусь твоею дружбой, горжусь, что смѣю назваться твоей сестрой. И чѣмъ выше, чѣмъ далѣе отъ земли, тѣмъ милѣе мнѣ она, тѣмъ болѣе люблю человѣка, тѣмъ болѣе душѣ его паденіе.

Чего мнѣ желать болѣе на землѣ, чего желать? У меня все есть. Онъ награждалъ меня щедро. Онъ мнѣ далъ въ удѣлъ половину неба, я богатѣе всѣхъ, счастливиѣе всѣхъ, и все мое богатство, все мое счастье, все небо — въ тебѣ, мой братъ-другъ!

Ночь, бьетъ 12 часовъ. Прощай!

25-е, среда. Здравствуй, мой другъ! Благовѣстять къ заутрени, — еще темно и ненастливо, — мнѣ не заспалось оттого, что я еще съ вечера думала увидѣть сегодня твою маменьку и съ нетерпѣніемъ ждала разсвѣта, но дождь идетъ, навѣрное, меня не пустятъ обѣдать ко Льву Алек. Каково это, мой другъ, я не видела ее съ тѣхъ поръ, какъ была у тебя, — ужасно, ей Богу, ужасно! Съ какимъ наслажденіемъ я привожу себѣ на память часы, проведенные у васъ въ домѣ! Тогда грозная туча разлуки не помрачала души моей, все было и свѣтло, и тепло. Но зачѣмъ же я не знала будущее? Тогда бы я наглядѣлась на тебя, мой другъ, наговорилась бы съ тобою и не слыхала бы упрека моей души.

Вчера я была въ городѣ. Въѣзжая въ родимый Кремль, вспомнила тебя, — и онъ что-то показался мнѣ грустнымъ, на немъ давно не было твоего слѣда, онъ груститъ объ Александрѣ. Погрусти со мной, Кремль родимый, потоскуемъ о немъ вмѣстѣ: онъ — твой сынъ, вѣрный, достойный сынъ, мой несравненный братъ и другъ. Когда люди не слышатъ меня и молчатъ, сами камни становятся красно-рѣчивы и даютъ отголосокъ на каждый звукъ моей души, и потому прости мнѣ, ежели я иногда люблю болѣе камень, ежели человѣка. Иногда дерево, былинка говорятъ мнѣ болѣе цѣлой толпы, — одушевляясь, она [унижаетъ] достоинство людей.

Я давно знала, что свѣтская жизнь не можетъ наполнить пустоты *души твоей*; я вовсе не знаю ея, далека ея сплетень, но и для меня она не представляетъ ничего.

Полно же грустить, мой другъ, друзья твои близко тебя, ты не разлученъ съ ними. Мнѣ ужасно больно, что ты не получаешь отъ О.; я знаю, каково это, тутъ уже нѣтъ утѣшенія. Не браню я тебя за твое самозабвеніе, въ этомъ виновны люди; я увѣрена, что въ самомъ самозабвеніи ты не забывалъ своего призванія, увѣрена, мой Александръ, что ты не дашь побѣдить [себя страстямъ], борись съ ними, — вотъ тебѣ моя рука на помощь.

Мнѣ непріятно, что ты узналъ о здѣшнихъ несправедливостяхъ, а я просила, чтобъ тебѣ не писали о нихъ. Теперь мнѣ, право, лучше, мой другъ; кажется, люди стали добрѣе, а, можетъ быть, и потому, что во мнѣ болѣе самоотверженія.

26, *четверть*. Сейчас ушел от нас папенька; онъ былъ вчера на именинахъ у Сережи и сказывалъ, что тамъ обѣдалъ тотъ, который ѣдетъ въ Вятку. Онъ видѣлъ почти всѣхъ твоихъ, онъ расскажетъ тебѣ о всѣхъ, кромѣ меня. Но пусть такъ, я расскажу тебѣ сама о себѣ. Въ деревнѣ я ужасно загорѣла, ибо все гуляла безъ шляпки, немного выросла и подурнѣла,—то не мое замѣчаніе, а всѣхъ. Папенька много приговаривался къ тому, чтобъ меня отпустили сегодня обѣдать у Л. А., да все было тщетно.

Сегодня я была у обѣдни у праздника; тамъ хорошо пѣли,—пѣніе дѣлаетъ на меня большое вліяніе; какъ жаль, что у меня нѣтъ голоса!

Прощай, мой другъ, теперь стану писать къ Эмилиі, тутъ же отошлю и твою записку. Костенька пришла ко мнѣ и просить написать тебѣ отъ нея поклонъ; это славная старушка, какое усердіе,—вообрази, что каждую оказію она отослала мои письма къ Егору Ивановичу и присылала отъ него, таясь отъ всѣхъ домашнихъ и будучи въ опасности быть встрѣченной на улицѣ кѣмъ-либо изъ людей, ибо это перенесли бы М. С.; впрочемъ, это только одинъ [врагъ], а прочіе меня любятъ.

Обнимаю тебя, жму твою руку,—прощай! Будь веселъ и здоровъ. Дай Богъ, чтобъ ты не обманулся въ томъ человѣкѣ, о которомъ ты мнѣ писалъ; счастливъ онъ, если всегда будетъ достоинъ твоей дружбы. Когда будешь на бумажной фабрикѣ, не становись же на ту доску, ради Бога, не шути такъ дерзостно надъ жизнью; не забывай, что у тебя есть сестра

Наташа.

Вятка, 1 октября.

Другъ Наташа!

Много получилъ я вчера писемъ, два твои и еще одно — воскресили опять, какъ и всегда, меня. Это ты уже знаешь,—буду прямо отвѣчать.

Ты что-то пишешь въ предпрошлой запискѣ о любви, — неужели ты думаешь, что я здѣсь влюбленъ? Это смѣшно, тогда бы я просто написалъ тебѣ все. Но еще вопросъ, былъ ли я когда-нибудь влюбленъ? У меня была потребность любить, неопредѣленное, но сильное чувство, нѣмое и тяжелое. Тогда явился мнѣ существо несчастное, убитое, и, мнѣ казалось, я полюбилъ его. Но душа моя уже не была тогда юною, я тратилъ свою жизнь, свои страсти въ безумныхъ вакхаваліяхъ.

Если-бы я былъ тогда чистъ, я весь предался бы любви. Тутъ я увидѣлъ, что идеалъ мой не осуществленъ, но я былъ любимъ. Вотъ ужас! Я обрадовался, когда меня взяли, думая, что разлука заставитъ забыть ее, но забывъ, что любовь должна была еще сильнѣе сдѣлаться за мои страданія и несчастія.

...У меня же съ половины 1834 года не было ни искры любви, было одно раскаяніе. Пріѣхавши въ Пермь, я развернулъ ея записки, — содрогнулся и, не имѣя духа перечитать, бросилъ ихъ въ огонь, ибо преступленіе, измѣна съ моей стороны. Но развѣ я виноватъ, что ошибся, принявъ неопредѣленное чувство любви за любовь къ *ней*? Развѣ я виноватъ, что она такъ далека отъ моего идеала? Ты, сестра, ты ближе, несравненно ближе къ моему идеалу, нежели она. Что же касается до обману, о которомъ я тебѣ писалъ отсюда, тутъ не было любви, меня обманули *изъ денегъ*, но обманули такъ дьявольски, что, кромѣ женщины, никто не могъ бы этого сдѣлать. Въ то время, какъ я думалъ свою ду-

шой поднять одну падающую душу, я былъ въ дуракахъ, и самолюбіе мое было обижено.

Я сколько ни ломалъ головы, не могу догадаться, въ кого влюблена Emilie; напиши мнѣ, пожалуйста. Я принимаю въ ней самое искреннѣйшее участіе, ибо и ея душа знала страданія, и душа поэтическая.

Радъ душевно, что ты нашла друга. Но время, но опытъ — единственныя права, чтобъ дружбу признать истинною. Что значить имѣть друга, это я знаю; что значить ошибиться въ человѣкѣ, и это я знаю,—это кусокъ мяса, отодранный отъ своего сердца, горячій и кровавый. Не всегда тотъ, кто дѣлается изъ друга равнодушнымъ человѣкомъ, сначала обманывается; нѣтъ, есть люди, въ которыхъ тлѣетъ кое-что благородное, они вспыхиваютъ при созвучіи съ душою пламенной. Но есть ли довольно твердости въ нихъ, чтобъ поставить дружбу выше всего, и скорѣе перенести все, нежели опарать, помять дружбу? *Обстоятельства, жизнь*—вотъ девизъ, подъ знаменемъ котораго эгоизмъ мертвитъ все. Я любилъ Вадима и Тат. Петр.,—и что же вышло изъ нихъ подъ вліяніемъ обстоятельствъ? А Огаревъ? Теперь мы совсѣмъ разлучены, но ты права—развѣ разстояніе дѣлится? Это смѣшно.

Я все еще не совсѣмъ устоялся; знаю это, потому что теряю пропасть времени, играю въ карты — очень неудачно, куртизирую *кое-кому* гораздо удачнѣе. Здѣсь мнѣ большой шагъ надъ всѣми кавалерами, кто же не воспользуется такимъ случаемъ? Впрочемъ, шутки въ сторону, здѣсь есть одна премиленькая дама, а мужъ ея больной старикъ, она сама здѣсь чужая, и въ ней что-то томное, милое,—словомъ, довольно имѣетъ качествъ, чтобы быть героиней маленькаго романа въ Вяткѣ, — романа, коего авторъ честь имѣетъ пребыть, заочно цѣлую тебя.

Ал. Герценъ.

12 октября, Вятка.

«Съ 1833 года ты писалъ ко мнѣ 51 разъ, слѣдственно 51 разъ думалъ и помнилъ обо мнѣ». Наташа! Развѣ нужно въ нашей дружбѣ еще дѣлать увѣренія? Развѣ ты думаешь, что я могъ бы только 51 разъ думать о тебѣ, о *тебѣ!*

На-дняхъ я видѣлъ сонъ ужасный; этотъ сонъ не отъ Бога. Въ Москвѣ мы сидѣли съ тобою у папеньки въ горницѣ, кто-то взошелъ и спросилъ меня: «Это сестра твоя?» Я молчалъ. Папенька сказала: «Нѣтъ, не сестра!» и что-то въ душѣ моей прокричало прегромко: «нѣтъ, нѣтъ, не сестра». И вдругъ я у насъ въ саду одинъ, мѣсяцъ свѣтилъ и какая-то вода шумѣла, волновалась, возлѣ; я лежалъ подъ деревомъ и мнѣ было душно отъ тысячи страстей. Вдругъ подходитъ ко мнѣ Эрвъ (здѣшній пріятель мой) и съ хохотомъ говоритъ: «Ну, что твоя высокая дружба, твоя братская любовь? Одинъ обманъ себя и другихъ». Онъ захохоталъ еще, и я проснулся въ какомъ-то бѣшенствѣ. Не размышляя объ этомъ свѣ, онъ ужасенъ, онъ не отъ Бога. Я его забыть не могу, и вообрази, что я доселѣ какъ будто сержусь на Эрва за то, что видѣлъ во свѣ его смѣхъ. Но знаешь ли, что всего ужаснѣе? Эта мысль уже не новая, она явилась мнѣ разъ на яву. И когда же? Въ Крутицахъ, когда ты была у меня, я держалъ твою руку. Эта мысль представилась, я вспыхнулъ въ лицѣ и отдернулъ руку, и проклялъ мысль сію. И вотъ она явилась во свѣ. *Забудь это!* Я себя назвалъ падшимъ.—да, я падшій. Зачѣмъ, зачѣмъ ты подошла такъ близко къ моему существованію? Оно увлечетъ въ бездну, въ ту бездну, гдѣ кипятъ страсти и волнуются; тамъ

видно небо, но одно отраженное небо. Не сходи въ эту пропасть. Я весь взволнованъ, дай отдохнуть.

14 октября. Наконецъ, я имѣю вѣсть отъ него, отъ О., — какъ грустна эта вѣсть! О, сколько перестрадали мы съ іюля 1834! Но душа его все та же обширная и глубокая. И отъ тебя двѣ записочки. Ты и онъ — понимаешь ли это раздвоеніе самого меня, въ тебѣ и въ немъ часть моей души. Въ васъ много переѣнилось отъ прикосновенія со мною, и тѣмъ ближе мы. Вотъ моя рука тебѣ на вѣчную дружбу, на *вѣчную симпатію*.

Вотъ что: я нѣсколько сумасшедшій, да, тогда, когда одинокій и безъ зачатій и безъ мыслей я переживаю страстями свою душу. Я дошелъ до величайшей нелѣпости. Любить, — можно ли жить съ моею душой, съ моимъ бѣшенствомъ безъ любви? Любить, стало быть. Но мысль соединить свою жизнь съ жизнью женщины обливаетъ меня холодомъ. Понимаешь ли ты глупость любви, которая не ищетъ полнаго обладанія предметомъ своимъ? Это чортъ знаетъ что! Вотъ тутъ сейчасъ и откроется нелѣпость, до которой я дошелъ: есть среднее чувство между *земною любовью и дружбой*. Я давно верчусь около этой мысли, но не писалъ ей тебѣ. Зачѣмъ же пишу теперь? Зачѣмъ, а я почему знаю, зачѣмъ? Ужъ написано, и я считаю себя не въ правѣ отнять у тебя писанное тебѣ.

Нѣтъ, не я очистилъ твою душу, это вздоръ: я отворилъ тебѣ дверь въ міръ другой, не въ тотъ, въ которомъ толпа, — и больше ничего, я былъ привратникъ. не болѣе. Ты увидѣла, что ты дома въ этомъ мірѣ, въ мірѣ ангеловъ, а я — павшій — остался у дверей. Ахъ, это прощаніе въ Крутицахъ! Ты точно тогда ангеломъ слетѣла ко мнѣ.

Да, вѣришь ли ты этому чувству между любовью и дружбой? Еще болѣе, я сдѣлаю вопросъ страшный, оттого что я теперь, въ сію минуту, безумный. иначе онъ не сорвался бы у меня съ языка. *Вѣришь ли ты, что чувство, которое ты имѣешь ко мнѣ, одна дружба? Вѣришь ли ты, что чувство, которое я имѣю къ тебѣ, одна дружба? Я не вѣрю.*

Твой Ал. Герценъ.

15 октября. Ради Бога, твой силуэтъ, да чтобъ былъ очень похожъ, иначе не хочу. Нѣтъ, когда я смотрѣлъ на комету, я не думалъ о тебѣ, откровенно признаюсь, ибо я ѣхалъ ночью съ вечера почти пьяный, вдругъ комета въ глаза, я тогда думалъ о картахъ, о винѣ и пр. Журнала своего я не пишу, мой журналъ былъ бы хуже всякаго угрызения совѣсти. Силуэтъ здѣсь некому снять. Прощай.

15 октября, Москва.

|| Почему-же ты винишь себя, другъ мой? За что дѣлаешь себѣ упрекъ? Развѣ можно назвать измѣной, преступленіемъ равнодушіе съ твоей стороны къ той особѣ, которою ты былъ любимъ? Нѣтъ, ибо я знаю нѣкоторую особу, которая также восхищалась тобою, видя, можетъ быть, половину твоихъ достоинствъ, и довольно-бы было одного твоего взгляда, чтобы заставить ее *мечтать*; но ты не зналъ этого и не замѣчалъ, и виноватъ-ли въ этомъ? Твой идеалъ, мой другъ, должесть быть такъ чистъ и прекрасенъ, такъ высокъ, что мудрово найтъ его на землѣ. Я не видала ни одной дѣвицы, которая-бы была совершенно тебя достойна.

Я съ восхищеніемъ перечитывала твое письмо, — о, братъ мой, о, благородный другъ мой! Какъ видѣется въ немъ прекрасная душа твоя, ты видишь преступленіе тамъ, гдѣ нѣтъ ни малѣйшей вины. Счастлива, счастлива она, даже будучи не любима тобою; счастлива, что могла подняться до того, чтобы понять тебя и любить тебя!

Ты пишешь, что тратишь много времени на...: «здѣсь мнѣ большой шагъ надъ кавалерами, — кто-же не воспользуется такимъ случаемъ?» Пусть каждый, кромѣ тебя; никогда-бы я не желала видѣть тебя ни за карточнымъ столомъ, ни съ фигурною фразой, которая ничего не значить для той, кто сама что-нибудь значить. Впрочемъ, прости мнѣ, мой другъ, это замѣчаніе, — можетъ, ты свѣтъ знаешь лучше, нежели я сама себя; мнѣ только больно, когда густое покрывало толпы задѣваетъ тебя, но надъ тобою оно рѣдѣетъ; ты среди ея горишь, какъ алмазъ въ грязи, и какъ ярко, и какъ чисто твое сіяніе! Тогда какъ ты проводишь жизнь твою въ шумѣ, въ веселіи, въ суетѣ. — дни мои текутъ такъ тихо и однообразно! Чуждая свѣта, я чужда и безчисленныхъ его переворотовъ и несчастій; почти никого не вижу, ничего не слышу; вотъ уже мѣсяць, какъ мы изъ деревни, и еще моя нога нигдѣ не была, кромѣ церкви; жизнь моя похожа на монастырскую жизнь вполне. Изрѣдка Москва дунетъ на меня, — и холодъ обдастъ мою душу, и страшно станетъ, но у меня есть мѣръ, гдѣ я отдыхаю, гдѣ согрѣваюсь, гдѣ пью отраду и утѣшеніе.

Эмилія любитъ Николая *Сатина*; когда его семейство было здѣсь, она у нихъ очень часто была, мать и сестра его любятъ ее ужасно, а онъ пишетъ ей, что не можетъ жить безъ нея. Богъ знаетъ, чѣмъ все это кончится! Обстоятельства ихъ такъ раздѣляютъ, и меня беретъ ужасъ за *Emilie*. О, дай Богъ, чтобы душа ея послѣ столькихъ бурныхъ плаваній нашла надежную пристань! Онъ давно нравился ей, но она не говорила, что любитъ его, думая, что онъ только куртизируетъ ей, даже и мнѣ долго-долго не говорила о любви; вдругъ приходитъ ко мнѣ съ кольцомъ на рукѣ, которыми обручилась съ Н., и говорить, что дала ему слово.

Теперь я читаю въ первый разъ *Les Croisades*; высокая душа Матильды и благородная душа Малекъ-Аделя изгнали совершенно изъ моей памяти гнусный поступокъ, который поразилъ меня. Какъ я люблю и уважаю Малекъ-Аделя и какъ боюсь, чтобы Матильда не пала, боюсь разстаться съ мыслью, что душа, живущая въ немъ, презираетъ все земное.

Каждый доброжелательный *требуетъ* названія друга, и у меня много доброжелательныхъ, я люблю многихъ, но друзей у меня мало, мало, очень мало, и это *малое* составляетъ для меня *многое*, и я живу имъ, и у меня нѣтъ иного счастья, ни иного блаженства. Сашу Боборъ я не назову моимъ другомъ, но въ ней такъ много благороднаго, душа ея такъ близка моей душѣ, такъ созвучна съ нею, что я могу назвать ее сестрой, и свиданіе съ нею всегда мнѣ приноситъ большое удовольствіе.

И такъ, ты принимаешься писать романъ, а развѣ кончилъ ужъ *Легенду*?

О нѣтъ, мой другъ, не играй пожалуйста въ карты; неужели это тебя можетъ занять?.. Это время лучше употребить... Ты лучше меня знаешь на что.))

Прощай, твоя сестра *Наташа*.

Октября 22, Москва.

Ужь поздно, спѣшу хоть строчку написать тебѣ: сегодня мнѣ минуло 18 лѣтъ, ужасъ! Я съ какою-то грустью смотрю на быстроту времени, которая мчитъ, уносить съ собою все, почти все; особенно этотъ день мнѣ бываетъ грустно,—прошедшее, настоящее и будущее попеременно занимають душу, воображеніе рисуетъ картины и ясныя, и мрачныя, сердце что-то не на мѣстѣ, сомнѣніе тревожить духъ, но чѣмъ все это оканчивается? А это болѣзненное состояніе души, въ это время, когда земное не представляетъ намъ, кромѣ унылаго и печальнаго, душа рвется прочь отъ земли, ей свободнѣе летѣть *туда*. она улетаетъ въ свою отчизну, тамъ все ей родное и тамъ она пьетъ радость, утѣшеніе и съ надеждою вѣчности слетаетъ вновь на землю; тутъ уже изгнаніе ея не такъ ей ужасно, горестъ не такъ уже доступна ей, она полна еще неба, и все вокругъ нея дышетъ небомъ, на всемъ такъ ясно видѣнъ отпечатокъ божества. *Теперь* мнѣ вовсе не грустно.

Другъ мой, какъ отъ тебя давно я не получала, вотъ это только затѣваетъ теперь ясность души моей, а папенька прислалъ мнѣ отъ тебя на платѣ матерію, называемую по-вятски (кучунъ-гук-гукъ). Давеча былъ Бобор. и привезъ мнѣ письмо отъ Сашы; это сдѣлало мнѣ большое удовольствіе. Егоръ Ивановичъ обѣдалъ у насъ. — награди его Богъ за его добродушіе; много обязана я его дружбѣ и цѣню все въ полной мѣрѣ.

Ну, прощай-же, пора спать, я только хотѣла поговорить съ тобою сегодня хоть перомъ, мой другъ. Прощай. 12 часъ вечера.

24-е. Вчера мы были у папеньки; ты не можешь себѣ представить, мой другъ, съ какимъ восхищеніемъ я вѣхала туда; тамъ все такъ громко говорить о тебѣ, и, притомъ-же, я была увѣрена, что увижу маменьку; это-бы было первое свиданіе съ тѣхъ поръ, какъ мы съ нею были у тебя.

Но нѣтъ! лучше-бы не вѣдила,—слышала только ея голосъ, а не видалась. и, уѣзжая, украдкой взглянула въ твою комнату... Неужели, неужели въ самомъ дѣлѣ вѣроятно, что разлука уменьшаетъ нашу привязанность и что время уносить даже самое воспоминаніе? Нѣтъ, это — мысль тѣхъ, которые никогда не любили, не имѣли друзей, я не вѣрю, не вѣрю этому; никогда я тебя столько не любила, какъ теперь, и можетъ-ли быть, чтобы тотъ, кто далъ мнѣ узнать жизнь и счастье, сдѣлался, наконецъ, мнѣ чужимъ?!

Кажется, я писала тебѣ въ прошломъ письмѣ, что читаю *Les Croisades*: какая торжественная минута для Матильды, когда Малекъ-Адель сдѣлался христіаниномъ, и что за душа! Вотъ какъ ярко горитъ на ней печать божества, какая благодать; а ты, мой другъ, завидуешь чистотѣ *моей души*. Пока прощай, еще до свободной минуты. 7 часовъ утра.

Наташа.

27 октября, Москва.

Другъ мой!

А вѣрю, вѣрю, что насъ съ тобою соединяетъ дружба, дружба, самая высокая, которой нѣтъ примѣра. На землѣ у меня нѣтъ существа драгоценнѣе тебя, я люблю тебя болѣе всѣхъ на свѣтѣ. Ежели это чувство болѣе, выше дружбы,—я не умѣю назвать его, но вѣрю ему. Никогда, никогда я не буду любить, никогда не позволю никакому чувству въ душѣ моей стать выше того чувства, которое я имѣю къ тебѣ. Мнѣ любить—значитъ найти существо выше.

достойнѣ тебя, но я никогда его не найду. Въ душѣ моей одно чувство выше любви къ тебѣ—любовь къ Богу, но эти два чувства такъ тѣсны, такъ соединены между собою: безъ любви къ Богу я не могу любить тебя, безъ любви къ тебѣ не могу любить Бога. Ежели дружба не можетъ такъ сблизить два существа, не можетъ подняться такъ высоко, пусть это будетъ чувство между *земною любовью и дружбой*. Когда я думаю не согласно съ тобою, я обманываюсь. А ты вѣришь ему?

Любить, не желая полнаго обладанія предметомъ любви своей,—я понимаю тебя; кажется, понимаю; но почему ты все, писанное тобою, называешь безумствомъ.—не понимаю.

Прежде ты пугалъ меня ужасною участью голубя, теперь — бездною, пропастью; не страшна мнѣ участь голубя. сладко мнѣ его страданіе. радостно погибну я съ моею ракетой, ежели ей суждена гибель; не усташусь бури на волнующемся морѣ страстей.—вѣдь, я буду плыть съ тобою, съ тобою, и съ кѣмъ-же, съ кѣмъ мнѣ надежнѣе плаваніе, другъ мой, скажи мнѣ, съ кѣмъ? Кого, кого я должна любить на землѣ болѣе тебя, братъ мой, скажи мнѣ, кого? Ни съ кѣмъ и никого! Да, ни съ кѣмъ и никого!..

Ужасенъ сонъ твой, еще ужаснѣе мысль твоя на яву: когда я не сестра тебѣ, когда мы чужіе... о, нѣтъ, нѣтъ, братъ мой, не отвергай сестры твоей, нѣтъ... но, вѣдь, это ты? Пусть такъ! Но въ душѣ отверженной ты будешь братомъ вѣчно, вѣчно!

29-е октября. Третьяго дня я не могла писать болѣе; прочтя твое письмо, тотчасъ стала отвѣчать на него, но вдругъ такъ стѣснилось что-то въ груди, что то сильно взволновало душу, и всю ночь я безпрестанно просыпалась, будто ты все будилъ меня. Кстати, я скажу тебѣ мой сонъ. На-дняхъ видится мнѣ: съ одной стороны, небо покрыто *черною тучей* такъ, что не различишь съ землею, съ другой—ясно и чисто, и на этомъ свѣтломъ небѣ сіяетъ *крестъ*, посреди его полоса, будто онъ треснулъ. Какое несчастье еще предстоитъ мнѣ... Я видѣла тебя заключеннымъ, испытала ужасную минуту разстанія и теперь къ разлукѣ, что-же еще можетъ угрожать мнѣ? Вѣчная разлука? — Я не боюсь ея, *тамъ* мы будемъ вмѣстѣ. И рѣшительно все, касающееся до одной меня, не страшитъ меня. Впрочемъ, я не вѣрю снамъ.

Ты получилъ вѣсть отъ *него*, слава Богу. А я все придумывала, не могу-ли я какимъ-нибудь образомъ достать отъ него и прислать тебѣ, но все оставалась при своей мысли. И такъ, мы съ нимъ сроднились тобою; я не знала семьи, рано-рано оставили меня родные, одинокая всю жизнь, всѣмъ чужая... въ тебѣ все мое родство.

Другъ мой, напиши-же къ Emilie; теперь ты знаешь, кому она отдала свое сердце; они счастливы будутъ, я въ этомъ не сомнѣваюсь. Мнѣ жаль ее, она до сихъ поръ въ деревнѣ, ей, вѣрно, тамъ скучно, напиши къ ней, пожалуйста. Она меня поразила разъ своимъ замѣчаніемъ... но, прости мнѣ, я не напишу его тебѣ.

Вечеръ того-же числа. Все спитъ вокругъ меня, одна я съ моею думой, съ моимъ Александромъ. Бывало, какую грусть наводило на меня мое положеніе; оно казалось мнѣ ужаснымъ, каждый часъ былъ отравленъ горькою мыслью, ничто не радовало меня вполне, и грудь ребенка знала мученія одиночества, сиротства, самая молитва не давала душѣ больной лѣкарства, самая мысль о Богѣ была несовершенна, самая вѣра мертва. Явился ты... и я узнала теперь, что

есть границы желаніямъ смертныхъ. что, будучи на землѣ, мы можемъ жить въ небѣ, узнала, что есть для человѣка состояніе, въ которомъ душа поетъ одни гимны благодарности.

Слава въ вышнихъ Богу!!!...

Прощай, въ моей комнатѣ страшный холодъ, я ужасно иззябла. Жму руку на прощанье, руку моего брата, о, ради Бога—брата! Всѣхъ, кто только умѣетъ и какъ умѣетъ. буду просить снять свой силуэтъ и самый похожій пришлю тебѣ. Прощай еще разъ, мысленно обнимаю тебя.

Твоя сестра *Наташа*.

Я воображаю, что я въ Сибири, на моемъ окнѣ ледъ толще ладони, только свѣтъ фонарный, перебѣгая по льдинкамъ и переливаясь разными цвѣтами, напоминаетъ Москву. Хочешь-ли, я пришлю тебѣ прочесть одну изъ записокъ Саши, вотъ ты увидишь, какъ она мила, будешь имѣть о ней какое-нибудь понятіе.

Ноября 12, Москва.

Каждый разъ, когда начинаю къ тебѣ писать, мой другъ, думаю, зачѣмъ мнѣ писать къ *тебѣ*? Всѣ мои мысли, всѣ чувства тебѣ извѣстны; сердце и душа моя раскрыты тебѣ и ты, можетъ быть, знаешь меня лучше, нежели я сама, но не утерплю, мой другъ, и опять пишу тебѣ. Вѣрно, ты еще не получила моего письма—отвѣтъ на твое послѣднее? Я опять повторяю торжественно: въ душѣ моей нѣтъ чувства выше того, которое я имѣю къ тебѣ, кромѣ любви къ Богу!...

Другъ мой, Александръ! Ежели ты постигаешь, сколько я люблю тебя, ежели вѣришь, что *ты своею* дружбой далъ мнѣ познать прекрасное и высокое, заставилъ любить Творца, созданіе, жизнь и самое себя... да, *ежели ты вѣришь мнѣ*,—я не требую отъ тебя болѣе.

Съ какою полною радостью, съ какимъ неизъяснимымъ восторгомъ смотрю я *теперь* на жизнь, какъ прекрасна и какъ полна жизнь *моя*!

Поздравляю тебя съ твоими именинами! Я по-своему буду праздновать этотъ прекрасный день; грустно, что мы не вмѣстѣ. Я давно дошла для тебя мой подарокъ, но все еще въ отдѣлкѣ у мастера, и очень жаль, что я не могу его прислать тебѣ теперь. Еmilie пишетъ мнѣ, поздравляетъ меня съ *дорогимъ именинникомъ*, также и тебя, дорогой мой, поручила поздравить. Сама она не пишетъ тебѣ, потому что ждетъ отъ тебя письма, въ которомъ ты будешь писать объ Н. Я и безъ того не очень здорова, и вчера получила отъ нея письмо и еще болѣе разстроилась, — она огорчена. Н ей не пишетъ давно очень, и она думаетъ, что онъ уже разлюбилъ ее, измѣнилъ, и Богъ знаетъ что, но... ежели такъ въ самомъ дѣлѣ? О, нѣтъ, это ужасно! Вѣдь, ты знаешь его? Можетъ ли онъ такъ жестоко издѣваться надъ безталанною сиротой?..

Какъ ужасно я провела ночь и какъ не хорошо себя чувствую,—спокойствіе и счастье Еmilie мнѣ дорого, очень дорого. Напиши ей, будемъ утѣшать ее, мой другъ; она вѣруеть въ насъ обоихъ, въ нашей дружбѣ только можетъ найти отраду въ горести; мнѣ жаль ее, очень жаль; отдохнувши, стану ей писать.

Вѣришь ли, мой другъ, какъ мнѣ неприятно теперь, что многіе меня *жалуютъ*, находятъ жизнь мою, мое положеніе ужасными,—увѣряю всѣхъ, что я

счастлива, что не желаю болѣе, и... не вѣрять!.. Будь мое положеніе еще ужаснѣе, несноснѣе, одинъ лучъ *моею солнца* разгонитъ всѣ мрачныя тучи и въ душѣ моей, и въ небѣ. Прощай, мой другъ, не пишу болѣе, потому что...

Твоя сестра и другъ *Natalia*.

12 ноября [Вятка].

Natalie! Давно я не писалъ къ тебѣ; что дѣлать, давно не была душа моя чиста и свѣтла. Нѣтъ, моя теперешняя жизнь дурна; какъ я ни стараюсь стать выше всего этого, не могу. Ссылка хуже тюрьмы. Шумныя удовольствія, коими я иногда хочу убить время, оставляютъ пустоту, туманъ. И нѣтъ души созвучной;... правда, есть здѣсь одно существо, которое понимаетъ меня, существо, наполненное поэзіи,—это та дама, о которой я какъ-то разъ тебѣ писалъ, шутя, и это существо глубоко избито судьбою и, можетъ, несчастіе меня: 15-лѣтъ отдана она замужъ за развратнаго и сквернаго челоуѣка, и онъ доселѣ живъ и тиранъ ея. Неужели въ самомъ дѣлѣ на то только природа даетъ душу высокую, благородную, чтобы мучить ее? Нѣтъ, эти мученія выдумалъ самъ челоуѣкъ, некого винить ¹⁾.

Еще сосланный—Витбергъ; мы живемъ вмѣстѣ, — челоуѣкъ колоссальный, художникъ въ душѣ и съ душою высокой. Это важное пріобрѣтеніе для меня. Челоуѣкъ, который когда-либо создалъ мысль высокую, челоуѣкъ, который на исполненіе одной мысли посвятилъ всю жизнь, высокъ и еще выше, когда люди отняли возможность у него проявить свою мысль, когда обстоятельства гнетутъ его.

Тебя, я думаю, испугала или удивила моя прошлая записка, которую я окончилъ ужаснымъ вопросомъ о нашей дружбѣ. Я съ трепетомъ запечаталъ ее. Но не бойся никакой истины. Объ этомъ предметѣ мнѣ нельзя было молчать, грудь моя слишкомъ тѣсна, чтобы хранить его молча. Но теперь ни слова болѣе до тѣхъ поръ, пока не получу отвѣтъ твой.

Ты оправдываешь меня въ моемъ поступкѣ, о которомъ я писалъ тебѣ. Нѣтъ, я не правъ, ибо ты не знаешь всѣхъ обстоятельствъ. Я былъ далекъ отъ обмана; но я видѣлъ, что *она* еще не удовлетворяетъ тому требованію, которое я дѣлаю существу, съ коимъ я могъ бы слить свою жизнь. Зачѣмъ же я увлекъ ее? Зачѣмъ не остановилъ, прежде нежели она, убѣжденная въ моей любви, сказала, что она любитъ меня? Что я увлекъ ее, это не мудрено, я знаю силу своего характера и вліяніе, которое могу имѣть. Зачѣмъ же я воспользовался этимъ, чтобы приковать ее къ себѣ?.. И, можетъ, въ этомъ участвовало самолюбіе... Зачѣмъ ты, другъ мой, такъ чисто думаешь обо мнѣ? Ты придаешь мнѣ много своего. О, какъ бы я былъ счастливъ, ежели бы былъ то, что ты думаешь! Я красивѣль, читая твою записку. Нѣтъ, не отъ излишества благородства обвинялъ я себя, а потому, что я виноватъ. Я много утратилъ души... Тебѣ неизвѣстно, что такое за слѣды, за морщины на сердцѣ оставляетъ развратъ. Увы!

Une mer y passerait, sans laver la tache,
Car l'abime est immense et la tache est au fond.

О какой особѣ ты говоришь, которую заставлялъ мечтать взглядъ мой?.. Я догадываюсь, но скажи мнѣ просто, *что за секреты?*

¹⁾ Позднѣйшая приписка карандашемъ рукою Герцена: «Зачѣмъ я пожалѣлъ ее».

Ты хочешь, чтобъ я писалъ къ Emilie о любви ея; пожалуй, но это мудро. Напиши ей, что я тебѣ пишу, что онъ самый благородный человѣкъ, что онъ поэтъ, что ежели она будетъ его жена, она будетъ счастлива, я ей ручаюсь; но онъ молодъ, я никогда не посоветую ему жениться, а, впрочемъ, у него душа не моя, онъ можетъ быть счастливъ въ тѣсотѣ семейнаго круга, а мнѣ, мнѣ нуженъ просторъ. Прощай мой другъ, мой ангель.

Александръ.

Москва, 18 ноября.

Еще поздравляю тебя, мой другъ! Воспоминаніе о тебѣ нераздѣльно съ моимъ существованіемъ, а на этотъ день я переселюсь къ тебѣ совершенно. Я счастливыми почитаю тѣ минуты, въ которыя мнѣ не мѣшакоть быть съ тобою; ты такъ живо представляешься мнѣ, твои движенія, твои привычки, — все, все такъ ярко въ моей памяти, настоящее, дѣйствительное съ его горемъ и радостью исчезаетъ, я вся живу въ мечтѣ, мечта осуществляется, заслоняетъ собою грозныя 1.000 верстъ; дружба освѣщаетъ картину счастья, вѣра въ Провидѣніе льетъ въ душу какую-то небесную радость, благодать, и тутъ-то, въ эти минуты, небо мнѣ ближе, нежели земля!

Вотъ что, мой другъ, прежде ты писалъ мнѣ: «Нѣтъ, любить я не долженъ, это исковеркаетъ меня всего, это оврагъ, въ которомъ я погублю свою будущность, а моя будущность не мнѣ принадлежитъ»... Потомъ еще пишешь: «Я очень боюсь *этого чувства*, оно либо потухнетъ, либо сожжетъ меня». Прочитайъ это, я еще болѣе склонилась передъ тобою, ты еще выше сталъ, — что за душа! До какой степени самоотверженіе! Съ твоимъ огненнымъ характеромъ, съ твоею пламенною душою отдать себя вовсе человѣчеству, побѣдить страсти, заглушить голосъ любви, голосъ сердца!.. Но въ послѣднемъ письмѣ твоемъ: «Любить, можно ли жить съ моею душою, съ моимъ бѣшенствомъ безъ любви, — любить, стало быть!» Александръ! когда ты забылъ, что ты уже не свой, — я напомню тебѣ, что ты не долженъ поколебать твердѣйшаго столпа, Христа человѣчества. Сначала я читала твое письмо спокойно, а теперь мнѣ страшно за тебя, — нѣтъ, погоди любить, мой Александръ, докончи, докончи начатое тобою.

Ноября 19. Я въ радости, жду къ Николину дню Emilie; давно мы съ ней разстались, и переписка была затруднительна; душа моя переполнена, надо отлить въ чью нибудь душу, а здѣсь меня никто такъ не знаетъ, какъ она, можетъ быть, никто такъ и не любить, какъ она; а ей, я знаю, теперь я нужна необходимо, въ ея сердцѣ столько любви, столько страданія, и кому ближе она къ сердцу, какъ не мнѣ? Правда, у нея есть родныя сестры, но я ей ближе ихъ. Такъ судьба меня сроднила съ ней, она дѣлитъ со мной свое горе, я дѣлю съ ней мое счастье и оттого счастливѣе вдвое. Повѣришь ли ты, мой другъ, кому *доступна* моя душа, тѣ завидуютъ мнѣ; да, завидуютъ.... скажи, не бьется ли радостно твое сердце?..

20-е. среда. Такой маленькій листокъ я пишу столько дней. Что дѣлать? Вотъ жизнь, которой завидуютъ!.. И каково же, другъ мой, не дописавъ, должна оставить перо! Что дѣлать? Прощай, Господь съ тобою!

Твоя Наташа.

Ноября 24, Москва.

Полно же, другъ мой, унывать, полно, какъ бы ни дурна была твоя жизнь, какъ бы она ни была мрачна и холодна. Онъ указалъ тебѣ *этотъ путь*. Грустно мнѣ, больно видѣть страданія души *твоей!* Ужасна должна быть жизнь, могущая поколебать *тебя*, но и я не отчаяваюсь, вѣдь, *все, и все твое*, въ Его рукахъ. «Буди, Господи, милость Твоя на насъ, *якоже умовахомъ на Тя!*» Не будемъ роптать на нашу участь, она — отъ Него, да будетъ съ нами Его воля! Впрочемъ, тебѣ не нужны утѣшенія мои: Тотъ, Кто посылаетъ тебѣ испытанія, да пошлетъ и твердость сносить ихъ безъ роптанія. Вѣдь, и ты человекъ, надо же отдать дань его слабости.

Твои именины, мой другъ, я ходила къ обѣдин. Никогда я такъ не молилась; я шла молиться за тебя! Кажется, небо отворилось мнѣ, кажется, я видѣла самого Бога, такъ я была близка къ Нему во время молитвы. И весь день была у тебя въ гостяхъ и весь день было легко и радостно, какъ будто разстоянія не существовало между нами. Какъ же лучше было провести мнѣ *эту* день?..

25-е, *понедѣльникъ*. Нѣтъ, мой другъ, твой вопросъ не испугалъ меня, и что же страшнаго въ немъ? Ты хотѣлъ знать, до какой степени я люблю тебя, но я никогда не буду умѣть выразить вполне свою душу, ты безъ словъ поймешь меня; долго бы, много бы нужно было говорить, чтобы дать нѣкоторое понятіе о томъ, что я чувствую, но для чего это? Другимъ какое дѣло, да и я не подѣлюсь ни съ кѣмъ; кто *знаетъ* меня, тотъ и пойметъ, ежели захочетъ, мою душу, а ты, ты понималъ меня въ Крутицахъ, когда я молчала? Другъ мой! Вѣрь же, что я не боюсь тебя, что слова твои не пугаютъ меня. «Это самое благородное, самое святое чувство, Наташа», — сказалъ ты мнѣ разъ, и я сама знаю это, чувствую, какъ оно свято, какъ чисто, какъ ведетъ къ прекрасному, къ добродѣтели... Этому-то чувству я посвятила мое сердце, мою душу, ему-то посвящу всю жизнь, все существованіе. Я поставила дружбу выше любви; да, мой Александръ, дружба въ душѣ моей выше, выше любви! Я никого никогда не буду, не могу любить. Единственная цѣль дѣвушки, какъ думаютъ многіе, а можетъ быть, и всѣ, — выдти замужъ, — да, только выдти замужъ, то есть пристроиться, нажить свой домъ, свое хозяйство, свою волю. Особенно это мнѣниіе простирается на тѣхъ, которыя съ дѣтства угнетены судьбою, лишены средствъ жить въ довольствіи, которымъ одна надежда на улучшеніе жизни — замужество! Но я никогда не допущу этого, — нѣтъ, это вовсе не справедливо. Я знаю многихъ угнетенныхъ судьбою, но души ихъ такъ благородны, чтобы искать человека, могущаго только единственно облегчить ихъ бѣдность. Какъ моя участь ни казалась мнѣ прежде ужасною, мысль эта не касалась меня, я даже не вѣрила, чтобы она существовала. Найти существо, въ которомъ бы все носило печать Создателя, печать яркую, не стертую землею, душу, достойную вполне быть храмомъ Божества, — однимъ словомъ, существо, которому бы я не видала подобныхъ, вотъ единственное желаніе, которое я имѣла съ 14 лѣтъ. Тогда я еще не понимала тебя вполне; зная тебя только *урывками*, *предугадывала* существованіе моего идеала въ тебѣ, — и не ошиблась... О, Богъ знаетъ, что было бы со мною, ежели бы ошиблась! Найдя *это* существо, у меня оставалось въ груди еще желаніе достигнуть его дружбы, и когда ты мнѣ протянулъ руку, другъ мой, ты далъ мнѣ болѣе, нежели жизнь. Найдя въ тебѣ все, что я желала, болѣе, нежели что смѣла желать, я отдалась тебѣ душою и могу-ль дѣ-

литься ею съ кѣмъ? Нѣтъ, слишкомъ глубоко пустила корни евои дружба во всемъ существѣ моемъ; одну ее я буду лелѣять, ею только буду любоваться, садъ души моеи только ея цвѣтами буду украшать, ничья рука не коснется сорвать мой любимый цвѣтокъ; любовь къ Богу, какъ роса, какъ лучъ солнца, дастъ жизнь моимъ цвѣтамъ. //

[Вятка], 25 ноября.

Ну, слава Богу, я получилъ отвѣтъ на безумное письмо мое; твоя душа такъ высока и чиста, что она его не поняла вполне. Нѣтъ, нѣтъ, вѣрь мнѣ, это былъ бѣшеный порывъ, болѣе ничего, это было изступленіе дружбы. И мудрено ли? Отдаленный отъ всѣхъ друзей, одинъ голосъ вызывалъ меня изъ тяжелаго усыпленія, и этотъ голосъ былъ не мужской, а чистый голосъ, святой голосъ дѣвы, и эта дѣва — ты, да, твои записки всегда пробуждали меня. Отъ этого чувство дружбы и благодарности все усиливалось болѣе и болѣе и, наконецъ, вырвалось судорожно. Почему называю я безумнымъ то письмо, спрашиваешь ты? — потому, что въ немъ затемнено чувство дружбы другимъ чувствомъ, да, тогда, когда я писалъ это, я былъ не братъ тебѣ, но твоя записка все исправила; ты подобна той дѣвѣ изъ чужбины, о которой мечтаетъ Шиллеръ, которая своимъ достоинствомъ, своею высотой оттолкнула все земное.

Ты приказывала мнѣ писать къ Emilie о ея любви, исполню это, но именно какъ приказъ, не по своей волѣ. Я съ ней не такъ близокъ, чтобы писать о подобныхъ предметахъ. Да и о чемъ тутъ совѣтовать? *Онъ любитъ, она любитъ*, все дѣло въ шляпѣ. Будутъ ли они счастливы? Разумѣется, онъ благороденъ, имѣетъ много поэзіи и мало характера. Впрочемъ, рано ему жениться. И потому, прежде нежели я напишу рѣшительно, уговори ее, чтобы она написала мнѣ хоть строчку объ этомъ, я тогда буду въ правѣ. Не сердись, что я мало пишу, ужасно усталъ и что-то не способенъ ни къ чему, а потому прощай, *сестра моя*.

Твой братъ *Ал. Герценъ*.

Отдери остальную часть и пошли Emilie.

26 ноября, Москва.

Другъ мой, со мною было ужасное вчера вечеромъ; ужасное, говорю я, потому что не ужасно ли благородному сердцу огорчить того, кому обязанъ? Ты знаешь, что дѣлалъ для меня Егоръ Ив., я имѣла самыя сильныя доказательства его дружбы и всегда была ему признательна и любила его искренно съ дѣтства; когда стала болѣе понимать, цѣнила еще болѣе его одолженія и всегда готова была сдѣлать все для него, что бы могло ему принести удовольствіе. Но любила съ такою довѣренностью, такъ дѣтски... хотя иногда и замѣчала, что онъ любитъ меня болѣе, нежели бы я желала, но пропускала это такъ, безъ вниманія, даже не хотѣла замѣчать. Иногда онъ меня спрашивалъ, поѣхала ли бы я съ нимъ въ Петрозаводскъ, въ Сибирь, — я всегда обращала это въ шутку, смѣялась и говорила, что, какъ ни люблю его, а не рѣшусь съ нимъ ѣхать никуда; потомъ спрашивалъ, пошла ли бы я за него, — опять я смѣялась и показывала, будто принимаю за шутку. Всегда избѣгала случаевъ оставаться съ нимъ одна, но никакъ не давала ему замѣтить это, чтобы не огорчать его недовѣрчивостью; вчера мы остались одни за фортепіано (я привыкла къ его ласкамъ), онъ называлъ

меня самыми вѣжными именами, вдругъ глаза наполнились слезами, онъ задрожалъ, — ужъ и тутъ я испугалась ужасно, — съ необыкновеннымъ чувствомъ спросилъ меня, люблю ли я его столько, чтобъ выйти за него? Другъ мой, ты знаешь меня, можешь вообразить, каково мнѣ это было... «Поражайте, или дайте жизнь!» — прибавилъ онъ, съ трудомъ произнося слова. Въ то время, какъ слышала я это признаніе любви, сердце мое было такъ далеко, такъ далеко отъ того, кто произносилъ его! Мнѣ жаль его было, ужась, какъ жаль, но что же было дѣлать? Обыкновенно въ этихъ случаяхъ у меня рождается необыкновенная твердость. Сердце мое не смущалось, когда я отвѣчала холодно князю Обол., — посторонній, не заслуживающій вовсе моего вниманія человѣкъ (такіе люди мнѣ всегда надоѣдаютъ), — а тутъ родство, привычка, одолженія, притомъ же, я привыкла его любить, — мнѣ жаль его было, я не могла вдругъ огорчить его, я молчала. «Что-жь, вы не решаетесь дать мнѣ жизнь и сдѣлать ее счастливою на вѣкъ?» — «Я любила васъ всегда, какъ брата, люблю, и...» Онъ не далъ мнѣ договорить: «Какъ брата, не болѣе?» — «Нѣтъ!» — сказала я твердо, не могла болѣе сносить его вида и ушла. Ужасно, мой другъ, ужасно, ей-Богу! Тебѣ невѣроятно это? О я сама не вѣрю, все это будто сонъ, — и безъ того человѣкъ этотъ убить судьбою, и безъ того несчастливъ онъ, а тутъ еще я довершаю его несчастіе! Но что же мнѣ дѣлать? Это сверхъ моихъ силъ, я готова для него сдѣлать многое, но ужъ это не въ моей власти! Не могу вообразить, что я опять его буду видѣть такъ часто, — это мое мученіе! Сначала онъ дѣлалъ всѣ доказательства, почему я должна непременно выдти замужъ, представлялъ все положеніе теперешнее и будущее, — что предстоитъ мнѣ впередъ. Безъ пріюта, безъ покрововъ... О, все это правда, я сама слишкомъ ясно вижу всѣ обстоятельства, но меня они нисколько не утраиваютъ: монастырь, дальняя пустынь — развѣ не есть убѣжище безпріютной сиротѣ? Скорѣй туда, нежели поработить себя той жизни, на которую я и теперь смотрю съ отвращеніемъ, назвать мужемъ человѣка, къ которому не имѣешь ни малѣйшей любви! Назвать только — и то ужасно, а посвятить ему жизнь, еще болѣе — сердце, душу!... О, другъ мой, милый другъ, нѣтъ, пусть лучше вѣтеръ носитъ меня по степямъ, какъ перекати-поле, безъ пріюта, безъ покрововъ, авось донесетъ до родной межи!

Не пиши ему объ этомъ.

Съ этимъ письмомъ, я думаю, ты получишь портфель моей работы; онъ подаренъ тебѣ въ день твоихъ именинъ, но не былъ готовъ; прими его, какъ самое малѣйшее доказательство безграничной любви моей къ тебѣ и дружбы. Каждая шелковинка въ этой работѣ унижена моими мыслями, изъ коихъ нѣтъ ни одной, въ которой бы ты не былъ первый предметъ ихъ.

Ты все винишь себя... Ежели ты виноватъ въ самомъ дѣлѣ, не довольно ли твоего раскаянія? Это еще сильнѣйшее доказательство благородства твоей души. Нѣтъ, мой другъ, какъ ты ни хочешь умалить себя, для меня ты будешь все также высокъ, также прекрасенъ; мнѣ кажется, я родилась съ этою мыслью, съ нею пойду и въ вѣчность. Небо предназначило тебѣ быть моею звѣздой, зачѣмъ же ты хочешь затмиться, моя звѣзда? Гори, гори, играй ярче, съ тобою розыграется и сердце мое!...

Отчего ты съ трепетомъ печаталъ твое письмо, гдѣ спрашивалъ о дружбѣ? Оттого, что ты мало вѣруешь въ твою сестру, ты боялся за меня, не правда ли, мой другъ? Нѣтъ, мой Александръ, не такъ мало вѣры въ тебя имѣетъ твоя Наташа, — оно навело на меня небольшое замѣшательство оттого, [что] я знала,

что ты не споешь. Не бойся меня, я замолчу, я исчезну, ежели это нужно будет для тебя.

Ты хочешь знать, о комъ я говорила тебѣ, — не любопытство ли, не самолюбие ли это? Я не могу сказать этого. Конечно, тебѣ все равно!

Къ Эмилии писала въ тотъ же день, какъ получила отъ тебя.

Прощай, мой другъ, сегодня у насъ всеобщая; съ нѣкоторыхъ поръ я люблю даже и эту службу. Неприятное и лѣнивое пѣніе дьячка я не слушаю, оно деретъ уши; душа поетъ свои гимны, но я люблю часы молитвъ, тутъ каждый болѣе или менѣе сближается съ божествомъ, я чувствую необыкновенную отраду послѣ молитвы. Бываешь ли ты у обѣдни? Прощай, Александръ, прощай, мой другъ, обнимаю тебя.

Наташа твоя

А знаешь ли, какой у насъ былъ пиръ-горой въ твои именины? Всѣхъ, кого можно было, я пошла за твое здоровье, и Костенька проплясала цѣлый вечеръ.

Прощай.

2 декабря, Москва.

Какъ я счастлива сегодня, мой другъ! Знаешь ли? У меня была маменька. Воспоминаніе этого дня не только не изгладится въ душѣ моей, даже и на рукѣ: она подарила мнѣ кольцо, которое никогда не оставитъ ея. Ты поймешь мою радость, — это было первое свиданье послѣ того, какъ мы растались съ ней въ слезахъ, съ растерзаннымъ сердцемъ, съ душой, полною горькой разлуки. Въ этомъ свиданіи много неизъяснимаго. Теперь нѣтъ этой живой боли роковой минуты прощанія, которая терзала тогда мою душу; но разлука все еще дѣлится и сердце, полное надежды, съ трепетомъ считаетъ каждое кольцо этой длинной цѣпи, — много ли еще? Неизвѣстно... и нѣмая боль давить, тѣснить, а тутъ, возлѣ, нѣтъ души, могущей раздѣлить эту боль, нѣтъ сердца, въ которомъ бы отдалось эхо бѣнія моего! Увидѣвшись съ маменькой, я чувствовала созвучіе во всемъ. Моя любовь къ тебѣ, надежда, грусть, воспоминанія, — все слышало звонкій отголосокъ въ душѣ твоей родной, — я не была тогда отдѣльною частью ея. Мы были одно; этотъ часъ пролетѣлъ для меня однимъ мгновеніемъ и оставилъ въ душѣ черту на всю жизнь.

И такъ, съ тобою есть люди съ душою, — зачѣмъ же ссылка представляется тебѣ такъ грозною? Богъ мой, чего бы я ни отдала за то, чтобы видѣть тебя... но что же отдать мнѣ? У меня ничего нѣтъ, кромѣ тебя!

3-е, вторникъ. Полночь. Сегодня вечеромъ получила я твое письмо. Другъ мой, это уже второе, гдѣ замѣтна въ тебѣ разсѣянность, или ты смущенъ, или занятъ?

Я знала, что твое письмо испугало тебя больше, нежели меня. Успокойся. другъ мой Александръ, оно не переиѣнило во мнѣ рѣшительно ничего. оно не могло заставить меня любить тебя ни больше, ни меньше. Не страшись, ради Бога, не страшись за меня, — путь мой не туда, куда стремятся люди бурнымъ потокомъ, и вѣдетъ меня по немъ не рука человѣка; только едва достигаетъ до моего слуха шумъ этого страшно-волнующагося моря, куда впадаетъ бурный потокъ, но и его заглушаетъ твой голосъ. Повторяю, не бойся, въ существѣ моемъ нѣтъ меня, я исчезла, въ немъ живетъ лишь *Она* и *ты*. Это не пугаетъ

тебя, вѣдь, я сестра твоя. Я посвящаю все въ мірѣ—дружбѣ, никакое другое чувство не владѣло такъ сильно моею душой («а любовь къ Алекс. Сер.?»— скажешь ты. Другъ мой, я еще тогда почти не вышла изъ ребячества, да это и не любовь была, и недовольно ли было одного твоего слова, чтобъ изгнать его совершенно изъ мысли?). Я поставлю его выше всѣхъ чувствъ на свѣтѣ послѣ любви къ Богу; пусть ему созидають храмъ чистые сердцемъ, пусть несчастные открываютъ въ немъ полное небо блаженства, пусть толпа поклоняется ему.

Другъ мой! отчего же ты такъ разсѣянъ, отчего такъ грустенъ? Но нѣтъ, болѣе ни слова. Мнѣ самой что-то стало грустно, что-то стѣснило сердце. Прощай!

Твоя *Наташа*.

Emilie сама скоро будетъ въ Москвѣ; я отдамъ ей твое письмо. *Благодарю!*...

Давно уже 3-й часъ, а я не могу заснуть. Окончивъ письмо мое, я взяла ящикъ съ твоими письмами; на одномъ изъ нихъ ясны крупныя слезы,—это послѣднее письмо твое ко мнѣ въ Москвѣ.—о, ужасное время! Когда я получила его, мнѣ тяжелѣе было, нежели когда я уѣзжала съ Крутиць.

Вѣришь ли, что я провожу по нѣскольку часовъ въ какомъ [то] забвеніи настоящаго и живу совершенно этимъ днемъ? Это—счастливейшій день въ моей жизни... и ужасный день! Я перечитывала многія изъ твоихъ писемъ,—нѣтъ, все грустно, пишу къ тебѣ, все грустно,—есть утѣшеніе выше, прощай, обращаюсь къ Нему!

4-е. Потому я тебя такъ просила написать къ Emilie, что она желала этого и дожидалась отъ тебя хоть одно слово, чтобы написать самой. Вчера, простившись съ тобою, я заснула,—Онъ послалъ мнѣ утѣшеніе во снѣ: я видѣла тебя. А развѣ не существуетъ средняго чувства между любовью и дружбой?

✱

[Вятка], 5 декабря.

«C'est bien plus que la terre et le ciel—c'est l'amour» V. Hugo.

Другъ мой Наташа! Твоя записка отъ 18 ноября упрекаетъ меня въ недостатокъ самоотверженія, въ томъ, что я противорѣчилъ себѣ. Помнишь ли ты, сколько разъ я твердилъ тебѣ, что ты слишкомъ поэтически поняла мой характеръ. Сальный лучъ свѣчи блеститъ отраженный въ бриллиантѣ. Твоя душа еще такъ свѣжа и такъ небесна, что она отразила въ себѣ одно свѣлое души моей, и этотъ свѣтъ есть свѣтъ земного огня; много яркости, но дымъ, но копоть, но мракъ съ нимъ не разрывенъ. Вспомнимъ сначала жизнь мою. Чрезвычайно пламенный характеръ и дѣятельность были у меня соединены съ чувствительностью. Первый ударъ, нанесенный мнѣ людьми, былъ смертный ударъ чувствительности, на могилѣ ея родилась эта жгучая иронія, которая болѣе бѣситъ, нежели смѣшивать. Я думалъ затушить всѣ чувства этимъ смѣхомъ, но чувства взяли свое и выразились любовью къ идеѣ, къ высокой мысли, къ славѣ. Но еще душа моя не совсемъ была искушена. Развратъ, не совсемъ порочный,—порочнымъ я бывалъ рѣдко,—но развратъ, какой бы ни былъ, истощаетъ душу, оставляетъ крупинки яда, которыя всѣ будутъ дѣйствовать.

Une mer y passerait, sans laver la tache.

Car l'abime est immense et la tache au fond.

Я сказалъ: «не совсемъ порочень», это только потому, что я не былъ холоденъ въ порокахъ. Хладнокровіе, изысканность—вотъ признакъ порока. Это

были увлеченія, бѣшенство—тѣмъ хуже; горе душѣ, увлекающейя низкимъ! Ядъ былъ принятъ, но *судьба* готовила уже противоядіе, и это противоядіе—тюрьма. Прелестное время для души! Тамъ я былъ высокъ и благороденъ, тамъ я былъ поэтъ, великій человекъ. Какъ презиралъ я угнетеніе, какъ твердо переносилъ все и какъ твердо выдержалъ искушенія инквизиторовъ!... Это лучшая эпоха моей жизни; она была горька для моихъ родителей, для моихъ друзей, но я былъ счастливъ. За тюрьмою слѣдовала ссылка. Слушай исповѣдь до конца, я съ тобой говорю все, открываю все. Въ Перми я не успѣлъ оглядѣться, но здѣсь, пришедши въ обыкновенную жизнь, окруженный мелочами смѣшными и подлыми, притѣсненіями маленькими, душа моя упала съ высоты и вмѣстѣ съ потребностью *face-à-terre*, нѣги, чувственныхъ наслажденій и опять развратъ, слѣдственно. Такъ провелъ я нѣсколько мѣсяцевъ—это ужасно! Иногда, получая твою записку, кровь вспыхивала, я стыдился себя, грызъ губы, смотрѣлъ въ щель на тотъ міръ свѣта, откуда упалъ, и—божусь тебѣ—не имѣлъ силъ подняться. Одинъ твой голосъ будилъ меня, онъ одинъ выходилъ изъ того міра, гдѣ цвѣла моя душа, и я любилъ тебя все болѣе и болѣе, и минуты прощанія нашего ежедневно бродили, какъ сновидѣніе, въ моей головѣ. Я не занимался и теперь ничего не дѣлаю, ибо занятія по службѣ отнимаютъ бездну времени, я привыкалъ къ вздорной жизни гостинныхъ (и провинціальныхъ); скажу прямо, мнѣ нравилось играть первую роль въ обществѣ, забывая, что это общество въ Вяткѣ. Наконецъ, душа устала, утомилась; она до того падала, что захотѣла воспрянуть оттого, что увидѣла всю пустоту, ужасную пустоту, наполненную смрадомъ, больнымъ дыханіемъ поддѣльныхъ страстей. Тогда скрозь всего этого тумана блеснула молнія и при ея свѣтѣ исчезъ туманъ, день еще не насталъ, но туманъ очистился. И это огненное слово было—любовь. Сначала я хотѣлъ оттолкнуть эту мысль или это пророческое чувство, я боялся его, и тогда-то я писалъ, что *не долженъ любить, что боюсь этого чувства*. Но голосъ въ груди былъ слишкомъ силенъ. Опостылѣли мнѣ эти объятія, которыя сегодня обнимаютъ одного, а завтра другого, гадокъ сталъ поцѣлуй губъ, которыя еще не простыли отъ вчерашнихъ поцѣлуевъ. Мнѣ понадобилась душа, а не тѣло. Мысль любви высочайшая, отстраняющая все нечистое, мысль святая, любовь—это все, ибо самая идея есть любовь, самое христіанство—любовь. Чувство построющее.

Ты говоришь: «докончи начатое тобою». Нѣтъ, я не совсѣмъ погибъ, я не отчаяваюсь въ будущемъ.

Прощай, отдохну.

12 декабря. Маменька пишетъ, что ты посылаешь твой портретъ; жду его съ нетерпѣніемъ; я люблю тебя, люблю твои черты, пусть еще чаще напоминаетъ онъ мнѣ мою Natalie. Прощай. Сегодня у меня болитъ голова, пустота вездѣ—и въ душѣ, и въ сердцѣ, и не хочется думать, и не хочется курить сигару.

Прощай, кланяйся Emilie.

Твой братъ Александръ.

Полночь, 16-е декаб., Москва.

Съ тѣхъ поръ, какъ я писала къ тебѣ въ послѣдній разъ, грусть тѣснила мое сердце, душа моя страдала среди этой пустыни, гдѣ ни травки, ни малѣйшаго звука. Провидѣніе поселило ее на ней для того, чтобы она полнѣе постигла *тотъ*

край, гдѣ обитаетъ жизнь, небо, Богъ. Я возношусь въ тотъ край, когда душа моя чиста, когда говорить о небѣ, зоветъ небо, рвется къ небу. О, какъ дивенъ этотъ край! Тамъ я обнимаю съ любовью и того, при комъ леденѣю въ пустынѣ, тамъ все существо мое — одна любовь, тамъ... о, вообрази, какого я люблю *тебя* *тамъ!* Ты не раздѣленъ съ божествомъ, другъ мой, дивное созданіе Бога, достойное созданіе Творца! Александръ, пусть мы розно на землѣ, пусть, но небо насъ соединитъ. Я чувствую въ душѣ моей канунъ небснаго праздника. Кругомъ меня ледяныя горы, одинъ лучъ души моей растаетъ ихъ. Кругомъ меня пусто, одна мысль о тебѣ окружить меня ангелами. Ко мнѣ нѣтъ воззванія, — твое слово, одно слово — для меня пѣснь вселенной! Братъ мой, жизнь моя, и ты такъ далеко!

Я бы превратилась въ одно изъ тѣхъ бездушныхъ, жалкихъ созданій, которыя, можетъ быть, могутъ находиться близко тебя, приняла бы безобразную, отвратительную наружность его, чтобы посмотрѣть только на тебя издали. Ты правъ, правъ, разлука ужасна, я не могу болѣе сносить ее съ такою твердостью. Addio. 1 часъ пробилъ, всѣ покоятся крѣпкимъ сномъ; вотъ часы молитвы, вотъ мгновенія души. Съ тѣмъ взяла перо, чтобы написать, что вчера видѣла Emilie, но до завтра.

17-е, вторникъ. Отдала Emilie твое письмо; она хотѣла отвѣчать. Николай ея не пишетъ къ ней. Боже мой, зачѣмъ я счастливецъ тѣхъ, кто милы моему сердцу? Она погибнетъ, ежели онъ измѣнитъ ей; ахъ, люди, люди! Какъ много прекраснаго, святаго губятъ ваши холодныя, черствыя сердца! Какъ много чувствъ гаснетъ отъ вашего дыханія! Эти примѣры ужасаютъ меня, — но чего бояться мнѣ?... О, если бы можно, я искушила бы своими страданіями друзей моихъ, я бы отдала имъ свое счастье, свою жизнь; но пусть такъ, пусть они выпиваютъ до дна горькую чашу. Блаженство неба замѣнитъ земное! Вѣра, она не оставляетъ меня, съ нею я смотрю съ твердостью на несчастье ближнихъ. Всѣ, кого я люблю, болѣе или менѣе поражены ударами судьбы; или несчастья выводятъ душу изъ мрака, или даютъ ей они полетъ на небо. Ужасны слѣды ударовъ, сердце обливается кровью видѣтъ глубокія раны, слышать стоны страждущаго, но играетъ радостью, когда въ этихъ стонахъ звучитъ ясный, чистый голосъ неба; онъ примиряетъ страдальца съ землею, съ бѣдствіями, поетъ ему пѣснь о вѣчности и подъ эту пѣсню утихаетъ бурное море и страстей его, и мученій. Какъ прекрасенъ человекъ въ несчастіи съ чистою вѣрой въ Провидѣніе! Тутъ онъ есть таковъ, какимъ его создалъ Богъ, тутъ онъ отдастъ людямъ все, что они поселили въ нее, очищаетъ душу отъ всего, что они навѣяли на нее. Почему не пройти одно мгновеніе мрака, когда тысячи солнцевъ свѣтятъ на насъ въ вѣчности? Почему не прожить нѣсколько лѣтъ въ разлукѣ на землѣ, когда будешь вѣчно вмѣстѣ на небѣ?

Придетъ лѣто, я пойду въ Кіевъ, оттуда къ тебѣ. Это у меня изъ головы не выходитъ, но какъ устроить? (какой вздоръ! — скажешь ты).

21-е, суббота, 2 часа пополудни. Восторгъ! Сейчасъ отъ тебя письмо.) Я скоро устаю ждать отъ тебя писемъ, дѣлаюсь больна душою, тоскую, скучаю, и жизнь становится несносна. Утромъ я узнала, что пріѣхалъ Эрнъ; нѣсколько часовъ показались мнѣ цѣлымъ годомъ, я была внѣ себя отъ нетерпѣнія, наконецъ, славу Богу!... Другъ мой! ей-Богу, ты уже слишкомъ много придаешь мнѣ и слишкомъ отнимаешь у себя. Ну, ежели я въ самомъ дѣлѣ такая, какъ ты говоришь, — какъ же я должна смотрѣть на того, кто меня сдѣлалъ такою, кто всю жизнь мою былъ единственнымъ свѣтиломъ, единственнымъ спасителемъ?

Не будь тебя, и я на вѣкъ, на вѣкъ осталась бы ничтожною, погибла бы во мракѣ: ежели бы не твой, чей бы голосъ вызвалъ меня изъ этого ничтожества, изъ этого мрака? Да и если не тебѣ, кому быть моимъ ангеломъ-спасителемъ? Ты мнѣ посланъ Богомъ, ты провидѣніе Его, Александръ, другъ мой, спаситель мой! Нѣтъ, ты не лучъ сальной свѣчи, а солнце, и это солнце свѣтитъ, играетъ и смотрится въ душѣ моей, какъ въ чистыхъ водахъ ручья; о, посмотри въ этотъ ручей, какъ прекрасенъ, какъ дивенъ ты въ струяхъ его! И этому солнцу нѣтъ заката, ручей не знаетъ ночи, не знакомъ ни съ луной, ни со звѣздами онъ любить одно солнце, видеть одно солнце и спокойно катитъ свѣтлыя воды, гдѣ отражается одно солнце. Любовь... я не знаю ея, я не могу любить, душа полна однимъ тобою, нѣтъ мѣста въ ней другому существу, другому чувству, кромѣ любви къ Нему, дружбы къ тебѣ. Я не думала упрекать тебя, а только хотѣла напомнить тебѣ, чтобъ ты *не отнималъ чужого*. Да что же такое любовь? Неужели это выше того, какъ я люблю тебя, неужели идеалъ любви можетъ быть прекраснѣе тебя, неужели у меня остается еще мысль, которая не посвящена тебѣ, неужели я могу любить болѣе?... Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ! Хотѣ ежели суждено судьбою мнѣ всю жизнь быть такъ далеко отъ тебя, — душа моя вознесется на небо съ тѣмъ чувствомъ, которымъ полна теперь; ее не могутъ поколебать ни разстоянія, ни время, ни обстоятельства. Можетъ, и оттуда донесется къ тебѣ пѣснь ея, — пѣснь, которою она воспоетъ тебя на небѣ. Но полно, неужели ты не любишь меня столько, чтобы вѣрить мнѣ, и неужели этого мало тебѣ? Пусть твоя душа дочитаетъ въ душѣ моей то, чего я не умѣю вылить на бумагу.

Ты хочешь сказать, мой другъ, что я ослѣплена, что я пристрастна къ тебѣ, потому вижу въ тебѣ одно хорошее, — нѣтъ мнѣ кажется, я вижу тебя такъ, какъ ты есть, и люблюсь тобою и люблю тебя. Но послушай, что хочешь говори, ужъ и ты не властенъ помрачить сіяніе того, кому я поклоняюсь въ храмѣ души моей, разлучить меня съ тѣмъ, съ кѣмъ при смерти, ни небо не разлучать. Ты можешь заставить умолкнуть звукамъ души моей, можешь заставить меня исчезнуть, я буду послушна во всемъ, затвори двери души, одна буду внимать ей, уйду въ землю, но не можешь ты отнять чувствъ, мыслей души моей, — они посвящены тебѣ, они полны тобою, они — ея собственность.

И такъ, тебѣ не страшно болѣе чувство любви, оно близко душѣ твоей, оно не погубить тебя? Люби. Люби, плыви по морю любви, оно бурно, темно, оно страшно волнуется, можетъ, волны его вознесутъ корабль твой къ небесамъ!... Приди иногда взглянуть на чистыя и безмятежныя струи ручья; въ водахъ его ты увидишь и небо, и самого себя, приди отдохнуть на берегу его, прислушайся къ журчанію его, ты узнаешь голосъ, знакомый, родной, голосъ твоего друга, твоей)

Наташи.

22-е ден.

Еще пишу тебѣ, можетъ, это въ послѣдній разъ нынѣшній годъ. Мнѣ грустно, мой другъ, что ты обманулся; это и тебѣ, я думаю, было досадно, но не тужи; мудрено устроить, а буду всячески стараться, и, во что бы то ни стало, у тебя будетъ мой портретъ. Я не надѣюсь имѣть твоего, мой другъ, но образъ твой начертанъ въ душѣ моей не кистью художника.

Ну, видишь ли, Александръ, какъ прекрасна, какъ высока душа твоя? Ты споткнулся, увидѣлъ, что пропасть близка, собралъ силы, вспорхнулъ и теперь

съ высоты глядишь съ раскаяніемъ на то бѣдное мѣсто, гдѣ стоялъ прежде, гдѣ близокъ былъ къ гибели. Нѣтъ, ей Богу, я не находила подобныхъ тебѣ!

И передъ тобою мелькало прощаніе на Крутицахъ, другъ мой; скажу откровенно: я не думала, чтобъ ты любилъ меня столько и теперь... Но, нѣтъ, нѣтъ, другъ мой, прости, прости мою недовѣрчивость, клянусь, это оттого, что я слишкомъ мало цѣню себя; свою душу, свои мысли я люблю только потому, что онѣ полны тобою, жизнь моя драгоценна только тѣмъ, что она посвящена тебѣ, тѣмъ, что она твоя; что во мнѣ есть хорошаго, это только то, что я умѣла постигнуть тебя, что душа моя стала вся отвѣтомъ на одно воззваніе души твоей. Словомъ, въ себѣ я люблю тебя.

Что будетъ со мною далѣе? Придетъ ли время, когда я увижу тебя? Нѣтъ, грустно мнѣ переноситься въ мое будущее. Гдѣ я буду? Куда еще бросятъ меня люди? Мнѣ все равно, тамъ или видѣ; я знаю, гдѣ ни буду, вездѣ далеко отъ тебя. Петербургъ... страшно! Тамъ все чужое, кромѣ кладбища; Москва... здѣсь нѣтъ тебя; Вятка... о, Вятка, Вятка! Тамъ я давно живу душою, тамъ моя обитель, тамъ мое солнце, тамъ мой Александръ, тамъ я не буду.

23-е, понедѣльникъ. Возможно ли! Два года минетъ, какъ мы безопасно веселились на праздникѣ! Помнишь ли ты это время? Тогда и мысль о разлукѣ не туманила моей души, а теперь?... Много, много въ моей памяти дней, часовъ, мгновеній, которыхъ свѣтъ не помрачить ни сіяніе, ни мракъ будущихъ. Даже повѣришь ли ты, тотъ день, когда я тебя видѣла въ первый разъ съ папенькой и съ Егор. Ив. въ домѣ княж. Анны Бор., такъ же ясенъ и теперь, какъ тогда. Ты сидѣлъ у окна противъ солнца, и мнѣ больно было смотрѣть на тебя; я полюбила тебя, но боялась подойти къ тебѣ (страхъ этотъ продолжался до 9 апр. 1835 года).

Признаніе Е. И. нисколько не разрушило нашей дружбы; онъ, кажется, довольно покоенъ, не упоминаетъ мнѣ болѣе ничего, даже, кажется, не надѣется, и я, право, довольна, что все это кончилось. Онъ собирается въ Петрозаводскъ; мнѣ жалъ; я привыкла къ нему; тогда и сообщенія съ вашимъ домомъ прекратятся.

Боже мой, какъ бы я желала видѣть Эрна! Я еще никого не видала изъ Вятки отъ тебя, и Зонненберга не видала и хорошо, а то право, я кинулась бы ему на шею; ежелибъ и Петръ твой пріѣхалъ, Богъ знаетъ, какъ бы я обрадовалась ему! Слышала, въ какой опасности находился ты при переѣздѣ Волги; сердце замерло, и во снѣ тотъ день видѣлось, что я спасаю тебя отъ смерти. Да сохранить тебя вездѣ и во всемъ десница Всевышняго! Прощай, мой другъ, прощай, мой Александръ, молитвы и благословеніе друга съ тобою.

25-е, среда, 3 ч. утра (всѣ у заутрени). Въ первый разъ встала такъ рано; это для того, чтобы первой поздравить тебя, мой другъ. Не хочу провести такой великій праздникъ безъ того, чтобы не сказать съ тобою нѣсколько словъ, — это облегчитъ меня на цѣлый день. Какъ ужъ грустно будетъ, два года тому назадъ и ты былъ у насъ сегодняшній день. Помнишь ли и какъ упалъ? Прощай. Обнимаю тебя.

Вятка, 25 декабря.

Natalie! Въ твоей запискѣ отъ 2 дек. есть фраза, которую тебѣ самъ Богъ продиктовалъ. Эта фраза однимъ разомъ ярко и звонко проговорила, что ты мнѣ и что я тебѣ, и я перечиталъ сто разъ ее, я поцѣловалъ ее со слезами на глазахъ: «чего бы я ни отдала, чтобъ видѣться съ тобою... Но что же отдать мнѣ? У меня

ничего нѣтъ, *кромя тебя*». Другъ мой, да, я твой, да, ты поняла меня; теперь мнѣ ясно, почему ты не испугалась той записки. Ты отдала свою судьбу въ мои руки, я отдалъ самого себя тебѣ. Насъ ничто не разорветъ никогда. «Не бойся меня, я исчезну, ежели это нужно для тебя». Для чего ты это написала? Въ этихъ словахъ кроется мысль холодная, но я молчу, — мало ли что иногда проходить въ голову?

Провишество, бывшее съ тобою, потрясло меня сильно. Да, это ужасно прибавлять несчастье несчастному! Что ты при этомъ не была холодна, этому вѣрю, я разлюбилъ бы тебя, ежелибъ ты могла тутъ быть холодною. Есть ужасная вещь — *предопредѣленіе*; оно ежели гонить кого, то гонить до погибели. Старайся всеми средствами заглушить эту страсть въ немъ, но помни, что всякое холодное слово — ножъ въ сердце. Я воображаю себя на его мѣстѣ... нѣтъ, этого не могу вообразить, ибо я не могу тебя представить безъ любви ко мнѣ. Грусть на меня нагнало это извѣстіе тѣмъ болѣе, что я не ждалъ его.

Я понялъ тебя въ Крутицахъ, когда ты молчала, — пишешь ты, — да, я тогда много понялъ.

Моя тоска, о которой ты говоришь, проходитъ; теперь есть у меня человекъ, который понимаетъ всякій восторгъ, поэтъ и несчастный — Витбергъ. Я не могу жить въ одиночествѣ. Онъ посланникомъ неба явился ко мнѣ. Итакъ, судьба умѣетъ и гнать, и лѣчить раны. Какъ онъ любитъ свою жену, съ какимъ восторгомъ говорить о ней! Почему ты съ такимъ пренебреженіемъ говоришь о замужествѣ? Тебѣ довольно дружбы; но то, что ты разумѣешь, ангель мой, подѣлюсь словомъ дружбы, не есть дружба; иначе никогда не вылились бы изъ души твоей эти слова: «я отдалась душою и могу ли дѣлиться ею съ кѣмъ?» Тогда ты могла бы дѣлиться.

Твоей работы портфель я получилъ, благодарю;.. но знаешь ли, что я съ досадою получилъ ее. Я съ чего-то вообразилъ, что посланъ твой портретъ, вмѣсто него — портфель. Мой портретъ у тебя будетъ, Витбергъ сниметъ съ меня для папечки (замѣть, что великій человекъ нарисуетъ *почти* первый мой портретъ), но я уже просилъ, чтобы тебѣ доставили хорошую копию. Пусть онъ утѣшаетъ тебя въ разлукѣ, а разлука наша долга, Наташа, она не кончится Вяткою. Но, наконецъ, когда все пройдетъ, когда и годы странствованія промчатся, когда опредѣлится путь, по коему я *могу* идти, — тогда, тогда не будетъ разлуки, тогда склоню я голову на грудь твою (ежели она не будетъ принадлежать другому), тогда повѣрю я, что есть полное блаженство, тогда, ... но тогда это — далеко, далеко, ангель мой.

Прощай, твой Александръ.

25-го декабря. Съ праздникомъ поздравляю и съ новымъ годомъ. Что-то будетъ въ эти новые 365 дней?... Грустно встрѣтилъ я 1835 годъ. А помнишь ли 6 января 1834 года у Насакина: ты, Emilie и луна — дѣйствующія лица?

Москва, декабря 31-го.

Какъ грустно и какъ скучно провожу я этотъ праздникъ, другъ мой Александръ! Все что ни толпится вокругъ меня, все чуждо мнѣ; чѣмъ многолюднѣе, тѣмъ больше мое одиночество; не знаю, право, отчего, грусть овладѣла мною, и я до безразсудства предалась ей, а тутъ еще, вообрази! Emilie присылаетъ сказать, что она отчаянно больна! Посылаю къ ней, она велитъ сказать мнѣ, что

приготавливается къ смерти, завѣщаетъ положить себя въ Симоновѣ и меня приглашаетъ туда же. Боже мой! въ эту минуту мнѣ представилось все въ ничтожномъ видѣ, я готова была, а желала умереть (прости мнѣ это), я видѣла гробъ и въ немъ Emilie. О, въ эту минуту я легла бы подлѣ нея, радостно простилась бы со всѣмъ на свѣтѣ, но не брани меня, я вспомнила о тебѣ въ это время, — вспомнила, что тамъ, далеко, есть существо, въ которомъ заключается для меня все на свѣтѣ; разставаясь съ Emilie, я не разсталась бы со всѣмъ... Но до сихъ поръ все еще грустно. Сію минуту пришли отъ Emilie. Ей, слава Богу, лучше. Я ея не увижу до тѣхъ поръ, пока совсѣмъ выздоровѣетъ. Не была я нигдѣ и маленьку съ тѣхъ поръ не видала, и Саша Боб. больна, и я не очень здорова. О, mon âme! pourquoi êtes-vous triste et pourquoi me troublez-vous?

Какъ-то разъ и я гадала. Тебѣ вылилась изъ воску фигура въ видѣ колонны и сверху человѣкъ съ трубою—слава! Я *хочу* вѣрить этому. А мнѣ вышель лѣсъ пустой, безъ листьевъ.

Вотъ въ другой разъ прерываютъ меня за этимъ письмомъ; еще радостная вѣсть отъ Саши: и ей лучше, и скоро пріѣдетъ ко мнѣ. Теперь жду отъ тебя.

Прощай, до завтра; не люблю я писать въ такое грустное расположеніе. Общаю тебѣ быть умнѣе, съ 1835 годомъ оставлю, отгону прочь отъ себя всѣ мрачныя мысли; не хочу поздравлять тебя съ новымъ годомъ томнымъ голосомъ, не хочу присылать тебѣ желаній унылаго сердца. Дай погрустить послѣдніе часы, дай проститься со всѣмъ, что онъ, 1835 годъ, уноситъ съ собою, а тамъ, а тамъ... что Богъ дастъ, то и будь! (3 часа пополудни).

Бѣтъ 12 часовъ... Съ новымъ годомъ, другъ мой! Яму руку, цѣлую тебя; что-жъ пожелать мнѣ тебѣ, чѣмъ подарить тебя?... Вотъ мое сердце, вотъ душа моя со всѣми желаніями и благословеніями, выбирай или возьми всѣ; но ихъ слишкомъ много, тебѣ тяжело будетъ, человѣкъ не въ силахъ сносить столько счастья на землѣ, сколько я желаю его тебѣ, хоть, можетъ быть, это малѣйшая часть того, которое ожидаетъ *тамъ*. На что слова? Прислушайся къ каждому слову моей души, внемли ея звукамъ... довольно!...

Мнѣ не грустно теперь; насъ раздѣляетъ 1.000 верстъ, и мы такъ близки! Я чувствую твое присутствіе, вижу тебя, слышу твой голосъ, — кажется, воздухъ, которымъ дышу, полонъ тобою, — нѣтъ, я счастлива! Зачѣмъ же падаю я, зачѣмъ? Другъ мой, прости мнѣ: это болото, которое я перехожу по узенькой дощечкѣ, втянуло бы и самого сильнаго, я оступаю иногда, но еще, благодарю небо, имѣю силы спастись. Оно не оставляетъ меня гибнуть въ отчаяніи. Душа расцвѣтаетъ для новой жизни, для новой радости. Да расцвѣтетъ и твоя душа къ новой жизни и къ новой радости! Небо, его ангелы, самъ Богъ да будутъ съ тобою! Вся жизнь твоя да будетъ свѣтла, какъ солнце! Другъ мой, душа моя такъ полна въ сію минуту молитвой о тебѣ, что я не могу говорить.

Прощай, мой Александръ, твоя

Наташа.

1-е января, 1836 года. Emilie лучше, но все еще не можетъ писать сама; она тебѣ кланяется и поздравляетъ съ новымъ годомъ и желаетъ много, много.

1836 годъ.

2-е января.

Туманъ исчезъ, опять свѣтло и ясно! Только недостаетъ письма отъ тебя, и я-бы возвратилась совершенно въ прежнее состояніе. До сихъ поръ не могу дать себѣ отчета въ этой неразгаданной грусти. Откуда и отчего она? Стоитъ-ли обращать вниманіе на все то, что окружаетъ меня? Это, право, ужасно глупо! Впрочемъ, не сердись ты на меня, другъ: видишь, не довольно-ли у меня смы. не довольно-ли я разсудительна? Насталъ праздникъ, и кто не проводитъ его съ родными, съ друзьями, а я? Я одна-однихонька! Вотъ этого довольно было, чтобъ разстроитъ меня, а тутъ еще въ прибавокъ... но что объ этомъ говорить? Эмилія моя выздоравливаетъ, сегодня ожидаетъ къ себѣ Эрнэ замаскированной дамой; это презабавно. Говорятъ, онъ похожъ на тебя; ужасно жаль, что не увижу его.

Боже мой, когда-то мы увидимъ тебя, нашъ дальній, милый другъ? Почти миновался первый годъ, но сколько еще ихъ впереди? Ты, вѣрно, торжествуешь въ Вяткѣ, но я знаю, что это тебя не утѣшаетъ: много людей, но нѣтъ груди, которая-бы обручалась съ тобою каждою мыслью, много глазъ (прекрасныхъ), но нѣтъ взора, въ которомъ-бы ты сіялъ, какъ солнце въ небѣ, а здѣсь, въ Москвѣ, есть люди, которыхъ грѣтеть воздухъ Вятки!.. Я первая, я не боюсь срывать цвѣтотъ съ души и переносить ихъ на бумагу, которая принесетъ ихъ въ Вятку, я не боюсь за нихъ холода: тамъ они не замерзнутъ.

Небо чисто, небо ясно,
Въ небѣ звѣздочка горитъ!
Не люби ее такъ страстно.
Для тебя-ль она горитъ,
Для меня-ли, я не знаю.
Но при ней мнѣ такъ свѣтло;
Но при ней я не страдаю,
Безъ нея мнѣ тяжело!

Прощай, мой милый другъ, пой пѣсни, веселись; придетъ пора, и мы запоемъ вмѣстѣ... Меня прервали, забыла, что хотѣла написать. Спѣшу.

Прощай, не грусти-же, —смотри, какъ я весела.

Твоя *Наташа*.

2-е января.

« Да, самъ Богъ водилъ мою руку, когда я писала тебѣ, что *у меня ничего нѣтъ, кромѣ тебя*. Самъ Богъ, мой Александръ! Онъ далъ мнѣ *все* въ одномъ тебѣ, Онъ далъ мнѣ душу, способную любить одного тебя. Какъ хороша я теперь, другъ мой, какъ полно счастья все существо мое, какая музыка въ душѣ моей. Теперь я вся гимнъ любви, слушай эту музыку: она небесная, она отъ Бога, она твоя! Самъ Богъ обручилъ наши души, Онъ создалъ насъ другъ для друга, и если здѣсь намъ суждена разлука, *тамъ*, мой другъ, намъ вѣчное соединеніе. —тамъ, въ отчизнѣ! Какъ обширна, какъ прекрасна моя душа теперь, мой Александръ; она обняла, отразила *твою* душу! Теперь мнѣ ясны и этотъ страхъ души, и этотъ трепеть сердца, когда въ Крутицахъ ты бросилъ на меня взглядъ — этотъ взглядъ, полный чѣмъ-то непонятнымъ, неразгаданнымъ мнѣ тогда, — взглядъ, котораго лучъ и теперь озаряетъ мою душу, когда сказать ты

мнѣ: «и такъ, участь голубя не пугаетъ тебя?» Еслибъ открылъ ты тогда мою душу, еслибъ вслушался въ ея звуки!.. Теперь мнѣ ясно, зачѣмъ я такъ долго, долго останавливалась на этомъ таинственномъ: «*можетъ быть...* но окончить нельзя, за мной пришли». Богъ знаетъ, что *можетъ быть*, но что ты мнѣ послалъ Богомъ, что душа моя—отголосокъ твоей души, это я знаю,—сказала я тогда. И съ тѣхъ поръ, мой другъ, въ душѣ моей не осталось мысли, которая-бы не была создана тобою, въ жизни минуты, которая-бы не была посвящена тебѣ. Богъ создалъ меня съ любовью къ тебѣ. «Тогда, тогда не будетъ разлуки, тогда склоню я голову на грудь твою (ежели она не будетъ принадлежать другому)»... Когда въ этой груди поселилъ тебя самъ Богъ, тебя одного, одного тебя, мой Александръ,.. ты одинъ склонишь твою голову на грудь мою, одинъ назовешь меня твоей. И когда придетъ это *тогда*, и когда буду я съ тобою?... Оно далеко, говоришь ты... Я отдамъ цѣлую жизнь за минуту счастья, куплю страданіями одно мгновение съ тобою! Въ тебѣ, мой другъ, заключается весь міръ для меня, въ тебѣ я молюсь, въ тебѣ удивляюсь Создателю, въ тебѣ боготворю природу,—словомъ, я живу въ тебѣ. Не правда-ли, Саша, я создана только для того, чтобы любить тебя? О, сколько недостаетъ въ здѣшнемъ мірѣ звуковъ для того, чтобы полною излить душу, полною передать ея блаженство! Тогда, мой другъ, и разлука не была-бы такъ ужасна. Но я не смѣю, боюсь думать, чтобы для насъ не настала часъ свиданія; скорѣе Богъ отниметъ душу, нежели предастъ ее такому мученію. Какая встрѣча, какое свиданіе! При одной мысли сердце рвется вонъ изъ груди.

Много получишь ты отъ меня писемъ, мой другъ, многое выбросила-бы теперь я изъ нихъ, но они уже отосланы, ты самъ выбрось, что тебѣ не нравится.

Помню, помню 6 января, помню каждое твое слово, и луна, замасанная киселемъ, и восточная звѣзда. О, тогда мысль о тебѣ мелькала въ моей душѣ, какъ быстрая молнія: то озарить яркимъ блескомъ и въ мигъ исчезнуть, то вдругъ растворится небо, и она трюетно-блѣдно сіяетъ и потомъ опять исчезнетъ, и страшно мнѣ было, и я пугалась этой молніи, а теперь, теперь... Пусть эта молнія разгоняетъ своимъ сіяніемъ всѣ тучи надъ твоею головою, пусть душа моя будетъ пристанью твоей душѣ въ долгое, бурное твое плаваніе. Теперь я не скажу, чтобы когда-нибудь тебѣ было нужно, чтобы я исчезла,—нѣтъ, я не думаю этого, ни одно тонкое облако сомнѣнія не затмитъ твоего сіянія.

У меня будетъ портретъ твой? Другъ мой, какъ понимаешь ты мою душу, какъ проникаетъ взоръ твой глубину ея! Не досадуй на бѣдный мой портфель, и портретъ мой будетъ у тебя, непременно будетъ, и почти первый, потому что еще я питалась груднымъ молокомъ, когда снимали съ меня портретъ у паченьки.

Не легла-бы я всю ночь, не уснула-бы, не люблю я сонъ, онъ разлучаетъ иногда меня съ тобою. Прощай, милый, единственный другъ мой.

Твоя *Наташа*.

Полночь. Вотъ уже шесть часовъ, какъ я получила твое письмо. Я здорова теперь совершенно.

Пятница, 3-е. Вообрази, мой другъ, я видѣла сегодня маменьку и Эрнэ. Тебѣ не нужно говорить, въ какомъ я была восторгѣ. Маменька мнѣ дала слово, что у меня будетъ твой портретъ. Эрнэ я хотѣла сказать много, много, но наше свиданіе продолжалось только нѣсколько минутъ. Я увѣрена, что они приняли

меня за сумасшедшую, я была не въ состояніи принять холодную наружность при встрѣчѣ съ Вятскими; я была такъ, какъ я есть, и, повѣришь-ли, мнѣ грустно было разстаться съ ними, я-бы умчалась съ ними въ дальній путь, въ тотъ край, гдѣ живетъ моя душа, гдѣ ей свѣтло, какъ въ раю. Долго и много говорила я о тебѣ съ Прасковьей Ан.; въ это время подѣл нея я забыла всю Москву, боялась пропустить хоть одно ея слово, и что-жъ тутъ удивительнаго?

Скажи, мой другъ, неужели это можетъ статься, чтобъ Сатинъ не любилъ Emilie? Нѣтъ, право, это невозможно! Мнѣ ужасно больно, что Emilie такъ мало любитъ; можно-ли, одно то, что онъ къ ней не пишетъ, увѣрило ее совершенно, что онъ измѣнилъ ей; такъ мало вѣры, такъ много холода въ ея душѣ. Любить-ли—это, не вѣря въ его любовь?.. Прощай, мой Александръ.

Твоя *Наташа*.

4-е. Сегодня я была въ Донскомъ монастырѣ въ первый разъ, тамъ хорошо поютъ, только я не люблю видъ кладбища. Это такъ громко говорить о разлукѣ; разлука—смерть, а смерть—разлука. На кладбищѣ я съ тобою разсталась въ послѣдній разъ. Ваганьково, колокольня... Ахъ, что-то Огаревъ? Получаешь-ли ты отъ него? Люблю я его, очень люблю. У него нѣтъ души, изъ которой-бы онъ могъ пить хоть каплю утѣшенія.

15 января.

Я удрученъ счастьемъ, моя слабая земная грудь едва въ состояніи перенести все блаженство, весь рай, которымъ даришь ты меня. Мы поняли другъ друга! Намъ не нужно, вмѣсто одного чувства, принимать другое. Не дружба, любовь! Я тебя люблю, Natalie, люблю ужасно, сильно, насколько душа моя можетъ любить. Ты выполнила мой идеалъ, ты забѣжала требованіямъ моей души. Намъ нельзя не любить другъ друга. Да, наши души обручены, да будутъ и жизни наши слиты вмѣстѣ. Вотъ тебѣ моя рука, она твоя. Вотъ тебѣ моя клятва, ея не нарушить ни время, ни обстоятельства. Всѣ мои желанія, думалъ я въ инныя минуты грусти, несбыточны; гдѣ найду я это существо, о которомъ иногда болить душа? Такія существа бываютъ созданія поэтовъ, а не между людей. И возлѣ меня, вблизи, расцвѣло существо, говорю безъ увеличеній, превзошедшее изящностью самую мечту, и это существо меня любитъ, это существо—ты, мой ангелъ. Ежели всѣ мои желанія такъ сбудутся, то гдѣ я возьму достойную молитву Богу?

Я получилъ письмо отъ Emilie. Всегда отъ души любилъ ея пылкій, страстный нравъ. Это письмо сильно потрясло меня, она много страдаетъ, жаль ее. Впрочемъ, двумя мѣстами въ ея письмѣ я очень недоволенъ. Первое меня даже взбѣсило; поелику тутъ о тебѣ, то считаю за нужное выписать оное и объяснить: «Тебѣ нравится, — пишетъ она, — Reaune, про которую я уже знаю, *но не скажу Наташѣ*». Да кто-же проситъ, чтобы скрывать мои поступки или мысли, или что-бы то ни было тебѣ, которой я все открываю? Я умѣю самъ отвѣчать за мои дѣйствія и, вѣрно, въ нихъ нѣтъ такого, чего-бы ты не могла знать. Я ей извиняю, потому что она второпяхъ, вѣрно, писала, не думая. О какой Reaune рѣчь, я хорошенъко не знаю, но очень понимаю, что это какія-нибудь сплетни Зонненберга. Здѣсь двѣ Reaune и обѣ очень хороши, и обѣ нравятся мнѣ и, *roug passer le temps*, я обѣими очень занята. Но гдѣ-же тутъ тайна отъ тебя. Если-

бы я любилъ которую-нибудь и тогда я-бы написалъ тебѣ. Но душею, сердцемъ люблю тебя, тебя одну, а для шутки, для забавы любезничаю съ Полинами,— впрочемъ я самъ писалъ уже къ тебѣ объ одной.

При семъ [письмо] къ Emilie; отошли, запечатавъ.

16 января, 1836 г., Москва.

Когда ты сказалъ мнѣ, Александръ, что отдалъ мнѣ самого себя, я почувствовала, что душа моя чиста и высока, что все существо мое *должно быть* прекрасно. Другъ мой, я была счастлива тѣмъ, что могла восхищаться тобою, любить тебя, становилась выше и добродѣтельнѣе отъ желанія быть ближе къ твоему идеалу; казалось, до него мнѣ, какъ до звѣзды небесной, высоко. Я жила однимъ тобою, дышала твоею дружбой, и весь міръ былъ красенъ мнѣ однимъ тобою. Я чувствовала, что я сестра тебѣ, и благодарила за это Бога; искала, чего желать мнѣ,—влянусь, не находила, такъ душа моя была полна, такъ довольно ей было твоей дружбы. Но Богъ хотѣлъ открыть мнѣ другое небо, хотѣлъ показать, что душа можетъ переносить большее счастье, что нѣтъ границъ блаженству любящимъ Его, что любовь выше дружбы... О, мой Александръ, тебѣ знакомъ этотъ рай души, ты слышалъ пѣснь его, ты самъ пѣвалъ ее, а мнѣ въ первый разъ освѣщаетъ душу его свѣтъ, я—благоговѣю, молюсь, люблю.

Другъ мой, Александръ, я-бы желала сдѣлаться совершеннымъ ангеломъ, чтобы быть совершенно достойной тебя, желала-бы, чтобы въ груди, на которую ты склонилъ твою голову, вмѣщалось цѣлое небо, въ которомъ-бы тебѣ не доставало ничего, а она богата одною любовью, однимъ тобою. И съ этою любовью—сколько вѣры въ тебя, и можно-ли любить безъ вѣры? Нѣтъ, мой другъ, нѣтъ, мой ангель, твой идеалъ далеко, ищи его тамъ, тамъ, ближе къ Богу, а здѣсь, на землѣ, нѣтъ его. Ты можешь быть идеаломъ многихъ, а быть твоимъ... Мнѣ часто бываетъ грустно, когда я обращаюсь на себя и вижу всю ничтожность свою предъ тобою, мой несравненный Александръ; грудь моя слишкомъ тѣсна, чтобы заключить въ себѣ все, чего-бы ты желалъ; можетъ, и душа моя слишкомъ далека твоей души, чтобы слиться съ нею въ одно? Нѣтъ, мой ангель, ищи несравненнаго, неподражаемаго, а мнѣ ты много найдешь подобныхъ; не склоняй головы твоей на слабую грудь, которая не въ силахъ снести столько прекраснаго, столько святаго. Грустно стало мнѣ... Прощай.

17-е. Ты постишь мнѣ эту грустную мысль, мой другъ. Разлука, даль,— все это смущаетъ иногда мою душу и наводитъ на нее облако. Если я далека твоего идеала, далека очень, то любовь моя къ тебѣ сдѣлаетъ меня близкою къ нему; я чувствую, что уже я пережѣнилась во многомъ, чувствую, что я стала лучше... и нѣтъ, прекрасна должна быть душа, умѣвшая понять тебя и любить тебя!

Я еще не видала твоего портрета. Ахъ, мой другъ, когда я услышала, что онъ уже здѣсь, заплакала отъ радости, отъ одного воображенія, что увижу твой портретъ (только портретъ!). Ахъ, зачѣмъ я такъ далеко отъ тебя, зачѣмъ я не могу смотрѣть на тебя, слышать твой голосъ, предупреждать твои желанія, отгадывать твои мысли, радоваться, глядя на тебя, плакать вмѣстѣ съ тобою, отдать жизнь мою за одну минуту твоей жизни?!

Съ какимъ восторгомъ я иду въ храмъ Божій, съ какимъ восторгомъ молюсь; мнѣ есть о комъ просить, мнѣ есть о комъ молиться. И какъ люблю я

всѣхъ и какъ хочу, чтобы всѣ меня любили; любите, любите сестру, друга Александра, любите ту, на чьей груди онъ склонить голову!

Сегодня маменька именинница, — поздравляю тебя, мой другъ! Какъ-бы желала я провести этотъ день съ нею, но это невозможно. Ежели-бы я видѣлась съ нею чаще, разлука съ тобою не была-бы для меня такъ ужасна, но и этого я лишена. Пусть меня угнетаетъ все на свѣтѣ, пусть длится эта горькая разлука, ежели такъ угодно Богу, но я не сомнѣваюсь, я вѣрую, что придетъ пора, настанутъ дни, когда я буду съ тобою, и тогда одна смерть оторветъ меня отъ моего друга.

Можетъ, ты назовешь меня мечтательной, но, другъ мой, скажи, могу-ли я разстаться съ мечтами, съ мыслями, съ которыми ты неразлученъ?... Часто, когда люди не толпятся вокругъ меня, передо мною исчезаетъ все земное, все житейское, одинъ ты, съ кѣмъ я не расстаюсь ни на минуту, остаешься со мною. Прекрасны эти мгновения! Въ нихъ мы такъ близки съ Богомъ, все такъ полно нашею любовью; въ эти мгновения, кажется, самое небо завидуетъ намъ, самъ Богъ благословляетъ нашу любовь; вся вселенная воспѣваетъ любовь, будто все — любовь.

Свѣтла жизнь моя, Александръ, еще свѣтлѣе моя душа. Когда буду съ тобою, тогда этотъ свѣтъ потонетъ въ тебѣ, какъ звѣзда въ сіяніи солнца.

А Emilie несчастная! Сколько силы, сколько мужества и вѣры надо имѣть, чтобы перенести эту ужасную измѣну! О какое страшное слово, отъ него душа горитъ и замерзаетъ, лучше умереть, лучше погибнуть, нежели испытать ее.

Прощай, жизнь моя, мой Александръ, ты давно не имѣешь отъ меня писемъ и, вѣрно, грустишь, — вѣрно потому, что мнѣ ужасно грустно самой; безъ твоихъ писемъ, какъ безъ воздуха, я не могу жить. Новое горе: ежели у меня будетъ твой портретъ и мнѣ не позволять имѣть его у себя и не позволять взять съ собою въ деревню, это ужасно, — чтобы на него смотрѣлъ всякій холодными глазами! Прощай еще.

Вся твоя *Наташа*.

22 января, Вятна.

Наташа! Сколько перестрадала моя душа въ нѣсколько дней, ты не можешь себя вообразить. Получивъ съ Эрномъ твои записки, я разомъ воспрянулъ и поднялся, мнѣ сдѣлалось легче дышать, свѣтлѣе смотрѣть, — словомъ, я обновился, и тутъ, среди самыхъ восторженныхъ мечтаній, когда всѣ чувства, какъ воздухъ на горѣ, тѣснятъ своею чистотой, я узналъ, что умеръ Медвѣдевъ, о женѣ котораго я тебѣ писалъ, мы съ Витбергомъ бросились туда. Ноггible! Онъ ничего не оставилъ, кромѣ своего трупа. Бѣдность со всѣмъ ужасомъ своимъ. Она лежала въ обморокъ. Мы остались тутъ, распорядились, хлопотали, и вообрази себѣ, что ея обморокъ продолжался *два дня съ половиной*. Вотъ слѣды общественнаго устройства и того высокаго развитія, до котораго воображаютъ люди, что достигли. Она лежала одна, ни одной дамы, ни одной руки, протянутой на помощь. Въ эту минуту такъ ярко выразился эгоизмъ людей со всею холодною гнусностью своей, что я ненавидѣлъ всѣхъ. Наконецъ, я кос-какъ стыдомъ и укоризнами заставилъ нѣкоторыхъ пріѣхать. Витбергъ не отходилъ двѣ ночи отъ несчастной. Теперь она въ чувствахъ. Но что впередъ? Мрачная, сырая галлерей несчастій! Она не знала всю жизнь слова — счастье; прекрасная собою, образованная, она была брошена отцомъ въ объятія игрока; онъ все про-

игралъ. Это цвѣтокъ, который сорванъ былъ не для того, чтобъ украшать юную грудь, а для того, чтобы завянуть на могилѣ. И трое дѣтей—не ужасно-ли? Я писала Егору Ивановичу о займѣ для меня 1.000 рублей. Я хочу ихъ доставить ей. Только не говори объ этомъ, ибо я не писала, на что мнѣ деньги, пусть думаютъ, что на вздоръ. И никому не говори,—это тайна. И не ужасно-ли принимать благотворенія ей, одаренной душою высокою и благородною? Нѣтъ, въ тиши, въ туманѣ домашней жизни есть несчастія ужаснѣе Крутищъ и цѣпей. Тѣ только громки, а эти тихо, незамѣтно, червемъ точатъ сердце и отравляютъ на вѣки жизнь.

И были люди, которые хохотали надъ ея несчастіемъ и надъ моимъ состраданіемъ. Это не люди.

Были другіе, которые сказали, что она притворяется; эти сами притворяются людьми,—они дикіе звѣри.

За то съ какимъ удовольствіемъ смотрѣлъ я на Витберга, на этого высокаго человѣка, еще на Эрна и на m-lle Trompete, которые тутъ, забывая и домъ, и сонъ, и пищу, хлопотали обо всемъ! Въ душѣ ихъ награда, и тамъ, можетъ быть, будетъ награда. Но *не здѣсь*,—здѣсь насмѣшка имъ будетъ. Но, вѣдь, и я умѣю насмѣхаться, и ядъ въ моей ироніи.

Прощай, мой ангелъ; среди всѣхъ этихъ мрачныхъ минутъ твой прелестный образъ утѣшалъ меня, память о тебѣ возобновляла мои силы.

Твой Александръ.

29-е января, Москва.

Научи меня, ангелъ мой, молиться, научи благодарить Того, Кто въ чашу моей жизни влилъ столько блаженства, столько небеснаго, кто такъ рано далъ мнѣ вполне насладиться счастьемъ. Когда я хочу принести ему благодареніе, вся тлѣнность исчезаетъ, я готова предъ лицомъ самого Бога вылить всю душу молитвой. Но этого мало, и жизни моей не станетъ довольно возблагодарить Его; ты научилъ познать Его, научи, научи благодарить Его, ангелъ мой!

Напрасно ты боялся, другъ мой, чтобъ меня не отняли у тебя. Когда я встрѣтила тебя, душа моя сказала: вотъ *она*! И я не видала никого, кромѣ тебя, и любила одного тебя. Я не знала, что люблю тебя; думала, что это дружба, и предпочитала ее всему на свѣтѣ и не желала узнать любви, и никѣмъ не желала быть любимой, кромѣ тебя. Вѣрь, Александръ, я бы была *довольно* счастлива, ежели бы умерла и сестрою твоей, да, довольно, а теперь я слишкомъ счастлива! Тебѣ этого недовольно, ты слишкомъ великъ и прострапенъ самъ, чтобъ ограничиться такимъ маленькимъ счастьемъ; въ обширной груди твоей и за нимъ будутъ кипѣть волны другихъ желаній, другихъ красотъ и цѣлей. Богъ создалъ тебя не для одной любви, путь твой широкъ, но труденъ, и потому каждое препятствіе, обстановка и неудача заставляютъ тебя забыть маленькое счастье, которымъ ты обладаешь, заставляя тебя отвернуться отъ твоей Наташи. А я, мой другъ, мнѣ нечего желать, мнѣ нечего искать, мнѣ некуда стремиться; путь мой, желанія, цѣль, счастье, жизнь и весь міръ—все въ тебѣ!

Тебѣ душно на землѣ, тѣсно на морѣ, а я, я потонула, исчезла, какъ пылинка, въ душѣ твоей; и мудроно ль, когда душа твоя обширнѣе моря и земли? И неужели, другъ мой, я могу сказать: «j'ai pour ami, pour époux, pour serviteur, pour maitre un homme, dont l'âme est aussi vaste qu'une mer sans bornes,

aussi féconde en douceur, que le ciel... un dieu enfin!..». Да, я могу, я должна говорить это. И ты, другъ мой, говори: «Наташа, ты любишь меня», говори мнѣ это, ангелъ мой, въ этихъ словахъ мое счастье, ибо я сама и любовь моя созданы тобою.

Я видѣла твой портретъ. Ты можешь вообразить, что это за минута была для меня, но зачѣмъ тутъ были люди? Они мнѣ не дали насмотрѣться на тебя, наговориться съ тобою. О, въ эту минуту я бы расцѣловала ту руку, которая изобразила такъ похоже твое лицо и его выраженіе! А если бы видѣла его, на колѣняхъ упростила бы списать для меня.

...«Я тебя люблю, насколько душа моя можетъ любить», а насколько же душа *твоя* можетъ любить? Какой океанъ блаженства! Знаешь ли, я иногда не вѣрю своему счастью, — такъ велико, такъ дивно оно. Тотъ ли это Александръ, передъ которымъ я преклонялась душою, тотъ ли, чьи слова были мнѣ заповѣдью, тотъ ли, кого я боготворила?.. И прошедшія надежды и мечты, которыми я жила, но которыя мнѣ казались несбыточны, снова встаютъ толпами въ душѣ и волнуютъ ее; но вдругъ я обращаюсь къ настоящему, — воскресаю всѣмъ существомъ, и облако сомнѣнія исчезаетъ, и ясно вижу ясное небо.

Давно я слышала о Полинахъ, но, *зная* тебя, я не писала тебѣ, зачѣмъ же ты пишешь мнѣ? Не прощаю и Emilie, что она писала тебѣ, но она слишкомъ занята своимъ несчастьемъ, потонула въ немъ и духомъ, и душою. Я не послала тебѣ ея письма, въ которомъ она пишетъ тебѣ о словахъ: «онъ можетъ быть счастливъ въ тѣснотѣ семейнаго круга, а мнѣ нуженъ просторъ». Она вовсе не такъ поняла ихъ, я объясняла ей, увѣряла и уговорила не писать этого, но изъ твоего письма вижу, что она писала. Истерзанная душа ея во всемъ находитъ для себя новыя мученія. Легче разстаться душѣ съ тѣломъ, нежели душѣ съ душой, а она, кажется, разлучена съ *нимъ* навѣки.

1-го февраля, пятница. Вчера я получила твое письмо отъ 22 янв. и не могла безъ слезъ читать его. Нѣтъ, никогда человекъ съ душой не можетъ быть совершенно счастливъ. Я — чего недостаетъ мнѣ? чего не дано мнѣ Богомъ и, кромѣ разлуки (хотя это и ужасное несчастье), есть ли у меня несчастье?.. Нѣтъ, кромѣ ея, на душѣ нѣтъ тусклаго пятна, нѣтъ крошки горькой. А несчастья ближнихъ, а ихъ страданія?!... Развѣ *илъ* не мое? Я несчастна ихъ несчастьемъ, я страдаю ихъ страданіями, мнѣ больна ихъ боль; и, притомъ, невозможность помочь! Это верхъ мученій, это выше собственнаго бѣдствія, это рана неисцѣлимая! Возьмите мое счастье, возьмите самое меня, взорвите почкочкамъ и раздайте несчастнымъ. лишь бы на одинъ мигъ облегчить ихъ участь!.. Нѣтъ, и это не поможетъ! Какую же жертву я еще могу принять, что я могу сдѣлать для нихъ? Разстаться съ тобою? Это выше моихъ силъ, это выше моей добродѣтели, но ежели бы я была увѣрена, что этотъ терновый вѣнецъ спасетъ несчастныхъ, благославляя жребій свой, я бы надѣла его на мое сердце и каждой каплей крови искупая несчастнаго, я бы благодарила Бога за разлуку съ тобою, но съ этими благодареніями вырвался бы голосъ муки, вопли души моей, они заглушили бы молитву мою, да простить Всевышній меня, — да не вмѣнить ихъ въ ропотъ. Смертный не можетъ принести большей жертвы.

Прочтя твое письмо, я живо представила себѣ несчастную и бѣдствіе ея, мнѣ стало тяжело. мой другъ, я плакала, я молилась за нее, и тутъ только отдохнула моя душа; мнѣ казалось, Отецъ нашъ услышалъ мое моленье и облегчилъ ея горе, и, въ то же время, засіяла мысль о вѣчности. Тутъ я съ радостью

смотрю на раны, на страданія и муки тлѣннаго, ибо оно искупляетъ нетлѣнное. Да подкрѣпитъ васъ Богъ, несчастные, да озаритъ Онъ ваши души мыслью о будущемъ блаженствѣ, которое ожидаетъ васъ *тамъ* наградою за вашу жизнь-страданіе—здѣсь!

Дай мнѣ обнять тебя, дай еще преклонить предъ тобою голову мою, посланникъ неба! Ты такъ величественъ, такъ свѣтелъ въ твоихъ добродѣтеляхъ! Я думаю, что уже не могу любить тебя болѣе, и съ каждою минутой люблю болѣе и болѣе. Александръ! будь всегда такимъ. Мед. у меня изъ головы не выходитъ; облегчи, сколько можешь, ея участь; тяжело ей будетъ получать вспомошествованіе,—если можно, пусть она не знаетъ тебѣ, что это ты.

Я презираю богатствомъ; ничего нѣтъ гаже для меня, какъ это золото, вымученное у земли руками преступниковъ (для новыхъ преступленій), а иногда завидую богатымъ; нѣтъ, у нихъ ничего нѣтъ завиднаго; иногда желаю богатства, хотѣла я сказать, желаю денегъ, денегъ, и не для того, чтобы залить золотомъ свое сердце такъ, чтобы до него не проникали ни слезы, ни вопли несчастныхъ. Сердце кровью обливается, когда въ нѣсколькихъ шагахъ богачъ тонетъ въ золотѣ, не замѣчая, что душа его становится монетою, на которую онъ ни здѣсь, ни тамъ не купитъ ничего, кромѣ мученій, и вблизи его бѣднякъ безъ куска хлѣба, у котораго несчастія убили и надежду на будущее, и мысль о вѣчной жизни. Снялъ бы съ сердца ихъ эту золотую корку, сквозь которую и слово Евангелія не проникаетъ; тогда бы они, помня о Лазарѣ, не сказали бы холодно бѣдняку: «Богъ дастъ!»

Прощай, мой другъ, подвизайся въ добродѣтели, да исчезнуть всѣ преграды на пути твоёмъ!

Твоя *Наташа*.

Утѣшай Мед.; пусть ихъ смѣются надъ тобою.

3-го февраля, Москва.

Ты очень утѣшилъ твоимъ письмомъ Emilie. Она вѣритъ въ тебя. Теперь ея единственная отрада — наша дружба. Зачѣмъ ты ей пишешь *вы*? Это слишкомъ церемонно; она обижается этимъ. Александръ, я люблю ее ужасно, она сестра мнѣ, не чуждайся ея, будь и ты ей братомъ; у нея есть родныя, но, я знаю, что она никого такъ не любитъ, какъ меня и тебя, тутъ все ея родство, все утѣшеніе... Она много поддерживала меня, когда еще душа моя была слишкомъ слаба выносить всѣ пытки, весь холодъ окружающаго меня. Люблю, люблю ужасно ее, хотя между нами большая разница. Сердце ея изранено, истерзано; это скелетъ, на которомъ еще осталось немного тѣла; и сколько разнообразнаго въ ея душѣ: разрушенные храмы, могилы, кресты, вѣнцы, развалины;.. а между этимъ кое-гдѣ горитъ огонекъ, и вьется дымъ, и курится кровь—страшно! А я—у меня и въ сердцѣ, и въ душѣ, и въ прошедшемъ, и въ настоящемъ, и въ будущемъ—все ты, тобою и въ тебѣ!

Прощай, мой Александръ, некогда писать: я только хотѣла исполнить желаніе Emilie—попенять тебѣ за *вы*. Обнимаю тебя, другъ мой, прощай, пиши мнѣ о Мед.; всѣ несчастные, близки моему сердцу.

Твоя *Наташа*.

Третьяго дня подъ Новинскимъ былъ пожаръ; искры и головешки летѣли на нашъ домъ. Я все время держала япикъ съ твоими письмами: мнѣ нечего было больше спасать! Сгорѣлъ лучшій балаганъ ¹⁾.

¹⁾ Въ этомъ письмѣ есть приписка отъ Эмили.

7 февраля, Москва.

Другъ мой, ангелъ мой, какъ я счастлива, какъ я люблю тебя! Миллионъ разъ перечитываю твои письма, наизусть ихъ затвердила, и все мнѣ въ нихъ какъ будто ново. Тебя любить—неизмѣримое блаженство, а быть любимой тобою?.. Ангелъ мой, гдѣ взять мнѣ столько чистоты, столько святости, чтобы совершенно быть достойной тебя? Что дѣлать мнѣ, что думать, чего желать, о чемъ молиться? Я слишкомъ мала, чтобы вообразить то счастье, котораго бы тебѣ было довольно; научи меня, скажи мнѣ, и я все выпрошу у Него; теперь Онъ услышитъ меня, теперь я доступнѣе къ Нему. Александръ! любовью къ тебѣ я стала ближе къ Нему, ближе къ ангеламъ, ближе къ той странѣ, гдѣ мы будемъ съ тобою вѣчно. Да, Онъ слышитъ мою молитву, Онъ видитъ каждое желаніе моей души, Онъ любитъ меня, Александръ! Да, Онъ любитъ меня, иначе я бы не была любима тобою!

Вчера нѣсколько часовъ я говорила о тебѣ съ Emilie. Кажется, моя любовь, не затуманенная ни малѣйшимъ сомнѣніемъ, мои надежды, моя вѣра заставили ее забыть все темное, весь мракъ, которымъ она окружала себя, прояснили ея душу,—словомъ, заставили ее любить *по-моему*. Нѣтъ, нѣтъ никто не можетъ любить такъ, какъ я! По крайней мѣрѣ, она стала любить *попрежнему*. Мы вспоминали прошедшее, переносились въ будущее, и какъ ярко, какъ свѣтло, какъ небесно рисовалось оно намъ! Ахъ, если сбудутся всѣ мечты наши! Наконецъ, мы поссорили: я говорю, что я съ тобою буду счастливѣе, нежели она съ Николаемъ; она утверждала противное, я не хотѣла уступить, и споръ нашъ долго продолжался, и вообрази, мой ангелъ, я побѣдила! «Emilie простительно спорить — скажешь ты, — а не стыдно ли мѣрить свое счастье тебѣ, Наташа, *тебѣ?*» Да, я виновата, другъ мой, прости меня, мой ангелъ: да, я не могу, я не должна сравнивать себя съ другими, съ другими мѣрить *мое счастье!* Свѣтъ солнца и [свѣчки] имѣютъ ли что сходное между собою, нужно ли ихъ сравнивать?

Весело, очень весело намъ было. Наконецъ, говоря долго, призвавъ всѣ мечты, всю силу воображенія, давъ всему образъ и жизнь, мы замолчали... и за эти часы я бы отдала нѣсколько дней, за это молчаніе говорила бы цѣлый день. Прощай мой ангелъ, цѣлую тебя; меня зовутъ.

12 февраля, Вятка.

Ангелъ мой, Наташа, я тону, тону совершенно въ этомъ морѣ любви; свѣтлы, прозрачны его волны, глубоко оно и обширно. Наташа! Богъ послалъ тебя мнѣ, Онъ зналъ, что душа моя будетъ страдать отъ людей, Онъ зналъ, что обстоятельства будутъ терзать меня, и Ему стало жаль, и Онъ послалъ тебя. Все утрачевалось, все; больше еще: за временныя несчастья Онъ послалъ мнѣ блаженство на цѣлую жизнь. Другъ мой, слаба моя грудь, она хотѣла бы раздаться, чтобы сильнѣй любить тебя.

Я зналъ почти, что ты мнѣ напишешь; но въ какомъ я былъ состояніи, когда читалъ твои послѣднія записки! Я дрожалъ, я испугался всего счастья своего, я не могъ перевести духъ. Понимаю, очень понимаю твои чувства при взглядѣ на мой портретъ. Жаль, что ты не была одна. Какъ же ему и быть не похожимъ? Витбергъ смотрѣлъ не на одно лицо, онъ смотрѣлъ и на душу, онъ знаетъ ее, и потому мой портретъ оживленъ.

Но на что же ты, Наташа, въ своихъ письмахъ такъ хвалишь меня? Это тяжело читать: увѣряю тебя, что только въ твоей небесной, божественной душѣ отразился я такимъ совершеннымъ. Во многихъ мѣстахъ запятнана душа моя, во многихъ мѣстахъ испорченъ и сломанъ характеръ. Люби меня такъ, какъ я есть, люби меня съ недостатками, Наташа, и объ этой-то любви говори мнѣ. Развѣ можетъ быть похвала болѣе, понятнѣе моему сердцу, какъ твоя любовь? Но не придавай мнѣ болѣе, нежели сколько есть въ душѣ моей, чтобы послѣ съ горестью не увидѣть недочета. Горько смотрѣть художнику на свое произведение, когда оно не вполне выразило его идеалъ. Но что произведение для художника? Одна мысль, одна фантазія, — и другія мысли уже толпятся въ головѣ. А любить такъ, какъ ты любишь меня, можно разъ. Страшно тутъ видѣть невыполненнымъ идеалъ, страшно, ибо на него потрачена не одна мысль, а вся душа, вся жизнь. Наташа, смотри же прямо на твоего Александра, не придавай ему ничего, брось идеалы, въ которые ты вылила часть меня и часть неба, находящагося въ твоей высокой душѣ. На что они тебѣ? Возьми меня земного, люби меня, я отдаю тебѣ себя, но болѣе не могу сдѣлать. Да, я хотѣлъ бы быть ангеломъ, чтобы увеличить этотъ даръ, но я человѣкъ и далеко не совершенный. Самыя эти огненные страсти, которыя такъ жгутъ мою грудь, такъ направляютъ ее къ изящному и великому, часто, часто влекутъ меня въ пороки и... послѣ я раскаиваюсь, но не имѣю силъ прямо стать противъ нихъ. Теперь нравственное начало моей жизни будетъ любовь къ тебѣ. Такъ слетала къ Данту его Беатриче изъ рая въ видѣ ангела, чтобы вывести его изъ обителя скорби безконечной туда, въ обитель радости.

О, Наташа, ты такой же ангелъ! Нѣтъ, исчезли всѣ мои идеалы, всѣ они блѣдны передъ тобою: каждое слово твоего письма заключаетъ блаженство. Чѣмъ, чѣмъ, о, Боже, я заслужу передъ Тобою это счастье? Чѣмъ, какими несчастіями заплатить могу землѣ за то, что былъ наверху блаженства еще здѣсь?

Прощай. Твой Александръ.

Отъ Emilie получилъ письмо; благодарю ее и буду непременно писать, но не теперь.

[?]

Наташа! Наконецъ, я нашелъ чувство, занявшее все, не наполненное въ моей душѣ. Наконецъ, всякое стремленіе, всякое земное чувство, всякій порывъ получили значеніе и цѣль — любовь къ тебѣ. Вотъ высокая идея изящнаго, наполнившая грудь мою. Странно, что я прежде не понималъ этой связи нашихъ душъ. Наше свиданіе въ Крутицахъ много сказало. Безумная радость, трепетъ при полученіи твоихъ записокъ говорили много, но я вполне не могъ опредѣлить, любовь ли это. Помнишь записку, въ которой я писалъ, что не вѣрю нашей дружбѣ? Тогда въ эту минуту я былъ въ какомъ-то восторженномъ состояніи: все кипѣло, бушевало во мнѣ и внутренній голосъ сильно прокричалъ: «ты любишь ее». Съ тѣхъ поръ существо мое просвѣтлѣло, согрѣлось, блаженство разлилось въ сердцѣ. До этого я имѣлъ какую-то поверхностную возможность заниматься хорошенькимъ личикомъ, быть полувлюбленнымъ, по крайней мѣрѣ, несомнѣнъ равнодушнымъ. Когда же раздался тотъ сильный голосъ, съ тѣхъ поръ всѣ эти земныя дѣвы — всѣ пали передъ небеснымъ образомъ ангела. Истинно странно: вѣдь, я любилъ тебя до этого, но, не давъ себѣ отчета,

я увлекался страстями, и отъ этого-то ярче и прокричалъ голосъ. Нигдѣ не встрѣчалъ я того, что искала душа, вездѣ минутное увлеченіе, даже шалость, а послѣ—пустота и потребность высшаго. Вдругъ все наполнилось! О, Natalie, не словами, нѣтъ, взглядомъ, поцѣлуемъ я тебѣ передамъ все небо, которое ты мнѣ подарила!

19-го февраля. Еще маленькая записка отъ тебя, еще слово любви. Я богатъ, богатъ!

Тебѣ, кажется, не хотять послать портретъ. Странно! Въ послѣднее время, то есть во время моего несчастія, я сблизился съ п[апенькою] нѣсколько. Я видѣлъ несомнѣнныя доказательства его любви, вниманія, вижу ихъ и теперь. Но доселѣ п[апенька] меня совсѣмъ не знаетъ; это любовь къ сыну, каковъ бы онъ ни былъ, а не любовь къ Александру. Отказъ послать тебѣ портретъ, и, притомъ, весьма жесткій, удивилъ меня. Ну, что, ежели я ему напишу, что люблю тебя? Что фраза въ письмѣ п[апеньки]: «сй надобно идти замужъ, а не сантиментальничать», — въ переводѣ значить: «тебѣ надобно умереть и перестать любить».

На душѣ моей лежитъ еще одна исповѣдь тебѣ; давно собираюсь ее высказать, я очищаюсь, высказывая тебѣ свои пороки: ты моя связь съ небомъ; но не могу еще высказать ее. Опять земное. Пѣтъ силъ оторваться, стать выше всего, стать рядомъ съ тобою. Ну, какъ же мнѣ не завидовать тебѣ? Ну, какъ же всему роду человѣческому не завидовать мнѣ, которому принадлежишь ты?

Прощай. *Александръ.*

Кажется, все высказалъ, а черезъ четверть часа опять душею хочется писать тебѣ.

15-го [?], суббота, Москва.

Не знаю, мой другъ, почему тебѣ певаютъ, что ты ко мнѣ рѣдко пишешь. Я ни слова не говорила объ этомъ ни маменькѣ, ни Егору Ив., и увѣрена, что когда есть возможность, ты не пропускаешь, ибо ты знаешь, что для меня твои письма, знаешь, что твои слова также, и еще болѣе необходимы для меня воздуха. Теперь, я думаю, ты уже получилъ и наши письма съ Emilie. Ежели бы можно было, я бы ничего болѣе не дѣлала, какъ говорила бы съ тобою, хоть черезъ бумагу, но нѣтъ ни времени, ни мѣста и на это. Да мнѣ кажется, ежели бы и было, то я никогда бы не могла выразить того, что чувствую, какъ люблю тебя. И зачѣмъ говорить? Земной языкъ недостаточенъ для того, чтобы перелить душѣ ощущенія другой души; ты знаешь все безъ словъ, твоя душа понимала мою душу, отвѣчала ей и тогда, когда еще я молчала. Другъ мой, ангелъ мой, не думай, ради Бога не думай, чтобъ когда-нибудь малѣйшее сомнѣніе о тебѣ вселилось въ мое сердце, скорѣе усомнюсь въ своемъ существованіи.

Вчера я получила письмо отъ Саши Б. Между прочимъ, она пишетъ: «тогда бы мы переселились со всеми, кого ты любишь и кого я люблю, въ южныя края». Сколько блаженства въ этой мысли! Она не выходитъ у меня изъ головы: даже, проснувшись ночью, я воображала, что я съ тобою тамъ, гдѣ родина музыки и молитвы, гдѣ вся страна—гимнъ Богу и пѣснь любви. Хотѣ бы одно изъ моихъ мечтаній сбылось! Другъ мой, прекрасна жизнь, когда она отдана человѣку, котораго боготворишь; съ каждымъ часомъ я люблю ее болѣе. Теперь меня ужасаетъ мысль о смерти; не страшно было мнѣ умереть прежде, а теперь — хотя со мною и не умретъ моя любовь, но уже на землѣ не останется человѣка

который бы любилъ тебя столько, истинно не останется, — избави Богъ! Итъ, у меня столько вѣры, я не сомнѣваюсь, что я буду съ тобою, мой ангелъ.

На-дняхъ я играла преглузную роль. Приѣхалъ изъ Петербурга одинъ Ивановъ, о которомъ мнѣ говорила сестра Орлова и которому *было говорено* обо мнѣ. Всѣ снали послѣ обѣда; я должна была выйти къ нему одна. Это меня ужасно смѣшило, хотя я сначала и не знала, что онъ былъ тотъ самый. Ты не повѣришь, какъ мнѣ всѣ эти глупости надоѣли. Но тѣмъ я далѣе отъ нихъ, тѣмъ ближе съ тобою, другъ мой, кажется, съ каждою изъ нихъ возрастаетъ мое достоинство, каждая отталкиваетъ меня далѣе отъ земли, слѣдственно, все ближе и ближе къ тебѣ, мой Александръ.

Сейчасъ надо отсылать письмо; сиѣшу ужасно, и некогда было послать къ Эмилиѣ. Она, навѣрное, написала бы къ тебѣ. Она мнѣ сказывала, что послала тебѣ мою записку, которая еще была писана тогда, какъ ты написалъ мнѣ въ первый разъ, что отдалъ мнѣ себя; и что же въ ней удивительнаго? Это одна капля изъ того моря любви, которое наполняетъ мою душу. Да что я все говорю тебѣ о себѣ, тогда какъ ты у меня безпреставно и въ душѣ, и въ глазахъ? Прощай же, другъ мой, успѣваю только обнять тебя.

Твоя *Натанша*.

22-е февраля, суббота, Москва.

Другъ мой, ангелъ мой, одно слово, одно только слово, потому что некогда, а хочу непремѣнно писать тебѣ сегодня, — я приобщалась. Ты можешь вообразить, какъ чиста теперь душа моя, какъ я небесна, какъ люблю тебя! Никогда не говѣла я съ такимъ благоговѣнiемъ, не исповѣдалась съ такимъ раскаянiемъ и никогда не чувствовала себя такъ достойною сообщиться съ Христомъ. Какъ я чиста теперь, мой ангелъ! Вотъ теперь я чувствую, что я достойна тебя, Александръ, другъ мой! Ты не хочешь, чтобъ я хвалила тебя, ну, что-жь ты хочешь? Вѣдь, ты знаешь, я люблю тебя, обожаю, боготворю, и эта любовь возвышаетъ меня, я чувствую сама, мнѣ другiе говорятъ это. Я стала добрѣе, лучше и это именно ты, ты, ангелъ, твоя любовь сдѣлала меня такой! Теперь не могу видѣть бѣднаго, несчастнаго; сердце обольется кровью, я заплачу о томъ, что не имѣю средствъ помочь, и тотчасъ ты предо мною, и я ищу утѣшенiя въ твоихъ глазахъ, и удѣляю своего счастья несчастному, и, кажется, ему легче, кажется, участь его уже облегчилась отъ того, что ты тутъ. Развѣ я придаю тебѣ слишкомъ много?.. Полно, Александръ, полно другъ мой, не говори мнѣ этого: неужели въ тебѣ мало и еще надо дополнять воображенiемъ твое достоинство? О, нѣтъ, мой Александръ, мнѣ порукой въ томъ моя любовь, ибо я никого бы не могла такъ любить, какъ люблю тебя. Отнять у меня эту любовь — значитъ отнять всю чистоту, всю святость, все прекрасное, все возвышенное, и что же послѣ я останусь?.. Прощай, устала ужасно; кругомъ меня говорятъ, кричатъ.

Прощай, обнимаю тебѣ.

Хотѣла одно только слово—какое длинное слово! Сейчасъ была у меня Эмилиа, — все такъ же мила, хороша, прелестна, а Николай ея... Писалъ ли ты къ нему? Ухъ, страшно!

«Теперь нравственное начало моей жизни будетъ любовь къ тебѣ». Я все читаю съ восторгомъ въ твоихъ письмахъ, а тутъ слезы градомъ полились отъ умиленiя, я невольно упала на колѣни передъ Тѣмъ, Кто соединилъ жизнь мою, маленькую пылинку, съ твоею жизнью—бурнымъ и обширнымъ моремъ.

Тутъ болѣе даже, нежели любовь, тутъ само небо, самъ Богъ! Изъ этого чувства мы извлекаемъ *все*, черезъ него мы можемъ достигнуть всего, имъ можемъ купить не только земное счастье, но и блаженство небесное, вѣчное. Любя тебя, я рвусь пзъ ничтожества къ великому, къ изящному; любя тебя, люблю всѣхъ ближнихъ, всю вселенную. И ты, Александръ мой, и ты, любя твою Наташу, можешь стать противу всѣхъ искушеній, можешь направить порывы пламенной души твоей къ одному высокому и изящному. Можно ли, чтобы ты увлекался въ пороки? Нѣтъ, между ними и тобою—я! Ты прежде наступишь на меня, отнимешь у меня жизнь, поставишь ногу на грудь мою, чтобы перешагнуть къ пороку, и тогда только, когда меня не будетъ, когда я буду подъ ногами твоими... нѣтъ, нѣтъ, этого никогда не будетъ, ангель мой; рука Бога ведетъ тебя, и Онъ не оставитъ тебя, не покинетъ! Я молю Его объ этомъ, молю, чтобы въ душѣ твоей не померкло небесное начало ея, чтобъ утвердилъ тебя въ добродѣтели, чтобъ содѣлалъ насъ съ тобою совершенно достойными назвать небснаго Отца отцомъ нашимъ, а мы—дѣти Его!.. О, другъ мой, сколько счастливъ можетъ быть человекъ! Какъ Онъ любитъ насъ, какъ научаетъ быть добродѣтельными! Вознесемъ же души наши къ Нему, обнимемъ добродѣтель и съ нею пойдемъ по той лѣстницѣ, которая ведетъ на небо! Прощай, цѣлую тебя. Нельзя больше писать. Давеча была у меня Саша Б. Вотъ еще прелестнѣйшее созданіе; кажется, ничто въ свѣтѣ никогда не можетъ разорвать нашей дружбы.

24-е, понедельник. Да огромно наше счастье съ тобою, Александръ, мнѣ бы тяжело было нести его, ежели-бъ я знала, что ты не раздѣляешь его со мною; можетъ бы, я умалилась, упала бы подъ его тяжестью, а теперь у меня крѣпкая подпора, вожатый, другъ; теперь мнѣ не страшна огромность счастья и несчастья, я не боюсь этихъ великановъ: ты больше ихъ, и я такъ близко тебя! Я воображаю, мой другъ, когда мы будемъ вмѣстѣ,... о, мы тогда будемъ совершенны, тогда мы будемъ жить только троимъ съ добродѣтелью. тогда у меня будутъ средства быть полезной несчастнымъ и тогда, тогда-то ты только увидишь, сколько я люблю тебя, узнаешь, что ты для меня! А, можетъ быть, ты ожидаешь отъ меня болѣе, нежели я могу сдѣлать? Ну, что же? Ты научишь меня. Александръ, ты можешь изъ меня все сдѣлать, потому что до меня никто не касался, кромѣ тебя, на мнѣ ничего не видно, кромѣ твоего, во мнѣ отражается одного тебя сіяніе и потому, какъ велико оно будетъ въ твоей душѣ, такъ же отразится и въ моей, умалится оно въ твоей,—можетъ померкнуть и моя душа. Потому-то, другъ мой единственный, ты долженъ собрать твои силы, твою любовь, чтобъ противустать вліяніямъ, которыя могутъ помрачить твою душу и мою, которыя, запятнавъ тебя, увлекутъ и меня. Но ты, мой ангель, ты, мой Александръ, ужели нужна тебѣ я, чтобъ стоять твердо на высотѣ и не поколебаться? Да удержитъ, да укрѣпитъ тебя десница Всевышняго!

Будто я могу обмануться въ тебѣ, другъ мой, будто я могу воображать тебя болѣе, нежели какъ ты есть. Нѣтъ, Александръ; можетъ, еще я не могу постигнуть всего твоего величія, а уже люблю такъ тебя. Ты дашь мнѣ узнать всего себя, дашь любить, ежели я могу, еще болѣе, ты поднимешь меня такъ же высоко, какъ ты высокъ самъ, и тогда въ насъ будетъ одно изящное, одно небесное. Обнимаю тебя, другъ мой.

Твоя *Наташа.*

Что Медвѣдева? Не оставляй ее, другъ мой, будь и ся ангеломъ утѣшителемъ.

22-го февраля, Вятка.

Да, да, Наташа, въ Италію, въ Италію! Надобно отдохнуть отъ сѣверной природы и отъ сѣверныхъ людей! И мы узнаемъ до дна блаженство, ежели ты будешь со мною тамъ. Это не мечта, невозможнаго тутъ нѣтъ. Мы должны соединиться, мы будемъ соединены. — итакъ, что же мудренаго, что вмѣстѣ будемъ въ Италію? Твоя любовь мало-по-малу пересоздаетъ меня; чистый ангелъ, пожертвовавшій собою для меня, могъ одинъ это сдѣлать. Я сталъ спокойнѣе смотрѣть на будущее, я подавляю въ себѣ эту судорожную потребность дѣятельности, которая, происходя изъ началъ высокихъ, была худо направлена. Человѣкъ не долженъ забѣгать Провидѣнію, не долженъ натягивать себѣ поприще. Ежели онъ избранный, Провидѣніе не потеряетъ его, лишь бы онъ самъ не погубилъ врученныхъ талантовъ. Ежели же не избранный, то его задавить огромность предположенія безъ силъ исполнить. Провидѣніе дало мнѣ огромный залогъ. — оно мнѣ дало тебя. Искали ли мы другъ друга? Нѣтъ, совсѣмъ нѣтъ, это случилось само собою, — и хорошо, такъвъ путь Провидѣнія. Сознать свою силу и ждать его призыва.

Меня очень безынокитъ петербургскій посѣтитель, потому что эти безотвязчевые люди, которыми ты окружена, замучаютъ тебя *выгодною партіей*. Будь тверда я, ежели пужно, скажи имъ прямо, что ты любишь меня, что ты любима и что этого перемѣнить ни они, никто не можетъ. Въ такомъ случаѣ и я буду писать; разумѣется, дождавшійся на это отъ тебя разрѣшенія. Бѣды нѣтъ, пусть они знаютъ, одно злое должно искать мрака, а наша любовь такъ чиста, такъ высока. Впрочемъ, я и не думаю, чтобъ это нашло сильное противодѣйствіе. Я много надѣюсь на каменную твердость мою, много надѣюсь и на любовь ко мнѣ. Сначала удивятся, потомъ скажутъ, что это предвидѣли, потомъ морали, потомъ устанутъ, — и побѣда наша. На первый случай можно сказать маменькѣ, но это трудно для тебя. Тутъ есть средство — *Emilie*. Однакожь, замѣть, все это надобно сдѣлать въ крайности. Ты не хотѣла, чтобъ холодные глаза смотрѣли на мой портретъ, тѣмъ болѣе, зачѣмъ холодными разсужденіями обнаруживать огненное, пламенное чувство нашей любви? Бѣдная Natalie! Меня терзаютъ впередъ неприятности, которыя ты получишь. Пиши мнѣ о нихъ подробно. Это легче, вначе мое воображеніе построятъ чудеса. Я улыбнулся, читая о твоемъ спорѣ съ *Emilie* о счастьи. Оно похоже на споръ, что лучше — *роза* или *лилія*, какъ будто въ созданіяхъ Бога есть лучшее, какъ будто то и другое не изначо. Богъ никому не отдастъ на аренду счастья. Всякая душа, хорошо созданная, пусть раскроетъ себя любви чистой, изначоному, и она узнаетъ блаженство, — можетъ, вначе, сообразитѣ себѣ, но узнаетъ его. Но и этотъ споръ мнѣ нравится, тутъ есть что-то дѣтское, что-то такое наивное. Какъ ты мила, моя Наташа, во всѣхъ вагвахъ твоей прелестной души!

2-го марта. Грустно мнѣ что-то это время. Моя любовь къ тебѣ непрерывно влечетъ меня въ Москву. Тягостна наша разлука. Боже мой, когда же напечатлѣю поцѣлуй любви на твоихъ устахъ? Первый поцѣлуй для тебя. Тогда только я отряхну съ себя всю землю, всю пыль, тогда тобою я буду существомъ чистымъ. Мрачныя мысли бродятъ у меня въ головѣ всю недѣлю. Вчера пришло мнѣ въ голову, что будетъ со мною, ежели ты умрешь? Безуміе или самоубійство. Нѣтъ, рѣшительно не могу жить безъ тебя, лучше возвращу Богу жизнь, нежели томиться безъ тебя здѣсь. Прощай.

4-го марта. Прощай, мой ангелъ, вчера я выздоровѣлъ отъ моей грусти. Прощай, цѣлую тебя.

Твой Александръ.

29-го февраля, Москва.

— Вѣрно, ты не любишь меня тогда, какъ писалъ изъ Крутицъ на мою мысль о монастырѣ. «А развѣ ты сомнѣваешься, что встрѣтишь человѣка, который тебя будетъ любить, котораго ты будешь любить? О, съ какою радостью я возьму его руку и твою! Онъ счастливъ будетъ: у тебя прелестная душа». Да, я увѣрена. что ты и не думалъ тогда обо мнѣ, а я тутъ же сказала: да неужели я буду кого-нибудь любить болѣе тебя, неужели на свѣтѣ есть существо, которому я пожертвую дружбою моею къ тебѣ? «Нѣтъ, нѣтъ, сказала голосъ души моей, ты создана любить одного его!»

Итакъ, мой ангелъ, другъ мой, ты одинъ жилъ въ душѣ моей, одному тебѣ поклонялась я всю жизнь мою. О, какъ я счастлива, какъ благодарю Бога, что могу отдать тебѣ и сердце, и душу, созданныя для одного тебя и полныя однимъ тобою! Еще задолго, задолго говорила мнѣ Emilie, что это не дружба, а любовь, но я не смѣла вѣрить, не смѣла сказать тебѣ и спросить своего сердца. И потому такъ часто приходила мнѣ мысль о удаленіи свѣта; сколько разъ писала я къ Emilie, что мы бы стали жить съ ней вдвоемъ, далеко отъ всѣхъ, отъ всѣхъ, кромѣ несчастныхъ, поклонялись бы всю жизнь одному тебѣ, для одного бы тебя была храмъ душа моя, и каждое бѣненіе сердца, каждое опущеніе души были обѣтомъ не принадлежать другому. Повѣришь ли, другъ мой, когда ты писалъ, что не вѣришь дружбѣ, я и тогда была далека, слишкомъ далека отъ того, чтобы думать, что я любима тобою, а во мнѣ уже было все любовь (тогда я называла это дружбою и точно была въ томъ увѣрена). Не знаю, какимъ образомъ я перешла отъ дружбы къ любви и не нахожу разницы между прежнимъ чувствомъ и теперешнимъ; стало—все было любовью! На Крутицахъ, только на Крутицахъ, блеснула эта молнія въ душѣ моей и опять также мгновенно исчезла, какъ исчезаетъ молнія на небѣ. Когда ты спросилъ меня: «итакъ, участь голубя не пугаетъ тебя?»—пожалъ мою руку, посмотрѣлъ на меня, въ эту минуту Богъ рѣшилъ судьбу мою, Онъ сошелъ самъ и соединилъ насъ. О, въ эту минуту съ нами былъ самъ Богъ! А помнишь, когда ты склонилъ голову на плечо мое, тутъ мнѣ слышался голосъ неба: «познай твое высокое предназначеніе, ты создана для него, люби его и служи ему». И я твоя, Александръ!

Да, кажется, мнѣ не хотѣли дать твоего портрета, но я просила маменьку. На-дняхъ, когда былъ у меня Ег. Ив., она заѣхала за нимъ, я вакинула на себя салопо, выбѣжала на крыльцо, и вотъ ужъ въ сѣняхъ, и вотъ я съ маменькой. Небо было такъ ясно, столько звѣздъ горѣло на немъ и такія яркія; также свѣтло и въ душѣ моей горѣли мысли и чувства; я обнимала ее, цѣловала руки, хотѣла назвать маменькой, но... Пришедши домой, мнѣ все слышались ея слова: «Я отдала списать для тебя его портретъ, скоро будетъ готовъ». Больше ничего не помню: или мы не говорили ничего болѣе, или отъ восторга я не слышала, что она говорила мнѣ, и не чувствовала, что говорила сама. Знаешь ли она, мой ангелъ, что ты любишь меня? Вѣдь, у меня нѣтъ мысли тайной отъ тебя, зачѣмъ и эту скрывать? Мнѣ что-то тяжело, другъ мой, когда я подлѣ нея и не смѣю назвать матерью, не смѣю высказывать всего о тебѣ; тутъ является мрачная мысль, необходимость чуждаться родныхъ душою, но я готова все вынести и еще больше этого, ежели это *нужно*.

Ты напишешь маменькѣ о нашей любви... Мнѣ не страшно за себя, и что можетъ быть страшнаго послѣ разлуки съ тобой? Но ежели *ты*, мой другъ, подтвердишь себя гнѣву его, неприятностямъ, которыя въ такомъ случаѣ посыпятся

на тебя со всѣхъ сторонъ? О, нѣтъ, нѣтъ, я опять повторяю мысль мою, которую ты называлъ нѣкогда холодною: лучше я исчезну, нежели принесу тебѣ собою малѣйшую неприятность, тебѣ; но опять, развѣ можетъ быть пріятность, пріятность тебѣ безъ меня? Я оставляю совершенно твоей волѣ все, что касается до насъ. Пусть бушуютъ вѣтры, воеетъ буря, пусть громъ гремѣть, пусть мрачно небо,—въ моей душѣ всегда свѣтло и ясно, когда ясно въ твоихъ взорахъ, свѣтло въ твоей душѣ.

Ты поѣдешь на Кавказъ... Какъ мнѣ грустно стало, когда я прочла это! Меня не будетъ съ тобою!

О, другъ мой, милый другъ, ангель мой, Александръ, прости мнѣ, твердость моя тутъ колеблется, такъ далеко... опасности... меня нѣтъ съ тобою... о, грустно, грустно! Не пеняй за эту слабость; ты знаешь, во мнѣ довольно и силы и твердости, знаешь, другъ мой, что онѣ впервые поколебались при разлукѣ съ тобою; не брани же и за эти слезы, я рѣдко-рѣдко плачу. О, да сохранить тебя Всевышній! Боже, Боже, одна молитва—услыши меня. Я не смѣю роптать на Провидѣніе за разлуку, не хочу быть преградой на пути твоемъ; пусть ты исполнишь твое предназначеніе: ты долженъ пройти всѣ пути, которые Онъ указалъ тебѣ, и уже потомъ—отдохновеніе, счастье и любовь! Но почему же я не могу быть спутницею твоей, дѣлать твои труды, помогать тебѣ? Да, я еще не могу, видно, выполнить всѣхъ требованій твоихъ, и Провидѣніе знаетъ это, и потому я еще далеко отъ тебя и потому мы не вмѣстѣ. Но когда Онъ вполне образуетъ меня? Долго время испытанія, но пусть оно еще будетъ долго-долго, лишь бы я сдѣлалась совершенно достойной дѣлать судьбу твою, быть твоею спутницей. О, я бы многое вынесла для того, чтобы усовершенствоваться! Ты такъ высоко обо мнѣ думаешь, такъ много придаешь мнѣ, вѣдь, ты не жилъ со мною, ангель мой, почему такъ твердо увѣренъ въ моемъ достоинствѣ? Богъ соединилъ насъ; въ тебѣ Онъ послалъ мнѣ *все*. но ты, ты, Александръ, о, я знаю тебя, потому-то такъ и трепещу при мысли, что ты мой, что ты любишь меня! Но да будетъ Его воля; когда уже Онъ соединитъ тебя со мною, Онъ и дастъ мнѣ все, чтобы быть достойной тебя. Нѣтъ, не ѣзди на Кавказъ безъ меня, ангель мой, подожди еще, будетъ время... И тогда ты не одинъ будешь бесѣдовать съ природой, тогда въ пѣсняхъ твоихъ не будетъ звучать тайный голосъ тоски о разлукѣ со мною, тогда мы вмѣстѣ, я и ты, расскажемъ ей наше блаженство, и наши рѣчи заставятъ трепетать ея сердце, заставятъ ее любить и молиться вмѣстѣ съ нами.

1-го марта. Александръ, Александръ, другъ мой, ангель мой! съ каждымъ днемъ новое счастье, съ каждымъ днемъ новое блаженство! Знаешь ли, ангель мой, маменька благословляетъ насъ, она называетъ меня дочерью, она счастлива...

О, Александръ, какъ мы счастливы! Давеча была у меня Emilie отъ маменьки; она ей говорила. О, другъ мой, Александръ, молись... Когда я увижу ее, когда сама услышу отъ нея? О, какъ Онъ любитъ насъ!

Другъ мой, на душѣ твоей тайна? Почему же ты не скажешь мнѣ ея, ангель мой. Что-нибудь страшное?—я не испугаюсь; важное?—не знаю, не могу отгадать. Что останавливаетъ тебя открыть мнѣ ее? Ты называешь ее порокомъ; ежели можно сказать мнѣ, такъ это не порокъ. И ты скажешь, не правда ли, мой другъ? Да, откроешь, потому что я увѣрена, что на душѣ твоей нѣтъ порока, нѣтъ тайны отъ меня и не можетъ быть. Ты говоришь: какъ же не завидовать всѣмъ тебѣ въ томъ, что я принадлежу тебѣ? О, нѣтъ, что завидного тутъ! Пусть завидуютъ тебѣ самому, пусть стараются достигнуть до тебя и

пусть придутъ ко мнѣ поучиться любить и находить блаженство на землѣ. А несчастная Emilie... о, зачѣмъ это облако на нашемъ небѣ? Я содрагаюсь отъ ея страданій; кажется, всей дружбы нашей не довольно, чтобъ утѣшить ее. Но, вѣдь, Онъ посылаетъ бѣдствія, Онъ же пошлетъ и твердость снести ихъ.

О, женится... онъ женится... какъ бы желала я знать ту, которая узнала его; но онъ ли женится, или его женять? Мы счастливыѣ, счастливыѣ съ тобою, ангелъ мой, всѣхъ счастливыѣ!

Прощай же, другъ мой, обнимаю тебя, мой Александръ, цѣлую тебя, ангелъ мой, прости!

Твоя Наташа.

[Москва], 3-е марта.

Сколько разъ съ новымъ наслажденіемъ перечитывала я эти слова: «теперь нравственное начало моей жизни будетъ любовь къ тебѣ». О, Александръ, о, другъ мой, какъ ты любишь меня!

Не даромъ, бывало, прежде меня томило какое-то неразгаданное чувство, какая-то потребность, которую могло пополнить лишь цѣлое небо, но ты, ты... ангелъ, сокровище мое, развѣ въ тебѣ не цѣлое небо, не весь рай?

Съ какимъ нетерпѣніемъ жду я видѣть маленьку? Зачѣмъ тебя не будетъ тутъ? Отовсюду льется намъ счастье; кажется, и въ воздухъ счастье, и отъ всѣхъ людей вѣетъ счастьемъ. Но нѣтъ, признаюсь, иногда горько смотрѣть на эти мертвыя лица, особенно когда все волнуется, кипитъ и горитъ въ душѣ; я бы желала во взорахъ каждаго видѣть участіе, слезу, которая бы была залогомъ родства душъ, чтобы всѣ радовались со мною, всѣ бы молились, но этотъ холодъ, это безответное пожатіе руки... Впрочемъ, что-жъ до нихъ, не въ тебѣ ли весь міръ для меня, всѣ люди? Тобою я ихъ люблю, тобою я имъ родная и они мнѣ братья. Въ тебѣ все мое родство, вся радость, въ тебѣ моя молитва и все святое. Неужели еще намъ долго, долго не видаться? О, какъ я боялась всегда спросить тебя объ этомъ, но, ангелъ мой, вѣдь, наша судьба въ рукахъ у Бога, не огорчайся и ты. Еще обнимаю тебя всею душой.

Еще нѣсколько словъ. Горько, горько, говорю я, видѣть равнодушіе въ людяхъ, ибо съ тѣхъ поръ, какъ я люблю тебя, я сама неравнодушна ни къ одному существу; всѣ, всѣ стали близки моему сердцу. Хотѣла бы, чтобъ и они сблизились со мною, но они не понимаютъ меня, жаль... За то какое наслажденіе быть съ Emilie, какъ отражается въ ея глазахъ мое счастье, какъ звонко эхо въ ея душѣ! Еще Саша Бобор. О, желала бы я, чтобы ты узналъ ее, она ужасно любить меня: я ея *единственный другъ*, и сколько въ ней родного, и какъ она счастлива моимъ счастьемъ! Да, истинно, я не знаю, кто-бъ имѣлъ столько богатства на землѣ, богатства небеснаго, какъ я... Меня все отрываютъ. Опять прощай. 5 часовъ вечера.

10-й часъ. Сейчасъ смотрѣла въ открытую форточку, — какъ хорошо тамъ! Я люблю небо, когда и мрачно оно. Гдѣ, гдѣ я ни была съ тобою, и на Крутицахъ, и въ Вяткѣ, и на Кавказѣ, спасала тебя, умирала за тебя, молилась съ тобою на горахъ, слушала говоръ морскихъ волнъ... Долго, долго мечтала, но вдругъ вздумала, что сказалъ бы ты, еслибъ видѣлъ меня на сыромъ воздухѣ? Тотчасъ закрыла форточку и простилась съ моими плѣнительными мечтами. Береги и ты себя, ангелъ мой, Александръ, береги, — когда не жаль тебѣ себя, вспомни меня.

Ты проводишь цѣлые часы въ думахъ обо мнѣ, и эти думы—молитвы, гимны Богу? У меня нѣтъ минуты, въ которую бы я не была вся въ думахъ о тебѣ,—стало, вся жизнь моя—молитва, вся жизнь—гимнъ Богу.

Еще цѣлую тебя, ангель мой, прости.

Что Медвѣдева? Напиши мнѣ о ней.

Марта 6. Витбергъ, счастливая Витбергъ! Я не знаю ея, но когда услышала, что она ѣдетъ къ мужу, въ Вятку, невольно навернулись слезы. Ангель мой, другъ мой. Александръ, когда же, когда же встанетъ для насъ эта блаженная минута? Я воображаю ихъ свиданіе... свиданіе наше... Прощай, другъ мой, пока обнимаю тебя душевно за 1.000 верстъ! Некогда, еще прости, еще цѣлую тебя.

Твоя *Наташа.*

Марта 14-го.

Какое пасмурное небо, также пасмурно и въ душѣ моей. Двѣ недѣли отъ тебя нѣтъ писемъ. Увѣрена, что ты здоровъ, помнишь меня, любишь, но что-то тяжело на сердцѣ, грустно. Скоро годъ, какъ мы разстались, годъ тому дню, который для меня полонъ былъ блаженства и страданія, въ который я впервые постигла вполнѣ и радость, и горе. Какъ тихо идетъ время съ тѣхъ поръ, какъ ты уѣхалъ! Нѣтъ, какъ я ни утѣшаю себя воспоминаніями, надеждами, мечтами, все горько, все тяжко. Я тебѣ писала объ одномъ радостномъ, свѣтломъ души моей, чтобъ не огорчать болѣе тебя, ангель мой, и безъ того теперешняя жизнь твоя не ясна; но нѣтъ, тяжело грустить въ одиночествѣ... Что-жь, когда намъ не суждено радоваться, такъ хоть погорюемъ вмѣстѣ! Не знаю сама, но такъ померкло въ душѣ, какъ будто ты уѣхалъ еще далѣе. Получивъ послѣднее письмо, я ждала еще недѣлю съ терпѣніемъ—нѣтъ! Ждала другую, но уже это было тревожное ожиданіе; приходитъ четвергъ—нѣтъ писемъ. Все померкло. Отъ этого, я думаю, мнѣ такъ грустно. Но это всегда: я неутѣшна до тѣхъ поръ, пока не получу твоего письма, и только тутъ просвѣтлѣетъ душа моя. О, въ это мгновеніе, кажется, все небо на землѣ; нѣтъ, не кажется, а въ самомъ дѣлѣ земля становится тогда небомъ, и все такъ весело, радостно кругомъ: всѣ тѣни исчезаютъ, отъ всѣхъ вѣетъ на' меня счастьемъ и любовью. Но потомъ проходятъ дни, и я опять жду писемъ, и опять все грустно, и все такъ мрачно...

Утро 16-го, понедѣльникъ. На этомъ словѣ меня разлучили съ тобою, и до сихъ поръ не было минуты возможной взяться за перо. Вчера прозвучало въ ухахъ моихъ это сильное, животворное слово: *получили!*—прозвучало оно въ душѣ, но это только для того, чтобъ еще болѣе возмутить ее: письма получили, а ко мнѣ нѣтъ... Ангель ты мой, другъ мой, грустно, грустно, и какъ все вокругъ меня нѣмо и безпривѣтно!

Послѣ обѣда. Сейчасъ отъ тебя письмо. О, еслибъ ты видѣлъ меня теперь, ангель мой! Все перемѣнилось. Какъ громко стучитъ сердце: ему тѣсно въ груди, оно рвется вонъ, просится въ Вятку, въ Вятку, а душа слылась съ Божествомъ; теперь она—чистая, теплая молитва. О, Александръ, Александръ, Богъ соединилъ меня съ тобою, а любовь твоя сблизила меня съ Богомъ!

Тебя беспокоитъ петербургскій; полно, мой другъ. Я певаю себѣ, что писала тебѣ объ этомъ. Онъ давно уѣхалъ и никому не пришло въ голову, зачѣмъ онъ былъ. Я его видѣла два раза, не знаю его, но... тутъ-то я вполнѣ увидѣла, что такое сестра чужая. Не беспокойся, ангель мой. Но что-жь, ежели бы и

стали принуждать меня выйти за кого замуж? Я не боюсь этого нисколько; напротивъ, пусть тогда увидятъ, что я слушалась и угождала имъ не изъ страха и низости, а изъ сожалѣнія къ нимъ и къ ихъ невѣжеству, но угождала въ случаяхъ, гдѣ не было души и чувства, а тогда, тогда они увидятъ, кто я, и испугаются прежней своей власти. Я знакома съ грозою, другъ мой, теперь меня уже не утрашатъ ни громъ, ни молнія. Каждый ударъ, каждый раскатъ будетъ намъ свадебною пѣснью. О, чего бы я не перенесла, мой Александръ, но во всякомъ случаѣ жертва была бы не велика: ты мой защитникъ, твоя любовь мой щитъ, и что можетъ побѣдить насъ.

Ты пишешь сказать маменькѣ только въ крайности. Она знаетъ; но я не могу надивиться, какимъ образомъ; Emilie говоритъ, что она не сказывала. Маменька сама начала, и вотъ какимъ образомъ. Говорили о Бирюковѣ. Emilie говоритъ: хорошо бы это было, еслибъ ихъ соединить. Маменька посмотрѣла на нее съ удивленіемъ и сказала: «А Сашенька?» Изъ этого восклицанія можно было все прочесть въ мысляхъ ея. Потомъ уже Emilie говорила съ ней откровенно. Тутъ маменька сказала, что она благословляетъ насъ, довольна *твоимъ выборомъ*, счастлива нашимъ счастьемъ. Но я ея еще не видала. Она очень пеняла Emilie, зачѣмъ она писала тебѣ о Бирюковѣ: «На что возмущать его счастье?»—сказала она ей. Ты я думаю, тоже безпокоишься о томъ, что писала тебѣ Emilie. Я пеняла ей за это. Но послушай, Александръ, когда я радостно и твердо ожидаю испытанія и того поприща, на которомъ я явлюсь побѣдительницей, тѣмъ болѣе ты долженъ смотрѣть на все это равнодушно и съ презрѣніемъ. Но зачѣмъ же такія ничтожныя орудія употребляютъ для испытанія моей твердости и мужества? Впрочемъ, нужны ли тебѣ еще доказательства?

Теперь въ душу мою залѣзла тяжелая дума. Ты ѣдешь на Кавказъ... Сердце замираетъ, когда ты предстанешь въ моемъ воображеніи одинъ въ горахъ, съ дикой природою, съ дикими людьми... О, нѣтъ, мой ангелъ, ты не поѣдешь! Сколько разъ меня потрясала эта мысль... Напиши мнѣ навѣрное, поѣдешь или нѣтъ?

Итакъ, мы поѣдемъ въ Италію? Это не мечта? О, сколько намъ счастья впереди! Да, я бы не желала остаться съ тобою здѣсь. Куда-бъ-нибудь, далеко-далеко, чтобы не слышать холодныхъ разсужденій, выдуманныхъ анекдотовъ и всѣхъ нелѣпностей, которыми Москва въ мигъ наполняется при появленіи чего-нибудь необыкновеннаго и высокаго, чтобы не встрѣчать любопытныхъ взоровъ, которые спрашиваютъ и не требуютъ отвѣта. О, это ужасно, несносно! Нѣтъ, мы непременно уѣдемъ отсюда, чтобы на свободѣ подышать счастьемъ и любовью. Нѣтъ ничево непріятнѣе для меня, какъ обратить на себя вниманіе людей. Одни сами съ собою поживемъ, а тамъ, а тамъ, что Богъ дастъ, то и будетъ.

Какая неограниченная любовь—лишить себя жизни по смерти моей! О, Александръ, какъ я любима! Кто измѣритъ обширность моего блаженства? Какой великанъ несчастья не исчезнетъ передъ его огромностью? Но только это ужасно: можетъ-ли самоубійство соединить насъ *тамъ*? Нѣтъ, ангелъ мой, смерть скоритъ насъ вѣстѣю своею косою. Какая ужасная мысль—умереть послѣ тебя или прежде; Боже, какъ я равнодушна была прежде; мнѣ даже пріятно было размышлять о переселеніи изъ чужбины въ родной край, а теперь, теперь мнѣ все чужое, гдѣ нѣтъ тебя, и самое небо чуждо, когда не будетъ тебя тамъ со мною.

Скоро день твоего рожденія, поздравляю! А въ подарокъ посылаю мой поцѣлуй.

Прощай, обнимаю тебя, мой Саша.

Твоя вся *Наташа*.

Наташа «Герцень»—чудо, прелесть!

Спѣшу ужасно; я еще много-бы написала.

Помнишь, ты говорилъ Emilie, что желалъ-бы носить мнѣ записки того, кого я буду любить? Думалъ-ли ты тогда, что ты самъ будешь писать ихъ?

26 марта, Вятка.

Ангель мой, моя святая! Я удрученъ счастьемъ, всею душой упиваюсь этимъ блаженствомъ, этою любовью, — всею душой, и душа моя не можетъ помѣстять всего рая твоей любви. Въ самый день моего рожденія получилъ я твое письмо съ т-те Witberg. Я читалъ каждую строку, я переливалъ въ свою душу весь этотъ небесный огонь, вырывавшійся въ каждой строкѣ. Наташа, Наташа, о, ты права: тамъ, гдѣ я сидѣлъ въ цѣпяхъ, тамъ сочелъ насъ самъ Богъ. Съ тѣхъ поръ рѣшена твоя судьба. Ты говоришь, что я не любилъ тебя тогда, когда говорилъ, что сожму руку твоему избранному. Ты права и нѣтъ. Я любилъ тебя прежде Крутиць, но не давалъ отчета въ своемъ чувствѣ, еще болѣе — хотѣлъ уничтожить въ себѣ всякую любовь: боялся погубить тебя, связавъ съ моимъ бурнымъ существомъ твою жизнь. И писалъ тѣ строки, именно отталкивая отъ себя и отъ тебя мысль любви. Но наше прощаніе рѣшило все, и какъ смѣть чело-вѣку холодно располагать судьбою своей тогда, когда есть Провидѣніе? Я помню тотъ взглядъ, которымъ я смотрѣлъ въ твою душу, когда спрашивалъ объ участи голубя. Съ этотъ взглядъ, воротившись назадъ въ мою грудь, принесъ съ собою вѣсть съ неба, вѣсть рая—твою любовь. Ангель, ангель! Какъ намъ быть съ Emilie? Мнѣ раздраетъ душу ея ужасное положеніе. Увѣрь ее, что я никакого письма отъ N. S. не получалъ. Ей-Богу, не получалъ, — съ чего она взяла это? И увѣрена-ли она въ томъ, что онъ не любитъ ея? Впрочемъ, онъ вѣтренъ, я знаю, но винить его не смѣю. Странно человѣческое сердце. Потребность любви въ сердцѣ благородномъ такъ сильна, что всякое сочувствіе, всякую симпатію принимаетъ за любовь и самъ вдается въ обманъ. Я испыталъ это. Но любовь въ самомъ дѣлѣ, — о, это другое! тутъ не можетъ быть перемѣны: это—самая жизнь, самое начало жизни, — ты знаешь ее, Natalie!

Сейчасъ мнѣ что пришло въ голову: *Natalia* значить родина. Родина! Не высокъ-ли смыслъ этого слова, соединенный съ словомъ *Alexandre* — мужественная защита? И все это, увѣряю тебя, не случай. Случая нѣтъ, вездѣ переть Его. Это іероглифъ съ высокимъ смысломъ.

Маменька знаетъ, — надобно было знать, это хорошо. Впрочемъ, нашему соединенію никто не можетъ препятствовать. Онъ соединилъ насъ. Тебя мучаютъ теперь Бирюковымъ. Пора, видно, имъ сказать. Я напишу къ маменькѣ; хотя и трудно мнѣ это, но напишу.

Одно обстоятельство есть только, которое можетъ сдѣлать намъ тѣму неприятностей, — это законъ о родствѣ, который, казалось-бы, и миновалъ насъ, но тамъ есть одно поясненіе, которое ежели они узнаютъ, то могутъ повредить, *но не должно*. Я объ этомъ и думать не хочу. Ты хочешь дѣлать со мною все трудности моего пути. Дѣли ихъ; я тебѣ дарю половину своихъ несчастій, носи ихъ: я горжусь моими несчастіями, ни съ кѣмъ ихъ не хочу дѣлить; съ тобою все дѣлю... Нѣтъ, Наташа, словъ нѣтъ сказать тебѣ все, что хочу, — ты понимаешь.

Ты спрашиваешь, что такое тяготятъ мою душу? Отъ тебя скрывать это тяжело, но тяжело и сказать. Люди, люди, эта дрянь, эта сволочь увлекла меня

въ одинъ скверный поступокъ, и я его сдѣлалъ. Его оправдаютъ большая часть людей, но... но онъ пороченъ въ смыслѣ нравственномъ: я шалилъ вещью, которую шалить не должно, и силою своего характера сдѣлалъ болѣе глупостей, нежели сдѣлалъ-бы другой. Яснѣе скажу послѣ, теперь не могу.

На Кавказъ я не ѣду, слѣдственно, можешь успокоиться. А признаюсь, мнѣ хотѣлось туда: Вятка скучна, но благословляю судьбу, бросившую меня сюда. Встрѣча съ Витбергомъ выкупааетъ половину неприятностей разлуки:

... весь художникъ онъ,
Онъ все окинуть быстрымъ окомъ
На полъ вымысла широкомъ,

какъ говоритъ Огаревъ въ одномъ изъ своихъ мечтаній.

Медвѣдова живетъ теперь съ нами, то-есть съ семействомъ Витберга, и у насъ довольно весело. Прощай.

Пиши всегда о полученіи моихъ писемъ.

28-го марта. «Счастливая Витбергъ», писала ты: да, конечно, счастливая! Имѣть мужемъ великаго человѣка и быть такъ нѣжно любимой! Вчера онъ вспомнилъ всѣ ужаснѣйшія гоненія и несчастія, конми тѣснить его, заплакалъ и, обвиняя жену, сказалъ мнѣ: «Не жепитесь, Ал. Нв., чтобы не сдѣлать несчастнаго такого существа, — и, помолчавъ: — а ежели женитесь, то выберете такого ангела, какъ она!» Она заплакала и бросилась ему на шею. Сцена эта была торжественна. Я стоялъ, молча, опершись на столъ. грудь подымалась, и душа рвалась къ тебѣ. Нѣтъ, не случай свелъ меня съ этимъ человѣкомъ! А сколько разныхъ встрѣчъ я видѣлъ теперь, скитаясь изгнаннымъ! Нѣкоторыя я опишу. Одна уже готова, и я тебѣ пришлю ее. *Легенду* я исправилъ, но не со-всѣмъ: скучно отдѣлывать слогъ.

Наташа! Попробуй немного заняться нѣмецкимъ языкомъ. Emilie тебѣ будетъ помогать. Мнѣ хочется тебѣ открыть это море поэзіи германской литературы. Хочу познакомить тебя съ тѣмъ Шиллеромъ, о которомъ сказалъ Огаревъ:

Съ слезою чистой, какъ роса,
Глядитъ на небо голубое.
Родныя шпестъ небеса..

А прoros, я уже нѣсколько разъ писалъ, чтобы мнѣ прислали стихи Огарева: *I tetri*, которые были у тебя или у Emilie. Онъ женится странно, но я боюсь судить прежде получения отъ него письма. Можетъ, это увлеченіе минутное, тогда бѣда или горе.

29-го марта. Христось Воскресе! ангель мой, и дивись, Наташа, дивись, я видѣлъ сегодня во снѣ и, кажется, въ первый разъ, что поцѣловалъ тебя, — мы похристосовались заочно сномъ. И какой дивный сонъ! Я трепеталъ весь, когда мои губы коснулись твоихъ; грудь хотѣла разорваться, и на этомъ я проснулся.

Бывало, въ этотъ праздникъ я пріѣзжалъ къ вамъ, и ты являлась между сволочюю, которую набить вашъ домъ, — дорого-бы далъ и нынче провести съ тобою. Прощай.

Я въ мундирѣ со шпагою ѣду къ губернатору.

1-го апрѣля. Новая мысль для повѣсти. Человѣкъ, одаренный высокою душой и маленькимъ характеромъ, — человѣкъ, который въ минуту размышленія отряхиваетъ прахъ земли и въ слѣдующую затѣмъ платитъ дань всѣмъ предразсудкамъ, оттого, что слабый характеръ согнуть, подавленъ толпою, не можетъ выработаться изъ мелочей.

Ежели вздумаю писать, то стоитъ только придѣлать рамку къ этой мысли. Нравится-ли тебѣ мысль эта? А статья моя—*Встрѣча* готова и, впередъ знаю, тебѣ весьма понравится. Прощай, пиши, когда только возможно, обо всемъ и всего болѣе о твоихъ чувствахъ, о твоей душѣ. »

Цѣлую тебя.

Утро, 27 марта, Москва.

Какъ весело, какъ пріятно провела я день твоего рожденія, Александръ! Я его истинно *праздновала*. Еще наканунѣ мнѣ нездоровилось, а въ Благовѣщеніе лежала въ постели. Сначала грустно мнѣ было. Я собиралась къ заутрени, не могла быть и у обѣдни. Потомъ все уврачевалось: маменька узнала о моей болѣзни и пришла навѣстить меня. Ты знаешь, какъ я желала видѣть ее, какъ желала слышать отъ нея самой то, что говорила мнѣ Emilie, — все исполнилось! Я была въ восторгѣ отъ ея вниманія и попеченія: мнѣ легче стало. Нельзя было говорить намъ много, но мнѣ кажется, въ одномъ словѣ ея я прочла всю душу и сама однимъ словомъ высказала все. Много навѣщаютъ меня, не всѣхъ-бы желала видѣть, но безъ горькаго не видать и сладкаго. И вчера она была у меня, жду ее и сегодня. Теперь я совсѣмъ здорова, только еще не схожу внизъ.

Да, мнѣ стало легче, когда увидѣла маменьку, и совсѣмъ не чувствовала болѣзни, когда услышала, что есть надежда на твое возвращеніе къ осени. Ахъ, Александръ, мой ангелъ, за что, *за что* Творцу такъ много, такъ обильно награждать меня? Истинно много неразгаданнаго въ судьбѣ моей. Къ тому-ль росла я, такъ-ли готовили меня, чтобъ быть подругою твоей? Видно, самъ Богъ желалъ меня, самъ Онъ готовилъ меня тебѣ! Потомъ ты былъ моимъ преобразователемъ, ты далъ мнѣ новую душу, утончилъ все существо мое, — я — твое созданье, Александръ! И ты одинъ лишь поймешь меня, ты одинъ постигнешь, какъ благоговѣю я при мысли, что я любима тобою. Нѣтъ, никто, никто изъ обладающихъ драгоценнѣйшими сокровищами здѣшняго міра не насладится малѣйшею частью того блаженства, въ которомъ я тону, какъ въ волнахъ глубокаго моря.

Будь спокоенъ, ангелъ мой: всѣ тѣни, всѣ призраки *жемидовъ* исчезли. Теперь меня ничто не тревожитъ. А скоро-ли пройдетъ это лѣто? Emilie очень часто бываетъ у меня. Что у нея плановъ, распредѣленій! Онѣ съ маменькой дѣлаютъ намъ комнаты, выбираютъ себѣ, и конца нѣтъ разсужденіямъ, а я себѣ ничего не могу вообразить. Быть съ тобою — вотъ весь планъ, вся цѣль! Остальное не мое.

Сама маменька уговорила Насакина не говорить ничего о Бирюковѣ.

Прощай.

Христосъ воскресъ!

Я одна. Благовѣсть къ заутрени въ Свѣтлое Воскресеніе.

Христосъ воскресъ, мой Александръ! — сказала я, открывъ глаза, и нѣтъ отвѣта... Ты слышалъ меня, мой ангелъ, ты сказалъ: «воистину воскресъ, моя Наташа!»

Какая даль, какая даль, Боже мой! Когда-жъ мы вмѣстѣ встрѣтимъ Свѣтлое Воскресенье?

Вчера была у меня маменька. Мы долго были однѣ. Она говорила мнѣ *много, много*; она боится тебя за меня. Успокой ее, мой другъ. Другимъ *можно*

бояться, Александръ, вѣдь, другіе смотрятъ на насъ обовхъ безпристрастно. Тебѣ-ль, тебѣ-ль, мой Александръ, было избрать себѣ невѣстою меня? Меня, горькую сироту, угнетенную людьми, лишенную ими даже необходимаго образованія?... Не брани за эти слова! Ты знаешь меня только по письмамъ. Что мудраго, что О, любить *Рославлеву*? Она старѣе его, не хороша собою, за то какія глубокія познанія, какія блестящая образованность замѣняютъ въ ней лѣта и красоту!.. Она *всегда* его пойметъ, онъ на *все* найдетъ въ ней отвѣтъ. Совѣмъ не то твоя Наташа, слишкомъ бѣдно было ея приготовленіе. Но, Александръ, другъ мой, ангелъ мой, любимъ-ли такъ О., какъ ты любимъ, отдавали ему такъ и вся жизнь, и вся душа?..

Твоя, твоя Наташа, на вѣкъ твоя; ея любовь перевѣситъ весь умъ, всю образованность и ученость, одна ея любовь будетъ для тебя всею на свѣтѣ. О, милый мой, и во всей простотѣ я поняла тебя! Что-же нужно мнѣ еще учить, что нужно узнавать еще? Понявши тебя, мой ангелъ, что остается мнѣ загадкой? Нѣтъ, нѣтъ, пусть боятся другіе, а я люблю, люблю тебя: ты мой, я твоя.

Только *помни*, Александръ, что у твоей Наташи, кромѣ любви, нѣтъ ничего. Помни, это тебя говорю я. Прощай, їду къ обѣднѣ.

30-е, понедельникъ. Грустно, грустно провела я вчерашній день. Никогда такъ не чувствую я своего одиночества, какъ въ то время, когда люди толпятся, шумятъ кругомъ меня. Одинъ человекъ былъ по душѣ. Ахъ, Александръ, съ какою радостью я встрѣтила его! Много пережилось въ душѣ при его видѣ: это—Висилій Васильевичъ, и мнѣ удалось съ нимъ говорить немного, и это немного было о тебѣ. Прежде него и остальное время все было ужасно грустно: я воображала, каково тебѣ! Мнѣ то ужасно, что ты такъ огорчаешься разлукою; мой другъ, мнѣ страшно, что я съ немногими минутами радости принесу тебѣ много горя, страшно, что собою могу отвлечь тебя, можетъ быть, отъ многаго. Не попустому были сказаны эти слова: «любовь испортитъ мою будущность. а моя будущность не мнѣ принадлежитъ». Но опять я думаю: на все Его воля.

На-дняхъ читала я романъ: страшно... Нѣтъ нигдѣ такой чистой, такой святой любви, какъ наша любовь, Александръ. Какъ ужасна слѣпая любовь! Въ какія низости, въ какіе пороки увлекаетъ она! Нѣтъ, не такова любовь наша. Та создана сердцемъ, исполненнымъ пороками и страстями, та губитъ самаго создателя; наша—создана самимъ Богомъ: она обновляетъ, святитъ душу, очищаетъ землю, сближаетъ съ Богомъ. Ахъ, Александръ, неужели это сбудется когда-нибудь, что мы одинъ съ тобою далеко отъ родного сѣвера и родныхъ сѣверныхъ... Мечты, мечты! Чѣмъ онѣ прекраснѣе, величественнѣе, тѣмъ менѣе сбываются. А я думаю, что-бы было со мною, ежели-бы этого не совершилось? Я-бы умерла.

Другія называютъ любовь нашу мечтою. Нѣтъ, нѣтъ, это не мечта; можетъ ли мечта такъ обнять всю душу, такъ пересоздать все существо? Когда эта любовь мечта, такъ какой-же мѣры должна быть любовь истинная? Прощай, мой ангелъ; пока я не увижу тебя, я не могу совершенно быть покойна. Прощай, цѣлую тебя.

Твоя *Наташа*.

31-е, вторникъ. Сейчас Егоръ Ивановичъ принесъ твой портретъ. Хоть и не очень похожъ, но все такъ взволновалось, все перевернулось въ душѣ. Прощай—грустно.

Обнимаю тебя.

Москва, апрѣля 3.

Душа моя, прости, я все огорчаю тебя. Когда я писала послѣднюю записку, мнѣ было ужасно грустно. Послѣ мнѣ досадно, браню себя, но въ то время нѣтъ силъ затануть тоску въ душѣ и не раздѣлять ея съ тобою. И безъ того горька тебѣ разлука, а когда знаешь, что не одинъ страдаешь, тогда она во сто разъ болѣе гнететъ душу. Теперь я жду приближенія осени, какъ воскресенья. Не могу равнодушно представить себѣ минуту нашего свиданія. Но что-жъ потомъ?... Что значить, ангель мой, ты мнѣ написалъ, что разлука наша не кончится Вяткой? Во мнѣ леденѣетъ вся кровь, когда я вообразжу, что, можетъ быть, еще буду провожать тебя въ другой разъ, въ другой разъ прощаться... тогда я прощусь навѣки! Нѣтъ, не снести мнѣ другого разставанья!

Портретъ твой, ангель мой, утѣшаетъ и огорчаетъ меня вмѣстѣ. Есть сходство. По цѣлымъ часамъ смотрю на него, смотрю цѣлою рѣчью, цѣлымъ небомъ, цѣлою душой; полотно одушевляется, понемногу принимаетъ жизнь, кажется, еще мигъ — и я услышу твой голосъ, еще поцѣлуй — и ты обнимаешь самъ меня... Холодъ полотна, запахъ краски выводятъ изъ очарованія, нѣтъ жизни, нѣтъ души въ милыхъ чертахъ; о, тогда ты убійственно смотришь на меня, — съ горестью закрываю портретъ и еще, еще становится грустнѣе. Но, вѣдь, этотъ портретъ не тотъ, который писалъ Витбергъ, потому-то онъ и не одушевленъ, потому и смотреть на меня такъ холодно, такъ чуждо, будто удивляется моему восторгу, моей любви, моимъ слезамъ. Я рада, что о немъ не знаютъ, на него никто не смотреть, кромѣ меня.

4-е, пятница. Сегодня меня *возили*, была и у папешки... Онъ много говорилъ о томъ, что мнѣ надо выйти замужъ, и о томъ, какъ должно уважать усы родства.

Александръ, во мнѣ онъ много находитъ недостатковъ. Другъ мой, какая буря, грозная буря ожидаетъ насъ въ будущемъ! Но что все это для меня? Одинъ твой взглядъ, одно слово — и весь міръ исчезъ, вся вселенная — ты! Не страшны мнѣ морали, угрозы, — страшна твердая родительская воля; когда не суждено намъ соединиться, скорѣе желаю оставить... Нѣтъ, нѣтъ, мой ангель, нѣтъ, мой Александръ, ничего я не желаю, кромѣ твоей любви, а тамъ — да свершится, что Ему угодно!

11-е, воскресенье. Вчера меня возили подъ Новинскъ. Это — пестрое море, что-то лѣниво волнуется, что-то уныло шумитъ, все смотреть сиротливо, но это, можетъ быть, только мнѣ такъ кажется; теперь, гдѣ болѣе веселья, шуму и людей, тѣмъ скучнѣе для меня. Другіе не вѣрятъ этому или называютъ это мечтательностью, романтизмомъ, — ты простишь мнѣ, Александръ, эту мечтательность. Никогда я не любила веселиться одиноко, а теперь, ангель мой, можетъ ли мнѣ быть весело за тысячу верстъ отъ тебя? Грусть нагнало на меня это гулянье. Впрочемъ, мнѣ было веселѣе: одинъ часъ, проведенный съ другомъ, оставляетъ надолго въ душѣ удовольствіе, а я весь вечеръ говорила съ Сашей Б. о тебѣ. Этотъ разговоръ считилъ съ души всю пыль, всю тоску гулянья. Я не могу быть другомъ въ половину: она знаетъ *все*, и я говорю безъ принужденія и вижу яркое сочувствіе, вижу слезы восторга отъ моего счастья... Мнѣ веселы эти часы, тутъ я веселюсь душою; какое блаженство видѣть слезы умиленія въ глазахъ друга, видѣть, какъ онъ счастливъ моимъ счастьемъ! Тутъ кажется, что онъ и любитъ вмѣстѣ со мною. Но эти часы такъ же рѣдки и дороги для меня, какъ часы уединенія: или быть одной, или имѣть подлѣ себя существо, могущее понять меня!

Александръ, меня зовутъ мечтательной; ежели я кажусь въ самомъ дѣлѣ такою, то это съ тѣхъ поръ, какъ нѣтъ тебя. Съ начала нашей разлуки мнѣ было тягостно присутствіе каждаго; я хотѣла на свободѣ плакать, предаваться своей горести, на свободѣ провожать тебя мыслями въ твоемъ пути. Это обратилось въ привычку; до сихъ поръ люблю быть одна: тутъ мнѣ не мѣшаютъ бесѣдовать съ тобою. Итакъ, я живу воспоминаніями, надеждами и... мечтами. Мечты, мечты... каждая изъ нихъ полна тобою, кажется переплетена твоими мечтами, обвита около тебя... Могу-ль разстаться съ ними, могу-ль не мечтать, не быть мечтательной?

Занятія мои не развлекаютъ меня болѣе, какъ прежде, книги не утѣшаютъ, теперь я не могу читать съ жадностью о чувствахъ, о любви... Все бѣдно, все ничтожно передъ тѣмъ, что въ душѣ моей. Одно желаніе, одно стремленіе прежде такъ же пламенно, съ такою же силой волнуетъ грудь мою; оно, кажется, поселилось въ ней съ перваго взгляда, брошеннаго мною на міръ: это — все обнять, все постигнуть, увидѣть истину лицомъ къ лицу, облетать все поднебесье; это желаніе усиливается съ моею любовью къ тебѣ, безъ нея же оно бы погасло, исчезло. Но я желаю, желаю, стремлюсь, стремлюсь — и ни шагу впередъ! Всѣ размышленія, всѣ изслѣдованія, всѣ труды разлетаются, какъ ласточки, при мысли: *онъ любитъ меня!* Чего желать, чего искать, что узнавать мнѣ послѣ этого? Зная, что ты любишь меня, я знаю все; имѣя твое сердце, я имѣю все. Другъ мой, жизнь моя, душа моя, мое все! Когда же, когда же я увижу тебя, услышу твой голосъ, когда сама прочту въ глазахъ твоихъ твою любовь, когда увижу въ нихъ отраженіе любви моей? \\\

Четвергъ. Сегодня десятое апрѣля!...

Минулъ годъ! Тяжело и сказать — *годъ разлуки!*...

4 часа пополудни. Священный день, священные часы моей жизни! Тутъ я прочла въ одномъ твоемъ взорѣ мою судьбу, мое будущее, мое блаженство; тутъ ты держалъ мою руку, и я невольно вздрагивала, пугалась, когда оставлялъ ее: тутъ ты склонилъ голову на мое плечо, какъ будто для того, чтобъ отдохнуть отъ прошедшаго и собрать силы для будущаго; тутъ мы смотрѣли другъ на друга, и въ этихъ взорахъ сердца наши, безъ вѣдома насъ самихъ, излились до дна; тутъ наши души говорили, любили, любили; тутъ Богъ соединилъ насъ навѣки.

Вечеръ. Давеча не могла продолжать, — рука дрожала, сердце билось. настоящее для меня не существовало. Все, все, что въ эти часы прошлаго года было въ душѣ, — все воскресло и еще ярче, еще сильнѣе горѣло, волновало ее. Все, что тогда еще было для меня почти загадкой, теперь какъ ясное небо обнимало все существо мое, и твой образъ, ангелъ мой, сіялъ солнцемъ въ этомъ небѣ (мнѣ не нужно было смотрѣть на портретъ). Страшно было приближеніе этихъ часовъ.. будто всходила на высокую гору; наконецъ, достигла, на вершинѣ ея отдохнула, помолилась; спуститься уже было легко. Будемъ ли мы вмѣстѣ этотъ день будущаго года? Теперь мнѣ стало легче: минулъ, минулъ черный годъ! Но отчего же теперь медленнѣе пошло время? Минуты превратились въ часы, часы въ цѣлые дни... Дождусь ли я твоего взгляда, твоего слова?

❧ *11-е, суббота.* Лишь тотъ, кто съ дѣтства былъ заключенъ въ мрачной темницѣ, не видалъ родныхъ и не зналъ близкихъ сердцу, долго томился, страдалъ душою, потомъ ангеломъ былъ изведенъ, увидѣлъ весь красный Божій свѣтъ, узналъ родныхъ, узналъ блаженство, — лишь тотъ можетъ постигнуть состояніе

души моей. Какъ утѣшаютъ меня маменька и Егор. Ив! Я писала тебѣ объ его чувствахъ, писала и о томъ, что все кончилось, прошло, но оно не было такъ. Вослѣдствіи я увидѣла, что онъ сталъ скрывать, но любовь не уменьшалась. О, сколько я перестрадала въ то время! Мнѣ въ милліонъ разъ было бы легче, еслибъ онъ ненавидѣлъ меня. Онъ зналъ, что я люблю тебя, и молчалъ; когда же узналъ это отъ меня самой, сдѣлался боленъ и при каждомъ свиданіи ужасно плакалъ; ты можешь вообразить весь ужасъ моего положенія; ничто и никто, кромѣ тебя, не могло бы облегчить мою душу. Наконецъ, вдругъ все переизменилось; я не беру на себя этого, — нѣтъ, само Провидѣніе захотѣло облегчить его страданія. Онъ пишетъ ко мнѣ, что не смѣетъ явиться передъ моими глазами, просить, чтобъ я указала ему мѣсто въ отношеніи ко мнѣ, чтобъ я повелѣвала ему къ моему удовольствію, къ моей прихоти, а къ его несчастью и вреду, онъ на все готовъ... Ужасъ, ужасъ! Человѣкъ родной, близкій, любимый мною, гибнулъ, страдалъ, и все черезъ меня, и я ничего не могла сдѣлать къ облегченію его участи! Сама страдала, и тебя не было со мною. Но, собравъ нѣсколько нестройныхъ, взбунтованныхъ мыслей, я отвѣтила ему. Предложила ему быть *нашимъ братомъ, нашимъ другомъ истиннымъ*. Онъ повялъ меня. Первымъ доказательствомъ этого и первымъ основаніемъ *дружбы* былъ твой портретъ. Онъ подарилъ мнѣ его, и съ тѣхъ поръ ни слова о прошедшемъ, ни одного взгляда, въ которомъ бы ни выражалось чистѣйшей дружбы и братской любви. Весель, доволенъ, счастливъ, — вотъ что бы я могла сказать, ежели бы не знала прежде его души. Онъ увѣрялъ даже меня, что молится теперь не обо мнѣ одной, а о насъ *двоихъ*, и я вѣрю. Зная, сколько бы это огорчило тебя, мой другъ, я не писала тебѣ объ этомъ, но теперь, когда все кончилось, я должна тебѣ сказать это для того, чтобы ты былъ справедливъ противъ него; видѣлъ бы, сколько онъ достоинъ нашей дружбы и уваженія. Иногда я удивляюсь ему, какая твердость, какая сила души! Я плачу ему дружбой, но чувствую, что эта дружба несовершенна, что она могла бы быть полнѣе, но это не въ моей волѣ. Любовь заняла во мнѣ все и, не изгоняя другихъ чувствъ, не даетъ имъ простора: съ тобою, съ любовью я бы забыла всѣхъ и все на свѣтѣ.

Прощай, обнимаю тебя и цѣлую много, много разъ. ъ

Твоя *Наташа*.

Апрѣля 7, Вятка.

Мнѣ что-то грустно сегодня, Наташа, и потому пишу къ тебѣ. Тягостна наша разлука. Тщетно истощаю я все, выдумываю занятія и развлеченія, нѣтъ для меня искреннаго, душевнаго, полнаго удовольствія безъ тебя. Среди шума вакханалій, среди лицъ ликующихъ вдругъ черная мысль подымается со дна бокала, улыбка останавливается на устахъ, и мрачное чувство разлуки давить. Душа вянетъ безъ тебя; ежели во мнѣ еще такъ много дурного, — это оттого, что нѣтъ тебя со мною: прикосновеніе ангела очищаетъ человѣка. Твои письма разбудили меня, когда я, забывши себя, или, лучше сказать, искавши средствъ забыть себя, падалъ; твоя любовь можетъ одна поддержать меня выше людей. Ты плакала, читая, что любовь сдѣлалась нравственнымъ началомъ моего бытія; непрерывно я испытываю справедливость сихъ словъ. Лишь только что-нибудь мелкое, порочное навернется на умъ, какъ вдругъ мысль о твоей любви осветитъ душу, и порочное, мелкое исчезаетъ при свѣтѣ ея. О, Наташа, вѣрь, Про-

видѣніе послало тебя мнѣ. Мои страсти буйныя, что могло бы удерживать ихъ? Любовь женщины; нѣтъ, я это испыталъ. Любовь ангела, любовь существа небеснаго, твоя любовь только можетъ направлять меня.

10 апрѣля. Вчера, ангель мой, ты думала обо мнѣ цѣлый день, я знаю, — и я думалъ о тебѣ. Раздѣленные, мы были вмѣстѣ. Великій день, въ который, какъ ты выразилась, сочеталъ насъ Богъ. Девять мѣсяцевъ тюрьмы, годъ ссылки забыты за одно это свиданіе. Вчера же получилъ я отъ тебя двѣ записки, изъ коихъ одной я очень не доволенъ. Что съ тобою, Наташа, откуда этотъ тягостный, горькій звукъ изъ души твоей, въ которой должна быть одна любовь, одна любовь? Это не разлука: ту грусть я понимаю, я самъ, оторванное дерево отъ родины, отъ моего неба, грущу; но тутъ что-то другое. «Только *помни*, Алекс., что у твоей Наташи, кромѣ любви, ничего нѣтъ». Именно этого и жаждала моя душа; что-жъ? къ чему это все сказано?... Или ты, писавши, не думала, или у тебя больна голова, или ты забыла, что пишешь къ Александру? Именно тутъ, въ этихъ строкахъ, я и вижу, что, кромѣ любви, есть еще и предрасудки. Говоря мнѣ: *помни* и подчеркнуть это слово, ты какъ будто дѣлаешь условія, на коихъ отдаешься мнѣ. Наташа, ты высока, какъ ангель, брось этотъ вздоръ; я знаю тебя, не я выбралъ, Богъ выбралъ тебя мнѣ. *Помни* и ты, что та, которую я избралъ себѣ, та, которая превзошла уже идеаль, созданный моею мечтой, должна быть выше существъ простыхъ. Но поцѣлуй любви пусть помирить насъ. Я понимаю, что можетъ иногда набѣжать грустная минута на душу, и тогда она издастъ грустные звуки, какъ порванная струна арфы.

Вотъ что надобно сдѣлать намъ, во-первыхъ. Теперь я почти въ открытой ссорѣ съ княгиней, надобно съ ней поладить, а то какъ же мы будемъ видѣться? Нельзя ли какъ-нибудь, чтобъ она мнѣ написала хоть строчку въ папечкиномъ письмѣ, и тогда я буду къ ней писать, и мы помиримся.

Ты пишешь мои слова, что любовь испортитъ мою будущность; я теперь другого мнѣнія, и вспомни, что я писалъ прошлый разъ: я всѣми силами хотѣлъ оттолкнуть мысль о любви и потому говорилъ это. Я не искалъ тебя. Провидѣніе указало. Будь же увѣрена въ благости намѣреній Его. Будущность нельзя испортить любовью. Да кто же смѣетъ выкликать себѣ высокую будущность?—и тутъ подлежить отдаться Провидѣнію.

Твой на вѣки А. Герценъ.

Нашей Emilie искренній дружескій поклонъ; все собирался къ ней писать и не успѣлъ, но скоро исправлюсь. Пиши всякій разъ о ней.

Цѣлую тебя—твой Александръ.

14 апрѣля, Москва.

Жизнь моя, душа моя! Вчера я получила твои письма. Каждое слово льетъ блаженство въ душу, каждое слово даетъ новый міръ чувствъ и мыслей. Боже, Боже мой, знала ли я, предчувствовала ли мое будущее? О, Александръ, Александръ, ангель мой!...

Сейчасъ только *отучилась*. Твоя воля для меня священна, твое желаніе—законъ. Вчера же вечеромъ выучила нѣмецкую азбуку, теперь читала по складамъ. M-me Matthey у насъ на нѣкоторое время и, пока не будетъ ей мѣста, я буду у нея учиться, а Emilie на дняхъ ѣдетъ въ деревню. О, чему бы я ни стала учиться, другъ мой, чтобъ понимать *всегда* тебя! Теперь все у меня отнято:

запрещаютъ читать, запрещаютъ писать, быть въ другой комнатѣ, играть на фортепіано, — словомъ, все, что можетъ принести малѣйшую пользу. *Цѣлый* день должна быть съ ними, вечеромъ долѣе 10 часовъ не позволено сидѣть со свѣчей; утромъ встаю рано, но со мною въ одной комнатѣ М. С. и Бочкар. на одномъ диванѣ. Прощай, ѣду къ Насакинымъ, тамъ мнѣ будутъ предлагать руку Бярюкова, объ этомъ предупредила меня маменька. Вотъ первый шагъ... Прощай. карета подвезена.

Вечеръ. Пріѣхала! Все кончилось; я просила маменьку отвѣчать за меня, теперь ужъ не касается это болѣе до меня. Нѣсколько минутъ мы были съ ней наединѣ, она мнѣ все сказала, что ты писалъ, и вторично благословляетъ.

Александръ-Наталья; да, да, дивный смыслъ, и я вѣрю, что это не случай, вѣтъ: тутъ перстъ Бога. И я напишу тебѣ мое новое замѣчаніе. Папенька передъ кончиной благословлялъ всѣхъ дѣтей, меня одну благословилъ образомъ Александра Невского, и тутъ опора, и тутъ воля Его: почему родитель, оставляя насъ сиротами, поручилъ меня одну святому Александру? Такъ, мой ангелъ, все, все съ самаго моего рожденія благословляло меня быть твоею подругой! И ты дашь мнѣ половину всего? Ты дѣлишься со мною? Ты богатъ, мой Александръ, а что я удѣлю тебѣ? Мнѣ нечего дѣлать, ужъ я все отдала тебѣ, все!...

15 среда. Маменька вчера говорила, что при жизни к[нягини] мы не можемъ соединиться; ея несогласія я не боюсь, лишь бы она не вооружила всѣхъ. Но что, мой другъ, развѣ мы менѣе черезъ это счастливы? Каждое препятствіе есть новый узелъ нашихъ сердецъ. Тебѣ хотѣлось на Кавказъ... Ты пріѣдешь сюда осенью, но, вѣдь, это не надолго? О, ужасно, ужасно, страшно, ангелъ мой, еще впереди нѣсколько лѣтъ разлуки... Оставаться здѣсь... Я помню, что ты говорилъ о Москвѣ; провожать тебя... Нѣтъ, лучше положиться во всемъ на Него. Я терплю въ мысляхъ, и душа страдаетъ; гдѣ-жъ вѣра, гдѣ-жъ молитва? Твоя любовь сроднила меня съ небесами съ тѣхъ поръ, когда моя душа дерзаетъ вопрощать Его; они мнѣ кажутся отвѣтомъ. О, посмотри, мой ангелъ, на эти небеса, когда душа твоя взбунтована, — посмотри, какъ утихаетъ въ ней бурное волненіе при видѣ этого безмятежнаго океана, какъ все свѣтлѣетъ въ ней яркимъ свѣтомъ звѣздъ, сама бы она заиграла звѣздочкой на далекомъ, далекомъ, но родномъ ей небѣ, сама бы оттуда своимъ свѣтомъ свѣтила въ душу страдальца земного, радостно бы простилась съ своею кельей, душевною кельей. Но кто разлучитъ ее съ тобою? Самое небо не манитъ ея, когда надо разстаться съ тобою. Земля! земля! О, не завидуй небу; душа моя, не рвись туда, — твоя душа на землѣ!

Emilie, Emilie... Несчастливая!... Онъ все отнял у нея, онъ отворилъ ей дверь въ міръ свѣтлый и опять захлопнулъ ее, и ей вѣчная тьма, вѣчный мракъ. Какъ она ждетъ смерти! Кто у нея здѣсь? У нея никого не было, кромѣ меня; она хотѣла или похоронить меня, или дождаться развязки и спокойно умереть, — впрочемъ, предпочитала первое: «мнѣ жаль отдать тебя кому-нибудь», говорила она; но, вѣдь, ты знаешь, она вѣруетъ въ тебя, и теперь спокойна и желаетъ скорѣе умереть. Нѣтъ, Александръ, онъ не любилъ ея, когда измѣнилъ. Но зачѣмъ же увѣрять въ любви, зачѣмъ онъ клялся ей? Ты не знаешь всего: они проводили по нѣсколько часовъ одни, онъ говорилъ ей объ ихъ будущей жизни, онъ звалъ ее своей, стдалъ ей самого себя и сказалъ, что ихъ ничто не разлучитъ. Я пришлю тебѣ, ежели можно, его стихи, посвященные ей. О, другъ мой, зачѣмъ же есть такія сердца, зачѣмъ не всѣ любятъ такъ, какъ мы? Тогда бы

не было на землѣ несчастій, тогда бы вся земля была любовь. Я не знаю, что можетъ облегчить ея душу, и, думаю, не долго будутъ длиться ея страданія. Я бы все сдѣлала, чтобъ ее утѣшить. Пришли же мнѣ *Легенду* и *Встрѣчу*. Человѣкъ съ высокою душою и маленькимъ характеромъ—тутъ цѣлое море для повѣсти. Главное, она можетъ принести пользу. Пипши. Сегодня я начну учиться писать нѣмецкія слова. Языкъ этотъ мнѣ кажется чрезвычайно легкимъ. Ахъ, зачѣмъ люди утратили эти 18 лѣтъ моей жизни. ими бы многое купилось, и теперь, когда стремленіе во всей силѣ,—вездѣ преграды! Когда у меня была маменька, говоря объ Огаревѣ, она сказала: «Невѣста его не молода и не хороша, но какъ образована и умна! Нѣмецкую литературу знаетъ лучше его. Онъ страстно ее любить». Эти немногія слова навели тѣнь на мою душу, въ нихъ какъ будто излился невольный упрекъ ея;.. но новыя ласки ея и увѣренія утѣшили снова.

Когда же ты, Александръ, ты, мой ангелъ, будешь моимъ учителемъ? Прощай, обнимаю тебя, другъ мой.

Твоя *Наташа*.

Ежели есть возможность поправить твой поступокъ, никогда не поздно. Прости, ужаено спѣшу, всѣ встали, еще цѣлую тебя.

23-е апрѣля, Москва.

Сегодня я была на именинахъ у Егора Ивановича, пріятно провела время, очень пріятно и очень грустно вмѣстѣ. Я въ первый разъ была въ саду послѣ того, какъ видѣла тебя въ немъ въ послѣдній разъ. Долго ходила по той дорогѣ, по которой, бывало, хаживалъ ты, что-то невольно глаза обращались къ твоимъ окнамъ, искали въ нихъ тебя, мой ангелъ, и въ воображеніи ты являлся, какъ бывало прежде, у открытаго окна, на лѣстницѣ... Ахъ Саша, Саша, ангелъ, когда-жъ ты будешь со мною, другъ мой?... Каждое дерево, каждый кустъ говорилъ мнѣ о тебѣ; тамъ мнѣ все мило, все родное,—и какъ все пусто!.. Вспоминали съ Emilie о прошедшемъ, и она съ растерзаннымъ сердцемъ, съ утраченными чувствами, похоронивъ всѣ надежды и мечты, и она, воскрешая минувшее, улыбалась, но все что-то было такъ уныло. Одна Маша Корицко [?], рѣзвая, не знакомая ни съ горемъ, ни съ счастьемъ, безпечно веселилась.

25-е, суббота. Вчера получила твое письмо.

Александръ, Александръ, другъ мой, прости меня, о, я виновата, очень виновата! Ангелъ, прости меня. Мало того, что эта мысль была у меня въ головѣ, я еще написала ее тебѣ, холодная, грустная, мрачная мысль. Александръ, только это не моя мысль, не я создала ее. Тогда, какъ я писала тебѣ это письмо, мнѣ было страшно грустно. Наканувъ праздника я была больна и душой, и тѣломъ, къ тому же, эту мысль вселили въ меня. Хотя бы, кажется, и трудно было вселять ее мнѣ, она у меня была нѣсколько дней въ головѣ, я испугалась ея, не имѣла силъ вдругъ побѣдить ее, изгнать, и написала тебѣ. Она исчезла давно. Ангелъ мой, о, можетъ ли что-нибудь грустное, кромѣ разлуки съ тобою, тяготить мою душу, полную одною, одною любовью? Нѣтъ, хотя насъ дѣлятъ тысяча верстъ, хотя между нами кладутъ тысячу преградъ,... неба достигаютъ горы, которыя я должна пройти, чтобы придти къ тебѣ, но кто можетъ положить преграду душѣ? Путь ея свободенъ: и черезъ эти горы, и черезъ ужасныя пропасти она несется, летитъ вольно, быстро къ своему милому; тамъ ея родина, ея небо, ея жизнь, ея душа.

Какъ ты грустишь, мой Александръ! Нѣтъ, не на одно страданіе, не на одно горе Онъ слилъ наши души, наши существованія. Разно, далеко другъ отъ друга, мы еще не видали радости въ нашей любви; придетъ же пора... Ангелъ мой, вѣрь со мною, придетъ пора, и мы вмѣстѣ, изъ одной чаши будемъ пить одно блаженство. Когда любовь наша дана намъ Нѣтъ, такъ она не будетъ источникомъ горестей для насъ; все небесное одинъ свѣтъ, одинъ рай, а любовь наша не небесная ли?

Боже мой, что со мною было, какъ могла я написать тебѣ такую мрачную мысль? Я вспыхнула вся, читая твое письмо. Забудь это, ангелъ мой: это не мной сказано, тутъ нѣтъ моего; нѣтъ, когда предразсудки, мелочи толпою вокругъ меня, твоя любовь, какъ цѣлительная пелена, обовѣетъ все существо мое, и ничто земное не проникаетъ эту священную пелену; одна рука Провидѣнія можетъ снять ее съ меня, но и оно не сниметъ; въ ней я и тамъ предстану, въ ней буду ликовать съ ангелами; безъ нея—я прахъ, безъ нея мнѣ вѣчное изгваніе, вѣчная тьма. О, Александръ, ты мой создатель, ты мой отецъ! Скажи, что бы было со мною, когда бы ты не любилъ меня, и что бы была я? Тогда бы не было *меня*, тогда бы было больше только однимъ человѣкомъ.

По-нѣмецки я читаю, списываю, твержу наизусть. Только это занимаетъ теперь меня, развлекаетъ нѣсколько. Среди горькихъ мыслей, убитая разлукой, я не способна внимать ничему, все чуждо мнѣ, все говоритъ мнѣ, что ты далеко, что тебя нѣтъ со мною: и такъ текутъ цѣлые часы, цѣлые дни. Теперь мысль, что ты желаешь, чтобъ я училась, что надо приготовить урокъ, будитъ меня, и я прилежно занимаюсь, и твое имя на языкѣ вмѣстѣ со словами Gott, Heiland, Engel... Странно, мой другъ, съ удовольствіемъ учусь, съ удовольствіемъ и перестаю учиться; съ какою быстротой, сбросивъ съ себя нѣмецкія оковы, я лечу къ тебѣ, мой ангелъ, тутъ уже ничто меня не разлучаетъ съ тобой, ничто не тѣнитъ тебя изъ мыслей, и я такъ жадно, съ такимъ наслажденіемъ пью эти минуты и опять съ новымъ желаніемъ принимаюсь за урокъ, и опять съ новою быстротой несусь къ тебѣ.

Не могу придумать, какимъ бы образомъ сдѣлать, чтобъ тебѣ написала к[нигиня]. Этого никогда не будетъ, за это отвѣчаю. Она теперь очень рѣдко бываетъ у папеньки и каждый разъ сеорится и почти все за меня; онъ на моей сторонѣ. Нѣтъ, придумай другое средство, это невозможно. А видѣться намъ,— знаешь ли, что можетъ быть способомъ?—нѣмецкій языкъ. М-me Metthey у насъ не будетъ, я буду просить учиться у тебя; вѣрно, папенька будетъ на нашей сторонѣ, и кн[гиня] нельзя будетъ отказаться. И въ восхищеніи отъ одного воображенія,—и я буду у тебя учиться!... Ангелъ, ангелъ мой, какое блаженство, какіе часы! Зимніе вечера намъ можно будетъ проводить вмѣстѣ, но... развѣ ты навсегда пріѣдешь сюда? Эта мысль разстроила цѣлый храмъ, созданный изъ счастливыхъ мечтаній. Навсегда-ль, навсегда-ль, ты взойдешь, мое солнце, или лишь согрѣешь мою душу и закатишься опять въ синюю даль?...

26-е, воскресенье. Вчера не могла я писать болѣе. Такъ всегда лишаюсь я всѣхъ способностей при посѣщеніи мрачной мысли о новой разлукѣ,—все отпадаетъ отъ сердца, все—туманъ кругомъ, свѣтъ ляжетъ на душу, и одна молитва, одна вѣра можетъ только утѣшить меня въ эти грустныя минуты. Мнѣ ли не вѣрить, мнѣ ли сомнѣваться въ Немъ? Мнѣ ли...

Знаешь ли, мой другъ, что странно? Когда я была у папеньки, мнѣ казалось, что я дома, что всѣ посторонніе въ гостяхъ у насъ, и такъ сроднилась съ этою

мыслью, что, ѣхавши домой, думала, что я ѣду въ гости. Какъ скучно, какъ несносно въ гостяхъ! Когда-жь я поѣду домой, мой ангелъ?

Ты пишешь: «Что намъ дѣлать съ Emilie»? Она велѣла сказать тебѣ, чтобы ты забылъ ее, забылъ ея несчастье и не писалъ бы къ ней, потому что «слово» счастье для нея теперь непонятный, пустой звукъ. Она также къ тебѣ не будетъ писать, «чтобы не затуманить его яснаго неба»,—говоритъ она. Твой языкъ теперь ей непонятенъ, въ немъ каждое слово звучитъ любовью, счастьемъ, а это ей такъ же далеко, такъ же незнакомо, какъ занебесье. «Избави Богъ, но ежели, когда онъ научится говорить понятнымъ мнѣ языкомъ, тогда пусть напишетъ, я отвѣчу ему».—сказала она мнѣ. Боже мой, Боже мой! И такая прелестная душа такъ убита несчастьемъ, что даже въ ней родилось сомнѣнiе въ друзьяхъ, будто они не поймутъ ея страданiй, будто въ ихъ душѣ она не услышитъ... [слово вырвано] Боже мой и Ты посылаешь такія несчастья! Впрочемъ, я еще дивлюсь ей; нѣтъ, твердость ея необыкновенна, бываетъ время, когда я забываю, что она такъ несчастна,—моя любовь, мое блаженство отражается въ ея душѣ и на мигъ она забываетъ себя. Пиши къ ней, Александръ, я прошу тебя, мой другъ; твои письма, я знаю, приносятъ ей утѣшенiе; на-дняхъ она уѣзжаетъ въ деревню и до декабря мѣсяца. Тогда ужъ ты будешь здѣсь, мой ангелъ, со мной.

Твоя вѣчно *Наташа*.

Машенька Коринко [?] кланяется тебѣ.

Я познакомилась также съ Машенькой Эрнъ.

27-е, *понедѣльникъ*. Вчера я говорила о тебѣ съ к[нягиней]. Она сердится, что ты не вспомнишь о ней, даже не припишешь никогда почтенiя. «Онъ воображаетъ, что ему никто не нуженъ»,—прибавила она. Я думаю, это можно сдѣлать... Впрочемъ, какъ ты думаешь.

1) Сегодня мнѣ снилось, будто я плыву по морю, и ни челнока, ни какого судна въ виду, и не страшно мнѣ, и я плыву беззаботно... Такъ отдалась я волнамъ твоей любви. Безбрежно, бурно море, и я безъ паруса, безъ весла, безъ челнока плыву по немъ безусловно; дуетъ ли вѣтеръ, бушуетъ ли непогода,—не страшно мнѣ: я сроднилась съ моремъ, съ волнами. Его спокойствiе льетъ тихое, святое блаженство въ мою душу, его волненiе небесно-очаровательно! И на волнѣ любви вознесиесь до неба! \)

Вѣдь, ты вѣришь, другъ мой, что та мысль не моя? Вини меня только въ томъ, что я допустила ее посягнуть мою душу, что она могла заставить ее издать грустные звуки. Разлука, разлука, ангелъ мой, всему виною. «Поневолѣ свится страшный сонъ». O, weill werde ich dich sehen, mein lieber Freund?!

Я бы не желала, чтобы они были при нашемъ свиданiи. До сихъ поръ мнѣ напоминаютъ о кн. Об., къ которому я чуть не бросилась на шею, воображивъ, что это ты. Да, надо тебѣ помириться съ к[нягиней], а то она говоритъ, что, когда ты возвратишься, она не будетъ позволять намъ быть вмѣстѣ, увѣрившись, что ты непременно долженъ сдѣлаться хуже, живши *на волю, за глазами*. Ахъ, люди, люди, какъ они жалки, мой ангелъ! Какъ можетъ Его созданiе, Его подобiе такъ унижаться, такъ много принять дурного! Но я вѣрую, рано или поздно просвѣтлѣетъ и ихъ душа: Онъ Святъ; прахъ Ему не доступенъ, Онъ благъ, не погубитъ своего созданiя!

28-е, *вторникъ*. Ты говоришь, мой другъ, что любовь Emilie не была ли одно увлеченiе? Еслибъ оно и такъ было, легко-ль разстаться съ мечтою, кото-

рая была единственною усладой горькой жизни; равнодушно ли видимъ мы, какъ блѣднѣетъ роза, какъ опадаютъ ея листики? Смерть одного цвѣтка между сотнею наводитъ на душу меланхолю, навѣваетъ на нее мысль горькую, унылую, мысль и о нашемъ разрушеніи... А это былъ единственный цвѣтокъ ея души! И онъ поблѣкъ, и онъ увялъ... умеръ!... Страшно, страшно, о, другъ мой! только ты миришь меня съ людьми, только ты заставляешь меня вѣрить имъ, любить ихъ.

Ужели онъ не любилъ ее, когда писалъ къ ней изъ Симбирска: «A peine arrivé à S. je m'empresse de t'écrire, angélique amie. Jamais je n'étais aussi complètement seul—qu'ici; jamais je n'avais aussi besoin de savoir qu'il y a une personne dont l'âme harmonise avec la mienne, et qui forme, pour ainsi dire, la seconde moitié de moi-même, jamais, te dis-je, plus qu'aprèsant; et pourtant je ne suis pas encore certain de posséder cette chère moitié, si indispensable pour que je sois un être complet, pourtant des demi-souçons me rongent parfois l'âme... et cet état mixte m'est pénible...» Ужели это мечта, одно воображеніе, одинъ обманъ, ужели тутъ нѣтъ любви? Когда эти слова чертила одна пылкая мечта,—прощаю, но когда тутъ есть хоть искра любви? Божусь тебѣ, мой ангель, не понимаю, вовсе не понимаю. Ничто въ свѣтѣ не заставитъ меня вѣрить, что любовь можетъ такъ скоро, такъ легко гаснуть, говорю тебѣ,—и ты скажешь, я знаю, ничто въ свѣтѣ. Не вѣрю, чтобъ она могла когда-нибудь погаснуть,—и потому, думать что тутъ обманъ... Подождемъ.

Прощай, милый мой, единственный!

Обнимаю тебя всюю душой

Твоя.

Стихи О. посылаю. Прости, что тою почтой не послала: ихъ у меня не было.

Еще прощай, еще обнимаю тебя, другъ мой, душа моя, еще цѣлую тебя много, много. Спишу ужасно.

27-е апрѣля, Вятка.

((Давно, душа моя, нѣтъ отъ тебя писемъ. Дай Богъ, чтобъ эта ночь принесла что-либо, хоть строчку. Наташа, ты, вѣдь, знаешь, какъ радостно получать письма и какъ горько ихъ ждать. По счастью, моя пустая жизнь кончилась, я опять занимаюсь, хотя не такъ много, какъ прежде, но съ пользою. Не должно удаляться отъ людей и дѣйствительнаго міра; это старинный германскій предрасудокъ. Въ дѣйствительномъ мірѣ есть своя полнота, которая не находится въ жизни кабинетной и которая учитъ многому. Человѣкъ не созданъ для уединенія. Но горе тому, кто тратитъ душу свою на пустоту этого міра, забывая другой, высшій. Разбитый, больной, печальный я сюда и потому искалъ въ ложномъ шумѣ утѣшенія. Это не могло долго продолжаться. Ты ускорила еще мое возвращеніе къ идеальному, и годъ этотъ не совѣмъ пропалъ въ жизни моей: онъ богатъ опытомъ, чувствами и болѣе всего любовью къ тебѣ, мой ангель. Теперь у меня въ головѣ бродитъ планъ весьма важной статьи, можетъ, для развитія которой нужно написать цѣлый романъ, который поглотитъ въ себѣ и ту тему, о которой писалъ тебѣ въ прошломъ письмѣ, и многое изъ моей собственной жизни. Я рѣшительно хочу въ каждомъ сочиненіи моемъ видѣть отдѣльную часть жизни души моей. Пусть ихъ совокупность будетъ іероглифическая біографія моя, которую толпа не пойметъ, но поймутъ люди. Пусть

впечатлѣнія, которымъ я подвергался, выражаются отдѣльными повѣстями, гдѣ все вымыселъ, но основа—истина.

Теперь меня чрезвычайно занимаетъ религіозная мысль—паденіе Люцифера, какъ огромная аллегорія, и я дошелъ до весьма важныхъ результатовъ. Но въ сторону это!

Вотъ и май скоро; годъ, что я здѣсь; но прямой положительной надежды нѣтъ на возвращеніе. Боже мой, какъ гнетуть насъ люди; они намъ дозволили въ продолженіе почти двухъ лѣтъ одно минутное свиданіе, одинъ поцѣлуй, и то прощальный. А какъ мы нужны другъ другу! Хуже всего, что нѣтъ положительной надежды. Никто не хочетъ прямо стать за сосланнаго. О, Наташа! Здѣсь-то узналъ я еще болѣе гнустность обыкновенныхъ людей, ибо здѣсь она во всей наготѣ, даже не прикрыта легкою тканью образованности, и какъ же надобно благодарить судьбу, что и здѣсь я нашелъ душу высокую—Витберга.

Но знаешь ли, чему ты чрезвычайно удивишься, что я почти всякій день здѣсь, въ Вяткѣ, [говорю] о тебѣ. Да, почти всякій день, и это для меня какое-то дивное наслажденіе. Но съ кѣмъ?—спросишь ты. Любовь робка на языкѣ, и потому никогда не являлся ни одинъ звукъ ея при Витбергѣ, который какъ будто отталкиваетъ довѣріе сего рода своимъ гранитнымъ характеромъ. Не говорилъ я о ней и съ Медвѣдовой, *ибо я знаю, что ей это было бы непріятно*, она и такъ довольно несчастна. Но помнишь ли другую Полину, нѣмочку, о которой я какъ-то писалъ тебѣ? Въ ней тьма поэзій, и, не знаю почему, ей одной я высказалъ всю любовь мою къ тебѣ и съ тѣхъ поръ ты составляешь одинъ предметъ нашихъ разговоровъ. Въ благодарности за сіе я требую, чтобы ты въ слѣдующей запискѣ написала къ ней хоть строчку, только по-французски. Зови ее просто Pauline. Она заслуживаетъ это, ибо она отъ души желаетъ, чтобы твой Александръ скорѣе былъ въ твоихъ объятіяхъ. Напиши же непременно, какой-нибудь комплиментъ, un rien.

У тебя новое фортепіано, пишетъ маменька. Занимайся музыкою какъ можно болѣе. Я напишу домой, чтобы тебѣ доставили одинъ Rondoletto Герца, который мнѣ ужасно нравится и который я очень часто заставляю играть.

29-е апрѣля. И такъ, Огаревъ полюбилъ свою невѣсту за нѣмецкую литературу, пишешь ты, а поелику ты не знаешь ея, слѣдственно, тебя не стоить любить. Перестань же писать такой вздоръ, моя милая Наташа, не стыдно ли тебѣ? Твоя душа часто приводитъ меня въ удивленіе своею высотой, своею святостью, а еслибъ ты знала астрономію, то это еще не дало бы тебѣ права на мое удивленіе. Не унижай себя, ты—ангелъ, ангелъ. ты мнѣ самимъ Богомъ послана; я тебя люблю за твою душу, люблю за твою любовь, которая вся ты, люблю потому, что не могу не любить тебя. Неужели пламенный языкъ монахъ писемъ, эта струя огня, можетъ оставлять хотя тѣнь сомнѣнія, что я обращу малѣйшее вниманіе на внѣшнее что-либо?

И такъ, пусть же благословеніе твоего отца исполнится, пусть Александръ Невскій—твой патронъ. Знаешь ли, что и меня онъ благословилъ тѣмъ же образомъ, и онъ со мною здѣсь. О слѣдующей разлукѣ не думай. Довольно мрачнаго и въ настоящемъ. Въ Москвѣ я не останусь, но даю тебѣ клятву при малѣйшей возможности не разлучаться съ тобою. Я уже писалъ, что сбрасываю на твои плечи половину тягостей моей жизни, неси же ихъ вмѣстѣ съ твоимъ Александромъ.

Къ концу нынѣшняго мѣсяца, т. е. мая, рѣшится важный вопросъ: можно

ли надѣяться въ 1836 году быть въ Москвѣ? Ежели молитва дѣйствуетъ, то чью же молитву небо можетъ лучше принять, какъ твою?

Какъ счастлива Витбергова жена въ несчастіи! Но вѣрь, вѣрь, будутъ минуты и у насъ, когда рай намъ позавидуетъ. Прощай, некогда болѣе писать. Цѣлую твои руки, тебя, твои глаза. О, приходи скорѣй то время, когда живой поцѣлуй, продолжительный, страстный, сотретъ все мрачное!

Твой, твой *Александръ*.

Emilie, говорятъ, сердится на меня за то, что давно я ей не писалъ. Увѣрь же ее, что я ее люблю, какъ сестру, и потому на что же требовать доказательства матеріальныхъ—писемъ? Писать къ тебѣ—это необходимость, это воздухъ для меня, это жизнь. Но, впрочемъ, я напишу, можетъ, по слѣдующей почтѣ. Впрочемъ, она говоритъ, что я не отвѣчалъ на письмо, а мнѣ кажется, я писалъ отвѣтъ.

Благодарю за нѣмецкій языкъ. Достань себѣ черезъ Ег. Ив. методу Жакого учиться языкамъ. Она облегчитъ.

8-е мая. Москва.

Теперь мнѣ грустно, Александръ, со мною много неприятностей. Вчера прощалась съ Emilie; она была мнѣ большимъ утѣшеніемъ въ разлукѣ съ тобою. Съ нею ты былъ единственнымъ предметомъ нашихъ разговоровъ, въ сѣ истерзанной душѣ отражалось мое счастье, и на мигъ она забывала горе и хоть на мигъ отдыхала отъ собственныхъ страданій. Теперь, въ чью душу перелью я избытокъ счастья души моей, кто пойметъ огненный языкъ мой? Эй же онъ былъ вынѣтъ, очень вынѣтъ; и тяжко ей въ ея несчастіи не имѣть подлѣ себя друга!

Потомъ, мнѣ такъ пріятно было исполнить твоё желаніе выучиться по-нѣмецки; нѣмѣя случай, я твердо рѣшилась достигнуть этого и такъ горячо принялась, что m-me Ma не могла надивиться. Двѣ недѣли прошли для меня, какъ два дня; я была довольна собой. Теперь она уѣхала отъ насъ. Вдругъ все кончилось: всѣ средства отняты,—не большая ли это неприятность? А скоро и мы сами поѣдемъ въ деревню, мнѣ ужасъ, какъ не хочется: тамъ я совершенно связана, даже и фортепіано не берутъ туда никогда. Но зачѣмъ же я и тебя заставляю хмуриться? Лучше перестану писать. Да и что все это, когда ты, ангелъ, любишь меня?

9-е, суббота. Два дня мнѣ было ужасъ какъ грустно; все, что тебѣ писала выше, туманило мою душу, но вдругъ твое письмо! Нѣтъ, ни объ Emilie, ни о нѣмецк. языкѣ, ни о фортепіано грустила я, а о томъ, что давно не было отъ тебя писемъ, ангелъ мой! Странно сердце человѣка, безпредѣльно, необъятно сердце любящее! Чего недоставало мнѣ за минуту? Пол-вселенной?! Одну строчку, одно слово твоею рукой! Вотъ и письмо, тутъ много словъ, много строчекъ, цѣлый листъ,—нѣтъ, все мало! Все это было, могло уже многое переимѣниться,—а что теперь ты, гдѣ ты, здоровъ ли ты? И рой думъ толпится въ головѣ, думъ ясныхъ и тяжелыхъ, сердцу тѣсно въ груди, взвилась бы ласточкой и понеслась въ милую, родную, дальнюю сторону—къ тебѣ, къ тебѣ! Пиши, пиши тотчасъ мнѣ, когда узнаешь, что можно надѣяться намъ обнять другъ друга не заочно. О, мчись скорѣе, время! Милый, милый, пріѣзжай! Какъ ждетъ тебя твоя подруга! Мысль свиданія, будто солнце, льется въ душу... Ахъ, Александръ, ангелъ

мой, скажи, можно ли любить болѣе, какъ я люблю тебя? Говорю тебѣ,—я забываю себя; этого мало, я не существую, во мнѣ твоя душа, твое сердце, я вся—ты, твоя мысль, твоя любовь. Знаешь ли, Александръ, читая въ твоемъ письмѣ о Медвѣдовой, у меня навернулись слезы на глазахъ, сердце сжалось... Несчастливая! Она любить тебя?... О, другъ мой, спаси, спаси ее, не убивай! Ты не говоришь ей теперь обо мнѣ потому, что ей было бы это непріятно, но легче ли будетъ ей сердцу узнать это *послѣ*?... Мнѣ жаль ее; ты можешь все, Александръ, тебѣ поручаю ее, спаси ее отъ самого себя. Ты раскаивался прежде, что завлекъ несчастное существо,— стало, въ любви М. не ты виною? Не будь же виною въ ея страданіяхъ, въ несчастіи всей ея жизни. Ангелъ мой, будь чистъ всегда; полагаюсь на тебя. Прощай, обнимаю тебя и, цѣлуя, повторяю: спаси ее, спаси!

Воскресенье, 11-е. Давеча я была въ соборѣ. Какое необъятное чувство наполняетъ душу въ этомъ священномъ зданіи! Сколько людей, влекомыхъ вѣрою, протекало въ немъ, сколько душъ врачевалось въ святыхъ стѣнахъ его! Кто, бывши въ Москвѣ, не пришелъ поклониться мощамъ угодниковъ, кто выходилъ изъ дверей его съ ожесточеннымъ сердцемъ?.. Невольно переселяешься въ мрачную бездну минувшаго, въ мертвой дали его возстаютъ призраки; будто слышишь еще его тихій, но уже исчезающій шепотъ... Могильное дыханіе минувшихъ столѣтій наводитъ на душу тайный трепетъ, но святыня, алтарь, чаша искупленія воззываютъ къ молитвѣ, и душа, развивъ земную оболочку, звонкимъ, чистымъ гимномъ возносится на небо. Я вышла оттуда, полная благоговѣнія. Я думаю, ты помнишь, какъ мы, сочетанные на небѣ, но еще чужіе на землѣ, были тамъ вмѣстѣ?

Ты снова проводишь время въ дѣятельности полезной, а записки твои прошлаго года, бывало, тревожили иногда меня. Пришли же мнѣ, если можно, твою статью. Я съ нетерпѣніемъ ее жду. Придетъ ли то время, когда и я буду помогать тебѣ.—хоть очивю перо, хоть перепишу что-нибудь! Ты не можешь себѣ вообразить, какъ мнѣ странно кажется теперешнее мое положеніе. Столько оковъ, столько униженій, столько повелителей надо мною, тогда какъ я не признаю ничьей власти надъ собой, кромѣ твоей, и одянь прахъ, одно ничтожество кругомъ, тогда какъ въ груди столько пространства обнять прекрасное! Но пусть: чѣмъ болѣе перегораетъ золото, тѣмъ чище оно!

13-е, вторникъ, рано утромъ. Какъ хорошо мнѣ теперь: сосѣдки мои уѣхали на день въ деревню: я одна,—отдыхаю, какъ свободно дышать! Долго, долго я теперь мечтала, ангелъ мой, и все о тебѣ, о тебѣ! Потомъ обратилась къ себѣ, разсматривала состояніе моей души. Какое дивное созданіе челоуѣкъ, какая святая искра душа его, эта часть самого Бога! Въ жизни моей мало было дней радостныхъ, но я не помню, чтобъ душа моя была въ такомъ состояніи, которое бы я желала замѣнить другимъ. Ни въ какихъ угнетеніяхъ въ ней не исчезало чувство собственнаго достоинства; никакое горе не удаляло ее отъ Бога; всегда во всемъ нераздѣльна божественнаго начала своего! Можетъ, ничтожество предметовъ, окружающихъ меня съ самаго рожденія, нелѣпность воспитанія, люди, среди которыхъ я росла, набросили на душу тонкую ткань, подъ которою дышало чувство, смыкались очи душевные, но которая не могла потушить небеснаго огня, зажженного въ ней Творцомъ, и бывало мнѣ душно, тяжело во мракѣ подъ этою тканью. Знаю, чувствую, что есть міръ другой, есть лучшее, но какъ достигнуть мнѣ до него, какъ увидѣть его? Итъ ли силъ сдернуть завѣсъ... но прелестно и это состояніе души! Окруженная мракомъ, она яснѣе видѣла соб-

ственный свѣтъ и, чтобы не угасть онъ, не сходила въ мѣръ обыкновенный, не тратила чувства на обыкновенное, и жила однимъ стремленіемъ, однимъ порывомъ къ лучшему. трепетно ждала того мгновенія, пока само Провидѣніе изведетъ ее изъ темницы и покажетъ путь. И въ этомъ плѣну были минуты наслажденія, минуты святыхъ, когда, тѣснясь въ самой себѣ, рвется изъ собственныхъ предѣловъ и сквозь страшныя преграды, достигнувъ неба, сливается съ божествомъ, величіемъ— съ общею душой!

Ты былъ всегда единственнымъ жителемъ того міра, о которомъ самая мечта была для меня наслажденіемъ; ты былъ для меня во всемъ единственнымъ. Я чувствовала, что мы не чужіе, но насъ дѣлило многое, многое, и чтобы преодолѣть это многое, потребна была воля самого Провидѣнія. Съ первой запиской твоей изъ Крутицъ вдругъ приподнялось покрывало съ души, и уже потомъ съ каждою строкой рѣдѣлъ туманъ. свѣтъ становился ярче, обширнѣе и тамъ, гдѣ занималась только заря, теперь горитъ пламенное солнце, и горитъ такъ ярко, такъ огромно, какъ въ самомъ небѣ.

Удивительно, Александръ, даже въ прощаніи съ тобою, въ разлукѣ владѣешь душою горестъ, священная, полная какою-то дивною поэзіей,— горестъ, въ которой душа находитъ отраду, самое наслажденіе! Нѣтъ, не знаетъ тотъ себя, своей души, кто ищетъ утѣшенія во всемъ, кромѣ себя, тотъ истинно жалокъ!

Но когда-жъ, ангелъ мой, мы будемъ съ тобою пить наслажденіе изъ чаши блаженства, а не извлекать его по каплѣ со дна моря горькаго?

«Придетъ пора, и съ той порой...»

Огаревъ! ты правъ, твоя пора пришла!

Теперь пора ввизъ, позаботиться о хозяйствѣ, о столѣ, т. е. заступитъ мѣсто М. С., не ужасно ли это? Я воображаю, это тебя ужасно бы разсердило. Прощай пока, мой свѣтъ, моя жизнь, цѣлую тебя, твоя

Наташа.

24-е, воск. [2?]. Какъ ты долго не имѣешь отъ меня писемъ! Мнѣ несносно за тебя, ангелъ мой; я спрашиваю всегда, когда можно послать къ тебѣ или отдаю заравѣе. Е. И. назначилъ въ этотъ четвергъ, и я не могу прежде, хотя меня это ужасно мучаетъ, а особенно послать мнѣ на почту нельзя.

Какъ тебѣ тяжело, досадно, грустно; мнѣ не легче, другъ мой; еще больше недѣля ожиданія—это ужасно! А, можетъ, скоро и советамъ не будешь ждать отъ меня писемъ! Напиши же, когда узнаешь навѣрное, когда возвратишься, и пиши скорѣе. Прощай, ангелъ, пока заочно цѣлую тебя, до свиданія!

Твоя, твоя *Наташа.*

Ноты Герца привнесъ Е. И., только не твое Rondoletto. Когда-жъ мнѣ заниматься музыкой? Мнѣ запрещаютъ и бранятъ за это, а теперь—въ деревню; ужасъ, какъ досадно! Во всемъ полагаюсь на будущее, теперь живу одною любовью. Еще разъ цѣлую тебя.

Получилъ ли ты письмо со стихами О.?

26-е, понедельникъ. Ты не можешь вообразить, мой ангелъ, какъ мнѣ тяжело, какъ я мучаюсь, что ты такъ долго не получишь отъ меня писемъ! Я знаю, какъ это несносно; что подумаешь ты?—какъ досадно тебѣ! Я сама за это сержусь на всѣхъ. Маменька у меня не была, и потому мнѣ эти дни грустно; мнѣ необходимо нужно было ее видѣть: я бы отдохнула. Меня утомили чужое вниманіе и холодное участіе. Въ нихъ капли нѣтъ лекарства. Но, можетъ, я я

слишкомъ требовательна: ищу твоего взгляда, ищу звука твоего голоса, а возможно ли это?...

Кажется, нравъ мой переѣвился. Смотрю на землю, на всю природу, смотрю такъ жадно, такъ внимательно, будто ищу тебя, но вездѣ чужой образъ, безотвѣтный, и мнѣ невольно досадно и тяжело. Съ поспѣшностью ветерѣливо взоръ обращается къ небу, глубоко вливается въ его синюю даль, ищетъ тебя въ небѣ; тамъ отраднѣ ему, но тамъ нѣтъ тебя, моего ангела, и невольный ропотъ въ душѣ...

О, когда-жъ, когда-жъ усталые, утомленные глаза мои найдутъ свою отрадную, надежную пристань—твой взоръ? Впервые, Александръ, впервые я увижу въ немъ любовь твою, впервые услышу отъ тебя слово любви! Нѣтъ, я выразить не могу тебѣ, что я чувствую, какъ жду тебя, какъ мнѣ весело, какъ грустно, какъ песносны мнѣ люди, какъ я люблю всѣхъ! Теперь я здорова. Прощай, мой ангель, другъ мой.

Твоя *Наташа*.

12 мая, Вятка.

Ангель мой, Наташа! блеснулъ первый лучъ надежды, маленькій лучъ, едва видный. О, Боже, ежели бы онъ былъ не тщетный, ежели бы черезъ мѣсяцъ или два я могъ тебя прижать къ моему сердцу и въ твоихъ объятіяхъ забыть всѣ двухлѣтнія страданія! Моли, моли Бога, Наташа; молитва твоей чистой души, можетъ, будетъ услышана.

На-дняхъ меня Полина просила написать ей что-нибудь на память, и я написалъ слѣдующее: «Влекомый таинственнымъ пророческимъ голосомъ, пилигримъ шель въ Иерусалимъ. Тяжка была дорога, силы его изнемогали, онъ страдалъ. Господь сжалился и послалъ ему утѣшителя съ чашею, наполненною небеснымъ питьемъ. Съ восторгомъ принялъ пилигримъ его; но, отдавая ему чашу, сказалъ: «Посланникъ неба! Благославляю нашу встрѣчу, но съ радостію покидаю тебя, ибо я знаю нѣчто выше тебя, святую Дѣву, къ ней иду я, къ ней стремлюсь, ей моя жизнь. Моли Бога, чтобъ скорѣе соединился съ нею!» И эта святая дѣва—ты, моя Наташа, да, все, все радостно покину я для тебя, для тебя, которая такъ меня любитъ. Ты моя святая, высокая дѣва.

13-е мая. Я началъ и уже довольно написалъ еще новую статью. Въ ней я описываю мое собственное развитіе, чтобы раскрыть, какъ опытъ привелъ меня къ религіозному возрѣнію. Между прочимъ, я представилъ тамъ сонъ или, лучше, явленіе, въ которомъ нисходитъ ко мнѣ дѣва, ведущая въ рай, какъ Беатриче Данте. Этотъ сонъ мнѣ удалось хорошо написать. Витбергъ былъ очень доволенъ, но не зналъ причины. Онъ думаетъ, что я такъ живо представилъ мою мечту и что моя мечта такъ хороша, а я проста описалъ тебя, и не мечта, а ты такъ хороша.

Кажется, сегодня годъ, что я поѣхалъ изъ Шерми. Обыкновенно при такихъ воспоминаіяхъ говорятъ: какъ скоро идетъ время! Ну, я этого не скажу про этотъ годъ.—нѣтъ, медленно, какъ долгій ядъ, какъ болѣзнь. вель онъ меня, и я, кажется, ощущалъ шероховатость каждаго дня его 366 дней. Но скажу откровенно: будь ты здѣсь, и я перенесъ бы его, конечно, не безъ грусти, но легко.

Что-то Ог.? Женился ли? Никакой вѣсти отъ него, а и онъ мнѣ необходимъ, какъ ты: мы врозь—разрозненные томы одной поэмы. Хорошая бібліотека не удовлетворится одною частью. Ахъ, гдѣ то будетъ эта хорошая бібліотека!

Сегодня я ждалъ отъ тебя письмо, но не получилъ,—досадно. Я знаю, что тебѣ самой трудно не писать ко мнѣ долго, знаю, что тебѣ писать ко мнѣ такъ же необходимо, какъ дышать, но досадно. Я такъ счастливъ, получивъ твое письмо, такъ веселъ. Ухожу въ свою комнату, бросаю на диванъ и читаю, и перечитываю десять разъ. И сердце такъ бьется, и кровь такъ кипитъ, готовы слезы литься изъ глазъ, и дыханіе дѣлается прерывисто. Это мои счастливѣйшія минуты здѣсь, потому что цѣлые дни мечтаю о каждой строкѣ. О сколько блаженства принесла ты мнѣ, и какая высокая душа отдалась мнѣ.

Да, будутъ минуты, когда мы не позавидуемъ раю, а рай позавидуетъ намъ. Твой, твой вѣчно

Александръ.

18-е, Духовъ день, понедѣльникъ.

Сегодня былъ у насъ папенька; удивительно, Александръ, будто сердце его предчувствуетъ, что твое существованіе должно соединиться съ моимъ. Каждый разъ, какъ вижу меня, дѣлаетъ наставленія, какъ приготовляться быть хорошею женой, потомъ, какъ угождать мужу, повиноваться и пр. Но нужно ли все это мнѣ, ангелъ мой?... Мнѣ кажется, твой капризъ, твоя малѣйшая прихоть будетъ моимъ закономъ, исполненіе ихъ—наслажденіемъ. И существуетъ ли, и можетъ ли существовать въ любви капризъ и упрямство? Это такъ мелко, такъ ничтожно и такъ далеко нашей души. Нѣтъ, никогда ничего темнаго не впадало мнѣ на мысль, да и что, что можетъ помрачить душу, озаренную, потонувшую въ свѣтъ твоей любви, какъ утренняя звѣзда въ яркомъ морѣ солнечнаго свѣта? Другъ мой, будто я когда-нибудь *принуждена* буду исполнить твое желаніе,—развѣ твоя и моя воля не все равно, будто есть разница между твоими и моими желаніями?

Тотъ, кто не любилъ, не вѣдастъ дивнаго наслажденія служить малѣйшею пользою существу любимому, не только быть необходимою неотдѣльною частью его самого. Когда я желаю чего-нибудь, мечтаю о чемъ, меня не нужно увѣрять, что ты думаешь о томъ же, желаешь того же.

Но я, можетъ, слишкомъ мала, чтобъ обнять всю обширность твоей высокой мечты; можетъ, грудь моя слишкомъ слаба, чтобы поднять всю тяжесть сокровищъ твоей души, но ты мнѣ далъ жизнь, ты и возростишь меня; ты далъ любовь, ты дашь и силу.

Сію минуту прощалась съ Сашей Б. надолго, надолго, и какъ знать, можетъ, и навсегда... Грустно, Александръ, и чтобъ облегчить душу, пишу къ тебѣ; ты самъ знаешь разставаться съ людьми, въ чьей душѣ есть звонкій намъ отголосокъ, и теперь уже я совершенно одна: ни она, ни Еміліе не возвратятся прежде глубокой зимы, а тогда уже, можетъ быть, ты будешь здѣсь, со мною... О, ангелъ, Александръ мой, какая мысль! Какъ дивно врачуетъ она душу, какъ Божье слово изгоняетъ грусть и мракъ! Чья разлука оставитъ слѣдъ свой въ душѣ моей, когда я надѣюсь, что ты будешь здѣсь, со мною? А прелестное существо эта Саша, я люблю ее. Вихрь свѣта не изломалъ ни одного чувства ея, не обезобразилъ ни одной мысли; напротивъ, стѣсняя ее болѣе и болѣе своими глупостями, заставилъ ее углубиться въ самое себя, надѣтъ покрывало, которое поднялось впервые при встрѣчѣ со мною, а толпѣ она будетъ вѣчно загадкой и толпа вѣчно недоступна ей. Она любить меня и не вѣрить, чтобъ я ее любила, будто любовь требуетъ въ жертву дружбу? Будто не надо никого любить, чтобъ любить

тебя? Нѣтъ, всѣхъ, кого я любила, люблю и теперь, и еще больше люблю. Мнѣ не нужно было отнимать ни у кого любви тебѣ... Это не заемная, нѣтъ, это особенная любовь, которую бы самое небо пожелало дѣлиться.

20-е, среда. Александръ, на душѣ у меня лежало всегда грустное чувство, тяжелое, какъ камень. Я не писала тебѣ о немъ, потому что ни ты, ни я помочь этому не можемъ, но сегодня я ужасно разстроена и молчать не въ силахъ. Что будетъ съ бѣднымъ братомъ моимъ Петрушею? У меня отняты были даже средства, возможность имѣть съ нимъ сообщеніе. Мысль о его положеніи всегда убивала меня, но я, все-таки, воображала его лучшимъ, нежели оно есть. Живеть въ Шацкѣ у какого-то купца и ходить въ уѣздное училище. Мальчикъ съ способностями, немного моложе меня, и какое поприще предстоитъ ему? Нѣтъ чловѣка, отъ котораго бы можно было ждать помощи. Сегодня я получила оттуда письмо, пишетъ, что у нихъ скоро экзамены и что, несмотря на то, что ему *астъ* (и кто же эти всѣ?) совѣтуютъ перестать учиться, онъ непремѣнно намѣренъ продолжать; впрочемъ, спрашиваетъ моего совѣта. Откровенно говорю тебѣ, другъ мой, это убиваетъ меня; твоя любовь не можетъ залѣчить эту рану, и я не ищу утѣшенія себѣ, я требую помощи моему брату. Ну, что я могу теперь сдѣлать для него? Написать Алек. Алек., ему все равно, ему не больно, что родной братъ его останется мужикомъ или нищимъ, и слова мои не будутъ имѣть ни малѣйшаго успѣха; это странный чловѣкъ. За себя никогда у меня не вырывался ему упрекъ, а это невольный ропотъ души за родного. Рѣшительно нигдѣ, ни въ комъ нѣтъ надежды. Это страшное чувство, Александръ; оно постигло мою душу съ тѣхъ поръ, какъ я стала понимать. Я не таила его отъ тебя, ангелъ мой, а не писала все же потому, что не утѣшенія хочу себѣ, а помощи брату, которой ты не можешь теперь сдѣлать. И зачѣмъ пишу теперь, не знаю; это неприятно тебѣ будетъ,... но пусть же все вмѣстѣ—и радость, и горе!

Потомъ сестра Катя, говорятъ, прекрасная собою, 15-лѣтъ, также живеть у купца, и теперь они уже чувствуютъ свое положеніе. О, я знаю, какъ ѣдко, какъ убійственно юной душѣ чувство беззащитности и сиротства? Я сама выросла одна-одинехонька на чужой полянѣ, и мнѣ знакомы бури и завываніе вѣтровъ и непогоды... Впрочемъ, Богъ—сиротокъ Отецъ. Чѣмъ лучше была моя жизнь ихъ, чѣмъ радостнѣе было сердцу? Можетъ, еще больше испытало оно мученій, еще яснѣе видѣло бездну, до которой былъ одинъ шагъ,... но за то какая награда!... Я не отчаиваюсь, что когда-нибудь и я буду имѣть средства быть для нихъ полезной. Тѣмъ болѣе горько мнѣ, что у нихъ никого нѣтъ, кромѣ меня, а что я для нихъ?

21-е, четверг. Ужель, ужель, ангелъ мой, я увижу тебя не одною мечтой, не одною мечтой мы обнимемъ другъ друга?... Когда я прочла: «блеснулъ лучъ надежды»... о, вѣрь, Александръ, мнѣ казалось, что небо отворилось, и я увидѣла тебя тамъ въ сіяніи, и мнѣ не доставало только крыльевъ летѣть къ тебѣ! Ты сказалъ: «молиси», и рука невольно поднялась къ небу съ твоимъ письмомъ, и вся душа готова была излиться молитвой; въ эту минуту въ ней не было земного, о, нѣтъ, нѣтъ, земного не было, — тогда ты слился въ ней съ божествомъ, и я не знаю, молила ли я Его о свиданіи съ тобою, или поклонялась тебѣ...

Это письмо особенное дало мнѣ наслажденіе, въ немъ ничего не было, кромѣ тебя, кромѣ твоей любви, и мнѣ такъ несносно писать къ тебѣ о постороннемъ. И такъ, мой пилигримъ, мой милый странникъ, ни посоль Божій, ни небесное питье не утолили твой жажды видѣть твою дѣву. О, вѣрь же, и дѣва твоя не

промѣняетъ земное страданіе съ тобою на небесное одинокое блаженство. И что мнѣ небо? Душа моя давно не проситъ неба, не ищетъ его, давно не говоритъ о небѣ голубомъ; ея небо не голубое, оно болѣе ясно и болѣе свято, и это-то небо на землѣ, и въ этомъ небѣ ты ангель, и ты-то есть это самое небо!

Ни пламенное воображеніе, ни самая пылкая юная мечта не могла представить мнѣ такой безпредѣльной, необъятной любви, какъ моя любовь къ тебѣ, мой Александръ! Что будетъ со мною, когда ты пріѣдешь? Какъ сильно и теперь сердце бьется, глаза полны слезъ, но только умоляю тебя, другъ, чтобъ *илъ* не было тутъ, я не хочу ихъ: они оравятъ нашу встрѣчу. Разумѣется, мученіе не пересилитъ радости, но зачѣмъ же ранить эту радость! Пусть она будетъ совершенная, полная; пусть распадутся всѣ оковы, и пусть она будетъ вольная.

Мы скоро ѣдемъ въ деревню и пробудемъ тамъ, можетъ быть, долѣе сентября... Пріѣдешь ли ты туда? Это только 15 верстъ отъ Москвы. Да, ангель мой, ты пріѣдешь, ты не можешь быть такъ близко отъ меня и не видаться со мною. И такъ, я теперь ѣду въ Загорье на свиданіе съ тобою? Это ужасно; судьба непремѣнно хочетъ продлить нашу разлуку, но я не сомнѣваюсь, мой ангель, что придетъ то время, о которомъ ты пишешь.

24-е, воскресенье. Ангель мой, Александръ! Ты требуешь, чтобъ я написала Полинѣ. Я сама требовала отъ себя этого, но во мнѣ есть что-то, чего я не могу преодолѣть сама. Это ужасно глупо; я увѣрена, что ты разсердишься на меня за это меньше, нежели я, и простишь скорѣе, нежели я прощу себя. Не зная ея, я люблю ее за то, что ей одной открылъ ты свою душу,—стало, съ нею одной находишь полную отраду въ разлукѣ. Люблю ее за тебя, за ея душу и желала бы доказать ей это, но—со временемъ. Скажи же мнѣ, другъ мой, разсердила я тебя этимъ? Прости, ангель мой, меня, прости, мой Александръ, я не могу еще теперь вдругъ сбросить всѣ глупости, въ которыя облачили меня. Ежели Полина не любитъ, она не пойметъ моихъ чувствъ къ ней, передай ей словами, а когда ты будешь со мною, мы вмѣстѣ будемъ писать къ ней.

Теперь еще нѣсколько словъ о несчастной Медвѣдовой. Ты не можешь вообразить, какъ мнѣ больно ея положеніе. Когда теперь ей *«было бы непріятно»*, со временемъ для нея *«это будетъ убійственно»*. Я говорю это по опыту. Будучи далека отъ любви къ Е. И. какъ нельзя больше, не давая ему ни малѣйшей надежды, отказывая всегда рѣшительно его предложенія, я была съ нимъ близка, какъ съ братомъ, и не говорила о тебѣ, именно думая, что *ему бы было это непріятно*, а онъ и такъ несчастливъ, но что же теперь изъ этого? Мнѣ раздраетъ душу видъ его, и онъ же говоритъ, что онъ обмануть, что я убила его, а все въ томъ, что я не сказала ему о тебѣ раньше, хотя онъ же самъ говорить, что зналъ это очень давно. Тѣмъ не менѣе, больно мнѣ, что невинна въ его несчастіи и принесла ему столько страданія. Спаси ее, другъ мой, и такъ довольно несчастій, довольно мрачнаго окружаетъ любовь нашу. Теперь ни ласки мои, ничто не можетъ утѣшить, развеселить, по крайней мѣрѣ, Е. Иван., и я не знаю, что мнѣ дѣлать. Мнѣ самой видъ его несносенъ, не могу видѣть его страданій и не могу помочь. Но ужъ будетъ о печальномъ, довольно! Теперь, дай расцѣловать тебя, мой ангель, дай обнять тебя, другъ, мое сокровище, забудемъ все мрачное; я боготворю тебя, ангель, развеселись. Прощай. Иду къ себѣ маменьку. Я не выхожу изъ своей комнаты: немножко простудилась,—это такъ, ничего.

21 мая [Вятка].

Милый другъ мой, Наташа, твои письма отъ 28 апрѣля, наконецъ, я получила. Ты, кажется, желаешь, чтобъ я писалъ къ княгинѣ, и по нынѣшней почтѣ пошлю ей просвору и преглуное письмо.

О какой второй разлукѣ ты говоришь безпрерывно? Нѣтъ, нѣтъ, мы не должны, мы не можемъ быть еще разъ разлучены на долго! Нѣтъ, я усталъ, изнемогъ отъ того, что нѣтъ со мною моего ангела хранителя... Сегодня ночью я видѣлъ тебя такъ живо, такъ хорошо. Это было у насъ, мы сидѣли вдвоемъ; право, въ тебѣ было что-то болѣе земного—просвѣтленное, небесное, и ты улыбалась мнѣ; я взялъ твои обѣ руки и устами прильнулъ къ твоимъ устамъ: поцѣлуй долгій, долгій,—ну, вообрази сама, описать этого нельзя. Только сонъ все еще живо предо мною. Гордая мысль вдругъ овладѣла сегодня мною, когда я перечитывалъ письмо твое. Мнѣ казалось, что я достоинъ исполнѣ этой высокою, святой любви, съ которою ты навсегда безусловно отдалась мнѣ, ибо я чувствовалъ въ себѣ силу сдѣлать тебя счастливою, чувствовалъ, что моя пламенная, восторженная душа одна можетъ тебѣ открыть всю сладость жизни и полной симпатіи, думалъ потому, что рядомъ ставилъ съ тобою свою душу,—и ужаснулся своей гордости. Ты и я—какая необъятная разниця! Небо и земля, чистый огонь жертвенника Господня и раздрающій огонь пожара! Наташа, я молюсь на тебя, никогда, клянусь тебѣ, никогда я не могъ бы возвыситься до твоей высоты. Никогда. Я могу быть тверже, сильнѣе тебя, но выше—никогда!

Твоя душа—душа ангела, она не испытала ничего. Благословляю твое странное воспитаніе. Ты развилась сама: чѣмъ менѣе опыта, тѣмъ чище осталась душа, тѣмъ менѣе въ ней земли. А я—въ 24 года испытавшій все злое и доброе. Моя голая душа вся въ рубцахъ; горькій опытъ положилъ въ мою душу основу жгучей ироніи. Я состарѣлся жизнью, я даже запятналъ свою совѣсть, и ждали бы въ самую критическую эпоху моей жизни—9 апрѣля 1835 г. не слетѣла съ неба откровеніемъ, такъ сказать, любовь, я погибъ бы въ нравственномъ отношеніи. Конечно, я не остался бы, сложа руки, этому залогъ—жажда славы, но мое моральное бытіе исчезло бы, и все носило бы отпечатокъ чисто земного. Въ послѣднемъ письмѣ твоемъ лучшее доказательство. Говоря объ *нигѣ*, ты не только прощаешь имъ всѣ непріятности, которыхъ ты ежедневная жертва, но еще молилась о нихъ, это ты. Я не могу сего сдѣлать.

24-е мая. Сейчасъ возвратился я съ Великой рѣки и усталъ ужасно. Но слова два скажу съ тобою, ангелъ мой, прежде нежели лягу спать. Торжественность этого національнаго праздника удивительна. Я пріѣхалъ туда ночью часа въ два, но толпы народа уже не спали, вездѣ шумъ, крикъ. Тутъ рядъ телѣгъ дѣлаетъ настоящую крѣпость, и за нимъ тысячи мужиковъ, толпы нищихъ и уродовъ, толпы черемисъ, вотяковъ, чувашей съ ихъ странными, пестрыми костюмами, съ ихъ нарѣчіемъ. Разумѣется, я спать не легъ, а бросился въ это море людей. Часовня, гдѣ образъ, стоитъ подъ крутою горой... Но нѣтъ, не хочу въ твоемъ письмѣ писать объ этомъ, возьми паценькино письмо черезъ Егор. Иван, тамъ найдешь все это. Къ тебѣ—о любви, о любви, которую такъ полна душа моя. Я, какъ ребенокъ, обрадовался, увидѣвъ твоею рукой писанныя нѣмецкія слова. О, ангелъ мой, какъ ты кротко исполняешь мои желанія, какъ совершенно отдала ты мнѣ свою волю! Но долженъ ли я принять на себя такъ много, я—земной, вести тебя, чистую, святую? Долженъ, ибо твоя любовь очиститъ меня, ибо и я отдаюсь тебѣ совѣмъ. Много надеждъ далъ я тебѣ въ прошломъ письмѣ; уже

половина ихъ утрачена: опять разлука увеличилась. Что дѣлать, всю надежду на Бога. Можетъ, это наказаніе мнѣ за *то нѣмно*, о которомъ я не говорилъ тебѣ. Но за что же и ты страдаешь отъ разлуки? Страдай, ангель мой: страданіе твое искупитъ *нѣмно*.

Наташа! При семь письмо къ Emilie; доставь ей. Въ выписанномъ тобою мѣстѣ изъ письма С. я не вижу того пылкаго чувства, которое ты видишь въ нихъ. Его выраженія слишкомъ узорчаты. Такъ ли выражается любовь? Возьми всѣ мои записки, тамъ не найдешь натяжекъ.

[Прочти] записку къ Emilie, болѣе я не писалъ къ ней, потому что мнѣ жаль терзать ея душу

Цѣлую тебя.

А. Герценъ.

Москва, іюня 1-го.

Итакъ, я скоро увижу тебя, ангель мой, Александръ. Скоро искупятся наши страданія, какое блаженство — въ награду за нихъ! Каждый дорожный, каждый колокольчикъ заставляетъ трепетать мое сердце, и невольно слезы на глазахъ. Но мы ѣдемъ въ деревню и, стало, я не встрѣчу тебя здѣсь, и наша разлука продлится еще нѣсколькими днями, потомъ ты пріѣдешь ко мнѣ. О, какъ я счастлива, другъ мой! Сегодня мы ѣздили прощаться. Была у паленьки, я ходила съ маменькой въ саду, можетъ, въ послѣдній разъ, и дай Богъ, чтобъ это было въ послѣднее безъ тебя! Простилась съ твоимъ портретомъ, должна была отдать и тотъ, который былъ у меня. Я увѣрена, что тебя увижу прежде ихъ.

Александръ, ангель мой, тебѣ я отдала себя, одному тебѣ открыта вся душа моя, только передъ тобою изливаются мысли мои безъ покрывала; ты знаешь, долженъ знать меня болѣе, нежели я сама. О, тяжекъ, Александръ, тяжекъ предметъ, о которомъ я должна писать тебѣ, тѣмъ болѣе, что онъ тебѣ долженъ быть неприятенъ, но въ душѣ моей нѣтъ силъ сносить его молча. Не нужно увѣрять тебя, что *я не могла любить Е. И. болѣе, нежели брата*, не нужно увѣрять и въ томъ, что не старалась доказывать ему большей любви, но съ дѣтства любила его истинно, душевно, много (только не знаю отчего, всегда меньше тебя). Сначала я не замѣтила его страсти, потомъ долго не вѣрила ей, но когда увидѣла яснѣе, я испугалась и, говорю откровенно, въ душѣ родилось нѣкоторое отвращеніе къ нему. Но тогда была со мною Эмилиа, она могла успокоить меня, могла заставить меня думать, что это все вздоръ, пустяки, воображеніе; долго и послѣ не обращала я вниманія и любила его такъ довѣрчиво, такъ откровенно; иногда бы лучше согласилась пролежать мѣсяцъ больной, нежели быть съ нимъ нѣсколько минутъ, когда онъ придетъ по секрету, но не доказывала ему этого никогда. Увѣряла, что люблю его, какъ брата, и всегда отказъ на многократныя предложенія. Когда жъ узналъ онъ о любви моей къ тебѣ, тутъ, не говоря ни слова, доказывалъ, что знаетъ и какъ тяжело это для него. Положеніе мое было ужасно; его несчастье тяготило мою душу и я не находила средствъ помочь; дѣлала все, что придетъ мнѣ въ голову, и знаю, что дѣлала бездну глупостей, потому что съ нимъ я была почти безумная, не понимала, что говорю, что пишу, излишнею холодностью боялась огорчить, излишнею ласкою боялась подать надежду. Вскорѣ потомъ, послѣ ужасныхъ сценъ и слезъ, онъ вдругъ пережился. сдѣлался веселъ и спокоенъ, и я вѣрила, Александръ, и съ дѣтской безпечностью говорила съ нимъ о тебѣ, а теперь онъ сдѣлался мрачнѣе, нежели прежде, при-

существо мое ему въ тягость и, что всего ужаснѣе, считаетъ себя обманутымъ. Александръ, я дѣлала много глупостей, дѣлала много противъ себя, теперь все это какъ тяжкій сонъ, потому не могу дать яснаго отчета ни тебѣ, ни себѣ! Но ты знаешь, скажи, могла ли я съ намѣреніемъ завлекать его, забавляться его страстью, какъ игрушкой, и потомъ равнодушно бросить ее и разбить въ дребезги? Могла ли я это сдѣлать? Одна мысль обливаетъ меня холодомъ, одна мысль приводитъ въ ужасъ. Смотри прямо на меня, Александръ, суди меня строго, я въ твоей волѣ. я требую отъ тебя этого. Та, которая избрана тобою и Богомъ, должна быть чище неба, яснѣе солнца, она должна быть святая, и, любя тебя такъ безпредѣльно, я требую отъ нея этого болѣе, нежели ты можешь требовать, потому что я люблю тебя болѣе, нежели ты можешь любить себя. Я не вижу, чтобъ это обстоятельство оставило на душѣ моей малѣйшее пятнышко, пылинку; я бы не могла скрыть отъ тебя ихъ, но, можетъ, они скрыты отъ самой меня; смотри ты, Александръ, въ мою душу...

Нѣтъ, полно! Тяжко! Ангель мой! Я любила всю жизнь одного тебя, всю жизнь болѣе всѣхъ на свѣтѣ; пусть знаетъ это весь свѣтъ, чиста душа моя, чиста, какъ небо, свята, какъ твоя любовь. Все, что сдѣлано дурно, сдѣлано потому, что я все слишкомъ принимала къ сердцу, слишкомъ много желала сдѣлать лучше.

Но мнѣ грустно, страхъ какъ грустно, что сколько неприятнаго тебѣ черезъ меня есть и еще можетъ быть. Я все снесу, все вытерплю, лишь бы принять на себя всѣ твои горести и страданія. Съ самаго начала и до сихъ поръ любовь наша окружена самыми мрачными горестями. Боже! пронесутся ли когда эти тучи? Ты говорилъ, что ракета опасна голубю; не опаснѣе ли голубь для ракеты? Но уже существованія ихъ слиты въ одно: имъ одна гибель, одно блаженство!

5-е, пятница. Какъ безумно я писала тебѣ, ангель мой! Это оттого, что, глядя на его страданія, я вообразила, не виновна ли я въ нихъ? Но нѣтъ, нѣтъ, я чувствую, что душа моя чиста, иначе она не была бы такъ ясна и покойна. Все, что я дѣлала и могу дѣлать — молиться за погибающаго друга. Твое письмо отъ 21 мая получила. Слишкомъ, слишкомъ много, спаситель мой, придаешь ты мнѣ. Провидѣніе неслось обо мнѣ, когда всѣ меня покинули. Оно замѣнило мнѣ отца и мать. Оно было моею няней, моимъ учителемъ — и для кого все это?... Для кого удалило оно всѣхъ и само возростило меня, какъ не для тебя, и что бы была я безъ тебя?

Никто изъ людей, никто не участвовалъ въ моемъ воспитаніи: Богъ хотѣлъ самъ приготовить меня быть твоею помощницей, и ты единственный, который можешь составить мое блаженство на землѣ и приготовить къ небесному: одному тебѣ могла я отдаться такъ вполне, — скажу откровенно, мой другъ, хотя я видѣла въ себѣ бездну недостатковъ, но чувствовала [нѣсколько словъ вырвано]... и сколько ни было встрѣчъ, никогда [никого] не находила достойнымъ, чтобъ отдать себя [нѣсколько словъ вырвано]... ты... я долго не вѣрила, что любима тобою [нѣсколько словъ вырвано]. Ужасно спѣшу. Завтра ѣдемъ въ деревню. Сейчас придетъ маменька проститься. Теперь рано, утро, всѣ спятъ. Я иду въ садъ. Грустно разставаться съ Москвою; къ счастью, берутъ фортепiano. Не на долго я наравовалась, безцѣнный другъ мой, еще разлука, разлука! Господи, пошли твердость и терпѣніе! Прощай, мой ангель, милый мой Александръ. Прости, прости же и ты; я буду чувствовать, когда тебѣ грустно. Да,

дивный сон! Сбудется ли это когда-нибудь на-яву? Всею душой обнимаю и цѣлую тебя.

Твоя *Наташа*.

Къ Эмилиі отошлю.

Загорье, іюня 8-го.

Теперь три часа пополудни. Я одна-одинѣшенька наверху въ огромной комнатѣ, гдѣ одинъ развалившійся диванъ и ветхій столъ, но мнѣ такъ хорошо, такъ свободно, не промѣняла бы ея на дворецъ.

Москва почти пуста для меня, потому, когда я собиралась, грустное чувство тяготило душу; что-то слишкомъ одиноко, слишкомъ сиротливо. Но передъ тѣмъ, какъ ѣхать, пришла ко мнѣ маменька проститься, и я утѣшилась. Прощаясь, она перекрестила меня и будто тѣмъ подтвердила еще, что мы, дѣти ея, соединены навѣки. Тутъ новое наслажденіе узнала душа: такъ долго я была всеѣмъ чужая, такъ долго... и вдругъ родное благословеніе!

Третій день не нарадуюсь свободой, не налюбуюсь всею прелестью и красотой природы. Теперь мнѣ, кажется, хорошо здѣсь, я не жалѣю, что оставила Москву. Со мною нѣтъ никого: природа—моя подруга, ей повѣряю я любовь мою, святую тайну души, съ ней непрерывно говорю о чудесахъ Божіихъ, которыя совершились надо мной, о моемъ спасителѣ, о моемъ Александрѣ... О, пусть бы прилетѣлъ невидимкой подслушать эту тайную, священную бесѣду души съ природой, подслушать языкъ, которымъ онѣ передаютъ другъ другу блаженство и любовь, подслушать гимны ихъ, ихъ молитву, тогда-бъ увидѣлъ ты, *что* ты мнѣ и какъ я люблю тебя, ангелъ мой! Тогда бы открылось передъ тобою все безграничное море любви моеѣ, о которой ничто обыкновенное не можетъ дать понятія.

Что-то мнѣ не вѣрится, Александръ, чтобы мы еще долго не увидѣлись съ тобою: слишкомъ мучительна душѣ разлука, желаніе быть съ тобою такъ огромно, ему тѣсно въ моей груди; кажется, оно разлилось вокругъ меня на далекое пространство,—и все, самый воздухъ дышетъ грустью и тоскою, все зоветъ тебя, все ищетъ тебя. все трепетно ждетъ минуты свиданія. Быть съ тобою розно такъ долго,—выше всякаго страданія на свѣтѣ; но когда-бъ этимъ искупилось то пятно, о которомъ ты говоришь,—я охотно иду еще на большія мученія; пусть малѣйшій поступокъ твой, малѣйшая ошибка очищаются моими страданіями; все радостно снесу я для тебя, ангелъ мой; всему награда—твоя любовь!

Вообрази, я забыла писать и долго, долго говорила съ тобою, времени много прошло, пора разставаться. Балконъ открытъ и какой ароматическій воздухъ, какая нѣга! Когда же ты услышишь, когда я скажу тебѣ: ангелъ мой, посмотри, какъ хорошо? Прости!

Среда, 10-е. Твое письмо и просвиру к[нягиня] получила еще въ Москвѣ и чрезвычайно была довольна. Ну, теперь, мнѣ кажется, вы немножко помирились. Впрочемъ, она замѣтила, что «что ты, плутига, знаешь, съ чѣмъ къ кому подѣхать». Но это почти необходимо было: она очень сердилась на тебя, а впередъ это могло бы послужить большимъ препятствіемъ намъ видѣться. Несвоя унижаться до того, чтобы обманывать и притворяться, я знаю, какъ это несносно, я потому болѣе цѣню твою жертву; это—истинно жертва, ибо, хотя въ необходимости, но ничто такъ не трудно, не неприятно, какъ говорить то, чего не думаешь,—дѣлать то, чего не желаешь.

Для меня это стало еще болѣе невозможнымъ съ тѣхъ поръ, какъ ты писалъ мнѣ изъ Крутиць, что собесѣдники мои имѣютъ на меня вліяніе и научили меня притворяться.

Зачѣмъ ты придаешь мнѣ столько, Александръ? Не воображай болѣе, нежели есть, и, можетъ, ты увидишь, что это еще слишкомъ мало, слишкомъ бѣдно... Что же высокаго, что дивнаго тутъ, что я *имъ* прощаю, что молюсь о нихъ? И что же бы я была, если-бъ я не дѣлала этого? Онѣ жалкія, несчастныя, онѣ требуютъ вниманія и любви болѣе, нежели кто-нибудь другой, притомъ же, онѣ мнѣ не сдѣлали никакого зла; прежде, еще давно, мнѣ казалось много неприятнымъ; а теперь... Богъ съ ними, я ничего не замѣчаю и рѣшительно прощаю имъ все, и можетъ ли душа моя страдать отъ этихъ маленькихъ толчковъ? Онѣ отняли у меня многое, но ты, развѣ ты не далъ мнѣ болѣе, нежели отняли? Благословляю ихъ за все претерпѣнное мною, все это вело меня къ краю, къ небу, къ тебѣ. Правда, я бы могла погибнуть здѣсь и съ моею душой, могла-бъ умереть, но онѣ послали любовь, послали тебя, мой спаситель!..

Другъ мой, милый мой Александръ, какое богатство, какое сокровище привезла я сюда съ собою! И какъ далека я была всего этого прошлаго года! Помню, какъ теперь, на этомъ мѣстѣ читала твое письмо, гдѣ ты говоришь: «о, какъ я благодарю Бога, что мы братъ и сестра, но нѣтъ, мы болѣе, мы ближе»... И въ самомъ дѣлѣ я чувствовала, что мы болѣе, ближе, и таила это отъ самой себя, и тонкій лучъ теперешняго блаженства свѣтилъ въ душу, но свѣтилъ мелькомъ, будто украдкой, и свѣтъ его болѣе пугалъ меня, нежели манилъ за собою, — такъ огромно, такъ высоко казалось мнѣ тогда счастье, въ которомъ я тону теперь, какъ песчинка въ море. Бывало, какъ сердилась я на Emilie за то, что она говорила мнѣ, что я люблю тебя болѣе, нежели можно любить брата; мнѣ досадно было, что она не понимаетъ меня, не понимаетъ высокой дружбы... И рѣшительно переставала говорить, когда она мнѣ скажетъ, что ей кажется даже, что и ты любишь меня болѣе, нежели сестру. Можно ли тебя понимать такъ мелко? — думала я всегда. Такъ низко поставило меня Провидѣніе въ глазахъ самой меня, чтобы во всемъ величіи дать увидѣть послѣ мое предназначеніе. чтобы заставить меня забыть себя и жить однимъ тобою. Не гони эту мысль, что ты одинъ можешь сдѣлать меня счастливою; ты правъ, да, одинъ, одинъ ты можешь быть *моимъ ангеломъ*, одному тебѣ могла я отдать свою душу, въ одномъ тебѣ могла найти жизнь свою.

[Приписка, сдѣланная карандашемъ].

Пятница, 12-е. Каждая свободная минута посвящается тебѣ, мой ангелъ. Теперь я одна, далеко, далеко отъ дома—на горѣ. Дома мнѣ душно, тѣсно, нехорошо; тамъ даже иногда я какъ будто умаляюсь, а здѣсь мнѣ нѣтъ границъ...

Здѣсь все—былинка, дубъ, земля
И небо ясное, и храмъ святой,
Любовь и жизнь—все часть меня.
Самъ Богъ—все нераздѣльно[с] со мной!

И тутъ-то еще тягостнѣе мнѣ съ тобой разлука, ибо тутъ всею силою, всею необъятною душой я люблю тебя, а ты далеко...

Знаешь ли, почему еще я люблю быть на открытомъ воздухѣ? Тогда я воображаю, что и ты не дома, а душѣ отрадно и то, что не подъ разными крышами, а подъ однимъ небомъ, дышемъ однимъ воздухомъ.

Теперь многое въ природѣ гармонируетъ съ моею душой: ясно небо, но къ

западу темная туча, и сквозь нее слабо свѣтитъ солнце, но свѣтитъ отрадно, привѣтно, съ любовью, какъ ты изъ-за 1.000 верстѣ. Кругомъ уныніе, и тишина, и пустота, но средѣ этой пустыни стоитъ церковь—мое первое, единственное утѣшеніе и приближеніе: молитва; и вѣтеръ шумить, и дождикъ накрапываетъ, и слезы на моихъ глазахъ...

Прощай! Отсюда далеко видна дорога изъ Москвы; не получая послѣдняго твоего письма, я думала встрѣчать по ней тебя.

16-е, вторникъ Какъ долго не приходитъ отъ тебя письмо, какъ и ты, мой ангелъ, долго не получаешь моихъ. Прощай, будь веселъ, здоровъ, спокоенъ. О, скоро-ль, скоро-ль я увижу тебя такимъ? Всею душой обнимаю тебя, ангелъ мой, прощай.

Твоя *Наташа*.

Къ Emilie отослала твое письмо. Чье страданіе не умалится отъ вдохновенныхъ, отъ святыхъ словъ твоихъ? Еще цѣлую.

Не пиши ничего Е. И. о томъ, что я писала тебѣ; оставь такъ, — современемъ все перемелется.

Фортепiano со мною и Rondoletto Герца со мною.

11-го іюня, Вятна.

Ангелъ мой, Наташа! Давно нѣтъ писемъ отъ тебя, и я грустевъ. Исчезла надежда [надписано 17 іюня: и возвратилась опять еще блестяще] скорого свиданія; больно, очень больно. Какъ дерево каждымъ листомъ тянется къ солнцу, протягиваетъ ему свои вѣтви, гложетъ безъ него, блѣднѣетъ, теряетъ свой зеленый цвѣтъ, цвѣтъ надежды, такъ душа моя дѣлается *хуже, мелочнее* отъ удаленія надежды на скорое возвращеніе. О, Наташа, Наташа! Неужели этотъ свирѣпый, неумолимый рокъ, который доселѣ управлялъ мною, требуетъ такихъ жертвъ для исполненія своихъ судебъ? Нѣтъ, тобою я не пожертвую ему! Можетъ ли быть чувство святѣе, чище, благословеннѣе Имъ, какъ наша любовь? Какая глупая мечта: ежели-бъ возможность была тебѣ быть въ Вяткѣ. Ну, я не знаю какъ, — вдругъ бы здѣсь открылись мощи и претолстая княгиня вздумала бы помолиться о продленіи жизни на 88 году и ты съ нею. Или... ты бы жила у насъ въ Москвѣ (разумѣется, послѣ смерти княг.) и пріѣхала бы съ маленькой сюда на мѣсяць. О, тогда я первый дамъ подписку, что и въ Вяткѣ рай!

Я рѣдко занимаюсь отъ всей души. Найдеть иногда минута, день, когда я много думаю и пишу, потомъ опять дѣйствительная жизнь и пустая. Утро всякаго дня гибнетъ или въ канцеляріи, или у губернатора (Чести много, а пользы мало, ибо представленіе не сдѣлано). Для того, чтобъ убить послѣ обѣда, также всѣ мѣры взяты. Я сдѣлался страстный охотникъ до верховой ѣзды. Часу въ шестомъ на коня и ѣду себѣ за вѣсколко верстѣ, куда глаза глядятъ. Въ верховой ѣздѣ удивительное наслажденіе: какая-то сила создается въ челоуѣкѣ, когда онъ обуздываетъ этого большого звѣря и заставляетъ его исполнять желаніе свое, даже капризъ. Когда же въ туманный, сырой день я выѣзжаю далеко за городъ, а синяя даль останавливаетъ взоръ, тогда я опускаю поводья; лошадь идетъ шагомъ, и мечты толпами вергнутся, и вдругъ глубокій вздохъ, и я, пришпоривъ лошадь, пускаюсь во весь карьеръ. Далѣе, пріѣхавъ домой усталый, я либо куда-нибудь... пить шампанское, либо спать, — и *день прожитъ*, и я съ восторгомъ вижу, что днемъ ближе свиданіе съ моею Наташей.

15-е июня. Вчера весь вечеръ перечитывалъ твои письма. Какая прекрасная поэма любви и какъ сильно развивается эта страсть, которая теперь совсѣмъ захватила всю душу твою! О, какъ счастливъ я, и не долженъ ли гордиться, что любимъ такою душой? Сначала *любовь* твоя прячется за дружбу; слово *братъ* вездѣ; потомъ ты ставишь дружбу наравнѣ съ любовью; потомъ слово дружба и братъ совсѣмъ исчезаютъ: я для тебя *твой Александръ*. Ты сама говоришь: любовь выше дружбы, ты хочешь потонуть во мнѣ, ты хочешь быть звѣздочкой (это писано было въ декабрь 1835 г.), коей свѣтъ поглощается солнцемъ. О, ангель мой, цѣлую тебя, цѣлую, цѣлую! И чтобъ я смѣлъ роптать на судьбу, я, счастливецъ?.. Послѣ этого чтенія я легъ спать,—и вотъ мой сонъ. Вижу я, что я прѣѣхалъ въ Москву. Бѣгу къ тебѣ, говорятъ, ты спишь. Вхожу въ горницу, и ты на постели спишь. Я сталъ тихо на колѣни передъ тобою и, сложивъ крестомъ руки, смотрѣлъ на небесныя черты твои. Ты проснулась, улыбка показала на твоемъ лицѣ, и ты отвернулась, думая, что видишь меня во снѣ. Тутъ я бросился въ твои объятія. Судьба, зачѣмъ это сонъ? Зачѣмъ я именно тутъ проснулся?

17-е июня. Наташа! перекрестись, ангель мой, сегодня пошло мое предствленіе въ Петербургъ, и черезъ мѣсяцъ будетъ отвѣтъ. Можетъ отказъ, но, можетъ, и свобода, и твой Александръ полетитъ, какъ стрѣла, въ объятія своего ангела, своей Наташи. Получилъ вчера два письма твои. Нѣтъ мѣры тому блаженству, которое ты льешь на меня. Каждая строка заключаетъ въ себѣ счастье. И будто я заслужилъ это? Ты пишешь, что я буду сердиться за то, что не писала къ Полинѣ. Да развѣ я требую рабской покорности? Сколько разъ я еще прежде писалъ тебѣ: будь самобытна, мы равны. Зачѣмъ же тебѣ быть рабою моею? Нѣтъ, мнѣ понравилось твое ослушаніе. Но не забывай этого существа: оно несчастно и высоко.

Не удивительны ли наши симпатіи? Ты мнѣ пишешь о моихъ прежнихъ письмахъ, а я на той сторонѣ писалъ тебѣ о твоихъ письмахъ. И даже то же самое замѣчаніе... И чтобъ мы не должны были соединиться и на вѣки? Вздоръ! Въ Загорье необходимо прѣѣду. Ахъ, ежели бы я возвратился въ августѣ и, въ день твоего ангела, прижалъ бы тебя со всѣмъ бѣшенствомъ любви къ моей груди! Ежели бы!.. Люди, люди, не мѣшайте этому огню, онъ выше васъ!

Я не забывалъ, какъ мы были въ соборѣ съ паненькой. Нѣтъ, не чужая и тогда мнѣ была ты, мы только тогда не понимали, что насъ такъ тѣсно связываетъ.

По-нѣмецки занимайся одна. Твое положеніе грустно, но переноси его; въ немъ развилась та прелестная душа въ тебѣ, предъ которой я повергаюсь на колѣни, которой я молюсь. На Алексѣя Александровича надѣяться нечего, я разлюбилъ его холодный умъ; но попробуй, скажи, чтобъ Е. П. написалъ ему. Напрасно ищешь, ангель мой, предчувствіе въ *мораляхъ* паненьки. Я улыбнулся, читая это; нѣтъ, это происходитъ отъ страсти читать морали. Статьи своей по почтѣ не пошлю. Жди оказіи или, лучше, жди меня самого со статьями. Все, что только летаетъ съ пера моего, все согрѣто любовью, вездѣ ты, какъ племя изящнаго, святого, видна.

Прощай, моя дѣва. Усталый пилигримъ придетъ же изъ обѣтованной земли на родину, изъ земли страданій Христа, съ маслиною примиренія въ рукахъ, придетъ къ своей дѣвѣ и будетъ вполне счастливъ, и благословить удѣлъ смертнаго на землѣ. Цѣлую тебя еще... и еще.

Твой Александръ.

Полина кланяется; я ей перевелъ писанное тобою.

19 іюня [Вятка].

Ангель мой! Наконецъ, ты вызвала меня на послѣднее признаніе. Тяжело мнѣ оное сдѣлать, тяжело будетъ тебѣ его читать. Ты увидишь, какъ твой Александръ далеко отъ того совершенства, которое ему придала твоя святая любовь. Слушай, Наташа, и ежели найдешь силу, не порицай меня. Ты мнѣ писала прошлый разъ: «спаси Мед.». Да, я съ декабря мѣсяца постоянно думаю объ этомъ, и съ тѣхъ поръ угрызенія совѣсти не оставляютъ меня. Я уже писалъ тебѣ, что по прїѣздѣ сюда, увлеченный чувствомъ досады, и развратничая, желая въ наслажденіяхъ грубыхъ, въ винѣ, въ картахъ найти средство забыться. Но это скоро мнѣ опостылѣло. Твоя ангельская рука исторгла меня съ края пропасти. Въ августѣ мѣсяцѣ прошлаго года прїѣхала сюда М. съ мужемъ и остановилась въ одномъ домѣ со мною (во флигелѣ). Вездѣ говорили о ней, какъ о красавицѣ, какъ о образованной дамѣ, которая не обращаетъ ни на кого вниманія. «Такъ обратитъ же на меня», — подумалъ я и отправился къ нимъ въ гости. Эта самолюбивая мечта, продиктованная самимъ адомъ, была замѣчена многими, и всѣ подстрекнули меня болѣе. Что же я нашель при ближайшемъ знакомствѣ? Юный цвѣтокъ, сорванный не для невѣсты, но для могилы. Существо, далекое отъ высокаго, идеальнаго, но на которомъ несчастія разлили какую-то поэзію. Мнѣ ее стало жаль. Близость наша вскорѣ открыла мнѣ, что она не равнодушна ко мнѣ, и я, повѣришь ли, изъ шалости, изъ стремленія ко всякой симпатіи, не только не остановилъ перваго порыва ея, но увлекъ ее. Я увидѣлъ свое торжество и вмѣстѣ съ нимъ, въ то же время, сильный голосъ совѣсти осудить меня. Когда же умеръ ея мужъ, я былъ совсѣмъ убитъ. Тутъ только я вполнѣ понялъ всю гнусность, всю низость поступка моего. Я хотѣлъ загладить его, но какъ, чѣмъ? Вотъ пятно, о которомъ я писалъ къ тебѣ. Я знаю, — и ты ужаснешься этого поступка, и твое сужденіе мнѣ дороже сужденія всего рода человѣческаго. О, Наташа, какъ далеко увлекается человѣкъ, когда онъ даетъ волю страстямъ!

Но слушай далѣе. Первая записка, въ которой я писалъ къ тебѣ о любви, когда я, перебравъ всѣ элементы бытія человѣческаго, увидѣлъ, что всѣ мои страданія происходятъ именно отъ стремленія къ тебѣ, что это чувство — любовь, и любовь самая пламенная, — эта первая записка сорвала покровъ съ глазъ моихъ. Я остановился. Я оттолкнулъ отъ себя всѣ эти чудовища съ змѣинымъ лицомъ, которымъ предавался, я воскресъ любовью къ тебѣ. Надлежало исправить главнѣйшую ошибку. Я мало-по-малу сталъ показывать равнодушіе къ ней, увѣрялъ, что ея душа не такъ глубока, чтобъ истинная любовь зацала въ нее; она забудетъ меня; но говорить о тебѣ нельзя.

Вотъ тебѣ моя исповѣдь! Она мрачна, ужасна. Вздумай мое положеніе; ты не знаешь, что такое угрызеніе совѣсти послѣ низкаго поступка. О, Наташа, будь ангеломъ благодати, прости твоему избранному, твоему Александру! Никогда полюбный поступокъ не навернется на сердце мое, клянусь тебѣ. Одно самолюбіе увлекало меня, а не любовь; могу ли я любить хотя минуту, кромѣ тебя, моя божественная? Повѣрь, не можетъ быть хуже наказанія, какъ то, что я пишу къ тебѣ, что я призываю тебѣ. О, какъ давно тяготила эта тайна и какъ тщательно скрывалъ я ее отъ тебя, но, наконецъ, слава Богу, высказалъ и съ трепетомъ буду ждать отвѣта.

Ни слова не прибавлю.

22-е июня. Итакъ, написано это признаніе, которое тяготило мою душу. Дорого стоило мнѣ его написать, еще труднѣе было умалчивать: между мною и тобою не должно быть ничего тайнаго. Будь же и ты откровенна. Скажи, насколько палъ твой Александръ въ душѣ твоей? Читая это письмо, можетъ быть, ты раскаялась, что такъ безвозвратно отдалась человѣку, который былъ способенъ на низость. О, Наташа, я все снесу, всякій упрекъ, — я его заслуживалъ! Твоя любовь не могла разомъ поднять меня. Вспомни, первое слово любви отъ тебя было въ декабрѣ, а происшествіе, о которомъ я пишу, было въ сентябрѣ. Я проснулся, увидѣлъ гнусность этого поступка. тогда какъ писать тебѣ первый разъ о любви, помнишь, какое судорожное состояніе было тогда въ моей душѣ? Я очень знаю, что *толпа* не осудитъ меня, она называетъ это шалостью, вѣтренностью весьма простиительною, но я не долженъ себя судить правилами толпы. Повторяю, что увѣренъ, что у ней пройдетъ эта страсть и въ заключеніе прибавлю, что половину преступнаго я бросаю тѣмъ людямъ, которые подстрекнули меня. Толпа! Разъ я отдался вамъ, люди нечистые, и вы воспользовались этимъ, чтобы запятнать меня. Наташа, Наташа! пожалѣй объ Александрѣ и, ежели твое сердце такъ обширно благостью, прости ему.

Твой Александръ.

Вложенная при семъ записка огорчить тебя, мой ангелъ. но что же дѣлать: я обязанъ былъ это признаніе сдѣлать предъ тобою. *Можетъ быть*, черезъ полтора мѣсяца я въ Москвѣ, — вотъ тебѣ лучшее утѣшеніе за всю грусть той записки. Полина говоритъ, что мнѣ не надобно умирать, — такъ счастливъ я. Да, обыкновенно люди одними несчастьями хвастаютъ, но я прямо говорю, что болѣе блаженства, какъ я пью полною чашей изъ твоей души, не можетъ вмѣститься въ груди человѣка.

29-е июня. Ужасная тоска! Я весь боленъ, камень лежитъ на душѣ. Чѣмъ ближе развязка, тѣмъ страшнѣе. Можетъ, прежде нежели ты будешь читать это письмо, я прочту судьбу свою. *Еще годъ ссылки или черезъ 6 недѣль я прижму тебя мой ангелъ, къ моей груди*. Какая противоположность! Боже, Боже! Я ничего не могу дѣлать; часто мнѣ кажется, что расположень писать, беру перо, беру бумагу, и воображеніе чертитъ яркую картину нашего свиданія. Беру книгу. а смыслъ ея мнѣ непонятенъ. Пѣть, пѣть, клянусь тебѣ, никогда ты не могла быть болѣе любима, ни ты, ни одна дѣва. Есть предѣлъ страстямъ человѣка. — я достигъ его.

Я писалъ тебѣ когда-то, что намѣренъ составить брошюрку подъ заглавіемъ *Встрѣчи*; теперь планъ этого сочиненія расширился. Все яркое, цвѣтистое моей юности я опишу отдѣльными статьями, повѣстями, вымышленными по формѣ, но истинными по чувству. Эти статейки вмѣстѣ я назову *Юность и мечты*. Теперь, когда все еще это живо, я и долженъ писать, и потому уже долженъ писать, что юность моя прошла, окончилась 1-я часть моей жизни. И какъ рѣзки эти отдѣлы! (Отъ 1812 до 1825 ребячество, безсознательное состояніе, зародыши человѣка; но тутъ вмѣстѣ съ моею жизнью сопрягается и пожаръ Москвы, гдѣ я валялся 6-ти мѣсяцевъ на улицахъ, и станъ Иловайскаго, гдѣ я сосалъ молоко подъ выстрѣлами. Передъ 1825 годомъ начинается вторая эпоха; важнѣйшее происшествіе ея — встрѣча съ Огаревымъ. Боже, какъ мы были тогда чисты, поэты, мечтатели! Эта эпоха юности своимъ девизомъ будетъ имѣть *дружбу*. Июль мѣсяць 1834 окончилъ учебные годы жизни и началъ *годы странствованія*. Здѣсь начало мрачное, какъ бы взамѣнъ безотчетныхъ наслажденій юно-

сти; но вскорѣ мракъ превращается въ небесный свѣтъ: 9 апрѣля откровеніемъ высказано все, и это—эпоха любви, эпоха, въ которую мы составили одинъ я, это—эпоха твоя, эпоха моей Наташи.

1-е юля. Получилъ твои письма, ангель мой; [гони] этотъ призракъ, пугающій тебя. Что за вздоръ! Виновата ли ты, что ты хороша и что въ тебя влюбился человѣкъ, не стоящій твоей души, не постигающій ее? Мнѣ жаль его, душевно жаль, но что же дѣлать? Надобно стараться, чтобъ онъ уѣхалъ изъ Москвы, вотъ и все. Полно же представлять себя виновной! Ты говоришь о участи голубя; теперь эта аллегорія уничтожена, она должна пасть послѣ высокиихъ словъ въ твоемъ послѣднемъ письмѣ: «но ужъ существованія ихъ слиты въ одно, имъ одна гибель, одно блаженство». О, ангель мой, какъ ты глубоко поняла меня и любовь! Странно, ты дѣлаешь меня судьей поступка, въ коемъ ты совершенно права, и, въ то же время, я пишу къ тебѣ о своемъ поступкѣ, въ коемъ я совершенно неправъ. Въ томъ, что ты говорила о себѣ, я читалъ собственный приговоръ свой.

Черезъ 15 дней, можетъ быть, отвѣтъ будетъ здѣсь. О, Господи, не продляй еще эту черную разлуку, дай же мнѣ отдохнуть на груди Тобою подаренной дѣвы отъ всѣхъ этихъ волнъ, бывшихъ корабль мой и грозившихъ мнѣ гибелью! Прощай, жизнь моя, моя святая, моя дѣва, прощай, цѣлую тебя.

Твой Александръ.

Загорье, іюня 22-го.

Боже мой, Александръ, какъ давно нѣтъ отъ тебя писемъ! Ангель мой, я знаю, ты не можешь забыть твою Наташу, но не имѣть столько времени извѣстія отъ тебя—ужасно! Право, бываютъ минуты, въ которыя я готова бѣжать въ Москву, въ Вятку, на край свѣта искать тебя,—тебя, который необходимъ мнѣ, какъ огонь и воздухъ, какъ молитва и благодать Божія? Но что же останавливаетъ меня? Ни робость, — чего бояться мнѣ, что могутъ мнѣ люди? Ни трудность предпріятія, — чего не снесу я? для тебя? Ничего, нѣтъ, ничего земного не останавливаетъ меня, а мысль, что Провидѣніе указало мнѣ этотъ путь, что самимъ Богомъ предназначено мнѣ только прикоснуться чаши любви, полной блаженства, и выпить всю горечь до дна чаши разлуки; страшно, страшно и въ безмѣрной любви къ тебѣ, ангель мой, располагать своею судьбой безъ воли Его! А если-бъ не эта мысль, давно бы, давно все было презрѣно и забыто, давно-бъ исчезли всѣ преграды, и если-бъ ты самъ не презрѣлъ меня за это, давно-бъ я жила, дышала твоимъ взоромъ, твоею улыбкой, рѣчью... О, другъ мой, благодари Бога, что съ этою любовью Онъ далъ мнѣ столько мужества, моли Его, чтобъ Онъ не отнималъ десницы своей. Вѣрь, если-бъ не самъ Господь велъ меня, любовь къ тебѣ поглотила бы все существо мое, тогда-бъ я забыла и Его, и тогда, конечно, погибла бы, исчезла. Онъ, милосердный, не покидаетъ меня ни въ восторгѣ, ни въ страданіяхъ; я чувствую при каждомъ потрясеніи, Александръ, что рука Его готова поддержать меня. Клянусь, если-бъ не та мысль, ничто-бъ въ свѣтѣ не остановило меня идти къ тебѣ, и не знаю, чего бы не рѣшилась предпринять, чтобы скорѣе видѣть тебя! Но да будетъ Его воля, я все вручила Ему, всего жду отъ Него.

Давно уже и во снѣ не вижу тебя, милый другъ мой, хотя часто спѣшу заснуть, чтобы хоть мечтой полюбоваться. Онъ отнял у меня маленькія, сла-

быя утѣшенія, чтобы въ Немъ одномъ искать ихъ, чтобы стремиться къ высшему, не къ земному. Но, признаюсь, для меня выше земного сны, въ которые я выдаю тебя, и нѣсколько бы дней отдала за одинъ этотъ часъ,—это было для меня величайшимъ, неизъяснимымъ утѣшевіемъ. Онъ отнялъ его, Онъ знаетъ, что душа моя способна найти высшее, и она обрѣла его, ангель мой, въ молитвѣ, въ вѣрѣ. Торжественно повторяю, я готова сносить все, что пошлетъ Онъ мнѣ въ удѣлъ. Не вполнѣ узнала я счастье, не вполнѣ узнала я блаженство, но я узнала твою любовь, и что же выше этого, чего ждать мнѣ на землѣ?... Другъ мой, я готова отдать Богу душу за твою любовь, но для тебя еще хочу жить на землѣ.

Вообрази, какъ я провожу теперь время. Бочк. уѣхала въ Москву къ сестрѣ на свадьбу; для компании мнѣ остались к[нягиня] и М. С. Погода предурная, и цѣлый-то Божій день мы втроемъ. Но не думай, другъ мой, чтобы это было мнѣ уже слишкомъ тяжело.—нѣтъ, мой ангель, съ *тылѣ поръ*; ничто мелкое, окружающее меня, не можетъ имѣть вліянія на мою душу: любовь заграждаетъ всякое стороннее впечатлѣніе, и все стирается, исчезаетъ при вспоминаніи о тебѣ. Какъ же бы я узнала себя, если-бъ Богъ не послалъ мнѣ испытанія, и чѣмъ бы доказала, что могу дѣлать съ тобою твои несчастія?

Теперь я вижу сама, что *могу много*.

Прощай, мой ангель, Господь съ тобою.

24-е, среда. Сегодня я проснулась ужасно поздно, но и тутъ открыла глаза съ улыбкой и со слезами. Видѣла тебя во снѣ, мой ангель! Все эти дни мнѣ было грустно, и какъ я ни старалась разсѣять себя, какъ душа ни прибѣгала къ молитвѣ, неизвѣстность о тебѣ, какъ камень, тяготила сердце; даже повѣришь ли, возьму читать Евангеліе, Посланія, ты непрерывно на умѣ, и не вижу и не понимаю ничего. Погапу свѣчу и стану молиться, на мысль приходитъ, гдѣ ты теперь, что дѣлаешь, что думаешь? И каково же, мой другъ, и молитва не облегчила меня, и я ложилась не съ свѣтлою, какъ всегда, душою; словомъ, эти дни я была совершенно скудельный сосудъ. И Ему стало жаль меня, и Онъ послалъ мнѣ во снѣ тебя. Вижу, я съ тобою въ огромныхъ комнатахъ наверху какого-то незнакомаго дома. тихо ходимъ, ты молчишь, а у меня душа была такъ полна, такъ полна! Долго молча мы ходили рука съ рукой, потомъ тебѣ нужно было куда-то идти, и, цѣлуя меня, ты сказала: «Наташа! ты вся любовь и какъ я люблю тебя!» Тутъ я проснулась отъ сильнаго восторга,—нѣтъ, болѣе нежели восторгъ, я никогда на яву не испытала этого чувства. И сонъ этотъ облегчилъ меня ужасно, и цѣлый день не надвигается, отчего я такъ весела. Предъ пробужденіемъ моимъ подлѣ меня стояла дѣвушка и видѣла, какъ у сонной меня изображалась на лицѣ радость и удовольствіе. Такъ, мой ангель, самая мечта твоя веселитъ меня и радуешь душу! Чего не могло сдѣлать во мнѣ чтеніе Христовой жизни, божественныхъ наставленій, чего самая молитва не могла сдѣлать, то сдѣлала мечта, оживленная тобою. Но не грѣхъ ли это? Не можетъ ли быть это противно Ему? Нѣтъ, Онъ самъ далъ мнѣ любовь, Онъ самъ послалъ мнѣ тебя, Онъ самъ отдалъ мою душу тебѣ! Бывало, когда душа моя была такъ свободна и такъ пуста, что каждую минуту готова была оставить все здѣшнее и переселиться *туда*, тогда бывало я смотрю на міръ, на эту непрерывную суету и дѣятельность людей и думаю: что можетъ заставить ихъ столько трудиться и хлопотать, къ чему все это? И что можетъ заставить ихъ жалѣть о здѣшнемъ и бояться вѣчности? А теперь, теперь, когда душа моя полна тобою, какъ вселен-

ная Божествомъ, я дивлюсь, какъ могутъ жить безъ любви, какъ, любя, не желаютъ вѣчности, гдѣ нѣтъ разлуки!

Я теперь совершенно безумная, мой ангелъ; ты такъ живо представляешься мнѣ: куда ни пойду, кажется, все къ тебѣ иду, кто назоветъ меня, кажется, ты зовешь, каждому готова сдѣлать все, каждому готова открыть мою душу и сказать: любите его, поклоняйтесь ему, молитесь на него! Не постигаю, какъ не всѣ могутъ боготворить тебя! какъ не всѣ могутъ очиститься, освятиться воспоминаніемъ о тебѣ! Я буду святая, Александръ, когда Богъ соединитъ насъ, но мы уже и теперь соединены, — когда я буду жить съ тобою, хотѣла я сказать.

Ты сейчасъ засмѣешься: мнѣ гадаютъ о тебѣ въ карты, и выходитъ тебѣ дорога и скорое свиданіе съ червонною дамой, и я *вѣрю!*... Вѣрить картамъ можно только любя.

Я воображаю (какъ ты писалъ), теперь ты сидишь на диванѣ и читаешь письмо мое, и [вырѣзано нѣсколько словъ] дрожать, и сердце бьется, и ты громко [вырѣзано нѣсколько словъ], и я услышу тебя, ангелъ мой, мой Александръ!

Сегодня папенька именинникъ, — поздравляю тебя.

25-е, четвергъ. Что говорю я тебѣ о любви моей? Такъ ли можно любить тебя, ангелъ мой, такой ли любви достоинъ ты? Но я чувствую, что не могу любить болѣе. Я смотрю, чувствую, дышу, живу любовью, но все мало; нѣтъ, нѣтъ, Александръ, еще мала душа моя, чтобъ вмѣстить еще ббльшую, высшую любовь, которой достоинъ ты. И ты такъ много во мнѣ видишь; зачѣмъ ты пишешь это, ангелъ мой; нѣтъ, право, я ничтожна передъ тобою, я половину не исполняю того, что должна. Я бы хотѣла, чтобъ *твоя* подруга была единственная, а я такъ мала, такъ еще низка! Прощай, мой ангелъ, всею душой обнимаю тебя, всею душой цѣлую тебя. Твоя, твоя *Наташа*.

Сегодня рожденіе маменьки, — поздравляю тебя.

Юня 27, Загорье. Сейчасъ пошлютъ въ Москву. Съ какимъ нетерпѣніемъ я жду, — авось привезутъ отъ тебя письмо.

Юня 28, воскресенье, Загорье.

Не даромъ все это время я была внѣ себя отъ нетерпѣнія, не даромъ мнѣ не спалось всю ночь эту, ангелъ мой, не даромъ сердце хотѣло вылетѣть на встрѣчу московскимъ: съ ними ѣхало твое письмо! Но какимъ терпѣніемъ безпрерывно я должна вооружаться! Только что пріѣдутъ, лечу на крыльцо: письма! И вотъ огромный пукъ писемъ. Надо отобрать, которыя можно читать к[нягинѣ]. Иду *туда*, меня заставляютъ читать все, что только пишется изъ Москвы, и это продолжается такъ долго, и еще потомъ надо переждать, пока все утихнетъ, всѣ успокоятся. Тутъ я прошусь въ рошу или садъ. Съ восторгомъ смотрю на письмо твое, еще запечатанное, и тутъ какое-то наслажденіе, — потомъ печать долой, — и я вовсе потону въ строкахъ, писанныхъ твоею рукою, ангелъ мой!

Какъ ты грустенъ, мой Александръ! Почти каждое твое слово звучитъ уныло, томно. Ангелъ мой, Александръ! Ну, вообрази, я стою возлѣ тебя, обнимаю тебя, цѣлую, становлюсь на колѣни, держу твои руки и смотрю прямо въ твои очи и умоляю не грустить; неужели ты не утѣшишься, неужели не улыбнешься? Полно, мой милый, не тоскуй: чтѣ разлука, когда я люблю тебя такъ! Не погружайся. другъ мой, въ горькія думы, не смотри такъ уныло; я съ тобою, ангелъ мой, неразлучно съ тобой; здѣсь одно тлѣнное, а душа моя безъ оболочки обитаетъ

подлѣ тебя, она у твоего изголовья во время сна твоего, въ шумной бесѣдѣ, на пирушкѣ, иль когда ты въ раздумѣ на конѣ, иль когда одинокій въ своемъ кабинетѣ, душа моя каждое мгновение съ тобою, всегда, вездѣ.—и ты грустишь, и ты тоскуешь?!

Больно мнѣ, что ты, Искандеръ, говоришь, что «душа твоя становится *хуже, мелочнѣе*» отъ удаленія надежды на скорое возвращеніе. Моя душа *одно* съ твоею, и она *хуже, мелочнѣе*. О, нѣтъ, нѣтъ, мой отецъ; поставимъ душу вашу выше несчастій, выше разлуки, выше насъ самихъ, вознесемъ ее до высоты Бога; каждое страданіе, каждый вздохъ—ступень лѣстницы, ведущей на небо. Построимъ же ее выше, чтобъ далѣе быть земли.

Сама придумывала я, какъ бы очутиться мнѣ въ Вяткѣ. Хочешь, я увѣрю к[нягиню], что въ сновидѣніи мнѣ вѣрно идти въ Кіевъ, и непременно получу позволеніе и, разумѣется, явлюсь къ тебѣ, буду и въ Кіевѣ! Но подождемъ, что Богъ дастъ черезъ мѣсяцъ. Ахъ, что-то Онъ дастъ?!

Не желай смерти к[нягинѣ], ангелъ мой: почему знать, можетъ еще есть большія препятствія нашему соединенію, и можетъ ли она быть препятствіемъ, ежели это угодно Богу? Я никогда ничего не желаю, кромѣ твоей любви, кромѣ счастья тебѣ,—ивному желанію нѣтъ мѣста въ моей груди. Помнишь ли, разъ ты писалъ мнѣ: «тутъ-то и ошибка, Наташа, я счастливъ никогда не буду», а мнѣ кажется, это несправедливо, ангелъ мой, *мнѣ кажется, ты когда-нибудь* будешь счастливъ. Ахъ, а я сколько счастлива сегодня, и какъ весела! Твое письмо на груди моей, ангелъ мой. Прощай!

1-е іюля, среда. И я увижу, и я обниму тебя, ангелъ мой, въ мои именины. Глубоко въ душу запада эта мысль, и день, и ночь одно на умѣ. Боже, Боже мой! услышь мое моленье... но да будетъ Твоя воля! Теперь я все воображаю, гдѣ встрѣчу тебя, какъ увижусь съ тобою и что будетъ съ тобою, и что будетъ со мною! И убійственное положеніе быть при *нихъ*; меня обливаютъ холодомъ, когда я вспомню эту принужденность, это притворство, къ которымъ нужно будетъ прибѣгать тогда, и пусть лучше ихъ знаютъ все, пусть гсненіе увеличится, лишь бы не скрывать небесное, святое чувство, лишь бы не бояться сказать всѣмъ, что ты *любишь меня*. Я знаю впередъ, недолго я буду въ состояніи таить мою любовь, да и зачѣмъ, мой ангелъ? Изъ каприза, изъ невѣжества нѣсколькихъ человѣкъ? Смѣшно и низко бояться людей до такой степени; пусть всѣ звуки, всякій голосъ умолкнутъ при божественномъ гимнѣ любви вашей, пусть мракъ и темнота разсѣются при свѣтѣ ея, пусть все мелкое, ничтожное исчезнетъ при появленіи ея—нообъятной! Одно меня смущаетъ: папенька такъ твердъ въ своихъ намѣреніяхъ... А надо мною не властенъ никто, при появленіи тебя, всякая власть исчезаетъ, и я вольная птица!

Когда ты уѣзжалъ изъ Москвы, и я знала день твоего отъѣзда и не знала еще, отпустить ли меня къ тебѣ,—надежда и сомнѣнье... почти также трепетала душа моя, какъ теперь; почти такъ же, ангелъ мой, потому что и тогда она предчувствовала важность нашего свиданія, предугадывала великую тайну Провидѣнія. Этотъ день—единственный день въ моей жизни; и *тотъ взглядъ* твой—единственный; ты ужъ никогда не будешь на меня такъ смотрѣть. Имъ промѣняли мы наши души и сердца, имъ отдали себя другъ другу, и въ немъ же взлилось Божіе благословеніе.

Получила письмо отъ Emilie (на твое еще нѣтъ отвѣта). Она, кажется, спокойнѣе, не видно того отчаянія, той боли, которой стоны выходили изъ души

ея съ каждымъ словомъ. О сколько перестрадала душа моя, глядя на нее, и какъ перенесла она, и какъ еще можетъ жить на свѣтѣ! Въ ней много вѣры: она одна могла спасти ее. Она пишетъ: «напиши твоему Александру, что я жду его. Я знаю, онъ принесетъ мнѣ новую жизнь и вынесетъ мою Наташу изъ ада». Мнѣ нигдѣ не будетъ рая въ разлукѣ съ тобою, и всеъ неприятности, всеъ глупости не стоить назвать адомъ, мнѣ жаль минуты заняться ими и обратитъ вниманіе; нѣтъ мысли лишней посвятить на этотъ вздоръ. Теперь все, все слито, соединено въ одномъ тебѣ. О, другъ мой, мой ангелъ, мой Александръ!

Когда бы сонъ твой сбылся на яву, когда бъ ты пріѣхалъ и бѣжалъ ко мнѣ! Только я не хочу спать тогда, коль ты такъ близко меня,—нѣтъ, я бы сама бѣжала далеко увидѣть тебя. Желала бы тебя увидѣть соннымъ, встрѣтить твой первый взглядъ, твое первое слово, твою улыбку и сказать тебѣ, ангелъ мой: «я увидѣла и услышала тебя прежде, нежели ты меня?» Но... ахъ, исполнится ли когда мое желаніе? Я слишкомъ многого хочу. Александръ, Александръ, что бы я ни отдала, чтобъ взглянуть на тебя, хоть на сонного! Другъ мой, ахъ, когда же ты пріѣдешь,—ахъ, скоро ли это будетъ?

2-е, четвергъ. Душа моя такъ полна, Александръ, что мнѣ необходимо хоть сколько нибудь отлить въ твою душу. Цѣлые часы я бываю въ какомъ-то дивномъ состояніи, по цѣлымъ часамъ въ забвеніи всего, что окружаетъ меня, въ забвеніи всего земного, ангелъ мой, кромѣ тебя. Нѣтъ, необыкновенная это радость, необыкновенное желаніе, — мысль, что, можетъ быть, я скоро увижу тебя, услышу твой голосъ, буду съ тобою, съ тобою!... Одна эта мысль отстраняетъ все отъ души и одна владычествуетъ въ ней и, сильная, уносить ее высоко-высоко, показываетъ небо, рай, гдѣ мы будемъ съ тобою вмѣстѣ, и небесною пѣсню, небеснымъ благоуханіемъ обливаетъ все существо мое. Сойдя на землю, я сношу на себѣ остатки музыки небесной, и будто отъ меня ужъ льется ароматъ... и долго не слышу, и не понимаю языка людей, и все такъ странно... [вырвано слово]. Это часы, въ которые душа, забывъ все рѣшительно, живетъ въ одномъ тебѣ, пьетъ одну любовь твою. Но тогда, какъ усталая, утомленная настоящимъ и его суровостью и тяжестью, она послѣдними силами ловитъ малѣйшую надежду, а злые люди отнимаютъ и ее,—тутъ, готовая упасть, подавленная грустью и тоскою, изливаетъ все страданіе передъ Богомъ, и утихаютъ муки, и чистая молитва несется къ престолу, и, кажется, самъ Богъ сходитъ въ душу утѣшить ее, и она спокойно смотритъ на даль, раздѣляющую ее съ тобою, и на тяжелыя оковы свои.

3-е, пятница. Какъ люблю я верховую ѣзду; ахъ, если-бъ я ѣдила! Когда-бъ ты былъ у насъ, мы поѣхали бы вмѣстѣ. Я воображаю, какъ пріятно на закатѣ солнца, когда все утихаетъ, и птицы не такъ весело поютъ, и люди не такъ живо суетятся, и все усталое, утомленное отъ дневныхъ заботъ ждетъ успокоенія, все становится тихо и уныло, туманъ стелется на землю, и ѣхать далеко отъ деревни по полю или по большой дорогѣ съ тобою!... И зачѣмъ ничего этого намъ нельзя, почему мы лишены съ тобою всего! Потому, что мы даны другъ другу, потому, что въ любви нашей и безъ этихъ маленькиихъ удовольствій блаженство безмѣрно. Часто вечеромъ сижу на берегу одна, и думы несутся къ тебѣ, несутся толпою, какъ жаворонки улетаютъ въ теплые края. Иногда кажется, ты теперь иль въ раздумь на конѣ, иль стрѣлою разсѣкаешь воздухъ, иль усталый, тихо ѣдешь домой, а дома нѣтъ никого: никто не летитъ тебѣ на встрѣчу, ничьи поцѣлуи не стираютъ пыли съ лица твоего, нѣтъ груди склонить голову...

Грустно тебѣ, ангель мой, грустно! Ну, воображай же за то, что я мыслями, душой лечу къ тебѣ и стираю пыль съ тебя, и не смѣю дохнуть, чтобъ не помѣшать заснуть тебѣ.

Александръ, милый мой Александръ! Что, если-бъ я лишилась тебя?... Этого не будетъ, этого никогда, никогда не можетъ быть, страшно стонеть душа отъ одной мысли. Я бы не успѣла ни сойти съ ума, ни отнять жизнь у себя: въ то-жъ мгновеніе разорвалось бы мое сердце и ни одного мгновенія я не была бы съ тобою разво.

Прощай, душа моя, ангель мой, другъ мой, цѣлую тебя, цѣлую.

Твоя *Наташа*.

Нѣтъ, вовсе *они* не такъ дурны, какъ мы о нихъ думаемъ. Я была не хороша, Александръ, потому мнѣ все казалось нехорошо, а теперь я счастлива, полна тобою, твоей любовью, слѣдственно и хороша, и они мнѣ добры и хороши.

6-е. Другой день мнѣ ужасно скучно. Мало-по-малу у меня все отнимается; ужъ я не говорю о разлукѣ съ тобою, ангель мой, она убила меня, и Богъ знаетъ, когда изглядятся слѣды ея; но въ эту самую тяжкую, самую горькую эпоху моей жизни мнѣ посылались маленькія утѣшенія, лишалась и ихъ одинъ по одному, но твои письма—это выше утѣшенія, это лекарство, мгновенно утишающее самую нестерпимую болѣзнь души, это пластырь, исцѣляющій глубокія раны, нанесенныя ей твоимъ несчастьемъ, и твоя любовь!.. Но любить тебя, быть любимою тобою и такъ далеко отъ тебя, и такую жизнь вести, и не имѣть твердой, положительной надежды!.. Я не смѣю роптать, ангель мой; твердо вѣра, твердо упованіе, и опять скажу, могу-ль жаловаться судьбою, будучи любима тобою, единственное мое счастье, жизнь моя, мой Александръ? Но я слишкомъ ничтожна, слишкомъ слаба: такъ ли должно переносить все, имѣя твою любовь? Вчера пріѣзжала къ намъ прощаться Алек. Ан. Бочк.; она ужъ не будетъ жить у насъ: ее берутъ Оболенскіе на мѣсто той сестры. Мы не были большими друзьями съ ней, но привыкли другъ къ другу, дѣлили все горькое; я любила ее: она начала понимать меня и въ ужасныхъ слезахъ провела цѣлый день; я плакала и сама. Горько что-то, милый мой, какъ все покидаетъ меня, все мѣняется, одна я неизмѣнна на своемъ мѣстѣ, одна даль съ тобою неизмѣнна... Она, уѣзжая, заставила меня оглянуться на мое положеніе, и тутъ во всей убійственной красѣ представилось оно мнѣ, и взглядъ этотъ посыпалъ землею душу мою... Пусть тебѣ извѣстно каждое состояніе души моей, ангель мой, пусть ты видишь, что я не такъ высока, не такъ небесна, какъ воображаешь ты, и пусть ты любишь Наташу — существо слабое, жалкое, а не ту мечту, которая восхищаетъ тебя. Какъ немного надо, чтобъ убить во мнѣ веселье, даже восторгъ! Всѣ эти дни я только и мечтала о свиданіи съ тобою и, казалось, это будетъ непременно, и самыя плѣнительныя мечты вѣнкомъ обвивали большое сердце, и оно въ нѣгѣ и восторгѣ будущаго забывало минувшее и настоящее горе; но вдругъ это мало-важное обстоятельство столкнуло вѣнокъ, изломало его, и всѣ мечты разсыпались; и все представляется мнѣ земною стороною,—разумѣется, не ты и не твоя любовь, —вы не имѣете ничего земного, вы всѣ—свѣтъ, всѣ—одно божественное, святое, одинъ рай, — а мое положеніе, разлука съ тобою. Эта громадная масса темнотъ и страданій кажется мнѣ еще огромнѣе, еще темнѣе, еще ужаснѣе, и такъ слаба надежда... Нѣтъ, я недостойна теперь писать къ тебѣ, ангель мой, прости меня; я не могу, не имѣю силы побѣдить своей слабости. Теперь

только и думаю, что ты не приѣдешь, и эта мысль давить меня къ землѣ и сыплет прахъ на душу... Гдѣ-жъ душа, которой поклоняется Александръ?

7-е, вторникъ. 4 часа утра. Ты, вѣрно, въ глубокомъ снѣ, мой ангелъ. Я уже давно встала и читала Посланія апостольскія и твои. Малѣйшее паденіе мое пугаетъ меня ужасно; тотчасъ придетъ въ голову: можетъ ли такъ упадать духомъ и ослабѣвать вѣрою «та, которая должна быть выше существъ простыхъ?» Я ишу всѣ средства встать, опираюсь на все, ничто не помогаетъ даже приподняться мнѣ, и все валится, рушится опять вмѣстѣ со мною, но молитва и мысль о твоей любви обновляютъ скоро душу и возносятъ ее выше, нежели она была. Теперь я совѣмъ иная, теперь ты можешь обнять меня, цѣловать меня, теперь, ангелъ мой, я твоя, твоя Наташа! Я подъ открытымъ окномъ. Дивное утро, еще все тихо, и птицы не поютъ; все спитъ кругомъ, одна я говорю съ тобою, другъ мой. Когда намъ суждено скорое свиданіе, хорошо, что я одна: пусть остальное время разлуки все посвящается тебѣ, я не хочу дѣлать даже послѣдней грусти, и она мила, священна мнѣ. Пусть все кипитъ въ моей душѣ, дивная борьба свѣтлой надежды—обнять тебя черезъ мѣсяць—съ мрачною мыслью: не видаться еще долго, долго... О, ангелъ мой, что-бъ ни было, какъ бы ни свирѣпъ былъ мой удѣлъ, твоя любовь сохранить меня и спасти. Не пробуждайся, Александръ, если видишь меня во снѣ, а я пойду гулять или опять лягу,—можетъ, и я увижу во снѣ моего ангела...

10-е, пятница. Ахъ, хоть бы я письмо отъ тебя получила, и если бы ты написалъ, ангелъ мой, что укладываешься, собираешься въ путь, въ обратный путь! Надежда видѣть тебя оживитъ меня. Пиши, пиши, мой Александръ, можетъ, недолго потерпѣть намъ, а тяжка неизвѣстность: я каждый часъ изнемогаю. Ты писалъ, что черезъ мѣсяць ждешь отвѣта, — одна недѣля ужъ осталась. О, ради Бога, напиши мнѣ тотчасъ и лети скорѣе самъ. Покинь все, ангелъ мой, и лети ко мнѣ, мой спаситель. Если же отказъ, пиши и то скорѣе. Теплаго времени ужъ не много остается, чтобъ успѣть мнѣ придти къ тебѣ до зимы; только бы взглянуть на тебя, только бы услышать твой голосъ, и я опять радостно буду переносить все. Когда судьбы Его требуютъ нашей разлуки, нашихъ страданій, да совершится воля Его, но только мнѣ нужны силы, нужна твердость, а ихъ можетъ только дать твой взглядъ, твое слово. Повидавшись съ тобой, я готова хоть на смерть. Итакъ, прощай, мой Александръ, прощай, милый мой, ангелъ ты мой, обвиняю тебя, цѣлую. Дай Господи скорѣй сказать тебѣ: здравствуй, мой неоцѣненный, дивный, прелестный Александръ. Прощай!

Твоя *Наташа*.

Не приѣдетъ ли Полина когда въ Москву? Кланяйся ей. Право, мнѣ кажется, если-бъ мы встрѣтились съ ней, то стали бы друзьями. Тебя, мой ангелъ, еще обнимаю. Господь съ тобою, будь веселъ и здоровъ. Лети-жъ ко мнѣ, лети!

9-е іюля, Вятка.

Ангелъ мой, ты давно не получала моихъ писемъ, — пишешь ты отъ 24 іюня. Точно, я не писалъ тогда долго, не желая передать грусть, которая наполняла мою душу, но съ тѣхъ поръ ты, вѣрно, получила нѣсколько записокъ отъ меня. Тебя тяготитъ наша разлука. О, Наташа, собери всѣ силы, пострадай за буду-

щее благоденствіе. Мы будемъ счастливы, клянусь тебѣ; при первой возможности ты моя совѣтъ, но, признаюсь тебѣ, и мнѣ ужъ черезъ силу эта разлука. Дружба, широка ея грудь, она помогаетъ мнѣ много, но не дружбу ищетъ душа, а любви. Странно, я была, по крайней мѣрѣ, беззаботнѣе по наружности; теперь, ожидая такъ скоро рѣшенія, я перемѣнилася, и самъ вижу это: я стала мраченъ, задумчивъ, разсѣянъ. Ничто меня не веселитъ, и моя иронія стала ядовитѣе, и мой смѣхъ злѣе. Нѣтъ, Наташа, не могу жить безъ тебя: эта жертва ужасна. За одинъ взглядъ, за одинъ поцѣлуй я далъ бы теперь нѣсколько лѣтъ жизни. Ты не знаешь, что такое поцѣлуй, — мой поцѣлуй будетъ первымъ на твоихъ губахъ; я горжусь этимъ. Да, ты мое созданіе, моя олицетворенная мечта, одна ты и можешь меня сдѣлать счастливаго.

Дружба! Въ ней есть что-то холодное, эгоистическое; это два круга пересѣкшіеся, какъ говоритъ Огаревъ. Но любовь — чувство, оживившее меня, приведшее меня къ религіи, отдавшее мнѣ тебя, — это два круга, изъ коихъ одинъ поглощенъ другимъ, какъ будто внутренняя часть другого. [Графическое изображеніе такихъ круговъ]. Одно средоточіе! Отчего же, видаясь съ друзьями, я только радуюсь, но при одной мысли свиданія съ тобой — трепещу? Можно ли намъ надѣяться на соединеніе вѣчное при жизни всѣхъ нашихъ? Наташа, вѣдь, страшно основывать свое счастье на смерти другихъ, страшно, какъ воронъ, заглядывать въ глаза и накликаютъ смерть. Но врядъ ли это возможно иначе. Впрочемъ, лишь бы мы были вмѣстѣ, лишь бы могли хоть разъ въ недѣлю видѣться, и тогда уже счастье неизмѣримое, — и развѣ мы тогда же не соединены? Предоставимъ остальное Провидѣнію. Не понятны иногда Его пути, но я вѣрю въ нихъ и слѣпо повинуюсь. Можетъ, все устроится легче, нежели ты думаешь — и я думаю.

15-е іюля. Впрочемъ, со стороны папеньки [вырвано слово] большихъ препятствій. Но княгиня... Я ее поздравилъ съ именинами.

Ангель мой, сегодня 15 іюля. 20 будетъ два года нашей прогулкѣ на скачкѣ. Тогда уже мы были близки другъ другу, тогда уже вся моя душа открывалась тебѣ. А послѣ... разъ видѣлись и какъ сблизились, какъ слились наши существованія!

20 іюля ждуть отвѣта изъ Петербурга. Странное число! Оно начало годовую бѣдствій, оно начнетъ, *можетъ быть*, время счастья. Но отчего же я боюсь это *можетъ быть*, отчего проклятое *можетъ быть и нѣтъ* морозомъ обливаетъ сердце? Нѣтъ, нѣтъ, довольно страданій, довольно опыта! Полина кланяется тебѣ. Она тебя любитъ отъ всей души. Желалъ бы, чтобъ вы познакомились: прекрасная душа и пренесчастная. Какъ будто нѣтъ земного счастья для души небесной? Что-то наша Еміліе? Статья моя *Мысль и откровеніе* пишется и первая часть хороша. Прощай, ангель мой, прощай, цѣлую тебя!

Твой на вѣки Александръ.

Загорье, 12 іюля, воскресенье.

Читая признаніе твое, ангель мой, я залилась слезами. Далеко оттого, чтобъ ты палъ въ душѣ моей, о, нѣтъ, нѣтъ, Александръ; клянусь тебѣ, ежели-бъ ты сдѣлалъ что слишкомъ порочное, — этого не можетъ быть никогда, — но если бы, и тогда я омывала слезами и молитвою грѣхъ твой, просила бы Бога, чтобъ Онъ

за тебя наказалъ меня, а чтобъ ты унизился въ душѣ моей, чтобъ любовь моя умалилась одною каплей?.. О, другъ мой, какая мысль, какая ужасная мысль, и чтобъ я раскаялась, отдавшись тебѣ! Больно мнѣ, если ты думалъ такъ, писавши это ко мнѣ. Мнѣ жаль тебя, Александръ, горько, что въ тебѣ не стало силъ устоять противъ того стремленія, которое вовлекло тебя въ этотъ поступокъ. Но, ей-Богу, я слишкомъ постигаю весь ужасъ тогдашняго твоего положенія, и этотъ холодъ, и эти оковы, и эти убійственные взоры на каждомъ шагу, и твою душу. Всею душой, всею любовью моею прощала тебя на каждомъ словѣ. Вѣрь же, Александръ, вѣрь, милый мой, что, читая письмо, ни одна темная мысль о тебѣ не посѣтила души моей. Не думай, чтобъ любовь моя придавала тебѣ излишнія достоинства,—вѣтъ, ты, Александръ, создалъ во мнѣ эту любовь, ты возвысилъ ее, а не она тебя. Успокойся же, ангель мой, о, не спрашивай, насколько паль ты въ душѣ моей: я не умѣю, не могу исчислить, насколько ты ставовишься выше, святѣе въ душѣ моей. Чего стоитъ твое раскаяніе? О, ей-Богу, оно выше твоей вины, а если разлука наша наказаніе, то она давно, давно искупила пятно это въ душѣ твоей, и ты прощенъ небесами. Я не скажу съ толпою, чтобъ это была шалость, вѣтренность простибельная, но ты ясно видишь, что это дурно, можетъ, даже видишь хуже, нежели оно есть, и уже этого никогда не будетъ, я отвѣчаю тебѣ за тебя; нѣтъ, зачѣмъ теперь тебѣ вынужденное *равнодушіе*, теперь ужъ найдено тобою то сердце, которое, кажется, создано изъ одной любви къ тебѣ, найдена та душа, которая не видитъ, не знаетъ ничего, кромѣ тебя и Бога. Обнимаю, обнимаю тебя, ангель мой, цѣлую тебя и кланюсь, что ты еще выше, святѣе въ душѣ моей, потому что я воображала гораздо болѣе о томъ пятнѣ, о которомъ ты почти въ каждомъ письмѣ говорилъ мнѣ. Вѣрь же и тому, что и Богъ простилъ тебя: одни мои страданія могли-бъ искупить твою вину, а твою?.. И я молю Его, о, только успокойся, ради Бога, не воображай, чтобъ ты измѣнился передо мною, чтобъ я насколько-нибудь отклонилась отъ тебя, увѣряю тебя, въ тебѣ нѣтъ ничего, что было бы внѣ объятій души моей. Теперь просьба о ней. Ежели ты не можешь прибавить ей счастья, не умножай горя ея, заставь ее разлюбить тебя незамѣтно ей самой и пуще всего при разставаніи не давай надежды: не то страданія ея будутъ тяжки и продолжительны. Кому бы я съ такою увѣренностью поручила спасеніе несчастной? Тебѣ же... Вѣришь ли, мой ангель, какъ покойна я, отдавая судьбу ея въ твои руки. Старайся же всѣми силами не принести ей собою ни малѣйшей несприятности. Ты самъ говоришь, что ужъ она довольно несчастна и безъ новыхъ ударовъ. Да поможетъ тебѣ Богъ спасти ее!

Юля 13, понедельник. Боже мой, Господи! Ты уже знаешь теперь судьбу нашу, Александръ, а я томима сомнѣніями. Можетъ быть, ты въ восторгѣ благословляешь Бога, а я и просить Его не могу теперь (потому что ужъ рѣшено). И что съ тобою, если ты получилъ роковое извѣстіе?.. Если такъ, не изнемогай, мой ангель, подъ бременемъ, которое налагаетъ на тебя Всевышній. Пройдетъ и тотъ годъ разлуки, и мы выше въ терпѣніи, выше въ покорности волѣ Его, выстрадавъ наше соединеніе, будемъ наслаждаться жизнью и любовью. Вспомни, чѣмъ сильнѣе испытаніе, тѣмъ выше награда: въ страданіяхъ, въ мученіяхъ, въ разлукѣ, во всемъ да будетъ слава Богу! Мнѣ страшно за тебя, Александръ. Александръ, ангель мой, внимли словамъ моимъ, не упадай съ твоею высокою душой, вздумай, что будетъ со мною, когда ты хотя сколько-нибудь окажешь слабость, вспомни, сколько сынъ Божій претерпѣвалъ для человѣка. Ахъ, да что мои слова? Вознесись ты только къ нему душою, и Онъ ниспошлетъ тебѣ и силу,

и твердость. Можемъ ли мы придумать и желать къ нашему счастью лучше Его? Если суждена намъ еще разлука, этотъ тяжкой годъ будетъ высочайшею ступенью той лѣстницы, которая ведетъ къ блаженству, высочайшею и послѣднею ступенью! Когда ослабѣешь ты, я изнемогу вовсе, и что же тогда? Я покойна буду, когда ты будешь покоенъ, и радостно перенесу все, если буду знать, что ты не огорчаешься. Ежели душу твою не посвятить мысль, что благодѣ Божія превышаетъ все на свѣтѣ, что то, что опредѣлено Имъ, не можетъ быть лучше устроено, то вспомни хоть твою Наташу, которая погибнетъ вовсе, увидѣвъ, насколько слабъ ты. Сердце мое переломлено, но я не изнемогаю; одно приближище — Онъ; ежеминутно возношусь духомъ *туда*, и одна неизвѣстность, въ какомъ ты теперь положеніи, тяготитъ душу мою.

Какая ужасная гроза теперь на небесахъ, какое молніе и громъ! Такъ иногда взволнуется духъ мой. Ахъ, если-бъ я могла хоть одно слово получить отъ тебя!.. Скажи, что можешь усладить хоть немного твою душу? Повелѣвай мною, ангелъ мой: я все, все предприму, о, скажи, скажи, ради Бога, требуй все отъ меня, — все, что возможно, будетъ выполнено. Ты мнѣ все представляешься теперь въ горести... и я не могу такъ живо вообразить твоей радости.

Ахъ, ну, ежели ты знаешь теперь, что черезъ мѣсяцъ ты увидишь меня!.. Не могу писать, не могу думать, ангелъ мой, обнимаю тебя... О, когда же, когда же?.. Прощай, жизнь моя, мой Александръ! О, прелестный, дивный другъ мой, повѣй, повѣй на меня хоть тѣмъ воздухомъ, которыми дышешь ты, хоть обрати взоръ твой въ ту сторону, гдѣ твой вѣрный другъ, твоя Наташа! Все небо потемнѣло, при сіяніи молніи пишу къ тебѣ, неподражаемый, цѣлую тебя, цѣлую, душа моя, Господь съ тобою.

Юля 15, среда. Нѣтъ, Александръ, если-бъ не вѣра, никогда-бъ я не перенесла тѣхъ душевныхъ волненій, которыя все это время отнимаютъ у меня даже способность думать. Это ужасъ! То вдругъ надежда обниметъ душу и дивные сны лелѣютъ ее, то вдругъ сомнѣніе, иль даже совершенное отчаяніе своими холодными, костяными руками вырываетъ душу изъ объятій надежды и давить къ своей холодной, желѣзной груди, и подъ унылые напѣвы его страшны видѣнья! Ей-Богу, я бы спокойнѣе вынесла разлуку, ежели бы знала, что ты не убитъ ею. Ангелъ мой! можешь быть, уже нѣсколько дней, какъ ты получилъ отвѣтъ, и уже нѣсколько дней, какъ ты грустишь! Ну, успокойся, ради Бога, хоть на сію минуту, читай и перечитывай письмо мое и воображай, что твоя Наташа, твоя дѣва, умоляетъ тебя на колѣняхъ не предаваться грусти. Милый мой, промчится годъ... и мы вмѣстѣ, вмѣстѣ на вѣки.

Для меня все исчезло теперь. Не слышу, не вижу ничего, не понимаю, я вся теперь — одно *ожиданіе*. Обо мнѣ не думай, божусь любовью моею, я твердо снесу отказъ, цѣлый годъ буду ждать тебя и унывать не стану, не стану и грустить; все, все перенесу, лишь бы ты, мой ангелъ, не унывалъ, не грустилъ. Я увѣрена, что ты успокоившись хоть сколько-нибудь, получа это письмо, и меня терзаетъ то, что ты еще не скоро его получишь.

Какъ несносенъ день для меня, какъ тревожна ночь! Поручаю Полинѣ утѣшать тебя; скажи ей это отъ меня.

Нѣтъ, ни слова болѣе, мой Александръ, нѣтъ мыслей у меня теперь, не знаю, что писать, не знаю, что пишу. И послушаешься ли ты меня, успокоившись ли ты хоть немного? Господи, да будетъ воля Твоя, но дай намъ силы нести. Прости! Прощай! Если ты въ скорби, приближай къ молитвѣ. О, блаженна душа, которая

въ жаждѣ прибѣгаешь къ этому источнику! Прощай, Александръ, другъ мой, цѣлую тебя.

16-е. Можетъ, ты ужъ написалъ ко мнѣ, мой ангелъ, если же нѣтъ, умоляю тебя, напиши скорѣй. Тебѣ-жъ теперь я писать не стану болѣе, подожду, авось-ли-бъ съ этою оказіей будетъ отъ тебя письмо. Только повторю мое моленье: если намъ еще разлука, ты мнѣ помоги перейти эту ступень, а я... Моя душа всегда готова, обопришь на нее, ангелъ мой. Итакъ, прощай, прощай, Александръ. Ни черезъ годъ, ни черезъ десять лѣтъ не можетъ измѣниться сердце твоей Наташи. Съ тѣхъ поръ, какъ оно чувствуетъ, — чувствуетъ одну любовь къ тебѣ; словомъ, мое сердце, моя душа — любовь. Богъ возьметъ ее на небо, и не будетъ и меня на землѣ.

Прощай же, милый мой.

Твоя Наташа.

20-е іюля.

Итакъ, два года черныхъ, мрачныхъ канули въ вѣчность съ тѣхъ поръ, какъ ты со мною была на скачкѣ; послѣдняя прогулка моя въ Москвѣ, она была грустна и мрачна, какъ разлука, долженствовавшая и нанести намъ слезы, и дать намъ болѣе другъ друга узнать. Божество мое! Ангелъ! Каждое слово, каждую минуту вспоминаю я. Когда-жъ, когда-жъ прижму я тебя къ моему сердцу? Когда отдохну отъ этой бури? Да, съ гордостью скажу я, я чувствую, что моя душа сильна, что она обширна чувствомъ и поэзіею, и всю эту душу съ ея бурными страстями дарю тебѣ, существо небесное, и этотъ даръ великъ. Вчера былъ я ночью на стеклянномъ заводѣ. Синій и алый пламень съ какимъ-то неистовствомъ вырывался изъ горна и изъ всѣхъ отверстій, свистя, сожигая, превращая въ жидкость камень. Но наверху, на небѣ свѣтила луна, ясно было ея чело и кротко смотрѣла она съ неба. Я взялъ Полину за руку, показалъ ей горня и сказалъ: «*Это я!*» Потомъ показалъ прелестную лину и сказалъ: «*Это она, моя Наташа!*» Тутъ огонь земли, тамъ свѣтъ неба. Какъ хороши они вмѣстѣ!

22-е іюля. Минуты грустныя все еще также часто налетаютъ на мою душу; судорожное ожиданіе отвѣта изъ Петербурга меня томить. И только ты, ты одна, моя божественная дѣва, могла поселить такую любовь. Передъ тобою исчезаютъ всѣ остальные страсти и потребности мои. Ежели-бъ не свиданіе съ тобою, что влекло бы меня такъ сильно, такъ непрерывно въ Москву? Родительскій домъ? Но развѣ я не зналъ, что рано или поздно долженъ буду покинуть его? Служба, путешествіе, все должно было меня на время разлучить съ нимъ. Право, мнѣ больно, что мною нанесено столько скорби родителямъ, хотя я и не виновать въ томъ, что Богъ мнѣ далъ душу выше толпы, таланты выше обыкновенныхъ людей, а въ этомъ вся моя вина. Друзья?—и они меня влекутъ сильно къ себѣ, но гдѣ они, развѣ въ Москвѣ? Огарева тамъ нѣтъ. Занятія?—здѣсь въ тиши я могу работать. Нѣтъ, все это не могло бы такъ мощно влечь меня; даже мое самолюбіе указываетъ мнѣ скорѣе на Петербургъ, нежели на Москву. Но Москва у меня не раздѣльна съ Наташей, я люблю Москву за тебя, я въ ней люблю тебя.

Любовь—высочайшее чувство; она столько выше дружбы, сколько религія выше умозрѣнія, сколько восторгъ поэта выше мысли ученаго. Религія и любовь, онѣ не берутъ часть души, имъ часть не нужна, онѣ не ищутъ скромнаго уголка въ сердцѣ, имъ надобна вся душа, онѣ не дѣлятъ ея, онѣ пересѣкаются, сливаются. И въ ихъ-то слитіи жизнь полная, человѣческая. Тутъ и высочайшая поэзія, и восторгъ артиста, и идеаль изящнаго, и идеаль святого. О, Наташа!

Тобою узналъ я это. Не думай, чтобъ я прежде любилъ такъ; нѣтъ, это былъ юношескій порывъ, это была потребность, которой я спѣшилъ удовлетворить. За ту любовь ты не сердись. Развѣ не то же сдѣлало все чловѣчество съ Богомъ? Потребность поклоняться Иеговѣ заставила ихъ сдѣлать идола; но оно вскорѣ нашло Бога истиннаго, и онъ простилъ имъ. Такъ и я: я тотчасъ увидѣлъ, что идолъ не достоинъ поклоненія, и самъ Богъ привелъ тебя въ мою темницу и сказалъ: «Люби ее, она одна будетъ любить тебя, какъ твоя пламенная душа надобно, она пойметъ тебя и оградитъ въ себѣ». Наташа, повторяю тебѣ, душа моя полна чувствъ сильныхъ, она разовѣтъ передъ тобою цѣлый міръ счастья, а ты ей возвратишь родное небо. Провидѣніе, благодарю тебя!

Что Emilie? Кланяйся ей.

Цѣлую тебя, ангелъ мой, *быть можетъ*, скоро, черезъ мѣсяцъ этотъ поцѣлуй будетъ не на письмѣ, но на твоихъ устахъ!

Твой до гроба Александръ.

29-е іюля, Загорье.

Твое письмо отъ 9 числа я получила въ Москвѣ. М. С. ѣхала туда за своими дѣлами, многого стоило, чтобъ отпустили и меня. Но, наконецъ, я въ Москвѣ и у меня маменька, Машенька Эрнъ и твое письмо! Ангелъ мой, какую боль, какое страданіе не вылечить твоя любовь? Написавъ тебѣ послѣднее письмо, во мнѣ замерло все; ожиданіе рокового извѣстія наполнило душу какимъ-то страхомъ, ужасомъ. *Еще годъ разлуки!* Часто я вздрагивала, когда заговорить кто со мною, взойдетъ въ дверь, каждую минуту сердце обливалось кровью. Теперь... Господи! теперь, мой ангелъ, пишешь ты, все рѣшено... и я не знаю; если и разлука... Онъ хочетъ, чтобъ ты страдала. Да будетъ такъ, Господи. Уже душа моя не взволнована такъ. Развѣ мнѣ еще мало? Развѣ я могу требовать болѣе?

Потому-то мнѣ такъ и страшно думать о будущемъ, что оно основано почти на смерти другяыхъ. При этой мысли затмѣвается все, я гоню ее, она отравляетъ душу. Да что же еще пужно намъ, ангелъ мой? Кажется, я писала тебѣ, — *вѣдь мы даны другъ другу*, и развѣ есть что болѣе, выше, чего намъ не достаетъ? Я, я не жду ничего; ты любишь меня, я боготворю тебя, счастлива, на веру блаженства твоей и своей любви, для меня ничего нѣтъ болѣе, жду одного, но и это не мало — *взглянуть* на тебя! Ахъ, ангелъ мой, клянусь тебѣ, что съ мыслью, что я любима тобою, съ возможностью *иногда* видѣть тебя, говорить съ тобою (нѣтъ, хотъ и не говорить; смотрѣть и говорить — все то же), поцѣловать тебя, я бы прожгла всю жизнь. Ты говоришь, Александръ, что твой поцѣлуй будетъ первый; неправда, я видѣла во снѣ, что ты поцѣловалъ, и такъ никогда никто на яву меня не цѣловалъ, даже ты, стало, это былъ первый поцѣлуй. Да что же такое, ежели мы еще нѣсколько лѣтъ проживемъ такъ, какъ, помнишь, при Emilie? Суббота или воскресенье, воскресенье или суббота — счастливые дни. Тогда я буду благословлять и плѣнь мой, и мое рабство, только Emilie ужаснется этого, а я съ восхищеніемъ жду твоихъ посѣщеній. Ахъ, не правда ли, ангелъ мой, какое блаженство, какъ мы счастливы другъ другомъ! Правда, не сносно при нихъ; но, вѣдь, только языку могутъ они запретить, а не глазамъ: развѣ не довольно и того, чтобъ смотрѣть на тебя? Ахъ, какая страшная мысль! Боже мой, желать смерти для своего счастья, — *можетъ ли тутъ быть счастье?* Я же, повѣрь, Александръ, всѣхъ ихъ люблю теперь болѣе прежняго.

Тогда ничто не смѣтало праха съ души моей, и она была такъ мелка, что останавливалась на вѣсѣхъ ничтожныхъ непріятностяхъ и болѣла при малѣйшихъ ударахъ, а теперь я вижу, что они мнѣ не сдѣлали ничего, что они дурны сами для себя и заслуживаютъ одно состраданіе. И теперь я, *сколько могу*, избавляю ихъ непріятнаго, и мнѣ самой лучше. Пусть кругомъ меня будутъ дикіе звѣри, лишь бы видать тебя хоть разъ въ недѣлю! Прости, ангель мой, цѣлую тебя.

31-е, Поздравительное твое письмо получено. Конечно, это можетъ мирить васъ нѣсколько, а чтобы совершенно переимѣнить мнѣніе кн[ягини], — это, мнѣ кажется, не легко. О Александръ, мой Александръ! Сколько жертвуешь ты для меня, какъ унижаешь себя! О, ангель мой, если-бъ я могла выразить тебѣ, сколько я счастлива, но, нѣтъ, земной языкъ недостаточенъ, да и зачѣмъ? Будто ты самъ не знаешь. Какъ много твердятъ о любви, какъ много называютъ ею, и какъ мало душъ, которыя понимаютъ ее!... Иль она божественная печать не многихъ избранныхъ?

Сколькихъ знаю я, которые говорятъ: *я люблю*, но никогда ни въ одной душѣ я не видала тѣни той любви, которую соединилъ насъ Богъ. Много читала, много слыхала о любви и нигдѣ не находила подобія тому чувству, которое мы съ тобой звали «дружбою», а потому я была увѣрена, что чувство дружбы ничто въ свѣтѣ не можетъ перевѣсить. Помнишь ли, помнишь ли ты, Александръ, ту жалкую дѣвочку, которая, молча, почти украдкой, бывало, смотрѣла на тебя, которая едва ль заслуживала твоего воспитанія? Вспомни ее, съ нея ты нечаянно сбросилъ все людское и нашелъ одну чистую, святую любовь.

Что было съ тобой, ангель мой, 20-го числа? Я не помнила себя весь день (тогда у насъ былъ Лев. Ал. и Сережа!). Каждая минута, проведенная съ тобою два года тому назадъ въ этотъ день, приходила мнѣ на умъ, каждое слово твое горѣло на сердцѣ, — и какъ все живо! Помнишь, ты сидѣлъ со мною въ каретѣ у насъ? Какъ прежде проходилъ мимо, какъ все вмѣстѣ бродили по могиламъ, потомъ какъ незамѣтно мы отдѣлились отъ толпы. Ахъ, помню, помню, тогда исчезло для меня все, тогда я видѣла и слышала только брата моего Александра и его любимую колокольню. Разставшись, долго глядѣла на тебя, долго прислушивалась къ стуку колесъ, которыя уносили отъ меня такъ далеко, такъ долго все, чѣмъ я жила, чѣмъ дышала! И все-то это прошло! Александръ, Александръ, ангель мой, какъ я люблю тебя!

1-е августа. Насталъ и августъ!...

2-е, воскресенье. Александръ, Александръ! Боже мой! дай же мнѣ силы пережить эти дни! Вчера я была у обѣдни, вчера я молилась. Никогда душу мою не волновали такъ страшно безнадежность и отчаяніе, и никогда не отдавалась я Его Провидѣнію съ такою полною увѣренностью. Вчера, какъ нарочно, пѣли этотъ дивный канонъ Богоматери. 24 дня остается... Что ты теперь? Ахъ, что съ тобой, другъ мой, или ты въ хлопотахъ и собираешься въ Москву? Ахъ, если-бъ это было такъ! Нѣтъ, не могу писать, прости, ангель мой. Придетъ ли пора сказать: здравствуй? Придетъ ли пора обнять не заочно?

3-е. Ты говоришь — дружба. Я весь свѣтъ люблю тобою, но уже для меня нѣтъ тѣхъ дней, которые я проводила въ однихъ воспоминаніяхъ о моихъ друзьяхъ; я равнодушно читаю ихъ письма, равнодушно думаю о свиданіи съ ними; нѣтъ, нѣтъ, у меня нѣтъ никого, кромѣ тебя, нѣтъ ничего, кромѣ любви. Всѣ они потонули, какъ звѣздочки, въ сіяніи солнца: я не очарована болѣе ими, я не восхищаюсь ихъ дружбой. Что они, когда есть *ты*, что ихъ дружба,

когда ты любишь меня? Но, все-таки, я ихъ люблю, они вѣчно мнѣ родные. О, много отраднѣхъ часовъ давали мнѣ друзья; я готова для нихъ сдѣлать многое, но отдать имъ себя такъ, какъ прежде... я не принадлежу себѣ болѣе. О, прелестный другъ мой, о, дивный мой Александръ! За что такъ обидѣла тебя судьба, за что такъ много она дала мнѣ?

Вчера пошли мы въ лѣсъ и нечувствительно пришли, куда же? Въ Царицыно. Оно болѣе трехъ верстѣ отъ насъ. Всѣ устали ужасно, но у всѣхъ еще доставало силы восхищаться прекраснымъ садомъ, а я бродила сиротою, не чувствительна къ усталости, нечувствительна къ красотамъ природы и трудамъ человѣка. Я такъ полна тобою, ничто, ничто меня не трогаетъ, забываю время, когда утро и послѣ обѣда. О, Александръ, пережилъ ли кто въ 80 лѣтъ болѣе, нежели я въ 18, или, лучше сказать въ 8 мѣсяцевъ?

Эмилія пишетъ мнѣ, но рѣдко и мало. Я не ценяю ей за это: я ее знаю. Къ ней же я пишу, хоть и мало, но часто. Зимой она прїѣдетъ въ Москву. Несчастливая, она лишена всего на свѣтѣ! У нея отняли все и въ цвѣтъ лѣтъ... Дивлюсь ея твердости, я бы давно лежала въ могилѣ:

Сноси́те тлѣть въ землѣ сырой,
Чѣмъ жить и быть тебѣ чужой.

И Полина несчастна? Александръ, скажи, что же сдѣлала я, чѣмъ заслужила я такое блаженство? Сколько высокихъ, чистыхъ душъ испытываютъ одно страданіе, а я, я... Но и для нихъ, можетъ, свѣтило солнце, и мое будущее закрыто. Только я знаю, что я несчастна не буду никогда. Прощай, ангелъ мой, Александръ. Долго не посылають къ тебѣ моихъ писемъ,—что дѣлать? Помочь этому нельзя, но когда-нибудь ты получишь и это, и оно принесетъ тебѣ хоть каплю радости. Другъ мой, не забывай же моей молитвы, не упадай подъ ударами. Можетъ, Провидѣніе испытуетъ твою твердость. Если-жъ позволеніе пришло, лети, лети скорѣе къ твоей Наташѣ. Цѣлую, обнимаю тебя, Господь съ тобою!

Твоя вѣчно *Наташа*.

Полинѣ жму руку. Желала бы встрѣтиться съ нею, только тогда бъ, когда прошли бы всѣ тучи.

Теперь у насъ гостить дочь священника. Я думаю, ты помнишь ее,—ее зовутъ Сашей. Тоже прекрасное созданіе, и за что люблю ее болѣе: разъ она писала мнѣ о тебѣ и, вмѣсто всего твоего имени, написала А (окруженное лучами). Не правда ли, какъ полно она выразила свое понятіе о тебѣ?

Еще прощай, еще цѣлую, еще обнимаю.

Твоя *Наташа*.

Что твой Эрнъ? Я ужасно люблю его сестру, прелестное существо!

1-е августа, Вятка.

Хочу опять сказать тебѣ, ангелъ мой, нѣсколько словъ о себѣ, о внутренней жизни моей. Можетъ, скоро явлюсь я въ твои объятія, можетъ, ты найдешь перемѣну во мнѣ, и потому вотъ полный отчетъ о себѣ. Да, во мнѣ есть перемѣны послѣ 20 іюля 1834 г., послѣ 9 апрѣля 1835 г. и, наконецъ, послѣ декабря 1835 г. Какъ мало времени, но сколько происшествій, опытовъ, испытаній, чувствъ и мыслей! Сначала, мрачное заключеніе, угрозы,—словомъ тюрьма, подняли меня, я узналъ свою силу, свою твердость, повторяю—я былъ поэтъ! И эта поэма кончилась восторгомъ самымъ чистымъ, самымъ небеснымъ—сви-

даниемъ съ тобою, твоею любовью; но испытаніе не должно было кончиться этимъ, я узналъ себя токмо на одномъ поприщѣ. Ссылка и вмѣстѣ съ нею частная воля, новый образъ жизни. Тогда я усталъ; можетъ, слишкомъ напряженное состояніе души въ заключеніи требовало этой жертвы. Твой голосъ, какъ голосъ Бога къ избранному народу, воскресилъ меня; но мнѣ нужна была опора твердая, крѣпкая. Душа вырвалась уже отъ пыли земной, но тѣло еще лежало, и, дивись Провидѣнію, въ самое это время явился Витбергъ. Наша жизнь встрѣтилась, ваши несчастія насъ сблизили, и еще болѣе симпатія души тѣсно и крѣпко связала мою жизнь съ его жизнью. Великій человекъ, великій художникъ, испытавшій верхъ славы и верхъ несчастія, видѣвшій почти исполненною свою гигантскую мечту и плакавшій на развалинахъ ея, этотъ человекъ остался твердъ и прямъ, какъ колонна каррарскаго мрамора, и такъ же бѣлъ, какъ она; напрасно бросали грязь въ нее: грязь смылась (можетъ слезою). Чувствуя возлѣ себя этого сильнаго человека, я оттолкнулъ послѣднюю слабость; къ тому же высокое чувство любви, любви не сладострастной, но небесной, утвердило на прочныхъ камняхъ мое нравственное бытіе, и я выросъ. Пустая жизнь первыхъ мѣсяцевъ здѣсь оставила токмо опытъ и раскаяніе; послѣдующая заставила меня сознаться въ новыхъ силахъ души, я приобрѣлъ болѣе положительности и въ мысляхъ, и въ дѣйствіяхъ, я научился обуздывать себя, и, съ тѣмъ вмѣстѣ, усилилась и мысль, и дѣйствіе. Вотъ тебѣ еще ключокъ моей исповѣди. Кому же, какъ не тебѣ, долженъ я рассказывать все заповѣдное моей души, тебѣ, которой я отдалъ и душу, и сердце, и жизнь?

Въ *Телескопѣ* напечатана моя статья *Гоббсманъ*, въ 10 № за 1836 годъ. Пишу тебѣ для того, что ты, вѣрно, равнодушно не взглянешь на подпись *Искандеръ*. Впрочемъ, ее напечатали небрежно, не выправивъ; не знаю даже, кто это вздумалъ.

Опять давно нѣтъ твоихъ писемъ, дѣляя три недѣли. Я знаю, что это не отъ тебя, а отъ отправления, и потому не ропщу, но, признаюсь, когда приходитъ почтовый день, когда приносятъ письма и нѣтъ отъ тебя, мнѣ становится гажело и грустно, я кусаю губы и готовъ плакать. О, мой ангелъ, моя божественная, какъ я люблю тебя!

4 августа. Черезъ три недѣли твои именины. О, какъ пламенно желалъ бы я въ этотъ день тебя видѣть! Это была моя мечта, моя шалость, это не вышло у меня изъ головы, и, кажется, почти нельзя надѣяться, можетъ потому, что ужъ слишкомъ близко, что столько блаженства нельзя себѣ представить. Отвѣта еще нѣтъ изъ Питера. Но ежели это случится?... Зачѣмъ послѣ жить? Тогда земное все совершено, тогда должно бы было умереть, ежели-бъ не было еще другого призванія, ибо хотя мысль славы теперь не такъ душитъ меня: любовь все облагородила, но совершенно съ этою мыслью я разстаться не могу. Нѣтъ, вѣтъ, Наташа, ты не можешь себѣ представить. не можешь, того моря блаженства, которое раскроетъ тебѣ моя любовь; она поглотитъ тебя. Мною, во мнѣ будетъ твоя жизнь.

5-го августа. Опять почта и опять не прислано твоихъ писемъ. Неужели я маменька не чувствуетъ, что такое для меня твои письма? Какъ это больно! Прощай, прижимаю тебя къ сердцу.

Твой и навѣки Александръ.

Я занятъ очень литературнымъ трудомъ, о которомъ скажу послѣ.

7-го августа, Загорье.

Александръ, Александръ! Дай силы мнѣ нести все блаженство, которымъ ты даришь меня безпрерывно, ангель мой! Каждое слово твое перечитываю съ новымъ наслажденіемъ, въ каждой строкѣ неисчерпаемое счастье, каждая изъ нихъ такъ полна любовью, такъ полна—и чьею же любовью? О, Александръ, и ты же придаешь мнѣ столько!.. Чтѣ вся душа моя передъ одною твоею мыслью, передъ однимъ чувствомъ твоимъ? Нѣтъ, полно же, не называй себя земнымъ огнемъ, не зови меня луною, вѣдь, ужъ я сказала: ты солнце, я звѣздочка, и мой свѣтъ угасъ при появленіи одного луча твоего; не спорь же, мой Александръ, скажи и ты: «да, Наташа, я солнце (о, какъ идетъ къ тебѣ это названіе, золотое мое солнышко!), а ты — звѣздочка, капля твоего свѣта потонула (а не исчезла) въ морѣ моего огня». Ну, пусть буду я восточною звѣздой, ей много подобныхъ, она только немного ярче другихъ.

Господи! Долго-ль же, Александръ, будетъ томить меня это *можетъ быть?* Ты все обнадеживаешь меня: писалъ, что 20-го іюля придетъ отвѣтъ, потомъ пишешь уже и отъ 23-го, а все неизвѣстность! Письмо твое я получила третьяго дня передъ тѣмъ, какъ ложиться спать. Прочтя его, долго не могла заснуть: ты безпрерывно являлся мнѣ то въ прошломъ высокою тайной, передъ которою я съ благоговѣніемъ поверглась въ прахъ, то въ будущемъ... И эти-то святые мечты убаюкали меня и навѣяли на душу дивный сонъ. Передъ разсвѣтомъ я уснула и вижу, ты пріѣхалъ и стояшь въ стеклянныхъ дверяхъ у коридора, ожидаешься, чтобъ я нечаянно встрѣпилась съ тобой. Я бросилась къ тебѣ, и весь міръ забыть, не только грозные взоры! Не ручаюсь и на яву; до нихъ ли мнѣ тогда будетъ, когда я увѣрюсь, что предо мною *ты?* Ты только смотрѣлъ на меня и улыбался, я долго цѣловала тебя, и потомъ молча мы смотрѣли другъ на друга, долго-долго... Проснувшись, я было закричала: гдѣ-жъ ты, Александръ? На что-жъ, на что-жъ просыпаться, зачѣмъ разбудила меня судьба? Пусть бы длился этотъ сонъ до твоего пріѣзда!

Вчера мы были въ Царицынѣ; съ нами ѣздилъ Воробьевъ. Я, право, чуть не заплакала, зачѣмъ не ты на его мѣстѣ? О, какъ бы незвѣсянимо протекли эти три часа, которые мы провели тамъ! Садъ хорошъ, но что-то грустенъ, мраченъ. Пустыя аллеи, покинутый дворецъ дышать тоской, и тамъ мнѣ еще грустнѣе стало. Да, я не знаю, гдѣ я найду удовольствіе безъ тебя; куда ни приду, все кажется опустѣлымъ, тоскующимъ о тебѣ. О, зачѣмъ, зачѣмъ, увѣришь меня, Александръ, что ты сдѣлаешь меня счастливой? Не довольно ли смертному только любить, чтобы быть счастливымъ? А я—я люблю, я любима! *И какъ люблю и какъ любима!*

Пусть мое будущее будетъ мрачнѣе прошедшаго, я не смѣю требовать большаго счастья на землѣ. Но твои слова: «Пострадай, Наташа, за будущее благоденствіе» пишутъ небесными красками картины будущаго, и душа засмотрится на нихъ, и уже настоящаго ей мало!

8-е. Въ послѣднемъ письмѣ твоемъ видно, что ты немного спокойнѣе, и я спокойнѣе. Ужасна, несносна разлука, но когда я знаю, что она тягостна и для тебя, мученія ея увеличиваются. Я жду тебя, ангель мой; ты преобразишь меня: тогда, тогда только, можетъ быть, я буду тѣмъ, что ты воображаешь во мнѣ. Я трепещу твоего разочарованія: знаю, во мнѣ нѣтъ сотой доли твоего идеала, развѣ одна тѣнь его, но ты, ты можешь все, ты одушевишь эту тѣнь, ты сдѣ-

лаешь ее божествомъ, ангеломъ. Съ тобою, о, я знаю, съ тобою я буду выше существъ обыкновенныхъ, одно присутствіе твое освятитъ меня, и какъ же не быть святою съ тобою? Всю жизнь я знала только Бога и тебя, всю жизнь любила только Его и тебя, въ душѣ своей я не вижу ничего, кромѣ тебя, люблю себя за одну любовь твою ко мнѣ; кажется, я вся созданіе твоей любви, но, можетъ быть, люди навѣяли на меня и своего... О, страшно, страшно, ангель мой, Александръ, пусть лучше Богъ возьметъ у меня жизнь, нежели-бъ ты увидѣлъ во мнѣ недостатокъ; а это легко можетъ быть: ты не жилъ со мною, можетъ быть, во мнѣ много и дурного... Ахъ, нѣтъ, нѣтъ, не можетъ быть: тогда бы я не любила тебя. Можетъ ли существо, понявшее тебя, любившее тебя, имѣть большіе недостатки? Нѣтъ. И потому я имѣю какое-то особенное чувство ко всѣмъ тѣмъ, которые къ тебѣ были равнодушны. Не знаяши Мед., я люблю ее всею душой, мнѣ жаль ее; ужасно жаль, и божусь тебѣ, Александръ, готова сдѣлать многое, очень многое для того, чтобы она всю жизнь свою благословляла встрѣчу съ тобою. Зачѣмъ ты говоришь мнѣ о прежней любви своей? Ангель мой, развѣ не то же было со мною? Вѣдь, и я воображала, что люблю Бирюкова; но вогъ что странно, я почти не смѣла открыть это самой себѣ, когда ты не зналъ объ этомъ, и думала, что одно твое слово,— и я перестану любить. Такъ любовь ли это? Я видѣла, что онъ не равнодушенъ ко мнѣ, и мнѣ это нравилось, и поэтому нравился и онъ мнѣ. Мнѣ же было тогда 15 лѣтъ, и первая почти встрѣча была съ нимъ. Но, стало, ты сердилъ на меня за это, когда говоришь, чтобы я на тебя не сердилась? Но полно же, ангель мой, что говорить намъ о томъ, что было прежде откровенія; теперь мы знаемъ, что мы созданы другъ для друга, что вся жизнь моя, вся душа моя—пѣнь любви къ тебѣ. О, Александръ! Когда-жъ, когда-жъ я обниму тебя, мой божественный другъ? Когда я услышу изъ устъ твоихъ о любви, когда прочту ее я въ глазахъ твоихъ?.. Ангель мой, ангель, Александръ мой, о, жизнь моя, душа моя, хогъ бы и издали взглянула на тебя, услышала бы только голосъ твой!.. О, чѣмъ, чѣмъ, Александръ, воздамъ я тебѣ? Отдала тебѣ душу, жизнь,—этого мало: я бы желала, чтобы не было подобной той, которую ты любишь.

Прости, обнимаю тебя, цѣлую, цѣлую.

10-е. 16 дней остается до назначеннаго тобою дня. Я ужасно недовольна собою. Ежедневно мнѣ пеняютъ, что я не весела, задумчива, а переимѣняюсь нѣтъ силъ. Тяжко принять веселый видъ. Мысль, что, можетъ быть, еще годъ розно съ тобою, гонитъ и самую улыбку. Видъ мой сталъ суровѣе, мрачнѣе, а это означаетъ недостатокъ твердости, слабость характера. Но что-жъ мнѣ дѣлать, ангель мой? Я умѣю владѣть собою, умѣю скрывать и переносить многое, но гдѣ ты, тамъ я вся, тамъ нечего удѣлить мнѣ людямъ. Но что же, впрочемъ, я готова для нихъ дѣлать и дѣлаю все, а быть веселой безъ тебя—не могу.

Александръ, ангель мой, зачѣмъ ты написалъ въ послѣднемъ твоемъ письмѣ: «твой до гроба?» Неужели за гробомъ вѣчность безъ тебя? На что-жъ говорить о небѣ, на что искать неба? Мое небо тамъ, гдѣ ты. Я не помѣняюсь съ жителями неба, не отдамъ земного странствованія на райскую жизнь. Нѣтъ, нѣтъ! Александръ мой, милый, на что же Богъ соединилъ насъ здѣсь, когда за могилой намъ вѣчная разлука? Развѣ радости небесныя могутъ замѣнить мнѣ тебя? Тобю я свята, ты мой ангель, ты мое небо, ты мой рай, моя свѣтлая жизнь; гробъ не разлучитъ насъ; мы не переживемъ другъ друга: расставшись съ тѣломъ, не двѣ души взлетятъ на небо, а одинъ ангель. Для чего же здѣсь вмѣстѣ,

когда тамъ розно? Не для того ли Богъ слилъ наши существованія въ одно, чтобы мы другъ другомъ становились добродѣтельнѣе, чище, выше, святѣе, чтобы другъ другомъ сближались съ Нимъ? Не для того ли, чтобы, будучи въ обители скорби и печали, мы находили другъ въ другѣ и небо, и рай, чтобы содѣлали себя *здѣсь* быть достойными другъ друга *тамъ*? Я твоя вѣчно, твоя и здѣсь, твоя и тамъ! Миѣ не страшна могилка, мнѣ сладко будетъ лежать и въ землѣ, по которой ты будешь ходить. Миѣ кажется, раставшись съ тѣломъ, душа моя не покинетъ землю, когда еще на ней будешь ты, тогда она будетъ твоею спутницей, и ужъ ни языкъ коварнаго, ни рука злого не коснется тебя, милый мой,—душа моя охранить тебя, умолитъ за тебя.

О, мой Александръ! Что можетъ сравниться съ тобою? Что можетъ замѣнить тебя? Если-бъ ты и не любилъ меня, я боготворю тебя; мое блаженство безгранично тѣмъ, что ты есть, что я тебя знаю, что я умѣю любить тебя. Несравненный, неподражаемый! И измѣрь же, измѣрь ты самъ весь рай души моей, когда я могу назвать тебя *моимъ Александромъ*! Будь *моимъ до гроба*, а я твоя, твоя на вѣки! Твоя, твоя! Твоею на землѣ, твоею и въ небесахъ!

12-е. Въ думахъ о тебѣ я не вижу, какъ идутъ дни, но они тяжки: еще двѣ недѣли остается...

Полинѣ жму руку. Какъ бы я желала ее видѣть! Не прїдетъ ли когда она въ Москву? Ей Богу, люблю ее всей душой, она же несчастна; можетъ быть, она нашла бы каплю утѣшенія въ моей дружбѣ. Кто же останется ей утѣшителемъ, когда ты уѣдешь? Это странно, существа, которыя близки со мною, увтены судьбою, но зато какой счастливецъ можетъ сравниться съ ними душою? Въ ней ихъ благо, и какое сокровище свѣта замѣнить его? Эмилиа пишетъ ко мнѣ. Она все гадаетъ о тебѣ, желаетъ ужасно, чтобы ты прїѣхалъ, и боится этого, будто она меня не знаетъ? Объ Н почти не говоритъ ничего. О, дай Богъ, чтобы ея страданія хоть сколько-нибудь уменьшились! Непростительно, если она бережетъ меня; я отдаю друзьямъ все свѣтлое, пусть они выльютъ всю горечь въ мою душу, пусть каждый изъ нихъ возложитъ бремя свое на плечи мои,—я все снесу за нихъ, я подѣлюсь съ ними *моимъ блаженствомъ*. Любовь не уменьшаетъ дружбы: это чувство безпредѣльно въ душѣ безпредѣльной. Правда, я уже не могу отдать имъ себя, какъ прежде, но боли ихъ такъ же больны моему сердцу. Ангель мой! ужель я не могу сказать тебѣ «до свиданія»? О, другъ мой, дай обнять тебя хоть заочно!

14 августа.

Ангель мой, божеество—Наташа! ты, вѣдь, моя твердая дѣва, и потому я боюсь объявить тебѣ, что наша разлука продолжится еще долго. Отвѣтъ прїшелъ и отрѣзалъ надежды и мечты на скорое свиданіе, и это письмо придетъ къ тебѣ 26 августа, вмѣсто меня. Будь же тверда, Наташа! Въ самой любви, въ полной, сильной любви моей найди себѣ утѣшеніе, будь самоотверженна для того, чтобы послѣ полною чашей пить блаженство. Можетъ, еще цѣлый годъ много времени, но Провидѣніе знаетъ цѣль... Слезы твои омочутъ эти строки... О, Наташа! для Александра будь тверда, не прибавляй тягости его кресту. Я буду къ тебѣ писать очень часто, очень много,—вотъ одно возможное вознаграженіе. О твоёмъ путешествіи въ Кіевъ и не думай; а, можетъ, я сыщу совѣмемъ иное средство. Оставимъ это. Береги себя, будь тверда; не счастье обыкновенное предстоитъ намъ, я впередъ тебѣ пророчилъ. Я получилъ два письма

твоихъ. О, нѣтъ, нѣтъ, ничего не прибавила тебѣ моя мечта. — нѣтъ, ты превзошла всякую мечту, и что могла бы придать небесному творенію земная фантазія? Эти письма окрѣпили снова мою душу: достаточно одной строки отъ тебя, чтобы врачевать всѣ раны моего сердца. Быть такъ любиму, какъ я, и смѣть роптать, — это было бы святотатство. Ты пишешь: «отчего же мы лишены всего? — потому, что мы даны другъ другу». Помни же эти твои слова, пусть они тебѣ служатъ такимъ утѣшеніемъ, какъ мнѣ.

«Гдѣ же та душа, которой поклоняется Александръ?» О, Боже, во всякомъ словѣ, даже въ звукахъ грусти, въ взнеможеніи, — вездѣ ярко видна эта душа. Молюсь тебѣ, ангелъ Божій, посланница неба. Но только одно: оставь мысль идти въ Вятку, это рѣшительно невозможно, я приказываю оставить ее. Ты говоришь, чтобъ я твердо принялъ отказъ; я исполнилъ это, — какъ мраморный обелискъ, окрѣпъ я, и градъ, разбиваясь объ него, не дѣлаетъ трещины; исполни же и ты свое обѣщаніе, будь и ты покойна. насколько можно. Пиши чаще, чаще! А я проведу этотъ годъ совсѣмъ иначе. Буду много заниматься, буду безпрерывно сидѣть дома и, какъ прежнихъ лѣтъ отшельники проводили время въ молитвѣ къ Богородицѣ, я буду проводить время въ молитвѣ къ тебѣ. Годъ лишенія, годъ траура души можно легко бросить злему гению за одну минуту блаженства, а оно настанетъ для насъ.

А, можетъ, все еще скоро переимѣнится, можетъ, голосъ мой тронетъ папеньку, и онъ постарается, чтобъ ты съ маменькой навѣстила меня здѣсь. Только въ этомъ случаѣ не надобно торопиться. Теперь буду хлопотать о своемъ портретѣ: онъ дѣлается мнѣ необходимымъ образомъ, передъ которымъ я буду заливать и свою любовь, и свои несчастія.

16 августа. Итакъ, твоя любовь простила мой черный, гнусный поступокъ; тѣмъ лучше, — я это прощеніе принимаю не какъ заслуженное, а какъ даръ твоей любви, какъ раскаявшійся преступникъ принимаетъ милосердіе Христа. «Спаси ее», — говоришь ты; все дѣлаю я для этого, но доселѣ большихъ успѣховъ нѣтъ. Ей надобно ѣхать, но нѣтъ средствъ. Худо, очень худо, но съ моей стороны все будетъ сдѣлано. Впрочемъ, не слишкомъ ли торопливо, ангелъ мой, ты простила меня? Всѣ подробности, которыя тебѣ неизвѣстны, всѣ противъ меня. Но ты совершенно права, что впередъ ничего подобнаго не случится.

Отъ Emilie получилъ письмо: та же искренняя, теплая дружба и та же грусть, раздражающая душу; я буду ей писать съ будущею почтой. Какъ она убита горемъ! А мы, разлученные только матеріально, — мы, слитые въ одно за 1.000 верстъ, мы сѣтуемъ! О, Боже, чего нельзя перенести за твою любовь? «Мы даны другъ другу», повторяю, будь же тверда, береги себя для твоего Александра, котораго вся жизнь, всѣ чувства, всѣ мысли въ тебѣ, Наташа.

Жду отвѣта съ нетерпѣніемъ на это письмо. Смотри же, Наташа, главное требованіе — мысль о Кіевѣ съ корнемъ вонъ: эта мысль заставила меня ужаснуться; она велика, прелестна, но несбыточна, и потому я требую въ твоемъ слѣдующемъ письмѣ полное отреченіе отъ нея. Ты отдала свою судьбу въ мои руки, — итакъ, предоставь же мнѣ пещеру о нашемъ соединеніи, я не останусь сложа руки.

Пиши же, ангелъ, пиши болѣе. Твое письмо — это роса. Оно окропляетъ святою водою, дыханьемъ неба мою земную душу.

Еще цѣлую, еще.

Александръ.

17 августа. Наташа! Люди не имѣютъ столько энергіи, чтобы противиться намъ. Я хочу писать къ папенькѣ о портретѣ твоёмъ; ежели онъ догадается причину, тѣмъ лучше. Ну, что, ежели бы ты вдругъ высказала все княгинѣ? Вѣдь, есть же, можетъ, хоть уголокъ у нея въ сердцѣ, гдѣ еще осталось человѣческое чувство! Ты можешь говорить и за меня все, что хочешь, ибо ты будешь говорить такъ, какъ я: твоя душа часть моей. Даже нельзя ли преклонить на нашу сторону гнусную Марью Степановну? Это для нея будетъ большое счастье: въ первый разъ послѣ своего звенигородскаго бракосочетанія и разоревія Звенигорода Наполеономъ она замѣшается въ дѣло святое; а употребить ее, какъ орудіе, что за бѣда? Ее убѣдить легко; объщай именовъ моимъ подарки, деньги, что хочешь, — я свято выполню. Пожалуй, буду самъ къ ней писать, самъ объщать, но, смотри, поступай осторожно и пуще — не вздумай повѣрить, что она дѣйствуетъ изъ участія, — нѣтъ, употреби ее какъ стропилы, какъ до:ку, брошенную черезъ грязь.

19 августа. Пора, душа моя, посылать на почту. Ты получишь отъ Егора Иван. посланныя мною книги — *Notre Dame de Paris*. Это тебѣ мой подарокъ. Сверхъ того, я жду случая или того, чтобы наши узнали, тогда я пришлю тебѣ кольцо, которое давно уже назначилъ.

Въ твои именины я выпью цѣлую стопу, цѣлую шайку шампанскаго! Ахъ, кабы у меня былъ твой портретъ, я бы могъ цѣловать его, я бы могъ остановить на немъ взоръ и часы цѣлые смотрѣть на него. Нѣтъ, матеріальный знакъ не излишенъ, — нѣтъ, нѣтъ, твой портретъ, ради Бога!

Знаешь ли, съ чего началась вся эта исторія съ Мед., которая, всетаки, какъ клеймо каторжнаго, пятнаетъ меня? Она прекрасно рисуетъ, и я просилъ ее для тебя нарисовать мой портретъ. Она объщалась это сдѣлать тайно отъ мужа. Я благодарилъ ее запиской, она отвѣчала на нее. Благородный человѣкъ остановилъ бы ее; мой нылкій, сумасбродный характеръ унесъ меня за всѣ предѣлы. А теперь она очень видитъ, что я не люблю ея, и должна довольствоваться дружбой, состраданіемъ. Фу, какой скаредный поступокъ съ моей стороны!

Прощай, моя Наташа, моя жизнь, цѣлую тебя, твои руки. О, Боже, когда-жъ, когда-жъ? Полина въ восторгѣ, что ты не забываешь ея. Она тебѣ кланяется отъ всей души, какъ германка.

Прощай же, наконецъ... Душно!

Твой Александръ.

23 августа, Загорье.

Итакъ, еще не до дна выпита чаша разлуки! Послѣднія капли ея еще горче. Боже, дай силы допить ихъ!

Съ какимъ трепетомъ ждала я твоего письма, мой ангелъ, надѣясь узнать въ немъ рѣшеніе; то прелестныя, яркія мечты поглощали меня, то я вдавалась въ грусть и безнадежность. Но 26 было уже такъ близко, а я не имѣла отъ тебя ни одного слова цѣлыхъ три недѣли; иногда мнѣ мечталось, что ужъ ты или въ дорогѣ, или давно въ Москвѣ и насъ разлучаютъ только 15 верстъ. Но невѣстность меня томилла, я жаждала хоть одного слова отъ тебя. Наконецъ, вчера получаю твое письмо отъ 1 числа; отдохнула, успокоилась грудь. Не видно еще конца разлуки, но ты здоровъ, ты пишешь мнѣ, — и я счастлива, довольна, а остальное вручаю Провидѣнію. Сердце мое билось небесною радостью при мысли,

что ты будешь у меня въ именины; больно было разставаться съ нею, но можно ли роптать? И теперешнее счастье обширнѣ души моей и поглощаетъ ее собою. Ты правъ, ты правъ, ангелъ мой, что я не могу представить себѣ того моря блаженства, которое раскроетъ мнѣ твоя любовь. Какъ ни высоко, какъ ни необъятно счастье, воображаемое мною, я знаю, оно ничто передъ тѣмъ, что создастъ любовью твоя. Я уже говорила тебѣ, что обыкновенная моя жизнь пересоздалась любовью къ тебѣ въ чистѣйшій гимнъ, но когда ты любишь меня, когда мы будемъ вмѣстѣ! . О, Александръ, Александръ! это счастье велико, велико, невообразимо; итакъ, можно-ль надѣяться?.. Нѣтъ, мой ангелъ, можетъ, ты не простишь мнѣ мою мысль, но напишу ее тебѣ, — она моя. Какимъ чистымъ, какимъ неизъяснимымъ восторгомъ будетъ полна душа моя при свиданіи съ тобою, я буду тогда ангелъ, и тогда-то бы мнѣ распростились съ землею! О, не правда-ль, это дивно: зачѣмъ мнѣ жить тогда, чего мнѣ ждать тогда?.. Всѣ восторги, всѣ радости души моей потемнили то люди, то грозная разлука, а тогда что затмить его? Прожить 18 лѣтъ на землѣ для того, чтобы разъ объять тебя!.. Ахъ, знаешь ли, я забыла, что ты пишешь мнѣ то же и, перечитавъ письмо твое, какъ удивилась, нашедши эту мысль. Вотъ, мой ангелъ, какъ безирерывно встрѣчаются доказательства нашей симпатіи. Да, умереть бы тогда, но жить на небѣ безъ тебя? Эта мысль зоветъ меня на землю, я не хочу неба,—я хочу хоть страдать, но быть тамъ, гдѣ ты. /

25, вторникъ. Ты пишешь о переимѣнахъ; да, Александръ, истинно эти два года лучшіе въ твоей жизни. Какъ богаты они мыслью, какъ полны чувствомъ, и сколько въ нихъ высоты и поэзіи! Они — даръ Бога. Можетъ быть, на нихъ положитъ основаніе свое твоя будущность, и будущность высокая. Тюрьма и сылка будутъ подножіемъ ея!

Писаніе мое прервано было прїездомъ Насакиныхъ и Ег. Иван. И какъ скучно я провела пылншій день. Не люблю я быть съ такими людьми; только правда, при видѣ ихъ возвышаешься какъ-то еще болѣе, еще болѣе рвешься изъ оковъ обыкновеннаго. Зато какой дивный вечеръ: я до 8 часовъ гуляла. Какъ было тихо, тепло! Я неслась душою къ тебѣ, ты былъ такъ близко, близко меня, о, мой ангелъ! И не божественны-ль тѣ часы, въ которые думаешь о тебѣ, о твоей любви и чувствуешь себя достойной ея? Прости, мой свѣтъ, завтра наговорюсь съ тобою. Я уже въ постели, велеть тушить огонь. Ангелъ, цѣлую тебя, прощай! 11 часовъ.

26, среда. Здравствуй, милый, единственный другъ! Сію минуту открыла глаза, — и тотчасъ за перо. Чѣмъ же мнѣ начать мой праздникъ, какъ не словомъ къ тебѣ, чѣмъ подарить себя болѣе, какъ не этимъ? Итакъ, уже и 26, опять бумага, опять перо передаютъ тебѣ мою душу... Когда-жъ, когда-жъ?..

Вчера я долго сидѣла надъ рѣкой одна. Благовѣстили ко всенощной. Какъ спокойна, какъ чиста была моя душа въ это время! Исчезло все суетное, житейское; я видѣла одно небо, слышала одинъ призывъ святаго храма, а душа, душа.. она была тогда вся ты, и послѣ восторга, послѣ молитвы я обратилась на себя. Что бы могло сдѣлать меня несчастною? Смерть твоя? — нѣтъ, потому что я не переживу тебя. Итакъ, что же можетъ убить меня при жизни твоей? Если ты перестанешь любить меня, — можетъ, это убьетъ меня, я тогда умру, но несчастной не назовусь. Дунулъ вѣтеръ и навѣялъ пылинку на твое лицо, дунулъ въ другой разъ, — и ея уже нѣтъ; а лицо твое все такъ же ясно, чисто, все такъ же благородно, прекрасно и величественно, а пыль *исчезла*; косну-

вишия лица твоего, она не падеть ужъ ни на что, она стала освященною. Можетъ быть, Провидѣніе такъ же и меня навѣяло на твою душу, какъ пылинку; можетъ, Его же рука сотретъ меня, и ты все такъ же чистъ, высокъ, святъ и божественъ, и буду-ль смѣть я роптать на *Него*, на *тебя*? Кто отниметь у меня то, что дано было мнѣ твоею любовью, кто отниметь тогда у меня мою любовь? Нѣтъ, клянусь тебѣ, мой ангель, я и тогда буду счастлива, ежели будешь счастливъ ты. Молиться о тебѣ, служить тебѣ, любить тебя --- развѣ это не счастье, не блаженство? Послѣ этихъ размышленій я обратилась на людей. Какъ жалки они! И они же жалѣютъ обо мнѣ! Твоей любви, кажется, не вѣрятъ никто, кромѣ меня и Саши Боборыкиной; Эмилию убила измѣна, а другіе... Кто-жъ можетъ вполне постигнуть тебя, кто можетъ обнять твою необъятную душу? Прощай, ѣду къ обѣднѣ молиться не о себѣ. Цѣлую тебя.

И со мною были переѣмны, другъ, и въ тѣ же числа, кромѣ одного. Твоя первая переѣмна 20 іюля 1834, моя 21 и 9 апрѣля и, наконецъ, генварь. Что было со мною, какъ я узнала о твоёмъ взятіи! И послѣ тѣхъ поръ я стала совсемъ не та. Въ глазахъ моихъ переѣмнилось все; сначала нѣсколько дней не осушала глазъ, потомъ острое чувство горести превратилось въ нѣмую, тяжкую боль и тоску; исчезли для меня радости, веселье, забавы. Тутъ я совершенно перестала быть ребенкомъ: полюбила уединеніе, мечты, — и всё-то овѣ посвящались тебѣ. Потомъ это 9 апрѣля!.. Но тайна души моей еще не была мнѣ открыта. Ты свѣтилъ мнѣ изъ-за облака, и я изъ тюрьмы въ щелку смотрѣла на тебя; въ январѣ жъ распалась тюрьма, загорѣлось солнце, прошли всѣ тучи: ни облачка, и съ тѣхъ поръ ты -- *мой Александръ*! Съ тѣхъ поръ земля мнѣ рай, люди—друзья мои, душа моя—яркая звѣздочка, жизнь моя— гимнь чистѣйшій, съ тѣхъ поръ я не существую, -- тобою, въ тебѣ я; съ тѣхъ поръ ты для меня *все*.

Не хороша теперешняя жизнь моя, Александръ, самая пустая жизнь, т.-е. то время, когда я съ ними, а съ ними я цѣлый день неразлучна. Встаю я теперь въ 7, а иногда въ 6 часовъ; свобода до 8, потомъ къ нимъ и до 2 часовъ. Тутъ полтора часа мнѣ свободныхъ, только и это не всегда; послѣ нихъ до 10 вечера я въ плѣну; ночь—моя, только безъ огня. Читать, играть на фортепiano запрещается, развѣ по особенному благоволенію. Всегдашній предметъ разговора или ты, или маменька, или Филареть. И такимъ образомъ утекаютъ дни, недѣли, мѣсяцы. Но жизнь внутренняя, жизнь души полна, изыщана, исполнена поэзіи и любви къ тебѣ. Цѣлые часы я погружаюсь въ молитву, будучи окружена земнымъ, обыкновеннымъ, я исчезаю въ благоговѣйномъ восторгѣ перелъ Его созданіемъ, но чаще всего, болѣе всего, ангель мой, я бесѣдую съ тобою; ты безпрерывно въ умѣ и въ сердцѣ. Чья душа полнѣе и чья жизнь глуше? Но, повторяю, я не ропщу, не смѣю, не должна роптать.

Не сердись на меня, ангель мой, что я зову себя пылинкой, Александръ. Александръ! Ты много видишь [во мнѣ], а я знаю себя, и гдѣ-жъ найти совершенно достойную тебя? О, жизнь, о, душа моя, что твоя Наташа передъ моимъ Александромъ.

Прощай, еще сегодня надо писать къ Сашѣ, къ Эмилиі.

Ты думалъ обо мнѣ весь день, я знаю, потому мнѣ сегодня не грустно было такъ, какъ тѣ дни. Прелестно начался день, прелестно и окончился. Въ 9 часу я пришла домой съ поля, гдѣ крестьяне убирали хлѣбъ и пѣли пѣсни. Много ходила я вдоль дороги, смотрѣла, какъ догорали послѣдніе лучи солнца. Ахъ

Александръ, какой рай былъ въ душѣ! Мнѣ казалось, — нѣтъ, я чувствовала, что и ты глядишь на закатъ и думаешь обо мнѣ. Я чувствовала, что и твое сердце также полно, что твоя грудь хочетъ разступиться, что ты летишь ко мнѣ душой, и я видѣла тебя, мой ангелъ, посмотрѣлась на тебя, я цѣловала воздухъ, въ которомъ носился милый призракъ.

Средину дня я провела въ хлопотахъ о невѣстѣ: дочь нашего священника — и бѣднѣйшіе люди. У насъ шьютъ приданое. Я что есть силы помогаю, работаю. Ахъ, зачѣмъ у меня вѣтъ много денегъ? А тѣ, которымъ и некуда ихъ дѣвать, и не для чего беречь, смотрятъ равнодушно на бѣдность. Боже! это нельзя вообразить, какъ убійственно положеніе пныхъ несчастныхъ, и не хотятъ вникнуть, не хотятъ обратить вниманія. Какъ я сердита въ это время, какъ я не люблю *ихъ* тогда! Вѣришь ли, тогда я отвращиваюсь отъ нихъ, мнѣ больно на нихъ смотрѣть, я готова плакать, наконецъ; они становятся для меня жалче несчастнаго, угнетеннаго судьбою. Теперь мнѣ маленькое разсѣяніе. Я играю большую роль: относятся во многомъ ко мнѣ, туалетъ невѣсты въ полномъ моемъ распоряженіи.

Прощай, мой Александръ, прощай, обнимаю тебя, пріятный сонъ! И я [ложусь]. Цѣлую тебя, прощай.

28, *пятница*. Какъ больно мнѣ, что ты такъ долго не получаешь моихъ писемъ! Я знаю по себѣ, какъ это тяжело. Какъ долго нѣтъ отъ тебя, я дѣлаюсь больна, мнѣ ничто не мило, настоящее тогда гнететъ меня, будущее страшитъ и все кажется сновидѣньемъ, исключая мрачнаго. Когда получу отъ тебя, — о какъ счастлива я въ это время! Ничто тогда мнѣ не кажется невозможнымъ, кажется, ты тогда ближе ко мнѣ, ну, словомъ, тогда я совершенно воскресаю. Папенька, поздравляя меня съ именинами, между прочимъ, пишетъ, что занята избраніемъ мнѣ жениха и уже одного имѣетъ въ виду. Е. И. говоритъ, что это долженъ быть Водо. Ты не безпокойся объ этомъ и не думай, я сама не боюсь ничего. Княгиня, кажется, довольна этимъ и тревожится, и боится. Если не ошибается Саша, то, кажется, к[нягиня] нѣсколько догадывается о тебѣ. Впрочемъ, это не навѣрное. Она слышала только, что к[нягиня] говорила М. С. о нашемъ родствѣ, а еще прежде, по пріѣздѣ моемъ изъ Москвы, к[нягиня], говоря мнѣ о маменькѣ, сказала: «мнѣ кажется, она готовитъ тебя въ дочки себѣ». Пусть ихъ, Богъ съ ними! Я рѣшительно ни о чемъ не безпокоюсь и не боюсь: ты, мой ангелъ, любишь меня, вотъ и все, а тамъ пусть хоть сожгутъ меня. Я вѣрую въ тебя, вѣрую, и этой вѣры никто на свѣтѣ не отниметъ у меня, хотя, кажется, стараются многіе. Писать всего я не могу, потому что знаю, что письма мои иногда читаются, и пишу мелко для того, что не всякій разберетъ, а ты, я вѣрена, съумѣешь прочесть, какъ бы ни было написано. Да, вотъ какъ это спасло меня. Разъ я писала къ тебѣ, и М. С. вошла неожиданно въ комнату. Что дѣлать? Письма не дать ей я не могла. Она въ очкахъ смотрѣла его и повѣрила, что это французскіе стихи.

Ахъ, скоро ли, скоро ли увижу тебя, мой Александръ, ангелъ мой? Какъ иногда бываетъ тяжело! Летѣла бы, летѣла бы къ тебѣ, хоть взглянуть! Много, много непріятнаго въ моей теперешней жизни, но все бы это было мнѣ ничего, если-бъ ты былъ близко меня; конечно, и теперь я не должна обращать ни на что вниманія, и не обращаю, но иногда не въ силахъ равнодушно все вынести. Главное — беззащитность; каждый имѣетъ право обидѣть. Вотъ какъ мала, другъ мой; мнѣ ли, мнѣ ли чувствовать обиды другихъ, когда ты любишь такъ меня, но, вѣдь, я не ангелъ!

Статью твою я читала, прочту ее и еще. Я часто перечитываю *Легенду*. Никакая повесть, никакой романъ, ничто меня не можетъ занять такъ, какъ Теодора. Съ какимъ нетерпѣніемъ я жду твои вятскія статьи. Да прїѣзжай же, мой ангелъ: я устаю, изнемогаю, ждавши тебя. Тогда начнется новая жизнь; я знаю, я буду совсѣмъ иная, тогда я сблизусь съ твоимъ идеаломъ. Отъ Emilie получила 25-го. Это былъ мнѣ прїятный подарокъ. Она думаетъ, когда они узнаютъ о любви, то не пустятъ ее на дворъ. Это пустяки, вздоръ. Все также грустно, все также любить, также упадешь; но не знаю я, несчастна ли она, когда слышала ужъ, я думаю, миллионъ разъ отъ него, что обожаема имъ, когда онъ клялся ей. Зимой она должна будетъ оставить этотъ домъ. Опять почти пѣтъ пристанища, это ужасно! Если-бъ была возможность когда-нибудь отдохнуть ей на моихъ рукахъ, отдохнуть отъ всѣхъ битвъ жизни, которыя утомили ее! Кажется, посылаютъ въ Москву, потому я спѣшу. Прощай, мой ангелъ. Если отложатъ до завтра, напишу еще слово. Прощай, цѣлую тебя.

Твоя *Наташа*.

29, суббота. Я не люблю оканчивать моихъ писемъ къ тебѣ въ грустномъ расположеніи. Вчера писала я о обидахъ. Это глупость, совершенная глупость, все вздоръ, все ничтожное, и оно не должно изливаться передъ тобою. Надо, чтобъ съ тобой говорила одна чистая, непомятая ничѣмъ земнымъ, полная любви душа или одна любовь. Ты прости мнѣ. Божусь тебѣ, рѣдки минуты, въ которыя я думаю о чемъ другомъ, кромѣ тебя, мнѣ становится тогда тяжело, и я тотчасъ сбрасываю все недостойное, и ты опять остаешься въ душѣ моей единственною мечтой, опять, какъ ангелъ Божій, льешь на меня рай и святость. Жалкіе! Не жалѣйте вы меня, жалѣйте о себѣ, — я счастлива, счастлива, и нѣтъ на свѣтѣ меня счастливѣе! О, будущее мое! вамъ оно такъ страшно (но что-жъ дивнаго, — и тутъ вамъ страшна вѣчность), вы не поймете, вы не достигнете его и тогда, когда оно совершится.

Ангелъ мой, Александръ, дивятся, что я зову тебя ангеломъ! Да, ты мой ангелъ, ты мой спаситель, ты отецъ мой, ибо ты далъ мнѣ жизнь, а до тѣхъ поръ, пока ты не обращался на меня, я была мертвая, неодушевленная. Ангелъ, ангелъ мой; прощай, обнимаю тебя. Вѣрно въ первомъ письмѣ твоемъ я узнаю рѣшеніе. О, какъ громко забилось сердце! Прощай.

Твоя, твоя вѣчно *Наташа*.

25 августа, Вятка.

(Итакъ, вотъ онъ — тотъ день, о которомъ я мечталъ цѣлые мѣсяцы! Завтра онъ придетъ холодеи, непривѣтенъ, опять въ той же дали, въ той же Вяткѣ. Конечно, всѣ дни равны, да и что не равно сердцамъ холоднымъ? Но это 26 августа для меня не равно всѣмъ днямъ: это день — ея, день той небесной гостьи, той Наташи, которая снесла рай со своей родины для того, чтобы отдать его больной человѣческой душѣ юноши, чтобы вмѣстѣ съ нимъ отдать ему и себя. Ангелъ мой, моя душа изстрадалась бы безъ тебя, самая дружба не достаточно, чтобы внести гармонию въ душу, исполненную страстями противоположными, это могла сдѣлать ты одна, и я одинъ стоилъ этого; да, да въ этой-то сломанной душѣ, пораженной такъ горько самыми близкими людьми, въ ней цѣлый міръ блаженства для тебя.

Вся моя жизнь представляет мнѣ два чувства, два стремленія. Они-то образовали меня и дали силу переносить многое. Я былъ еще ребенокъ лѣтъ 12, но какая-то неопредѣлимая, горькая мысль заставила меня бросить игрушку, ибо люди меня встрѣтили *обидой, оскорбленіемъ*; тогда уже щеки мои были блѣдны, и глаза горѣли мыслью и чувствомъ. Но куда ни прикасался я, вездѣ встрѣчалъ одинъ камень, одинъ холодъ или чувство безъ силы и исполненное мелочи (Татьяна Петр.). Тогда я могъ погибнуть, тогда я могъ еще броситься въ свѣтскую жизнь, заглушить все, убить все, но Провидѣніе судило иначе: оно дало Огарева мнѣ. И какъ торжественна была минута, когда мы, юноши, дѣти, обняли другъ друга, узнавъ, какъ близки наши души! Это было въ 1826 году на Воробьевыхъ горахъ. Солнце освѣщало всю Москву, вся Москва смотрѣла на насъ. О, какъ радостно билось мое сердце. Это *первое чувство* мое — *дружба*, оно спасло меня, сохранило. Мы дали другъ другу руку и пошли вмѣстѣ на всю жизнь. Горькій опытъ снова дотронулся холодною рукой; 1834 года снова возвращенная внутрь душа ломалась, самая твердость ея приготовляла паденіе, и ты, ангель неба, явилась мнѣ 9 апрѣля, и я протянулъ мою закованную руку и пилъ этотъ свѣтъ, который лился изъ твоихъ очей, и... я былъ спасенъ, — это *второе чувство* — *любовь*. И послѣ не вѣряться Провидѣнію, когда оно такъ явно ведетъ меня? Нѣтъ мѣста въ груди моей третьему чувству: остальное мелко, слабо, зависитъ отъ этихъ двухъ. Но ты скажешь: истина? изычное? Развѣ оно болѣе не имѣетъ мѣста въ тебѣ? О, нѣтъ, права идеи неотъемлемы, но, какъ христіанинъ во Христѣ поклоняется Богу, такъ тобою и Имъ, въ тебѣ и въ Немъ понимаю, чувствую святое, изычное.

Давно собирался я тебя побранить, почему ты никогда не посылаешь мнѣ стиховъ твоего сочиненія? У тебя прекрасный талантъ къ поэзій. Оборони, Господь, пренебрегать имъ. Тѣмъ-то поэтъ и одаренъ, что тамъ, гдѣ человѣкъ обыкновенный не можетъ выразить чувства, оно льется стихомъ поэта. А у тебя столько чувствъ, столько высоты! Пиши же, ангель мой, и посылай мнѣ.

Возвращаюсь къ прежнему. Любовь была выше дружбы. Дружба дала мнѣ мысль и чувство, любовь — чувство и вѣру. Дружба страдала, изнемогала со мною отъ боренья идей, любовь несла спокойствіе и гармонію. Тамъ — общее страданіе, здѣсь — общее блаженство.

26 августа. Поздравляю тебя. Сегодня у меня пируютъ дамы и, разумеется, Полина. Мнѣ весело, что меня поздравляютъ съ твоими именинами; мы уже и теперь даже въ глазахъ постороннихъ — одно. И съ какою гордостью я буду благодарить за твой тостъ! Въ церкви я не былъ, я рѣдко могу молиться и всего рѣже въ церкви. Можетъ, сегодня принесутъ письмо отъ тебя, тогда и я буду веселъ. Прощай. Въ дополненіе къ моей жизни, которая вся изложена въ письмахъ къ тебѣ, въ слѣдующемъ письмѣ я напишу о дѣйствіи на мою душу нѣкоторыхъ авторовъ. Такимъ образомъ, со временемъ по письмамъ къ тебѣ я могу написать всю жизнь, а она не должна быть забыта, самъ, отдѣльно отъ толпы... Прощай же Natalie!

Твой Александръ.

Объяви для нынѣшняго дня мое благоволеніе Костенькѣ, Сашѣ... Я ихъ не забылъ: все близкое къ тебѣ имѣетъ право на мое вниманіе. Даже моя келья въ Крутицахъ свята твоимъ посѣщеніемъ.

Цѣлую тебя.

31 августа, Загорье.

Ангель мой, Александръ! Тяжелъ ли крестъ, который ты несешь со мною? Тяжелъ, тяжелъ ужасно. Но смѣю ли я изнемогать, когда должна помогать тебѣ нести его? Могутъ ли ослабѣвать силы мои, видя твердость твою? И ты вѣрь, Александръ, что новый годъ разлуки коснулся груди моей, какъ стрѣла — гранита. Теперь зови меня своею, я достойна этого священнаго имени; теперь цѣлуй меня, обвиняй, я заслужила все; этотъ поцѣлуй — награда моей покорности, эти объятія — отдохновеніе отъ труда моего! Ты не какъ ракета умчалъ меня, но какъ ангель Господень на крыльяхъ своихъ вознесъ на небо. А любовь твоя, любовь... это — стѣна, водруженная самимъ Богомъ, ею ограждена душа моя, и ты самъ скажи, какое орудіе можетъ уязвить сквозь эту стѣну? Понесемъ же, понесемъ крестъ нашъ! Я не смѣю просить тебя удѣлить мнѣ болѣе: мы составимъ одну душу, одного ангела, должна быть и одна тяжесть, и одна сила.

Вчера получила я твое письмо отъ 14 августа. «Слезы твои омочатъ эти строки», — да. И этими же строками я утерла ихъ. Мысль, что каждая изъ нихъ падаетъ на твое сердце и жжетъ его, что грусть моя умножаетъ твою и увеличиваетъ время, заставила меня скоро придти въ себя и со всею силою, со всею вѣрой, со всею любовью поднять новый крестъ и нести его. Мы давы другъ другу!

Успокойся, милый ангель, въ Кіевъ я рѣшительно не иду, дождусь, пока самъ Богъ укажетъ мнѣ путь въ Вятку: тогда онъ будетъ вѣренъ и безопасенъ. Но признаюсь тебѣ, другъ, трудно мнѣ вырвать эту мысль, она далеко въ сердцѣ пустила корень. Несбыточное и трудное предпріятіе, но оно своею огромностью уменьшало ужасъ долгой разлуки, которой, — хотя я не ждала навѣрное, — испугалась одной мысли. Теперь оставляю его, гоню: оно не согласно съ тобою. Ангель мой! Вѣрь же, не только съ кротостью, съ покорностью, нѣтъ, этого мало, съ радостью несу я крестъ. Не ослабѣвай и ты, божественный другъ. Какъ же перенесемъ мы наше соединеніе, наше блаженство, когда не перенесемъ разлуки и горя? Приготовимся, будемъ тверже, сильнѣе, выше и святѣе.

То занимали мою душу прелестныя, полныя счастья и надежды мечты, теперь же... Если только будетъ возможно, каждое утро и вечеръ буду писать тебѣ, — это необходимо для меня, какъ молитва; буду отдавать тебѣ отчетъ въ чувствахъ и мысляхъ каждаго дня, тогда скорѣе пройдетъ *этотъ годъ*, не такъ чувствительна будетъ разлука. Тебя, мой ангель, умоляю писать, какъ только можно. Вѣдь, только тогда-то я и живу. Малѣйшая подробность, каждая бездѣлица, касающаяся тебя, занимаетъ душу мою цѣлые дни. Пиши чувства, пиши мысли, все, все. Я даю тебѣ обѣтъ не грустить, не тосковать, переносить съ твердостью все; мало того, глаза мои, уши и сердце будутъ затворены для всего, кромѣ любви. Все могу я пережить, одной минуты безъ любви къ тебѣ не переживу. Тебѣ съ мольбою преклоняю колѣна, ангель Александръ! Не изнемогай, не ослабѣвай! Твоя Наташа умретъ, если душа твоя помрачится грустью. Да, я вѣрую, настанутъ, настанутъ дни свѣта, вѣрую, на землѣ нашъ будетъ небо!

Давеча письмо мое было прервано пріѣздомъ невѣсты. Я убирала ее къ вѣнцу. Свадьба у насъ во флигель, и я пировала на ней. Теперь уже 12 часовъ. Прощай, всю душой обнимаю тебя.

1 сентября. Съ первую же оказіей напишу, чтобъ маменька старалась какъ-нибудь уговорить папеньку подарить мнѣ твой потретъ, тотъ, который у

меня былъ. А о своемъ я много хлопотала, бывши въ Москвѣ, но или ожиданіе самого тебя, или что другое не заставило обратить вниманіе на это никого. Ты самъ объ этомъ старайся, я тутъ не могу ничего. Но твой портретъ не такъ похожъ, мое воображеніе наполняло недостатки; мнѣ казалось иногда, что на этомъ полотнѣ горятъ твои дивные, огненные глаза, казалось, съ нихъ льется на меня струя любви, что твои уста не безотвѣтны; но, Александръ, если ты можешь, пришли мнѣ твой портретъ черезъ папеньку; теперь у меня каждую ночь горитъ лампада: если сердитые люди не дадутъ мнѣ насмотрѣться на тебя днемъ, ночь, цѣлая ночь моя! Ангелъ мой, пришли, ради Бога, это еще болѣе подкрѣпить меня; не такъ великъ, чтобъ мнѣ не нужно было разставаться съ нимъ надолго. Твои волосы, которые, помнишь, ты прислалъ мнѣ передъ отъѣздомъ, я ношу всегда съ собою, и первая твоя записка изъ Крутицъ, ты въ ней впервые назвалъ меня сестрою, впервые сказали ты, также неразлучна со мною. Это моя святыня, минуты не могу пробыть безъ нея, не могу уснуть спокойно, если вѣтъ ея со мной. Я погожу лучше писать о твоёмъ портретѣ; если ты мнѣ общаешься, тогда совѣмъ не буду просить, а то, отдавши мнѣ тотъ, можетъ быть, не отдадутъ присланнаго тобою. О, если-бъ онъ былъ такъ же похожъ, какъ тотъ, который писалъ Витбергъ! На тотъ я не смѣю смотрѣть, когда смотреть на меня,—такъ сильно онъ на меня дѣйствуетъ.

Съ какимъ восторгомъ я жду кольца! Я прежде обручилась съ тобою, носишь ли ты мое? Впрочемъ, оно было послано брату Александру. Книги мнѣ пришлютъ съ будущею оказіей. Ты писалъ мнѣ еще прошлаго году, чтобъ я прочла *Notre Dame de Paris*, и какъ я сердилась, мнѣ Ег. И. не прислалъ ихъ, потому что Ег. И. Кучина не совѣтовала давать этихъ книгъ 17-ти лѣтней; теперь ужъ мнѣ 18, стало, и по ихнему можно! Жду ихъ съ нетерпѣніемъ. Цѣлую тебя за этотъ подарокъ. То-то и есть, мой ангелъ, что у к[нягини] нѣтъ уголка въ сердцѣ съ человѣческимъ чувствомъ; впрочемъ, нѣтъ, можетъ, и много, да только нѣтъ въ ея сердцѣ уголка для тебя. И я готова сказать ей, открыть ей все, но знаю навѣрное, что это послужитъ къ большому затрудненію, можетъ повредить: она тогда вооружитъ и папеньку. Надобно сперва, чтобъ онъ началъ, чтобъ онъ хотѣлъ, и тогда... она его боится, а мнѣ чего будетъ бояться? Всего важнѣе и нужнѣе согласіе папеньки, а надо мною власти не имѣетъ никто. Но что ты пишешь о Марьѣ Степановнѣ? На что же, мой ангелъ, тутъ вмѣшиваться ее? Неужели, кромѣ этого ржавога, негоднаго желѣза, Богъ не пошлетъ намъ орудіе? Когда можно избѣгнуть, не должно унижаться. У нея же, кажется, единственное твердое чувство — ненависть къ тебѣ, какъ къ злоумышленнику (на ней основанъ патріотизмъ ея весь), и я почти увѣрена, что оно перевѣситъ жадность и корыстолюбіе; если-бъ и не такъ, на что, мой ангелъ, на что мѣшать нечистое тутъ? Провидѣніе устроитъ все, не станемъ же портить начатаго *Имъ*? Намъ указана дорога, она терниста, трудна, но она указана намъ, ею и пойдемъ. Ты подумай самъ и увидишь, что М. С.—недостойное орудіе. И зачѣмъ подарками, деньгами покупать счастье? Чистотою, святостью души, любовью купимъ его, ангелъ мой. Ты пишешь, что, можетъ быть, папенька постарается, чтобъ мнѣ побывать у тебя съ маменькой, ахъ, если-бъ это сбылось, если-бъ сбылось!

Ты хочешь обратиться къ уединенію. О, мой милый отшельникъ! Оставь эти пустыя гостивныя, что въ нихъ? Въ нихъ только много сора и пыли, а въ уединенной жизни удивительная полнота, съ тобою же Витбергъ. Будь съ нимъ бо-

лѣе, занимайся, пиши Наташѣ, и годъ промчится, — и ты прилетишь ко мнѣ! А, можетъ, еще въ это время перемѣнится многое, многое; можетъ быть, очень можетъ быть, что я прилечу къ тебѣ. Папенькѣ тяжело такъ долго не видать тебя; не вздумаетъ ли онъ къ тебѣ собраться?.. Да, предоставимъ все Богу: Онъ не требуетъ нашей помощи въ дѣлахъ Своихъ. Я весь этотъ годъ буду приготовляться предстать передъ тобою, какъ передъ самимъ Богомъ. Ты помогай мнѣ. Наставляй меня, другъ мой. Послушай, Александръ, вѣдь, я знаю, что я не совершенна, и ты знаешь это, и потому мнѣ необходимы твои заповѣди. Приказы-вый, повелѣвай мнѣ; я отдала тебѣ всю душу мою и слѣпо вѣрю всѣмъ словамъ твоимъ. Пиши мнѣ, какія книги читать. Rondoletto Герца я играю. Напиши, что еще тебѣ нравится; я хочу во всемъ непрерывно видѣть тебя, знать наизусть малѣйшія твои желанія и хотъ за 1.000 верстъ исполнять ихъ. Да и что же будетъ облегчать мою душу? Но ты не думай, я не грустна, божусь тебѣ, нѣтъ; удивительная твердость и вѣра явились во мнѣ при этой вѣсти. Благодарю Бога и тебя, что я узнала ее въ твоемъ письмѣ. И чего бы ни вынесла я, какую бы чашу ни приняла изъ твоихъ рукъ! Цѣлую тебя, цѣлую.

Вечеръ. Ахъ, скоро ли оказія, сколо ли пошлютъ тебѣ это письмо? Можетъ быть, завтра ты получишь послѣднее мое письмо; оно такъ полно надеждами: тебѣ тяжело будетъ читать его. Вотъ только что теперь меня тревожить ужасно: ты будешь все беспокоиться обо мнѣ, но я увѣрена, это письмо утѣшитъ тебя, ибо это не пустыя слова, не пустое утѣшеніе тебѣ, нѣтъ, передъ тобою изливается вся душа моя, и если-бъ она изнемогала, къ кому-бъ прибѣгнуть, какъ не къ тебѣ? Ты врачъ моей души, и кто же, какъ не ты, долженъ знать болѣзнь ея? Кто же, какъ не ты, можешь уврачевать ихъ? Но я здорова, силы обременены, но не истощены. Пріятный сонъ! То есть желаю видѣть меня. Прощай! Сегодня я начала шить тебѣ помочи; если выйдутъ хороши, подарю ихъ тебѣ въ именины. Радуются моему прилежанію; они не знаютъ моего секрета! Ну, прощай же, ангель. Спи, цѣлую тебя.

З, четвергъ. Вчера цѣлый день, цѣлый вечеръ я тонула въ счастливейшихъ мечтахъ и восторгѣ, и они казались мнѣ сбыточны и такъ близки. Ты былъ со мною тутъ, мы собираемся въ Италію, мы ѣдемъ, мы уже тамъ... И небо юга, и воздухъ — любовь, и люди — огонь... Не пристало намъ съ нашею душой, съ нашею любовью быть закованными во льдахъ сѣвера, забнуть отъ его холода, мерзнуть въ воздухѣ его, нѣтъ, туда, туда, въ Италію! Я согрѣлась одною мыслью о путешествіи въ Италію, — и мнѣ казалось ужъ [сорвано слово] холоднымъ взяться за перо. На что было писать? Ты самъ былъ такъ близко меня, ты самъ говорилъ со мною. О, Александръ! ангель мой! и въ самомъ заточеніи, и въ угнетеніи, въ самой разлукѣ, какъ полна, какъ изящна жизнь моя, какъ свѣтла! Вѣрю, ангель мой, вѣрю, что твоя любовь никому не создавала подобнаго блаженства и никто никому не создавалъ подобнаго. Никто и не любилъ тебя такъ, и никто не былъ такъ любимъ, какъ ты. Но когда жъ придетъ то время, когда ты увидишь самъ любовь мою, не на бумагѣ? Можно надѣяться хоть черезъ годъ? Но я боюсь и спрашивать. Получаешь ли ты отъ О.? Когда-то вы увидите, и сколько тогда будетъ перемѣны... Ахъ, Сатинъ, Сатинъ, зачѣмъ онъ измѣнилъ?

Впрочемъ, Александръ, ты не относи къ моему достоинству твердость, съ которой я узнала, что еще годъ разлуки предстоитъ намъ. Я не знаю, что-бъ было со мною, если-бъ эта вѣсть дошла до меня прежде твоего письма. Я-бъ со-

вершенно упала духомъ и предалась бы отчаянію, но такъ какъ я всегда съ безумною радостью получаю твое письмо, особенно же послѣднее, нераспечатанное. — оно обѣщало такъ много, и я ужъ въ ту минуту прочла его. Сердце жаль, брызнули слезы, но твои слова, — о, Александръ! о, единственное создание! — «Будь тверда для Александра, не прибавляй тяжести его кресту», — какъ слово самого Бога озарило душу. Мнѣ прибавлять тяготу твоему кресту? Нѣтъ, нѣтъ! И, не имѣя силъ побѣдить слабость свою, я упала на колѣни передъ образомъ Спасителя. Не могу сказать тебѣ, мой ангелъ, что было со мной. Мнѣ казалось, самъ Богъ смотрѣлъ на меня, казалось, Онъ вялъ молитву души моей, безсловесную, но пламенную, выразительную, казалось, уста Его отворились, и я слышала, — это не привидѣніе, нѣтъ, — я слышала, слышала, какъ Онъ тихо сказалъ мнѣ: «будь тверда». Для него, для него, Господи! И снова залилась я слезами. Но съ тѣхъ поръ съ каждымъ днемъ умножаются силы, я становлюсь тверже, крѣпче; беспредѣльная надежда на Него, твоя любовь — все это непрерывно обновляетъ на мнѣ ризу терпѣнія, и эти дни еще ни разу грустный звукъ не выходилъ изъ груди моей. Ты и твоя любовь видна вездѣ и во всемъ. Другъ мой! Ахъ, если-бъ еще я могла чаще знать о тебѣ, если-бъ я видѣла прѣзжихъ изъ Вятки, или хотъ бы почта приходила почаще, но все это невозможно; даже говорить о тебѣ не съ кѣмъ, я точно въ пустынѣ, окруженная звѣрями. Правда, есть существо, приверженное мнѣ тѣломъ и душой, но оно вполнѣ не можетъ понять меня, мнѣ не достаточно его. Но я ужъ не спрашиваю болѣе, почему мы лишены всего.

Прелестный другъ мой, мой Александръ! Можетъ, ты сидишь теперь въ своемъ кабинетѣ, не пишешь, не читаешь, а задумчиво куришь сигару, и взоръ углубленъ въ неопредѣленное, и нѣтъ отвѣта на многократныя привѣтствія вошедшаго. Гдѣ-жъ твои думы? Куда стремится взоръ? Гдѣ душа твоя? Гдѣ весь ты?.. Не давай отвѣта. Пусть придутъ ко мнѣ...

4, пятница. Ты пишешь, — можетъ, еще цѣлый годъ. Но что же сказано изъ Петербурга? Неужели не назначено срока? Если нѣтъ, тогда, можетъ, и въ слѣдующій разъ пришлютъ отказъ. Но Богъ пошлетъ крестъ, Онъ пошлетъ и силу. Ты, Александръ, твердо принявъ отказъ, пишешь ты, и потомъ болѣе о себѣ ни слова. Въ каждомъ словѣ все утѣшеніе мнѣ, все велишь быть спокойной, твердой и кончаешь письмо: «душно!» Ты грустишь, мой ангелъ, вижу, ты грустишь. И можно-ль веселиться, можно-ль совершенно быть спокойной? Все отъ насъ закрыто, все тайна для насъ, а настоящее такъ мрачно и холодно. Въ самой надеждѣ, въ самой вѣрѣ сердце иногда воесть, и рѣдки, рѣдки минуты, въ которыя оно освобождается совершенно отъ земли, въ которыя оно любитъ въ себя. И какъ не грустить?.. Ты ужъ видѣлъ, другъ мой, что твоя Наташа тверда, что послушна тебѣ въ самой убійственной горести, будь и ты, ради Бога, будь спокойнѣе! Тебѣ душно, душно, о, Александръ! Но не скрывай, не пиши противнаго, изливай всю душу твою, всю грусть, — тебѣ будетъ легче, отраднѣе, ты болѣе перенесешь. Пиши, мой милый, пиши все. Кто болѣе меня оцѣнитъ твои чувства, кому дороже малѣйшее ощущеніе твое? О, какъ я сама желаю, чтобъ у тебя былъ мой портретъ! Тутъ много утѣшенія, я знаю. Прости папеньку, но пришли сперва свой, и тогда ты будешь въ правѣ требовать моего. Пусть, пусть догадываются, узнаютъ, только не надобно, чтобъ знали о перепискѣ. Это отъ всѣхъ тайна. А ты знаешь, что мнѣ ужасно строго было запрещено къ тебѣ писать. Но, впрочемъ, если это необходимо, такъ что-жъ такое?

Развѣ я могла послушаться княгини? Она увидитъ сама, что требовала невозможнаго. Только тогда надо будетъ стараться спасти отъ вѣчныхъ преслѣдованій Сашу и Костю. Онѣ въ нашемъ разговорѣ, и отсюда всѣ письма къ тебѣ идуть черезъ ихъ руки, также и твои ко мнѣ.

Пора въ Москву; какъ холодно здѣсь! А тамъ не увижу ли я Сашу Б., Эмилию? Впрочемъ, меня теперь уже такъ не радуешь свиданіе съ ними, и имъ всѣмъ я принесу съ собою горе. Emilie боялась твоего прїѣзда, а Саша — она выше страха земного, выше людей и ихъ злобы, что-бъ ни было, она желала пламенно твоего возвращенія, и эта вѣсть ей будетъ горька, ея слезы смѣшаются съ мои.

Ѫ, суббота. Полно же, Александръ, упрекать себя въ поступкѣ съ Мед. Твое раскаяніе чрезмѣрно велико, и оно давно искупило его и отъ тебя же зависить совершенно изгладить его передъ самою Мед., а я все, что знаю и чего не знаю, отъ всей души простила. И ты перестань винить себя, мой другъ: и орелъ спускается на землю, но взлетѣть выше его и ближе къ солнцу не можетъ никто.

Ты знаешь самъ, но не могу еще не попросить тебя быть осторожнѣе, не прибавлять ей ударовъ, не огорчать ее. Она мнѣ ужасно жалка и, какъ всѣ несчастныя, близка моему сердцу. Куда же она ѣдетъ, не въ Москву ли? Тогда бы я постаралась, если бы было можно, познакомиться съ нею и, насколько бы стало меня, утѣшить ее. Что-жъ, развѣ нельзя у папеньки попросить денегъ? Можетъ быть, онъ бы для этого и прислалъ тебѣ. Пусть прїѣзжаетъ сюда и Полина; я бы обрадовалась ей, какъ самой близкой, родной. О, и сколько-бъ я наговорилась съ нею о тебѣ! Если-бъ и Петръ прїѣхалъ, я бы и того расцѣловала, заплакала бы отъ радости. И теперь краснѣю, когда вспоминаю о восторгѣ съ Эрнъ. Они, вѣрно, подумали, что я безумная, — такъ обрадовалась я его матери и ему. Теперь я въ большой дружбѣ съ Машенькой, его сестрой, и даже переписываемся. Прелестное существо! Люблю ее ужасно, а видѣлись только три раза.

Какое несбыточное желаніе! Если-бъ твой портретъ былъ у меня въ браслетѣ! Я бы ни на мигу не разсталась съ нимъ. Но это рѣшительно невозможно. Если-бъ и былъ онъ, не позволили-бъ его носить.

Итакъ, вотъ уже цѣлая недѣля, какъ отняты у меня всѣ надежды, всѣ райскія мечтанія! И сколько еще такихъ недѣль вперед! И всѣ онѣ составляютъ одну мрачную, самую темную, холодную ночь. Но и въ этой суровой ночи, и на этомъ черномъ небѣ горять кое-гдѣ звѣздочки. Пройдутъ тучи, очистится небо и всѣ онѣ загорятся, заблещутъ во всей красѣ. Такъ и въ душѣ моей: сквозь грусть и тоску кое-гдѣ проглядываетъ, свѣтится яркая мечта, даже восторгъ иногда. Вечеромъ, играя на фортепіано, одна въ огромной комнатѣ, вдругъ остаиваиваюсь, волшебствомъ исчезаетъ все, — и предо мною является мой ангелъ, мой Александръ, и улыбка на лицѣ, и слезы на глазахъ. Но улыбка потомъ становится горькой, и слезы горькія... Но придетъ время, придетъ пора, и мы увидимъ радость не во снѣ и будемъ плакать сладкими слезами. Душа моя, // Александръ! Свѣтъ, рай души моей! Страшно ревутъ кругомъ насъ грозныя волны, но не потопятъ онѣ нашего корабля. Кормчій нашъ — любовь; самъ Богъ правитъ имъ. Шумите, шумите, сердитыя, но напрасенъ вашъ гнѣвъ, напрасно усиліе, — вы не устршите меня: со мною Александръ; не устршите его: съ нимъ Наташа! И самъ Богъ съ нами! И не напрасно ли вы цѣнитесь, влѣ въ сердиты на свою ничтожность? //

Воскресенье, 6. Можеть, еще двѣ недѣли не дойдетъ къ тебѣ это письмо, а ты ждешь его съ нетерпѣніемъ. Мнѣ тяжело за тебя! Думаешь, тревожишься обо мнѣ; или ты знаешь силу своей любви и твердо увѣренъ, что твоя Наташа не только годъ, 10 лѣтъ прожила бы въ заточеніи, въ тюрьмѣ, не выдавъ свѣта Божьяго, за твою любовь? Да, въ этомъ-то ты долженъ быть увѣренъ, но *ждешь съ нетерпѣніемъ* и не получаешь, и тебѣ тяжело. Боже! сколько наслажденія получить листокъ бумаги, которая 1.000 верстъ несла на себѣ твои думы, мечты твои, твою любовь,—которая такъ долго была въ твоихъ рукахъ и на которой взоръ твой долго, долго останавливался! Какъ не быть отъ него въ восторгѣ, какъ не расцѣловать его, какъ не облить слезами? Вѣришь ли, мнѣ иногда кажется, что онъ одушевленъ, что онъ слышитъ меня, понимаетъ; о, съ чѣмъ можно сравнить его, на какія сокровища можно промѣнять? Нездорово-ль я. беру твои письма, и мнѣ легче; давить ли душу тоска и грусть,—опять за мою святыню, за мое лекарство, и выздоравливаю душою. О, мой ангелъ! и будто тутъ мало наслажденія, будто можно смѣть роптать? Я-бъ хотѣла весь этотъ годъ прожить въ маленькомъ чуланѣ, лишь бы получать отъ тебя чаще, чаще и писать бы больше, больше. А ты напиши, чтобъ скорѣе отправляли къ тебѣ мои письма, за мною не станеть, только на почту самой отсылать невозможно. Только меня ужасно мучаетъ, что ты такъ долго не получишь моего отвѣта, зато я увѣрена, что онъ принесетъ тебѣ утѣшеніе, ангелъ мой. Странно, хотъ слово скажу съ тобой, а все легче на душѣ, веселѣе.

Понедѣльникъ, 7. Александръ! Мнѣ чрезвычайно пріятно, что ты намѣреваешься этотъ годъ провести иначе, не потому, ангелъ мой, что боялась, что разсѣяная жизнь заставила-бъ тебя меньше думать обо мнѣ (я бы не любила тебя, если-бъ это пришло мнѣ въ голову), — нѣтъ, а разсѣяная жизнь пуста и въ ней теряется многое, приобретенное въ жизни усиденной; тутъ безпрерывная созерцательность, непрерывно новыя открытія, тамъ трата, и трата бесполезная. Самъ же ты на опытѣ видѣлъ, какъ нечѣпа и беззвучна эта толпа, какъ срадно и дымно въ ея гостиныхъ. Правда, ты-бъ могъ присутствіемъ своимъ освятить ее, возвысить, но она бы не поняла тебя, не оцѣнила бы, и, можеть, одна холодная невнимательность была-бъ отвѣтомъ твоему огненному, небесному воззванію.

Итакъ, на чтожь быть съ нею, на что безъ пользы тратить тебѣ себя? Сколько можешь ты найти въ Витбергѣ! Но еще болѣе найдешь въ самомъ себѣ: ты—море, ты—небо, въ тебѣ міриады солнцевъ. О, посмотрись, какъ дивенъ, какъ прекрасенъ ты, ангелъ мой! Александръ, Александръ! Ты единственное созданіе, тебѣ бы дала я цѣлый міръ, тебѣ бы... О, мой ангелъ, какъ назвать ихъ людьми? Что же они, когда они не боготворятъ тебя, не молятся тебѣ? Могу ли я не любить тѣхъ, которые мечтали о тебѣ, любили тебя? Стало, они мнѣ близкіе, родные. И тебя-то я смѣю, могу назвать своимъ! О, Александръ!

Ангелъ мой! Я въ восхищеніи, неожиданно оазія, вдругъ, послѣ завтра, отошлютъ на почту и ты скоро получишь. Ангелъ мой, обнимаю тебя, цѣлую, цѣлую тебя.

Твоя, твоя *Наташа*.

Загорье, сентября 7.

Я расскажу тебѣ, ангелъ мой, происшествіе, весьма маловажное, по которое сдѣлало на меня впечатлѣніе. Оно доказываетъ, какъ не теряется самая малая

крошка добра, какъ все получаетъ свою награду. Недѣли три тому назадъ пришелъ сюда бѣдный полякъ наниматься вырывать пеня, — это и вообразить нельзя, сколько труда въ этой работѣ! Онъ просилъ не дорого, но ему (будто на смѣхъ) давали еще дешевле, потому и вовсе отказали.

Человѣкъ, покинувшій родину, семью, молодую жену, шедшій 1.000 верстъ кровавымъ трудомъ добыть хлѣба и малость принести семейству, — на чужой сторонѣ, вмѣсто привѣта, вмѣсто жалости, встрѣчаетъ взоры, какими смотрятъ на скотовъ!.. Сердце мое лопилось на двое при видѣ этого несчастнаго и ихъ, еще несчаствѣйшихъ его! Но что же я могу?.. Долго съ нимъ говорила, просила накормить его и дать ночлежь. Онъ пришелъ въ другой разъ и сошлись цѣною (можетъ, и крайность принудила). Прешло три недѣли. Тутъ я получила твое письмо, тутъ душа моя была взволнована и еще то, что еще долго не получишь отвѣта моего, терзало меня. Вдругъ вчера поздно вечеромъ оказія въ Москву, и съ кѣмъ же? Этому поляку вздумалось побывать въ Москвѣ, и наканунѣ почтового дня! Съ нимъ пошла къ тебѣ мое письмо. Не воскресилъ ли онъ меня? Не воздалъ ли съ лихвою? Безъ него бы еще цѣлую недѣлю, а, можетъ быть, и болѣе мнѣ ждать и мучиться. Какъ много награды за одно состраданіе!

Ты, мой ангелъ, велишь писать болѣе, а мнѣ необходимо въ душу твою изливать хоть каплю души своей. Я ловлю мои минуты и посвящаю ихъ тебѣ. Твоя бесѣда приноситъ мнѣ новую жизнь, силу, твердость, благодать. Моя пусть принесетъ тебѣ хоть одну каплю утѣшенія!

8, среда. Сегодня мнѣ грустно, все дышетъ на меня тоскою; мысли мрачны, сердце сжато. Не стану тебѣ много писать: одни унылые звуки льются изъ души; они и на тебя навѣютъ уныніе. Видишь ли, какъ непостоянна твоя Наташа, какъ мала и слаба душа ея, какъ необходимы ей твои слова? Душа жаждетъ одного взгляда, а еще цѣлый годъ холодной, пустынной, мрачной годъ разделяетъ будущее глубокимъ оврагомъ, а настоящее — мракъ, настоящее — ледъ. И не къ кому склонить голову, и нѣтъ взора, который бы могъ понять!.. Прости мнѣ, прости, мой ангелъ!

10-е. Пронесся слухъ, будто ты въ Петербургъ, — не вѣрю. Неужели бы, желая сдѣлать сюрпризъ своимъ приѣздомъ, ты бы огорчилъ меня такъ, сказавъ, что еще годъ разлуки? Нѣтъ, нѣтъ, не вѣрю! Нѣтъ, видно, мнѣ определено Богомъ не видать тебя долго, долго. Ему извѣстна цѣль. Можетъ быть, я еще недостойна дѣлать высокую твою участь, быть спутницей ангела; можетъ быть, недостойна и того, чтобы видѣть тебя, какъ награду за совершенство во всѣхъ добродѣтеляхъ. И этотъ годъ искупить послѣдніе недостатки мои, сотреть послѣдній прахъ. Покорность Его волѣ, терпѣніе смоятъ всю землю. Но болѣе всего — любовь! Любовь! Любовь святая, побѣдившая испытанія, гоненія, образовавшая душу, давшая, наконецъ, небо, и самого Бога, и тебя! О, эта любовь искупить многое! И чего бы я ни вынесла, чтобы быть совершенно, совершенно тебя достойною! Въ эти дни я уже вижу въ себѣ перемѣну: земля, люди все далѣе, далѣе отъ меня, и я все ближе и ближе къ тебѣ, мой ангелъ. Болѣе состраданія къ ближнему, болѣе равнодушія къ собственнымъ ранамъ и, ей-Богу (хотя третьяго дня вырвался изъ души горькій звукъ), я съ радостью несу этотъ крестъ. Онъ уже мнѣ вѣрная порука блаженства въ будущемъ. Не на одно же страданіе онъ далъ намъ эту душу, эту любовь?

12-е. Костенька въ Москвѣ, а Саша въ восторгѣ, что ты вспомнилъ ее, и считаетъ себя счастливою и выше существъ обыкновенныхъ, будучи упомянута

въ нашей перепискѣ и получивъ отъ тебя благоволеніе. Она въ самомъ дѣлѣ выше существъ простыхъ и заслуживаетъ вниманія. Я не надѣюсь встрѣтить въ подобномъ состояніи такую душу и столько чувства. Но надобно прибавить, что единственное, пламенное желаніе ея — умереть (особенно разлучившись со мною), ибо кругомъ нея мерзкое поле (какъ она выражается), а она *одна*. Ты не забылъ ее, ангелъ мой, благодарю! Это существо не должно быть забыто никогда. Едва ли любить меня кто во всемъ домѣ сотую долю того, какъ любить она.

6 сентября, Вятка.

Сердце полно, полно и тяжело, моя Наташа, и потому я за перо писать къ тебѣ, моя утренняя звѣздочка, какъ ты себя назвала. О, посмотри, какъ эта звѣзда хороша, какъ она купается въ лучахъ восходящаго солнца, и знаешь ли ея названіе?—Венера-любовь! Всегда восхищался я ею, пусть же она останется твоею эмблемой, такая же прелестная, такая же изящная, святая, какъ ты.

Въ самый день твоихъ именинъ получилъ я два письма отъ тебя, — сколько рая, сколько счастья въ нихъ!

О, Боже, Боже, быть такъ любимымъ и такою душой! Наташа, я все земное совершилъ, остается еще одно наслажденіе — упиться славой, рукоплесканіемъ людей, видѣть восторгъ ихъ при моемъ имени, — словомъ, совершить что-либо великое, и тогда я готовъ умереть, тогда я отдамъ жизнь, ибо что мнѣ можетъ дать жизнь тогда? Я одного попросилъ бы у смерти: взглянуть на тебя, сказать слово любви голосомъ, взглядомъ, поцѣлуемъ, одинъ разъ: безъ этого моя жизнь не полна еще.

Ты пишешь, что я не жилъ никогда съ тобою, что, можетъ быть, въ тебѣ множество недостатковъ, которыхъ я не знаю, что ты далека отъ моего идеала. Перестань, ангелъ мой, перестань, вѣтъ, ты прелестна, ты выше моего идеала, я на колѣнахъ предъ тобою, я молюсь тебѣ, ты для меня добродѣтель, изящное, все бытіе, и я тебя такъ знаю, какъ только могъ подняться до твоей высоты. Вѣдь, и ты не жила со мною, но я смѣло говорю: твое сердце не ошиблось, оно нашло именно того, который могъ ему дать блаженство; я понимаю, чего хотѣла твоя душа, — я удовлетворю ей. Изъ этого не слѣдуетъ, чтобъ я могъ сдѣлать счастливою всякую дѣвушку съ благороднымъ сердцемъ, — о, вѣтъ, именно тебя, тебя! Мой пламень сжегъ бы слабую душу, она не вынесла бы моей любви, она бы не могла удовлетворить безумнымъ требованіямъ моей фантазіи, ты превзошла ихъ. Клянусь тебѣ нашею любовью, что никогда я не видалъ существа, въ которомъ было бы столько поэзіи, столько граціи, столько любви и высоты, и силы, какъ въ тебѣ. Это все, что только могла придумать мечта Шиллера. Я иногда, читая твои письма, останавливаюсь отъ силы и высоты твоей; тебя воспитала любовь, ты непрерывно становишься выше. Возьми одну мысль твою ити въ Кіевъ, — она безумная, нелѣпая, но высота ея превышаетъ высоту самыхъ великихъ поступковъ въ исторіи. Слезы навернулись, когда я читалъ это. Я не спорю, можетъ, другіе скажутъ, что ты *мечтательница*, что никогда не будешь *хозяйка*, т. е. жена-кухарка, но тотъ, у кого въ душѣ горитъ огонь высокаго, тотъ пойметъ тебя, и ему не нужно другихъ доказательствъ, кромѣ одного письма. А я, любимый тобою, любящій тебя, я, будто, не знаю моего ангела, моей Наташи?

30 августа были именины Александра Лаврентьевича; мнѣ хотѣлось ему

сдѣлать подарокъ такой, который имѣлъ бы смыслъ, который навсегда былъ бы документомъ моего уваженія къ человѣку великому. Долго думалъ я и вдругъ пришло въ голову подарить твою работу—портфель. Сначала я испугался одной мысли разстаться съ тою работой, при которой за каждою ниткой была мысль обо мнѣ, мнѣ было жаль. Такъ вотъ и подарокъ, сказалъ внутренній голосъ, вотъ истинная жертва, потому-то и надлежитъ ему ее подарить, что жаль. Я написалъ на первой страницѣ: «А. Л. Витбергу въ знакъ симпатіи искренней и безпредѣльной дарить работу Наташи А. Герценъ 1836 г., августа 30, въ Вяткѣ», и подарилъ ему; сначала онъ не хотѣлъ брать, но я сказалъ ему, чего стоитъ мнѣ подарокъ: онъ взялъ со слезами. И отчего же, думалъ я, мнѣ скупиться? Развѣ рука, дѣлавшая это, не моя? И какъ могъ я болѣе почтить его, какъ не работой *яя руки?*

Ты пишешь о Мед., говоришь, что думала, что пятно, о которомъ я писалъ, несправедливо чернѣе. Что же чернѣе этого поступка? Я не знаю, можетъ, «убійство»—не чернѣе такой гнусности; нѣтъ, не извиняй меня: простить ты можешь, оправдать - - нельзя. Это былъ послѣдній шагъ мой въ безнравственности. Тогда, терзаемый непонятою любовью къ тебѣ, терзаемый своею ничтожною и скверною жизнью, окруженный людьми холодными, я обращалъ всюду взоръ, потухавшій отъ разврата, чтобы найти симпатію. Будь тогда Витбергъ, будь Полина, —и не было бы пятна на совѣсти, и не было бы угрызения. Первое существо высшее была она; она поняла меня (я писалъ тебѣ это тогда же); въ ней есть поэзія; она, жена мужа стараго, котораго никогда не любила и не могла любить, она бросилась со всею довѣренностью души чистой ко мнѣ, и что жъ я сдѣлалъ? Слѣдовало бы остановить, а вмѣсто того... О, не старайся оправдывать меня! Воскрешенный твоею любовью, твоею небесностью, я хотѣлъ тотчасъ спасти ее, но съ ужасомъ увидѣлъ, что поздно. Правда, съ самой весны она не слыхала отъ меня ни одного слова, которое бы могло ее болѣе завлечь, но и то правда, что она отъ этого страдаетъ, отъ этого больна; она безъ того столь несчастная, не зная о тебѣ, воображаетъ, что я влюбленъ въ Полину. Я думалъ сказать ей о тебѣ прямо, но это все равно, что дать рюмку яда. Вотъ твой идеальный Александръ.

9 сентября. Прощай, ангелъ мой, можетъ, сегодня получу письма отъ тебя. Прощай, я теперь спокойнѣе смотрю на разлуку. Онъ знаетъ, что и для чего. Жму твою руку, цѣлую ее, цѣлую тебя.

Твой Александръ.

9 сентября. Ангелъ мой, я и забылъ тебѣ написать планъ повѣсти, которую я уже началъ. Напиши мнѣ откровенно твое мнѣніе. Витбергу она не очень нравится.

Юноша, жившій до 17 лѣтъ въ деревнѣ, пылкій, но подавленный холодомъ родныхъ, является въ университетъ учиться медицинѣ. Онъ робокъ, застѣнчивъ, у него нѣтъ друзей; онъ боится шумной вакханаліи студентовъ; у него нѣтъ дѣвы, которая раздѣлила бы его страданія, его одиночество, и онъ живетъ одною наукой. Однажды ему надобно разсказать какой-то женскій трупъ въ анатомической залѣ, онъ пришелъ, уже вонзилъ ножъ въ тѣло, у котораго лицо было покрыто. Когда вздумалъ онъ взглянуть на него—и что же? Это тѣло прелестной дѣвушки. Онъ влюбился въ нее (извини это глупое выраженіе, я тороплюсь); эта любовь—первое его чувство, оно сильно, оно растетъ, оно должно сжечь его, уничтожить, свести съ ума, сломать всю душу и все тѣло. И вотъ онъ крадетъ

трупъ и сожигаетъ его. Этотъ пепелъ въ урнѣ — все, что у него есть на блѣдомъ свѣтѣ; онъ любитъ этотъ пепелъ, онъ не можетъ жить безъ него, и тутъ блеснула мысль, что алхимики имѣли средства воскрешать, и что же значитъ греческой мнѣ феникса, возрождающагося изъ пепла? Парацельсъ и Аполлоній Тіанскій воскрешали, и самъ Исусъ. Вотъ рѣшена его жизнь: онъ ищетъ этотъ способъ. Проходятъ годы и онъ, погруженный во мракъ мистики и колдовства, ищетъ и ищетъ, и онъ будетъ искать всю жизнь, ежели бы жизнь его была долѣ Маусанла. Но тайна не открывается; однако, *надежда* (главная идея повѣсти) съ нимъ, безъ нея онъ умеръ бы. Заключение: онъ сѣдой старикъ, одиночій, полубезумный, все еще работаетъ и ищетъ *тайны воскрешенія*. Слабый, больной, онъ уже на одрѣ смерти говорить друзьямъ: теперь близко, близко къ открытію... засыпаетъ; она слетаетъ къ нему, и онъ не существуетъ болѣе.

Желаю разобрать, такъ скверно написалъ этотъ листъ.

14 сентября, Загорье.

Вчера поздно, уже ложась въ постель, я получила твое письмо отъ 25 августа. Александръ! земной языкъ не можетъ изобразить небесной радости, блаженства неземного, которая льютъ въ душу мою каждое слово, каждая черта твоей руки! Но тебѣ достаточно бы было видѣть меня, когда я читаю, передъ тобою отверзты душа и сердце. Еще никогда никто не видалъ, какъ я распечатаваю твои письма; эти часы я не дѣлю ни съ кѣмъ: никто недостойнъ быть участникомъ въ нихъ. Я дѣлюсь ими съ однимъ Богомъ. Прочитавъ, я долго не могу обратиться опять къ пустой дѣятельной жизни, взору тяжко встрѣчать предметы, напоминающіе о людяхъ и ихъ ничтожности. Онъ ищетъ лазури неба, лучей солнца, даже голосъ человѣческой мнѣ непріятенъ: въ немъ звуки земные, а душа полна пѣсни рая, гармоніи неба. Тогда мнѣ не нуженъ никто. *Ему* ввѣряю любовь мою, съ Нимъ дѣлю радость и блаженство мое и *только съ Нимъ* дѣлюсь тобою. Давно, Александръ, со взглядомъ на письмо твое ужъ я поднимаюсь, свѣтлѣю... и потомъ съ каждымъ словомъ свѣтъ увеличивается, съ каждымъ словомъ я выше и выше, наконецъ, все измѣняется, самый воздухъ, окружающій меня, наполняется какою-то святостью, какимъ-то небеснымъ ароматомъ. Тутъ въ благоговѣйномъ восторгѣ я повергаюсь на землю, и молитва ль, или любовь, или одинъ восторгъ несется къ Богу, — не знаю, но знаю, что Онъ внимаетъ, отвѣтствуетъ мнѣ небомъ, отвѣтствуетъ тобою!

Итакъ, вся жизнь твоя представляетъ два чувства — *дружбу и любовь*. Мною и *Огаревымъ* полна душа твоя. Два раза ты былъ на краю пропасти и спасенъ два раза. Еще до любви ты извѣдалъ горе и восторгъ, ты переплылъ цѣлое море дружбы и знакомъ и съ его бурей, и съ нѣжнымъ колыханіемъ водъ его, — ты испилъ въ немъ до одной кашли. И когда брошенъ судьбою на сухую землю, когда жесткій песокъ и колючіе тернія окружали тебя, воспоминаніе моря облегчало душу, но не исцѣляло, не спасало тебя, и море было далеко, далеко! Тутъ рука *Ею* погрузила тебя въ море *другое*, въ море любви. Это море безгранично, въ немъ два вѣтъ и береговъ не видно, и земли не видно, оно сливается съ небомъ, и тонкой черты не видно, раздѣляющей ихъ, и песокъ, и тернія остались за нимъ далеко, далеко, тамъ, на землѣ! Но, ангелъ мой, ты и до меня былъ то, что есть, и до меня ты видѣлъ небо на землѣ (письмо твое въ Красномъ). А я, 14 лѣтъ въ *первый* разъ открывъ глаза, въ первый разъ бросивъ

взоръ свой на весь міръ, увидѣла во всемъ мірѣ *одного тебя*, и тутъ что-то непостижимое обняло все существо мое, и тобою наполнялась вся вселенная. Но ты отъ меня былъ и далеко, и высоко. До этого никакое чувство, никакая мысль не волновала такъ сильно души моей, ничто не занимало, не наполняло ея. Тутъ-то я стала выше толпы, выше многого, тутъ душа моя начинала быть тѣмъ, что она теперь. Потомъ я встрѣтилась съ Emilie, потомъ съ Сашей Б., но ужъ прежде нихъ я была согрѣта, прежде нихъ была полна непостижимымъ, и дружба къ нимъ не было чувство начальное, — нѣтъ, это были *лучи восходящаго солнца*. Но я сама узнала это только 20 іюля 1834 года, тогда, когда узнала, что ты для меня. Остальное ты все знаешь самъ. Итакъ, видишь ли, мой ангелъ, вся жизнь моя представляетъ *одно* чувство — *любовь*. Тобою начала я жить, тобою образовалась душа моя, тобою узнала я все изящное, все святое; ты отворилъ мнѣ небо, ты далъ познать Бога. Съ 14 лѣтъ я жила, дышала тобою, съ 14 лѣтъ ты жизнь моя, душа моя. Эти люди потушили бы во мнѣ божественную искру, убили бы въ юной груди все благородное при самомъ зарожденіи. Но ты свѣтилъ мнѣ, и мракъ не могъ объять меня. На тебя положила я мою надежду, мое спасеніе и твердо вѣрила, что рано или поздно *твоя рука* взметъ меня изъ пропасти, что *ты* откроешь мнѣ міръ иной, что *въ тебѣ* найду я этотъ міръ, міръ рая, міръ любви. И всѣ-то эти сны, лелѣя душу мою три года, наконецъ, сбылися на яву! И послѣ этого мнѣ не благословяютъ Провидѣніе, послѣ этого мнѣ не молятся на тебя!.. Можетъ, иного цѣлая жизнь не полна такого блаженства, которымъ полно каждое мгновеніе моей жизни.

15-е, вторникъ. Странно, мой ангелъ, что засталяеть папеньку хлопотать такъ о моемъ замужествѣ? Съ послѣднею оказіей писалъ еще к[нягинѣ], что играть свадьбы — дѣло христіанское и что пора въ Москву, а тамъ устроить меня, съ ея согласія и разрѣшенія. Не понимаю. Ну, что, ежели въ самомъ дѣлѣ онъ настоятъ на томъ, чтобы познакомить жениха моего съ к[нягиней] и ежели онъ ей понравится? Разумѣется, страшнаго ничего тутъ нѣтъ, никто не можетъ *велтъ* мнѣ идти замужъ, да только то, что мое непослушаніе можетъ рассердить его и удвоить несогласіе на наше соединеніе; не замѣчаетъ ли онъ, не догадывается ли? Или не вложилъ ли ему Богъ мысль о тебѣ... и... Мы скоро поѣдемъ, кажется, въ Москву, и тутъ вачнется эта драма. Я все подробно буду писать тебѣ, а до тѣхъ поръ ты не безпокойся ни о чемъ и не дѣлай никакихъ подвиговъ. Можетъ, все пустяки. О, ангелъ мой, кто, кто ужъ не выбиралъ мнѣ жениховъ и какихъ! Бывало, сердце кровью обольется, теперь же пусть въ отмщеніе *ихъ* сердце кровью обольется. Ты не думалъ о невѣствѣ. Я готовила посвятить себя удивленію, создать въ душѣ храмъ одной дружбѣ къ тебѣ, а другіе приготавливали мнѣ жизнь пошлую, безцвѣтную, беззвучную, а Отецъ небесный устраивалъ все иначе. И какой бы смертный могъ вообразить, предугадать и обѣщать столько блаженства? *Ихнее* счастье — это *земля*, перемѣшанная съ *золотомъ*; гдѣ сильнѣе запахъ денегъ, тамъ тверже основано ихъ счастье, а наше счастье — это цѣлое небо, и мы въ немъ непостижимы *имъ*, какъ звѣзды...

Однако же, можетъ, тебѣ нужно это знать, мнѣ кажется, к[нягиня] и М. С. (хотя, можетъ быть, у папеньки и въ головѣ нѣтъ) думаютъ на тебя; я заключаю изъ того, что съ тѣхъ поръ, какъ папенька писалъ, онѣ стали со мною хуже, непрерывно бранятъ тебя и маменьку, даже и папеньку. Да, къ тому же, при этомъ разговорѣ я всегда краснѣю, и это придаетъ имъ охоты продолжать

его. Жалкіе люди! Они думаютъ прибавить этимъ повиненіе, или... Да что такое они думаютъ? Пусть все, что хотятъ: звѣздамъ не слышенъ шумъ ихъ, грязь не долетитъ до насъ; какъ ни бросаютъ они ее высоко, она упадетъ на ихъ же головы. И сверхъ того, можетъ, одно наше сіяніе будетъ освѣщать путь ихъ въ глухую, темную, холодную ночь. О, Александръ, Александръ! Пусть меркнетъ все кругомъ насъ, — свѣтъ нашъ разгонитъ весь мракъ, всѣ тучи. Ангелъ мой, ангелъ! Ты только вообрази, какъ пройдетъ этотъ годъ! Лети же, лети скорѣе, время!

17, *четвергъ*. Ты непеяешь, что я не присылаю тебѣ стиховъ моего сочиненія. Если-бъ они были, то, безъ сомнѣнія, я присылала бы ихъ тебѣ, но вотъ уже два года, какъ я не пишу стиховъ. «Какъ! — скажешь ты, — эти-то два года самые свѣтлые, самые полные изъ твоей жизни, два года рая на землѣ, полные любовью, мною, ты не находишь, что писать? И когда въ тебѣ столько поэзіи, ты не хочешь излить ее стихами?» Не то, ангелъ мой, вѣтъ. Выхода изъ дѣтства, я промѣняла игрушки на стихи, потому, когда душа моя стала развиваться, передъ нею открылась снѣжная поляна и пронзительный холодъ повѣялъ съ нея, но поэзія меня отогрѣвала, стихи цвѣтами выростали на этой полянѣ, а теперь, ангелъ мой, теперь, когда любовь твоя, какъ небесный сводъ, покрываетъ душу мою, окропляетъ ее божественною росой, теперь душа моя цвѣтетъ, какъ цвѣтокъ рая, и нужны-ль стихи, чтобы донести къ тебѣ аромат ея? Нѣтъ! Райскій цвѣтокъ, не облекаясь въ слово (оно бы и не вмѣстило его), льетъ въ душу твою и аромат рая, и музыку рая. Ты говоришь: «у тебя столько чувства», сколько же надобно, чтобы вполне выразить его?.. Нѣтъ, каждую минуту земной языкъ становится для меня бѣднѣе, недостаточнѣе.

Могутъ ли звуки земные
Рай душевный выражать?
Любви тайны святыя
Словами можно-ль облекать?..

Но ты хочешь стиховъ, и я буду писать. Пусть въ блѣдныя выраженія земного языка изольются переливы огня небеснаго. И не небесные ли будутъ звуки пѣсни любви небесной?

19, *суббота. Notre Dame de Paris* я получила. Еще и еще цѣлую тебя за этотъ подарокъ. Вообрази, онъ заставили меня читать, и обѣ! Сначала смотрѣли ее, вертѣли на всѣ стороны (какъ мартышка очки въ баснѣ Крылова); имъ казалось, что и отъ переплета пахнетъ *вольнодумствомъ*! Какъ бы позабавила тебя эта сцена! Досадно то, что мнѣ еще не удается порядочно прочесть ее. Но уже Эсмеральда мнѣ знакома, и я въ восторгѣ отъ нея. Эсмеральда, Эсмеральда! Помнишь ли слова ея на вопросъ (*Gringoire'a*) о дружбѣ и любви? Помнишь ли, что они растворили мнѣ двери души твоей, двери моего неба, рая!..

Emilie отошла твое письмо. Ты велишь прочесть ей мое? Вѣдь, она въ деревнѣ и долго не пріѣдетъ, послать къ ней я не могу, — такъ я пишу для нея. О, какъ счастливою должна считать себя Emilie, имѣя тебя другомъ, — она, которую шалость твоя приводила, *бывало*, въ восхищеніе, и какъ же мнѣ было не любить ее? Наша дружба твердая, вѣчная. Это послѣднее письмо изъ Загорья. Завтра отправляются. Скоро и я увижу мою Москву, милую, родную Москву: въ ней пришла я на землю и въ ней вознеслась на небо.

Прощай, прощай же, жизнь моя!

Твоя *Наташа*.

Полинѣ salut d'amitié.

19 сентября, Загорье.

Любезнѣйшій Александръ Ивановичъ! Никогда не сомнѣвалась я въ вашей дружбѣ, но присланныя вами книги и память о моихъ именинахъ были новымъ доказательствомъ оной и принесли мнѣ новое величайшее удовольствіе. Все это я провела пріятно. Теперь мы собираемся въ Москву. Дай Богъ, чтобъ и вы возвратились скорѣе туда, гдѣ ждутъ васъ съ нетерпѣніемъ родные, друзья и всею душою любящая сестра.

Наташа.

21 сентября, Загорье.

Вчера посылали въ Москву, и я ждала отъ тебя, моя душа. Ужъ поздно, не бѣдутъ! Головная боль превозмогла нетерпѣніе. Я легла прежде всѣхъ и уснула. Сегодня чѣмъ свѣтъ открываю глаза, подлѣ меня твое письмо! Да, да, Александръ, пусть буду я эта звѣздочка яркая, звѣзда восточная, Венера, Любовь! А ты, ты—это море свѣта, огня, любви, ты будь это солнце!

Въ Москвѣ у меня одно окошко, и оно на востокъ. Когда купили этотъ домъ, мнѣ было 14 лѣтъ, и изъ этого окна я въ первый разъ увидѣла утро. Дивное вліяніе сдѣлала на меня эта звѣзда, чистая, игривая, такая далекая отъ земли и такая пріятная, и это солнце, и свѣтъ его, и его лучи. Въ первый разъ съ восторгомъ, съ упоеніемъ смотрѣла я, какъ свѣтъ ея блѣднѣлъ въ его лучахъ, какъ гасла она, кушаясь въ его сіяніи, какъ тихо, тихо погружалась въ него и потомъ какъ вовсе исчезла въ солнцѣ! «Если-бъ душа моя была такъ чиста, свѣтла, такъ высока и такъ пріятна, если-бъ такое же солнце, такой же океанъ свѣта и любви... гаснуть въ его сіяніи, потонуть въ немъ; а безъ солнца я не хочу быть звѣздочкой, но и солнце не можетъ быть безъ звѣздочки»... Вотъ мысли, занявшія тогда мою душу. И съ тѣхъ поръ рѣдко просыпала я восхожденіе солнца, какъ будто бы въ небесныхъ явленіяхъ я читала мое будущее и восхищалась имъ, и почти каждое утро встрѣчала мою звѣздочку, и съ каждымъ днемъ, глядя на нее, становилась свѣтлѣе, ярче, ближе къ ней. Черезъ полтора года послѣ этого ты говорилъ о своихъ чувствахъ при этой картинѣ (вечеръ 6 января, 1834 г., у Насакиныхъ), и тутъ вскорѣ востокъ мой заалѣлъ, и душа блѣднѣла въ твоихъ лучахъ, и купалась въ твоемъ сіяніи, и теперь она потонула въ тебѣ, какъ та звѣздочка потонула въ солнцѣ! Скажи, ангель мой, не похожи ли на эти свѣтила мы съ тобою? Какъ ихъ Творецъ создалъ вмѣстѣ, въ одинъ день, какъ они не могутъ свѣтить одинъ безъ другого, такъ и наши существованія, наши души сходны, сближены, слиты въ одно. Какъ эти свѣтила погаснутъ вмѣстѣ, такъ и души наши вмѣстѣ покинутъ землю, и какъ вѣчность не имѣетъ конца, такъ и имъ не будетъ разлуки. И что намъ земля, люди, тысяча верстъ, смерть, когда мы вѣчно вмѣстѣ, вѣчно одна душа, одна любовь, одинъ ангель? Вѣчно, вѣчно! О, божество мое, мой Александръ! вѣришь ли, иные минуты я готова летѣть на небо, не выдавши съ тобою на землѣ! Не въ душевнѣйшій кельѣ, не въ земныхъ оковахъ встрѣтить тебя, а чистымъ, небеснымъ ангеломъ и тамъ у Бога уготовить жилище тебѣ! О, Александръ, Александръ!.. Знаешь ли ты, какъ хорошо твое имя? Знаешь ли, сколько блаженства въ немъ, сколько рая?.. Когда темнѣетъ кругомъ меня, когда разлука мрачною стѣной поднимается, растетъ изъ земли, съ какою вѣрой, съ какимъ благоговѣніемъ произношу я Александръ, — и тамъ, гдѣ мракъ, — сіянье, гдѣ горькія слезы,

тамъ—слезы восторга! О, если бы люди меня понимали, если-бъ я, желая объяснить имъ вдругъ все святое, все небесное, все изящное, все божественное, весь рай, могла бы сказать имъ только *Александръ*, и они бы этимъ именемъ постигнули все!.. О, Боже! Да, вмѣсто молитвы, я готова говорить предъ Нимъ только: Александръ! Александръ! Что же можетъ быть краснорѣчивѣе этого, доходить? Какъ яснѣ могу я выразить Ему мою благодарность и какъ, чѣмъ, скажи, мой ангелъ, я могу полнѣе излить предъ Богомъ мою душу, какъ не сказавъ Ему: Александръ? Въ этомъ имени изливается вся душа моя, радость, восторгъ и молитвы, и все, все.

23-е, четвергъ. Слава, слава! Прежде я не понимала, что такое слава, прежде равнодушно произносила это слово, оно мнѣ было чуждо. И какъ могла я ждать себѣ славы, и на что мнѣ было искать ее? Теперь же... у меня есть Александръ! Онъ мой спаситель, мой ангелъ хранитель; онъ далъ мнѣ блаженство, далъ рай; въ немъ моя жизнь, моя душа; имъ красенъ мѣръ, имъ люблю вселенную, ему бы отдала ее, передъ нимъ поставила бы всѣхъ на колѣни поклоняться, молиться ему! А, тутъ... видѣть съ какою холодною смотрятъ на портретъ его, какъ равнодушно произносятъ его имя, — о, я готова плакать тогда, какъ ребенокъ! Нѣтъ, нѣтъ! Твой образъ долженъ сохраниться на землѣ, пока она будетъ существовать; имя твое должно звучать до тѣхъ поръ, пока голосъ человѣческой будетъ слышенъ; должно, чтобъ при воспоминаніи о тебѣ грудь старца расцвѣтала юностью, чтобъ юныя души, согрѣтыя тобой, какъ солнцемъ, украшали мѣръ дивными произведениями. Нѣтъ, Александръ, я не хочу умереть безъ того, чтобы въ каждомъ взорѣ не видать слезы умиленія и восторга при твоёмъ имени, чтобы въ каждомъ существѣ не встрѣтить поклонника твоего, чтобы во всѣхъ сердцахъ не найти пламя, возженнаго тобою! И тогда... выслушай, ангелъ. Тогда, какъ ты будешь во всемъ блескѣ, когда души, согрѣтыя тобою, расцвѣтутъ, и твое сіяніе освятитъ дивные плоды цѣлаго сада, тогда, тогда... О, Александръ! тогда въ послѣднее услышать отъ тебя слово любви, прочесть ее во взорѣ твоёмъ, испить въ поцѣлудѣ твоёмъ и... потонуть въ тебѣ, какъ Венера въ солнцѣ!.. Тогда мнѣ тѣсно будетъ на землѣ.

Да, душа моя нашла въ тебѣ все, чего искала она не на землѣ. Ты именно *тотъ*. Идеалъ мой блѣденъ передъ тобою, это одна тѣнь твоя. И я бы никого на свѣтѣ не могла любить, никого бы не могла сдѣлать счастливымъ,—да, рѣшительно никого. Развѣ могла бы я кому отдать такъ свою душу, какъ тебѣ? Развѣ бы нашла въ другомъ столько?

Да, мой ангелъ, меня зовутъ мечтательницей, меня *жалуютъ*! Правда, что теперь меня ничто не занимаетъ... погребъ, кухня... Я буду ѣсть хлѣбъ и воду, чтобы только и не слышать о нихъ. Чего у меня много или вовсе нѣтъ, мнѣ все равно; да, для меня также все равно—день или ночь, лѣто или зима. Что мнѣ до этого? Я не тѣмъ живу, не тѣмъ полна душа моя. Лишь бы дали мнѣ свободу быть одной. А тогда, мой ангелъ, тогда... о, повѣрь мнѣ, и въ самой бездѣлицѣ, въ самой мелочи откроется цѣлый мѣръ пріятнѣйшихъ заботъ, и повѣрь, они не помѣшаютъ высокому, идеальному. И ты не думай, чтобы твоя Наташа не умѣла быть хозяйкой (только совѣмъ въ другомъ родѣ, нежели М. С.). Нѣтъ, я не ангелъ! Вотъ опять спустилась на землю, но небо мое со мной, во мнѣ! Будто нѣтъ поэзіи, будто нѣтъ высоты въ безпредѣльномъ желаніи угодить тому, кѣмъ для меня все дышетъ въ подвселенной, непрерывно нести ему рай и блаженство, освѣщать всю жизнь его, душу, и до малѣйшей бездѣлицы, близ-

кой къ нему, исполнить изящнаго?.. Кто не любитъ, тотъ не пойметъ этого чувства, не увидитъ въ немъ бездны радостей и счастья.

Какъ много ты утѣшилъ меня, ангелъ мой, подаривъ мою работу Александру Лаврентьевичу! Вѣроятно, онъ сбережетъ твой подарокъ до конца жизни и всю жизнь будетъ напоминать и меня человѣку великому. Не прошая тебѣ, что ты сначала испугался этой мысли. Не даромъ столько удовольствія неизъяснимаго находила я, вышивая этотъ портфель, его ожидала участь великая, я въ восхищеніи! За это вышью тебѣ еще. Но знаешь ли горе? К[нягиня] у меня взяла на ридикюль гирлянду, которую я начала для тебя! Мнѣ хочется вышить тебѣ ермолку; утѣшь меня, смѣрай свою голову и напиши мнѣ, сколько вершковъ. Знаю, тебѣ это большая коммиссія: легче-бъ написать цѣлую статью, и, вѣрно, забудешь и не напишешь; но утѣшь же меня, Александръ, я въ горѣ. Авось ли не отниметъ ермолку, или я отдамъ ее ей съ тѣмъ, чтобы она носила ее!

Витбергу не нравится начатая повѣсть, а мнѣ кажется только, она нѣсколько мрачна. Впрочемъ, я боюсь сказать тебѣ рѣшительно: гдѣ ты, тамъ для меня все совершенно, превосходно, изящно, и потому, можетъ быть, думая нѣсколько дней о твоей повѣсти, я не нашла въ ней даже того, что бы могло не понравиться Витбергу, и мнѣ бы очень хотѣлось, чтобы ты окончилъ ее. «Онъ сжегъ тѣло, пепель въ урнѣ, и это все, что есть у него на свѣтѣ. Онъ любитъ этотъ пепель, не можетъ жить безъ него». Какъ тутъ хорошо! Эта любовь въ праху! Но можно-ль любить тѣло, не зная души? Впрочемъ, нѣтъ, нѣтъ! Если-бъ я тебя не знала никогда и увидѣла бы твой портретъ, неужели бы я не посвятила, не посвятила всей жизни на то, чтобы *найти* тебя? Неужели бы у меня было другое сокровище, кромѣ твоего портрета, другое чувство, кромѣ любви къ твоему образу? Нѣтъ, нѣтъ, мнѣ нравится, окончи эту повѣсть, ежели не отсовѣтуешь тебѣ Витбергъ.

Послушай, Александръ; меня терзаетъ, наводитъ ужасъ на меня мысль, что есть существо, которому сказать обо мнѣ все равно, что дать рюмку яда... Я содрогаюсь. Это облако, это туманъ. Предпочитать раю то, что нанесетъ, можетъ быть, смерть несчастной? Скажи, нѣтъ ли средства, нельзя ли какъ, чтобы мы познакомились съ нею, чтобы она полюбила меня (о себѣ я не говорю, я уже люблю ее много за ея несчастье, за любовь къ тебѣ, за ея страданія), чтобы она нашла во мнѣ друга, повѣрила свою душу, и тогда ей, можетъ быть, легче будетъ перенести, можетъ быть, она не будетъ такъ несчастна тогда. Если ей лучше? Ты писалъ, что она больна. Я сравниваю ее съ собою, и ты можешь вообразить, легко ли мнѣ.

25, пятница. Мед. не идетъ у меня изъ головы. Непремѣнно, непремѣнно нужно, чтобы прежде, нежели она узнаетъ, что ты любишь меня, чтобы она видѣла меня; прежде не говори ей, ради Бога. Не правда ли, мой Александръ, мы не можемъ быть счастливы совершенно, то есть спокойно наслаждаться счастьемъ прежде, нежели Мед. не будетъ спокойна? Это главное, о чемъ ты долженъ стараться. Согласіе *нашихъ* это ничего передъ этимъ: тамъ одинъ капризъ, тутъ истинное чувство. Вотъ два существа, которымъ Провидѣніе нанесло удары мнѣ: Ег. Ив. и Мед.; теперь и впередъ должно стараться облегчить ихъ участь, но для перваго я не могу ничего, а Мед., мнѣ кажется, я могла-бъ утѣшить, -- кажется! Или если-бъ она уѣхала... Но развѣ это можетъ ослабить, уменьшить любовь? Мнѣ грустно, Александръ! Но какъ и что бы ни было, я люблю тебя, боготворю. Мнѣ бѣ сладка была и смерть отъ руки твоей. Этотъ годъ смоетъ твой постъ!

покъ. Мед. выздоровѣть тѣломъ и душою, и тогда мы не позавидуемъ раю и рай позавидуетъ намъ. Другъ мой, милый мой Александръ, будь весель и повоенъ для твоей Наташи, для будущаго.

27, воскресенье. Скажу съ тобою хоть слово, ангель мой! Сжато сердце. Экипажи готовы, отправляемся въ Москву. Но что найду я тамъ? Кто встрѣтитъ меня? Пуста, мертва и холодна для меня Москва; она чужая мнѣ. О, если-бъ я также собиралась въ путь, путь дальній и туда, гдѣ средь стужи и снѣговъ цвѣтеть моя весна, гдѣ средь мрака и тумана горитъ мое солнце, туда, туда... гдѣ мой Александръ, гдѣ мой ангель! Жизнь моя, душа моя, мой Александръ, --- болѣе ни слова... Ангель мой, цѣлую тебя, цѣлую.

Какое мрачное впечатлѣніе сдѣлала на меня участь Эсмеральды! Столько любви, столько высоты и поэзіи, и награда— одинъ позоръ! А Клодъ Фролло? Я отдохала нѣсколько дней, прочитавъ его: впечатлѣніе такъ сильно и теперь содрогаюсь при вспомнаніи --- horrible, horrible! Тутъ много страшнаго, мой ангель; я никогда ничего подобнаго не читала.

Я думаю, ты получилъ черезъ папеньку записку мою. Онъ самъ велѣлъ мнѣ написать. Какъ это неприятно обманывать и притворяться, хотя необходимость, но я краснѣла, писавши ее, унизила въ собственныхъ глазахъ, и мнѣ такъ казалось трудно и мудрено написать тебѣ, какъ будто въ первый разъ. Можетъ, и тебѣ оно неприятно, такъ ты прости меня, ангель мой, --- необходимость, необходимость! И ты будешь отвѣчать на нее. На что же мы должны обманывать?

Сентября 29, Москва. Третій день въ Москвѣ... Много встрѣчъ, свиданій, но все это холодно, все чужое, все утомляетъ меня ужасно, и ни минуты свободы! Я утомилась, отдохну съ тобою, ангель мой. 4 мѣсяца я привыкла видѣть однообразное движеніе, слышать одинаковые звуки (т. е. не слышать и не видать), не дѣйствовать, не быть участницей въ ихъ кругѣ, а теперь необходимо и слушать, и смотрѣть, и дѣйствовать. Это совершенно ужасно! Люди, утопая, уничтожаясь сами въ пустомъ шумѣ, въ пустой дѣятельности, исторгаютъ и меня изъ стройнаго свѣтлаго міра и безжалостно обрываютъ мои мечты. Все такъ странно, дико, я чего-то робѣю, что-то страшно мнѣ, прибѣгаю къ тебѣ, спаситель мой, источникъ жизни, блаженства и любви! Съ какою жадностью взялась я за перо!.. О, Александръ, Александръ, ангель мой, на что жъ такъ пусто, такъ темно вокругъ меня, на что такъ холодно? Въѣзжая въ Москву, я уже почувствовала какую-то боль, ознобъ, и однѣ Крутицы, которыя чуть виднѣлись, повѣяли на меня роднымъ тепломъ, и онѣ мнѣ больше сказали, нежели люди. Вообрази и теперь меня отрываютъ и опять должна разстаться съ тобою... Съ неудовольствіемъ собиралась я къ Насакинымъ, но вдругъ пришла мысль послать къ маменькѣ, что я буду тамъ, и назначить у нихъ rendez-vous. Она очень недовольна тобою и велѣла повторить, чтобъ ты никакъ не открывалъ имъ теперь, что она совершенно противъ этого. И справедливо: это не поможетъ, пѣ еще болѣе повредить, вооружить ихъ. Я долго сама размышляла и находила истинно-невозможнымъ и рѣшительно бесполезнымъ, но вдругъ среди этихъ темныхъ размышленій, гдѣ такъ много и людей и ихъ злобы, блеснула мысль *лхатъ къ тебѣ* съ маменькой. Встрепенулось сердце при этой мечтѣ. Что мнѣ люди, что ихъ сужденія, ихъ злоба, ихъ угрозы? Я бы поѣхала къ тебѣ, я бы забыла весь свѣтъ, но—если и узнаютъ, не пустятъ. Не могу спокойно вообразить, что вывѣшную зиму маменька къ тебѣ поѣдетъ, а я вѣтъ. Ангель мой, Александръ, жизнь моя, на что же ты такъ далеко отъ меня? Не даль, не версты раздѣляютъ, а люди.

Но ты общалась мнѣ быть твердымъ, я общала тебѣ быть твердой, исполнимъ же нашъ обѣтъ!

Свиданіе съ маменькой отогрѣло меня, мы долго были однѣ, много говорили о тебѣ, и чего же мнѣ болѣе желать въ разлукѣ съ тобою? Но сколько бы я ни говорила о тебѣ, съ кѣмъ бы ни говорила, никогда не нахожу такого полнаго, святаго наслажденія, какъ остаюсь одна съ тобою! Все не такъ говорятъ о тебѣ, какъ бы мнѣ хотѣлось, обыкновеннымъ голосомъ, обыкновенными словами... Не того, не того ищеть, жаждеть моя душа! Прощай, ужь за полночь, надо ложиться. Ангель мой, цѣлую тебя.

30-е. Ахъ, если-бъ я поѣхала къ тебѣ! Когда маменька сказала мнѣ, что она зимою поѣдетъ, а мнѣ *невозможно*, я заплакала, какъ ребенокъ, и склонила голову къ ней на плечо, но вижу сама, что невозможно, — знаешь ли, что будетъ, если узнаютъ? К[нягиня], опомнившись, запретъ меня, и я не буду даже имѣть возможности получать твоихъ писемъ, не только писать. И сегодня, что мнѣ досталось за то, что я съ маменькой была въ другой комнатѣ! Боже! до какой степени низки, жалки эти люди! Но ты не повѣришь, ангель мой, съ какимъ терпѣніемъ, удовольствіемъ я все переношу. Любить *такъ, такъ* быть любимой и видѣть, какъ далеки люди понять насъ, какъ они бросаютъ вверхъ грязь и сами же ею покрываются, переносить за то, что мы свѣтлы, высоки, — это наслажденіе!

Да вотъ еще замѣчаніе. Еще можно-бъ было рѣшиться открыть имъ, если-бъ маменька была не противъ этого и если-бъ мы переписывались черезъ почту прямо, а то, согласишься самъ, положеніе Е. И. пренепріятное. Господи! Господи! Ты далъ мнѣ *его*, онъ спасъ, воскресилъ меня, онъ далъ мнѣ жизнь, душу, все, — не отнимай же, Боже, жизни моей, не отнимай рая души моей!

Ну, прощай, ангель мой, я страхъ какъ тороплюсь. Не ужасно ли и это: ничего не дѣлать и не имѣть минуты посвятить тебѣ? Но, вѣдь, ты любишь меня, божество мое! Прощай, всѣмъ сердцемъ, всею душою обнимаю тебя и цѣлую. цѣлую.

Твоя *Наташа*.

Сейчасъ былъ папенька. Мы оставались долго одни. Приказываетъ повиноваться, слушаться к[нягини] и М. С. Я всегда при немъ ужасно робка. Не безпокойся о томъ, что я тебѣ писала: это одни предположенія, пустяки. Еще прощай, еще цѣлую.

Ахъ, Полинѣ, Полинѣ не забудь кланяться, не обыкновеннымъ поклономъ, а поклономъ души, понимающей все прекрасное и изящное.

Сентября 21, Вятка.

Другъ мой, вотъ нѣсколько уже дней меня томить и мучить злобный демонъ. Онъ сталъ было рѣже посѣщать мою душу, но возвратился опять со своимъ ядовитымъ дыханіемъ. Люди, — ты еще не знаешь, что это за отвратительное чудовище люди, — о, не знай ихъ! Пусть твоя душа всю жизнь знаетъ одного Бога и того человѣка, котораго Онъ тебѣ далъ; не знай толпы съ ея низкими страстями. Ты знаешь, какъ отъ дыханія тускнѣетъ свѣтлое зеркало, такъ и чистая душа тускнѣетъ отъ дыханія толпы. Я смотрю на нихъ и думаю, да въ самомъ ли дѣлѣ они существуютъ, или только призракъ уродливые, каррикатуры? Всякій, кто станетъ выше толпы, тотъ врагъ ея, того толпа побьетъ кам-

нами, тотъ попадаетъ въ очарованный кругъ, изъ котораго выйти не можетъ, ломаетъ свою душу, влечетъ въ гибель съ собою все, близко подходящее къ нему, и толпа хохочетъ, аплодируетъ и мечетъ грязь ему въ лицо. Одна связь съ небомъ—любовь. Человѣкъ—падшій ангель, Люциферъ, ему одна дорога къ небу, къ земному раю, это любовь; это самоуничтоженіе двухъ въ одну душу, это то, что мнѣ раскрыла ты, ангель, ты, достойная примирить человѣчество съ Богомъ. И притомъ еще я, очищенный твоею любовью, когда взгляну на себя,— сколько во мнѣ эгоизма! Эгоизмъ — это проказа, это чума душъ человѣческихъ, остатокъ паденія, прямое наслѣдство Люцифера. Наташа, Наташа, твое присутствіе мнѣ необходимо, я избить судьбою, избить людьми, вся душа въ рубцахъ, все сердце въ крови, ты одна можешь уврачевать, одинъ взглядъ. — и конечно, я забуду людямъ обиды, которыми они осыпаютъ меня ежедневно. Можетъ, судьба и возвратитъ меня спустя годъ!

Твоихъ писемъ съ Макаровымъ я еще не получалъ, ибо онъ не пріѣзжалъ, а на-дняхъ будетъ; жду ихъ, какъ узникъ вѣсти о свободѣ.

Въ прошедшихъ твоихъ письмахъ было написано,— ты писала ими то, что для Emilie кажется ужасно положеніе наше, когда я возвращусь, ежели оно останется то же, а тебѣ не кажется оно ужасно. Да, я увѣренъ въ этомъ, я знаю твою душу, она выше земной любви, а любовь небесная, святая не требуетъ никакихъ условій внѣшнихъ. Знаешь ли ты, что я доселѣ не могу думать, не отвернувшись отъ мысли о бракѣ? Ты моя жена! Что за униженіе: моя святая, мой идеалъ, моя небесная, существо, слитое со мною симпатіей неба, этотъ ангель — моя жена! Да, въ этихъ словахъ насмѣшка. Ты будто для меня женщина, будто моя любовь, твоя любовь имѣетъ какую-нибудь земную цѣль! О, Боже, я преступникомъ считалъ бы себя, я былъ бы недостойнъ твоей любви, ежели-бъ думалъ иначе; тѣснѣ мы другъ другу принадлежать не можемъ, ибо наши души слились, ты живешь во мнѣ, ты — я. Но ты будешь моей, и я этого отнюдь не принимаю за особое счастье, это — жертва гражданскому обществу, это — официальное признаніе, что ты моя — болѣе ничего. Упиваться твоимъ взглядомъ, передать всю душу, не говоря ни слова, однимъ пожатіемъ руки, поцѣлуй, которымъ я передамъ тебѣ душу и выпью твою, чего же болѣе? Отчего же Emilie съ ея душою такъ поверхностно поняла любовь, она — любившая!..

Повѣсть я началъ и написалъ IV главы. Тамъ являются двѣ женщины на сцену. Елена, которой я придалъ характеръ Медв, это женщина земная, это любовь матеріальная, доведенная до поэзіи, но до поэзіи земной, и княжна, которой я нѣсколькими чертами далъ твой божественный характеръ, гдѣ уже и слѣда нѣтъ земли, гдѣ одно небо, и небо яхонтовое, небо Италіи. Но все это набросокъ. Впрочемъ, ты тамъ найдешь толпу выраженій изъ нашихъ писемъ. Прощай покамѣстъ, буду ждать писемъ; мнѣ крайняя нужда въ нихъ, чтобъ забыть людей.

23 сентября. Макарова нѣтъ, и я грустенъ и утомленъ, ничего болѣе теперь не напишу, прощай, мое другое «я», нѣтъ, не другое «я», а то же самое. Мы врозь не составляемъ «я», а только вмѣстѣ. Прощай, свѣтъ моей жизни!

Ежели ты не читала *Мечты и жизнь* Полевого, то попроси, чтобы Егоръ Нв. досталъ ихъ тебѣ. Тамъ три повѣсти: *Блаженство безумія*, *Эмма* и *Жизнописецъ*, и всѣ три хороши, очень хороши. Цѣлую твою руку.

Александръ.

Ангель... ангель! Нѣтъ, я не могу выразить, какъ бы я назвалъ тебя; все то, что выражается въ звукахъ музыки; все то, что видишь при захожденіи солнца, при взглядѣ на луну, — все то сплавъ въ одно, и все это едва выразить тебя. Наташа, нѣтъ, нѣтъ, это слишкомъ, земля недостойна такого чувства, какъ твоя любовь.

Я никогда не плачу, но я плакалъ, читая твои послѣднія письма, и это были слезы восторга; о, какъ счастливъ я былъ съ этими слезами! Посмотри на меня, вотъ твой Александръ, со слезами на глазахъ, прижимаетъ твою руку къ своему сердцу, которое бьется такъ сильно, сильно любовью къ тебѣ. Я былъ раздраженъ людьми (какъ писалъ къ тебѣ въ прошлой запискѣ) и вдругъ два письма (одно отъ 26 августа, другое отъ 3 сентября), и все исчезло, и я плакалъ отъ восторга, и это лучшая моя молитва Богу, моя благодарность Промыслу за то, что онъ далъ мнѣ потерянный рай. Что былъ бы я безъ тебя? Я гордъ, самолюбивъ, страсти мои дики, я погибъ бы въ борьбѣ съ людьми или сдѣлался бы эгоистомъ; дружба не могла бы измѣнить меня, а ты явилась и повела, куда же? — въ царство небесное. О, Наташа! Не много буквъ въ этомъ словѣ, но въ немъ все, въ этомъ восклицаніи; твое имя замѣняетъ мнѣ весь языкъ человѣческой. Пойми его, ты поняла его, поняла, ты знаешь, что значитъ это слово Александръ. Милый другъ мой, я сойду съ ума отъ счастья; всякій день я сливаюсь болѣе и болѣе съ тобою. Что, ежели бы мы могли составить одного челоуѣка? Нѣтъ, это скверно, я хочу пить свѣтъ изъ очей моей Наташи; этотъ свѣтъ свесенъ ею оттуда.

Когда Данте терялся въ обыкновенной жизни, ему явился Виргилій и рядомъ бѣдствій повелъ его въ чистилище; тамъ слетѣла Беатриче и повела его въ рай. Вотъ моя исторія, вотъ Огаревъ и ты.

Знаешь ли ты, что опять есть надежды, и надежды большія? Егоръ Нв. можетъ рассказать тебѣ. Можетъ, гораздо менѣе году остается до свиданія. О портретъ буду хлопотать; вѣроятно, Витбергъ не откажетъ, но совѣстно просить его; но будь увѣрена, что, ежели есть возможность, мой портретъ еще лучше того, которой у папеньки, будетъ у тебя, потому не хлопочи о дурномъ портретѣ. Но кто же напишетъ твой портретъ? Этого я Литунува [?] не довѣрилъ бы: высокъ долженъ быть душою челоуѣкъ, который дерзнетъ на бумагѣ повторить твои божественныя черты, это могъ бы сдѣлать Рафаэль, понявшій мечтою Мадонну.

Ты рада, что я болѣе сижу дома. Однакожь, не воображай, что въ самомъ дѣлѣ я не выхожу нигуда; цѣлое утро въ канцеляріи, обѣдаю почти черезъ день у губернатора, а тамъ иногда и вечеръ гдѣ-нибудь, но только по необходимости. Когда я прочелъ твои письма, я не могъ сидѣть дома, все кипѣло, я опять былъ юноша, горѣлъ жизнью, поскорѣ одѣлся я и пошелъ гулять. На все смотрѣлъ я сильнѣе, повторяя въ памяти всѣ выраженія твои, и, наконецъ, отправился къ Полинѣ подѣлиться счастьемъ. Трудно удержать въ груди восторгъ. И знаешь ли, что болѣе всего привело меня въ восторгъ въ твоихъ письмахъ? Это то мѣсто, гдѣ ты говоришь, что, можетъ, иногда середъ людей я задумаюсь, и не велишь сказывать, а велишь тебя спросить о причинѣ. Послушай, въ этихъ нѣсколькихъ словахъ твоихъ для меня вся ты съ этою совершенною преданностью и этимъ самоуничтоженіемъ во мнѣ.

Водо тебѣ въ женихъ, ха, ха, ха!... Un homme comme il faut c'est à dire, comme il n'en faut jamais. Это умора! И неужели онъ смѣетъ думать? Да онъ послѣ этого дуракъ. Смѣлъ ли когда-нибудь червякъ просить Бога, чтобъ Онъ ему далъ

въ подруги лучшее свое твореніе, своего любимаго ангела, мою Наташу? Нѣтъ, не вѣрю, это на него выдумали: такой гигантской мысли не заронится въ голову столоначальника и татулярнаго совѣтника Октавія Тобіевича Водо.

Еще разъ о Мед. Наташа, Бога ради, не старайся заглушить голосъ совѣсти во мнѣ. Мой поступокъ черепъ. Она страдаетъ, — это ужасно! И гдѣ-жъ справедливость? Богъ дастъ мнѣ ангела за то, что я погубилъ женщину. Чѣмъ это все кончится, — не знаю, но предчувствіе не къ добру. Ахъ, по крайней мѣрѣ, хоть бы она или я уѣхали отсюда! И я, — всѣ шутки въ сторону, — былъ не доволенъ твоимъ выраженіемъ: «ты можешь въ ея глазахъ заглядить свой постушокъ». Или ты это, не думавши, писала, или я дивлюсь, какъ такой вздоръ взошелъ тебѣ въ голову. Она любить въ самомъ дѣлѣ, и, слѣдственно, одна любовь можетъ принести ей облегченіе, а не *оправданіе*. Любовь земная сильна, она тѣмъ болѣе жгетъ, что у ней нѣтъ другого міра, куда удалиться отъ зла земли. Ты, мой ангелъ, говоришь, что любила бы всякую, мечтавшую обо мнѣ; она терзается, зачѣмъ я такъ близокъ съ Полиной. Впрочемъ, я все дѣлаю, я намекалъ даже на тебя, я говорилъ, что она должна забыть меня для дѣтей своихъ, но доселѣ что-то все это не очень успѣшно.

Итакъ, Саша и Костя мои агенты; благодарю ихъ теперь словомъ, а въ послѣдствіи — дѣломъ. Я какъ будто предчувствовалъ это, написавъ имъ поклонъ.

Emilie не вѣритъ вполне моему любви; я понимаю, какое она право имѣть на сомнѣніе, и не сержусь. Но скажи твоему другу Сашѣ Б., что мы поняли другъ друга, что она должна быть высока, будучи другомъ тебѣ и пламенно вѣря въ любовь нашу. Мнѣ хочется ее видѣть: я люблю сильныя души. Найдеть ли она любовь на землѣ? Безъ любви жизнь дѣвушки безсмысленна, это солнце безъ свѣта, неконченный аккордъ въ музыкѣ. Благодарю тебя за то, что ты поправила мою ошибку и отстранила Мар. Ст. отъ насъ. Я душевно смѣялся, какъ она читала записку за французскіе стихи и какъ она ненавидитъ меня изъ патріотизма. Ну, покажѣтъ довольно. Иду спать. Прощай, можетъ, въ одно время во снѣ ты увидишь меня, а я тебя, тогда наши души вмѣстѣ, сливаются, цѣлуются... Ахъ, иногда какъ бы хотѣлось продлить сонъ! Прощай, вѣроятно, ты давно покоишься, ангелъ мой, — уже второй часъ. Зачѣмъ не на груди твоего Александра, зачѣмъ?

Ты доселѣ восхищаешься *Легендой*. Мысль ея хороша, но выполненіе дурно, несмотря на всѣ поправки; ее еще надобно передѣлать. «Германскій путешественникъ» сразу написалъ лучше. Не знаю, что-то съ новою повѣстью будетъ; нѣкоторыя мѣста хороши.

Ты спрашиваешь о твоихъ кольцѣхъ; я, кажется, тебѣ писалъ, что я его уронилъ въ щель на станціи въ Нижерородской губерніи. Мнѣ его смерть жаль до сихъ поръ, но, вѣроятно, судьба хотѣла, чтобъ не это кольцо было твоимъ знакомъ на моей рукѣ, оно было подарено до 9-го апрѣля. Тебѣ кольца я не пошлю до тѣхъ поръ, пока они не узнаютъ.

29 сентября. Рѣшено, у тебя будетъ превосходный портретъ. Я хотѣлъ его доставить къ твоему рожденію, но это врядъ возможно ли, ибо сегодня только Алекс. Лавр. я упростилъ, а тяжелая почта ходитъ 14 дней.

Я писалъ маменькѣ, чтобъ тебѣ доставили бѣлый палатинъ; мнѣ они очень нравятся; не знаю, будетъ ли исполнено. Прощай, мой ангелъ. Ты права, что смерти бояться нечего: тамъ-то и начнется жизнь настоящая, тамъ ты можешь

быть еще изящнѣе; здѣсь ты достигла верхъ земнаго изящества. Прощай, цѣлую тебя много и много.

Твой и за гробомъ

Александръ.

Преуморительная записка въ папенькиномъ писемѣ, ха, ха, ха! Помилуйте-съ, Наталья Александровна, не стѣнть благодарности.

4 октября, Москва.

Что, ангель мой, что затмило твою душу? Люди—толпа, забудь ихъ, забудь. Ужель они имѣютъ столько силы, чтобъ мучить, томить тебя? Я чувствую, ты боленъ. Но эта любовь, эта душа, все существо, полное одной любви къ тебѣ, созданное для одного тебя, ужели оставляютъ въ твоемъ сердцѣ мѣсто земной скорби? Отвернись отъ нихъ, посмотри сюда, въ эту душу, здѣсь твое небо, и оно ясно и чисто, здѣсь блаженство твое, и оно велико, безпредѣльно, и все это твое, твое! Отдохни на этой груди, гдѣ только Богъ и ты. О, если-бъ ты зналъ, какъ больно мнѣ такое состояніе твоей души! Лучше-бъ я сама вынесла жестокую бользнь, лучше-бъ... До завтра, ангель мой, прости! Въ тяжкую минуту давеча получила твое письмо и еще тяжеле стало.

5, *понедѣльникъ*. Вчерашній день былъ тягостенъ. Но ты скажешь: «могутъ ли у тебя быть тяжелые дни?» Могутъ, ангель мой, и вотъ почему. Когда отъ тебя долго нѣтъ писемъ, я больна, и единственное лекарство и отрада—единеніе. Я одна—и все земное исчезаетъ, ты и я одно божество, одинъ ангель, и любовь, какъ небо, обнимаетъ насъ со всѣхъ сторонъ, тогда не надо ни портрета, ни писемъ, безъ нихъ мы такъ ясны, такъ близки, такъ глубоко въ тебѣ. Непродолжительны минуты этого божественнаго восторга, минуты не здѣшней жизни (и я бы не могла послѣ нихъ жить на землѣ, душа не возвратилась бы уже въ мрачную темницу, не облеклась бы въ тяжкія оковы), но онѣ оставляютъ въ душѣ надолго свѣтъ, и земная боль долго не доступна ей. Не получая отъ тебя писемъ отъ 6 сентября, я утомилась и искала минуты отдыха, жаждала капли отрады и, вмѣсто того, вообрази, кругомъ меня люди, говорятъ мнѣ, смотрятъ на меня... мученье! О, если-бъ тутъ былъ твой портретъ, или хоть бы черта твоей руки, я-бъ потонула въ ней, и ничей голосъ, ничей взоръ не досталъ бы меня въ ней; но у меня ничего не было и мнѣ было больно и слушать, и смотреть, и день былъ тяжелъ. Но вдругъ твое письмо!.. Мое присутствіе заставитъ тебя забыть людей и ихъ обиды, уврачуеетъ больную душу твою... Зачѣмъ же другъ мой, ты отнял у меня мысль идти къ тебѣ? Что тутъ невозможнаго? Давно бы я была на половинѣ дороги, а теперь Богъ вѣдаетъ, когда увидимся: я знаю навѣрное, что не поѣду съ маменькой. И какъ рвется къ тебѣ душа, и какъ тяжко!.. Но послушай, ты знаешь самъ, что мы будемъ вмѣстѣ (и скоро, можетъ быть), что ничто на свѣтѣ воспрепятствовать этому не можетъ, что ты любимъ такъ, какъ ни одинъ смертный не былъ и не можетъ быть любимъ, что во мракѣ будущаго сіяетъ звезда славы... Оставь же, другъ мой, ропоть твою, тебѣ уже многое дано, ввѣрься же Провидѣнію. О, сейчасъ бы, сію минуту летѣла, бѣжала бы къ тебѣ! Я бы заградила своею душой этихъ чудовищъ, утолила бы жажду твоей души питьемъ небеснымъ, сама бы излилась въ нее любовью. но еще рано это блаженство, еще мы не совершенны, и потому неси крестъ мой. Александръ! Ну, посмотри, какъ радостно сіяетъ мое лицо подъ этимъ бременемъ, и тяжесть его не перевѣшиваетъ вѣры моею; твою душу что же можетъ

колебать? Обиды? Я уже сказала тебѣ, это грязь, они бросаютъ въ тебя ее, но ты высоко, грязь не достаетъ тебя и падаетъ на нихъ же. И какъ же мнѣ не быть счастливейше всѣхъ на свѣтѣ? Ни люди, ни ихъ злоба мнѣ не знакомы, я боюсь понять толпу съ ея ничтожествомъ, меня ужасаетъ малѣйшее пятно въ существѣ, созданномъ по образу и подобию Его, мнѣ становится тяжело: будто оно пятнаетъ самое меня, и одно спасеніе — бѣгу къ тебѣ, бросаюсь въ волны твоей любви и долго боюсь обратиться на нихъ. Потому-то я и люблю такъ быть одна; тутъ ужъ пылинки нѣтъ. О, какъ хорошо тогда!

6, вторникъ. Другъ мой, не вини Эмилию. Она боится за меня твоего возвращенія, и это не означаетъ, что она поверхностно поняла любовь, но что она извѣдала до дна людей, ихъ злобу и несчастье. Развѣ намъ легко будетъ въ минуту свиданія остановиться въ 10 шагахъ другъ отъ друга? Два года стремились непрерывно другъ къ другу, не замѣчая ни колючихъ терній, ни острыхъ камней, которыми усыянь путь нашъ, не чувствуя ранъ, которыми они покрыли насъ, кровь льетъ, мы истерзаны, но до того-ль? Вѣдь, мы идемъ другъ къ другу, и чѣмъ больше ранъ, чѣмъ сильнѣе страданіе, тѣмъ ближе мы, и зато мы любимъ наши раны, наше мученіе, и вдругъ... Боже! Александръ! Перенесу ли я, чтобы, увидѣвъ тебя, остановиться? Если перенесу, это будетъ новый опытъ душевной силы; но ты скажешь: «на что-жъ остановиться?» И я скажу: на что, на что? Если бы люди могли *только* умножить раны, прибавить мученія, но, ангелъ мой, вѣдь они *могутъ* опять насъ разлучить, и это не будетъ разлука двухъ, они въ другой разъ разорвутъ одно сердце! Эмилія права! Но мнѣ прости эту мысль, Александръ! Въ ней не видно неба... но она уже, повѣрь, исчезла. Нѣтъ, нѣтъ, никто не можетъ противиться намъ, устрашить насъ, ничто не можетъ заставить меня остановиться, когда увижу тебя: тогда все будетъ забыто, все исчезнетъ, если не правратиться въ одинъ гимнъ, въ одну гармонию, въ одинъ аккордъ!

Свѣча гаснетъ, цѣлую тебя и ложусь. Прощай.

7-е. Говорятъ, сегодня оказія, хоть одно слово, ангелъ мой! Вотъ что пришло мнѣ въ голову. Я не поѣду къ тебѣ, это вѣрно; если-бъ можно было, чтобы Эмилія навѣстила тебя съ маленькой! Она правый глазъ мой. Напиши мнѣ на это свою мысль. Обнимаю, цѣлую тебя, Александръ мой, мой ангелъ, моя жизнь, душа моя! Спишу, прощай.

Твоя *Наташа*.

10 октября. Душа моя такъ полна, такъ полна... божусь тебѣ, ангелъ мой, нѣтъ словъ! Получила твое письмо отъ 29 сентября. Нѣтъ, Александръ, не могу выразить ничего... Когда *ты* плачешь отъ восторга, получая мои письма, вообрази-жъ меня, и къ тому надежда и портретъ!.. Вдругъ такъ много блаженства; другая бы не выпила. Но я уже боюсь вѣрить обѣщаніямъ, мы такъ ужасно были обмануты, но душа опять полна тѣмъ трепетнымъ ожиданіемъ, волненіемъ, которое не можетъ замѣнить никакое спокойствіе души. Можетъ, эта надежда мнимая, но уже для меня все перемѣнилось, все посвѣтлѣло, все наполнилось ожиданія... Ахъ! когда же, когда же, когда же?.. Александръ, неужели кто-нибудь достоинъ будетъ быть при нашемъ свиданіи? Когда я ни при комъ не распечатаваю твоихъ писемъ, никто недостойнъ въ это время быть со мною, а тогда, тогда!.. О, ангелъ мой, мнѣ кажется, обнявшись въ первый разъ, не только души наши будутъ высоко отъ земли, но и тѣло наше поднимется на воздухъ. И въ

какомъ восторгѣ я отъ портрета и отъ того, что онъ будетъ писанъ Витбергомъ? Я имѣю къ нему безпредѣльное уваженіе. О, Александръ, какъ я счастлива и сколько благодарна Александру Лаврентьевичу! Теперь скорѣе просить прощеніе за выраженіе, что ты можешь заглядить свой поступокъ въ глазахъ Мед. Какая глупость! Какая нелѣзость! Не могу сама понять ничего въ этихъ словахъ, на что это похоже; даже не помню, какъ я это писала, ужъ, конечно, не думала этого, выбрось это и забудь, ради Бога; вѣрно, писавши это, я слышала голосъ М. С. и шаги кн[ягини]. Какъ досадно, я ужасно сердита на себя! Оправданія — любви! Другъ мой, забудь, забудь, прошу тебя; нѣтъ, я вовсе такъ не думаю!

Завтра оказія, хочется писать къ тебѣ, а тутъ нельзя, силъ нѣтъ! И я еще не опомнюсь отъ восторга; рука дрожитъ. Прощай пока, мое небо, мой рай.

Мнѣ столько же хочется, чтобы у тебя былъ мой портретъ, сколько хотѣлось имѣть твой. Но здѣсь нѣтъ другого Витберга; желаніе невозможное, но какъ бы хорошо, если бы онъ снялъ первый портретъ съ меня! Къ Литуну [?] я не имѣю большой довѣренности. Впрочемъ, тебѣ надо попенять, на что ты воображаешь такъ много о моемъ лицѣ. Я совсѣмъ не хороша (не обижайся, я говорю безпристрастно) и, сверхъ того, очень перемѣнилась послѣ 20 іюля 1834 г., и иногда это меня ужасно сердитъ не за себя, но я бы желала, чтобы *твоя* Наташа во всемъ была совершенство и красота, и есть многія лица, съ которыми бы я помѣнялась.

Получа письмо, ты бѣжишь къ Полинѣ дѣлать радость, со мною же никого нѣтъ, и я иду тогда небо и дѣлюсь съ Богомъ, и повѣришь ли, въ состояніи цѣлый день пробыть на землѣ, не помня и не думая о ней. и, если бы со мной была Саша или Эмилиа, я бы не могла сказать имъ ни слова, но увѣрена, что отъ одного взгляда на меня. отъ одного прикосновенія ко мнѣ въ ту минуту все существо ихъ просвѣтлѣло бы и исполнилось благоговѣнія; такъ очищаютъ, такъ освящаютъ меня твои письма. Для Эмилии конечно все, она отжила на землѣ, а Саша... съ ея душою... но она говоритъ мнѣ часто: «Увѣрю тебя, Наташа, что я никогда не буду любима и любить не могу; *вѣдь, на землѣ нѣтъ другого Александра!*» И она права! Права — у нея два чувства: любовь къ отцу и дружба ко мнѣ.

Всѣ эти дни я ждала къ себѣ маменьку, а теперь еще съ большимъ нетерпѣніемъ: она расскажетъ мнѣ о *надеждѣ*. Ахъ, если она совершится, если скоро, скоро... да ужъ ничего не скажу. Нѣтъ, каково это? У меня будетъ образъ Александра! Да, Александра, лучшаго созданія Божьяго, единственнаго моего спасителя, моего ангела, — ну, словомъ, Александра! Я его не повѣшу на стѣну, чтобы *всякой* видѣлъ, — о, нѣтъ, это будетъ награжденіемъ добродѣтели, а сама я... о, Александръ! вообрази все самъ...

Да, можетъ быть, я похожа на Дантову Беатриче, но на тебя, мой ангелъ, божусь моею любовью, никто не можетъ быть похожимъ, подобнаго никогда Творецъ вселенной не создавалъ, не создавалъ! И я знаю, что ты знаешь это самъ, но не могу вытерпѣть, мое первѣйшее наслажденіе говорить съ тобою о тебѣ, да я бы ни съ кѣмъ ни о чемъ другомъ не говорила, если бы все были достойны этого. Иногда я совершенно ребенокъ, хожу по комнатамъ и вспоминаю, какъ ты бывалъ у насъ, гдѣ сидѣлъ, что говорилъ, все, все, и смѣюсь одна, и готова громко говорить одна, все это рассказываю въ миллионный разъ Эмилии и потомъ сравниваю *тогда* съ *теперь* и плачу, и смѣюсь, и не знаю что!

10. Я и не хочу, другъ мой, чтобы ты заперся въ четырехъ стѣнахъ: это невозможно; а радуюсь тому, что ты не будешь искать разсѣянія среди людей!

Служба—это необходимость, быть съ Полиной—высшая необходимость: я знаю, как тяжело не имѣть подлѣ себя существа, которому бы можно перелить горе иль восторгъ. Какъ я люблю Полину, какъ бы желала видѣть ее!

Я слышала, Водо и не думаетъ обо мнѣ. Онъ меня не знаетъ, а папенка и Левъ Ал. въ восхищеніи отъ него и отъ воображенія, чтобъ онъ за меня сватался, но и этого бы никогда не было,—онъ ищетъ много денегъ. Смѣшные люди! Превесело смотрѣть, какъ они хлопочутъ, суетятся. стараются, и все изъ-за денегъ, и все секретно отъ меня! Я воображаю, ангелъ мой, какое будетъ ихъ удивленіе.

Бѣлыс палатины мнѣ самой очень нравятся, но я никуда не ѣзжу, и напрасно, ежели выполнять твое повелѣніе, а портретъ, я думаю, поспѣеть къ 22. Ангелъ мой, въ какомъ я буду восхищеніи! Только прикажи же, чтобъ непременно его отдали мнѣ, а то папенка скажетъ опять, что мнѣ не надо *сентиментальничать*. Мнѣ кажется, онъ меня не любитъ; я боюсь его ужасно.

Полевого мнѣ обѣщали достать. Да когда же я дождусь хоть одной изъ твоихъ статей?

И я, Александръ, сойду съ ума отъ счастья... о, это ужасно, нѣтъ, нѣтъ! Что же, мы будемъ оба сумасшедшіе? Костенька безъ памяти любитъ тебя и меня, и для нея мы бы были совершенство, если бы не думали *минимизировать*. Въ вашемъ домѣ все это извѣстно и, вѣроятно, въ другомъ видѣ; начинается маленькая перестрѣлка, а тамъ и громъ пушекъ раздастся. Пусть ихъ, пусть ихъ, на здоровье!

О какъ мы счастливы, Александръ!... Потомъ

Кто не знакомъ съ восторгомъ дивнымъ,
 Съ священнымъ трепетомъ души,
 Кто звукамъ тайнымъ и призывнымъ
 Внималъ съ холодною въ тиши.
 Кто на небесное призванье
 Въ груди отвѣта не слышалъ
 И кто въ божественныхъ мечтаньяхъ
 Свой идеаль не создавалъ,
 Тому я душу не открою:
 Онъ не пойметъ любви святой.
 Не подѣлюсь съ его душою
 Твоею — какъ небомъ съ землей!
 Ему останется все тайной,
 Непостижимою во мнѣ,
 Какъ край тотъ ясной, но и дальній,
 Какъ все въ подзвѣздной сторонѣ.
 Тому-жъ, кто самъ звѣздою ясной
 Въ душѣ родной ему сіялъ,
 Кто все ностіи душой прекрасной,
 Любовь волнами изливалъ,
 Безъ словъ, лишь взглядъ одинъ я подарю.
 Онъ въ немъ прочтетъ тебя.—любовь,
 И душѣ больной блаженство вновь
 Я этимъ взоромъ отворю.

Ни разу мнѣ не удавалось заняться порядочно; скучно такъ жить, но я буду писать. Вотъ еще образчикъ:

Какъ дивно все Его творенье,
 Какъ все изящностью дышитъ
 Когда душа въ самозабвеньи
 Въ надзвѣздный міръ къ Нему паритъ,

Когда всю землю забываешь,
 Нечистоту, коварство злыхъ,
 Въ объятяхъ неба отдыхаешь
 И видишь ангеловъ святыхъ.
 Какъ полны святостью мгновенья.
 Когда живешь на небесахъ,
 И какъ высоко наслажденье—
 Душѣ у Бога быть въ гостяхъ!
 Но ты открытъ своей любовью
 Другое небо, другой рай.
 Ты поглотить твоей душою
 Во мнѣ то небо и тотъ край.
 За облака меня не манишь,
 Тамъ нѣтъ тебя и пусто все,
 Душа на небо ужъ не взглянуть,—
 Въ тебѣ блаженство все ея.
 Тамъ гармонія. Но не слышать
 Тамъ музыки твоихъ рѣчей.
 Тамъ ярко солнце! Но не видать
 Тамъ Александровыхъ очей!
 И тамъ была бы спротою
 Твоя Наташа безъ тебя.
 Когда же ангель мой со мною,—
 Богатѣй всей вселенной я!

Ужасно сиѣшу, прощай, мой свѣтъ, мой ангель! Не хороши эти стихи, но объщаю тебѣ лучше, когда будетъ побольше время, а эти я вчера писала отъ 11 до 12, слушая непрерывное повтореніе: пора спать.

Обнимаю тебя, милый другъ мой. Ахъ, Александръ, какъ весело называть тебя другомъ, ангеломъ, божествомъ!

Москва, октября 12.

Сиѣшу подѣлиться съ тобою моею радостью. Какъ я счастлива, Боже, какъ счастлива! Вчера у меня была маменька. Я двѣ недѣли въ Москвѣ и никого не видала изъ *своихъ*, ни съ кѣмъ не говорила отъ души. Маменька-жъ... Тутъ такъ все близко съ тобою, такъ полно тобою, вся ея жизнь въ тебѣ, и кто-жъ лучше пойметъ меня, оцѣнитъ любовь къ тебѣ? Я была въ сильномъ восторгѣ, и она такъ мила, такъ ласкова, съ такимъ участіемъ говорила!...

Я бы измучилась, если-бъ видѣла въ ней малѣйшую тѣнь недовѣренности ко мнѣ. И она будетъ счастлива, будетъ; остальные годы ея жизни будутъ ясны, цвѣтущи, нежели самая юность ея; не вѣря въ это, я бы не могла быть вполне счастлива. Тутъ и Машенька Эрнъ, тутъ и одна изъ моихъ Сашъ, все это родныя, одна семья, все любитъ меня, все обожаетъ тебя, всѣхъ сердца открыты, всѣ говорятъ о тебѣ, о возвращеніи, о свиданіи, о будущемъ.. Нѣтъ. мало и видѣли обыкновенной моей жизни, чтобы заплатить за одинъ такой часъ! И потомъ эта таинственность, часовые, караульные, условные знаки, все это полно преданности, усердія, и потомъ грозный непріятель, его жестокость, его пронырство, и такъ счастливо все кончилось, ни одинъ косой взглядъ не встрѣтилъ насъ. О, ангель мой, какъ вездѣ, во всемъ я счастлива, и все это потому, что вездѣ, во всемъ я ношу съ собою сердце, полное тобою и любовью! О, безъ тебя я-бъ стосковалась и въ рай, другъ мой!

13, вторникъ. Теперь я нѣсколько отдыхаю, а то всѣ эти дни была измучена. Сестра Саша въ злой чахоткѣ и сдѣлалась больна при смерти. Она мнѣ

много, много служила, да и при томъ же находила большое утѣшеніе въ моихъ посѣщеніяхъ. Ужасно несносно видѣть такое страданіе человѣка, но можно-ль отказать? А потомъ Саша находила единственное убѣжище и отраду плакать о ней со мною. Умирающая, и слезы непрерывно были у меня въ глазахъ. Теперь ей лучше и мнѣ лучше. Боже мой! Куда ни оглянись, вездѣ страданія и несчастія, или бѣдность, или болѣзнь, или разлука. И какъ ужасно, когда посланъ крестъ душѣ, не вмѣющей силъ нести его, не могущей исполнѣть предаться Его волѣ! Какъ сильна тутъ горестъ, какъ сильны страданія! Но что не перенесетъ душа, озаренная вѣрою? Мнѣ бы надо было умереть въ разлукѣ съ тобою, но неся крестъ, взнемогая, я обращаюсь къ Нему, и льется благодать и чаша подкрѣпленья.

Маменька говорила мнѣ о надеждахъ... Нѣтъ, все что-то сомнительно, долго, долго, ангель мой, не увижу я тебя, но вѣрь, ужъ мы такъ близки, такъ близки, терпи, другъ мой, сколько зато блаженства; посмотри, посмотри, сколько свѣта въ будущемъ. Теперь ты знаешь, сколько я тебя люблю, тогда-жъ узнаешь еще болѣе; все то, что нельзя выразить словами, для насъ теперь тайна, а въ нашихъ душахъ такъ много невыразимаго земнымъ языкомъ, а тогда все откроется, весь этотъ тайный міръ блаженства, мы вовсе потонемъ въ него, вовсе забудемъ землю; въ немъ, въ этомъ мірѣ нѣтъ даже дверей *туда*, это все одно, и мы вчувствительно переселимся *туда!* О, Александръ, Александръ!...

Какъ-то давно я слышала нѣчто непріятное о маменькѣ. Будто она сомнѣвается, жалѣетъ и прочее, я прямо спросила ее, — и все это вздоръ, глупость, ложь, и теперь у меня нѣтъ ни малѣйшей тѣни... Ангель мой, другъ мой, обнимаю тебя!

16-е. Вчера у насъ былъ прежній мой учитель. Я думаю, ты помнишь его, — дьяконъ Павелъ Сергѣевичъ. Вотъ, Александръ, человѣкъ! Вотъ истинный послѣдователь евангельскаго ученія! Я его безмѣрно уважаю. Вообрази, онъ угнетенъ почти всѣмъ на свѣтѣ и никогда я не слыхивала отъ него ни малѣйшаго ропота. Во всѣхъ испытаніяхъ чудное величіе духа и вѣра. Никогда ты не увидишь его печальнымъ. Онъ, смѣючись, говоритъ, что дѣти просятъ хлѣба, а мука вся и негдѣ взять. Многіе, вмѣсто всякаго утѣшенія и вспоможенія, говорятъ ему: «Какъ ты жалокъ!» — и онъ отвѣчаетъ не признательностью, а большимъ сожалѣніемъ о нихъ. Онъ какъ будто совершенно умеръ для здѣшняго міра и весь живетъ въ мірѣ духовномъ. И какъ ясны и полны его бесѣды; послѣ нихъ, оглянувшись на себя, сколько увидишь темноты и недостатка!

Ты удивишься, что я кротко переношу *ихъ* непріятности и готова имъ многое сдѣлать, многимъ жертвовать, что молюсь о нихъ. — слабая черта! Христосъ молился о распявшихъ его, а онѣ — развѣ сдѣлали мнѣ вредъ? Можно ли сердиться, когда въ болѣзни даютъ горькія лекарства? Странное ихъ воспитаніе. горькое, сдѣлало мнѣ много пользы, и *ты его, мой ангель, благословляешь*. Я еще роптала, когда не понимала этого, а теперь на все то, что они льютъ на меня горькаго, я смотрю, какъ на лекарство, которое не только теперь, но и впередъ можетъ предохранить меня отъ многихъ болѣзней. Да, ихнее воспитаніе дало то, чего бы не могли дать милліоны, и сколько-жъ я должна имъ быть благодарна, и могу ли жаловаться и роптать? Если-бъ не кв[ягния], гдѣ бы я была, знала ли бы тебя? Я не договорила, что хотѣла сказать. Надобно дѣлать и находить равное наслажденіе, дѣлавши для друга и недруга, а во мнѣ этого и нѣтъ: дѣлаю для нихъ, нахожу удовольствіе, но все не такое, какъ бы я дѣлала для Еміліе или Саша, ужъ не говорю о тебѣ... до этого надо достигнуть.

Двѣ недѣли вѣтъ отъ тебя писемъ Какъ я жду 22, это будетъ почтовый день. О, когда же мы забудемъ почтовые дни, когда они намъ не нужны будутъ? Мнѣ что-то опять инныя минуты бываютъ горьки, очень горьки, только тогда, какъ кругомъ меня люди и вѣтъ никого. И въ самомъ дѣлѣ, мнѣ сдѣлается больно смотрѣть, больно слушать, устану говорить и готова лечь въ постель; но тѣ же часы, когда я съ тобою, о, тутъ совсѣмъ другое! Вообрази, ангелъ мой, я могу нѣсколько часовъ пробыть съ тобою, смотрѣть на тебя, слышать твой голосъ и повѣрять тебѣ всѣ изгибы моей души, и такъ живо, такъ живо... ну, кажется, чего бы еще? Нѣтъ! сонмъ мечтаній улетаетъ, и предо мною опять тянутся тысячи верстъ; опять сердцу грустно, тошно. А знаешь ли, какъ я привыкла дѣлиться всѣмъ съ тобою? Когда мнѣ нужно что-нибудь сдѣлать, и я въ верѣшинности, тотчасъ воображаю, какъ бы ты велѣлъ мнѣ сдѣлать, и съ слѣпою довѣренностью исполняю.

Послушай, Александръ, другъ мой, не огорчайся ты поступкомъ съ Мед., не упрекай себя. Знаешь ли, можетъ, само Провидѣнне допустило тебя: ты бы могъ возгордиться твоимъ достоинствомъ, высокою и святостью души, и этотъ врагъ опаснѣе; не правда ли? — и, можетъ, ты былъ близокъ къ этому; Провидѣнне послало Мед., и ты смирился, ты съ большею горячностью очищаешь твою душу и становишься еще выше, еще совершеннѣе. И я не постигаю, какъ могла я подняться до того, чтобы такъ много ценить тебѣ, мой Александръ! Другъ мой! Если бы ты столько зналъ себя, тогда бы ты не любилъ меня. Прощай, мой прелестный, дивный, единственны!

20-е. Скорѣе писать къ тебѣ, жизнь моя, — мнѣ грустно. Ты знаешь, что для меня Саша Б., и я объ ней пять мѣсяцевъ не слышу ни слова; вдругъ мнѣ говорятъ—отъ нея письмо! Вообрази, цѣлый день ждала, ждала такъ, какъ бы ты ждалъ отъ О. Наконецъ, посылаю за ними, и что же?—они потеряны! Какъ это больно мнѣ, ты понимаешь, и тутъ же я отослала къ ней цукъ своихъ писемъ; можетъ, и они пропадутъ. Потомъ вдругъ получаю письмо отъ Emilie, тоже не радостное... Я такъ скрывала отъ нея объ X, а она знаетъ и это ее должно ужасно мучить. Она идетъ въ монастырь. Какъ терзаетъ меня ея участь. Боже мой, да почему-жъ я не могу облегчить ея страданій и на что же я столько счастлива, чѣмъ выше моя заслуга? Если бы я могла спасти ее! Знаешь ли, мнѣ кажется, она не долго проживетъ на землѣ, горе ея убійственно, страданія безмѣрны и послѣднѣе-то дни съ нею вѣтъ меня. Ангелъ мой, Александръ, на что же я такъ счастлива, будто мы не равны съ нею? На что она дождала до измѣны N? И ты еще не знаешь, сколько она несчастлива. Можетъ быть, она пойдетъ въ Кіевъ. Вотъ видишь, если бы ты тогда меня не остановилъ, я была бы у тебя и ее бы довела до Кіева, а теперь—кто ей будетъ спутникомъ? Грустно мнѣ, ужасно грустно: Эмилиа несчастна, а мы не можемъ помочь ей.

Однакожъ скоро, скоро четвергъ!

21-е. Сегодня мы были у пашеньки. Тамъ твой портретъ, — вотъ все, что влечетъ меня туда. О, какъ *онъ* милы, какъ я ихъ люблю, когда онѣ ведутъ меня въ гости къ твоему портрету! Вѣдь, я пять мѣсяцевъ не видала, ангелъ мой, твоего образа, пять мѣсяцевъ... а скоро онъ безпрерывно будетъ предъ мои глазами. Завтра, навѣрное, отъ тебя письмо, завтра будетъ у меня маменька, завтра я буду писать къ Эмили, къ Сашѣ, къ тебѣ... Ахъ, если бы завтра же и такъ долго жданный, такъ много желанный портретъ! Нѣтъ, этого не будетъ: слишкомъ много такъ вдругъ радостнаго; но, все-таки, я скоро по-

лучу его... Ахъ, Александръ, отъ одной мысли я ужъ готова плакать, внѣ себя. Вообрази, какъ добра маменька: ей все хочется, чтобы *онъ* были со мной снисходительнѣе, или какъ это сказать, и, вообрази, она для этого *сама* будетъ шить ридикюль для М. С.! Впрочемъ, это напрасно: знаютъ ли свиньи толкъ въ бисеръ?

Давеча, послѣ всенощной, кн[ягиня], поздравляя меня съ наступающимъ рожденіемъ, замѣтила, что, вѣрно, я предназначена къ высокой цѣли, родившись въ день Казанской Божіей Матери. Какъ не ошиблась! Я за то поцѣловала у нея руку.

Итакъ, прощай, милый другъ мой; скоро и 22, а съ нимъ и твое письмо. Того-то и жду я. Прощай.

Онября 10, Вятка.

//Наташа! Прежде нежели ты получишь это письмо, у тебя (ежели отдадутъ) будетъ мой портретъ — мой подарокъ въ день твоего рожденія. Сходство разительное, тамъ все видно на лицѣ—и моя душа, и мой характеръ, и моя любовь. Кромѣ Витберга, кто могъ бы это сдѣлать? Витбергъ рисовалъ именно для тебя; ты должна непременно начать какую-нибудь работу именно для него и постарайся, ежели можно, къ 15 января, и что-нибудь *очень* изящное,—посоветуйся съ маменькой. Я воображаю твою радость, твои слезы. Я радовался, что черты моего лица выражаютъ столько жизни и восторга, ибо это — черты избраннаго тобою, таковы онѣ должны быть. Это Александръ Наташинъ.

Письмо, писанное предъ отъѣздомъ изъ Загорья, я получилъ (отъ 17 сентября) по прошлой почтѣ. Твоя любовь все также орошаетъ душу мою свѣтомъ, блаженствомъ, и ты все также—одна любовь. Ты пишешь, что я прежде любви былъ такой же. О нѣтъ, нѣтъ! Если я воспиталъ твою душу своимъ огненнымъ авторитетомъ, ежели прелестная душа твоя приняла, какъ бы изъ симпатіи, одну форму съ моею (ты знаешь ли, что ты очень похожа на меня во многомъ? Возьми слогъ твоихъ писемъ, образъ мыслей), ежели все это влияние справедливо, то не забудь, что ты совершенно пересоздала меня. Когда я понялъ, что люблю тебя, у меня явилась религія настоящая, ненависть ко всему порочному, и бросилъ остатки школы, — словомъ, *любовь* сдѣлалась основой моего нравственнаго бытія, въ то время, какъ прежде эта основа была *самолюбіе*. Какое разстояніе! Теперь я не могу уже такъ ядовито смѣяться надъ всѣми. Да, мы помѣнялись: въ твою чистую, свѣтлую душу я бросилъ огонь, и она запылала; въ мою огненную душу ты бросила слово рая, и она стала очищаться, но еще не очистилась. О, какъ гнусенъ я кажусь себѣ иногда, какъ еще доселѣ я не умѣю твердо отказаться отъ всего порочнаго! Можетъ, твое присутствіе сдѣлаетъ очищеніе полнымъ, можетъ... Но раскаяніе, угрызение совѣсти!—они написаны черною краской, и ихъ сама любовь не можетъ смыть, это дѣло Бога. Твоя жизнь, пишешь ты, съ 13 лѣтъ выражаетъ одно чувство — любовь. Это такъ истинно, какъ то, что моя любовь выражаетъ два чувства — любовь и дружбу. И смотри же,—такъ и быть должно. Твоя жизнь нашла себѣ цѣль, предѣлъ, твоя жизнь выполнила весь земной кругъ, въ моихъ объятіяхъ должно исчезнуть твое отдѣльное существованіе отъ меня, въ моей любви потонуть должны всѣ потребности, всѣ мысли. Словомъ, твоя душа — часть моей души, она вскорѣ воротилась къ цѣлому и съ тѣмъ вмѣстѣ нѣтъ ей отдѣльности. Итакъ, любовь

должна была и воспитать, и развить твою душу, любовь—тебя привести ко мнѣ, любовь приведесть и къ Богу. Но жизнь моя еще не полна; это не жизнь части, а жизнь цѣлаго. Сверхъ частной жизни, на мнѣ лежитъ обязанность жизни всеобщей, универсальной, дѣятельности общей, дѣятельности въ благо человѣчества, и мнѣ одного чувства было бы мало. Любовь принадлежитъ мнѣ, т.-е. Александру; дружба, какъ симпатія универсальной жизни, принадлежитъ мнѣ, какъ человѣку. Я безъ тебя—правственный уродъ, человѣкъ безъ сердца, Байронъ, презирающій все человѣчество. Ты безъ меня — начало дивнаго пѣснопѣнія, коего продолженія не существуетъ, разверзтыя уста безъ рѣчи, взоръ, обращенный въ пустоту туманной степи. Разбери это, и ты увидишь персть Провидѣнія. Кто, кромѣ меня, осмѣлился бы продолжать эту поэму, кто—дать рѣчь этимъ устамъ и сказать взору: смотри на меня? Кто? Единственно тотъ во всей вселенной..., кто, сожигаемый буйными страстями и помыслами, подъ которыми ломается душа, обратилъ умоляющій взоръ на небо, прося его *любви*. какъ спасенія, и кому въ огненную печь не побоялась ввергнуть ты, ангелъ, свою жизнь, еще болѣе — свою вѣчность. Однажды сдѣлавъ это, ты — я, Александръ и Наташа не составляютъ *мы*, но одно мое «я», «я» полное, ибо ты совершенно поглощена, тебя нѣтъ болѣе.

Октябрь 11. Скажи твоей Сашѣ, чтобъ она и не думала умирать. Я дамъ ей мое благородное слово, что, какъ только это будетъ возможно, я выкуплю ее на волю, и она можетъ всю жизнь служить тебѣ. Служить тебѣ не есть униженіе; если бы ты была барыня, я не посовѣтовалъ бы, но ты ангелъ, и весь родъ человѣческій, ежели станетъ передъ тобой на колѣни, онъ не увидится, но сдѣлаетъ то, что онъ однажды уже сдѣлалъ передъ другой дѣвой.

Воображаю, что исторія о портретѣ крайне интересна, напиши всѣ подробности. О, ваше сіятельство, княгиня Марья Алексѣевна! О, напрасно запала дума, что папенька именно обо мнѣ думаетъ! Право, нѣтъ; ему хочется *пристроить* тебя и тѣмъ заразъ очистить совѣсть отъ попеченій, которыхъ нѣтъ. Я бы, право, давно написалъ ему; онъ любитъ меня, но вотъ бѣда, мы не поймемъ другъ друга, ибо говоримъ разными нарѣчійми, и слова моего языка, вырванныя изъ жизни самого человѣчества, не имѣютъ перехода въ языкъ формъ, приличій, пользы. Я буду говорить: «Отецъ! это часть моей души, она умретъ безъ меня, я безъ нея уже и не сынъ тебѣ и не сынъ земли, мы встрѣтились и вмѣстѣ пойдемъ на небо, насъ нельзя раздѣлить». А мнѣ въ отвѣтъ скажутъ: «Ты молодъ, это мечты, надобно подождать чина коллежскаго ассесора, ты можешь черезъ женитьбу сдѣлать связи; да и все, что ты сказалъ, безуміе». Ну, какъ же намъ понимать другъ друга? А, впрочемъ, увидимъ.

Ты говоришь, что теперь на зло имъ, вмѣсто всѣхъ жениховъ, которыхъ *они* выискивали, явился я. Я не женихъ. Я явился, какъ владѣлецъ, за своею собственностью: ты моя уже теперь. Но что же ты воображаешь имъ на зло? Вѣдь, достоинства мои не безусловно хороши, а только въ твоихъ глазахъ. Тысячи отвергли бы мою руку, ежели бы я имѣлъ глупость имъ протянуть ее. И потому въ ихъ глазахъ невелико счастье быть моею, — напротивъ, они тогда будутъ жалѣть, что ты не пошла за Бирюкова, наприм., который и честный человѣкъ, и служить у министра юстиціи, и изъ хорошей фамиліи.

Очень вспомнилъ я то мѣсто въ *Notre Dame*, о которомъ ты пишешь. Таковы наши симпатіи. Мы рѣшительно останавливаемся па однихъ мысляхъ и чувствахъ. Впрочемъ, въ Эсмеральдѣ любовь земная. Ежели-бъ ты могла читать

Шиллера, тамъ ты нашла бы нашу любовь. Впрочемъ, это только у одного Шиллера. Ты не воображай, что не научишься нѣмецкому языку. Пусть пройдетъ черная година, моя ссылка и твое затворничество, тогда это легко сдѣлать.

Замѣть, мой ангель, что я на портретъ въ самомъ томъ костюмѣ, въ которомъ былъ 9 апрѣля 1835 г. Этотъ костюмъ для меня священенъ, ибо этотъ день счастливѣйшій въ моей жизни. Дослѣ эти два-три часа, проведенные тогда съ тобой, какъ память о потерянномъ раѣ, о золотомъ вѣкѣ, утишаютъ всѣ душевныя боли. Ежели я когда-нибудь буду настолько силенъ, я превращу казематъ, гдѣ сидѣлъ въ Крутицахъ, въ часовню. Пусть на томъ мѣстѣ, гдѣ слетѣлъ ангель съ неба, возсылаются мольбы Господу.

12 октября. Я тебѣ разекажу сонъ преудивительный, который я принимаю за указаніе и вслѣдствіе котораго буду дѣйствовать. Не принимай сны за ничтожные образы воображенія; вѣра въ нихъ не предразсудокъ; правда, что сны высокіе рѣдко посѣщаютъ человѣка: этому причина наша жизнь. Что можетъ шепнуть душа на ухо человѣка, объѣвшагося за ужиномъ, послѣ цѣлаго дня, проведеннаго въ ничтожностяхъ? Но когда душа дѣйствуетъ, когда человѣкъ засыпаетъ съ чистою душою, эти образы не ничто. Слушай. 7 октября отправилъ я твой портретъ, 7 октября получилъ твои письма, читалъ ихъ, перечитывалъ, упивался любовью, тобою, мечталъ и, перечитавъ еще разъ, заснулъ и вижу: я въ Москвѣ, дома, у насъ, только что пріѣхалъ, всѣ рады, но я тороплюсь, я не могу вполне отвѣчать на ихъ привѣтъ, меня влечетъ скорѣе къ тебѣ, и вотъ ужъ сумерки, и я пошелъ къ тебѣ съ Матвѣемъ (мой камердинеръ). Идемъ. Самыя тѣ улицы, все какъ надобно, но вдругъ улица оканчивается утесомъ, съ котораго надобно сойти внизъ, а онъ крутъ, какъ стѣна, едва есть камни, за которые можно цѣпляться. Я сдѣлалъ шагъ, взглянулъ внизъ, глубоко ужасно, но тамъ свѣтитъ солнце. Миѣ стало страшно. Я обернулся и сказалъ Матвѣю: «Есть другая дорога, а тутъ страшно». — «И идя къ ней», — отвѣчаетъ Матвѣй, — вы будете дѣлать обходъ и бояться?» Я покраснѣлъ и началъ спускаться, но вскорѣ страхъ опять воротился, и я съѣлъ. — «Что, ужъ ны усталъ?» — сказалъ Матвѣй. — не хотите ли, я поведу васъ? Вы, вѣдь, идете къ ней». И я снова, краснѣя, пустился въ путь. Далѣе все смутно, и я не помню. Итакъ въ обходъ не слѣдуетъ идти. Прямой путь, имъ я и пойду къ тебѣ, моя божественная, мой ангель небесный. Можетъ, а проросъ портрета папенька напишетъ что-нибудь, тогда — Провидѣніе! ты привело ее ко мнѣ, ты указало ей меня, тебѣ отдамся я!

14 октября. Прощай, Наташа. Сейчасъ получилъ письмо отъ Тат. Петр. Это забавно, годъ не писалъ ся мужъ, а теперь издаетъ журналъ, такъ требуетъ моей помощи. *Pas si bête*, я не принадлежу къ тѣмъ молодымъ писакамъ, которымъ достаточно свистнуть, чтобы получить статью.

Повѣсть идетъ впередъ.

Статья о Вяткѣ идетъ впередъ.

Новая повѣсть есть въ головѣ, страшная, ядовитая. Въ будущій разъ напишу планъ. Прощай же, милая, ... ну, какъ, какъ тебя назвать? Ангель, божество, все мало, — назову Наташа. Прощай!

Твой Александръ.

Сегодня именины Мед.

Полина кланяется. Бѣдная Полина, она очень несчастна, угнетена безъ всякихъ средствъ.

18 октября. Наташа, что может быть тяжелѣе, горче, какъ не сознаніе собственныхъ недостатковъ, пятенъ? Твое послѣднее письмо отъ 29 сентября сначала привело меня въ восторгъ. Наташа, ты велика, ты не досягаемая для человѣка. Нѣтъ, это не увлеченіе говорить во мнѣ,—нѣтъ, я понялъ тебя вполне, ты велика, повторяю. Потомъ я взглянулъ на себя, и будто ты, ангель, можешь отдаться (отдалась уже!) человѣку земному, нечистому? Твое величіе меня подавило; я падаю на колѣни предъ тобой, я молюсь тебѣ, но какъ же я стану рядомъ. Звѣзда любви! Ну, а какъ солнце выйдетъ на горизонтъ безъ свѣта, кровавымъ пятномъ? Звѣзда будетъ грустно и одиноко свѣтить на выгорѣвшемъ солнцѣ. Наташа, тяжело, ей-Богу, тяжело. Нѣтъ, моя любовь должна все выкупить; любви я тебѣ принесу цѣлое море, цѣлую вселенную. Ею наполнятся лучи солнца. Я ужасно люблю тебя, я такъ сроднился съ этою мыслью любви, что безъ нея уже нѣтъ ничего для меня: ни людей, ни міра, ни Бога, нѣтъ самого меня. Когда я, очищенный твоею любовью достигну твою чистоту, тогда, только тогда мы будемъ равны и тогда останется идти къ Нему и цѣлую вѣчность любить, и цѣлую вѣчность благодарить, что мы даны другъ другу. Моя повѣсть—это моя жизнь. Онъ хочетъ стянуть душу ея и опять заключить въ оковы земного бытія. Эгоизмъ! ангела хочетъ заплыть землей, а не себя сдѣлать ангеломъ. Такъ и я. Ты чистою молитвой летѣла бы въ рай, но на мнѣ остановился твой взоръ, на моей красотѣ конечнаго, и я стягиваю тебя въ удушливую сферу страстей. Наташа, сдѣлай же изъ меня ангела!

Твоя безусловная любовь заставила тебя поставить на одну доску Егор. Пв. и Мед. Ты развѣ виновата, что онъ не могъ равнодушно видѣть столько *славы* творца, и ты сказала ему тотчасъ, что не можешь любить его, и осталась чиста. А я? Какая чернота, какое злоупотребленіе своего изящества! Я погубилъ ее. Можетъ, при самомъ началѣ я могъ бы остановиться; о, я видѣлъ, что она боялась меня, умоляла взоромъ не открывать покровъ, подъ которымъ она сиротала душу, а я сорвалъ его изъ самолюбія и нашелъ тамъ любовь и слезы. Ни на любовь отвѣчать, ни слезъ отереть я не могъ. Что же сдѣлать оставалось? оставить ее падать? Самое христіанское дѣло, и когда она пала, подать руку и начать спасать. Наташа, это обстоятельство положило штемпель преступника на мою душу. И что за ролю я теперь играю? И какую прелестную, поэтическую душу погубилъ я? И этотъ человѣкъ смѣетъ думать о Наташѣ? Вотъ что утروиваетъ мой крестъ, вотъ что дѣлаетъ мою мечту дикой, мрачной.

Черезъ четыре дня твое рожденіе. 19 лѣтъ тому назадъ провидѣніе Господа, безъ различія пекущееся о родъ человѣческомъ и о каждомъ человѣкѣ, предугадывая страданіе, мученіе и паденіе человѣка, рожденного пять лѣтъ до того, послало тебя съ вѣстью утѣшенія неба,—тебя, Natalia,—вести его на родину, въ которую бы онъ не пришелъ. Господи! я не умѣю молиться, но умѣю выразумѣть твой крестъ, твое указаніе, и такъ, какъ уничиженный христіанинъ просить святыхъ молиться за себя, такъ я ее, чистоту безусловную, умоляю передать мою молитву. Прощай!

Повѣсть растетъ въ моей мысли. Тутъ будетъ все: философія, поэзія, жизнь, мистицизмъ и на каждой страницѣ *ты*. Я цѣлыя мѣста выпишу изъ твоихъ писемъ, и потому эта повѣсть будетъ носить надпись: Александръ } Герценъ,—
Natalia }
у меня отдѣльно уже не можетъ ничего быть. Бѣжимъ, бѣжимъ въ Италію подъ

другое небо! Тамъ выскажу я все то, о чемъ теперь не хочу говорить, и выскажу не словомъ, а природой, взоромъ и поцѣлуюмъ.

21 октября. Получилъ еще записочку отъ тебя и отъ княгини въ папечкиномъ письмѣ. Право, не соберусь съ силами тебѣ отвѣчать въ томъ же тонѣ, трудно тебѣ сказать *вы*, тебя назвать Наталья Александровна. Лучше не буду писать.

Твое рожденіе въ день *Пресвятой Дѣвы*, мое—въ *Благовѣщеніе*. Я былъ тою вѣстью, которая принесла откровеніе, счастье Дѣвѣ, и ты—та дѣва, которой должно искупиться бытіе мое. Смотри, какъ то, что соединяетъ, устриваетъ Провидѣніе, во всемъ согласно съ главною мыслью: и наши имена, и благословеніе тебя образомъ, и самые дни рожденія.

22 октября. Ангелъ мой, поздравляю тебя, цѣлую въ твои прелестныя уста, цѣлую еще и еще. Какъ-то тебѣ отдали портретъ? Твой восторгъ, твои слезы и, будто, ты счумѣла скрыть волненіе? Не можетъ быть. Ну, а ежели его не отдали тебѣ... буду ждать. Всѣ наши пили твое здоровье. Полина была цѣлый день, она посылаетъ тебѣ и поздравленіе, и поклонъ всею германскою душой. Семейство Витберга тебѣ не чужое: оно родное твоему Александру.

28 октября. Вчера пріѣхалъ прокуроръ и не привезъ отъ тебя письма, а привезъ мнѣ извѣстіе, что портретъ тебѣ отдадутъ. Теперь уже отдали. Папечка пишетъ, что онъ не такъ похожъ, а маменька находитъ большое сходство.

Я грустенъ, и не отъ виѣшнихъ причинъ, а отъ самого себя. У меня нѣтъ твердости стать на ту высоту, просвѣтленную, чистую, которую указываетъ христіанство, на ту высоту, на которой стоишь ты, дѣва рая. Ежели-бъ я не понималъ этой высоты, тогда меня не терзалъ бы и голосъ глубокой, сходный съ угрызеніемъ совѣсти. Мое существованіе какъ-то колеблется, и, можетъ, пылкость характера увлекаетъ съ края на край. Я какъ медаль, у которой съ одной стороны архангелъ Гавріилъ, а съ другой—Люциферъ. Я знаю, что я теперь очень глубоко не паду, знаю, что нравственное чувство перевѣситъ страсти, но знаю и то, что это не я, а ты, ты меня сдѣлала нравственнымъ. Не гордость страдаетъ отъ этой мысли,—нѣтъ, ибо ты и я нераздѣльное, единое,—а горько то, что я на тебя смотрю, какъ на небо, и понимаю, что не стою тебя, что я хуже. И какая же дерзость тебя низводитъ собою на землю! Таковъ человѣкъ, Наташа! Богъ, спасая его, посылаетъ Христа, а онъ распинаетъ Его. Но Провидѣніе уже рѣшило. Будь же моею опорой, спаси меня отъ самого меня, тебѣ я отдаю все бытіе мое, управляй имъ. Витбергъ недавно говорилъ: «Вы въ послѣднее время очень перемѣнились, и къ лучшему, но я боюсь, ежели у васъ не будетъ поддержки, вы можете увлечься». Витбергъ не знаетъ, что самъ Господь далъ мнѣ опору и что она не отыметъ у меня до послѣдняго дыханія. Прощай же!

Твой Александръ.

Шелковинка приложенная есть шѣрка моей головы.

))) 22 октября, четвергъ.

Александръ!.. Нѣтъ, теперь я не могу писать. Ангелъ мой, передо мною твой образъ! Довольно! Теперь не нужно говорить; ты видишь этотъ взоръ, который теперь богатѣе неба, видишь слезы, которыми любятъ ангелы, ты слышишь въ каждомъ биеніи моего сердца пѣснь, молитву, гимнъ? О, ты слышишь, слышишь! Я цѣлую руку Витберга, дарю его слезою,—это достойная его награда. Отъ прикосновенія къ твоему портрету я свята, небесна, почти равна съ тѣмъ,

на кого молюсь всѣмъ существомъ моимъ. Дай взглядѣться на тебя, божество мое. Какъ хорошъ мой Александръ! Какой взглядъ! Что за глаза! Ангелъ мой, какъ не забыть неба, какъ всей вселенной не забыть, глядя на этотъ взоръ? Кто видѣлъ яхонтъ неба Италіи, кто видѣлъ всѣ дивныя небесныя явленія, всѣ красоты природы, кто видѣлъ все, но не видѣлъ этого взора, тотъ еще ничего не видалъ. Скажи же Александру Лаврентьевичу, что я цѣлую руку, изобразившую на бумагѣ этотъ взоръ. Что было и какъ—это все до завтра. Нѣтъ, теперь чувства мои слишкомъ святы, ихъ нельзя вылить на бумагу, только скажу тебѣ, Александръ, въ жизни моей былъ одинъ только день: 9 апрѣля—прощаніе съ тобою; будетъ другой—*свиданіе*. Первый—луна, послѣдній—солнце, а нынѣшній день между ними—звѣздочка. И я дивлюсь, какъ за 1.000 верстъ отъ тебя я могу быть въ такомъ восторгѣ, какъ можетъ въ этой мрачной, холодной ночи разлуки свѣтить звѣздочка! И какъ же мнѣ не окропить слезой ту руку, которая зажгла эту звѣздочку? Взойдетъ солнце, но она не погаснетъ, она будетъ вѣчно свѣтла и ярка, и, какъ она, вѣчно не погаснетъ память [объ] Александрѣ Лаврентьевичѣ, она будетъ вѣчно также и свѣтла, и ярка. Итакъ, до завтра, ангелъ мой хранитель! У меня твой портретъ! твой портретъ!

))) 23. Не успѣла придти въ себя отъ портрета, получаю твои письма. Распечатала, но не смѣю читать: душа еще переполнена, а тогда вовсе не въ состояніи буду взять перо въ руки (я всегда, прочитавъ твои письма, нѣсколько часовъ ничего не дѣлаю—или хожу скоро по комнатѣ, или сижу молча, не замѣчая, что кругомъ меня дѣлается). Хочешь, я тебѣ весь день опишу? Тебѣ не скучно будетъ читать и скучнаго, написаннаго мною. Подняли меня до свѣта, въ 5 часовъ, къ обѣднѣ. Да, надобно сказать тебѣ, что я вовсе не ждала портрета въ этотъ день и по твоимъ словамъ, а ждала маменьку съ письмами и даже во снѣ всю ночь ждала и ждала. Приѣзжаю отъ обѣдни. Дождь ливнемъ: не будетъ папенька. А онъ наканунѣ мнѣ говорилъ, если успѣетъ выбраться, приѣдетъ поздравить меня и съ маменькой. Всѣ спятъ, одна хожу по комнатамъ. Что-то грустно, затуманилась душа, какъ октябрьское небо; погода дурна, стало папеньки не будетъ, стало, маменьки не будетъ, и потому и писемъ не будетъ. И день этотъ впереди казался мнѣ цѣлымъ октябремъ, а онъ—твой праздникъ.—какъ же не грустно? Иду наверхъ, вдругъ въ снѣгахъ меня обнимаетъ, цѣлуетъ, плачетъ, смѣется, произноситъ смѣшанно: «Натаксандръ», — кто же? Это моя Саша К., покинувшая отчаянно больного отца своего (священника), претерпѣвшая за то упреки, брань, а, все-таки, прибѣжавшая видѣть и поздравить меня. Если бы и я ея не любила, если бы она не имѣла особенно хорошихъ качествъ, такая любовь тронула бы и каменное сердце (а она, чтобы дать тебѣ полное, совершенное понятіе, кажется, я писала тебѣ, что разъ, хотѣвъ что-то сказать о тебѣ, она не написала всего имени, а А. и кругомъ сіяніе). Я стала повеселѣе, да и на небѣ прояснилось. Говорять, чтобы настала хорошая погода и прошелъ дождикъ, надо насчитать 40 плѣшивыхъ,—все исполнено! Свѣтлѣетъ, свѣтлѣетъ на небѣ! Приходитъ Ег. Ив. съ нотами отъ себя, съ привыкомъ и прекрасною матеріей на платье отъ Льва Алексѣевича. Все это не до меня касается. Когда же мое, мое отдадутъ мнѣ, письма моего Саши? Письма! Являются незнающія лица. Наконецъ, идемъ обѣдать. Опять небо пасмурно и, кажется, дождикъ. Вдругъ въ третьемъ часу карета на дворъ. «Отказать! сказать: за столомъ!» Входитъ папенька. Ну, признаюсь, никогда я ему не была такъ рада (видно, сердце чувствовало привезенную имъ святыню). Вышли изъ-за стола.

Лечу наверхъ; вѣрно, тамъ маменька, письмо. Нѣтъ, никого... Не помню, какъ очутилась опять визву съ печальнымъ лицомъ. Папенькѣ, видно, жаль меня стало, а прошло почти полчаса, какъ онъ у насъ, — велѣлъ принести картонъ изъ кареты. Я отгадала: тутъ только хвосты, которые мнѣ кушили вмѣсто палатина, и за которые я цѣлую тебя, душа моя; прелестныя и мнѣ же давно такихъ хотѣлось; но это все мало, я хочу болѣе... Вдругъ... вдругъ... Ангель мой, не требуй, чтобъ я написала, какъ увидѣла твой портретъ, какъ взяла его, что дѣлала. Я божусь, не помню ничего; только помню, что я, глядѣвши долго, помню, еще въ папенькиныхъ рукахъ, сказала: «И неужели онъ мой?»—и только потому помню, что эти слова раздаются и теперь въ моихъ ушахъ. Видно, тихо были сказаны, не знаю даже, мной-ли, но кому-жъ болѣе? Какъ смотрѣла княгиня Марья Алексѣевна и Макашина, что говорили, что дѣлали, божусь—не помню. Я тутъ исчезла, вся превратилась въ восторгъ, даже казалось, и горница-то вся полна восторгомъ, и свѣтлѣ стала, и лучше, и что даже и кн[ягиня] и Макаш. въ восторгѣ, и весь домъ, и вся Москва, и вся земля! Я цѣловала съ жаромъ папенькину руку, пролетѣла по всѣмъ комнатамъ и, наконецъ, ворвалась въ свою келью. Теперь со мной нѣтъ людей, никто не смотритъ, никто не слушаетъ, все далеко, все исчезло, и со мной твой образъ!..

И съ той минуты, божественный Александръ, твоя Наташа, какъ роза, по-луувядшая отъ непогоды, но оживленная солнцемъ и росой, какъ соловей, выпущенный изъ клѣтки, которая была обклеена бумагою, и увидавшій впервые свой лѣсъ, свою зорю, какъ звѣздочка, которая была задернута черною тучей, которую прогналъ вѣтеръ, и звѣзда свѣтло, ярко, радостно играть на небѣ, да и это все не полно, не такъ выражаетъ, ты вообрази самъ. Сидя съ твоимъ портретомъ въ рукахъ, со взоромъ, потонувшимъ въ твой взоръ, я не могу ужъ этого описать. Теперь меня все тянетъ наверхъ, въ мой уголокъ, и я каждую свободную минуту бѣгу по лѣстницѣ и прямо къ столику: тамъ онъ, онъ! Даже мнѣ кажется, и весь домъ нашъ, и вся Москва исполнились святостью, радостью, восторгомъ и, право, кажется, *все* всеелѣе смотрятъ оттого, что портретъ Александра Ивановича прѣхалъ въ Москву. Ахъ, Александръ! и какое сходство, выраженіе!.. Какъ хорошъ ты! Какъ хорошъ! Никто не находитъ большого сходства, кромѣ маменьки. А то даже папенька говорить: въ глазахъ что-то не твое. Что-же мудренаго, конечно, для всѣхъ, и для него, и даже для меня, въ твоемъ взорѣ новое. Какъ ты, а я, мой ангель, нахожу, что ты смотришь на портретъ такъ, какъ ты смотрѣлъ на меня 9 апрѣля, держа крѣпко, крѣпко мою руку и спрашивая о голубѣ. Да и костюмъ тотъ же, какъ онъ мнѣ нравится, какъ идетъ къ тебѣ! Ты никогда не былъ такъ хорошъ, какъ въ немъ.

Продолженіе дня: пришедши наверхъ, я залилась слезами, цѣловала образъ твой, пала съ нимъ на колѣни, лицо мое было обращено къ небу, но я его не видала, смотрѣла не на него, показывала ему твой подарокъ и такъ долго стояла; мнѣ казалось, всѣ силы небесныя, самъ Богъ смотритъ на тебя, дивится своему созданію, дивится другому, могущему изобразить его. Торжественныя мгновенія! Не знаю, долго ли бы еще я пребыла въ этомъ самозабвеніи... кто-то вошелъ. Для праздника я хотѣла освѣтить и стѣну свою. Тотчасъ кругомъ ленту (портретъ безъ петли), и часа три надъ изголовьемъ моей постели былъ точно тотъ же Александръ, который года три тому назадъ сидѣлъ въ ногахъ, тотъ же дивный, единственный, божественный. Потомъ я сняла его и уже болѣе никогда не повшу, развѣ въ большой праздникъ. Я его всегда могу видѣть, а другіе, кромѣ

моихъ, развѣ только чрезъ убѣдительную просьбу. Въ 6 часовъ вечера Е. И. сталъ давать урокъ (въ первый разъ послѣ деревни). Только что я съѣла за фортепiano, говорятъ, маменька наверху. Какъ быть? Ничего, забывши все, я побѣжала къ ней, и тутъ мы вмѣстѣ радовались, восхищались. Передъ нею ничего нѣтъ скрытаго у меня. Но письма? Еще не пришли, но я не смѣю роптать, обманувшись въ ожиданіи, ибо столько награждена сверхъ ожиданія. Не долго была она у меня, но еще болѣе умножила мое счастье нѣсколькими минутами своего посѣщенія. Такъ добра она, Александръ, такъ ласкова, совершенная мать, а я такъ долго не видала ласкъ матери. И она же объявила мнѣ, что письма Саши Б. найдены. Еще радость! Урокъ конченъ. Приѣзжаетъ Левъ Алексѣичъ и Сережа и письма Саши! Не имѣя 5 мѣсяцевъ о ней даже слуху, вдругъ пакетъ цѣлый, ею написанный! Мнѣ душно было въ комнатѣ, тѣсно на землѣ, — туда, туда хотѣлось мнѣ съ твоимъ портретомъ, туда съ моимъ счастьемъ, съ моимъ восторгомъ; земля недостойна тогда была меня. Ахъ, что я говорю? да когда ты на землѣ? Ангель мой, прости, нѣтъ, нѣтъ, не промѣняю я землю на небо, нѣтъ, нѣтъ! Ну, далѣе. Вскорѣ послѣ этого письмо отъ брата Петруши. Еще радость и горе вмѣстѣ. Но ужъ не напишу ничего, — ты не можешь теперь помочь. Жду, какъ уѣдетъ Л. А., у меня пакетъ отъ Саши Б. и я не могу его читать, уже 9 часовъ, ахъ, какъ несносно! Уѣхалъ, наконецъ, тутъ ужинать. Вотъ еще пренестерпимая для меня должность — *псть*. Душа, все, все существо полно неба, полно тебя, святыни, Бога, а тутъ ѣшь говядину! Это умереть можно. Но я солгала, сказала, болитъ голова, не хочу ужинать; другое мученье: сиди за столомъ и смотри, какъ люди безъ пощады мучаютъ себя, ѣвши изъ всѣхъ силъ. Полчаса мнѣ показалось вѣкомъ. Лечу наверхъ. О, какъ, какъ тамъ хорошо теперь! Долго, долго просидѣла я неподвижно, глядя на твой образъ. Велича[етъ] душа моя Господа!.. Тутъ написала я тебѣ нѣсколько строкъ, болѣе не могла: перо падало изъ рукъ, и онѣ невольно воздѣвались къ небу, къ Нему. Велѣно свѣчу погасить, но... о, Александръ, смотри, какъ до самой малости, вездѣ, во всемъ мнѣ счастье. Свѣча погашена, слѣдственно, темно, слѣдственно, я не могу видѣть портрета, — нѣтъ, ничего не бывало. Противъ моего окна цѣлый переулокъ съ фонарями, — и мнѣ еще лучше видно, нежели при свѣчѣ. И вотъ такимъ-то образомъ провела я 22, день моего рожденія, день твоего праздника. Безпрерывная радость, восторгъ, наслажденіе. Тихо, приятно закрылись глаза, и всю ночь надо мною порхалъ небесный образъ и навѣвалъ рай своими крыльями. Наступилъ день, а я ужъ давно не спала, давно бесѣдовала съ тобою; еще когда свѣтъ чуть брезжилъ для другихъ, а въ моемъ уголкѣ всю ночь и солнце не заходило. Я должна сказать тебѣ, что *имѣ* я очень благодарна, — *онѣ* такъ хорошо вели себя весь день, какъ нельзя лучше требовать. Взглянувши на твой портретъ въ то время, какъ я этого не видала, *онѣ* послѣ мнѣ ни слова, какъ будто его и нѣтъ; даже не посмотрѣли въ другой разъ. Благодарна, ей-Богу, благодарна отъ всей души, а то бы я измучилась, глядя, какъ онѣ глядятъ на тебя. Что-то будетъ со мною будущее 22 октября? Что?..

Теперь прощай, мой жизнедавецъ! Съ правой стороны портретъ, съ лѣвой письмо, распечатанное, развернутое, не читанное; какое терпѣніе! Больше не въ силахъ — прощай до завтра, мой ангель! Ахъ, Александръ, Александръ! Если-бъ такъ же похожіи портретъ мой былъ у тебя! О, ты еще не знаешь, что значить имѣть портретъ! Мнѣ тяжело за тебя. Какъ бы, какъ бы? Но, можетъ, и папенька похлопочетъ. Прощай же! Твою руку.

24, *суббота*. Знаешь ли, что теперь, моя душа? Взять цвѣтъ зари, цвѣтъ солнца, луны, звѣздъ, неба и тотъ цвѣтъ, котораго еще мы не видимъ, взять пѣніе соловья, дивную музыку земли, гармонию неба, гимнь ангеловъ, взять всѣхъ благоухающихъ цвѣтовъ земныхъ и, наконецъ, красоть рая,—все это вмѣстѣ, и все еще мало, все это не изобразить того, чѣмъ полна душа моя. Со вчерашняго дня я все еще перечитываю твои письма (да я и никогда не перестану ихъ перечитывать), т. е. ничего не могу дѣлать, кромѣ того, чтобы попережбно читать или портретъ, или письмо. Ну, посмотришь ты, ради Бога, какъ ты хорошъ! Видалъ ли ты кого-нибудь подобнаго? Я всегда восхищаюсь тобою, теперь ты еще похорошѣлъ. Я не любила никогда зеркала, теперь не стану вовсе смотрѣться: мнѣ досадно за тебя.

И кто, кто, кромѣ меня, можетъ видѣть сходство? Кто тебя знаетъ? Они тебя всегда видѣли во фракѣ или сюртукѣ, а на портретѣ ты... (забыла, какъ называется). Такъ что же тутъ похожаго? Да не сердись же, если я скажу тебѣ еще тысячу разъ, какъ ты хорошъ! Не могу, не могу вытерпѣть, глядя на твои черты, чтобъ не сказать и душой, и словами: вотъ мой Александръ, и какъ онъ хорошъ! Ну, повѣрь мнѣ, никогда Богъ подобнаго не создавалъ. Цѣлую тебя, пріятный сонъ!

25, *воскресенье*. Да, непременно я вышью что-нибудь Витбергу. Объ этомъ я думала прежде твоего письма. Но знаю, что-бъ ни вышила, что-бъ для него ни сдѣлала, ничѣмъ достойно не возблагодарю его,—я вѣчно останусь у него въ долгахъ. Что онъ мнѣ сдѣлалъ, того я никогда ему не могу сдѣлать. Изъ 1.000 верстъ онъ сдѣлалъ 500, изъ темной ночи — разсвѣтъ, изъ страданій измученнаго сердца—восторгъ. Но, можетъ, онъ уже награжденъ; онъ чувствуетъ, что онъ сдѣлалъ, и награда въ его душѣ. Удостоюсь ли я когда видѣть этого великаго человѣка? Послушай, если онъ не будетъ возвращенъ, то, когда пройдетъ всѣ тучи, ты меня свезешь въ Вятку видѣть Александра Лаврентьевича.

Я не понимаю, что ты хочешь сказать этимъ, что доселѣ не умѣешь отказаться отъ всего порочнаго? Что было, то все, повѣрь, искушила разлука и если не твои, такъ мои страданія. А настоящее... не могу постигнуть, что тутъ можетъ быть порочнаго? Ты любишь меня, трудишься для славы, для блага чело-вѣчества,—что можетъ замѣшаться тутъ нечистое? Но не забывай, что мы на землѣ, земные и что только тогда, какъ кончимъ наше странствованіе, скинемъ странническую одежду, явимся на свою родину и облечемся въ ризы неглѣнія, тогда только земныя потребности умолянуть. Былъ ли кто безгрѣшенъ, кромѣ Иисуса? Можетъ ли быть другая Дѣва Марія? И потому ты и меня такъ не величай,—это слишкомъ. Но и то, скажу тебѣ, ты можешь, можешь, Александръ, безъ моего присутствія быть совершенно чистымъ. Одна мысль быть достойною тебя руководствуетъ мною, одна эта мысль заставляетъ забыть всю землю, себя, и выпить хоть бы цѣлый океанъ болѣзней, гоненія, страданія, пройти сквозь огонь, лишь бы смѣлъ сказать: *я люблю его! онъ мой!* Такъ и ты, другъ мой, ангель мой, можешь бросить все, чтобъ насъ не дѣлила ни малѣйшая пылинка, чтобъ Наташа, Александръ, Богъ—было бы все нераздѣльное (сколько то можно на землѣ), все одно изыщное, одно святое, одна любовь.

Да, да, жизнь моя, кто бы, кромѣ тебя, заставилъ меня говорить, смотрѣть, дышать? Кто бы, кто?.. Я не на землѣ, я не [въ] небѣ, моя родина не то и не другое. Я въ тебя, въ твоей душѣ, она моя родина, она моя обитель, мой рай, мое будущее, моя вѣчность, все! Разлучить съ нею меня ничто не можетъ, какъ

ангела съ небоѣмъ. Я все вижу сквозь твою душу, говорю, дѣйствую, не выходя изъ нея, и тамъ мнѣ не будетъ другой обители.

Саша моя воскресла. Она не ходитъ, а летаетъ. Плачетъ сладкими слезами, не отходитъ отъ моихъ колѣнъ, хочетъ жить, боится смерти, считаетъ себя счастливѣйшей изъ смертныхъ. Ты, другъ мой, съ нею вмѣстѣ утѣшилъ и меня. Хотя это у меня всегда было въ головѣ, но не знаю, что-то казалось невѣрнымъ, думала встрѣтятся препятствія, но сказано тобою — половина свершена. И мнѣ весело, что я не разстанусь съ Сашей, мнѣ бы никогда не нажать подобной фрейлины. Душа ея прекрасно создана, мнѣ же удалось нѣсколько обработать ее. Она это понимаетъ и не находитъ другого блаженства на землѣ, какъ стоять предо мною на колѣняхъ. И прежде она вѣрила мнѣ, что, если возможно, не разстанемся, но то же сомнѣніе, страхъ; и отъ воображенія, что мы когда-нибудь будемъ съ нею розно, бывало, обливаема слезами, а какъ я сказала, что пишешь ты, право, безъ чувствъ невозможно было ее видѣть: стоя на колѣняхъ, она слушала слова твои, какъ голосъ неба, и мы обѣ вмѣстѣ плакали. Кто первый замѣтитъ, что я нездорова? Саша. Кто первый увидитъ, что я грустна? Саша. И, словомъ, я для нея весь міръ, всѣ родные, отецъ и мать (которые, впрочемъ, живы), и теперь обѣ одному молится, чтобы не пережить меня. Ея будущность очень меня тревожила; теперь я спокойна, ангель мой. Насъ все будетъ окружать необыкновенное, все прекрасное, изящное. Саша проситъ написать тебѣ, что она у ногъ твоихъ не за свободу, а за то, что ты хочешь, чтобы она мнѣ служила, за то, что удостоиваешь ее такого высокаго счастья на землѣ.

26. Ты пишешь о папенькѣ. Да, конечно, ему будетъ больно, что его Шушка, единственный въ свѣтѣ, о которомъ онъ безпрерывно говоритъ, котораго такъ любить и губернаторъ и, наконецъ, передъ которымъ во всѣхъ присутственныхъ мѣстахъ всѣ встаютъ (это его, мнѣ кажется, чрезвычайно утѣшаетъ, онъ нѣсколько разъ рассказывалъ), которому предстоитъ блестящая будущность, слава, слѣдственно, и блестящая *partia*, и вдругъ... Да, я увѣрена, что его это очень огорчитъ, но, можетъ, противиться не станетъ изъ любви къ тебѣ. Потому что, что касается до Шушки, то все безподобно. А мнѣ мои скажутъ: грѣхъ, преступленіе, да и что лестнаго?—не можетъ имѣть поданныхъ, вотъ благодарность за всѣ материнскія благодѣянія; а я надѣялась, скажетъ кв[ягния] М. А., имѣть въ тебѣ подпору и *подспорье*, выдавъ тебя за Воробьева: свой докторъ.—чего это стоитъ (и это въ самомъ дѣлѣ у нихъ въ головѣ, но онъ еще настолько имѣетъ ума и души, что, кажется, не дерзаетъ и помыслить, и зато лишеніе пяти тысячъ и тряпокъ). Да, что же намъ-то до этого за дѣло? Пусть, что хотятъ говорятъ, насъ ничто не можетъ ни разрознить, ни сблизить. Смѣетъ ли кто хоть взглянуть въ твою душу? А я въ ней глубоко и туда меня не достигнетъ ни ропотъ людей, ни брызги бушующаго океана жизни, какъ бы онъ ни вздымалъ высоко свои горькія волны.

Да, ты выучишь меня по-нѣмецки. Но и теперь я не покидаю, т. е. урывками, украдкою. Если-бъ у меня былъ лексиконъ, я бы могла читать и Шиллера. Вообрази, я хотѣла тебѣ дать замѣтить, что ты на портретѣ въ томъ же костюмѣ, въ которомъ былъ 9 апрѣля, а ты то же пишешь. Да, о, ангель мой, часовню, часовню на мѣстѣ тюрьмы, той тюрьмы, которая уже свята твоимъ въ ней заключеніемъ. Пусть поютъ гимны на томъ мѣстѣ, гдѣ изъ двухъ человекъ сдѣлался одинъ ангель, на этомъ мѣстѣ почиваетъ духъ Божій, благословеніе Господне.

Если бы я прожила сто лѣтъ на землѣ,—и тогда бы, предъ смертью, въ глазахъ у меня была бы одна картина—9 апрѣля. Когда окончится день, все утихнетъ, уснетъ, а я наговорюсь съ тобою, нагляжусь на тебя, когда и мои глаза станеть смывать сонъ: я ѣду въ дрожкахъ по ужасной дорогѣ съ маменькой, плывемъ почти въ Крутицы... Маленькая дверь, выглядываетъ твой Васильевъ; входимъ — темный коридоръ, я вся дрожу, сердце рвется изъ груди, не могу идти, держусь за стѣну, маменька ведетъ меня. Пунцовая ермолка изъ двери... Какъ Божье слово: *иди!* — и я ужъ тамъ, подлѣ тебя, рука моя въ твоей рукѣ. твой взоръ, и я понимаю рай, и я ужъ не земная, и казematъ—небо, и ты—ангелъ!.. Настаетъ утро, предъ пробужденіемъ, я уже вижу его, въ просонкахъ открываются глаза, и не сквозь свѣтъ вижу я твой образъ, сквозь тебя весь свѣтъ. Нѣтъ, Александръ, никогда, нигдѣ, никто не зналъ такой любви, она еще никогда не посѣщала земли, только здѣсь въ этой душѣ, очищенной тобою, нашла она себѣ достойную обитель, на нее промѣняло небо. Александръ! Александръ!

Во мнѣ нѣтъ никакихъ предразсудковъ; но инымъ снамъ я вѣрю и вовсе не считаю это за предразсудокъ. Я помню сонъ, который видѣла лѣтъ 8 назадъ и который моя родная маменька велѣла записать. Вижу, среди обширнаго поля маленькая хижина. Я тамъ одна, и мнѣ тѣсно въ ней, и что-то страшно. Я была еще ребенокъ. Премаленькое окошко, долго смотрѣла я въ него, наконецъ, кто-то говоритъ мнѣ: идти *Спаситель*. Гляжу, и точно такой, какъ пишется, Христось, и въ сіяніи приближается къ окошку, благословилъ меня и самъ наклонился предо мною. Мнѣ стало весело и хорошо, какъ ребенку. Проснувшись, я всѣмъ рассказывала этотъ сонъ и теперь его не могу забыть. Можетъ, очень можетъ быть, что путь твой ко мнѣ и на яву будетъ оканчиваться утесомъ страшнымъ, но не надо идти въ обходъ.

31 октября, Москва.

Нѣтъ, ты не можешь знать, не можешь вообразить, Александръ, что такое *имѣть портретъ!* И я не могу описать, выразить тебѣ этого. Теперь куда хотѣтъ мнѣ изъ дому, чего искать, чего желать видѣть? Все, все, что только можно имѣть въ разлукѣ съ тобою, я имѣю. Домъ—храмъ, въ немъ твой образъ, ему я молюсь, ему повѣряю всѣ тайныя думы, слушаю, что онъ говоритъ мнѣ; ну, словомъ, у меня все дома, и я не могу ни слышать, ни видѣть, ни дышать, какъ только вотъ здѣсь, въ этомъ уголкѣ предъ твоимъ изображеніемъ. Ты знаешь, съ какою радостью, бывало, я ѣхала къ вамъ, теперь меня и туда не тянетъ. Развѣ тамъ болѣе, нежели здѣсь? Сегодня повезли меня со двора (въ первый разъ послѣ того, какъ у меня твой портретъ), къ Насакинымъ. Тамъ маменька; я рада ее видѣть: я не жалѣю, что выѣхала, говоришь (болѣе глазами, чѣмъ словами, потому что тутъ была кн[ягиня]), мнѣ весело, я забыла о портретѣ. Но прошло нѣсколько время... пора домой!.. Нѣтъ, ничѣмъ я не могу заплатить Александру Лаврентьевичу! И неприятности-ль какія, мрачныя ли думы тревожатъ душу,—все, все врачуеть животворяшій образъ. Въ свободныя минуты я попеременно беру то письма, то портретъ, одно безъ другого какъ-то не полно, — и тутъ-то я забываю весь міръ, чуждый мнѣ, забываю даже, ахъ, повѣришь ли?—забываю Сашу, Эмилию. Да что же дивнаго? Я люблю ихъ, онѣ прелестны, но ими безъ тебя я не могу жить. Моя жизнь, моя душа, я вся — *ты*, и потому рѣдки минуты, въ которыя бы я что-нибудь думала иное, лю-

била бы кого, кромѣ тебя. Нѣтъ, нѣтъ, меня нигдѣ, ни въ чемъ нѣтъ, я вся въ тебѣ! Да, много жизни, много блаженства приносятъ письма, портретъ много... но, Господи!

Ты будешь теиерь путешествовать. Открывается *путь*... Да благословится начало его! Вдругъ взбунтовалось все въ душѣ, прощай. Ложусь. О, явись хоть во снѣ предо мною, ангелъ мой!

3 ноября. Ты не можешь вообразить, мой Александръ, какъ изстрадалась я другой день за Эмилию. Все опишу тебѣ, и сама же я виновата. Ты знаешь, какъ я люблю ее, знаешь, что я для нея: у нея во всемъ свѣтъ—ты и я, и каково бы ей было, если бы ей запало въ душу сомнѣнiе въ моей дружбѣ? Сомнѣнiе въ томъ, что у нея осталось на землѣ единственной отрадою, единственнымъ чувствомъ, жизнью. Но она такъ раздражена, малѣйшая бездѣлица ее пугаетъ. пылинка ей кажется чудовищемъ, а я поступила съ нею непростительнымъ образомъ. Видишь ли, какъ я получила твой портретъ 22 октября,—это было наканунѣ почтоваго дня въ Зарайскъ, къ Emilie, — какъ не сообщить ей мое блаженство? Какъ не подѣлиться восторгомъ? Но ужъ поздно, ночь, мнѣ некогда было писать прежде; да я и тебѣ сказала не много тогда, въ такомъ была восторженiи. Но ждаль еще недѣлю писать Emilie невозможно. Вотъ я ей и набросала безсвязно нѣсколько словъ, что получила твой портретъ, что онъ разительно похожъ, что лежитъ предо мною, и только. Получаю вчера отъ нея письмо, гдѣ излилась вся страдальческая, разочарованная, измученная душа ея. Она терзается неизвѣстностью, воображаетъ, что твой портретъ отдали мнѣ по какому-нибудь необыкновенному случаю, пеняетъ мнѣ за разсѣянность, упрекаетъ въ холодности, думаетъ, что я перемѣнилась. Это ужасно!.. Вотъ слѣды ошибки *въ одномъ человѣкѣ*. Мнѣ ли перемѣниться? И перемѣниться къ ней! Вѣдь, она мнѣ самая близкая, родная! Отнять ее у меня значило бы вырвать кусокъ моего сердца, ея участь на моихъ рукахъ, за нее отвѣтъ Богу никто не дастъ кромѣ меня; да, Александръ, потому что на свѣтъ у нея никого нѣтъ, кромѣ меня; ни успокоить, ни утѣшить никто не можетъ ее; она нигдѣ не найдетъ себѣ отдыха; здѣсь, въ этой груди ея надежная приставъ, въ ней все ея земное счастье, никто того не можетъ сдѣлать для нея, что могу я. И потому моя обязанность, долгъ мой — пеиись о ней, заграждать собою отъ всѣхъ ударовъ, которыми еще можетъ поразить ее свѣтъ. Не такъ ли? А я поступила такъ необдуманно, огорчила ее. Одна любовь къ тебѣ, ангелъ мой, заставившая меня сдѣлать оное, извиняетъ мой поступокъ. Она получить отъ меня письмо, которое успокоить ее... Но пока еще не получить? Вѣришь ли, какъ это меня тревожить, я не могла почти спать ночью, и если бы ты не явился мнѣ во снѣ, эту ночь можно бы назвать мучительною. Такъ, мой ангелъ, мы должны никогда,—если то будетъ можно,—не покидать Emilie; отнять у нея насъ значило бы вынуть изъ живой сердце.

4, среда. Нѣтъ, я мало люблю тебя, божественный Александръ! Не такъ должно любить тебя! Въ тебѣ должно быть все: весь свѣтъ, вся вселенная, въ тебѣ должны потонуть всѣ думы, всѣ чувства, вся душа; при одной мысли о тебѣ должно все исчезнуть, какъ мракъ ночи при восхожденiи солнца. И истинно, что ни есть на свѣтъ прекраснаго, дивнаго, изящнаго, высокаго, все это въ сравненiи съ тобою — какъ полночь съ полуднемъ. Я настолько высока, свята, что могла понять тебя, любить тебя, но еще не настолько, чтобы забыть, покинуть все, всѣхъ, превратить всѣ чувства въ одну любовь. Какъ я еще могу

такъ любить Emilie, могу такъ любить Сашу, могу любить многихъ, думать о нихъ, даже жертвовать для нихъ многимъ? Вѣришь ли, я иногда краснѣю отъ этой мысли и, если-бъ ты былъ тутъ, готова упасть предъ тобою на колѣни, и послѣ этого долго, долго совершенно погружена въ тебѣ; порваны всѣ нити, связывающія меня съ людьми, я свободна, я вся въ тебѣ, и тогда меня не можетъ вызвать ни смерть друга, ни его воскресеніе, и тогда я могу сказать: я люблю Александра! Но потомъ снова являются образы, слышны голоса, видны нити, связывающія меня со многими, онѣ становятся крѣпче, и я снова ихъ люблю и не могу забыть для тебя. На что же я ихъ люблю, на что ихъ такъ привязала къ себѣ? На что знаю ихъ, замѣчаю, когда люблю тебя, когда ты любишь меня? Эмилиа, которая имѣетъ много сестеръ, много чужихъ, которые любятъ ее, какъ сестру, говорить, что *во всемъ свѣтъ я у нея одна*. Саша Б., у которой отецъ, семья, говорить, что я одна у нея; моя Саша тоже. Саша К. тоже и потомъ собственные мои родные... на что я отдалась имъ такъ? Какъ могла удѣлать столько сердца имъ, любивши тебя? какъ? о, ангелъ мой, мой Александръ! Ты заставилъ меня забыть себя, уничтожиться въ тебѣ, заставъ же забыть и весь свѣтъ, и друзей. Я не хочу ихъ любить и не могу ихъ не любить, хочу, чтобъ все умерло, кромѣ тебя, и готова сама умереть за нихъ. Или это — эти 1.000 верстъ ярче отгѣняютъ дружбу, крѣпче связываютъ меня съ ними? О, такъ когда же, когда же исчезнуть онѣ? Тогда-то я совершенно покину тебя, земля, покину васъ, друзья! Тогда-то я уйду въ моего Александра, и вашъ голосъ не достигнетъ до меня, вы не вызовете меня, тогда я не ваша, не ваша!

Ты получишь, ангелъ мой, снурочекъ моей работы. Къ 23 я бы ничего не успѣла сдѣлать болѣе. Носи его хоть въ карманъ, онъ очень милъ, мнѣ нравится, а для тебя одно въ немъ достоинство — цвѣтъ моихъ волосъ. Дай Богъ, чтобъ ты этотъ день встрѣтилъ весело, а впрочемъ, да будетъ Его воля! Я буду праздновать здѣсь, можетъ, и меня будутъ поздравлять, только не многіе. О, какъ будетъ рваться къ тебѣ мое сердце; да я и не знаю, что со мной будетъ!

Вспоминай меня въ сумерки. Это любимое мое время дня. Тутъ я всегда хожу по комнатѣ и смотрю на твой портретъ. Въ это время онъ такъ похожъ, такъ похожъ... У меня слезы на глазахъ, я прихожу въ восторгъ, мнѣ кажется, что ты тогда слышишь голосъ души моей, видишь меня. Вспоминай же.

Теперь хлопочемъ съ маменькой, какъ бы сдѣлать что-нибудь Витбергу. Я говорила ей, чтобъ она купила узоръ и велѣла бы папенькѣ подарить мнѣ его съ тѣмъ, чтобъ вышить для тебя, а это будетъ для Александра Лаврентьевича. Прощай, ангелъ мой. Поини жму руку. Тебя крѣпко, крѣпко цѣлую.

Твоя *Наташа*.

Отъ Эмилиа къ тебѣ письмо.

Да, я во многомъ похожа на тебя. Да, нельзя быть иначе. Съ тѣхъ поръ, какъ я понимаю, ты мой идеалъ, совершенство. Я и Тат. Пет. любила за то безъ ума, что она подражала тебѣ. Еще прощай, еще тебѣ поцѣлуй.

)) 1 ноября, Вятка.

Письма твои отъ 4 и 11 октября получилъ. Нѣтъ, не люди, не толпа затмили мою душу, а я самъ ее затмилъ, и это-то меня терзаетъ, мучить. Ты

такъ прелестна, такъ чиста, ты утренняя звѣзда, а я туча, облегающая ее, я мракъ, поглощающій свѣтъ звѣзды. Ты все простила мнѣ, ты не хочешь сіять иначе, какъ для меня; но могу ли я все простить себѣ? Emilie пріѣхать сюда — опять мечта несбыточная, и зачѣмъ? Ты не знаешь жизнь маленькаго города, вдали. На меня обращены множество глазъ, я здѣсь значительное лицо, любимецъ губернатора, москвичъ и богатый человѣкъ. Пріѣздъ дѣвушки далъ бы поводъ къ толкамъ, которыхъ я не вынесъ бы, да и что скажутъ въ Москвѣ? Нѣтъ, эту мысль къ сторонѣ. Въ нѣсколькихъ послѣднихъ письмахъ папеньки я вижу, что онъ ко мнѣ имѣетъ большую довѣренность, что онъ весьма доволенъ, что я приобрѣлъ здѣсь *репутацию* (!) хорошаго чиновника, что обо мнѣ пишутъ въ Петербургъ, что меня представляютъ для описанія губерніи министру и проч. Это хорошо, я очень радъ, я очень помогу намъ болѣе всего. Знаешь ли, что я вскорѣ надолго буду лишень писемъ отъ тебя, мой ангелъ, я только жду инструкцій отъ министра внутреннихъ дѣлъ, чтобы ѣхать по губерніи, и это продолжится мѣсяца два. Тысячи двѣ верстъ надо будетъ объѣздить, и я получу уже твои письма по возвращеніи въ Вятку.

Надежды, о коихъ я писалъ отъ 29 сентября, весьма основательны. Я имѣлъ разныя извѣстія изъ Петербурга. Наша разлука очень долго, кажется, не можетъ продолжаться. Наше свиданіе... О, Боже! неужели оно будетъ *примѣмъ*? Нѣтъ, нѣтъ... это ужасно! Развѣ нельзя? Я пріѣду въ третьемъ часу. Княгиня спитъ, Саша будетъ на караулѣ, ты выйдешь въ залу. Только одинъ взглядъ, одинъ поцѣлуй, и тогда я готовъ цѣлый годъ притворяться. Но минутой свиданія погубить этикетомъ нельзя, не могу, столько жертвовать людямъ невозможно, они не стоятъ этой минуты. Или я, когда пріѣду, остановлю порывъ и сутии отдалю свиданіе, а на другой день уговорю, чтобъ тебя звали къ намъ обѣдать. У насъ вольнѣе, лучше, и ты у насъ дома, тамъ ты чужая. Устрой, какъ хочешь, только этой минуты не похищай у Александра.

Что за глупость пишешь ты о твоемъ лицѣ! Будто я его не знаю, будто оно не есть выраженіе твоей свѣтлой, небесной души, будто оно не такъ же полно любовью, какъ твои письма. «Оно перемѣнилось съ 20 июля 1834 г.». Да, я знаю, ибо я его видѣлъ — 9 *апрѣля 1835 г.*, величайшій день моей жизни. Точно оно перемѣнилось, такъ, какъ черты Спасителя преобразились на горѣ Фаворѣ въ день Преображенія. Ты «помѣнялась бы со многими лицомъ». Но я, вѣдь, не люблю многихъ тѣхъ, а тебя, только тебя, и развѣ любовь моя чувственна. Наташа, увѣрь же себя въ своей высотѣ. Ты прелестна, ты все для меня. Твоя Саша Б. думаетъ, что нѣтъ другого Александра. О, какъ ошибается она! Эта смѣсь добродѣтели и пороковъ, этотъ ангелъ и дьяволъ, эта любовь и эгоизмъ, эти обломки разныхъ истинъ, чувствъ, заблужденій, разврата, восторженности, эта медаль, на которой, съ одной стороны, Христосъ, а съ другой — Иуда Искаріотскій, называемые Александръ, какъ далеки они отъ совершенства! Есть много юношей, высокихъ, чистыхъ, которые совѣмъ не меркли. Она найдеть отзывную пѣснь своему призванію. Ты отдалась бурной жизни моей, и мнѣ жаль тебя. Ты или поведешь меня въ рай, или падешь со мной такъ, какъ пали легіоны ангеловъ, прельщенныхъ красотой Люцифера. Твоя судьба рѣшена. Но ежели она не любила. — о, пусть сохранить ее Богъ отъ изломанной души, которая гложетъ своими зубами свое сердце и упиивается своєю кровью. Море свѣтло, море обширно, оно зоветъ къ себѣ, прельщается, но пропасть сокрыта подъ зеркальною поверхностью, оно бурей губитъ смѣлый челнъ. А ты говорила,

что я знаю свое достоинство, — правда, знаю, но далеко не увлекаюсь, какъ ты, ибо ты — одна любовь во мнѣ. Посмотри на Витберга. Его жизнь развивалась какою-то древнею поэмой, нигдѣ ни пятнышка, вездѣ величіе, а я? 24 года — и важилъ рубцы на душѣ и тѣлѣ, и нажилъ угрызение совѣсти.

Благодарю за стихи. Мысли хороши, но стихи кое-гдѣ не хороши: больше извольте, madame, обрабатывать. Прощай, моя утренняя звѣзда. Ее называютъ еще *Gesper* — надежда. Прощай!

Твой Александръ.

4 ноября. Черная хандра моя улеглась. Страсть дѣятельности снова кипитъ и жжетъ меня. Люди, люди, дайте мнѣ поприще и болѣе ничего не хочу отъ васъ, дайте извѣдать силу, за что же ей понапрасну пропадать въ груди? О, какъ скверна жизнь въ провинціи, какъ здѣсь все сведено на однѣ матеріальныя нужды, на однѣ матеріальныя удовольствія. Здѣсь нѣтъ умственной дѣятельности, здѣсь нельзя прислушаться, какъ смѣлая мысль пролетитъ ряды и взволнуетъ души и отзывается. Чортъ знаетъ, откуда опять эта страсть дѣятельности! Да, на томъ поприщѣ я сдѣлаюсь достоинъ тебя. Прочь спокойствіе, павлигримъ! Иди снова въ путь и тамъ, въ Сионѣ Божіемъ, отряси прахъ ногъ твоихъ и тамъ среди песковъ Палестины пошли молитву твоей Дѣвѣ пречистой. Трудъ, трудъ, изнеможеніе и... и слава, наконецъ! А ежели ея не будетъ? Вадоръ! Что же этотъ пламень въ груди, эти мечты, около которыхъ свиваются всѣ элементы души, насытка, что ли?

Силень былъ ударъ въ мою грудь; я самъ его нанесъ. Вымарай его, вылечи, и я опять юноша. Съ восторгомъ обращаю взоръ на Крутицы. Тамъ я былъ чистъ, благороденъ, тамъ я видѣлъ это 9 апрѣля и достоинъ былъ его; а послѣ этого такъ пасть глубоко отвратительно, послѣ 9 апрѣля!

Но Господь простилъ Израиля за то, что, имѣя откровеніе, поклонялись змѣѣ въ пустынѣ. И ты простила мнѣ.

Прощай!

Ты проспишь статей. Три пошлются въ печать черезъ двѣ недѣли. Прочти съ вниманіемъ *Третью встрѣчу*; во *Второй* ты найдешь 9 апрѣля. Когда я очень мраченъ, я всякій разъ вижу тебя во снѣ, и потому благословляю эту мрачность. О. Наташа, Наташа!

7 ноября, Вятка. Третьяго дня получилъ я, ангелъ мой, твои письма отъ 12 до 27 октября. Сколько радости, сколько успокоенія принесли мнѣ они! Ты замѣтила грусть и черное моихъ послѣднихъ писемъ. Все отлетѣло, и моя душа тонула въ любви, въ восторгѣ. И пуще всего благодарю тебя за полное описаніе 22 октября. Да, этотъ день пусть займетъ мѣсто между 9 апрѣля и тѣмъ будущимъ, неизвѣстнымъ. Прибавь еще тотъ день, когда судорожно и бѣшено я тебѣ писалъ о дружбѣ и о любви, когда, проведя нѣсколько мѣсяцевъ въ чаду, я первый разъ открылъ свою душу послѣ 9 апрѣля и нашелъ въ ней любовь яркую, пламенную, — любовь, указавшую мнѣ путь на небо, замѣнившую мнѣ нравственность, совѣсть, пересоздавшую меня воспоминаніемъ 9 апрѣля и тѣмъ голосомъ ангела, который проникалъ такъ глубоко въ мою измученную грудь при полученіи писемъ отъ тебя.

Наташа, ты писала какъ-то давно: «мы не искали другъ друга»; нѣтъ, не искали, но мы и не свершили бы земного назначенія, мы увяли бы безъ другъ друга. Я дошелъ бы до холоднаго разочарованія въ людяхъ и сжегъ бы себя, и сжегъ бы все близкое и, можетъ, погибъ бы, линась вѣры въ безсмертіе, а ты —

грустнымъ звукомъ, слезою воротилась бы къ Богу, тамъ у Него отстрадать за земную жизнь. Провидѣніе устроило иначе.

Другъ мой, *сестра моя* (оставимъ это прелестное названіе — что можетъ лучше выразить гармонію души, какъ не братство?), сестра моя! Ты еще не видела людей, твоя жизнь прошла въ затворничествѣ, поэтому *ты могла* легко идеализировать меня, какъ типъ, сдѣлать изъ меня ангела, ибо я одинъ былъ у тебя передъ глазами. Но не думай, чтобъ я хотѣлъ сказать, что ты ошиблась въ главномъ, — нѣтъ, ты нашла душу родную, равную своей, въ рубцахъ, но столь же направленную туда, какъ и твоя душа, безъ чистоты, но съ раскаяніемъ живымъ. Вотъ для чего я это говорю: я иначе жилъ, я пережилъ много, я встрѣчалъ многихъ; мнѣ увлечься было мудрено, и потому ты вполне должна вѣрить, что нѣтъ между людьми высшаго совершенства, какъ ты; воспитанная горемъ и любовью, ты развилась дивно, чудесно, все, что мечталъ пламенный Шиллеръ, создавая свои небесные идеалы, все въ тебѣ горитъ. Не для того эти слова, чтобы хвалить тебя; но я не могу удержатъ себя, чтобы не высказать ихъ, ибо ты иногда какъ-то робко становишься возлѣ меня. Наташа, вѣрь, ты выше меня, потому-то ты и облагородила мою душу, потому-то я и люблю тебя такъ безгранично, такъ много, такъ сильно. Въ тебѣ для меня слито все, что выше меня: религія, красота, вѣра, надежда и любовь!

Теперь къ твоимъ письмамъ. Прежде всего, память прелестнаго дня 22 октября пусть посвятится отнынѣ не одной тебѣ. Виновникъ твоего восторга имѣетъ на него право. Пусть этотъ день во всю нашу жизнь будетъ днемъ воспоминанія и благодарности Витбергу. Пусть послѣ твоего тоста будетъ его тостъ, пусть середъ нашей любви, нашего счастья навернется слеза о великомъ страдальцѣ. Я въ восторгѣ отъ твоей мысли, чтобъ я тебя связалъ въ Вятку къ нему. Эта мысль у меня давно; я свято обѣщалъ себѣ, прежде нежели ты писала; вездѣ наша симпатія вѣрна. Дай Богъ, чтобъ онъ не дожилъ до этого посѣщенія, но, кажется, его страданія не скоро оковчатся. Вотъ удѣлъ прекраснаго на землѣ!..

Да, ежели это испытаніе, ежели это униженіе, посланное мнѣ отъ Бога, чтобъ смирить меня (Мед.), то цѣль достигнута: я въ глазахъ моихъ преступникъ, еще хуже — обманщикъ, и это пятно я скоблю съ сердца, а оно безпрерывно выступаетъ. Всего хуже, что я не имѣлъ твердости сказать ей прямо о тебѣ. 1.000 разъ я былъ готовъ на это и не могъ. Что же за роля теперь моя, — роля этого человѣка, котораго ты называешь совершеннымъ, божественнымъ? Выбора нѣтъ: или убить ее однимъ словомъ, или молчаніемъ и полуобманомъ играть подлую роль, выжидая время. Я рѣшился на послѣднее. Тутъ вполне я наказанъ. Иногда я желалъ бы, чтобъ все это узналъ Витбергъ; онъ на меня смотритъ съ такою любовью, тогда онъ посмотрѣлъ бы съ презрѣніемъ. Пуще казни нѣтъ, это хуже кнута, но тогда я считалъ бы себя вполне наказаннымъ. Ты имѣешь полное право показывать Сашѣ Б. мои письма, но не тѣ, въ которыхъ есть что-либо о Мед., — это тайна между мною и тобою, тутъ третьяго не должно быть.

Бываютъ минуты, за которыя я не взялъ бы всѣхъ благъ міра, которыя хуже тяжелой болѣзни. Тогда обыкновенно я сажусь у себя наверху передъ столомъ и дрожу отъ холода, и лицо мое блѣдно, и я не смѣю въ руки взять твоихъ писемъ, ибо я долженъ страдать. Ежели-бъ я не вызвалъ ее на это чувство, ежели-бъ я не столкнулъ ее своею рукой (я не могу тебѣ сказать всѣхъ

подробностей, вѣрь на слово), тогда было бы дѣло другое. Полина замѣтила во мнѣ эти минуты и много разъ спрашивала, что такое: «Вы должны быть такъ счастливы, такъ счастливы?» Я тѣмъ несчастенъ, — отвѣчала я ей, — что недостойнъ взора того ангела, который мнѣ отдался, тѣмъ, что я вижу всю ничтожность свою и всю небесность Наташи, тѣмъ, что на моей душѣ лежитъ угрызеніе совѣсти... Довольно...

Витбергъ велѣлъ тебѣ сказать, чтобъ ты свой поцѣлуй перевела на губы съ рукъ, тогда онъ его приметъ. Ежели будешь шить что-либо, постарайся къ 15 января, — это день его рожденія. Но, смотри, что-нибудь очень хорошее, достойное его и тебя. А чтобъ не было затрудненій, я напишу папенькѣ объ этомъ.

Ты забыла, какъ называютъ костюмъ, въ которомъ я на портретъ, и я расхохотался надъ серьезностью, съ которой *три раза* въ письмѣ просишь напомнить. БЕШМЕТЪ. Вотъ за то дивными буквами, въ родѣ почерка княгини Марьи Алексѣевны. Ты пишешь, что я *могу* теперь бросить все земное, порочное. Ха, ха, ха, въ томъ-то и дѣло, что *могу*, что *долженъ*, и не дѣлаю этого! Тутъ-то и есть это необъятное разстояніе между человѣкомъ Александромъ и ангеломъ Наташей.

Полина въ восторгѣ отъ твоего обѣщанія кольца изъ волосъ. Пришли и мнѣ браслеты изъ волосъ. Медальонъ твой часто бываетъ у моихъ губъ.

7 ноября, Москва.

Теперь я, мой ангелъ, *сестра милосердія*. У насъ внизу больные, вверху больные, во флигелѣ больные, и я кому порошокъ, кому микстуру, кому слова два-три, вмѣсто лекарства. Письмо твое прислали въ то самое время, какъ кн[ягиня] была чрезвычайно довольна моими попеченіями. Сколько я могла замѣтить, она была имъ очень довольна, заставляла нѣсколько разъ перечитывать и слушала съ *чувствомъ*, потомъ сказала: «Дай Богъ, чтобъ все это было правда; въ немъ умъ есть, онъ можетъ образумиться». И я увѣрена, что ея мнѣніе легко съ можно было переменить, если-бъ не М. С.; она много, много вредитъ. Но Богъ съ ней, будто она можетъ быть препоной намъ на пути, по которому насъ ведетъ самъ Господь? Ко мнѣ же твое письмо я читала съ такимъ же чувствомъ, съ какимъ пишу тебѣ черезъ папеньку. Вѣдь, это явный обманъ, тяжело, мой ангелъ! Прощай, я подлѣ постели кн[ягини], страшно писать. Жду, не принесутъ ли мнѣ письмо отъ тебя; вѣрно, есть.

Я эти дни сама полубольная, и знаешь ли отчего? Безпрестанно слышу и вижу такія низости, подлости, силъ нѣтъ! Кто-бъ то ни былъ, но коль скоро онъ унижается, дѣлаетъ что-нибудь недостойное души благородной, конечно, мнѣ грустно, я готова плакать, и, наконецъ, до того измучаюсь, что почти больна. А теперь я столько слышала объ измѣнахъ, о такихъ низкихъ поступкахъ, что это вообразить нельзя. О, мой ангелъ! о, мой Александръ! За то съ какимъ восторгомъ, съ какою вѣрою прибѣгаю я къ твоему образу, къ твоимъ письмамъ, они тоже образъ твоей души. Какъ я отдыхаю тутъ, какъ забываю все земное и горькое и какъ наполняюсь свѣтомъ, святостью! Тутъ я передъ тобою, какъ лампада передъ Спасителемъ.

Иногда я думаю: не было тебя, — я или бы вовсе погибла, утратила бы сердце и душу, или бы меня задушили эти стѣны, убили бы эти глаза, и я

давно-бъ, не вынося этого, бѣжала куда-нибудь вдаль, въ пустыню. И правда, ну, что меня привязываетъ къ этому свѣту, что? Ей-Богу, ангель мой, до сихъ поръ я смотрю, если-бъ не ты, что за пустота, что за глухота, что за чернота! Съ самыхъ юныхъ дней покинуть все это было первою моею мыслью, посвятить себя Богу, думать объ одномъ небѣ, — вотъ къ чему я готовила свою душу. Но ты, о, я не знаю, какъ и выразить, что такое былъ ты и прежде для меня, тобою я любила *ихъ*, тобою земля была для меня богатѣе неба, и теперь...

Ну, да когда же, когда же, милый Александръ, ты увидишь самъ все то, чего ни, слово, ни перо выразить не могутъ? Пусть мнѣ скажутъ: ты увидишь *его*, но въ ту же минуту умрешь. Такъ что-жъ? Хочу, хочу умереть, лишь бы видѣть еще разъ тебя, божественнаго!

(*11 ноября 14, среда.* Вчера вечеромъ получила твое письмо отъ 28 октября. Все та же безграничная душа, та же любовь, то же небо и рай. Но, Александръ, я скажу тебѣ серьезно, скажу рѣшительно, ты огорчаешь меня. Что за мысль, будто ты не *стоишь* меня, будто ты *хуже* меня? Я говорила давно тебѣ, такъ и есть. Ты еще мало знаешь себя. О, если бы ты зналъ себя хоть такъ, какъ я тебя знаю, — тогда бы ты и меня не любилъ, тогда бы и цѣлой вселенной было бы мало любви твоей. Что за совершенство воображаешь ты во мнѣ? Зачѣмъ столько святости, столько небеснаго придаешь существу слабому, земному, которому вдунула душу твоя любовь, которое, дыша однимъ тобою, сдѣлалось малымъ подобиемъ тебя. И не должна ли я, я, мой ангель, я, любовь твоя, мучится тѣмъ, что низвела тебя съ высоты твоей, что заставила обратить на себя твой взоръ, и еще дерзновеннѣе, — завяты, наполнить душу *твоею*? Будто я не должна была довольствоваться тѣмъ, что ты есть, что ты великъ, славенъ, свѣтель; будто для меня было бы мало *издали* боготворить тебя, возсылать къ тебѣ пламенные обѣты мои, возноситься къ тебѣ душою, всѣмъ существомъ поклоняться тебѣ, но все это такъ, чтобы ты не замѣтилъ этого, чтобы не оскорбить тебя тѣмъ. Нѣтъ! Я возвысила слишкомъ мой голосъ, я дерзнула слишкомъ близко вознестись къ тебѣ, но это вина не моя, Александръ, то допустило Провидѣнне. И теперь, когда ты исторгъ меня изъ тьмы и мрака, далъ душу, далъ крылья, направилъ полетъ мой, далъ мѣсто въ своей душѣ, теперь ты уже говоришь, что не стоишь меня! Да ты вообрази только то, что была бы я безъ тебя, что была бы я, если бы ты не внялъ моему голосу, если бы не опустилъ взоръ свой такъ низко, что могъ увидѣть меня... Что?..

Не глядя ли на тебя, карабкалась я изъ ничтожества, въ которомъ гибнетъ такое неисчисленное множество людей, одаренныхъ прекрасною душою; не слышала ли твой голосъ, я поняла, что и изъ моей души можетъ литься пѣснь стройная; наконецъ, не мысль ли одна, чтобы быть сколько-нибудь тебя достойной, сбросила съ меня все, чѣмъ обернули меня люди? Остальное сдѣлала любовь. Вѣдь, ты видишь, ты знаешь, что сдѣлалъ ты, и отпираешься отъ своего созданія, и говоришь, что творецъ ему иной. Ну, клянусь тебѣ, Александръ, вѣрь моимъ словамъ, какъ любви моей, я не могу вообразить, не могу представить себѣ, что бы такое могло быть въ *тебѣ* порочнаго и чернаго, какъ говоришь ты. Это для меня непостижимо! Въ чемъ, какъ можешь ты быть низкимъ? Тутъ я теряюсь, тутъ вовсе, наконецъ, ничего не понимаю и, пришедши въ себя, вижу: я на колѣнахъ, руки, взоръ воздѣты къ тебѣ, ты протягиваешь мнѣ обѣ руки, я лечу, лечу... и все еще далеко, далеко такъ отъ тебя!

Можешь, ты всю черноту свою, все недостоинство хочешь доказать поступ-

комъ съ Мед.? Не дерзай такъ смѣло судить себя и въ этомъ, бойся оскорбить Ею, придавая излишнюю черноту поступку этому. Вѣрнѣ всего, что Провидѣніе само послало тебѣ ее, видя уже, насколько высокъ ты (можетъ, ты былъ близокъ къ samozабвенію въ своемъ величіи), напомнить тебѣ, что ты смертный, предохранить тебя отъ опасѣйшаго врага — гордости. Она страдаетъ, страдаетъ отъ тебя, конечно, это ужасно; отъ этой мысли все существо мое ноетъ, но и тутъ еще есть средство. О, Господи! окончи нану разлуку. Одно моленье, тогда окончатся наши страданія и страданія Мед. Я увѣрена, Александръ, ну, не знаю сама почему, а мнѣ кажется, когда мы познакоимся съ ней, ей будетъ легче, даже она можетъ совершенно исцѣлиться.

Не воображай, не воображай, Бога ради, во мнѣ столько чрезвычайнаго. Можетъ, сблизившись совершенно, ты увидишь во мнѣ бездну недостатковъ, тогда какъ и одного довольно, чтобы заставить вѣчно страдать и твою любовь, и твою гордость. Не думай, чтобъ я слишкомъ боялась за себя, боялась бы унизиться въ твоихъ глазахъ; правда, это ужасно, но я могу быть счастлива и рабой твоей, я бы снесла все, если бы ты легко могъ перенести разочарованіе. Да, Боже мой! Что это, Александръ, право, это недостойно тебя, унижаться такъ предо мною! Ты называешь меня ангеломъ, такъ неужели бы я могла сдѣлаться ему подобной, подражая человѣку *простому*? Когда ты еще не высокъ, еще не чистъ, я, стало, еще меньше. Подумай хорошенько. Пока прощай, цѣлую тебя. Сумерки, едва видно — часы бесѣды моей съ твоимъ образомъ, словомъ, это только 1.000 верстъ дѣлать насъ (если разстояніе дѣлать); болѣе не говоримъ ни о чемъ, — или мы оба одинъ ангелъ, или оба одинъ человѣкъ.

Вечеръ. Не правда ли, мой другъ, какъ иногда тягостно стѣснять свои думы и чувства на бумагѣ? Излила бы все свободною рѣчью, безъ помощи пера. Тутъ такъ что-то все скоро стынетъ, все не такъ, какъ въ душѣ. Нѣтъ, тяжело что-то; иногда я съ досадою бросаю перо и мысленно, душой говорю съ тобою. Мнѣ кажется, ты тогда яснѣ слышишь меня. Мы дойдемъ, наконецъ, до того, что нашей любви не будетъ уже выражений въ земномъ языкѣ. Пора, пора окончить тебѣ путь муки и страданій! Пора, ангелъ мой, склонить тебѣ голову на ту грудь, гдѣ найдешь и отдохновеніе прошедшихъ битвъ, и канунъ блаженства вѣчнаго. Пора!! Тогда ты не скажешь болѣе, что не достоинъ твоей Наташи (горе разлуки говорить эти слова), тогда-то мы будемъ двою, одно, и тогда только я могу совершенно, — ежели уже ты самъ возлагаешь на меня такъ много, — служить тебѣ опорю на камняхъ преткновенія и освящать минуты темныя. Нѣтъ, Александръ, ну, что мнѣ весь свѣтъ, друзья мои? Я все покину тогда, все, все; я хочу, чтобы ты одинъ занималъ всю душу мою, чтобъ она была любовь къ одному тебѣ. Уѣдемъ, покинемъ все: холодную родину, холодныхъ друзей. Они не могутъ облегчить разлуки нашей; что же могутъ, когда мы будемъ вмѣстѣ? Все покинемъ, все... Дальше, дальше отсюда, ото всѣхъ. Тебя одного хочу я, въ тебѣ будетъ и моя родина, и мои родные, и мои друзья, въ тебѣ будетъ все. Скорѣй же, скорѣй мчись, зима! Авось-либо хоть лѣтомъ!..

Знаешь ли, что бываетъ со мною? Сижу, думаю о тебѣ, забываюсь... И мнѣ кажется, ты меня зовешь, зовешь; слышу твой голосъ, и я опрометью, съ восторгомъ бѣгу въ другую комнату... Остановись! — говорятъ мнѣ пустыя стѣны... Нѣтъ, если-бъ не зима, ушла бы я къ тебѣ. Чего бояться? Со мною было бы Провидѣніе.

Ночь. Да, я все покину, я не могу дѣлить моего сердца, оно должно быть полно однимъ тобою. Не будь тебя, что мнѣ Эмилиа, что мнѣ Саша Б... Тобю сроднилась я съ ними. Какъ они малы, ничтожны передъ моимъ Александромъ, за что я люблю ихъ? Онъ далеко, его нѣтъ со мною, я страдаю, и они меня не утѣшаютъ, не облегчаютъ души моей, а когда я буду съ нимъ, тогда мнѣ всѣ будутъ друзья, тогда всѣхъ я буду любить, какъ ихъ. На чтожь я такъ отдалась имъ? Нѣтъ, я забуду ихъ, забуду все для него. Проходятъ цѣлые дни, недѣли въ однахъ воспоминаніяхъ о немъ. Можетъ быть, если-бъ мнѣ не напоминали о нихъ, я бы не вспомнила и цѣлый годъ! Такъ и надо, это хорошо, это восхищаетъ меня. Ему я принесу себя, полную однимъ имъ, одною любовью къ нему!

За мѣрку головы благодарю; за то пока до браслета посылаю локонъ.

12, четверг. Когда еще сначала я писала тебѣ въ Крутицы, что отдаешь тебѣ, что ты можешь изъ меня сдѣлать то, что хочешь, ты отвергнувъ это, ты боялся взять на себя такъ много, чтобъ направлять маленькій, легкій челнокъ, а теперь ты отдаешь мнѣ себя, ты говоришь мнѣ: правъ этимъ величайшимъ, изящнѣйшимъ зданіемъ — кораблемъ! Ты писалъ это въ тревожномъ раздумьи, тебя раздражило что-нибудь. И я напрасно на томъ листѣ говорю, что я когда-нибудь могу быть твоею опорой. Нѣтъ, Александръ, ты навсегда долженъ покинуть эту мысль. Правъ ты мною и собою. Когда въ чемъ-нибудь есть у насъ опора, мы начинаемъ менѣе дѣйствовать сами, мало-по-малу даемся въ безпечность, и, наконецъ, полагаемся вовсе на эту опору и не достигаемъ желаннаго. Тебѣ-ль искать опоры? Ты такъ великъ, такъ силенъ самъ. Ты самъ можешь достигнуть той высоты, на которую указываетъ христіанство. На что же ты избѣгаешь *труда* и ищешь моей помощи? Такъ, ежели я и могу возвести тебя туда, можно-ль, чтобъ ты былъ вторымъ по меня? Нѣтъ, Александръ, я отнимаю мою руку, я не хочу умалить величія твоего своею помощью, говорю тебѣ: ты *можешь самъ*. Итакъ, преодолевай, стремись! Крылья твои пространны, они умчатъ тебя высоко, лишь не опускай ихъ. И тутъ уже униженіе, и тутъ паденіе, что ты говоришь мнѣ: «правъ мною»? Восприими, Александръ, и съ высоты твоей глаголи мнѣ: «гряди по мнѣ». Ты говоришь: «Я знаю, что я теперь глубоко не паду, знаю, что нравственное чувство перевеситъ страсти». Какая бездна, какія страсти? Ты миновалъ ихъ. Оглянись назадъ, онъ далеко, далеко за тобой. Впереди путь широкій, гладкій; правда, по сторонамъ, можетъ, есть пропасти, и пропасти еще ужаснѣе прежнихъ, но ихъ и не видно: онъ загорожены высокимъ валомъ — любовью ко мнѣ. Ты не пойдешь въ стороны (валъ этотъ превысочайшій и съ обѣихъ сторонъ твоего пути) съ тѣмъ, чтобъ перейти валъ и упасть въ бездну: что же останется мнѣ?

«Но когда солнце»... Постои, ежели уже ты этого не знаешь, такъ я знаю, Александръ, что солнце не выйдетъ на горизонтъ пятномъ кровавымъ; я говорю тебѣ, — тебѣ, что въ свѣтѣ его потонетъ и небо, и земля. А мнѣ это говорить моя душа. Не вѣрять ей — не вѣрять любви моей. Ты ужасно самолюбивъ, Александръ. Какъ, еще тебѣ мало, еще тебѣ не достаточно Его созданья, и ты отдаешь его додѣлывать, дополнять такому слабому, такому еще ничтожному существу въ сравненіи съ тобою, отдаешь мнѣ поправлять дѣло рукъ Его? Но я не скажу болѣе ничего. Ты видишь самъ, мой ангелъ, что твои слова, и слова важныя, сказаны тобою необдуманно. Говорилъ ли орелъ голубю: научи меня летѣть къ солнцу? Ежели еще продлится наша разлука и такое же будетъ дѣлать вліяніе на тебя, — избави Богъ!

Что-то О.? Можно ли это? Ни слова о немъ! Да что и еще хуже—это слова: *повидимому, счастливъ!* Такъ небрежно, протяжно, лѣниво, такъ беззвучно и такъ безъ вниманія — *счастливъ!* И о комъ же? Какъ глупы люди, какъ они жалки! И каково же, мой ангель, вѣдь, и о насъ такъ же будутъ говорить. Это ужасно! Такъ пусть лучше ничего не говорятъ. А какъ же это сдѣлать, оставаясь здѣсь? Бѣжать, бѣжать дальше отъ мѣстъ, гдѣ полужизнь и полудуша, бѣжать туда, гдѣ полно все!

Вѣдь, это странно, мой ангель, я никакъ не могу вообразить себя и тебя дома на сѣверѣ. Посмотри, сѣрое небо, все одѣто въ бѣлый саванъ, какъ мертвецъ, у всѣхъ посинѣвшія губы, такъ холодно... О, нѣтъ, нѣтъ, не оставляй меня здѣсь! Я даже съ жадностью слушала о Саратовской губ. одну прїѣзжую оттуда, о Саратовѣ... а тамъ, «гдѣ родина музыки и молитвы»... *Là bas, là bas!* О, mon ange gardien, nous dirigerons nos pas!

Ахъ, знаешь ли чудо? Во время болѣзни кн[ягини] я была все подлѣ ея постели, и разъ разговорились о тебѣ. Согрѣшила, солгала я нѣсколько то, что ты писалъ мнѣ о Четвѣ-Минейхъ, о Посланіяхъ апостоловъ. Я сказала, что все это ты говорилъ мнѣ, какъ я была у тебя въ Крутицахъ; кн[ягиня] въ восхищеніи. Наконецъ, я вынудила ее сказать, «что тебѣ даво прекрасное сердце и душа, данъ обширный умъ отъ Бога, но что воспитаніе портило тебя ужасно и что, наконецъ, Провидѣніе само доканчиваетъ твое воспитаніе». Болѣе всего помирило ее съ тобою это то, что я сказала, что ты мнѣ велѣлъ читать Евангеліе и Посланія и что до того мнѣ не приходило (какъ и имъ) это въ голову. Ну, право бы, мнѣ кажется, въ скоромъ времени тебя можно было поздравить съ совершеннымъ миромъ съ кн[ягиней], если бы не М. С. Не понимаю я, за что такая ненависть, и какую власть она имѣетъ на кн[ягиню],—это ужасно!

15, *воскресенье*. Какъ ты думаешь, Александръ, какъ провела я эти три дня? И день, и ночь не выхожу изъ спальной кн[ягини]. Мнѣ немного понездоровилось, и за это меня не пускаютъ ни наверхъ, ни въ другую комнату. Есть отъ чего занемочь вдвое. Да и портрета-то твоего нельзя видѣть. На минуту принесла мнѣ его сегодня Саша для праздника, и то это съ опасностью. Вотъ въ эти-то минуты надобно имѣть твердость и терпѣніе. Что же остается мнѣ дѣлать при глазахъ у кн[ягини]? Одно—думать и думать, мечтать и мечтать! Но теперь эти думы и мечты тревожны: ты пишешь, что ты грустенъ и отъ самого себя. Нѣтъ, Александръ, я не ожидала, чтобы ты могъ когда-нибудь...

16, *понедѣльникъ*. Это ужасъ! Не могу читать ничего, не могу смотрѣть на твой образъ, не могу думать, дышать... Нѣтъ, ей-Богу, на Крутицахъ тебѣ было лучше!

Рѣшилась сказать тебѣ хоть слово, это облегчить меня, ангель мой. Ежели еще продержутъ меня здѣсь, занемому. Одна отрада—ночь, и то если бы не было лампы, я бы сошла съ ума. Но, впрочемъ, это глупо, какое малодушіе; почему не стерпѣть? Завтра, навѣрное, я буду въ моемъ дворцѣ и тамъ, тамъ ты, тамъ письма, мечты, тамъ и воздухъ есть, а здѣсь и того нѣтъ!

10 ноября.

Я расскажу тебѣ случай, бывшій со мною на-дняхъ. Онъ большей части людей покажется ничтожнымъ, иные улыбнутся, но я пишу тебѣ. А ты такъ совершенно, такъ вполне понимаешь меня, какъ никто, какъ одинъ Ог. Я долго

читалъ духовныя книги, много размышлялъ о христіанствѣ, сочивя статью о *религии* и *философii*. Усталъ; пора было спать. Я многое раскрылъ, написалъ мысли совершенно новыя и радовался. Безъ всякихъ мыслей раскрываю Эккарт-стаузена и попалъ на слѣдующее мѣсто св. писанія: «И бѣси вѣрують и трепещуть». Я содрогнулся! Да, вѣра безъ дѣлъ мертва. Не мышленіе, не изученіе надобно; дѣйствование, любовь — вотъ главнѣйшее. Любовь Бога создала слово воплощенное, т.-е. весь міръ. Любовь построила весь Христову. И почему мнѣ именно открылось это мѣсто? Случай, — вздоръ! Нѣтъ случая! Это негѣпость, выдуманная безвѣріемъ. Этотъ текстъ раскрываетъ или, лучше, указываетъ на многое. Я падшій ангелъ, по всему падшему общано искупленіе; ты — путь, черезъ который я долженъ подняться. Судьба тебѣ предназначила великое: и одну погибшую овцу кто воротить, заслуживаетъ царство небесное. И какое счастье исполнить тебя, когда, остановивъ на мнѣ твой взоръ, ты скажешь: онъ гибнулъ, и я спасла его любовьюю, собою; онъ сгорѣлъ бы, и я его огонь обратила къ небу. Наташа, прелестна твоя судьба! И какъ вѣчна должна быть любовь, возгорѣвшаяся на этомъ основаніи! Повторяю, любовь есть прямая связь Бога съ человѣкомъ.

Ровно годъ тому назадъ я, истощивъ всѣ глупости и буйства, но не истощивъ души своей, вздохнулъ по высокому назначенію, по тебѣ. Ровно годъ тому назадъ я торжественно окончилъ эту оргію нѣсколькихъ мѣсяцевъ преступленіемъ и, перегорая въ тысячѣ страстяхъ, погубилъ несчастную женщину для того, чтобы найти и тутъ пустоту, чтобы оставить угрызеніе совѣсти и, наконецъ, созвать съ неба ангела хранителя и воскреснуть въ свѣтѣ звѣзды восточной, въ объятіяхъ Наташи. *Ровно годъ* — и все пережѣнилось. Мы выросли. Я не такъ отчетливо понималъ себя. Ты также. Ты сдѣлалась разомъ иная, сказавъ: «люблю тебя, Александръ»; тогда ты развернулась во всей славѣ, во всемъ блескѣ. Я боялся любви, но, наконецъ, написалъ: «Можно ли жить съ моимъ бѣшенствомъ, съ моею душой безъ любви, стало-быть, любить!» Ты мнѣ отвѣчала отъ 18 ноября 1835 года: «Сначала я читала твое письмо спокойно, а теперь мнѣ страшно за тебя. Нѣтъ, погоди любить, мой Александръ»... И мы ужъ тогда любили другъ друга. Слово *мой* все говоритъ. И ты не знала, что любовь, твоя любовь одна спасетъ меня. Ты писала тогда же (отъ 26 ноября 1835 г.): «Я исчезну, ежели это надобно», — и, между тѣмъ, уже не имѣла духа подписаться сестрою, а написала *твоя* Наташа. Зачѣмъ не прежде мы открыли наши души? Зачѣмъ?

11 ноября. Теперь нѣсколько словъ и только. Вчера былъ на балѣ и грустилъ. Воротился часа въ 4, и теперь голова пуста. Иногда на людяхъ, въ толпѣ, я забываюсь и безотчетно отдаюся минутному бѣшенству и веселости. Вчера я сидѣлъ одинъ и сердился на всѣхъ и досадовалъ. Прощай, милый другъ, прощай!

Повѣсть остановилась: занятія другія есть. Статей своихъ еще не посылаю. На все есть причины. Я не имѣю надежды получить твой портретъ. Можетъ, такъ и надобно, чтобы вся эта полоса была черна для меня и безотраднa. И я это говорю, получая твои письма! Прости, другъ мой. О, твои письма нужны въ воздуха! Безъ нихъ... нѣтъ, безъ нихъ и представить себѣ жизни не могу. Ты нишешь, что мой портретъ многіе находятъ не похожимъ. Да, въ самомъ дѣлѣ, мой взглядъ не тотъ, который видѣли до іюля 1834 года. Теперь въ немъ горитъ любовь и отражаются сильныя потрясенія.

Приметь ли мой поклонъ твой Саша Б.? Право, не надобно видѣть человѣка для того, чтобы быть знакомымъ. Ты знакома съ Полиной и болѣе, гораздо болѣе, нежели съ тѣми, которыхъ видишь часто. Итакъ, ежели приметь, передай ¹⁾).

Твой здѣсь и тамъ Александръ.

17 [ноября].

Ну, вотъ, мой ангелъ, терпѣннѣе все преодолеваетъ.... Зато какъ я вознаграждена! Почти недѣлю просидѣла въ карантинѣ, а теперь одна въ своей кельѣ, и твой портретъ предо мною, и я могу до сыта наглядѣться на тебя, мой ненаглядный, и наговориться, и даже могу писать! Ахъ, какъ хорошо, какъ весело, какъ легко! Право, чудно, невѣроятно показалось бы всякому изъ *нихъ*, что съ каждымъ шагомъ, съ каждою ступенькой вверхъ къ тебѣ во мнѣ умножались силы, жизнь, восторгъ, и уже я коснулась до моего завѣтнаго столика, очищенная совершенно и отъ земли, и отъ людей, и отъ ихъ цѣпей. Такъ, мой ангелъ, смотри, сколько ты приносишь мнѣ блаженства и за 1.000 верстъ, сколько счастья, радости, удовольствія заключается для меня въ лоскуткѣ бумаги, присланной тобой! Но этого еще мало бы было, если-бъ ты приносилъ мнѣ только радость, жизнь, удовольствіе, — нѣтъ, Александръ, ты сдѣлалъ изъ меня (почему-жъ мнѣ не сказать, это не изъ самолюбія, нѣтъ, тутъ все *ты*, твоя слава, твоя любовь; я должна говорить все), — ты изъ меня сдѣлалъ добродѣтель, сдѣлалъ то, чего бы ни одни родители, никакой бы мудрецъ не могъ сдѣлать. И ты же, мой ангелъ, мой спаситель, отецъ мой, мой жизнедавецъ, ты же, Александръ, говоришь, что не стоишь меня. Господи, если-бъ я умѣла только изъяснить, умѣла бы выразить. Но нѣтъ ни словъ, ни выраженій, ни мыслей даже столько нѣтъ, чтобы дать тебѣ малѣйшій очеркъ того, что ты для меня. Всей жизни моей, всей души моей мало воздать тебѣ, да и что же на землѣ... Тамъ, тамъ запою я тебѣ, мой ангелъ, гимнъ, котораго не достойна земля, тамъ засіяю я предъ тобою свѣтильникомъ яркимъ, чистымъ. Здѣсь онъ иногда темень.

Письмо, письмо отъ тебя, такъ прощай же, кончу потому.

19-е. Опять все то же и то же! Опять будто ты туча, будто не достоинъ меня. Знаешь ли, какъ мнѣ тяжело и горько читать это? Лучше бы ты сказалъ мнѣ: «нѣтъ, Наташа, какъ ты ни чиста, какъ ни высока, какъ ни прелестна ты, но все еще недостойна любви моей; лети, лети выше, приближйся хоть сколько-нибудь ко мнѣ, будь хоть сколько-нибудь похожа на меня... И тогда, — тогда я протяну тебѣ мою руку, отдамъ сердце и душу». И тогда бы стремленіе моей души къ изящному и святому было-бъ сильнѣе, и тогда-бъ я была ближе къ тому ангелу, котораго ты воображаешь во мнѣ. А теперь ты говоришь: «увѣрь же себя въ своей высотѣ», — могу ли я это сдѣлать, когда ты не велишь вѣрить въ высоту твою? Ты говоришь, что я увлекаюсь въ тебѣ, а я чувствую, что я далека отъ того, что ты видишь во мнѣ. Ты съ 13 лѣтъ моей жизни велъ меня въ рай, какъ Богъ, ведшій израильтянъ въ обѣтованную землю въ видѣ облачномъ, и ты же называешь себя тучею... Говорю, мнѣ легче-бъ, если бы ты находилъ во мнѣ болѣе дурного, нежели въ себѣ, легче-бъ, если бы ты забылъ

¹⁾ Рукою Натальи Александровны приписано: «1836, ноября 23, понедѣльникъ 7 часовъ вечера, получено въ гостиной, читано у Александра въ комнатѣ, на его диванѣ».

Примѣч. издат.

меня, находя мою высоту недостойною твоей высоты. Это все сносишь, нежели слышать, что ты называешь себя недостойнымъ *меня*. Ну, какъ не быть въ тебѣ твердости покинуть землю и ея нечистоту, какъ не сдѣлаться тебѣ ангеломъ, когда другихъ ты дѣлалъ ангеломъ, какъ не взойти тебѣ на небо, когда ты приводишь туда другихъ? Какъ не сдѣлаться тебѣ, Александръ, изыщнымъ совершенно, когда ты видишь столько изыщества въ своемъ созданьи? Горько, тяжело мнѣ, ты навелъ на меня ужасную тоску. Но послушай, размотри хорошенько, Александръ, ради Бога, умоляю тебя, прошу на колѣняхъ, ангель мой (не испугайся того, что я скажу тебѣ), размотри, Александръ, быть можетъ, очень можетъ быть, причиною всему этому я. 9 апрѣля я *показалась* тебѣ существомъ чистымъ, небеснымъ, тогда ты былъ угнетенъ, тогда ты не видалъ никого лучше меня, но теперь, можетъ, видишь несовершенную мечту, изломанный идеаль, — словомъ, ничтожность, и эта-то ничтожность низвела тебя съ твоей высоты, и ты приблизился къ землѣ и полюбилъ ее, и она запылила тебя, сковала, и въ тебѣ нѣтъ силъ взлетѣть на прежнее мѣсто, и это-то, можетъ, тебя терзаетъ, мучить. Ради Бога, не сердись на меня, не упрекай прежде, нежели размотришь все это. Посвяти на это день, недѣлю, мѣсяцъ (хоть годъ, вѣдь, тутъ твое спасенье), и если слова мои истинны, т.-е. ежели ты увидишь, что я удерживала твое стремленіе, я не пускала тебя на ту высоту, куда указываетъ христіанство, увидишь, что я запылила твою душу, брось, забудь Наташу и уже не ищи на землѣ исполненія надеждъ, воплощенія ангела, не ищи любви. Тамъ, тамъ обрѣтешь ты твоего ангела, твою звѣзду, тамъ твоя любовь, тамъ все. А я исчезну (какъ говорила и прежде), и тебѣ не будетъ преграды идти туда! Что-жъ ты дивишься, на что нахмурился, Александръ? Ты говоришь: «силенъ ударъ въ мою грудь, вымарай, вылечи его!» Ты говоришь: «душа моя запятнана». Что же дѣлать мнѣ, когда я не вижу въ тебѣ пятенъ, когда ты для меня все на свѣтѣ: и добродѣтель, и святое, и рай, и божество? Мнѣ кажется, тебя къ землѣ не привязываетъ ничто, кромѣ меня, кажется, я единственное пятно, затмевающее твою душу. Скажи-жъ, скажи, что дѣлать мнѣ, какъ повѣрить, что ты, мой Александръ, ангелъ и дьяволъ? О, это страшно! Ты говоришь: «сдѣлай изъ меня ангела». О, если бы для этого я могла отдать жизнь мою! Нѣтъ, этого мало: жить и всю жизнь страдать. Но какъ же страдать любимой тобою? Невозможно. Ну, если-бъ я знала, чтобы тебѣ сдѣлаться ангеломъ, надо первое — забыть меня, презрѣть и, съ тѣмъ вмѣстѣ, разстаться со всѣмъ, что привязываетъ къ землѣ, къ нечистому, — неужели-бъ я не желала быть презрѣнною тобою? Боже мой, Боже!.. Александръ, Александръ! На что же на душѣ твоей пятно не я? Зачѣмъ все темное, все нечистое души твоей не любовью къ Наташѣ, зачѣмъ?.. О, тогда бы я смыла и пятно это, тогда бы я сдѣлала тебя ангеломъ, тогда бы это было въ моей волѣ, и я была бы вполне счастлива, а теперь, — что могу я?.. Да и могу ли я дѣлать изъ тебя то, чему уже я поклоняюсь въ тебѣ, что боготворю? Но это ужасъ, ужасъ! Ты говоришь, что я увлекаюсь... Итакъ, Александръ, моя любовь къ тебѣ одно увлеченіе? Тебѣ не страшно было сказать это мнѣ? Ты равнодушно говоришь: «Наташа, то, къ чему ты стремилась всю жизнь, что воображала, наконецъ, обрѣтеннымъ, чему отдала и жизнь, и сердце, и душу, и вѣчность, — то, что сдѣлало тебя ангеломъ, чѣмъ живешь ты теперь, есть ничто, одна мечта, воображеніе; мало того, это темнота въ той степени, въ которой тебѣ видѣлся свѣтъ».

Но, что-жь... вѣтъ, мнѣ теперь ужасно тяжело! Прости мнѣ все, что я сказала тебѣ, ангель мой. Сердце сжато, сдавлено. Летѣла бы къ тебѣ, послѣ одного взгляда на тебя умерла бы у ногъ твоихъ, и тамъ бы, уже тамъ, стала бы молить Его, когда теперь моя молитва не доходить, а здѣсь могу ли я желать умереть, не выдавши тебя? Довольно... тяжело!..

Скажу только одно, и скажу не *такъ*, а потому, что я это знаю, что уверена въ этомъ, что въ томъ порука мнѣ самъ Богъ: я не паду, а ты *неразотъльное со мною!*

Прощай, твою руку... Не сердись же на меня, скорѣ забудь все, все, будь братъ Христовъ и не говори мнѣ: «а ты?». Что мнѣ до меня, когда есть *Александръ?*!

Ужь за полночь. Я не сплю и не могу спать. Ты передо мною, твое искупленіе.. моя любовь... мнѣ вести тебя въ рай... мнѣ пасть тобою... пасть черезъ любовь къ тебѣ?.. Нѣтъ, Александръ! Не отнимай моей вѣры, не отнимай любви или вынь изъ меня сердце, убей душу. Нѣтъ, Александръ, ты тотъ, который прославить Его, ты тотъ, который докажетъ Его величіе, премудрость, благость. Въ тебѣ увидятъ изящество Его созданія, въ тебѣ поклонятся Ему, ты спасеніе *ихъ*, ты блаженство моей души, ея награда. Что мнѣ вѣчность въ раю безъ тебя?

Я покойна. Какъ странникъ, скитающійся долгую жизнь на землѣ въ горѣ и страданіяхъ, возвращается, наконецъ, къ Богу, въ немъ отдыхаетъ, въ немъ получаетъ награду за все, такъ я отъ бурь моихъ возмущенныхъ думъ и чувствъ возвратилась къ тебѣ, мой свѣтъ! Здѣсь мой покой, здѣсь мнѣ награда, и ты ужъ не отнимешь этого у меня, ангель мой? Нѣтъ, не отнимешь. Другъ мой. Александръ. Мой Александръ! Прости, пріятнаго сна на разсвѣтъ!

22 ноября. Наконецъ, наступаетъ 23 ноября! Вѣдь, ангель мой, этотъ день для меня больше, нежели для тебя 26 августа. Но и онъ, этотъ священный день, настанетъ мрачный, холодной, день моего Александра, а мой Александръ за 1.000 верстъ! Но я обниму тебя, я прижму тебя къ моему сердцу и за эту даль мое поздравленіе долетитъ къ тебѣ прежде всѣхъ поздравленій вятскихъ, я не покину весь день тебя. Ты меня увидишь, услышишь мой голосъ, ты будешь чувствовать, что твоя неразлучная съ тобою. О, какъ утѣшительна, отрадна эта мысль! Но зачѣмъ же, въ самомъ дѣлѣ, я не у тебя, зачѣмъ не мой поцѣлуй—первый подарокъ тебѣ?

Грустно, грустно, но завтра я не буду грустить. Я буду стараться весь день быть веселой такъ, какъ бы я была весела вмѣстѣ съ тобою, а то грусть моя долетитъ къ тебѣ и навѣетъ мрачность на твою душу. У насъ была всеночная (св. Митрофанія). Неужели для тебя это, Александръ, не имѣетъ никакой важности? Нѣтъ, я люблю службу и дома; это придаетъ торжественность; и я всею душой молилась. Пойду къ ранней обѣднѣ, а тамъ, тамъ... Не знаю, сомнительно, но, можетъ быть, умилосердятся, пустятъ меня къ пащенкѣ. Лев. Ал. очень просилъ меня сегодня, но очень не надѣюсь.

Послѣ всеночной всѣ поздравляютъ другъ друга съ наступающимъ праздникомъ Митрофанія, одна я не поздравляла никого и меня никто. И тутъ мнѣ еще холоднѣе стало на этой снѣжной полянѣ, и сжалось сердце, и рвалось къ тебѣ, и ныло. Одна моя вѣрная Саша въ темномъ уголкѣ, украдкой, со слезами поздравила меня съ дорогимъ именинникомъ.

Я немного теперь спокойнѣе, но какъ перечитаю твое послѣднее письмо,

кровью сердце обольется. О, Александръ, Александръ! Стало, ты еще не знаешь, что ты для Наташи. Я сказала тебѣ: мнѣ легче бы, когда-бъ ты презрѣлъ меня, нежели ты называешь себя недостойнымъ меня. Но объ этомъ теперь ужъ ни слова. Можетъ, на прощанье скажу нѣсколько словъ еще. При одномъ воспоминанія содрогаюсь.

Итакъ, прощай, Александръ, прощай, мой свѣтъ! Ужъ что хочешь ты говори, не затмить тебѣ моего Александра, моего солнца, оно свѣтло, свѣтло такъ горитъ здѣсь въ душѣ... О, другъ мой! Обнимаю тебя, прощай же!

Сегодня я ждала маменьку и не видалась съ ней,—грустно,—съ 22 октября! Что-то завтра?..

18 ноября.

Наташа! По нынѣшней почтѣ я не писалъ тебѣ. Какая-то пустота, какая-то усталъ наполняла душу во всю недѣлю. Да, хоть бы былъ портретъ твой. Я всю эту недѣлю былъ менѣе способенъ, нежели когда-нибудь, ко всему великому, менѣе ощущалъ любовь,—словомъ, самъ былъ менѣе. Наташа! усталъ я, очень усталъ! Напрасно думаю я заглушить голосъ души дѣятельностью: онъ прокрадывается наружу и точитъ сердце. И гдѣ-жъ берегъ? Твердо перенесъ я тогда отказъ, но какъ перенести эту нѣмую разлуку съ тобою? Люди! отдайте мнѣ ее, отданную мнѣ самимъ Богомъ!

Получилъ сегодня твое письмо отъ 31 октября. Зачѣмъ же ты хочешь порвать всѣ нити съ людьми? Любовь однимъ объятіемъ обнимаетъ все, грѣтъ все: и природу, и человечество, и самое Божество. Такой жертвы я не требую. Да, весь міръ твой во мнѣ, ты отдѣльно не существуешь, но развѣ, погружаясь въ мою душу, ты не можешь взять съ собою и дружбу? Я для тебя не жертвую друзьями, я ихъ люблю, какъ прежде, еще болѣе, ибо любовь очистила мою душу. Тогда только должна ты оставить все, когда мой прivityнный голосъ это скажетъ, и то не перестанешь любить ихъ. Шнурокъ получилъ, благодарю. Я поцѣловалъ его со слезою на глазахъ, наматалъ на руку и задумался... и думалъ долго.

Епііе идетъ въ монастырь. Дай, Господи, ей силы окрѣпнуть! Молитва, религія—онѣ все уврачуютъ. Я ни слова противъ, пусть идетъ, пусть поквнеть людей, которые не умѣли оцѣнить ея пламенную душу, ея порывистый нравъ. Въ самихъ страданіяхъ есть своя поэзія, высокая и святая. Вѣра и надежда... пусть онѣ замѣняютъ ей любовь.

23 ноября. Ангелъ! Теперь сумерки, то время, въ которое ты мечтаешь обо мнѣ, и нынче ты, вѣрно, его провела со мною отъ утра. Гости мѣшаютъ писать. Тебѣ не нужно говорить много, не нужно говорить, что, сидя съ толпою, я тамъ, тамъ, въ маленькихъ горницахъ княгининаго дома. Весь день провелъ я грустно и скучно и даже мнѣ не было пріятно смотрѣть, что почти всѣ съ истинною любовью, съ преданностью пили мое здоровье, ибо въ ихъ устахъ была доля состраданія, и я чувствовалъ, что, одинокій, оторванный отъ тебя, этотъ день я достоинъ былъ состраданія.

Сверхъ нашихъ домашнихъ, т.-е. здѣшнихъ, и Полины, есть въ Вяткѣ два человѣка, которые мнѣ преданы такъ искренно, такъ отъ души, что дружба ихъ меня трогаетъ. Это Эрнъ и учитель гимназій Скворцовъ. Ихъ вниманіе, ихъ стараніе, чтобъ я сколько-нибудь былъ веселъ, заставляли меня притво-

ряться беззаботнымъ, но плохо удавалось. Нѣсколько словъ о Скворцовѣ. Отъ природы очень умный человѣкъ, онъ прозябалъ въ провинціальной жизни, мелкой, пустой, сведенной на матеріальныя требованія. Я бросилъ мысль и чувство въ его душу, и она отвѣтила. Я воротилъ его къ ученымъ занятіямъ, и онъ какъ бы изъ благодарности привязался всѣмъ сердцемъ ко мнѣ, влюбился въ меня. Опять прощай. Цѣлю тебя.

21 ноября. И даже эта дружба ко мнѣ мнѣ тягостна. Всѣ они ошибаются, всѣ воображаютъ меня лучшимъ, нежели я есть, и это душитъ, терзаетъ. Я смотрю иногда съ ироніей на ихъ заблужденія, и самая острая сторона этой ироніи извѣтъ мою душу, а не ихъ. Въ нихъ настолько осталось натуральнаго, прямого, что они не могутъ подозрѣвать подъ этою блестящею фразой, въ этомъ одушевленномъ взорѣ что-либо дурное. А я знаю себя, знаю, какъ я палъ и падалъ, не долженъ ли хохотать надъ ними. Но я не обманщикъ, я часто срываю съ себя покрывало, показываю душу въ ранахъ. Ихъ вина, ежели не понимаютъ. Ничто, ничто не можетъ меня вылечить отъ этихъ мыслей, кромѣ тебя, а тебя то и нѣтъ со мною. Иногда мнѣ кажется, что я—анчаръ, это дерево, которое зоветъ усталаго путника середь степи, и, когда тотъ бросится подъ тѣнь его, онъ отравленъ. Одна ты изъ яда можешь сдѣлать нектаръ. Боже, возврати же меня скорѣе къ ней! Ты видишь, что я не могу безъ нея ни жить на землѣ, ни придти на небо!

23 ноября, понедѣльникъ, 1-й часъ утра.

Поздравляю, поздравляю тебя, ангель мой! Теперь моя очередь цѣловать тебя... О, какъ бы я поцѣловала тебя! Но все равно, пусть долетитъ къ тебѣ и поздравленіе, и гимнъ, и молитва, и поцѣлуй моей души. Тебѣ остается только вообразить, какъ бы все это было, если-бъ мы были вмѣстѣ. Болѣе не успѣваю сказать тебѣ ни слова, (*велики*) иду завиваться. Туда, туда ѣду... я не знаю, какъ это сказать... но чего-жъ яснѣе, ѣду домой! Саша ждетъ съ гребенкой. Нѣтъ, еще словечко. Какъ я ни стараюсь преодолѣть себя,—грустно. Боже мой! Лѣтъ къ тебѣ—это слишкомъ легко, прелестно, идти—медленно, бѣжать,—если-бъ можно, катиться клубкомъ... О, воля, воля! Но мнѣ будетъ весело, я предчувствую. Не письмо ли отъ тебя?..

12 часовъ вечера. Хочется еще тебя поздравить и расцѣловать, мой Александръ! Явись предо мною! Я бы такъ долго, долго смотрѣла на тебя... долго!.. Теперь слушай отчетъ всего, что происходило 23 ноября 1836 г.—день твоего тезоименитства, день великій. Съ 6 часовъ вчерашняго вечера и до 1 часу сегодняшняго утра (выключая ночь) продолжались морали, правила, наставленія. «... тутъ надо твердость! Потомъ, не лучше морали, повелѣнія завиться — несносно! Наконецъ, конецъ всему скучному, тяжкому, пыльному, я одна дома. Ты можешь вообразить это чувство. Съ 9 апрѣля я не была тамъ одна, да и до того-ль мнѣ было тогда, одна я, или вокругъ меня легіоны сторожевыхъ? Прелестная, полная радости чистой, высокой, ровной была встрѣча моя съ маменькой. *Мнѣ хотѣлось ея поздравленія.* Потомъ папенька.. я подарила ему ермолку, которую вязала именно для него, но она, кажется, пошлется тебѣ. Не носи ея, она для тебя не хороша. Онъ во весь день былъ со мною такъ хорошъ, какъ бы я не желала лучше. Что-то особенное (можетъ, воображеніе), за столомъ говорилъ, что я похожа на богиню; и даже М. С. послалъ пряничковъ

(какъ кстати — она нездорова), велѣлъ приписать тебѣ... и проч., и проч. Во мнѣ-жъ чудныя были чувства: то мнѣ становилось такъ грустно, такъ грустно (разлука!), то, казалось, изъ другихъ комнатъ несся твой голосъ и я, повинуваясь чему-то невѣдомому, шла туда и будто ждала тебя, да и досадно, что долго не идешь... Прелестнѣйшія минуты эти, когда я украдкой уйду въ твою комнату... Гдѣ земля? гдѣ люди? гдѣ все, кромѣ Александра? Теперь я могу спросить это, но тогда не могла. Твой диванъ... Тутъ мы сживали, тутъ ты спалъ всегда, тутъ воскресло все, что было до твоего отъѣзда. И, признаюсь, многихъ бы не желала я тогда видѣть, особенно многого слышать. Но, мой ангелъ, безъ тебя этотъ день я бы не могла лучше провести. И какое-жъ заключеніе? Письмо отъ тебя! Странно, ты все говоришь мнѣ—увлеченіе! Да какъ же мнѣ-то не вѣрить моему сердцу? Посмотри, обмануло ли оно меня хоть одинъ разъ? Завтра отвѣтъ на письма, сегодня довольно и прочесть ихъ. Итакъ, праздникъ ужъ миновался въ Москвѣ (въ душѣ моей онъ вѣчной), что-то въ Вяткѣ? Я непрерывно придумывала, что ты дѣлаешь? Ты также, и наши думы встрѣчались, мѣнялись, сливались, только, можетъ быть, я отгадала многое, а ты, вѣрно, и не воображаешь, чтобъ я такъ дивно пиновала. Затѣмъ, мой именинникъ, прощай, вѣдь, я еще только три раза читала твое письмо. Въ заключеніе всего, всего, цѣлую тебя, ангелъ мой. Пусть и сонъ подарить тебя, пусть онъ навѣстятъ тебѣ мой образъ.

24, вторникъ. Итакъ, ты спокоенъ, Александръ. Тебя не давитъ эта тяжелая мысль, что ты не достоинъ меня? Тебя не жжетъ буйное стремленіе къ славѣ? Ангелъ мой! Пусть я прелестна, пусть нѣтъ между людьми высшего совершенства, какъ я, но кто-жъ, кто меня сдѣлалъ такою? Разсмотри съ самаго начала мою жизнь. Была ли у меня мать? Нѣтъ. Кто же первый, не зная самаго того, заступилъ ея мѣсто, т. е. качалъ меня въ колыбели свѣтлыхъ мечтаній, питалъ своимъ взоромъ, словомъ—*кто*? Былъ ли у меня отецъ?.. Кто-жъ первый положилъ основаніе въ душѣ моей всему изящному и святому? *Кто*? Былъ ли у меня братъ, сестра или кто-нибудь *родной*? Было все и *въ комъ*? Былъ ли другъ у меня, спутникъ души въ тѣхъ лѣтахъ, когда мы такъ ищемъ симпатіи, когда нуженъ обмѣнъ мыслей, чувствъ и души? Былъ, былъ этотъ дивный, святой другъ у меня, былъ и *кто же*? Наконецъ, кто спасъ меня, вырвалъ изъ тѣсныхъ объятій земли, разорвалъ цѣпи, которыми меня сковали люди, отворилъ въ рай врата и привелъ къ Господу, *кто*? Скажи, отвѣчай мнѣ, Александръ! Скажи, сѣбла ли я назвать кого сими священными именами, кромѣ тебя? Ты моя мать, мой отецъ, братъ и другъ, ты мой спаситель и ангелъ хранитель! А слава, слава... кто прославитъ Его, ужель останется не прославленнымъ здѣсь и тамъ?

Можетъ, ты разсердишься на меня за нѣкоторые мѣста въ томъ листѣ, наприм., что я бы желала быть единственнымъ пятномъ на душѣ твоей и проч., но теперь ужъ прости. Я вижу, ты спокоинѣе, въ твоей душѣ свѣтлѣе стало,—покойнѣе и я. О, какъ тяжело было мнѣ!

Ну, ужъ не стану я говорить тебѣ ни слова противъ, почему ты единственный, который занялъ всю душу мою. Прошу и тебя не спорить, что во всемъ свѣтѣ, во всей вселенной ты единственный могъ сдѣлать изъ *Наташи, брошенной людямъ, Наташу—Александрю*, что одного тебя я могу любить и боготворить, однимъ тобою дышать, блаженствовать и быть тѣмъ, что я есть. А что я *робко* становлюсь возлѣ тебя... Когда ты говоришь: «но какъ же я

стану *рядомъ* съ звѣздой любви?» Я скажу: «но какъ же равняться звѣздѣ съ тобою, мое солнце?» Ахъ, Александръ!.. Много хотѣла сказать, но скажу только—*тогда, тогда* мы будемъ равны вполне, братъ и сестра, одно сердце, одна душа, одна любовь, ангелъ одинъ!

О, непремѣнно, иначе невозможно. 22 октября раздѣли пополамъ мнѣ и Витбергу. Этотъ праздникъ теперь удвоенъ. Если ты позволишь, я поцѣлую его въ щеку, въ губы... Нѣтъ! Это только тебя. До сихъ поръ мнѣ папенька не дарить узора (сберегая мои глаза, какъ говоритъ маменька). Что мнѣ дѣлать? Все неудача, а какъ сильно желала бы я подарить Александра Лаврентьевича! Теперь едва-ль успѣю. Полинино кольцо до половины сплетено. Для тебя отрѣжу цѣлую прядь изъ косы и сдѣлаю браслетъ.

Саша Б. скоро прїѣдетъ въ Москву. Я знаю, она будетъ въ восторгѣ отъ твоего поклона и *испугается*. Да, она боится тебя ужасно, любитъ тебя, дивится тебѣ, а себя воображаетъ ничтожной и даже просила меня съечь всѣ ея письма накануне свадьбы. Я дала слово и не выполню. Прелестная Саша!

Да, никто третій не долженъ знать о Мед. Но какъ же мнѣ быть, когда прїѣдетъ Emilie? Ты почти во всякомъ письмѣ писалъ о ней, а не дать ей писемъ, что подумаетъ она? При семь отъ нея письмо къ тебѣ. Бѣдная, бѣдная Emilie, страдалница! Въ холодныя минуты, т.-е. тогда, какъ ты одинъ въ своей комнатѣ, блѣдный,образи, что моя душа вѣтся, летаетъ надъ тобою, ты успокоишься и будешь согрѣтъ. Не въ одну ли изъ этихъ минутъ ты писалъ мнѣ твое письмо отъ 1 и 4 ноября? Послѣ него и на меня приходили минуты, часы даже тяжкіе. Я была блѣдна и дрожала, и сердце лопилось оттого, что мой Александръ называетъ себя ангеломъ и дьяволомъ, медалью, на которой съ одной стороны Христосъ, съ другой—Иуда Искаріотскій. О... страшно! Но, повторяю, теперь я спокойна и весела.

Письмо твое я получила *дома* и читала въ твоей комнатѣ, на томъ диванѣ, гдѣ прежде ты спалъ. Оканчиваю, — приходять дѣти Льва Ал. (я ему обязана. что пустили меня) и маменька. Попался мнѣ бешметъ, и я расхохоталась надъ собою въ свою очередь и тѣмъ развеселила всѣхъ и заставила смѣяться. А знаешь ли еще анекдотъ объ этомъ бешметѣ? У Саши есть знакомая Нѣмчинова, одна молоденькая дѣвушка, у нея братъ: какъ ей не знать бешмета? Мнѣ досадно—какъ позабыть? Но у кого же спросить? Саша тотчасъ записку къ ней: «Непремѣнно напиши всѣ названья мужскихъ костюмовъ». Та думала, что она сошла съ ума, испугалась и прибѣжала провѣдать ее. Да, этотъ-то бешметъ такъ идетъ къ тебѣ, мой красавецъ! Ахъ, ты въ немъ милъ! Да я же видѣла тебя въ немъ одинъ разъ въ жизни—9 апрѣля. Да,

Тому прошло ужъ много время,
Быть можетъ, и вѣка пройдутъ,
Но день *девятого апрѣля*
Они съ собой не унесутъ!

Темно; ничего не вижу. Прощай. Ты ужъ изусталъ страхъ, читая такую мелочь. И два-то мѣсяца не прочтешь ни строчки. Но что-жъ, мой ангелъ, ты не грусти только ради Бога, а то мнѣ, вѣдь, будетъ тяжело. Вѣроятно, во всемъ будетъ успѣхъ. Объ одномъ просьба Наташи: берегись, зима, страшный холодъ, а въ дорогѣ закутайся, завернись самъ, пока нѣтъ меня съ тобою. Какъ гадко все написано, ты не разберешь. Спѣшу, — теперь, вѣдь, я должностной чело-
вѣкъ.

25 ноября. Да, и «бѣси вѣрують и трепещуть». Все, что внѣ любви, — мракъ, нечистота, страданіе, скорбь и грѣхъ. Любовь—рай, любовь—Богъ, любовь—Наташя и Александръ! Да, да, мой ангель, кто бы взялся измѣрить мое счастье при взглядѣ на тебя, спасеннаго мною? Но скажи мнѣ, неужели бы сыскался кто-нибудь измѣрить и твое счастье при взглядѣ на *твое созданье*?

Я неизъяснимое нахожу удовольствіе перечитывать твое письмо отъ 25 декабря 1834 г. Это первое, первое, въ которомъ ты говоришь прямо: «Наташа! люблю тебя!» Ахъ, что счастья обоимъ намъ принесло это слово!

Не ѣзди на балъ, когда тебѣ на нихъ скучно. И для меня ничего нѣтъ глупѣе въ свѣтѣ, какъ эта суета, изнуреніе себя, изнуреніе души безъ цѣли, на вѣтеръ.

Ну, слава Богу, слава Богу, ты покойнѣе! Я ожила. Не пиши же мнѣ болѣе такихъ ужасовъ о себѣ. Теперь прощай, цѣлую тебя, цѣлую много, много.

Твоя, твоя *Наташа*.

Я думаю всѣ волосы обрѣзать: такой у меня на нихъ расходъ.

Саша просила написать тебѣ отъ нея и написать то, что она не можетъ выразить. Но когда она услышала то, что ты писалъ о ней маменькѣ, ужасно смутилась. Она говорить: «Гдѣ больше денегъ, тамъ меньше души». Еще прощай!

1 декабря, Москва. Замѣтилъ ли ты, въ ноябрѣ 1834 года написалъ ты мнѣ первую записку изъ К[рутиць] и въ ноябрѣ 1835 года писалъ впервые о любви. Ноябрь 36 года прошелъ; что будетъ въ 37 году? Другую недѣлю я не имѣю отдыха, ангель мой. Вообрази, кв[ягина] нездорова и М. С. больна. Внизу неотлучна отъ первой, приду наверхъ, тамъ... Но ты не думай, чтобъ я слишкомъ тяготилась этимъ. Конечно, оно не можетъ быть пріятно и легко, но я готова выносить въ десять, въ миллионъ разъ болѣе. Душно, тѣсно, гадко, но душой я такъ счастлива, такъ счастлива! Ты непрерывно освѣщаешь ее, свѣтильникъ мой святой, непрерывно наполняешь блаженствомъ; можетъ ли что-нибудь въ свѣтѣ тяготить меня? Только больно то, что не имѣю минуты свободной написать тебѣ или кому изъ друзей; и на то не ропщу: я имѣю много утѣшенія, слишкомъ много.

Ты, вѣрно, теперь въ дорогѣ, и что за ужасная дорога и погода! Сердце замираетъ. Не оттого пишу тебѣ мало, что въ грустномъ расположеніи, — рѣшительно минуты нѣтъ свободной. Теперь моя должность играть съ кв[ягиной] въ карты, черезъ часъ ходить освѣдомляться о здоровьи Макаш. разговаривать съ Тат. Иван. и тому подобное. Но повторяю, мой ангель, не ропщу я, не тяготить меня это слишкомъ. Еще пришло мнѣ въ голову, когда я сидѣла цѣлый вечеръ между кв[ягиной] и Тат. Ив.: «*между двухъ розъ шиповникъ взросъ*». Итакъ, прощай, тороплюсь ужасно.

Твоя, твоя, ангель мой!

Три дня собиралась писать тебѣ и сегодня эта первая свободная минута. Цѣлую тебя, другъ мой!

25 ноября, [Вятка].

Странно, удивительно созданъ человекъ. Я, обремененный, удрученный счастьемъ, грущу. Конечно! Не хочу болѣе ни одного грустнаго звука. Мнѣ ли

грустить? Что же дѣлать несчастному, который не нашель привѣта въ мірѣ, котораго любовь отвергнута, когда я буду предаваться грусти? Брани меня, ангель, брани. Я не долженъ грустить, любимый тобою. Горько быть встрѣченнымъ холодомъ реальнаго міра, но я не видалъ этого холода. Во мнѣ есть какая-то сила, какой-то магнетизмъ, вселяющій симпатію, и бѣда только въ томъ, что часто излишняя энергія уноситъ меня за предѣлы. Въ самомъ дѣлѣ, вотъ вся моя жизнь. Когда же я былъ лишень симпатіи? Никогда, съ ребячества меня избаловали, и въ то время, когда другой благословилъ бы жизнь свою за одну встрѣчу съ человѣкомъ, умѣющимъ чувствовать, я требую болѣе и болѣе, я не могу дышать, дѣйствовать безъ обширной, широкой симпатіи со всѣхъ сторонъ. Это не самолюбіе, это какая-то экспансивность души, которая не можетъ удовлетворять сама себя и ищетъ людей, свѣтить на нихъ, и лучъ, отраженный, согрѣтый сочувствіемъ, возвращается въ нее, исполненной жизни, любви. Ни одна симпатія не удовлетворяла мнѣ такъ, какъ любовь твоя и Огар. Тутъ предѣлъ, болѣе не можетъ требовать безумная фантазія моя. Досель я въ тебѣ не знаю ни одного малѣйшаго пятнышка. И вся эта чистая небесная душа предалась одному чувству, и именно въ ней нѣтъ мѣста ничему другому. Ты должна была полюбить меня, несмотря на всѣ недостатки мои, на всѣ пороки. Эта масса волнующихся чувствъ, эта жадность симпатіи, эти требованія, которымъ не человѣкъ, а ангель можетъ удовлетворить, должно было увлечь тебя, ибо за симпатію твою кто могъ бы заплатить?

Прощай. Можетъ, сегодня получу письмо отъ тебя и совсѣмъ отгону мрачныя тучи. Нѣтъ, не довленъ я письмами своими къ тебѣ. Душа требуетъ сказать гораздо болѣе, — и не могу. Смертельно хочется съ тобою поговорить. Власть слова, живого слова, и взгляда и всего вида—огромна. Мертвая буква никогда не выразитъ всего. И неужели еще нѣтъ берега нашей разлуки? И неужели, когда я буду въ Москвѣ, люди намъ будутъ ставить границы и заставлять говорить о Насакнѣтѣ, когда мы имѣемъ такъ много разказать другъ другу о нашей любви, о нашей симпатіи?

Прощай же, ангель!

Твой Александръ.

30 ноября. На-дняхъ, сидѣлъ я вечеръ у архіерея. Много говорили о религіи, о католицизмѣ и пр. Наконецъ, онъ завелъ рѣчь о перестройкѣ собора съ Витбергомъ, и я задумался. Вдругъ громко начали бить часы съ курантами. Я осмотрѣлся: старинная зала, едва освѣщенная, мертвая тишина и бой часовъ, особенной, монотонной. И что же вспомнилось мнѣ со всею подробностью? Домъ княжны Анны Борисовны со всѣмъ своимъ отжившимъ характеромъ, съ мертвою стоячестью, съ вылинявшимъ штофомъ на стѣнахъ, и середь этого надгробнаго памятника—ты, ребенокъ въ траурѣ, какъ тебя привезли. Ты — чужая, удивленная, что попала въ этотъ кругъ,—дита, но уже несчастное. Сладко было мечтать. Съ тѣхъ поръ я нѣсколько дней все думаю о ребячествѣ твоемъ, я воскресилъ всѣ подробности, возстановилъ всѣ частности. Я не могъ бы вспомнить всего одну памятью, магнетизмъ любви открылъ все прошедшее. Ты писала какъ-то о первой встрѣчѣ со мною у княгини. Я вспомнилъ, какъ я видѣлъ тебя у Александра Алексѣевича, какъ ты показывала мнѣ фортунку. Все, все, слово отъ слова представляется мнѣ отдѣльными картинками и вездѣ ты главное лицо, ты жизнь, ты свѣтъ. Много страдала ты, много страдаю я; утретса наши слезы, благословимъ судьбу: ты, можетъ, не была бы моя Наташа, я,—мо-

жетъ, не былъ бы достоинъ тебя при счастливейшихъ обстоятельствахъ. Гоненіе на меня еще не окончилось. Недавно мнѣ опять была большая неприятность. Объ этомъ, впрочемъ, ни маменькѣ, никому не говори. Больно, душно, но пусть разомъ ужъ все оборвется, а тамъ за черными годами пусть разомъ свѣтлая полоса. Потребности видѣть тебя превратилась въ болѣзнь. Иногда я въ какомъ-то безсильіи горести бросаюсь на диванъ и кусаю губы. Но не настала, видно, еще минута, въ которую Провидѣніе назначило отдать меня тебѣ. «Да мимо идетъ чаша сія; но какъ Ты хочешь»... И при всемъ этомъ я счастливъ чрезвычайно. безмѣрно. Твои письма—отрывки изъ прелестной симфоніи любви—достаточно, чтобы поставить меня выше всѣхъ ударовъ судьбы. Можно ли грустить, будучи такъ любимъ? Таковъ человекъ: ему все мало, и когда многие отдали бы жизнь за одну строку такую, какъ каждая въ твоихъ письмахъ, у меня, все-таки, не умолкаетъ голосъ, требующій болѣе письма—твоего взгляда. Взглядъ выражаетъ гораздо болѣе письма. Взглядъ живъ, онъ горитъ, онъ свѣтитъ, онъ самъ беретъ отвѣтъ изъ другого взгляда. Нѣтъ, сколько ни думай, а разлука тяжка, утомительна.

2 декабря. Прости меня, мой ангелъ. Болѣе писать некогда. Цѣлую, цѣлую и цѣлую тебя, твои ручки.

Александръ.

Москва, 3 декабря.

Сегодня впервые я вздохнула свободно; могла выйти въ другую комнату, походить, подумать. Эти дни мнѣ было такъ тяжко, такъ душно... Ты можешь вообразить, Александръ, каково быть непрерывно на *ихъ* глазахъ, мало того. *смотреть* въ ихъ глаза! И потомъ по нѣсколько часовъ сряду играть въ карты съ кв[ягинеѣ], по нѣсколько часовъ слушать Тат. Ив., по нѣсколько часовъ проводить у кровати Макаш., говорить съ нею, развлекать ее! Цѣлую ночь слушать оханье больной и все остальное время не смѣть взглянуть, какъ хочется, вздохнуть даже... это ужасно! Но силы и твердость меня не покидали. *Онъ* любитъ меня, и мнѣ не свести этого? Напротивъ. въ этомъ угнетеніи я чувствовала себя выше, легче, ближе къ нему, къ тебѣ. Случалось, на какое-нибудь мгновеніе засыпала душа, и тогда-то ярко чувствовала я всю тягость и несносность своего положенія, но въ то же мгновеніе изъ-за черной тучи выкатывалось мое солнце яркое, свѣтлое, такое, такое святое! И свѣтъ. свѣтъ кругомъ и въ душѣ. и въ сердцѣ, все свѣтъ. свѣтъ! И предъ этимъ свѣтомъ исчезаютъ мои мучители, весь нашъ домъ; я остаюсь одна среди луга, среди цвѣтовъ, одна перель моимъ свѣтломъ и согрѣваюсь огнемъ его. и свѣтлѣю его свѣтомъ.

Но для чего жъ я написала все это? Будто ты мало знаешь силы и любовь Наташи? Не то, мой ангелъ. Сегодня я получила твое письмо отъ 18 ноября. Сколько грусти въ немъ, тоски, сколько темныхъ и мрачныхъ мыслей! О, Александръ! вижу, со всею высотой и святостью Наташи, ангелъ мой, тебѣ мало Наташи. Мало, что хочешь, говори. Боюсь я, будешь ли ты вполне счастливъ. когда и разлуки не будетъ, когда и голову свою ты склонишь ко мнѣ на груди. Страшно, страшно, боюсь!

Почему я не такъ много грущу? Почему мнѣ легко все мое бремя? Почему слезы мои сопровождаются почти всегда улыбкой? Меня объ этомъ не спросить тотъ, кто знаетъ, что я любима тобою. Сверхъ любви твоей, остается ли мнѣ

что желать? Но, вѣдь, это *твоя* любовь. А моя... И я не смѣю сказать тебѣ болѣе: не грусти. Можетъ, тебѣ мало, недостаетъ, и что же дамъ я, гдѣ возьму?.. Довольно было сказать тебѣ мнѣ: «Наташа, не грусти, не прибавляй тѣмъ тягости моему кресту», чтобъ мнѣ окрѣпнуть на всю кровавую разлуку, во всѣхъ пыткахъ. А тебя я умоляла, просила. одна слеза твоя убила бы меня, положила въ гробъ, но ты грустишь и грустишь. Ужъ я не знаю, что писать мнѣ, что говорить тебѣ. Хотя на послѣднемъ листкѣ ты и пишешь: «Не хочу болѣе ни одного грустнаго звука. Мнѣ ли грустить?», — но я вижу отсюда, и теперь ты грустенъ, мраченъ, задумчивъ, блѣденъ. Свѣтъ мой такъ малъ, что оставляетъ въ твоей душѣ мѣсто мраку. Скажи, гдѣ жъ взять мнѣ его болѣе, чтобъ изгнать этотъ мракъ, вытѣснить его? Господи! Ты такъ безпредѣленъ въ твоихъ созданіяхъ, и ихъ красота и изящество такъ необъемлемы, слава Твоя не можетъ ограничиться мною, есть созданья прекраснѣе, любимѣе Тобою, дай ему лучшее меня, равное ему. Я блаженствую, онъ — страдаетъ, потому что онъ такъ свѣтелъ, высокъ, а я мала и ничтожна... О, если-бъ я встрѣтила существо, могущее дать тебѣ столько, сколько ты мнѣ далъ, я бъ уничтожилась, исчезла бы... Но какъ же удовлетвориться землею неземному? Поздно очень. Ложусь. Прощай. Если-бъ я знала, что ты твердо перенесешь разлуку, я бы не смѣла произнести ни одного грустнаго звука, а теперь грустно мнѣ, очень грустно...

Утѣшить ли тебя поцѣлуй мой? Вотъ десять, сто, тысячи.

Прощай! Веселый сонъ!

4-е, пятница, 11 ч. вечера. Теперь ты грустишь, что за 1.000 верстъ отъ меня, приѣдешь, будешь грустить, что за 1.000 шаговъ; будемъ вмѣстѣ — опять, можетъ, будетъ твоя грусть у тебя, первое, что въ разлукѣ съ Огаревымъ... о, Александръ! Такъ-ли должны мы переносить несчастія? И какъ смѣтъ надѣяться получить вѣнецъ, когда не хотимъ взять креста? На крестъ — вѣнецъ! Я не смѣла-бъ роптать, когда бы ты былъ твердъ, но грусть твоя отнимаетъ все у меня. Нѣтъ! не должно изнемогать, одна бы понесла я крестъ, но могу-ли одна нести награду? Неси, неси его со мною, братъ мой, одинъ трудъ намъ и страданье, одна награда и блаженство. Какой путь, какъ мы истерзаны, измучены и какъ тяжелъ крестъ, — но несемъ его, несемъ! Идемъ далѣе — ужъ видѣнъ берегъ родной, святой берегъ... удвоимъ силы... и что ждетъ насъ тамъ, ангелъ мой... какъ назвать это, какъ выразить?.. но ты знаешь. Ахъ и неужели при этой мысли ты можешь оставаться грустнымъ и мрачнымъ? Неужели при ней не распадутся съ души твоей оковы тоски? Быть не можетъ. Ты на меня посмотри, Александръ. — ни облачка во взорѣ, ни одной струи на душѣ, — такъ тиха и покойна она. Ты отчаиваешься, что не будешь имѣть моего портрета. Неправда, онъ будетъ у тебя, непременно, да только ты ужасно нетерпѣливъ; если-бъ это отъ меня зависѣло, тогда-бъ — ты *режь и бысть*; но ты не забывай, что кромѣ души все рѣшительно, что до меня касается, зависитъ отъ людей. А тебѣ сердиться на нихъ, досадовать — стыдно. Вотъ потерпи немного, приѣдетъ Эмилиа, выпроситъ у кв[ягини] *для себя* списать портретъ и пошлетъ тебѣ; это возможно и сбыточно какъ нельзя больше. Ну, теперь, повеселѣ-ли ты, душа моя? Ради Бога, ангелъ мой, успокойся, еще будетъ намъ радостей много, много... Да я не знаю, какъ бы ни грустно мнѣ было, — только стоитъ вообразить, какъ увижу тебя — кончено! Готова на всѣ истязанія и пытки. А ужъ мнѣ-ли бы не грустить! Ни слова ужъ о томъ, что розно съ тобою; дальше: рѣдкіе могутъ равнодушно смотрѣть на мою

жизнь, а я средь вьюги и снѣговъ цвѣту свѣжѣ тѣхъ, которые и въ оранже-
реяхъ, и въ богатыхъ вазахъ выписныхъ; по мнѣ ходить, топчуть меня, а я
бодрѣе и цѣлѣе тѣхъ, за которыми такъ ухаживаютъ, поливаютъ, ставятъ нѣ
тѣнь и на солнце, выправляютъ каждую вѣтку, каждый листокъ. Едва отъ земли
меня было видно, а ужъ люди сроднили меня съ горемъ, дали извѣдать и зной,
и стужу, и я окрѣпла: не страшны бури мнѣ, не пугаютъ меня черныя тучи
И что за жизнь веду я теперь. и гдѣ ты, ты—жизнь моя, гдѣ ты? О, какъ бы не
плакать мнѣ, какъ бы не умереть? Но можно-ли, когда ты любишь меня? И го-
ворить ли мнѣ тебѣ еще о моемъ счастьѣ, сколько ни скажу и что ни скажу,—
все будетъ мало предъ тѣмъ, что въ душѣ! Да и на что говорить, и какъ мнѣ
смытъ говорить тебѣ о себѣ, не твое ли я созданье? Не лучше ли меня ты знаешь
мою душу?

Итакъ, дай мнѣ твою руку, поцѣлуй меня, посмотри такъ, какъ смотрѣлъ
9 апрѣля, вспомнимъ этотъ день, оглянемся за два года, и тамъ у насъ съ то-
бою много, много... (врядъ у кого за 20 лѣтъ можетъ быть столько), потомъ о
будущемъ... — и прочь тоска, прочь грусть. Не мѣсто вамъ въ сердцѣ моего
Александра, какъ темному пятну на солнцѣ! Повеселѣе-ли ты, ангелъ мой? хоть
немножко? хоть крошечку? Милый, милый, неоцѣненный другъ, душа, жизнь
моя! Свѣтъ души и жизни моей! Не меркни, не убивай души, не оравляй моего
счастья твоею грустью, вѣдь, я не прибавляю тяжести твоему кресту? Хоть надъ
этой строчкой улыbnись, и прощай! Давно ужъ ночь. Обнимемся, ангелъ мой.
еще, и опять до свободной минуты! Прощай же, я засну пріятно, покойно, не
измѣняя и ты!

Стала засыпать, и вдругъ мнѣ представились твои глаза, и такъ живо, такъ
живо,—у насъ холодно и я озябла, но огонь ихъ согрѣлъ меня. Вотъ, вотъ они
прелестныя, дивныя очи твои, какъ смотрятъ они на меня, сколько говорятъ
мнѣ... и послѣ этого грустить?..

6-е, воскресенье. Ты недоволенъ твоими письмами ко мнѣ? Напрасно, другъ
мой. Когда бы мои приносили тебѣ хоть половину счастья противъ того, сколько
приносить твои! Правда, твоя грусть, твои страшныя эти письма убиваютъ меня:
прочтя ихъ, я страдаю, ибо ты представляешься мнѣ въ страдальческомъ видѣ,
твоя блѣдность, твой взоръ полный тоски, чело твое, омраченное роємъ страш-
ныхъ думъ... Можешь вообразить, какъ мертвить меня, какъ давить сердце
желѣзная рука горести,—и истинно тогда я страдаю, вполне страдаю... Но Онъ
не покидаетъ меня надолго, я прибѣгаю къ молитвѣ, какъ олень усталый съ
пылкой жаждой бѣжитъ къ свѣтлому источнику, и снова дышу любовью и то-
бою и ужъ не страдаю и чувствую, что легче и тебѣ. И тогда ужъ я вижу ясную
сторону твоихъ писемъ, купаюсь въ ея свѣтѣ, и рай мнѣ на землѣ! Когда-бъ
ты вѣрилъ этому, тогда-бъ не написалъ, что недоволенъ своими письмами, а я.
скажи, могу ли быть довольна своими? Въ нихъ и грусти нѣтъ и мыслей тѣхъ
нѣтъ, но развѣ ты менѣе грустишь?.. Тяжело мнѣ, что я не могу облегчить
души твоей. Итакъ, что же я для тебя?.. Повторяю опять: тебѣ мало Наташи,
со всею чистою и высокою ея душою, со всею любовью ея—мало, Александръ!

Да, я не должна, не могу разлюбить друзей моихъ, и вѣкъ не перестану лю-
бить. Всѣмъ бы пожертвовала имъ, кромѣ тебя, а тебѣ—пожертвовала бы всѣми
ими! Нѣтъ, Александръ, когда-бъ я всѣхъ любила, не той любовью, которую
люблю тебя,—ты единственный, и любовь къ тебѣ единственная,—а любила бы
такъ, какъ люблю однихъ друзей, тогда бы я любила не для себя, а тобою.

тогда-бъ увѣрилась я въ своеѣ совершенствѣ и знала бы, что люблю тебя, какъ должно тебя любить. Но все еще я далека того, куда стремлюсь. На что мнѣ моихъ друзей, всѣ люди должны быть мнѣ друзьями, зачѣмъ это отдѣльное «мое»? Одинъ ты мой, тобой должна я всѣхъ равно любить, но я еще мало люблю тебя!..

Не хочется писать, чего не хочу выразить,—все не такъ, если-бъ я смотрѣла на тебя и говорила бы, и ты слушалъ бы меня, это совсѣмъ другое! Но еще это будетъ, будетъ, будетъ!

9-е, среда. Опять къ твоей грусти! Я не могу выносить, чтобы ты былъ побѣжденъ чѣмъ-нибудь, ты, могущій самъ побѣждать многое. Не стѣсняй, не умаляй такъ необъятной души твоей, чтобы находить утѣшеніе только во мнѣ: есть утѣшитель болій меня — духъ святой, уголовой въ душѣ храмъ Ему, и онъ сойдетъ въ нее и будетъ обитать въ ней, и тогда не коснется ея ни самая жестокая, ни самая ужасная горестъ. И зачѣмъ, ангелъ мой, выбирать мѣсто и ждать время? Онъ лишь ждетъ такого воззванья, ты въ забвеніи меня найдешь усладу, воззвани, воззри, воскликни изъ глубины души... и тебѣ не нужно будетъ ждать такъ долго, такъ издалека слово утѣшительное; о, повѣрь мнѣ, послушай меня, если любишь. Еще слово, другъ, затвори сердце твое ко всему, открой его одной любви.

Скоро пріѣдетъ Emilie, скоро портретъ мой у тебя будетъ. Часто думаю я о твоихъ вятскихъ друзьяхъ, всѣхъ люблю, всѣхъ ихъ благодарю душою, но съ 22 октября чаще всѣхъ и болѣе всѣхъ думаю и вспоминаю о Витбергѣ.

Не могу я равнодушно вздумать, что Эмилія покинетъ насъ, но не смѣю воротить ее съ пути, на который зоветъ ее Богъ, желала бы только, чтобы она хотя разъ взглянула на насъ *тогда, тогда*, послѣ же—сама бы я надѣла на нее ризу странницы и дала бы въ руки посохъ. — Александръ, и ея судьба мнѣ кажется прелестна! Если-бъ люди не изгвали ея изъ среды своей,—напла-ли бы она въ ней столько, сколько найдеть теперь? «Марія же благую часть избра, яже не отнимется отъ нея». Я желаю пламенно, чтобы и Саша Б. не выходила *замужъ*. Эмилія несетъ Ему сердце избитое, истерзанное, Саша—пусть возвратитъ Ему такое, какое далъ Онъ ей. — Ахъ, у меня есть прелестная мысль, святая и быточная, Александръ, при свиданьи я тебѣ ее открою, но, можетъ, ты ужъ угадалъ! Ахъ, если-бъ, если-бъ сбылось это!

Вотъ Полинѣ кольцо (не знаю пошлютъ-ли его): мои волосы, моя работа—вотъ и все! Но пусть это будетъ малѣйшимъ доказательствомъ моей къ ней дружбы и благодарности; можетъ, никогда во всю жизнь мы здѣсь не встрѣтимся,—такъ пусть оно будетъ ей напоминать ту, которая, не выдавши ея, любила какъ друга и сестру. Мнѣ жаль ее будетъ, какъ ты уѣдешь изъ Вятки, или у нея тамъ другъ, кромѣ тебя? Привези ее съ собой.—Эрнъ и Скворцовъ также безъ тебя осиротѣютъ, да я думаю вся Вятка надѣнетъ трауръ.

Прощай, или уже не перестать-ли намъ говорить это грустное слово *прощай*. оно раздираетъ душу, и ты пишешь въ послѣднемъ письмѣ: *опять прощай!* И такъ до свиданья! Теперь буду твоей браслетъ плестъ. Сиѣшу, не думай, чтобы серьезныя или интересныя занятія меня отвлекали, нѣтъ: для угощенія 4 особъ, которыхъ ты называешь сволочью,—что я такъ тороплюсь и перестая говорить съ тобою... Боже мой, Боже!.. Ну, ангелъ, опять было хотѣла сказать прощай. нѣтъ, вѣдь мы увидимся скоро, скоро, душа моя.

Разскажу тебѣ глупость, можетъ, размѣнешся. На дняхъ приходила таин-

ственная какая-то особа къ Макаш., которая не сказала своего имени никому, кто у нея ни спрашивалъ; послѣ я узнала, что она приходила сватать меня! Какая гадость! Да вотъ что забавно: теперь они ужасно досаждаютъ, если имъ покажется, что я похудѣла или поблѣднѣла, заставляють какъ можно больше бѣтъ и тому подобное. Вотъ новое еще гоненіе и угнетеніе! иныхъ наказываютъ голодомъ, это все своснѣе. Но отвернемся отъ нихъ, поглядимъ другъ на друга и до свиданья, ангель мой!

5-е декабря, Вятка.

Еще годъ кончается, еще рубцы опыта, рубцы воспоминаній, рубцы думъ, еще неисполненные надежды, еще вздохъ и улыбка надъ ошибочными мечтами, надъ призраками, созданными фантазіей и убитыми міромъ реальнымъ. И во всемъ этомъ году одна отрада изгнаннику, одно вознагражденіе, одно блаженство—любовь. И она болѣе нежели замѣна, болѣе нежели врачеваніе, она ведетъ на небо, — зачѣмъ и говорить, что она. И, съ другой стороны, черная сторона, царство мрака и низости, опять то же—толпа, люди. О Боже! сжался надъ этой массой, надъ этой канавой нечистоты, гнусности и пороковъ. Твоя жизнь тебя отстранила отъ людей, слава Богу, зачѣмъ тебѣ ихъ знать, самое *знаніе* тяжело, какъ угрызеніе совѣсти, для тебя я представитель чловѣка, съ любовью неубытнотной, я защищу тебя отъ людей, мною знай ихъ, а не своимъ опытомъ. Но я узналъ ихъ, эти 3 бурные года мнѣ раскрыли многое, я замѣшался въ толпу и, какъ лазутчикъ, высмотрѣлъ ея тайны, ибо она не боялась скрывать ихъ отъ меня, думая, что я принадлежу къ ней. Не хочу я упрека въ несправедливости: и тутъ я встрѣтилъ людей съ душою, но ихъ голосъ молчалъ, гибнуть, они боялись показать чувство. Я магнетизмомъ, симпатіей заставлялъ ихъ сбросить на минуту маску, одушевиться изящнымъ. А толпа хохочетъ, она не знаетъ изящнаго и мараетъ, какъ уголь, все святое.

Попроби, чтобъ тебѣ достали 16 № «Телескопа», прочти тамъ повѣсть «*Красная Роза*», ты найдешь въ Біанкѣ знакомое, родное твоей душѣ. Да читала-ли ты Шиллерову Дѣву Орлеанскую перев. Жуковского? Прочти непременно, и тамъ все твое, высокое, небесное.

Давно не присылали твоихъ писемъ. Досадно. Благодарю за приписку въ папенькиномъ письмѣ. Да, 23-го ноября именно въ то же время я думалъ о тебѣ, мой ангель.—Между именами бывшихъ у насъ ты написала только Наташа; въ самомъ дѣлѣ, на что тебѣ было писать болѣе, тебя я узналъ бы по одной буквѣ, по одной черточкѣ. И на что тебѣ было писать болѣе имени, фамилію припишу я и я же заставлю уважать ее. У насъ съ тобою нѣтъ прошедшаго, нами должно начаться новое существованіе, — на насъ не падаютъ пятна прошлыхъ поклѣпннхъ, мы чисты и сами дадимъ значеніе себѣ.—Прощай, ты получишь надняхъ маленькую статейку, воспоминаніе о Перми, напиши свое мнѣніе. Цѣлую тебя много, много.

Теперь я лежалъ на диванѣ долго и перечитывалъ твои письма, съ нѣкотораго времени я чаще прежняго ихъ читаю и всегда, когда окончу чтеніе, душа чище, взоръ чище, и я готовъ броситься на колѣни и молиться Тому, Который далъ мнѣ ангела. Перечитавъ письма отъ 1835, я съ трепетомъ, съ благоговѣніемъ взялся за 1836, какъ жрецы храма іудейскаго брались за священныя книги откровенія. Въ тѣхъ письмахъ любовь — покрыта завѣсою, она тайна, съ началомъ новаго года эта тайна объясняется. 2 января 1836 ты первый

разъ замѣнила слово дружба любовью, въ первый разъ, какъ бы борясь съ моею пламенностью, увеселась и вмѣстѣ сказала и себѣ, и мнѣ: «Я люблю Александра». О, какъ полны воспоминаній яркихъ протекшіе годы, мы не тщетно жили, мы все извѣдали, пора отдыха пришла, чтобъ запастись новыми силами, пора склонить мою измученную голову на твою измученную грудь, пора моему взору исчезнуть въ твоёмъ взорѣ, пора прильнуть устами страдальца къ устамъ ангела и пора ангелу смести пятна и пыль съ души его.

Завтра именины Огарева. Ахъ, какъ мы съ нимъ разрознены! Что-то онъ—хоть бы одно свиданье, хоть бы одно письмо въ 3 мѣсяца. И сколько мнѣ ему сказать надобно,—я пересоздался съ тѣхъ поръ, какъ мы не видались... а когда увидимся?

При этомъ письмѣ приложилъ я прелестные стихи Гюго, чрезвычайно хорошіе,—надѣюсь по моей рекомендаціи и вамъ, милостивая государыня, понравятся.

9-е декабря. Вчера вечеромъ получилъ твои письма отъ 7 до 25 ноября.

Сначала принесли только одно письмо отъ папеньки, а я ждалъ непремѣнно отъ тебя. Кровь бросилась мнѣ въ голову, я былъ болѣе, нежели раздосадованъ, и тѣмъ съ большимъ восторгомъ минутъ черезъ пять получилъ твой пакетъ.—Отвѣчать сегодня не буду, а со слѣдующей почтой; нѣкоторыя мѣста твоего письма обдали меня холодомъ и негодованіемъ, но твоя любовь все загладила, я не могу сердиться на тебя. Ты не хочешь понять то, что я писалъ въ моихъ прошлыхъ письмахъ. Тутъ нѣтъ ни униженія, ни гордости. Въ моей душѣ есть элементы высокіе, святыя, исполненные поэзіи, и съ тѣмъ вмѣстѣ страсти низкія, и я скорѣе согласенъ имѣть ихъ, нежели быть однимъ изъ рядовыхъ людей. Ты смотришь непрерывно на одну хорошую сторону и я не отрицаю ея, но знай же и другую. Ежели-бъ тебѣ сказали, что *кто-то* обманулъ женщину, увлекъ ее, лишилъ спокойствія, несчастную сдѣлалъ еще несчастнѣе,—что сказала бы ты,... узнавши, что этотъ *кто-то* я? Ты изыскиваешь средства оправдывать меня, лучше бы было, ежели бы ты осыпала меня упреками. Но нѣкоторыя выраженія твоего письма даже жестоки,—этого я не заслужилъ; для чего ты говоришь теперь, что исчезнешь для моей пользы и пр., когда знаешь, что я не могу жить безъ твоей любви? Буду писать пространно обо всемъ. Теперь скажу только, что страннаго находишь ты въ томъ, что я образовалъ твою душу, а теперь ты ведешь меня, — эта мысль такъ проста, такъ ясна... Какъ будто ученики всегда ниже учителя. Рафаэля училъ же живописи кто-нибудь, Іоаннъ крестилъ Иисуса и сказалъ, что недостойнъ перевязать ремень его сандаліи...

И съ чего ты взяла, что я холоденъ къ Огареву? Прощай, будь весела, будь спокойна, я не такъ мраченъ, я опять весь святъ твоей любовью. Прощай, цѣлую тебя, цѣлую твой локонъ. Слышала-ли ты, что «Легенда» попала въ чужія и пречужія руки.

Твой Александръ.

|| 10-е декабря.—Вятка.

Я тебѣ обѣщалъ отвѣтъ, и вотъ начало его. Нѣтъ, ты не хотѣла вникнуть въ глубокое страданье моей души, я писалъ въ минуты грусти и униженія,—но голосъ былъ вѣренъ, я не лгалъ на себя. Я понимаю свою силу, свои достоинства и понимаю, что съ ними я *могъ бы*, я *долженъ бы былъ* быть гораздо выше; но еще къ собственной силѣ прибавилась сила небесная, опора священная—твоя любовь. — И я палъ. Какъ же ничтожна моя твердость! Это правда, я тотчасъ

образумился,—но не я, а любовь твоя сдѣлала это, клянусь тебѣ, а ты говоришь, что свела меня на землю, и Богъ знаетъ что за выраженья въ твоёмъ послѣднемъ письмѣ,—ты, не жалѣя меня, писала ихъ. Но я не сержусь, вотъ тебѣ рука моя, и это заслуженное наказаніе, всѣми этими ударами я искупаю себя... Я требую справедливости, Наташа, справедливости и болѣе ничего. Я тебѣ говорю, проникнутый любовью и восторгомъ: ты высока, ты ангелъ; я готовъ запечатлѣть эти слова кровью и душой и вѣчностью. Ты отвергаешь ихъ и отчасти изъ самолюбія (прости мнѣ) подчиняешь себя мнѣ, для того, чтобъ придать еще болѣе своему избранному, и требуешь, чтобъ я согласился, чтобъ я ни слова противъ этого. Я тебѣ говорю: вотъ моя душа, сломанная и запятнанная, но она сильна любовью къ тебѣ, вотъ преступленіе, которое оставило на ней слѣды; а ты отвѣчаешь: все это вздоръ, я не хочу, чтобъ на твоей душѣ были пятна и, слѣдственно, отбрось угрозыненіе совѣсти и считай себя за серафима. Разсуди, гдѣ тутъ справедливость. Твоя гордость не хочетъ согласиться, что на мнѣ могутъ быть пятна, ибо согласиться съ этимъ—согласиться со своей ошибкой; чтобъ доказать тебѣ это, я сошлюсь на то мѣсто твоего письма, гдѣ ты меня увѣряешь, что поступокъ съ М. потому не преступленіе, что, можетъ, Провидѣніе нарочно такъ устроило. На это отвѣтъ скоръ. Можетъ; но вспомни Евангеліе, тамъ сказано: по писанію пророковъ Сыну Человѣческому *назначено* быть предану; «но горе тому, кто его предастъ, лучше-бъ не родиться ему».—Гдѣ въ моихъ письмахъ ты находишь униженіе? Я тебѣ говорю: веди меня, и повторяю еще сто разъ: веди—не къ славѣ, не къ дѣятельности, не къ поприщу, туда найду я самъ дорогу, ежели она только предложена для меня, вѣтъ, дѣло о небѣ, дѣло о той святой обители чистыхъ душъ, куда я самъ не попаду безъ тебя, на которую я даже не обращалъ вниманія прежде любви къ тебѣ. Съ 13-ти лѣтъ, говоришь ты, велъ я тебя въ обѣтованную землю,—но знаешь-ли, что Моисей, который велъ израильтянъ, умеръ въ пустынѣ, ибо былъ недостойнъ взойти туда, однако велъ, — итакъ, тотъ, кто вѣдетъ, не всегда выше того, котораго вѣдетъ. Наконецъ, ты говоришь: «можетъ, причину всему этому я». Да, безъ всякаго сомнѣнія ты: не будь тебя, никогда свѣтлыя, высокія мысли нравственности не посѣтили бы моей души. Чего же ты испугалась этого? Я тебѣ писалъ—самолюбіе и гордость вотъ были основы моей жизни до любви, а отъ этихъ мертвыхъ земныхъ началъ мудрено было дойти до идеи нравственной. Ты, ты ангелъ причиною тому, что я не могу выносить пятна на душѣ.—Благодарю за совѣтъ обдумать, не *показалось*-ли мнѣ, что ты мой идеаль, не ошибся-ли я въ тебѣ—и на это посвятить хоть годъ. Благодарю! Но воспользоваться совѣтомъ не могу. Идея любви есть идея жизни во мнѣ; совершенно, возвратиться я не могу, я твой, — не могу, даже лишеніе жизни, не знаю, представило ли бы возможность идти назадъ и холодно разобрать, ты ли идеаль мой, или мнѣ *показалось*. Ежели бъ я могъ до того холодно любить, чтобъ дѣлать цѣлый годъ счеты о достоинствахъ твоихъ, ты не была-бъ мой идеаль, тогда я былъ бы ничтожный человѣкъ и никогда не могъ бы ни подняться до тебя, ни быть любимымъ тобою. И я говорилъ тебѣ много разъ, что ты меня идеализируешь, но никогда не говорилъ: «иди назадъ, оставь меня». Я не могъ этого сказать, ибо знаю, что ты не можешь уже воротиться. Я тебѣ говорилъ: вотъ душа моя, въ ней море огня, въ ней море энергіи, любви и поэзіи для тебя, — но есть въ ней и пропасти, есть въ ней и черное, знай это впередъ и не удивись, что увидишь эти привидѣнія послѣ. Наташа! Наташа! Горе было бы тому, кто осмѣлился бы мою любовь назвать *показавшеюся мечтою*,

горе ему, одной тебѣ прощаю я все, даже это... И желанье смерти явилось у тебя вслѣдъ за совѣтомъ. Трудень крестъ, который ты взяла, отдавшись мнѣ, и ты говоришь, едва испытавъ его тягость, лучше умереть и бросить, покинуть Александра его участи, его бурнымъ страстямъ, и людямъ, и толпѣ!

Ну, довольно объ этомъ. Будь увѣрена, ангелъ мой, что ни тѣни неудовольствия, ни тѣни досады не осталось у меня. Ты все-таки останешься моя путеводная звѣзда, моя награда за всѣ страданія, моя святая, мое божество. О, Наташа! сколько принесла ты мнѣ съ своей любовью, это видитъ одинъ Богъ. — Правда, разлука разливаетъ что-то мрачное по моей душѣ, я утомленъ, но ты требуешь твердости. Конечно, сдѣлаю все, но если иногда звукъ грусти и печали вырвется изъ души и невольно дойдетъ до тебя въ письмѣ, вздохни вмѣстѣ и вспомни, что и твой Александръ человѣкъ.

Прощай. Поцѣлуй любви, пламенной, долгій и чистый, какъ небо, посылаю тебѣ.

11-е декабря. Ты пишешь, что ты лампадка, зажженная передъ моимъ образомъ. Я всегда дивился глубокой поэзіи твоихъ мыслей. — и это такъ же прелестно, какъ солнце и звѣздочка, и еще вѣрнѣе. Икона свята, но она не имѣетъ свѣта. Лампадка для иконы — меньше нежели икона, но она-то освѣщаетъ ее, она-то сноситъ свѣтъ, — небесное земному, тѣлесному веществу иконы. Ты поэтъ, ангелъ мой, и любовь научила тебя этимъ пѣснопѣніямъ, исполненнымъ истины и глубины, которыя раздаются на каждой строкѣ твоихъ писемъ.

Ты мечтаешь о югѣ, — я тебѣ покажу благодатную землю и яхонтовое небо Италиі. Наша жизнь не пойдетъ тапиться скучно и вседневно, нѣтъ, я осуществляю жизнь полную, артистическую, жизнь совсемъ на другихъ основаніяхъ. Пришлю тебѣ на память итальянскія картинки, можетъ, по этой тяжелой почтѣ.

Декабря 12-е.

Третьяго дня рано разбудила меня головная боль и все утро было тяжело, но кн[ягиня] собиралась къ папеныкѣ, и я черезъ силы поѣхала. Каждая вещь, которой ты касался, — уже не чужая мнѣ, а родная, близкая, и мнѣ кажется, что она понимаетъ меня, чувствуетъ, когда я гляжу на нее полными слезъ глазами, съ полнымъ любви сердцемъ; кажется, сама издаетъ звукъ, говорить о тебѣ, сбрасываетъ съ себя покрывало времени и показываетъ все минувшее, которое, какъ будто, вѣззалось на ней для моего утѣшенія. И потому, хотя и въ нашемъ домѣ много такихъ священныхъ вещей, одушевленныхъ памятью о тебѣ, но у вась какъ-то болѣе все дышетъ тобою. Это-же былъ четвергъ, день почты, да и не знаю, все, все что-то влекло меня туда. При мнѣ принесли отъ тебя письмо папеныкѣ, при мнѣ читали, видѣла маменьку, видѣла твою комнату, жду себѣ письма, — и чего-жъ мнѣ болѣе желать безъ тебя? — Но какъ приѣхала, бросилась въ постель... впрочемъ, мнѣ это не въ тягость, ибо тутъ я одна, воля думать, воля дышать, тутъ со мною твои письма, портретъ... и я не прочь болѣзней (у себя наверху), онѣ сносятъ низо, тѣхъ комнату, сносятъ *илъ* глаза! К[нягиня] и Мак. хуже болѣзней (не прощая мнѣ этого). — И вотъ я одна въ своей кельѣ, — тишина, осторожный стукъ маятника, въ углу маленькій огонекъ лампы, блѣдный лучъ мѣсяца, чуть-чуть прокравшійся сквозь занавѣсъ; все это давало просторъ моимъ мечтамъ, и среди самыхъ милыхъ воспоминаній о прошломъ, гдѣ у меня все ты, и только ты... среди яркихъ, цвѣтистыхъ на-

деждь—твое письмо! Другъ мой, и этотъ маленькій листокъ (гдѣ еще двѣ стороны пустыя!) принесъ много облегченія и головѣ моеѣ, и моему сердцу, которое и въ самомъ раю не перестало-бы болѣть о тебѣ.—Еще, можетъ быть, и совсѣмъ бы онъ вылечилъ меня, но ты, моя душа, грустенъ.

И для чего-же ты не пишешь подробно о *неприятности*? «Но объ этомъ ни мамевкѣ, никому не говори».—Да, никто не любитъ такъ, никто и не вынесетъ столько!—Но, другъ, тяжела эта неизвѣстность, въ ней такъ страшно сердцу, такіа страшныя картины представляетъ воображеніе... Впрочемъ, чтобъ ни было,—я надѣюсь на твою любовь, она не допуститъ тебя ни предаться горести, ни потерять вѣру въ *Нею*. Богъ силенъ и крѣпокъ, Богъ скорый помощникъ призывающимъ его. Да, и послѣ ночи — день, послѣ зимы — лѣто, послѣ бури—тишина, послѣ муки—вѣнецъ. Отдадимся Ему совершенно во всемъ, во всемъ. Часто, ангелъ мой, дивясь Его Промыслу, дивясь твоеѣ любви, я забываюсь въ счастье, уничтожаюсь... Но вдругъ мысль разлуки и всего, что ты переносишь, мгновенно будитъ меня и заставляетъ страдать, и тутъ-то я прошу такъ много, такъ много;... но все это бorenіе души съ горемъ, всѣ эти пламенныя желанія, вся потребность непреодолимая тебя видѣть, жить въ тебѣ и тобою, дышать твоимъ дыханіемъ, вся эта буря утихаетъ при воспоминаніи словъ Христа: «но како Ты хочешь».—И вѣрь, тутъ я достойна тебя болѣе, нежели когда-нибудь, ибо тутъ измученное сердце мое, изстрадавшееся за тебя, и любовь къ тебѣ сливаются въ одно съ любовью Бога и Его волей; тутъ я люблю тебя, Его, мои страданья и твои даже, мой ангелъ, потому что *Онъ такъ любитъ*.

13-е. Вчера имѣла я извѣстіе объ Сашѣ Б. Они будутъ сюда еще послѣ новаго года. Если-бъ кто могъ замѣтить мое волненіе при встрѣчѣ съ братомъ ея,— не повѣрилъ-бы, что это дружба (разумѣется, кто не понимаетъ этого чувства), и тутъ сколько надобно было переломить себя, ждать, пока кончится разговоръ о погодѣ и урожаѣ, пока настанетъ очередь возвысить свой голосъ. Люди! Какъ во всемъ умѣютъ они виѣшать долю огорченья, какъ все могутъ отравить однимъ взглядомъ! И сколько потребно терпѣнія на каждомъ шагѣ! Но я вознаграждена. Саша такъ высока, такъ высока, она бы предъ всѣмъ семействомъ, предъ цѣлымъ свѣтомъ не остановилась назвать меня единственнымъ другомъ, она не побоялась поручить брату своему сказать при всѣхъ, что желаетъ въ Москву только для того, чтобы видѣть меня и не желала бы въ нее, если-бъ не было меня. И какъ удивило это *ихъ*, какъ разинули они ротъ и въ избыткѣ радости, что мной *занимаются благородные, порядочные* люди. Кн[ягиня] воскликнула: «какъ счастлива Наташа и какъ добра и *снисходительна* ваша сестрица!» Не ошиблись, что я счастлива, и болѣе, въ миллионъ разъ болѣе, нежели *они* могутъ постигнуть, но и я не ошибусь, ежели скажу еще того громче, — какъ вы несчастливы и жалки!

О!... сегодня мнѣ не хорошо; грусть и тоска о тебѣ имѣютъ невыразимую высоту и святость, онъ, наполняя сердце, возвышаютъ его, очищаютъ, сближаютъ съ Богомъ, святятъ его, дѣлая покорнымъ Его Промыслу; но я, кажется, писала тебѣ о вліяніи на меня низкихъ поступковъ людей,—въ такомъ-то положеніи я весь день нынѣшній, я какъ въ чаду, какой-то дымъ, мгла обнимаетъ меня кругомъ, такъ тяжело, такъ тяжело... О! скоро-ль же пройдетъ эта ночь? Зачѣмъ солнце мое такъ долго за черной тучей? Когда-жъ взойдетъ оно? Когда настанетъ жизнь свѣта?..

15-е. Воспоминанія! Что, если-бъ ихъ не было?.. Не помню я о томъ, какъ видѣла тебя еще у папеньки, хотя многое того времени врѣзалось въ головѣ у меня и въ сердцѣ, но все рѣшительно, что было послѣ, — съ самаго того дня, какъ я видѣла тебя впервые у княжны Анны Б., — все это живо, ярко, ново въ душѣ моей. И съ чѣмъ сравять тѣ минуты, когда ни говорить не хочется, ни слушать, ни смотрѣть, вдали отъ всего милаго, родного сердцу, предаться волнамъ цѣлаго моря воспоминаній и купаться въ нихъ, и отдыхать на днѣ моря... Помнишь-ли то Свѣтлое Воскресенье (еще въ томъ домѣ), когда ты пріѣхалъ къ намъ съ Огаревымъ и заставилъ его христосоваться со мною и тѣмъ заставилъ меня бояться другого Свѣтлаго Воскресенья? Всѣ эти большіе годовые праздники и потомъ визиты къ Татьянѣ Петровнѣ... за что я любила такъ ее и разговаривать съ нею? Чему же дивиться? Она любила тебя и говорила мнѣ все о тебѣ. Съ начала знакомства ея съ Пассеками она много мнѣ о нихъ говорила, но я все оставалась къ нимъ равнодушна; когда-жъ узнала твое о нихъ мнѣніе и расположеніе къ нимъ, право, мой ангель, думала, что я не буду въ царствѣ небесномъ, ежели не познакомлюсь съ ними, и имѣла ко всему семейству такое уваженіе. Разъ Татьяна Петровна спрашивала меня (шутя), за кого ей лучше выйти за Вадима или за Рагозина; я на это ей сказала: «за того, за кого *ведутъ* вамъ идти Александръ Ивановичъ». И съ какимъ удовольствіемъ, бывало, разспрашивала ее о всѣхъ подробностяхъ жизни вашей въ Васильевскомъ, а ужъ съ 33 года и далѣе — нечего говорить? Приходитъ Рождество, Святки... Вспомни, какъ ты упалъ у насъ въ залѣ, потомъ вечеръ у Насак., луну, «замазанную киселемъ», свой костюмъ и далѣе, гдѣ все это? Куда оно дѣвалось? Гдѣ душа и жизнь Александра? Тамъ, тамъ, далеко... онъ и не слышитъ меня, и не видитъ, онъ одинъ, грустный, туманный, — а тогда и облачка не было на его челѣ, и облачка?.. Да, а теперь черныя тучи облегаютъ его, но сквозь нихъ горятъ лучъ ясный, свѣтлый, лучъ блаженства, счастья, лучъ Наташи и любви!.. О, Александръ!

Видѣла тебя во снѣ сегодня и не хотѣлось ужъ и встать и смотрѣть ни на что. — всѣ эти дни *они* несноснѣе прежняго, свободы мнѣ ни на минуту, даже послѣ ужина Мак. приходитъ ко мнѣ за ширмы съ чулкомъ до тѣхъ поръ, пока я лягу и погашу свѣчу... Тысячу разъ принимаюсь писать къ тебѣ и тысячу разъ мнѣ мѣшаютъ, словомъ, безъ позволенія мнѣ нельзя попросить позволенія! Это смѣхъ. Какъ мы были у папеньки, въ его комнатѣ, я была блѣдна отъ холода, а отъ маменьки пришла съ розовыми щеками и за это мнѣ досталось!.. Право, кажется, съ каждымъ днемъ они усовершенствуются въ странностяхъ. Теперь ты мнѣ скажешь, можетъ быть, что я только словами проповѣдую терпѣнье, — вовсе нѣтъ, мой другъ, все это я пишу тебѣ для смѣха, «мнѣ скучно одной смѣяться, итакъ, вмѣстѣ съ тобой». Все-бы это нужды нѣтъ, если бы не тратилось на ихъ глупости и капризы столько времени... Легко ли, почти 20 лѣтъ учиться, какъ при нихъ взглянуть, ступить...

18-е декабря. Молись, молись, Александръ, въ минуты горькія! Ничто не можетъ уврачевать такъ душу, заставить съ твердостью переносить несчастья, любить ихъ, какъ молитва.

Это ужасъ, что со мною было послѣдніе дни; повторяю, болѣзнь самая тяжелая — легче, сноснѣе. И я изнемогла, изстрадалась... Разлука съ тобой вдругъ такъ облегла черной тучей мою душу, что мнѣ ни пятнышка свѣта... Эта неизвѣстная твоя непріятность, и къ тому-жъ собственныя, здѣшнія непріятности

до того измучили меня, что я безъ силъ и безъ движенія едва дышала, и сердце обливалось кровью, глядя на эти кровавыя картины. Даже — мнѣ было время писать къ тебѣ, и я не смѣла взять пера въ руки. Теперь-же положеніе наше и обстоятельства все тѣ-же, и я не та-же! Словъ нѣтъ для того, чтобы выразить тебѣ дѣйствія молитвы, — молись, и ты поймешь меня. Но, ангелъ мой, не могла бы я молиться, ничто-бъ, ничто-бъ не защитило меня отъ бурь, которыхъ я жертвой, если-бъ не ты, не *твоя любовь!* Вотъ все мое упованіе, защита и блаженство! Вчера, стоя передъ *Нимъ* съ сокрушеннымъ сердцемъ, я ждала свыше утѣшенія, и вдругъ мысль любви твоей озарила меня и въ то-же время вмѣсто просьбы я принесла Ему благодарность. Можно-ли требовать болѣе??

Вчера узнала я, что Етіе скоро пріѣдетъ, и въ восхищеніи видѣть ее и отъ того, что у тебя скоро будетъ мой портретъ.

Маменька и Егоръ Ивановичъ все въ неудовольствіи на меня, что я не открываю имъ своихъ нуждъ; увѣрь-же ихъ хоть ты, что я ихъ имѣю менѣе, нежели кто-нибудь на свѣтѣ, и если есть нужды, то такія, которыя одинъ Богъ можетъ удовлетворить. Правда, теперь я бѣдна, у меня нѣтъ ничего, потому что тебя нѣтъ, а развѣ тебя мнѣ можетъ замѣнить что-нибудь въ свѣтѣ? Все, что только можно желать и имѣть безъ тебя — твои письма и твой портретъ. — я имѣю ихъ. А далѣе — пусть солнце померкнетъ, пусть... пусть адъ вокругъ меня, — что-же мнѣ-то до того?

Вотъ скоро 25-е число; годъ тому назадъ, въ этотъ день ты впервые призналъ любовь твою и впервые излил ее въ письмѣ ко мнѣ, *«но тогда, тогда не будетъ разлуки... тогда я склоню голову на грудь твою и повѣрю. что есть полное блаженство»* — но гдѣ-же, гдѣ-же это тогда?

22-е, понедѣльникъ. Бываютъ минуты, въ которыя я теряю надежду видѣть тебя... я захлебнусь скоро горькою волной... плыву чрезъ силы... О! когда-жъ достигну я тебя, пристань моего спасенья? Александръ!

Такъ много сказать тебѣ, ангелъ мой, и ничего не могу!

12 декабря, Вятка.

Эти грустныя минуты нѣмой боли, которыя ты такъ не любишь въ моихъ письмахъ, — онѣ бываютъ у меня приливами. Миновало нѣсколько дней и я успокоиваюсь, могу заниматься, думать, читать; но когда злой демонъ опять начнетъ кричать, я бросаю все и предаюсь мрачной фантазіи; иногда самый ничтожный случай, едва холодное дыханіе людей, малѣйшій упрекъ разрушаютъ твердость, которая, какъ осенній ледъ, можетъ держаться до перваго толчка.

Знаешь-ли, чѣмъ я теперь занимаюсь усердно и отъ души. Я досталъ огромное сочиненіе Вибкинга объ архитектурѣ и перебираю эти памятники, отвердившіе жизнь народовъ, — много мыслей родилось, всѣ сообщу тебѣ, когда будемъ вмѣстѣ. Покамѣстъ перечитай съ величайшимъ вниманіемъ въ «*Notre Dame de Paris*» двѣ главы (кажется, въ третьемъ т.) — *Abbas beati Martini* и *Ceci tuera cela*. Непремѣнно прочти хоть 5 разъ, покуда исполнѣ понятна будетъ эта мысль. Тамъ ты знаешь, что эти каменные массы живы, говорятъ, передаютъ тайны. Какъ пламенно жду я времени, когда я тебѣ буду отдавать отчетъ въ суммѣ, въ итогѣ всѣхъ этихъ занятій отъ школы до ссылки, всѣхъ страданій, сомнѣній, мыслей, фантазій, опытовъ; трудно мнѣ было доходить. — тебѣ отдамъ я готовое. Ты исполнѣ поймешь меня, это я знаю: отрывки изъ

твоихъ писемъ иногда такъ сливаются съ моими мыслями, что нѣтъ между ними и черты раздѣляющей. Скорѣй, скорѣй приходи, эта полная жизнь.

13-е декабря. Еще о томъ мѣстѣ въ «Notre Dame»; я знаю, что изъ 1.000 женщинъ читавшихъ, 999 пропустили именно эти главы илп не обратили никакого вниманія,—для того-то ты и должна ихъ прочесть, ибо ты болѣе, выше этихъ женщинъ. Какъ я прїѣду въ Москву, я тотчасъ начну брать всѣ мѣры для нашего соединенія; мы должны быть вмѣстѣ, для того чтобъ развитіе наше было полно.—Хотѣлъ писать много, но Эрнъ прїѣхалъ. Addio!!

15-е декабря. Ты получишь по этой-же почтѣ официальную приписку въ княгининомъ письмѣ, я съ намѣреніемъ назвалъ тебя Наташей въ немъ,—желаю знать, какъ это примется ими.

16-е декабря. Собирался писать сегодня къ Emilie — и опоздалъ. Часто, очень часто думаю я объ ней; иногда мнѣ приходитъ въ голову, что и самый монастырь есть слабость. Пусть она откровенно съ довѣренностью предается Провидѣнію: ежели Сатинъ не былъ назначенъ ей, то развѣ не слѣдуетъ покориться Персту Божію? Трудно, очень трудно, но тѣмъ выше будетъ душа. Ты много разъ писала, что тебя мучить, что всѣ одаренные душою высокою, пламенной несчастны. Не ихъ эта земля, они со своей душой гости другого края, имъ незнакомы обычаи и жизнь земли, на ней дома — толпа; но кто-же изъ нихъ согласится промѣнять свои несчастія на безцвѣтное счастье толпы? Для нихъ есть другой міръ, онъ еще здѣсь начинается, это тотъ міръ, куда летитъ звукъ арфы, подымается обелискъ, а для толпы ничего нѣтъ, кромѣ столовой и спальни.

А горько видѣть эти страданья, сердце обливается кровью и тѣмъ досаднѣе, что толпѣ ихъ не растолкуешь, что она даже не платитъ участіемъ. Сколько слезъ чистыхъ, но жгучихъ льются въ тиши и уничтожаютъ жизнь,—коихъ обнаруженіе произвело бы не болѣе какъ смѣхъ. Полина по всѣмъ правамъ занимаетъ мѣсто въ числѣ этихъ существъ, которыя какъ-бы ненарочно, или случайно попали совсѣмъ не въ тотъ кругъ, въ которомъ быть должны. Изъ искреннѣйшей, чистой дружбы прїѣхала она сюда съ женою аптекаря и куда-же попала, въ Вятку; ты не знаешь, что такое дальняя страна, тамъ всѣ нечистыя, дикія страсти, всѣ образы оболщеній, гнусностей на волѣ, и аптекарь, подлый дуракъ, навѣрное не защититъ ее, ежели обидятъ. Но я не могу рассказать всего, при свиданьи и со слезами будешь ты слушать ея мрачную повѣсть. Но никогда не падетъ она, душа у ней высока и прелестна. *Говорятъ*, будто она очень неравнодушна ко мнѣ,—ужасно, ежели-бъ это было правда; но тутъ съ моей стороны не было ничего сдѣлано, я не виноватъ, впрочемъ, я не вѣрю; разумѣется ей и не должно быть равнодушной къ одному человѣку, который беретъ такое искреннее участіе въ ней и готовъ многое сдѣлать. Прощай, Витбергъ тебѣ кланяется, я цѣлую, цѣлую. Прощай-же ангелъ.

Твой Александръ.

|| Москва, декабря 22.

Утѣшитель мой небесный! Вчера чрезъ нѣсколько часовъ послѣ того, какъ изнуренная страданіями я не могла написать тебѣ болѣе трехъ строкъ, чрезъ нѣсколько часовъ послѣ того, какъ мнѣ тяжело было и глаза открыть, и дышать, и думать,—я была уже совсѣмъ иная, была *твоя* Наташа, ибо твои строки

меня воскресили, взору дали свѣтъ, душѣ жизнь... И мои слова могли обнять тебя холодомъ, негодованьемъ.

Александръ простить *Наташѣ!*

Не помню, что писано, я была тогда ужасно взволнована, безъ вѣдома моего, со два души думы лились на бумагу. Ты взволнованъ, ты истерзанъ,—не довольно ли этого, чтобъ убить вполне все?

Что пишешь ты о низкихъ страстяхъ души твоей,—я не могу увѣрить себя, чтобъ на тебѣ была малѣйшая брызжинка той грязи, которой захлебываются люди, въ которой тонуть,—и скажи, моя-ли это вина? Рѣшительно во всемъ я вижу тебя единственнымъ. ты для меня выше всего на свѣтѣ, созданнаго Имъ, святѣе, прекраснѣе, совершеннѣе. Въ тебѣ я дивлюсь Его премудрости. благоговѣю передъ величьемъ Его, поклоняюсь Его благодати, — Александръ, тобою познаю я Его. Ангелъ мой, и неба, и вѣчности не искала бы я, когда бы ты не былъ небесенъ и вѣченъ! Твое слово — моя заповѣдь. Вотъ малѣйшій тому опытъ: теперешняго моего положенія вообразить нельзя вполне, иногда нѣсколько дней мнѣ нельзя прочесть твоей строчки,—такой караулъ. такъ слѣдять за мной, и со всемъ этимъ я не смѣю грустить и тосковать, потому что ты пишешь: «не грусти, Наташа, будь весела». Иногда навернутся слезы,—какъ, мнѣ прибавлять тягость кресту его?.. и улыбка замянетъ слезы и тамъ. гдѣ горами черныя тучи, свиваются вѣнкомъ свѣтлыя думы. Когда-бъ я не знала твоихъ желаній,— не знала-бъ что желать; когда-бъ тебя не знала, — не знала-бъ что любить и любви бы не знала и сама бы была ничто. Но теперь многихъ твоихъ желаній я не выполняю, потому что *не могу* выполнить ихъ. то-есть потому, что теперь я невольница, въ цѣпяхъ, но придетъ пора... О! толпы, толпы поклонятся той, которой дано понять и оцѣнить Александра, небеса позавидуютъ пространству души, обнявшей столько любви. Стихи Гюго получила. Если-бъ меня спросили, нравятся-ли *мнѣ* они, я бы сказала, спросите о томъ Александра. Последняя строка ихъ—ключъ къ воспоминанію о прошломъ, она написана тобою въ письмѣ послѣднемъ, предъ тѣмъ, гдѣ ужъ ясно все. Помню, какъ я прочла ее, замерло сердце, не знаю, читать-ли далѣе... такъ пугала меня огромность моего счастья, необъятная любовь твоя. Но рѣшилась,— и тамъ ты все пишешь о любви, а ни слова о любви ко мнѣ, и я успокоилась, ибо я боялась *дня* и хотѣла долѣе насладиться *разсвѣтомъ*.

Вѣрно ты, другъ мой, не разобралъ, что писала я объ Огаревѣ. Я говорила съ досадою о холодности отвѣта, произносимаго небрежно и лѣниво тѣми, кого я спрашивала о немъ, а ты говоришь, будто я пишу о твоей къ нему холодности.— Теперь ночь, я еще держу не гасить огонь и дрожу отъ страха: *si madame Макаш. пробудится!* Ну, такъ что-жъ? ничего, только за это завтра я должна буду лечь въ потьмахъ! Она говорила мнѣ о томъ, что я отказала Бирюкову; я сдѣлалась, будто ничего не знаю, ни слова ей на это (низко, гадко, но какъ же. ступивъ въ грязь, не замарать ноги?), не знаю, отъ кого дошло это. И потомъ все говорить мнѣ о тайнахъ, о гибели .. и в[нягиня] давеча же упрекала меня, что я въ угрожденіе тебѣ занимаюсь книгами, по твоему приказанію училась нѣмецкому языку и чтобъ все это оставила до тѣхъ поръ, пока выйду за *нѣмца*. Немудрено. если до нихъ и все дойдетъ. Но пусть ихъ! Теперь они спятъ, и чернота ихъ спать, отдыхаетъ отъ своихъ подвиговъ, а мы бодрствуемъ, мы и во снѣ живемъ болѣе, нежели они на яву. Но кто же это *мы*? Это—Наташа, любовь, Александръ! Трое составляющіе одно. О, и какъ прелестно, дивно, свято

это я! какъ полно оно! Оно море, оно небо, оно...; человѣческой языкъ, не удостоень словомъ, могущимъ вполне выразить, что оно! Долго еще не усну я, сидя на стулѣ у постели, буду мечтать о тебѣ.

23-е. Письмо твое к[нягиня] получила сегодня вечеромъ; она слушала его съ большимъ и прѣбольшимъ удовольствіемъ, а я читала съ содроганіемъ: обманъ, лѣсть... знаю, что это необходимость и пора привыкнуть, но все-таки каждый разъ пугаюсь, какъ невиданнаго чудовища. Когда-жъ, когда уста наши затворятся для неправды, когда безъ страха ты заговоришь истину?— все это *тогда!* *Тогда!*— Ко мнѣ же приписку я читала съ величайшею пріятностью, тутъ маски нѣтъ, а тонкій, прозрачный флеръ, ихъ вина, ежели не видать сквозь него. Ты вѣрно думалъ, что, назвавъ меня въ *томъ* письмѣ *Наташей*, откроешь что-нибудь новое?.. Не только зарѣ, и самому солнцу не улыбнется камень! Я нарочно произносила громко и медленно—Наташа!!! Ни малѣйшаго вниманія. Повторяю, камень и солнцу не улыбнется, а въ *ихъ* письмѣ *Наташа*—заря и чуть-чуть блѣдная, тонкая; надобно быть солнцу, чтобъ улыбнуться этой зарѣ! Камень все также недвижимъ, также поросъ мохомъ и травой, также глубоко въ землѣ, также камень!

Жду съ нетерпѣніемъ итальянскія картинки... только Италиі недоставало въ уголкѣ моемъ! Благодарю тебя, мой ангелъ, за этотъ подарокъ, я какъ ребенокъ восхищаюсь имъ заранѣе и жду не дождусь. Какъ ты утѣшаешь меня! А я для тебя не могу сдѣлать ни на волосъ... Если-бъ ты зналъ, какъ больно мнѣ, что я не могу подарить Александра Лаврентьевича. Даже и настолько-то не имѣть власти, возможности,—но все жалобы и жалобы; это слабость, вѣдь ужъ сказано разъ — *придетъ пора!*... Только я должна тебѣ сказать, что на меня имѣютъ большое подозрѣніе, Мак. часто намекаетъ о тайной перепискѣ, называетъ Е. И. почтальономъ и тому подобное, — я никогда ей на это ни полслова. Не правда-ли, говорить нечего, да она и не стоитъ этого.

24-е. Сегодня сочельникъ, суета, усталъ, пылъ и голодъ,—я ни въ чемъ не участница! Я какъ птица съ вершины дерева смотрю равнодушно, какъ у корня его работаетъ гряда муравьевъ, имъ надо много рукъ и ногъ, нужна земля, сучки, сухой листъ, мѣвъ—крылья, небо, солнце. Завтра... завтра... 25-е число! Но что же оно? Оно померанцевое дерево въ цвѣту! Да, это 25-е было бы просто ель, ель, которую ни зной, ни стужа не измѣняетъ, если бы оно не было осыпано какъ померанцевыми цвѣтами воспоминаньемъ о тебѣ. Не отъ корня на немъ вѣтви, не отъ вѣтвей почки и цвѣты! Нѣтъ! отъ *цвѣтотъ* почки, отъ почекъ вѣтви и самый корень отъ цвѣтотъ! Довольно-бъ, довольно-бъ бросить одинъ огненный цвѣтокъ померанца на мертвую елку, чтобъ оживотворить ее, сдѣлать изъ нея дерево юга, исполненное музыкой поэзіи,—но тутъ не одинъ цвѣтокъ, цѣлая корзина... Благовѣстъ къ обѣднѣ... прощай, ангелъ мой. Мнѣ завтра будетъ грустно, грустно, и среди-то людей безъ человѣка! Не знаю почему, а завтра я какъ будто имѣю надежду получить отъ тебя письмо... ужели? Боюсь я нынче предугадывать, а какъ бы была весела тогда... Какъ ни прѣзрительно померанцевое дерево, какъ ни разливаетъ оно ароматъ, музыку, —не замѣнить оно все—одной строки твоей, одного слова. Тоска моя ужъ начинается, не нахожу мѣста,... а ужъ завтра! Прости, прости меня.

25-е декабря. О чувствахъ ужъ писать не стану, ты знаешь ихъ и вѣрнѣе меня. Но вотъ тебѣ утро 25-го декабря 1836 г. Едва я открыла глаза, какъ уже на нихъ навернулись слезы. Въ церкви душа не гимнъ пѣла, она стонала.

И весь день тянулся передо мной ржавой, желѣзной цѣпью, но Провидѣніе, зная слабость души моей, зная, что я не ты, послало мнѣ бездну утѣшенія. Въ объѣаю въ церковь привнесли мнѣ письмо отъ Саши Б. и исполненное все грусти, но оно отъ нея, и потому грусть и утѣшеніе вмѣстѣ. Дома-жь потянулася, загремѣла эта ржавая цѣпь, всегдашніе праздничные люди... и, будто невольно запутавшись въ нее, явился и Егоръ Ивановичъ... Тутъ я отказываюсь отъ твердости, будто все и самыя стѣны издають грустные звуки, будто и цвѣты номеранца и все дерево говорить томно и печально—*«нѣтъ его»*... Но вслѣдъ за горькими слезами я плакала отъ радости, съ Е. И. вмѣсто тебя твое письмо!—О, Александръ! О, ангелъ мой! Какъ я виновата, какъ виновата предъ тобой! (Но и предъ собою...) Я не смѣла бы просить прощенія... Теперь не могу писать, нельзя, только скажу тебѣ, мой божественный, единственный, что все это страшное, мрачное оттого явилось въ душѣ моей и излилось къ тебѣ, что ты былъ мраченъ и истерзанъ, потому что я не могу обнять твоего пространства и разсмотрѣть своей малости. Но ужъ ты простилъ меня? О, если-бъ я могла упасть на колѣни предъ тобой, несравненный! Мѣшаютъ, зовутъ, прощай!

Вечеръ. Я изъ самолюбія подчиняюсь тебѣ?.. изъ гордости не хочу согласиться, что на тебѣ могутъ быть пятна?.. Самолюбіе... гордость... они—слабость людей, недостатокъ ихъ, грѣхъ!.. Но какое же разстояніе отъ людей до твоего идеала?.. Тамъ — канава нечистоты (говоришь ты), здѣсь — изрядное свѣтило, мало, цѣлый міръ, и міръ превосходнѣйшій міра видимаго, изящнѣйшій, въ немъ есть и солнца и планеты, — но нѣтъ астрономовъ, кромѣ тебя, могущихъ назвать ихъ, опредѣлить ихъ величину, дать имъ свойства... *Тотъ* міръ наполняетъ *эоиръ*, и въ томъ эоирѣ плаваютъ *тѣла небесныя*; *этомъ* — наполняетъ *любовь*, плаваетъ *душа небесная*, тамъ все Богъ, здѣсь — все Богъ и ты! — Тамъ смотрю я на твой идеалъ, такъ понимаю его, благоговѣю предъ нимъ, гдѣ же въ немъ мѣсто гордости и самолюбію? — Александръ, ты не хочешь повѣрить (не могу сказать — понять, потому что ты знаешь это), не хочешь повѣрить, что весь этотъ дивный міръ, святой, необъятный въ свѣтѣ и пространствѣ, — весь — преданъ тебѣ, погруженъ въ тебя, не видитъ себя въ тебѣ, теряется, исчезаетъ... Нѣтъ, ты этому не хочешь повѣрить! Я бы дала тебѣ все больше и больше — лучше, лучше, но ты это называешь гордостью, самолюбіемъ... Въ твои слова я вѣрую, они заставляютъ меня вѣрить, что я горда, самолюбива... да, я вѣрю и я же исторгну плевелы, брошенные людьми въ садъ, насажденный для тебя самимъ Богомъ! Вотъ — душа моя, смотри, въ ней нѣтъ уже этихъ пороковъ, она одна любовь, любовь къ одному тебѣ, любовь человека-ангела къ человеку-ангелу, здѣсь нѣтъ совершенныхъ ангеловъ, — это тамъ, только тамъ мы будемъ одинъ ангелъ. — Итакъ, можно ли считать за ошибку, что я полюбила тебя съ небесностью ангела и съ слабостями человека? Мы созданы другъ для друга, и другъ другомъ возвышаемся, совершенствуемся, блаженствуемъ здѣсь и получимъ царство небесное!

Самолюбіе и гордость — наказаніе въ двухъ словахъ за... [вырвано] 2 удара за 200... [вырвано] Богъ и грѣшниковъ милуетъ послѣ... [вырвано] не отвергнешь, если я подойду къ тебѣ и обниму тебя и расцѣлую.

26-е декабря. Въ твоей любви мнѣ не нужны опыты и доказательства, я ихъ не требовала даже въ дружбѣ; но если-бъ было существо, достойное вѣровать въ нее и невѣрующее, — ему довольно-бъ было прочесть безумное мое письмо и твое отъ 10 декабря. — Ангелъ мой, я ужаснулася, читая въ письмѣ твоемъ то

мѣсто, гдѣ ты напоминаешь о *желаніи моемъ умереть*,— клянусь тебѣ, я испугалась себя, не могла остаться одна сама съ собою безъ твоихъ писемъ, безъ портрета.— Умереть!— Нѣтъ, я не умру, не покину моего Александра людямъ, страстямъ, толпѣ, бѣдствіямъ земнымъ... нѣтъ, не покину! Пусть всѣ эти стрѣлы, не долетая до него, изломаются на груди моей, какъ на скалѣ гранита.— Нѣтъ, нѣтъ, ангелъ мой, Александръ, забудь ради Бога все это, прости меня, клянусь никогда подобные звуки не выльются изъ души моей, никогда мысли подобной не залетитъ въ душу... Брось, сожги этотъ черный листъ и забудь все, что писано въ немъ,— можетъ, это была послѣдняя дань недовѣренности къ себѣ. Теперь я готова всѣмъ говорить, что для меня бы не было ничего, если-бъ не было Александра, но что и для тебя ничего бы не существовало, если-бъ не было меня, кромѣ дружбы, кромѣ О.

Довольно, прочь всѣ эти увѣренія, сомнѣнія, страхъ... кончено. Ты *все* для меня, я *все* для тебя! Сомнѣваться въ себѣ, значить, сомнѣваться въ тебѣ. Да, никто-бъ не могъ понять тебя столько, оцѣнить, дать тебѣ столько — никто... кромѣ меня! Но что еще это теперь? Вотъ минется кровавая разлука, и тогда я вполне буду я, теперь мнѣ все ставятъ границы.

28-е декабря. Знаешь ли, что сейчасъ было со мною? Макашева говорить открыто, что я переписываюсь съ тобой, что прощаніе въ Крутицахъ погубило меня и что портретъ также погубилъ, клянется, что скажетъ все к[нягинѣ], говорить, что слышала отъ тѣхъ людей, которые все знаютъ и смѣются надъ нами; откровенно скажу тебѣ, я боюсь не за себя, что мнѣ *они*? А маменькѣ и Е. И. можетъ быть несприятность. Не знаю, что мнѣ дѣлать? Впрочемъ, я Мак. на это ни слова не сказала и все время, пока она стояла передо мною, я будто читала со вниманьемъ; это было сейчасъ, она только улеглась и все еще поеть, а ужъ 12-й часъ ночи; можетъ быть, я глупо сдѣлала, что не рѣшилась пуститься лгать, что есть силъ, и увѣрить ее, что все это ложь и неправда, но что-жъ мнѣ дѣлать, я не могла. Если еще будетъ это говорить, рѣшусь говорить все противное, потому что ужъ всѣ письма далеко убраны, сыскать она ихъ не можетъ, также и доказать ей нечѣмъ, она же останется въ дуракахъ. Впрочемъ, она ужъ общала у меня все обыскать и непремѣнно сказать к[нягинѣ]. Я того и жду, что будетъ допросъ, но ты не бойся, надѣйся на мою твердость, въ перепискѣ ни за что не признаюсь, потому что это многихъ погубить. Во всемъ этомъ я кладу подозрѣніе на Насакинныхъ; Мак. въ большой съ ними дружбѣ и какъ пришла вчера отъ нихъ, такъ сказала дѣвушкѣ, которая мнѣ служить, что ее зашлютъ туда, куда воронъ костей не заносилъ, за то, что она передаетъ письма, хотя та ни въ чемъ не виновата. Но меня здѣсь въ домѣ, ежели кто знаетъ пере[писку], не откроютъ ни за что на свѣтѣ, и я увѣрена, что все это сплетни Насак.; онѣ самые низкіе люди обѣ, я непрерывно вижу это на опытѣ!

Итакъ, ангелъ мой, не безпокойся, умоляю тебя, ежели не будешь получать отъ меня такъ часто писемъ, рѣшительно минуты нѣтъ свободной. Мак., какъ нечистый духъ, преслѣдуетъ меня, каждое движеніе, взглядъ все замѣчено, переведено к[нягинѣ] и въ самомъ скверномъ видѣ. Не знаю даже, будетъ ли возможность писать; умоляю, другъ, ангелъ мой, не огорчайся, а тверже перенесу это.— Господи! Ахъ, когда ты прійдешь!

На многое не отвѣчала я тебѣ, не знаю, можно ли будетъ завтра взять перо въ руки. Цѣлую тебя, божество мое Александръ, обвиняю, ангелъ мой... О!

Каково это, гдѣ твои письма?.. Но ужъ пусть же ихъ досыта наругаются надо

мною; все, все имъ прощаю, только тяжело мнѣ, тяжело и больно за тебя.— Бѣжала бы я отсюда, не оглянувшись, но *Онъ* посылаетъ это крестъ, — какъ же не честь его!

Пожалѣй мою Сашу, у нея умерла сестра, которую она любила необыкновенно, теперь она на моихъ рукахъ, несчастная, и она это выносить! Только. Боже, пошли силу переносить все!—Ну, другъ мой, ангель, можетъ послѣднее письмо и еще долго. долго не получишь ты отъ меня; Макъ говорить, какъ увидитъ перо у меня въ рукѣ, приведетъ к[нягиню], отъ нея не спасешься, — такъ не огорчайся же, мой другъ, не грусти, и я буду тверда и весела. Ты пиши, впрочемъ, увидимъ... Я, кажется, тебѣ одурѣла, не знаю, что сказать... Оставила одно твое послѣднее письмо для отрады и утѣшенія... оно хранится подъ грудюю воть. Прощай, когда жъ прїѣдешь ты?

29-е. Въ залѣ, стоя на колѣняхъ, пишу на ступлѣ...

Какъ я удивилась, что ты пишешь мнѣ, чтобъ я прочла въ Notre Dame со вниманіемъ именно тѣ главы, которыя я читала и перечитывала и прежде съ большимъ вниманіемъ. Да, мой ангель, пойму я тебя совершенно, съ какою жаждой жду я того времени, когда буду съ тобой... Эта пустая и тяжелая жизнь утомила меня, безъ сильнаго восторга не могу представить жизнь съ тобою, но когда-жъ, когда-жъ это будетъ? О, если-бъ знали до дна эту лохань, въ которой я теперь!.. Во всѣхъ углахъ шепчуть, и все объ насъ, будто все полно подозрѣнья и любопытства. Мак., я увѣрена, разнесетъ это по всѣмъ дворамъ, и вообразитъ, ежели кто видитъ у меня въ рукахъ хоть простую бумажку, тотчасъ кричать, какъ скоро услышатъ шаги Мак.: *идеть! идеть!*... Это ужасно неприятно. Макаш. сама рассказывала все въ дѣвничьей, что слышала это отъ Насакиныхъ. Жалкіе!

Пропускаю еще миллионъ гнусностей и подлостей, которыя содѣваются кругомъ меня; теперь о томъ, какъ бы избавить маменьку и Е. И. отъ неудовольствія. Ты же, Александръ, милый другъ, будь покоенъ, не бойся за меня, ну, вѣдь, они не могутъ насъ разлучить, а письма... ахъ, ты и прежде мнѣ писалъ: «Наташа, я и жизни не могу вообразить безъ твоихъ писемъ». Ангель мой, еще не совсѣмъ испытано наше терпѣнье, и покорность Ему докажемъ! Съ увеличеніемъ несчастій теперешнихъ увеличивается блаженство будущее!

Много, много тебя обнимаю и цѣлую. Витбергу душевное поздравленіе со днемъ его рожденія и поклонъ, исполненный почтенія. Прости!

Вся твоя, твоя и твоя!

Дек. 31. Еще одинъ часъ, и сумрачный, туманный, черный, кровавый, тридцать шестой годъ потонетъ въ вѣчность! *Одинъ часъ* его остался, и о немъ можно говорить все. Онъ былъ тиранъ, тиранъ безжалостный, жестокий, страшный, онъ давилъ меня тяжелой пятою, терзалъ желѣзными своими когтями. приводилъ въ оцѣпенѣніе холодомъ своего дыханья, словомъ мучилъ на смерть... Но я жива! я побѣдила этого гиганта! Остались рубцы, раны... они сотрутся *когда-нибудь*, исчезнетъ слѣдъ тяжелой борьбы, но сила, твердость, высота, купленная кровью и страданьями, не убудутъ во вѣки вѣковъ! Забудь и ты, ангель, прости ему, онъ ужъ не существуетъ, онъ мертвецъ...

Другъ мой, вѣрно ты теперь думаешь обо мнѣ, 12-й часъ, послѣдній часъ, проведемъ вмѣстѣ его. Мнѣ кажется, ужъ я давно не писала тебѣ и теперь риску много, но пусть ихъ! Я не жертвую ничего своему спокойствію, мнѣ не нуженъ покой!! Такъ ли отражается лазурь — въ сонной, дѣливой, полумертвой

водѣ, окруженной со всѣхъ сторонъ пуховыми берегами, какъ въ чистой, яркой и рѣзвой струѣ, которой путь далекъ, которой и преграды нѣтъ?.. Отъ нужды, изъ необходимости пьютъ воду изъ *пруда*, и нехотя смотрятся въ ней мѣсяцъ, а вовсе не видно въ ней звѣздочки... Стремится всякій къ быстрой *рѣкѣ*, любятъ ея величіемъ, *ясными* водами, прислушиваются къ ея говору... Она чрезъ страшныя пространства передаетъ вздохъ и слезу, носитъ необъятныя тяжести, работаетъ, трудится, рвется для блага человѣка, а силы ея все болѣе и болѣе... Путь ея шире, далѣе и далѣе, достигаетъ *моря*, наконецъ!.. Не хочу, не хочу покоя я! Раздвиньтесь, берега! Исчезни плотина.. и я сольюсь съ моремъ, и его волны сольются съ моими струями;... пусть пѣна, пусть далеко брызжины;... люди жаждутъ, рѣка слезами своими напоить ихъ, мимоходомъ катясь къ своему морю.

Макашева, кажется, не рѣшается объявить княгинѣ о нашей перепискѣ, боясь получить выговоръ и потерять довѣріе к[нягини], но преслѣдованія, вѣроятно, не окончатся до конца моего заключенія! 10 лѣтъ терпѣла я за неизвѣстное благо... не стерплю-ли половину за твою любовь??

Авось либо карандашъ не сотрется, перо скрипнуть, а меня отъ Мак. раздѣляетъ только холстина и 3 шага!

Александръ! Вслушайся, всмотришься... и нѣтъ 1.000 верстъ, и твоя Наташа съ тобой!

Три дня я по нѣскольку разъ разсматривала твои картинки и восхищаюсь и мечтаю о той странѣ, о томъ небѣ, о тебѣ, о Немѣ!

У) 23-е декабря.

Наташа, ангель, прелестное существо! Итакъ, ты начала уже страдать отъ меня, я это предвидѣлъ, я это предсказывалъ, — но иначе угодно было Провидѣнію, твоя жизнь навсегда влита въ мою жизнь, влекись же бѣшеной фантазіей со мною — куда? все равно, лишь бы со мною. Твои послѣднія письма отъ 9 дек. наполнили меня грустью, даже томностью. Въ нихъ видно глубокое страданье, и я причиной ему, съ моей безумной фантазіей, съ моимъ эгоизмомъ, словомъ, съ моей душою. О, Наташа, Бога ради, не повторяй, что мнѣ мало тебя, Бога ради. Нѣтъ, нѣтъ, твоя любовь, твоя душа показала мнѣ, что и здѣсь на землѣ могутъ осуществляться идеалы поэта. Не повторяй же, Наташа. И ты говоришь обо мнѣ, какъ будто я не понимаю твоей любви. Люблю, люблю тебя всей этой энергіей моего характера и никого бы не могъ такъ любить... только не говори этихъ словъ. Оставь мою грусть, она проходить. Что дѣлать, ровнаго, гармоническаго счастья мнѣ не дано, но ты, ты счастлива, какъ ангель. О ежели-бъ я могъ, однимъ объятіемъ я высказалъ бы тебѣ все и безграничное блаженство мое, и грусть, все, все;—тогда только поймешь ты, что ты мнѣ. Я готовъ плавать теперь, а я твердъ; готовъ цѣловать край твоей одежды, только успокойся, будь весела; я хочу, чтобъ ты лечила мою больную душу, а ты заражаешься ею... Зачѣмъ ты говоришь мнѣ о моемъ блаженствѣ, будто я не знаю, что нашелъ я въ этой душѣ прелестной, въ твоей душѣ!

Почему ты не такъ грустишь, спрашиваешь ты, да развѣ есть на тебѣ пятна? Развѣ ты не можешь понять, какъ меня долженъ терзать проклятой поступокъ съ М Ты и я. Опять скажешь, зачѣмъ я тебя высоко поставилъ. Да не я ставилъ — Богъ. Ежели-бъ я такъ ослѣпленъ былъ собою, что не видѣлъ бы, на

какой *высоты* я могъ бы быть и гдѣ теперь... Читала-ли ты у Жуковского Абадонну:

Сумраченъ, тихъ, одинокъ на ступеняхъ подземнаго трона
Зрѣлся отъ всѣхъ удаленъ серафимъ Абадонна;
Печальною мыслью бродить онъ въ минувшемъ.. онъ вспоминалъ
Прежнее время, когда онъ, невинный, былъ другъ Абділа.

Ты, Наташа, мой Абділъ — мой ангель-хранитель, и тебя-то я мучу. Еще зачѣмъ ты безпрестанно хвалишь меня? Знаешь-ли ты, что я ужасно самолюбивъ и гордъ: хвалить меня,—это дикому звѣрю показывать пурпурную ткань, это напоминать ему цвѣтъ крови...—Ты молишь Бога, чтобъ онъ далъ мнѣ созданье лучше тебѣ... Погоди, да возьму-ли я у Него? Отнять тебя материально здѣсь, это можетъ Провидѣнье, дать другую не въ Его силахъ. Или ты, или мнѣ не нуженъ никто здѣсь и опять ты же—тамъ. Останови же свою молитву,—ты ея обидишь Провидѣнье. Душно! душно! Оставь, искорени эту несчастную мысль. что мнѣ мало твоей души. Да послѣ этого ты, право, не вполне вѣришь въ мою любовь.—И что-жъ собственно дурного въ моей грусти? въ безумной веселости человѣкъ тратитъ свою душу, въ грусти онъ возвышается, въ грусти поэзія, а въ веселости—смѣхъ.

Ты спрашиваешь, утѣшить-ли меня твой поцѣлуй—твой поцѣлуй—*ты спрашиваешь?* Ха, ха, ха... вотъ забавная мысль пришла въ голову (начинаю быть веселымъ); погоди, дай смыть съ губъ тѣ нечистые поцѣлуи сладострастные, которыми онъ запятнанъ съ самой юности, ты замараешь свои уста. Можетъ, странно тебѣ, что я говорю подобныя вещи прямо тебѣ; да, этого не скажетъ влюбленный юноша съ розовыми ланитами, съ розовой душой, съ розовымъ умомъ своей Юліи, Минѣ, Альсинѣ—такой же дѣвѣ. Но я и ты—у насъ другое отношенье, вспомнимъ нашу силу. Моя душа давно потеряла запахъ розы, мои щеки давно блѣдны,—съ 14 лѣтъ ломали меня мысль и чувство. И оттого-то моя грусть, что я хотѣлъ бы тебѣ, божественная, принести себя божественнаго. Ты говоришь, довольно для тебя. Но для меня недовольно то, что я тебѣ даю собою.

Кто будетъ рисовать твой портретъ? Ежели человѣкъ, который не удивляется тебѣ, не любить тебя, не можетъ понимать -- не надобно. Рафаэль, этотъ Рафаэль, котораго называютъ божественнымъ, осмѣлился Мадоннѣ дать лицо Фортрины—своей любовницы, а Италия молилась, удивлялась. Ну, вы, господа съ кистью, вотъ вамъ Наташа, это ангель, это ужъ не женщина, съ которой стерта божественная печать нечистыми объятіями, нѣтъ, она такова, какъ была до рожденья въ раю,—да гдѣ этимъ дуракамъ придти въ голову изобразить Богоматерь, какъ она была; имъ довольно представить женщину и ребенка.—Твой портретъ. Что-жъ, скоро-ли я прижму къ сердцу своему хоть портретъ.

Я, кажется, понялъ мысль, которую ты называешь святою, несбыточною,—да, понялъ ее. Эта мысль мелькала у меня, все-таки симпатія наша превосходить все на свѣтѣ. Я понимаю тебя, однако ты напиши мысль свою, можетъ, я ошибся. *Ангелу не хочется быть человѣкомъ*, ему низко, тѣсно, удушливо въ этой темницѣ. И чтобъ мнѣ всё утѣшенія находить не въ тебѣ одной!... Ты—моя поэзія, ты именно все, что осталось чистаго и непорочнаго въ душѣ моей.

Получаешь-ли ты аккуратно мои письма, я пишу почти всякую почту, а ты отъ 9 декабря отвѣчаешь на письмо отъ 18 ноября.

Ну, прощай, до будущаго года не пошлю письма. Вѣрь же, что твоя любовь

принесла мнѣ болѣе, нежели сколько я надѣялся. Вѣрь, что въ тебѣ нашелъ я все, чего искала душа. Дай Богъ, чтобъ скорѣй ты все увидѣла на опытъ.

Твой *Александръ*.

Я продолжаю непрерывно заниматься архитектурой. Путешествовать, путешествовать непременно. Emilie дружескій, сердечный поклонъ... А, вѣдь, въ монастырѣ будетъ скучно. Ежели Mademoiselle Alexandrine 1-ая приметъ мой поклонъ, передай и увѣрь, что я совѣтъ не страшень. Некогда! Addio!

1837 годъ.

1-е января.

Natalie! Вотъ и новый годъ, прощай 1836-й! Ступай въ вѣчность! Моего благословія нѣтъ на тебѣ: ты давилъ меня съ перваго дня до послѣдняго, въ тебѣ не жизнь, а судорожное движеніе. Прощай же. Ну, а этотъ новый что принесетъ — неужели ничего? Желаній два, три — довольно и для меня, и для тебя. Надеждъ — нѣтъ. Я писалъ къ тебѣ письмо 25 декабря и изодралъ его; это въ первый разъ, ибо однажды написанное письмо я уже считаю собственностью твоей, но письмо это было такъ нелѣпо, что я рѣшился не посылать. Всѣ праздники я провелъ какъ нельзя хуже. Часто думалъ я, что совѣтъ пересталъ быть тѣмъ Александромъ, твоимъ Александромъ, и представлялъ себя такъ, какимъ-то неудавшимся существованіемъ. Сегодня, т. е. въ первомъ часу ночи, я говорилъ съ Полиной о тебѣ; ужъ вѣрно и ты въ то же время думала обо мнѣ... Ангелъ, ангелъ! Письмо твое получилъ (отъ 22 декабря). Непріятность, о которой писалъ, не такъ важна, чтобъ стоило о ней писать.

Прощай на нѣсколько часовъ.

Вечеръ. Нѣтъ, жаль мнѣ стало 36-й годъ; за что же я его такъ безжалостно, такъ холодно оттолкнулъ? А твои письма развѣ не осыпаютъ его свѣтомъ и эфиромъ, а дружба Витберга, а дружба и симпатія въ этой глуши даже, — не правда ли, какъ я неблагодаренъ? Чего нельзя перенести за одну строку твоихъ писемъ, гдѣ буквы принимаютъ какой то звукъ и гармоніей страсти раздаются въ глубинѣ души. Съ какою жадностью я тысячу разъ перечитывалъ въ прошедшихъ письмахъ твоихъ, гдѣ ты меня утѣшашь въ грусти; ну, такъ и видна слеза на глазахъ и улыбка; и то и другое горитъ любовью, и пламенное желанье слезу оставить себѣ, а улыбку передать мнѣ.

4-е января. Вотъ тебѣ, Наташа, новость: можетъ, черезъ мѣсяцъ или два Полина уѣдетъ отсюда и куда же?... Вадумать страшно: за 400 или 500 верстъ отъ Перми, на заводъ, куда хочетъ опредѣлиться мужъ ея подруги, у которой она живетъ.

Бѣдная! она завянетъ, пропадетъ даромъ и нигдѣ кругомъ нѣтъ спасенія; одна рука, которая сдѣлала-бы для нея все—это моя рука, но она закована въ тяжелыя цѣпи. И что ее заставляетъ ѣхать? Какая то поэтическая дружба къ подругѣ, которая очертя голову вышла за дурака и теперь мыкаетъ съ нимъ горе. Неужели Провидѣніе такъ непонятно управляетъ дѣйствіями нашими, жизнью, — что иногда имѣетъ весь видъ слѣпота случая. Эта новость меня огорчила. Ея положеніе почти не лучше Emilie—та обманута любовью, эта цѣлой жизнью. У той въ воспоминаньи есть свѣтлая полоса, у этой сумерки и даже

темнота. Ты пишешь, что не можешь видѣть низостей людей и страданія другихъ. Я крѣпче тебя, но, признаюсь, вся твердость моя таетъ отъ вида этихъ судорогъ души, выбивающейся изъ-подъ гнета обстоятельствъ и на которую летитъ ударъ за ударомъ. Но низости дѣлаютъ на меня другое вліяніе—потребность, жажду мести. Ахъ, Наташа, чего я ни наглядѣлся въ это послѣднее время: какъ дика, грубы страсти и какъ подлы, низки люди (слава Богу, что не всѣ). Около губернатора въ губерніи, гдѣ нѣтъ дворянства, обращается все, какъ около солнца; власть его не ограничена, и, слѣдовательно, тутъ то сосредоточиваются всѣ искательства и интриги,—и я поневолѣ, ежели не хочу зыкрывать глаза, долженъ видѣть этихъ гадкихъ животныхъ, трепещущихъ, съ клеветою во рту, со страхомъ, чтобъ не открылись ихъ дѣла и пр. и пр. Вотъ тебѣ анекдотъ въ доказательство. Недѣли двѣ тому назадъ, одинъ изъ здѣшнихъ *personages* надѣлалъ мнѣ грубостей на балѣ,—весь городъ былъ тутъ, но ни одинъ человѣкъ не показалъ, что я правъ или нѣтъ, всѣ молчали, даже говорили, что не слышали. На другой день губернаторъ сказалъ, что я рѣшительно правъ и что тотъ долженъ извиниться передо мной,—и весь городъ закричалъ: «Герценъ правъ», и пошло участие, и свидѣтели, и все нашлось. (Опять повторю, что есть исключенія). Съ тѣхъ поръ я ужъ просто сталъ ненавидѣть здѣшнее общество.

6-е января. Три года тому назадъ, вечеромъ, у Насакина,—и какъ живо все это въ памяти, какъ свѣтло, какъ похоже на ту прелестную луну, на которую мы смотрѣли. И сколько прожито съ тѣхъ поръ! Всю свѣтлую недѣлю 34 года я бушевалъ, это была одна вакханалія въ 7 дней и послѣдняя: не воротится то юношеское увлеченіе, тотъ огонь, та безотчетная веселость. Вскорѣ послѣ Огаревъ взяты. Наша прогулка на кладбищѣ была также разставаніемъ съ другимъ элементомъ юности, съ тихой, гармонической симпатіей,—желѣзные руки приняли меня изъ твоихъ рукъ. Но я былъ высокъ, чистъ, я очищеніемъ 9-ти мѣсяцевъ, страданіями и лишеніями, приготавлился къ 9 апрѣля 1835 г.—Это въ моей жизни *преображеніе*, ты матеріальная, земная по тѣлу преобразилась въ глазахъ моихъ въ ангела невещественнаго, святого. Сколько воспоминаній, сколько воспоминаній! Получила-ли ты мою статью?—Прощай, прости, что мало писалъ—я глупъ всѣ эти дни.

Твой Александръ.

1 января.

Пробило 12 часовъ! И вотъ 1-е января 1837 года! Ангель мой, другъ милый, неизмѣнный Александръ!

... Нѣтъ! Я ничего тебѣ не напишу, *вслушайся, всмотрись!*

Охъ, что-то скажетъ намъ этотъ незнакомецъ! Боже мой, Господи!

Ну, другъ, цѣлую тебя много, много, много... и до завтра,—я устала, мнѣ нужно отдохнуть. Не постель, не сонъ мое отдохновеніе (давно я отдала ихъ имъ), нѣтъ, утомленная, измученная, давно я не могла возвыситься до бесѣды съ Богомъ. Теперь я очистилась отъ земли.

Вечеръ 1-го января. Прелестное было утро сегодня! Я бы была довольна, если-бъ знала, что ты также провелъ его. Твое письмо отъ 2 и 3 дек. и Эмилія, какъ двѣ звѣзды, прорѣзали тучу... Нѣтъ, нѣтъ, мой ангелъ, я не страдаю! Не говори ты этого. Меня тревожить не грусть твоя, я знаю, испытала грусть, и грусть обо мнѣ возвышаетъ тебя, очищаетъ, она отраднa, сладка душѣ твоей и

угрызения... но Александръ, что бы ни было, ты мой, я твоя, мы одно, а вмѣстѣ мы прелестны, дивны, святы; другъ же безъ друга—жалкіе, несчастливые странники земные, люди!..

Эмилія все та же прелестная, эфирная, я ужасно ей обрадовалась. Много, много тебѣ сказала бы я, божество мое, но... но... вѣдь придетъ Макаш!.. Браслетъ отдамъ отдѣлать, стряпчій мой пріѣхать. А ужъ портретъ не могу и придумать, какъ устроить теперь, догадаются, что для тебя. *Мысль ту* скажу тебѣ, какъ буду съ тобою. Боборыкны не пріѣхали и долго не будутъ по обстоятельству. Къ Сашѣ Б. братъ ея просилъ меня написать, и я *должна была* отказать!.. Люди! Люди!.. Я покойна, не весела, да я и не люблю веселья, моя грусть—второе чувство послѣ любви. Ангелъ мой, твоя Наташа.

5-е января. Почти недѣля,—а я ни строчки къ тебѣ... тяжело... Ужель 37 годъ будетъ также мраченъ; неужели, Александръ, я тебя не увижу до будущаго?.. Боже!..

Рѣдко, рѣдко вижу твой портретъ, еще рѣже читаю письма, а писать къ тебѣ... люди! Люди, что вамъ я сдѣлала?—Пріѣзжай, мой ангелъ, и не оставляй меня здѣсь долго, это и вообразить нельзя, *что здѣсь!*

Эмилія и въ другой разъ была у меня и еще болѣе принесла грусти. Она и маменька требуютъ, чтобъ я для безопасности отдала ей спрятать у себя письма твои; я не знаю опасности, давно она исчезла для меня, а воля ихъ,—съ письмами не разстанусь, развѣ ты этого захочешь.

Наконецъ, я готова высказать все кн[ягинѣ], но, вѣдь, она не отпуститъ меня къ тебѣ, подождемъ. Ты обо мнѣ не безпокойся, другъ мой, я тверда.

Твои письма аккуратно доходятъ до меня, а мои, кажется, долго не отсылаются на почту.

Какъ тать пошная оглядываюсь. Прости, мой ангелъ! Ахъ, да когда же я буду съ тобой? Милый, когда, когда?

6-е января. Три года тому назадъ, что было въ этотъ день? Я думаю, ты помнишь.

Наконецъ, меня свозили и къ папенькѣ! Ты не можешь вообразить, сколько утѣшаетъ меня свиданіе съ маменькой, ся вниманіе, ласки; долго послѣ того не могу я назвать кн[ягиню] маменькой.

Ни о чемъ теперь я не молюсь, мой Александръ, какъ только-бъ взглянуть на тебя. Вѣрю, вѣрю, какъ нельзя больше, что для тебя нѣтъ лучшаго существа, другой Наташи...

Просыпаюсь... и уже дрожу вся отъ мысли, что еще далеко *тотъ день...* особенно послѣднее время. Часто глядя на кн[ягиню], я готова сказать: «пустите меня къ нему, отдайте ему меня». Именно наша жизнь должна быть необыкновенная, сколько я ни слышу, ни вижу—ни одной не позавидовала, я хочу жить только той жизнью, которую можешь дать только ты.

Теперь не прежняя пора воли и свободы. До свиданья, душа моя...

8-е января. Вчерашній вечеръ меня не было дома; одна, безъ *нихъ...* и этого уже слишкомъ довольно, не правда-ли, другъ мой? Но скажу гдѣ я была: въ театрѣ!—Сначала мнѣ грустно было: чѣмъ болѣе свѣта, тѣмъ темнѣе въ душѣ, чѣмъ многолюднѣе, тѣмъ чувствительнѣе мое одиночество. Долго сидѣла я задумавшись, даже не замѣчая ни что на сценѣ, ни что вокругъ меня, но маменька, сидя за мною, сказала: «какъ Сашенька будетъ радъ, что ты была въ театрѣ». Конечно, я *должна* веселиться. Тутъ я могла восхищаться прелестною увертюрой Обера.

Ришардомъ, Сонковской, Оттаво — словомъ, я была въ театрѣ! Не менѣе занимательно было наше домашнее представленіе, гдѣ дѣйствующія лица к[нягиня] и Левъ Ал. Подгора часа онъ бранилъ ее за меня. Благодарю! Въ 12 часу пріѣхала я домой, въ ухахъ увертюра, въ глазахъ Фенелла, въ душѣ ты! Долго не спала я. Часть отъ часу мнѣ становилось душнѣе, — что мнѣ Фенелла и весь театр! Хоть вѣкъ спать, лишь бы снился ты! Съ этимъ закрыла я глаза и. вообрази, мой ангелъ, видѣла всю ночь тебя, будто ты пріѣхалъ, я бѣгу къ тебѣ, смотрю на тебя, но, Боже мой, это сонъ, только сонъ, а въ самомъ то дѣлѣ я смотрю на... что ужъ и говорить, за три пріема пишу эту страницу! Какъ душно вчера мнѣ стало въ театрѣ, представлялась Италия, наша Италия, Александръ! а тебя не было со мною.

Нельзя писать, ну что-жъ? Я зато пойду посмотрѣть картинки; мнѣ кажется, на нихъ цвѣтутъ твои мечты и придаютъ красоту и ароматъ мнѣ, встрѣчаясь и сливаясь съ ними. А Боборыкины не пріѣдутъ до будущаго года... Эмилія пріѣхала... о, Александръ!..

9-е января. И забыла описать тебѣ прелестное мгновеніе. Рано вырвалась я изъ дому всѣми неправдами, ѣхавши въ театръ. Папенька еще спалъ, такъ тихо все, всѣ шепчутъ, я отправилась въ гостиную, полная луна освѣщала всѣ комнаты, одна... раздолье!.. Зажгли лампу, пришла Маша. . прощайте мечты! — Много разъ еще я перечитывала *Ceci tuera cela*, да—но, Александръ, когда-жъ я буду заниматься съ тобою? Пора, мой ангелъ, ты долго зажился въ Бяткѣ.

10-е, воскресенье, 11 час. вечера. Спасибо Маттею, она опять переѣхала къ намъ, и мнѣ нѣтъ мѣста наверху. — Теперь вся ночь моя! Я одна въ цѣлой гостиной, просторъ дышать, мечтать. писать! Какъ я весела, довольна, не оглядываюсь, не прислушиваюсь. . Александръ, ангелъ мой, я съ тобою!

До сегодняшняго дня въ душѣ моей была разлита какая-то мрачность, бессиліе, страданье;— жестокость и чернота людей меня подавили, какую-нибудь минуту удавалось мнѣ писать къ тебѣ, и каждая строка — ропотъ, несвязный звукъ. Теперь душа покойнѣе, свѣтлѣе, все забыто, прощено и всѣ забыты. только ты, другъ мой, со мною. Быть одной—блаженство. Это лучше театра, лучше концерта!

Ты говоришь, что я заражаюсь твоею душой, то-есть, ты хочешь сказать, зачѣмъ моя душа чувствуетъ боль души твоей, зачѣмъ страдаетъ твоимъ страданьемъ? Если-бъ душа твоя не была моею душою и моя твоей, тогда-бъ ты былъ отъ меня какъ небо отъ земли и странно-бъ было между нами малѣйшее сходство, но когда мы одно? Пятна твои пятнаютъ и меня, не твоя одна, и моя кровь должна литься, чтобъ смыть ихъ, и мы это видимъ на опытъ. — Но не для того соединилъ насъ Богъ, чтобъ умножать пятна, чтобъ глубже падать, нѣтъ! Мы другъ для друга — свѣтильникъ, ходатай, лѣстница къ Нему. Ты однимъ мановеньемъ, взглядомъ, существованьемъ своимъ слѣлалъ изъ меня ангела; не такъ обширны силы мои, не тотъ взоръ, мнѣ потребно болѣе труда... но я назначена, создана для того и достигну!

Странно, съ нѣкоторыхъ поръ я непрерывно жду тебя (какъ будто ты писалъ мнѣ, что скоро будешь). Смотрю на улицу, въ дверь... позвуютъ-ли меня, я вся вспыхну, не о твоемъ-ли пріѣздѣ скажутъ мнѣ, — иль это предчувствіе, тайный вѣстникъ сердца? Пора! Довольно жить мечтой, надеждой, сномъ, — довольно. О, какъ сердце кипитъ, рвется... Три года ждать каждый день, каждый часъ, каждую минуту, и только ждать, три года!... — Душа моя! Милый другъ

мой, Александръ. Ну, что писать? Возьми цѣлую тетрадь, она полна однимъ, все однимъ. Крутицы, Разлука, Будущее!

Быль Вадимъ у насъ. Я не могла его видѣть равнодушно: они уѣзжали въ Харьковъ, а тебя взяли тогда, все это вспомнилось.

Нѣтъ! Что ни думаю, какъ ни размышляю, какъ ни покоряюсь Провидѣнью, — душа томится, вянетъ безъ тебя...

Нѣтъ, по тебѣ, по тебѣ...

Прощай, хоть письма твои почитаю.

9-е января.

Ты теперь уже давно получила, Наташа, отвѣты на письма, въ которыхъ упрекала меня въ грусти, въ этомъ демонѣ, смущающемъ мою душу. Можетъ, въ нихъ были фразы, которыя тебѣ не понравятся, — впередъ прошу простить. Такъ написалось! Сверхъ всѣхъ причинъ, у меня въ самой душѣ есть зародышъ тоски, несмотря на всю живость характера. Безъ всякихъ внѣшнихъ побужденій я впадаю иногда въ задумчивость мрачную и давящую. Таковъ былъ Байронъ, мучившій непрерывно самъ себя призраками и идеальными понятіями. Твое присутствіе разсѣетъ все это, твои письма — единственное спасеніе теперь. Гюго говоритъ, что человѣкъ съ талантомъ похожъ на Мазепу, привязаннаго къ хвосту дикой лошади. Лошадь влечетъ его по камнямъ, по холмамъ, онъ избитъ, полумертвъ и воскресаетъ торжествующимъ. Да, но ежели послѣ всѣхъ мученій, страданій не будетъ торжества... Будущее нѣмо и завѣшено, оно, можетъ, смѣется этимъ гаданьемъ. Но зачѣмъ-же, ежели какому-нибудь человѣку ничего не предоставлено сдѣлать, кромѣ *прожить* свой вѣкъ, зачѣмъ-же внутри его души кричитъ неумолкаемый голосъ: «тебѣ душно, тѣсно, въ тебѣ есть сила, создай себѣ міръ дѣятельности, раздвинь узкія границы жизни, положи новую колею въ пути ея, разлей огонь, который въ твоей душѣ, подѣлись мыслью и чувствомъ съ людьми». Зачѣмъ? Сколько людей спокойно и безмятежно живутъ въ маленькомъ кругу дѣятельности, я уже не говорю о людяхъ безъ всякихъ способностей, нѣтъ, люди очень умные, очень добрые... и очень пошлые. Бываютъ минуты, я имъ завидую, но это минуты усталы, утопленія. Могла-ли-бъ ты, моя прелестная подруга, сестра, могла-ли-бъ ты любить меня, ежели-бъ я былъ изъ числа *этихъ добрыхъ людей*... У нихъ своя любовь, свои идеалы съ запахомъ кухни и домашняго благосостоянія.

Дай Богъ имъ долгіе дни!

Двадцать четыре года — время, въ которое у другихъ юность въ полномъ цвѣтѣ, въ полномъ разгулѣ, гдѣ еще призраки принимаются за дѣйствительность и чаша жизни еще полна, еще не почата. А я! Взгляни на мое лицо, истомленное страстями, мыслями, обстоятельствами, избыткомъ счастья и избыткомъ несчастья. Въ 24 года я усталъ жизнью, и что было бы со мною, ежели-бъ твоя любовь не слетѣла ко мнѣ съ неба, когда я, сбившійся съ дороги, мрачный, унылый, преслѣдуемый дикими звѣрями, готовъ былъ потерять остальной дрожащій лучъ надежды. Съ твоей любовью обновилась душа. И зато какую любовь, какое поклоненіе принесли я моей спасительницѣ, моей Беатриче. Я не искалъ, кому отдать свою душу, — Провидѣнье само распорядилось. И кто смѣлъ бы взять эту больную душу съ ея судорожными движеніями, съ ея необъятными требованіями? Кто, кромѣ тебя, Natalie!

10 января. Заниматься продолжаю архитектурой, — вѣка прошедшіе встаютъ со своими пирамидами, храмами, соборами и разсказываютъ свою жизнь; слава Богу, что можно переселяться въ то время, когда не пугались великаго, когда изыщное считалось необходимою потребностью. А теперь — переходъ болѣзненный, гдѣ все высокое спитъ, гдѣ только думаютъ о матеріальныхъ нуждахъ, и горе тому, кто не падаетъ съ головою въ болото. Послѣ огромной войны 1812 года явился человекъ гениальный, хотѣвшій гору превратить въ храмъ, хотѣвшій камню дать силу текста евангельскаго, посвятившій всю жизнь одной мысли, — этотъ человекъ былъ не на мѣстѣ въ нашѣмъ вѣкѣ, его понималъ благочестивый царь, во современники не поняли, осvistали, отравили, очернили. Это — Витбергъ, но его подвигъ не умереть, его память, какъ память страдальца Тассо, вдохновить поэта и стать рядомъ съ строгими, важными тѣнями людей, которые пренебрегали всѣмъ земнымъ для одной высокой мысли.

Повѣсть моя остановилась; но все еще не бросаю, хочется выразить мысли, заповѣдныя въ душѣ, хочется еще облечь въ образы всѣхъ дѣйствовавшихъ на мою жизнь; я тебѣ однажды писалъ (кажется, изъ Крутиць), что я набралъ въ сколю барельефовъ изъ своей жизни, тамъ Еmilie, тамъ есть другіе и вслѣдъ *ты* и *Оларевъ*. А какъ приходится писать, — все недостаточно, у людей съ истиннымъ талантомъ этого не бываетъ. Впрочемъ, одинъ барельефъ изсѣченъ вѣрно, это — Мед., можетъ, потому, что она слишкомъ сильно потрясла мою душу, слишкомъ выказала слабую душу мою.

Я хотѣлъ писать очень много, не могу, одна мысль, около которой обвилась душа моя, — это, что не будетъ писемъ. Пиши хоть маленькія, нѣсколько строкъ. Пришла пора бросать маску; ежели не будетъ въ самомъ дѣлѣ писемъ, я напишу папенокъ; буду требовать, мой голосъ имѣть силу. И хоть бы малѣйшая положительная надежда на возвращеніе. Ну, Провидѣнье воспитываетъ круто, оно закаляетъ душу, какъ дамаскинный кинжалъ, а ежели душа не вынесетъ закала, — ну, такъ бросить ее. А каково тогда будетъ брошенной душѣ?... Да дѣло не въ ней, дѣло во всемъ человѣчествѣ, я понимаю это, часто можетъ человекъ страдать, быть несчастливымъ; ну, попробуемъ силу, такъ и быть, есть, что-ли, еще на душѣ, на сердцѣ у меня мѣсто, въ которое можно ударить, — надобно поискать, есть-ли?.. Это смѣшно... Главный ударъ невозможенъ, твою любовь нельзя отнять, она останется при мнѣ, остальное какъ-нибудь слажу. Твоя смерть — ей-Богу, и это невозможно, тогда переломится орудіе, нѣтъ, это невозможно. Прощай, ангелъ, ангелъ. Нѣтъ, буду твердъ, на смѣхъ имъ буду твердъ; по слѣдующей почтѣ отвѣтъ на твои письма.

Твой Александръ.

13-е января. Ангелъ мой! Получилъ твои письма до 29 декабря. Ты, ты — во всякой строкѣ, но это письмо поразило меня, я не могъ плакать, я вскопчилъ, какъ дикій звѣрь, котораго дразнять, бѣшенство, а не огорченіе! — *Я не буду получать отъ тебя писемъ или очень редко.* Возьмите все, люди, все, только оставьте эти письма. Неужели и это, нѣтъ, тутъ не найду я твердости. Цѣлыя недѣли я живу надеждою на твои письма, и не получаю ихъ. О, Наташа, это больно, очень больно. Это священная капля росы, которая падаетъ на страдальческую душу, и ее хотятъ отнять;... но какъ-бы то ни было, я готовъ вынести; можетъ, этимъ мирится со мною Провидѣнье, можетъ, это наказаніе, которымъ излечиваются угрызения совѣсти, смываются пятна, — но наказаніе же-

стокое. Вотъ мои руки, куйте ихъ въ цѣпи, и я не поморщусь,—но не получать писемъ отъ тебя—здорѣ! Проклятіе на толпу. Emilie въ Москвѣ теперь. Emilie! Другъ, ты найдешь средство доставлять мнѣ хоть изрѣдка письма отъ Наташи. Ты можешь тогда гордиться тѣмъ, что одна ты дала средство, чтобъ душа моя не увяла подъ этими ударами.

13 января [Вятна].

Александръ простить Наташѣ.

Александръ прощать тебѣ, прощать ангелу... о, я видѣлъ избытокъ любви, съ которымъ были писаны упреки; нѣтъ, не прощать, а прижать тебя къ груди и одними объятіями, одними поцѣлуями выразить все, выразить и на минуту не существовать въ этомъ мірѣ, а вырвать эту минуту отсюда. Я писалъ тебѣ давеча со слезами на глазахъ, не прошло 6 часовъ, какъ отправилъ письмо, и хочу опять писать. Когда же я дойду до предѣла любви? Эта страсть, эта симпатія къ тебѣ растетъ и пожираетъ кругомъ всѣ мелкія чувствованія,—я нашелъ средство еще болѣе полюбить тебя и съ тѣхъ поръ, какъ грозить другая разлука—прекращеніе переписки.

Такъ ты боялась разомъ читать мое первое письмо о любви,—ты хотѣла насладиться разсвѣтомъ. Ты задохнулась отъ этихъ словъ, которыя струею сгня подымались съ листа и жгли твое невинное, святое сердце, ты задохнулась отъ счастья; какъ живо вижу тебя съ этимъ письмомъ въ рукѣ, рука дрожитъ, пылаетъ лицо, грудь, душа,—и ты моя, моя навсегда, погибла, какъ говорятъ Марья Ст., начала жить полною жизнью,—скажу я (не правда ли, у меня съ М. Ст. разный образъ мыслей?).—Пусть пройдетъ эта полоса мрака и горести, ты найдешь на груди моей, найдешь все, чего искала мечта, клянусь, я еще болѣе тебѣ дамъ блаженства, нежели мечта вмѣщаетъ.

16-е января. Другъ мой! Я писалъ сегодня въ письмѣ къ папенькѣ: «я могу противъ 15-го января 1837 года поставить отмітку отъ души весело провести время», и повторю тебѣ. Это было рожденье Витберга. За нѣсколько дней тайно отъ него готовили всѣ мы живыя картины. Я былъ антрепренеръ, директоръ и пр. Наконецъ, въ самый день рожденья сцена поставлена, и онъ не зналъ, что будетъ. Картины сочинилъ я, и ты узнаешь въ нихъ мою вѣчную мысль, мысль о Наташѣ. 1-я представляла Данта, утомленнаго жизнью, измученнаго, изнуреннаго; онъ лежитъ на камнѣ, и тѣнь Виргилія ободряетъ его и указываетъ туда, къ свѣту; Виргилій посланъ спасти его Беатричей. Дантъ былъ я, и данные волосы, усы и борода и костюмъ среднихъ временъ придали особую выразительность моему лицу. 2-я—Беатриче на тронѣ: Лучія—свѣтъ поэзіи и Матильда—благодать небесная открываютъ вуаль; Дантъ, увидѣвъ ее, бросается на колѣни, не смѣетъ смотрѣть, но она съ улыбкой надѣваетъ вѣнокъ изъ лавровъ. У меня слезы были на глазахъ, когда я стоялъ у подножія трона,—я думалъ о тебѣ, ангелъ мой. 3-я—Ангель (роль ангела была дана Полинѣ) держать разверстую книгу, въ ней написанъ текстъ: «да мимо идетъ меня чаша сія, но яко Ты хочешь». Беатриче показываетъ грустному Данту этотъ текстъ,—Лучія и Матильда на колѣняхъ молятся. Уснѣхъ былъ болѣе, нежели ожидали. Александръ Лаврентьевичъ по окончаніи взошелъ на сцену со слезами, долго, долго жалъ въ своихъ объятіяхъ. «Какъ поднялась занавѣсъ, говорилъ онъ, я увидѣлъ вашу мысль, и кто, кромѣ васъ, взялъ-бы Данта и религіозный предметъ. Я самъ былъ тронуть и жалъ руки этого дивнаго человѣка. Требовали

повторенія: Я первый разъ слышалъ со сцены себѣ рукоплесканія. Повторили. Потомъ Александръ Лаврентьевичъ посадилъ меня на тронъ Беатриче и надѣлъ на меня лавровый вѣнокъ. Я изъ рукъ великаго артиста получилъ его и отчасти заслужилъ. — Вотъ тебѣ, ангель мой, описаніе всего дня, да, этотъ день провель я прекрасно. Беатриче была *m-me Wittberg*.

Полина благодарить много, много за кольцо, она дивится множеству работы за нимъ. Я показалъ въ твоемъ письмѣ Скворцову его фамилію, — онъ былъ въ восхищеніи, и въ самомъ дѣлѣ, ежели сильно слово іерія, который читаетъ имена за здравіе и упокой, то не важнѣе-ли еще, когда имя произнесено ангеломъ, какъ ты.

Этотъ лавровый листокъ изъ вѣнка, коимъ увѣнчалъ меня Александръ Лавр. — сохрани его въ воспоминаніе 15-го января 1837 г.

18-е января. Сегодня годъ, что умеръ Медвѣдевъ. Какъ теперь помню, я лежалъ на диванѣ у себя, когда челоуѣкъ пришелъ сказать. Я содрогнулся. Тогда-же поклялся спасти бѣдную женщину, и губилъ ее болѣе и болѣе, ибо дружба уже не принималась, искреннее участіе — получило другое истолкованіе. Ее надобно было спасти еще отъ двухъ другихъ бѣдствій, отъ бѣдности и отъ гнуснаго преслѣдованія. Я и Витбергъ, сколько могли, сдѣлали это. Что была-бы она безъ Витберга, — этого представить нельзя. Что за преслѣдованіе? — спросишь ты. Погоди, когда пріѣду въ Москву, я разскажу, и ты поблѣднѣешь отъ ужаса и отъ презрѣнія къ людямъ. Ты увидишь тогда, сколько надобно было твердости съ нашей стороны, чтобъ стать прямо защитниками, считаема несчастной; увидишь тогда, что значить городъ за 1.000 верстъ отъ Москвы, — гдѣ все дико, свирѣпо и необузданно. Не думай, чтобъ моя жизнь здѣсь была такъ тиха и спокойна, какъ воображаютъ. Здѣсь интриги со всѣхъ сторонъ, партіи, ссоры, и я лажу со всѣми, ибо считаю всѣхъ равно недостойными, чтобъ привязываться къ однимъ болѣе, нежели къ другимъ.

Недавно пришла мнѣ въ голову прегордая мысль: ежели ты такъ хороша, такъ небесна и изящна и отдалась мнѣ совсѣмъ, совершенно, то не долженъ-ли и я быть такой-же. Да! но во мнѣ этотъ лучъ свѣта раздробился, преломился и онъ, можетъ, ярче твоего, — знаешь, какъ пурпурно и блестяще стекло на разбитомъ мѣстѣ, — а въ тебѣ онъ сохранился во всей чистотѣ и бѣлизнѣ. Зачѣмъ въ нашихъ картинахъ не ты, ангель мой, представляла Беатриче? Я рѣшительно боленъ по вашему свиданію, ничто, ничто, даже и самыя литературныя занятія не могутъ теперь занимать всю душу. Ты... ты и болѣе вичего въ груди, въ головѣ, въ сердцѣ, въ душѣ.

Прощенія нѣтъ. Прощай, ангель, святая моя, мое все, все, моя Наташа.

Твой Александръ.

12 [января].

Вчера получила твою статью «Первая встрѣча»; ты все спрашиваешь моего мнѣнія, я съ восторгомъ читала ее, для меня прелество, тутъ все знакомое, родное, твое все. И кстати получила я ее: тысячи гирь тянули меня къ землѣ, но слова твоего незнакомца заставили меня краснѣть и воспрянуть, и тутъ-же взоръ мой походилъ на Маріевъ, которымъ онъ смотрѣлъ съ развалинъ Каррагена на Римъ. Не стоитъ, вѣдь, писать о томъ, какъ *встрѣча* была принята *и.и.*, теперь-же некогда.

Послѣ завтра рожденіе Александра Лаврентьевича! вмѣсто подарка, приношу ему душевное поздравленіе, цѣлое море искреннѣйшихъ желаній; также и тебя, другъ, поздравляю съ именинникомъ; когда-нибудь этотъ день мы все вмѣстѣ будемъ праздновать. Что-жъ, ангель мой, письма отъ тебя нѣтъ? двѣ недѣли ужъ почти, можно-ли это? Ну, прощай, ужасно тороплюсь. Цѣлую тебя, другъ мой.

Когда-жъ ты поѣдешь по губерніи? Самыя послѣднія строчки въ статьѣ расстрогали меня, опять взволновались все чувства, явившіяся при твоёмъ отъѣздѣ—дорожный... жандармъ... слова, которыми нанесено столько ранъ моему сердцу.

13-е. Александръ, другъ мой, когда-жъ конецъ моему заключенью? Когда конецъ возвращенью твоему? О! тяжело... душно!.. Я изнемогаю, но не падаю! Нѣтъ, пережиты томительныя 10 лѣтъ, перенесены кровавыя 3 години... Господь поддерживалъ меня, а теперь любовь... она второе Провидѣнье. И съ какою же гордостью, съ какимъ торжествомъ тогда мы скажемъ: «мы перенесли это», но теперь-то тяжело. Вчера я, сколько можно, смотрѣла на твой портретъ (и день бы цѣлый не оставила его, если-бъ оставили меня), легко груди, изливъ на этотъ милый образъ слезу, вздохъ... Онъ, кажется, чувствуетъ, отвѣчаетъ, но рѣдки и эти мгновенья. Остальное время я не знаю, на что похожа моя жизнь, зачѣмъ же тебѣ пишу я это? Это должно тебя тревожить, огорчать, но ужъ давно я сказала: одно страданье намъ, одно блаженство. Но ты не безпокойся много, среди всехъ этихъ ужасовъ я часто прихожу въ восторгъ и на глазахъ выступаютъ слезы сладостныя,—это минуты твои, мой ангель.

14-е. Любовь моя не можетъ долго оставаться секретомъ въ нашемъ домѣ: почти все знаютъ; Макашина догадывается или слышала отъ кого-нибудь, только, кажется, боится вѣрить этому; даже эта толстая попадя понадея говорила к[нигинѣ], что видѣла во снѣ моего суженаго—точь въ точь—ты! Видно по всему—скоро развязка! Давно пора,—да вотъ что еще забавно—Мак. на каждомъ шагу мнѣ говорить «берегись!» Душно, силъ нѣтъ! Вздоръ, можно все перенести!

Что-то подумалъ папенька, читая въ твоей «Встрѣчѣ»: «Свиданье послѣ мрачной разлуки, разлука послѣ мрачнаго свиданья»... въ Кру. Ты ни съ кѣмъ не была разлученъ долѣе, какъ со мною, и свиданье же 9-го апрѣля! Папенька очень ко мнѣ хорошъ послѣднее время, но... но... Ахъ, если-бъ переносить все безъ ропота!..

Можетъ, завтра или еще уже—твое письмо, и вмѣсто стона гимнъ, и вмѣсто тучи солнце.

Желала-бъ я очень выписать многое изъ твоей «Встрѣчи» для Сашы Б.; она жестоко больна тѣломъ и душой, но рѣшительно нѣтъ возможности. Эмилія еще не читала ея, но знаю,—и ей принесетъ она много. Я получила ее съ сильною радостью и въ то время, какъ перечитывала съ восторгомъ въ третій разъ про себя, заставили меня читать вслухъ. Хотя ужъ и прежде чтенія осыпали меня и съ тобою соромъ, бранью и дрожью,—что мнѣ до того! Я читала громко, ясно, даже останавливалась на томъ, что меня болѣе восхищало, перечитывала и голосъ задрожалъ на томъ мѣстѣ, гдѣ *мчалась коляска*, и я не боялась вздохнуть и призадуматься... *Встрѣча*, воскресивъ душу, всю мрачность минувшаго и всю святость настоящаго, убива способность притворяться или, лучше, умертвила вовсе страхъ земной. Пусть ихъ видяты (если могутъ видѣть), что я восхищаюсь тобою, поклоняюсь тебѣ, боготворю, люблю тебя, пусть, они не отнимутъ у меня ничего. Изліявіе этого восторга—не довѣренность къ нимъ, не призваніе, нѣтъ:

развѣ солнце унижается или теряетъ свѣтъ, проникая и самыя норы змѣиныя, а это люди! Письмо, письмо скорбѣй, я жажду, источникъ жизни моей и блаженство, Александръ! О, если-бъ не ты!

15-е января. Пусть кругомъ меня канава нечистоты, пусть они меня душатъ своимъ ядовитымъ дыханьемъ (зачѣмъ я говорю это?.. Но на что-жъ въ самомъ дѣлѣ ихъ дыханье ядовито?) Пусть это домъ княгини Хованской, пусть на мнѣ цѣпи, и я посреди васъ! Вотъ рука моя тебѣ въ доказательство, вотъ другая великому новорожденному. Вы оба Александра, оба великіе, великіе и душой и бѣдствіями, можетъ, все въ васъ сходно... но ты, ты, ты мой Александръ!

17-е. Съ именинницей, другъ мой! О, какъ бы хотѣлось мнѣ самой быть у нея, но все, все еще предстоитъ намъ въ будущемъ. У меня нѣтъ маленькихъ желаній: прежде, — люди губили ихъ, они исчезали, какъ едва расцвѣтшій цвѣтокъ отъ холодныхъ утренниковъ, потомъ, потомъ — потомъ солнце поглотило звѣзды. Но есть желанія, о!...

Наконецъ, твое письмо отъ 1-го января; впередъ не рви твоихъ писемъ ко мнѣ, я мучилась 2 недѣли. Грустное впечатлѣніе сдѣлалъ на меня отъѣздъ Полины, всей душой жаль ее. Сейчасъ была у меня Emilie, прости! Нельзя болѣе писать, я дала ей «Встрѣчу», какъ лекарство страждущему, часто читала я ее и болѣе разговоръ съ незнакомцемъ. Ангель, прощай.

Вечеръ. Бѣдная Полина, я все объ ней думаю, но, впрочемъ, что-жъ? Не для друга-ли она жертвуетъ собой? Я, нѣтъ, я теперь друзьямъ не пожертвую собой, я твоя, а она..., но на что-жъ мои разсужденія, когда есть Провидѣнье?

Ты жалуешься на людей, Александръ, да, вспоминая о нихъ, никогда нельзя быть вполне счастливыми. Видѣть братьевъ страждущими, угнетенными несчастьемъ, бѣдствіемъ —сносно, не правда ли, Александръ? Потому что за этими ранами виднѣтся вѣнецъ блаженства небснаго, за этой ничтою — чертогъ божественный, въ ихъ стонахъ отзывается голосъ чистой, святой, напоминающей о раѣ, — а видѣть брата съ сердцемъ желѣзнымъ, видѣть его во мракѣ здѣсь и тамъ и не имѣть возможности спасти его... о, тутъ нѣтъ отрады, нѣтъ утѣшенія и ужъ не слезы льются тутъ, а кровью плачетъ сердце. Оттого-то такъ мнѣ и несносно быть окруженной этими истинно несчастными братьями... Перевернуть нельзя листа, затрешить, бѣда... Итакъ, душа моя, пріятный сонъ!

18-е. Нѣсколько ночей сряду видится все мнѣ, будто ты пріѣхалъ; скоро-ли же, скажи, мой ангель? Заждалась тебя Наташа, изныло все сердце ея, почти полгода протекло съ августа 36, такъ и быть, если еще мѣсяцевъ 6... О, ужасно..., но я переживу ихъ, если-жъ долѣе? — Опять скажу, какъ не вынести за твою любовь, какъ не вынести? Сердце вянетъ, глядя на тѣхъ, чья жизнь, какъ сонная прудовая вода, хоть и въ зеленыхъ берегахъ она, хоть и покойна, ... но что въ ней? Не хочу жить той жизнью я: «*Mich ruft der Herr zu einem anderen Geschift.*»

Вечеръ. Да, Жаннъ д'Аркъ довольно было освободить городъ отъ осады; мнѣ — имперіи цѣлой спасти мало, ибо мнѣ предназначено спасти Александра. Недаромъ же свѣтитъ душа моя, недаромъ исчезаетъ вся вселенная передъ любовью моей, недаромъ страданья эти и муки... Господи, я вѣрую. Придетъ пора; должна придти пора, когда я скажу словами, душой, сердцемъ, всѣмъ существомъ монмъ, тобою, — *совершилось!* и потомъ:

Hinauf—hinauf—die Erde flieht zurück—
Kurz ist der Schmerz und ewig ist die Freude!

19-е. Нѣтъ, нѣтъ, не говори, другъ, что Полина *столько же* несчастна, сколько Еmilie, не говори; ты, не обдумавъ, это сказалъ, вникни: *обманута любовью*, а что такое любовь?— Полина, — у нея есть будущее, у нея есть сердце, полное жизнью и чувствомъ, у нея природа, у нея вселенная, твоя дружба у нея, а Еmilie... Ты говоришь, что у нея въ воспоминаніи есть свѣтлая полоса... Ангелъ мой, лучше бы ея не было, ибо за этой полосой исчезаетъ все для нея: и жизнь, и чувства, весь міръ, я думаю и такъ быть должно, что и мы для нея ничто, или малое. И что для нея за дверью гробовой? Вѣчность безъ него!.. Нѣтъ, пусть ѣдетъ Полина, да благословится путь ея, онъ теменъ, мраченъ и дологъ, можетъ быть; но она еще молода, взойдетъ ея солнце, взойдетъ... А для Еmilie ужъ все отцвѣло, порывы бурь умчали ея весну; ни надежды, ни настоящего, ни будущаго, ничего нѣтъ! Она должна была оставить домъ Наумовыхъ, гдѣ нашла хорошихъ людей. Куда-то еще забросить ее судьба!

Твою руку—прощай!

Наташа.

Москва, января 22.

Сейчасъ твое письмо!! — И страхъ сердита на себя, но въ самомъ-то дѣлѣ не виновата. Я знала, какъ огорчить тебя вѣсть, что не будешь получать отъ меня писемъ, но могла-ли утаить отъ тебя это, будучи совершенно увѣрена, что всѣ средства отняты?.. Ангелъ мой, успокойся, но что же мнѣ увѣрять тебя еще, когда цѣлыхъ 2 листа у тебя въ рукахъ? Остается только благодарить невозвѣрную низость Макаш. Узнавши о перепискѣ, она сначала боялась скрыть ее, и видно было, что совершенно рѣшилась пересказать все к[нягинѣ]; потомъ, увидѣвши мою твердость и гордость, кажется, усомнилась и уже боялась, донеся, *можетъ быть*, ложное, навлечь себѣ тьму неприятностей и быть выгнанной изъ дому, хоть за то она и много напѣваетъ к[нягинѣ]. Хотя еще меньше воли и свободныхъ минутъ, но все-таки есть *иногда возможность* съ величайшею осторожностью, вооружась тысячею глазъ, взять перо и лоскутокъ бумаги. Что мнѣ до того, что я не виновата передъ тобою, когда черезъ меня ты, ангелъ мой, уже изстрадавшійся, истерзаный, огорченъ еще, уязвленъ глубоко! Но я думаю, послѣ того письма получилъ еще, и сердцу легче. По неизъяснимому милосердію этихъ жесткосердыхъ, я теперь наверху и могу писать.

Такъ, мой ангелъ, божественный другъ, спаситель мой во всѣхъ превратностяхъ, въ мукахъ сердца и въ судорогахъ души твоей, тебѣ можетъ быть утѣшнемъ то, что вездѣ всегда твоя Наташа—*твоя Наташа*. Ты не обмануть! Ропщи, грязная толпа, вздымай свои пѣнистыя волны, гордое море, бѣшенствуй, раздирайся Этна, не достать вамъ звѣзды, не затьмить вамъ ея. Нѣтъ! Это можетъ только одно солнце...

Александръ, не прощу я тебѣ, если ты будешь изнемогать, иди, иди, пусть подъ ногами тернія, пусть на голову твою сыплется каменный дождь, пусть въ грудь сотни стрѣлъ,—тамъ, на концѣ этого пути стоитъ твоя Наташа, тамъ конецъ и ея пути страдальческаго, тамъ... Иди! иди! иди! я иду!

Наконецъ, я не умѣю выразить, что такое твой портретъ; я смотрю на него, говорю ему, иногда громко, и чувствую его теплое дыханье, и вижу огонь твоихъ очей, и слышу голосъ твой! Витбергъ, Витбергъ, ты понялъ Наталію?—Не правда-ли, ты покойнѣе, мой Саша, а я все тружусь надъ Орлеанской дѣвой, изъ которой есть отрывки въ моей нѣмецкой книжкѣ, переведенной достать не

могла, хочу непременно понять вполне по-нѣмецки; хотя и это занятіе для меня подъ желѣзной рѣшеткой, но, вѣдь, какая бы ни была рѣшетка, она все рѣшетка и сквозь нее видно!—Другъ, ангелъ мой, ради меня будь повеселѣе. Пока прощай, милый. Еще хочется почитать твое письмо, а времени остается немного.— Какъ мы счастливы!

23-е января. Ты пишешь о людяхъ, чья жизнь течетъ тихо и безмятежно, и говоришь, что иногда завидуешь имъ. Я думаю, Татьяна Петровна помнитъ нашъ разговоръ, когда еще мнѣ было 14 лѣтъ; тогда только ей повѣряла я свои думы съ тайнымъ желаньемъ узнать, сходны-ли онѣ съ твоими; такъ и тогда эта счастливая жизнь не имѣла для меня ничего привлекательнаго; нѣтъ, юная, почти дѣтская душа уже постигала высшую цѣль созданнаго по *Ею образу*, и тогда уже она предчувствовала міръ другой, совершенно несходный съ тѣмъ, въ которомъ заслужить отъ *всѣхъ доброе имя* и имѣть добраго мужа есть верхъ блаженства! И тогда еще тайный пророческій голосъ говорилъ мнѣ: «не туда твой путь», и пророчество его сбылось. Меня бы никогда не стало облечься въ полное вооруженіе *хорошей хозяйки* и выступить на поприще обыкновенной жизни. Я бы не вынесла. И потому-то съ этими крыльями, съ этимъ стремленіемъ я не могла успокоиться до тѣхъ поръ, пока не было отвѣта на вопросы: *Что я? Для чего я? Куда я?*—Теперь я знаю, что я на *своемъ мѣстѣ* и пусть вырастаютъ изъ земли новыя Этны, пусть на мѣстѣ Уральскаго хребта будетъ бездонная пропасть, пусть потрясется вся земля, я останусь на *своемъ мѣстѣ*.

А что ты *иногда*, можетъ, завидуешь безмятежнымъ свѣтлымъ днямъ тихой жизни... О! Я это очень понимаю, только перестань, другъ мой, завидовать имъ; я знаю, ты перестанешь.

Еще холодное сомнѣніе оковываетъ душу твою: «можетъ, будущее—мрабъ. можетъ, тамъ насмѣшка, а не исполненіе нашихъ мечтаній и надеждъ» — можетъ! Но Александръ! Развѣ не довольно было бы для насъ предстать предъ *Нимъ* побѣдителями всѣхъ золъ и бѣдствій и самихъ себя? И развѣ тогда осталось бы еще сомнѣніе въ блаженствѣ вѣчномъ, неземномъ?—Но мы много страдали, много, и на землѣ для насъ должна начаться та жизнь, которою будемъ жить въ небесахъ.

Вотъ, наприимѣръ, женился профессоръ Веселовскій, жена его была мнѣ знакома въ дѣвкахъ, и всѣ кричатъ: «ахъ, какъ она счастлива! Не имѣя ничего, вдругъ—мужъ профессоръ и 10.000 дохода! И она говоритъ: «какъ я счастлива, та сѣге, если-бъ Богъ вамъ далъ такую же судьбу!»—Благодарю за желанье и желаю, чтобъ оно осталось при ней, хотя и профессоръ... но, *nich gift der Herr zu einem anderen Geschafft!!* Хотя и десять разъ принимаюсь за перо, но страница написана, прощай мой міръ, мой рай!

Вечеръ. Это чудо! Можно ли еще что выдумать къ моему угнетенію, неужели бы у нихъ стало настолько ума? Если станетъ — пусть! Только ты, мой Александръ, можешь повѣрить, какъ я выше всего этого, ибо только ты одинъ во всемъ свѣтѣ понимаешь меня вполне.

Не далѣе какъ сегодня сдѣлала я надъ собою замѣчаніе (ты знаешь ли это, что даже выходъ въ другую комнату мнѣ запрещенъ, даже переимѣна мѣста въ той же комнатѣ). Давно не играла я на фортепіано, подали огонь, иду въ залъ, — авось либо смилосердятся! Нѣтъ, воротили, заставили вязать; пожалуй, только сяду у другого стола, подлѣ нихъ мнѣ невыносимо,—можно-ли хоть это? Нѣтъ, непременно сидь тутъ, рядомъ съ понадѣй, слушай, смотри, говори! Фу!

На минуту мнѣ стало досадно, я покраснѣла и вдругъ тяжелое чувство грусти сдвинуло грудь мою, но не оттого, что я должна быть рабою ихъ, нѣтъ, а мнѣ смертельно стало жаль ихъ,—чьи они рабы? И тутъ я сидѣла цѣлый вечеръ, глядя на нихъ съ состраданьемъ и возносясь духомъ къ той непостижимой благодати, которая такъ много излилась на меня и такъ многого лишила ихъ. Я не сердилась на нихъ, нѣтъ, мнѣ хотѣлось открыть покровъ, которымъ завѣшено отъ нихъ все высокое и святое, хотѣлось подѣлиться съ ними... Но и это не въ моей волѣ!

24-е, воскресенье. Недавно ушла отъ меня Emilie, она кажется покойнице, — но ужъ что объ томъ говорить!

Все та же дружба, то же самоотверженіе — прелестна Emilie! О монастырѣ мысль кажется блѣднѣетъ; впрочемъ, мысли ея теперь нестойанны. Она отдала сдѣлать для тебя браслетъ, на который я жертвую третью долю косы. Какъ ждетъ она тебя, говоритъ, что твое возвращеніе возвратило бы ей половину жизни. А неправда-ли. Александръ, какъ сбылось ея пророчество при твоёмъ разказѣ объ Эмили Гебель, еще ты былъ за это въ неудовольствіи на нее?—Но это странно, въ самомъ еще счастья она, бывало, призадумывалась и говорила, что оно измѣнить ей. Видно, всегда въ сердцѣ есть тайный вѣстникъ, — о, и мой вѣстникъ не обманетъ меня, я дождусь, дождусь тебя, мнѣ прежде могилы отворятся врата небесныя.—Да, это иначе не можетъ быть, это говорить голосъ моей души.

Благодаря M-me Mathey я каждый вечеръ хожу съ нею часъ или полтора по комнатамъ. Она глуха, не въ духѣ, — и вотъ мнѣ раздолье думать. Признаюсь, хотъ бы только для этого желала я, чтобъ она пожила у насъ, но мнѣ жаль ее.

Опять къ *счастливой жизни добрыхъ* людей; со всѣмъ тѣмъ, что я счастливиѣйшая изъ смертныхъ, что небо меня не мανитъ, потому что тамъ нѣтъ еще тебя, — никогда мнѣ не приходило въ голову просить у Бога продолженія жизни, потому что, если-бъ и теперь умерла я, смерть для меня была-бъ переходомъ отъ жизни къ жизни, отъ блаженства полунебснаго въ совершенное. А они, то-есть, добрые счастливицы, сколько-бъ ни прожили, все имъ кажется мало, потому что они не живутъ, а влчатъ цѣль годовъ, исполненныхъ обѣдовъ, вечеринокъ и тому подобное, а Вѣчность, Небо — это имъ незнакомое, чуждое, вовсе непонятное и, слѣдственно, страшное, и смерть, то-есть, Врата къ Богу, первѣйшее зло. Тяжело смотрѣть на ихъ жизнь, она стираетъ съ человѣка подобіе Божіе и удоболяетъ скоту. О, если-бъ открылись очи ихъ! Мы не доживемъ съ тобой до этого, но отрадно, восхитительно думать, что когда-нибудь цѣлыя страны поймутъ цѣль *Это* и сольются въ одинъ потокъ, стремящійся къ ней, и отдадутъ сотни лѣтъ за одно мгновенье жизни!

Саша Б. больна, это меня очень огорчаетъ; если-бъ я могла быть съ нею, хотъ ночи у кровати ея, она въ ужасномъ одиночествѣ! Но кто-жъ великій не страдаетъ?

Я испытала еще новое чувство. Всѣ твои письма сохраняются очень далеко. Не стало у меня терпѣнья не видать ихъ такъ долго, прошу принесть хотъ взглянуть; только не знаю, съ кѣмъ изъ друзей свиданье у меня трогательнѣе свиданія съ милою, священной для меня книгою, въ которой у меня много, такъ много... можетъ полжизни, половина блаженства схоронено въ ней. Но я только успѣла взглянуть на нее, поцѣловать ее и опять толстая стѣна и желѣзный замокъ разлучили насъ, можетъ, очень надолго! Хотя и одна я въ горницѣ, но все прислушиваюсь и оглядываюсь. Прощай листокъ, пока еще ты не попался въ руки невѣрныхъ! А тебя, мой Ангелъ, я такъ цѣлую, какъ, можетъ быть, че-

резь годъ, или два, или десять (!) въ этотъ день, въ этотъ же часъ буду цѣловать. 25-е января, 7-й часъ вечера.

Къ ночи. Третьяго дня я пріятно очень провела нѣсколько часовъ, читала «Легенду» твою Сашѣ Клиентовой; она слушала ее не въ первый уже разъ, и я видѣла слезы восторга на глазахъ ея, и зато я съ большимъ чувствомъ перечитала для нея еще. Есть люди, которымъ мнѣ жаль дать «Легенду» и «Встрѣчу» или что-либо твоего произведенія, — «не разсыпайте бисера передъ свиньями». Я бы желала, чтобъ голое твоей встрѣчалъ во всѣхъ полный отзывъ, а не терлся-бъ попустому въ дикой пустынь.

26-е. Странный сонъ, но, можетъ, онъ сбудется и на яву! Вижу толпу усталыхъ странниковъ передъ нашимъ домомъ: извуренные, блѣдные, покрытые пылью, — они кланяются въ окна и просятъ чего-то; никто не обращаетъ на нихъ вниманія, ушла и я, потому что, кромѣ слезы и вздоха, мнѣ нечего дать имъ; прихожу опять, они еще все ждутъ... не пить-ли хотятъ они? И я побѣжала за водою, налила огромную кружку, напилась прежде сама, — вода необыкновеннаго вкуса и чиста какъ зеркало, — спѣшу съ радостью къ окну, зову этихъ несчастныхъ, подаю имъ сосудъ. . и что же? Они не приняли его, смѣются надо мною и всѣ расходятся! Я проснулась съ сжатымъ сердцемъ и до сихъ поръ не приду въ себя. Ужели этотъ сонъ пророческій? Ужели онъ обѣщаетъ, что и на яву цѣлая толпа жаждущихъ странниковъ отвергнутъ сосудъ съ цѣлебнымъ питьемъ, и бѣгутъ отъ посланнаго и надсмѣются надъ нимъ? — Да, смѣйся, толпа. всѣмъ дерзающимъ обратитъ тебя послѣ Того, Кого распяла ты. — Только я не забуду этотъ сонъ, можетъ, онъ напоминаетъ мнѣ, что мысли мои слишкомъ дерзновенны, не по силамъ, что я не въ самомъ дѣлѣ ангелъ спаситель для многихъ... Но что же маѣ эти многие? Богъ съ ними! Я бѣжала за водой, почерпнула, поднесла имъ, они отвергли, Богъ съ ними! Но сосудъ остался у меня. еще, можетъ, придутъ ко мнѣ за водою!

Можетъ быть, я напою.

Иногда я воображаю тебя углубленнымъ совершенно въ занятія; кажется, вижу, съ какимъ вниманіемъ ты вслушиваешься въ разговоръ древняго храма или собора о тайнахъ вѣковъ прошедшихъ; видъ на тебѣ серьезный, важный, даже какъ будто неприступный. И вдругъ, переселившись туда, за нѣсколько сотъ лѣтъ, среди бесѣды съ одушевленнымъ мраморомъ, исполнившись святостью и высотой нѣсколькихъ вѣковъ, грудь твоя становится для тебя тѣса, потребность подблиться, перелить, и ты этимъ взоромъ, которымъ сейчасъ проникалъ въ грудь потонувшего въ вѣчность столбтія, ищешь твою подругу и вхохновеннымъ, восторженнымъ голосомъ зовешь Наташу, — и если этотъ взоръ не видитъ меня, то вѣрно душа слышитъ полный отзывъ души моея.

Александръ, когда мы будемъ вмѣстѣ, намъ нечего будетъ рассказывать другъ другу о прошедшемъ, да развѣ мы были разлучены? Къ чему-жъ намъ ропотъ? Зачѣмъ грустные льются изъ груди звуки? Зачѣмъ грусть раздражаетъ душу??

Нѣтъ ли высочайшаго, безмѣрнаго блаженства и въ самыхъ страданіяхъ нашихъ? Когда мы ропщемъ — мы недостойны нашей участи, мой ангелъ.

Прощай, жду пятницу, мнѣ принесутъ письмо!

Твоя *Наташа*.

27-е. Витбергу и Полинѣ сожми за меня руку. Тебя же, ангелъ мой, крѣпко, крѣпко обнимаю и цѣлую, цѣлую...

А, вѣдь, я виновата передъ тобой, моя душа, что напугала попустому? Но ежели бы не написала и послѣ бы мнѣ не дали ни бумаги, ни пера? Если-бъ заперли меня? Если-бъ, если-бъ... Зато же не пропущу ни одной возможной минуты, чтобъ не писать тебѣ, милый другъ мой.—Да! ты просишь простить нныя фразы въ прошлыхъ письмахъ, *простить!*

Наташа, Наташа, Наташа.

Москва, января 29-го.

Ужась, ужась, что со мною происходило сегодня утромъ, я даже имѣла глупость плакать; но утирая слезы, воображала, какъ буду весела вечеромъ, ибо ждала письмо. Такъ и есть!

Мысль, что ты въ этой дали, въ этой несносной Вяткѣ *цѣлый день* провелъ *весело отъ души*, развеселила и меня, такъ что я теперь не въ состояннн думать о непрятностяхъ, ни о тѣхъ, кто ихъ дѣлаетъ мнѣ. Теперь я вся одинъ восторгъ, одна улыбка, даже не жалѣю, что меня тогда не было съ тобой... Вижу, вижу Данта... и Беатриче тамъ... о, Александръ! Можетъ-ли еще въ сердцѣ моемъ оставаться чему-нибудь мѣсто, когда твое такъ полно Наташей? И, ты еще... но нѣтъ, ни слова болѣе, нельзя!—Прелестный другъ, можетъ когда-нибудь и мнѣ ты дашь роль въ живой картинѣ.—Лавровый листокъ я поцѣловала съ глубокимъ чувствомъ и слеза чистая, полная радости, любви и уваженія канула на него, онъ былъ въ рукахъ Витберга и короновалъ твою голову.—Прощай!

1-е февраля. Столько времени не имѣть возможности писать тебѣ, и теперь прислушиваюсь и оглядываюсь,—но эти два дня я весела, т.-е. душа покойна, свѣтла и такъ близка съ тобою, съ Нимъ, такъ близка!.. Нѣтъ, не ропщу я на васъ, люди, нѣтъ, прощаю все вамъ отъ души, благодарю васъ,—все это черное, нечистое, тяжелое, все, что вы бросаете въ меня, чѣмъ угнетаете, не чернить меня, не низводить на землю, не тяготить, нѣтъ, смотрите, если можете видѣть меня, я далеко отъ васъ, высоко надъ вами и свѣтъ кругомъ меня и во мнѣ и радость одна, одно блаженство... смотрите! Но нѣтъ, вамъ ужъ я стала почти невидима, между нами обширное пространство... Васъ, васъ жаль мнѣ, объ васъ болитъ мое сердце, а за мои несчастья, за страданья благодарю васъ! Это лѣстница, по которой я вхожу туда, туда... Къ Нему, къ Нему!

Къ ночи. Да, познаю я не во внѣшнемъ, не въ обстоятельствахъ, не въ хѣйствіяхъ природы и людей счастье души высокой; нѣтъ, никогда они вовсе покорить ее не могутъ, когда-бъ зависѣла она отъ нихъ, на что ей *любовь*, на что *тотъ міръ*? Александръ, Александръ, что сдѣлалъ ты изъ меня! И чтобъ была я безъ твоей любви, безъ тебя? Ангелъ, мой отецъ—ты, и мать и все на свѣтѣ!

2-го февраля. Необыкновенное состояннн! Я не могу даже удержать моего восторга при *нихъ*, и какъ это должно дивить ихъ! Будто все обратилось ко мнѣ лучшею стороною, поэтической стороною, даже разлука... Я такъ люблю тебя, жизнь моя, такъ люблю! И любивши-то тебя такъ,—переношу съ терпѣннемъ и кротостью разлуку съ тобою изъ *любви* къ *Нему!* О, вникни въ эту мысль, она пространнѣе небесъ, она-то и поглотила мою душу; погрузись ты въ нее, это море, океанъ блаженства и блаженства небеснаго, святаго, оно замѣнится

другимъ послѣ разлуки. Ради Бога вникни. Вознесись со мною до такого самоотверженія и скажи потомъ: «Наташа, я твой Александръ!»

5-е. Вчера цѣлыхъ 3 часа были мы у Нас..! Лучше-бъ оставили меня на морозѣ 3 часа, лучше-бъ на печкѣ три часа, — а тамъ... какая гадость. Здѣсь, у к[нягини] я хоть нѣсколько приглядѣлась, а у нихъ такъ все рѣдко, разительво... Ну, ужъ люди, ужъ жизнь! — Вчера же былъ четвергъ, а письма нѣтъ...

По цѣлымъ часамъ переселяюсь я въ будущее. Мечты! мечты! иногда говорю о немъ, но это очень рѣдко, очень рѣдко, потому что рѣдкіе понимаютъ меня, а вполнѣ — никто. Тотъ понимаетъ, кому не нужно много словъ, кто самъ доканчиваетъ начатое, для кого каждый взоръ, движеніе — цѣлая рѣчь. А изяснять мысли словами и словами облекать всѣ тайные, священные изгибы души — утомительно, лучше вовсе не дѣлиться ими. Тебя, тебя ждетъ душа моя, для тебя кипятъ и волнуются въ ней думы высокія, дивныя, онѣ перельются только въ твою душу, а другія... Я боюсь, не сбился бы сонъ мой на яву. — Эмилія рѣдко бываетъ у меня, обстоятельства ее гнетутъ; Саша Б. здорова, ѣдутъ сюда, я въ восхищеніи. Дальше отсюда, дальше! Братъ, другъ души моею, туда, туда... Теперь эта жизнь тягостна для меня, съ тобою будетъ вдвое, потому что тогда я буду еще чище, еще выше. Туда, туда веди меня, гдѣ бы мнѣ не нужно было отворачиваться, закрывать глазъ и содрагаться...

Нѣтъ! Слишкомъ свѣтлы мечты!.. Но развѣ есть что-нибудь невозможное съ тобою?..

Прощай, посоль за посломъ, не могутъ жить безъ меня!

6-е. А до августа еще 7 мѣсяцевъ...

Въ письмахъ у меня все одно и то же: любовь, разлука, блаженство, страданіе, ты, Богъ... да, *только то* у меня и есть, а что за ними, — то стороннее, чужое, не мое, кромѣ дружбы. Страшно устала я, а все еще хочу идти, и пока не сдѣлаютъ меня неспособною къ малѣйшему движенію, все буду идти, идти, ползти, наконецъ, и тогда уже, тогда!! *Онъ* правосуденъ.

9-е. Вотъ твой и браслетъ, не знаю, пошлютъ ли, я просила маменьку. Ты скажешь, мой ангелъ, зачѣмъ вырѣзали мое имя на золотѣ! И будешь правъ. въ самомъ дѣлѣ, зачѣмъ было вырѣзывать его на золотѣ?..

Прощай, нельзя, спишу! Обнимаю тебя, другъ мой, ну, прощай же, милый!

Твоя *Наташа*.

Пришло въ голову о лампадѣ и иконѣ. Ты говоришь лампада даетъ свѣтъ иконѣ; да, безъ нея икона была бы темна, но все такъ же свята, а лампада безъ иконы просто ночникъ и только отъ иконы получаетъ святость.

Еще и еще тебя, душа моя, такъ цѣлую, цѣлую.

Твоя, твоя *Наташа*.

30-е января, Вятка.

Слава Богу, письма отъ тебя, слава Богу — роса небесная пала на взымающее растеніе въ степи. Встрепенулось оно и каждымъ листомъ пьетъ эту росу и пьетъ свѣтъ солнца и свѣтъ лазури, оживленное росой. Еще разъ — слава Богу, такъ ко времени пришли твои письма, какъ нельзя болѣе.

О совершеннѣйшей симпатіи нашей и говорить нечего. Провожая старый годъ, я писалъ точно тоже къ тебѣ, что ты ко мнѣ, то же проклятіе ему сначала

и то же прошеніе въ минуту смерти. Да, онъ былъ тиранъ удушливый, этотъ 36 годъ, но мы его знаемъ, всѣ 12 частей его прожиты, а этотъ развѣ съ радостнымъ лицомъ явился? Послѣдніе годы нашей жизни похожи на исторію римскихъ цезарей, гдѣ рядъ злодѣевъ наслѣдовалъ другъ другу, гдѣ въ минуту смерти какого-нибудь Тверія народъ отдыхалъ, чтобъ черезъ день страдать отъ Нерона. Я потерялъ вѣру въ 37 годъ, онъ не принесъ съ собою рекомендательнаго письма; 1835 вознаградилъ за себя 9 апрѣлемъ, 36 ничѣмъ, а 37 явился съ холоднымъ лицомъ тюремщика. — Ты, я думаю, слышала объ одномъ происшествіи въ Москвѣ отъ маменьки или Е. Ив... Оно даетъ опредѣленіе всему 37 году, какъ кажется.

По прошлой почтѣ Полина получила письмо о смерти ея брата, котораго она ужасно любила, который могъ быть поддержкой для ихъ семейства и которому было 25 лѣтъ. Тутъ-то вполнѣ я увидѣлъ недостатокъ человѣческаго языка: что я могъ сказать ей въ утѣшенъе? Правило покорности опредѣленію — тутъ эта высокая мысль принимала характеръ пошлой проповѣди. Положеніе ея было ужасно. — Теперь она больна сильной грудной болью, ужъ не чахотка-ли, а она къ ней довольно расположена. И послѣ этого человѣкъ беретъ понять законы, по которымъ ведетъ Провидѣніе. Нѣтъ, ихъ постигнуть невозможно. Человѣкъ появлялся высокимъ инстинктомъ, еще лучше откровеніемъ, тотъ общій законъ, по которому Богъ ведетъ человѣчество; онъ понялъ, что вся эта природа есть возвращеніе отъ паденія. Но частности этого закона—тайна Его. Наша жизнь разгадана: развѣ не ясно, для чего ты существуешь, для чего страдала, страдаешь? Даже самая смерть наша нисколько ни уничтожить этой ясности, мы жили, мы не были праздны, я сливался съ универсальной жизнью, ты—со мной, мы возвысили другъ друга,— итакъ, тутъ есть цѣль. Возьми, съ другой стороны, Витберга: точно тоже, его жизнь полна, кончена, совершенна, богата. А эти существованія какъ понять, *эти возможности* безъ развитія, этихъ жажущихъ—безъ удовлетворенія. Не прелестна-ли душа нашей Emilie, и она какъ будто родилась, чтобъ видѣть во снѣ одинъ часъ призракъ блаженства и потомъ за сонъ страдать всею жизнью. Но не тщетно же существованіе ихъ. Нѣтъ, я твердо вѣрю въ строгую послѣдовательность и отчетливость Провидѣнія. Да самыя страданія эти не очищаютъ ли ихъ душу, не направляются ли болѣе къ небу? Душа, много страдавшая, пренебрегаетъ землею, это-то и надобно. Недостаточно еще имѣть чистыхъ два, три порыва въ двѣ, три недѣли; надобно, чтобъ все существованіе было этимъ порывомъ, а сюда ведетъ или блаженство высокое, гармонія, или несчастіе и борьба. Почему же тотъ способъ избирается, а не другой? Вѣрь, что избирается тотъ, который лучше ведетъ къ цѣли; сомнѣніе есть уже преступленіе. Но какъ найти твердости, чтобъ спокойно переносить и тою же молитвой благодарить за ударъ ножомъ въ сердце и за небесный цвѣтокъ, брошенный ангеломъ. Какъ? Вотъ въ этомъ-то вся задача. Опять воротимся къ Чашѣ горькой и къ молитвѣ на Маслячній горѣ. Но, признаюсь, этихъ силъ я не имѣю, переносу,... но не всегда безъ ропота... Оно, зная слабость, простить. Зачѣмъ давала ты Дидротовымъ кухаркамъ «Встрѣчу»? Для нихъ это *наборъ словъ*.

3-е февраля. Давно ли, другъ мой, я писалъ тебѣ о нашихъ картинахъ изъ Данта, а теперь буду писать о театрѣ. Я игралъ и притомъ хорошо, вчера, передъ всѣмъ городомъ, слышалъ аплодированье, радовался ему и былъ въ душѣ актеромъ. Вотъ тебѣ во мнѣ новый *талантъ*: ежели когда буду въ нуждѣ,—

могу идти въ бродячіе актеры. — Не странно ли, въ самомъ дѣлѣ, созданъ чело-
вѣкъ: душа моя, истерзанная страданіями, измученная, казалось бы, должна
была разлить мракъ на всякомъ дѣйствіи, — и бывають минуты такіа, когда я
боюсь оставаться одинъ, бѣгу къ людямъ отъ себя и наоборотъ — могу иногда
предаться веселости, дурачиться. Три недѣли готовилъ я съ прочими участни-
ками этотъ театръ, и занимались этимъ, какъ важнѣйшимъ дѣломъ. Ну, до-
вольно о вздорѣ. — Что преслѣдованія относительно писемъ? Пиши все, не давай
мнѣ волю дѣлать догадки. Мнѣ приходило въ голову просить государя объ
отпускѣ и прямо сказать причину. Пусть увидятъ хоть одну записку твою, и
тогда, ей-Богу, меня отпустятъ — хоть на недѣлю. Здѣсь я нашелъ одну картину,
въ которой есть двѣ-три черты лица твоего, весьма малое, но сходство, а мо-
жетъ, и никакого нѣтъ, но воображеніе добавило; я купилъ ее и часто, часто
смотрю. Ну, прощай же, ангель, сестра, писать некогда да и усталъ еще отъ
спектакля и отъ шампанскаго, и оттого, что въ 5 часовъ легъ спать.

Цѣлую, цѣлую тебя

Александръ.

10-е февраля. Вятка.

Ангель мой, опять письмо, опять письмо!

Я зналъ, что тебѣ болѣе нежели поварится *Встрѣча*; вспомни же, что это
не вымыселъ, что этотъ гордый несчастіемъ челоуѣкъ и теперь живъ, что я и
теперь могу представить себѣ этотъ взоръ съ струею огня, что его подарокъ
цѣль, у меня. Прекрасный челоуѣкъ, — и онъ не забудетъ нашу встрѣчу. Со вре-
менемъ пришло еще статей; онъ тебѣ нужны, онъ какъ письма на цѣлые
часы могутъ замѣнить въ разлукѣ меня.

Съ восторгомъ видѣлъ я въ твоихъ письмахъ выписки изъ шиллеровой
Юанны; ежели ты хоть и съ трудомъ, но можешь читать Юанну, то успѣхъ
сдѣланъ, я тебѣ пришлю ее всю. Читай, читай Шиллера, онъ всю жизнь мечталъ
о дѣвѣ, въ которой бы была доля Юанны и доля Теклы, онъ всю жизнь звалъ
съ неба ангела, онъ не принадлежалъ къ этому міру, — но этотъ ангель не сле-
тѣлъ для него, и грустный звукъ заключилъ его жизнь мечтанія (Resignation);
въ этой грустной пѣсни онъ говоритъ, что кубокъ наслажденій не былъ имъ ра-
скрытъ. Наташа, могу ли я это сказать, имѣя тебя? Я ужасно счастливъ, бо-
лѣе, гораздо болѣе, нежели заслужилъ. Высокая душа Шиллера должна была
полуувянуть: она нашла только поль-отзыва. А тотъ мрачный, угрюмый Бай-
ронъ, мученикъ своей души, и тотъ жаждалъ любви, любви высокой, сильной,
пересоздающей, какъ огонь изъ камня, въ блестящее стекло. И Байронъ ничего
не нашелъ, онъ бѣжалъ холодной родины и съ корабля кричалъ: «Прости о ро-
дина, ночь добрая тебѣ», съ чувствомъ полного негодованья: онъ зналъ, что ни
слезы, ни вздоха объ немъ тамъ. — А я! Не слишкомъ ли это для челоуѣка.
Господи! мнѣ страшно становится иногда, — чѣмъ выкупимъ мы нашу любовь?
Чѣмъ бы ни было, все равно; эта любовь дала мнѣ все высокое, все изящное,
пусть же во имя ея разить меня громъ, пусть смерть — мнѣ все равно. Да бу-
детъ воля Его. — Читай же Шиллера, сначала, ежели трудно, это ничего, а я
тебѣ доставлю что-нибудь изъ его сочиненій.

О Етііе и о Полинѣ мое мнѣніе было въ прошломъ письмѣ, теперь я по-
нялъ страданія душъ высокихъ, это горькая мѣра Провидѣнія, но пусть онѣ по-
цѣлуютъ руку карающаго, она ихъ ведетъ къ *полной жизни* на землѣ, къ бла-

женству *тамъ*. Ты мнѣ напоминаешь разговоръ съ Emilie о Гебелевой дочери, о, этотъ разговоръ, весьма ничтожный самъ въ себѣ, тысячу разъ наворачивался мнѣ на умъ,—и всякій разъ я скрипѣлъ зубами и кровью обливалось сердце [вырѣзана верхняя половинка второго полулиста] любить. Но разговоръ съ Emilie пророчествовалъ другое, это мою проклятую встрѣчу съ М. Да, я вспоминаю его и холодный потъ на лбу, и волосы поднимаются. Боже мой, когда поправлю я эту ошибку, когда заглажу это преступленіе? Доселѣ не сдѣланъ и первый шагъ.

Я на тебя сердить (въ самомъ дѣлѣ) за то, что ты отрѣзала такъ много волосъ: это самоуправство, развѣ ты смѣешь распоряжаться твоими волосами, безъ моей воли? Все мое! Третью часть: будто на браслетъ можно употребить третью часть косы, да я скорѣй отдалъ бы три пальца на правой рукѣ. Впредь, сударыня, будьте осторожныѣ, а то буду ставить на колѣни спиною къ моему портрету и не велю поворачивать головы.

14-е февраля. Вятка.

Продолжая мысль, сказанную въ прошломъ письмѣ (можете справиться), я сдѣлалъ вопросъ,—стало-быть, требованія на жизнь были болѣе, колоссальнѣе, изящнѣе у Шиллера, у Байрона, нежели у меня, и потому я удовлетворенъ, а они нѣтъ? Но это не только несправедливо, но даже я перегналъ ихъ. Требования Шиллера, напримѣръ, ясны, по его сочиненіямъ можно легко возстановить тотъ идеалъ, котораго осуществленія жаждала душа его. Это вмѣстѣ Юганна д'Аркъ и Текла, даже наружность его идеала понятна. Я требовалъ не менѣе, о, нѣтъ, и нашелъ въ тебѣ болѣе, гораздо болѣе, нежели требовалъ.—Провидѣніе хотѣло избаловать меня, но балованныхъ дѣтей наказываютъ впоследствии. Но съ которой же стороны ждать это наказаніе? Со стороны частной, индивидуальной жизни моей—невозможно. Остается другая половина моего бытія, столь же существенная, столь же необходимая—общая, универсальная жизнь, поприще... Горе, ежели тамъ! Трудовъ не боюсь, несчастій не боюсь, но неудачи боюсь. А для частной жизни одной не живутъ люди съ пламенной душой.

Мнѣ уже 24 года, и я еще не знаю, что я буду дѣлать, я еще не отгадалъ приказъ Провидѣнія, данный моей жизни: *писать* или *служить*?

Литературное поприще неудовлетворительно, тамъ нѣтъ этой жизни въ самомъ дѣлѣ; служить—сколько униженія, сколько лѣтъ, до тѣхъ поръ, пока моя служба можетъ быть полезна? Вотъ тебѣ, ангель мой, вопросы, занимающіе меня въ послѣднее время.

15-е февраля. Я думалъ о своихъ статьяхъ, перечитывая начало повѣсти «Тимъ». Нѣтъ, все это ужасно слабо, едва набросаны контуры: смѣло, но бѣдно, очень бѣдно. Лучшая статья моя «Германскій путешественникъ». Право, ты увлекалась «Легендой», она же у тебя непоправленная. «Мысль и откровеніе»—хорошо потому, что тутъ нѣтъ повѣсти, а просто пламенное изложеніе моей теории. Все поправить надобно, а это-то и худо. Какъ же можно сдѣлать лучше въ холодную минуту то, что писано въ жару одушевленія, и еще хуже, что во время этого одушевленія написанное неудовлетворительно.

Ты пишешь, ангель мой, что скоро все узнаютъ; не знаю почему, а я очень желалъ бы, чтобъ это случилось поскорѣе. Сопряжено съ неприяностями, да что-жъ дѣлать? А ежели скорѣе онѣ начнутся, то скорѣе будутъ прошедшими.

Лишь бы мнѣ добраться до Москвы. А, вѣдь, ты права, Наташа, что намъ нечего будетъ разсказывать о разлукѣ, потому что мы были все время вмѣстѣ. Знаешь ли, какъ ты вѣрно изобразила тѣ минуты, когда, нѣсколько часовъ серьезно занимаюсь, я, вдругъ, со вздохомъ, и глазомъ и душою ищу мою Наташу, чтобъ подарить ей мысль, потомъ и трудомъ нажитую. Именно такъ, какъ ты пишешь Симпатія!

17-е февраля. Пишутъ изъ Москвы, что не получали отъ меня письма, а я пишу всякую почту, стало, и твое пропало. Жаль, ибо ты будешь грустить, жаль и потому, что каждое письмо есть продолженіе одной нити, кольцо одной цѣпи, кольцо живое и необходимое. Да, по этимъ письмамъ къ тебѣ можно возстановить всю жизнь мою съ 1834 года. Тутъ мечты, надежды, страданія, восторги, паденіе, тутъ всего болѣе я и, слѣдственно, тутъ же сама ты. Какъ лучъ свѣта, бѣлый и чистый, преломляясь о камень, возвращается цвѣтистымъ и яркимъ назадъ, — такъ и твоя прелестная душа спокойно выливается въ твоихъ письмахъ и принимаетъ пурпуръ огня въ моихъ и яркость луча преломленнаго. И летитъ опять къ тебѣ, такъ какъ и преломленный лучъ бѣжитъ земли и стремится опять къ небу.

Ложась спать, я засыпаю всякій разъ съ мыслью: днемъ ближе къ свиданью. А оно не подвигается, и время, какъ носильщикъ, обремененный излишней тяжестью, крехтя, переступаетъ съ ноги на ногу, а путь-то далекъ! Но лишь бы онъ не останавливался. Тамъ восточная звѣзда, тамъ весь обѣтованная, тамъ моя Наташа. Къ ней, къ ней, и хотя бѣ еще болѣе страданій.

Emilie жму руку. Тебя цѣлую. *Александръ.*

Москва, 15-е февраля.

Три недѣли не получала отъ тебя писемъ; писать не стану, ты можешь вообразить, въ какомъ состояніи душа моя, не имѣя пищи три недѣли... Но уже вотъ три часа, какъ твое письмо отъ 30 января у меня. Если-бъ была возможность излить на бумагу и перемѣну, и блаженство, и всю душу! Нельзя, потому что нѣтъ словъ и потому что люди отнимаютъ эту возможность. Ты спрашиваешь о преслѣдованіяхъ, — не стоитъ писать о томъ, довольно, Александръ, если иногда я могу начертить тебѣ хоть одно слово, а остальные глупости, низости хотя и продолжаютъ, но оставимъ ихъ глупымъ и низкимъ. Теперь я не могу и думать о нихъ, теперь я такъ высока и свята, о, ангелъ мой, и мнѣ не называть тебя божественнымъ и не боготворить тебя! Ты весь въ этихъ словахъ: «не довольно имѣть два, три чистыхъ порыва въ двѣ, три недѣли, — надо, чтобъ вся жизнь была одинъ этотъ порывъ», — да, къ тому-то и есть мое безпрерывное стремленье, къ тому-то и ведетъ и приведетъ насъ любовь. Иногда мнѣ кажется, что еще я слишкомъ мало страдаю, завидую другимъ въ несчастіяхъ; что-бы ни отняло у меня Провидѣніе, кромѣ тебя, чѣмъ бы ни угнетло, — ты, твоя любовь — вотъ мое прибѣжище, вотъ мой рай и никогда не смю я произнести ропота. Пишу на походномъ столѣ и такъ неловко, то есть на козльняхъ... Прощай, ахъ какъ бы много сказать, но нельзя, авось-либо завтра выйдеть минутка.

16-е. Отъ маменьки я ничего не слыхала, но ты пишешь, что потерялъ вѣру въ 37 годъ; это отняло у меня надежду на свиданье съ тобою въ этомъ

году, и утомленный голосъ души только говорить мнѣ, что я увижу тебя *когда-нибудь*. Итакъ, разлука можетъ продолжиться болѣе года, болѣе, болѣе... Послушай, Александръ, ты вѣришь мнѣ, не сомнѣвайся же, что съ этою мыслью— *я увижу тебя когда-нибудь*—душу мою озарила новая небесная сила, новое упованіе и покорность. Кажется, съ нею я болѣе еще люблю тебя...

Ты пересоздалъ меня, ты мнѣ мать и отецъ, братъ и другъ, и Ангелъ, и все... чего же еще? Къ чему сомнѣнье? На что этотъ недовѣрчивый грустный взоръ на будущее, когда *такое* настоящее?

Полина, Полина! Да, болѣе нечего сказать языкомъ, какъ да будетъ Его воля! Какъ жаль мнѣ ее, какъ жаль! третьяго дня была у меня Emilie, вотъ еще созданье!.. Господи, или ты знаешь, кому посылать такіе кресты! Не напишу тебѣ о ней ничего, довольно чернаго и вокругъ тебя, но сердце мое раздрается, глядя на нее, даже самыя обстоятельства... ужасъ, ужасъ! Мы мѣсяць не выдались съ нею... Ты хотѣлъ просить отпускъ, показать письмо мое... Если-бъ всѣ твои, мои прочитали они, чтобъ вышло изъ этого?.. Ты понимаешь меня. Предадимся Ему, Александръ, Онъ далъ намъ другъ друга, все остальное ничтожно передъ этимъ даромъ. И малѣйшій ропотъ твой или мой есть уже преступленье...

Ночь. Тебя утѣшаютъ двѣ, три черты лица моего... Погоди, я опять имѣю надежду, вотъ Эмилиа приметъ къ мѣсту, тогда увидимъ. Я прискивала всѣ средства—невозможно!

На-дняхъ была у насъ одна дама, которая любитъ меня и которую я за это не люблю: ты понимаешь, какъ несносно то, что *они* называютъ любовью. Къ тому-жъ она хлопочетъ, что есть мочи, пристроить меня; разъ она такъ этимъ меня разсердила, что я вслѣдъ ей пропѣла:

Гробовой скорѣй покроюсь пеленой,
Чѣмъ безъ милаго узорчатой фатой,

но она, кажется, не вслушалась.

Когда ты будешь актеромъ, къ тому времени и у меня есть про запасъ *та-ланг*: ридикюли моего произведенья на расхватъ въ Москвѣ, а если пройдетъ мода на нихъ, выдумая другіе.

Съ полученія твоего письма у меня вертится мысль въ головѣ, обнимаетъ душу и даже я часто громко говорю: «я увижу его *когда-нибудь*»... когда-нибудь... одинъ,—одинъ взгляды, и прости земля!

Ангелъ мой, жизнь моя, Александръ, другъ мой, какъ я тебя люблю, какъ бы писала я тебѣ много, много... Вотъ тутъ только иногда я искоса посмотрю на людей. Но, вѣдь, не меньше ты меня за то любишь, что пишу мало, и моя любовь не меньше и мы сами не меньше. О! Какъ бы я пожала твою руку.

Прощай, можетъ, не удастся еще писать.

17-е февраля. Сейчасъ читала въ газетахъ, что пріѣхалъ изъ Італіи живописецъ, имя его Рафаэль, онъ пишетъ миниатюрные портреты. Желаніе написать для тебя портретъ и невозможность такъ вдругъ взволновали меня,—я покраснѣла, слезы на глазахъ, и спаслась только притворнымъ смѣхомъ. Но до сихъ поръ Італія, Рафаэль, портретъ для тебя волнуютъ меня. Ты ценишь, что я прочла «*Встрѣчу*» имъ: если бъ не заставили меня, ни за что бы не прочла. Прощай, другъ мой, я мирюсь опять съ этимъ словомъ *прощай!*

Твоя Наташа, твоя Наташа.

Москва, февраля 18-е.

Воскликну и я въ свою очередь: опять письмо! опять письмо! Счастлива я, ангелъ мой, получая отъ тебя черезъ мѣсяць, черезъ двѣ, три недѣли, и два четверга сряду!..

Братъ, я думала прежде, что ты высокъ, и высокъ такъ, какъ нельзя быть выше, а теперь вижу, что могъ быть выше и есть больше, нежели былъ.

Вотъ два письма: я не столько ихъ перечитываю, какъ прежнія (все-таки люди), но вижу, ясно вижу, — ты сталъ выше, чище, святѣе, стало, и я тоже, если *могу* находить это въ тебѣ, стало, и любовь небеснѣе?.. Зовутъ, прощай!

19-е. Да, я болѣе люблю тебя, болѣе, ... а мнѣ все казалось, что я достигла предѣла любви. — «Чѣмъ мы выкупимъ нашу любовь?» — говоришь ты. Чѣмъ? говорю я. Не несчастьемъ должна она выкупиться, Александръ: для двухъ душъ, слившихся въ одну, не существуетъ несчастья, онѣ другъ изъ друга пьютъ блаженство, другъ другу льютъ рай, другъ въ другѣ живутъ! Но чѣмъ же выкупить это слияніе, это сочетаніе, самоуничтоженіе, дающее двойную жизнь? Чѣмъ, повторимъ мы миллионъ разъ, и миллионъ разъ повторить намъ сама любовь: «приношеніемъ въ жертву Ему и себя, и того существа, безъ котораго ты ничто». Я ничто безъ тебя, Александръ; потому-то и должна Ему жертвовать тобою, что Онъ далъ мнѣ тебя.

А! не маловажное происшествіе! Вчера была въ городѣ, иду пресерьезно, глаза въ землю, задумавшись о томъ, какъ бы не упасть, вдругъ на ухо мнѣ: «рулетка, барышня, рулетка, не угодно ли купить?» Я ужасно испугалась и вмѣстѣ, до того обрадовалась, что это, кажется, подивило самаго разносчика. Рулетка, рулетка... Ты помнишь ли, что такое рулетка? Я — нѣтъ, а слышала отъ тебя, что когда-то, во времена оны, когда еще голова моя была въ серебряныхъ кудряхъ, я показывала тебѣ рулетку. Понимаешь ли, что рулетка сама по себѣ ничто для девятнадцатилѣтней, но тутъ ты, тебѣ я показывала ее ребенкомъ... и съ тѣхъ поръ не видала этой игрушки и, можно сказать, съ восхищеніемъ встрѣтилась съ старой знакомой, съ которой, жѣтъ 15 была въ разлукѣ. И вообрази, — тутъ же, въ рядахъ, сырыхъ, холодныхъ, мрачныхъ, явилась передо мною огромная картина... Не знаю, кто бы взялся на нее сдѣлать раму, а картина-то очаровательная и произведеніе рулетки! Я купила ее изъ благодарности и часто ею играю.

Прощай, можно ли написать столько о вздорѣ.

20-е. Во снѣ видѣла тебя, тебя, другъ мой! Будто деревня, рано, рано утромъ мы стоимъ у окна, ты одной рукой обнялъ меня, другой указываешь на нѣсколько солнцевъ, выходящихъ изъ деревьевъ; проснулась — въ самомъ дѣлѣ рано, утро, но сѣрое, и небо сѣрое, и комната моя сѣрая, и кошка сѣрая...

Такъ бы иногда отдала годъ жизни за одинъ сонъ!

Ахъ виновата! впередъ не буду, общаюсь, что безъ твоей [воли] не спадеть и волосъ съ головы моей! Однако, ты строгъ, я не ожидала, боюсь! А знаешь-ли, въ самомъ дѣлѣ, я покраснѣла и сердце замерло, какъ прочла: «я на тебя сердитъ (въ самомъ дѣлѣ)», — если-бъ на этомъ словѣ отняли у меня письмо, я-бъ заплакала.

Я Emilie не даю твоихъ писемъ, въ которыхъ есть М.; она о ней не знаетъ. (Однако, какъ меня ни пугали, какъ ни сердились, ни угрожали, — я устояла, не

отдала подъ чужую кровлю твоихъ писемъ; если гибнуть имъ,— пусть подъ одною со мною.

Не написала-бъ я тебѣ замѣчанія Emilie при твоёмъ разсказѣ, если-бъ находила малѣйшее сходство въ поступкѣ Пассека съ твоимъ. Ты слишкомъ строгъ; но полно объ этомъ, я не умю тебѣ говорить объ этомъ и всегда разсержу тебя. Что не будешь ты говорить, мой отвѣтъ—я все-таки люблю тебя, боготворю, ты все-таки божество для Наташи и спасенье ея! Да и кто же, кромѣ Христа, былъ безгрѣшенъ? Даже апостолы... Но не сердись, не сердись, я замолчу.

Макаш. у обѣдни. Однако, прощай, пора наливать чай, признаюсь, важный резонъ перестать писать; да, смѣшно, добрые люди, да вы же и смѣйтесь.

25-е. Александръ, вѣрить-ли? Господи, вѣрить-ли?.. Оставь души надежды и сомнѣнья, *люби и вѣруй!* Говорятъ, скоро наше свиданье, говорятъ только, и что, ежели еще долго будутъ говорить?.. Необыкновенное состояніе души: не смѣть надѣяться, обманувшись такъ много въ своихъ надеждахъ, не смѣть сомнѣваться, испытанъ столько неожиданныхъ наслажденій. Люби и вѣруй, повторю душѣ и обниму тебя, ангелъ мой, всюю душою за 1.000 верстъ и паду предъ Нимъ на землю.

Эти дни нельзя было и подойти къ письмамъ, все то же и то же.

Я не покойна, волнуется духъ: «что-жъ онъ, будетъ иль нѣтъ? Скоро увижусь съ нимъ? вотъ здѣсь можетъ, можетъ быть»... Мечты то вдругъ озаряютъ меня свѣтомъ и одѣваютъ тучей... Другъ души! Милый! Милый!

Что Витбергъ? Что Полина? Я часто, часто о ней вспоминаю. Что Эрнъ? Что Соколовъ?..

Какая насъ большая семья! И все родные духомъ. А объ Огаревѣ ни слова ужъ давно, давно. Распрострилась я съ Эмилией; грустно, Александръ, она несчастная вполнѣ, страдалица, но зато *тамъ!*

Ты пишешь, что потеряно письмо; я получила отъ 18 янв., 3 фев., 10 фев. и 14 фев.; ежели потеряно —жаль смертельно, лучше день жизни потерять!

Завладѣли вовсе у меня твою *Встрѣчу*; едва отдадутъ, возмутъ опять; хорошо, если *люди* читаютъ ее. О! инымъ бы ни за что не дала. Ты сердить на «Легенду»; разумѣется, для *другихъ* надо бы ее *отдѣлать*, а я не могу безъ восторга читать ее: всѣ мысли твои, всѣ идеи, въ какую бы форму облечены ни были, имѣютъ для меня вѣчно ихъ свѣтъ, высоту и величіе, которые другимъ не доступны, то-есть, тѣмъ, кому нужна вызолоченная рама, чтобъ восхититься Рафаэлевой кистью.

Да, хорошо, если-бъ разразилась ужъ эта туча, а то опять затихла... Для меня есть необыкновенная пріятность въ этихъ непріятностяхъ, которыя я переносу за письма, за любовь, за тебя...

Другъ ты мой! Ахъ когда...

Прощай! Твоя Наташа.

27 вторн. Прощай, Александръ! Милый другъ, не отказывай Вадиму въ помощи; великодушіе не унижаетъ.

Вчера больная (Сашина сестра) просить меня принести *животворящій образъ*, и я, съ восторгомъ, со слезами отправилась къ ней, и больная чувствуетъ себя лучше съ тѣхъ поръ, какъ я сидѣла у нея на постели и какъ она удостоилась видѣть твой портретъ. Такъ я буду сама молиться на него, меня онъ будетъ исцѣлять отъ всѣхъ недуговъ, и имъ я буду исцѣлять больныхъ и дѣлать чудеса. Я всѣмъ буду показывать его, кто попроситъ съ вѣрою. Ангелъ мой! Ангелъ!

Теперь я жду Сашу Б.; она скоро прїѣдетъ, вотъ радость! Вотъ она-то преклонитъ колѣна предъ нимъ. О, какъ я жду ее! Мнѣ необходимо раздѣлить мое блаженство. Но замѣть, что она еще ни одного изъ твоихъ писемъ не читала, — такова наша жизнь.

Полинѣ скажи, если она хочетъ, я пришлю ей кольцо изъ моихъ волосъ, которое я сплелу сама. Она несчастна, мнѣ ужасно ее жаль, но когда она имѣетъ высокую душу, вѣру?..

О Водо ужъ замолчали, онъ хочетъ денегъ, а у меня нѣтъ ихъ и конецъ всему! — Желая ему золотую невѣсту!

Прощай же. Цѣлую твои глаза, мой ангелъ, обнимая тебя.

Твоя Наташа.

Какъ называется то, въ чемъ ты написанъ, въ чемъ былъ 9-е апрѣля; у всѣхъ спрашивала, никто не знаетъ, сама забыла; бурка? нѣтъ? Напиши.

Смѣхъ видѣть меня за нѣмецкой книгой, будто я краду что-нибудь и боюсь, чтобъ не застали. Ты хочешь мнѣ прислать Шиллера; надо, чтобъ *они* не знали, а то не только тогда читать, — и книгу-то отнимутъ. Главное, нуженъ лексиконъ, а у меня его нѣтъ, но, можетъ, будетъ. Иногда надъ какимъ-нибудь словомъ сижу, сижу, думаю, роюсь, — не знаю! Фу! Досадно смерть; и тутъ же мысль, что *когда-нибудь* я буду знать это и многое, многое, буду съ тобой читать по-нѣмецки, говорить, восхищаться твоимъ Шиллеромъ, приведетъ меня въ восхищеніе и я безъ сердца начинаю открывать, что яснѣе для меня. Die vier Weltalter старалась я понять прилежно, но хладнокровно; когда же дошла «die Götter sanken vom Himmelstrop», покраснѣла отъ радости до слезъ; въ «Легендѣ» читала я эти стихи и не понимала и такъ хотѣлось понять! Въ самомъ дѣлѣ, *ужасно*, въ полномъ смыслѣ этого слова, не понимать, что писано твоей рукою; ахъ, если-бъ... да что, мечта!.. Еще Богъ знаетъ, когда будетъ это можно?.. Я-бъ желала выучиться по итальянски.

29 февр. Благословляю день, въ который могу взяться за перо. Другъ мой, другъ мой, съ кѣмъ же, какъ не съ тобой говорить мнѣ, кому и для кого эта душа? Ахъ, тяжело, неизъяснимо тяжело молчанье, которое грозитъ намъ въ будущемъ передъ *ними*, а теперь, за 1.000 верстъ, имѣть столько передать, столько перелить... и невозможность! Никогда я не произнесу ропота, но душа стонетъ невольно отъ тяжести даже чувствъ высокихъ, которыми не даютъ ей подѣлаться. Нѣтъ, мой ангелъ, говорить, говорить тебѣ и взоромъ, и рѣчами! Сколько думъ, чувствъ... Ахъ, какъ хочется писать! боюсь и начинать, заплачу, когда позовутъ меня. Только скажу тебѣ, что вчерашнимъ днемъ я довольна, имѣла случай сдѣлать добро и это такъ утѣшило меня, такъ утѣшило.. ты понимаешь это чувство. Сегодня была Emilie; вотъ новость: ѣдетъ на-дняхъ во Владимірскую губернію. Что ты скажешь на это? И что сказать мнѣ тебѣ еще?.. Всю недѣлю меня посылали кататься... Не хотѣлось. Наконецъ, сегодня была, и то съ Emilie, тамъ, въ знакомомъ тебѣ мѣстѣ, знакомомъ ребенку и старцу, блаженному и несчастливцу... *Новинское!* Ты все также пестро, шумно, весело, все, все также ты, Новинское, для другихъ, но я не та же, какою видѣло ты меня прежде, и для меня не то же ты!..

Но мнѣ досадно на себя, зачѣмъ было подарить его слезою?

Вотъ и великій постъ, первое марта, первый день весны (хотя и не похоже на весну), скоро Благовѣщенье. Свѣтлое Воскресенье, лѣто... Прошла зима, о ко-

торой я мечтала цѣлое лѣто, но что же будетъ лѣтомъ, о которомъ мечтала цѣлую зиму?.. Да, бываетъ время, нѣтъ сомнѣній и надеждъ для будущаго, душа умѣетъ презирать все ее окружающее, не замѣчаетъ ни людей, ни ихъ дѣйствій, живетъ одной любовью, однимъ тобою, и дѣла нѣтъ ей, ты здѣсь или тамъ, адъ или рай вокругъ; она любить, любить и вотъ все для нея! Но, другъ мой, не всегда она на этой высотѣ, я еще не достигла ея; нѣтъ, часто, очень часто меня утомляетъ и тяготитъ все, что только близко меня, даже, можетъ, ты и не простишь этого Наташѣ: иногда я долго, долго не поднимаю глазъ, такъ надобно мнѣ все и всѣ, не хочу дотронуться до стола или до чего бы то ни было, что въ употребленіи у *миръ*; и потомъ день и ночь эти люди, эти разговоры... взнемогаю! И сколько послѣ этого чувствую я себя виноватою передъ тобою, недостойною тебя... Но ты простишь, ангель мой, мнѣ и эту досаду и капризы. Любовь, одна любовь къ тебѣ сдѣлала меня неспособною выносить обыкновенную жизнь, обыкновенныхъ людей; одно стремленіе ко всему святому, изящному и великому, соединенному въ одномъ тебѣ, заставляетъ съ горестью смотрѣть на настоящее. Прощай!

Письмо отъ тебя! Письмо отъ тебя!

2-е марта. Провидѣніе избаловало тебя, — согласна, ты любимое созданье, лучшее созданье; въ тебѣ болѣе, нежели въ комъ другомъ отражается мысль Его, ты *можешь* болѣе, нежели кто другой, исполнить, окончить, усовершенствовать эту мысль: всѣ недостатки — даны воплощенію; новые года дадутъ новыя силы побѣждать слабости, да, я вѣрую, ты исполнишь твое предначаченіе. Но, чтобъ Провидѣніе баловало для того, чтобъ впоследствии наказать — заблужденіе. Александръ! Ни тѣни истины въ этихъ словахъ! Исполнить душу благороднѣйшими, святѣйшими чувствованіями, дать силу и чистоту постигнуть тайны высокія, озарить свѣтомъ, усоподобитъ себѣ и за *это* послѣ наказать? Что съ тобою, другъ мой, какая нелѣпная мысль! Тутъ, я думаю, совѣмъ напротивъ: настоящей, реальной жизнью ты ничуть не избалованъ, ты несчастливъ, несчастливъ, Александръ, потому что изгнанникъ, потому что твоя Наташа не дѣлитъ твоего изгнанья, итакъ, за что-жъ тутъ наказанье? А счастье твое — твоя душа, ты, любовь! Ты оскорбляешь Провидѣніе, придавая ему неправоудную строгость.

Ты говоришь: *писать* или *служить*. Можетъ, я бы тутъ ничего не понимала и не думала-бъ даже о пользѣ отъ *службы* и литературныхъ занятій, если-бъ не ты. Вопросъ слишкомъ важный, и избави Богъ, если только обстоятельства рѣшатъ его, но при настоящихъ, кажется, только отъ тебя зависить выборъ. Я увѣрена, другъ мой, ты простишь мнѣ, если я скажу на это мою мысль. въ твоей волѣ уничтожить ее, выбросить изъ моей головы, замѣнить тысячею новыхъ, лучшихъ; но вотъ она такъ, какъ есть въ моей головѣ: *служить* первая *неволя*, прости очаровательная мечта о путешествіи! Можетъ, ты скажешь — эгоизмъ! Хорошо, оставямъ мысль объ Италіи, о ея небѣ, о ея природѣ, о ея жизни, несокрушенной огня и поэзіи; забудемъ эту страну, любимицу солнца, пожертвуемъ всѣми мечтами *пользы* отечеству! Но мнѣ кажется, *польза отъ службы*, какъ бы ни была она велика, — все будетъ *обыкновенною* и, сколько бы ты ни сдѣлалъ *службой*, все будешь обыкновенный служивецъ, какихъ много, потому что тебѣ указанъ путь, поставлены границы, предъ тобою и за тобою также идутъ, также служатъ; и напередъ можно опредѣлить, чего достигнешъ ты послѣ многихъ лѣтъ, многихъ усилій, пожертвованій; итакъ,

ты будешь служить, какъ *обыкновенно* служить, сдѣлаешь пользу *обыкновенную*! А *писать...* о! тутъ не проложенная *уже* дорога, не *истоптанная* уже. нѣтъ, ты можешь открыть тутъ себѣ цѣлое поле и только самъ проложишь себѣ дорогу и только самъ пойдешь по ней! И можешь тогда быть несравненно полезнѣе себѣ и другимъ. Первая дорога невѣрна, не въ твоей власти; зависимость, слѣдственно, и всѣ сопряженныя съ нею низости, непріятности, вся чернота, или неокончаніе, неуспѣхъ начатаго, бесполезные труды, стало. Вторая дорога твоя, собственно твоя, ты можешь ее сдѣлать шире, уже, длиннѣе, короче, здѣсь труды необыкновенныя и польза необыкновенная! И тутъ (прости молодости) Италия, Италия! Свобода! Воля! Море!

Жизнь необыкновенная!!!

Прощай, другъ, душа моя, некогда!

3-е марта. Съ кѣмъ, какъ не съ тобою, ангель мой, подѣлиться мнѣ этой бурей, этой грозой, которая теперь въ душѣ моей. Вообрази мое положеніе, ты знаешь, что для меня Emilie, знаешь, что Саша Б. Съ Emilie я воображала встрѣчать тебя, думала, что она будетъ вѣстникомъ благодатнымъ... Нѣтъ! она завтра придетъ *прощаться*, обвинемъ въ послѣднее. О! какъ знать, увидимся-ли когда! Саша, я ждала, ждала ее, она тоже мнѣ необходима и ты бы сказать это, если-бъ зналъ ее, нѣтъ мѣры въ дружбѣ и почтеніи, которыя я имѣю къ ней. Ждала годъ и думала, еще не увижусь долго,—завтра, завтра день свиданья съ ней! Дай силы, другъ мой, Александръ, Александръ, приди на помощь мнѣ! Встрѣчать и провожать! Два чувства сильныхъ борются въ душѣ моей, какъ свѣтло одно, такъ черно другое, они равны и побѣды быть не можетъ, борьба жестокая, я изнемогаю, прощай, не могу писать отъ волненья.

Но, но, если-бъ это былъ *пріездъ твой*, всякое чувство слабо и ничтожно было-бъ тогда передъ моимъ восторгомъ, можетъ, я не вынесла бы его.

21-го февраля, Вятка.

Ангель мой! Недѣлю цѣлую мнѣ что-то нездоровилось, было скучно, очень скучно и, знаешь-ли, чѣмъ я половиною вылечился, или, по крайней мѣрѣ, чѣмъ вылечилъ вполне душу—твоими письмами. О Наташа, Наташа... ты болѣе, болѣе, нежели человекъ; слово человекъ не можетъ приносить столько рая, столько счастья; слово уже убитое, на бумагѣ,—что-же твоя живая рѣчь, рѣчь и взоръ?.. И все это мое!

Я съ радостью увидѣлъ, что я въ февралѣ прошлаго года уже писалъ къ тебѣ о тайнѣ, которая тяготитъ меня, о пятнѣ, ибо ты спрашиваешь отъ 1-го марта. Слѣдственно, я недолго скрывалъ отъ тебя свое паденіе; это меня утѣшило, а я, не помня, горько упрекалъ себя въ скрытности, и къ кому же: къ Наташѣ!

Утро начинается, чистъ, свѣжъ воздухъ, алая полоса пророчить что-то на востокъ, все уже живо, все готово къ чему-то,—но солнца нѣтъ. Это твои письма 1835 года. Навѣрное можно сказать, что скоро огненное солнце покажется и обольетъ своими лучами все, но его еще нѣтъ, и потому въ иныхъ мѣстахъ еще темно, шатко,—но съ опредѣленнымъ появленіемъ любви твоя душа вдвое развилась и вдвое выросла. Вотъ доказательства: «развлеченный новыми предметами, ты иногда забудешь, что въ уголкѣ Москвы живетъ Наташа» — и дагѣ: «послушай, если живешь долго въ дальней сторонѣ, ты перемѣнишься и при свиданьи будешь только удивляться прежнему желанію видѣться» (Мая 28, 1835

въ Пермь). Жизнь моя здѣсь становится съ каждымъ днемъ несноснѣе, мало того, что я разорванъ надвое разлукою съ тобою, мало ссылки, мало проклятой исторіи съ М., прибавились еще такія отношенія, что—или будь честной чело-вѣкъ и жди грома на голову, или подайся самымъ безнравственнымъ, самымъ отвратительнымъ дѣламъ, самымъ гнуснымъ униженіямъ; а могу-ли я это? И при всемъ томъ совершенная безгласность. О, Господи, когда Ты изведешь меня изъ этого города! Досадно, отвратительно.

22-е. Сколько ни знай впередъ всю гнусность людей, сколько ни будь разочарованъ, все же нельзя быть холоднымъ зрителемъ ябедъ, клеветъ, интригъ... А какъ надобно быть почти болѣе, нежели зрителемъ, о, тогда, лучше еще 1.000 верстъ, лишь бы спокойную жизнь. Ахъ, какъ часто я съ слезою почти воспоминаю мою лачугу въ Крутицахъ.—Тамъ я былъ счастливъ. Вчера, ложась спать, я живо представилъ себѣ весь ужасъ моего настоящаго положенія и невольно заключилъ молитвою... Я рѣдко молюсь; молитва въ самомъ дѣлѣ требуетъ или дѣтскую душу, или высокую простоту,—но тутъ я молился отъ всей души: за что же, за что такъ тягостенъ мой крестъ и такъ мало силъ! Я знаю, какая награда меня ждетъ — небесный ангелъ съ небесной любовью, но развѣ эти частныя гадости ведутъ къ тому, чтобъ сдѣлать меня чище, лучше? Ко всему прочему еще новый ударъ Витбергу: у него уже обобрали все, теперь хотятъ, такъ сказать, отнять и самыя крохи отъ куска хлѣба, уже исторгнутаго изъ устъ. Припелъ приказъ отобрать разныя вещи у него и продать съ аукціона.—И Ты все это допускаешь!

Дивенъ путь Провидѣнія.

24-е февраля. И вотъ дѣйствіе молитвы — вчера получилъ я письма, въ которыхъ мнѣ даютъ болѣе, нежели надежды на скорое возвращеніе. Я живъ! Но погодимъ еще вполнѣ предаваться радости: тогда — тамъ, склоняя мою голову на твою грудь, когда любовь будетъ литься эфиромъ изъ твоихъ глазъ на мою душу, о, тогда—тогда я прощу эти черныя годы, благословлю ихъ, но еще не теперь. Впрочемъ, надежды очень велики, — ужели и онѣ лопнуть. Что же? Провидѣніе знаетъ, куда ведетъ и какъ. Но снова посылаю молитву къ престолу Божію, чтобъ онъ окончилъ мои страданія. — Весна, весна все оживаетъ, все живетъ вдвое, птицы vorочаются. Природа расковывается, можетъ, и я вмѣстѣ съ природою раскуюсь и прилечу вмѣстѣ съ птицами, но не по одной дорогѣ: тѣ летятъ съ юга, а я съ сѣверо-востока. Дорога, колокольчикъ, станціи, города, Москва, ты. Тутъ все оканчивается, что имѣетъ окончанье, тутъ начинается безконечное, святое, небесное.

24-е февраля. Хотѣлъ-было уже совсѣмъ кончить, но, вѣтъ, жаль съ тобой разстаться, еще что-нибудь скажу, ибо я веселъ. — Ну, какъ же будетъ наше свиданье, тысячу разъ въ воображеніи я его представлялъ съ разными переменами, тысячу разъ видѣлъ во снѣ. А страшно, сердце бьется при одной мысли, ей-Богу, страшно, я боюсь тебя той боязнью, тѣмъ страхомъ, которымъ трепещетъ христіанинъ, прикладываясь къ потиру, принимая св. причастіе. На бумагѣ мы сдѣлались храбры. Наташа, мнѣ хочется хохотать, очень хочется и плакать хочется очень. Ну, а ежели это вздоръ и свиданье далеко, далеко... Это демонъ какой то шепчетъ. Нѣтъ, пришло, кажется, время. Милый другъ, ангелъ мой, можетъ, къ Святой я въ Москвѣ. Придумай же, какъ намъ увидѣться только на одну секунду, только обмѣнять одинъ взоръ безъ нихъ, и въ этомъ взорѣ будетъ все: и благодарность за то, что ты спасла меня отъ меня самого, и

любовь, и радость, и не одна моя любовь—и твоя любовь, и я увижу все это и довольно, потому готовъ разсказывать о Николаѣ Хлыновскомъ княгинѣ Марьѣ Алексѣевнѣ, готовъ слушать, <что этотъ опытъ долженъ показать мнѣ, какъ надобно себя вести>—готовъ все, что угодно: совѣты толстой попадѣи, брань Макашиной, лай маленькой собачки,—что, чай, она жива, ну, та мохнатенькая, на точеныхъ ножкахъ?

Offene Tafel! придите всѣ, бросайте въ меня грязью, камнями или, еще хуже, бросайте словами, я буду тихъ, спокоенъ, только въ задатокъ тотъ взоръ, тотъ взглядъ.—Много будетъ неприятностей, ха, ха, ха! Ненадобно ѣхать въ Италию, тамъ много комаровъ; всѣ неприятности—вздоръ, которыя не отнимаютъ клочка сердца и души, они капризны,—склонять голову, потому что унизительнѣе верхъ взять, ежели покориться. Они будутъ вздоръ требовать.—это-то и хорошо, кабы они дѣло требовали,—бѣда бы съ ними. Вотъ какъ я тебѣ скажу о здѣшнихъ неприятностяхъ и за что я ихъ весь, тогда дашь другой вѣсъ этому слову.

Вѣсть о скоромъ возвращеніи провела тигровымъ языкомъ по сердцу, теплая кровь бѣжить того воспоминаванія, воспоминаванія. — Ну, прощай, можетъ, до свиданья.

Emilie расцѣлуй.

Александръ.

27-е февраля, Вятка.

Другъ мой! Это чувство страха, о которомъ я тебѣ писалъ въ прошломъ письмѣ, совершенно мною овладѣло. Чѣмъ ближе подвигается время нашего свиданья, тѣмъ сильнѣе оно. Въ два огромные года тебѣ былъ полный досугъ идеализировать меня, все, что могло родиться въ прелестной фантазиі твоей,—все было отдано этому существу, половина я и половина мечта твоя, и вдругъ.—я являюсь, мечта уже не можетъ имѣть мѣста, я оттолкну ее, а какъ должна быть изящна мечта святой, чистой души! И насколько я замѣню ее другими достоинствами. Ну, не странно ли, Наташа? Мнѣ даже страшно увидѣться съ нашими, съ домомъ, съ комнатою, теперь я чувствую, что я оличалъ въ казармахъ и въ глуши. Сколько опыта горькаго и свинцоваго привезу я съ собою въ эту комнату, на этотъ диванъ, гдѣ бурно, безотчетно, вольно пѣнилась моя юность; не юноша склонить на него голову съ мечтою несбыточной, но прекрасной, а человекъ, утратившій половину своихъ вѣрованій, половину довѣрія къ людямъ. О, какъ состарилась бы душа моя, ежели-бъ твоя любовь не оживила ее! Ты и еще два-три человекъ любовью и дружбой выкупили для меня современное человечество; и Руссо не бѣжалъ бы въ лѣсъ отъ людей, ежели-бъ онъ имѣлъ хотъ въ половину столько симпатіи, сколько досталось на мой удѣлъ.—Вѣчная молитва благодарности Провидѣнію: я погибъ бы безъ симпатіи и Оно послало ангела и людей съ душой, чтобъ спасти меня.

Но не слишкомъ ли я отдался мечтѣ о возвращеніи, не знаю,—или внутренній голосъ обманываетъ, или я возвращусь скоро: онъ не молчитъ, какъ прежде, а громко указываетъ на весну.—И неужели, когда я пріѣду, мы должны будемъ видаться, *tirés a quatre épingles*, въ недѣлю разъ? Я думалъ и не нахожу средства; какая огромная жертва, но ежели мы принесли обстоятельствамъ почти 3 года, то будемъ жертвовать *и мѣ* днями.—а тамъ, почему знать, что и какъ будетъ. Перстъ Божій указалъ тебѣ на меня, онъ тебѣ громко сказалъ 9 апрѣля: <Вотъ онъ, люби его>... (твое письмо отъ февраля 1836). Я сначала не вопиѣ

понялъ этотъ голосъ; но онъ громко и звучно повторилъ мнѣ: «она одна спасеть тебя». — Оставимъ же ему остальное, главное, конечно, мелочи сами расположатся.

Ты, я думаю, досадовала на меня, что долго не получала письма, а письмо пропало здѣсь въ почтовой конторѣ, — и мнѣ больно это.

3-е марта. Прелестный браслетъ — благодарю, благодарю — нѣтъ, а имя твое на золотѣ хорошо, именно я радъ, что оно вырѣзано, это для меня священный иероглифъ счастья, блаженства, будущаго, я часто пишу на бумагѣ твое имя и долго смотрю на него. Natalie! въ этихъ 7 буквахъ выражена для меня большая половина бытія моего. Благодарю, ангелъ, горячій, пламенный поцѣлуй любви тебѣ и поцѣлуй дружбы Emilie.

И письма отъ 29 января и 15 февраля получилъ; отвѣтъ ты знаешь — я люблю тебя, вотъ содержаніе всѣхъ писемъ: люблю, люблю и любимъ ангеломъ. Тутъ должна остановиться рѣчь человѣческая. Я никогда не читалъ нѣкогда знаменитаго романа «La nouvelle Heloise»; на двѣхъ я нашелъ его здѣсь и припылся перелистывать; онъ весь въ письмахъ, — и я расхохотался. Руссо былъ великій человѣкъ, но онъ, должно быть, понятія не имѣлъ о любви. Эти письма и наши письма, тутъ все разстояніе между пресмыкающейся по землѣ травой и пальмой, которая всѣми листьями смотритъ на небо. Какъ у нихъ любовь чувственна, матерьяльна, какъ виденъ мужчина и женщина, и нигдѣ существо высшее, которое онъ хотѣлъ представить. И эта женщина при первой мысли любви готова пасть и пала, а, вѣдь, какъ бы то ни было, паденіе женщины страшно, грустно. — Но несчастію, я это знаю!

Ну, вотъ какой я вѣтреный, въ твой запискѣ лежала еще записка запечатанная, я, не смотря, распечаталъ, читаю — не ко мнѣ, а къ Emilie — и я все думалъ, что за чѣмъ-нибудь прислана она мнѣ, прочелъ всю. Pardon! И немного на тебя въ претензіи: изъ этой записки я вижу, что тебѣ и Emilie нужны деньги, и почему же ты не обратилась ко мнѣ? Я получаю слишкомъ 4.000 въ годъ, неужели я не могу прислать тебѣ, сверхъ того у меня со всѣхъ сторонъ кредитъ. Что за ложная деликатность и съ кѣмъ же? Сейчасъ напишу маленькѣ, чтобъ она доставила тебѣ что-нибудь на первый случай, и впередъ прошу адресоваться къ вашему покорному слугѣ.

Прощай, ангелъ мой, прощай, ахъ, быть можетъ, скоро я прижму тебя къ груди моей, увижу твой взоръ!

Полина тебѣ кланяется дружески, искренно, — вы очень коротко знакомы. Прощай же, пора быть будничнымъ человѣкомъ и заниматься пустяками.

Твой въ вѣчность Александръ.

4-е марта.

Къ тебѣ, къ тебѣ несется звукъ чистой, ясной, святой, звукъ души твоей Наташи, о, дружба! Я видѣла ее, Александръ, ее, моего друга, мою сестру по душѣ, мою Сашу! Видѣла! видѣла! О, какими рѣчами, какой музыкой выразить это состояние души? Ни рѣчь, ни струны! Вѣдь, эта душа твоя, твое сознанье, смотри же ее, какъ свѣтла она теперь, ни пылинки, *ея* рѣчь, *ея* взоръ, взоръ друга. Голосъ друга очистили, освятили ее, слушай, слушай, Александръ, эту гармонію... и небо ей внимаешь, и вся природа воспѣваетъ святую дружбу. Тебѣ бы только быть при этомъ свиданіи. И что же сказала я ей, она мнѣ? «Что?» спросить всякой, но ты, ты, постигшій глубину и высоту чувства, не оскорбишь

его вопросомъ. Ты знаешь, что говорить душа душѣ родной, тебѣ знакомъ ихъ неземной языкъ, ты слушалъ его, ты самъ говорилъ имъ.

И Emilie была и еще не въ послѣдній разъ! Что будетъ со мной, когда я *увиджусь съ тобой!!* Но меня похищаютъ изъ моего рая, меня зовутъ на землю, въ землю... пусть, пусть тѣло въ гробу тлѣетъ, душа высоко, душа въ небѣ, въ тебѣ! Прощай!

(115-е. Вчера не сквозь темное стекло смотрѣла я на солнце, а сквозь солнце смотрѣла на темную землю, и она казалась мнѣ лучшею, тоже свѣтлою. тоже прекрасною, и души *людей* казались тоже свѣтлѣе, небеснѣе, и я не хотѣла отыскивать въ нихъ темныхъ пятенъ, чтобъ не отравить святого веселія души, но со вчерашняго прошло ужъ много, цѣлая ночь и нѣсколько часовъ дня... Часто, получивъ ударъ, не чувствуешь боли въ эту минуту и не замѣчаешь даже его, но послѣ черное, большое пятно напоминаетъ объ ударѣ и долго, долго не проходитъ, но я не боюсь болѣзней физическихъ. — Слышать *отъ другихъ* пошлыя сужденія, вздоры—ничего, да и что до нихъ, когда не слушаешь ихъ: часто, почти всегда, я не слушаю, что говорятъ мнѣ *эти другіе*, но вчера мнѣ говорила *Эмилиа*,—я *слушала*, потому что ее всегда слушаю... Александръ, Александръ! Нѣтъ, это не глубокое убѣжденіе, это одни слова... Скажи, ангелъ мой, можетъ ли Emilie, наша Emilie, думать это... да нѣтъ, я не скажу тебѣ, что она сказала, мнѣ страшно восбразить... не послышалось мнѣ?.. Но если тебѣ, душа моя, не открою я этого, — кому же, кому лечить раны моего сердца!

Приготовься, выслушай, это ужасно.

Какъ скоро мы остаемся съ Emilie однѣ, разговоръ о тебѣ. Вдругъ она мнѣ говорить пресерьезно: «Наташа, любовь *проходитъ*». Не помню, что я возразила на это, только она повторила опять: «*вѣрь мнѣ*». О! какъ я была рада, что кто-то вошелъ и разговоръ этотъ прекратился, впервые порадовалась, что намъ *помѣшамъ*. Прибѣжище мое. Александръ! Если-бъ не ты, куда-бъ, куда-бъ укрыться мнѣ отъ людей, о, какъ страшны они иногда, какъ одно слово, одинъ взглядъ ихъ заставляють дрожать, какъ отъ крещенскаго мороза. что-бъ стало со мною среди этихъ льдовъ? Не спасли-бъ меня Вѣра и Надежда, не спасла-бъ Любовь меня, если-бъ она была не твоя! О, нѣтъ! Одинъ ты, съ твоей бурвой и ясной, огненной и святой душой могъ спасти душу Наташи. Твоя душа!... О, какъ часто, какъ долго я погружаюсь, возношусь въ это небо; ясность, спокойствіе его гармонируетъ болѣе съ моею душой, но въ какомъ благоговѣйномъ восторгѣ я предъ грозой его! Если-бъ даже смерть несла она мнѣ... съ молитвой, съ восторгомъ закрыла-бъ я глаза и послѣдній образъ на землѣ, послѣдняя мысль, послѣднее чувство—любовь! Александръ мой, зачѣмъ я не могу тебѣ высказать, тебѣ, всего. зачѣмъ нѣтъ словъ, нѣтъ звуковъ, которые-бъ вполне передали мою любовь!.. Но будто ты не знаешь?.. О, нѣтъ! Пора кончиться пути страдальческому, къ тебѣ на шею, въ твои объятія, къ ногамъ твоимъ! Умереть, умереть хочу я. если смертію можно купить взглядъ твой! Въ самомъ дѣлѣ, ну зачѣмъ я чело-вѣкъ? Лучше-бъ быть столомъ, подушкой, или перомъ, или луной! Тогда-бъ люди не знали ея рожденія и ущерба, я-бъ все смотрѣла въ твоё кошечко...

Я и забыла объ Эмили! Да нѣтъ, пока забудемъ, забудемъ ее, пока свѣжи эти слова—«*любовь проходитъ*», такъ она не любила, не любила! Не знаетъ любви! Она мечтала, она играла, шалила, забавлялась,—въ ней страшно мнѣ разочароваться, больно... если она выйдетъ замужъ (разумѣется не за N)! О!... Возьми, возьми меня скорѣй отсюда, и далѣе, далѣе, далѣе отъ тѣхъ, кого люблю

и кто за это терзает меня, убійственно любить безъ уваженья... Лишь бы мою Сашу Б. не покинуть, но Богъ и съ ней! Она такъ свята, чиста, высока... Въ послѣднее свиданье она говорила: «о, если-бъ не обязанности, я бы жила съ тобою (то-есть, *тогда, тогда!*), но это невозможно. Будь только ты *счастлива* и я пожертвую моимъ *счастьемъ* видѣть тебя». Какая душа! Какъ люблю ее... но хочу разстаться и съ ней, хочу, для того, чтобъ только тобой жить, въ тебѣ, для тебя, мой Александръ! Ахъ, нѣтъ, нѣтъ ни жизни, ни смерти. не довольно будетъ выразить любовь мою... вѣчность... Богъ... и будто она *проходитъ*... Emilie не знаетъ тебя. А Саша Б. не знаетъ твоей любви, какъ же, она мнѣ говорить: «другъ мой, такъ ли *онъ* тебя любить, какъ ты его?» О! когда такъ, прощай, Emilie! прощай, Саша! Вы не знаете *его*, его *любви*; что мнѣ ваша дружба, пустите, пустите меня къ нему! Въ раю ли, въ страшныхъ ли пустыняхъ, въ снѣгахъ ли онъ, но лишь бы онъ, я лечу, бѣгу, бѣгу къ нему, босая по льдинамъ, безъ судна по морю, сквозь огни! Къ нему, къ нему!.. Ахъ, прощай! //

6-е. Знаешь ли, мой Александръ, о чемъ я сегодня плакала, горько плакала? Читая «Живописца» Полевого, мнѣ вдругъ представился ты, съ твоей необъятной душою, недосыгаемой любовью, ты поэтъ, художникъ въ душѣ, болѣе, чѣмъ *Аркадій*, выше, непостижимѣе, его и я—*Вѣринька!*... Да, Аркадій увлекся мечтою, онъ думалъ, что душа ея родная его и любилъ, и какъ любилъ!.. Когда онъ сказалъ это убійственное: «она не понимаетъ!»,—заныло, сжалось мое сердце, такъ страшно стало за тебя, такъ страшно,—я задрожала, оставила книгу и такъ рада, рада была, что полились слезы. О, если-бъ я несчастьемъ моимъ, моимъ вѣчнымъ страданьемъ, непрерывною смертью могла бы принести тебѣ благо, тогда-бъ я звала, что я что-нибудь есть для тебя, *одычала* для тебя, а то ни одной жертвы, ни одной раны за любовь къ тебѣ! Тогда-бъ я звала, что мученья люблю для тебя, а не тебя только для наслажденья, и, можетъ, я не совершенно понимаю твою душу... но не заслуживаю твоего презрѣнья, уничтожаясь предъ тѣмъ, что дано мнѣ постигнуть въ тебѣ. И что же, о, Боже! Если для всей жизни моей, для всей души, для вѣчности — довольно одного взгляда *его*, а для его взгляда мало всей души моей, всей жизни?..

Цѣлый часъ ходила я теперь по комнатѣ. Да, въ наружности я далека даже Вѣриньки, далека, какъ тюльпанъ розы, но душа... за нее порука мнѣ твоя любовь!

Ночь. Сію минуту дочитала «Блаженство безумія» (1836, сентября 23, ты писалъ, чтобы я прочла «Жизнь и мечты» Полевого, у меня не было ихъ). Такъ я не единственная, Александръ! Помнишь ли, я писала тебѣ такъ блѣдно, такъ мало, такъ связно о томъ блаженствѣ, о той любви, которой на землѣ довольно одного взгляда, одного объятія, одного слова, одного поцѣлуя, о любви моей недавно писала... и еще долгую разлуку, страданья, муки... и чтобъ, взглянувъ на тебя, только успѣть сказать на землѣ:

Kurz ist der Schmerz und ewig ist die Freude!

Недавно это писала я, а «Блаженство безумія» еще въ 33-мъ году! Такъ, стало, прежде меня... прежде, чѣмъ я сама постигла тайну рожденія жизни и смерти, была уже постигнута эта тайна, одѣта въ слово, отдана людямъ, мнѣ больно... Но, нѣтъ. Развѣ можно постигнуть любовь — тайну Бога и вѣчности, не зная тебя. Александръ, не любя тебя этой любовью? Полевой—мужчина, Полевой не зналъ тебя, и это чувство, данное Адельгейдѣ, одна тѣнь, одинъ контуръ

того, что въ душѣ моей. Я покойна. Прощай! Нѣтъ, не прощай, а закрой глаза, склонись на подушку, забудь сонъ, то есть, жизнь — и мы вмѣстѣ.

O! dahin, dahin mein Geliebter.

6-е марта, Вятка.

Вѣришь ли ты въ силу тѣхъ восточныхъ талисмановъ, которые служили и лекарствами тѣла, и лекарствами души, въ эти неодушевленные камни, изрѣзанные знаками и буквами, въ конхъ осталась сила человѣка, съ вѣрою вручающаго. Я вѣрю, я испыталъ это. Третьяго дня мнѣ было много неприятностей, рядъ маленькихъ гадостей, рядъ низкихъ притязаній; я прѣхалъ домой раздосадованный, бросился на постель и не могъ уснуть, я кусалъ губы и сердился, наконецъ, взялъ твой браслетъ ..

Нѣтъ, доселѣ еще не было вещи, которую бы я столько любилъ, которой бы столько радовался; я долго-долго смотрѣлъ на него. Это ея волосы, тысяча разъ касалась рука ея, можетъ, она поцѣловала его на дорогу, можетъ, она ему завидовала, и я цѣловалъ твой браслетъ и смотрѣлъ на него съ такою любовью, съ такимъ чувствомъ! Все мрачное отлетѣло, сила влилась въ грудь. А твое имя. Странная вещь, какъ будто я не могу его написать на всякомъ клочкѣ бумаги; можетъ, это ребячество: но твое имя, вырѣзанное тутъ, возлѣ твоихъ волосъ, наполняетъ всю душу свѣтомъ и небомъ. Числа и года нѣтъ, и это хорошо, мы соединены во-вѣки, это имя есть моя молитва. времени ему нѣтъ. О, Наташа, какъ я тебя люблю, одно чувство только поставлю я рядомъ съ моею любовью—это твою любовь. Ты совершенно также любишь меня, это въ каждой строкѣ, нѣтъ, въ каждомъ дыханіи. Есть люди, которые говорятъ, что всѣ эти матеріальные памятники не нужны. Да, они правы въ одномъ отношеніи: ежели-бъ самъ Рембрандтъ писалъ твой портретъ, то все-же онъ не будетъ такъ хорошъ, какъ образъ твой, начертанный въ душѣ моей, но, тѣмъ не менѣе, эта виѣшняя опора фантазій подымаетъ ее. Но, говорятъ, всѣ эти вещи сами по себѣ ничего, а только одно воображеніе даетъ имъ цѣну. Однако, когда усталый путникъ беретъ посохъ, —хоть посохъ самъ по себѣ и ничего не значить, но онъ ему замѣняетъ часть тѣла.—Можетъ, я долго-бы грустилъ тогда, можетъ, черныя мысли бродили-бы, какъ тучи, въ голубѣ и голубое небо,—ты, едва-бы было видно, а твой браслетъ разомъ исцѣлилъ меня. Да и сами люди, что-же иное, какъ не матеріальный знакъ своей души. Ну, довольно философствовать.

Икона только свята для того, кто въ нее вѣритъ, лампада свѣтитъ для всего рода человѣческаго. Икона средство для человѣка идти вверхъ. А лампада съ неба унесла солнечный лучъ на землю. Вотъ тебѣ въ отвѣтъ на воспоминаніе объ этой мысли.

7-е марта. Вчера былъ годъ одному прелестному случаю со мной. Я привезъ вѣсть утѣшенія одному несчастному человѣку, видѣлъ слезы восторга на мужественномъ лицѣ воина. Это одна изъ минутъ, которыя остаются въ памяти до гробовой доски. Я писалъ тогда, справься.

Въ сотый разъ повторяю, что такое за гадкая жизнь въ маленькомъ городѣ, вдали отъ столицъ, гдѣ всѣ трепещутъ одного, гдѣ этотъ одинъ распоряжается, какъ турецкій паша. Нигдѣ нельзя видѣть ниже человѣка, какъ въ какомъ-нибудь захоlustѣ à la Wiatka. Надобно признаться — урокъ очень полезный прослужить два, три года въ дальней губерніи. Тамъ, въ столицѣ, хоть

наружность приличная, а здѣсь все открыто, тамъ метутъ грязь, а здѣсь она по колѣна!

10-е марта. Ангелъ мой, надежды подтверждаются. Боже мой, какъ волнуется кровь, какъ бьется сердце при этихъ словахъ. Я прижму къ груди своей эту небесную, эту святую, этотъ идеалъ мой, которой я молился два года и которая казалась такъ же недосыгаема, какъ небо. Нѣтъ, тысячу разъ думая, представляя, я не могу постигнуть, какъ мы увидимся, священный покровъ лежитъ еще на этой минутѣ, мы сорвемъ его и полетимъ въ объятія другъ друга. — Я теперь ничего не дѣлаю, не могу ни о чемъ думать, кромѣ объ отъѣздѣ. А горько будетъ, Наташа, ежели и эти надежды лопнутъ, — хоть-бы взглянуть мнѣ дали на тебя, въ цѣпяхъ бы свозили въ Москву, на полчаса, и были-бъ опять силы на годъ.

Твой, ангелъ мой, твой Александръ.

Емиліе кланяюсь дружески; она, вѣрно, не сердится, что я къ ней не пишу; ей-Богу, мнѣ трудно писать къ кому-бы то ни было, кромѣ тебя.

8-е марта.

Недѣлю цѣлую тебѣ нездоровилось, и меня не было съ тобой! И я не ходила за тобой, лечила тебя не я, не я!.. Какъ стало тяжело мнѣ, когда прочла эти строки, ужасно вообразить тебя больного безъ меня. Но, слава Богу, кажется, вѣдь, легче тебѣ? Берегись, другъ мой, ради самого Бога берегись, особенно — пока некому беречь тебя.

Какъ страшить меня теперешнее твое положеніе... но что-же страшнаго? Вѣдь, люди накажутъ, люди изгонять, на землю страданіе (да и можно-ли это назвать страданьемъ) временное, а не Онъ изгонитъ, не мщеніе на небесахъ, не мука вѣчная!

Сколько ни твердили мнѣ, что есть надежды большія... сердце встрепенется, но не грѣется. не питается этими надеждами, наконецъ, вотъ черезъ твои уста, черезъ твое письмо явились эти надежды ко мнѣ... на самомъ дѣлѣ онѣ все тѣ-же, но ужъ для меня не тѣ-же! Какъ жадно обняла я ихъ, какъ пламенно отдавалась имъ! Прости земля, холодъ, люди! — все зазвучало райскою пѣснью, все засіяло цвѣтами заоблачными, прочь хоть на мгновеніе людское сомнѣніе! — Надежда! ты мнѣ была чужая, когда тебя представляли мнѣ люди, тогда я не хотѣла слушать тебя, смотрѣть на тебя, тогда я боялась тебя, а теперь — возьми. возьми меня, я твоя! Если-бъ не ея рука указала тебя, ты все-бъ оставалась мнѣ невѣроятною, но теперь я не въ силахъ обороняться; ежели даже ты, Саша, отвергнешь меня, я буду ползти за тобой до тѣхъ поръ, пока Онъ скажетъ: «оставь надежду», да, до тѣхъ поръ...

Итакъ, вотъ и ты объ этомъ знаешь, пишешь, надѣнешься... О! Неужели, неужели, Господи?!.. Тѣсно въ груди... одинъ вздохъ наполнилъ бы, кажется, всю вселенную... Милосердія двери отверзи намъ!.. Александръ!.. Ахъ, нѣтъ, неужели я похристосываюсь съ тобой... неужели и для насъ будетъ *Свѣтлое Воскресенье?*.. Да скажи-же, ангелъ мой, ахъ неужели!.. Все молчить, все.. но зачѣмъ-же бы небо такъ было ясно, зачѣмъ бы звѣзды такъ весело играли, зачѣмъ бы невидимое, непостижимое что-то, что-то божественное, святое, утѣшительное носилось надо мною, если-бъ все это не было отвѣтомъ?.. До завтра! Милый!

Часъ тому назадъ получила твое письмо отъ 21 февраля.

9-е. Что слышится мнѣ?—твой голосъ; что вижу?—твой глаза, твой лобъ. ты, ты, даже—повѣришь-ли—чувствую запахъ кнастера, которымъ три дня пахло отъ косы моей послѣ 9 апрѣля 35. Долго, долго вчера послѣ письма ходила я по комнатѣ, ахъ, Александръ! Гдѣ тѣ слова, которыми-бъ я могла выразить тебѣ чувства? *Придумать, какъ увидѣться!* Нѣтъ! нѣтъ! тутъ думать я не могу, передъ мыслью увидѣться исчезаютъ всѣ другія, для меня все равно, увижу-ль я тебя въ облакахъ близъ неба, иль въ тучѣ людей,—все равно, лишь-бы видѣть, видѣть, видѣть!.. Рѣдко, очень рѣдко спрашиваю я, *какъ увидѣться?*.. Но когда *могу* объ этомъ размышлять, то думаю и желаю, чтобъ тутъ не было ни единой души, ни одного глаза,—никто не достоинъ быть тутъ, никто. Пусть одинъ Тотъ, Кто одну душу далъ тебѣ и мнѣ, будетъ свидѣтелемъ нашей горести и радости; людей не надо, не надо! Но какъ-же? Нельзя-ли, какъ ты пріѣдешь... ахъ, ей Богу, не знаю, что сказать... пріѣдешь, пріѣдешь и довольно! и все тутъ! о чемъ далѣе думать. Однако, нѣтъ, не хочется мнѣ при *нихъ*, а избѣгнуть невозможно, развѣ какъ ты еще прежде писалъ, въ 3-мъ часу послѣ обѣда, Саша на караулѣ... или нѣтъ, лучше я пріѣду къ тебѣ, папенька напишетъ, что ты не очень здоровъ съ дороги, пришлетъ за мной Вѣру или хоть Альмока, только-бъ ради самого Бога безъ Макашиной!.. Да, ангелъ мой, ну, придетъ-ли тогда намъ въ голову обдумывать свиданье, ты просто какъ изъ коляски, такъ ко мнѣ! Или я просто одна уйду изъ дому, ну, что они мнѣ сдѣлаютъ, не догонятъ! Прощай, ѣду къ обѣднѣ, мы говѣмъ; о, какъ буду я теперь постыться, молиться!..

Да, сегодня жаворонки прилетаютъ, ахъ, только жаворонки! Я весела, съ какимъ удовольствіемъ смотрю на испеченнаго жаворонка, будто лѣтъ 10 тому назадъ.

Къ Святой, а до Святой только 6 недѣль! Да, ровно 2 года ночи, ночи темной, мрачной, хоть были и звѣзды и мѣсяцъ былъ, но что все это передъ солнцемъ? Какъ я буду приготовляться къ этому великому дню, онъ будетъ второй въ моей жизни; 7 недѣль постилась и молилась я, и уже потому удостоилась *9-го апрѣля*, и къ этому, наступающему великому, святому дню,—о, надо очиститься, возвыситься... Не такъ буду приготовляться къ нему, какъ готовятся *показаться* жениху. нѣтъ, а какъ-бы предстать *туда*, какъ-бы готовилась я къ переходу отъ жизни временной къ вѣчной, къ вознесенью съ земли на небо!

Александръ, Александръ, ангелъ мой! Не знаю, какъ перенести свиданье! Ты боишься меня, а я развѣ не писала тебѣ о моемъ страхѣ? Боюсь, боюсь тебя, спаситель мой! Отецъ мой! Боюсь предстать недостойною дочерью предъ тобою. братъ мой, назовешь-ли *тогда* ты меня твоею сестрой? Ангелъ мой, достойная ли буду я подруга твоя?..

Милый, милый, душа моя, жизнь, лети, лети къ твоей Наташѣ!

Господи! За что-же Ты такъ немилосердъ къ этому великому душой. Витбергъ... я думаю, что съ нимъ будетъ, какъ ты уѣдешь. Да неужели нѣтъ средства помочь ему? Ахъ, какъ это все терзаетъ меня. Что здоровье Полины?

Москва, марта 13.

Сегодня я приобщалась. Бываютъ минуты, часы, дни цѣлые, въ которые душа чиста, свѣтла, свята, какъ небо, какъ сама любовь, но эти дни болѣе, нежели когда-нибудь, я была достойна предстать предъ тобою. Надежда на скорое свиданіе умножила во мнѣ желаніе и увеличила силы къ умерщвленію всего земного.

Предъ тобой, спаситель мой, я не должна и не могу скрывать ничего хорошаго и дурного; ты долженъ видѣть плоды любви и утѣшаться ими, долженъ и остальную темноту превращать въ свѣтъ. Безъ любви никогда-бы я не могла вкусить столь высокаго восторга въ таинствахъ покаянія и евхаристіи: молитва, постъ, покаяніе, сообщеніе со Христомъ—все исполнено любви къ тебѣ, все нераздѣльно съ тобой; да, Онъ велитъ любить все прекрасное, истинное, великое! Нѣтъ тебя; нѣтъ и искры Божества, нѣтъ свѣта въ душѣ, все темно, непостижимо, тайно, недоступно пресмыкающейся. Ты-же, ангель мой, отдавъ мнѣ свою душу, свою любовь, далъ и небо мнѣ, и вѣчность, и Бога! Но еще мы несовершенны во многомъ, и потому ни одной молитвы не исходитъ изъ устъ моихъ, которая бы не была о тебѣ, а гдѣ ты, тамъ и я. Признаюсь, даже на исповѣди я просила Бога болѣе объ отпущеніи твоихъ грѣховъ и, принимая тѣло и кровь Господа нашего, будучи близка съ Нимъ, молилась не о себѣ, о тебѣ. Но что-же писать объ этомъ, будто-бы могло быть иначе! Вчера, исповѣдавшись священнику, я долго послѣ читала, исповѣдывалась самому Богу, молилась, молилась... и заснула. Вдругъ, такъ ясно и громко говорятъ мнѣ, что ты пріѣхалъ, лечу! Кажется, тѣла на мнѣ нѣтъ, такъ легко, и вотъ ты, ты, мой Александръ, другъ мой, не обыкновенный человѣкъ, не обыкновенный юноша, нѣтъ, того бы я не обняла такъ, тотъ не упесъ бы меня въ міръ гармоніи и блаженства! На тебѣ былъ видъ просвѣтленный, выражающей цѣлое небо любви, рай,—ты простеръ ко мнѣ руки, я бросилась въ твои объятія, какъ во врата небесныя, и, легкую какъ перо, ты взялъ меня на руки и принесъ въ комнату, гдѣ папешка и маменька и гдѣ слышалась музыка... Тихо отворила Саша ко мнѣ дверь, но я проснулась, сердце билось громко, часто, небо ужъ свѣтлѣло, розовая лента перепоясывала лазурь, благовѣстили къ заутрени, и мысль сообщенія съ Христомъ обняла все существо мое. Я встала; прочитано правило; вотъ и храмъ, вотъ чаша искупленія... Зачѣмъ, зачѣмъ не виѣсть съ тобою приступала я къ ней! Прошелъ часъ, два, неприятны посѣщенія и говоръ людей, когда летишь въ небо. жаждешь бесѣды ангеловъ и серафимовъ,—но я вознаграждена! Вотъ этотъ листокъ, писанный тобой отъ 27 февраля, защита мнѣ отъ земли!—Прощай, всѣ отдохнули, просыпаются, пора и мнѣ заснуть жизнью ничтожной; о, нѣтъ! нѣтъ! Мы всегда, вездѣ мы можемъ быть тѣмъ, чѣмъ Онъ создалъ насъ. Прощай, другъ мой!

14 е. 7-й часть, а я ужъ давно, давно встала, была у заутрени. Последнее время я нахожу необыкновенную отраду быть въ храмѣ. Кому же, какъ не Ему, въ разлукѣ съ тобою, повѣрю я и грусть мою, и радость, тайную предвѣстницу будущаго, и любовь, и тебя! Къ кому обращу этотъ взоръ, гдѣ вся душа, вся любовь, весь ты! Я разлюбила говорить съ людьми давно, давно, даже не знаю; любила ли когда, но это время разлюбила говорить даже съ друзьями. Никто, никто такъ не пойметъ меня, никто не дастъ душѣ отвѣта. одинъ Онъ!..

Скажи, другъ мой, когда-же увѣришься ты, что я люблю не мечту, а тебя? Мнѣ это больно. И что-же въ самомъ дѣлѣ я, когда не могу увѣрить тебя въ этомъ?..

Конецъ разлукъ, конецъ! конецъ! Боже! Ему надо доказательствъ въ любви моей, онъ не вѣритъ ей вполне и какъ тяжело должно быть ему это невѣріе! Господи, прекрати-же нашу разлуку, можетъ быть, тогда... но ежели и тогда онъ скажетъ: «мнѣ половина любви твоей принадлежитъ, другая мечтѣ»,—страшно! Нѣтъ, можетъ быть, я увѣрю тогда его, докажу... Милый другъ, зачѣмъ-же и теперь ты огорчаешь меня? Будто я разочаруюсь при свиданіи! Какой

ты жестокой, и не увеличиваешь ли ты тѣмъ болѣе мой страхъ, не убиваешь ли тѣмъ и во мнѣ вѣрю, что я именно *твоя Наташа?* Но я постигаю... прощаю, прощаю, божество мое, тебѣ все, лишь прїѣзжай скорѣй, лишь скажи твоимъ голосомъ, взоромъ—люблю тебя, Наташа! Прощай!

Нѣтъ, это въ самомъ дѣлѣ смертельно больно мнѣ, ежели ты думаешь, что я воображаю болѣе, нежели ты есть. Фу!.. какъ тяжело вздохнулось. Да чѣмъ же изгнать эту мысль? Чѣмъ? А тѣмъ, чтобы прїѣхать къ Наташѣ и прочесть не на письмѣ, а въ глазахъ любовь такъ, какъ она есть. Такъ прїѣзжай-же, прїѣзжай!—Какъ я ни отдаюсь на волю Божію, какъ ни вѣрую, что все къ *лучшему*, а, право, морозъ по кожѣ, какъ вспомню прошлые годы, какъ мы еще говорили: *Вы-съ, Александръ Иван., Вы, Наталья Алексан.* и сидѣли одинъ въ углу, другой въ другомъ и кой-когда заводили рѣчь о погодѣ, о гуляньѣ, о деревнѣ... Ужасъ! да, и какъ вообразишь, что, можетъ, еще *нѣсколько*, можетъ, *много* лѣтъ будемъ такъ *жить поживать!*.. Скорѣй рѣшенье, что на нихъ смотрѣть,—да, впрочемъ, что-же предпринять? Прїѣзжай ужъ только, тогда поговоримъ, тогда я много скажу.

Теперь я вижу, что не только свои, но и чужія вѣренныя мнѣ тайны я не должна скрывать отъ тебя, другъ милый! Очень хотѣлось написать къ тебѣ объ одномъ существѣ, которое, не знаю, любить ли Эмилию, но знаю, что влюбленъ въ нее. Она—не знаю и теперь, что сказать тебѣ—мнѣ *кажется*. она *спокойнѣе, кажется, не хочетъ еще любить, кажется, сожалится надъ нимъ!* Но кто-же этотъ онъ? Юноша, ея ровесникъ Александръ, его имя (но, вѣдь, на свѣтѣ много Александровъ), красавецъ, по ея словамъ, получаетъ 3.000 въ годъ, управляетъ какими-то конторами въ магазинахъ, бывалъ каждый день по нѣскольку часовъ у ея сестры, гдѣ она жила, говорилъ ей глазами и языкомъ, блѣдностью и румянцемъ о любви; но что это все? Не знаю, не знаю, не знаю! Я сильно была взволнована, смущена ея рассказами, я терялась; но, вѣдь, она страшно, ужасно несчастна; я люблю ее, прекрасная душа, но зачѣмъ-же падать? Слава Богу, она принялась къ мѣсту, уѣхала до зимы, можетъ быть, романъ этотъ тѣмъ и кончится, дай Богъ! Она не желала сообщить тебѣ обо всемъ этомъ, а что хотятъ скрыть отъ тебя, стало, въ этомъ нѣтъ ничего великаго и святого! Потому и я не писала тебѣ, но смотри, какъ случай самъ открылъ все, только чтобъ ей оставалось это неизвѣстнымъ. Можетъ, со временемъ ты самъ отъ нея узнаешь. Судьба ея до сихъ поръ загадка, что за море! Мудрено тутъ плыть безопасно и плыть ей.

Почему ты заключаешь, что мнѣ нужны деньги?—Нисколько, вѣрь мнѣ, а если-бъ и была нужда, развѣ далеко мнѣ искать ихъ? Маменька и Егоръ И. часто предлагаютъ, но, право, какъ-же брать, когда ненужно, и будто это церемонія, да мнѣ дѣться съ ними некуда бы было, да и самъ разсуди на что? Вольно *имъ* не вѣрить, что я не нуждаюсь въ нужномъ для *нихъ*, что могу и хочу обойтись безъ необходимаго для *нихъ*, а я не понимаю, какъ тебѣ вошло въ голову, чтобъ я въ самомъ дѣлѣ, имѣвши нужду, не писала тебѣ. Когда я могу ухлѣять бѣднымъ, стало, карманъ мой не пустъ, хотя, правда, въ немъ немного, но довольно для того, чтобъ *отвести душу—не отказать просящему!* Итакъ, милый, не безпокойся о моихъ нуждахъ; я сама, право, ихъ не замѣчаю, а когда замѣчу, честное слово, напишу. Эмилиа принялась къ мѣсту, стало, и ей ненужны. А въ запискѣ къ ней я только спрашивала, ненужно ли?

Вообрази мое удивленіе, думала, что давно Е. И. ей отдалъ записки, и за-

была объ нихъ при свиданіи съ нею, ужъ до того-ль тогда! Вдругъ,—я думала, привидѣлось, и за дѣломъ прокатились 2.000 верстъ! Прощай, мой ангелъ, мнѣ что-то невесело, цѣлый день толпилась у насъ всякая всячина, надоѣли до смерти, устала и тѣломъ и духомъ! Но отдохновеніе мое недалеко, вотъ столікъ—въ немъ портретъ, вотъ грудка книгъ, за ними письма! Чего-же, чего-же еще? Обнимаю, обнимаю, душа моя—прости!

15-е. Когда я сказала Сашѣ Б. твой поклонъ, она какъ-бы испугалась и сказала: «это слишкомъ много, онъ знаетъ меня черезъ тебя, ты-же видишь меня черезъ твою прекрасную душу, а я желала-бъ знать, какъ нашеть бы онъ меня, не зная, что ты такъ любишь меня, что я другъ тебѣ, когда-бъ я была то, что ты...» Намъ прервали; этимъ людямъ не довольно того, чтобъ имъ не мѣшали говорить, надо еще ихъ слушать и попеременно повторять: да-съ, нѣтъ-съ. Богъ съ нами! Саша Б. имѣетъ прекрасную душу, но свѣтъ, но семейство не дали узнать ей себя, потому она такъ часто недовольна собой и такъ мало надѣется на себя. Мудрено вамъ будетъ сблизиться, ежели не будетъ переменъ въ нашей жизни.

Я о чемъ ни говорю, о чемъ ни думаю,—все это освѣщено надеждой и кончается тѣмъ, что все превратится въ одинъ свѣтъ; я даже не могу вполне постигнуть, что ты пріѣдешь. Необъятная мысль, а грудь тѣсна! Ты пріѣдешь, я увижу тебя, услышу, ...нѣтъ, это слишкомъ! это не можетъ быть! Когда за 1.000 верстъ отъ тебя, отъ одной мысли о тебѣ, я прихожу въ такой восторгъ и мнѣ нужно покрывало, какъ Моисею, едва переносу этотъ восторгъ, душа едва можетъ оставаться въ своей мрачной темницѣ, едва не разорветъ оковъ и не возлетитъ на небо, а тогда, тогда... тогда, Александръ!—(О! ты правъ, правъ, страшно оставаться тогда на землѣ, съ людьми и безъ покрывала. И этотъ ли юмъ, та ли комната должна быть мѣстомъ свиданья,—онъ не выдержитъ, онъ развалится; поле, гора, облака, небо,—вотъ что можно избрать для встрѣчи нашей. Ахъ, и послѣ-то этой встрѣчи—надо будетъ ходить по землѣ, какъ и всѣ ходять, пить, ѣсть,—ужасно! Прощай!

Еще о нуждахъ,—маменька ужасно меня балуетъ, Егоръ И. тоже; онъ даже, признаюсь, надоѣлъ мнѣ своими безпрестанными разспросами о надобностяхъ, но всѣ мои увѣренія не въ прокъ, непременно найдетъ случай купить мнѣ что-нибудь или дать денегъ. Маменька тоже, и вотъ на-дняхъ подарила мнѣ перчатки, которыя мнѣ, я думаю, долго не придется надѣть, такъ онѣ нарядны и хороши. Да что лучше-то всего, это то, что я, увѣряя всѣхъ, что мнѣ ненужно ничего,—болѣе всѣхъ увѣрила въ этомъ себя! Опять прощай.

Вечеръ. Мнѣ грустно. Отчего прежде самое невозможное, несбыточное казалось мнѣ такъ просто? И кто просилъ вмѣшаться тутъ разсудку? онъ такъ грубо, жестоко и ясно говорить: *нѣтъ, нельзя, не будетъ, невозможно!* И зачѣмъ обдумывать; если эти мысли не покинутъ меня день, два, я сдѣлаюсь больна. И въ самомъ дѣлѣ, ужасно, ангелъ мой, ужасно не видаться годъ, два, за 1.000 верстъ, а за нѣсколько шаговъ не видаться цѣлую недѣлю—это несравненно ужаснѣе. Прежде, и вотъ не такъ давно, мнѣ казалось, что, увидѣвшись съ тобою разъ, мы ужъ будемъ неразлучны, неразлучны вѣчно, и двери гроба отворятся намъ въ одно время, но это еще возможно, да и быть иначе не можетъ; а то, чтобъ ужъ не разставаться съ тобою по жизнь съ первой встрѣчи... Охъ, какъ больно, какъ тяжело, невыносимо! Тутъ цѣлый бы годъ показался намъ минутой, а намъ не дадутъ, можетъ быть, и часу! Смертельно грустно мнѣ, другъ мой, и я не могу удержаться, чтобъ не написать тебѣ этого, не могу, потому что эта мысль истер-

зала-бъ мою душу, если-бъ осталась въ ней тайной отъ тебя. Легко ли будетъ удержаться мнѣ, не броситься къ тебѣ, не заплакать, не пасть на колѣни? Притворяться... лучше лишиться чувствъ! И писать не могу, и молчать не въ силахъ, да, теперь-то я вижу, что многое, многое — мечта, кромѣ тебя, кромѣ любви. Горько разстаться съ этими мечтами, Александръ, даже самая мрачнѣйшая изъ нихъ свѣтлѣе, существеннѣе; напр., ты изгнанникъ, въ глуши, вдали, въ снѣгахъ, съ тобою *только* я, я твой ангелъ-хранитель, твоя подруга, твоя раба, на груди моей твоя отдыхаетъ голова, и я-же отогрѣваю твои ноги.—а реальное—ты на Арбатѣ, а я на Поварской!

Въ самомъ дѣлѣ я нехорошо себя чувствую.

Прощай! Милый, милый Александръ, ангелъ мой!

16-е. Разсвѣтаетъ, я давно не сплю, но не больва, это позволяетъ мнѣ надѣяться на себя. Не должно-ли-бъ намъ отдаться совершенно на Его волю, что будетъ, то будетъ, зачѣмъ страхъ, это означаетъ недостатокъ вѣры,—да что-же мнѣ дѣлать, ангелъ мой, скажи? Если-бъ мнѣ предстояло путешествіе—нѣсколько тысячь верстъ, пѣшкомъ, одной,—чего бояться мнѣ тогда, я-бы знала, что иду къ тебѣ и *дойду*, что ужъ тогда люди не имѣютъ власти оторвать меня отъ моего Александра, а тутъ... Вѣдь, ты знаешь, испыталъ, какъ несносно притворяться въ чемъ-нибудь ничтожномъ, вообрази-же, каково... Ахъ, Боже мой, я дрожу вся. Александръ, о, ужасно!—кругомъ люди, холодные, жестокіе, кругомъ столько глазъ, полныхъ любопытства, а не участья, каждую минуту будешь ждать, чтобъ на тебя не бросились, не связали-бъ руки, не закрыли-бъ глаза и не бросили-бъ въ чуланъ. Во мнѣ много твердости, я знаю, но когда думаю обо всемъ этомъ, кажется, ея во мнѣ нѣтъ вовсе. И я не могу скрыть отъ тебя эту слабость, ты прощаешь мнѣ ее, Александръ? Другъ мой, не могу-же я быть такою, какою ты бы желалъ, какою-бъ желала я сама. Можетъ, еще многое надо будетъ тебѣ передѣлать во мнѣ, чтобъ достигнуть этого. А можетъ, все устроится лучше, нежели-бъ мы желали. Его планы и наши? Вѣрую, вѣрую, Господи, помоги, моему невѣрію! Я прогнѣваю Бога недовѣрчивымъ взглядомъ на будущее. Простится тому, кому не дано было отраднанаго дня въ жизни, да, тому простится недовѣрчивой, робкой шагъ впередъ, а той, кому данъ ты, твоя любовь... виновата передъ Нимъ и предъ тобою!

Ну, вотъ, мой ангелъ, теперь я заслуживаю твоего прощенья: посмотри, какъ ясно въ душѣ, нѣсколько часовъ я такъ покойна, такъ покойна — ни одной изъ прежнихъ мыслей не прокралось въ душу, она однимъ полна,—ты пріѣдешь, я увижу твой взоръ, тотъ взоръ, которымъ говорилъ мнѣ самъ Богъ 9-го апрѣля, услышу голосъ, отъ котораго и прежде, еще давно, давно, громко билось сердце.—Да пріѣдешь ли?

Все, все къ лучшему! Сомнѣнье—грѣхъ, страхъ—грѣхъ, кто любить, тотъ не боится, да и я, вѣдь, не боюсь. А вчерашнія мысли, а вчерашнее безуміе, а блѣдность? Все прошло! Я опять твоя твердая, непоколебимая Наташа.

Вечеръ. Заранѣе радуюсь, что тебѣ не такъ будетъ грустно въ день твоего рожденія, я думаю, ты получишь письма. Итакъ, хоть прочти, коли не услышишь моего поздравленія! Я ужъ заранѣе собираюсь къ тебѣ въ гости и на весь день! Меня не любятъ отпускать никуда, такъ хорошо же, я, не спросясь, отправлюсь, и они этого не замѣтятъ! Воображеніе и мечта скорѣе умчатъ меня, чѣмъ быстрые кони, и имъ не догнать меня! Ахъ, какъ весело! Они, право, предобрые, чего у нихъ нельзя сдѣлать!

Итакъ, мой ангелъ, со днемъ твоего рожденія! Крѣпко, крѣпко, много, много цѣбую тебя, милый. Вспомни меня. Еще и солнышко не взойдетъ, еще и заря не зарумянится, а я ужъ буду съ тобою душою, буду молиться о тебѣ, если позволять, пойду къ заутренѣ, потомъ соберусь и отправлюсь на рожденье. Праздникъ! праздникъ! И неужели ты не увидишь и не услышишь меня? Безъ сомнѣнья, глаза и уши не будутъ счастливы, а душа—о, я знаю, она встрѣтитъ родную гостью, она услышитъ ея поздравленье, обнимутся, сольются... Прощай же! Вѣдь довольно? У тебя же гости, надо и ими заняться, мы свои, сочтемся. Душа моя, Саша, другъ прелестный, несравненный! Какъ же я сержусь, что потеряно письмо твое, много-бъ отдала я за него. Прощай. Поливѣ, Витбергу, всѣмъ, всѣмъ нашимъ и поклонъ и рукопожатіе.

Твоя *Наташа*.

Марта, 17-го, среда.

Странно! Скажи, Александръ, отчего все это происходитъ: то цѣлый день мнѣ кажется минутой, то минута вѣкомъ? То кажется и самое солнце мрачно, то ночью такой озаряетъ свѣтъ меня, будто небеса разверзлись, и даже эфиръ не заграждаетъ славы Его? Отчего то наслаждаюсь я всѣмъ существомъ, сливаюсь съ тобою, вижу, какъ отражается душа моя въ твоей, какъ звѣздочка въ океанѣ, вижу, ясно вижу, какъ переплетены наши существованія, какъ во многихъ мѣстахъ жизни твоей рѣдѣтъ туманъ и даже вовсе исчезаетъ при появленіи меня; вотъ путь страшный, сколько страданій, муки, какой тяжкій крестъ, но чрезъ этотъ путь, чрезъ эти раны, этимъ крестомъ ты купишь вѣнецъ и какой вѣнецъ — мою любовь, любовь вѣчную! То вдругъ я не узнаю себѣ, смотрю съ удивленьемъ на это существо, которое такъ ограничено во всемъ, даже въ любви, и мнѣ становится страшно, я боюсь, презираю себя, въ душѣ поднимается страшная буря и не въ моей власти утишить ее... Не смѣю взглянуть на портретъ, взоръ твой полонъ любви, а знаю ли я, что достойна ея? Не смѣю читать писемъ, въ нихъ столько надеждъ на будущее, а знаю ли я, что буду въ состояніи исполнить ихъ?.. исполнить твои надежды—твои надежды!

Вечеръ. Что вѣщаетъ мнѣ мое сердце? Отчего оно бьется такъ, какъ никогда не билось,—то слезы на глазахъ, то улыбка, то вмѣстѣ и грустно, и весело! Нехорошо на землѣ, Александръ, о, если-бъ не ты!.. Глядя давеча на Кремль, на народъ,—дивное, святое чувство наполняетъ душу, когдамотришь на это соединеніе созданія Бога и человѣка, но въ ту же минуту мнѣ захотѣлось покинуть землю, ибо то и другое громко говорило мнѣ о моемъ одиночествѣ, и тогда я никакъ не могла вообразить, чтобъ, будучи на землѣ, мы могли быть разлучены, мнѣ казалось, что ты въ небѣ, глядишь на меня, зовешь, и съ какимъ бы восторгомъ вылетѣла душа изъ темницы, покинула-бъ землю, гдѣ казалось, нѣтъ тебя... если я сойду съ ума?

18-е. Наступаетъ вечеръ, меня беретъ тоска,—какъ долго ждать еще утра! Восходитъ солнце—сердце замираетъ, отъ нетерпѣнья готова плакать, скоро-ль увижу конецъ дня! И такъ медленно, медленно переступаетъ время, и я все жду то утра, чтобы ждать вечера, то вечера, чтобы ждать утра!

Странно смотреть на эту суету, на хлопоты, на всѣ дѣйствія людей; казалось бы, все должно было умолкнуть и съ благовѣйнымъ трепетомъ ждать твоего пріѣзда,—люди, люди, вы всегда люди! Говорятъ, бываетъ ужасно грустно передъ радостью; если вѣрить этому замѣчанію, такъ не должно сомнѣваться

въ твоёмъ возвращеніи: все померкло, всѣ мечты покинули душу, всѣ чувства слились въ одно—ожиданье. Твой взглядъ—награда за цѣлую жизнь. И въ самомъ дѣлѣ, Александръ, зачѣмъ тогда еще жить? Чего ждать? Развѣ есть что болѣе твоего взгляда? Длинна, холодна была зима, придетъ лѣто,—но, что же, послѣ ждать опять возвращенія зимы?

Другъ мой, сколько прошло великихъ постовъ, вотъ и этотъ скоро *переломится!* И страстная недѣля пройдетъ и придетъ святая, когда же, когда же окончится *нашъ великій постъ?* Когда пройдутъ страстные годы и придетъ свѣтлый? Вотъ, что я думаю. Возвратившись, не открыть-ли тебѣ всего паленькѣ? Сгоряча, отъ радости видѣть тебя, можетъ, онъ приметъ это великодушнѣе. Тогда ты не можешь упрекать себя въ недоувѣрчивости къ нему, онъ также, и вы помиритесь. Впрочемъ, да будетъ твоя воля!

Неужели меня повезутъ опять въ деревню и на все лѣто?..

19-е. Ты молишься, Александръ? молись, молись! Я всегда почерпала неизяснимую отраду въ молитвѣ, но душа не съ такимъ горячимъ восторгомъ прибѣгала къ этому источнику небснаго утѣшенія, чувствуя, что она прибѣгаетъ къ нему одна (ты всегда писалъ, что рѣдко молишься), теперь же... О, ангелъ мой! съ какой увѣренностью, съ какой пламенной вѣрой, преклоняя колѣни, я возношу душу мою *туда*, надѣясь, что она встрѣтитъ тамъ и твою. Для молитвы нѣтъ опредѣленнаго время, ни мѣста: вся жизнь, все пребываніе на землѣ должно быть молитва. Но мы такъ еще несовершенны... по крайней мѣрѣ, сколько станетъ силъ нашихъ, мы должны стремиться къ этому источнику. И чѣмъ же болѣе, когда и этимъ не въ состояніи будемъ возблагодарить Его! Хотя я твердо знаю, что наши души соединены самимъ Богомъ, что онъ одна душа, но все кажется въ нихъ болѣе созвучія, болѣе гармоніи, когда, оставляя или забывая, по крайней мѣрѣ, темницы свои и эту огромную тюрьму—землю, несутся высоко, туда, гдѣ ничто не заграждаетъ Его престола, гдѣ ни малѣйшее облачко не раздѣляетъ ихъ, и уже тамъ-то онъ одна душа, одинъ Богъ! Сколько разъ мы видѣли неограниченную симпатію нашу, Александръ, во всемъ. сколько ты писалъ о ней, но еще ни разу о той, которая-бъ въ одно время, въ одну минуту возносила насъ къ Богу, а это высшая симпатія и что предъ нею остальная?

Вечеръ. И потому, повторяю тебѣ: молись! Когда я съ молитвой смотрю на небо, вѣришь ли, кажется, изъ-за облакъ вижу твой образъ, и нѣтъ желанія, нѣтъ силъ опустить глазъ на землю, хотя и на ней есть твой образъ, но не такой! Поднимаю ли руки къ Нему, кажется, ты простираешь оттуда ко мнѣ свои, и я держусь за нихъ, держусь въ небѣ за твои руки и не чувствую тяжести своей, и какъ горько, горько опять стать ногою на землю! Послѣднее время я чаще стала молиться, почти весь день непрерывно улетаю высоко отъ земли, тамъ ты мнѣ видишь, ближе, тамъ ничто не дѣлится насъ!

Позднѣе. Письма! письма! отъ 6 до 10 марта. Вотъ ужъ и не знаю, что сказать болѣе, да развѣ есть что-нибудь болѣе письма въ разлукѣ? О, если-бъ можно съ нимъ бѣжать, въ степь... лишь бы не тутъ. Александръ мой!

20-е марта. И ты спрашиваешь, вѣрю ли я въ силу талисмановъ, ты спрашиваешь тогда, когда у меня есть столько вещей, присланныхъ тобою, твоихъ. О портретъ и говорить нечего, но неужели я не писала тебѣ о *стаканѣ*, присланномъ съ гауптвахты, гдѣ вырѣзано тобою число, годъ и наши имена? Когда неможется мнѣ, — стаканъ всегда подлѣ постели, не лекарство я наливаю въ

него, онъ самъ имѣеть въ себѣ болѣе цѣлебной силы, нежели что-либо изъ аптеки, я наливаю въ него воды и, хочется или нѣтъ, пью понемногу съ величайшимъ удовольствіемъ и, кажется, легче мнѣ становится; мысль, что сколько разъ этотъ стаканъ былъ въ твоихъ рукахъ, сколько разъ до него касались твои губы, да и, Боже мой, какъ описать все, что тогда передумашь, перечувствуешь! Довольно того, что, пивши изъ него, даже глядя на него, неоднократно я выздоравливала. А твои волосы, присланные изъ Крутиць,—развѣ ты забылъ, что я писала о нихъ; теперь на мнѣ ихъ нѣтъ, я *принуждена* была разстаться съ ними послѣ исторіи съ Макаш., а, бывало, не могла покойно заснуть безъ нихъ, и никакой путь не казался безопаснымъ, если не было со мной моего талисмана.—теперь же я боюсь носить ихъ: увидятъ, отнимутъ; но часто, часто, ангель мой, беру ихъ, цѣлую... О, какое неизяснимое наслажденіе, какое успокоеніе, отраду даютъ они мнѣ! Болитъ ли голова—кажется легче, когда приглажу ихъ, воеетъ-ли сердце—кажется, тайный голосъ говорить съ упрекомъ: «развѣ у тебя нѣтъ лекарства?» А портретъ... но, но можетъ *все это* скоро замѣнится взоромъ твоимъ!.. О, Александръ!

Зачѣмъ нельзя раскрыть грудь, голову, онѣ такъ тѣсны, такъ тѣсны, не дивлюсь самоубійству, но оно означаетъ ничтожность человѣка. Когда стало у меня силъ перенести столько горя, станетъ ихъ перенести и радость, иначе я-бъ была недостойна тебя. Но заранѣе вся трещу отъ одной мысли: такъ бы страшилась, такъ бы радовалась явиться я передъ *Нимъ*. Господи, и развѣ можно, позволительно тутъ быть третьему? развѣ Ты кого сподобишь!

Вечеръ. Другъ мой, я слабое существо, самолюбивое,—ты вѣруешь въ мою любовь, ставишь ее рядомъ съ своею, — и какъ восхитительна эта вѣра, это сравненіе! А что-бъ мнѣ до того! Любить тебя развѣ не есть обладать цѣлымъ небомъ, раемъ, развѣ, сверхъ этого, можетъ быть наслажденіе? Нѣтъ, имѣть въ душѣ это сокровище—имѣть Бога въ душѣ! И чему же тутъ радоваться, что ты вѣришь моей любви, ставишь ее наравнѣ съ своею,—быть самой въ этомъ увѣренной, вотъ главное. Но какое чувство наполняетъ нашу душу, когда мы надѣемся, что наша молитва и возношеніе приняты Богомъ? То самое, которое наполнило мою душу при чтеніи: «одно чувство только поставлю я рядомъ съ моей любовью—это твою любовь».

О, мой братъ!

Ночь, 4-ый часъ. М. С. пошла къ заутренѣ, я хотѣла похрабриться, встала для того, чтобъ писать тебѣ, но не могу, мой ангель, голова кружится, въ глазахъ темнѣетъ, итакъ, здравствуй и прощай, пріятной сонъ! Можно ли это, однакожь, что я не могу тебѣ пожертвовать сномъ? Какъ досадно, но ты вѣрно простишь меня, душа моя, хоть дай обнять себя, поцѣловать, милый мой!

*21 марта.*хлопоты, суета, волненье, крикъ: «вотъ счастье! вотъ счастье!» И, наконецъ, я удостоилась видѣть эту *счастливую* и *осчастливленную*. Сегодня были женихъ Дим. Пав. и его невѣста. Въ самомъ дѣлѣ они счастливы, это видно очень ясно; въ ихъ лицахъ, въ разговорѣ, во всемъ выражается такое большое счастье и такое обыкновенное... Пожелаемъ и мы имъ *до молитвѣю* счастья, а намъ пусть дадутъ на одну минуту! Съ тѣхъ поръ какъ возобновились надежды, я часто застаю Сашу въ слезахъ,—желаетъ ужасно твоего возвращенія для меня и ужасно боится его для себя, думая, что насъ ты разлучишь; что это за прекрасное существо, какія чувства,—мнѣ душевно было-бъ жаль покинуть ее одну среди людей, которыхъ кругъ ей назначенъ судьбой! Она погибнетъ, пропадетъ.

Меня тревожитъ молчанье Emilie, — немудрено, ежели она больна, и одна одинокыя... Во всей ея жизни не было дня, которой бы свѣтомъ своимъ порадовалъ меня; даже во времена N. S. все что-то было переиначено съ сомнѣнiемъ, съ чѣмъ-то мрачнымъ, она не вѣрила вполнѣ, а отдалась вполнѣ! Какая разница въ нихъ съ Сашей Б.: объ онѣ близки, милы и дороги моему сердцу, во я всегда скажу, что Саша Б. отырала мнѣ душу ясную, святую, свѣтлую, какъ майскiй день, и отдала мнѣ большую часть этой души и облила свѣтомъ все время съ первой встрѣчи, надѣюсь, что и впередъ въ дружбѣ ея я не найду ничего, кромѣ высочайшаго удовольствiя; а Emilie... Съ перваго взгляда на ея душу сжалось мое сердце, потому, что душа ея истерзана была уже до встрѣчи со мною, первое чувство, которое она мнѣ ввѣрила, было чувство величайшаго страданья: она заставила меня плакать не сладкими, а горькими, самыми горькими слезами, и что такое вся жизнь ея, вся душа, — ни разу не вспоминала я объ ней безъ содраганья... Какъ давно я не видалась съ маминькой, съ января мѣс., а какъ бы хотѣлось, я бы поговорила съ ней, разспросила бы ее подробно, а безъ нея мнѣ некому сообщить.

Пошелъ снѣгъ и замерло сердце, я вспомнила твои слова: «и я раскуюсь съ природой, — снѣгъ — чѣни природы», и я готова была плакать, зачѣмъ идти снѣгъ. Но только ангелъ мой, милый Александръ, мы не должны такъ вдаваться надеждами, надо готовиться и къ грозной вѣсти. Я увѣрена въ тебѣ, жизнь моя, увѣрена въ твоей твердости, вѣрѣ, преданности Промыслу, но знаю тяжело тебѣ будетъ, о, я знаю это! Такъ тогда-то, другъ мой, не забудь твою Наташу, ты знаешь, — твое страданье мое, но только удвоенное. Рано или поздно будемъ вмѣстѣ!

Вечеръ. До того мнѣ стало душно тамъ съ ними, до того несносно, что я сказала, что болитъ голова и ушла сюда, къ себѣ, и пѣлыхъ два часа сидѣла недвижно на своемъ диванѣ подлѣ любезнаго окошка. И сумерки настали, и огонь вездѣ засвѣтили, я сижу въ потьмахъ одна и ненужно мнѣ людей и ненужно мнѣ огня! Ты, ты, ангелъ мой, со мной и свѣтло въ душѣ, свѣтло и кругомъ. Долго смотрѣла я на эту улицу, по которой ты такъ часто ходилъ, ѣздилъ... теперь грязна она, черна, что-то грустна, такъ свирѣлива, — и я вспоминала ту ночь, о, ужасную ночь, которую провела я въ тоскѣ неизъяснимой, вообразивъ съ чего-то, что ты уже уѣхалъ; какъ каждый стукъ тогда увеличивалъ боль въ груди, будто ѣхали у меня по сердцу... И потомъ вдругъ отдавалась надеждѣ — по этой улицѣ, можетъ быть, онъ скоро проѣдетъ, придетъ ко мнѣ, — можетъ, я не одинъ разъ пойду по ней съ нимъ, можетъ, можетъ... О, другъ мой милый, почему же не можетъ быть? У Бога милости много...

Не могу видѣть дорожныхъ, тройку, не могу видѣть, а колокольчикъ, о, какъ-задрожать всѣ жилы при его звукахъ. Дайте ему тройку, самыхъ лихихъ коней, дайте крылья ему или мнѣ!.. Или заставьте ползти меня на колѣняхъ.

Саша Б. благодарить тебя за вниманiе и кланяется. Твой поклонъ для нея кажется очень много; она убѣдительно просила меня, какъ можно меньше писать тебѣ о ней, — боится твоего разочарованья. Вотъ готовится мнѣ торжественная минута, это когда я покажу ей твой портретъ; мы условились, — она придетъ, то есть, всѣ силы употребить приѣхать въ такой часъ, когда у насъ никого не будетъ, предлогомъ выйти въ другую комнату будутъ твои итальянскiя картинки; и съ какимъ нетерпѣньемъ жду я этого время; съ какою гордостью, съ какимъ восторгомъ, съ какимъ благоговѣньемъ скажу я ей: «своя!» и знаю напередъ: безъ словъ, однимъ взоромъ она удовлетворитъ меня.

Предъ послѣднимъ письмомъ ты писалъ, что все содержаніе *всѣхъ* нашихъ писемъ—*люблю*. Да, какъ многимъ, да, я думаю, *всѣмъ* съ исключеніемъ двухъ-трехъ человѣкъ. — переписка наша показалась бы скучной, томительною, одно и то же. одно и то же! А для насъ—повтори ты къ ряду миллионъ разъ—*люблю тебя*—и я миллионъ разъ буду съ новымъ наслажденіемъ перечитывать эти слова, каждое изъ нихъ богатѣе, полнѣе прежняго, а прежнее не уменьшается, не темнѣетъ. И сколько разъ повторю я тебѣ: «Люблю тебя, мой Александръ!» и все хочется сказать опять, и все кажется еще ни разу не сказала такъ, какъ бы желала. —Однако прощай, другъ мой, говорятъ наши отъужинали, пора гасить огонь и закрыть глаза, будто сплю, чтобъ не взяли подозрѣнья. Прощай, милый, прощай, вотъ тебѣ поцѣлуй и благословенье на сонъ грядущій.

Вечеръ, 22-е. Жалуюсь тебѣ,—все это время я была капризна, несносна. Пусть *они* взяли бы у меня, что имъ нужно, пусть бы заставили дѣлать, что угодно, лишь бы оставили меня, не казались бы на глаза!.. Эгоизмъ — низко, не простительно... Впрочемъ, если-бъ я могла перемѣнить ихъ, обратить... а я знаю, что не могу сдѣлать этого ни пожертвованьемъ для нихъ всей жизни, ни пожертвованьемъ души! Но все неправя я, все недостатокъ самоотверженья.

23-е. Да, конечно, неправя я; неправы и *они*... но мирюсь съ ними и съ собою; все прощаю, приближеніе праздника, Благовѣщенія, наполняетъ душу благоговѣньемъ, ограждаетъ свѣтомъ,—и помрачить ли его дымъ?—Великій день! Я говорю это какъ христіанка и Наташа. Праздную Благовѣщенье Твое, Святая Дѣва, праздную рожденіе твое, Александръ! Молюсь Тебѣ, Богоматерь, покланяюсь Тебѣ, Живнедавче мой! Ты вняла молитвѣ ребенка сироты—«покрой мя покровомъ Твоимъ». Не покровъ ли Твой, не вся ли шедрота Его, не вся ли благодать Его, не вся ли любовь Его даны мнѣ *въ немъ*? Внемли же, Боже! Внемли, Пресвятая, благодарственную, бессловесную пѣснь!..

Благовѣщеніе,—рожденіе,—весь родъ христіанской празднуетъ этотъ день, я праздную вдвойнѣ.

Какое сходство—Благовѣщеніе и Девятое апрѣля! Архангелъ Гавріилъ и твой взоръ. Я восхищаюсь, что пойду къ заутренѣ, о если-бъ весь день могла я провести во храмѣ; люди, жизнь ихъ будутъ тяготить меня, среди нихъ праздникъ униженъ, помраченъ. Но когда уже необходимость быть въ ихъ средѣ, когда нѣтъ воли уйти на высокую гору и тамъ сливаться съ вѣчностью и Богомъ, когда нѣтъ этой горы,—я всему-бъ дала видъ торжества, засвѣтила-бъ лампы, зажгла-бъ всѣхъ взоры и сердца огнемъ Божественнымъ, заставила-бъ всѣхъ перенестись за осмнадцать вѣковъ, туда, въ тихое уединенье, и вмѣстѣ съ Пречистой воспѣть «величи душа моя Господа». Тогда-бъ,—тогда-бъ я не сомнѣвалась, что въ день Благовѣщенья будетъ празднуемъ день твоего рожденія—до скончанія вѣка! Но какъ же больно, какъ сильно поражаетъ душу и наводитъ уныніе мысль, что люди такъ ограничены! Прощай, неоцѣнимый другъ мой.

Вечеръ. Сегодня былъ папенька, большихъ надеждъ на твое возвращеніе, кажется, онъ не имѣетъ, однако говорить, если оно будетъ лѣтомъ, то намѣревается сдѣлать маленькое путешествіе съ тобой, не знаю, къ Троицѣ или куда. Мнѣ непримѣнно кажется, что и я поѣду. «Есть у сердца вѣстникъ тайный». —Прелестный день, весна настоящая, и потому что-то полегче на сердцѣ, но, можетъ, опять выпадетъ свѣгъ!

24-е марта. Хотя подвергаясь опасности, другой день перечитываю твои письма, мой другъ!

Какъ незамѣтно, плавно перешла дружба въ любовь, вся жизнь моя была ночь, въ дѣтствѣ и далѣе блистали кое-гдѣ звѣздочки и гасли и прятались за тучу. Начало переписки—разсвѣтъ, зрѣя моей жизни, ярче, ярче, алѣе, золоти-стѣе... солнце! И все потонуло въ океанѣ свѣта и огня. Александръ, любовь моя не родилась во мнѣ уже на землѣ, — нѣтъ, я была рождена съ нею, я привнесла ее въ міръ съ собой, она существовала до рожденія моего. О, Александръ, Александръ!

Это письмо ты получишь на 6-й недѣлѣ поста, отвѣтъ будетъ ужь на святой, а развѣ ты не будешь самъ на святой? Милый, милый мой другъ! Еще съ завтрашнимъ днемъ! Такъ много, такъ крѣпко тебя цѣлую.

Твоя, твоя *Наташа*.

Ежели-бъ мы продолжали споръ объ иконѣ и лампадѣ,—безъ сомнѣнья, я бы одержала побѣду, но — уступаю! Когда ты молишься о прекращеніи твоихъ страданій, какъ же я должна молиться? Себѣ чего просить мнѣ у Бога, все мое въ тебѣ, ты мое жилище, ты благо мое, ты все здѣшнее и будущее, земное и небесное и вѣчное, все, все!

20-е марта.

Наташа, другъ мой, ангелъ мой, вотъ уже три недѣли и нѣтъ письма, тяжело, больно,—я вину, блекну, когда нѣтъ этой животворной росы, я дѣлаюсь хуже, падаю, теряю силу. Съ нынѣшней почтой я ждалъ навѣрное, получилъ нѣсколько писемъ, съ восторгомъ распечаталъ и ни строки отъ тебя. Маменька пишетъ: «на этотъ разъ отъ Наташи послать нечего, вѣроятно, будетъ къ слѣдующей почтѣ!» Наташа, я не въ упрекъ тебѣ говорю и я знаю, ежели бы ты могла, всякой день писала бы, нѣтъ, но, другъ мой, мнѣ тяжело быть безъ писемъ и потому я говорю объ этомъ. Надежда на свиданье еще продолжается, мечты о свиданьи непрерывно занимаютъ душу, онѣ принимаютъ такъ сказать, плоть и тѣло, когда-то осуществятся совсѣмъ. Что, ежели 9 апрѣля придетъ мое освобожденье, въ этотъ великій день моей жизни?

На дняхъ мое рожденье. Двадцать пять лѣтъ! Ничего не совершенно, многое прожито, пережито и — странно, необыкновенно прожито: для большей части людей, встрѣчавшихся со мною, я былъ бесполезенъ или вреденъ, но для тебя, для Ог. . . . Тутъ нечего и говорить; я съ гордостью признаюсь, что я для тебя былъ и буду все, — слѣдственно, тебя такъ же, какъ и меня, можно поздравлять съ этимъ днемъ и еще болѣе.

21-е марта. Никогда не бываетъ въ жизни человѣка полосы совершенно свѣтлой, безъ малѣйшей примѣси тѣни; казалось бы, можетъ ли быть безу-словнѣе радости, какъ мой отъѣздъ отсюда, однако, я предвижу, что мнѣ очень грустно будетъ разстаться съ Витбергомъ,—я такъ свылся съ нимъ, у насъ такъ много симпатіи и я знаю, что для него трудно и горько будетъ остаться одному, а здѣсь уже никого не останется, въ чью душу онъ могъ бы перелить свои высокія думы и чувства, даже жена его, при всѣхъ достоинствахъ, не можетъ вполне обнять великаго человѣка. О, она не Наташа, которой я смѣю могу довѣрить и думу, и мечту. А трудно жить одному — какъ египетскому обелиску, исписанному иероглифами, среди степи, гдѣ не бываетъ нога человѣчская. Господи, исторгни его изъ этого бѣдственнаго положенія, вознагради за

все злое, что сдѣлали ему люди. Жаль будетъ мнѣ и Полину — но, кажется, судьба для нея мѣняется: одинъ человекъ, о которомъ я разъ тебѣ упоминалъ, Свворцовъ, страстно любитъ ее, человекъ прекрасный, благородный и образованный, лучшій изъ всѣхъ жителей Вятки; вѣроятно, онъ женится на ней. Жаль, что доселѣ я въ ней не видалъ любви къ нему, но грѣшно не любить человека, такъ сильно любящаго; съ нимъ она можетъ быть счастлива. Жаль Мед.— что ей предстоитъ? Бѣдность, беззащитность и глубокое проклятіе прошедшему и безнадѣжный взоръ на будущее, и все зло, которое я сдѣлалъ ей *par dessus le merite*. И моя вятская жизнь не безцвѣтна, и она оставляетъ воспоминанія, вотъ доказательство, что не внѣ души, а внутри ея заключается наша жизнь, какъ въ стѣмени цѣлое дерево, внѣшнее — только условіе развитія. Въ Вяткѣ я сдѣлалъ переходъ отъ юности въ совершеннолѣтіе; странно, въ Москвѣ я еще не успѣлъ обглядѣться послѣ университета и узнать людей безъ маски въ Вяткѣ; тутъ ихъ скорѣе можно узнать, ибо люди здѣсь ходятъ по домашнему, не давая себѣ труда скрываться. Но не ребенокъ ли я? Кто не подумалъ бы, читая эти строки, что онѣ писаны за день до отъѣзда, но вѣрнаго ничего нѣтъ, и легко можетъ быть, что еще черный длинный годъ перейдетъ черезъ мою голову здѣсь. Прощай, эта мысль облила меня холодомъ. Цѣлую тебя.

24-е марта. Тысячу разъ говорилъ я тебѣ, что счастье мое не имѣетъ предѣловъ. И послѣ этого скажутъ, что человекъ никогда не бываетъ доволенъ. Господи, я болѣе ничего не требую отъ Тебя. Пусть продолжится ссылка, пусть люди гонятъ меня, — я счастливъ, счастливъ. Письма отъ тебя замѣнили все черное свѣтомъ и вдругъ приносятъ еще письмо — и это письмо отъ Ог. Съ августа 1835 — первое! Нѣтъ, Наташа, не могу ни высказать, ни даже чувствовать привествъ въ порядокъ. Я плакалъ, читая его письмо, я поцѣловалъ эту бумагу, писанную его рукой; такого подарка я не ждалъ въ свое рожденіе. Онъ еще болѣе сталъ, еще выше и такъ же пламенно любить меня. Надобно послать тебѣ списокъ съ его письма, удивляйся ему, на колѣни передъ нимъ. Съ тѣмъ вмѣстѣ рѣшилось ужасное сомнѣніе, *кто она*, избранная имъ. Вотъ письмо отъ нея ко мнѣ. Нѣтъ, обыкновенная женщина не можетъ написать *такъ* къ незнакомому, она достойна его. Оцѣни его дружбу, вотъ первыя строки его письма. «Наши сношенія рѣдки, только два раза съ тѣхъ поръ, какъ мы не видались; какъ долго носилъ я эти письма съ собой, какъ много слезъ пролилъ надъ ними, в, наконецъ, ихъ нѣтъ, слѣды ихъ въ памяти слабѣе, рѣже, и вотъ становишься ими недоволенъ, припоминаешь черты знакомаго лица, хочешь быть съ нимъ вмѣстѣ; хочешь обнять брата родного по душѣ и ловишь призракъ, призракъ исчезаетъ и на сердцѣ становится тяжело и черно!»

И какаѣ увѣренности во мнѣ, — великѣ, великѣ человекъ, умѣющій такъ чувствовать. Ты будешь другомъ его Маріи, онъ самъ будетъ другомъ тебѣ. Волнуется душа, но это не буря, это игра океана, теперь я силенъ, теперь я высокъ. Радостно встрѣчу 25 марта съ твоимъ письмомъ въ одной рукѣ, съ его письмомъ въ другой. Я богатъ, ужасно богатъ. Кто дерзнетъ теперь со мною состязаться, — одна ты и одинъ онъ.

Отвѣчать на твои письма теперь не стану, потому что не могу — и слишкомъ много хочется передать, и терпѣнья нѣтъ говорить. По слѣдующей почтѣ напишу отвѣты. Теперь оставь меня въ упоеніи любви и дружбы, теперь поцѣлуй меня, я теперь хорошъ, я чувствую это; но это «теперь» не всегда, опять запылюсь, опять сдѣлаюсь будничнымъ человекомъ.

Зачѣмъ же тебѣ пришла въ голову такая нелѣпая мысль, когда ты читала «Живописецъ»? Ты — Вѣринька, ха, ха, ха, это изъ рукъ вонъ. Ты, передъ душой которой я повергался въ прахъ, молился, ты сравниваешь себя съ обыкновенной дѣвочкой. Нѣтъ, тотъ, кто избралъ такъ друга, тотъ не ошибся и въ выборѣ ея. Какъ будто я васъ самъ избралъ! Не Господь ли привелъ васъ ко мнѣ и меня къ вамъ? Прощай. Свѣтло на душѣ!

Этимъ словомъ я рѣдко оканчиваю письма.

Твой Александръ.

Ежели будетъ досугъ и терпѣнье по той почтѣ пришлю списокъ съ письма Ог. Ты скрывала отъ Ег. Ив. твою любовь ко мнѣ. А зачѣмъ?—Я скрылъ отъ Мед., но тутъ есть причина. Онъ пишетъ объ этомъ мнѣ.

Москва, марта 25, утро 5 часовъ.

Ангель мой! Можетъ быть, ты еще не проснулся, — я съ двухъ часовъ съ тобою; небо, усѣянное звѣздами, первое поздравило меня съ новорожденнымъ! О, какъ оно полно было и милости, и благодати, и торжества, и любви! Казалось, воздухъ согрѣтъ былъ твоимъ дыханьемъ, казалось, все утихло, съ умиленьемъ внимая пѣснямъ силы небесной, и я молчала. — но голосъ души не умолкалъ. онъ вмѣстѣ съ ангелами пѣлъ поздравленья ей и тебѣ. И я не сомнѣваюсь, что ты или въ сонномъ видѣннѣ летѣлъ въ мои объятія, или проснулся отъ душевнаго отзыва на мой голосъ. Дивное время, — вся земля одѣлась бѣлою одеждой, все небо ясно, — сама природа празднуетъ праздникъ Царицы Небесной и царя души моей! Какъ бы тихо, тихо стала я на колѣни у изголовья твоего, поцѣловала-бъ тебя, — нѣтъ, нѣтъ, страшно разбудить. Я-бъ только смотрѣла на тебя, слушала-бъ твое дыханье, удерживала-бъ свое, до тѣхъ поръ, пока ты открылъ бы мнѣ твои глаза, и первая, первая-бъ я принесла тебѣ поздравленья души, уже очищенной молитвою и исполненной любви, и уже тогда-бъ тебя поцѣловала, обняла... Но все это еще тамъ, тамъ, далеко впереди, за той завѣсой, которую души наши не могутъ проникнуть, которую поднять одинъ Овъ. Я счастлива надеждой!..

А пока, въ утѣшенье — вотъ изображенье твоего лица, вотъ изображенье души твоей, портретъ и письма.

10-й часть, вечеръ. Теперь вѣрно у тебя вся семья наша, праздникъ праздника! А я... что-жъ, и я была и есть съ тобою... Крѣпки, толсты стѣны, тяжелы оковы, но не душа въ этихъ стѣнахъ, не душа въ оковахъ!

Прощай же, мой Александръ, не могу болѣе писать, а такъ много волнуется въ душѣ и рвется къ тебѣ, — и этого лишена... но не лишена того, чтобъ быть съ тобой душою, ангель мой, чтобъ слышать и видѣть тебя сквозь громъ и тучи!

26-е, вечеръ. Хочу, хочу говорить тебѣ... но что жъ скажу? Люблю тебя! люблю тебя! нѣтъ ничего болѣе этого. И не для этихъ ли только двухъ словъ даны мнѣ глаза, голосъ, жизнь, душа. Александръ, Александръ! Въ одной точкѣ — тебѣ заключается болѣе, нежели въ цѣлой бы книгѣ къ кому другому. Часто грустно, смерть, что нельзя писать, жду, вѣщу минуту, хоть одну минуту, и наступаешь даже цѣлый часъ! Съ восторгомъ беру перо — теперь-то!.. но ужъ урочный часъ почти проходить, а передо мною листъ пустой и чернила высохли на перѣ; но мнѣ легче, я наговорила, я высказала все тебѣ, что хотѣла, все... и

неужели оно исчезло, не донеслось до тебя, — быть не может, не может! Когда на все я чувствовала отзывъ, объѣнь...

Все это время мѣя занимаетъ непрерывно сходство Благовѣщанія съ девятымъ апрѣля; когда каюта твоя въ Крутицахъ будетъ обращена въ часовню, на той стѣнѣ, подлѣ которой была твоя постель, чтобъ было изображено Благовѣщенье.

Огаревъ! гдѣ ты? что? какъ?.. часто объ немъ думаю... О, Провидѣнье! вчера мнѣ говорили о немъ, но что-жъ изъ этого, все равно, если-бъ и не говорили, всякій видитъ и опредѣляетъ по-своему. Ты не пишешь, — а тяжела тебѣ съ нимъ разлука, могу-ль я его замѣнить? Море моремъ не поглощается.

Другъ, конецъ марта, апрѣль скоро, май, лѣто... Природа сброситъ цѣпи, сброситъ саванъ, заживетъ двойной жизнью, — спадутъ ли цѣпи съ нашей души, свянетъ ли она трауръ?.. Прощай, засни покойно и приятно!

Отъ Emilie получила давича изъ Смоленска и успокоилась о ней нѣсколько. Тебя цѣлуетъ. Прощай же, милый.

28-е, утро. Вся у обѣдни, одна я дома. Глядя на твои письма, на портреть, даже на башмаки, которые я храню, какъ драгоценность, потому что они присланы тобою и съ надписью твоей руки «Наташъ», думая о моихъ письмахъ, о браслетѣ, — мнѣ захотѣлось перешагнуть впередъ лѣтъ за сто и посмотреть, какая будетъ ихъ участь на землѣ? Вещи, которыя были для насъ святыней, которыя лечили наши тѣло и душу, которыя были для насъ одушевленными, съ которыми мы бесѣдовали и которыя замѣняли намъ нѣсколько друга друга въ разлукѣ, — что будутъ онѣ послѣ насъ, послѣ вѣка и далѣе?.. Останется ли въ нихъ сила ихъ, ихъ душа? разбудятъ ли, согрѣютъ ли онѣ чье сердце? расскажутъ ли дивную повѣсть нашу, наше страданіе, блаженство, любовь?.. будетъ ли въ награду мнѣ хоть одна слеза восторга отъ потомства? еще найдутся ли такіе, которые бы ихъ спросили?.. Теперь я не знаю никого, кто бы вполнѣ постигалъ нашу любовь и могъ бы другому дать о ней понятіе, какъ же надѣяться, чтобъ тогда... О, власть!.. Тогда бы тамъ, гдѣ мы преобразились, соорудить храмъ и сокровищницу, положить прахъ нашъ на томъ мѣстѣ, гдѣ мы впервые приняли благовѣстіе другъ отъ друга; и всѣ эти орудія, которыми мы оборонялись отъ людей, отъ земли, отъ ударовъ рока, отъ самихъ себя, — всѣ перенести въ другую храмину, подлѣ первой, и завѣщать, чтобъ юность приходила туда исповѣдывать истинную любовь. Но какъ все это несбыточно, какъ далеко отъ того, что есть и будетъ!

Письма, пересоздавшія меня, превратившія тьму въ свѣтъ, стонъ въ голосъ, страданье въ рай, смерть въ жизнь, портреть чудотворный, — все испытаетъ участь обыкновенную, участь, которую испытываетъ на землѣ все истинно прекрасное, высокое и святое. Какъ больно это! какъ больно!.. Но, Александръ, какъ смѣть удѣлять столько горести нашимъ письмамъ, нашимъ талисманамъ, когда душа человѣка еще такъ темна предъ самымъ гвоздемъ Господа, предъ гробомъ Его, предъ крестомъ?..

Прощай! надо написать къ завтраму Emilie.

Вечеръ. Давича была Саша Б. и что-то грустна, грустно стало и мнѣ, — пора ужъ и письмамъ быть, 11-й день не получаю. — Другъ мой милый, о мой Александръ! Ты знаешь, какъ я тебя люблю?..

29-е. Зачѣмъ рождаются мечты, которыя не могутъ сбыться, онѣ только терзаютъ, наводятъ уныніе. Какъ грустно мнѣ становится, когда воображу, что

портретъ твой, наконецъ, будетъ висѣть безвѣстнымъ въ чьемъ-нибудь кабинетѣ, или даже, можетъ, какой-нибудь ребенокъ, играя имъ, резобьетъ стекло и сотретъ твои черты... Александръ, неужели это малодушіе? Нѣтъ, мой ангелъ, не будь такъ строгъ, вѣдь ты знаешь, что для любви нѣтъ ни прошедшаго, ни настоящаго, ни будущаго,—вѣчность ей, итакъ, зачѣмъ же портретъ твой не можетъ быть въ 2837 году тѣмъ, чѣмъ былъ въ 1837?..

Все ничтожно! все, чему начало и конецъ—земля. Одна любовь безсмертна, да и что же предъ ней все остальное? Пусть гибнетъ, исчезнетъ все, душа моя не содрогнется, она не боится тлѣнія, не боится смерти, она ждетъ съ восторгомъ, то время, когда перенесетъ любовь свою туда, гдѣ одинъ свѣтъ, одно величіе, одинъ Богъ! А тебѣ, земля, въ послѣдній часъ я протяну руку и однимъ пожатіемъ выражу мою благодарность и за пріютъ, и за гостепримство.

30-е. Тихо, медленно двигается время, а вотъ ужъ меньше трехъ недѣль до Свѣтлаго Воскресенія..., а все то же, ни малѣйшаго знака приближенія *нашего* воскресенія.

Keine Luft von keiner Seite!
Todesstille fürchterlich!..

Четвергъ, четвергъ, скорѣе приходи! а сегодня еще вторникъ!.. Какъ равнять мнѣ всѣ дни, какъ не ждать мнѣ четверга? Можетъ, тогда воскресну я душой, можетъ, новый запасъ надеждъ онъ принесетъ, можетъ... ахъ, можетъ, тогда смѣлѣе я скажу:

Es säuseln die Winde,
Es nährt sich der Schiffer.
Geschwinde! Geschwinde!
Es teilt sich die Welle,
Es nährt sich die Ferne;
Schon seh'ich das Land! (Goethe).

О, дуй же вѣтеръ! разсѣкайтесь волны! Несите мнѣ много ко мнѣ!

1-е апрѣля. О, если-бъ вырваться изъ этой толпы! О, если-бъ перелетѣть это пространство, и обнять его, и пасть къ ногамъ его!.. Николай! Братъ мой, почему я не могу поцѣловатьъ руки твоей, которая принесла столько счастья ему? Почему не могу обнять колѣнъ твоихъ, зачѣмъ эти слезы не льются на твою грудь?.. О, Александръ! о, мой ангелъ Александръ, что принесло сегодня мнѣ письмо твое! О, ты знаешь, знаешь безъ словъ; взгляни на небо,—тамъ вѣра изображена душа твоей Наташи; что на землѣ выразить ея состояніе? Не къ тебѣ нѣтъ, для тебя довольно, къ Нему, къ Нему! излить всю благодарность, все небо, весь рай души. Свѣтло, свѣтло, мой ангелъ, на душѣ, вся душа свѣтъ!

И она достойна его! Тяжелыя цѣпи спали съ души, онъ счастливъ, но довольно, довольно, не могу болѣе!

Черезъ нѣсколько часовъ. И кто же для меня на свѣтъ первый по тебѣ, какъ не онъ? Онъ, столько тебѣ близкой, родной, кто меня пойметъ болѣе? одѣнить любовь къ тебѣ?... — «Онъ и ты, понимаешь ли раздвоеніе самого меня?» Я половина тебя, онъ другая, онъ и я—ты! Какъ же близки мы, какъ нераздѣльны? Троица!..

Ночь. Какъ всѣ мы, родные, разсыяны по землѣ; когда же соберемся въ одну семью? и ты, Отг.! и ты, Витбергъ! и всѣ вы!.. или окончивъ странствованія, соединимся уже тамъ на родинѣ, у Отца? Кто въ темницѣ, кто въ цѣпяхъ, кто утомленъ на пути страданья, кто распятъ на крестѣ? Отче нашъ! Мы дѣти твоя, да будетъ съ нами воля Твоя!

Трудовъ, трудовъ, ранъ, страданья, муки и дверь *туда!*.. Вотъ Престоль Его, вотъ Онъ, — вотъ вѣнецъ — родные! — Вознесите крестъ Его, пойдемте за Нимъ; по пути Его, онъ сядетъ одесную!

Александръ! Николай! и вы, сестры и братья!

3-е *антра.* Почти всю ночь не спала, — сердце бьется, волнуется грудь, хочется на небо, тамъ пересказать, тамъ подѣлиться съ ангелами. Безпрерывно я о немъ думаю и эти думы были мрачны, перемѣшаны съ сомнѣньемъ (и простительно-ли оно *намъ* въ *его* выборѣ?), искала случая говорить о немъ, хоть слышать, — а это слышанное, вѣсто того, чтобы приносить облегченіе, терзало мою душу, увеличивало мракъ и страданье, потому что, что ни говорили мнѣ о немъ, или было двусмысленно, или обѣщало болѣе дурное, нежели хорошее, и — о, Боже! какъ это меня огорчало, — не одинъ разъ я принуждена была выйти во время разговора, чтобы скрыть слезы. Часто и долго смотрѣла я на письмо ея, будто въ этихъ обыкновенныхъ, всемірныхъ словахъ можно угадать что-нибудь, найти малѣйшій лучъ души, его молчанье, неизвѣстность о немъ, я воображала, какъ тебѣ это тяжело, и свинцомъ давило грудь и желѣзо проходило сквозь сердце, тупое, ржавое. Теперь все это исчезло, — жду письма его, ежели еще ты не списалъ, прошу тебя, Александръ, непременно, непременно пришли.

3-е. «Двадцать пять лѣтъ прожито и ничего не совершено», говоришь ты, Александръ. Какъ, неужели это сознаніе истинное? Двадцать пять лѣтъ — много; я увѣрена, что ни одинъ и изъ обыкновенныхъ людей не терялъ столько втуне, а какъ же сказать это тебѣ? Ты не совершилъ громкаго, славнаго передъ людьми, но сколько, можетъ, совершилъ великихъ подвиговъ передъ Богомъ! Сколько посѣяно должно быть въ эти годы и какихъ плодовъ должно ждать въ будущіе! Какъ еще молодъ ты, Александръ; какое поле предъ тобою! Можетъ, оно въ иныхъ мѣстахъ будетъ сухо, черство, заостенѣло, — сколько зацести силъ надо, труда будетъ много, много, можетъ въ кровь превратится потъ; и какъ непостижима счастлива та, которая будетъ приносить отдохновеніе этимъ трудамъ! Ангель мой, какъ я постигаю чувства Дѣвы Маріи при благовѣстии Архангела! Это смиреніе, этотъ ужасъ, это блаженство. Да, какъ могло бы быть!.. но я раба Господня!..

Широкое поле! Какъ залубенѣло ты, какую дичью поросло! и какъ уныло ты, какъ мрачно, сиротливо!.. И стада птицъ не выются надъ тобою, на тебѣ нѣтъ для нихъ ни зернышка, и звонкихъ пѣсенъ ихъ не слыхать, онѣ летятъ далеко отъ мѣсть, гдѣ ждетъ ихъ смерть голодная, и слѣда людского не видно на тебѣ, люди боятся трудовъ, которыми ты грозишься имъ (боятся, быть можетъ, и плодовъ!), но, не тоскуй ты, поле широкое, не грусти, — не долга твоя кручина, сиротство твое и безжизненность: соха *ею* вспашетъ, разобьетъ твою окаменѣвшую землю, и камень разсыпется въ рукахъ его, и посѣянное имъ окропитъ Господь дождемъ, и изъ далекихъ странъ придутъ за хлѣбомъ. Александръ! не ищи славы земной, ищи службы Богу, и я обмою ноги твои слезами и оботру волосами головы моей. Ты видишь это поле, ты знаешь его болѣе меня, болѣзнуешь болѣе, — тебѣ, тебѣ предназначено превратить камень смерти въ хлѣбъ жизни и напитать тысячи;.. изломится желѣзо сохи, — останутся руки, утомившаяся, взнеможешь, тебя ждетъ твоя Наташа, приди къ ней и найдешь покой и отдохновеніе и почерпнешь новыхъ силъ и довершишь начатое!

Александръ, можетъ, другой цѣлою жизнью не приобрѣлъ ничего, можетъ, достигъ славы, увѣнчанъ былъ лаврами... и сошелъ одинокій въ могилу, и ни одна слеза, истинно горячая, не канула на заплывшійся вѣнокъ, и вся жизнь без-

цвѣтно протекла въ одиночествѣ; а ты, тебѣ только 25 лѣтъ и уже извѣданы море дружбы и любви! уже найдено сердце, душа, которыя полны однимъ тобою, живутъ однимъ тобою, для одного тебя! Вотъ тебѣ залогъ будущаго!

Каждый часъ, каждая минута твоей жизни должны быть полны и велики; на пять талантовъ приобрѣтены другіе пять, и иначе я думать не могу. — Тебѣ 25 лѣтъ, а уже ты другъ, спаситель, ангелъ, жизнодавецъ.

5-е. Да! и послѣ этого люди скажутъ, что нѣтъ на землѣ счастья совершеннаго! Но, вѣдь, это люди... Не довольно ли для человѣка—въ какомъ бы онъ положеніи ни былъ, сколько-бъ его ни угнетали обстоятельства—не довольно ли для облегченія всѣхъ страданій вспомнить, что онъ созданъ для славы Его, что онъ *можетъ* прославить Его! А когда сверхъ этого счастья, которое можетъ приобрѣсть каждый, кто захочетъ сбросить съ себя иго нерадѣнія, — Господь посылаетъ непостижимое блаженство! Ты, Александръ... о, мой ангелъ! Какъ часто, какъ часто, занявшись чѣмъ-нибудь обыкновеннымъ, иногда даже нужнымъ, вдругъ я бросаю все, какая-то невидимая сила несетъ меня въ мой уголокъ, я не чувствую тогда ногъ и въ восторгѣ, въ слезахъ бросаюсь на землю, я ничего не говорю, и что бы сказать мнѣ? Но кажется небо отверзто, *Онъ* слышитъ и видитъ душу мою, Онъ озаряетъ божественнымъ свѣтомъ, даетъ силъ выносить эту жизнь, даетъ надежды, и ты, ты являешься мнѣ въ открытомъ небѣ... Господи! Пусть этотъ часъ будетъ послѣднимъ въ моей жизни, ежели я *ею* недостойна! Ежели я достойна быть рабой его, — оставь меня на землѣ, продли жизнь, насколько она будетъ нужна ему! Другъ мой, жить для тебя, не значить ли жить для Него?.. О, Александръ! Александръ!

Что за ночь! Вспоминаешь ли ты меня въ эти часы, при сіяніи луны, подъ небомъ, осыпанномъ звѣздами? Можно ли равнодушно смотрѣть на эту природу красавицу, а ты не раздѣленъ у меня со всѣми красотами. Не твоя ли душа это синее небо, какъ полно оно щедроты и гнѣва, какъ полно тайны для смертныхъ!.. Тягостны, невыносимы цѣни, которыя не даютъ летѣть туда, въ это небо, ясное и грозное, въ этотъ яхонтъ!..

Ангелъ мой, вѣдь, сны ничего не значать, особенно на яву, но это моя слабость, — я люблю сны, я вѣрю, что ихъ Богъ посылаетъ для того, чтобы поддержать человѣка, подкрѣпить силы, утѣшить. Вижу! ты пріѣхалъ и нѣкого лишняго при свиданіи; входитъ папенька съ письмами въ рукахъ, плачетъ и обнимаетъ насъ... Ни слуху, ни духу земли, и ты, человѣкъ, ежели сольешься съ этой лазурью, ежели будешь свѣтитъ свѣтомъ звѣзды, ежели не будетъ на тебѣ ни пылинки, — тогда ты будешь доступенъ насъ, а теперь даѣе, даѣе и отъ изголовья, на которое слетѣла небесная греза! Ахъ, зачѣмъ онъ ходять мимо меня, зачѣмъ смотрять на меня, — всегда у меня навертывались слезы, когда крестъянка, взятая изъ деревни вверхъ, говорила: «кабы крылья да пушокъ, улетѣла-бъ какъ душокъ!» улетѣла-бъ, улетѣла-бъ и я изъ этого *верха*, вовъ туда, гдѣ такъ горитъ звѣздочка!.. Не дѣтство мечты, мой Александръ, пожалуй, какъ хочешь назови ихъ, только дай помечтать, полетать надъ тобою, подсмотреть взоръ, подслушать то, что еще не выходило изъ устъ, дай, дай, посмотреть вотъ такъ прямо въ очи...

Устаю! грустно, пріѣзжай! ничто не радуешь, не веселить, устала, Александръ, — дай отдохнуть, пора, пора!

6-е. Вчера меня насмѣшила в[нягиня]. Я была въ другой комнатѣ, а она просить Льва Алек. сыскать *какою-нибудь добренькаго секретаря, боатень-*

каго мнѣ въ женихи! Видно я имъ надоѣла, а, можетъ быть, изъ доброжеланья пристроить при себѣ!

Я не постигала, почему Е. И. всегда упрекалъ меня въ томъ, что я скрывала отъ него мою любовь къ тебѣ, и еще болѣе не постигаю, зачѣмъ пишешь объ этомъ къ тебѣ, — никогда, ни отъ кого въ свѣтѣ не скрывала, не скрываю и не намѣрена скрывать ничего, ибо я чувствую (можетъ, и ошибаюсь), что въ душѣ у меня нѣтъ такого, что-бъ боялось свѣта, тѣмъ болѣе любовь и любовь къ кому же? и какая?.. Ну, есть-ли тутъ возможность думать, что я ее скрывала *тому, кто понимаетъ* и меня, и ее, и тебя! Святотатство! А то, что я сама не начинала ему говорить о ней, то, что я молчала, когда онъ съ ироніей дѣлалъ мнѣ намеки о тебѣ, если можно назвать *скрывала*, тогда и я скажу — скрывала! Только недолго, ибо я ему, наконецъ, написала и, кажется, еще и маменька не знала. Ежели я не ошибаюсь, то, кажется, вся причина этому та, что не онъ *первый* узналъ, какъ и самъ онъ говорилъ мнѣ это, упрекая, что ужъ *даже* и Емилиэ знала, а онъ — нѣтъ, и еще называетъ это такъ, какъ я бы *никому* не позволила себѣ сказать, — что я *водила его за носъ*! Всего описывать много, скажу только, Александръ, тебѣ, что я во всю жизнь не претерпѣла ни отъ кого столько, какъ отъ него, — это былъ первый страшный, вѣроятно, и послѣдній обманъ въ человѣкѣ. Благодарна за все, что онъ дѣлалъ для меня, желала-бъ заслужить ему, если-бъ ему это было нужно, а равнодушно видѣть его не могу, это *крестъ*, посланный мнѣ Богомъ, и онъ, вѣрь мнѣ, какъ ни тяжелъ, — я несю его невинно. Ежели бъ чувствовала хоть тѣнь угрызенья, — я-бъ уничтожилась. Жаль мнѣ Егора Ив., всей душой жаль, но что же могла я для него, что могу? Одно — молитва! Можно ли было чистосердечіе предаваться чувству искренней привязанности и благодарности, и что же вышло!.. Онъ былъ самымъ мрачнымъ облакомъ моей жизни, кѣмъ-то будетъ?

Вотъ скоро и девятое апрѣля! Приближеніе этого дня имѣетъ дивное вліяніе, становишься святѣе, изящнѣе. Праздникамъ праздникъ! Преображеніе. Два года, два года не вижу тебя, не слышу, и два года вижу и слышу тебя болѣе, нежели когда-нибудь!..

Тогда было на третій день Свѣтлага Воскресенья, а нынѣ еще до страстной недѣли, какъ все это ярко на душѣ! Да можетъ ли когда потускнѣть то, что начертала любовь, Богъ! Ты пишешь, можетъ, въ этотъ день придетъ вѣсть освобожденья; не имется вѣры! страшно, невѣроятно и то, что «еще черный годъ пройдетъ». О, Ты! Въдующій все, услыши меня! Да, и я часто думаю, какъ больно будетъ Витбергу, Полинѣ, да и всей Вяткѣ разставаться съ тобою, особенно Витбергу; можетъ, и его страданье прекратится, мы вмѣстѣ будемъ молиться о немъ.

Прощай! пошлю къ маменькѣ, можетъ, завтра она будетъ къ тебѣ писать. Не отъ меня ты такъ долго не получалъ моихъ писемъ, но мнѣ равно грустно и это.

Полинѣ желаю...—...—.

Твоя *Наташа*.

25-е марта.

Тебѣ, тебѣ, ангелъ мой, посвящаю я этотъ день; онъ великъ для тебя такъ же, какъ мнѣ 22 октября. Другъ мой, сестра, тобою узналъ я, что и здѣсь доля блаженства райскаго, — нельзя оцѣнить того, что ты сдѣлала мнѣ; но чему же дивиться, — чистый ангелъ, ангелъ Божій и могъ только воскресить Абадонну. о!

и во мнѣ было прежде все непомеркнуто, чисто, какъ въ твоей душѣ, иначе ты не любила бы твоего Александра, онъ не былъ бы твоимъ, — ты возвратила мнѣ небо, великъ твой подвигъ, но велика и любовь моя, ей нѣтъ предѣловъ, это не любовь та, *которая проходитъ*. Уми — и твой Александръ явится туда къ тебѣ съ той же любовью, онъ не можетъ еще разъ любить, судьба рѣшена; но зачѣмъ эти пятна на моей душѣ, которыя я такъ хотѣлъ бы соскоблить и которыя, какъ кровь, опять выступаютъ. Какъ хотѣлъ бы я юношей чистымъ заключить тебя въ мои объятія, но прошедшее «вѣчно нѣмо», — оно прошло и поправки сдѣлать невозможно. Вотъ я вижу тебя, ты думаешь обо мнѣ, нѣтъ не думаешь, думать это что-то холодное, думать можно и объ Макашиной, нѣтъ ты, ты... я, ты тутъ со мной. о, дай же я прижму тебя къ груди, эта грудь много волновалась, много страдала, но въ ней все поглощено тобою. Прощай, идуть.

29-го марта. Ты права, положеніе наше въ Москвѣ будетъ ужасно, и именно ужасно своей мелочностью; грандіозное, высокое исчезаетъ въ несчастіяхъ. и останутся неприятности гадкія, подлыя. О, вы — и вы смѣете иногда называть себя родными.

Конечно, преодолевъ такія огромныя несчастія, мы побѣдимъ ихъ, но хуже всего, это — самая ничтожность всѣхъ гадостей, которыя будутъ дѣлать противъ насъ. Это похоже на зубную боль: болѣзнь вовсе не опасна, а дѣлаетъ мученій болѣе иной смертельной болѣзни. И надобно до времени *имѣ* покориться, я первый склоню голову; не смѣшно ли: я, выдержавшій натискъ столькихъ непріязненныхъ силъ твердо, смѣло, долженъ смиренно вынести капризъ Макашиной. Но есть Богъ! Впрочемъ, мы и такъ можемъ переписываться, хотя я далеко не ставлю рядомъ живую рѣчь съ мертвымъ письмомъ. О нѣмецкомъ языкѣ не заботься, была бы охота и лишь бы я былъ въ Москвѣ.

Ты совершенно права насчетъ службы, но, вѣдь, и одной литературной дѣятельности мало, въ ней недостаетъ *плоти*, реальности, практическаго дѣйствія, ибо, право же, человекъ не созданъ быть писателемъ, письмо есть уже отчаянное средство сообщить свою мысль. Какъ же быть, — объ этомъ поговоримъ послѣ, кое-что я придумалъ, но все это хаосъ, сбродъ проектовъ, мнѣ нуженъ О., его глубокій взоръ, его высокая душа пусть рѣшитъ; покаместъ онъ за путешествіе тѣломъ и душой. А проросъ, списка съ его письма не пошлю, прачемъ его вмѣстѣ, я отвѣчаю по этой почтѣ, я ей писалъ о тебѣ. Что? Сама догадаешься.

Зачѣмъ ты противъ свадьбы Emilie, ежели она полагаетъ, что *любовь проходитъ*; впрочемъ, и я увѣренъ, что любовь безъ уваженія можетъ *пройти*. А какое уваженіе могла она имѣть къ S., который къ прекрасному лицу въ прибавокъ имѣлъ душу хорошую, но безъ всякаго характера. Она гораздо выше его. Сверхъ того, стало, не было тутъ перста Божія, ежели и онъ нашелъ средство, чтобъ *любовь прошла*... [Вырѣзана верхняя половина второго полулиста].

31-го марта. Ангелъ мой, прости, что мало пишу, опоздалъ. Цѣлую тебя, милый другъ, моя Наташа. Вспомни, что сегодня 2 года, какъ читали намъ сен-тенція. Еще, еще цѣлую.

3-го апрѣля, Вятка.

))) Мартъ прошелъ въ непрерывныхъ ожиданіяхъ. Ежели что будетъ, то непременно до половины мая; итакъ, — опять ожиданіе, волненіе, надежды, трепеть радости и трепеть страха. Хуже всего, что я теперь не могу ровно ничѣмъ заниматься. Возьму книгу, — и мысль свиданія, вѣчная мысль о тебѣ, останавли-

васть, и я бросаю книгу, и все такъ любимое мною въ занятіяхъ кажется теперь сухо, холодно, мертво передъ мыслью любви; но это пройдетъ, я дѣятеленъ по характеру, и какъ будто самая любовь похожа на dolce farniente итальянцевъ, которые любятъ ни о чемъ не думать. Нѣтъ, она сообщаетъ всему бытію какой-то взглядъ особый, изящный, она развиваетъ даже въ чертахъ лица поэзію и блаженство. Наташа, есть люди, которые никогда не любили; это дурные люди или дураки, которымъ глупость загородила душу отъ всѣхъ чувствъ, или холодные эгоисты, которые собою загородили отъ себя весь міръ. Говорятъ, что были люди, которые съ открытыми объятіями, съ теплой душой вступили въ міръ и не нашили привѣта.—я не совсѣмъ вѣрю этому; конечно, толпа можетъ хохотомъ принять живое чувство, но будто не найдется *одна душа* симпатическая, а развѣ не довольно одной души,—твоей души мнѣ, моей души тебѣ? Можетъ, были въ самомъ дѣлѣ, какъ исключеніе, такіе несчастливцы, но не такъ, какъ говорятъ вышшіе поэты. Тассо былъ очень несчастенъ, любивши принцессу Элеонору, но онъ былъ наружно несчастенъ: Элеонора любила его, и онъ собственно былъ несчастенъ оттого, что, сынъ страны полуденной, не могъ подняться до любви безтѣлесной, идеальной, которая была у одного Данте, и то потому, что Беатриче умерла, когда Данте былъ въ первой юности. Кстати, между тысячами дурачества, которая всѣ повторяютъ, находится общее правило всѣхъ романовъ: «путешествія усиливаютъ любовь». Что за жалкій народъ, говорящій подобныя сентенціи. Какъ будто стройное, гармоническое чувство, спокойно, величественно развивающееся, ниже, слабѣе бѣшеннаго, сломаннаго чувства, въ которомъ звукъ отчаянія пересѣкаетъ звукъ блаженства. Какъ будто океанъ въ тихую минуту мѣтле изящевъ, нежели потокъ, сердящійся на колесо мельницы. А можетъ, эти препятствія и нужны для душъ безъ энергій, чтобъ ихъ расшевелить. Плохіе поэты пьютъ водку для того, чтобъ придти въ восторгъ. Но гений, Гёте, Шекспиръ—не унижить себя до насильственнаго средства, да оно ему и не нужно такъ, какъ не нужно костыля здоровому. Толпа имѣетъ свои афоризмы, свой катехизисъ, гдѣ все по ихъ мѣркъ, все пригнано къ ихъ уродству, къ кривымъ глазамъ, къ горбамъ на ихъ душахъ. И они вѣрятъ въ свои правила твердо, незыблемо, и этихъ правилъ тьма у нихъ на всѣ случаи. Слышала ли ты отъ нихъ, что послѣ брака любовь простываетъ, это pendant къ предыдущему, и опять въ своемъ отношеніи они правы: ежели въ *жизни* видѣть одну физическую *женщину*, ежели любовь основывается на одномъ хорошенькомъ лицѣ,—то правило вѣрно. А развѣ у нихъ бываетъ другая любовь? Но что тутъ и толковать, дай Богъ, чтобъ толпа поправила свою уродливую душу; это и будетъ, но когда?.. — «Что вы находите такъ много и часто писать въ Москву, это страсть марать бумагу», сказалъ Витбергъ. Я улыбнулся и не сказалъ ни слова,—онъ не знаетъ о моей любви, онъ не знаетъ тебя, прощаю ему. Впрочемъ, ежели-бъ и зналъ, онъ всего не оцѣнилъ бы: ему 50 лѣтъ и его жена—хорошая, добрая, очень неглупая женщина, такъ, какъ бываютъ женщины хорошія, добрыя и очень неглупыя. Ее можно любить, цѣловать, холить,—но дѣлать съ ней душу, всякую мысль нельзя, она не подыметъ на твою высоту, я былъ бы несчастливъ съ такой женой. Онъ счастливъ, погруженный весь въ одну мысль своего дивнаго труда и своихъ несчастій, онъ, такъ сказать, однѣ минуты отдыха дѣлать съ нею. Горе, ежели онъ когда-нибудь потребуетъ болѣе! А ты сравнивала себя съ Вѣрньюкой Полевого и черезъ нѣсколько дней сердилась на меня, что я сказалъ, что ты прибавила мнѣ чистоты твоей небесной фантазійей. Будто ты не

знаешь, какъ сходны, созвучны наши думы? Я знаю, что ты меня любишь со всѣми недостатками, словомъ, такъ, какъ я есть, такъ любить Ог. меня, и признаюсь, я не могу полной дружбой платить тѣмъ, которые любятъ мои таланты, а не меня самого; чтобъ любить достоинство на это еще нѣтъ нужды быть другомъ, на это надо одно только умѣнье оцѣнить. Но при всемъ томъ, ты не можешь знать многихъ недостатковъ и пороковъ во мнѣ и, сверхъ того, какъ естественно тому, что мы любимъ, придать еще и еще достоинство. Я себя, напр., никогда не сравнивалъ съ Phœbus Chateaugero (въ Notre Dame de Paris), а ты не побоялась унизить себя до Вѣриньки. Кто правъ, mademoiselle??.. Вѣрь же, вѣрь, мой ангелъ, что мой выборъ, т.-е. выборъ Провидѣнія, былъ не ошибоченъ: ты все, чего требовала моя душа, все и еще болѣе, нежели я требовалъ.

Полина все такъ же мила, все такъ же отъ всей души любить тебя и клеветаетъ всякой разъ. Да, я хотѣлъ тебѣ написать: въ прошломъ письмѣ ты спрашиваешь о Соколовѣ, т.-е. о Скворцовѣ. Вниманье къ друзьямъ, которые и здѣсь отогрѣваютъ мою душу! Скоро 9 апрѣля, большой праздникъ въ нашемъ календарѣ, крестъ въ кружкѣ, это *Благовѣщенье* нашей жизни.

Прощай, иду къ губернатору обѣдать, опять будни, опять душу застегнуть, униженія. Но у меня есть ты..

6-е апрѣля. Какъ ты хороша, ангелъ мой! Вся эта душа, чистая и развитая одной любовью, выражена на твоёмъ прелестномъ лицѣ, въ твоихъ глазахъ. Я такъ хорошо, такъ хорошо видѣлъ тебя во снѣ. Мы сидѣли на диванѣ,—я долго смотрѣлъ на тебя и прижалъ къ своей груди. Весь день носился этотъ образъ передо мною. Кто поспоритъ со мною въ счастье! А вотъ я тебѣ расскажу вздорный случай, но я былъ отъ него въ восторгѣ. На-дняхъ одинъ знакомый, шутя, началъ раскладывать карты, надобно было загадать нѣсколько дамъ; я загадалъ тебя на червонной дамѣ и 4 раза легъ червонный валетъ подлѣ нея. Повторили гаданье и вышло опять тоже; признаюсь, я былъ внѣ себя отъ радости. И тутъ, и тутъ воля Его должна была подтвердиться.

Однакоже *будущія* московскія неприятности часто приходять мнѣ въ голову; доселѣ я не предвижу ни малѣйшаго средства пособить этому, а, вѣдь, грустно намъ будетъ иногда отъ этихъ мелочей, очень грустно! Ты пишешь: «скорѣй къ концу, скорѣй рѣшенье». Да какъ, гдѣ же возможность? Или я твердой волей разобью песочные камни капризовъ и предрасудковъ,—не смѣю надѣяться; ты права, въ наружномъ отношеніи мы несчастны, но наружное преходяще, а внутреннее вѣчно, какъ наша любовь, а съ нею и блаженство. Наташа, неужели отецъ можетъ отвергнуть горячую, пламенную просьбу сына, неужели отецъ своею рукою можетъ изъ рукъ сына вырвать чашу питья небснаго и заставить его пить изъ лужи. Разумѣется, я чашу не пушу изъ руки, но горько же видѣть руку отца, протягивающуюся для того, чтобъ отнять ее,—а можетъ, она протянется, чтобы благословить! Можетъ быть,—а плохо вѣрится. «Не захочетъ огорчить сестрицу». Ха, ха, ха! Это было бы похоже на то, чтобъ врачъ, боясь разбудить спящаго, не пошелъ бы на помощь умирающему. Досадно, черныя тучи поднимаются тамъ, гдѣ я хотѣлъ бы одно яхонтовое небо, свѣтлое, какъ твое чело, голубое, какъ твои глаза.

7-е апрѣля. Душа моя, я сейчасъ писалъ письмо къ княгинѣ и приписку къ тебѣ и мнѣ такъ было смѣшно, что я могъ бы написать цѣлый листъ глупостей.

Мочи нѣтъ смѣшно, я твой Александръ, я моей милой прелестной подругѣ, моей Наташѣ, пишу деликатно-вѣжливое письмо.

Я передать Эрну твое воспоминаніе о немъ; его маменька кланяется тебѣ; она истинно добрая, прелестная старушка, любить меня отъ всей души, холить какъ сына, бранить какъ сына и помнить тебя, а кто хоть разъ видѣлъ тебя, тотъ уже въ моихъ глазахъ имѣетъ огромныя права. Прощай моя . . . да какъ бы тебя назвать, все мало, моя божественная Наташа, мой серафимъ, мой ангелъ хранитель!

Нѣтъ еще свѣтлой вѣсти о свободѣ. Ахъ, и страшно, да лишь бы тебя обнять, лишь бы впить въ себя свѣтъ твоихъ глазъ, какъ пьеть подсолнечникъ лучи солнца.

Прощай! Полинново кольцо уже начинаетъ осыпаться, несмотря, что она его вставила въ золото; браслетъ всегда со мною, но не на рукѣ,—чтобъ глаза *толпы* не смѣли видѣть.

Александръ.

7-е апрѣля.

Чувствовалъ-ли ты, мой Александръ, вчерашній вечеръ, что о тебѣ такъ много было говорено, что твоя Наташа *отдыхала*?... Мы были у Боборыкиныхъ, и два часа слишкомъ я была съ *ней!* отдохнула!—Тебѣ посылаетъ она salut d'amitié. Что за душа! вообрази, Александръ, тогда какъ у нея единственное счастье—дружба, одна отрада розно со мною—нѣсколько словъ, написанныхъ моею рукой; она умоляетъ не отнимать у тебя ни минуты и не жертвовать для нея, зная, что они рѣдки. Не любить и понимать такъ любовь? и неужели жизнь ея будетъ вся такъ безцвѣтна, одинока?.. Рабство?.. Что для нея свѣтъ, богатство, семья,—все бы кинула она, разсталась бы со всѣми, чтобъ бѣжать со мной на край свѣта, куда-нибудь въ глушь, чтобы жить одной дружбой, одной молитвой, а я развѣ могу?.. Прежде, когда еще твоя любовь не освятила мою душу, я бы не поняла Сашу, я бы сама не могла подняться до нея, а теперь, теперь—благодарю Бога за ниспосланіе такого друга, дивлюсь въ ней *Ею* созданью, благоговѣю предъ Его воплощенной мыслью, но еще это далеко отъ тебя, о, ты!!!—

8-е. Сколько передумашь, перечувствуешь и въ одинъ часъ, сколько пролетитъ тайныхъ, невѣдомыхъ міровъ, прекрасныхъ, дивныхъ, какъ насмотрится тамъ душа, сколько свѣта принесетъ оттуда на бѣдную землю, сколько животворныхъ капель на завянувшихъ людей . . . въ одинъ часъ, а дни цѣлые проходить безъ того, чтобъ перелить тебѣ хоть одну мечту, и всѣ онѣ отлетаютъ безъ отзыва опять туда, къ своему источнику, хотя бы и люди были столько милостивы, дали бы просторъ писать. Но развѣ мертвое слово, которое Богъ знаетъ въ чьихъ не было устахъ, къмъ не было писано,—есть сосудъ, могущій вмѣстить столько жизни и свѣта? можетъ ли ограниченное до такой степени обнять неограниченное?.. достаточно ли храма, созданнаго вѣками, тысячами людей—дать понятіе о молитвѣ?.. Что предприметъ чловѣчество, чтобъ выразить *любовь*?..

Ангелъ мой, я забыла писать. Гдѣ я сижу, оттуда не видно ничего, кромѣ неба и чуть-чуть краевъ кровель домовъ. Наши куда-то уѣхали, передо мною твой портретъ. «Что предприметъ чловѣчество, чтобъ выразить любовь?» Эта мысль такъ заняла меня, я положила перо, черты твои слились съ небомъ, съ солнцемъ... Забудь, забудь хоть на минуту все, и представь себѣ, вообрази... но какъ же назвать это, я не умѣю выразить, Александръ, и слова такого нѣтъ, . . но все равно, какъ ни скажу, ты поймешь меня! Итакъ, все забудь, никуда не смотри, кромѣ вотъ на это небо, на солнце. Что прекраснѣе ихъ въ природѣ!

Вообрази теперь, какъ черты твои, изображенныя карандашомъ на бумагѣ, отдѣляются... свѣтлѣють... горять, — горять огнемъ святой любви, о, какъ горять... сливаются съ голубымъ свѣтомъ, съ огненными лучами... и вотъ, ты — небо, ты — солнце, солнце и небо — твой образъ! Скажи, можешь ли ты это представить себѣ? Вся природа твой ликъ, огненный, лучезарный. Не видно ни растений, ни горъ, ни морей, ни людей, — все ты, твое око. Я не могла сносить свѣта, закрыла глаза, не могла выносить своего ничтожества, заплакала, и эти капли слезъ еще не высохли, вотъ онѣ на полу. — Прощай, ѣдутъ.

Вечеръ. Нѣтъ, никто, даже и ты, мой презиципный, не можешь постигнуть, что было давеча со мною. — самой мнѣ это кажется сномъ. Но видѣнье это останется въ душѣ навѣки. Любовь! Александръ! туда! туда!..

Позднѣе. Какъ грустно, какъ грустно; отчего же мнѣ нѣтъ письма? Другъ, милый другъ, какъ это тяжело, я такъ ждала сегодняшняго дня, такъ была увѣрена... отчего ты не пишешь? Ахъ, вотъ ужъ и праздникъ скоро. . . Что, мой другъ, надежды только насъ манять, о, Господи, долго-ли это будетъ? Душа моя, Александръ, да зачѣмъ же нѣтъ письма мнѣ? какъ это больно! Прощай, когда такъ, мнѣ смертельно стало грустно, о, жизнь моя! Завтра *девятое!* Прощай, шлѣю тебя, обнимаю тебя. *Девятое апрѣля, пятый часъ пополудни!*

Александръ! Александръ!

Вотъ мрачный коридоръ... вотъ Васильевъ съ веселымъ лицомъ... пунцовая ермолка... и тюрьма, храмъ, земля, небо, какъ хочешь назови, назови, все равно для меня, потому что это маленькое пространство, огражденное четырьмя толстыми стѣнами, темное, сырое, для меня было вся вселенная, и въ ней — ты, мое *все!*

Вотъ *взоръ*... голосъ неба, благовѣствующій спасеніе, преображеніе, вознесеніе. О, мой ангелъ благовѣститель!..

Да, въ этомъ часу два года тому назадъ *совершились!*

Сумерки, чуть-чуть видно, тогда, въ 35 году, въ это время я, исполненная чѣмъ-то тайнымъ, пренебеснымъ, тайнымъ мнѣ самой, одна долго ходила и думала о всемъ уже иначе, смотрѣла иначе, и все казалось не такъ, какъ было прежде... да, вотъ ужъ два года, какъ я *живу!* Два года знаю небо, рай, знаю Бога, тебя!.. Отецъ мой, Александръ!

Не вижу болѣе, прощай!

Вечеръ. Милый другъ мой, ангелъ мой, какъ все это живо! Каждое слово, каждый взглядъ, пожатіе руки и *тотъ взглядъ*...

Вотъ какъ провела я нынѣшній день: проснулась рано и отправилась на Крутицы... Столько воспоминаній свѣтлыхъ, дивныхъ наполнило душу въ одинъ мигъ, тяжело не раздѣлять ихъ, — и я написала Сашѣ Б., что сегодня *девятое*. — полегче! Потомъ къ обѣднѣ, никогда въ нашей церкви не цѣли такъ хорошо, какъ сегодня, давно и не молилась я такъ;... но вдругъ вошло въ голову, что будетъ черезъ годъ, въ этотъ день? И при этой мысли душа вздрогнула, какъ бы задернуло все облакомъ... Въ эту минуту зацѣли: «сами себя и другъ друга и весь живогъ нашъ предадимъ Христу Богу», на душу слетѣло успокоеніе и потомъ — «нынѣ житейское отложимъ попеченіе» исцѣлило совершенно. Ты писалъ, что, можетъ быть, сегодня придетъ вѣсть исполненія надеждъ... Господи! ужели ты не услышиши гласа моего? Ужели исполненіе молитвы моей противно Провидѣнію Твоему и Святой волѣ Твоей!.. Скоро услыши меня, Господи! или пошли силы мнѣ новыя и крѣпость! Но какъ Ты хочешь, Богъ мой.

11-е. Лишь открыла вчера глаза, мрачныя воспоминанія толпою, будто окрыленные, слетѣлись и захватили душу. 10-е апрѣля... два года тому—приготовленіе, укладываніе въ дорогу, прощаніе, чувства твои, послѣднія ко мнѣ строки, послѣдній взглядъ на Москву, тамъ, гдѣ... облако пыли, горькій плачъ колокольчика, послѣдній звукъ и копыты, и колесъ и колокольчика,—молчаніе! И послѣ всего этого я, я сирота, чужая всѣмъ, съ кѣмъ осталась, лишенная уже всего... О, это ужасъ, ужасъ! Будто небо для того отверзлось, чтобъ послѣ въ большой ужасъ привести черною тучею; но ужъ два года горькихъ прожито, сколько-то остается еще въ чашѣ?

Отъ всѣхъ этихъ воспоминаній такъ стѣснило грудь, такъ больно, тяжело стало, невыносимы сдѣлались мнѣ и *они*, и домъ и все! Хотѣлось бы уйти куда-нибудь дальше, дальше, и тамъ, на свободѣ, выплакать весь свинецъ, давившій душу, иль растопить его въ пламенную молитву... Я выпросила позволеніе ѣхать въ Кремль; но ни вѣковныя стѣны соборовъ его, ни полы ихъ, истертыя стопами вѣрныхъ, ни чудотворныя иконы, ни святая святыхъ не облегчили души мнѣ,—и тамъ было душно, тѣсно, *мои два года* казались мнѣ и длиннѣе, и мрачнѣе *ихъ тѣхъ*. Вечеромъ ушла въ свою комнату и долго, долго сидѣла у открытаго окна. Что-то тамъ, въ этой сторонѣ?.. И вотъ блеснула звѣздочка на сѣверо-востокъ, повѣялъ вѣтеръ,—онъ взглянулъ въ даль, въ небо же, можетъ быть, онъ вздохнулъ! Не помню, что было послѣ.

Вечеръ. Да что же тутъ удивительнаго, какъ не понять ей, моею Сашѣ, родной сестрѣ души моею, какъ не понять все, что говоритъ твой портретъ! Я ожидала этого, я знала, что это будетъ такъ, отчего же забилось такъ мое сердце, когда я подала ей портретъ и увидѣла слезы на глазахъ ея, и восторгъ, и умиленье, отчего въ эту минуту она казалась мнѣ еще выше, еще святѣе, казалось, я болѣе полюбила ее?.. Александръ, нѣтъ другой Саши! Если-бъ она ненавидѣла меня, и тогда бы я преклонилась предъ ней, а эта необъятная дружба... Она говоритъ, что душа ея не можетъ вмѣстити болѣе любви, что весь міръ ея, вся жизнь, вся душа—дружба. Если-бъ видѣлъ ты, какъ благодарить она меня за одну строчку, за одну минуту, посвященную ей,—ты не можешь не любить ея, ангель мой, такую близкую, родную душу души твоей Наташи. И ни въ комъ, ни въ комъ нѣтъ столько самоотверженія, столько неба!

О, мой Александръ! Что жъ не пишешь ты? Что же не ѣдешь ты?..

Вечеръ 12-го числа. Письмо! Благодарю Бога, благодарю тебя. Но мнѣ уже становится мало этого листа, исписаннаго тобою—прочту, перечитаю, и поцѣлую его и прижму крѣпко, крѣпко къ груди и еще перечитаю... много, много, ангель мой, тутъ, *много!* но не *довольно*; освѣтится душа, но не вся, есть много мѣстъ темныхъ, больныхъ, глубоко вдавленныхъ разлукой, и письмо не можетъ ихъ исцѣлить! Да вотъ письмо твое,—а мнѣ грустно, и жалѣю, и стремлюсь... Ничего теперь не придумываю, *какъ* ты пріѣдешь, *какъ* намъ видѣться,—лишь пріѣзжай! Только ненадобно, Александръ. Бога ради ненадобно, какъ ты говоришь, «склонить голову»—избави Господи! *Тебѣ* склонить *твою* голову предъ ними... а зачѣмъ? что изъ этого? Меньше одной неприятностью, меньше однимъ угрожающимъ взглядомъ, и для этого тебѣ склониться? Никогда! Ежели Богъ судилъ *имъ* препятствовать намъ, такъ и земной нашъ поклонъ ничего не выиграетъ, а ежели они сами себя судили на это,—то стоитъ ли и взоръ на нихъ склонять, не только голову предъ ними! Ахъ, какъ все это ничтожно, мало, погляжу я, будто только и жить, что на землѣ, съ людьми, будто и вѣчности нѣтъ,—а устала я ужасно, Александръ!

Вечеръ 14-го. Можетъ быть, ты говѣешь эту недѣлю, можетъ, теперь уже исповѣдывался, — ты *говѣешь*, ты *исповѣдуешься*, — тутъ не то говѣнье и не та исповѣдь, которыми готовятся къ причастію бѣдныя, земныя христіане;... во кому дано много, отъ того и *взыщется* много. Думая, что ты говѣешь, эти дни я умерщвляла и себя, сколько стало силъ; умереть, то-есть, сойти съ неба на землю — родиться для тебя, нести крестъ — жизнь для тебя, распяться за тебя, перейти въ вѣчность, чтобъ ждать туда тебя... о, ты!.. Какъ не любить *Ему* тебя, какъ не излить цѣлое небо щедротъ своихъ на тебя, какъ не направить шаги твои, какъ не указать путь тебѣ?.. какъ не принять хоть одно изъ мовъ пламенныхъ моленій?.. Возьми все отъ меня, уничтожь меня, лишь бы онъ... 0, Всевѣдущій! — вострепунулась, воспрянула душа твоя при слышаніи — «Се женихъ грядетъ во полунощи?» Пѣла-ли она съ родною ея — «Чертогъ твой вижу, Спасе мой?» Ежели Онъ не просвѣтилъ ее благодатію Своею, — она свѣтла была огнемъ молитвы моею и согрѣта имъ.

6-й часъ утра 17-го апрѣля. Страстная суббота. И солнце позднѣе встало, медленнѣе вышло изъ-за тучи, блѣдное, грустное, и опять покрылось тучей, и все что-то грустно, и отъ всего вѣетъ грустью и увеличиваетъ мою. Я одна шла за плащавицей. Можетъ быть, въ то время ты видѣлъ меня во снѣ. Отраднo, другъ мой, въ то время, какъ ты усталый, измученный трудами дня, отдыхаешь, — иди въ церковь молиться о тебѣ, просить новыхъ силъ въ новыхъ трудахъ, твердости въ превратностяхъ, свѣта и указанія Его на пути темномъ и бурномъ! Отраднѣе еще, ангелъ мой, встрѣчать душу твою тамъ, куда вознеситъ молитва мою! Но со вѣсмъ тѣмъ, что я непрерывно съ тобой душой, что праздную духовно Воскресеніе Христова, мнѣ грустно, всѣ приготовления къ весельямъ наводятъ на меня уныніе. Когда дождусь того, какъ буду съ тобою, мой Александръ! 0, тогда вся жизнь будетъ свѣтлое Воскресенье. — Завтра я всѣхъ обниму, но кого же обниму я съ радостью?.. Слеза благодарности Александру Лаврентьевичу канетъ на портретъ, но слезы разлуки потопятъ ее. Иногда я такъ забудусь, что мнѣ кажется, что у меня ничего нѣтъ на свѣтѣ, кромѣ портрета, что ты весь тутъ, но стекло такъ холодно, и я, вздрогнувъ, бѣгу, сама не зная куда. Прощай, скоро встанутъ, я пока согрѣюсь немного; не спавши со второго часа, ужасно озябла.

10-й часъ вечера. Никогда, во всю жизнь мою не было мнѣ весело въ это время: ребенкомъ плакала о томъ, что никто мнѣ завтра не подаритъ куклы и не похристосуетъ наряднымъ яйцомъ; по-больше — плакала о томъ, что я всѣмъ чужая, что никто не приласкаетъ меня; еще по-больше — не знаю о чемъ!.. во все это слезы дѣтскія, почти глупость. А теперь, — о, какъ бы желала я хоть бы нѣсколькими каплями уменьшилось горькое море, потопившее душу мою!.. Но нѣтъ, каждая капля превращается въ желѣзный длинный гвоздь и пронзаетъ насквозь мое сердце. Ангелъ мой, какъ тяжело!.. но со вѣсмъ этимъ какъ я счастлива! 0, кто, кромѣ тебя, мой братъ, пойметъ это соединеніе страданія съ блаженствомъ, ибо кто испыталъ его, кромѣ насъ? Вообрази это сердце, пронзенное несмѣтнымъ множествомъ орудій, все окровавленное и полное любовью, такъ что каждая капля крови, падая на землю, наполяетъ и ее любовью, и воздухъ, и согрѣваетъ ихъ и дымится до самаго неба. Прощай, стану читать Евангеліе, у меня ихъ два: Христово и твое. Господь далъ мнѣ твое, и оно указало и открыло мнѣ Господне, и такъ они нераздѣльны, одно безъ другого не существуетъ для меня.

Пробило 12 часовъ, ударили вездѣ въ колоколь... Христосъ Воскресе!

Пойдемъ вмѣстѣ въ храмъ, мой Александръ, тамъ мы ближе, тамъ ничто насъ не разлучаетъ, одинъ Богъ съ нами. Ежели мы пойдемъ не рука съ рукой, то съ одной душой. Я заснула немного и видѣла тебя, только что-то неясно, смутно. но перестанемъ грустить, обнимемся радостно душами.

4 часа утра. Ну что, мой ангелъ, развѣ мы не вмѣстѣ встрѣтили Христово Воскресеніе, развѣ не вмѣстѣ молились, радовались? Пусть раздаются громкіе поцѣлуи, они только звучны, но звукъ ихъ такъ же нѣмъ и пустъ, какъ звукъ чугунной доски, въ которую сторожъ бьетъ ночью. А нашъ поцѣлуй—онъ былъ тихъ, не виденъ и не слышенъ никому, даже намъ самимъ, но души наши его чувствовали, это поцѣлуй ангельскій. Прощай, можетъ, увижусь во снѣ съ тобой.

8 часовъ. Насталъ и день—вотъ теперь-то будетъ грустно! Лучше быть больной и здѣсь, наверху, одной, нежели тамъ, въ этой лужѣ. Ты скоро отправишься также съ поздравленіями; жаль мнѣ тебя, какъ, я думаю, непріятны эти визиты! Какой дождь льетъ.

Полудни 3 часа. Все нарядилось, насуетилось, разговѣлось и улеглось спать,—вотъ ихъ праздникъ! Брани меня, Александръ, за то, что я такъ много вижу дурного въ людяхъ и осуждаю, къ чему это? «Не осуждай, не осужденъ будешь». Да, часто желала-бъ я быть слѣпа и глуха, мнѣ кажется это легче, нежели ихъ окаменѣніе. Я часто заслуживаю выговоры, а ты, мой духовникъ, такъ рѣдко ихъ дѣлаешь мнѣ. Зачѣмъ не воскресаютъ они душою, зачѣмъ сердца ихъ не горятъ такъ молитвой и не таятъ такъ въ восторгъ, какъ свѣчки, которыя они зажигаютъ съ такимъ усердіемъ, зачѣмъ не радуются Воскресенію Христа и тому, что прошелъ постъ? Все это мнѣ больно, обо всемъ этомъ я не могу молчать. Священникъ прощаетъ мнѣ это осужденіе, онъ называетъ его духовною ревностью ¹⁾, а ты?

Мнѣ начинало становиться чрезмѣрно грустно, тѣмъ болѣе, что я надѣялась получить отъ тебя письмо и не получила, никто ни слова о тебѣ, будто ты не существуешь, а одинъ идеаль, одна мечта живетъ въ душѣ—будто я сама мечта! Состояніе это тяжело; приходитъ Василій Васильевичъ; я имѣю къ нему что-то особенное, хотя мало знаю его черезъ тебя; онъ спрашивалъ о тебѣ, желалъ твоего возвращенія,—довольно! Хотъ одно существо, одинъ знакомый голосъ, и я стала приходить въ себя. Пріѣзжаетъ Саша Б. Какое согласіе душъ, какая симпатія! Послѣ послѣдняго нашего свиданія она много претерпѣла и тутъ почерпнула утѣшеніе и запаслась новыми силами,—станетъ ли ихъ до другого свиданія!?. И мнѣ стало полегче, она много говорила о тебѣ. Душа моя, говорить, ты будешь въ маѣ; Василю Васильевичу кажется, что ты будешь на праздникахъ... Кто-то пріѣхалъ, прощай!

10-й часъ. Какъ я устала! Цѣлый день безпрестанно, ежели не должна была сама говорить, то слушать и смотрѣть. Александръ, вѣдь, это нехорошо, это похоже на самолюбіе, не желать быть съ тѣми, отъ которыхъ я не надѣюсь получить ни одной мысли, ни одного звука, думать, что уже много сдѣлала для нихъ, сказавъ съ ними нѣсколько словъ, наконецъ, люди сами будутъ бѣгать отъ меня, считать за многое взглянуть на меня—ахъ, что-жъ! это прекрасно! Какой проторъ тогда, какая воля! Мнѣ даже непріятно, когда на меня глядятъ съ примѣчаніемъ! Закрылась бы, если-бъ можно было. Я не увѣрена, что это дурно, скажи мнѣ, и я буду стараться перемѣниться, но это трудно будетъ.

¹⁾ Апостолъ Павелъ говоритъ: «праздниковъ вашихъ ненавиждь душа моя!»

20-е. Вчера не было минуты даже взяться за перо, смертельно устала. Ахъ, что это какъ мнѣ грустно, письмо твое еще отъ 31-го марта, не въ дорогъ-ли ты?.. О, такъ будто въ дорогъ писать нельзя? Отчего нѣтъ письма, отчего? Не знаю, что написать, такъ грустно мнѣ, прощай!

Твоя, твоя, твоя *Наташа*.

Правда, можно бы пожелать Emilie замужества, но надо знать, *кто онъ*. Избави Богъ, ежели изъ огня да въ полымя!

Свѣтлое Вокресеніе было темно для меня, я думала, что и вся святая недѣля будетъ грустна, — нѣтъ, я видѣлась съ маменькой! И сколько еще впереди мнѣ удовольствій: сейчасъ получу твое письмо, завтра поѣду на именины къ Сашѣ Б., а послѣ завтра маменька обѣщала быть у меня и съ Машей Эрнъ!.. Вотъ сколько принесъ мнѣ нынѣшній праздникъ, ужъ что же принесетъ будущій?.. Ки[ягиня] твоимъ письмомъ сначала была довольна, а какъ увидѣла, что ты даже и Костеньку вспомнилъ, а Макаш. нѣтъ, то и мнѣ досталось. (Отъ поклоновъ твоихъ всѣ въ восхищеніи, и каждая за каждый приноситъ тысячу, особенно *Саша*.)

[9 апрѣля].

^ Ангель мой, сегодня *девятое апрѣля*! Два года! и доселѣ еще не кончено. Тяжко. Господи, да мимо идетъ меня чаша сія!

Твоя душа—вотъ моя награда, вотъ мое блаженство, и наша симпатія не токмо въ каждомъ чувствѣ, но даже въ самыхъ словахъ. Вчера получилъ я твое письмо (отъ 17-го марта до 24-го), и ты въ немъ пишешь, что въ нашей жизни 9-е апрѣля есть благовѣщенье, то-есть, слово въ слово, что я тебѣ писалъ за день до полученія твоего письма (отъ 7-го апрѣля). Ты говоришь еще о симпатіи молитвы; нѣтъ, Наташа, у меня утрачена эта чистота души, которая тебя подымаетъ къ Нему. Молись ты обо мнѣ, тебѣ назначено меня спасти, молись же. Еще недостаточно имѣть святое чувство религіи для того, чтобъ умѣть молиться; какъ я могу передъ Нимъ стоять на той же высотѣ, на которой ты стоишь? Вся твоя жизнь одно чистое дуновеніе вѣтра, одно утро весны, твои дѣтскія уста привыкли къ молитвѣ, съ ней засыпала ты, съ ней просыпалась, и потому эта молитва перепелась съ любовью чистой, высокой,—больше не было у тебя чувствъ, вся жизнь твоя сведется на нихъ, даже не было разсѣянія, даже не было матерьяльныхъ удобствъ жизни. А я—рано разбудили мою душу мечты и мысли, и не было чистоты въ этихъ мечтахъ; гордость и самолюбіе захватили душу, и одно чувство дружбы спасло меня отъ холоднаго эгоизма.

Знаешь-ли ты, что до 1834 года у меня не было ни одной религіозной идеи; въ этотъ годъ, съ котораго начинается другая эпоха моей жизни, явилась мысль о Богѣ, что-то не полонъ, не достаточенъ сталъ мнѣ казаться міръ, долженствовавшій скорѣй грозно наказать меня. Въ тюрьмѣ усилилась эта мысль, и потребность Евангелія была сильна; со слезами читалъ я его,—но не вполне понималъ: доказательствомъ тому *Легенда*. Я выразумѣлъ самую легкую часть—практическую нравственность христіанства, а не само христіанство. Уже здѣсь, въ Вяткѣ, шагнулъ я далѣе, и моя статья *Мысль и откровеніе* выразила религіозную фразу, гораздо высшую. Но путь, которымъ я дошелъ до вѣры,—не тотъ, которымъ ты дошла: ты вдохнула вѣру при первой мысли, можетъ еще до нея, ова тебѣ далась, какъ всему міру—откровеніемъ, ты ее приняла чувствомъ, и это

чувство наполнило и мысль, и любовь. Со мною было обратно: я такъ успѣлъ перестрадать и пережить много, что увидѣлъ съ ужасомъ на 23 году жизни, что весь миръ этотъ суета суетствій, и, испуганный, сталъ искать отчизны души и мѣсто покоя.

Первый примѣръ были апостолы и святые, въ нихъ я видѣлъ именно тотъ покой, котораго не доставало въ моей душѣ. Отчего же? Отъ вѣры,—надобно же было узнать, что такое вѣрованіе, но у меня не доставало чистоты повѣтъ Евангеліе; тогда-то Провидѣніе сдѣлало чудо для меня, послало 9-е апрѣля. Этотъ переворотъ былъ огроменъ. Тебѣ можетъ странно, что я, сильный и высокій человекъ въ твоихъ глазахъ, былъ совершенно пересозданъ тобою въ нѣсколько часовъ, въ которые ты не говорила ни слова, но это такъ. Тѣло отстало отъ души, я уснулъ, и сонъ мой—печальная жизнь въ Вяткѣ была послѣдняя дань пороку.

Проснувшись, я другими глазами взглянулъ на природу, на человека и, наконецъ, на Бога, я сдѣлался христіанинъ и пламенное чувство любви къ тебѣ увеличилось благодарностью. О, Наташа, Наташа, какъ великъ этотъ день 9-е апрѣля въ нашей жизни! Но, при всемъ этомъ, до молитвы далеко; молитва у меня бываетъ какъ молнія мгновенна и ярка въ минуту сильной горести, въ минуту сильнаго восторга,—въ обыкновенное же время нѣтъ потребности. Умъ дѣйствовалъ у меня прежде сердца,—и вотъ слѣды. Молись же, ангелъ, за меня, молись. Ты всегда возражаешь мнѣ, когда я ставлю себя ниже тебя, я и не ставлю свою любовь ниже твоей, но то, что я понимаю очевидно, ясно—это утрата чистоты душевной. Наташа, ты будешь счастлива: твоя душа, тихая, кроткая, небесная, будетъ радоваться моей душой, какъ поэтъ радуется бурному морю, ты будешь счастлива одною мыслью, что этотъ человекъ, отдѣльный отъ топы, бурный и огненный, тебя любить; но зачѣмъ же мнѣ лгать на себя, во мнѣ всѣ элементы земли съ стремленіями туда, въ тебѣ—небо, нисходящее на землю. Я однажды писалъ: ты—лучъ свѣта, чистый, падающій на мрачную планету; я—отраженный землею переломленный лучъ, утратившій бѣлый цвѣтъ и возвращающійся пурпуромъ. И не вѣрна ли твоя вѣчная мысль, что мы составили одно существо?

10-го апрѣля. Не въ томъ ли и состоитъ жизнь всего человѣчества, чтобы, наконецъ, выразить собою одного человека, одно существо, одну душу, одну волю, и это человѣчество спланившееся—Христосъ, это его второе пришествіе, возвращеніе къ Богу. Для этого нужно сходство нравовъ, а сходство души. Я и Огъ совершенно разнородные люди снаружи, и оттого-то мы такъ тѣсно соединены: въ немъ спокойствіе убѣжденій, мысль почившая; я весь дѣятельность, и потому вмѣстѣ мы выражаемъ мысль и дѣятельность; такъ и ты будешь выражать непомеркнутое, чистое начало человека, а я—человѣка земного; вмѣстѣ мы—и ангелъ, и человекъ. Представь себѣ все человѣчество, соединенное такъ тѣсно любовью, подающее другъ другу руку и сердце, дополняющее другъ друга,—и великая мысль Творца и великая мысль христіанства откроется передъ тобой. Что мѣшаетъ этому соединенію? Тѣло, въ смыслѣ матеріальномъ, эгоизмъ, въ смыслѣ духовномъ,—вотъ орудіе, которымъ дѣйствуетъ Люциферъ противъ воплощеннаго слова. Какъ будемъ вмѣстѣ, я вполне передамъ тебѣ эту религиозную мысль. Впрочемъ, она у тебя была прежде, нежели я писалъ. Въ одно изъ твоихъ писемъ была она, только иначе сказанная.

Послѣдняя минута въ Крутицахъ была посвящена тебѣ. Написавши нѣсколько строкъ, мнѣ стало легче. Сердце мое затворилось, горестъ перешла границу,

лилась мимо. Я не плакалъ, но чувство гадкое овладѣло мною, когда жандармъ сѣлъ на козлы. Я простился за заставой, бросился въ коляску и молчалъ, колокольчикъ зазвенѣлъ, ямщикъ началъ кричать, я слушалъ со вниманіемъ. Вдругъ жандармъ стигъ на козлахъ, обернулся къ Москвѣ, снялъ фуражку и перекрестился на Ивана Великаго, — сердце мое сжалось; но я не хотѣлъ взглянуть ни на Москву, ни на Ивана Великаго и курилъ сигару, завернувшись въ плащъ. Петръ говорить, будто иногда слезы катились по щекамъ, не помню; а знаю, что я далъ извозчику четвертакъ, чтобъ онъ скакалъ сломя голову. Это было ровно два года тому назадъ, почти въ то же время, какъ я пишу теперь. Я тебѣ писалъ изъ Перми объ ужасномъ чувствѣ, когда я переправлялся черезъ Оку: разливъ былъ широкъ, паромъ, казалось, былъ неподвиженъ, а берегъ отодвигался; мнѣ было жаль его, — съ этижъ берегомъ отодвигалось все родное отъ меня, и надолго... Въ Пермь я въѣхалъ безъ особыхъ чувствъ; но въ Вятку я приплылъ по разлитію, и мрачное чувство овладѣло мною, я думалъ: вотъ вхождь въ чужой городъ, который запрется для меня. Это испытываетъ звѣрь, попавшійся въ тенета. О, растворитесь, о, ворота. Родимый берегъ, родимый городъ, возьми меня назадъ. Тамъ небесная дѣва томится разлукой, къ ней, къ ней! Прощай, будешь надѣяться. А пора, ей-Богу, пора...

11-го апрѣля. Я перечиталъ написанныя строки, и опять вспомнилось мое путешествіе, быстро мелькали города, нигдѣ не останавливался и все смотрѣлъ съ тупымъ вниманіемъ челоуѣка, котораго сейчасъ разбудили. Вся эта дорога оставила одно воспоминаніе, какъ я чуть-чуть было не потонулъ на Волгѣ; разливъ былъ слишкомъ на 15 верстѣ, и буря ужасная, рѣка и разливъ волновались, какъ море, огромныя и широкія волны били въ дощаникъ, легкой, тонкой. сколоченной изъ нѣсколькихъ досокъ; пьяный татаринъ поднялъ парусъ, его тотчасъ сломало, и бросило насъ въ пень дерева, корма проломилась, вода струемъ потекла. Первая минута была ужасна, 5 верстѣ отъ одного берега, 10 отъ другого. Петръ началъ плакать, татаринъ молиться, а Провидѣніе бросило на мель дощаникъ, и черезъ часъ его поправили и черезъ три часа, несмотря на бурю, я уже приѣхалъ и, сидя на берегу, ѣлъ печеныя яйца. Тутъ я испыталъ опять твердость характера: первую минуту меня обдало холодомъ, но мгновенно явилась мысль вѣры въ Провидѣніе, и я, закутавшись въ ерчакъ, съ совершеннымъ спокойствіемъ смотрѣлъ, чѣмъ кончится эта исторія. Солдатъ хотѣлъ послать за другимъ дощаникомъ, я не велѣлъ, я увѣренъ былъ, что Провидѣніе не сорветъ такъ рано едва распускающуюся жизнь, — и надежда моя была вѣрна. Впрочемъ, я, кажется, уже писалъ тебѣ объ этомъ, итакъ, «простите повторенье».

13-го апрѣля. Я писалъ, чтобъ тебѣ подарили отъ меня переводъ шекспирова Гамлета; читай его со вниманіемъ, это великое твореніе, въ будущемъ письмѣ скажу нѣсколько словъ объ этой трагедіи. Она въ себѣ заключаетъ самую мрачную сторону бытія челоуѣка, цѣлую эпоху челоуѣчества.

14-го апрѣля. Ужасно, ежели ты въ маѣ уѣдешь въ деревню, я безъ внутренняго бѣшенства не могу вздумать объ этомъ. 20... верстѣ и, можеть, развѣдѣться. И приѣхать, когда ужъ тебя не будетъ. Прощай, ангелъ, божество, другъ мой; прощай! Твой Александръ.

17 апрѣля, Вятна.

Я говѣлъ дурно, разсѣянно, только утромъ въ Великую Пятницу немного исправился, написавъ коротенькую статейку, въ родѣ продолженія статьи «Мысль

и «откровение». Нѣтъ, намъ уже трудно сродниться съ церковными обрядами: все воспитаніе, вся жизнь такъ противоположны этимъ обрядамъ, что рѣдко сердце беретъ въ нихъ участіе. Вникая въ обряды нашей церкви, въ нихъ открывается глубокой, таинственный смыслъ; но привычное къ практическому, матеріальному, [дѣлаетъ то, что] мы умомъ, а не сердцемъ разбираемъ ихъ. А, можетъ, надобно имѣть болѣе невинную душу? Формы дѣйствуютъ лучше на народъ; онъ подавленъ ими, и не ища далѣе, не понимая ихъ, онъ молится усердно.

Въ прошломъ письмѣ я обѣщалъ тебѣ нѣсколько словъ о шекспировомъ Гамлетѣ. Человѣчество живетъ въ разныя эпохи, по двумъ разнымъ направленіямъ: или оно имѣетъ вѣрованіе, и тогда всѣ искусства запечатлѣны религіозностью, надеждою на лучшій міръ, или оно низлагаетъ вѣрованіе, и тогда что за удѣлъ поэта: небо у него отнято вѣкомъ, люди, ломающіе вѣру, обыкновенно гнусны, въ собственной душѣ находятъ онъ пустоту, и ему остаются два чувства: прозятіе и отчаяніе. Въ такую-то эпоху жилъ Шекспиръ. Внимательно пересмотрѣвъ онъ сердце современниковъ и нашелъ порокъ и низость, и вотъ поэтъ съ негодованіемъ бросилъ людямъ ихъ приговоръ; каждая трагедія его есть штемпель, которымъ клеймятъ разбойника; въ Шекспирѣ нѣтъ ничего утѣшающаго, глубокое презрѣніе къ людямъ одушевило его, и даже состраданія въ немъ нѣтъ; онъ прямо указываетъ на смердящія раны человѣка и еще улыбается. Гамлета можно принять за типъ всѣхъ его сочиненій и, несмотря на то, что я десять разъ читалъ Гамлета, всякое слово его обливаешь холодомъ и ужасомъ. Гамлетъ добродѣтеленъ, благороденъ по душѣ, но мысль отомстить за отца овладѣла имъ и, когда онъ поклонялся отомстить убійцѣ отца, тогда узналъ, что этотъ убійца его родная мать. И что же съ нимъ сдѣлалось послѣ перваго отчаянія? Онъ началъ хохотать, и этотъ хохотъ адскій, ужасный продолжается во всю пьесу. Горе человѣку, смѣюшемуся въ минуту грусти, душа его сломана и нѣтъ ей спасенія. Вотъ тебѣ, ангелъ мой, введеніе, остальное ты сама увидишь; кромѣ сильнѣйшаго генія, никто не сладилъ бы съ такой трудной темой, но душа Шекспира была необъятна.

18-го. Ночь. Христосъ воскресъ, Наташа! Ангелы поютъ славу Его, итакъ, пой славу Его. Я сейчасъ изъ собора; дивное служеніе, что за торжество; спать не хочу, меня душитъ тоска. — эти люди, эти холодные, чужіе. О, Наташа, какъ гадко мое настоящее положеніе! И этотъ день всѣ ликуютъ, бѣдный отдаетъ послѣднюю копейку, чтобъ веселиться, и веселится. А колодникъ плачетъ надъ цѣпью, а изгнанникъ — плачетъ о родинѣ. Имъ нѣтъ праздника, я испыталъ то и другое. Зачѣмъ замолкли эти надежды, которыми я питался съ половины февраля. Девятое апрѣля было тоже на Святой, и какая разница; тогда я видѣлъ небо развѣражающееся, какъ Іоаннъ, и слышалъ гласъ: «это мой ангелъ возлюбленный, я его послалъ спасти тебя. Люби его». А эта Святая что мнѣ покажетъ, — я и забылъ великую честь обѣдать за столомъ его превосходительства; о, да ежели на то пошло, я пресчастливыи человѣкъ: сюда будетъ наслѣдникъ, многіе стараются лишь бы взглянуть на него, а я ему буду показывать выставку, какая зависть возродится! А я бы имъ отдалъ охотно и свой чинъ, и свои деньги, лишь бы скакать въ Москву. Странное дѣло, въ душѣ презираешь иныхъ людей, а больно, когда они обижаютъ; правда, вѣдь, ежели и осель лягаетъ, то боль не менѣе; но ослы добры. они рѣдко лягаютъ, а люди, нѣтъ, это не люди...

Я перечиталъ твое письмо, писанное въ прошлую Святую: любовь та же, грусть та же, но ты тогда еще не вполнѣ понимала себя, тебя что-то пугала

мысль быть любимой мною, я тогда досадовалъ за это чувство. Ты болѣе всего мнѣ нравишься, когда говоришь, какъ въ прошедшемъ письмѣ: «Терпи, Александръ, страдай, тебя ждетъ награда, моя любовь». Да, болѣе награды не можетъ быть и въ небѣ. Прощай, ангелъ мой, скоро надобно надѣвать мундиръ. Прощай... Нѣтъ, что хочешь, говори, а разлука дѣло ужасное, и такая разлука. И въ прошломъ году въ этотъ день ты надѣялась скоро видѣть меня, можетъ и въ будущемъ, а можетъ... нѣтъ, надежда, ты блѣдна, Богъ съ тобой. Я цѣловалъ много разъ твой браслетъ, христосовался съ нимъ.

19-го апрѣля. Вотъ завтра двѣ недѣли, какъ нѣтъ почты, и этого еще не доставало. Фу, какъ несносны праздники, когда на душѣ мракъ и будни. Гнусные люди живутъ здѣсь, отсюда ближе къ аду, нежели изъ Москвы. Новыя гадости, я долженъ или бороться съ гораздо сильнѣйшими. или сдѣлать подлость, которую-бъ ни одинъ благородный человѣкъ мнѣ не простилъ. Повѣришь ли, что преслѣдованія Мед. идутъ до того, что ее хотять лишить той помощи и защиты, которую она имѣетъ въ домѣ Витберга. Наташа! лучше еще годы разлуки, но я не сдѣлаю орудіемъ подлога человѣка. Ты спросишь: да за что эти преслѣдованія? Лучше не спрашивай, есть вещи, которыхъ не знать—душѣ легче.

20-го апрѣля. Изъ всѣхъ горестей самыхъ жгучихъ нѣтъ ничего хуже, какъ чувство собственной неправоты. Разлука ужасна, но мысль, что наши души нераздѣльны, утѣшаетъ, а это чувство неправоты не можетъ имѣть облегченія ни внѣ, ни внутри; ему недоступно утѣшеніе. И ежели бы было доступно, то это значило бы, что душа унизилась, пала; итакъ, еще надобно благословлять эту ядовитую боль, ибо она послѣднее условіе, по которому человѣкъ сознаетъ неполное паденіе свое. Я давно не писалъ тебѣ о М.; но тутъ съ тѣхъ поръ ничего не поправилось, и признаюсь, холодный потъ выступаетъ иногда на лицѣ, и я не имѣю характера и силы разомъ окончить все это. Нѣсколько разъ говорилъ я о тебѣ съ восторгомъ, съ одушевленіемъ, показывалъ твой браслетъ, и это было не понято, да и немудрено,—она считаетъ меня за благороднаго человѣка, а могъ ли благородный человѣкъ такъ гнусно обманывать... Господи, продолжи еще разлуку, обруши на меня еще несчастій, подвергни еще гоненіямъ, только дай средства выйти изъ этого заколдованнаго круга! О, Наташа, твое небесное сердце никогда не испытаетъ ничего подобнаго, а какъ это тяжело...

Почты все еще нѣтъ, но ежели и будетъ, что же она принесетъ мнѣ... Можетъ, нѣтъ отъ тебя писемъ, а мнѣ нужно ихъ для выздоровленія.

21-го апрѣля. Повѣсть моя не двигается, да, кажется, и не двинется. У меня нѣтъ таланта къ повѣстямъ; сверхъ того, я хотѣлъ въ нее влить многое изъ своей жизни, а все это еще слишкомъ свѣжо, чтобъ можно было писать. Хуже всего, что не хочется ничего дѣлать. Дай Богъ какой-нибудь перемѣны, такъ жить изъ рукъ вонъ тяжело. Но что все это передъ святой мыслью твоей любви, тѣмъ достойнѣе я буду О. и тебя. Прощай, ангелъ мой, прощай твой, и здѣсь и тамъ, Александръ.

Москва, 20-го апрѣля, въ 11 час. вечера.

Я было разсердилась *очень* на Е. И., что онъ не отдалъ мнѣ твоего письма третьяго дня. Какъ, какъ не отдать *мнѣ* письма *твоего*? Это ненатурально, безчеловѣчно, ежели *нельзя* отдать было—прислать! Но мысль, что письмо есть, что чрезъ нѣсколько часовъ оно будетъ у меня, все освѣтила, исчезла и досада,

и грусть!—Часто, много я виновата передъ тобою, ты ужь другой разъ пѣняешь мнѣ сравненіе себя съ Вѣринькой, —это тебѣ непріятно... Прости Наташѣ, прости любви! Ты говоришь, что имѣешь еще недостатки, неизвѣстные мнѣ—*тебѣ вѣрю и тебя люблю!* Со всѣми совершенствами, со всѣми недостатками, ну, такъ, какъ ты есть. Ты такъ высокъ, такъ пространенъ, такъ свѣтелъ, что я иногда совершенно кажусь себѣ погруженная въ тебя, какъ песчинка въ море; но не думай. чтобъ я унизилась, —нѣтъ, я знаю себѣ цѣну. Гордость моя иногда бываетъ даже излишняя; напр., мнѣ кажется унизительнымъ употребленіе пищи: брашно, —нетлѣнное, духовное мнѣ! унизительны пощевія объ одеждѣ: подражаніе модамъ, облако—риза моя! унизительно сообщеніе съ людьми: ангелы—бесѣда моя!

21-го, утро. Ты пишешь о сужденіяхъ толпы, о любви,—о, они такъ же глупы, ложны и кривы, какъ и всѣ правила ихъ, какъ и она сама? Но хорошо, по крайней мѣрѣ, что она, считая этотъ предметъ недостойнымъ, мало распространяется о немъ. Но что же, мой другъ, развѣ она, толпа, не права въ томъ, что «можно быть счастливымъ и безъ любви, и гораздо болѣе и вѣрнѣе»; полюбивши, наконецъ—что необходимы препятствія, разлука, несчастія, чтобъ упрочить любовь, и то ненадолго, потому что женитьба заставитъ открыть глаза, увидѣть, что все это глупость, мечтательность и что супружеское счастье заключается въ привычкѣ и то тогда только, когда жена хорошая кухарка, а то, что за жена, если мужу подаютъ супъ, или слишкомъ горячъ, или слишкомъ холоденъ, пересолень или недосолень; а, сверхъ' всего этого, у нея есть правило, за которое она и тѣломъ и душой, это то, что «чѣмъ пламеннѣе любовь, тѣмъ скоропреходящѣе».—права, очень права толпа въ подобныхъ сужденіяхъ, да и какъ же ей не быть во всемъ этомъ увѣренной и не увѣрять другихъ, когда она въ себѣ видитъ безпрестанные примѣры и подтвержденія. Меня пусть не беретъ она труда увѣрять, потому что я вѣрю всему, что она гласитъ о *своей любви*, и можемъ ли мы оспаривать ее? Никакъ; она не знаетъ нашу любовь, какъ міръ надзвѣздной; дать имъ понятіе о ней такъ же трудно, и какъ увѣрить степного мужика, что солнце не одно, а милліоны ихъ, и еще труднѣе! Ихъ сужденія не только не проходятъ мимо нашей любви, даже не поднимаются ни на вершокъ отъ земли, такъ что же до нихъ тѣмъ, кто далѣе солнца отъ земли?.. Жалка толпа! Какая всегда меня беретъ грусть, какъ я посмотрюсь на этого уroda, наслушаюсь его ропота, содрагательно видѣть тѣлесныя уродливости и болѣзни, а душевныя?.. выгодно иногда имѣть слѣпую душу. Какъ часто на молитвѣ, сближаясь съ Богомъ, созерцая красоту Его, славу и милосердіе, —этотъ изувѣченный вишій, толпа, мелькаетъ мимо меня, и я задрожу отъ холода, отъ страха, но молитва моя пламеннѣе, смѣлѣе. Когда послѣ Его молитвы, молитвы Сына Божія, послѣ распятія Его, толпа оставалась толпою, —что же моя молитва?

Вечеръ. Сегодня Царицы Александры, у меня три именинницы моихъ и рожденіе Emilie. Саша В. всегда такъ много говоритъ о тебѣ, такъ разспрашиваетъ. А знаешь ли, я рѣже стала произносить твое имя, —проговорю цѣлый день и скажу менѣе, нежели Александръ, напишу тетрадь и напишу менѣе, нежели Александръ, это имя—книга Бытія, Природа, Вѣчность, Богъ! Никогда не произношу я его всуе. не смѣю даже произносить его въ этой тѣснотѣ, гдѣ сперлось дыханіе толпы; на высокой, на высокой горѣ, ближе къ Небу пусть вся музыка души выразитъ одно—Александръ, и это одно—все, и оно наполнитъ то, чему нѣтъ высоты, низу и границъ, пусть этотъ яхонтъ и брилліантъ неба, пусть все

небо (если о немъ можно сказать—*все*) звучить Александръ, а землѣ довольно одной ноги, она одушевить ее, волееть двойную жизнь въ ея тѣло. Александръ, да знаешь-ли ты, какъ я люблю тебя?.. Нѣтъ, я мало люблю, мало, мало! Любить тебя любовью, которая можетъ вмѣститься въ этой тѣсной тюрьмѣ, любовью, которая сносить плѣтъ и оковы, не значить любить! Нѣтъ, я не люблю тебя: если-бъ любила, тѣло мое превратилось бы въ пепель, и на необъятное пространство вокругъ тебя сгорѣло бы все нечистое, ты очутился бы въ раю, любовь моя цвѣла бы дивной розой и лилей, наполняла-бъ все благоуханьемъ, зрѣла-бъ виноградомъ и оранжемъ, служила-бъ тебѣ ангелами, лилась бы музыкою на тебя... А я... я живу и въ чемъ же? въ чемъ и скоты живутъ, въ тѣлѣ, и, можетъ, долго проживу, и, можетъ, умру отъ старости, отъ болѣзни... Нѣтъ, я не люблю тебя! Зачѣмъ такъ крѣпко сдѣлано это тѣло, что въ душѣ нѣтъ силъ сбросить его.

22-го. Вотъ и апрѣль проходить, и май скоро, май!.. Сколько разъ свѣтла намъ надежда, и сколько разъ заходила за черную тучу... Ангелъ мой, Александръ, другъ мой, ты говоришь «страшно»; нѣтъ, мнѣ уже не страшно: что ихъ гнѣвъ, угрозы, самыя наказанія, когда ты будешь здѣсь? Воля Отца Небеснаго побѣдитъ волю отца земного, ты не предвидишь средствъ, и не надо ихъ предвидѣть, *Онъ* уже придумалъ ихъ; будемъ ждать исполненія; на что наши руки тамъ, гдѣ Его рука? Въ минуты, когда я слаба, когда меня обвѣтъ землею,—боюсь того и другого, желаю многое переменить, и шагу страшно сдѣлать впередъ,—когда же... когда же я *твоя Наташа*? О!.. посмотрѣлъ бы ты на меня давеча... Перебирая всѣ листы души моей, я многое пропустила, почти все, что было до тебя, нѣсколько и послѣ, потому что, видѣвши тебя, я долго еще оставалась тѣмъ, чѣмъ была бы вѣчно безъ тебя; но вотъ я не только вижу,—начинаю понимать тебя, узнавать въ тебѣ знакомаго, родного, но еще не брата, еще не друга, о, до того еще долго, долго... долго? А вотъ ужъ я въ восхищеніи, что ты просишь черезъ меня муравьиного спирта у княгини, поздравляешь письменно съ рожденіемъ меня, ты подписываешься (въ пригласительной запискѣ къ *вамъ* обѣдать) *вашъ* Александръ,—я счастлива совершенно! Остановлюсь на этомъ счастіи, теперь, пропустивъ 4 года или 5—поставить это *совершенное* счастье подлѣ того, которое теперь въ душѣ, уже я не знаю, какъ и назвать его, *кагда то* совершенное?.. Что сдѣлаютъ люди, солнцу, когда пустятъ въ него ядра изъ всѣхъ пушекъ своихъ? тоже сдѣлаютъ они и намъ своими словами. Тяжело быть *розно* съ тобою, тяжело, сложа руки, оставаться или, еще что хуже, дѣлать ботвинью тогда, какъ отъ трудовъ леть съ тебя кровавый потъ, и не мочь не только раздѣлать эти труды, не мочь отереть этотъ потъ, не мочь раздѣлать и минуты отдыха!.. Видитъ Богъ, какъ тяжело... *Онъ облегчитъ!*..

Ужъ поздно, пора кончить, еще нѣсколько словъ,—душа моя становится все лучше и лучше, любовь возноситъ ее до всего высокаго, изящнаго, святаго, но при всемъ этомъ бывають минуты темныя, темныя,... что значить, что она еще не совершенно хороша. Надо многое сказать объ Emilie, но ужъ до завтра, совѣтую и тебѣ отдохнуть,—такъ мелко писано. Руку! пріятный сонъ, мой ангелъ.

23-го. Я не хотѣла писать Emilie о томъ, что *ты знаешь*, что *ты не противъ*, потому что она имѣетъ неограниченную вѣру въ тебя, и это могло бы ускорить ея рѣшимость; но я получила отъ нея письмо; съ *нимъ* она видѣлась послѣ меня, на станціи, получила отъ него письмо... онъ ей нравится, находить его достойнымъ и вотъ что пишетъ мнѣ: «Помоги мнѣ, Наташа, расположить моимъ сердцемъ, я не буду отвѣчать ему, пока не получу твоего отвѣта». Изъ

этого видно, что уже кончено, рѣшено, не доставало только моего согласія,—я даю ей его и для успокоенія написала все, какъ ты узналъ и какъ ты не протѣивъ. Неужели Господь не умилосердится надъ нею, сколько, сколько потерпѣла она, право, кажется, ото всего и ото всѣхъ на свѣтѣ. Пора къ пристани! Тебѣ она велѣла написать, что хотя не сердится за то, что ты не пишешь ей, но желала-бъ хоть одну строчку.

3-й часъ пополудни. Какая суета, снѣшать, торопятся и все это подъ Новинское... Оставимъ ихъ тамъ, я не была и не буду; не туда стремятся мысли и чувства, немного подальше... О! какъ бы я посмотрѣла теперь на тебя, одну бы минуту, одинъ мигъ! Перемѣнился ли ты съ тѣхъ поръ... иногда я такъ живо тебя представляю, что меня спрашиваютъ, отчего я покраснѣла. Вонъ идутъ двое, —ростъ и осанка его похожи на твои и она, какъ будто, на меня похожа, зачѣмъ же они идутъ подъ Новинское?.. И, вѣдь, какъ всѣ пресерьезно, преважно, преторжественно шествуютъ туда,—будто тамъ ты, или, по крайней мѣрѣ, я, а въ самомъ дѣлѣ мнѣ досадно на нихъ, не глупо ли это, Александръ? Да что еще! Я воображаю, что непременно когда-нибудь они поумнѣютъ, что всѣ эти глупости, вздоры, которые такъ грабятъ ихъ душу и карманъ, кончатся,—безумная мысль!—Ангель мой, я не могу себѣ представить, что *тогда* мы также будемъ съ этими людьми, также необходимо будетъ имѣть съ ними сношеніе, сближеніе... вѣтъ ненадо! Но, вѣдь, что я ни воображаю, все это невозможно: какъ хотѣтъ жить совершенно небесною жизнью на землѣ? Мнѣ все бы одна природа, такая, какъ создалъ ее Богъ, а не какъ перелѣвали ее люди, все бы души чистыя, высокія, а не такія... Но на что же мнѣ это все? на что, когда есть ты, твоя душа! Милый, милый!!

Вечеръ 24-го. Къ тебѣ, къ тебѣ, ангель мой, на твое сужденіе! Помнишь ты эту дѣвочку, стыдливую еще такую, застѣнчивую, которая не могла и не умѣла сказать слова—помнишь? Ну, это я все также краснѣю, запинаясь... о, пренесносная! Любовь, создавшая изъ ничтожества твою *Наташу*, не можетъ въ Наташѣ создать *и* ни одного взгляда, ни одного слова. Мнѣ-бъ нужды нѣтъ, да тебѣ это будетъ досадно. Пусть бы меня называли глупой, дикой. Кажется, Войноровскій говоритъ:

«Я-бъ желалъ, чтобъ люди узника чуждались,
 Чтобъ меня среди сихъ скалъ.
 Какъ привидѣнія, пугались»...

Съ какимъ восторгомъ всегда я повторяла эти слова; но ты скажешь: «какъ! чтобъ мою Наташу называли глупою»... Прости, прости мнѣ, ангель мой! что-жъ дѣлать мнѣ, когда я такъ мало дорожу мнѣніемъ людей, они сами такіе нехорошіе... О, если-бъ не ты! Ну, право, легче-бъ лежать подъ гробовой крышей, среди мертвецовъ, тамъ, гдѣ-нибудь далеко, на кладбищѣ... пусть ночь, пусть вѣтеръ, пусть ливня дождь!.. Пусть-бы ужъ они были нехороши, да не такъ ничтожны. Самое дурное это ихъ ничтожность: повѣришь ли ты, чтобъ я это писала, видѣвшия нѣсколько часовъ тому назадъ съ Сашей Б.? Да, Александръ, и я была съ ней нѣсколько часовъ, а пишу это, потому что тутъ были другіе, много другихъ... Вѣдь, не могу же я всѣхъ карикатуръ обратить въ лики серафимовъ, вмѣсто испорченной, обезображенной души—дать свѣтлую, ясную, какую даетъ Богъ, не могу сонъ превратить въ жизнь дѣятельную, не могу заставить летать тѣхъ, которые едва ползаютъ... Къ чему-жъ это волненье, эта боль, стремленіе, буря?..

Тогда и въ тебѣ было много земного, любовь очистила, слунула землю, о! надо какъ можно меньше земли, Александръ, хотя мы *на ней*, хотя будемъ *с ней!* Пусть глаза мои прежде засыплють землею, нежели одна пылинка ея упадетъ на душу!! Александръ, какъ можно меньше земли! О, неужели страшно заслужить отъ *нихъ* названье «чудака». Въ самомъ дѣлѣ, нехорошо, непростительно воображать, что я не могу ни съ кѣмъ говорить, кромѣ тѣхъ... короче сказать—кромѣ *своихъ*; да, конечно, непростительно *воображать*, а ежели на самомъ дѣлѣ такъ? Непростительно же? Помири меня, другъ мой. съ *ними*, научи говорить, присѣдать имъ, научи глядѣть на нихъ,—клянусь, я не умѣю! Какъ бѣжать отъ людей, когда еще долго, можетъ быть, жизнь съ ними; ротъ видишь ли, какая я негодная,—напримѣръ, скажутъ: «ахъ, какъ же, онъ (или она) прекрасный человѣкъ, *предостойный*, вѣжливый, искательный»... довольно, довольно! У меня сердце ужъ повернулось, ужъ я сердита, огорчена, хочу говорить, учить, наставить на путь истинный, открыть глаза,—а этого нельзя. какъ же ужиться мнѣ съ людьми? Жить-то съ ними можно, да какъ же стерпѣть, чтобъ они видѣли черное бѣлымъ, а бѣлое чернымъ? Какъ стерпѣть, ангелъ мой. чтобъ солнце называли *только* желтымъ, а не видали-бъ ни свѣта, ни лучей?..

Вся эта страница, кажется, бредъ. Если я въ бреду, дай Богъ скорѣе опомниться, какъ тяжело въ этомъ бреду, и дай Богъ увидѣть людей не такими, какими вижу ихъ въ бреду—теперь.

Ночь. Пусть называютъ меня мечтательницей, набравшейся романовъ, ханжой... Я не *имъ* говорю, тебѣ. Мнѣ такъ тяжело, тяжело было отъ того, что я *нѣсколько* посмотрѣла на людей, слышала ихъ; долго стонало сердце и ломилась грудь отъ этой тяжести, но... но будто у меня нѣтъ крыльевъ, нѣтъ тебя! Вы болѣе ничѣмъ со мною не подѣлитесь, люди, у васъ ничего *нѣтъ* больше? Прощайте! Лечу къ нему, туда, туда къ нему!.. И вотъ—ужъ это не кусочекъ грязи съ букашками, да тутъ и матерія нѣтъ никакой,—свѣтъ, одинъ свѣтъ! Музыка... а не тотъ пискъ, трескъ и ворчанье, не они, не они, а онъ, онъ, онъ! «*Въ мѣръ скорби будете; но держайте, яко азъ побѣдихъ мѣръ*». Ужели *скорбь*—болѣзнь, бѣдность, разлука? *Люди.* Не читай болѣе одного раза моихъ писемъ,—они утомительны. Даромъ, что я не люблю земли, а и тутъ ея много. О! кто бы спасъ меня, кромѣ тебя! тебѣ и душа моя, тебѣ, тебѣ!

26-го апрѣля. Благодарю за письма (отъ 9-го апрѣля до 14)! Что такое между нами *благодарю*? тутъ-то оно и имѣетъ совершенное значеніе, а вѣтъ—пустое слово. Благодарю, Александръ! Да, да, часто и долго погружаюсь я въ мысль о союзѣ, о которомъ пишешь ты, о томъ союзѣ, который дѣлаетъ насъ всѣхъ членами Христа, необходимыми для составленія цѣлаго, мысли Его, человѣка. Какой сверхъестественный восторгъ обнимаетъ душу, когда все это разнообразіе, всѣ сердца, души, стремленія, желанія, мысли всѣхъ людей сольешь въ одну дивную, гармоническую пѣснь Творца! Тогда-то не чувствуешь земли, тогда-то врагъ—тѣло не властно надъ Божьей рѣмой! И послѣ—какъ долго неразрывно сердце съ *ихъ* сердцами, какъ долго не тѣсно въ груди,—она становится широкою, безгранною... но, наконецъ, мелькнетъ самолюбіе во взорѣ, сердце, обваленное въ землѣ... и вотъ, вмѣсто хлѣба, рука человѣка, рука брата, моя рука «дастъ камень». Распадается человѣкъ, мало-по-малу всѣ узы врозь, и—одна глава—Христосъ! Гдѣ-жъ цѣль шестидневныхъ трудовъ—подобіе Его? Тутъ почувствуетъ нога землю, рука цѣпи, грудь крестъ, нальются въ глаза слезы и кануть на душу—но ты!? но эта симпатія, но эта гармонія, сочетание, слитіе

душъ нашихъ?.. Онъ обѣщалъ быть посреди двухъ или трехъ, собравшихся во имя Его,—когда мы еще не она—Онъ посреди насъ!.. Сегодня годъ свадьбы Огарева.

27-го. Молиться о тебѣ—да, мнѣ молиться о тебѣ! Ты пишешь, Александръ, что уста мои привыкли къ молитвѣ, что я съ ней засыпала, съ ней просыпалась. Да и что же была бы я безъ молитвы тогда, какъ душа, открывшись впервые, искала привѣта, созвучья и находила одинъ холодъ моралей или каплю участья въ чашѣ эгонизма, когда я протягивала всеѣмъ руку, и никто не жалъ ее? что бы была я, если-бъ Онъ не воззвалъ ко мнѣ, не протянулъ руку свою?.. Но теперь молитва моя не та, нѣтъ. Тогда она была ограничена и временемъ, и словами, тогда она была *только утѣшнице* мое отъ недруга—міра, тогда я могла пересказать, что такое молитва, какъ я молюсь, а теперь... я не читаю «Отче Нашъ»; молитва, не сжатая назначеннымъ часомъ, не связанная словомъ, молитва—это вся душа, вся любовь, вся жизнь; но и у меня есть обыкновенныя минуты, въ которыя я не молюсь, рѣзки и коротки эти минуты и тяжки! но все это означаетъ еще несовершенство мое, я должна, *могу* достигнуть его любовью. Вотъ торжественныя, несравненныя минуты, Александръ, когда солнце устанетъ освѣщать суету-суетъ, когда сама суета устанетъ суетиться и наляжетъ на небо тѣнь, на землю сонъ,—вознесись къ Его престолу, туда, гдѣ нѣтъ ни тѣни, ни сна, прижаться къ Его груди, отдохнуть отъ земли, подѣлиться тобою и почерпнуть тебѣ изъ этой груди даровъ небесныхъ, божественныхъ!.. Молиться о тебѣ! Молиться о тебѣ! О, мой Александръ, о, ангелъ мой, о, другъ мой! Вся жизнь моя молитва о тебѣ, молитва разлучить и душу съ тѣломъ!

Но со всею чистотой моею, какъ вѣра безъ дѣлъ мертва, такъ и я безъ тебя ничтожество... Благодарю, благодарю воспитателей моихъ, что они лишили меня всего того, что *они могли* дать мнѣ! тогда мнѣ было неприятно. я сѣтовала на нихъ, теперь—во всеѣхъ дѣйствіяхъ ихъ вижу Провидѣніе Его. Я бы желала *ихъ* вознаградить за это, но, видно, я не предназначена для этого; напротивъ, я приношу имъ собою однѣ неприятности—*тѣмъ* награда имъ!

Да что и говорить, мой другъ, о симпатіи нашей! Ты замѣтилъ, что мы даже одинаково выразились о девятомъ апрѣля, я не замѣтила этого прежде тебя, удивительнаго тутъ ничего нѣтъ. Ты, Ог., я—троица единосущная, нераздѣльная, и всѣ трое—одинъ ты. Какъ мнѣ хочется прочесть «*Мысль и Откровеніе*». Ты скажешь: «что это такое *хочется*, слишкомъ холодно, обыкновенно»; да замѣть, что мнѣ никогда ничего не хочется обыкновенно, потому я смѣло употребляю это выраженіе. «*Легенда*» у Василья Васильевича; я давала ему ее не съ тѣмъ чувствомъ, съ какимъ давала многимъ, перешлю и «*Встрѣчу*» ему,—прощай пока! Полно, свѣтла душа моя!

3 часа пополудни. Два года твоему опасному путешествію по Волгѣ,—а я плакала надъ описаніемъ его, и сердце замирало, будто я вижу тебя на грозныхъ волнахъ близъ смерти... О, какъ это живо! страшно, страшно! Но Господь спасъ тебя,—Онъ знаетъ для чего!

Опять отъѣздъ твой—можетъ, скоро будетъ вѣздъ! а воспоминаніе этого распятія копьемъ пронзаетъ сердце. Сколько перестрадалъ, сколько вынесъ ты! И неужели еще далекъ покой, далека награда?..

Вятка! Тебя любитъ Богъ, потому что Онъ тебя избралъ мѣстомъ *его* изгнанья. Во всю жизнь твою у тебя не было подобнаго изгнанника, гордась *двумя годами*, они твои, рассказывай о нихъ дѣтямъ своимъ, напиши свѣтомъ на сердцѣ

твою *два года* и тогда, какъ предстанешь тамъ предъ Нимъ, какъ ангелъ будетъ вѣсить дѣла твои. всю тяжесть мрачныхъ дѣлъ твоихъ перевѣсятъ свѣтлыя два года! Но только два, довольно тебѣ; о, Вятка! не требуй болѣе, отдай *его* мнѣ, онъ мой, онъ душа моя, онъ жизнь моя, онъ—я, отдай мнѣ меня! Благодарю тебя за твою дружбу, за твое гостепрѣимство, прощаю холодность и непривѣтъ, и тебя же. врагъ—другъ мой, умоляю возвратить *его* мнѣ, преклоняю колѣни души моей... Вятка! Вятка!..

Что ранѣе бояться, можетъ, мы поздно поѣдемъ въ деревню, можетъ, вовсе не поѣдемъ! Можетъ, и ты прѣдешь только къ моимъ именинамъ... ахъ, Богъ знаетъ, что *можетъ быть!*..

Вѣдь, это странно, будто вѣкъ не видала тебя и будто сію минуту видѣла! Вотъ на этомъ диванѣ (въ к[нягининой] спальнѣ), на самомъ этомъ мѣстѣ сидѣла, глядѣла, говорилъ, хоть и не для меня... вотъ здѣсь, именно здѣсь показывалъ. какъ мечутъ банкъ, и отъ слова до слова вся рѣчь твоя. всѣ взгляды, сплелись вокругъ меня огромнымъ вѣнкомъ, и самое свиданіе и самая жизнь вмѣстѣ не разорветъ этого вѣнка. И каково будетъ на самомъ же этомъ мѣстѣ мнѣ сказать тебѣ: «благодарю васъ, Александръ Ивановичъ, за то, что вы помнили меня въ Вяткѣ. *никогда* писали ко мнѣ»,— а затѣмъ? тогда мы вмѣстѣ прочтемъ *имѣ* наши письма. Но что же изъ этого будетъ?... О, нѣтъ, нѣтъ, ни за что на свѣтѣ, это одно поруганіе. Да что намъ за дѣло, что *будетъ* тогда: мы *будемъ* вмѣстѣ, по крайней мѣрѣ ближе!

Вечеръ. Ты писалъ, что жена Витберга можетъ только дѣлать съ нимъ минуты отдыха,—это не выразитъ даже и помощницу. Ты, мой Александръ, утѣлилъ мнѣ половину своихъ несчастій, ты мнѣ сказалъ: «*съ тобой, Наташа, все дѣлю*». Я не хочу тихо колыхаться на зеркальной поверхности океана любви. нѣтъ; вмѣстѣ труды и взнеможенья, вмѣстѣ отдыхъ и покой! Теперешняя жизнь моя или, вѣрнѣе, препровожденіе время несносно для меня своею пустою, бездѣйственностью, а еще болѣе заятіями ничтожными. Всегда во мнѣ была склонность къ занятіямъ умственнымъ, но всегда я встрѣчала вездѣ затворенныя двери. *Тогда* онъ всѣ разомъ растворятся для меня, и ты разомъ передашь мнѣ то, что я собиралась бы, можетъ, цѣлую жизнь. Вотъ тутъ невольно опять повторится—скорѣе!

Что за замки строю я, пусть ихъ называютъ воздушными, съ тобою я знаю, что все возможно. А звѣзда стоитъ надъ окномъ и смотритъ на меня, и свѣтитъ мнѣ, и говорить о томъ, чего не слышатъ уши,—это онъ, онъ мое свѣтило, это только одна мысль *его*, а онъ солнце безъ восхода и заката. Прощай! Душа!

28-го. Прости меня, ангелъ мой. я теперь не могу вспомнить, что написала вмѣсто *Скворцова, Соколова*. Прости, но неужели это невниманье? Видно. Полина усердно носить кольцо, когда оно осыпается, а можетъ, и оттого, что оно въ золотѣ. Что ея судьба! Для Скворцова я желаю.—но ежели она равнодушна? Не думаешь ли ты, что вятскіе друзья твои мнѣ ничего? Нѣтъ, ты этого не думаешь; что бы чувствовалъ ты, если-бъ зналъ, что у тебя есть родные братья и сестры, о которыхъ ты прежде не слыхалъ и никогда не видалъ... а Полина. Скворцовъ, Витбергъ и Эрнъ—сестра и братья мнѣ по душѣ!.. Скажи мое истинное почтеніе маменькѣ Эрнъ, какъ я ее помню, очень, очень помню—уважаю и люблю. Мудрено и ей меня забыть: вѣрно, во всю ея жизнь никто съ перваго раза не былъ ей такъ радъ, не говорилъ съ такимъ жаромъ и такъ откровенно, какъ я. Черезъ два дня *май!* можетъ и *только!*.. Но, мой другъ мысленно, ду-

шою обнимемся крѣпко, крѣпко и намъ будетъ легче. Благодарю за Гамлета! Я читала его и хотѣла купить, но мнѣ не позволили бы. Въ первый разъ читаю Шекспира и начала Гамлетомъ! Можетъ, еще я его не совершенно понимаю, но пусть гений приметъ и мое удивленье, какъ отъ вдовицы двѣ лепты—особенно, когда Гамлетъ открываетъ душу матери. Еще благодарю. Прощай, Александръ, давай мнѣ обѣ руки, жму ихъ. Цѣлую тебя. Твоя Наташа.

28 апрѣля.

Наташа! и этотъ лучъ надежды сталъ меркнуть, блѣднѣть; теперь пишутъ другое изъ П., а мы было такъ дѣтски отдались надеждамъ. Милый ангель, будемъ еще терпѣть,—стыдно, терпѣвши столько, унывать наконецъ.

Я теперь переѣхалъ на нѣсколько дней къ Эрну, и видѣ изъ моей комнаты на поле и на рѣку, которая теперь въ разливѣ; часто сажусь я на окно и устремляю глаза, вижу даль, и тогда мнѣ вольно мечтать о тебѣ, моя небесная подруга... Всѣ чувства, всѣ мысли, все мое существованіе превращается болѣе и болѣе въ свѣтлое чувство любви, ты еще болѣе для меня, нежели была; какимъ совершеннымъ сиротою была бы я безъ тебя—не обижая дружбы, она никогда не могла бы дать столько. Наташа, Наташа, ей-Богу, я не думалъ, чтобъ когда-нибудь я могъ такъ любить, по зналъ-ли я, что на землѣ есть ангель. и что этотъ ангель полюбитъ меня... Губернаторовъ сынъ женится, надняхъ былъ у него обѣдъ послѣ помоявки, я пристально смотрѣлъ на жениха и невѣсту: какъ мы должны благословлять Бога, что онъ намъ далъ душу, раскрытую чувствительнымъ и высокимъ. Я воображаю тебя и себя тогда, за нѣсколько дней до вѣчнаго соединенія (которое, впрочемъ, одна форма, ибо мы соединены на вѣки), какой восторгъ, какая радость.—а эти, женихъ *строитъ куры* невѣстѣ, невѣста *жеманиится*, все натянато, холодно, а онъ кричитъ: «о, какъ ее люблю!» Толпа, иди своей дорогой, счастливый путь, но ежели ты идешь направо, то я съ Наташей пойду налево; иди съ своими получувствами, полумыслями, полусуществованіями; намъ надобенъ просторъ и просторъ, обширнѣе всего шара земного, намъ надобно небо.

Часто, смотря на толпу, мнѣ приходитъ въ голову та простонародная сказка, гдѣ царевичъ былъ засмоленъ въ бочку и брошенъ въ *Море-Окиянъ*. Царевичъ сталъ расти, тѣсно ему въ бочкѣ, онъ и проситъ дозволенія ноги протянуть.—«Да, вѣдь, ты потонешь, добрый молодецъ».—«Нужды нѣтъ, отвѣчалъ онъ, лишь бы протянуться: лучше тонуть въ океанѣ, нежели, скорчившись, жить въ бочкѣ». Я совершенно согласенъ съ этимъ царевичемъ. Вотъ тебѣ еще анекдотъ за тѣмъ же обѣдомъ. Vis-à-vis со мною сидѣла одна очень миленькая барышня; между прочимъ, рассказывала она мнѣ, что ежели кто хочетъ въ одно время думать объ отсутствующемъ другѣ, когда тотъ думаетъ, то стоитъ прежде посмотрѣть на луну и сказать три раза *belle lune pense à moi* и пр.—Положимъ, что такъ, сказалъ я, но не лучше-ли была бы та симпатія, которая заставила бы *ее* писать точно то же за 1.000 верстъ, что *онъ* пишетъ здѣсь, безъ всякихъ искусственныхъ средствъ. Толпа услышала и говоритъ, что это невозможно; я хотѣла,—подумали, что я и я не вѣрю этому. А сколько разъ съ восторгомъ и трепетомъ души читалъ я свою мысль въ твоемъ письмѣ,—да и что же тутъ удивительнаго, развѣ есть видимый предѣлъ между твоей душою и моей; одно различіе—ты любишь меня, я—люблю тебя. Но, *кажется*, *chère amie*, это не разрушаетъ симпатій.

Ты пишешь въ прошломъ письмѣ, чтобъ сказать папенькѣ обо всемъ точно по прїѣздѣ; я тысячу разъ думалъ объ этомъ, но еще не рѣшился. Ты знаешь-ли его характеръ, холодный и разсудительный, его врасплохъ не заставишь. И потому надобно прежде звать сколько-нибудь его мнѣніе; ибо ежели я сдѣлаю прямой вопросъ, то отрицательный отвѣтъ совершенно разъединитъ меня съ нимъ, но что онъ можетъ имѣть противъ нашего соединенія? Я молодъ — хорошо, я откладываю на два, на три года, лишь бы впередъ рѣшено было, что не будутъ тебя мучить, что спасутъ тебя отъ Макашиныхъ, дадутъ волю заниматься, и мы будемъ *i promesi spasi*, какъ называютъ итальянцы, и это состояніе прелестно. Ну, еще наше препятствіе — деньги; послѣднее время онъ такъ былъ щедръ ко мнѣ, что стоитъ только продолжать; вѣтреность — но неужели два года ничего не доказываютъ? Ахъ, если-бъ все это обдѣлалось письмами; я намекалъ раза два, но онъ какъ будто не видитъ; въ послѣднемъ письмѣ я пишу о слухѣ, что я здѣсь женюсь, который отъ нечего дѣлать распустили здѣшніе господа, пишу какъ вѣрность; но это можетъ навести на серьезное, — буду ждать его отвѣта. Впрочемъ, Natalie, все это вздоръ, мы будемъ соединены, клянусь твоей любовью, какъ — все равно, когда — все равно.

Природа расковалась, а я нѣтъ!

О сколько болѣзненныхъ, жгучихъ мыслей толпилось въ груди, когда я пересчитывалъ, какъ ты вечеромъ смотрѣла на улицу. Поварская, — и ты свята для меня, съ какимъ благоговѣніемъ пойду я по твоему каменному хребту, я поцѣлую тебя, я слезою почту тебя. Оттуда со скачки я взглянулъ въ послѣдній разъ на нее. облако пыли покрывало ее и одинъ шпигъ *той* колокольни, какъ штыкъ часового блисталъ въ преддверіи, — грустно мнѣ тогда было; и я не выдалъ съ тѣхъ поръ Поварской скоро 3 года, и продолжается грусть.

Я какъ-то сталъ глупѣе съ тѣхъ поръ, какъ надежда опять отлетѣла, что-то усталое, не живое въ душѣ, сержусь, капризничаю и письмомъ этимъ я недоволенъ, цѣлая страница вздору, но я знаю, что для тебя мое письмо, и потому безъ особенныхъ причинъ не лишаю тебя этого удовольствія. Прощай.

Кланяйся твоей Санѣ, Emilie, когда будешь писать. Полина жметъ твою руку. Цѣлую тебя, мой ангелъ... ангелъ Наташа.

Александръ.

30-го апрѣля.

Ангелъ, ты всегда отрываешь меня отъ душевной земли и переносишь въ небо, это твое назначеніе и, божественная, великая, какъ ты его исполняешь! Вотъ твои письма (отъ 25 марта — 6 апр.) И я, воспитанный, спасенный счастливой дружбой и любовью, сказалъ, что въ 25 лѣтъ ничего не сдѣлалъ. Нѣтъ, вижу, что надобно искоренить славолюбіе, это высшая степень эгоизма и зачѣмъ же жаждать еще чувствъ, еще блаженства, когда душа черезъ край наполнена. Твое письмо, какъ чистое дуновеніе рая разбудило меня. Ежели я имѣю силу, ежели Провидѣніе не тщетно разливаешь дары, то будущность моя совершится безъ натяжки, стоитъ только слѣдовать персту, указующему путь; этотъ перстъ мнѣ укажетъ тебѣ одно — тебя, и я понимаю почему. Кто могъ, кромѣ тебя, обновить меня среди разгула буйной жизни? Но это еще легче было, ибо въ душѣ никогда не померкло доброе начало; но кто могъ бы потрясти мою давнишнюю мечту о славѣ, ту мечту, которая тревожила меня ребенкомъ, заставляла не спать ночи и заниматься во время курса, переносить страданія, эта мысль была свя-

тая святыхъ моей души,—ты однимъ словомъ, одной строчкой потрясла до основанія этотъ алтарь гордости, я излечусь отъ него, вотъ тебѣ моя рука и душа будетъ чище. И въ самомъ дѣлѣ—ну, ежели вѣтъ назначенія громкаго и я *натяну* его, оно обрушится на меня, какъ гранитная скала, а не для того созданныя рамена поникнуть и чужое задавить меня.

Развѣ мысль, восторженная, живая сама въ себѣ, и любовь, и дружба недостаточны душѣ? О, какъ дурна должна быть та душа, въ которой останется мѣсто для рукоплесканья толпы, которую она будетъ дѣлать со всякимъ фокусникомъ. И послѣ этого мнѣ не молиться на тебя. Наташа, Наташа, моя спасительница! Шиллеръ говоритъ о дѣвѣ Орлеанской: «и избралъ Господь голубицу для исполненія воли своей». Святая голубица, слетѣвшая изъ рая, ангелъ Господень, царствуй надо мной, передъ посланникомъ Божиимъ не стыдно склонить главу. И какъ святы, какъ чисты эти орудія Господа. Наташа, ни слова болѣе, я счастливъ, чрезмерно счастливъ... Да, да, одинъ взоръ, одно объятіе, и покинемъ землю, черную, грубую, гадкую землю! Взгляни на это блаженство, разлитое въ моей душѣ, и помолись,—это твое дѣло, ты принесла рай въ земную душу. Молись,—ты совершила свое призванье.

Рѣка здѣсь широкая, и теперь разливъ; я долго катался на лодкѣ, небо было чисто, вода спокойна; я мечталъ о небѣ и о тебѣ, я находилъ какое-то общее разительное сходство между тобою и этимъ воздухомъ весны, и этой лазурью, я, ничтожный, созерцалъ, понималъ это небо такъ, какъ понимаю и созерцаю тебя, мнѣ было хорошо; часъ передъ прогулкой я получилъ твое письмо, и этотъ видъ, эта величественная рѣка продолжали твое письмо,—я чище, святѣе понималъ его. Наташа! Наташа! Какъ велика ты, пересоздавшая меня!

Хочу нынѣшнее лѣто провести лучше, я не надѣюсь въ 37 году увидѣть тебя (мое пророчество объ этомъ годѣ сбылось), я открою свою душу всѣмъ чистымъ наслажденіямъ, буду таскаться по полямъ, лѣсамъ, буду ѣздить верхомъ, почти никуда не ходить и пуше всего отучусь отъ этого грубаго обыкновенія пить вино. Пусть это короткое лѣто будетъ поэтическимъ потокомъ; одно мѣшаетъ —служба. Ты, ангелъ, перенесешь разлуку; Богъ дастъ тебѣ силы довершить начатое.

3-ю мая. Еще письмо (отъ 7-го до 19-го апрѣля)—послѣдняя буря улеглась въ душѣ, и я спокойно посмотрѣлъ около себя. Твое письмо похоже на чистый воздухъ Пиренейскихъ горъ, который вѣетъ иногда на Италію, чтобы освободить ее отъ сирокко, ядовитаго дыханія Африки. Тогда все живое воскресаетъ, дышетъ легко, смерть и тягость проходятъ. Опять та же симпатія, которая, наконецъ, превращается въ совершенное слитіе, безраздѣльное, полное нашихъ душъ. Ты и я совершенно одинакимъ образомъ встрѣтили праздникъ.

Итакъ, княгиня просила Льва Алекс. о богатомъ женихѣ, о женихѣ съ мѣстомъ. Я знаю, что изъ этого ничего не будетъ и что Л. Ал., выходя изъ комнаты, забывая; но сколько неприятностей ждетъ тебя, ежели явится какой-нибудь дуракъ подъ протекціей Макашиной. Нѣтъ, пора маску долой. И, вѣдь, они не понимаютъ, какой небесный ангелъ вѣренъ Богомъ имъ на сохраненіе. О, Дидротова кухарка! И меня считали втренымъ мальчишкой. Пора, пора... Уже мысль одна о женихѣ, даже въ нелѣпѣйшихъ головахъ, есть для меня обидя, ужасная, нестерпимая. О, какъ неумолима, жестока судьба—я скованъ, связанъ, брошенъ въ дикую сторону, и всѣ надежды—только зарпичи, намекающія на свѣтъ, а не день. Только дай же мнѣ честное слово, какія бы неприятности ни были, ты

ихъ не скрешь отъ меня, — все знать гораздо легче, нежели часть. Я не понимаю, чего бояться мам[енькѣ] сказать объ этомъ папенькѣ; развѣ для этого надобно открывать переписку, развѣ нельзя сказать о нашемъ свиданьи? Погожу немного, да разомъ напишу все отъ доски до доски. А тебѣ, ангель, слезы — я сотру ихъ, я превращу ихъ въ слезы восторга.

5-ю мая. Вчера ночью поѣхалъ я кататься на лодкѣ. Мѣсяцъ свѣтилъ блѣдно, разливъ черезъ поля, лѣса соединяетъ рѣку съ озеромъ, отстоящимъ на 5¹/₂ верстѣ; я поѣхалъ туда. Рѣка была спокойна, небо спокойно, луна бѣжала за нами по водѣ, и нерѣдко волна, взброшенная весломъ, подымалась, чтобъ сверкнуть, какъ молнія, и исчезнуть. А по другую сторону — мракъ.

Хороша природа, вездѣ хороша, и тутъ мнѣ былъ просторъ и досугъ мечтать о тебѣ. И ты, ангель, пишешь, что, смотря на природу, ты находила въ ней меня — вездѣ наша симпатія. «Что было бы съ тобою, спросилъ Скворцовъ, ежели-бъ ты обманулася въ ней и въ Ог.?» — Я отвѣтила, что это такъ нельзя, что нельзя и сказать. Что была бы вселенная, ежели-бъ не было Бога, ея-бъ не было, и нечего придумывать; ибо Богъ есть, такъ и любовь въ моей жизни, тутъ ничто не можетъ потрясти моей вѣры. Онъ покраснѣлъ отъ своего вопроса, жалѣлъ, что высказалъ его, дивился моему счастью.

Я вспомнилъ поэта:

... le Seigneur
Mêle eternellement dans un fusion hymen
Le chant de la nature au cri du genre humain.

Съ одной стороны, рѣка, горы, даль, съ другой — маленькія лачуги, гдѣ царятъ бѣдность и большой каменный острогъ, который печально смотрится въ рѣку и звенитъ цѣпями и дышетъ вздохами.

Прощай, сестра, другъ. Прощай, моя Наташа. Когда взгруснется, подумай о моей любви, подумай, какъ непрерывно и всегда ты въ душѣ моей, — и грусть отлетитъ.

Прощай же, кажется, нельзя обвинять, что рѣдко пишу.

Твоей Сашѣ братскій поклонъ, я самъ хотѣлъ бы написать ей нѣсколько словъ.

Addio!

Александръ.

Вотъ тебѣ, милый другъ, слово въ слово письмо Огар. Читай и восхищайся.

«Писалъ очеркъ моей системы (который, можетъ, дойдетъ и до тебя и усталъ ужасно; но еще есть силы писать къ другу, къ вѣчному, неизмѣнному другу.

Наши сношенія рѣдки; только два раза съ тѣхъ поръ, какъ мы не видались; какъ долго носилъ я эти письма съ собою, какъ много слезъ пролилъ надъ ними и, наконецъ, ихъ нѣтъ; слѣды ихъ въ памяти слабѣе и рѣже, и вотъ становившись ими недоволенъ, припоминаешь черты знакомаго лица; хочешь быть съ нимъ вмѣстѣ, хочешь обнять брата, родного по душѣ, и ловишь призракъ; исчезаетъ, и на сердцѣ становится тяжело и черно... Много пережилось съ тѣхъ поръ, какъ мы не вмѣстѣ. Я женился!. Не смѣи при этомъ словѣ съ горестной улыбкой вспоминать о Танѣ. Танѣ, которая любовью эгоистической выколдовала его изъ круга друзей. Моя Марія пожертвуетъ всею для будущности; не смѣи тоже сомнѣваться въ *твоемъ* другѣ; онъ вѣренъ самому себѣ, какъ истина. *Нѣкоторые* сомнѣвались во мнѣ. Но ты, не правдали, ты ни на минуту не сомнѣвался, ты лучше знаешь меня. Эта увѣренность, что есть человѣкъ, который никогда не усомнится во мнѣ, въ какихъ бы обстоятельствахъ я ни былъ, эта увѣренность — мое сокровище; твоя

дружба—мое сокровище. «Одно во всю жизнь не измѣняло мнѣ, это твоя дружба», писалъ я нѣкогда; теперь скажу, что есть еще сокровище неизмѣненное—это любовь моей жены. Другъ! Я счастливъ ею, любви ее какъ сестру, она достойна того, я за нее ручаюсь. Я писалъ къ нимъ, что я счастливъ, но они въ ней видѣли Таню и не радовались моему счастью; они любили во мнѣ орудіе идеи, но не человѣка. Другъ! ты любишь меня для меня, да, ты будешь радъ, когда я скажу тебѣ: я счастливъ! Ты не скажешь мнѣ неправеднаго укора, ты меня знаешь, ты въ меня вѣришь. Они укоряютъ меня въ недѣятельности! Въ какой недѣятельности? Почему они знаютъ, что я дѣлаю? Мой умъ идетъ впередъ, онъ не спитъ, онъ собираетъ войско идей. Укоряютъ, почему рѣдко показываюсь въ общество. Ты самъ живешь въ провинціи, ты знаешь, что это за общество: собраніе какихъ-то уродовъ между обезьяной и человѣкомъ, отуманенныхъ предрассудками, лѣнивыхъ умомъ, развратныхъ душою, которые не имѣютъ даже привлекательной стороны негра въ Америкѣ—страданіи. Что же я тутъ буду дѣлать? Въ моемъ углу любовь и чистота душевная, мысль никогда не дремлющая, тутъ я готовлю пишу своей дѣятельности на всю жизнь. Ты поймешь и не осудишь.

Моя женитба не разстроила ничего, мы по-прежнему ѣдемъ, съ каждымъ днемъ я болѣе и болѣе удостовѣряюсь, что необходимо ѣхать. О, чего-бъ я не отдалъ за часть свиданія съ тобою! Сколько мыслей толпится въ головѣ, сколько желаній, сколько силы стремиться далѣе! Нѣтъ, мы не умремъ, не отмѣтивъ жизнь нашу рѣзкою чертою. Я вѣрю, эта вѣра мое святое достоиніе. Вѣр и ты, да ни одна минута отчаянія не омрачитъ души твоей; кто вѣритъ, тотъ чистъ и силенъ! Пусть эти строки напомнятъ тебѣ твоего друга, въ нихъ половины нѣтъ того, что на душѣ; но будь доволенъ и этимъ. Придетъ время, и мы снова будемъ вмѣстѣ, тогда пробьетъ нашъ часъ, и мысль вступитъ въ дѣятельность. Еще разъ, не отчаивайся. Моисей въ пустынѣ говорилъ съ Богомъ. Христосъ постился сорокъ дней. Мы теперь постимся. Его постъ, это сомнѣніе въ самомъ себѣ и въ новой вѣрѣ. Онъ увѣрился, мысль вступила въ дѣятельность, и мѣръ назвалъ его Спасителемъ. Обстоятельства понуждаютъ насъ къ тому, что ты дѣлала добровольно, умѣй пользоваться ими. Прощай, братъ, другъ, прощай, обнимаю тебя; она къ тебѣ пишетъ. Вотъ тебѣ моя рука, вотъ тебѣ моя слеза на память. Прощай!.

Да, Наташа, ты должна быть сестрою, другомъ этого человѣка, онъ тебя не знаетъ, но я писалъ ему. Мы будемъ когда-нибудь вмѣстѣ, и тогда увидишь ты эту обширную, глубокую, спокойную душу, онъ — твою душу, небесную и исполненную поэзіи, твою душу, состоящую изъ одной любви и принадлежащую его другу. Вы поймете другъ друга Прощай.

Александръ.

[2 мая].

Послѣдній разъ я писала тебѣ 29-го апрѣля, теперь ужъ 2-ое мая и все это время мнѣ не было минуты сказать съ тобою слова!.. Какъ это тяжело, я была болѣе нежели больна; такъ много видѣла, такъ много слышала, то-есть, глазами и ушами, и такъ устала и ни минуты отдыха! Невыносимо,—я выношу все, и все прощаю *имъ!* Правда, въ эти дни были два часа дивные, святыя, я ихъ такъ ждала, такъ ждала, и они наградили меня вполне—это *всенощная*. Ты знаешь, для молитвы не нужно ни времени, ни мѣста, вся душа, вся жизнь должна быть молитва, и какъ же ихъ ограждать, стѣснять каменными стѣнами, какъ устремлять на иконостасъ, сдѣланный руками людей, и какихъ людей, и какъ сдѣланный? Но, проведя долгое время съ *ними*, не имѣя свободы и ночью даже (потому что у насъ жило одно изъ тѣхъ существъ, которыхъ ты называешь *сво-лочью*), я боялась, чтобъ у меня не отняли и этихъ двухъ часовъ, но на этотъ разъ *имъ* искренняя благодарность! У насъ служатъ въ теплой церкви, въ холод-

ную отворена дверь, и я стала тамъ одна—далеко отъ меня молилась старушка, передъ иконами горѣли двѣ лампы, слышно пѣніе... Блѣднѣютъ на душѣ полосы, проведенныя толпою, стихаетъ голосъ сильнаго страданія, закрываются и самыя раны, миръ низлетаетъ на душу и обнимается съ любовью... Островъ покоя! Подумала я, какъ пусто тамъ за этими стѣнами, гдѣ все волнуется, какъ море, гдѣ люди, какъ волны, то высоко, то низко, гдѣ все безмолвно, лишь одинъ шумъ, одинъ ропотъ... а здѣсь?—Гимны, бесѣда Создателя съ созданиемъ, здѣсь свѣтъ и миръ Христовъ! а я не хотѣла пространства, не хотѣла высоты, они были со мною, во мнѣ. Вдругъ поднялся страшный вѣтеръ, засвѣталъ, завылъ, сталъ рваться въ двери, въ окна церкви, стучать желѣзнымъ замкомъ, но не стало силъ у него отпереть замокъ и пробраться хоть въ скважину; и онъ крутилъ песокъ, одинъ песокъ, и вздымалъ его столбомъ выше церкви. Море житейское! Люди!.. Самый вѣтеръ подтвердилъ мысль мою. Но я была невредима и недосытаема на островѣ покоя. Ангелъ мой! ужъ второе мая, мая!.. Природа одѣвается надеждой, одѣта ли ею наша душа?.. О! какъ все взбунтовалось... Прощай! ужъ ночь.

3-е мал. Какъ мрачно твое письмо!.. какъ это тяжело мнѣ!.. Я боялась начать о Мед., не будучи увѣрена въ успѣхъ твоемъ, и не ошиблась. Тяжело получать такія письма, даже вспоминать о ней, но какво же молчать тебѣ, нести все на сердцѣ?.. Говори, говори, пиши, сколько можешь, сколько нужно къ твоему облегченію, переливай *все* въ мое сердце, оно не померкнетъ, не изноетъ. Ежели бы Мед. забыла тебя, была бы счастлива, тогда бы мы не должны мучиться и томиться *пятномъ*, ибо это было бы уже недостаткомъ надежды на Его благодать. Онъ Самъ велѣлъ каяться для *очищенія* и прощаетъ кающихся. Но она несчастна, любить тебя и, можетъ, надѣется, что ты женишься на ней.

Я была бы *все та же, та же любовь, то же блаженство* внутри, а наружно—*кузина, любящая тебя безъ памяти*. Я бы жила съ вами, я бы любила *ее*, была бы сестрою ей, другомъ, всю бѣ жизнь положила за *ее семейство*; внутри была бы *твоя Наташа*, наружно—*все, что бы она желала*. Но какъ же тебѣ соединить жизнь свою съ жизнью *женщины*? Какъ *тебѣ* нести ярмо мужа?.. Тебя мучаетъ это и меня не меньше, тебѣ тяжело молчать и мнѣ. Давай же говорить о ней, придумывать облегчить участь ей, но тутъ есть стороннія гоненія, ты не объясняешь ихъ, и я не могу вообразить какія; можетъ, это главное ея несчастье; но все равно нашъ долгъ облегчить, хотя-бъ то стоило жизни. хотя-бъ вѣчная разлука на землѣ. О! я все вынесу, все, все! Александръ, ты знаешь, что *я все вынесу*. Когда-бъ пятно твое не могло смыться мои слезами, кровью моею, отдало ли бы Провидѣніе меня тебѣ? Нѣтъ. Но не нужно ни слезъ, ни крови, оно уже стерто, можетъ быть, *должно* быть, любовью моею, она такъ необъятна. Она выше всякаго раскаянія, всѣхъ жертвъ, она самое искупленіе!

Поздно, *надо* ложиться. О, мой Александръ! о, мой Александръ! *Мой!*..

4-е. Знаешь-ли, что мнѣ казалось сегодня весь день? Мнѣ казалось, что *илъ* такъ легко будетъ умиловить, такъ легко, и сама не знаю, почему казалось, въ препятствія и непріятности мы можемъ переломить, какъ сухіе прутья, не вдругъ, не вмѣстѣ, а по одному?.. казалось такъ! А можетъ быть, въ самомъ-то дѣлѣ, тутъ есть прутья желѣзные, не переломить ихъ! Не переломить? Такъ растопить любовью! О, предъ нею все растаетъ, какъ воскъ отъ огня!

Александръ, Александръ! нѣтъ, никто тебя такъ не зналъ, никто такъ не любилъ! Представляя мнѣ свои недостатки, пороки,—вѣрю тебѣ, люблю тебя. И

чѣмъ сильнѣе, глубже паденіе, тѣмъ выше любовь, тѣмъ безпредѣльнѣе, — она искупленіе, она все перевѣситъ. И со всѣмъ этимъ, что я передъ тобою? Минута въ вѣчности!.. Ахъ, кажется, и солнце-то передъ тобою блѣдная искра!.. Александръ! я расту съ каждымъ днемъ, это я чувствую сама, многое мнѣ становится ближе и яснѣе... Проходи земная ночь! отдернись занавѣсъ съ востока! Разлетайтесь, исчезайте сповидѣнья — пора жить! О, мой милый другъ! какъ могутъ тебѣ быть такъ чувствительны удары людей, какъ можетъ литься по твоей душѣ черная рѣка грусти, когда я люблю тебя такъ? Ты не знаешь любви моей, тебѣ надо видѣть ее, слышать... Нѣтъ, нѣтъ, прости мнѣ! нѣтъ, я понимаю и это вѣрованіе въ меня и эти страданія...

5-е. Другъ мой, ангелъ мой, Сашкинъ, сію минуту была у меня маменька; это посѣщеніе мнѣ величайшая радость и утѣшеніе. Rendez vous въ саду. майское солнце печетъ, 3 часа пополудни, я весела, Александръ! Она говорила мнѣ все, все до слова; разговоръ съ папенькой не утѣшительнъ, да невозможно-жъ съ перваго раза, тебя нѣтъ, и потомъ это такъ еще, мимоходомъ. Погоди, милый другъ, вотъ прїѣдешь ты, старичекъ будетъ добрѣе отъ радости, а теперь не пиши ему, ничего не пиши, это только можетъ повредить. На своихъ я не смотрю, это все чужое, чужое... а папенька, ему не надо дѣлать напротивъ; нѣтъ, да я теперь никакъ не могу придумывать ничего мрачнаго, такъ мнѣ весело, легко! Душа моя, не грусти и ты—хоть на эту минуту... Вѣдь, пройдетъ-же чернота, пройдетъ! а тамъ?.. Только папенькино нужно согласіе, а мои, они послѣ того увидятъ меня не дольше часа, или, пожалуй, хоть день имъ подарю! А ужъ какъ они, бѣдные, хлопочутъ, отыскиваютъ *порядочною, достойною*—желаю успѣха!..

Не проси же, Александръ, маменьку *начинать*: въ самомъ дѣлѣ для нея затруднительно это, не пиши и самъ. А тамъ, какъ прїѣдешь, въ первомъ восторгѣ свиданія проси папенькинаго благословенія, не горячась, не противорѣча, сперва загадкой, не сказывая *кто*, но только-де достойная *вашею сына* — добрая, скромная, почтительная, не глупая, *не богатая* и недурна собой,—что жъ ему потребовать еще. Ахъ, ну да можетъ ли устоять тогда что-нибудь противъ нашей любви,—ничто, ежели на это воля Бога. Маменька сказала: «а тамъ мы поѣдемъ съ тобою въ чужіе края»... Какъ мнѣ стало весело послѣ этого, кажется, только стоитъ велѣть закладывать. А все это пустое. *Мы даны другъ другу!* Пусть небо смѣшается съ землею, пусть все превратится въ хаосъ, *мы даны другъ другу!* А маменька необыкновенно была мила сегодня—какъ отрадно, Александръ, вырваться изъ этого холоднаго, замороженнаго круга хоть на минутку, хоть на минутку отдохнуть съ родными.

6-е. Какъ беспокоитъ меня то, что ты не занимаешься. Во-первыхъ, время *твое* не должно пропадать, сокровище это не твое, и ты не имѣешь права расточать его; во-вторыхъ, и для тебя бездѣйственность несносна, она умножаетъ грусть и истощаетъ силы. Я думала, что ты мнѣ привезешь оконченное *Мысли и Откровеніе*, а ты не хочешь даже и продолжать, развѣ мѣшаетъ что тебѣ написать изъ жизни своей то, что еще свѣжо? Будетъ время, когда не будетъ свѣжо, не будетъ и охоты писать не свѣжее. Что архитектура, продолжаешь ли заниматься ею? Какъ часто переселяюсь я въ это *тогда*—не извѣстное, тайное, какъ жизнь за гробомъ; какъ непрерывно мы будемъ заниматься, ты будешь объяснять мнѣ, чего я сама не достигну, передашь мнѣ совершенно чуждыя мнѣ теперь тайны; непрерывный трудъ, непрерывное возвышеніе и ровно, одина-

ково, чтобъ вмѣстѣ стать на послѣднюю ступень, чтобъ вмѣстѣ намъ отворились двери гроба и двери неба!.. Какъ люблю я быть на воздухѣ, подъ открытымъ небомъ; въ домѣ тѣсно что-то, душно, и потомъ мысль, что мы подъ разной крышей, что насъ, сверхъ пространства, раздѣляетъ желѣзо, камни, дерево... А на воздухѣ... чудно, что со мною было вчера: вечеръ дивный, прелестный; сперва послѣ обѣда провели мы у Насак.; тамъ былъ и папенька. Иногда онъ кажется мнѣ совершенно недоступенъ и, увидѣвши его, становится тяжело и грустно. Возвратившись домой, я не могла минуты оставаться съ *ними* и ушла въ садъ. Воздухъ очаровательный, съ одной стороны—заходило солнце и небо золотилось отъ послѣднихъ лучей его, съ другой—восходило мѣсяцъ, тоже ясный, и вокругъ него чистое, голубое небо, ни облака, а на землѣ зеленая трава, распускающіеся цвѣты — прекрасно все! Но мнѣ нѣ до того, право, мнѣ не хочется смотрѣть на тебя, красавица природа, если-бъ даже соловей запѣлъ, не стала-бъ слушать; мнѣ грустно, мнѣ горько, что я такъ далеко; его, отдай мнѣ его или брось меня къ нему!.. И съ каждымъ мигомъ становилось все грустнѣе и грустнѣе, я удерживала слезы... Вдругъ, дивись моему ребячеству, вошло въ голову: можетъ быть теперь, сію минуту ты также на воздухѣ, также подъ открытымъ небомъ, и мы дышимъ однимъ воздухомъ, ходимъ не по разнымъ доскамъ, а по одной землѣ. не разное желѣзо надъ нами, а одна голубая кровля, ни одинъ замокъ не дѣлать насъ! И мысли, и думы вмѣстѣ, и взоры встрѣчаются, и ужъ, казалось, звуки твоего голоса доходятъ до меня... и я произнесла — Александръ, съ полною увѣренностью, что ты меня слышишь, я бѣ увидѣла тебя, но въ садъ кто-то пришелъ работать, заговорили голоса, — о, какіе голоса дикіе, странные, точно ржавая задвижка, и что за слова, я ничего не поняла, тогда и забыла, какъ *юсерятъ люди*, и сама не умѣла ничего сказать по ихнему. Приходъ этотъ раздрадилъ меня, нѣтъ, сердиться я не могла, слишкомъ полна была душа, а что-то сжало сердце. мнѣ сдѣлалось больнѣе отъ этихъ голосовъ. Но мечта такъ была сильна, что она снова умчала меня въ свои заповѣдныя страны; исчезли люди. шумъ ихъ затихъ; прислушиваюсь: твой голосъ! Александръ, ангелъ мой! Я протягивала руки и спѣшила идти, что есть силы, и думаю, вотъ скоро, скоро... и въ самомъ дѣлѣ скоро пришла не къ тебѣ только, а къ старому дереву рябины — полуживому... и это меня не разочаровало! Пришла ко мнѣ Саша, и я съ жаромъ, съ восторгомъ увѣряла ее, что мы съ тобой не разны, что намъ можно и слышать, и видѣть другъ друга, и скоро опять замолчала, чтобъ не проронить ни одного слова твоего... «Матушка, поди домой, вотъ забранить!» — сказала Костя у калитки.

Мнѣ Гамлета купили, *купили!* Нѣтъ, лучше просто, Ег. Ив. принесъ, благодарю тебя! А страшно его читать, меня послѣ все спрашивали, отчего на мнѣ видъ мрачный. Когда онъ увѣщевалъ мать, я залилась слезами, тутъ лучше всего. Александръ, на письмѣ ты храбришься, но знаю, тяжело тебѣ. Другъ, не унывай! Но ужъ у меня нѣтъ словъ далѣе для утѣшенія и что тебѣ сказать болѣе, *твоя Наташа*.

Пожми и за меня Поливѣ руку.

За Сашу и Emilie благодарю.

6-е Вечеръ. Мало того, что словесно рекомендуютъ жениховъ со всѣхъ сторонъ, даже по запискамъ! Теперь отыскиваютъ какого-то адъютанта, да что намъ до этого за дѣло. Что мнѣ сказать тебѣ интересное, отрадное, чѣмъ завять. утѣшить? О! ежели-бъ я была съ тобою, тогда-бъ не спросила объ этомъ, тогда-бъ...

тогда-бъ... Глаза мои совѣмъ не голубые, какъ ты воображаешь, но я-бъ посмотрѣла на тебя. Бываетъ съ тобою—начнешь писать съ мыслью, что эти строки поѣдутъ 1.000 верстъ, недѣлю будутъ въ дорогѣ, что еще *когда-то* ты получишь ихъ?... и тотчасъ же вообразишь такъ живо, такъ живо, ну вотъ, кажется, тутъ подлѣ и бросишь перо, и заглядишься, и заслушаешься?.. Въ самомъ дѣлѣ: я большая... мечтательница, а зачѣмъ же *они* не осуществляютъ мечтаній моихъ? тогда-бъ я не была мечтательница? Будемъ дѣтьми... назначимъ часъ, въ который намъ обоимъ непремѣнно быть на воздухѣ, это будетъ часъ свиданья, часъ, въ который мы будемъ увѣрены, что насъ не дѣлится ничто, одна даль. Въ 8 часовъ вечера, тутъ тебѣ вѣрно свободнѣе, можетъ быть, даже это часъ твоего гулянья. Давеча вышла я на крыльцо, но мнѣ будто кто сказалъ, что ты дома, и я воротилась.

Можетъ, скоро, скоро, скоро!... Ты знаешь, какъ забьется, закипитъ сердце, когда въ немъ раздается это *скоро!* знаешь, какъ рука сожметъ тогда перо, такъ что оно вдребезги, вотъ какъ теперь... но имъ еще можно написать, ангелъ мой Александръ, другъ мой! Душа, жизнь, да нѣтъ все не такъ хочу назвать, перо изломано, не пишеть, да и цѣлое-то бы не написало, но ты прочтешь и то, что не написано.

7-е. Иногда я собираю тебѣ лавры со всего свѣта, ставлю всѣхъ на колѣни предъ тобою, повергаю на землю, сажаю тебя на тронъ, вѣнчаю царемъ всей земли, и всю эту славу, все это величїе освящаю любовью... Да, тогда-бъ и я стала на колѣни, хоть съ послѣднимъ, хоть позади всѣхъ, если-бъ умаленїе мое увеличило тебя еще! Иногда... о! это лучше, бѣгу съ тобою въ даль, степь иль глушь, въ пустыню... Тамъ престолъ, корона, слава и весь мїръ кажутся ничтожествомъ, тамъ я обвиняю тебя любовью, и она идетъ къ тебѣ лучше порфиры, коронную любовью, и на твоей головѣ она величественнѣе тиары; всю необъемлемую пустыню населяю любовью, и она замѣняетъ миллионы людей, преклоненїе колѣна ея выражаетъ болѣе преклоненїя колѣнъ неисчислимой толпы, и подножіе твое любовь, и все любовь!.. А что же между этимъ? Между обладанїемъ всей землею и отреченїемъ отъ всей земли? что? Право, я не могу ничего вообразить *средняю* для тебя, то или другое! А что среднее, то пусть остается среднимъ, то не наше. Намъ—иль небо на землѣ, иль земля въ небѣ, а вы среднїе—ищите средней славы, средняго самоотверженїя, размѣряйте небо и отыщите и въ немъ среднее!.. А мы, а мы!!!!...

Ты писалъ: *«если что будетъ, то непремѣнно до половины мая»*. Скоро, скоро половина! Ахъ, страшно, прижался бы къ тебѣ, пока пройдетъ эта половина, не убьетъ ли она своимъ появленїемъ. Какъ могла я тебѣ певать за то, что ты не занимаешься, ну, возможно ли дѣлать что-нибудь теперь, теперь въ такомъ ожиданїи, и что же я сама? День иль ночь—не знаю, въ гостиной съ дураками иль въ углу темной спальни одна—не замѣчаю. Душа вовсе освободилась отъ владычества надъ собою тѣла и вольной птицей носится далеко отъ него, далеко отъ земли, тамъ, куда ты направилъ полетъ ея, откуда видно тебя... Вѣдь, кажется, читаю такъ громко, съ такимъ вниманїемъ, съ такимъ чувствомъ, что даже устану, а ни одной мысли не втѣснится въ голову, такъ полно она твоими сборами, твоимъ отбѣздомъ, твоимъ путемъ, свиданьемъ!.. ни одного чувства, и то тѣсно въ груди, и то ужъ нѣтъ возможности скрывать!..

Охъ, какъ грустно!.. Другъ мой, милый, Александръ. Сапа, подумай обо мнѣ теперь, назови меня, мнѣ будетъ легче! Ночь, темнота, а я цѣлый часъ смотрѣла

вонъ туда, гдѣ не видно ничего... О, когда же, когда же, ангель мой!.. Прощай. Первый часъ. Прощай до зари, ежели проснусь.

Поздно, вечеръ 8-е. Чтобъ объ этомъ писать, да какъ же не писать! Въ другой разъ мы разлучены не будемъ. И развѣ тебѣ не все интересно, что я пишу?...

Бьетъ 6, холодно, пасмурно, иду въ садъ, а ужъ ты знаешь, что значить для меня быть не въ домѣ! Карета на дворѣ—Саша Б... Кто-то говоритъ «сколько это бьетъ»? — 10-й часъ! Боже, да гдѣ же эти 3 часа, какъ они пролетѣли, куда дѣвались!.. Ужъ тамъ надѣваютъ перчатки... а у насъ—и твой портретъ. и твое письмо (отъ 9-го апр.), и *Встрѣча*, и тутъ возлѣ итальянскія картинки, Шекспиръ, Гюго... вся надзвѣздная страна! Дайте намъ вѣкъ, и мы превратимъ его въ одно мгновенье, вашего и праха не будетъ, а мы будемъ все также юны, пламенны и все еще не вышедши изъ колыбели! Съ какимъ полнымъ, совершеннымъ восторгомъ читала я Сашѣ Б. твою *Встрѣчу* (только пропустя описаніе обѣда), съ какою увѣренностью, не поднимая глазъ, останавливалась на тѣхъ мѣстахъ, которыя прочесть скоро больно бы было душѣ. Идти обыкновеннымъ шагомъ тамъ, гдѣ она погружается, какъ въ водахъ Иордана, гдѣ ей отворяется небо, гдѣ она молится тебѣ... Прощаясь, я сказала ей кузинѣ: «мы поѣдемъ въ чужіе края», «и будемъ *псть печенныя яйца*»—сказала Саша Б. Неужели они были вкусны послѣ смертельной опасности? Я терпѣть ихъ не могу.

Недолго намъ побыть съ Сашей Б., въ этомъ мѣсяцѣ они ѣдутъ въ Курскъ, а мы въ Загорье не знаю когда поѣдемъ. Черезъ полгода увидимся, *какъ-то* увидимся! *идь-то!* Ужели все также, здѣсь-же?.. Ежели Саша Б. будетъ любить, то на землѣ будетъ любить не долѣе вѣрно дня, она умретъ. Дружба ея такъ пламенна, такъ безпредѣльна, земная темница не вынесетъ долго сильнѣйшаго чувства, она распадется, превратится въ пепелъ. Что еще я жива, такъ это особенное чудо Провидѣнія, оно знаетъ цѣль моей жизни.

Гамлетъ опять у меня, я еще его не читала порядочно, а только такъ съ жадностью, торопясь, пересмотрѣла и то, сидя у окошка, мимо котораго тянулись ряды экипажей и подлѣ котораго сидѣли чучелы со звукомъ и съ движеніемъ. Прощай, мой ангель, мой Александръ, цѣлую тебя, другъ мой, цѣлую... Какъ чисто и пламенно цѣлуетъ меня Саша Б., остерегаясь однакожъ, зная, что я не люблю,—дивлюсь, какъ можетъ она меня такъ цѣловать, а я ее—нѣтъ! Тебя-жъ... ахъ, Александръ!..

10-е. Такъ опять нѣтъ надежды?.. Такъ ты не пріѣдешь лѣтомъ?.. и долго не пріѣдешь?.. долго, Александръ, долго, долго???.. Нѣтъ, погоди, хотѣла писать, не могу. Я получила твое письмо отъ 28 апрѣля.

Ночь. Въ деревню! Въ деревню! Везите, ведите меня въ деревню! Москва—точно пустая скорлупа. Въ поле, на траву, хоть съ скотами! только дальше отсюда, дальше. Тамъ хоть тихо, и это нѣсколько гармонируетъ съ состояніемъ моей души, здѣсь - безумная суета, безцѣльное стремленіе и стукъ, этотъ несносный стукъ и шумъ!.. Что прерываетъ благодѣтельный сонъ, который соединяетъ съ тобою, что разгоняетъ и пугаетъ мечты, что сбрасываетъ вдругъ, неожиданно съ неба на мостовую, отчего становится такъ больно, больно... что, наконецъ, свидѣтельствуешь и увѣряешь, что сотни тысячъ уходятъ съ земли въ землю, *пропхавши только по мостовой во всю жизнь?* Все стукъ этотъ, несносный стукъ, какъ я не могу терпѣть его. Итакъ, еще долго я не увижу тебя, еще долго буду здѣсь... Дай посмотрѣть въ окно. ну посмотри, мой ангель, посмотри, душа моя, Александръ, ангель мой, жизнь моя, Саша, Саша, посмотри.

ну, что дѣлать насъ? Вонъ нашъ домъ, свѣтлый, ясный и какой большой! О! посмотри-же ты, вонъ души наши—одна душа! Она дома *тамъ*, что до тѣла, пусть его тлѣетъ въ землѣ, хоть на землѣ! только ему разлука, а душамъ... О! милый другъ, божество мое, не правда ли дивнѣйшія слова меня унижаютъ и тебя, разумѣется, намъ вотъ такъ надо чувствовать, какъ теперь, а будто за этой далью ты меня не видишь, не слышишь.

Да, да мы не розно, это вздоръ, одни предрасудки, это расчеты людей... Показывайте мнѣ чудныя сокровища, показывайте дивныя произведенія великихъ художниковъ, — ненадо мнѣ, не хочу смотрѣть, тутъ все глаза внизъ, и дайте взору подняться *туда*, дайте возвратиться ему, изгнаннику, на родину—выньте эти стекла изъ окна, или, по крайней мѣрѣ, не опускайте шторъ, не закрывайте ставенъ!.. Что такое тысяча верстъ, вѣдь, это все люди-же вымѣряли руками (или ногами?), а намъ мѣрять землю, намъ?.. Да развѣ мы имѣемъ какое-нибудь сообщеніе съ *ихъ* жилищемъ, развѣ мы именно для того предназначены, чтобы повторять *ихъ* рѣчи, подтверждать *ихъ*? Языкъ *ихъ* намъ не знакомъ, мы не понимаемъ его, мы не умѣемъ имъ говорить... Вздоръ, нѣтъ разлуки! Вижу—вотъ открытое окно, ты на окнѣ, вонъ поле, рѣка... но все еще что-то далеко... Земля! пусти меня ближе къ нему, не дотрогивайся до меня, не стони надъ ухомъ, не сыпся на меня, пусти, пусти—окно, ты, въ рукахъ сигара, взоръ, взоръ, а во взорѣ что?.. О! не повѣрю я перу, не повѣрю бумагѣ, она улетитъ съ этой тайной на небо, а я хочу, чтобъ дошла до тебя. Никто, никто, никто на свѣтѣ не пойметъ, ты-же *Александръ!* Начало мое, жизнь, конецъ мой, Александръ мой... Погоди!

Но отчего-же руки такъ слабы, такъ дрожать, какъ будто на нихъ пудовыя цѣпи, отчего больно грудь, отчего слезы, отчего...

Руку!—взмахнемъ вмѣстѣ крылами, чтобъ ни пылинки на нихъ, летимъ—выше, выше, выше еще —здѣсь! Вотъ нашъ край, наша родина, въ ней и верстъ нѣтъ, и мѣрять нечѣмъ.

Не смотри-же вдаль, закрой глаза, я съ тобой. //

11-е. Да въ самомъ дѣлѣ, нельзя этого сказать папенькѣ вдругъ, рѣшительно, —отказъ будетъ тоже рѣшительный и послѣ трудно будетъ съ нимъ сладить. А ты хочешь обдѣлать все письмами, —вотъ маменька напишетъ тебѣ, какъ онъ далеко отъ этого. Ну, что если онъ напишетъ к[нягинѣ] въ Загорьѣ, и будетъ ее упрекать за то, что допустили меня? А ежели будетъ просить согласія и благословенія?.. Разумѣется, ангелъ мой, мы ближе быть уже не можемъ, даже—я скажу тебѣ, что, глядя на все эти обряды, мнѣ приходитъ въ голову, если-бъ избавиться ихъ? Что это такое помолвка, сговоръ—даже названы-то глупо, а вѣнчанье —Боже мой! купленное соединеніе рублей за 100... зрѣлище... Я смотрѣла свадьбу Голохв., вѣришь-ли всѣ, всѣ до одного кромѣ тѣхъ, которые стояли сзади жениха и невѣсты были обращены лицомъ къ нимъ, а къ алтарю спиною и машинально крестились, мнѣ стало больно, и я-бы убѣжала, если-бъ пустили. Хорошо, хорошо, не позволяйте вѣнчаться, ненужно, только вы не знаете, что мы обручены уже и обвинены *тамъ*, *Отцомъ*. Что намъ купленная молитва попа, и на что намъ увѣрять и доказывать *всѣмъ*, что мы соединены, не вѣрьте пожалуй, —да какъ-же намъ, ангелъ мой, быть вмѣстѣ, какъ, чтобъ мнѣ не смѣли сказать — «тебѣ съ мальчикомъ неприлично быть», чтобъ насъ не встрѣчалъ грозный взоръ, онъ не опасенъ, но обливаетъ холодомъ, —вотъ если-бъ папенька меня взялъ къ себѣ, ничего ненадо болѣе; тогда-бъ и сердить его не

зачѣмъ. Или хоть-бы намъ можно было быть вмѣстѣ хоть *часъ*, одинъ только часъ въ день, безъ сторожей, безъ караульныхъ. Какъ не согласна вчерашнія мои слова съ сегодняшними,—это значитъ, что я не постоянна, не могу долго держаться на высотѣ, что не совершенный ангелъ — вѣтъ, Александръ, отъ того другъ мой, что я бы хотѣла отдать тебѣ жизнь мою до одной минуты, и не больно ли, что *они* отнимаютъ насильно у тебя и у меня, что тратятъ ее на вздоръ?.. Итакъ, я не думаю, чтобъ былъ малѣйшій успѣхъ черезъ переписку, и маменька говорить тоже, впрочемъ, да будетъ твоя воля, Александръ, и опять что мудраго, — воля Отца Небеснаго побѣдитъ волю отца земнаго. Кажется, я писала тебѣ это. Прощай пока.

Повѣришь ли ты, что я была сердита! да, и серьезно. Третьяго дня, т. е. воскресенье — день гулянья, и оно уже мнѣ надоѣло, началось катанье, — какъ бы намъ избавиться его? Я ужъ весь день читала Гамлета и тихо и громко, онъ раздрагаетъ душу, даже мрачность развилъ во мнѣ, прошусь въ садъ, намъ отвѣчаютъ: «сидите, глядите на гуляше». Чувствит[ельно] благод[арны], мы ужъ наглядѣлись. «Да развѣ для васъ, для того сидите, чтобъ видѣли, что мой домъ не пустой», сказала к[нягиня]. Я разсердилась, очень разсердилась — уныжены! но, вѣдь, это глупость, зачѣмъ я пишу? *Такъ.*

Вечеръ. На что-жъ ты капризничаешь, самъ-же ты говорилъ, что горести возвышаютъ. Зачѣмъ ты переѣхалъ къ Эрну, неужели ты такъ грустенъ, что не можешь быть одинъ? Но, вѣдь, и онъ тебя не утѣшитъ, мнѣ тяжелѣе становится, когда я грустна и подлѣ меня близкіе душою. Да какъ-же можно такъ не ясно писать, Александръ: «изъ Пет. пишу *другое*» — что-же пишутъ?

А *они* говорятъ о симпатіи! Жалкая симпатія, которой покровительствуетъ мѣсяцъ. Но когда онъ въ этомъ случаѣ такъ могучъ, то ужъ намъ обратиться къ нему развѣ съ тѣмъ.. вѣтъ слишкомъ глупо, не кончу. Да, я шью приданое, и кому же? Бочкаревой, она идетъ за кн. Оболенскаго; какъ они *счастливы* оба, по старой дружбѣ она открываетъ мнѣ всѣ тайны, читаетъ его записки и съ какой радостью, и что же? Нѣсколько ласковыхъ словъ безъ мысли и чувства дѣлаютъ ее счастливой; какъ что-то всѣ жалки, но оставимъ ихъ, что это я все глупости пишу. — мнѣ всѣ надоѣли, никого не хочу видѣть, ни говорить ни съ кѣмъ не хочу, даже съ Сашей Б., что мнѣ ей сказать?

Ночь. — Хотѣ пиши-же ты чаще. Можетъ быть, мы въ одно время пріѣдемъ въ Москву, я изъ Заг., ты изъ Вятки. Можетъ. Вотъ что, маменька боится говорить болѣе съ папенькой, боится, что и твои письма разсердятъ его, такъ думала и я, а теперь иначе. По немножку, по крошечки, чуть-чуть его приготовить. Ежели будетъ въ немъ малѣйшая надежда, своимъ я прямо вдругъ скажу. Давеча Макаш. говоритъ, чтобъ я ей дала все, ежели меня возьмутъ безъ приданого? Я говорю: «Да отдадите ли вы меня, ежели возьмутъ безъ приданого? Тогда-бы я все вамъ отдала (а что?)». — Да кто онъ, значительно спросила она, но намъ помѣшали продолжать. Прощай, Александръ, много думъ, много всего въ душѣ, что-то не пишется, мой ангелъ, — не пойти ли мнѣ въ Кіевъ.

Твоя *Наташа.*

[12 мая, Москва.]

Теперь утро, половина 4 часа. Что-то ты, гдѣ-то ты?.. это письмо, я думаю, долго не дойдетъ до тебя, а до тѣхъ поръ я надѣюсь окрѣпнуть, теперь-же не

могу молча выносить состояніе души моей. Можетъ быть, и вовсе не пошло этого письма.

Первый день по полученіи твоего письма о затменіи надежды, грусть и твердость попеременно наполняли мою душу; вдругъ сожмется сердце, и слезы его выступятъ на глаза, не успѣютъ кануть, — выступаютъ другія отъ умиленія и благодарности за блаженство и крестъ. Вчера-же, съ ранняго утра и вотъ до сей минуты (сонъ, продолжавшійся около 4 часовъ, былъ тяжелъ и беспокоенъ), ни одной капли, ни одного луча на душу... Я скрываю, но всѣ спрашиваютъ: «отчего я печальна, какое несчастіе со мною?» *Иные* думаютъ, что я завидую князеству Бочкар. За что ни примусь, и такъ неловко, такъ не умѣю, какъ будто въ первый разъ въ жизни; нужно сказать что-нибудь, и я не умѣю объяснить, не нахожу словъ, все безотвѣтно, все нѣмо на землѣ; небо затворено! Я говорю, да будетъ воля Твоя! но не отъ души, за этимъ слѣдуетъ, — да неужели *Его* воля на то, чтобъ половина жизни моей (можетъ и болѣе) протекла вдали отъ тебя, среди людей, которыхъ и видъ мнѣ несносенъ, *въ полномъ изъ распоряженіи?* Неужели Онъ хочетъ, чтобъ 20 лѣтъ изъ моей жизни брошены были уничтоженію и страданіямъ, чтобъ прожить въ мечтѣ до тѣхъ поръ, пока и мечты умрутъ?.. Я надѣюсь, что рано или поздно увижусь съ тобой, но развѣ Матерь Иисуса Христа не знала, что онъ воскреснетъ, когда плакала надъ тѣломъ Его? Ни что, ни что не занимаетъ меня; на глаза нальются слезы и возвращаются еще горьче, жгучѣе и каждая капля пробѣдаетъ сердце. Къ самому истинному расположенію, къ самому живому чувству иныхъ я теперь какъ мраморъ, лучше бы на меня не обращали вниманія, лучше вовсе-бъ не замѣчали меня, сильной горести нуженъ просторъ, а участіе стѣсняетъ ее. Довольно, черезъ письмо и съ тобой тяжело говорить. Что же я буду дѣлать до тѣхъ поръ, пока начнется день у насъ, то-есть, какъ я буду смотрѣть, говорить, дѣйствовать все противъ себя, все притворно, что? Я облокочусь на окно и буду смотрѣть вонъ туда, гдѣ ничего не видно, а мнѣ все кажешься ты, да какъ-же два, три часа просидѣть, какъ истукану, и ничѣмъ не заняться, когда можно? Ты объ этомъ меня не спросишь, только ты!

14-е. Что-жъ мнѣ сказать тебѣ, другъ? Много, но все это мрачно, а ужъ и безъ того ты грустенъ. Перечитываю твое послѣднее письмо, оно раздираетъ мою душу, послѣ него все померкло, не могу выносить здѣшней жизни, а вообразу Загорье... Да, впрочемъ, все почти равно, тамъ болѣе природы, здѣсь болѣе людей; люди сами заставляютъ себя чуждаться, грусть дѣлаетъ чуждою природу, даже какъ будто досадно, зачѣмъ цвѣтетъ она тогда, какъ блекнетъ сердце. Каждая тройка, каждая четверня, заложенная въ рядъ, будто ступаетъ у меня по груди и продавливаетъ ее своими подковами; всѣ дорожные—родные мнѣ, я смотрю на нихъ сквозь слезы, съ живѣйшимъ чувствомъ, и провожаю взоромъ и слухомъ, пока не видно и не слышно экипажа: *не оттуда-ли* они! *не туда-ли* ѣдутъ?..

15-е. Вотъ просторъ—Макаш. уѣхала на день въ деревню! Вѣрно ко мнѣ придетъ маменька! въ надеждѣ будущихъ благъ мнѣ повеселѣе. А знаешь-ли, отчего я вчера вечеромъ немножко отогрѣлась? Самый маловажный, ничтожный случай. Ну, вѣдь, ужъ увѣрился ли еще, что насъ ни земля, ни небо не разлучатъ; что мы съ начала міра и послѣ конца его вѣчно *одно*, только бурное, вольное стремленіе твое и мой плѣтъ мѣшали намъ видѣть это до 1835—9 апрѣля. Я не дорожу людскимъ мнѣніемъ, но, не знаю изъ чего, только думаю не изъ са-

молюбя, желала бы всѣхъ покорить, очистить душу, влить въ нее свѣтъ, вѣру, заставить мыслить и чувствовать согласно. Ты помнишь ли ту высокую дѣвущу у насъ, ее зовутъ тоже Натальей, она безъ мѣры любитъ меня и безпрестанно твердитъ, кабы увидѣть меня *помощницей*, княгиней, царицей! и про тебя все знаетъ, не знаю почему, наконецъ, со слезами говоритъ: зачѣмъ я хочу *убить* себя, тогда какъ бы могла *играть первую роль* и всѣхъ ослѣплять собою; мнѣ это наскучило да и ее стало жаль, а какъ помочь? Ты знаешь *народъ*, какъ трудно перемѣнить малѣйшее его сужденіе, но вообрази — я успѣла, она [со] слезами перекрестилась на образъ: «Батюшка, Царь небесный, коли къ благополучью ея, соверши, коли вѣтъ, отвори», потомъ перекрестила меня: «ну, мое сокровище, видно самъ Господь тебя наставилъ, дай Создатель дожить, да хотъ глазкомъ взглянуть, какъ ты будешь жить *въ доволстѣ*». Я цѣловала старушку, я любила тутъ ее горячо. мнѣ стало легче. Малодушіе-ли это, не знаю. только это сдѣлало на меня пріятное впечатлѣніе.

16-е. Маменька не была вчера, не знаю почему, хотя я и привыкла ко всякаго рода лишеніямъ, но мнѣ оттого стало еще грустиѣе.

Вечеръ. Мнѣ всѣ несносны, но я, вѣрно, еще несноснѣе для всѣхъ. не могу принудить себя быть любезной, быть тѣмъ, чѣмъ хотятъ люди. Съ утра и до ночи безпрестанно сегодня у насъ были гости, смерть! Маски, куклы—и для нихъ надѣвать маску, и для нихъ быть куклою!.. Какъ тягостно это, какъ тягостно. Ангель мой! Дальше ихъ, дальше ихъ, эти игрушки обратятъ всѣ кровавыя труды твои въ игрушки... Слава, слава, о! ихъ рукоплесканія и восклицанія такъ же ничтожны, какъ полетъ и жужжанье мухи, дальше ихъ, Александръ, или сдѣлай изъ людей человѣка одного. И достижима цѣль, и отдыхай на груди моей, и перейдемъ скорѣе туда, туда, гдѣ ничего нѣтъ подобнаго, или возьмемъ природу въ *третіи*...

Все ропотъ, подкрѣпи меня!..

17-е. Александръ, другъ мой, ангель мой, Александръ, что-же мнѣ все грустно и какъ грустно... Твоей ли Наташѣ такъ унывать, ей ли не имѣть силъ стать выше всего, но что жъ мнѣ дѣлать... Не будетъ ли скоро письма? безъ того мнѣ Божій свѣтъ не милъ и къ тому-жъ ни минуты уединенія...

Ты любишь меня, чего же еще?.. Александръ, Александръ!

На разсвѣтъ. Еще минулъ день устали и томленья.—Май жегъ и палилъ своимъ дыханіемъ. Люди—люди морозили и мертвили своимъ дыханіемъ. Много ихъ видѣла я сегодня—маскарадъ! Послѣ того каюта моя—рай. Все въ домѣ улеглось, вѣрный сторожъ мой захрапѣлъ, я открыла тихонько окно, долго еще сидѣла подлѣ него съ затуманенной душою, и мнѣ было такъ жарко и такъ холодно... Безпрестанный стукъ колесъ, говоръ людей, мельканіе черныхъ фигуръ, пирушка у сосѣдей, освѣщеніе ихъ дома, бренчанье фортепіанъ и, наконецъ, молнія, все это какъ-то стѣсняло меня, держало на землѣ, но вотъ—ужъ все утихло подо мною, прошла и туча съ неба—хорошо! вонъ заря занялась и тебя, ангель, ясно я вижу и слышу. Хороша земля и ночью, прекрасно небо. звѣзды... Земля сгоритъ, свѣтила погаснутъ, а любовь?! Вѣчность! Александръ!..

Мак. пробуждается, не выдумала бы посѣтить меня. Прощай, дивной другъ мой!..

Вечеръ. И ты простишь мнѣ, ангель мой, цѣлую недѣлю грусти, цѣлую недѣлю странствованія по землѣ, цѣлую недѣлю безъ вознесенія *туда*?.. Ежели и ты простишь, я не прощаю! возможно-ли?.. О, божественный другъ, теперь я ве

вижу даже и мѣсть тѣхъ, гдѣ ползала. Твое письмо!!! Дай мнѣ поцѣловать твою руку.

Я вижу—ты твердъ, покоенъ, сколько можно желать, ты благословляешь Его и за раздуку,—вотъ, вотъ что воскресило меня! Да, лѣто, десять лѣтъ мы будемъ разны и будемъ благословлять Его непрестанно и будемъ такъ-же юны, такъ-же святы, какъ 9 апрѣля. Какъ вдругъ, мгновенно я вознеслась, какъ исчезло все до послѣдней пылинки, какъ обнялъ меня миръ и свѣтъ, по полученіи твоего письма. Забудь все, что писано до нынѣшняго вечера въ этомъ письмѣ, я сама боюсь вспомнить, теперь я иная, мой Александръ, совершенно, другъ мой, братъ родной, вѣрь, вѣрь Наташѣ—не грустно ей, не тяжело. О! какъ высоко, какъ близко тебя... Богъ! Любовь! Александръ! Александръ! и нельзя писать мнѣ теперь много, а завтра надо послать письмо, только ты не тревожься. О, теперь долго, долго будетъ литься изъ души моей одна молитва, одна гармонія.

За письмо брата Огарева безмѣрно благодарю! Да, «придетъ пора, и съ той порою».

Я вся восторгъ! Прости, ангель мой, прости это тяжелое, темное чувство, которое туманило такъ мою душу, которое выжимало изъ души одинъ стоны, даже ропотъ... Зато теперь, — о, какъ я обнимала всѣхъ, кого только можно, какъ жала руки, — будто онѣ понимаютъ меня! А давича, давича не могла сказать слова, не могла подарить свѣтлымъ взглядомъ — и кого же! Мою родную, мою Сашу Б., у которой ничего на землѣ, кромѣ меня.

Скоро мы ѣдемъ въ деревню, я рада. Тамъ далеко всѣхъ и всего—одна природа. Я буду чище тамъ, буду *совершенно готова* предстать предъ тобою. И ты — дальше всего бурнаго; говори больше съ природой, слушай ее, а людей — нѣтъ, дальше ихъ, дальше ихъ!..

Ты хочешь знать всѣ неприятели, Александръ; не стойть, мой другъ, да пока еще и нѣтъ ихъ; изволь, буду писать. Отъ маменьки настоятельно не требуй, чтобъ она сказала папѣ; понемногу самъ приготовь его къ этому. Ты говоришь мнѣ—слезы. Александръ, неужели ты думаешь, я буду плакать?..

Прощай же, *нельзя* писать, обнимаю тебя, ангель мой, такъ, какъ восторгъ обнимаетъ мою душу.

Твоя *Наташа*.

Ночь бы всю не сомкнула глазъ, проговорила бы все съ тобою, теперь я не боюсь говорить, не останавливаюсь. Слушай же, слушай... подними глаза, зажми уши, слушай-слушай!

Саша Б. ѣдетъ черезъ недѣлю въ Воронежъ, Курскъ и потомъ въ деревню. Ты ужъ не успѣешь написать ей, — а какой бы восторгъ ея! Въ октябрѣ они возвратятся, въ октябрѣ и мы приѣдемъ въ Москву, въ октябрѣ и ты приѣдешь ко мнѣ..

15 мая.

Милый ангель мой, представь себѣ, какъ я занята. Вотъ ужъ три дня, какъ получилъ твое письмо и одинъ разъ успѣлъ только прочесть его. Проклятая выставка вся на моей шеѣ; но скоро отдыхъ. Я былъ печаленъ все это время. Мнѣ очень живо представлялись всѣ неприятели, которыя насъ ждуть и, какъ привидѣніе, онѣ заставляли потрясаться. Характеръ папеньки ужасенъ! Непреклонность. Но все это лишь на время отдалить насъ, придетъ время блаженства

безоблачнаго. Наташа, отъ сколькихъ бурь, отъ сколькихъ ударовъ, отъ сколькихъ ранъ я буду отдыхать на груди твоей, моя дивная, моя святая! И среди этого направленія твое письмо. Ты такъ наивно, такъ мило, высоко отдаешься Провидѣнію. Мнѣ всегда приходится смотрѣть на тебя вверхъ, ты всегда небесная, я — человѣкъ. Развѣ одна любовь недостаточна для нашего блаженства, чего же еще? Мы вѣривъ другъ въ друга, и эта вѣра спасетъ насъ.

18 мая. Сейчасъ съ бала, гдѣ былъ наслѣдникъ; ночь поздняя, и я усталъ ужасно. Поздравь меня, князь былъ очень доволенъ выставкой, и вся свита его наговорила мнѣ тѣмъ комплиментовъ, особенно знаменитый Жуковский, съ которымъ я часъ цѣлый говорилъ. Завтра, въ 7 часовъ утра, я ѣду къ нему. Много ощущеній, но все смутно, ни въ чемъ еще не могу дать отчета, и ты, ангель, не брани, что на этотъ разъ, вмѣсто письма, получишь бѣлую бумагу. Прощай, моя Наташа; очень усталъ.

Твой Александръ.

19 мая. Надобно ѣхать. Еще прощай, цѣлую тебя. — Я видѣлъ тебя во снѣ сегодня. О, моя Наташа!

Москва, мая 19-ое.

Я знаю, *вѣрю*, что не увижу тебя долго, долго... и не унываю; та же молитва, та же благодарность. Я тверда, вѣра моя непоколебима, все снесу я за себя, но когда въ письмахъ твоихъ прокрадывается грусть, какъ темное пятно на солнцѣ, мнѣ становится и тяжело, и несносно, и до того слабѣю, что не имѣю силъ прибѣгнуть къ молитвѣ. Слава Богу — Онъ дастъ тебѣ крѣпость, слава Ему! Пройдетъ лѣто, пройдетъ много лѣтъ, — мы не усомнимся ни однажды, что придетъ это таинственное, это святое, непостижимое *наше тогда!* И оно придетъ, и тогда ненужно будетъ лѣстницы, ведущей на небо: само небо сойдетъ на землю. Сколько разъ я читала, перечитывала и опять читала и перечитывала письмо Огарева, и съ каждымъ словомъ желаніе обнять брата становилось непреодолимѣе; единственный человѣкъ, который можетъ понять эту любовь и оцѣнить ее, ибо онъ единственный понялъ и оцѣнилъ тебя. Съ какою довѣренностью открою я ему душу, въ ней также безпредѣльная симпатія съ его душою — любовь къ тебѣ. Александръ! Какой другъ у тебя, какая подруга! И послѣ этого искать славу, послѣ Евангелія — обѣщанія цыганки?.. Нѣтъ, пусть дѣянія твои будутъ такъ велики, чтобъ не только толпа, но и люди бъ не могли оцѣнить ихъ; ни одного бездушнаго рукоплесканія, ни одного замороженнаго восторга: а лавры истинные, лавры, которыхъ нѣтъ лучше у Творца — Дружба и Любовь! Ты дважды увѣнчанъ — на 14 и 24 годахъ жизни. Онъ не коронуетъ даромъ.

21-е. Ты будешь проводить это лѣто болѣе съ природой, нежели съ людьми. Я тоже: въ Загорѣ такое уединеніе, кромѣ своихъ, — но я привыкла не замѣчать ихъ. Тамъ ничего нѣтъ московскаго, а въ Москвѣ много дурного. Съ одной стороны, дома, рѣка, валъ и ужъ ничего людскаго, не видать никакого жила. даже никто почти тамъ не ходитъ; это моя любимая сторона. Все время, которое остается до свиданія, дано намъ для очищенія послѣднихъ малѣйшихъ недостатковъ, для приготвленія, итакъ, надо пользоваться имъ, не длить его. Проведя 4 мѣсяца съ природой, говоря съ нею, слушая только ее, невольно будешь выше и чище, потому что она рассказываетъ объ одной любви, о Богѣ: невольно забудешь черную сторону человѣка и воротиться къ нему съ болѣею довѣрен-

ностью, пламеннѣе, отраднѣе обнимешь его. Съ началомъ зимы начнутся снова надежды, и — Богъ знаетъ, что будетъ этой зимою! А то лѣто — будущее — *можетъ быть*, вдыхая воздухъ Италіи, подъ ея вѣчно яснымъ небомъ, мы будемъ вспоминать о родномъ сѣверѣ...

Вечеръ, поздно. Я была на свадьбѣ, мой другъ! Одна я одѣвала къ вѣнцу Бочкареву, одна стояла подлѣ нея въ церкви, да сзиди только Макаш. и, можетъ, одна молилась о нихъ... Жаль мнѣ ее. Впрочемъ, все такъ весело, живо, молодые такъ счастливы — дай Богъ!

Опять къ тебѣ, мой ангелъ, мой другъ неоцѣненный! Скучно говорить о другихъ. Ахъ, взглянула бы на тебя минуточку, мигъ одинъ, ангелъ мой, душа моя!...

Хоть самъ ты назови меня мечтательницей, а я не могу глазъ отвести съ неба, когда оно такъ ясно и чисто, какъ теперь, *кто-то* рисуетъ на немъ твой образъ, а похожѣ Витбергова!.. Я далека ропота, но какъ избѣгнуть того чувства, которое сожметъ душу, когда въ восторгѣ протянешь туда руки, и онѣ прижмутся къ груди однѣ?..

Александръ, что это — непостоянство, малодушіе, или недостатокъ подлѣ другимъ какимъ-нибудь названіемъ (у людей): то предаваться совершенно волѣ Его, благословлять самыя бѣдствія, то грустить и скрывать эту грусть даже отъ себя? Вся жизнь моя должна быть одинъ *шмъ*, одинъ *полетъ*, а я *иногда молчу*, иногда *хожу*.

22-е. Вчера невѣста, за нѣсколько минутъ предъ вѣнцомъ, пожелала мнѣ скорого соединенія съ тобою; я благодарила ее, и у меня навернулись слезы. «Вотъ чего я не постигаю, — сказала она, — вы всегда перемѣнитесь въ лицѣ при одномъ имени его, даже слезы на глазахъ, а я люблю Сержа моего, только ни разу *объ немъ* не плакала». Мнѣ *нечего* было сказать ей на это. Сохрани Богъ, ежели Саша Б. пойдетъ такъ замужъ! а можетъ, она сдѣлаетъ это изъ любви къ отцу? Лучше бѣдность ей, болѣзни, смерть, нежели замужество! Какъ бы желала она *выкутить* себя, отдать имъ все и ѣхать съ нами. Ахъ, лучше ей гробовой вѣнецъ, нежели вѣнчалной! Теперь утро; какое пѣніе воздушныхъ жителей, какая зелень, какъ все цвѣтеть... Александръ, жизнь моя!

24-е. Ты называешь меня святой голубицей, слетѣвшей изъ рая, — это слишкомъ много, но я не смѣю отрицать: я твоя, твое созданье, любуйся имъ, величай его, мое дѣло — *быть* такою, какою ты видишь меня. При мысли о твоей любви я сама чувствую въ себѣ святость, чувствую, насколько выше другихъ, вижу въ небѣ вѣнецъ надъ головою моею, въ своей душѣ вижу небо... Да тогда-то, тогда-то летѣлъ бы далѣе отъ земли! не эгонизмъ-ли это? тогда я не хочу ничего слышать, ничего видѣть, тогда я ненавижу свое тѣло, съ восторгомъ бы подарила его землѣ и вознеслась бы въ свою отчизну — туда, туда! Ангелъ, другъ, Александръ, ты не сдѣлаешь мнѣ за то укура, вѣдь, тогда-бъ не розно съ тобою, а ближе, тѣснѣе-бъ я была! Я-бъ смотрѣла на тебя тогда всѣмъ небомъ, всѣмъ небомъ говорила-бъ съ тобою и все небо лила бы на тебя... а теперь? Не хорошо теперь, пусти меня туда!..

Вечеръ. Получила письмо отъ Emilie. Или-бъ забыла она N. S., или-бъ переселилась туда!.. это письмо огорчило меня. Она была тяжело больна и теперь не оправилась еще, но главное — страданія души. Наконецъ, я не могу понять ее; видно, она сама себя утѣшала, говоря «любовь проходить», это только на словахъ, а въ душѣ она любитъ N.; но къ чему было все, что было съ Але-

ксандромъ Д.,—не постигаю! Мойхъ силъ недостаетъ, дружбы недостаетъ облегчить ее... что дѣлать? Оставить на власть Божию, Онъ не посылаетъ сверхъ силъ. Она омрачаетъ мою душу, жаль мнѣ и этого юношу—бѣдный! На зарѣ живъ его покроется тучами. Теперь я вижу, что и я для нея ничто, что же послѣ этого осталось ей на землѣ? Пусть покинетъ ее, здѣсь не умѣли понять, оцѣнить эту душу, а небо отзовется ей.

Тебѣ она посылаетъ поклонъ. Прощай. несчастья близкихъ подавляютъ меня, и послѣ этого жить на землѣ, съ этими людьми?.. Выносимъ стукъ молотка, которымъ заколачиваютъ гробъ, Выносимъ послѣдняя горсть земли праху, нежели гвозди ихъ въ душу, нежели одна пылинка на душу... но — ангелъ мой! Ты правъ, ты правъ! «Когда взгрустнется — подумай о моей любви и грусть отлетитъ». Да! Руку мнѣ твою. Тебѣ меня во снѣ!

28-е. И вотъ я одна остана въ Москвѣ, сегодня уѣзжаетъ Саша Б.; наговорилась я съ нею, наглядѣлась на нее третьягодня въ послѣдній разъ. Они были у насъ 4 часа, но мы не думали, чтобъ это было послѣднее свиданье. Она очень просила А. отпустить меня къ ней вчера проститься; обѣщаніе дано, но вообрази—ахъ люди! люди! Мнѣ страшно думать, что они люди!—меня не пустили проститься съ нею, съ другомъ, съ сестрою моею, и оттого, что шелъ дождь и замочилъ бы *трехтысячную карету!*... Итакъ, мы разтаеся съ нею на полгода, можетъ долѣе, долѣе, можетъ на вѣки, не простясь, оттого, чтобъ не замочить карету; фу, душно!.. Но быть такъ, когда такъ есть, что же *они* намъ сдѣлаютъ? Саша жметъ твою руку, я сказала ей, что ты пишешь, но она хотѣла непремѣнно прочесть сама, и я дала ей твое письмо отъ 30 апрѣля; когда дошла до своего имени, — она вся перемѣнилась въ лицѣ, крѣпко сжала мою руку, и слезы навернулись на глазахъ. Увидишь-ли ты ее когда-нибудь?.. Вчера я провожала, теперь уже княгиню, Алекс. Анд.; счастливы и они, мой другъ, своимъ счастьемъ, какія только есть слова для выраженія блаженства. онъ всѣ ихъ мнѣ рассказалъ, она тоже, но... но.. Ты самъ догадаешься, что я хотѣла сказать. Александръ. Александръ!..

30-е мая. Третьягодня получила твое письмо отъ 15 мая. Ты хочешь, чтобъ я поздравила тебя съ тѣмъ, что *довольны* выставкой, — поздравляю отъ всей души, но не знаю, что же изъ этого? *Тьма комплиментовъ* принесетъ-ли пользу? Впрочемъ, все это не лишнее—пригодится вперёдъ. Я воображаю, какъ утомила тебя эта выставка, какъ ты устала, но теперь ужъ и отдохнулъ, я думаю. Пиши же болѣе, другъ мой, не браню тебя, что послѣднее письмо почти пустое, но получать отъ тебя такія письма—право, больно, особенно теперь. Ну, что Жуковский? Это посѣщеніе интересуетъ меня болѣе всего изъ твоей выставки. Я тоже устала, тоже утомлена, только совѣмъ въ другомъ родѣ: вотъ ужъ въ-сколько дней какъ домъ нашъ непрерывно набить — право, не знаю, какъ, ве обижая человѣка, назвать ихъ—напр. Madame Mathey, попадаья, имъ подобныя. и съ утра до ночи и ночь то даже я съ ними—ужасъ! Но ты, твоя любовь дастъ мнѣ терпѣнье на *все*. Не двадцать, не десять и не двухъ лѣтъ жду я жизни съ тобою—одного взгляда! онъ будетъ, хоть передъ смертью.

31-е. Александръ, ангелъ мой, душа! Вотъ я съ новинной головой передъ тобою,—ты имѣешь все право укорить меня въ недовѣрчивости, но я куплю у тебя прощенье, слушай. Ты взялъ у меня слово писать о всѣхъ неприяностяхъ, я дала его и себѣ въ душѣ, но не могла выполнить — еще-ли мало тебѣ? Я хотѣла все твердо перенести и потомъ явиться передъ тобою неврѣдимую, проія

сквозь огонь и воду, но у меня не стало силъ, все рѣшительно, что съ тобою нераздѣльно, для меня невыносимо. Являлось много жениховъ, но все еще такъ, мимоходомъ, я ни одного не видала; наконецъ, за одного принялись очень серьезно, я и не знала, что онъ ужъ нѣсколько разъ видѣлъ меня въ нашемъ приходѣ, хотя мнѣ и подозрительно было, для чего мнѣ везать къ *лицу одѣться?* Поѣхала въ прежній приходъ, и тамъ онъ, и нельзя было не замѣтить, что все сдѣлано съ намѣреньемъ; но и этотъ разъ я оставила безъ вниманья. Вчера же, не постигаю отчего — иль это предчувствіе недобраго, его пріѣздъ и въ той церкви, и съ родными поразилъ меня; я стояла чуть жива, потемнѣло въ глазахъ, дрожала вся отъ холода, а голова горѣла. Господи! люди... Какъ? храмъ Божій?! и потомъ *меня* на показъ! Я не умѣю объяснить тебѣ чувство, которое овладѣло тогда мною, и сама его не понимаю. Ты знаешь мою твердость, знай и слабость; къ вечеру у меня сдѣлалась лихорадка. Незвѣстно, что будетъ впереди, теперь пока мнѣ только велѣли *замыттить* его, только шепчутъ, но ужъ и это все невыносимо! И мало того, что я равнодушна къ искреннимъ желаньямъ и къ преусерднымъ крестамъ, — они меня сердятъ, наводятъ уныніе на меня. Теперь со мною поступаютъ гораздо снисходительнѣе. Макаш. сама отъ большого ума сказала мнѣ, что хочетъ *задобрить* меня, ласкается, ищетъ исполнить мои желанія, но уже у меня нѣтъ желаній, которыя бы *они* хотѣли и могли исполнить. Ласки ихъ, ихъ снисходительность въ тысячу разъ хуже брани и гоненья: тогда *они* жалки, теперь — презрительны. Скоро, однакожъ. въ деревню, и все прекратится.

1-е іюня. Ну, вотъ, другъ мой, я исполнила твою волю — все сказала, исполни и ты мою просьбу, не беспокойся объ этомъ вздорѣ, ничего не можетъ выйти изъ этого, и мнѣ-то казалось это страннымъ только потому, что я не говорила объ этомъ тебѣ. Развѣ имѣеть кто-нибудь право выдать меня замужъ? Объ этомъ вечего и думать, неприятно только быть дѣйствующимъ лицомъ въ *исх* комедіи. Отвернемся отъ нихъ, пусть ихъ хлопочуть, выдаютъ и выходятъ замужъ, что намъ до того! Передъ любовью нашей все это, и они сами — исчезаютъ какъ дымъ. Нехорошо мнѣ здѣсь, но хочу мученій, хочу страданій вдвое, лишь бы купить ими одинъ день, одинъ часъ, минуту одну!..

Никто, никто не можетъ постигнуть, — ты увидишь *тогда*, ангель мой, какъ душа моя пренебрегаетъ землею, какъ она на пути къ небу. Повѣришь-ли ты, иногда дни цѣлые я не замѣчаю, гдѣ я, что дѣлаю, съ кѣмъ?..

Душа ни въ чемъ не беретъ участія, летитъ далеко, далеко, высоко, высоко, и неужели ты не чувствуешь у себя небесной гостыи! Несмотря на то, что ты пересоздалъ меня совершенно, я все еще мѣняюсь. Все болѣе силы, болѣе свободы, болѣе любви! Другъ, мой несравненный другъ!

Ахъ, да зачѣмъ говорить, какъ глупъ языкъ человѣческій!

Вотъ ужъ и іюнь — лѣто; скоро три года...

Прощай, можетъ, маменька будетъ къ тебѣ завтра писать, отошлю письмо. Будь совершенно покоенъ, Александръ; нѣтъ, для тебя этого мало, — радуйся, радуйся всѣмъ истязаньямъ, награда есть!

Цѣлую тебя, милый, обнимаю, жму руку, твоя, твоя Наташа.

Ежели-бъ я видѣлась съ маменькой, то, можетъ бы, и теперь не написала тебѣ о *Г. Богдановѣ*.

28-го мая.

То, что ты пишешь о М., взволновало меня: разлукою на землѣ поплатиться. разлукою съ тобой—это нелѣпость, это не вмѣщается въ мою голову. На колѣняхъ идти въ Иерусалимъ, истомить себя постомъ—это ничего, но разлукою съ тобою купить ея спокойствіе и спокойствіе своей совѣсти не могу, *не могу*. Да и откуда явилась эта женщина между нами, что ее поставило упрекомъ. Небезидой—между нами, кто просилъ ея вздоха средѣ пѣсни восторга? Мой злобный геній указалъ мнѣ ее; но и сама она часть этого злобнаго генія. Развѣ она права. бросившись на шею юношѣ, котораго едва знаетъ и тогда, какъ мужъ ея былъ живъ; а послѣ—развѣ я не подавалъ ей всѣ средства подняться, но было поздно; я похожъ въ этомъ случаѣ на робкаго отравителя, который сперва даетъ ядъ, а послѣ, испугавшись, даетъ противоядіе! Надеждъ она не имѣетъ на будущее, не знаю, будетъ ли имѣть и будущее.

Трудна земная жизнь человѣка, усталъ, очень усталъ! Восьмой и девятый часъ—гдѣ бы ни былъ, что бы ни дѣлалъ, будетъ твой; это часъ Ave Maria въ Италиі, и все повергается на колѣни предъ Дѣвою, буду и я горячимъ лицомъ повергаться предъ тобою. О, Наташа!

Къ Эрну я переѣхалъ, потому что для меня отдѣляется новая квартира, а не бѣжалъ отъ грусти; когда мнѣ грустно, я люблю быть одинъ; но когда весело и радостно на душѣ,—тогда мнѣ нужны близкіе люди. А съ тобою, сестра, дѣлилъ бы я и грусть, и радость, и думы, надежды и отчаяніе, все, все—да развѣ и не дѣлили, Наташа, а въ Кіевѣ ходитъ ненадобно, не забѣгай Провидѣнію; посмотримъ, что будетъ далѣе.

Слышалъ я нап[евкини] разговоръ и первый, и второй,—онъ жестокъ, немолчимъ, исполненъ угрозы, а не любви. Онъ намекалъ въ моемъ письмѣ (не говоря ни слова о тебѣ), и на что же полагаетъ главную надежду, на деньги. Это дурно; бѣдность—только и осталось мнѣ испытать, остальные бѣдствія, страданія—знакомы; ну, что же, развѣ можно меня испугать бѣдностью, развѣ я уже такой беззаланый, что не найду себѣ существованія? Ха, ха, ха, а служба, а перо.—это большая ошибка съ его стороны; благодарностью, любовью можно бы хотѣ *skonфузить* меня; а то деньгами — *misère!* Итакъ, настоящія несчастія какъ только окончатся, начнутся несчастія будущія. Давай же руку, подруга вѣчная. давай, и пойдемъ на встрѣчу бѣдствіямъ,—вонъ рѣдѣетъ лазурь, и тамъ влали вѣнокъ, онъ будетъ на нашемъ челѣ; для насъ сплели его ангелы.

Я обдумываю новую статейку *I. Maestri*, воспоминаніе изъ моей жизни. Дмитріевъ и Жуковскій. «Мысль и откровеніе» кончены давно, а повѣсть бросилъ; писать повѣсти, кажется, не мое дѣло. Впрочемъ «Мысль и откровеніе» не имѣютъ конца, эта статья, въ которую надобно вписывать каждую религіозную мысль, рама сдѣлана, а формы никакой нѣтъ; это повѣсть, разговоръ, диссертація, это изложеніе чувствъ и думъ, какъ вылилось, слѣдетъ. вздоръ, что она кончена.

Итакъ, опять надежда, а знаешь ли, что намъ рѣшительно грѣшно роптать за то, что всѣ прежнія неудачны. Слабость моя заставила дать имъ мѣсто въ груди моей, онѣ никогда не должны быть въ ней, всѣ прежнія надежды. Провидѣніе бережетъ чистоту моей біографіи; слушай, на какомъ правѣ могъ я надѣяться, чтобъ меня простили прежде другихъ? Развѣ это было бы справедливо, развѣ вкусенъ былъ бы мнѣ плодъ, данный по *протекціи*? Теперь совсѣмъ не

то. Теперь съ поднятымъ челомъ я могу принять освобожденіе. Меня видѣли — одинокъ, безъ опоры, съ названіемъ сосланнаго; увидѣли меня — и оцѣнили; тутъ не было просьбы, сперва узнали меня, потомъ кто я, такъ теперь я возьму премію за талантъ, — есть-ли тутъ хоть пятнышко? Наташа! Дивны пути Его; къ этому присоединяется еще одно *важное обстоятельство*, оно совпадаетъ съ *тѣми гоненіями М.* — тутъ требуется съ мой стороны твердость и прямизна, можетъ, это искупленіе пятна. И я борюсь, противъ меня сида и низость, а я, съ твердымъ убѣжденіемъ, съ волею, борюсь, чѣмъ бы ни кончилось. И путешествіе наследника именно случилось въ то время, когда надо было дѣйствовать рѣшительно; до путешествія, можетъ, еще сломали бы меня, теперь невозможно. Много загадокъ, да, погоди, послѣ скажу *le mot de l'epigme*. Ты говоришь, что я иногда пишу *неясно*, не слѣдуетъ изъ этого, что ты иногда дѣлаешь замѣчанія *не дувавши*.

1-е іюня. Какъ ты мила, мой ангелъ, я смѣялся, и слезы навернулись на глазахъ, когда прочелъ, «что ты вышла на крыльцо, но тотчасъ воротилась, ибо я былъ въ комнатѣ». Дитя! прелестное дитя — такихъ бо есть царствіе небесное. Въ этихъ бездѣлкахъ выражается вся душа; да, ты права, тебѣ ненужно много писать, чтобъ я понялъ. Поставь точку, черту, и я скажу твою мысль. Въ Москвѣ ли ты? Я боюсь, что деревня затруднитъ нашу переписку. Прощай. Твой Александръ.

2-е іюня. Сейчасъ получилъ отъ мам[еньки] письмо. Папенька, кажется, началъ и хочетъ препятствовать *всѣми* силами; у насъ противъ него *одна* сила, но *сила любви*. Наташа, ангелъ мой, присягаю тебѣ жизнью и царствомъ небеснымъ, ты будешь моя, ежели мы будемъ живы.

Александръ.

3-е іюня.

Вотъ, наконецъ, и маменька у меня была, моя милая, добрая, несравненная маменька! Я знала, что она придетъ вчера и встала сегодня чѣмъ свѣтъ, ждать ее въ саду. Только вообрази, вотъ забавная сцена: среди самаго серьезнаго разговора является вѣстовой и доноситъ, что ея высокобл. г-жа Макаш. кубаремъ скатилась съ постели на чердакъ и къ окошку, изъ котораго видно въ садъ! Но это намъ нисколько не помѣшало, мы ужъ наговорились, и время было разставаться. Маменька посѣщаетъ меня тихонько не только отъ *моихъ*, даже и отъ папеньки, потому что онъ въ неудовольствіи на нее за меня съ тѣхъ поръ, какъ, было, она ему намекнула только обо мнѣ. Да, ужасно, въ немъ ни малѣйшей надежды, и всѣ-то соединенными силами ищутъ жениховъ и стараются выдать меня. Я думаю, скоро будутъ рѣшительно мнѣ говорить, а теперь все еще только намеками; ласкаютъ меня, холятъ, зовутъ душенькой, спрашиваютъ: «хочешь ли»; непрерывно говорятъ *о немъ*, какъ познакомиться, какъ помолвить, сговорить, какъ и гдѣ обвѣнчать. покупаютъ и кроютъ приданое, — не правда ли, все это очень весело?.. И ни души здѣсь, съ которой бы отдохнуть, ни существа, которому-бъ хоть взоромъ удѣлять тяжелый гнетъ сердца... Такъ что жъ? и не над! Я не дѣлюсь моимъ вѣнцомъ, моимъ блаженствомъ, не хочу дѣлиться горемъ и крестомъ — все мое!

Я потеряла вѣру въ наше свиданіе, не имѣю ея и въ соединеніе. Вѣра въ любовь, въ тебя — со мной, во мнѣ, я! Благодарю васъ, господу женихи, васъ, добрые старатели и старательницы, и даже васъ, Мар. Степ.! Вы оттолкнули

меня еще далѣе отъ земли. вы показали мнѣ еще яснѣе ея и ваше ничтожество. Хочу мукъ, хочу страданія, хочу носить вѣнецъ терновый; ты самъ, Христось, его носилъ!—Ангель мой. Александръ! Жизнь моя... да, ты моя жизнь, а то, что люди зовутъ жизнью, то сонъ, нелѣпый сонъ. и земля — темница ихъ. не правда ли, она изгнатье, одно временное, короткое изгнатье?

Вотъ, кажется, мигъ, и я тамъ!

«Gehorsam ist des Weibes Pflicht auf Erden
Das harte Dulden ist ihr schweres Loos;
Durch strengen Dienst muss sie geläutert werden,
Die hier gedienet, ist dort oben gross».

А, неужели въ этомъ свѣтломъ, яхонтовомъ морѣ вѣтъ капли для меня?!
Стой и ты со мною наравнѣ.

Вчера получила твое письмо отъ 22 мая.

5-е июня. Вотъ тебѣ и награда за труды — встрѣча съ Жуковскимъ. Въ жизнь мою я еще не видала ни одного великаго человѣка, но постигаю совершенно радостный трепетъ и восторгъ души, находясь близъ него, и это желаніе, и это стремленіе стать рядомъ. Воображаю ропотъ толпы, зависть... Но неужели, когда засмотришься на полетъ орла, когда какъ будто самъ съ нимъ близокъ къ солнцу, — чувствителенъ укусъ мухи?— Иногда, забывъ ограниченность возможностей и способовъ, замечтавшись далеко и высоко, я посѣщаю всѣхъ великихъ людей, считаю жизнь свою не днями, не годами, а ихъ взглядами, которые, можетъ, нечаянно они дарятъ мнѣ; и съ равнымъ благоговѣйнымъ трепетомъ стою у гробницъ ихъ и внимаю—голосъ ихъ не умолкаетъ и за могилой; но еще усиліе, еще порывъ—и ихъ не существуетъ! Ни звѣздочки, ни голубого пятнышка— все солнце, все Александръ!

6-е. Что же тебя испугало такъ то, если-бъ я осталась тебѣ вѣкъ кузницей? Александръ! не вѣкъ ли я твоя, ты мой? Но что объ этомъ говорить, этого не можетъ быть, мы найдемъ средство спасти несчастную—дай Богъ! Ну, а если-бъ ничто, ничто на свѣтѣ... да нѣтъ, это невозможно просто! А отъ мысли—я твоя кузина — ненадо отвыкать; захочешь ли ты проклятьемъ отца купить соединенье? Я увѣряю тебя, при жизни его оно не можетъ, не можетъ быть, а мы развѣ можемъ желать конца ея?.. Да и что же страшнаго... я... бытіе мое и теперь уже такъ полно, такъ полно. . Когда ты написалъ, что намъ не видѣться въ 37-мъ году, и маменька увѣрила, что папенька ни за что на свѣтѣ не позволитъ, сперва сердце ждалось, я была нѣсколько времени женщина, потомъ оглянулась на землю, —она показалась мнѣ такъ чужда, такъ далека; я спокойно смотрѣла на небо и ждала, чтобъ оно отворилось мнѣ, и мнѣ не жаль тогда было оставить тебя на землѣ *одного*; сбросивъ тѣло, я-бъ неразлучно была съ тобою, и кто-бъ тогда воспрепятствовалъ?.. А теперь малѣйшій прутикъ ужъ преграда намъ. Ахъ, повѣришь ли, мнѣ не хотѣлось даже твоего взгляда; кинувъ землю землѣ, душа отлетѣла-бъ прямо къ тебѣ и, какъ ангелъ-хранитель, носилась бы надъ тобою и день, и ночь!.. Съ этими чувствами я сѣла въ садъ на траву; солнце еще было высоко; я думала, что вижу его съ земли въ послѣдній разъ; оно садилось—скоро конецъ дня, скоро конецъ разлуки!.. Я не хотѣла, боялась пошевелиться, чтобъ не опоздать порхнуть изъ душевой, тѣсной, гладкой темницы, я чуть дышала... а меня позвали, повели ужинать!..

Опять земля! дай же мнѣ руку, дай твой взглядъ, дай мнѣ твой поцѣлуй.— здѣсь я не могу жить безъ нихъ, о, мой Александръ!

8-е. Все-бъ съ тобой говорила, все бы писала, а тутъ... о, Богъ съ ними!.. Меня посылають на Пруды, посылають на бульварь, зачѣмъ? Спроси ихъ. Давно-бъ мы были въ деревнѣ, если-бъ не задумали сбыть меня съ руки. Фу... люди!..

Но Александръ, не оттого несносна мнѣ жизнь, я не могу выносить того рая, того неба, которое ты далъ мнѣ, идя рядомъ съ *ними*, одной дорогой, однимъ шагомъ!..

Не могу выносить этой необъятной, святой любви въ грубомъ, гадкомъ тѣлѣ! Я томлюсь... я хочу, чтобъ эта общая пыль поклонялась душѣ моей, потому что душа моя такъ высока, такъ велика, потому что она вся любовь къ тебѣ, хочу, чтобъ земля—тѣло превратилось въ пепель, въ прахъ отъ лица ея, исчезла бы,... а эта душа заключена въ этомъ прахѣ!..

Прощай, другъ, невозможно продолжать, кругомъ уши и глаза непрерывно. Постигаешь ли ты меня вполнѣ, или осуждаешь и укоряешь? Ты постигаешь меня, но это желаніе, это стремленіе *туда* останется тебѣ чуждо навсегда. Мой вѣнецъ уже на мнѣ, я хочу сложить его у Его престола, ты носи вѣнецъ и корону...

9-е. Прощай, Александръ, не успѣваю ничего болѣе сказать тебѣ. Ну, что же, когда?..

Твоя *Наташа*.

7-е іюня.

Еще и еще пишутъ мнѣ о неприяностяхъ, которыя ждутъ насъ въ Москвѣ. Признаюсь, при всей твердости моей, это нѣсколько оскорбляетъ меня. Итакъ, Наташа, видно весь міръ, вся вселенная должна для меня быть заключена въ одной тебѣ. Странно управлять судьба. Посмотри, какъ всякой рекрутъ, всякой солдатъ идетъ въ отпускъ домой; забыты потъ и пыль казармъ, забыты притѣсненія, горести, мысль свиданія со *своими* отталкиваетъ все горькое, и вотъ эта минута радости откровенной, безотчетной.. А я, послѣ горькихъ испытаній, послѣ бурь, послѣ тюрьмы и изгнанья, явлюсь домой, и холодная мысль станетъ между сыномъ и отцомъ, и отравленъ первый поцѣлуй. Голосъ сильный, святой скажетъ: «Это твой отецъ, онъ много для тебя сдѣлалъ»; и другой голосъ, такой же сильный, скажетъ: «Вотъ этотъ человѣкъ — единственное пріятельство между тобою и твоимъ счастьемъ», — и нѣтъ уже безотчетной радости. О, люди! Не знаю, писалъ ли я тебѣ, но, все равно, напишу еще разъ: у меня есть одна прелестная мысль, за нее я ухватился обѣими руками, это послѣдняя дань юности, это молитва благодарности Богу и тебѣ, это заключеніе поэтической жизни. Слушай. Когда ты будешь моя, когда я буду воленъ располагать жизнью, то мы начнемъ вотъ съ чего. Уѣдемъ въ Италію, не въ большой городъ, нѣтъ, въ какой-нибудь самый незначительной, въ Нису или гдѣ-нибудь въ Сицилія, хоть въ деревеньку, лишь бы на берегу моря; море мнѣ необходимо, море—это торжество природы, *auguste fanfare*. Тамъ проживемъ мы годъ или два *безъ людей*, тамъ, убаюканные волнами моря и теплымъ воздухомъ, мы отдохнемъ, тамъ мы будемъ счастливы. О, Наташа, мы будемъ блаженны, одна любовь, одна любовь займетъ это время—сотрется пыль съ души, зарастутъ эти глубокія раны, сотрутся эти черныя пятна. Тутъ наберемъ мы занасъ силъ и чувствъ на всю жизнь. Приходи же время это; за что же вянуть намъ, дожидая его долго? А послѣ что?.. Тогда я съ вѣрою отдамся Провидѣнію и человѣчеству,

тогда я уже кончу все земное, тогда, если жизнь моя не нужна, я могу умереть. ибо что может собственно *мнѣ* дать жизнь лучшаго, какъ эти два года съ ангеломъ. О. съ какимъ восторгомъ посмотрю я тогда съ горы на природу Ита-
ліи, на эту лучшую часть планеты, и съ какимъ восторгомъ обращу взоръ на тебя, на это лучшее созданіе планеты. Какъ обниму я тебя, и сколько любви найдешь ты въ этихъ объятіяхъ! Тамъ расскажу я тебѣ исторію моего сердца, которую ты уже такъ хорошо знаешь, и повѣсть моя будетъ огненна, и съ восхищеніемъ будешь ты слушать ее. И слезу вмѣстѣ прольемъ на эти воспомина-
нія, и улыбку поплемъ въ ихъ могилу. Наташа. будь же тверда; теперъ пройдемъ черезъ это болото, настанетъ день, мы его минуемъ, — и жизнь наша сольется въ одинъ потокъ, котораго путь къ небу.

8-е іюня. Я теперъ читаю огромное сочиненіе Dumont d'Urville «Voyage autour du Monde». Востокъ—какъ манить онъ... [вырвано слово] душу, умъю-
щую чувствовать; тамъ другая природа, пышная, огромная; тамъ другіе люди съ вѣчнымъ покоемъ, съ почившею мыслью, съ минутнымъ пробужденіемъ, съ поэзіей; тамъ люди затеряны, какъ песчинки ихъ Гималая, ихъ подавила бо-
гатая природа. Желалъ бы я взглянуть на Востокъ, на Индію—колыбель идей и фактовъ, на мистическій Египеть... И будто это невозможно, и будто годъ жизни нельзя потратить для этихъ странъ.

Перечитывалъ твои письма прошлаго года. въ маѣ и іюнѣ писанныя. Мы тѣ же, совершенно тѣ же, выше ты не могла подняться, ты достигла предѣла чело-
вѣчества, сказавъ люблю, но развилась ты многостороннѣе съ тѣхъ поръ. И тогда уже мы надѣялись на скорое свиданье. Какъ жестоко играла съ нами судьба! Ровно годъ тому назадъ, 8 іюня 1836 г., писала ты первое письмо изъ Загорья. Тамъ ли ты, ангелъ, теперъ?

Вотъ что прервало мое письмо: слышу пѣніе, подхожу къ окну, и изъ во-
ротъ противъ моего дома несутъ покойницу, жену бѣднаго офицера. Холодно про-
возжаютъ гробъ чело-вѣкъ десять постороннихъ; отирая слезы, идетъ старикъ-
мужъ, передъ крышей гроба какой-то юродивый съ кривляньемъ, съ сумашел-
шимъ видомъ,—пронесли и слѣдъ простылъ, но что-то мрачное осталось на душѣ:
лучше тѣ похороны, гдѣ пышность заглушаетъ думы, лучше тѣ, гдѣ плачъ и
стенанія,—на живыхъ обращается тогда вниманіе, а тутъ смерть во своей наготѣ.
Спи же мирно, незнакомая!

9-е іюня. Ты какъ-то писала, что застѣнчива; знаешь ли, что я съ нѣко-
тораго времени сдѣлался дикъ со всѣми посторонними, кромѣ близкихъ знако-
мыхъ, шѣ даже становится душно, тѣсно въ груди, когда есть кто-нибудь чужой въ комнатѣ.

По письму отъ мам[еньки] отъ 2 іюня видно, что ты еще въ Москвѣ. Съ
будущей почтой жду отъ тебя.

Прощай, Natalie, прощай, мой ангелъ.

Твой Александръ.

Полина всякій разъ проситъ писать много, много дружбы и симпатіи.

Москва, іюня 11-го.

Прошлаго года въ маѣ ты писалъ «первый лучъ надежды», а уже сколько
ихъ съ тѣхъ поръ гасло, загоралось снова и снова гасло! Теперъ же... другъ,
подумай только—*три года*... три года, это ужасно. Вчера получила твое письмо

(отъ 28 до 2 июня). Неопредѣленное чувство наполняетъ душу; оно не есть настоящая, совершенная, яркая надежда, нѣтъ въ немъ и тѣни сомнѣнья, но чувство прелестное, святое. — жаль будетъ разстаться съ нимъ и *тогда!* Какъ спокойно смотрю я на окружающую меня суматоху — что мнѣ до того? Хотя, впрочемъ, довольно серьезно подвигаются впередъ; тотъ, о которомъ я тебѣ писала, остался въ сторонѣ; онъ человѣкъ очень хорошій, но небогатый, а за небогатаго надо давать *болѣе*, и потому ему отказъ. Другой — адъютантъ, 400.000 имѣеть, и то, и другое. — это по насъ! Ужъ даже и его превосх Дим. Пав. Гов. отзывается о немъ очень съ хорошей стороны. Вотъ снова наши старушки ласковы и веселы, снова старина выходить со дна сундука на бѣлый свѣтъ, пересматривается, считается, переписывается — смѣхъ, если-бъ было съ кѣмъ смѣяться! Я думала спастись отъ всего этого въ Загорѣ, ничего не бывало, тамъ въ пустынѣ св. Екатерины назначается *еще посмотреть на меня* — фу!.. Да, что же, впрочемъ, пусть ихъ, когда хочется. Папенька сердитъ на маменьку за меня, а со мною, напротивъ, очень хорошъ; вчера былъ у насъ, много говорилъ о тебѣ и съ пріятнымъ восхищеньемъ, даже сказалъ, что желаетъ очень видѣть тебя. Ну, Богъ съ ними! Письмо твое я получила вчера въ 7 часовъ вечера, а прочесть могла только въ девятомъ, и если-бъ ты, мой ангелъ, видѣлъ, съ какимъ восторгомъ вылетѣла я въ садъ съ мыслью, что и ты подъ открытымъ небомъ, что слышишь меня, видишь!.. Ахъ, Господи! Чего мнѣ еще? Неужели въ десницѣ твоей есть еще дары?..

Тогда я буду совершенной ангелъ, а человѣку не вынести столько, не заслужить столько!

Вотъ, вотъ рука моя — идемъ, идемъ! Что тамъ за необъятная, черная масса? Люди. О! сколько ихъ, и всѣ на насъ! Идемъ, идемъ, любовь, Богъ, ты и я — одно единое, нераздѣльное. — Свѣтъ! — и черная масса — ницъ! — Папенька звалъ меня многократно въ садъ къ себѣ, и, кажется, это хотятъ выполнить, кстати и проститься — можетъ, уже поѣдемъ, и до октября я не увижу твоего жилища. Ну, прощай, душа моя, ужасъ неловко писать на колѣняхъ, да и пора внизъ. А меня спрашиваютъ, какое купить одѣяло, бѣлое или розовое, а не дають выбрать перо иль иголку...

12-е. Какъ живо въ памяти, въ сердцѣ — вотъ подъ этимъ деревомъ, на этой лавочкѣ мы сидѣли съ тобой; тутъ ты читалъ Огареву, вотъ по этой дорожкѣ ходили вмѣстѣ, по этой аллеѣ шли въ послѣднія, и все пусто, наконецъ, все мертво! И уже тому три года... Не вышла бы изъ твоей комнаты, въ ней, кажется, все одушевлено, все понимаетъ меня, отвѣчаетъ мнѣ; но, хотя много въ ней — великихъ, славныхъ, самъ Наполеонъ, а все пусто!.. Ужели она останется такою же и по пріѣздѣ моемъ изъ деревни?

Гдѣ-то Саша Б.! Вотъ что симпатія: вчера мы ѣхали мимо ихъ дома, я вся затрепетала, вылетѣла бы обнять хоть эти стѣны, хоть ихъ поцѣловать, но крѣпко клѣтка заперта.

11-й *часть, вечеръ*, 13-е. Какъ бы много, много раздѣлить съ тобою — и надо ложиться! Сейчасъ пріѣхала изъ парка. Сколько ощущеній, воспоминаній сколько... Кладбище, *колокольня*, все, все... До завтра, ангелъ мой.

14-е. Ыдемъ, ѣдемъ! Прощай, Москва, со своими бульварами, садами и паркомъ — все вздоръ! Тамъ, далеко отъ нихъ, отъ всѣхъ, подъ кустомъ ивы иль сирени душа моя будетъ и выше, и чище, и полнѣе, и богатѣе, а тутъ... Что это такое, какъ мнѣ скучно было, мой ангелъ, какая толпа, и будто всѣ собрались

для того, чтобъ сказать вмѣстѣ: «*намъ нечего дѣлать!*» Зато я видѣла хоть издали кладбище, помнишь?.. Ъхала зато по той же дорогѣ, гдѣ и тогда, и въ тотъ же часъ; и все такъ же, такъ же красно небо, такъ же пыльно... О, другъ души, вообрази, что за чувства были въ душѣ, и это свиданье въ первый разъ послѣ того.— Велать укладываться, прощай!

15-е. Завтра ѣдутъ. Можетъ, не удастся сказать тебѣ ни слова, моя душа.

16-е. Черезъ нѣсколько часовъ меня не будетъ въ Москвѣ и надолго. Что-то будетъ въ это время?.. Прощай, мой ангелъ, невозможно писать, прощай, обнимаю тебя и цѣлую.

Твоя *Наташа*.

Полинѣ душою кланяюсь.

Кажется, остановки въ переписки не можетъ быть, я все устроила, развѣ что непредвидѣнное—избави Богъ. Ну, мой ангелъ, еще объятья, еще поцѣлуй!

Загорье, іюня 17-го.

Здравствуй, ангелъ мой! Охъ, какъ легко стало на сердцѣ, какъ вышла минутка поговорить съ тобою! Я улыбнулась, перекрестилась, какъ взяла перо. Хотѣлось мнѣ поля, лѣса, хотѣлось свирѣли и пѣсни соловья, меня задушила Москва своимъ каменнымъ горячимъ дыханіемъ, пылью, утомила стукомъ, суетою, а болѣе—ея люди... Мнѣ хотѣлось уѣхать изъ Москвы ненадолго, только-бы отдохнуть—къ твоему прїѣзду воротиться; можетъ, и будетъ такъ! Но съ первымъ шагомъ сердце сжалось; съ маменькой нельзя было и проститься, прощались съ другими и за одну слезу платили безъ счета. Но вотъ поле, лѣса, монастыри—Симоновъ! Душа простерла крылья, взвилась быстро изъ тѣсноты земной, и отъ полета слетѣла съ нея пыль, и тамъ у солнца высохли слезы, она созерцала *девятое апрѣля*. Прїѣхавши сюда, опять стало грустно—стужа и окружающіе меня тому причиною, но это минутное—со мною *письма* и *портреты!*..

18-е. Ужъ третій день въ деревнѣ, а не насладились ни гуляньемъ, ни цѣльями крестьянъ и соловья, — ужасный холодъ, будто природа мститъ мнѣ за Москву, а въ комнатѣ здѣсь не лучше Москвы: три вдовы и всѣ три вдругъ рассказываютъ, какъ ихъ *покойники* были въ параличѣ, какъ онѣ за ними ходили, хоронили ихъ... и безъ того холодно!

Вчера вѣрно получили отъ тебя письмо, а я нѣтъ... Зато, Боже мой, что можетъ сравниться съ восторгомъ, когда увидишь за версту ползущую изъ Москвы телѣгу, и сердце почувствуетъ, что она везетъ... Въ мигъ превратится въ рай мрачная моя келья, и люди всѣ такъ добры, хочешь прижать ихъ къ сердцу, подѣлится его небомъ, и будто деревья шумятъ радостно, и каждый листокъ трепещетъ отъ восторга... Природа! только она теперь со мною, только ей могу сказать слово изъ души, и какъ понимаетъ она его, родная моя!.. Александръ, ангелъ мой, милый другъ!!

19-е. Кажется, новѣйшее лѣто мнѣ будетъ здѣсь лучше, нежели всѣ прошлыя: съ нами mad. Methue, и изъ нея сдѣлалась прелестная, чудная старушка; учить меня по-нѣмецки и, видя, что это непріятно к[нягинѣ], сама изыскиваетъ время, чтобъ мнѣ не доставалось, ходить со мной гулять, ну, словомъ, я отъ нея въ восхищеніи; зато же ужъ какъ Макаш. свирѣцствуетъ, бррр!.. прости ей, Господи!

Вчера былъ прелестный день, я много ходила въ полѣ—очарованіе! Я-бы не взяла теперь цѣлаго города за десятину иль менѣе пустой земли, но она пуста для пустыхъ, а тѣ, кто понимаютъ красоту и изящество природы, кому ясенъ

ея языкъ, доступны тайны ея, чье сердце не затворено камнемъ, не залито золотомъ, кто можетъ стать съ нею рядомъ, можетъ съ нею вмѣстѣ цѣть хвалу Его, — тотъ не промѣняетъ одного цвѣтка на дворецъ: тамъ пусто, здѣсь Богъ! И что значить цѣлая громада каменьевъ, наваленная вѣками, тысячами людей, предъ этой гвоздикой? И тамъ, на этихъ каменьяхъ люди дѣлаютъ, рисуютъ цвѣты... дали ли они хоть одному цвѣтку лазурь и солнце незабудки?.. Дивная, божественная природа! и человекъ долженъ быть превосходнѣе ея!..

Точно птица, долго заключенная въ клѣткѣ, вырвавшись на волю, летала я по полю. срывала каждый цвѣточекъ, каждый казался мнѣ чудомъ, улетѣли мои 10 лѣтъ! и я девятилѣтнимъ ребенкомъ веселилась; бабочка, букашка, мушка всякая такъ мена занимала; улетѣли и эти 9 лѣтъ. Я была ровесница вотъ этому ландышу, васильку, но ты—ты неразлученъ! неразлученъ, Александръ!!

20-е. Думала ли я, уѣзжая отсюда прошлаго года, что проведу здѣсь еще лѣто. — такъ все рѣшается Богъ! Я думала ужъ, ежели.. такъ не переживу! А Онъ, милосердый, посылаетъ силу и крѣпость. Упованіе мое на Него не умалается, а растетъ... можетъ, вся жизнь моя пройдетъ въ однихъ ожиданіяхъ, въ горѣ, — я не перестану благодарить Его... О! что моя благодарность? Дерзновенная мысль — *достойно возблагодарить Его!* Пусть, видя меня въ скорбяхъ и страданіяхъ и въ часъ кончины, и послѣ смерти, любящіе меня поютъ славу Ему, да будетъ она неразлучна съ воспоминаніемъ обо мнѣ. Кто *знаетъ* меня, тому наружныя муки не помѣшаютъ видѣть блаженство души моей. Что разъ Тобою дано, — не отнимется во вѣки! Такъ вѣрую я въ Него, въ тебя, мой Александръ!..

21-е. Есть здѣсь роща, и садъ, и цвѣтникъ, — ничто мнѣ такъ не по сердцу, какъ поле; поле—свобода! что за чувство, когда открывается предъ взоромъ это безконечное пространство надежды, которому рама — одна лазурь! О, какъ бы, опершись на твою руку, я долго, долго стояла тутъ... безъ тебя не могу на одномъ мѣстѣ оставаться долго, будто ты близко отъ меня, и я все вѣщу, и сказать хочу, и обнять, и безпрестанно путешествую съ мѣста на мѣсто, и все нѣтъ тебя!.. А вообрази, мой ангелъ, эту картину: лазуревая рамка, кверху золотистая (это закатъ солнца) въ ней зеленый бархатъ, а на этомъ мы и ничего болѣе!.. тутъ видна церковь, но я забываю иногда и на церковь смотрѣть, душа не вмѣщается въ ея стѣны. — Не жаль мнѣ Москвы, только бы твои письма, твои письма! Хорошо здѣсь, на новыхъ глупостей, ни новыхъ гадостей не слышишь, а старыя не могутъ заглушить призывного колокола, ни даже журчанья ручейка. Если-бъ не ты, никогда-бъ человекъ не могъ довести меня до такого восторга, какъ природа; здѣсь нѣтъ отчужденныхъ красотъ, но я готова при первомъ шагѣ пасть ницъ и цѣловать землю. гдѣ нѣтъ людскаго слѣда, — такъ прелестна, такъ свята она тамъ. такъ каждая былинка доказательство Его мудрости и величія; но что этотъ восторгъ, что это умиленіе предъ тѣмъ чувствомъ, которымъ ты обнял мою душу?.. Прощай, моя душа, милый Александръ! ужъ ночь; у меня подъ поломъ цѣлое гнѣздо хорьковъ — приятные сосѣди, какая возня у нихъ, крикъ!

23-е. Поздравляю тебя съ новорожденнымъ...

24-е. А сегодня съ именинникомъ! Не могу не написать тебѣ моего сна. Вижу: пріѣзжаемъ къ папенькѣ; онъ бѣжитъ намъ навстрѣчу, это мена удивило, и вдругъ онъ мимо насъ въ залъ, на крыльцо; кто-то говоритъ: «видно, дорогой гость пріѣхалъ». Сердце мнѣ въ мигъ сказала, *кто* этотъ гость, и вотъ я стрѣлой помчалась. Я первая встрѣчу!.. силъ нѣтъ, теряю чувства... прихожу въ себя, спѣшу видѣть, спѣшу слушать — и слышу храпѣніе Макашиной, вижу

все ту же пустую келію! Ужасно. Невозможно писать, минуты нѣтъ. Приѣхавши сюда, я еще ни разу не брала въ руки твоихъ писемъ, комната моя почти проходная, подлѣ нея *они* сидятъ весь день, но, вѣдь, придетъ же пора!..

25-е. Такъ пройдутъ эти три мѣсяца туманные, одинокіе; въ нихъ должна душа моя омыться совершенно; взойдетъ ясное солнце, и она засіяетъ ясномъ звѣздою. Жизнь моя здѣсь подобна жизни цвѣтка долины, брошеннаго судьбою въ глушь между дикою травою; тѣсно ему, душно; но онъ все клонится къ родимой сторонѣ, тянется къ небу и видитъ его, и пьетъ его лазурь, его свѣтъ; растеть имъ, цвѣтеть имъ... кругомъ меня дикія растенія — крапива, полынь, репейникъ давятъ меня... но я тянусь къ моему небу, вижу его, дышу имъ, имъ жива, для него живу... О, небо мое!

26 е. Прошай, другъ мой, завтра посылаютъ въ Москву; какъ жду я возврата, навѣрно мнѣ пришлютъ твое письмо. Полинѣ salut d'amitié. Что всѣ твои друзья? Витбергу отъ меня челомя и душою. Это ужасно, ежели мнѣ нельзя будетъ писать тебѣ всѣ эти мѣсяцы; будемъ тверды! Еще ни одна туча не затмѣвала того вѣнка, который сплели для насъ ангелы: Такъ прошу тебя, милый, не безпокойся, ежели получаешь отъ меня письма меньше и рѣже; видишь ли, когда рано утромъ Мазашина спитъ, мнѣ можно писать, а ежели нѣтъ—нельзя, а ужъ днемъ и говорить нечего. Ну, мой ангелъ, прощай же! Цѣлую тебя...

Твоя *Наташа* во вѣки вѣковъ.

18-е іюня.

И Ангелъ мой! Ты, вѣрно, сердился на меня, я виновата, давно не писалъ къ тебѣ. Душа моя, сестра, Наташа, не сердись, дай твою руку поцѣловать. Я былъ въ большихъ хлопотахъ. Нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ я раскорился съ здѣшнимъ губернаторомъ, надобно замѣтить, что это высшій предѣлъ злодѣя и мерзавца. Вотъ тѣ неприятели, о коихъ я тебѣ писалъ нѣсколько разъ; послѣднее время я сталъ почти въ явную оппозицію противъ него; я—сосланный, и онъ—губернаторъ. Но есть Богъ,—онъ выгнанъ изъ службы «за беззаконное управленіе губерніею». И, слѣдовательно, торжество на моей сторонѣ. Теперь дышать легче, теперь прекратились гоненія Мед., ибо этотъ злодѣй былъ ея врагъ, и что онъ дѣлалъ противъ нея, это непостижимо честному человѣку.

Всѣ эти гадости занимали время и утомляли душу, я не стоялъ того, чтобъ писать къ тебѣ. Ангелъ, теперь все кончено. Итакъ—Богъ съ нами.

Ей Богу, есть возможность со всякимъ днемъ любить тебя болѣе и болѣе. О, подруга, небомъ посланная, взгляни на эту слезу, это слеза благодарности тебѣ отъ твоего Александра. Твое письмо отъ 17 іюня унесло меня совсѣмъ съ земли. Я вижу по всякому письму, какъ ты растешь, какъ небесно развивается душа твоя; кажется, тутъ уже предѣлъ совершенства чѣловѣческаго, а ты черезъ недѣлю еще выше, еще святѣе. Потому что я, чловѣкъ, хочу мѣрять ангела землею.

Сколько разъ твоей дивной высотой ты заставляла меня краснѣть, и теперь опять; но это не унижаетъ, нѣтъ, это придаетъ мнѣ новыя силы... Какъ ты холодно смотришь на всѣ эти отношенія практическаго міра, на эти маленькіе успѣхи... А я радовался, но это не отъ души. Наташа! Я былъ сгнетенъ этими гадкими людьми, и вдругъ мнѣ явилась свѣтлая полоса. Великій поэтъ оцѣнилъ меня, надежды заблестали, и я радовался,—такъ еще я малъ и ничтоженъ. Но

ты высокая, тебѣ недоступны эти рукоплесканья. Повторяю, веди меня, веди какъ путеводная звѣзда,—я уступаю какъ сильнѣйшему, какъ высшему: вотъ твой Александръ, онъ свою судьбу владеть въ твои руки, вѣдь, ты Богомъ послана ему; итакъ, покоряясь Богу, я долженъ вѣрить тебѣ. Нѣтъ, Наташа—ни словъ нѣтъ, ни выраженій—я готовъ броситься на колѣни и безмолвно молиться на тебя. Ты, ты мнѣ все, все—поэзія, религія, все небесное начало души, искупленіе. Вотъ этой-то необъятной любовью я и равенъ тебѣ, сестра!

Великій Боже! За что Ты далъ мнѣ столько, давъ ее; больше Ты, всемогущій, не можешь дать никому. Да, да, ты права, это тѣло мѣшаетъ. Просторъ, просторъ, и я наполню все безпредѣльное пространство одной любовью. Прочь тѣло. Какъ горитъ мое лицо; посмотри во всѣхъ чертахъ любовь къ тебѣ, и въ сердцѣ любовь къ тебѣ.

Наташа! Ну, что ежели я сойду съ ума, когда увижу тебя; душа человѣческая не можетъ вынести столько счастья.

Я очень радъ, ежели ты въ Загорѣ, ибо очень понимаю, какъ непріятны эти показы, эти женихи, и эти искатели жениховъ. Скажи имъ, ежели случится, что ты желаешь узнать мое мнѣніе, пусть ко мнѣ напишутъ. Я опять начинаю думать, что сломя непреклонность пап[еньки].—И я часто бываю за городомъ; недавно я отправился въ поле въ часъ ночи; здѣсь начинается разсвѣтатъ въ 12 часовъ, т.-е. совсѣмъ ночи нѣтъ въ маѣ и іюнѣ.

На высокой горѣ, передъ которой разстиралась необозримая даль, рѣка, деревни, горы,—на высокой горѣ встрѣтилъ я восходящее солнце, и свѣжій воздухъ утра свѣялъ мрачныя мысли. А звѣзды не было съ солнцемъ, твоей звѣзды.

Ты говоришь: «я твое созданье. любуйся имъ!» Съ какимъ восторгомъ читалъ я эти слова. Вотъ такъ, такъ будь, моя высокая дѣва; да, я буду любоваться тобою, и не есть ли это вся моя жизнь! «Созданье»—и такъ, и нѣтъ. Впрочемъ, созданіе поэта, плодъ минуты откровенія и восторга часто бываетъ лучше самого поэта. И поэтъ только потому высокъ, что могъ въ груди своей дать мѣсто такому восторгу.

Ты какъ-то писала, что любишь верховую ѣзду; я и нынѣшній годъ опять началъ свои прогулки. Прекрасное чувство утромъ рано, совершенно одному, опускающая поводья, шагомъ ѣхать по полю; здѣсь мѣсто очень гористое, непрерывно мѣняются виды, и такъ просторно мечтать, думать о тебѣ.

19-е іюня. Статью мою I. Maestri кончилъ, надняхъ исправляю, а поелику вы изволили приказывать мнѣ быть дѣятельнымъ, то о семъ честь имѣю вамъ рапортовать, милостивая государыня Наталья Александровна.

20-е іюня. Ну, не дивно ли, Наташа! Вотъ юноша пылкій, пламенный; огромный гипподромъ открытъ передъ нимъ, онъ полонъ надеждъ, силенъ какъ-вѣмъ-то пророчествомъ, увлеченъ дикими страстями, которые еще не привыкли тѣсниться, скрываются въ груди, гордъ, независимъ, ничему не покорится, все хочетъ себѣ покорить, самолюбивъ, слава—его цѣль, міръ идей—его міръ. Что можетъ этого юношу покорить, обуздать? Несчастія, — онъ ихъ принимаетъ за испытаніе, за закалъ души; счастье — это данъ ему, онъ его принимаетъ какъ заслуженное. Этотъ юноша—я.

При самомъ началѣ юношества встрѣчаетъ онъ ребенка, оставленнаго всѣми, несчастнаго, котораго первое воспоминаніе — гробъ, котораго первое впечатлѣніе—гнѣтъ постороннихъ людей. Онъ его встрѣчаетъ со слезою на глазахъ, въ траурномъ платьѣ. И юноша проходитъ, страсти не дозволили ему видѣть ангела

въ этомъ ребенкѣ. Бурная жизнь влечетъ его, ломаетъ, жжетъ и бросаетъ въ тюрьму. Кто скажетъ, что этому ребенку предоставлено будетъ пересоздать юношу? Да, я вполнѣ не понималъ тебя, Наташа, до 9 апрѣля. Я слишкомъ близко стоялъ, чтобъ видѣть твою предель, твою изящность. Тамъ, въ каменной зачугѣ, я перебралъ всю свою жизнь, и вся моя жизнь дала мнѣ два воспоминавiя—тебя и Ог. Мнѣ надѣбно было уѣхать за полторы тысячи верстъ, оглянуться оттуда, чтобъ ангельскiй образъ твой, чтобъ небесная душа твоя раскрылась мнѣ. Мнѣ надо было снять повязку юношескихъ сатурнальнѣхъ глазъ, чтобъ оцѣнить серафима чистоты. Это мнѣ напоминаетъ старинный случай. Въ Аѳинахъ заказаны были двѣ статуи Минервы, одна великому Праксителю, другая какому-то ваятелю. Оба выставили свои произведенiя. Народъ бѣжалъ къ статуѣ неизвѣстнаго, восхищался прелестной отдѣлкой, а на Праксителеву не смотрѣлъ никто, она едва была изсѣчена, груба. Обѣ статуи поставили на колонны, тогда все пережѣнилось. Мелочи и мелкiя красоты исчезли отъ дали; а божественное выраженiе статуи Праксителя подавило величiемъ и красотой. Ей надо было удалиться отъ толпы, стать ближе къ небу, не рядомъ съ нею, чтобъ толпа поняла ее. И не смотрю ли я теперь на тебя, какъ народъ на статую Праксителя, не вверхъ ли подымаю голову, не къ небу ли смотрю, когда думаю о тебѣ, не на тверди ли этой ищущи твои черты, и не оттуда ли сiяешь мнѣ ты любовью и улыбкой? Ангель! ангель!

21-е iюня. Помнишь ли, какъ въ старыя годы я бранилъ тебя за притворство передъ княг[иней], а самъ я научился теперь такъ притворяться, такъ хитрить, что самому смѣшно. Дѣло въ томъ, куда живешь съ людьми, иначе поступать нельзя—не дать же имъ на поруганiе свою чистую, святую мысль.

23-е iюня. Вотъ твое письмо отъ 9—оно грустно, печально. Нѣтъ, нѣтъ, Наташа, ты должна быть моя, безъ условiй, безъ оговорокъ, моя—какъ моя душа, какъ мое сердце. Проклятiе, что такое проклятiе и тамъ, гдѣ благословляетъ Богъ! Черно на душѣ, тяжело... Кончи, я умоляю тебя, споры, эту исторiю съ женихами; но кончи ее осторожно, какъ знаешь.

Ты пишешь, что могла бы теперь безъ взгляда на меня покинуть землю. Вѣрю, тебѣ родина—небо, тебя ждетъ тамъ привѣтъ, родная семья. Съ восторгомъ вознесся Христосъ къ Отцу своему, но скорбь осталась въ душѣ учениковъ. Что же я останусь здѣсь безъ тебя; я не вынесу и, ежели останусь живъ, то для того, чтобъ въ мiрѣ раздавался еще отчаянный звукъ страдальческой души.

Ты не вѣришь въ наше соединенiе; ежели я въ это буду не вѣрить, то... то я сдѣлаю мерзавцемъ. Нѣтъ мнѣ неба, добродѣтели безъ тебя, Наташа, милая Наташа, сестра! Богъ отдалъ мою судьбу въ твою дѣвственную руку. Можешь ли ты располагать послѣ этого собою, какъ ты явишься *туда* безъ Александра?

Да что же не ѣдете въ деревню?

Прощай, надеждъ на мое возвращенiе тьма. Горе, подожди, дай пройти одному несчастiю, потомъ уже приходи руками родительскими рвать сердце.

Обнимаю тебя, нѣтъ, это слишкомъ много, гляжу, гляжу на тебя, и въ этомъ взглядѣ все, чего нѣтъ въ письмѣ.

Твой Александръ.

Полина кланяется.

И примѣрно не знаю, которое число.

Сейчасъ прочелъ я «Увдину» Жуковскаго—какъ хорошъ, какъ юнъ его гений! Я пришлю ее тебѣ. Вотъ два стиха, служащіе лучшимъ выраженіемъ моего прошлаго письма, продолженіемъ его:

Въ душевной долинь волна печально трепещеть и бьется.
Влившись въ море, она изъ моря назадъ не полетится.

Мы два потока: ты — широкій, ясный, отражающій вѣчно голубое небо съ солнцемъ, я — бурный, подмывающій скалы, ревущій судорожно; но однажды слитые, не можетъ быть раздѣла. Пусть люди дѣлаютъ, что хотятъ, *волна назадъ не полетится*. А ты, ангелъ, дала мѣсто какому-то сомнѣнію въ душѣ твоей. «Я потеряла вѣру въ наше соединеніе», пишешь ты; посмотри, какъ что-то страшное, чудовищное выглядываетъ изъ-за этихъ словъ... какъ оно сильною рукой отбрасываетъ меня въ сторону, тебя съ другую. Наташа, не давай мѣста этому голосу въ душѣ твоей—онъ убійствененъ.

Мой *Maestri* исправленъ, эта статья очень хороша. Я вообще эти дни порядочный человекъ, т.-е. живу больше за письменнымъ столомъ, нежели съ людьми. Нѣтъ, я не утратилъ надежды на скорое свиданье, но всѣмъ вѣроятностямъ, оно не можетъ замедлить долго, тогда я самъ прочту тебѣ мои статьи и во всѣхъ ты найдешь себя, ангела-хранителя моей души. Странная вещь, какъ на насъ дѣйствуетъ практическій міръ: кажется, въ немъ все такъ мелко, такъ лишено средствъ дѣйствовать на душу, а между тѣмъ крошечные опыты осѣдаютъ больше, больше и въ минуту экспансивности, въ минуту, когда хочешь людямъ передать свой опытъ, огромный кристалль уже составленъ въ душѣ изъ песчинокъ, ни одной не пропало, всѣ тутъ, всѣ сливаются въ одно тѣло. Душа, умѣющая понимать, ничего не теряетъ, и давно забытое при случаѣ выходитъ, какъ привидѣніе изъ гроба. Эта статья I. *Maestri* — первый опытъ прямо рассказывать воспоминанія изъ моей жизни, и она удачна. *Встрѣча*, которая у тебя,—частный случай; эта уже захватываетъ болѣе и представляетъ меня въ 1833, 1835, 1837 году, годы, отмѣченные въ ней тремя встрѣчами: Дмитріевъ, Витбергъ и Жуковскій. Ты писала мнѣ съ мѣсяцъ тому назадъ, чтобъ я занялся моей прошлой жизнью, вотъ исполненіе. До двухъ предметовъ я боюсь дотронуться: 40 дней поста и молитвы должны бы предшествовать этому труду. Ты и Огаревъ—вы являетесь у меня какъ идеаль, какъ фантазія; нигдѣ не осмѣлился я описать *ваши примѣты*. Дѣло рѣшеное, повѣсти—не мой родъ. Тамъ рѣшительно, какъ видно, смертный приговоръ ей, заклеивать окна на зиму. Я перечиталъ *Лесиду* и помирился съ нею; это документъ моего перелома передъ 9 апрѣлемъ.

Теперь набралось у меня статей на маленькую книжку; но еще не рѣшаюся скоро печатать, надобно больше сдѣлать, а то отдать людямъ на поруганье такіа святыя страницы изъ жизни больно, какой-нибудь важный трудъ долженъ имъ служить рекомендательнымъ письмомъ. Тогда я ихъ издамъ подъ заглавіемъ «*Юность*». И посвящу тебѣ и Огар. Вамъ посвящена и душа моя; надѣюсь, не поссоритесь за это череполозное владѣніе.

29-е июня. Боже мой, не могу безъ ужаса вздумать, какимъ ты непріятностямъ подвержена теперь. И сколько ни думаю, сколько ни ищу, нѣтъ средствъ помочь, поправить.

Ежели явно съ ними разсориться — что я не считаю за худшее — то куда дѣться? въ Петербургъ къ А. А. — моего согласія на это нѣтъ, это челоѡкъ бездушный, ежели скромный жизнью, то развратный душою; я его очень знаю, дай Богъ, чтобъ ты, мой ангелъ, никогда не была въ соприкосновеніи съ этими испорченными людьми. Онъ по теоріи безнравственный челоѡкъ и по душѣ холодный эгоистъ. И что за образъ жизни? Нѣтъ, нѣтъ, дальше отъ этихъ людей. они запылять тебя. Итакъ, что же? По-моему, въ самомъ крайнемъ случаѣ монастырь лучше, вѣдь, жизнь тамъ начальная не обязываетъ ни къ чему. Воля заниматься, воля видѣться, и тутъ что-то есть возвышающее душу. Да, у тебя есть сестра, не знаю почему, а я ее не люблю; *три поступка* могутъ громко обвинять челоѡка, но и къ ней лучше, нежели къ А. А. Свѣтская, пустая женщина не можетъ имѣть ни малѣйшаго вліянія на тебя. Тебѣ можетъ странно мое мнѣніе объ А. А.

Я буду у него очень часто въ Петербургѣ, мнѣ что? Моей душѣ ни опыта прибавить нельзя, ни погрести ее, я и въ трактирѣ бывалъ часто, и гдѣ я не бывалъ. Разумѣется, я очень знаю, что и на тебя онъ не можетъ имѣть вреднаго дѣйствія; но его теоретическая безнравственность дунеть ядомъ на твою душу, она покажетъ тебѣ образъ мыслей, который ты не должна знать. Къ сестрѣ лучше; но возьметъ ли она? Это не продолжать разлуку, — я буду скоро послѣ возвращенья въ Петербургъ. Напиши же на все это подробно твое мнѣніе. Прощай, ангелъ мой!

30-е *юля*. Ты въ деревнѣ — слава Богу, душѣ стало легче. О, Наташа, какъ пламенно, какъ безгранично я люблю тебя.

Твой Александръ.

Загорье, іюня 29-е. Понед.

Александръ, о, мой Александръ!..

На что слова!.. Забудь землю, обрати взоръ туда, высоко... За облаками, за лазурью ты увидишь голубя: какъ снѣгъ на солнцѣ, сіяютъ его перья, радушно искрятся и переливаясь; услышишь — онъ воркуетъ о царствѣ небесномъ, которое въ немъ, вокругъ него; счастьемъ своимъ, блаженствомъ онъ близокъ къ Богу; онъ не летитъ выше, для него *выше* нѣту, во взорѣ его отражается Его око и твой взоръ, онъ тихо вѣетъ крыльями, и съ нихъ летаетъ небесный свѣтъ, сыплются искры на избранныхъ, — онъ вмѣсто словъ. Ангелъ мой, вчера получила твое письмо (отъ 7 с. м.). На одномъ изъ прежнихъ твоихъ писемъ (10-е апрѣля 1835) видны слѣды безмѣрной горести, на этомъ останутся слѣды неизгасимаго восторга, когда-бъ мы ни увидѣлись съ тобой, ты увидишь эти слезы, онѣ расскажутъ тебѣ громче и краснорѣчивѣе пера. Знаешь ли, ангелъ, ты неожиданно подарилъ меня въ своемъ письмѣ? Послѣ расскажу, теперь невозможно. едва вожу перомъ; хотя еще 5 часовъ утра, а ужъ Мак. не спитъ — *страшно!*.. О, мой Александръ!..

30-е. О, если-бъ зналъ ты, если-бъ я могла пересказать тебѣ все... Да, ты подарилъ меня неожиданно: при мысли о томъ блаженномъ, святомъ *тогда* — являлась мысль другая, земная — о людяхъ; мнѣ казалось, они, какъ облака на солнцѣ, будутъ бродить въ нашемъ будущемъ; мечтала объ уединеніи, уединеніи съ тобою!.. на всю жизнь, о, что такое намъ время? Нѣтъ, я мечтала именно о томъ, что ты писалъ мнѣ нынѣ, и не смѣла сказать тебѣ этого; на берегу моря. въ Божьемъ цвѣтникѣ, далеко отъ суеты, шума, ропота, камней, людей, на землѣ

— далеко земли — сказать тебѣ: «Александръ мой! люблю тебя». Обнять тебя, посмотрѣть на тебя и... и отдать небу то, чѣмъ земля недостойна обладать. Знавъ, что ты любишь славу, я не смѣла молвить тебѣ объ уединеніи; вообрази же, что со мною стало, когда я читала твое письмо!.. О, ты! для кого нѣтъ словъ, нѣтъ имени на землѣ... о, пусть снидуть съ неба ангелы и небесной гармоніей изольютъ тебѣ небесное души моей! — Что такое намъ *теперь*? Что намъ эти цѣпи, тюрьма, изгнанье, угрозы и самыя препятствія?.. Оно придетъ, оно будетъ наше, мы купимъ его нашимъ терпѣньемъ; не будемъ же, другъ, жалѣть платы! — Все надо мной ничтожно, на все смотрю, какъ на черный сухой прутикъ, который легко переломить; ничего не боюсь; Его десница. любовь — ведутъ меня этимъ путемъ, и я люблю мой страданія, люблю мой тернистый путь, онъ ведетъ къ Нему, къ тебѣ!.. Прочитай твое письмо, я пошла въ поле, — что за ощущенія! Сколько я чувствовала свободы, воли, какъ жалки и малы казались мнѣ они; я все забыла, ни о чемъ не думала, душа моя подобна была этому чистому, обширному полю, въ ней волновалась одна нива, нива, посѣянная тобою!.. Какъ тихо, вѣтеръ не колыхнетъ ни былинки, небо грозно, но молчитъ, птицы не поютъ, онъ въ умиленіи внимаютъ гимну души моей, онъ вмѣстѣ съ нею посылаютъ тихую, но пламенную молитву. — Невыносимо быть дома съ этими чувствами!

1-е июля. Ты пишешь, что тебя оскорбляютъ ожидающія насъ непріятности. Александръ, ты ли пишешь это? Говорю тебѣ, мой ангелъ, не будемъ жалѣть платы, истощимъ силы, терпѣніе! Будетъ время, снова запасемся. И для чего же заранѣе бояться, а *Онъ*?.. Нѣтъ, видя надъ собою столько Его милости, столько любви, я не боюсь людей, еще менѣе ихъ угрозъ, ихъ гнѣва, — развѣ они могутъ перевѣсить благость Его? Нѣтъ! Они сильны, могущественны, но развѣ могутъ долго бороться съ Богомъ? Нѣтъ! Итакъ, что жъ страшнаго? Со всей любовью навстрѣчу имъ!.. Зачѣмъ въ письмѣ твоемъ это *оскорбляютъ*, зачѣмъ оно въ твоемъ сердцѣ?

3-е. Каждый день, восьмой и девятый часъ, я придумываю, гдѣ ты, что дѣлаешь, что думаешь? такъ ли ясно твое небо, какъ мое, смотришь ли ты на золотой западъ со мною вмѣстѣ, иль, провозжая взоромъ тучи, думаешь: «когда-то онъ пройдетъ?..» Но съ чего же я назначила этотъ часъ для свиданія и бесѣды душъ нашихъ, — будто мы можемъ когда-нибудь думать другъ о другѣ болѣе или менѣе?.. Вся наша разлука — непрерывная встрѣча, непрерывное свиданіе, бесѣда! Часто, мой другъ, глядя на струйки рѣчки, я воображаю какъ *тогда, тамъ, съ тобою!*..

Посмотримъ, послушаемъ море; о, оно должно быть грозно; мы не увидимъ его тихимъ, спокойнымъ; нѣтъ, пространствомъ своимъ, глубиною оно будетъ спорить съ нашею любовью, и гордый великанъ, чудо людей, любимецъ природы — капля предъ нею! и тшетны его шумъ, волны, пѣна, — небо не меркнетъ, не колеблется, а благодатное ясно смотреть на него, покрываетъ его, и другое море, и третье, и безчисленные...

Я не могу вполне обнять настоящаго; всѣ непріятности, которыя не имѣютъ на тебя вліянія, скользятъ мимо моего вниманія. Последнее время, мнѣ кажется, я выросла еще болѣе, мой Александръ. О, если-бъ я *жила* на землѣ, среди людей, если-бъ я была часть этой земли, этихъ людей, — я-бъ изныла, измучилась, давно бы превратилась въ прахъ; но твоя любовь, мой Александръ, столько дастъ мнѣ счастья и блаженства, столько силы, воли, что земля и люди не мо-

гутъ привлечь меня, я не вижу, не слышу ихъ, имъ земныя поля предѣль. — я высоко за лазурными полями; все Его величіе, весь свѣтъ открыты моему взору, будто кругомъ меня хоры ангеловъ, будто я на рукахъ у Бога! Спокойно смотрю я на смущеніе людей, ихъ труды, ихъ замыслы, ихъ громадныя стѣны между нами; въ высотъ обнявшись съ тобою, покойно смотрю, какъ они разлучаютъ насъ, не догадавшись взглянуть вверхъ; да если-бъ и взглянули... Придетъ время, Онъ велитъ, и съ рукъ *Его* я сойду на твои руки!.. Душа моя, Александрь!..

4-е. Какая холодная мысль станеть между тобой и папенькой? Да, голосъ сильный, святой и мой голосъ скажутъ тебѣ: «онъ твой отецъ, онъ много для тебя сдѣлалъ»; но какой же голосъ скажетъ: «онъ единственное препятствіе твоему счастью». Ужели между нами, между мною и тобою, есть кто. кровъ Бога? Ужели мы встрѣтимъ препятствіе въ папенькѣ, Богъ намъ препятствуетъ. И можетъ ли *любовь* родить *мысль холодную*, между кѣмъ-же? Между отцомъ и сыномъ... О! вѣтъ, Александрь, пусть вѣкъ у тебя будетъ отецъ, пусть вѣкъ ты будешь ему сыномъ, пусть въ *родимъ* ты найдешь родныхъ!..

6-е. Да, я выросла, стала мужественнѣе, и любовь обороняетъ меня отъ всѣхъ нападеній и ударовъ; Самъ Господь утѣшаетъ меня въ разлукѣ съ тобою, мой ангелъ, я чувствую неизяснимое наслажденіе выносить невыносимое изъ покорности воли Его... Ты понимаешь меня, Александрь, ты душа моя, одно съ душою Наташи, твоей душою; другіе не поймутъ, скажутъ — невѣроятно, невозможно; да, для нихъ это и невозможно, ибо любовь къ землѣ не можетъ быть вмѣстѣ съ любовью къ Богу, а любовь къ тебѣ, къ Нему — одна! и потому я люблю тебя любовью, которой ничего нѣтъ выше, отдала-бъ жизнь за одинъ взглядъ твой. люблю нашу разлuku, люблю наши страданія... Страдай, Александрь!

Ночь. Со всѣмъ этимъ бывають мгновенья, — хотя очейъ рѣдко, но бывають: меня вдругъ обдаетъ холодомъ, будто невѣдомая сила увлечетъ меня въ преисподнюю, но тотчасъ, въ ту же минуту улетаю въ рай. Самый ангелъ не устоялъ бы на моемъ мѣстѣ; представь себѣ дурную погоду, страшную стужу, вѣтеръ, дождь, пасмурное какое-то безъ выраженія небо, прегадкую, маленькую коммату. изъ которой, кажется, сейчасъ вынесли покойника, три старухи, заснувшія въ картахъ и пробуждающіяся для одной глупости, для блинговъ или для негѣнаго слова... И тутъ-то, съ ними-то провести нѣсколько часовъ, дней, мѣсяцевъ... Я ничего не вижу, не замѣчаю, но не знаю, что заставляетъ иногда меня взглянуть на *это*, кровь леденѣть, мнѣ кажется, я скоро задохнусь... но, обернувшись туда, на сѣверо-востокъ, на отверзтыя врата неба на твои отверзтыя объятія, душа уже согрѣта и летитъ, летитъ и обнята небомъ, обнята тобою!..

8-е. Я совсѣмъ, было, забыла о женихахъ, будто ничего и не было, да папенька напомнилъ; онъ пишетъ къ к[нягинѣ] въ послѣднемъ письмѣ, что ежели я *заслужу* своимъ поведеніемъ, онъ дастъ мнѣ при замужествѣ десять тысячъ и вмѣстѣ съ этимъ предлагаетъ *кого-то*. Но, повидимому, меня съ тѣхъ поръ, какъ взяли, — поили, кормили, одѣвали и учили только на словахъ, *такъ* и заучу отдадутъ; ну, пусть же ихъ говорятъ!

Грустно мнѣ, ни о Emilie, ни о Сашѣ вѣсти нѣту, гдѣ онѣ, что? Не званъ богѣ мѣсяца. Кто-бъ ни сказалъ, глядя на меня теперь: «несчастливая, со всѣмъ разлучена!» И всякій бы ошибся, — все со мною! Но цѣлымъ часамъ друзья мои сидятъ вокругъ меня, и бесѣда наша пламенна, краснорѣчива, хотя и глупа. Но всѣхъ ближе ты со мною, ангелъ мой, всѣхъ чаще, долѣе; онѣ передъ тобою, какъ звѣздочки передъ солнцемъ.

9-е. Когда ты видишь меня во снѣ, проснувшись, неправда ли, хочешь сыскать меня, взять за руку и рассказать, что видѣлъ во снѣ, и чего-то ждешь и оглядываешься на подушку, не остался ли на ней тотъ образъ!.. Такъ бы и я ждала твою руку, глядя-бъ въ твои очи, рассказала сонъ мой; о, Александръ, о, мой ангелъ, о, моя жизнь! Порадуйся со мною, перекрестись со мною,—я видѣла тебя во снѣ! Будто садъ, деревья прелестныя, такихъ не видала наяву, аллея, и тамъ ходили мы съ тобою, мы мало говорили, почти ничего, ты смотрѣлъ на меня, я на тебя... зачѣмъ же проснулась я?..

Ты писалъ о смерти,—не боюсь я смерти, но когда вижу покойника, сердце полно болѣе, нежели грустью, какое-то неопредѣленное, тяжелое, мрачное чувство обнимаетъ его, и тогда мнѣ страшно, что я такъ далеко отъ тебя, страшны холодныя объятія смерти; но когда не вижу ни гроба, ни могилы, покинула-бъ землю, кажется, тогда-бъ была ближе съ тобою.

Ночь. Ты хочешь взглянуть на Востокъ, Индію, Египетъ,—поѣдемъ, только послѣ Италіи, покажи мнѣ сперва страну поэзіи, любви, молитвы; я люблю природу, понимаю ее, преклоняюсь предъ величіемъ ея въ малости, покажи мнѣ ее—красавицу, съ морями, горами, вѣчно цвѣтущую, природу, поющую гимны, исполненную молитвы и любви, сходную съ нашею душою! О, мой Александръ! Третій годъ истекаетъ... 1834—юля 20, третій годъ непрерывной надежды и разувѣренья! Дай руку твою, поддержи голову мою, утверди сердце, укрѣпи. Другъ мой!..

10-е. Какъ было я ждала завтрашняго дня, сегодня хотѣли послать въ Москву, а вмѣсто того отложила еще до будущаго воскресенья. Твое послѣднее письмо отъ 9 юня, — вотъ ужъ мѣсяць нѣтъ извѣстія... Это ужасно. Иногда жизнь мнѣ кажется тяжелымъ сномъ, но это только, какъ долго нѣтъ отъ тебя, и тогда... о, тогда! Какъ малъ человѣкъ, все ему надо матеріальныя доказательства! Да, иногда я не смѣю сказать: твоя Наташа.

14-е *юля.* Жалуюсь тебѣ на себя; всѣ эти дни овладѣла мною тоска; три недѣли отъ тебя не получаю, даже выговорить тяжело, не только перенести, а потомъ... О, Александръ, повѣй на меня, ангелъ мой, вдохни силы, твердости,—иногда ихъ во мнѣ мало, очень мало. Нѣтъ, не лучше мнѣ нынѣшнее лѣто здѣсь; я вовсе не хотѣла тебѣ писать этого,—не могу! Давно обнимаетъ насъ вмѣстѣ радость и горе, пусть обниметъ вмѣстѣ рай или адъ!..

Вообразить себѣ нельзя, что это такое, хуже тюрьмы и цѣпей, тамъ свободно вздыхаютъ, молятся, я не могу глазъ поднять на небо. Повторяю, всѣ истязанія — мнѣ ничто, а ежеминутно, непрерывно видѣть столько глупостей, гнусностей, ежеминутно и непрерывно!.. Мнѣ становится страшно съ ними, а, право, иногда *они* хуже самихъ себя! Я выхожу отъ нихъ больная, усталая, кажется, чуть жива; портретъ бы твой, письмо бы твое — нельзя! уйти бы въ садъ, въ лѣсъ хотъ, въ поле, въ мое любимое поле,—я и пойду, но это шагъ за шагомъ, за *ними*, о, тогда похоже ли это на отдыхъ? Нѣтъ, скорѣе на переходъ колодниковъ изъ тюрьмы въ тюрьму. Но я не совсѣмъ изнемогла, о, нѣтъ! Будь въ десять разъ хуже (ежели можетъ быть хуже), душа не истощится; приготовься къ пенямъ, къ моралямъ, упрекамъ, брани, я урвусь отъ нихъ, сбѣгу внизъ къ рѣчкѣ, сяду на послѣднюю ступеньку, чтобъ меня изъ дома не видали, отолью изъ сердца тяжелую горестъ въ крупныхъ, горячихъ слезахъ, сложу у подножія престола *Его* съ груди камень, скажу громко—о, ты вѣрно слышишь! Скажу: Александръ, и будто все пережьнится кругомъ меня, во мнѣ; опустя

глаза, долго я созерцаю тебя, забывъ землю и небо, потомъ медленно, съ благоговѣніемъ произношу: мой Александръ!.. И новый міръ предо мною, новая жизнь во мнѣ, новая душа, о, отецъ мой, мой жизнедавец!.. Я бы провела тутъ нѣсколько сутокъ, не сходя съ мѣста, не поднимая глазъ, вотъ какъ та роза: третій день она стоитъ наклонившись и, кажется, молитвой вѣтетъ отъ нея, но нѣтъ, меня вырываютъ, ведутъ въ тюрьму, къ нимъ... Прощай, мой ангелъ, надежда моя.

16-е. Вчера меня послали гулять съ Макаш. Не смотря ни на что, я ушла отъ нея далеко, чтобъ не видать ее, не слышать шелеста шаговъ ея, спряталась за дерево и долго стояла тутъ. Направо — солнце, влѣво — церковь, прямо — яхонтъ неба и изумрудъ полей; но недолго я ими любовалась, недолго чувствовала ароматный воздухъ вечера и прохладный вѣтерокъ, все исчезло!.. Александръ, я снова выросла; мнѣ необходимъ *взоръ на небо*; слетая на родину, я сношу съ собой оттуда надежду, силу, терпѣнье, сношу образъ ея, и онъ въ душѣ до тѣхъ поръ, пока снова не обрушится на меня земля со своими камнями и наѣкомыми. Чаще эти часы, чаще возвращеніе на родину, и меня пылинка не коснется. О, другъ, придетъ это *тогда*, и оно все будетъ *взоръ на небо, возвращеніе на родину!* Жду твоихъ писемъ, я получу ихъ наканунѣ 20-ю. наканунѣ того дня... но прощай же, руку!

Твоя Наташа.

Я надѣюсь на скорое свиданье съ Еміліе; въ газетахъ читала, что тѣ, у кого она живетъ, ѣдутъ за границу, такъ она, вѣрно, не замедлитъ пріѣхать въ Москву, а оттуда какъ-нибудь ко мнѣ; эта мысль меня утѣшаетъ.

18-е. Ѣдутъ. Еще тебѣ поцѣлуй, моя душа. Полинѣ, Эрну, Витбергу поклонъ отъ души.

3-е іюля.

Ты въ деревнѣ, ангелъ мой, я сталъ немного спокойнѣе. Живите же дружно, ты и природа, вы обѣ такъ изящны, такъ хороши. Милая сестра, другъ мой! Ты отдохнешь эти два мѣсяца отъ гадостей ихъ, зачѣмъ не можешь склонить утомленную голову на мою грудь, отдыхать на ней. О, Наташа, какъ бы я берегъ тебя, вѣтеръ бы не смѣлъ дунуть на тебя! Мнѣ, знаешь ли, что иногда приходитъ въ голову, ты слишкомъ небесна для земли, что въ то время, какъ я раскрою объятія, ты исчезнешь; это сходно съ твоей мыслью о смерти, съ твоей ненавистью къ тѣлу, — хорошо. ежели и я тогда умру, а разлука ужасна; но ты будешь оттуда свѣтить на меня, ты восторгъ пошлешь въ мою душу отъ подножія престола Его. Но какъ же я буду жить безъ моей души: я теперь считаю свою душу однимъ матеріальнымъ выраженіемъ твоей души. Боже, Боже, какъ ты свѣтла, не ярко, не ослѣпительно, это бы подавляло, — да, ты теперь ужъ не человекъ. Я ничего хуже не могу себѣ представить, какъ тебя *моей женою* въ ихъ смыслѣ. Я въ тебя перенесъ все святое, все изящное, отъ тебя я жду одушевленія, твоя рука поведетъ меня землею, поведетъ на небо, и вдругъ *ты моя жена*. Будто высокое таинство бракосочетанія только для тѣла, тѣлу не нужно таинства, бракосочетаніемъ исполнится воля Бога, душа твоя и моя сольются въ *одну* душу, не твою и не мою, подъ благословіемъ Его. Приходи же, благодатное время гармоніи и блаженства, не все же бороться! Люди, не отнимайте отъ меня ангела, подареннаго мнѣ Богомъ.

4-е июля. Ежели будетъ какая-либо возможность, я тотчасъ пришлю тебѣ I. Maestri; эта статья несравненно выше всего, писаннаго мною, — это живое воспоминаніе, горячій кусокъ сердца. Совѣмъ чужіе люди были увлечены до слезъ, — вотъ моя награда; но какая награда ждетъ, когда ты будешь ее читать. Несмотря на заклятіе, повѣсть опять бродить въ головѣ. Попробую. Я самъ чувствую, что перо мое стало сильнѣе, фантазія свободнѣе, — рядъ страданій, рядъ опытовъ образовалъ его. Путешествіе должно служить мнѣ послѣднимъ окончательнымъ развитіемъ. Теорія все-таки мертва, своими глазами надобно видѣть, своей рукою дотрогиваться. И мы будемъ вмѣстѣ. Я буду смотрѣть на людей, ты на природу. Я буду слушать стонъ, ты — гимнъ. Это будетъ — клянусь, будетъ. Вѣдь, много лѣтъ еще передъ нами.

6-е июля. Тѣмъ странныхъ мыслей занимала меня весь день. Сначала думалъ я вотъ о чемъ: любовь есть единственно возможный путь къ восстановленію человѣка, именно, какъ ты нѣсколько разъ выражалась, два человѣка, потерянные другъ въ другѣ, любовью составляютъ ангела, т. е. выражаютъ во всей чистотѣ перваго человѣка, возвращаются къ тому единству, которое уничтожаетъ бореніе. Двойство — всегда бореніе. Богъ — единъ. Эгоизмъ тянетъ человѣка въ пропасть, надобно его уничтожить, тутъ два средства. Знаешь ли, кто только не эгоистъ? *Тотъ*, который смиренно лежитъ во прахѣ передъ иконою Спасителя съ полной вѣрою, *тотъ*, кто сладостный и грустный взоръ останавливаетъ на дѣвѣ съ чистой любовью. Тутъ погибаетъ это гордое, всепожирающее я. Итакъ, христіанство и любовь, вотъ два дара, оставленные Богомъ падшему человѣку. За этой свѣтлой мыслью, мыслью вѣры и любви, слѣдовалъ рядъ мрачныхъ, холодныхъ, но я разскажу и ихъ. Что будетъ со мною, думалъ я, и холодъ бѣжалъ по членамъ, ежели черезъ много лѣтъ я скажу: «любовь — прелестная мечта юношества; но она не переходитъ, какъ и всѣ мечты, въ совершеннѣйшее», и утрачу любовь и вѣру. Тогда я извѣдаю все, что извѣдалъ падшій ангелъ. Или еще хуже, тогда и совѣсть не будетъ угрызать, тогда я слѣлаюсь животнымъ. О, Наташа, какъ мрачна эта мысль, дьяволъ вдунулъ ее середь имени Христа и твоего.

Но я взглянулъ на твою душу и утѣшился. Нѣтъ, исчезай мысль ада, твоя душа такъ нераздѣльна съ любовью, какъ любовь, что нельзя ее себѣ представить безъ любви ко мнѣ. Тутъ мысль еще горячѣе явилась мнѣ. Зачѣмъ я свою душу могъ представить такъ, зачѣмъ же я не могу подняться до того высокаго гармоническаго бытія, до котораго поднялась ты? Зачѣмъ я человѣкъ, когда ты ангелъ? Твое присутствіе мнѣ необходимо, ты отогнала бы однимъ взглядомъ, дыханіемъ эти нелѣпости, а я ими мучился весь день. Тебѣ, тебѣ назначено меня спасти и отъ моихъ страстей, и отъ моихъ черныхъ думъ, въ твоей душѣ онѣ и возникнуть не могутъ, она такъ чиста, такъ чиста, а моя... что была бы она, ежели-бъ ее не просвѣтила любовь къ тебѣ, вѣчная битва высокаго порыва и низкаго влеченія, и кто побѣдилъ бы? Вѣрно не высокое, потому Господь, жалѣя меня, и послалъ тебя. Дай же прижать твою руку къ устамъ, къ груди!

Я беру уроки въ нѣмецкомъ языкѣ у сосланаго сюда доктора богословія Бетгера, чрезвычайно ученаго человѣка; хочу нисать по-нѣмецки, какъ по-русски. Кстати, я спрашивалъ Егоръ. Ив., имѣетъ ли онъ возможность доставить тебѣ тетради и книги тайно отъ нихъ, тогда я пришлю свои статьи, нѣмецкіи лексіконъ и стихи Шиллера.

7-е июля. Сейчас получилъ твои письма отъ 11 изъ Москвы, и отъ 26 изъ Загорья. Я ждалъ ихъ и не ошибся, минутное мрачное направление прошло по душѣ твоей, какъ тучи по небу, — и вотъ это небо опять ясно, опять свѣтитъ мнѣ и вливаетъ силы. Да, надобно сознаться: въ нашихъ страданіяхъ больше блаженства, нежели горести. Душа какъ-то обширно развѣрывается и гордо съ пренебреженіемъ смотритъ на усиліе людей ее обидѣть. Бываютъ минуты, обиды падаютъ, жжетъ, но не оставляетъ черты, «какъ желѣзо, пройдя по бриллианту, царапаетъ самого себя» (I. Maestri). Разлука, тюрьма, гоненіе — это все не въ самомъ дѣлѣ несчастье или только несчастье въ понятіи людей, у которыхъ счастье значить много денегъ, хорошій обѣдъ. Мы можемъ стоять выше, должны! Даже бѣдность, самый ужасный бичъ изъ всѣхъ *наружныхъ*, — я не назову рѣшительно несчастьемъ. Но вотъ несчастье — пятно на душѣ, угрызение совѣсти. Ты никогда не узнаешь что такое. Видала ли ты, ну, хоть вора, котораго уличаютъ, — его положеніе, хотя онъ и вывернется; но посмотри на глаза, посмотри на лицо. А кто крадетъ цѣлковый, похожъ ли тотъ на крадущаго душу, на крадущаго будущее спокойствіе? *Это несчастье*. Пусть раскаянье сколько-нибудь утѣшаетъ, да каково вынести. Другое я никогда не испыталъ и, Богъ милостивъ, кажется, не испытаю. Это мало-по-малу заглубѣть, предаться толпѣ, забыть все высокое, жить долго въ этомъ снѣ, потомъ проснуться и увидѣть, что ужъ воротиться некогда, что практическая жизнь кругомъ бросила тенеты и что надобно дотрапиться по этому болоту до могилы, — это должно быть безъ мѣры ужасно. Изъ всего этого только то видно, какъ богато надѣлилъ Господь душу человѣческую: высшее блаженство и высшее несчастье не внѣ его, а въ немъ и, слѣдственно, отъ него зависятъ, умѣй только понять это и твердо дѣйствуй, понявши. А тутъ — то и бѣда. Ты, молитвой воспитанная, далекая отъ людей, одаренная небесной кротостью и добротою, перешедшая прямо изъ дѣтства въ объятія любви пламенной и чистой, какъ утренняя звѣзда, и ведущей тебя, какъ утренняя звѣзда — тебѣ легко идти тѣмъ путемъ. А кому, какъ мнѣ. она, звѣзда, явилась послѣ ночи, проведенной въ бурной оргіи, явилась и спряталась за тучу, — тому нужна вода священнаго Гангеса, чтобъ омыть пятна прежде, нежели ступить на священную землю индусовъ.

Надежда на возвращеніе сильнѣе и сильнѣе, кажется, не сѣверное сіяніе, а заря. Но гдѣ же Гесперь, твоя любимая звѣзда, ее еще нѣтъ. гдѣ же эта Венера золотая? Знаешь ли, что древніе греки называли твою любимую звѣзду утромъ Гесперомъ — надеждой, а вечеромъ Венерой — любовью; вотъ народъ, который былъ поэтъ и художникъ, какъ никогда не было народа больше музыкальной Италіи.

Ежели буду въ Москвѣ, то непременно буду въ твои именины въ Загорѣ, а въ самомъ дѣлѣ, по строжайшей математической теоріи вѣроятностей, я не долго останусь въ Вяткѣ. Прощай, милая, прелестная подруга. Прощай, цѣлую тебя, твои уста, твои руки. Прощай.

Я пишу теперь письмо изъ Вятки — это карикатура. Слѣдственно, не по твоей части. Давно собирался я сдѣлать важную поправку, ты всегда меня воображашь съ сигарой, а я уже больше года не курю сигаръ, а курю турецкій табакъ. Прошу поправить и вмѣсто маленькой сигары вообразить длинный, черешневый чубукъ. Прощай же!

10-е июля. Вотъ что еще мнѣ въ голову пришло, ангелъ мой: ежели тебя будутъ мучить слишкомъ женихомъ и ежели онъ сколько-нибудь благородный

человѣкъ, что предположить въ военномъ и богатомъ можно, пиши къ нему письмо—разумѣется, въ крайности—скажи ему прямо, что ты любима, что ты любишь, проси его не мучить тебя, проси молчать.

Ежели я буду въ Москвѣ, такъ заботиться не о чемъ, это мое дѣло. Я самъ явлюсь къ нему и той силой, которая есть у меня въ характерѣ, заставлю его отказаться.

Ежели и новыя надежды такъ же обмануть, то это будетъ чудо; самымъ холоднымъ образомъ разсматривая всѣ вѣроятности въ мою пользу: вниманіе наслѣдника, его свиты, Жуковского съ одной стороны, желаніе графа Бенкендорфа помочь, стараніе здѣшняго жандармскаго штабъ-офицера и *три года*,—вотъ на чемъ опираюсь я. Но не думай, чтобъ я теперь, какъ прежде, безотчетно отдавался мечтѣ о скоромъ возвращеніи, нѣтъ, я отталкиваю эту мысль, чтобъ не пришлось опять со слезою вырвать ее изъ сердца. Я имѣю вѣсти изъ Петербурга отъ 25 іюня, ежели онѣ волютѣ справедливы, то каждый почтовый день я могу ждать высочайшаго повелѣнія, и жду съ трепетомъ. При одной мысли—можетъ надняхъ я буду собираться въ путь, сердце бьется, руки дрожать и потъ выступаетъ на лицѣ. Все это возвращеніе, вся дальнѣйшая жизнь мнѣ ничего не представляетъ, какъ черты моего ангела. Нѣтъ, прочь отъ меня все, одна любовь, одна любовь! О, Наташа, мы будемъ счастливы, больше, нежели счастливы. Всѣ эти временныя гадости исчезнуть, и одинъ лучъ свѣта проникнетъ нашу душу, нашу жизнь!

14-е іюля. Я прибавилъ въ мою статью «Мысль и Откровеніе» сонъ и въ немъ въ идеаль религій перенесъ твои черты, даже твое имя. ты сдѣлалась тамъ неразгѣльна съ каждой мечтой моею, съ каждой мыслью,—свѣтлая, ангельская душа. Ты вспомнила, какъ я въ саду сидѣлъ съ Огаревымъ, я вспомнилъ, какъ еще въ томъ домѣ, гдѣ жила княжна Анна Борисов., ты меня много разъ водила въ садъ, кормила смородиной; ты была тогда ребенокъ — прелестный ребенокъ; потомъ вспомнилъ тебя у насъ въ саду, ты стояла на маленькой террасѣ изъ моей комнаты, а я и Пименовъ внизу, помнишь, тогда ты уже переставала быть ребенкомъ, тогда недоставало только этой пламенной любви, чтобъ посвятить тебя въ дѣвы. Я не могу отдѣлать воспоминанія всѣхъ свѣтлыхъ праздниковъ отъ тебя. Помнишь ли, я былъ еще гораздо моложе, на Святой я пріѣхалъ къ вамъ, хотѣлъ было христосоваться съ тобою, и какой-то стыдъ остановилъ меня,—я вспыхнулъ въ лицѣ, подходя къ тебѣ, и не смѣлъ поцѣловать.

Страшно говорить, а, кажется, мое возвращеніе не подвержено никакому сомнѣнію, опять тотъ святой трепетъ захватываетъ душу. Я увижу *ее*, ту сильную, пересоздавшую меня, ту высокую, о которой три года мечталъ я. Наташа, я буду блѣденъ при нашемъ свиданіи, я всегда блѣднѣю, получая письма отъ тебя; а когда увижу, о, Господи. И буду жать ея руку и прижму ее къ груди моею, къ груди, которая такъ сильно рвалась къ тебѣ. Здѣсь радость освобожденія будетъ отравлена, я спрячу душу свою какъ можно дальше и, уже переѣхавъ за границу Вятской губ., сброшу съ себя все земное и передамъ чистому, святому восторгу, сдѣлаюсь юношей тѣмъ, которымъ былъ 9 апрѣля. Мед. должна меня забыть, никогда луча надежды на будущее я не подавалъ ей, въ этомъ я чистъ. И любовь ея, — какая непомѣрная разница съ нашей любовью; это—любовь женщины, женщины, которая была замужемъ за старикомъ, которая ненавидѣла мужа. Любовь матеріальная, въ ней есть поэзія; но выше женщины не токмо какъ ты, но какъ Полина, она не можетъ надѣяться. Сверхъ

того, знаешь ли ты, что одна капля сала портить цѣлый сосудъ воды, сальное пятно исключаетъ всякую чистоту. всякую святость любви, а гдѣ тутъ была чистота? Ей хотѣлось имѣть молодого чичисея, и не меня завлекла, а сама завлеклась. Жаль мнѣ ее: пять лѣтъ жизни, годъ разлуки съ тобою, все отдамъ для ея спокойствія, ибо я виноватъ, я увлекся самолюбіемъ, я, видѣвши сначала, что она можетъ пасть, не поддержалъ, а столкнулъ ее. Я не могу видѣть ее безъ угрызенія совѣсти, каждая слеза ея дешевле стоитъ ей, нежели мнѣ. Она именно черное начало моей жизни. Вотъ каковы необузданные поступки. Зато Полина, что это за милое, исполненное поэзій существо, какъ дѣтская простота въ ней соединена съ огненной душою! У насъ нѣтъ другого разговора, какъ о тебѣ, мнѣ надобенъ человѣкъ, съ которымъ я могу говорить о тебѣ, и она понимаетъ. Скоро выйдетъ она замужъ, желай имъ счастья; и она, и Сьворцовъ достойны его!

Когда я поѣду, сдѣлаю себѣ маленькую тетрадку и буду записывать всѣ чувства, всѣ думы при приближеніи къ тебѣ; пріѣхавши, пришлю ее, какъ послѣднее письмо изъ дали. Впрочемъ, Наташа, мы и въ Москвѣ будемъ переписываться, вѣдь, намъ нельзя же будетъ часто видѣться, да и при свиданіи нельзя много говорить, будемъ писать. Прощай, моя восточная звѣздочка Гесперъ-Афродита. Прощай.

Твой Александръ.

16 іюля.

Онъ взялъ чашу и сказалъ: это дѣлайте въ мое воспоминаніе! Безпредѣльная любовь его къ ученикамъ чувствовала, какую сладость для души имѣть воспоминаніе минутъ душевнаго увлеченія, самой грусти. Можетъ, воспоминанія утраченнаго блага — горьки, я не испыталъ этого, мое благо — твоя любовь, такъ неотъемлемо моя, такъ я, что я не могу ее отдѣлить, даже для примѣра, отъ своей жизни. А что же я могъ потерять, кромѣ ея. Да, сладостны и священны минуты, подаренныя покойнику — прошедшему, образы знакомые выходятъ изъ могилы и, какъ духи, лишенные своей вещественности, плаваютъ, летаютъ среди этой тверди. Вторая половина іюля привела меня къ этимъ мыслямъ, вотъ третій разъ приближается 20 іюля, и уже за нѣсколько дней душа живетъ подъ вліяніемъ памяти. Что *важнаго* было въ этой прогулкѣ по кладбищу? По *ихнему* ничего, да у нихъ важно только представленіе къ чину. А эта прогулка—свѣтлая полоса въ рамѣ черной, въ рамѣ кладбища. Я не зналъ тогда, что за чувство меня связывало съ тобою, но симпатія наша была безпредѣльна, мы другъ на друга не могли насмотрѣться, какъ бы предчувствуя три черные года разлуки; я, лишенный тогда друга, обратился весь къ тебѣ, я провозжалъ карету, въ которой ты уѣхала, взорами любви братской, той же любви, какъ встрѣтилъ тебя 9 апрѣля. Прости мнѣ, что я рассказываю третій разъ одно и то же; мнѣ такъ хорошо при этихъ воспоминаніяхъ. Вотъ эта ночь—въ самомъ дѣлѣ ужасная, когда меня взяли. Душа, утомленная горестью, очищенная прогулкой съ тобою, требовала отдыха; я спалъ мертвымъ сномъ. Вдругъ меня будятъ—бѣлый султанъ, шпоры, холодныя слова, я такъ оставленъ, такъ одинокъ, а тутъ слезы старика, отвыкнувшаго обнаруживать свои чувства, а тутъ слезы матери, почти лишенной чувствъ. Я состарѣлся въ эту минуту. На другой день усталый, избитый, измученный, я спалъ цѣлый день въ заключеніи и, когда проснулся, ты, ангель, первая явилась святой утѣшительницей,—я

написалъ записку поздравительную княгинѣ, для того, чтобъ хоть поклонъ послать тебѣ. Потомъ ты промелькнула мимо моихъ оконъ; о, Господи, какъ сильно билось у меня сердце, когда за каменной оградой, скованной стѣнами, я смотрѣлъ на тебя! О, я любилъ тебя уже страстно, все еще не давая себѣ отчета. А тутъ черезъ нѣсколько мѣсяцевъ узналъ я, какъ ты была въ обморокъ, когда услышала печальную вѣсть, — тогда я понялъ всю силу твоей любви, тогда я понималъ, что я для тебя все, слезы хотѣли брызнуть изъ глазъ. О, въ эту минуту какъ пламенно я прижалъ бы тебя къ груди, какъ я поблагодарилъ бы за этотъ обморокъ! — Потомъ для тебя писалъ легенду; видишь ли, какъ вездѣ ты, какъ всё воспоминанія примыкаютъ къ тебѣ! А твои записки туда, въ которыхъ не было слова люблю, но была любовь, и злая судьба ни одной не дозволила сохранить. Я радовался твоему обмороку, — ты обручила имъ жизнь свою съ моею. Но все еще такъ чисто, такъ безтѣлесно было мое чувство, но все еще не нашелъ любви больше братской. и не черезъ нѣсколько ли мѣсяцевъ я могъ отдать себѣ отчетъ въ 9 апрѣль? Надобно, чтобъ между торжественной минутой нашей жизни протѣснилось сколько-нибудь холоднаго времени, чтобъ дать себѣ отчетъ, чтобъ осмѣлиться его потребовать. Помнишь, Сазоновъ былъ 9 апрѣля у меня; когда ты уѣхала, онъ мнѣ сказалъ: «*Ta cousine, Alexandre, est belle, comme un ange, et comme elle t'aime!*»

Я спряталъ лицо въ подушку, — но не плакалъ: я больше былъ радостенъ, нежели грустенъ. Сверхъ всѣхъ правъ, за одно это замѣчаніе Саз. мнѣ другъ на всю жизнь. Часто, часто обращаю я взоръ на мою скверную комнату въ Крутицѣ. Священна она для меня, какъ бы желалъ я быть тамъ, я цѣловалъ бы полъ, стѣны, жандарма и то окно, въ которое я смотрѣлъ, когда ты ѣхала по Пречистенкѣ: все это родно, близкое. О, Наташа!

Вчера пришло мнѣ въ голову: ежели бы государь дозволилъ мнѣ жить, гдѣ хочу, не въѣзжая въ столицу, я бы пріѣхалъ въ Загорье. И, можетъ, нѣсколько мѣсяцевъ были бы мы вмѣстѣ. А послѣ—послѣ можно бы умереть, даже не выйдя Италиі. Въ сторону всѣ прочія, прежнія мечты подъ клеймомъ самолюбія и эгоизма. Ты мнѣ нужна—больше ничего не нужно. Скажи, чѣмъ ты хочешь меня, — и я тѣмъ сдѣлаюсь; хочешь ли славы, я приобрѣту ее и брошу къ ногамъ твоимъ, хочешь ли, чтобъ весь родъ человѣческой не зналъ, что я существую, чтобъ мое существованіе все было для одной тебя. Возьми его, оно твое, и все будетъ мало, чтобъ вознаграждать блаженство, которое ты дала мнѣ. Но тебѣ и не нужно вознагражденія. Ты любима! Да, ты можешь сказать, что ты любима! Свѣтлая минута теперь въ душѣ моей, ахъ, лишь бы сдѣломъ за ней не шла туча, лишь бы воспоминанія святыя не довели до воспоминаній проклятыхъ. Прощай, Natalie. Прощай, сестра!

Спустя полчаса. Ангелъ мой! Долго сидѣлъ я теперь надъ этимъ листомъ, и душа была съ тобою, слеза скатилась съ глазъ, и я сложилъ руки и, поднявъ къ небу глаза, молился и благодарилъ Бога за тебя; о, какъ много Онъ мнѣ далъ! Не смѣю уже ни о чемъ болѣе его просить. Что ты, ангелъ, теперь дѣлаешь, для меня была святая минута 16 іюля въ 11 часовъ.

21-е іюля. Другъ мой! Какъ грозно вспоминалъ я нынче ту ужасную ночь, когда меня взяла. Съ вечера началась гроза, а въ два часа ужаснѣйшій градъ съ шумомъ, трескомъ и свистомъ выбилъ у меня всѣ стекла. Какъ величественна разъяренная природа! Молніи непрерывно раздирали мракъ, громъ грохоталъ, и градъ въ грѣцкой орѣхъ билъ, какъ камень, пущенный сильной ру-

кой. Опасно было стоять въ комнатѣ, стекла и градинки сыпались. Такова была въ 1834 году душа моя, и, признаюсь, я радовался нынче на эту бурю, какой, впрочемъ, я въ жизнь мою не видывалъ. Весь городъ точно послѣ штурма. А ты, ангель, какъ провела эту ночь? Думала обо мнѣ и я былъ съ тобою. Русское повѣрье объ Ильинѣ днѣ сбылось.

А сегодня опять свѣтло и тихо. Природа, какъ мощный человѣкъ, сердится, но не извиняется ни передъ кѣмъ,—ей дѣла нѣтъ до человѣческихъ отношеній. Нынче, три года тому назадъ, ты узнала страшную вѣсть. А несчастье ли это постигло тогда меня? Не знаю. Я выросъ, я лучше понялъ себя и тебя, я узналъ людей, я юношей удалился изъ дому и совершеннолѣтнимъ возвращусь въ него. Ты знаешь, ангель, сколько сладкаго въ нашихъ страданіяхъ. Въ 1835 году ты писала мнѣ сюда, что въ этотъ день узнала ты, что такое несчастье; съ тѣхъ поръ ты могла убѣдиться, что и въ этомъ несчастіи есть блаженство святое,—тогда воспоминаніе было слишкомъ близко. Ежели Провидѣнію угодно будетъ отдать въ скоромъ времени меня тебѣ, ежели въ самомъ дѣлѣ къ осени я поѣду въ Москву, то, какъ ты думаешь, не захватить ли мнѣ въ Загорье прежде Москвы? Для этого потребно, чтобъ оно было не болѣе 5 верстъ отъ тракта (иначе пап. разсердится, и начну съ неприятности), а кажется, по той же дорогѣ; въ какую заставу вы ѣздите, не въ Рогожскую ли? Но я боюсь за тебя и потому я прислалъ бы передового мужика съ запиской, а послѣ, куда закладывать на станціи будутъ коляску, явился бы верхомъ на крестьянской лошади. Напиши, какъ думаешь? А можетъ, это и скоро. Но лучше не очень полагаться. Прощай.

Душа моя, прощай. Прощай.

Александръ.

Полина скоро, вѣроятно, будетъ m-me Scworzow. Слава Богу, она будетъ оцѣнена мужемъ.

Загорье, іюля 20-е.

Вотъ и этотъ день насталъ, черезъ нѣсколько часовъ минеть три года! Александръ, черезъ нѣсколько часовъ минеть *три года разлуки съ тобою!*.. И ты говоришь теперь: «Наташа, три года разлуки съ тобою»... Въ памяти являются картина за картиной послѣднихъ часовъ съ тобою, за этимъ 9 мѣсяцевъ—ночь, одна темная, безотрадная, беззвѣздная ночь, въ которую не видно, что небо, что земля; да, такъ черное горе обнимало тогда мою душу, что я не чувствовала земли и забывала небо. Вдругъ девятое апрѣля, что еще сказать о немъ? Послѣ 16 лѣтъ сна, послѣ 9 мѣс. смерти—полная жизнь, едва открыла глаза—увидѣла гробъ, едва начала жить—невъразимая горестъ задернула мое и то неясное небо, тутъ вдругъ Богъ и ты!.. Разлука? Но, вѣдь, ты говорилъ: «тамъ награда, тамъ вѣчность, тамъ Богъ!» будто мы раздѣлены съ небомъ. и надобно умереть, чтобъ быть тамъ, тогда какъ все это тамъ — здѣсь, въ насъ самихъ; такъ и я, говоря тебѣ: «когда увижу тебя» — уже съ тобою, въ тебѣ и ты во мнѣ! Со всѣмъ этимъ я не знаю, что было бы со мною *сегодня!*.. но вчера отъ тебя *три* письма! О, мой Александръ, не умѣю, не могу тебѣ ничего сказать болѣе, и что же у меня болѣе?.. Едва успѣла я прочесть *ошь* письма. началась всеночная, хотя домашняя служба рѣдко бываетъ похожа на молитву, но и это *намьреніе молиться* такъ было кстати. Потомъ ночь, и я все читала и читала твои письма (всю бы жизнь я могла только читать твои письма!); по-

гаснвъ свѣчу, при свѣтѣ лампы смотрѣла на твои письма, долго смотрѣла и заснула съ ними. Теперь и ты уже всталъ; можетъ, пишешь ко мнѣ, о, мой Александръ!..

22-е. Два дня прошли скучно, томительно; *посторонніе* — и довольно, чтобъ я утомилась, послѣ нѣсколько минутъ уединенія — блаженства! И какъ не устать, глядя непрерывно на толпу дѣтей, которыя безъ цѣли, даже безъ удовольствія, шумяты, кричать, ломаютъ и мараютъ все, что близко ихъ, наконецъ, бросаются пескомъ, засыпаютъ имъ себѣ и другъ другу глаза — вотъ что для меня эти совершенно посторонніе. Жду не менѣе скуки и сегодня. Да, хорошо бы еще, если-бъ только глядѣть на этихъ *дѣтей*, а когда заставляютъ быть въ серединѣ ихъ, дѣлать, что и они?.. это ужасъ!

Ахъ, если-бъ была возможность запереться мнѣ хоть въ какомъ-нибудь чуланѣ и цѣлый день, и цѣлую ночь читать твои письма и писать тебѣ! Ангель мой, Александръ, ты въ мои именины?.. Нѣтъ, нѣтъ, не надѣюсь, что такъ скоро, только мѣсяць остается... какъ забьется у меня всегда сердце при этой мысли; ежели она явится среди разговора, я замолчу и выйду, не могу скрытъ волненія и восторга, которое озаритъ мое лицо, даже въ голосѣ выражается.

Вечеръ. Еще миновала тяжкой день, вечеръ его выкупилъ, — я читала твое письмо къ к[нягинѣ], и тамъ повторяешь о надеждѣ. Неужели, неужели, ангель мой?!

23-е. Не могу теперь съ полнымъ, съ совершеннымъ удовольствіемъ писать къ тебѣ; мысль расскажу сама — подавляетъ его. Со вчерашняго вечера не могу придти въ себя: невыразимое чувство, Александръ, — какъ будто черезъ мѣсяць я вознесусь туда, къ Богу Отцу; все кажется такъ мало, такъ ничтожно... вся земля съ пылинку. О, Александръ, какъ полно сердце, какъ волнуется грудь. душа свѣтла! Просто я не могу ничего дѣлать, даже писать; прощай. какъ не страшно теперь это слово, раздравшее прежде душу. Ангель мой, я тебя увижу! Неужели въ самомъ дѣлѣ увижу тебя? О, страшно, я такъ мала, такъ ничтожна, какъ мнѣ предстать предъ тобою? Такъ близко къ солнцу я сгорю, я превращусь въ прахъ, въ тьму. О, пусть, пусть, лучше погаснуть предъ тобою, нежели свѣтитъ безъ тебя...

Другъ мой, ангель, Александръ! Нѣтъ, ничего у меня нѣтъ болѣе въ душѣ, въ мысляхъ, ничего не лется съ пера, — я увижу тебя скоро!!!

Вечеръ. Что тебѣ, другъ, показалось такъ страшно, что я потеряла *отру* въ *наше соединеніе*? Развѣ мы можемъ быть еще тѣснѣе, ближе? Нѣтъ, слѣдственно, мы соединены, а мнѣ казалось невозможнымъ согласіе папеньки; казалось, что я еще долго проживу у к[нягини], теперь опять все перемѣнилось, не могу ничего придумывать мрачнаго и почти увѣрена, что съ прїѣздомъ твоимъ перемѣнится все. Да и должно быть такъ, я не буду въ состояніи скрывать тогда. Ахъ, какая мысль! Если-бъ будущее лѣто... но что Тебѣ невозможно, Всемогущій! Ну, право, Александръ, нѣтъ въ свѣтѣ счастливѣе меня, пѣту, нѣту... если-бъ душу мою раздѣлить на нѣсколько миллионовъ людей, и тогда-бъ каждый изъ нихъ былъ невыразимо счастливъ, а я... да... что же говорить, зачѣмъ? Это все еше земля, все человѣческое въ насъ, намъ ненужно говорить...

24-е. Что за мысль, ангель мой, побѣтила твою душу, вотъ страшная, вотъ... о, какая мысль!.. я невольно вздрагиваю, вспоминая о ней. *Тыбъ потерять отру и любовь!* Никакъ не могу я представить этого живо, а и то отъ ужаса ломитъ грудь. «Ты не переживешь любовь», сказалъ мнѣ голосъ съ неба. —

«Ты не переживешь любовь», говорю я тебѣ. Прежде я могла вообразить, какъ бы ты пересталъ меня любить, какъ бы я тайно, невидимая тобою, была всегда близко тебя, какъ бы изъ праха, изъ бездны горестей и страданій я возсылала чистую, пламенную молитву о тебѣ къ Богу; потомъ, перемѣнившись отъ лѣтъ, отъ изнуренія, увѣрившись, что воспоминаніе обо мнѣ совершенно умерло. — пошла бы служить тебѣ, и, наконецъ, не могли долго перенести такого блаженства, въ восторгѣ-бѣ умерла у ногъ твоихъ. Теперь не могу вообразить этого; знаю, ты разлюбить не можешь, вѣрю этому, какъ тому, что есть Богъ. О, избави, Господи, чтобъ подобная мысль явилась тебѣ опять когда-нибудь!

Не переживемъ любовь! Не переживемъ любовь! Нѣтъ, вмѣстѣ, рука съ рукой, душа съ душой станемъ предъ *Нимъ*, вмѣстѣ пойдемъ одесную или ошую! Вотъ до какой степени ты возвысилъ мою душу (или, ужели это земная гордость?), я не могу себя представить съ тобою *тамъ* на сторонѣ грѣшниковъ. И можно ли?.. О! нѣтъ, нѣтъ, мой Александръ! Только грудь Бога будетъ изголовьемъ той, которая склонится на твою грудь! Только Его объятія примутъ ее изъ твоихъ! Когда такое блаженство теперь, когда теперь столько святости, а тогда?.. Посмотри на небо, сколько общается оно тебѣ... Вѣрь же, ангель мой, душа моя не бѣднѣе, о, любви въ ней болѣе, нежели лазури въ небѣ!..

И 25-е. Александръ, менѣ ли отражается небо въ морѣ бурномъ, волнующемся, пѣнящемся, нежели въ чистомъ, тихомъ ручейкѣ? Море сильно, могуще, оно со дна своего вздымаетъ песокъ и сокровища къ небесамъ и выбрасываетъ ихъ на берегъ, а сколько носить оно на волнахъ!.. Я воображаю его ночью... каждая волна, вырвавшись изъ груди его, отражаетъ луну, звѣзды, въ каждой волнѣ цѣлый міръ, а сколько волнъ на морѣ, во сколько разъ умножается въ немъ небо!.. А бѣдный ручеекъ—онъ тихо, скромно катитъ свои струйки, отражаетъ малую часть неба, не имѣетъ силы и одной песчинки выбросить на берегъ... а песокъ и земля въ немъ есть, какъ и въ морѣ. Ты похожъ на это море. я—на ручеекъ, и ежели я ангель, менѣ ли ты?..))

Вечеръ. Ровно мѣсяцъ остается до именинъ моихъ; послѣ трехъ лѣтъ разлуки это немного; итакъ, черезъ мѣсяцъ, черезъ мѣсяцъ я съ тобою! Ахъ, если-бъ послѣ взора на тебя, я-бъ не увидѣла здѣшнихъ мѣстъ, здѣшнихъ людей! Впрочемъ, пусть тогда все будетъ, что Богу угодно, тогда на землѣ мнѣ нечего *болѣе* ждать. Но прійдешь ли? Какъ тѣсно въ груди, какъ тяжело дышать... еще цѣлый мѣсяцъ... нѣтъ, это слишкомъ много... сейчасъ, сію минуту! Знаешь, душа моя, когда я съ тобою бываю такъ близко, такъ долго, долго... опомнясь, оглянусь, тебя нѣтъ со мною,—какъ сдѣлается мнѣ страшно, боюсь глядѣть болѣе. боюсь говорить, сдѣлать малѣйшее движеніе, будто неожиданно меня бросили въ мрачное, сырое подземелье. О, Александръ! О, Александръ!..

Ты говоришь о монастырѣ,—да, ничего бы не могло быть лучше предъ твоимъ пріѣздомъ для меня, какъ бы удалиться на нѣсколько времени *вовсе* отъ *міра*, но это невозможно, меня изъ тѣсноты не пустять. А къ Аннѣ Ал. и къ Ал. Ал. ни за что на свѣтѣ! Нѣтъ, нѣтъ, довольно и отсюда мнѣ видно людей, да и мнѣ кажется, будто отсюда ближе до тебя. Пусть они продолжаютъ свои глупости, что намъ до того? *Онъ* сочеталъ души, а чтобъ *они* воспренятствовали идти рука съ рукой!

Слава Богу, что Мед. теперь покойнѣе, врага ея нѣтъ, но есть ли друзья у нея? Что будетъ она, ея дѣти? Мы не должны забывать это семейство.

26-е. Что было бы со мною, ангель мой, если-бъ я была съ тобою тамъ, на

высокой горѣ, гдѣ ты встрѣтилъ восходъ солнца? Нѣтъ, я не могу представить себѣ будущаго, оно для меня такъ же непостижимо, какъ вѣчность, какъ Онъ. Теперь жизнь моя, не знаю, на что похожа; всякій, не зная души моей, проведи здѣсь хоть день, сказалъ бы, что это нѣчто въ родѣ ребенка, который цѣлый день перебираетъ игрушки, лоскутки и бродитъ безъ цѣли. Въ самомъ дѣлѣ ничего не можетъ быть глупѣе, даже не похоже на деревенскую жизнь, какія-то все нелѣпыя препятствія, даже гулять. Все пройдетъ, все пройдетъ...

Ежели ты пріѣдешь скоро, то ужъ зачѣмъ же затруднять Ег. Ив. тетрадами и книгами, хотя я съ величайшимъ нетерпѣніемъ жду твоихъ статей. Привези самъ, самъ и прочти ихъ твоей Наташѣ. Когда я теперь, далеко отъ тебя, среди чужихъ, угнетенная, связанная, забываю землю и весь міръ *съ тобою*, что же будетъ *тогда, тогда?* Какъ я отгадала, Emilie ужъ въ Москвѣ, и, мнѣ кажется, я увижу ее здѣсь.

27-е. Есть казія — еще тебѣ словечко, еще поцѣлуй, мой ангелъ, мой Александръ, и прощай! Твоя Наташа. Близко, близко августъ.

25-е іюля.

Прошлое письмо мое отъ 21 іюля, другъ мой Наташа, было все наполнено восторгомъ воспоминанія. Нынче опять душа вила, утомлена. Фу, какъ гадко, весносно цѣдится это время разлуки и заточенія въ дальнемъ краю. Ждешь, ждешь... И придетъ лучъ надежды, играетъ, свѣтится и исчезнетъ, а между тѣмъ легкомысліе души хватается за него съ такою нѣжностью. Наташа, я долженъ быть скоро возвращенъ, потому что мнѣ разлука съ тобой дѣлается нестерпимой, мучительной болью, потому что здѣшняя жизнь мнѣ опротивѣла... Теперь опять не занимаюсь, гадко дотронуться до чего-нибудь, все это такъ мелко, школьно, неудовлетворительно. А любовь — она удовлетворяетъ всему, она наполняетъ всю душу; но для этого мнѣ надобно видѣть тебя, жать твою руку, пить свѣтъ твоихъ глазъ, воздухъ твоего дыханья. Уѣду за городъ сегодня на цѣлый день. Тамъ, подъ чистымъ небомъ, помечтаю о тебѣ, ангелъ! Какъ бы ни сбылось твое пророчество, что все это одни комплименты, очень пріятные для уха и очень бесполезные для дѣла.

Ты писала какъ-то мѣсяца два тому назадъ, что это недостатокъ характера — иногда быть высокой, самоотверженной, иногда грустить, унывать. Но человѣку не дано столько силы, чтобы всегда становиться бодро и смѣло противъ обстоятельствъ и всегда быть выше ихъ. Это невозможно. Самая пламенная вѣра допускала иногда звуки отчаянной печали и нѣмой боли. Это однообразіе проклятое, глупое, всендневное, иногда застаётъ душу врасплохъ, и душа скорбитъ, понимая, какое блаженство для нея открыто на землѣ еще, и какъ обстоятельства холодной рукой отталкиваютъ его.

27-е іюля. Я началъ новую статейку, не знаю, выйдетъ ли толкъ, а основа не дурна. Я ужъ говорилъ какъ-то, что нѣтъ статей, болѣе исполненныхъ жизни и которыя бы было пріятнѣе писать, какъ воспоминанія. Облекая эти воспоминанія во что угодно, въ повѣсть или другую форму, всегда они для самого себя имѣютъ особый запахъ, пріятной для души. Половина лицъ въ лучшихъ поэмахъ образовалась такъ; сверхъ того, лицо существующее имѣетъ какую-то непреложную реальность, свой рѣзкой характеръ по тому самому, что оно существуетъ. Да и для чего-же душа будетъ терять впечатлѣнія, коимъ она подверглась въ

жизни, ежели только эти впечатлѣнія достойны не быть потраченными. Повѣсть лучшая форма, но это не мой родъ; доселѣ повѣсти плохо выходятъ у меня; но рассказъ, простой рассказъ—это дѣло мое, я легко переношу свой пламенный языкъ на бумагу. Итакъ, я намѣренъ рассказать мое знакомство съ Полиною, она утѣшала меня въ горькія минуты, я съ ней сблизился во имя Наташи, — стало, она достойна имѣть страницу моего пера. Да, сверхъ того, въ ней есть поэзія, и въ нашей дружбѣ есть поэзія, а жизнь скоро приметъ другое направленіе, надобно статью отвердить прежнюю. И такъ, какъ древніе народы воображали за хрустальнымъ голубымъ небомъ, которое они видѣли, другое небо, гораздо лучшее, огненное, чертогъ Бога, — такъ и у меня, за всѣми воспоминаніями, вдали видѣются черты божественныя, черты ангела—твоя черты. Ихъ я боюсь ловить на бумагу, боюсь, какъ святотатства, какъ іудеи боялись пронести святое имя Іеговы. Да, онѣ же такъ нераздѣльны съ моею душою, со всей моею жизнью, что я самъ лучшая, полная статья о тебѣ.

28-е июля. Продолжая о новой статьѣ, я скажу, что всѣ улыбнутся мысли описать такую незначительную встрѣчу. Но, благодаря тому высокому направленію, которое дала твоя любовь моему сердцу, я всякое чувство ставлю гораздо выше мысли и ума, всякую симпатію считаю достойной труда, памяти и вниманія. Да, я въ мысли своей образовалъ себѣ полную человѣческую жизнь, состоящую изъ совокупности всѣхъ сильныхъ и высокихъ влеченій, и буду слѣдить ее вездѣ и, гдѣ найду, тамъ остановлюсь и склоню голову.

Пришли письма и посылки; но отъ тебя ужъ давно ничего, это грустно и больно; маменька пишетъ, что никакихъ okazji не бываетъ, что и мои письма лежать долго, покада отошлются. Мое прошлое письмо 21 июля, вѣроятно, сильно потрясло тебя, — эти святые, высокія воспоминанія! Пора, Наташа, пора намъ соединиться; какъ тяжело жить половиной существованія. Посмотри, сколько ранъ надобно тебѣ залѣчить на этой больной душѣ, сколько ныли стереть, сколько отдыха дать.

Часто думаю, мечтаю и, какъ усталый долгимъ путемъ, склоню голову на руку, и какая-то ужасная пустота наполняетъ ее, и я желалъ бы впасть въ долгій, летаргическій сонъ и проснуться отъ твоего поцѣлуя и прильнуть къ твоимъ устамъ и умереть потомъ. Прощай... бьется сердце сильно, сильно. Прощай.

Твой, твой Александръ.

29-е, ночь, июль.
[писано карандашомъ].

Твое письмо отъ 11 до 14.

Нѣтъ это слишкомъ! Господи, силы дай, терпѣнья. Александръ, мой ангелъ, мой Александръ! Можетъ — ахъ, да почему же не можетъ быть—вотъ теперь, сію минуту, какъ я стояла безмолвно, безъ мыслей, безъ думъ, вся — ты, вся твоя душа, твоя любовь, стояла крѣпко, прижавъ руки къ груди, какъ бы силась удержаться на землѣ, ахъ, можетъ быть, ты, закутавъ дорожнымъ плащомъ все небо, весь рай, дрожа и вѣя себя, нетерпѣливымъ взоромъ смотрѣлъ, какъ закладывають, подвезли, искры отъ копытъ, за городомъ, далѣе, далѣе... Неужели мечта? Ахъ, какъ сердце бьется, какъ тяжело дышать! Летѣть бы теперь, летѣть высоко, а тамъ раздвинуть грудь и обнять мысль: «скоро увижу ея»; безъ того я не могу [два слова стерто]. Ну, какъ, какъ, ангелъ мой, скажи ты мнѣ,

какъ я тебя увижу, какъ буду глядѣть на тебя, какъ слушать, какъ буду дышать, какъ останусь на землѣ?!.. Неужели такъ же буду смотрѣть на тебя, какъ на небо въ минуты молитвы и тѣснѣйшаго соединенія съ Богомъ! Нѣтъ, нѣтъ, тогда во взорѣ будетъ болѣе любви, болѣе молитвы, что будетъ со мной, какъ услышу твой голосъ... Я слышала голосъ Бога, слышала и осталась на землѣ; останусь ли съ тобою, услышавъ тебя?.. Тогда-то развернется намъ вѣчность, тогда мы забудемъ считать дни и годы; не равны ли въ тебѣ минута и столѣтіе?..

Разсвѣтаетъ... И я могу такъ записаться этими низкими, ничтожными неприятностями; пусть онѣ умножаются въ тысячу разъ болѣе, что мнѣ до того! Душа моя, прости мнѣ, ежели я когда пишу тебѣ о нихъ, и знай, что написанное давно забыто и вытѣснено изъ сердца воспоминаніемъ о тебѣ. Мало того, что я забываю объ ихъ суровости ко мнѣ, о томъ, что за минуту я готова была прослезиться, противъ воли и со всею твердостью, съ самопожертвованіемъ забываю, что такое они, и люблю ихъ, люблю много, готова пролить кровь свою за искупленіе ихъ. Ты сбѣлаешь изъ меня ангела, о, Александръ!.. Что ты теперь, другъ мой, глядишь ли на меня. Я давно не сплю, все воображала, какъ застучить экипажъ, какъ будетъ видѣнъ изъ-за кустовъ, ближе, ближе, а тутъ и воображенье исчезаетъ, тутъ я закрываю глаза руками, тутъ... о, мой спаситель, о, мой искупитель, о, ты!.. Теперь я ничего не могу говорить, кромѣ о твоёмъ пріѣздѣ. Часто, какъ темно, я смотрю въ окно долго, долго, образъ твой сіяетъ надо мною, струя неба льется въ душу, — явись ты въ эту минуту, я обниму тебя съ радостью тихой, намъ небо откроется тогда, а свиданіе въ гостиной, — я не знаю, что со мной будетъ.

Загорье, іюля 31.

Ну, что, ежели надежда обманеть? что-жъ, неужели отчаиваться, унывать? Александръ! тамъ, въ небѣ, выше неба, въ Его рукѣ, съ Тобою, съ тобой жизнь моя вмѣстѣ, и такъ тѣсно, такъ близко, такъ близко... ни облачко, ни лучъ солнца не дѣлятъ меня съ тобою, вѣтеръ не прокрадется между нами, и унывать о томъ, что тамъ, гдѣ-то внизу, кто-то дѣлитъ насъ и разлучаетъ? Выше, другъ, выше, братъ, отряси прахъ съ крылъ твоихъ, и исчезла тьма, исчезла долина мрака, и не видно той чаши, изъ которой ты не можешь допить горечи, не видно сосуда, въ который ужъ черезъ край лились слезы. Любовь паритъ надъ землею и не тоскуетъ о ней. Прошлага года я съ твердостью перенесла новую разлуку съ тобой, то есть *перезила* ее, цѣлыя ночи плакала, больна была, только не смѣла тебѣ писать этого... Нынѣ же — о! ежели *Ему будетъ угодно* снова испытать меня, — я возмужала, окрѣпла душой, еще годъ любви поднялъ меня, очистилъ, растворивъ шире врата въ тотъ міръ, гдѣ мы вѣчно одно я. Отъ малѣйшаго движенія души, отъ появленія одной тѣни твоей рвутся цѣпи, а пока онѣ падаютъ на землю, она уже исчезаетъ и вмѣстѣ съ ними. Туда, туда приходи ко мнѣ! пусть тянутся 1000 верстъ, пусть между нами заставы, стѣны, замки, большіе замки, желѣзные, и даже цѣлое войско *людей* съ страшными оружіями, пусть! Взгляни, — ангелы отворяютъ врата, самъ Господь ведетъ тебя, и свѣтъ тамъ и гармонія, тамъ одинъ вѣнецъ намъ... О, Александръ! ты вѣчность моя, ты, ты все! Нѣтъ меня безъ тебя, не живу я того мгновенія, въ которое розно съ Тобою. — Ты пріѣдешь, я буду тебя видѣть, слышать... Это что-то непонятно, нѣтъ, это

мечта, мечта, ежели видѣть и слышать тебя значить быть *еще ближе* съ тобою — мечта!

† *Рано утро 1-е августа.* Сегодня большой праздник Спасителя. Первое *августа!*.. какимъ благоговѣйнымъ страхомъ проникнуто все существо. Въ этомъ мѣсяцѣ можетъ быть... О, Отче нашъ, да будетъ воля Твоя! Да, да, мой ангелъ, ты будешь жать мою руку, и пожатіе руки твоей, твой взоръ перельютъ въ душу мою новое блаженство, какъ перелила любовь 9 апрѣля. И я буду глядѣть на тебя... Нѣтъ, это не мечта! ежели отъ одной мечты колѣна преклоняются, и руки ищутъ неба, прижать его къ груди, зажечь въ немъ новое солнце,—что же будетъ, когда въ самомъ дѣлѣ увижу тебя?

Когда Полина и Скворцовъ *любятъ*, чего имъ желать *болѣе*? долгую жизнь — на что? богатства—вздорь... Желая имъ здоровья на землѣ, желаю вмѣстѣ покинуть ее и тамъ быть нераздѣльными. Благодать и благословеніе Господне надъ ними! Слава Богу, я чрезвычайно рада, что участь Полины перемѣнилась; видишь ли, какъ намъ *самимъ* не должно заботиться: сколько разъ ты писалъ о ея несчастьи,— *Онъ* не покинетъ избранныхъ. Я покойнѣе смотрю теперь даже на страданія Emilie.

2-е. Ахъ, можетъ, ужъ ты получилъ радостную вѣсть, можетъ, теперь восторгъ увидѣть скоро твою Наташу и грусть разстаться съ друзьями, которыми грозной рокъ подарилъ тебя въ самую мрачную эпоху жизни, наполняютъ твою душу; разстаться съ Полиной, Вотбергомъ и другими грустно будетъ, Александръ, но мысль, что увидишь меня, ужель не смѣшаетъ съ горькими слезами сладкихъ. Еще будетъ время, ты посѣтишь нашихъ друзей, нашихъ родныхъ... О, Господи, хоть бы въ Москву послали, можетъ, есть письмо, то морозомъ обдастъ меня, то жаромъ, сердце горитъ, замираетъ, въ разномъ видѣ представляется свиданіе непрерывно, и я рѣшительно не могу ничего дѣлать.

Ночь. Знаешь ли все стерлось съ души. все померкло въ ней, одна идея, одинъ свѣтъ — *тебя увижу!* Всѣ мечты, надежды, всѣ картины будущаго, которыми я, бывало, окружала себя непрерывно,—все, все исчезло. Необыкновенная сила въ душѣ, необыкновенное стремленіе, открылось новое занебесье, новые міры, куда еще я не летала, и ничего душа не жаждетъ, не ищетъ, какъ твоего взора, вся будущность ея, вся вѣчность въ твоемъ взглядѣ—о, Александръ! Ну, что такое эта жизнь? къ чему всѣ хлопоты, труды, заботы, подвиги,—что останется намъ отъ нихъ, что сдѣлаемъ мы ими? Ужели тотъ, кто *хотѣлъ* царствовать надъ всею землею, достигнувъ онаго, сдѣлалъ бы болѣе, нежели я, преклонивъ голову на грудь твою? Ничтожество! пыль! малѣйшее дуновение снесетъ корону съ головы твоей и тебя съ лица земли, а нашъ вѣнецъ? а любовь? О! не ей ли вѣчность, не въ ней ли рай, не она ли Богъ?.. Не могу спать, все въ волненіи, а писать нельзя, прощай. О, если бы зналъ ты, душа моя, что я чувствую, но что же, будто не знаешь! Неправда ли, ангелъ мой, въ письмахъ нашихъ мы читаемъ уже давно слышанное и видѣнное, одно повтореніе, матеріальное подтвержденіе. Прощай.

4-е. Непремѣнно, непремѣнно или ты уже въ дорогѣ или, по крайней мѣрѣ, получилъ высочайшее повелѣніе,—сердце мое твердитъ это непрерывно и громко. Ни письма, ни портретъ, ничто не грѣетъ такъ души, какъ прежде,—все блѣдно, нѣмо. Такъ, вы, мое сокровище, безцѣнное, святое сокровище, письма моего Александра! ни на какое другое въ свѣтѣ не промѣняю я васъ, вы нераздѣльная часть меня, тѣла и души, несчетно разъ вы исцѣляли меня, спасали... Да, да вы

святыня моя, одно прикосновеніе къ вамъ вливаетъ новую жизнь, но я услышу скоро слова его изъ устъ его! и вотъ они блѣднѣютъ, теряются, какъ пѣснь соловья въ голосѣ самого Бога. Портретъ—что и говорить, что такое для меня твой портретъ, но при мысли увидѣть скоро тебя самого, онъ гаснетъ совершенно. Молиться? какое чувство исполняетъ душу передъ причащеніемъ? Занавѣсъ отдергивается... душа горитъ небеснымъ огнемъ, видитъ небо отверзтое, и стройнымъ гимномъ паритъ за яхонтъ, за лазурь, а тѣло дрожитъ и леденѣетъ, готовое превратиться въ прахъ,—въ такомъ-то я положеніи нѣсколько дней: глазъ не свожу съ Царскихъ дверей, боюсь взглянуть на землю и на небо, душа готова разстаться съ тѣломъ, а святая святыхъ не отвергается. Господи, или еще мало поста, мало изнуренія? Научи поститься и страдать болѣе! Три года вмѣсто семи недѣль, тушая пила и укусы на сердцѣ вмѣсто хлѣба и воды. Любовь—она безпредѣльна и свята, какъ самъ ты, Господи! и ужели я не заслужила всѣмъ этимъ сообщенія съ нимъ, длись постъ, когда я могу быть еще его достойнѣе!

6-е. Съ каждымъ днемъ полнѣе сердце, съ каждымъ днемъ тѣснѣе въ груди, а еще недѣлю цѣлую не пошлютъ въ Москву! Еще ли повторять намъ, что Онъ безпрерывно ведетъ насъ къ блаженству, что *все то*, что отъ Него, къ нашему благу? Но какъ иногда путь этотъ труденъ, какъ иное невыносимо? ..

11-е. Есть вѣсти изъ Москвы, но письма не получила. *Ты еще не пріѣхала*. Давно я не писала тебѣ, ужасно давно, ты слишкомъ близко былъ, бумагъ не было мѣста, и сгорѣла бы она, если-бъ вылилось на нее то, что было въ душѣ моей всѣ эти дни, и не было силъ взять перо. Покинемъ людей, бѣжимъ, бѣжимъ изъ нашихъ ущелій, бѣжимъ туда, гдѣ *нѣтъ ничего*, гдѣ *Все!* бѣжимъ! Слава—пустое: чтобъ громче произнесли имя, чтобъ лишній разъ назвали, чтобъ оно истлѣло на бумагѣ и, черезъ нѣсколько вѣковъ, нашло бы гробъ же въ сердцѣ человѣка,—за это отдать день, минуту любви, тогда нѣтъ любви! Слава—сколько заключается въ этомъ словѣ! Я понимаю ее, потому-то мнѣ и ненавистно это *нѣчто*, которое также называютъ славой. Я скажу тебѣ, что я назвала бы славою, писать не стану, и вотъ съ этой-то Славой Любовь—сестра! Но гдѣ же она, родная? она еще *тамъ*, она не приходила еще навѣщать сестру свою въ изгнанье, итакъ, нечего искать ее на землѣ. Все ничтожество, все ничтожество!—бѣжимъ, бѣжимъ! О, мой ангелъ, я остановлю взоръ на тебѣ и—не давайте мнѣ ѣсть, пить, отнимайте по клочку тѣло, все буду глядѣть, и когда душа перельется въ твою душу этимъ взоромъ, тогда пусть отбросятъ отъ тебя этотъ клочекъ земли, въ которомъ она была заключена. Александръ! ничего нѣтъ кромѣ тебя: все тобою, въ тебѣ, ты! . О, жизнь, что это такое право, точно они, куклы изъ лоскутковъ, движутся, и въ нихъ увѣковѣчивать себя!.. Просторъ, просторъ, лишь дайте путь, мы пойдемъ, и вы увидите, что такое Слава, Любовь, Богъ, только далѣе отъ насъ, не подходите!.. Ахъ, ну ужели яснѣе для тебя вотъ тутъ на бумагѣ, нежели такъ, какъ я говорила тебѣ эти дни? Господи, какой это все вздоръ,—его, его дай мнѣ, съ нимъ одно мгновенье, и туда, гдѣ ненужно пера, словъ, туда, туда! О, Александръ, Александръ! Александръ!

12-е. Тяжело вздумать—теперь разлука, даль тяготятъ любовь, а въ будущемъ сколько цѣпей, масокъ ждуть ее... Придетъ ли, придетъ ли, мой Александръ, то святое, то блаженное наше *тогда*, когда мы позабудемъ и версты, и маски, и цѣпи, и людей, и свѣтъ?.. Или *это тогда* лишь *тамъ*? Нѣтъ, оно дано намъ и здѣсь, лишь прочь отсюда, лишь пойдемъ туда, гдѣ руки, протянуты объять природу, Бога, тебя, не встрѣтятъ ледяной скалы, не будутъ истер-

заны желѣзными когтями и закованы въ тяжелыя цѣпи! Туда, гдѣ голосъ души не одно эхо встрѣчается, а родной, горячій отголосокъ; туда, гдѣ все мы, и мы все, туда, туда! Александръ, мой Александръ, будь розень съ ангелами только тѣмъ, что ты воплощенъ. О, vanitas! прочь отъ него, прочь, или любовь моя еще такъ мала, что будетъ побѣжденною? о, нѣтъ, она покорить суету и поведетъ прямо туда! — Посылаютъ въ Москву, скоро, скоро письма! Восторгъ! Прощай. Обнимаю тебя. Наташа твоя. Скажи же Полившѣ и Скворцову мой истинный отъ души поклонъ и желаніе—огромное. Я много люблю Полину.

4-ое августа, Вятка.

Ангель мой, милая Наташа, вотъ уже цѣлая недѣля прошла съ тѣхъ поръ, какъ я къ тебѣ писалъ. Прости меня! Что-то такое глупое, гадкое было въ душѣ, что я недостойнъ былъ писать къ тебѣ. Зато я послалъ I. Maestry, получила ли ты, пиши твое мнѣніе, оно мнѣ дороже всѣхъ. И все еще, ангель мой, ни слуху, ни духу объ освобожденіи, а ты знаешь, что такое намъ разлука. Хотя точно я сдержалъ слово и нынѣшній годъ съ самаго начала провожу какъ-то гораздо лучше, уединеннѣе, больше занимаюсь, но нѣтъ, право, всѣ силы истощаются. Хочу видѣть, хочу прижать тебя къ груди,—и ничто, ничто не развлекаетъ, не веселитъ. А, впрочемъ, я часто хохочу, хохотъ на подкладкѣ вздоха, хуже слезъ. Вечерами печальная мысль какъ будто съ луннымъ свѣтомъ солется на душу, тогда я цѣлую твой медальонъ и засыпаю грустно, — а тутъ проснешься — и съ какой-то ненавистью смотришь на этотъ гадкій день, свѣтлый для другихъ, а для меня... Но не думай, однако, чтобъ я предавался черной грусти, нѣтъ, съ полуслезю сажусь за свой столъ, и понемногу разныя впечатлѣнія облегчаютъ душу; но, странное дѣло, кажется, человѣкъ не можетъ разомъ имѣть двухъ мыслей въ головѣ, а я что бы ни дѣлалъ, чѣмъ бы ни занимался, мысль о тебѣ тутъ, никогда, никогда ни на секунду не покидаетъ. Развѣ потому, что эта мысль сама душа моя.

8 августа. Письма отъ тебя, письма, вотъ уже больше мѣсяца не было и вдругъ два. Нѣтъ, надежды наши не вздоръ, во всякимъ днѣмъ онѣ становятся больше, онѣ похожи на издали вырѣзывающіеся берега, къ которымъ корабль не можетъ пристать, но они видны, — первый попутный вѣтеръ, и онъ тамъ, дома. Надобно больше всего ждать 30 августа, именины цесаревича; ибо всѣ эти надежды отъ него, онъ писалъ прямо императору—и свита его была такъ внимательна, что предупредила новаго губернатора, чтобы онъ былъ со мною, какъ съ человѣкомъ, обратившимъ на себя вниманіе в. ки. Впрочемъ, очень можетъ быть, что меня переведутъ въ Петербургъ,—этого не бойся, я тотчасъ приѣду въ отпускъ. И тамъ, можетъ, прежде Наташи я увижу море. О, море, море — тамъ пространно послать звукъ души по неозримой синевѣ, море не такъ, какъ мертвая земля, оно тоже волнуется, тоже дышетъ; ежели такъ случится, не досадуи на продолженіе разлуки: тамъ, гдѣ годы протекали безъ надежды, ничего не значить два-три мѣсяца. Кажется, нельзя сомнѣваться, впрочемъ, все въ волѣ государя; но уже есть и фактъ. Оболенскій, сосланный въ Пермь, по просьбѣ переведенъ въ Калугу, т. е. изъ 1500 верстъ за 150 отъ Москвы. Будемъ ждать, ангель, будемъ ждать, право, стало опять легко на душѣ. Даже писать тяжело, хотѣлъ бы высказать все — нѣтъ, не словами, взглядами и... поцѣлуемъ, однимъ поцѣлуемъ. Наташа, я пресумасбродный мечтатель. Я тебя обрадовалъ, другъ

мой, моей мыслью ѣхать въ маленькій городокъ Италіи, но чему же ты удивилась? Ты такъ хорошо знаешь меня, можетъ, лучше, нежели я самъ. Что слава, ежели она должна быть, то она сама советъ лавровый вѣнокъ, сама надѣнетъ, о чемъ хлопотать; я хочу жизни, полной жизни, часть ея я испыталъ, — это твоя любовь. О, сколько блаженства и святости она мнѣ принесла и какъ подняла она меня. Но и ты заплатила мнѣ прелестно, и въ твоёмъ письмѣ есть одно мѣсто, которое я читалъ со слезою радости, — это твоя сильная увѣренность въ моей любви. Ты не можешь себѣ меня представить безъ этой любви къ тебѣ. О, какъ ты поняла меня. — Но скажи, зачѣмъ ты всегда такимъ мракомъ покрываешь 9 мѣсяцевъ тюрьмы; увѣряю тебя, что это вамъ со стороны такъ казалось, я мало страдалъ тамъ, и всѣ страданія искупились 9 апрѣля; тамъ я узналъ свою силу, тамъ я былъ высокъ и недоступенъ всему земному. Есть другіе 9 мѣсяцевъ въ моей жизни, которымъ бы я бросилъ въ лицо анаѣму, отъ которыхъ я страдаю доселѣ, — это отъ мая 1835 до начала 1836 года, вотъ скверная эпоха жизни! А тюрьму напрасно назвала ты «безвѣдной ночью».

9 августа. Душа моя, я опять склоняю передъ тобою колѣно. И ты не ангель вѣдущій меня, и тобою я не долженъ руководствоваться?! Я говорю о томъ мѣстѣ твоего письма, гдѣ ты велишь мнѣ быть вполне сыномъ. — Да, любовь не можетъ охладить другое чувство любви... И, въ самомъ дѣлѣ, намъ ли бояться, неужели цѣлая жизнь страданій насъ не выучила, не укрѣпила. Ежели я когда паду утомленный, одно слово твое, — и я опять больше человѣка, твой Александръ. Прощай.

Странно, очень странно воспитаніе Провидѣнія, за мою жизнь на мнѣ почти не лежитъ никакой отвѣтственности. Я ничего не дѣлалъ по своему желанію, рука сильная веда, влекла меня, иногда по острымъ камнямъ, иногда степями. (Отчего развилась во мнѣ фантазія, отчего такъ близко и живо къ душѣ принималъ я науки? Причина ясная — мое затворническое воспитаніе, огненный характеръ требовалъ дѣятельности жизни; не было ему ея во внѣшнемъ, и весь этотъ огонь перенесъ я въ науку, она для меня сдѣлалась тоже непременно существующее, живое, какъ практическая жизнь. Но по волѣ ли я избралъ? Какъ только кончилась школа, отворилась тюрьма — тутъ перстъ Провидѣнія еще яснѣе повелъ меня. Зналъ ли я, для чего я содержусь, что со мною будетъ? Сила, не отъ меня зависящая, не мною направляемая, приказывала, толкала, распоряжалась, и въ эту тюрьму явилась ты. Странно, ей Богу, странно! А тамъ та же сила повела въ Пермь; тамъ сегодня я спокойно сидѣлъ у окна, смотря на Каму и воображая годы жить въ печальномъ городѣ, а завтра ѣхалъ въ Вятку; тутъ, замѣшанный въ чернь, въ толпу, встрѣтился съ Витбергомъ. Ну, наконецъ, теперь настоящее положеніе мое страннѣе всего прошедшаго. Взгляни на составъ его. Ссылка и немилость, вниманіе наслѣдника; съ одной стороны, *можетъ*, я проживу еще годъ здѣсь, *можетъ*, меня переведутъ въ ближнюю губернію; съ другой — *можетъ*, я черезъ мѣсяць прижму тебя къ груди моей, *можетъ*, я черезъ мѣсяць гдѣ-нибудь въ министерствѣ. И замѣть больше всего, что, во всѣхъ этихъ возможностяхъ, воля моя нисколько не участвуетъ, я именно, какъ лодка, брошенная на морѣ, даже не имѣю силы желать того или другого, а долженъ ждать, чѣмъ и какъ развяжетъ судьба эту повѣсть моей жизни. Итакъ, покоримся же этому персту, не всякаго такъ круто ведетъ онъ, стало, не всякой этого достойнъ. Посмотри ты на другихъ: они располагаютъ своей жизнью, какъ собственностью, хотятъ идти, такъ и идутъ, иногда на пути встрѣчаютъ легенькія трудности и

все-таки идутъ, и ихъ ходъ, при всей волѣ ихъ, не ихъ ходъ, а ходъ массы, толпы, а мой бѣгъ, при всей произвольности, самобытенъ. Наташа, такому человѣку ты должна была принадлежать, въ такомъ человѣкѣ будетъ сила сдѣлать счастливою твою высокую душу, и для него ты будешь продолженіе этого перста Господня, да, Богъ одѣкъ волю свою въ тѣло, и это тѣло такъ же прелестно, какъ душа, обитающая въ немъ,—это ты, Наташа.

11 августа. Отъ Emilie получилъ я записку, она бранить, что рѣдо пишу къ тебѣ, но это неправда. Кланяйся ей, скажи, что я все по-прежнему очень, очень люблю ея итальянскую душу; можетъ, скоро увижу ее, какія огромныя права имѣеть она на мою дружбу. Я помню, когда взяли Огарева, какъ она грустила обо мнѣ, и другъ моей Наташи—она должна принадлежать къ самому малому числу избранныхъ нами. Прощай,—близки надежды, давать, нельзя спокойно дышать. Цѣлую тебя, твои руки. Прощай, Александръ.

15 августа, Загорье.

Нѣсколько разъ брала я перо—писать къ тебѣ и не могла! не знаю, много ли скажу и теперь, рука еще дрожить, и не вижу сквозь слезы. Вчера вечеромъ получила твои два письма отъ 16-го іюля до 28-го. Долго, долго сидѣла я надъ ними,—такъ ли ты читаешь мои? Я всегда въ первый разъ прочитаю ихъ вдругъ, не останавливаясь, и тутъ такъ сдѣлается полно сердце и душа, что мнѣ необходимо или въ поле, или хоть въ садъ, лишь бы на свободу, на просторъ... Потомъ, какъ все утихнетъ, уснетъ, я *полная хозяйка себя*—читать твои письма, и тутъ ужъ я останавливаюсь на каждомъ словѣ, читаю его, перечитываю, рассматриваю, какое наслажденіе! каждую бы букву расцѣловала. О, Александръ! не знаю, который былъ часъ, но у меня уже стало ломить глаза, я погасила свѣчу и легла; только это положеніе мнѣ было несносно, я то вставала, то подходила къ окну, отворила бы его, вылетѣла бы изъ этой душной, тѣсной клѣтки, и тамъ бы вонь, рядомъ съ моею звѣздой, играла бы, сияла, или бы превратилась въ половицу, на которой ты, можетъ, стоялъ въ это время,—это все равно. Наконецъ, не могла стоять болѣе, ходить—мала слишкомъ комната, съѣла опять на постель и все думала, какъ пріѣдешь ты. И описать невозможно во сколькихъ образахъ являлось свиданіе, но все тутъ непремѣнно *они*, а я не могу, не могу, ни за что на свѣтѣ, допустить этого; наконецъ, состроила цѣлый планъ: слушай же, поступая точь въ точь,—мы можемъ видѣться безъ нихъ и *часа два* пробыть безъ нихъ! Захватъ ли тебѣ ко мнѣ прежде Москвы... Что мнѣ сказать тебѣ на это? и ты спрашиваешь? нѣтъ, ничего не скажу на это, *какъ хочешь ты!* Но вотъ мои повелѣнья: не прежде подѣзжать къ Загорью, какъ въ 2 часа пополудни въ 3-мъ, они отдыхаютъ отъ обѣда, и я, гдѣ ты хочешь, въ саду, въ роцѣ, или на самой дорогѣ встрѣчу тебя, только, конечно, напередъ пришли, во какъ можно осторожнѣе. О, Богъ мой! Ахъ, Александръ, что у меня въ груди при этой мысли! безпредѣльная гармонія, свѣтъ, ароматъ, и все это изливается, даже на молитвѣ, въ одномъ словѣ—Александръ! Оно весь языкъ моей души, имъ она говорить съ человѣкомъ, съ природой, съ Богомъ. Да, я приду къ большому духомъ, къ падшему, скажу: Александръ,—и онъ исцѣлѣетъ, воскреснетъ: природѣ я скажу: Александръ,—и земля, и небо повторятъ Александръ, и лучшаго гимна не можетъ быть; Богу скажу: Александръ,—и онъ не потребуетъ лучшей молитвы! Вотъ ужъ мѣсяцъ почти, какъ ты писалъ: «А, можетъ, это

и скоро»—стало, теперь ужъ, можетъ, и *очень* скоро? О мой ангелъ! отчего это такъ крѣпко жмутся руки къ груди? О! если не тебя, такъ все, что мы постигаемъ въ этомъ таинственномъ словѣ *тамъ*, все это заключить въ объятія и прижать къ груди! Помни же, въ третьемъ часу, и отнюдь не показываться передъ окнами дома, я проведу тебя въ гостиную, туда никто не придетъ, а когда княгиня проснется, отворять двери спальни, и я объявлю ей о дорогомъ гостѣ. Я въ восторгѣ отъ того, что ихъ не будетъ при первой встрѣчѣ, какъ черной полосы на солнцѣ. А ѣдимъ мы не въ Рогожскую, а Серпуховскую заставу и черезъ Котлы, на село Покровское, отъ котораго Загорье кажется версты 3 или 4. Давно, давно ждутъ тебя на перепутьѣ, давно отверзты объятія,—лети, лети!

16-е. Да, Александръ, три года тому, а какъ все живо въ памяти и душѣ. И даже съ надеждою на скорое свиданіе воспоминавія эти такъ ярки, и минувшая грусть мгновенно одѣваетъ все существо чернымъ покровомъ, сжимаетъ сердце, и каплять изъ него кровавыя слезы. Двѣ ужаснѣйшія ночи провела послѣ твоего взятія, это 21 іюля 1834 года, какъ только узнала, что ты взятъ. Ни слезы не выкатилось изъ глазъ, но зато я думала, что къ утру меня не будетъ въ живыхъ; во всю жизнь мою я не была больнѣе тѣломъ и душой. Передъ ужинамъ ушла наверхъ, сказавши только, что болитъ голова, а Мак. ужъ знала о тебѣ, и вообрази—о люди! тогда какъ я чувствовала, что у меня голову, грудь и всѣ члены судорога сводить, она подошла ко мнѣ, приложила руку ко лбу и сказала: «въ ней и жару совѣмъ нѣтъ»—эти слова, этотъ тонъ... хорошо, что еще не было огня у меня, и не видала ее. Потомъ, на другой день (въ день Маріи Магд.), надо одѣться, надо благодарить за поздравленія съ имениницей... надо испытать все это, чтобы понять. Нѣсколько дней, что-то долго, я не спрашивала о тебѣ, не могла открыть рта, а меня за это иные упрекали, какъ за хладнокровіе, и я не оправдывалась. Въ августѣ (1834) мнѣ стало легче, съ тѣхъ поръ началась наша переписка, и всѣ-то твои и прежнія записки, даже приглашеніе обѣдать ко Льву Алек., и письма въ Крылово, все, все цѣло. Ну, вотъ потомъ другая ночь, о, она нисколько не была легче первой,—это какъ ты прислалъ мнѣ волосы съ запиской «Voilà que tout est fini, chère soeur». Это было въ пятомъ часу, послѣ обѣда, на Страстной недѣлѣ; ахъ, что было тутъ со мной, я вообразила, что ужъ ты уѣхалъ, едва стало у меня силъ спросить у Петра, и онъ сказалъ дрожащимъ голосомъ, сквозь слезы: «нѣтъ еще»,—нѣтъ еще, значитъ скоро! И я въ отчаяннѣ упала на диванъ и не плакала, а просто ревѣла; не выдавшись, разстаться я, Богъ вѣсть, на сколько... Меня кликнули, и я съ полной довѣренностью (забывъ, что они) пошла къ нимъ, не скрывая горести, хотѣла, было, прочесть имъ записку Егора Ив., гдѣ онъ пишетъ подробно о твоёмъ отѣздѣ, и не могла; они, послѣ предлинной, ледяной рацеи, повезли меня подъ Новинское! Что думали прохожіе, видя въ каретѣ двухъ смѣющихся старухъ и меня съ ручьями слезъ и въ синихъ пятнахъ? Тогда для меня было все равно, въ темномъ ли углу я, или въ этой бездушной толпѣ. Скоро однако же я узнала, что тебя не такъ скоро пошлютъ, надежда *проститься* питала и поддерживала меня. И скорѣй за этимъ вслѣдъ—девятое апрѣля!.. Тутъ ужъ грусть терялась въ любви. 10-го въ четвертомъ часу пополудни мнѣ принесли твою послѣднюю записку со словами: «изволилъ уѣхать». Тутъ тоже ломилось мое сердце, но послѣ этой записки какой-то святой лучъ свѣтилъ на меня; *свиданіе*, какъ яркое солнце, вставало изъ-за чернаго горькаго моря, и изъ-за тумана. Съ самаго

20 іюня 1834 года узнала я, что ты для меня, ахъ, какъ и тогда уже я любила тебя, другъ мой, какъ ты писалъ мнѣ о Бир.; какъ меня удивила и какъ казалась странною серьезность, съ которою ты писалъ о немъ. Едва вышедши изъ дѣтства,—онъ мнѣ нравился и собою и своими комплиментами, участіемъ (а его такъ жаждала тогда душа моя), но я видѣла, какъ *многого* въ немъ не было, и думала: это оттого, что я слишкомъ далеко отъ него, думала, что съ нимъ я могла бы быть счастлива, но вѣчная мысль — что скажетъ Александръ? И потомъ, я боялась, что буду его любить больше брата Александра, выше котораго не было у меня въ сердцѣ ни для кого мѣста. Какъ странно, неприятно, даже и досадно было мнѣ, что ты увѣрялъ меня тогда, что «это счастье не мое», и все для меня, и для меня.. Я хотѣла, чтобъ ты просто сказалъ: «я не хочу этого, Наташа». Вотъ, мой ангелъ, какъ давно, какъ съ каждымъ днемъ росла моя любовь къ тебѣ. А если-бъ зналъ ты всѣ мечты, всѣ думы послѣ твоего отъѣзда до января 36 года. Я не желала даже, чтобъ зналъ ты, какъ я люблю тебя. Я боялась обратить на себя твое вниманіе, мнѣ казалось, я и того недостойна, я счастлива была тѣмъ, что Богъ далъ мнѣ душу, умѣющую понимать твое величіе. я безпрестанно благодарила его за то, что *люблю тебя*, я не хотѣла ничего болѣе, рѣшительно ничего. Уйду, думала я. въ пустынь и стану за него молиться... О! какъ мнѣ полно казалось мое существованіе, но Ему было угодно иначе; Марія хотѣла идти служить въ тотъ домъ, гдѣ бы былъ Христосъ, а послѣ была Его матерью.

Ты пишешь, что, проживъ нѣсколько мѣсяцевъ вмѣстѣ хоть въ Загорьѣ, намъ можно умереть, не выдавши Италіи; я до этого писала тебѣ, что не 10 лѣтъ жизни съ тобою жду я, не 10 дней даже, — взгляда, одного взгляда, за нимъ намъ цѣлая вѣчность... А Италія? обыкновенно, молодые уѣзжаютъ въ деревню, и мы (если будетъ можно) поѣдемъ въ *свою* деревню! — Съ невыразимымъ восторгомъ, другъ мой, читала я писанное тобою 16-го іюля въ 11 часовъ, — вотъ моя награда, ангелъ мой. Ты правъ, ненужно мнѣ награды, я любима. Но, со всей этой любовью, какія иногда мрачныя минуты находятъ на тебя, какъ ты грустенъ бываешь, какъ страдаешь, — что же мнѣ тутъ за утѣшенье? А видѣть, что, хоть на одно мгновенье, любовь моя просвѣтила твою душу, что она тебѣ принесла хоть каплю покоя и блаженства, — вотъ награда! вотъ то, чему нѣтъ словъ! Ни твоя слава, ни твое отшельничество ненужны мнѣ; все равно для меня, — царь ты, или пастухъ, выбирай самъ. Я презираю эту славу — маленькую и ту даже, которой есть подобныя. Не равно ли величіе челоѣка, когда объ немъ говорятъ, или молчатъ? Великъ и славенъ тотъ, кто въ собственной душѣ сознаетъ, что достоинъ этого, а не тотъ, котораго такъ называютъ. †

Люблю и я грозу; но вотъ что странно: бывало, громъ и молнія, — всѣ блѣднѣютъ, зажигаютъ свѣчи, крестятся, а я стараюсь ускользнуть какъ-нибудь на дворъ, полюбоваться. Теперь же какой-то страхъ, что я *могу быть сейчасъ убита*, вкрадывается въ сердце, потому что я не хочу умереть, не выдавши тебя, далеко отъ тебя, и, признаюсь, рада, когда пройдетъ грозная туча, — ребенокъ. Да, да, мой ангелъ, пора, пора! ахъ, устала я, очень устала, усталъ и ты. — знаю. Какъ глупо все то, что люди называютъ отдыхомъ и покоемъ; да, правда, и то все глупо и ничтожно отъ чего устаютъ они, а на насъ эти раны, эти рѣвы слезъ и крови, это истощеніе даютъ право на покой, и ты обрѣтешь его, моя душа, обрѣтешь на груди моей, во взорѣ моемъ, дашь и мнѣ его. — Ну, что же, какъ пріѣдешь ты? А вотъ еще я придумала: ѣхавши въ Загорье, первое встрѣ-

тится глазамъ скотный дворъ, подлѣ него столбъ съ надписью деревни и вмѣстѣ съ нимъ выкрашенная бѣлымъ горница, въ которой живетъ одна старушка; заѣзжай прямо туда, только сзади, пришли ее сказать мнѣ осторожнѣе, и все-таки мы увидимся безъ нихъ. Даже ежели и изъ Москвы ты прїѣдешь, то постарайся въ этомъ часу и такъ, какъ я писала прежде, поступай. Домашніе наши, съ тѣхъ поръ какъ разнесся слухъ о твоёмъ возвращеніи, бояться за меня, и ото всѣхъ слышу: «что съ вами-то будетъ, матушка!» нерѣдко и я повторяю: «что будетъ со мною?» Что до того, лишь прїѣзжай ты, мой хранитель, спаситель мой, ангелъ! Ежели бы ты ѣхалъ черезъ Подольскъ, мы отъ него въ 15 верстахъ, по Серпуховской дорогѣ, за Царицынымъ три версты; неужели бы папенька разсердился? Охъ, другъ, сердце рвется вонъ изъ груди.

16 августа, вечеръ.

Что странно, съ тѣхъ поръ какъ я стала понимать, что есть на свѣтѣ завтра, мнѣ все казалось, что я здѣсь, съ ними, только до завтра, теперь же все кажется—на одно мгновенье! отверзто небо, отверзты твои объятія,—такъ что-жъ мнѣ до того, что тамъ, внизу. Одно мановеніе Его—и нѣтъ меня здѣсь. Что это, какимъ холодомъ дышать всѣ лики людей, которые имъ кажутся такими пламенными. Отвратительны мнѣ я поцѣлуй ихъ, и пожатіе ихъ рукъ, а объять,—никогда я никого не допущу объять меня. Какъ бы лучше вынесъ отъ нихъ упрекъ, брань, нескелю похвалу или одобреніе. Да, мой ангелъ, намъ одно изъ двухъ—или удалиться отъ людей вовсе, забыть ихъ, умереть въ ихъ памяти и дѣлиться нашей любовью и блаженствомъ съ одной природой; или—собрать цѣлую семью *родныхъ*, цѣлое селеніе, большое, огромное, и забыть, что есть на свѣтѣ *чужіе*... Это совершенная мечта и осуществиться она не можетъ. Что-то ты теперь дѣлаешь? Я цѣлый день сегодня бродила то въ саду, то въ лѣсу, то въ полѣ, хорошо, все хорошо въ природѣ, но гдѣ же ты? Гдѣ тотъ, передъ кѣмъ всѣ эти красоты тѣма, все это величіе пылінка, гдѣ онъ, онъ, мой Александръ?.. Ахъ, Сашкинъ, какъ иногда мнѣ хочется стать передъ тобою на колѣна,—о, мой дивный другъ! На дняхъ видѣтся мнѣ во снѣ, будто ты женишься, всѣ говорятъ, что твоя невѣста съ необыкновенными талантами, ангелъ красотою и добротою; меня это утѣшало, и даже образъ ея мелькалъ передо мною, я находила ее достойною тебя и радовалась, но вдругъ возстала мысль—любить ли, можетъ ли она любить тебя моею любовью? И сердце замерло при этой мысли,—я хотѣла превратиться въ прахъ, исчезнуть, лишь бы передать ей любовь, но не успѣла, проснулась. Да, зажигайтесь на лазурѣ звѣзды, луны, солнца,—одинъ лучъ любви моею затмить вашъ обликъ.—Ну, прощай, идетъ, идетъ время, не съ большимъ недѣля до 26, а ты не ѣдешь и слуху нѣтъ. Скорѣе же, скорѣе.

17-е. Ты мнѣ напомнилъ, что Сазоновъ былъ у тебя 9 апрѣля; фамилія его навсегда бы и безъ того осталась въ памяти, потому что я слыхала ее отъ тебя, а лица его совершенно не помню, а помню, что на тебѣ былъ бешметъ двулишневый, зеленое съ синимъ, пушцовая ермолка, красные сапоги! Ты много курилъ тогда, и долго послѣ того отъ волосъ моихъ пахло курительнымъ табакомъ и мнѣ жаль было ихъ помадить; и теперь запахъ этотъ я не могу равнодушно слышать, будто изъ-за облака дыма встаетъ твоя каюта, темной коридоръ, лицо Васильева, пушцовая ермолка, Ты!..

Цѣлое море воспоминаній! О, какъ мнѣ хочется съ тобой поговорить, только

не на бумагѣ, взять твою руку какъ 9, — и воскресить его совершенно. Вѣрно мы ничего не забыли! О, у меня и теперь отдается въ ухахъ тонъ и выраженье твоего голоса, когда ты спросилъ: «итакъ, ты не пойдешь въ монастырь»; — я сказала — вѣтъ. И болѣе не помню изъ разговоровъ, но каждое опущеніе, этотъ восторгъ, грусть, благоговѣніе и самоотверженіе. — все такъ свѣжо въ душѣ! Прощаясь съ тобой, я не плакала, видно самъ ангелъ хранитель удержалъ слезы, чтобъ мнѣ насмотрѣться на тебя въ послѣднее; нагнулись было, но, когда ты заговорилъ съ маменькой, я отвернулась и обтерла и съ улыбкой поцѣловала тебя въ послѣдній разъ; а когда поѣхали мы, когда я ничего болѣе не видала, какъ маленькую темную дверь и въ ней Васильева... Прощай, мой ангелъ.

18-е. Александръ, какъ ты отдаешься мнѣ. О, Боже, я бы должна была одну благодарность возсылать къ Тебѣ, но вотъ еще молитва — услыши! Сдѣлай меня вполне достойною его, научи дать ему столько, сколько онъ далъ мнѣ! — (Остальное да будетъ такъ, какъ Ему угодно. У меня вѣтъ ни плановъ, ни желаній, пусть мѣряютъ и считаютъ тамъ, гдѣ есть больше и меньше, ближе и далье, — передо мною вѣчность, безпредѣльность! Любить тебя вотъ все для меня, вотъ мои желанія, мои воспоминанія, надежды, настоящее, будущее, прошедшее, моя жизнь, вѣра, религія, Богъ; не любить тебя значитъ не существовать мнѣ, не быть Бога.

Весь міръ со мною. Я не знаю свѣта, не хочу и знать его. Въ этомъ огромномъ и тѣсномъ собраніи людей ничего не слышно кромѣ треска колесъ о мостовую, ничего не видно кромѣ бронзы, — и какъ холодно несетъ отъ него, — о отвернемся, отвернемся оттуда, другъ мой!

Ахъ, можетъ быть, скоро, скоро отдернется флеръ, сквозь который я смотрю на тебя теперь. Ты снимешь цѣпи, откроется тюрьма, — и полетимъ вмѣстѣ... куда? Куда летитъ любовь? — О, какъ хочется бросить и перо, и этотъ листокъ, и всю землю, при мысли, что увижу тебя...

Тяжело, мой ангелъ, тяжело — въ святыхъ минуты вмѣсто твоего взора встрѣтить лицо равнодушія и ничтожества, тяжело въ минуту грустную вмѣсто твоей руки преклонить голову къ стѣнѣ или держать ее на безсильныхъ плечахъ.

19-е. Скоро опять ѣдутъ въ Москву... Что то пришлютъ мнѣ! неужели еще вѣтъ рѣшенія, вотъ ужъ только недѣля до 26-го. Ну, пусть такъ, когда мы еще мало постылись, хоть бы къ 22 окт. была надежда увидѣться. Тогда ужъ это будетъ въ Москвѣ, тогда, ежели папенька захочетъ, можетъ просто прислать за мной Вѣрушку въ саняхъ, — какъ бывало прежде. Ахъ, какъ все противно здѣсь, какъ это все едва видно изъ-подъ земли, — что если бы не было у меня тебя? Тогда бы не было и меня. Можетъ быть, ты ужъ ѣдешь...

Вечеръ. Александръ, истинно несносно здѣсь; кто далъ имъ, этимъ жалкимъ существамъ, такую власть надо мною, по какому праву я завишу отъ нихъ? И какъ гнетутъ они... Но въ сторону это, это все вздоръ, все пройдетъ. Теперь сердце дрожитъ, — что то пришлютъ мнѣ изъ Москвы. Хорошо, мой другъ, встрѣча съ Полиной должна быть для насъ незабвенна, пусть рука твоя увѣковѣчитъ ее; можетъ, долго послѣ насъ она возбудитъ благороднѣйшія чувства и въ тѣхъ сердцахъ, съ которыми насъ не связывала симпатія. Что Эрнъ? Я думаю, онъ не останется безъ тебя въ Вяткѣ, передай ему (можетъ въ послѣднее) мой поклонъ и маменькѣ его почтенье, а Полинѣ жму руку съ искреннею дружбой и желаніями всѣхъ благъ. Ну, прощай, моя жизнь, моя душа.

Твоя Наташа.

16-е августа. Вятка.

Ангелъ мой, Наташа, все берегъ ближе и ближе, уже птицы подлетаютъ къ кораблю, ужъ звуки земли слышатся, и все еще пристать нельзя, — а должно быть скоро, но все сдается, что скоро въ Петербургъ, а не въ Москву. Веди, веди, невидимая рука, я такъ отвыкъ располагать своею жизнью, что даже и не забочусь о томъ, гдѣ и какъ она будетъ развиваться, но тяжела разлука, ахъ, какъ тяжела! Свиданіемъ съ тобою окончится трехлѣтнее страданіе, оно дастъ силы на новыя испытанія, безъ тебя я изнемогу. Лишь бы это Провидѣніе мнѣ облегчило, болѣе я не прошу; пусть неудачи, горести, болѣзни—все на меня, лишь бы соединиться съ тобою. Ты очень права, противъ папеньки мнѣ дѣйствовать грѣшно, сколько стараній о моемъ возвращеніи, — и мнѣ заплатить неблагодарностью. Нѣтъ, это ниже меня, я слезами трону его, вѣдь, у него есть много любви ко мнѣ, я этой любовью трону его. Пусть дѣло Божіе останется чисто отъ всякаго упрека, пусть оно останется дѣломъ Божиимъ. Отчего же я не могу преодолѣть страхъ внутри души, отчего середь восторга, гармоніи, любви, неумолимый голосъ, холодный, скрипящій дѣлаетъ черную полосу и пророчить несчастье тамъ, гдѣ все говоритъ о блаженствѣ? Вооружимся! не даромъ достается счастье. Наташа, мы любимъ другъ друга, довольно и этого. Отдадимъ же Провидѣнію то, что принадлежитъ ему.

Сюда пріѣхалъ новый губернаторъ, — все переиживается; этотъ человѣкъ образованный и нашего вѣка, со мною хорошъ—это естественно. Изъ свиты наследника ему писали обо мнѣ по волѣ великаго князя; ну, скажи, можно ли было надѣяться, что въ этой Вяткѣ я найду себѣ защитника, и гдѣ же—возлѣ самаго престола, и кому обязанъ я этимъ—великому человѣку Жуковскому. Въ этомъ письмѣ, между прочимъ, написано слѣдующее: «по всѣмъ вѣроятностямъ настоящее положеніе Герцена измѣнится къ лучшему въ непродолжительное время», — и это писано оттуда, гдѣ слово — есть уже исполненіе. Ну, вотъ тебѣ новость радостная! Новый губернаторъ ужасно мною занимается, а послѣку онъ меня приблизилъ къ себѣ, то и мнѣ достается работы вволю, но это хорошо, — лишь бы время проходило. А ежели я буду жить въ Петербургѣ, то можно будетъ устроить, чтобъ ты переѣхала къ Ал. Ал.; вспомни, тогда вѣтерокъ на тебя не дунетъ, я буду тамъ!

17 августа. И нынѣшній годъ желаніе быть съ тобою 26-го числа не совершилось. Прими же мое письменное поздравленіе. Вотъ тебѣ поцѣлуй страстный, пламенный, поцѣлуй любви безпредѣльной, — оботри слезу разлуки на этотъ день и будь весела, сколько можешь. А сколько грусти во всемъ этомъ, но я съ утра буду съ тобою, прислушайся душою, и ты услышишь созвучную душу, твою душу. Прощай, до завтра.

// Странная вещь, душа человѣческая похожа на маятникъ, сдѣланный изъ разныхъ металловъ, которые влекутъ его по разнымъ направленіямъ въ одно и то же время, и такимъ образомъ, взаимно уничтожаютъ постороннее вліяніе. Одинъ элементъ моей души требуетъ поэзіи, гармоніи, т. е. тебя и больше ничего не требуетъ, и голосъ его сладокъ, чистъ, и душа становится вдвое лучше, когда одинъ этотъ голосъ раздается въ ней, и ему хотѣлъ бы я отдать побѣду, пусть онъ бы царилъ. И я былъ бы тогда хорошъ, изящень, исполненъ поэзіи, былъ бы вполнѣ тѣмъ Александромъ, котораго любитъ Наташа. Но рядомъ съ этимъ голосомъ—другой, отъ котораго, сколько я самъ себя ни увѣряю, не могу отдѣлаться, и который силенъ, это голосъ, сходный съ звукомъ трубъ и литавръ,

въ немъ одна поэзія славы, какъ въ томъ одна поэзія любви, онъ требуетъ власти, силы, обширный кругъ дѣйствія. Бѣда, кто въ ранней юности былъ такъ неостороженъ, что пустилъ этотъ голосъ въ свою душу, когда онъ, привѣтно, похвалами товарищей, школьными успѣхами прокрадывался въ нее. Бѣда, потому что онъ растетъ, мужаетъ, и трудно изгнать его. Вотъ проходятъ мѣсяцы пустой ссылочной жизни, и онъ умолкаетъ, и я воображаю, что побѣдилъ его. Совсѣмъ нѣтъ; малѣйшій успѣхъ, это проклятое чувство «я оцѣненъ» будитъ его, опять раздаются литавры, и пламенная фантазія чертитъ вдали воздушные замки. Ты недавно радовалась моему тихому расположенію, но я не хочу ни въ чемъ обманывать тебя. Въ Италію-то мы поѣдемъ и проживемъ тамъ другъ для друга и для природы годъ или два. А тамъ? Неужели, какъ дымъ въ воздухъ, исчезнетъ моя жизнь! Ну, молчи же голосъ самолюбія, ты не съ неба сошелъ, отъ небснаго голоса навертывается слеза, а отъ тебя... отъ тебя душа трепещетъ и волнуется болѣзненно. Вполнѣ ли ты понимаешь это чувство?—нѣтъ, только по опыту можно судить. Но не бойся, ежели этотъ голосъ не всегда созвученъ тому голосу, то никогда онъ не побѣдитъ его. Прощай. Твой Александръ. //

// 18 августа. Опять объ этомъ голосѣ. Откуда онъ? Неужели это одно броженіе буйной, неутомимой гордости? Нѣтъ ли чего-нибудь высшаго, не есть ли это сознание силы, не есть ли и это голосъ Провидѣнія, повелѣвающій быть дѣятельнымъ звеномъ? Горе зарывающему талантъ свой! Вѣдь, есть же люди, которыхъ не манитъ обширная дѣятельность, оттого что они не могутъ отпечатать свою физиономію на обстоятельствахъ, оттого что и физиономіи у нихъ своей нѣтъ. Эти люди дѣйствуютъ по привычкѣ, холодно, лишь бы съ рукъ сбить. Достигаютъ иногда огромныхъ успѣховъ, такъ, какъ тѣ, которые находятъ случайной кладь. Душа художника чревата мыслью, онъ ее хочетъ произвести въ дѣйствительность и несчастенъ, ежели не можетъ. а другой, у котораго нѣтъ этой мысли, разумѣется, покоенъ. Есть люди высокіе, можетъ, самые высочайшіе изъ людей, которые внутри своей души находятъ міръ жизни и дѣятельности, въ созерцаніи проводятъ жизнь, и эти-то созерцанія развиваются теоріями, пересоздающими понятія человѣчества, ежели же и не развиваются, то онѣ долѣются человѣку. Къ этимъ людямъ принадлежатъ Огаревъ, но не я. Во мнѣ съ ребячества поселилась огненная дѣятельность, дѣятельность внѣ себя. Отвлеченной мыслью я не достигну высоты, я это чувствую, но могу представить себѣ возможность большого круга дѣятельности, которому бы я могъ сообщить огонь души. Какой это кругъ,—все равно, лишь бы не ученый: мертвая буква и живое слово раздѣлены цѣлымъ моремъ. Разумѣется, я подъ ученнымъ занятіемъ не понимаю литературу. Однако, и въ самой литературной дѣятельности нѣтъ той полноты, которая есть въ практической дѣятельности... Довольно, пора кончить диссертацию, когда-нибудь поговорю больше объ этомъ... //

Еще, еще поздравляю тебя съ 26-мъ августомъ, день, котораго ты ангелъ (а не твоего ангела). Зачѣмъ мечталъ я провести его съ тобою, утраченная мечта будто настоящая потеря! Судьба, еще ли не довольно ты свирѣпствовала, пожалѣй не меня, меня не стоитъ падить, пожалѣй этого ангела, чѣмъ заслужилъ онъ эти мученья, онъ чистъ, высокъ, какъ не падшій человѣкъ; можетъ, вся вина его только въ томъ, что, вмѣсто того, чтобъ отдать всю жизнь Богу онъ раздѣлилъ ее между Имъ и человѣкомъ. Но развѣ любовь не оттуда? Онъ приведетъ тебѣ и человѣка въ рай, онъ не воротится одинъ къ престолу Бога. Его пощади! Да, Наташа, или мы оба явимся тамъ, или человѣкъ увлечетъ ан-

гела въ удушливую жизнь свою. Нѣтъ, сильна твоя душа, и самодержавна надъ моею душой. Прощай—еще прощай, боюсь сказать—до свиданья. Я перечиталъ все письмо. Господи, какая безпокойная душа у меня, какія страсти раздираютъ ее. Но, Наташа, больше ли бы любила ты своего Александра, ежели-бъ душа его была ясна, и свѣтла, и чиста, какъ небо въ зимній день? Гдѣ огонь солнца, тамъ и туча грома. И могъ ли бы твой Александръ больше любить тебя, ежели-бъ въ его душѣ не бушевали толпы страстей, раздирая ее, увлекая? Нѣтъ, не могъ бы... Ну, поцѣлуй же меня, посмотри на меня, другъ, сестра, моя поэзія, моя святая!

22 августа. Наташа! Вотъ ужасное время поста и искушенія, я никогда столько не страдалъ отъ угрожающихъ бѣдствій, сколько теперь отъ надеждъ: видѣть возможность, видѣть близость исполненія такого пламеннаго желанія, и все-таки не видать самаго исполненія. Надежды вещь ужасная, онѣ своею теплою разогрѣвають, смягчатъ то твердое направленіе сердца, которымъ мы обрекаемъ себя на неотвратимое страданіе, такимъ образомъ отнимаютъ силу, и, когда онѣ, не получая безпрестанно пищи, блѣднѣютъ, открывается слабость, и горечь положенія является въ колоссальномъ видѣ, какъ все представляющееся глазамъ горячешнаго. Въ самомъ дѣлѣ, ну, тебѣ сказали бы, что я завтра буду, а я пріѣхалъ бы черезъ недѣлю, — сколько перестрадала бы ты, какъ ужасны были бы эти *шесть дней*. А ежели-бъ сказали, что увидимся черезъ годъ, — было бы тяжело, но Богъ послалъ бы силу, и ты спокойно ждала бы, а я бы пріѣхалъ *черезъ 8 мѣсяцевъ*. Какая радость, забыты страданія и, какъ будто, еще новое благополучіе. Итакъ, надежды меня терзаютъ, я ими боленъ, я ими страдаю. Эта возможность видѣть тебя образовалась въ какую-то безгранную, безмѣрную потребность, и я опять скучаю и бѣшусь больше, нежели когда-нибудь. Наташа, Наташа! Ахъ, зачѣмъ грозная судьба лишила тебя всѣхъ этихъ восторговъ, всѣхъ поцѣлуевъ, всѣхъ этихъ взглядовъ. О, ангель мой! На дняхъ я читалъ у Жана Поля «Искусство быть веселымъ въ несчастіи». Вотъ смѣхъ! Жанъ Поль великой поэтъ, но это такъ холодно, его обдуманное средство обмана, такъ холодно. А впрочемъ, его надобно читать людямъ, которые очень счастливы, тѣ повѣрять, что можно такъ утѣшаться. А я не вѣрю. Вижу я сегодня во снѣ, что въ Москвѣ, что собираюсь идти къ тебѣ, наконецъ, вижу и тебя, но что-то смутно, — и все-таки какая-то гармонія разлилась по душѣ, я проснулся со вздохомъ, но вздохъ этотъ былъ сладокъ. О, Боже, — зачѣмъ прошелъ тотъ вѣкъ, въ которой тѣлесными трудами иногда заставляли искупать свою волю. Пусть бы меня освободили съ тѣмъ, чтобъ идти пѣшкомъ, сейчасъ бы пошелъ босой, питаюсь подаяньемъ. О, съ какимъ восторгомъ я прижалъ бы тогда тебя къ груди моей! «Взгляни», сказалъ бы я, «какъ солнце обожгло лицо мое, взгляни на кровь на моихъ ногахъ, взгляни на мое утомленіе, — все это для тебя, Наташа». И не по праву ли послѣ этого я склонилъ бы голову на твою грудь, и ты бы поцѣловала меня, и, можетъ, съ этимъ поцѣлуемъ я умеръ бы, — и довольно житья. Зачѣмъ это нынче невозможно. Чѣмъ я *заслужу* тебя? Страданіями, — но развѣ я *за тебя* страдаю. Ты мнѣ даръ Бога, достойнае дара онъ не могъ при всемъ Всемогуществѣ мнѣ дать. — Ты теперь ужъ вѣрно прочла I. Maestru, — ну, видѣла ли ты себя тамъ? Я тебѣ говорилъ ужъ, во всѣхъ статьяхъ невольно вдали, въ *святой святыхъ*, виднѣются *твои черты*.

25 августа. Ты опять на меня будешь сердиться за бѣлую половинку этого письма, а писать некогда; ну, впередъ помиримся же. Прощай, ангель мой, про-

щай. А завтра 26-е. Вѣрь, недолго еще продолжится первый томъ твоихъ страданій. А второй, онъ еще не начинался... Фу...

Но моя ты будешь... да ты и теперь моя.—Я опять испортился, ничего не дѣлаю (т. е. ничего путнаго), таскаюсь по улицамъ и по домамъ, убиваю время на скорую руку, — эти надежды на свиданіе съ тобою развинтили меня совсѣмъ. Прощай же, надобно идти въ канцелярію. Давно нѣтъ звуковъ «пѣсни ангела».

Твой Александръ.

Когда будешь писать къ Emilie, — братскій поклонъ.

24 августа. Загорье.

Еще ли есть для тебя тайна въ мученіяхъ разлуки? Нѣтъ, ты извѣдалъ всю горечь ея, и мои страданія, мой другъ, равны съ твоими. Есть наслажденіе — я не говорю — наслажденіе святое въ несчастіи, въ томъ несчастіи, особенно, которое падаетъ на однихъ избранныхъ; но всегда ли въ насъ есть твердость подставить другую ланиту, когда ударять по одной, не только пѣть гимнъ и, не опуская глазъ, смотрѣть вверхъ и въ лазури искать Бога, тогда какъ нашу грудь и сердце раздираютъ желѣзными когтями и поливаютъ уксусомъ?.. Вотъ въ чемъ должна состоять молитва наша, — проси не объ отвращеніи бѣдствій, но о ниспосланіи терпѣнія въ нихъ. Ты пишешь, чтобъ я не *досадовала*, ежели тебя переведутъ въ Петербургъ. О, мой ангелъ, я *на все готова!* Въ каждой минутѣ разлуки съ тобой — годы страданій и вѣкъ блаженства. Пусть на шеѣ моей тяжелыя вериги, пусть скованы руки, пусть не снимаютъ терноваго вѣнца съ головы моей, пусть безъ обуви ведутъ меня по раскаленному желѣзу, — Александръ меня любитъ! Александръ — мой! О, если-бъ можно словами изливать душу... но что, что бы тогда симпатія?..

25-е. Прощай, когда такъ, мой ангелъ, вотъ тебѣ мое благословеніе въ путь, ступай къ твоему морю и, глядя на волны его, помни, что тебя ждетъ другое море, морѣ ясное, тихое, что только въ его водахъ найдешь ты покой и вѣчность. Теперь мнѣ часто приходитъ въ голову раздумье Козлова:

Море синее, море бурное,
Вѣтеръ воюющій, необузданный,
Ты, звѣзда моя полуночная,
Ахъ, отдайте мнѣ друга милого!..

Грустно, Александръ, другъ мой, грустно... Когда же, когда свершатся надежды, которыя такъ жестоко смѣются надъ нами. Сердце ноетъ, ноетъ, не милъ и Божій свѣтъ. Но все-таки, душа моя, я не ропщу, если бы любовь наша не была такъ свята и необъятна, мы не сказали бы — да будетъ воля Его! Когда мнѣ предназначено всю жизнь любить тебя, и во всю жизнь только разъ встрѣтить взоръ твой, — да будетъ Его воля! да будетъ Ему слава!

Теките же, дни грусти, медленно или скоро, — мнѣ все равно, я увижу его здѣсь, я буду съ нимъ вѣчно тамъ. Книги мнѣ твои прислали, а I. Maestru нѣтъ — списываютъ. Благодарю! жду съ величайшимъ нетерпѣніемъ.

26-го. Грустно мнѣ, смертельно грустно, ангелъ мой. Нѣтъ, не стану теперь писать. Чѣмъ свѣтъ встала я все смотрѣла на дорогу, будто ты по ней долженъ былъ ѣхать...

Полдень. Зачѣмъ я не могу вполнѣ отвѣчать на эти искреннія поздравленія и желанія. Что это, ангелъ мой, какъ любовь этихъ простыхъ людей растеть

все болѣе и болѣе; имъ-то я ничѣмъ не могу заплатить, если-бъ вздумала платить деньги — униженіе! Нѣтъ, открытыя объятія, имя друзей и братьевъ — награда имъ! Какъ одинока я, душа моя, Александръ! Какъ при каждомъ поздравленіи взволнуется сердце, и навернутся слезы, всѣ далеко, *всѣ!* Господи, прости мнѣ, и Онъ возмущился духомъ, а я слабая, ничтожная... Какое пасмурное небо, какъ грустна вся природа, я же видѣла покойника въ церкви сегодня. Другъ мой, обратись ты ко мнѣ, освѣти меня лучемъ твоего взора, оживи дыханіемъ. Александръ! Александръ!.. промолви, звукъ твоего голоса вознесетъ меня отъ земли. Безмолвіе, холодъ, мракъ кругомъ, какая-то безжизненность, даже смерть... О, мой другъ, о, мой ангелъ-хранитель, прости меня, Александръ, вотъ получу письмо отъ тебя и утѣшусь, теперь не могу, — черно, тяжело на сердцѣ. Знаю, ты со мной душою и мыслью, всѣ со мной, *всѣ* они, — милые, близкіе, родные моему сердцу, но гдѣ же они? гдѣ ты?

Знаешь ли, гдѣ я была? Тамъ, подъ ивой, на плоту, — какой вѣтеръ; долго, стоя, смотрѣла я, какъ струится вода, мертвые листья падаютъ, и она уноситъ ихъ изъ виду; я сорвала зеленую вѣтку и бросила, ее прибило къ плоту, — не такъ ли и надежды наши?..

Вечеръ. Долго бродила я одна въ рощѣ и на берегу, часто останавливалась и стояла долго. Что это, ангелъ мой, какъ мнѣ грустно: и зачѣмъ такъ дѣтски ловить малѣйшій лучъ, или лучше малѣйшую искру, и раздувать ее въ душѣ, — разгорится пламень, а тутъ холодно, мимоходомъ дунуть — и погасло! Какое же душѣ съ мракомъ и пустотою? Воображенье, что и тебѣ должно быть грустно, усиливаетъ тоску. Еще бы я была одна... а то вообрази, вокругъ меня цѣлыхъ *четыре!*.. Фу! Слава Богу, что прошелъ этотъ день! Что-то ты теперь? Ахъ, если-бъ этотъ вихрь умчалъ меня...

29-е. Неожиданная оказія, не успѣваю ничего сказать тебѣ, мой Александръ, цѣлую, обнимаю тебя, душа моя, теперь мнѣ не такъ грустно, — жду отъ тебя письма. Съ восхищеніемъ читаю Шиллера, когда можно. Поздравляю тебя съ завтрашнимъ именинникомъ. Клавійя Полинъ и жениху ея. Эмилиі я писала отъ тебя. Ну, прощай. Твоя, твоя, мой ангелъ, Наташа.

Августа 26-го.

Другъ мой, изъ той же дали простираю я тебѣ мою руку сегодняшній день, какъ и въ прошломъ, какъ и два года, какъ и три года. Поздравляю тебя, — хочется быть нынче веселымъ, а грустно. Терпѣли много, потерпимъ еще, надежда все еще свѣтитъ, какъ утренняя звѣзда. Вчера пришло освобожденіе двумъ сосланнымъ семействамъ изъ Польши. Радость, восторгъ — только потому, что ѣдутъ на родину, а я — я, оторванный отъ тебя, я, назначенный утереть слезу на глазахъ ангела. какъ же я долженъ буду радоваться! Я брошусь на колѣна и принесу благодарность Богу за то, что онъ сжалился надо мной, покончивъ эту трудную эпоху жизни. Каждый день теперь надобно ждать, до 15 сентября. Послѣ надежды поблѣднѣютъ. Сегодня весь день посвящаю тебѣ, — а будто всѣ прочіе моея жизни не тебѣ посвящены. Будь же и ты весела присутствіемъ моея души.

Вечеръ. Ну, вотъ и этотъ день прошелъ. О, Наташа, о, мой ангелъ, какъ тяжело это бремя, которое судьба бросила на моя плечи. Я грустилъ весь день. Многие поздравляли *avec le jour de nom de la chire cousine* — это меня радовало; но грусть проглядывала сквозь каждую улыбку. Балъ сегодня, меня звали, я не

могъ рѣшиться ѣхать и просидѣлъ весь вечеръ дома. Словъ нѣтъ, выраженій нѣтъ моей любви; она растеть, она захватываетъ все бытіе мое, все, все проникнуто ею. Дружба—чувство высокое, но какъ она далека отъ любви, насколько не можетъ она замѣстить любви, а любовь наполняетъ все. Два друга, какъ бы ни была велика ихъ дружба, все два друга... а двое любящихъ—одно существо, выше человѣка. Оттого-то такъ тягостно быть въ разлукѣ. О, Провидѣніе, услышь же мою молитву, отдай мнѣ ее, долго я терпѣлъ, но силы слабѣютъ, не могу болѣе... Наташа, ей Богу, кажется, я не перенесу еще годъ разлуки.

Я перечиталъ твое письмо отъ 26-го августа 1836. И тогда ждала ты меня, и тогда были надежды. Ахъ, какъ ярко въ этомъ письмѣ видна твоя безпредѣльная любовь и твоя высокая душа. Прочитавъ его, никто не удивится, отчего я всю власть надъ моей душой отдалъ тебѣ. Прощай, ты уже давно спишь. Ангелы, навѣйте же ей мой образъ, и я, усталый, почти нездоровый отъ надеждъ и медленности ихъ, лягу. Прощай, цѣлую тебя въ глаза, въ уста, въ твои милыя уста, еще... еще...

29 августа. Твои письма отъ 30 іюля и 20 августа. Отвѣчать теперь не стану, не могу, дай придти въ себя. Я мучился и страдалъ всѣ эти дни, не зналъ, куда дѣться; эта надежда, похожая на каплю ртути, которую чувствуешь подъ пальцемъ, а взять нельзя, истомила меня. Твои письма все исправили, я легко вздохнулъ, я свѣтло взглянулъ.. Да укажи, Наташа, хоть одно пятнышко на твоей душѣ, Бога ради, укажи, тогда я повѣрю, что ты человѣкъ. Высота твоя подавляетъ меня. И притомъ что то дѣтское, ребячье. Говорятъ, что у Рафаиловыхъ Мадоннъ только черты женщины, а что ясно видно божественную, неземную. Такъ и въ тебѣ, только форма человѣка, а сущность ангела!

Ну, что сказать о надеждахъ, — ежели-бъ я подалъ просьбу, то былъ бы ужъ въ Москвѣ, вотъ все, что могу сказать. Горько мое положеніе... но прочь слабость, какой я предавался эти дни. Будемъ покойно ждать. И границу я тебѣ назначу, послѣ которой надежды увянутъ, привыкни къ этой мысли; эта граница 15 сентября, она близка; тогда придетъ почта отъ 30 августа. Проси же у Бога, къ которому ты такъ близка сама. И гдѣ же бы было вѣчное, святое начало любви, ежели-бъ пространство могло ее привести въ отчаяніе. Вспомни, что ежели я буду знать, что ты покойна, я многое перенесу, а твоя грусть сломаетъ меня. И почему знать, какая цѣль у Провидѣнья, продолжая нашу разлуку; не оттого-ли мы только негодуемъ, что поэзія свиданія поглотила душу нашу. Наташа! страданій нашихъ двѣ части: одна—это моя ссыдка, другая—будетъ въ Москвѣ до нашего соединенія. Не забывай, что чѣмъ долѣ первая часть, тѣмъ короче вторая. Первую мы знаемъ, знаемъ глубокую, острую боль разлуки, знаемъ эту жгучую жажду свиданья, взгляда, поцѣлуя, знаемъ и переносимъ, ты сама писала, — въ ней есть поэзія, высокое страданіе, эта часть опирается на святое 9-е апрѣля. Другая обопрется на тотъ неизвѣстный, святой день свиданья и поведетъ рядомъ нѣмыхъ, глухихъ обидъ и оскорбленій, лишенныхъ высокаго и запечатлѣнныхъ штемпелемъ людей мелкихъ,—тягостная будетъ эпоха. Я знаю, что все это вздоръ передъ любовью, что мы побѣдимъ, хотя бы побѣда и была уже на томъ свѣтѣ. Но вопросъ (котораго рѣшеніе извѣстно одному Богу), которую часть легче выносить. Я не знаю. Онъ знаетъ, оставимъ же ропотъ, будемъ его дѣтьми... Въ самомъ дѣлѣ, ты права, можно ли было надѣяться, что судьба Полины такъ быстро переменится, и послѣ этого намъ смѣтъ сомнѣваться. Ахъ, сколько людей пошли бы на каторгу за одинъ

взгляд истинной любви, за одну мысль, что гдѣ-нибудь бьется сердце за нихъ, в холодный мѣръ отказываетъ имъ, можетъ, потому, что они ищутъ на ложной дорогѣ. А намъ отчаиваться, неблагодарность! — Это не тебя, ангель, а себя я уговариваю.

[Число не обозначено].

Съ каждыиъ днемъ я дичаю больше и больше, люди дѣлаются маѣ такъ посторонни, такъ чужды, что я бѣгаю оттуда, гдѣ ихъ много. Нѣтъ, Наташа, не скоро можно сдѣлаться братомъ, другомъ, больше или меньше сочувствія соединяетъ того, другого по разнымъ началамъ, изъ разныхъ основаній. Вотъ *этой* любить меня за то, что я остеръ, за то, что ядовитая иронія вырывается изъ большой души, вонъ *той* любить за пламенный слогъ моихъ статей, и я ихъ люблю за *что-нибудь*, можетъ, за то, что одинъ хорошо хвалитъ меня, а другой хорошо повязываетъ галстукъ. Хотѣлъ бы оторвать клочъ горячаго сердца и дать имъ и заставить подняться къ той сильной, высокой, *полной* жизни. и *какъ-будто* они поднимаются. Да нѣтъ, курица не товарищъ орлу, скорѣй ласточка, скорѣй горлица ему товарищъ. Люди много потеряли въ моемъ мнѣнн съ 1834 года; я самъ, en qualité d'homme, много потерялъ въ своихъ глазахъ. Но всѣ вѣрованія, всѣ чувства къ нимъ сосредоточивались около двухъ идеаловъ святости божественной, около *тебя* и Ог. Вами я люблю людей, вами люблю себя. Хоть бы ужъ, по крайней мѣрѣ, были *они* мерзавцы, а то въ томъ-то и бѣда, *ни то, ни се*, ни въ хорошемъ нельзя на нихъ опереться, ни въ дурномъ. Юаннъ въ Апокалипсисѣ говоритъ: «О, будь горячъ или холоденъ!» Да, ужъ эти парные люди, люди чуть тепленько? Это жалкое зрѣлище, но еще утѣшиться можно. Есть хуже зрѣлище, и тамъ утѣшиться мудрено. Представь себѣ сильнаго (физически) человѣка, которому дали яду, мало, чтобъ умереть, много, чтобъ быть здоровымъ, и что этотъ ядъ мало по малу начинаетъ его буравить, мучить, томить, и онъ долго перемагается, но, наконецъ, обезсиленный отдается волюнѣ разлагающей его боли, и крѣпкое тѣло его слабнетъ, и жизнь тухнетъ. Вотъ ужасное положеніе, въ которомъ теперь находится Витбергъ. Ежели бы ты его видѣла, когда онъ прѣѣхалъ, и теперь, ты бы его не узнала. Волосы посѣдѣли. Лицо въ морщинахъ, глаза потухли. Даже, о ужасъ, даже я замѣчаю огромную разницу въ самыхъ умственныхъ способностяхъ, какая-то лѣнь души овладѣла имъ, рѣдко говоритъ онъ о искусствѣ, о которомъ прежде говорилъ всегда, иногда будто вспыхнетъ его гевій, взглянетъ изъ заплаканныхъ глазъ, и опять потухнетъ. Сердце разрывается при этомъ зрѣлищѣ, гнетущая бѣдность начинаетъ дотрогиваться до его груди — холодной рукою. Жена, семейство... Фу... А въ будущемъ что? жена, еще большее семейство, и холодная рука гнетущей бѣдности. Не надгробная ли рѣчь его таланту моя статья I. Maestri! Я не имѣю больше силъ утѣшать его, мы дальше, нежели были прежде, одна симпатія страданій и таланта соединяетъ насъ, въ силу остальныхъ идей насъ дѣлать огромное разстояніе XIX вѣка съ XVIII. И зачѣмъ онъ женился, — какъ будто можно художнику любить *во второй* разъ. И зачѣмъ женился на *обыкновенной* женщинѣ, которая не въ состоянн быть для него ангеломъ, Наташей. А когда я уѣду... Велика была твоя жизнь, Витбергъ, ты зналъ восторгъ искусства и восторгъ славы, ты зналъ страданія художника и страданія отца семейства. Твою жизнь я передамъ перомъ симпатія потомству. Но она окончилась, мѣръ поднесъ этотъ ядъ, невинныя уста обмакнулъ ты въ него, — осталось умереть.

Идъ равно дѣйствуетъ въ груди преступника и въ груди Сократа. Еще его оживляетъ одна ужасная минута,—когда онъ пойметъ то, что понялъ я. Или Господь совершить чудо для строителя храма Его?

Ты пишешь о грусти, когда мнѣ надобно будетъ покидать здѣшнихъ друзей: будетъ грустно, но я не хочу ихъ обманывать: восторгъ займетъ все сердце. И одно пятно на этомъ полномъ восторгѣ будетъ, можетъ быть, взоръ М., — его я желалъ бы миновать. Люблю я Полину, люблю Скворцова, но развѣ я имъ нуженъ, развѣ они не составляютъ свое цѣлое? Эрнъ—съ тѣмъ я не такъ близокъ душою, но люблю и его, онъ самъ прежде меня, можетъ, уѣдетъ, его перевели въ Петербургъ, да и хотъ бы остался, что онъ мнѣ. Витбергъ—звѣзда заходящая, и звѣзда восходящая вмѣстѣ идти не могутъ. Вся совокупность ихъ ничего передъ тобою. Намъ одинъ путь черезъ всю жизнь, а потомъ черезъ вѣчность. Слезу имъ и искреннѣйшую дружбу, особенно Полину, она какъ-то росла на моихъ рукахъ, моимъ стараньемъ, и она ужасно меня любитъ. Черезъ два мѣсяца она, вѣроятно, уже *in the Skwortzow*.

Сегодня *30-ое августа*. Сегодня должна тамъ рѣшиться судьба наша. *Еще годъ* — въ этомъ словѣ 365 ударовъ ножомъ, въ этомъ словѣ 365 угрозъ. Страшно, ужасно, но надо быть готовымъ и на это. А ежели — боюсь и говорить. Не знаю, что тогда; тогда можно умереть отъ восторга. Ты не поняла, душа моя, почему я спрашивалъ, заѣзжать ли въ Загорье, я не тебя спрашивалъ, а *илъ*, т. е. не взбѣситъ ли это к[нягиню] съ компаніей? И не знаю, сдѣлаю ли я это, застава не та, а большой объѣздъ невозможенъ. Лишь бы меня освободили, да когда вы воротитесь въ Москву? Къ 1-му октября непремѣнно. Впрочемъ, Ваши привезанія, М. Г., исполню всѣ и не забуду ничего. Наконецъ, мало по малу всѣ славные вмѣстѣ со мною получили полупрощеніе и льготы, одинъ я остался! Помимо меня одного прошли всѣ милости и льготы. Вчера я узналъ, что Гг. разрѣшенъ выѣздъ изъ Пензенской губ., и онъ недавно былъ въ Рязани. Оболенскій ужъ съ мѣсяцъ проскакалъ по Вятской губ., посылая со станціи мнѣ поклонъ. Даже сидѣвшіе въ казематахъ въ Шлиссельбургѣ освобождены. Сат. на Кавказѣ. Этого понять нельзя — или мнѣ готовится не полумилость, а цѣлая.... будемъ, будемъ ждать.

1-го сентября. Опять бѣлую страницу пошлю тебѣ, ангелъ мой: лишь только было я принялся писать, за мной прислали *на службу*. Дѣла много мнѣ, но это хорошо, время идетъ скорѣе. Прощай, милая сестра, прощай. Полина со слезой слушала, что ты пишешь объ ней и къ ней. Ты для нея и для Скворцова—какое-то тѣлесное выраженіе Бога и всего святого и взятнаго на землѣ. Что же ты должна быть для меня, когда люди, не выдавшіе тебя, по однимъ письмамъ составили такой идеалъ! Что?—Для меня ты вся совокупность всего высокаго, поэтическаго, нѣтъ, больше! Сама любовь! О, Наташа, гдѣ нашелъ бы я такую подругу, ежели бы Богъ не указалъ мнѣ ее возлѣ. Такъ-то всегда поступаетъ человекъ; ищетъ вдали то, что возлѣ его. Благословимъ же еще разъ Крутицкія казармы. 9 апрѣля. оно не произвело нашей любви, она была прежде; но оно связало навѣки наши души. Прощай. Цѣлую тебя много, много.

Твой Александръ.

1-го сентября, Загорье.

О, дивный, дивный Александръ, о, мой Александръ!... Нѣтъ, не страшить меня буря души твоей, несись, несись туда, куда влечетъ тебя ея стремленье, ея

голосъ вѣренъ. Великій! одинъ лучъ твой на меня, и я переживу вѣчность. Никто не любившій и *любившій* не пойметъ любви моей, ты ее знаешь, она твоя, ты самъ она, зачѣмъ же спрашиваешь ты, больше ли бы любила я тебя, если бы душа твоя была ясна и чиста, и свѣтла, какъ небо въ зимній день?.... Другой день у меня I. Maestri и письмо до 18 августа, душа такъ полна восторгомъ, такъ полна... сорвалъ бы цѣпи. вылетѣлъ бы изъ тюрьмы. *Встрѣчу* съ Дмитріевымъ я читала покойно, она хорошо написана, но въ ней еще нѣтъ *Тебя*: ты встрѣтился съ нимъ, еще не узнааннымъ мною, почти чуждымъ, ну, словомъ, это только встрѣча съ поэтомъ Дмитріевымъ. 35-й же и 37-й годы—тутъ то, въ этихъ встрѣчахъ ты, мой Александръ! онѣ рассказаны тѣмъ языкомъ, которымъ ты говоришь со мною въ письмахъ и безъ писемъ, твоимъ языкомъ. И я часто не могла продолжать, — съ глазами, полными слезъ, съ душою, полною восторга, остававливалась и долго слушала его звуки не здѣсь, а тамъ, въ небѣ, раздающіеся. Только одно лицо описано страшно, я содрогнулась, вспомнивъ, что оно существуетъ на самомъ дѣлѣ, особенно при концѣ, — у меня даже посинѣли ногти.

Съ 34-года мы видѣлись съ тобой только разъ, ахъ, можетъ, и до 40-го увидимся не много болѣе: *Онъ* знаетъ все, я все отдала на Его волю. Можетъ быть, я уничтожилась бы, сгорѣла. если-бъ приблизилась къ самому солнцу, а мнѣ назначено воротиться въ родину и съ тобой; можетъ быть, ты сбросилъ бы тѣло и покинулъ землю, соединившись со мною, а тебѣ предназначено совершить великое на землѣ. Меня грѣбеть твой лучъ, до тебя доходить звукъ пѣсни моей, мы живемъ другъ другомъ, мы одно, но тѣло, но земля дѣлать насъ, придетъ нора — и свѣтъ, слившись съ гармоніей, сольется съ общей душой — вѣчностью — Богомъ! Безъ ропота говорю, настоящая жизнь моя тяжка до крайности, это непрерывная пытка, кромѣ разлуки съ тобой. Въ цѣломъ двѣ иногда я не имѣю десяти минутъ *своейъ*; ежели-бъ я не была твоя Наташа, мнѣ бы здѣсь была не жизнь, а *масленица*, а съ моею душою, съ моимъ стремленіемъ къ великому, изящному и святому, — взоръ мой оскорбляется ежеминутно, слухъ оскорбляется, сердце и душа страждутъ. . А разлука? Ежели бы свѣтъ души моей меркнулъ, ежели бы я теряла чистоту ея, мнѣ бы здѣшняя жизнь становилась легче, а душа моя еще растетъ красотою, стремленіе ея все могущественнѣе, непреодолимѣе, и смрадное, заразительное подземелье невыносимѣе, и страданія сильнѣе, нестерпимѣе. Но мы *даны* другъ другу, — я на все готова! Посмотри, мой ангелъ, съ какимъ спокойствіемъ я смотрю на текущую кровь изъ ранъ, наносимыхъ мнѣ ими, какъ не обороняюсь отъ ударовъ, какъ не рвусь изъ цѣпей; что моя сила передъ *Ею*? однимъ мановеніемъ исчезнетъ все, какъ воскъ отъ лица огня. И ты не бойся за меня, лишь будь самъ твердъ. Разумѣется, второй голосъ души твоей *свыше*, иначе онъ не былъ бы столь властенъ надъ *твоею* душою. Ахъ, лишь бы онъ довелъ тебя до той славы, которой бы я желала тебѣ. — Легко, мой другъ, сказать: «тогда можно будетъ устроить, чтобы ты переѣхала къ Алекс. Алекс.», а на дѣлѣ какъ? Но ужъ рѣшено, еще 2 года тому назадъ, я сказала, что не боюсь участи голубя, съ тѣхъ поръ душа неизмѣримо выросла, а любовь перерастаетъ душу. Что мнѣ Италия, я не ѣду туда, ежели это путешествіе сдѣлаетъ хоть на песчинку урону въ томъ, что ты долженъ совершить, и еще тебѣ рано думать *пожить* для себя; вотъ, если-бъ этотъ мощный голосъ не звалъ тебя къ дѣйствию, тогда бы намъ оставалось на землѣ только воля и наслажденіе, и за что бы тогда эта веселая, всемогущая любовь. Мы въ Италиі не найдемъ болѣе, нежели *можемъ*

найти въ самихъ себѣ. Зачѣмъ же ты съ такою важною вступаясь, что твоя жизнь не должна ограничиться двумя годами въ Италіи? Пусть намъ не будетъ станціи на землѣ, непрерывный путь, трудъ, утомленье, — скорѣй минуемъ чужбину, слаще отдыхъ на родинѣ!..

2-е. Но не всегда могу я съ такимъ самоотверженіемъ склоняться подъ руку Его. Какая-то слабость, что-то несовершенное все еще туманитъ взоръ, волнуетъ душу. Вотъ прошелъ и тотъ день, котораго надо было ждать (писалъ ты) — придетъ рѣшеніе, и ты пріѣдешь проститься со мною, можетъ, еще года на три... Жѣнщина! но, вѣдь, и ангелы плачутъ. Будемъ, будемъ тверды. не поднимемъ рукъ нашихъ противъ Его десницы. Нѣтъ, Александръ, вѣдь, необъятнымъ благомъ надѣлилъ насъ Богъ, и какъ бы мы возблагодарили Его, если-бъ не Онъ самъ научалъ насъ? Какъ вдругъ на днѣ этого рва, среди этой убійственной компаніи, въ духотѣ, видишь небо отверзтымъ, весь свѣтъ, всѣ силы небесныя, ихъ гармонія доходить до слуха, брѣнная пелена теряетъ свою силу, душа развертывается, свѣтлѣетъ, простираетъ крылья и, увидѣвъ тамъ образъ твой, котораго ты здѣсь одно подобіе, летитъ въ твои объятія, все забываешь, все, и долго паришь надъ тою бездною, гдѣ страдалъ, не замѣчая ея. Когда же перестанешь быть совершеннымъ ангеломъ, когда начинаешь быть опять человѣкомъ, — вотъ тутъ тяжело... Много дѣлаютъ надо мной глупостей теперь, сватовство продолжается, они на это употребили здѣшняго священника, знакомаго Снаксареву, которой не рѣшается имѣть жену безъ ста тыс.; безпрестанно бѣднаго посылаютъ въ Москву, торгуются, а тотъ не уступаетъ. Ты не можешь вообразить, сколько употребляется тутъ подлостей, низостей, это бездонная кадка. Я не смотрю на это, иногда смѣшно, иногда гадко, — вотъ ужъ въ полномъ-то смыслѣ сватовство. Хотъ явись самъ г. полковникъ, я не боюсь, что до неприятностей — все вздоръ. Вотъ мнѣ больно то, что хотѣлось бы писать тебѣ, хотѣлось бы читать I. Maestri, Шиллера, — а я не могу, мнѣ *приказываютъ* сидѣть съ собою, и ежели не говорить, то *слушать*, что изволятъ говорить!

3-е. Всего лучше для меня въ этой статьѣ міръ dei Maestri и видѣніе; но нѣтъ, вся хороша, особенно 35 и 37 годы, мудроно ли, что посторонніе были тронуты до слезъ. Ты можешь вообразить, съ какимъ восторгомъ я переливала въ душу лучезарныя мечты твои, твои высокія идеи, которымъ душно на землѣ и тѣсно въ небѣ. Немудрено, ежели я скажу, что я во всемъ, что ни читала, не находила столько высоты и души, это скажутъ и *другіе*. Я перечитывала 1-ю встрѣчу — прелестна и она, вездѣ отпечатокъ твоей огненной, богатой души, — но она далека отъ двухъ послѣднихъ. Господи, какъ жалки мнѣ эти счастливицы, у которыхъ всѣ желанія, прихоти, такъ удобоисполнимы, у которыхъ все идетъ какъ по маслу, которымъ, кажется, ужъ нечего и желать! Станемъ рядомъ — онѣ въ драгоценныхъ одеждахъ (хоть въ порфирахъ!), я въ рубищѣ, онѣ въ блестящихъ камняхъ, выкраденныхъ изъ земли (и Богъ знаетъ зачѣмъ), я въ ранахъ, ими же нанесенныхъ, онѣ, облитые благовоніемъ, я слезами; отвернись, бѣги отъ этого зрѣлища тотъ, у кого нѣтъ душевныхъ очей! тотъ будетъ очарованъ, онъ вымолитъ хоть послѣднее мѣсто въ блестящемъ ряду и потеряетъ душу, потеряетъ рай. Ни за какія сокровища не отдамъ я моихъ слезъ, моей бѣдности. Я боюсь и заглянуть въ душу, одѣтую богато; а что за неизмѣримое блаженство даешь ты моей душѣ. Въ самомъ ли дѣлѣ достойна я тебя? Но, созданная тобою, свѣтлая твоимъ свѣтомъ, оживотворенная твоей душой, напоенная одной любовью, во мнѣ пылинки нѣтъ ни своего, ни посторонняго, вся — ты, твое отраженье,

твой отголосокъ, — какъ же я буду недостойна тебя? Если-бъ руки мои не были спутаны этими гадкими веревками, если-бъ у меня не вырывали изъ рукъ пера, не завязывали ротъ, — не такіе бы звуки услышалъ ты, ангелъ мой, изъ души моей. Но не въчленъ мой жестокой плѣнъ, настанеть пора свободы, и все то, что таятся въ глубинѣ души, вольно и стройно изольется въ твою душу, ты увидишь лѣствицу до самаго неба, до самаго Бога, изъ молитвы и гармоніи, по ней мы взойдемъ *туда*. Прощай, милый, дивный другъ, благодатный другъ! Разберешь ли ты? Я спѣшу ужасно, теперь мнѣ еще менѣе свободныхъ минутъ.

Ночь, 4-е сентября. Что было со мной давеча въ сумеркахъ, — я сидѣла въ углу съ работой, по обыкновенію, съ моими свѣтлыми мечтами о тебѣ, съ молитвой въ душѣ. Забыла я о свиданьи, это такъ мелко, въ минуты восторженія — въ нихъ нѣтъ разлуки, не ищешь въ нихъ и свиданья... Вдругъ говорятъ: «что это за мужикъ верхомъ, онъ кого-то ищетъ, отдаетъ что-то садовнику»... Я тотчасъ очутилась на землѣ и вспомнила наши условія передъ свиданіемъ, забыта невозможность, время, все — «это посланный отъ него», подумала я, и руки мои дрожали, и я едва дышала и не смѣла встать, чтобы не упасть, но скоро его спросили, и обмязъ этотъ стѣснилъ пуце сердце. Ахъ, что-то будетъ, что-то будетъ!

Ночь, 5-е. Александръ! неужели то, что выше толпы, должно быть подъ ногами ея? Нѣтъ, тутъ я не удерживаю стона, у меня нѣтъ силы, я изнемогаю, я чуть жива. Ангелъ мой, спаси меня! Ну, вообрази ты, цѣлый день, съ ранняго утра и вотъ до сей минуты, вокругъ меня шесть существъ отвратительныхъ и страшныхъ, всякое въ своемъ родѣ. Безпрерывно я *должна* быть тутъ, говорить съ ними. Другъ мой, горько мнѣ, невыносимо! Если-бъ ты только взглянулъ, если-бъ послушалъ только... (!) я готова бѣжать въ медвѣжью берлогу, въ ливнинъ ровъ, все сердце изныло, голова налита свинцомъ. Спаси меня! Я бѣгу отъ нихъ вздохнуть, взглянуть на твой портретъ, хоть силъ почерпнуть, и за мной бѣгутъ, и я почти безъ чувствъ вращаюсь туда. Господи! это ли участь сосуда, въ который ты влилъ твое драгоценное сокровище, чистѣйшее, святѣйшее, то, что на землѣ зовутъ любовью, частью самого тебя? Ужели ему долго валяться въ этомъ сору. въ этой ямѣ нечистоты, ужели до тѣхъ поръ, пока эта любовь не сольется снова съ тобою? Умилосердися. Что это такое — вообразить нельзя, не испытавъ, навертываются слезы, но я не въ состояніи плакать, чугунная плита на груди. Недостаточно воспоминавша о тебѣ, о твоей любви, оно какъ-то неясно, темно, далеко, я напрягаю всѣ силы, устремляю взоръ... не вижу тебя, ни даже тѣни твоей, какъ я ничтожна! Какъ, какъ съ этой любовью, — и все это на меня имѣетъ вліяніе, погоди, я недостойна писать тебѣ, недостойна назвать тебя. Александръ, да скажи, неужели вѣчно этому сосуду тонуть въ смердящейся пропасти, неужели рука Его не сдвинетъ его въ чистое море жизни, море свѣтлое и сладкое, предназначенное всему прекрасному? О, дай одно мгновенье, дай окунуться только въ волнахъ его сосуда и разбей его!.. Какой холодъ, я оледенѣла. Прощай.

8-е. Начинаю оживать — мнѣ десять, пять минутъ свободы, и я отдыхаю, мирюсь съ *ними*, съ собой, имъ прощаю, себѣ ищу новыхъ силъ, вырываюсь изъ тѣла, вырвавшись изъ ихъ когтей, и снова нѣтъ людей! они исчезаютъ — природа, человѣчество, одно изящное, святое кругомъ меня, во мнѣ, любовь, ты. Тутъ совсѣмъ иными глазами я смотрю на все и они проходятъ въ воображеніи — не совершенствами, но и не такими же уродами, каковы на самомъ дѣлѣ; странно, воображенье мое съ этой стороны такъ бѣдно, безъ нихъ я совершенно забываю, что они, и ужъ всегда упрекъ готовъ за излишнюю строгость къ ихъ

дѣяннѣмъ; обновленная, орошенная небесной росой, напоенная любовью душа, забывъ прежнія истязанія и муки, забывъ, отъ кого онѣ, съ святымъ огнемъ простираетъ объятія и заключаетъ въ нихъ половую щетку, или кухонный ножикъ, или что-то еще хуже — холодное, жесткое, издали царапающее и заставляющее закрывать душу, глаза и уши. Гдѣ-то ты, мой Александръ! Ахъ, Господи, вонми молитву мою! Какъ долго нѣтъ вѣрной оказіи, ахъ, тяжело.

11-го сентября. Свѣжа, свѣтла душа, теперь я всю бы ее излила тебѣ, мой единственный! Сестра убаюкала ее, разсѣяла свѣтомъ своимъ мракъ, облегчила грусть привѣтомъ дружбы. Ты знаешь мою сестру? Она одна теперь со мною — дивная природа! безъ *нихъ* ходила я слишкомъ два часа далеко, далеко отъ дома, день июльскій, небо ясно, голубое, птицы поютъ, свобода взору, языку, чувствамъ. Брала съ собою Шиллера, но мнѣ не хотѣлось его читать: бываютъ минуты — какимъ бы кто пламеннымъ, живымъ языкомъ ни говорилъ — все слабо, все мертво предъ тѣмъ, что въ душѣ. Не перенесу я, Александръ, моего счастья, если ужъ на это будетъ воля Его, — малѣйшее удаленіе отъ нихъ, мысль: меня не видятъ *ихъ* глаза, не слышатъ ихъ уши, приводитъ меня въ восторгъ, и я не знаю, что съ радости дѣлать. Боже мой, какъ вполне тогда я понимаю и себя и свое блаженство, съ какимъ наслажденіемъ обращала я давеча взоръ на небо и кругомъ себя, — это пространство, эта безмолвная природа, поющая одни гимны, ты, ты, твой образъ вездѣ, во всемъ, надежды, молитва — о, мой ангелъ, я была святая эти часы. Послѣ обѣда удалось прочесть еще I. Maestri, и вотъ твоя Наташа, священная, обновленная дарить тебѣ слезу восторга небеснаго, поцѣлуй любви святѣйшей. Скоро пошлютъ въ Москву, скоро письма... а что тамъ, за мною, фу! гадко. О, возьми меня, возьми скорѣе, спаситель мой! Часто, часто вспоминаю Полину — что она? Жму ея руку. Прощай. Прости меня, прости, я чувствую, что унижаю тебя моею грустью, но не могу преодолѣть своего ничтожества, разлука — страшное дѣло!

6-го сентября.

Наташа, ангелъ, вотъ я опять черенъ, какъ ночь, вотъ опять темная мгла обняла душу. О, Наташа моя, душа больна, гдѣ ты, ты, мой ангелъ. Сейчасъ писалъ я къ Огар. — и это не помогло. Близокъ, очень близокъ предѣлъ надежды, — фу, какъ холодна будетъ эта зима въ Вяткѣ. Знаешь ли что, всматриваясь въ эти надежды, которые являются потерзать меня, мнѣ приходитъ въ голову, ужъ не наказаніе ли это Божіе за М., — въ такомъ случаѣ, можно ли роптать? Не могу стереть изъ памяти этотъ гадкій поступокъ, и тѣмъ хуже, что, кромѣ раскаянья, не сдѣлано ни одного шага къ ея спасенію. И ты ставишь меня рядомъ съ собою! Свѣтлая, ангельская душа? Ты не можешь даже постигнуть этого; правда, впередъ не повторится ничего подобнаго; но какъ могло быть что-нибудь подобное послѣ 9 апрѣля. Подумай, какъ низко упалъ этотъ Александръ, твоя молитва, твой идеалъ; можно бы было расхохотаться, ежели-бъ былъ такой смѣхъ въ душѣ человѣка. Но ты терпѣть не можешь, когда я объ этомъ говорю. Мимо.

Это письмо ѣдетъ съ Прасковей Андреевны Эрнъ, я просилъ ее видѣться съ тобою; будь съ нею откровенна, она самая добрая старушка, которую я когда-либо видѣлъ. Съ какимъ восторгомъ ты будешь ее разспрашивать обо всемъ, что касается до меня, и сколько подробностей можетъ она рассказать тебѣ, знаешь ли, тѣхъ мелочей, которыя важны именно своей ничтожностью и которыя такъ ясно вдругъ тебѣ представляютъ мое житье-бытье. И Петръ ѣдетъ съ нею, велю и

ему явиться къ тебѣ «съ почтениемъ» отъ меня; въ самомъ дѣлѣ, это ужъ не передъ моимъ ли прїѣздомъ, не приготовленіе ли это? Дай то Богъ!

10-го сентября. Какъ священо, чисто вырѣзывается на этомъ мрачномъ небѣ твой образъ, да, я—одна рама. золотая, но тяжелая, металлическая твоему образу, ангель, ангель.—Нѣтъ, дольше эта разлука не продолжится, она перейдетъ черезъ силу, а захочетъ ли Богъ слезы твоей, захочетъ ли терзать то созданіе, которое наибольше выразило Его. А скоро пройдетъ срокъ, который я назначилъ, лишь бы тогда прїѣхать, какъ вы воротитесь изъ Загорья.— въ прошломъ году прїѣхали вы 27 сентября, ну, такъ ужъ бы къ 1 октябрю. Но поблекли надежды, какъ вѣтви ивы склонились и смотрять въ безотрадный ручей, который льется, льется, но не несетъ отрады. Я перечиталъ твое послѣднее письмо, — какъ ты отдалась надеждамъ, какъ я истерзалъ тебя ими. Ну, погоди же, то объятіе, тотъ поцѣлуй, тотъ взоръ,—тогда они все вознаграждать, о, тогда я буду хорошъ, тогда я буду высокъ, я вдохну въ себя твой образъ, твою душу, и глазами передамъ восторгъ свой всей землѣ и небу, да нѣтъ! тогда не будетъ ни земли, ни неба, будемъ мы и Богъ. О, какъ дорого далъ бы я имѣть твой портретъ (только очень, очень похожій); у меня будетъ портретъ Огарева и его жены, а твой, — да впрочемъ, ненужно, ничто матеріальное не должно служить опорой любви. Твой образъ— вотъ это голубое небо, вотъ эти звуки симфоніи. Я задыхаюсь! Наташа, Наташа! Ну, вы, всѣ люди, скажите, кто изъ васъ любилъ бы ее болѣе. Можетъ, есть изъ васъ лучше, чище меня, но и самое пятно мое прибавляетъ къ любви: я чувствую, сколько ты выше меня, и, какъ монахи среднихъ временъ, готовъ всякими истязаніями *заслужить* передъ моею святой. Довольно!

Поздно. Прощай! твое свиданье будетъ радостно съ Прасковьей Андреевнѣй, заставъ ее болтать, какъ можно болѣе, отдохни въ безконечныхъ разспросахъ о твоёмъ Александрѣ, говори больше, больше,—и потомъ сонъ слетитъ на твои вѣжды, и ты увидишь меня такъ живо. А, *можетъ*, и не въ одномъ снѣ. Знаешь ли, какъ передъ концомъ зимы, когда ужъ снѣгъ чернѣетъ, но еще природа не рѣшилась на весну, бывають дни холодные, рѣзкой вѣтеръ рѣжетъ, но вдругъ, середъ него повѣетъ вѣтерокъ теплый, вешній, дохнетъ травою, дохнетъ солнечнымъ лучемъ, и скажетъ: «вѣдь, весна то скоро». Такъ и у насъ съ тобою, мысль надежды пробивается сквозь мрачныя тучи и освѣтитъ душу. Весна, весна, приходи же въ наши души. Прочти у Шиллера «Das Mädchen aus der Fremde», это опять ты, Наташа, моя сестра. Еще отчаиваться нельзя, есть еще обстоятельства, говорящія въ пользу скорого свиданья. Цѣлую тебя. нѣтъ, это только можно выразить самимъ поцѣлуемъ.

Твой Александръ.

Emilie поклонъ et amitié. Она, говорятъ, переписывала мою статью I. Maestri для Огарева. И за это поклонъ et amitié. Еще разъ прощай. Александръ.

15 сентября, Загорье.

Сегодня 15—Господи! Съ часъ, какъ получила твои письма отъ 22 августа и до 1 сентября. Ты говоришь: «вспомни, ежели я буду знать, что ты покойна, я перенесу много». *Покойна*, покойна, ангель мой, *перенеси все*. Вотъ доказательство—черезъ часъ послѣ писемъ пишу, *знавши*, что рѣшено, и *не знавши*, какъ рѣшено,—пишу! Въ страданіяхъ, въ наслаженіи, да будетъ, да будетъ Его

воля! Мы даны другъ другу, — остальное все Ему. Ты говоришь: молись! Я молюсь непрерывно, но никогда не просила и не могу просить у Него ничего. Онъ знаетъ, что намъ разлука, знаетъ, что соединеніе, къ чему же тутъ просьба? Подавленная страданіями и блаженствомъ, я съ *полною* покорностью склоняюсь подъ руку Его. Что-то ты теперь? А твоя любовь, Боже мой! Александръ, Александръ, не столько надо силъ въ несчастіи. чтобы истощенная душа, изнуренная, не низверглась изъ міра духовнаго въ прахъ, сколько надо въ нашемъ блаженствѣ, чтобы удержать ее въ этой тлѣнной, тѣсной темницѣ, чтобы отъ полноты ея, отъ ея огня, она не распалась и не превратилась въ пепель. Мнѣ не страшно теперь рѣшеніе, слишкомъ восторга, чтобы бояться. Знай и то, Левъ Алекс. пишетъ, что Снакс. у него былъ, очень ему понравился и много говорилъ о *предпринимаемомъ имъ намъреніи*. Скоро ѣдемъ въ Москву, тамъ ждетъ меня — что? Пропастъ, въ которую меня будутъ толкать десятеро, съ которыми я должна буду бороться *одна*. Все это вздоръ для меня, неприятно только, что онъ пріѣдетъ къ намъ и что моя за роль, а писать не стану, Александръ, онъ, мнѣ кажется, не стоитъ. Огорчило меня, ангелъ мой, извѣстіе о Витбергѣ, еще тяжелый камень на сердце, еще чугунная плита на грудь, какъ жаль мнѣ его. Ежели бы сказали, что тебя отпускаютъ ко мнѣ, но ежели еще годъ разлуки, то участь этого великаго страдальца облегчится, я бы сверхъ этого прибавила еще день, намъ много времени впереди, онъ — на закатѣ. Но, видно, Онъ знаетъ лучше нашего распоряжаться участію близкихъ къ Нему.

За нѣсколько часовъ, я увядала еще душою, думала — вѣтъ, ежели и письмо получу, не буду, не могу быть утѣшена, его взоръ, его взоръ, а послѣ него не хочу земли, послѣ него небо. Лишь послышался стукъ телѣги, радостиѣ забилось сердце, и теперь одинъ восторгъ, одинъ восторгъ. За минуту я молилась, думая, что еще Онъ не рѣшилъ, и теперь молюсь *все также, да или нѣтъ* — *одинъ* гимнъ Ему, одна молитва, одна пѣсня! Невыразимо состояніе мое; другъ, ты знаешь все. Охъ, полна душа, перестану я писать, что-то больно изливать ее въ эти грубыя, обыкновенныя формы. Странно: теперь для меня все блѣдно такъ, и свиданье, и разлука, мракъ и свѣтъ передо мною равно теперь, потому что они за любовью, она *одна* кругомъ меня, и изъ души не вырывается никакого звука, никакихъ словъ, кромѣ: Александръ! Господи!

16-е сентября. Видишь, какъ я наскоро вчера удѣлила души бумагѣ, оттого что пора было гасить огонь, а въ душѣ кипѣло, и я кое-какъ, въ постели, писала на подушкѣ, нужды нѣтъ, вѣдь разберешь! Ну, итакъ, передо мною пелена, и за ней *черный годъ* иль *свѣтлый мигъ* ждутъ насъ! Вчера я не чувствовала ничего, душа была слишкомъ восторженна, мнѣ некогда было взглянуть на землю, я была выше и чернаго года, и свѣтлаго мгновенья. Теперь начинаю приходиться въ себя, и то жаромъ, то морозомъ обдаетъ меня. Однако, истинно, Александръ, Господь творить чудеса надъ избранной тобою. Что было бы съ обыкновенной душой, любящей по своему, — и столько страданій и такое грозное будущее?.. Бываютъ минуты, минуты только, и все сердце — одна рана, облитая спиртомъ, окружающимъ меня, но твой взоръ — любовь, твой голосъ — любовь, испѣляютъ, воскрешаютъ, и неизъяснимое блаженство замѣняетъ неизъяснимыя муки, я закрываю лицо руками, и слезы градомъ. Да, Богъ знаетъ, который томъ нашихъ страданій тяжеле, но мы знаемъ то, что во второмъ *мы* *вмѣстѣ*; выбирать не намъ, все Онъ! все Онъ! Просиди ли мы, Александръ, чтобы Онъ далъ намъ другъ друга, постигали ли мы прежде блаженство, кото-

рымъ наслаждаемся теперь, и могли ли просить о томъ, чего не знаемъ? Кто знаетъ изъ насъ, что въ будущемъ? можетъ, Онъ готовитъ намъ лучшее, нежели мы желаемъ. О, какъ щедръ Онъ! Какъ богатъ милостію! Да, мы говоримъ — ропотъ, неблагодарность, нѣтъ, мало этого: малѣйшій вздохъ, слеза, отуманившая взоръ нашъ, пресгупленіе! Взгляни на цѣлый міръ, укажи мнѣ Наташу и Александра... Гдѣ хоть малѣйшее подобіе рая, который они составляютъ? Падемъ же на землю, будемъ просить прощенья. Будемъ рѣже, сколько можемъ рѣже опускаться въ тотъ міръ, гдѣ насъ пугаетъ черное и радуетъ свѣтлое, не тамъ наша обитель, не тамъ! вонъ, отверзты врата, слышишь ли гласъ призывной? видишь ли десницу простертую? Летимъ, летимъ! О, мой ангелъ, о, мой свѣтъ незаходимый! мы единое, вѣчное отраженіе, подобіе Его, насъ ничто не дѣлится, не можетъ дѣлится, какъ пресвятую Троицу; на что же мы такъ унижаемся, что допускаемъ святотатной рукѣ касаться насъ, и думаемъ, что она разлучаетъ насъ? Бросимъ землѣ остатки ея, мы сами, окруженные любовью, какъ она эфиромъ, составляемъ планету лучшую, изящнѣйшую. Мы мечтаемъ о взорѣ тамъ, на землѣ, тогда какъ взоры наши здѣсь—одинъ взоръ свѣтлый, полный святости, божественной любви; мечтаемъ о поцѣлѣ тамъ, въ толпѣ, въ пыли, тогда какъ здѣсь уста наши—одинъ уста, исполненная гармоніи, вѣчнаго гимна, дивнаго пѣснопѣнья! Что же тянетъ насъ въ ту темную и унылую страну, зачѣмъ хотимъ мы раздѣлиться здѣсь, чтобъ соединиться тамъ?.. Нельзя больше, прощай, до ночи, зовутъ, свѣтило души!

17-е. Сегодня именины Emilie; она пишетъ мнѣ,—все та же любовь, та же грусть, и Дюве все также любить ее; не знаю, чѣмъ это все кончится. Дивна дружба! о, сколько наслажденія и въ ней, сколько высоты и святости! Три мѣсяца, какъ мы разстались съ Сашей Б., ни слова, ни вѣсточки другъ о другѣ, и, будто, съ часъ. какъ ея нѣтъ со мной, такъ живы ея образъ, рѣчь, взоръ въ душѣ... святая! И какое блаженство, при каждомъ воспоминаніи думать, что мечты наши и думы вмѣстѣ; гдѣ сомнѣнье, тамъ нѣтъ ничего святого, великаго; я знаю,—если бы она и не говорила,—что каждая ея мысль, каждая минута посвящены мнѣ. Что за душа! Какое ангельское терпѣніе, самоотверженіе, и какое пламенное сердце! Она создана для дружбы, не будетъ другого отзыва ей на землѣ, потому что нѣтъ другого Александра во плоти. Когда то я ее увижу?!

Не могу теперь живо представить ни свиданья, ни еще года разлуки,—слишкомъ близко то и другое, сердце дрожить въ ожиданьи, переполненное имъ, и нѣтъ мѣста ничему иному. Только все-таки, ты здѣсь, со мною, и я не могу насмотрѣться, не могу наслушаться! Пусть цѣлый міръ скажетъ, что все это мечта, пусть! но пусть же онъ свѣситъ тогда жизнь свою съ моей мечтою.

Да, ты правъ: надежды, надежды,... вѣдь, недолго лелѣютъ онъ душу, недолго навѣваютъ ей райскіе сны, скоро превращаются въ досаду, нѣмую боль и мученье. Но вѣра,—врачъ всему. Знаешь ли, что привело меня въ высочайшій восторгъ въ твоемъ письмѣ? То, что ты говоришь: «Ангелы, навѣйте ей мой образъ».

20-е. Въ Москву, въ Москву! Но что-жъ мнѣ тамъ? Ахъ, не знаю: то кровью сердце обольется, то восторгъ его обниметъ. Страшно узнать рѣшеніе, а терпѣнія не достаетъ. Ну, что Богъ дастъ! Ты уговариваешь себя, а не меня, пишешь ты,—да, меня уговаривать невадо. Но что же ты, мой ангелъ? развѣ ты слабѣе меня, развѣ въ тебѣ меньше вѣры, любви? А откуда онъ во мнѣ? Кто меня создалъ, образовалъ, кто далъ эту душу, кто исполнилъ ее блаженствомъ? Скажи

мнѣ, кто? Ты говоришь о людяхъ,—о, Боже мой! я не могу вообразить, ежели судьба броситъ меня еще въ какой-нибудь кругъ, я и къ этому не могу привыкнуть, все ново для меня въ немъ, каждая низость такъ дивить, такъ ужасаетъ, хотя онѣ и повторяются ежедневно. Избави Богъ!—Сидшу ужасно писать, у насъ домъ, какъ сарай, некуда дѣваться отъ стужи, и потому нельзя быть въ тѣхъ комнатахъ, а у меня все навиду. Скоро ѣдемъ; у насъ приготовленья къ *свадьбѣ*. Левъ Ал. былъ у Снакс., завязывается не на шутку, — что намъ до того? Лишь ты, мой пресвѣтлый, не помрачайся, будь все также покоенъ. свѣтлы и изящень, не тужи обо мнѣ; вся эта грязь, которую въ меня бросаютъ люди, весь градъ и каменный дождь, которые падаютъ съ неба, не замараютъ, не разобьютъ меня, не повредятъ.—Ахъ, какъ жаль Витберга! Зачѣмъ онъ женился, — я подумала это еще, какъ только узнала, что онъ женатъ *во второй разъ*. Всей душой жаль мнѣ его; неужели нѣтъ средства помочь, а когда мы будемъ въ состояніи помочь ему?... Утѣшай его, тебя станеть... Скворцовымъ—рукожатье. Ты—прощай пока; и я видѣла тебя на дняхъ во снѣ, тоже что-то смутно, а все-таки неземной восторгъ обнялъ душу. Прощай же, можетъ, скажу скоро здравствуй.

23-е сентября. Волнуется душа, кипитъ сердце, завтра эту пору буду въ Москвѣ... Можетъ и только! сверхъ этого сильнаго чувства ломаютъ грудь страданія ближняго... Господи! кромѣ этого воззванія я не могу дать никакой помощи, итакъ, Ты помоги! Прощай, мой ангелъ, дрожить рука, сердце; отъ тебя завтра должно быть письмо; ахъ, что-то, что-то?..

16 сентября.

Да, ангелъ Наташа, всю горечь разлуки выпили мы, и выпили по каплѣ, и насъ обманывали за каждой каплей, говоря, что она послѣдняя. Нѣтъ средства, къ которому бы я не прибѣгала, чтобъ убить время. Это грѣшно, тратить на вздоръ даръ невозвратный, и который отпущенъ Богомъ на вѣсъ и на мѣру, но что же дѣлать? Придутъ дни, въ которые душа моя свѣтла (обыкновенно два-три дня послѣ твоихъ писемъ), я дѣлаюсь и твердъ, и хорошъ; но вотъ забралась одна грустная мысль, другая, на душѣ смеркается, и ночь осенняя, безпріютная, сырая царитъ себѣ. Но сила, которую мнѣ даютъ твои письма, этого я выразить не могу, я перерождаюсь, я готовъ тогда отдать тѣло свое на пытку и улыбаться. Духъ Господень говоритъ твоими устами, ихъ (онъ избралъ для выраженія своей воли, черезъ нихъ посылаетъ изнемогающему, слабому рай и утѣшенье. А бывають минуты тяжелыя. Вотъ, какъ-то на дняхъ, легъ я спать,—сна не было; я началъ себѣ представлять (въ десятиллионный разъ), какъ мы увидимся, и твой образъ такъ живо, такъ небесно виталь надо мною, я придавалъ свиданью все, что могла придать моя фантазія, и былъ счастливъ мечтою; вдругъ, изъ кокого-то ада явился вопросъ: «да когда же будетъ это свиданіе»? О, какъ горько тогда почувствовалъ я бряцанье цѣпи изгнанника, съ какой нѣмою болью всплеснулъ я руками, съ какою бшенствомъ смотрѣлъ я на стѣну, на окно... По-вѣришь ли, я съ какой-то ненавистью думалъ, что Пр. А. Эрнъ увидитъ тебя прежде меня. Да и въ самомъ дѣлѣ, за что же тебя видятъ и тѣ, и другіе, а тотъ, для котораго твой взглядъ, твое слово—все счастье и этой жизни и той... какъ, да развѣ *тому* недостаточно твердаго убѣжденія въ ея любви, недостаточно письма? Нѣтъ, недостаточно! Вѣдь, этотъ взглядъ, который жаждетъ душа моя, развѣ взглядъ *хорошенькихъ* *глазокъ*... смѣхъ... нѣтъ, этотъ взглядъ, онъ от-

кроетъ новыи мiръ, новую музыку, новую поэзію, новую жизнь, воплощенье мысли Божьей. О, я прижму руки къ груди своей и вдохну этотъ взглядъ долго, долго. Наташа, и я буду тогда святъ, какъ потиръ, какъ дарохранительница. Ну, какъ же я могу безъ досады думать, что тебя видятъ другіе. Это жиды, которые ругаются потиромъ, или язычники, для которыхъ потиръ—чаша съ виномъ, или, можетъ, знатоки, которые будутъ дивиться *вкусу и искусству* наружной отдѣлки. Пусть бы на тебя смотрѣли мы двое,—я и природа вся: морями, солнцемъ, пальмой, розой. На меня и на природу твой взоръ даромъ не падетъ. Человѣкъ едва имѣетъ кусокъ насущнаго хлѣба, умираетъ съ голоду, жаждетъ, — и нѣтъ ему ничего, кромѣ сухой корки. А тамъ, далеко, есть другой человѣкъ, ангель; онъ его любитъ, онъ жизнь свою далъ бы, чтобъ отереть слезу тому, и расточаетъ дары свои всѣмъ, которые не нуждаются, а тому, которому хочетъ послать и взглядъ, и поцѣлуй, и душу, который вянетъ безъ нихъ, — тому *надежда*. И кто же виноватъ? Море, что ли, ихъ дѣлать, или горы? Море обуздать можно, гора имѣетъ тропинку. *Люди* ихъ дѣлать, а, вѣдь, люди братья... Да, и сыновья Эдипа, рѣзавшіе другъ друга, были братья. Хотя бы они ставили препятствія, тогда было бы достоинство перешагнуть, а то они ставятъ капканъ, какъ для волковъ, онъ держитъ, да и только; что хочешь дѣлай, а покуда не отпрутъ капкана, нельзя идти: кричи, плачь, молчи, смѣйся, все равно. Вотъ истинно низкое положеніе! Душно! — Помнишь, много разъ говорилъ я о томъ итальянскомъ поэтѣ, которому Сикстъ V отрѣзалъ руки и языкъ. Фантазія его создавала образы дивные, но нѣтъ средствъ, и онъ мучится, мучится и падаетъ въ изнеможеніи. . ну, что же, лежитъ, лежитъ, опять придуть силы, онъ и встанетъ... Душно!

Ну, отбросимъ эту печальную тему; свѣти, свѣти на меня, моя подруга, моя красавица, свѣти ангельскими чертами, въ груди твоего Александра есть сила превозмочь разлuku. Да и надежды на ея конецъ еще не изсякли. Прочти въ Шиллерѣ *Die Resignation*,—его душа тоже была нѣжна, тоже страдала, но онъ зналъ самоотверженіе. Прочти еще *Thekla, eine herztzerstimmen*. Текла похожа на тебя (тутъ только отрывокъ, а главное въ *Wallenstein's Tod*). Наташа, Наташа, я опять счастливъ; нѣтъ, ты не человѣкъ, ты божество, дай же мнѣ исчезнуть въ свѣтъ твоихъ лучей.

Сегодня ночью вспомнилъ я одно лицо, замѣшавшееся (слабо, но замѣшавшееся) въ мою жизнь, и котораго черты почти совсѣмъ стерлись. Помнишь, какъ я былъ *влюбленъ* въ Л. П.? Это—юношеская выходка, это—потребность любви, принимающая плоть въ уродливомъ опытѣ. Огаревъ сказалъ мнѣ тогда же: «ты ее не любишь»,—я повѣрилъ ему. Впрочемъ, тутъ, собственно, дурного нечего нѣтъ. Худшее, это то, что она писала мнѣ *billets doux*, и эти *billets doux* пошались въ слѣдственную комиссію. Но еще страннѣе, какъ могъ я думать объ этой бѣлокурой дѣвчкѣ, зная тебя. Этого я не понимаю. «Не насталь еще часъ мой!»—Все дѣлается по закону Божію—до 9 апрѣля я былъ твоимъ братомъ, другомъ, тутъ ты преобразилась во всей глоріи. Слава тебѣ, дѣва чистая, слава тебѣ! Я не обманывалъ ее, я обманывалъ себя, я былъ душою радъ, увидѣвши ее въ казармахъ, но простыла любовь (хороша же любовь!). Что-то она поддѣлываетъ? Она прежде любила кого-то съ усами, потомъ меня, безъ усовъ, есть надежда, что теперь любить третьяго. Пріѣхавши въ Пермь, я нашелъ въ портфель ея записки, совѣсть упрекнула; не развертывая, я ихъ сжегъ. Ежели бы я могъ такъ легко себя представить исторію съ М., съ меня снялось бы поль-

тяжести настоящего. Мой отъезд потрясетъ ее ужасно, здоровье ея разстроено, — худшее, что могъ дьяволъ выдумать надо мною, это ея прїѣздъ въ Вятку, и моя неосторожность, или лучше тотъ чадъ, въ которомъ я находился начальное время. Но и это не оправданіе. Одно, что мнѣ можетъ служить оправданіемъ это то, что тогда у меня не было еще ни одного близкаго человѣка здѣсь, некуда было головы прислонить. О, если-бъ Витбергъ, Полина и Скворцовъ тогда были, этого бы не случилось. Сначала мнѣ жаль было Мед. отъ всей души: молодая, хорошенькая, образованная женщина, умная, и брошенная на носилки къ хромоту старику, въ ней что-то было отъ «Гацинта, брошеннаго въ воду и живущаго слезой». Иначе приняла она мое вниманіе, — и вотъ тутъ вся низость, вся гадость: изъ самолюбія я не отошелъ, минутами увлекался, но понялъ, что тутъ нѣтъ любви, и, знаешь ли, середъ этого-то времени еще яснѣе, еще ярче возсіяла ты и твоя любовь. Это ты можешь видѣть по запискамъ того времени. Ахъ, зачѣмъ тогда слово любовь крылось подъ словомъ дружбы, ужъ этого одного слова было бы достаточно, чтобы спасти ее отъ паденья, а меня отъ пятна на душѣ. Впрочемъ, развѣ она забыла тогда, что она жена и мать троихъ дѣтей. Когда умеръ старикъ, я опомнился; тогда поступалъ я какъ честный человѣкъ, но уже было поздно, я давалъ ей руку друга, — она не умѣла принять ее. Надобно было за нее стать грудью противъ подлца губернатора, и я сталъ, я, сосланный и съ Витбергомъ отстояли ее. Вотъ одна жертва! Много разъ говорилъ я довольно ясно о тебѣ, показывалъ браслетъ, медальонъ, — можетъ, она и понимаетъ, но молчитъ. Ахъ, Наташа, гадки эти пятна на твоемъ Александрѣ, и сколько я мучился, куда написалъ тебѣ въ первый разъ эту исторію. Одно преступленіе тянетъ за собой дѣлюю толпу пороковъ.

18 сентября. Я писалъ третьяго дня тебѣ, какъ при свиданіи я вдохну въ себя твой взоръ; сегодня мнѣ пришло на мысль, что есть камень, называемый Болонскимъ: ежели онъ долго впиваетъ лучъ солнца, то послѣ онъ самъ свѣтитъ въ темнотѣ. Я — этотъ грубый, матеріальный камень твоего взгляда, я земная опора его, но свѣтъ твой перельется въ меня, одинъ я могу его и принять и раздѣлить съ темнотой. А другіе люди — это прочіе камни: сколько хочешь, свѣти на нихъ солнце, они останутся темными. Солнце — это Богъ, а ты — ты лучъ, лучъ свѣтлой, теплой, чистой проводникъ воли Божіей, Его посланникъ, ангелъ.

20 сентября. Еще день и еще день... еще недѣлю ждать, а тамъ — тамъ ничего. Какъ длиненъ бываетъ иной день, я смотрю на него, какъ на недѣпаго гостя и тороплюсь вытолкнуть его изъ дома, — но онъ сидитъ себѣ, я съ ненавистью толкаю его въ гробъ, но онъ, умирающій, бросается со мною на постелю и не даетъ мнѣ спать. А я сплю много; это совсѣмъ не въ характерѣ у меня, но сонъ чудное лекарство отъ недуговъ тѣла и души. И при всемъ томъ, не странно ли, ангелъ, вотъ ужъ второй день въ нашемъ благодатномъ климатѣ валить свѣгъ; итакъ, еще миновала весна, лѣто и осень и 37 годъ началъ сѣдѣть. А давно ли, кажется, я, унесенный надеждами, стоялъ на горѣ и смотрѣлъ вслѣдъ шляпкѣ, которая быстро уносила великаго князя. Это было 20 мая, итакъ, ровно 4 мѣсяца. А давно ли, кажется, я, подавленный ужасной бурей души, бросился на колѣна и просилъ благословенія отпа, идучи въ *крестовый походъ* ряда несчастій, — а это было 20 іюля 1834 года. Идетъ неотразимое, холодное время, какъ волна рѣки, и дѣла ей нѣтъ, что въ нее падаетъ.

22 сентября. Я говорилъ въ этомъ письмѣ: «ежели-бъ тогда былъ Витбергъ, Скворцовъ»... это сознаніе верха слабости характерно. Для чего мнѣ всѣ они?

Не потому ли взоръ мой всегда обращается съ любовью къ воспоминанію Крутиць, что я былъ одинъ? Да. тамъ я былъ хорошъ, тамъ я былъ таковъ, какимъ ты меня видѣла 9 апрѣля. Мало поэзій въ Вятской жизни моей — пыли много. На что же, въ самомъ дѣлѣ, искалъ я людей, приблизился къ нимъ, — развѣ мнѣ было мало твоей любви, тебя. Ты мнѣ замѣняешь Бога и природу, человѣчество и все изящное, святое въ немъ. Для чего же еще люди? Ежели бы мнѣ опять начинать Вятскую жизнь, я иначе бы поступилъ. Одинокъ страдалъ бы я разлукой и ни одного мгновенья не вралъ бы у вѣчной мысли о тебѣ и воротился бы менѣе опытной, и болѣе чистой, болѣе похожей на того Александра 9 апрѣля.

Прощай, ангелъ мой, еще есть слабая тѣнь надежды, нѣтъ извѣстій о 30 августѣ. Когда вы ѣдете въ Москву? Тяжелая минута для тебя, когда ты опять издали увидишь Крутицы и тамъ Кремль, и мысль, что меня нѣтъ, отравить это свиданье съ Москвой. А я люблю Москву, люблю ее за ея русскій характеръ, люблю за воспоминанія юности, люблю за тебя, Наташа. Господь благословить стѣны города, хранящія ангела. Слово «Москва» у меня нераздѣльно съ мыслью о свиданіи, — а мнѣ *надо* видѣть тебя, ну, такъ, какъ человѣку въ угарной комнатѣ *надо* дохнуть чистымъ воздухомъ. Прощай, цѣлую тебя, дай руку, приложи ее къ моей головѣ — она горяча. Прощай же, Natalie.

Твой Александръ.

Ежели это письмо тебя застанетъ въ Москвѣ, то кланяйся дружески, душевно сестрѣ Emilie. Прощай же, еще жму руку. Твой Александръ.

28-го сентября.

Наташа! мой чистый, свѣтлый ангелъ, вотъ твое письмо, въ которомъ ты пашешь о I. Maestri. Никто не понималъ такъ весь *быть* моей души, какъ ты, да и могло ли иначе быть, не мыслью поняла ты, а любовью. Твое письмо прелестно, но оно меня застало мрачнаго, будущее что-то покрывается тучами громовыми, и мнѣ приходила мысль наша давнишняя — умереть въ минуту свиданья, ибо за нею будетъ рядъ страданій... Но что-же страданія? въ нихъ свое упоеніе, Наташа, рука объ руку — и въ обѣтованную землю!

Ты меня обижаешь въ письмѣ. приговорясь и на разлуку, и на лишенія для моего поприща. Я люблю славу, какъ всякая огненная душа, но, Наташа, неужели я ее буду приобрѣтать цѣною любви нашей? Это нелѣпость! Главнѣйшій элементъ моей жизни съ 1835 года, основа нравственности, алмазъ, на которомъ колеблется моя жизнь, — это любовь къ тебѣ, и я буду жертвовать ею, я накличу разлуку, зная этотъ медленный ядъ, я оставлю тебя въ когтяхъ полувѣрей? Нѣтъ, ежели слава придетъ, пусть придетъ сама, и ея вѣнокъ будетъ уже на первой: лавръ найдетъ уже миртъ на головѣ. Есть минуты, когда я стремлюсь и къ власти, и къ силѣ, такъ, какъ бывають минуты, когда я охотно пью вино, — это влеченіе къ сильнымъ, потрясающимъ ощущеніямъ и больше ничего. Всѣ эти дни меня занимали совѣмъ инныя мечты. Цѣль жизни человѣка есть высшее развитіе какой-либо стороны души, — мы развили любовь и, слѣдственно, все земное совершили. Больше желать было бы грѣшно. Я тебѣ говорю — одно свиданье и довольно! Но свиданье необходимо. Что-то черное видится мнѣ въ будущемъ, какое-то пророчество гнетущее, но я готовъ всѣ несчастья земныя (другихъ не будетъ) взять на плечи за блаженство быть любимымъ ангеломъ.

Эта статья тебѣ разомъ показала, какъ ты пересоздала меня. *Встрѣча съ*

Дмитріевымъ показываетъ, какимъ я вышелъ изъ рукъ воспитанія, двѣ остальные показываютъ, какимъ ты меня сдѣлала. Разстояніе неизмѣримое. Въ первой встрѣчѣ есть огонь, но огонь ума, огонь безъ теплоты, фосфоръ. Во второй и третьей все проникнуто теплотой души, которая перелилась изъ небеснаго сосуда. Дай мнѣ твою руку, посланница Божія, дай прижать ее къ груди, дай впечатлѣть на ней поцѣлуй благодарности. Ты восхищаешься статьей, вспомни же, что то, чему ты восхищаешься, это твое, это именно оторванные звуки той пѣсни ангела. И мнѣ жертвовать этими звуками — звукамъ трубъ и литавръ! Нѣтъ, ты все мое бытіе; люди, возьмите все остальное, и самую землю, все это лишнее.

Гадости, которыя съ тобой дѣлають, ужасны, но твоя душа свѣтлѣе моей, на меня часто налетаютъ такія мрачныя минуты (какъ я писалъ въ прошломъ письмѣ), что я близокъ къ отчаянію; я не умѣю сдерживать порывистость души; у тебя она растворена небомъ, у меня отравлена страстями. Наташа, неся крестъ, за меня несешь ты его.

Не думай, ангелъ мой, чтобъ надежды совсѣмъ изсякли, нѣтъ, еще алѣетъ востокъ, еще не померкла звѣзда, предшествующая солнцу. Почты отъ 30 августа изъ Вознесенска черезъ Петербургъ нѣтъ, а должна скоро придти. Молись, молись, Наташа! И *Emilie* писала ко мнѣ. Боже мой, какъ мы счастливы, какъ пламенно насъ любятъ! Я былъ очень тронутъ ея письмомъ. Между прочимъ, есть тамъ совѣтъ и, кажется, необходимой — быть осторожными при свиданіи; признаюсь, это ужасно, но, Наташа, твоя душа сильна, ежели нужно будетъ, скрой отъ ихъ глазъ все, не давай имъ на поруганье нашей святой любви, Наташа, Александръ умоляетъ тебя фбъ этомъ; я вижу, что то, что пишетъ *Emilie*, совершенно справедливо. Однимъ взглядомъ мы передадимъ другъ другу все. Зачьмъ она уѣхала и куда, ежели-бъ тогда она была въ Москвѣ, она все учредила бы. Фу, Господи, да когда я исторгну тебя изъ этого княжескаго дома! Наташа, Богъ мнѣ далъ много силы въ характерѣ, и этой силой я много разъ подавлялъ людей постороннихъ, тотъ злодѣй «Калибанъ-Гіена» и тотъ не смѣлъ никогда со мною мѣряться лицо къ лицу. Неужели я не въ состояніи буду склонить отца и отца, который любить меня. Употреблю все, и прямой, открытой путь, и хитрость, и лесть, и любовь, — но надобно тебя исторгнуть, или — умремъ! тамъ свобода и Богъ. Прощай, мой дивный другъ, моя милая сестра.

Теперь на *службу*, запрячу далеко, далеко чувство, я привыкъ заниматься съ какомъ-то тупымъ вниманіемъ, и день пройдетъ, и я вытолкну его въ прошлое. Цѣлую тебя, о. Наташа!

Твой Александръ.

26 сентября, Москва.

Вотъ третій вечеръ, ангелъ мой, я въ Москвѣ и первый, въ который могу писать. Грустно было въѣзжать, грустно со всѣми встрѣчаться. Душно, душно, ангелъ мой, дай твой взоръ, твою руку. О, мой Александръ, дивный, божественный, жизнь моя! Ахъ, ничего я не хочу, я хочу стоять на колѣнахъ, сложивъ руки, смотрѣть на тебя, смотрѣть, смотрѣть... и умереть. Охъ, тѣсно въ груди. Да, и Петръ прѣхалъ; не могу спокойно вспомнить, что я его увижу, онъ тебѣ служилъ, онъ ѣхалъ туда съ тобой, онъ былъ близокъ къ тебѣ, я заплачу, увидѣвъ его, я бы обняла его. О Пр. Авдр. что и говорить. Я думаю, и въ прошлое наше свиданье она дивилась моей откровенности и самозабвенью, а теперь я,

право, не знаю, что со мною будетъ, какъ увижу ее, да я не буду въ состояніи скоро заговорить о тебѣ. О, мой ангелъ!

Письмо до 20-го сентября получила, Господи, что-то я узнаю въ будущемъ? Все больше и больше я забываю всѣхъ и все, ты—всѣ, ты--все. Лети, лети, ангелъ мой, я *готова*; свѣтло, чисто въ душѣ; рай! Передъ отъѣздомъ всю ночь я не спала и отъ холода и отъ волненія, здѣсь тоже, и на другой день пошла къ завтраку и обѣду... Благословляй Господа, другъ мой, благословляй; исчезъ этотъ храмъ вещественный, матеріальный, Богъ сошелъ въ мою душу, и она была ему храмомъ. Съ какою же грустью взошла я опять въ домъ, въ среду этихъ людей... Но вечеромъ опять всеобщая—благословенъ этотъ день, благословенъ Господь. — А ты все грустенъ, вотъ и въ этомъ письмѣ,—полно, Александръ, неужели молитва моя, мои слезы не смочутъ пятна? И еще есть время, мы сдѣлаемъ для нея, ежели Богъ поможетъ. Скорѣй, скорѣй въ мои объятья, скорѣй на грудь ко мнѣ, и все исцѣлено. Или хоть бы узнать рѣшеніе, это состояніе мучительно. Да будетъ Его воля! Говори «слава Богу» *всегда во всемъ*, мой свѣтъ.

Долго спустя. Ночь. Да, какая мелочь окружаетъ меня, какъ ничтожны всѣ эти важности, и къ чему всѣ эти дѣйствія, подвиги... безъ любви, пустое, пустое! Пріѣзжай, и тогда увѣдають, для чего созданъ человекъ, вся вселенная; легіоны великихъ падутъ передъ однимъ взоромъ, падутъ во прахъ и сознаютъ свою бѣдность.

27-е. Фу, люди, фу! дальше, дальше, выше, выше, къ тебѣ! Но, да будетъ благословенъ этотъ день, — я видѣлась съ Emilie, а потомъ что за пустота въ этой толпѣ, что за утомленіе, что за глупость! Цѣлый часъ сидѣла я, склонившись на руку, опустила глаза. молча, сама въ себѣ погрузившись, то-есть ты, все ты и ты... и насилу отдохнула. Опять звѣзды въ глазахъ, я одна, и опять ярко и свѣтло въ душѣ. Давно не видались мы съ Emilie. «О чемъ же говорили вы?» спросишь ты. Другъ мой, ангелъ, тебѣ ли спрашивать?

Москва, наканунѣ Понрова.

Наконецъ-то получила я отъ 15-го сентября, ну, вижу, мой ангелъ, пустое, все пустое, нѣтъ больше надеждъ на скорое свиданье, — да будетъ Его воля! Видно не осталось на нашу долю земли, не будемъ же и заглядывать въ эту унылую, мрачную чужбину, у насъ лучше. Пусть назовутъ мое сердце желѣзнымъ, меня—хладнокровною, слова—пустымъ утѣшеніемъ, бредомъ, пусть тѣ не знаютъ ни горя, ни радости, во ты знаешь, что такое страданіе, знаешь, что такое вѣра и любовь въ страданіи. Слова ужъ тутъ лишни, но, ангелъ мой, вообрази меня, твою Наташу, твою сестру, твою дочь, твое созданье,—она далеко отъ своего отца, друга, ангела - хранителя, единственнаго блага, единственнаго сокровища въ свѣтѣ, *знаетъ*, что не увидитъ его еще долго-долго,... отдастъ дань землѣ слезою и, съ улыбкой преклоня колѣна, смотреть въ синюю высоту, гдѣ видна десница, держащая кресты, одна кресты... Многіе изъ этихъ крестовъ низверглись на нее, но еще много ихъ и тамъ, но ее не страшатъ они, она вѣруетъ, она знаетъ, что въ той же десницѣ ее ждетъ вѣнецъ славы безсмертной, мы надѣнемъ его вмѣстѣ, о, Александръ! Неужели тебѣ не въ утѣшеніе эта любовь, которой истинно нѣтъ словъ. Многихъ люблю я, очень многихъ, и знаю, что многіе любятъ только меня, но, вѣдь, они, они только песчинка моря. Съ

каждымъ часомъ растеть душа, то-есть любовь, и, стало, всё дѣлаются для нея менѣе, тѣснѣе, страшно каплю удѣлить, не помѣстится, пролетаетъ, — а ты! я, свѣтлая, великая теряюсь и блѣднѣю въ тебѣ. О, будемъ, будемъ ждать. Нѣтъ, я не изнемогаю; многое приобрѣла я въ эти три мѣсяца уединенной, тяжелой жизни. видно, есть еще силы и твердость неизвѣданныя. Можетъ, да, можетъ быть, пройдетъ еще годъ... ахъ, какъ, однако, ломить грудь послѣ этихъ словъ; но, пройдетъ годъ, ты приѣдешь, и намъ останется только шагнуть черезъ могилу. Вѣдь, тамъ, у Бога - Отца нашъ домъ, туда, туда! Очищай же душу, расти. мужай, чтобъ намъ вмѣстѣ стать предъ Нимъ, чтобъ увѣчатся однимъ вѣнцомъ. Фу! только не хочю я этихъ фигуръ, которыя мелькаютъ кругомъ меня, никого, никого не хочю. Знаешь ли, что нашла я отраднѣе всего по приѣздѣ сюда— храмъ, да, и все болѣе и болѣе онъ мнѣ необходимъ, тамъ всё лучше, тамъ не запрещають обращать взоръ къ святой святыхъ, пойду и завтра къ заутренѣ. Жаль мнѣ, что нельзя послать тебѣ письмо, но такъ и быть, я оставлю его и пошлю съ тяжелой почтой. О, какъ бы обняла тебя... не унывай, ангелъ мой, не грусти, умоляю тебя, обнимаю твои колѣна, ради Наташи, ради Бога, вѣдь, я покойна и весела.

✠ *1-го октября.* Большой праздникъ, и я праздную его всею душой. Въ 4-мъ часу встала, пошла къ заутренѣ, обѣднѣ, — у меня не осталось безъ тебя ничего ближе и отраднѣе церкви. Знаешь ли, я бы желала не видать никого изъ близкихъ до тебя, не знаю, что за странное желанье, не хочется говорить, не хочется смотрѣть и во всемъ какъ-то есть сторона холодная, отталкивающая, а ужъ что *неполное*, то не мое. Болѣе или менѣе надо принуждаться, а душа огромна, пространна, никакого покрывала не достанетъ спрятать ее. Заперлась бы вотъ въ этомъ уголкѣ и ни шагу вонъ, кромѣ церкви; неизъяснимо счастлива и покойна я тамъ, особенно, когда можно стать близко къ алтарю, чтобъ не видѣть никого, и никто бы не заглядывалъ въ шляпку. У меня никого нѣтъ, кромѣ Бога и тебя, и тутъ я съ Нимъ и съ тобою. Ты не подумай, чтобъ я утѣшала только тебя, скрывая грусть и тоску; любовь, Бога призываю въ свидѣтели, Ему вѣрь, что въ душѣ все такъ же ясно и торжественно, да и можетъ ли быть иначе въ твоемъ и его жилищѣ? Только меня страшитъ твоя грусть, за тебя боюсь, въ послѣднемъ письмѣ ты грустенъ... Вѣдь, тебя только можетъ утѣшить то, ежели я спокойна и не страдаю, ты самъ говорилъ. И я вновь клянусь, что готова на все, на самыя жесточайшія истязанія, и не поморщусь; такъ будь же и ты, мой свѣтъ, ясенъ и чистъ, рано или поздно увидимся, обнимимся и — въ вѣчности одно существо, одно подобіе Его. Видно еще мы ветхи, юнѣемъ, юнѣемъ и, достигнувъ того возраста, которому въ удѣлъ одно царство небесное, съ нашей силой, съ нашей любовью мы удивимъ землю и небо и потечемъ туда, откуда пришли. И какого ждать намъ еще наслажденія: «Geniesse, wer nicht glauben kann». Какъ ни прелестно-разнообразна земля, какъ ни блестящи, ни великолѣпны ея жилища и всё сокровища, — для меня все это ровно съ пылью и соромъ; мой домъ, моя святая обитель — ты, и съ тобою-то я неразлучна и во вѣкъ не буду разлучна: такъ что-жъ мнѣ до того, что мы въ разныхъ клѣткахъ, и когда будемъ въ одной это все равно, лишь бы скорѣе вылетѣть изъ нихъ. Забудь, какъ мы на землѣ, помни только, какъ мы тамъ. Ахъ, Господи, ну такъ и горитъ передо мной твой взоръ съ любовью, — какъ ни улыбнуться, какъ, залившись слезами, ни пасть на камень, какъ ни забыть разлуки. Вотъ и я смотрю на тебя... Видишь

ли свѣтъ взора? чувствуешь ли дыханье? вотъ рука моя на твоёмъ сердцѣ, да будетъ же оно покойно!

2-е октября. Нѣтъ, Александръ, слъз нѣтъ видѣть, что за сердце у людей, фу! о себѣ ни слова, а страданіе dvoихъ, трехъ, и этому въ отвѣтъ одно холодное призрачье,—я истерзана, не могу теперь писать.

Ночь. Вчера я ѣхала вечеромъ довольно далеко и, повѣришь ли, мнѣ даже что-то страшно стало, мною встрѣчаются прекрасные дома на улицѣ,—а все что-то мертво, такъ пусто, какъ послѣ покойника; тебя нѣтъ, я одна среди столькихъ людей, звѣрей,—я вздрогнула, осмотрѣвшись; это минуты крайней слабости, тутъ я кажусь такъ беззащитною, такъ сиротливою, такъ совершенно прсданною во власть тигра и ребенка. Но онѣ коротки, эти минуты мрака, какъ молнія; полки ангеловъ охраняютъ душу мою, отъ всѣхъ ударовъ, отъ всѣхъ стрѣлъ обороняетъ ее десница Его. Радуйся этому, ангелъ мой, и не тужи обо мнѣ. О, какими чистыми, свѣтлыми увидимся мы, какими высокими? это восхищаетъ меня, и я готова утроить крестъ, лишь бы осуществилась та мечта. Вѣдь, ужасенъ будетъ еще годъ, но я не отталкиваю его, я знаю, что онъ принесетъ намъ много, какъ огонь очистить все лишнее.

Этими надеждами я была такъ взволнована и смущена, что даже не могла представить тебя довольно ясно, ты являлся мнѣ въ разныхъ видахъ, и такъ это быстро, такъ вдругъ. что я, какъ внезапно приблизившаяся къ солнцу, теряла зрѣніе и падала безъ силъ, съ душою, переполненной ощущеніемъ невыразимыхъ. Теперь совсѣмъ не то. Ложусь, встаю, во снѣ, сквозь сонъ,—ты мрачный, грустный, безутѣшный передо мною, склонивши голову, взоръ устремленнаго неопредѣленно... О, какъ бы порхнула я къ тебѣ на грудь, какъ бы навѣяла радость, шепнула утѣшенье, я бы упала на колѣна передъ тобою и не отошла бы до тѣхъ поръ, пока не увидѣла бы во взорѣ твоёмъ совершеннаго спокойствія. Александръ, другъ мой, если-бъ ты только зналъ, какъ мнѣ хочется тебя утѣшить, ну, право, кажется, перочиннымъ ножикомъ изрѣзала бы себя въ мелкіе кусочки, ежели-бъ это помогло! Ахъ, какую глушость я сказала, прости! Нѣтъ, моя душа, нѣтъ, ты силенъ самъ, ты высокъ, я не сомнѣваюсь въ тебѣ.

Пишешь ты о Люд., мнѣ тогда же говорили, что ты въ нее *влюбленъ*, я не вѣрила, и ежели бы самъ ты сказалъ, не повѣрила бы, а любила все ихъ семейство за то, что ты ихъ любилъ, особенно Люд.; я видѣла въ ней обыкновенное, но воображала сверхъестественное, потому что ты о ней болѣе говорилъ. Тогда бы я сочла первѣйшимъ счастьемъ быть послѣдней въ ихъ семьѣ; до сихъ поръ чувствую къ нимъ что-то особенное и никогда не поставлю ихъ наряду съ другими, ни даже тамъ, гдѣ ихъ ставятъ всѣ. Мнѣ всегда больно о нихъ слышать, я бы по-прежнему сжала имъ руку, никто не выветъ уваженія къ нимъ, такъ глубоко поселилъ ты его въ душѣ моей *еще тогда*; но не все ли намъ равно *тогда* и *нынѣ*? Любовь наша безконечная, стало, безначальная, мы никогда не начинали и не перестанемъ любить. Не отчаиваюсь я въ участи Мед., жаль мнѣ ее, ужасно жаль, покоримся Промыслу. Что Витбергъ? Я безъ горести не могу вспомнить о немъ. Прощай, мой ангелъ, не досадуй же на стѣну, на окно, на Пр. Андр.,—это слабость, слабость, вздумай, что я неотлучно подлѣ тебя. О, мой свѣтъ! мой рай! обнимаю, цѣлую тебя.

3-е октября. У меня сегодня ночуетъ Emilie, — я въ восхищеніи. Тебѣ дружба и рукожатье, а отъ меня поцѣлуй. Ангелъ мой, не грусти! Ну, прощай, Господь съ тобою.

Пошлю завтра сама письмо, итакъ, ты получишь два вдругъ. Не грусти. мой ангелъ, цѣлую тебя въ чело, глаза, душа моя. Прощай ¹⁾).

Твоя *Наташа*.

4 октября.

Ты опять въ Москвѣ, мой ангелъ; мнѣ писала маменька. Ты въ Москвѣ, а я въ Вяткѣ, и каждой день далѣе въ осень срываетъ зеленые листки надежды. и будущая зима угловатыми сучьями, трупомъ выказывается. Маменька пишетъ: «27-го мы обѣдаемъ у Льва Алексѣевича, можетъ, и Наташа тамъ будетъ». Ну, что проще этихъ словъ, они меня взволновали. Я представилъ себѣ ту возможность, которая такъ близко подходила, я былъ на шагъ отъ рая, и не умѣлъ отворить дверь, потому что не умѣлъ склонить выю. И потомъ представилъ себѣ, какъ мы встрѣтились бы, сидѣли у Л. Ал.,—такъ живо: вотъ ты входивш. вотъ твой взглядъ... Damnation et Anathème на этихъ людей, которые не пускаютъ меня въ мою сферу жизни, а держать въ сыромъ подвалѣ.

5-е октября. Я сейчасъ писалъ письмо къ Арсеньеву (въ свиту в. к. л. чтобъ поблагодарить его за письмо, которое онъ писалъ обо мнѣ; насколько я умю просить, я просилъ его о возвращеніи, я просилъ, чтобъ сняли пѣнь съ руки, которая готова на всякую дѣятельность. Ахъ, Наташа, тяжело мнѣ безъ тебя. Теперь я очень занятъ по службѣ — это хорошо: голой, практической мѣр сухихъ фактовъ усыпляетъ чувство, утомляетъ душу, но вдругъ середь какого-нибудь журнала казенной палаты подлетитъ горняя мечта, скрозь какой-то флеръ, какъ бы вдали, она образуется въ твой образъ,—и радость, и горе обветъ душу. Ну, ты сама знаешь, какъ это бываетъ. Я, не подумавши, писалъ тебѣ о Петербургѣ, еще разлука, это выше моихъ силъ. Господь, облегчи же сколько-нибудь намъ крестъ нашъ и Ему, божественному, пособили нести его.

Я скоро шаферомъ у Полины,—эти приготовления, все это вмѣстѣ розовое и красное отбрасываетъ на меня одно черное. Ты мнѣ пишешь: «Пусть останется у тебя отецъ», я и самъ это понимаю и чувствую,—но какъ же онъ долженъ меня любить за ту жертву, которую я ему приношу, отдавая мое блаженство, оставляя тебя въ кругу людей недостойныхъ, какъ на обиду. Въ какой груди найдется богатства настолько, чтобъ заплатить за эту жертву? Странно мнѣ, кажется, лучше было бы, ежели бы онъ меня меньше любилъ. Кто заколдовалъ меня въ этотъ кругъ? А какъ хорошо умереть! Ты, ангелъ, сложиши свою голову на мою грудь, глаза твои будутъ устремлены на меня, я еще разъ скажу: люблю тебя. люблю,—и твое послѣднее слово будетъ слово любви и такъ бы въ одно мгновеніе, обнявши другъ друга. Эта мысль съ каждымъ днемъ нравится мнѣ больше.

8 октября. По всѣмъ расчетамъ теперь граница и предѣлъ ожиданьямъ, завтра придетъ почта и, ежели по ней ничего не будетъ, то не очень скоро будетъ что-нибудь. Какъ досыта я настрадался въ это время. Эта обманутая надежда прорѣзала твердое мѣсто на сердцѣ и обратилась въ болѣзнь. Годъ тому назалъ готовили мы портретъ съ Витбергомъ для тебя, я восхищался твоею радостью, а нынче твое рожденіе будетъ мрачно въ Москвѣ для тебя, мрачно въ Вяткѣ для меня. Боже мой, ежели-бъ это только было возможно 22-го быть въ

¹⁾ Въ этомъ письмѣ есть нѣсколько словъ по-нѣмецки, написанныхъ, повидимому, рукою матери А. И. Герцена: «Ich habe Saschenka seinen Brief aufgemacht um dies'n einzulegen».

Примѣч. издат.

Москвѣ! Чудовищемъ чернымъ и холоднымъ стоитъ рокъ и держитъ желѣзною рукою. Туда, туда летѣлъ бы скрыть голову на груди ангела, пить его дыханіе, умереть съ нимъ. А рокъ улыбается свинцовымъ глазомъ и говоритъ: поѣзжай въ палату разбирать дѣла. Вотъ эпиграмма въ дѣйствиіи.

9 октября. Когда мы будемъ вмѣстѣ, когда мы будемъ совѣмъ отданы другъ другу, и посторонніе выйдутъ изъ свѣтлой черты нашей сферы, тогда мы посвятимъ цѣлые вечера на то, чтобы перечитать въ одно время и твои, и мои письма. Это будетъ дивное наслажденіе: всѣ переливы души, всѣ сильныя впечатлѣнія, и за какую огромную эпоху жизни, заключены въ этихъ письмахъ! Твои пережѣнились только *объемомъ* мысли и чувства. Изъ небеснаго, райскаго ребенка дѣлается небесная, райская дѣва. Основанія тѣ же, два чувства наполняютъ всю душу — молитва и любовь, но эта душа развертывается обширнѣе и, наконецъ, какъ безграницая лазурь неба, не имѣетъ предѣла. На твоей душѣ нѣтъ ни пятнышка, ни тусклаго мѣста отъ дыханія людей, — Богъ *вымежевалъ* тебя отъ толпы, и твои письма, — стройное развитіе любви и молитвы, отъ перваго до послѣдняго. Грусть въ нихъ есть, мрачности нигдѣ; и въ самую темную ночь небо не можетъ быть темно, когда нѣтъ облаковъ. Такъ, какъ изъ подувѣтлаго минерала огонь выплавляетъ чистую каплю стекла, такъ пламенная любовь моя придала небесную прозрачность твоей душѣ. Твои письма — это одно письмо. Совѣмъ другое мои письма. Во мнѣ отъ рожденья не было послѣдовательнаго развитія, моя душа жила конвульсіями, металась всюду и тысячи разъ мѣнялась. Самоотверженная въ Крутицахъ, она совершенно затускла въ первое время ссылки, тутъ было что-то потерянное во мнѣ, какая-то апоплексія сломила полбѣгтія. Тебѣ назначено было воскресить меня и вотъ мало-по-малу моцныя слова твои: любовь и молитва, начинаютъ день въ темной душѣ. Забѣтъ, въ 1836 въ началѣ впервые является въ моихъ письмахъ истинная религія. Но и тутъ нѣтъ твоей стройности: знойныя страсти тянуть, съ одной стороны, душу, необузданное самолюбіе, съ другой, а между тѣмъ все бытіе погружено въ свѣтлое море любви, но это свѣтлое море волнуется, бушуетъ, это не твое небо, а земное море, и иногда кровь, текущая изъ ранъ души, покрываетъ его пурпуромъ. Послѣ самаго пламеннаго порыва — мрачной звукъ, сплетенный изъ раскаянья и разлуки. Рядомъ съ безотчетнымъ восторгомъ отъ тебя стоитъ иногда привидѣніе, рядомъ со смѣхомъ не слеза, а скрипъ зубовъ. И забѣтъ еще, небо твоей любви ничего не имѣетъ посторонняго. А я похожъ на пловца въ своемъ морѣ любви: то та часть *человѣка* видна изъ волнъ, то другая. Прѣздъ в. к. взволновалъ меня, и самолюбіе вырѣзалось яркими чертами въ послѣдующихъ письмахъ. Твоя душа ужъ не измѣнится ни на волосъ, такую воротится она къ Богу, въ моей еще тысячи судорожныхъ мыслей и движеній, но основа одна и незыблемая: это любовь къ тебѣ, на этой основѣ создастся храмъ моей жизни. Наташа, сколько блаженства мы принесли другъ другу, обратимся къ Богу и поблагодаримъ Его за то, что Онъ наши души раскрылъ этому высокому, святому чувству любви.

10 октября. Два письма отъ тебя, ангель, сестра, подруга, два большія письма (посл. отъ 3 окт.). Ты не такъ покойна, какъ пишешь, — это для меня ты привняла часть спокойствія. Нѣтъ, я, сознаюсь, не могу въ глаза взглянуть этому чудовищу, которое называется *еще годъ разлуки*, не могу. Твоя душа, ангель, — небо, небо, въ моей много земли. Еще годъ, да и на чемъ же основать эту мысль, почему не два года, или не полгода? Въ очень скоромъ времени я самъ не жду ничего, но мое письмо къ Арс. сильно. Ежели-бъ я написалъ его

тогда же, я былъ бы ужъ въ Москвѣ. Что за непонятными гіероглифами передаетъ свою волю Провидѣніе человѣку и эта таинственность, завѣса непроницаемая, этотъ безотчетный приказъ, котораго цѣли не видать, а необходимость повиноваться очевидна... Хотя бы срокъ мнѣ назначили,—и пусть скуютъ меня, бросятъ опять въ казематъ, лишь бы я могъ считать, сколько дней мнѣ остается до свиданья съ сестрою, ангеломъ.

11-го. Исторія сватовства становится серьезнѣе, какое море неприятностей для тебя! Не пора ли положить мнѣ мечъ свой на вѣсы, не пора ли разрубить узлы, сплетенные руками безумныхъ. Много, очень много неприятностей. Монастырь,—да какъ бы это устроить? Есть ли изъ всѣхъ животныхъ, бывающихъ у васъ въ домѣ, хоть одно, которое бы умѣло молчать за деньги и черезъ которое ты могла бы, въ случаѣ крайности, взойти подъ сѣнь церкви? Ежели есть, именемъ моимъ обѣщай, сколько хочешь. Ахъ, какіе они безумные, и жаль и досадно. Ну, что ты имъ сдѣлала? Какъ что? Развѣ они не понимаютъ чужьей твоей высоты?—Довольно для толпы. Ты храбро готовишься на бой, тутъ не рѣшительной бой страшень, а эти аванпосы, которыя будутъ дѣлать, эти притѣсненія и безпрестанно. Ты, ангелъ мой, была несогласна со мною, а, какъ ты хочешь, весьма глупо, что я не въ ладу съ Марьей Ст., глупо, потому что недостойна она, чтобъ мы съ ней ссорились, и глупо, потому что она всегда можетъ надѣлать тѣму неприятностей; я желалъ бы кончить *ссору* съ ней. Также точно не совсѣмъ ты права и относительно земли (Мар. Ст. и вселенная!). Нѣтъ, рѣшительно, безъ свиданья здѣсь наша жизнь неполна. Земля—это падшій ангелъ. земля—это рука Божія, ведущая падшаго въ рай, и на ней соединились двѣ красоты: красота ангела и красота милосердія Божія. Посмотри на это небо, на немъ солнце роскошное и теплое,—это любовь Бога, взглядъ отца. Посмотри на эти горы, утесы, разбросанные камни,—это изнеможенное тѣло непокорнаго сына; но вотъ, отсюду къ взору отца стремится жизнь, деревья, мохъ, и это усиліе жизни, кончающееся цвѣткомъ,—въ цвѣтахъ уже сгертая печать отчаянья, въ нихъ радость бытія. И между этимъ-то взоромъ отца и воскрешающимъ трупомъ сына есть мысль и чувство, облеченныя въ свѣтъ Бога, въ плоть падшаго ангела.—человѣкъ. Ему дано узнать изящное вселенной, онъ умѣетъ радоваться небомъ, моремъ, взглядомъ подруги, и онъ не долженъ прежде уйти съ земли, покуда не постигнетъ все изящное на ней. Самая раздѣльность, о которой ты говоришь, носятъ въ себѣ начало наслажденія Божественнаго. Могъ ли бы твой образъ вѣять счастьемъ на меня, могла ли бы просвѣтляться душа твоимъ взглядомъ, ежели-бъ земля не дала намъ формы? Итакъ, сперва надобно совершить жизнь временную, а потомъ начать молитву безконечную; очищая любовью душу, прижимая къ груди всю вселенную, мы выполняемъ цѣль человѣка. А неужто наша жизнь полна теперь? Твоя—въ бесѣдѣ съ Мар. Ст., моя—съ совѣтниками присутственныхъ мѣстъ. Гармоніи надо намъ во всѣхъ частностяхъ жизни, и тогда я первый брошу этотъ переплетъ души. Я боялся прежде смерти, она худо согласовалась съ моими самолюбивыми мечтами, но когда явилась истинная любовь, проникнутая вѣрой, выше и чище понятая была жизнь, и гробъ потерялъ свой ужасъ. Но, ангелъ, все хочу я выпить здѣсь на землѣ, и тогда, бросая опрокинутую чашу жизни, обратимъ взоръ благодарности къ Творцу,—и середь молитвы перейдемъ къ Нему.

Какъ дивно, изящно, высоко твое послѣднее письмо отъ 1 и 3 октября. Ну, Наташа, не правъ ли я въ томъ, что писалъ объ нашей перепискѣ. Мнѣ дальше

до твоей высоты, нежели послѣднему изъ толпы до меня. Я готовъ плакать отъ восторга. Наташа, никогда мечта моя не могла, собирая изящное отвсюду, создать существо, которое бы достойно было завязать ремень твоихъ сандалій. Люди, посмотрите на этого свѣтлаго ангела, преклоните колѣна передъ нимъ, молитесь ему, — онъ за васъ всѣхъ заслужилъ предъ Богомъ. А я подойду къ вамъ и скажу — «этотъ ангелъ мой!» Имъ заплатилъ мнѣ Богъ за юность, проведенную въ одной мысли сдѣлать вамъ благо, за страданія, которыми вы мнѣ отвѣтили, за то, что я раскрылъ душу изящному, за то, что я пожертвовалъ всѣмъ любви. Вотъ какъ платитъ Богъ. Примѣръ передъ глазами, смойте же грязь, которая слоями наслѣла на вашу душу, смойте хоть настолько, чтобъ видно было лицо человѣческое. Наташа, дай твою руку. Довольно! Прощай, цѣлую... цѣлую тебя. 12 октября, черезъ 10 дней 22-ое! Странно, твое письмо было въ пакетѣ, и мое въ пакетѣ, — и совсѣмъ не знаю почему, я не завернулъ въ обыкновенную форму.

+

Москва, октября 8.

Давно, давно я не писала тебѣ, я краснѣю сказать тебѣ отчего, и самой больно вспомнить. Но что же тайнаго отъ тебя у меня? Все хорошее и дурное передъ тобою: хорошимъ восхищайся, какъ плодомъ сѣянныхъ твоей рукою сѣмянъ, дурное исторгни и засади хорошимъ. Приготовленія къ *свадьбѣ* все шли далѣе и далѣе, ты можешь вообразить, съ какими отвращеніемъ ѣздила я въ городъ покупать *приданое*, но меня не трогали, и я была почти покойна, не думала объ этомъ вздорѣ, и ты царилъ во всей славѣ, въ незатуманенной, не запыленной душѣ моей. Наконецъ, Левъ Алекс. привозитъ С., и тутъ, повѣришь-ли, какъ я была покойна, — ясно представилось мнѣ все разстояніе между *ими* и мной, какъ съ высоты небесъ смотрѣла я на нихъ, пресмыкающихся долу. Объ немъ, что мнѣ тебѣ говорить, вѣрно тебѣ ужъ писали; всѣ его хвалить, на службѣ и въ обществѣ отзываются объ немъ, какъ объ отличномъ человѣкѣ, наружность непривлекательная, богатъ очень, скоро генераль (!); но, глядя на него, ни о чемъ этомъ я не думала, свыше озаряло меня и силой и свѣтомъ, и ты былъ близко, близко меня, и мнѣ было такъ легко, весело. Тутъ я вспомнила, однако, что эта фигура преслѣдовала насъ вездѣ. Ко мнѣ былъ онъ и всѣ внимательны черезъ мѣру, даже Левъ Алекс. сдѣлался тутъ мнѣ *дядюшкой!* Все это скользило мимо моихъ глазъ и ушей, я разговаривала съ моей пріятельницей, время шло скоро, ѣдутъ... Меня обдало морозомъ, какъ до моего слуха коснулись слова к[нягиня]: «милости прошу впередъ»... «Не шутка», подумала я, но скорѣ онять мракъ разсѣялся. На другой день я все была въ волненьи, потому что ужъ надо было ждать предложенья, и вотъ, началось! Ласки, обѣщанья, всѣ выгоды жениха, всю мою обязанность, всю власть надо мною, ну, словомъ, все, все было употреблено орудіемъ, чтобъ взять съ меня слово; я миновала всѣ низости, которыя бы тутъ были даже нужны, — слова не дала, ни даже надежды на согласіе. К[нягиня] пока поступаетъ очень деликатно, заманиваетъ разными бездѣлушками, обѣщаніями и ласками; Мак. же думала поразить меня гнѣвомъ, но увидѣвши, что это слабое слишкомъ средство, ласкою, наконецъ, тобою, во осталась при томъ же. Я слышала, какъ она говорила к[нягинѣ] о тебѣ, ей это кажется невѣроятнымъ, однако она сказала: «я ни за что не позволю, и братъ не позволитъ». Теперь мнѣ глядятъ въ глаза, угождаютъ, ухаживаютъ, я все одинакова. Признаюсь, ангелъ мой, многое мнѣ было ужасно непріятно, и я какъ-то вдругъ упала духомъ и

предалась грусти, но не надолго, мысль, что, можетъ, получу отъ тебя письмо, живила, поддерживала меня. Я посылала за Emilie, присутствіе столь близкаго, роднаго существа прибавило мнѣ еще твердости, а тутъ твое письмо! И вотъ я выше всего на свѣтѣ, и ни слѣда, ни крошки отъ происходившаго, *цѣлю* душою восхищаюсь твоей любовью, люблю тебя, парю высоко надъ бездною, и ничьей силы не станеть, чтобы низвергнуть меня въ нее изъ объятій Бога, твоихъ.

Вечеръ. Не отъ одной Emilie ждала я утѣшенія, но, вообрази мое удивленіе, всѣ, всѣ, выключая Emilie и трехъ Сашъ, уговариваютъ меня! Это ужасъ, — люди, до которыхъ доступнѣе низкое, вооружаются тѣмъ, что ты тайно обвиняешь, другіе, что *это вздоръ*, что никогда не можетъ совершиться, какъ негпѣйшая мечта. Грустно посматрѣла я на мракъ, окружающій меня, на могильный холодъ, но четыре звѣзды свѣтили мнѣ привѣтно, вѣяли теплотою. О, какъ узнаешь тутъ цѣну людямъ! Какъ жалки, малы они, какъ бы удѣлилъ имъ хоть каплю жизни; зато съ какимъ наслаждедемъ, съ какимъ восторгомъ смотрю на души чистыя, открытыя всему высокому и святому, съ какимъ довѣріемъ дѣлишься съ ними, какъ свободно и взаимно переливается въ нихъ свѣтъ! Теперь-то я узнала, ангелъ мой, что весь свѣтъ — ледяная глыба, бросаема по морю по произволу бури; громадная стѣна дѣлаетъ меня съ этимъ моремъ, съ этой глыбой. Но мракъ разлуки обнимаетъ меня, въ немъ есть звѣзды — утѣшительницы, за нимъ, за нимъ — вѣчность, блаженство, Богъ, ты!...

Странно, Александръ, мое предчувствіе сбылось, я писала тебѣ, что не желала бы *никого* видѣть, для чего мнѣ теперь *они*? Вѣрю, что все это изъ доброжеланія, но что это доброжеланіе — хуже дубины. Признаюсь, это меня поразило. Только четверо... слабая опора, но мнѣ ненужно никакой. Вѣришь ли, съ увеличеніемъ беззащитности во мнѣ увеличивается сила и твердость. Съ восторгомъ чувствую я, какъ тяжелѣтъ мой крестъ, какъ отпадаетъ отъ меня земная помощь и опора; пусть погаснутъ и эти звѣзды. Ты все для меня... Какъ приятно мнѣ, я теперь въ своемъ уголкѣ. Да, Александръ, дивна судьба наша. Смотри, какъ мало въ ней примѣси земного, какъ ярка въ ней десница Вышняго. Ты пишешь, что будущее грозно; да, виднѣются и мнѣ страшныя тучи, слышатся раскаты грома, но когда? Тогда, какъ я стою на землѣ; отвернись отъ этой юдоли — и свѣтъ безпредѣленъ, и пѣснь неба безгранна. О, ангелъ мой, какъ я счастлива! Если-бъ не посѣщала душу мою мысль, что ты грустенъ, — вся бы жизнь моя была безмрачная, безтуманная, одинъ свѣтъ, одинъ лучъ, истекающій изъ Него, коснувшійся тебя, слившійся съ тобою и возвращающійся опять къ своему, къ твоему началу. Будь твердъ, глядя на меня. Вотъ теперь-то единственное убѣжище мнѣ — храмъ Господень; я бы ходила ко всѣмъ службамъ, если-бъ это было возможно; неисчерпаемый сосудъ утѣшенія! Друзья — да, вѣдь, и въ нихъ есть слабость, вѣдь, и они страдаютъ, а церковь... о, тамъ ненужно ни взора, ни рукожатья. тамъ безъ покрывала вся душа, тамъ безъ занавѣса все небо. Отецъ мой, другъ мой! пусть вся земля пуста будетъ, пусть все возстанетъ противъ насъ... Видишь ли, вотъ звѣздочка, кто заставить ее погаснуть, кто раздѣлитъ ее попаламъ, кто? И мы такая же звѣзда, еще изящнѣйшая. Нѣтъ мѣры моему блаженству, нѣтъ мѣры моей любви; не грусти! Ежели Богу угодно, пусть тянется разлука, мы все будемъ расти, свѣтлѣть... а тамъ, а тамъ... Я бросаю перо, нѣтъ, слушай меня душою, смотри на меня душою; нѣтъ формъ, чтобъ излиться мнѣ вполне, прочь земля. Александръ! Александръ!

9-го. Опять была Еmilie, опять отзывный голосъ, пріивѣтнѣйшій взоръ, и я довольна. Твое письмо ей отдала. Да, дивная душа, но на что она жалѣетъ меня, на что боится за насъ? Я готова, другъ мой, скрыть при свиданіи все. ежели ты этого хочешь, я чувствую въ себѣ настолькоъ силы. Еmilie отъ меня пошла какъ маменькѣ, и пишетъ оттуда, что маменька все также любитъ меня, все *также мать мнѣ*, и цѣлыя ночи обдумываютъ съ Пр. Андр. Эрнъ мою участь; это меня ужасно утѣшило, когда-то я ихъ увижу?

Ты пишешь, что надежды еще не изсякли—пустое, мой другъ; итакъ, прочь земная опора! Съ какою гордостью, съ какими наслажденьемъ смотрю я и на громовыя тучи, и на тернія, и на всѣ муки, которыя еще ждутъ насъ... Мы выстрадаемъ соединеніе! Признаюсь, прежде мнѣ это казалось такъ легко, такъ возможно, и потому я не могла постигнуть всей глубины дара Господня, не могла объять его пространства, теперь же — о! теперь совсѣмъ иное. Нѣтъ, минуты своей жизни не отдамъ я за цѣлую счастливѣйшую жизнь другого; въ каждой изъ нихъ море жизни небесной, райской. Ну, повѣришь ли, ангелъ мой, съ невыразимымъ удовольствіемъ смотрю я на всѣ эти лишенія, и удары, и поруганія. Тебѣ, тебѣ только суждено было быть отцомъ, началомъ, образователемъ моей души, тебѣ только восхищаться вполне своимъ созданьемъ,—вотъ твоя слава, твое великое, а остальное-то прахъ; побѣдивъ полсвѣта, воскресивъ умершаго, ты-бъ не сдѣлалъ *столько*, какъ образовавъ такъ душу. Не гордость говорить это во мнѣ, это молитва созданья творцу своему.

Да, одно свиданье, одинъ взглядъ на землѣ и домой! Чего тогда намъ ждатель отъ земли? Болѣе она ужъ дать не можетъ. Еmilie все еще мечтаетъ о нашемъ соединеніи, о *нашей жизни*; эта мысль скользитъ только по душѣ моей, мы здѣсь въ гостяхъ. смѣшно и безсовѣстно упрочивать постоянное жилище въ чужомъ домѣ, скорѣй на родину, скорѣй до хаты!.. Почему они меня жалѣютъ? если бы они знали все, или хоть бы миллионную долю, они-бъ радовались, благодарили-бъ Бога. А ты грустенъ, о, мой Александръ! Нѣтъ, нѣтъ, восхищайся своими страданіями, благодари за нихъ Бога, дѣли ихъ со мною, какъ манну, какъ лучшій даръ Его, немногіе его достойны; во всѣхъ горечахъ умѣй находить сладость воли Его. Какъ ты хорошъ, какъ вдохновенны твои черты, сколько любви... о, мой ангелъ.

14-е. Опять долго не писала тебѣ, ангелъ мой,—надсмотръ строгъ, минуты не было. Снакъ. былъ еще два раза, и меня не оставляютъ въ покоѣ. К[нягиня] дѣйствуетъ черезъ Мак., и та — засыпаю ли я, просыпаюсь ли — не отходить отъ меня; но, вѣдь, только изъ этого не выйдетъ ничего,—если не жить для тебя, то умереть за тебя. Эта мысль меня приводитъ въ восторгъ, ничего не боюсь! Я знаю, что за всѣ муки мнѣ будетъ дано мгновенье,—это когда я увижу твой взоръ, высшей награды не можетъ быть ни здѣсь, ни тамъ. Третьяго дня были у папеньки, я въ восхищеніи отъ маменьки, она превзошла мои ожиданья; впрочемъ, дѣйствительно-то для меня нѣтъ счастья, ни утѣхъ, — одна любовь, одна любовь! Нельзя писать, прощай, о, дивный мой, о, мой единственный Александръ.

14-е, *ночь*. Пять мѣсяцевъ не была я въ родныхъ, въ священнѣйшихъ стѣнахъ,—какою безопасною, какою неприступною чувствовала я себя въ твоей комнатѣ, что-то святое обнимало меня, риза непроницаемая ограждала меня отъ всѣхъ нападеній... о, святые часы! Но ты не безпокойся, я недоступна всегда. Хоть изъ пушки стрѣляй въ небо, оно все также ясно и спокойно, хоть всѣмъ зем-

нымъ шаромъ пусти въ меня, и тѣнь его не отразится на душѣ мой. Вотъ только больно мнѣ,—я вынуждена говорить неправду; Макаш. меня спрашиваетъ, не обѣщала ли я кому? Я говорю—нѣтъ. Это угвѣтаетъ меня, но что-жъ дѣлать? Неужели святыню отдать на поруганье, неужели подвергнуть неприятности всѣхъ, которые тутъ вмѣшаны? Это тягчайшій еще грѣхъ. Опять прощай, милый!

16-е. Тяжело на сердцѣ, жду письма. Да, много силы, много блаженства въ душѣ, но иногда она вдругъ врасплохъ взглянетъ на сущность — томительная смерть! Недѣли по двѣ и болѣе не видать родного взора, взора живого, не слышать голоса души!. Одинъ гулъ, одинъ ропотъ толпы, одно глупое, безцѣльное ея бушеванье... и такъ, что нѣсколько дней нѣтъ минуты отдыха! Я не отвращаю Его ударовъ, не охраняюсь отъ нихъ, но допускаю грустному звуку излиться изъ души къ тебѣ,—мнѣ легче.

Ну, что же, когда увидимся? О, ангелъ мой, наскучила мнѣ земля, какъ вездѣ душно, какъ все нелѣпо внѣ любви. Радости и горе — все блѣдно въ ея сияньи. Ахъ, дождусь ли, дождусь ли я, когда одинъ ея свѣтъ обниметъ нашу жизнь. Много ли еще мрачнаго пути?

Нѣтъ письма, меня беретъ тоска. Ничто ужъ меня тутъ не занимаетъ, такъ грустно, такъ грустно, не смотрѣлъ бы ни на что. Зато на той недѣлѣ мнѣ будетъ награда: 22-го маменька обѣщала быть у меня съ Праск. Андр. Эрнъ. Вотъ радость! и ужъ, вѣрно, и письмо будетъ. Господи! десять бы дней я провела безъ сна и пищи, лишь бы поговорить о тебѣ съ тѣмъ, кто видѣлъ тебя въ Вяткѣ. Что за пошлая, что за тяжкая жизнь; ты трудишься, занять дѣломъ, вѣдь это отраднo, а тутъ... но пусть желѣзо пройдетъ по мнѣ, оцарапавъ само себя. Вѣдь, не вѣка нужны намъ, не годы, святому и изыщному нѣтъ мѣры, одно мгновенье будетъ обширише и полнѣе столѣтья. Съ каждымъ днемъ, душа моя, кажется, отпадаетъ отъ меня все земное, только жду твоего взора, это мгновенье будетъ *вся земная жизнь моя*, за нимъ мѣсто лишь небу. Нѣтъ вещи, которая бы меня заботила сильно, отъ души; безгранно море, не видю земли, есть она гдѣ-то тамъ... не доплыть мнѣ до нея, скорѣй кану на дно. О, любовь, о, Александръ! Тоску наводятъ на меня и разговоры людей, и стукъ ихъ, и шумъ, все это такъ громко свидѣтельствуетъ ихъ ничтожество, одна суета. одинъ тлѣннй и прахъ кругомъ меня. Гдѣ-жъ моя жизнь, гдѣ-жъ моя душа?

17-го, вечеръ. Прощай, мой Александръ, навѣвай на меня своею святостью, силою,—я выступаю на брань. Сегодня опять былъ Сн., хотѣлъ скоро быть опять, чтобъ *переговорить*,—пусть ихъ! Необъятна твоя любовь, утону въ ней. и этимъ букашкамъ не достать меня. Поливнѣ много, много желаю. Что Витбергъ? умилосердись надъ нимъ Господь!

Твоя, твоя здѣсь и тамъ.

Сегодня была Emilie, она тебѣ кланяется, благодарить за письмо и будетъ писать сама ¹⁾).

17 октября.

(¹⁾ Знаешь ли ты, мой ангелъ, какъ мать сидитъ у тѣла сейчасть умершаго ребенка? Она видитъ, что онъ умеръ, но она увѣряетъ себя, что это сонъ, она

¹⁾ Въ этомъ письмѣ есть нѣсколько строкъ, по-нѣмецки написанныхъ, повидимому, рукою матери А. И. Герцена: Heute habe ich von Lichonoff seiner Frau die sein portret bekommen, soll ich sie dir schicken oder nicht auch habe ich von ihm einen Brief an dich den ich dir mit Elegenheit schicke.

Примѣч. издат.

еще разъ хочеть оттолкнуть мысль холодную, мысль лишения. Но, наконецъ, она встаетъ, и не плачетъ, все мутно, пошло, глупо, *какая-то* мысль одна завладѣла душой, но она боится опредѣлить, что это за мысль. Все принимаетъ видъ страшнаго привидѣнія, уродства. Камень на груди, камень на головѣ, свинецъ вмѣсто крови, — она поняла, что дитя, розовое, милое — теперь трупъ блѣдный, ледяной, но она не можетъ понять, что ужъ кончено, что и впередъ не будутъ тянуться эти ручки, что это смерть. Вотъ моя исторія съ надеждами. Все кончилось, это я понимаю, а что еще годъ здѣсь жить, этого я не могу постигнуть, что еще можетъ триста шестьдесятъ пять дней я не увижу Наташу, — я не могу сообразить этого. А между тѣмъ все окружающее меня приняло точно характеръ тупой глупости, нелѣпаго въ формѣ и въ идеѣ. Наташа, ангелъ, сестра, въ прошломъ письмѣ ты говорила мнѣ, чтобъ я былъ покоенъ. Ты знаешь мой огненной, бѣшеной характеръ? Помнишь ты слѣды огня, эту лаву души, ты ее отыскала въ I. Maestri—ну, этой-то душой огня, душой вулкана я люблю тебя! И быть покойнымъ! А къ тому же эта тьма неприятностей, которымъ тебя подвергаютъ теперь, — и быть покойнымъ! Вотъ я воображаю этого *господина* жениха; такъ онъ хочеть непремѣнно сто тысячъ, ровный счетъ, и 4.000 казенныхъ процентовъ. А его убѣждаютъ: посмотрите, она *хороша собой*, — за это можно сбавить 15.000. «Такъ и быть. 10.000 руб. сбавляю». Боже мой, эту красоту, этотъ ликъ ангела, этотъ образъ Божества, всего святого для меня на землѣ, — они его мѣряютъ рублями; подлецы — продаютъ, какъ Гуда; тотъ, по крайней мѣрѣ, былъ съ характеромъ и повѣсилса, а эти *три* *тыся* живутъ. Я вѣдь знаю ихъ; какъ это все должно быть не деликатно, больно твоей нѣжной душѣ. О, Наташа, теперь я тебя уговариваю, отвернись отъ этихъ падшихъ людей къ моему Александру, въ его объятіяхъ ты съ избыткомъ найдешь замѣну всему, поцѣлуйми уврачуешь онъ раны, нанесенныя ими. Я все перенесу, и ссылку, и разлуку, только дай мнѣ волю, когда грустно грустить. Зачѣмъ мнѣ быть покойнымъ? Вотъ бросился бы къ тебѣ, умеръ бы въ твоихъ объятіяхъ, а цѣпи-то... проклятая цѣпь гремитъ на ногѣ, держать ее. И чудачки люди, — имъ хочется жить въ болотѣ, по горло въ грязи; ну, живите тамъ, вамъ указана цѣль высокая, вы ее забыли. Христосъ приходилъ напомнить, но вамъ лужа и грязь практической жизни пріятнѣе свѣта веси Божіей, живите же тамъ, но оставьте же волю тѣмъ, которые не хотятъ съ вами дѣлить вашихъ гнусностей. Я ничего больше не желаю, какъ покинуть васъ всѣхъ, съ моею Наташею бѣжать. Не тутъ-то было. Тутъ родительская любовь *предупреждаетъ* *необдуманный* *поступокъ* волею, основанною на опытахъ и числѣ лѣтъ. А тутъ не знаю, какая ненависть держать въ толпѣ за тысячу верстъ и, какъ только хочешь подняться, бьетъ обухомъ по головѣ. У меня все внутри горитъ и кипитъ, дай твою руку, руку ангела, я ее приложу къ горячему лбу, и гармонія прольется въ душу, и стройное пѣсношѣніе любви раздастся въ ней. Наташа, — знаешь ли, что я хочу тебѣ сказать? Что я тебя ужасно, безмѣрно люблю, — и довольно.

19 октября. А вотъ тутъ рядомъ черезъ перегородку другая сцена. Тамъ художникъ гибнетъ, непонятой современниками, бѣдность, нужда давить, огромное семейство давить, а мысль необъятная, которую убили при рожденіи, давить больше всего прочаго. На-дняхъ какъ-то воскресъ его гений, онъ набросалъ дивный проектъ; слезою поздравилъ я его и восторгомъ. А посмотри толпу: она кричитъ, что онъ кралъ казенныя деньги. У нихъ все деньги, ихъ чувства —

четвертаки, ихъ мысли — ассигнаціи на несуществующій банкъ. Наташа, эта толпа — наши братья. J'ai l'honneur de vous saluer, mes frères. Ха-ха-ха, братья!

19 октября. Огромный, торжественный праздникъ близокъ. *Твое рожденіе!* Не прибавлю ни слова. Въ этотъ день долженъ я повергнуться къ полнужью Его престола и благодарить за то, что я существую. Прощай, ангелъ. прощай.

Твой Александръ.

18 октября, Москва.

Долго не получишь ты этого письма, другъ мой, и потому пусть грустные звуки льются, льются. Вѣрно скоро получу письмо отъ тебя, и пройдетъ туча, и опять одно солнце яркое, животворящее. Ты говоришь мнѣ, ангелъ: «Неси крестъ, Наташа, за меня несешь ты его». О, пусть онъ удвоится, утроится, ежели это для тебя, но почему же, Александръ, за тебя? Пить, любя, Богъ испытуетъ насъ. Я не ропщу, мой милый, но иногда силы меня оставляютъ. я сержусь на себя. И не горе изнуряетъ меня, это холодное участие, это убійственное состраданье... Фу! еще глубже узнала я теперь сердце человѣческое. Ангелъ мой, ангелъ мой, когда-бъ я на тебя взглянула! Признаюсь, я не ожидала, чтобъ дѣлали со мной такія низости, чтобъ до такой степени было черство сердце у людей, ни въ комъ, ни въ комъ нѣтъ полного, совершеннаго отзыва, все съ примѣсью эгоизма. А знаешь ли, кто мой чистый, вѣрный отголосокъ? Это — Саша, дивное существо! Она съ дѣтства взлелѣена мною, въ душѣ ея отразилась одна моя душа, и теперь она одна приноситъ мнѣ хоть крошку истиннаго утѣшенья. Другія — то желаютъ мнѣ знатности, богатства, то желаютъ соединенья съ тобой и вмѣстѣ съ этимъ жалѣютъ меня, иные плачутъ о настоящемъ, иные страшатся будущаго; а эта — она часто восхищаетъ меня, говоря: «какъ вамъ должны быть пріятны всѣ эти страданія, потому что они за любовь къ нему». Да, вѣренъ голосъ природы, сладко — горькое, пріятно — неприятное за тебя. Скоро должна миноваться эта туча, то-есть, тягостные визиты Снакс. прекрататся, а предстоящіе удары я вынесу легко; хотя угрожаютъ и многимъ, да и половинны не сдѣлаютъ; вотъ смѣхъ, дѣлаютъ заговоръ, чтобъ застать меня врасплохъ, послать за Львомъ Ал., за попомъ, и благословить такъ, чтобъ я не успѣла образумиться и противиться имъ; а *добрые люди* спрашиваютъ: «какъ подвигается ваше дѣло, въ этомъ ли мѣсяцѣ свадьба?» Я не совершенный ангелъ и потому не могу быть всегда покойна въ срединѣ этихъ пресмыкающихся; когда-жъ одна — все забыто; ты, одинъ ты, наполняешь душу, взоръ, слухъ, ты самый, и воздухъ. Не мечтаю болѣе о той полной, артистической жизни, объ Итали, нѣтъ! Ужъ эти мечты, отобранныя отъ сердца желѣзно-ледяною рукой, улетѣли безъ возврата; отбросить всѣ эти нечистые, предательскіе наряды, оттолкнуть тѣхъ, кто облакаетъ меня въ нихъ, рубище, власяницу вмѣсто ихъ, всевозможныя изнуренія, лишь бы доползти къ тебѣ и умереть!! Ты понимаешь, ты постигаешь меня вполне, ну, скажи, что-бъ лучшее желать?

Всегда сомнѣвалась я, чтобъ кто-нибудь понялъ совершенно *нашу* любовь. теперь удостовѣрилась въ этомъ. Прощай, что-то все еще я не совершенно свободна, не успѣла придти въ себя. О, Александръ!

20-е. Всѣ, кто меня знаютъ, говорятъ, что я иду замужъ, отъ вопросовъ, отъ желаній нѣтъ прохода, — это ужасъ! Какъ всѣ въ этомъ увѣрены, какъ радуются всѣ, и ужъ моихъ силъ недостаетъ разувѣрять. Жаль мнѣ кн[ягиню].

она тайкомъ отъ меня, но такъ отъ души, съ такимъ участьемъ хлопочеть; что странно,—сколько ни увѣряю Мак., что не пойду, чтобъ они остались въ покоѣ, «не шили-бъ красный сарафанъ, не входили-бъ попусту въ изъянтъ»,—не вѣрять! Что-бъ мнѣ нужды увѣрять ее, по княг[иня] ее заставляетъ меня уговаривать, и я говорю съ тѣмъ, чтобъ передано было все ей. Ее огорчитъ ужасно истина, но я развѣ виновата? Жертвовать здоровьемъ, жизнью—мнѣ ничего, и то ужъ все это не мое, а жертвовать любовью, вѣчностью, тобою... Я воображаю разные толки, билетни обо мнѣ, но все это вздоръ, все это я презираю. Кн[ягиня] говорить, что сгонить со двора при малѣйшемъ сопротивленіи, другіе, что не будутъ знать тогда меня; не боюсь и этого, слава Богу, ежели участь моя будетъ подобна *Того*, кому некуда было преклонить главы. Будущее сулитъ повошеніе и странническій посохъ тѣлу, а душѣ—душѣ нѣтъ ни прошедшаго, ни будущаго, одна любовь! одна любовь! и что за дѣло мнѣ до тѣла?

Съ дѣтства не манило меня обыкновенное счастье, видно отъ того, что мое дѣтство было дѣтство любви высочайшей, безпримѣрной. Бушуйте люди, стихии, все на меня, со всеми оружіями, я одна на всѣхъ съ одной любовью. Вообрази, что всѣ, кто отъ души меня любить, теперь, будто, сердиты на меня и глядѣтъ не хотаятъ за то, что всѣ усилія ихъ тщетны, будто я въ средѣ еще новыхъ людей, у которыхъ сердце и грубѣе, и мертвѣе тѣхъ, которыми я была окружена прежде. Да, темна ночь, кое-гдѣ свѣтятъ звѣздочки чуть-чуть... а пустынею еще долго идти, и сколько въ ней дикахъ, хищныхъ звѣрей... но, *тамъ*, тамъ за нею... идемъ, идемъ!

21-е. Вчера получила твое письмо (до 12-го окт.), ну, право, не умѣю пересказать тебѣ всего, да, кажется, это было бы и лишнее. Какъ сильна, какъ могущественна одна надпись твоей руки «Наташѣ». Еще нераспечатанное письмо въ рукѣ, а ужъ ни облачка на душѣ, ясно какъ въ вешней день небо, передъ появленіемъ солнца. И пришло-то оно въ самое тяжелое время, когда каждую минуту ожидаешь новыхъ гадостей, но ужъ тутъ я во весь ростъ, и неприятельское войско—жалкая точка для меня. Дивный другъ мой! Я теперь окрѣпла надолго, а тупая пила должна изломиться скоро. Можетъ скоро, скоро дошьемъ мы и самые подонки изъ горькой чаши, и тогда прямо безъ парусовъ, безъ ладьи въ океанѣ наслажденій, и то не надолго, нѣтъ, не хочу и съ тобой быть въ этой темницѣ, если-бъ мы могли жить, какъ живутъ птицы небесныя, а то эти заботы земныя, житейскія... Ахъ, дальше, дальше, выше! Прелестна земля, божественна природа, но не здѣсь, не въ грудахъ камней, не въ душной и нечистой тѣснотѣ, а тамъ, гдѣ я не бывала никогда, на высокихъ горахъ, подъ открытымъ небомъ, въ уединеніи, тамъ поживемъ, посмотримъ на природу, другъ на друга,—и довольно, и домой! Что за жизнь въ средѣ толпы, можетъ ли она литься свѣтлой, прозрачной струей по этимъ мостовымъ, межъ этихъ домовъ?.. Но развѣ тогда мнѣ будетъ нужда, что небо мрачно или свѣтло, что я въ сырость подземелья или на цвѣтущемъ дугѣ... Тогда, тогда... о, ангелъ мой, удержи меня на землѣ.

Вечеръ. Левъ Ал. опять привозилъ Снакс., онъ съ нимъ совершенно на дружеской ногѣ; дивлюсь этому человѣку: какъ не видитъ онъ, что я не обращаю на него вниманія, избѣгаю говорить съ нимъ, глядѣтъ на него, онъ вовсе не дуракъ; однако, мнѣ кажется, онъ замѣчаетъ хоть сколько-нибудь мою рѣшительность, потому что еще не говорилъ княгинѣ ничего. Вотъ несносные-то, тяжкіе часы сидѣтъ тутъ при немъ, я всегда стараюсь спрятаться въ уголь, а Левъ Ал. вытащить меня непременно и посадить близко къ нему или противъ.

Маменька утѣшила меня весьма своимъ вниманьемъ. Егоръ Иван. сказывалъ, что она была у Галушки, чтобъ заготовить мнѣ убѣжище въ случаѣ нужды, я была сильно этимъ тронута: среди такого холода, среди этихъ ледяныхъ движущихся массъ струя теплоты отраднa. Сидя съ *ними* битый часъ, я утомилась до крайности, бросилась наверхъ, почерпнула небесный свѣтъ изъ твоего письма, напилась жизни въ твоемъ образѣ, и снова чистая и крѣпкая явилась туда. Левъ Ал. повезъ его къ папенькѣ, онъ, вѣрно, тебѣ напишетъ что-нибудь. Ты пишешь о Макашъ, я съ ней ни въ ссорѣ, ни въ ладу, она для меня какъ не существуетъ, а укротить ее на твой счетъ невозможно ничѣмъ въ свѣтѣ, я знаю это вѣрно: она ненавидитъ тебя, маменьку и Егора Ив. и сама призналась мнѣ, что ежели я что потерпѣла отъ княг[ини] и отъ нея (*можетъ* и несправедл.), то все это за васъ. Да, мнѣ кажется, что тутъ она говоритъ правду. Слѣдственно, оставимъ ее въ покоѣ, да и какия она можетъ сдѣлать еще неприятели *болышия*,—кажется нельзя! Все это пустое, другъ мой, мнѣ ни о чемъ этомъ и думать не хочется.

// Прощай, 12-й часъ, а я пойду къ заутренѣ, велеть ложиться. Вѣрно, ангель мой, ты теперь мечтаешь обо мнѣ. О, жалкіе! какъ напрасны всѣ ваши усилія. посмотрите вверхъ, но чистою душой,—вонъ тамъ высоко, въ вѣчномъ сіяньи, въ блескѣ славы небесной, въ эфирной пеленѣ святая, великая, божественная любовь, безначальная, безконечная, нераздѣльная, какъ Богъ, и тамъ, гдѣ вы стоите и куда вы глядите, вамъ кажется она тамъ мужчиной и женщиной, вы ихъ думаете разлучить, употребить по своему соизволенью, куда и какъ надо,—бѣдныя! жаль васъ, жаль. Прощай же, руку.—дай Богъ, чтобъ ты увидѣлъ меня во снѣ, и я тебя. Я не могу быть вовсе грустна, недавнее письмо обливаешь душу небесною радостью, что-то ты, что-то ты? !/

3 часа ночи, благовѣстъ къ заутрени; *можетъ* и ты проснулся, мой Александръ, и я въ мечтѣ передъ тобою.

23-е. Это ужасно, цѣлый день вчера я ждала съ нетерпѣніемъ вечера, чтобъ отдохнуть, сказавъ тебѣ нѣсколько словъ, и вообрази — невозможно было. Ну, что, другъ мой, сказать о 22-мъ? Ты живо можешь вообразить: чужое и чужое. холодъ и холодъ; середъ всего этого проглянеть и живое чувство, теплое, то это цвѣтокъ, занесенный на сѣверный полюсъ, коротка жизнь его, ненадежна, и красы въ немъ вовсе нѣтъ. Много думала я вчера и о Александрѣ Лаврентьевичѣ, этотъ день долженъ быть посвященъ ему во вѣки, благо, которое онъ сдѣлалъ для меня не имѣетъ цѣны, и благодарность ему безконечна. Маменька не была у меня; какъ ни грустно мнѣ это, но я сама посовѣтовала бы ей не ходить ко мнѣ, чтобъ не навлечь ей неприятели тѣмъ. Одно начало этого дня было хорошо, торжественно, потому что я провела его въ храмѣ, послѣ же меня все душили непрерывно. Вечеромъ пріѣхала ко мнѣ Маша Эрнъ; ей я ужасно была рада, прелестный ребенокъ, и къ тому же съ *запахомъ Вятки*, а ужъ этого довольно, чтобы привести въ движеніе всю душу. Бѣдный лучъ,—но какой же лучъ не отраднѣнъ въ самую мрачную ночь.

Боже, какою сиротою я въ этой толпѣ, какое одиночество... Но, ей-ей, это не ропотъ, клянусь, несу все съ восторгомъ, и недостойна была бы тебя, если-бъ несла съ однимъ терпѣньемъ. Каково это, Александръ, *20 мѣтъ, какъ я на земль!* Загостились мы съ тобою, ангель мой. Я жду одного свиданья, ежели Ему угодно, то сколько-нибудь пожить еще здѣсь только далеко отъ всѣхъ, съ однимъ тобою, и туда, туда! Дивно, какъ всегда занимала меня мысль читать *тогда* съ

тобою наши письма, все хотѣла написать тебѣ, но ты предупредилъ. Господи, какая бы свѣтлая, поэтическая, какая бы святая была наша жизнь. Ужъ ежели не жить ею, то ужъ не жить вовсе! А мнѣ желаютъ генеральской жизни,—фу, какая гадость! Да теперешній мой плѣнь въ миллионъ разъ сноснѣе. А когда воображу себя рабою твоюю... о, съ какимъ наслажденіемъ произнесла Матерь Господа: «я раба Господня»,—это рабство превыше всякаго владычества земного.

24. Опять былъ С., а мнѣ каждый разъ все кажется, что въ послѣдній; неужели онъ не замѣчаетъ невниманія? Странно. Ну, Богъ съ нимъ. Много, много, Александръ, придаешь ты мнѣ, впрочемъ, что-жъ дивнаго для *твоего созданья!* Прощай, спѣшу, не будь грустнымъ на свадьбѣ Полины, можетъ и она будетъ на твоей. Цѣлую тебя, ангель мой, другъ, душа моя! Твоя, твоя вся.

20 октября, Вятка.

Ангель мой, Наташа! Ну, наконецъ, переломъ миновалъ,—я выздоровѣлъ душою. Судорожная боль прошла, я спокойно взглянулъ на свое положеніе, Господь далъ новыя силы. Слава Богу! Ну, слушай же, какъ это было. Ты видѣла изъ двухъ, трехъ послѣднихъ писемъ, что душа моя страдала, — сколько слезъ пролила ты, ангель надъ ними! Наконецъ, тѣло уступило душѣ, я занемогъ — и не дивенъ ли Господь — эта ничтожная болѣзнь вылечила сильную боль души. Совершенно одинъ сидѣлъ я въ моей комнатѣ эти дни, изрѣдка посѣщали меня, но больше былъ я одинъ. Не знаю, какъ мечты черныя улеглись, твой образъ, какъ мѣсяцъ изъ-за тучъ, вырѣзался величественно, кротко, спокойно, — и воскресла сила. Теперь я здоровъ и тѣломъ. Моя грусть приняла видъ скорбной печали, а не жгучей, ядовитой боли, какъ было до этого. Мысль о будущемъ блаженствѣ нашемъ возсіяла надъ пропастью настоящаго. Помнишь ли, ангель, ты мнѣ писала, и именно какъ средство разсѣянія, чтобъ я писалъ мою жизнь; я исполнилъ твой совѣтъ и онъ тоже помогъ мнѣ. Я описалъ отдѣльными чертами все мое ребячество отъ 1812 до 1825. Боже мой, какъ эти алыя пестрыя воспоминанія заняли меня. Первое воспоминаніе похоже на первый взглядъ вдаль, видишь однѣ крупныя массы, но смотри дальше, и мало по малу начнутъ отгѣняться подробности. Такъ и съ моими воспоминаніями, одни тѣснятся за другими. Когда отдѣлаю первую часть подъ заглавіемъ «Дитя», пришлю тебѣ. Я вижу, что ежели буду продолжать, то почти всѣ статьи взойдутъ въ эту общую статью; впрочемъ, я далъ себѣ слово не писать никакъ дольше 1835, это время и слѣдующіе три года тогда только буду писать, когда увижу тебя во второй разъ. Эти спокойныя, тихіе три-четыре дня убѣдили меня еще разъ, что чѣмъ дальше отъ людей, тѣмъ лучше; я жалѣю теперь, что я живу не одинъ: я заперся бы кругомъ, мечталъ бы, фантазировалъ, и свинцовое время шло бы далѣе. Но въ сторону эгоизма, было много причинъ, почему я живу не одинъ, и между ними есть столь священныея, что можно пожертвовать для нихъ своимъ удобствомъ. Прощай, моя милая, мой другъ, прощай.

22 октября. День рожденія моей Наташи, день воплощенія ангела, — слеую молюсь—великъ, необъятенъ Богъ въ благодти своей.

Посылаю тебѣ фантазію, которую я написалъ для этого дня, — она мнѣ нравится. Посылаю тебѣ поцѣлуй пламенный, поцѣлуй любви безконечной. Писать рѣшительно не могу, душа такъ полна, такъ полна, чувства такъ сильны, что я не могу настолько ихъ охладить, чтобъ писать, — ты поймешь.

Годъ тому назадъ ты получила портретъ. Годъ тому назадъ ты писала: «Быль великій день для меня 9 апрѣля, будетъ другой великій день, это—наше свиданіе. Первый—луна, послѣдній—солнце, а нынѣшній день—звѣздочка между ними». О, съ какимъ восторгомъ читалъ я твое письмо тогда, весь небесный огонь перенесся на бумагу и отогрѣлъ мою душу. Много было прелестныхъ минутъ въ нашей разлукѣ, Наташа, несчастья наши заключаютъ въ себѣ больше блаженства, нежели *изъ* счастья. Я сейчасъ перечитывалъ твое письмо отъ 22 октября 1836 года. О, мой ангелъ! Вотъ весь этотъ день у меня передъ глазами. Дождь, и нѣтъ надежды, чтобы пріѣхалъ папенька (тогда онъ прекрасно поступилъ, ежели бы всегда такъ!). Вотъ вы садитесь за столъ. Карета; вотъ онъ входитъ. Наконецъ, портретъ въ твоихъ рукахъ. О, это была торжественная минута въ твоей жизни, это была одна изъ тѣхъ минутъ, которыхъ пять, шесть даритъ небо изъ рая земной жизни человѣка. Много восторговъ испыталъ я, восторговъ дружбы самой чистой, восторговъ симпатіи, восторговъ самолюбія (о, и они сильны: доселѣ живы въ памяти поздравленія цѣлой аудиторіи, когда я читалъ лекцію при министрѣ), но что всѣ они передъ 9 апрѣля. А когда я получилъ твой браслетъ (сегодня весь день онъ будетъ на мнѣ)!—Что-то нынче ты дѣлаешь? Ахъ, скоро ли, скоро ли придетъ тотъ день желанной? И чѣмъ больше страданій, чѣмъ больше обманутыхъ надеждъ, тѣмъ больше въ немъ блаженства, тѣмъ прелестнѣй будетъ *надежда исполненная*. Прощай—тѣсно что-то въ груди. Полина тебя поздравляетъ и Витбергъ. Прощай же!

23 октября. Ну, вотъ и этотъ день прошелъ. Вотъ ужъ за роднымъ днемъ явился другой, посторонній, чужой. Идетъ время съ своимъ гордымъ пренебреженіемъ, со своей холодной неумолимостью. Твое рожденіе я провелъ не такъ, какъ хотѣлъ, я недоволенъ собой. Какъ нарочно, посторонніе люди мѣшали весь день предаться мысли о тебѣ. Какъ сѣрая облака, мѣшали они свѣтити солнцу.—Нѣтъ, я дурно выразилъ, что хотѣлъ, въ фантазій; вчера я ее похвалилъ спорча. Но прими ее какъ маленькій цвѣтокъ, подносимый любовью.

26 октября. Вотъ твои письма отъ 8 до 14-го. Ангелъ мой, сердце облилось кровью. Я все прочелъ, чего ты *не писала*. Надобно дѣйствовать,—писать ли къ папенькѣ? Ахъ, ежели-бъ можно было надѣяться, что Прасковья Андреевна возьметъ тебя къ себѣ; Боже мой, я поцѣловалъ бы ногу ея. Но боюсь и думать, я отвыкъ вѣрить въ благородные порывы. Наташа, разъ мы увидимся непременно, этого я требую отъ Бога. Тогда пусть бьетъ буря въ нашу грудь. Но послушай, ежели тебя, нѣжной цвѣтокъ, они сломятъ до моего пріѣзда, и ежели въ крайномъ обстоятельствѣ не поможетъ письмо къ *папенькѣ*, тогда мы свели наше счеты, тогда мы чужіе. Фу, какая пустота у меня передъ глазами, и пульсъ бьется въ головѣ, какъ молоткомъ. Наташа, тогда я съ ума сойду и принесу на новоселье одну любовь, одну любовь. Твой, твой Александръ. Ей Богу, они и предвидѣть не могутъ, что дѣлаютъ,—вотъ одно извиненіе имъ.

25-е октября, Москва.

Вчера была у меня Еміліе, вотъ что она сказала: «Наташа, если-бъ я услышала, что ты умерла, я бы съ радостью перекрестилась и поблагодарила бы Бога». Права она много, но не совсѣмъ. Душа ея, живущая однимъ горемъ, поняла вполне страданія моей души; но блаженство, но рай, которымъ наполняютъ ее любовь и молитва, едва ли кому-нибудь въ свѣтѣ доступны вполне. Мрачность настоящаго

неизмѣрима, неисчерпаема горечь будущаго, но это только капля горькаго въ океанѣ сладкаго, пылинка—противъ солнца. Тайна, непостижимая тайна для всѣхъ, моя любовь, ей никогда не существовало ничего подобнаго... Когда устанешь отъ непрерывной борьбы, когда не находишь силъ къ приготовляющимся нападеньямъ, когда завѣса, отдѣляющая отъ насъ будущее, становится мрачнѣе, непроницаемѣе, когда свѣтлѣющія за ней звѣздочки гаснутъ, гаснутъ... О! Александръ, еще я слишкомъ слаба, еще много земли въ душѣ. На слова мои не обращаютъ вниманья, не слушаютъ ихъ, даже обручальныя кольца готовы, *онъ* дѣлается внимательнѣе, и папенька писалъ нарочно къ в[нягинѣ]: «Лучше этого жениха нельзя ждать и желать не должно»? Ему же велѣно сказать, чтобъ надѣялся. Я бы сказала ему рѣшительно, но онъ не адресуется ко мнѣ, и нѣтъ случая быть наединѣ. Впрочемъ, что-жъ такое, вѣдь, только перенести неприятности, а насильно отдать не могутъ. Вѣрно пап[енька] будетъ тебѣ писать, *отвѣчай* ему.

26-е. Что я вытерпѣла сегодня, мой другъ, этого ты не можешь себѣ представить. Нарядили меня и повезли къ Свѣчиной, дама, которая съ дѣтства моего была ко мнѣ милостива чрезъ мѣру; я вовсе тутъ не подозрѣвала ничего, что же вышло? Къ нимъ каждый вторникъ ѣздитъ Снакс. играть въ карты; вообрази мое положеніе: съ одной стороны, старухи за карточнымъ столомъ, съ другой—разныя безобразныя фигуры и *онъ*. Въ первый разъ я въ такомъ обществѣ: разговоръ, лица — все это такъ чуждо, странно, противно, такъ безжизненно пошло, я сама была похожа болѣе на изваяніе, нежели на существо живое, и все происходящее казалось мнѣ тяжкимъ, удушительнымъ сномъ. Я, какъ малый ребенокъ, непрерывно просила ѣхать домой, меня не слушали. Вниманіе хозяйки и гостя задавило меня, онъ даже написалъ мѣломъ до половины мой вензель. Боже мой! существо, обладающее только деньгами, чинами (добротою, можетъ быть) смѣетъ думать соединить свой бредъ съ моею небесною жизнью, исполненною рая, любви, восторговъ неземныхъ, исполненною однимъ тобою... Это величайшая изъ обидъ. Защити, Александръ, моихъ силъ не достаетъ. Ужъ когда эта дама вмѣшалась, тутъ... Словомъ, ни на кого не могу опереться изъ тѣхъ, которые бы могли быть опорю, одна на краю пропасти, и цѣлая толпа употребляетъ въ усилія низвергнуть меня въ нее. Иногда устаю, силы слабѣютъ, и нѣтъ тебя вблизи, не видно тебя вдали... Но одно воспоминанье—и душа встрепенулась, готова снова на бой, въ dospѣхахъ неба и любви; одно дуновеніе твое, и я перелечу пропасть и ступаю на родной берегъ!.. Ежели папенька будетъ писать что-либо, похожее хотя на это, не молчи; стануть говорить мнѣ, я буду отвѣчать, но надо, чтобъ *мои* узнали отъ папеньки сперва, пускай тогда утратятся страданья, они будутъ *прямо* за любовь, а не за скрытіе ея; такъ думаю я, но да будетъ твоя воля, мой Александръ. Божественный! о, какъ бы вырвалась я изъ этихъ освѣщенныхъ, душныхъ клѣтокъ, изъ этихъ сѣтей, сплетенныхъ изъ жалкихъ, низкихъ тварей, какъ бы сбросила оковы политики и приличья, испустила бы послѣдній звукъ у твоего подножья, какъ разбитый тимпанъ.

28-е, *четвертъ*. Свинцомъ налита грудь моя, ихъ нѣтъ дома, и я скорѣе къ тебѣ, къ тебѣ, спаситель мой! Сказавъ съ тобой нѣсколько словъ, хоть черезъ бумагу, я много окрѣпну, много силы и свѣта воляется въ усталую душу. Вчера опять былъ Снакс., я не ожидала его, а то сказала бы больной. Чтожъ, долго ли будутъ душить меня эти посѣщенія?.. но скоро разразится туча, кажется, онъ имъ назначаетъ день помолвки, рѣшится все, черезъ край польется горькая чаша, и я допью ее до дна, до послѣдней капли, слава Богу за эти испытанія!

Вообрази, они, желая очистить свою совѣсть, призвали священника, и княгиня спрашивала: не грѣхъ ли будетъ отдать насильно? Священникъ этотъ преглушій, такъ занявъ интересомъ и всѣмъ житейскимъ, что не похоже вовсе на служителя Господня; онъ сказалъ, что это будетъ еще богоугодно—*пристроитъ сироту!* Его познакомили съ Снакс., тотъ помогаетъ ему въ какихъ-то дѣлахъ и велѣлъ быть ему у насъ въ назначенное время, можетъ, хотять, чтобъ онъ и благословилъ насъ. Этому не бывать! я пошлю за своимъ духовникомъ, открою ему все, онъ съ душою, пойметъ меня и защититъ. Легко, легко теперь на сердцѣ, дивный рай въ душѣ моей. Сколько разъ, Александръ, я упрекаю себя за то, что пишу тебѣ объ этихъ неприятностяхъ, сколько разъ принимаю твердое намѣреніе скрыть все,—и не могу. Меня задавило бы это, убило, а то, сказавъ тебѣ, кажется, я слышу и голосъ твой, и слова утѣшенья, наставленья, послѣ ужъ я дѣйствую смѣло и свободно. Прощай, кто-то пріѣхалъ.

29, пятница. «Да мимо идетъ меня чаша сія,... но яко же ты хочешь»... Вотъ твое письмо до 19-го... Что-жъ! бейте меня, ругайтесь надо мною, куйте крѣпче оковы, тяжелѣй цѣпи, не оставляйте въ аду ни капли, лейте, лейте все на меня,—вы не услышите отъ меня ничего, кромѣ: Александръ! Во взорѣ моемъ не встрѣтите и тѣни упрека, ему нѣтъ въ немъ мѣста, терзайте меня, распинайте,—«Александръ, Александръ!» будетъ вмѣсто: «отпусти имъ, не вѣдятъ бо, что творять»,—это слово тоже молитва, святая, полная... О, жизнь моя, моя молитва, мой Александръ! гроза въ глубинѣ души. Дай руку, посмотри на меня, дохни на меня... Грусти, грусти, я знаю эту грусть. Но, ангелъ мой, ужель не станеть силы перенестъ? Я перенесу, я это чувствую, пусть все время разлуки будетъ какъ одинъ день смерти, пусть тѣло наше истаеетъ, какъ воскъ, лишъ бы вмѣстѣ, обнявшись, переступить порогъ, вмѣстѣ взойти *туда!* Ахъ, тяжело. Я не могу еще понять вполнѣ, не могу повѣрить, не знаю, что со мной, а что-то тяжело въ груди, тяжело въ душѣ, будто я спеленута въ желѣзо... а ты не дальше отъ меня, нѣтъ, никакой преграды не вижу, только не могу достать тебя. Другъ мой, какъ черно кругъ меня, какъ холодно, о, страшно! и сквозя эту мглу уроды, чудовища какія-то все выглядываютъ, а изъ глазъ ихъ сыплется снѣгъ, и дыханье ихъ смертоносно. Ангелъ-хранитель, не покидай меня! хотъ бы только шелестъ шаговъ твоихъ услышать мнѣ... нѣтъ, тихо, тихо. Господи! нѣтъ словъ. Онъ все видитъ. Онъ все знаетъ, но не будемъ же унывать, не будемъ, другъ для друга. О, нѣтъ! но, вѣдь, и самая кручина эта, самая болѣзнь души священна и мила, какая полнота въ этомъ горѣ, въ этихъ страданіяхъ; жаль будетъ разстаться съ этими ранами, онъ такъ святы, такъ больны, такъ печать божественнаго. О, ангелъ мой! о, дивный мой! А воскресенье готовить мнѣ сюрпризъ—сговоръ! И сколько говорить, сколько говорить! Фу, какъ все гадко, какъ похоже на тучу *саранчи*, но *глубь* не земной, не руками людей сѣяетъ онъ, не для людей; эта саранча не сдѣлаетъ вреда этому хлѣбу ... [вырвано] сама съ голода. Прощай, другъ мой, братъ, отецъ, все благо жизни и вѣчности!

30-е. Вотъ платье, вотъ нарядъ къ завтраму, а тамъ—образъ, кольца, хлопоты, пригтовленья, и ни слова мнѣ! Приглашены и Насакины и другіе; они готовить мнѣ сюрпризъ, и я имъ готовлю сюрпризъ. Княгиня, не ирамо мнѣ, а все обиняками, говоритъ, что тотъ будетъ убійца, кто огорчитъ ее,—это страшно. я убійца! Да неужели это въ самомъ дѣлѣ такъ огорчитъ ее,—она переносила и не это; но лѣта, слабость — избави Богъ! Что-жъ мнѣ развѣ топиться для ихъ удовольствія? Что за кутерьма, сколько сплетней, небылицъ, все перенесу, все.

что течет мимо меня. А бѣдная Саша что претерпѣваетъ, дивное созданье, ей и награда велика, люблю ее какъ сестру; не разстанусь съ ней, а ежели будетъ необходимо, то ненадолго.—Ты не можешь представить себѣ, какъ далеко разнесся слухъ объ этомъ сватовствѣ, кто никогда и не слыхалъ обо мнѣ, чрезъ это узналъ коротко, да и о тебѣ тоже, всѣ и вездѣ говорятъ: «у нея есть съ *кимь-то* связь, женихъ узнаетъ, плохо будетъ»,—и тому подобное, это ужасъ, ужасъ.

Вечеръ. Итакъ, одинъ Богъ знаетъ, когда ты прїѣдешь, зачѣмъ же ужъ писать папенькѣ, а если будетъ необходимость, не огорчай его, не сердь, мой ангелъ, ты его единственное утѣшеніе, и *только ты*, болѣе никого, помни это, и, стремясь къ своему блаженству, не забывай, что ты сынъ, и будь имъ вѣчно. Теперь происходятъ совѣщанія, здѣсь Левъ Ал.; мнѣ душно стало тамъ, и стѣны тѣ постылы, и воздухъ противенъ тѣхъ комнатъ. Странно, все мнѣ кажется, что я здѣсь только на нѣсколько часовъ, что скоро пора укладываться, прощаться, а куда и зачѣмъ—не знаю, да, только *кажется*, а на самомъ-то дѣлѣ ночь, ночь впереди, безгранная мгла.—Ты уговариваешь меня,—ненужно, другъ мой, я умѣю отворачиваться отъ этихъ ужасныхъ гнустныхъ сценъ, куда тянуть и меня на цѣпи, чтобъ заставить кривляться по своему; твой образъ всегда сіяетъ надо мною, за меня нечего бояться, и самая грусть, самое горе такъ святы, такъ сильны, такъ крѣпко обняли душу, что отнимать ихъ—сдѣлать ей еще больнѣе, открыть раны.

Нѣтъ, право, это что-то непонятно: какъ три года ужъ, и еще не видать долго, долго... и еще много *также* протечетъ время... Мысль эта такъ чужда, такъ необыкновенна, такъ страшна, что не можетъ никакъ взойти въ мою душу, одно приближеніе ея обноситъ холодомъ и заставляетъ трепетать. О, теки мимо, мысль—убійца, не заглядывай въ рай, не касайся дверей его, онъ погаснетъ, онъ исчезнетъ, ты убьешь его... А вѣра? а любовь?.. ихъ крылья, ихъ щиты, развѣ они ни къ чему не служатъ. Ступай, убійца, ступай, между этихъ двухъ ангеловъ твоя сила, твоя власть ничтожны подлѣ нихъ, ступай въ душу мою до самаго подножья престола Царя ея, а тутъ ты умрешь сама, ты не вынесешь свѣта и блеска лучей его, не вынесешь святыхъ.

Ночь. Ребачествомъ, или какъ хочешь, назови то, что было со мной. Давеча, написавъ къ тебѣ, мнѣ все еще хотѣлось говорить съ тобой, и вотъ я переносусь къ тебѣ, исчезаетъ все, твой взоръ, твоя рука, и прежнія мечты воскресли вновь, прошли тучи, и ни одна пылинка не возмущала души. Я была весела, какъ ребенокъ, съ улыбкой явилась къ нимъ, и скотство ихъ не дѣлало ни малѣйшаго вліянія на меня, но вдругъ явилась мысль: «можетъ, онъ теперь грустенъ, можетъ, предъ его взорами одна пустота, на призывы души его—безмолвіе»—и тяжело, тяжело стало такъ, и легче бы было мнѣ разбиться о мостовую вдребезги. О, какъ вырвался бы отсюда, какъ помчался бы къ тебѣ стрѣлою, Господи... Нѣтъ, ужасно, несносно безъ тебя, Александръ, бросилась бы въ ноги государю, но какъ сыскать случай?.. О, ангелъ мой, тяжело, больно грудь.

31-е. Слава Богу! сегодня онъ не былъ, слава Богу! можетъ, до него дошло что-нибудь, и онъ раздумаетъ. Въ какомъ смущеньи *они*, всѣ хлопоты и убытки понапрасну! Прощай, ангелъ мой, 8 часовъ вечера, я отдохнула, цѣлый день дрожала: не страшно, вѣдь, а такъ, глупость. Господь съ тобою, душа моя, обнимаю, цѣлую тебя.

Твоя *Наташа*.

Хоть бы умилосердился Господь,—далъ бы мнѣ увидѣть тебя во снѣ, и этого утѣшенія я лишена. Прощай.

29 октября, Вятка.

Что съ тобою, мой ангелъ? Какъ ни говори, а время ужасное. Униженіе и беззащитность. Помнишь, при началѣ 1837 года, я уныло обратился на 1836, я ему сказалъ, что моего благословія онъ не унесетъ въ вѣчность. Сколько было мечтаній оперто на 1 января 1837. И что же? только два мѣсяца остается ему, а какимъ были остальные 10 измѣнникомъ, растворившимъ сердце надеждами и полившимъ укусу и яду въ растворенное сердце! — Опять мгла около души. Блаженство мое я понимаю и умѣю наслаждаться имъ, не взирая на грязь, которую мечетъ толпа, но слишкомъ тягостенъ крестъ, я чувствую, что мои рамена начинаютъ дрожать отъ физической невозможности. Наташа, въ тюрьмѣ я молчалъ и въ ссылкѣ изрѣдка грустной голосъ вырывался. Обманутыя надежды растравили раны, и на нихъ-то свѣжихъ, кровавыхъ пала мысль твоего положенія. Тебя терзаютъ,—я знаю, что душою ты выше, что ты тверда моею любовью, что ты моя небесная, святая дѣва,—но именно то чувство беззащитности, о которомъ ты разъ писала, ужасно. Огромной, большой шаръ, и ни одной руки, которая бы хотѣла спасти, а та одна, которая пойдетъ на отсѣченье для тебя, на той гремитъ цѣль. Дивенъ міръ, и ко всему самому печальному прилѣпивается смѣшное. Читая второй разъ твое письмо, я расхохотался: у кого въ головѣ родилась мысль, что я тайно обвѣнчанъ—это гениальная голова. Вотъ нашли средство,—истинно скоты!—Однако же, Наташа, я тебѣ и себѣ сдѣлаю одно замѣчаніе. Мы похожи на дитя, которое, не понимая хорошо слѣдствій, высѣкаетъ огонь надъ бочкой пороха. Смотри, какъ легко нѣсколько разъ въ нашей перепискѣ являлось слово Смерть, а, вѣдь, это слово ужасное, одно выраженіе твоего послѣдняго письма разорвало мнѣ сердце. Я готовъ перейти въ то обширное и свѣтлое бытіе, я не раскаиваюсь въ моей жизни, она прелестна была подъ вліяніемъ дружбы и любви, я не хочу отъ людей ничего больше. Но лишиться тебя—о, это ужасно... чуждымъ, безпріютнымъ скитаться по этой мрачной землѣ; я знаю, взоръ къ небу будетъ тогда взоръ на тебя, но какая жгучая слеза канетъ всякой разъ. Представь себѣ ту жизнь гармоніи и любви, прелестную жизнь, которую мы можемъ *здесь* найти... и лишиться ея, и быть одному, потерявшему, какъ песчинка въ горѣ. Нѣтъ, перестанемъ играть этой чудовищной мыслью. Смерть была наказаніе падшему человѣку, она не входила въ чертежъ Творца. Смерть была уступка земному началу.

Выраженіе въ твоёмъ письмѣ чуть не переломило меня, изъ него я понялъ весь ужасъ твоего положенія. Храни себя, мой ангелъ, храни для Александра, соверши начатое: ты ему указала небо, дай же насладиться имъ, и тогда, тогда вмѣстѣ туда. Пусть солнце ни разу не встрѣтитъ одинъ изъ нашихъ взоровъ. О, Наташа, страшно вспоминать утраченное блаженство, прочти Абадонну и ты узнаешь.

31 октября. Сегодня видѣлъ я тебя во снѣ. Ты была блѣдна, вся въ слезахъ, и на лицѣ видны были слѣды печали и огорченія. Я взмогъ, ты бросилась въ мои объятія, и мы долго стояли такъ. Я проснулся, и первая мысль представилась, что, можетъ, и въ самомъ дѣлѣ ты вся въ слезахъ, но я не пряду утѣшить. Ужасно мое настоящее положеніе. я не знаю, чего бы не отдалъ за возвращеніе. Жить спокойно, недѣлю ждать вѣсть, — и знать, что тамъ непрерывно мучаютъ ее... О, какимъ испытаніямъ люди подвергаютъ дерзкихъ людей, мечтающихъ подняться надъ толпою. Вотъ такія-то минуты жизни старѣютъ

годами человѣка, это предѣлъ, на которомъ человѣкъ или удержится десницею Бога, или падаетъ въ пропасть. Я наваливаю на себя тьму дѣла, чтобъ всегда быть занятымъ постороннимъ, а въ свободное время пишу шума и людей. Минуй же, горькая чаша! Ибо этотъ шумъ и эти занятія, это все одна ложка лекарства, растворенная въ дѣломъ сосудѣ яда.

1-го ноября. Получилъ твое письмо отъ 24 октября. О, ангель, сколько ты страдаешь. Не лучше ли прямо имъ сказать? Пап[енька] мнѣ ни слова не пишетъ, онъ боится начать рѣчь, — по первому слову я ему сильно выскажу истину. Тогда молчать будетъ преступленіе. Наташа, объ одномъ умоляетъ тебя твой Александръ, у ногъ твоихъ, береги себя, береги изъ любви ко мнѣ; эти отчаянные звуки, которые прежде никогда не вырывались изъ твоей души, ужасаютъ меня. Бога ради, взгляни на эту слезу на моей рѣсницѣ и береги себя. Умоляю, прошу, приказываю.

Жму руку твоей Сашѣ; изъ того, что ты писала, я вижу прекрасную душу. Клянусь ей, что или я буду очень несчастенъ, или я устрою ея будущность. Подъ этимъ я не разумѣю матеріальный даръ, нѣтъ, я хочу этимъ сказать, что я ее исторгну изъ того гадкаго положенія, въ которомъ она теперь.

Въ этомъ письмѣ опять ужасное выраженіе: «жертвовать здоровьемъ, жизнью — мнѣ ничего, и то уже все не мое!» Наташа, другъ мой, и ты это говоришь мнѣ, какъ будто твоя жизнь не есть моя принадлежность, моя жизнь. Фу, эта ночь цѣлой жизни, это одиночество, это отчаяніе... Нѣтъ, можетъ я ошибаюсь, что самоубійство есть преступленіе. Для чего я буду жить, когда не будетъ ея, можетъ ли быть преступленіемъ то, что соединитъ меня съ тобою. Жить и знать, что тебя нѣтъ, — это ужасно; впрочемъ, Богъ милостивъ, у меня довольно слаба грудь, и этого удара ей не вынести. Наташа, намъ необходимо увидѣться, и я уже почти согласенъ, ежели не въ Москвѣ, такъ здѣсь. Только ничего не предпринимай безъ моего совѣта. Ежели эти люди такъ низки, что ты должна будешь ихъ оставить (а впрочемъ, при первой достаточной причинѣ, я очень былъ бы радъ, чтобъ тебя не было у кн[ягини]), то Галушка человѣкъ съ доброй душою, я его знаю; а ежели бы можно къ Пр. А. Эрнъ, — я буду къ ней писать. За что такъ жестоко преслѣдуетъ тебя судьба?

2 ноября. Времени нѣтъ. Прощай. Не забудь, ангель, хранить себя, какъ сокровище, принадлежащее Александру.

Прощай. Богъ и любовь! Твой Александръ.

1-го ноября, Москва.

Опять туманъ на душу, опять капля ядовитой росы на больное сердце. Люди! на что это участие, на что вниманье ваше, отчего эти совѣты? Другъ мой, лучше бы весь свѣтъ меня забылъ, лучше бы онъ возненавидѣлъ меня. Отъ кого я не ожидала, тѣ совѣтуютъ мнѣ «обдумать хорошенько прежде, нежели рѣшусь отказать», — о чемъ же мнѣ думать? развѣ нужно размышленіе въ выборѣ ада или рая? пускай же думаютъ они, имъ долго и серьезно надо заняться этимъ, мѣрять, вѣшать, считать, да и досугъ имъ. А я не разстанусь съ своимъ небомъ, не отвернусь отъ лица твоего, не сойду въ эту пучину. Однако, послѣ многихъ трудовъ, можетъ, они сильнѣе убѣдятся въ превосходствѣ ада; тамъ такое жаркое полымя, а для небснаго, святого сіянія рая они слѣпы; въ аду и звуки сильнѣе и громче, тамъ и трескъ, и шумъ, и стоны — такое разно-

образіе! А дивная гармонія неба, божественная пѣснь ангеловъ не проникаетъ ихъ слуха; тамъ такъ много матеріальнаго, здѣсь — одинъ Духъ... Больно, больно; о, зачѣмъ они люди! только дай Богъ забыть о нихъ. Когда же, Господи, когда же?..

Снакс. не былъ; это удивляетъ и пугаетъ всѣхъ, одна я не нарадуюсь. Не услышалъ ли и онъ о тебѣ, человѣкъ его все знаетъ, — дай Богъ; впрочемъ, понедѣльникъ тяжелый день, по его замѣчанію, а легкій — вторникъ. Что-то будетъ завтра? хуже всего то, что ужъ онъ не требуетъ денегъ и говоритъ, что ничего ненужно; это въ двадцать разъ увеличить непріятности. Но пройдетъ все, настанетъ пора... о, Александръ!

2-е. Душа моя, грустно мнѣ, вотъ какъ грустно, зато Богъ далъ мнѣ видѣть тебя во снѣ, слава Ему! О, дивный сонъ! Ты пришелъ къ намъ, только говорить нельзя, смотрѣть нельзя, мы украдкой пожали другъ другу руку, я проснулась отъ восторга и на яву не могла удержаться отъ радостнаго восклицанія; но блестящія мечты скоро разлетѣлись, и опять холодный, сырой, темный день, день пустой, непривѣтнѣй, равнодушно грозящій желѣзною рукою... А сколько ихъ еще впереди? Нѣтъ опоры, какъ будто въ соединеніи съ тобой всѣ видятъ гбелъ мою, можетъ быть и твою, никто не хочетъ помочь, а кто всей душой бы желалъ, — не можетъ! Впрочемъ, на что помощь, на что люди тамъ, гдѣ ужъ Богъ. Тяжело и тебѣ, но какъ же мнѣ утѣшить тебя, гдѣ взять свѣта, когда все темно, гдѣ взять сладкаго — одна горечь. Какъ гдѣ? а ты? о, мой свѣтъ, мое благо, лишь отразишься ты на душѣ, — все гармонія, все свѣтъ, все радость, смотри же, смотри на меня.

4-е. Это невѣроятно, что у насъ происходитъ: Снакс. или очень благородный, или самый низкій человѣкъ: назначивъ день помолвки, говоря мнѣ разные комплименты и имѣ, что не нужно денегъ и приданаго, вдругъ приказываетъ черезъ попа, что не можетъ менѣе взять ста тысячъ, что *изъ* такъ поразило, — кн[ягиня] заведомо, а Мак. два дня все плачетъ; я была въ восхищеніи, но вообрази: кн[ягиня] даетъ деньги и Загорье! Хотятъ къ нему послать, опять торгъ. фу! О, какъ все это утомило меня, какая тягость! Боже мой, думала ли я когда-нибудь, что я буду главное лицо въ такихъ низкихъ, подлыхъ обстоятельствахъ, и что за сплетни, и какъ это волнуетъ и занимаетъ толпу. Чистую, святую любовь нашу она обратила во что-то гнусное. О, ангелъ мой, хоть бы дали свободу грустить, грусть — дивное, поэтическое, святое чувство, а тутъ... Все это засыпаетъ душу дрянью, соромъ, и нѣтъ покоя ни на минуту, безпрестанныя сношенія, счеты, и во всѣхъ неудачахъ вымещаютъ досаду свою на мнѣ. О, другъ мой!

6-е. Мнѣ дали время придти въ себя, теперь я могу говорить послѣовательно. Всѣ эти дни я то радовалась отказу Снакс., то ужасалась находящей тучѣ, такъ обстоятельства были перемѣнчивы: въ четыре дня было много всего. Наконецъ, вчера утромъ Левъ Ал. сказалъ рѣшительно, что онъ подлецъ, что ему богатая невѣста въ Рогожской, раскольница; стало, на этотъ счетъ я была покойна очень, нѣсколько часовъ уединенія и бесѣды съ тобой привели меня въ совершенный порядокъ; та же тихая святая грусть, та же вѣра, та же надежда, и снова я уничтожаюсь передъ величіемъ судьбы своей, снова полное, гармоническое существованіе съ наслажденіемъ блаженства, съ наслажденіемъ грусти. Стройнымъ гимномъ повеселись къ *Нему* звуки души, сознание всѣхъ страданій и несчастій, окрыленное любовью и упованіемъ, несло въ подножію Его престола, мнѣ было такъ хорошо... Вотъ ужъ и вечеръ — вдругъ является священный

никъ посломъ отъ Снакс., который умоляетъ всѣми святыми Макаш. прїѣхать къ нему, клянется, что онъ ничего не требуетъ, что болень ужасно. Затмилось небо и душа, взволновалось все,—но я рѣшилась быть твердою и, ежели онъ опять прїѣдетъ къ намъ, не выходить къ нему ни за что и совѣтовать имъ, чтобъ они разсыпали передъ нимъ золото, а меня оставили бы въ покоѣ. Въ самую смутную минуту получаю твое письмо... Прости, земля! руки дрожать, едва перевожу духъ, отъ восторга разрывается грудь, а тамъ за стѣною продаютъ меня. Я попеременно брала письмо и фантазію, находила возможность прочесть все вдругъ, разомъ, и не могла, но вотъ ужъ на третьей страницѣ письма... Ахъ, ангель мой, другъ! ну, какъ я расскажу тебѣ мою радость, что ты покоенъ,—мнѣ казалось, что ужъ все выяснилось, что страданій и не существуетъ, ежели ты не страдаешь. Не окончивъ письма, читала фантазію, и чистая, восторженная душа такъ ясно постигала и твое величіе и твою любовь; я не помнила себя, Александръ, я плакала, смѣялась, какъ ребенокъ, а сердце дрожало ожиданьемъ, казалось, ты сейчасъ войдешь, и я расскажу тебѣ все. Долго не удавалось мнѣ дочитать письма, и въ душѣ, и передъ глазами горѣли солнца любви, солнца рая, я забыла все на свѣтѣ. Какимъ же страданіемъ, какой тоскою наполнилась душа, когда я прочла послѣднюю страницу письма, какъ я сердилась на себя, упрекала, зачѣмъ было писать. Но, ей-Богу, нѣтъ силъ противиться волненіямъ души, я писала не по своей волѣ—или нарушить твой покой или задохнуться въ этомъ чаду. Покой я возвращу тебѣ, а не сообща тебѣ,—не вынесу. Но какъ ужасно было видѣть мнѣ послѣ этого свѣта, послѣ спокойствія въ твоей душѣ, терзанія,—это ни съ чѣмъ не сравнимо. О, Господи, если-бъ я могла переносить все одна!.. Но, видно, это не въ законѣ любви—все нераздѣльно! О, сколько ударовъ нанесено мнѣ въ это время *всѣми*, каждый по своему хотѣлъ и могъ увязить меня; пусть называютъ эти удары участиемъ, доброжеланіемъ, дружбой, любовью,—они не легче отъ того, и каждый оставилъ большой слѣдъ на душѣ; но чего стоить одно твое слово. О, предадимся же Ему вполне, минуетъ черная година, допьемъ чашу горя, а за ними вѣчность гармоніи и жизни.—Что значать, Александръ, твои слова: «ежели тебя, нѣжный цвѣтокъ, они сломятъ до моего прїѣзда».—Александръ, Александръ, и это говоришь ты! Ангель мой, неужели не станетъ во мнѣ силы, неужели Богъ не дастъ мнѣ ея? Опомнись. Равнодушно переносить всего этого отъ нихъ—невозможно, но и не переносить чтобы то ни было отъ нихъ также невозможно. Полно, другъ мой, какъ могла тебѣ въ голову придти подобная мысль.

7-е, *воскресенье*. Знаешь ли, кто былъ у меня? Маменька и Прасковья Андреевна! Но визитъ этотъ былъ мгновенный, я ничего не могла говорить. Праск. Андр. тоже ничего мнѣ не сказала, да и что могла сказать она о любви твоей? Мнѣ хотѣлось знать о твоемъ житьѣ-бытьѣ, но рѣшительно нельзя было говорить, я рада, что хоть, по крайней мѣрѣ, видѣла ихъ, родной взглядъ, — о, это много, слишкомъ много для того, кто мѣсяцы въ когтяхъ полузвѣрѣй сиротой. Впрочемъ, все это слабость, все ропотъ, великій грѣхъ. Онъ бдитъ надо мною непрерывно, а я говорю: сирота,—грѣхъ! Нѣтъ, мой ангель, я выздоровѣла совершенно, не беспокойся о мнѣ, ради Бога, все теперь кончилось; Макаш. была у Сн., онъ сказалъ ей, «какъ матери», что никто еще ему такъ *не нравился*, какъ я, и денегъ ненужно только не можетъ жениться, а почему—и это сказалъ, только я никакъ этого еще не могла узнать. Они *злы* на меня, какъ только могутъ они злиться; но что-жъ это для меня, только жаль ихъ, Богъ съ ними.

Явятся другіе—съ тѣми легче будетъ раздѣлаться, тѣмъ болѣе, что *они* остались въ дуракахъ. Ни о чемъ теперь не думаю, не забочусь, самъ Отецъ нашъ небесный такъ печется о насъ, такъ благъ и милосердъ къ намъ, что заботы *нашимъ* совершенно лишнія и великая неблагодарность. Даже я нагѣюсь, что ты скоро возвратишься. Впрочемъ, эта надежда основана на одномъ милосердіи Его, да и на чемъ вѣрнѣе могла бы быть она основана? Дивно дѣйствіе благодати Его, дивно дѣйствіе молитвы; но они истекаютъ изъ одной любви, изъ моего единственнаго источника жизни и блаженства. Тѣ дни я лишена была *осякою* утѣшенія, особенно нѣкоторые часы; впрочемъ, это убійственное положеніе не вовсе зависѣло отъ обстоятельствъ; нѣтъ, Богъ меня испытывалъ, и я такъ ничтожна, такъ еще предана землѣ, что не имѣла вѣры настолько, чтобъ поступить по Авраамову. И тутъ Онъ, великій, подалъ мнѣ руку, какъ утопающему Петру; о, ангелъ мой, да если-бъ я могла выразить тебѣ все! Помнишь ли, какъ давно мы страшились съ тобой и съ какимъ ужасомъ ждали то, что такъ скоро и легко миновалось. Никто таковъ, какъ Богъ, и Онъ-то нашъ ближайшій всѣхъ покровитель и скорый помощникъ; ахъ, истинно, Онъ печется о насъ, какъ о дѣтияхъ, а мы забываемъ, что Онъ нашъ отецъ. — Прасковья Андр. взяла бы меня, но, мнѣ кажется, одна смерть разлучитъ меня съ кн[ягиней], иначе тщеславіе ея не допустить. Маменька по-прежнему мила, я отъ нея въ восхищеніи каждый разъ, какъ видимся, а люди хотѣли и ее отнять у меня, хотѣли меня разувѣрить, что она мнѣ мать. О, да чего не хотятъ эти люди,—отпусти имъ, Господи! Никто со мною не страдалъ столько, сколько Саша, у насъ нѣтъ достойной ей награды, а что *ты* сочли бы за награду,—ей будетъ обида. Онъ только можетъ воздать ей, и мы—только чувствами. Многіе оставляли меня: иные, чтобъ не видать страданій (чувствительность!), другіе, чтобъ самимъ не попасться, она—никогда, ни на минуту не избѣгала даже гибели своей. А другая моя Саша Б. не ѣдетъ сюда и, Богъ вѣсть, когда возвратится въ Москву. Теперь, дай Богъ, а хорошо, что это время она не была здѣсь, она измучилась бы за меня.

Вечеръ. Чѣмъ болѣе читаю твою фантазію, тѣмъ яснѣе красота ея; нѣтъ въ ней шегольской отдѣлки, кокетства, но необъятная любовь, но проникательность, которую пріобрѣтаетъ душа святыми восторгамъ, божественными порывами, вознесеніемъ на родину, излились въ прелестнѣйшемъ изъ звуковъ гармоніи надзвѣздной. Дивенъ мой Александръ! О, ангелъ мой, какими неизреченными дарами осыпаешь ты меня, какъ неизмѣрима твоя любовь, неизмѣрима и молитва моя тебѣ, небомъ, раемъ платишь ты мнѣ за малѣйшую царапину, нанесенную ими,—чѣмъ и какъ воздамъ я тебѣ? Я живу тобою, дышу тобою, вѣрую, молюсь тобою, хотѣла-бъ и все, все для тебя,—чтобъ каждый шагъ мой, каждый взглядъ, каждое дыханье, все бы было для тебя, а 1.000 верстъ отдають все это другимъ, и люди иногда отнимають у тебя даже мысль, даже клочекъ сердца... О, гдѣ же та страна, гдѣ мы можемъ вполнѣ отдать себя другъ другу, гдѣ тѣ существа, которыя не отнимають? Скажу еще: туда, туда!!

Была у меня Emilie сегодня, намъ былъ просторъ бесѣдовать, они ѣздили къ Нас.; двѣ недѣли не видались мы, она была больна, но со всѣмъ тѣмъ обхмывала мой *побыгъ*, до сихъ поръ больная, страдальца душой и тѣломъ, и все та же пламенная мечтательница. Вздумала дать мнѣ свой видъ, и съ Александромъ Дюфуръ отправить въ Черную Грязь къ пріятелямъ его. Всю жизнь ее занимали мечты несбыточные, эта, кажется, самая невозможная, но она занимала и восхищала ее все время неизвѣстности. О, дружба, дружба, теплое убѣ-

жище замерзающему, но далеко она отъ любви,—все, рѣшительно все такъ мало передъ моимъ Александромъ, такъ холодно все, такъ мертво, какъ я передъ Богоматерью. И чего-бъ не вынести мнѣ за тебя, а я при малѣйшей непогодѣ смутилась ужъ душой,—прости, прости, отецъ мой! О, я заплачу тебѣ за эти огорченія, я буду расти душой, мы будемъ равны.

Скоро будутъ у тебя портреты Огаревыхъ, я радуюсь за тебя; а моего, видно, не дожидаться тебѣ. Ну, не тужи, самъ же говоришь ты: на что опора матеріальная; но, впрочемъ, нѣтъ, тутъ столько отрады, столько утѣшенья, — если-бъ была малѣйшая возможность!.. Когда-то я вышивала тебѣ что-то, а нынѣ и упомянуть о тебѣ нельзя. Ну, вотъ, что-жъ тутъ дѣлать, такъ невольно и рвется вздохъ изъ груди, навертываются слезы, вотъ все, что принесетъ тебѣ волна, вѣтеръ... Но когда душа моя летаетъ къ тебѣ, когда она вьется надъ челою твоимъ во время сна, во время грусти, слышишь ли ты тихіе напѣвы ея, слышишь ли, какъ нездѣшнимъ языкомъ она говоритъ тебѣ, взаимну всѣхъ утѣшеній, «люблю?» О, эти путешествія души! Александръ, да будь же покоевъ, ну, клянусь, исчезли и самыя даже оболочки; Господи, услышь мое моленье... О, какъ часто хотѣла бы я отдать тебѣ мое спокойствіе, съ какимъ бы восторгомъ вьдала безсонныя ночи, содраганія, волненія, и отдала бы тебѣ эти ясныя грезы, этотъ безмятежный свѣтъ. Если бы я отыскала въ себѣ желаніе, которое бы не было полно однимъ тобою, тебѣ и для тебя, тогда я разувѣрилась бы, что люблю тебя.

Не смотришь ли ты теперь на мѣсяцъ,—какой свѣтлый, тихій, а душа, повѣрь, безмятежнѣе. Прощай, ужъ 12 часовъ, спи покойно, ангелъ надъ тобой. Въ самомъ ли дѣлѣ ты здоровъ теперь? не обманывай! да прошу не рисковать въ Вятскомъ климатѣ, тамъ нѣтъ московской Наташи. Прощай, другъ мой.

5-го ноября.

Окончились ли, мой другъ, твои страданія, они какимъ-то призраккомъ грустнымъ, блѣднымъ становятся непрерывно между мною и всѣмъ, чѣмъ бы я не занимался. Я съ судорожнымъ ожиданіемъ развертываю теперь письма, въ каждомъ есть доля твоей слезы, твоего страданія, живая доля сердца. Сколько ты ни говоришь о гармоніи, о блаженствѣ, — темная рѣчь прорывается, и зачѣмъ было бы говорить прямо о томъ, ежели бы ты не хотѣла этимъ меня успокоить. Наташа, я не могу тебѣ сказать: будь весела, —это глупо: будь весела въ разлуку съ Александромъ, будь весела, когда тебя, какъ невольницу въ Эфіопіи водятъ на продажу и показъ, во повторю то, что говорилъ въ прошломъ письмѣ: ради любви нашей, храни себя, храни себя!

Хоть бы слово написалъ пап[енька] обо всемъ. Онъ боится тронуть эту струну, ея звукъ силенъ, — это-то онъ знаетъ; ея звукъ не будетъ годиться въ тотъ аккордъ, который онъ беретъ на моей душѣ. Тѣмъ хуже, что боится, струна можетъ лопнуть.

Вчера у насъ былъ предлинный разговоръ съ Витб., надъ которымъ ты могла бы въ душѣ развеселиться. Онъ увѣрялъ меня, что я, несмотря на мой пламенный нравъ, никогда не буду *сильно любить* (Qu'en pensez vous, mademoiselle?) и что мои мечты самолюбія всегда возьмутъ верхъ надъ мечтами любви. Я защищался общимъ образомъ. Стоило бы мнѣ вынуть твое письмо, но для чего? Я хочу, чтобы меня люди сами понимали, и тогда я имъ остальное добавлю сло-

вомъ. Витб. понялъ мои таланты и не понялъ души; таланты оцѣнить можетъ всякій, — на это надобно имѣть умъ; мнѣ обидно, что онъ, артистъ, такъ поверхностно судить о людяхъ. Я имъ читалъ I. Maestri, никто не понималъ; пѣснь ангела я имъ читалъ 22 октября, никто не понималъ *самого ангела*; ну, послѣ этого я не обязанъ говорить яснѣе, ежели люди не хотятъ себѣ дать труда, ежели человѣкъ, одаренный такой колоссальной фантазіей, какъ Витб., не умѣетъ взоръ свой углубить дальше поверхности въ человѣка, — не моя вина. Полина была при этомъ разговорѣ и душевно смѣялась. Странная вещь, я болѣе и болѣе убѣждаюсь, что холодное воспитаніе мое положило такую несвойственную мнѣ маску (именно пронию), что изъ-за нея тотъ только увидитъ черты лица, кто сумѣетъ въ самой прониі моей найти душу огненную. Въ воспоминаніяхъ моего дѣтства я уже писалъ, что по большей части хвалили *мою остроуму*, т. е. отдавали все уму и отнимали все у души. Искры настоящаго огня принимали за фосфорный свѣтъ ума, молнію—за фейерверкъ. Ахъ, люди, люди, какъ вы мелко плаваете! Благодарность Татьянѣ Петровнѣ, — она первая оцѣнила другую сторону моего бытія, Огаревъ второй. Ты постигла его до конца мощнымъ инстинктомъ любви. Я ни слова не говорю о тѣхъ людяхъ, которые близки ко мнѣ *и разстоянію*; пусть они меня не знаютъ, эти люди и къ природѣ близки, но не знаютъ ея. А В. непростительно, и я замѣчаю, что онъ въ продолженіе всей жизни такъ ошибался (его жена лучшее доказательство). А Полина, *простая* дѣвочка, безъ опытности, поняла все въ ту минуту, какъ я первый разъ произнесъ твое имя, — вотъ въ томъ-то все и дѣло: она смотрѣла на меня глазами природы, натурально и равно не замѣтила ни фрака, который былъ на мнѣ, ни маски. Люди по большей части сами виноваты въ своихъ ошибкахъ, ламаютъ голову, придумываютъ, а надо *просто* смотрѣть; но это-то *просто* очень близко граничить съ *grandioso* природы, вѣдь, и она проста; да еще одно условіе необходимо: это—дѣтская чистота души. Опытъ, который такъ много помогаетъ въ познаніи людей, можетъ, совсѣмъ отнимаетъ гораздо высшее искусство—постигнуть душу человѣка. Вотъ тебѣ цѣлая диссертация, прощай.

6 ноября. Ну, не небесной ли ты ангелъ, Наташа? Ты еще жалѣешь о книг[инѣ] и воображаешь, что она для твоего блага такъ печется. Дивлюсь тебѣ. И ты все еще иногда говоришь, что я тебѣ много придаю. Подумай сперва, возможно ли это. Выше тебя душою, изящнѣе, я не могу себѣ представить ангела Божія. Есть отношеніе, въ которомъ Витб. замѣчаніе справедливо. Помнишь ли, я самъ отталкивалъ любовь? и, сверхъ того, такое мѣсто отдалъ въ душѣ другимъ симпатіямъ, что сердце было почти полно. Но твое *величіе* подавило меня. Я не зналъ, что такое дѣва, и Провидѣніе показало мнѣ ее во всей славѣ, во всемъ торжествѣ. Тогда только узналъ я разницу между дѣвой и женщиной и повергся предъ тобою. Да, чтобъ мою душу такъ пересоздать, чтобъ внести въ нее религію и замѣнить славу любовью, для этого надлежало имѣть силу чрезвычайную. Смотри, гдѣ же ты найдешь другую? Нѣтъ, Наташа, ты велика уже одной побѣдой надо мною. Я иногда перебираю прежнія мечты свои, — все, все съ избыткомъ совершилось въ тебѣ, даже дѣдльбныя, частныя фантазіи всѣ осуществились. И сколько еще сверхъ того! Тобою я узналъ всю изящную сторону человѣка, не жить мнѣ безъ тебя, моя сестра, моя подруга.

8-е. Дай мнѣ воротиться на тотъ же предметъ; мнѣ такъ хорошо, такъ отрадно, когда я восхищаюсь тобой, когда, долго любясь моимъ ангеломъ, и могу сказать: *и она моя, моя*, какъ это сердце, которое бьется въ груди. Дай же мнѣ

еще полюбоваться тобою. Ни пятнышка, ни пылинки, вотъ она чиста, какъ мысль Господня, какъ пѣснь архангела. А я — не думай, что я хочу себя бранить, вѣтъ, этимъ унизилъ бы я тебя, я очень знаю свои достоинства и горжусь тѣми, за которыя такъ полюбила меня Наташа, — но нѣтъ, скажи, гдѣ же во мнѣ эта чистота... На душѣ морщины: однѣ отъ гордыхъ помысловъ, другія отъ буйныхъ вакханалій, третьи отъ знойныхъ страстей, отъ ядовитаго разврата, — и все это чуждое любви, а у тебя есть ли что-либо кромѣ одной любви. И теперь, въ разлукѣ съ тобою, когда я знаю, что ты страдаешь подъ ярмомъ ужаснымъ, я ищу разсѣянья въ шумѣ. Шумъ оргій, *по привычкѣ*, можетъ подчасъ меня развлечь, этотъ шумъ напоминаетъ мнѣ пьянство юности, въ которомъ грезилась намъ сквозь тумана видѣнія высокія. Я землю заглушаю стонъ разодраннаго сердца, въ то время, какъ ты заглушаешь его молитвой. О, сколько разъ пламенно желалъ я очиститься такъ, какъ ты, жить въ твоей высокой сферѣ, — не могу. О, ангелъ мой, не дерзка ли одна мысль эта, — или тогда ты заверши.

9-ю ноября: Нѣтъ, Наташа, боленъ я душою, очень боленъ. Господи, какъ немногаго прошу я у неба и у людей: только одинъ взглядъ на тебя, только одинъ, и я сожму въ этотъ взглядъ долгую жизнь, тысячу ощущеній, слезу блаженства и слезу печали. Ты понимаешь, что въ печали есть свое блаженство, что въ страданіи есть отрада, — въ этомъ взглядѣ я обмою душу, она вся въ пыли. О, Наташа, какое тупое, гадкое положеніе. Это даже не тупая пила, какъ ты говоришь, а пята чугунная, которая не въ силахъ разомъ разможжить и тѣло и кость, а душитъ мало по-малу. На эту плиту наступила ногой исторія сватовства и хорошо выбрала мѣсто противъ самой груди. Мнѣ подчасъ кажется, что мое положеніе было бы лучше, ежели-бъ еще что-нибудь ужасное случилось со мною, можетъ противуборство съ судьбою дало бы свѣжую силу.

Одинъ взглядъ, разъ руку пожать, ну, словомъ, еще разъ 9 апрѣля, и я готовъ жить и умереть. Жить памятью этихъ двухъ дней, я могъ бы сто лѣтъ, ибо въ нихъ будетъ цѣлая жизнь; въ 9 апрѣля только восходъ солнца, оттого-то мнѣ и недостаточно его одного. Прощай, ангелъ, прощай.

Александръ.

12 ноября, Москва.

Ты получишь это письмо, мой Александръ, наканунѣ твоихъ именинъ, — вотъ тебѣ величайшій подарокъ! Миновала туча, гроза прошла на небѣ и въ душѣ, одно — разлука! Но покоримся же Отцу, утѣшимся тѣмъ, что Онъ такъ хочетъ, утѣшься ты, мой милый, тѣмъ, что я здорова тѣломъ и душой. Получила твое письмо (до 2 ноября). Ты приказываешь мнѣ беречь себя, — что же была бы за любовь, если-бъ я при малѣйшемъ движеніи толпы не имѣла бы силъ вынести? У меня же нѣтъ ничего моего, какъ же я буду такъ небрежна въ сбереженіи твоего? О, ангелъ мой, еще ли ты не знаешь свою Наташу? Не понимаю, какъ могла я быть до такой степени смущена этими ничтожными угрозами, что даже и на тебя онѣ сдѣлали вліяніе... Несовершенство! Дать землѣ и, можетъ, мы расплатились на вѣки. Нѣтъ, необъятно могущество Бога, необъятна и любовь Бога-Отца къ намъ, намъ отстаетъ только одно: молитва благодарности; малѣйшее попеченіе о судьбѣ своей — грѣхъ неблагодарности, она въ рукахъ Его, — что-жъ можемъ мы, что могутъ *они*? Когда-жъ, Александръ, когда, другъ мой, достигнемъ мы того, чтобъ съ дѣтскою увѣренностью принимать всѣ дары отъ Него? Еще близко земля, выше, выше!.. Великъ опытъ, не устранилъ меня

теперь никакое чудовище, я знаю, какъ хранить десница Его. Все свѣтло кругомъ, ни облачка, — а ты въ неизвѣстности мучаешься; зачѣмъ я писала тебѣ обо всемъ, но ужъ таковъ законъ любви—пить все изъ одной чаши. Зато теперь, ангель мой, пей благодать Господню со мною-жъ вмѣстѣ, пей небесное утѣшенье, силу, свѣтъ... Руку! Быть веселымъ и покойнымъ!—О, прости мнѣ, Господи, и ты, Александръ, это паденіе, —я заслужу, и теперь ужъ я выше земли, выше себя. Не коснется ужъ рука врага до сердца, полного любовью, огражденнаго вѣрою и осѣнннаго Духомъ Святымъ!

Ужасна разлука, но свѣтомъ дня обнимаетъ душу упованіе, и нѣтъ мѣста въ ней ядовитому горю. Ночь — сладкія грезы о тебѣ. Дивень, дивень Богъ-Отецъ, не роши, Александръ!

13-ое. Съ какимъ нетерпѣніемъ жду того дня, когда ты получишь это письмо, оно должно успокоить тебя совершенно, другъ мой. И почему думаешь ты, изъ чего видишь, что я не берегу себя? Я писала «жертвовать здоровьемъ, жизнью—мнѣ ничего, но ужъ все это не мое», то есть, я жертвовала бы, если-бъ оно было мое, но отдавшись тебѣ, или, лучше сказать, зная, что самъ Богъ отдалъ меня тебѣ, я не могу уже располагать собою. И какъ не перенести что бы то ни было за твою любовь, за девятое апрѣля?... Въ послѣднемъ письмѣ ты грустенъ страшно, я одна причиною этому—прости!

Теперь, Александръ, не словами, не просьбой утѣшаю тебя, — вотъ вся душа моя: посмотри, какое дивное спокойствіе, свѣтъ, безмятежная радость, какое тихое наслажденіе—о чемъ грустить тебѣ? Мы роано—о, тяжело это, Богъ знаетъ, какъ тяжело, Онъ же и облегчитъ. Не помрачай слова души моей, дай увѣриться, что ты—моя жизнь, мое все, —земля и небо, ты, моя душа, мой Александръ, — здоровъ и покоенъ. Дивная будущность рисуется мнѣ за темной ночью... О, другъ мой! встрепенулась душа, снова восторгъ возвышаетъ ее до неба, до тебя. Забудь, забудь, мой Александръ, всѣ обиды толпы, не отниметь она у насъ нашего блаженства. Богъ съ ними, ни ропота, ни упрека, исчезло все, какъ слѣдъ весла на водѣ. Услышь меня, услышь, мой ангель, преклоняю колѣна предъ тобою, молю тебя, —ты будь покоенъ, ты береги себя! Чего стоило мнѣ сообщить тебѣ всѣ эти гнусности, дѣлать съ тобою эти удары, но одна я не вынесу ни горя, ни радости, такъ Богъ велѣлъ.

14-ое. Теперь-то бы, теперь бы писать, много чернаго влила я въ твою душу, но—да будетъ свѣтъ.

На что ты представляешь себѣ въ такомъ мрачномъ видѣ смерть, и на что намъ бояться ее? Намъ не будетъ смерти, мы перейдемъ вмѣстѣ на родину къ Отцу. Когда-то эта черная мысль была доступна мнѣ, и страхъ ковалъ душу, и сильныя средства были необходимы, чтобъ привести меня опять въ тихое, спокойное состояніе, а теперь — теперь многое не такъ, какъ было прежде. Нѣтъ, никакъ, никакъ не могу я постигнуть, представить себѣ даже не могу, какъ бы разлучила насъ смерть, — это невозможно! развѣ на нѣсколько минутъ, но и это даже не допускаетъ вѣра моя въ всевѣднѣе Создателя. Онъ знаетъ нашу любовь, онъ не захочетъ подвергнуть нашу душу величайшему страданію—раздѣленію на здѣшній и тотъ міръ. Какъ телота и свѣтъ нераздѣльны въ солнцѣ, такъ нераздѣльны Александръ и Наталія въ любви: разлучи свѣтъ съ теплотой, и нѣтъ солнца, оно умерло, не существуетъ болѣе, и существовать не можетъ; разлучи меня съ тобою, и нѣтъ любви—Бога, а Онъ безначаленъ и безконеченъ. Такъ скажи-жъ, можемъ ли мы страшиться смерти? По-

терпи, еще Богъ устраиваетъ намъ жилище, заготовляетъ жизнь дивную, изящную, можетъ ужъ недолго странствованіе. Что можетъ, хоть слабо, выразить желаніе мое увидѣть тебя—ничто на свѣтѣ! и это-то пламенное, безпримѣрное, это необъятное и непостижимое стремленіе обнять покорностью Его волѣ. Евангелие говоритъ: не пекитесь о себѣ, Отецъ вашъ небесный знаетъ нужды ваши. Отчего же съ такою безпредѣльной любовью мы имѣемъ такъ мало вѣры? одна безъ другой существовать не можетъ; одни бѣсы вѣрують безъ любви; какъ же мы будемъ любить безъ вѣры! О, ангель мой, тяжело мнѣ безъ тебя, тяжело три года жить въ тюрьмѣ и думать все: вотъ, завтра отворятъ двери, —но не тотъ ли, кто далъ намъ другъ друга, наложилъ и этотъ запоръ, и эти цѣпи? Какъ же намъ не нести ихъ, какъ роптать. Чего бы я ни сдѣлала, чтобъ утѣшить тебя въ разлукѣ, а что слова,—ну, только вспомни, что Онъ далъ тебѣ меня, и довольно!

Итакъ, поздравляю тебя ангель мой, дарю тебя своимъ спокойствіемъ, радостью, блаженствомъ, вѣрь—это ни одни слова. Я прилечу сама къ тебѣ на праздникъ и не дамъ задуматься ни на минуту, если ты не забудешь, что я ношусь надъ тобою. Саша моя въ восторгъ отъ твоего рукожатья, бѣдная, —какъ угнетена была въ продолженіе всего этого времени, теперь воскресла и говоритъ, что большой награды уже не желаетъ, и быть ея не можетъ. Не одну Сашу, и меня утѣшилъ ты много, я ее люблю не за одну любовь ея ко мнѣ, а за прекрасную душу, за несчастья, но она блаженнѣе въ своемъ рабствѣ многихъ владыкъ. Прощай, мой свѣтъ, взгляни, улыбка и радость на лицѣ моемъ, не помрачай же ихъ, мой ангель, своимъ унылымъ взоромъ, его не скроютъ отъ меня и 1.000 верстъ.

Твоя *Наташа*.

13 ноября, Вятна.

Разливъ рѣки лишилъ меня послѣдняго удовольствія—почты нѣтъ и, вѣроятно, еще нѣсколько дней не будетъ. Удивительное созданіе человѣкъ, — все можетъ онъ перенести. Обремененный горемъ, онъ ѣстъ, пьетъ, еще больше, смѣется, когда рассказываютъ смѣшное, —и иной стоитъ возлѣ и не примѣчаетъ, что раздирающій огонь готовъ сверкнуть изъ черепа, и что вмѣсто крови льется въ сердце зажженная сѣра. А люди говорятъ, что кошки живучи!

15 ноября. Ну, мой ангель, слушай цѣлую историю, даже напишу ей главіе:

Исторія 14 ноября 1837 года.

Лишь только я проснулся, подали мнѣ письмо отъ Огарева. Что это за высокая, свѣтлая душа... Вся скорлупа, нанесенная на мою душу, спала, я чисто дышалъ, былъ юношей, едва ступившимъ робкой ногой въ жизнь. Воспоминаніе, надежды—все наполнило душу сладкимъ, теплымъ, свѣтлымъ, — онъ пишетъ: «Я вѣрю твоей любви, почему, не знаю, но вѣрю; да, вы другъ друга любите, — вотъ тебѣ благословеніе друга, другого тебѣ ненужно». И его Марія пишетъ мнѣ и называетъ тебя сестрою и мечтаетъ, какъ мы четверомъ когда-нибудь будемъ восхищаться природой. Письма эти размягчили все жесткое въ сердцѣ, и тогда я развернулъ твое письмо отъ 31 октября, котораго начало: «что Еміліе видѣла во снѣ твою смерть и обрадовалась». — Я прочелъ его. Лихорадочная судорога пробѣжала по всему тѣлу. Смерклось. Я всталъ съ дивана слабый, какъ послѣ тяжкой болѣзни. Я сѣлъ къ столу... Мечты ужасныя проходили по сердцу,

однѣ, облитыя кровью, другія—въ саванѣ мертвеца; я чувствовалъ, что какой-то губительный ядъ меня жжетъ, схватилъ перо и написалъ письмо къ папенькѣ. Всего строкъ десять, но сильно, я требовалъ, приказывалъ, а не просилъ. Мнѣ сдѣлалось страшно одному, и я поѣхалъ со двора, душа требовала чело­вѣка сколько-нибудь близкаго, я отправился къ Скворцову. Онъ взглянулъ на меня и ужаснулся: блѣдной, какъ полотно, стоялъ я молча передъ нимъ,—наконецъ, зарыдалъ какъ ребенокъ и бросился къ нему на шею. *Это со мною первый разъ отроду*, я не могъ остановиться, слезы лились градомъ. И онъ плакалъ.— вездѣ, вездѣ нахожу я людей, душою привязанныхъ ко мнѣ. Представь себѣ, что Скворцовъ и Эрнъ наперерывъ умоляли меня послать кого-нибудь изъ нихъ съ письмомъ къ папенькѣ. Наташа! Скворцовъ безъ памяти любитъ Полину, онъ же женихъ, и все хотѣлъ бросить,—но я не хочу и благодарить ихъ, въ собственной душѣ чело­вѣка лежить награда за благородной поступокъ. Онъ увезъ меня къ Полинѣ. О, прелестная душа! Подробностей я имъ объяснить не могъ, я только говорилъ: «смотрите, какъ этотъ ангелъ страдаетъ», и слезы лились. Доселѣ никто не видалъ, какъ я плачу (да, на другой день послѣ взятія, какъ бы предчувствуя четыре черныхъ года, я плакалъ).

Но что же главное поразило меня—униженіе, тѣ страданія, коимъ ты подверглась и мое нѣмое положеніе, цѣпь моя. Я страдалъ, ночь облегла темная, страшная. Я уже предчувствовалъ рядъ новыхъ несчастій послѣ письма къ папенькѣ, всѣ надежды на скорое возвращеніе исчезли. Вечеромъ я бросился на диванъ, и что-то тяжелое въ родѣ сна обняло меня. Проснулся утомленной, больной, это было часовъ восемь, и вдругъ *письмо*. Я трепеталъ его распечатать, ледъ бѣжалъ по жиламъ, я не знаю, бился ли пульсъ, и что же—это твое письмо отъ 7 ноября. О, великій Господь! Мы мелки, мы слабы, мы не умѣемъ вѣровать. Жизнь возвратилась, туманная повязка упала съ глазъ. Итакъ, туча прошла мимо. И смотри, не дивенъ ли перстъ Божій: твое письмо отъ 31 окт. стояло за рѣками около 4 дней, а второе опоздало менѣе, нежели сутками. Съ восторгомъ бросился я къ друзьямъ, изорвалъ письмо къ папенькѣ и подарилъ ключья его Скворцову въ память 14 ноября. Но тѣло отстало отъ души, я былъ похожъ на чело­вѣка, котораго только-что оставила болѣзнъ тяжелая, мучительная, взгляды мой былъ томень, даже голосъ дрожалъ. Вотъ сколько можетъ пережить чело­вѣкъ въ одинъ день. Ежели-бъ я не былъ теперь покойнѣе и здоровъ, я бы не написалъ всего этого. Писемъ твоихъ теперь перечитывать не стану, а буду *писать отвѣтъ* въ слѣдующій разъ.

16-ю. Буря миновала, но все говорить объ ней: вотъ туча на небосклонѣ, вотъ сломленные сучья, вотъ опаленныя вершины, а вотъ слезы дрожать на листьяхъ. Я еще все не могу придти въ себя. Ахъ, Наташа, какъ ты хороша, какъ ты божественна! И мнѣ послѣ этого не быть гордымъ! Прощай, другъ мой, поцѣлуемся, пожмемъ другъ другу.

А ты мнѣ не написала, что ты была больна, когда у тебя была Пракс. Андр. Что съ тобою, Наташа? Я заклинаю тебя, пиши мнѣ все, все, рѣшительно все, иначе я буду терзаться неизвѣстностью. Ну, здорова ли ты, ангелъ, моя Мадонна!

17-го ноября, Москва.

О, мой Александръ! Пойми меня, нѣтъ словъ!.. Нынѣшній день мнѣ кажется сномъ, но сонъ дивный, восхитительный, не дай Богъ проснуться! Ахъ, я еще

не помню себя, не могу, не умѣю сказать тебѣ ничего, мнѣ душно, тѣсно. Я бы вылилась вся въ слезахъ радости невыразимой, я бы утонула въ святомъ восторгѣ, какъ песчинка въ морѣ, а меня держать тѣло, держать люди! Ангелъ мой, моя душа до того свѣтла, до того полна чѣмъ-то неизмѣримымъ, неземнымъ, будто предъ выходомъ изъ тѣсныхъ узъ, передъ вѣчной свободой... Но правда ли? Я не могу повѣрить, постигнуть не могу, что на яву, а все ужъ измѣнилось; но что-жъ страннаго въ исполненіи надежды, основанной на одномъ милосердіи Его. Нѣтъ, не могу говорить, Александръ, другъ мой. Съ кѣмъ, съ кѣмъ подѣлиться мнѣ? Къ Нему, къ Нему!.. Рано утромъ маменька прислала мнѣ записочку,— я упала на землю, я хотѣла весь день, два, три, нѣсколько дней такъ пробыть, чтобы опомниться, собрать силы, вмѣстить эту мысль, поблагодарить Его... Но люди... и теперь я насилу хожу, я больна отъ сильныхъ чувствъ, ангелъ мой! Фу!.. я не знаю, что мнѣ дѣлать... я не могу ничего дѣлать, никто меня не пойметъ вполнѣ, а Онъ? Молитесь! Молитесь! Молись!

19. Я начинаю приходить въ себя, яснѣе мысли, отдѣльнѣе ощущенія, теперь я могу радоваться. То, что было со мной, какъ я узнала, что ты будешь 800 верстъ ближе ко мнѣ,—я не могу описать, для этого нѣтъ словъ, я не понимаю ничего, я не думала ничего, даже не знаю, что чувствовала, потому что состояніе души было совершенно ново и, вѣрно, таково, въ какомъ бываютъ души, возвращаясь къ своему Началу изъ душевнаго плѣна. Вчера весь день и сегодня меня спрашиваютъ, о чемъ я плачу, а я не чувствую, какъ льются слезы, сжимаю крѣпко руки, иногда смотрю на небо,— вотъ все. Теперь же начинаю ужъ соображать,—какъ ты узнаешь эту вѣсть, сборы, прощанье и... вѣришь ли, у меня навертываются слезы, какъ вздумая Витберга и всѣхъ, которые тебя любятъ, какъ имъ будетъ жаль тебя, какъ будетъ грустно, какъ ты уйдешь... Скрипитъ снѣгъ, звенитъ колокольчикъ... новый городъ! Какъ-то встрѣтить онъ тебя, подаритъ ли привѣтомъ, дружбой? Какъ бьется твое сердце, какъ рвется къ своей Наташѣ, ты 170 верстъ только отъ нея. Ангелъ мой! эти мечты, эта возможность ихъ исполненія! я не могу дышать.—Но вотъ является Егоръ Ив., свиданье съ маменькой, разспросы обо мнѣ, ея благословеніе... а тамъ и папенька лѣтомъ... Но Наташа что-жъ, Наташа гдѣ же? все тамъ же, тамъ, въ душномъ подземельѣ, усталая, изнуренная; небо ясно, солнце свѣтитъ ярко, все на волѣ, все летаетъ, носится по поднебесью, а она въ цѣпяхъ и въ крошечную шелку любится, рветъ цѣпь, но кости трещать, а желѣзо крѣпко, и больно грудь, и льются слезы... Но прочь горе! Наташа! развѣ тебѣ мало, что онъ будетъ 800 верстъ ближе къ тебѣ? Ни слова болѣе.

20-е. Не въ силахъ была я превозмочь вчера грусть, которая сжала сердце при мысли, что все это полетитъ къ тебѣ, будетъ любоваться тобою, слушать тебя, а я... но покорность Его воля облегчаетъ все. Среди этой тяжелой мысли рабства, среди удушительнаго чувства неволи и какаго-то ничтожества въ кругу людей мелькаютъ мечты, — можетъ, и увидимся какъ-нибудь, неожиданно, можетъ, тебя пустятъ на нѣкоторое время, можетъ, меня пустятъ (?), но мечты эти не горятъ, какъ звѣзды, а подобно метеору мгновенно вспыхиваютъ и гаснутъ, и такъ же темно, такъ же душно. Я не вижу хотя никого, но воображаю, какъ они радуются, съ какимъ нетерпѣніемъ ждуть пути, какъ готовятся въ дорогу, представляютъ себѣ свиданье—о, какъ это все должно быть восхитительно, радостно, какъ бьется сердце, любящее тебя, родное тебѣ, а я.. Ахъ, онъ будетъ ужъ не тысячу, а только 170 верстъ отъ меня,—и точно солнышко

освѣтитъ въ туманный сѣрый день эта мысль, но какъ вспомню, что всѣ эти приготовленья, всѣ надежды не мои, что я исключена изъ твоихъ, что лишена всѣхъ правъ, которыми пользуются они, даже права свободно радоваться приближенію твоему... о! больно, больно!

Не знаю, что за состояніе, мнѣ и радостно, и грустно вмѣстѣ. Но, мой другъ, не ищю я и не искала никогда разсѣиваться. Мнѣ больно было читать это о тебѣ. Неужели въ самомъ дѣлѣ, Александръ, горсть людей, ихъ шумъ, ихъ *пустое* веселье могутъ хотя на сколько-нибудь заставить забыть тебя, облегчить твое сердце, замѣнить ему покой истинной? Это черта не твоей души. Оправданье-ль пишешь ты: «я не могу, я не ты». Кто же? «Александръ»; кто этотъ Александръ? Онъ братъ, онъ другъ, онъ отецъ, онъ образователь, спаситель и хранитель Наташи, онъ все, все, она—онъ, безъ него—ничто, онъ начало всего изящнаго въ ней, онъ жизнь ея, всѣ ея дѣйствія, всѣ желанья, терпѣныя въ мукахъ, самоотверженье — все имѣеть единственную цѣль: Александра. А ты говоришь: «я не ты». Ну, вотъ слѣды этого разсѣянья, этого ложнаго лекарства: оно не излечило твоихъ ранъ, не облегчило боль, но развѣ отвлекло тебя нѣсколько, заняло, да, сверхъ того, заставило сказать тебя мнѣ: «я не ты». Дай Богъ, чтобы это было только сказано, а не подумано, и еще меньше почувствовано! «Возстани, душа моя, что спиши!» Воспрями, Александръ, *мой Александръ!* Я не могу выносить этого: «я не ты», я даже зачеркнула это на письмѣ. Я не ты—то-есть, я не люблю тебя, мы чужіе... нѣтъ! этого ты никогда и не думать, ты бы ужаснулся этой мысли, не имѣлъ бы духу написать ее. И оправданью нѣтъ мѣста: ничтожную жалкую дѣвочку ты сдѣлалъ Наташей, а *будучи* Александромъ, ты не можешь сказать «да будетъ!» Смерклось, не вижу, прощай, подумай же.

Ночь. Опять «я не ты»—гдѣ-жъ гармонія, гдѣ-жъ единство, гдѣ любовь? И ты сказалъ это, но ты не можешь этого думать даже, не только чувствовать. Ничто, ничто не дѣлитъ насъ: ни земля, ни разстояніе, ни люди, и еще менѣе *чистота* и *высота!* Ежели *моя* чистота не есть твоя, то-есть, ежели *моя* душа не есть лучъ твоей души, то рано или поздно мы засіяемъ на горизонтѣ солнцемъ майскаго утра, и одинъ Онъ рѣшитъ, кто изъ насъ свѣтъ и теплота; а розно мы—и нѣтъ солнца, любви, Бога. Узнаешь и ты, какъ ничтоженъ этотъ шумъ, который теперь можетъ тебя нѣсколько развлечь, постигнешь неисчерпаемое утѣшеніе молитвы. Не *по привычкѣ* прибѣгаю я къ ней,—о нѣтъ! привыкнуть можно къ мысли, къ людямъ, къ землѣ, а душа—лучъ свѣта, капля источника жизни и блаженства, заключенная во прахъ и отданная во власть стихіямъ, находится все, забывая прахъ и возвращаясь къ своему Началу; привычка — принадлежность земли, а это воспоминаніе о родинѣ, бесѣда съ Отцомъ, приманіе неба съ землею... Вотъ что молитва, — это вознесеніе Христово. Я не могу ни съ кѣмъ дѣлить грусти, она слишкомъ свята, слишкомъ небесна и божественна, чтобы мѣнять ее на *обыкновенное участіе*, ужъ не только заглушать ее. Бываютъ минуты, мнѣ тяжело, что нѣтъ со мной души настолько пространной, чтобы принять одну каплю моей грусти, но тотчасъ же я сознаю, что это верхъ слабости; есть душа, въ которую я могу погрузить всю мою душу, та душа, изъ которой истекаетъ моя жизнь и рай, есть Александръ, и прости толпа, прости земля, ненужно мнѣ ваше участіе и состраданье, дарите ихъ бѣднымъ, сиротамъ, а у меня есть Онъ!! Радость ли—дальше, дальше отъ людей, не вполне поймутъ они ее, не вполне порадуются, а это больно, это заставить поневолѣ

вдохнуть, такъ на комъ же остановить взоръ? радость его ослѣпить земные глаза, или погаснетъ отъ свѣта, который сыплется изъ нихъ. Вотъ лазоревое око, безпредѣльное око Отца, къ Нему обратись, въ Немъ потонетъ твоя радость, въ немъ разовьется она безпредѣльно. О, Александръ! что бы было мое за существование безъ тебя! Навсегда, на все разлилъ ты для меня блаженство, даже въ горькую чашу влилъ его. Какъ выкупилъ ты меня изъ рабства у людей, у земли, у горя, какой свободой подарилъ, ею наслаждаются только жители неба; ты поселилъ меня въ чертогъ блаженства и заградилъ входъ туда малѣйшей пылинкѣ, малѣйшей тѣни. Ангелъ мой, другъ, нѣтъ словъ для тебя. Какъ же не быть мнѣ чистою, высокою? Если-бъ я сотую долю сдѣлала для тебя, ты не сказалъ бы мнѣ: «я не ты». Возьми же эту чистоту, возьми святость, возьми все, пусть я буду одинъ прахъ, безъ тебя на что мнѣ небо, на что рай. Погоди, ужъ близко, близко... Мракъ исчезъ, алѣетъ востокъ, пробуждается все къ молитвѣ, слышишь дивные звуки, мигъ—и вселенная превратится въ свѣтъ и музыку.

21-е. И Витбергъ не могъ постигнуть твоей любви, — чего же ждать отъ другихъ? Но несмотря на это, мое уваженіе къ нему безпредѣльно, я бы очень желала привѣтствовать его въ здѣшнемъ мірѣ. Жаль мнѣ его, ужасно жаль, какъ ты убѣдешь, — я знаю все, мой ангелъ, о, Александръ!

Вечеръ. Сейчасъ была Emilie, она въ восхищеніи, что ты будешь такъ близко; ежели-бъ малѣйшая возможность, примчалась бы къ тебѣ. Ну, вотъ и Emilie была; ты знаешь, что она мнѣ, но мнѣ не легче, нѣтъ, все это волнуется такъ въ груди, и давить ее, мнѣ невыносимо это бездѣйствіе, тогда какъ къ тебѣ поѣдутъ, тебя увидятъ... Что Ему угодно! — Послѣ завтра праздникъ великій, еще поздравленіе, еще поцѣлуй. Прощай, пиши мнѣ все подробно, подробно. Господи, отчего же я всѣхъ далѣе отъ *нею*? или оттого что всѣхъ ближе? Твоя Наташа. Прощай!

17 ноября. Вятна.

Наташа, мой милой, свѣтлой ангелъ. Нѣтъ, я все еще далекъ отъ той любви, которой надобно любить тебя. О, послѣднее время страданій нашихъ научило меня многому, — я былъ одинъ, просторъ былъ душѣ и чувству. Нѣтъ, во мнѣ еще много посторонняго, все вонъ, все это пахнетъ. Коль могутъ быть мысли, чувства во мнѣ, кромѣ любви, это я отнимаю у тебя. Боже, дай мнѣ ту же любовь, какъ у нея. Я перечитывалъ и перечитывалъ твое послѣднее письмо — вотъ она, та любовь, о которой я говорю, тутъ нѣтъ примѣси, тутъ нѣтъ земныхъ наносовъ. Я еще разъ пересоздамъ себя. Ты — вотъ вся цѣль моей жизни, остальное все вздоръ, остальное порокъ, преступленіе, остальное гордость! Слава... сколько тутъ эгоизма, съ корнемъ вонъ это чувство, горящее болѣзненнымъ огнемъ отравы, а не кроткимъ пламенемъ любви; а развѣ служба, литература все это идетъ не изъ жажды славы? Зачѣмъ мнѣ, чтобъ мою мысль, мое чувство оцѣнивали люди, когда есть ангелъ, который восхищается ими. Развѣ я въ самомъ дѣлѣ научу толпу, когда и Христосъ не научилъ ее. Я тебѣ говорю, Наташа, я недостойнъ твоей любви, потому что я могу заниматься тѣмъ и другимъ, тогда какъ все бытіе должно быть посвящено тебѣ. — А эти вечера въ шумѣ, дурачествѣ, чтобъ заставить молчать любовь, какая низость! Представь себѣ меня и себя. Ты одинокая — вся любовь и печаль, вся блаженство и страданіе, о, какая тутъ высота, святость. А я, перебивая вздоръ съ толпою, за стаканомъ вина... Я какъ-то все это живо почувствовалъ 14 ноября, этотъ день вдавилъ свинцомъ

мнѣ въ грудь рядъ истинъ. А отчего все это?— Душа утратила чистоту, и вотъ почему мы еще не соединяемся. Провидѣніе этими испытаніями хотеть выжечь все, что не золото въ твоемъ Александрѣ. Я понялъ Его перстъ, и ропталъ тамъ, гдѣ надлежало цѣловать карающую руку.

Какъ меня терзаетъ теперь разлука! Гдѣ ты, другъ мой, зачѣмъ не тутъ? О, какъ склонилъ бы я голову мою, какъ успокоился бы отъ долгихъ, долгихъ страданій. Видишь ли, я еще слабъ отъ того удара, мнѣ надобенъ покой, а гдѣ я его найду. Наташа, Наташа, я не смѣлъ бы поцѣловать тебя, я склонилъ бы свою голову на твое плечо, и ты была бы такъ счастлива, и я чувствовалъ бы твое дыханье, и ты своимъ дыханьемъ сдѣлала бы меня ангеломъ, дала бы мнѣ свое подобіе. И я бы уснулъ, а потомъ проснулся бы, и голова моя на твоемъ плечѣ! Ну, что-же, дастъ слава что-нибудь похожее, и для нея какихъ жертвъ не принесеть человѣкъ! Посмотри, какъ твоя душа, сильная небожъ, пересоздала мою душу, сильную землею. Развѣ не твоя любовь внесла чистую поэзію въ это знаніе. гордое, какъ рыцарскій замокъ, не ты ли изъ замка сдѣлала храмъ Божій, т. е., твой.— вы нераздѣльны. За что могъ меня любить Огаревъ— развѣ по предчувствію. развѣ за возможность... Что я тогда былъ? огонь въ душѣ, это былъ красной пламень зажженной смолы. И откуда этотъ сильный, небесный ангель? А откуда въ уродливой старинной вазѣ, изуродованной глупыми украшеніями, растетъ лилія, чистая, какъ снѣгъ, нѣжная, какъ взоръ любви. Откуда? Отъ Бога, отъ Бога. Лилія нужна только опора. надобно только наступить ногой, но счастлива и уродливая ваза,— ее назначилъ Богъ быть этой опорой. Счастливы ясли, носившія Христа.

А какъ бы ни были добры обыкновенные люди, все-таки они выше крыши своего дома не подымутся. Жаль ихъ, они добры, въ самомъ дѣлѣ, но ихъ доброта не по насъ, жметъ. Я читалъ въ письмѣ Эрнъ, что пишетъ Пр. Андр. о тебѣ, и смѣялся, она искренно жалѣетъ о тебѣ, почему, ты думаешь? потому что я *внѣренной челоуькѣ и слишкомъ молодой*. Гофманъ говоритъ: люди дѣлятся на добрыхъ людей, и они прескверные музыканты, и на прескверныхъ людей и эти хорошіе музыканты. О, добрые люди! Дай Богъ вамъ здоровья, а пуще всего аппетита и теплую квартиру. И три-то года разлуки не могли имъ доказать моѣй любви! А вѣтренность чѣмъ они доказываютъ,— скоростью въ походкѣ, можетъ? Я себя упрекаю въ одномъ вѣтреномъ поступкѣ (да будетъ проклятъ этотъ гнусной поступокъ), это Мед.,—но, вѣдь, они его не знаютъ. Впрочемъ я прошая, у нихъ мѣрки нѣтъ для душъ большого размѣра. А что сказать объ Емііе (покажи ей эти строки), «которая обрадовалась бы, услышавъ о твоей смерти», она меня называетъ другомъ, братомъ. Неужели, въ самомъ дѣлѣ, твое теперешнее положеніе хуже, нежели было бы мое *тогда*? Онъ минуется, этотъ переходъ грязью. тебя гребетъ любовь, тебѣ свѣтитъ надежда. А та ночь, которая обняла бы мою жизнь, это скитанье безумнаго, этотъ вѣчной стонъ—фу! И она обрадовалась бы. Пусть она будетъ увѣрена, что это не упрекъ, но зачѣмъ бросать такъ словами, не думая, теперь она сама содрогнется своей мысли. Прощай, ангель, до завтраго. О, ежели бы мнѣ увидѣть тебя во снѣ. я на дняхъ какъ-то видѣлъ. И какъ ты была хороша. Впрочемъ, объ этомъ и рѣчи нѣтъ, въ этомъ согласенъ и М. женихъ, я только и нуждался въ его авторитетѣ. Какъ эта исторія была бы смѣшна, ежели-бъ она не была облита твоими слезами. Но, Наташа, клянусь, каждая слеза твоя принесетъ тебѣ больше неба, больше моря блаженства. Прощай же, спи съ Богомъ, а все не хочется перестать.

18 ноября. Все еще я не пришелъ въ себя, все еще въ какомъ-то туманѣ

бродягъ образы и мечты и ихъ не понимаешь. *Иногда* представляется то бытіе — награда. Передъ глазами море, надъ нимъ небо, не свирѣное, какъ въ Вяткѣ, а кроткое, а возлѣ меня ангель. И тутъ нѣтъ раздѣленія, ты и природа—это опять одно. Больная душа моя пьетъ силу, и я поэтъ, рѣчь моя огонь. пламень, глаза горять. Люди почли бы за сумасшедшаго, а ты со слезоу будешь слушать и поймешь этотъ голосъ, который вырывается изъ души вулканической, обширной и долго ставленной. Третій не можетъ тутъ быть, ни даже Огаревъ; послѣ дружба, послѣ четверо, нѣтъ ты и я, т. е., ни ты, ни я, а это существо, котораго тѣло Александръ, а душа Наталія. Да о чемъ же я тебѣ буду говорить. Ежели-бъ я это зналъ,—ненужно этой минуте; этого нельзя знать и вспомнить послѣ нельзя будетъ, — тутъ смысла не будетъ. О, какъ хороша поэма, въ которой дѣйствуетъ природа, человѣкъ и ангель. Это драма, на которую взглянетъ Богъ.

Иногда мы идемъ дорогой, бѣжимъ отъ людей, идемъ далеко на востокъ, въ Египеть, гдѣ есть камни съ душой, а людей нѣтъ. Понимаешь, идемъ пѣшкомъ. нѣтъ поэзіи, гдѣ есть ящикъ и станціонный смотритель, пѣшкомъ одни. И становясь на лодку, мы взглянемъ еще разъ на родину. Что сказать ей? По слезѣ родимому краю, и отвернемся, чтобъ онъ не подумалъ, что мы хотимъ ему послать упрекъ. Какъ несбыточно, скажутъ добрые люди, а, въ самомъ дѣлѣ, что же тутъ несбыточнаго для насъ. Вѣдь, это для тѣхъ трудно, кто прокладываетъ карьеру, составляетъ капиталъ.

Слава крылоному Меркурію—капиталъ въ рукахъ, а карьера — милости просимъ. *I signi aspiranti*, пожалуйста, я уступаю. Чтобъ я, за всѣ обиды людей, сталъ жить, какъ они живутъ. Никогда! На томъ свѣтѣ Брутъ встрѣтился съ Цезаремъ и спросилъ тотчасъ: «Куда вы, въ рай, или въ адъ? мнѣ это нужно потому, что ежели вы пойдете направо, то я налѣво». Вотъ съ этого міра взгляни на трудности, которыя раздѣляютъ насъ, и онѣ покажутся незамѣтными. И въ самомъ дѣлѣ, я половину вины беру на себя. Что-жъ я дѣлаю, почему не говорю? Чего бояться, что будетъ хуже, кажется, мудрено придумать; я одного боюсь, чтобъ какъ-нибудь не прекратили твою переписку. Конечно, и это я вынесу, но признаюсь, это будетъ мнѣ стоить двухъ третей моего существованья. Но, вѣдь, не вѣчно же я въ этой каторгѣ. Я только жду дальнѣйшихъ писемъ изъ Москвы, чтобъ разомъ маску долой и удивить. Смѣшно: ты говоришь, я единственное утѣшеніе у отца; ну, такъ что же, развѣ я хочу лишить его себя тѣмъ, что даю ему другое утѣшеніе—дочь и какую! (цѣну тебѣ они инстинктомъ знаютъ). Вотъ ежели бы я у него просилъ позволенія зарѣзаться, тогда онъ могъ бы упрекнуть меня своей любовью. Капризъ ставить наравнѣ со всею будущностью слишкомъ несправедливо. Жалѣя его, ненадобно дѣлать такой уступки. Ни слова о мелочахъ, я какъ дитя буду покорень, пусть онъ требуетъ, чтобъ я пересталъ курить, чтобъ обрилъ себѣ голову,—все сдѣлаю, но тутъ нельзя уступать. И зачѣмъ же онъ такъ далекъ, чтобъ вполне понимать сына?

Сегодня я спросилъ Мед.: «Имѣете ли вы настолько самоотверженія, чтобъ пожертвовать своимъ счастьемъ блаженству человѣка, котораго вы любите?» Она, какъ бы понимая, куда пойдетъ рѣчь, сказала: нѣтъ.--Всей душой хочу я высказать ей все и не могу. Ахъ, зачѣмъ тогда меня оставилъ перстъ Божій. Вотъ ей моя рука дружбы на всю жизнь, но она ее не принимаетъ. Многие ее называютъ очень вѣтренной, я радъ былъ бы убѣдиться въ этомъ, мнѣ было бы легче. Впрочемъ, любовь ея не имѣетъ чистоты,—это я знаю, но она сильна, и это мнѣ ножъ въ грудь. О, какъ я гадокъ при всемъ стремленіи вверхъ.

Я тебѣ сказалъ тогда давно: «счастья не жди». И вотъ тебѣ доказательство: въ самомъ началѣ какой-то свирѣпой рокъ душитъ насъ. Эта разлука — ножъ, змѣя, и ни одной надежды! Подожду и буду писать къ государю, силъ нѣтъ долѣе ее нести. Ну, 1837 годъ! Сердце обливается горячей кровью.

Я брался за двадцать книгъ и каждую бросалъ—мелко, поддѣльно, натянуто. Книгъ холодныхъ, *дѣльныхъ* я, разумѣется, не бралъ и въ руки. Одинъ Шиллеръ, другъ моего дѣтства, котораго я читалъ съ Огаревымъ чистыми устами отрока, одинъ онъ дивенъ, онъ знаетъ именно нашу любовь. Страшный Шекспиръ огроменъ, великъ, но я не удивляться хотѣлъ. Я искалъ созвучія, и Шиллеръ подалъ мнѣ его. Я почти не читалъ, а думалъ только о его трагедіяхъ, отдѣлывалъ каждое лицо въ воображеніи, и это заняло меня на минуту, — а тамъ опять черное настоящее обхватило душу. Во вторникъ мои именины, то-есть, день, который я въдесятеро скучнѣе проведу.

Отецъ небесный, довольно, молю тебя, довольно!

Я раскрылъ Жанъ Поля и попалъ на слѣдующее мѣсто, переведу его для заключенія письма: «Самыя сильныя страданія между высокими; такъ, какъ казни всегда бывають на возвышенныхъ мѣстахъ, такъ, какъ люди на Альпахъ или на воздушномъ шарѣ исходятъ кровью. Насѣкомыхъ, живущихъ на землѣ, и коса, срѣзывающая траву, оставляетъ покойными въ ихъ низкомъ жилѣ».

21 ноября. Почты нѣтъ, съ трепетомъ ожидаю письма; что-то привезетъ оно, опять ли черное, мракъ или отдыхъ душѣ? А можетъ, ничего — это самое скверное. Ждемъ, ждемъ, и пустыя новости. Сегодня ѣдетъ Полина первый разъ къ матери Свворцова, вчера она благословила сына. Счастливые! — Какое огромное счастье въ рукахъ пап[еньки] — и неужели у него достанетъ жестокости задушить эту презлестную будущность въ своихъ рукахъ, или, по крайней мѣрѣ, покрыть ее черною мглой. Статьи бродили у меня въ головѣ, но я ничего не написалъ, я не могу сосредоточиться настолько. *Одна мысль* поглотила все — и слава Богу, этого я хотѣлъ!

Какая бурная жизнь, возьми ихъ, этихъ чудовищъ, которыя сосутъ мое сердце, каждое порознь: разлука, ссылка, твои страданія, раскаяніе, — возьми воспоминаніе тюрьмы и *всего моего воспитанія* (о, я никогда еще не говорилъ, сколько я перестрадалъ съ той минуты, какъ я взглянулъ на міръ; какіе раздрающіе душу образы являлись глазамъ, а душа была тогда нѣжна, слаба). возьми каждое изъ этихъ чудовищъ порознь и брось на грудь обыкновенному человѣку, и онъ задохнется. Но я не ропщу, лишь бы сколько-нибудь облегчился крестъ, а то смотрю вдаль и вижу одно увеличеніе его. Да, эта мысль мнѣ давно не приходила въ голову: о моемъ дѣтствѣ. Совершенно *чужой* въ родительскомъ домѣ, и на каждомъ шагѣ оскорбленія, да *какія*, которыя могли бы отправить въ сумасшедшій домъ взрослого. До 20 іюля 1834 г. мы не знали другъ друга. Я и отецъ мой, — эта жесткость въ его нравѣ ставила непроходимое разстояніе. О, сколько разъ ребенкомъ почти приходилъ я блѣдной и со слезою на глазахъ къ Огар. и склонялъ голову, которая кипѣла отъ внутренней обиды, на его плечо. И что было бы, ежели бы не этотъ другъ. Я ждалъ, какъ рая, минуты, когда вырвусь изъ дома, — и она превратилась въ адъ; но рѣшительно крокъ Ог. никто не слышалъ и жалобы. А эти Голохвастовъ съ компаніей, ихъ *блато-склонность*, ихъ милосердіе, — фу, хуже того униженія, которое я переносилъ здѣсь при бывшемъ губернаторѣ. Въ этомъ отношеніи я еще долженъ отглатъ справедливость Льву Алексѣевичу, — я не помню отъ него ни одной обиды. Онъ безхарактеренъ, но *онъ плакалъ* въ Крутицахъ!

Вотъ отчего я такъ отдался послѣ жизни студента. Тамъ я видѣлъ товарищей, *равныхъ*, цѣнвившихъ меня. И въ наукѣ я видѣлъ какую-то мать, которая звала меня отдохнуть подъ важнымъ порталомъ своего дома. Въ этомъ воспитаніи лежитъ зародышъ двухъ пороковъ (нѣтъ, десяти, двадцати), оскорбленіе и обиды развили во мнѣ жгучее самолюбіе и стремленіе къ власти и съ тѣмъ вмѣстѣ дали мнѣ эту притворную наружность, по которой рѣдко можно догадаться, что происходитъ въ моей душѣ. Еще что — охлажденіе къ семейной жизни. Можетъ, при иномъ воспитаніи я сохранилъ бы свою душу, чистую какъ хрусталь; мои страсти огненны, но въ нихъ ничего нѣтъ развращеннаго, а между тѣмъ, я развратился, — эти оргіи, вакханаліи, куда я бѣжалъ по необходимости, увлекли меня, смятенная воля, какъ струя огня, устремилась на развратъ, и я падалъ глубоко. Хоть бы взамѣнъ всего они мнѣ дали вдохновенье, молитву, нѣтъ и до нея я дошелъ тобою. Наша дружба съ Огаревымъ усиливалась болѣе и болѣе, потому что, кромѣ его, ужъ некуда было дѣть пламени. Вотъ въ первые дни тюрьмы я и перебралъ свою жизнь. Повторяю, перстъ Божій надѣлъ тогда цѣль, въ тюрьмѣ я выросъ, но одна тюрьма ничего не сдѣлала бы. Любовь, она одна должна была преобразить меня. И явилась ты, моя Мадонна! Боже, какъ росъ, росъ этотъ святой образъ. Сначала я думалъ вести тебя. Но вамъ обоимъ назначено было стать выше меня, тебѣ и Огареву; и его я велъ сначала, но какъ вывелъ на свѣтъ, онъ исполиномъ сталъ передо мною. Сначала твои отвѣты (еще въ Крутицахъ) меня утѣшали тѣмъ, что зерна, которыя я бросалъ въ твою душу, возрастаютъ. Но вотъ развертывается эта лилія, ея бѣлизна, ея небесное показали, что я только былъ грубый садовникъ. Но лилія росла для меня, съ всякимъ письмомъ твоимъ я склонялся болѣе и болѣе, наконецъ, въ концѣ 1835 года палъ на колѣни предъ твоей высотой. Слава тебѣ, дѣва чистая, слава тебѣ.

22 ноября. Слава Богу, вотъ твое письмо отъ 14-го. Отлегла душа, немного спокойнѣе. У насъ въ перепискѣ съ пап[енькой] начинается кое-что пробиваться. Я сказалъ въ прошломъ письмѣ, что у меня лежитъ на душѣ тайна, и что она рвется наружу, — что-то будетъ отвѣчать. Тебѣ теперь покой, потому я прямо не пишу, ибо когда я напишу, буря поднимется.

Портреты получилъ, былъ радъ, но это не Витбергъ: да, онъ похожъ, его лицо, но души его не видать и притомъ съ *улыбочкой*. Встарь всегда жену рисовали съ цвѣткомъ, мужа со шпагой и обоехъ съ *улыбкой*, — это меня разсердило. У нея лицо умное, одушевленное, брUNETKA. Прощай!

23 ноября. Пустой день — безъ любви, безъ поэзіи явился онъ, а съ упрекомъ. Лишь только я глаза раскрылъ, мнѣ принесли прелестную подушку работы Мед. Горько было мнѣ ее принять. Наташа — суди сама. Холоденъ день — Вятка. Печаленъ — разлука. Эта толпа — и униженье людей вдобавокъ.

Прощай, ангелъ мой. Прощай. Александръ. Душно и скверно!

Москва, ноября 23.

Ночь. Слышалъ ли ты мое поздравленіе!.. Все это время меня обнимала одна мысль — *онъ будетъ близко!* Я радовалась, веселилась, какъ ребенокъ, безотчетно, но вчера, при началѣ всеобщей, растаяло сердце, — я впервые подумала, да чему же радоваться, другіе увидятъ его, а я нѣтъ, для меня *все* будетъ также, также. Можетъ, и будущій канунъ 23-го ноября будетъ какъ и

ныѣшній — сиротливый, холодный, мрачный... Но ты знаешь, что для меня молитва?! Ночью мнѣ снилось о тебѣ. Открываю глаза—свѣтаетъ. — Александръ! излилось изъ переполненнаго сердца,—можетъ, и слышали это восклицаніе мои часовые, что мнѣ до того, я и не думала о нихъ. О, въ одномъ этомъ словѣ выразилось все, и это *все* неслось къ тебѣ. Можетъ, тебѣ снился голубь, небесное сіянье, или рай, можетъ, ты, просыпаясь въ это мгновеніе, слышалъ неслыханные звуки, можетъ, *на это мгновеніе* ледяной ноябрь, темной, мертвой, одѣлся тканью изъ цвѣтовъ дивныхъ, неземныхъ, грѣлъ, сіялъ, обнималъ тебя ароматомъ и музыкой, можетъ... Но въ какихъ бы формахъ то ни было, восхитительныхъ, или вовсе незнакомыхъ смертному, только я вѣрю, что все, наполняющее душу мою въ это мгновеніе, перелилось въ твою. Какъ ясно, торжественно было утро, такъ празднично; но когда я возвращалась изъ церкви, ужъ дымъ клубилъ изъ трубъ, и дымомъ людскимъ обдало меня. Безпрерывно я уносилась къ тебѣ душою, а здѣсь—цѣлыми глыбами земли бросали въ меня; пусто, медленно и уныло прошелъ день, всѣ минуты его подобны были жегѣзынымъ ржавымъ шилюлямъ, въ коихъ горѣли маленькіе брильянты, незамѣтные для простаго глаза, но изливающие дивный блескъ,—это полеты души къ тебѣ.

26-е, вечеръ. Вчера получила твое письмо отъ 13 ноября, и до сихъ поръ ни на минуту не покидаетъ воображеніе тебя блѣднаго, въ слезахъ... О, Александръ, какъ ни сильно, какъ ни глубоко я вѣрую въ твою любовь, — это поразило меня, и несмотря на то, что уже ты здоровъ душой и тѣломъ, болѣзненное состояніе твое раздраетъ мое сердце, и всю ночь, будто, все кто-нибудь толкалъ меня, и я пугалась въ просонкахъ. О, Александръ, прочитай письмо, я переселилась вовсе въ прошедшее, проснулся и этотъ ужасъ и всѣ тяжелыя чувства, и ты, ты, мой ангелъ, въ такомъ положеніи. Мнѣ казалось, что скоро не будетъ во мнѣ силъ держать голову на плечахъ, такъ тяжела она сдѣлалась, что кость въ груди переломится. О, какъ упала бы я передъ тобою на колѣна, какъ бы слезами и поцѣлуями вымолила у тебя прошеніе, чѣмъ воздамъ я тебѣ? О, любовь, о, мой ангелъ, Александръ! я не умѣю, не могу ничего сказать.

Ночь. О, други, о братья, Скворцовъ и Эрнъ! жму вамъ руку, словъ вамъ нѣтъ, будьте родные и здѣсь, какъ тамъ, безъ матеріальныхъ доказательствъ, необходимыхъ только *имъ*. Не чудно ли,—10 лѣтъ, 10 тысячъ, привычка, ния матери, попеченія материнскія, все это ничто предъ одною строчкой. Не скажи ты трехъ-четырехъ словъ о Скворцовѣ, и мы, какъ пришельцы изъ одной родины, изъ одной семьи—въ чужбинѣ, и раздѣленные толстою, каменною стѣною, не видимъ, не слышимъ другъ друга; пройдутъ вѣка, уйдемъ и мы, чужими, незнакомыми; но твое слово—это окно въ глухой, мертвой стѣнѣ, чего же болѣе странникамъ? они друзья, они родные братья! А для толпы и незамѣтно это окно на огромной стѣнѣ, и она восхипается своею крѣпостью!

Какъ грустно, не увижу я ни того мѣста, гдѣ жилъ ты три года, ни людей, съ которыми жилъ, хоть бы взглянула на теперешнее житіе твое. Жаль друзей. горька имъ будетъ разлука съ тобой. Плачьте, плачьте, други, улетитъ вашъ соловей, закатится ваше ясное солнце! но, други, утѣшитесь тѣмъ, что, чѣмъ далѣе отъ васъ, тѣмъ ближе ко мнѣ! плачьте и креститесь, рыдайте и благодарите Бога. Боже мой, я воображаю, какъ трогательно будетъ провозжанье. О, какъ полетѣла бы я отереть ихъ слезы, — осиротѣетъ Вятка! Утѣши ее, Богъ, а тебя привнеси скорѣй ко мнѣ, скорѣй!

Ты что? вѣрно. радостенъ, вѣрно. Владиміръ горитъ предъ тобой, какъ звѣзда,

привратница Востока, за ней заря, а тамъ и огненная точка, а тамъ, а тамъ... на что ждать вечера, въ полдень домой! Часто, перебирая и Вятскую жизнь, и отъѣздъ, и, наконецъ, Владиміръ — огромная пережѣна! свиданія... И посмотрю вокругъ себя: ничто, ничто не шелохнется, какъ будто *ничего!* тяжело, душно. Сотый разъ перечитываю твое письмо, то же содраганье, то-жъ умиленье; если бы ты былъ со мной, ты понялъ бы, а слова — слабое выраженье, да и на что же намъ *иго* средства для сближенья душъ? не отраженье ли ихъ это небо, солнце... Можетъ ли земля раздѣлить ихъ на части и снова соединить? Такъ и мы недоступны ей и людямъ,—смотрите, ежели есть очи, восхищайтесь, ежели видите, молитесь, ежели постигаете, а зажечь солнце, а навести малѣйшее облачко на яхонтъ—*не ваше!* Другъ мой, ежели ты получилъ то письмо, гдѣ я покойна, гдѣ все свѣтло, утѣшился ли ты? Не огорчайся разлукой съ друзьями, не забывай. при прощаніи съ ними, что ближе свиданье *съ ней.* Цѣлую тебя.

27-е. Въ ту минуту, какъ я прочла твое письмо, мнѣ казалось, что любовь моя такъ мала, такъ слаба передъ твоей, какъ свѣча передъ солнцемъ, но это оттого, что *твои слезы* поразили меня. Александръ, *довольно* любви найдешь ты въ этой груди! Создавался ли въ чьей душѣ смертному храмъ изящнѣйшій. зажигалось ли предъ кѣмъ пламя чистѣе, небеснѣе? Дай пройти черному морю и грозной тучѣ,—какъ полно, какъ роскошно, какъ совершенно и райски расцвѣтеть наша жизнь! Ангелъ мой, за мигъ страданія—неисчерпаемая чаша наслажденій, за одну слезу, *твою слезу*—чертогъ съ неугасимымъ свѣтомъ, съ вѣчной гармоніей. Твоя слеза... О, другъ мой, съ какимъ бы благоговѣніемъ прижала я уста мои къ полу, на который кавула она!.. Жизнь моя, нѣтъ словъ!

Съ тѣхъ поръ, какъ я *узнала* тебя, первое желаніе вмѣстѣ покинуть землю. Это такимъ ужасомъ обдастъ меня, какъ воображу себя одинокою, безъ тебя, среди этой многолюдной пустыни... Ужасно вздумать, какъ и тебя оставить въ ней. О, нѣтъ! Господи, одинъ путь намъ, одни врата, одни объятія!.

Ты говоришь, Александръ: «сколько можетъ пережить человекъ» — не человекъ, мой другъ, а Богъ, живущій въ немъ. Какъ перенести бы мнѣ разлуку съ тобою, какъ бы не изнемочь, пивши три года горькую чашу и думая за каждой каплей, что она послѣдняя? Но Ему возможно все,—я жива, и жизни во мнѣ болѣе, нежели въ томъ, кто и не понимаетъ, что такое несчастье, и какой жизни! преполненной рая, любви, Бога, тебя!

Какой дивный сонъ! ужъ всё встали, а мнѣ жаль было разстаться съ подушкой (чего со мной не бываетъ никогда), — все казалось, что изъ нея выйдутъ опять картины дивныя, восхитительныя, но, открывши глаза, ужъ убѣдишься скоро, что все мечта.

Марія—какъ люблю я ее, мнѣ хочется обнять ее, какъ сестру, съ которой была неразлучна всю жизнь; но приведетъ ли Богъ и встрѣтиться намъ здѣсь. На дняхъ и я получила отъ Сашы Б.; созданье—ближайшее къ Творцу своему. Когда я въ состояніи постигать все блаженство мое, тогда я не могу молиться: глаза обращены къ небу, руки на груди, но нѣтъ словъ, нѣтъ и меня на землѣ.

28-е. Посмотри, какъ наши имена хороши вмѣстѣ — [тутъ вставлены перепутавшіяся А. и Н.]. Другъ мой, кто сказалъ тебѣ, будто я была больна? Неужели мнѣ писать тебѣ всегда, какъ болить голова, или только неможется? Ты подумаешь и Богъ знаетъ что! Ничего, ангелъ мой, успокойся, я здорова. Дивлюсь еще, какъ такъ дешево я расплатилась съ этими неприятностями и не выдержала жестокой болѣзни. Но теперь ужъ миновало все, — благодаря Бога, не будемъ и

вспоминаю о томъ. Съ какимъ нетерпѣніемъ жду я того письма, гдѣ ты напишешь, что ужъ получилъ извѣстіе. Пиши, Александръ, все напиши, если только будетъ возможность. Жаль мнѣ Вятку! но повторю опять: плачьте и благодарите Бога. Третья моя Саша говоритъ,— ежели бы увидѣла меня съ тобою, тогда сказала бы, какъ Симеонъ Богопріимецъ: «нынѣ отпускаеши...». Кто встрѣчалъ столько теплоты сердець, столько истиннаго чувства; богаты мы, Александръ, богатые владыки цѣлыхъ имперій. Ну, прощай, жму твою руку и всѣмъ друзьямъ, обнимаю тебя и ихъ на прощанье, я дѣлю съ ними ихъ грусть, пусть же и они дѣлятъ со мной мою радость. Душа моя, Александръ!

23 ноября.

Я одинъ — отхлынула толпа! Ну, что же это за голосъ, который мрачно, холодно, какъ ледъ, говоритъ укоромъ изъ глубины души? Ты думаешь обо мнѣ... *думаешь* — какое глупое слово! будто, то, что происходитъ теперь въ твоей груди, называется думать. Ты со мною, ты свѣтлая. Я долженъ бы былъ унести восторгомъ въ рай, а тутъ-то этотъ земной голосъ и хрипнѣть. Вотъ оно слѣдствіе необузданныхъ страстей! Двадцать разъ данное слово очистить себя, и двадцать разъ нарушенное. Слабость человѣка, который передъ другими людьми имѣетъ ту невыгоду, что понимаетъ добро и зло — дѣлая зло. И гдѣ же тѣнь справедливости? Мнѣ удивляются, меня превозносятъ, — оттого что я хитрѣе ихъ всѣхъ, и тѣ же чувства, которыя у нихъ наружу, у меня спрятаны. Хорошие люди, когда вы будете умные люди? А Витберга считаютъ чудачкомъ, полоумнымъ, потому что онъ дѣйствуетъ прямо, какъ того требуетъ душа; это не льстить самолюбію, а жжетъ его. Нѣтъ, до тебя я все еще погибшій человѣкъ. Вотъ третій годъ продолжается комедія съ Мед., а въ сущности она очень печальна, это мелодрама. Гдѣ же твердость? Сказалъ, что ли, я ей: Идите своей дорогой, любви у меня вамъ нѣтъ, я люблю ангела, и послѣ этой любви ваша — глупость, нелѣпость или развратъ. Нѣтъ, я мнунто увлекся, она повѣрила моему увлеченію, она пала глубоко, думая подняться, и я началъ плакать надъ тѣломъ, изъ котораго душу вытѣснилъ ногой; и что же — съ тѣхъ поръ я *сталъ намеки*, какъ будто для того, чтобъ сдѣлаться интереснѣе. Ха — ха — ха, а они то удивляются мнѣ. Грассе, грассе роуг moi! Уроды, тѣни, отойдите прочь, раздайтесь передъ образомъ небеснымъ, передъ ангеломъ, передъ Наташей. Я ей скажу: грассе роуг moi, и она будетъ молиться обо мнѣ, о себѣ ей нельзя молиться, она чиста, какъ лучъ солнца, который не дотронулся еще до грязной земли. Прощай, пойду туда, тамъ Полина — чистое дитя, она вѣритъ въ меня, и ея Свворцовъ вѣритъ. А я не вѣрю, а я сознаю въ себѣ безобразную смѣсь изыскаго съ отвратительнымъ. Наташа, можетъ, ты вздумаешь отвѣчать на эти строки, такъ слушай же: отвѣчай не возраженіемъ, а молитвой, а желаніемъ, отвѣчай любовью, — это лучше всего, въ любви все есть. Три года тому назадъ теперь я сидѣлъ на диванѣ, т. е. на постели, одинъ, въ сырой казематѣ. И что мнѣ мерещилось въ будущемъ. — Слава наградой за жизнь, дружба наградой за дружбу. А три года сылки я не предчувствовала, а 9 апрѣля еще было въ лонѣ Божіемъ. Какъ смѣшна эта слава, статуя блестящая, потому что сдѣлана изо льда, и которая таетъ отъ солнца, потому что солнце — любовь. Ну, вы, пророки, гдѣ склонится эта голова черезъ три года, гдѣ дышать будетъ эта грудь, умѣющая помѣстить цѣлый рай, огромнѣйшее блаженство — любовь къ Наташѣ и любовь ея, и растерзанная снаружи въ клочья. Гдѣ? Ежели вы знаете, да будетъ проклятіе на васъ.

ежели скажете мнѣ; у меня украли прошедшее, а ужъ будущее это мое владѣнье пополамъ съ Богомъ. Да и на что мнѣ знать? Ужъ тебя-то я увижу навѣрное, въ продолженіе этого времени. Остальное такіе же пустяки, какъ дымъ сигары.

24 ноября. Я сдержалъ слово и провелъ вчерашній день въдесятеро скучнѣе всѣхъ прочихъ. Только это хотѣлъ я теперь тебѣ написать.

29 ноября. Ну, не правъ ли я, что задавалъ пророкамъ задачу о моемъ будущемъ? О, какъ самодержавно Провидѣніе ведетъ мою жизнь. Вчера утромъ получилъ я письмо, спокойно развернулъ, прочелъ, и передо мною путь. Итакъ, я ѣду во Владиміръ! Такъ радоваться, какъ ты, я не могу: 170 верстъ, или 1000, все равно тебя ко мнѣ не пустятъ, а ужъ годъ навѣрное тамъ надобно прожить. А, можетъ, отпустить меня на нѣсколько дней въ Москву. Боже, неужели это возможно? Это время во Владиміръ я проведу особеннымъ образомъ, пусть оно будетъ временемъ очищенія и поста. Одиноко стану я тамъ въ новомъ обществѣ, отклоню всѣ знакомства. Это будутъ мои 40 дней въ пустынь, ими я заслужу наше свиданье. Ну, прощай, Вятка, всѣмъ сердцемъ благословляю тебя, ты не оставила чуждаго изгнанника, ты дала ему руку и привѣтъ. Благословляю тебя. А вы друзья, оботрите эту слезу, вѣдь, вы знали, что встрѣтились съ пилигримомъ, что онъ не могъ навсегда остаться съ вами, его зоветь голосъ сильной. Прощай, Витбергъ, не я буду останавливать страдальческую слезу; прощай, Полина и Скворцовъ — не я стану съ вами у алтаря; прощай, Эрнъ, котораго я взялъ за руку и вывелъ на другую половину земного шара. Дружба вамъ и благословленье изгнанника.

30 ноября. Какъ я провелъ вчерашній день и сколько претерпѣлъ,—этого нельзя и сказать. Лишь бы ужъ кончилось все это скорѣе. Слушай: Медв. больна съ тѣхъ поръ, какъ узнала о моемъ отъѣздѣ, и я долженъ смотрѣть на ея страданія, какъ человѣкъ, который бы обокралъ отца семейства, пропилъ бы деньги и послѣ долженъ смотрѣть, какъ тѣ умираютъ съ голода. Утѣшить я не могъ и не хотѣлъ. Ты мнѣ писала однажды: при разлукѣ не подавай ей надежды. Я такъ и сдѣлалъ. Я говорилъ: покорность Провидѣнію и молитва! Но всетаки я самъ въ своихъ глазахъ униженъ, растерзанъ. Вечеромъ я пошелъ къ Витбергу въ кабинетъ и рассказалъ ему *все* и, кончивъ, я всталъ передъ нимъ, какъ осужденный на казнь; да, я хотѣлъ до послѣдней капли выпить униженіе и наказанье, я заслужилъ его; но душа высокая у Витберга. Я ждалъ камень, а онъ бросился въ мои объятія, и мы плакали. Онъ взялся послѣ моего отъѣзда все уладить, т. е. сказать ей о тебѣ. Когда кончился нашъ разговоръ, за которымъ я пять разъ утиралъ холодный потъ, я пришелъ въ свою комнату, о, тогда я былъ жалокъ, въ самомъ дѣлѣ, блѣдной, руки дрожатъ, грудь налита огнемъ, даже глаза сдѣлались мутны. Я глубоко страдалъ,—гордость унижена, безхарактерность и преступленіе. И вотъ, думалъ я, будто этотъ преступный — Александръ Наташихъ писемъ. Ха — ха — ха! Нѣтъ, тяжело, но надобно разъ пройти черезъ все это, и оно уже будетъ прошедшее. А до тѣхъ поръ я еще, можетъ, недѣли три останусь здѣсь, и ежели всякой день будетъ, какъ вчера,—то я занемому. Разбойника наказываютъ разъ, а это три недѣли пытки.

Но отвернется же отъ мрачной стороны. По первой почти узнаю я, есть ли надежда побывать въ Москву. Хоть на денька два, взглянуть разъ на ангела и потомъ провести, какъ сказалъ, въ очищеніи время поста. Хорошо, что я переведенъ, надобно было круто перевернуть мою жизнь.—Исторія сватовства, пишешь ты, совсѣмъ кончена, а я знаю, что она продолжается, напиши объ этомъ.

Прощай, время еще есть, но я что-то вялю, утомленъ. Прощай, мой ангелъ-хранитель.

Твой Александръ.

30-е ноября.

Вотъ уже нѣсколько времени я взволнована ужасно, не могу дышать свободно, не могу ѣсть, не могу видѣть людей, особенно богатыхъ — эгоизмъ! Мнѣ душно, страшно въ *ихъ* средѣ, дай вознестись, дай взойти въ твою душу — обязатель радости и блаженства, о, ангелъ утѣшитель!

Когда видишь существо съ бѣдною душою, ограничивающееся однимъ матеріальнымъ, страдающее отъ недостатковъ и нужды, — сердце ноетъ, духъ смущенъ; а существо высокое, живущее на землѣ жизнью горнею, возносящееся къ престолу Его на крылахъ Вѣры и Любви и гибнущее отъ такихъ же нуждъ, — самое болѣзненное, невыносимое зрѣлище. Нѣсколько бы сотъ рублей, — и спасено семейство изъ 10 человекъ, а они, держа въ рукахъ тысячи, говорятъ жалостнымъ тономъ: «бѣдный, какъ жаль! *иди ему взять?*». *Годъ??* О, каменные сердца! лучше бы они смѣялись ужъ, глядя на страданія братій своихъ, лучше бы, ѣвши сверхъ сыта, говорили радостно: онъ умираетъ съ голода! Это былъ бы одинъ эгоизмъ, а тутъ и лицемеріе еще. Господи, отпусти имъ. Во всѣ голоса кричатъ: «несчастной, какъ ему быть!» и громче всѣхъ кричатъ тѣ, которые скорѣе могутъ помочь. Я не могу ни съ кѣмъ промолвить слова, бѣдныя слезы навертываются, дыханіе въ груди останавливается, слыша ихъ. Ненавистно для меня золото, а на цѣлый бы годъ пошла въ рабочій домъ, чтобы достать горсть его. Не трать попустому денегъ, Александръ, и какъ можно менѣе для себя, намъ незамѣтно удовольствіе, стоящее сотни, тогда какъ одинъ рубль можетъ возвратить жизнь несчастному. И я иногда завидую власти и богатству... но владѣйте-жъ вашимъ металломъ, вашей землею, у меня есть лучшее достояніе. Зарывайте ваше золото въ преисподнюю, а слезы мои ангелы вознесутъ на небо; звукъ самага свѣтлага золота вашего возбудитъ только сердце корыстолюбиваго, стонъ страдающаго сердца преклонитъ небеса; вы купите вашими монетами лишь угрызение себѣ, — я куплю молитвами рай вамъ!.. Что же, неужели терпѣніе и покорность ничто предъ Нимъ, неужели изнеможеніе и самыми тяжчайшими муками извергнутой вздохъ — есть грѣхъ? Ежели и грѣхъ, то, вѣдь, едиnorodный Сынъ Его только безгрѣшенъ. Милосердный Господи!.. Мнѣ легче.

Выше, выше, мое солнце, заждались тебя, разсѣй тучи, освѣти, согрѣй. оживи! Непостижимо: въ соединеніи съ тобою я вижу не одно свое блаженство, а спасеніе всѣхъ. Будто, тогда всѣ несчастные отрутъ слезы и возрадуются, всѣ злые уподобятся агнцу Божію, о, Александръ!

1-е декабря. Насколько люди могутъ все охладить, и съ какимъ равнодушіемъ, — это удивительно. Въ воскресенье видѣла крещеніе двоихъ евреевъ; описать нельзя всѣхъ чувствъ, пробужденныхъ этимъ таинствомъ. Съ какимъ восторгомъ, съ какой любовью смотрѣла я на новыхъ братій, съ какою бы горячностью обняла ихъ. Растеть, растеть семейство Христово! думала я, и всѣ казались мнѣ лучше, и я какъ-то была свободнѣе съ людьми. Но вообрази, тогда какъ я рассказывала объ этомъ съ восхищеніемъ, мнѣ говорятъ, что жида принимаютъ христіанскую вѣру только изъ корысти и послѣ обращаются опять въ свою. Можешь понять, какъ это испугало и ужаснуло меня. — Ахъ, люди! люди! Для нихъ гдѣ нѣтъ денегъ, все маловажно, а на меня и это обстоятель-

ство сдѣлало вліяніе, да за нимъ же еще цѣлый рядъ низостей,—всѣхъ смертельно жаль.

Вечеръ. Читала я повѣсть, очень незначительную, но такъ живо описана нѣжность родительская. Отецъ угадываетъ любовь единственной дочери и прежде, нежели она рѣшается открыться ему, онъ самъ начинаеть (чтобъ не затруднить ее) и тутъ же, наплакавшись съ нею вмѣстѣ, нарадовавшись, благословляетъ ихъ и говоритъ жениху: «вотъ все мое сокровище, прими и береги его». Сначала радовалась и я вмѣстѣ съ ними, но потомъ обратилась на себя... Не помню, когда-бъ я свободно и изъ души сказала: маменька! къ кому-бъ безопасно, забывая все, склонилась на грудь. Съ восьми лѣтъ чужая, и кто благословить меня? Не въ нашей волѣ иногда оторваться отъ земли. Священны и эти картины, и поэзіи въ нихъ тьма; какъ же не больно оглянуться на свою, гдѣ нѣтъ и малѣйшаго цвѣтка, котораго бы не гнуло къ землѣ хоть крошкою льда. Но это *иногда* исчезаетъ, слѣдовъ его не видно, и земля съ своими сестрами и братьями кажется движущимися пылинками, а душа богата небомъ, богата семьей,—кого недостаетъ мнѣ съ тобою? Кто ты—тотъ братія и мать моя. *Имъ* необходимо это все, у нихъ ужъ больше не бываетъ, а намъ, намъ... мы даны другъ другу!..

2-е декабря. Любви нашей, какъ самому Богу, нѣтъ границъ, и намъ границъ нѣтъ,—тамъ, подъ нами, кто желаетъ умереть генераломъ, кто въ собственномъ уголкѣ, у насъ *этою* ничего нѣтъ, а есть *все*. Тамъ почти каждой назначаетъ чѣмъ окончить жизнь свою, намъ вѣчный путь. Свѣтъ, Святость, Величіе, Высота такъ необъятны и недосягаемы, что мы никогда не можемъ сказать—довольно! Александръ! великъ ты, великъ! но я не скажу никогда: остановись. Выше, выше, ангель мой, летимъ! летимъ! Не кажется ли намъ при полученіи каждаго письма, что уже въ слѣдующемъ *больше* быть не можетъ и только получивъ его, видимъ, насколько ближе къ небу. Какъ хорошъ ты, какъ дивенъ въ послѣднемъ письмѣ (отъ 17 ноября до 23), какъ необъятна твоя любовь, да, Александръ, это письмо болѣе другихъ, болѣе любовью и тобою. Но, другъ, мы находимъ рай, чувствуемъ его, восхищаемся настолько, насколько постигаемъ его, а онъ таковъ, какимъ человекъ и вообразить его не можетъ. Итакъ, ясное, ясное мое небо, полнѣе, полнѣе мое море. Ты бросаешь все, и славу,—я не отвергаю ее, но единогласная хвала всего края земного, его колѣнопреклоненіе не выразить столько, какъ одинъ взоръ любви. Это крикъ ворона предъ пѣсню соловья, а, вѣдь, они оба хвалятъ Бога. Чего ждать намъ отъ людей? что могутъ они *намъ* дать? развѣ только то, чѣмъ они дѣлятся съ червями,—дадимъ имъ то, что далъ намъ Отецъ небесный, подѣлимся съ ними тѣмъ, чего нѣтъ у нихъ!

Странно, приходитъ середина.—отъ нетерпѣнія тоска, не знаешь, чѣмъ прогнать ее скорѣе; приходитъ четвергъ, и во всемъ вмѣшиваются улыбка, покидаешь все и слѣдишь за минутами глазами и сердцемъ. Письмо! ничего болѣе ненужно, какъ черезъ минуту опять ожиданіе, опять взоръ обращенъ вдаль, но четвергъ еще точка чуть замѣтная, вотъ больше, больше, и нетерпѣніе растеть съ нею. И такъ прошло полжизни, сколько-то еще! Господь съ тобою.

3-е декабря. Да, добрые люди очень несносны, они замучили меня немилосердно своей добротой. И странно, всей огромностью своего участія, они доказываютъ только то, что сами они очень жалки; сколько потерѣла я отъ нихъ въ продолженіе сватовства.—это ужасъ. Несмотря на это, исторія Свакс. въ самомъ дѣлѣ смѣшна, и я смѣялась бы ей, если-бъ въ ней главное не было униженіе и обида; пересказать и вспомнить всего нельзя, да и лучше забыть—Богъ съ ними!

Подивись вотъ чему, мой другъ: к[нягиня] благодарить за меня Бога, говорить, что я рѣдкая, что надо мною благодать Божія. Большою частію я не говорю съ ними, потому что, большей частію, они бывають слишкомъ далеки отъ меня, но иногда читаю имъ Евангеліе, говорю о душѣ, о жизни вѣчной; мнѣ отвѣчаютъ только вздохомъ, печальной миной, а въ счастливую минуту соглашаются со мной, я говорю всегда прямо, и на меня за это не сердятся. Несчастье этого семейства, о которомъ я говорила тебѣ, и поддѣльное ихъ состраданіе раздражило меня совершенно, я не могла скрыть и, начавъ Евангеліемъ, стала представлять имъ всю гнусность и грѣхъ жадности, — ну, словомъ, заставила ихъ взглянуть прямо на ихъ поступки, заставила ихъ содрогнуться, и только не выговорила того, что они ужасаются сами себя; потомъ указала и на блаженство *самоотверженнаго* здѣсь и тамъ. Они почти все молчали, слушали съ какимъ-то удивленіемъ, и какъ я вышла, к[нягиня] перекрестилась и сказала, что она покойна за меня. что самъ Богъ помогалъ ей въ воспитаніи меня. Да, это правда. Но я не похваля хотѣла, слава Богу и за то, что слова мои отворили ихъ сердце, можетъ, они и взошли въ него, можетъ, и зажгли въ немъ потухающій свѣтильникъ... дай Богъ!

Да, да, Александръ, ты преклонишь голову на плечо мое и уснешь, тебѣ будетъ видѣться небо, рай, ангелы, ты будешь слышать ихъ пѣснь, самъ будешь носиться въ ихъ средѣ, свѣтло-вѣчною славой сіять престолъ, вѣчное милосердіе льется съ него рѣками. Я не буду дышать, не поцѣлую тебя, только все буду смотрѣть на тебя, долго, долго, долго.. А какъ проснешься, тутъ я поцѣлую тебя, чтобъ ты не испугался земли. Знаю, ангель, страшна тебѣ земля безъ меня, я не покину тебя, не бойся. Не желѣзомъ будемъ мы обороняться отъ *нихъ*, нечистые сами не подойдутъ къ свѣту. Ужъ полночь. Прощай, обнимаю тебя.

4-е. Я думаю, что папенька очень встревожится твоей тайной и разсердится, ежели ты будешь медлить открыться ему; но мнѣ кажется, что не для чего начинать до приѣзда его во Владиміръ; въ перепискѣ все что-то холодно, нѣмо; тогда же отецъ, приѣхавшій къ сыну для его и своего утѣшенія, не захочетъ покрыть свиданіе мракомъ и увеличить болѣзнь, вмѣсто облегченія. Но ужъ я отдала все твоей волѣ, да будетъ мнѣ по глаголу твоему.

Теперь ты уже знаешь о перемѣщеніи своемъ, — какъ-то это тебѣ кажется? Можетъ, и грустно будетъ, но все радость перевеситъ. Утекаетъ 1837 годъ, съ новымъ все новое: и люди, и городъ, и надежды. Да, все ближе и ближе. О, какъ часто переносишь я въ это *тогда*, и что странно, Александръ, оно является мнѣ почти всегда безъ людей, ни отголоска, ни тѣни ихъ, вотъ такъ, какъ ты говоришь: и на морѣ — одни, и въ пескахъ — одни, и во вратахъ вѣчности — одни! на что намъ чужая семья, не поймутъ они нашего счастья. можетъ, еще будутъ жалѣть.... Я, ты, природа, Богъ! вотъ семья, вотъ единое, нераздѣльное! Кто нуженъ еще? Прости, родимый край, друзья, можетъ, увидимся, ежели и нѣтъ, — не плачьте о насъ, поглотитъ ли волна, сожжетъ ли солнцемъ, или Этна будетъ намъ могилой, — помните, что мы вмѣстѣ, и плачьте только о себѣ. Перебираю всѣхъ. кого бы мнѣ было жаль оставить, многихъ жаль, можетъ, я воротилась бы съ дороги взглянуть на нихъ еще, на вернулись бы слезы, но твой взоръ, твоя рука.... Первое путешествіе должно быть на Востокъ. Туда, туда, откуда жизнь, гдѣ яси, крестъ, Фаворъ; пусть мы и умремъ тамъ, забытые своими; и теперь намъ душно, тѣсно здѣсь, чѣмъ далѣе — душа свѣтлѣе, пространнѣе; и какъ намъ будетъ *войти* въ тѣ двери, въ которыя *вышли*? На чтобъ и соединиться намъ. ежели бы мы все оставались тѣми же? мы будемъ расти, расти, свѣтлѣть... Мы

оставимъ родину дѣтми, оставимъ и всѣхъ дѣтей ея, и какъ же намъ будетъ возвратиться къ нимъ совершенными? Останемся съ *ровесниками*, чтобы и въ гробу намъ не было *тѣсно*. Мечты! мечты! но несбыточнаго въ нихъ нѣтъ.

Какъ иногда устала, изнуренная отъ пути и зноя, я испугаюсь здѣшней прохлады и мягкой постели.

Ночь.—Какъ пуста, какъ глупа обыкновенная жизнь, *у нихъ* дни исчезаютъ, какъ мыльные пузыри, есть ли хоть малѣйшая польза, хоть слѣдъ... уйдутъ съ земли, не зная жизни, не зная земли,—та же спальня, тѣ же блюда, тотъ же самоваръ. Господи, и они живутъ! Нѣтъ, нѣтъ, мой ангелъ, дальше кухней, дальше отъ этого храпѣнья. Похожи ли они на людей! Это ужасно: придешь къ священнику за хлѣбомъ жизни, за питьемъ небеснымъ, а тебя принуждаютъ ѣсть баранину, свинину. Нѣтъ, мой хранитель, уведи меня туда, далеко, гдѣ только птицы летаютъ, поютъ... Ахъ, если бы туда, гдѣ люди живутъ какъ птицы! Но гдѣ же это? Неужели человѣкъ созданъ, чтобы прижаться въ уголокъ, не смѣть сдѣлать шагу и довольствоваться только ѣдою и сномъ,—какъ они унижаютъ человѣчество! На что намъ домъ и всѣ удобства,—посохъ въ руки, котомку за спину, не съ пищей, не съ одеждой, на что намъ объ этомъ заботится, развѣ мы не дома на землѣ, гдѣ бы то ни было? у меня въ котомкѣ будутъ письма, портретъ—безъ нихъ ни шагу; когда перейдемъ въ вѣчность, мы не умремъ на землѣ, эти письма будутъ громче и полезнѣе всякаго памятника; гдѣ найдутъ ихъ, на томъ мѣстѣ поставятъ часовню, и люди будутъ почерпнуть въ ней любовь. Изголовье—камень, крыша—небо, пища—плоды, непрерывная пѣснь, гимны, молитва, любовь, любовь—вотъ *жизнь человѣка!* А это—но что и говорить: если-бъ въ нашихъ силахъ было перемѣнить,—будемъ мы *жить!*

Какъ ты любишь меня, Александръ! Господи, Господи! Ты знаешь, Отецъ небесный, словъ нѣтъ. Ни въ которомъ письмѣ нѣтъ столько любви, какъ въ послѣднемъ. О, начало мое, о, небесная моя лѣствица! о, Александръ! ежели я всю жизнь буду говорить тебѣ о моемъ блаженствѣ,—не перескажу ничего. Посмотри очами души твоей на мою душу, и довольно! Какъ мы будемъ дома, какое раздолье—на берегу моря, на горѣ, въ благоухающихъ рощахъ, въ степяхъ; здѣсь нѣтъ дома *по насъ*, тамъ, тамъ жилище любви. гдѣ до строенія Божія не касалась рука человѣка.—Но на кого же покинемъ друзей? Пусть они сходятся въ назначенные дни и посвящаютъ ихъ *вспоминанью о насъ*, пусть возносятся туда, гдѣ мы можемъ быть вмѣстѣ, несмотря на горы и моря, раздѣляющія насъ. Но между ними есть слабые еще, которымъ нужна опора,—на божьи руки ихъ! Только Сашу не покинемъ, она умретъ безъ меня.—Обнимемся, Александръ, пора разстаться, но пусть ихъ, а мы будемъ вмѣстѣ.

5-ое декабря.—Тяжело, другъ мой, быть чужою и среди чужихъ, а въ родительскомъ домѣ... Я помню, какъ еще ребенкомъ, едва начавъ понимать, иныя слова пронзали мнѣ сердце, какъ я краснѣла и спѣшила выйти, чтобъ даже и смущенья моего *они* не видали. А съ твоей душой—и отъ тѣхъ, за кѣмъ пустое поле... я постигаю это, очень постигаю—погоди, отдохнешь. И мое ребячество было самое грустное, самое печальное, горькое; сколько слезъ пролито, не видимыхъ никѣмъ, сколько разъ бывало ночью, не понимая еще, что такое молитва, я вставала украдкой (не смѣя ихъ и молиться не въ назначенное время) и просила Бога, чтобъ меня любилъ кто-нибудь, ласкалъ... Не было той забавы и втруски, которая бы заняла меня и утѣшила (послѣ папеньки), потому что, ежели и давали какую, то съ упрекомъ и съ непремѣннымъ прибавленіемъ: «ты

этого не стоишь»; каждый лоскутокъ, полученный отъ *нихъ*, былъ мною оплаканъ. Потомъ я становилась выше этого, стремленіе къ наукѣ душило меня, я *ни чему* болѣе не завидовала въ другихъ дѣтяхъ, многіе меня хвалили *въ глаза*, находили во мнѣ способности и съ состраданіемъ говорили: «ежели руки приложить къ этому ребенку» — онъ дивилъ бы свѣтъ, договаривала я мысленно, и цѣки мои горѣли; я спѣшила идти куда-то, мнѣ видѣлись *мои картины, мои ученики*... а мнѣ не давали клочка бумаги, карандаша. Сердце умерло для той жизни, которая меня окружала, тѣмъ болѣе, что я *не умѣла* въ ней сдѣлать шагу, сказать слова, я чувствовала, что есть страна, гдѣ Божіе созданіе цѣнятся вполне, гдѣ не требуютъ, чтобъ оно было передѣлано человѣческими руками, и стремленье въ тотъ міръ становилось все сильнѣе и сильнѣе, и съ нимъ вмѣстѣ росло презрѣніе къ моеѣ темницѣ и къ ея жестокимъ часовамъ. Тутъ я повторяла безпрерывно стихи Козлова, гдѣ чернецъ говорить:

Вотъ тайна: дней моихъ весною,
Ужъ я все горе жизни знать...

Какъ созвучно съ моеѣ душою, какъ сходно съ моимъ сиротствомъ, какъ отраднo лились слезы надъ этими стихами, и вообрази мое удивленье: помнишь ли ты это, мы какъ то были у васъ, это давно, въ томъ еще вашемъ домѣ, я вышла въ твою комнату, и ты спросилъ меня, читала ли я Козлова, и сказалъ изъ него наизусть [вырвано слово] это мѣсто, — трепетъ пробѣжалъ по мнѣ, я улыбнулась и насилу удержала слезы. *Тогда* расскажем мы другъ другу все. Усе съ самаго dna сердца, пошлемъ вздохъ пришедшему и стройно, звонко запоемъ гимнъ.

Emilie у меня давно не была, мы видимся съ нею изъ мѣсяца въ мѣсяць; это ужасно, что [за] люди ей встрѣчаются, ужъ сколько домовъ перемѣнала она, какая веселая жизнь! Къ тому же все больна и средствъ нѣтъ. О, Боже мой, правъ Жанъ Поль: одни пресмыкающіяся насѣкомыя живутъ покойно. Но, кажется, она будетъ опять въ томъ домѣ, гдѣ жила два года, гдѣ нашла людей съ душой в оцѣнившихъ ее; дай Богъ! Теперь меня очень интересуешь дорога: какъ станетъ путь, прійдетъ Саша Б. изъ Курска. А когда ты въ путь? Вотъ ужъ почти недѣля, я думаю, какъ ты получилъ извѣстіе. Прощай, мой ангелъ, надо ложиться. А прошлую почту, не знаю почему, не послали тебѣ мое письмо, ты будешь грустить, что не получишь. *Теперь* всѣ могутъ угнетать насъ, насколько хотять. Зато ужъ этотъ разъ богатая почта! Руку! Прощай.

Твоя Наташа.

1 декабря, Вятка.

Ну, здравствуй, милый другъ, ангелъ! Черная хандра миновала. Я выглянулъ на дворъ. Солнце играетъ по льду — свѣтло, я взглянулъ на душу — твой образъ — свѣтло и тамъ. О, такого прилива мрачныхъ думъ, такого демона еще не разу не было въ моеѣ душѣ. Съ 14-го до 1-го я былъ какой-то Чайльдъ Гарольдъ. Я похуѣлъ въ это время, но переломъ прошелъ. Теперь я только понималъ, что свѣтлая заря возвращенья уже дотронулась. — я, вѣдь, тѣ дни не понималъ, что такое значить Владиміръ. Это первый шагъ, это 800 верстъ меньше, это прямое указаніе, что меня прощаютъ. Наташа, ну, ежели въ самомъ дѣлѣ съ меня снимутъ наздоръ, тогда — понимаешь ли ты эту фразу? — тогда къ *марту мѣсяцу* я *въ отпуску*. Декабрь, генварь, февраль. Мартъ — это мѣсяць, въ каторый я

родился, 29 марта 1838 прочтена высочайшая конфирмація. Итакъ, 1837 годъ хотѣлъ исправиться на 12 томѣ; я хорошо проведу время во Владимірѣ. Я буду молиться, я буду вѣчно одинъ, т. е. вѣчно съ тобой, я буду писать, когда душа полна, и вамъ, Вятскія друзья, удѣлю я воспоминаній, да и ови меня не забудутъ. Винять людей — вздоръ! всегда надобно себя винить. Человѣкъ чутъ съ теплой душой, и тотчасъ его окружаютъ любовью.

Мед. воскресла; въ женскомъ сердцѣ есть много силы, ежели достанетъ только рѣшимости употребить ее. Она мнѣ писала, она поняла, отчего мои страданія; она говоритъ, что все кончено, Богъ ее укрѣпилъ, и что она отдается вся воспитанію своихъ дѣтей и съ ними, беззащитная, будетъ искать пропитанія Нѣтъ, не беззащитная, это вздоръ. Теперь я подамъ ей руку, теперь она увидитъ, для кого она сдѣлала жертву; о, до послѣдней капли крови я ей другъ послѣ этого. Лишь бы она выдержала характеръ. Ну, Наташа все намъ помогаетъ. Дивенъ Богъ! Забудь два послѣднихъ письма, — ихъ диктовала взволнованная кровь. Зачѣмъ же ты такой огромной смыслъ придала двумъ словамъ, сказаннымъ въ минуту негодованья на себя, т. е., *я не ты?* Въ эти минуты точно — я не ты. Ну, да что объ этомъ говорить; сегодня я выздоровѣлъ, отеръ голову отъ пота, который выжимали мысли ядовитыя, и вздохнулъ легко. Только боюсь совсѣмъ предаться радости. Ну, какъ надзоръ оставленъ, а этого до Владиміра едва ли узнаешь. Я ѣду отсюда черезъ 10 дней, по полученіи повелѣнія (оно еще не получено); итакъ ты, можешь, примѣрно, знать, когда я уѣду и гдѣ буду. Изъ Нижняго буду писать, изъ Муромъ тоже; впрочемъ, ежели не получишь письма, то не беспокойся, я помчусь на почтовыхъ и, можетъ, придется ночью проскакать по городу. Ежели 3 числа придетъ, то ужъ навѣрное 15-го я обвиню здѣшнихъ друзей и въ повозку, на дорогѣ четыре дня, много пять. Итакъ, я буду имѣть честь поздравить Васъ, Наталья Александровна, съ высокотожественнымъ праздникомъ Рожд. Хр. изъ Владиміра особымъ письмомъ, ежели Вы позволите. Ну, прощай, сестра, другъ, прощай. Пойду куда-нибудь, хочется воздуху, ну, пошире чтобъ было, нежели въ комнатѣ.

Вчера были именины Скворцова, и Полина была тамъ. Ахъ, Госноди, какъ не пристала невѣста къ холостой квартирѣ. Хорошо, что ты заранѣе взяла мѣры и привыкла къ моимъ комнатамъ. А гдѣ ты, въ какихъ комнатахъ будешь ты невѣстой у меня? Въ той ли, которую мы такъ любимъ по тысячѣ воспоминаній, знаешь, моя полутемная съ выходомъ въ садъ, или этотъ домъ *будетъ чужой?* Это слово что-то опять обдало морозомъ. Ну, стало, перестать писать.

2 декабря. Александръ Лаврентьевичъ хотѣлъ знать, кто ты. Чтобъ долго не рассказывать, я прочелъ ему два письма, — въ письмахъ ты чрезвычайно ясна. Онъ слушалъ долго, когда я уже пересталъ читать, и, наконецъ, съ восторгомъ и слезами сказалъ мнѣ: «Это ангель-хранитель, котораго Богъ послалъ вамъ»; Наташа... что я чувствовалъ въ это время! Мы обнялись. «Напишите же ей», прибавилъ онъ, и слезы капали на мою руку, которую онъ держалъ, «напишите, что Витбергъ въ Вяткѣ молится за нее и за ея Александра, и что онъ душою желалъ бы увидѣть Наташу (и онъ тебя зоветъ Наташей)». Ну, толпа, что вы противопоставите такой минутѣ? Какъ безоблачно, свѣтло было на душѣ! Ежели ты рѣшишься, то вложи ему особую записочку ко мнѣ въ письмо (хотя и во Владимірѣ, нужды нѣтъ), поблагодари его, ты понимаешь. — Когда-то ты увидишь эту благородную развалину громомъ разбитаго зданія? Или неужели мы теперь съ нимъ разойдемся и навсегда? А Богъ вѣсть, — моя жизнь идетъ такъ

странно, такъ мудро, что впередь ничего не знаю. Да, не шла моя жизнь по битой дорогѣ. Теперь оканчивается одна изъ главъ ея. Обернемся опять назадъ, опять взглянемъ на прошедшее. 20 іюля 1834 считаютъ за несчастье, а это былъ первый шагъ къ жизни духовной и гармоніи; вотъ какимъ путемъ надобно было провести мою неугомонную душу, чтобъ сравнять ее съ тобою. Витбергъ правъ; онъ вчера говорилъ: «я не знаю силы въ мірѣ, которая бы могла укротить вашъ бурный, порывистый нравъ, я уже отчаявался въ этомъ, но теперь вижу: съ ея сильной и религіозной душою она спасетъ васъ». И 9 мѣсяцевъ тюрьмы были необходимы, чтобъ я понялъ этого ангела. — Ахъ, неужели мой отецъ не пойметъ, что ты сдѣлала для меня. Дай намъ увидѣться во Владимірѣ, на колѣнахъ буду я его умолять, онъ меня очень любитъ. Господи! я, осыпанный твоими милостями, я еще дерзаю молить къ тебѣ: облегчи мнѣ этотъ шагъ, который дѣлается подь святымъ благословеніемъ твоимъ.

Наташа, радуйся! и я начинаю понимать, что такое молитва. Получивъ извѣстіе о переводѣ и видя, какъ оно поразило Мед., я содрогнулся, пришелъ въ свою комнату, завернулся въ ергаки и бросился на диванъ. Меня била лихорадка, униженнымъ, преступнымъ, *недостойнымъ* тебя казался я. Тяжело мнѣ было (ты это ужъ видѣла изъ прошлаго письма). Тогда я вспомнилъ молитву, я обратилъ глаза къ небу и просилъ милосердія. Горячими слезами выкупалъ я свой проступокъ, раскаянье полное, чистое наполняло душу, я молилъ Его, чтобы Онъ вывелъ меня изъ этой бездны, молилъ, чтобъ онъ ей далъ силу. И молитва моя дошла, сильной всталъ я и тутъ явилась у меня рѣшимость сказать Витбергу, — это была исповѣдь; о, какъ облегчаетъ душу высказанная тяжкая истина, она ядомъ проникаетъ въ каждую жилу. И Витбергъ принялъ эту исповѣдь не какъ судья, а какъ братъ, не презрѣніемъ, а любовью. Это все произвела молитва, и послѣ рѣшимости самой М. (не знаю только, сладить ли она) — и это оттуда же. И теперь будто ужъ я вполонину и загладилъ. Два года этотъ ядъ гулялъ по моему сердцу, теперь только начинается онъ ослабѣвать. А любовь, любовь... Я на всѣхъ смотрю съ какой-то нѣжностью, гдѣ эта жесткость характера, въ которой меня всегда обвиняли, и все хочется говорить о тебѣ. Какъ хорошо, что Витбергъ знаетъ, свѣжую мечту несу я ему, я теперь безпрестанно могу говорить о тебѣ. Наташа, ангелъ мой... Нѣтъ, этого не скажешь, тутъ не слово, взгляды. Другіе тебя называютъ ангеломъ, какъ же назову я тебя? Чудное дѣло: ужасно хочется плакать, а я не привыкъ къ слезамъ, можетъ, слеза моя яснѣ бы сказала, что я хочу выразить.

Полина и Скворцовъ въ отчаяніи отъ моего отъѣзда, но Полина мнѣ вчера сказала: «какъ навернется у меня *слеза печали*, такъ и сотру *слезою радости*, вспомнивъ, что, можетъ быть, вы увидите Наташу. — Да, это то и называется *жить*»; напиши подробной журналъ всякаго дня, и никто не повѣритъ, всякой приметъ за выдумку, потому что умные люди живутъ *умно*, а глухие не поймутъ. Но зато, можетъ, страницы эти попались бы юношѣ, — онъ извергъ, ежели кровь не выступитъ въ ланиты, и глаза будутъ сухи. Прощай! А вѣдь я, право, сумасшедшій.

7 декабря. Высочайшаго повелѣнія еще нѣтъ и, слѣдственно, до 12 или 13 декабря ждать нельзя. Уговариваютъ меня праздники пробыть здѣсь, но я сомнѣваюсь. Вчера я читалъ рѣчь публично, хотя въ ней большого толка и нѣтъ, но посылаю тебѣ (черезъ папеньку) *самой той* экземпляръ, по которому я читалъ. Медв. больна, ея положеніе ужасно, дѣтей принять въ казенное зав[еде-

нѣ] отказали. Я сегодня утомленъ отъ вчерашнихъ рукоплесканій. Прощай, мой ангелъ-хранитель. Прощай. Цѣлую тебя, твою руку.

Твой здѣсь и тамъ *Александръ*.

9-е декабря, Москва.

Всѣ эти дни мнѣ нельзя было писать, а такъ нужно было отлить изъ души въ твою душу... Не доставало письма отъ тебя, чтобъ наполнить горькую чашу по самые края,—сегодня я получила его (до 30 ноября). Отецъ нашъ небесный! все готова перенести, изми страданія и муки изъ души его! отдай все мнѣ!

Александръ, я какъ-то не могу исполнѣ постигнуть твоего поступка, а исполнѣ страдаю съ тобой. Я не знаю, чего бы ни предприняла я, чтобъ исцѣлить твою душу. Нѣтъ, намъ нужно быть вмѣстѣ, всегда, каждую минуту. Я бы непрерывно лелѣяла больное твое сердце, напѣвала бы ему пѣснь отрадную, я бы не давала тебѣ шагу оттуда, гдѣ видна земля обѣтованная, я бы заслонила собой ту страну, гдѣ ты такъ много страдалъ, гдѣ запылелся, я бы заставила забыть землю и жить небомъ... но Онъ лучше устраиваетъ! Когда-жъ отдадимся мы Ему исполнѣ! Не будемъ просить Его перестать насъ *учить*, испросимъ вѣру и любовь, чтобъ принимать Его уроки. Если-бъ я знала, что мое письмо хоть сколько-нибудь помогло-бъ М., я написала бы къ ней. Я не чуждаюсь ея, нѣтъ, клянусь, ангелъ мой, любовью нашей,—первой ей открыла бы объятія искреннія, на всю бы жизнь стала ей опорой и до гроба пошла бы рука объ руку; я бы покинула всѣхъ, чтобъ отдать ей всю дружбу и вниманье,—если-бъ это искупило тебя. Боже, Боже! неужели Онъ не слышитъ молитву мою, или я не умѣю молиться. Александръ, тяжело мнѣ.

Но какъ ни мрачна, какъ ни взволнована душа, надъ ней горитъ солнце любви и затопляетъ свѣтомъ своимъ все горькое море, благодатный ангелъ носится надъ нею и сыплетъ манну вѣры, а тамъ, тамъ виднѣется полное, гармоническое святое бытїе. Когда-жъ мы перейдемъ эти горы, много ли морей? Да, другъ мой, я всегда говорила, что мы не совершенно чисты, святы, и потому далеки. Пойдемъ къ Иордану, да увидимъ въ радость Господа, не будемъ унывать, Онъ не отвергаетъ приходящихъ къ Нему, пойдемъ! пойдемъ! О, сколько любви тебѣ, и ты страдаешь. Что-жъ я могу еще?!

10-е. Я рѣдко плачу такъ, какъ плакала надъ послѣднимъ письмомъ твоимъ; еще хорошо, когда *можно* плакать... а когда грудь сжата и слезы падаютъ на сердце, эти капли растопленного олова на рану. Ужасно грустно письмо твое; можетъ быть, прочтя во взорѣ моемъ то, чего нельзя было передать перомъ, склоняясь на грудь мою,—тебѣ было бы легче. О, разлука! Милосердый Отецъ.

Александръ, неужели М. думаетъ, что ты ее любишь? Возьми, возьми, Господи, отъ меня радость и покой, отдай ей. Я не могла бы, мой другъ, скрыть отъ тебя, если-бъ сватовство продолжалось, оно было кончено, или, по крайней мѣрѣ, мнѣ казалось умершимъ это чудовище безобразное, отъ котораго пахнетъ корыстью, съ котораго такъ и сыплется пыль пополамъ съ искрами; въ этомъ отношеніи я была покойна совершенно, даже и забыла обо *всемъ этомъ*, но не далѣе какъ 8-го чудовище это встало и во весь ростъ, во всей ужасающей красотѣ,—и что же воскресило его? Разумѣется то, что ему можетъ *дать жизнь*—интересъ. Фу! 100 душъ крестьянъ и сколько-то тысячъ рублей—вотъ все. Мнѣ не говорятъ ничего, кромѣ намековъ, и я ничего не знаю, кромѣ того, что Мак.

была у него, пріѣхала съ адской радостью, и съ той минуты пошло все такъ, какъ при началѣ сватовства; его ждутъ; я не могу опомниться, не могу вѣрить. Въ десять разъ меньше *минуть* для письма, меня преслѣдуютъ, всѣ жилы дрожать во мнѣ. Все бы это ничто, если-бъ не твои страданія... Мнѣ никто ничего не можетъ сдѣлать, я не боюсь никого, «аще Богъ за насъ, кто на насъ!» Пусть его растеть еще это чудовище хоть съ Голіаза, — я не въ бровѣ и не съ щитомъ пойду противъ него, а съ Богомъ и любовью, сомнѣнье тутъ было-бъ величайшій грѣхъ. А твоя мрачность, а твоя грусть.

О, Александръ, я люблю тебя!

Ночь. Я молюсь, Онъ слышитъ мою молитву, но распоряжается по своему. Другъ, стань со мною вмѣстѣ подъ руку Его, будь, какъ агнецъ подъ ударами, и послѣ, какъ сынъ возлюбленный, ты наслѣдуешь царствія отца твоего. Если, въ самомъ дѣлѣ, это чудовище воскресло, оно *умертвитъ* меня не можетъ, а я должна много пострадать отъ него до его уничтоженія—благодарю Бога! Посылай, посылай, Господи, удары, раны, муки, если я могу ими искупить его, весь адъ на меня, лишь бы мнѣ взглянуть, какъ онъ стоитъ одесную Тебя. Но, ужели ты, Александръ, заслуживаешь такой гнѣвъ Отца—о, нѣтъ! Молитва, молитва! Я спасу тебя ею, ею я снесу на землю небо, ею вознесу тебя на небо—молитва, молитва!

11-е. Минута пробужденія—свинцовая плита на грудь, а за нею и всѣ минуты какъ плита на плиту... Кажется, перестаешь дышать, свѣтъ мерзнетъ въ глазахъ, глухой стонъ вырывается изъ груди,—на что-жъ мнѣ моя чистота, на что высота, и эта необыкновенная сила, онъ не помогаютъ тебѣ, на что мнѣ здоровье, покой, блаженство, на что надежды на будущее,—ты грустенъ, тебя это не улаживаетъ, а *для меня* всѣ состоянія равны, для меня нѣтъ ничего кромѣ тебя. И на что-жъ любовь моя, она не врачуетъ твою больную душу, не облегчаетъ страданій ся, она не отираетъ слезу твою, не хранитъ тебя отъ нападенія людей, даже отъ ихъ пыли, на что-жъ моя любовь? Вотъ я готова до послѣдней капли пролить кровь мою за тебя, быть распятой; не пища и не сонъ поддерживаютъ жизнь мою, я живу однимъ тобою; все это пестрое, неопредѣленное *здѣсь* и все необъятное и непостижимое *тамъ* соединено въ тебѣ. За тобою нѣтъ для меня ничего. И та грудь, которая вмѣщаетъ эту безгранную любовь, какъ небо, какъ вѣчность, какъ Богъ, — эта грудь мрачна и истерзана. Александръ, на что-жъ тебѣ моя любовь? О, мнѣ страшно, я дрожу, въ глазахъ темно, голова кружится.

Ночь. Взоръ на небо, слезу у подножія престола Его, и свинцовая гора исчезнетъ съ груди! Какъ Онъ великъ, какъ милосердъ. Не только позволилъ звать къ себѣ, просить, — Онъ далъ возможность сближаться съ Нимъ, снимать съ себя землю и сливаться съ Нимъ въ единое пресвятое, чистѣйшее существо. Пусть мы хоть въ оврагъ, хоть въ подземельѣ, хоть въ неизмѣримой пропасти, — путь передъ глазами; онъ труденъ, но возможенъ, и со dna самого горькаго, самаго нечистаго моря мы *можемъ дойти* до святой святыхъ, до самого Бога. И ты зачѣмъ унываешь, дай руку... Слышишь ли призывный гласъ Отца, видишь ли, съ какой любовью отверсты Его объятія; радостно плачутъ ангелы, они заждались своихъ родныхъ изъ чужбины; непостижимое блаженство готово странникамъ. Что медлить? идемъ, идемъ. Да воскреснетъ Богъ и расточатся враги Его! Любовь — вожатый нашъ.

12-е. Вотъ что: о сватовствѣ ненадо думать, потому что, можетъ, Снакс.

наговорилъ ей все это, чтобъ только избавиться отъ нихъ; что за радость имѣть жену и съ тысячами, но нѣмую куклу, какою я хотѣла ему представиться; забудемъ объ этомъ вздорѣ. Ангелъ мой, можетъ, есть возможность взглянуть на тебя, Господи, Господи! — Скажи друзьямъ привѣтъ, и я прощаюсь съ ними, жму имъ руку, обнимаю ихъ. Витбергъ, Витбергъ, на кого оставишь ты его? Плачь, плачь, разставаясь съ друзьями, тутъ нельзя не плакать, но взглянувъ на дорогу, перекрестись съ улыбкой, другъ мой, и съ Богомъ въ путь!

Твоя Наташа.

9 декабря, Вятка.

Ангелъ мой! Я ужасно утомленъ, такое множество мыслей, проектовъ, и все это такъ быстро. Знаешь, какъ въ лѣтній день несутся гряды облаковъ, то покрываютъ небо, и сдѣлается темно, то клокъ лазури выкажется, то примутъ форму чудовища, то чего-то таинственного, то окружатъ солнце, и свѣтъ его еще сильнѣе отъ ихъ тѣни. Это солнце, этотъ свѣтъ—ты. А остальное несется вихремъ, бурей, только оно одно тихо, спокойно смотритъ съ своей высоты. Часто думаю я о моей встрѣчѣ съ паенъкой; да, тайна наша должна быть высказана. Мнѣ становится тягостно жить безъ тебя, ты, ангелъ, посланный мнѣ небомъ, должна быть непрерывно тутъ. — Жуковскій читалъ I. Maestri; желалъ бы знать мнѣнне поэта. Арсеньевъ отвѣчаетъ на то письмо, что въ концѣ января подается представленіе обо мнѣ государю отъ наследника. Посмотри, Наташа, какъ внезапно все перемѣнилось, посмотри, эти надежды стали такъ близко, что ихъ нельзя уже разглядѣть, и какъ неожиданно подкрались онѣ. Я все еще отчетливо не понимаю эти слова: отъѣздъ, Владиміръ, представленіе, отпускъ. Я ровно ничего не дѣлаю, сижу цѣлые часы и думаю, беру книгу и ничего не понимаю

10 декабря. Буря бьетъ корабль, туманъ, мгла, уже готовы всѣ на гибель, вотъ кормщикъ палъ на колѣна,—молится. Мгла разсѣвается, и желтая полоса берега вырѣзывается изъ-за нея. Но каковъ этотъ берегъ, близко ли отъ него родина? Наташа, возьми разомъ мои письма, съ начала ноября и до нынѣшняго, да тутъ цѣлая жизнь: и отчаянные стоны, и крики радости, и утомленіе души, и ея восторгъ,—а *мѣсяца тѣтъ*. Иногда мнѣ всѣ наши мечты кажутся такъ быточными, такъ близкими, что духъ занимается.

Сегодня я видѣлъ во снѣ благословеніе пап[еньки]; тебя не было, но онъ съ улыбкой благословилъ меня и сказалъ, что онъ давно знаетъ. Если-бъ!! А иногда я возвращаюсь къ той ужасной мысли, что все это наказаніе за ту несчастную. Можетъ быть, она совѣмъ не отъ этого больна, но ея болѣзнь преслѣдуетъ меня. Нѣтъ, надобно скорѣе ѣхать. Увидимъ, придетъ ли завтра повелѣніе.

13 декабря. Итакъ, во Владиміръ! Кажется, это *последнее* письмо изъ Вятки. Какъ ждали мы этого *последняго*. Но оно только послѣднее изъ Вятки, а разлука все-таки нѣма, туца, гнетуща. Бумага пришла, о надзорѣ ничего не сказано въ ней, и я ѣду безъ жандарма. Въроитно 22 числа пушусь въ путь. Ну, что-то будетъ—перемѣна, обновленіе, а все черныя полосы пересѣкаютъ лазурь.

Письмо отъ тебя получилъ, ты все моя прелестная, дивная подруга! Отвѣчать тебѣ не стану, я что-то полонъ и пустъ. Не знаю, что со мною дѣлается, придетъ минута, я такъ радостно смотрю на тебя, такъ исполненъ жизни и любви, а черезъ минуту — саванъ и гробъ. Эта мысль тебѣ очень часто у

меня. Да, чужіе мы здѣсь, лишь бы вмѣстѣ. Нѣтъ, прощай, земля и люди. Здѣсь слишкомъ тяготитъ все. Но вмѣстѣ, вмѣстѣ.

О, Наташа, ты права, писавши однажды, что, можетъ, ты сгорѣла бы, приблизившись ко мнѣ. Да, я дышу огнемъ, у меня вмѣсто крови огонь, вмѣсто мыслей огонь. Какъ я прижалъ бы тебя къ моей kloпочущей груди, Natalie. Да и этотъ то огонь сожжетъ самого меня, онъ не вымѣривъ по груди человѣческой. Я долженъ умереть, потому что нельзя вынести разомъ это блаженство — любовь ангела и это несчастье — разлуку и преграды, потому что душа, испытывавшая радость неба, не хочетъ больше земли. Потому что я твой Александръ, а тебѣ душно и тѣсно здѣсь. — Полина поздравляетъ тебя съ *сближеніемъ*, я остаюсь и погожу поздравлять съ этимъ. Посмотримъ, что будетъ, а тамъ ужъ радоваться.

Твой Александръ.

14 декабрь. Ну, прощай же, прощай городъ, въ которомъ прошли почти три года моей жизни. Вѣроятно, мы съ тобой не увидимся. О, съ какимъ чувствомъ ненависти я смотрѣлъ иногда на твои стѣны. разстанемся en bons amis. *Здѣсь* я узналъ, что такое униженіе, *здѣсь* я долженъ былъ поклониться чудовищному Калибану, наукъ и гена вмѣстѣ. У меня въ головѣ кружилось, и грудь стесала, — а выбора не было; здѣсь встрѣтилъ я дѣвочку съ ребячьей душою и съ огненными глазами; я взлелѣялъ ее, бросилъ огонь въ ея душу и ходилъ за ея душою, какъ за цвѣткомъ, и здѣсь же я встрѣтилъ юношу, не знавшю ни силы своей, ни цѣны. — и ему огненное крещеніе, и тогда я позвелъ юношу къ этой дѣвушкѣ. И они будутъ счастливы цѣлую жизнь! Здѣсь — стоялъ я у изголовья несчастнаго Витберга, здѣсь видѣлъ поэта во всей славѣ — Жуковскаго. Здѣсь, наконецъ, я встрѣтилъ лилію, вырастающую на гробу, и сорвалъ ее для того, чтобъ насладиться запахомъ, и задушилъ ее... Отсюда повею я воспоминанья, переплетенныя дружбой, на черномъ фовѣ сукна, которымъ покрываютъ плаху. Но здѣсь же пламенно и чисто мечталъ я о тебѣ, здѣсь лилися слезы, которыя еще едва обсохли. Странно, мысль смерти все яснѣе, чище дѣлается въ моей головѣ. Будто мы не довольно жили и будто намъ *здѣсь* еще есть будущее. О, Наташа, какъ ты высока въ послѣднемъ письмѣ, говоря, чтобъ друзья не оплакивали насъ тогда. Но наше время еще не пришло, хоть одну гармоническую страницу, хоть одинъ день поэзій и любви, безъ всякой примѣси посторонняго.

Все мелкое, земное сдунулось съ меня въ послѣднее время, — я опять поэтъ. Но раны не зажили, кровь струится. Ангелъ, прилети ко мнѣ, отвѣй твоимъ дыханьемъ черные образы.

Наташа, надѣйся, — легко возможно, что я весною буду въ Москвѣ! Какъ при этомъ словѣ расширяется душа, виѣщаетъ небо и землю, и сама пропадаетъ въ безконечности, то есть, въ любви. Любовь, любовь — кромѣ любви нѣтъ ничего.

Да, многіе горячими слезами оплачутъ мой отъѣздъ. Друзья, въ сущности, я вамъ совѣмъ ненуженъ. Моя жизнь совершилась, она кончена. Посмотрите, вонъ тамъ далеко стоитъ ангелъ съ улыбкой, его Богъ послалъ, чтобъ принести туда мою душу.

Александръ.

Дек. 14-е, Москва.

«Grâce, grâce pour moi!» — Съ тѣхъ поръ какъ я это прочла, — что-бъ ни дѣлала, гдѣ-бъ ни была, въ душѣ раздаются эти слова, спѣшу все кончить,

не здѣсь мое призванье, не на эту службу послалъ меня Господь, все было на землѣ и золото, и таланты, и красота, и дружба, и любовь, но не было любви Александру, не было ему награды... Пройдутъ часы неволи, рабства, утомленная толпа заснетъ, — свободны руки, свободенъ взоръ, сильнѣе твой голосъ, яснѣе слова «Grâce pour moi»... И душа, не переливая молитву въ слово, этотъ маленький бѣдный сосудъ, въ которомъ и одна капля ея помѣститься не можетъ, молится всѣмъ огнемъ, всѣмъ своимъ пространствомъ, всей силой, всей любовью... рѣкою льются слезы.

Ночь. Грусть моя такъ священна, такъ полна тобой, она даръ отъ Бога, она единственное мое достоянiе въ разлукѣ, — сонъ похищаетъ у меня ее, я не могу спать. Долго, долго, погасивъ огонь, сижу на постелѣ, — вотъ всѣ они передо мной, *эти три года*, и что-жъ видно на этомъ ужасно мрачномъ полотнѣ — чаша, крестъ, сиянье... И льется, льется дальняя, дивная пѣснь чрезъ все это нѣмое, мертвое время. — *Въ будущiе три боюсь* взглянуть... Александръ! Александръ!...

Вечеръ, 16-го декабря. До утра буду писать и не напишу, что со мною отъ 1 до 7 д. Письмо получила. Все, все хорошо въ немъ, а всего лучше молитва, — меньше версть межъ нами, меньше земли — слава Богу! Видишь, какъ наши узкія, трудныя дороги сближаются, вонъ тамъ сходятся вмѣстѣ — видишь, а за ними широкой, свѣтлой, *одинъ* путь!.. Да будетъ надъ тобою непрерывно благодать Божія, да сопутствуетъ она тебѣ во всемъ, въ дѣлахъ, въ мысляхъ... да не коснется дыханіе врага души твоей, ты былъ еще слабъ, когда *онъ могъ* поборотъ тебя... Вонъ мчатся всадникъ на борзомъ конѣ, и онъ ползаетъ, и онъ былъ въ пеленкахъ, а теперь обуздываетъ дикаго звѣря, теперь его не перегонитъ тысяча другихъ всадниковъ, — мгла и дымъ цѣлаго ада не затмитъ точки свѣта небеснаго, и эта точка теперь яснѣе солнца, огромнѣй всего видимаго! — «Любовь, которая привела васъ другъ къ другу, — да приведетъ васъ къ Тебѣ!» вотъ все, что я говорю Ему словами и душой, тутъ все, *больше* не существуетъ.

Слава Богу за М.! до гроба мы должны быть опорой и крышей ей и ея дѣтямъ. Вѣрно, теперь сборы въ дорогу, я думаю, это послѣднее письмо въ Вятку. Благослови, Господи! — прощай Вятка, прощай, ты не можешь представить, Александръ, какъ жаль мнѣ друзей, вѣдь, я люблю ихъ, какъ самыхъ близкихъ, милыхъ, родныхъ, съ которыми никогда не разлучалась, — кто утѣшитъ ихъ??..

17-е. Боже мой, сколько въ этомъ словѣ — восемьсотъ версть ближе! Когда я понимаю его вполнѣ, — не могу скрыть восторга, ухожу къ себѣ или куда-нибудь, гдѣ не видно меня людямъ, одинъ Онъ пусть видитъ меня тогда. А бываетъ время, какъ тяжело скрывать, притворяться — но я и не притворяюсь, они сами не видятъ, — но этого мало, хотѣлось бы такъ, на свободѣ, безъ опасенія, помечтать, поговорить, подѣлиться со всѣми, открыть всѣхъ сердца наслажденью чистому, высокому, всему благородному, а тутъ нало и взоръ даже опускать на землю, тогда какъ онъ стремится къ небу, — это ужасно.

Итакъ, мартъ, мартъ... Но еще Богъ вѣстъ! а надежда все не покидаетъ, — какъ сильна, какъ могущественна надежда, сколько отрады и мученья приноситъ она разомъ. — Странно, я нисколько ужъ не боюсь папеньки; любовь его къ тебѣ огромна, мнѣ кажется даже едва ли будетъ сопротивленіе, — а здѣсь, у насъ... О, это бездонная кадка сору, но, вѣдь, и к[нягиня] меня любитъ, иногда это очень ясно, а чѣмъ болѣе ея любви, тѣмъ болѣе пріятствій; да впрочемъ, она власти надо мною не имѣетъ, она можетъ только задержатъ у себя свои пять тысячъ и деревню, а я не ее, только мнѣ жаль ее. Ахъ, если-бъ было въ нашей

возможности растолковать имъ, какъ были бы они счастливы, благословляя насъ, какъ спокойно перешли бы на родину... Не дано намъ этого,—предоставимъ Провидѣнію довершить начатое имъ. А храни Богъ прийти мнѣ къ Тебѣ невѣстой *из чужой дома*, тутъ такъ много грустнаго, мрачнаго... Нѣтъ, нѣтъ земной отецъ не опровергнетъ благословіе Отца Небеснаго! Сколько-бъ утѣшенья. сколько-бъ отдыха нашель онъ,—вѣдь, ужъ у меня нѣтъ отца, вся эта любовь обратилась къ нему, я его ужасно люблю, и какъ всегда мнѣ трудно скрывать радость, какъ вижу его, и боюсь, онъ не одинъ разъ оговаривалъ меня, что я слишкомъ крѣпко цѣлую руку его. Бросилась бы къ ногамъ его, осыпала бы ихъ поцѣлуями, слезами бы облила, сказала бъ кротко — папенька, папенька! а надо издали поклониться и съ холоднымъ видомъ сѣсть въ уголь. Я бы боялась остаться съ нимъ одна, я надѣлала бы дурачествъ. Приѣхавши изъ деревни, я была у него только разъ, отъ меня тихонько ѣздитъ къ нему к[нижня]. Ангель мой, что съ тобою, какъ вообразишь это будущее полное, обширное, яркое, кругомъ любовь, кругомъ привѣтъ, кругомъ родныя объятія, когда вообразишь, что это будущее — настоящее. — Папенька, папенька! пожалѣй дѣтей, пожалѣй себя! Какъ ни представишь будущность,—все дивно, все божественна эта будущность—съ тобою и въ кругу родныхъ, друзей, и среди семьи чужихъ горъ, среди степей, въ безднѣ, въ раю — все дивно, все свято тобою, мой Александръ.

18-е. Свѣтло на душѣ, перечитываю письмо,—еще свѣтлѣе становится. Сначала я ужасно радовалась переводу во Владиміръ, но, увидя твои мученья,—все помергло. Теперь опять съизнова рдѣетъ Востокъ! Какъ разливается свѣтъ... будемъ готовы, не знаемъ дня и часа, когда придетъ женихъ, не будемъ бранить ни одной минуты;— и вотъ исчезнетъ ночь, свѣтъ сольется съ свѣтомъ и во второй разъ раздастся въ небесахъ — Слава въ вышнихъ Богу!.. Другъ мой, какъ пусть свѣтъ, и какъ полна каждая минута единенья, я увѣрена, что я несносна каждому свѣтскому *порядочному* человѣку; но ужъ зато чего же и мнѣ стоить занимать такихъ гостей, избави Богъ *впередъ* ихъ посѣщенія!.. Что бы за изящная, за чистая, что бы за высокая была жизнь, раздѣленная вотъ съ такими людьми, какъ Витбергъ, Огаревъ и всѣ *наши друзья*; а какъ же дѣлится жизнь, то есть, первое сокровище, — душу—Бога, съ этими уродами, съ пустыми болванами, на которыхъ вмѣсто подобья Божія какія-то каракули... Долго ли то моя жизнь будетъ литься въ этихъ узкихъ, безобразныхъ берегахъ, поросшихъ лишь терніемъ и на которыхъ раздастся одинъ страшный противный крикъ ворона... Скорѣе, скорѣе въ раздолье, тотъ ароматъ, тѣ цвѣты, тѣ пѣсни... О! скоро, смотри, ужъ послѣдняя звѣзда гаснетъ.

А со всѣмъ этимъ, какъ жаль Вятку! Витбергъ, Витбергъ, будетъ ли кто въ состояніи вознестись до тебя такъ близко, какъ Александръ, отдохнетъ ли когда еще взоръ твой на немъ, приведи и меня Богъ коснуться сандалій твоихъ. Многие общаются по полученіи желаемаго сходить къ Троицѣ, въ Кіевъ, я общаюсь *тогда* при первой возможности сходить на поклоненіе увѣнчанному старцу, принять его благословіе, вмѣстѣ съ нимъ возблагодарить Его. Я не могу выразить ему уваженія и благодарности, но ты желаешь и я напишу. — Ежели ты говоришь съ Мед. обо мнѣ, скажи ей, что когда она будетъ вспоминать обо мнѣ, не забывала-бъ, что у ней нѣтъ родной ближе, что до гроба я ей сестра, другъ, якорь на бурномъ океанѣ жизни; вотъ ей рука моя, моя клятва; ежели-жъ все это отвергнуто,—пусть не знаетъ и того, что за нее вѣчная молитва.

Давеча папенька прислалъ «Рѣчь»—благодарю. Дай Богъ, чтобъ ее прочли всѣ, *какъ я!* Она этого достойна.

Обними за меня въ послѣдніе Полину и Скворцова и всѣхъ. И въ этой мрачной подземной жизни есть минуты святыя, — какъ оглянешься душой и кругомъ изящное, великое, чистое, кругомъ любовь и симпатія; владѣніе миліонами, тронами было бы пожертвовано этимъ минутамъ, если-бъ ихъ понимали.

Вотъ ужъ и 19-е, какой холодъ, а ты будешь въ дорогѣ, вотъ еще забота; но тотъ, кто спасъ тебя во время переправы въ разлитіе, спасетъ и тутъ!

Снакс. не будь, онъ боленъ, къ нему посылають морсу, ждуть его въ праздники,—вотъ и всѣ.

Скоро мѣсяцъ, какъ мы не видались съ Emilie, зато каждый день пересылаемся; въ участіе ея готовится огромная перемѣна, навѣрное не знаю, напишу послѣ. Радость за радостью: говорить—Боборыквы въ дорогѣ! Саша, Саша, моя Саша, я въ восторгѣ, что увижу ее. Ну, прощай, мой ангелъ, мое свѣтило! Крѣпко, долго цѣлую тебя, твоя Наташа ¹⁾).

Денября 15-го, Вятка въ послѣдній разъ!

Душа моя, вмѣсто 22 я ѣду 26 утромъ рано. Витбергу такъ хотѣлось, чтобъ я провелъ первой праздникъ съ ними, что я отложилъ, но 26 рѣшительно и непремѣнно ѣду, слѣд., 27 къ ночи въ Яромнѣ, 29 въ Нижнемѣ, и 31 во Владимірѣ. Новой годъ—и отъ доски до доски все новое.

Декабря 18-го, суббота. Смѣхъ съ моимъ путешествіемъ: теперь губернаторъ хочетъ, чтобъ я 26-го вечеръ провелъ у него; итакъ, оно опять сутками отдалилось. А я что-то все это время пустъ, скучныя хлопоты, всякіе вздоры, безпрестанныя посѣщенія. — Когда пап[енька] пріѣдетъ во Владиміръ, я ему лично вручу письмо, ибо при разговорѣ онъ можетъ остановить на первой фразѣ, а письмо долженъ прочесть. Ну, какъ-то развяжется этотъ узелъ, которой въ нашей жизни любви сплели всѣхъ родовъ несчастія. Сегодня будутъ письма; но ужъ отъ тебя не жду. Не знаю предчувствіе или что, но всякой вечеръ на меня налетаетъ мрачная грусть и давить тяжелымъ камнемъ. Ахъ, ужъ лишь бы намъ взглянуть другъ на друга, лишь бы разъ вперить взоръ мой въ твой взоръ, обращенной на меня, и согласенъ съ тобою—отдать жизнь и все; нѣтъ, жить слишкомъ тяжко. — Ты, я думаю, давно мечтаешь, что я на дорогѣ; но скоро, скоро.—Правда, со мною многого лишаются здѣшніе друзья!

Декаб. 19. Твое письмо отъ 11-го.—Я растерзалъ душу твою моимъ письмомъ отъ 30 нояб... Все письмо твое писано съ нѣкоторымъ негодованіемъ. Прости меня, ангелъ, прости, Божественная. Вспомни, я тебя разъ спросилъ: была ли ты счастлива, болѣе ли ты любила меня, ежели-бъ душа моя была ясна, чиста. Ты говорила—нѣтъ. Неси же слѣдствія этой судорожной души, вотъ она своими болѣзненными изломанными голосами и вливаетъ грусть въ твою ангельскую душу. Но теперь ужъ эта болѣзнь миновала. И ты говоришь: «на что я тебѣ, и на что моя любовь»? Наташа, неужели ты не знаешь, на что ты мнѣ и на что твоя любовь. Послѣ этого и Богъ можетъ спросить вселенную, на что онъ ей. Зачѣмъ написала твоя рука эту холодную мертвую строку?

¹⁾ На письмѣ приписка по-нѣмецки рукою, повидимому, матери А. Ш. Герцена: Vergesse nicht an Shuckofski und an Arsenoff zu schreiben und mit dem neuen jahre zu gratulieren.
Примѣч. издат.

Опять сватовство!.. Да скажи ему прямо, неужели онъ и этого не стоятъ. Ты права, Natalie, права, нѣтъ намъ удѣла здѣсь; итакъ, пусть наша жизнь будетъ приготовленіе къ *одному* свиданью и къ вѣчному соединенію тамъ, гдѣ нѣтъ времени. — Отъ Тат. Петр. получилъ письмо; вспомнилъ былое, я дружень съ ней *былъ*, вспомнилъ это время розовое. И вдругъ обернулся на настоящее. Одно свѣтлое въ моей жизни, — это ты, ангелъ, это твоя любовь (на что мнѣ твоя любовь??) и остальное мрачно, черно. — Боже, когда же исполнится мѣра страданій. назначенныхъ намъ! Прощай.

Твой Александръ.

21 декабря. Всѣ меня упрощиваютъ отложить до Нового года отъѣздъ, но я не согласенъ, внутренній голосъ говоритъ: поѣзжай, и я поѣду. А зачѣмъ? Куда я тороплюсь. — Туманъ, изъ-за котораго ничего невидно. Но тамъ во Владимірѣ я могу *четыре* раза въ недѣлю имѣть вѣсть отъ тебя, могу четыре раза писать къ тебѣ и мое письмо свѣжее, теплое отъ моего дыханія на другой день будетъ прилетать отогрѣвать тебя. И душа моя покойнѣе будетъ тамъ; сверхъ этого, я хочу ѣхать отсюда, чтобъ грусть разлуки съ друзьями была уже въ прошедшемъ. Оттуда я могу слѣдить шагъ за шагомъ проклятую исторію съ женами. Сегодня цѣлую ночь снилась мнѣ ты — и такъ хороша, такъ мила. Неужели еще годъ пройдетъ до нашего свиданья, а, можетъ, мнѣ можно будетъ пріѣхать не въ Москву, а къ вамъ въ Загорье. Ахъ, ежели-бъ мнѣ удалось склонить папеньку. Боюсь и мечтать, и тогда ты пріѣхала бы ко мнѣ во Владиміръ. Цѣлые часы, дни сидѣли бы мы другъ съ другомъ. И все это необъятное блаженство въ рукахъ отца, и неужели рука его не дрогнетъ задушить цѣлую будничность свѣта и рая! Я не могу послѣдовательно писать. Кипитъ кровь, волнуется душа.

Новая фаза жизни начинается! Скорѣй перевернемъ страницу, а ежели она еще черныя, — всё равно до дна пьемъ чашу.

А какъ грустятъ обо мнѣ Витб., Полина и Скворцовъ; много было я имъ, послѣ меня останется огромное пустое мѣсто. Что-жъ дѣлать, — они звали, что встрѣтились съ пилигримомъ, что его путь неоконченъ, они должны были въ день первой встрѣчи подумать о днѣ разлуки. Когда ты получишь это письмо (28), я *вѣроятно* буду верстахъ въ ста отъ Вятки, — ангелъ, твое благословеніе на дорогу.

22-го декабря.

Ты сказалъ, что ѣдешь по полученіи повелѣнія черезъ 10 дней и что его надо ждать 12 или 13, — можетъ, сегодня же ты прощаешься съ Вяткой, въ кругу друзей, которые хотя въ послѣдніе наглядѣться, послушаться... Можетъ, уже и одинъ, на морозѣ, съ огнемъ въ груди, летишь къ родному краю... Иной посмотритъ на меня (т. е., кто-нибудь изъ тѣхъ, которые вѣкъ смотрятъ и вѣкъ не видятъ) и скажетъ: завидно! о чемъ ей заботиться? Когда жъ *знакомый*, родной встрѣтитъ взоръ мой, о, какъ взволнуется и его грудь, какъ, можетъ быть, онъ уйдетъ далеко отъ меня и молитвы наши сольются вмѣстѣ. Да, вѣдь это правда, я препокойно сижу съ утра до ночи въ креслахъ, молчу, даже сложа руки иногда: но слѣди за движеніемъ души, измѣрь ея труды, принеси ей покой! при этомъ совѣтъ укажетъ *каждый* на небо и на тебя.

Грустно, сегодня бы должно быть письмо, а нѣтъ его... Ужъ четыре дня я съ тобой ни слова, оттого что мнѣ нездоровилось и *добрые люди* не оставляли меня

ни на минуту, утомилась ужасно. Давеча была Emilie, мила, хороша наша сестра, но я все болѣе и болѣе увѣряюсь, что нѣтъ на свѣтѣ существа, который бы постигъ *вполнѣ* нашу любовь. Боже мой, въ какой мишурной одеждѣ выходитъ она изъ ихъ усть, — и красотѣ истинной, божественной нѣтъ входа въ ихъ душу. Очень знаю и вѣрю, что я не единственная, да почему же не вѣрятъ они въ жизнь Бога на землѣ, жизнь высочайшую, чистѣйшую, святую и полную, гармоническую, будто человекъ, дуновение Божіе, не можетъ возвратиться къ Отцу, пронесшись по землѣ такимъ же чистымъ, какъ вышелъ онъ изъ усть Его? Александръ, ангель мой, зачѣмъ эта вѣчная примѣсь земли, зачѣмъ эти куски мяса, желѣзные ножи, вилки за трапезой ангеловъ, зачѣмъ эти конвульсии отъ объѣденія, пьянства, эти страшныя лица, стонъ — тамъ, куда-бъ сошелъ Отецъ Небесный съ своей семьей, гдѣ лилась бы пѣснь ангеловъ.... — О страшно! дай спастись мнѣ на груди твоей, унеси меня въ ту сторону, по коей изныло мое сердце.

24-е. Пусть зовутъ меня святошей, ханжой, пусть смѣются, говоря, что я хочу изъ тебя сдѣлать монаха, — пусть, кто избѣгалъ поношенія толпы, становясь поодаль отъ нея? Другъ мой, твоя молитва меня носкищаетъ! Ты правъ, ты правъ, сказавши мнѣ «радуйся»; да, мой ангель, если-бъ зналъ ты, сколько спокойствія, сколько радости ты внесъ въ мою душу одной строкой... Не о той молитвѣ говорю я, которая заключается въ безчисленныхъ поклонахъ и восклицаніяхъ, *они* не поймутъ, ты понимаешь. Что же первое *въ жизни*, если молитва послѣднее? О! Да снидетъ на тебя Духъ Господень, да озаритъ онъ тебя свѣтомъ! Приближеніе завтрашняго дня растворило сердце мое всему возвышенному и святому, какое духовное торжество и веселіе должно наполнять души Христіанъ... А у нихъ начнется *завтра* маскарадъ, и *этотъ день* они проведутъ глупѣе, гаже всѣхъ будень... О, братія! о, родные мои, какъ не любить васъ мнѣ, когда Онъ снишелъ для васъ на землю, какъ не лить мнѣ слезъ за васъ, когда Онъ пролилъ кровь. Прощай, когда-то, мой свѣтъ, мы встрѣтимъ этотъ день какъ должно, когда-то мы будемъ его *праздновать*? Теперь ты гдѣ мой ангель? покинемъ землю. приготовимся къ встрѣтенью завтрашняго дня—о, Александръ!

25-е, *суббота*. Тебѣ, тебѣ первое поздравленіе! Оставимъ толпу ползати и суетиться, она, вѣдь, не пойметъ нашего восторга, ей надо мѣсить пироги, идти на рынокъ покупать провизію, развивать папильотки и продавать душу. . а мы .. О, ангель мой, прими это совершенное поздравленіе, полное радости духовной, полное слезъ восторга, скорѣе въ объятія другъ друга, и туда, туда! Слышишь — запоемъ и мы «Слава въ вышнихъ Богу»? Сегодня получу письмо, сегодня надѣюсь видѣть Сашу Б.; говорятъ, они ужъ выѣхали 17—о, праздникъ! праздникъ!

Вечеръ. Знаешь ли ты, какъ ужасно, думая черезъ минуту объять друга, такого друга какъ Саша Б., и узнать въ то же мгновеніе, что она за сотнями верстъ, что нѣтъ надежды видѣться съ нею ближе года... Это меня поразило, я долго стояла окаменѣлою, и все окружающее меня было затемнѣно, уничтожено этой мыслию Тяжело мнѣ, но, вѣдь, за то твое письмо! Твое письмо!

Ночь. Чудное со мною—о, споди, споди съ меня тѣло, воротись въ землю и пусти меня; вонъ, вонъ онъ тотъ свѣтъ предивный, вонъ мой Александръ, — цѣль жизни моей и вѣчности — пусти! или превратись ты въ крылья, голову оставь, я буду его слушать, я буду на него смотрѣть, я буду цѣловать его и, когда онъ спитъ, буду носиться надъ нимъ, навѣвать на него рай; когда онъ утомленъ, я прилечу на грудь его, я сама буду отдыхать на его груди—а ты земля!

О, нѣтъ, не касаться тебя, не касаться; мое жилище до вѣчности будетъ между небомъ и землею, мое жилище будетъ его грудь!..

Прочь матеріализмъ! прочь даже этотъ стаканъ воды, вода для меня самое сноснѣйшее изъ всего, что употребляетъ человѣкъ, прочь и она. нѣтъ, это все кричить о нуждахъ, о слабостяхъ, о заключеніи, о рабствѣ. Господи, Отецъ мой небесный, благодарю Тебя... Что-бъ осталось со мною, кто-бъ прочелъ эти слова... какою бы отчужденной странницей скиталась я межъ людей, меня бы боялись всѣ какъ безумной, или бы я соглѣла—а Ты, Всемогущій, Ты, для меня преклонилъ небо на землю—о, Александръ, о, мой покой, моя родина, мой рай!..

Божественныя минуты, когда я одна хоть у себя въ углѣ, а тамъ,—они меня замучили своею злостью, своею добротой, разговоромъ, молчаніемъ, все это равно, какое бы ни было названіе, но все *они*, а я не могу дышать съ ними. Да и кто-бъ не былъ, мнѣ скучно со всѣми, со всѣми, я устаю, потому хоть на самую малость, а все *надо* сбѣснить душу, въ свѣтское платье, фу... Нѣтъ, нѣтъ. ради Бога, отойдите вы прочь, я не могу вамъ ничего, возьмите все, возьмите до послѣдней пылинки, мнѣ его, его!.. Ахъ, милые родные, друзья и благодѣтели, отдаю вамъ все кромѣ своего присутствія, вѣрьте ни въ чей груди нѣтъ такого живого отзыва, такого истиннаго чувства, люблю васъ. благодарю, молюсь о васъ, только оставьте меня, забудьте обо мнѣ... Александръ! Александръ! Можетъ, ужъ ты приближаешься къ Влад[иміру] и весна-то приближается...

26-е. Сегодня для меня начало и заключеніе праздниковъ — визитъ къ папенькѣ. Александръ, можетъ быть воображеніе, можетъ быть—что хочешь скажи, а папенька не наведетъ ни облачка на наше небо. Вспомни, передъ тѣмъ, какъ узнать о твоёмъ переводѣ во Владиміръ, я думаю за нѣсколько дней, мрачность моя разсѣялась, спокойно взглянула я на Вятку и писала тебѣ, что надѣюсь видѣться съ тобою скоро и что эта надежда основана на одномъ Его милосердіи,—предчувствіе меня не обмануло тогда, я увѣрена, что и теперь душа не говоритъ фальшиво. Видъ его былъ такъ кротокъ, такъ спокоенъ, такъ милостивъ,—никто изъ бывшихъ тутъ не замѣтили и тѣни происходившаго въ груди моей, говорили всѣ, какъ говорятъ *обыкновенно*, и я *также* говорила. Да, вѣдь, это странно, какъ любить болѣе, какъ я люблю мою родную маменьку, хотя она мнѣ дала только жизнь, хотя мы и не знаемъ другъ друга, но это чувство изъ сильнѣйшихъ въ моей груди; послѣднее время я не спала ночи и дрожала всѣмъ тѣломъ при малѣйшемъ стукѣ, ожидая ее въ Москву; я воображала, какъ отберю ей душу мою, какъ ее это успокоить, обрадуетъ, какъ она благословитъ меня, тогда-бъ вольнѣе, полнѣе было мое блаженство, ну, словомъ, ты постигаешь, *какъ я люблю мою мать*, какъ величественны и восхитительны картины, гдѣ вокругъ насъ родные, друзья, несчастные... Но я восхищаюсь ими только тогда, когда опускаю глаза внизъ, на темной землѣ онѣ явственны, а тамъ, тамъ, гдѣ горитъ солнце, тамъ не видно ихъ, тамъ нѣтъ родныхъ и друзей — одинъ Свѣтъ! и въ этомъ свѣтѣ слито все изящное, святое, въ немъ его не раздѣляютъ формы, въ немъ все Александръ—Любовь—Богъ!..

Итакъ, ты еще пируешь въ Вяткѣ—пора, пора къ дому.

30-е. Одинъ изъ послѣднихъ вечеровъ я провела такъ весело, такъ пріятно. — все говорила о тебѣ, о, какъ много значить говорить! и свѣтлы и ясны мечты. но имъ душно, тѣсно, и такъ больно грудь, когда имъ некуда вылиться; говоря о тебѣ, я выросла, блаженство мое увеличилось, мракъ разсѣялся, даже на другой день мнѣ было весело. Но вдругъ *имъ* вздумалось попробовать еще счастья

и показать меня Свакс.; низкаго, подлаго — не измѣришь, и вотъ, устройвъ все тайно отъ меня, везуть на показъ, у меня не стало терпѣнья, и въ этихъ случаяхъ я молчать не умѣю. Я сказала имъ все, что они дѣлаютъ; вотъ надо было видѣть *мгъ* удивленье и бѣшенство, третій день ни на минуту мнѣ не даютъ покоя.

Какъ грустно, какъ грустно! Другіе собираются къ тебѣ, а я... что то громче звучать цѣпи, глубже врастаютъ въ тѣло или оттого, что скоро имъ порваться... Вѣрно уже будетъ письмо еще изъ Вятки, а это ты получишь уже на новоселье. Дай, Богъ, чтобъ новый годъ все было новое! а старое... не скоро заживутъ его раны.

Нѣтъ, мнѣ очень грустно, прощай.

Твоя *Наташа*.

А, вѣдь, все вздоръ. мой другъ, пройдетъ горе, будемъ радоваться, какая я слабая, жалкая. Вѣра, Надежда, Любовь! Любовь!..

Денября 27, опять Вятка.

Ангель, ангель! — вотъ такую я тебя люблю, о, какъ прелестно твое письмо отъ 18-го. Ангель, ангель! Другъ мой, дай твою руку, я ее прижму къ сердцу, дай твои уста, я напечатлѣю на нихъ поцѣлуй любви чистой, неземной. — Витбергъ велѣлъ тебѣ сказать, что онъ слезами омочилъ твое письмо, и я видѣлъ это. Какъ ты высока, изящна, Наташа, съ тобой я спасенъ, съ тобой я выше чело-вѣка. Тебѣ странно покажется, что я не писалъ къ тебѣ въ праздникъ, я ушибся и у меня болѣла голова, а вчера я ѣздилъ съ визитами. Замѣть, я у васъ упалъ на полу 25 дек. 1833, а въ казармахъ упалъ съ лѣстницы 25 дек. 1834, наконецъ, 25 дек. 1837 я ушибъ себѣ голову, — что за странное повтореніе. Отъ этого я и не поѣхалъ 26, ибо очень непріятно съ головною болью ѣхать по Вятскимъ *мыркамъ*. Можетъ, поѣду послѣ завтра, потому что завтра на балъ у губернатора. Впрочемъ, я не тороплюсь — ранѣ ли, позже ли нѣсколькими днями во Владимірѣ это все равно, а мнѣ жаль здѣшнихъ друзей. Жаль Витберга, хотя онъ, закованной вѣчно въ свое монументальное величіе, и старается скрыть горестъ; но она прорывается. А тамъ Полина и Скворцовъ — мнѣ кажется даже, что я не могу любить ихъ наоборотъ столько. Представь себѣ, что Сквор[цовъ] на дняхъ сказалъ мнѣ со слезами на глазахъ: «Герцень, будь веселъ въ день твоего отъѣзда, а то, ежели и ты будешь грустенъ, я не знаю, что со мною будетъ». Вотъ какая симпатія сопровождаетъ твоего Александра. *Твой* Александръ и долженъ находить ее повсюду, *тобою* изящной, высокой. Не отнимаю твоихъ надеждъ на папеньку — и не утверждаю въ нихъ. Увидимъ!

Вся жизнь моя во Владимірѣ, которая, кажется, недолго продлится. будетъ посвящена одному поклоненію Наташѣ, тамъ издали я помолюсь ангелу, тамъ буду очищать душу, ибо буду одинъ. Такъ пилигримъ останавливается, не доходя Иерусалима, гдѣ-нибудь въ Емаусѣ и просить Господа прощенія прошедшаго и милости коснуться гроба Христова. такъ омываетъ онъ пыльное тѣло въ водѣ Иордана и съ пылью сливаются съ него пятна. Лишь бы по силамъ былъ срокъ — о, какъ тягостно видѣть вблизи возможность и ограничиваться одной возможностью. — Я буду писать во Владимірѣ, звуки настрадавшейся души, болѣзнь и судорогу сердца — надобно вылить на бумагу, это будутъ тѣни, а сама картина — блаженство любви, блаженство, которое вноситъ ангель въ душу чело-вѣка. Да,

этой высотѣ, можетъ, не противустоить холодной взоръ папеньки. Люди удивительны, я не знаю жертвы, которой онъ не сдѣлалъ бы для меня, а тутъ и жертвы не требуются и *вся выгода* съ его стороны. А поневолѣ голосъ сомнѣнія пронзительно свистеть среди аккордовъ любви. А въ сущности намъ до этого дѣла нѣтъ, заботы о вѣчномъ унижаютъ любовь. Ежели Творцу угодно было, чтобъ мы здѣсь были соединены, мы будемъ соединены, ежели нѣтъ, мы увидимся (этими я не могу пожертвовать) и—умремъ! И наша жизнь отдастся назадъ такъ полною, какъ ежели-бъ мы прожили 500 лѣтъ. Ты говоришь: «широкой, свѣтлой, *одинъ путь*», а какое дѣло, сколько верстъ по этому пути, хотя бы онъ былъ пройденъ въ одно мгновеніе.—Совершенно! Но до него я не хочу слушать о смерти. Это совсѣмъ не чувственное желаніе тебя поцѣловать, упиться твоими прелестными чертами, обвить руку около твоего стана. О, нѣтъ! *Узнать* то, чего нельзя сказать перомъ, послушать тѣхъ звуковъ, которые льются изъ взора... нѣтъ, нѣтъ это не чувственное, не вещественное желаніе. — Ты понимаешь!

28 декабря. Все готово—завтра утромъ обниму друзей, пролью слезу имъ. другую той несчастной, и въ повозку. Когда ты получишь письмо, я уже буду во Владимірѣ, впрочемъ, новой годъ вѣроятно буду въ Нижнемъ. Прощай, мой ангель! Съ молитвою къ Богу, съ молитвою къ тебѣ на устахъ проѣду я эти 800 верстъ.—Ну, друзья, утрите же и вы слезы—хоть моими слезами.

Прощай, Вятка! Благословеніе изгнанника на тебѣ!

Прощай, ангель—ахъ, если-бъ до свиданья.

Твой Александръ.

Ночь съ 31 дек. на 1 янв. Поляны. 46 верстъ отъ Нижняго.

Новый годъ! Ангель Наташа, поздравляю, я ближе къ тебѣ на 600 верстъ. Всю дорогу безпрестанно была ты у меня передъ глазами.— и звѣзда любви, Венера, свѣтила. Ну, спи съ Богомъ, а я въ путь. И теперь сажу въ скверной лагучѣ. Прощай. Милая. ангель, сестра—все.

Твой Александръ.

Москва, декабрь 30.

Твое письмо! Теперь ты долженъ быть въ Нижнемъ-Новгородѣ. Нижній! Помнишь ли ты, другъ мой, что разставшись, первая строка я получила отъ тебя изъ Нижняго? Это было 1835, апрѣля 16. «Каждая минута отталкиваетъ меня все далѣе и далѣе отъ всѣхъ васъ». Тому уже почти три года, и вотъ ты опять въ томъ же городѣ, но уже каждая минута приближаетъ тебя ко всѣмъ. только не знаю, приближаетъ ли ко мнѣ... Александръ, *кромя* разлуки съ тобою, здѣшняя жизнь *несносна* въ полномъ смыслѣ этого слова! Богъ знаетъ, какихъ бы я не вынесла страданій тѣлесныхъ. Ахъ, если бы не ты! Съ такимъ стремленіемъ ко всему чистому, изящному, высокому, съ такой пространной грудью, съ такими искренними объятіями—и чтожь передъ глазами? Шкафъ съ старыми календарями и безсмертный грань-пасьянсъ... Съ такой любовью и такъ розно съ тобой! Нѣтъ, Господи, пора, пора, облегчи крестъ, взнемогаю. Житейскихъ нуждъ у меня нѣтъ, я сыта, одѣта (по милости ея сіятельства), но лучше-бъ умереть съ голода, или замерзнуть... Но къ чему же это все? что со мною? О, мой ангель, прости, прости меня, отвернись отсюда.

Да, ты весьма хорошо придумалъ открытъ папенькѣ письмомъ; до сихъ поръ

моя увѣренность въ немъ тверда, а отсюда ничего не стоитъ вырваться, благословять, иль проклянуть — Богъ съ ними, что намъ до того. Ахъ, если бы въ Загорье, — духъ захватываетъ. Только и не понимаю, какъ придумалъ ты, чтобъ мнѣ во Владиміръ, съ кѣмъ же, и какъ. Но какъ бы то ни было, я воображаю это бытіе, полное одного святого, одного возвышеннаго, божественнаго. Тогда-бъ мы не спѣшили въ Москву, тогда-бъ намъ не было дѣла до отпуска, до прощенія... Востокъ... югъ... но еще бы успѣли мы настранствовать, все лучшее *тогда* сосредоточилось бы для насъ въ маленькомъ кабинетѣ. Боже мой, я родилась бы тогда снова, была-бъ ребенокъ, съ первымъ шагомъ на землю, обнявшій небо... А теперь — ухъ. морозъ и грязь съ ногъ до головы, морозъ съ желѣзными иглками, грязь, перемѣшанная съ гадинами... страшно! Ничто теперь меня не утѣшитъ, тебя увидать скоро многіе, а я нѣтъ... Что за дѣтство — плакать!

Тебѣ весело ѣхать, что за ночи свѣтлыя, ясныя, и не такъ морозно. Ну, Господь съ тобой, о, да благословить Онъ путь твой, твое новоселье. Обнимемся.

31-е пятница. Утро. Ихъ нѣтъ дома. Истекаетъ 37 годъ. О, Богъ съ тобой, утеки скорѣе. Напоследокъ, какъ умирающій, онъ измучилъ меня въ своихъ судорожныхъ объятіяхъ, чему человекъ не можетъ повѣрить, то вынесла я. Скоро, скоро отворится дверь въ 38-й. Ахъ, что-то тамъ? Богъ сдѣлаетъ чудо, ежели и онъ будетъ такая же пустыня, съ каменистой и тернистой тропинкой, по которой я пройду *безъ тебя*, и не умру.

Новый годъ! Дай руку — ну, скажемъ вмѣстѣ: да будетъ воля Его. Обнимемся, и пускай вихремъ развѣетъ прахъ нашъ. Признаюсь, робѣла я, когда замокъ скрипѣлъ, дверь отворялась... и вотъ онъ широкій. длинный 38-ой годъ, онъ полонъ свѣта, въ немъ ярче ты — слава Богу! Непокоримая вѣра, другъ мой, и мы спасены! О, ангель мой, можетъ ты мчишься теперь, можетъ, отдыхаешь въ дымной лачугѣ, а, можетъ, ужъ спишь, усталый, — все равно, наши души слиты. Я была у всенощной въ университетской церкви, хорошо тамъ, я молилась о себѣ, о всѣхъ, о тебѣ... Онъ слышалъ, слышалъ мою молитву, я это чувствую, я видѣла, что Онъ смотрѣлъ на меня. Итакъ, мой ангель, мой единственный, мой Александръ, еще поцѣлуемся, еще обнимемся, и съ молитвой и любовью навстрѣчу незнакомцу, — ежели онъ и злодѣй, такъ на глазахъ его навернутся слезы умиленія, колѣна его невольнo преклонятся. Ангель мой, выше! въ обитель свѣтоносныхъ ангеловъ! О, какъ ярко сіянье лица Его — спишь ты или бодрствуешь — да озарить оно и тебя. Еще поцѣлуй тебѣ въ чело. — прощай, до дневного свѣта.

Вечеръ. Минулъ первый день, — большею частью часы его были пестры, пусты, пошлы и грустны, очень грустны... А часы молитвы! а эта мысль о тебѣ, на которой я ношусь, какъ на облакѣ поверхъ земли... Пусть благословеніе первому дню длится на весь годъ. Да, летитъ время, несмотря ни на что. Какъ это ужасно должно быть тому, кто, *зная* свое прошедшее, осмотрясь въ настоящемъ и обратясь въ будущее, не видитъ въ немъ ничего болѣе, какъ возрастающіе пороки и увеличение чернаго... страшно! Тутъ онъ долженъ сойти сума, иль умереть. И что-жъ намъ въ жизни, ежели она ведетъ насъ, чѣмъ далѣе, тѣмъ ближе къ гибели. Не на то ли намъ новый годъ, чтобы обновиться духомъ, умертвить въ себѣ все нечистое, какъ старый годъ, и не восхитительно ли при началѣ новаго — думать, что при концѣ его, мы будемъ несравненно юнѣе, чище и выше. Только съ этою мыслью можно желать продолженія жизни! Милый другъ, ужъ, можетъ быть, ты на новосельи, ахъ, еще-бъ сутки, и ты здѣсь!

3-е января. Вчера я рѣшилась обѣдать у Насакин. только для того, чтобъ видѣть тамъ маменьку, меня пустили подъ надзоромъ двухъ жандармовъ; скучно и душно было большею частью, но среди всего этого гадкаго и глупаго, были минуты прелестныя. Я въ восхищенъи отъ маменьки. Поблагодари ее, Александръ, за меня, она истинно утѣшаетъ меня безъ тебя. Глядя на все это, я вспомнила, какъ и ты нѣкогда сіялъ въ ихъ домѣ, какъ звѣзда въ тучѣ. Теперь что? гдѣ? Торопаясь, мой другъ, домъ нашъ такъ полонъ пресмыкающимися, нѣтъ уголка пріютиться съ перомъ, я вся не своя. О, ангелъ мой, мой Александръ!

5-е января. Боже мой, что же это такое! — ужъ ни слова о *зѣтинемъ*, я такъ утомлена, такъ измучена, даже физическія силы меня оставляютъ, наконецъ, меня задушатъ вовсе, ежели ты не спасешь меня. Какъ послѣ тяжелой самой работы, усталая, больная бросаюсь въ постель, но и встаю опять усталая, потому что мнѣ не сонъ нуженъ, не покой, на что мнѣ платина, берегъ... мнѣ жизнь нужна, свобода, трудъ. А тутъ — вожу перомъ, и рука дрожитъ отъ страха, не слышатъ ли скрипѣнья, и на каждомъ словѣ оглядываешься, не подсматриваютъ ли... Ахъ, да не исчислишь всего, не опишешь, а, вѣдь, всѣ-то эти мелочи такъ гнетутъ, отъ нихъ боленъ тѣломъ и душою. Писать не могу, я какъ въ чаду. Съ любовью къ тебѣ неразлучна въ груди какая-то тоска, боль, что-то ужасающее. Вотъ видишь. и твоя Наташа какъ *можетъ* падать низко, это не упрекъ, нѣтъ, я бы не желала этихъ паденій, поддержи меня.

Emilie, *можетъ*, скоро будетъ мадамъ Дюфуръ, вѣрнаго нѣтъ ничего; положеніе ея ужасно, я измучилась за нее. Встрѣтитъ ли она, наконецъ, хоть тѣнь счастья, или опять зноѣ, опять мечта?.. О, сколько уже умершихъ, убитыхъ мечтаний, — обширное кладбище; она сама стала похожа на мертвца, такъ худа и блѣдна. Что-то Саша Б., вѣдь, и она страдала... Боже, еще годъ не видѣться — что-то будетъ въ этотъ годъ?! Гдѣ ты, Александръ? Ахъ, *можетъ* быть, такъ близко. близко, а не видимъ и не слышимъ другъ друга. — Кажется, я писала тебѣ, что *женитъ* нашелъ себѣ богатую невѣсту, — *желай имъ сочетанья!*

6-е января. Ужо навѣрное письмо — и я воскресну! Господь съ тобою, обнимаю тебя, мой ангелъ.

Твоя *Наташа.*

1838 годъ.

Владиміръ, января 5-го.

Милый ангелъ, я съ трепетомъ жду отвѣта на одинъ вопросъ, который я сдѣлалъ. Жандармскій полковникъ говоритъ, что онъ не слышалъ о полицейской надзорѣ. «Итакъ, мнѣ можно въ отпускъ?» спросилъ я *дрожащимъ* голосомъ. — Куда? — «Въ Москву». — Сомнѣваюсь, чтобъ вамъ позволили выѣхать въ столицу. — «А въ Московскую губернію?» — Какая же разница отъ Владимирской. *разумѣется, пустятъ.* Господи, кто измѣритъ все находящееся въ этихъ двухъ словахъ. Въ маѣ мѣсяцѣ въ Загорье! Опять погодимъ радоваться, полковникъ самъ порядкомъ не знаетъ, онъ обѣщалъ спросить и сообщить мнѣ отвѣтъ. Наташа, Наташа. проясняетъ небо. О!.. Черезъ нѣсколько дней явятся къ кв[агивѣ] Найденовъ съ письмомъ, вотъ тебѣ и очевидецъ. Онъ говоритъ, что я очеь *состарился*, — это 9 мѣсяцевъ тюрьмы, это 2 года 8 мѣсяцевъ

сылки, это разлука, это исторія съ М. Итакъ, ты меня увидишь старикомъ, — но Найденовъ меня не видалъ 5 лѣтъ, а ты имѣешь портретъ разительно похожій. Я писалъ къ тебѣ въ княгининомъ письмѣ, — только и есть солгавнаго, что слово Вы, — вольно имъ имѣть очи и не видѣть. Итакъ, теперь надобно подождать отвѣта объ отпускѣ.

Многіе пишутъ журналъ своихъ дѣйствій, мыслей и чувствъ, я отроду не дѣлалъ этого. Да и странно, будто мысль должна непременно храниться въ душѣ, будто ей нѣтъ мѣста внутри, будто она тамъ затеряется, — и при всемъ томъ какой огромной, богатой журналъ моей жизни письма къ тебѣ. Мнѣ ужасно хочется перечитать ихъ. — помнишь я писалъ, какъ мы вмѣстѣ будемъ повторять нашу жизнь. Теперь я весь твой, — нѣтъ людей, и они мнѣ ненужны. Я всѣмъ друзьямъ сказалъ — прощайте! Такъ, какъ сказалъ мечтаю о славѣ, о поприщѣ. о дѣятельности — прощайте. Вся моя жизнь въ тебѣ. Конечно! Я искалъ великаго и нашелъ въ тебѣ, я искалъ святого, изящнаго и нашелъ въ тебѣ. Итакъ, прощай весь міръ! Ты мнѣ далъ все дурное и все хорошее. Теперь разстанемся, теперь моя жизнь — одна апофеоза Наташѣ. И я чувствую силу оторваться отъ всего. Было время, когда судорожно провиная въ жизнь болѣзненнымъ взоромъ, я говорилъ: «любовь погубить меня», потому что подъ жизнью я разумѣлъ славу. И въ самомъ дѣлѣ она погубила меня. Мало-по-малу во мнѣ вымерло все, и вся душа образовалась въ алтарь тебѣ. Наташа, передъ этимъ подвигомъ должны склониться всѣ. Весь родъ человѣческій никогда не сдѣлалъ бы со мною этой перемѣны, — ее сдѣлала дѣва — ангель!

Какъ необъятна твоя свѣтлая душа, я вольно гуляю по ней, какъ огненная комета по эфиру, нигдѣ преграды, нигдѣ матеріи — вездѣ небо. Клянусь тебѣ, что я не умѣлъ всѣмъ пламенемъ воображенія постигнуть, чтобъ человѣкъ могъ стоять такъ высоко, какъ ты, да ты и не человѣкъ, ты ангель. *И моя — моя...* Великій Боже, въ прахъ повергаясь, благодарю я тебя, возьми *тогда* мою жизнь въ цвѣтъ лѣтъ, я узналъ тебя и міръ въ ней. Я никогда не считалъ себя способнымъ такъ любить. Наташа, Наташа — я ужасно люблю тебя. Всю бы жизнь сидѣлъ вперея взоръ мой на тебя, даже руки бы не взялъ: взоръ выше, невещественнѣе. (Одинъ поцѣлуй, одинъ и съ нимъ смерть. — Ахъ, бѣдные молодые люди, скажетъ чувствительная толпа, какъ были счастливы и умерли. — Дай же, Богъ, имъ столѣтнюю жизнь, намъ ее ненадобно. Даже благодарности вамъ нѣтъ, люди, — вы отвлекали меня отъ Наташи; только во имя ея позволяю вамъ приближаться; да, остановитесь предо мною, я выше васъ, я Александръ ея. Вотъ настоящая-то высота, вотъ слава. Natalie, — двадцать разъ написалъ бы твое имя, это крестъ, которымъ я отженяю все нечистое, это призывъ всему святому. Другъ мой, бытіе мое расширяется, и какъ океанъ плещеть, волнуется, и какъ небо, ты смотришься въ меня. — Я писалъ княгинѣ] о Загорѣ съ намѣреніемъ; напиши мнѣ, что она на это скажетъ. Сестрѣ Emilie — Salut et amitié! Сюда пріѣдетъ Егоръ Ив.. я думаю это сдѣлаетъ маленькую остановку въ нашей перешлѣ; покоришь и этому лишенію, мой ангель. — Твоей Сашѣ мой дружескій поклонъ.

Москва, января 6-е. Ночь.

Воскресла!.. Ты восхищаешься твоей Наташей, а я уже послѣ того была такъ недостойна быть твоею. Скажи-жъ, зачѣмъ эта зависимость отъ земли, зачѣмъ не вѣчная свобода? Отчего среди жесточайшихъ мученій лется изъ души лишь

гимнъ, и иногда, среди ничтожныхъ неприятностей, неспособенъ дѣлать ничего, какъ облитый смолою. Состояніе это несвободно. Къ тому же мысль—какъ я недостойна тебя въ это время—убиваетъ. Если-бъ я была съ тобою, не отошла бы отъ ногъ твоихъ, прося прощенья; а тутъ это негодованіе на себя, и невозможность преодолѣть, подняться, — это ужасно! Да, благодать посылается намъ свыше, веселіе не во внѣшнемъ, и не отъ обстоятельствъ. Можетъ быть, эти мрачныя минуты, минуты земли, Провидѣніе посылаетъ мнѣ, чтобъ я не забывала, что я не ангелъ, и не въ небѣ. Твой голосъ оживилъ меня, душа снова обрѣла свое небо—прости земля! Скажу только въ оправданіе: ежели-бъ меня лишили матеріальнаго,—я-бъ ни слова.

Итакъ, ты близко, близко, — что-то въ Вяткѣ. Слетала-бъ утѣшить ихъ, у меня навертываются слезы, какъ вспомню Витберга. — Какъ обширна, какъ изыщна и полна внутренняя жизнь моя, загляни въ душу въ часы благодати — свѣтъ, миръ, тишина, семья друзей, радость небесная, любовь и ты!.. А снаружи... забудемъ! — Зажила ли твоя голова? 25 дек. я вспоминала, какъ ты упалъ, стоя на томъ мѣстѣ.

Что ни говори, душа взволнована ужасно. Грусть и радость наполняютъ ее вмѣстѣ, въ одно время, страхъ и надежда.. Господи! воззри на меня окомя твоимъ, да исчезнетъ пылъ съ души отъ свѣта твоего. Александръ, успокой меня, говори о любви твоей. говори о Его волѣ, о *тамошнемъ* жилищѣ нашемъ; послѣднее время я не могу управлять собою. Какъ мало вѣры, какою ничтожество! Что-жъ я безъ этого высокаго самоотверженія, безъ этой любви полной, свободной, непостижимой, какъ вѣчность?—горсть земли, или еще хуже: существо обыкновенное, а не твоя Наталія. Но что-жъ мнѣ дѣлать? Я хочу быть съ тобою хоть на одинъ мигъ, и пусть этотъ мигъ будетъ послѣдній; все что безъ тебя—черно, печально, и я сама печальна и черна, о, Александръ!

7-ое. Одно обстоятельство, какъ туманъ, налегло на мою душу, внесло въ нее новую грусть и мрачность, оно важно для меня и только тебѣ я могу сказать объ этомъ. *Еміліе идетъ замужъ*; что проще этого, а это слово какъ пила мнѣ по сердцу. «Въ миллионъ разъ лучше монастырь, нежели пошлое замужество», писалъ ты изъ Крутицъ, — и я радуюсь этому замужеству (ужъ когда она рѣшилась!) и совѣтовала ей (я видѣла, что она *хотѣла* моего свѣта), радуюсь, потому что она отдохнетъ отъ *чужого* и только! Вотъ, если-бъ ей готовилось блаженство и покой *душевный*... но она сама говоритъ, что идетъ *такъ*, и я это вижу. Ея вина, или Провидѣніе то допускало,—свѣтъ игралъ ею, и слѣды этого остались на ней, и ничто ихъ не сотретъ. Я далека упрека, о, избави Богъ! но мнѣ больно, больно,—сильно, глубоко, я ее очень люблю. Сердце мое разрывалось при мысли снарядить ее въ дальній путь, надѣть власявицу, лать въ руки посохъ, проститься навѣки, но изъ-за всего этого видѣлось сіянье надъ ея главою, и мнѣ было такъ легко, такъ отрадно... Ничто бы не *мѣшало* мнѣ тогда назвать ее сестрою, радостно-бъ отпустила я ее въ родную семью, а теперь—ладья ея направлена въ море *обыкновеннаго*, и оно, веназитное, обрадуется новой добычѣ и помчитъ ее и, наиграясь досыта, поглотитъ! Бурно это море, и его волны вздымаются къ небесамъ, но, какъ бы ни высоко вздымало оно ладью.—все она *высоко* на волнахъ *обыкновеннаго*!—Никакъ, никогда я не ожидала такой разгадки... и если-бъ кто за годъ намекнулъ мнѣ что-нибудь похожее, тотъ остался бы для меня неблагороднымъ, безчувственнымъ человекомъ. Я люблю ее, какъ любила, и буду такъ же любить, но доляняя — долу,

небесная—небу! Это грустно и тяжело! Сохрани, Богъ, Сашу Б. Тогда мнѣ будетъ несравненно тяжеле. Она вторая по тебѣ, и послѣ нея никому не будетъ входа въ мое сердце. Но нѣтъ! Нѣтъ, она въ вѣкъ сестра! и на стопахъ ея незамѣтно, что она идетъ по землѣ, ни пылинки, и на землѣ свѣтъ отъ слѣдовъ ея; слава Богу за эту встрѣчу! Упала звѣздочка съ нашего неба, ангелъ воплотился, прости, сестра, придешь ли опять на родину?... И ты гори, гори, моя яркая, свѣтлая, пусть свѣтъ твой потонетъ въ лучахъ солнца, а не въ грязи—избави, Богъ У меня портретъ жениха Emilie, онъ очень недурень, лучше ея.—Когда-то отъ тебя съ новоселья? Да будетъ съ тобою Богъ, да станетъ ангелъ-хранитель стражемъ у твоей хранины, да озаритъ душу благодать, да содѣлаетъ ее храмомъ любви, одной любви, высочайшей, божественной!

8-е, суббота. Ну, вотъ я опять лучезарная, какъ свѣтлыя, цвѣтистыя мечты совьются вѣнкомъ надъ головою, ни тучи, ни самый громъ не страшны! Утромъ каталась, и все воображала, какъ бы я ѣхала къ тебѣ, какъ бы пріѣхала... Боже мой!.. Потомъ говорили о катаньи на лодкахъ, и вотъ я въ маленькомъ челнокѣ съ тобою, луна свѣтитъ, струи блестятъ, и льется, льется пѣснь соловья... кругомъ темныя рощи, дремучій лѣсъ, за нимъ люди, за нимъ наши, а съ нами Богъ. Что восхитительнѣе этихъ мечтаній, что чище ихъ, что выше и святѣ нашей любви? Другъ мой, другъ мой, что такое они зовутъ любовью, для меня лучше равнодушіе. Когда-то меня увѣрили, что я люблю Бирюкова, и этотъ дѣтскій сонъ, эта блесточка имѣла въ себѣ что-то ужасающее, отталкивающее; потомъ я видѣла другую любовь сильнѣе и, когда повѣрила ей, ужаснулась еще болѣе, и отвращенію не было мѣры, а ты небесный посолъ! Любовь твоя—мой рай, мое Провидѣнье; къ тебѣ любовь — моя жизнь, моя молитва, сильная, всемогущая, пресвятая, какъ гласъ Господень. Съ тобою я далека земли, съ тобою гибнетъ материализмъ, торжествуетъ духъ. Мой Александръ. ангелъ! Люди, люди жалкіе, что жъ говорите вы такъ печально: «вѣдь, вамъ нельзя вѣнчаться». Вамъ страшно, что *нельзя?* ну, бойтесь же.

Владиміръ! какъ много въ этомъ словѣ теперь. Какъ вздумая, что 800 верстъ ты ближе, займется духъ, и такъ хочется всѣхъ обнять, расцѣловать. Александръ!.. А Emilie-то... прощай, пріятный сонъ.

9-е. Кто послушаетъ меня, скажетъ: надоѣла, все одно и то же,—мечты, любовь, Александръ. Вселенная безпрерывно повторяетъ: Богъ! У меня — Александръ, и болѣе пѣтъ ничего! А имъ желаю изобрѣтенія тысячи новыхъ кушаньевъ и нарядовъ. — Черезъ улицу — съѣздъ, пиръ, веселье; я одна у моего окна... освѣщеніе мое изящнѣе, бесѣда полнѣе; кто придетъ на мой пиръ, не утомится, здѣсь пища неба, здѣсь вода жизни, а тамъ, у нихъ... Зачѣмъ порой горюю я, о чемъ тоскую? собери жизнь милліоновъ, изъ нея не выйдетъ капли того блаженства, которымъ исполнено все существо мое. Что-жъ значитъ это стѣсненіе груди, тяжелой вздохъ, горькая слеза? или то плѣнь, темница? Пусти-жъ земля, пусти, возьми тѣло, а мнѣ высъ, мнѣ яхонтъ!

10-е, понедельникъ. Преплагословенный день. Ну, наконецъ, ты дома — съ новосельемъ! Ты веселъ — Богъ услышалъ мою молитву, о, да не отойдетъ отъ тебя ни на минуту ангелъ утѣшитель. Александръ, взявъ прежнее твое письмо и нынѣшнее,—какая перемена! И вотъ въ послѣднемъ ты—я. Часто я не пишу тебѣ всего, что въ душѣ, по невозможности, то есть, влѣ некогда, влѣ негдѣ, и часто потому, что разговоръ необходимой *тамъ у нихъ* мнѣ кажется вовсе ненужнымъ для сообщенія нашихъ душъ, такъ вмѣстѣ онѣ, такъ слиты. Доказа-

тельство: всегдашняя моя мечта путешествовать съ тобою, и признаюсь, не для ученія, не для опытовъ—*ученыхъ* много!—нѣтъ, волюно, привѣтно взглянуть на все, чего Богъ сдѣлалъ человѣка царемъ, полюбоваться природой; я люблю ее, хотя и въ былинкѣ одной все то же, что въ цѣлой Италіи, но я хочу видѣть природу въ красотѣ. И туда, на Востокъ, сперва-бъ... потомъ взгляды на родину, на друзей, и въ небесную отчизну, въ святую семью! а не упрочивать жилища на землѣ, не заводиться женатыми, нѣтъ, тутъ ужъ будни, тутъ все въ роѣ горшка съ жирными шами. Въ послѣднемъ письмѣ ты все это пишешь. Что нужно намъ къ укрѣпленію союза? Богъ насъ сочеталъ, Онъ благословилъ насъ, къ Нему идемъ мы обрученные, нужна ли тутъ купленная молитва священника, и непременно въ собраніи любопытныхъ зрителей? — Чистыя души насъ благословятъ, а *ихъ* святыня страшна, я не понимаю ее. И къ чему все это *въ нашей любви*? Каждый шагъ нашъ вмѣстѣ будетъ приближать насъ къ Святой Святыхъ, каждое слово—молитва, каждый мигъ—благословеніе небесъ. А на что тутъ люди, на что ихъ обряды? Только-бъ скорѣй, скорѣй отсюда, здѣсь отравлять наше блаженство и неволя, и молва, и все; туда, гдѣ насъ не знаютъ, гдѣ болѣе слышенъ голосъ жителей небесныхъ, а не земныхъ, гдѣ болѣе лазуря, менѣе глазъ, болѣе цвѣтовъ, менѣе камней, гдѣ тепло... Чтобъ удержало меня обнять колѣна папеньки, покрыть стопы его слезами и поцѣлуйми, но это рѣшительно не поможетъ, надо *отсюда* съ корнемъ вонъ, безъ этого все будетъ одно мученіе, одно терзанье. А взялъ ли бы папенька меня къ себѣ, какъ только это узнаютъ? Если *да*, не мѣшкавъ ни минуты, поблагодарю *исъ* за все и прощусь. Ахъ, вѣдь, какъ близко то ты, другъ мой, такъ и летѣла-бъ; все кажется, что ты, того и гляди, приѣдешь.

11-е января, Владиміръ.

Этого письма, мой ангелъ, ты долго не получишь, его привезетъ тебѣ Егоръ Ив., который еще въ Москвѣ, а до тѣхъ поръ тебѣ постъ; но теперь, когда столько яркихъ, близкихъ, сбыточныхъ надеждъ, теперь ты можешь легче перенести дней десять безъ письма. А можетъ, получишь и скорѣе.—Перечитывалъ твои письма 1836 года. Знаешь ли, когда твоя душа взмахнула крылами и поднялась на ту недосыгаемую высоту, на которой она теперь, когда она развилась всѣмъ бытіемъ и такъ дивно? Въ половинѣ 1836 года было много надеждъ, ты предалась имъ безотчетно, какъ только предается душа чистая,—онѣ обманули. Ударъ былъ силенъ, ты перенесла его, и въ то же время душа твоя выросла необъятно (сентябрь) и съ тѣхъ поръ все росла и росла, до той дивной высоты, съ которой ты приняла гнусную исторію сватовства. И послѣ этого, ангелъ мой, можно ли сѣтовать на несчастія, на Провидѣніе? Мы похожи на дѣтей, которыя плачутъ за книгой, доставляющей всю пользу имъ. Теперешнее мое направленіе, безъ сомнѣнія, выше предыдущаго. Вспомни: еще въ маѣ мѣсяцѣ 37 годъ я увлекся самолюбіемъ (при проѣздѣ наслѣдника), и сравни мой языкъ послѣднихъ писемъ. Да, Господь больше насъ печется объ насъ, Онъ хочетъ, чтобъ при встрѣчѣ нашей въ этой душѣ—Наталія и Александръ—ничего не было, кромѣ любви и вѣры. Оно и совершается. Да, смѣло скажу, что, выѣхавъ за Вятскую заставу, я много земли стряхнулъ съ себя и приготовлялся къ этому послѣднимъ днями (письма мои отъ 23 ноября до выѣзда). Остается благодарить Отца и смириться.

Теперь о свиданье. Дѣло рѣшенное: ежели долѣта я долженъ безвыѣдно пре-

жить здѣсь, я буду въ Загорѣ (постарайся, чтобъ кн[ягиня] въ маѣ ѣхала). Я думаю, Костенька всѣхъ смѣтливѣе, я остановлюсь версты за двѣ, научи меня, кого спросить, пошлю за Костенькой, буду тебя ждать; прїѣду въ тотъ часъ, въ который тебѣ удобно; пожалуй, пробуду сутки, двое—все въ твоей волѣ. Губернаторъ здѣсь старичекъ предобрый, онъ самъ мнѣ сказалъ, что это сладить можно, жандармской полковникъ на моей сторонѣ. Но прошу быть очень аккуратной въ назначеніи мѣста и всего, чтобъ не попасть ея сіятельству. Это свиданье будетъ гораздо лучше, нежели какъ мы себѣ воображали. А, можетъ, и прежде. Будь увѣрена, ни дня, ни часа, ни секунды не пропуститъ твой Александръ. Несомнѣнно, что папенька знаетъ, а то почему бы ему такъ противодѣйствовать отпуску.

Жуковскій прочиталъ I. Maestri, сдѣлалъ на тетради отмѣтки; вотъ драгоценность, жаль, что я не видалъ.

Ты пишешь 1 декабря 1836 года: «Въ ноябрѣ 1834 ты написалъ первую записку изъ Кр., въ ноябрѣ 1835 писалъ впервые о любви, ноябрь 36 года прошелъ такъ, что-то будетъ въ ноябрѣ 37 года?»—Въ ноябрѣ именно 37 года произошла та огромная перемена, приблизившая меня къ тебѣ, положилось твердое основаніе скорому свиданію. Вотъ отвѣтъ на твой вопросъ. Къ концу 36 года ты очень грустна, тутъ начались прямые гоненія за меня отъ кн[ягини] и М. С., ты изнемогала въ нѣкыя минуты, и въ одномъ письмѣ болѣзненно спрашивашь меня раза три: «Когда же, когда-жъ изъ Вятки»? Это письмо отъ 29 декабря—ровно черезъ годъ, можетъ въ то самое время, я выѣзжалъ изъ Вятки. Да, половина бѣдствій пройдена, и уже уходитъ въ прошедшее.

12-е января. Съ самаго прїѣзда во Владиміръ я былъ очень веселъ, цѣлыхъ десять дней. Сегодня мрачныя думы облегли душу. Ужъ теперь я и эти нѣсколько мѣсяцевъ не могу переждать, необходимость видѣть тебя жжетъ. До мая долго,—хочу ѣхать теперь, надняхъ, и работаю, но все еще безъ успѣха, и душа стонетъ, сердце рвется. Я баловень, Наташа! И четыре года не научили меня покоряться обстоятельствамъ. Да правда ли это, ангелъ мой, что надежды такъ сбыточны? Душа моя, не призракъ ли все это? Фу! чья душа столько перенесетъ счастья. А, вѣдь, въ Загорѣ свиданье лучше: тутъ эти фигуры, принужденіе въ такую торжественную минуту, которую мы ждали съ 9 апрѣля 1835 г...

Я торопился читать твои письма до 37 года; мучительно видѣть страданія разлуки и эту даль, мучительно вспоминать, что одной слезою я могъ отвѣчать. 37 годъ, по крайней мѣрѣ, послѣдній. Нѣтъ, моя вѣра въ свиданье съ тобою вышѣшимъ годомъ пезыблема. Къ папенькѣ же нѣтъ вѣры, его слова ледъ въ послѣднихъ письмахъ. Ежели такъ, закрою душу отъ него. Мы можемъ съ нимъ быть друзьями, когда между нами 1000 верстъ. А онъ любитъ меня, и я люблю. Да что-жъ изъ этого, онъ не хочетъ понять меня. Бѣдной отецъ, какого сына лишается онъ, какую пламенную любовь отталкиваетъ холодной рукой.

13-е января. Писалъ къ Огар., а все грустно. И самое счастье для меня пахвствѣ бѣдомъ. Арсеньевъ и Жуковскій работаютъ—и вдругъ удасть имъ, и меня возьмутъ въ Петербургъ, не ужасно ли! А впрочемъ, можетъ, они тебя до того будутъ тѣснить, что Ал. Ал. въ необходимости будетъ взять, а когда и тамъ, тогда можно, вѣтерокъ не дунетъ на тебя. Боже, какъ таинственно и странно идетъ наша жизнь, но покорность святой десницѣ, покорность! Главное свиданье; оно будетъ, всемъ пожертвую, но свиданье сзову съ неба. Между мною

и Вяткой протѣсняется много, какъ бы то ни было, но мы чужіе—я и Вятка. Скворцовъ и Полина—вотъ самыя близкіе родственники, но они счастливы своей любовью, 31 было обручене, они вступаютъ въ новый фазисъ жизни, и я имъ ненуженъ. Было время, когда я велъ эту дѣвушку, когда ходилъ за нею, какъ за прелестнымъ цвѣткомъ, и довелъ ее до нею. Мое вліяніе кочвилось. Витбергъ, несмотря на всю нашу симпатію, мы никогда не были очень близки. Лѣта, понятія уже клали между нами препятствія; уваженіе безъ границъ емъ, но уваженіе меньше дружбы на моемъ языкѣ. И потому ужъ мы не могли быть близки, что я не уважалъ его жену, что я въ ней видѣлъ и вижу одну гири, которая прибавляетъ тягость и стягиваетъ его на землю. Жена Витберга—что это должно быть за существо, что за высокое призваніе для существа высокаго. А эта—фи, отвернемся.

Вотъ что значить *дома и въ гостяхъ*. Какъ давно я разстался съ Ог., но между мною и имъ ничего не измѣнилось. Мелькомъ видѣлъ я его 31 марта 1835 года. Сколько времени, но сердце бьется при его имени. Въ Вяткѣ я огнемъ своей симпатіи добился отвѣта, но отвѣтъ, можетъ, только отъ Полины былъ на моемъ языкѣ, отъ Скворцова тоже,—третьяго никого. Я видѣлъ много слезъ при прощаніи, много объятій, много благословеній душевныхъ,—но они какъ надпись на известковомъ камнѣ: придуть непогоды, камень вывѣтрится, буква за буквой исчезнутъ, и трудно будетъ прочесть. Впрочемъ, я имъ самъ сказалъ: «Я не вашъ». А Мед.,—объ ней не имѣю вѣсти, а пламенно желаю. О, сколько я перестрадалъ за нее. Я тебѣ рѣшительно говорю, что разлука съ тобой не принесла столько горечи, сколько встрѣча съ нею. И страдальческій гололъ неся къ тебѣ иногда, и ты, Наташа, его не понимала. Да, это я вижу по твоимъ отвѣтамъ. Ты въ себѣ искала причину мрачныхъ минутъ моихъ, тогда когда ясно изъ какого источника онъ шелъ. Ежели я услышу, что она спокойно перенесла мой отъѣздъ, я помолюсь,—камень съ груди долой. Сколько разъ блѣдный, полумертвый, въ какой-то лихорадкѣ бросался я на свой диванъ, страдалъ, мучился и бросался на какую-нибудь вакханалію, чтобъ шумомъ, виномъ, людьми заглушить гололъ совѣсти. Я какъ-то на дняхъ перебралъ всю исторію. Помнишь ли, какимъ судорожнымъ языкомъ я началъ тебѣ говорить о любви,—это была ужасная эпоха, особенно время предшествовавшее ей, когда я боролся между дружбой и любовью, между 20 іюлемъ и 9 апрѣлемъ. Я былъ боленъ, сломанъ,—тогда встрѣтился я съ нею. Я радъ былъ, что меня поняли, мнѣ жаль ея было, мнѣ нравилось, что меня *предпочитаютъ*,—и гибель ея была рѣшевымъ злымъ духомъ.—Ты мнѣ свѣтила издали, какъ утренняя звѣзда, къ тебѣ моя любовь (еще не сказанная) была такъ небесна, такъ чиста, на тебя я долженъ былъ смотрѣть вверхъ. Она стояла возлѣ, не ангелъ, а *женщина*, женщина пламенная; я увлекъ ее сначала, не давая себѣ никакого отчета; когда же она такъ безразсудно бросилась въ мои объятія, тогда я увидѣлъ, что она мнѣ ничего, увидѣлъ разомъ все,—но было поздно. Ровно два года протрадалъ я за этотъ поступокъ (все это было въ концѣ 35). Тогда-то я понялъ всю разницу между тобою и ею, между ангеломъ и женщиной. И когда я получалъ твои письма, я терзался, кусая себѣ пальцы, что я могъ такъ поступить. Но прошедшее, какъ свидѣтель уголовного дѣла, стояло тутъ хладнокровное, укоряющее, неумолимое. Я ей говорилъ о молитвѣ, о ея дѣтяхъ,—все худо удавалось; она была больна, и я долженъ былъ надѣть маску, спрятать мою любовь къ тебѣ и оставить ее *недоразумѣній*. Витбергъ сознался подъ конецъ, что дивную силу характера

надобно имѣть, чтобъ выдержать роль два года такъ, что живущіе въ одномъ домѣ ничего не могли замѣтить, даже 14 ноября 1837 года! Я исполнилъ, для нея я это сдѣлалъ. Но, ангель мой, чего мнѣ стоила эта роль, — при воспоминаніи сердце обливается кровью. Но уѣхать такъ я не хотѣлъ, она кажется, знаетъ все. Дай, Богъ, ей силы забыть эту встрѣчу. И ты съ удивленіемъ слушаешь, что я говорилъ о медали, на которой съ одной стороны Иисусъ, а съ другой Иуда, отвѣчала: «вижу, что я для тебя ничего». А развѣ не такъ: развѣ я не ангель тебѣ и не демонъ для нея? Этотъ урокъ не забудется мною во всю жизнь. Ну, прощай, моя милая, моя единственная подруга, моя Natalie. Нѣтъ пылинки на моей душѣ, которую бы ты не знала, такъ и быть должно.

Статью мою о Полинѣ я тебѣ пришло, она готова. «Симпатія», маленькая статья, какъ Полина, но и хороша, какъ Полина. Тебѣ она понравится, она писана тѣмъ языкомъ, какимъ I. Maestri, много выраженій изъ моихъ писемъ. Это неудивительно: мои письма — я. И вотъ странная двойственность моей души: однѣ статьи выходятъ постоянно съ печатью любви и вѣры — это Встрѣчи, I. Maestri, «Симпатія», «Мысль и Откровеніе», другія съ клеймомъ самой злой, ядовитой ироніи — это путевыя письма. Наконецъ, въ двухъ статьяхъ то и другое: отрывокъ изъ повѣсти «Тамъ» и «Моя Жизнь». Вивѣткой къ первымъ статьямъ Озирисъ, ко вторымъ Тифонъ, а къ третьимъ — стаканъ шампанскаго (пѣна и вино). Ты многого еще не читала, я тебѣ велѣлъ переписать, да и подарилъ при отъѣздѣ Скворцову. Прости-же, mademoiselle! Иронію ты не любишь, — она и не свойственна твоей душѣ, тебѣ слишкомъ мало знакома вѣшняя жизнь, — и не знакомься съ нею.

14 января. Твои письма отъ 11-го. Ты все моя небесная, мой ангель! Строго судишь ты Emilie, — она не ты. Человѣкъ, который подымаетъ 10 пудовъ, не долженъ требовать, чтобъ каждый подымалъ. Наташа, ты еще ни разу не падала, а теперь, имѣя такую любовь въ душѣ, имѣя Александра, это и невозможно. Я былъ и въ грязи и въ эфирѣ, — я знаю человѣка. Ты пишешь (въ началѣ 37 года), говоря объ Егор. Пв.: «Ежели бъ въ самомъ дѣлѣ я могла себя упрекнуть, я уничтожилась бы». Я могу себя упрекнуть, но не уничтожился. Вотъ оно вѣчное addage, которое я повторяю: во мнѣ больше земли, въ тебѣ больше неба. Очень желалъ бы видѣть Сашу Б., я ее люблю всею душою, но желалъ бы видѣть, желалъ бы посмотреть, кого ты ставишь такъ рядомъ съ собою, — доселѣ я не видалъ ни одного существа, которое я осмѣлился бы сравнить съ тобою. Ни даже въ сочиненіяхъ поэтовъ. Вѣрю въ нее, но напрасно она отталкиваетъ любовь, и ты согласна съ этимъ, ты, въ которой ничего нѣтъ, кромѣ любви. Что жизнь дѣвы безъ любви? Молитва или любовь — третьяго вамъ нѣтъ. Мужчинѣ — поприще, слава, да и то все какъ блѣдно передъ любовью.

Я боюсь твоего сужденія о моей біографіи, боюсь потому, что тамъ много ироніи, часто шалость, рѣдко желчь. Предисловіе хорошо, оно понравится тебѣ. Со временемъ это будетъ цѣлая книга. Вотъ планъ. Двѣ части 1-я до 20 іюля 1834 года. Тутъ я дитя, юноша, студентъ, другъ Огарева, мечты о славѣ, вакханаліи, и все это оканчивается картинной грустной, но гармонической, нашей прогулкой на кладбище (она ужъ написана). Вторая начнется моей фантазійей «22 октября». Вообще порядка нѣтъ — отдѣльныя статьи, письма tutti frutti, за этимъ «Встрѣчи», I. Maestri и «Симпатія», далѣе, что напишется. Въ прибавленіи къ 1-му тому «Германскій путешественникъ», — эта статья проникнута глубо-

къмъ чувствомъ грусти, она гармонируетъ съ 20 юлемъ. Знаешь ли, что я ее люблю больше «Легенды». Пожалуй, тутъ можно включить и мои «Письма къ товарищамъ». Пермь, Вятка и «Владимиръ» — эта статья тебѣ не понравится. Я помню, ты, читая мою «Встрѣчу» Сашѣ, пропустила объѣдъ, несмотря на то, что онъ необходимъ, какъ улика пошлой жизни. Только не во вторую часть ихъ — тамъ гармонія, любовь, тамъ ты. Это напечатается, и меня тѣшитъ мысль, что Русь узнаетъ прежде и тебя и мою любовь, нежели *они*. Я доволенъ собою здѣсь, — съ утра до ночи за работою. Въ биографіи я сначала задѣлъ было крѣпко Тат. Пет., но смиловался и выпустилъ. Въ первой части одинъ святой — Огаревъ, но его владѣніе ограничено, его вліяніе ограничено. Во второй, ты — святая, и твое владѣніе безгранно, и я на колѣнахъ передъ тобою. Осмѣлюсь ли я писать 9 апрѣля! Боюсь.

15 января. Ты, можетъ, удивишься, что моя статья «Симпатія» посвящена Вѣрѣ Александровнѣ Витбергъ. Я объ ней ни разу не писалъ, ее не смѣшивай съ его женою, *она дочь* Витберга. Прелестная душа и любить до безумія Полюву. Наташа, какъ хочешь, а я бы лучше готовъ былъ подождать, только бы увидѣться въ Загорѣ на волѣ. А на той страницѣ, что писалъ! Какъ ты думаешь, ангель?

15, *ночь*. Письма 37 еще выше всѣхъ остальныхъ. Остановись, довольно, ежели еще шагъ, тебѣ надо будетъ оставить Александра на землѣ, больше совершенства человѣку не дано. Мы должны быть соединены здѣсь и скоро. Мы должны узнать жизнь до дна, весь бокалъ выпить и тогда идти. Любопытны нѣкоторыя сближенія чиселъ. Въ маѣ мѣсяцъ ты цѣлую недѣлю грустишь ужасно, наконецъ, вечеромъ 18 числа съ какимъ-то восторгомъ пишешь, что радость снова посѣтила твою душу, что ты опять тверда и высока. Въ эту самую минуту я стоялъ передъ наслѣдникомъ и Жуковскимъ и Арсеньевымъ, — это была одна изъ рѣшительнѣйшихъ минутъ моей жизни, она привела меня во Владимиръ, она, можетъ, еще проведетъ и черезъ всю жизнь. Сегодня годъ, что я представлялъ Данта. Говорятъ, я былъ очень хорошъ въ костюмѣ пилигрима съ длинными распущенными волосами, хорошъ и потому, что я тогда былъ въ восторгѣ и блѣденъ какъ полотно, и глаза блистали.

16, *вечеръ*. Когда кто изъ нашихъ поѣдетъ, пришли, другъ мой, всѣ мои письма и записки до 1-го января 1836, я тебѣ ихъ очень скоро возвращу: у тебя есть *любимая* записка, ну, переписи ее и мнѣ дай копію. А то я тебя больше знаю себя, хочется взглянуть, какъ я шелъ до любви. Въ самомъ дѣлѣ, окружающее насъ принимаетъ нашъ образъ и подобіе: мой камердинеръ Матвѣй, величайшій почитатель мой, теперь онъ только и думаетъ, какъ бы увидѣть тебя. А ты со всѣхъ сторонъ окружена Сашами, начиная съ меня и до твоей фрейлины, которой прошу поклониться, — я ее вѣрно увижу прежде тебя.

17 января. Твое письмо, прелестное письмо отъ 14-го, я получилъ, но оно опоздало. Я уже подалъ формальную просьбу объ отпускѣ на 29 дней въ Москву. (Отдадимся откровенно и совѣмъ Его волѣ, отпустить, я явлюсь въ Москву (отвѣтъ отъ министра можно ждать къ половинѣ февраля), не отпустить — Загорье. И мнѣ оно лучше нравится. Вспомни, что, ежели папенька пріѣдетъ прежде, я не нахожу никакой возможности быть въ Загорѣ безъ явнаго раздора. Какъ свѣтло твое письмо. О, божественная!

Наташа, милая Наташа, какъ полна и какъ изящна наша жизнь. Кому намъ позавидовать? Да, мы много страдали, много будемъ страдать, а какъ награждены.

Нельзя въ иную минуту не изнемочь, иногда невольно ропотъ сорвется съ устъ; но когда я начну повторять (не памятью, а душою) свою жизнь,— цѣть, подобной я не знаю. Я создалъ Наталію, да, я принимаю долю созданія, я великъ. Но и ты, Наталія, создала долю Александра,— ты велика. Часто приходитъ мнѣ въ голову твое замѣчаніе, какъ все, что пишуть о любви, далеко отъ нашей любви, не *платонической*, а христіанской, исполненной молитвы и религіи. Иногда касаются *нашей* любви, помнишь Антіоха у Полевого, есть и у Шиллера, но ужь всегда подъ гнетомъ громовой тучи,—а, можетъ, и надъ нами туча. И казнь изъ твоихъ рукъ приму, цѣлуя ее. Попроси Егора Ив. достать «Библиотеку для чтенія» за декабрь прошлаго года и прочти «Катенька». Во первыхъ, въ слогѣ Веревкина (Рахманова) есть чрезвычайное сходство съ моимъ слогомъ, а въ «Катенькѣ» есть кое-что твоего. Прочти. Когда я прочелъ, я положилъ книгу и не могъ перевести духъ, я готовъ былъ заплакать, ужасная повѣсть.

Сегодня маменькины именины, ждалъ ее сюда, а вотъ ужь и поздній вечеръ. Мнѣ *хочется* ее видѣть (неумудрено, скажетъ всякій), но, помнишь, ты разъ писала, что разумѣешь подъ словомъ *хочется*. Говорятъ, что съ Ег. Ив. пріѣдетъ Кетчеръ,—вспомню юность прошедшую, я отъ нея отдѣленъ юностью настоящей. Прощай до завтраго, мой ангелъ, моя святая. Завтра еще строчки двѣ. Кажется, mademoiselle не будетъ имѣть причины пенять, что мало пишу. О, сестра!

18 января. Въ нынѣшнемъ письмѣ къ папенькѣ, въ отвѣтъ на одну холодную фразу, я написалъ много, ни разу столько не писалъ,—это послѣдній опытъ. Я сказалъ, что на меня послѣ пенять нельзя, что я хотѣлъ *все* сказать, но онъ не хотѣлъ всего понять,—что меня сломить невозможно и что благословеніе Бога гдѣ есть, тамъ найдутся и средства, и т. д. Впрочемъ, ни слова о главномъ, общія мѣста. А можетъ, онъ и *обратится*,—вѣры нѣтъ, онъ будетъ хитрить тамъ, гдѣ я буду поступать прямо. Прощай еще разъ, цѣлую тебя много, твой Александръ. Помилуй, будто нѣтъ средствъ видѣться однимъ въ Москвѣ. Чго за вздоръ. А утро 4 часа?

Москва, января 12, среда.

Вотъ неожиданная-то радость! Земля едва виднѣлась черною точкою сквозь свѣтъ твоего письма съ пути,—опять письмо: море свѣта, море любви, море Бога! Безпрерывно восхищаюсь Владиміромъ, безпрерывно благодарю Его—Вятка, не плачь! Съ каждымъ письмомъ я говорю: «Господи, довольно!» Но Онъ неизмѣримъ. И по милостямъ Его растеть душа. Пространнѣй жизнь, пространнѣй грудь.... Ты ждешь это письмо, я жду, когда оно дойдетъ къ тебѣ—свѣтъ, свѣтъ, блаженство, небо на землѣ, духъ безъ тѣла. Александръ, съ тѣхъ поръ, какъ помню себя, я была чрезвычайно богомольна, несмотря на то, что мнѣ не хотѣлось вытверживать молитвъ наизусть; когда *приказывали*, не хотѣлось *по порядку* креститься и кланяться. Лѣтъ тринадцати, четырнадцати молитва моя была уже совершенно бессловесна, безжеланна; утромъ я смотрѣла на зарю, на восходящее солнце, *до самаго дыма*, вечеромъ на звѣзды, на луну,—тутъ я не просила ничего, потому что не хотѣла ничего, потому что не помнила о себѣ; даже, когда небо меркло и желѣзная рука сдавливала меня сильнѣе, слезы лились, лились рѣкой, я обращала взоръ къ Нему, но уста молчали. Я не находила, не знала *чего* просить *себя* и на что, я жила Имъ и ждала Его на-

столько, насколько могла тогда обнять душа. Тебя еще я не узнавала, но вот *сироты* повѣяло *роднымъ*, и съ тѣхъ поръ молитва—ты. На устахъ ни слова, въ головѣ—ни мысли, все душа, все Богъ, все ты. Долго красота земли и неба были слиты съ тобой, въ тебѣ ихъ изящное, въ нихъ твоя черта, я люблю все въ тебѣ, тебя во всемъ; но вотъ растетъ душа, взоръ чище, доступнѣе ты. отдѣляется земля, ближе, ближе къ небу, но вотъ и оно уже блѣднѣетъ, гаснетъ—исчезло! Богъ и ты! Что несчастіе, что счастье, что горе, радость, адъ и рай? *Богъ вѣчно Богъ! Мы вѣчно мы!*

12-е, вторникъ. Я расцѣловала локоны Полины,—люблю ее. люблю всею душой. Нѣтъ, Вятскіе друзья наши не осиротѣли; что-жъ нужды, что ты уѣхалъ, мы съ ними душою, пусть только *прислушиваемся*. Какъ вздыхаю о путешествіи, такъ Вятка мрачная, холодная такъ и простираетъ свои объятія, и привѣтомъ вѣетъ съ ея снѣговъ. Не забуду, не забуду тебя, край далекій, ты мнѣ миль, ты мнѣ родной. На тебѣ вѣчно радостный лучъ души моей, вѣчно молитва. Что Мед?

Какъ рѣшился ты видѣть такого ужаснаго злодѣя? Еще не получая твоего письма, мнѣ рассказывали,—я содрогнулась, и цѣлый день послѣ болѣеа грудь. Не размышляя ни минуты, осталась бы я съ нимъ, ежели-бъ это подвинуло его къ обращенію. Какъ допускаетъ Провидѣніе до такихъ злодѣяній! Вчерашній вечеръ былъ чрезвычайно полонъ: твое письмо и бесѣда діакона Павла. Что это за человекъ. нѣтъ мѣры его высотѣ—истинный апостолъ! Но посмотри на него глазами свѣта, послушай его, какъ слушаютъ *они*, и ты скажешь: страшный и, кажется, помѣшанный; бесѣда его скучна и утомительна, ни тѣни въ немъ учтивства, ни тѣни приличія свѣта,—да, и *они правы*. Въ какомъ бы я ни была грустномъ расположеніи, какъ бы душа ни скорбѣла.— послѣ его разговора свободный путь къ чертогу радостей небесныхъ. Всѣ ея осуждаютъ, всѣ такъ сказать нападаютъ на него, къ тому-жъ бѣдность, огромная семья, а онъ уговариваетъ другихъ, кто жалѣетъ его. У насъ его не понимаютъ вовсе и, какъ придетъ, заставляютъ только ѣсть. За ужиномъ ему сказали, чтобъ менѣе говорилъ, потому что будетъ голоденъ, онъ на это отвѣчаетъ: «это не такъ страшно, какъ быть голоднымъ душою». Боже мой, какая тутъ противоположность, съ какимъ восторгомъ смотришь на эту высоту и съ какимъ ужасомъ, съ какимъ отвращеніемъ боишься подойти къ этой пропасти.

Вечеръ. Что-жъ не ѣдетъ Найденовъ? Я жду его съ нетерпѣніемъ, я ему обрадуюсь, какъ родному, спрошу у него все, все... Ахъ, да еще можно-ли будетъ; кв[ягиня], кажется, *имѣетъ понятіе о замыслахъ* (какъ *они* выражаются); да что-жъ до того, что мнѣ нужды и до ихъ милости, и до ихъ гнѣва. Это время минутами сильная грусть обнимала душу, и знаешь, отчего?—Послѣднее письмо мое взволновано, печально, на тебя это подѣйствуетъ.— что дѣлать, ангелъ мой, покоримся Отцу, и въ эти минуты земли скажемъ: «мы еще на землѣ».

Получивъ отъ тебя изъ *Владимира*, я еще воскресла: шагъ, мигъ, и мы въ объятіяхъ другъ друга!! И эти частыя сообщенія, это невзмѣримое море утѣшенія и радости; вотъ поѣдутъ скоро къ тебѣ, услышу о тебѣ отъ *самовидца*; маменька—еще вѣсть полнѣе, вѣрнѣе, а тамъ, изъ папенька къ тебѣ. иль ты сюда, — и все должно въ короткое время... Будто шибко бѣжала, такъ бьется сердце. Только вотъ что: я бы не желала увидѣться съ тобою неож-

давно, что-то сомнѣваюсь въ себѣ... Когда отъ одной мысли займется духъ, загорятся щеки, взоръ,—нѣтъ, *боюсь!* Лучше *ждать* день, два, недѣлю, познакомиться съ этой мыслью — солпцемъ, првгладѣться къ его свѣту, не то... не то я не знаю, что будетъ со мною! Прощай, теперь тебѣ и слышнѣй и виднѣй Наташу—а тамъ, а тамъ... руку!

Полночь. Божественные часы, люди добрые, спите! Передо мной письмо, читаю, перечитываю, за этимъ пауза, но въ ней молчить только земля, а музыка небесная льется, льется... Прочту страницу, и кругомъ меня опять исчезнетъ все, кромѣ полоски неба между стѣной и завѣсомъ. Александръ, Александръ, ты меня любишь, ты мой. Я люблю все и всѣхъ, чистое — намъ родное, падшему — искупленіе, и мы за него! *дурного* въ мѣрѣ нѣтъ, я не могу этому вѣрить. Онъ не создавалъ дурного, и дурное *существовать не можетъ*, все изящно, дивно, все люблю, но ты... Ты! Александръ, ты говоришь друзьямъ и славъ—прощай, я говорю землѣ и небу — прощай. Ты, только ты!!! Оставляю перо, оставь и ты письмо, обернемся туда, преклонимъ колѣна.

13, четвергъ. Да, проясняется; надежда на свиданіе не похожа на ту мечтательную надежду, которая насъ лелѣяла и терзала; все утихло, небо въ пламени .. вонъ ужъ огненная точка, мигъ,— и солнце прынетъ въ высоту. Что объ отпускѣ? Итакъ, Загорю, этому мирному скромному уголку предназначено быть полотномъ нашей встрѣчи, картины достойной взора одного Бога. Неисчерпаемая поэзія и блаженство въ этой надеждѣ, только, вѣдь, мы въ маѣ не ѣдимъ; ежели папенька соберется прежде насъ... все-таки ты прїѣдешь? Тамъ, не доѣзжая полверсты до деревни, есть другая дорога вправо, по ней я часто гуляю при закатѣ солнца, тамъ никто почти не ходитъ, едва видно сосѣднее село, да весь храмъ Божій,— тамъ подадимъ мы другъ другу руку, тамъ встрѣтятся наши взоры, сольются души, тамъ сойдетъ Духъ Святой...

А послѣ что-жъ? Послѣ, опять *то же*, то же... фу! Нѣтъ, послѣ туда, гдѣ плещетъ море, а не цѣпъ гремитъ, гдѣ не стонъ, а гимнъ — туда! Иль пусть тутъ же, тотъ же мигъ тѣло уйдетъ въ свою родину, а душа въ свою. Заранѣе надо все обдумать и устроить. ежели надо будетъ, чтобъ *они* не знали,— это очень легко, отъ деревенскихъ можно скрыться, а домашніе за меня и тѣломъ и душой; только, можетъ, намъ не долѣе будетъ часу, очень рано утромъ, о, такъ нѣтъ! часа три; я могу уйти съ разсвѣтомъ и *три первомъ дымъ* мы протремся... надолголь-то?!

Ты отрекся славы («любая душу, погубить ю»), славы суетной, земной, славы, которой нуженъ блескъ, рукоплесканья, монументы, она родится изъ земли, тянется къ ея сокровищамъ, къ ея благамъ, и небо гаснетъ предъ алмазами, и голосъ Его заглушенъ криками толпы. Но вотъ слава: тѣло умерло, разсѣяны сокровища, молчить толпа, а слава — душа жива, какъ живъ Богъ; вслѣдъ тебѣ будутъ уже не рукоплесканья, а благословенья, не толпы зѣвакъ, а хоры ангеловъ, и не тяжелая, металлическая корона увѣнчиваетъ чело твое, мой Александръ, а вѣнецъ, вѣнчающій Его! Нѣтъ души, нѣтъ и тѣла, не будь той славы святой, божественной, и земная мертва, ничтожна, а съ первую возгремятъ тебѣ и здѣсь трубы и литавры; ежели-жъ и нѣтъ, — что до того? *Имя твое написано на небесахъ!*

Хотѣла ложиться, но опять развернулась эта дивная ткань, и въ глазахъ зелень, дорога, ты... Да, мы увидимся непременно! назначенъ день (до погоды дѣла нѣтъ), ты съ вечера выѣзжаешь, или съ полудня и до ночи въ селѣ По-

кровскомъ, которое отъ насъ 3 версты, оттуда пришлешь сказать мнѣ, а я при- шлю съ разсвѣтомъ проводника, онъ привезетъ тебя прямо на ту дорогу, гдѣ ужъ я буду ждать тебя. — а въ 7 часовъ уйду отъ тебя. Что съ тобой, какъ все это вообразишь?.. Прощай, мой ангелъ, мой Александръ, ужъ за полночь, не могу болѣе писать. О! какъ все радостно, легко, свѣтло. Другъ мой, другъ мой, моя жизнь, мое PROVIDѢНІЕ; точно лѣтнее утро, такъ и вѣетъ аромать, грудь полна, полна!.. Хранитель надъ тобой.

14-е, утро. Сегодня рожденье Саша Б.—мой большой праздникъ, а завтра рожденье Витберга—поздравляю тебя.—Вчера, мой ангелъ, я никакъ не могла заснуть долго, долго, ужъ мнѣ мечталось, что скоро разсвѣтъ, скоро увижу.. Подъ стражей, въ темнотѣ, на жесткомъ диванѣ... я улыбалась, все лицо—восторгъ, слезы радости, а въ душѣ... въ душѣ... О, ангелъ мой! А тамъ, въ золотѣ, въ порфирахъ, на волѣ, можетъ, льются слезы горькія. Александръ, другъ мой, ангелъ, благодари Бога, благодари, что Онъ послалъ мнѣ тебя, братъ мой. Съ улыбкой проснулась, съ улыбкой съла по обыкновенію между трехъ старухъ, — все свѣтло, все прелестно, и не могу принять серьезный видъ.

Мы еще много будемъ писать о томъ, какъ устроить. Въ моемъ планѣ ни тѣни преграды. Какъ мнѣ весело, другъ мой! Знаешь ли, отпускъ или нѣтъ, надо съ *ними* видѣться, иль нѣтъ, мы не иначе увидимся, какъ съ разсвѣтомъ, на дорогѣ, что тамъ направо по горѣ... одна природа, одинъ Богъ съ нами, мы будемъ тамъ часа три, четыре... потомъ—потомъ да будетъ Его воля, намъ *все равно!* Только въ Покровскомъ ты долженъ остановиться просто въ избѣ, а не у священника, и пришлешь въ сумерки посла ко мнѣ, а къ тебѣ съ разсвѣтомъ явится проводникъ на лошади, и ты тоже... Охъ, какъ полно сердце! Господи, благослови! Теперь надо отослать письмо, а ужъ все-таки буду писать, не могу молчать. Твоя, твоя Наташа.

Получилъ ли ты письмо съ почтой?

Ежели-бъ тебѣ можно было пріѣхать и прежде Загорья — я не желала бы, потому что знаю, что все будетъ отравлено; нѣтъ, *непретменно* такъ, какъ я писала, *непретменно!* Самъ Богъ благословилъ эту мысль, она Имъ внушена и не должна быть перемѣнена.

14-е.

Преодолевая себя, пишу; твой ушибъ такъ живо,—сердце замерло... Нѣтъ, погоди, еще успѣю.

Ночь. Давеча вечеромъ ужъ получила твое письмо отъ 10-го. Не даромъ меня такъ поразило, какъ ты въ первый разъ написалъ: «я ушибъ голову», но я не писала тебѣ, потому что подробиѣ ты тогда ужъ не написалъ бы. Вотъ что разлука! Господи, Господи! и меня тогда не было... Ангелъ мой, я вся дрожу. О, нѣтъ, Всевышній, умиласердись, нѣтъ, довольно, Александръ, возьми меня! Можетъ, ты опять ушибся. Отецъ Небесный!.. Такъ все взволновано, но пишу, потому что, можетъ, Ег. Ив. скоро побѣдетъ, я ничего не знаю. Теперь объ немъ: потому-то меня тогда и испугала его любовь, что я ему ужасно много обязана, онъ не переставалъ дѣлать для меня все, что могъ. Долго, ужасно долго я не вѣрила его любви и не брала никакихъ предосторожностей; вообрази-жъ мой ужасъ, когда онъ *упрекалъ меня въ измѣнѣ ему!*.. Долго я не могла смотрѣть на него равнодушно, и все, за что я ему была прежде такъ благодарна, измѣнилось. Теперь и слѣдовъ нѣтъ, онъ даже не беретъ руки моей никогда; это

чрезвычайно благородно, ежели онъ любилъ меня въ самомъ дѣлѣ (по своему); мы съ нимъ всегда очень мало говоримъ, о тебѣ никогда, только иногда такъ, въ обыкновенныхъ разговорахъ, твое имя. Даже грусти не видать на немъ, а прежде онъ горько плакалъ. Что я перестрадала отъ него,—одинъ Богъ знаетъ. Можетъ, и я ему принесла собою одно горе,—видитъ Богъ, все съ намѣреніемъ самымъ чистѣйшимъ, возвышеннымъ. Говори съ нимъ о мнѣ мало. Прежде я даже замѣчала въ немъ и месть,—можетъ, онъ ее скрывалъ до тебя. Я всетаки не могу его не любить такъ, какъ любила прежде. Я сдѣлала огромную глупость въ эпоху его любви; у меня были цѣлы всѣ его письма, потому что все принимала за дружбу, а прочее за шутку; вотъ, какъ *узнала*, и отослала письма къ нему, сказавъ, что «они мнѣ *уже* не принадлежать». Онъ за это слово и взялся, и мнѣ было бездна неприятностей, бездна. — Глубоко смотрѣла въ душу: и онъ всегда мнѣ другъ, всегда любила его, какъ брата, благодѣтеля, и всегда хотѣла ему доказать это, — вышло иначе; не знаю, кто виноватъ. Полина, Полина! ужасно ее люблю, часто, очень часто о ней думаю, она въ глазахъ у меня, мы непрѣменно увидимся, никто родную сестру не любить болѣе.

Папеньку я не боюсь, нѣтъ. Кто смѣетъ бороться съ *нимъ*? И чтобъ ни было, ничего не боюсь, тебя увижу, съ тобой буду, съ нами Богъ, а тамъ что страшнаго? Хоть сейчасъ со двора,—пріютъ будетъ, лишь бы не *оставили у себя*, да и тутъ что страшнаго, весь домъ въ моихъ повелѣніяхъ, а не въ ихъ.

Какъ все стройно было въ душѣ до 8 часовъ вечера. Это свиданіе... О! вотъ неизъяснимой-то восторгъ! Признаюсь, я бы не хотѣла *ничего* до *такого* свиданья, пусть все попрежнему мѣсяца 4, и мы увидѣлись бы такъ, какъ я писала. А тамъ *все равно!* пусть война, пусть все, что они хотятъ, я знаю, что недолго продолжится, жизнь наша полется свѣтлымъ потокомъ, или Онъ возьметъ насъ къ себѣ! До 8-ми часовъ всѣ эти 4 мѣсяца были передо мною, какъ лѣстница, ведущая на небо, какъ одинъ мигъ передъ восходомъ солнца. Принесли письмо—твой ушибъ,—это ужасно меня разстроило. И теперь страшенъ каждый мигъ, въ которомъ ты безъ меня. О! Слезы градомъ, не могу дышать. Нѣтъ, Александръ, я должна быть съ тобой, ангелъ мой, другъ, умоляю тебя на колѣнахъ, цѣлую твою руку,—умилосердись, береги себя, Александръ, я боюсь перечитать твое письмо. Ну, если мнѣ назначено пробыть на землѣ безъ тебя нѣсколько дней... Нѣтъ, нѣтъ, не умирай! Не хочу писать, буду плакать, мнѣ легче будетъ.

15-е, пополудни. Въ 1-мъ часу подають письмо. Я немного покраснѣла, потомъ громко и рѣшительно прочтала *все*. При словѣ: «мы будемъ молиться *вмѣстѣ*». Макаш. вспыхнула, голова ея пришла въ необыкновенное движеніе, она звѣрски посмотрѣла на меня и сказала: «это что-то мудреное слово, что ужъ слишкомъ, никогда такой связи не было, и братъ съ сестрой не могутъ молиться *вмѣстѣ*» и прочія глупости (ежели бы они понимали *молитву*, сказали ли бы это?). Кв[ягиня] молчала и только, покраснѣвъ и улыбаясь, сказала «да». Но въ этомъ словѣ заключается все; еще что-то говорили тихо, но я пошла позвать Найденова, а письмо было принесено не имъ. О Загорѣ она не поняла, я не хотѣла пояснить, да и ненужно было. Вотъ все о письмѣ. Не стойте *ими* заниматься, намъ все равно. Хоть сейчасъ готова имъ сказать все, только готовлюсь отвѣчать папенькѣ, но отвѣчать такъ, какъ бы отвѣчалъ безплотный житель неба, не подчиненный землѣ; пока прощай—нельзя. Ночь я не спала и очень взволнована все утро.

Вечеръ. Маменьку ты увидишь первую, этому я очень рада, отъ нея можешь обо мнѣ слышать болѣе. Начинаю успокаиваться, но ужъ въ письмѣхъ не буду перечитывать ушиба. У меня долго была Emilie, велѣла тебѣ сказать, что не пишеть тебѣ сама о своемъ замужествѣ потому, что еще вѣрнато вѣтъ, женихъ ея поѣхалъ на 2 мѣсяца въ Петербургъ, а тамъ, что Богу будетъ угодно. Вотъ ужасъ-то: она сама должна хлопотать о приданомъ, а ничего вѣтъ; это ужасно! а *необходимость*; да, не красна на землѣ жизнь тому, кто на ней только гость. Прощай, милый, прощай! Наташа Герценъ.

Ночь, 15-ое. Ну, въ самомъ дѣлѣ, Александръ, не прелество ли — *Наташа Герценъ*? Какъ звучно, какъ величественно. Что можетъ быть болѣе, какъ ни слова: Наталя, Александръ Герценъ? Тутъ вся наша жизнь, всѣ страданія, вся любовь, дивно, дивно! Я къ нимъ такъ подписываюсь, а къ другимъ не иначе, какъ только N—будеть съ нихъ. Или вотъ посмотри, какъ прелествы наши вензеля вмѣстѣ [опять вензель изъ А. и Н.]. Часто, когда я одна, повторяю твое имя вслухъ, даже въ просонкахъ, прежде, чѣмъ увижу свѣтъ, прежде, чѣмъ молитва на устахъ, Александръ, мой дивный, мой единственный, тотъ, кого Богъ послалъ, кто далъ мнѣ и душу и блаженство, котораго я *люблю!* Да, я *люблю*, и никто въ свѣтѣ такъ не любитъ. О, другъ мой, твой образъ такъ и свѣтитъ на меня, лучезарный съ высоты, на голубой ткани. Никакъ я не могу представить себя съ тобою въ жизни обыкновенной, это что-то не пристало; вѣтъ, нашъ домъ воздушный, чтобы все, къ чему мы касаемся, не касалось земли, просторъ, эфиръ и музыка! А бѣдная Emilie *иметь приданое*,—это убійственно!

Твой ушибъ такъ наугалъ меня, ни на минуту не могла забыть. Какъ огромна должна быть моя молитва, ничего, кромѣ молитвы. Съ мыслію о тебѣ — мысль о Богѣ и непрерывное самоуничтоженіе, и просьба о сохраненіи тебя. Да, иначе я не могу быть покойна, иначе я не люблю тебя. Ни на мигъ, ни на мигъ стороннее не вкрадывается въ душу, все ты, все тебѣ. Ахъ, право, это непостижимо, какъ можемъ мы быть розно. Но пусть дополнится мѣра, пусть еще мѣсяца 3, лишь бы это свиданье. Богъ тебя будетъ хранить, ты ужъ не упадешь болѣе, я буду Его непрерывно просить объ этомъ. А 3 мѣсяца разлуки мы вынесемъ, лишь бы не измѣнился тотъ планъ... Вѣдь, это чудно, Александръ, устроится, ни на волосъ препятствій, и вообрази, мой ангелъ, вообрази все это такъ величественно, свободно, такъ торжественно, а здѣсь... О, вѣтъ, больно разетаться съ очаровательной мечтой,—вѣдь, все будетъ такъ, какъ я писала? А тутъ... и полъ-то сдѣланный, и стѣны, и еще желѣзная крыша, и люди желѣзные... О, трепеть пробѣгаетъ отъ одной мысли; стукъ по камнямъ. *ихъ* голоса, *ихъ* глаза... И вѣтъ, въ томъ домѣ мы увидимся, гдѣ крыша небо, стѣны безиредѣльность, тамъ, тамъ на горѣ. И знаешь ли что: съ того мѣста видно далеко, кто ѣдетъ изъ Москвы; и я увижу тебя издали, и ты увидишь меня, пустишься впередъ проводника, я остановлю Сашу и довольно. ангелъ. довольно! ты задыхаешься... Да, для человѣка это слишкомъ много, но Ему возможно все. Ежели же *нельзя* такъ, какъ я пишу, то ты пиши мнѣ, чтобы скорѣй мнѣ разстаться съ этой мыслію, чтобы не такъ было больно.

Какъ хотѣлось мнѣ видѣть Найденова. А какъ маменька-то пріѣдетъ, Александръ, Александръ!

16-е. Письмо твое *ихъ* совершенно разстроило. Кв[ягния] вздыхаетъ, дѣлается большой, говоритъ, что не спала ночь, и ужасно сердита, — опять рядъ безконечныхъ неприятностей, но все это пыль, одна пыль, и, какъ хочеть она высоко

вейся столпомъ, не достать неба, не достать солнца. Разумѣется, и пыль неприятна, но видишь: тамъ—свѣтлыя воды, катятся какъ кристаллы и журчатъ о умовеніи, о очищеніи, и отражаютъ въ себѣ безмятежную, святую будущность? Несися вихрь, взвивайся пыль, земля, тьма... небо, —на мигъ не видать его, и потомъ опять вѣчный яхонтъ, вѣчное солнце...

Кн[ягиня] что-то много писала къ папенькѣ, она скрываетъ отъ меня причину разстройства, а все обиняками бранить и нывшній вѣкъ, и молодежь, и женитьбу. Жалка она, право, жалка; но—«мрачное—мраку, Фебово—Фебу». Мнѣ и легко и свѣтло!

17-е, пополудни.

Смѣхъ, Александръ! вообрази, кн[ягиня] скрываетъ отъ меня свое безпокойство, но ясно видно, что *симпатія* и *молитва* въ твоёмъ письмѣ кажутся ей чудовищами и стращаютъ ее. Ну, Богъ съ ними, пусть ихъ скрываютъ, я и не хочу открывать ничего. Да, подъ ногами и грязь, и пыль, и ямы, а посмотри, надъ головою свиданіе такъ и горитъ яркимъ солнцемъ! О, Александръ, что земля, что люди! Земль—слезу, людямъ—благословеніе,—*всѣмъ*. А намъ путь иной, намъ ненадо ихъ слезъ, ихъ благословеній, въ насъ нашъ рай и Богъ!

Вчера, пересматривая твои письма, я подумала: я счастливѣ Александра, у меня его письма и взъ Крутицъ, и въ Красниково, и даже всѣ записочки... Но, вѣдь, я только пересматриваю ихъ, и то со страхомъ, нѣкоторыя прочитаю, а чтобъ такъ, всѣ рядомъ, и подуматъ нельзя, они жъ у меня подъ спудомъ,—а ты можешь и читать, и перечитывать, не оглядываясь, не прислушиваясь, ты счастлива! Какъ я рада, что ты маменьку увидишь первую. Помнишь, она привезла меня къ тебѣ въ Крутицы? Съ ней я хотѣла послать тебѣ чернильницу,—не пошла. Вотъ ужъ бы не желала провожать маменьку, я не знаю, что бы со мною было. Кажется, завтра она ѣдетъ. Ахъ, Александръ, Александръ, нѣтъ, не могу писать, прощай!

Сейчасъ записка отъ Эмилиі, — вотъ она. Всѣ желаютъ намъ свиданья въ Загорьѣ, *дѣльно*. Мнѣ ужасно больно, что маменькѣ столько неприятностей черезъ насъ (Emilie мнѣ писала), но что же дѣлать?

Именно, ангелъ мой, ты не долженъ пріѣзжать въ Москву, зачѣмъ? Маменьку видишь, папенька пріѣдетъ къ тебѣ самъ, друзей нѣтъ, а *меня* ты не увидишь въ Москвѣ, потому что, мечты въ сторону, я *должна* буду замаскироваться, а это убійственно. Чтобы видѣть *меня*, пріѣзжай въ Загорье такъ, какъ я писала. Я ничего, впрочемъ, подробно не знаю, какъ папенька узналъ и какъ противъ.

18-ое, вторникъ. Вѣрно, ты сегодня весель, вѣрно, не покидалъ меня,—я обыкновенно весела и высока. Вотъ тебѣ нывшній день: кн[ягиня], наконецъ, излила на меня все, что ее тяготило; началось обыкновенно съ того, что я *не такъ* смотрю и далѣе, къ концу двухъ часовъ, рѣчь обратилась на тебя, и *такъ*, что еще бы слово—и я ей сказала бы: люблю Александра! Но она, видно, сама боялась вымолвить это слово, а я забѣгать не буду. Тутъ-то она сказала, что больна отъ твоего письма, что оно романтическое, что его нельзя показать честному человѣку, что симпатія *въ немъ* вѣтреность, развратъ, и, Богъ знаетъ, какіе она ужасы говорила, истинно ужасы. Я же въ продолженіе этихъ двухъ часовъ слишкомъ ни полслова, то же покойное, счастливое лицо, та же Наташа, а истинно, это что-то было въ родѣ бесѣды Везувія съ луною. Чѣмъ же кончилось,—ты расхохочешься: «И какъ онъ, дерзкій мальчишка, смѣлъ подуматъ, что я

допущу его молиться съ тобою утромъ и вечеромъ, не бывать!» Тутъ я не могла удержаться и засмѣялась, ей самой это стало смѣшно, и тѣмъ все кончилось. Ну, какъ не жалѣть ихъ!—Потомъ несносные гости, несносный разговоръ, несносный обѣдъ. Эти часы я страдаю. Представь себѣ мрачная, холодная, маленькія комнаты, съ замерзшими окнами, нечистыя, въ нихъ нѣсколько старухъ, *по крайней мѣрѣ* пять, — ни мысли въ рѣчахъ, ни луча души во взорѣ—безпрерывная галиматья. За ней слѣдуетъ обѣдъ, за нимъ сонъ. Ты помнишь эту свѣтлую, теплую комнату, что на дворъ,—въ третьемъ часу въ ней солнце и я. Тутъ совсѣмъ другое, пусть ихъ спать себѣ, а я, окрыленная мечтою, уношусь на свою сторону, въ родную семью. Ангелъ мой, какъ счастлива, какъ безмятежна душа, какъ безпечна о земномъ. Хотя всему запретъ, кромѣ работы, но и работа не скучная, я вышеваю для Emilie. Тихо, тепло, свѣтло, свободно—чудо, чудо. Я была въ восторгѣ, черное прошедшаго, неприятности настоящаго, страхъ будущаго—все исчезло; вся жизнь моя—струя любви, лучъ Бога, Александръ. Не раскрывалось передо мною это суетное, темное, тѣсное, долготѣнее *иньдо* на землѣ, о, нѣтъ! Мнѣ сіялъ одинъ мигъ, мигъ свиданья, и свѣтъ его равнялся съ мірадами солнцевъ, и обширность его равнялась съ вѣчностью... Да, Александръ, увидимся: 9 апрѣля былъ нашъ первый шагъ въ жизнь, а *тогда* свиданье пусть будетъ послѣднимъ, и жизнь наша полна, начата и кончена, чего тогда намъ ждаты на землѣ, чего желать?

Такъ, за такіе два часа можно пожертвовать цѣлымъ днемъ,—они прошли, и за ними опять мрачно, тѣсно, душно, по ихъ лучъ и пѣзъ прошедшаго достигаетъ меня и животворить. Вѣдь, вотъ что еще несносно—эти *приличія*. Долгу. обязанности, закону — покоряюсь, а приличія свѣта, то есть маска, душитъ меня, и я никогда не въ состояніи буду носить ее, и потому я чужда свѣту, и свѣтъ чуждъ меня. Смотри на меня такъ, какъ я есть, а я есть такъ, какъ создалъ меня Богъ и Александръ. Но если-жъ ты хочешь найти у меня вмѣсто глазъ червонцы, вмѣсто сердца граненый алмазь,—иди мимо. далѣе, ниже, иди туда, гдѣ не знаютъ, что такое глаза и сердце, не знаютъ Наталіи и Александра.

Что Вятчи? Ты тоскуешь о нихъ, теперь ужъ ты слишкомъ одинокъ. Что то они, жаль ихъ, ужасно жаль. Но, друзья, не тоскуйте, мы съ вами.

Вѣроятно, ты ждешь Егора Ив. и потому не пишешь, я жду-жду письма, когда-то придетъ оно! Прощай, смотри, какъ свѣтитъ Венера, обнимемъся, ангелъ мой, прощай. Боже мой, намъ хотять запретить вмѣстѣ молиться, не будучи въ состояніи разлучить и на минуту—бѣдные. Вотъ какъ понимаютъ они молитву; Александръ, другъ мой, больно сердцу, ввущимъ имъ нашу молитву, откроемъ ихъ сердца, ихъ сковало *приличіе*. Господи, или это только твое всемогущество можетъ? Я содрогаюсь, когда слышу, что они произносятъ: молитва, добродѣтель, Богъ; какое значеніе у нихъ этимъ словамъ? Мнѣ становится страшно, страшно, я ищу твоего взора, о, Александръ! Прощай же. Что ты дѣлаешь теперь, не со мной ли у Его Престола?

19-ое. Прощай, свѣтло, ясно на душѣ, будь веселъ, мой Александръ! Теперь говори съ маленькой, мнѣ пора замолчать.

Наташа Герценъ.

Владиміръ, января 19.

Наташа! хочешь ли видѣть близкаго родственника и узнать въ немъ твои прелестныя черты? Я тебѣ покажу. Сегодня я перебиралъ всѣ старыя письма

прежняю времени; ихъ немного: часть сожжена, часть затеряна, а часть осталась въ комиссіи. Я нашель только три письма отъ Ог. того времени. Ну, слушай, онъ пишетъ іюля 24-го 1833 года: «Другъ! твое письмо оживило меня, я теперь опять возвысился на точку, съ которой почти не замѣчаю ничего, что вобругъ меня, съ которой не вижу пошлыхъ частностей, но только одно общее великое. Одно идеальное могло меня извлечь изъ этой пропасти. Мнѣ оставалось или сравняться съ этими людьми, или укрыться въ недоступный для нихъ міръ идей. Могъ ли я съ ними сравняться? Такъ міръ идей, — въ немъ моя жизнь!..» Прислушайся, Натъша, къ этимъ звукамъ, къ этому бѣгству отъ земли, къ этому мощному дѣйствию моего письма, и ты увидишь себя тутъ. Переставь одно слово, и можно думать, что это изъ твоего письма; слово «идея» замѣни небожъ, молитвой. Слушай: я долго не писалъ къ нему, онъ боленъ, его душа томится, и онъ пишетъ: «Герценъ, сжался надо мною, напиши что-нибудь. Нѣтъ ни думъ, ни мечтаній, ни вдохновеній. все убито морозомъ, самыя лучшія цвѣтки сшиблены. Отъ тебя письма не было. Въ первую минуту восторга искренно желаю умереть. Скучно, мучительно. Да, ради Бога, пиши, я схожу съ ума! Сжался, Герценъ, Боже, Боже!».

Наташа, это ты, оставленная двѣ-три недѣли безъ моего письма. О, вы — братъ и сестра, вы-то одни и проводите меня сперва до могилы, потомъ до Бога — и тамъ останемся. Ты писала мнѣ разъ: «тебѣ 25 лѣтъ, и у тебя есть другъ, есть подруга, — и какой другъ, и какая подруга!» О, ангелъ небесный — и ты выше, святѣ друга. Нѣтъ, тогда въ Загорѣ я тебѣ скажу все — не говоря ни слова. Прочь, прочь все земное, — зная тебя, любить земное... Далѣе о письмахъ. Теперь обращаюсь къ себѣ. Въ это самое время, т. е. въ 1833, мечталъ я, что влюбленъ въ Л. П., но тогда еще любовь не могла проникнуть сквозь тройную броню гордости, славы и общихъ идей. Я писалъ къ нему о томъ, что влюбленъ, но писалъ робко и сказалъ, между прочимъ: «любовь меня не поглотить, это занятіе пустого мѣста въ сердцѣ, идеи со мной, идеи — я». Онъ отвѣчаетъ (августъ 18): «Герценъ, ты или шутишь, или не понимаешь ни любви, ни самого себя. Внихни въ идею этого слова, «любовь». Если она и поглотить тебя, то ни уничтожитъ ничего благороднаго, она очиститъ тебя, какъ жрецы очищали жертвы, которыя готовились Богу». Огаревъ правъ, я равно тогда не понималъ ни любовь, ни себя, и вотъ лучшее доказательство, что это была мечта. А онъ понималъ оттого, что онъ поэтъ, оттого, что онъ все понималъ не разсужденіемъ, а вдохновеніемъ. Сравни меня теперь, какъ я открыто говорю имъ и всему міру, что моя жизнь для нихъ кончилась, что моя жизнь — ты. Въ послѣднемъ письмѣ моемъ изъ Владимира я писалъ ему: «Во всю жизнь два чловѣка на меня сильно дѣйствовали: это ты и она; больше нѣтъ ничего вліянія на меня. Но и сотою доли ты не сдѣлалъ того, что она.

....Eine weisse Taube
Wird fliegen....
Durch eine zarte Jungfrau wird et sich
Verherrlichen, denn er ist der Allmächtige!

Передъ ея силой и высотой я склонилъ свою гордую голову; когда-нибудь ты прочтешь ея письма, — и ты склонишь голову». Какое пространство между сухой мыслью о любви, брошенной въ 33 году, и этой яркой любовью въ 1838! Я думаю, ты поймешь эти стихи изъ «Юанны», они очень просты.

Съ маменькой пришлю я тебѣ начало моей біографіи; какъ прочтешь, воз-

врати съ Егоромъ Ивановичемъ. Тебѣ понравится предисловіе и VI глава подъ заглавіемъ «Пропилей». Остальное шалость, но я не уничтожу, это заставляетъ меня въ грустныя минуты улыбаться. Я виноватъ, что не посылаю «Симпатіи»; ей Богу, такъ ненавижу переписывать, что все день за день откладываваю. Когда будетъ досугъ, спиши мнѣ «22 октября 1817» — у меня нѣтъ. Пришлю тебѣ еще трагедіи Шиллера.—работай надъ нѣмецкимъ языкомъ. Ты увидишь изъ «Пропилей», что былъ для меня Шиллеръ. Заглавіе мое вотъ почему: передъ входомъ въ Аѳинскій Акрополисъ былъ сдѣланъ торжественной входъ, черезъ него народъ-царь, народъ-юноша входилъ въ свой дворецъ, — это-то былъ Пропилей. У меня такъ названо вступленіе въ юношество. Мой Акрополисъ изящной, какъ Аѳонскій, такой же вольной, такой же языческой. Будетъ и путь къ святымъ мѣстамъ, будетъ Сіонъ и Святая Дѣва,—это во второй части.

20-е. Есть у меня еще повѣсть, но ее боюсь тебѣ послать, мрачна, какъ черная ночь. Перечитывая сегодня, я самъ содрогнулся. Привезу самъ, а то мрачнаго и безъ того довольно. Да еще надобно поисправить. Перечитывалъ твои письма второй половины 37 года. Вотъ это ужасное письмо, полученное 14 ноября. Боже, что я перестрадалъ въ тотъ день. «Униженіе и смерть безъ меня» — вотъ двѣ мысли, около которыхъ собралась истерзанная душа. Какъ я тогда плакала! Скворцовъ, испуганной, бросился къ Эрну. Я былъ въ аптекѣ, заставилъ Полину штъ, а та не могла духа переводить; блѣдной, какъ полотно сидѣть я на стулѣ, и горячія слезы лились. Въ комнатѣ было жарко, я дрожалъ отъ холода. Когда пріѣхалъ Эрнъ, я захоталъ, сжалъ ему руку и сказалъ, что я жду отъ нап[енки] приглашенія быть шаферомъ на твоей свадьбѣ. Эрнъ содрогнулся, у него и у Скворцова показались слезы. Я началъ штъ французскій водевилъ, — это было вродѣ предисловія къ сумасшествію. «У него завтра горячка», сказалъ Эрнъ. «Ежели...», началъ Скворцовъ, я понялъ его, обратился къ Полинѣ и сказалъ: «А, какъ хотите, горько покидать жизнь». Потомъ воротился я домой, легъ на диванъ и уснулъ, проснулся больной до невозможности, грудь болѣла, голова была въ огнѣ. А тутъ твое письмо, которое успокоило меня, я полетѣлъ къ Полинѣ. Но физическая часть отстала, двѣ недѣли я былъ болѣнь послѣ этого, и, выздоравливая, первую вѣсть, которую получилъ, былъ переводъ во Владиміръ. Этотъ день много очистилъ мою душу, много возвысилъ меня. Нѣтъ, ты напрасно упрекаешь себя, что написала все это. *Дурно сообразишь*. ежели скроешь что-нибудь. Все по поламъ. Развѣ я скрывалъ свои минуты грусти. А предложеніе Эрна, Скворцова,—одно слово, и они полетѣли бы къ Москву. Но что бы сдѣлали? Откуда ты берешь надежды на папеньку, не постигаю; теперь поближе начать я разглядывать и понялъ, какъ онъ будетъ дѣйствовать. Что-то онъ на мое прошлое письмо?

21-е. Сегодня ночью я очень много думалъ о будущемъ. Мы должны соединиться и очень скоро, я даю сроку годъ. Нечего на нихъ смотрѣть. Я обдумалъ цѣлой планъ, все вычислилъ, но не скажу ни слова, въ этомъ отношеніи отъ тебя требуется одно слѣпое повиновеніе.

Маменька пріѣхала. Твои письма, едва прочтенныя, лежатъ передо мною, а я мраченъ, черенъ, какъ рѣдко бывалъ и въ Вяткѣ. Да, завѣса разодрана, вотъ она истина нагая, безобразная. Наташа, ради Бога, я умоляю тебя, не пиши ни слова противъ слѣдующихъ словъ: ты должна быть моя, какъ только меня освободятъ. Какъ? — все равно. Найдется же изъ всѣхъ служителей церкви одинъ

служитель Христа. Но ни слова противъ; Наташа, ангель, скажи *да*, отдайся совершенно на мою волю. Видишь-ли, ангель мой, я ужъ не могу быть въ разлукѣ съ тобою, *меня любовь поглотила*, у меня ужъ, окромѣ тебя, никого нѣтъ. Ты писала прошлый разъ, что жертвуешь для меня небомъ и землею. Я жертвую *однимъ небомъ*. Слезы на глазахъ—никого, никого — ты только. Но ты имѣешь надо мной ужасную власть, ты меня отговоришь, и я буду страдать, буду мраченъ, буду, какъ ты не любишь меня. Ежели скажешь *да*, я буду обдумывать, это будетъ моя игрушка, мое утѣшенье, не отнимай у изгнанника. Все противъ меня. Это прелестно: нагъ, бѣденъ, одинокъ, выйду я съ своей любовью. День, два счастья полного, гармоническаго. А тамъ — два гроба! Два розовые гроба. Я не хочу перечитывать писемъ—послѣ; только зачѣмъ ты такъ хлопчешь объ ушибѣ, душа разможжена хуже черепа. Фу, какимъ морозомъ вѣетъ отъ этого старика, которому мой ангель, моя Наташа, цѣлуетъ съ такимъ жаромъ руку. Ты находишь прелесть въ этой подписи: Наташа Герценъ; а вѣдь, онъ не Герценъ,—Герценъ прошлаго не имѣетъ, Герценыхъ только двое: Наталія и Александръ, да надъ ними благословеніе Бога. Знаешь ли ты, что Сережа говорилъ объ тебѣ, что ты безумная, что ты не должна ждать лучшаго жениха, какъ дуракъ тотъ, что ты не имѣешь права такъ разбирать, а его сестры имѣютъ. Отъ сей минуты я вытолкнулъ этого человѣка изъ сердца, онъ смѣетъ называть меня братомъ,—въ толпу, тварь, въ толпу, куда ты выставилъ голову, въ грязь — топись. Ангелы не знаютъ этого ужаснаго чувства, которое называютъ месть, а я знаю, стало быть, я хитрѣ ангеловъ.

Наташа, божество мое, нѣтъ, мало, Христосъ мой, дай руку, слушай: никто такъ не былъ любимъ, какъ ты. Всея этой вулканической душой, мечтательной, я полюбилъ тебя,—этого мало: я любилъ славу—бросилъ и эту любовь прибавилъ, я любилъ друзей — и это тебѣ, я любилъ... ну, люблю тебя одну, и ты должна быть моя, и скоро, потому что я сиротою безъ тебя. Ахъ, жаль мнѣ маменьку. Ну, пусть она представитъ себѣ, что я умеръ. Я плачу, Наташа. Ахъ, кабы я могъ спрятать мою голову на твоей груди. Ну, посмотримъ другъ на друга долго. Да не пиши, пожалуйста, возраженій, ты понимаешь чего. Дай мнѣ окрѣпнуть въ этой мысли. Прощай. Ты сгоришь отъ моей любви, это огонь, одинъ огонь.

22-е. Маменька здѣсь. Я мраченъ, какъ ночь. Къ этому письму есть вторая страница, не знаю, пошлю ли, только не теперь. Мам[енька] и Пр. Андр. кланяются.

Твой Александръ.

Москва, января 20-е, вечеръ.

Теперь маменька къ тебѣ ужъ ближе, нежели ко мнѣ. Странно, Александръ, отъѣздъ ея навелъ на меня ужасную грусть; когда мнѣ сказали—*утхала*,—я готова была плакать; какою-то пустотою, сиротствомъ повѣяло отъ этого слова, и потомъ мысль: она будетъ съ тобою, а я... Какъ не ожидаешь иногда въ себѣ переменны; вчерашній день я такъ была тверда, самоотверженна, *они* затмеваютъ настоящее какимъ-то туманомъ, густымъ дымомъ, въ будущемъ носятся тучи, грозныя тучи, слышатся издали и раскаты грома, и свистъ вѣтра. Такъ! будь мое ясное небо мрачнѣе земли—не боюсь, *я его видѣла разъ*, увижу *другой*, а что между ними, что за ними,—что намъ до того. И я готова была, увидѣвъ тебя, тотъ же мигъ покинуть землю (уже превратившуюся тогда въ небо), го-

това была всю вѣчность проскитаться въ этой мрачной юдоли,—мнѣ все равно! что рай, что небо предъ памятью этихъ двухъ свиданій? И я привѣтно смотрѣла на стражу, я весело играла кандалами, мнѣ не было красотъ, мнѣ не было ужаснаго на землѣ, у меня одно 9 апрѣля, другое *то* свиданье—вотъ все! Разверзись небо, разступись земля, мнѣ равны свѣтъ и мракъ, высота и глубина. я вѣрую въ мое *тогда*, за нимъ для меня нѣтъ ничего. Но, *улыбала*,—взмѣнило все. Ангелъ мой, когда я такъ подвластна *всему*, что-жъ другіе? Вихрь, туча. орелъ! ужель не властны вы вырвать меня изъ этой тѣсноты, изъ этого чужого. изъ этой смерти? Умолкни голосъ земли, душа моя, что спиши? Нѣтъ, ни вихрь, ни орелъ, никакая сила земная меня не спасетъ. Твоя десница, Господи! Ты великъ, Ты благу, Ты всемогущъ!... — А письма давно, давно ужъ нѣтъ, но вѣрно въ понедѣльникъ, еще три дня ждать, цора, ужъ я устала, Александръ. Александръ! Не правда ли, въ этомъ словѣ болѣе, нежели во всей страницѣ?

21-е. Нынѣшній вечеръ ты весель съ маменькой, слышишь обо мнѣ... Какъ все это живо у меня въ глазахъ, и, вообрази, мой другъ, я такъ забылась, что сядя съ *ними* и не говоря ничего, улыбалась (мнѣ вѣнужно ни лошадей, ни ногъ, ни крыльевъ, чтобъ быть у тебя). Вдругъ меня спрашиваютъ,—я въ мигъ упала и рассказала имъ что-то смѣшное. Но со всѣмъ этимъ грустно; вѣдь, вотъ вижу и тебя, и все, какъ вы съ маменькой, весело вамъ, а мнѣ грустно!.. потому что я вижу *заочно*!

Еще шагъ отъ людей, еще имъ горькую слезу. Или они становятся ниже. или мы становимся выше! Когда я говорю, или пишу о тебѣ Сашѣ Б., ничто меня не останавливаетъ, *все* летаетъ свободно, вольно, и какой полный отзвѣвъ.—когда-жъ говорю съ другими... Какъ больно, какъ больно, когда на кристаллѣ потока вдругъ увидишь брошенное бревно, или черепокъ какой. Какихъ же доказательствъ нужно? Слѣпому и очки не помогутъ видѣть солнце.

Я спѣшу ужасно, мой ангелъ, возможности нѣтъ писать, итакъ. прощай. жду понедѣльника. У маменьки поцѣлуй за меня ручки, Прасковья Андреевна мое почтеніе; хорошо ли имъ у тебя, покойно ли? Попевай имъ, что не забъхали за мной. Прощай, цѣлую тебя. Твоя, твоя Наташа. Александръ, Богъ и любовь!

Наташа Геруень.

Москва, января 22, субб., ночь.

Какъ полнонь нынѣшній день, какъ дивенъ, какъ изященъ! Твое письмо (отъ 11-го) и Emilie! Огромное письмо, я не могла разомъ прочесть его, такъ тѣсно сдѣлалось въ груди, щеки разгорѣлись, словомъ, *не могла* всего прочесть,—вотъ еще какъ я мала для твоей любви. Сдѣлалось тѣсно въ моемъ уголкѣ. душно, сбѣжала внизъ,—и тамъ не просторно. И въ одинъ часъ разъ десять я летала вверхъ, чтобъ дочитать, перечитать, и еще, и еще читать письмо. За этимъ Emilie; она хороша была нынче, прелестна! намъ съ часъ удалось быть вмѣстѣ,—тутъ покрывало долой, и мы свои. Но со всею радостію, твое письмо напугало меня, я невольно содрогнулась и тяжело вздохнула, *единственная* картина нашего свиданья померкла, обезобразилась... такъ и въ душѣ, это мѣсто, гдѣ она красовалась. опустѣло, заболѣло. Ты не знаешь, Александръ, собою доли, *что такое у насъ* здѣсь; въ Москвѣ *тщательно* нельзя видѣться безъ нихъ. никакъ, никакъ, тысячи мелочей, но ихъ не минуешь и не перемѣнишь, *нельзя*. Вотъ, ежели бы папенька былъ на нашей сторонѣ, онъ просто бы прислалъ за

мною, но и тогда что, — всетаки черное и чужое кругомъ... Хотя въ Загорьѣ мы могли бы быть вмѣстѣ нѣсколько часовъ только, но что и эти 29 дней, вообрази, что ты *меня* ни разу не увидишь, да, потому, *они* половину, можетъ, знаютъ и даже не пустятъ меня ни къ вамъ (пап[енькой] помощи тогда нельзя ждать), ни въ ту комнату, въ которой ты будешь у насъ. Невѣроятно, что они могутъ сдѣлать. Вотъ развѣ мнѣ оставить ихъ и къ сестрѣ Emilie — Амалии — но послѣ что. Прости, если можно, отпущь до тѣхъ поръ, пока мы поѣдемъ въ деревню, я всё силы употреблю, чтобъ раньше ѣхали, и это немудрено, а тамъ, хоть на другой же день ты пріѣзжай. Ежели-жъ нельзя, — готова на все! Только знаю напередъ, что не выдержу притворства, ну, такъ чтожъ, и вовсе притворяться не буду: чего бояться на землѣ открыть то, что *тамъ* возвеличено и благословлено! Прахъ! пусть говенье, пусть все, что *они* хотятъ, сжели *Она* хочетъ. Прощайте, мечты. Въ душѣ лишь любовь и вѣра! Пусть свиданью будетъ рама чугунная влѣ алмазная, все равно, лишь бы было *свиданье!*

23-е. Да, Александръ, ты за полгода не похожъ былъ на теперешняго Александра; не могу тебѣ выразить, ангелъ мой, что со мною было, какъ я получила отъ тебя письмо отъ 5-го января, — *оно лучшее изъ всѣхъ!* Его я давала читать Emilie, его я переписала Сашѣ Б., въ немъ ты божественъ, великъ, славенъ, святъ, въ немъ ты мой совершенный Александръ. Скоро, скоро увидимся. и вижу это по тебѣ и по себѣ, мы все достойнѣе становимся свиданья, скоро, скоро!

Я не отвергаю славы, но понимаю подъ этимъ словомъ совсѣмъ иное, нежели *понималъ* ты.

Внутреннее сознание своего достоинства и принесенной пользы — вотъ истинная слава, а эти восклицанія, рукоплесканія... пустая пѣна! Отказавшись отъ этой славы, ты можешь *свободнѣе* идти къ славѣ истинной и скорѣе дойдешь до нея, не будучи связанъ *тою* славою, ложною. Александръ, ты неподражаемъ. Вообрази, постигни всю необъятность того, что вмѣщаетъ душа моя во время молитвы, я истинно исчезаю въ эти минуты съ земли, и небо мнѣ тѣсно. Господи, возьми насъ къ себѣ!

Очень желаю читать все, что ты писалъ, и кто виноватъ въ томъ, что до сихъ поръ не все читала? Александръ, кто, ты думаешь? Я думаю, ничего подобнаго не печаталось никогда и не напечатается, потому что Александра моего не было до тебя и послѣ не будетъ. Ты упоминалъ всѣ статьи, а «Легенду»? ну, ежели ты ее пропустишь. Нѣтъ, я заступаю за нее и непременно хочу, чтобъ *первый шагъ* твой послѣ 20 іюля былъ увѣковченъ. Какъ встрепенется Русь, сколько земли свѣтъ съ нея печатный Александръ, какъ взмахнетъ она крылами, сколько покрововъ спадетъ передъ ея глазами, и тамъ, гдѣ путь его, сколько исцѣленныхъ, воскресшихъ, спасенныхъ... О, Русь, Русь, за что тебѣ такой подарокъ! — Да, я не все перечитываю писанное тобою; иронія я чужда, и когда сама читаю «Встрѣчу», пропускаю всегда объѣдъ, и конецъ I. Maestri страшенъ, я только разъ читала его съ содраганьемъ. До сихъ поръ не отдаю тебѣ I. Maestri, и я не видала отиѣтки Жуковского.

Какъ ни трудно мнѣ, но пришлю тебѣ *всѣ* письма и записки твои до 36 года. Большая жертва; этимъ мнѣ какъ-то больно и съ тобою дѣлиться, возврати же. Одной записки недостаетъ: первая послѣ 20 іюля, я ее износила на груди, но помню слово въ слово. Иногда я, хотя и очень чѣмъ-нибудь занята, покидаю все, лечу наверхъ, *отрываю* свертокъ съ письмами, и хоть посмотрю на него, все

повеселѣе, все покойнѣе. И ночью часто приходитъ въ мысль, какъ спасти мнѣ письма и портреть, ежели загорится нашъ домъ. Вѣдь, тутъ все у меня: богатство, живопись, музыка, вся земля и небо! Любимая моя записка до 36-я, — это послѣдняя изъ Крутицъ, 10-е апрѣля, на ней ты увидишь мою любовь, написанную слезами, ее я читала несчетно разъ, и несчетно разъ плакала надъ нею, даже средѣ самыхъ яркихъ надеждъ, такъ глубоко канули въ сердце твои слова: «читакъ, прощай, прощай надолго». Тамъ это «можетъ быть», которое было первымъ пророчествомъ твоей любви, надъ которымъ я долго, долго сидѣла, то плакала, то улыбалась, боялась чего-то, чему-то радовалась и часто съ тѣхъ поръ, какъ только все у насъ заснетъ, читала и перечитывала его, и думала надъ нимъ и молилась. Ужъ бьетъ часъ ночи, а я будто сію минуту только взяла записку въ руки, и это «можетъ быть» я подчеркнула тогда же; ты увидишь. Ужъ приближался конецъ 35 года, ужъ лучъ любви свѣтилъ изъ-за дружбы, я прочту новое письмо и беру опять мое «можетъ быть», и смотрю на него, не посмотрю, и плачу, и грудь такъ сдѣлается полна... Это «можетъ быть» было дверью, за которою душа чувствовала, что есть небо, есть рай, есть блаженство непостижимое, изъ-за нея ей слышалась дивная пѣснь, видѣлся дивный свѣтъ, она чувствовала, что за этой дверью ея Александръ, но она еще не отворялась до конца 35 года. Глядя на эту записку, помни, что она миллионъ разъ была въ рукахъ твоей Наташи, на ея сердцѣ, на ея груди, на ней несчетные ея поцѣлуи, а слезы ты можешь счесть. Прощай, велятъ спать.

24-е. Еще очень давно я писала тебѣ, что для совершеннаго моего блаженства, для того, чтобы бытіе мое было исполнено всего изящнаго, святого, достаточно только знать, что ты существуешь, — это высоко, это любовь безъ мѣры: на что-жъ иногда ропотъ, стenanія, стремленіе къ тому, что выше силъ моихъ? Правда, съ тѣхъ поръ я много выросла, но дерзко желать то, чего я желаю — быть съ тобою вмѣстѣ и неразлучно. Нѣтъ, вѣдь, я мала, мала, Александръ, нѣтъ. дай мнѣ Иорданъ, крестъ, дай небо мнѣ жилищемъ и тогда скажи: «Наташа, я твой!» Александръ, какъ сказать тебѣ малѣйшее подобіе тому, что въ моей душѣ, въ груди?

Пусть въ Петербургъ, въ Китай, нужды нѣтъ! Намъ Богъ не разлучить, и Самъ Онъ съ нами. Я минуты не переживу безъ тебя на землѣ, о, нѣтъ! Мы ищемъ о Загорѣ точь въ точь, но къ чему вдругъ просьба объ отпускѣ. Гдѣ лучше увидѣться: въ цвѣтничкѣ ли Господнемъ, или на скотномъ дворѣ, — не знаю, Онъ знаетъ, какъ лучше, пусть такъ и будетъ.

Ангелъ мой, не погодить ли писать 9 апрѣля: ему тѣсно будетъ и въ цѣлой вселенной, не только въ Россіи. Ужасно вздумать, что оно *можетъ* тогда быть въ рукахъ и тѣхъ, которые назовутъ его *хорошенькой штучкой*; это случилось съ «Легендой» и «Встрѣчей»; и тутъ я была внѣ себя отъ негодованія; да не коснется и рука *ихъ* до священной бумаги, на которой будетъ начертано 9 апрѣля! Еще разъ я была ужасно сражена, но объ этомъ ужъ не стану и писать — «должная долу». Есть ли у тебя деньги? Ежели лишнія есть, пришли Emilie на ея имя, ей крайняя нужда, братъ ея на Кавказѣ раненъ и ужасно боленъ. Отъ ея Александра еще нѣтъ вѣсти, она говоритъ, что это замужество жертва. такъ и быть должно, — а тотъ юноша любить ее безъ ума, родные ея хотятъ, и *внѣ* это *нужно*, и она идетъ. Жизнь ея будетъ лучше, она отдохнетъ отъ чужихъ домовъ, но жизнь души... Она сама говоритъ, что въ ней не переѣнилось *ничего* и не переѣнится. Вѣдь, я ее ужасно люблю, Александръ, но дружба наша съ

ней имѣть совершенно другой видъ, нежели съ Сашею Б.: все ея и мое—*наше*, по одному мановенію другъ друга мы готовы все сдѣлать, да и что-жъ бы у нея, если-бъ не наша дружба?

Ночь, 24-е. Все охотно я читаю, все хорошее, какъ скоро о любви—мимо, мимо. Рѣдко мелькнетъ черта нашей любви, вотъ Антиохъ, живописецъ, блаженство безумія, бродяга—въ «Литературныхъ прибавленіяхъ», и еще нѣкоторыя—но что жъ мнѣ *черта* тогда, какъ *мы все цѣлое?*.. А ужъ изустное «ахъ, какъ я люблю» деретъ и уши и сердце. Вовсе я не противъ любви Саши Б. О, пусть сойдетъ съ неба *другой Александръ*, пусть она *любитъ его!* Но что-жъ онъ не приходитъ, гдѣ-жъ онъ? Если-бъ я была увѣрена, что она найдетъ сочувствіе полнѣ моего, что въ чьей-нибудь душѣ бытію ея будетъ болѣе простора, нежели въ моей,—люби, люби, моя любимая сестра! А я истинно не могу вообразить того существа, къ которому бы ея любовь превышала дружбу ко мнѣ,—«за нею небо, Богъ», говорить она. Дивная сестра! она ничего не желаетъ, ничего не ждетъ, ничѣмъ не живетъ, какъ нашимъ счастьемъ. Недавно умеръ у нея братъ, котораго она очень любила, съ нею цѣлая семья родныхъ, и никто не можетъ утѣшить: «не знаемъ, что дѣлать», писала ея кузина къ Сонѣ Левицкой, «развѣ Наташа напишетъ къ ней»,—вотъ какая симпатія. Когда-то дошло до нея, что я съ кѣмъ-то о ней говорила,—она пошла въ свою комнату и благодарила за это Бога. Дружба наша такъ высока, такъ неприкосновенна земли, что это непостижимо, *ни одного доказательства*,—намъ и неужно ихъ! Я не умру для нея, она это знаетъ, она умереть для меня, я знаю, но наша любовь одинакова. Удивительно, какое освященное имя «Александръ», начиная съ того, что къ моему имени не прибавляется другое, какъ Александръ; ты, потомъ Саша сестра, моя Саша, еще Саша, съ которою ты мало знакомъ, но премилое созданье, близкое ко мнѣ, сколько то могла позволить самая пошлая жизнь, грязная, съ запахомъ кухни, съ цѣлью гроша (это ужасно!); тебѣ извѣстны ея двѣ черты: писала она ко мнѣ и, не смѣя *ихъ* назвать тебя, написала «А» въ сіяніи; вторая говорила, что желала бы, какъ Симеонъ Богопріимецъ, увидавшій Христа, умереть черезъ минуту послѣ того, какъ увидѣла бы меня съ тобою. У всѣхъ у нихъ многочисленные родные, но онѣ смѣются *лишь тогда*, когда я смѣюсь, плачутъ лишь тогда, когда я плачу, все это поклоняется тебѣ, съ благоговѣніемъ произносить твое имя. И вообрази, эта третья Саша прехладнокровно готовится на жертву первому гадкому семинаристу. «Лишь бы вы вмѣстѣ съ нимъ, на свою участь я не обращаю вниманія». Незимѣримая симпатія отъ перваго до послѣдняго. Съ Еііііе же мы связаны душою, жизнію, обстоятельствами, всѣмъ на свѣтѣ!

25-е, вторникъ. Нѣтъ, вовсе я не боюсь папеньки, хотѣлось бы мнѣ его теперь видѣть; немудрено, что его это удивляетъ сначала и приводитъ въ раздумье; дай оглядѣться, привыкнуть, право, онъ съ удовольствіемъ благословитъ тебя, только ты не раздражай его. Наши узнали, что маменька уѣхала, вѣрно повезутъ меня къ папенькѣ; признаюсь, я завидовала Машѣ Эрнъ, что она была съ нимъ. Какъ бы я желала такъ побыть съ нимъ, я увѣрена, что одинъ день замѣнилъ бы годы борьбы и много непріятнаго.

Да, Александръ, именно я не понимала тогда твоего страдальческаго голоса, я не могла постигнуть М. и думала, что вся причина во мнѣ, что я тебѣ ничего (и это все вело меня къ совершенству); грустныя твои письма обнимали мою душу невыразимымъ ужасомъ, я страдала и каждую минуту готова была умереть, лишь бы на моемъ мѣстѣ выросло другое существо, могущее замѣнить

тебѣ все. Искуплено все! придетъ пора, и ты отдохнешь съ твоей Наташей, вздохнешь одною жизнью—чистою, блаженною, жизнью ангеловъ. Мы призвали любовь, въ насъ она пребудетъ до конца, и на землѣ не умретъ въ памяти нашей. Доселѣ незнакома была эта новая гостяя неба, ее пречувствовали, ее изображали по своему, теперь узнають въ истинѣ. Ахъ, Александръ, что за дивныя страданія въ прошедшемъ, какъ полны они восторговъ, сладости величія! Настоящее наше дивно, хотя оно и въ рубищѣ; въ грязныхъ лоскутьяхъ еще разительнѣе красота его, а тамъ, *тогда...*

Сегодня мнѣ снился Огаревъ, и какъ наяву я подала ему руку,—здравствуй, братъ Николай! и потомъ говорили о тебѣ—дивный сонъ! Вятчанамъ пиши отъ меня дружбу и объятья. Полина, вѣрно, ужъ ш-ше Скворцова, да благослови ихъ, Провидѣніе.

Здорова ли маменька? Мое почтеніе Прасковѣ Андреевнѣ; долго ли онѣ пребудутъ у тебя? У маменьки цѣлую ручку, Emilie ей кланяется, она вѣрно забыла и думать обо мнѣ, а я жду ее съ величайшимъ нетерпѣніемъ. Моя Саша сойдетъ съ ума скоро отъ твоихъ поклоновъ; желала бы и я видѣть Матвѣя; Саша моя воспитанница, а фрейлина моя Елена—съ безпримѣрнымъ усердіемъ и преданностью. Разъ, въ твое рожденіе, прѣбжаю отъ обѣдни и прямо къ портрету; его нѣтъ на своемъ мѣстѣ, оглянулась,—онѣ поставленъ и предъ нимъ лампада и огромная просвира. Ну, прощай, мой ангелъ, завтра жду письма. Пиши же, что отъ министра, и все, все. Другъ, ты мой ангелъ, Александръ! величи душа моя Господа! :

Твоя *Наташа, Наташа Герцинъ.*

23 января.

Вотъ другая половина письма, я было не хотѣлъ послать, но посылаю. Намъ необходимо въ Москвѣ первый разъ видѣться тайно. Ежели хочешь, я даже заѣду къ Emilie прежде пап[еньки]—она неужели не найдетъ помощи—останусь въ трактирѣ на два дня,—все, все, только ты найди случай. Развѣ я не къ тебѣ ѣду въ Москву? Что мнѣ Москва, земной шаръ, вселенная безъ тебя? А, можетъ, меня и не пустятъ. Тогда Загорье. Да ты дурно пишешь о дорогѣ: три версты село Покровское, а куда три версты? Вѣдь я не изъ Москвы поѣду. Узнай подробности: всѣ большія дороги и большія селенія. Свиданье это первое. — Потомъ я предложу имъ согласиться и оставляю ихъ, ежели они не согласятся. Это рѣшено. Ты со мною, гдѣ бы я ни былъ, остальное уладить немудрено. Когда я выслушала подробности московскія, у меня потемнѣло въ глазахъ. Грудь болитъ до сихъ поръ отъ чувства ужаснаго. Что-то напишетъ пап[еньки] въ письмѣ обо всемъ этомъ. Наташа, твоя небесная кротость можетъ только переносить и прощать, я не умѣю ни того, ни другого. Ахъ, теперь-то я чувствую всю необходимость воли, я изстрадаюсь весь, мгла покрываетъ всякое дѣйствіе, и я не могу даже для шутки быть веселымъ. Пора, очень пора. Обдумай же свиданье въ Москвѣ, скажи Emilie, что ей братъ Александръ умоляетъ помощи. Въ половинѣ февраля долженъ быть отвѣтъ изъ Петерб. Къ пап[енькѣ] безъ необходимости я ничего не напишу, къ кв[ягинѣ] не буду больше писать. Молчаніе! Христосъ молчалъ передъ Иродомъ, изъ чувства собственной высоты молчалъ Онъ. Прощай,—все въ головѣ перепутано, несвязно. Прощай, ангелъ.

24 января. Не воображай, что изъ этого выйдетъ у меня полный разрывъ съ пап[енькой], совсѣмъ нѣтъ: передъ необходимостью онѣ уступать, а необхо-

димось будетъ очевидно, когда они узнаютъ на другой день послѣ вѣщанія. Но въ Москвѣ я не остаюсь ни подъ какимъ видомъ, уѣду съ тобою въ Петербургъ. Какъ несбыточно намъ казалось все это, и какъ легко сбудется, я даю срокъ до весны 1839 года, но чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше. Ты получишь отъ мам[еньки] «Симпатію», да не читай ее звѣряжь. I. Maestri мой экземпляръ, а тотъ оставь у Кетчера и двѣ книжки Шиллера.

25-го. Оно ужасно, я не говорю ни слова, ужасно отъ сына, который нанесъ столько горестей, что онъ готовить еще новыя, — но развѣ, въ сущности, тутъ есть причина горевать. Развѣ за слезу, пролитую 20 июля 1834 года, за попеченія съ тѣхъ поръ, я обязанъ платить жизнью, душою? Будь увѣрена, я все сдѣлаю, на колѣнахъ, въ униженіи я буду умолять. Но ежели и тогда откажъ, — это выше моихъ силъ. Слишкомъ обширно блаженство, которымъ я долженъ пожертвовать, и для чего? Я могъ бы быть самоотверженнымъ, спасая жизнь, честь чью-нибудь, ну, ежели бы отъ этого зависѣлъ ихъ кусокъ хлѣба, выздоровленіе... А то уступи капризу. Но, можетъ, онъ склонится. Дай Богъ, дай Богъ, — въ этомъ случаѣ у него сынъ и дочь, въ противномъ ни сына, ни дочери. А ужъ какъ это все щемить и душитъ. Правду говорила ты, что удаленіе имѣть въ себѣ grandioso, а Арбатъ и Поварская пошлы.

Вчера получилъ изъ Вятки барку писемъ. 21 января была свадьба Скворцова, итакъ Полина—т-те Полина. Счастье имъ, счастье—они стоятъ. Витбергъ все Витбергъ, высокъ, хорошъ, цѣлое письмо, и ни строки о *Наташѣ*. Чувства и мысли... быть юношей въ 50 лѣтъ прелестно. Но главное письмо не отъ нихъ. Отъ Мед. я ждалъ съ нетерпѣніемъ, — дождался. Ну, слава Богу, она свою любовь какъ-то начинаетъ прилаживать въ сестринскую, это прекрасный знакъ. Много души въ ея письмѣ, буду ей отвѣчать, какъ искренній братъ. Ея выздоровленіе много утѣшитъ меня. Буду ей писать и о тебѣ, только не въ первомъ письмѣ. Вотъ начало ея письма:

«Братъ! послѣ жестокаго пароксизма больному возвращаются силы медленно, но Господь милосердъ; Онъ не земной судья, который ищетъ погибели преступнику, Онъ изливаетъ благодать на раскаявшагося грѣшника и радуется даже позднему раскаянію. Прости мнѣ, Господи, я познаю тебя поздно. Братъ, прости и ты меня, я много, много виновна предъ тобою. Клянусь, раскаяние мое чистосердечно, постъ и молитва смоютъ пятно на душѣ, я сдѣлаюсь достойна имени твоей сестры». — Итакъ, она молится; ну, ежели, Наташа, моя встрѣча съ нею вмѣсто вреда принесетъ ей пользу! Она въ первый разъ видитъ спящаго человѣка. Какъ бы я былъ счастливъ. Дай ей, Господь, силы. Онъ дастъ ихъ, — ты, ангель, молишься объ ней. Прощай, моя милая, прелестная подруга.

Твой Александръ.

26 января, Москва.

Что съ тобой, мой Александръ? Съ какимъ восхищеніемъ читаю твое письмо отъ 19-го и вдругъ: «я мраченъ какъ ночь», ангель мой, отчего? Улетѣла-ль твоя Наташа домой, оставивъ тебя одного скитаться въ чужбинѣ, иль больна она, грустна, иль тебя разлучаютъ съ нею, — взгляни, она надъ тобою, она вѣщаетъ въ этой странѣ, но не спѣшитъ туда безъ тебя, вамъ нѣтъ дали, вамъ люди, что рыба на днѣ моря кораблю, вамъ нѣтъ стона, нѣтъ мрака, — и ты мраченъ! Ужель маменька привезла тебѣ какую вѣсть, — такъ *послушай меня*: мы

увидимся, мы соединимся, а что намъ розги? иль онѣ тебя пугаютъ? Александръ, я не хочу, чтобъ ты былъ мраченъ. Ты скажешь—о, власть! Да, мой другъ, много имѣють *они* власти, но *Онъ*? А мелочь — право, это минуточку безпокоитъ меня, какъ комаръ, но яхонтъ все яхонтъ! Ни за что на свѣтъ не повѣрю не-поколебимости пап[еньки], за него же намъ не остается и прута переломить. а шилушки рассыпятся сами. Если-жъ я такъ сильно ошибаюсь, никакой дикій голосъ не заглушитъ нашего гимна, никакая грязь не долетитъ до насъ. Отчего ты мраченъ, зачѣмъ? И не пишешь, и письмо не все прислалъ,—все это меня ужасно безпокоитъ и мрачить душу, а она за нѣсколько часовъ была такъ свѣтла, такъ свѣтла. Ангель мой, вспомни, что *можетъ* скоро, скоро рука съ рукой мы станемъ у престола Его, чтобъ принять видимое благословеніе, что склоня къ другъ другу голову, мы будемъ любоваться, какъ черная туча, проливши дождемъ, будетъ играть брильянтами на зелени и цвѣтахъ вокругъ насъ. Душа моя, жизнь, мой предивный ангель, тяжело мнѣ, убійственъ твой мрачный видъ, улыбнись, мнѣ будетъ легче, скажи: «Нѣтъ, Наташа, все пустое, ты моя». Твоя, твоя, другъ мой, никому не дано ничего такъ вполнѣ, какъ я тебѣ; нвой не царь своему сердцу,—я повинуюсь тебѣ болѣе самого тебя, я болѣе твоя собственность, нежели сердце въ твоей груди, и никто не отниметъ меня у тебя. съ Нимъ не подѣлишься ты мною, вѣрь, одной каплей канемъ мы въ этотъ океанъ бытія. Что же, милый мой, что мрачить тебя? Ахъ, вѣдь я почувствую, другъ мой, облегчится-ль грудь твоя,— тогда и моей будетъ легче. Или вѣсть объ М.? Пиши, отвѣтомъ—молитва и любовь. Замираетъ, ноетъ сердце, Боже. Боже!... Онъ слышитъ, тебѣ легче. Прощай, утомлена, лягу въ постель. Скоро-ль то еще почта,—авось либо напишешь!

Не дивна-ль Его десница: послѣ Снакс. и слѣда нѣтъ. Не дивно ль мило-сердіе—и разбойникъ прощенъ.

27-е. Вчера я писала сгоряча, нынѣ же ни думъ, ни мыслей, все сглазилось, опустѣло, одно въ головѣ—ты мраченъ! Неизвѣстность мучаетъ, я неспособна ни къ чему. И завтра все буду думать, но врядъ ли придумаю что-нибудь. Впрочемъ, прежде, нежели ты получишь это письмо, я получу отъ тебя и уже буду покойнѣе, и потому ты не безпокойся. Хоть бы написалъ, отчего мраченъ. И какъ же ты можешь располагать моею собственностью и оставлять у себя, пришли непременно страничку послѣдняго письма, отъ рая до ада все должно быть раздѣлено со мною. Загадка эта пугаетъ меня, и я не могу покориться таинственному кресту, пусть на немъ вѣнецъ, гвозди и копье, а покрывало приводитъ меня въ ужасъ. Каково бы тебѣ было, если-бъ меня мучилъ за стѣною, и ты слышалъ бы одинъ стонъ,—легче видѣть раны и тѣмъ же орудіемъ истерзать себя. Итакъ, прощай, во мнѣ и предо мной все мрачно.

28-е. Я покойнѣе, мой другъ, но невозможно писать, можетъ завтра еще письмо, тогда будетъ совсѣмъ другое. Что съ тобой, что съ тобой? За меня боаться нечего, и такъ что же?? Прощай, у маменьки цѣлую ручку, тебя крѣпко, крѣпко обнимаю.

Наташа Герценъ.

Богъ и любовь! Александръ!

27 января, Владиміръ.

Получилъ твое письмо отъ 21-го. Отчего ты еще не получила моего письма отъ 18-го, не знаю, я писалъ всякій день, стало, замѣтно, ежели письма нѣтъ.

Ну, придумала ли ты съ Emilie наше свиданіе? Жду отвѣта. Знаешь ли, кто намъ подаетъ руку помощи? Прасковья Андреевна собирается говорить, но это тайна, никто не долженъ знать, ни даже мам[енька]. Тогда узнаемъ, какъ намъ дѣйствовать. Я правъ, совершенно правъ,— вотъ отвѣтъ пап[еньки] на письмо, о которомъ писалъ я тебѣ. Что же, нарочно не хочетъ понимать, да главное, тутъ во всемъ вѣтъ ничего *противъ* него, мы не должны дѣлать много уступокъ. О, какъ я былъ правъ, говоря, что не *счастіе* ждетъ ту, которая соединитъ свою судьбу съ моею. Счастье—да на что его, когда есть любовь, блаженство!

Это письмо ѣдетъ съ мам[енькою]; она тебѣ доставитъ «Симпатію», «I. Maestri», «Донъ-Карлоса» Шиллерова. Ежели ты поймешь, то въ этой пьесѣ найдешь много. Любовь несчастная, любовь пасынка къ мачихѣ, и любовь чистая, какъ только могла она выходить изъ чистой груди Шиллера. И дружба — маркизъ Поза. Но тебѣ не позволяютъ читать — такъ брось. Придетъ время, прочтешь. Теперь передъ тобою развернута поэма моей любви, и ту нельзя запретить читать. Перестала ли ты горевать о моемъ ушибѣ? Вотъ тебѣ еще анекдотъ, тутъ ясно, что ангель-хранитель бережетъ для Наташи Александра. Когда Зоненбергъ былъ въ Вяткѣ, отправился я съ нимъ и съ Сипягинымъ на охоту. Шли тобою, беспрестанно поскользаясь, Сипягинъ передо мною, ружье на плечѣ, вдругъ онъ оступился. Я почувствовалъ что-то горячее возлѣ щеки, потомъ чрезвычайно громкій выстрѣлъ, не могъ догадаться. Смотрю Сипягинъ блѣдный, какъ полотно, спрашиваетъ меня: «Ничего?». Я спросилъ его: «Да въ чемъ дѣло?» Вотъ въ чемъ: падая, ружье зацѣпило за сучекъ и, обращенное дуломъ ко мнѣ, выстрѣлило. Зарядъ пролетѣлъ въ какихъ-нибудь пяти-шести вершкахъ отъ меня. Понимаешь ли ты, что въ такихъ опасностяхъ есть своего рода высокое наслажденіе. Оттого-то я трусовъ больше ненавижу, нежели преступниковъ. Никогда вѣра въ Провидѣніе не бываетъ ярче, какъ въ эти минуты. Взгляни, какъ жалки люди, которые берегутъ себя, они готовы отрѣзать всякое наслажденіе, чтобъ только продлить свое существованіе.—До тѣхъ поръ, пока я тебя не увижу, я не погибну, въ это я вѣрю такъ, какъ въ Бога, ибо до тѣхъ поръ моя земная жизнь не совершена. Вѣрь и ты, и не бойся за меня ничего. Ну, прощай, мой ангель, писать много теперь не могу, для того чтобъ писать къ тебѣ, я долженъ засѣсть одинъ, и кругомъ чтобъ была тишина.

Я съ удивленіемъ слушалъ, какъ мам[енька] рассказывала о симпатіи, которую мнѣ изъявляли люди вовсе посторонніе послѣ моего отъѣзда. Какъ добивались увидѣть мой портретъ, прочесть статьи, какъ вымаливали экземпляръ «Рѣчи», наконецъ, какъ у Левашевой на вечерѣ читали Жуковскому I. Maestri, а Кетчеръ объяснилъ, *кто* ангель. Право, я удивился; это награда за теплую вѣру въ челоуѣчество, за открытое объятіе всякой симпатіи. Представь себѣ, что даже просили вылитографировать мой портретъ. Ужь это, ангель мой, не съ тѣхъ ли поръ, какъ я отказался отъ славы, она начинаетъ заигрывать со мною, какъ кокетка, которая пренебрегаетъ, покуда за нею ухаживаютъ, и ухаживаетъ, когда ея пренебрегаютъ. Стало, стоитъ продолжать презирать ее.—Я всѣ малѣйшія подробности спрашивалъ о тебѣ, мнѣ было пріятно слышать твое имя. О, Наташа! Что же, неужели никакой вѣтъ возможности имѣть мнѣ твоей портретъ. Пусть Emilie умоляетъ княгиню какъ милость, пусть скажетъ, что у нея есть знакомой, и пошлетъ за глухонѣмымъ, онъ сухими красками превосходно рисуетъ, что бы ни стоило, все равно. Устрой, ежели есть малѣйшая возможность. Только, чтобъ дѣлалъ артистъ, хоть нескоро, ну, какъ она замужъ

выйдетъ. Я былъ сегодня въ монастырѣ, въ которомъ погребенъ былъ Александръ Невскій, и что же? Мнѣ вдругъ такъ ясно представилось, что подъ этими сводами, подъ которыми стоялъ святой князь, передъ этимъ чернымъ иконостасомъ,—стою я и ты, живо-живо. Вотъ священникъ въ облаченіи надѣваетъ кольца, вотъ мы взглянули другъ на друга, и горячая слеза молитвой катится изъ глазъ,—твоя рука въ моей... И я готовъ былъ плакать, и сердце билось. Нѣтъ, нѣтъ, ты должна быть моя, годъ сроку не больше.

28-е января. Письмо твое отъ 25 получилъ. Во всякой строкѣ ты — моя Наташа, отвѣчать не буду, а вотъ тебѣ мое приказаніе, и исполни въ точности; 1) Я хочу, чтобъ при первомъ удобномъ случаѣ ты оставила домъ княгини. меня оскорбляютъ униженія, ты нмѣ не обязана ничѣмъ; ежели Амалія можетъ тебя взять надолго (о средствахъ и не думай), то при первой сорѣ объявляй прямо, что ты уѣдешь,—они или испугаются, или взбѣсятся; въ первомъ случаѣ предоставляю на твою волю, во второмъ тотчасъ уѣзжай. Не молчи при обидахъ, вспомни, что я — ты; слѣдств., что обида сдѣлана мнѣ, поставь себя на другую ногу, но впередъ чтобъ положительно была готова квартира. 2) Покуда ты съ Emilie не устроишь нашего свиданья, я не приѣду; вотъ моя мысль: въ назначенный день Emilie приѣдетъ за тобою, когда княгиня будетъ спать, ты съ нею приѣдешь—куда? Гдѣ бы я могъ ждать тебя, ну, у Emilie или индѣ. У княгини не спрашивайся. Тебѣ за это будетъ ужасно много неприятностей,—но ты увидишься со мною. Да, минута блаженства требуетъ жертву. Сверхъ того, не говори княгинѣ, что видѣлась со мною, а выдумай что-нибудь. Ежели неприятности будутъ черезъ мѣру, сейчасъ оставь княгининъ домъ. Но повторяю: прежде не приѣду, покуда не устроите. Вотъ моя воля. Ты рѣшалась идти въ Вятку, — это легче; обо всемъ думаль, о бумагахъ, которыя нужно имѣть и пр. Не мѣшало бы писать къ Ал. Ал., но это мое дѣло. Я тебѣ повторяю: конечно рабство, я не хочу больше, чтобъ ты была въ сумасшедшемъ домѣ,—за слѣдствія отвѣчаю я и моя любовь. Препятствій намъ нѣтъ,—родство ничѣмъ доказать нельзя. Только вмѣстѣ съ выходомъ изъ кн[ягининаго] дома прерви всѣ сношенія съ фамиліей гг. Яковлевыхъ. Твердо, смѣло и съ молитвой на устахъ поступиай. Ты пишешь: «меня и въ ту комнату не пустать, гдѣ ты будешь»,—такъ не спрашивая дозволенья, взойди въ нее. Ну, вотъ тебѣ и весь приказъ. Прощай! Деньги есть, но очень немного. Я отдалъ мам[енькѣ] 100 руб. ас., ежели этого для Emilie достаточно, то пусть возьметъ; я получилъ недавно предлинное письмо отъ Сатина,—не я брошу въ него камень, еще свѣжа исторія моего паденья.

29-е. Прощай, мой ангелъ, маменька отправляется. Слѣдующее письмо будетъ черезъ Эмилию и пошлется во вторникъ, т. е., 1 февраля. До полученія отвѣта изъ Петерб. не предпринимай ничего, а будь готова. Возьми у Эмилии письмо, которое я ей писалъ, тамъ все объяснено, и причина, по которой я подалъ въ отпускъ. Тутъ и деньги.

Твой Александръ.

Вечеръ. 29 января, Москва.

Итакъ, вотъ она, таинственная страница; отчего-жъ ты не хотѣлъ ее послать? Ужель сомнѣнье?.. Когда отдано тебѣ не только земля—небо, жизнь, вѣчность, все, когда ты все и видѣ тебя ничего, и для тебя не перешагнуть здѣшній порогъ? И прежде я ни на что не обращала вниманія, а теперь...

встрѣтятся тѣнѣта—изорву, не станетъ силъ—ты поможешь. Когда собираешься *туда*, придуть ли съ голову похороны, красивый гробъ, могила и прочь; вънчавъе наше—переходъ въ лучшую жизнь, святѣйшую, тогда мы сольемся въ одного ангела, тогда исчезнетъ для насъ межа, отдѣляющая небо отъ земли. А тамъ, тамъ, гдѣ хлопочутъ о гробахъ, о приданомъ, пусть хлопочутъ о побѣгѣ, и проклятіи, «мрачно—мраку, фобово—Фебу!»

И вотъ, мой ангелъ, мы странники на землѣ! Люди, родительскій домъ—все чуждо. На *дальнемъ* разстояніи звѣздный вѣнецъ—это друзья, а вокругъ насъ любовь, одна любовь!.. Путь широкъ, жизнь необъятна, а изголовье намъ—утесь, крыша—небо, стѣны—безпредѣльность; вѣдь, папенькинъ домъ тѣснѣе? Протяни руку, и я съ тобою, по одному мановенію твоему меня здѣсь не будетъ въ одно мгновенье. О, Александръ, ангелъ мой, другъ мой, объ чемъ намъ думать, что намъ дѣлать, человекъ *живетъ* на землѣ и *стремится* на небо, мы живемъ другъ въ другѣ, мы стремимся другъ къ другу. Александръ, я трепещу твоей любви, «*c'est bien plus que la terre et le ciel*». О, какую я кажусь себѣ недоступною, какъ вселенная мнѣ кажется тѣсна, вѣдь, я—ты, ты!!

Отчего-жъ ты мраченъ, ангелъ мой? *Здѣшнія подробности*—и я *здѣсь*, но не вижу, не замѣчаю ихъ; иногда взоръ обращается туда, гдѣ стоятъ нога, содрогнешься, вздохнешь, слеза навернется, но твой голосъ, твой образъ... Ахъ, Александръ, что въ моей душѣ! Такъ, все такъ, какъ хочешь ты, но получа это письмо, по мнѣ трепетъ пробѣжалъ, я чего-то испугалась, но съ того мгновенья я стою здѣсь уже одной ногой. Все внѣ меня, все это *какъ* и *что*, одинъ ты, одинъ ты! Часто, очень часто я уношусь въ тебя такъ глубоко, что ни друзей, ничего не видно, о, Александръ! Не знаю, до какой стелени равнодушія дойду я, наконецъ, ко всему меня окружающему, ко всему, что не ты. Мудрено ли, что другимъ я кажусь безумною,—они правы; они правы, какъ правъ слѣпецъ, которому Божій свѣтъ кажется мракомъ. Посохъ, посохъ намъ одинъ, и дорога—широки врата, хорошо *дома*, съ *родными*, съ *Отцемъ*!!

30-е, воскресенье. Странно, не далѣе какъ вчера вышла ужасная исторія, оттого что увидѣли у меня на столѣ листъ бѣлой бумаги—преступленье! А я, мой другъ, такъ свободна, какъ, кажется, никто въ свѣтѣ не свободенъ; такое чувство независимости, все, кажется, подвластно мнѣ. Вотъ что значитъ свобода души, вотъ что значитъ быть *твоею рабою*!! Что чувствовалъ ты, оставаясь въ Яранскѣ въ дынной лачугѣ? Ну, вотъ она, дынная лачуга, вотъ они чужіе, незнакомые, но намъ миновать ее нельзя, станція необходимая, а до дома, до роднаго, ужъ недалеко... пора! Никакъ я не могу представить свое будущее ни во дворцѣ, ни въ шалашѣ; они какъ-то равняются передъ моими глазами, еще больше, исчезаютъ вовсе, и передо мною одинъ ты, одинъ ты. О, Боже, неужели у тебя есть большее блаженство, неужели ангелы свѣтлѣе, далѣе земли, нежели душа моя—нѣтъ. Да, у насъ нѣтъ прошедшаго, нѣтъ и будущаго; прошедшее то, чего уже нѣтъ, будущее то, чего еще нѣтъ; мы были, есть и будемъ, мы ничего не потеряли и не найдемъ уже ничего; нѣтъ для насъ стойловъ, переулковъ, вселенная нашъ домъ, небо наша дорога. А *вы*—ваши нивы богаты, ваши кюты теплы и полны, стада ваши ручны, и постель мягка,—хорошіи аппетитъ и пріятный сонъ! Александръ и Наталія рука съ рукою пойдутъ своимъ путемъ; океану выстроите вы плотину, а въ ихъ жизни не возмутите и капли!

Послѣ твоего письма я какъ-то еще болѣе высвободилась отсюда; да, рано

молодая отрасль брошена была на чужую землю, много бурь и непогодь вынесла она, но что ей бури, — морозъ, морозъ страшнѣй всего. Но за отраслью хорошъ былъ уходъ, несмотря на то, что на нее выбрасывали соръ и выливали помоя. она возрасла и принадлежитъ тому, кто невидимкой приходилъ лезть въ сироту.

Дождемся отвѣта изъ Петерб. и тогда обдумывать навѣрное, а то сердце рвется надвое. Врядъ поможетъ ли Emilie, вѣдь, она гувернанткой у Наумовыхъ, и ты знаешь, что можетъ часовой, у нея нѣтъ минуты своей. Ежели это будетъ праздничный день, они поѣдутъ къ обѣднѣ, я скажу, что голова болитъ, и не поѣду, пусть послѣ догадаются, да мало ли, что можетъ встрѣтиться. лучше отдаться совершенно на Его волю. Я рѣшительно не знаю къ кому мнѣ прибѣгнуть, узнать подробнѣе дорогу въ Загорье, ну, знаешь ты Царицыно? Приѣзжай въ него, тамъ первый встрѣтившійся проводитъ твоего человѣка въ Загорья, только надо заставить его молчать съ крестьянами, пусть спросить въ кухнѣ, или въ скотной избѣ Василя или Аркадія, они хоть съ вечера явятся къ тебѣ и проводятъ тебя на то мѣсто, которое я назначила. Царицыно отъ насъ 3 или 4 версты, въ немъ еще удобнѣе, нежели въ Покровскомъ: а Костенька не ѣздитъ съ нами въ Загорье, это мой почталъонъ, безъ нея некому бы было присылать писемъ изъ Загорья. А, можетъ, такъ случится, что и въ Москвѣ. — боюсь назначать, боюсь рѣшать, Онъ устроить лучше.

О, на что, на что тревожать тебя всѣ мелочи, что-жъ изъ этого, убыло ли насъ? Пусть ихъ, ангель мой, будь же мой, отвернись отъ нихъ, ну, плюнемъ на нихъ, ежели они еще этого стоятъ, а беспокоиться, быть мрачно отъ нихъ. — стыдно. Я не повѣрю, чтобъ слона мои тебя не укрѣпили, ежели ты вѣришь, что они не пустыя. Вздумаю только то, это что они могутъ — вздуться, какъ мыльный пузырь, и лопнуть. Мы зависимъ отъ нихъ такъ, какъ звѣзды небесныя отъ насъ. Будь же твердъ, мой Александръ, мы увидимся, далѣе ни одного вопроса тебѣ, письма и портретъ будутъ въ моей котомкѣ, посохъ ты мнѣ дашь, но на что посохъ — твоя рука!

Бѣдная моя Саша какъ вообразить, что, можетъ быть, останется безъ меня. такъ и зальется слезами; хотя кромѣ одной семьи вся дворня хочетъ ущѣпиться за меня, но мнѣ никого не жаль. Саша, моя Саша! на кого я ее оставлю, она умретъ, слабая, беззащитная невольница, ей же хуже и труднѣе всѣхъ въ домѣ, здоровье ужъ у нея отняли, дунеть вѣтеръ, и она погибла. Я иногда раскаиваюсь, зачѣмъ сняла съ нея кору, безъ меня у нея не станеть силъ уноситься въ мѣръ свѣтлый, а въ этомъ ей одна мука, одно истязаніе, и все это *тогда* она будетъ чувствовать. Я не желаю смерти кв[ягини], но какъ бы это было хорошо.

Пока, прощай, моя душа, Александръ, не грусти же. Милый мой, ангель мой... право, не знаю, какъ назвать, до горя-ль намъ, до нихъ ли намъ! Ну, обнимаю же меня, цѣлуй и не смѣй хмуриться. Поздно, глаза закрываются. Цѣлуй, цѣлуй еще, прощай, мой родной.

31-е. Я въ восхищеніи отъ Мед., о, дай Богъ, чтобъ она была покойна, дай Богъ, я пламенно желаю этого и искренно молюсь о ней. Мы ей самыя близкіе родные, пусть она требуетъ всего, что въ нашихъ силахъ. Потому и я буду писать къ ней. Очень, очень можетъ быть, что твоя встрѣча принесеть ей счастье и спасеніе. Что-то наши молодые? Я думаю ихъ торжество было неполно безъ тебя. А въ томъ письмѣ, ежели-бъ ты не сказалъ, что выписка изъ письма От.. я-бъ подумала, что это мои слова. Какъ сравнять небесное родство съ земнымъ.

Часто я окружаюсь *своими родными*, но чаще, гораздо чаще погружаюсь въ твою душу, забывая всю вселенную. О, мой Александръ.

31-е, *ночь*. Боже мой, въ какомъ я состояніи, маменька прѣѣхала, душа рвется къ ней, а тутъ... Ангелъ мой, съ какимъ чувствомъ приняла я Спасителя, это первый образъ у меня, потому что я впервые поняла силу образа. Но уже носить мнѣ его не велѣли; съ какой вѣрой я приняла его, точно онъ снова одѣлъ меня силой, крѣпостью и блаженствомъ. Знаешь ли, давнымъ давно я все собиралась вышить тебѣ Спасителя, но нельзя было. Ты предупредилъ. Пока вотъ чернильница съ картинкой моей работы, *имъ* сказала, что шила для Emilie; все тамъ служило мнѣ, даже нѣкоторыя вещи были у меня еще въ игрушкахъ и, наконецъ, кольцо, которое мнѣ подарила маменька болѣе двухъ лѣтъ тому назадъ, я сняла его въ первый разъ, — носи его. И письма посылаю, не растеряй, ради Бога. Статью еще не получила, письмо и деньги отослала Emilie, отвѣта еще не было; прѣѣзжай въ Москву, я хоть къ заставѣ пойду, чтобъ видѣться безъ нихъ, что послѣ — намъ дѣла нѣтъ. Только вѣрнаго еще ничего не могу назначить гдѣ и какъ, вотъ какой будетъ отвѣтъ изъ Петербурга. Кажется, ты думаешь, что я *имъ* трушу, — маменька преувеличиваетъ, лучше ли бы было, если-бъ я съ ними зубъ за зубъ, и стоять ли того; я молчу и сношу все, потому что не хочу *и не могу* обращать вниманія на нихъ. Лучшее доказательство: *передъ* 9 апрѣля я писала къ папенькѣ и просила его дать намъ увидѣться, безъ ихъ позволенія и не думая о томъ, что черезъ часъ же, можетъ быть, надо мною разразится громъ. Пусть спросятъ, люблю ли я тебя, пусть; Макаш. говорила, что я *выбрала* тебя; «нѣтъ, не выбирала», сказала я ей, и точно: не я, а Богъ, а если-бъ спросили люблю ли я тебя, пойду ли за тебя, — тогда-бъ ужъ меня здѣсь не было. При первомъ, при самомъ первомъ случаѣ здѣсь не будетъ меня и ничего *моего*, кромѣ Сашки; но они не допустятъ, ихъ непомятное самолюбіе укротитъ злобу, но. можетъ, умилосердится — разсердится!

Портретъ вотъ когда: какъ Emilie объявить имъ, что идетъ замужъ и ѣдетъ въ Петербургъ, а прежде догадаются и не дадутъ.

Какъ все волнуется, кипитъ въ груди, — хочу видѣть маменьку! Нѣтъ, несносна эта неволя, пусть бы ихъ издѣвались, только-бъ воля, воля! Оставляю непременно скоро. Хочешь ли видѣть меня ребенкомъ-исполиномъ: первый годъ, какъ *они* взяли меня, *все* меня ужасало, но разъ кн[ягиня] что-то сказала слышкомъ, я бѣгу къ Сашѣ (съ первой минуты моего *взятія* у меня никого не было кромѣ ея въ *изъ* дому), въ слезахъ прощаюсь съ ней. «Куда вы?» — «Прощай, бѣгу, не могу привыкнутьъ у васъ, не могу переносить». Было лѣто, ясный день, и я хотѣла (помню очень) идти въ домъ папеньки и тамъ просить, чтобы меня отвезли въ Шацкъ. Рука ужъ держалась за скобку, дверь ужъ была отворена, другую руку протянула Сашѣ въ прощанье, но она меня удержала за эту руку, упросила, и я рѣшилась отложить бѣгство до другого дня (мнѣ былъ тогда 8-й годъ, ей 11-й). Итакъ, видно, скоро придетъ *этотъ день*.

Боже мой, сколько разъ я, какъ ты, стоя въ храмѣ Божіемъ, воображала, что мы предъ Его престоломъ... слезы градомъ, я упаду на землю и едва могу дышать. О, Александръ, Александръ! ни минуты, мой ангелъ, ни минуты не уступлю имъ, возьму письма и портретъ, обниму Сашу и, Поварская, прощай на вѣки.

Амаля живетъ у своей пріятельницы, мы еще не говорили ей, но нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія... впрочемъ, что заботиться объ этомъ: внѣ здѣшняго дома,

я вездѣ у себя. Охъ, полна грудь, Александръ, спрячь меня въ твоихъ объятіяхъ, чтобъ не видали моего восторга. Другъ мой...

1 февраля. Итакъ, можетъ, только мѣсяцъ до свиданья, о, дай Богъ, чтобъ тебя отпустили, нѣтъ, я не могу ждать до Загорья, пріѣзжай, я сегодня только 4 часа спала, все ты предо мной, все планъ свиданья, освобожденья. Дивно придумала! вотъ, что скажетъ Emilie. Я уйду съ вечера, какъ Макъ уснетъ. и постараюсь, чтобъ въ это время у насъ гостила Сашенька; она спитъ на одномъ диванѣ со мной, тогда Макъ не замѣтитъ. У воротъ извопикъ, и я хоть къ вамъ въ домъ, хоть къ Emilie; только не знаю, кажется, у нея неловко—чужой домъ: впрочемъ, они люди прекрасные, не видали меня, но все сдѣлаютъ. А къ утру часовъ въ 5 домой—чудно, чудно! Только надо поговорить съ Emilie.

Ты пишешь о славѣ: да, я говорила тебѣ оставить славу ничтожную. и найдешь славу истинную. Прощай, пиши черезъ Emilie; отъ меня будетъ каждая почта. Нельзя писать, не знаю, удастся ли.

Наташа Геруенъ.

Первый часть, прощай! Къ завтраму писать некогда, а въ субботу. Ангелъ мой, жизнь моя, прощай, еще и еще цѣлую тебя.

Генваря 30, Владиміръ.

Къ тебѣ, къ тебѣ, мой ангелъ, — дай отдохнуть отъ бури, которая гудѣла все это время въ душѣ моей, дай ушиться опять твоей душою, твоей любовью и опять вырвать изъ груди, вмѣсто крика отчаянія, пѣснь любви и восторга. Милой ангелъ, сестра, подруга, посмотри, какъ рѣшительно все въ моей жизни захвачено тобой, отнесено къ тебѣ; положи твою руку на эту грудь, — въ ней все твое, положи на это чело, вѣькогда исполненное гордости, — все твое, все склонилось передъ твоимъ появленіемъ, какъ туманъ передъ солнцемъ. Ежели-бъ, не узнавъ тебя, я былъ брошенъ на другое поприще, ежели-бъ огромные усѣхъи увѣнчали меня лаврами, — сказали-ли бы я: «довольно, я достигъ цѣли желаній?» Нѣтъ; новые замыслы, новыя желанія, раздраженные еще болѣе исполненіемъ первыхъ. Я былъ бы несчастенъ. А теперь? Я говорю: Господи, не отнимай только, больше ничего мнѣ ненадо, объ руку съ нею я готовъ сойти съ земли, объ руку съ нею готовъ жить на землѣ. И я счастливъ тобою, и мнѣ больше тебя ничего неужно.

Какъ хорошо твое письмо отъ 25-го, какъ силенъ размахъ твоихъ крыльевъ. мой ангелъ, какъ люблю я въ твоихъ письмахъ видѣть эту безусловную вѣру въ мою любовь. Наташа... не слышатся ли тебѣ много, много подъ этими точками; взглядишь, онѣ живы, онѣ-то должны выразить гораздо больше словъ—нѣмой восторгъ, вздохъ любви и блаженства!

Но одно мѣсто въ твоемъ письмѣ несправедливо. Ты думаешь, что вся Россія, весь міръ долженъ на меня смотрѣть твоими глазами,—это ошибка, Наташа. увлеченье.

Міръ и люди смотрятъ не на душу развернутую, какъ ты, но на трудъ созданной, они поднимаются отъ труда къ душѣ, и талантъ собственно, можетъ, въ томъ и состоитъ, чтобъ элементы души своей отвердить словомъ или искусствомъ. или дѣйствіемъ внѣ себя, и тѣмъ выше талантъ, чѣмъ ближе созданіе идеалу. Какимъ же образомъ ты воображаешь, что мои статьи могутъ сдѣлать вліяніе? Это ребячество: по этимъ статьямъ, какъ по предисловію, могутъ заключить,

что изъ писавшаго что-нибудь выйдетъ, не болѣе. Ты знаешь статья и любовь — дѣло разное. Тебѣ и стаканъ, присланный изъ казармы, дорогъ, а людямъ онъ ничего. «Легенду» я не упомянулъ, потому что она не можетъ войти въ біографію, но по *вашей протекціи* я ее не оставлю. Жуковского отгѣтки не на твоёмъ экземплярѣ, а на пап[енькиномъ]. — у тебя съ нимъ сходной вкусъ, онъ поставилъ черту противъ послѣднихъ словъ. «Легенда» не первая статья послѣ 20 іюля, а «Германской путешественникъ», объ немъ ты не поминаешь, а я люблю его. Въ немъ выразился первый взглядъ опыта и несчастья, взглядъ, обращенной на нашъ вѣкъ; эта статья, какъ замѣтилъ Сазоновъ, невольно заставляетъ мечтать о будущемъ, и тише, тише... вдругъ прерывается, показывая издали пророчество, — но оставляя полную волю понимать его. Для тебя и для друзей эта статья имѣетъ большую важность, — какъ начальной признакъ перелома. Я написалъ изъ Москвы оставленные мною двѣ цѣлыя книги писанныхъ разборовъ на сочиненія, которыя я читалъ въ 1833 и 1834 годахъ; съ жадностью перечиталъ я ихъ. Первое, что мнѣ бросилось въ глаза, это, что я въ 1833 году не былъ такъ глухъ, какъ я предполагалъ; внимательной разборъ тотчасъ показалъ бы всего меня (изъ этихъ тетрадей печатная статья моя «Гофманъ»), но чувства нѣтъ, а есть увлеченье, ослѣпленье нашимъ вѣкомъ. Въ «Германскомъ путешественникѣ» обнаруживается уже недоверіе къ «мудрости вѣка сего», а въ статьѣ «Мысль и Откровеніе» эта мысль уже выражена ясно и отчетливо. Замѣть еще, окончаніе «Германскаго путешественника» двойное пророчество. Я совсѣмъ не думалъ о любви, когда написалъ слѣдующія строки: «Но что же будетъ далѣе?» — Знаете ли вы, чѣмъ кончилъ лордъ Гамильтонъ, проведя цѣлую жизнь въ отысканіи идеала изящнаго, между кускомъ мрамора и натянутымъ холстомъ? Тѣмъ, что нашелъ его въ живой ирландкѣ. Вы отвѣчали за меня, сказалъ онъ, уходя съ балкона»...

Я не знаю, вникнула ли ты въ эту мысль, можетъ, и не поняла ее, потому что это мысль чисто политическая, и отъ нея то именно Сазоновъ и приходилъ въ восторгъ, ибо она разомъ выражаетъ все разстояніе сухихъ теоретическихъ изысканій права и энергической живой дѣятельности, дѣятельности практической. А между тѣмъ это пророчество моей жизни, и со мною сбылось, какъ съ лордомъ Гамильтономъ, и я, долго искавши высокаго и святаго, нашелъ все въ тебѣ. Но главное дѣло, что во всѣхъ статьяхъ моихъ моя мысль и фантазія не выражается вполне, — только въ письмахъ къ тебѣ; это существенная недостатокъ, и это-то самое есть доказательство, что я не созданъ быть писателемъ. И такъ, я отгадалъ, что тебѣ не нравится моя иронія. Она и Шиллеру не понравилась бы, и вообще душѣ поэтической, нѣжной и чистой. У людей истинно добродѣтельныхъ ея нѣтъ. Также нѣтъ ея у людей, живущихъ въ эпохи живыя — у апостоловъ, напримѣръ; иронія или отъ холода души (Вольтеръ), или отъ ненависти къ міру и людямъ (Шекспиръ, Байронъ). Это отзывъ на обиду, отвѣтъ на оскорбленіе, но отвѣтъ гордости, а не христіанина. Ну, довольно!

Теперь ты получила мое послѣднее письмо. Я съ трепетомъ жду отвѣта. Прибавить я не могу, все, что я хочу и требую, я написалъ, и это справедливо. Если ты оставишь домъ княгини, то это *единственное* средство сохранить на нѣкоторое время миръ между мною и пап[енькой]. Я не ты (не сердись опять на эту фразу, ибо здѣсь рѣчь не о душѣ, а о характерѣ), я не могу вынести униженія, все перенесу (и доказалъ уже), но униженія нѣтъ. Первая обида, которою сдѣлають при мнѣ тебѣ, можетъ повлечь за собою ужаснѣйшія слѣдствія. Далѣе,

ежели ты не будешь у княгини, я спокойно буду ждать, зная, что ты не страдаешь, имѣя возможность тебя видѣть.

И чѣмъ ты жертвуешь? Тѣмъ, что десять старухъ проклянутъ тебя, *осудятъ*; а ежели ужъ дѣло пошло на людскія рѣчи, то ужъ вѣрно, гдѣ бы ты ни была, никогда не можеть повториться этой безмѣрно подлой исторіи съ женихомъ, про которую тоже могли *говорить*. Наташа, когда я слушалъ подробности, которыя я самъ нарочно выспрашивалъ, я оледенѣлъ, въ глазахъ потемнѣло, я даже не былъ грустенъ, а кусалъ себѣ губы съ какимъ-то бѣшенствомъ. Но поставь себѣ за твердой законъ: однажды вышедши изъ дома ея сіятельства, не вступать въ него иначе, какъ со мною. Пусть плачутъ, умоляютъ, дѣлаются больными—твердость и отказъ. Не выходя, ты можешь еще склоняться, вышедши—ни подъ какимъ видомъ.

31 января. Твое письмо отъ 28. Отвѣтъ на него вторая половина моего письма, которую ты, вѣрно, того же числа получила. Я имѣлъ причину быть мрачнымъ: оскорбленій я не умѣю переносить, а такихъ ужасныхъ, жгучихъ оскорбленій, кажется, во всю мою жизнь не было. Выслушать подробности всей исторіи сватовства,—да отъ этого можно умереть. Ты скажешь: стань выше,—нельзя, забыть имъ я могу; но для этого надобно, чтобъ все это было прошедшее, чтобъ я былъ съ тобою. Пусть тебя скуютъ въ цѣпи,—я перенесу это легче; но чтобъ съ тобою смѣли обходиться такъ, какъ обходятся,—физически разорвется отъ этого грудь. Ты напрасно въ письмахъ уменьшаешь горечь настоящаго положенія, у меня глазъ зорокъ, я дальше вижу. Ты въ прошломъ письмѣ откланяешь мой приѣздъ. Это гораздо лучше всѣхъ подробностей, которыя ты могла бы написать. *Каковы должны быть причины*, которыя могли тебя заставить тебя отклонить исполненіе пламеннаго желанія, цѣли всей жизни? и для чего это? Для чего, когда мы можемъ наслаждаться раемъ, сидѣть «на скотномъ дворѣ», какъ ты сама выразилась? Неужели тебѣ не доставеть крыши, ежели ты выйдешь изъ дома кн[ягини],—я ручаюсь, что доставеть. И тогда ты на волѣ. тогда мы будемъ видѣться всегда, тогда никто не осмѣлится располагать твоимъ временемъ. Довольно страданій, довольно испытаній, ты его вынесла, какъ ангель; что мои несчастья въ сравненіи съ твоими, мои—одна разлука, остальное вздоръ, которой только бросается въ глаза толпѣ своей одеждой мрачной и свирѣпой. До завтра, прощай, милая Наташа.

Перебирая еще разъ все, что я писалъ тебѣ въ прошлыхъ письмахъ, должно сознаться, что можеть я увлекся слишкомъ далеко минутнымъ негодованіемъ. Тебѣ Богъ далъ болѣе спокойную душу, обдумай же сама. Можеть, и въ самомъ дѣлѣ со стороны пап[еньки] нѣтъ столько препятствій; я боюсь не вѣрить твоему внутреннему голосу, ибо твой голосъ—голосъ Бога. Пиши поскорѣе, я мучусь узнать.—Такъ какъ это письмо идетъ новымъ путемъ, то я не буду писать, не узнавъ, получила ли ты.

Изъ Вятки получаю много писемъ, тамъ цѣлая толпа энтузіастовъ къ твоему Александру; уѣхавши, я для нихъ сдѣлалъ еще болѣе, какое-то изящество разлилось около воспоминанія обо мнѣ. И посланія ихъ похожи на языкъ влюбленнаго. Въ моемъ присутствіи что-то останавливало ихъ высказывать чувства, а теперь письмами они бросаются мнѣ на шею. Опять симпатія. У Скворцова на свадьбѣ первой тостъ пили за здоровье молодыхъ, второй за мое. Нѣкоторыя изъ писемъ стоятъ, чтобъ ихъ сохранить для тебя. Ты для нихъ совершенное божество; склоняясь передо мною, какъ же имъ не склоняться передъ той, перель

которой я на колѣнахъ. Бѣляевъ, о которомъ я ни разу не упоминалъ, пишетъ: «Борись съ рокомъ, тебя угнетающимъ, борись и выйди побѣдителемъ. Не забывай Бога, потому что Онъ не ниспослалъ тебѣ ангела-хранителя. Но мнѣ досадно, зачѣмъ ты довольствуешься внутреннимъ счастьемъ. Человѣкъ призванъ къ дѣятельности. Для чего же Богъ тебя одарилъ прекрасной душой и блистательными способностями; Богъ спроситъ у тебя отчетъ, какъ ты употребилъ дары Его»... Или во мнѣ мечтается un grand homme en herbe, какъ говорятъ французы?

Ну, получила ли ты мою статью о Полинѣ? Я теперь оканчиваю свою архитектурную мечту «Кристаллизація человѣчества»; эта статья, сверхъ новаго взгляда на зодчество, важна потому, что я основными мыслями ея потрясъ.. кого же?—Витберга, и что онъ, зодчій гешій, долженъ былъ уступить мнѣ, юношѣ, не артисту,—я глуже провикъ въ историческую структуру его искусства. Статья эта ему и посвящена. А ты, ангелъ мой, въ прошломъ письмѣ мнѣ сдѣлала реприманду, что я не всѣ статьи посылаю тебѣ. Виновать, Наташа, виновать, ей Богу, все это проклятая лѣнь переписывать и еще худшая лѣнь оканчивать начатое. Впрочемъ, утѣшься: право, лучше статьи нѣтъ, какъ всякое письмо къ тебѣ.

1-е февраля. Скоро будетъ отвѣтъ и отъ тебя, и отъ министра. Прощай, мой ангелъ, будь хранима Богомъ. Развязка приближается. Можетъ быть, будущность, исполненная свѣта, ждетъ насъ, можетъ быть, исполненіе всѣхъ пламенныхъ мечтаній, самого путешествія, ждетъ у порога. Черная исторія съ М.—одна изъ змѣй, наиболѣе сосавшихъ мое сердце, исправляется. Вспомни мою молитву тогда,—послѣ нея все перемѣнилось. М. проситъ меня одного—название сестры. Вотъ моя рука, что я ей братъ до гроба. Одного боюсь, не обманываетъ ли она себя, это я узнаю скоро, буду писать къ ней о тебѣ; хорошо, можетъ, было бы, ежели-бъ и ты написала. *До свиданья, Наташа!*

Твой Александръ.

Ночь, 1-го февраля, Москва.

Александръ, кромѣ тебя, никто не повѣритъ, и нельзя вѣрить другимъ, а ты, ты—я. Всегда, всегда я была чрезвычайно невнимательна ко всему, меня окружающему, наконецъ, свобода моя возросла до высочайшей степени (что за дѣло до наружнаго рабства, когда внутри себя царь); ты не можешь вообразить, какъ спокойно, равнодушно смотрю я на ограду, на крѣпость, на цѣпи, чрезъ шагъ океанъ, у берега ладья, гребцовъ неужно, весла неужно, лишь бы дунулъ попутный вѣтерокъ... А теперь пока мертвая тишина, но Богъ милостивъ! Какъ не оглядываясь, какъ не обдумывая, полечу я къ моему ангелу, къ моему спасителю, отцу, въ тебѣ, мое начало и конецъ! Какъ каждое мгновение твое! О, Александръ, ничего не дано тебѣ такъ вполне. Какъ вселенная принадлежитъ Ему, какъ она дивна Имъ, какъ Онъ пребываетъ въ ней, — такъ я твоя, такъ хороша тобою, и такъ ты пребываешь во мнѣ и наполняешь бытіе мое, во мнѣ ничего нѣтъ, что не ты; какъ же мнѣ не любить себя, какъ великимъ не протягивать мнѣ руку, какъ не ждать мнѣ, что отъ моего взора одушевится камень и будетъ дышать одной симпатіей?

Нѣтъ, тяжки иногда эти заботы о средствахъ, и пр. Пусть полкъ, пусть стѣна отъ земли до неба,—любовь проведетъ сквозь все. Мысль свиданья неразлучна со мною, она единственный мой собесѣдникъ въ цѣломъ кругу, она со

мною на молитвѣ, она усыпляетъ и будить меня. Я какъ-то не могу порядочно обдумать и заняться средствами: часъ имѣ, а 23 часа безграничная, безбрежная душа погружается въ неизмѣримую твою душу, въ безконечное блаженство, а на нихъ смотришь, какъ на двѣ-три песчинки въ морѣ, или вовсе не замѣчаешь. Дай же наноситься въ моему небѣ—твоей душѣ, дай привольно надышаться великимъ, святымъ, любовью, Богомъ. не ссылай туда, тамъ темно, ангелъ мой, тамъ тѣсно, я не могу тамъ быть. Слышишь, слышишь пѣсни?.. О, не указывай туда, обернись ко мнѣ, мой свѣтлый, сійя на меня, а тамъ темно, темно...

Доло спустя. Все дышетъ ароматомъ, каждый стебелекъ, каждая травка живетъ, любовь въ ихъ жизни, музыка, и за яхонтъ несется гимнъ изумруднаго... Въ этомъ ароматѣ, въ этой музыкѣ, въ этой молитвѣ—я и ты, рука моя въ твоей, взоры, души слиты... Что прежде, какъ пришли мы туда, какъ очутились вмѣстѣ, что будетъ, — не знаю. Я знаю только то, что *живетъ* въ моей душѣ... Александръ, другъ, вообрази ты все это, погоди, оставь письмо, сложи руки, забудься, увидь все это, почувствуй... Не откладывай, не откладывай, мчись тотчасъ, я не могу ждать.

2-е. Всѣ твои повелѣнія выполню, мой ангелъ, но они развѣ и не мои собственныя? Много пожертвовано *имѣ*, очень много, но это было не трусость, о, нѣтъ, я не понимаю ея, это было повиновение Его воли, ради Его выносива я все, но твой голосъ — Его, и такъ *vive la liberté!* Теперь моя *просьба* къ тебѣ, Александръ, употреби все на исполненіе ея. Я не могу вздумать, какъ Саша останется здѣсь безъ меня, совѣсть моя не будетъ покойна, я не въ состояніи буду предаться вполнѣ блаженству, иначе безчеловѣчность, неблагодарность, потому что другой Саша нѣтъ въ мірѣ (изъ ихъ класса). Она моя духовная дочь, и сверхъ вліянія моего на нее, у нея есть много своего, Богъ ей далъ много. Тысячи случаевъ, тысячи встрѣчъ доказали ясно, что она моя воспитанница, и ея собственную высоту, а потомъ эта сверхъестественная привязанность ко мнѣ. И за все это я однимъ могу вознаградить ее: не разлучаться съ нею. И она не требуетъ другой награды отъ меня и отъ Бога. Въ противномъ случаѣ ей или долгія страданія, или смерть, а мнѣ угрызения совѣсти и грусть, я ужасно люблю ее. Прежде, нежели я перешагну здѣшній порогъ, она должна быть вольная, а это устроить очень легко, вотъ какъ: *найми кого-нибудь сыграть роль жениха.* Я думаю, твой Матвѣй способенъ явиться къ кв[ягинѣ], сказать, что онъ ее видалъ давно, хочетъ жениться, наконецъ просить, сотни поклоновъ, ежели это не поможетъ, сотни рублей, только съ тѣмъ, чтобы до свадьбы дали отпускную. Саша скажетъ, что она ей не слуга, ежели и не отдадутъ ее за него, тѣмъ опротивѣтъ кв[ягинѣ], и она согласится. Только не вздумалъ бы въ самомъ дѣлѣ жениться на ней, она ни подъ какимъ видомъ не согласится, да я думаю изъ ровни ей нѣтъ достойнаго ея. Дѣйствовать должно не медля, тотчасъ, какъ тебя пустятъ; онъ долженъ неварушимо хранить тайну, никто чтобъ не зналъ, ни даже ея отецъ съ матерью, вольная въ рукахъ, и женихъ свободенъ! Напиши, ангелъ мой, можно ли это устроить, много, много утѣшишь меня. Думая о моемъ блаженствѣ, я не могу забыть, какая ей предстоитъ участь, кромѣ всего, одна разлука со мною. Мнѣ только стоитъ сдѣлать грустный видъ,—ты увидишь ее въ ужасныхъ слезахъ. Нѣжная, чувствительная — о, Боже, нѣтъ, нѣтъ, Александръ, дай ей свободу прежде меня, ангелъ мой, руку, слово, и я буду покойна.

Ну, ежели Богъ благословитъ намъреніе Пр. Ав.,—опять предчувствіе мое вѣрно. Увидя ее въ первый разъ, я взяла ее за руку, пошли ходить въ залу, и

я ни слова, кромя какъ о тебѣ (въ концѣ 35 года), тутъ же сказала ей, что пишу къ тебѣ тайно, что никого въ свѣтѣ такъ не люблю, какъ тебя, и словомъ сказала все, что у меня было *тогда* въ душѣ, ты знаешь по письмамъ. Благослови, Богъ!

Очень знала я о Серезѣ, очень вижу ихнее *свысока*, но рѣшительно не обращала на это вниманья. Да, со многихъ спало покрывало во время сватовства.

Es liebt die Welt das Strahlende zu schwärzen
Und das Erhabne in den Staub zu ziehn.
Doch fürchte nicht! Es giebt noch schöne Herzen
Die für das Hohe, Herrliche entglühn!

«Донъ-Карлоса» они не велать читать, потому что по нѣмецки, а Маттей— потому что тамъ любовь. Но ужъ, можетъ, скоро, скоро... О! я раба Господня, буди мнѣ по слову твоему! Завтра жду письма; бывало, ждешь, ждешь... да, вѣдь, и теперь то, что ты думаешь? тоже жду, жду, о, другъ мой. Давеча получила отъ Сашы Б., какъ она страдаетъ, и нельзя послать ей письма.

3-е, *четв.* Emilie нездорова и потому не была у меня и у маменьки, пишетъ, что на той недѣлѣ будетъ писать тебѣ. Еще успѣемъ списаться, гдѣ и какъ видѣться. Но, Александръ, не пустое ли все это? Ежели Богу угодно, чтобъ мы увидѣлись, ежели мы достойны этого,—увидимся. Обдумаешь планъ, а тамъ ничтожная встрѣча,—и все разрушено. Пріѣзжай, Онъ лучше нашего устроить. Все мнѣ кажется такъ мелко, такъ мало, они такъ ничтожны, я не могу, право, умалиться до того, что проползти мимо ихъ тайкомъ; что будетъ. то будетъ, ничего не боюсь! Не въ нихъ моя радость, не въ нихъ мое горе, слѣдственно, что-жъ искать въ нихъ, чего убѣгать? И въ цѣлой жизни намъ что? Ангелъ мой, мы недолго проживемъ на землѣ, мы не можемъ долго жить, я это чувствую. Боже, какъ радостно, съ какимъ восторгомъ я легла бы въ гробъ живая послѣ одного мгновенья съ тобою, я сама бы покрылась покровомъ, крышей гробовой. Ахъ, Александръ, говорено, говорено о любви, а ничего не сказано. Забудь о *нихъ*, память ихъ отравляетъ, свободно вѣзжай въ Москву съ Его благословеніемъ, съ любовью, свободно входи въ здѣшній домъ, какъ къ грабителямъ за своєю собственностью, и возьми ее. Кто возвыситъ голосъ, кто подниметъ руку—кто? О, какъ воскъ отъ огня исчезнетъ тогда все предъ нами. Другъ мой, мы не похожи на себя, когда мы *обдумываемъ*; Онъ обдумалъ прежде насъ, намъ лишь идти по указанному пути. Все отпадаетъ, все исчезаетъ,—тону, тону въ твоимъ свѣтѣ... рай мой!

Право, во мнѣ все уменьшается способность *устраивать*, я вся—ожиданіе, имъ полно все существо, и мнѣ нечего отдать на службу *имъ*; въ тягость малѣйшая забота о чемъ-либо, въ тягость говорить, даже думать, все это какъ-то слишкомъ вещественно, грубо, матеріально, все утомляетъ. Нѣтъ, это свободное, это безгранное существованіе безъ думъ, безъ словъ, безъ образовъ, дышать одной любовью... Вотъ эти минуты несравненны, о нихъ мы не должны дерзать проносить слова. Блаженъ, кому въ цѣлую чашу жизни влита одна такая минута! А въ моей жизни ихъ болѣе, нежели обыкновенныхъ, болѣе, нежели блаженныхъ.—Александръ-Наталія.

4-е февраля. Ночь, Москва.

Много, много въ душѣ, письмо твое велико, и сію же минуту принесли «Симпатію», и теперь же хочу говорить съ тобой. Итакъ, главное—выйти отсюда. Давеча же писала Emilie, чтобъ она положительно приготовила мнѣ квартиру, и я

буду ждать перваго возможнаго мгновенія. Но чѣмъ ихъ довести до того, чтобъ они указали дверь, или *сказали бы* только о ней? Ничѣмъ не доведешь рѣшительно, кромѣ какъ доказавъ къ тебѣ любовь, и я бы не желала ничѣмъ другимъ. Съ перваго же дня по полученіи *твоего приказа*, я начала поступать иначе: безъ позволенія выходить въ другую комнату, безъ позволенія брать книгу, но, наконецъ, и къ тому привыкнуть. Теперь, вотъ что я думаю. Приѣдешь ты, о свиданіи не заботься, всего лучше утромъ будь въ 7-мъ исходѣ въ залѣ; я приду, и до половины девятаго мы безопасны. А ночь — я пробовала: и двери гремятъ, и собаки залаютъ, весь домъ встанетъ. И каждое утро намъ можно будетъ такъ видѣться. Во время твоего пребыванія доказать *имъ* любовь, и все кончено! (Только не забудь Сашу). Кн[ягиня], говоря о письмѣ твоёмъ, сказала, ежели «чуть-что», такъ напишетъ Ал. Ал., и я буду тереть ноги Олимп. Макс. А тогда, разумѣется, она скажетъ, чтобъ шла къ маменькѣ, я и *послушаюся*. Мнѣ все равно, въ кухнѣ ли, въ погребѣ ли гдѣ, лишь не здѣсь, лишь съ Сашей, ее, клянусь тебѣ, не могу принести въ жертву моему блаженству. Но, *свергъ всею этого*, твоя воля! За порогомъ же, за этой рѣшеткой, за этимъ замкомъ что будетъ? Ты, ты, далѣе я ничего не знаю, не повижаю и не желаю.

Повѣришь ли, Александръ, я до сихъ поръ не могу приглядѣться къ свѣту, окружающему меня, къ тебѣ, къ Богу. Иногда я все еще дивлюсь, изумляюсь и *не вѣрю себѣ*. Даже вотъ послѣднее твое письмо: «И мнѣ больше тебя ничего ненужно». Тебѣ больше меня ничего ненужно... При этомъ изумленіе и ужасъ мой равняется съ Мариннымъ: «Како мнѣ будетъ сіе»? Равняются повиновеніе и восторгъ — «я раба Господня» — и ни слова, ничто, ничто въ свѣтѣ не въ состояніи выразить. Ангелъ мой, когда хочешь, чтобъ я дѣйствовала, пошли меня на землю. Не могу, не могу, я знаю, сколько я твоя, и потому это ничтожное *зачерпываніе* меня, это ложное присвоеніе твоего, — для меня крикъ сверчка.

5-е, суббота. Другъ, знаешь ли, что вся статья «Симпатія»? Нѣсколько писемъ ко мнѣ. Каждое слово такъ знакомо, такъ родное, въ каждомъ цѣлый міръ, цѣлый океанъ, изъ каждаго можно почерпнуть силу, блаженство, полную жизнь. Для *другихъ* это галиматья, они не поймутъ ни строчки. Но послушай, Александръ: когда буду меньше любить тебя, тогда только я въ состояніи буду *судить* твои сочиненія. Послѣ этой статьи я не могу уже болѣе полюбить Полину; ни свиданье, ни даже если-бъ мы жили съ нею вмѣстѣ, ничто уже не можетъ сроднить насъ *болѣе*, земля небу не прибавить ничего. Теперь мнѣ хотѣлось бы очень ея портретъ. Боже мой, какимъ это все вздоромъ покажется тѣмъ, которые думаютъ и находятъ всю жизнь въ токъ послѣдней моды, въ щегольскомъ экипажѣ, въ картахъ; даже люди *подальше* этихъ прочтутъ, безжизненно взглянуть въ окно на улицу и, какъ очнувшись, закричатъ: «что-жъ долго не подають чай». Имъ кудрявые романы, имъ надъ чѣмъ бы *подумать*, а тутъ размышлять не о чемъ, тутъ солнце, небо, тутъ безпредѣльная жизнь, лишь раскрой грудь, и рай исполнить все существо, и *послѣ* лишь молитва, одна молитва. Этому недоступенъ свѣтъ, не дала бы я читать ему «Симпатію», но, во имя тѣхъ братій, тѣхъ родныхъ, съ которыми мы еще не встрѣтились, которые еще не пришли изъ родины, пусть голосъ нашъ раздается въ толпѣ, чтобъ родные не грустили по насъ, чтобъ не погибли отъ страшнаго рева и дивныхъ криковъ *чужихъ*.

Ночь. Сколько разъ я сегодня дѣлалась грустна, сколько разъ наворачивалась горькая слеза, выходилъ тяжкой вздохъ... Когда я что воображаю, то это такъ живо, что иной въ самомъ дѣлѣ не наживется столько, сколько я въ меч-

тахъ. Вотъ мы бѣжимъ съ тобою отъ льда и мрака къ солнцу, въ страну любви; для меня *бѣжать* въ миллионъ разъ лучше *ихъ* желаній, поздравленій, пожеланій, ихъ благословеній, ихъ хлѣба-соли. О, это будни, это свадьба, это что-то ужасающее. я ничего не хочу, стало, бѣжать, бѣжать. Тутъ любовь, тутъ благословеніе Божіе, тутъ небо на землѣ. И вотъ, природа—нашъ домъ, *наши*—долины, благоухающія, цвѣтущія, *наши*—горы, утесы, *нашъ*—океанъ, *наше*—небо, все это полно нами, любовью, молитвой, Богомъ... Руки складываются, голова опускается на грудь, улыбка—отраженіе всего рая, слезы—слезы, это музыка, это рѣчи неземныя... тутъ вселенная, Богъ *вмѣщаются* во мнѣ, тутъ я наполняю вселенную, Бога. А тамъ, въ странѣ далекой, страшной, мрачной, есть темныя, тѣсныя ямы, смрачныя; въ нихъ живутъ, но тамъ не вѣсть *жизню*; я не знаю той страны, я тамъ не бывала, не слыхала о ней, и не пойму, когда мнѣ стануть говорить о ней. Ярче солнце, сильнѣе пѣсни, радужнѣе цвѣты, шире, шире грудь раздвигается, исчезло тѣсное я, не частью рая живемъ мы, не частью Бога, мы все, и все мы... Вдругъ я въ этой ужасной странѣ, въ преисподней, душно, тѣсно, и цѣпь, и замокъ заржавлены, смерти!.. Александръ!..

Утро, 6-е февраля. Да, ужасно, ужасно, ангелъ мой, слетать въ эту яму, тамъ живетъ лишь смерть, и потому, налетавшій мечтою тамъ, съ тобою, я страдаю, обращаю взоры кругомъ и не встрѣчая ни природы, ни Бога, ни тебя. Ты *разучилъ* меня переносить такъ, какъ я переносила прежде, и каждая минута—стремленіе къ свободѣ, къ тебѣ. Теперь ужъ я не вынесу долго этого заключенья. Но *какъ*—этого я не понимаю, это должны исполнить за меня другіе; *вникая въ средства*, я не могу такъ волюно думать о тебѣ, не могу быть съ тобою такъ близко, какъ тогда, когда я выше всего этого.

Рѣшительно не могу ничего дѣлать, ни даже самой бездѣлицы, такое чувство наполняетъ, какъ будто наканунѣ отъѣзда. А почему знать,—долго ли до этого кануна?—*Они* поѣдутъ къ обѣднѣ, и я пошлю за Emilie, терпѣнья не стаетъ, что-то она скажетъ, она свободнѣе меня обдумывать. Вообрази, другъ, вѣра моя въ папеньку нисколько не умалется, а все растеть болѣе и болѣе. Вѣрь и ты; меня не обманываетъ мое сердце; ты напрасно хочешь закрыть отъ него душу, пусть онъ знакомится съ нею, привыкаетъ; что дивнаго, ежели онъ подниметь отвергающую руку,—ты не знакомъ ему, онъ отецъ, во не родной тамъ, не братъ. Но, вѣдь, и никого же у него нѣтъ, кромѣ тебя, кого же онъ обвинить, кого благословить?

Денегъ для Эм. слишкомъ довольно, *спасибо*. Прощай, терпѣнья не достаетъ, хочу читать «Симпатію», а потомъ отошлю Emilie, мнѣ нельзя ее держать у себя.

5 февраля, Владиміръ.

Ангелъ мой, моя прелестная подруга, какъ давно я не писалъ тебѣ. У меня гостилъ Кетчеръ, одинъ изъ близкихъ родственниковъ души моей. Отлетѣли эти 4 года мрака, я снова юношей мечталъ, но уже мечта моя не та—она сильнѣе, шире, выше. Кетчеръ первой изъ друзей увидѣлъ меня и говорить, что я сталъ лучше, чище, сильнѣе, и говорить, все это сдѣлала любовь. Слышишь ли, мой ангелъ, любовь, ты, Наташа, это сдѣлала. Я ему читалъ нѣсколько писемъ твоихъ и видѣлъ его слезу. Витбергъ тебя назвалъ ангеломъ, онъ не умѣлъ выразить. Представь себѣ мой восторгъ въ эти минуты, Наташа, — ты мнѣ принесла огромное блаженство, я счастливѣйшій человекъ. Вотъ и тебѣ доля чи-

стая той симпатіи, которою окружають меня, теперь ты будешь идоломъ, святостью всѣхъ любящихъ меня. Теперь больше, нежели когда, я рѣшился дѣйствовать, не отлагая. Я даже думаю, ненужно переѣзжать отъ княгини. Я объяснюсь,—мнѣ откажутъ. А въ продолженіе этого времени у Кетчера будетъ все готово: и храмъ, и священники, и все. Рекомендую Вамъ, Наталья Александровна, Кетчеръ мой шаферъ. На него вѣра моя безпредѣльна, онъ окончилъ борьбу, которая во мнѣ была, и заставилъ рѣшиться. Онъ даже брался устроить все здѣсь, скакать въ Москву, привезть тебя, десять, пятнадцать человекъ за счастье почтуть ему въ этомъ помочь. Наташа — ты скоро будешь моя! Ни слова болѣе, что тутъ можно сказать языкомъ.

Княгиня пишетъ, что благодарна мнѣ за дружбу къ тебѣ; я не вытерпѣлъ и написалъ пап[енькѣ], что я нисколько не заслуживаю *отъ этого* сіятельной благодарности. Благодарю за чернильницу, все, все отъ тебя для меня свято, благодарю за кольцо еще больше. Да, оно вѣчно будетъ у меня на рукѣ и встрѣтится только съ другимъ—обручальнымъ. И за письма—я еще не читалъ ихъ. Кетчеръ черезъ нѣсколько дней доставитъ тебѣ отрывокъ изъ «Тамъ», которой будетъ напечатанъ въ «Сынѣ Отечества», и начало біографіи. Вотъ тебѣ на замѣну письма пока. М. нарисовала картину къ твоему рожденію «въ 22 октября». Я пришлю ее тебѣ, когда получу.

6 февраля. Я мелькомъ пробѣжалъ письма свои, — это важнѣйшій документъ нашего развитія и моей жизни; превосходно, что они у тебя сохранились. Безъ нихъ мнѣ почти не было бы возможности продолжать біографію. Тутъ я весь, какъ былъ. Посмотри этотъ ледъ въ первыхъ письмахъ, я содрогнулся. читая записку, въ которой я поздравлялъ тебя въ 1833 году съ рожденіемъ: мнѣ недосугъ было придти, а что дѣлалъ? и послѣ пусть прочтутъ фантазію. Потомъ я какъ-то *списходителемъ* съ тобою, *цпню* твои таланты; изъ казармъ письма принимаютъ жизнь, они съ огнемъ, но это огонь не любви, ты не необходимость мнѣ, я люблю тебя, но хочу ѣхать изъ Москвы куда бы то ни было. Однако тамъ-сямъ прорывается и другое чувство, въ той фразѣ, въ которой наименѣе можно ждать любви, высказалась она едва ли не въ первой разъ. Чего я боялся твоего замужества, отчего я тебѣ указывалъ на монастырь,—тутъ сверхъ участія есть что-то. Девятое апрѣля было вѣнчанье нашихъ душъ. Но послѣ—вотъ она ужасная эпоха апатіи, лѣни, усталости, начало жизни Вятской. Я не хочу себя оправдывать, но душа, натянутая 9 мѣсяцевъ, опустилась, я долго съ отвращеніемъ смотрѣлъ на толпу, но свыкъся и палъ.

Сейчасъ твое письмо отъ 4-го, — какъ скоро. Скажи Сапшѣ, что прежде, нежели ты писала мнѣ, я уже думалъ о ея спасеніи, и именно думалъ то, что ты писала. Поклоновъ не слишкомъ много, лучше больше рублей, пусть скажутъ, сколько надобно,—я доставлю. Впрочемъ, замѣчу, если ты Матвѣя принимаешь за *лакея*, ты очень ошибаешься; я тебѣ могъ бы сказать одинъ анекдотъ про него, въ которомъ онъ поразилъ меня своимъ благородствомъ; ему каплю образованья, и онъ отличный человекъ. Я какъ-то по пріѣздѣ былъ очень веселъ и шутилъ спросилъ у него: «Чего ты хочешь теперь?»—Вы не сдѣлаете того, что я попрошу.—«Что-же?»—Нѣтъ, не смѣю просить. Наконецъ, сказалъ: «я желалъ бы знать, что за статья у васъ, гдѣ о Полинѣ,—ее одну я не слыхалъ». Я взялъ ее и прочелъ ему отъ доски до доски, объясняя иностранныя слова. Что же—со слезами бросился онъ ко мнѣ, цѣлуя руку, и сказалъ: «Такъ вотъ онъ ангелъ въ статьѣ о Витбергѣ». Что скажешь на это?

Сегодня меня судьба столкнула опять съ несчастнымъ и столкнула на минуту — и можетъ, никогда не увидимся; въ слѣдующій разъ я напишу тебѣ объ ней, можетъ, даже напишу цѣлую статью. Кетчеръ сидитъ у меня и переписываетъ мои статьи, непременно хочетъ взять съ собою, и я ему повелѣлъ доставить тебѣ.

[Приписка Кетчера]: «Вы приобрѣли себѣ новаго друга, который нѣкогда сомнѣвался въ васъ; но убѣжденіе послѣ сомнѣнія прочтѣе; ни увѣрять, ни говорить много о дружбѣ я не умѣю. Довольно, я другъ вамъ, и вы не можете не быть мнѣ другомъ, оцѣнивъ такъ хорошо людей, съ которыми хотя я и не выросъ, но сроднился такъ же тѣсно. Всѣ нападки толпы, этихъ пасквилей на челоуѣчество, хотя и болѣзненны, но ничтожны, и не подавятъ имъ добра, оно восторжествуетъ! Не выдавай васъ, потому что разъ, въ который я съ вами гдѣ-то встрѣтился, я не называю видѣть, но по нѣсколькимъ строкамъ я понялъ, узналъ васъ. Прощайте, надѣюсь вскорѣ увидѣть васъ съ нимъ не въ этомъ душномъ чистилищѣ. До свиданія». Я удивляюсь, какъ Кетчеръ имѣетъ мало образованности, я думалъ, онъ, по крайней мѣрѣ, скажетъ: «Честь имѣю рекомендовать и пр.»

Ну, продолженіе о старыхъ письмахъ. Письмо 12 октября 1835, можетъ, лучшее, что когда-либо я писалъ: это огонь, бѣшенство, но это проникнуто такой силой, такимъ огромнымъ размахомъ души. Это письмо могло сжечь тебя, ежели бы въ тебѣ было больше земли; щеки вспыхнули, когда я перечитывалъ его. Всякая острота — молнія, ни одной мысли, и все это кипитъ, вырывается само собою, взгляни даже на почеркъ. Я почти задохнулся. Но не странно ли: два слѣдующія письма не стоятъ строки того. Любовь рвется, но нѣтъ того полета, нѣтъ того порыва. Нѣтъ, мнѣ ужасно нравится письмо 12 октября; а между тѣмъ рядъ воспоминаній сталъ возлѣ писемъ; одна апатія могла продиктовать глупую фразу: «она довольно хороша, чтобъ быть героиней маленькаго романа въ Вяткѣ». Какая низость! Чудная эпоха. Я увлекся этой женщиной, какъ женщиной, и именно оттого понялъ, что люблю тебя, я былъ увѣренъ въ твоей любви прежде, нежели ты сказала, но эта увѣренность какъ-то принимала судорожный видъ, какъ все бытіе; признаюсь, я не понялъ всей высоты твоихъ писемъ, когда ты писала въ концѣ 35 года. А возможна ли эта глупая оговорка: «тогда склоню голову на твою грудь (ежели эта грудь не будетъ принадлежать другому)». Фу, мерзость вакая, и это я писалъ въ концѣ декабря (25) 1835. Глупо, и только объясняетъ мое тогдашнее положеніе. Героиня *маленькаго* романа выросла въ *большое* угрызеніе совѣсти, и я доселѣ не могу дать отчета, какъ это случилось. Ты меня знаешь Наташа, всякая мысль, всякой порывъ отъ 1834 тебѣ извѣстенъ. Ну, какъ могъ я пасть такъ? Любилъ ли я ее? — Нѣтъ, это ясно, лучшее доказательство — письмо 12 окт. Но точно я сначала былъ неравнодушенъ, она была первая симпатія, я границъ не знаю, мнѣ было весело, что встрѣтилъ созвучіе. Въ это именно время боролись во мнѣ тысяча страстей. Я увидѣлъ въ ней особое вниманіе ко мнѣ. *Жена старика* не имѣетъ почти никогда той святости, которая окружаетъ дѣвушку и женщину. Все это вмѣстѣ съ бездѣйствіемъ завлекало больше и больше. Но не оправданіе все это мнѣ; такъ могъ бы оправдываться Н. П. Голохвастовъ, а твой Александръ... Нѣтъ, этой раны я не скоро освобожусь. Паденіе низкое, гадкое!

Наташа, теперь отвернись отъ этого несчастнаго челоуѣка, которой ломается въ борьбѣ съ собою, который своими руками разрываетъ сердце, блуждаетъ то

въ небѣ, то въ аду,—и взгляни на твои письма. Ты одна и та-же съ первой записки до письма, которое я получилъ; все свѣтлая, небесная, спокойная, тотъ «голубь съ бѣлыми крылами, которой играетъ въ солнечномъ лучѣ и для котораго вѣтъ выше», какъ ты писала, только пѣснь твоя дѣлается звучнѣе, только взглядъ шире. Я не унікаю себя,—вѣтъ, я тебѣ назначенъ Богомъ, я понимаю, что ты ни въ одной груди не нашла бы той любви, какъ въ моей, и теперь я довольно хладнокровно пишу. Знаешь ли, что еще превосходно въ моихъ письмахъ: это мысль, пришедшая на бумажной фабрикѣ. Вотъ ужъ живѣе, лучше сравнить нельзя моей жизни, какъ эти свирѣпыя колеса, какъ эта безумная струя воды и въ заключеніе ты—небо въ окошечкѣ, а потомъ ты—*все небо*. Да, до весны 1836, я стоялъ середь колесъ и треска, оглушенной, тутъ я вышелъ, и ты безгрѣшная, святая захватила все. О, ты!

Пришлю письма назадъ съ Ег. Ив., но *не надолго*, а потомъ приду къ «грабителямъ за собственностью»—это превосходно.

Прощай, до свиданья, Александръ.

Ночь, 6 февраля, Москва, воскресенье.

Александръ, мнѣ досадно на себя, я слишкомъ дитя, не знакомая съ землею, не знакомая съ людьми, я не умѣю ходить по землѣ, не умѣю ходить между людей. Вотъ тебѣ нынѣшній день. Давеча же рано утромъ я мечтала, что, можетъ, завтра же меня здѣсь не будетъ, — это такъ легко! И я восхищалась, и потому что буду съ тобой, и потому что мнѣ *становится хуже здѣсь*. Мнѣ казалось, что я вездѣ дома, лишь здѣсь чужое, о, какое чужое!.. Является Emilie — все перемѣнилось! Всѣ *хотятъ* меня взять, но *не могутъ*, нуженъ видъ, я объ этомъ и не думала. Итакъ, къ чему же поведетъ меня это хуже и хуже, куда я *пойду*, ежели *они* не выгонять меня? А выгонять они только тогда, какъ узнаютъ о тебѣ, иначе ихъ ничѣмъ не доведешь до этого, только будутъ грызть, какъ ржа желѣзо. Тутъ я потерялась, придумывать не мое дѣло, я чувствую боль, но не могу разстаться съ тобой настолько, чтобъ лечить эту боль, я страдаю, но съ тобой, и, стало, блаженна, и, стало, ничего мнѣ не нужно. А тюрьма-то та же, цѣпь-то та же, да и маленькая кружка на маленькомъ окнѣ *все съ тою же горечью*... Но *имѣ* что до того? Мнѣ одно — любить, любить и любить! Emilie опытишь, она умѣетъ думать, умѣетъ дѣлать, сверхъ того, что умѣетъ любить,—мнѣ данъ *одинъ талантъ!!* Сама она напишетъ тебѣ, что она придумала, я только пришла въ восторгъ отъ ея мысли, обвиняла ее крѣпко обѣими руками, эта мысль была такъ свѣтла, такъ огромна и такъ легка и удобоисполнительна, что уже казалась мнѣ даже исполненною. И я забыла все на свѣтъ великій постъ казался мнѣ послѣдней каплей горячи, которой меня поили съ 7 лѣтъ. А за нею, за нею... О, ангель мой, не скажу, не могу сказать ничего, только я (о, пренесносный ребенокъ!) плакала отъ восторга, смѣялась, летала по горницамъ и всякому готова была сказать: «послѣдняя капля! а за нею я съ нимъ, за нимъ вѣчность, за вѣчностью все онъ же, онъ же!.. И все это я говорила взоромъ, и, кто понимаетъ этотъ языкъ, повѣрилъ бы, что *въ самомъ дѣлѣ* такъ. Но вотъ *пріѣзжаютъ они*, я прихожу въ себя, и первый вопросъ—*отъ тебя ли это зависитъ?* Я оглянулась вокругъ и затрепетала всѣмъ существомъ—*ежели нѣтъ*. И теперь грустно, страшно, я страдаю, во имя любви

умоляю тебя, пиши отвѣтъ скорѣе.—Годъ сроку, писалъ ты, но, вѣдь, кв[ягния] переживетъ меня, это такъ ясно, какъ осина переживетъ розу. Хорошо, *мы увидимся*, а потомъ что?.. И цѣлый годъ, цѣлый годъ. Да что-жъ ужъ мнѣ тогда надо, чего ждать, чего желать? Да, да, хорошо, только видѣть, видѣть разъ и прости земля! или возьми меня тогда, пожалуй, въ полное владѣніе, мнѣ все равно тогда, Александръ, я увижу тебя? увижу! Ну, прощай же, моя душа, я покойна.

7-е. Скоро, скоро отвѣтъ, скоро рѣшенье! замираетъ сердце, боюсь, Александръ, ангелъ мой, мнѣ грустно опять, ужасно грустно. Когда всматриваешься въ подробности, онѣ растутъ необъятно и становятся какими-то чудовищами. Нѣтъ, не буду ничего обдумывать, это меня истерзаетъ, отдаю все Его Промыслу, а ты—возьми меня, когда хочешь и какъ хочешь. Богъ и Emilie тебѣ помогутъ, я пойду съ закрытыми глазами, не заставляя *глядѣть*, все вокругъ ужасно страшно. Не могу порядочно говорить, тысячи повтореній, а, можетъ, не скажу того, что всего нужнѣе. Ну, вотъ слушай, что *мнѣ* видится теперь (а другой можетъ видѣть въ сто разъ болѣе). Ежели тебя пустятъ, и тебѣ можно будетъ отложить прїѣздъ сюда до Святой, въ продолженіе Великаго поста мы устроимъ Сашу, а тамъ уже меня ничего не остановитъ быть съ тобою.

Въ папевку я вѣрую, и даю тебѣ *мое слово*, онъ благословитъ насъ, или покоряясь отцовской любви, или покоряясь Отцу небесному. Ну, что далѣе,—о томъ нечего и говорить, да я и не могу теперь о томъ говорить, слишкомъ слаба. Ежели же не пустятъ... но, можетъ, я доживу до свиданья съ тобою, можетъ. А когда ты прїѣдешь и опять уѣдешь, и мнѣ некуда будетъ преклонить головы, оставя ихъ? Мнѣ острогъ не страшенъ, но какое-жъ право подвергать другихъ. Да, придумай все это самъ.

Во мнѣ замѣчаютъ *необыкновенное* неповиновеніе, слѣдствія этого ты можешь вообразить. Какъ еще долго ждать отъ тебя письма, и чего ты боишься, а то бы завтра получила. Намъ хочется съ Emilie, чтобъ въ твое рожденіе былъ у тебя портретъ, можетъ, и удастся.

Все, что ты придумалъ, чего я боюсь оставить здѣшній домъ, — совершенно пустое. Когда-жъ я боялась сужденій свѣта и десяти старухъ, да осуди меня, пожалуй, десять Витберговъ (ежели они есть), я только и скажу: *не поняли!* Главнѣйшій судья долженъ быть самъ себѣ человѣкъ, а мнѣ—ты; итакъ, подумай, что мнѣ люди и весь міръ, пусть закидаютъ камнями, я знаю мою любовь, знаю тебя и Бога.

Ночь. То уношусь туда, гдѣ нѣтъ ничего кромѣ тебя, и мнѣ весело, отраднo, и забота тамъ не достаетъ меня, то опять здѣсь, здѣсь въ домѣ ея сіят., и онъ предо мною со всѣми его принадлежностями, со всею своею полнотой; и я его принадлежность, и я его дополненіе. Съ тѣхъ поръ, какъ я увидѣла, какъ все это больно тебѣ, мнѣ стало невыносимо. О, нѣтъ все перенесу, все «Ich habe geliebt und gelebt».

Съ терпѣніемъ буду все переносить и ждать, но чего же ждать? Не довольно ли существовать и тѣмъ, что *ты существуешь*, чего еще здѣсь и тамъ?.. Дай же, Господи, крестъ, я понесу его, я увѣнчаю его надписью «Онъ есть», я распну на немъ все, что не онъ, я умру на немъ и вознесусь къ тебѣ любовью! Гори, гори, моя лампада. Люблю тебя, моя тѣсная тюрьма, люблю тебя, тяжелая цѣпь моя, и *васъ*... да, люблю и васъ; все люблю, и страданья, и смерть, все, все, потому что я ничего не умѣю, какъ любить, у меня не было учите-

лей, только Онъ училъ любить. Люблю Александра, люблю Бога, люблю все. Любовь—Наташа Герценъ.

8-е. Сегодня ужъ вовсе не могу писать: ожиданіе, одно ожиданіе!

Ночь, 8-ое февраля. Москва.

Александръ, новость! Только напередъ скажу, что мы должны ей радоваться, да, она, можетъ быть, поможетъ намъ много. *Новое* сватовство. Приказъ—завтра завиться и одѣться. Мак. гдѣ-то была, безконечное шептанье, но *кто*,—не знаю. Все равно, я очень рада, это поможетъ мнѣ довести ихъ до того, чтобъ прогнали. Какъ я счастлива и довольна, когда могу изловить кого-нибудь изъ помнящихъ тебя ребенкомъ, уѣсться въ углу и спрашивать всѣ малѣйшія подробности. Разумѣется, нѣтъ никого, кто-бъ могъ понимать дѣтскую душу твою, умъ, но и остальное все для меня—повѣришь ли, Александръ?—прелестіе и полнѣе Гюго и Шиллера, и рѣшительно нието и ничто на свѣтѣ не займетъ меня такъ, какъ самый простой рассказъ самой малости о тебѣ, и она для меня велика и изящна, полна поэзіи и любви. На всемъ, что ты и твое, дивная печать, таинственная для другихъ, но, при взглядѣ на которую, мнѣ открывается цѣлое небо, цѣлый рай. Даже—о, какъ бы захотала толпа, съ какимъ бы презрѣньемъ отвернулась отъ меня, если-бъ я ей сказала, что теперь для меня и «по Владимірскую влюбку» восхитительнѣе самого «des herrlichen Nuptes an die Freude» Шиллера. Но и гдѣ же ей понять, что такое для меня въ этой *пустой*, глупой пѣснѣ, что для меня Владиміръ. О, Александръ! такъ не скажу же я ей, тебѣ я скажу это, ангель мой, ты меня поймешь, ты мнѣ повѣришь, а толпа проникнетъ скорѣе въ сердце земли, вознесется до третьяго неба, нежели достигнетъ эти слова. И не для меня ли только пришелъ ты на землю? Нѣтъ, не для меня, мы могли-бъ быть вмѣстѣ и *тамъ*; ты присланъ для многихъ, но повяты тебя и любить тебя не можетъ никто, какъ я, потому что мы родные, мы одно въ Богѣ, а Онъ безначаленъ и безконеченъ. Что я вижу въ одной точкѣ твоей, того не увидятъ и въ открытомъ небѣ. Недолго, недолго проживемъ мы на землѣ, я это чувствую, мы не можемъ долго жить — слава Тебѣ! Впрочемъ, я выражаюсь по ихнему: *недолго*, то-есть, *немного лтъ* намъ еще земли, а жизнь-то наша не годы, они называютъ *годы*, хотя и мертвые, жизнью, но мы не такъ будемъ жить.

Александръ, смотри, какъ непостоянна твоя Наташа, для меня нѣтъ двухъ минутъ одинаковыхъ, ни даже схожихъ: давеча, отсылая къ тебѣ письмо, я не могла слова вымолвить, я задышалась, потомъ минуты яркія, потомъ опять вся въ волненьи.

Ночь, 9-е, *среда*. Вотъ день, Александръ!.. Ужъ за полночь, а я не могу отдохнуть. 1) Утро—женить, но ужъ это вовсе не Свакъ. — Александръ Осиповичъ Миницкой, военный же, недавно изъ Грузіи, молоденькій, простодушной, съ нимъ мнѣ хотѣлось играть въ карты, въ мячикъ, бѣгать въ горѣлки, цѣлыхъ два часа сидѣть, и какъ вѣкъ жилъ; жаль его, ежели онъ *самъ* вздумаетъ то, оба чемъ *заставили* его подумать, но еще онъ, кажется, ребенокъ. Это посѣщеніе для меня ничего, я *покойно* объдала. 2) Сумерки—Emilie. Господи, что тутъ возстало, закипѣло... «Бѣгите, бѣгите», твердила она, и видъ ея былъ мраченъ, и она ужасно перемѣнилась (отъ нашихъ обстоятельствъ) и говорила опять: «умри, Наташа». Александръ, о, сколько невыразимыхъ ударовъ, камней, чугунныхъ плитъ на грудь, и сколько между всѣмъ этимъ искръ радостныхъ,

небесныхъ... Но, наконецъ, такимъ мракомъ обняло меня, такъ много мученій хлынуло въ душу, что я боялась остаться одна съ *ними*, и умоляла Emilie побыть еще хоть минуту; мнѣ казалось, меня проглотитъ мигомъ эта ужасная, черная разинутая пасть съ рядами безчисленныхъ зубовъ... и я дрожала, и дыханье останавливалось. «Бѣгите» было послѣднее слово Emilie, а у меня ни одной мысли, ни одной черты въ планѣ,—даже слеза не канула, лишь туманила взоръ, и все, все было такъ туманно. 3) Вечеръ—письма! Что мракъ, что цѣпь! О, не знаю: стѣны, полы дышать радостью и говорить: «свобода! благословеніе!» Александръ, свобода! благословеніе!

Какъ благодарить мнѣ новаго друга моего, — вотъ тебѣ, Кетчеръ, рука дружбы, вотъ тебѣ слеза благодарности и восторга. Довольно, довольно, кромѣ *его* никто не дерзнетъ требовать болѣе; ежели ты избранъ *имъ*, благословенъ мною, ты избранъ Богомъ, благословенъ Богомъ! Но, вѣдь, мы *не новые* друзья съ тобой, лишь тамъ, на землѣ, въ толпѣ есть новое и старое. Дружба вѣчна и мы друзья вѣчные, намъ недоставало только заговорить, но всему пора, — итакъ, до свиданья!

Теперь, мой ангелъ, нѣтъ мѣры моей радости, я не придумаю, какъ скрыть ее, да и на что? Я уже многого не скрываю. Когда *твоей* Матвѣй такъ хорошъ, когда *ты* находишь его достойнымъ *моей* Саши,—я отдаю ему ее. Благословимъ ихъ. Пусть все блаженствуетъ и ликуетъ вокругъ насъ хоть годъ, хоть день, хоть мигъ. Огненная рѣка насъ съ ними не разлучитъ. Она ужасно испугалась сперва, какъ я ей сказала эту мысль, но ей довольно только видѣть, что я *желаю*, хотя-бъ это была смерть, и даже разлука со мною. Но ежели Матвѣй *твоей*, — Саша его будетъ любить, и счастье ихъ будетъ непримѣрно. Пиши же. Боже мой, какъ это все живо, — солнце на закатѣ, или утро, раннее утро, *до дыму*, еще лучше, тройка у воротъ, я перекрещусь, порхну изъ клѣтки, на руки Кетчера, и рай мой, и я твоя. Что прежде этого, послѣ, и рядомъ, — я не могу разглядѣть, все сдунуто океанью, все залито свѣтомъ. О, Александръ!

Но тутъ же, съ этимъ океаномъ блаженства, съ этимъ раемъ, съ хорами архангеловъ и серафимовъ, съ цѣлымъ небомъ любви и Александра — *наравнѣ* ребенокъ съ игрушкой. Я не могла утерпѣть, чтобъ не помчаться наверхъ, не взглянуть на свои *пожитки* (портретъ, письма, стаканъ, волосы, образъ), не примѣрять, какъ ихъ завернуть, уложить и, наконецъ, унести съ собою, я даже, примѣрно, сдѣлала шага три. О, Александръ, сколько во всемъ этомъ блаженства, сколько во всемъ тебя. И игрушка не меньше солнца, и ребенокъ не меньше вселенной, только въ Наташѣ могъ ты сдѣлать такое дивное соединеніе. Итакъ, благослови, Господи! Ангелъ мой, теперь отдыхъ, молитва, молитва... и ты молишься. Какъ быстро ходятъ письма, и незамѣтно, что они промчались 170 верстъ: такъ силенъ отъ нихъ запахъ кур[ительнаго] табаку.

Ночь, 10-е, четвергъ. Ангелъ мой, что сегодня пролетало, рождалось мечтаний въ моей головѣ, что пролито мною слезъ съ Сашей, и ни одной горькой! Что настроила я, того, кажется, не разрушить стотысячному полку. А другіе плавали *юрько*, а мнѣ казалось, что, разставшись съ этимъ домою, я не разстанусь ни съ чѣмъ и ни съ кѣмъ. Нѣтъ, разстанусь! Это удивительно (то-есть, нисколько не удивительно), камень, на который я ступлю ногой, одушевляется и дышетъ одной симпатіей, однимъ святымъ, а на *нихъ*, вѣдь, я не наступаю, до нихъ я даже *не касаюсь*, и это не моя вина.

Ну, вотъ, первая возможная минута, и мы съ Сашей въ углу, цѣлуемся,

обнимаемся, плачемъ, молимся, право, всякой благоразумной человѣкъ подумалъ бы, что безумныя, нарочно спрятанныя. И Emilie меня называетъ безумною и говоритъ: «Соедини, Господи, этихъ двухъ безумныхъ». Она клянется, что иногда не понимаетъ нашу любовь, и я клянусь, что вѣрю этому. Любовь дунетъ, мелькнетъ лучъ свѣта,—и исчезло все, все, только мы.

Не могу не пересказать тебѣ всего, ну, вѣдь, ужъ ты давно знаешь, что Наташа мигъ и вѣчность, песчинка и безпредѣльность, — люби меня мигомъ и вѣчностью, маленькой и большою! Какъ-нибудь въ срединѣ поста пріѣзжаетъ Матвѣй; за этимъ надо идти вѣкоторое время прегадкою дорогой, словомъ, какой и вообразить нельзя; но вотъ Святая, а тамъ въ слѣдъ ей и Саша съ Матвѣемъ, соединенные, блаженные оставляютъ Поварскую, Москву и дворъ твой умножился. Ихъ пріѣздъ будетъ тебѣ то же, что бы былъ звукъ колокольчика, звенящаго у коня, который бы мчалъ меня къ тебѣ.

О, этотъ звукъ! о, этотъ звукъ!.. *Тогда* я обойдусь безъ Саши; фрейлина моя *золото*, она мнѣ поможетъ отворить *калитку*, Кетчеръ передастъ меня тебѣ, и насъ встрѣтитъ Саша!.. Все это написано въ минуту, а говорила-бъ съ утра до ночи, и ночь и всетаки не устала бы, и хотѣлось бы говорить, и не наговорила бы вѣкъ! Не безумные ли мы съ тобой, *въ самомъ дѣлѣ?* Дай Богъ.

Я все стараюсь, какъ можно менѣе быть съ кн[ягиней], чтобъ она отвыкла отъ меня, *разлюбила* меня. Я признаю тебѣ, Александръ, мнѣ иногда жаль ее, потому что она истинно достойна сожалѣнія; во мнѣ она, лишенная всего на свѣтѣ, могла бы найти все, а *я все* въ Макаш., а во мнѣ одно горе, одно горе, это ужасно! Но, клянусь, я готова исполнить блаженствомъ ея остальные дни. лишь пойми она, прими это блаженство. А толпа будетъ гудѣть—неблагодарность! О, когда-бъ знали... но видно такъ *Онъ* судилъ,—да будетъ Его воля!

И она, какъ нарочно, послѣднее время не даетъ мнѣ рѣшительно шагу отъ себя. Чѣмъ болѣе я стараюсь оборвать привязь, тѣмъ еще короче ее привязываютъ,—что-жъ выйдетъ, наконецъ? Наконецъ, выйдетъ солнце изъ-за тучи! Господи, ужъ 10-е нынче, о, Александръ, ангелъ мой, твою руку, твою руку... Послушай, умремъ *тогда*, пожалуйста, умремъ, по исполненіи всего, невозможно жить на землѣ. О, блаженство безумія!

Вотъ ужъ и 11-е. Много разъ становилось мнѣ грустно сегодня, непреодолимое стремленіе къ тебѣ, — одинъ взглядъ твой, одинъ взглядъ, о, Александръ, и какъ бы я умерла тогда... Нѣтъ, въ каждой минутѣ безъ тебя мнѣ мрачно и душно, къ тебѣ, къ тебѣ! Одинъ мигъ, ангелъ мой, и довольно. Ты понимаешь, что мнѣ довольно одинъ мигъ.

Александръ, что мнѣ дѣлать! Давеча опять былъ Миничкой. Это не *тотъ*, уже *отжившій*, но хотѣвшій еще продлить свое существованіе золотомъ и женой. Этотъ еще только хочетъ жить, этотъ чувствуетъ, юноша, добрый, откровенный; завтра хочетъ привезть показать мнѣ свою черкесскую шапку, хочетъ съ нами говѣть и говорить *имъ*, что онъ боленъ воспаленіемъ въ лѣвомъ боку; настоящій ребенокъ, безпечный, веселый и довѣрчивый, мнѣ будетъ жаль его. Кн. Оболенскій и застрѣлился хотѣлъ, да теперь живетъ благополучно съ женой въ чужихъ краяхъ; и этому желаю отъ всей души счастья.

Прощай, мой ангелъ, пиши мнѣ, пиши скорѣе. Надо спѣшить Матвѣю, а когда *они* примутся за меня, тогда ничего не сдѣлаешь. Цѣлую тебя много, много, твоя Наташа.

Наташа Герцень.

Февраля 8-го, Владимиръ.

Другъ мой, ангель, вотъ и Кетчеръ уѣхалъ, а хорошо провелъ я эту недѣлю. Ему первому пришлось мнѣ разказать исторію послѣднихъ 3 дѣтъ. Какъ она полна, и полна тобою. Онъ говорить, что никогда не предполагалъ столько чувствъ во мнѣ. Ты сдѣлала чудо со мною. Ну, что же, Natalie, придумала ли ты свиданье, — вѣдь, скоро отвѣтъ, а тогда, имѣя волю, я измучусь. Кетчеръ хлопочетъ обо всемъ, о деньгахъ и о пр., но не знаю еще, въ отпускъ или послѣ. Наташа, понимаешь ли ты, укладывается ли въ твою грудь эта райская мысль, что, можетъ, черезъ *нѣсколько мѣсяцевъ* ты моя, ты выѣсть со мною и навѣки! Нѣтъ, я не могу обнять этой мысли. Давно ли всѣ наши желанія сводились на одно свиданье. Да, вѣришь ли ты этому? Вѣрь, ангель, вѣрь. Послушай, знаешь ли ты, гдѣ твое свидѣтельство о крещеніи, ¹⁾ оно необходимо; вотъ первой разъ въ нашей перепискѣ упомянута дѣловая бумага. Ахъ, тогда, тогда жизнь полная, жизнь блаженства. Ты положишь твою голову на мою грудь, и она отдохнетъ подъ нею. Нѣтъ, я теряюсь въ созерцаніи всего счастья, я готовъ плакать, какъ дитя. Теперь я долго просидѣлъ, опираясь головой на обѣ руки, что я думалъ? Пусть ангель съ неба прилетитъ тебѣ разказать.

Они смотрятъ на тебя свысока; Сережа желалъ, чтобъ я ему написалъ письмо, я и написалъ холодное какъ ледъ и гнетущее всѣмъ гнетомъ, которой имѣетъ въ себѣ *человѣкъ* надъ толпою. Не люблю я давить высоту, но его я подавляю, для того чтобъ поставить въ свою раму.

9-е февраля. Чѣмъ больше вникаю въ письма, тѣмъ яснѣе вижу, что ты гораздо сильнѣе дѣйствовала на меня, нежели я на тебя. Ты была изящна и свята всегда; я много переѣмѣнился, и собственно въ 1837 году догналъ я то существо, которое ты представляла, называя меня. Да, теперь я твой Александръ, но въ прошедшемъ одна огненная, порывистая душа выкупала мои огромные недостатки. Я понималъ твои требованія — и подымался, сила была, но подавленная вздоромъ, змеюю; я отряхалъ для тебя. Для чего моя любовь выразилась судорожнымъ крикомъ, для чего она вырвалась изъ груди любящимся огнемъ съ дымомъ? А твоя высказалась такъ спокойно, тихо, что и въ самомъ дѣлѣ не виденъ переливъ отъ дружбы къ любви? Отчего ты любила меня прежде, нежели я узналъ тебя? Отчего, узнавши, что я люблю тебя какъ братъ, ты молилась Богу, а я зная, что ты меня любишь больше брата, сумасшествовалъ для того, чтобъ получить офиціальное признаніе? А паденіе, а вакханаліи. Нѣтъ, ангель мой, можетъ, Богъ захочетъ для тебя очистить мою душу, но ея былое далеко не такъ свѣтло, какъ твое. Оно полно, да, очень полно. Но не каждой шагъ наполненъ свѣтомъ. Одно цѣлое, святое съ юности, — это любовь къ человечеству, любовь къ друзьямъ, открытая симпатія всему, что можетъ платить теплымъ чувствомъ. За эту-то симпатію и платили такъ драгоценно, и боовали меня, и носили на рукахъ, и прощали все. — Мѣшаютъ писать. Прощай. Общанную въ прошломъ письмѣ встрѣчу — послѣ.

Что ни говори, милой другъ, а я никакъ не могу принудить себя къ той небесной кротости, которая составляетъ одно изъ главныхъ свойствъ твоего характера. Я слишкомъ огненъ. Сегодня я распрашивалъ еще разъ Ег. Ив. о сватовствѣ, и ты бы должна была видѣть, какъ каждое слово, какъ ядъ, измѣняло

¹⁾ И на это, въ случаѣ невозможности достать, есть средство (12 февраля).

мнѣ лицо, какъ я дрожалъ и кнѣлъ. Знаешь ли ты, Наташа, что я ужасной человѣкъ, мнѣ приходили такія мысли, которыя никогда не придутъ *порядочному* человѣку въ голову. Что было бы со мною, ежели-бъ я былъ тогда въ Москвѣ? А вотъ что, — ты была бы моя.

Да, я было и забылъ сказать, что, несмотря на всѣ мои выходки въ «Синпатіи» противъ продажи книгъ, я начинаю *промышлять*: за отрывокъ изъ повѣсти я взялъ подписку на «Сынъ Отечества» (т. е., возьму, когда напечатается), а за прочія статьи буду требовать чистыя денежки. Намъ нельзя ожидать *тогда* что-либо отъ Ивана Алексѣевича, и вотъ я открываю себѣ средства работою и потомъ, и для того продамъ теперь что-нибудь, чтобъ доказать, что я могу жить безъ благодѣяній.

Опять къ письмамъ. Огромное наслажденіе доставила ты мнѣ, приславши ихъ. Вся жизнь моя отъ окончанія курса университетскаго выходитъ изъ гроба. Моя біографія готова. Въ письмѣ іюля 5-го 1833 виденъ я (но тебя еще не понималъ рѣшительно); мѣсто о Воробьевыхъ горахъ какъ сейчасъ писано. Похвалы Пассекамъ. Это семейство единственная ошибка, которую я сдѣлалъ въ узнаніи людей, ибо они совсѣмъ не таковы. Но тутъ была причина: ихъ мрачныя страданія, ихъ несчастія и бѣдность прикрывали всѣ недостатки и разомъ дотрогивались до заповѣднѣйшихъ чувствъ души.

Аллегорію «Неаполь и Везувій» хоть я и самъ писалъ, но не понимаю, это такъ-таки просто вздоръ. Вообще, я писалъ аллегоріи тогда, когда дурно писалъ. Что хочешь сказать, говори прямо — Крутицы. Славу Богу — является «ты», и является пламенная дружба къ тебѣ, ты, одна ты рядомъ съ Огаревымъ. Вотъ въ этихъ запискахъ взгляни на мою иронію, тутъ она вся проникнута горячимъ чувствомъ и, между тѣмъ, ядовита, какъ Анчаръ. Тутъ, въ одной запискѣ, я говорю о любви, «тамъ-сямъ разсѣяныя черты сильно дѣйствовали, но совокупность ихъ нѣтъ». «Гдѣ любовь?» спрашиваю я, разочарованный въ блѣдномъ опытѣ. И не зналъ, что это совершеніе, что любовь стояла рядомъ. О, Natalie! Въ запискѣ 31 декабря 1834 «не могу подняться до самоотверженія, потому что я нечистъ». Теперь я могу быть самоотверженнымъ. Кто сдѣлалъ это, кто открылъ мнѣ небо, Наташа, кто? Я тогда еще писалъ, что характеръ у меня неровной, и вся переписка, и вся жизнь моя — непрерывное доказательство. И ты пишешь, что не всегда можешь держаться на высотѣ, иногда грустишь. Это ничего, это принадлежность человѣка, доколѣ онъ въ тѣлѣ. Но я въ мои минуты паденья дѣлаюсь холоднымъ человѣкомъ, мелкимъ, «повѣсой», какъ тамъ сказано, и вотъ въ эти-то минуты, вмѣсто того языка, который ты такъ любишь, струится иронія. Вотъ эти-то минуты погубили М., но, кажется, и они отлетѣли передъ вѣчной, единой мыслью любви. Дай Богъ. Какая ужасная потеря, что я не могъ сохранить твоихъ записокъ, и онѣ погибли жертвою излишней осторожности, потому что меня не обыскивали. Я сдѣлалъ на нѣкоторыхъ отѣтки. Прощай, давно ужъ ночь. Ангель Господень надъ тобою, мой ангель.

10 февраля, Владиміръ.

Къ письмамъ, къ письмамъ. Тутъ-то описано 31 марта 1835 года. День свиданья съ Огаревымъ, день важной и торжественной; вотъ онъ горитъ и цыкаетъ въ письмѣ отъ 2 апрѣля. Все это письмо хорошо, — перечитай его. 4 апрѣля письмо заключается: «ты свѣтлая полоса въ моемъ сердцѣ, сестра и другъ». А вотъ и эта записка, святая отъ твоихъ слезъ, покоившаяся на твоей груди.

Я боюсь ее брать въ руки, я прижалъ ее къ челу, и сердце билось. Да, тутъ любовь—любовь рѣшительно. Потомъ тучи заволокли мою путеводную звѣздочку, переиѣна мѣста, люди, люди... О, какъ я недостойнъ тебя. А знаешь ли, Крутицкая эпоха очень похожа на мою Владимірскую. О, здѣсь я несравненно выше Вятки и, кажется, осмѣливаюсь думать, не упаду, не сойду внизъ. Я хорошъ былъ въ Крутицахъ, хорошъ и здѣсь. Кетчеръ былъ въ восторгѣ. Чѣмъ меньше людей, тѣмъ сильнѣе горитъ моя душа, тѣмъ пламеннѣе рвется изъ нея симпатія. Наташа, я сдержалъ слово: жизнь во Владимірѣ—40 дней въ пустынѣ.—Тутъ есть одна записка, у которой начало отрѣзано: случайно или нарочно? Я бы тебѣ не отдалъ записку 10 апрѣля, о, какъ она дорога, свята мнѣ, я ее цѣловалъ, я ее прижималъ къ обнаженной груди, чтобъ облегчить плачъ и завыванье разлуки и *мл.* Вспомни же и ты, что она лежала на пламенной груди моея, что жаръ этой груди, въ которой одинъ алтарь тебѣ, переходилъ въ эту бумагу, — и поцѣлуй ее. Кто бы меня не зналъ, не повѣрилъ бы, что писавшій записку 10 апрѣля могъ писать до безконечности пошлыхъ письма, которыми начинается наша переписка. Но, сверхъ всего, надобно замѣтить, что я сначала писалъ черезъ пап[еньку].

На оберткѣ Вятскихъ писемъ 1835 года я написалъ: «Судорожная боль разлуки, душа меркнетъ, падаетъ, еще мигъ, и она погибла. Но туча разсѣивается, на востокъ является солнце еще безъ лучей, но пламенное и красное». Да, такыя письма этой несчастной эпохи, утро нашей любви все въ тучахъ, все покрыто испареніями земли. Полдень настанетъ скоро, тучъ уже мало. Полдень—это вѣнчанье, это высшій моментъ любви. Любовь и молитва вмѣстѣ. — Какъ странно на себя смотрѣть, какъ на посторонняго. Видѣть едва зародыши настоящаго. Для меня до 12 окт. 1835 во всѣхъ письмахъ кто-то чужой, не я, потому что я—любовь къ Наташѣ. До тѣхъ поръ это чужой какой-то юноша, съ шаткымъ направленіемъ, съ полумечтой, съ неустоявшими фантазіями, и у котораго одно достоинство—твердо перенесенныя гоненія и несчастія. Первая записка изъ Вятки (21 мая) глупа почти такъ же, какъ поздравительная въ 1833. Я бы ее бросилъ. Но смотри, какъ мощно дѣйствіе твоихъ записокъ на меня: 24 июля я съ восторгомъ сказалъ: «Наташа, ты мой ангелъ утѣшитель». Въ той же запискѣ въ первой разѣ—«моя Наташа». 6 сент.: «твои записки имѣютъ на меня дивное дѣйствіе, это—струя теплоты на морозѣ, дыханіе ангела на мою больную грудь»... И это дыханіе не могло еще тогда предохранить эту грудь отъ порока! Еще разъ повторяю: письмо 12 окт. превосходно, оно жжетъ пальцы, и взгляни, какъ страдала тогда душа! Еще разъ благодарю за письма, они мнѣ доставили столько наслажденія, съ ними я провелъ нѣсколько дней. Я бы прислалъ тебѣ твои до 1836 г., но когда же ты ихъ будешь читать! При первой оказіи пришли мнѣ до 1-го генв. 1837, — а я возвращу тебѣ, впрочемъ, они мнѣ нужны, да, можетъ, скоро ихъ и ненадобно будетъ пересылать. Они разомъ будутъ у насъ обихъ. Прощай, милая, милая Наташа!

Егоръ Ив. очень несчастенъ, виновать немного самъ и очень много тотъ, кто ему далъ жизнь. У него не было самобытности, они его задушили съ какимъ то безчувствіемъ; вотъ участь, которая бы ждала насъ, ежели бы не Богъ. И послѣ этого быть благодарнымъ за жизнь, ха-ха-ха! Что же касается до его любви, это вздоръ, нелѣпость. Можетъ ли не голубь любить горлицу? рѣшительно вздоръ. Да, онъ и понятія не имѣетъ о любви, которой надобно любить тебя, можетъ, ему нравилось лицо. Можетъ, еще сегодня получу твое письмо.

11 февр. Наташа, Наташа, два письма отъ тебя. Но меня ужаснуло послѣднее: въ тебѣ отчаяніе, не больна ли ты? Бога ради, не скрывай, умоляю тебя, Бога ради! Что съ тобою, ангелъ мой? Вижу, что пора кончить— *и кончу, вотъ тебѣ моя рука*. Къ Эмилиі всѣ подробности. Письмо къ пап[еньки] написано сильно, коротко и пламенно. Желѣзная воля на каждой строкѣ, я его пошлю тотчасъ по полученіи отвѣта изъ Петербурга (а, можетъ, и гораздо прежде). Вотъ тогда-то увидимъ, отецъ онъ или нѣтъ. Наташа, Наташа, солнце восходитъ въ черной тучѣ. Теперь, стало, погоди ссориться съ своими. Ежели отъ него рѣшительный отказъ,—я распоряджусь самъ.—Вмѣстѣ съ этимъ письмомъ послаю и другое. Итакъ, въ ту минуту, какъ ты читаешь, можетъ, онъ ужъ отвѣчаетъ. На колѣни и молись!

12-е, суббота. Смотри, Наташа, можетъ, будутъ съ тобою говорить, можетъ, будутъ гоненія,—перенеси и помни, что все это продолжится нѣсколько недѣль. Пуще всего будь тверда съ пап[енькою], но не очень увлекайся. Съ холодными людьми—холодъ. Богъ надъ тобою. До вторника.

12-е, ночь. Итакъ, моя Наташа, письмо мое въ рукахъ папеньки! Сердце молчитъ, тихо, никакихъ предчувствій, — я готовъ на все. Дивно, когда человѣкъ рѣшится, уже совершенно; такова власть духа, это остатокъ творчества Бога, и, ежели-бъ мы умѣли душу держать чисто, мы бы сказали горь: «ни», и она пошла бы. Рѣзче, сильнѣе, исполненнѣе любви и покорности не могло быть письмо, это языкъ сына и въ то же время человѣка съ желѣзною волей. Оно поразитъ его. Всего хуже отсрочка, но ее надобно будетъ сдѣлать, ибо отсрочка значить, что не имѣетъ духа отказать, что онъ не противъ. Это письмо— побѣда надъ собою: признаюсь, рѣшиться было трудно, но, написавъ одну строку, я спокойно написалъ, спокойно сложилъ, запечаталъ и отправилъ. Провидѣнію угодно было такъ—и я выполнилъ приказъ свыше. Ежели его письмо будетъ ледъ, я замолчу, ни слова не прибавлю и возьму все на себя. А ежели твое предчувствіе вѣрно, и онъ, вмѣсто грозы, пришлетъ благословеніе, тогда... тогда онъ въ первой разъ увидитъ сына во всемъ блескѣ. Онъ меня видѣлъ сыномъ въ цѣпяхъ, не прежде, эти-то безмѣрные попеченія и преклонили мою голову, они-то и теперь мнѣ узда, ибо неблагодарнымъ я не умю быть. Но кто виноватъ, что мы прежде другъ друга не понимали? Юноша ли 20 лѣтъ, или старикъ. Ни тотъ, ни другой—XVIII и XIX вѣка виноваты, между ними почти не существуетъ перехода.—Ну, что портретъ? тогда я попрошу у него портретъ его дочери. О, неужели папенька откажется отъ такого сына и отъ такой дочери, и отъ всѣхъ наслажденій, которыя могутъ обвить послѣдніе дни его? Неужели?..

Твое здоровье занимаетъ меня больше письма. Я *требую* откровенности. Наташа, береги меня въ себѣ, ежели... кровь цѣпенѣетъ, потъ выступаетъ... ежели бы я лишился тебя, міръ увидитъ отчаяннаго, онъ увидитъ человѣка, отрѣшеннаго отъ всѣхъ его условій, человѣка, въ которомъ не останется ничего человѣческаго, можетъ, безумнаго, можетъ, самоубійцу. Наташа, я твоими словами скажу тебѣ: неужели эта любовь недостаточна, чтобъ перевѣсить ихъ гнусности. Любовь побѣдила во мнѣ все, а любовь ты. Улети ты изъ міра—и что я остался? Нелѣпость, отпечатокъ ноги Господа на песокъ, но все-таки песокъ. Наташа, Наташа, береги себя, знай, одно сомнѣнье на этотъ счетъ можетъ погубить меня. Иной разъ, когда одна любовь имѣетъ голосъ, и все молчитъ передъ ея звучнымъ языкомъ, я желаю, чтобъ отвѣтъ былъ жестокъ, безчувственъ, — тогда я свободенъ, тогда, минуютъ семь недѣль, и мой ангелъ—вотъ въ этой комнатѣ, гдѣ я

теперь сижу одинокой и грустной. Семь недѣль—о, это чудо! Одно грозитъ намъ тогда—бѣдность; нынче съ голода не умирають, а у меня есть рука, есть друзья, а сколько ты для меня перенесешь, это я знаю.

А какъ удивится ея сѣтельность: une belle matinée гдѣ Наташа? нѣтъ, — и Марья Степановна, съ тѣхъ поръ какъ злодѣй Бонапартъ грабилъ Звенигородъ, въ первой разъ разгнѣвается до такой степени. И Левъ Ал. въ сенатъ не поѣдетъ, и за Дим. Павл. пошлютъ гонца, и папенька не дастъ Альману бѣлаго хлѣба. И бысть смятеніе велие. Прощай, милый другъ, прощай, спи съ Богомъ, и я лягу—мечтать.

Скажи, пожалуйста, кто у васъ въ домѣ изъ мужчинъ всѣхъ вѣрнѣе? Не забудь.

Прислалъ ли Кетчеръ тебѣ отрывокъ изъ повѣсти и другой изъ моей біографіи? Я опять занимаюсь мало, хотя и подрядился поставлять статьи. Да что, всѣ эти занятія—вздоръ. «И принесу на новоселье одну любовь! одну любовь!»

13-е февраля. Писать къ тебѣ превратилось въ безусловную потребность, все постыло, кромѣ письма. Сегодня я много, много думалъ о нашемъ тогда. Знаешь ли, мы тогда превратимся въ дѣтей, въ маленькихъ дѣтей, сдѣлаемся просты, я отброшу всю гордость, все земное; я желалъ бы, чтобъ меня сочли дуракомъ, невѣжей, чтобъ все заключилось, и будущее и настоящее, въ тебѣ и въ природѣ. И дай Богъ дѣтми окончить жизнь. Пусть прошедшая жизнь моя является, какъ смутное воспоминаніе тяжелаго сна, у дѣтей бывають эти сны, и они видятъ чудовищей страшныхъ, которыя имъ давятъ грудь, и тогда сонныя ручки протираются къ матери, и они проснувшись ищутъ ея груди. Да, такой сонъ мой прошедшее. Нѣтъ, нѣтъ, Natalie, подвигъ твой огроменъ, необъятенъ, можешь ли ты себѣ отчетливо представить, какое вліяніе ты сдѣлала на меня. Ты именно тотъ ангелъ, который слетѣлъ спасти меня. Ты для меня то, что Христосъ для человѣчества. Съ какими сильными людьми встрѣчался я, — это была встрѣча алмаза съ гіацинтомъ, или на обоихъ оставалась черта, или ни на одномъ. Ихъ призваніе не былъ я, твое призваніе начинается и оканчивается мною. Знаешь ли ты греческую сказку Амуръ и Психея, любовь и душа, огонь земли и дыханье неба, Александръ и Наталія. И еще одна мысль ярко свѣтитъ въ моей фантазіи: мы жертвы искушенія всей ихъ фамиліи, и наши страданія смюють ихъ пятно и положатся на вѣсы серафима и искупятъ ихъ. О, это высоко, и пусть имъ неизвѣстна эта молитва, эта панихида, которой слова—слезы, и которой крестъ — крестъ страданія. Такова любовь; она ненавидѣть не можетъ, она, какъ потиръ, зоветъ всякаго приступить «со страхомъ Божиимъ», и пить ея кровь, кровь горячую, кровь живого сердца, за нихъ изливаемую. Симпатія человѣку, Симпатія — человѣчеству, Симпатія — вселенной и Молитва — Ему. Наташа, ежели мы не на верху блаженства, то кто же??

13-е. Поздно. Получилъ твое письмо отъ 10-го. Поздравляю тебя съ женихомъ, а жениха съ черкесской шапкой. Эта новость даже и не взволновала меня. Но письмо, посланное вчера, кстати. Дивно, дивно Провидѣніе. Пап[енька] мнѣ пишетъ прекосное письмо, и именно отъ 12-го числа и говоритъ: «помни это число». Да, помню. Въ четвергъ отвѣтъ, черезъ четыре дня. А, можетъ, вмѣстѣ и отъ него, и отъ министра. Ежели отвѣтъ хорошъ и отъ того и отъ другого, то въ воскресенье въ 7 часовъ утра Наталія бросится въ объятія Александра, и рай будетъ на землѣ въ насъ. Но радоваться погоди. Какъ переимѣнилось наше положеніе съ тѣхъ поръ, какъ я оставилъ Вятку; не только 800 верстами, но

800 обстоятельствами мы стали ближе, вѣнчальный вѣнецъ почти на головѣ. Тамъ нѣмая разлука, даль подрѣзывала крылья, тамъ я былъ слишкомъ *веселъ* и слишкомъ грустенъ; здѣсь я воскресъ, и такъ ли, иначе ли — ты моя. Отъ М. письмо, грустна; но, кажется, лучше, *благословляетъ насъ* (ужъ какъ же не благословить послѣ пап[еньки])!

Пиши ей непремѣнно, сильно, выставь ярко твое призванье, проси дружбу; ну, сама знаешь, только скорѣе, и пришли мнѣ. Съ какимъ трепетомъ ты, ангель, будешь ждать слѣдующаго письма, въ немъ будетъ все, — а подробности, когда поѣдетъ Егоръ Ив. (пиши ему, я боялся требовать, чтобъ онъ служилъ намъ въ нашемъ дѣлѣ, а онъ взялся за многое).

Ты въ самомъ дѣлѣ безумная, какъ Emilie говорить, что же за радость г. офицеру жениться на безумной. Лучшее доказательство, что вы не въ полномъ разсудкѣ, mademoiselle, это — что вы совсѣмъ устроили, учредили Матвѣеву свадьбу, не спрося его, — я расхохотался отъ души. Ты дитя, дитя. Скажи Сашѣ, я для нея все сдѣлаю, но остановить за этимъ нашего соединенія не могу; прежде-ли, послѣ-ли — не знаю. Люблю ее, но ни одного дня не пожертвую, это свыше моего самоотверженія.

Честь имѣю Вамъ рапортовать, madame Herzen (ха-ха, да это преуморительно!), что monsieur Herzen кончилъ статью объ архитектурѣ, — и добра есть. Безспорно лучшее, что выходило изъ моего пера; глубокая мысль переплетена въ огонь, проникнута огнемъ и огнемъ. Наполеонъ спалъ передъ Лейпцигской битвой, я дописывалъ статью 12 февраля. Я что-то весель, — можетъ, передъ непогодой, тогда щенята веселятся; т. е., когда я говорю «весель», это значить скверенъ, это значить ниже, на землѣ, а не тамъ, съ улыбкой сарказма, а не съ улыбкой грусти, той грусти.

Итакъ, прощай.

14-е февраля. Ежели женихъ, въ самомъ дѣлѣ, юноша доброй, такъ поступи съ нимъ откровенно, скажи ему. А, признаюсь, Emilie поступаетъ странно. Ежели она когда-нибудь повторитъ свое желанье о твоей смерти, *я отнимаю мою руку, мы съ ней чужды.* Скажи ей.

Можетъ, въ эту самую минуту ты прочла мое прошлое письмо, прочла тихо, спокойно, вдругъ задрожала рука, сердце сжалось и молитва вырвалась невольно вздохомъ, слезою, трепетомъ, — это тѣ строки, въ которыхъ о письмѣ. Еще два долгихъ дня, и декораціи переменяются. Жаль, что я тебѣ не написалъ копию съ пап[енькинаго] письма; я ему сказалъ, что я готовъ сдѣлать отсрочку, но на условіи, а условія не сказалъ. Оно одно рѣшительное и безъ уступки: *обрученъе*, а вслѣдъ за тѣмъ, ежели это не понравится ея сіятельству, выходъ отъ нея. Я ему писалъ: «будьте отцомъ и больше ничего. Вспомните, что дѣло идетъ о жизни и смерти, вспомните, что со мною лишитесь вы многого. Пожалѣйте себя...» Но загадывать нечего, увидимъ: или обрученъе, или вѣнчанъе *должно быть скоро!*

Но мѣрѣ исполненія, желанія человѣка растягиваются. Давно ли весь предѣлъ земного было для насъ свиданье, теперь свиданье близко, возможность ясная, простая, возможность въ нашихъ рукахъ. Мы пошли далѣе. Жизнь полная, полная. Ежели бы насъ обручили, я бы у ногъ пап[еньки] выпросилъ, чтобъ онъ тебя лѣтомъ взялъ сюда, и тогда полмечтаній сбылись: мы женихъ и невѣста I promessi sposi, гуляли бы по прелестнымъ берегамъ Клязьмы, а можетъ, будемъ гулять I sposi. Нѣтъ, Наташа, напрасно ты бросаешь иногда холодное слово о

напрасно называешь буднями, я понимаю этот голос, хотя мы его чули из разных источников: ты из безпредельной чистоты, я — из твоей жизни. Нет, в нем дивная поэзия, и хотя обрученные чище, но и обвиняемые чисты и святы. Это совсем противоположно тому, исал прошлый раз. Мы сумасшедшие—это дело решенное. Итак теперь премилый романт соч. Manzoni; у него то же заглавие, какъ I promessi sposi. Ты писала когда-то, что хочешь выучиться по-итальянски. твой языкъ: музыка и югъ. Ты выучишься скоро, но выискавъ я вижу, понимаешь по-нѣмецки, а этотъ языкъ вдесятеро труднѣ итальянскаго. Ты будешь моя ученица, bella scolara! Итакъ, по клюкву, по Владиміръ, ангелъ мой, и во всемъ этомъ сколько поэзіи, и во всемъ этомъ исполнѣхъ фантазій, я понялъ это. Да, Наташа, ты одна можешь быть моею, одинъ могу быть твоимъ. Поцѣлуй любви и благословеніе брата тебѣ. ъ и храмъ Божій печатью этому письму—и случайно!

Вечеръ, 12 февр. Москва.

двѣ меня возили къ папенькѣ (моя вѣра въ него непоколебима)— в гулянье. О, если-бъ мнѣ дали хоть взглянуть на тебя, мой Александръ, бѣ за это жизнь мою! Горе: горе, радушію — холодъ и довѣрчивости — Мнѣ грустно, пріѣзжай, дай взглянуть мнѣ на тебя, и прости земля, алъ нѣтъ, одинъ ты у меня одиноконекъ на всемъ бѣломъ свѣтѣ, ты мой ай свѣтъ, мой рай, какъ же мнѣ жить безъ тебя, ангелъ мой! Увидавши ѣ закрыла сама глаза, я-бъ зарылась въ землю, о, болѣе—я-бъ навѣкъ здѣсь страдать, страдать и страдать до послѣдняго вздоха. Дай же мнѣ ѣ на тебя, ради Бога, тогда перенесу я все. ѣ, ночь. Вчера весь день и нынѣ я была жалка. Стремилась туда, гдѣ а вмѣстѣ, а меня стягивали внизъ, меня разлучали съ тобой, и чудо- ашныя выростали изъ каждой пылинки. Я видѣла, чувствовала свои і, и силы меня оставляли, къ этому еще масленица, — пыль и ныль сонъ, пресмыкающійся человекъ. Постигаешь ты ужасъ этого состоянья! еба, жажда рая, Бога, а къ устамъ подносятъ отвратительный напи- ртельный. Глаза смыкались, душа искала забвенья, но ее будило ожи- коро, скоро рѣшенье. А ожиданье безъ вѣры, безъ полнаго упованія на но страданье. Все меня пугало, потому что я сошла оттуда, гдѣ мы не- і, потому что я всматривалась и вслушивалась во все земное, житейское. есторгомъ ждала Великаго поста, но какъ-то робко, безъ вѣры въ себя. ѣ всегда надо мною. Ты ужъ знаешь изъ моихъ писемъ діакона Павла, алъ мнѣ его. Какъ бы, утомленная жаждою въ знойный день, я обра- бы свѣжему ручью, такъ обрадовалась я ему. Онъ живое слово Христа. заняты были своими гостями, мы бесѣдовали съ нимъ, и вотъ я об- я, воскресшая, вотъ я—твоя Наташа. Его не спрашивай обо мнѣ, мо- я не замѣчаетъ меня, и на что бы это замѣчаніе апостолу? Солнце хъ грѣеть, ровно всѣхъ освѣщаетъ. Мой праздникъ, мое торжество, тогу слушать его. Исчезло рѣшительно все; послѣднее время я что-то много заботилась, и, не привыкнувшая къ заботамъ, скоро утоми- мнѣ надо было забыть все происходящее вокругъ, мнѣ надо было воз- ѣ тобой туда, домой, и онъ помогъ мнѣ. Божественныя минуты, Але-

ксандръ! Съ презрѣньемъ ко всему долънему мы свободно летимъ горѣ. Все, что иногда такъ сильно волнуетъ душу, и туманить, и мрачить ее, — все теперь ничтожно, взоръ устремленъ выше, далѣе — и тамъ хорошо, тамъ безграниная лазурь, тамъ ты, безграниный. Легко, мой ангелъ, освободиться плѣва, оковъ, еще радостнѣе освободиться сокровищъ здѣшнихъ и владѣть одними крылами. Тутъ вовсе не узнаешь раздражающіе прежде звуки, тутъ не различишь *розо* и *амьстль*, тутъ ничего нѣтъ противоположнаго, одна любовь, одно блаженство, одинъ ты.

Итакъ, ровно 7 недѣль до Свѣтлаго Воскресенья, будемъ поститься, молиться, чтобъ достойно встрѣтить его, чтобъ воскреснуть. Прощай, мой другъ. Я думала Кетчеръ еще у тебя, а съ нимъ-то и есть письмо.

Ночь, 15-е Вторникъ.

Александръ, что ты мнѣ не пишешь цѣлую недѣлю? Что-то съ тобою, — рѣшенъе ужъ вѣрно тебѣ извѣстно... Я мучусь. Боже! ужели тебѣ не угодно, чтобъ жизнь святая, чистая, исполненная одной любви и молитвы замѣнила эту глупую, пустую, смѣшанную съ землею и съ страданіями?.. Если-бъ я имѣла цѣлью одно удовольствіе въ соединеніи съ тобою, мой Александръ... а *Онъ* знаетъ эту цѣль... О, нѣтъ, нѣтъ, я буду съ тобою скоро, скоро и потому что я должна и тамъ быть скоро. Да, я долго не вынесу этой жизни, развѣ когда она будетъ очищена, проникнута и полна однимъ тобою, и то недолго, а теперешняя... О, одна любовь, одно упованіе удерживаетъ меня. Братъ, *тогда-бъ* мы дошли скоро рука съ рукой до Его престола.

Письма до 1-го янв. 1837 г. пришло съ первой оказіей, а тѣ оставъ у себя, ежели нужно, теперь мнѣ не такъ больна съ ними разлука. Записка обрѣзана, вѣроятно, случайно. Моницкому, кажется, отказали, оттого что не старъ, не богатъ и не знатенъ. У насъ что-то ужъ слишкомъ спокойно, это несвояно. Лучше бъ война, война и побѣда! Да распорядится самъ Вседержитель!

Ночь, 16-е февраля. Среда.

О, Александръ, Александръ... Принесли твое письмо, при одномъ взглядѣ на подпись, рука дрожить, сердце кипитъ, грудь взволнована, глаза горять, прочла и *обстоятельства* захватили кругомъ мою душу, и она была въ полномъ ихъ владѣніи цѣлые 6 часовъ. Прочла — еще тише, тише, свѣтлѣе, ближе къ небу... прости, земля съ твоими верстами и людьми! Все это минутное, зависшее отъ одного мановенія, потому что насъ ведетъ другъ къ другу самъ Богъ; итакъ какія препятствія на пути, по которому Онъ ведетъ? — Прочта письмо, упала на землю, что чувствовала, говорила или нѣтъ, — ты знаешь. Александръ, любовь наша растеть, растеть, растемъ и мы!

Возили меня въ лавки, а что было въ душѣ... Какъ невольво стремилъся взоръ къ Его престолу сквозь камень, сквозь товары — свидѣтельство ничтожества людей, — какъ невольво рука изображала крестъ на груди! Теперь я такъ же спокойна опять, какъ, бывало, окруженная одною Природой мечтала, что *каждъ-нибудь* взоръ мой, насмотрѣвшійся на одну лазурь, остановится на тебѣ, какъ все мое существованіе, жизнь и вѣчность будутъ только одинъ этотъ взоръ. Ты думаешь, что я сконфужусь передъ нап[енькой]? Я *конфужусь*, входя при ге-

стяхъ, краснѣю, когда начинаютъ они со мной говорить, а тутъ—тутъ, идучи по своей дорогѣ, домой, къ тебѣ... не думай этого, Александръ. Изъ плѣна я переступлю въ свои владѣнія такъ же тихо, плавно и спокойно, какъ изъ дружбы перешла въ любовь. Въ первое воскресенье послѣ Свѣтлага, Саша должна быть жена Матвѣя.

Нѣтъ, нѣтъ, эта мысль: *я скоро твоя*, не укладывается въ мою грудь, она бы разлетѣлась вдребезги, меня бы не было на землѣ. Но она потопляетъ все существо мое, и сквозь ея аромат до меня не доходитъ никакой запахъ земли, сквозь свѣтъ ея мнѣ не видно огромнаго чернаго пятна — земли. Все радужно, все ликуетъ и, кажется, довольно одной капли ихъ *тогда*, чтобъ исполнить все существованье блаженствомъ, о, это полное, совершенное тогда... О, ангель мой, нѣтъ, нѣтъ, я не могу вообразить, Александръ, Александръ!

Любовь и небо менѣ всего выражаются словами, *тогда* я тебѣ ничего не буду говорить... Ахъ, Боже, Боже! Александръ, куда мнѣ обратить этотъ взоръ, куда кануть этой слезѣ, куда полетѣтъ этому вздоху? Александръ, возьми все!

А тутъ вдругъ свидѣтельство. Я не знаю даже, гдѣ и бываетъ оно, поручи это Кетчеру; крестили меня въ приходѣ Иоана Богослова, не можно ли тамъ у причта достать; думаю и Emilie не много въ этомъ поможетъ, напиши Кетчеру. *Хотѣлось бы* мнѣ, чтобъ Ал. Ал. отдалъ мнѣ деньги, *тогда*, я думаю, это можно будетъ. Ну, скорѣе, скорѣе это въ сторону, ты не можешь вообразить, какъ несносно, скучно и противно заниматься всѣмъ этимъ, но я начинала *себя* чулки разъ сто въ мой вѣкъ и ни одного не окончила, а для тебя и чулки буду вязать съ восторгомъ (лишь толпа улыбнется этому съ провѣей). Ежели письма твои тебѣ нужны, оставь ихъ у себя, а послѣ *отдашь* мнѣ (а не *пришлешь*). Только большая это жертва, особенно теперь, я пламенно жду *записку 10-го апрѣля*, ежели она тебѣ дорога, оставь и ее... нѣтъ, пришли! Нѣтъ, какъ *хочешь*.

Переселаясь совершенно въ *тогда*, я вдругъ оборотилась сюда, и первая въ глаза Саша. Ангель мой, умоляю, возьми ее, пришли немедля Матвѣя *женитомъ, не шрать роль* жениха. Это единственная прихоть моя (ежели можно это назвать прихотью), исполни. Никого и ничего ненужно мнѣ *тогда*, только Сашу. Инымъ, а, можетъ, и всѣмъ непостижима бы показалась эта безпредѣльная моя привязанность къ *служанкѣ*, — ты постигаешь. Господи! Господи! Другъ, будемъ молиться!

Ночь, 17-е. О свиданіи я думала, думала, и лучше ничего не придумала, какъ чтобъ тебѣ придти ко мнѣ въ 7 часовъ утра, не давая еще никому знать, что ты здѣсь, а мнѣ дай знать черезъ Emilie за день, или ранѣе, чтобъ успѣть образумиться. Теперь-то я настоящій ребенокъ: столько кругомъ свѣтлыхъ блестящихъ мечтаній и надеждъ, что я не знаю, на которую указать, всѣми вдругъ люблюсь, всѣ хочу обнять, и такое раздолье, такая свобода—все мое! Еще шире стала грудь, еще сильнѣе полетъ, но еще есть *выше*, есть,—а *тогда* вамъ не будетъ уже выше! Я здѣсь точно на станціи, все чужое, всѣ чужіе, и все на минуту. А тамъ, въ концѣ пути, уже виднѣется домъ нашъ, наше жилище, безъ кухни, безъ хозяйственнаго заведенія, безъ стѣнъ... свѣтлое, безгранное, лазоревое. О, Александръ! Какъ мнѣ неловко здѣсь теперь, какъ на постояломъ дворѣ, всего удобнѣе въ церкви. О, съ какимъ восторгомъ и умиленіемъ бываю я въ храмѣ Господнемъ; тутъ все остается за дверями его, и я лишь съ тобою предъ алтаремъ Его. Бывало, рѣдко я такъ молилась, какъ теперь.

Знаю, что пан[енька] *знаетъ*, и мнѣ это ничего. Можетъ, вѣра моя и не прямо

къ нему, а къ Отцу Небесному, и потому воля его ужъ не такъ важна для меня. На каждомъ шагу преграда, а десница Его ведетъ меня поверхъ всѣхъ илъ преградъ. По цѣлымъ часамъ я рѣшительно не чувствую, что происходитъ кругомъ меня, пройдетъ Саша, я взгляну на нее, улыбнусь, слезы навернутся, и опять прости, вселенная, уношусь къ тебѣ и тону въ твоей любви. Проходя, взгляну на образъ Спасителя, молитва изольется вздохомъ, и опять ты, ты.

Да, ты перемѣнился много, и настолько, Александръ, насколько я не ожидала. Не думай, чтобъ это было безвѣріе въ твою любовь, о, нѣтъ! А я хотѣла себя покорить тебѣ, и до того, чтобъ въ тебѣ ни единой черты не было моей, чтобъ я была твоимъ подобіемъ, твоимъ отголоскомъ, — и вышло—о! я прихожу въ трепетъ и ужасъ, когда созерцаю все. Александръ, себя ли ты отдаешь мнѣ? При этомъ ни слова, ни одного выраженья, я повергаюсь въ прахъ, и вся вселенная безмолвствуетъ въ ужасномъ благоговѣніи... Ну, какъ же мнѣ жить долго, что будетъ со мной *тогда*?

Ты пишешь: «я сдержалъ слово, жизнь во Владимірѣ — 40 дней въ пустынѣ». Это значить, что скоро небо отверзется, скоро мы будемъ *вмѣстѣ* восходить туда. О, Александръ, какъ я часто краснѣю, какъ часто становиться тѣсно въ груди... Гдѣ взять покрывало закрыться? Я спряталась бы на груди твоей, я-бъ свободно предалась на ней восторгу, и пусть бы меня никто не видалъ никогда кромѣ тебя. Ахъ, если-бъ это было можно. Другъ мой, твоя Наташа чужестранка на землѣ между *ими*, ты ея родной, ты ея родина, тебѣ она все, а имъ безумная.

Съ чего вообразилъ ты, что я больна? Здорова, и какъ нельзя болѣе. Иногда мнѣ приходитъ фантазія, и я *скажу*, что болитъ голова для того, чтобъ побыть нѣсколько часовъ на просторѣ, отдохнуть. Не ребячясь, Александръ. Ты мнѣ и тогда не велѣлъ заботиться, какъ былъ въ опасности, а самъ придумываешь себѣ безпокойства изъ *ничего*.

Прощай, ангелъ мой, уснемъ, чтобъ увидѣться пока во снѣ, прощай, Господь съ тобою, обнимаю тебя.

18-е, пятница. Прощай, мой ангелъ! Да, меня безпокоитъ, ежели нельзя будетъ достать свидѣтельство, и насъ разлучать. Впрочемъ, все отдаю на руки Бога, Ему угодно было начало, да благословить и конецъ! У насъ еще все спокойно, и о письмѣ къ пап[енькѣ] ни слуху, ни духу. Прощай, мой свѣтъ, мое сокровище, мой Александръ. На что мнѣ мои письма, когда недостаточно время, чтобъ и твои читать досыта. Еще обнимаю тебя, ангелъ мой, Господь съ тобою. Что изъ Петербурга? Что отъ папеньки?

Наташа Герценъ.

16-е февраля, Владимірѣ.

Фу, какъ мучительно тянется это время: жду, жду отвѣта, а все еще среда, а не четвергъ. Ждать ужасно, можетъ, хуже всякаго несчастія. Въ несчастія я могу дѣйствовать; тутъ, какъ машина остановленная, жду, пока судьбѣ угодно опять пустить колесо. Нѣтъ, не стану и писать, ангелъ мой, примусь читать какой-нибудь вздоръ, чтобъ протолкать въ зашеи это 16-е февраля. Да и завтра почта придѣтъ ввечеру.

Вечеръ. Все еще среда! Тоска ужасная, каждую минуту я считаю. Нѣтъ, этого я еще не испыталъ! Что передъ этимъ ожиданіе выйти изъ казармы! Я ровно не способенъ теперь ни на что кромѣ читать вздоръ, какъ я сказалъ, ■

Бальзака. Ну, а ежели завтра не будет отвѣта... морозъ по кожѣ. Намы должны скоро соединиться, я чувствую это, возвратиться нельзя, эмъ ярко и живо представлялъ я себѣ нашу жизнь, и эта мечта убила мее; я, говоря твоими словами, «не могу взойти въ дверь, въ которую я, потому что я выросъ». Такая любовь рѣдко сходитъ на землю. Да, мой, напрасно искала бы ты этой любви безъ Александра. Ты счастлива, истливъ. Пошлое выраженіе, что же — одной монетой человѣкъ платитъ ку и священнику. Бываютъ грозы, землетрясенія, ужасъ поглощаетъ все, къ возстаегъ изъ праха и становится сошерникомъ урагана. Но бываютъ ые дни передъ грозой, и человѣкъ, подавленной, тупой, изнемогаетъ подъ эмъ какой-то томной ничтожности, — вотъ теперешнее мое положеніе. Я ваюсь, что далъ слово пап[енькѣ] отложить, я самъ не звалъ всей важнорты. Наташа, милая, ангель, ты мнѣ необходима, я гибну безъ тебя. Прие скорѣе, голубь, къ твоему орленку, его не тѣшить безъ голубя подлеь солнцу, не тѣшить дивить собою. Люди, да не отталкивайте же моего ства! Что вамъ за дѣло, меня любить Богъ, Онъ мнѣ подарилъ Наташу. ть въ ней, для васъ она ничего. Забудьте насъ, или хоть, боясь Его, соаго насъ, — не разлучайте.

ощай.

тверзь, 17 февраля. Итакъ, вотъ оно письмо, которое я ждалъ, передо Ежели-бъ это было смѣшно, я бы расхохотался, а можетъ, ежели-бъ не акъ плачевно и смѣшно вмѣстѣ, я бы расплакался. Первая страница наа вздоромъ, новостями и пр., на второй: «Я не отрезаюсь отъ права модерживать васъ отъ много, предупреждать въ другомъ и давать вамъ соо всемъ, что должно содѣйствовать къ вашему счастью. Вы же, достигнувъ вершенныхъ лѣтъ, можете исполнять мои приказанія, или нѣтъ, это въ волѣ, я избавляюсь отвѣтственности».

зой холодъ. Но grandement merci, mon cher papa, теперь у меня руки ны, теперь я тебя торжественно назову моею невѣстой, и въ первый приюдарю кольцо. Теперь ясно, что все кончится скоро. Замѣть только: бка] еще общается писать *больше* въ субботу. И отъ тебя, мой ангель, чки, о, это ужасно. Теперь-то, теперь-то мнѣ нуженъ твой голосъ. Не поого письма до вторника, можетъ, ты не получила прошлыхъ, послѣ Кет- [душно, и мрачно, и пусто, и письма нѣтъ.

ощай, какъ убить поскорѣе эти три дня до воскресенья!

тница, 18 февраля. Все та же тоска, я отъ скуки началъ писать новѣсть «Его Превосходительство», написалъ довольно и, кажется, хорошо. ь самый отвратительный, возмущающій всѣ чувства благороднаго челои таковы будутъ ея подробности. Главное лицо Каннибалъ-Гіена въ тіі. Въ эту томную недѣлю и могла явиться такая мысль, тутъ гуляй онія, клеимъ людей. А мнѣ страхъ досадно, что не было отъ тебя письма ты меня такъ избаловала. Ну, хоть бы строчку, и притомъ въ такихъ хъ обстоятельставахъ. Когда мы будемъ *вмѣстѣ*, тогда я тебѣ буду драть жели ты пропустишь ко мнѣ почтовый день. Ты была у насъ въ субботу нисла, пишеть маменька, чудной день. Я его отмѣтилъ въ календарѣ, взъ важнѣйшихъ въ нашей жизни. Пойду спать. Такая скука, что, право, бы... Ну, что сдѣлать?.. съѣсть эту сальную свѣчу, да пользы не будетъ. ь, и ты, ангель мой, будешь грустить, ежели не получишь письма, и ошлю, а въ наказаніе — пустую страницу.

19-е, суббота. Пиши, всё ли письма мои получены, я не пропускаю ни дня, ни почты, или не поздно ли их доставляют? Что порграть и — цѣлю тебя.

19, суббота, Москва.

Александръ, ну, ежели папенька противъ, — подумай тогда, другъ мой, не слышишь ли много ты жертвуешь. Не сердись за эту фразу, ангелъ мой, это не благоразумный совѣтъ, не холодный расчетъ, это любовь, одна любовь! — Господи, возможно ли, возможно ли... О! какъ замретъ сердце, какъ все взволнуется, я едва удерживаю крикъ восторга и закрываю лицо, — ничего не могу сказать. Господи! Господи!

Ночь. — Твое письмо! все свѣтло, ни одной мысли, ни одной черты въ планѣ, одинъ восторгъ безусловной, одна любовь, одно блаженство.

Чрезъ семь недѣль мы обручены или обвѣнчаны! Что выбрать, я не знаю, пусть Онъ назначить. Посмотри, Александръ, въ душу мою, — хоть бы малѣйшая струя, тихо, свѣтло, о, какъ свѣтло! и какъ пространна душа, какъ безграница, въ ней видны границы неба, а ея границы видны лишь въ тебѣ; теперь я не умѣю различить ихъ проклятія и благословенія; Александръ, у меня никого кромѣ тебя, ничего кромѣ любви, тутъ все, и жизнь, и вѣчность, и вселенная, и Богъ. — пойми же, что въ душѣ моей.

Ты говоришь: «можешь ли ты отчетливо себѣ представить, какое влияние ты сдѣлала на меня?» — Нѣтъ! какой отчетъ могла дать себѣ Марія при вѣсти Гавриила, она ужаснулась и сказала: «Я раба Господня, буди мнѣ по глаголу твоему.» Я ужаснусь этимъ священнымъ, божественнымъ ужасомъ Маріи, я не могу постигнуть, не могу дать отчета происходящему со мной, и могу только сказать: «буди мнѣ по глаголу твоему». Я, чаявшая лишь питаться крупницами, падающими съ трапезы твоей, и находившая въ этомъ верхъ блаженства здѣсь и тамъ, вдругъ читаю дивныя слова, начертанныя на бытіи моемъ Его перстомъ: «Спасеніе Александру». Представь ты себѣ, что тогда со мною, ангелъ мой; достанетъ ли у меня силъ вынести... Не могу удержать слезъ, не могу скрыть восторга, ничего не дѣлаю, ухожу одна и или безмолвно сижу, закрывъ лицо руками, или стою на колѣнахъ безмолвно же... и болѣе не замѣчаю, что дѣлаю. Нѣтъ, нѣтъ, я не постигаю, что со мною, Александръ! Александръ! Александръ.

Утро, 20-е. Обрученье — Боже, что за блаженство! слитые навѣкъ, сами рай и кругомъ рай, это утѣшеніе папенькѣ, эти благословенія каждый шагъ. Александръ, чего намъ тогда??

Вѣнчанье — отдѣленные отъ всего міра, проложившіе сами себѣ дорогу другъ къ другу и тѣмъ заградившіе путь къ себѣ имъ. Ты говоришь — бѣдность, что такое бѣдность? У насъ будетъ нужное, а много ли нужно тогда намъ. Тѣмъ лучше, ежели мы не должны будемъ отчетъ дать въ земныхъ благахъ, должность казначея важна и тяжка, мы будемъ надѣлать благами небесными, Александръ, чего еще намъ тогда? — О, да будетъ, да будетъ твоя воля, всемогущій! Кольцо и вѣнецъ — не смѣю выбрать, не смѣю назначить одно или оба, отдаю все Богу, Онъ велъ насъ до сей минуты, Онъ и до самаго конца будетъ вести насъ. — А въ самомъ дѣлѣ, ангелъ мой, мнѣ становится страшно: «откуда мнѣ сіе». То воображу *родительскій домъ*, эти теплыя объятія, родное все, все такое разнообразное, путешествіе, и нѣтъ числа воротамъ и дорогамъ. То воображу *твою*

комнату, и за нею ничего, ровно ничего, о! это лучше, это пространнѣе, полнѣе! — Но уже я сказала: не выбираю.

Ты не вѣришь словамъ, вѣрь клятвѣ: я здорова; когда жду отъ тебя писемъ, и долго нѣтъ, когда вижу что тебя что-нибудь беспокоитъ, когда чувствую, что ты грустевъ, — занемогаю, и больна дѣлаюсь, въ самомъ дѣлѣ (это много измѣнило даже наружность мою, только я не худа); даютъ лекарство, — не помогаетъ; приносятъ твое письмо, — склянка, постель и болѣзнь все исчезло! Ну, вообрази, какъ же я буду здорова *тогда*. Обними, обними меня, мой Александръ, поцѣлуй, скажи: «вѣрь, Наташа вѣрь.» О, ангелъ мой, еще долго — 7 недѣль.

Ночь. — Emilie была. *Всѣмъ* тайна, что писалъ тебѣ папенька. Я смотрю на эту тайну такъ же спокойно, какъ смотрѣла сію минуту на луну. Маменька грустна, *боится бѣдности*, Александръ, *и я боюсь ея за тебя*, мнѣ ненужно ничего. Опять не думай, чтобъ я думала, что тебѣ *не довольно* моей любви, о, нѣтъ! Но я желала бы... впрочемъ, нѣтъ, Александръ, нѣтъ, мой ангелъ, что намъ золотыя, алмазныя горы *тогда*? Нужно ли тебѣ будетъ, чтобы вселенная стояла передъ тобою на колѣнахъ тогда, когда я буду стоять на колѣнахъ передъ тобою?... Пусть лишатъ всего, лишь не лишали бы благословенія. Я не понимаю *удобствъ* жизни и не нахожу въ нихъ *удобства* теперь, здѣсь; мнѣ надо растолковать, указатъ, что мнѣ нужно, а тогда, *тогда!* — *Скажутъ*, что тогда мы не можемъ помогать ближнему. — Да, у насъ не будетъ житницъ и сокровищницъ, но мы раскроемъ душу, мы положимъ *наше* богатство наружу, и пусть беретъ всякій, кто *хочетъ*. Наслажденіе ли, добро ли *дать* то, что мнѣ ненужно, безъ чего я могу обойтись? — *Лишить себя*, чтобы удовлетворить другого, — вотъ что значить *дать*, а то значить возвратить данное на храненіе. Повторю опять мою клятву: я готова на все, перенесу все, даже еще нѣсколько лѣтъ здѣшней жизни, — *ежели ты перенесешь*. Больно мнѣ, что я лишу тебя отца, матери; помни, что тогда ты изгнанникъ изъ общества, изъ всего міра, лишь кругъ друзей нашъ тогда. Можеть, даже не будетъ средствъ передавать мысль твою человечеству и тѣмъ быть ему полезнымъ. Но, создавши *меня*, что ты хочешь создать еще?

Да, мы будемъ дѣти, тѣ дѣти, которыхъ Онъ благословлялъ, которыхъ есть царство небесное, у насъ, можеть, не будетъ пристанища, но мы скроемся «въ кровѣ крылу Его», у насъ, можеть, не будетъ никого, но Онъ будетъ посреди насъ! О, отецъ, дай твое благословеніе и возьми все, все брось на вѣтеръ, толко не дай намъ, мы не умѣемъ считать, у насъ нѣтъ силъ нести золото, — возьми и брось псамъ его. Какъ постыла жизнь *полнымъ домою*! Лишь оставьте намъ другъ друга, остальное все ваше, все ваше, но, вѣдь, *и мы ваши*, потому что мы любовь.

Жаль ужасно маменьку. О, если бы она повиняла... Александръ, не забывай объ ней! Вотъ дивная-то, лучшая мысль, мой ангелъ, это то, что мы жертва искупленія *ихъ*. Пусть всѣ насъ распнуть, — мы обнимемъ всѣхъ, мы прольемъ кровь за всѣхъ и, живши здѣсь любовью, умремъ любовью, и *тамъ* будемъ любовью!

Слушая Emilie, я начинала страдать, туманъ начиналъ подниматься изъ земли и ложился на каждую мечту, на каждый шагъ. Ненужна намъ опора матеріальная! Я никогда не бываю такъ высока, какъ одна, потому что тутъ опора Богъ.

На что тебѣ вѣрный человѣкъ? Наши люди всѣ очень вѣрны, всѣ почти до одного служили мнѣ *тайно* до сихъ поръ, но особеннаго нѣтъ никого и ни которому нельзя вѣрить *побѣгъ мой*, потому что они всѣ слишкомъ *честны*, слиш-

комъ меня *любятъ*, въ этомъ имъ представится преступленье и моя гибель. Мнѣ кажется, человекъ и ненуженъ, дѣвушка моя обдѣляетъ все, что надо, даже не сообщая брату своему: «послѣ пусть меня зарѣжутъ», говоритъ она. Только Саша будетъ вовсе отстранена, потому что ее подозрѣваютъ и преслѣдуютъ каждый шагъ. Она въ восторгѣ, что Матвѣй ея не хочетъ (только изъ любви ко мнѣ рѣшилась идти за него) и готова еще страдать здѣсь, лишь бы *тогда* хоть умереть только у ногъ моихъ. О бумагахъ вѣрнѣе всего поручить Егору Ивановичу, я надѣюсь на него, какъ на каменную стѣну. Признаюсь, Александръ, вотъ это меня нѣсколько тревожитъ, а ежели мы погубимъ священника... Намъ вѣтъ тѣхъ страданій, которыхъ бы не превышало наше блаженство, а приносить себѣ въ жертву другихъ... Объ этомъ думай болѣе, нежели о моемъ здоровьѣ. Ты скажешь мнѣ: будь здорова, и я буду здорова, а къ облегченію пострадавшихъ за насъ, можетъ, не будетъ средствъ. Прощай, мой Александръ! Пусть безумные, пусть все мечта, не промѣняемъ мечту на тысячелѣтнюю жизнь, не промѣняемъ наше мозгу на премудрость Соломона.

21-е, понедѣльникъ. Александръ, Христосъ говоритъ: «аще кто не родится свыше, не можетъ видѣть царствія Божія» и потомъ: «аще не обратитесь и не будете яко дѣти, не увидите въ царствіе Божіе». Мы родились свыше, и день этого духовнаго рожденія — 9 апрѣля, съ тѣхъ поръ мы видимъ царствіе Бгю. Вникни, мы уже и обратились, намъ остается только сдѣлаться дѣтьми, и мы будемъ ими, будемъ, но только *тогда*. Что за дивная, что за святая жизнь будетъ! И, лишенные *ими* всего, мы будемъ молиться о ниспосланіи имъ всего, распятые ими, будемъ исцѣлять ихъ раны и болѣзни (душевныя) теплыми слезами, любовью... о, Боже!.. А наше блаженство... я ужасно люблю друзей, я многимъ другъ, многіе мнѣ близкіе родные, но *тогда*, о, пусть все меня забудутъ! и тебя пусть забудутъ. Александръ, ангелъ мой, скажи, не свободнѣе ли тогда нашей любви, не пространнѣе наше блаженство тогда? Много прекраснаго на свѣтѣ, много великаго и высокаго, но меня все низводитъ, все умаляетъ, что не ты. Другъ мой, какъ отпадетъ тогда отъ насъ весь міръ, какъ мы забудемся, исчезнемъ другъ въ другъ... Эта-то смерть, это самоубицтвоженіе воскрешаетъ жизнь, любовь, Бога. Посмотри, мы теперь нѣсколько уже свободны отъ вѣшняго человекъ, и ты все еще свободенъ менѣе меня, а *тогда* мы уничтожимъ совершенно и владычество его, и его законы, тогда мы будемъ жить однимъ духомъ, будемъ жить въ царствіи Божіи.

Ночь. Ты хочешь замолчать передъ папенькой, ежели откажъ; вѣтъ, Александръ, я умоляю тебя, преклонись еще разъ, одинъ только разъ! Ты *долженъ* преклониться,—ежели онъ будетъ угрожать лишеніемъ всего, скажи,—согласенъ, но только проси благословенія.

Отъ Кетчера я ничего, кромѣ письма, не получила, вѣроятно, онъ отложилъ до свиданья. Ужасно бы желала прочесть статью объ архитектурѣ, знаменитую даже и по числу окончанія своего, но буду терпѣть, все, все *тогда*, тогда лучше, теперь постъ, постъ!

Что я скажу тебѣ про себя: вообрази, давеча поютъ влюбву, я улыбулась, слеза навернулась, и покраснѣла; кажется, замѣтили это.

Всѣ, на кого я имѣла вліяніе, имѣютъ со мной нѣкоторое сходство. Саша, оплакивающая, бывало, одну мысль о разлукѣ со мною, теперь съ восторгомъ готовится нести крестъ и страдать, чтобы лишь быть достойнѣе служить мнѣ *тогда*. Другіе—моя судьба сдѣлалась ихъ, и *тогда* прекратятся ихъ желанія.

гія открывается въ самыхъ далекихъ, дикихъ краяхъ открывается тамъ, даже не ожидала ея. О, и имъ отвѣтъ, самый обширный, самый полный! Будутъ и вопли, и гимны, съ иными я сдѣлаюсь ближе, съ другими разстаюсь; первая Саша Боборыкина, мнѣ нельзя будетъ тогда писать къ ней, такіе добрые родные, такіе честные и такъ любятъ ея, а что она безъ писемъ.

портретъ Emilie и я употребили всю хитрость и мытарство, чтобы купить *ее*; но видно, подобныя сокровища не продаются такою цѣной. Твой же мнѣ *прямо*, потому и дошелъ до меня. А тутъ вообрази, все шло пре- они такъ отъ души радовались выгодной партіи, такъ искренно желали лучія и награждали совѣтами, ни малѣйшаго сопротивленья, только за- , что еще не къ спѣху, еще семь недѣль нельзя вѣнчаться. Какъ нарочно, и давеча Насак. и говорить, что всѣ давно знаютъ объ свадьбѣ Emilie, . забѣсило. Не горюй, мой милый, скоро, скоро ненужно и портрета. я рѣшительно все молчу, а ежели бы было съ кѣмъ говорить, не умол- кажется, ни на минуту, — та же мечта, повторенная миллионъ разъ, нова тительна, какъ новорожденная. Все болѣе и болѣе утверждаюсь, что нѣтъ нашей любви. Алекс. Дюфуръ въ письмахъ любитъ Emilie, любитъ страстно, но, но я не желала бы ни одного письма такого получить отъ тебя, ни гроши, а и это любовь, и это счастье! Тамъ любовь ветхая, тлѣнная, у вая, Христова, вѣчная. О, Александръ, Александръ!

уже ли, что *рѣшается* судьба, — все такъ тихо, спокойно, ни струйки на и завтра, можетъ, письмо, письмо!

е, вторникъ. Грустно мнѣ, что не получила письма, но въ немъ, я дум- е нѣтъ рѣшенія. Обратимся къ нашему *тогда*, къ нашему Свѣтлому вьюно. Я рѣшительно не отгадываю, что писалъ пац[енька], но *тогда* является мнѣ въ одною образъ съ перваго твоего повелѣнія. Я сказала, родились свыше и все, что тогда, — будемъ возрастать во Христѣ, а не въ тѣ; когда-жъ достигнемъ совершенства, *тогда* прекратится и мы исчез- земля. По мѣрѣ возраста нашего въ мірѣ духовномъ, мы должны уничто- зъ здѣшнемъ мірѣ, по мѣрѣ увеличенія *тамъ*, должны умаляться *здѣсь*. го намъ и необходимо отречься отъ всего, что утучняетъ вѣшняго и. даетъ ему силу и крѣпость — богатство, слава, и всякое довольство; мо вооружиться всѣмъ, разслабѣвающимъ его, умерщвляющимъ — бѣд- ненія, и всякое лишеніе; тогда-то въ минуту его смерти мы воскреснемъ славо и величествомъ, и будетъ жить Богомъ — вѣчность. Теперь мы еще же на помочахъ. Путь спасенія передъ глазами, но мы устаемъ и отъ наговъ, душа раздѣлена, силы раздѣлены; соединенные же, несмотря ни и, ни на каменный дождь на томъ пути, пойдемъ прямо къ Его престолу. ты, ни минуты спасенія не принесемъ въ жертву тѣни и смерти! ля, одна смерть возбраняетъ намъ, Онъ благословилъ, и всѣ силы не- и все *живое* поетъ «слава въ вышнихъ Богу!» Александръ мой, ангель зеть ли вмѣститься столько въ груди царствующихъ, что вмѣстится нашей груди? Тогда-то возстаетъ все, недобрые будутъ носить и видно, дуть плакать о насъ, но мы имъ скажемъ: «плачьте о себѣ». О, свяно, къ я вдругъ разстанусь со всѣми, какъ я вполнѣ буду твоя, мой Але- мы недоступны тогда будемъ и тѣмъ, съ которыми теперь тѣсны, по- тогда жизнь наша и все наше будетъ горѣ.

Рѣшительно никакихъ приготовленій для меня, я стою дешевле бутылки шампанскаго, все это вздоръ, все мимо. Меня тревожатъ только очень бумаги, я наслышалась объ нихъ много страшнаго, но полагаюсь на тебя. Emilie я не ведю ходить къ себѣ, ее ждетъ здѣсь большая неприятность. Больно мнѣ ужасно, что не могу утѣшить тебя портретомъ, но, Александръ, вспомни: 7 недѣль! Обнимеся, мой дивный, мой свѣтлый, мой родной! Ужъ поздно, а еще надо писать Медвѣдовой. Прощай, Наташа. Что Вятка? Мы дивный аккордъ, друзья—наше эхо. Обними Вятку за меня.

Владиміръ, февр. 20. Поздно.

Невѣста, милая невѣста, ангелъ мой, итакъ тебѣ суждено всегда побѣждать меня, всегда быть выше, выше твоего Александра. Ты побѣдила меня твоей надеждой на папеньку. Да, признаюсь, я не ждалъ отвѣта такого, какъ получилъ сегодня. Побѣда наша, слава въ вышнихъ Богу, и любовь на землѣ! Онъ недоволенъ мною и моимъ письмомъ, но со всѣмъ тѣмъ ни тѣни препятствія, онъ не даетъ прямого благословія, но еще дальше отъ запрещенія. Немного холодно, это правда, но и того довольно: «ни вредить, ни мѣшать тебѣ не буду,—даю тебѣ волю не токмо въ настоящемъ и *конечномъ* дѣлѣ, но и во всѣхъ будущихъ». Но съ кн[ягиней] онъ переговоровъ вести рѣшительно не хочетъ, а ея позволеніе считаетъ необходимымъ. «Ты, будучи здѣсь, долженъ самъ свискивать ея дозволеніе». «Я желаю съ тобой увидѣться и благословить тебя на всю твою жизнь и на всѣ твои дѣйствія». Ангелъ, какой огромный шагъ мы сдѣлали, ясно, что пап[енька] не противъ. Довольно, довольно на первой разѣ. Ну, теперь я скажу, что онъ найдетъ во мнѣ сына, я не отстану, и вотъ моя мечта скораго соединенія жертвуется любви сыновней. Но условіе — обрученіе; впрочемъ, теперь труда нѣтъ большого и полное согласіе получить; но надобно же и ему сдѣлать уступку. Наташа, Наташа—смѣли ли мы даже мечтать объ этомъ 6 мѣсяцевъ назадъ, вотъ Вятка и Владиміръ, вотъ 1837 и 1838 годы. Я горячо благодарилъ пап[еньку] за его письмо и между прочимъ: «О, какъ сладко на старости взглянуть на полное блаженство сына и опереться на руку дочери, и какой дочери,—посмотрите на нее, посмотрите, какъ на дочь, и, я увѣренъ, вы прижмете ее къ своему сердцу. Богъ васъ благословляетъ ангеломъ, какъ же вамъ не благословить меня!» Я просилъ его тебѣ особенно поклониться, ежели онъ выполнитъ, предоставляю тебѣ, какъ поступить. Я думалъ бы въ эту минуту прямо назвать его отцомъ, на удивленіе ея сятельству. Итакъ, все хорошо, дивно... тучи разсѣиваются, маленькіе ключья голубого неба проясняются тамъ—сямъ. Теперь, какъ получу увольненіе, явлюсь въ Москву, приѣду ночью, дамъ тебѣ звать утромъ въ 5 часовъ, а въ половинѣ седьмого пилигримъ усталой, измученной преклонитъ колѣна передъ своимъ ангеломъ искупителемъ и услышитъ слово любви. Ну, къ твоему письму, или лучше къ письмамъ. мой другъ!

Начинается съ самаго важнѣйшаго, а именно: дѣлай, что хочешь, а ужъ чулковъ вязать ни подъ какимъ видомъ, у насъ съ Ог. какая-то антипатія противъ вязанья. Извольте видѣть, сага зрота, мы имѣемъ свои капризы а la Марья Ст. Для насъ чулки — что для нея книга. Письма до 1837 пришли непременно съ первымъ *вторнымъ* человѣкомъ. Теперь о Сашѣ; я ужъ сказалъ, что все сдѣлаю для ея выкупа изъ плѣна *египетскаго*, но что касается до ея свадьбы, je m'en lave les mains. Emilie преребенюкъ, да и въ васъ обьявля

и на волосъ,—съ чего вы вообразили, что свидѣтельство берется въ церкви. Но ужъ корона всему этому то, что Emilie пишетъ объ удобѣжать во Владиміръ, потому что ежели будутъ *догонять*, то почему, куда ты дѣлась, какъ будто дорога во Владиміръ секретъ. Вы, вѣрно, о побѣгъ по образу и подобію среднихъ вѣковъ, меня—рыцаремъ, окружь толпою *bravi*, а тутъ погоня, пистолеты, кинжалы. Нѣтъ, въ нашъ все это дѣлается просто, и навѣрное никто ногами не догоняетъ, а *и*, что, не знаю, выгоднѣ ли въ моемъ положеніи. Ахъ, вы дѣти, но то обдѣлается лучше. Въ самомъ дѣлѣ, стояло мнѣ выступить съ моею, и все поддается, прежде я еще недостойнъ былъ. Итакъ, ангелъ, наты разглядѣла свои черты во мнѣ, наконецъ, ты сознала ту огромную, которую ты сдѣлала во мнѣ. Я до такой степени слился съ тобою, что часто твоими мыслями, твоими выраженіями замѣняю свои. Въ Ниж-

1835 году смотрѣлъ я на Оку и на Волгу, вотъ желтыя волны одной тѣ синія другой, онѣ сливаются, но это двѣ рѣки: ярко видна Ока и ѣсколько шаговъ впередъ, и нѣтъ ни Оки, ни Волги,—одна широкая жетя въ безконечное море. Деньги на портретъ пришлю. Да что это за всѣ мечты до одной начинаютъ исполняться. Только, Бога ради, портеты знаешь, что такое имѣть черты милыя. Ежели рѣшительно не дозво-обращусь къ пап[енькѣ], даже записки буду посылать черезъ него. Полина, плачь отъ радости, ты много разъ плакала надъ страданьями Алекслезу радости ему. Но они счастливы и не пишутъ ко мнѣ. Да, въ яхъ, тутъ-то человѣкъ понимаетъ, что такое другъ, тутъ-то онъ ищетъ пьяную отъ ударовъ, преклонить къ груди, исполненной участіемъ. Мы стья не будемъ таковы, о, нѣтъ! Изъ Петербурга еще нѣтъ отвѣта, ежели — до Загорья. Впрочемъ, я могу повидаться съ тобою гораздо скорѣе, ты совершенно *убѣждена въ вѣрности вашихъ людей*. Тогда отъ исить назначить день,—хоть 25 марта. Какъ—напишу подробно къ Ну, прощай, мой ангелъ, волнуется душа, и что-то не устоялась и начтобъ писать. Повѣсть новая идетъ наладъ. Вотъ въ чемъ дѣло: мужъ (и жена ангелъ; мужъ подъ судомъ и даетъ жену во взятку губернаена въ отчаяніи, чахотка, смерть. Мужъ пьянъ, и въ день похоронъ оръ получаетъ Владимірскую звѣзду, у него пиръ горой. Будетъ хороша; строгой выговоръ Кетчеру за то, что не доставилъ еще тебѣ ни повѣсть . ни отрывокъ ихъ жизни. Пиши же къ Медвѣдовой.

бевраля. Ну, вотъ теперь вопросъ: что же тебѣ дѣлать? Неужели ничего? нѣтъ. По письму отъ пап[еньки] я вижу, что онъ скоро привыкнетъ къ *конченномъ* дѣлѣ, какъ онъ выразился. Тогда ты должна сказать княгинѣ, апишу. Опора паленька. (До сихъ поръ не могу отъ удивленія придти въ милая, милая Наташа!). Я буду ей писать, что съ его стороны препяттъ. Ежели за этимъ будутъ слѣдовать вздорныя неприятели — пережели же будутъ обиды и оскорбленія, которыя, ты знаешь, я не могу и переносить, то объяви прямо, что ты оставляешь домъ, и тотчасъ обратись къ пап[енькѣ]. Въ этомъ письмѣ со всевозможной деликатностью вѣ скажи, въ чемъ дѣло, и просись переѣхать къ намъ, но не забудь скао въ случаѣ отказа, ты все-таки переѣдешь. Отказъ и будетъ—тогда къ Emilie. Ежели же сважутъ, чтобы ты ѣхала въ Петербургъ, откажись рѣшительно. Но теперь надобно погодить до тѣхъ поръ, пока будетъ го-

товъ портретъ, а, отославши его, хоть на другой день. Вотъ тебѣ моя инструкція: обстоятельства сами покажутъ, что еще нужно и что нѣтъ. Я писалъ объ обрученіи, — это весьма важно, тогда весь призъ надъ нами пропасть. Ну, довольно объ вѣшнемъ.

Удивительно, еще разъ повторю, какъ я шагнулъ послѣ Вятки, съ нею я отрясъ большую часть земли; нѣтъ мысли, поступка, въ которыхъ бы я могъ себя упрекнуть съ тѣхъ поръ, какъ здѣсь. Хотя ты и говоришь, но въ тебѣ я не вижу переменъ въ послѣднее время. Выше нельзя стать, какъ ты стала въ 1837 году, когда, съ одной стороны, отнялись всѣ надежды, а, съ другой, исторія сватовства черной тучей выходила, — выше, ей Богу, человѣкъ на землѣ не можетъ быть. Каждая строка, тогда писанная тобою, свята, какъ слово Евангелія. И знаешь ли, твоя мысль прелестна насчетъ моего паденія, ты писала разъ: «можетъ. Провидѣніе хотѣло смирить тебя». Да, рѣзкой и даже жесткой иногда по характеру, много разъ я начиналъ осуждать, и вдругъ рѣчь моя останавливалась, подкошенная воспоминаніемъ, и я прощалъ брату падшему и дѣлил его раскаянье, а не камень бросалъ въ него. Полна была моя исповѣдь Кетчеру, и овъ обвинилъ меня, и я, склонивши голову, слушалъ его обвиненія и не только не оправдывался, но обвинялъ себя еще болѣе. Были ли эти чувства во мнѣ прежде, не ты ли, благодатной ангелъ, вселила истиннаго Бога въ мою душу? Наташа, радуйся: я, созданной Богомъ, могъ пасть, я, созданной дружбой, могъ пасть, я, созданной тобою, стала твердо. Низко я не паду, это вѣрно, я не унижу ту грудь, которая умѣла возвыситься до любви къ тебѣ, до любви къ Богу черезъ тебя. Наташа, гордой, самолюбивой, я всему хотѣлъ прикладывать печать моего вліянія, таковъ я былъ въ дружбѣ. Друзья меня баловали, я ничему не покорялся. И Богъ хотѣлъ склонить мою гордость и дивной, не силою міра, не силою власти, а дѣвой святой и чистой. Чѣмъ болѣе раскрывалъ я душу любви, тѣмъ смиреннѣе она становилась; не разлука была причиною, что я съ такой любовью встрѣтилъ Кетчера, нѣтъ, моя душа не есть храмъ эгоизму, а храмъ любви всему, вселенной, людямъ, тебѣ, тебѣ.

Ты отдалась мнѣ, я принялъ твой даръ, я дерзнулъ поправлять тебѣ (1834). я, стало быть, считалъ себя выше. И что же! ты осталась то, что была, я переплавленъ тобою въ другую форму, и я не жалѣю о самобытности. Но, Наташа, вѣрь же мнѣ, что это могла сдѣлать *только ты*, никто въ мірѣ, кромѣ тебя. Не думай, что тутъ тѣнь увлеченья, положимъ, и въ тебѣ есть недостатки (хотя я не знаю ни одной пылинки); религіозность твоей любви, — вотъ что имѣло такое вліяніе, это любовь, переплетенная молитвой; поглощая любовь, я вмѣстѣ поглощалъ молитву и дѣлался христіаниномъ. Благодарю тебя, Наташа, ты исполнила призваніе ангела; и во-время было 9 апрѣля: ежели-бъ мы не повяли другъ друга, о, быть можетъ, душа, обреченная теперь блаженству, сгнѣла бы совсѣмъ. И дивная вещь, нѣтъ ни одной мелочи, въ которой бы ты не поступала, не думала, но чувствовала совершенно такъ, какъ бы я хотѣлъ, чтобы ты чувствовала, думала. Всѣ требованія до одного исполнены, да еще, сверхъ ихъ, миръ блаженства. Даже въ ребячествахъ, которыя прорываются у тебя, вездѣ та душа, которую я искалъ. Твоя забота о Сашѣ, — это совершенно мнѣ родное чувство, и что ты въ первую минуту надежды вспомнила ее, было бы, можетъ, обидно какому-нибудь *порядочному* человѣку, а я съ восторгомъ смотрѣлъ на эту благодарность. Твое пренебреженіе ко всему будничному (какъ ты выражаешься) — совершенно мое: я скорѣе перенесу Богъ знаетъ какую нужду, нежели *лаби-*

ться. и ты, ежели-бъ теперь много занималась этимъ, теряла бы свою святъ. Ну, можно ли себѣ представить св. Іоанна, заказывающаго сапоги? Да, почему, вотъ вопросъ, котораго еще не было. Знаешь ли ты, что я очень люблю дѣвущкѣ и женщиѣ охоту наряжаться (разумѣется, чтобъ это было не главно); въ нарядахъ есть своя поэзія, ими пренебрегать ненадобно, какъ и наикной красотой—изъ любви къ изящному ими пренебрегать ненадобно. Скажи е мнѣ и прощай, невѣста (мнѣ нравится это названіе, за то слово женихъ образно). Хотя ты и называешь это ребячествомъ, однако еще и еще умоляю ечь здоровье; не знаю почему, я не вполне вѣрю, что тебѣ легко съ рукъ сходить неприятности въ физическомъ отношеніи. Благословеніе Бога и любовь Александра надъ тобою. Всѣ ли письма получены? Я не пропускалъ ни одного дня, ется. Александръ.

22-ю, вторникъ.—Отъ Витберга имѣю много писемъ. Я въ самомъ неприятъ положеніи относительно его: дружба заставляетъ меня обличить ему всѣ исти, которыя дѣлаетъ братъ его жены, я не могу молчать, потому что онъ рочаетъ послѣдній кусокъ хлѣба. А между тѣмъ его это огорчаетъ. Прощай, милая, прелестная подруга. Портретъ, портретъ, и письмо къ М. Твое Александръ.

Хотя я и отдавалъ справедливость своимъ талантамъ, но смѣлъ ли я проибудь сказать: вотъ великое, сдѣланное мною? Конечно, нѣтъ. А про лютвою я смѣло говорю,—и пусть никто не пойметъ и не оцѣнитъ ея, я соо, что наша любовь велика. Сестра!

Вечеръ, 23-е февр. Середа, Москва.

Давеча, въ минуту, какъ пришли отъ заутрени, получила письмо отъ 19-го. вень, какъ то мнѣ быть съ тобою, побѣдная моя головушка! Но послѣ этого ма вѣрно ужъ утѣшился, милое дитя мое? А мнѣ нельзя было тогда послать ма. Въ субботу я приобщаюсь, въ субботу и узнаю все рѣшительно. Впро-, Александръ я не такъ мучусь неизвѣстностью, какъ ты 16-го февраля. сказалъ мнѣ: «вѣрь!» *И я вѣрю*, и ничто, никто въ свѣтѣ не можетъ лебать этой вѣры, иначе я не знаю, чтобъ было со мною. Я вѣрю всей ду-, что скоро, скоро въ обѣтованную землю, и Черное море не страшитъ меня. ни отказъ, мнѣ будетъ ихъ жаль, ежели *благословеніе* — я порадуюсь за. же. Съ нетерпѣніемъ хочу узнать рѣшенье, но не терзаюсь имъ, потому вѣрю, что оно не поколеблетъ, не остановитъ васъ. А ты, ты, Александръ, хожъ на себя. И я бы измучилась, думавъ, что тоска твоя продолжается но письмо пап[еньки] и мое должны быть получены.

Горою вздрогну, грустный звукъ раздается въ груди, по это, ей-Богу, все за, мнѣ жаль будетъ ихъ, ежели... но ежели они не могутъ быть причастни-нашей любви, нашего блаженства, это не отъ насъ, это оттуда. А въ садлѣ, можно бы умереть, ждавши субботы, но—я вѣрю!

Всѣ эти дни они меня утомили, я читаю имъ преосвящ. Михаила, митрога Новгородскаго и Петербургскаго, они не понимаютъ, толкую имъ,—все не понимаютъ, спорятъ и сердятся; это меня доводитъ до того, что я готова къ наказанью, какъ дѣтей, плакать о нихъ готова, и молиться,—что за неные, Боже мой! Изведи, изведи, мой ангелъ, твою Наташу отсюда, здѣсь

она ничего не можетъ. Изведи скорѣе, не то на вопросъ сострадательнаго скажутъ:

Ее вотъ здѣсь похоронили,
Тужить не вѣльно объ ней,
Теперь бѣдняжкѣ веселѣй,
Она кого-то все ждала.
Не дождалась и умерла („Безумная“ Козлова).

Вечеръ, 24 февраля, четвергъ. Ничто не можетъ выразить непреодолимаго желанія моего субботы, въ немъ нѣтъ ни страха, ни досады, ни тоски. Узнать, будешь ли ты, вольно предаться ожиданію, считать каждый мигъ, а потомъ потомъ узнать, *которымъ* путемъ идти мнѣ къ тебѣ, мой свѣтъ, моя жизнь, цѣль бытія моего!

Что мнѣ посохъ иль карета, власяница иль парча? Кто мнѣ спутникъ -- люди или Богъ? Востокъ мой, мой ангелъ, спаситель мой! научи меня выразить, что тутъ, въ груди, тутъ такъ хорошо, такъ свѣтло, такъ все любовь, все ты. Я не нахожу ничего, что-бъ достойно выразило все это, скажи мнѣ... нѣтъ, не говори! не говори, Александръ. не смотри на меня, дай мнѣ лицо скрыть на груди твоей... огради меня отъ всѣхъ взоровъ, огради отъ дыханія всѣхъ, не вели вѣять на меня зефиру, не вели небу смотрѣть на меня, въ твоей груди мое все, я вся ея!..

Я говню—лишняя мысль, лишнее слово мнѣ преступленье, я трепещу дать отвѣтъ въ немъ. Ты—я вся, ты мой постъ, мое освященіе, ты сообщеніе мое съ Нимъ, ты смерть моя и жизнь, потому что тобою я умерла міру и воскресла Богу; ты—отецъ мой, мое начало, безъ тебя, я бы только *родилась и умерла*. а ты далъ мнѣ *жизнь*, Александръ! Я истинная дочь твоя, твое созданіе, посмотри на меня, порадуйся. Безъ тебя—я наслѣдница десяти тысячъ, воспитанница кн. Марьи Алексѣевны, достойная супруга Снакс., и потомъ—покойница. Ты убилъ во мнѣ все это, ты лишилъ меня всего этого, лишилъ и *я* меня, ты сотворилъ меня Его! Откуда этотъ свѣтъ, откуда эта свобода, святость, эта жизнь, которою живутъ лишь *тамъ*? Александръ, откуда дивное это созданье изъ одной любви? Но не говори, я склонюсь къ груди твоей, въ ней отвѣтъ.

Съ каждымъ мгномъ во мнѣ растетъ *твоя Наташа*, съ каждымъ шагомъ ей становится тѣснѣе этотъ сосудъ или, лучше, этотъ черепокъ, цустье эта земля сухая, перемѣшанная съ соромъ, убійственнѣе этотъ климатъ! Ежели .. я соберу всѣ мои силы, но не знаю, столько ли ихъ, чтобъ перенести. Нѣтъ, на родину, на родину! Къ тому, чей я лишь лучъ, лишь капля, лишь тѣнь одна... къ тебѣ, къ тебѣ! Пустите меня, что вамъ я? Маленькій цвѣтокъ въ травѣ, вы не замѣчаете меня и наступаете на меня ногою. А для *него*—я образъ и подобіе Всесоздавашаго! Во мнѣ онъ узналъ Его и палъ передо мною лицомъ на землю, онъ же меня и сажилъ, и возрастилъ, отдайте ему меня, я не ваша. Знаешь ли, ангелъ мой, мы не умремъ уже потому, что уже мы умерли: смерть—или наказаніе, или *переходъ* въ блаженную вѣчную жизнь; намъ ужъ не будетъ этого перехода, рожденіе ясно — 9 апр., а переходъ совершился незамѣтно, мы живемъ уже *тою* жизнью, жизнью, которой нѣтъ конца. Порогъ перешагнули, остается совершенствоваться, течь и, достигнувъ совершенства, то есть, до безпредѣльнаго океана,—разлиться въ немъ.

У меня нѣтъ мыслей, столь высокихъ и прекрасныхъ, чтобъ составить *наше тогда*. Ахъ, Александръ, я не знаю, что со мной. Другъ мой, неужели есть свѣтлѣе, неужели есть выше? Неужели есть другое тамъ?

Позднѣ.—И какъ же воротиться или умереть, то есть, опять снова родиться? Какъ съ полудня на востокъ возвратиться солнцу? Какъ вторично сойти на землю? Нѣтъ, нѣтъ, семь недѣль, только 7 недѣль. Что будетъ со мной, какъ скажутъ: Христось Воскресе!?

25 пятница. Письма твои приносятъ мнѣ на другой день полученія, а иногда и въ тотъ же день, я всё получила, ты увидишь изъ прошлыхъ моихъ писемъ. Прощай. Иду исповѣдываться—въ послѣдніе ли эта исповѣдь въ спальнѣ в[ягини]? Ахъ, что-то завтра?! Прощай, Богъ съ тобой.

Твоя *Наташа.*

24 февраля, Владиміръ.

Другъ милый, получилъ твои письма отъ 22. Святая, чистая подруга, благодарю тебя, дай же руку, я ее прижму къ груди крѣпко, крѣпко. Теперь ты знаешь настоящій отвѣтъ, со стороны пац[еньки] рѣшительно бояться нечего. Пора открыть глаза княгинѣ. И вотъ случай: ежели вы ни какъ не сладите съ портретомъ, я буду писать. Однако, воля ваша, я не понимаю, какъ вы не умѣли сдѣлать этого, постарайся еще, портретъ это одно изъ моихъ любимыхъ мечтаній. Я погожу писать, но ежели рѣшительно нельзя,—потребую его. Наташа, теперь надобно признаться: насъ (и особенно меня) много пугали чудовищные образы, которые на дѣлѣ не существуютъ; за наказанье мнѣ явились они въ душу—и какъ терзали.

Письмо твое прелестно къ Мед., но два замѣчанья я скажу. Объ ней ты не говоришь ни слова, а, подчеркнувши слово «я васъ знаю», ты показала, что знаешь ея страданія, мнѣ кажется, слѣдовало бы что-нибудь сказать. Второе—ты чрезвычайно ярко передъ ея глазами поставила картину нашего счастья: любовь самая не можетъ такъ подавить, какъ именно счастье. Впрочемъ, это мнѣ такъ пришло въ голову, и я въ первомъ письмѣ пошла къ ней. Благодарю, душа моя, что исполнила эту просьбу.

Ты слишкомъ предаешься надеждамъ, почему ты говоришь 7 недѣль? Да развѣ мнѣ есть дозволеніе ѣхать? А какъ откажутъ? На что мнѣ вѣрной чловѣкъ, я напишу съ Ег. Ив. У насъ съ папенькой ладъ, не знаю, что будетъ далѣе, я дѣйствую неусыпно. Не могу, не могу долѣе жить безъ тебя; мечта, какъ я уже писалъ, скорого соединенія поглотила все. И вотъ я бросаю взоръ, полный ненависти на эту цѣпь, которая приковала меня здѣсь, зубами ты бы ее перегрызъ. Ахъ, что ни говори, а жестокое дѣло разлука, забудешь, забудешь, а все-таки голова ищетъ груди родной, и уста жаждутъ святого поцѣлуя. Наташа, очень грустно, очень.

25 февраля, пятница.—Ты совсѣмъ отвергаешь богатства,—это несправедливо. У меня нѣтъ корыстолюбія, нѣтъ привязанности къ роскоши, я богатствомъ готовъ жертвовать другу, обстоятельству, но не отвергаю его. Тебѣ незнакома жизнь, богатство—это свобода. Свобода, во-первыхъ, дѣлать, что хочешь, жить, какъ хочешь, свобода не заниматься *хозяйствомъ*, а хозяйство пятнаеть саломъ. У меня былъ передъ глазами ужасный примѣръ—Витбергъ. Онъ, твердо переносившій удары жестокіе, не можетъ перенести гнетущей бѣдности. Другой примѣръ Мед., и ей надобно въ этомъ отношеніи отдать полную справедливость: она вовсе не думаетъ о томъ, что ей нечего ѣсть, и это придаетъ ей особую поэзію. Впрочемъ, теперь намъ можно перестать готовиться на мате-

ріальныя бѣды,—ихъ не будетъ, я увѣренъ. Впрочемъ, это мой департаментъ, твой — одна поэзія, одна религія и любовь. Я уже писалъ, что отъ Полины и Скворцова ни строки, мнѣ больно это; дружба имѣетъ свои права, и она щекотлива. Я писалъ имъ два раза, теперь не напишу долго, очень долго, можетъ, до нашей свадьбы. А моя симпатія была сильна, моя душа была имъ раскрыта больше, нежели всѣмъ, осыпающимъ меня дружбою изъ Вятки. Они меня любили. Я имъ былъ необходимъ. Я ихъ ужасно выдвинулъ впередъ, я ихъ обрекъ на высшую жизнь, я отпечаталъ на нихъ свою душу, и у нихъ нѣтъ необходимости перекликнуться со мной. И мы говорили часто, пусть *тогда* люди забудутъ насъ, но друзья останутся друзьями. И Матвѣй, и Саша имѣютъ мѣсто въ душѣ, тѣмъ паче тѣ, родные по душѣ. Но погожу еще ихъ винить, погожу ставить на одну доску съ Вадимомъ и Тат. П. Знаешь ли, что кто однажды потеряетъ въ моемъ мнѣніи, тотъ ужъ ничѣмъ въ свѣтѣ не поправитъ *никогда*. А Вадимъ *единственная* ошибка въ моей жизни, иногда даже мнѣ кажется, что я въ немъ не ошибся, а онъ совершенно сдѣлался другой человѣкъ. Сатина, напр., я никогда не любилъ (онъ меня всегда и теперь); но его одна вина—слабость характера; больше его упрекать грѣшно, въ немъ много благороднаго и хорошаго. Италья, думая объ этомъ, часто приходитъ мнѣ въ голову—наше тгю одно чисто. свѣтло, безъ пятна: *Опаревъ. ты и я*. Отъ души люблю многихъ, *но...* а тамъ, въ нашемъ тгю, нѣтъ *но*. Напр., Кетчеръ; люблю его, онъ чистъ и благороденъ до невозможности, онъ пойдетъ въ петлю за меня, но кого онъ любитъ? Твоего Александра, или Александра, которой сильной мыслью опередилъ многихъ, которой съ малыхъ лѣтъ пренебрегъ для науки и идеи всѣмъ, которой страдалъ за нихъ и страдаетъ? Кетчеръ такъ былъ исполненъ любви къ тому Александру, что твой Александръ, не желая огорчить его, не смѣлъ сказать нашу мысль полного пренебреженія славы, полного погруженія въ море любви. Хотя они на словахъ и ставятъ чувство выше мысли, но на дѣлѣ не тѣ. Съ другой стороны, возьми Витберга; нельзя родного сына больше любить, какъ онъ меня; но мужъ второй жены, мужъ пустой женщины, на которой женился въ силу ея красоты, можетъ ли понять *все* нашей любви? Ты пишешь о моихъ письмахъ,—да, вѣдь, они только для *тебя* хороши, потому именно, что душа наша одна. Невѣста можетъ сердиться, что нѣтъ похвалъ ея глазамъ, улыбокъ, устами, бѣлизнѣ, ногъ etc., etc., такъ точно, какъ Наташа могла бы сердиться, ежели - бъ это было. Странный примѣръ пришелъ мнѣ въ голову. Въ *колоссальную* эпопею французской революціи были два человѣка, оба пламенные, оба представители партіи и оба ненавидѣвшіе другъ друга: Лафайетъ и Барнавъ. По душѣ Лафайета казалось *довольно* ограничить короля, и, ограничивъ его, онъ былъ счастливъ. Но душѣ пламенной Барнава не было границъ, и онъ требовалъ республики. Языкъ Лафайета казался ему сухъ, недостаточенъ, бѣденъ; такъ точно, наоборотъ, тому языку Барнава казался сумасшествіемъ. Вотъ исторія нашихъ писемъ и всѣхъ другяхъ. А между тѣмъ, онъ оба правы, *какъ они*.—Будь увѣрена, Наташа, что еще ни одинъ человѣкъ не объяснялъ любви кровавымъ примѣромъ Барнава,—это совершенно ново, и я могу требовать привилегію. Прощай, милый, милый другъ. Я сегодня видѣлъ во свѣ... кого?—ты думаешь тебя? вовсе не тебя, а Витбергову дочь, будь чтивѣе и увидь меня. Ангель!

26, суббота.—Знаешь ли, что меня весьма занимаетъ, гораздо больше, нежели *всѣ будущія* хозяйственныя распоряженія? Я хочу тебѣ составить отчет-

полный планъ чтенія и занятій, это разъ, и другое—особую библіотеку я. Я много думалъ объ этомъ и, между прочимъ, придумалъ: главное чтеніе, но чего? Здѣсь первое мѣсто поэзіи (религія съ ней неразрывна), исторія,—исторія это поэма, сочиняемая Богомъ, это его эпопея; потомъ —и больше ничего. Пуще всего не науки, Богъ съ ними; всѣ онѣ сби- на анатомію и рѣжутъ трупъ природы, науки холодны и худо идутъ шьной жизни, которую я хочу тебѣ. Но тутъ не все сказано: какія закіе романы? Не воображай, чтобъ отъ всей массы мыслей и чувствъ въ тебѣ что-либо измѣненное, нѣтъ, тогда я вырвалъ бы книгу изъ рукъ, въ тебѣ ничего не измѣнится и не должно. Но ты найдешь свою свое чувство раздробленное, разсѣянное, и книга сдѣлаетъ для тебя то, что жизнь сдѣлала со мною. По-нѣмецки, при небольшой практикѣ, пся, объ этомъ и не думай, по-итальянски тоже; это вздоръ, только ивой толпы кажется неприступнымъ. Какъ я выучился въ Крут. по ски—въ два мѣсяца; какъ выучился въ Вяткѣ архитектурѣ—въ два Но все это, и самое чтеніе подчиняю я моей живой рѣчи, да, я призванъ , чтобъ заплатить тебѣ долгъ: ты показала мнѣ небо, показала Бога, рай я покажу тебѣ землю, человѣка, ангела падшаго. За лазурь неба за- азурью океана. О, какъ хороша наша жизнь будетъ лишь бы скорѣе, Для насъ все будетъ поэма—и мы, и природа, и Шиллеръ, и обѣдня, і вечеръ въ холодной комнатѣ и лѣтняя ночь, душная, какъ грозное ствіе. О, Боже, какая же молитва вылетѣла тогда изъ этой одной души! о. Еще прощай. *Портретъ непременно*, или я напишу. Ты очень было начала съ кн[агиней] обращаться, продолжай читать, несмотря на ачества, отвѣчай смѣло, и, ежели нужно, говори прямо о любви,—я вляю на все. Теперь, вѣроятно, знаетъ Левъ Ал., я писалъ пап[енькѣ], не тайна.

Твой Александръ.

✕

Поздній вѣчеръ 26-го февр., суббота, Москва.

нашей жизни былъ день, который уже не можетъ повториться, такъ онъ и великъ, другому нѣтъ мѣста на землѣ, другого нѣтъ въ небѣ—9 апрѣля. еще дни прекрасные, но что же считать намъ дни, когда вся жизнь дуновение Бога, любовь! Но *вчера* и *сегодня*—особенно изящны, полны м, на нихъ ярче Его милость и любовь къ намъ. Слушай. Заутреня, и между ими молитва, сильное стремленіе къ совершенству, къ равен- Нимъ, любовь, размышленія и полное отверженіе житейскаго, но со ѣмъ *ожиданіе*, въ ожиданіи этомъ тайлось что-то не отъ земли, и не и, и это что-то, какъ тончайшее облако, проходило по душѣ. Иду въ цер- ке совѣмъ одѣвшись, вдругъ таинственный знакъ, — я вмигъ наверху ска отъ Emilie!

ное слово: «папенька позволилъ и благословилъ»... за мной идутъ, я рас- и посланицу, крѣпко сжала записку, со слезами и улыбкой восторга пошла въ Божій и *такъ* исповѣдовалась. Можешь же ты вообразить, какъ я была тогда Богу чистотою, который такъ близокъ ко мнѣ милостью. Исповѣдо- , я стала въ отдаленномъ углу церкви и дочитала записку; тамъ маменька здравляется; что тутъ было со мной Александръ, — я не скажу, потому ать этого нельзя и всякое выраженіе умалить. Посмотри въ мою душу...

Тотъ путь, та жизньъ лучше, но тамъ нѣсколько самолюбія,—тутъ же... о, ангель мой! ну, я не могу рѣшительно выразить, что со мною; что выше самоотверженія... ну, то наполняетъ меня.

Папенька! папенька! Счастливыи старецъ, я поздравляю его съ новой жизнью, съ новымъ блаженствомъ, любить его Богъ! Никто, можетъ, не имѣлъ такой дочери! О, какъ бы я тихо, тихо стала у его изголовья, какъ бы молилась за него... и когда-бъ проснулся онъ... о, я стала бы на колѣна обнять его, облить ихъ слезами, покрыть поцѣлудами..

Александръ! Александръ! у насъ папенька, ангель мой, пойдемъ увѣнчать его радостью и любовью, будемъ его покой, когда онъ засыпаетъ, будемъ его свѣтъ и жизнь, когда пробуждается. Но я не дивлюсь, ты знаешь, моя душа давно звала его отцомъ и никакія возраженія, ни даже твои, не смогли заглушить ея голосъ. Правда, не находя рѣшительно ни въ комъ поддержки этой надеждѣ, я отдавалась мечтамъ о тайномъ соединеніи, отдавалась всему, что сопряжено съ нимъ: бѣдность и, можетъ, гоненія тебѣ, но я находила въ себѣ столько, чтобъ замѣнить все это. Но мысль о папенькѣ выходила бы всегда пятномъ на нашемъ солнцѣ. Странно, вѣря въ него совершенно, я совершенно готовилась не къ обрученію. Теперь чего же желать намъ? О, Александръ, что такое я, какъ могу я быть сосудомъ Его славы? но и кто же другой? Истинно: «Господь призрѣ на смиреніе рабы своея». Мы жили съ нашей любовью въ кругу друзей, въ кругу нашихъ, и раздолье было намъ, и мы не искали *далше*, и намъ казалось, намъ нѣтъ далѣе. Но папенька стоялъ у дверей круга другого, и онъ обширенъ и просторенъ, для него сошелъ Христосъ. Навсегда бы этотъ кругъ остался намъ чуждымъ, если-бъ папенька не отперъ намъ дверь въ него, не породнилъ бы насъ съ нимъ. Теперь теки наша любовь и въ дикія страны, и темныя и пустынныя. Ты ихъ сдѣлаешь свѣтлыми, живыми, святыми.

Давеча, вскорѣ послѣ причастья, получила письма (до 22-го). Истинно для перваго раза я не желала бы болѣе отъ папеньки; плати, плати ему, другъ мой, мы много виноваты передъ нимъ, особенно ты, онъ именно достоинъ сына—Александра. Я же—ты знаешь меня. Ежели онъ назоветъ меня дочерью... но, нѣтъ, я не выдержу, я не могу ничего скрыть, и при первомъ свиданіи упаду предъ нимъ на колѣна; въ самыхъ сильныхъ порывахъ души тѣло, оставленное, забытое, стремится къ праху, иначе со мною сдѣлается обморокъ, это что-то слишкомъ обыкновенно, слишкомъ женщина; нѣтъ, Александръ, передъ отцомъ твоимъ я буду твоей Наташей. Я всегда съ трудомъ удерживалась назвать его папенькой; каково-жъ мнѣ будетъ тогда,—да и на что? Еще свободнѣе смотрю я вокругъ себя. Знаю все, что будетъ, и всему въ отвѣтъ мое вѣчное: самъ Богъ благословилъ! я съ улыбкой выслушаю *все* (но не съ улыбкой ироніи, я никогда такъ не улыбаюсь) и скажу имъ: самъ Богъ благословилъ! потомъ благословлю ихъ и оставлю. Кн[ягиня] сказала давно уже: ежели чуть-что исполнится *изъ догадокъ* ея, ни минуты держать не станетъ. А потому надобно, чтобъ папенька совершенно привыкъ, полюбилъ мысль, что я ему дочь.

Что же отпустить? тогда бы и говорить нечего; ежели же отказъ, — много. много предстоитъ работы. Впрочемъ, объ этомъ послѣ. Утомляетъ меня ужасно отыскивать улицы, квартиры и, наконецъ, провіантъ въ незнакомомъ городѣ—землѣ; полетимъ, полетимъ домой, тамъ лучше, тамъ не устанемъ, тамъ все наше.

Да, о портретѣ: рѣшительно нѣтъ надежды, я еще заговаривала съ кн[ягиней]. она сказала, что подъ этимъ что-нибудь кроется,—ну, такъ можешь вообразить:

а глупо сдѣлала Emilie, увѣривъ ихъ, что имъ первымъ объявляетъ, и подло сдѣлала Насакина, разсказавъ все. Всего лучше пиши къ папенькѣ, теперь я смѣло ручаюсь за него! Захочетъ ли Егоръ Ив., чтобъ узнали всѣ, что переписка была черезъ него,—этого нельзя ужъ будетъ скрыть, какъ я докажу папенькѣ, что знаю о его согласіи?

Тебѣ не нравится названіе жениха,—это потому что ты смотришь на жениха здѣсь на землѣ; оно опытыгѣло намъ по милости Снакс.; но, вѣдь, и невѣста,—что такое невѣста здѣсь между людей? Для меня самое жалкое существо на свѣтѣ! Отвернемся же отъ земли: женихъ—Христосъ, невѣста—церковь! Нѣтъ, никакого нѣтъ названія достойнѣе тебя, какъ *женихъ Наташи*,—мой женихъ! У нихъ названіе это обезображено, твоя правда, унижено до невозможности; у насъ — свято, высоко, неподражаемо. Да посмотри и все у нихъ,—какъ изувѣчена молитва, храмъ, таинства, — все это каменное, все ничего больше какъ обрядъ, а гдѣ духовное, къ чему все это должно вести? Даже замужество, что такое у нихъ? Это ужасъ, пристанище и кусокъ хлѣба, хотя бы то было куплено страданіемъ цѣлой жизни. У насъ же,—я не иначе почитаю соединеніе съ тобою, какъ путь во святая святыхъ; раздѣленные, мы погибли бы, Онъ послалъ намъ другъ въ другъ благодать, силу и крѣпость, Онъ самъ сошелъ къ намъ другъ въ другъ. Прощай, свѣтъ мой, мой женихъ.

Ночь, 27-е, воскресенье. Хочу подумать, какъ будетъ и что,—нѣтъ, послѣ! Невогда, не до того, одна дума—ты, и дума свѣтлая, необъятная, и совершенно безъ формъ, безъ покрывала. Мнѣ не только странно, невозможно свести вѣчную любовь нашу въ это временное жилище, свести ее съ престола и, связавъ приличіями, заставить ходить въ маскѣ передъ ихъ глазами, и по начертаннымъ ими же дорогамъ,—это сверхъ силу моихъ! Ну, кто теперь меня держитъ бѣжать къ папенькѣ, у ногъ его просить благословенія, и не возвращаться въ эту духоту (здѣсь я даже не жду обращенія)? Никто, а приличіе?.. а обстоятельство? Это ужасно! это навело на меня грусть; восторгъ и грусть—дивное сочетаніе! И впереди сколько еще восторговъ, сколько грусти. Почему же наша любовь не можетъ идти своимъ шагомъ. Покорность, покорность отцу небесному, *тамъ полное*,—а мы еще на землѣ.—Хотѣла *потолковать* съ тобою, но это послѣ, послѣ еще успѣю, это въ десяти словахъ, поговоримъ о томъ, что въ цѣлую вѣчность нельзя досказать. О, мой женихъ! мой Александръ, братъ! Боже, какъ свято наше *тогда!* теперь мы уже не въ притворѣ, а въ храмѣ, въ святая. *тогда* будемъ въ святая святыхъ. Ангелъ мой, ты противъ уединенія, я за него! Пусть нагрянетъ къ намъ весь хоръ друзей, меня станеть, я разомъ ихъ всѣхъ обниму, я съ ними—твоя Наташа и, стало, свѣти, моя любовь, лейся, лейся вольною волной, это родное море! Ежели же... словомъ, для меня невыносимо, я не могу нѣсколько минутъ пребыть въ маскѣ, она уже и то меня задушила. Итакъ, уединеніе, уединеніе! Мое *тогда* виднѣтся лампадой, слышится гимномъ, а не лампой, не романсомъ. Мы много будемъ заниматься, ты меня учить, я—учиться, и любить, любить и любить.

Какъ легко, какъ свободно и какъ полно, какъ забываешь, *что надо дѣлать!* Одна мысль въ будничномъ платьѣ утомляетъ меня ужасно, я люблю все дѣлать, не обдумавъ, слушая голосъ сердца, потому-то я и безумная, даже для Emilie. Не занимайся и ты ради любви квартирой-то нашей и ея удобствами, а скорѣе домой, домой—тамъ хорошо.—Что же отпускъ, отпускъ? Тогда вся забота съ рукъ долой. А тайно сюда въ случаѣ отказа пріѣхать нельзя,

потому что есть въ домѣ дѣлая семья, въ родѣ Мар. Ст., а въ Загорьѣ—*безъ сомнѣнья*.

26 февраля, Владиміръ.

Natalie. Это письмо тебѣ доставить Егоръ Ивановичъ и потому въ немъ скажу, на что я спрашивалъ, вѣрны ли люди. Здѣсь надзора почти нѣтъ, 15 часовъ ѣзды, и я въ Москвѣ, Матвѣевъ паспортъ на заставѣ и черезъ два часа опять въ путь. Опасности нѣтъ, ежели не захватятъ въ Москвѣ; здѣсь не можетъ ничего быть, ибо само начальство будетъ виновато, зачѣмъ допустили, они же и скроютъ. Итакъ, въ случаѣ отказа изъ Петербурга, назначь день и часъ, веди тому изъ людей, кто всѣхъ надежнѣе дожидаться; я изъ трактира пришлю мальчика, первой какой попадется; зачѣмъ изъ людей кого назначишь часами двумя раньше, и онъ проводитъ меня,—но главное, чтобъ никто не узналъ, что нога изгнанника касалась родного города.

Ежели я успѣю совсѣмъ склонить папеньку на нашу сторону, тогда напишу въ Петербургъ, чтобъ меня отпустили на два мѣсяца для свадьбы, и это навѣрное уважится.

Чѣмъ больше я смотрю, тѣмъ необъятнѣе мнѣ кажется шагъ впередъ, который мы сдѣлали съ 12-го; мы еще не могли отдать себѣ полнаго отчета во всей важности его. Все, что требовалось сыновнею любовью, сдѣлано, имъ нѣтъ оправданья, а мнѣ—голосъ сильной принадлежить. Итакъ, вотъ эти непреодолимые препятствія! Теперь мнѣ надобно блеснуть собою, очаровать ихъ, и полная власть въ моихъ рукахъ. Мнѣ очень хочется, чтобъ княгиня знала, ежели это не помѣшаетъ перепискѣ и портрету. Повторяю: перестань слѣпо слушаться, читай открыто Донъ-Карлоса, что будетъ, то будетъ. Тебя будутъ шадить теперь, боясь меня; что они ни говорятъ, а чувствуютъ, что я сильнѣе. Помнишь ли, какъ княгиня сердилась за мою приписку къ тебѣ (молиться вмѣстѣ),—а меня благодарила за нее. Покуда я говорилъ полусловами, папенька душилъ меня своими письмами, а когда я сказалъ прямо,—отступилъ тотчасъ; положимъ, что это одна любовь съ его стороны, и въ этомъ случаѣ, стало, я поступилъ, какъ надлежало.

27 февраля, воскресенье, ночь. — Опять почта, и опять нѣтъ письма,—скажу откровенно, мнѣ больно, что нѣтъ письма. Пусть въ другое время недѣля ничего, а теперь, когда каждую минуту ждешь многого, страдальчески ждать, ждать почты и не получать письма,—это ужасно! Я писалъ объ отвѣтѣ папеньки 22-го, почта изъ Москвы 26-го, слѣд., надобно было получить отвѣтъ, и ничего. Вѣрно ты писала, такъ скажи мам[енькѣ], чтобъ аккуратнѣе посылали, ну, лишить человѣка воздуха, которымъ онъ дышетъ... Наташа, я тогда только не страдаю, тогда счастливъ, когда твое письмо передо мною, когда же почта безъ письма, я именно тотъ, которымъ ты меня не любишь, тогда иронія надъ тѣмъ, что нѣтъ письма, надо всѣмъ. Пиши же, другъ мой, пиши!

Мед. прислала картинку къ «22-го октября»—превосходная, я пришлю тебѣ (она тебѣ и назначена) да тебѣ и ее велать спрятать; напиши, прислать ли. О. въ ней много талантовъ, — жаль, жаль. А на кого провѣлятія, — на ея отпа.. Чего думаютъ эти люди, когда они торгуютъ душой и тѣломъ родныхъ дѣтей: развѣ онъ не видалъ, кому дарить цвѣтокъ, едва распускающійся, — ей было 14 лѣтъ, когда отдали замужъ, и за кого? Бѣдная, и съ тѣхъ поръ вся ея жизнь слеза, страданіе, и я воткнулъ ножъ въ эту большую избитую грудь, избитую

орудіемъ; я для разнообразія воткнулъ черкесскій кинжалъ, такъ острой, чувствительно,—и переломилъ клинокъ. Анаѣма на толпу, на предразна этихъ полулюдей, которые въ жертву корысти отдаютъ счастье. Но, не благословеніе и тому, *выше толпы*, который дорѣзываетъ жертву. изъ Петербурга нѣтъ отвѣта. Что же, мало еще я страдалъ? Мало 9 мѣсяцевъ и 3 года ссылки, и за что?

Galilée par trois ans de prison
A expié le grand malheur d'avoir trop tôt raison.

бви, счастья жаждетъ душа, жаждетъ той груди, гдѣ алтарь ей, гдѣ она для нея, гдѣ мысль объ ней, гдѣ сердце бьется для нея,— и вмѣсто всего ительное приглашеніе обѣдать къ губернатору: «вѣдь онъ изъ несчаст-илъ рожего! Ха-ха-ха! il рожего богаче васъ всѣхъ, il рожего извѣдалъ изнь, адъ и рай, онъ обжегся о пламень одного, онъ отогрѣлся лучами . Да что же я для шутки отданъ на мученье, ужъ хоть бы мучили такъ, ыло больно, ну, какъ 20 іюля 1834, это чувствительно, это занимаетъ; акъ Вестфальскаго гуся, кормить, поить, холять, а нога прибита гвоздемъ, беть право — потолстѣть. Въ Италію, въ Италію съ тобой, мой ангелъ, ть отъ людей, дать волю фантази, забыть, что существуетъ канцелярія, гь, департаментъ, поскитаться по горамъ, поноситься по морю. Тихо—се спать, природа во снѣ видитъ минуту просвѣтлѣнья, луна навѣваетъ юнь, море, какъ вороненая сталь, опоясываетъ землю, и двое не спятъ, не двое, а это нераздѣльное одно Александръ-Наталія, они въ годлодѣ; ндръ переливаетъ свою безпokoйную мысль, въ ней слава и любовь, стра-счастье, воспоминанье свѣтлое и воспоминанье черное, слово объ Огаревѣ о ссылкѣ, онъ переливаетъ ей мысль, заражавшую грудь, и ту, которая шала. А она переливаетъ свою мысль Богу, и въ этой молитвѣ и стонѣ ндра, и гимнъ Александра. А море плещетъ, и въ этомъ плескѣ и стонѣ ы, и гимнъ природы. Наташа, Наташа, твое сердце бьется,—останови его: ежеде надобно сходить въ Владимірское губернское правленье, а тамъ... чего же нѣтъ письма?

10, *понедѣльникъ*. — Да, вотъ съ тѣмъ же вопросомъ и проснулся я се-отчего нѣтъ письма? Я избалованный ребенокъ, такъ меня называли и ши въ университетѣ, и друзья, и Вятка. Какъ, чѣмъ?—Симпатіей. Ты зала всѣхъ больше и вотъ я капризничая, какъ дитя, какъ женщина, что нѣтъ письма, и самъ придумываю мрачныя объясненія для того, чтобъ ать свои капризы. Ежели Егоръ Иванов. достанетъ первую книжку «Сына гва», прочти Лавинію и поклонись высокой женщинѣ, которая пишетъ менемъ George Sand, я давно хотѣлъ тебѣ дать ея сочиненія, они очень для толпы, т. е., очень полезны для тебя. Какъ только отпечатается пре-лй переводъ Фауста (Губера),—пришли. Сперва прочти и отдохни, займись ь, ну, поговори съ Татьяной Ивановной, и когда пройдетъ, прочти еще Тамъ-то ты увидишь *страданіе отъ мысли*, ты его не знаешь. О, и я злюбленъ въ науку, и я отдался бы Мефистофелю,—ежели бы не ты. Вотъ ервая статья—«Мысль и Откровеніе»—пожалуй читай ее вслухъ, въ ней ни строки не поймутъ *они*. Кетчеру выговоръ написалъ. *презь полчаса!*—Смѣйся, ангелъ, смѣйся, я самъ хохочу отъ всей души. къ истинно я баловень въ формѣ. Письмо твое отъ 25-го было у другого

почтальона, и вотъ оно. Другъ мой, душа моя — я ожилъ, ну, смѣйся же, и ты меня зовешь баловнемъ, въ самомъ дѣлѣ, побѣдная головушка. А между тѣмъ предчувствіе было вѣрно, тоска была вѣрная, — черная туча поднялась на нашемъ небѣ. Господь, развѣй ее своимъ дуновеніемъ. Путь нашъ, Наташа, труденъ, но однажды соединенные, однажды слитые, мы побѣдимъ, и ежели умремъ на полдорогѣ, — все же побѣдимъ, только побѣду будемъ праздновать не на Арбатѣ, а въ лонѣ Божіемъ. Слушай!

Папенька поступилъ со мною неоткровенно, онъ хотѣлъ вывернуться своимъ отвѣтомъ и, получивъ мое второе письмо, — такое письмо, которое, Ей-Богу, должно заставить отца пролить слезу восторга — онъ перемѣнилъ языкъ; холоденъ, презрителенъ языкъ, которымъ онъ замѣнилъ. Это очень дурно. Это хуже рѣзкаго отказа, — и вотъ все то, что я боялся, какъ огня, упреки въ неблагодарности, и то гнетущее, ужасное, какъ проклятіе, слово: ты убиваешь меня. Онъ пишетъ мало, но говорить много, онъ хочетъ *просить* меня при возвращеніи. Но, Наташа, жребій брошенъ, здѣсь присягаю я тобою и твоей любовью, присягаю передъ Богомъ, что назадъ не подамся, — конечно, присяга совершена, *анагема на неисполнителя клятвы!* — Теперь своими словами я отрѣзалъ всѣ пути. Одно, что я могу пожертвовать за *благодѣнія* — отсрочку, и то ограниченную, и то это значитъ мясомъ, кровью, клочками сердца платить. Онъ оставляетъ мнѣ волю, говорить, что не сдѣлаетъ ни малѣйшаго препятствія, — но послѣ того не хочетъ ни даже встрѣчаться съ тобою и со мною. Это значитъ смѣяться надо мною. Да и что же я дѣлаю противъ него, что страшить: родство? Да когда они такъ пламенно исполняли законъ Номоканона, и объ родствѣ же упоминалъ вскользь. А совѣтъ искать согласія княгини, — это что же, ужъ не насмѣшка ли? *Дай Богъ, чтобы это была не насмѣшка.* Въ меня безнаказанно нельзя бросать насмѣшкой. Попробую послѣднее средство, скажу, что я жертвую тобою на нѣсколько лѣтъ, но за то всѣ эти годы *не служу*. Ты не поймешь сразу, какое это сдѣлаетъ дѣйствіе: у пап[еньки] рой гордыхъ мыслей основанъ на моихъ талантахъ, но *мои таланты мои*. Разрывъ — тутъ много ужаснаго, безнравственнаго, одинъ грубый отказъ могъ бы сдѣлать законнымъ его, но скорѣй разрывъ, нежели уступка. Я все уступаю, поставивъ одно условіе — обрученъе, его надобно мнѣ уступить. Позоромъ, бранью покроетъ толпа, поклонимся глупымъ братьямъ и примемъ ихъ брань. Будь и ты *тверда и неутомима*, какъ твой Александръ. Само собой разумѣется, что теперь вредъ, а не польза, ежели сказать княгинѣ. Прощай. Не думай, чтобы меня поразило все это, хотя горько, больно признаться, но я зналъ, съ кѣмъ имѣю дѣло. Все, что требовалось отъ сына, — сдѣлано!

Ночью. — Душно, все это вмѣстѣ навѣваетъ землю на нашу райскую любовь; что это въ самомъ дѣлѣ, мои письма становятся непохожими на ту безотчетную пѣснь любви, полную горя и блаженства. Еще разъ откровенно дадимъ другъ другу руку и пойдемъ страдать, мы все могли предвидѣть, а, какъ дѣти, предаемся мечтамъ. «Твое страданіе — искупленіе мнѣ».

Наташа, что же портретъ? Слушай, нельзя ли это сдѣлать секретно, утромъ рано во время сна ея сятъ? Милый другъ, постарайся потѣшить баловня. Вѣдь, въ два, три утра можно сдѣлать. Я хоть на мертвой бумагѣ остановлю свой взоръ, пламенно поцѣлую ее, оботру ею слезу, приложу къ горячему челу и мнѣ покажется, что живой, мягкой локономъ касается моего лица. О! — Егоръ Ивановичъ ѣдетъ, — это хорошо, послѣ всѣхъ посѣщеній, послѣ всѣхъ вѣстей, послѣ

мнѣ надобно одиночество. Въ одиночествѣ лучше я. Ни одного холоднаго въ Ег. Ив., несчастіе имѣеть огромное право для меня. Это человекъ, при первомъ чувствѣ. Его жизнь ужасна,—она въ конецъ испортила и въ. Привѣтъ несчастью, привѣтъ. Ты говоришь, что тогда я буду всеѣмъ ромѣ друзей. Дитя, а теперь? «Ты не похожъ на себя». Нѣтъ, Наташа, ожное ожиданіе не слабость, я доказалъ свою твердость и правительству. Тутъ другое чувство. Ежели бы ты играла въ карты, то я бы срав-чувство съ отчаяннымъ *Va banque!* все на картѣ. Банкометъ бросаетъ, повторъ ждетъ и блѣденъ, карты еще нѣтъ, и между той картой и блая жизнь, исполненная страданій и надеждъ,—у меня вышло *pliez*, выигрышъ ни проигрышъ, это всегда досада обоимъ. Почему на меня ильнѣ дѣйствуетъ,—ты забываешь, мой огненной, порывистой нравъ, гордость, которая *не можетъ* вынести препятствій. Въ твоемъ созер-мъ нравѣ нѣтъ этихъ жгучихъ страстей. Прощай, мой ангелъ, прощай. свиданье оставить до Загорья. Тамъ гдѣ-нибудь въ лачугѣ я проживу о дней. Извольте приказывать, Наталья Александрю.

рта—Картину Мед. посылаю, мысль ея она взяла изъ виньетки одной ой поэмы. Она не совсѣмъ такъ, но очень хороша, превосходна. Да и въ дѣлѣ, для того чтобъ поднять меня, ты сама опираешься на адъ. она принадлежить къ тѣмъ вещамъ, которыя надобно взять съ собою оспоминаніе и какъ упрекъ себѣ.—Когда я ворочусь, при нихъ гово-Еще и еще благословенье Бога надъ тобою, ангелъ. Зачѣмъ ты напи-сьмъ стихи Бозлова: «не дождалась и умерла»? Зачѣмъ давеча я ихъ замѣтилъ, а теперь они меня толкнули въ черное море грусти.

28, понедѣльникъ.

ытна душа, опять жду и жду съ нетерпѣньемъ письма, дай Господи Тогда отсрочки—сколько хочешь, лишь видѣть тебя, мой Александръ! шіе и сомнѣніе навели на меня грусть, и я цѣлый день грустен. До олго, о, какъ еще долго... нѣтъ, Господи, будь милостивъ. Впрочемъ, пріѣдешь, ужъ мнѣ не быть здѣсь; ты *имъ* скажешь, я скажу — и минуту кв[ягния] велить оставить домъ. За здѣшнимъ порогомъ мнѣ быть съ тобою,—а чего же больше? Да ежели и не пріѣдешь, не на-я здѣсь: папенька ежели докажетъ сколько-нибудь чувства,—я не вы-гда я не знаю, что со мной будетъ, стало, все открыто, и меня выго-и же и не такъ, ты напишешь кв[ягинѣ], я скажу,—выгонять! Всеми я не жилища ея сіят., и здѣсь мнѣ «не годъ годовать». А гдѣ Богъ, не знаю, да это все равно. Меня невыразимо утѣшаетъ, что мы ѣшенье паленькѣ, здѣсь отвергли и мою любовь, и меня; я желала бы нихъ море радостей, но не могу и одной капли; онъ не отвергъ.—шіе надъ нимъ Божіе!—А знаешь ли, мой ангелъ, рядомъ съ этой езпрѣдѣльной жизнью, стоитъ свѣтлая, безпрѣдѣльная же мысль: если пившись впервые, наглядѣвшись, наслушавшись, перешли въ жизнь Но не будемъ выбирать, все Ему, Ему! Всего болѣе меня радуеть юсть, но это не я, Александръ, а Богъ. Ежели ты соглашаешься, что данье, я соглашусь, что я перемѣнила тебя. Да, посмотри, ангелъ а ли на мнѣ хотя чья-нибудь черта,—рѣшительно нѣтъ. Почти на

всѣхъ разноцвѣтныхъ печати, на мнѣ ничьей; однимъ надо было платить деньгами за сургучъ, другіе были слишкомъ слабы, у нихъ не было столько души, чтобъ докончить меня, и такъ я осталась одна, не клейменная клеймомъ обыкновеннымъ, стало, я ничья, никому не принадлежу, тебѣ, тебѣ! Ты меня началъ и кончилъ. И теперь, въ разлукѣ, на рукахъ дружбы, согрѣтая ея привѣтомъ, убаюканная ея пѣсню, я забываю все и живу лишь въ тебѣ, въ одномъ тебѣ, чтожъ тогда?.. О, Александръ, о, мой женихъ!—Завтра жду Ег. Ив. Итакъ, пока о туалетѣ. Ты хочешь мое мнѣнье... Можетъ, и хорошо и необходимо въ дѣвущкѣ и женщинѣ желанье наряжаться,—для меня ничего нѣтъ изыскаго въ пышномъ и богатомъ нарядѣ, изысканность и украшенія отвратительны; особенно не могу терпѣть вещей, а изъ нихъ особенно серьги; мы съ Сашей Б. совершенныя говительницы на этотъ родъ украшеній, безпокойный и дикій. Ни на что такъ не жалѣю тратить время, какъ на туалетъ. Тебѣ нравится охота наряжаться въ *дѣвущкѣ* и *женщинѣ*, а мнѣ оставь мою безпечность, позвожь туалету моему ограничиться тѣмъ, что останется отъ пышности, изысканности и богатства. То же самое и въ столѣ; да, я никогда-бъ не назначила особеннаго часа для пищи, это что-то слишкомъ унижительная покорность тѣлу. Ежели-бъ описывать все, я-бъ вышла птица на вѣткѣ; скучно говорить объ этомъ и интересно, потому что все необыкновенно и вѣроятно, никому другому такого вздора не приходило никогда въ голову. Послѣ объ этомъ. Унижительно для меня также покорность модѣ. Струю чистой, свѣтлой, свободной и божественной является мнѣ наша жизнь земная, а не жалкой невольницей нецѣпостей людскихъ и владычества стихій. Мы должны восторжествовать надъ толпою, и пусть кидаютъ грязью,—на нихъ же упадетъ она.

Охъ, близко, близко что-то... Какъ въ ту страшную ночь мнѣ казалось, что у меня бдуть по сердцу—это, какъ я вообразила, что ты ужъ уѣхалъ; такъ и теперь раздаются въ немъ звуки, но звуки приближенія, звуки свиданья, а не той грозной, черной, смертельной разлуки.—Жилище мое здѣсь въ одинъ шагъ, но это былъ прелестный уголокъ; теперь же, послѣ первой мысли перешагнуть скоро здѣшній порогъ, онъ ни на что не похожъ; право, на станціи не ярче написано: проѣздомъ. Все по походному, все на мигъ, и меня тѣшитъ теперь величайшій беспорядокъ и разрушеніе во всемъ томъ, о чемъ я прежде ниѣла даже попеченіе. Не сѣяла и цвѣтовъ даже. Дивенъ Богъ, дивенъ нашъ отецъ! Что-жъ будетъ наша жизнь, какъ не молитва!

Ночь. 1-е марта, вторникъ.—Душа, Александръ! что за дивное, что за чудное со мною. Какъ оглянусь назадъ,—вѣжный, маленькій цвѣтокъ, еще не расцвѣтшій, не взглянувшій на Божій свѣтъ, и ужъ подавленный тервиемъ. И что за страданіе его дѣтство, что за страданье ждетъ его. А Всемогущій сошелъ самъ къ бѣдному страдальцу въ Александрѣ, и излилъ рай на него въ любви Александра! И сколько тутъ суждено было перенести,—прошло много, проходить и остальное. Дивенъ Богъ, слава Ему! слава Ему! Жизнь наша, которую я воображала до согласія папеньки, была бы прелестна, неподражаема: это свобода, это *все* другъ въ другъ и никого кромѣ Бога, и ничего кромѣ любви!

Теперь измѣнилось все: мы невольные, мы зависимъ, благословеніе папеньки покорило насъ многому, оно связало насъ много даже со внѣшнимъ, но не отняло поэзіи, величія и святости любви нашей, о, нѣтъ! оно увеличило ихъ. Слезы восторга льются, когда вспомню, что не даромъ такъ сильно билось мое сердце при видѣ твоего отца, не даромъ я часто и долго останавливалась передъ его порт-

— ни мысли въ головѣ, а сердце полно чувства, не даромъ съ жаромъ а его руку всегда, и разъ горько плакала, когда онъ мнѣ холодно ска-
ю я слишкомъ крѣпко цѣбую его руку, наконецъ, не даромъ такъ громко
овно душа моя звала его отцемъ. Господи, благодарю тебя. Я была си-
ругомъ, ангеломъ, но не была дочерью, — постъ священной, и много
объ выполнить его. Любовь всему научить, а ты, Господи, благослови!
отою я была вполнѣ ребячья душа; еще не понимающая ничего, пони-
е вполнѣ страданія и, не имѣя силъ оттолкнуть дѣтскою рукою горькую
оторую подносили добрые люди, я только и была *сыта*, что горечью.
— не знаю, кто-бъ довѣрчивѣе отдался ей, и кому бы она принесла
Друзья мнѣ замѣнили все то, что составляетъ жизнь отъ азбуки до
шага въ свѣтъ. Мнѣ было все чуждо, кромѣ чувства. Другіе учили буквы,
сердце; тѣ учили памятью, я учила душою, и внутренній міръ мой ши-
заполнялся свѣтомъ, границы стирались, онъ готовился быть храмомъ
уже былъ полонъ молитвы, и ничего не доставало къ благолѣшю его, въ
доставало тебя. Другіе, выходя изъ школы, вступаютъ въ залу благород-
ранія; я прямо изъ теплыхъ объятій дружбы перешла въ твои, Александръ!
голова съ ея богатой блаженствомъ груди, склонила на твою грудь. —
мой! Небо отверзто, путь во святая святыхъ... Богъ... о, Александръ!
все дано вполнѣ, и я всему дана вполнѣ. Дочь! Сирота, другъ, ан-
юплочено ли, Александръ? Если *да*, воплощу совершенно и дочь. Отецъ,
грой объятій, не станови у двери, раздѣляющей насъ съ тобою, страш-
орожа — холода, дай отворить мнѣ ее, дай перешагнуть порогъ. Ты не
ты не испытала, и не предвидѣлъ даже того, что ждеть тебя за этой
Боюсь разсудительности его и недоступности; ограниченной я не могу
въ чемъ; чего я не касалась, то не мое во вѣки; также не могу, расчи-
дѣлить немного, — не умѣю ни считать, ни дѣлить, беру все, и даю все.
-то мнѣ несносны такъ знакомства — другъ, иль ничего. Вся душа
и, иль ни полслова. Срединя — мое мученье, а иногда и избѣгать ея
—это ужасно. Я заговорила о себѣ. Что-то ты, мой ангелъ? (А ты будто
?) Ужъ поздно посылала къ маменькѣ. Е. И. еще не пріѣхалъ, что-то при-
-отпускъ, отпускъ! — Знаешь ли, паленька помирилъ меня съ *ними*, то
казалъ на возможность обращенія ихъ, но они не обратятся. Жаль ихъ,
—ни капли радости не умѣли они почерпнуть изъ моря наслажденій; учить
е мое. Они идутъ своей дорогой, намъ нѣтъ сообщенія, добрый путь!
дняхъ подають печатный листокъ о царѣ жуковъ изъ Бразиліи; вслѣдъ
премиленъкая молоденькая нѣмочка, несчастная, едва можетъ слово
по-русски, я едва по-нѣмецки, но ей нечего было и говорить мнѣ; она
ила мнѣ ярко Полинѣ, сходства въ нихъ не можетъ быть ни въ какомъ
ни, но довольно — нѣмка! Я смотрѣла на нее, не насмотрѣлась, а надо
орхала моя родная сестра изъ чужбины; отъ нея лилась мнѣ симпатія,
плала къ ней благодарность за чашу отрады тебѣ въ изгнаньи, казалось
нами исчезло все и оставалась одна музыка. Полина, увижу-ль я тебя?
жешь вообразить, сколько Саша благодаритъ тебя, — я вдвое. Ну, прощай
ти, расти, чтобъ скорѣе достать вѣнецъ, въ немъ пройдемъ мы по землѣ
мъ предъ Нимъ. Твоя Наташа. — Я думаю, радость наша раздастся во
концахъ вселенной. Писалъ ли ты въ Вятку?

2 марта, среда.

Я не знаю, билось ли сердце у тебя въ половинѣ второго; *я здѣсь*, т. е., Б.: секретно и, слѣд., устрой свиданье. Завтра въ 9 я ъду. Нынче же отдай приказъ Аркадыю, я пришлю за нимъ изъ какого-нибудь трактира. Завтра въ 6 часовъ утра, чтобъ были отперты *вороты*. Разсуждать некогда, дѣйствовать. А. Г. [На томъ же листѣ бумаги написано рукою Наталіи Александровны]:

...Я сейчасъ видѣла Александра, не могу писать, дѣлай, что хочешь.—Среда 2 марта, 5 часовъ пополудни.

3 марта, 9 часовъ утра.

Итакъ, совершилось. Теперь я отдаюся слѣпо Провидѣнію, только то я упрости, просьба услышана, твой поцѣлуй горитъ на моихъ устахъ, рука еще трепещетъ отъ твоей руки. Наташа, я говорилъ какой-то вздоръ, говорилъ не языкомъ, ту рѣчь, широкую какъ Волга. слышала ты. Это свиданье наше, его у насъ никто не отниметъ. Это первая минута любви полной, память ея пройдетъ всю жизнь, и когда явится душа тамъ, она скажетъ Господу, что испытала все святое, скажетъ о 3 мартѣ. Все волнуется... но не такъ какъ вчера, о, нѣтъ, что-то *добродѣтельное* (я не умѣю выразить), свѣтлое, упоеніе—слышалъ я слово любви изъ твоихъ устъ, что же я услышу когда-нибудь послѣ полнѣе, голосъ Бога?—Это онъ-то и былъ. Ты благословила меня, когда я пошелъ, во врьдѣ замѣтила ли, что тогда было со мной, я приподнялъ руку, хотѣлъ благословить тебя, взглянулъ, и рука опустилась. передо мной стоялъ ангелъ, чистой, Божій—молиться ему, —а благословляетъ онъ, и я не подвѣялъ руку.

Но теперь все это у меня смутно, перепутано, все поглощено однимъ — *видѣлъ* любовь, видѣлъ воплощеніе ангела, и быстро, какъ молнія, и также ярко. оно прошло,—о, нѣтъ, оно въ насъ, оно вѣчно. это свиданье.—Теперь я силенъ и святъ,—мнѣ свиданье было необходимо. Natalie, пусть же Провидѣніе безусловно царитъ надъ нами, лишь бы указывало оно путь,—идемъ. Быть великимъ человѣкъ, быть ничтожнымъ,—все, все, да и разницы нѣтъ, выше я не буду. Не молнія, а сѣверное сіяніе, нѣжно лазоревое, трепещущее, окруженное свѣгомъ. Я чувствовалъ огонь твоихъ щекъ, твой локонъ касался, я прижималъ тебя къ этой груди, которая три года задыхалась при одной мысли. Ты говорила. Чего же больше, умремъ. Нѣтъ, и это слишкомъ, воля Провидѣнія безусловная. И будто это не сонъ? Ну, пусть сонъ, за него нельзя взять не сонъ вселенной. Довольно, прощай, еще благослови путника, еще пламенный поцѣлуй его любви тебѣ.

Слава Богу, слава Богу!—[вырвано слово] я не хотѣлъ давеча долѣе оставаться,—мнѣ было довольно, о, ничего подобнаго и тѣни не было въ моей жваніи. [На томъ же листѣ бумаги написано рукою Наталіи Александровны]:

1838 года, марта 3-е, четвергъ, 7-ой часъ утра. Я видѣла небо отверзато, я слышала гласъ Бога. возлюбленные! Слава въ вышнихъ Богу!

Третье марта, 10 часовъ утра, [Москва].

Не сонъ ли? Нѣтъ, такихъ сновъ не бываетъ. Прости, прости мнѣ, ангелъ: < не дождалась и умерла, прости, я дождалась и не умерла. Жить ли еще? Александръ!..

2 часовъ.—Александръ,—и болѣе ни слова. Довольно ли, ангелъ мой? ъ мой, скажи, довольно ли?

и удаляешься отъ меня, и мнѣ не грустно, довольно!

теперь силы будутъ перенести столько же, сколько мы перенесли, еще

изнь моя, душа, или ждать еще... да развѣ у Бога есть еще?

ый часъ.—Гдѣ ты? Здѣсь, здѣсь подлѣ твоей Наташи! Мы не разстались; о мнѣ писать, но ты хотѣлъ. Что эти тетради-письма передъ одной минутой, однимъ взоромъ твоимъ. Александръ, мы не разстались, вотъ твоя рука, рудь.

перь только могу выговорить—благословенъ Богъ! Ангелъ, что же намъ, еще на землѣ? Нѣтъ, погоди...

къ ты ушелъ, (но мы все-таки не разстались), я легла въ постель, и до юрь не встаю и не встану, тѣло отстало отъ души.

нгелъ! ангелъ! вѣдь, не сонъ? Нѣтъ, и молчать-то тяжело. Да гдѣ же ты? Я и навѣкъ останусь съ тобой, навѣкъ этотъ взоръ будетъ слить, рука,

.. Я не помню, какъ ты ушелъ, но мнѣ не грустно, нѣтъ, нѣтъ!

не могу глядѣть ни на кого, не могу слышать никого, чтобъ никто не илъ ко мнѣ. . далѣе, далѣе всѣ! далѣе—со мной Александръ!

тъ, ничего не отбавилось изъ души, полнѣе несравненно, въ груди тѣснѣе.

я забылась нѣсколько, но не сномъ обыкновеннымъ, голова на груди

.. Кто-то вошелъ, я взглянула,—это столъ, столъ жесткой, деревянной.

ты, гдѣ грудь?

нгелъ, ангелъ мой, о, жизни! Какъ на далеко вокругъ меня свѣтъ, святость, б они подходятъ, стань стражемъ.

сть тройка мчитъ Александра во Владиміръ, онъ все-таки со мною. чья-жъ ка, кто-жъ это цѣлуешь меня?—Ты, ты. Чего ты желаешь теперь? я ни-

часовъ.—Меня навѣщаютъ, какъ больную, а душа, душа... Безпрестанно вываются слезы, но не падаютъ на землю, ихъ ангелъ уноситъ на небо.

ой часъ.—Давеча такой же былъ свѣтъ, также полно все, также ты со Да, вотъ твои глаза, твое чело... Ангелъ! Ангелъ мой, мой, мой!

9-ый часть вечера, 3-е марта.

ворять, мы были съ тобою часъ; какъ ты думаешь, мнѣ кажется, одинъ-но онъ еще длится и теперь, хотя ты и приближаешься уже къ Влади-Какое раздолье, по праву головной боли (но въ самомъ-то дѣлѣ я здорова) иниматься ни за что, лежать спокойно, недвижимо, а въ душѣ-то *тотъ* медьмой часъ... Трудно писать, но ты баловень, захочешь знать, какъ все—итакъ, пока я одна. Многого не помню и сама спрашиваю о себѣ у дру-Подробнѣе послѣ. Получивъ записку и письмо, я только и могла прочесть у. Что было со мною, ангелъ мой: ни говорить, ни дышать не могла, о, во, не могу сказать, что было; долго спустя велѣла передать приказъ ю. Сумерки ходила, ходила долго, долго, потомъ надо было сидѣть съ держала въ рукахъ работу и не могла сдѣлать стежка, ушла опять хо-вздохнуть свободно, я думала, что грудь моя разорвется. Приходитъ Ко-а, я разсердилась и съ досадою спрашиваю: «Что тебѣ надо?»—«Вамъ кла-

няется, завтра какъ можно раньше»... Я бросилась ей на шею, потомъ на диванъ, и одна слеза только выкатилась. Каково было,— ты знаешь. Нѣсколько разъ бѣгала наверхъ къ своему окну, и каждый проходившій, каждая сани—все казалось мнѣ тобою, насильно отводили меня отъ окна. Наконецъ, огонь потушенъ, все спитъ, а я такъ, какъ была до этого недвижна, то прижмуся къ стеклу, то преклоню колѣна, потомъ силы меня оставили, вся какъ ледъ, а голова горитъ, а грудь ломится на двое, признаюсь, я даже боялась, будетъ ли силы сойти. но Богъ! Минуту какую-нибудь я забылась сидя, мнѣ снилось, я къ тебѣ, просыпаюсь—свѣтло, хочу идти,—а то былъ еще только 2-ой часъ. Бакково—ждать еще 4, истинно, одинъ Онъ подкрѣпилъ меня. Не спустя глазъ, смотрѣла въ окно—лай собаки, и сердце замерло, стукнули ставнями—шорокъ на лѣстницѣ... дверь ко мнѣ открывается... О!.. я бы не дошла сама. ангель хранитель несъ меня къ тебѣ на крыльяхъ, къ тебѣ, мой ангель... Довольно, довольно! О, съ какимъ восторгомъ увидѣла бы я стрѣлу, летящую срязить насъ обоихъ тогда, и зачѣмъ мы остались еще здѣсь. Ангель мой, тремя годами страданія заслужили мы 3 марта, ежели есть *болше* 3-го марта,—сколько же намъ страдать еще? Но ты мнѣ столько силы и твердости влилъ, такъ оградилъ мою душу отъ всего мрачнаго, — пусть бунтуетъ все-вкругъ насъ, я, сложа руки. устремлю взоръ на то мѣсто. Божество мое! Ахъ, зачѣмъ, зачѣмъ я не превратилась въ пылинку, чтобъ такъ умчаться на груди твоей. Александръ, Александръ, послушай, ангель мой, я люблю тебя и, возможно ли, еще болѣе люблю: какъ же я осталась на землѣ, я тысячу разъ спрашиваю себя, какъ могу я говорить?.. Я жива, потому что все ты вокругъ меня, твое дыханье, я чувствую твой поцѣлуй, еще онъ длится, длится на мнѣ, я еще на груди твоей, ты не оставилъ еще меня, потому я жива. Господи! Господи! Нѣтъ, что же я не превратилась въ пылинку, зачѣмъ на этомъ диванѣ, а не тамъ... Довольно. Закрою глаза, и опять утро, седьмой часъ...

Утро, 4-е, пятница.—Вотъ опять седьмой часъ, посвятимъ его, ангель мой, во всю жизнь молитвѣ. Мнѣ начинаетъ казаться прошедшимъ вчерашній день. Но прошель ли онъ въ самомъ дѣлѣ, не опять ли идти мнѣ туда, не опять тамъ ждать меня мой ангель? *Нѣтъ*, теперь только мнѣ *кажется*, что *нѣтъ*. Неужели все прошло, прошло и не возвратится, скажи мнѣ, Александръ, скажи, ангель мой; да, вотъ ужъ свѣтло, а не слышенъ лай собаки, ставень не стучитъ, дверь ко мнѣ заперта. и все тихо, тихо. И ты дома, во Владимірѣ, что-жъ я и тамъ же?.. Или довольно жить?.. *Нѣтъ*, ты сказалъ: «жить, жить!» Хорошо гнети меня теперь все, рази, души, меня спасетъ седьмой часъ, воспоминаніе о немъ воскреситъ меня изъ мертвыхъ. Воспоминаніе, *нѣтъ* это болше воспоминанія, что-то отъ этого часа осталось въ груди и будетъ жить въ ней до гроба и перейдетъ въ вѣчность и сольется съ Нимъ, какъ души наши. Братія! благословляю васъ на все, приготовляйте крестъ, гвозди, копьё и терновый вѣнецъ. Его вѣнецъ уже на нашей душѣ, седьмой часъ ужъ нашъ, вы не убьете насъ, теперь смерть намъ недоступна.

4-е марта, 12-ый часъ.—Такъ, прошель вчерашній день, прошель, я это знаю. Давеча въ 8 часовъ вошла я въ ту комнату. Тебя *нѣтъ* ужъ тамъ, ангель мой, а та дверь, у которой ты стоялъ, тамъ; диванъ тамъ,—я цѣловала ихъ, прочъ бы не отошла. Если мы еще не увидимся, я желала-бъ умереть на томъ мѣстѣ. Не увидимся,—да развѣ это можно? *Нѣтъ*. Теперь удары и страданія всѣ должны увеличиться, а тамъ, а тамъ... а тамъ ужъ никто не разлучитъ насъ ни на ни-

нугу. Вотъ чего я не помню: какъ же мы простились, какъ я дошла до постели? Здоровъ ли ты, мой ангелъ? Пиши, ради Бога, ради меня, берегись, *теперь мы можемъ все*; если-бъ ты зналъ, какъ я берегу мое здоровье, потому что я знаю, что этимъ я берегу тебя, какъ же ты не будешь беречь меня? Ахъ, гдѣ-то ты, что съ тобою?

Вчера получила картину Мед.—превосходна. Теперь я не буду ее отдѣлывать, пусть пока по дорожному, у меня и все теперь по дорожному. Благодарить мнѣ ее? Я думаю тогда, какъ она мнѣ напишетъ. Только давеча прочла письмо. Какъ отдались мы надеждѣ, какъ увѣрвали въ папеньку! Это ужасно, я не понимаю его, и все-таки не вѣрю его жестокости, нѣтъ, слишкомъ силенъ голосъ души моей, только я не желаю его видѣть теперь. Ежели тебя пустять, тогда нѣтъ сомнѣнья, *единственный* сынъ, страдалецъ и на колѣнахъ,—о, нѣтъ! въ сердцѣ человѣка не можетъ быть столько окаменѣнья, я не вѣрю этому. Да, а теперь я ничему худому не вѣрю. Ангелъ мой! Въ груди моей теперь еще нѣтъ столько пустоты, чтобъ желать чего, я еще все повторяю, устремивъ взоръ къ Богу: довольно, довольно! Смотрю на то мѣсто: довольно, довольно! Вѣдь, я ничего не умѣю сказать тебѣ, что я чувствовала, и на что? Я знаю, что ты чувствовалъ, такъ и ты знаешь.—Вчера я не могла молчать, а тяжело было и писать, между каждой точкой долгое молчанье, я рѣшительно не понимала, что было кругомъ меня, недвижно лежала на постели, и всѣхъ, кто приходилъ ко мнѣ, крѣпко обвиняла, но хотѣлось, чтобъ никого не было, никого. Я все бы теперь лежала, ничего бы не дѣлала; а ты мчался вчера. Что, ангелъ мой, вѣришь ли ты, что видѣлъ твою Наташу, что ея голова была на груди твоей, что она цѣловала твою руку, вѣришь ли? Портретъ я общаю, только погоди, я не могу думать. Ангелъ мой, тебѣ ли не быть всегда безопадно, смотри, какъ ты вооруженъ: и браслетъ, и кольцо, и медальонъ,—а я... по, нѣтъ, не то хранить насъ, мы хранимъ другъ друга, мы неразлучны. Ахъ, Александръ, Александръ, тебя ли я видѣла, ангелъ мой, да какъ же я жива, какъ осталась душа послѣ тебя здѣсь, и въ этой тѣсной тюрьмѣ? Скажи мнѣ, былъ ли ты у меня?—Все ты же и душу удержалъ на землѣ, какъ оставить тебя, а го... о, какъ бы вознеслась она туда, туда, гдѣ будетъ вѣчно седьмой часъ. Пиши мнѣ подробно путешествіе *Матвѣя* съ первой минуты до послѣдней. Теперь мнѣ видѣется и Загорье, но такъ, мелькомъ, еще не закатилось солнце, залившее душу свѣтомъ, еще ты не ушелъ отъ меня, еще слышу, о, ясно слышу голосъ моего ангела: «Наташа». И кто-жъ нынче ночью цѣловалъ меня, кто жалъ руку и такъ полно смотрѣлъ на меня,—все ты же, ты!—Александръ, я боюсь, что тебѣ грустно теперь, мнѣ не грустно. *не заставляй* меня грустить. Нѣтъ, это былъ бы непростительный ропотъ, неблагодарность противъ Его. Ужасно боюсь, скажи, ангелъ мой, скажи откровенно,—да и можно ли грустить, вспомни 3-е марта, да на что вспоминать его, оно не прошедшее, оно въ нашей груди, оно дополнило душу нашу, теперь оно наша жизнь до нашего *тогда*. Фу, ни на что не могу глядѣть, отговариваюсь болѣзнью и сижу, или закрывъ глаза, или неопредѣленно устремя взоръ; только на ту дверь, на тотъ диванъ могу смотрѣть. Александръ, ты въ которомъ часу встаешь, посвяти 7-ой молитвѣ, преклони колѣна и помни, что твоя Наташа также на молитвѣ съ тобою. Ахъ, ангелъ мой, какъ рѣзко страданіе на лицѣ твоёмъ, дай же мнѣ клятву, что ты будешь хранить себя. О, до тѣхъ бы поръ я не отошла отъ тебя, пока совершенное спокойствіе не выразилось бы на тебѣ, до тѣхъ поръ бы цѣловала, пока все мрачное и по-

слѣдній слѣдъ страданья исчезъ бы, а теперь я боюсь, боюсь ужасно. Жизнь моя, Александръ, не отнимай у меня жизнь. Ну, прощай, мнѣ не грустно сказать тебѣ: прощай, теперь я не вижу въ немъ мрачнаго, не понимаю его. Богъ мой! да сказала ли я тебѣ хоть слово, ангель мой, такъ тѣло отстало отъ души, что я овѣмѣла, мнѣ трудно было выговорить слово. Что ты, здоровъ ли, пиши, да, береги, береги Наташу.

8 часовъ вечера, четвертое же. — Часъ тому назадъ твое письмо отъ 3 марта—9 часовъ. Да.

Спустя.—Что слова, это тѣло, они такъ же грубы, такъ же мало выражаютъ душу, какъ я любовь. Но я только и помню, ты говорилъ: жить, жить, Наташа, ангель. Потомъ я что-то спросила,—ты сказалъ о Провидѣннн, еще: слава Богу, слава Богу. Ты простеръ руки и изображалъ тогда собою крестъ. Да. Да, мой ангель, да совершится Его воля.

11 часовъ вечера.—Александръ, ежели бы ты не сказалъ: *жить*, я бы лежала теперь въ гробу, то есть, тѣло мое, а душа... Но ты сказалъ *жить*, и вотъ я новорожденная! Будь и ты новорожденный, да будетъ наша жизнь—седьмой часъ третьяго марта и здѣсь и тамъ, у него лучше нѣтъ. Еще ты сказалъ: теперь я отдамся Провидѣннн, теперь я на все готовъ. Болѣе не помню. А я—ты видѣть, какъ мнѣ трудно было вымолвить слово. Въ прошедшемъ что у васъ—9 апрѣля, но оно звѣзда потухшая, потонувшая въ морѣ свѣта 3 марта. Александръ, ангель мой, первое, что утѣшало меня, первое, чѣмъ восхищалась, какъ только начала чувствовать,—было восходъ солнца и тонувшая въ немъ звѣзда. Я бывало съ вечера не спала до самаго того время, какъ звѣзда исчезнетъ вовсе, тутъ я молилась и засыпала. Ангель, вотъ оно 3 марта, но что я теперь въ сравненнн съ тѣмъ, что была тогда,—то 3 марта въ сравненнн съ восходомъ солнца. Ты какъ Іоаннъ Креститель, создавшій Христа, создалъ меня,—говоришь ты... Нѣтъ, но Александръ, какъ мѣрять нашу любовь, мы одно, мы не Александръ и Наталія, мы Александръ-Наталія.

Прежде я думала, что, увидѣвшись съ тобою, мнѣ невыносимо будетъ здѣсь. О, нѣтъ, хорошо! мнѣ хорошо здѣсь, и всѣ хороши, Богу слава и всѣмъ благословеніе. Пришли мнѣ перчатку, съ которыми былъ у меня, я наганунѣ хотѣла взять и забыла, я пришлю тебѣ поясъ, которымъ съ вечера, т. е., 2 марта, подпоясалась для того, чтобъ отдать тебѣ, и забыла. Портретъ поручу Егору Иван., онъ долженъ растолковать живописцу и научить, какъ поступить.—О, какъ не хотѣлось мнѣ выпустить изъ руки медальонъ, но онъ *твой*. Пора проститься—благословляю тебя. *Кто-жъ* меня благословить, кромѣ тебя? Ангель, посмотри, посмотри на меня еще, я не могла долго смотрѣть на тебя, голова невольно клонилась на грудь твою. Помни же 7-ой часъ утра и будь всегда на молитвѣ. Ну, цѣлуй меня.

[4 марта].

Нѣсколько минутъ тому, какъ запечатала письмо, но возможность писать и мнѣ невозможно утерпѣть. Да, что слова, Александръ, вѣдь, и теперь пусто, что я пишу, ни цѣлуй вѣчность говоря такъ, мы не доскажемъ другъ другу, а въ то мгновеніе, какъ сказалъ ты мнѣ... Давеча я стояла долго, долго у тѣхъ двери, тебя нѣтъ, но твоя душа со мной, во мнѣ. Послушай, ты пробѣги только мои письма, не перечитывай, больно видѣть разсѣянную душу, раздробленную на слова; безъ вниманія прочти все и взгляни вверхъ, тамъ будетъ вполне и

какъ, какъ только могъ создать Богъ, то, что безобразно и убито въ словахъ. О, ангель мой! О, нѣтъ, ужъ не могу болѣе. Вотъ другія сутки у меня ничего не было въ рукахъ, кромѣ пера. А вчера до вечера ничего не было на губахъ, кромѣ твоего поцѣлуя, вечеромъ меня принудили ѣсть. Ночь я какъ мертвая пала, видѣлся ты. А ту ночь—послѣ опишу ее, по ея милости теперь ухаживаютъ за мной, какъ за больной, и даютъ свободу. О, Александръ, не длится ли о-й часъ и теперь, не будетъ ли онъ длиться до вѣчности и вѣчность? Да, да, еперь молиться.

5-е, суббота. Утро, 7-ой часъ.—Всегда молилась я, но молитва мнѣ была и необходима въ этотъ часъ, теперь—колѣна сами преклоняются; взоръ стрелится туда, и Онъ внимаетъ. Слава тебѣ! Теперь веди насъ по Своему пути, да къ одному мгновеню, переступить вмѣстѣ порогъ въ вѣчность, веди хоть режь крестъ Нѣтъ, ничего не прошло, ничего. Но ты говорилъ: «я не погибну, пока не увижусь съ тобой»,—теперь мы не погибнемъ никогда, теперь у насъ въ будущемъ одно мгновенье: вмѣстѣ переступить въ вѣчность и стать передъ нимъ.—Ужъ скоро часъ ночи, а меня только-что оставили *мои*; нѣкоторымъ изъ нихъ я все,—и жаль мнѣ лишать ихъ себя, я принуждаю себя говорить, а къ тяжело, требуютъ малѣйшія подробности, а меня тѣснить даже и взоръ, мой близкій, родной взоръ.

Ты писалъ: «пусть тогда люди забудутъ насъ, а друзья все останутся друзьями». Ничего и никого ненужно было мнѣ съ тобою; и до сихъ поръ я готова и на крестъ для нихъ, лашъ не заставляйте меня смотрѣть, говорить, а рта ужасно велика. Тутъ было открытое небо, открытый рай, самъ Господь шелъ тогда къ намъ... Да я и постигнуть всего не могу, не только выразить, утъ вопросъ, вопросъ, полный участія, теплоты, родного, но отзывающійся лею,—ужасно, онъ разомъ обнимаетъ душу холодомъ и страданіемъ. Хорошо, уду говорить, только не прерывайте меня, не смотрите на меня.

Ангель, третій день прошелъ, а, мнѣ кажется, и минута не дѣлится меня съ часомъ. Я выздоравливаю тѣломъ, но все еще ничего не дѣлаю, а время гечетъ быстрою рѣкою, а разливается безбрежнымъ моремъ, не волнуется, немъ, не дробясь, отражается 3-е марта. Теперь я могу умереть и жить, жить, лась арвіня, *я видѣла все!* Александръ, замѣтилъ ли ты, какъ невыносимы были твой взоръ, какъ внезапно озаренная твоимъ свѣтомъ и величіемъ, имъ Божествомъ, я не могла долго глядѣть и клонилась на твою грудь. О, ангель мой, какъ вполне желала я умереть; *только этого* я могла еще желать тобою. Но ты сказалъ *жить*, и воля Его,—можетъ, тамъ, далеко въ будущъ, Онъ создастъ намъ еще мгновенье.

Я еще чувствую твои объятія, Александръ! они, какъ божественная риза, лваютъ меня отъ земли, и землю скрываютъ отъ меня; кругъ меня все такъ о, такъ ты, что никакая сила земли не достигнетъ меня. Видѣла я и твою ость, мой ангель, о, ты мой! ты мой!... Не долго наше странствование еще олжится, близко, близко небо, близко родной край, родной Богъ. И Ты не лъ благословить меня!—Кто же? Кто же, Александръ, укажи; *на кою ука- ли ты*, я склонюсь предъ тѣмъ и приму благословеніе. Только сегодня я могла лать,—и твою слезу видѣла, она блистала во взорѣ, но не канула, нѣтъ, лилась съ моею и пошла къ Богу.—Исцѣлилась ли твоя душа? О—теперь, открытыми объятіями встрѣтнимъ крестъ, сами пойдемъ къ нему. О, дивно, о, мой ангель, твой поцѣлуй... какъ, чѣмъ передать, научи... И теперь я

пью его, как источник жизни святой Господней, я такъ чувствую себя святою, что не смѣю касаться земли, не смѣю на что-либо устремлять взоръ, онъ устремленъ, но неопредѣленно, ни на какой вещи, а сквозь все, устремленъ на тебя. И какъ необъятенъ ты, какъ божественъ, ты мой!

Ежели я *перемѣнила* тебя, ты *создалъ* меня. Мнѣ было *что* перемѣнить, ты создалъ изъ *ничего*. Создалъ Наташу и далъ ей себя—слава тебѣ! Говорать, я ужасно странна теперь въ поступкахъ, такъ еще слѣпы они,—когда жъ имъ земля будетъ дверью въ небо? Господи, твори, твори святую волю Твою, Ты отнялъ отъ насъ землю, но не отнялъ насъ отъ земли,—да будетъ такъ, ежели это угодно Тебѣ. И мы будемъ на землѣ жить безъ земли, вся жизнь наша гниетъ Тебѣ, хвала Тебѣ, слава Тебѣ, любовь Тебѣ. Святъ, святъ, святъ Господь Богъ!

М. Ст. уѣхала къ Троицѣ.

3 часа ночи, Липны, 50 верстъ отъ Владиміра.

Ангель, ангель, всю дорогу была ты предо мною. Я счастливъ до безконечности, нѣтъ, больше, больше! И ты сдѣлала все это!

4 марта, пятница.—Сегодня въ десятомъ часу утра сидѣлъ у губернатора въ кабинетѣ *съ дѣлами* одинъ молодой человѣкъ, немножко обвѣтренъ съ дороги, немного уставши,—и думалъ объ дивномъ снѣ. Да, торжественная минута свиданья! Ты пишешь: нѣтъ у Бога другого 9 апрѣля, — но вотъ 3 марта, оно свято на всю нашу жизнь, оно полно, полно, *а всего полчаса*. Все заплачено, все выкуплено, забыты прошлыя страданія 0, ты ангель, ты велика, необъятна была въ ту минуту, когда благословила меня, тогда я не могъ быть равнымъ. И ты не плакала, когда я пошелъ и пошелъ, можетъ, опять надолго,—ты не могла плакать, ты выше слезъ, выше земного была. Пусть эту минуту извѣяютъ, это высшая минута 3 марта.

Итакъ, главное совершено,—мы увидѣлись *взрослыми*; свирѣпая судьба перестаетъ гнать, что въ будущемъ?—Его воля: и въ смерти много, и въ жизни много, потому что любовь не знаетъ разницы; но зачѣмъ ты вовсе отворачиваешься отъ жизни, это неблагоприятно для 9 апрѣля и 3 марта, а въпереди Загорье—это разъ, а потомъ та минута, когда мы, обнявшись, можемъ глядѣть другъ на друга, безъ того, чтобы Костенька напоминала (она же похожа на скелетъ). Что со мною было на дорогѣ, это легче сказать, нежели, что было 2-го и 3-го марта до 9 часовъ. При свиданьи я не могъ придти въ себя, это была и буря и гармонія, и океанъ свѣта, и туманъ свѣтлой же; я чувствовалъ, что мысль и слово не поддаются, и мнѣ ненужно ихъ было, я чувствовалъ поцѣлуй Наташи, Наташу возлѣ на диванѣ,—это я зналъ. Зналъ ли въ ту минуту, какъ меня зовутъ,—не знаю, зналъ ли я еще что-нибудь?

Когда К. взошелъ въ ворота, я стоялъ у фонарнаго столба, — кровь жгла, сердце билось, и двѣ крупныя слезы налились въ глаза; потомъ въ залѣ стоялъ я у печки, закрывъ рукою лицо, и право ни о чемъ не думалъ, ни даже о тебѣ, внутренней трепетъ, и какой то огонь пробѣгалъ... Ну, вотъ ты....

Молча, скрестивъ руки, сидѣлъ я у К., говорить не могъ, просить вѣя, чтобъ залить пожаръ, рѣчь моя была несвязна, рука дрожала,—тогда я написала тебѣ записку (получила ли отъ 3 марта передъ самымъ отъѣздомъ?) Потомъ опять снѣговая пелена на природѣ, возгласы ямщика. Душа была свѣтла, но тѣло совершенно изнемогло, я уснулъ мертвымъ сномъ, и во снѣ являлъ

ты, — проснулся въ половинѣ четвертаго уже за 50 верстъ отъ тебя. Волненіе улеглось, — о, тогда-то было свѣтло и хорошо, Боже мой! Тогда-то я взглянулъ на небо и помолился. Наташа! Наташа! Всѣ твои слова, твои взгляды, твои поцѣлуи, рука твоя въ моей, рука твоя, обвившаяся вокругъ моей шеи, — все, все, я готовъ былъ плакать, смѣяться, умереть.

Знаешь ли ты, мой ангелъ, что ты похорошѣла (я говорю тебѣ комплименты), право похорошѣла, и именно въ ту минуту, какъ ты благословила меня, была ты дивно хороша. Великая, святая, *моя!*

Почему я трепеталъ передъ Emilie, я, кажется, умѣлъ хитро поступать въ очень трудныхъ обстоятельствахъ, а тутъ Emilie явилась восточной звѣздой свиданья, — очень хорошо, что тутъ былъ человѣкъ, я бы надѣлалъ глупостей. Наташа, сестра, я требую награды за 3 марта. Портретъ, какъ хочешь, портретъ. Emilie, сдѣлай какъ-нибудь, дай образъ моимъ комнатамъ.

Приѣхавши, нашелъ твои письма (отъ 1 марта) съ улыбкой распечатавъ ихъ, я имѣлъ вѣсть *свѣжее ихъ*. — Нѣтъ, онъ *еще* не достоинъ имѣть сына Александра, нѣтъ, ты увлекаешься, даже самое позволеніе будетъ отравлено его холодностью. Я еще писалъ и ужъ отчасти другимъ тономъ, я менѣ умолялъ и поклялся, что ты будешь моею, я написалъ, что ни угрозы, ни просьбы, ни жесткость, ни слеза ничего не помогутъ, что мнѣ это больно, — «но я рѣшительно поступаю по голосу, который слышѣе и выше отцовскаго». — Левъ Алексѣевичъ знаетъ. Что-то Son Excellence *mr. général*, — онъ меня любить *по своему*. Жертвуя ими для тебя, я даже не вижу огромности жертвы (можетъ, моя вина, но я такъ чувствую). Благодарность за послѣдніе 4 года, вотъ что связываетъ меня; во всю мою юность пап[енька] былъ со мною жестокъ. И самая любовь была эгоизмъ, теперь онъ говоритъ, что не запрещаетъ, — благодарность ему, это-то и надо. Но онъ дѣлаетъ условіе послѣ быть ему чужимъ, — принимаю. Если отецъ можетъ сыну это сказать, то сынъ въ правѣ принять. Я буду за него молиться, я буду въ душѣ сынъ, но наружу не выставляю тогда чувства. Ты, ангелъ, говорила (*говорила*, о, какъ это сладостно послѣ «писала»): «остановимъ ихъ въ покоѣ», да, оставимъ, но прежде соединимся. Лишь бы совсѣмъ миновала моя черная година, я окончу быстро. Когда ты прислонила твою голову на мою грудь, развѣ ты не чувствовала, что она тебѣ необходима. *Итакъ, да будетъ*. Душа моя, ты пишешь: «а сюда приѣхать никакъ нельзя». Наташа, можно или нѣтъ? Другъ мой! Да, это важное событіе въ нашей жизни. Ег. Ив. собирался, мы сѣли обѣдать, я былъ задавленъ чувствомъ тяжелымъ, ты его видѣла въ прошломъ письмѣ. Вдругъ въ сердцѣ (не въ головѣ) явилась мысль такая свѣтлая, что я едва могъ ее вынести. Отвергнуть ее я не могъ, я могъ не ѣхать до нея, послѣ не могъ, — и не прошло сутокъ, я стоялъ запыленный, усталый и трепещущій передъ Emilie. О, какъ мнѣ хотѣлось хоть бы сжать ей руку, должно быть, я показался ей очень глупымъ, потому что и К. удивлялся *моей глупости* въ продолженіе всего времени.

Ты наша, что я похудѣлъ. Страданія глубокія провели черту по лицу моему послѣ 9 апрѣля, о, я много страдалъ, но все это прошедшее. Одна исторія съ М. независимо отъ всего панесла мнѣ ударъ ужасной. И гордыя мысли, выходя наружу, клеймили лицо, и неудавшіяся надежды, и гнетъ обстоятельствъ. Голова, которая такъ пламенно жаждала склониться на твою грудь, истомлена въ самомъ дѣлѣ, ты это видѣла. И могу ли я послѣ этого отдавать наше соединеніе? Ахъ, сколько прожилъ я съ 20 іюля 1834 года, и было подчасъ горько,

больно, теперь открытѣ буду говорить о прошедшемъ; ужасно было начальное время въ Вяткѣ, но всего ужаснѣе 14 ноября, — и этой минутой я обязанъ книгѣ. Было нѣсколько часовъ тогда, въ которые смерлось на душѣ, какъ смерлось въ мірѣ, когда Христосъ былъ распятъ: ни струи свѣта, мысль смерти, отчаянная, болѣзненная, постучалась въ душу, второе письмо исцѣлило, но я былъ боленъ двѣ недѣли. Когда послѣ болѣзни меня увидѣли, всѣ ахнули пережить, будто я нѣсколько мѣсяцевъ былъ боленъ. За эту минуту благодарю ея сіятел., а то, можетъ, мнѣ во всю жизнь не пришлось бы испытать. Какъ теперь помню, какъ я сидѣлъ у Скворцова за столомъ и слезы градомъ катились, какъ молча жалъ ему руку и говорилъ *насмѣшки*, какъ стоялъ у печи и дрожалъ отъ холода, — но забудемъ черную годину.

Ночь. — Провидѣніе! Въ прахѣ предъ тобою долженъ человекъ молиться. Жизнь высока — не умѣютъ люди жить. Вагляни на мою жизнь теперь, на эту жизнь, начинающуюся стройнымъ, услышь 20 іюля, *крещеную* 9 апрѣлемъ, преображенную, *исполненную* 3 марта. И пусть крючья, которыми соединены эти картины, пусть они изъ желѣза, какъ цѣпь, и холодны, какъ цѣпь, что за дѣло до промежутковъ. И вся-то эта жизнь создана тобою, не я ли твое созданье? Этотъ кусокъ мрамора тверже и больше человекъ, но человекъ ему придалъ мысль и чувство, но артистъ далъ образъ ему и вдохнулъ душу, безъ этого мраморъ былъ бы необразованъ. Этотъ художникъ — ты, твое вліяніе на меня огромно, я отдаю тебѣ безусловно, веди любовью. О, какъ бѣдна и ничтожна земная слава предъ любовью. Любить — и больше ничего! Natalie, ты счастлива много, я понимаю, что ты счастлива много, кто другой сравнитъ любовь къ себѣ чью-нибудь съ тою любовью, которою я люблю тебя. — Ты сказала: «ты бы умеръ, потому что не было бы Александра у тебя». Нелѣпость; а Natalie не была бы развѣ, а ея слова достаточно спасти меня.

Къ твоему письму. — Ты какъ-то худо понимаешь поэзію роскоши и поэзію наряда; ужъ изъ того видно, что худо понимаешь, что поставила рядомъ съ обѣдомъ. Обѣдъ — животная необходимость, низкая, грубая. Роскошь имѣетъ весь характеръ изящнаго — величайшую ненужность, стремленье къ красотѣ; я не нахожу ничего дурного, ежели бы на твоихъ волосахъ блестя теперь нитки брилліантовъ, желала ее смѣшно. Нѣтъ, ангелъ, признаюсь откровенно, люблю пышность, пышность дома и комнатъ пуще всего, но могу безъ горести ограничиться кускомъ хлѣба, — это дѣло совсѣмъ другое. Мы оба стремимся въ Италію, но не будетъ возможности, такъ не поѣдемъ, это не мѣшаетъ однако говорить. Впрочемъ, мысль пышности слишкомъ родна бывшимъ мечтамъ самолюбія, или она и проникла въ душу. Однако, замѣть, доселѣ только два различія между нами. Иронія и пышность. Ты подумаешь — и гордость. О, ангелъ мой, твоя душа горда, горда въ смиреніи, въ бѣгствѣ отъ земли, только гордость у тебя, какъ и все, развилась подъ вліяніемъ молитвы и любви; но иногда и тутъ прорывается изящно, прелестно. Помнишь ли, ты мнѣ писала года полтора тому назадъ о сѣ. какъ люди приходили просить милостыню, и какъ ты имъ давала питье; вспомни заключенье, которое ты вывела *на яву*. Нѣтъ, въ насъ все одинакое. — 28-го февраля ты писала: «Охъ, близко, близко что-то». Итакъ, душа, угадала 3 марта. Да неужели это было въ самомъ дѣлѣ, неужели ее, ее прижалъ я тогда къ сердцу? О! ее, — все бытіе сказало, что это она. Наташа, тебѣ это былъ первый поцѣлуй, первое объятіе. Да, на тебѣ нѣтъ ничьей печати, все мое. Наташа, что тутъ много говорить, ты понимаешь. Какъ прелестно въ твоихъ

устах мое имя, я всякой раз прислушивался, ты умѣла любовь передать въ самой звукъ.

Addio.

5 марта, суббота.—Да, что за бѣда, ежели кн[ягиня] выгнать,—это хорошо, скорѣй развязка. Впрочемъ, еще разъ отдадимся Богу, я доволенъ жизнью, она была не полна до 3 марта, теперь что угодно: бросить въ Бобруйскъ скопаннаго, или растянуться угловатыми членами на койкѣ больницы и умереть, или завтра съ тобою въ Италію,—да будетъ Его воля. Но это не значить сѣсть сложа руки, совсѣмъ нѣтъ, дѣйствовать и покоряться.—Поцѣлуй долгій, олігій тебѣ отъ Александра.

Вечеръ 5-го марта. Владиміръ.

Мало-по-малу чудотворная сила свиданья дѣйствуетъ. Взоръ спокойно обращается на враждающую судьбу, буря тише, небо яснѣе. Легче настоящее, легче якая работа. Отчего? Развѣ мы придумали, обдумали и о чемъ мы говорили? говорилъ глупо, разумѣется, глупѣе всякаго письма. Что-жъ пережилось? е, и подъ вліяніемъ высокаго дня мы проживемъ долго, мы *видѣли* нашу любовь. Свиданье было такъ обширно, что я не понялъ его; право, я безъ гости разстался съ тобою, душа не могла равно ни сладкаго понять, ни горького, понявъ разлуку и *свиданье*, забывъ разлуку въ свиданьи. Мнѣ казалось, да я вышелъ, что я сейчасъ возвращусь, и опять ты въ моихъ объятіяхъ, малое вѣлѣпостью, что я ѣду, даже вѣлѣпостью, что между 9 апрѣлемъ и гартомъ три года. Все исчезло, я жилъ свиданьемъ, поцѣлуемъ, жилъ той той минутой, когда прижалъ тебя къ груди, а остальное не заслуживало *иманья* такъ, какъ гвоздь, на который я могъ бы напороть ногу, бѣжавъ къ ѣ. До него ли? И теперь едва-едва я начинаю понимать всю важность о марта. Святъ, Святъ, Святъ Онъ.

Наташа, другой мой, какъ глупо, пошло заниматься чѣмъ-нибудь. кромѣ то. Все это области другихъ: вамъ науки, намъ слава, чины, мнѣ—Наташа, е вы надо мною, а я надъ вами улынусь. Вздоръ, мое литературное припье, Богъ съ нимъ, писать можно *отъ скуки*, мое призванье—ты, и ежели что-нибудь помимо тебя въ душѣ—это дружба, остальное вонъ. Да и чего искать, развѣ человечество заплатитъ мнѣ за усилія и страданія, за потъ бцы твоимъ взглядомъ, твоимъ поцѣлуемъ.

Наташа, слезы скатились съ глазъ теперь, отчего! Не отъ грусти жгучей, въ грусти святой, сладкой. О, Наташа, что ты сдѣлала со мной, последнее анье кончило пересозданье, возьми же своего Александра, онъ рассчитался ѣмъ, онъ весь твой, владѣй имъ. Natalie, я трепещу и слезы мѣшаютъ ть. Этого еще не было со мною, небесная подруга, нѣтъ, не умремъ еще ѣ, еще 3 марта, еще. Но остановись, Natalie, остановись, не дѣлайся выше, высота совсѣмъ поданить меня; я утратилъ часть гордой самобытности, которую грубо вѣснялъ людьми въ тебѣ, еще шагъ, и я уже не твой андрѣ, а твой рабъ,—а будто это не высоко. Царствуй, потому что ты выше, вуй, потому что твой путь въ рай.

чтобъ намъ долго не соединиться.—кто это говоритъ? Кто нибудь *чужой*, онъ распоряжается *у себя*. Странно, Наташа, странно, я ни какъ не дучто моя жизнь кончится такъ хорошо, что вся душа сплавится въ любовь.

Ты, Natalie, какъ Богъ, взгляни, что добро есть созданное тобою, и почи въ величіи своемъ.— Я до нынѣшняго вечера не понималъ вполне свиданья. Что же будетъ тамъ въ Загорьѣ, я могу остаться дней пять. Убѣжимъ тогда въ поле далеко, чтобъ Костенька не догнала. Дѣтьми, дѣтьми сдѣлаемся. А ежели еще прежде ты будешь моею, ежели еще прежде ты приведешь къ алтарю показать Богу твоего избраннаго, тобою созданнаго... Тогда—тогда, само собой разумеется, нечего здѣсь дѣлать.

6-е марта, воскресенье. — Сегодня я отправлялся въ Боголюбовъ, недалеко отъ Владиміра. Тамъ смотрѣлъ я тотъ домъ, ту комнату, гдѣ 600 лѣтъ тому назадъ стоналъ в. к. Андрей, пораженный убійцами. Для меня эти живые памятники минувшаго, эти трупы прошедшаго прелестны. Даже то мѣсто показывается, куда кровь брызнула на стѣну. Потомъ пошелъ я въ церковь, по той же землѣ, въ ту же церковь, куда ходилъ Андрей Боголюбскій. Обѣдня еще не начиналась, пѣли молебны, я сталъ къ окну и развернулъ книгу каноны-ирмосы на мартъ мѣсяць, я отыскалъ святое 3-е марта, и вотъ канонъ Богородицы этого дня съ чего начинается: «Явидася еси ширше небесъ». — Да, ты *шире небесъ* явилась передо мною. Тогда я сталъ молиться, я былъ тронуть глубоко, глубоко. Евангеліе читали отъ Марка: «погубящій душу спасетъ ю, погубящій меня ради раздѣлитъ славу мою». Наташа, не то же ли я писалъ тебѣ вчера, я погубилъ мою душу въ тебѣ,— я раздѣлю славу твою. О, какъ богата любовь, какъ богата! Знаешь ли, досадно, что не всѣ знаютъ о тебѣ, мнѣ гадко говорить съ тѣми, которые не знаютъ о тебѣ, такъ, какъ христіанину гадко говорить съ жидомъ, не знающимъ Иисуса. Такъ бы всей толпѣ и сказалъ: дивись. Иду обѣдать къ губернатору. Прощай. А вечеромъ письмо, письмо!

Оно и пришло! Мы одно — вспомни свое письмо, и перечитай мое, — тѣ же мысли, тѣ же чувства, мѣстами тѣ же выраженія. И я не грустишь, а спокойнѣе сталъ, и я... ну, нечего и говорить. Получила ли письмо отъ 5? Я твое письмо читалъ и перечитывалъ съ какимъ-то особымъ *своимъ* упоеніемъ. Но знаешь ли, до какой я степени баловень, я замѣтилъ, что оно писано не тѣмъ почеркомъ, какимъ всѣ письма, а тотъ почеркъ мнѣ такъ дорогъ, такъ дорогъ, онъ-то приносилъ единственную утѣху до 3 марта.

Я думалъ тебѣ отдать *именно* перчатку, пришло ея, пришли и поясъ. И ты мечтаешь о Загорьѣ, *во всякомъ случаѣ* возможность видѣться открыта. Какъ скоро явится необходимость, ищи просто: Александръ, въ такой-то день, въ такомъ-то часу будь у меня, — и онъ будетъ. Только не употребляй во зло этого права, Аркадій подвергается меньшимъ опасностямъ отъ Мар. Ст., нежели *Манвиль* кой отъ кого посильнѣе М. Ст. Въ Загорьѣ же ужъ вовсе нѣтъ опаснаго. Паленька въ послѣднемъ письмѣ опять лавируетъ, хитритъ, говоритъ, что дѣлая столько уступокъ для меня (какихъ это?), онъ сдѣлаетъ и эту послѣднюю свиданья,— а возлѣ опять противъ. Итакъ, мы съ нимъ поговоримъ послѣ, теперь довольно. Я все это принимаю за согласіе—и довольно. Онъ говоритъ, что благословеніе не есть согласіе,—о словахъ я не стану спорить. Княгинѣ писать не вѣлѣтъ. Жду въ будущемъ письмѣ новыхъ подробностей много, много. — Увишь во снѣ 3 марта.

Да, послушай, насчетъ молитвы въ 7 часовъ, я тебѣ писалъ, что неровность права моего почти не можетъ склониться ни подъ что срочное, я десять разъ забуду, а два буду отъ души молиться. Главнѣйшее же затрудненіе то, что я просыпаюсь по большей части часу въ 10-мъ. Вотъ новое доказательство, какъ

я избалованъ, возражаю лѣнью на чистое, прелестное желанье твое. Итакъ, да будетъ,—молюсь и я въ ту же минуту, какъ молишься ты.

Какъ не стыдно Emilie писать о приѣмѣ. Но только какъ она удивилась, какъ у ней дрожала рука, милая сестра Emilie, люблю ее много, а все то это *много* ничего передъ *той любовью*, но она этимъ не обидится, и Огаревъ палъ передъ тобою,—я ему это писалъ самъ, и все, и даже Александръ.

Вотъ ужъ и терпѣнья нѣтъ: теперь—поясъ, поясъ, теперь буду день и ночь ждать пояса. А портретъ, Наташа, портретъ, а то я не буду хорошо учиться, когда гуляю, буду въ грязь ступать. А ужъ о повѣсти, о статьѣ — ни слова, милостивая государыня, вы изволите забывать авторское самолюбие!

7 марта. Поздно.—Съ чего ты, ангелъ мой, вообразила, что я боленъ, эти вырѣзанныя черты страданій независимы отъ физическаго здоровья, я и въ Вяткѣ былъ почти здоровъ. Не думай объ этомъ вздорѣ. Для тебя сохранить себя Александръ, твоя любовь сохранить его. Да и здѣшняя жизнь моя строга, какъ въ монастырѣ, я очень доволенъ собою съ приѣзда во Владиміръ. Похва-стаю тебѣ, я получилъ отъ Вятскаго губернатора письмо, исполненное любви и комплиментовъ, и здѣсь меня начинаютъ носить на рукахъ. Странно быть существенно въ самомъ невыгодномъ положеніи, а въ *сущности* въ самомъ лучшемъ. Полина говорила, что ей иногда было досадно, какъ тамъ все склонялось передо мной. Это право всякаго человѣка съ рѣзкимъ характеромъ, сталь тотчасъ отпечатывается на воску. Встарь подобное меня веселило очень, особенно въ университетѣ, теперь, божусь тебѣ, почти я равнодушенъ.

Завтра жаворонки прилетаютъ, Наташа. Итакъ, весна, снимутъ простыню съ природы, она весело вздохнетъ и на этотъ разъ и Наташя, и Александръ весело вздохнутъ. Ты боялась, что я грустенъ, о, нѣтъ, я какъ-то сдѣлался юнѣе, чище, какъ весеннее дерево. Я, вѣдь, Наташа, и природу не видалъ съ 9 апрѣля, и съ ней увижусь скоро. Тамъ нѣтъ весны въ суровомъ сѣверѣ, тамъ зима смѣняется блѣдной осенью, а здѣсь Владиміръ спитъ въ садахъ,—я буду счастливъ съ нашей сестрой Природой.—Я, писалъ въ прошломъ письмѣ, что ты похорошѣла; прежде было что-то дѣтское въ лицѣ, теперь всякій, кто взглянетъ на тебя, тотчасъ скажетъ: «она любитъ!»—«Счастливъ же онъ», скажутъ другіе. Что же сказать мнѣ? — Я скажу: я видѣлъ эту любовь въ ея взорѣ.—До свиданья, скорѣй, скорѣй, въ Загорье; а не приѣхать ли къ тебѣ 9 апрѣля.

Твой Александръ.

Вмѣсто перчатки посылаю тебѣ шнурокъ, на которомъ у меня былъ медальонъ. Два года лежалъ этотъ шнурокъ на груди твоего Александра, сколько разъ, обвитый около его руки, онъ, не раздѣльной съ медальономъ, лилъ утѣшеніе въ скорбную больную душу, — цѣлуй его, надѣнь его на твою шею, для тебя онъ святъ. Представь себѣ, что иногда середь буйныхъ оргій въ Вяткѣ, я снималъ его, чтобъ онъ не былъ участникомъ ихъ. «Какъ это глупо и пошло». Да поясъ то пришли, о портретъ самъ напишу, меня терзаетъ одна мысль: ну, какъ будетъ непохожъ. Вели нарисовать себя, какъ ты была 3-го марта, хоть я хорошо и не помню, знаю только, что сверхъ блага была какая-то мантилья или кристи, даже прическу не помню, знаю, что со стороны висѣли кудри, онѣ нѣсколько разъ касались до моего лица. Если же это неприлично (это серьезно, потому что портретъ будетъ на стѣнѣ), то въ бѣломъ платьѣ. Бѣлый цвѣтъ любимой, потому голубой.

Хотѣлъ писать къ Emilie особо—но послѣ. Пиши же все о 3 мартѣ (да своимъ почеркомъ); всякая подробность—чудо, предель.

8-е, вторникъ.—Прощай, мой милый ангелъ, будь здорова; изъ Петербурга ничего. Ежели къ Святой не будетъ полнаго освобожденія, это значить, что и наслѣдниково представленіе не помогло. Какъ хочешь, а эта мысль блѣдныиъ привидѣніемъ грозитъ изъ будущаго. Но, все-таки, святъ 1838 годъ, о, какъ онъ опередилъ своихъ старшихъ братьевъ, этотъ судорожный 1836 и судорожный 1837. Но меня еще не вовсе оставляетъ мысль, что ты будешь здѣсь. Лишь бы они поступали по жестче. Пламенной поцѣлуй любви, какъ огонь, и чистой, какъ огонь, тебѣ отъ твоего Александра.

Ночь, 8-е, Воскр[есенье], Москва.

Мнѣ рассказываютъ про меня то, что я совершенно не помню; ты поглотилъ все, и я не замѣтила ни одной мысли, ни одного дѣйствія, да онъ и не принадлежали тогда къ нашему міру. Не могу осмотрѣться, все еще такъ ново, чуждо, не узнаю ничего, не понимаю ничего, будто я жила вѣчно седьмыиъ часомъ, только его и понимаю, только имъ и живу, остальное все чуждо, все. — Такъ! Онъ будетъ путь нашъ къ Нему, онъ будетъ наша вѣчность, остальное для меня умерло, все, что не 3-е марта, то не наше! 9 апрѣля—заря его, были еще дни—звѣздочки, онъ потонули въ его свѣтѣ; оно же—оно начало того, что пройдетъ цѣлую вѣчность, и она будетъ не что иное, какъ продолженіе 3-го марта. Тяжело мнѣ возвращаться на прежнее мѣсто, которое я здѣсь занимала: я уже не умѣю быть на немъ, тяжело входитъ опять въ тѣло. *Никогда* я не стояла такъ въ храмѣ, какъ давеча, — вотъ мое мѣсто, вотъ мой домъ; сложивъ руки, преклоня колѣна, устремя взоръ къ Нему, я чувствовала, что только это *моя обязанность* и здѣсь и тамъ. Я не замѣтила бы тогда, какъ протекли бы десять лѣтъ, двадцать, и когда бы ты пришелъ за мной, чтобы идти туда,—я была бы съ той же юностью, ни дыханье времени, ни дыханье людей не коснулось бы меня. А теперь? И теперь я недоступна ничему, ты оградилъ отъ всего, ты ввелъ меня въ 3 марта и затворилъ дверь, и ничто не проникаетъ въ него. Теперь скажи мнѣ, мой жизнедавче, ждать ли мнѣ, желать ли мнѣ? Скажи, ждешь ли ты, желаешь ли ты? И чего ждать, чего желать?.. Не конецъ ли всему земному твой поцѣлуй, твои объятія. Или еще есть что неизвѣданное — святѣе, выше, скажи, я буду ждать; не то попросимъ Его призвать насъ къ Себѣ, тамъ разольется этотъ поцѣлуй всей необъятностью своей, всей святостью своей, здѣсь ему тѣсно, здѣсь онъ въ изгнаньи. Александръ! Совершилось! Теперь *тамъ* — намъ не тайна, Онъ открылъ занавѣсъ 3 марта, мы знаемъ, что рай, что вѣчность намъ готовитъ, мы знаемъ *ихъ границы*, или 3-е марта безпредѣльно и непостижимо. Я совершенно не та, какою была до этого дня, все не то, все, что было прежде,—лишь сонъ предъ разсвѣтомъ. Ангелъ! Ты снова сотворилъ меня, ты самъ явился мнѣ такимъ, какимъ я не могу тебя вполнѣ объять, не могу постигнуть. О, Боже!.. О, Александръ!..

Вчера Emilie съ осторожностью, *смячая*, сказала мнѣ, что они поѣдутъ на Кавказъ, и мы съ ней не увидимся до зны; прежде я оплакала бы эту новость, теперь я съ улыбкой посмотрѣла на нее — добрый путь! Грусть теперь мнѣ не доступна, теперь я не понимаю, что такое разлука. И что-жь мнѣ она? Я желала видѣть Emilie, — она пришла, но я не могла передать ей словами, она же

могла понять безъ словъ: одиночество, одиночество мнѣ теперь, я буду рассказывать Богу о моемъ Александрѣ, о нашемъ 3 марта. Богъ будетъ мнѣ внимать... А они спрашиваютъ, они хотятъ разсмотрѣть, они обнимаютъ меня,—это невыносимо! Богъ и Природа! они не спросятъ. Внемли, Творецъ!

Если-бъ видѣлъ ты священный трепеть, слезы, благоговѣніе, когда я иду мимо того мѣста, а мимо его ходятъ всѣ! Если-бъ видѣлъ, съ какимъ страхомъ и любовью цѣлую то дерево... Когда я буду больна, приду на то мѣсто и исцѣлюсь; когда на душу найдетъ облако, приду туда,—и ей откроется седьмой часъ. Но что говорить тебѣ, душа моя, и какъ сказать? О, ты знаешь все... Но что-жъ, такъ быстро. Господи, прости мнѣ вопросъ этотъ, Александръ, и ты прости! Зная, Господи, что у Тебя есть возможность не прерывать вѣчно того часа, я дерзнула произнести его. Или у насъ нѣтъ возможности вмѣстить всего того, что возможно Тебѣ?

Ангель мой, ангель, какъ сію минуту вижу взоръ твой. О, въ немъ-то вся и жизнь моя, и блаженство, и вѣчность, все, все... чело твое... какъ сію минуту преклоняю голову на твою грудь... О, зачѣмъ жизнь пришла поднять ее, смерть оставила бы ее вѣчно на твоей груди. Другъ мой! Да зачѣмъ ты унесъ съ собою все, хоть руку твою оставилъ бы мнѣ. Братъ, они боялись эти дни, что я сойду съ ума, они плакали обо мнѣ, они умоляли меня уживать, умоляли пить лекарство... это дружба? Наташа до 3-го марта — другъ имъ, сестра, послѣ—она преобразилась, и дружба ея свѣтлѣе, выше, но уже они не достигаютъ ея, они не могутъ помѣняться съ нею. Нѣтъ, я сирота съ ними, уединеніе мнѣ, пусть ея заложатъ камнями, пусть ни одинъ лучъ не проникаетъ, ни одна струя воздуха.—передъ тѣмъ мгновенемъ камни распадутся, а пока они не будутъ ея спрашивать, не будутъ смотрѣть на меня, не будутъ ласкать—это ужасно! Александръ, приди къ Наташѣ, она расскажетъ тебѣ о 3 марта—придешь? О!.. гдѣ же *наше тогда?* или *оно теперь?* Если да, о чемъ же я плакала давеча у томъ диванѣ. Ты пишешь: «это первая минута любви полной». Ангель мой, первая? А потомъ? сочи же мнѣ всѣ минуты любви. Первая, первая, говоришь, стало, есть вторая, третья... О, нѣтъ, не говори! Прощай. Первая минута! рошай.

7-е, вечеромъ.—Теперь я на самомъ томъ мѣстѣ; такъ же тихо; я одна. Это рошо, теперь *участіе* меня терзаетъ, я не могу теперь дѣлиться. Теперь я по существу желала бы видѣть — Сашу Б., она не стала бы меня спрашивать, не стала бы смотрѣть на меня даже вопросительно. Я сказала бы ей только: *идѣла*. Она перекрестилась бы и умолкла, и оставила бы меня, — мнѣ и ее нужно. Ты писалъ о нашемъ *trio*, а она? Другіе (то есть, *третьи*) не повѣтъ, что я видѣла тебя, они скажутъ: «что-жъ ты не весела». Какая священная *гость* наполняетъ мою душу. Мнѣ всегда бывало грустно, когда я въ ясной или ночью смотрѣла на небо, какая-то тоска, съ которою не разстался бы съ; бывало грустно въ храмѣ Божіемъ оттого, что душа видитъ небо, а живетъ землѣ, еще грустнѣе, когда причащаюсь Святыхъ Таинъ. Но *такъ*, какъ *ерь*, мнѣ грустно не бывало никогда! Такъ грустила бы я всю жизнь и всю иность. На эту грусть не промѣняла бы веселіе рая. Ты также грустишь, мой елъ? Грусти, грусти. Вѣдь, мнѣ и съ тобою-то было грустно... Душа Александръ!.. Вотъ здѣсь ты мнѣ говорилъ: «Наташа, я не желаю болѣе ничего»; съ я думала, нѣтъ, не думала, а чувствовала, что земное существованье мое кратится... Но ты сказалъ—*жить!* Мнѣ казалось уже, что я переселилась

туда, что никто меня не уведетъ отъ тебя, что и ты не уйдешь... И какъ я опять очутилась съ ними: опять постель, стѣны, *человѣческіе* голоса... Не въ самомъ ли дѣлѣ все это сонъ? Если-бъ сонъ, отчего же, проснувшись, я взглянула на все, окружающее меня годы,—какъ въ первый разъ, такъ все незнакомо, такъ не хорошо все, но *мнѣ* было хорошо. Если сонъ, отчего эта святость, эта сила и твердость, отчего грусть эта? О, нѣтъ, не сонъ, не сонъ! онъ прошелъ бы съ ночью, объ немъ осталось бы только воспоминанье, а отъ седьмого часа осталось что-то непроходящее, непрерывающее, что-то живое, божественное, твой образъ, только не осязаемый, я чувствую его теплоту, вижу свѣтъ, на меня льется благодать съ него, меня сливаетъ съ нимъ поцѣлуй,—о, нѣтъ, это не сонъ! или и все то, что за гробомъ, сонъ?

Да, ты писалъ: друзья останутся друзьями; да, воспоминаніе ихъ будетъ такъ священо, я также ихъ обниму... но говорю имъ: мнѣ не нужно васъ, оставьте меня, оставьте съ моею грустью, забудьте, что и существую я, а съ вами да будетъ Богъ! Что меня утѣшить теперь болѣе... Я хочу жить одною грустью, я уже выше всего! Кто за облаками, у самаго солнца, что тому брильянтъ съ отраженіемъ солнца! Что мнѣ дѣлать? Ничего не дѣлается, все бы бродила я вотъ по этой комнатѣ, все бы сидѣла вотъ тутъ, сидѣла-бъ, закутавшись огромнымъ вуалемъ.

7-е, вечеръ, понедѣльникъ.—Давеча, положивъ перо, я посмотрѣла подлѣ себя, смотрѣла долго... Нѣтъ, нѣту тебя, некуда преклонить головы, и она склонилась на мою грудь, и сердце сжалось, и слезы лились. Но я не просила болѣе, я говорила: да будетъ Твоя воля! Потомъ взяла твои письма, которыя ты привезъ; вѣдь, я ихъ только разъ прочла съ тѣхъ поръ, какъ получила, они скользнули по душѣ и не оставили слѣда, все, все тонуло въ свѣтѣ свиданья. Давеча же я ихъ читала, перечитывала, всматривалась во все, *что съ нами*, и не чувствительно перешла изъ заоблачнаго жилища на землю. Александръ, прелестна земля съ небесной жизнью, Богъ все сотворилъ для наслажденія челоуѣка, и ежели онъ храмъ Божій, то онъ вездѣ въ царствіи Божіемъ. Ты пишешь о Итали; вездѣ, вездѣ, гдѣ мы вмѣстѣ,—Италія, и еще болѣе Италія... Другого 3-го марта у насъ не будетъ, потому что не можетъ быть двухъ началъ, но продолженіе начатаго, и начатаго Имъ, должно быть. Идемъ, идемъ за Нимъ, не упираясь, не останавливаясь, не разсуждая, кровавый ли путь, крестный, идемъ! Этотъ путь *разлука*. Помни, ему конецъ у дверей гроба и вѣчности. Или путь *вмѣстѣ*,—что прибавить тутъ? Я не нахожу во всей вселенной ничего, что бы могло увеличить или возвысить *наше* вмѣстѣ; пусть оно въ рубищѣ, пусть безъ пристанища, пусть покрыто позоромъ и поношеніемъ толпы, — Христосъ былъ поносимъ тѣми, за кого умиралъ, пусть ему истязаніе и муки—*наше* *вмѣстѣ* свѣтло какъ рай, и свѣтлѣе рая, и полнѣе рая. *Одинъ часъ* насъ сдѣлать святыи и богоподобныи, что же сдѣлаютъ годы?.. Но, Его воля.

Только давеча я собралась съ духомъ поблагодарить Аркадыя, благодарность моя слишкомъ велика, я боялась объяснить ее всю и не хотѣла умалить. Аркадій—это чудо, я не ожидала отъ него столько. И наканунѣ я не сама говорила ему, потому что не могла, сказала слово сестрѣ его, и все исполнено превосходно, потомъ ты очаровалъ его. Теперь онъ *мой* слуга изъ всѣхъ прочихъ моихъ слугъ. А бѣдная Саша, я не прощу себѣ того, что она не видала тебя, горько плачетъ, и я не могу утѣшить ее ничѣмъ. Отчего же она не пошла,—вотъ верхъ самоотверженія! Она не хотѣла и минуты возмутить изъ седьмого часа. А я хо-

тѣла идти за ней, когда ты спросилъ ее, хотѣла — и не могла. И другая Саша еще, сойдутся онѣ объ и плачутъ. Не помню словъ, но ты указалъ на будущее, — такъ, ангелъ мой, у насъ есть будущее, 3 марта не конецъ... Ты пишешь: «черная туча поднялась на нашемъ небѣ, — Господь, развей ее своимъ дуновеньемъ». Такъ ли исцѣлилась твоя душа, я не помню ничего мрачнаго, кажется, его и не было въ прошедшемъ, не предвижу и въ будущемъ, настоящее — это 3 марта.

Какъ торжественно указывалъ ты мнѣ на браслетъ, на медальонъ, и какъ благоговѣнно я цѣловала твою руку. Съ какою *собственною* гордостью сказалъ ты мнѣ: «такъ, видишь, Наташа, что сдѣлала ты». Я склонила голову на плечо тебѣ и чувствовала, что только тутъ конецъ дѣламъ моимъ. Ангелъ мой, я трепещу, не смѣю глазъ открыть, когда развертывается передо мною дивная картина 7-го часа; только Онъ могъ устроить ее, только Онъ могъ и любоваться ею. Александръ, Александръ, о, нѣтъ, чрезмѣру блаженство наше.

8-го, *вторникъ*. — Чудно, ангелъ мой, точно минуту назадъ было *наше свиданье*; вокругъ меня в с еще небесная теплота твоего дыханья, небесный свѣтъ воего взора, а то, что происходило эти дни вчера, давеча, даже, что я сама дѣлала, — точно все стерто нѣсколькими годами. Съ какимъ нетерпѣньемъ и жду воего письма, въ немъ должно быть твое выздоровленіе полное, совершенное, акъ мое. Послѣ свиданія вѣра и упованіе мое на Бога безпредѣльны, съ ними я ничего не боюсь. Умножимъ покорность нашу, Онъ безконеченъ въ милостяхъ! Ты выстрадали 9-е апрѣля, выстрадали 3 марта, выстрадаемъ и болѣе. Онъ платитъ не по заслугамъ, лишь отдадимся Ему. Планъ и исполненіе будущаго — отдаю тебѣ и Ему, я — лишь вѣрую. Ахъ, Александръ, вѣдь, ты не покинулъ меня, вижу, вижу тебя, руки простираются, но некого обнять, прижимаются къ уди одвѣ. — Я все дивлюсь, какъ могла я пережить, откуда столько силы и покойствія при свиданьи. Если-бъ ты подсмотрѣлъ, что было въ послѣднюю чь, Спаситель мой, другъ мой, ежели-бъ ты оставилъ меня на одно мгновенье, — о мгновенье было бы годомъ ада. Ты, кажется, напомнилъ мнѣ тогда, что я не блю цѣловаться, — да, это для меня ужасно глупо, и невыносимо, кто меня луетъ, потому — то *мои* меня и спрашиваютъ всегда, можно ли поцѣловать ня. А ты, — я цѣловала тебя съ такой любовью, и страхомъ, и вѣрую, какъ лую образъ Спасителя Христа, и отъ твоего поцѣлуя я стала святѣе всѣмъ цествомъ. О, Александръ, Александръ!

Вечеръ. — Егоръ Ив. былъ, но письма еще нѣтъ, вѣрно завтра. Мнѣ пельзя го говорить съ нимъ о портретѣ. Я увѣрена, что ежели живописецъ возьмется, ть у насъ устроить будетъ можно. *Мысль и Откровеніе* читала, незнако- я слова препятствуютъ вполне оцѣнить ее; насколько понимаю, настолько су твою душу, ангелъ мой, дивный, дивный, знаешь ли ты, что ты моя душа :изнь моя, и вѣчность, и все, все... Больше всѣхъ желала бы прочесть статью архитектурѣ. Что пишешь ты послѣ 3 марта? Прощай, ангелъ хранитель ь тобою, благословеніе Бога, благодать Его, святой духъ. Видишь, — не все ршено: я благословила тебя, а ты нѣтъ, это значитъ, что придетъ *тогда* гда ты благословишь меня. Боюсь спросить объ отвѣтѣ изъ Петербурга — да ть Его воля.

Наташа Герценъ, твоя Наташа.

9-е марта. Среда.

Милая, милая невеста! Что чувствовал и сколько чувствовал я недѣлю тому назад? Каждая минута, секунда была полна, не терялась, какъ эта обычная стая часовъ, дней, мѣсяцевъ. О, какъ тогда грудь мѣшала душѣ, эта душа была свѣтоносна, она хотѣла бы порвать грудь, чтобъ озарить тебя. Пятый часъ; я стоялъ передъ Emilie теперь, а внутри кипѣла буря, нѣтъ не буря, а предчувствіе, — его испытаетъ природа наканунѣ преставленія свѣта, ибо преставленіе свѣта — верхъ торжества природы. Душа моя до того была поглощена тобою, что я почти не обратилъ вниманія на *городъ*, и ежели я ему бросилъ привѣтъ горячій, со слезою, когда его увидѣлъ, онъ не долженъ брать его на свой счетъ, и этотъ привѣтъ былъ тебѣ, съ нимъ мы увидимся послѣ. Возвращаясь, я еще меньше думалъ объ немъ, смотрѣлъ пристально и видѣлъ въ воздухѣ туманно набросанный образъ Дѣвы благословляющей. Когда мы искали домъ Emilie, извозчикъ провезъ мимо васъ, я увидѣлъ издали домъ и содрогнулся, я умолялъ К. воротиться, такъ сразу я не могъ вынести *той домъ*. Вечеромъ я подошелъ смѣлѣе, мысль близости обжила въ груди. Утромъ, когда я всходилъ, мнѣ такъ страшно было, я убѣждалъ бы отъ собачевки, отъ птицы. Ты дала мнѣ время собраться. Ожидая тебя, я стоялъ, прислонясь локтемъ къ печи и закрывъ лицо рукою, — поклонись этому мѣсту. Потомъ я бросалъ взглядъ любви полной на фортеціано и на пяльцы, которыя стояли на полу (вѣрно твои), потомъ быстро влетѣла ты, — объ этомъ и теперь еще не могу говорить. Да и никогда не буду говорить, оно такъ глубоко въ душѣ, какъ мысль безсмертія. Знаю одно: я тебя *разлюбить*, когда уже мы сидѣли на диванѣ, до этого наши души оставили тѣла, и были одна душа, онъ не могли понять себя врозь.

8 часовъ вечера. Дай, дай, моя подруга, моя избранная, дай еще прожить тѣмъ днемъ. Восемь... Льетса огонь изъ верхняго окна, я стоялъ въ переулкѣ. прижавшись къ забору, К. ушелъ, я одинъ. Вотъ Аркадій—такъ, стало, въ самомъ дѣлѣ я близко, вотъ Костенька—да, да я ее увижу, завтра въ пять часовъ въ путь. «Чего вы желали бы теперь отъ Бога?» спросилъ, шутя, гусаръ вечеромъ. «Чтобъ этотъ пятакъ превратился для міра въ часы»; гусаръ думалъ, что я съ ума сошелъ. «Для чего?» — «Онъ не умѣетъ показывать ничего, кромѣ пять, а въ пять туда, къ ней». Къ подробностямъ этихъ дней надобно сказать, что я два дня съ половиной ничего не ѣлъ, кусокъ останавливался въ горлѣ.

Позже. Ты моя невеста, потому что *ты моя*. Я тебѣ сказалъ: «у меня никого нѣтъ, кромѣ тебя». Ты отвѣтила: «да, вѣдь, я одна твое созданье». Да, еще разъ, ты моя совершенно, безусловно моя, какъ мое вдохновеніе, вылившееся гимномъ. [Приписка съ боку] И какъ вдохновеніе поэта выше обыкновеннаго положенія, такъ и ты, ангелъ, выше меня,—но все-таки моя. Оно тѣлесно въ меня, но оно мое, оно я. Тебѣ Богъ далъ прелестную душу, и прелестную душу твою вложилъ въ прелестную форму. А мысль въ эту душу заронилъ я, а преникъ ее любовью — я, я осмѣлился сказать ангелу: любя меня, и ангелъ нѣ сказалъ: люблю. Я выпилъ долгой поцѣлуй съ ея усть, одинъ я и передаю нѣ поцѣлуй. Моя рука обвилась около ея стана, — и ничья не обовѣется никогда. Понимаешь ли эту поэзію, эту высоту *моего полною* обладанія. Въ минуту гордаго упоенія любви, я радъ, что ты не знала любви отца и матери и *эти* любовь пала на мою долю. Вчера читалъ я Жанъ-Поля, онъ говорить: любовь никогда не стоитъ, или возрастаетъ, или уменьшается, — я улынулся и вздумалъ

предостеречь тебя, а то я кончу тѣмъ, что слишкомъ буду любить, сожгу любовью. Скоро ночь—святая, а тамъ и седьмой часъ.

Отчего же я такъ спокоенъ теперь, а 3 марта не прошедшее, вотъ оно живое, свѣтлое въ груди. Умереть,—нѣтъ еще, не вся чаша жизни выпита, жить, жить! Будемъ сидѣть долго, долго, цѣлую ночь, и когда солнце проснется, и когда утренній Господь блеснетъ, выйдемъ къ нимъ и подъ открытымъ небомъ сядемъ съ ними, тогда умремъ. Стѣны давятъ, опасность давить, быстрота давить. Тогда же одна гармонія разольется на душѣ, ей будетъ тепло, и трупъ согрѣется солнцемъ. Или на закатѣ, когда усталое оно падетъ на небосклонъ, и кровью разольется по западу и изойдетъ въ этой крови, и природа станетъ сыпать, — тогда умремъ. И роса прольетъ слезу природы на холодное тѣло. А чтобъ люди были далеко, далеко! Ты писала какъ-то: въ ихъ устахъ наша любовь выходитъ какой-то мишурной. Это ужасно! Да, я ни слова о тѣхъ людяхъ, которые не люди, но большая часть людей въ самомъ дѣлѣ, какъ судятъ. Насъ пойметъ поэтъ, — этого помазанникъ Божій міра изящнаго, пойметъ дѣва несчастная, пойметъ юноша, любящій безгранно (а не любившій, тотъ, для кого любовь былое, воспоминанье—тотъ покойникъ, трупъ безъ смысла). Изъ друзей близкихъ найдутся, которые пожмутъ плечами и пожалѣютъ обо мнѣ отъ души: «она увлекла его съ поприща, на женщину промѣнялъ онъ славу»... и посмотрятъ свысока. Слава Богу, что пустой призракъ, слава, наука, можетъ наполнять ихъ душу; ежели бы не было его и не было бы дѣвы, они ужаснулись бы пустоты, и ихъ грудь проломилась бы какъ хрусталь, изъ котораго вытянутъ воздухъ. Нѣтъ, Наташа, я знаю все разстояніе отъ жизни прежней и до жизни въ тебѣ. Тутъ-то мнѣ раскрылось все, а тебѣ цѣлая вселенная любви, цѣлой океанъ,—носись же, серафимъ, надъ этимъ океаномъ, какъ Духъ Божій надъ міромъ, имъ созданнымъ изъ падшаго ангела.

Natalie, Natalie! До завтраго, прощай.—Завтра письмо, какъ будто годъ не имѣлъ вѣсти, душа рвется къ письму. Неужели можетъ быть любовь полнѣе нашей? *Нѣтъ!!*

Жаль Emilie, зачѣмъ она ѣдетъ, она должна быть, когда на нашихъ головахъ будетъ вѣнецъ, — это зрѣлище еще лучше вида съ Эльборуса. Благослови твоего *суженаго*—Александра.

10 е марта, четвергъ. Утро. Я проснулся, солнце начинаетъ свѣтить. Седьмой часъ. Я молился и, вѣрно, въ ту же минуту молилась ты, вѣрно, потому что мнѣ было легко. Потомъ я опять уснулъ, видѣлъ тебя во свѣ, но смутно, видѣлъ, что ты мнѣ подарила портретъ и непохожій, было досадно. Кстати, отсутствіе Мар. Ст. можетъ дать время живописцу. Твоего письма къ М. я еще не посылалъ, жду прежде отъ нея отвѣта, за картинку, разумѣется, благодари тогда, когда она напишетъ. Успокоилъ ли то Богъ ея душу? Какъ дивно чисто былъ бы твой Александръ безъ этой встрѣчи; она какъ убитое тѣло, брошенное въ ручей, кровь вмѣшалась въ струю, — но, чѣмъ дальше, тѣмъ чище опять ручей.

11-е, пятница. Утро. Похвальный листъ тебѣ, Natalie, и выговоръ. Похвальный листъ за письма, я съ восторгомъ смотрѣлъ, еще не раскрывая, на *колличество*; выговоръ за портретъ, чего же лучше, какъ отсутствіе М. С., тутъ время было, это, madame, упущеніе по должности, впередъ вычту третью жалованья и посажу подъ арестъ возлѣ себя. —думаю не надоѣсть. Ну, полно шутить.

Въ самомъ дѣлѣ, грѣшно еще просить у Бога, дивно наградишь онъ трехлѣтнее страданіе, рѣшительно грѣшно роптать теперь. Голову склонить съ дѣт-

своей доверчивостью и молиться. Я писалъ давно, что 9 апрѣля недостаточно, и вотъ 3 марта исполнило недостававшее. Итакъ, съ полнымъ самоотверженіемъ *пойдемъ* къ соединенію. Пойдемъ — ибо останавливаться тоже грѣхъ, развѣ намъ не очевидна воля Его, повелѣвшая соединеніе?

Озеровъ наговорилъ бездну похвалы обо мнѣ пац[енькѣ], это полезно, это дѣствуетъ на него сильно, и еще есть возможность добрымъ путемъ кончить. Мнѣ самому жаль, что я не выдалъ Саши, вотъ ей особая записка. Меня не удивило усердіе Аркадія. Я еще изъ Крут[иць] писалъ: въ этомъ классѣ есть инстантъ, которымъ они понимаютъ человѣка, которой ихъ считаетъ за человѣковъ. А когда же пришлешь письма 36 года?

Я читаю Жанъ-Поля, — по нѣкоторымъ отрывкамъ въ моихъ письмахъ ты его знаешь. Вотъ авторъ, котораго *ты никогда не поймешь*, и явно, что вѣна будетъ его, а не твоя. Душа пламенная, полная поэзіи и любви, но выраженіе ея такъ судорожно, такъ напятаю ироніей, и притомъ ироніей не всегда счастливой, что онъ на вѣки отрѣзанъ такихъ читателей, какъ ты. Шиллеръ — вотъ твой авторъ, еще кто... Жуковскій и только. А дивно уносить иной разъ Жанъ-Поль, и душа трепещетъ, и слеза на глазахъ, да степью безводной надобно идти до такого мѣста. Ну, читала ли повѣсть? жду суда. Я могъ бы прислать Архитект. статью, но безъ картинокъ она темна. И та повѣсть «Его Превосх.» готова совсѣмъ, созданная въ минуту досады, она дышетъ злобой. Ты спрашиваешь, что я пишу послѣ 3-го марта, — письма къ тебѣ!

Получилъ письмо отъ Вадима и Тат. Петр.; не знаю, застанетъ ли ихъ въ Одессѣ отвѣтъ, потому что они быстро идутъ въ домъ умалишенныхъ: такой галиматъи въ жизнь не читалъ, и что всего досаднѣе, меня утѣшаютъ, вычитали какое-то отчаяніе въ моемъ письмѣ. Вѣрно потому, что я писалъ о смерти. Хороши души, которыя не понимаютъ смерти. А Тат. Петр. распроставляется о своихъ дѣткахъ, о перемѣнѣ въ лицѣ, а онъ о своихъ несчастьяхъ. Ну, въ сторону ихъ.

12-го, суббота. Изъ Петербурга все еще нѣтъ отвѣта — досадно, а можетъ, къ лучшему. Что, какъ ты увидѣлась со Львомъ Ал.? Книг[и] не слѣдуетъ говорить до моего пріѣзда (безъ необходимости). Вѣра моя въ скорое соединеніе незыблема, я всему вѣрю послѣ 3-го марта. Прощай, невѣста, ангель, будь такъ же покойна, какъ я, я никогда *лучше* не былъ какъ теперь и, повторяю, въ настоящемъ я доволенъ собою, особенно когда прошедшее начинаю считать отъ 3 марта.

Что-то чистое и святое влилось въ душу отъ твоего поцѣлуя. Та грудь, къ которой прислонялась твоя голова, и должна была очиститься. Прощай, Наташа.

Вечеръ, 10 марта, четвергъ. Москва.

Вчера получила письмо отъ 4; послѣ 3-го и писаное слово сдѣлалось теплѣе, звучнѣе, одушевленнѣе. Да, послѣ 3-го марта и все перемѣнилось: черное прошедшее залито свѣтомъ, черное будущаго свѣтлѣетъ имъ, настоящее — это все свѣтъ. И я, Александръ, сдѣлалась достойнѣе тебя — съ этого дня, да, въ этотъ день твое созданіе дополнилось, усовершенствовалось.

Ангель мой, мнѣ кажется, мы будемъ вѣкъ говорить другъ другу о 3-мъ мартѣ, и вѣкъ не доскажемъ. Странно, я много читала о свиданьяхъ и поцѣлуяхъ, еще больше слыхала о нихъ отъ пріятельницъ и ближе пріятельницъ —

и всегда дивилась: что находять въ этомъ пріятнаго, мнѣ казалось глупо, и болѣе нежели глупо, и я никогда не рѣшилась бы ни за что на свѣтъ, — но вотъ и со мной случилось 3 марта, только оно не помирило меня съ ихъ поцѣлуйми, съ ихъ восторгамн, они остались *илъ*, а 3 марта—*мое 3-е марта!*

Въ небѣ я не была бы святѣе, какъ въ твоихъ объятіяхъ, передъ Нимъ я не желала бы явиться чище, какъ была на груди твоей, и отъ Него не желала бы болѣе награды, какъ твой поцѣлуй. О! мой Александръ! мой Александръ! Вѣдь, я видѣла въ твоемъ взорѣ любовь, любовь *твою*, я видѣла во всемъ, что ты *мой*, и цѣлая-то жизнь наша будетъ не что иное, какъ 3-е марта. О, мой Александръ! ни о чемъ я еще не могу теперь думать, мысль и слово отстали вмѣстѣ съ тѣломъ и землей. Я сказала тогда нелѣпость, ясное доказательство, что намъ ненужно тогда было говорить. Я не могу вообразить, что будетъ за жизнь *тогда*, какъ мы дойдемъ до того, чтобы ее размѣрить, учредить, сдѣлать порядочною, — а жизнь эта будетъ, я вѣрую! Оглянусь направо — свѣтъ, блаженство, все свято, все благословлено Имъ, мы Его ангелъ; оглянусь налѣво, — страшно, тамъ проклятье, преступленье, тамъ разлука, страданье.

А въ самомъ дѣлѣ, другъ, ты писалъ ужасное въ прошломъ письмѣ: попался не подаваться назадъ, а потомъ: «разрывъ — тутъ много ужаснаго, безнравственнаго, но скорѣе разрывъ, нежели уступка». И *тогда*, тогда, какъ съ нами будетъ Богъ, какъ мы будемъ въ раю, какъ мы составимъ одного ангела, ты скажешь: «Наташа, я поступилъ безнравственно». Не ужасно ли? Но теперь не вѣрю рѣшительно ни во что дурное, а холодность пац[еньки] очень дурное; тало, Онъ уничтожитъ ее. Прася. Андр. съ величайшимъ участіемъ говорить въ: «Ну, что-жъ онъ сдѣлалъ лучше, и такъ рискуя». — «Ничего, сказала я ей, — *мы увидались только!*» Потомъ. «Ахъ онъ безголовой». — «Да, правда, безголовый, но лучше безголовой, нежели бездушной» — не знаю, поняла ли она, а она, вѣдь, очень добра. Ты безголовой, а я безумная — чудо! Вдругъ давеча беру Emilie руку и называю ее Александромъ, да, можетъ, и не замѣтила бы этого, если бы тебѣ не дали замѣтить. Она мечтаетъ о томъ, какъ мы будемъ скитаться съ ю, какъ меня выгонять. Дивно, Александръ: міръ откажется отъ насъ за эту любовь, за наше святое—свобода!.. Я никакъ не могу разглядѣть обстоятельство, а *тогда* представляется мнѣ не иначе, какъ 3-мъ марта и такъ ясно, какъ ясно... О! другъ мой! Да, я вижу, тебѣ необходимо отдохнуть здѣсь, на дни, отдохнуть долго, долго, потому что ты страдалъ долго. Мы едва прикоснулись къ чашѣ блаженства нашего, а она безъ дна, безъ краевъ... Вѣдь, я не смотрѣлась на тебя, красота моя, да такого красавца нѣтъ во вселенной, тому что ни на комъ рука Его не видна такъ ясно. О, Александръ, нѣтъ, нѣтъ, недостаточно, несосно говорить черезъ бумагу, когда ужъ разъ попробовалъ лепетать живую рѣчь, хоть едва понятною, ребячьею, — но все она лучше, восхитѣльнѣе мастерскаго писанья! Нѣтъ, еще мы будемъ говорить, будемъ, яую. Мы доскажемъ другъ другу все *здѣсь*, и уже тогда пойдемъ разскаать Богу.

Дивный мой, прелестный мой, милый... Да! шегі за комплиментъ; вотъ не данно, да тебѣ это показалось... Нѣтъ, я вздоръ говорю, именно я, должно, была хороша тогда, вѣдь, я была тогда—съ кѣмъ? Все еще дивлюсь, какъ ласка на землѣ, какъ осталась безъ тебя. Да, что 9 апрѣля въ сравненіи съ марта. А *тогда* мы скажемъ: что 3-е марта въ сравненіи съ теперь. Ни на мгнъ мигъ не покинула бы тебя, ни на мгнъ не спустила бы съ тебя глазъ... Или

смерть? Да будет Его воля! Праск. Андр. говоритъ: «вѣдь, родительскимъ благословеніемъ домъ строится»; если только, — то пусть нашъ домъ вѣкъ не состроится, но въ благословеніи для меня болѣе... Онъ поможетъ.

11-е, пятница. И другой четвергъ прошелъ, и ужъ другая недѣля идетъ... а тотъ часъ еще не прошелъ... Итакъ, ты не грустень, слава Богу! благодарю тебя! другъ мой, благодарю и за то еще тебя цѣлую, еще и еще. Теперь о чемъ грустить намъ, то есть, о чемъ болѣтъ сердцу, — Онъ все даетъ намъ и дастъ еще. Эти дни я иногда плакала, но не о томъ, что ты уѣхалъ, не знаю о чемъ; я говорю, что эту грусть не промѣняю на веселье, а сердце не болитъ, нѣтъ, давно ли оно было такъ близко, близко твоего... Послушай, я научу тебя: напиши ты пап[енькѣ] въ первомъ письмѣ, чѣмъ хочешь онъ подарить тебя 25-го марта, день твоего рожденья — жизнью или смертью, — что онъ тебѣ на это скажетъ. Праск. Андр. говоритъ, что кн[ягиня] узнаетъ скоро, а пап[енька] сказалъ, что меня не возьметъ ни подъ какимъ видомъ; не думаю я, когда такъ, обратиться къ нему съ письмомъ, какъ ты писалъ прежде. Дѣться мнѣ будетъ куда и безъ него, лишь бы выгнали, а то прощай письма, да меня, кажется, тогда за десять замковъ спрячутъ и никого не допустятъ. Левъ Ал. знаетъ, но нисколько не докazuje, со мной, по обыкновенію, *очень милостивъ*, можетъ и для кн[ягини]. Ну, какъ же они не жалки всѣ? Простимъ ихъ, простимъ, и помолимся о нихъ, «не вѣдятъ бо, что творять».

А гордость — я очень горда, и какъ же мнѣ не гордой быть, хотя бы я была дочь послѣдняго изъ пастуховъ — *я созданье Его, Твое!* Но эта гордость не заставляетъ меня презирать ихъ, а жалѣть. Даже наружные мои поступки горды — и слишкомъ иногда. Но только какъ: я стану на колѣна въ грязь, чтобъ обуть нищаго, и если тутъ пойдетъ мимо Димитр. Павл., я не встану, не поклонюсь ему, хотя онъ почти его превосх., почти мнѣ cousin. Другіе назовутъ это дѣтскимъ упрямствомъ, а ты знаешь, что это *твоя гордость*. А потомъ и всѣ милостивые государи и государыни — они очень со мною горды, но они гордятся передо мною душами, а я горжусь передъ всѣмъ свѣтомъ душою. Воспитанница кн[ягини] можетъ иногда отвѣтить нижайшимъ поклономъ на едва замѣтное наклоненіе головы тысячныхъ воспитанниковъ, но ужъ зато эти тысячные воспитанники уничтожаются совершенно передъ созданьемъ Александра, — что они передо мною?

Ангелъ мой, нѣтъ мѣры моему счастью. Я готова плакать о томъ, что не умѣю выразить, скажи мнѣ, ты понимаешь, ты вѣришь? Ну, расскажи же мнѣ, какъ тебя любить Наташа; тогда я узнаю, знаешь ли ты какъ; а если малѣйшая ошибка, знай, что подвергнешься строгому наказанію, я умѣю наказывать, особенно — есть у меня баловень, ты его не знаешь. Другъ мой, милый, ахъ, хочется говорить, говорить... а писать не хочется, только говорить громко, свободно, — ну, какъ я опять онѣмѣю тогда... Нѣтъ, *со временемъ мы выучимся говорить и привыкнемъ*. О! — неужели у тебя не наворачиваются слезы, не жмутся руки къ груди, не стремится взоръ туда, и не преклоняются колѣна? Знаешь ли, что я тебѣ скажу, только ты засмѣйся этому: я была нездорова эти дни, и какъ мнѣ хорошо было, чудо! какъ меня покоили, и теперь наверху свобода... Я-бъ желала все время, пока я здѣсь, быть нездоровой, ты не знаешь этого наслажденья. Послушай, послушай, а я скажу тебѣ на ухо... Александръ.

5 часовъ пополудни. Заснула крѣпкимъ сномъ, — вижу, писать можно, а я не пишу; я такъ этого испугалась, вскочила безъ памяти, и поскорѣй за перо.

Какъ ни сержусь на него, а оно, вѣдь, главное благодѣтельное средство намъ въ разлуку. Ну, что-жь я скажу тебѣ со сна—голова кружится.

Съ 3 марта я ничего не дѣлаю, — Александръ, нехорошо это? Я сама ненавижу праздность, да это время я не праздна, а занята болѣе, нежели когда-нибудь. Напр., разверну книгу, кажется, читаю, но это только кажется; сверхъ его непремѣнно выступаютъ крупныя буквы и въ мигъ Александръ закроетъ всю книгу, и я не вижу ничего, а въ умѣ, можетъ, и осталось что-нибудь, да вотъ показывается край 3 марта, далѣе... далѣе и ужъ не только, что въ книгѣ сказано, что и передъ глазами забыто все, закрыто все этой божественной картиной. Ну, что, мой серафимъ, ежели-бъ ты прилетѣлъ теперь ко мнѣ, вотъ сюда, въ мой тѣсной уголокъ и не тамъ бы, гдѣ пахнетъ княжествомъ, не на гостиномъ диванѣ, а здѣсь, на моемъ ветхомъ, съѣз со мною... Другъ, какъ не желать, какъ не желать, какъ не молиться, но какъ же и не покориться?

Посмотрю я, никто-то не понимаетъ нашей любви, такъ, едва, отчасти, развѣ тѣнь одну. Она тайна, тайна всѣмъ. Они прочтутъ ее, услышатъ ее, увидятъ ее — и все-таки *не узнаютъ!* Неслаженъ то, можетъ, и понимаютъ, да чистоту—главное въ ней—не понимаютъ и не вѣрятъ ей, хоть иные и говорятъ, да я вижу, что только говорятъ. Ты знаешь ли, что Emilie (уже рѣшившись) опять въ нерѣшимости: идти или нѣтъ замужъ, и именно, мнѣ кажется, глядя на нашу любовь, она ужасается замужества. — Костенька безпрестанно меня навѣщаетъ и претихо скажетъ мнѣ каждый разъ на ухо: «смотри же, матушка, не говори, батюшка, будто ничего», — и потомъ прегромко станетъ дивиться, какъ это все случилось. Костенька чудо. — Ну, душа моя, прощай же, завтра я буду внизу, опять безъ усталости ходить по тѣмъ комнатамъ. Портретъ не будетъ готовъ къ 25-му; итакъ, жди съ терпѣниемъ, и прошу не блажить. Господь съ тобою, и Наташа, и любовь.

7 часовъ вечера, 12 марта, суббота, Москва.

Прежнимъ почеркомъ... а, вѣдь, ты самъ не велѣлъ мнѣ *лично* писать мелко. Ангелъ мой, какое у меня горе: получила письмо твое отъ 8-го, что развернула, увидѣла, что въ немъ былъ шнурокъ, а я думала (ужъ признаю тебѣ теперь) объ немъ, да тогда-то *не могла* вымолвить, а писать — тоже, было *совестно*, а, Богъ знаетъ, что отдала бы, чтобъ имѣть его. Итакъ, ты угадалъ; вижу слѣдъ шнурка, — но гдѣ-жь онъ? Спѣшу дочитать, можетъ, ты раздумалъ послать и вынулъ; ни слова, пишешь, что посылаешь, а его нѣтъ; я заплакала, Александръ, и теперь, смерть, жаль, досадно, — мѣсяцъ бы за него мела мостовую, ну, даже въ рабочемъ домѣ. Душа моя, какъ мнѣ жаль, ты не можешь вообразить. Неужели вынули на почтѣ? Ты виноватъ, кто-жь такъ посылаетъ, и вѣдь, ужъ ничѣмъ не заслужишь этой вины, ничѣмъ. Богъ вѣсть, кому онъ попался. Да, я, право, долго объ немъ буду плакать. Какъ не стыдно тебѣ! Ахъ, шнурокъ, шнурокъ! *на чулкахъ* бы выработала тысячу рублей, чтобъ выкупить его. Сердита на тебя, ужасъ! А поясъ-то все-таки пошла, только не такъ неосторожно, соберу совѣтъ, и ты получишь его прежде портрета. Прощай пока, буду читать письмо, а то всю душу наполнилъ шнурокъ, ну, да не смѣйся, ты этого не испыталъ, да я и не дамъ тебѣ испытать. Прощай, ангелъ, долго буду читать.

Саша! Саша! я сойду съ ума, ангелъ мой, смотри шнурокъ въ рукѣ, душа моя, Господи, какъ я рада! Ахъ, милой другъ, прости, я разбранила тебя, брани

жъ теперь ты меня. Видишь ли, письмо то распечатала въ сумерки, въ потмахъ, и не замѣтила, какъ шнурокъ упалъ на колѣни, и не пришло въ голову послѣ поискать, но сердце замерло, — совсѣмъ думала, вынули на почтѣ и, разсмотрѣвъ пакетъ, увѣрилась, что вынули, хотя на немъ ни малѣйшаго нѣтъ признака. Ахъ, порадуѣя, другъ мой, давеча никому не могла сообщить горя, и теперь первому тебѣ, и не могла удержаться, чтобъ не написать. И видишь, какъ: рассказавъ тебѣ горе, стала читать письмо и, по обыкновенію, задумавшись, долго смотрѣла безъ цѣли, что-то чернѣется на полу, не обратила вниманія, — Аленушка подняла и разсматриваетъ у меня къ свѣчкѣ. Ахъ, какъ я кинулась къ ней, будто спасать чью жизнь, она вѣрно думаетъ, что я сошла съ ума, такъ сомнительно на меня посмотрѣла. А шнурокъ-то у меня, у меня! Ну, ужъ теперь-то... Ахъ, ангель мой, какое блаженство! Прощай опять, буду надѣвать, прикрывать шнурокъ. Ну, не лучше ли онъ брильянтовой нитки, и не больше ли мнѣ къ лицу? Погожу и письмо читать, у меня шнурокъ!

13-е, воскресенье, 7 часъ утра. Ну, мой другъ, благодарю тебя за шнурочекъ! благодарю и благодарю. Я въ восхищеніи, вчера все остальное время занималась имъ; онъ, кажется, понимаетъ, что я ему говорю и *не говорю*. И я понимаю его; о, какъ много рассказываетъ этотъ нѣмой жилецъ твоей груди, свидѣтель твоихъ мукъ и блаженства, — мы не наговорились. Я цѣловала его, разсматривала, и наконецъ, съ какимъ-то страхомъ, надѣла на шею. Да, ангель мой, со страхомъ — святыня... Долго, долго не спала. Боже, если-бъ кто заглянулъ тогда въ мою душу... А письмо-то, вѣдь, только два раза и прочла, да въ другой-то не совсѣмъ, потому, тутъ прервалъ шнурокъ, и онъ мнѣ казался живѣе письма, я не спускала глазъ съ него, долго играла имъ, наконецъ, устала и заснула. Шнурокъ на шеѣ и еще на рукѣ, проснулась, — рука съ шнуркомъ крѣпко прижата къ губамъ, я улыбнулась, и сонъ опять прошелъ надолго. Это дивно, и никто не знаетъ! — Нѣтъ, нѣтъ, моя душа, прошу тебя, не вставай такъ рано, спи, ангель мой; въ самомъ дѣлѣ, что такое въ одинъ часъ молиться, да вся и жизнь-то наша — *наша молитва*. Я всегда съ дѣтства встаю въ этотъ часъ, и иначе не могу, а тебѣ зачѣмъ переламывать себя, — нѣтъ, ради Бога, ненадо! И тогда ни за что тебя не стану будить, я тутъ же, у твоей постели буду молиться. О, ангель мой, взгляды на небо и на тебя — о, какая полная, пламенная молитва. Потомъ ты откроешь глаза, и твоя Наташа у твоего изголовья молится за тебя. Александръ, блаженство твое ни съ чѣмъ сравниться не можетъ. никто никого такъ не любить, какъ я тебя. Да, мы оба безмѣрно счастливы. Смотри же, другъ, не вставай рано, сохрани тебя Богъ, я разсержусь. — А замѣтилъ ли ты, что я что-то очень часто начинаю употреблять угрозы, — отучи меня отъ этого. А въ самомъ дѣлѣ, я все буду беспокоиться, напиши, въ которомъ часу встаешь. Ты пишешь: не пріѣхать ли 9-го апрѣля? *Нѣтъ*, рѣшительно нѣтъ, и не думай, — я не хочу. Что ты это, Александръ, можно ли еще подвергаться?! О, нѣтъ, нѣтъ. Итакъ, оставь эту мысль; ежели отпускъ будетъ — хорошо, тогда на что намъ и Загорье... а, вѣдь, и съ нимъ жаль разстаться, потому что тамъ природа, воля; Костенька не ѣздитъ въ Загорье, она исправляетъ должность почтальона въ Москвѣ, а Саша, да и она не догонитъ насъ. О, какъ бьется сердце. А все отпускъ лучше — иль нѣтъ? не знаю. Я не помню своего письма, но когда читаю твое, припоминаю его, — совершенно одно и то же, развѣ такъ, самая маленькая разница, въ иномъ мѣстѣ слово въ слово. Чудо, чужо, Александръ!

Твое письмо воскресило меня вчера. Какъ я отправила утромъ свое на почту, какъ мнѣ сдѣлалось грустно — смерть; я опять дѣлалась больною, несносная тягость, спать—не спится, жду письма—не несутъ, начала писать къ тебѣ—цѣлую страницу написала, и все не легче, и такъ глупо, что изорвала. Вдругъ маменька,—въ ридикюль шумить бумага, я воскресла, и все, все прошло; а тутъ какъ осталась одна, шнурокъ меня испугалъ. О, ангелъ мой, какъ мнѣ теперь весело, я часто смотрю въ зеркало, какъ у меня шнурокъ на шеѣ—какъ хорошо. Душа моя, посмотри,—ну, смѣнять ли его брильянтовой ниткой? А какъ живо, тогда ты растянулся, я держала медальонъ въ рукѣ, думала о шнуркѣ—но... но... Ты самъ угадай, милый другъ! Дай Богъ тебѣ за это... ну, то, что ты хочешь—я не знаю.

А портретъ—въ самомъ дѣлѣ, невѣроятно; и я думала такъ, какъ 3 марта, да слишкомъ неглиже, нехорошо, и рѣшилась бѣлое платье и голубой шарфъ, любимый мой костюмъ и цвѣта. Да вспомни: 20 іюля на мнѣ было только бѣлое съ голубымъ, 9 апрѣля бѣлое и, наконецъ, 3 марта бѣлое и голубой поясъ, мантилью долой, а въ прибавокъ шнурокъ. А прическа—да я никакъ не была причесана, коса распущена, какъ на ночь, только локоны не въ папильоткахъ, мнѣ не до нихъ было. Чтожъ, наконецъ, намъ ненадо будетъ сообщать другъ другу, а дѣлать такъ, какъ я хочу, и это будетъ сильнѣйшимъ увѣреніемъ, что ты такъ хочешь. — Ты пеняешь мнѣ за повѣсть,—маменька только еще обѣщала мнѣ прислать ее, такъ что-жъ мнѣ было писать тебѣ о ней? Да, правда, когда будетъ писать тебѣ *тогда*,—я не знаю... ну, вдругъ ты возьмешь перо, отвернешься отъ меня и будешь обдумывать планъ повѣсти. Ну, что-жъ, я не помѣшаю тебѣ, я сяду сзади, чтобъ ты не видалъ меня, и притаю дыханье, чтобъ ты и забылъ меня. Ты углубишься, — исчезнетъ все, и Наташа... Вдругъ встанешь въ раздумье, можеть въ мрачномъ, нечаянно обратишь взоръ въ ту сторону —а я тутъ... Ангелъ мой, какъ ты бросишься ко мнѣ!..

Зачѣмъ ты написалъ о 9 апрѣля, зачѣмъ спрашивалъ, не повторяй этого вопроса, не напоминай о будущемъ 9 апрѣля. Или отпускъ, или Загорье!—Письма твои 36 года я давно отдала маменькѣ (запечатавъ) и просила съ первою вѣрной оказіей переслать тебѣ. Ну, прощай пока, скоро пріѣдутъ отъ обѣдни. Теперь я опять выну мой шнурочекъ, о, съ нимъ мнѣ ненадо никого, ничего! Какъ ты милъ, Александръ.

Воскресенье, вечеръ [Москва].

Скажу опять: я папеньку не боюсь. Совершеннаго сопротивленія нѣтъ, а тамъ Богъ поможетъ. Только сдѣлай ему тотъ вопросъ. Я желаю его видѣть, еще съ большимъ чувствомъ поцѣлую я его руку, — пусть въ отвѣтъ холодность. Ежели будетъ говорить, какъ твердо, какъ величественно я буду стоять передъ нимъ, съ какимъ восторгомъ скажу *да*, если спросить. Только ужъ ежели не отпускъ, не желаю, чтобъ знала кн[ягиня], тогда Загорье—о, это дивно! Цѣлые часы посвящаю я этимъ мечтамъ, какъ свободно тогда мы будемъ ходить, говорить, смотрѣть, долго, долго смотрѣть, не говоря ни слова долго, долго, рука съ рукой, и ты преклонишь ко мнѣ голову долго, долго. О, и земная жизнь награда отъ Него! Отъ насъ зависить сдѣлать ее небесною, не правда ли, другъ мой? Конечно, отъ насъ, а *имъ*, да что имъ и небо, и рай, они боятся его, тамъ нѣтъ постели, не дають ѣсть. Въ Загорьѣ я покажу тебѣ также мой шнурочекъ, и не дамъ тебѣ его, нѣтъ, нѣтъ! Тамъ расскажу тебѣ о 3 мартѣ... Ахъ, какъ бьется что-то въ

груди, какъ голубь. Хорошо мнѣ, ангелъ мой, дивно хорошо, я не умѣю разсказать тебѣ. Кругомъ блаженство, и внутри блаженство, и такъ хочется упасть на колѣна и плакать. Имѣнно, я дѣлаюсь ребенкомъ, иногда даже только и разницы у меня съ дѣтми, что любовь; невѣроятная пережѣна во мнѣ, хотя ты и не хочешь этого замѣтить. Въ письмѣ есть два мѣста: тамъ, гдѣ ты плачешь и молишься... нѣтъ это невыразимо! Не скажу ничего, Александръ, это яснѣе скажетъ тебѣ все, что у меня въ груди. Да, мнѣ иногда кажется, что и небо и солнце мрачны передъ моею душою, и только отраженіе ея, тѣнь, — да такъ и быть должно. Да, кажется, теперь я выше не могу быть, но *тогда мы* будемъ еще выше; иначе зачѣмъ бы это стремленіе къ соединенію, не одно наслаженіе, не одно счастье должно быть его цѣлю. Но развѣ чистота и высота не есть самое главное наслаженіе, и что-жъ безъ нихъ любовь? Какъ я вѣрую въ тебя, мой Александръ! Кому бы, кому бы я отдалась такъ вполне и такъ безусловно?— Тебѣ отдаюсь, ты меня сдѣлаешь еще свѣтлѣе, еще святѣе, ты представишь меня Богу такую, какою Онъ хочетъ. Если бы я не имѣла этой вѣры, какъ бы любовь моя ни была необъятна, я не отдала бы себя тебѣ, не отдала бы, даже сказавши: люблю.

15-ое, рано утромъ. Ну, какъ же радоваться выздоровленію? Вотъ я опять внизу—и какъ трудно опять быть подъ ихъ законами, я въ недѣлю привыкла къ волѣ, и какъ хорошо мнѣ было въ болѣзни, а вчера весь день не удалось и взглянуть на твои письма. Сегодня ночевала въ кн[ягининной] спальнѣ; она, папенька и Левъ Ал. осыпаютъ меня знаками вниманія. Папенька на дняхъ пишетъ: «Наташѣ мой поклонъ, я съ удовольствіемъ узналъ, что она выздоровѣла, совѣтую ей остерегаться холодной лѣстницы». Ты не можешь вообразить, какъ меня обрадовали эти почти ничтожныя строки, не хитрость же онѣ, не лѣсть—нѣтъ, я вѣрю, что онѣ, въ самомъ дѣлѣ, (*для тебя*) радуется моему выздоровленію, это восхищаетъ меня. Наконецъ, Кетчеръ прислалъ мнѣ «() себѣ». Хорошо, Александръ, хорошо все; лучшее для меня—Дитя, Огаревъ и Деревня; гдѣ болѣе тебя, тутъ и лучше, а тѣ лица, конечно, необходимы и хорошо чрезвычайно описаны, но я объ нихъ читаю почти такъ же, какъ объдъ въ «*Встрѣчѣ*».

Только, знаешь ли, это чтеніе навело на меня грусть,—какъ страшно, какъ замираетъ сердце, глядя на *возможность* твоей гибели. Какъ я иду шагъ за шагомъ твоего дѣтства, и непремѣнно беру дрожь, и скатится слеза, глядя на тебя, младенца, среди столькихъ ужасовъ 1812 года. Все это есть у меня въ письмахъ, но ихъ никто не будетъ читать, а тутъ невольно призадумываешься: непремѣнно хочется угадать лица, которыя будутъ читать твою жизнь (!), ихъ душу, и потомъ хочется замѣтить всѣ переливы ощущеній при чтеніи, постеречь слезу и взять ее себѣ, благословить самой благословенныхъ имѣ, а *тѣмъ*. тѣхъ равнодушныхъ—пожалѣть и отнять у нихъ тебя. Я не говорю лучшее, но *любимое* мое изъ всего, писаннаго тобою, будетъ твоя жизнь. Терпѣнья нѣтъ прочесть продолженіе; хотя уже съ рукъ толпы и Огарева ты перешелъ на новыя руки, уже я убаюкивала тебя и заставляла улыбаться при пробужденіи, очистила туманъ и тучи, чтобъ чистая лазурь отражалась во взорѣ твоёмъ, очистила прахъ и землю, чтобъ ты солнцемъ горѣлъ въ чистомъ небѣ. Знаю не только окончаніе земного поприща твоего и самую вѣчность,—вѣчность рай, вѣчность блаженство, вѣчность любовь, но непремѣнно хочу *читать* продолженіе твоей жизни. Ты пишешь, Александръ; зачѣмъ писать, человечество не дастъ тебѣ ни моего взгляда, ни моего поцѣлуя, да и на что-жъ тебѣ награда, вѣдь, ты награ-

ждевъ за все? Приглашай жаждущихъ къ безбрежному твоему океану и не требуй *капль* въ воздаяніе. Что пишешь ты теперь подъ влияніемъ великаго дня?

Или оттого, что очень близко, или не знаю отчего, я какъ-то не жду ничего къ Святой, сердце бросаетъ на нее взглядъ мимоходомъ и стремится безъ остановки въ Загорье, до него мы легко проживемъ подъ влияніемъ великаго дня и, можетъ быть, проживемъ (не знаю легко ли) до той Святой подъ влияніемъ тѣхъ пяти дней. Ахъ, чудно, другъ мой, посмотри, какъ до половины жизни, можетъ быть, наружно были мы не болѣе, какъ *cousin* и *cousine*, тутъ вдругъ разстались на 9 мѣсяцевъ и встрѣтились братомъ и сестрой, *прожили* разное три года (т. е., *провели*) и увидались женихъ и невѣста! Какъ это *имъ* должно казаться мудро, странно, а мы преклонимся еще разъ подъ руку Его съ полной вѣрою.

Вчера я говорила съ Егор. Ив. о портретѣ, а ужъ съ тобой боюсь говорить; но только, сдѣлай же милость, войди въ резонъ: до 8-ми часовъ не совершенно разсвѣло, сидѣть надо часа два, а только-то и можно до половины девятаго, — какъ же быть, скажи, мой другъ, ненужно ли положить, какъ ранѣе будетъ разсвѣтать? Имѣй же терпѣнье, я сама *знаю*, что такое портретъ. Витбергово имя не могу равнодушно слышать и признаюсь, болѣе не потому, что онъ несчастный, что великій человѣкъ. Ну, вотъ, посылаю тебѣ поясъ, эту ленту много носила я на шеѣ и подпоясалась 3 марта, чтобъ отдать тебѣ, и забыла; на ней ты повѣсишь и портретъ, это задатокъ. Дивно дѣйствіе твоего шурка, чтобъ ни дѣлала, а въ часъ разъ десять посмотрю его и, когда можно, поцѣлую. Въ немъ цѣлебная сила. Онъ такъ много, много рассказываетъ мнѣ о твоей груди... Нѣтъ, душа моя, проси, — не дамъ тебѣ моего шурка! Боюсь, скоро износится, а, вѣдь, ужъ другого ты не носилъ два года. Письмо еще свѣже, тепло, а уже жду другого, и если-бъ почта была каждый день, все бы оставалось время пождать и погрусить о томъ, что долго нѣтъ писъма.

Вечеръ. Да, Александръ, я могу смѣло сказать, что никого не знаю, кромѣ тебя, и ничего не знаю, кромѣ любви. Я — вся ты: все ты и во снѣ, и на яву, и въ мысли, и въ душѣ, и въ жизни, и въ вѣчности. Что не ты, то для меня не существуетъ. Всѣхъ люблю тобою, тобою и Бога люблю, тобою и молюсь Ему. Да я, право, не знаю ни одной мысли, которая бы была не ты, а потомъ и поцѣлуй на мнѣ только твой, и объятія только твои, я ничего столько не читала, какъ твоего, ничего столько не писала, какъ къ тебѣ. Тутъ вся моя наука, все образованіе, вся жизнь, ни одной вѣтви посторонней, для тебя создана, для тебя живу и умру и буду тамъ. Вотъ ужъ лѣтъ около пяти, какъ я, еще тайно отъ самой себя, отдалась тебѣ. До этого я не знала тебя, не хотѣла и знать и никого, все, что ни представлялось глазамъ и душѣ, было мало, неудовлетворительно, всѣхъ чуждалась, убѣгала сближеній и любила одну Татьяну Петр., ей одной и вѣрила слѣпо, спрашивая однако-жъ всегда: «а Александръ Ивановичъ, что объ этомъ думаетъ?» и я также старалась думать и подражать ей въ самой малости. До сихъ поръ благодарность ей огромна, она первая дала пристанище, хотя уже не первой, моей мысли и не первому чувству. Потомъ *Emilie*... Боже мой, какъ я боялась, что она не пойметъ тебя, не оцѣнитъ, душа была непокойна до тѣхъ поръ, пока ты пришелъ, и я спросила: «какъ вы его находите?» Съ какимъ восторгомъ я ждала этой минуты, и съ какимъ восторгомъ говорила ей прежде о тебѣ. Она нарочно сказала, что не находитъ въ тебѣ ничего, — въ эту минуту я истинно была *несчастлива*. Какъ же мнѣ съ ней говорить о немъ, какъ дѣлать съ ней душу, а это было мнѣ необходимо. Но, наконецъ, и

она сдѣлалась пламенной твоей поклонницей, и она рассказывала мнѣ несчетно разъ, какъ, бывало, ты проходилъ мимо ея оконъ, какъ она звала тебя эфирнымъ жителемъ. Не зная, что я люблю тебя, я любила Emilie за то, что она любила тебя, на этомъ-то и основалась и усовершенствовалась наша дружба. Она любила меня, какъ родственницу тебѣ, я любила ее, родственницу твоей души. Ты былъ у насъ первой во всемъ, только она говорила о тебѣ много, а я очень мало; она всегда старалась быть ближе съ тобою, а я какъ можно далѣе, она желала всегда особеннаго вниманія, мнѣ довольно было пожатія руки. Наконецъ, мечты ея простирались очень далеко, а я думала удалиться отъ свѣта и думать только о тебѣ. Потомъ Крутицы, потомъ ты уже знаешь все.

Да и мнѣ несносно говорить съ тѣми, кто тебя не знаетъ, и что мнѣ говорить съ ними? Я ничего не знаю, ничего *не видала*, кромѣ тебя. Любила я одну дѣвушку, не по родству душъ, а по привычкѣ, я помогала ей шивать тетради въ пансіонѣ, и вмѣстѣ украдкой ѣли зеленыя ягоды. Она знала о тебѣ (ну, разумеется, какъ?); какъ ни уединимся, она рассказываетъ мнѣ все о новыхъ любимицахъ, и съ равнымъ восхищеніемъ, я все о тебѣ, и все съ большимъ восхищеніемъ. Разъ я заговорила, она, какъ-будто соскучившись, равнодушно сказала: «все о томъ же», — съ тѣхъ поръ нѣтъ ей моей руки. И уже рѣшительно ни съ кѣмъ не люблю говорить, съ кѣмъ не могу говорить о тебѣ. Потому-то уединеніе мое любимое, тутъ я говорю о тебѣ съ Богомъ, или съ Богомъ и съ Природой. — Все прости! прости!

Александръ, и нѣтъ человѣка въ мірѣ, кого бы я такъ цѣловала, какъ тебя, все тебѣ, все — ты. Не хорошо намъ будетъ *тогда* въ Москвѣ, сколько прируженій, какъ много надо будетъ жертвъ сдѣлать, какъ много насъ будутъ разлучать... Уѣхала бы къ тебѣ, чтобъ весь свѣтъ отъ меня отказался, и поносилъ бы, и потомъ забылъ бы... Но... но... Итакъ, прощай, обвинемся крѣпче, крѣпче, какъ 3 марта, меня никто, такъ не обвинялъ. Поцѣлуемся — прощай.

Ну, что пишешь тебѣ Полина? Напиши душевный мой поклонъ великому старцу. Куда-жъ ты надѣнешь мой поясъ. Это не шнурочекъ, носи поясомъ же.

14 марта. Понедѣльникъ.

Два дня не писалъ къ тебѣ — чудеса? Вчера поздно получилъ твое письмо отъ 10-го, прелестное письмо; нѣтъ, ты не переѣхала послѣ 3-го марта, иная невѣста, а вздохнула свободнѣе, веселѣе, вольнѣе. Тоже и со мною. Всѣ твои совѣты *дьявольскіе*, какъ разумѣется, никуда негодны. Никакой книги пап[енькѣ] подписывать давать ненадобно, потому что онъ не подпишетъ, меня вѣнчать не стануть безъ позволенія губернатора, — а я его возьму; тебя — безъ свидѣтельства о крещеніи и рожденіи, — и это достаемъ. Мы разъ обвинянные, они теряютъ весь призъ, потому что родства прямо не докажутъ, худшее, что можетъ быть, священника пошлютъ молоть муку, — это онъ будетъ знать впередъ, и за это возьметъ рублей 500 денегъ, а кто за деньги рискуетъ, того жалѣть не стоитъ. Въ дополненіе прибавлю: 1) я твердо остаюсь убѣжденнымъ, что всякаго рода выходъ изъ сіятельнаго дома полезенъ. О какихъ ты говоришь замкахъ? Ничего никого (кромѣ юношей) не держать подъ ключемъ, и какое право? 2) Что письмо къ пап[енькѣ] потому-то и надобно писать, что онъ откажетъ, ибо... ибо этотъ отказъ тебѣ будетъ величайшее оскорбленіе мнѣ. Ну, и въ сторону дѣла?

Пошлагаю тебѣ послѣднее письмо Мед. ко мнѣ. Оно покажетъ, что я твою

руку протянулъ женщинѣ, хотя не вовсе чистой, не вовсе неземной,—но вполне достойной тебя. Ее убила жизнь, братъ падшій не есть братъ погибшій. Иногда тотъ, кто не можетъ пасть, не падаетъ отъ холодной души, и вся-то ея вина, что она любила юношу (достойнъ ли онъ, это вы сами знаете, Нат. Ал!..), тогда какъ должна была любить пьянаго старика, съ которымъ, конечно, на смѣхъ, обвинчали ее. Это письмо сняло съ меня тяжкій крестъ (хотя не весь, ибо чувство, самознание дурного поступка осталось). Вотъ она, падшая Марія Магдалина, у ногъ твоихъ, будь же для нея ангеломъ примирителемъ съ людьми и пуще съ Богомъ. Ты почти можешь писать къ ней, не дожидаясь отвѣта. Нѣтъ человѣка, за котораго, черезъ котораго я столько вынесъ, какъ за нее; миръ съ нею мнѣ дорогъ. Я на всѣхъ смотрю прямо: отъ тебя до Тюфяева, — упрекнуть никто не можетъ, одна она. Право ужасное; по счастью, она не понимаетъ вполне, какой она шагъ имѣетъ надо мною. Полина молчитъ, Скворцовъ тоже. Это не мудро, мудро было, что ихъ душа молчала первой мѣсяцъ разлуки. Итакъ, моя статья «Симватія» и теплое воспоминаніе одни памятники этой дружбы. — я думалъ, что строю прочіе!

Что я пишу послѣ 3 марта? — А вотъ, что: написалъ VIII главу въ свою жизнь, и написалъ очень хорошо, и ужъ, конечно, не догадаешься о чемъ—о любви къ Люд. II. Тутъ я ты на сценѣ (трудно было и очень холодно писать о холодныхъ отношеніяхъ къ тебѣ), но написалъ, и ты явилась превосходно, чудомъ, какой-то священной мистеріей, лиліей, принесенной архангеломъ Гаврииломъ въ день моего рожденья. Да, доволенъ, вообще біографія идетъ прекрасно (я ее пишу по твоему приказанію). Далѣе описана самая черная эпоха отъ 9 іюля 1834-го до 20-го, но halte là. Какъ дойдетъ дѣло представлять тебя тобою, ибо ты ужъ очень близка была мнѣ 20 іюля,—перо дрожить, душа волнуется, и ангелъ ускользаетъ отъ кисти земного богомаза. Однако напишу, я ужъ пробовалъ.

Иронія та, моя иронія, на мѣстѣ тутъ. Зачѣмъ ты не любишь ее? Она проникаетъ особымъ огнемъ цѣлое, ибо это не насмѣшка, а внутреннее неудовольствіе за мелочность людей, и мнѣ она естественна, какъ дышать. Сердце твое сожмется, когда ты будешь читать 9 іюля, не за него ли и было 9 апрѣля? А я думаю, весело о себѣ читать въ статьѣ, писаной съ огнемъ и поэзіей. Я не испыталъ. Да, что-жъ ты не пишешь о повѣсти, но я ее разлюбилъ и самъ. Мнѣ очень непріятно послать тебѣ мою жизнь, хотѣлось бы прочитать, ты съла бы противъ, чтобы я могъ пить вдохновеніе ихъ твоихъ глазъ, изъ твоей улыбки; и я рассказалъ бы эту поэму жизни полной, энергической — и огонь въ глазахъ, и жаръ ланить все, все прибавилъ бы... Ба! да я ужъ начинаю кокетничать! Избаловали твои похвалы. Вотъ, когда я буду читать объ «Архитектурѣ», тогда можешь състь воалѣ, тогда не на меня, а на картинку надобно смотрѣть, а тамъ, вѣдь, жизнь то моя, вѣдь это *быль*, *быль* твоего Александра.

Нѣтъ, 3 марта не можетъ затмить никакой свѣтъ! Это ошибка, 9-е апрѣля, созданное во имя дружбы, и должно было поблѣднѣть передъ днемъ, созданнымъ любовью; но любовь уже не имѣетъ выше, ниже, свѣтлѣе, темнѣе, нѣтъ, она, какъ вѣчность Бога, — такъ все теряется въ самомъ понятіи безконечнаго, святаго и взячнаго, вездѣ средоточіе, все проникнуто единымъ свѣтомъ, и нѣтъ солнца, изъ котораго течетъ онъ, а оно само свѣтъ.

Да ужъ г-да добрые люди, цѣнку ихъ доброту, но, ступайте, пожалуйста, направо, а я налѣво съ Наташей. А, впрочемъ, *зачѣмъ* знаетъ Пр. Андр.; и

мам[енькѣ] не слѣдовало бы говорить, а то тутъ ледъ тонкій, провалишься и съ головою. Вообще мам[енька] поступаетъ дурно и слабо,—чего они боятся, когда я не боюсь. Одна, одна ты. И гдѣ грудь, которая можетъ больше помѣстить. Александръ...

15, *вторникъ*.—Наташа, когда у тебя будетъ свободное время, напиши о твоёмъ ребячествѣ, о первой встрѣчѣ нашей (твоя любовь давитъ моей), о 20 юліѣ и 9 апрѣлѣ. Просто воспоминаніемъ. Ты напишешь прелестно,—это я знаю. Попробуй. Цѣлую тебя. Твой Александръ.—Отчего портретъ не посвятить, ну, не къ 25, такъ къ какому-нибудь. Пожалуйста. Bitte, bitte.

16 марта, Владиміръ.

Милый, небесный другъ! До сихъ поръ мы только предугадывали, что свиданье дастъ намъ силу перенести все, теперь я испыталъ и также увѣренъ въ тебѣ. Отвѣтъ изъ Петербурга пришелъ: отказъ полной, чистой, холодной и рѣшительной. Откровенно признаюсь, не будь 3 марта, онъ поразилъ бы меня ужасно. Теперь сердце сжалось, кровь заструилась горячая, — я вспомнилъ 3 марта и улыбнулся и помолился. вмѣстѣ съ отказомъ и двѣ прямыя возможности видѣтся. О, какъ благъ Господь. Эти возможности явились врачеваньемъ вовсе неожиданнымъ. Здѣсь проѣзжалъ жандармскій генералъ графъ Апраксинъ. при немъ пришелъ отказъ, ему жаль меня стало, и, не чудеса ли? Онъ-то намъ дастъ средство увидѣться (опять мгновенно), можетъ, на Святой. И губернатору было жаль меня, онъ даетъ другое средство — Загорье. Но надежда на скорое освобожденье потускла. Наташа, прощаясь, я три раза сказалъ тебѣ: *будь тверда*,—это мое благословенье тебѣ. Старайся, чтобы кн[ягиня] скорѣе ѣхала въ Загорье—и не грусти.

Наконецъ, я написалъ 20 юлія, ты похожа. Привезу самъ тебѣ эти тетрадки. Въ прошлой разъ я писалъ къ тебѣ, чтобы ты писала свои воспоминанія. Ты, можетъ, не имѣешь понятія объ огромности твоего таланта *писать*. Этотъ талантъ, выращенный религіей и любовью, ставить каждое письмо твое выше всѣхъ статей моихъ. Я не положился бы на одно мое сужденье, извольте видѣть, я къ вамъ пристрастенъ. потому что вы моя невѣста, но Витбергъ, который плакалъ, но Скворцовъ и Кетчеръ, увлеченные вдохновеннымъ языкомъ твоимъ.. Пиши же, но только воспоминанія и фантазіи. Стихи твои, которые ты написала по заказу (года полтора тому назадъ), писаны слишкомъ скоро, и въ слогѣ, и въ музыкальности далеко отстали отъ писемъ. Письмо—твой языкъ со мною, потому-то онъ такъ хорошъ. Ты говоришь, чтобы я написалъ тебѣ, какъ ты меня любишь. *О, я знаю это!* И въ этомъ-то знаніи цѣлое небо, я знаю даже, почему я достоинъ такой любви, знаю, что именно заставило тебя любить меня. А знаешь ли ты, что ты узнала меня гораздо прежде, нежели я самъ себя узналъ; ты проникла въ поэтическую сторону моего характера тогда, когда онъ весь былъ покрытъ ледяными кристаллами самолюбія. Напиши въ слѣдующемъ письмѣ, какъ въ тебѣ начала образовываться дружба къ брату, и почему тогда еще Emilie называла любовью? Ты разъ только вскользь упомянула. А знаешь, какъ эти подробности дышатъ небомъ и навѣвають счастье. О, Наташа, Наташа, неужели грудь человѣка можетъ долго вынести столько счастья! Люблю тебя. люблю, люблю!

Ночь.—Ангелъ, ангелъ, я весь взволнованъ, душа рвется, кипитъ. О, взгляни

на меня, я теперь хороши, прелестенъ. О, Жанъ-Поль, прости мнѣ; я писалъ тебѣ прошлой разъ, что онъ не понравится тебѣ, а онъ-то меня теперь взбросилъ на небо высоко, высоко. Любовь наша описана, чистая, святая, въ его «Утренней Звѣздѣ» — чудо, чудо! Я вскочилъ и схватилъ скорѣе перо. Вотъ слова, которыми онъ оканчиваетъ дивную картину признанья: «Блаженной, блаженной человѣкъ! Больше неба тебѣ не будетъ на землѣ! Покойся теперь въ тихомъ восторгѣ, склоняя взоръ свой на руку, въ которую кровь течетъ изъ сердца, бьющагося одной добродѣтелью! Пусть всѣ слезы радости изольются на эту руку, которую она дала тебѣ. И тогда, ежели восторгъ, ежели благоговѣніе тебѣ позволить, тогда подними чистой, блестящей взоръ и покажи ей въ немъ любовь возвышенную, покажи взоръ любви невыразимой, вѣчной, нѣмой, блаженной. О, кого любила Клотильда, тотъ остановится, тому восторгъ не позволитъ дальше читать»... Дальше слушай: «Восторгъ былъ въ сердцѣ Виктора, восторгомъ подымалась его грудь, искрился его взоръ,—но молчаніе поклоненія царило надъ восторгомъ. Они пріѣхали. И когда оба взошли въ комнату Гармоники, гдѣ онъ вечеромъ съ такимъ страданіемъ схватилъ ея руку, оставившись они другъ противъ друга. Какъ перемѣнились они, какъ были блаженны! Она, какъ ангелъ Божій, слетѣвшій съ неба, онъ, какъ святой, вышедшій изъ земли, чтобъ пасть тихому ангелу въ объятія и съ нимъ молча улетѣть на небо.—Какое мгновеніе! Какъ двое блаженныхъ передъ Богомъ, глядятъ они другъ другу въ очи и—въ душу. Какъ вѣтерокъ, потрясающій двѣ розы, вѣетъ вздохъ блаженства и пробѣгаетъ по устамъ ихъ, лишеннымъ рѣчи, быстро впиваемой грудью и радостно выходящей изъ нея. Они молчатъ, чтобъ смотрѣть другъ на друга, они поднимаютъ глаза, чтобъ съвозъ слезу радости взглянуть, и опускаютъ ихъ, чтобъ утереть ихъ рѣсницей. Но, довольно,— чтобъ не истерзать душу, которая никогда не пила такого блаженства!»—Все это я набросалъ перочитывая, наскоро, но, ангелъ, ангелъ, почему я вспомнилъ все 3 марта, почему я не могъ дальше читать, почему до сихъ поръ глазъ влаженъ, и рука дрожить? Поэтъ, душа твоя прелестна! О, только германцы постигли, какъ писать о любви.

17 марта. — Странно: какъ мало времени прошло съ тѣхъ поръ, какъ я оставилъ Вятку, и вся жизнь моя тамъ исчезаетъ, какъ что-то давнопрошедшее. Вотъ новое доказательство, сколько я выросъ въ послѣднее время. Я два раза, нѣтъ, три, былъ достоинъ тебя, и *все три мы видѣлись*. Убитой горемъ, отчаянной—на скачкѣ. Очищенной въ тюрьмѣ—9 апрѣля. Очищенной любовью—3 марта,—нѣтъ, рѣшительно нѣтъ, никакой день не затмить 3 марта. Это граница, это черта, отдѣляющая тѣло отъ неба, еще шагъ, и мы тамъ—тамъ можетъ быть еще высшее, здѣсь никакъ.—Почему Огаревъ такъ близокъ, я слышу, какъ бьется его сердце. А Вятка—какъ тѣнь въ фаятсмагоріи, меньше, меньше, точка, ничего. Будто все это я гдѣ-то читалъ, и въ книгѣ этой величественныя черты Витберга, слеза Медвѣдовой, улыбка Полины. Читая, я увлекся, воображалъ, что все это въ самомъ дѣлѣ, дочиталъ,—явилась прежняя жизнь, и книга оставила смутное воспоминаніе.

А что же портретъ? Я не пріѣду, пока не пришлешь. Да, правда, за что же я себя-то накажу? Нѣтъ, мой ангелъ, прилечу, какъ стрѣла при первой возможности. Нынче должно быть письмо.

Писавши воспоминанія о Кр. и 1834 я сегодня снова перечиталъ мои письма изъ Кр[утиць]; па этотъ разъ перечиталъ хладнокровно. Когда ты получишь ихъ,

перечитай и послѣ возьми письма 1837 и 38 годовъ. Тогда ты вымѣряешь всю огромность твоего вліянія, рядомъ съ нимъ мое вліяніе на тебя уничтожается, — въ этихъ письмахъ какое необузданное самолюбіе, оно мѣшаетъ вѣровать въ Бога, мѣшаетъ любить тебя, оно въ восхищеніи отъ себя. Первой разъ я понялъ теперь причину паденія въ Вяткѣ (сверхъ устали отъ страданій). Ты писала какъ-то: «Изъ Наташи, брошенной людьми подъ ноги, ты создала Наташу Александру». А я скажу: изъ Александра, гордаго эгоиста, ты создала Александра, полного любви и вѣры. Да, теперь я не эгоистъ, о нѣтъ, теперь я хорошъ; что за чудо, что ты могла любить меня тогда, когда я только развѣ огненной фантазіей заслуживалъ.

18-го, пятница. — Твое письмо отъ 13-го. Что ты бранишься и стращаешь, — это ничего, это малость, и я отучать не стану, а что тебѣ *передали* трусость, за это я сержусь. Съ чего вдругъ начала ты такъ бояться приѣзда? О, не думай, мой чистой ангель, объ этихъ земныхъ мелочахъ. Зови меня, зови пить любовь, быть счастливымъ, отдыхать на твоей груди отъ людей и отъ себя. Я боялся, когда былъ у васъ тамъ, безусловно, и главное — комната, стѣны, все это было для меня необыкновенно; но объ настоящей опасности мнѣ пришло въ голову дня черезъ три, и я расхохотался. Впрочемъ, кажется, есть возможность увидѣться и безъ опасности, а нето Загорье, тамъ непременно буду. Пап[енька] боится моего свиданья, боится лично говорить со мною, — это хорошо. Левъ Ал. просилъ мам[еньку] не огорчать меня извѣстіемъ, что ты нездорова, — это очень хорошо. Начинають уже привыкать! Еще выговоръ тебѣ за молитву въ 7 часу: какая исполненная любви и вѣры мысль, — а теперь запрещенье. Одинъ разъ я съ тѣхъ поръ проспалъ, и никогда не хочу просыпаться, но ангель будить крыломъ въ 6 часовъ, я помолюсь и засыпаю опять, и этотъ одинъ разъ былъ сегодня. Будемъ же, будемъ же молиться.

Прошу обратить вниманіе на нарядъ для портрета: воздушная ткань, едва вещественная, съ поэзіей нарядъ и съ совершенной простотой, — вотъ что я требую. А теперь уличу тебя въ кокетствѣ: будто 3 марта ты отъ недосуга была безъ папильотокъ? Не обманете, mademoiselle; впрочемъ, это очень хорошо, папильотки уродуютъ наружность, и вѣрно *entre autre* эта мысль *прибавилась къ недосугу*. Признавайся, мой ангель! Я, съ своей стороны, никакой не вижу дѣлести не заботиться о красотѣ. Вятскія дамы хвалили мои глаза, открытой лобъ и руки, — и мнѣ это было пріятно, признаюсь откровенно, даже *за тебя* было пріятно. Тебѣ нравится слогъ моихъ статей, онъ, въ самомъ дѣлѣ, хорошъ мѣстами, — заботливость о немъ тоже кокетство, я не оставляю свою мысль въ папильоткахъ, а *отъ недосуга* разбрасываю ее вьющимся локономъ. Ты вѣрно улыбнешься, потому что всю эту выходку я писалъ улыбаясь. Изящное (во всѣхъ смыслахъ) есть одно изъ трехъ основаній, на которыхъ зиждется царство небесное. Пока душа въ формѣ — форма должна быть изящна. У тебя даже почеркъ прекрасной, — я хвалю и это. Повѣсть вмѣстѣ съ письмомъ я вручилъ Еміліе, стало, ты ее не получила; надобно отыскать, и какъ же она перешла прежде къ мам[енькѣ]? Да, сдѣлай одолженье, напиши обстоятельно объ портретѣ, — когда же осуществится хоть эта мечта?

19 марта. — Прощай, мой ангель, что твое здоровье? На второе утро въ Загорьѣ я буду читать тебѣ мою жизнь, — это рѣшено. Собирайся же туда скорѣе, — да только прежде портретъ. Прощай же.

Твой Александръ.

Рано утромъ, 17-е, четвергъ.

Душа, Александръ, грустно тебѣ? Нѣтъ, мнѣ не грустно! О чемъ мнѣ грустить? Въ прошедшемъ у меня 9-е апрѣля, 3 марта, и болѣе ничего, въ будущемъ цѣлая недѣля, цѣлое тогда. О! о, Александръ. А настоящее — это встрѣча прошедшаго съ будущимъ, встрѣча свѣта съ свѣтомъ, блаженства съ блаженствомъ, дивно хорошо и настоящее. Другъ, отдадимъ себя Господу, да будетъ наше тогда — одинъ гимнъ Ему, будемъ истинными чадами Отца. О! Онъ нашъ Отецъ. Будемъ тогда дѣлать съ нимъ каждый мигъ, каждую мысль, да будетъ тогда Онъ намъ все, болѣе ужъ не къ чему намъ стремиться. Искать земного — мы уже нашли небесное. Итакъ, что же? Бога искать, чтобъ вездѣ, гдѣ мы, создавался Ему храмъ, въ которомъ бы онъ могъ достойно пребывать, чтобъ каждое слово наше было хвала Ему, каждое дѣйствіе — слава Его, каждое помышление — молитва. Александръ, мнѣ быть твоимъ ангеломъ и тебѣ моимъ — не все, не все, другъ мой, нѣтъ, намъ остается, соединившись быть Его ангеломъ! О, какъ дивно, какъ свято, величественно представляется мнѣ будущее. Отъ него вѣтъ благодатью, звуки его, какъ звуки рая, льются въ душу и не даютъ проснуться въ ней голосу разлуки. Пока мы еще не переселимся въ небо, покинемъ землю съ ея грубыми наслаждениями, съ ея горькими радостями, съ ея мрачнымъ, безумнымъ весельемъ. Ты знаешь, какъ это мрачить небо, удаляетъ Бога, убиваетъ душу; я не знаю, нога моя еще не переступала порога въ *иш* міръ, но дверь отворена всегда туда, я мимоходомъ заглянула, — страшно, страшно, ангелъ мой; нѣтъ, дай мнѣ склонить голову къ тебѣ на грудь, дай потонуть душѣ въ твоемъ взорѣ, — а ты оттолкни землю, оградись и отъ дыханія ея. — Да, Emilie мнѣ когда-то говорила, что поцѣлуй страшенъ, что въ немъ много ужаснаго, она страдала меня имъ... Александръ, вѣдь, она говорила не о твоемъ поцѣлѣ? О, нѣтъ! меня дрожь брала при разсказѣ, и теперь я боюсь, не хочу ихъ поцѣлуевъ, а съ тобой я не боюсь, ты... О, мой спаситель, обними твою Наташу, поцѣлуй ее долго, долго, посмотри на нее долго, долго, — съ тобой она у Бога, съ тобой она свята, ты ея спасеніе. Я бы умерла — голова на твоей груди, взоръ въ твоемъ взорѣ, — вотъ мое покаянне, вотъ мое причащеніе святыхъ тайнъ, вселеніе въ лоно Божіе. Другъ мой, о, какъ сію минуту смотрю на тебя — о, какъ бы я поцѣлювала тебя.

18-е, рано, утро. Пятница. — Вспомни, другъ мой, что ты писалъ, какъ не получилъ отъ меня письма: если-бъ я писала вчера къ тебѣ, — было бы слово въ слово; я прочла твое письмо и не стала писать. Ужасъ, какъ грустно, и не тихая, святая грусть, а что-то несносное, и именно тутъ-то и кажется, что все болитъ, потому что душа болитъ. Я увѣрена, что письмо отъ тебя есть, но Егора Ив. что-нибудь удержало придти, — такъ прислать бы! Нѣтъ, намъ нельзя жить другъ безъ друга.

11 часовъ. Терпѣнья не стало, послала за письмомъ и принесли!! Право, за нѣсколько минутъ я была ужасъ какъ больна, несносна другимъ и болѣе всѣхъ несносна себѣ. Вѣришь ли: хочу молиться — не могу, на умъ и въ душѣ — отчего нѣтъ письма? Смотрю на небо, и тамъ кажется, написано: отчего нѣтъ письма? О, какъ я дурна въ это время, — это ужасъ, ужасъ. Но вотъ письмо!

Охъ, да, ужъ третья недѣля пошла, а 3 марта еще не прошло, только я уже не жду, что ты войдешь сію минуту въ эти же двери... Нѣтъ, это ожиданіе уже прошло, а жду Загорья, жду болѣе Загорья и хочу жить, чтобъ *дожить*. Смо-

трѣтъ на тебя, сколько душа хочетъ, смотрѣтъ, слушать, слушать... и потому голову склонить къ твоему сердцу и слушать! слушать такъ долго, какъ долго оно будетъ говорить... О! Да почему же не прожить такъ всю жизнь на землѣ, слушать день и ночь, ночь и день, и чтобъ никого не было, никого. Природа— о, она пусть глядитъ на нашу любовь, пусть слушаетъ ее, а люди, ни даже друзья! Послѣ, долго спустя, ежели мы долго еще будемъ жить, пусть придутъ, но зачѣмъ же? Я только взгляну на нихъ, улыбнусь и спрячу лицо къ тебѣ на грудь. А теперь я люблю ихъ еще болѣе, нежели прежде, только ужъ какъ-то совсѣмъ иначе; не могу, какъ прежде, выражать, доказывать, пусть достаютъ сами; не хотятъ ежели брать труда, — Богъ съ ними, я не могу настолько умалить чувство, чтобъ руками передавать его, душа открыта, въ ней оно цѣлое— смотрите! берите! Если-бъ всѣ брали, сколько хотятъ, и тогда бы не убавилось въ ней ни мало, потому что она — ты. О, какъ хорошо мнѣ. Что-жъ будетъ тогда? Ни я, ни ты постигнуть этого не можемъ, и страшна каждая пылинка, *тогда* сольется свѣтъ съ свѣтомъ, и потому все существо должно быть свѣтъ, одинъ свѣтъ. Да что же я? Развѣ бы существовала я, ежели-бы была не *одинъ* свѣтъ? Помнишь ты, какъ ты вышелъ изъ-за двери... А что же ты не вышелъ въ гостиную, я ждала тебя тамъ, и, вѣрно, еще въ дверяхъ дѣвичьей руки были простерты. Оттого, что тебя нѣтъ въ гостиной, я успѣла испугаться, сердце успѣло сжаться и погрузить, хотя не прошло мгновенія, какъ я сверху очутилась въ твоихъ объятіяхъ. Боже мой, что за чувство! какъ стало у меня силъ приподнять съ плеча твоего голову и посмотрѣтъ на тебя? Да, какъ рассказать это, и какъ смѣть говорить объ этомъ? Ты *тоже* чувствовалъ, на что-жъ еще слова, нѣтъ, эта минута такъ свята, такъ полна Богомъ, что мы не должны говорить о ней. Я бы раньше тогда слетѣла къ тебѣ, но вообрази, что была возможность, что я и совсѣмъ бы не сошла къ тебѣ. М. С. и тутъ спросила, « что за надобность вставать чѣмъ свѣтъ », и куда иду. И до сихъ поръ не понимаю, какъ мнѣ удалось ее увѣрить и успокоить, — да какъ и все удалось. Богъ сдѣлалъ. А каково, Александръ, каково съ 5 часовъ середины, т. е., 2 марта, считать каждый мигъ, и цѣлую-то ночь. — о, она была прекрасна и ужасна. Я отъ нея была больна. Какъ осталась жива? Ознобъ — руки ледъ, вся ледъ, и голова, кажется, горитъ и искры сыплются изъ глазъ. Я *думала* о молитвѣ, но не молилась, тогда я не понимала, что такое молитва, Богъ, ты, — *не знала* тогда, что такое увидѣть тебя, знала, что будетъ разсвѣтъ, что я пойду, — а что и какъ, рѣшительно все было внѣ меня. Руки дрожать, я прижму ихъ къ груди, грудь трепещетъ, кажется, и постель, и стѣны, и вся земля трепещетъ; я боялась протянуть руку, дотронуться до чего-нибудь, и тутъ бы мнѣ никакъ не пришла мысль взять левту, она съ вечера попалась на глаза, съ вечера я и надѣла ее, и тутъ еще могла подумать отдать тебѣ ее. Какъ погасили огонь, я ужъ начала ждать разсвѣта, минуту просижу, закрывъ глаза, и думаю, что ночь прошла, дѣлая ночь... а прошла только еще минута. Что пережели мы, Александръ! И ты скажешь, что не совершилъ ничего? Нѣтъ, теперь ты этого не скажешь, ты видѣлъ совершенное. О, Александръ. Такъ бы, ничего не говоря, залилась бы слезами и ушла къ тебѣ на плечо, и не встала бы. Да гдѣ же ты? А кто же передо мною, кто вокругъ меня, кто во взорѣ, въ душѣ, въ небѣ... кто это такой? Если-бъ во мнѣ было что-нибудь на волосъ не твое, я бы не была я. Нѣтъ, никто не можетъ такъ любить, развѣ тамъ... Но, вѣдь, эта любовь сошла оттуда, теперь ея нѣтъ тамъ, она возвратится туда. Хочу, хочу жить, нѣтъ, не довольно 3 марта, я не разглядѣла

тебя, не разслушала. Да, да, ангелъ мой! Цѣлую ночь—далеко отъ всѣхъ, чтобъ и не слышать никого было, открытое окно, вся стѣна открытая, или вся природа открытая, я подлѣ тебя, ты мнѣ будешь говорить, будешь глядѣть на меня, скажешь: Наташа, люблю тебя! Потомъ день, я не отойду прочь, нѣтъ, нѣтъ, о, какъ страшно будетъ тогда и на мигъ оставить тебя день, цѣлой день, у насъ только будетъ свѣтлѣе отъ солнца; потомъ опять ночь, опять день, а потомъ родина! Я никакъ не могу вообразить *тогда* порядочною жизнью, ну, какъ ты мнѣ скажешь: Наташа поѣдемъ туда-то? Зачѣмъ? Имъ надо ѣздить въ гости. Скажешь: пойдѣмъ обѣдать—о, нѣтъ. Да, все тогда, и небо, и земля будетъ съ нами. Жили же пустынники въ лѣсахъ, одни, не имѣя никакого сообщенья съ людьми, почему же мы не можемъ жить такъ? Тамъ, гдѣ тепло, гдѣ непрерывно плоды, тамъ будемъ жить, только двое, ненадо никого, на что домъ, на что всѣ эти приваляжности, какъ птицы небесныя будемъ жить... О, какъ хорошо! Да что же, Александръ, скоро ли? Другъ мой, пора, возьми меня и уйдемъ, уйдемъ.

Что съ Сашей—ты этого не можешь вообразить. Я дала ей твою записку, — не разберетъ ли она; надо было видѣть, какъ измѣнялось ея лицо, и что съ ней было. Вѣрно, она тоже будетъ чувствовать, умирая, потому что она съ ея душою пойдетъ въ рай. Прочитавъ, она стала умолять, чтобъ записку отдать ей; да кому же, вѣдь, тебѣ и писана она? Мнѣ кажется, она ничего не понимала, я никогда еще не видала ее въ такомъ восторгѣ. *И я благодарю тебя за нее!* О, другъ мой, душа моя, мой Александръ.

18-е, вечерня. Итакъ, 10-е марта, въ 7 часу мы были такъ же близки, такъ же вмѣстѣ, какъ 3 марта. Хорошо, Александръ! Но, я прошу тебя, не вставай такъ рано, спи съ Богомъ, я одна встану, одна помолюсь... то есть, *не одна*, а ты спи, вѣдь и жизнь то наша вся молитва и потому на что часы для молитвы урочные? А прилетѣла бы я къ тебѣ, посмотрѣла бы на моего Александра, на его молитву... Богъ дастъ увижу!

А та пятница—ты знаешь, что въ ту пятницу? Благовѣщеніе! Рожденіе! О, я до солнца прилечу къ тебѣ, ты еще и не проснешься, а я буду носиться надъ тобою, я поцѣлую тебя, прилягу на грудь къ тебѣ, скажу тихо, тихо: Александръ, и ты проснешься. Вспомни же, что твоя Наташа съ тобою, прими ея первое поздравленіе и не грусти, надѣнь поясъ, онъ уврачуешь болѣзнь твою, въ немъ сила цѣлебная, на немъ ярко 3 марта; только, душа моя, какъ ни хороша твой поясъ, я не промѣняюся на шнурочекъ, о, нѣтъ!

Если бы я до сихъ поръ не получила письма, вѣрно, я лежала бы больная; а, впрочемъ, здоровья у меня много, рѣдко что имѣетъ на него вліянье, кромѣ тебя. — Напрасно ты такъ гнѣваешься на меня за портретъ: М. С. не была, а *the Mattey*—еще хуже, ее не обманешь. Подожди раняго разсвѣта, да съ терпѣньемъ, вѣдь и я мучусь, что у тебя нѣтъ портрета.

Когда я въ залѣ, всегда представляю себѣ, какъ ты вошелъ въ нее, гдѣ стоялъ, куда смотрѣлъ; непременно хочется знать опредѣленно, стать на то же мѣсто, такъ же смотрѣть,—но не знаю, и это мучитъ меня; ухожу въ гостиную, на тотъ диванъ, на то же мѣсто, и совершенно забываюсь: тутъ ходятъ, говорятъ, ничего не замѣчаю, подлѣ меня ты, и только! Или хожу по комнатамъ и въ миллионный разъ представляю себѣ, какъ шла къ тебѣ, какъ у этой двери отверзлось небо, какъ... Слава Ему!—Ну, а кто же благословитъ Наташу? я тебя спрашивала, ты не хочешь сказать, или никто? Нѣтъ, *тогда* Наташія прекло-

нится, и Александръ благословить ее. 3 марта я не опомнилась и не могла пресить тебя объ этомъ.

Я очень понимаю твой страхъ ѣхать мимо нашего дома; я помню, какъ была у тебя на Крут[ицахъ] въ коридорѣ, мнѣ такъ сдѣлалось страшно, что я остановилась, не могла идти далѣе и, право, была въ состояніи воротиться, да ужъ маменька взяла меня за руку, а одна я простояла бы долго, долго. Ты боялся ѣхать мимо дома, я боялась взять что-нибудь въ руки: мнѣ все казалось такъ нечисто; а послѣ тебя я думала, что прокоснувшіеся ко мнѣ исцѣлѣють, и давала волю цѣловать руки и колѣна, а сама долго никого не цѣловала.

Да, Александръ, Богъ не далъ мнѣ ни отца, ни матери, никого, все — ты и дружба послѣ тебя, прежде я не такъ понимала, я не имѣла ея вовсе, одно названье. Я почитаю — да такъ и есть оно — первое чувство ты. Прежде ребенокъ, прежде куклы, одно воображенье, жизнь безъ настоящаго, въ одномъ будущемъ. Я говорю тебѣ — ты все: мать, отецъ, братъ, другъ, ангелъ, мой Александръ! И кого-жъ мнѣ еще? Все твоя любовь? И чего же мнѣ еще? Если есть что болѣе, ты же дашь мнѣ это болѣе.

Поздно вечеръ. Спишь ты, или пѣть? Это все равно: на яву и во снѣ ты слышишь, какъ зоветъ тебя Наташа. Право, мой милой, слезы рѣкою льются, какъ я соображаю все, что со мною: давно ли, давно ли — жалкая дѣвочка, круглая сирота, всегда съ грустнымъ видомъ, съ равнодушьемъ ко всему, что веселитъ ровесницъ, всегда одна въ углу, и рѣдко, рѣдко не въ слезахъ, а теперь? Подлинно, — прирѣкъ на смиреніе рабы своея. Какъ ни хорошо теперь, но все ты иногда призадумашься, вздохнешь, грусть порхнетъ въ душу, и навернется слеза; а тогда, вѣдь, каждое мгновеніе я буду делѣять тебя, не дамъ призадуматься тебѣ, не дамъ вздохнуть; ежели тебѣ будетъ мало настоящаго, ставу рассказывать 3 марта, буду спрашивать, что будетъ тогда, послѣ нашего тогда — у Бога; ты опять просвѣтлѣешь, опять безоблачное блаженство. Да, развѣ ты можешь тогда о чемъ-нибудь сгрустнуться? Неужели можешь?

Какъ мнѣ больно всегда, что ты пишешь о Т. П. — *перемяна*. Это настолько для меня ужасно, что я не могу вѣрить. Тат. Петр. мнѣ представляется все, какъ разъ она была дивно хороша и хорошо говорила. Саду у насъ еще не было, зеленые пригорки, и кругомъ акаціи, вечеръ предестной, она въ розовомъ платьѣ, говорила о безсмертіи, о жизни необыкновенной. Мнѣ тогда она казалась ангеломъ, тогда въ ней такъ много было твоего, я 14 лѣтъ была въ восторгѣ и плакала, и желала тутъ же умереть, чтобъ не жить обыкновенно. Потомъ немного спустя, разъ вечеромъ, я смотрѣла въ окно, — ясно, звѣзды, долго смотрѣла, и вдругъ точно кто съ неба меня поманилъ, позвалъ; я бросилась къ ней и говорю: «умремте, Татьяна Петровна». Она очень равнодушно посмотрѣла на меня и сказала, что не хочетъ умирать. Съ той минуты поклоненіе мое ей окончилось, но все-таки любила ее много за тебя; потомъ замужество, потомъ вотъ, что ты пишешь, — ужасъ какъ больно!

Ты спрашиваешь, что Левъ Ал. Кажется, я писала тебѣ, что, какъ онъ пріѣхалъ къ намъ на другой день послѣ того, какъ узналъ, я тотчасъ догадалась; но съ болѣзнию моею онъ сдѣлался совѣтъ другой, необыкновенно внимателенъ... Да, вѣдь, это все равно. Не хочется, право, не только говорить и думать о нихъ, ну, что они могутъ? *Наше* — наше! и что они, самозванцы, передъ Нимъ? Ничто, ничто не тяготитъ души, какая-то свобода, воля, кажется, надо мною никого нѣтъ, я большая надо всѣми, а исполняя ихъ волю, я покоряюсь

не имъ, а Ему, и легко мнѣ переносить все. Выразить никогда не буду умѣть: та же цѣпь, — а, кажется, на мнѣ корона; также запрещаютъ идти въ другую комнату, — а, кажется, я свободна и мощна, какъ дуновение Божіе; тѣ же стѣны, — а я въ твоихъ объятіяхъ, тѣ же люди, — а передо мною только ты, ты, и ничего больше. Прощай.

Посмотрѣла бы я тебя въ голубой лентѣ, только не въ *той*, знаешь? О, нѣтъ, та лента не идетъ къ тебѣ, оставь ее имъ, имъ, вѣдь, Наташа не пришлетъ ленты, и въ ея лентѣ посмотрѣла бы я тебя, красавецъ мой!

А Кетчеръ повѣсть все еще не прислалъ, да онъ пренеисправный, ему мало одного выговора. Итакъ, теперь ты пишешь только письма, а знаешь ли, что они лучше всѣхъ статей? Потому они и лучше, что ты пишешь ихъ для одной меня, а статьи не для меня одной, для многихъ. Мы мечтаемъ, какъ будемъ читать ихъ вмѣстѣ, но это еще долго спустя, сперва надо наговориться, а говорить мы не умѣемъ еще, надо выучиться, и выучимся со временемъ, и потому до писемъ еще далеко, далеко. А будемъ и ихъ читать! Въ третій разъ, прощай! Глаза закрываются. Господь съ тобою.

19-е, суббота, 6 часовъ утра. Можетъ, ты скоро проснешься, — здравствуй и прощай! Сегодня письмо. Вѣдь, не дальше, какъ вчера получила, и ужъ опять нетерпѣнье. Жизнь моя! обернешься ко всей вселенной, — безъ тебя пусто, безжизненно, темно, обернешься къ тебѣ... Ну, обнимаемъ же.

Прощай. Твоя *Наташа*.

А, вѣдь, пальцы-то были не мои, я и не шила въ нихъ. Еmilie не навѣрное ѣдетъ, теперь я могу сожалѣть, а тогда было такъ все свѣтло, такъ все радостно, если-бъ умерла она, — не знаю, скатилась ли бы хоть слеза. Теперь я нѣсколько вошла въ себя, тогда я уничтожилась, тогда все было ты. Прощай! Руку — цѣлую тебя долго, долго!

19-е, суббота. Ночь.

Отославъ давеча письмо, я думала: сегодня уже не буду писать, буду ждать письма, и ждала, и опять думала, и опять ждала, и такъ прошелъ весь день, и вотъ я пишу тебѣ. Александръ... что же сказать мнѣ еще? Тутъ все мое, вся я.

Долго спустя. Торжественны минуты, въ которыя нельзя говорить и о которыхъ нельзя говорить! Послушай, *тогда* — какъ мы уже выучимся говорить — мы будемъ говорить много, очень много, потому что никто не имѣетъ рассказать столько, какъ я и ты. Но, когда я замолчу, когда, оцупя глаза и крѣпко сжавъ твою руку, буду долго молчать, въ глаза нальются слезы... потомъ медленно и тихо-тихо скажу: Александръ... и опять замолчу и буду долго молчать... Прошу тебя, не прерывай этого молчанья, ни взглядомъ, ни поцѣлуемъ не прерывай его. Пусть все молчитъ тогда... и грудь моя будетъ покойна и тиха. Когда-жъ увидишь слезы ужъ на рѣсницахъ, увидишь, что грудь волнуется... тогда приподними мою голову, тогда посмотри мнѣ въ глаза, поцѣлуй, прижми къ груди, — тогда ужъ я буду на землѣ.

Ты все представляешься мнѣ въ голубой лентѣ. И вѣрно ты былъ въ ней давеча въ сумеркахъ: я ходила съ часъ по комнатамъ, сердце рвалось, ему хотѣлось разлиться голубой лентой по тебѣ, какъ вода разлита по землѣ. А въ самомъ дѣлѣ, ангелъ мой, лучше быть лентой на твоей груди, чѣмъ сердцемъ въ моей груди, вѣдь, лучше? — Теперь ужъ вѣрно все спитъ, такъ поздно. А ты?

Любила бы я, Александръ, усыпивъ тебя на рукахъ моихъ, не спать долго, а смотрѣть на твой покой... Нѣтъ, нѣтъ, прощай, слезы льются.

21-е, понедельникъ, 6 часовъ утра! Здравствуй, Александръ. Можетъ, ты во снѣ теперъ видишь меня, а я наяву съ тобою. Прелестное утро. Оно юе на востокъ, и онъ ужъ начинаетъ алѣть въ 6-мъ часу, и ранѣе будетъ алѣть, и, наконецъ, прежде чѣмъ онъ заалѣетъ, заалѣютъ мои щеки отъ твоего поцѣлуя тамъ, на холму, откуда виденъ лишь храмъ Божій.

Бываютъ дни,—отъ меня не добьются слова, взгляда; эти дни я или съ тобою непрерывно, иду по слѣдамъ твоимъ, провожаю каждый твой взглядъ, и не до того мнѣ, чтобъ говорить здѣсь и глядѣть здѣсь; или уношусь туда и тамъ небеснымъ рассказываю мое земное, передаю имъ моего Александра гимномъ, слезою. И небесныя дивятся и слетаютъ со мною на землю, не сюда, а къ тебѣ и, украсивъ насъ вѣнками изъ цвѣтовъ райскихъ, окропивъ слезами благодати, берутъ нашу слезу съ собой на небо и несутъ ее къ Нему... Созерцаю, я не говорю. Иногда же—о, прелестна и земля! Насмотрѣвшись ея красотою, нажившись на ней небомъ и завидѣвъ, въ комъ тѣнь возможности понимать меня, я начинаю говорить и говорю безъ конца; и когда увижу улыбку или слезу *души* отъ моего рассказа, онъ растетъ и, наконецъ, восторгъ, молитва и любовь переведены на слова, и каждое то слово—сосудъ любви, не исчезаетъ въ воздухъ, какъ *и*гъ слова, а падаетъ на души тѣхъ, съ кѣмъ говорю, животворною росою и не высыхаетъ, какъ та роса, и не высыхаетъ вѣчно! Они пойдутъ съ этой каплей туда, и, можетъ, она искупитъ ихъ.

Видѣла во снѣ, что мнѣ принесли отъ тебя огромный пакетъ, я до того обрадовалась, что проснулась—6-ой часъ молитвъ, а 7-ой тебѣ. Сегодня и наяву получу непременно!

Да, Александръ, многіе пожалѣютъ о тебѣ, о твоей славѣ, пожалѣй и ты о нихъ, о ихъ славѣ, и посмотри на небеса: *тамъ написано твое имя!* Никогда, мой ангелъ, не желала я тебѣ славы, которою славятся многіе; эта слава передъ тою, которую я желала тебѣ, то же, что небо, написанное ребенкомъ углемъ, противъ этого дивнаго яхонта. Онъ намаралъ небо и радуется, и любитъ *своимъ* небомъ, оно для него лучше настоящаго неба, онъ вѣкъ бы и не взглянулъ на него, ему *довольно* своего неба. И они, вѣдь, дѣти, можетъ, и эти дѣти вырастутъ, дорастутъ до неба свѣтлаго, яснаго, до неба съ солнцемъ и звѣздами,—тогда они бросятъ свое угольное небо и забудутъ объ немъ.

Вчера, вообрази, съ самаго утра и до ночи я все говорила, да, вѣдь, не переставая почти, и не устала и не замѣтила, какъ исчезъ день, исчезъ—нѣтъ, *наши* дни не *исчезаютъ!* Но неужели ты спросишь, о чемъ я говорила? Нѣтъ, не спросишь. Тутъ было и Загорье, о, это Загорье! Повѣришь ли, другъ, даже отпущъ на мѣсяцъ блѣднѣетъ передъ тѣми пятью днями. Да, знаешь ли ты дорогу въ Царицыно, тамъ удобнѣе тебѣ остановиться, нежели въ которомъ-либо изъ сосѣдственныхъ селъ. И гдѣ же мы будемъ—на другомъ берегу, ангелъ мой; деревня и домъ кв[агини] будутъ отъ насъ черезъ рѣчку, я перейду плотиною, залечу быстро на гору и къ тебѣ, къ тебѣ! часовъ съ трехъ иль ранѣе—и до семи! Кого ты прилешь за Аркадьемъ, запрети тому никому не говорить кромѣ его, да и его сыскать осторожно, чтобъ не взяли другіе подозрѣныя. Наконецъ, ждавши тебя въ Загорье три лѣта, я дождусь на четвертое. О!.. порвется грудь и потеетъ свѣтомъ вселенную. Цѣлую тебя долго, долго, обними же меня, прощай. дымятся трубы, люди встали.

Ночь. Твое письмо и Медвѣдовой письмо. Слава Богу! Слава Богу! Прочитавъ его, первое движеніе мое было упасть на землю и благодарить Господа. Истинно, нѣтъ мѣры моему блаженству. Буду, буду писать ей, непремѣнно. Она ближайшая родственница моей души, не ропщи за встрѣчу съ ней, благодари Бога за нее, она обоимъ вамъ благо. Тебѣ—смирненіе, ей—спасеніе, мнѣ—блаженство, слава тебѣ, Господи, слава тебѣ! Вижу, она сестра мнѣ, о! рука объ руку и на всю жизнь! Несчастлива со всѣхъ сторонъ,—ну, пусть оставитъ землю, гдѣ ей лишь тернія, пусть выльветъ на самую средину океана, забудетъ берега и ихъ безжизненные скалы, и свой терновый путь. Вотъ волны чистыя, свѣтлыя, въ нихъ яхонты и солнце, я и ты зовемъ ее, приди пить изъ океана небесной благодати, приди купаться въ волнахъ его, погрузи въ него, сестра, твою жизнь и твою вѣчность. О, Александръ, люблю ее ужасно, люблю въ ней ее и тебя. Пока ты во Влад., а я въ Москвѣ, я буду писать ей все черезъ тебя, потомъ вмѣстѣ будемъ писать къ ней прежде, нежели къ кому-нибудь, и болѣе, нежели къ кому-другому,—у ней ничего, кромѣ насъ, и ей первой открыты и наши объятія, и душа. Она молилась, молилась и я, и пламенно молилась. Поблагодари же Бога, что Онъ услышалъ нашу молитву, а твоя молитва, Александръ? Она то все и сдѣлала, мой Александръ. Что моя молитва, ея—нѣтъ, все ты! все ты!

Паденіе—но что-жъ бы она была теперь, не павши? Слава Богу за это паденіе! Люблю ее за любовь къ тебѣ, къ моему *Александрю*. Послѣ распятія—свѣтлое воскресеніе; умеръ человѣкъ ветхой, родилось новое чадо Богу. Начало встрѣчи вашей—распятіе, конецъ—свѣтлое воскресеніе. Слава небесному Отцу!

Утро, 6 часовъ, 22-е, вторникъ. Вчера до третьяго часа не могла заснуть,—письмо Медв. восхитило меня. Еще разъ благодарю Бога за вашу встрѣчу. Быть можетъ, тихо, мирно, безжизненно протекла бы она земной путь,—ты пробудилъ ее; тяжело было пробужденъ, но она увидитъ утро ясное, теплое, майское, и узнаетъ природу, обниметъ брата и сестру—и узнаетъ Бога! Ты принеси ей спасеніе, отворилъ ей небо, я буду утѣшать ее на землѣ и поведу съ собою туда. *Она счастлива*, говорю я, и это слово не пустое, оно полно мною.

А твое письмо, Александръ, тревожитъ меня. Или ты былъ чѣмъ занятъ и торопился писать, или боленъ,—что съ тобою?—Итакъ, изъ Петерб. все еще ничего; пусть,—идемъ, идемъ! Пора, я слышу гласъ Божій, пора! И никто путеводитель, никто опора, какъ Богъ; да, намъ нѣтъ опоры, путь узкій, а по сторонамъ страшныя пропасти, а тамъ впереди... и не погибнемъ мы, насъ Богъ ведетъ, и дойдемъ. Какъ я рада мой ангелъ, что все *дѣловое* мое неудачно, вѣдь, я давно говорила тебѣ, что у меня одинъ талантъ—любовь. Итакъ, я складываю руки и ни слова о дѣлахъ. Безъ разбора пойду по грязи, по терніямъ, камнямъ, топью,—лишь дойти до тебя!

Вечеръ. Непонятно для меня и больно, очень больно, какъ Скворцовы могли забыть тебя; но они и не забыли, о, нѣтъ! эта мысль ужасна. А не пишутъ—почему знать... Да нѣтъ, какое же можетъ быть препятствіе столь сильное, чтобъ не имѣть возможности писать къ тебѣ,—это непостижимо для меня. Но погоди, не посылай ихъ *направо*, оттуда ужъ не воротишь, а съ ними жалъ разстаться на вѣкъ.

Ночь. Тебѣ непріятно послать мнѣ твою жизнь, а мнѣ тяжело *читать* ее. Да, именно, ангелъ мой, сложа руки, притаивъ дыханье и устремя взоръ на тебя, *слушала бы* я ее, а читать—тяжело, тутъ точно кто шепчетъ на ухо: «выозно», а тогда? Вѣдь, ты расскажешь мнѣ тогда? Да! Я совѣмъ почти незна-

кома съ *твою любовью къ Л. П.*, долго спустя ужъ ты сказалъ мнѣ о ней. А знаешь ли что? Епіліе какъ была у нихъ первой разъ, и ты тамъ былъ: пришедши, она меня увѣряла, что ты влюбленъ въ Л., разсказывала всѣ доказательства; и, не знаю почему, я, любившая столько Л., почитавшая ее лучшею изъ всего свѣта, потому что мнѣ казалось, что ты почитаешь ее такою, не вѣрива этому, увѣряла ее, что ты, можетъ быть, *будешь любить*, но не любишь и не можешь любить Л. Видишь, мой ангелъ, я не *понимала* еще, почему твоя любовь не этой дѣвушкѣ, но ужъ *чувствовала*, что не ей, а дѣвѣ иной.

Ты хочешь, чтобъ и я написала мою жизнь и 9 апрѣля,—хорошо, я разскажу ее тебѣ въ особыхъ письмахъ (но когда, не знаю, потому что едва достаётъ время на письма и о теперешней жизни) и, какъ напишу довольно, приплю тебѣ. Но письма—не иначе, потому что *иначе* я писать не могу. Помню и дѣтство мое до 8 лѣтъ, въ эти 8 лѣтъ я испила все, что можетъ быть сладкое и горькое въ этотъ возрастъ, и ярко воспоминаніе того и другого, удивительно ярко. Я опишу *тебѣ* малѣйшія подробности съ перваго воспоминанія. покажу тебѣ твою Наташу 4-хъ лѣтъ и жизнь 4-хъ лѣтней Наташи, счастливейшаго ребенка въ мірѣ, а потомъ... но вотъ увидишь тамъ.

Завтра твое письмо, а послѣ завтра ты получишь мое. Поздравляю, поздравляю тебя, мой Александръ! поздравь же и ты меня—о, другъ!

Но отчего-жъ мнѣ кажется, что ты нездоровъ? Сохрани Господи! Нѣтъ, нѣтъ, если и боленъ, дай поцѣловать тебя, дай я поцѣлую уста, очи, грудь, ну, легче? А молитва! О, нѣтъ? ты здоровъ. Читала я повѣсть Катеньку Рах. Да, *похоже* на мою любовь, на мое самоотверженіе, но надо бы больше, больше и тогда-бы было *похоже*.

Москва, 1838, марта 24-го, вечеромъ.

Давеча рано утромъ принесли твое письмо отъ 16, я прочла только первыя строки, прошло долго, долго время, и когда оно прошло, я прочла въ другой разъ. «Будь тверда». Прижавъ письмо къ груди, я преклонивъ колѣна и молила Его помочь мнѣ исполнить твое повелѣніе. Онъ и послалъ помощь; съ одной стороны въ душѣ взошло 3 марта, съ другой, вѣра на Его *всемогущество*. Онъ благъ да будетъ Его воля! Недолго спустя и святая недѣля явилась свѣтлою, и Загоры святымъ, а при первомъ чтеніи отказа они показались чернѣе его, все сдѣлалось невозможнымъ, и 3 марта—могильной дверью. Приѣзжай въ четвергъ на Святой, 7-го марта [апрѣля], или 8-е, можно и 9-е, и мы увидимся не мгновенно. какъ пишешь ты, а пробудемъ вмѣстѣ свободно и безопасно,—сколько ты думаешь часовъ, ангелъ мой? О, вѣрно не отгадаешь! Ну, приготовься же къ этому блаженству: къ ряду, непрерывно, мы можемъ быть въ той же комнатѣ, а томъ же диванѣ—6 часовъ! Александръ, 6 часовъ! вѣришь ли, другъ мой? Теперь выслушай, какъ это будетъ. Кв[ягиня] очень любитъ, чтобъ я спала у нея въ спальнѣ, хотя насъ раздѣляютъ ширмы, и ей не видно меня; но я не люблю. потому что тогда непременно ужъ надо ложиться въ 10 часовъ, и я буду ложиться въ 10 часовъ, хоть 10 дней, потому что черезъ эту жертву могу быть съ тобой около 10 часовъ. Въ Свѣтлое Воскресенье я попрошусь спать у нея въ всю недѣлю. Ты получишь это письмо на страстной недѣлѣ, я отвѣтъ на него въ среду на Святой, а въ четвергъ буду ждать тебя самого въ 11 часовъ вечера въ той же комнатѣ. Кв[ягиня] не будетъ знать, что меня нѣтъ, выйду тихо, и

тихо войду опять въ 6-мъ часу утра.—Долго отдыхала, и какъ не устать, написавши все это. Отдохни и ты. Какъ волнуется грудь, какъ тяжело дышать и голову держать на плечахъ.

Вечеръ. Я читала «Тамъ», какъ пришло письмо. Елена была въ обморокъ, вся душа болѣла, грудь точно пилили, въ глазахъ темнѣло. Я положила письмо на тетрадь, прилегла къ печати головою. Я не обрадовалась ему, не слѣшила распечатать, боялась. Потомъ будто забылась, подняла голову, слезы лились, легче, я поцѣловала письмо и стала читать его.

Теперь окончила повѣсть. *Какъ* писано, я не беру на себя судить этого, рѣшительно, могу ошибиться; а *что* писано, то мое, и я вѣрно вижу, такъ оно или нѣтъ. За что ты разлюбилъ эту повѣсть, не за сумасшествіе ли князя? Много чувствъ волновало душу, не волновавшія прежде, при чтеніи этой повѣсти. Вѣдь, и она письмо же, только ты не писалъ ко мнѣ такого письма. Долго, долго не буду читать ее, пока отдохну отъ нея, можетъ, послѣ Святой, можетъ, послѣ Загорья. Когда княгиня просила примиренья Елены на ея могилѣ, я не выдержала, залилась слезами и бросилась на землю, я благодарила Бога, что могу преклонить колѣна передъ Еленой живой, просить у нея примиренья и руки. Ежели-бъ я прежде читала эту повѣсть, можетъ, совсѣмъ бы иначе написала письмо къ Медв. Зачѣмъ она у моихъ ногъ? Я у ея. Елена, прости! Но знай, сколько я виновата передъ тобой, столько же и онъ. Да, потому что мы одно, одно до рожденья и за могилой; прости же намъ эту вину, благослови насъ, улыбнись и эта улыбка благословіе. Александръ, я взволнована ужасно, ангель мой, сколько любить тебя Наташа. Теперь прощай, уже не пойду къ заутренѣ, а буду писать къ тебѣ. Давеча во время всеобщей, я молилась у той самой двери, на томъ мѣстѣ, гдѣ мы обнялись впервые 3 марта и впервые въ жизни. Да зачѣмъ же князь сошелъ съ ума? Какъ не спасли его молитвы ангела? И зачѣмъ ангель, сдѣлавшись ближе къ Богу, пересталъ молиться о несчастномъ? Князь, видно, не любилъ ангела, *за то, что онъ не былъ ангель*, а то онъ не сошелъ бы съ ума, а ангель все продолжалъ бы молиться. О, конецъ очень дурень, за него я не стану читать эту повѣсть, можетъ, и долго послѣ Загорья, можетъ, никогда. — Александръ! нѣтъ, буду читать, часто, всегда, чтобъ дѣлаться выше княгини, сдѣлаться ангеломъ и не перестать молиться, чтобъ князь не сошелъ съ ума.

Въ заутреню. Александръ! мой Александръ! прими поздравленіе твоей Наташи. ея поцѣлуй, ея поклоненіе, молю тебя для нынѣшняго дня—*будь твердъ и ты!* Я еще не понимаю вполнѣ отказа, не могу разглядѣть его, не понимаю, что, такое: «надежда на скорое освобожденіе потускла». Что это значить? Вѣдь, это значить *разлука еще долго*. Вѣрно, это значить, потому что эти слова крѣпко пеленаютъ душу въ желѣзный листъ. Но я и не вѣрю имъ! Я вѣрю, что на Святой буду съ тобой, что въ Загорѣ буду съ тобой, еще болѣе вѣрю, что я теперь съ тобой—и хорошо мнѣ!! Пріѣзжай же въ Москву поздно ввечеру, только напиши мнѣ день и, пріѣхавши, тотчасъ дай знать, потомъ приходи ко мнѣ въ 12 въ исходѣ, чтобъ всѣ улеглись въ домъ, потомъ уѣзжай изъ Москвы въ 7 часовъ утра.

Ты все ставишь меня выше себя; ну, вотъ, посмотри: любовь безмѣрна во всѣхъ видахъ, но какъ она склоняется къ землѣ, это ярко видно, когда я прошу тебя не молиться рано, прошу не мѣнять сна на молитву, — любовь же, ангель мой, любовь безпредѣльная, но она смотритъ на землю и боится, что Александръ

тамъ проснется не вовремя, что молитва его будетъ беспокоить, любовь эта боится *разбудить молитвой*. А ты?! О, Александръ, вотъ тебѣ земной поклонъ, святой, помолился же и обо мнѣ. Итакъ, въ 7-мъ часу оба на колѣнахъ. оба взоръ на небо, оба—одна молитва, одинъ гимнъ къ Нему. О, вставай, вставай, молись, потомъ усни опять, и этотъ сонъ послѣ молитвы не будетъ отдохновеніемъ одному тѣлу, онъ будетъ на землѣ жизнью души, той жизнью, которою она будетъ жить въ вѣчности. Въ этомъ свѣ ты увидишь меня просвѣтленною, увидишь Бога! будешь серафимомъ, вставай, вставай! Молись, молись, я буду будить тебя въ 6 часовъ, буду молиться съ тобой и послѣ я же уснулю тебя.

25 марта. Разсвѣтаетъ. Я написала свою жизнь до 7 года, до тѣхъ поръ, какъ пап[енька] поѣхалъ въ Петербургъ, и она чрезвычайно тебѣ будетъ интересна, я очень ярко помню подробности московской жизни, и сколько судили онѣ мнѣ. Я помню и тогда еще меня называли любимой изъ дѣтей, и это было замѣтно во всемъ, и я чувствовала это очень. Это первое письмо къ тебѣ, потомъ Петерб. — второе, потомъ опять Москва и уже это будетъ не письмо, а такъ воспоминаніе, потому что ты ступилъ въ душу мою, какъ только я ступила на порогъ кв[ягининаго] дома, но ни я, ни ты, и ты еще меньше, не знали этого.

Да, Жанъ Поль точно видѣлъ наши 3 марта, такъ дивно похоже говоритъ, но вполне наше 3 марта не опишетъ никто? Счастливъ, счастливъ безмѣрно и тотъ, кто не только описать, а только видѣть можетъ, или даже только вѣрывать, что существуетъ у Бога 3-е марта и что оно сходило на землю и воплощалось,—безмѣрно тотъ счастливъ, тому останется отъ 3-го марта то, что осталось христіанамъ отъ Христа по вознесеніи Его—Евангеліе!

Александръ, будущаго я вовсе не понимаю, не знаю даже, будетъ ли оно—а только знаю, что будетъ Святая недѣля и Загорье. Ниши же навѣрное, когда приѣдешь. Да, вотъ опять моя любовь со взоромъ, склоненнымъ къ землѣ: *я боюсь* вторичнаго твоего приѣзда, боялась блаженствомъ небо разбудить ничтожныя неприятели земныя. Сердись на меня за это, божественный,—и прости! Я не боюсь уже, о, нѣтъ! Пусть прервется самый крѣпкій приятный сонъ твой, лишь молись; пусть вся земля противъ меня и тебя, лишь приѣзжай! Намъ надо отдохнуть, скоро прервали отдохновеніе наше — Боже! Прощай, скоро придутъ отъ заутрени. Черезъ два часа я проснусь и прилечу къ тебѣ молиться съ тобой.

Не Катчеръ виновата, а Emilie, она прислала мнѣ только «Мысль и Откровеніе», а повѣсть держала у себя и ничего даже не сказала; я уже накажу ее, строгость моя возрастаетъ.

7-й часъ утра. Царю небесный, утѣшителю, душе истинный! Приди, вселися въ ны... Слава въ вышнихъ Богу!

Ночь. Какъ-то ты провелъ нынѣшній день? Я утомлена, взмучена. Какой-нибудь часъ было чрезвычайно отраднo—воспоминаніе съ Emilie *нашего года*, того года, какъ мы жили съ ней вмѣстѣ. Но что же такое всё воспоминанія его? Ты, все ты. Какъ образовалась дружба къ тебѣ, и почему Emilie замѣчала въ ней любовь,—напишу не теперь, не могу, все какъ-то неясно. Утомительно совершеннолѣтнему начать ползать, какъ ребенокъ, потомъ стоять, держась за стулъ, потомъ переступать; я утомлена и безъ этого, я отдохнула-бъ теперь, бѣжавъ стрѣлою во Владиміръ. Можетъ, ты вздумаешь и первые дни на Святой приѣхать,—я буду ждать. Явись опять къ Emilie, она, Богъ знаетъ, какъ желаетъ тебя видѣть, а 2-го марта, вѣдь, она не видала тебя. Можетъ, и она при-

дети ко мнѣ вмѣстѣ съ тобою въ ту ночь. О портретѣ мы *поговоримъ* съ тобою, и ты же хочешь наказывать меня за то, что я не снимала, — есть резонъ по крайней мѣрѣ, и за что наказаніе невозможно списать?

Тяжело, тяжело, но прочти тѣ письма мои, гдѣ я говорю, что желаю *только* взглянуть на тебя. Да, и не довольно ли? Скажи довольно, и я не буду здѣсь ничего болѣе ждать, я полечу туда ждать тебя.

Да, я смѣялась, читавши о своемъ кокетствѣ: пожалуй, тебѣ непременно хочется, чтобъ совершенное забвеніе не только туалета, но и себя, называлось кокетствомъ, — да будетъ! Я желаю всю жизнь такъ кокетничать.

Идучи давеча къ ужину за вереницей этихъ безобразныхъ, оскорбительныхъ фізіономій, слушая ихъ бесѣды... долго ли? простенала душа, закрывши очи въ изнеможеніи. Когда взглянула на себя, она облечена дивной ризой, третьимъ мартомъ; взглянула туда, — благословляющая десница... И она не почувствовала, какъ еще глуже крестъ вдавился въ грудь. Полна жизнь, блаженна!

Наташа.

23-го марта. [Владимірѣ].

Ангелъ мой, я теперь сидѣлъ, и думы толпой пробѣгали по душѣ. Перебирая всю любовь, нельзя не видѣть яснаго перелома во мнѣ. Сначала я считалъ себя равнымъ тебѣ, сначала я гордо полагался на свое вліяніе и достоинство (35 и 36 года); съ того времени ты все росла, и уже я очутился на колѣнахъ, не смѣя стать рядомъ, и это-то глубоко чувство смиренія передъ ангеломъ преобладаетъ теперь въ каждой строкѣ. Откуда оно? Вымарай изъ моей жизни исторію Медв., и любовь моя далеко не приняла бы религіознаго направленія. И опять ты все прежде меня постигаешь: ты это же самое писала два года тому назадъ, — именно нужно было преступленіе, чтобъ смирить гордость. Душа женщины большей частью несравненно чище души мужчины. Какіе примѣры окружаютъ душу юноши съ 15, 16 лѣтъ? Чего онъ не переиспытаетъ до окончанія школьныхъ лѣтъ. Чувства притупляются, эгоизму раздолье, религіи нѣтъ. А дѣва въ своемъ затворничествѣ чиста, какъ ласточка, неопредѣленная мечта ея религіозна, свята; такова и любовь, а эгоизму *мало* доступна. Оттого женщина всегда самоотверженнѣе, отъ любви погибнуть *многія*, но не *многіе*, изъ гордости наоборотъ — лучшій примѣръ дуэли. Сильно должно быть потрясеніе, чтобъ усмирить юношу, и вотъ ужасная встрѣча съ М. окончила мое воспитаніе. Но эта встрѣча проскользнула бы, едва оцарапавъ; надо было непременно, чтобъ, какъ улика, былъ передъ глазами человѣкъ, во всей славѣ, во всемъ сіяніи; это — ты, моя боже-ственная, — и я смирился. Теперь я не паду, говорю рѣшительно, радуйся же, радуйся, ты овцу потерянную ведешь домой. Другой переломъ въ любви тоже замѣтенъ, это ея возрастаніе; возьми письма и посмотри, какъ мало-по-малу любовь все поглотила; звѣзды свѣтятъ, но выходитъ солнце, звѣзда за звѣздой блѣднѣетъ, меркнетъ, та держится дольше, другая, — но оно вышло, царственное, и исчезла звѣзда, и мѣсяцъ, какъ тѣнь убитаго, дрожитъ на небосклонѣ. Слава боролась съ тобою всѣхъ храбрѣе, десять лѣтъ она непрерывно обтесывала себѣ пьедесталъ изъ моей души, и вдругъ на этотъ пьедесталъ становится дѣва; она попробовала стать хотъ вмѣстѣ, но могла ли она, женщина развратная, облитая кровью Мессалина, актриса нарумяненная, могла ли устоять рядомъ съ Дѣвой — ангеломъ. А тебѣ хорошо, Наташа, на ея пьеде-

сталъ; никто не умѣетъ ставить лучшей пьедесталъ, лучшую колонну, какъ слава, цари же на немъ. Вотъ моя грудь, раскрой ее, и ты увидишь, что въ ней ничего нѣтъ, кромѣ тебя, какъ въ церкви ничего, кромѣ Бога. И какъ въ церкви любовь къ Богу выражена всѣми искусствами, такъ и ты въ моей душѣ слита съ поэзій, съ мыслями, съ чувствомъ, тобою свято прошедшее, свято настоящее, свято будущее. Въ самомъ дѣлѣ, тебѣ должно быть удивительно (какъ пишешь въ послѣднемъ письмѣ), какъ холодной cousin превратился въ горячаго брата и въ пламеннаго жениха. Но сѣтовать на меня нельзя, что я такъ долго не узнавалъ мою Наташу въ кузинѣ Наташѣ,—моя огненная живость и твоя кроткая тишина не имѣли перехода. Я считалъ тебя холодною (не знаю, кто тебя сравнивалъ съ Елиз. Петр. Смолакъ, чуть ли не Т. П., и называли англичанкой), видѣлъ большія способности и жалѣлъ о твоёмъ положеніи. Я узналъ тебя гораздо ближе, когда была Emilie, она имѣетъ именно ту живость и пылкость, которая должна была остановить мое вниманье, но замѣть, я не предпочелъ ее тебѣ, твоя высота скоро стала замѣтна. Помнишь ли ты стихи свои, писанные въ 1833; душа твоя вырвалась въ нихъ сильно (они цѣлы у меня). Emilie была именно переходъ между нами; но я не любилъ тебя *любовью*. (Вы знаете, что я тогда былъ влюбленъ!!). Несчастіе ужасное потрясло меня. Живость остановилась. Тутъ симпатія твоя и Emilie явилась во всемъ блескѣ. 20 іюля вечеромъ я тебя любилъ ужъ страстно безъ малѣйшаго сознанія; любовь во мнѣ, какъ озимовое зерно, должна была цѣлую зиму таиться неузнанная. Замѣть, я пользовался каждымъ случаемъ посылать тебѣ поклонъ; на тебѣ была обращена вся внимательность, вся нѣжность моя, я былъ очень *пламенной* братъ и, методически увѣряя себя, что любовь вредна и не существуетъ, я дожидь до 9 апрѣля и, наконецъ, до конца 1835 года. Вотъ вопросъ весьма важной: былъ ли я влюбленъ въ Медв? И да, и нѣтъ. Ея несчастное положеніе, прекрасная наружность, немножко кокетства и очень много ума увлекали меня, а я тогда стоялъ на распутьи, не зналъ, куда идти, предавался всему усталой душой, не любилъ никого изъ Вятскихъ, виною, даже картами тушилъ другія потребности души. Ея внимательность теплая, какъ нарочно, близость квартиры,—и я сдѣлался у нихъ свой человѣкъ. Суди меня строго, но вспомни: ни одного человѣка, который бы съ любовью посмотрѣлъ на меня, и вдругъ является человѣкъ, и притомъ женщина, и притомъ 24 лѣтъ, и притомъ образованная. Я увлекся мгновенно, сильнымъ, бурнымъ характеромъ увлекъ ее и, замѣть, въ ту же минуту опомнился, въ ту же минуту разглядѣлъ, что это не любовь, что мнѣ такое чувство узко, что отъ него пахнетъ помадой, а не живой розой. Тогда-то судорожно требовалъ я себѣ иной любви, и на всѣ эти требованія душа отвѣчала: «Наташа». Я трепеталъ, задыхался, я мучился, читая твои письма, но скрывался отъ тебя. О, Наташа, сколько разъ перелѣ моими бѣшенными письмами въ концѣ 1835 и началѣ 1836, я сидѣлъ въ совершенномъ отчаяніи передъ моимъ столомъ, облокотясь на обѣ руки. Потъ выступалъ на лицѣ, и холодныя капли слезъ сливались на твое письмо. Я мялъ этотъ листокъ въ рукахъ, прижималъ его къ головѣ, въ которой горѣлъ смутной пожаръ, и рядомъ со всѣми этими мученьями выходила мысль, что я обманулъ М. И отчего я мучился? Развѣ прежде, нежели ты писала о любви, она не ясна была? *Я сознавалъ себя недостойнымъ твоей любви*. Да, да, именно это чувство терзало меня, и его-то я передалъ Полинь, какъ только сблизился съ нею; я казался гадою, заляптанъ себѣ, а ты, какъ нарочно, блистала ярче, ярче.

О, моя Наташа, какъ взволновалась душа отъ этихъ воспоминаній. Щеки плачутъ, слезы... Наташа, Наташа, нѣтъ, я стою твоей любви, еще разъ взойди сомнѣнье въ мою душу, и я погибъ, —но оно и не взойдетъ. Дай руку, приложи ее на эту грудь,—она преступна, но она полна любовью, она такъ умѣетъ молиться Наташѣ. Когда же мы вмѣстѣ, нѣтъ, соединимся. Богъ съ ними, тогда все это я расскажу тебѣ, и слезу ты утрешь поцѣлуемъ. Помнишь, тогда 3 марта, ты разъ закрыла глаза, когда я поцѣловалъ тебя, и поцѣлуй былъ долгій, долгій. Твои уста—какъ онѣ чисты, святы,—а тѣ жгутъ, на тѣхъ былъ опіумъ, повергаль въ упоенье и отравлялъ. Съ тобой не бываетъ такихъ сумасшедшихъ минутъ; ну, спи же, ангелъ. спи, что, кромѣ улыбки, можетъ привидѣться тебѣ.

24 марта. Вечеръ.—Мнѣ что-то грустно, Наташа, гдѣ ты? Что же нѣтъ тебя, чтобъ эту грусть отвѣять дыханьемъ, взглядомъ, поцѣлуемъ? Наташа, зачѣмъ ты не тутъ,—завтрашній день навѣялъ грусть. Гдѣ же та, одна, для которой 25 марта торжество огромное, для которой рожденье младенца тогда, 26 лѣтъ тому назадъ, заключало въ себѣ всю свѣтлую сторону жизни. Рука ищетъ твою руку, хочетъ ее прижать къ груди, къ сердцу, и всетаки разлука, одна разлука. Ты, вѣрно, теперь грустишь,—внутренній голосъ говорить мнѣ. И не въ нашихъ ли рукахъ будущее, это робость съ моей стороны отдавать на мученье ангела, страдать самому—отъ робости. Гдѣ же тутъ огненной, предприимчивой Александръ, покрасивѣй ты за него, онъ геройствуетъ на словахъ. Нѣтъ, съ 12 февраля рѣшено дѣйствовать,—лишь бы расположить обстоятельства. Я не могу больше быть съ тобою въ разлукѣ, разлука похожа на чахотку, иногда спрячется, будто ничего, и розы на щекахъ, дунуль вѣшній вѣтеръ, и грудь страшно напоминаетъ, что болѣзнъ тутъ. Какъ свирѣпо и жестоко поступаютъ съ нами люди, съ тобой за то, что ты молишься объ нихъ, со мной за то, что я любилъ ихъ всей душой. Сегодня не будетъ другого звука—замолчу. Хоть бы портретъ твой былъ,—большая душа хочетъ опоры. Ахъ, Наташа, какъ я люблю тебя, какъ ты слилась со всякой радостью, со всякой мыслью. Милая, милая Наташа, вѣдь, ты моя невѣста. Господи, прости этотъ скорбной звукъ... Нѣтъ, нѣтъ, Ты много сдѣлалъ для меня: Наташа моя невѣста!

Позже.—Послѣднія письма изъ Кр[утицъ] хороши (прошлый разъ я бранилъ), но не твой Александръ въ нихъ, а Александръ Огарева. А я, должно быть, сильно увлекалъ ими тебя. Вдругъ этотъ огонь вулкана передъ твоимъ яснымъ взглядомъ. Перечиталъ и 35 годъ опять. Лучшая характеристика второй половины этого года строки, писанныя передъ новымъ годомъ. «Тогда склоню я голову на грудь твою, ежели она не будетъ принадлежать другому». Только эта нелѣпая мысль и можетъ отчасти извинить нелѣпую жизнь того времени. И изъ этого Александра ты образовала своего. Вѣдь, я сдѣлался не тѣмъ, чѣмъ я *хотѣлъ*, а тѣмъ, чѣмъ ты *хотѣла*. Это ясно. Да вотъ еще, что я замѣтилъ въ письмахъ: ты можешь быть со временемъ совѣтникомъ губернскаго правленія,—на большей части писемъ есть помѣтка, когда получено.

12 часовъ и, слѣд., 25 марта.—Ты, можетъ, покоишься, спишь, мой ангелъ. Спи же и пусть Богъ пошлетъ тебѣ образъ твоего друга, вмѣстѣ съ первымъ часомъ *его* дня. Наташа, я раньше тебя поздравилъ, нежели ты меня. И мой сонъ долженъ быть прелестенъ подъ утро,—твоя молитва понесется тогда къ небу.

25 марта, 8 часовъ утра.—Обнимемъ еще, поблагодаримъ Бога; ты за мое рожденье, за мою жизнь; я—за то, что эта жизнь мнѣ дорога тобою, ангелъ благодатной. Сейчасъ получилъ твое письмо и въ немъ второе къ М. Итакъ, мой

день начался торжественно. Съ чего ты вообразила, что я боленъ,—не знаю. Душа иногда падаетъ у меня въ низшую атмосферу, не всегда можетъ держаться тамъ, гдѣ держится твоя, отъ этого иное письмо хуже,—таковы были два прошедшихъ. Но гдѣ же болѣзнь? Пиши «жизнь» письмами, это дивно, вотъ мнѣ подарокъ для 25 марта. Я просыпался сегодня въ 5 часовъ и молился, ты, вѣрно, тогда же.

2 часа.—Писалъ къ папенькѣ сильно; но уже не просящимъ, эту рѣчь я отбросилъ. Между прочимъ, я писалъ, что ежели онъ пойметъ, наконецъ, нашу любовь, то выгода съ его стороны: это будетъ значить, что Богъ раскрылъ его душу чувству высокому. И въ самомъ дѣлѣ, дай Богъ, дай Богъ, чтобъ наша любовь могла и ихъ поставить на подножіе лѣстницы, по которой идутъ туда, туда!

25 марта. Вечеръ.—Ты меня чрезвычайно обрадовала тѣмъ, что обещала писать свою жизнь. Я восхищаюсь твоей манерой писать, у тебя размахъ фантази какъ-то огроменъ и всегда *ровенъ*, чего именно нѣтъ у меня. Иногда я подымаюсь высоко, но горной воздухъ слишкомъ чистъ для большой груди, и она опускается, у меня это скрыто всегда передливомъ въ иронію, но это усталъ. Иногда, читая твое письмо въ десятый, двадцатый разъ, я взгляну на него съ литературной точки зрѣнія и, признаюсь, ежели бы ты была *не моя*, я могъ бы завидовать поэтическому таланту. Почти каждое письмо—поэма, и чувство вырывается изъ души стройно, какъ изъ арфы, и главное, ты не чувствуешь, что пѣснь льется, это такъ естественно тебѣ, какъ любовь ко мнѣ. Откуда Богъ взялъ такую дивную дѣву для меня? Вотъ, говорятъ, что люди обыкновенно дѣлаютъ желанія несбыточные, какъ же всѣ мои сбылись? Какъ же ты, начиная отъ красоты наружной до молитвы съ избыткомъ выполняешь всѣ мечты мои?

Письмо твое къ М. превосходно, завтра пошлю. Ежели она закроетъ свою душу твоей симпатіи, то и тогда ты не должна ее оставлять. Потому что ударъ въ ея грудь нанесенъ рукою, близкой тебѣ. Ахъ, какъ пламенно желалъ бы я, чтобъ Богъ раскрылъ ея душу твоей дружбѣ и, слѣд., міру вышему. Ну, не дивное ли зрѣлище: ты сестра ей! Какъ наша любовь выше *ихъ* любви. Но, скажу откровенно, я не вовсе еще въ ней увѣренъ, не обманывается ли она себя! Ея слабая, болѣзненная организація приводитъ меня въ ужасъ: мать трехъ малютокъ безъ куска хлѣба! Мы иногда думаемъ о нашихъ маленькихъ несчастныхъ, погруженные въ море свѣта, объ этихъ временныхъ препятствіяхъ. А какъ же сравнить мою тюрьму, мою ссылку, твои истязанія съ цѣлой жизнью такой, какъ М. Фу! Даже Витбергово положеніе несравненно лучше,—онъ посвятилъ себя искусству. Ея жизнь людямъ брошена на съѣденіе.

Дорогу въ Царицыно найти немудрено, а ты вотъ что сдѣлай: я назначу тебѣ день и часъ, когда пріѣду; вели Аръ. придти ко мнѣ; ежели меня нѣтъ, пусть подождетъ, но я пріѣду аккуратно, больше 24 часовъ нельзя быть на дорогѣ. Я хотѣлъ тебѣ писать, что приду съ разсвѣтомъ,—а ты мнѣ это пишешь. Итакъ, мы увидимъ восходящее солнце и его звѣздочку. Наташа, лучше Загорья ничего жизнь не дастъ, какъ воспоминанье объ немъ. Нѣтъ, нѣтъ, не бойся; склони молча голову, я не буду говорить, не нарушу молчанія! А твоя рука только должна быть въ моей, я ее сожму, я ею утру слезу. *Пять дней!* И отъ 2 (а можетъ, можно и съ вечера) до 7—пять часовъ!

А что портретъ? Да, вотъ что: никакъ не посылай, ежели будетъ непохожъ, пусть судьбою будетъ Emilie. Да еще живописцы имѣютъ обыкновеніе придавать лицу официальную веселость,—никакъ,... твою улыбку, ежели какой-нибудь пор-

третистъ умѣть ее понять. Ахъ, кабы Витбергъ! Вели сдѣлать готическія кресла, мои любимыя, съ украшеніями en ogive и рѣзбою. Я, право, ребенокъ и притомъ баловень,—это дѣло рѣшенное. Ты вѣрно ужъ спишь, дай же, я тихо, тихо поцѣлую тебя и долго, долго остановлю взоръ, влажной отъ любви, на твоёмъ прелестномъ лицѣ. Прощай.

26 марта, суббота.—Десять часовъ, а я сейчасъ всталъ, вотъ какъ исполняю твой приказъ много спать. На дворѣ какая-то безцвѣтная мерзость, и на душѣ не разсвѣло. Вчера я, какъ легъ, положилъ твою ленту себѣ на грудь и такъ уснулъ. Она живая, она полна магнитической силы. Когда-то ты, ангелъ мой, уснешь на этой груди? Двигайся же, время, пора, пора! Ежели не будетъ возможности устроить портретъ, напиши. Я нашелъ самое странное средство, и оно, кажется, удастся. Напишу Льву Ал.,—онъ *чувствителенъ* и, право, сдѣлаетъ. Прощай, моя Natalie.

Александръ.

То, что ты пишешь о Т. П.,—полная характеристика ея. Свойство полудушъ—выѣзжать на фразахъ. Есть въ ней доброе и умное. Однако, когда умереть,—не хотѣла, однако, равнодушна была!..

26, вечеръ. [Москва].

Да, какъ роптать! Чего намъ ждать еще, чего просить здѣсь, на землѣ, есть ли у Него еще, можетъ ли сойти на землю то, что больше 3 марта, и что же будетъ небо, когда оно сойдетъ на землю? Нѣтъ, довольно! Прости меня, Господи; Александръ, прости и ты меня! Вчера я не могла быть твердою, вчера я плакала, какъ дитя, и смѣялась, какъ нельзя было плакать, о, это еще тяжеле; вѣрно тебѣ было тяжело, я не могла отыскать причины этой подавляющей грусти; перечитывала отказъ и говорила: да будетъ Его воля! Представляла свиданье здѣсь и въ Заг. и говорила: слава Богу; но все это только языкомъ, я дѣлала усиліе казаться покойною сама передъ собою и, видѣвши ясно, какъ обманываю себя, мучилась еще больше. Послѣ того прошла ночь, прошелъ день,—я покойна, свѣтло въ душѣ—Боже, слава Тебѣ! Сказать: готова на смерть,—что-жъ я этимъ скажу? Какъ не быть готовой на смерть, когда нечего *болѣе* ждать въ жизни, когда вся вѣчность—ты! Нѣтъ, я готова жить, жить такъ, какъ живу теперь, тяжело креста не можетъ быть, не можетъ быть болѣе и блаженства! Нѣтъ, я буду неблагодарная, буду недостойна тебя, унывая, ослабѣвая. Нѣтъ, нѣтъ, смотри мою улыбку, мой восторгъ, слушай этотъ гимнъ. Все вздоръ, мы выше Владимира и Москвы, а тамъ пусть ихъ дѣлать оврагомъ и стѣной.—Александръ, что намъ до нихъ, Александръ, ангелъ, мой Александръ! Посмотри на меня, какъ смотрѣлъ 3 марта, поцѣлуй такъ,—вспомни, живо вспомни все, взгляни на руку, которую бы я не отдала тебѣ. О, Александръ, не довольно ли, ангелъ мой? Скажи, тебѣ мало этого? Слушай: ежели возможно,—Онъ дастъ намъ здѣсь еще, ежели нѣтъ,—возьметъ насъ туда. И тяжело тебѣ будетъ пробыть еще годъ въ изгнаньи? Годъ, въ который 3 марта будетъ *три раза*? Нѣтъ, мнѣ не тяжело! Идемъ, идемъ другъ къ другу, но если гора или пропасть *заме-олятъ* соединенье—роптать, унывать? Будь Александръ Наташи!

Ночь.—Другъ мой, я виновата, что запрещала тебѣ просыпаться въ 7 часу, жертва невелика, просыпайся, просыпайся *всегда!* Но, послушай: ужель и тутъ ты обвинишь меня,—не желала бы, но пусть я виновата и передъ тобой! Я виновата въ любви. Что такое видѣть тебя мнѣ,—ты знаешь; людей я не боюсь,

Александръ, будь снисходителенъ, я каюсъ тебѣ, дорога теперь адъ, на Святой будетъ ли лучше — развѣ хуже. Какъ я воображу, что ты скачешь, какъ фельдъегерь, по этому аду, — сердце оболъется кровью, съ твоимъ здоровьемъ... назови это, какъ хочешь, накажи меня, какъ хочешь. Но ужъ сказанно, теперь оставляю на твою волю.

Какъ можетъ въ груди человѣка вмѣщаться столько блаженства, какъ человѣкъ можетъ вынести столько неба! Когда я смотрю на прошедшее и настоящее, когда еще любовь наша не взошла, когда востокъ только алѣлъ, — звѣзда еще была ярка, одинокая, она горѣла ярко, ярко, но не грѣла, не освѣщала, какъ ни прелестна и какъ ни свѣтла была она и какъ на многихъ было утро — всѣ *наши* были не то, что теперь, всѣ они перемѣнились, стали выше, изящнѣе. Въ одной Сашѣ Б. немного перемѣны, небольшая перемѣна ждетъ ее и за гробомъ, она ужъ ангелъ на землѣ; кромѣ ея всѣ перемѣнились, да еще Огаревъ тотъ же. А что сдѣлало эту перемѣну — любовь, *наша* любовь! Мы шли выше, а съ нами и они шли выше, иначе мы разстались бы. Этого счастья измѣрить нельзя, этого нельзя выразить! «Азъ соблюдохъ, ихъ же далъ мнѣ еси». Гдѣ мы будемъ, тамъ будутъ и они. Дѣло это не наше, Онъ дѣлаетъ, мы орудіе, и это величіе сильно! А потомъ оглянемся на себя, — что же теперь остается намъ дѣлать. Боже, Боже!

27, *воскресенье*. — Воспоминанія мои теперь остановились на самой мрачной эпохѣ моей жизни, — смерть пап[еньки] уже все прошедшее, но тяжело и прошедшее. Два дня принимаюсъ писать и не могу рѣшиться. Любимая, холенная, взлетѣвшая въ оранжереѣ — вдругъ на стужу и морозъ, вдругъ въ сорную яму подъ ноги чужихъ, въ всемъ смыслѣ этого слова! Я благодарю Господа за всѣ эти испытанія, благодарю Его, — къ чему Онъ велъ меня ими? Но тяжело вспоминать, я многое пропущу, убавлю. Когда-жъ дойдетъ до тебя, — ну, вообрази, съ 26 года — все ты, вѣдь, это невѣроятно. Да пусть ихъ не вѣрятъ, не *имъ* напишу, и не увѣрю *ихъ*. Ты подарилъ мнѣ Свящ. ист. и написалъ на первомъ листѣ: «Милой сестрицѣ Нат. Ал. въ знакъ памяти даритъ Ал. Г. 1826 года, іюля 16-го». Ко мнѣ ходилъ дьяконъ, тутъ же я и начала каждый урокъ читать ее съ нимъ, и непремѣнно посмотрю на первый листокъ. Потомъ Эзоповы басни — и тамъ: «милой сестрицѣ», и тамъ глядѣла, не наглядѣлась на эту надпись, потому что никто меня не звалъ ни сестрицей, ни милой, эта надпись смягчала и страхъ, который я имѣла къ тебѣ — повѣришь ли: больше всѣхъ на свѣтѣ боялась и стыдилась. Потомъ Тат. Петр., говоря часто о тебѣ, ознакомила меня съ тобой; вскорѣ я стала ее спрашивать ко всякому слову: а Ал. Ив. что говоритъ объ этомъ? Сначала я вѣровала въ нее неограниченно, потому что я повѣрила ей первой, мгновенно эта вѣра уничтожилась, и въ ней я вѣровала въ тебя. Разставшись съ нею, я думала, что погибну, — кто мнѣ скажетъ, какъ думаетъ Александръ? Съ кѣмъ я буду говорить о немъ такъ часто? Всего болѣе дивило меня въ Т. П. то, что она, вышедши замужъ, собиралась ѣхать изъ Москвы, тогда какъ ты въ Москвѣ, — этого я не могла понять, это было мнѣ ужасно больно. Тутъ я въ страшныхъ мученьяхъ, — некому ни одной мысли передать, ни одного чувства, не съ кѣмъ слова сказать... А все-то это, и мысль, и чувство, и слова, были — ты! Богъ послалъ Emilie, — я молила Его послать мнѣ кого-нибудь изъ близкихъ, чтобъ мнѣ не погибнуть. Сначала она испугала меня; потомъ я увидѣла въ ней также поклонницу твою еще до меня, — съ этимъ счастьемъ не могло тогда ни-

что сравнятся. Классы наши, бесѣды, прогулки, — все это начиналось и кончалось тобою. Потому-то я ничему и не выучилась, что учила только тебя. Бывало, ночь цѣлую насквозь мы проведемъ съ ней неспавши, говоря только о тебѣ. Дружба наша основалась на тебѣ, на тебѣ и совершилась она. Но все еще я не знала, какъ люблю тебя до 20 июля; послѣ той ночи, въ которую я умерла было, узнала я, что ты мнѣ. Emilie уѣхала изъ Москвы, мы переписывались и вдругъ вообрази мое удивленіе: черезъ короткое время она пишетъ мнѣ на мое письмо: «Наташа, ты *любишь* Александра; я давно говорила, что твое чувство къ нему выше дружбы, — теперь это ясно. Будь счастлива!» Вотъ, думала я, дружба, вотъ другъ, отчего-жъ я вообразила, что она понимаетъ меня? И какъ она могла настолько пасть, чтобы мое чувство, эту высокую дружбу къ брату, дружбу, изъ которой я не хочу ни капли удѣлать никому на свѣтѣ, которой нѣтъ подобной на землѣ, — и она называетъ любовью, что такое любовь? Какая глупость, я слыхала и читала о любви, насколько же выше мое чувство этой любви! Я никогда не буду любить, никогда не пойду замужъ, оттого что Александръ мнѣ братъ, что мое чувство дружба. Прощай, когда такъ, Emilie, ты не понимаешь меня, спрячу мою святыню, мнѣ больно, когда называютъ ее обыкновеннымъ, пошлымъ именемъ любви. Но мнѣ жаль стало Emilie, — за что-жъ она останется въ мракѣ; нѣтъ, я буду объяснять, увѣрять ее, можетъ быть, Богъ поможетъ! И вотъ я принялась всѣмъ на свѣтѣ увѣрять ее и доказывать *дружбу*. Не помогало! Иногда, въ утѣшеніе мнѣ напишетъ: «Да, вѣрю», потомъ опять любовь, потомъ ужъ и я сказала любовь! О, какъ бы я желала описать всѣ подробности, всѣ онѣ такъ ярко у меня въ памяти, но несносно, невозможно избрать время, все урывками.

Ты получишь это письмо въ самое Свѣтлое Воскресенье 3-е апрѣля, ровно мѣсяць 3 марта. Съ утра тебѣ будетъ тоска, за то вечеромъ весело! Мнѣ не шлють твоего письма, — ахъ, какіе они несносные! да, видно, нѣту, а то Ег. Ив. обѣщаль прислать. Какая дурная погода, а что, говорить, за дорога...

28, *понедѣльникъ*. Около 10 дней нѣтъ отъ тебя слова — послѣднее 19-е, но ужъ терпѣть, такъ терпѣть!

Поразилъ отказъ, ужасно поразилъ, *я пришла въ себя* и — какъ достойна я тебя, Александръ! Все это время такая твердость, такая высота, все время — твоя Наташа. Мало съ любовью, съ восторгомъ цѣлую крестъ, и какъ хорошъ онъ на груди полной и озаренной 3 марта, — все перенесу! Проходя памятью всю жизнь, я нѣсколько разъ возвращалась къ 35 и 36 годамъ: безусловное поклоненіе тебѣ, *увидѣвъ* свое уничтоженіе въ тебѣ, *поотричь* ему, я была счастлива безгранично; *доказать* его тебѣ я старалась невольно; себя я увѣряла письмами къ тебѣ, никогда, никогда цѣлью ихъ не было *увѣрить* тебя и получить *взаимное признаніе* — никогда! И на что было оно мнѣ? *Я чувствовала* и тогда любовь твою, какъ теперь чувствую Бога; вѣровала въ нее, существовала ею, но не смѣла ни своей любви, ни вѣры въ твою любовь опредѣлить, дать форму, назвать, — для меня все было ты, я вся была любовь къ тебѣ! И какъ же меня удивило, мой другъ, когда ты написалъ: «тогда я склоню голову на грудь твою (если она не будетъ принадлежать никому другому)». Что ты склонишь ко мнѣ голову, — хотя я *читала* въ первый разъ, но для меня это не было ново; къ кому же болѣе, говорила душа. Но что «если грудь моя не будетъ принадлежать *другому*», — это меня поразило, помню очень; я вспыхнула еще болѣе, нежели при началѣ письма отъ того, что какъ могла придти тебѣ мысль, что есть воз-

возможность моей груди принадлежать другому? Съ моей безпредѣльной вѣрой, неограниченной, — я не могла выносить твоего невѣрія, но душа вѣровала также въ *возможность* вѣры твоей — и блаженствовала! Ей ничего неважно было болѣе.

29-е. — И жду Святую, и оттолкнула бы ее подальше, подальше въ весу, чтобъ тебѣ хорошо было вѣхать ко мнѣ. Ахъ, ангелъ мой! какъ дрожитъ сердце, — вообрази: ну, каково хотѣть и не хотѣть, чтобъ ты прїѣхалъ, ждать и не ждать. О! всю бы дорогу вычистила, выгладила. Ежели поѣдешь, да будетъ съ тобою Господь! да сохранить Онъ тебя. Господи! сохрани Его! Александръ, вѣрно любовь сочинила всѣ молитвы, въ которыхъ такъ подробно просятъ обо всемъ. Ну, да сохранить же тебя Богъ на пути! Ежели же не поѣдешь, не думай, чтобъ я стала грустить, унывать, а 3 марта? а Загорье? За первое буду благодарить Бога, за второе не буду роптать. А какъ хорошо бы намъ было цѣлую ночь и Emilie пришла бы... А какая дурная дорога!

Да, Александръ, у тебя прелестныя руки, ни у кого нѣтъ такихъ, я бы никому не дала цѣловать ихъ.

Вечеръ. Когда я читаю твою записку, которую ты писалъ мнѣ, прїѣхавъ въ Москву 2 марта, — и теперь занимается духъ. Ежели ты поѣдешь, не забудь же, мой ангелъ, взять свои тетрадки, да ужъ и письма твои 35 года, ежели они тебѣ ненужны болѣе. Какъ ты получишь это письмо въ Свѣтлое Воскресенье, подумай, что я уже ночую внизу. — Ты слишкомъ хвалишь мой талантъ писать, у меня никакихъ нѣтъ талантовъ, даже способностей нѣтъ, можетъ, было бы много, но ихъ задушили при самомъ рожденіи, имъ не дали взглянуть на Божій свѣтъ, не дали вздохнуть; словомъ, убито все, что можно было убить, и что я есть теперь — одна любовь, одна любовь! Ее не могли убить и тогда бы, когда истерзали бы меня на мелкія части. — Хорошо писать воспоминавія. Когда мы допишемъ прошедшее, тогда ужъ будемъ вмѣстѣ писать настоящее. Прощай, душа моя! А я все кланяюсь тому мѣсту, все цѣлую то дерево.

27-е, воскресенье, вечеръ. [Владимірѣ].

Итакъ, мой ангелъ, ты прочла Елену. Да, это исповѣдь, и исповѣдь, вырвавшаяся въ самую страдательную, болѣзненную эпоху. Впрочемъ, не *все* фактъ въ ней. Князь немного хуже поступилъ меня, зато больше и наказанъ. Окончаніе было прежде не то (ты можешь видѣть по вымараннымъ листамъ), сумасшествіе князя было единственнымъ спасеніемъ, иначе онъ былъ на дорогѣ къ самоубійству. Что она перестала молиться о *выздоровленіи*, изъ этого не слѣдуетъ, что она перестала молиться о его душѣ. Впрочемъ, я вымаралъ въ томъ экземплярѣ, который отправился въ Петерб. «черезъ десять лѣтъ». Эти строки наскоро были набросаны, какъ К. былъ здѣсь. Надобно еще замѣтить, что въ этой повѣсти все пожертвовано одному лицу — Еленѣ. Повѣсть эту читали въ Москвѣ, многіе бранятъ свиданіе князя съ Еленой и чрезвычайно хвалятъ Ивана Сергѣевича, которой торжествуетъ дѣтской душой надъ неугомоннымъ княземъ. «Его Превосходительство» представляетъ опять Медв., но тамъ уже моя роль чиста; наконецъ, бродитъ и третья повѣсть: ты и М. — сестры.

Загорье такъ вѣрно, какъ завтрашній день. Но прїѣздъ на Святую зависитъ отъ одного посторонняго человѣка и отъ одного генерала, живущаго въ Москвѣ. и теперь навѣрно отвѣчать не могу. Я тогда прїѣду прямо домой и пробуду два

четыре. Въ будущемъ письмѣ напишу. Меня тѣшить до крайности оригинальность средства... узнаешь послѣ.

Твое письмо грустно и дурно грустно. Такого послѣ 3 марта не было. Между прочимъ, мнѣ кажется, ты немного сердиться за мою шутку о кокетствѣ. Наташа, правда? Прости же, мой ангелъ, я просто подумался, ну, дай руку и, милой другъ, ни слова объ этихъ пустякахъ. Ты не понимаешь, въ чемъ именно отказъ,—тамъ сказано: «Герцену такъ недавно оказана милость государя, что *въ скоромъ времени* нельзя взойти съ новымъ докладомъ». А что такое по ихъ «въ скоромъ времени»? Еще тѣнь надежды на наследника осталась, покуда не прошла Святая; ежели же пройдетъ она, нечего будетъ и ждать *въ скоромъ времени*. А развѣ Загорье не наше, а развѣ въ Вяткѣ смѣлъ я мечтать о 3 мартѣ? Нѣтъ, не отчаяніе, а молитва искренней благодарности должна наполнять нашу душу.

«И я полечу ждать тебя тамъ». Тебѣ дивно будетъ ждать у подножія престола Божія съ ангелами, въ вѣчномъ свѣтѣ. А я какъ останусь здѣсь безъ тебя? У меня нѣтъ будущаго безъ тебя,—есть одни страданія, одно отчаяніе, одно продолжительное самоубійство. Наташа, полетишь ли ждать тамъ? Я тебя приковалъ къ землѣ, какъ Юпитеръ Прометея, но приковалъ любовью, въ ея имя перенеси жизнь.

Ночь. «Тамъ», представивъ тебѣ меня въ третьемъ лицѣ, живо представило всю черноту моего поступка. Признаюсь, въ первую минуту, какъ я читалъ твое письмо, щеки вспыхнули, и письмо задрожало въ рукѣ. Но потомъ я обрадовался, не я виноватъ, что ты изъ писемъ не видѣла,—лучъ солнца никогда не попадаетъ на дно колодца, а колодезь открытъ. Паденіе было огромно, но огромны и страданія, возьми, напр., мое письмо отъ моихъ именинъ 1837 года и два слѣдующія. Но зачѣмъ же ты говоришь, что я не писалъ тебѣ; да, я не писалъ сначала въ чаду, а послѣ писалъ въ каждомъ письмѣ. А наша симпатія—въ ту самую минуту, какъ ты читала Елену, я писалъ тебѣ прошлое письмо. Больно стоять преступнымъ передъ тобою, ангелъ, больно потому, что ты не осудишь. Моя исповѣдь Витбергу была ужасна, она была бы легче, ежели бы Витбергъ строже принялъ ее. Вотъ въ томъ-то и будетъ наказаніе грѣшнику, что безконечная благодать будетъ его прощать, а онъ увидитъ, что недостойнъ прощенья. Наташа, что было бы со мною, ежели бы всѣ обстоятельства Елены повторились—даже смерть. И въ дополненіе—разлука. Холодно, морозъ обвиняетъ сердце. Ну, какъ же мнѣ не ставить себя ниже тебя—чистота безусловная, святость! Ежели-бъ я былъ такъ чистъ... О! Наташа, вотъ я опять черенъ и грустенъ, вотъ чувства, давно забытыя, опять сосутъ душу; сегодня Лазарево Воскресенье, и они выходятъ смердящія изъ катакомбы и шепчутъ на ухо: «таковъ ли долженъ быть Александръ Наталіи,—и все это было послѣ 9 апрѣля, можетъ за день прежде, нежели ты осмѣлился ангелу говорить о любви, за мѣсяцъ прежде, нежели рукой нечистой осмѣлился распечатать письмо, въ которомъ она писала о любви». Терзайте, терзайте меня, этого требуетъ справедливость высшая, небесное правосудіе. О, Наташа! Не слеза—кровь хочетъ брызнуть. *Ανάγκη!*

28-е, понедѣльникъ. Вечеръ. Вчера, написавъ ту страницу, я бросился на постель, не спалось; фантазія, оживленная 3 мартомъ, схватила прежнюю мысль и всѣмъ новымъ огнемъ раздувало угрызеніе. Долго не могъ уснуть, уснулъ и съ какимъ-то трепетомъ просыпался нѣсколько разъ. Сегодня утомленъ, глупъ, пусть. А ты и сегодня ангелъ! Прощай, дай, я поцѣлую руку, сегодня я недостойнъ цѣловать тебя въ уста. Говѣю; прощай же.

29, вторникъ. На дворѣ солнце, и я выздоровѣлъ (душою). Нѣтъ, и тотъ кто изъ паденья умѣетъ подняться до полного расканья, и тотъ достоинъ милости Бога, а когда еще ангелъ ведетъ его! Родъ человѣческой уже для того долженъ былъ пасть, чтобъ имѣть радость быть спасеннымъ Христомъ. Ты мой Христосъ! Что я писалъ въ прошломъ году, то повторю и теперь: говѣю я дурно. не могу заставляя душу молиться именно тогда-то (исключая седьмого часа): молитва молніей пронесется по душѣ, взглядомъ на небо, слезой, — а то все такъ матеріально. Но я люблю церковь, я всегда тамъ мечтаю о тебѣ, думаю, какъ ты, ангелъ, стоишь дома передъ Отцомъ и смотришь на Него, и Онъ благословляетъ тебя тою же десницею, которой благословляетъ шаръ земной, вселенную и—меня.

Нынѣшнее письмо коротко, — прости; ты получишь слѣдующее письмо въ понедѣльникъ на Святой; прежде отвѣта отъ меня не переходи къ книгѣ, — но смотри, какъ бы не догадаться: твой переходъ и мой прїѣздъ. Пускай себѣ, я все жду съ нетерпѣніемъ твоего разрыва съ свѣтаѣйшей тетушкой.

Какъ ударять къ заутренѣ въ Свѣтлой праздникъ, поцѣлуй мой портретъ, а я твою ленту, и души наши обнимутся. Прощай. Твой Александръ.

Emilie братской поклонъ. Разумѣется, я съ ней увижусь, если прїѣду въ М.

30-е марта, среда. Полдень, Москва.

Мнѣ жаль было повѣсить твой портретъ на стѣну, потому что его будутъ видѣть и недостойные, достойнымъ я покажу сама, буду и сама смотрѣть на него, когда достойна; *смотреть* на нашемъ языкѣ значить гораздо и несравненно болѣе, нежели на *ихъ*. Теперь мнѣ жаль и картину сестры Медв. *посвятить*, потому что это слишкомъ обыкновенное употребленіе; когда будетъ можно, я отдамъ сдѣлать хорошенькій ящикъ, такой, чтобъ въ немъ укладывались всѣ наши письма, а когда мы будемъ виѣстѣ, то сложимъ и письма наши виѣстѣ, (не иначе!) по числамъ, и положимъ въ него.

Сегодня письмо! письмо! Да отчего-жъ не было прошедшую почту? Теперь ужъ скажу: я измучилась, но сегодня письмо непременно, — я *знаю!* И не могу вытерпѣть, чтобъ не сообщить тебѣ этой радости, ангелъ мой!

Ну, вотъ, только сегодня получила письмо отъ 20-го, десять дней. Да что-жъ, хорошо, хорошо... о, какъ хорошо! Александръ, и теперь, послѣ этого письма, ты скажешь, что ты неравенъ со мною? Когда скажешь, такъ вымѣрай же разстояніе. Но что такое я, что мнѣ говорить о себѣ. Нѣтъ, ты дай посмотрѣть на одного тебя, зачѣмъ сравненія несравненному. Ты, ты, одинокой, великой, святой... А мнѣ дай уничтожиться, забыть себя, свою любовь, потому что и любовь къ тебѣ говорить громко обо мнѣ; да, пойми меня, я не умѣю выразить, *назови то*, что желаетъ уничтожить и любовь, находя въ ней долю себя, — что это такое? Ну, смотрѣть на тебя не любя — любить слишкомъ дерзко — смотрѣть... да, вѣдь, я же буду смотрѣть *моими* глазами. Такъ нѣтъ! не смотрѣть — благоговѣть въ восторгѣ! Да восторгъ то этотъ я же, а я не хочу себя, — быть *ничѣмъ*, чтобъ ты былъ *все!* Не это ли? Нѣтъ, глупо, глупо говорить. глупо писать, и на что, дай мнѣ быть ничѣмъ передъ тобою!

Вечеръ. Да, *какова должна быть она?* Это я повторяла безпрерывно, начиная разсматривать тебя душою. Ты росъ, росъ, а душа терялась въ созерцаніи,

и потому она никогда не представлялась мнѣ мною, потому и вопросъ этотъ все повторялся чаще и чаще и становился труднѣе и труднѣе. Ты растешь, я исчезаю, она удаляется. Ты растешь, я исчезаю, она рисуется на тебѣ блѣдно, блѣдно, чуть замѣтно. Ты выростъ, я исчезла, она ярко въ тебѣ, и я узнаю себя! О, любовь! любовь! О, Александръ!! Бывало, рѣдко, такъ безъ вниманья, мелькнетъ передо мною мое ребячество; я въ немъ не видала тебя, и на что мнѣ оно, но не видала потому, что не смотрѣла, ты заставилъ посмотреть — и, ангелъ мой! Знаешь ли, когда ты являешься во мнѣ? Ты являешься въ пятнадцатилѣтней Наташѣ, являешься ей 7 лѣтъ, 8—и, наконецъ, она *видитъ* тебя *въ первый разъ* въ исходѣ 8-го года. Да, первый крикъ мой, первый взглядъ и улыбка не тебѣ ли были? Тебѣ, потому что я только *твоя*! Жизнь высокая, христіанская, какою живутъ дѣти, птицы небесныя; только и то, гнѣзда ненадо, вить гнѣздо — надо слетать на землю,—нѣтъ, такъ, летать, летать и отдохнуть на вѣткѣ, на вершинѣ дерева, потомъ опять летать—и улетѣть. Пусть ничего отъ насъ не останется, пусть забудутъ насъ послѣ смерти, при жизни—избранные пѣснь нашу услышать, будутъ слышать ее и по смерти (письма), а *тѣмъ*—ненадо и пѣсни. Теперь бываютъ минуты, въ которыя я не молюсь, *тогда* не будетъ этихъ минутъ, тогда мы будемъ молиться непрерывно, говорить, смотрѣть, дышать молитвой, такъ какъ все въ насъ Богъ, любовь, все будетъ молитва, самая смерть—лучшая, высшая молитва.

Прелестна Emilie, дивна бываетъ она часто во всемъ, но любви она не знаетъ, и это вижу, она сама соглашается съ этимъ; она воображала, что любить, воображеніе ея пламенно, но осуществленія мечтаній ея не было; она воображала, что страдаетъ,—а похожа ли она на *любвищую*? Воображенье исчертило ее, и никогда не сотрутся эти черты. Нашей любви вовсе не знаетъ, хотя и зоветъ ее высокою, святою, но вижу: не понимаетъ *высокую, святую*.

Когда я засыпаю, мнѣ все слышится твой голосъ: «покойся, будь хранима Богомъ», и твоя благословляющая рука надо мною, и твой взоръ на мнѣ, и я засыпаю съ Богомъ, съ тобой, и какъ покойно сплю... и, говорятъ, тихо, тихо, не слышать совсѣмъ, и часто улыбка на лицѣ, и мнѣ сладокъ сонъ, сладко сновидѣнья! Александръ, страдала и я на семь свѣтъ, много страдала, ангелъ мой, много свидѣтелей моему страданью, хотя я не призывала ихъ, и сонъ мой былъ тяжелъ, и я часто просыпалась отъ испуга, отъ страданья, но благодарю *ихъ*, благодарю за все!

Теперь ни облачка, да и въ тебѣ нѣтъ ужъ той жгучей боли, которая съ бумаги зажигала и мою грудь, отъ которой и мнѣ было такъ больно, больно... О, слава Богу! Послѣ 3 марта все исчезло мрачное; кромѣ блаженства и грусти тихой, святой — нѣтъ ничего. Прощай, спи съ Богомъ, благословляю тебя. Ну, благословь-жь ты меня—хоть взоромъ, если не рукою, засыпаю, прощай.

31-е, четвергъ. А въ самомъ дѣлѣ, мой другъ, хороша я была и въ 35 году: любовь твоя иногда прорывалась, но я и не думала, что это любовь, я не хотѣла любви твоей, а любила тебя, и какъ! Встану чѣмъ свѣтъ, уйду гулять одна, но не одна, ты со мною, весь день со мною, поздно со мною, и во свѣ со мною. Помнишь, какъ написалъ ты только въ отвѣтъ на то, что я, «забывъ говорить, высказала все», пишешь: «да, Наташа, и на что были слова, я понялъ все». Какъ теперь помню, какъ, прочитавъ, залилась слезами и выбѣжала въ рошу, чтобъ скрыть восторгъ. «Понялъ», повторяла я, но никакъ не думала, что ты понялъ мою любовь ясно,—умъ и мысль далеко отстали отъ души и сердца. Мнѣ даже

какъ было неприятно, что тебѣ сказали, что я огорчилась (вскорѣ послѣ взятія): я получила отъ тебя записку 26-го августа, 1834 года, первую, и ты пишешь: «я слышала, ты очень огорчилась, услышавъ обо мнѣ,—это недостатокъ вѣры въ меня и въ Провидѣніе». Не знаю, отчего я боялась доказать тебѣ мои чувства, боялась малѣйшаго твоего вниманія, или потому, что мнѣ свободнѣе было любить тебя, какъ объ этомъ не знали ни я, ни ты. Какъ мнѣ странно было, что ты съ такимъ стараніемъ, съ важностью говорилъ объ Ал. Сергѣев.,—стоило сказать слово.

Ночь. Давеча прервали меня. Вечеромъ получила письмо отъ 23-го, а в на то еще не все отвѣчала.

Ночь, 31-е четвергъ. Письмо отъ 23-го—огромное письмо! Главное, Медвѣдева. Несчастіе то и поставило ее первою подлѣ меня послѣ тебя. Пусть она презрѣла меня, отвергнетъ и дружбу и самую молитву, — я *доведу* ее до того, что она отдохнетъ со мною, что не на письмѣ, а душою назоветъ меня сестрою. Ты пишешь: «ея жизнь брошена на сѣденье людямъ», — отнимемъ же ее у нихъ! Вылечимъ раны, нанесенныя ими, дадимъ ей свѣтъ, блаженство и вознесемъ къ Богу. Дѣти ея мнѣ жалки болѣе ея, потому что мы имъ теперь ничего, имъ нужно меньше, нежели мы, и мы не можемъ помочь. Ежели бы у меня было что, я все бы отдала имъ, а не ей, ей нужны только мы, Александръ! Ангелъ мой, послушай, я до сихъ поръ имѣла какую-то глупую гордость, — желала, чтобъ у меня не было ни копейки, ни нитки *въ приданое*, это глупость, я думаю. Нѣтъ, *дай Богъ*, чтобъ Ал. Ал. отдалъ мнѣ десять тысячъ, тогда всѣ до копейки отдадимъ дѣтямъ Медв., только я боюсь, не обидѣлась бы она, какъ же сдѣлать, чтобъ она не знала? Немного сдѣлаешь помощи имъ этими деньгами, но хоть сколько-нибудь, только ее я боюсь ужасно, она не докажетъ, но это тяжелее ей будетъ холодно. Никто объ этомъ не долженъ знать. Теперь я въ состояніи *просить* у него эти деньги,—какъ ты думаешь, отдастъ онъ? Свое я отдала бы ему, но теперь ужъ онъ не мой, онъ ихъ, этихъ несчастныхъ малютокъ, ежели не кусокъ хлѣба ихъ, такъ хоть игрушка, и я ее не уступлю ни за что на свѣтѣ.

Къ письму отъ 20-го. До Фоминной буду ночевать у княгини въ спальнѣ. Ну, ежели этотъ *пріѣздъ теперь* секретъ, такъ буду ждать, когда онъ будетъ не секретъ. А въ самомъ дѣлѣ, мудро, не могу догадаться, да вѣрно и ты не могъ догадаться сначала, какъ вмѣсто мгновенія мы можемъ пробить вмѣстѣ 6 часовъ, а это такъ же легко, какъ проспять шесть часовъ. Объ Левашовой не знаю, — узнаю. Матвѣю дамъ сама поцѣловать руку, а это слишкомъ много! я даю только *своимъ*, другіе берутъ насильно. — Ну, скорѣй къ послѣднему письму. Да, еще: совсѣмъ я предисловіе не забыла, а только не написала объ немъ, оно чудесно! Да отчего ты меня такъ часто величаешь безпамятной? И 20-е іюля у меня твердо, какъ «Отче нашъ». Я его описала, какъ еще ты былъ въ Кр[утицахъ], и отдала эту тетрадку, постараюсь достать, мнѣ самой интересно видѣть себя между 20 іюля и 9 апрѣля. Къ письму! къ письму! Ей Богу, Александръ, я не знаю, *что дѣлать*; благодарить ли Его — и самая молитва мнѣ кажется такъ недостаточна, такъ мала; да приметъ Господь это *незнаніе*, — оно выше благодарности, благодарность измѣряетъ, въ незнаніи я теряюсь. Не испугайся, не столько любовь восхищаетъ меня, какъ твое возвышеніе, но ужъ я, право, не знаю, что и говорить. Пусть льются слезы, можетъ, онъ болѣе скажутъ Ему и тебѣ.

Итакъ, я храмъ, ты фундаментъ,—но храмъ тебѣ, въ немъ все совершается тебѣ, ты, какъ Богъ, живешь въ этомъ храмѣ. Что-жъ такое фундаментъ? Какъ фундаментъ есть тотъ Духъ, которому безпредѣльное поклоненіе даже выразилось матеріально — храмомъ? *Растолкуй* мнѣ. Да, радуюсь, радуюсь, ангель мой, но не тому радуюсь, что я приведу погибшую овцу домой, а тому что *ты идешь* туда, съ этой-то радостью ничто не можетъ сравниться,—величи душа моя Господа!

Благодарю тебя за поздравленіе съ 25 марта! — Я написала свою московскую жизнь у пап[еньки] и цетерб[ургскую] точь въ точь, не прибавлено, не убавлено, и я дивлюсь, какъ все это сохранилось у меня въ памяти,—или всё помнать такъ свое дѣтство? Какъ пріѣдешь, отдамъ тебѣ тетрадку такъ, какъ есть, не переписанную, вовсе некогда, перепишу, какъ буду у тебя. Начальная жизнь у княг[ини] такъ тяжела и утомительна до Emilie, что мнѣ совѣстно за *нихъ* и за всѣхъ писать ее, и тяжело за себя; все-то это надо снова перечувствовать, перестрадать, оплакать, а я ужъ не могу теперь отдаться такъ этимъ воспоминаваньямъ, и потому, я думаю, выльются вяло, безъ жизни. А каково тебя писать, напримѣръ, какъ ты былъ въ 31 году у Татьяны Петровны на именинахъ; да главное, нѣтъ время вспоминать даже. Ужъ съ нѣмецкимъ языкомъ надо распротяться, время такъ мало, что дѣлать нечего; я думаю *тогда* станеть и на то, и на другое?

1-е апрѣля. Не можно ли будетъ писать портретъ, какъ я буду ночевать внизу? Да, вотъ что еще меня останавливаетъ, — вспомни, что до половины 8 часа надо, чтобы живописца не было и духа; мнѣ легко встать въ 5 часовъ,—но что же сонную напихутъ меня; и потомъ еще — пріятное будетъ выраженіе: страхъ, чтобъ не взошла М. С., а это легко можетъ случиться, она ходить въ залу равно, тамъ буфетъ. Рѣшишься ли ты видѣть меня безпрестанно едва проснувшуюся и ожидающую М. С.,—я не рѣшусь. Emilie писала также свой портретъ; я *измучилась*, всё ахали: какъ похожъ, какая поэзія и вся ея,—что же? Съ безумными глазами, съ глупой улыбкой! Вообще бы ненадо снимать съ меня портрета, я все буду бояться, что живописецъ сдѣлаеть не похоже, изуродуетъ, и буду на портретѣ боящаяся,—ну, что-жъ намъ дѣлать? А готическія кресла—они не къ лицу будутъ мнѣ, и я буду имъ не къ лицу; я бы желала, чтобъ при тебѣ снимали портретъ, тогда бы сняли *меня*.

Скоро представленіе пап[енькѣ] въ первый разъ послѣ 12 февраля, я не желаю, не боюсь—все равно! Я даже не знаю, обрадуетъ ли меня много его совершенное позволеніе, — и безъ него соединеніе наше! Порадуемся только за него.

Удивительно, Александръ, посмотри, какъ все связывало насъ даже съ самаго дѣтства, только мы не замѣчали этихъ связей: Василій Вас училъ тебя и меня, тогда мнѣ былъ 9-й годъ; онъ всегда приносилъ отъ тебя поклоны и рассказы—наль о тебѣ, я ужасно его любила; потомъ Т. П., она могла бы много сдѣлать для меня, да не хотѣла; съ моимъ стремленіемъ учиться, съ этой жадностью, такъ сказать, и вѣрно единственнымъ прилежаніемъ (другихъ заставляютъ другіе, я заставляла сама себя), она не хотѣла заняться, даже лишала многого, диктуя, бывало, все время свои сочиненія, и сто разъ переписывая ихъ. Изъ любви къ *ней*, я дѣлала все и не тяготилась, но жертва была велика. Первой ей ты протянулъ руку, первую ее я назвала другомъ. Потомъ Пас.—я рѣдко ихъ видѣла, но вѣрно любила Людмилу не меньше твоего, вѣрно за твои похвалы, но никогда ни за что не могли меня увѣрить въ твоей *любви* къ ней, и помнишь изъ

бья; тогда я ее утѣшала все, что Люд. тебѣ любить нельзя. Потомъ Emilie мнѣ была то же, что тебѣ, переходъ, мость.

Вотъ, какъ я увѣрена была въ тебѣ, что, когда говорили о Мед. — Богъ знаетъ что говорили — я не писала тебѣ и не написала бы, ежели бы ты не началъ, ничему не вѣрила, хотя люди говорили, которымъ я вѣрю. — Каково, ангель мой, когда разсматриваю всю мою жизнь, — въ ней ничего нѣтъ, кромѣ любви, никого, кромѣ тебя. «А друзья?» скажешь ты. Они сосуды, въ которые необходимо было отливать любовь, пока она не излилась въ тебѣ.

1-е апрѣля. — Какъ ты пріѣдешь, я прочту тебѣ письмо мое къ Сашенькѣ (третьей), писанное 22 августа 1834, черезъ мѣсяцъ, какъ тебя взяли, — любовь, любовь, болѣе которой не можетъ быть, но тогда я писала, скрывая болѣе половины, боясь, что отецъ ея прочтетъ. Мнѣ было пріятно почти черезъ 4 года увидѣться съ собою — съ твоею сестрою, пламенно тебя любящею. Досадно, я много писала (тогда свободнѣе было), но не довѣряла никому, боялась и сама перечитывать и жгла всё мои фантазіи, полныя тобою, иногда-жъ, не вынося чувства нераздѣльнаго, писала неясно, загадками въ письмахъ къ кому бы то ни было (изъ равныхъ мнѣ). Отдѣльно совниманіемъ пересмотрѣть каждую мысль, — ни одной не найдется безъ тебя, все полно тобою. Вдругъ иногда, увидѣвшись съ тобою, пріѣхавъ домой, я пишу огромное письмо, иногда отошлю Emilie, иногда изорву. Теперь мнѣ жаль всё эти документы, они засвидѣтельствовали бы *несъроятное*. Я такъ полюбила свою жизнь, такъ дорога мнѣ ея малѣйшая бездѣлица, что жаль пропустить даже ничтожность; кажется, если-бъ свобода, — я написала бы огромное томъ. Письма я возьму съ собою на гору, какъ ты пріѣдешь въ Загорье, прочтемъ ихъ, но не знаю до нихъ ли будетъ; я писала тебѣ, что и говорить мы выучимся со временемъ. Не сердись, что почеркъ дурень, — тороплюсь.

Вечеръ. — Наканунѣ твоего рожденія мнѣ смерть было грустно, но какъ же я боялась грустить, боялась, чтобъ эта грусть не донеслась къ тебѣ, а, можетъ, она-то и была твоя грусть. Я почти не слыхала всею ночью, я старалась слушать, то долго стоя не перекрестясь, то долго простершись на землѣ. Я не могла ни просить Его, ни благодарить, слишкомъ много блаженства, а тебя нѣтъ.

Я думаю, вотъ какъ будетъ: доживемъ мы до Загорья, это глѣбо будетъ единственное въ нашей жизни. Прежде тебя ожиданье, послѣ — воспоминаніе, и на самое то мѣсто буду ходить молиться съ разсвѣтомъ. Осенью — право, мнѣ кажется, что ужъ меня не будетъ здѣсь, какъ будетъ снѣгъ. Довольно намъ будетъ и 3 марта и Загорья, но куда-жъ дѣтъ то, что не вмѣстится въ нихъ. О! еще останется много, много. Нѣтъ! зимой ужъ меня здѣсь не будетъ! — Да, я удивляюсь, какъ ты сидѣлъ тогда такъ прямо, смотрѣлъ такъ прямо, — я никакъ не могла... Александръ, мы умремъ отъ любви!

Хорошо, другъ мой, что ты одинъ, скорѣе разслушаешь мой голосъ, скорѣй разглядишь меня, въ Вяткѣ заглушали, затмевали. Теперь просторъ — слушай! смотри! Можетъ, наша Вятская сестра получить наши письма въ самый праздникъ, можетъ, они утѣшатъ ее, — дай Господи!

Увидишь, увидишь и спящую, я засну хоть въ Загорьѣ (я думаю!) на твоей груди. Дай намъ, Богъ, вмѣстѣ заснуть вѣчнымъ сномъ. Да какъ же иначе? Дивенъ, чуденъ мой Александръ! Задумалась бы о тебѣ и продумала бы всю вѣчность. Ну, цѣлуй же, цѣлуй. Богъ съ тобою, Наташа съ тобою.

10 часовъ вечера, 2 апрѣля, суббота, Москва. Торжество! торжество!

Ангель мой, всё поужинали, всё спать, я не ужинала, я не сплю, я съ тобою; въ[явля] въ восхищеніи, что я у нея ночую,—она теперь думаетъ, что я сплю, я въ восхищеніи отъ этого. Свобода—о, какъ мнѣ весело, не боюсь, что кто-нибудь придетъ, рука не дрожить. Александръ, когда-жъ я съ тобою встрѣчу Свѣтлое Воскресенье? Господи, это не ропотъ, это не скорбь, это любовь, любовь. Прости! Вѣрно и ты одинокъ, люди далеко, суетятся, имъ не до тебя, не до нихъ и намъ, поговоримъ же, другъ мой, сегодня ровно мѣсяць — помнишь? Давеча я такъ живо все представила: въ 6-мъ часу получила твою записку, до того поразила она меня, что я даже не обрадовалась, говорятъ, страшна я была, Саша и Алenuшка не отходили отъ меня и твердили только: «берегите себя». Спустя, очень долго спустя, я стала всматриваться въ эту мысль, и разсмотрѣла только половину до 7-го часа утра,—такъ огромна она была! Да что-жъ нѣтъ тебя со мною, что-жъ я не у тебя Александръ—на тотъ годъ вмѣстѣ? А согласишься, что мы никому не можемъ сдѣлать этого вопроса, какъ самимъ себѣ и Ему, вѣдь, мы ничьи, свои, Его. Я говорю *мысль*. Что скажешь ты, что скажетъ Онъ? Вообрази, гдѣ, нибудь, можетъ во Владимірѣ же, тоже 10 часовъ вечера, тоже ненастье, тоже люди безъ ума, тоже наканунѣ Свѣтлаго Воскресенія—только мы не тѣ же! Передъ нами бумага нѣтъ, вмѣсто пера мы держимъ руку другъ другу, вмѣсто дали взоръ потонулъ въ родномъ взорѣ, и небо отверзто, и пѣснь наша сольется съ пѣснью ангеловъ. А помнишь, ты намъ съ Emilie говорилъ, что мечтать не надо? Въ саду, лѣтомъ, глядя на мѣсяць. Въ самомъ дѣлѣ, Александръ, уста мои чисты, святы; что касалось ихъ, что выходило изъ нихъ,—одна любовь, одна любовь, иногда ропотъ и вслѣдъ за нимъ раскаянье. Многіе цѣловали меня, многихъ цѣловала я, но это *такъ*, безъ души, и смѣло скажу: до 3 марта, до твоего поцѣлуя уста мои касались *одного сосуда* и съ нимъ ты спорить не станешь. Да, впрочемъ вотъ странно! я какъ будто этому дивлюсь,—что-жъ удивительнаго, что необыкновеннаго? Какъ же можетъ быть иначе, и одна ли я? Наконецъ, ты заставишь меня удивляться въ себѣ и самому обыкновенному. Когда мысль—у ней же такъ много крыльевъ, она же такъ перегнала быстротою молнію—не касалась другого сосуда, кромѣ Его, кромѣ тебя, что-жъ дивиться устамъ? Александръ, да промолви словечко, становится тяжело... погоди же, я напишу немного Сашѣ Б.; какъ рѣдко и къ ней пишу, у насъ во все нѣтъ сообщенія, какъ ково ей, мнѣ все легче, а она.. Нѣсколько строкъ написала и опять къ тебѣ! но что-то не пишется. Какъ хочешь, другъ, а письмо дѣлать, тутъ такъ твердо убѣжденъ, что разво, что далеко, что не слышишь, а непременно надо писать. И потомъ убійственная мысль, что этотъ листокъ еще долго не донесется къ тебѣ, что тогда, какъ ты будешь читать его, думы будутъ другія, все другое, и ты читаешь не то, что есть со мною, а прошедшее.. Перо выпадаетъ изъ рукъ... Мечты же—о! Онѣ не говорятъ: «его нѣтъ, онъ далеко, онъ не слышитъ». О, нѣтъ, онѣ на свѣтлыхъ крыльяхъ мчатъ тебя и ставятъ передъ глазами, ихъ силой ты говоришь, смотришь, ты живой, живой, какъ 3 марта; ихъ силой исчезаетъ именно все, что *есть*, и осуществляется то, что будетъ, или даже и не будетъ.

Долго, долго сидѣла задумавшись, читала письма... Вотъ ужъ во мнѣ ничему нѣтъ предѣла,—люблю ужасно, безпредѣльно, Медвѣдеву! люблю, какъ никого не люблю послѣ тебя, и какъ же мнѣ не любить ее такъ,—кто страдалъ болѣе, кто любилъ тебя болѣе? Стало, кто пойметъ меня болѣе? Напишу ей, пусть все отвернута,—не могу не любить ее!

Скоро 12 часовъ. Во снѣ ли видишь ты меня, или на явѣ? по воздуху ли посылаешь свою любовь, свою грусть, или изливаешь ее на бумагѣ? Я не знаю этого, но я *чувствую*—ты со мной! О! разсѣкается мгла... все трепещеть... вотъ ужь ангелъ у гроба... ты ближе, ближе. Александръ, груди наши растворяются... Александръ, души летятъ изъ тѣла... летятъ... летятъ... ближе слились!.. Вотъ слеза съ неба на землю, вотъ лучъ отсюда—вотъ 12 часовъ, вотъ колоколъ,—вотъ Христосъ Воскресъ!

30 марта, среда. [Владиміръ].

Поэма моя «о себѣ» оканчивается. Дальше 9 апрѣля она не должна идти. Да, это поэма юности, и она хороша, юноша ее не прочтетъ хладнокровно, жаль, что *по многому* не вездѣ все сказано. Въ IX главѣ описана студентская оргія и прогулка; Бога ради, не смѣшай часть ихъ съ обыкновенными выходками прои, о, нѣтъ. Ты не знаешь этотъ шумной, пламенной водоворотъ *разула*, представить его трудно: бурный вальсъ высокихъ идей и плоскихъ остротъ, вдохновенныхъ рѣчей поэта и *bavardage* пьянаго. Но все это вмѣстѣ имѣетъ *своей* изящной отпечатокъ, даже со всѣми шалостями, какъ описано. Я перелистываю и радуюсь: ничего темнаго, ничего пошлаго, моя юность прошла хорошо. Мнѣ надобно было уѣхать за 1000 верстъ отъ Воробьевыхъ горъ, отъ 20 іюля и 9 апрѣля, чтобъ опьянѣть отъ заразительнаго дыханья толпы и усыпить душу. Но что за дивная, святая поэма вливается въ мою жизнь — твоя. Жду твоихъ писемъ, какъ ждалъ отъѣзда изъ Вятки. Это будетъ твоя любимая статья, пишешь ты, это само собою такъ быть должно, для тебя не покажется мелочью всякая подробность, входящая въ составъ цѣлаго, эта жизнь бурная, порывистая, которая искала во всей вселенной цѣли, — вдругъ останавливается, бросается на колѣна передъ дѣвой, отрѣшается отъ всего и ставитъ ее любовь вмѣсто всѣхъ огромныхъ призраковъ, звавшихъ ее сильнымъ голосомъ. Моя жизнь необходимо предисловіе къ моей любви. А твоя,—я боюсь выразить всѣ мысли, но оно такъ,—она выше Евангелія для меня, какъ голубое небо граничить съ самимъ Богомъ, такъ и жизнь твоя. Еще о томъ же: 20 іюля я тебя заставилъ говорить не совсѣмъ такъ, слово въ слово, но замѣть мысли и даже выраженія взяты изъ *твоихъ писемъ*. Наташа, мы жили? Многіе ли могутъ сказать это. Тамъ, въ Загорьѣ, твой Александръ прочтетъ свою жизнь и броситъ ее къ твоимъ ногамъ, его жизнь до 9 апрѣля одинъ пьедесталъ, одна ступенька, которой коснулась нога твоя, чтобъ стать во весь ростъ. О, мой благодатной, прелестной ангелъ, что было бы со мною, ежели бы вычестъ изъ жизни 20 іюля и 9 апрѣля?? (3 марта уже слѣдствіе).

Вечеръ. Отроду первый разъ я сегодня исповѣдовался. Холодно пришелъ я въ церковь, холодно вошелъ въ алтарь. Первое, что тронуло меня, это прекрасныя черты священника. «Вѣруете ли въ Бога?». Вѣрую. «А что такое вѣрить», спросилъ с., быстро и проникательно взглянувъ на меня. Душа моя раскрылась, пламенно отвѣчалъ я и его душа оставила формализмъ. Бѣсѣда сына и отца полная любви вышла изъ исповѣди; я ему сказалъ объѣтъ, которой я далъ себѣ при выѣздѣ изъ Вятки (и которой скажу тебѣ *тогда*), онъ съ удивленіемъ взглянулъ на меня и, молча обращая взоръ къ небу, сказалъ: «Господи, укрѣпи раба твоего Александра!» Мы разстались чуть не со слезами. Итакъ, вотъ первой человѣкъ во Владиміръ. Я ему тутъ передъ алтаремъ Божіимъ говорилъ о тебѣ. мнѣ это необходимо было, я оживаю, когда могу говорить о тебѣ. (Онъ сказалъ,

что ежели вѣнчаться здѣсь, то нужно только свидѣтельство отъ твоего духовника и мое удостовѣреніе,—больше ничего. Это прелесть. Не дивна ли христіанская исповѣдь: заставить обнажить человѣка душу значить заставить его смирится, просить прощенія, а когда человѣкъ можетъ быть выше, какъ не прося прощенія у брата? Иду спать. Прощай, милой, милой ангелъ, завтра надѣну браслетъ. Ну, посмотри на меня долго,—вѣдь, впечатлѣть твои черты тоже молитва, съ ними я христіанинъ, съ ними достоинъ причащаться. Natalie! Написавши твое имя, какъ будто я очень много сказалъ, больше, нежели словами могу, да ты и прочтешь въ своемъ имени, писанномъ моею душой (а не рукой), все, что я хотѣлъ. Благослови же меня на сонъ чистый и святой.

31 марта, четвергъ. Ангелъ мой, сегодня ничтожный ¹⁾ случай привелъ меня въ восторгъ, въ умиленіе. Я причащаюсь, за мною маленькая дѣвочка, хорошенькая; когда мать ее подняла, она сказала ея имя, и это имя Наталія. Я остался на своемъ мѣстѣ, не отступалъ далѣе и съ восторгомъ взглянулъ на небо. Вѣдь, оно ничего, разумѣется (ничего *по ихъ* значить то, что не приносить рублей, пользы), но почему же изъ двухсотъ именъ, которыя безпрестанно слышались, встрѣтилось у потира—Natalie. то имя, которымъ я молюсь, твое имя. Ты пишешь въ прошломъ письмѣ: «Да и будетъ ли будущее?». Зачѣмъ это сомнѣніе? Нѣтъ, послѣ 3 марта моя вѣра незыблема. И отъ кого же зависить наше будущее—отъ Бога и отъ насъ. Богъ можетъ скоро одного изъ насъ позвать,—тогда другому здѣсь нѣтъ будущаго. Но Богъ этого не сдѣластъ, Онъ знаетъ, что есть еще рай и молитва на землѣ. Онъ въ награду тебѣ покажетъ всю прелесть земного бытія, Онъ въ награду тебѣ оставитъ меня. Вѣрь, Наташа, вѣрь, я не могу себѣ дать отчета, но громкой голосъ говорить въ душѣ, что скоро настанетъ огромный день нашей жизни, высшій, святѣйшій, день, въ который представитель Христа именемъ Бога уничтожитъ двухъ человѣкъ, чтобъ создать одного ангела. Потиръ изъ металла, онъ земляной, грубой, но вотъ въ него налита святая кровь, и онъ святъ; такъ и я, какъ сосудъ земной, буду святъ, когда благодать Бога Наталіей сойдетъ въ него. Вѣрь!—Сегодня три года, какъ читали сентенцію.

1 апрѣля. Пятница. Напиши къ Ал. Ал. письмо о твоихъ деньгахъ, скажи ему просто, въ чемъ дѣло, и пусть онъ ихъ пришлетъ на мое имя во Владиміръ. Пожалуй, и я напишу ему, nous sommes de bons amis. Это полезно, потому что, ежели онъ найдетъ препятствіе исполнить, то уже на него и не считать. Пришли мнѣ адресъ его. Каковъ вашъ приходской свящ[енникъ], выдастъ ли онъ то свидѣтельство, о которомъ я писалъ? Послѣ Загорья нечего больше ждать. Да, заставь Еміліе думать, ты не умѣешь, у тебя одинъ талантъ любить. Письма еще не приносили.

Знаешь ли, какимъ новымъ огромнымъ блаженствомъ наградила меня Богъ: я почти всякую ночь вижу тебя во снѣ, и проснусь со слезою радости, опять засну, и опять ты. Прежде я очень рѣдко видѣлъ тебя и сердился. Дивны эти сны, они отдыхъ для тоскующей души. Сегодня сонъ былъ страшень, ты сидѣла у окна, я стоялъ возлѣ тебя. Вдругъ что-то сверху обрушилось на тебя, холодной потъ выступилъ на мнѣ, я проснулся, задыхаясь отъ испуга, потомъ засыпаю, и что же? Ты съ улыбкой мнѣ говоришь, что это ничего, и я плакалъ, прижавъ голову къ твоей груди. Ангелъ, ангелъ!

¹⁾ Очень глупо это, совсѣмъ не ничтожный случай (2 апрѣля).

Письмо! Письмо! Я всегда получаю на другой или на третій день — счастли-
вѣе тебя. Итакъ, ты отрекаешься отъ своихъ талантовъ, у тебя только любовь.
Такъ отречься можетъ и христіанство, въ немъ ничего нѣтъ — только любовь!
А Богъ — развѣ не одна любовь. Ты выгодно промѣняла таланты! Ты пишешь
29-го числа, что послѣднее письмо мое было отъ 19-го, стало, одно пропало на
почтѣ, потому что пап[енька] уже 25-го получилъ мое письмо отъ 22-го. На-
пиши, есть ли письмо отъ 22-го.

Дорога напрасно тебя страшаетъ, опаснаго мало, а только много безпокой-
наго; тѣмъ не менѣе ты слишкомъ поторопилась перейти къ княгинѣ; я писалъ,
что время отъѣзда не отъ меня зависить, и сверхъ того, то лицо, съ которымъ бы
я поѣхала, не захочетъ 170 верстъ туда и 170 назадъ толочься, какъ въ ступѣ,
по прескверной дорогѣ. Я не общаю. Загорье наше, тутъ и тѣни сомнѣнья
нѣтъ, назначь сама число, и я въ Царицынѣ. Мнѣ очень хочется увидѣться съ
пап[енькой], — авось либо я что-нибудь и сдѣлаю. Не то, приглашаю Васъ за-
платить мнѣ мой визитъ 3 марта и будущій во Владиміръ; освобожденья не
дождемся, и не для чего, здѣсь мы лучше проведемъ первые мѣсяцы, совершенно
одни, вдобавокъ здѣсь не по Вятски, кругомъ дивная природа. На это нужны
деньги (прозаическая сторона, подкладка!); тысячь пять я достану, будетъ до-
вольно, а ежели еще твои пришлютъ, такъ и чудо. Что, трепещетъ душа при
этой близости, Наташа?! Даже эти матеріальныя подробности, какъ птицы на мор-
рѣ, говорятъ о близости материка, утренній вѣтерокъ уже говорить о разсвѣтѣ.

Какъ все шумить, суетится, скоро праздникъ. Ты писала мнѣ два года тому
назадъ, что тебѣ было досадно смотрѣть на этотъ шумъ и хлопоты, съ которыми
толпа встрѣчаетъ праздникъ. Зачѣмъ же ты взяла прозаическую сторону, — вѣтъ,
я съ восхищеніемъ смотрю на эту бѣготню. Что такое двигаетъ эту массу, что
мѣняетъ быть, занятія, — религія, она у грубыхъ выражается грубо, *но это она*.
Новымъ платьемъ, лишнимъ кушаньемъ они чествуютъ воскресеніе Христа, все
же лучше холоднаго эгонета съ своимъ равнодушіемъ. Вотъ ночью ударилъ ко-
локолъ, и усталой работникъ, и больная старуха, и ребенокъ бѣгутъ въ церковь.
оставляютъ сонъ, покой... зачѣмъ? Молиться, обрадоваться вѣсти о воскресеніи,
вмѣстѣ однимъ человекомъ встрѣтить Свѣтлой празникъ. Я часто смотрю на
какую-нибудь старуху или солдата, какъ онъ молится въ церкви чудотворной
иконѣ, какъ цѣлуетъ ее въ пяти разныхъ мѣстахъ. Это идолопоклонство, такъ!
Но что было бы съ его душою, ежели бы не было этого чувства? Толпа — ребенокъ,
мало понимаетъ, много чувствуетъ. Мнѣ нравятся эти приготовления, это ихъ
позвія; сверхъ того, праздниками они отвлекаются отъ душевной, угарной жизни
въ нижнемъ этажѣ человѣчества. Но ты тогда и не писала о толпѣ, а объ чуже-
ядныхъ растеніяхъ дома ея сіятельства.

Вечеръ поздно. Ну, вотъ и переписана тетрадь «О себѣ» и кончена почти,
не достаешь двухъ отдѣленій: Университетъ и Молодежь. Но этихъ я не могу
теперь писать, для этого мнѣ надо быть очень спокойну и веселу, чтобъ игривое
воспомяніе беззаботныхъ лѣтъ всплыло, это напишу тогда. Крутицы, сентен-
ція и 9 апрѣля — все есть, много сильныхъ мѣстъ, вдохновенныхъ, однако и
шалости не забыты, повторяю: не могу разстаться съ дурчествами ироніи; мнѣ
всегда кажется, что ничѣмъ нельзя оскорбить глубже толпу, какъ къ прелестной
мадоннѣ повѣсить ея пьяную, неуклюжую рожу, какъ, говоривши часъ языкомъ
человѣка, заговорить на минуту ея языкомъ. Ба, вотъ тебѣ замѣчаніе: сейчасъ
взглянулъ на твой пакетъ и ставлю тебѣ на видъ, что знакъ восклицанія на

пакетахъ не ставится. Опять глупость. Я или мраченъ, или глупъ,—когда-жъ я бываю хорошъ? А вотъ *тогда* буду хорошъ. Меня мучить, зачѣмъ ты долго не получаешь писемъ моихъ, и не могу понять отчего. А о портретъ ты уже и не поминаешь.

Суббота, 2 апрѣля. Встрѣчай весело, мой ангелъ, праздникъ, оттолкни все черное, и нашъ праздникъ скоро придетъ. Вѣдь, въ самомъ дѣлѣ, посторонніе, жалѣя тебя, всегда забываютъ любовь мою, развѣ она не закрываетъ поцѣлуемъ каждую рану, сдѣланную булавкой. Они смотрятъ на наружную жизнь, забывая, что смыслъ и важность наружнаго въ душѣ. Насчетъ моего прѣзда ничего не могу сказать. Слѣдующее письмо будетъ отъ 5-го, въ немъ, должно быть, напишу обстоятельно. А досадно, зачѣмъ ты перешла, я воображаю, ужасъ какъ скучно въ сѣт. спальнѣ. Да, кстати! я не токмо не надулся отъ твоихъ замѣчаній о дурной дорогѣ, но поцѣловалъ это мѣсто. Ты права,—любовь сочиняла молитвы. Ангелъ мой! Однако ты не воображай, что убѣдила меня, секунды не остановлюсь за дорогой,—это другое дѣло. Когда я ѣхалъ въ Пермь въ 1835 году, я скакалъ 1500 верстъ по аду, рѣки въ разливѣ, дороги избиты, ледъ, грязь, ямы,—и что за награда Гавріилъ Кирилловичъ Селастенникъ, Пермскій губернаторъ. А отъ Владимира до Москвы нѣтъ ни одной большой рѣки, нарочно не утонуешь, нѣтъ горъ, и вдобавокъ 17 часовъ ѣзды.

Ѣдетъ ли Emilie на Кавказъ? Это досадно! Кто же тогда за насъ подумаетъ, вѣдь, и я не мастеръ, и беру на себя только достать денегъ, священника и везти тебя. Прощай, мой ангелъ. Поцѣлуемся.

Твой Александръ.

12 часовъ ночи. Суббота. Наташа, Наташа, ангелъ мой! проснись, раскрой твои прелестные глаза, твой Александръ будить тебя. Слышишь, вонъ раздался первый ударъ. Торжественно, плавно льется онъ изъ мѣдныхъ устъ, воздухъ ликуетъ. Священная, таинственная драма Его страданій окончилась. Человѣчество, иди молиться въ скупленью. Пойдемъ же и мы, передъ Нимъ только ты, я долженъ былъ взглянуть на тебя. *Наташа, будущую Пасху мы встрѣчаемъ вмѣстѣ!*

3-е, утро, рано.—Какъ радостно я встрѣтилъ нынѣшній праздникъ, гдѣ же это болѣзненное Вятское отчаяніе? О, сколько выше настоящее и сколько выше сталъ я самъ. И у насъ сегодня воспоминаніе большое: мѣсяцъ тому назадъ, въ этотъ часъ ты склоняла голову къ моей груди. Наташа! лобзаніе христіанина тебѣ отъ Александра и чистый поцѣлуй брата, и пламенный поцѣлуй жениха твоего. Весела ли ты? Развѣ мы не вмѣстѣ встрѣтили праздникъ? Фу!.. Фу!.. Люди... Взглянулъ въ окно, партію колодниковъ въ цѣпяхъ гонять въ Сибирь... Зачѣмъ сегодня, зачѣмъ въ самый благовѣсть къ обѣднѣ? Три года тому назадъ и мнѣ назначено было ѣхать въ первый праздникъ, а Огаревъ и поѣхалъ. Здоровъ ли ты, другъ, что твоя Марія?—А вспомнилъ и онъ обо мнѣ. Какъ счастлива наша жизнь. Со всякимъ днемъ Александръ дѣлается достойнѣе тебя, т. е., больше любить, смотри же—не роптать больше. Скоро, скоро наша Пасха, наша мистерія. Да, тайной голосъ мнѣ говоритъ, что скоро. А въ прошломъ году я былъ печаленъ, 9-е апрѣля не могло отогрѣть души, а 3-е марта горить внутри, какъ это солнце, горитъ весело. О, не вѣста! Какъ прижалъ бы я тебя опять къ *твоей* груди!.. Постороннихъ здѣсь нѣтъ потому именно, что всѣ посторонніе; цѣлый день съ тобою буду, съ твоею лентой, съ твоимъ браслетомъ. Только теперь прощай, ѣду къ губернатору.

12 часовъ, 3-е апрѣля. — Архіерейская служба. Литургія—поэма, гіероглифъ, какъ тѣсно изящное съ религіей. Видала ли ты въ этотъ день архіерейскую службу, —вѣрно нѣтъ, и жаль. Вотъ четыре дьякона несутъ въ четыре конца міра по Евангелію, каждой развертываетъ, каждой читаетъ, а благословляетъ Онъ—намѣстникъ. Все склоняется передъ нимъ, все трепещетъ и цѣлуетъ руку. Но смотри, вотъ этотъ мощный поверженъ въ прахъ передъ Тайной, поверженъ въ прахъ передъ клиромъ, вотъ онъ выходитъ изъ алтаря, и въ землю кланяется мнѣ и проситъ прощенья. Алтарь открытъ, вотъ намѣстникъ причащаетъ стадо избранное, вотъ сѣдой іерей преклонилъ колѣна и принимаетъ чашу воспоминанія. Изъ алтаря несутся звуки, —это пѣснь четырехъ стариковъ, ихъ голосъ дрожитъ, но душа ликуетъ, пѣснь ихъ коснулась народа, и громкое, торжественное «Христосъ Воскресе» льется. Но пѣснь стариковъ слабая, у престола, предупредила. Теперь уже нѣтъ другого слова у народа, на все отвѣчаетъ онъ: Христосъ Воскресе. Наконецъ, одно изъ торжественнѣйшихъ мѣстъ, это когда архіерей выходитъ съ крестомъ, онъ идетъ, какъ Гесперь съ востока, говоритъ всему миру «Христосъ Воскресе!» Весь западъ тысячь голосами подтверждаетъ, говоритъ югу, подтверждаетъ югъ, говоритъ сѣверу — подтверждаетъ. Наташа, неужели толпа не понимаетъ этой поэзіи? О, нѣтъ, масса понимаетъ все поэтическое; но вмѣстѣ возьми въ частности, гдѣ имъ понимать, —а визиты, а дрянныя заботы объ одеждѣ, о мелкомъ соперничествѣ!

Я чувствую тебя сегодня возлѣ, ты тутъ, ты мнѣ улыбаешься. Рожденье мое шло мрачно, отчего же нынче весело? Наташа, ужъ не исповѣдъ ли? Помнишь, какъ меня возстановила въ Вяткѣ молитва? Ей Богу, мы счастливы безъ мѣры, такъ проникнуть другъ друга, такъ слиться, нѣтъ!.. Наташа, похристуемся еще разъ, три поцѣлуя должно быть. Я готовъ плакать, смѣяться... все, что хочешь.

Мѣсяць тому назадъ я несея по снѣговой полянѣ, душа была *оглушена* блаженствомъ, я спалъ крѣпкимъ сномъ подъ крикъ ямщика, шумъ бубенчиковъ и подъ ухабы. А образъ твой носился передъ моими глазами. Господи! въ ту минуту, когда ты перерѣжешь нить моей жизни, когда я, долго смотрѣвши на нее, закрою глаза, —молю тебя, тогда чтобъ въ душѣ явилась опять она, чтобъ послѣднее бѣненіе сердца было отъ восторга, что ангелъ смотритъ на меня, что ангелъ такъ хорошъ. Улыбка будетъ на моихъ устахъ, тогда склони твою голову на холодную грудь и... и не плачь, умри или молись, а плакать невадно, мнѣ будетъ шире, свѣтлѣе. Это не мрачная картина *на нашемъ языкѣ*, я продолжаю. Тогда хотѣлъ бы я, чтобъ ты не разлучалась со мною, хотѣлъ бы, чтобъ на томъ холму, гдѣ будетъ мое тѣло, была бы твоя келья, ты будешь приходить вечеромъ, и душа моя будетъ слетать къ тебѣ, ангелъ благодатной!

Вотъ тебѣ и маленькое горе рядомъ съ сегодняшнимъ вдохновеніемъ. Полковникъ, который хотѣлъ меня привезти, уѣхалъ на всю Святую въ деревню, и стало, до Фоминой и отвѣта не узнаю я. Потерпимъ, потерпимъ еще, —вѣдь, это страстная суббота, пробыетъ 12, и черная риза замѣнится бѣлой. Знаешь ли ты, что есть возможность, проведя въ блаженствѣ, въ раю, три утра въ Загорьѣ, на четвертое ѣхать. Странно, я трепещу, содрогаюсь при этой близости, грудь не выносить столько! Готова ли ты, ежели возможность представится? Я писалъ пап[енькѣ], что, такъ какъ онъ не согласился на обрученье, то и я несогласенъ ждать; вотъ мое объявленіе войны, а, можетъ, и мира. Не забудь, душа моя, все любимое тобою передать Сашѣ, мнѣ даже не хочется пересылать письма свои

1835 года. Вѣдь, скоро, ангелъ, скоро. Да вѣришь ли ты этому, какъ я вѣрю, всей душой?

Сегодня поздно вечеромъ придетъ твое письмо отъ вчерашняго утра; это будетъ мой дорогой гость въ Свѣтлый праздникъ. Я поцѣлую его, прижму къ сердцу — такъ, какъ поцѣловаль бы руку, которая писала, глаза, которые смотрѣли на эти строчки.

Смотри, вотъ на улицѣ два цѣлуются. Христіанство выторговало сегодняшній день у людей, — они братья, они сорвались съ пыльной дороги эгоизма, воскресли! Но грубая душа будетъ къ вечеру опять въ грязи. Ну, пусть бы они сами сравнили чувство, съ которымъ они сегодня цѣлуютъ, и то, съ которымъ они завтра будутъ тѣснить. Богатой въ золотѣ, нищій въ лохмотьяхъ цѣлуются, да это оттого, что нѣтъ богатаго и нищаго, что это нелѣпость. Что церковь до того добра, что принимаетъ *богатаго*, что она забываетъ его стяжанія, его безчувственность, и ставитъ рядомъ съ любимымъ сыномъ — нищимъ. Давеча, когда религія блистала во всей пышности, я думалъ, — дивно бы было намъ вѣнчаться при этой пышности. Этого желалъ бы я не для зрителей, не для *партера*, а для насъ. Желалъ бы высокую церковь и огромную, духовныхъ въ золотѣ, множество свѣчей — и пустую церковь притомъ. Пусть не встрѣтится намъ ни одинъ взглядъ, которой обращенъ на мой фракъ и на твою прическу. Друзья — о, они на мѣстѣ тутъ съ своей улыбкой, это херувимы, которые будутъ намъ пѣть. Последнее желаніе (чтобъ никого не было) сбудется, ежели вѣнчанье будетъ такъ, какъ я предполагаю. Моя любовь къ пышности имѣетъ поэтическое начало, душѣ хочется простора и величія. На полѣ, подъ шатромъ Божиимъ, я счастливъ, а небольшая комната давить потолкомъ, стѣнами. Узкая жизнь похожа на рамы: черныя полосы по свѣту, то ли дѣло цѣльныя стекла. Повѣришь ли ты, что ежели бы вельможи жили въ крестьянскихъ избахъ, они были бы вдвое хуже, поэзія богатства подымаетъ ихъ. Всетаки она поэзія и, слѣдственно, изящна! Чины и ордена — вотъ ужъ это совсѣмъ неизвѣстная область для моей души, потому что тутъ, кромѣ надменности, ничего нѣтъ. Хорошо мнѣ говорить, вѣдь, я кавалеръ голубой ленты, ленты святой Наталіи. Любовь повязала мнѣ ее, на ней виситъ не ключъ, а жезлъ, которымъ я буду отженивать все нечистое. Прощай еще разъ, поѣду объѣдать къ губернатору.

3-го вечеръ, поздно. [Владиміръ].

«Свѣтлое Воскресенье было темно для меня», писала ты въ прошломъ году: въ нынѣшнемъ оно для меня свѣтло, стало, и для тебя. Да, 1838 годъ, съ перваго часа своей жизни, ярко отдѣлился отъ прежнихъ, теперь онъ обозначился: *это важнѣйшій годъ нашей жизни* — благословеніе ему! Земля опадаетъ больше и больше. Цѣлуй руку Провидѣнія, не окончившаго ссылку въ 36 или 37; вотъ, какъ мы, суетныя дѣти, не понимая воли Отца небеснаго, рошцемъ. Мы не должны были соединиться прежде, — это такъ же ясно, какъ то, что теперь мы должны соединиться. Еще двѣ огромныя побѣды въ моей душѣ. Во-первыхъ, я равнодушенъ сталъ къ прошенью: Владиміръ, Неаполь — все равно: ты будешь со мною. Чѣмъ независимѣе человекъ можетъ стать отъ людей, тѣмъ выше. Во-вторыхъ, вопросъ, о которомъ я тебѣ писалъ много разъ, служить или нѣтъ, во-все исчезъ, онъ больше, нежели разрѣшился, — уничтожился; что за дѣло, иди, куда поведетъ Тотъ, который привелъ къ Наталіи, и иди твердо. — Наташа, мо-

жать, тебѣ приходится въ голову, хорошо ли мы поступаемъ относительно *и.л.* Ненадобно увеличивать ихъ «сентиментальности». Княг[иня] тебя любить (?), но она хотѣла потопить тебя нѣсколько разъ въ глупѣйшемъ бракѣ. Съ ней будетъ обморокъ—понюхаетъ спирту, будетъ два—пуститъ кровь, и тѣмъ кончено. Пап[енька] разсердится, но обморока съ нимъ не будетъ, будетъ недѣлю бранить всѣхъ, погруситъ и... и, увѣрю тебя, проститъ. Въ прошломъ письмѣ онъ мнѣ пишетъ, что хочетъ имѣть въ этомъ дѣлѣ только «дружескій совѣтъ». Дружескій совѣтъ не султанскій фирманъ, одно изъ главныхъ правъ его—быть неисполненнымъ. Ты должна княг[иню] немного приготовить, шадя ея 80 лѣтъ, потомъ написать письмо съ чувствомъ и съ чувствомъ собственнаго достоинства (тогда, вѣдь, ужъ это будетъ письмо отъ *моей* Наталин). Довольно важная вещь въ этомъ не погубить кого-либо изъ людей; для этого, во-первыхъ, должны знать не больше двухъ (кто не зналъ — правъ), но и двухъ ненадобно безъ крайности выдавать. Мудрено мнѣ теперь хлопотать о Сашѣ, но вѣрить ли она моему честному слову? Не написать ли мнѣ къ княг[инѣ]? и когда? Это зависитъ отъ тебя. Ежели-бъ я былъ въ Вяткѣ, деньги лежали бы ужъ на столѣ, здѣсь нѣтъ знакомыхъ, и потому надо ждать мнѣ ихъ съ мѣсяцъ. На дняхъ повидаюсь еще съ моимъ священникомъ, душою расположенъ я къ нему, видно ему и быть іерофантомъ тайнства. Письма еще нѣтъ.

Понедѣльникъ, 4 апрѣля. Послѣ обѣда. Получилъ, душа моя, твои письма до субботы. Вѣрю, что мы умремъ отъ любви, очень вѣрю, она до того будетъ насъ очищать, что и клочка тѣла не оставитъ, до того поднимать, что мы очутимся на небѣ. Насчетъ денегъ Медв. мысль хороша; но ее не теперь исполнить, послѣ, гораздо послѣ, теперь это ужасно, это въ самомъ дѣлѣ, что-то вродѣ *отставной любовницы*, а она горда и благородна. Не думай, чтобъ я не заболѣлъ и прежде объ этомъ, но рѣшилъ такъ: одно время можетъ дать право тебѣ (а не мнѣ!) сдѣлать ей подарокъ. — Почему не найдется человекъ, который бы ее любилъ, который бы призвалъ ее къ полной жизни, она достойна ея. въ ней столько поэзіи, деликатности и 26-ой годъ. Жанъ-Поль въ своихъ повѣстяхъ представляетъ юношу, любящаго чисто, свято, увлеченнаго на мгновеніе женщиной; я, краснѣя и блѣднѣя, читалъ; но юноша душою остался чистъ, а я съ угрызеніями... Наташа, неужели и я чистъ, неужели я искупилъ? Нѣтъ, я еще не дочиталъ этой повѣсти; теперь онъ признается своей Беатѣ въ гнусномъ поступкѣ — письмомъ, точно такое же положеніе. Одно хуже для него: онъ не былъ въ ссылкѣ, а былъ въ томъ же городѣ.

Со всякимъ днемъ открываю въ тебѣ новые таланты для штатской службы, — хочешь учредить архивъ изъ писемъ; не токмо совѣтникомъ, прокуроромъ тебѣ губернскимъ... только во Владимірѣ—*bitte, bitte!*

Ты пишешь, что спишь спокойно и съ улыбкой, стало, ты крѣпко спишь, ежели могутъ входить къ тебѣ въ комнату, вѣдь, не сама же ты смотришь на себя во снѣ. Меня соннаго никто не видалъ, я какъ черкесь, или какъ собака: дохни человекъ въ моей спальнѣ, коснись ногой до полу, и я проснулся, исключая, разумеется, возвращенья съ Вятскихъ боровъ, гдѣ шампанское льется рѣкою; тогда по головѣ можно ходить, — не услышишь. Я вообще силно не тихий сномъ, весь размечусь, и часто конвульсія пробѣгаютъ и будятъ; неугомонна, *побѣдная* головушка и тутъ видна. Въ самомъ дѣлѣ, Наташа, надо имѣть много рѣшимости, чтобъ быть невѣстой безумнаго, какъ я. Правда, но порядочные люди, благомыслящіе и здравомыслящіе, не умѣютъ любить, а безумные умѣютъ.—

«Объ Левашовой не знаю, узнаю». Думалъ, думалъ, и рѣшился прибѣгнуть къ Вамъ, Н. А., какой смыслъ этихъ словъ твоего письма?—Тетрадку о 20 юлѣ непременно достань и пришли.

Что ты въ послѣднемъ письмѣ пишешь о Тат. Петр., вполне показало мнѣ мелкость ея, послѣднее мѣсто потеряла она въ моемъ сердцѣ; какой холодной, себялюбивой эгоизмъ заставлятъ переписывать дрянн, т. е., *ея сочиненія*.

Вечеръ, поздно.—«Меня будущей зимой здѣсь не будетъ»—итакъ, святая вѣра въ будущее проникнула и въ тебя. Да, не будетъ. Еще разъ думай о Загорьѣ, откуда мнѣ легче тебя взять. А послѣ что? Что ни было бы. Жду только твоего отвѣта, въ письмахъ замолчу и буду дѣйствовать. Пиши же къ А. А. Представить я себѣ не могу, чтобы черезъ два-три мѣсяца ты была моя, со мною. Пожалуй, первый разъ я въ Загорье приѣду видѣться, а потомъ за тобой, замѣть: 1) отъ 29 юня (Петровъ день) до 1 августа — тутъ превосходный день 20 юля, день моего взятія, день начала нашей любви, 2) отъ 15-го августа до сентября—тутъ 26 августа,—мнѣ лучше нравится 20 юля. Да, ты вѣришь ли что это не бредъ, что это обыточно? Однако, погоди предаваться, почему звать, что будетъ. Очень дурно, что у меня здѣсь нѣтъ ни одного человѣка, на котораго бы я положился. — Далѣе о твоёмъ письмѣ: ты начинаешь любить свою жизнь, даже свое лицо (не хочешь сонной портретъ), и во всемъ этомъ ты любишь меня, ты во мнѣ нашла Наташу и полюбила ту дивную, святую, которую я люблю; о, ты можешь меня ревновать къ этой Наташѣ, — она — ангель, она—ты!

Ко мнѣ ходить иногда *съ почтеніемъ* молодой гимназистъ лѣтъ 15—16; есть способности, таланты, но дурное направленіе, искальное, узкое и бѣдность. Сегодня утромъ онъ началъ спрашивать смиренно и уничиженно моихъ совѣтовъ насчетъ занятій. Я былъ въ духѣ, и вдругъ съ огнемъ, жаромъ, поэзіей представилъ ему все высокое призваніе человѣка, науки, —я чувствовалъ, что моя рѣчь сильна. Потомъ я пошелъ одѣваться въ другую комнату; возвратившись, засталъ юношу на томъ же мѣстѣ, щеки горятъ. «Боже мой, сказалъ онъ, вы въ нѣсколько минутъ дали другое направленіе моей жизни, бѣдно, бѣдно прошедшее, о, я вамъ буду благодаренъ. Вы счастливы, потому что ваша жизнь какъ-то необыкновенна и вашъ взоръ высокъ, силенъ. Завидую вамъ... Что мнѣ дѣлать?!» — Извольте, сказалъ я, вотъ мой совѣтъ: во-первыхъ, берегите, какъ высочайшую святость, нравственность и чистоту,—это главное; жертвуйте наукой—философія, а философіей—религіи, читайте природу больше книгъ. Тотъ ли бы совѣтъ далъ ему я два года назадъ. Это ужъ твой Александръ дѣйствуетъ. Что бы ни было съ этимъ юношей, онъ не забудетъ моего урока. Впрочемъ, ежели замѣчу въ немъ путь, поведу его далѣе (а не буду заставлятъ чистить сапоги, переписывать статьи,—это Т. П.). Да, одиночество опять вливаетъ въ меня мощность, которую я имѣлъ въ Крутицахъ, я тамъ былъ силенъ,—9 апрѣля ты видѣла это. Вчера послѣ обѣда у губ[ернатора] заговорили о Витбергѣ и начали его бранить. Я всталъ и разгромилъ ихъ, но съ такой силой, что никто не дерзнулъ прямо возражать.

Ну, покойся же, мирно, кротко, ангель, во снѣ тебѣ пусть предстанетъ Александръ съ тѣмъ взглядомъ. Прощай. Ну, нельзя сказать, что я мало пишу, je cherche vos bonnes graces, parce que vous êtes ma promise, а какъ будешь со всѣмъ моя, да будемъ вмѣстѣ, меньше буду писать. Виновать, опять глупость, натура-съ!

Передъ Загорьемъ и гораздо возьми у священника свидѣтельство на гербовой бумагѣ о лѣтахъ и о томъ, что греко-россійской вѣры, онъ самъ долженъ знать форму, посоветуйся съ Егор. Ив., и пришли мнѣ; ежели будетъ не такъ составлено, успеете переимѣнить. Да, хорошъ ли священникъ?

11 часовъ. Вторникъ, 5 апрѣля. — Посылаю твою любимую записку, чтобъ ты не безъ нея встрѣтила 9 и 10. Меня еще не жди. Сегодня думалъ, ежели-бъ не тѣ отношенія, я выписалъ бы сюда Медв.,—она дивно устроила бы намъ все. А я понимаю, что нуженъ еще 3-й человекъ, который бы разсуждалъ. Чѣмъ больше думаю, тѣмъ яснѣе Загорье, и оттуда ѣхать вмѣстѣ.

Ну, каково было свиданье съ пап[енькою]? Пусть дурно, — тѣмъ вольнѣе мнѣ.—А какова Полина и Скворц.? Ни строки, развѣ сердятся, да за что; покуда я былъ въ наличности, не ссорились, ну, какъ же я могъ, уѣхавши, разсориться; это ужъ похоже на то, какъ меня засадили въ Кр[утицы] по дѣлу праздника, о которомъ я не имѣлъ понятія. Ахъ, кстати! Знаешь ли ты, что въ самое время праздника ты была со мною, да — 24 июня въ саду, Огаревъ былъ и Сазоновъ. Прощай, желаю веселиться—*подъ Новинскимъ*. Матвѣй земно кланяется и благодарить, а я—просто цѣлую, цѣлую тебя.

4-е, утро, 7-й часть. [Москва].

Сколько пережила я вчерашній день,—это ужасъ. Что за грусть! Не стану ужъ писать о ней, она опять разстелется туманомъ на твою душу. Не спрашивай и отчета, я не умѣю дать его и себѣ. Ты грустенъ — и довольно этого, слишкомъ довольно, чтобъ помрачить меня совершенно. А еще какъ сверхъ этого... Вчера и вечерня не помогла, я люблю церковь, когда пусто, не мѣшаютъ молиться, а тутъ духота, и толпа смотреть въ глаза, это еще болѣе утомило меня, и въ княг[ининомъ] домѣ толпа, и въ домѣ Божьемъ толпа, — куда-жъ дѣться? Къ тебѣ? Ты грустенъ. Къ себѣ — нечего и говорить! Но всетаки къ тебѣ же. А тутъ цѣлой вечеръ преглушой... Ну, что-бъ я написала тебѣ?—*боюсь* писать и легла спать. Что *теперь* ты? Неужели также мраченъ, неужели и теперь?.. О, вѣтъ, мой Александръ! Вѣрно тебѣ жаль меня стало, вѣрно ты ясенъ! 7-й часть... Молишься? Легче, легче становится... легче! Дивной мой! Ангель, не огромно ли наше блаженство? Чего намъ еще? Обнимемся, — теперь ты ложишься, хорошо уснешь. А я напишу тебѣ о вздорѣ. Ужъ такъ меня занимаютъ мало эти мелочи, что я забыла тебѣ написать, что Миницкой всѣми средствами (черезъ М. Ст.) вымолилъ опять позволеніе ѣздить и ѣздить. Должно быть, онъ глупъ, изъясняетъ *свою любовь* М. С., мнѣ ни слова,—и я ни слова. Пусть скажетъ, — и я скажу. Вчера кв[ягinya] сказала Льву Ал., что онъ сдѣлаетъ предложенье; онъ на это отвѣчалъ: «дай Богъ». А какъ она стала совѣтоваться, какъ и что, онъ ни слова, и все время молчалъ. Миницкой былъ и у него. Вѣрно, и эта вереница жениховъ льститъ твоему самолюбію... Не можетъ быть, потому что они всѣ дрянъ.

Послѣ обѣда. — Александръ, приходило тебѣ когда въ голову это? — Вообрази, мой другъ, мы родились съ тобой въ одномъ домѣ, въ одной церкви, говорятъ, крещены, можетъ, въ одной купели. Только сегодня я сдѣлала открытіе, что у насъ въ домѣ есть старушка, которая все это знаетъ. Навѣрно, тебя меньше займетъ Жанъ-Поль, нежели занимаютъ меня эти рассказы, — все, все, какъ ты былъ малюткой — о, мой Александръ, все это такъ велико, свято для меня.

Давеча былъ Алексѣй Серг.—счастливые люди!

Почему ли я туда ждать тебя—нѣтъ! Всѣ мои грустные минуты,—все, все зависитъ отъ тебя, Александръ; когда ты грустенъ (не отъ разлуки), вотъ мнѣ тотчасъ и придетъ въ голову,—да что-жъ я могу здѣсь? Полетѣть бы туда, тамъ бы умолить Бога... И истинно, въ эти минуты я, кажется, улетѣла бы, но Онъ не беретъ, Онъ знаетъ, что я еще нужна тебѣ здѣсь. Дивно,дивно, мой ангелъ, наше 3 марта. Когда душа доступна его вліянію, оно чудесно. Вчера ее заволочло совѣтъ тучей, я право не знаю, отчего,—вѣрно, ты очень грустилъ. Но лишь тяжело вздохнешь,—вспомни наше яркое, лучезарное... Я невольно улыбаюсь, когда вдругъ мелькнетъ передо мною твой образъ, помнишь, какъ тогда—восторгъ, одинъ восторгъ выражался... забыто все! Кажется, съ этой улыбкой взшла бы на крестъ. Чего не перенесешь за 3 марта! Чего не перенесешь, ожидая его въ будущемъ. Хорошо мнѣ, душа моя... а тебѣ?

Эти комнаты такъ сдѣлались для меня святы, что я бы рѣшительно никуда не желала ступить ногою, выключая церковь, — туда часто, для того чтобъ на свободѣ, не будучи прерываема *домашнимъ*, думать о тебѣ. И вотъ до сихъ поръ желаніе мое исполнялось, нигдѣ, нигдѣ не была я съ 3-го марта, кромѣ церкви, но скоро надо будетъ ѣхать, ужъ бы я какъ-нибудь отдѣлалась, да хочется видѣть маменьку. А признаюсь, къ папенькѣ что то *неловко* мнѣ ѣхать, не хочется тяготить собою, онъ ужъ вѣрно не желаетъ меня видѣть, а потомъ за тебя больно будетъ униженіе. Ежели тебѣ все равно,—мнѣ все равно, ѣду. Что-нибудь очень важное должно совершиться съ нами въ скоромъ времени, — я предчувствую.

Вечеромъ. Сидѣла въ толпѣ... Какъ рвется къ тебѣ душа, Александръ! Я бросаюсь навверхъ, хотъ слово написать тебѣ. Ангелъ мой!

Ночь. Что ты чувствовалъ въ 7 часовъ? Я стояла передъ папенькой и для тебя неудивительно съ необыкновеннымъ спокойствіемъ, торжественно; я желала бы, чтобъ ты видѣлъ меня въ эту минуту, желала бы также, чтобъ видѣлъ и папеньку. Онъ достоинъ былъ, ангелъ мой, твоего взгляда, божусь тебѣ, никогда такъ ласково, никогда съ такою пріятностью не принималъ меня. Не вини его, не виноватъ онъ, въ немъ борется *отецъ* съ *Иваномъ Алексѣевичемъ*—ясное доказательство. Отецъ *не запрещаетъ, благословляетъ*, онъ радуется счастью сына,—эта радость сіяла давеча въ его лицѣ. Иванъ же Алексѣевичъ не можетъ согласиться, потому что онъ членъ свѣта, а свѣтъ наполненъ приличіями. И оба они правы? Мнѣ чрезвычайно весело, радуюсь за него, ежели я не обременила его, притворяюсь такъ невозможно, и на что? Итакъ, мой Александръ, не правъ ли онъ, отдавая Богу богово, Кесарю кесарево. *Отецъ* насъ благословляетъ, *Ив. Ал. не намъ* и намъ вѣнужно его *согласіе*. Какъ было давно не понять этого. Давно пришла пора, что-жъ я не съ тобой? кто держитъ? Право, я въ восхищеніи отъ пап[еньки]; ну, посмотри самъ, онъ тоже скажетъ тебѣ.

Утро, 5-е, вторникъ. Ангелъ мой, сердись ты на меня за то, что я такъ боюсь дороги? Сердись, пожалуй, а я все-таки буду бояться. Какъ я вчера сконфузилась: маменька спрашиваетъ, не пишешь ли ты мнѣ, что пріѣдешь, я думала, она не знаетъ, и сказала нѣтъ. Какъ же совѣстно было солгать, она же знаетъ. Да, довольно, довольно для 3 марта, но для всей жизни не довольно! Я не знаю, какъ бы выразить однимъ словомъ чувство, состоящее изъ необъятнаго желанія быть съ тобой и изъ необъятной покорности Божьей волѣ,—это нельзя

назвать двумя чувствами, они два, но такъ слиты, что между ними нѣтъ черты. О, мой Александръ, какъ не желать, какъ не желать, жизнь моя... О, какъ не желать? Какъ и не покориться. Услыши же молитву мою, Господи, и да будетъ воля твоя! Теперь я въ той же комнатѣ, на томъ же мѣстѣ,—какъ живо, Боже мой! Мнѣ что-то не вѣрится, что ты опять скоро здѣсь... опять, и сердце забьется, какъ до 3-го марта, еще сильнѣе... Да когда же?!

Перечитала твои письма съ февраля, 14-е ты пишешь: «или обрученье, или вѣнчанье *должно быть скоро!*». Ужъ не обрученье ли будетъ на 6-ю. Не знаю, право, а душа что-то предчувствуетъ огромное и волненье необыкновенно.

Александръ, ангелъ мой, о, какъ грустно, какъ хочется летѣть къ тебѣ,—да что-жъ я не съ тобой, что-жъ не съ тобой. О, несносное тѣло, оно держитъ меня такъ далеко отъ тебя, а душа рвется, рвется... о, какъ рвется, кажется, улетитъ.

Среда, утро. Ужо пошлю за письмомъ, отъ одной мысли душа играетъ, какъ солнце, а черезъ недѣлю... о, грудь, держись! Знаешь, что эти три дня я дѣлала: безпрестанно ходила взадъ и впередъ по залѣ, это прерывалось только прїѣздомъ кого-нибудь тоже сїятельнаго (а какъ темны эти сїятельные!) или приказаніемъ занимать *пришедшихъ*. Я не презираю, но утомительно—смерть! Потомъ ходить и ходить. То вдругъ тоска наляжетъ тучей, то вдругъ 3 марта засяетъ солнцемъ, то рвусь къ тебѣ, то жду тебя. Ну, мой ангелъ, пока издали обнимемся, пока издали 3 марта.

6-е апрѣля, ночь. [Москва].

Цѣлое утро взоръ утомился безцвѣтными, безжизненными предметами, слухъ безжизненными, бессмысленными рѣчами, душа—ожиданіемъ письма. Положеніе это больше дремоты, но менѣе жизни; или восторгъ, или страданіе вырываютъ меня изъ этой духоты и ставятъ или съ сладкою слезою или съ горькою предъ Нимъ, рядомъ съ тобою, Александръ, а тутъ... Ну, словомъ, положеніе это утомительно, несосно именно тѣмъ, что его можно перенести. При первой возможности я бросилась къ «Еленѣ» выплакать слезы, прикипѣвшія къ сердцу. Сильно дѣйствіе ея на меня, ничто *писанное* не проникло такъ глубоко въ душу, а *истина и возможность* остального до того растопили сердце, что оно лилось слезами... и мнѣ стало легче. Другую половину дня я провела хорошо, *мои* знаютъ, чѣмъ меня утѣшать, и всякой рассказываетъ всѣ подробности, какія только возможно удержать въ памяти, о тебѣ. Когда я не расположена говорить, заставляю ихъ, и все бывшее, кажется, повторяется на самомъ дѣлѣ. Ужъ насколько чужды мнѣ *они*, настолько теплоты въ каждомъ изъ самыхъ меньшихъ *моихъ*; то и другое безпредѣльно. *Тѣ* всѣми силами, всѣми желаніями, всю жизнь не принесли бы сотой доли того, что *эти* невольно, по душѣ приносятъ однимъ взглядомъ, движеніемъ. Кажется, имъ это свойственно, какъ дышать, какъ молиться.

Почтовой день прошелъ безъ письма и вечеромъ положилъ на грудь плитку тоски... Тяжела эта плита, тяжелою чугунной. О, ангелъ мой, за что-жъ... Прости, прости, Господи!

7-е, вечеръ. Въ теперешней моей жизни самое худшее время—большіе праздники: тутъ вѣтъ у меня и нѣсколькихъ минутъ свободы, стало, вѣтъ и отдыха. Ангелъ мой, жизнь моя, Александръ, спаситель мой. О, когда-жъ *наша* жизнь начнется??

Рано, 8-е, пятница. Другъ ты мой, ужъ какъ скоро Ѳоминая, а я ничего не знаю, будешь ты, или нѣтъ, и письма нѣтъ... и оттого все такъ дурно, такъ дурно... О, мой Александръ, о, мой ангель... О, какъ я люблю тебя! Ты знаешь, испытать это чувство, когда нѣтъ письма: душа полна только ожиданьемъ, и оно такъ туго запеленаетъ ее, что изъ нея не достанешь ничего. Какъ же прежде бывало доставало терпѣнья ждать цѣлую недѣлю, болѣе... О, Жанъ Поль правъ, правъ! Любовь не стоитъ, наша растетъ. И что за желанье, увѣреніе ли нужно? Я знаю, что половины не выразишь словами, знаю твою любовь, все,—что-жъ желать, чтобъ самая малая часть этого всего заключалась на маленькомъ листѣ... Ну, пусть скажутъ—малодушіе, я скажу—любовь!

Славу Богу, я передала Миницаго на руки его кузинѣ, онѣ все для него же познакомились съ кв[ягиной]. вчера были всей семьей; одна изъ нихъ—страдалица, знаетъ любовь, знаетъ ея наслажденіе и, *живя* 6 лѣтъ,—теперь безъ жизни влачить дни. Можетъ, она бы поняла *все*, но на что мнѣ было говорить все, я сказала, что нужно, и теперь не моя вина, ежели у него глаза не открыты.

Позже. Александръ! Да когда же освобожденіе изъ рабства египетскаго? Когда-жъ жизнь Сіона! Ты Сіонъ. Изстрадалась моя душа. Ангель мой, вообрази этотъ дивной, истинной апостоль Павель Сергѣевичъ—вчера онъ былъ, и бесѣда его всегда высока, полна Христа, я сѣла бы у ногъ его и нѣсколько бы дней слушала, а *они* меня отгоняютъ отъ него, боятся, что онъ отвлечетъ меня отъ міра, что я пойду въ монастырь... (О! давно-бъ, давно-бъ бѣжала я изъ этого гадкаго міра, но... но въ немъ же и Сіонъ!! И его, вообрази, другъ мой, и его браняты, его зовутъ невѣжей, безумнымъ. Я читала имъ о Пасхѣ, о томъ, что для того, кто ограничиваетъ ее 7-ю днями *вселя*, не воскресалъ Христось; *они* велѣли перестать, они прерываютъ чтеніе сужденіями о ветчинѣ, о пирогахъ, говорятъ, что ничего нельзя понять, что это ничего не значить. Господи! Нѣтъ, Александръ, силъ нѣтъ. Да когда же, мой небесный, мы будемъ жить жизнью небесной? Когда-жъ воскреснетъ намъ Христось? Боже мой, о, если-бъ одно наслажденіе было цѣлью соединенія съ тобой! А Онъ все знаетъ, Онъ видитъ цѣль... Ну, итакъ да будетъ же Его воля.

Бѣжимъ тогда, Бога ради, бѣжимъ далеко отъ міра, будемъ видѣться только съ Павла. Серг. и подобными ему, а отъ этихъ... Ангель мой, мнѣ страшно идти къ нимъ, я не могу видѣть ихъ, пойдѣмъ хоть вмѣстѣ, держась за тебя, мнѣ не такъ будетъ страшно. Александръ! Сіонъ!

9 апрѣля, субб., 6 час. утра. Милой другъ, вотъ нашъ торжественный праздниѣкъ, ужо души наши сольются на томъ священномъ мѣстѣ, гдѣ онѣ узнали другъ друга впервые. Ужо письма—дай Господи! Ужасъ, какъ я устала эту всю недѣлю. Дивный день—мой ангель! поблагодаримъ за него еще Отца нашего, проведемъ его достойно, какъ *нашъ праздниѣкъ*. Обвинимся, благословимъ другъ друга и отдадимся Ему еще разъ.

Прощай, молись. *Наташа* твоя.

Апрѣля 6-е, среда. [Владиміръ].

Сага sposa, вотъ тебѣ письмо отъ Медв... О, она стоитъ быть твоей сестрой, выше человекъ я не могу поставить, вотъ тебѣ доказательство, что она могла увлечь твоего Александра, потому что въ ней сильная душа. Но вотъ тебѣ и другое доказательство, что и думать нельзя о подаркѣ. Она пишетъ мнѣ:

«Я начинаю вѣрять въ твою дружбу только теперь, прежде я все принимала за состраданіе,—это мучило меня». Она получила твое первое письмо 25 марта, а второе, стало, 3 апрѣля! Ея совершенное исцѣленіе такое важное приобрѣтеніе для насъ, которое и на вѣсы нельзя класть съ родственными непріятностями. Можетъ, была бы возможность ее взять къ намъ, но какъ бы то ни было это требуетъ силъ нечеловѣческихъ.

По несчастью, мое пророчество сбывается. Витбергъ разлаживается съ своею женой. Это ужасно! Ежели бы ты знала всю небесную кротость, всю нѣжность этого человѣка и всѣ страданія его, ты прокляла бы презрительную женщину. Не даромъ я ее терпѣть не могъ. И она—последнее утѣшеніе несчастнаго, вотъ второй бракъ. Много разъ въ минуты досады я хотѣлъ обличить гадкое сердце ея, меня остановила Полина: «Вы убьете остальную радость въ его жизни», говорила добрая Полина. Теперь я раскаиваюсь. Тогда онъ голову склонилъ бы на грудь друга, я былъ бы ему сестра (не братъ, братъ холоденъ), сынъ; потомъ тихо, тихо сложилъ бы его голову на грудь его дочери, милой, прелестной дѣвушки. Понявши разъ, что она ненужна, женщина исправилась. Куда онъ склонится, когда непріятности будутъ чаще, сильнѣе. Медв. пишетъ, что онъ плакалъ отъ жены, и что она плакала, глядя на него, а та — ничего. Да зачѣмъ же онъ женился на ней, неужели по низкому влеченью обладанія женщиной молодой и красивой? Ежели такъ, не на кого пенять. Онъ увлекся, его душа безъ всякой хитрости, онъ дитя до сихъ поръ, и такимъ уйдетъ туда,—дай Богъ скорѣе. Наташа, я рѣшилъ: черезъ три мѣсяца ты моя, а ежели будетъ возможность—до Петровскаго поста. Положись на меня, пришли какъ можно скорѣе свидѣтельство. Священникъ есть, тотъ самый, о которомъ писалъ, мы поняли другъ друга. Помни же въ свидѣтельствѣ нужно: 1-ое, лѣта, 2-ое, о грекороссійской вѣрѣ, 3-е, о исповѣди, 4-ое и главное, печать церковная, на гербовой бумагѣ. Общай священнику 50 рубл. Не будетъ ли кто такъ довокъ изъ вашихъ людей, чтобъ взять эту бумагу, Аркадій, напр. Да увѣрена ли ты въ священникѣ; ежели нѣтъ, лучше адресоваться въ консисторію. Здѣсь все будетъ готово. Да, скажи Emilie, что какъ только я получу деньги, я пришлю ей рублей 1000 для того, чтобъ она, купила все нужное для тебя и тотчасъ прислала бы сюда. Подумай сама, принудь себя подумать. А главное — свидѣтельство, безъ него и думать нечего, съ нимъ все возможно. Не можешь ли ты гдѣ достать теперь денегъ для свящ[енника], пересылать тебѣ подозрительно. Ни Праск. Андр., ни маменька, ни кто не долженъ знать, одинъ Егоръ Ив. умѣетъ молчать, да ему немного говори, только крайне необходимое. Какъ получу твой отвѣтъ, подамъ рапортъ губернатору. Кетчеру дамъ предписаніе явиться къ Emilie. Пиши же къ Ал. Ал. о деньгахъ, пригодятся и онѣ. Не сердись, что цѣлая странная завята холодной прозой,—это необходимо.

Ночь. Нѣтъ ни малѣйшей нужды откладывать по 29 іюня, весь май нашъ. Устрой свидѣтельство какъ можно скорѣе и отвѣчай подробно и положительно. Теперь я не могу ничѣмъ заниматься, читаю—и не понимаю, думаю—и забываю о чемъ. Все поглотилось одной великой мыслью, о, отчего она не явилась прежде. Прощай, будь хранима Богомъ и любовью твоего Александра. Я лягу не спать, а долго, долго думать о томъ же.

|| 7 апрѣля, четвергъ. Вечеръ. Мнѣ скучно, ангелъ, тоска... Утѣшь же меня взглядомъ. Наташа, милая Наташа—и мыслей нѣтъ... Вонъ тамъ на улицѣ льется разгульная пѣсня ямщиковъ,—она льется въ русскую душу, а давно я не слы-

халь родного нацѣва (въ Вяткѣ не такъ поютъ); все говорить, что Москва близко.—Сегодня N. N. спросилъ меня: «Любили ли вы когда-нибудь?». А вы? «Много разъ, но я еще не расположенъ жениться». Нѣтъ, отвѣчалъ я, я не *любилъ*. Дуракъ не понялъ. Какая скука, однако же не имѣть ни полдуши, съ которой бы могъ подѣлиться. Пріѣхала какая-то дрянная труппа актеровъ, буду ходить всякой разъ. Это время теперь я не знаю, какъ убить, такъ, какъ нѣкогда мысль близкаго свиданья поглощала все, такъ теперь—мысль соединенія; ужъ возвратиться нельзя. До 1-го юня ты во Владимірѣ... Несется душа, фантазія развертывается крылья широко, широко, а писать не могу. Невѣста! Невѣста! Прощай, о, покойся съ Богомъ, чистое, святое созданіе, хвала Богу. Наташа — что ты дала Александру, давши себя, измѣрить одинъ Онт!

8, *пятница*. Опять разсѣло на душѣ. Нѣтъ, нынче ужъ не повторяются эти грустные дни, недѣли жизни до 3 марта, которые дули, какъ ядовитые вѣтры въ Африкѣ, погашали полжизни и оставляли утомленнаго, измученнаго. Ихъ нѣтъ больше. Твои прелестныя письма отъ праздника. Наша симпатія доходить до басни, люди не повѣрятъ. Ночью съ 2 на 3-е ты писала ко мнѣ почти слово въ слово, что я тебѣ. Но зато въ праздникъ мы разошлись. Я весь день былъ въ восторгѣ, а ты грустила. Немудрено, я былъ одинъ, ты съ толпою. Тебя мучило какое-то предчувствіе. Я рѣшилъ окончить нынѣшнимъ лѣтомъ страданія! Подучивъ твои письма, я былъ полонъ, полонъ восторга, схватилъ шляпу и побѣжалъ гулять, тамъ дочитывалъ я твою любовь по природѣ, кончивъ чтеніе по бумагѣ. О, какъ прелестны окрестности маленькаго Владиміра, это ужъ не Вятка, мрачная, суровая, осѣненная елями и соснами. Владиміръ спитъ въ садахъ и горахъ, разбросанной самъ по горамъ. Вотъ и ледъ ломается на Клязьмѣ, и все такъ живо, живо, солнце радостно свѣтило, а подъ ногами у меня (я былъ на горѣ) толпа народу веселая, нестрая, разодртая. Молча струилась вода изъ подъ свѣгу, время его владычества миновало, жизнь весны изъ цѣпи превращаетъ его въ воду для питья новорожденной травы; она свѣгомъ, какъ грудью, кормитъ зеленыхъ дѣтей... А вотъ жаворонокъ, сильной рукою его бросилъ кто-то вверхъ, и я думалъ объ высокой литургіи въ первой праздникъ. Вотъ природа и человекъ въ изящномъ видѣ! Потомъ обратился къ себѣ: въ этомъ маленькомъ пространствѣ тѣла помѣщается блаженство, равное всей природѣ,—любовь, любовь, равная съ святостью религіи. Потомъ я воротился и, наоборотъ, принялся дочитывать природу по письму.—Ангель! Ангель! Ангель! Дай помолчать, есть минуты, въ которыя грѣшно писать. Ты ошибаешься, думая, что я не зналъ, что родился въ одномъ домѣ съ тобою, въ домѣ твоего отца (до твоего рожденія еще началась дивная мистерія нашей жизни, твой отецъ крестилъ меня водою, ты вторымъ крещеніемъ—огнемъ, обоихъ благословилъ онъ образомъ Александра, я родился въ благовѣщеніе Дѣвы, ты—въ день славы Дѣвы), и на это есть письменное доказательство. Въ Вятку привезли разъ множество картинъ отъ Даццаро; перебирая изъ, я встрѣтилъ Тверской бульваръ и тотъ домъ, нашъ домъ. Я на фронтовѣ надписалъ твое имя и мое и подарилъ Скворцову. А рgoros, Скворцовъ и Полина удивительные люди: пишутъ изъ Вятки, что они пировали у себя 25 марта, одинъ тостъ и былъ за мое здоровье и пр., а молчать—не понимаю.

Рядомъ глупость (извините-съ!) въ твоемъ письмѣ: не лъстятъ ли моему самолюбію женихи? Нѣтъ, они оскорбляютъ мое самолюбіе. Будетъ ли радоваться христіанинъ, ежели язычникъ въ его храмѣ съ восторгомъ взглянетъ на Мадонну, какъ на *Венеру*? — Фу, это униженіе! Ежели бы я узналъ, что какой-

нибудь юноша поставилъ тебя идеаломъ высокихъ, поэтическихъ фантазій, я обнялъ бы его, какъ брата, но женихи, женихи, открывающіеся М. С.,—ихъ надобно повѣсить!

8-го, позже.—Свиданье твое съ папенькой. Богъ все тебѣ далъ; но не далъ дурныхъ плодовъ дерева добра и зла, не далъ хитрости, оттого ты повѣрила ласковому слову; онъ со всякимъ письмомъ дѣлается холоднѣе, даже почти вовсе не пишетъ. Я со всякимъ письмомъ наступательнѣе: это кончится тѣмъ, что онъ вовсе переставеть писать, а я напишу ему: «вчерашій день Богъ соединилъ насъ». Нѣтъ, больше намъ нельзя дѣлать уступокъ изъ нашего рая. Исполни же мое приказаніе о свидѣтельствѣ. Остальное исполню я. Чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше. Я напишу Егору Ив., но будетъ ли молчать священникъ? Но и тогда не бѣда, лишь бы бумага была въ моихъ рукахъ. — Да, вотъ еще что: твое обручальное кольцо (т. е., то, которое будетъ у меня) должно быть серебряное, а не золотое. Это древнее византійское обыкновеніе; женихъ—солнце, невѣста—луна. Я сѣверное солнце, но солнце. Ты сѣверная луна (знаешь ли, что чѣмъ дальше на сѣверъ, тѣмъ ярче луна).

Полковникъ не пріѣзжалъ. Ежели съ нимъ я не пріѣду, то явлюсь тотчасъ, какъ получу свидѣтельство. Нужно будетъ видѣть Кетчера,—и тогда не пойду ни передъ сиятельными очи, ни передъ другія, а ежели съ полковникомъ, то остановлюсь дома и, само собой разумѣется, буду у княгини.

12 часовъ ночи.—Наташа! Вотъ мы у преддверія великаго дня, да не помрачить 3-го марта дивное 9-е апрѣля. Нѣтъ, этимъ двумъ днямъ не тѣсно въ нашей душѣ, о, нѣтъ, развѣ тѣсно на небѣ отъ Благовѣщенья, Преображенья и Воскресенья? Нѣсколько мѣсяцевъ была скована душа стѣнами, когда я взглянулъ на Москву и чуть не палъ со слезами на колѣна,—мїръ земной въ пышномъ нарядѣ города показался мнѣ на минуту и спрятался. Прошло еще нѣсколько мѣсяцевъ, и передъ одинокой, одичалой душой, явилась ты, мїръ небесной селѣ въ образѣ дѣвы къ узнику. —Ангель, до завтра.

Девятое апрѣля.—Лети въ мои объятія, голубь, не испугавшійся гибели. лети,—ты не испугалась будущихъ страданій и должна была проработать три года; но вотъ и награда: лети, лети въ мои объятія, грудь моя пространна, ты будешь счастлива на ней. Пройдены три мрачныхъ года, благословимъ и ихъ, малодушно къ мертвымъ питать злобу.

А ты, чай, ждала меня, мой ангель,—чай, грустишь, что я не пріѣхалъ. Погоди нѣсколько дней, и увидимся, погоди нѣсколько недѣль, и не разстанемся до гроба, а въ гробъ на минуту разлука,—что намъ другъ безъ друга дѣлать на землѣ. Скоро, скоро. Страшно вздумать, какъ скоро. Теперь я ужъ не спрошу, пугаетъ ли тебя участь голубя. Эта-то *участь* и подняла тебя такъ недосыгаемо высоко, и, подымаясь, голубь унесъ вверхъ и ракету, а между тѣмъ буйной огонь, которой бы разорвалъ ее, превратился въ кроткой пламень.

Наташа, ты велика, какъ Богъ!—А 3-е марта, какъ Святая Святыхъ виднѣется за Царскими дверьми, 9 апрѣля не можетъ все поглотить души, великаго день за нимъ—великъ!

Прощай, милой ангель, отвѣчай тотчасъ насчетъ свидѣтельства и тотчасъ совѣтуйся съ Етііе, — спасай любимыя вещи. Въ концѣ мая, — ну, не прелѣсть ли, природа во всемъ цвѣту, и мы радостные, вѣнчанные посреди ея.

Сбылось твое предчувствіе въ первой праздникъ.

Твой Александръ.

† [Москва], 9-е апрѣля, 12 часовъ утра.

Сейчасъ отъ обѣдни, но молитва не окончилась, сейчасъ твое письмо отъ 30-го марта.—Посмотри, взоръ мой влаженъ отъ слезъ умиленія невыразимаго, я пишу, преклоня колѣна, такъ я благодарила Его, такъ хочу назвать тебя, Александръ!.. Ангель!.. Мой Александръ! — Довольно, довольно, слезы льются, молитва льется. Ангель!.. Небесный отецъ! Зачѣмъ я должна встать съ земли... Боже! О, Александръ!

2 часа. Дивной, божественный женихъ! Ты можешь легко *вообразить*, другъ мой, въ какомъ теперь я восторгѣ. что выражаютъ глаза, все лицо, а мнѣ *пересказать* трудно и невозможно. Ну, вотъ до чего: можетъ быть, *сію минуту* *ки[яиня]* *узнаетъ все*, а я спокойна, спокойна такъ, какъ бы была спокойна у тебя на рукахъ. Но это только *можетъ быть*; видишь ли, не знаю, право, отчего Миницкой влюбился въ *твою Наташу*, она, право, ничего не имѣетъ прелестнаго для *нихъ*, видно *такъ*; ну, только онъ влюбленъ до того, что не смѣетъ вымолвить передо мной слова, а открываетъ все М. Ст.; *и съ* это восхищаетъ, и уже давно было согласіе; третьяго дня я сказала его кузинѣ (предостойная дѣвушка), что *люблю*, что это *еще тайно*, но скоро будетъ явно, и что отказъ полный каждому помыслившему жениться на мнѣ; потомъ, не называя его, я просила ее *заступиться* за меня. Теперь, ежели они не откроютъ тайну мою, — одурачатъ себя; ежели не захотятъ одурачиться, открыто все; онъ непременно хотѣлъ быть нынче, а вмѣсто того прислали за М. Ст.—«крайняя нужда»; и вотъ ужъ *можетъ рѣшено*.—Въ сторону всѣ эти глупости, я только хотѣла доказать тебѣ, мой Александръ, какъ мгновенно ты вознесъ меня.—Всю недѣлю страдала я, и какъ же можно было не страдать... Ну, прости меня,—ахъ, Боже мой, какъ дурна я была, недостойна тебя. Одно оправданіе — любовь, любовь! Цѣлую недѣлю не получать письма, послѣ письма отъ 27-го, ты помняшь его? Сверхъ этого, ни минуты, ни даже возможности выкупить минуту отдыха... Да, все я виновата, очень виновата, будто недовольно одной мысли о тебѣ, о твоей любви, чтобъ быть совершенно спокойной... Суди меня, ангель, суди, право, виновата, — и прости, теперь я стою и прощенья и твоего взгляда, и твоего поцѣлуя. — О! какое блаженство! — Насколько я въ восторгѣ отъ любви твоей, настолько же и отъ тебя, Александръ; вѣдь, ты не подражаешь, ты такъ великъ, — о, кажется, и постигнуть тебя не могу. Ну, чтобы больше, ангель мой, было для тебя, если-бъ я смотрѣла *на тебя* съ необъятной любовью, говорила бы и словами, и глазами, и поцѣлуями — люблю, или если-бъ я стояла на колѣнахъ далеко отъ тебя, опустила глаза, и ни слова, ни слезы, ни движенія? О, разумѣется, это больше: та любовь святая, безмѣрная, эта — любовь къ тебѣ. Да исполнѣ ли я стою тебя? На всѣ подобные вопросы одинъ отвѣтъ — *мою любовь!* Когда я смотрю на все прекрасное въ мірѣ, кромѣ любви, — ничего у меня нѣтъ! когда смотрю на любовь свою, — ничего нѣтъ въ мірѣ! Какъ не отозваться этому восторгу въ твоей душѣ, какъ теперешней моей радости не отразиться на тебѣ. О, вижу, вижу и улыбку, и слезу твою, вижу восторгъ твой, радость моя донеслась до тебя прежде, нежели я перенесла ее на бумагу; это увеличиваетъ мой восторгъ. Другъ мой, мѣры нѣтъ, мѣры нѣтъ, — вымѣрай яхонтъ небесъ, вымѣрай вселенную, потомъ любовь твоея Наташи.

Ночь. — Достойно провела я нынѣшній день, дивно праздновала его, весь восторгъ, весь молитва, весь ты! И потомъ съ нынѣшняго дня начались явныя

гоненія за любовь. Но мало, что-то глупо, я бы желала *настоящаго* гоненія. Наши люди, я показывала твой портретъ и восхищалась имъ, они пересказали это М. Ст., и вот она глупѣйшимъ образомъ, гадкимъ начинаетъ тѣснить, дѣ-
 лый вечеръ гнусные намеки. — Ты говоришь, чтобъ я не выносила обидъ, но, другъ, *обидно* обижаться *ихъ* обидами, онъ такъ имъ свойственны, такъ натуральны, какъ коровѣ рога. — чтожъ мнѣ-то тутъ обиднаго. Видно было, что она приготавлилась говорить много, дыханье захватило у нея; когда открыла ротъ, — угрозой вздумала поразить меня, но *мое* всегдашнее спокойствіе, мое величіе, должно быть, поразило ее, она перемѣнила тонъ и «изъ дружбы совѣтовала не подвергаться безчестію». «Несправедливое обратится на тѣхъ, которые вздумаютъ покрыть меня имъ, а за истину я вынесу всякое гоненіе», отвѣчала я ей; она не поняла и окончила свое поученіе — «какъ хочешь». Видно, что онъ робѣютъ, не смѣютъ, тѣмъ болѣе, что я такъ покойна и тверда. Рѣшеніе скоро, можетъ быть, наше предчувствіе исполнится. Минишкой *приступастъ* окончить, — свиданье въ Загорѣ, какъ звѣздочка въ солнцѣ, блѣднѣетъ въ соединеніи. Ежели не къ тебѣ, я не знаю, куда мнѣ дѣться. Духовникъ мой — приходскій священникъ, очень уважаю я его, но — истиннымъ моимъ духовникомъ не былъ никто, кромѣ тебя; можетъ, онъ и понялъ бы любовь, благословилъ бы, но надо время, чтобъ понялъ меня, а я всегда видѣла, что ему *не до того*. Не думаю, чтобы и свидѣтельство далъ, развѣ, какъ будетъ все готово, прямо написать ему; да ежели я напишу отъ себя, тоже можетъ не дать. Научи, какъ; объ остальномъ я и думать не хочу, все это такъ легко, такъ легко — какъ мигнуть. Деньги мои ужъ не мои, я писала тебѣ, теперь не для чего и хлопотать, *тогда* я напишу, чтобъ прислалъ. *Да на что намъ?* Увидишь: къ небеснымъ благамъ приложатся и земныя сами собою. Пока занять. О! вырвется сердце изъ груди... занимается духъ... все это должно быть или до Загорья или въ сентябрѣ. — Въ письмѣ всего болѣе меня восхищаетъ твоя исповѣдь.

Ночь. — Вотъ и 10-е апрѣля, какъ живо три года тому назадъ. Ну, мой ангелъ, я только благословлю тебя сегодня, завтра расскажу, что думаетъ Еміліе. Господь съ тобою, дивный мой. Ну, выносимо ли это: если не послушаться М. Ст. и не лечь спать, — вѣдь, цогасить же придетъ свѣчу. Жалкіе... О, пора! да за чѣмъ же стало? — Я не такъ часто вижу тебя во снѣ, какъ прежде, и ни къ чему болѣе приписать этого не могу, какъ къ большому испытанію моего терпѣнія. Благословимъ другъ друга и обвинемя, поцѣлуемся, — засыпай съ Богомъ.

11-е, утро. — Еміліе на Кавказъ не такъ скоро ѣдетъ, но этимъ лѣтомъ она хочетъ непремѣнно сперва проводить меня къ тебѣ. Ежели папенька позволитъ, — *хорошо*; но ежели ты не имѣешь надежды быть здѣсь (весной), то Еміліе говоритъ: *ждать нечего*, она боится только бѣдности, и то только за тебя. Думая объ этомъ, она велѣла написать тебѣ, что ты избавленъ уже заботы о кухаркѣ и прачкѣ, — ей остается только немного доучиться этимъ искусствамъ, и она непремѣнно хочетъ черезъ мѣсяць послѣ вѣнчанія нашего прѣхать служить тебѣ, и если-бъ ты видѣлъ, съ какимъ восторгомъ она говорила это... Люблю я видѣть, какъ высокія чувства поднимаютъ высоко надъ толпою существа, которыя доступны имъ; это было ее всегдашнее желаніе не разлучаться со мною, по някогда самоотверженіе не простиралось до такой степени; вчера нѣсколько минутъ были достойны твоего присутствія въ домѣ Сіятельн. *Наша* жизнь мнѣ представилась во всемъ величій, во всей чистотѣ, отрекшаяся отъ міра и его условій, и его приличій, высокая, Христова, исполненная одной любви... Дивно!

дивно, мой ангель, и къ тому-жъ свобода,—да, тогда-бъ мы свободны были, позволеніе папеньки свяжетъ насъ. Думать, кажется, не о чемъ здѣсь, какъ только о свидѣтельствѣ; да, эта дума, стоитъ передъ нею стѣна невозможности. Ежели же кн[ягиня] узнаетъ (да хоть бы довели до того, чтобъ сказать, а то не къ чему?).—опять *хорошо*, я возьму бумаги, *свое*, и отправлюсь къ Emilie, потомъ къ тебѣ. Право, терпѣнья недостаетъ говорить объ обстоятельствахъ, даже слушая поученіе Emilie, я говорю: ну, довольно, довольно, рвется душа выше, выше туда, гдѣ ненужно ни позволенія, ни свидѣтельства, гдѣ мы и теперь неразлучны. Разбирая обстоятельства, ясно видишь, сколько верстъ, сколько людей между нами, а ихъ такое множество!—Вѣдь, какая глупая М. Ст.: никакъ не осмѣливается спросить меня прямо, разными дорогами, самыми низкими, хочеть добраться, а въ меня только бросаетъ язвительные намеки, а я еще глупѣе, краснѣя отъ нихъ.

Опять къ *нашей* жизни, — знаешь ли, Александръ, она никакъ не можетъ быть *наша* съ позвол[енія] пап[еньки]. Очень большая часть ея отдана будетъ людямъ. Тогда же, —о, мой ангель, у меня захватываетъ духъ, когда я возношусь до нея. Дивно, дивно, ну, погоди читать, вообрази живо—о, Боже мой!

Непремѣнно намъ нужно имѣть челоуѣка духовнаго, на свои силы полагаться ненадо, мы еще такъ юны,—надо опора, о, какая святая жизнь! Вятка мнѣ представлялась всегда въ туманѣ, подъ снѣгомъ, отъ нея несло холодомъ, а Владиміръ представляется садомъ, и середь этого-то прекраснаго сада небольшая квартира,—въ ней исчезаетъ и большая Москва, и большая Италія, и необъятная вселенная. Въ этой квартирѣ царить только Добродѣтель, Молитва и Любовь, царять свободно, видѣть преграды, какъ Христу, которому и смерть не была преградой; у насъ непрерывно будетъ воскресеніе Его—не такъ ли, Александръ? Ты правъ, говоря, что эта суета, доказывающая праздноство толпы, имѣетъ поэзію и лучше эгоизма; да, я люблю смотрѣть на народъ, какъ онъ волнуется и и, кишить, пестрѣя на гуляньи и на улицѣ, въ этомъ цвѣтисомъ морѣ виднѣется кое-гдѣ капля радости Воскресенію Христову и, сливаясь съ желаніями просто повеселиться, она облагораживаетъ ихъ. Еще восхитительнѣе эта *общая* молитва, — въ заутреню я люблю всѣхъ, всѣхъ, тутъ родные Христомъ. Но когда обращусь на празднованіе въ нашемъ домѣ, признаюсь, Александръ, темнѣетъ все, я какъ-то не могу вѣрить въ холодный, совершенной эгоизмъ, мнѣ кажется, ни одна душа неспособна выносить его, а это мелочное празднованіе, и какое... о, нѣтъ! Я читала, что для *такихъ* христіанъ не воскресалъ Христосъ.—Вчера я смотрѣла на московское гулянье съ особеннымъ удовольствіемъ, думая, что смотрю въ послѣдній разъ.

О портретѣ, кажется, ужъ нельзя и думать; легче тебѣ увезть меня, нежели портретъ, ни даже его высокопревосходительство не будетъ имѣть настолькоъ предпочтенія, мнѣ это ужасъ какъ больно, да что жъ дѣлать? Неужели, глядя *на меня*, не угѣшишься, что нѣтъ моего портрета? Вотъ, что будетъ сегодня, ахъ, какъ хочется, чтобъ кн[ягиня] узнала,—да пусть спросятъ, а то и не спрашиваютъ.

2 часа. — Ну, мой ангель, рѣшительно мѣшкать нечего. Съ благословеніемъ Божиимъ приступимъ. Вотъ тебѣ нынѣшній день. По обыкновенію, съ свѣтлой, ясной и грустной душою проснулась, — солнце озарило взоръ, а молитва душу. Только что сошла внизъ, кн[ягиня] приняла видъ материнскій; Господи! неужели люди могутъ до такой степени притворяться,—не вѣрю. Вообрази, она

заплакала и стала говорить мнѣ, что уже кончено, слово дано, поздравила меня съ женихомъ и помѣщицей третьей части ея имѣнія. Я, разумѣется, поблагодарила за желанія и сказала, что поздравленія не принимаю и за Миницкаго не вѣду. Она послала меня молиться, я *молилась*, потомъ опять поздравленіе. и опять отказъ, я даже открыла ротъ, чтобъ сказать о тебѣ, но ея слезы, ея добродушіе остановили, ее жаль было мнѣ, она же сказала, ежели я скажу что противъ, то ее убьетъ это; если-бъ она не сказала этого... Но М. Ст. послѣ все, что знала сама, сообщила ей; хотять позвать духовника для увѣщанія — слава Богу! Съ этими людьми я лучше умѣю говорить, и они меня скорѣе поймутъ. Ежели можно, пріѣзжай за мною; если нѣтъ, я надѣюсь скоро переѣхать къ Еміліе. Писать пап[енькѣ] не буду, а приду къ нему сама, скажу все и спрошу его, — разумѣется, не оставитъ, и мы свободны! Подробности преинтересныя, но право не въ состояніи писать. Ангелъ мой, близко! близко! свободнѣе дышу, смотрю; благослови меня, — еще много труднаго, половина пройдена. Александръ, взгляни на меня... — Я очень удивилась, что ставлю удивительные знаки на пакетахъ. Да я думаю на нихъ есть ошибки важнѣе, я не знаю, какъ писать тебѣ благор. или высокоблагор. Ежели теперь напишу я къ Алекс. Ал., то онъ ничего не отвѣтитъ даже; лучше *тогда*, еще и адресъ его надо узнать, я никогда ему не писала. — Я отослала къ Еміліе нѣкоторыя книги и воображаю, что переѣзжаю — и какъ весело! Ангелъ мой!

Понед. 11-е апрѣля, 7 часовъ вечера. Ангелъ! Левъ Ал. сказалъ сію минуту кв[ягинѣ] и сражается съ ней, онъ дивной! Ангелъ, молись, молись! Къ тебѣ! Къ Тебѣ! Къ Тебѣ! — Сію же минуту отъ Алексѣя Серг. посолъ съ пламеннымъ предложеніемъ, я напишу ему. Александръ, молись.

8 часовъ. Слава Богу! слава Богу! все кончено, ангелъ мой! Вотъ я взошла къ кв[ягинѣ] тихо, спокойно, съ лицомъ свѣтлымъ; румянецъ (въ обыкновенное время я блѣдна вся) — восторгъ, — она и М. Ст. ни слова, можетъ потому, что тутъ были посторонніе, я стала имъ читать громко, свободно. Что будетъ завтра. Ну, ужъ Левъ Ал. истинно заслуживаетъ полную благодарность, ты не повѣришь: каждое слово кв[ягини] опровергалъ и, наконецъ, она осталась въ дуракахъ, увѣряя меня давеча, что Миницкаго Левъ Ал. беретъ подъ свое покровительство и требуетъ, чтобъ я вышла за него. Легко, легко! дивно! Боже, слава тебѣ! О, теперь я свободна, ангелъ, къ тебѣ!

Ночь. Какъ великъ *Онъ*, и какъ малы *они*, какъ Онъ силенъ, и какъ слабы *они*... Съ какимъ подобострастіемъ смотреть на меня кв[ягиня], будто виновата она передо мной, поправляетъ платье, совѣтуетъ ѣсть супъ съ хлѣбомъ, — невѣроятно, Александръ. А я — я вѣчно *твоя Наташа*!! Предложеніе Ал. Серг. меня встревожило больше и это было въ тотъ самый мигъ, какъ я только услышала разговоръ Льва Ал., но я совершенно чиста, ни однимъ словомъ не связала себя, ни даже взглядомъ, мнѣ только нравилось *тогда* его вниманье; но онъ достоинъ того, чтобъ я написала ему; страшно испугать юношу ледяной стѣной при самомъ входѣ въ жизнь, — я открою ему дверь на дорогу, усѣянную цвѣтами, пусть его встрѣтитъ теплое дыханіе *твоей* Наталіи, ея звукъ...

Ну, что, мой ангелъ? Что думаешь ты теперь? Другъ мой — руку! Слава Богу! Теперь ты можешь *требовать* портретъ у кв[ягини] и *просить* Льва Алекс. Можешь попроситься въ Москву для *свадьбы*, потому что пап[енька] вѣрно согласенъ, а то Левъ Ал. не сталъ бы такъ утвердительно опровергать кв[ягиню]. Онъ ей сказалъ, что мы рождены другъ для друга, что мы связаны симпатіей.

и что пережить нельзя; а когда она сказала, что не хочет видѣть ни меня, ни тебя,— «взоръ, капризъ», отвѣтилъ онъ. Да, онъ просто чудесный! Не вѣрно ли мое предчувствіе? Берегъ, берегъ, родной, вотъ онъ, вотъ онъ... Ангелъ!

11 апрѣля.

Вчера, мой ангелъ, я не писалъ тебѣ — день мрачныхъ воспоминаній: сегодня три года, какъ я былъ проездомъ въ томъ же Владимірѣ. Я былъ какъ-то душою утомленъ вчера, и сегодня тоже, не отъ воспоминаній, не отъ прошедшаго, а отъ зари будущаго счастья, отъ восходящаго солнца. Мы здѣсь чудесно проведемъ время, я начинаю любить *наш* маленькій Владиміръ. Ты не можешь себѣ представить, какъ пзачно его положеніе, я непрерывно гуляю. *Мы вѣстѣ будемъ гулять*, — нужно ли еще хоть слово, ты чувствуешь что это! Ну, что-же, сдѣлала ты что-нибудь? Я писалъ Егору Ив., чтобъ онъ вручилъ тебѣ деньги для священника. Бога ради, торопись, помни, что Александръ будетъ мучиться, пока не въ его рукахъ свидѣтельство, умоляю тебя, кончи это скорѣе. Хорошо было бы тебѣ поссориться съ Сіятедьнѣйшей покровительницей, но я все оставляю на твою волю, ниши только подробно, какъ, а я выполню. Здѣсь затрудненій не жди, самъ архіерей будетъ на нашей сторонѣ. А ежели и будутъ затрудненія, —будутъ готовы и другія средства. Иди же, время, иди быстро, какъ молнія, а *тогда* остановись, какъ сѣверное сіяніе. Наташа, въ концѣ мая будутъ мѣсячныя ночи, и *не одинъ* выйду я на валъ смотрѣть, факъ лучи его опираются на древній соборъ Андрея Боголюбскаго и стелются по необозримымъ равнинамъ и всасываются Клязьмой. Я иногда съ улыбкой думаю, какъ въ матеріальномъ отношеніи круто переживится твоя жизнь: новый міръ, новый городъ, новая природа, все, все новое и при томъ все поглоченное гармонической, полной любовью безъ разлуки. Не правда ли, сильно бьется твое сердце, и слеза, и улыбка, и страхъ, и восторгъ. А страхъ ужасной, трепеть пробѣгаетъ по жиламъ, — это тотъ трепеть, съ которымъ пилигримъ склоняетъ колѣна предъ гробомъ Господнимъ, идучи долго, долго, пришедши съ Запада въ огненную Палестину. Почта еще не пришла, но, вѣроятно, часа черезъ два придетъ. Прощай—пойду гулять. Ну, поцѣлуй меня на дорогу.

11-го. *Посль обѣда*. Давеча я былъ глупъ, а теперь грустенъ, несмотря на то, что письмо твое отъ 9-го получилъ. Я ждалъ отвѣта, по крайней мѣрѣ, на два письма, а ты ни одного не получила. Тебѣ ужасно доставляютъ письма, почта никогда не опаздываетъ такъ долго. Меня сердитъ, что ты ждешь такъ долго и грустишь. О, надобно, надобно соединиться какъ можно скорѣе, Богъ съ ними, съ нашими *pos amis les ennemis*. Знаешь ли, въ какомъ положеніи теперь моя и твоя душа, намъ не вынести пятой доли того, что выносили до 3 марта.—грудь проломится. Наташа, достань же, Бога ради, достань свидѣтельство. Ни мыслей нѣтъ, ни чувствованій ясныхъ, палъ туманъ на душу. Честь имѣю поздравить съ высокаторжественной милостью царской, оказанной дядюшкѣ Лѣву Ал.

Ночь. Не могу ровно ничего дѣлать. Ангелъ мой, спаси меня отъ этого томнаго ожиданья, которое именно тѣмъ и несносно, какъ ты пишешь, «что его можно перенести». Ну, говори же, повторяй, что скоро, скоро ты моя, ты здѣсь и разступятся тучи, и настанетъ день, закатъ котораго будетъ конецъ жизни, за которой вѣчность. Наташа, я чувствую близость. Какъ получу твой отвѣтъ, такъ увижусь съ тобой (какъ 3 марта). Лучше было бы не откладывать до іюля,

я сдѣлаюсь боленъ. Въ идеѣ *рышено*, итакъ, чего же ждать. Ты вѣрно спишь, мой ангелъ, покойся же, лягу и я. А похвали баловня. онъ ни разу не проспалъ седьмого часа. Такъ исполняютъ онъ заповѣди, данныя Богомъ черезъ его ангела. Прощай.

12 апрѣля, вторникъ. Сонъ, дивный сонъ! Я видѣлъ тебя въ вѣнчалномъ платѣ, и ты была такъ лучезарна, такъ хороша! Мы сидѣли долго, долго на диванѣ, и когда я проснулся, я искалъ твоей руки. Почти всякую ночь послѣ 3-го марта, вижу я тебя, это счастье.

Прощай, прости, что письмо коротко, ей Богу, не могу писать, пока не получу отвѣта на *предложеніе*.

Твой Александръ.

Пятница, 15 апрѣля.

Съ 9-го апрѣля много написала я тебѣ на разныхъ лоскуткахъ, но нынѣшній день Богъ послалъ мнѣ болѣе силы, освѣтилъ душу,—я прочла и бросила эти лоскутки, въ нихъ мелочь, земля, они недостойны быть у тебя, мой Александръ! Скажу вкратцѣ обстоятельства. Меня принуждали за Мин.; кузинѣ его я сказала рѣшительно все, она все пересказала М. Ст., а та къ кв[агинѣ]; слѣствія этого нужно ли писать? Мы и не ждали *меньше*. Письма твои вчера утромъ получила, ангелъ! Нѣтъ, нѣтъ мѣры моему блаженству, нѣтъ мѣры и величію и святости твоей, о, ангелъ; но прочла разъ мелькомъ, все отсылаю къ Emilie. Письмо Медвѣдовой, моя любимая записка, все, все такъ хорошо, такъ дивно, о, Богъ! о, любовь! Люди распинаютъ меня, ты воскрешаешь! Теперь вотъ что нужно: какъ можно скорѣе мнѣ отсюда, я готова, священникъ не даетъ свидѣтельство; ежели безъ этого вѣнчаться нельзя, я буду проситься къ Алек. Алек. и оттуда къ тебѣ. Ты же при первой возможности постарайся пріѣхать. пришли въ ту же минуту за Арк., онъ устроить все опять. Папенька письма моего не сталъ читать, Emilie дѣйствуетъ неусыпно и беретъ остальное на себя. Я здорова, тверда, велика, имѣ вреда не сдѣлала — слава Богу! только этого боялась я.

Дивное время, ангелъ мой! тѣ дни я не совсѣмъ была хороша; гоненія я ждала отъ людей за *любовь мою*, а не участи *надшей*, и потому она сначала подавила меня, оскорбила, больно было... и я писала тебѣ вздоръ, теперь же—великъ Господь! они жалки, они угнетены, оскорблены сами собою, а я — ты! Слава въ вышнихъ Богу!

Теперь мое желанье: какъ можно скорѣе къ тебѣ, но прежде вѣнца я желала бы придти въ себя, исповѣдаться и причаститься. Постъ скоро, едва ли успѣемъ мы кончить до него. Я хотѣла оставить здѣшній домъ, къ кв[агинѣ], не пускаетъ. Тотчасъ, какъ получу отъ тебя отвѣтъ, буду проситься къ Алек. Ал., письмо къ нему написала, но все это кое-какъ, потому что *нельзя*, узнаю адресъ и пошлю. Къ Медв. теперь писать не могу, люблю ее, совершенно достойная насъ сестра. Ахъ, какъ ты хороша, мой ангелъ! Посмотри, какъ эта грязная масса людей волнуется, суетится, кто бѣжитъ въ нору, кто выглядываетъ изъ норы, иные закрываются отъ меня, какъ сейчасъ вышедшіе изъ тьмы отъ солнца, иные шире простираютъ объятія, но немного такихъ, зато какъ рѣзко они отдѣляются отъ тѣхъ, *невинные* (за меня) плачутъ отъ страха, *виновные* плачутъ восторгомъ. Какъ хороша человѣкъ въ опасности *отъ людей!*

Твои казармы повторяются на мнѣ, дивное состояніе, Александръ! О! что бу-

деть *тогда*... Господи! Одна Саша Б. обняла бы меня без трепета *при нихъ*, она далеко и не знаетъ ничего.

15-ю, *вечерня*. Карандашъ худой вѣстникъ, вѣрно ты, взглянувъ, вспыхнулъ. Но помирись, ангель, съ нимъ; гдѣ распятіе, тамъ и воскресеніе, — болѣе половины и самое трудное изъ *ожидаемаго* прошло. Съ каждымъ часомъ я выше и выше. ушла наверхъ и долго не сойду (больна *для нихъ*), читать не могу книгу, писать нельзя, боюсь вырвать и бросать. Пишу украдкой.

О, эти гадкія деньги, ну, если Ал. Ал. не напишетъ и отвѣта... Да ты напиши Огар., онъ — нашъ, мы — его, пиши, чтобы прислать. За Сашу благодарю, да, теперь ничего нельзя сдѣлать, а послѣ; она тверда, слава Богу, и не страшится страданій, наглядѣвшись на мое терпѣніе въ нихъ. Сколько молитвъ, сколько слезъ возсылается 20-ю человѣками здѣшняго дома, а сколько еще внѣ его, а наша съ тобой молитва, а Его благодать... О! какое сомнѣніе. Прошло полчаса, и мнѣ еще лучше. Нѣтъ, нехороша я была съ начала этой исторіи; я хотѣла опереться на обиду, сдѣланныя мнѣ М. Ст., и черезъ нихъ выйти, — нѣтъ, теперь не то, Богъ съ нами, подожду, узнаю, что хотять *они* предпринять, и просто скажу, что ѣду къ Ал. Ал. Ежели поѣдутъ въ Загорье, останусь здѣсь.

Получа отъ тебя отвѣтъ на это письмо, буду дѣйствовать рѣшительно. Только помни же, свидѣтельства и ждать нельзя отъ духовника; если я до поста вырвусь отсюда, то буду говѣть постомъ, и отъ новаго духовника легче будетъ достать. *Emilie* совѣтуетъ уѣхать изъ Загорья, да это пустое, я ни за что ужъ не поѣду туда. Дивенъ Богъ во святыхъ своихъ — Богъ *Израилевъ*.

15, *вечерь*. Сейчас твое письмо отъ 12-го. Ты чувствуешь мои страданія, ты страдаешь ими, Александръ! До поста я твоя! вмѣстѣ говѣть. Вѣр этому, ангель, вѣр, какъ любви моей? Былъ у меня Е. И., свидѣтельства другого достать нельзя, то есть, опасно. Папенька рѣшительно не хочетъ тебя знать — Богъ съ нимъ! Мы будемъ молиться о немъ.

Ал. Ал. скоро будетъ сюда, я писала ему, пиши и ты непременно, мнѣ не хотѣлось бы разлаживать съ нимъ. Пиши поскорѣе, я пробуду наверху нѣсколько дней, соберу силы, окрѣпну, потомъ пойду просить у кн[ягини] прощенья и видъ и скажу рѣшительно, что ѣду къ Ал. Ал., ежели не дастъ видъ, съѣду всетаки и вытребую, Е. И. меня научилъ. Ну, итакъ, потерпи *немного!* Скоро, скоро, скоро!!! Ну, чего же еще? О! о, что сказать. Да погоди, ради *будущаго*, немного, не теряй терпѣнья, это ребячество; ежели и послѣ поста... но не думаю, впрочемъ, надо быть готову, а то боюсь, заблажишь. О, какъ мы будемъ молиться, какъ дѣлать добро, какъ наслаждаться, какъ умремъ, какъ будемъ въ вѣчности... Господи! Благослови дѣтей! Дай же, я тебя благословлю, обниму, расцѣлую, женихъ мой! Цѣлуй, обнимай, благословляй твою невѣсту Наташу.

4 часа. [?]

Ангель мой, сію минуту пріѣхалъ, имѣю много сказать и...и. Устрой, какъ хочешь, я приду за отвѣтомъ въ сумерки къ Аркадію; во всякомъ случаѣ вели ему ждать меня въ *четыре часа* утра. Опять секретно и тамъ же. Сообщи *Emilie*. Твой фельдгегеръ заслужилъ поцѣлуй: черезъ часъ послѣ твоего письма, онъ ужъ несся по грязи.

Твой Александръ.

17-е, воскресенье, вечерни.

Ну, мой ангель, отдохнула! Что сказать о свиданьи? Лучше ничего!.. Что ты сблалъ, мой страдалецъ? У насъ вотъ что: кв[ягиня] предлагала Льву Ал. сказать папенькѣ, чтобъ онъ взялъ меня къ себѣ. Левъ Ал. сказалъ, что ни онъ, ни пап[енька] не возьмутъ, и чтобъ меня отдать въ пансіонъ (!), это прекрасно, съ 7 до 20 лѣтъ заставлятъ читать Радклифъ, а потомъ въ пансіонъ учить азбуку. Ну, это въ сторону. Я сейчасъ схожу къ кв[ягинѣ] проситъся къ брату Ал. Ал., и потому не погодитъ ли тебѣ; хлопотъ бездна, я сама прїѣду во Владиміръ. О свиданіи не знаю еще навѣрное, какъ придумать. О, Александръ! А, вѣдь, я не могла понять давеча свиданья, хотя оно было и ожиданное, меня замучили, и душа не могла открыться вдругъ этому наслажденью. Къ тому же такъ неожиданно скоро разстались. О, мнѣ надо много отдохнуть, много... а ты? О, ангель мой! о, мой Александръ! Завтра приходи въ 7-омъ часу.

7 часовъ вечера.—Александръ! послушай, мой ангель, сейчасъ я отъ кв[ягини], она ни подъ какимъ видомъ меня не хочетъ держать, не хочетъ и теперь отпустить, хотя я просилась наступательно; итакъ, она *изволитъ* меня прогнать,—на что-жъ тебѣ теперь подвергать себя столькому, не погодитъ ли? *Богъ поможетъ* мнѣ еще, можетъ, нѣсколько недѣль перенестъ *разлуку* съ тобою, помни. *только* разлуку, и болѣе ничего. Я буду все вверху, мнѣ хорошо здѣсь. ангель, я не совѣтую тебѣ, не прошу, я въ твоей волѣ совершенно: ежели у тебя все готово—и я готова!

Какъ только я шагъ изъ ея дома—прямо къ тебѣ. тогда удержать никто не можетъ. Итакъ, подумай и завтра приходи съ отвѣтомъ въ 6 часовъ. подожди у печки въ залѣ, тамъ мы можемъ пробытъ, пока опять вѣстникъ не придетъ сказать. Всѣ отъ меня отказываются,—это прелестно, о, другъ! Хорошо мнѣ теперь. Вообрази, *всѣ* оставили (иные изъ *необходимости*)—слава Богу! А ты? А Онъ?—Милый ангель, одинъ твой взоръ... нѣтъ, не могу вынести долго столько рая... О. Боже! Ахъ, что за погода, — и я тебя вызвала; ну, да тамъ тебѣ не легче бы было. Что-то ты? Это ужасно, и Матвѣй не идетъ. Богъ съ нами, Онъ насъ не оставитъ, а загляни за мѣсяцъ впередъ... Охъ, разорвется грудь отъ неба! Опять къ дѣламъ: ежели готово,—завтра я тебѣ скажу, какъ бѣгу; ежели есть хоть малѣйшее сомнѣніе,—не рискуй, немного еще потерпѣть.

Ну, Господь же надъ тобою, мой господинъ! Ангель мой, дивной, святой! До завтра, до 6 часовъ.

Ко мнѣ не ходи, *нельзя*. Иди меня во Владиміръ. Лишь достань свидѣтельство. Ангель, Господь съ тобою, не ходи же. *Прїѣду* въ Владиміръ. Твоя Н.

У себя-то ты устраивай, объясни архіерею, проси губернатора, приготовься принять суженую твою.

А кто-жъ моя фрейлина? Объ этомъ подумай прежде, нежели о туалетѣ. Ну, Господь съ тобою, скоро, ангель, прїѣду къ тебѣ, жду тебя. [На оборотѣ листка]: адресъ: Его Высокоблагородію Милостивому Государю Алексѣю Александровичу Яковлеву на Англійской набережной въ собственномъ домѣ, въ С.-Петербурѣ.

19-е, вторникъ.

Что всего нужнѣе сказать тебѣ, Александръ, я не только покойна.—весела. какъ *нельзя болѣе, торжествующая!* Завтра или послѣ завтра меня не будетъ здѣсь, я ужъ назначила часъ, въ который Астр. могутъ увезть меня вся-

кій день. Къ тебѣ, ангель мой, *просьба*: будь покоенъ, мы до поста соединены! О здѣшнемъ не стоитъ и говорить, впрочемъ, и оно хорошо — они струсили невѣроятно. Прощай, можетъ, нельзя будетъ писать болѣе. Съ нами Богъ. — Твоя Наташа. Пиши къ Ал. Алекс., — я писала; объ обстоятельствахъ ни слова, а рекомендуйся только будущимъ зятемъ. Пиши скорѣе.

19-е, вторникъ.

Александръ! можетъ, и хорошо, что я еще здѣсь. Созвали совѣтъ. Левъ Ал. и Дим. Павл., ставши по обѣ стороны, принялись увѣщевать, но ихъ высокопревосходительство не побѣдило меня, а Богъ за меня побѣдилъ ихъ. Левъ Ал. сказалъ, чтобъ я имѣла терпѣние: когда ты пріѣдешь, будешь имѣть свое, то все устроишь. Ну, что-жъ, мой ангель, ждать? *Я жду!* Скажи ты? Пиши черезъ Emilie. Ну, пусть пройдетъ еще постъ. Вѣдь, намъ Богъ сказалъ, что намъ будетъ *тогда*. Подождемъ немного, немного, или какъ ты хочешь. Можешь видѣть по отвѣту папеньки, — писалъ ли онъ тебѣ? Всѣ они перетруснулись ужасъ. Меня угнетать не стануть, а косые ихъ взгляды легче прямыхъ. — Я напишу Татьянѣ Ал., чтобъ она пріѣхала къ кн[ягинѣ] *переговорить*, то есть, что она принимаетъ меня къ себѣ такъ, какъ къ жѣсту.

Все хорошо, мой другъ, я не только покойна — весела! Ты, ради меня, не тревожься, помни, Богъ съ нами и за насъ. Ну, прощай.

Твоя, твоя *Наташа*.

Ночь на 20-е. — Вотъ что, мой ангель, не написать ли тебѣ Льву Алекс., чтобъ меня отдали къ Астраковой? Онъ это сдѣлаетъ, потому что совѣтовалъ кн[ягинѣ] отдать къ Наеакин., тѣ берутъ гувернантку къ дочери, и меня вѣрно не возьмутъ. Когда кн[ягиня] говорила, что Астр. должно быть какая-нибудь, — Левъ Ал. сказалъ, что тогда бы ты не написалъ такъ утвердительно. Какъ ты думаешь? Мнѣ кажется, написать ему. А какъ я уѣду. — это и легко, да Астр. будетъ, можетъ, большая неприятность, ея мужъ можетъ съѣздить ко Льву Алексѣевичу. — Что ты покоенъ ли, Александръ? Я очень, потому что знаю: скоро, скоро... Ну, Господь съ тобою.

Твоя *Наташа*.

Къ Вятской нашей сестрѣ я не могу теперь писать. Emilie чудо! Она поѣдетъ со мной къ тебѣ, ненадо нанимать для меня дѣвушки. — Александръ, ангель, улыбнись, — цѣлую тебя

20-е, вечеръ. среда.

Александръ! Твоя Наташа вовсе безумная, мой ангель. Я въ восторгѣ, что на мнѣ повторяются Крутицы. Заключение... чудо! Вотъ она, жизнь необыкновенная! Да, *такой* жаждала я съ тѣхъ поръ, какъ жаждала *жизни*. Презрѣніе, позоръ *людей*, гоненія, истязанія отъ нихъ, симпатія высокаго и святого, ты... Боже! слава Тебѣ! Вчера минула недѣля, какъ ненастье, а въ душѣ совсѣмъ минуло ненастье. Говорю тебѣ, — меня восхищаетъ все, что съ нами ни происходитъ. Давеча вышла я подъ открытое небо, но закрытая совершенно отъ всѣхъ взоровъ, любовалась нашею жизнью: неужели есть полнѣе, изыпнѣе, о, нѣтъ... Какой ты, мой ангель, дивной... о, дай полюбоваться тобою. Ты все говоришь, — похвала, да что за похвала, и не увѣреніе это, а такъ невозможно вы-

терпѣть, чтобъ не излить словами хоть миллионную долю твоей красоты. Можетъ, теперешнее мое положеніе лучшее изъ всей жизни въ домѣ ея сѣятельства, *тогда* я расскажу всѣ подробности, и *тогда-то* даже ты будешь восхищаться. Всѣ, на кого я *надѣялась*, просто отверглись отъ меня, какъ Петръ апостоль, даже въ цѣлую недѣлю не прислали даже... ну, хоть о здоровьѣ спросить,—это чудо! Потомъ повелѣніе удалиться наверхъ, — что можетъ лучше быть этого? Потомъ приказъ явиться въ запертую комнату и ждать допроса... Важный видъ ихъ высокопревосходительствъ, и ихъ робость, мое торжество,—картина восхитительная, а эти двадцать челоуѣкъ, которые приходятъ (не смотря на опасность) взглянуть на меня, пролить слезы обо мнѣ и о себѣ, поцѣловать руки, ноги... Александръ, ты бы наплакался, глядя на эту картину. А *твоя* кухарка Emilie—верхъ самоотверженія... О, ты много перешеголялъ Дидерота! Да что-жъ я ни слова до сихъ поръ о Астраковой,—она дивная! Какъ свободно и торжественно сказала она: «я прѣѣхала за Нат. Ал.». Какъ *они* струсили, — все, все чудесно, превосходно, достойно и кисти, и пера художника, и нашего воспоминаія! Какъ мнѣ жаль, что я, не прочтя письма Ог., отослала къ Emilie; да мнѣ негдѣ болѣе прятать, какъ за корсетъ, а оно велико. Ну, *тогда* начитаемся, напишемся... О!.. О, Александръ, душа моя. Знаешь ли, я дивлюсь своей смѣлости съ тобою, вотъ какъ безъ тебя, то и думаю: ну, какъ я на тебя буду смотрѣть, какъ я поцѣлую тебя, какъ возьму твою руку... страшно, *не смѣю*, а какъ съ тобою... да отчего же это?—Вѣрно ты покоенъ, вѣрно весель, потому что мнѣ такъ вольно летать по небу, ничто, ничто не удерживаетъ меня съ земли. Чудо! А какъ я вчера разсердилась на Emilie, такъ, какъ никогда на нее не сердилась, — вздумала спрашивать меня, что мнѣ сдѣлать и какъ. Да мнѣ какое дѣло до ея тряпокъ, мнѣ любить, любить! Да, и она всетаки не понимаетъ меня вполне. А ты понимаешь? Ангель!

20-е, вечеръ же. — Никогда нашъ дворъ не былъ такъ полною экипажами, какъ это время, — точно похороны или свадьба. А, вѣдь, кн[ягиня] презалкая, вообрази, бѣдняжка думала найти защиту во Левѣ Алекс., тотъ винить ее, и тогда какъ она говоритъ: «голубчикъ, вѣдь, кинжалъ у меня въ груди», онъ на отвѣтъ: «да лучше говорить о пивкахъ»... и захохочетъ. Вотъ до какой степени она беззащитна, что нашла только одного Ник. Цлыча, которому могла поручить узнавать объ Астраковой. Смѣху тутъ бездна. Всѣ думаютъ, что Астракова пріятельница маменьки, что она все устроила, а она не имѣетъ понятія ни о чемъ и всего боится, мнѣ очень жаль ее, но Богъ милостивъ, когда-нибудь я заплачу ей утѣшеніемъ за всѣ непріятности, которыя она претерпѣваетъ за меня. А Е. П. вѣрно боится, что кн[ягиня] высѣчетъ его и глазъ не кажетъ — Богъ съ ними. Ангель мой, мнѣ весело! Я *знаю*, что ежели не лѣто, такъ осень ужъ буду тамъ, у себя, дома, на томъ диванѣ, у того стола. Оглянись вокругъ, душа моя, и скажи: да скоро! *Миленькій* Левъ Ал., говорятъ, хлопочетъ за меня у пап[еньки]. Довольно, довольно обо всемъ этомъ. — Опять къ нашему святому, небесному *тогда*...

Еще будетъ кутерьма, еще будутъ толки, хлопоты, суета, аханье, ужась и радость толпы о *нашемъ происшествіи*. А мы... давно занялась заря, давно и солнце взошло, но *люди* еще спятъ, имъ грезимся мы, и въ просоньяхъ они крестятся отъ ужаса, а мы—какъ вчера вечеромъ въ 7 часу сидѣли на этомъ диванѣ рука съ рукой, душа съ душой, какъ вчера звонкая свѣтлая молитва, такъ нынче утромъ въ 7 часу та же молитва. О, другъ, меня восхищаетъ наша жизнь. Много времѣнъ пройдетъ у насъ сначала въ одной молитвѣ, потомъ первымъ за-

нятім будуть письма, долго, долго мы будемъ ихъ читать... да я думаю, на нихъ и остановится наша дѣятельность. Какъ теперь далеко разлился мракъ нашихъ страданій, несчетныя сердца страдаютъ съ нами вмѣстѣ, а *тогда* мы разошлемъ во всѣ концы посланія. И это-то будетъ полдень; только къ нимъ не проникнуть наши лучи, только толпа будетъ мрачна и холодна, а то все согрѣется, освѣтится, воскреснетъ, жизнь обновится, и изъ обновленной души польется новая молитва къ Творцу.

А ничего, мой ангелъ, что я долго не пишу къ Медв.? Что-то не расположена, все такъ захвачено тобою, не могу ни до кого добраться въ своей душѣ. О, ты!

21-е, четвертъ. — Сегодня рожденье Emilie и именины всѣхъ трехъ нашихъ Сашъ. Вотъ просторъ читать, просторъ, какого отроду мнѣ не было, но — не читается! Теперешняя жизнь моя такъ нова, такъ хороша, что мнѣ жаль вмѣшиваться въ нее что-либо стороннее. Съ каждымъ часомъ я все болѣе восхищаюсь своимъ заточеньемъ, своей *неволей*—*волей*. До 10 часовъ вечера я безъ огня и надъ открытымъ окномъ, Emilie пробирается украдкой, чтобы гдѣ изъ-за угла взглянуть на меня, а когда ставни тамъ внизу закрыты, подходитъ къ дому, и мы разговариваемъ—прелестъ! Ангелъ мой, и я никогда не была такъ хороша, какъ теперь (то есть, кромѣ того, какъ съ тобою). Это совершенно новое чувство независимости тѣшитъ меня, мнѣ надо опять сдѣлаться 8 лѣтъ, опять сиротою въ траурномъ платьѣ, чтобъ снова зависѣть отъ кою-нибудь такъ, какъ отъ кн[ягини], а этого не будетъ.—А ты—ты такъ передо мною, какъ утромъ 17 и 18-го... А нашъ Владиміръ—никогда не рисовался онъ мнѣ такъ живо и часто, какъ теперь... Словомъ, я живу прекрасно! Носится слухъ, что пап[енька] согласенъ; когда такъ, то скоро обрученье, если нѣтъ—то скоро вѣнчанье! о чемъ гужить намъ? Только *хотѣлось бы* знать, что именно. Вотъ смѣхъ... Ахъ, глупые! они боялись поставить укусъ въ моей комнатѣ, чтобъ я съ горя не выпила, потомъ разсудили, что я поберегу себя для тебя. Ахъ, другъ мой, кажется, во всю жизнь не было столько смѣшного какъ теперь, анекдоты преуморительныя.

Ни писемъ, ни портрета, ничего кромѣ шнурочка и образа Спасителя. Но мнѣ весело быть самой съ собою, я люблю твою Наташу, она для тебя все, что-жъ нужно мнѣ безъ тебя, кромѣ ея? Твое отраженье, твоя душа, ты—о, хорошо мнѣ, ангелъ мой. Зеркало мнѣ необходимо теперь, я люблю смотрѣться долго, долго... такъ долго, какъ ты смотрѣлъ. Люблю свои руки, онѣ были въ твоихъ, на нихъ твой поцѣлуй... Александръ! я въ восторгѣ, я ничего не могу болѣе сказать—хорошо мнѣ, хорошо!

Какія страшныя *у нихъ* лица, какая злоба, тревога изображена. Кн[ягиня] боятся оставаться одна въ комнатѣ, а я! посмотри ангелъ, посмотри, какое спокойствіе, какая небесная тихая радость... Emilie и всѣ *мои* упрасиваютъ меня не грустить, терпѣть, беречься,—и я всѣхъ должна разувѣрять, утѣшать, а они думаютъ, что я притворяюсь; вотъ какъ все еще не могутъ постигнуть меня, стало, и любви моей, а ты, ты, мой Александръ, ну, придетъ ли тебѣ въ голову, чтобъ я грустила? О, душа моя... А какъ ты хорошъ, какъ хорошъ... Александръ, ну, посмотри на меня. Вѣрно у тебя нѣтъ цвѣтовъ,—такъ чтобъ были къ моему приѣзду; птицъ же я не могу видѣть въ клѣткахъ. не могу слышать ихъ пѣнья въ комнатѣ, въ немъ грусть, плачь неволи — довольно и человѣческихъ страданій, а цвѣтовъ больше, больше.

Кн[ягиня] никакъ не хочетъ брать грѣха на душу, отдавать меня въ пансіонъ, чтобъ *развертнуть* цѣлое стадо невинныхъ! Моя веселость *ихъ* ужасаетъ,

какъ или безуміе, или—сонъ совѣсти, и ни то, ни другое, а гдѣ имъ понять—любовь! Любовь!—Какое же, ангелъ мой! *Нашъ* Владиміръ такъ распространился, что нѣтъ мѣста и Италиі, она какой-то падучей звѣздой вспыхнула и погасла въ нашей жизни,—а Владиміръ горитъ, горитъ... не останемся въ Москвѣ, хороша она, люблю ее, но, но... сколько на насъ будутъ смотрѣть глазъ и какиихъ... Нѣтъ, не хочу въ Москвѣ, хоть въ с. Карачаровѣ, только не здѣсь.—А ты будешь меня часто пускать въ церковь? Я научилась обманывать, я буду уходить къ заутренѣ, пока ты спишь. Какъ не любить церковь, въ ней все говорить о небѣ, о молитвѣ. А продолжаешь просыпаться въ 7 часу?

Середа. Пять часовъ утра.

Ангелъ мой, я сейчасъ воротился и къ тебѣ. Твоя послѣдняя записка пугаетъ меня. Какимъ образомъ ты хочешь одна пріѣхать сюда и какъ пробудешь нѣсколько дней до вѣнчанья? Это невозможно, и потому, при первой возможности, оставь княгиню и къ Астраковымъ, дальнѣйшее предоставь мнѣ. Боже, что то у васъ было. Страдалица... но вспомни любовь Александра, не изъ твоихъ ли устъ я слышалъ подтвержденіе о счастьѣ, и потому повторю—твердость! А прелестны были два мига въ два утра, когда мы, крѣпко соединенные въ объятіяхъ другъ друга, наслаждались, вдохновлялись другъ другомъ. 3 марта было не въ мѣру груди человѣческой, это день страшной, можетъ, величайшей въ нашей жизни, тогда любовь поглотила нашу отдѣльность, даже уничтожила всѣ способности. Папенька хуже всѣхъ, эгоизмъ холодной, безчувственной, и только. Завтра получу письма, которыя откроютъ завѣсу. А, Господи, чего я не перестрадалъ, ожидая Татьяну Алексѣвну, когда она была у тебя. Письмо, которое я послалъ съ нею, не достигло цѣли, я хотѣлъ имъ взбѣсить кн[ягиню], и душевно желалъ, чтобъ она тебя разобидѣла, тогда бы ты поѣхала, по моему, и тутъ можно бы больше налечь; но это дѣло прошлое, глубокая тоска и грусть на душѣ отъ невѣдѣнности. Еще разъ, никакъ не ѣзди безъ меня, я на дорогѣ хочу быть твоимъ *cavalière servante*.

Вотъ твои письма, писанныя карандашомъ; 17-го ты писала: «да мимо идетъ меня чаша сія»—Я въ это время былъ въ 15 верстахъ отъ тебя. О, Богъ! Къ Ал. Ал. напишу.

Вечеръ.—Слушай мой приказъ. Никакъ не ѣзди сюда безъ меня и безъ свидѣтельства. *Теперь все готово*—только нужно свидѣтельство. Священникъ мой духовникъ, онъ распорядился превосходно. Ежели нельзя отъ консисторіи, то нельзя ли достать изъ церкви, гдѣ тебя крестили.

21, четвергъ.—Удивительное время. Буря шумитъ и не улегается, не могу себя настолько обуздать, чтобъ писать къ тебѣ, моя божественная, святая! Черта между мечтами и дѣйствительностью, сномъ и бдѣніемъ стерлась, все перемѣшалось. Послѣ 3 марта мы были спокойны, потому что настоящее поглотило насъ. Теперь будущее, и великое, и грозное, стоитъ передъ дверью. Вѣрно и ты не можешь писать. Но и нѣтъ нужды много писать: я думаю во всякомъ случаѣ черезъ недѣлю опять пріѣхать. Черезъ нѣсколько часовъ получу письма, — не знаю, что и предчувствовать. На дорогѣ я нѣсколько разъ былъ въ лихорадкѣ, думая, какъ ты страдаешь теперь.

Я такъ скоро уѣхалъ третьяго дня, что не успѣлъ тебѣ написать хоть строчку, — и меня совѣсть мучила: вѣрно, ты ждала.

Ну, слава Богу, мой ангель, я успокойнѣе, получилъ твои письма. Знаешь ли, какіе гигантскіе шаги мы дѣлаемъ. Папенька мнѣ пишетъ, чтобъ я, Бога ради, не дѣлалъ неосторожностей, а то это можетъ *огорчить тебя*. Что женихамъ твоимъ откажутъ, да и что ты меня *такъ любишь*, что не пойдешь ни за кого другого, кромѣ меня. Развѣ это не прямое дозволеніе? Все хорошо. Ко Льву Алексѣевичу писалъ, къ Ал. Ал. тоже. Завтра я буду опять славной малой,—отдохну. Изъ всѣхъ предложеній худшее—перѣхать къ Вас. Абрам., этого я не позволяю, слишкомъ презрительные люди. Какъ достанутъ свидѣтельство или изъ консисторіи, или изъ церкви, въ которой родилась, или отъ сѣятельнѣйшей княгини, ты можешь пріѣхать съ Emilie; коляску возьми у Сазонова, а провожатымъ Кетчера, безъ него не ѣзди; всего лучше, назначьте мнѣ день и часть, я буду васъ ждать въ трактирѣ Перова—9 верстъ отъ Москвы. Квартира готова, фрейлина покаместъ не отличная, но есть. Emilie я никогда не допущу, чтобъ она была твоей фрейлиной, и это изъ гордости, потому что она мнѣ сестра. Да, пожалуйста, и не воображай, что у насъ не будетъ денегъ, имѣя вездѣ друзей, и какихъ! да это было бы смѣшно. Въ письмѣ къ папенькѣ я положилъ распечатанную записку къ тебѣ, отвѣчай на нее черезъ него же, это только опытъ, насколько я сломилъ его. Между тѣмъ пусть перешка наша идетъ также. Зачѣмъ ты не пишешь явно, теперь можно, ты официально моя невѣста. Что за мысль отложить до іюля? Для чего? При первой возможности (т. е., черезъ четверть часа послѣ полученія свидѣтельства) отправь гонца къ Emilie, та за Кетчеромъ, и во Владимірѣ, во Владимірѣ, о, мой ангель. Квартира довольно хороша, я до вѣнчанья останусь на своей старой; ежели бы случилось, что вы скоро поѣдете, то пріѣзжайте въ городъ не иначе, какъ или въ ночь, или утромъ до 6 часовъ. Но объ этомъ въ путевой инструкціи Кетчеру. Да, пожалуйста, готовьте все необходимое. Получила ли Emilie 500 рублей, я могу еще прислать 500, когда получу изъ Вятки. Вѣнчальное платье просто, но какъ можно воздушнѣе, изящнѣе, ну, ты понимаешь. Покупайте все готовое на Кузнецкомъ мосту, въ нуждѣ денегъ можете прибѣгнуть опять къ Сазонову. Теперь меня тѣшатъ эти подробности, онѣ какъ то мнѣ говорятъ о скоромъ, скоромъ приближеніи. Я тебѣ здѣсь приготовлю два подарка, за оба ты поцѣлуешь меня (а будто безъ нихъ и не поцѣлуешь?). Это цвѣты, и другой не скажу.

Читала ли «О себѣ»? Вакханалія очень понравилась Сазонову и Комп. Смотри, чтобъ эта книга не попала княгинѣ, да и вообще кому бы то ни было, кромѣ Emilie и Астракова. Когда поѣдешь, возьми ее. Теперь я могу попробовать хлопотать о портретѣ, не велика бѣда, ежели неоконченной останется. Такъ г-да струсили, стало быть, хорошо, что я явился имъ во весь ростъ!

Да на дорогѣ берегись, ты не я, лучше долъше будьте въ проѣздѣ, нежели мучить себя, особенно въ скверную погоду,—это не просьба, а *приказаніе*. Я изфельдъегерничался, а твои путешествія въ Загорье, кажется, не могли приучить къ дорогѣ.

Ежели будетъ невозможно достать свидѣтельство, пиши, я попробую попросить разрѣшенія отъ архіерея, основанное на моей присягѣ о твоихъ лѣтахъ и вѣронсповѣданіи.

22-е, пятница [Москва].

Та же тюрьма, тѣ же часовые, тѣ же судьи, то же блаженство, тотъ же рай, та же любовь! Изящное время, жаль, что друзья не понимаютъ меня, они стра-

даютъ, *воображая* мои страданія. Сегодня у меня была одна изъ *нашихъ*, двѣ недѣли не выдались мы, а что было въ эти двѣ недѣли... Мы говорили, не наговорились, но о чемъ же? Разумѣется, только о двухъ часахъ, которые были въ эти двѣ недѣли, а то все вздоръ. Не знаю я ничего, мой ангель, что дѣлается здѣсь и тамъ, то есть, *у насъ* и *у нихъ*, но покойна, скоро, вѣдь, къ тебѣ!..

Ты писалъ въ послѣднемъ письмѣ изъ Владиміра, чтобъ я молилась на томъ мѣстѣ, гдѣ ты будешь погребенъ. (Отступленіе: Жанъ Поль правъ, — любовь не стоитъ!) Часто думала я и прежде о томъ, ежели Богу не угодно будетъ взять насъ вмѣстѣ, —кого же лучше? И, безъ сомнѣнья, выборъ падалъ на меня. Но, съ тѣхъ поръ любовь моя выросла, и — ежели не вмѣстѣ, я *желаю*, чтобъ прежде ты взошелъ на небо, ты не перенесешь такъ мою смерть, какъ я твою. Ты и прежде все говорилъ — безуміе, отчаяніе, самоубійство... О, нѣтъ! нѣтъ, мой ангель, я буду стоять подлѣ тебя послѣднюю минуту, я приму твой послѣдній вздохъ, послѣдній взоръ любви, — ты весело умрешь, съ восторгомъ, потому что рука твоя будетъ въ моей, взоръ твой на мнѣ, потому что, кромѣ улыбки, и молитвы, и восторга, ты не увидишь ничего на моемъ лицѣ. Давши тебѣ блаженную жизнь, я дамъ и блаженную смерть. А сама, склонивъ голову на холодную грудь, закрывъ глаза, буду ждать призыва твоего. Если ты мнѣ скажешь подождать долго, — буду долго ждать; а когда отнимутъ у меня твое тѣло, когда отдадутъ его землѣ, не сойду съ того мѣста, тамъ будетъ мой домъ, мой храмъ, мое небо... И когда молитва моя будетъ такъ чиста, и сильна, и высока, что ужъ душа не воротится въ тѣло, — тогда и мое тѣло погребутъ съ твоимъ, а душа... О, другъ! Ангель мой, мой Александръ!

Постъ завтра Emilie поѣдетъ къ Астраковой, тамъ узнаетъ все и въ среду тебѣ вѣрный отчетъ. Я знаю, душа моя, что мы Петровъ постъ будемъ говѣть вмѣстѣ, или я одна, только во Владимірѣ, а исповѣдаться у того священника, твоего духовника!

Что ты? какъ доѣхалъ, не грустишь ли, — о, этого не можетъ быть; я такъ весела. Ну, мой ангель, Господь съ тобою, прощай, не грусти же, *жди* меня, скоро, скоро. — О, какъ легко, о, какъ хорошо, такъ и льется свѣтъ на меня, и благодать, и твоя любовь! Цѣлую, цѣлую.

Твоя *Наташа*.

23 апрѣля, Владимірѣ.

Наконецъ, Наташа, небо начинаетъ проясняться, оно устало гнать насъ за то дивное блаженство, которымъ подарило, указавъ намъ другъ на друга. Будь же спокойна, молись, скоро совершится судьба наша, царственное повелѣніе Бога не останется втуне.

Я до сихъ поръ не знаю, чѣмъ окончилось предложеніе Татьяны Алексѣевны, но по письму папеньки вижу, что послѣдствія не были дурны. Это письмо, посланное черезъ папеньку, лучшее доказательство. Благодарю же за него папеньку, къ нему прибѣгнулъ я и съ другой просьбой, которая давнымъ давно тяготѣла душу: я просилъ твой портретъ. Вымѣрай же теперь все разстояніе, которое мы прошли съ тѣхъ поръ, какъ я во Владимірѣ, невѣста, ангель!

Папенька пишетъ, что скоро будетъ Алексѣй Александровичъ, — вѣроятно, онъ противудѣйствовать не будетъ, а Левъ Алексѣевичъ уже доказалъ, что страданія наши тронули его. Призваніе наше высоко, мы должны молитвою свести благословеніе неба на родителей, и полной любовью заключить предыдущее не

вовсе свѣтлое. И какъ же наша жизнь будетъ счастлива. Пламеннымъ воображеніемъ поэта искалъ я земныхъ идеаловъ и терялся, когда ты, религіозная и несчастная, явилась предо мною. Вѣсть съ любовью я выучился молитвѣ, такъ, какъ ты отъ молитвы перешла къ любви. И будто кто-нибудь станеть препятствовать такой любви,—это невозможно. Вѣра въ соединеніе незыблема у меня, она рядомъ съ вѣрой въ тебя составляетъ краеугольный камень бытія. Странно, какъ рѣшились другіе явиться съ предложеніями. Что ты для нихъ—хорошенькая собою, и только; какъ они не разочли впередъ отказъ; въ то время, какъ для меня ты была исполненіе того огромнаго пророчества *высшаго*, которое томилло меня съ 9 лѣтъ, и въ то время, какъ я явился передъ тобою, какъ вознагражденіе за всѣ страданія. О, ты моя, это я чувствую съ каждымъ дыханіемъ. Прощай же, милая невѣста, прощай, благослови меня чистою рукою твоею нести еще нашъ крестъ.

Твой навѣки Александръ.

23, поздно. Ангелъ, ангелъ, улеглась ли буря въ твоей душѣ? О, ты, небесная, спокойна, ты опять одна любовь, одно созерцаніе Бога и меня. Успокоился и я, но все еще кипитъ моя африканская кровь, я вышелъ изъ обыкновенной колеи и не могу втѣснить себя въ старую рамку. Завтра получу важныя извѣстія; неужели вы цѣлымъ синклитомъ не сумѣете ваять свидѣтельства; жаль, что отставной поручикъ Богдановъ не могъ дольше остаться, онъ досталъ бы его. Ахъ, Natalie, скорѣе, скорѣе къ Александру, лети въ его объятія, пей блаженство, я томлюсь безъ тебя, тоска прорывается всюду, Наташа, невѣста, скорѣе же. По телерешнему расположенію нашихъ, я вижу, что они удивятся и простятъ; время—тиранъ ужасной: провожая въ могилу каждой день, я упрекаю его,—ну, что въ этихъ 24 часахъ, а тѣ *минуты*, когда мой влажной взоръ останавливался на твоёмъ влажномъ взорѣ...

Иногда середъ мечтаній такихъ близкихъ о будущемъ счастьѣ, вдругъ прорѣшетъ сомнѣніе,—и кровь остынетъ и взоръ выражаетъ безуміе. Я тебѣ писалъ какъ-то, что послѣ 3-го марта мы можемъ вынести ужасныя несчастія, но не разлуку; я погибну, ежели не удастся соединеніе, я чувствую, что не вынесу: или сумасшествіе спасеть тѣло насчетъ души, или чахотка спасеть душу насчетъ тѣла. Лети же, голубица чистая, носи и мирты и оливу въ долго страдавшую грудь. Не откладывай никакъ до іюля безъ необходимости, всего лучше сдѣлай такъ. Какъ получишь свидѣтельство, тотчасъ пришли его ко мнѣ, и ужъ не жди письма, а жди меня, между тѣмъ скажи Кетчеру; ежели вы не достанете коляски, я привезу, карета еще лучше, а то ты *заориши*, я кокетничаю за тебя. Да накупи съ Emilie побольше дамскаго снадобья и какъ можно лучше, я ей писалъ, что могу прислать денегъ, я люблю comfort. Досадно, хозяйка дома, которой я навялъ, отказала; есть другой, прекрасной, но еще не кончилъ и найму его. Ну, не стыдно ли пап[енькѣ], для чего онъ препятствуетъ; какъ бы все хорошо могъ онъ устроить: ты бы пріѣхала съ мам[енькой] или съ Праск. Андр., пріѣхала бы и Emilie, все спокойно, тихо. Да, вѣнчаться въ 7 часовъ утра, *въ часъ нашей молитвы*, такъ ужъ сказано, и священникъ поэтъ, которой въ восторгѣ отъ твоего Александра. Не дивно ли все это? А я тебѣ покаюсь, что съ отъѣзда отсюда я не вспомнилъ до сегодняшняго дня часть молитвы нашей. Фу, какъ бѣдно, бѣдно, недостаточно письмо послѣ взора, поцѣлуя. Наташа, да пріѣзжай же!

25 апрѣля. Твои записочки получилъ. Нѣтъ, я теперь совѣмъ не такъ

спокоенъ, какъ ты. Скажу откровенно: я задавленъ. Всѣ знакомые замѣтили ужасную переѣвну во мнѣ послѣ приѣзда. Я не могу говорить, не могу скрыть внутреннюю тоску. Теперь я вижу, что правъ былъ, когда говорилъ, что моя любовь должна быть ужасна; да, теперь только она и принимаетъ характеръ ужасной; въ то время, какъ твоя душа плаваетъ спокойно въ океанѣ свѣта, моя, томимая, сожженная, вырывается огнемъ. Наташа, я страдаю съ отъѣзда, *я не могу больше переносить разлуку*. Чувствую, что пылающая душа жжетъ тѣло, я весь боленъ, мнѣ *не хочется* къ тебѣ писать, огонь льется въ жилахъ. Нѣтъ, Наташа, ты не знаешь этой стороны любви, и сохрани тебя Богъ ее знать.

У тебя поднимается рука писать: «ну, такъ послѣ поста». А я смотрю на эти слова, и слезы, и кровь струится. Зачѣмъ мы видѣлись, послѣ 3 марта, зачѣмъ я цѣловалъ тебя, зачѣмъ рука моя смѣла обвить твой станъ. Теперь отрѣзана бывшая жизнь, она невозможна. Не жди больше тѣхъ писемъ, гдѣ широкій восторгъ лился пѣснью. Вдали манилъ призракъ, и мы шли, теперь онъ облекся въ дѣйствительность. Ты помнишь поцѣлуй прощальной, мой взоръ. И послѣ опять разлука. О, ежели такъ, то ты права, 3-го марта надобно было умереть. А мы *были веселы*, свидѣвшись. Да неужели ты спокойна, о, тогда я снова преклоню колѣна передъ тобою. Послѣ 3 марта, я очистилъ свою жизнь, я былъ поэтъ. Теперь я готовъ судорожно ухватиться за все, я не могу жить, сложа руки, хоть бы меня бросили въ какую-нибудь тюрьму, хоть бы сильная болѣзнь утишила ядовитую боль. Наташа, Наташа, Бога ради, спаси меня, я не могу дольше ждать, приѣзжай же, — не то я буду играть въ карты, пить вино, я съ ума сойду. О, ежели бы ты знала мученія души огненной огнемъ земли, души недостойной тебя. — Фу!

26. Цвѣты — опять тоже симпатія. Сейчасъ приѣхалъ изъ деревни. Прощай, ангель, — помни же, что я очень, очень страдаю и торопись сюда.

Твой Александръ.

Emilie, да что же вы всѣ ничего не пишете. Пора, пора дѣйствовать.

Москва. Апрѣля 26-е, вторникъ, вечеръ.

Всѣ эти дни я писала къ тебѣ много, но все изорвала и бросила; то письмо было бы тяжело землею и посыпало бы землею и твою душу. Я ослабѣвала, опоры не было, своей силы недостаточно становилось и вотъ дыханіе людей наносило землю на душу, я ослабѣвала еще болѣе и до того, что нынче весь день плакала. Вдругъ Господь послалъ ангела утѣшителя: Павелъ Сергѣевичъ подаль мнѣ руку, какъ Христосъ утопающему Петру.

Полчаса бесѣды и я на своей высотѣ! Что обстоятельства, что люди, что вса земля? А къ тебѣ приѣду, о, ангель мой, съ тобой-то вмѣстѣ мы преклонимъ небо на землю, или вознесемъ землю до небесъ, жизнь святая. Кто-нибудь изъ нашихъ *вѣрнопооданныхъ* напишетъ тебѣ подробнѣе обстоятельства; я скажу только, что свидѣтельство еще не выправлено; какъ будетъ готово, я на другой же день явлюсь къ тебѣ! Довольно ли для тебя, мой Александръ?? Я заключена наверху, никто почти ко мнѣ не ходитъ, я ничего почти не дѣлаю, но ужъ теперь исправлюсь, тѣ дни я недостойна была тебя, — это ужасно! Но все такъ *Богъ хотѣлъ*, чтобъ я не забылась на высотѣ, чтобъ не возгордилась. Снова

открыть путь къ небу. снова молитва возносить къ Нему и благодать освѣщаетъ душу. Теперь-то я твоя Наташа!!

27-е, утро, среда. Сегодня будетъ письмо! О, я воскресну совершенно. Должны ли мы роптать въ минуты, когда душа стремится вознестись надъ всѣмъ и остается низко? Нѣтъ, это состояніе уже не отъ насъ, Богъ посылаетъ его, имъ Онъ напоминаетъ наше несовершенство и приводитъ тѣмъ къ смиренію. Если бы я вынесла все твердо до конца, такъ, какъ съ начала,—ненатурально, чтобы мысль самодовольства не явилась... Но слава Богу! Чтобы поставить меня ближе къ Себѣ, Онъ отнялъ благодать Свою отъ меня, и я увидѣла, что *не я шла* съ твердостью и съ терпѣніемъ по терновому пути, а *Онъ велъ*; это же снова доказало Его величіе, мое ничтожество, и это сознание вознесло меня ближе къ Нему, укрѣпило въ Немъ.

Что я стану писать тебѣ, мой Александръ? Ничто не дѣлаетъ на меня впечатлѣнія, ничто недоступно душѣ, она затворена всему, одно: къ тебѣ! къ тебѣ! Твердъ ли ты? поддержишь ли тебя Господь? О, имѣй терпѣнье, другъ, о чемъ тебѣ горевать? Обо мнѣ,—этимъ ты прогнѣвишь Бога; благодарить Его надо за меня, всѣ эти испытанія лишь очищаютъ душу, обрѣзываютъ самыя тончайшія нити, связывающія ее съ землею, освобождаютъ ее отъ ига рабства. Нѣтъ, ничто, ничто не должно выходить изъ устъ нашихъ, какъ слава Ему!

Прости же меня, ангель мой, прости, вѣдь, Онъ простилъ. Ты не доволенъ бы былъ тѣмъ письмомъ, тамъ я вовсе не похожа была на твою Наташу. Ну, посмотри же на меня съ твоей любовью, поцѣлуй, обними... О, мой Александръ! О, жизнь моя! Какою жалкой, незамѣтной точкой стоитъ весь міръ передъ тобой за вратами души моей, онъ печаленъ и бѣденъ передъ тобой, какъ изгнанникъ передъ владыкой. О, скоро, скоро во Владимірѣ, скоро домой! Устраивай ты все у себя,—то есть, что губернаторъ, не будетъ ли препятствія? *Наши* хлопочутъ безъ памяти. Ну, прощай, Господь съ тобою. Цѣлую тебя.

Твоя *Наташа*.

Москва. Апрѣля 27, среда, вечеръ.

Слава Богу! слава Богу! Ангель мой, пой со мною вмѣстѣ Его славу, благодари Его за мою жизнь, за все, за все... все дивно! Посмотри, какъ нова моя дорога, ни слѣда! И кто же ведетъ меня по ней—Онъ, любовь. Можетъ, другіе не повѣрятъ,—ты вѣришь: я въ восхищеніи отъ своей темницы, отъ своихъ судей, отъ своихъ цѣпей. Недоставало всего этого къ полнотѣ картины моей жизни, и это самое лучшее мѣсто въ ней.

28-е, четвергъ. Письмо!.. Не ожидала я отъ тебя, чтобы ты такъ безпокоился обо мнѣ, и есть чего? Да что же можетъ быть лучше, какъ на диванѣ аршинъ въ 7 длины сидѣть одной, отдѣленной отъ людей оврагомъ, черезъ который ни имъ бо мнѣ, ни мнѣ къ нимъ перешагнуть нѣтъ возможности, закрытой отъ глазъ, которые не хочешь, чтобы смотрѣли на тебя... воля! Мечты, мечты!.. и прерываемыя только изрѣдка взоромъ усердія, взоромъ участія, поцѣлуемъ любви простой, горячей. Да, это лучшее время въ кв[ягинномъ] домѣ! Я ничего не дѣлаю, потому что не могу ничего дѣлать, бумага для письма къ тебѣ, Евангеліе, другія книги,—все безъ употребленія, и такъ-то провести двѣ недѣли! Наружно я похожа на разслабленную, а посмотри на жизнь внутри,—жизнь, обнимающую мою душу, едва вмѣщающуюся въ груди. Безпрестанно

пересылаемся съ Emilie, сотни хлопочуть за насъ изъ всѣхъ силъ, ты тоже не сидишь, сложа руки, одна я. какъ *приговоренная къ смерти*,—ты понимаешь эти слова на моемъ языкѣ. Emilie ѣхать со мной невозможно, и требовать этого теперь мы не должны. Необходимости нѣтъ, они сыскали кого-то, кто будетъ мнѣ спутницей, и Кетчеръ, на что-жъ Emilie? Неожиданный отъѣздъ ея надѣляетъ бездну нелѣпныхъ толковъ, подвергать ее этому — непростительно, *пусть ея не мой*, я могу совершенно оттолкнуть ногой весь мѣръ, а она этого сдѣлать не можетъ. Послѣ прїѣхать. О туалетѣ она хлопочеть, о свидѣтельствѣ хлопочуть другіе, объ отъѣздѣ тоже... Какъ скажутъ готово,—я порхну въ дрожки К., вотъ и весь мой подвигъ.

За подарки благодарю, любопытство знать о другомъ безмѣрно. А ты говоришь, что во мнѣ ничего нѣтъ отъ женщины обыкновенной. Только зачѣмъ же другая квартира, а не твоя? Когда ты одинъ могъ жить въ ней, то намъ вмѣстѣ, вѣрно, было бы еще удобнѣе. Не ѣзди сюда прежде, нежели я напишу тебѣ, ангель мой, не ѣзди. Намъ и видѣться здѣсь нельзя будетъ. Вѣдь, скоро... скоро...

Ты пишешь: «запасайтесь всѣмъ нужнымъ»; вотъ я и рѣшилась сдѣлаться себѣ на что-нибудь полезною, рѣшилась хоть подумать, и думала, кажется, очень долго думала, и придумала—что-жъ? разумѣется, что ничего не нужно. Ты и я побѣдныя головунки, неразумныя, что будетъ съ нами... О! крылья, крылья лучше въ дѣйствіе, пусть все дремлетъ, крылья нужны, полетимъ!

Итакъ, ты будешь сперва ходить *ко мнѣ* въ гости женихомъ,—чудо, ангель мой! Пусть ихъ горюють, вольно же смотрѣтъ имъ внизъ, а тамъ-то вонъ посмотри... Александръ, Александръ, тяжело, тяжело отъ счастья, отъ блаженства.

29-е, пятница. «О себѣ» я не читала, ни минуты подлѣ себя нельзя мнѣ имѣть эту книгу безопасно. Будетъ время, начитаюсь, будетъ. Emilie съ своей сестрой будутъ меня провожать до Перова, тамъ разстанемся, и я останусь на твоихъ рукахъ—и радость, и трепеть, и страхъ. Ангель мой, рѣшилась ли бы я на все это, если-бъ не ты: ежели бы нѣсколько время тому назадъ ты написалъ мнѣ, что надо бѣжать, я бы отвѣтила, что это нелѣпость, что это невозможно... О, Жанъ-Поль правъ!

Паленькино письмо меня разсмѣшило, теперь они во мнѣ ищутъ ужъ опоры: правда—«не плкой въ колодезь», а твоей записки не присылаетъ, проси сего о портретѣ Явно не пишу, потому что не хочется просить у кн[ягини] позволенія, а безъ него нельзя явно, потому что людямъ запрещено подавать мнѣ и принимать отъ меня записки и письма. Я что-то не могу ничего понять, что дѣлается со мной, какъ во снѣ: то улыбка, то слезы, то съ молитвой крещусь, то съ восторгомъ смотрю на небо,—все такъ ново... то безопасно обращаю вокругъ взоръ, то пробѣгаетъ трепеть отъ собственнаго движенія.

Страхъ священной, не препятствія страшать, не люди, страшно счастье. страшно блаженство... О, Александръ!

Вечеръ.—Сейчасъ видѣлась съ Emilie, и твое письмо. Александръ! *въ этомъ письмѣ* ты недостойнъ меня. Вотъ мой приговоръ тебѣ. О! — Да, мой ангель, жизнь моя, все это любовь, любовь... но гдѣ-жъ вѣра, гдѣ Богъ? Ты спрашиваешь, покойна ли я? Да была ли бы я *твоя Наташа*, ежели бы была непокойна? Любовь моя до того сильна и святая, до того безмѣрна, необъятна, что я часто забываю, что ты не подлѣ меня,—потому что моя душа въ твоей душѣ, потому что я такъ тѣсно слита съ тобой, что незамѣтна разлука. А ты?... Александръ, послушай: я скоро стану съ тобой подъ вѣнецъ, скоро Онъ благословитъ насъ еще на всю

жизнь, скоро ни минуты разлуки, — *будь же достоинъ этого!* Меньше ли я люблю тебя, божество мое, отецъ мой... До твоего письма я была покойна, теперь мучаюсь; нѣтъ, ты не любишь меня моей любовью.

Не могу теперь оставить перо. — Александръ, я у ногъ твоихъ. — Да чего ты хочешь, отчего ты въ такомъ волненъ? Всѣ наши друзья хлопочутъ, стараются, вѣрно ужъ не отнимутъ они у насъ и минуты; какъ только будетъ все готово, я клянусь тебѣ, ни одного часа мѣшкать не буду, ну, я выпрыгну въ окно, ежели нельзя будетъ идти въ ворота. Вѣдь, вотъ опять бѣда! «Не прыгай! ушибешься!» О, моя побѣдная головушка. Да ужъ я не знаю, какъ успокоить тебя. Александръ, ей Богу, я не знаю, что съ тобою. Довольно ли тебѣ: *въ мать мы обвѣнчаны?* На что страхъ, на что сомнѣнье? ни разу въ мою душу сомнѣнье не заглядывало, вотъ ужъ двѣ недѣли я жду и не вижу, какъ летитъ время. — Господи! Нѣтъ, мой Александръ, ты мучаешь меня.

На что ты перемѣняешь квартиру? Ежели еще не нанялъ, венадо, мнѣ хочется непременно прѣхать къ тебѣ; Emilie, вѣдь, не будетъ, такъ на что-жъ. Мнѣ наняли здѣсь дѣвушку, которая поѣдетъ со мной — чудесная мастерица всему. Ты слишкомъ хлопочешь о моихъ нарядахъ, на что они тебѣ? Теперь все наскоро и безъ роскоши, потому что затрудненіе въ деньгахъ; впрочемъ, все это не по моей части, я ни о чемъ не имѣю понятія, какъ хочетъ Emilie.

Другъ мой, ангелъ, будь покоенъ; ну, ежели ты *отришь любви моей*, — вѣрь, что до поста я у тебя. Ну, чего-жъ еще? Только не ѣзди же ко мнѣ прежде, ежели напишутъ. Ты воображаешь, я далеко отъ тебя, — а вотъ посмотри же, кто стоитъ передъ тобою на колѣнахъ и цѣлуетъ твои и умоляетъ быть спокойнымъ, — ангелъ мой, кто? Сжался же, *докажи*, что любишь, ну, посмотри *покойно* на небо, скажи *покойно*: «Господи, да будетъ твоя воля!» Скажи мнѣ: «Наташа, я покоенъ», и Наташа воскреснетъ. Посмотри, мой ангелъ, какъ я на готовѣ въ путь, все любимое отослано: ни портрета, ни писемъ, ничего изъ святыхъ вещей. На груди благословеніе твое и покойнаго папеньки; ребенкомъ я надѣвала его всегда въ путь за 15 верстъ, теперь онъ надѣтъ въ путь за 200 верстъ, — въ путь къ тебѣ! къ тебѣ! Ты мой свѣтъ, моя жизнь, моя молитва, ты — я, — какъ же ты можешь помрачить меня? Ангелъ мой, я знаю, — это любовь, но отбрось отъ нея то, что мучаетъ тебя, люби такъ, [какъ] я люблю.

Теперь я еще менѣе въ состояніи писать къ нашей Вятской сестрѣ. Если-бъ я знала, что меня не удержатъ безъ виду, побѣжала бы къ тебѣ. Да подожди немножко, *крошечку*... Александръ. Emilie хотѣла писать, да я ужъ все написала. Цѣлуй же меня весело.

Суббота, 30-е, утро, 7-ой часъ. Господи, что же я за безчувственная... или ты, мой Александръ, покоенъ? Божественный часъ. Скоро онъ для насъ будетъ еще выше, еще святѣе, я такъ вѣрую, что все волненъе мое улегло опять, такъ вѣрю въ моего Александра, что не сомнѣваюсь, что онъ уже покоенъ. Или это обманъ одинъ? Скажи мнѣ, другъ мой, увѣрь меня, напиши. О, страдалецъ, что скоро ждетъ тебя, — отдохнешь, отдохнешь, мой пилигримъ, на той груди отдохнешь, въ которой, съ первой минуты ея жизни, жилъ ты одинъ, и никто не удалитъ отъ тебя этой груди, никто не отстранитъ... Скоро! скоро!!

Святы же 7-ой часъ молитвой, развѣ послѣднее свиданіе со мною завѣсило отъ тебя небо? О, я дрожу, страшно, я буду бояться приблизиться къ тебѣ, или, соединившись другъ съ другомъ, мы должны расстаться съ небомъ? Александръ, помни, *ты мой!* Ну, будь ангелъ, будь святы, чистъ, высокъ, и будешь покоенъ,

какъ твоя Наташа. Хорошо, что Emilie не ѣдетъ мы будемъ одни, одни и не надо никого.

[При этомъ письмѣ приложено слѣдующее письмо къ Полинь].

Москва. Апрѣля 29-е.

Другъ мой, дивная сестра моя, Полина! Ты все болѣе и болѣе приводишь меня въ восторгъ, все болѣе и болѣе сестра мнѣ! Оба письма твои получила, *семья наша* дѣлается все чище, святѣе—расти, другъ! Умножая наше счастье—увеличивай свою славу. Я благодарю Бога за твою встрѣчу съ Александромъ, она вамъ была необходима обоимъ, она обоимъ вамъ—ступень къ небу. О, какая дивная душа у тебя, моя Полина, я горжусь тобою и какою стройною, величественною пѣснью летаетъ она въ мою душу, какъ отрадно имъ вмѣстѣ, какъ хорошо. Какъ двѣ чистыя капли росы, слитыя въ одну, отражаютъ онѣ и Бога и его. Полина! — говори, говори мнѣ... Люблю твой языкъ, онъ такъ внятень, такъ близокъ душѣ — языкъ ея родины. И ты писала мнѣ передъ заутренней Свѣтлаго Воскресенія... О! мы сестры! — Я виновата передъ тобою, другъ мой, прости! вѣшняя жизнь моя не имѣетъ ни малѣйшаго сходства съ жизнью души: ты знаешь, я сирота, брошенная людямъ, и до сихъ поръ, обладая всѣми благами рая, всѣми сокровищами Господа, живя жизнью неба.—я все еще подъ ногами людей. Александръ, отворя мнѣ врата въ царство Божіе, привелъ меня къ Его престолу, увѣнчавъ меня вѣнцомъ славы неземной,—еще не могъ отворить моей темницы, оттолкнуть *изъ*, но скоро, скоро, мигъ желанной, мигъ свободы О! *тогда*-то, сестра моя, ужъ ничто не будетъ мнѣ препятствовать бесѣдовать съ тобою. Тогда жди отъ меня посланія длинныя, я изолью всю душу тебѣ. всю жизнь, а теперь... прости же меня, дай руку, обнимемся! По мѣрѣ приближенія къ нему, увеличивались тернія на пути, по мѣрѣ блаженства, росли страданія—теперь мы почти рядомъ, и насъ распинаютъ, но—воскресеніе свѣтлое скоро, скоро... Помолись о насъ, сестра наша, и благослови твою Наташу.

[27 апрѣля, Владиміръ].

Сегодня 27-ое апрѣля, еще 30 дней остается для соединенія, а все идетъ медленно, почти совсѣмъ не идетъ. Послѣ 27 мая падетъ черная завѣса на цѣлый мѣсяцъ, предупредимъ же ее. Буду искать средства обойтись безъ свидѣтельства. 30 дней надали кажется много, очень много времени, а вдругъ опомнишься и увидишь, что едва остается нѣсколько дней. Это одна изъ главныхъ сторонъ моего огненного характера, что я не могу возвращаться къ прошедшему. «Впередъ», кричитъ голосъ сильной,—и я мчусь. Итакъ, перстъ Божій указалъ намъ май, будь же готова исполнить волю Его. Я страдаю, ты молитвой, и оба любовью очищенные, святые, станемъ передъ алтаремъ.

Нынче я утомленъ, усталъ за всѣ прошлые дни, думать я давно не могу, но теперь и чувствовать ясно не могу. Я похожъ на человѣка, которой при кораблекрушеніи вскочилъ на бревно, пытался дать ему направленіе къ берегу, но волна не слушается и вотъ, отдавъ попеченіе Богу, человѣкъ засыпаетъ душою, посмотреть на огромное море и не понимаетъ ни спасенія, ни гибели, потому что своими силами ужъ онъ не можетъ ускорить ни того, ни другого. Завтра получу письма, авось что-нибудь узнаю. Да, Наташа, прежде нежели ты исполнишь, напиши мнѣ весь планъ и жди отвѣта, я боюсь твоей неосторожности,

всего лучше мнѣ самому пріѣхать за тобою, *только чтобъ все готово было.* Я писалъ къ Ал. Ал., но признаюсь, сдѣлалъ это, исполняя твою волю á *compte soieng.* Холодная душа, эгоистъ въ высшей степени. Когда я, школьникъ, цѣнилъ одинъ умъ, я любилъ его, и онъ, кажется, любилъ (не меня, а мои таланты), но теперь между мною и имъ нѣтъ перехода. Онъ *хуже* ихъ: они дѣлаютъ глупости, какъ угорѣлыя кошки отъ дыма предразсудковъ, онъ по тонкому расчету, по теоріи дурной человѣкъ. Мнѣ очень неприятно будетъ, ежели ты переѣдешь къ нему; онъ ведетъ такой образъ жизни, какого бы я не желалъ ставить передъ твоими глазами. Ежели судьба будетъ такъ жестока, что въ маѣ ты не пріѣдешь сюда, а пробудешь весь июнь у Ал. Ал., то прошу тебя, будь какъ можно дальше отъ него. Даже нѣтъ нужды скрывать холодности. Всего же лучше просись въ Перхушково, тамъ есть церковь, тамъ могу я быть смѣло. Впрочемъ, я тогда напишу ему письмо *новыразительнѣе* пераго. Олимп. Макс. добрая женщина, сколько я знаю, но безъ характера. Говорятъ въ защиту Ал. Ал., что гоненія отца сдѣлали его такимъ, а зачѣмъ же его душа сломила отъ этихъ гоненій. Нѣтъ, весь корень зла—воспитаніе въ грубыхъ правилахъ философіи прошлаго столѣтія, въ материализмъ и невѣріи. Насъ, живыхъ людей, и худшія гоненія не сломили.

Четвергъ, 28-го. Ангелъ мой, Наташа, что же время разучилось ходить: стоить на одномъ мѣстѣ и давить ногою въ грудь. Ежели мы въ маѣ не успѣемъ ничего сдѣлать, что будетъ со мною въ июнь? О, тогда пусть небо броситъ камнемъ въ меня, пусть дохнетъ ядомъ, чтобъ я пролежалъ большой въ постели, очень больной, въ бреду. Знаешь ли, какъ физическія боли врачуютъ душу: сперва страданія, потомъ весь ослабѣешь, потомъ выздоровленіе и первая прогулка, и встрѣча съ былою жизнью. Какъ я былъ покоенъ, когда въ Вяткѣ расшибъ себѣ голову, я безпрестанно спалъ, даже боли не чувствовалъ, потому что мочили опиумомъ. Опиумъ, опиумъ—вотъ дивное вещество, это ужъ не вино европейцевъ, это чародѣйная сила востока, полная его нѣги и поэзіи, это весенній воздухъ для чахоточнаго, которой разомъ льетъ наслажденіе и отраву. Давно хочется мнѣ попробовать, тогда было смутно, неясно, надо попробовать здоровому.

Читала ли ты книгу, которую я оставилъ? Смотри, когда поѣдешь, не забудь ее, она одна и черная и бѣлая. Саз. и Кетч. въ восхищеніи, особенно отъ вакханаліи. Да что ты теперь такъ трусишь, требуй себѣ права писать, особенно ежели пап[енька] пришлетъ записку.

Прежде я носилъ браслетъ рѣдко, теперь я не могу минуты пробыть безъ него, это мой талисманъ, онъ живъ до сихъ поръ, *твой локонъ!* Иногда въ грустную минуту долго смотрю на него, и на твое имя, и голосъ съ неба раздается: «Не грусти, она, прелестная, великая, святая, она твоя—эта Natalie», и я бѣшено цѣлую браслетъ и ленту (не черную, а голубую). Утромъ, когда проснуешь, я ищу молитву и твой браслетъ, онъ святой антикинсъ моей молитвы. Наташа, милой другъ, пожалѣй Александра и прилети къ нему, не могу долше быть безъ тебя. Наташа, Наташа, Бога ради, сюда, сюда—изъ состраданья, изъ любви! Обстоятельства склоняются сами и легче, нежели мы думаемъ.

Пятница. Это письмо доставитъ Матвѣй, т. е., настоящій. Наташа, *рѣшено*, все готово, собирайся. Я жду во Владимірѣ; завтра Матвѣй ѣдетъ къ тебѣ, можетъ, въ четвергъ... пусть договоритъ твое сердце.

Твой Александръ.

Возьми же сестру Emilie.

Нѣтъ, не совсѣмъ рѣшено. Я въ претензіи на всѣхъ вашихъ. Какъ не умѣть достать свидѣтельства изъ церкви, гдѣ тебя крестили. Я просилъ архіерея; онъ сказалъ, что если вѣнчаться тайно...

Къ Emilie.

Теперь все будущее, все счастье я отдалъ въ руки друзей, больше всего въ твои руки, Emilie; здѣсь все готово, надобно украсть Natalie, и тогда кончено. Я остался нарочно во Владимірѣ, чтобы не подать подозрѣнія. Вотъ мои совѣты. Всего лучше увезти въ началѣ ночи и тотчасъ въ коляску, ибо 12 часовъ пройдетъ прежде, нежели они успѣютъ что-либо предпринять. Здѣсь до вѣнчанья надобно, чтобы прошло только часа два. я назначаю пріѣхать сюда въ 4 часа утра (полагая, что выѣдете въ 2, это 26 часовъ), денегъ на водку не жалѣйте.

Уложи всѣ пожитки и все вручи Матвѣю, ежели нужны деньги, онъ можетъ достать, сколько хочешь. Пріѣзжайте только въ такой день, въ которой вѣнчаютъ. Хотя я и сладилъ безъ метрическаго свидѣтельства, но это плохо, ежели можно достать изъ церкви, гдѣ Наташу крестили, достаньте. Ну, впрочемъ, полагаюсь на Бога и на васъ. А каково будетъ мнѣ ждать нѣсколько дней!.. (Погоди, — новыя бѣды, читай писанное къ Natalie).

Къ Natalie.

Поздно вечеромъ. Natalie, мое положеніе ужасно, все казалось было готово, губернаторъ подписалъ, вдругъ отъ священника рѣшительный отказъ; нѣтъ доказательства о моемъ совершеннолѣтіи.

Нѣтъ, довольно страдавій, не могу больше, вся моя чугунная твердость раздробилась, я гибну безъ тебя, гибну, гибну. Ты говорила мнѣ: «Спаси меня». теперь я тебѣ и Богу говорю: «Спасите меня»... Grâce, grâce. Я уже одной ногой былъ въ повозкѣ, чтобы съкакать въ Москву, но tant va la ciguë à l'eau qu'à la fin elle s'y casse... слишкомъ часто.

Фу, какая буря мятется въ душѣ, и какъ больно, больно... Я схватилъ бутылку вина и выпилъ ее заразъ, этого я давно не дѣлалъ. А, вѣдь, я счастливъ, очень счастливъ, меня любить она, она святая недосягаемая, что же было бы, ежели-бъ она не любила, ха-ха-ха... Будто Natalie могла жить, не любивши меня, это ponsens, это нелѣпость. Но кончите же, Бога ради, Бога ради, кончите. Пріѣзжай на авось, авось либо сладимъ. Странно, безумно, — ну, слушай, ежели не сладимъ, ты, мой ангель, тверда... есть средство, данное Богомъ людямъ, которымъ скучно по небу, — acidum hydrocyanicum, выпьемъ виѣсть... ты слабже, ты выпьешь меньше, и тогда въ одинъ мигъ — къ Богу Отцу.

Суббота, вечеръ. Бога ради, свидѣтельство отъ того священника, который крестилъ, и съ Богомъ тогда во Владимірѣ. Все готово... Ангель мой!

Москва. Мая 1-е, воскресенье.

Женихъ! Нѣсколько шаговъ странствованія въ чужбинѣ... и родина, и докъ нашъ, и мы виѣсть! Страшное, ужасное время. Врата нашего святого, великаго божественнаго *тогда* отворяются, мы должны *достойно* вступить въ него. Еще чистая безукоризненная благодарность людямъ за то, что они оттолкнули меня, дали свободу приготовиться. Я чувствую близость, — Господи благослови!

Твое письмо поразило меня, взволновало ужасно, заставило страдать, отняло покой... Александръ, письмо, а каково то чувство, которое писало его? Я не прощаю тебѣ этой любви! Ангелъ мой, смотри на твою Наташу — тихое, спокойное блаженство, молитва и ожиданіе. Я высоко, высоко надъ вѣмъ, и вижу одни лишь слова въ небѣ, въ душѣ, слова, начертанныя Имъ: «Будешь скоро съ нимъ». Какъ мы должны быть святы, чисты, близки съ Нимъ, стоя такъ близко нашего тогда,—а твоя тоска не шагъ ли назадъ? Но миръ съ тобою—руку. Обними же еще достойно твою невѣсту, и не *раскаивайся*, что обнялъ. Ахъ, Александръ, я не могла постигнуть тебя, читая и...

2-е утро.—Вчера Пр. Андр. прервала. Нынче въ 7 часовъ утра я получила и письмо твое, и *вѣсть*. Александръ,—я ничего не понимаю, ты близко, близко, только это понимаю.

Вечеръ.—Вотъ и мой чередъ пришелъ молчать, ни словами, ни перомъ не могу говорить, все только и твердится: скоро! скоро! *Скоро*, мой Александръ!... Я ничего не знаю, что дѣлается у нашихъ, и не понимаю, когда толкуютъ мнѣ. Пап[енька] сердится, Emilie хлопочетъ о твоихъ нарядахъ, друзья о свидѣтельствѣ, я... я,—ты знаешь, что я!

Ахъ, тяжело—Боже! Александръ... Ну, право, ангелъ мой, не хочется писать, лучше я буду *говорить* съ тобою.

О, мой Александръ!—А обручальные кольца?

3-е мая, вторникъ.—Что-то ты, мой ангелъ? Я спокойно смотрѣла на волнующуюся и бушующую толпу, спокойно смотрѣла, какъ по этимъ грязнымъ и отвратительнымъ волнамъ плыль мой челнъ и приближался къ берегу святому; не страшень былъ мнѣ ревъ и пѣна этого моря нечистоты, не страшно было, когда оно вздымало меня на грязныхъ волнахъ и, всасывая въ себя, грозило поглотить вовсе,—передо мною сіялъ и свѣтилъ берегъ, съ него слышался голосъ призывной, родной, голосъ неземной, съ него вѣяло благодатью, блаженствомъ, на немъ видѣлся ты. Я не видала ни угрозъ моря, ни его гнѣва, я видѣла только тебя, видѣла Его руку, ведущую къ тебѣ, и плыла, плыла смѣло... Твое письмо впервые наложило тоску на душу, втѣснило грусть въ сердце и горемъ потопило грудь... Что ты? Покоенъ ли? О, ради Господа! Александръ, да какое же больше тебѣ утѣшенье—*мы скоро соединены?*—Я вижу это, чувствую, и одна молитва въ душѣ, одинъ свѣтъ, о, ты-то будь также покоенъ! Ангелъ мой, не хочу говорить, прощай, цѣлую тебя! Не хочу, не могу писать объ обстоятельствахъ, здѣсь вздорны и глупы, а наши вѣрно сами пишутъ тебѣ подробно. Ну, Господь съ тобою, вотъ еще благословеніе мое тебѣ.—Мнѣ хотѣлось ужасно видѣть Матвѣя, но это невозможно было. Я писала Emilie отдать ему бумагу и портретъ,—не знаю ничего, что у нихъ дѣлается.

4 мая.—Письма передъ соединеніемъ блѣднѣютъ, какъ звѣзды въ солнцѣ. Скоро! скоро!

Твой теперешній планъ лучше: уѣхавъ изъ дому, тотчасъ въ путь, пріѣхавъ во Владиміръ тотчасъ въ храмъ Божій. Но, можетъ, вѣсть объ освобожденіи измѣнила все? Еще поцѣлуй.

Ночь на первое мая [Владиміръ].

Итакъ, ужасный, огромный шагъ совершился! Матвѣй скачетъ теперь, и черезъ сутки все начнетъ дѣйствовать. О, если-бъ ты меня могла видѣть теперь! Дивная, святая—да, тогда бы ты узнала не любовь мою, ее ты знаешь, а бѣ-

шенство моего характера. Я страшень теперь, я на шагъ отъ всякаго злодѣйства,—и болеть, болеть тѣломъ, дрожу отъ холода, а въ головѣ жаръ, огонь.

Повторю въ послѣдній разъ мою первую фразу: Голубь привязавъ къ ракетѣ,—но ты не боялась и тогда.

Измученный мечтами, страхомъ, бросаюсь я на постель, на минуту засыпаю и просыпаюсь въ ужасѣ, въ оцѣпенѣніи. Ну, если ты прійдешь и найдуть препятствія. Горе, горе мнѣ тогда.

Великій Боже, вотъ моя жизнь, возьми ее, вотъ мое тѣло, пусть оно сломится подъ крестомъ, — но да не падеть пылинка на нее! Прощай, лягу; ежели это долго еще продолжится, не знаю, что будетъ со мною. Ангель, Наташа, ангель Наташа!

1-е мая. Поздно. — Ну, поздравь меня, я вылечился, разумѣется, чѣмъ—письмомъ твоимъ. Съ каждой строкой воскресала душа, и оправилась, и отряхнулась при послѣднихъ строкахъ, и возлетѣла къ небу. Итакъ, ты, ангель, теперь видишь сама, что ты выше меня. Однако, скажу откровенно, мнѣ больно было читать: «Я буду бояться приблизиться къ тебѣ». Наташа, у тебя есть еще за Александромъ небо, я всю жизнь перенесъ въ тебя, я безъ боязни иду въ вѣчную муку, лишь бы ты была моя. Я-ль виноватъ, что въ моихъ жилахъ льется огонь. Пусть Матвѣй тебѣ скажетъ, что было со мною, когда священникъ отказался. Ты въ своей тюрьмѣ ждешь окончанія, а мы придвигаемъ его, оттого ты и можешь быть покойна, а тутъ цѣлой день борьба съ людьми. переговоры, и мечты почернѣютъ, и сонъ ночью бѣжить отъ глазъ, и грудь болитъ физически.

Священникъ сказалъ: итакъ, въ пятницу въ 7 утра,—а теперь воскресенье. Не могу объять этой близкой мечты, вѣтъ, она не по груди моей. — Ну, спи съ Богомъ. Матвѣй теперь дѣйствуетъ. Ты хвалишь друзей, да что же толку, что они дѣйствуютъ, дѣйствуютъ и все не такъ, какъ слѣдуетъ, свидѣтельство и деньги, только и было нужно.

3 мая. — Смутно. Я смотрю на все глазами человѣка, котораго разбудили. Сегодня вторникъ—еще страшнѣе, есть слухъ, будто насъ простили, это было бы не вовсе умѣстно. — Еще разъ возвращаюсь къ тому, что ты испугалась бѣшеннаго языка моего. Зачѣмъ же не вѣрила ты, когда я тебѣ говорилъ, что ты мнѣ много придала своего, идеальнаго, зачѣмъ не вѣрила ты въ kloкочущую грудь, въ мои необузданныя страсти? Душа моя, какъ порохъ, попала искра, и она разорветъ все, что около.

Я нашелъ тебѣ домъ, гдѣ ты можешь провести нѣсколько часовъ, или даже день до вѣнчанья, и гдѣ тебя не найдутъ, ежели бы послали эстафету. — Получилъ отъ Астрак. письмо,—и въ самомъ дѣлѣ, они все дѣлаютъ, а я, вмѣсто благодарности, бранюсь.—Главное необъятно. Почти невозможно, чтобъ май прошелъ, не приведя соединенія. — О, время Вятской жизни, потускло ты, ты заплачено 3 мартомъ, а 17 апрѣля и 18 были началомъ новаго фазиса жизни. Промежутокъ—молитва. Одинъ человѣкъ здѣсь и есть, которой отчасти близокъ душѣ, это мой шаферъ Богдановъ. Помощники есть, но... но ничего про нихъ не скажу. Тебѣ хочется знать второй подарокъ,—пріѣзжай, увидишь.

4 мая, среда. —Можетъ нынче! Ужъ довольно того, что есть возможность думать, что можетъ. Мое опьяненіе продолжается, не могу ясно и чисто связать двѣ мысли. Ты очень хорошо выразилась, сказавши: «какъ приговоренная къ смерти»,—да, я думаю, физически душа точно въ томъ положеніи. Но не брани же

меня, *смирись* и ты въ свою очередь; ежели Богъ тебѣ далъ вѣры больше, то все любовь равна; съ разницею лазореваго цвѣта и пурпуроваго, оба они хороши въ радугѣ Господней, — зачѣмъ же ты меня бранишь за любовь къ тебѣ. О, она необъятна моя любовь, и точно: обыкновенной женщинѣ должно бѣжать такой любви; а ты — созданная для меня, умѣвшая въ себѣ сосредоточить всѣ лучи моей экспансивной души. Наташа, будто это возможно: черезъ недѣлю, а можетъ, черезъ день... О! — когда мы останемся одни, тогда бросимся на колѣна и поблагодаримъ Бога. Душа моя, а какъ неприятно вести переговоры съ поамя... Фу! — Зато у архіерея я былъ хорошъ, я не просилъ, я далъ волю языку, и пламенно, бѣшено требовалъ, онъ обѣщалъ *не* пренятствовать и прибавилъ: «Вотъ огонь-то, и сызка и тюрьма не вылечила его». Да, я требую тебя, какъ своей собственности. А все не могу послѣдовательно писать.

Квартира по необходимости осталась та же. Возлѣ почты бубенчики и колокольчики всегда волновали меня, а теперь всякой разъ кровь бросается въ голову.

Среда, четвертый часъ передъ обѣдомъ. — Послушай, другъ мой, что со мною было сейчасъ. Сажу у стола и ничего не дѣлаю (я читать не могу). Безпрерывно мчатся дорожные. Вдругъ ѣдетъ колясочка въ четыре лошади, когда я взглянулъ, она остановилась у самыхъ моихъ оконъ, кто сидитъ — не видно, и только часть дамскаго плаща. — Первое движеніе мое было броситься внизъ, но я не могъ, холодъ пробѣжалъ по всему тѣлу, до сихъ поръ сердце бьется, и руки дрожать. Кто-то эта дама, ей, чай, и во снѣ не грезилось взволновать меня при бытіемъ во Владиміръ.

Мая, 5-е, четвергъ. 11 часовъ утра [Владиміръ].

Обо мнѣ, какъ о больномъ, надобно писать каждые два-три часа бюллетени. То улыбка, то слеза, то потъ холодной и ужасъ, то надежда, вѣра, то сомнѣніе винтитъ душу.

6-е, пятница. — Вчера маленькая записочка отъ тебя; кажется, я спокойнѣе сегодня. Но зачѣмъ же ты въ запискѣ не пишешь, ѣдешь или нѣтъ теперь, впередъ ли посылается Матвѣй, или нѣтъ. Твоя вѣра велика, Наташа, но взгляни же теперь на всю необъятность моей любви, и опять повторяю: не брани. Было время, ты съ скорбью, съ отчаяніемъ писала ко мнѣ, когда я сидѣлъ въ Крутицахъ, и я былъ покоенъ, я утѣшалъ тебя. Вспомни, что и въ Вятской жизни я умѣлъ переносить отказы и «мытарства», что вырвется грустной звукъ и покроется свѣтлой пѣснью любви. Минуты черныя происходили отъ угрызеній, — это дѣло другое. Я знаю, что я твердъ, что могу много вынести, но мое настоящее положеніе раскрыло разомъ и всѣ надежды и всѣ раны, кровь струится отовсюду, и благословеніе Бога тускнѣетъ мѣстами отъ проклятія толпы. Счастливая — ты не знаешь всего, что могутъ сдѣлать противъ насъ, ангелъ, ты не можешь постигнуть всѣхъ гнусностей людскихъ. А я, выпившій до дна чашу жизни, жившій 3 года съ толпою, въ толпѣ, — я знаю. Толпа, имѣвшая силу распять Христа, продать его — сильна! А мы сильны любовью, смѣлостью, но зато слабы матеріально. Вотъ тебѣ доказательства. Полтора мѣсяца неуслынныхъ трудовъ, всякаго рода пожертвованій едва учредили положительную возможность вѣнчаться и вся эта возможность рухнетъ, ежели успѣютъ предупредить архіерея. Конечно, есть тѣнь вѣроятія, что я склоню его на свою сторону,

но вѣрно ли это? Малѣйшая злонамѣренность можетъ все остановить, но, однако, тутъ я испыталъ, какую власть имѣеть человѣкъ не изъ толпы надъ людьми. Когда я расскажу подробности, ты увидишь, могъ ли бы другой такъ склонить. Оно страшнѣе теперь потому, что ближе, но я спокойнѣе, теперь остается двадцать дней.—У меня одна молитва, лишь бы все оборвалось на моей головѣ, и это не для тебя я желаю, а для себя: мнѣ легко страдать и думать, что страдаю за Наташу, но пылинка на тебя, и я руками готовъ изорвать свою грудь, и черная волна отчаянія захлестнетъ душу.

Деньги изъ Вятки еще получилъ, покажѣть довольно. Ну, прощай, писать неловко, пора *говорить*. Милой; милой ангелъ, моя дѣва, моя обѣтованная.

О, Наташа, какъ ты счастлива: быть такъ любимой, знать это. Нѣтъ, съ гордостью говорю, — тебя жалѣть *ненадобно*,

Москва, мая 6-е, пятница.

Можетъ быть, этотъ листокъ заключенье нашей жизни *въ письмахъ*.— О!—Можетъ быть, ты будешь читать эти строки тогда, какъ я буду ближе къ Владимиру, нежели къ Москвѣ. Все это такъ сильно волнуетъ душу, такъ полна она, что восторгъ льется черезъ край.

Что-то ты? Александръ, не только рассказать, я сама не могу понять, что со мною, что я. Ежели бы *ожиданіе близкаго* такого блаженства продолжилось еще долго,—я умерла бы. Давеча рано утромъ я узнала, что свидѣтельство готово.—О, нѣтъ, нѣтъ словъ, мой ангелъ, рассказать, я не могу говорить. Я знаю одно—*скоро съ тобою*—вотъ и все.—Александръ, Александръ, Александръ.— Не знаю, что *Матвѣй*, что все,—какъ ты думаешь, безпечность это? Хладнокровіе? Мнѣ говорятъ, пишуть, все это стирается въ одинъ мигъ мыслью: *скоро къ нему!*

Мы или съ ума сойдемъ, или умремъ, нѣтъ, въ тѣлѣ человѣку невыносимо такое блаженство.—Александръ, Александръ, вѣдь, я твоя Наташа, твоя, твоя! Александръ—и больше ничего.

7-е, *суббота*.—Вчера Emilie писала, что ты самъ будешь,—но, можетъ, что-нибудь тебя остановить, то я и посылаю этотъ листокъ, чтобъ ты, мой ангелъ, не безпокоился обо мнѣ.—О! Господи!

—3 к о н е ц ъ . —

Примѣчанія.

Стр. 1. А. И. Герцень и Нат. Ал. Захарына были незаконныя дѣти двухъ родныхъ братьевъ Александра Алексѣев. (старшаго) и Ивана Ал. (младшаго) Яковлевыхъ. Одинъ изъ сыновей старшаго Яковлева Алексѣй Александровичъ кончилъ курсъ въ уни-вѣ, былъ ученымъ химикомъ и велъ отшельническую жизнь. Онъ незадолго до смерти былъ узаконенъ отцомъ. Наталья Алдр. послѣ смерти отца 7-лѣтней дѣвочкой была взята ея теткой кн. Маріей Алексѣев. Хованской, у которой и жила съ любимицей-компаньонкой княгини Марьей Степановной Макашиной, дочерью звенгородскаго чиновника Алдръ Ив. Герцень былъ незаконнымъ, но любимымъ сыномъ Ив. А. Яковлева. въ домѣ кот. жила и его мать Луиза Ив. Гаагъ. Еще въ дѣтствѣ онъ подружился съ Н. П. Огаревымъ, а по окончаніи моск. уни-вѣ оба они, за одну студенческ. исторію были арестованы. Герцень просидѣлъ съ іюля 1834 г. по 10 апр. 1835 г. въ Крутицкихъ казармахъ и 10 апр. 1835 г. былъ сосланъ въ Пермь, но по прибытіи туда въ маѣ 1835 г., былъ переведенъ въ Вятку.

— Эмилиа Михайловна Аксбергъ, молодая дѣвушка, которая, окончивъ институтъ, была русской гувернанткой, взятой кн. М. А. Хованской для Натальи Александровны. Съ 1835 г., когда княгиня сочла образованіе Нат. Ал. законченнымъ, Э. М. Аксбергъ не жила болѣе въ домѣ княгини, но между нею и ея бывшей ученицей осталась прочная дружеская связь и Аксбергъ часто бывала въ домѣ княгини, раздѣляя радости и печали Нат. Александровны. Въ перепискѣ она часто обозначается именемъ Emilie или однимъ инициаломъ Е.

— «Уранія» — такъ назывался альманахъ, изданный извѣстнымъ историкомъ М. П. Погодинымъ (М., 1826). Въ немъ была помѣщена и повѣсть самого издателя «Нищій».

Стр. 2. Татьяна Петровна, о которой здѣсь упоминается, Т. П. Пасекъ, писательница (1810—1889). Герцень называлъ ее «корчевской кузиной» и «Темирой». Была замужемъ за Вадимомъ Вас. Пасекомъ. Дѣтство проводила въ домѣ отца Герцена и подружилась съ послѣднимъ. Основала и издавала (1880—1887) дѣтскій журналъ «Игучечка». Ея главный трудъ мемуары «Изъ дальнихъ лѣтъ» (3 т., Сиб., 1879—1889), гдѣ сообщено много подробностей о жизни Герцена.

— Герцень кончилъ курсъ по физико-математическому факультету московскаго университета со степенью кандидата, въ іюнѣ 1833 г., получилъ серебряную медаль за диссертацию по астрономіи.

Стр. 3. Юношеская статья Герцена о Воробьевыхъ горахъ не была нигдѣ напечатана и, повидимому, затерялась.

Стр. 5. Сильвіо Пеллико (1789—1854), итальянскій поэтъ. По подозрѣнію въ революціонныхъ стремленіяхъ былъ арестованъ австрійскими властями и приговоренъ къ смертной казни, которая была замѣнена одиночнымъ заточеніемъ въ крѣпости Шпильбергъ, гдѣ Пеллико пробылъ 10 лѣтъ (1820—1830). Наиболѣе популярное сочиненіе «Мои темницы» было нѣсколько разъ переведено на русскій языкъ (1836, 1894 и 1896). Другое его сочиненіе «Объ обязанностяхъ челоуѣка» также не разъ переводилось по русски (1855, 1837 и 1892).

— Марончелли. Итальянскій патріотъ, арестованный австрійскими властями въ 1820 г. и товарищъ Сильвіо Пеллико по тюремному заключенію.

— Десять писемъ 1834 г., стр. 4, до письма изъ Ниж.-Новгорода, стр. 12, были писаны изъ Крутицкихъ казармъ, гдѣ въ то время находился подъ арестомъ Герцень.

Стр. 7. Сатинъ, Николай Михайловичъ (1814—1873), поэтъ, переводчикъ Шекспира («Бури» и «Сна въ лѣтнюю ночь»). Какъ другъ Герцена и Огарева,

онъ былъ арестованъ одновременно съ ними и въ 1835 г. былъ сосланъ въ Симбирскую губ., а въ 1837 г., по болѣзни, былъ переведенъ на Кавказъ. Помѣшалъ свои стихи въ «Отеч. Зап.» и «Современникѣ» 1840-хъ годовъ.

Стр. 9. Статья, о которой говоритъ здѣсь Герценъ (въ концѣ своего письма отъ 21 февраля) — это его «Легенда о св. Теодорѣ», напечатанная въ I томѣ (стр. 1 — 23) настоящаго изданія. Объ этой «Легендѣ» упоминается не разъ и въ дальнѣйшей перепискѣ.

Стр. 14. Егоръ Ивановичъ, старшій братъ Герцена. Черезъ него вела переписку съ Герценомъ Нат. Александровна. Въ послѣдующихъ письмахъ Нат. Ал. часто обозначаетъ его сокращенно: Ег. Ив. и Е. И.

Стр. 15. Поклонъ «Петру», т. е., камердинеру Герцена Петру Оедоровичу, похавшему вмѣстѣ съ нимъ въ ссылку.

— «Маменькой» здѣсь какъ и вообще въ перепискѣ Нат. Ал. называется мать Герцена — Луизу Ивановну Гаагъ.

Стр. 18. «Стражъ мой» — подразумѣвается компаньонка кн. М. А. Хованской, М. С. Макашина.

— «Сашенькой поновной» Нат. Ал. называетъ Александру Григорьевну Клиентову (переписка съ которой Н. А. напечатана въ «Русской Старинѣ» 1892 г., № 3). А. Г. Клиентова была дочь приходскаго священника церкви Воскресенія Словущихъ на Малой Бронной улицѣ въ Москвѣ. Ей было въ то время всего 14 лѣтъ и на нее имѣла громадное вліяніе Нат. Ал.

Стр. 19. «Папенькой» здѣсь, какъ и въ слѣдующихъ письмахъ, Нат. Ал. называетъ отца Герцена И. А. Яковлева.

Стр. 20. Буквою О. обозначенъ Ник. Платон. Огаревъ (и въ послѣдующихъ письмахъ также).

Стр. 22. «Германскій путешественникъ» — это статья Герцена, которая подъ заглавіемъ «Первая встрѣча» напечатана въ I томѣ настоящаго изданія (стр. 25—37).

Стр. 23. «...Твоя должность трудна». По прибытіи въ Вятку Герценъ назначенъ былъ на службу чиновникомъ въ канцелярію мѣстнаго губернатора К. Я. Тюфяева. Подробности объ этой службѣ онъ рассказываетъ въ своемъ «Былое и Думы» (см. II томъ настоящаго изданія).

— «Первый разъ могу это сдѣлать и сдѣлаю» — подразумѣвается: могу писать и пишу. Герценъ былъ предупре-

жденъ, что кн. М. А. Хованская запретила Нат. Ал. переписываться съ нѣмъ.

Стр. 24. Левъ Алексѣевичъ — родной братъ отца Герцена И. А. Яковлева. (Герценъ въ своемъ «Быломъ и Думахъ» называетъ его «Сенаторомъ»). Сережа — его сынъ, Сергѣй Львовичъ Левицкій. Левъ Алексѣевичъ Яковлевъ въ послѣдующихъ письмахъ Нат. Ал. часто обозначается одними инициалами Л. А.

Стр. 26. «Я когда-то любилъ, а теперь не люблю». Здѣсь Герценъ говоритъ о своей юношеской привязанности къ одной московской знакомой Л. В. П. которую въ своемъ «Быломъ и Думахъ» называетъ Гастаной (см. въ настоящемъ изданіи, т. II, стр. 251—253).

Стр. 27. Здѣсь «маменькой» Нат. Ал. называетъ кн. М. А. Хованскую.

Стр. 28. «Два года тому назадъ этотъ день», т. е., день именинъ Нат. Ал. 21 августа.

— Подъ Людмилой здѣсь подразумѣвается Людмила Васильевна Пассекъ, сестра мужа Нат. Петр. Пассекъ, Вадима Вас. Пассека.

Стр. 29. «Москва, сентябрь 7» — эта дата, повидному, неправильная, такъ какъ пѣзъ дальнѣйшихъ писемъ (отъ 8 и 18 сентября) видно, что Н. А. Захарина въ это время была не въ Москвѣ, а въ Загорѣ.

Стр. 30. Встрѣча Герцена въ Пермѣ съ сѣльнымъ полякомъ Цихановичемъ описана имъ въ его разсказѣ «Вторая встрѣча» (см. т. I, стр. 37—43 въ настоящемъ изданіи).

— Саша — А. Г. Клиентова.

Стр. 32. Н., котораго любитъ гувернантка Нат. Ал., Эмилія Михайловна Аксбергъ, означаетъ поэта Ник. Мих. Сатина (въ дальнѣйшихъ письмахъ онъ обозначенъ также буквою С.).

— «Саша Боборыкина» — Алексавра Александровна Боборыкина дочь помѣщика, близкая подруга Нат. Ал. Она была несколько старше семнадцатилѣтней Н. А.; вездѣ, на послѣдующихъ страницахъ, подъ «Сашей Б.» слѣдуетъ разумѣть А. А. Боборыкину.

Стр. 35. «...Съ тѣхъ поръ, какъ былъ у тебя», т. е., въ Крутицкихъ казармахъ, на прошалномъ свиданіи передъ отбѣдомъ Герцена въ ссылку.

Стр. 36. «Сережа» — сынъ Л. А. Яковлева, впоследствии известный фотографъ Серг. Льв. Левицкій.

— М. С. здѣсь, какъ и въ послѣдующихъ письмахъ, эти инициалы обо-

значают экономку кн. М. А. Хованской, Марью Степ. Макашину, означаемую въ послѣдующей перепискѣ также: Мар. Ст. и Мак.

Стр. 37. Маленькій романъ «съ премиленькой дамой»—это любовный эпизодъ изъ вятской жизни Герцена, его отношенія къ Праск. Петр. Медвѣдовой, мужъ которой былъ больной старикъ-чиновникъ. Объ этомъ эпизодѣ часто упоминается въ послѣдующихъ письмахъ.

— Эрнъ—Гавриилъ Каспаровичъ, молодой чиновникъ у вятскаго губернатора.

Стр. 39. «Les Croisades»—извѣстный и въ свое время имѣвшій большой успѣхъ рыцарскій романъ изъ эпохи крестовыхъ походовъ. Малекъ Адель и Матильда—герой и героиня этого романа.

Стр. 41. «...Съ моей ракетой». Герценъ называлъ себя ракетой, а Нат. Ал. голубемъ.

— «Вѣсть отъ него»—отъ Н. П. Огарева.

Стр. 48. «Это та дама, о которой я какъ-то разъ тебѣ писалъ», т. е., Праск. Петр. Медвѣдова (въ «Быломъ и Думамъ» она обозначается буквою Р.).

Стр. 44. Поздравленіе Нат. Ал. относится къ дню именинъ Герцена (23 ноября).

Стр. 47. Князь Сергѣй Оболенскій, преаде неудачно сватавшійся за Нат. Ал. (см. стр. 8), впоследствии женился на А. А. Бочкаревой.

Стр. 48. Костенька—Наталья Константиновна,—няня въ домѣ кн. Хованской.

Стр. 49. Алекс. Сер.—должно быть Бирюковъ, Александръ Сергѣевичъ, о которомъ упоминается и въ нижеслѣдующей перепискѣ.

Стр. 53. Княж. Анна Бор.—княжна Анна Борисовна Мещерская.

Стр. 54. «Происшествіе, бывшее съ тобой»—объясненіе въ любви Егора Ивановича.

— 6 января 1834 г. у Насакиныхъ былъ вечеръ, о которомъ здѣсь вспоминаетъ Нат. Алекс. Насакины были родственники кн. М. А. Хованской, такъ какъ ея младшая дочь Екатерина Осодорвна была замужемъ за Насакинымъ.

Стр. 57. Здѣсь подъ «папенькой» Н. А. подразумѣвается своего отца, Александра Алексѣевича Яковлева, тогда какъ въ послѣдующихъ письмахъ

«папенькой» зоветъ обычно отца Герцена—Ив. Ал. Яковлева.

Стр. 58. «Вятскими» Н. А. называетъ Прасковью Андреевну Эрнъ и сына ея Гавр. Каспар. Эрна, прѣхавшихъ изъ Вятки въ Москву.

— «На кладбищѣ я съ тобой разстался въ послѣдній разъ». Въ день своего ареста, 20 іюля 1834 г., Герценъ гулялъ съ Н. А. по Ваганьковскому кладбищу.

— Карлъ Ив. Зоненбергъ былъ сперва гувернеромъ Н. П. Огарева, затѣмъ, живя у Н. А. Яковлева, занимался разными коммерческими предпріятіями и, когда разъ ѣздилъ на ирбитскую ярмарку, то Яковлевъ поручилъ ему устроить въ Вяткѣ домъ и хозяйство Герцена.

Стр. 61. Полина Тромпетеръ (въ перепискѣ почти всегда обозначаемая именемъ Полины) вятская барышня, съ которою былъ друженъ Герценъ. Она впоследствии вышла замужъ за вятскаго пріятеля Герцена Скворцова.

Стр. 62. «Я видѣла твой портретъ». Здѣсь Н. А. говоритъ о первомъ изъ извѣстныхъ портретовъ Герцена, рисованномъ въ Вяткѣ А. Л. Витбергомъ и находящемся нынѣ у старшаго сына Герцена, профессора лозаннскаго университета Ал. Ал. Герцена.

— Полинами (Прасковьями) звали Медвѣдеву и Тромпетеръ.

Стр. 63. «Медъ»—Прасковья Петровна Медвѣдова. (См. объ ней примѣчаніе къ стр. 37).

Стр. 67. Прѣхавшій въ Москву изъ Петербурга Ивановъ былъ однимъ изъ тѣхъ жениховъ, за которыхъ кн. М. А. Хованская старалась выдать замужъ Н. А.

— Подъ сестрой Орлова подразумѣвается сестра генерала М. О. Орлова, одного изъ основателей «Союза Благодѣнствія», ѣздившаго въ домъ Яковлева.

Стр. 72. «О. женится». Н. П. Огаревъ дѣйствительно женился въ 1836 г. на М. Д. Рославлевой.

Стр. 75. Буквами N. S. обозначенъ Н. М. Сатинъ.

Стр. 77. Подъ «Встрѣчей» подразумѣвается разсказъ Герцена «Вторая встрѣча», переписанный имъ въ Вяткѣ 10-го марта 1836 г., т. е., за 2 недѣли до настоящаго письма.

Стр. 78. Подъ «Василіемъ Васильевичемъ» подразумѣвается или В. В. Пассекъ, или В. В. Боголѣповъ, заочный учитель Герцена, очень любившій своего ученика.

Стр. 80. «Сегодня десятое апрѣля», т. е. годовщина прощальнаго свиданія Герцена, передъ его отправленіемъ въ ссылку, съ Нат. Ал.

Стр. 82. Madame Matthey — бывшая гувернантка дочерей кн. М. А. Хованской, у нея училась Н. А., по желанью Герцена, нѣмецкому языку.

Стр. 86. «Машенька Эрнъ» — Марья Каспаровна Эрнъ, пріѣхавшая въ Москву вмѣстѣ съ матерью изъ Вятки, сестра вятскаго пріятеля Герцена — Гавр. Касп. Эрнъ.

Стр. 89. Madame Ma — мадамъ Matthey, о которой говорилось ранѣе (на 82 стр.).

Стр. 91. Генрихъ Герцъ (1806—1888), знаменитый въ свое время пианистъ и композиторъ, написавшій до 200 музыкальных пьесъ, большею частью для фортепiano.

Стр. 94. «Братъ Петруша» — родной братъ Н. А., Петръ Александр. Захаринъ. — «Алек. Алек.» — другой ея братъ — (старшій), котораго Герценъ въ своемъ «Быломъ и Думахъ» выводитъ подъ именемъ «Химика». — «Сестра Катя» — сестра Н. А., вышедшая впоследствии замужъ за профессора исторіи русской литературы въ кievскомъ университетѣ, Александра Ив. Селина (1816—1877).

Стр. 104. Статьи «Юность и мечты», о которыхъ говорить здѣсь Герценъ, повидимому, тѣ его рассказы автобиографическаго характера, которые впоследствии были напечатаны въ «Отеч. Запискахъ» 1840—41 гг. подъ заглавіемъ «Записки одного молодого человѣка» и вошли въ I томъ настоящаго изданія (стр. 47—97).

Стр. 106. «Бочк.» — Александра Андреевна Бочкарева, которая вскорѣ вышла замужъ за кн. Сергѣя Оболенскаго, прежняго жениха Н. А.

Стр. 108. *Искандеръ* (персидская форма имени Александръ) — извѣстный псевдонимъ, которымъ Герценъ неоднократно подписывалъ свои статьи и впоследствии въ Россіи и за границей, въ 40-хъ, 50-хъ и 60-хъ годахъ.

— Именины Н. А. приходились 26 августа, но ея надежда увидѣться тогда съ Герценомъ не сбылась.

Стр. 112. — 20 июля 1835 г. (а не 19, какъ значится въ «Быломъ и Думахъ») Герценъ и Н. А. были на скачкахъ на Ходынскомъ полѣ, а въ слѣдующую ночь Герценъ былъ арестованъ.

— О судьбѣ статьи Герцена «Мысль

и отврѣненіе», о которой онъ здѣсь говоритъ, нѣтъ свѣдѣній. Можетъ быть, она вошла въ какой-нибудь изъ послѣдующихъ его трудовъ.

Стр. 115. «Огарева тамъ (въ Москвѣ) нѣтъ». Н. П. Огаревъ находился въ ссылкѣ въ Пензенской губ., въ пмѣніи своего отца, и въѣздъ оттуда былъ ему запрещенъ.

Стр. 118. «Дочь священника», о которой здѣсь говорить Н. А. — Александра Григ. Клиентова (по мужу Лаврова).

Стр. 119. Статья «Гоффманъ» была первымъ оригинальнымъ произведеніемъ Герцена, обратившимъ на себя вниманіе и впервые была подписана ставшимъ впоследствии столь знаменитымъ псевдонимомъ *Искандера*. Ранѣе этой статьи въ печати Герценъ выступалъ только переводной статьѣй.

Стр. 120. Воробьевъ — докторъ, всегда лечившій кн. Хованскую и состоявшій у нея на годовомъ жалованьи.

Стр. 124. Мужъ Маріи Степ. Макашиной былъ чиновникомъ въ Звенигородѣ, городѣ, разоренномъ французами въ 1812 г.

Стр. 126. Приведенныя здѣсь даты: 20 июля 1834 — день ареста Герцена, 21 июля 1834 (а не 22, какъ рассказано по памяти въ «Быломъ и Думахъ») день, когда Н. А. узнала объ этомъ арестѣ, и 9 апрѣля 1835 г., когда происходило прощальное свиданіе въ Крутицкихъ казармахъ. Въ январѣ же 1836 г. Н. А. получила отъ Герцена письмо, гдѣ онъ впервые говорилъ о своей любви къ ней.

Стр. 127. Октавій Тобіевичъ Водо. чиновникъ, сослуживецъ Егора Ивановича.

— Саша — любимая горничная, или вѣрнѣе, другъ Н. А., племянница няни «Костеньки». Объ этой Сашѣ (вышедшей вскорѣ замужъ и умершей затѣмъ отъ чахотки) съ теплымъ чувствомъ вспоминаетъ Герценъ въ «Быломъ и Думахъ» (см. въ настоящемъ изданіи, т. II, стр. 246—248).

Стр. 138. Повѣсть, планъ которой здѣсь излагаетъ Герценъ, не была имъ написана.

— Красное или Красниково — прежнее имѣніе кн. М. А. Хованской, продавъ которое, она купила Загорье.

Стр. 144. «Мнѣ хочется вышить тебѣ ермолку». Въ тѣ времена (30-е года XIX в.) многие носили ермолки (фески) и Герценъ, сидя подъ арестомъ въ Крутицкихъ казармахъ, носилъ красную ермолку.

Стр. 144. О «начатой повѣсти» Герцена, имѣ не написанной, см. выше (стр. 138 и прим. къ этой стр.).

Стр. 146. «Положеніе Е. И. пренепріятное» Егоръ Ивановичъ Герценъ служилъ посредникомъ, черезъ котораго шла переписка Н. А. и Герцена.

Стр. 147. Макаровъ — вятскій знакомый Герцена, ѣздившій на время по дѣламъ въ Москву и который долженъ былъ привезти Герцену письма отъ Н. А.

Стр. 149. ... «она (Ш. П. Медвѣдева) должна забыть меня для дѣтей своихъ» — у Медвѣдевой было трое дѣтей: двѣ дѣвочки и мальчикъ.

— «Палатинъ» — коротенькая тальма съ длинными прямыми полками напередѣ — былъ въ модѣ въ 1830-хъ годахъ.

Стр. 155. Дьяконъ Павелъ Сергѣевичъ — Ключаревъ, онъ былъ первымъ учителемъ Нат. Алексан. по русскому языку.

Стр. 171. Разказы: «Первая встрѣча» и «Вторая встрѣча» напечатаны въ I томѣ настоящаго изданія (стр. 25—43).

Стр. 186. Тат. Иван. — Татьяна Ивановна Ключарева, мать дьякона, учившаго Нат. Алекс. русскому языку.

Стр. 187. Княжна Анна Борисовна Мещерская — воспитала всѣхъ братьевъ Яковлевыхъ.

Стр. 209 — 210. Даниэль - Франсуа-Эспри Оберъ — франц. композиторъ (1782—1871), написавшій оперы: «Фра-Дьяволо», «Нѣмая изъ Портичи», «Фенелла» и др. О впечатлѣніи, произведенномъ на нее «Фенеллой» и говорить здѣсь Нат. Александровна. Ришаръ и Оттаво — персонажи оперы Санковская — тогдашняя московская пѣвица.

Стр. 225. Повѣсть «Тимъ» осталась ненаписанной, и статья «Мысль и откровеніе». Можетъ быть, что послѣдняя статья вошла, какъ матеріалъ, въ одну изъ послѣдующихъ работъ Герцена (см. далѣе стр. 282, гдѣ указано, что Герценъ не хотѣлъ продолжать этой статьи).

Стр. 273. Войнаровский — герой поэмы того же имени К. Ф. Рылѣва. (Спб. 1825).

Стр. 296. Статья I. Maestri, вѣроятно, составляла третью часть «Записокъ одного молодого человѣка», такъ какъ здѣсь Герценъ опредѣляетъ ее, какъ «воспоминаніе изъ моей жизни», а далѣе (стр. 307) говорить, что эта статья «первый опытъ прямо разсказывать воспоминанія изъ моей жизни».

Стр. 304. Подъ «великимъ поэтомъ» здѣсь подразумѣвается В. А. Жуковскій, обратившій вниманіе на Герцена и хлопотавшій объ его возвращеніи изъ ссылки.

Стр. 356. В. к., т. е. великій князь наслѣдникъ цесаревичу (впослѣдствіи императоръ Александръ II), котораго К. И. Арсеньевъ вмѣстѣ съ В. А. Жуковскимъ сопровождалъ въ путешествіи по Россіи въ 1837 г.

Стр. 357. Арс. — Констан. Иванов. Арсеньевъ.

Стр. 359. С. (или дальше Снакс.) обозначаетъ Снаксарева, претендента на руку Наталіи Александровны.

Стр. 360. Подъ «тремя Сашами» подразумѣваются: Александра Григ. Клементова, Александра Александр. Боборыкина и горничная Саша — три близкія подруги Наталіи Александровны.

Стр. 364. «Я описалъ отдѣльными чертами все мое ребячество отъ 1812 до 1825». Здѣсь, очевидно, подразумѣвается первоначальная редакція «Записокъ одного молодого человѣка», напечатанныхъ впослѣдствіи въ «Отеч. Запискахъ» и вошедшихъ въ I т. настоящаго изданія.

Стр. 381. «Его Марія», т. е., жена Огарева (Марья Львовна).

Стр. 386. Пр. Андр. — Прасковья Андреевна Эрнъ.

Стр. 391. Подъ «Маріей» подразумѣвается здѣсь, вѣроятно, первая жена Огарева — Марія Львовна.

Стр. 407. «Рѣчь» эта сказана была Герценомъ при открытіи въ Вяткѣ публичной бібліотеки и помѣщена въ IV т. настоящаго изданія.

Стр. 421. Нѣкоторые изъ указанныхъ на этой страницѣ статей вошли, вѣроятно въ переработанномъ видѣ, въ «Записки одного молодого человѣка» (см. т. I настоящаго изданія). Статья «Германскій путешественникъ» впослѣдствіи была названа «Первой встрѣчей» (см. тамъ же).

Стр. 428. Никол. Никол. Веревкинъ (1813—1838), малоизвѣстный балетристъ 30-хъ годовъ, писавшій подъ псевдонимомъ Рахманнаго (а не Рахманова, какъ сказано у Герцена).

Стр. 465. Дим. Павл. — Д. П. Голохвастовъ — двоюродный братъ Герцена.

Стр. 467. Александръ Манцони (1785—1873), итальянскій писатель. своимъ романомъ „I promessi sposi (Обрученные)“ положившій начало итальянскому

роману. Этотъ романъ 3 раза былъ переведенъ на русскій языкъ.

Стр. 471. О начатой Герценомъ повѣсти «Его превосходительство» свѣдѣній не имѣется. Вѣроятно, повѣсть эта осталась недоконченной и затерялась.

Стр. 477. О повѣсти «Елена» свѣдѣній нѣтъ.

Стр. 479. Михаилъ (Десницкій), митрополитъ петербургскій и новгородскій (1762—1820) былъ во время Екатерины II извѣстенъ какъ проповѣдникъ и принадлежалъ къ мистическому кружку Н. И. Новикова. Написалъ рядъ сочиненій религіознаго и моральнаго содержания.

Стр. 487. Эдуардъ Ив. Губеръ (1814—1847), поэтъ; перевелъ на русскій языкъ хорошими стихами «Фауста» Гёте.

Стр. 498. К. обозначаетъ Кетчера (такъ и на слѣдующихъ страницахъ).

Стр. 512. Димитр. Павлов — Д. П. Голохвастовъ.

Стр. 530. «Читала я повѣсть Катеньку Рах.»—говорится о той повѣсти «Катенька» Рахманнаго (Н. Н. Веревкина) въ «Библи. для чтенія» 1837 г., № 12, которую ранѣе (см. стр. 423) Герценъ рекомендовалъ Нат. Алекс. прочесть.

Стр. 531. Въ повѣсти «Тамъ», о которой не имѣется свѣдѣній, въ лицѣ Елены Герценъ, какъ видно, изобразилъ П. П. Медвѣдеву. Объ этой же повѣсти говорится и далѣе (стр. 540).

Стр. 551. „Что твоя Марія?“ т. е. жена Огарева Марья Львовна.

Стр. 570. Анна Радклифъ (1764—1823), англ. писательница, романы которой, отличающіеся мрачнымъ и таинственнымъ содержаніемъ, въ свое время усердно переводились у насъ и имѣли успѣхъ.

— Астр.—Астраковы, мужъ и жена, московскіе знакомые Герцена.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ.

(Въ тѣхъ случаяхъ, когда какое-нибудь наименованіе упоминается Герценомъ нѣсколько разъ и въ одномъ изъ томовъ собранія сочиненій Герцена дано поясненіе, въ Указатель сдѣлана соответственная ссылка на это поясненіе. — Жирный шрифтъ означаетъ томъ, обыкновенный — страницу).

- Аббадона.** 3. 391; 7, 6, 257.
Абердинъ, Джорджъ, англ. министр. 3. 529.
Абиссинія. 2, 374.
Абруццы, горы. 3, 58, 238; 6, 351.
Августинъ блаженный, отецъ церкви.
V в. 1, 294; 6, 134, 266, 270.; 5, 162, 234, 389; 6, 132, 152; 7, 9.
Августовская губ. 6, 359.
Августъ, римск. императоръ. 1, 294.
Авель. 5, 358, 402.
Авентинская гора. 3, 574; 5, 444.
Авидоръ, банкиръ. 3, 129, 130, 140.
Авиньонъ. 3, 9, 12, 13, 54, 182; 5, 53, 146.
Авраамій Палицынъ. 2, 438; 6, 195.
Авраамъ, патриархъ. 1, 127; 3, 345, 425; 4, 117; 7, 376.
Аврелій, ученикъ философа Плотина. 4, 258.
Австралія. 1, 55, 178, 195, 398; 3, 223, 320, 321; 4, 147, 148; 5, 18, 55, 94, 95, 109, 315, 333, 338; 6, 313.
Австрія. 1, 87, 177; 3, 74, 77, 78, 80, 83, 121, 135, 192, 199, 231, 239, 243, 245, 248, 249, 251, 281, 282, 300, 436, 471, 483, 484, 485, 486, 489, 543, 561; 4, 151; 5, 77, 224, 265, 268, 308, 313, 314, 397; 6, 150, 181, 214, 223, 234, 236 — 239, 241, 246, 247, 255, 305, 323, 324.
Агамемнонъ, царь Микенъ. 5, 407.
Агарь, рабыня Авраама. 1, 127; 3, 425.
Агассисъ, Луи (подробнѣе: прим. къ 383 стр. II т.). 2, 383; 4, 165; 6, 129, 183.
Агриппа, Мененій. 4, 170.
Агриппина, Юлія, мать Нерона. 3, 95.
Адамъ, праотецъ. 1, 11, 12, 269; 3, 49, 99, 391; 4, 135, 275, 399; 5, 118, 229, 367, 387; 6, 136, 314.
Аддисонъ, Джозефъ. 3, 381.
Адижъ, рѣка. 6, 234.
Адлербергъ, Владим. Федор., гр. (подробнѣе: прим. къ 196 стр. IV т.). 6, 196, 205, 299.
Адрианн, мемуаристъ. 2, 407.
Адриатическое море (Адриатика). 1, 36; 3, 441; 5, 306, 309; 6, 237, 240.
Азаясъ, франц. моралистъ (подробнѣе: прим. къ 185 стр. I т.). 1, 135; 2, 450.
Азеліо, Массимо. 3, 139.
Азія. 1, 96, 446; 2, 168, 191; 3, 159; 4, 147, 203, 204, 390, 397; 5, 13, 305, 342, 408, 411; 6, 107.
Аидъ. 4, 118.
Акрополисъ въ Афинахъ. 5, 309; 7, 432.
Аксаковы (семья). 2, 329.
Аксаковъ, Ив. Серг. 5, 350; 6, 375.
Аксаковъ, Конст. Серг. 2, 334, 398, 409, 413, 421, 422, 425, 427, 479; 4, 376; 6, 47, 48, 87, 121, 135, 148, 154, 155, 159, 364.
Аксаковъ, Серг. Тимоф. 6, 342, 369.
Аксбергъ, Амалія Михайловна, сестра Эмилиі Мих. 7, 435, 442, 445.
Аксбергъ, Эмилиа Михайл. (подробнѣе: прим. къ 250 стр. II т.). 2, 249, 250, 269, 299, 301; 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 30, 32, 33, 36, 37, 39, 41, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 81, 83, 84, 86, 89, 97, 99, 100, 101, 109, 116, 118, 122, 123, 126, 128, 134, 140, 141, 147, 151, 152, 155, 156, 167, 168, 169, 170, 176, 182, 185, 189, 191, 199, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 215, 216, 217, 219, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 235, 236, 237, 242, 248, 253, 257, 258, 271, 272, 278, 284, 293, 294, 310, 312, 321, 324, 328, 336, 337, 345, 347, 351, 352, 353, 355, 360, 361, 362, 368, 376, 381, 385, 386, 398, 407, 409, 414, 417, 421, 428, 429, 430.

- 434, 435, 438, 441, 442, 444, 445, 446, 451, 453, 456, 457, 458, 459, 460, 465, 467, 469, 473, 475, 476, 477, 485, 499, 503, 504, 508, 509, 513, 517, 518, 520, 527, 530, 532, 534, 536, 538, 539, 542, 543, 545, 546, 547, 549, 551, 560, 562, 564, 566, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 575, 576, 577, 578, 580, 581, 584, 585, 588.
- Алабама. 3, 427.
- Аларихъ. 1, 9; 4, 19; 5, 355.
- Александринскій театръ въ Спб. 4, 383.
- Александрия (Искандери у арабовъ), городъ въ Египтѣ. 1, 4, 5, 6, 14, 15, 20; 3, 9, 450; 4, 255; 5, 213.
- Александръ Македонскій. 1, 64, 350, 2, 437; 3, 391; 4, 145, 178, 221, 222, 243, 264; 5, 189.
- Александръ Невскій, св. 7, 83, 88, 442.
- Александръ, камердинеръ Н. П. Голохвостова. 2, 441.
- Александръ I, императоръ. 2, 10, 11, 41, 47, 58, 63, 94, 143, 175, 181, 189, 190, 209, 212, 213, 214, 216, 230, 240, 353, 357, 400, 406; 3, 278; 4, 23, 64; 5, 13, 14, 290, 292, 294, 308, 319, 343, 405—410, 414, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 439; 6, 88, 110, 222, 306.
- Александръ II, императоръ. 2, 216, 219, 220, 221, 222, 423; 3, 486; 5, 285; 6, 169, 170, 172, 177, 189, 193, 194, 198, 199, 200, 204, 205, 208, 225, 241, 245, 255, 281, 282, 284, 295, 309, 324.
- Алексѣевскій равелинъ (въ Петропавловской крѣпости). 3, 486, 489; 6, 324.
- Алексѣй Михайловичъ, царь. 5, 294; 6, 111.
- Алексѣй, поваръ И. А. Яковлева. 2, 31, 32.
- Альницынъ, вятскій чиновникъ. 2, 174, 182, 183, 184.
- Алеутскіе острова. 1, 40; 3, 464.
- Алжиръ. 1, 421, 422, 425; 3, 45, 320, 495, 529; 5, 116, 143.
- Алиба (подробнѣе: прим. къ 42 стр. II т.). 2, 42; 5, 104.
- Алкивиадъ. 1, 55, 60, 64; 3, 324; 4, 245, 418; 6, 319.
- Аллахъ, франц. актриса (подробнѣе: прим. къ 297 стр. I т.). 1, 297.
- Альба, Фердинандъ, герцогъ. 3, 145; 5, 4, 387.
- Альбано, городъ. 5, 80.
- Альбаро, мѣстность въ Генуѣ. 3, 62.
- Альбертъ, принцъ, супругъ англ. королевы Викторіи. 6, 192.
- Альберъ (Александръ Мартини), членъ франц. врем. правительства (подробнѣе: прим. къ 324 стр. III т.). 3, 324; 5, 99, 101—103, 111, 121, 125.
- Альгамбра. 4, 115.
- Альмовъ слуга И. А. Яковлева. 7, 240.
- Альпы. 1, 65, 440, 444; 3, 54, 90, 182, 370, 521; 4, 175; 5, 53, 54, 264, 286, 370.
- Альтонъ-Ше, журналистъ. 3, 154.
- Альфieri, Витторіо. 1, 66; 2, 448; 4, 138; 5, 140, 146.
- Альфонскій, Аркадій Алексѣев. 6, 102.
- Амвросій Медюланскій, церк. писатель и дѣятель IV в. 6, 130.
- Амедей, герцогъ Аостскій. 3, 545.
- Америка. 1, 162, 163, 306; 2, 26, 181, 191, 212, 214, 217, 223, 384; 3, 105, 122, 130, 198, 250, 287, 288, 297, 298, 318, 335, 356, 378, 379, 386, 390, 420, 427, 439, 489, 495, 510, 548, 554; 4, 147, 182, 353, 418, 425, 437; 5, 310, 333—335, 338, 352, 355, 395; 6, 70, 100, 184, 185, 186, 211, 231, 259, 313, 316, 317, 343; 7, 281.
- Америка, Сѣверная. 3, 19, 48, 86, 99, 291, 374, 420, 488; 5, 1, 11, 41, 42, 44, 131, 136, 137, 159, 171, 181, 208, 211, 241, 247, 255, 280, 281, 296, 305, 308, 316, 334, 335, 347, 357; 6, 70, 185, 211, 212, 219, 221, 283, 317, 324, 365.
- Америка, Южная. 3, 10, 58—60, 420, 488; 5, 7.
- Амстердамская ул. въ Паризѣ. 3, 109, 117.
- Амстердамъ, городъ. 2, 82; 6, 173.
- Амуръ, богъ любви. 7, 466.
- Амуръ, рѣка. 2, 191; 3, 483, 487; 5, 334; 6, 209, 211, 264, 324.
- Анакреонъ. 5, 82.
- Анаксагоръ. 1, 95, 333; 3, 360; 4, 210, 218—222, 226, 230; 5, 234.
- Анаксимандръ. 4, 210.
- Анахарсисъ (подробнѣе: прим. къ 48 стр. II т.). 2, 48; 3, 197; 4, 438.
- Англія. 1, 101, 103, 335, 338, 412, 417, 440, 442, 447, 454; 2, 10, 112, 212, 231, 276, 326, 352, 393, 413, 440; 3, 7, 13, 17, 58, 60, 72, 73, 77, 78, 86, 87, 96, 97, 107, 119, 122, 159, 165, 201, 225, 234, 239, 249—251, 255—257, 259, 272, 283, 289—292, 295, 314, 324, 325, 332, 335, 337, 338, 358, 362, 363, 366, 368, 369, 375, 384, 386, 394, 397, 399, 400, 402—404, 409, 410, 412, 413, 418, 423—425, 430, 437, 441, 444, 445, 450, 451, 466, 477, 555, 562; 4, 6, 7, 80, 121, 122, 302, 312, 316, 331—333, 338, 361, 409, 410, 417, 418, 423—431; 5, 5, 38, 41, 42, 56, 61, 131, 147, 159, 245, 247, 253, 264, 286, 288, 291, 303, 308, 312—314, 316, 318, 328, 333, 363, 365, 372, 373, 377, 379.

390, 394, 397, 398, 442; 6, 9, 73, 74, 76, 78, 80, 81, 86, 141, 143, 148, 158, 170, 174, 176, 180, 185, 186, 188, 192, 196, 200, 201, 212, 213, 220, 222, 231, 236, 238, 246—248, 250, 252, 254, 273, 279, 299, 312, 316, 326, 346, 352.

Андалузія. 3, 420.

Андерматъ (въ Швейцаріи). 3, 519.

Андрей Боголюбскій, князь. 4, 68; 7, 502, 567.

Андросовъ, Вас. Петр. 2, 402.

Анжуйцы (Анжуйская династія въ Неаполь). 5, 83.

Анвчкннъ мостъ. 5, 85.

Анна Іоанновна, императрица. 1, 81; 5, 295.

Анна Якимовна, приживалка въ домѣ отца Герцена. 2, 75.

Анненковъ, Пав. Вас., писатель. 2, 324, 331; 3, 18, 24, 26; 6, 93.

Аннибаль. 5, 177.

Антиной. 5, 312.

Антиохія. 1, 7, 8.

Автомарки, Франческо, д-ръ (подробнѣе: прим. къ 234 стр. I т.). 1, 234; 3, 564.

Антонелли, Джакомо. 5, 363.

Антоній, Маркъ. 4, 46, 399.

Антонія, святого, (Сентъ-Антуанское) предмѣстье въ Парижѣ. 5, 192.

Антоновичъ, студентъ, сосланный по Сунгуровскому дѣлу. 2, 108, 473.

Антонъ, цирюльникъ. 2, 70.

Анфантенъ, Бартелеми-Просперъ. 2, 120.

Аньеръ, зап. предмѣстье Парижа. 1, 428.

Апеннины. 2, 53; 3, 54, 64; 5, 264.

Апись, егип. божество. 4, 349; 6, 191.

Аполлинарій Сидоній. 6, 181.

Аполлоній, Тіанскій (подробнѣе: прим. къ 5 стр. I т.). 1, 5; 3, 354; 7, 139.

Аполлонъ, греч. богъ. 1, 64, 414; 3, 458; 4, 285; 5, 35.

Аполлонъ Бельведерскій. 5, 64.

Аппенцель. 3, 90; 6, 240.

Апшьева дорога. 1, 100.

Апраксинъ, графъ, жандарм. генераль. 2, 168; 7, 520.

Апраксинъ, московскій домовладѣлецъ. 2, 39.

Апраксинъ дворъ въ Спб. 6, 362.

Аравія. 4, 414; 6, 247.

Араго, Этьенъ (подробнѣе: прим. къ 42 стр. III т.). 3, 42, 43, 484, 502; 5, 115.

Арадъ, городъ. 3, 488.

Аракчеевъ, Алексѣй Андр., графъ. 2, 12, 42, 175, 179, 187, 190, 213, 3, 384; 4, 63, 64; 5, 382, 406, 407, 433, 447; 6, 188, 190, 257, 259, 262.

Аранда, Педро, графъ. 6, 85.

Арапетовъ, студентъ. 2, 90.

Араповъ, Пимень Никол. (подробнѣе: прим. къ 73 стр. II т.). 2, 73, 366.

Арбатъ и Арбатская площадь въ Москвѣ. 1, 290; 2, 39, 131, 478.

Арбатъ, ул. въ Москвѣ. 2, 19; 7, 244, 439.

Арва, рѣка. 3, 51.

Аргу, д-ръ, графъ, франц. политич. дѣятель. 3, 11.

Ардашевъ, вятскій чиновникъ. 3, 114.

Арджилъ-Румъ въ Лондонѣ. 3, 312.

Аристидъ. 5, 230; 6, 38.

Аристотель. 1, 333; 3, 360; 4, 121, 156, 169, 171, 178, 189, 207, 211, 218, 220, 226, 227, 229, 231—240, 242—245, 251, 255, 264, 268, 273, 275—277, 298, 311, 324, 343, 393, 394, 399; 5, 183, 234, 267; 6, 142, 144.

Аристофанъ. 6, 191.

Ариадна. 4, 111.

Ариосто, Людовико. 1, 36; 3, 370; 4, 20, 91.

Аркадій, лакей кн. М. А. Хованской. 2, 279—281; 7, 10, 444, 492, 493, 502, 506, 508, 528, 536, 560, 568, 569.

Аркадія. 1, 63; 6, 247.

Арканасъ. 5, 353.

Арколе. 3, 537.

Армансъ, жена В. П. Боткина. 2, 496—502; 6, 144.

Армелини. 3, 64.

Арменія. 5, 308.

Арминій (Германъ). 1, 94; 5, 9.

Арналъ, Этьенъ. 5, 38.

Ардтъ, Эрнстъ-Морицъ. 6, 222.

Арнимъ, Елизавета. См. Веттина.

Арнольдъ Брешіанскій. 4, 238.

Арну, фран. писатель. 4, 39.

Арона, городъ въ Италіи. 3, 74.

Арсеньевъ, Конст. Ів. (подробнѣе: прим. къ 221 стр. II т.). 2, 221; 6, 333; 7, 356, 357, 403, 407, 419, 422.

Артуа, графъ, вполѣдствіи король Карлъ X (см.).

Аруэтъ. См. Вольтеръ.

Архангельское, подмосковная деревня. 1, 285—288, 486; 2, 51, 63.

Архангельскъ. 2, 224; 6, 326.

Архимедъ. 3, 200.

Архипелагъ. 5, 306.

Архій, греч. поэтъ I в. до Р. X. 1, 480.

Аскольдъ, князь. 4, 61.

Аскоченскій, Викторъ Ипатьев. (подробнѣе: прим. къ 357 стр. VI т.). 6, 357, 358, 375.

Ассирія. 3, 567.

Астлей, театръ въ Лондонѣ. 4, 431.

- Астраковы, знакомые Герцена. 6, 11, 33; 7. 570, 571, 574—576, 586.
- Атилла. 4, 19; 5. 450.
- Атлантида (подробнѣе: прим. къ 126 стр. IV т.). 4. 126; 5. 45; 6. 319.
- Атлантич. океанъ. 3. 295, 419, 444; 5, 173, 263, 305, 310, 311, 332; 6, 236, 318.
- Аустерлицъ. 3. 42; 4. 155; 5. 423.
- Ауэрбахъ, Вергольдъ, романистъ. 3. 303.
- Ауэрштедтъ, деревня въ Пруссiи. 4. 105.
- Африка. 1. 7, 398, 421; 3. 356, 373; 4, 148, 425; 5. 16; 7. 279, 561.
- Афродита. 3. 540; 4. 46; 5. 387; 7. 316.
- Аффрѣ, Дени-Огюсть, архіепископъ (подробнѣе: прим. къ 463 стр. I т.). 1. 463; 5. 195.
- Ахенъ, городъ. 2. 190, 406.
- Ахиллесъ (Ахилл). 1. 47, 62; 2. 46, 252; 4. 272, 282, 361; 6, 264.
- Аяччио. 5. 77.
- Аванасій Александрійскій, патриархъ, учитель церкви. 1. 8; 6. 131.
- Аонны. 1. 98, 370; 3. 569; 4. 86, 225, 226, 246, 260, 374, 398, 405; 5, 23; 6, 11, 86; 7, 306.
- Бабефъ, Кай-Гракхъ (Фвансуа-Нозаль)** (подробнѣе: прим. къ 54 стр. III т.). 3. 54, 192, 259, 384—388, 489; 5, 137, 138, 441; 6, 390.
- Баварія. 4. 415, 416; 5. 35.
- Бавкида. 4, 153.
- Багдадскій халифатъ. 4. 406.
- Баденъ, вел. герцогство. 3. 48, 287, 400.
- Бадеръ, нѣм. писатель. 3. 302.
- Базедовъ, Иоганнъ-Бернгардъ (подробнѣе: прим. къ 178 стр. I т.). 1, 178; 6. 81.
- Базель, городъ. 3, 47, 515.
- Базилевскій, камергеръ. 2, 364.
- Базилката. 5, 73.
- Базиліо, спутникъ Гарибальди. 3. 431.
- Байергоферъ, Карлъ-Теодоръ. 4, 129.
- Байковъ, Илья, кучеръ имп. Александра I-го. 2, 42.
- Байонна, городъ. 1, 417.
- Байронъ, лордъ Джорджъ Гордонъ. 1. 86, 97, 230, 233, 283, 335, 444; 2. 326, 407; 3. 31, 65, 96, 97, 99—101, 359, 364, 369, 528; 4. 9, 84, 94, 95, 99, 106, 332, 411, 424, 427; 5. 57, 62, 193, 236, 239, 362, 392; 6. 11, 137, 186, 229; 7. 211, 224, 225, 447.
- Бакай, лакей отца Герцена. 2, 30, 31, 40, 66.
- Бакуиннъ, Мих. Ал. 2. 303, 309, 310, 314, 329, 331, 332, 389, 418, 470, 497; 3. 8, 70, 74, 135, 151, 192—194, 196, 199, 288, 291—293, 461, 483—493, 495—499, 503, 504, 509, 510, 515; 5. 109, 267, 437, 448; 6. 46, 52, 53, 56, 89, 120, 144, 163, 322—325, 331.
- Балейде, Альфонсъ, франц. писатель. 6. 188.
- Балканы, горы. 6, 293.
- Балланшъ, Пьеръ-Симонъ. 6, 112.
- Балтійское море (Балтика). 3. 505; 5. 319.
- Бальзакъ, Онора, франц. романистъ. 1, 295, 435, 436; 2. 248; 4, 7, 438; 7, 471.
- Бальи, Жанъ-Сильвенъ. 2. 128.
- Бамбергъ, городъ. 4, 4, 5.
- Банатъ, область въ Австро-Венгрии. 5, 268.
- Бандiera, Аттиліо и Эмилио, братья. 3, 54.
- Баранова, штабсъ-капитанша. 6. 301.
- Баратынскій, Евг. Абрам., поэтъ. 4. 363; 5. 76.
- Барбаросса, герм. императоръ. 5. 74.
- Барбестъ, Арманъ, франц. революционеръ (подробнѣе: прим. къ 457 стр. I т.). 1. 457; 3. 33, 253, 261, 262, 271, 272, 398, 484; 5, 22, 99, 101, 102, 104, 127, 128, 220; 6, 275, 315.
- Барбье, Огюсть, поэтъ. 3, 65; 5. 106.
- Барклай-де-Толли, Мих. Богдан., фельд-маршалъ. 2, 400.
- Барковъ, Ив. Семен., порнографич. поэтъ XVIII в. 6, 358.
- Барле, парижскій полиц. комиссаръ. 3, 21, 23.
- Барнавъ, Антуанъ, франц. революционеръ. 4. 332; 6, 160; 7. 472.
- Барнумъ, Финеасъ Тейлоръ. 4. 417—420.
- Бароне, франц. эмигрантъ. 3. 403, 405, 407—409.
- Барошъ, Пьеръ - Жюль (подробнѣе: прим. къ 114 стр. III т.). 3, 114; 5, 141.
- Баррасъ, Поль-Жанъ, франц. госуд. дѣятель. 1, 455, 457; 5, 369.
- Барреръ, Бертравъ (подробнѣе: прим. къ 502 стр. II т.). 2, 502; 6, 160.
- Барро, Одионъ (подробнѣе: прим. къ 465 стр. I т.). 1, 465; 2. 474; 3. 153; 5, 104, 105, 110—112, 118, 119, 143, 224, 375.
- Бартелеми, франц. эмигрантъ. 3. 348, 396—398, 400—409, 411—417.
- Барселона, городъ. 2, 383; 6, 40.
- Басманная ул. въ Москвѣ. 2, 130, 479.
- Бастидъ, Жюль. 3, 42.
- Бастилля. 1. 52, 372; 3. 8, 158, 262; 5. 49, 133, 138, 143, 147, 151, 160, 182, 191; 6, 240.

- Батавія. 5. 86.
 Батё, Шарль. 1. 58.
 Бауэръ, Бруно. 6. 26.
 Бауэръ, Эдгардъ, нѣм. философъ (подробнѣе: прим. къ 291 стр. III т.). 3, 291; 6, 185.
 Бахметевъ, А. Н., генераль. 2, 22, 23.
 Бахметевъ, Н. Н., генераль. 2, 63, 71, 72.
 Бахтинъ, чиновникъ. 6, 174.
 Баардъ, Пьеръ. 4, 398, 422.
 Беатриче (подробнѣе: прим. къ 148 стр. VII т.). 7, 148, 152, 211, 213, 214, 221, 259.
 Бедамъ, сумасшедшій домъ въ Лондонѣ. 3, 84, 163; 5, 343.
 Бедо, французскій генераль. 5. 192.
 Безансонъ, городъ. 3, 111, 112, 156.
 Безобразовъ, Никол. Александр. (подробнѣе: прим. къ 198 стр. VI т.). 6, 198, 201.
 Бейрутъ, городъ. 3. 126.
 Бейстъ, Фридрихъ - Фердинандъ, гр. 6, 195, 196.
 Беккарія, Чезаре. 5. 279.
 Беллерофонъ (подробнѣе: прим. къ 35 стр. I т.). 1, 35; 4, 332.
 Бельгія. 2, 100, 183; 3, 8, 399, 403, 484, 557; 4, 122; 5, 60, 113, 127, 312, 313; 6, 46, 70, 318.
 Бельджойзо, древняя итальянская фамилія. 3, 58.
 Бель-Иль, форть и тюрьма. 3, 259, 396, 398, 414; 5, 142.
 Бельтъ, Большой и Малый, проливы. 2, 502; 6, 357.
 Бемъ, Яковъ (подробнѣе: прим. къ 183 стр. IV т.). 4, 183, 185, 280, 284—288, 297, 323; 6, 83, 84.
 Бенкендорфъ, Александръ Христофор., графъ (подробнѣе: прим. къ 43 стр. II т.). 2, 43, 339, 341—348, 356, 365, 461; 3, 296; 5, 346; 6, 7, 17, 52, 61, 103; 7, 315.
 Беннигсенъ, Леонтій Леонт., графъ (подробнѣе: прим. къ 94 стр. II т.). 2, 94.
 Бенгамъ, Иеремія. 1, 333; 3, 104, 381; 4, 45, 84; 5, 439.
 Беранже, Жанъ-Пьеръ, франц. поэтъ. 1, 450; 2, 38, 119; 3, 195, 198, 535; 4, 69, 84, 103, 365, 422; 5, 103, 181, 223, 333; 6, 187, 298, 340.
 Березина, рѣка. 2, 13; 5, 446.
 Березовъ, городъ. 1, 40; 2, 191; 4, 62.
 Беринговъ проливъ. 2, 143.
 Берингъ, москов. оберъ-полиціймейстеръ. 6, 190, 191, 250, 251.
 Берлинъ, 1, 141; 2, 310, 311, 313, 322, 390, 391, 497; 3, 6—8, 20, 68, 95, 301, 302, 304, 306, 459, 525; 4, 1, 4, 5, 164, 374, 436; 5, 7, 38, 99, 127, 147, 216, 265; 6, 136, 140, 163, 188, 195, 196, 201, 216, 217, 274, 293.
 Бернадотъ, Жанъ-Батистъ, франц. маршалъ, внослѣдствіи шведскій король Карлъ XIV. 2, 13.
 Бернаръ, франц. заговорщикъ. 6, 248.
 Бернацкий, Алоизій, польскій эмигрантъ. 3, 276, 278—281; 5, 267.
 Бернгардъ, Теодоръ. 6, 188.
 Бёрне, Людвигъ. 5, 343; 6, 242.
 Бернини, Лоренцо. 5, 60.
 Вернь, городъ. 1, 418, 441; 3, 78, 83, 85, 111, 132, 133, 144.
 Берри, франц. провинція (нынѣ департ. Шера и Индры). 1, 370; 4, 425.
 Беррійская, Луиза, герцогиня (подробнѣе: прим. къ 399 стр. III т.). 3, 399; 6, 95.
 Беррье, Пьеръ-Антуанъ, франц. адвокатъ. 3, 577.
 Бертини, Агостино. 3, 238.
 Бертье, Александръ, франц. маршалъ. 2, 11.
 Берцелиусъ, Иоганнъ-Яковъ. 1, 84; 4, 84.
 Берье, камердинеръ Людовика XV. 5, 276.
 Беръ, нѣм. путешественникъ въ Россіи въ смутное время. 6, 128.
 Бессарабія, 2, 74; 3, 488; 5, 308.
 Бестія, Кальпурній, римскій консулъ. 3, 126.
 Бестужевъ (Марлинскій), Александръ Александр. 1, 40; 2, 171.
 Бестужевъ-Рюминъ, Алексѣй Петров. 6, 257.
 Бетгеръ, ссыльный, д-ръ богословія. 7, 313.
 Бетналь-Гринъ, мѣстность въ Лондонѣ. 6, 278.
 Беттина, Елизавета Арнимъ (подробнѣе: прим. къ 48 стр. IV т.). 3, 524; 4, 48, 359; 6, 137.
 Бетховенъ, Людвигъ. 1, 192; 2, 313; 3, 151; 4, 4, 9, 10; 5, 221, 355.
 Бибиновъ, Ал-дръ Ил., генераль-аншефъ. 5, 282.
 Бибиновъ, Дм. Гаврил., кievскій ген-губ. 6, 103.
 Библия. 1, 171, 173; 3, 567; 4, 419, 6, 177.
 Виконсфильдъ, См. Диварали.
 Вильо, Огюстъ-Адольфъ. 3, 121.
 Вирмингамъ, городъ. 3, 283; 4, 129.
 Вировъ, графъ Иоганнъ-Эрнстъ. 1, 191; 2, 57, 400, 427; 5, 382; 6, 256, 257, 259, 370.
 Вирхъ-Пфейферъ, Шарлотта. 5, 9.
 Вирюковъ, Ал-дръ Алексѣев. 7, 74, 75, 77, 83, 121, 158, 200, 330, 417.

- Бисетръ, тюрьма въ Парижѣ. 5. 116.
 Бисмаркъ, Отто, князь. 3, 525, 553, 575, 577.
- Биша, Франсуа - Ксавье (подробнѣе: прим. къ 368 стр. III т.). 3, 368; 6, 183.
- Вю, Жанъ-Батистъ, французскій физикъ. 4, 174.
- Влаіусть, Іоганнъ-Генрихъ. 5, 7.
- Влакеть. См. Герстъ и Блакеть.
- Вланки, Луи-Огюсть, франц. революціонеръ (подробнѣе: прим. къ 457 стр. I т.). 1, 457; 3, 267, 398, 408, 484; 5, 4, 103, 104, 124, 127—130, 157, 214; 6, 282, 315.
- Вланкъ, Петръ Борис. (подробнѣе: прим. къ 198 стр. VI т.). 6, 198, 201.
- Вланъ, Луи, франц. политич. дѣятель. 1, 451, 470; 3, 150, 169, 249, 253, 259—261, 269—272, 292, 319, 396, 401, 433, 436, 557; 5, 99, 101, 102, 103, 111, 114, 121, 125, 126, 133—134, 442; 6, 67, 69, 71, 95, 187.
- Вланъ, Шарль. 3, 271.
- Вленкеръ, нѣм. эмигрантъ. 3, 86, 87.
- Влиандъ, Карлъ, нѣм. революціонеръ. 3, 44, 287, 294.
- Влондентъ, Шарль, канатный акробатъ. 4, 431, 432; 6, 329.
- Влуа, городъ. 3, 399.
- Влудова, Антонина Дм., графиня. 6, 175.
- Влудовъ, Дм. Никол., графъ (подробнѣе: прим. къ 187 стр. II т.). 2, 187, 229—231, 350; 6, 169, 216.
- Влуменбахъ, Іоганнъ - Фридрихъ, нѣм. антропологъ и натуралистъ. 1, 399.
- Влунчи, Іоганнъ-Каспаръ (подробнѣе: прим. къ 322 стр. VI т.). 6, 322.
- Вляквудъ, пароходная компанія. 3, 505.
- Влюмъ, Робертъ (подобнѣе: прим. къ 289 стр. III т.). 3, 289; 5, 243.
- Влюхеръ, Гебгартъ-Лебрехтъ, прусскій фельдмаршалъ. 1, 30; 2, 39; 3, 388, 389; 4, 83.
- Воборыкина, Александра Александровна, подруга Н. А. Захарьиной. 7, 32, 33, 39, 42, 55, 66, 68, 72, 79, 93, 126, 127, 140, 149, 152, 154—156, 164, 169, 170, 172, 176, 179, 185, 191, 196, 202, 207, 209, 215, 219, 222, 230, 232, 235, 237, 243, 248, 253, 262, 263, 265, 266, 271, 273, 278, 280, 284, 286, 288, 291, 293, 294, 301, 310, 347, 360, 376, 391, 398, 407, 409, 414, 417, 421, 426, 434, 435, 437, 451, 475, 490, 505, 538, 547, 569.
- Воборыкины, семья знакомыхъ кн. М. А. Хованской и Н. А. Захарьиной. 7, 209, 210, 261, 407.
- Воборыкинъ, знакомый Н. А. Захарьиной. 7, 40.
- Вобружскъ, крѣпость. 2, 140, 157, 284; 5, 142; 7, 8.
- Богарне, Евгеній, принцъ, вице-король итальянскій. 5, 77.
- Богдановъ, шаферъ Герцена. 7, 586.
- Богдановъ, Г. 7, 295.
- Богемія. 2, 52; 3, 485; 5, 159, 306.
- Водянскій, Осипъ Максим., славясть. 6, 161.
- Воергавъ, Германъ, голландскій врачъ. 1, 325.
- Вождѣ, мѣстность. 1, 418.
- Боккаччо, Джованни. 4, 91.
- Бокль, Генри-Томасъ. 6, 312.
- Болгарія. 6, 390.
- Болговскій, вологодскій воен. губернаторъ. 2, 356, 357.
- Болдыревъ, Алексѣй Вас. (подробнѣе: прим. къ 403 стр. II т.). 2, 403; 5, 346.
- Болинброкъ, Герни Сентъ - Джонъ. 4, 283.
- Болманъ, вятскій аптекаръ. 2, 263.
- Болонья. 3, 64, 544; 5, 75, 78.
- Болотовъ, Андрей Тимоф. 6, 369.
- Бомарше, Пьеръ - Огюстенъ Каронъ. 1, 177; 2, 63; 3, 115; 4, 33, 45, 422; 5, 20; 6, 27, 28, 180.
- Бонапартъ, См. Наполеонъ I.
- Бонапартъ, Жеромъ (Геронимъ), король вестфальскій. 3, 67; 5, 325.
- Бонапарты („Наполеониды“). 3, 34, 336, 344; 5, 222; 6, 253.
- Бонаротти, франц. революціонеръ. 6, 95.
- Бонеръ, Роза. 5, 360.
- Боннетъ (Бонне), Шарль. 1, 177.
- Боннъ, городъ. 3, 523.
- Вонъ. 5, 38.
- Борджіа, Александръ VI, папа. 5, 61.
- Борджіа, Чезаре, кардиналъ, герцогъ Романскій. 4, 408; 6, 157, 158.
- Борейная, Марва, посадица новгородская. 1, 61, 62, 162; 4, 64, 156.
- Боровичи, городъ. 6, 16.
- Бородинское сраженіе. 2, 13, 131, 352; 5, 375.
- Боромео, итальянская древняя фамилія. 3, 58.
- Боссюеть, Жакъ, проповѣдникъ и писатель. 6, 76.
- Востонъ, городъ. 3, 420.
- Боткинъ, Вас. Петр. (подробнѣе: прим. къ 329 стр. II т.). 2, 329, 332, 333, 379, 382, 383, 414, 496, 498—502; 6, 18, 52, 60, 71, 72, 92, 144.
- Боткинъ, Петръ Конон., москов. богачъ-купецъ. 2, 498.
- Вотъ, парижскій издатель и типографъ. 6, 95.

- Ботчарева, Александра Андреевна (въ замужествѣ княгиня Оболенская). 7, 106, 110, 289, 293, 294.
- Бошаръ, Кентенъ, франц. депутатъ. 1, 452; 3, 48; 5, 118.
- Браге, Тихо. 4, 416; 5, 449.
- Бразилія. 3, 379; 7, 491.
- Брайтонъ, городъ. 3, 287.
- Браманте (Донато д'Анджело) (подробнѣе: прим. къ 87 стр. IV т.). 4, 89; 5, 60.
- Бранденбургъ, провинція. 4, 2, 5; 5, 265.
- Браницкій, Ксаверій, графъ, польскій эмигрантъ. 3, 31, 495, 558.
- Бранкалеоне. 5, 249.
- Брантомъ, Пьеръ (подробнѣе: прим. къ 49 стр. IV т.). 4, 49, 392.
- Братіано, Дмитрій, румынскій политич. дѣятель (подробнѣе: прим. къ 282 стр. III тома). 3, 282, 347.
- Брауншвейгскій, герцогъ. 1, 27; 6, 134.
- Брауншвейгъ-Вольфенбюттель. 3, 290, 526.
- Брейсбенъ, городъ. 3, 376; 5, 134.
- Бреславль, городъ. 6, 323.
- Брестъ, франц. городъ. 1, 425; 3, 311.
- Бретань, провинція. 6, 175.
- Бригель, портной. 6, 368.
- Британскій музей (British Museum) въ Лондонѣ. 2, 4.
- Брокенъ, гора въ Швейцаріи. 4, 95.
- Бромель. 4, 432.
- Броневскій, Семень Богдан., генералъ-губернаторъ вост. Сибири. 2, 191.
- Брукъ-гаузъ, гостиница на о-въ Уайтъ. 3, 421, 426, 427.
- Брумъ, Генри (подробнѣе: прим. къ 362 стр. III т.). 3, 362, 364, 528.
- Брундуаумъ (нынѣ Бриндизи), городъ въ Италіи. 4, 347.
- Брунегильда. 1, 364.
- Брунети, Анджело (Чичероваккіо). 2, 394; 3, 17, 40; 5, 68—70, 79, 85, 96.
- Бруно, Джордано. 2, 333; 3, 368; 4, 100, 275, 277—280, 292, 299, 307, 308; 5, 75.
- Бруновъ, Филиппъ Ив., русскій посолъ въ Англии. 3, 460, 461; 6, 196.
- Бруссе, Франсуа-Жозефъ (подробнѣе: прим. къ 450 стр. I т.). 1, 450; 4, 108.
- Брутъ, Маркъ-Юній. 1, 451, 481; 2, 48; 3, 104, 120, 126, 388; 4, 274; 6, 45, 385, 336; 7, 387.
- Брюв, Арманъ-Жозефъ. 4, 148.
- Брюлловъ, Карлъ Павл. 1, 79; 4, 390; 5, 278.
- Брюссель. 3, 156, 295, 502, 556, 558; 4, 50, 436; 5, 7, 452; 6, 322.
- Брюсъ, Яковъ Александр., гр. 6, 306.
- Брянчаниновъ, москов. полиціймейстеръ. 2, 142.
- Буало - Деспрео, Николай (подробнѣе: прим. къ 58 стр. I т.). 1, 58, 60, 62, 367; 4, 113.
- Буассьеръ. 2, 490.
- Буашо, франц. эмигрантъ. 3, 825.
- Будда. 4, 125; 5, 331.
- Буисъ, московскій парфюмеръ. 2, 69.
- Букингамскій дворецъ въ Лондонѣ. 3, 258.
- Булгаринъ, Ѳаддѣй Венедикт. 2, 423; 4, 153—156; 6, 35, 102, 227, 228, 246, 358.
- Буле, Иоганнъ - Теофиль (подробнѣе: прим. къ 264 стр. IV т.). 4, 264, 279.
- Буленвилъ, графъ Анри. 4, 27.
- Буллей, Эмиль, париж. полиц. комиссаръ. 3, 114.
- Булонскій лѣсъ въ Парижѣ. 5, 375.
- Булонь, городъ во Франціи. 3, 76; 6, 341.
- Бу-Маза. 5, 162.
- Бунге, Фридрихъ-Георгъ. 6, 99.
- Бунзень, Христианъ. 6, 186.
- Буньково, подмосковная деревня. 2, 284.
- Буонаротти. См. Микель-Анджело.
- Бурачекъ, Степ. Онис. 4, 153.
- Бурбаки, Шарль - Дени. 6, 236.
- Бурбоны, королевская династія во Франціи и въ Неаполѣ. 3, 55, 62, 120, 121; 4, 7; 5, 83, 85, 145, 147, 149, 195, 222, 363; 6, 67, 214, 269, 347, 350.
- Бургардъ. 1, 55.
- Бургундія. 3, 316.
- Бурдахъ, Карлъ-Фридрихъ (подробнѣе: прим. къ 317 стр. II т.). 2, 317, 4, 189.
- Буржъ, городъ во Франціи. 3, 262.
- Бурмейстеръ, нѣм. философъ. 2, 455;
- Бурцовъ, Ив. Григор. 3, 399.
- Буръень, Луи - Антуанъ. 2, 76.
- Бутеневъ, Апполинарій Петр. 6, 216.
- Буффе, Мари. 5, 38.
- Бухарестъ. 3, 45, 46.
- Бухеръ, Лотаръ, нѣм. писатель. 3, 300.
- Бушо, гувернеръ и учитель Герцена. 1, 51, 52, 54, 55, 57; 2, 38, 41, 45, 439.
- Вуз, франц. поэтъ. 3, 197.
- Вѣлградъ. 3, 488.
- Вѣлинскій, Виссаріонъ Григор. 1, 40, 67, 98, 108; 2, 4, 91, 217, 303, 309, 310, 314, 315, 318—325, 329, 332, 383, 372, 389—391, 397, 402, 414, 423—425, 427, 453, 454, 456, 470, 474, 499—501; 3, 194, 196, 197, 199, 212, 222, 278, 488; 4, 57; 5, 347, 400, 436, 437; 6, 36, 38, 39, 53, 61, 65, 66, 71, 73, 92, 93, 121, 122, 135, 140, 192, 244, 245, 263, 331, 339, 342, 389.

Бѣловѣжская Пуща. 3. 312.
 Бѣлокриница, монастырь въ Австрiи.
 3. 488.
 Бѣляевъ, вятскiй знакомый Герцена.
 6. 96; 7. 449.
 Бѣконъ Веруламскiй, Франсiя. 1. 282;
 3. 390; 4. 91, 169, 245, 278, 290, 292,
 297—301, 303—308, 311, 312, 314,
 317, 318, 331—333, 335, 336, 337.
 338, 343; 5. 234, 237, 310, 378; 6. 82—
 84, 127, 135.
 Бѣконъ, Рожеръ, алхимикъ и философъ.
 4, 275.
 Бѣль, Пьеръ, франц. философъ. 4, 316;
 6. 173.
 Бѣръ, Карлъ - Эрнстъ, натуралистъ.
 4, 344.
 Бюжо, Тома-Робертъ, франц. маршалъ
 (подробнѣе: прим. къ 422 стр. I т.).
 1. 422; 3. 310, 323; 5. 111, 126, 131.
 Бюзенъ, городъ во Францiи. 5. 47.
 Бюргеръ, Августъ, нѣм. повѣсть-роман-
 тикъ XVIII в. 6, 172.
 Бюффонъ, графъ Жоржъ-Луи. 4, 74,
 133, 303, 342, 345; 6, 8, 9, 56.
 Бюхананъ, Джемсъ, сѣв.-америк. госуд.
 дѣятель (подробнѣе: прим. къ 295 стр.
 III т.). 3. 295—297, 422.
 Бюше, Филиппъ - Бенжаменъ - Жозефъ
 (подробнѣе: прим. къ 384 стр. II т.).
 2, 384, 406; 4, 27.

Ваадтъ, кантонъ. 3, 86.
 Вааль. 5, 388.
 Вавилонъ. 1, 12, 13, 483; 3, 198; 4, 58,
 397; 6, 107.
 Ваганьково кладбище въ Москвѣ. 7, 58.
 Вагнеръ, Морицъ. 6, 185.
 Вагнеръ, Рихардъ, композиторъ. 3, 312;
 5, 355.
 Вагнеръ, Рудольфъ, нѣм. физиологъ. 4,
 345.
 Ваграмъ, нѣм. деревня. 4, 93, 105.
 Вадке, нѣм. философъ-гегелистъ. 2, 311.
 Вадковскiй, Ф. Ф. декабристъ. 6, 111.
 Вайтъ-Чепель, мѣстность въ Лондонѣ.
 6, 278.
 Валансенъ, городъ. 5, 7.
 Валахiя. 1, 456; 3, 45.
 Валгалла. 4, 413.
 Валевскiй, Александръ, графъ (подроб-
 нѣе: прим. къ 267 стр. III т.). 3,
 267, 555.
 Валентинъ, Габриѣль, нѣм. физиологъ.
 4, 345.
 Валерiо, Лоренцо, итальян. депутатъ.
 3, 140.

Валленштейнъ, Альбрехтъ. 1, 66; 2,
 52, 60.
 Валуевъ, Петръ Александр. 6, 339.
 Вальпузо, Микеле. 5, 85—87.
 Вандей. 6, 175.
 Вандомская колонна въ Парижѣ. 1,
 282.
 Вандомская площадь въ Парижѣ. 3, 35.
 Вандомъ, городъ. 3, 387.
 Ваннинъ, Луцилио (подробнѣе: прим. къ
 368 стр. III т. и къ 275 стр. IV т.).
 3, 368; 4, 275, 277, 292; 5, 75.
 Ванюшка, камердинеръ Герцена къ
 дѣтствѣ. 1, 54.
 Ванъ-Дейкъ, Антонiй, голландскiй ду-
 должникъ XVII в. 1, 288, 434; 2, 298;
 5, 356.
 Ванька Каинъ, москов. сыщикъ XVIII
 в. 5, 349.
 Варвинскiй, Осипъ Вас. 6, 102.
 Варнгагенъ фонъ-Энае, Карлъ-Августъ
 (подробнѣе: прим. къ 497 стр. II т.).
 2, 497; 3, 523, 524.
 Варнгагенъ фонъ-Энае, Рахиль (подроб-
 нѣе: прим. къ 414 стр. II т.). 2, 414;
 3, 524; 4, 43, 48.
 Варскiй мостъ (подробнѣе: прим. къ
 146 стр. V т.). 5, 146, 147.
 Вартбургскiй праздникъ. 3, 132.
 Варшава. 1, 36; 3, 245, 277, 286, 346,
 496, 497—499; 4, 3, 4; 5, 307, 324,
 377; 6, 195.
 Варъ (рѣка) и Варскiй департаментъ.
 3, 169, 170, 172, 174, 181, 186, 191.
 Василiй Великiй, отецъ церкви. 3, 96;
 4, 270; 5, 387; 6, 152.
 Василiй, слуга кн. М. А. Хованской.
 7, 444.
 Василевскiй островъ въ Спб. 3, 198.
 Василевское, подмосковное имѣнiе
 отца Герцена. 2, 18, 49, 51—54, 100,
 371, 378; 3, 360.
 Васильевъ, караульный солдатъ въ Кру-
 тичкихъ казармахъ. 6, 356; 7, 11, 167,
 262, 331, 332.
 Васильчиковъ, Илларионъ Вас., князь.
 2, 406.
 Васко де-Гама. 1, 340; 3, 542.
 Ватель, франц. писатель о междунар.
 правѣ. 5, 377, 378.
 Ватерлоо. 1, 234, 431; 2, 38, 211; 3, 388;
 4, 185; 5, 42, 59, 378; 6, 77, 170, 204.
 Ватиканъ, дворецъ въ Римѣ. 1, 3; 4,
 271, 281; 5, 63, 75.
 Вашингтонъ, Джорджъ. 1, 104, 181,
 231; 3, 51, 279; 4, 419; 6, 213.
 Веверъ, гор. въ Швейцарiи. 1, 179; 3, 516.
 Вегнеръ, См. Лютгеръ.
 Везувiй. 3, 8; 4, 353; 5, 80, 82, 86, 209;
 6, 235, 345; 7, 429.

- Везуль, городъ. 4, 28.
 Вейеръ, франц. консулъ въ Москвѣ. 2, 462, 463.
 Веймарскій, герцогъ. 1, 29.
 Веймаръ. 3, 68; 4, 4; 5, 35, 76.
 Вейсъ, Францискъ. 2, 441.
 Вейтлингъ, Вильгельмъ (подробнѣе: прим. къ 77 стр. III т.). 3, 77, 102, 489; 6, 89.
 Велетри, гордь въ Итали. 5, 80.
 Великая, рѣка. 7, 96.
 Великобританія. См. Англія.
 Великороссія. 1, 313; 5, 306.
 Веллингтонъ, Артуръ, герцогъ. 3, 364, 388; 4, 7, 83; 5, 25; 6, 294, 316.
 Вельерскій, Михаилъ Юрьевъ, графъ. 6, 17.
 Вельманъ, Александръ Ѳомичъ. 4, 63; 6, 154.
 Вельяминовъ, генераль, тобольскій губернаторъ. 2, 189.
 Венгрія. 3, 45, 48, 122, 245, 248, 249, 251, 282, 283, 295, 424; 5, 242, 265, 313; 6, 234, 238, 239.
 Венеитиновъ, Дмитр. Владиміръ. 2, 106; 3, 194; 5, 343.
 Венера, богиня. 1, 191, 477; 3, 481; 5, 35, 36, 435; 6, 366; 7, 561.
 Венера, планета. 1, 397; 7, 137, 142, 143, 314, 430, 552.
 Венеція. 1, 36, 85; 3, 300, 436, 539, 542—544, 549, 550; 5, 75, 334, 363; 6, 348.
 Вентноръ, мѣстечко на о. Уайтѣ. 3, 108, 251.
 Вепревъ, вятскій чиновникъ. 3, 114.
 Вердеръ, Карлъ (подробнѣе: прим. къ 311 стр. II т.). 2, 311; 3, 199, 303.
 Веревкинъ (Рахманный), Никол. Никол. 7, 423, 430.
 Веря, ресторанъ въ Лондонѣ. 3, 347, 404.
 Верне, франц. актеръ. 5, 38.
 Вернеръ, Авраамъ-Готтлибъ, франц. актеръ. 2, 96.
 Вернеръ, Захарія (подробнѣе: прим. къ 2 стр. IV т.). 4, 2, 95.
 Верниковскій, польскій ориенталистъ. 2, 264.
 Верона, городъ. 2, 190, 406.
 Веронезе, Павелъ, итальян. живописецъ XVI в. 3, 542.
 Веронъ, Пьеръ (подробнѣе: прим. къ 37 стр. V т.). 5, 37, 150, 308.
 Версаль. 1, 370, 457; 3, 74, 278; 5, 23, 61; 6, 173, 188.
 Верхотурье, городъ. 2, 172, 180.
 Веселовскій, профессоръ. 7, 218.
 Веспъ, рѣка. 3, 92.
 Веста, богиня. 3, 526,
 Вестборнъ-Терраса. 6, 354.
 Вестминстерскій мостъ въ Лондонѣ. 3, 430.
 Вестфалія. 2, 13; 3, 304.
 Вестфальскій миръ. 4, 408, 409.
 Вестъ-Эндъ, часть Лондона. 3, 317.
 Ветошниковъ, Левъ, пріятель В. И. Кельсиева. 3, 461, 462.
 Ветто, мѣстность въ Швейцаріи. 3, 516.
 Вефуръ, владѣлецъ ресторана. 1, 424.
 Вибикингъ, историкъ архитектуры. 7, 198.
 Вигандъ, нѣм. издатель. 6, 125, 126.
 Вигель, Надежда Ив. 6, 375.
 Вигель, Филиппъ Филипп. (подробнѣе: прим. къ 403 стр. II т.). 2, 403; 5, 346; 6, 154, 368—376.
 Видокъ, Эженъ - Франсуа (подробнѣе: прим. къ 256 стр. II т.). 2, 256; 3, 438.
 Византія. 1, 9, 13; 2, 412; 3, 385, 546, 547; 4, 259, 262, 276; 6, 106, 311.
 Вико, Джованни-Батисто. 5, 184.
 Викторія, англ. королева. 3, 235, 250, 260, 267, 268, 318, 402, 419; 4, 428; 5, 109; 6, 192.
 Викторія-Риверъ, рѣка. 3, 321.
 Викторъ - Эмануилъ II, итальян. король. 3, 243, 441, 549; 6, 348.
 Виленская губернія. 2, 172.
 Виллихъ, А., нѣм. эмигрантъ. 3, 287, 396, 400, 401.
 Вильберфорсъ, Вильямъ, англ. обществ. дѣятель. 4, 371; 6, 318.
 Вильгельмъ Оранскій. 3, 159, 259; 4, 361; 6, 7.
 Вильгельмъ III, англ. король. 6, 76.
 Виль-д'Аврѣ, дачная мѣстность близъ Парижа. 3, 36, 44.
 Вильменъ, Абель-Франсуа (подробнѣе: прим. къ 3 стр. IV т.). 4, 3; 6, 8.
 Вильмотъ, сестры (подробнѣе: прим. къ 353 стр. II т.). 2, 353, 354.
 Вильна. 2, 187, 424.
 Виядзоръ. 3, 250, 402, 403.
 Виндишгрецъ, Альфредъ-Фердинандъ, князь (подробнѣе: прим. къ 485 стр. III т.). 3, 485; 5, 212; 6, 323.
 Винета, бывшій городъ на островѣ Воллинѣ въ Балтійскомъ морѣ. 6, 147, 160.
 Винкельманъ, Иоганъ-Иоахимъ, нѣм. археологъ. 1, 33.
 Винценгероде, Фердин. Ѳедоръ, генераль. 2, 11.
 Виньи, Альфредъ де, — писатель. 1, 424; 4, 7.
 Виргилій. 3, 303, 306; 4, 93, 183, 276, 283, 376; 7, 148, 213.
 Висконсинъ, штатъ Сѣв. Амер. Соед. Штатовъ. 3, 99, 264.

Висконти. древняя итальян. фамилия. 3, 58.
Висконти-Веноста, Эмилио. 3, 438.
Висла, рѣка. 6, 322.
Витали, Ив. Петр. 6, 18.
Витбергъ, Александръ Лаврент. (подробнѣе: прим. къ 59 стр. II т.). 2, 59, 208 — 217, 259 — 261, 265, 266, 316, 367, 402, 419; 6, 29, 33; 7, 43, 54, 60, 61, 73, 76, 79, 88, 92, 119, 131, 135, 137, 138, 144, 148, 149, 152, 157, 161, 162, 165, 167, 169, 171 — 173, 185, 187, 191, 199, 204, 207, 212 — 215, 217, 220, 221, 223, 229, 240, 245, 250, 254, 257, 259, 264, 270, 276, 293, 304, 312, 324, 327, 339, 340, 346, 348, 350, 355, 356, 365, 368, 377, 378, 383, 385, 389, 392, 393, 399, 400, 404, 407, 408, 411, 416, 420, 422, 426, 439, 449, 453, 454, 457, 479, 481, 517, 520, 521, 536, 537, 541, 555, 560.
Витбергъ, жена А. Л. Витберга. 7, 73, 75, 76, 89, 214, 259, 276, 420, 457.
Витбергъ, Вѣра Александровна, дочь А. Л. Витберга. 7, 422.
Витгенштейнъ, Петръ Христіан., графъ фельдмаршалъ. 4, 387.
Вителлій, императоръ. 5, 85.
Виши, курортъ. 1, 429.
Вишну. 1, 333; 3, 35; 4, 21, 213.
Влардо-Гарсія, Полина (подробнѣе: прим. къ 246 стр. I т.). 1, 246; 3, 304—306.
Владимірская губернія. 1, 58, 345; 2, 163.
Владиміръ Мономахъ. 5, 307.
Владиміръ на Клязьмѣ. 1, 49, 107, 484, 486; 2, 3, 35, 168, 205, 206, 219, 221, 224, 228, 229, 234, 267, 270, 277, 278, 284, 286, 288, 303—306, 336, 337, 374, 388, 448; 3, 176; 4, 60—64, 376; 5, 12, 327; 6, 20, 153, 333, 379; 7, 390, 391, 393, 396, 398, 399, 400, 403, 406, 407, 408, 410, 411, 412, 413, 419, 422, 424, 431, 432, 458, 464, 470, 476, 477, 493, 502, 503, 529, 532, 537, 547, 550, 551, 553, 554, 561, 567, 570, 573, 574, 575, 576, 577, 579, 583, 584, 587.
Владиміръ, св., вел. князь. 5, 268, 297.
Владиславъ IV, король польскій. 1, 346; 5, 307.
Вобанъ, Себастьянъ де-Претръ. 1, 169.
Вовенаргъ, Лука. 1, 367.
Вогъ, графъ. 3, 190.
Водо, Октавій Тобіевичъ. 7, 127, 148, 153, 230.
Вознесенскъ, городъ. 7, 352.
Войнаровскій, Андрей, племянникъ гетмана Мазепы. 7, 273.
Волабель, франц. историкъ. 2, 407; 5, 77.
Волга, рѣка. 1.1 91; 2, 96, 166, 167, 226; 3,

479, 480, 495; 4, 61; 5, 306, 309, 319; 6, 48, 322; 7, 12, 53, 268, 275, 477, 492.
Волковъ, А. А., жандармскій генералъ. 2, 107.
Волконскій, Петръ Михайл., кн. (подробнѣе: прим. къ 98 стр. II т.). 2, 98, 355; 6, 102.
Воллинъ, островъ въ Балтійскомъ морѣ. 6, 147.
Вологда. 2, 356.
Вологодская губернія. 5, 7.
Волховъ, рѣка. 2, 357; 4, 52; 5, 268; 6, 16.
Вольтеръ. 1, 33, 177; 178, 322, 339, 367, 368, 398, 440, 450, 468; 2, 39, 63, 73, 236, 414, 458; 3, 77, 106, 115, 147, 271, 330, 368, 568; 4, 9, 78, 80, 270, 271, 283, 297, 333, 334, 366, 367; 5, 65, 133, 203, 247, 259, 278, 279, 387, 400; 6, 8, 9, 80, 173, 224, 243, 306; 7, 447.
Вольфъ, Христіанъ, нѣм. философъ (подробнѣе: прим. къ 321 стр. I т.). 1, 321; 2, 455; 6, 142.
Вомслей, Джоуау, англ. радик. членъ парламента. 3, 295, 342; 4, 425, 426.
Вондсвортское шоссе близъ Лондона. 3, 436.
Воробьевъ, знакомый Н. А. Захарьиной. 7, 120.
Воробьевы горы близъ Москвы. 1, 48, 283, 284, 291; 2, 6, 55, 57—59, 98, 103, 211; 3, 16; 7, 3, 129, 463.
Воронежъ. 2, 331; 7, 291.
Воронцовское поле въ Москвѣ. 2, 127.
Воронцовъ, Мих. Сем., князь. 2, 356.
Воронцовъ, Семень Роман., графъ, дипломатъ. 2, 19.
Ворцель, Станиславъ, графъ, польскій эмигрантъ (подробнѣе: прим. къ 201 стр. III т.). 2, 461; 3, 201, 225, 249, 251, 252, 276, 280—286, 288, 289, 293, 294, 295, 297, 339—348, 494, 504.
Воспитательный домъ въ Москвѣ. 2, 10.
Востокъ (Азія). 1, 16, 26, 333; 2, 168; 3, 354; 4, 203—205, 246, 394, 397, 406; 5, 13, 324, 6, 254, 317, 318, 322, 7, 300, 311, 391, 396, 406, 413, 418.
Востокъ (славянскія страны). 4, 17, 150.
Восточная имперія (Византія). 4, 245, 272.
Вронскій, Іосифъ (подробнѣе: прим. къ 35 стр. III т.). 3, 35, 278.
Вронченко, Федоръ Павл. 2, 444.
Вуверманъ, Филиппъ. 2, 150.
Вулканъ, богъ. 3, 392.
Высоцкій, Іосифъ (подробнѣе: прим. къ 196 стр. III т.). 3, 196, 278.
Вѣна. 1, 443; 3, 69, 95, 298, 300, 325, 460; 4, 5, 59; 5, 2, 16, 99, 127, 134, 147,

- 195, 211, 214, 216, 261, 308, 309, 324, 424; 6, 104, 216, 239.
- Ввѣра** Артамоновна, няня Герцена. 1, 53; 2, 7, 13, 14, 21—23, 33, 53, 67, 86, 234, 436; 7, 240, 332.
- Ввѣзма**, подмосковная деревня. 2, 51.
- Ввѣзский**, д. т. сов., князь. 5, 424.
- Вятка**. 1, 23, 37, 43, 46, 66, 107; 2, 3, 4, 5, 84, 104, 109, 162, 170, 172, 174, 176, 178, 182, 185, 186, 187, 193, 198, 208, 216, 217, 218, 219, 221, 223, 226, 227, 229, 253, 254, 255, 257, 261, 263, 266, 267, 336, 338, 340, 341, 343, 344, 347, 350; 3, 90, 91, 299; 5, 58; 6, 6, 96, 246, 332, 379; 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 28, 30, 32, 36, 37, 43, 46, 49, 50, 53, 54, 56, 60, 64, 69, 72, 73, 75, 79, 81, 87, 88, 92, 95, 96, 101, 103, 105, 108, 112, 118, 128, 130, 137, 138, 146, 157, 165, 169, 170, 171, 172, 182, 184, 186, 191, 192, 193, 198, 199, 210, 213, 221, 222, 224, 225, 232, 234, 238, 251, 257, 258, 266, 267, 268, 275, 276, 288, 314, 327, 332, 333, 344, 356, 362, 389, 390, 392, 393, 399, 403, 406, 406, 408, 410, 411, 416, 418, 419, 420, 422, 424, 432, 439, 441, 442, 448, 455, 464, 466, 476, 478, 482, 483, 491, 500, 503, 521, 522, 546, 548, 552, 554, 561, 565, 583, 588.
- Вятская губернія**. 2, 201, 203, 219, 221, 224; 6, 96; 7, 315, 340.
- Гаага**. 3, 271.
- Гаагъ**, Луиза Ив., мать Герцена (въ текстѣ: „мать“, „маменька“). 2, 13, 21, 22, 35, 40, 134, 250; 3, 5, 36, 44, 129, 155, 179, 180, 183, 184; 7, 290, 295, 297, 298, 301, 356, 361, 362, 367, 368, 375, 383, 407, 414, 423, 428, 429, 430, 432, 433, 434, 437, 438, 439, 441, 473, 486, 515, 519, 522, 523, 577.
- Гаагъ**, Фѳдоръ Петр., москов. тюремный врачъ-филантропъ. 2, 157—159.
- Габлеръ**, пріятель Гегеля. 6, 139.
- Габсбурги**. 6, 238.
- Гаванна**, городъ. 3, 10.
- Гаварни**, псевдонимъ Шевалье. 5, 38.
- Гавацци**, Александръ. 5, 95—97.
- Гавриилъ**, архангелъ. 7, 161, 249, 472, 519.
- Гавръ**, городъ. 2, 502; 3, 314; 5, 7, 106.
- Гагаринъ**, князь. 2, 135.
- Гагаринъ**, офицеръ Александрійскаго гусарскаго полка. 3, 399.
- Гагаринъ**, Ив. Серг. кн. 6, 47, 48, 146, 148.
- Гай**, Людевитъ. 2, 401.
- Гайгетское кладбище** въ Лондонѣ. 3, 280, 344.
- Гайднъ**, Иосифъ. 3, 133; 4, 9, 10.
- Гайдъ-Паркъ** въ Лондонѣ. 3, 92, 283.
- Гайюн**, Рень-Жюсть. 2, 96.
- Гакстгаузенъ**, Августъ, баронъ (подробнѣе: прим. къ 422 стр. II т.). 2, 422; 5, 274, 281, 298, 317, 319; 6, 65, 271, 284.
- Галатей**. 4, 9.
- Галаховъ**, Ив. Павл. (подробнѣе: прим. къ 121 стр. VI т.). 2, 383—387, 397; 6, 121.
- Галацъ**, городъ. 3, 450, 468, 472.
- Галенъ**, римскій врачъ. 4, 267.
- Галетти**, палскій министръ. 5, 95.
- Галилей**. 2, 333; 3, 155; 4, 100, 278, 294, 313, 413, 416; 5, 75, 449.
- Галиція**. 3, 424, 436, 502; 5, 313; 6, 234, 238.
- Галле**, городъ. 3, 523; 6, 46.
- Галлія**. 4, 29; 6, 181.
- Галлусъ**, средневѣковой лѣтописецъ. 6, 106.
- Галль**, Францъ-Иосифъ. 3, 51.
- Галушка**, московскій знакомый семья Яковлевыхъ. 7, 367, 371.
- Гальба**, императоръ. 5, 85.
- Гамбахъ**, замокъ. 3, 304.
- Гамбсъ**, мебельный фабрикантъ. 6, 303.
- Гамбургъ**. 3, 85, 459; 5, 1.
- Гамильтонъ**, лордъ. 1, 37, 96; 7, 447.
- Гамптонъ-кортъ** въ Лондонѣ. 3, 432.
- Ганау**, городъ. 6, 34, 89.
- Ганганелли**. См. Климентъ XVI.
- Ганеманъ**, Самуиль-Христіанъ, основатель гомеопатіи. 1, 325.
- Ганза** (Ганзейскій союзъ). 4, 63.
- Ганимедъ**. 4, 374.
- Ганноверъ**, городъ. 5, 7.
- Ганноверъ-Румъ**, мѣстность въ Лондонѣ. 3, 280.
- Гансъ**, Эдуардъ (подробнѣе: прим. къ 313 стр. II т.). 2, 313, 397.
- Гарденбергъ**, Фридрихъ. См. Новалясъ.
- Гарибальди**, Джузеппе. 2, 94; 3, 47, 53, 56, 58—60, 62, 130, 190, 239—244, 294, 295, 299, 322, 361, 418, 420—448, 544, 545, 548, 576, 577; 5, 96, 357, 361, 395; 6, 236, 254, 308, 324, 347—349.
- Гарибальди**, Менотти (сынъ). 3, 428, 435.
- Гарнье-Пажесъ**, Луи-Антуанъ. 1, 452, 470; 5, 111, 114, 124.
- Гарриксъ**, Г., посланный отъ Александра I къ кн. В. П. Кочубею. 5, 408.
- Гарриксъ**, Давидъ, англ. актеръ XVIII в. 4, 332.
- Гарунъ-аль-Рашидъ**. 5, 285.
- Гассенди**, Пьеръ, французскій философъ XVII в. 4, 174, 176, 312, 313.
- Гассеръ**. 3, 112, 113.
- Гатчина**. 2, 354.

- Гаузеръ, Каспаръ (подробнѣе: прим. къ 180 стр. I т.). 1, 180; 5, 221.
- Гаукъ, эмигрантъ. 3, 186, 191, 239, 327, 328.
- Гафисъ, персид. поэтъ. 5, 154.
- Гавта, городъ. 5, 81; 6, 351.
- Гавтана, предметъ первой любви Герцена. 2, 251—253.
- Гвадалквивиръ, рѣка. 2, 382.
- Гвельфы (подробнѣе: прим. къ 273 стр. IV т.). 4, 273, 308; 5, 73.
- Гверцони, секретарь Гарибальди. 3, 421, 425, 426, 427, 431, 432, 433, 434, 435, 445.
- Гвиччардини, Франческо. 3, 58.
- Ге, Дельфина. 2, 415; 3, 172.
- Гебель, композиторъ. 2, 217.
- Гебель, Эмилія. 7, 219.
- Геберъ, Жакъ-Рене (подробнѣе: прим. къ 27 стр. I т.). 1, 27, 472; 3, 273.
- Гевлокъ, Генри, англ. генераль. 3, 312.
- Гегель, Георгъ-Вильгельмъ-Фридрихъ. 1, 90, 95; 2, 110, 310, 311, 313—315, 318, 319, 327, 329, 332, 391, 397, 413, 454, 495, 497—499; 3, 146, 147, 151, 160, 162, 192, 211, 302, 382; 4, 94, 95, 97, 104, 106, 113, 114, 120, 123, 126, 129—131, 186—189, 207, 229, 234, 243, 265, 280, 288, 289, 290, 291, 293, 310, 336, 372, 394, 409, 416, 438; 5, 8, 9, 38, 162, 201, 237, 245, 246, 271, 379, 486, 451; 6, 9, 26, 27, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 60, 83, 92, 93, 94, 100, 117, 118, 122, 127, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 144, 163, 275, 389.
- Гедеоновъ, Александръ Михайл., директоръ импер. театровъ. 6, 344.
- Гедеоны, библейскій. 3, 426.
- Гейбнеръ, саксонскій революціонеръ. 6, 323.
- Гейдельбергъ, городъ. 6, 364.
- Гей-Люссакъ, Луи-Жозефъ, химикъ. 4, 111, 174.
- Гейманъ, Родіонъ, проф. москов. университета (подробнѣе: прим. къ 152 стр. IV т.). 2, 88, 110; 4, 152.
- Геймаркетъ, улица въ Лондонѣ. 3, 320, 512; 4, 432.
- Геймъ, Ив. Андреев. (подробнѣе: прим. къ 55 стр. I т.). 1, 55; 2, 89.
- Гейне, Генрихъ. 1, 48; 2, 5, 100, 311, 326, 485; 3, 523, 524, 533; 4, 1, 4; 5, 8, 57, 343, 450; 6, 6, 275.
- Гейнце, нѣм. журналистъ. 3, 377.
- Гейнценъ, баденскій революціонеръ. 3, 49, 50, 52, 73, 83, 84, 86.
- Геккеръ, баденскій революціонеръ. 3, 400.
- Гекней, мѣстность близъ Лондона. 3, 320.
- Гельветическая конфедерация. См. Швейцарія.
- Гельвейнъ, Клодъ-Адрианъ, франц. философъ-раціоналистъ XVIII в. 1, 367; 4, 333.
- Гельголандъ, островъ. 2, 100.
- Гельдерлинъ, Іоганнъ-Христианъ (подробнѣе: прим. къ 313 стр. II т.). 2, 313; 4, 408; 6, 138.
- Гемма, горный проходъ въ Альпахъ. 3, 520.
- Гемпденъ, Джонъ. 2, 128.
- Генгстенбергъ, Эрнстъ-Вильгельмъ. 5, 8.
- Гензерихъ. 5, 355.
- Генле, Фридрихъ-Густавъ-Яковъ (подробнѣе: прим. къ 327 стр. IV т.). 4, 327, 328.
- Генрихъ IV, король франц. 2, 423; 3, 259; 4, 68; 5, 356; 6, 187.
- Генрихъ V, См. Шамборъ, графъ.
- Генрихъ VIII, король англійскій. 4, 96, 405.
- Гентеръ-стригъ, улица въ Лондонѣ. 3, 281, 344.
- Генуя. 1, 388, 395; 3, 10, 63, 119, 141, 177, 191, 214, 217, 219, 238, 322, 346, 542, 554, 578; 5, 55, 56, 69, 74, 75, 82, 109, 212; 6, 348.
- «Георгъ IV», гостиница въ Лондонѣ. 1, 410, 411, 412, 413.
- Георгъ IV, король англ. 1, 407; 2, 352.
- Гера, богиня. 3, 442; 4, 374; 5, 387.
- Гераклитъ. 4, 214—217, 219, 220, 225, 230, 248; 6, 144.
- Гервегъ, Георгъ. 6, 46.
- Гервинусъ, Георгъ, нѣм. историкъ. 5, 379.
- Гергей, Артуръ. 3, 48.
- Гердеръ, Іоганнъ-Готфридъ. 4, 83, 139, 182; 6, 81, 150.
- Геренъ, Арнольдъ. 2, 423.
- Герингъ, адвокатъ. 3, 416, 417.
- Геркуланумъ. 3, 546; 5, 80, 82; 6, 176.
- Геркулесъ. 2, 497; 3, 166; 4, 270.
- Герлахъ, Леопольдъ (подробнѣе: прим. къ 196 стр. VI т.). 6, 196, 213.
- Германія. 1, 32, 33, 57, 66, 95, 130, 196, 336; 2, 93, 199, 209, 314, 326, 329, 331, 391, 397, 399, 406, 407, 412; 3, 51, 67, 69, 73, 74, 122, 132, 137, 264, 274, 287, 288, 299, 301, 303, 306, 307, 313, 338, 368, 400, 485, 523, 525, 551, 555, 572; 4, 3—5, 7, 8, 11, 17, 18, 23, 33, 39, 70, 82, 83, 89, 90, 93, 95, 101—103, 105, 121—123, 144, 151, 152, 154, 281, 284, 302, 310, 336, 408, 409, 415, 437; 5, 1, 7, 9, 10, 21, 60, 61, 74, 113, 127, 135, 160, 201, 213, 214, 216, 239, 246, 265, 294; 299, 315, 318, 328; 6, 9, 22, 39, 43, 59, 76, 78—80, 81, 83.

120, 125, 134, 139, 150, 181, 184—186, 191, 195, 214, 220, 222, 234, 242, 250, 251, 256, 257, 259, 264, 274, 317, 327.
Германъ, знакомый Герцена. 6, 10.
Герсей, островъ. 3, 257, 268, 353, 355; 6, 217.
Геродотъ. 1, 340; 2, 330, 331; 5, 163.
Герперсъ-Ферри. 6, 283.
Герресъ, Иоганнъ-Иосифъ. 5, 8.
Герстъ и Блакетъ, англ. издатели Герцена. 2, 277; 3, 290.
Герценъ, Александръ Александр., сынъ автора. 2, 366, 368, 372, 373, 374, 387, 476, 477, 486; 3, 179, 186, 187, 189, 190, 191, 230, 235, 240; 5, 166; 6, 3, 40, 59, 68, 82, 92, 98, 102, 133, 151, 367.
Герценъ (урожденная Захарына), Наталья Александр. (Natalie). 2, 229, 241—251, 253, 261, 262, 267—273, 278, 280, 282—284, 288—292, 297—302, 307, 339, 344, 366—370, 373, 458, 459, 478, 486, 487, 488, 496, 500; 3, 21, 22, 25, 26, 36, 65, 175—179, 180—181, 184—191, 217; 6, 1, 2, 3, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 29, 31, 32, 40, 44, 49—51, 54—58, 60, 61, 62, 63, 72, 82, 92, 97, 99, 133, 153, 164 (кромя того, „Переписка“, т. VII).
Герценъ, Нат. Алекс. старшая дочь Герцена. 3, 28—30, 180, 187, 189, 191, 230.
Герценъ, Николай Александр., второй сынъ Герцена. 3, 127—129, 155, 179—181, 183, 184, 217; 6, 153.
Герценъ, Ольга Александр., вторая дочь Герцена. 3, 180, 188, 191, 560.
Герцъ, Генрихъ. 7, 91, 101, 132.
Геслеръ, Альбрехтъ. 4, 197.
Гессенъ-Дармштадтъ. 6, 116.
Гессенъ-Кассель. 3, 309; 5, 377.
Гете, Вольфгангъ. 1, 4, 25, 31—35, 49, 65, 66, 79, 86, 90, 94—96; 2, 94, 294, 312, 313, 317, 326, 368, 472; 3, 68, 100, 106, 134, 160, 210, 330, 368, 523; 4, 3, 4, 8, 13, 15, 40, 47, 71, 76, 82, 83, 84, 92—95, 105, 120, 123, 125, 138, 142, 154, 161, 181, 182, 183, 184, 188, 201, 204, 207, 266, 281, 310, 328, 344, 359, 361, 375, 384, 415; 5, 3, 9, 16, 17, 57, 76, 77, 174, 175, 185, 186, 202, 203, 225, 239, 242, 246, 248, 252, 355, 362, 433; 6, 9, 11, 24, 78, 79, 81, 100, 103, 134, 147, 150, 159, 172; 7, 16, 254, 259.
Геттингенъ, городъ. 1, 39, 77, 133; 2, 89.
Гейфнеръ, д-ръ, австр. эмигрантъ. 3, 325.
Гиббонъ Эдуардъ, англ. историкъ. 1, 331; 3, 369, 516; 4, 255; 6, 301.
Гибеллины (подробнѣе: прим. къ 273 стр. IV т.). 4, 273, 308; 5, 60, 73.

Гибинъ, новгород. купецъ. 2, 365, 366.
Гибралтаръ. 3, 510, 555.
Гизо, Франсуа, франц. политич. дѣятель и писатель. 1, 462, 463, 465; 2, 274; 3, 153, 293, 484, 561; 4, 148, 154; 5, 17, 40, 49, 104, 105, 108, 109, 110, 112, 114, 126, 135, 201; 6, 71, 73, 195, 322, 330.
Гизъ, герцогъ. 5, 387.
Гильдголь въ Лондонѣ. 3, 419.
Гильдебрандтъ, Ѳеодоръ Андреев., проф. (подробнѣе: прим. къ 89 стр. II т.). 2, 89, 472.
Гильдебрандъ. См. Григорій VП.
Гималайскія горы. 5, 370, 373; 7, 300.
Гинарь, начальникъ артиллеріи национ. гвардіи. 3, 43, 44.
Гишархъ. 4, 263.
Гиппель. 4, 2.
Гишпократъ. 1, 235, 312, 325; 5, 398.
Гиссенъ, городъ. 3, 136.
Гитцигъ, нѣм. писатель. 4, 3, 7, 8.
Гладстонъ, Вильямъ. 3, 438, 443.
Глазго, городъ. 3, 419, 427.
Глазенапъ, генераль. 3, 317.
Глазовъ, городъ. 2, 179.
Глазуновъ, Ив. Ил., сб. книгопродавецъ. 5, 285.
Гласовъ, крестьянинъ. 6, 306.
Глинка, Мих. Ив., композиторъ. 3, 451.
Глинка, Серг. Никол. (подробнѣе: прим. къ 93 стр. II т.). 2, 93, 419; 5, 346.
Глинка, Ѳеодоръ Никол. 4, 149; 6, 154.
Глѣбовъ, Ив. Тимоф. (подробнѣе: прим. къ 144 стр. VI т.). 6, 144, 149.
Глюкъ, Христофъ, композиторъ. 4, 10.
Гмелинъ, Иоганнъ-Георгъ. 2, 15.
Гнейстъ, Рудольфъ (подробнѣе: прим. къ 437 стр. III т.). 3, 437; 6, 330, 336.
Гнѣдичъ, Никол. Ив. 2, 46.
Гоанго (Желтая рѣка). 4, 417.
Гоббсъ, Томасъ. 3, 97; 4, 312, 331, 332.
Гогартъ, Вильямъ (подробнѣе: прим. къ 442 стр. II т.). 2, 442; 4, 432; 5, 356.
Гогенловъ, Александръ - Леопольдъ - Францъ (подробнѣе: прим. къ 407 стр. II т.). 2, 407; 4, 286.
Гогенцоллерны, нѣм. королевская и импер. династія. 3, 553.
Гогенштауфены, нѣм. импер. династія (подробнѣе: прим. къ 73 стр. V т.). 2, 400; 5, 73, 83; 6, 238.
Гоголь, Ник. Вас. 2, 188, 324, 333, 421, 447; 2, 355; 3, 463; 4, 56; 5, 436; 6, 13, 145, 223, 244, 262, 342; 7, 9.
Гогъ и Магогъ. 3, 366.
Годуновъ, Борисъ Ѳеодор., царь. 1, 62, 290; 2, 410; 5, 134, 289, 294; 6, 105, 128.
Гого-Дади (Хокодаде), городъ. 3, 487.

- Голандъ, оперный пѣвецъ. 6, 89.
 Голгова. 5, 348.
 Голирудъ, дворець въ Эдинбургѣ. 2, 100.
 Голицына, княгиня, жена фельдмаршала. 6, 373.
 Голицына, Наталья Петр., княгиня. 6, 373.
 Голицынъ, князь, тамбовскій помѣщикъ. 6, 198.
 Голицынъ, Александръ Никол., кн., министръ (подробнѣе: прим. къ 97 стр. II т.). 2, 97, 213, 216; 5, 405, 406.
 Голицынъ, А. Ѳ., князь. 2, 142.
 Голицынъ, Дмитр. Владимір., князь, москов. ген.-губернаторъ (подробнѣе: прим. къ 90 стр. II т.). 2, 90, 92, 98, 127, 129, 132, 134, 144, 213, 215, 440, 442, 462, 463; 6, 54.
 Голицынъ, Серг. Михайл., князь (senior). 2, 114, 141, 142, 250, 444—446; 6, 286, 343.
 Голицынъ, С. П., князь. 6, 226.
 Голицынъ, Юрій Никол., князь 3, 449—458.
 Голицыны, князья. 3, 345.
 Голиаѳъ. 1, 204; 3, 293, 426; 7, 402.
 Голюкъ, Джорджъ (подробнѣе: прим. къ 369 стр. III т.). 3, 369, 428.
 Голландія. 1, 454; 3, 262, 291, 336, 393, 394, 411, 412; 4, 299, 316, 424; 5, 171, 372; 6, 78, 79.
 Головей, мѣстность близъ Лондона. 3, 320.
 Головинъ, Ив. Гаврил., писатель-эмигрантъ (подробнѣе: прим. къ 293 стр. III т.). 3, 293, 294, 298.
 Головинъ, Александръ Вас. (подробнѣе: прим. къ 339 стр. VI т.). 6, 339, 358.
 Голохвастова, Елизавет. Алексѣевна, тетка Герцена. 2, 15, 72, 377, 434, 435, 438, 442, 443.
 Голохвастовъ, Дмитр. Павл. 2, 247, 269, 271, 430, 431, 438—447, 451—453; 7, 287, 301, 388, 512.
 Голохвастовъ, Николай Павл. 2, 116, 441—444, 452; 7, 455.
 Голохвастовъ, Пав. Ив., дядя Герцена. 2, 7—9, 12, 13, 72, 116, 435, 438, 439.
 Голубинскій, Ѳеодоръ Александр. (подробнѣе: прим. къ 100 стр. VI т.). 6, 100, 101.
 Гольбахъ, Поль-Генри, баронъ, энциклопедистъ. 2, 414, 484. 4, 80, 333, 335; 6, 8, 9, 81.
 Гольштейнъ-Готторпъ. 5, 324.
 Гомеръ (Омиръ). 1, 28, 47, 66, 82, 89, 479; 3, 243; 4, 47, 105, 374; 5, 355.
 Гомора, городъ. 5, 254.
 Гондурасъ. 5, 334.
 Гонзага, художникъ. 2, 63.
 Гонза. Иванъ. 6, 360, 361.
 Гончаръ, Осипъ Семен., атаманъ некрасовцевъ. 3, 469—472.
 Гораціи, братья. 4, 399.
 Горацій. 2, 178; 4, 281; 5, 82.
 Горбуновъ, Ив. Ѳеодор., артистъ. 3, 209.
 Горландтъ. 1, 9.
 Горскій, Григорій, староста. 2, 54.
 Горчаковъ, Александръ Мих., князь канцлеръ и министръ ин. дѣлъ. 6, 196.
 Госкиссонъ, англ. писатель. 6, 289.
 Готфридъ Бульонскій, герцогъ. 1, 28, 92.
 Гофманъ и Кампе, гамбургскіе издатели. 2, 234; 3, 294, 299, 523; 5, 1, 3, 6, 188.
 Гофманъ, Эрнстъ-Теодоръ-Амадей. 1, 33; 4, 1—15; 7, 119, 447.
 Гошъ, Лазарь, франц. генераль. 1, 94, 245, 451; 2, 112; 5, 369, 6, 175.
 Грабовъ, нѣм. депутатъ. 3, 525.
 Гракки, братья. 2, 420; 3, 259, 523; 6, 36.
 Гранвилъ, Жанъ (подробнѣе: прим. къ 47 стр. III т.). 3, 47.
 Грановитая палата въ Москвѣ. 2, 410.
 Грановская, Елизавета Богдановна, жена проф. 6, 99.
 Грановскій, Тимоф. Никол. 2, 310, 329, 332, 333, 353, 372, 380, 388—398, 413, 416, 419, 421, 423, 424, 425—426, 454, 456—460, 487—490. 3, 33, 89, 107, 194, 278, 349, 351; 4, 136—145; 5, 347, 436, 437; 6, 29, 44, 49, 60, 71, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 111, 118, 120, 147, 148, 150, 153, 154, 159, 160—161, 162, 177, 179, 244, 245, 263, 389.
 Грантъ, анатомъ. 5, 8.
 Грантъ, Улиссъ, генераль и президентъ Сѣв.-Амер. Соед. Штатовъ. 6, 380.
 Грассо, артистъ. 3, 209.
 Грассъ, городъ. 3, 183, 196, 527, 528.
 Граубюнденъ, кантонъ въ Швейцаріи. 3, 90.
 Грачинъ, городъ. 3, 486; 6, 323.
 Грегоровіусъ, Фердинандъ (подробнѣе: прим. къ 189 стр. VI т.). 6, 189, 311.
 Гревъ, Жанъ-Батистъ. 5, 64.
 Гренвилъ, Вильямъ Уиндгемъ, англ. госуд. дѣятель конца XVIII и начала XIX в. 2, 19, 354.
 Греція. 1, 5, 8, 18, 49, 62, 64, 66, 392; 3, 99, 157, 353, 546, 569; 4, 20, 82, 89, 104, 202, 204, 205, 224, 225, 246, 247, 253, 254, 255, 270, 282, 332, 361; 5, 135, 246, 309, 331, 332, 392, 404; 6, 11, 43, 86, 107, 144, 229, 319.
 Гречь, Никол. Ив. 2, 423; 4, 153—156, 5, 7; 6, 60, 110, 111, 226, 246.
 Грибоѳдовъ, Алекс. Серг. 2, 181, 413; 4, 61; 6, 377.

Григорій Ивановичъ, довѣренный отца Герцена. 2, 67.
 Григорій Навіанзійъ (Богословъ). 3, 96; 4, 270; 5, 387; 6, 131, 152.
 Григорій VII, папа (Гильдебрандъ). 4, 89; 5, 74, 249, 398.
 Григорій XIV, папа. 4, 276.
 Григорій XVI (въ текстѣ III тома ошибочно: XIV), папа. 3, 61; 5, 68, 77, 78, 79, 217.
 Григорій Турскій. 4, 29, 30.
 Григоровичъ, Викторъ Ив. 6, 48.
 Григорьевъ, Вас. Вас. 6, 177.
 Григорьевъ, Ермолай, вятскій крестьянинъ. 2, 195—197.
 Гризи, Джулія. 3, 261.
 Гримель (въ Швейцаріи). 3, 520.
 Гриммъ, Фридрихъ-Мельхиоръ, баронъ (подробнѣе: прим. къ 414 стр. II т.). 2, 414, 484; 4, 334, 335; 6, 8.
 Гроеноръ-Скверъ, ул. въ Лондонѣ. 4, 423.
 Громека, Степ. Степ. (подробнѣе: прим. къ 357 стр. VI т.). 6, 357, 359, 362.
 Гроцій (Гроциусъ), Гуго (подробнѣе: прим. къ 4 стр. V т.). 5, 4, 376—378; 6, 235.
 Грузино, село Новгор. губ. 3, 384.
 Грувія. 2, 98, 462; 5, 308; 6, 196; 7, 458.
 Груши, Эммануэль. 3, 389.
 Грютля, мѣстность въ Швейцаріи. 2, 6.
 Губеръ, Эдуардъ Ив. 7, 487.
 Гувальдъ, Кристофъ-Эрнстъ. 5, 35.
 Гудъ, Томасъ. 6, 301.
 Гужонъ, франц. революціонеръ. 1, 454, 457, 461.
 Гуль, городъ. 3, 508.
 Гумбертъ (Умберто), итальян. насл. принцъ, впоследствии король. 6, 349.
 Гумбольдтъ, Александръ, нѣм. ученый. 1, 396; 2, 92, 93, 472; 3, 301, 368, 524; 4, 340; 5, 7.
 Гуно, Шарль, франц. композиторъ. 1, 443.
 Гуровскій, графъ, польскій эмигрантъ. 6, 217.
 Гуссъ, Янъ. 4, 276; 5, 311.
 Густавъ-Адольфъ, король шведскій. 3, 49; 4, 392.
 Гуттенъ, Ульрихъ фонъ. 3, 106.
 Гуттейтъ, помѣщикъ. 6, 301.
 Гуфландъ, Христофъ-Вильгельмъ, нѣм. врачъ (подробнѣе: прим. къ 114 стр. I т.). 1, 114, 325.
 Гфререръ, Августъ-Фридрихъ (подробнѣе: прим. къ 113 стр. VI т.). 6, 113, 116, 122, 130, 131.
 Гюберъ. 5, 157.
 Гюго, Викторъ. 1, 4, 33, 435; 2, 248, 262, 333—334, 407; 3, 93, 179, 253, 257, 267—270, 396, 535, 568, 569, 575; 4,

90, 95, 438; 5, 370, 371; 6, 218, 226, 227; 7, 49, 193, 200, 211, 286, 458.

Давидъ, Жакъ-Луи, франц. живописецъ. 1, 461.
 Давидъ, царь іудейскій. 1, 360; 2, 98; 3, 426, 522; 6, 332.
 Давидъ д'Анже или Анжерскій. 3, 32.
 Даву, Луи-Николай, франц. маршалъ. 6, 228.
 Давыдовъ, Денисъ Вас. 3, 399.
 Давыдовъ, Ив. Ив. 6, 177.
 Даго, островъ. 2, 338.
 Далесъ, франц. актеръ въ Москвѣ, учитель Герцена. 2, 35, 36.
 Далила. 1, 13; 2, 482; 3, 166.
 Далмація. 2, 401; 5, 268; 6, 238.
 Данило, кучеръ отца Герцена. 2, 71.
 Даниилъ, пророкъ. 1, 10; 3, 500; 4, 118; 5, 42, 344, 346, 348; 6, 320.
 Данія. 3, 436; 5, 312; 6, 85.
 Даннекеръ, Іоганнъ-Гейнрихъ. 1, 34.
 Данте Алигieri. 1, 12, 70, 145; 2, 426; 3, 61, 64, 135, 293, 324, 521, 528, 4, 10, 20, 87, 119, 148, 183, 348, 376; 5, 63, 221, 278, 355; 6, 19; 7, 13, 23, 24, 92, 148, 152, 213, 221, 223, 259, 422.
 Дантонъ, Жоржъ, франц. революціонеръ. 1, 451; 2, 112; 3, 69, 273, 276, 333; 4, 19; 5, 121, 138, 194, 203; 6, 231, 313.
 Данцигъ. 3, 69.
 Дарашъ, Павелъ, д-ръ. 3, 276, 277, 326, 327.
 Дарго, селеніе. 2, 103.
 Даримонъ, франц. депутатъ. 3, 562.
 Дарій Гистаспъ. 4, 397, 398.
 Дармштадтъ, городъ. 3, 290.
 Даровская волость. 2, 202, 203.
 Дарте, сообщникъ Бабёфа. 3, 387.
 Дарья, кормилица Герцена. 2, 8.
 Дашкова, Екатерина Роман., княгиня. 1, 367; 2, 317, 353, 414.
 Дашковъ, Дм. Вас. 2, 338.
 Двигубскій, Ив. Алексѣев. 2, 89.
 Дворцовый садъ въ Москвѣ. 1, 125.
 Деви, Гумфри, англ. химикъ. 1, 284.
 Девлетъ-Килдѣевъ, исправникъ. 2, 200.
 Девонширскій, герцогъ. 3, 441, 442.
 Девонширъ, графство въ Англии. 5, 374; 6, 311.
 Дежаръ, Полина-Виржини (подробнѣе: прим. къ 24 стр. V т.). 3, 535; 5, 24; 6, 340.
 Дезирабодъ, зубной врачъ. 3, 198; 4, 437.
 Декандоли, Огюстъ и Альфонсъ (отецъ и сынъ), ботаники. 4, 84, 184.
 Декандоль, Огюстъ, ботаникъ. 1, 445; 2, 83; 6, 146.

Декартъ, Рена. 4, 122, 132, 169, 177, 186, 245, 290—300, 305, 306, 307, 308, 313, 314, 315, 316, 330, 333, 335, 336; 6, 84, 135, 136.
Деку. 2, 112.
Делавинь, Казимиръ. 6, 38.
Де-ла-Годъ, франц. шпионъ. 3, 334.
Делеклюзъ, Луи-Шарль, франц. революционеръ. 3, 325.
Делессеръ, париж. полиц. префектъ. 3, 38, 39, 263; 5, 110, 115.
Деличь, учитель владимірск. гимназій. 2, 448.
Дель-Верме, древняя итальянская фамилія. 3, 58.
Дельперъ, франц. консулъ въ Лондонѣ. 3, 557.
Демокритъ (подробнѣе: прим. къ 177 стр. IV т.). 4, 177, 219, 248, 312.
Демонтовичъ, польскій эмигрантъ. 3, 503, 507, 508, 509, 510.
Демуленъ, Камиль. 2, 112, 454; 3, 8; 5, 194; 6, 154, 231.
Демуленъ, Люсилъ (жена Камилла Демулена). 2, 42.
Демуть, владѣлецъ гостиницы въ С.-Петербургѣ. 2, 351.
Денисовъ, проф. 2, 96, 97.
Деннь, д-ръ. 6, 12.
Депре, французскій физикъ. 4, 174.
Депретисъ, Агостино, итальян. министр. 3, 545.
Дерби, скачки. 5, 358.
Дерби, Эдвардъ-Джозефъ, лордъ, англ. политикъ (подробнѣе: прим. къ 293 стр. III т.). 3, 293, 419, 441, 442; 6, 248, 286.
Державинъ, Гавр. Роман. 1, 33, 56; 2, 63, 320, 436; 5, 422.
Дерптъ. 4, 155; 6, 99.
Джантимиръ-Мураа. 6, 306.
Деруанъ, Жанъ, франц. писатель. 2, 294.
Джерсей (Жерсей), островъ. 3, 205, 233, 257, 267, 268, 269, 291, 566; 5, 262; 6, 218.
Джефферсонъ, Томасъ, 3-й президентъ Соед. Штатовъ. 6, 213.
Джонсъ, Эрнестъ, англ. радикаль. 3, 298, 299.
Дибичъ-Забалканскій, Ив. Ив., фельд-маршалъ. 2, 123, 124; 6, 262.
Дидона, мнѣическая основательница Карфагена. 1, 149.
Дидро, Дени, франц. философъ. 1, 24, 33, 67, 450; 2, 63, 414, 458, 484, 485; 3, 97, 147, 271, 368; 4, 334, 335, 358; 5, 377; 6, 8, 9, 367; 7, 223, 572.
Диваради - Виконсфильдъ, англ. министр. 6, 248.

Диккенсъ, Чарльзъ. 3, 307; 4, 429; 5, 57, 356; 6, 183, 301.
Дильтей, Филиппъ-Генрихъ. 2, 89.
Динократь. 1, 5.
Диръ, князь. 4, 61.
Диффенбахъ-Фридрихъ, Иоганнъ. 3, 6, 7.
Дидель, нѣм. писатель. 6, 184, 185.
Дидъ, настройщикъ. 2, 402.
Диана, богиня. 2, 252; 5, 354.
Диодати. 3, 99.
Диоклетіанъ, рим. императоръ. 1, 341; 4, 273, 399; 6, 130, 131.
Дионисій, грекъ IV вѣка. 6, 124.
Дионисій, св. 4, 442.
Диоскоридъ Александрійскій, церк. дѣятель IV вѣка. 6, 131.
Дмитриевъ, Ив. Ив., писатель. 2, 73, 230, 436; 7, 296, 341, 352.
Дмитриевъ, Мих. Александр. (подробнѣе: прим. къ 38 стр. VI т.). 4, 149; 6, 38.
Дмитриевъ-Мамоновъ, Александръ Матв. 2, 181.
Дмитрій Ивановичъ, царевичъ, убитый сынъ Ивана Грознаго. 4, 56.
Добантъ, Луи-Жанъ-Мари, франц. натуралистъ XVIII в. 4, 346.
Долгорукіе, князья (при Петрѣ II). 2, 400.
Долгорукій, князь. 6, 35.
Долгоруковъ, князь, ссыльный самодуръ. 2, 180, 181.
Долгоруковъ, Вас. Андр., кн. (подробнѣе: прим. къ 179 стр. VI т.). 6, 179, 189, 339.
Долгоруковъ, Петръ Владим., князь (подробнѣе: прим. къ 439 стр. III т.). 3, 439; 6, 339, 354, 355.
Долгоруковъ, Як. Федор., любимецъ Петра Вел. 2, 250.
Дольчи, Карло. 5, 64.
Домажировъ, ординарецъ кн. Прозоровскаго. 3, 193.
Домиціанъ, императоръ. 6, 188.
Донатъ, епископъ IV вѣка. 6, 132.
Донского Войска область. 2, 69.
Донской монастырь въ Москвѣ. 7, 58.
Донъ, рѣка. 6, 357.
Драгиньянъ. 3, 169, 191.
Драгомиловскіе мостъ и застава въ Москвѣ. 1, 69; 2, 8, 57, 99.
Драпунсовъ, Владимиръ. 4, 376.
Дрезденъ. 2, 383; 3, 192, 455, 486, 489; 4, 15, 94; 6, 195, 216, 323.
Друэ, членъ швейц. федер. совѣта. 3, 85.
Друэнъ-де-Люисъ, Эдуардъ. 3, 442.
Дуббельтъ, Леонтій Вас. (подробнѣе: прим. къ 392—393 стр. I т.). 1, 392, 393; 2, 334, 340, 342—348, 357, 368.

461, 464—468; 3. 5, 21. 117, 126, 141;
6. 7. 13. 15, 60, 195, 299.
Дублинъ, городъ. 6, 141, 150.
Дубровяны, помѣщики. 6, 141.
Дувръ, городъ. 3. 76.
Дулансъ, тюрьма во Франціи. 5, 142.
Дунай, р. 4, 416; 5, 172; 6, 237, 322.
Душанъ, Стефанъ, сербскій король. 5,
306.
Дѣвичье поле въ Москвѣ. 2. 37, 282;
4, 388.
Дюве, знакомый Э. М. Аксбергъ. 7, 347.
Дюку, фрунц. полиц. чиновникъ. 3, 23.
Дюма, Жанъ-Батистъ, франц. химикъ
(подробнѣе: прим. къ 159 стр. VI т.).
4, 344; 6, 159.
Дюма-отецъ, Александръ, франц. рома-
нистъ. 1, 295, 457; 3, 243.
Дюма-сынъ, Александръ. 1, 422; 5, 373.
Дюме, рестораъ въ С.-Петербургѣ. 2,
351.
Дюонъ-Дюрвиаль, Жюль-Себастьянъ-
Сезаръ (подробнѣе: прим. къ 72 стр.
I т.). 1, 72, 331, 340; 5, 7; 6, 273;
7, 300.
Дюмурье, Шарль-Франсуа, генераль. 1,
94, 245.
Дюпенъ, Андрэ-Мари-Жанъ-Жакъ. 5,
112.
Дюпонъ-де-Леръ, Жакъ-Шарль (под-
робнѣе: прим. къ 100 стр. II т.). 2,
100; 5, 101, 113; 6, 70.
Дюпра, Паскаль. 5, 139.
Дюпон, Шарль. 1, 26.
Дюрамъ (Durham), Джонъ, графъ. 2, 92.
Дюссельдорфъ, городъ. 3, 303.
Дюшенъ, франц. журналистъ. 3, 145.
Дюфрессъ, Маркъ, франц. республика-
нецъ. 3, 571, 572.
Дюфуръ, Александръ, знакомый Э. М.
Аксбергъ. 7, 242, 376, 414.
Дюшатель, Шарль, графъ (подробнѣе:
прим. къ 100 стр. V т.). 5, 100, 110,
151.
Дядьковский, Устинъ Евдоким. 1, 336;
2, 472.

Евангеліе. 1, 8, 12, 13, 476, 477; 2, 40,
140, 217, 246, 247, 262; 3, 104, 106,
117, 451, 542; 4, 257, 262, 272, 399;
5, 133, 217, 234, 235, 273; 6, 86, 111,
123; 7, 14, 22, 63, 106, 177, 194, 266,
267, 292, 381, 396, 478, 532, 548,
552, 579.

Евгенія (графиня Теба), императрица
франц. 5, 313.

Евдокія Федоровна (Лопухина), супруга
Петра Великаго. 6, 292.

Европа. 1. 26, 37, 96, 103, 177, 193,
206, 282, 294, 333, 359, 391, 398,
401, 417, 421, 439, 440, 446, 447; 2,
92, 96, 119, 139, 203, 330, 333, 338,
406, 411, 412, 414, 421, 442, 443-
468; 3, 10, 16, 26, 35, 42, 55, 58, 60,
76, 77, 90, 99, 101—104, 107, 130,
131, 198, 228, 239, 249, 263, 264,
274—276, 282, 292, 295, 297, 303,
330, 331, 335, 338, 355, 374, 389,
399, 439, 471, 518, 536, 546, 548,
549, 552, 553, 577; 4, 3, 16, 54, 69,
70, 84, 90, 94, 137—139, 142—144,
147, 148, 150, 151, 154, 156, 204, 245,
277, 282, 283, 299, 316, 338, 351, 353,
374, 387, 388, 390, 392, 405, 406, 409,
410, 413, 415, 421, 423, 424, 425, 426,
427, 431, 437; 5, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10,
11, 13, 42, 54, 61, 65, 74, 77, 79, 86, 98,
99, 104, 108, 115, 117, 118, 122, 126,
127, 133, 135, 137, 145, 147, 151,
159, 160—163, 169, 171, 172, 173,
184, 192, 201, 208, 211, 212, 214,
215, 216, 234, 241, 244, 245, 247, 248,
249, 254, 256, 262, 363, 264, 265, 267,
269, 270, 274, 275, 277, 278, 280, 281,
282, 284, 285, 287, 288, 296, 304, 305,
307—319, 322—325, 328, 329, 331—
338, 352, 355, 356, 357, 358, 360, 363,
366, 367, 375, 381, 385, 393, 394, 395,
397, 400, 403, 404, 407, 410, 411, 412,
446; 6, 36, 38, 47, 65, 70, 75, 76, 78, 79,
81, 88, 94, 98, 101, 105, 106, 107, 121,
141, 142, 150, 158, 165, 177, 181, 182,
186, 206, 214, 215, 221, 222, 236, 237,
240, 247, 260, 264, 268, 270, 275, 276,
278—283, 285, 290, 296, 298, 301,
311, 313, 314, 318, 319, 321, 322,
340, 348, 365, 384, 392.

Евсевій, Памфилъ, епископъ Кесаріи,
историкъ и отецъ церкви IV вѣка.
6, 130.

Евтропій, римскій историкъ. 1, 267.

Евфратъ, рѣка. 6, 319.

Египеть. 1, 5, 7, 479; 2, 11; 3, 48, 356,
549; 4, 18, 21, 349, 353, 414, 424; 5,
168, 208, 331, 332; 6, 131; 7, 300,
311, 387.

Егоръ Ивановичъ, братъ Герцена. (Е. И.)
2, 16, 299; 6, 83; 7, 1, 14, 26, 28, 36,
46, 53, 61, 66, 70, 78, 81, 84, 89, 91,
95, 97, 101, 102, 124, 125, 127, 131,
144, 146, 148, 160, 162, 164, 198, 201,
202, 203, 204, 223, 242, 243, 252, 257,
270, 284, 313, 321, 329, 367, 383, 415,
418, 421, 423, 426, 430, 432, 456, 460,
464, 467, 474, 477, 481, 485, 487, 488,
489, 490, 491, 496, 499, 507, 517, 523,
539, 560, 562, 567, 569, 572.

- Едрово, почт. станція между Москвою и Петербургомъ. 4, 376, 384.
- Евекіяль, пророкъ. 1, 454.
- Екатерина II, императрица. 1, 33, 135, 352; 2, 72, 143, 154, 217, 349, 350, 352, 353, 400, 413, 435, 439, 491; 3, 332, 353; 4, 22, 23, 48, 189; 5, 13, 279, 292, 294, 300, 301, 308, 320, 353, 407, 409, 411, 413, 419; 6, 85, 88, 101, 110, 188, 293, 305, 372, 373.
- Екатерина Медичи. 5, 36.
- Екатерина, святая. 1, 22.
- Екатеринбургъ, городъ. 2, 176.
- Екатеринославль. 5, 334.
- Елагина, Авдотья Петр. (подробнѣе: прим. къ 416 стр. II т.). 2, 416; 3, 151; 6, 36, 38.
- Елагинъ, Никол. Вас., цензоръ и писатель. 6, 335, 336.
- Елена, горничная кн. М. А. Хованской. 2, 247; 7, 438, 513.
- Елена Павловна, вел. княгиня. 2, 492; 6, 99, 100.
- Елены, св., о-въ. 6, 195.
- Елизавета, королева англ. 2, 327; 4, 423; 6, 73.
- Елизавета Петровна, императрица. 2, 199, 400; 6, 188, 371.
- Елисейскій дворецъ въ Парижѣ. 3, 119.
- Елисейскія Поля въ Парижѣ. 3, 8, 18, 20, 43; 5, 100, 162, 191, 193, 197, 205, 233, 357, 375.
- Емаусъ. 2, 229; 7, 411.
- Енохинъ, Ив. Вас. 2, 221.
- Енохъ, библейскій. 6, 289.
- Епифановъ, Василій. 2, 54; 3, 115.
- Ермакъ Тимофеевичъ. 1, 245; 5, 296.
- Ермиловъ. 6, 358, 359.
- Ермоловъ, Алексѣй Петр., генераль. 2, 130, 312, 353, 413; 3, 278, 561.
- Еропкинъ, Петръ Дмитр. 5, 425.
- Ефіопія. 4, 21.
- Ецделино. 5, 74.
- Ешевскій, Степ. Вас. 6, 181.
- Жабицкій, польскій эмигрантъ. 3, 285.
- Жакото, Жанъ-Жозефъ, франц. педагогъ. 4, 352; 7, 89.
- Жаненъ, Жюль. 4, 7, 12.
- Жанлисъ, Стефанія. 5, 106.
- Жанна д'Аркъ. 3, 422; 7, 216, 217, 224, 279.
- Жанъ-Поль. См. Рихтеръ, Жанъ-Поль.
- Жарновикъ, скрипачъ. 4, 99.
- Желѣзнякъ, Максимъ. 6, 360, 361.
- Желябужскій, Ив. Аванас. 4, 152.
- Женева. 1, 196, 230, 231, 240, 241, 243, 418, 438—444; 2, 117, 392; 3, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 54, 67, 70, 76, 79, 80, 81; 82, 83, 84, 87, 88, 89, 90, 95, 108, 122, 131, 144, 152, 202, 204, 219, 222, 224, 231, 266, 343, 472, 516; 6, 46, 205.
- Жеребцова, Ольга Александровна. 2, 334, 349—356, 433, 461, 466.
- Жильберъ. 5, 202.
- Жирарденъ, Эмиль (подробнѣе: прим. къ 146 стр. III т.). 3, 146, 151; 5, 39, 111, 130, 442.
- Жиронда. 5, 45; 6, 77.
- Житомиръ. 6, 48.
- Жмудъ. 3, 495.
- Жоржъ, Маргарита (подробнѣе: прим. къ 36 стр. II т.). 2, 36; 5, 35.
- Жоффрау Сентъ-Илеръ, Этьенъ. 2, 83; 4, 165, 181, 184, 201, 344; 6, 129.
- Жуавиль, Жанъ. 1, 93.
- Жуи, Викторъ Этьенъ. 2, 42.
- Жуковский, Вас. Андр. 1, 63, 145, 166, 235; 2, 216, 221, 230, 321, 344, 450; 4, 149; 6, 333; 7, 192, 206, 292, 294, 296, 298, 304, 307, 315, 333, 403, 404, 407, 419, 422, 435, 441, 447, 510.
- Жуковъ, Вас. Григ., табачный фабрикантъ. 2, 477.
- Жюльевуръ, франц. журналистъ. 3, 197, 198.
- Жюльенъ, композиторъ. 3, 312.
- Завадовскій, Петръ Вас., графъ. 5, 299—300.
- Загорье, подмосковная деревня княгини М. А. Хованской. 7, 20, 21, 25, 27, 33, 95, 157, 287, 288, 289, 292, 300, 301, 305, 314, 317, 318, 328, 329, 330, 340, 345, 374, 408, 413, 414, 415, 419, 422, 425, 126, 427, 429, 436, 438, 444, 446, 477, 486, 489, 502, 514, 515, 517, 520, 522, 523, 528, 531, 532, 540, 541, 546, 548, 549, 550, 552, 555, 556, 564.
- Загоскинъ, М. Никол., романистъ. 2, 171.
- Закревскій, Алексѣй Андреев., графъ (подробнѣе: прим. къ 191 стр. VI т.). 6, 191, 195, 200, 208, 215, 389.
- Замойскій, Андрей, графъ. 3, 469.
- Замоскворѣе. 1, 290.
- Зандъ, Жоржъ. 1, 281, 294, 436; 2, 42, 274, 308, 334, 415, 426, 496, 501; 3, 115, 199, 208, 209, 291, 305, 306; 345, 538, 566; 4, 417, 418, 421, 438, 5, 21, 31, 133; 6, 20, 72; 7, 487.
- Зандъ, Карлъ. 1, 50, 54, 281; 2, 108; 3, 132.
- Западная (Римская) имперія. 4, 273.

Западъ (Европы). 1, 293; 2, 62, 63, 333, 343, 381, 397, 411, 413, 414, 415, 420, 424; 3, 330, 331, 336, 471; 4, 56, 70, 142, 147, 148, 150, 151, 152, 154, 204, 245, 246, 415; 5, 4, 160, 167, 316, 320, 328, 330, 332, 335, 339, 354, 375, 381, 400, 403, 416, 435, 446; 6, 94, 171, 180, 181, 214, 215, 258, 260, 263, 264, 268, 274, 275, 276, 278, 295, 296, 297, 298, 313, 314, 315, 320, 325, 345, 384, 385; 7, 267.

Запорожская Сѣчь. 6, 223.

Зарайскъ. 7, 168.

Зарамба. 4, 415.

Затлеръ, Оедоръ Карл., баронъ. 6, 226.

Захарына, Анна Александровна (сестра Нат. Алекс.). 7, 308, 320.

Захарына, Н. А. См. Герценъ, Н. А.

Звенигородскій уѣздъ. 2, 54.

Звенигородъ. 2, 272; 5, 225; 7, 124, 466.

Зевксисъ, греч. живописецъ. 1, 66.

Зевсъ. 1, 16, 29, 64, 90, 483; 3, 289, 442; 4, 8, 374; 6, 11.

Зедергольмъ, К. К., проф. 4, 152.

Зедергольмъ, Карлъ, московскій пасторъ. 6, 39.

Земмерингъ, Самуэль-Томасъ. 4, 326; 6, 104.

Зендавеста. 4, 349.

Зенонъ. 4, 225.

Зерновичъ, мионическій сербскій воевода. 6, 109.

Зибель, Генрихъ (подробнѣе: прим. къ 173 стр. VI т.). 6, 173, 175.

Зимній дворецъ въ Петербургѣ. 2, 130; 3, 199, 296.

Зинovia, царица Пальмиры въ III вѣкѣ. 1, 62.

Златоустъ, Иоаннъ. 4, 19.

Золотыя Ворота во Владимірѣ. 2, 229, 232, 285, 288.

Зольгеръ, нѣм. писатель. 5, 168.

Зондербундъ (подробнѣе: прим. къ 76 стр. III т.). 3, 76, 282; 5, 71, 109.

Зоненбергъ, Карлъ Ив. 2, 55—58, 61, 62, 68—70, 72, 227, 254 — 256, 266, 374, 469; 4, 350; 7, 53, 58, 441.

Зоричъ, Сем. Гавр. 5, 300.

Зотовъ, Рафаилъ Михайл. 6, 188.

Зубовъ, Платонъ Александр., графъ. 2, 351, 352.

Зундъ, проливъ. 6, 357.

Зурбаранъ, Францско. 2, 382.

Зуровъ, Эльпидифоръ Антиох., новгородскій губернаторъ. 2, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 366; 3, 53.

Ибаевъ, офицеръ. 2, 160.

Ибисъ, егип. божество. 4, 349.

Ивана Великаго колокольня въ Москвѣ. 7, 268.

Ивановъ. 7, 67.

Ивановъ, Александръ Андр., художникъ. 5, 360, 361; 6, 203—207, 210.

Ивашева, жена декабриста. 2, 42—44.

Ивашевъ, Вас. Петр., декабристъ. 2, 42—44.

Ивашкинъ, капитанъ, бывший жандармъ. 7, 8.

Иверская часовня въ Москвѣ. 2, 31.

Игорь, князь. 4, 61.

Ижоры, селеніе. 4, 61.

Изида. 4, 21, 79, 114.

Излеръ, Ив. Ив. (подробнѣе: прим. къ 393 стр. I т.). 1, 393; 3, 206.

Измаиль, сынъ Авраама. 1, 127; 4, 396.

Измайловъ, самодуръ-помѣщикъ (подробнѣе: прим. къ 181 стр. II т.). 2, 181; 3, 346; 5, 382.

Израиль (еврейскій народъ). 5, 433; 7, 171.

Изяславичи, князья. 2, 64.

Икарія (подробнѣе: прим. къ 35 стр. III т.). 3, 35; 6, 391.

Иліада. 2, 13.

Иллирія. 5, 268; 7, 238.

Иловайскій 4-й, казачій генералъ. 2, 7, 11, 12; 7, 104.

Ильинскія ворота въ Москвѣ. 2, 66.

Илья Муромецъ. 5, 371.

Иммерманъ, Карлъ. 3, 523.

Индія (Остъ-Индія). 1, 398, 399, 447; 2, 410; 3, 163; 4, 15, 205; 5, 41, 331, 332, 377; 6, 43, 70; 7, 300, 311.

Индъ, рѣка. 1, 398.

Инспрукъ, городъ. 3, 69.

Интерлакенъ. 6, 206.

Ипархъ. См. Гиппархъ.

Иппократъ. См. Гиппократъ.

Ипсомъ (Эпсомъ). 4, 431.

Ирбитъ, городъ. 2, 204, 255.

Иркутская губернія. 2, 43.

Иркутскъ. 2, 179; 3, 486; 5, 277, 296; 6, 211, 324.

Ирландія. 3, 357, 358, 380; 4, 6; 5, 295; 6, 170, 238.

Иродіада. 1, 449.

Иродъ Великій, царь іудейскій. 5, 401; 7, 438.

Иръ. 3, 324.

Исаакіевская площадь въ Спб. 2, 41, 335; 6, 26, 205.

Исаакій Далматскій. 6, 26.

Исаакъ, сынъ Авраама. 2, 345, 425; 4, 117, 118; 6, 195.

Исаія, пророкъ. 1, 13, 454; 2, 501; 3, 565; 6, 262.

Искандери. См. Александрія.
 Искандеръ—псевдонимъ Герцена. 7. 119.
 Пскія, о-въ. 6. 347.
 Исландія. 5. 77, 367.
 Ислингтонъ, предместье Лондона. 2. 277.
 Испанія. 1, 177, 417; 2. 383; 3. 54, 99, 107, 201, 262, 273, 368, 546; 4. 154; 5. 61, 74, 109, 142, 286, 334, 403; 6. 70, 156, 253.
 Истра. 5. 62.
 Италия. 1. 26, 27, 30, 31, 33, 34, 36, 66, 191, 306, 389, 390, 392, 442, 481; 2. 26, 53, 209, 333, 338, 391, 399; 3. 3, 6, 8, 9, 17, 21, 31, 47, 53, 54, 57—62, 69, 107, 109, 121, 129, 168, 182, 185, 186, 195, 199, 203, 214, 227, 238—243, 245, 249, 250, 252, 260, 277, 288, 289, 294, 300, 360, 379, 380, 406, 442, 510, 518, 543, 545, 546, 547, 548, 549, 551, 553, 563, 576, 577; 4. 12, 20, 48, 91, 122, 154, 158, 245, 255, 275, 280, 311, 344, 387; 5. 1, 2, 5, 23, 44, 49, 54—57, 60, 61, 66, 71, 73—77, 79, 81, 83, 92, 93, 95, 96, 108, 109, 142, 173, 186, 208, 213, 214, 264, 278, 334, 357, 360, 361, 363, 394, 403, 424; 6. 58, 62, 70, 86, 158, 181, 189, 214, 234, 235, 236, 238, 247, 254, 255, 308, 346, 348, 349; 7. 34, 69, 74, 132, 147, 160, 162, 195, 206, 210, 227, 231, 232, 234, 279, 293, 296, 299, 300, 311, 314, 317, 327, 330, 334, 341, 418, 487, 500, 506, 565, 574.
 Ифландъ. Августъ-Вильгельмъ. 4. 8.

Иаковъ, апостоль. 7. 11, 14.
 Иаковъ, патріархъ. 6. 226.
 Иафеть, библейскій. 6. 289.
 Иегова. 1, 13; 6. 9, 123; 7. 116, 322.
 Иеллаичъ, Иосифъ, графъ, хорватскій банъ. 2. 401.
 Иена, городъ. 2. 313; 4. 93, 186; 6. 139.
 Иеремія, пророкъ. 5. 164.
 Иерусалимская ул. въ Парижѣ. 3. 115.
 Иерусалимъ. 3. 344; 4. 436; 5. 162, 305; 6. 116, 123, 204; 7. 92, 296, 411.
 Иеръ, островъ. 3. 180, 181, 182, 183.
 Инсусъ Навинъ. 4. 194.
 Инсусъ Христосъ. 1, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 35, 42, 341, 477, 484; 2. 98, 210, 286, 425, 479; 3. 60, 310, 338, 391, 402, 437, 470, 568; 5. 10, 64, 78, 157, 230, 348; 6. 11, 21, 81, 113—115, 116, 123, 131, 132, 204, 263, 314; 7. 8, 15, 20, 44, 67, 102, 106, 129, 133, 139, 155, 161, 165, 167, 170, 173, 178, 181, 185, 193, 194, 196, 220, 241, 262, 264, 265, 267, 269, 274, 275, 281, 289, 298, 306, 316, 330, 363, 384, 385, 386, 394,

411, 421, 433, 437, 438, 445, 461, 466, 470, 474, 475, 484, 496, 500, 502, 507, 532, 542, 559, 578.
 Иоаннъ, австр. эрцъ-герцогъ. 3. 136.
 Иоаннъ, апостоль. 1, 11, 12; 4. 364; 6. 116; 7. 4, 8, 269, 339, 479.
 Иоаннъ, владимірскій священникъ. 2. 288.
 Иоаннъ Златоустъ. 6. 131.
 Иоаннъ Креститель. 1. 14; 2. 134; 3. 332; 4. 19; 7. 193, 496.
 Иоаннъ Кручинникъ. 2. 457.
 Иоаннъ Лейденскій. 3. 422.
 Иоаннъ, священникъ с. Покровскаго. 2. 375—379, 498.
 Иоаннъ III Васильевичъ, царь. 4. 63, 64; 5. 289.
 Иоаннъ IV Вас. Грозный, царь. 2. 167, 211, 410, 423, 438; 5. 321, 349, 411, 419, 442; 6. 110, 121.
 Иовъ многострадальный. 2. 72, 435; 3. 252, 566, 567, 575.
 Иокитшъ, гувернеръ Герцена. 2. 37.
 Иокогама, городъ. 6. 324.
 Иомбургъ, городъ. 6. 160.
 Иоантанъ. 3. 99.
 Ионія, страна. 4. 171, 204.
 Иорданъ, Вильгельмъ, нѣм. писатель. 6. 126.
 Иорданъ, рѣка. 7. 286, 401, 411, 436.
 Иоркъ-Отель, гостиница въ Лондонѣ. 3. 428.
 Иосифъ II, австр. императоръ. 2. 58, 240; 3. 353; 5. 334; 6. 239.
 Иосифъ Бонапартъ. 5. 77.
 Иосифъ Флавій, еврейскій историкъ. 6. 114.
 Иохимъ, каретный фабрикантъ. 2. 58.
 Иуда Искариотскій. 4. 274; 7. 170, 185, 363, 421.
 Кабанисъ, Пьеръ - Жанъ (подробнѣе: прим. къ 368 стр. III т.). 3. 368; 6. 183.
 Кабарюсъ, графиня, жена Тальена. 1. 455, 457.
 Кабрера, Рамонъ. 4. 432.
 Кабритъ, перскій вице-губернаторъ. 2. 169.
 Каба, Этьенъ (подробнѣе: прим. къ 35 стр. III т.). 3. 35; 5. 130, 255, 393, 441.
 Кавдинскія ущелья. 3. 161.
 Кавелинъ, Конст. Дмитр. 2. 91; 427; 6. 342.
 Кавеньякъ, Годфруа. 3. 81, 82, 241, 282; 5. 104, 243; 6. 275.
 Кавеньякъ, Эжень - Луи (подробнѣе:

прим. къ 22 стр. III т.). 1. 452; 3, 22, 23, 145; 5, 4, 118, 130, 135, 192, 195, 202, 212, 215, 217, 224, 333; 6, 187, 219, 253, 270.

Кавказъ. 1, 282; 2, 69, 124, 131, 140, 157, 270, 286, 462; 3, 442, 491, 507; 4, 349, 350; 5, 352; 6, 34, 162, 200; 7, 71, 72, 74, 76, 83, 340, 436, 504, 564.

Кавуръ, Камилло-Бензо, графъ. 3, 242, 244, 300, 545; 5, 357, 363; 6, 254.

Кадиксъ. 3, 185, 510.

Казанская губернія. 2, 203.

Казань. 1, 449; 2, 166, 167, 168, 186, 213, 253; 3, 480; 4, 385, 437; 5, 282, 312, 397; 6, 48, 96, 100, 373; 7, 12.

Казерта, городъ. 3, 55; 6, 349.

Каннъ. 3, 158, 159; 5, 402.

Каиръ. 4, 165; 5, 148.

Кай, городъ. 2, 179, 184, 222; 4, 303.

Кайдановъ, Ив. Кузьм. 3, 484.

Кайенна (подробнѣе: прим. къ 159 стр. V т.). 1, 425, 429; 3, 250, 259, 563, 564; 5, 159.

Калабрія. 1, 392; 394; 2, 112; 5, 73, 83, 286, 395, 396; 6, 351.

Каласъ, Жанъ. 6, 306.

Кале, городъ. 3, 76, 325, 560; 6, 345.

Калигула, рим. императоръ. 1, 340, 483; 3, 568; 4, 251, 255, 265; 5, 195; 6, 311.

Калифорнія. 1, 162; 3, 484; 4, 387; 5, 334, 352.

Калиостро, Александръ, графъ (Джузеппе Бальзамо), авантюристъ XVIII вѣка. 4, 386.

Калло, Жакъ, художникъ. 2, 150.

Кало, Карлъ Ив. камердинеръ Л. А. Яковлева (дяди Герцена). 2, 7, 15, 16, 19, 21, 33, 34, 429; 6, 6.

Калуга. 2, 324; 4, 60; 7, 326.

Калужская губ. 2, 442; 5, 425.

Кальвинъ, Жанъ. 1, 341, 440; 3, 77, 84, 243, 516, 518; 5, 201, 236, 387; 6, 270, 287.

Кальдези, фотографъ. 3, 240, 422.

Кальдеронъ, Педро, испан. драматургъ XVII вѣка. 6, 127.

Кальярн, городъ. 5, 5.

Кальяръ. См. Лафиттъ.

Кама, рѣка. 1, 37, 38; 7, 327.

Камбасересъ, Жанъ-Жакъ, французск. госуд. дѣятель (подробнѣе: прим. къ 164 стр. III т.). 1, 450; 3, 164.

Камбизъ, царь персовъ. 4, 349, 350.

Камбонъ, Жозефъ. 5, 124.

Камонецкій, Титъ Алексѣев. (подробнѣе: прим. къ 55 стр. I т.). 1, 55, 337.

Кампанелла, Томасъ, философъ. 4, 277.

Кампанья римская. 5, 80, 81, 286.

Кампе. См. Гофманъ и Кампе.

Камперъ, Петръ (подробнѣе: прим. къ 181 стр. IV т.). 4, 181, 343.

Кампиони, скульпторъ. 6, 32.

Кампо-Форміо, деревня въ Италіи. 2, 437.

Камчатка. 1, 162, 439; 2, 181.

Канада. 6, 313.

Кандыба, генераль. 6, 301.

Канзасъ, штатъ Сѣв. Амер. Соед. Штатовъ. 3, 99.

Канкринъ, Егоръ Францов., графъ, министръ финансовъ (подробнѣе: прим. къ 175 стр. II т.). 2, 175, 202; 6, 100, 262.

Каннинъ, Джорджъ, англ. министръ. 1, 445; 2, 354, 407; 3, 528.

Канова, Антонио, итальянскій скульпторъ. 1, 288, 305.

Каннъ, городъ. 3, 527, 528.

Кантемиръ, князь Антиохъ Дмитріев., писатель. 1, 118; 6, 370.

Кантъ, Эммануэль. 2, 332, 454; 3, 160, 368, 381; 4, 83, 93, 139, 177, 182, 185, 207, 253, 315, 318, 328, 331, 362; 5, 127, 260; 6, 78, 83, 163, 183.

Каштолій въ Римѣ. 3, 42, 547; 5, 63, 72.

Капнисть, Вас. Вас. 1, 56.

Капо-ди-Монте. 6, 347.

Каподистрія, Ив. Антон., графъ. 1, 439; 3, 546.

Капль, Фридрихъ (подробнѣе: прим. къ 70 стр. III т.). 3, 70, 71; 5, 167.

Капрера, о-въ. 3, 442, 443, 444, 448.

Капри, о-въ. 6, 345.

Капудетти. См. Монтекия.

Капуя, городъ. 6, 284.

Капфигъ, Баптистъ-Оноръ. 4, 27.

Капцевичъ, Петръ Мих., сибирскій генераль-губернаторъ (подробнѣе: прим. къ 190 стр. II т.). 2, 190, 191.

Каразинъ, Васил. Назар. 5, 405, 406, 419—425.

Каракалла, римск. императоръ. 3, 568; 5, 62.

Карамзинъ, Никол. Михайл. 1, 56, 61, 68, 162, 331, 340; 2, 60, 63, 73, 83, 229, 230, 400; 4, 56; 5, 6, 169; 7, 1.

Каратыгинъ, Вас. Андр., актеръ. 1, 285, 409, 410; 6, 341.

Карачарово, село. 7, 574.

Карданъ, Геронимъ. 4, 156, 277, 278, 299.

Карерасъ, лондонскій сигарный торговецъ. 5, 359.

Кариньянскій дворецъ въ Туринѣ. 3, 175, 176, 549.

Карлейль, Томасъ. 2, 452; 3, 331, 547.

Карлсбадъ, курортъ. 1, 88, 223, 429.

- Карль - Альбертъ, король сардинскій (подробнѣе: прим. къ 17 стр. III т.). 3, 17; 5, 56, 71, 109, 213.
- Карль Великій. 4. 185, 404; 5, 10; 6, 77.
- Карль I, король англ. 4. 332; 6, 73, 74.
- Карль, II, англ. король. 6, 74.
- Карль V, императоръ. 5, 60, 61, 74, 314, 429; 6, 239.
- Карль X (графъ д'Артуа), король французскій. 2. 100, 354, 421; 5, 48, 146, 158, 241, 333; 6, 67, 187.
- Карль XII, король шведскій. 5, 265; 6, 370.
- Карль Смѣлый. 3. 139, 143.
- Карлье, парижскій префектъ полиціи. 2, 466; 3, 26, 114, 115, 116, 279; 5, 126.
- Карно, Лаварь, организаторъ франц. арміи 1-й республики. 3, 69.
- Каролина, англ. королева. 3, 528.
- Каррель, Арманъ (подробнѣе: прим. къ 100 стр. II т.). 2, 100, 128; 3, 82; 4, 28; 5, 104; 6, 74, 95.
- Каружь, предмѣстье Женевы. 3, 79.
- Карусельская площадь въ Парижѣ. 3, 406; 5, 116, 191.
- Карусъ, Карль-Густавъ (подробнѣе: прим. къ 317 стр. II т.). 2, 317; 4, 184.
- Карье, франц. революціонеръ, членъ конвента. (подробнѣе: прим. къ 53 стр. V т.). 2, 176; 5, 53.
- Карагенъ. 1, 42, 483; 7, 214.
- Кастелла-Маре. 5, 86.
- Кастильоне, улица въ Парижѣ. 3, 569.
- Каспійское море. 1, 292.
- Кассель, городъ. 2, 19, 22.
- Кассіанъ-римлянинъ, мученикъ. 1, 75.
- Кассій, Гай Лонгинъ, римскій заговорщикъ противъ Ю. Цезаря. 6, 335, 336.
- Касті, Джамбатиста. 2, 63.
- Касторъ. 5, 39.
- Кастриотъ, Георгій. См. Скандербегъ.
- Категать. 2, 501.
- Катилна. 1, 483; 3, 150, 551; 5, 156, 386.
- Катковъ, Мих. Никифор. 2, 329, 492; 3, 471, 482; 6, 336, 337, 353, 355, 358, 359.
- Катовъ Младшій. 4, 259, 354, 398; 6, 313.
- Каульбахъ, Вильгельмъ. 3, 302.
- Кауницъ, Венцель-Антонъ, князь, австрійск. госуд. челоуѣкъ XVIII в. 1, 370; 2, 240.
- Каченовскій, Мих. Трофимъ, проф., историкъ. 1, 283; 2, 91, 94, 423.
- Кашенцовъ, крестьянинъ. 2, 371.
- Квинтиліанъ. 1, 56.
- Квириналь, дворець въ Римѣ. 3, 547; 5, 67, 68, 70, 71.
- Квито, городъ. 2, 112.
- Кельнь, городъ. 3, 8, 325; 4, 436; 5, 7, 10, 11; 6, 326.
- Кельсievъ, Вас. Ив. (подробнѣе: прим. къ 461 стр. III т.). 3, 461—469, 471, 473.
- Кельсievъ, Ив. Ив. 3, 469, 471.
- Кембель, лордъ, англ. судья. 3, 404, 405, 407, 408, 409, 411, 412, 444; 6, 248.
- Кембриджскій, герцогъ, Джорджъ. 5, 394.
- Кенигсбергъ, городъ. 3, 4, 6, 7, 303; 4, 481; 5, 7, 15, 58, 160, 265; 6, 150, 317.
- Кенигштейнъ, крѣпость. 3, 484; 6, 322, 323.
- Кенсингтонъ-Гарденъ, паркъ въ Лондонѣ. 5, 357.
- Кенсона, графъ, француз. эмигрантъ. 2, 14.
- Кентуки. 3, 298.
- Кентъ, герцогъ. 3, 364, 376.
- Кентъ, графство въ Англии. 5, 284.
- Кеплеръ, Иоганнъ. 2, 458; 4, 413, 416.
- Кешень, Петръ Ив. 4, 157.
- Кердериу, Эрнестъ, д-ръ. 3, 273, 274, 276.
- Кернеръ, Карль-Теодоръ (подробнѣе: прим. къ 68 стр. III т.). 3, 68; 4, 6.
- Керсови, франц. заговорщикъ. 3, 42, 43.
- Керчь. 6, 226.
- Кеснеръ, директоръ лондонской банковской конторы Ротшильда. 3, 478.
- Кетле, Адольфъ, бельгійск. статистикъ. 1, 448.
- Кетчеръ, Никол. Христофор. (подробнѣе: прим. къ 101 стр. II т.). 1, 335; 2, 101, 107, 108, 113, 114, 115, 117, 274, 275, 277, 278, 279, 280, 282, 283, 284, 305, 306, 307, 371, 372, 383, 457, 470—481, 483, 484, 486—492, 495; 3, 175, 195; 6, 41; 60, 61, 69, 86, 90, 93, 98, 102, 122; 7, 423, 439, 441, 453, 454, 455, 459, 460, 461, 464, 466, 469, 474, 477, 482, 487, 498, 508, 516, 520, 527, 532, 540, 560, 575, 580, 583.
- Кяне, Эдгаръ, франц. историкъ (подробнѣе: прим. къ 20 стр. IV т.). 3, 551, 552, 572; 4, 20, 185; 6, 11.
- Кинкель, Готфридъ, нѣм. эмигрантъ. 3, 228, 286, 288, 289, 290, 348.
- Киприанъ, епископъ карагенскій, учитель церкви III в. 6, 124.
- Кириллъ, церк. дѣятель V в. 6, 131.
- Кириллъ и Меодій, просвѣтители славянъ. 1, 51; 2, 199.
- Кирша Даниловъ. 5, 41.
- Кирѣвскіе, братья, И. В. и П. В. 2, 329, 398, 418, 421, 422, 427; 6, 36, 38, 87, 120, 155, 159, 384.

- Кирѣвскій, Ив. Вас., славянофиль-писатель. 2, 107, 320, 418—420, 422, 425—427, 460; 4, 150, 151; 5, 346, 347; 6, 38, 47, 53—59, 60, 96, 120, 140, 147, 148, 154.
- Кирѣвскій, П. В. 6, 36, 86—88, 154, 159.
- Киселева, графиня. 3, 529.
- Киселевъ, рус. дипломатъ. 3, 112, 117.
- Киселевъ, Пав. Дм., графъ (подробнѣе: прим. къ 203 стр. II т.). 2, 203, 204; 3, 112; 5, 292; 6, 96, 100, 149, 216.
- Кистеръ, московскій купецъ. 1, 71.
- Китай. 2, 191; 3, 163, 334, 335, 337, 338, 375; 4, 100, 128, 245, 407; 5, 162, 245, 254, 264, 308, 318, 365, 384, 385, 394; 6, 76, 106, 239, 252; 7, 436.
- Китай-городъ въ Москвѣ. 6, 343.
- Кишиневъ. 1, 128.
- Кіаія, кварталъ Неаполя. 3, 197; 4, 437; 5, 84, 86; 6, 345.
- Кіарамонти. См. Пій VII.
- Кіево-Печерская лавра. 1, 354.
- Кіевская губ. 6, 195.
- Кіевъ 1, 128; 3, 341; 4, 56; 5, 268; 6, 48, 361, 372, 373; 7, 51, 108, 122, 123, 130, 156, 296, 406.
- Кладій, рим. императоръ. 1, 483; 4, 87, 251, 269.
- Клапамъ, предмѣстье Лондона. 3, 349, 353, 355.
- Клапротъ, Гейнрихъ-Юлія. 4, 115.
- Кларендонъ, Джорджъ (подробнѣе: прим. къ 442 стр. III т.). 3, 442, 444.
- Клеберъ, Жанъ-Батистъ. 3, 66.
- Клейнмихель, Петръ Андреевъ, генералъ. 2, 175, 179; 5, 376; 6, 46, 49, 94, 100, 244, 299.
- Клеопатра, египетская царица. 1, 5, 181; 4, 46, 145; 5, 187; 6, 346.
- Клерво, тюрьма во Франціи. 5, 142.
- Клермонъ, замокъ въ Англии. 3, 309.
- Кляко, вдова. 4, 437.
- Климентъ XVI (Ганганелли), папа. 5, 70.
- Клиши, долговая тюрьма въ Парижѣ. 3, 203, 204, 376.
- Клиентова, Александра Григорьевна. 7, 18, 30, 118, 129, 134, 136, 162, 169, 220, 360, 446, 546.
- Клоотъ, Анахарсисъ или Жанъ-Батистъ (подробнѣе: прим. съ 26 стр. I т.). 1, 26, 27, 341; 2, 192; 3, 489, 575; 4, 57; 5, 194, 237, 451.
- Клопотовская, помѣица. 6, 301.
- Клоштокъ, Фридрихъ-Готлибъ. 3, 134.
- Клюшниковъ, Ив. Петр., повѣсть. 2, 331.
- Клязьма, рѣка. 1, 59, 60; 2, 303; 7, 467, 561, 567.
- Княжнинъ, Як. Борис., драматургъ. 2, 89.
- Кобденъ, Ричардъ (подробнѣе: прим. къ 293 стр. III т.). 3, 293; 5, 110, 375, 394; 6, 304.
- Кобленць. 3, 48; 5, 19.
- Кобургъ, герцогъ Фридрихъ Кобургскій (подробнѣе: прим. къ 369 стр. V т.). 1, 27; 5, 369.
- Ковалевскій, товарищъ Мицкевича. 2, 264.
- Ковенская губернія. 5, 38.
- Ковентъ-Гардежъ, театръ въ Лондонѣ. 3, 312, 530; 4, 432.
- Ковна. 3, 499; 5, 420.
- Ковегагтенъ, нѣм. путешественникъ по Россіи. 6, 65.
- Ковенць, итальян. генералъ, сподвижникъ Гарибальди (подробнѣе: прим. къ 58 стр. III т.). 3, 58, 63, 219, 238.
- Ковловскій, князь. 5, 273; 6, 103, 273.
- Ковловъ, городъ. 3, 450.
- Ковловъ, Ив. Ив. 4, 180; 7, 336, 398, 480, 489.
- Ковье болото, мѣстность въ Москвѣ. 5, 331.
- Ковьомодьянскъ. 2, 204, 226.
- Кокоревъ, Вас. Александръ. 2, 490.
- Кокоскинъ, сиб. оберъ-полицеймейстеръ. 2, 461, 463—465, 467; 3, 5, 6, 352.
- Колачекъ, А., нѣм. писатель. 3, 294, 325.
- Коллизей въ Римѣ. 2, 394; 3, 93; 5, 59, 60, 62, 95, 96, 208, 209.
- Коллинъ, Гаспаръ, франц. адмиралъ и глава гугенотовъ. 2, 389.
- Колло-д'Эрбуа, Жанъ-Мари, франц. революціонеръ-террористъ. 3, 69, 258.
- Колоссъ Родосскій. 4, 364.
- Колумбія, республика въ Южной Америкѣ. 3, 10; 4, 440.
- Колумбъ, Христофоръ. 3, 51, 61, 105, 390, 489, 542, 543; 4, 106, 311; 5, 183, 199, 281, 310.
- Кольберъ, Жанъ-Батистъ. 6, 76.
- Кольбрукъ, Генри-Томасъ (подробнѣе: прим. къ 161 стр. IV т.). 4, 161, 203.
- Коль-ди-Тенда, ущелье въ Альпахъ. 3, 176.
- Кольрейфъ, студентъ. 2, 105, 108, 473.
- Кольцовъ, Алексѣй Васил., поэтъ. 2, 323, 329, 331; 3, 276; 5, 277.
- Комаровскій, Евграфъ Федор., графъ, жандармскій генералъ. 2, 41.
- Комаровскій, Яковъ, польскій офицеръ. 6, 361.
- Комартенъ, улица въ Парижѣ. 3, 20.
- Коммиссаровъ-Костромской, Осипъ Ив. 3, 451.

- Комнены, византийскіе императоры. 5, 205.
- Комо, озеро. 3, 300.
- Конарскій, Симонъ (подробнѣе: прим. къ 186 стр. II т.). 2, 186; 3, 121, 241; 6, 35.
- Кондильякъ, Этьенъ, франц. философъ XVIII в. 4, 318, 323, 324, 328.
- Кондорсе, Жанъ-Антуанъ, франц. филос. и политич. дѣятель. 1, 140.
- Консидеранъ, Викторъ (подробнѣе: прим. къ 147 стр. III т.). 3, 147, 376; 5, 40, 139; 6, 124, 126.
- Констансъ или Константинъ. 1, 9.
- Константина, городъ. 5, 20.
- Константинополь. 1, 447; 2, 448; 3, 248, 449, 469, 472, 488, 543; 5, 303, 324; 6, 216.
- Константинъ I Великій, императоръ византийскій. 1, 13; 2, 412; 4, 260; 5, 254; 6, 124, 130, 131.
- Константинъ VII Багрянородный, императоръ. 1, 4.
- Константинъ Николаевичъ, вел. князь. 3, 495; 6, 309.
- Константинъ Павловичъ, великій князь, цесаревичъ. 2, 41, 57, 221.
- Констанъ, Бенжаменъ (подробнѣе: прим. къ 100 стр. II т.). 2, 100, 119; 5, 77, 260, 343.
- Консьержери, тюрьма въ Парижѣ. 3, 22, 42, 153, 287; 5, 99.
- Контъ, Огюстъ. 3, 160, 212, 368, 473, 566; 6, 183.
- Копенгагенъ. 3, 509; 5, 312.
- Коперникъ, Николай. 1, 285; 3, 105; 4, 73, 106, 263, 275, 278, 296, 413—416.
- Копшеть, мѣстность въ Швейцаріи. 1, 445; 3, 86.
- Коптевъ, Дм., сотрудникъ «Москвитянина». 6, 154.
- Коранъ. 2, 200; 4, 128; 6, 220.
- Корвизаръ, лейбъ-медикъ Наполеона I. 1, 430.
- Кордильеры. 6, 185.
- Корда, Шарлотта. 3, 500; 4, 361.
- Кориоланъ, Кай-Марцій. 1, 409, 410; 5, 250.
- Кормененъ, Луи-Мари (подробнѣе: прим. къ 424 стр. I т.). 1, 424; 3, 406.
- Корнелюсъ, Петръ. 3, 302.
- Корнелия, мать Граковъ. 4, 48.
- Корнель, Пьеръ, франц. драматургъ XVII в. 1, 367; 5, 17, 36.
- Корниловъ, вятскій губернаторъ. 2, 200, 222—224; 6, 332, 333.
- Корниче (подробнѣе: прим. къ 388 стр. I т.). 1, 388; 3, 191.
- Коробейниковъ, Трифонъ. 1, 57.
- Корреджіо. 4, 288.
- Корсика. 1, 178; 6, 189.
- Корсини, знатная римская фамилія. 2, 298; 5, 69.
- Корсо, ул. въ Римѣ. 3, 9, 17; 5, 68, 69, 72, 94, 190.
- Кортесь, Доново. 3, 154; 5, 313, 351, 379, 393; 6, 252.
- Кортесь, Фернандо. 5, 188; 6, 259.
- Корфъ, Модестъ Андр., графъ (подробнѣе: прим. къ 188 стр. VI т.). 5, 407; 6, 188, 192.
- Корчева, городъ. 2, 49, 56; 6, 33.
- Коршъ, Евгенийъ Федор. 2, 372, 379, 383, 356, 390, 454, 457, 460, 487, 488, 490; 6, 93, 133, 153.
- Коршъ, Марья Федор. 3, 5, 24.
- Коссидьеръ, Маркъ (подробнѣе: прим. къ 470 стр. I т.). 1, 470; 3, 120, 192, 261, 263, 324, 484, 485, 489; 5, 115, 128.
- Коста-Рика. 6, 184.
- Костенецкій, Як. Ив. 2, 108.
- „Костенка“. См. Наталья Константиновна.
- Костровъ, Ермилъ Ив., поэтъ и переводчикъ XVIII в. 2, 89.
- Кострома. 2, 324.
- Костромская губ. 2, 433.
- Костюшка, Фаддей, польскій генералъ и диктаторъ. 2, 172; 5, 262, 267.
- Котельниковъ, провинц. чиновникъ. 6, 113.
- Котельницкій, Вас. Мх., проф. 2, 89.
- Котельническій уѣздъ. 2, 202.
- Котлы, деревня подъ Москвой. 7, 329.
- Котта, нѣм. издатель. 3, 523.
- Коть д'Оръ, департ. во Франціи. 3, 316.
- Коусъ, городъ на о—въ Уайтѣ. 3, 421, 423, 425.
- Коцебу, Августъ (подробнѣе: прим. къ 50 стр. I т.). 1, 50; 2, 34; 4, 8, 33, 149, 155.
- Кочубей, Викт. Павл., князь (подробнѣе: прим. къ 290 стр. V т.). 2, 339, 5, 290, 406, 407, 423, 424, 425.
- Кощихинъ (правильнѣе: Котопшихинъ), Григ. Карп. (подробнѣе: прим. къ 152 стр. IV т.). 4, 152, 385; 6, 111.
- Кощутъ, Людвигъ. 2, 94; 3, 74, 122, 237, 239, 246—252, 282, 283, 293, 294, 295, 296, 297, 299, 316, 318, 342, 343, 396; 6, 254.
- Краевскій, Андр. Ал. 2, 321, 501; 6, 33, 160, 338, 339, 362.
- Краковъ. 4, 413.
- Красинскій, Сигизмундъ, графъ (подробнѣе: прим. къ 406 стр. II т.). 2, 406; 3, 277, 278.
- Красниково, деревня. 7, 429.

- Краснопѣвцевъ, рус. эмигрантъ. 3. 471. 472.
- Красноярскъ. 1. 187; 2. 172. 191.
- Краутъ, нѣм. эмигрантъ. 3. 312.
- Крейцъ, Клирианъ Антон., генералъ. 2. 171.
- Кременчугъ, городъ. 2. 75.
- Кремль въ Москвѣ. 1. 2, 290; 2. 10, 11, 97, 400; 4. 54, 56, 59, 148, 385, 387; 7. 35, 245, 268, 351.
- Креморнъ, театръ въ Лондонѣ. 3. 312.
- Креме, Исаакъ-Адольфъ (подробнѣе: прим. къ 398 стр. III т.). 3. 398; 5. 120.
- Кречетниковъ, Мвх. Никит. 6. 360, 361.
- Кривская, дворянка. 6. 371.
- Кристалъ-Паласъ въ Лондонѣ. 3. 312, 424.
- Кроація. 2. 401.
- Крольгартенъ, паркъ въ Берлинѣ. 3. 304, 525.
- Кромвель, Оливеръ. 1. 62, 454; 3. 155, 259, 333, 516; 4. 284; 5. 218, 453; 6. 74, 77, 293, 299.
- Кропоткинъ, москов. оберъ-полицеймейстеръ. 6. 191.
- Крувенштольпе, Магнусъ-Яковъ. 6. 188.
- Крупнонъ. 3. 155.
- Крутицкія казармы (Крутицы) въ Москвѣ. 1. 23, 37; 2. 4, 145, 250, 267, 298, 299, 300, 301, 842; 3. 139; 7. 13, 21, 26, 33, 37, 38, 45, 49, 53, 54, 56, 61, 65, 70, 72, 91, 100, 129, 131, 145, 159, 167, 171, 176, 177, 186, 203, 211, 212, 215, 233, 247, 253, 262, 267, 340, 351, 357, 388, 389, 416, 419, 429, 436, 463, 464, 510, 517, 526, 535, 544, 555, 571, 587.
- Крылово, деревня. 7. 329.
- Крыловъ, Александръ Лукичъ, писатель и цензоръ 40-хъ гг. 6. 134.
- Крыловъ, Ив. Андр. 1. 47; 2. 63, 230, 389; 6. 177; 7. 141.
- Крыловъ, Никита Ив. (подробнѣе: прим. къ 398 стр. II т.). 2. 398; 6. 35, 178—180.
- Крымъ. 2. 295, 488; 3. 72, 251, 321; 5. 308, 313; 6. 223, 226, 306.
- Крюковъ, Дм. Льв. (подробнѣе: прим. къ 383 стр. II т.). 2. 379, 383, 398, 414, 453; 3. 349, 351; 6. 163, 164.
- Ксанфъ. 2. 318; 5. 65.
- Ксенофанъ. 4. 231.
- Ксенофонтъ. 1. 93; 4. 105, 343.
- Ксерксъ. 4. 397; 6. 11.
- Куба, островъ. 5. 291, 334.
- Кудлихъ, д-ръ. 3. 134, 135.
- Кузень, Викторъ (подробнѣе: прим. къ 26 стр. IV т.). 3. 574; 4. 26, 145, 186; 5. 9, 121; 6. 830.
- Кузень, m-де, ховяйка отеля Мирабо въ Парижѣ. 3. 115.
- Кузнецкій мостъ въ Москвѣ. 1, 123; 2. 69; 4. 385; 7. 575.
- Кузьма, лакей Н. М. Сатина. 2, 115.
- Кукольникъ, Несторъ Вас. 2, 338.
- Кужуноръ (озеро въ Тибетѣ). 4. 417.
- Кукъ, Джемсъ. 1. 72; 2. 424; 5. 7.
- Кулаковъ, совѣтникъ вятск. губ. правленія. 2. 194.
- Кульмъ, селеніе въ Чехіи. 3. 81, 82.
- Кунцово, деревня близъ Москвы. 2, 51, 60, 487.
- Куперъ, Фениморъ. 4. 6.
- Курбановскій, священникъ. 2. 199, 200.
- Кургановъ, Никол. Гаврил. 1, 56.
- Куріацин, братья. 4. 399.
- Курляндія. 6. 323.
- Курне, франц. эмигрантъ. 3. 398—409.
- Курскъ. 7. 291, 398.
- Курте, генералъ. 5. 100, 101, 130.
- Курута, владимірскій губернаторъ. 2, 229.
- Курута, Юлія Федор., жена владим. губернатора. 2, 289.
- Курцій, Маркъ. 1. 64, 331; 4. 356.
- Куръ-Гессенъ. 3. 309.
- Курье, Поль-Луи. 5. 25.
- Кутансъ. 3. 317.
- Кутонъ, Жоржъ. 5. 52, 53.
- Кутузовъ, князь Мвх. Илларионъ. 1, 82; 2, 10; 3. 242.
- Кутюръ, Тома. 3. 25.
- Кучина, Тат. Петровна. 7. 131.
- Кучузь-Кайнарджи, деревня въ Болгаріи. 2. 425.
- Кушниковъ, сенаторъ. 2. 213, 215.
- Кэри, Генри-Чарльзъ (подробнѣе: прим. къ 213 стр. VI т.). 6. 213, 284.
- Кювье, Жоржъ, франц. натуралистъ. 1, 396; 2, 83, 155; 3. 147; 4, 74, 172, 186, 303, 341, 343; 6. 146.
- Кюнъ, владѣлецъ ресторана въ Лондонѣ. 3. 461.
- Кюстинъ, Адольфъ, маркизъ (подробнѣе: прим. къ 88 стр. VI т.). 6. 88, 89, 90, 103, 110, 227, 273.
- Кяхта. 5. 289.
- Лабинъ, Александръ Федор. 2. 41, 42.
- Лабинскій. 6. 110.
- Лабашъ, Лууджи (подробнѣе: прим. къ 261 стр. III т.). 3. 261, 302, 454, 456, 457, 529.
- Лабуле, Эдуардъ, франц. писатель. 3. 561.
- Лавиронъ, франц. республиканецъ. 3. 62, 66, 67.

Лавуазье, Антуанъ-Лоранъ. 4, 214; 6, 159.
 Лагарпъ, Жанъ-Франсуа. 1, 58.
 Лагарпъ, Фредерикъ-Сезаръ (подробнѣе: прим. къ 405 стр. V т.). 5, 405, 407.
 Лаго-Маджюре, озеро. 6, 62.
 Ладожскій каналъ. 5, 418.
 Лаваревъ, вятскій исправникъ. 2, 225, 226.
 Лазарь, бѣдникъ въ притчѣ Евангелія. 5, 225; 7, 63.
 Лазарь, евангельскій святой. 1, 342; 2, 220; 3, 99; 6, 269, 301, 350, 357.
 Лакордеръ, Жанъ-Багистъ (подробнѣе: прим. къ 98 стр. II т.). 2, 98, 406; 5, 357.
 Лаландъ, Жозефъ-Жеромъ (подробнѣе: прим. къ 83 стр. II т.). 2, 83; 3, 489.
 Ламаншъ. 3, 256, 266, 410; 5, 319, 398.
 Ламаркъ, Жанъ - Баптистъ - Антуанъ, франц. натуралистъ. 4, 178.
 Ламаркъ, Максимилианъ, генераль (подробнѣе: прим. къ 35 стр. I т.). 1, 35; 2, 100, 128; 3, 264.
 Ламармора, Альфонсо, итальянск. генераль. 3, 545, 550.
 Ламартина, Альфонсъ. 1, 448, 449, 451, 470; 3, 13, 106, 245, 277, 282, 577; 5, 99, 101, 103, 106, 109, 113, 114, 115, 118, 121, 126, 127, 128, 129, 130, 138, 140, 379; 6, 322.
 Ламбаль, Марія-Тереза, герцогиня. 5, 213.
 Ламбесса. 3, 250, 259, 561, 563.
 Ламбетъ, мѣстность въ Лондонѣ. 6, 278.
 Ламбрускини, Луджи (подробнѣе: прим. къ 68 стр. V т.). 5, 68, 78, 79.
 Ламе, Габриэль, французскій математикъ (подробнѣе: прим. къ 174 стр. IV т.). 4, 174; 5, 367.
 Ламенне, Гюгъ-Фелиситъ-Роберъ (подробнѣе: прим. къ 406 стр. II т.). 2, 406, 407; 3, 145, 202, 289, 570; 5, 246.
 Ламорисьеръ, Кристофъ-Леонъ (подробнѣе: прим. къ 417 стр. I т.). 1, 417; 3, 22; 5, 143; 6, 187.
 Лампи, художникъ XVIII в. 2, 439.
 Ландсиръ, Эдвинъ. 5, 360.
 Ланжеронъ, Александръ Оедор., графъ. 2, 94.
 Ланкло, Нинона де. 1, 449.
 Ланской, Серг. Степ., гр. 6, 198.
 Лаокоонъ. 5, 64.
 Лаппискій, польскій полковникъ. 3, 499, 503, 506—510.
 Лапландія. 1, 133.
 Лапласть, Пьеръ-Симонъ, астрономъ. 3, 368; 4, 74, 84; 5, 422; 6, 183.

Ларошфуко, Франсуа (подробнѣе: прим. къ 73 стр. II т.). 2, 73; 3, 222.
 Ларошъ-Жакленъ, Анри (подробнѣе: прим. къ 33 стр. I т.). 1, 33; 4, 422.
 Ларошъ-Жакленъ, Анри-Огюстъ, маркизъ (подробнѣе: прим. къ 121 стр. III т.). 3, 121; 5, 112.
 Ларре, Жанъ-Доминикъ, франц. хирургъ. 1, 430.
 Ласкавъ, Эмманюэль-Огюстенъ (подробнѣе: прим. къ 84 стр. I т.). 1, 84; 4, 85, 375; 5, 424; 6, 139, 254.
 Лассаль, Фердинандъ. 5, 451.
 Латинскій кварталъ въ Парижѣ. 1, 435, 2, 112; 3, 574, 575.
 Латуръ, Теодоръ, графъ. 3, 327.
 Лауцагенъ, городъ. 3, 4; 5, 160.
 Лафайетъ, маркизъ, Мари - Жозефъ-Поль. 1, 29, 92, 104, 457; 2, 100, 119; 3, 51, 81, 524; 4, 360; 5, 77, 343; 6, 77, 175; 7, 482.
 Лафаржъ, Марія. 4, 356.
 Лафатеръ, Иоганнъ-Каспаръ. 1, 34, 95, 138.
 Лафиттъ и Кальяръ, владѣльцы компаніи дилижансовъ. 3, 45.
 Лафитъ, Жакъ. 3, 81.
 Лафонтенъ, Августъ (подробнѣе: прим. къ 54 стр. I т.). 1, 54, 55; 2, 34, 473; 4, 8.
 Лахтинъ, осужденный по дѣлу Герцена въ 1835 г. 2, 160, 161.
 Лацумъ. 3, 574, 577.
 Лебедевъ. 6, 331.
 Лебедевъ, пензен. помѣщикъ. 6, 371.
 Лебени. 3, 250.
 Лебра. 2, 112.
 Лебръ, франц. литераторъ. 6, 60.
 Лебедельтернъ, австр. посланникъ въ Россію. 2, 406.
 Левассеръ, артистъ (подробнѣе: прим. къ 17 стр. V т.). 3, 209; 5, 17, 24, 83, 39, 357.
 Левассеръ, Тереза (подробнѣе: прим. къ 484 стр. II т.). 2, 484, 485; 5, 226.
 Левассеръ, членъ конвента. 5, 17.
 Левашева, Е. Д. 2, 282; 7, 441, 555.
 Леве-Веймаръ. 4, 15.
 Левекъ, Пьеръ-Шарль. 1, 178.
 Левенвольдъ, Карлъ-Густавъ, гр. 6, 257.
 Левенгаль, московскій докторъ. 2, 432.
 Левицкая, Софья. 7, 437.
 Левицкій, Серг. Льв., сынъ Л. А. Яковлева. 7, 24, 117, 164, 433, 451, 462.
 Левиаганъ. 6, 223, 224.
 Левкиппъ. (подробнѣе: прим. къ 177 стр. IV т.). 4, 177, 218, 219.
 Левъ I. папа. 6, 131.
 Левъ X. папа. 4, 90, 273; 5, 60.
 Левъ XII. папа. 5, 81.

Левъ Исавръ, императоръ. 4. 262.
Легранъ, владѣлецъ ресторана въ Петербургѣ. 4. 389.
Ледитверъ, отель въ Парижѣ. 1, 446.
Ледовитый океанъ. 5. 318, 411.
Ледру - Роланъ, Александръ-Огюстъ (подробнѣе: прим. къ 96 стр. II т.). 2, 96, 130; 3, 43, 44, 46, 49, 120, 122, 145, 169, 237, 239, 244—246, 248, 249, 250, 252, 253, 259, 261, 262, 269, 282, 291, 295, 296, 297, 298, 342, 347, 348, 396, 398, 401, 432, 433, 436; 5, 99, 101, 111, 113, 114, 121, 123, 126, 128, 129, 131, 197, 215, 216; 6, 198.
Лейбницъ, Готфридъ-Вильгельмъ. 1, 285; 4, 16, 77, 83, 104, 176, 177, 187, 196, 214, 241, 288, 316, 316, 324, 327, 328, 333; 5, 8; 6, 127, 134—136, 150.
Лейпцигъ. 6, 46, 217, 251.
Лелевель, Иоахимъ. 3, 360.
Леманъ. 1, 444, 445; 3, 90, 516.
Леметръ, Фредерикъ, франц. актеръ. 1, 463; 5, 17, 28, 34; 6, 340.
Ленорманъ, Марія-Анна. 3, 115.
Лео, Генрихъ (подробнѣе: прим. къ 407 стр. II т.). 2, 407; 4, 138; 5, 55.
Леонидъ, царь спартанскій. 3, 258.
Леонтьевскій переулокъ въ Москвѣ. 6, 256, 330.
Леонтьевъ, Пав. Мих. 6, 336, 337.
Леопарди, Джакомо. 2, 407; 3, 65, 66, 108.
Леопольдъ II, герм. императоръ. 2, 240; 5, 77.
Лепе, Шарль-Мишель, аббатъ. 3, 128.
Лепельтъе, ул. въ Парижѣ. 3, 60, 231, 280.
Лермонтовъ, Мих. Юр. 2, 91, 421; 3, 65, 276; 4, 429; 5, 277, 278, 433, 436; 6, 19, 223, 245, 262.
Леру, Пьеръ (подробнѣе: прим. къ 217 стр. II т.). 2, 217; 3, 20, 35, 147, 199, 205, 228, 331, 345, 565, 568, 575; 4, 27, 438; 5, 130, 133, 139, 214; 6, 163, 314, 315.
Леруа, врачъ. 1, 455.
Лесепсъ, франц. оберъ-полицеймейстеръ Москвы въ 1812 г. 2, 11.
Лессингъ, Готтольдъ-Ефραίмъ. 3, 155, 368; 4, 83, 132; 5, 171; 6, 9, 78, 79, 81, 103, 134, 150, 186.
Лестеръ-скверъ въ Лондонѣ. 3, 255, 258, 309, 320; 4, 431, 432; 5, 319.
Лефортово, часть Москвы. 2, 129, 159.
Лжедмитрій первый. 6, 128.
Лещинскій, Станиславъ, польскій король. 2, 82.
Ли, Робертъ-Эдмундъ, генераль. 6, 380.
Либеріо-Романо, Неаполитанскій министръ. 6, 348.

Либихъ, Юстусъ. 4, 189, 345; 6, 146, 183.
Ливенъ, княгиня, жена рус. посла въ Англии, князя Х. А. Ливена. 3, 529.
Ливенъ, князь, министръ нар. просв. 2, 122, 123.
Ливерпуль. 3, 283; 6, 324.
Ливингстонъ. 4, 84.
Ливій, Титъ, историкъ. 1, 331, 340, 372; 6, 305.
Ливорно. 3, 9; 5, 57, 58; 6, 384.
Лиможъ, городъ. 4, 425; 5, 134.
Лингардъ, Джонъ, англ. историкъ. 1, 413.
Линдсей (Крауфордъ), Александръ-Вильямъ, лордъ. 3, 426, 427.
Линдъ, Джени, пѣвица. 4, 419.
Линней, Карлъ, естествоиспытатель. 1, 340; 4, 303, 339—340, 341, 342.
Линтонъ, В., англ. республиканецъ. 3, 229, 276, 298; 5, 1, 262, 302, 304, 309.
Липранди, генераль. 2, 152; 6, 177, 178, 190.
Лисовскій, жандармскій генераль. 2, 77, 107, 108, 473.
Лиссабонъ. 1, 79; 2, 141, 142; 3, 250; 4, 385.
Листъ, Францъ, композиторъ. 2, 93, 94; 6, 63, 64, 164.
Литва. 2, 172, 173; 3, 281, 503.
Литейная ул. въ Петербургѣ. 1, 372.
Литта, итальянская фамилія. 3, 58.
Литуновъ. 7, 148, 152.
Лифляндская губернія. 5, 11, 15; 6, 286, 323.
Лихонинъ, М. (подробнѣе: прим. къ 148 стр. IV т.). 4, 148, 414; 6, 154.
Лихтенбергъ, Георгъ-Кристофъ. 6, 103.
Лициній. 1, 98—101, 476—484.
Лионъ, городъ. 1, 436, 438; 3, 45, 46, 47, 120; 5, 50—52, 55, 108, 151; 6, 53, 174.
Лионъ, Тамбовскій помѣщикъ. 6, 198.
Ло, Джонъ, финансистъ. 3, 271; 5, 163.
Лобановъ, купецъ. 2, 214.
Ловецкій, Алексій Леонт. проф. (подробнѣе: прим. къ 70 стр. I т.). 1, 70; 2, 94, 95.
Ловъ (Лоу), Гудзонъ, англ. генераль. 1, 35.
Лодерь, Христіанъ Ив., проф. (подробнѣе: прим. къ 89 стр. II т.). 2, 89, 472.
Лозанна, гор. 2, 134, 179; 3, 122, 267, 516; 6, 240.
Лопола, Игнатій. 1, 466; 3, 128; 5, 4.
Локкъ, Джонъ, англ. философъ. 4, 312, 317—323, 325—328, 331, 332, 333; 5, 136.

- Ломбардія. 3, 59, 69, 74, 348: 5, 2, 77, 82, 91, 93, 96, 213, 313, 377; 6, 234, 237, 238.
- Ломондъ, составитель франц. грамматикъ. 1, 54.
- Лонгвудъ (подробнѣе: прим. къ 42 стр. I т.). 1, 42; 2, 457.
- Лонгобардскія графста. 5, 183.
- Лондонъ. 1, 83, 102, 193, 243, 407, 416, 485, 486; 2, 4, 29, 96, 117, 235, 276, 336, 338, 345, 352, 353, 394, 442, 490; 3, 10, 16, 59, 72, 73, 77, 120, 122, 123, 124, 194, 204, 219, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 235, 236, 237, 238, 245, 248, 250, 253, 259, 265, 266, 267, 268, 271, 280, 282, 283, 285, 287, 288, 289, 292, 294, 295, 306, 307, 308, 312, 313, 320, 322, 325, 344, 345, 346, 347, 348, 358, 359, 362, 363, 366, 398, 400, 403, 405, 412, 414, 418, 422, 425, 426, 427, 428, 430, 431, 432, 434, 435, 436, 443, 447, 450, 451, 452, 455, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 468, 469, 470, 476, 479, 484, 485, 487, 488, 490, 491, 493, 501, 502, 503, 505, 509, 510, 558, 568: 4, 50, 164, 311, 335, 419, 425, 426, 427, 431, 432, 435, 436; 5, 16, 28, 148, 164, 284, 303, 309, 314, 315, 319, 325, 340, 351, 353, 358, 360, 366, 374, 375, 376, 377, 381, 395, 398, 430: 6, 103, 110, 125, 127, 173, 195, 196, 206, 217, 229, 249, 251, 277, 278, 305, 308, 318, 322, 335, 341, 342, 345, 352, 353, 354, 355.
- Лонже, франц. фивіологъ. 1, 415.
- Лопухинъ. 2, 51.
- Лопухинъ, губернаторъ. 5, 422.
- Лопухинъ, Ив. Владимір. 6, 306—308.
- Лорренъ, Клодъ, француз. живописецъ XVIII в. 3, 530.
- Лотъ. 3, 49; 5, 149.
- Луара. 5, 150.
- Луве-де-Кувре, франц. писат. XVIII в. 1, 422.
- Лувръ. 5, 49, 61.
- Лугано. 3, 74, 186, 219, 246.
- Лужинъ, московск. оберъ-полицеймейстеръ. 2, 463; 5, 347.
- Лужники, мѣстность подь Москвою. 2, 55, 58.
- Луиза, горничная семья Герцена. 3, 29, 182, 183.
- Лука, апостоль. 1, 4, 13; 4, 399; 6, 114.
- Луканъ, римскій поэтъ (подробнѣе: прим. къ 261 стр. IV т.). 1, 98, 481; 4, 261.
- Лукіанъ (подробнѣе: прим. къ 354 стр. III т.). 3, 354; 4, 270; 6, 191.
- Лукрецій Каръ. 4, 46, 250, 263—267, 312; 5, 213; 6, 9, 16.
- Лукулль. 3, 68.
- Луллія, Раймундъ, философъ и поэтъ. 4, 275.
- Лунинъ, Мих. Серг., декабристъ. 5, 343.
- Лѣтній садъ въ Петербургъ. 2, 339.
- Лыбедь, рѣка. 2, 297.
- Людвигъ I, король баварскій. 6, 59.
- Людвикъ IX святой, король французскій. 1, 30, 93.
- Людвикъ XI, король франц. 4, 405, 407.
- Людвикъ XIV, король французскій. 1, 57, 92; 2, 409; 4, 82, 316, 332, 334, 407, 409; 5, 133; 6, 9, 75, 76, 78, 80, 173.
- Людвикъ XV, король французскій. 3, 253; 4, 334; 5, 24, 47, 276.
- Людвикъ XVI, король французскій. 1, 92; 2, 112, 452; 5, 35, 194, 347, 387; 6, 74, 183.
- Людвикъ XVII, 5, 19, 152.
- Людвикъ XVIII, король франц. 2, 14, 415; 5, 19, 48, 241.
- Людвикъ-Наполеонъ, принцъ. См. Наполеонъ III, императоръ.
- Людвикъ (Луи) Филиппъ, король франц. 1, 284, 412, 449, 457, 458; 2, 185, 321, 435; 3, 38, 80, 81, 120, 121, 143, 145, 159, 259, 261, 272, 282, 310, 397, 403, 459, 514, 549, 562, 577; 5, 25, 71, 77, 85, 92, 104, 105, 111, 115, 116, 118, 123, 126, 127, 128, 130, 158, 200, 333, 446; 6, 67, 74, 86, 95, 176, 228, 253, 269, 270, 274, 322.
- Люксембургскій садъ въ Парижѣ. 1, 430, 436.
- Люксенбургъ, дворецъ въ Парижѣ. 5, 121, 125, 129.
- Лютеръ, Мартинъ. 1, 171, 173; 2, 339; 3, 51, 128, 132, 155, 259; 4, 91, 139, 250, 271; 5, 9, 60, 61, 201, 236, 249; 6, 27, 123, 270, 287.
- Лютеція. 4, 259.
- Лютеръ и Вегнеръ. 4, 1.
- Люпернъ, городъ. 1, 439, 441; 2, 132, 5, 109.
- Люциферъ. 1, 45, 96; 3, 324, 391; 4, 119, 274; 7, 88, 147, 161, 170, 267.
- Мабиль, кафе-шантанъ въ Парижѣ. 3, 560.
- Мабилъ, Габріэль, аббатъ. 4, 27.
- Магабарата. 1, 340; 2, 210.
- Магдалина, см. Марія Магдалина.
- Магелланъ, Фердинандъ. 1, 333, 340.
- Магницкій, Мих. Леонт. (подробнѣе: примѣч. къ 213 стр. II т.). 2, 213; 5, 406.
- Магометь. 5, 309.

- Иадай, дерптскій профессоръ. 6, 99.
 Мадерни, Карлъ. 5, 60.
 Маджента (подробнѣе: прим. къ 300 стр. III т.). 3, 300, 425; 5, 377.
 Мадзини, см. Маццини.
 Мадлена, ул. въ Парижѣ. 3, 19, 20, 533, 560, 569.
 Мадридъ. 2, 295; 5, 16, 313.
 Мажанди, Франсуа, франц. физиологъ. 4, 345.
 Мазадъ, Шарль-де, франц. публицистъ. 6, 326.
 Мазась, тюрьма въ Парижѣ. 1, 429; 3, 262, 561.
 Мазепа, Ив. Степ., гетманъ. 2, 131; 3, 576; 7, 211.
 Майборода. 6, 353.
 Майковъ, Аполл. Никол. 6, 165.
 Майнцъ. 5, 7; 6, 102.
 Макаровъ. 7, 147.
 Макашина, Марья Степ., компаньонка кн. М. А. Хованской. 2, 240—241, 242, 245, 247, 272, 273, 275; 7, 7, 10, 106, 116, 124, 127, 131, 140, 143, 146, 149, 152, 157, 163, 173, 177, 183, 186, 188, 192, 195, 197, 200, 201, 203, 204, 205, 209, 213, 215, 217, 229, 234, 240, 247, 258, 266, 278, 279, 288, 289, 290, 293, 295, 297, 302, 303, 304, 308, 312, 329, 358, 359, 361, 362, 366, 367, 372, 374, 375, 401, 419, 427, 445, 446, 460, 466, 476, 486, 498, 502, 509, 524, 525, 545, 556, 562, 563, 564, 565, 566, 568, 569.
 Макиавелли, Николай. 3, 61, 545; 4, 278, 408; 5, 73.
 Маккавей. 3, 426.
 Маколей, Вильямъ, лордъ. 3, 528.
 Маколей, Томасъ, англійскій историкъ. 1, 101, 413; 2, 440.
 Маконъ, гор. 1, 417, 418, 424; 5, 109.
 Максимовичъ, Михаилъ Александров. 2, 113.
 Макъ-Магонъ, Патрикъ, маршалъ и президентъ франц. республики. 3, 379; 6, 236.
 Малая Азія. 5, 291.
 Малибранъ, Марія, пѣвица. 1, 449; 3, 529, 550.
 Малиновская (Вятская) губернія. 1, 89.
 Малиновъ (Ватка). 1, 69, 72—78, 81—86, 107, 108.
 Малмыжъ, городъ. 2, 200.
 Маловъ, профессоръ москов. унив.-та. 2, 77, 87, 88, 90.
 Малороссія (Украина). 2, 253; 3, 420, 483, 496; 5, 172, 292, 300, 306, 344, 422, 424; 6, 223, 293, 299, 361.
 Малоярославецъ. 2, 149.
 Мальбраншъ, Николай, франц. философъ XVII в. 4, 324, 333.
 Мальзербъ (Малербъ), Кретьенъ-Гильомъ (подробнѣе: прим. къ 33 стр. I т.). 1, 33; 5, 141.
 Мальме, городъ. 3, 509.
 Мальта. 3, 9.
 Мальтусъ, Томасъ-Робертъ. 5, 45, 47.
 Мальтъ-Брентъ. 1, 178.
 Манингъ, Даніаль. 3, 56.
 Мантейфель, Отто-Теодоръ (подробнѣе: прим. къ 195 стр. VI т.). 6, 195, 196, 250.
 Мантуя. 3, 61, 231.
 Манцони, Александръ. 7, 468.
 Манчестеръ. 2, 401; 3, 251, 289, 348, 419; 4, 129; 5, 55.
 Ма-Па. 2, 316; 3, 198; 4, 437.
 Марастъ, Арманъ (подробнѣе: прим. къ 467 стр. I т.). 1, 467, 469—472; 3, 81, 82, 120, 198; 5, 99, 102, 106, 111, 114, 117, 126, 130, 147; 6, 322.
 Маратъ, Жанъ-Поль, франц. революционеръ. 1, 451; 2, 274, 275, 473; 3, 50, 148; 4, 19; 6, 117.
 Маргейнке, Филиппъ-Конрадъ (подробнѣе: прим. къ 311 стр. II т.). 2, 311; 3, 302; 6, 26.
 Маргера, форть въ Венеціи. 3, 58.
 Маренго, селеніе. 3, 537.
 Маржеретъ, Жакъ (подробнѣе: прим. къ 387 стр. IV т.). 4, 387; 6, 128, 129.
 Марвиллі Фицингъ, итальянскій ученый XVI в. 4, 276.
 Мари, Пьеръ-Тома. 5, 112.
 Мариво, Пьеръ. 2, 73.
 Марій, Кай, римскій полководецъ и консулъ. 1, 42; 3, 17, 377; 7, 214.
 Маріо, Джузеппе. 5, 358.
 Марія-Амелія, королева, жена Луи-Филиппа. 1, 457.
 Марія-Антуанетта, королева франц. 2, 14, 415.
 Марія-Магдалина. 5, 187; 6, 5, 263; 7, 519.
 Марія Николаевна, вел. княгиня. 6, 210.
 Марія, сестра Лазаря (въ Еванг.) 3, 157; 5, 363; 7, 330.
 Марія - Терезія, австр. императрица. 6, 134.
 Марія Феодоровна, русск. императрица. 2, 47.
 Марка, св., площадь въ Венеціи. 3, 542—544.
 Маркевичъ, Никол. Андреев. 6, 103.
 Маркваскіе о-ва. 3, 476, 477, 478, 479; 6, 273.
 Марковский, чиновникъ. 6, 195.
 Марко - Вовчокъ (Марковичъ), Марія Александр. 6, 299.

- Марксъ, Карлъ. 3, 73, 291, 292, 298, 294, 298, 299.
- Маркъ Аврелій, императоръ. 5, 409, 411; 6, 52.
- Маркъ, апостоль. 1, 14; 5, 361; 7, 502.
- Марлинскій. См. Бестужевъ, А. А.
- Мармонтель, Жанъ-Франсуа (подробнѣе: прим. къ 52 стр. 1 т.). 1, 52; 2, 73.
- Мармонъ, герцогъ Рагузскій. Огюстъ-Фредерикъ-Людовикъ. 6, 187.
- Мармье, Ксавье. 6, 19.
- Марончелли. 7, 5.
- Маросейка, улица въ Москвѣ. 1, 54, 55; 2, 311, 382; 3, 489.
- Марсель. 1, 392, 449; 3, 9, 11, 12, 179, 248, 348, 518; 5, 100, 143, 146, 262; 6, 174.
- Марсо, Франсуа, франц. генераль. 1, 451; 2, 112; 5, 369; 6, 175.
- Марсово поле въ Парижѣ. 5, 116, 129.
- Марсъ. Анна - Франсуаза (подробнѣе: прим. къ 297 стр. 1 т.). 1, 297, 306; 2, 56.
- Марсъ, богъ войны. 5, 184.
- Мартини, Александръ. См. Альберъ.
- Мартьяновъ, русскій эмигрантъ. 3, 468, 490, 499, 500, 504.
- Марса, сестра Лазаря (въ Еванг.). 3, 157; 5, 363.
- Марціонъ, гностикъ II в. 6, 123.
- Маршаль, гувернеръ Голохвастовыхъ. 1, 57, 58, 61, 62; 2, 439, 440.
- Масличная гора. 7, 223.
- Массена, Андре (подробнѣе: прим. къ 296 стр. III т.). 3, 296; 5, 77.
- Массильонъ, Жанъ-Батистъ. 1, 164.
- Мастай-Феррети. См. Пій IX.
- Мастерманъ, мѣняла. 4, 428.
- Матвѣй Савельевичъ, камердинеръ Герцена. 2, 227, 259, 266, 277, 281, 284, 288, 289, 290, 291, 297, 342, 365, 366, 372—376, 476; 6, 68; 7, 159, 422, 438, 450, 454, 459, 460, 467, 469, 474, 482, 495, 502, 570, 583, 585, 586, 587, 588.
- Матей, Любимъ. 1, 180.
- Маттеи, г-жа. 7, 82, 85, 89, 210, 219, 294, 302, 451, 525.
- Матье, франц. революционеръ. 3, 169—172.
- Матвей, апостоль. 1, 11.
- Маццини (Мадзини), Джузеппе. 2, 461; 3, 47, 52—54, 56—59, 61, 62, 64—66, 74, 81, 83, 122, 123, 125, 145, 225, 237—244, 246, 247, 248, 249, 250, 252, 259, 260, 282, 283, 286, 288, 293, 294, 295, 296, 297, 328, 345, 346, 347, 348, 359, 396, 401, 402, 420, 423, 425, 428, 431, 432, 438, 439, 440, 441, 443, 445, 448, 502, 504, 545, 548, 577; 5, 1, 55, 77, 92, 220, 357, 360, 361—363, 366, 442; 6, 95, 127, 206, 212, 346, 349.
- Маццолетти, секретарь Маццини, итал. эмигрантъ. 3, 347, 348.
- Машковцевъ, вятскій купецъ. 2, 193.
- Маусалль. 7, 139.
- Меандръ, рѣка. 2, 440.
- Мевій. 1, 99, 477—484.
- Медвѣдова, Прасковья Петровна (М. Мед., Р.). 2, 256—261, 263, 265—267; 6, 20; 7, 63, 68, 73, 76, 88, 90, 95, 130, 121, 124, 134, 138, 144, 145, 147, 149, 152, 156, 159, 160, 172, 175, 185, 194, 205, 212, 225, 227, 233, 251, 252, 270, 282, 296, 297, 304, 315, 320, 340, 344, 349, 350, 386, 387, 389, 392, 393, 399, 400, 401, 405, 406, 415, 420, 437, 439, 440, 444, 449, 454, 463, 466, 476, 477, 479, 481, 486, 489, 495, 499, 509, 518, 521, 529, 533, 534, 535, 536, 540, 542, 544, 547, 556, 559, 560, 568, 573.
- Медвѣдевъ (Р.), вятскій чиновникъ. 2, 257, 258, 259; 6, 33; 7, 60, 214.
- Медици, Джакомо, сподвижникъ Гарibaldi, итальян. революционеръ. 3, 53, 62, 63, 66, 219, 238, 360.
- Медици, Козьма. 3, 61; 4, 276.
- Медуза. 1, 350; 5, 150; 6, 279.
- Мейендорфъ, А. 2, 321.
- Мейенбургъ, Мальвида. 3, 230, 560.
- Мекленбургъ. 3, 300.
- Мексика. 3, 62; 5, 394.
- Меленки, городъ. 1, 58, 59.
- Мельбургъ, городъ. 3, 320.
- Мельпомена. 5, 17.
- Мельхиседекъ, архимандритъ Симонова монастыря. 2, 106; 6, 33.
- Мельхиседекъ, библ. первосвященникъ. 6, 317.
- Мемнонь. 1, 479; 2, 95.
- Мемфисъ, городъ. 4, 349.
- Менгденъ, Юліана. 6, 257.
- Менотти, Чиро, итальянскій революционеръ. 3, 54.
- Ментона, городъ. 3, 177, 186, 360.
- Меншиковъ, Александръ Данил., князь. 2, 400.
- Меншиковъ, Александръ Серг. (подробнѣе: прим. къ 405 стр. II т.). 2, 405; 6, 100.
- Менцель, Вольфгангъ (подробнѣе: прим. къ 32 стр. I т.). 1, 32, 282; 4, 4.
- Мень, Робертъ, начальникъ лондонской полиціи. 3, 260.
- Мервяковъ, Алексѣй Федор., профес. 2, 89.
- Меркантини, Лунджи, итальян. пость. 3, 55.
- Меркурій. 7, 387.
- Меровинги. 4, 26, 28, 29; 5, 244.

- Мерое, древнее эфіопское государство. 4, 21.
- Мерсье, жирондистъ. 3, 571.
- Мессалина, императрица. 3, 537; 7, 533.
- Мессенгауверъ, австрийскій революціонеръ. 3, 200.
- Мессина. 3, 548; 5, 75.
- Местръ, Жозефъ, графъ де (подробнѣе: прим. къ 303 стр. IV т.). 4, 303; 5, 246, 362; 6, 112.
- Меттернихъ, Клементъ, кн. 1, 470; 2, 399, 406; 3, 51, 137, 377; 5, 77, 78, 109, 126, 192, 201, 202; 6, 238.
- Метью, патерь, англ. моралистъ. 2, 26.
- Менцокаппа, братья, итальян. революціонеры. 3, 58, 238.
- Менцофанги, Джузеппе, кардиналъ, полиглоттъ (подробнѣе: прим. къ 284 стр. I т.). 1, 284; 4, 153.
- Мець, городъ. 1, 51, 52, 54, 57, 58.
- Мещерская, Анна Борисовна, княжна. 2, 74, 236—239, 349; 7, 187, 197, 315.
- Мещерскій, князь, вельможа XVIII в. 2, 63.
- Мещерскій, князь, начальникъ москов. больницы въ 30-хъ гг. 2, 143.
- Меоодій. См. Кириллъ и Меоодій.
- Мивенскій мысъ. 6, 347.
- Микель-Анджело Буонаротти. 2, 210; 3, 522, 530; 4, 8, 10, 89; 5, 63, 64, 65, 203, 355.
- Миланъ. 2, 400; 3, 17, 55, 64, 347; 5, 52, 71, 93, 94, 99, 127, 212, 213, 220; 6, 324.
- Миллеръ, Федоръ Ив., полковникъ, москов. полиціймейстеръ. 2, 134, 135, 136, 137, 140, 339.
- Миллионная улица въ С.-Петербургѣ. 3, 526.
- Милль, Джонъ-Стюартъ. 3, 148, 331, 332—335, 337, 338, 369, 482, 551; 5, 360, 363, 365, 366; 6, 184, 252, 253.
- Милорадовичъ, Мих. Андр., графъ (подробнѣе: прим. къ 190 стр. II т.). 2, 14, 41, 190, 212.
- Мильнеръ-Гибсонъ, Томасъ. 3, 231, 232.
- Мильтонъ, Джонъ. 3, 331.
- Милютинъ, Никол. Алексѣев. 6, 304.
- Мина, Ивановна, фаворитка гр. В. Ѳ. Адлерберга. 6, 205.
- Минерва. 1, 119; 2, 110; 5, 435; 6, 267; 7, 306.
- Мининъ, Кузьма Зах. 4, 155, 371; 5, 307.
- Минихъ, графъ Бурхардъ-Христофоръ. 1, 191; 2, 185.
- Миницкій, Александръ Осип., одинъ изъ жениховъ Нат. Алекс. 7, 458, 460, 556, 559, 563, 564, 566, 568.
- Минкина, Анастасія Федор., любовница гр. Аракчеева. 4, 64.
- Минто, лордъ. 5, 79.
- Минусинскъ. 2, 191.
- Миньона. 5, 60.
- Мирабо, Онорэ Рикетти, графъ. 1, 451; 3, 115, 365; 4, 19, 185, 332; 5, 121, 138, 203, 449; 6, 5, 27, 160, 175.
- Мирабо, отель въ Парижѣ. 3, 113, 115.
- Миресь, франц. спекуляторъ. 3, 561, 562.
- Мирославскій, Людовикъ (подробнѣе: прим. къ 282 стр. III т.). 3, 282, 287.
- Миссисипи, рѣка. 1, 398.
- Митава. 4, 189.
- Митридатъ. 1, 427; 3, 298.
- Митрофаній, святой. 7, 181.
- Миттермайеръ, Карлъ-Иосифъ. 3, 457.
- Митчель, ирландскій дѣятель. 6, 187.
- Митчерлихъ, Эйлордъ. 2, 96.
- Михаилъ (Десницкій), митрополитъ петербургскій и новгородскій. 7, 479.
- Михаилъ Павловичъ, вел. князь. 2, 354.
- Михайловскій-Данилевскій. Ал-дръ Ив., генераль, воен. историкъ. 2, 10.
- Михайловъ, Мих. Ларіон., поэтъ. 6, 331, 335.
- Михаловскій, шпионъ. 3, 502, 503, 505.
- Михелетъ, Людвигъ (подробнѣе: прим. къ 311 стр. II т.). 2, 311, 315; 3, 551.
- Мицкевичъ, Адамъ. 2, 264, 406; 3, 30, 32—35, 201, 278; 5, 266, 267, 287; 6, 52, 86, 90, 105, 106, 109, 112.
- Мишле, Жюль, франц. историкъ. 1, 475; 2, 426; 3, 47, 155, 355; 4, 26; 5, 1, 59, 109, 134, 156, 164, 167, 262; 6, 187, 252.
- Мобёръ, площадь въ Парижѣ. 3, 18, 26.
- Могадино. 3, 74, 76.
- Могенъ, франц. либеральный депутатъ 30-хъ гг. 2, 128.
- Могилевская губернія. 2, 148.
- Могилевъ на Днѣстрѣ. 6, 361.
- Можайка (Можайская дорога). 1, 352.
- Можайскъ. 2, 352.
- Мозеръ, другъ Гейне. 3, 523.
- Моисей. 1, 10, 19, 396; 3, 345; 4, 18; 5, 390; 6, 81, 195, 326; 7, 194, 243, 281.
- Молдавія. 1, 82, 356, 357, 456; 2, 149; 3, 488.
- Молилари, Густавъ, бельгійскій буржуазный экономистъ. 6, 332.
- Молохъ. 3, 166; 5, 186.
- Мольеръ, Жанъ-Батистъ. 2, 485; 4, 450; 6, 329.
- Мольтке, Карлъ - Бернгардъ, графъ. вѣм. фельдмаршалъ. 3, 553.

Монако, княжество. 2, 230; 3, 177; 5, 127.
 Монбланъ. 1, 441, 450; 4, 424; 5, 370.
 Монгомери-Ширъ, графство въ Англии. 3, 363.
 Монжъ, Гаспаръ, графъ, ученый математикъ. 4, 165.
 Монмартръ, предместье въ Парижѣ. 1, 468, 470.
 Монморанси, мѣстность близъ Парижа. 2, 316, 485; 5, 225.
 Моннье, Маркъ, писатель. 6, 350.
 Монпелье. 1, 193, 415.
 Мон-Сенъ-Мишель, тюрьма во Франціи. 5, 128, 142.
 Монталамберъ, Шарль, графъ (подробнѣе: прим. къ 330 стр. III т.). 3, 330; 5, 393.
 Монтевидео, городъ. 3, 62, 422.
 Монте-Кавалло. 5, 71, 72.
 Монтеки и Капулетти. 3, 158.
 Монтемолинъ, графъ, претендентъ на испанскій тронъ (подробнѣе: прим. къ 309 стр. III т.). 3, 309; 4, 432.
 Монтень, Мишель. 3, 147, 150, 151, 271; 4, 297, 333.
 Монте-Роза. 3, 92, 94; 6, 352.
 Монтескье, Шарль. 1, 446; 4, 335, 391, 405, 406; 5, 279, 321; 6, 9, 39, 80, 81.
 Монтесь. Лола. 3, 235.
 Монтефиоре, сэръ-Мовесъ. 3, 379.
 Монтионъ, Антуанъ, баронъ. 5, 229.
 Монъ-Бланъ. 3, 90.
 Монъ-Сенисъ. 3, 176.
 Монъ-Сенъ-Мишель, тюрьма. 1, 457, 458.
 Монъ-Сервинъ, гора. 3, 93.
 Мора. См. Муртенъ.
 Морганъ, леди Сидней (подробнѣе: прим. къ 32 стр. I т.). 1, 27, 32; 2, 407; 5, 57.
 Мордасы, село. 5, 7.
 Мордвиновъ, Никол. Семен., графъ. 2, 190; 6, 333.
 Мордини, итальян. революціонеръ. 3, 62, 185, 219, 431, 435, 445, 447, 510.
 Морей. 6, 284.
 Морошкинъ, Федоръ Лук. (подробнѣе: прим. къ 416 стр. II т.). 2, 416; 5, 349; 6, 111, 112.
 Морская ул. въ С.-Петербуржѣ. 2, 354; 3, 526.
 Мортара, еврейскій мальчикъ. 6, 801.
 Мортъе, Эдуардъ - Адольфъ, герцогъ Тревизскій, франц. маршалъ. 2, 9, 10, 11; 4, 386.
 Морусъ (Моръ), Генрихъ. 4, 296.
 Морусъ (Моръ), Томасъ. 5, 45.
 Мосей, кучеръ. 1, 49.

Москва, гор. 1. 2. 3. 36. 39. 57. 68. 69. 71. 73. 75. 77. 106. 107. 108. 115. 116. 118. 119. 120. 128. 129. 133. 168. 175. 177. 180. 182. 187. 196. 197. 213. 217. 220. 242. 245. 281. 285. 287. 297. 334. 343. 345. 353. 365. 366. 374. 375. 376. 377. 378. 380. 381. 386. 401. 443. 447. 2. 3. 7. 10. 11. 13. 17. 19. 20. 23. 41. 44. 45. 59. 63. 65. 78. 81. 92. 96. 97. 98. 99. 100. 103. 105. 106. 107. 108. 111. 113. 124. 130. 143. 144. 145. 163. 168. 169. 171. 180. 209. 211. 215. 218. 227. 228. 232. 243. 253. 256. 261. 265. 266. 267. 268. 274. 275. 276. 279. 281. 282. 284. 297. 301. 303. 304. 306. 310. 311. 320. 331. 332. 333. 334. 338. 350. 351. 353. 354. 365. 366. 368. 369. 371. 378. 379. 380. 386. 388. 391. 392. 394. 401. 404. 407. 408. 412 — 414. 416. 419. 422. 426. 427. 434. 435. 442. 444. 445. 446. 449. 450. 456. 459. 462. 465. 466. 470. 474. 480. 487. 488. 495. 498. 500; 3. 8. 10. 24. 33. 35. 127. 194. 195. 340. 351. 414. 461. 468. 469. 480. 483. 490. 549. 561; 4. 15. 52—63. 136. 137. 146. 153. 155. 157. 351. 376. 379. 380. 384—390; 5. 10. 13. 173. 289. 296. 307. 324. 327. 398. 406. 424. 435. 446; 6. 4. 12. 17. 18. 19. 23. 30. 31. 34. 35. 36. 42. 46. 47. 81. 82. 83. 93. 101. 102. 105. 108. 118. 128. 133. 137. 140. 149. 154. 177. 191. 222. 256. 277. 281. 292. 340. 341. 342. 343. 362. 363. 369. 384; 7. 2. 6. 8. 10. 12. 13. 14. 16. 17. 18. 20. 21. 22. 23. 25. 27. 30. 31. 32. 33. 37. 49. 53. 56. 58. 74. 83. 88. 90. 95. 98. 99. 101. 102. 104. 106. 107. 108. 115. 116. 117. 118. 122. 124. 127. 128. 129. 131. 134. 136. 140. 141. 142. 145. 159. 163. 170. 184. 185. 196. 213. 214. 223. 232. 233. 239. 251. 258. 259. 263. 268. 286. 291. 294. 297. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 311. 312. 314. 315. 316. 318. 324. 325. 326. 328. 331. 332. 333. 335. 338. 342. 344. 346. 347. 348. 351. 356. 357. 358. 376. 387. 393. 404. 408. 410. 413. 414. 418. 422. 423. 428. 429. 432. 434. 438. 439. 444. 445. 447. 451. 486. 514. 518. 529. 531. 532. 537. 538. 539. 540. 542. 551. 561. 562. 565. 566. 574. 575. 584. 588.
 Москва, рѣка. 1, 69, 287, 289, 381; 2. 6, 51, 55, 58, 61, 212, 214, 371, 457, 480; 4, 385; 6, 357.
 Московская губернія. { 5. 425; 6. 65. 7. 414.
 Московскій уѣздъ. 2, 457.
 Мостлинь. 4, 416.

- Моховая, улица въ Москвѣ. 2, 311.
 Моцартъ. Вольфгангъ. 2, 313; 3, 134; 4, 10; 5, 355.
 Мочаловъ, Павелъ Степ., артистъ. 1, 283, 285, 287; 2, 320; 6, 340.
 Мудровъ, Матв. Яков. 1, 336.
 Муммоль, Еоній. 4, 30.
 Муравьевъ-Амурскій, Никол. Никол. графъ (подробнѣе: прим. къ 191 стр. II т.). 2, 191; 3, 486; 6, 209, 211, 215.
 Муравьевъ (Виленскій), Мих. Ник., графъ. 3, 482, 486; 5, 349; 6, 241, 300, 357.
 Муравьевъ, Михаилъ Никит., писатель. 1, 56.
 Муравьевъ, Никита Михайл., декабристъ. 5, 267.
 Муратори, Луи-Антонио, итальян. историкъ XVIII в. (подробнѣе: прим. къ 58 стр. III т.). 1, 331; 3, 58.
 Мурильо, Бартоломе, испан. художникъ XVII в. 3, 485.
 Муромъ. 7, 399.
 Муртенъ (Мора). 3, 139, 141, 144.
 Мусатовъ, парфюмерный фабрикантъ. 1, 81.
 Мухинъ, поселеникъ. 6, 306.
 Мѣщанская улица въ Москвѣ. 1, 71.
 Мюллеръ-Стрюбингъ (подробнѣе: прим. къ 43 стр. III т.). 3, 43, 300—307, 312, 313, 532.
 Мюльнеръ, Амедей-Готфридъ. 5, 35.
 Мюнхенъ. 4, 374; 6, 133.
 Мюнцеръ, Томасъ (подробнѣе: прим. къ 358 стр. V т.). 3, 259; 5, 358.
 Мюрать, сынъ неаполитанскаго короля Иоахима. 3, 62.
 Мюрать, Иоахимъ, неаполитанскій король. 5, 58, 77; 6, 347, 350.
 Мюссе, Альфредъ де—. 2, 334.
 Мягковъ, Гавр. Ив., проф. 2, 91.
 Мясновъ, охотникъ до лошадей. 2, 446, 447.
 Надежда Ивановна, приживалка у Голохвастовыхъ. 2, 442.
 Надеждинъ, Никол. Ив. (подробнѣе: прим. къ 403 стр. II т.). 2, 403, 471, 473, 474; 5, 346.
 Найденовъ, москов. знакомый Герцена. 7, 414, 415, 424, 427, 428.
 Нани, графъ, итальян. эмигрантъ. 3, 281.
 Нани, древняя итальян. фамилія. 3, 58.
 Наперстокъ, чешскій музыкантъ. 3, 488.
 Наполеонъ I, императоръ. 1, 28, 36, 42, 49, 50, 51, 79, 87, 94, 133, 178, 234, 245, 283, 430, 455; 2, 7, 10—11, 12, 19, 38, 78, 83, 99, 209, 211, 222, 240, 313, 316, 451, 457; 3, 34, 35, 61, 62, 67, 99, 120, 164, 369, 388, 474, 489; 4, 3, 7, 20, 54, 83, 85, 93, 94, 112, 122, 156, 165, 166, 185, 354, 385, 386, 387, 411; 5, 19, 20, 45, 47, 77, 133, 137, 138, 175, 182, 194, 223, 249, 265, 308, 362, 375, 406, 423, 424, 446; 6, 77, 139, 175, 187, 195, 228, 239, 254, 294, 328; 7, 124, 301, 466, 467.
 Наполеонъ III, императоръ. 1, 449; 2, 228; 3, 18, 19, 30, 33, 35, 48, 56, 62, 80, 82, 88, 106, 119, 120, 121, 148, 153, 154, 169, 225, 250, 251, 255, 260, 262, 268, 283, 299, 399, 442, 469, 503, 506, 547, 549, 558, 560, 561, 563, 564; 5, 116, 146, 147, 151, 157, 158, 159, 222, 224, 256, 312, 313, 377; 6, 219, 235, 248, 253, 254, 255, 270, 283, 355.
 Наполеонъ, принцъ (сынъ Жерома Бонапартя). 6, 254.
 Наполеонъ, принцъ, двоюр. братъ Наполеона III. 3, 299, 300, 442, 444, 558.
 Нарбонъ, франц. генералъ и дипломатъ. 2, 11; 3, 35.
 Нарваецъ, Рамонъ. 6, 156.
 Нарди, неаполитанскій разбойникъ. 6, 350.
 Нарциссъ. 1, 452.
 Насакинъ. 7, 54, 77, 187, 209, 475.
 Насакины, родственники кн. М. А. Хованской. 2, 270; 7, 83, 125, 142, 145, 167, 197, 203, 222, 284, 370, 376, 414, 485, 571.
 Нассаускій, герцогъ. 6, 99.
 Наталья, горничная кн. М. А. Хованской. 7, 290.
 Наталья Константиновна („Костенька“), служанка въ домъ отца Герцена и затѣмъ у кн. М. А. Хованской. 2, 9, 279, 280; 7, 129, 136, 153, 166, 284, 419, 444, 493, 498, 502, 508, 513, 514.
 Наумовы, семья, гдѣ Э. М. Аксбергъ была гувернанткой. 7, 217, 444.
 Неаполь. 1, 407, 443; 2, 477; 3, 4, 10, 95, 171, 214, 233, 244, 414, 437, 549, 550; 5, 39, 40, 71, 72, 73, 77, 80, 82, 83, 85, 86, 395; 6, 34, 308, 345 — 351, 384; 7, 553.
 Небаба, владимірскій знакомый Герцена. 2, 281, 232; 6, 333.
 Нева, рѣка. 1, 372; 3, 458; 4, 58, 355, 385; 5, 341; 6, 208, 357, 369.
 Невскій проспектъ въ Петербургѣ. 2, 338; 3, 303, 526, 539; 4, 384, 389.
 Невшатель. 3, 111, 285; 5, 127.

*

- Невшательское озеро. 3, 513.
 Неглянная, улица въ Москвѣ. 2, 378, 470, 476; 6, 148.
 Нееловъ, сотрудникъ „Москвитянина“. 6, 154.
 Ней, Мишель, франц. маршалъ. 2, 11; 4, 387; 5, 58; 6, 228.
 Нейтъ-Эльмсъ, станція въ Англіи. 3, 430.
 Неккеръ, Жакъ. 1, 92, 370; 2, 67; 6, 175.
 Нельсонъ, Гораций, англ. адмиралъ. 3, 306.
 Немвродъ. 6, 235, 294.
 Немвида. 4, 145.
 Немурскій, герцогъ. 5, 112, 312.
 Непиръ, Чарльзъ - Джемсъ. 6, 187.
 Непотъ, Корнелій. 3, 58, 243, 420.
 Нептуиъ. 3, 392.
 Нерваль, Жераръ де-. 2, 296, 297.
 Неронъ, императоръ. 1, 93, 99, 100, 476, 481, 482, 483; 3, 568; 4, 87, 99, 262, 269; 5, 82, 194; 6, 130; 7, 228.
 Нерчинскъ. 2, 103, 109; 3, 126.
 Нессельроде, Карлъ Вас. (подробнѣе: прим. къ 113 стр. III т.). 3, 113, 125; 6, 262.
 Несторъ, еретикъ V в. 6, 131.
 Несторъ, лѣтописецъ. 2, 426.
 Нибургъ, Бартльдъ-Георгъ, нѣм. историкъ. 4, 407; 5, 246, 379; 6, 275.
 Нижегородская губернія. 2, 109; 7, 149.
 Нижній Новгородъ. 2, 168, 186, 227, 253; 4, 157; 5, 282, 289, 327; 7, 112, 399, 407, 412.
 Нивами, персидскій поэтъ. 1, 34.
 Никарагуа. 5, 334.
 Нике, Польш. 2, 297.
 Никея, городъ въ Малой Азій. 1, 13.
 Никита Андреевичъ, камердинеръ отца Герцена. 2, 66, 70, 133.
 Никитская, улица въ Москвѣ. 1, 281; 2, 478.
 Никифоръ, крестьянинъ, молочный братъ Герцена. 2, 371.
 Никодимъ (евангельскій). 6, 314.
 Николаевскъ, городъ на Амурѣ. 3, 487.
 Николай, Людвигъ-Гейнрихъ. 1, 178.
 Николаи, старшій секретарь рус. посольства въ Лондонѣ. 3, 460, 461.
 Николай I, императоръ. 2, 42, 43, 79, 98, 122, 123, 124, 144, 152, 153, 160, 215, 221, 250, 343, 347, 348, 353, 365, 401, 403, 416, 427, 444, 445, 463, 466, 466; 3, 4, 81, 122, 139, 227, 249, 251, 274, 275, 296, 297, 436, 495; 4, 22, 23; 5, 2, 271, 274, 279, 284, 285, 290 — 291, 292, 301, 308, 311, 312, 313, 316, 324, 338, 343, 344, 406, 407, 435; 6, 181, 188, 193, 195, 220, 223, 225, 274, 276, 299, 322, 324, 349, 383.
 Николай Хлыновскій. 3, 91.
 Николая, св. гора. 3, 90.
 Никомедія. 6, 130.
 Няконъ, церк. писатель V в. 6, 131.
 Нилъ, архіепископъ пермскій. 6, 333.
 Нилъ, рѣка. 1, 281, 398; 4, 349.
 Нилъ Сорскій. 1, 318.
 Ниневія. 3, 567.
 Ницца. 1, 388, 406, 446, 473; 2, 387; 3, 59, 60, 121, 122, 123, 126, 127, 129, 130, 135, 137, 139, 140, 141, 168, 169, 170, 171, 172, 175, 177, 181, 187, 205, 214, 219, 222, 223, 294, 343, 359, 422, 437, 439, 459, 541, 543, 555; 5, 54, 55, 140, 141, 148, 155, 262, 283, 444, 448; 7, 299.
 Ниагара. 4, 431.
 Ниагарскій водопадъ. 5, 7.
 Ноали, знатная франц. фамилія. 6, 273.
 Ноаль, де, герцогъ. 3, 9, 11, 12.
 Ноанъ, помѣстье Жоржъ-Зандъ. 2, 415, 416; 3, 291, 306.
 Новалисъ, псевдонимъ Фридриха Гарденберга (подробнѣе: прим. къ 8 стр. IV т.). 4, 8, 95.
 Новая Зеландія. 4, 421, 450.
 Новгородская губернія. 4, 62, 332.
 Новгородъ Великій. 1, 108; 2, 303, 316, 318, 349, 356, 357, 358, 365, 366, 367, 380, 402, 412, 449; 3, 299; 4, 59 — 64, 376, 386; 5, 12; 6, 17, 66, 266, 293.
 Новиковъ, Никол. Ив., обществ. дѣятель и журналистъ XVIII в. 1, 368, 2, 419; 6, 308.
 Новинское въ Москвѣ. 2, 117; 4, 57; 7, 12, 63, 79, 230, 273, 329, 556.
 Новодѣвичій монастырь въ Москвѣ. 2, 266, 267.
 Новороссія. 2, 58; 5, 334.
 Новоселье, тверское имѣніе отца Герцена. 2, 67.
 Новосильцовъ. 2, 43.
 Подье, Карлъ. 1, 26.
 Ной, праотець. 3, 49, 365.
 Нолинскій уѣздъ. 6, 96.
 Норвегія. 2, 216; 5, 286.
 Норовъ, Авраамъ Серг. (подробнѣе: прим. къ 195 стр. VI т.). 6, 195—196, 250.
 Ноттингъ-Гилль въ Лондонѣ. 3, 246.
 Норменби, лордъ. 5, 25.
 Ноэль. 1, 62.
 Нубія. 4, 20.
 Нука-Ива (подробнѣе: прим. къ 143 стр. V т.). 5, 143, 159.
 Нью-Гармони, община Оуэна въ Америкѣ. 3, 386.
 Ньюгэтъ, тюрьма въ Лондонѣ. 3, 411, 415.

- Нью-Йоркъ.** 1, 85; 2, 191, 210; 3, 78, 297, 400, 561; 4, 418; 5, 7, 106, 319, 352; 6, 324.
Ньюкестль, герцогъ. 4, 428.
Ньюкестль на Тейнъ. 3, 59, 322, 419, 427, 441.
Нью-Ланаркъ (подробнѣе: прим. къ 361 стр. III т.). 3, 361, 362, 365, 366, 376, 377, 386.
Нью-Родъ, мѣстность въ Лондонѣ. 3, 344.
Ньютонъ, Исаакъ, 1, 285, 367; 3, 566; 4, 77, 296, 303, 313—315, 324, 333, 360, 413, 415, 416.
Ньютоунъ, городъ. 3, 363.
Нѣманъ, рѣка. 2, 412; 3, 69; 5, 420.
Нѣмецкое море. 2, 502.
Нѣмчинова. 7, 185.
-
- Обва, рѣка.** 2, 254.
Оберъ, Даниэль-Франсуа. 7, 209.
Оболенскій, князь, попечитель моск. университета. 2, 89.
Оболенскій, Андрей, князь, студентъ. 2, 90.
Оболенскій, Евгенийъ Петр., кн., декабристъ. 2, 43.
Оболенскій, И., осужденный по дѣлу Герцена. 2, 107, 160, 162, 302; 7, 11, 326.
Оболенскій, Сергѣй, князь. 7, 8, 15, 47, 86, 110, 293, 294, 460.
О'Брайнъ, Вильямъ. 6, 187.
Обручевъ, В. 6, 331.
Огарева, Марія Льв. (урожденная Рославлева) 2, 2, 53, 305—308; 7, 73, 251, 280, 377, 381, 391, 551.
Огаревъ, Николай Платон. 1, 49; 2, 2, 7, 41, 43, 55—61, 63, 80, 85, 101, 102, 107, 113, 116, 117, 118, 119, 126, 127, 129, 131, 132, 133, 137, 139, 152, 154, 160, 161, 162, 217, 291, 292, 299, 301, 302, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 311, 318, 324, 365, 380, 392, 404, 436, 457, 458, 459, 460, 487, 488, 489, 490; 3, 107, 231, 448, 450, 451, 460, 461, 477, 497, 499, 502, 506; 5, 448; 6, 2, 13, 15, 17, 34, 46, 53, 57, 58, 61, 62, 66, 80, 136, 145, 164, 165; 7, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 37, 53, 76, 84, 86, 88, 91, 104, 112, 115, 129, 132, 139, 143, 156, 177, 178, 187, 189, 193, 197, 203, 208, 212, 229, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, 270, 275, 280, 291, 292, 301, 306, 307, 315, 334, 339, 340, 344, 345, 349, 377, 378, 381, 386, 387, 388, 389, 419, 422, 431, 438, 444, 463, 476, 487, 516, 521, 535, 551, 556, 572.
Огаревъ, Платонъ Богдановичъ (отецъ поэта). 2, 116, 117, 305.
- Одеонъ, театръ въ Парижѣ.** 1, 430.
Одесса. 2, 356; 3, 480; 5, 313; 7, 510.
Одиссей. 4, 72, 102, 118.
Одиссея. 2, 13.
Одиффре-Папье. 3, 262.
Одоевскій, Владим. Ѳеодор., князь, писатель. 2, 321.
Одиубонъ, Джонъ, америк. орнитологъ. 4, 346.
Ожеро, Пьеръ-Франсуа, франц. маршалъ 1-ой имперіи. 3, 474.
Озеровъ, Владиславъ Александр., писатель. 1, 59, 247.
Озирисъ. 2, 95; 4, 21; 7, 421.
Ока, рѣка. 1, 69, 70, 71, 312, 313; 7, 268, 477.
Окенъ, Лоренцъ (подробнѣе: прим. къ 83 стр. II т.). 2, 83, 317; 4, 184, 185, 186, 344.
О'Коннелъ, Даниэль (подробнѣе: прим. къ 140 стр. III т.). 3, 140, 279; 6, 141.
О'Конноръ, Фергюсъ. 5, 373.
Оксфордъ. 1, 180.
Оксфордъ-стритъ, улица въ Лондонѣ. 3, 321.
Октавианъ Августъ, императоръ. 4, 46.
Октодекадскій монастырь въ Египтѣ. 1, 9, 13, 23.
Олдъ-Вели, уголовный судъ въ Лондонѣ. 3, 327.
Олегъ, рус. князь. 1, 368; 4, 61.
Оливье, Демостенъ, комиссаръ франц. республики 1848 г. 3, 12.
Олимпъ. 3, 334, 567; 4, 86, 87, 118, 204, 205, 210, 246, 270; 5, 36, 41; 6, 191, 256.
Оловъ, студентъ. 2, 90.
Олозага, Салюстиано. 6, 99.
Олонеккая губернія. 4, 62.
Ольговичи, князья. 2, 64.
Ольмоуцъ. 3, 486; 6, 324.
Ольсопъ, Томасъ, англ. радикаль. 3, 331, 363.
Омеръ-паша. 3, 317.
Омиръ. См. Гомеръ.
Омскъ, городъ. 2, 172.
Омфала. 2, 497; 3, 166.
Оранскій, аудиторъ слѣдств. комиссіи надъ Герценомъ и его кружкомъ. 2, 142, 153, 160, 161.
Оранъ, городъ. 1, 423 3, 45.
Орбиньи, Альсидъ. 6, 129.
Орель, городъ. 2, 390.
Оренбургъ. 2, 23, 107; 6, 177.
Оригенъ, отецъ церкви III в. 1, 8; 5, 3.
Орлеанская, герцогиня. 5, 112, 120.
Орлеанская фамилія (Орлеаны). 3, 309.
Орлеанскій, Филиппъ, герцогъ. 3, 452.
Орлеанскій, герцогъ. 5, 51.

- Орлова, княгиня, жена кн. А. Ф. Орлова. 2. 352. 355. 356.
- Орлова-Чесменская, Анна Алексѣевна, графиня. 2. 67.
- Орловская губ. 5. 367; 6. 364. 365.
- Орловъ, А. Ф., кн. 6. 134, 159, 200.
- Орловъ, Алексѣй Фёдор., графъ (впоследствии князь) (подробнѣе: прим. къ 130 стр. II т.). 2. 130. 182. 202. 354. 355. 356. 461. 464. 465. 468; 3. 125. 126. 127. 296. 486.
- Орловъ, Григ. Григ., графъ. 1. 358.
- Орловъ, Мих. Фёдор., князь, генералъ (подробнѣе: прим. къ 67 стр. II т.). 2. 67. 126. 129—132. 353. 404. 407. 413; 6. 4. 5. 18. 378. 379.
- Орловъ - Чесменскій, Алексѣй Григ., графъ. 2. 353.
- Орловъ, городъ. 2. 220.
- Ормуздъ. 4. 349. 350; 5. 373.
- Орсеть-гаузъ въ Лондонѣ. 3. 449.
- Орсини, Феличе, графъ (подробнѣе: прим. къ 47 стр. III т.). 3. 47. 54. 55. 58. 59. 60—62. 63. 64. 122. 123. 169. 170. 175. 181. 185. 230—233. 239. 241. 247. 295. 296. 331. 360. 363. 563; 6. 253.
- Орская крѣпость. 1. 177; 2. 441; 6. 371.
- Орфей. 4. 9.
- Орфила, Мать-Жозефъ, франц. токсикологъ. 4. 356.
- Осборвъ. 1. 409.
- Остаде, Адрианъ, голландскій живописецъ XVII в. 6. 340.
- Останкино, подмосковная деревня. 6. 67.
- Оссіанъ. 4. 47.
- Остенде, городъ. 3. 556.
- Остерманъ, графъ, Андрей Ив. 1. 186; 4. 368; 6. 257.
- Остерманъ, Фёдоръ Андр. 2. 353.
- Остерманъ-Толстой, Александръ Ив., графъ. 3. 81, 82.
- Остзейскія провинціи (губерніи). 4. 25; 5. 308. 328; 6. 256.
- Островскій, Ал-дръ Никол., драматургъ. 6. 365.
- Острогжскъ. 2. 330.
- Остъ-Индіа. 4. 6.
- Отаяти (Таяти), острова. 2. 424; 4. 148. 149; 5. 77.
- Отто, нѣм. философъ-гегелистъ. 2. 311.
- Оуэнъ, Робертъ Дэль (сынъ), америк. посланникъ въ Неаполѣ. 3. 295. 333.
- Оуэнъ, Робертъ, англійскій социалистъ. 1. 89; 3. 359—372. 374—382. 384—389. 391. 528; 5. 303. 398; 6. 220. 387.
- Офрень, франц. артистъ конца XVIII в. (подробнѣе: прим. къ 196 стр. I т.). 1. 196; 5. 35.
- Охотный рядъ въ Москвѣ. 2. 237.
- Павелъ (Савль), апостоль. 1. 12. 100. 101. 476; 2. 217; 4. 19. 262. 274. 375; 6. 116. 123. 124. 241; 7. 265.
- Павель-дьяконъ, средневѣковный летописецъ (VIII в.). 6. 109.
- Павель Сергѣевичъ, дьяконъ, учитель Н. А. Захарьиной. 7. 155. 424.
- Павель I, императоръ. 1. 439. 455. 456; 2. 19. 72. 79. 102. 141. 201. 351. 357; 4. 23; 5. 409. 421; 6. 90. 110. 145. 188. 281. 305. 372.
- Павель V, папа. 5. 60.
- Павія, провинція и городъ въ Италиі. 5. 71.
- Павла, св., соборъ въ Лондонѣ. 3. 236.
- Павлова, Каролина Карл. 6. 52.
- Павловъ, студентъ. 6. 153.
- Павловъ, Ив. Вас. 6. 159.
- Павловъ, Платонъ Вас. 6. 331.
- Павловъ, Никол. Филипп., писатель (подробнѣе: прим. къ 64 стр. VI т.). 2. 181. 182; 6. 64.
- Павловъ, Мих. Григ. (подробнѣе: прим. къ 336 стр. I т.). 1. 336; 2. 91. 309. 310. 311.
- Па-де-Кале. 4. 331; 5. 39.
- Паддингтонъ, предмѣстье Лондона. 2. 277.
- Падлевскій, польскій революционеръ. 3. 495. 496. 498. 499.
- Паки, мѣстность въ Женевѣ. 3. 48. 50. 53.
- Пакъе (Одифре-Пакъе), герцогъ, министръ Луи-Филиппа. 1. 457; 5. 125.
- Палацкій, Францъ. 6. 323.
- Паленъ, Петръ Петр., графъ. 5. 409.
- Палеологи (подробнѣе: прим. къ 274 стр. III т.). 3. 274; 5. 147. 205. 324.
- Палермо. 5. 71. 75. 83. 214. 395.
- Пале-Рояль. 1. 28; 3. 8. 37. 198. 300. 346; 4. 3. 439; 5. 375.
- Палестина. 1. 3; 7. 171. 567.
- Паллада. 3. 540; 4. 98. 104. 135. 263. 285; 5. 104.
- Палласъ, Петръ-Симонъ. 2. 15.
- Пальмерстонъ, лордъ Генри - Джонъ (подробнѣе: прим. къ 99 стр. III т.). 3. 99. 292. 367. 413. 415. 423. 425. 438. 441. 443. 444; 5. 109. 394; 6. 248. 253.
- Пальмеръ. 4. 433.
- Пальме, парижскій докторъ. 3. 118.
- Пальоне, рѣка. 2. 140.
- Панаевъ, Владиміръ Ив., писатель. 2. 73.
- Панаевъ, Ив. Ив., писатель. 5. 347.
- Панинъ, Ал. Никит., графъ. 2. 90. 445. 446.
- Панинъ, Викторъ Никит., графъ (подробнѣе: прим. къ 11 стр. III т.). 3. 11; 6. 189. 196. 201. 208. 215. 216. 241. 244. 300.

- Паннонія**, римск. провинція (теперь Венгрія). 5, 306.
- Пантеонъ въ Парижѣ**. 3, 305; 5, 193, 366.
- Пантеонъ въ Римѣ**. 1, 479; 4, 90; 5, 59.
- Панчуладзевъ**, пензенскій губернаторъ. 2, 364.
- Панъ**, греч. богъ. 2, 100.
- Паньеръ**. 1, 470, 471, 472.
- Паоли**, Паскаль (подробнѣе: прим. къ 178 стр. I т.). 1, 178, 180.
- Парацельсъ** (подробнѣе: прим. къ 95 стр. I т.). 1, 95; 4, 277, 278; 7, 139.
- Пардигонъ**, франц. эмигрантъ. 3, 406, 407, 409.
- Парижскій графъ**, Луи-Филиппъ. 5, 112.
- Парижъ**. 1, 26, 27, 29, 52, 83, 90, 92, 162, 193, 199, 200, 203, 215, 240, 278, 306, 369, 370, 372, 416, 417, 426, 430, 431, 432, 434, 435, 443, 446, 447, 448, 453, 456, 457, 465, 475; 2, 10, 13, 14, 29, 36, 43, 45, 98, 113, 127, 149, 175, 180, 211, 295, 316, 324, 338, 349, 382, 385, 387, 392, 414, 415, 421, 442, 486, 497, 501; 3, 3, 4, 5, 8, 9, 13, 16, 17, 26, 30, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 48, 49, 66, 70, 72, 84, 89, 95, 96, 108, 109, 111, 115, 117, 119, 120, 121, 128, 139, 156, 163, 176, 179, 185, 191, 192, 195, 196, 197, 198, 199, 204, 218, 219, 220, 221, 226, 233, 235, 245, 250, 261, 277, 278, 279, 281, 282, 287, 303, 304, 305, 306, 310, 320, 324, 325, 326, 346, 358, 385, 397, 398, 412, 414, 428, 429, 469, 485, 495, 498, 501, 503, 506, 516, 524, 530, 531, 555, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 568, 569, 570, 574, 576; 4, 23, 50, 152, 155, 311, 335, 354, 356, 387, 421, 436—439; 5, 6, 7, 9, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 28, 29, 39, 49, 50, 58, 66, 77, 91, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 115, 117, 120, 123, 125, 129, 130, 132, 133, 134, 139, 144, 147, 155, 162, 169, 192, 193, 195, 196, 200, 203, 206, 211, 212, 220, 223, 224, 225, 241, 242, 247, 261, 264, 265, 267, 308, 313, 314, 315, 319, 328, 333, 353, 358, 374, 375, 376, 381, 398, 424, 452; 6, 5, 11, 13, 34, 86, 110, 144, 163, 173, 174; 183, 185, 206, 207, 239, 250, 251, 262, 265, 308, 322, 325, 326, 341, 362, 365, 384.
- Парисъ**. 6, 189.
- Парки**, богини судьбы. 1, 151, 281.
- Парменидъ** (подробнѣе: прим. къ 213 стр. IV т.). 4, 213, 230.
- Парсений**, архіепископъ владимірскій. 2, 286—288, 289.
- Парсеновъ въ Асиагъ**. 1, 64; 2, 210; 4, 90.
- Паскаль**, Блезъ. 1, 35; 3, 147; 4, 355.
- Паскевичъ-Эриванскій**, Ив. Ѳеодор., князь Варшавскій, фельдмаршалъ. 3, 48, 196; 5, 192.
- Пассаланья**, владѣлецъ египетскаго музея древностей въ Берлинѣ. 3, 302, 304.
- Пассея**. 7, 3, 197, 463, 545.
- Пассекъ**, Вадимъ Вас. (подробнѣе: прим. къ 100 стр. II т.). 2, 100—106, 117, 118, 119, 126, 127, 304, 473; 3, 189, 468; 6, 30—33; 7, 37, 197, 211, 229, 482, 510.
- Пассекъ**, Василій, отецъ Вадима. 2, 102, 103.
- Пассекъ**, Діомидъ Вас. (подробнѣе: прим. къ 100 стр. II т.). 2, 100, 106.
- Пассекъ**, Людмила Петр. 7, 349, 355, 431, 545, 546.
- Пассекъ**, Татьяна Петровна (подробнѣе: прим. къ 104 стр. II т.). 1, 58—62, 63; 2, 45—49, 56, 104, 105, 111, 248, 249; 6, 33, 34; 7, 2, 35, 37, 129, 159, 169, 197, 218, 378, 408, 422, 482, 510, 517, 526, 534, 537, 538, 545, 555.
- Пассекъ**, Петръ Богдан. 2, 102.
- Паста**, Джудита. 6, 16.
- Патмосъ**. 1, 12; 3, 362; 6, 252.
- Патти**, Аделина, пѣвица. 3, 529.
- Паулина** или **Полина**. См. **Тромпетеръ**.
- Паулусть**, Генрихъ-Эбергардъ-Готлобъ. 4, 139.
- Паулуччи**, маркизъ, начальникъ варшав. тайной полиціи. 6, 195.
- Пациферскій**, Вас. Евдок. См. **Протопоповъ**, Ив. Евдоким.
- Паччелли**. 3, 185, 186.
- Пашковъ**, москов. знакомый Герцена. 6, 35.
- Певкнъ**. 4, 59; 5, 377.
- Пеликанъ**, ректоръ виленск. унив-та. 2, 152.
- Пелисье**, Жанъ-Жакъ. 1, 417, 418, 420—422, 424; 3, 430.
- Пеллико**, Сильвіо. 7, 5.
- Пелымъ**, село (быв. городъ). 2, 185.
- Пель-Мель**, улица въ Лондонѣ. 2, 295; 3, 401.
- Пенслопа**. 3, 37; 4, 72.
- Пенза**. 1, 118; 2, 161, 386; 5, 282, 312, 327; 6, 372; 7, 4, 11.
- Пензенская губ.** 6, 158, 357; 7, 340.
- Пеннъ**, Вильямъ. 1, 98, 101—104; 2, 217; 5, 182.
- Пенсильванія**. 1, 101, 103; 4, 284, 293, 410; 5, 181, 334.
- Пентефрій**. 1, 14.
- Пепе**, Гульельмо (подробнѣе: прим. къ 238 стр. III т.). 3, 238; 6, 350.

Перевощиковъ, Дм. Матв. (подробнѣе: прим. къ 110 стр. П т.). 2, 110, 311.
 Перекусихина, Марья Савишна. 2, 25.
 Перикль. 1, 64; 3, 13, 546; 4, 223, 225, 245.
 Пермская губернія. 2, 172, 176, 185, 190.
 Пермь. 1, 455; 2, 161, 164, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 186, 187, 226, 251, 253, 254, 267, 273, 287, 301; 3, 90, 91, 469; 6, 60, 222, 373; 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 30, 36, 50, 92, 192, 207, 233, 268, 326, 327, 349, 422, 444.
 Перне, французъ, арестов. въ Россіи. 6, 88.
 Перово, мѣстность подъ Москвою. 2, 163, 283, 284, 289; 6, 19, 60; 7, 575, 580.
 Перовскій, Левъ Алексѣев., графъ, министръ вн. дѣлъ (подробнѣе: прим. къ 203 стр. П т.). 2, 203, 226, 463; 3, 4; 5, 292; 6, 100.
 Персей. 3, 522.
 Персини, Жанъ - Викторъ, герцогъ, франц. министръ. 3, 550, 558.
 Персія. 2, 421, 462; 3, 338; 4, 262, 349, 350; 5, 264; 6, 43, 76, 244, 293.
 Перунъ, божество. 2, 357.
 Перхушково, подмосковное село. 2, 50, 84, 100; 7, 583.
 Перъ, петербургскій кондитеръ. 4, 350.
 Перье, Казимиръ (подробнѣе: прим. къ 81 стр. III т.). 3, 81; 6, 67, 228, 298.
 Песталоцци, Иоганнъ-Георхъ. 1, 178.
 Пестель, Ив. Борис. (подробнѣе: прим. къ 189 стр. П т.). 2, 189—191.
 Пестель, Пав. Ив., декабристъ (подробнѣе: прим. къ 44 стр. П т.). 2, 44; 5, 267.
 Петербургъ. 1, 73, 81, 89, 135, 167, 170, 171, 174, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 196, 221, 226, 235, 240, 241, 242, 297, 352, 355, 361, 367, 369, 370, 377, 386, 400, 401, 403, 439, 443, 455, 456; 2, 11, 12, 17, 41, 43, 82, 84, 105, 175, 179, 180, 201, 202, 203, 204, 209, 213, 214, 215, 216, 220, 221, 222, 226, 243, 302, 306, 314, 318, 320, 322, 330, 334, 335, 337, 338, 341, 343, 344, 345, 349, 353, 354, 356, 357, 361, 365, 380, 388, 401, 402, 422, 423, 425, 427, 444, [445, 449, 451, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 470, 480, 499, 501; 3, 5, 10, 26, 109, 195, 201, 202, 206, 212, 215, 216, 217, 292, 347, 355, 455, 460, 461, 462, 472, 474, 480, 495, 498, 499, 502, 509, 526, 551, 562; 4, 52—64, 136, 146, 153, 154, 155, 349, 376, 380, 381, 382, 384—390; 5, 12, 13, 59, 282, 308, 316, 324, 406, 410, 420, 421, 431, 435; 6, 15, 17, 18, 30, 32, 35, 41, 46, 53, 54, 65, 86, 90, 93, 94,

106, 110, 116, 132, 149, 150, 159, 163, 165, 195, 204, 210, 213, 248, 249, 257, 263, 291, 295, 299, 323, 344, 368, 369, 7, 102, 112, 115, 119, 133, 170, 277, 288, 308, 315, 326, 333, 336, 352, 356, 419, 428, 436, 438, 439, 442, 445, 465, 470, 477, 487, 507, 520, 529, 532.
 Петра, святого, храмъ въ Римѣ. 2, 210; 3, 8.
 Петрарка, Франческо. 4, 276; 5, 75.
 Петрашевскій, Мих. Вас. и Петрашевы (подробнѣе: прим. къ 107 стр. П т.). 2, 107; 3, 206, 212, 464; 6, 285, 342.
 Петровка, улица въ Москвѣ. 2, 113.
 Петровская, фаворитка вятскаго губернатора Тютчева. 2, 179.
 Петровскій, пермскій чиновникъ. 2, 179, 221, 260.
 Петровскій бульваръ въ Москвѣ. 2, 104.
 Петровъ, Антонъ. 5, 450.
 Петрозаводскъ. 4, 62; 7, 46, 53.
 Петропавловская крѣпость въ С.-Петербургѣ. 2, 127, 164, 320; 3, 126; 4, 56.
 Петръ, апостолъ. 4, 273; 5, 71, 97, 200, 264; 6, 123; 7, 8, 9, 376, 572, 578.
 Петръ I Великій. 1, 178, 204, 352, 368, 446; 2, 57, 78, 82, 92, 93, 99, 153, 215, 335, 400, 409, 410, 423, 427, 470; 3, 275, 384, 391, 537; 4, 16, 22, 23, 53, 54, 56, 60, 61, 63, 164, 225, 282, 316, 360, 384, 385; 5, 11, 12, 13, 14, 172, 278, 279, 289, 290, 306, 307, 308, 315, 316, 319, 320, 324, 342, 349, 419, 440, 450; 6, 35, 71, 79, 88, 108, 110, 111, 112, 117, 121, 145, 162, 170, 171, 176, 188, 199, 241, 257, 258, 259, 261, 287, 292, 293, 294, 297, 305, 327, 325, 370, 372.
 Петръ II, императоръ. 2, 400.
 Петръ III, Оеодоровичъ, императоръ. 2, 143, 400; 5, 294, 321, 450; 6, 370.
 Петръ Ломбардскій. 4, 275.
 Петръ Оеодоровичъ, камердинеръ Герцена. 1, 76; 2, 86, 115, 117; 7, 12, 15, 53, 134, 268, 344, 352.
 Печеринъ, Владим. Серг. эллинистъ (подробнѣе: прим. къ 398 стр. П т.). 2, 398; 3, 349—358.
 Пешо, мемуаристъ. 5, 276.
 Пиза, городъ. 5, 58, 355.
 Пизакане, итальянскій революціонеръ. 3, 54, 55, 58, 62, 63, 219, 238.
 Пизонъ. 1, 98—100, 480, 481, 482.
 Пикадилли, улица въ Лондонѣ. 4, 424.
 Нико, слуга кня. Ю. Н. Голицына. 3, 453, 456.
 Пикулинъ, Пав. Лук. 2, 490.
 Пикъ - де - ла - Мирандола, Джованни графъ. 2, 94.
 Пиладъ. 3, 86.

- Палать, Повтій. 6. 45.
 Пале, Леонъ, франц. консулъ въ Ниццѣ. 3, 181.
 Паль, Робертъ (подробнѣе: прим. къ 148 стр. IV т.). 4. 148; 5. 124, 134, 355; 6. 6, 170, 289, 298.
 Пименовъ, Дмитрій Ив., литераторъ. 2, 73, 74; 7, 315.
 Пинетти, итальян. фокусникъ. 4, 386, 5, 26.
 Пиренеи, Джамбатиста. 4, 21.
 Пиренейскія горы. 1, 193; 3, 90; 7, 279.
 Пироговъ, Никол. Ив., хирургъ и педагогъ. 2, 91.
 Пирсъ, президентъ Соед. Съв.-Америк. Штатовъ. 3, 295.
 Писаревъ, Александръ Александровичъ (подробнѣе: прим. къ 93 стр. II т.). 2, 93, 444, 446.
 Писаревъ, Дм. Ив. 5, 426, 427, 428, 430, 432, 434, 436.
 Писемскій, Алексѣй Феофилакт. 5, 430; 6, 345.
 Питтъ, Вильямъ, младшій, англійскій министръ (подробнѣе: прим. къ 369 стр. V т.). 1, 27; 5, 369.
 Питтъ, Вильямъ, старшій (гр. Чатамъ). 3, 444; 6, 377.
 Пиеагоръ. 4, 177, 209, 210, 212, 225, 230, 255, 285.
 Пианори, итальянскій революціонеръ. 3, 54, 58, 62, 562.
 Пиа, Феликсъ (подробнѣе: прим. къ 46 стр. III т.). 3, 46, 245, 253, 257, 266, 267; 5, 28, 34.
 Пиемонтъ (Сардинское королевство). 3, 56, 59, 62, 74, 129, 130, 240; 5, 5, 52, 56, 58, 73, 77, 82, 262, 264; 6, 170, 171, 349.
 Пій VII (Кіарамонти), папа. 3, 62.
 Пій IX, папа (Мастан-Феррети). 2, 406; 3, 61; 4, 432; 5, 56, 58, 66, 67, 68, 69, 78, 79, 80, 85, 92, 93, 95, 97, 98, 109, 146, 213, 217, 312, 333; 6, 199.
 Пляно-Карпини. 2, 72.
 Платенъ, Августъ. 6, 242.
 Платонъ, греч. философъ. 1, 367, 372, 450, 477, 480; 2, 382; 3, 101, 157, 381; 4, 105, 156, 183, 197, 207, 226, 227—234, 236, 243, 244, 245, 247, 255, 264, 271, 276, 324; 5, 183, 387; 6, 27.
 Платонъ (Левшинъ), митрополитъ московскій при Александрѣ I. 5, 406.
 Платонъ, слуга И. А. Яковлева. 2, 8, 9.
 Плессъ, франц. актриса. 1, 297.
 Плимутъ. 3, 463, 464.
 Плиній Младшій. 4, 257, 264, 267, 268, 269, 270; 6, 269.
 Плиній Старшій. 4, 133, 261, 263, 337, 340; 5, 209; 6, 9, 26.
 Плотинъ (подробнѣе: прим. къ 258 стр. IV т.). 4, 258, 261, 276.
 Плутархъ. 1, 178, 179, 454; 2, 52, 73; 3, 420; 4, 153, 245; 6, 69.
 Плутонъ. 1, 478.
 Плющиха, мѣстность въ Москвѣ. 5, 331.
 По, рѣка. 6, 234.
 Поварская, улица въ Москвѣ. 2, 279, 282; 3, 175; 7, 18, 244, 278, 439, 445.
 Погодинъ, Мвх. Петр. 2, 217, 412, 423, 424, 426, 490, 495; 4, 147, 148, 150, 151, 153 — 156; 5, 7, 27; 6, 94, 147, 358, 369.
 Подольскъ, городъ. 7, 331.
 Пожарскій, Дм. Мвх., князь. 4, 155.
 Позень (Познань), городъ въ Пруссіи. 4, 3.
 Познань, провинція. 3, 69, 436; 5, 127, 313.
 Покровка, улица въ Москвѣ. 2, 72.
 Покровскія ворота въ Москвѣ. 1, 350.
 Покровское, вѣднѣе отца Герцена. 2, 85, 366, 371, 372, 377, 379, 432, 434, 435, 436, 476, 487, 498, 500, 501; 6, 83, 126, 145; 7, 329, 425, 426, 438, 444.
 Покровъ, городъ. 2, 164.
 Полевой, Ксенофонтъ Алексѣев. 6, 227.
 Полевой, Николай Алексѣев, писатель. 2, 77, 110, 113, 121, 122, 230, 319, 473; 5, 3—4, 347; 6, 227, 290, 358; 7, 147, 153, 237, 259, 423.
 Полежаевъ, Александръ Ив. 2, 105, 113, 122—125.
 Поликрать, тиранъ о Самоса. 3, 352.
 Полина Боргезе, сестра Наполеона I. 5, 77.
 Полина, см. Тромпетеръ.
 Полинезія. 4, 387.
 Полиньякъ, Жюль, князь. 5, 151.
 Поллесь. См. Тугенбольдъ.
 Поллуксъ. 5, 39.
 Поло, Марко, итальян. путешественникъ XIII в. 1, 340.
 Полтава. 6, 370.
 Поль, жандарм. полковникъ. 2, 168.
 Поль-де-Кокъ, Шарль, франц. романистъ. 4, 422.
 Полье, графиня. 2, 178.
 Полье, фонъ, К. К., начальникъ канцеляріи министра вн. дѣлъ. 2, 338, 348.
 Польша (Рѣчь Посполитая). 1, 418, 446, 447, 456; 2, 119, 186, 405; 3, 32, 35, 197, 251, 277, 281, 282, 283, 286, 288, 323, 340, 343, 344, 471, 472, 483, 488, 495, 496, 499, 503, 505, 508; 4, 414, 438; 5, 127, 266, 267, 268, 269, 306, 307, 308, 313; 6, 19, 45, 70, 85, 106, 110, 112, 120, 214, 217, 223, 239, 291, 292, 294, 297, 298, 354, 374, 375, 385; 7, 337.

- Помаре, королева острововъ Отаити. 4, 148.
- Помбаль, маркизъ. 6, 85.
- Померанье, селеніе. 4, 61.
- Помона, богиня. 4, 163.
- Помпадуръ, маркиза. 1, 134; 2, 25.
- Помпей. 3, 546; 4, 58; 5, 80, 209; 6, 176.
- Помпонацій, Пьетро. 4, 277.
- Понсъ-да-ла Мартино, начальникъ пиемонтской полиціи. 3, 141.
- Понтинскія болота. 5, 80.
- Понфисъ, докторъ. 3, 187, 188.
- Понятовскій, Иосифъ-Антоній, франц. маршалъ (подробнѣе: прим. къ 186 стр. II т.). 2, 186; 3, 277; 6, 298.
- Поповъ, адмиралъ. 3, 487.
- Поповъ, домовладѣлецъ въ Москвѣ. 4, 148.
- Портсмуть. 3, 322; 5, 312.
- Португалія. 3, 399; 4, 385; 5, 108, 109.
- Порфирій, Малхось. 4, 258.
- Порфирогенеты. 5, 147, 324.
- Поръ-Рояль, монастырь и подворье. 3, 13.
- Поссевианъ; Антонию. 4, 387.
- Потаповъ, Александръ Льв., шефъ жандармовъ. 3, 451.
- Потебня, офицеръ. 3, 493, 499.
- Потемкинъ, Григ. Ал.—др., князь Таврическій. 2, 17, 185; 4, 106; 5, 382; 6, 173.
- Потоцкіе, графы, польскіе магнаты. 3, 281.
- Потдамъ, городъ. 3, 524; 6, 196.
- Поццо-ди-Борго, Карлъ Осип., русскій дипломатъ при Александрѣ I. 3, 529.
- Позріо, Карло, баронъ. 6, 242.
- Прага. 3, 192, 485, 489; 6, 133, 323.
- Пракситель. 1, 66; 4, 204; 7, 306.
- Прасковья Андреевна, знакомая Герцена. 2, 297.
- Прево-Парадолъ, Люсьенъ-Анатоль (подробнѣе: прим. къ 330 стр. III т.). 3, 330, 561.
- Прейсъ, акробатъ. 2, 117.
- Преображенское, подмосковное село. 1, 281.
- Пречистенка, улица въ Москвѣ. 1, 68; 7, 317.
- Пречистенская часть въ Москвѣ. 2, 339.
- Примрозъ-Гиль, улица въ Лондонѣ. 2, 4, 6; 3, 235, 404, 418, 443.
- Примъ, Хуанъ. 1, 417.
- Причардъ, англійскій повѣренный на островахъ Отаити. 4, 148.
- Про, франц. путешественникъ по Россіи. 2, 462, 463; 6, 35.
- Прово, Елизавета Ивановна, гувернантка Герцена. 1, 49, 50, 51, 53, 58; 2, 14, 21, 23, 44.
- Прозоровскій, Александръ Александр., князь (подробнѣе: прим. къ 435 стр. II т.). 2, 435; 3, 193; 6, 306.
- Прокль, Діадохъ (подробнѣе: прим. къ 5 стр. I т.). 1, 5; 3, 354; 4, 236, 261, 276, 285.
- Прометей. 1, 301; 2, 59, 93, 94; 3, 391; 4, 396; 6, 11; 7, 541.
- Протей. 1, 483; 4, 73, 252; 5, 264, 313.
- Протагоръ (подробнѣе прим. къ 202 стр. IV т.). 4, 202, 224.
- Протопоповъ, Ив. Евдоким., учитель Герцена (въ текстѣ I тома названъ Василій Евдоким. Пацферскій. Подробнѣе: прим. къ 44 стр. II т.). 1, 55, 56, 58, 59, 61, 62; 2, 44, 46.
- Прочида, Иоаннъ (подробнѣе: прим. къ 61 стр. III т.). 3, 61, 243.
- Прочида, островъ. 6, 347.
- Прудонъ, Пьеръ-Жозефъ. 1, 453; 2, 121, 315, 332, 381, 391, 406; 3, 112, 145—160, 162, 199, 202, 221, 227, 260, 266, 331, 354, 376, 551, 567; 5, 1, 23, 40, 48, 111, 134, 136, 139, 156, 158, 160, 214, 248, 255, 256, 376, 379, 390, 442; 6, 53, 95, 149, 163, 182, 183—184, 312, 337, 391, 392.
- Пруссія. 3, 6, 80, 83, 199, 239, 303, 330, 436, 553; 5, 313, 452; 6, 29, 35, 46, 65, 79, 31, 142, 160, 201, 287.
- Пругицъ, Робертъ (подробнѣе: прим. къ 37 стр. VI т.). 6, 37, 39.
- Рѣсенскіе пруды въ Москвѣ. 1, 71, 125, 486; 2, 37.
- Рянишниковъ, главный начальникъ почт. вѣдомства при Александрѣ II. 6, 189, 299.
- Рсихея. 7, 466.
- Рсковская губернія. 5, 11.
- Рсковъ. 4, 386; 5, 12; 6, 293.
- Ртоломей, александрійскій астрономъ. 4, 263, 415.
- Руавсо, Луи. 2, 91.
- Ругачевъ, Емельянъ Нв. 2, 400, 441; 5, 282, 284, 294, 425, 450; 6, 322, 369.
- Пулье, Клодъ, французскій финансъ. 4, 174, 177.
- Пульская, Тереза (жена Франца Аврелія). 3, 317, 318.
- Пульскій, Францъ-Аврелій (подробнѣе: прим. къ 295 стр. III т.). 3, 295, 299.
- Пусть, Томъ, карликъ. 4, 419.
- Путней, мѣстность близъ Лондона (подробнѣе: прим. къ 6 стр. V т.). 2, 490; 5, 6, 303.
- Путятинъ, Ефим. Вас., гр. (подробнѣе: прим. къ 215 стр. VI т.). 6, 215, 331.
- Пухта, Георгъ-Фридрихъ. 2, 383.
- Пушкинъ, Вас. Льв., стихотворецъ. 2, 73.
- Пушкинъ, Александръ Серг. 1, 56, 57, 62, 65, 166, 298; 2, 41, 44, 56, 63, 94, 99, 179, 223, 295, 314, 317, 353, 400, 403, 404, 407, 408, 413, 456; 3, 32,

- 107, 276, 463, 482; 4, 56, 361, 364, 388, 429, 430; 5, 14, 173, 202, 277, 343; 6, 19, 96, 104, 112, 223, 262, 316, 368, 370.
- Пушинъ, Ив. Ив., декабристъ. 5, 343.
- Петри, парижскій пол. префектъ. 3, 328.
- Пьянчани, итальян. эмигрантъ. 3, 231, 342, 502.
- Пятигорскъ. 2, 160.
- Рабле, Франсуа. 3, 147, 275; 4, 91, 333, 341.
- Рабусъ, Карлъ Вильгельмъ. 2, 106.
- Равенна, городъ. 3, 59, 99; 6, 130.
- Рагланъ, Джемсъ-Генри. 3, 317, 318.
- Рагозинъ. 7, 197.
- Радецкий, Иосифъ, австр. фельдмаршалъ (подробнѣе: прим. къ 69 стр. III т.). 3, 69, 83; 5, 98, 192, 212, 213, 217, 220.
- Радзивиллъ, князь. 3, 346; 4, 438, 439.
- Радклифъ, Анна. 7, 570.
- Раевская, теща М. Ѳ. Орлова. 2, 404.
- Раевскій, генералъ. 2, 131, 132.
- Раевскій, Никол. Никол. 2, 131.
- Разгулий, мѣстность въ Москвѣ. 4, 388.
- Разинъ, Степанъ (Стенька) Тим. 5, 294;
- Раиѣ, парижскій докторъ. 3, 28, 29, 36.
- Рамусъ, Петръ, математикъ. 4, 275, 276.
- Раполло. 6, 350.
- Расинъ, Жанъ. 1, 57, 58, 66, 367, 415; 2, 36; 3, 256; 4, 93, 138; 5, 17, 34, 35, 36.
- Распайя, Франсуа-Венсанъ (подробнѣе: прим. къ 108 стр. IV т.). 4, 111, 189, 345, 356; 5, 103, 214, 215.
- Раухъ, Христіанъ. 1, 90.
- Рафаэль, миниатюристъ XIX в. 7, 227.
- Рафаэль Сантѣ. 2, 401; 3, 485; 4, 90, 288; 5, 36, 63, 203; 7, 193, 206, 229, 338.
- Рахиль. См. Фаргагенъ фонъ-Энае.
- Рашель, Элиза (подробнѣе: прим. къ 297 стр. I т.). 1, 297; 5, 17, 35, 36—37, 39; 6, 340.
- Ребилю, парижскій полицейскій префектъ въ 1849; 3, 26, 111.
- Ревель, городъ. 4, 350.
- Регенбургъ, городъ. 4, 416.
- Регуль, Маркъ-Атилій, римскій консулъ. 1, 253.
- Реджентъ-Паркъ въ Лондонѣ. 3, 235, 404.
- Реджентъ-стритъ, ул. въ Лондонѣ. 2, 285; 3, 320, 404, 451; 4, 431.
- Редуть-Кале, городъ. 2, 69.
- Рейнгольдъ, Карлъ. 6, 85.
- Рейнскія провинціи. 3, 304; 6, 160.
- Рейнъ. 1, 65, 196; 3, 47, 69, 515; 4, 122, 416; 5, 7, 9, 10, 16, 205, 263, 313, 319, 345, 403, 409; 6, 234, 318.
- Рейръ, Клеманъ, секретарь парижск. полиц. префектуры. 3, 114.
- Рейсъ, Ѳ. Ѳ., проф. московск. унив-та. 2, 89, 91, 92.
- Рейтернъ, Мих. Христофор., министръ финансовъ въ 1862—78 гг. 3, 520.
- Рейтеръ, пасторъ. 6, 116.
- Рейхардъ, Генрихъ-Августъ. 5, 375.
- Рейхель, А., музѣкантъ (подробнѣе: прим. къ 326 стр. III т.). 3, 151, 291, 326, 327, 329.
- Рейхель, М. К. См. Эрнъ, М. К.
- Рейхель, московск. знакомый Герцена. 6, 10.
- Рейхенбахъ, Оскаръ, нѣмец. эмигрантъ. 3, 287, 348; 5, 358.
- Рекамье, Юлія (подробнѣе: прим. къ 414 стр. II т.). 2, 414; 3, 86, 529.
- Рекфель, саксонскій революціонеръ. 6, 323.
- Рембрандтъ. 1, 85, 95; 3, 44; 4, 432; 5, 35, 355, 356; 7, 238.
- Ремъ. 1, 99, 483; 5, 49, 358; 402.
- Ренанъ, Эрнестъ. 3, 573.
- Рени, Гвидо, итальян. художникъ XVII в. 1, 288.
- Рено, Жанъ, франц. писатель-мистикъ. 3, 567.
- Ретшеръ, Генрихъ-Теодоръ (подробнѣе: прим. къ 497 стр. II т.). 2, 497; 4, 40.
- Рей, богиня. 5, 184.
- Ржевускій, ген.-адъютантъ. 6, 226.
- Рибероль, франц. журналистъ-эмигрантъ. 3, 198; 5, 3, 160.
- Риволя, улица въ Парижѣ. 3, 569.
- Ривьера, побережье Генуэвскаго залива. 3, 177.
- Рига. 1, 172; 3, 5.
- Ригбя, другъ и помощникъ Р. Оуэна. 3, 363, 364.
- Ридигеръ, генералъ (подробнѣе: прим. къ 171 стр. II т.). 2, 171; 3, 317.
- Риказоли, Беттино, итальян. министръ. 3, 545, 549, 550.
- Римино, Франческо да. 3, 204.
- Римъ. 1, 9, 11, 42, 62, 64, 66, 99, 100, 443, 476, 477, 481, 482, 483; 2, 53, 62, 217; 3, 9, 10, 16, 17, 21, 39, 41, 49, 59, 62, 64, 67, 101, 109, 123, 158, 199, 214, 241, 243, 245, 283, 353, 354, 433, 485, 546, 547, 548, 551, 563, 569, 576; 4, 20, 82, 84, 86, 89, 155, 251, 254, 255, 257, 260, 262, 270, 272, 276, 281, 282, 332, 394, 398, 400, 405, 412; 5, 16, 49, 59—65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 82, 91, 92, 93, 94, 98, 127, 140, 147, 162, 183, 184, 189, 190, 201, 203, 217, 241, 242, 248, 249, 254, 266, 270, 308, 309, 331, 332, 334, 355, 361, 363, 377, 385, 395, 404; 6, 13, 24, 52, 107, 130, 181, 189, 204,

206, 207, 216, 253, 311, 318, 319, 346, 348, 349, 366; 7, 214.

Ринальдо Ринальдини (подробнѣе: прим. къ 10 стр. I т.). 1, 10, 25, 55, 60.

Риттеръ, Генрихъ, 2, 397.

Рихтеръ, Жанъ-Поль (подробнѣе: прим. къ 151 стр. II т.). 2, 151; 4, 8, 104, 109, 311; 5, 22; 6, 242; 7, 335, 388, 398, 508, 510, 521, 532, 554, 556, 559, 576, 580.

Рихтеръ, Мих. Вильгельм., московскій докторъ, 6, 40, 41.

Ричардсонъ, англ. другъ Гарибальди, 3, 445.

Ричардъ II, англ. король, 6, 181.

Ричмондъ, гор. 2, 394; 3, 226, 229, 230, 231, 316, 342, 343, 403; 4, 434.

Ришелье, Арманъ-Жанъ, кардиналъ, франц. госуд. дѣятель XVII в. 4, 392, 407.

Ришелье, Арманъ-Эммануэль, герцогъ, 4, 334.

Риенан, Кола-ди (Николай-Лаурентій) (подробнѣе: прим. къ 60 стр. III т.). 2, 260; 3, 60; 4, 276; 5, 249.

Робертъ, Леопольдъ, 5, 81.

Робеспьеръ, Максимилианъ, 1, 51, 341, 451, 456, 472; 2, 112, 424, 454, 473; 3, 69, 271, 273, 310, 330, 573; 4, 185, 328, 367; 5, 35, 103, 138, 237, 245, 387, 425, 452; 6, 9, 36, 77, 117, 187, 225, 287.

Робинзонъ (Крузе), 5, 247.

Роганъ, Луи, кардиналъ, 5, 119.

Роганы, анатная франц. фамилія, 6, 273.

Роговъ, купецъ, 5, 424.

Рогожская ул. и застава въ Москвѣ, 1, 375; 2, 283, 284, 416; 7, 317, 329, 374.

Родбертусъ - Ягцовъ, Иоганнъ - Карлъ, 3, 300.

Родъ, франц. агитаторъ, 6, 95.

Рождественскій бульваръ въ Москвѣ, 2, 474.

Рова, Сальваторъ, итальян. художникъ XVII в. 3, 44.

Роае, проф. 2, 93.

Ровенгеймъ, студентъ, 2, 90.

Ровенкрауцъ, Карлъ, нѣм. философъ (подробнѣе: прим. къ 70 стр. I т.). 1, 70; 2, 311, 313; 3, 303; 4, 289; 6, 37, 138, 139, 140, 142.

Рове-Колларъ, Пьеръ-Поль (подробнѣе: прим. къ 407 стр. II т.). 2, 407; 5, 343.

Рокитанскій, Карлъ, 6, 181.

Рокка, Пасквале, поваръ, 3, 168, 169, 171, 181.

Роккабругъ, мѣстность близъ Ниццы, 3, 186.

Роланъ, Манонъ-Жанна, 4, 48.

Романовы, царствующая въ Россіи династія, 4, 22.

Романъ (подробнѣе: прим. къ 12 стр. III т.). 3, 12; 5, 74, 78.

Ромарино, Джироламо, 3, 241.

Ромео, итальян. революціонеръ, 3, 58.

Роммъ, франц. революціонеръ, 1, 454, 455, 456, 457, 460, 461, 463, 464.

Ромуль, 1, 99; 5, 49, 402.

Ромъе (подробнѣе: прим. къ 150 стр. V т.). 5, 150, 159, 389; 6, 251, 252, 255.

Рона, рѣка, 5, 53; 6, 376.

Ронге, Иоганнъ, 2, 406.

Ронкони, Феликсъ, 3, 455.

Россель, лордъ Джонъ (подробнѣе: прим. къ 99 стр. III т.). 3, 99, 284.

Росси, (подробнѣе: прим. къ 47 стр. V т.) 5, 47; 6, 16.

Россини, Джакомо, 2, 312; 3, 139, 312; 4, 12; 6, 36.

Россія (Русь), 1, 39, 89, 127, 182, 189, 193, 200, 241, 242, 283, 391, 394, 409, 443, 454, 455, 456; 2, 10, 12, 14, 15, 19, 24, 25, 27, 28, 29, 39, 42, 62, 63, 79, 93, 96, 99, 148, 175, 181, 188, 189, 191, 192, 206, 208, 209, 211, 213, 214, 216, 219, 230, 276, 277, 282, 311, 325, 328, 330, 331, 332, 334, 353, 354, 399, 394, 400, 402, 403, 406, 409, 410, 411, 412, 420, 422, 427, 428, 449, 462, 465, 468, 469, 470, 471, 481, 491, 495, 502; 3, 26, 32, 35, 67, 69, 81, 89, 108, 110, 117, 127, 131, 148, 159, 178, 192, 196, 197, 200, 201, 202, 203, 204, 207, 212, 223, 224, 225, 227, 228, 229, 237, 239, 241, 248, 249, 269, 274, 275, 277, 278, 281, 283, 285, 288, 291, 293, 294, 296, 298, 299, 300, 301, 331, 351, 352, 353, 355, 356—357, 358, 380, 424, 441, 449, 450, 452, 454, 455, 457, 458, 459, 461, 466, 467, 471, 474, 476, 477, 479, 480, 483, 486, 489, 490, 495, 498, 499, 500, 501, 503, 506, 516; 4, 16, 22, 23, 24, 52, 53, 54, 56, 62, 136, 149, 155, 225, 282, 316, 387, 388, 424; 5, 2, 3, 13, 14, 15, 109, 147, 160, 163, 164, 171, 172—173, 184, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 269, 271, 274—283, 284, 285, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 297, 298, 299, 302, 303, 304, 305, 307, 308, 311, 312, 315—323, 326, 328, 329, 330, 331, 333—339, 341, 342, 344, 346, 347, 353, 397, 403, 406, 409, 412, 413, 414, 416, 417, 418, 420, 421, 422, 423, 431, 435, 436, 437, 446; 6, 13, 18, 35, 38, 61, 65, 79, 87, 88, 89, 90, 94, 101, 103, 105, 106, 108, 110, 111, 112, 113, 120, 121, 125, 128, 138, 146, 147, 149, 156, 159, 161, 162, 166, 169, 170, 171, 172, 176, 177, 178, 180, 184, 185, 186, 188, 190, 192.

- 193, 194, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 207, 208, 209, 211—215, 216, 217, 220—224, 228, 230, 231, 233, 234, 235, 236, 240, 241, 244, 251, 254, 256, 257, 259, 260, 262, 263, 267, 271, 272, 278, 280, 281, 284, 285, 291—298, 299, 301, 305, 308, 309, 310, 314, 315, 316, 317, 322, 324, 325, 326, 330, 331, 332, 340, 343, 355, 356, 357, 359, 361, 367, 369, 370, 372, 373, 374, 375, 376, 379, 381, 383, 385, 388, 390; 7, 422, 435, 436.
- Ростовцевъ, Як. Ив. (подробнѣе: прим. къ 250 стр. II т.). 2, 250; 6, 208, 285, 286, 342.
- Ростопчинъ, Фед. Васил., графъ, ген.-губерн. Москвы. 2, 8, 10, 68, 190, 401; 3, 538; 6, 29, 281.
- Роттекъ, Карлъ-Вячеславъ (подробнѣе: прим. къ 383 стр. II т.). 2, 383; 4, 374.
- Ротшильдъ, банкиръ. 2, 374; 3, 109—113, 117, 118, 202, 558; 5, 22, 44, 85, 182.
- Ротшильдъ, лондонскій банкиръ. 3, 367, 379, 448, 477, 478.
- Рочдель, городъ. 3, 369.
- Ру, аббатъ. 3, 416.
- Руанъ, городъ. 5, 102, 131.
- Рубенсъ. 6, 301.
- Рубини, Джіованни-Батиста (подробнѣе: прим. къ 246 стр. I т.). 1, 246; 3, 528.
- Руге, Арнольдъ (подробнѣе: прим. къ 311 стр. II т.). 2, 311; 3, 44, 73, 122, 199, 282, 286—289, 291, 348, 484; 6, 26.
- Руже, вдова. 2, 376.
- Рузскій уѣздъ Моск. губ. 2, 18, 214.
- Рузковіусъ, Фердинандъ, вятскій аптекаръ. 2, 263—264, 265.
- Рулье, Карлъ Франц. (подробнѣе: прим. къ 341 стр. IV т.). 4, 341, 345.
- Румынія (Молдо-Валахія, Дунайскія княжества). 3, 472, 492; 6, 234, 240.
- Румянцевы, графы. 2, 457.
- Руничъ, Дм. Павл. (подробнѣе: прим. къ 213 стр. II т.). 2, 213; 5, 406.
- Руссо, Жанъ-Жакъ 1, 177, 181, 204, 339, 367, 398, 413, 440, 468; 2, 112, 217, 248, 471, 477, 484, 485; 3, 77, 97, 104, 106, 271, 345, 368; 4, 106, 156, 163, 318, 328, 334; 5, 25, 65, 133, 178, 182, 203, 225, 226, 228, 229, 231, 233, 239, 245, 259; 6, 8, 9, 80, 81, 224, 326, 329; 7, 234, 235.
- Рылѣвъ, Кондр. Федор., поэтъ, декабристъ. 2, 44, 56; 6, 363, 377.
- Рылевскій, вятскій губернаторъ. 2, 194.
- Рѣдкинъ, Петр. Григ. (подробнѣе: прим. къ 383 стр. II т.). 2, 379, 383, 398, 413, 453, 454; 3, 349, 351; 6, 103, 119, 138.
- Рюрикъ. 4, 61; 5, 307; 6, 370.
- Рязанская губ. 6, 357.
- Рязань. 1, 449; 4, 57, 379, 437; 5, 397; 6, 373; 7, 340.
-
- Саади, персидскій поэтъ. 1, 34.
- Савардамъ, городъ. 3, 537.
- Саблоньеръ, отель въ Лондонѣ. 3, 476.
- Саванарола, Иеронимъ. 4, 121, 288; 5, 5.
- Саввинъ монастырь (Москов. губ.). 1, 355; 2, 51.
- Савелій Гавриловичъ, староста с. Покровскаго. 2, 375, 378.
- Савелли. 5, 68, 69, 70, 71.
- Савиньи, Карлъ-Фридрихъ (подробнѣе: прим. къ 383 стр. II т.). 2, 383; 3, 457; 4, 22, 407.
- Савичъ, сумской предвод. дворянства. 6, 197.
- Савль, см. Павелъ, апостоль.
- Сагра, Рамонъ де-ла-, испанскій эмигрантъ (подробнѣе: прим. къ 30 стр. III т.). 3, 30, 34.
- Садъ, Альфонсъ-Франсуа, де, маркизъ. 6, 178.
- Сазиковъ, золотыхъ дѣлъ мастеръ. 2, 451.
- Сазоновъ, Николай Ив. 2, 113, 116, 138, 473; 3, 8, 36, 37, 41, 89, 118, 146, 151, 192—204, 497; 7, 317, 331, 447, 556, 575, 583.
- Саксонія. 6, 46, 125, 196, 257.
- Салтыковъ, Петръ Семен., графъ. 6, 62.
- Салтыковъ-Щедринъ, Мих. Евграфъ. 6, 243.
- Салтычиха. 2, 363.
- Сальванди, Нарсисъ-Ашиль. 6, 226, 227.
- Сальви, пѣвецъ. 6, 152.
- Самаринъ, Юр. Федор. 2, 329, 421, 425, 427; 6, 87, 90, 100, 121, 122, 150, 162, 304, 342.
- Самаркандъ. 1, 447.
- Самогитія. 3, 507.
- Самсонъ, библейскій. 1, 13; 2, 482; 5, 151.
- Сангленъ, де-, Яковъ Ив., начальникъ тайной полиціи въ царствованіе Александра I. 2, 42, 73, 159, 160; 6, 90.
- Сандвичевы о-ва. 3, 102.
- Сандерсъ, сѣв.-америк. консулъ въ Лондонѣ. 3, 295, 297, 298.
- Сандерсъ, (XVIII в.). 6, 371.
- Сандрильона. 5, 297.
- Санта-Лучія. 5, 84, 86, 90; 6, 350.
- Сантеръ, Антуанъ-Жозефъ (подробнѣе: прим. къ 138 стр. V т.). 5, 138, 369.
- Сантъ-Анджело, (подробнѣе: прим. къ 77 стр. V т.). 5, 77, 79, 94.

Сантъ-Дальмо (подробнѣе: прим. къ 77 стр. V т.). 5, 77, 82, 83; 6, 345.

Санъ-Карло, театр въ Неаполѣ. 5, 84, 85, 86.

Санъ-Марино, городъ въ Италіи. 3, 59; 5, 257.

Санъ-Суси, королевскій замокъ близъ Потсдама. 2, 92.

Санъ-Франциско. 3, 483, 484, 487; 6, 324.

Саратовская губернія. 5, 395; 7, 177.

Саратовъ. 6, 372; 7, 177.

Сарданапаль. 5, 278.

Сардинія. 5, 56.

Сарепта, городъ. 1, 52; 6, 185.

Сарра, жена Авраама. 1, 127.

Сарто, Андреа дель, итальян. живописецъ XVI в. 1, 434; 3, 533.

Сатинъ, Никол. Михайл. (подробнѣе: прим. къ 7 стр. VII т.). 2, 107, 113, 115, 116, 117, 152, 159, 160, 457; 6, 34, 98, 145; 7, 7, 11, 39, 58, 97, 122, 132, 156, 199, 236, 248, 258, 293, 442.

Сатурнъ, 3, 219; 4, 107; 5, 184, 194, 364, 430.

Сафо, греч. поэтесса. 3, 13, 217.

Саффи, Марко-Авреліо. 3, 53, 62, 63—66, 230, 231, 232, 247, 288, 294, 432, 435, 445, 447; 6, 206.

Сахаровъ, Ив. Петр. 2, 321.

Сахтынский, жандармскій генералъ. 2, 343, 344, 466; 3, 5, 118.

Саша, горничная и подруга Н. А. Герценъ. 2, 246—248, 279; 7, 158, 166, 167, 169, 170, 177, 181, 183, 185, 186, 204, 229, 241, 247, 360, 366, 371, 376, 381, 392, 397, 415, 422, 428, 437, 438, 444, 445, 450, 452, 454, 459, 460, 467, 469, 470, 474, 476, 478, 482, 491, 506, 507, 510, 514, 525, 552, 554, 569.

Сбышевскій, графъ, польскій эмигрантъ. 3, 510.

Сведенборгъ, Эммануиль (подробнѣе: прим. къ 44 стр. I т.). 1, 44; 2, 216; 5, 240.

Свентославскій, Зено, польскій эмигрантъ. 3, 229, 268, 269, 503; 5, 262; 6, 217.

Сьербевъ, Дмитр. Никол. (подробнѣе: прим. къ 82 стр. II т.). 2, 82, 416; 6, 148.

Св. Елены, островъ. 5, 424.

С.-Елень близъ Ниццы. 1, 406.

Свѣчница, знакомая кн. М. А. Хованской. 7, 369.

Севастополь. 1, 373; 5, 313; 6, 213.

Северинъ, Дм. Петр. 2, 429.

Севилья. 3, 185.

Сегюръ-д'Агессо, графъ Филиппъ-Анри (подробнѣе: прим. къ 64 стр. I т.). 1, 64; 2, 48, 354.

Сезострисъ. 6, 235.

Сектъ-Эмпирикъ. 4, 253, 269.

Селастенникъ, Гавр. Кирилл., перекладъ губернаторъ. 7, 551.

Семенова (по мужу княгиня Гагарина). Екатер. Семен., трагич. актриса. 1, 292; 2, 147.

Семеновъ, Гаврила, староста. 2, 228.

Семеновъ, гарнизонный офицеръ. 6, 371.

Семеновъ, полковникъ. 2, 147, 148.

Сена, рѣка. 1, 430; 3, 67, 151, 534, 540, 564, 575; 5, 28, 49, 50, 191, 359.

Сенаръ, президентъ франц. націон. собранія 1848 г. 3, 20; 5, 102, 117, 195; 6, 270.

Сенегалія (Сенегаль). 1, 133.

Сенека. 1, 66, 100, 101; 3, 568; 4, 135, 261, 265, 271, 354, 398; 5, 183, 234, 333.

Сенковский, Осипъ Пав., журналистъ. 2, 26, 390; 4, 153; 6, 103, 244, 245, 299, 300.

Сентинъ, Ксавье. 2, 252.

Сентъ-Антуанское предмѣстье въ Парижѣ. 3, 274, 399; 6, 253.

Сентъ-Арно, Жакъ Леруа, маршалъ. 3, 317.

Сентъ-Джемсъ—театръ въ Лондонѣ. 3, 312.

Сентъ-Джонсъ-Вудъ, дачная мѣстность близъ Лондона. 3, 230, 437.

Сентъ-Джорджъ, больница въ Лондонѣ. 3, 321.

Сентъ-Мери-Чапелъ, иезуитскій монастырь близъ Лондона. 3, 349, 350, 353, 355.

Сентъ-Олеръ, графъ Луи-Клеръ. 5, 78.

Сентъ-Оноре, улица въ Парижѣ. 1, 370; 3, 8, 346, 569.

Сентъ-Пелажи, тюрьма въ Парижѣ. 3, 154, 155.

Сентъ-Элень, дача Герцена въ Ниццѣ. 3, 171, 174, 179, 216.

Сень-Готардъ. 3, 47; 5, 300.

Сень-Дени (въ Парижѣ). 5, 191.

Сень-Джайльсъ, кварталъ въ Лондонѣ. 2, 336.

Сень-Жерве, предмѣстье въ Женевѣ. 1, 445.

Сень-Жерменское предмѣстье въ Парижѣ. 1, 29; 4, 260; 5, 359; 6, 373.

Сень-Жоржъ, владѣлецъ ресторана въ С.-Петербургѣ. 4, 389.

Сень-Жюстъ-Автуанъ. 1, 27, 288; 2, 112; 3, 69, 81, 97, 273, 539; 4, 373; 5, 152, 245; 6, 9.

Сень-Клу, дворецъ близъ Парижа. 1, 457; 3, 36; 5, 200, 225, 310.

Сень-Лазаръ, тюрьма въ Парижѣ. 4, 422.

Сень-Луи, городъ. 3, 86.

Сень-Мало, городъ. 1, 457.
 Сень-Мери, монастырь въ Парижѣ. 5, 104, 108; 6, 95.
 Сень-Ремо. 1, 391.
 Сень-Симонъ, Клодь-Генри, графъ, основатель сень-симонизма (подробнѣе: прим. къ 153 стр. II т.). 2, 153, 155; 3, 354, 566; 5, 48, 138; 6, 220.
 Сень-Симонъ, Луи, герцогъ (подробнѣе: прим. къ 153 стр. II т.). 2, 154, 155; 4, 334.
 Сенявинъ, москов. губернаторъ. 2, 189.
 Сераписъ. 1, 5.
 Сербія. 3, 420; 5, 306; 6, 234, 390.
 Сербово, село. 6, 361.
 Сервантесъ, Мигуэль. 4, 91; 5, 368.
 Серве, Михайль. 1, 444.
 Сержанъ, французскій революціонеръ. 5, 54, 55.
 Серпуховская застава въ Москвѣ. 7, 329.
 Сеславинъ, Александръ Никит. 2, 192, 193.
 Сибирь. 1, 37, 191, 245, 456; 2, 42, 100, 101, 102, 126, 143, 162, 164, 176, 179, 181, 185, 186, 188, 189, 190, 191—192, 196, 197, 204, 207, 277, 284, 323, 357, 502; 3, 91, 299, 483, 484, 486, 487, 490, 527; 4, 437; 5, 7, 143, 276, 296, 328, 334; 6, 110, 194, 211, 222, 223, 293, 302, 322, 324, 335, 370; 7, 17, 46, 551.
 Сибуръ, аббатъ. 3, 9, 13.
 Сиверсъ, Яковъ Ефим., графъ. 6, 188.
 Сивьяль, Жанъ. 1, 432.
 Сигизмундъ II Августъ, польскій король. 6, 110.
 Сигизмундъ III, король польскій и шведскій. 5, 307.
 Сидонскій, Фодоръ Фодор. 2, 501.
 Сизифъ. 1, 484; 5, 244, 245; 6, 346.
 Сиккарди (подробнѣе: прим. къ 5 стр. V т.). 3, 438; 5, 5.
 Сикстинская капелла въ Римѣ. 2, 210, 5, 75.
 Сикстъ V, папа. 2, 252; 3, 217; 4, 36, 7, 349.
 Силезія. 6, 125.
 Силентъ. 3, 328.
 Силли, англ. политикъ. 3, 443, 445.
 Сильвестръ, протопопъ, совѣтникъ Иона Грознаго. 4, 211.
 Свмашко, Иосифъ. 6, 225.
 Симбирскъ. 1, 118, 347; 5, 294; 7, 11.
 Симеонъ Богопримецъ. 5, 249, 39; 7, 392, 437.
 Симеонъ Метафрастъ. 1, 4.
 Симеонъ Столпникъ. 2, 493; 5, 20; 6, 265.
 Симоновъ монастырь въ Москвѣ. 1, 2, 3; 6, 33; 7, 33, 55, 302.

Симонъ, оль. 5, 442.
 Синавъ. 370.
 Синай. 252.
 Синій угъ въ С.-Петербургѣ. 2, 340.
 Сирахъ, 13, 14.
 Спрія. 374.
 Сирто, итальян. революціонеръ. 3, 58.
 Сити, атр. торг. кварталъ Лондона. 3, 2, 366; 5, 397; 6, 248.
 Сипягъ, вятскій знакомый Герцена. 7, ..
 Ситхостровъ. 3, 464; 5, 7.
 Сипи. 3, 244, 245, 430, 545; 5, 71, 72, 83; 6, 349, 350; 7, 299.
 Сіонъ. 1, 9, 12, 13; 7, 171, 432, 559.
 Сіэзъ Эммануэль-Жозефъ (подробнѣе: прим. къ 98 стр. III т.). 3, 98; 4, 402, 4; 5, 17, 133, 365; 6, 5, 328.
 Сканнавія. 1, 3.
 Скардбергъ, или Георгій Кастриотъ. 6, 9.
 Срятка, отставной офицеръ, сыщикъ. 152.
 Сорцовъ, вятскій пріятель Герцена. 182, 183, 191, 214, 229, 251, 260, 276, 280, 316, 324, 326, 340, 348, 350, 382, 388, 390, 392, 393, 399, 407, 408, 411, 420, 421, 432, 439, 448, 482, 519, 520, 529, 556, 561.
 кобелевъ, Ив. Никит. 2, 320.
 коворода, Григ. Савв. 4, 155.
 Скоттъ, Вальтеръ. 1, 48, 65; 2, 440; 4, 6, 7, 26, 82, 84, 95, 106, 428; 6, 32; 7, 1.
 Скрибъ, Эжень (подробнѣе: прим. къ 21 стр. V т.). 5, 21, 23.
 Скуляны. 3, 463, 472.
 Слободско-украинская губернія. 5, 420, 423; 6, 306.
 Служальскій. 3, 197.
 Слѣпушкинъ, фруктощикъ въ Москвѣ. 2, 66, 67.
 Смирдинъ, Алдръ Филипп., Сиб. книгопродавецъ. 5, 285.
 Смирна. 3, 9.
 Смитъ, Адамъ. 1, 230; 4, 328.
 Смитъ, Альбертъ. 4, 424.
 Смолакъ, Елизавета Петр., московская знакомая Герцена. 7, 534.
 Смоленскій рынокъ въ Москвѣ. 2, 66.
 Смоленскъ. 7, 256.
 Смольный монастырь въ Петербургѣ. 2, 47, 114.
 Снаксаревъ, подковникъ, женихъ Н. А. Захарьиной. 7, 342, 346, 348, 359, 361, 366, 369, 370, 374, 395, 402, 411, 440, 458, 480, 485, 500.
 Собриэ, франц. революціонеръ 1848 г. 5, 103, 129.
 Собьсскій, Янь. 1, 85.
 Сого, ул. въ Лондонѣ. 3, 258, 325; 5, 319.

Содомъ, городъ. 5, 254.
Соце. 5, 112.
Соколово, село, имѣние Герцена. 2, 434, 453, 457, 487; 4, 300, 336, 373, 375.
Соколовскій, Владим. Ив. (подробнѣе: пр. къ 113 стр. II т.). 2, 113, 114, 152, 157, 159, 160, 301; 7, 11.
Соколовъ, жандармскій офицеръ. 2, 302; 7, 11.
Соколыники, мѣстность близъ Досквы. 1, 125; 2, 473, 478, 479; 4, 57.
Сократъ. 3, 155, 217; 4, 105, 133, 171, 210, 223 — 227, 230, 269, 271, 333, 370, 418; 5, 189, 226, 234, 400; 6, 142.
Соловецкій монастырь. 6, 121.
Сологубъ, Вл. Ал., графъ. 6, 15, 17.
Соломонъ, царь вавилонскій. 1, 1, 14; 2, 136, 210; 6, 221; 7, 474.
Сольферино (подробнѣе: прим. къ 300 страницѣ III т.). 3, 300, 445; 5, 377; 6, 294.
Сомерсетъ-Гаузъ въ Лондонѣ. 3, 289.
Сомо-Сиерра. 3, 35.
Сона, рѣка. 5, 50, 51.
Сорбонна въ Парижѣ. 3, 13.
Сорокинъ, осужденный по дѣлу Герцена въ 1835 г. 2, 160.
Сорренто, городъ. 2, 477; 5, 286.
Соутгамтонъ. 3, 321, 420, 421, 425, 428.
Софія, св. 2, 357.
Софоклъ. 1, 66, 484; 4, 93, 223; 5, 348, 355.
Спарта. 2, 62; 4, 86, 398; 5, 441.
Спасскія ворота въ Москвѣ. 6, 148.
Сперанскій, Мих. Мих., графъ. 2, 188, 189, 357; 5, 421; 6, 328.
Спини, Л. 3, 53; 5, 85, 88, 90.
Спиноза, Бенедиктъ. 1, 333; 3, 155; 4, 91, 135, 186, 229, 245, 288, 291, 293, 316, 324, 326, 327, 335, 355, 364; 5, 171, 236; 6, 8, 84, 134—135, 136, 163, 166, 365, 366.
Спиридонъ, поваръ отца Герцена. 2, 66, 71.
Спорженъ, англ. проповѣдникъ. 1, 419.
Средиземное море. 1, 5, 281; 3, 59, 137, 182; 5, 40, 53, 81, 148, 254, 263, 296; 6, 236, 272.
Стааль, генераль, моск. комендантъ. 2, 107, 142, 152, 153, 157.
Сталь, Анна-Луиза. 1, 34, 445; 2, 415; 3, 86; 4, 48; 6, 88.
Станкевичъ, Никол. Владимір. 2, 303, 309, 310, 324, 325, 328—333, 383, 390, 391, 413; 3, 194; 6, 331.
Стансфильдъ, англ. министръ. 3, 420, 423, 425, 441, 442, 445, 446.
Старая Конюшенная ул. въ Москвѣ. 2, 19, 39, 74.
Старая Русса. 6, 320.

Стафортъ, лордъ. 4, 332.
Стаффордъ-Гаузъ въ Лондонѣ. 3, 425, 430, 431, 434—436, 443, 445, 448; 5, 110, 141.
Стеали, берлинскій ресторанъ. 3, 301, 302, 304.
Стемпиковскій, Иосифъ, польскій полковникъ. 6, 361.
Стенли, лордъ (впослѣдствіи графъ Дерби). 3, 331; 6, 286.
Степановъ, Андрей, камердинеръ Л. А. Яковлева. 2, 27, 28.
Стефанъ Баторій. 6, 110.
Стефенсъ, Генрихъ. 4, 152.
Стокгольмъ. 3, 499, 509.
Страндъ, ул. въ Лондонѣ. 3, 317; 5, 394.
Страсбургъ. 3, 399.
Страстной монастырь въ Москвѣ. 2, 9.
Стратонъ, греч. философъ. 4, 264.
Стрекаловъ, ген.-адъютантъ. 2, 215.
Стремоуховъ, офицеръ. 3, 320, 321.
Строгановъ (Строгоновъ), Серг. Григор., графъ. 1, 455, 456; 2, 383, 424, 447—451, 454, 465, 466; 3, 349; 6, 38, 39, 52, 54, 61, 62, 91, 92, 94, 98, 100, 101, 103, 134, 205.
Строгановъ (Строгоновъ), Александръ Григор., графъ, министръ вн. дѣлъ. 2, 334, 337, 348, 349, 357, 449.
Строганова, графиня. 6, 205.
Струве, Амалия. 3, 49, 51.
Струве, Густавъ, баденскій революціонеръ. 3, 48—52, 70, 71, 83—86.
Струве, Густавъ, русскій повѣренный въ Гамбургѣ. 3, 85.
Струговщикъ, морской офицеръ. 2, 362, 363.
Струэнзе, Иоганъ-Фридрихъ. 6, 85.
Стурдза, А. С. 4, 149.
Стюарты, корол. династія. 3, 259; 4, 424.
Суворовъ, Александръ Аркад., князь. 6, 359.
Суворовъ, Александръ Васильевичъ, князь, фельдмаршалъ. 1, 52, 438; 2, 181; 3, 296; 6, 188.
Суле, сѣв.-америк. посолъ въ Испанію. 3, 295.
Сулла, Люцій Корнелій. 3, 259.
Сулукъ, негрятяскій императоръ. 3, 259.
Сутьтъ, Николай, французскій маршалъ. (подробнѣе: прим. къ 25 стр. V т.). 4, 154; 5, 25, 51.
Сулариковъ, Александръ Петр. 1, 54, 56, 368.
Сумскій уездъ Харьк. губ. 6, 197.
Сунтуровъ, сосланный студентъ. 2, 108, 109, 328, 329.
Сутерландскій, герцогъ. 3, 421, 425, 430, 431, 441, 444.

- Сухованеть, генераль. 3, 529.
 Сушковъ, Н. В. 6, 154.
 Сцевола Муцій. 1, 64, 113; 2, 198; 3, 120.
 Циципюнь, африканскій, Публий-Корнелий. 1, 482; 4, 51.
 Сѣверо-Америк. Соед. Штаты. 1, 418; 2, 326; 4, 6, 24, 84, 144, 361; и еще см. Америка Сѣверная.
 Сѣрно-Соловьевичъ, Никол. Александр. 3, 461.
 Сѣй, Жанъ-Балтистъ (подробнѣе: прим. къ 81 стр. IV т.). 4, 84; 5, 45.
 Сю, Эженъ. 1, 40, 89, 295; 4, 7, 438; 5, 106.
 Сюррейская тюрьма въ Лондонѣ. 3, 403.
- Табориты. 5, 306.
 Таврида. 2, 401.
 Таганрогъ. 2, 41.
 Талейранъ-Перигоръ, князь бенеVENTСкій, Шарль-Морисъ. 1, 170, 186, 444, 460; 2, 360; 3, 243; 4, 142; 6, 69, 76.
 Талюни, Марія, танцовщица. 6, 63; 3, 528.
 Талія, муза. 1, 292, 5, 17.
 Тальенъ, Жанъ-Ламберъ, франц. революционеръ. 1, 455; 5, 369.
 Тальма, Франсуа-Жозефъ, франц. актеръ-трагикъ (подробнѣе: прим. къ 66 стр. III т.). 1, 306; 3, 66, 303; 5, 35.
 Тальяндье, А., франц. эмигрантъ. 2, 394; 3, 534, 535.
 Тамберликъ, Эрико, итальян. пѣвецъ. 4, 428.
 Тамбовская губернія. 2, 159; 3, 454.
 Тамбовъ. 1, 283; 2, 273; 3, 450, 454; 5, 294, 327.
 Тансенъ, Клавдія. 3, 271.
 Танталь. 6, 348.
 Тая (Т. П. Пассекъ?). 7, 280, 281 (въ письмѣ Огарева).
 Тардифъ де-Мело, франц. журналистъ. 3, 197, 201.
 Тарквиній старшій, римскій царь. 1, 372.
 Тассо, Торквато. 1, 36; 7, 212, 259.
 Татарія (Азія). 4, 437.
 Татьяна Ивановна. 7, 186, 188.
 Тауэнау, вѣнскій агитаторъ. 3, 532.
 Таурогенъ. 1, 196; 2, 143; 3, 5; 6, 264.
 Тацтъ. 1, 94, 331, 454, 476; 3, 332; 4, 26, 142, 257, 404; 5, 188; 6, 107, 108, 289.
 Тверская губернія. 1, 51; 2, 13, 45.
 Тверская застава въ Москвѣ. 2, 41.
 Тверская площадь въ Москвѣ. 2, 9, 10, 438.
 Тверская улица въ Москвѣ. 4, 148.
 Тверской бульваръ въ Москвѣ. 2, 17, 81, 139, 279; 3, 88, 303; 4, 385; 7, 561.
 Тверь. 2, 187, 349; 4, 60, 61, 386; 5, 12; 6, 15.
 Твикнемъ, предмѣстье Лондона (подробнѣе: примѣч. къ 1 стр. V т.). 3, 412, 414, 5, 1, 166.
 Теба, графиня. См. Евгенія, императрица.
 Тевтонія (Германія). 1, 34.
 Теддингтонъ, дачное мѣсто близъ Лондона. 3, 432, 433, 434, 469, 470.
 Теккерей, Вильямъ. 4, 429.
 Телеки, Сандоръ, графъ, венгерскій эмигрантъ. 3, 269, 299, 317, 318, 548; 6, 323.
 Телемакъ. 3, 323.
 Тель, Вильгельмъ. 1, 444; 3, 79, 139, 143; 6, 158.
 Темешваръ, городъ. 3, 317.
 Темза, рѣка. 2, 6, 218, 296; 3, 236; 4, 434; 5, 394, 430.
 Темира. См. Пассекъ, Татьяна Петр.
 Темплъ, англ. мировой судья. 3, 369.
 Тенаръ, Луи-Жакъ (подробнѣе: прим. къ 81 стр. IV т.). 4, 84, 111.
 Тенгоборскій, Людовикъ Валеріан. 5, 274.
 Тенисонъ, Альфредъ. 3, 425.
 Теньеръ, Давидъ, голландскій живописецъ. 1, 48; 6, 340.
 Теофиль, церк. дѣятель V в. 6, 131.
 Тереза. См. Левассеръ, Тереза.
 Термопилы (Фермопилы). 4, 397; 5, 348.
 Терновскій, Петръ Матв., проф. 2, 40.
 Терпсихора, муза. 1, 292; 5, 17.
 Террачина, городъ. 3, 4; 5, 81; 6, 351.
 Тертуліанъ, отецъ церквн. 1, 8; 4, 257; 6, 123, 269.
 Теруанъ-де-Марикуръ, дѣятельница 1-й франц. революціи. 1, 455; 2, 317.
 Тессино, кантонъ въ Швейцаріи. 3, 59.
 Тесье-дю-Моте, франц. эмигрантъ. 3, 74, 181, 190, 191, 221.
 Техасъ. 5, 9, 106, 395, 398.
 Тибръ, рѣка. 5, 62.
 Тиверій, императоръ. 1, 95; 5, 61, 82; 7, 223.
 Тякъ, Людвигъ, (подробнѣе: прим. къ 8 стр. IV т.). 4, 8, 95.
 Тилезій, философъ. 4, 277, 312.
 Тильзитъ. 5, 16, 424; 6, 88.
 Тимашевъ, Александръ Егоръ (подробнѣе: прим. къ 492 стр. II т.). 2, 492; 5, 347; 6, 250.
 Тимолеонъ, греч. полководецъ. 3, 120.
 Тимофеевъ, Александръ Вас. 2, 338.
 Тимуръ (Тамерланъ). 4, 407.
 Тинторетто (Джакомо Робусто), итальян. живописецъ XVI в. 3, 542.
 Типерари, городъ въ Ирландіи. 1, 411.
 Тироль. 3, 59, 90.

- Тирье, учитель Герцена. 2, 72.
 Тиссо, докторъ. 4, 47, 155.
 Тифлисъ. 2, 69.
 Тифонъ, егип. божество. 4, 414; 7, 421.
 Тихій океанъ. 2, 191, 412; 5, 296; 6, 211, 213, 222, 293, 322.
 Тиціанъ. 1, 191; 3, 530, 542; 4, 288.
 Тобольская губернія. 2, 102, 185.
 Тобольскъ. 1, 278; 2, 175, 185, 186, 189, 190, 204, 360; 5, 277, 296.
 Товянский, Андрей (подробнѣе: прим. къ 35 стр. III т.). 2, 316; 3, 35, 278.
 Токвилъ, Алексисъ (подробнѣе: прим. къ 223 стр. II т.). 2, 223; 3, 19, 332; 6, 173.
 Толедо, улица въ Неаполѣ. 5, 83, 84, 85; 6, 347.
 Толочановъ, крѣпостной писмоводитель Л. А. Яковлева. 2, 32, 33.
 Толстая, Сарра, повѣсса, графиня. 2, 181; 4, 149.
 Толстой (Американецъ), графъ. 2, 181, 182, 405.
 Толстой, сенаторъ. 2, 185.
 Толь, Карлъ Ѳеодор. 6, 188
 Тонбриджъ. 5, 284.
 Торвалдсенъ, Альбертъ, датскій скульпторъ. 1, 285, 305; 2, 132.
 Торе, франц. журналистъ. 3, 41; 5, 111.
 Торжокъ, городъ. 4, 384, 390.
 Торкей, городъ въ Англіи. 6, 311.
 Торнео, рѣка. 2, 401.
 Тортоны, кофейня и ресторанъ въ Парижѣ. 3, 66, 67.
 Торъ-ди-Ноне. 5, 91.
 Тоскана. 5, 58, 73, 82.
 Тофано, графъ. 5, 85, 87, 88.
 Тохтамышъ, ханъ Золотой Орды. 2, 221.
 Тразей (Тразея), Петъ. 1, 98.
 Трансионенъ, улица въ Парижѣ. 5, 104, 108.
 Трафальггарская площадь въ Лондонѣ. 3, 306.
 Траянъ, императоръ. 5, 409.
 Тредьяковский, Вас. Кирилл. 2, 89; 4, 155.
 Трелъ, франц. министр. 1, 424.
 Трелоне, сынъ друга Байрона. 3, 369; 5, 392.
 Тренденбургъ, Фридрихъ - Адольфъ. 6, 118.
 Тревинскій. 1, 83, 84, 90, 96, 97.
 Тренкъ, Фридрихъ. 6, 134.
 Трескинь, тобольскій губернаторъ. 2, 180.
 Триполи. 3, 126, 250.
 Триестъ. 3, 69, 436.
 Тронце-Сергіевская лавра. 2, 438; 6, 363; 7, 249, 406, 498.
 Тромпетеръ, Полина. 2, 263—265; 7, 58, 61, 62, 88, 92, 95, 102, 114, 115, 118, 122, 124, 129, 134, 138, 141, 146, 148, 149, 152, 153, 159, 169, 179, 182, 185, 191, 199, 207, 214, 216, 217, 220, 223, 224, 227, 229, 240, 245, 251, 257, 276, 284, 300, 302, 304, 306, 312, 315, 316, 322, 324, 326, 332, 337, 338, 340, 344, 350, 356, 365, 378, 382, 388, 392, 393, 399, 404, 407, 408, 411, 420, 421, 422, 424, 427, 432, 438, 439, 449, 454, 477, 482, 491, 518, 519, 521, 529, 534, 556, 560, 561, 582.
 Трошинскій, Дм. Прокоф. 5, 409, 419, 421.
 Труба, мѣстность въ Москвѣ. 2, 382.
 Трубецкая, Екатерина Ив., княгиня, жена декабриста (подробнѣе: прим. къ 43 стр. II т.). 2, 43; 6, 110.
 Трубецкой, Серг. Петр., кн., декабристъ. 2, 450.
 Трубецкой, князь, жестокий помѣщикъ. 2, 364.
 Трюбнеръ, Николай, лондонскій надатель. 3, 228, 468, 502, 503; 5, 262, 302; 6, 249, 250.
 Тугенбольдъ (Полясъ), д-ръ. 3, 506, 507, 508, 509, 510.
 Тула. 2, 445; 4, 379, 381; 7, 2.
 Тулонъ. 3, 577.
 Тульча, городъ. 3, 469, 471.
 Тунское озеро. 3, 520.
 Тургеневъ, Александръ Ив. (подробнѣе: прим. къ 414 стр. II т.). 2, 414; 6, 36, 58.
 Тургеневъ, Ив. Серг. 2, 91, 320, 324, 495, 497; 3, 24, 25, 29, 36, 305, 488; 5, 426, 427, 429, 430, 434, 437; 6, 302, 364, 365, 366, 380.
 Тургеневъ, Никол. Ив. (подробнѣе: прим. къ 290 стр. V т.). 5, 290, 423.
 Туринъ. 2, 429; 3, 139, 140, 171, 172, 175, 177, 510, 522; 5, 56, 109; 6, 349.
 Турнеръ, Джозефъ (подробнѣе: прим. къ 267 стр. III т.). 3, 267; 6, 294.
 Турція. 1, 447; 2, 27, 421; 3, 35, 45, 119, 292, 295, 317, 463, 468, 469, 472; 5, 263, 308, 312; 6, 214, 215, 223, 234, 235.
 Туръ, шпионъ. 3, 502, 503, 505, 506.
 Туссо, г-жа. 3, 417.
 Тучковъ, А. А., москов. знакомый Герцена. 6, 54.
 Тучковъ, ген.-лейтенантъ. 2, 465.
 Тушинскій воръ (Лжедмитрій II). 1, 346.
 Тхоржевскій, С., польскій эмигрантъ. 3, 478, 503, 505, 510, 511; 5, 284.
 Тьерри, Огюстенъ (подробнѣе: прим. къ 6 стр. IV т.). 4, 6, 26—28; 6, 290.
 Тьерселенъ, франц. дворянинъ XVIII в. 5, 276.
 Тьеръ, Адольфъ, франц. политич. дѣятель. 2, 155, 351; 3, 149, 150, 561,

577; 5, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 126, 143, 144, 147; 6, 187, 337.
 Тюбингенъ. 3, 290; 6, 133.
 Тюльери, дворець въ Парижѣ. 1, 424, 443, 462; 3, 20, 442; 4, 387; 5, 19, 49, 100, 113, 116, 133, 151, 163, 193, 206, 310, 320.
 Тюрго, Робертъ-Жакъ, франц. министр. 2, 204; 3, 295; 6, 173, 175, 176.
 Тютчевъ, Федоръ Ив., поэтъ. 3, 563, 564.
 Тюфяевъ, К. Я. вятскій губернаторъ 30-хъ гг. 2, 96, 174—176, 178, 179, 184—187, 203, 204, 205, 219, 220, 221, 222, 260; 3, 114; 6, 332; 7, 304, 519.
 Тюфякины, князья. 5, 375.
 Тэръ, Альбрехтъ (подробнѣе: прим. къ 84 стр. I т.). 1, 84; 2, 443.
 Тэйлоръ, П. 3, 343.
 Уайтъ-Голль, дворець въ Лондонѣ. 3, 366.
 Уайтъ, островъ. 1, 408; 3, 108, 251, 307, 421; 5, 361, 367; 6, 354.
 Уаттъ, Джемсъ. 1, 285.
 Уваровъ, Серг. Семен., гр., министр нар. проsv. (подробнѣе: прим. къ 94 стр. II т.). 2, 92, 94; 6, 54, 99, 100, 127, 305.
 Уголино, итальян. графъ. 3, 394.
 Удето, г-жа. 2, 485.
 Удино, франц. генераль. 3, 21.
 Украина. См. Малороссія.
 Уландъ, Людвигъ. 4, 95.
 Улицсъ. 4, 272; 5, 198.
 Уллоа, генераль. 3, 238; 6, 236.
 Ульманъ, дерптскій профессоръ. 6, 99.
 Ульпіанъ, римскій юристъ III в. по Р. X. 3, 568.
 Умань, городъ. 6, 360, 361.
 Уполамай (Алеутскіе о-ва). 3, 464.
 Ураль. 5, 282, 309, 311; 6, 322.
 Уральскій хребетъ. 1, 37, 42; 2, 92, 93, 103, 169, 172, 192; 7, 218.
 Урбанъ, австр. генераль. 3, 300.
 Урвавія. 1, 340.
 Уркуардъ, Давидъ, англ. политич. дѣятель. 3, 292, 293, 441.
 Условъ, почт. станція въ Казанской губ. 2, 166, 167.
 Успенскій соборъ въ Москвѣ. 2, 10; 5, 406.
 Устряловъ, Никол. Герасим. (подробнѣе: прим. къ 188 стр. VI т.). 6, 188, 305.
 Усть-Сысольскъ. 2, 403.
 Уткинъ, художникъ, осужд. по политич. дѣлу. 2, 160.
 Уфа, городъ. 2, 72.
 Уфимская губернія. 1, 177.
 Уффици, дворець во Флоренціи. 6, 366.
 Ушаковъ, Андрей Ив. 6, 257.

Уэльскій, принцъ (нынѣ король Эдуардъ VII). 3, 448.

Фабрицій, Кай. 1, 451; 2, 48.
 Фабръ, шпионъ. 2, 345.
 Фавръ, Жюль, франц. политич. дѣятель 2-ой имперіи. 3, 574.
 Фази, Джемсъ (подробнѣе: прим. къ 79 стр. III т.). 3, 79, 80—88, 131, 133, 241, 518.
 Фаллеръ, табачный фабрикантъ. 1, 75.
 Фаллу, Альфредъ, графъ. 3, 121.
 Фальмерейеръ, Яковъ, историкъ. 5, 167.
 Фанъ-Амбургъ, укротитель звѣрей. 6, 281.
 Фанъ-Муйденъ, живописецъ. 1, 415.
 Фарина, Жанъ (Иоганнъ) Марія (подробнѣе: прим. къ 129 стр. IV т.). 4, 129; 6, 325.
 Фаустъ. 5, 57, 178.
 Февъ. 7, 429, 443.
 Фейербахъ, Людвигъ (подробнѣе: прим. къ 312 стр. II т.). 2, 312, 318, 406, 454; 3, 210; 5, 134, 162, 201, 436; 6, 127, 132.
 Февъ, баронъ, франц. историкъ войны 1812 г. 2, 10.
 Фергюсонъ, англ. хирургъ. 3, 443, 444.
 Фердинандъ I, король неаполитанскій. 6, 350.
 Фердинандъ II, король неаполитанскій. 5, 83, 85; 6, 347, 349.
 Ферней, мѣстечко близъ Женевы, гдѣ жилъ Вольтеръ. 1, 177.
 Феррара, городъ въ Италіи. 5, 75.
 Ферретти, графъ. 5, 85, 86.
 Фигаро. 5, 144.
 Фигнеръ, Александръ Самойл. 2, 192, 193.
 Фидіасъ (Фидій). 5, 70, 355.
 Филадельфія, городъ. 1, 344; 6, 183.
 Филаретъ, митрополитъ московскій. 1, 75; 2, 77, 97, 98, 199, 213, 215, 454; 6, 100, 101; 7, 126.
 Филемонъ. 4, 153.
 Филимоновъ, Владим. Серг. 2, 493.
 Филимоновъ, жандармъ. 2, 147—150.
 Филипповъ, Шарль (подробнѣе: прим. къ 11 стр. III т.). 3, 11, 195.
 Филиппъ II, король испанскій. 1, 341; 3, 575; 4, 361, 405.
 Филиппъ Македонскій. 4, 226.
 Филиппъ Орлеанскій, регентъ Франціи. 4, 439.
 Филиппъ Эгалитэ (герцогъ Орлеанскій), отецъ короля Луи-Филиппа. 1, 457.
 Филипсъ, бумажный фабрикантъ. 3, 366.
 Филопанти, Квирикъ, спиритъ. 3, 253.
 Философовъ, знакомый Герцена. 6, 79.
 Финистерре, мысъ. 5, 16.
 Финляндія. 1, 184; 2, 212; 3, 503; 5, 308.

Фихте, Іоганнъ. 1, 94; 2, 332; 3, 368; 4, 20, 93, 105, 138, 182, 185, 288, 328, 416; 5, 127, 239, 422; 6, 78, 127.

Финой-Келли. 6, 248.

Фишхеларовъ, студентъ. 2, 99.

Фишеръ фонъ-Вальдгеймъ, Григ. Ів., проф. (подробнѣе: прим. къ 89 стр. II т.). 2, 89, 472.

Фиалковскій, Антонъ-Мельхиоръ. 6, 225.

Фіески, Жозефъ (подробнѣе: прим. къ 128 стр. II т.). 2, 128; 3, 308.

Фіуме, городъ. 3, 548.

Флавіанъ Константинопольскій, церк. дѣятель IV в. 6, 131.

Флетчеръ, Джильсъ, англ. посолъ. 4, 387.

Флоконъ, статсъ-секретарь врем. франц. правительства 1848 г. 3, 485; 5, 102, 111.

Флоренція. 2, 448; 3, 515, 544; 5, 75; 6, 349.

Флорестанъ, князь монахскій. 2, 230.

Флоріанн, парикмахеръ. 3, 526, 527.

Флоріанъ, Жанъ-Пьеръ, франц. писатель. 1, 60.

Флуни. 1, 285.

Флурансъ, Мари-Жанъ-Пьеръ, франц. фізіологъ. 4, 340.

Фогтъ, Густавъ, братъ Карла Фогта. 3, 29, 133.

Фогтъ, Карлъ, нѣм. натуралистъ. 1, 342; 3, 131—133, 135—138, 151, 171, 172, 181, 184, 185, 187, 188, 190, 206, 222, 299, 343, 436; 6, 234, 255, 367, 368.

Фогты, семья ихъ. 3, 132—135.

Фокстовъ, городъ. 3, 76; 6, 341.

Фоксъ, Джорджъ—въ текстъ ошибочно названъ Чарлсомъ—(подробнѣе: прим. къ 102 стр. I т.). 1, 102, 103; 3, 365, 514; 5, 127; 6, 99, 377.

Фоллены, семья ихъ. 3, 132.

Фонди, городъ. 5, 82.

Фонтенель, франц. писатель. 1, 66.

Фонъ-Визинъ, Денисъ Ів. 5, 6.

Форарльбергъ, въ Тироля. 3, 238.

Форестъ, офицеръ націон. гвардіи. 3, 44.

Форнарина, возлюбленная Рафаэля. 7, 206.

Форстеръ, Георгъ-Іоганнъ (подробнѣе: прим. къ 424 стр. II т.). 2, 424; 5, 127; 6, 102, 103, 105.

Форумъ (въ Римѣ). 5, 60, 72.

Фоше, Леонъ (подробнѣе: прим. къ 156 стр. III т.). 3, 156, 555.

Франкеръ, Луи-Бенжаменъ (подробнѣе: прим. къ 24 стр. I т.). 1, 24; 2, 80, 311.

Франклинъ, Веньяминъ. 3, 97; 4, 409; 6, 213.

Франкфуртъ на Майнѣ. 1, 26; 3, 69, 137, 377; 5, 35.

Франкфуртъ на Одерѣ. 5, 35.

Франкъ, нѣм. издатель. 6, 250.

Франсія, Гаспаръ-Родригъ (подробнѣе: прим. къ 429 стр. I т.). 1, 429; 4, 109.

Франсуа, слуга Герцена. 3, 179, 180, 190, 316, 414.

Францискъ I, король франц. 4, 276.

Францискъ II, король французскій. 5, 74.

Францискъ (Франческо) II, король неаполитанскій. 6, 347, 348, 349, 350.

Франція. 1, 26, 28, 30, 35, 54, 66, 86, 92, 93, 162, 240, 245, 282, 414, 416, 421, 444, 446, 448, 450, 454, 455, 456, 473, 475; 2, 26, 45, 62, 100, 112, 119, 120, 130, 204, 236, 333, 334, 343, 393, 413, 415, 486, 491, 501; 3, 3, 6, 7, 8, 9, 17, 22, 25, 30, 31, 33, 35, 40, 41, 45, 54, 55, 57, 58, 67, 69, 73, 78, 79, 81, 83, 107, 110, 114, 117, 119, 121, 122, 148, 150, 155, 156, 159, 160, 168, 169, 170, 174, 182, 195, 202, 220, 238, 245, 248, 249, 252, 255, 265, 266, 267, 268, 270, 273, 277, 281, 283, 287, 290, 291, 292, 295, 297, 306, 315, 325, 332, 336, 337, 338, 358, 368, 384, 385, 386, 397, 399, 400, 406, 433, 473, 502, 506, 514, 534, 535, 538, 551—553, 555, 558, 559, 560, 561, 562, 564, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 577; 4, 3, 7, 23, 26, 27, 28, 33, 82, 83, 93, 95, 102, 122, 156, 186, 189, 197, 310, 316, 331, 333, 338, 410, 418, 425, 429, 437; 5, 1, 2, 22, 29, 35, 40, 44, 49, 50, 52, 55, 56, 58, 61, 66, 74, 93, 98, 99, 100, 103, 105, 108, 109, 112, 113, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 131—134, 135, 137, 142, 144, 146, 147, 156—160, 182, 194, 197, 201, 203, 214, 215, 222, 263, 265, 266, 270, 275, 279, 281, 308, 312, 318, 323, 328, 353, 366, 369, 372, 373, 394, 397, 424, 452; 6, 9, 20, 22, 39, 47, 67, 70, 71, 74, 80, 85, 134, 146, 158, 170, 173—176, 181, 184, 192, 201, 212, 214, 219, 231, 236, 246, 252, 253, 254, 262, 264, 268—270, 283, 306, 312, 316, 317, 322, 323, 325, 327, 340, 373, 384, 392.

Францъ I, австр. императоръ. 6, 239.

Францъ II, австр. императоръ. 5, 378.

Фрапполи, полковникъ. 3, 145.

Фраскати, городъ. 2, 53.

Фрауенштедтъ, Юлій. 6, 82.

Фребель, Юліусъ. 5, 167.

Фредегонда, франкская королева. 4, 30.

Фрейбургъ (Фрибургъ), городъ. 3, 131, 140, 141, 143, 144, 516.

Фрейлигратъ, Фердинандъ, поэтъ. 3, 287.

Френсъ, Джонъ. 3, 432.

Фридрихъ I Барбаросса, германскій императоръ. 2, 400; 3, 300; 5, 17.

- Фридрихъ II, король прусскій. 1, 92, 93, 96; 2, 15; 3, 65, 353; 4, 83, 353; 5, 246, 265, 320, 389; 6, 9, 62, 79, 81, 85, 134, 208, 370.
- Фридрихъ-Вильгельмъ III, король прусскій. 5, 378.
- Фридрихъ-Вильгельмъ IV, король прусскій. 3, 553.
- Фридрихъ-Вильгельмъ, курфюрстъ прусскій. 6, 257.
- Фризъ, Яковъ-Фридрихъ. 6, 140.
- Фричь, чешскій литераторъ. 3, 488.
- Фроловъ, Никол. Григор. 6, 15.
- Фруасаръ, Жанъ. 4, 29.
- Функе - Тевиль, Антуанъ (подробнѣе: прим. къ 475 стр. П т.). 2, 475; 5, 116, 193; 6, 117.
- Фульгэмъ (подробнѣе: прим. къ 108 стр. I т.). 1, 108; 3, 465.
- Фульстонъ, Робертъ, изобрѣтатель парохода. 3, 387.
- Фульширонъ. 5, 57.
- Фурьеръ, членъ швейц. федер. совѣта. 3, 84.
- Фурнье, писатель. 4, 39.
- Фурье, Шарль, франц. социалистъ. 3, 212, 365, 381; 5, 48, 138, 393, 398; 6, 114, 115, 125, 220, 387.
- Фуше, Жозефъ (подробнѣе: прим. къ 120 стр. III т.). 3, 120; 5, 53; 6, 76.
- Халкедонъ, городъ въ Византійской имперіи. 6, 131.
- Хамовническая часть въ Москвѣ. 1, 379.
- Харонъ. 3, 527; 4, 187.
- Харьковская губ. 6, 197.
- Харьковъ. 2, 104; 3, 480; 5, 422; 6, 197; 7, 211.
- Хемницъ, городъ. 6, 323.
- Херасковъ, Мих. Матв., писатель. 1, 368; 2, 89, 440.
- «Химикъ». См. Яковлевъ, Алексій Алек.
- Хлопинъ, совѣтникъ новгород. губ. права. 2, 364, 366.
- Хлыновъ, городъ. 2, 217, 219.
- Хмѣльницкій, Богданъ, гетманъ. 5, 296; 6, 299.
- Ховацкая, княгиня (XVIII в.). 6, 375.
- Хованская, Марья Алексѣвна, княгиня, тетка Герцена. 2, 74, 111, 234—242, 244, 245, 246, 247, 248, 449, 250, 267, 268, 269, 270, 271—273, 277, 279, 284, 287; 7, 1, 4, 158, 163, 166, 167, 170, 173, 177, 186, 189, 194, 196, 200, 201, 203, 204, 205, 209, 216, 217, 222, 234, 256, 260, 266, 272, 279, 287, 288, 302, 306, 310, 319, 340, 359, 367, 369, 370, 374, 376, 378, 396, 405, 406, 415, 419, 424, 427, 428, 429, 438, 442, 444, 447, 448, 450, 452, 454, 460, 476, 480, 481, 483, 484, 488, 489, 501, 502, 510, 512, 515, 516, 520, 528, 530, 545, 554, 559, 565, 566, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 580.
- Хованскій, Феодоръ Серг., князь. 2, 237, 238, 241.
- Ходынка, мѣстность въблизи Москвы. 2, 41.
- Хоецкій, Эдмундъ, польскій эмигрантъ. 3, 32, 33, 151, 169, 170, 171, 172, 181, 202, 295, 495.
- Хозревъ-Мирва, персидскій посолъ. 4, 56.
- Хозрой I Великій, царь персидскій. 4, 262.
- Хомяковъ, Алексій Степ., писатель-славянофилъ. 2, 82, 94, 329, 398, 400, 408, 412, 413, 416—418, 421, 422, 427; 3, 33, 151, 483; 4, 147, 149; 5, 436; 6, 42, 43, 45, 58, 92, 105, 120, 122, 140, 143, 148, 154, 155, 384, 389.
- Хоткевичъ, графъ. 3, 197, 203.
- Хроносъ (Сатурнъ). 1, 479, 483.
- Царевосанчурскъ, городъ. 2, 79.
- Царицыно, подмосковная деревня. 7, 118, 120, 331, 444, 528, 536, 550.
- Царицынъ лугъ въ С.-Петербургѣ. 6, 320.
- Царское-Село. 2, 189; 3, 384.
- Царьградъ. См. Константинополь.
- Цверчакъвичъ, Иосифъ, польскій эмигрантъ. 3, 501, 502, 503, 504, 505, 508, 509.
- Цвингъ-Ури. 4, 197.
- Цейловъ, островъ. 6, 319.
- Церера. 4, 163.
- Черматъ. 3, 90, 92.
- Цивалинъ, врачъ XVII в. 4, 267.
- Цинскій, московскій оберъ-полицеймейстеръ. 2, 132, 133, 138, 140, 141, 142, 152, 159, 160, 162, 302; 5, 380; 7, 11.
- Цинциннати, городъ. 2, 345.
- Цинциннать, Люцій. 2, 442; 5, 222.
- Цирпея. 6, 372.
- Циттенъ, прусскій гусарскій офицеръ. 1, 30.
- Цихановичъ, ссыльный полякъ. 2, 172—173; 7, 30.
- Цицеронъ. 1, 56, 58, 81, 267, 480, 483; 3, 354; 4, 231, 252, 265, 276, 347, 399; 5, 183, 234, 387; 6, 335.
- Цугъ, швейц. кантонъ. 1, 418.
- Цѣпной мостъ въ С.-Петербургѣ. 2, 339.
- Цюрихъ. 3, 88, 96, 128, 129, 130; 6, 46, 89, 144.
- Чаадаевъ, Петръ Яковъ. 2, 282, 319, 323, 326, 353, 393, 396, 398, 402, 403, 404—409, 414, 416, 425, 451, 465; 3, 151, 201, 349; 5, 346, 432; 6, 5, 18, 24,

47, 91, 109, 143, 154, 155, 368, 378, 379, 389.
Чальдини, итальян. генераль. 3, 550, 551.
Чамберсъ, членъ англ. парламента. 3, 441.
Чарингъ-Кроссъ, мѣстность въ Лондонѣ. 3, 255.
Чарторижскіе, князья. 3, 282.
Чарторижскій, Адамъ, князь (подробнѣе: прим. къ 344 стр. III т.). 3, 344, 469, 495; 5, 109.
Чатамъ, графъ. См. Питтъ старшій.
Чеботаревъ, пермскій докторъ. 2, 176—179.
Челлини, Бенвенуто (подробнѣе: прим. къ 276 стр. II т.). 2, 276; 3, 7, 522; 6, 205.
Чембаръ, городъ. 2, 332.
Черкасскій, Владим. Александр., князь (подробнѣе: прим. къ 304 стр. VI т.). 6, 304, 386.
Черное (Красное) море. 1, 13; 4, 195.
Черная Грязь, почт. станція. 2, 468, 473; 3, 15; 5, 6; 7, 376.
Чернецкій, польскій эмигрантъ. 3, 280, 285, 342, 503.
Черниговъ. 6, 48.
Черновъ, гвардейскій офицеръ. 2, 43.
Черногорія. 5, 306.
Черное море. 3, 510; 5, 313, 318, 407; 6, 52.
Чернышевскій, Никол. Гаврил. 3, 212, 461.
Чернышевъ, Александръ Ив., князь. 2, 346.
Чернышевъ, Захаръ Григ., графъ, декабристъ. 2, 106.
Черткова, Ек. Григ., сестра декабриста гр. З. Г. Чернышева. 2, 106.
Черткова (урожд. графиня Чернышева), Елизавета Григор. 6, 32.
Чертково, село. 2, 119.
Чесма, турецкій городъ. 1, 374.
Четыре Руки, почт. станція. 2, 467.
Четь-Миней. 6, 390; 7, 177.
Чехъ, казенный преступникъ. 6, 156.
Чивита-Веккья, городъ. 3, 9, 10, 577; 5, 82, 91—92, 212.
Чимборазо, гора. 2, 92; 5, 370.
Чингисъ-Ханъ (Темучинъ). 4, 407.
Чипсайдъ, мѣстность въ Лондонѣ. 3, 317.
Чисвикъ, мѣстность въ Лондонѣ. 3, 419.
Чичаговъ, Пав. Вас. 6, 188.
Чичеринъ, Бор. Никол. 2, 490—492.
Чичеровакію. См. Брунетти, Анджело.
Чукотскій Носъ. 5, 16.
Чудковъ, генералъ. 6, 371.
Чумаковъ, Федоръ Ив., проф. московск. университета. 2, 89, 91.

Шаликовъ, князь Петръ Ив., писатель. 1, 57; 2, 73.
Шаллеръ, нѣм. философъ-гегелистъ. 2, 311.
Шаллеръ, Ю., президентъ фрейбургскаго кантона. 3, 131, 133, 138, 143.
Шамборъ, графъ (Геирихъ V) (подробнѣе: прим. къ 116 стр. V т.). 3, 11; 5, 116, 123, 151, 312.
Шамполіонъ, Жакъ-Франсуа, египтологъ. 4, 424.
Шангарнье, Николай (подробнѣе: прим. къ 417 стр. I т.). 1, 417; 3, 43; 5, 130; 6, 270.
Шарантонъ, м-ко близъ Парижа. 5, 50.
Шардонъ, инженеръ-генералъ. 6, 372.
Шаррасъ, Жанъ-Батистъ-Адольфъ (подробнѣе: прим. къ 417 стр. I т.). 1, 417; 6, 187.
Шарръ, Л., франц. эмигрантъ. 3, 276.
Шарьеръ, фабрикантъ хирур. инструментавъ. 1, 430; 3, 273.
Шатель, швейц. деревня. 3, 121, 139, 141, 143, 557.
Шатобрианъ, Франсуа-Рене. 1, 28; 2, 414; 4, 82; 5, 106, 121, 246; 6, 112.
Шато-д'Ифъ, тюрьма на островѣ близъ Марселя. 1, 425.
Шацкъ. 7, 94, 445.
Швабія (Южная Германія). 3, 264; 4, 415.
Швейцарія. 1, 132, 193, 416, 417, 418, 438, 439, 441, 442, 454; 2, 183, 249; 3, 7, 74, 76—78, 80, 88, 89, 90, 91, 92, 107, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 135, 138, 140, 142, 144, 202, 204, 222, 227, 266, 398, 400, 555, 557; 4, 436; 5, 2, 52, 74, 109, 113, 148, 245, 262, 264, 286, 442; 6, 89, 219, 231, 240, 257.
Шверинъ, нѣмецкій почтмейстеръ. 3, 7.
Швеція. 1, 184, 239, 243, 285; 2, 13; 3, 291, 375, 499, 503, 510; 4, 24, 302; 5, 308, 372; 6, 293, 370.
Шебуевъ, Вас. Кузьм. 2, 401.
Шевалье. 2, 82.
Шевалье, владѣлец ресторана въ Москвѣ. 2, 386; 4, 389.
Шевалье, Мишель. 3, 356.
Шеве, париж. ресторанный. 5, 31.
Шеве, франц. публицистъ. 2, 406.
Шевченко, Тарасъ Григор. 3, 459.
Шевырьевъ, Степ. Петр. 2, 412, 423, 424, 425, 426; 4, 148, 151, 153—156; 5, 8; 6, 47, 94, 147, 161, 162.
Шекспиръ, Вильямъ. 1, 48, 57, 65, 89, 95, 335; 2, 327, 470, 472, 478, 497; 3, 97, 160, 256, 418, 482, 567; 4, 91, 332, 361, 428; 5, 35, 183, 264, 276, 319, 348, 355; 6, 75, 181, 365, 366; 7, 259, 268, 269, 276, 286, 387, 447.

- Шели, Перси Биши, поэтъ. 3, 364, 369; 5, 392, 400.
- Шеллингъ, Фридрихъ. 2, 310, 317, 406, 414; 3, 50; 4, 20, 90, 95, 124, 139, 154, 183—188, 214, 228, 280, 310, 336; 5, 38; 6, 26, 60, 78, 82, 83, 118, 138, 139.
- Шельшеръ, Викторъ. 3, 311, 323, 396; 5, 155.
- Шемьяка. 2, 261.
- Шенъ, англ. ораторъ. 3, 443.
- Шеню, франц. шпионъ. 3, 324.
- Шервудъ. 6, 353.
- Шереметевы, графы. 3, 345.
- Шериданъ, Ричардъ. 3, 514.
- Шестаковский, Наполеонъ, шпионъ. 3, 502.
- Шестовъ, москов. городской голова. 5, 321.
- Шефтсбюри, лордъ. 3, 426, 427, 441, 442, 443.
- Шешковский. 6, 353.
- Шиллеръ, Фридрихъ. 1, 34, 35, 58, 61, 62, 64—68, 101, 237, 282, 283, 284, 415; 2, 52, 56, 60, 110, 250, 264, 313, 380, 472, 473, 474, 475, 481; 3, 53, 73, 100, 106, 195, 303, 317, 368; 4, 7, 10, 33, 83, 84, 92, 93, 139, 183, 249, 361, 384, 415, 416; 5, 33, 203, 239, 405; 6, 9, 66, 78, 79, 81, 103, 127, 150; 7, 46, 76, 137, 159, 166, 172, 192, 224, 225, 230, 279, 313, 337, 342, 344, 345, 349, 388, 432, 439, 441, 447, 458.
- Шильонская тюрьма. 5, 142.
- Шиповъ, генер.-адъютантъ. 2, 405.
- Шпряевъ, москов. книгопродавецъ. 2, 104—105.
- Шифъ, нѣм. физиологъ. 1, 342.
- Шичковъ, Ал-дръ Семен., писатель и госуд. дѣятель. 2, 12, 401.
- Шиаола, итальян. министръ финансовъ 60-хъ годовъ. 3, 545, 550.
- Шкода, проф. анатоміи въиск. университета. 6, 181.
- Шкувъ, доверенный крестьянинъ отца Герцена. 2, 65, 66.
- Шлегель, Фридрихъ (подробнѣе: прим. къ 407 стр. II т.). 2, 407; 4, 3, 83, 205, 404.
- Шлезвигъ-Гольштейнъ. 3, 69, 436.
- Шлиссельбургъ. 2, 102, 160; 6, 324; 7, 340.
- Шлогсеръ, Фридрихъ-Кристофъ, нѣм. историкъ. 4, 334; 6, 78, 81, 85, 86.
- Шмальцгофъ, каретникъ. 1, 53.
- Шнейдеръ, нѣм. издатель. 6, 250.
- Шнепфъ, нѣм. шпионъ. 3, 324.
- Шницлеръ, франц. историкъ. 6, 188.
- Шо-де-Фонъ, городъ. 1, 438.
- Шопенгауеръ, Артуръ. 3, 225, 227, 381; 5, 392, 437.
- Шопенъ, Фридрихъ. 3, 134.
- Шоссе-д'Антенъ, ул. въ Парижѣ. 3, 19, 43, 278, 279, 306.
- Шотландія. 3, 419; 4, 6, 431; 5, 286.
- Шпандау, крѣпость въ Пруссіи. 5, 142, 378; 6, 156.
- Шпильбергъ (подробнѣе: прим. къ 77 стр. V т.). 5, 77, 142.
- Шпильманъ, учитель сына Герцена. 3, 129, 179, 183.
- Шпре, рѣка. 3, 302.
- Шпрудель, минеральный источникъ. 1, 88.
- Шредеръ-Девриенъ, нѣм. актеръ. 6, 196.
- Шредеръ, саксонскій чиновникъ. 6, 196.
- Шрекъ. 1, 55.
- Штаръ, нѣм. писатель. 6, 213.
- Штейнъ, Генрихъ, прусскій госуд. дѣятель. 1, 445; 6, 222.
- Штетинъ. 3, 216, 303; 4, 431.
- Штиллингъ (Юнгъ), Иоганнъ-Генрихъ, мистикъ. 4, 286.
- Штинъ, вятскій чиновникъ. 3, 114, 115.
- Штраусъ, Давидъ-Фридрихъ, ученый нѣм. богословъ. 4, 438.
- Штраусъ, Иоганнъ, композиторъ и капельмейстеръ. 4, 438; 5, 58.
- Штуръ, Людевитъ, словацкій ученый и поэтъ. 6, 107.
- Штутгартъ, городъ. 2, 21; 3, 137; 6, 6.
- Шуваловъ, Ив. Ив., графъ. 1, 367.
- Шубенскій, жандармскій полковникъ. 2, 108, 142, 154, 155, 156, 161, 162.
- Шубертъ, Францъ, композиторъ. 2, 313, 382.
- Шуйскій, Вас. Ив., царь. 6, 128.
- Шултгесъ. 3, 129, 130.
- Шурцъ, Карлъ, нѣм. эмигрантъ. 3, 264, 287.
- Шуя, городъ. 2, 401.
- Щепкинъ, Мих. Семен., артистъ. 1, 292; 2, 110, 166, 372, 383, 414, 457, 475, 480, 487, 488; 6, 113, 340—345.
- Щепкинъ, проф. московск. университета. 2, 95.
- Щербатовъ, князь, москов. ген.-губернаторъ. 2, 182, 430, 466, 468.
- Щербатовъ, князь, Мих. Мак., историкъ; 6, 292.
- Эбертъ. См. Гебертъ.
- Эберъ, министръ при Луи-Филиппѣ. 5, 110, 131.
- Эвклидъ. 2, 458; 5, 317.
- Эврипидъ. 1, 66.
- Эгмонтъ, Ламораль, графъ. 4, 361; 5, 387; 6, 7.
- Эдинбургъ, городъ. 3, 251.
- Эдипъ, царь. 3, 98; 5, 212; 7, 349.
- Эвопъ. 1, 413; 5, 65, 229; 6, 314; 7, 538.

- Эйлау (Прейсшг-Эйлау). городъ. 5, 214.
 Эйгорнъ, Иоганъ. 6, 156.
 Экартсгаузенъ (подробнѣе: прим. къ 407 стр. II т.). 2, 407; 4, 20, 286.
 Экерманъ, Иоганнъ-Петръ (подробнѣе: прим. къ 375 стр. IV т.). 4, 375, 384; 6, 139.
 Эксельманъ. 5, 138.
 Эксетеръ-Галь въ Лондонъ. 3, 312.
 Экъ, Иванъ Ивановичъ (въ текстъ I-го тома называется вымышленнымъ именемъ и отчествомъ: Карлъ Карловичъ), гувернеръ и учитель Герцена. 1, 51—53, 58; 2, 37.
 Эленшлегеръ, Адамъ. 4, 1.
 Элизаръ, Жюль (псевдонимъ Бакунина, см.).
 Эллада. См. Греція.
 Эльба, островъ. 4, 186; 5, 306.
 Эльбефъ, городъ. 5, 131.
 Эльбрусъ (Эльборусъ, Шатъ-гора). 2, 69; 7, 509.
 Эльдорадо. 4, 9.
 Эльвась. 1, 27, 90.
 Эльслеръ, Фанни, танцовщица. 3, 528.
 Эльстонъ-Сумароковъ, гр. 6, 192, 301.
 Эльфинстонъ, адмиралъ. 1, 377.
 Эмпедокль. 4, 225.
 Эпать, монастырь. 1, 15.
 Энгельсонъ, Александра Христиановна, жена рус. эмигранта. 3, 184, 185, 186, 205, 207—233.
 Энгельсонъ, русский эмигрантъ. 3, 180, 184, 185, 205—233, 464, 469.
 Энгленскій, герцогъ. 5, 131.
 Энглендеръ, австр. журналистъ. 3, 325.
 Энке, Иоганнъ-Францъ. 5, 188.
 Эоны. 5, 168.
 Эпиктетъ, греч. философъ-стоикъ. 4, 340.
 Эпикуръ. 4, 248—252, 264, 266.
 Эпихарисъ. 1, 98.
 Эразмъ Роттердамскій, гуманистъ. 4, 80, 91.
 Эрато, муза. 1, 292.
 Эрдманъ, Иоганнъ-Эдуардъ. 4, 293, 294.
 Эренбергъ, проф. 2, 93; 6, 129.
 Эрменовиль. 1, 177.
 Эрмитажъ въ Петербургъ. 1, 191; 5, 279.
 Эрнъ, Гавриилъ Касперовичъ, вятскій пріятель Герцена. 7, 37, 51, 53, 56, 57, 60, 61, 118, 134, 182, 191, 199, 229, 261, 276, 277, 296, 332, 382, 386, 390, 393, 432.
 Эрнъ (въ замужествѣ Рейхель), Марья Каспар. (подробнѣе: примѣч. къ 432 стр. II т.). 2, 432; 3, 5, 179, 186, 187, 191, 218, 221, 224, 558; 6, 341; 7, 84, 86, 116, 134, 154, 266, 368, 437.
 Эрнъ, Прасковья Андреевна (подробнѣе: прим. къ 297 стр. II т.). 2, 297; 7, 58, 344, 345, 348, 352, 355, 361, 362, 365, 371, 375, 376, 382, 386, 433, 434, 438, 441, 450, 511, 512, 519, 560, 577, 585.
 Эскриосъ, Альфонсъ. франц. эмигрантъ. 3, 228.
 Эскуриаль, дворець близъ Мадрида. 1, 417; 5, 114, 320.
 Эспартеро, Бальдомеро, герцогъ. 3, 293.
 Эспинасъ, Шарль, франц. генералъ. 3, 563.
 Эссентъ, Петръ Кирилл., оренбургскій губернаторъ. 2, 22, 23, 55.
 Эссентъ, флигель-адъютантъ, графъ. 2, 206, 207.
 Эсте (я'), Элеонора, принцесса. 7, 259.
 Эстергази, Павель-Антонъ, австр. дипломатъ и министръ. 3, 529.
 Эстергази, венгерскіе магнаты. 3, 281.
 Эстляндія. 6, 323.
 Эстре, Габриэль, фаворитка Генриха IV. 6, 187.
 Эстрель, мѣстность близъ Ниццы. 3, 182, 191; 5, 53, 54.
 Эсхиль. 1, 66, 484; 4, 33, 105; 6, 11.
 Этна, гора. 7, 217, 218.
 Эфесъ, городъ. 6, 131.
 Эшлей, членъ авгл. парламента. 6, 121.
 Юлианъ Отступникъ, императоръ. 4, 259, 260; 5, 241, 254, 351; 6, 130, 131.
 Юлій II, папа. 5, 60.
 Юлій Цезарь. 1, 286; 2, 255, 304; 4, 78, 222, 265, 399; 5, 249; 6, 335; 7, 387.
 Юмала, черемисское божество. 2, 199.
 Юмашъ, парижскій портной. 5, 6.
 Юмъ, Давидъ. 1, 96; 2, 414, 485; 3, 97, 369; 4, 74, 253, 309, 315, 318, 322, 327, 328, 330—332, 362; 5, 236.
 Юнгфрау, гора. 3, 520.
 Юнгъ. См. Штталлингъ.
 Юнгъ, Артуръ. 6, 174.
 Юнона, богиня. 3, 288.
 Юпитерь, Аммонъ. 1, 5; 2, 94; 3, 390; 4, 263, 270; 5, 184, 364, 435; 6, 9, 11, 123, 313; 7, 541.
 Юра, горы. 3, 47.
 Юстиніанъ, византийскій императоръ. 1, 180; 4, 262.
 Юсуповъ, Николай Борис., князь. 1, 287, 288, 486; 2, 51, 63, 77, 78, 442.
 Юсуповы, князья. 5, 375.
 Юшневскій, декабристъ. 2, 185; 6, 111.
 Яблоновскій, князь. 6, 371.
 Яворскій, Стефанъ, іерархъ и духовный писатель. 1, 368; 2, 319.
 Ягеллоны, польская королевская династія. 2, 107; 6, 110.

- Языкова, сестра декабриста В. П. Ивашева. 2, 43.
- Языковъ, Никол. Михайл. 2, 425; 4, 149; 6, 154, 155.
- Якоби, Фридрихъ-Генрихъ (подробнѣе: прим. къ 182 стр. IV т.). 4, 182; 5, 167; 6, 102—104.
- Яковлевъ, Александръ Алексѣевичъ, дядя Герцена. 2, 35, 80, 435.
- Яковлевъ, Алексѣй Александр., двоюр. братъ Герцена («Химикъ»). 2, 241, 242, 276, 434; 7, 102, 187, 308, 320, 333, 341, 419, 442, 452, 469, 544, 549, 555, 560, 566, 568, 569, 570, 571, 574, 575, 576, 583.
- Яковлевъ, Ив. Алексѣев., отецъ Герцена. 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18—22, 24, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 49, 50, 51, 55, 58, 62—77, 81, 83, 84, 85, 86, 115, 116, 117, 235, 236, 239, 244, 254, 267, 273—275, 284, 289, 290, 304, 334, 335, 336, 337, 343, 349, 350, 351, 356, 371, 377, 429—439, 441, 444, 445, 446, 461; 5, 375; 6, 17, 20, 36; 7, 278, 287, 291, 296, 299, 301, 303, 305, 310, 319, 356, 361, 365, 369, 371, 377, 382, 388, 389, 396, 403, 406, 407, 410, 418, 419, 423, 427, 429, 432, 438, 440, 447, 448, 454, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 479, 481, 483, 484, 488, 499, 502, 511, 516, 518, 522, 532, 536, 545, 550, 552, 554, 556, 557, 566, 568, 569, 570, 572, 573, 576, 577, 583, 585.
- Яковлевъ, Лев. Алексѣев., дядя Герцена («Сенаторъ»). 2, 13, 15, 16, 17, 18, 19—20, 21, 25, 27, 28, 29, 31—34, 36, 39, 41, 50, 67, 72, 75, 76, 81, 100, 214, 215, 235, 236, 239, 240, 245, 267, 270, 271—273, 284, 304, 371, 377, 429, 433, 438, 439, 444, 445, 446; 6, 36; 7, 9, 10, 24, 35, 36, 117, 153, 162, 164, 181, 185, 210, 256, 279, 329, 346, 348, 356, 359, 366, 371, 372, 388, 466, 483, 499, 510, 512, 516, 522, 526, 537, 556, 566, 567, 570, 571, 572, 576.
- Яковлевъ, Василій, староста. 2, 371.
- Яковъ II, англ. король. 6, 74.
- Яковъ Игнатъевичъ, лакей въ домѣ отца Герцена. 1, 53.
- Якутскъ. 2, 191.
- Якушкинъ, Ив. Дм., декабристъ. 2, 406.
- Янусъ. 4, 137, 357; 6, 254.
- Янъ Собѣскій, польскій король. 6, 110, 181, 297.
- Янъ, Фридрихъ-Людвигъ. 2, 407.
- Японія. 1, 78; 3, 375, 483, 484, 487; 4, 100, 396; 5, 135, 308, 384; 6, 239, 324.
- Яранскъ, городъ. 2, 224; 7, 443.
- Яромна, станція. 7, 407.
- Ярославская губернія. 2, 12, 13.
- Ярославль. 2, 12; 4, 60; 5, 327.
- Яръ, ресторанъ въ Москвѣ. 2, 113, 114, 117, 436, 457.
- Ярыжнина, помѣщица. 2, 363, 364.
- Яссы, городъ. 1, 456; 3, 45, 468, 490, 491, 492.
- Луза, рѣка. 1, 346, 353, 377, 386, 387.
- Фаворъ. 6, 266; 7, 170, 396.
- Фалесъ милетскій. 4, 147, 209—210.
- Федоръ Карловичъ, нѣмецъ-губернёръ Герцена. 2, 37—39.
- Фемида. 1, 187; 5, 228.
- Фемистоклъ. 1, 64; 4, 398.
- Феодора, святая. 1, 1, 11, 13, 14—23.
- Феодоръ Монсуестійскій, церк. писатель. 6, 132.
- Феодосій I, Великій, императоръ. 6, 130.
- Феодосій II, императоръ. 6, 130.
- Фиваида. 1, 9; 5, 203.
- Фивы, городъ въ Египтѣ. 1, 99, 479.
- Фома, Кемпійскій. 3, 104.
- Фуксидъ, греч. историкъ. 4, 374.

Прогрессъ, какъ эволюція жестокости. М. Энгельгардта. Ц. 75 к.
 Вырожденіе. Психологическія явленія въ области современной литературы и искусства. Макса Нордау. 585 стр. 2-е изд. Ц. 1 р. 50 к.
 Въ поискахъ за истиной. Макса Нордау. Пер. съ нѣм. Эд. Зауэръ. 4-е изд. Ц. 1 р.
 Этика. Ученіе о нравственности. Сост. проф. Маккензи. Переводъ съ англійскаго. Ц. 1 р.
 Прогрессивная нравственность. Фаулера. Съ англ. подъ ред. Вл. Соловьева. Ц. 40 к.
 Нравственный инстинктъ. Сутерланда. Съ англ. Ц. 1 р. 50 к.
 Счастье и трудъ. Мантегацца. 3 изд. Ц. 60 к.
 Философія исторіи въ ея главнѣйшихъ теченіяхъ. Д-ра Раппопорта. Ц. 75 к.
 Политическая исторія современной Европы. (1814 — 1896). Сеньобоса. Переводъ подъ ред. проф. А. Трачевскаго. Ц. 1 р. 50 к.
 Исторія французской революціи. И. Карно. Переводъ съ франц. 2-е изд. Ц. 1 р.
 Герои и героическое въ исторіи. Публичные бесѣды Томаса Карлейля. 2-е изд. Ц. 1 р.
 Путь къ счастью. Сост. Ф. Кирхнеръ. Ц. 60 к.
 Исторія книги на Руси. А. Бахтіарова. Со многими рисунками. Ц. 1 р. 50 к.
 Европейскіе монархи и ихъ дворы. Политическа. Съ 16 портретами. Ц. 1 р.
 Іезуиты, ихъ исторія, организація и практическая дѣятельность. Ж. Губера. Съ нѣм. Ц. 1 р.
 Очерки самоуправленія (земскаго, городского, сельскаго). С. Приклонскаго. Ц. 2 р.
 Роль общественнаго мнѣнія въ государственной жизни. Проф. Гольцендорфа. Ц. 75 к.

Популярно-научныя книги.

Нерѣшенные проблемы біологіи. Съ приложеніемъ статей о Р. Варховѣ и Л. Бюхнерѣ. В. В. Лункевича. Съ 81 рис., 4 таблицами и 8 портретами. Ц. 2 р.
 Основы жизни. Популярная біологія. В. В. Лункевича. Съ 465 рис. и 7 хромолютографіями. 2-е изданіе. Ц. 4 р.
 Научныя и социальныя изслѣдованія. А. Р. Уоллеса. Томъ I-й. Съ 89 рис. и картой. Ц. 1 р. 75 к.
 Соціальныя этюды. Тарда. Ц. 1 р. 50 к.
 Законы подражанія. Тарда. Ц. 1 р. 50 к.
 Соціальная жизнь животныхъ. Эспанаса. Пер. Ф. Павленкова. 2-е изд. Ц. 1 р.
 Мужчина и женщина. Этюдъ о вторичныхъ полов. призвакахъ у человѣка. Г. Эллиса. Ц. 1 р.
 Преступная толпа. Опытъ коллективной психологіи. С. Сигеле. 116 стр. 2 изд. Ц. 30 к.
 Преступленія и проституція, какъ социальныя болѣзни. Гирша. Ц. 30 к.
 Очерки психологіи. Тиченера. Съ англійскаго. Ц. 1 р.
 Психологія чувствъ. Рибо. Ц. 80 к.
 Психологія вниманія. Д-ра Рибо. Ц. 30 к.

Психологія характера. Ф. Позана. Ц. 75 к.
 Психологія великихъ людей. Проф. Жоан. Переводъ съ франц. 3-е изд. Ц. 60 к.
 Эволюція общихъ идей. Т. Рибо. Переводъ М. Гольдеманъ. Ц. 60 к.
 Физиологія страстей. Летурино. Ц. 1 р.
 Физиологическія бесѣды. А. Герцена. Проф. Лозанскаго университета. Ц. 1 р.
 Патологія души. Популярныя бесѣды. Д-ра М. Флэри. Ц. 1 р.
 Генитальность и помѣшательство. Ц. Ломброзо. Съ рисунками. 3-е изд. Ц. 1 р.
 Чудесный вѣкъ. Естествен.-философскій обзоръ XIX ст. проф. Уоллеса. Ц. 1 р. 50 к.
 Душевные движенія. Д-ра Ланге. Ц. 40 к.
 Привычка и инстинктъ. Л. Моргана. Съ англ. Ц. 1 р.
 Миръ грѣзъ. Д-ра Симона. Сновидѣнія, галлюцинаціи, сомнамбулизмъ, гипнотизмъ. Ц. 1 р.
 Экстазы меланхолика. П. Мантегацца. Переводъ съ 5-го итальян. изданія. Ц. 1 р. 50 к.
 Современные психопаты. Д-ра А. Кюллера. Переводъ съ франц. Ц. 1 р. 50 к.
 Характеръ и нравственное воспитаніе. Кейра. Съ франц. Ц. 40 к.
 Воспитаніе воли. Ж. Пейо. 4-е изд. Ц. 60 к.
 Воспитаніе чувствъ. Тома. Съ франц. Ц. 60 к.
 Духовный прогрессъ и счастье. П. Лоскутова. Ц. 1 р.
 Пессимизмъ. Соч. Джамса Сѣлли. Обзоръ пессимист. ученій. Съ англ. Ц. 1. 50 к.
 Вѣрить или не вѣрить? Экскурсія въ области таинственнаго. Д-ра Битнера. Ц. 1 р. 50 к.
 Гипнотизмъ въ теоріи и на практикѣ. Д-ра Маррена. Съ франц. Ц. 75 к.
 Исторія міра. Гюйяра. Съ 101 рис. Съ фр. Ц. 1 р.
 Эволюціонная этика и психологія животныхъ. Э. П. Эванса. Пер. съ англ. Ц. 75 к.
 Положительная философія Огюста Конта въ популярномъ изложеніи д-ра Робинъ. Ц. 50 к.
 Философія Герберта Спенсера въ сокр. изд. Коллинса. Перев. съ англ. 2-е изд. Ц. 2 р.
 Философія Шопенгауэра. Т. Рибо. Переводъ Э. К. Ватсона. Ц. 50 к.
 Дарвинизмъ. Э. Ферьера. Пер. съ фр. Ц. 50 к.
 Исторія религіи. Проф. Мензиса. Ц. 1 р.
 О вѣрованіи. Ж. Пейо. Перев. съ франц. Ц. 50 к.
 Безсмертіе съ точки зрѣнія эволюціоннаго натурализма. Лекція А. Сабатье. 2-е изд. Ц. 50 к.
 Живописная астрономія. К. Фламмаріона. Съ 382 рисунк. 2-е изд. Ц. 3 р.
 Основы политической экономіи. Шарля Жюда. Перев. съ 4 франц. изданія. Ц. 1 р. 25 к.
 Итоги XIX вѣка. Д. Нордена. Ц. 40 к.
 Жизнь и смерть. Пуб. лек. А. Сабатье. Ц. 75 к.
 Развитие народнаго хозяйства въ Западной Европѣ. М. Ковалевскаго. Ц. 75 к.
 Письма о земледѣліи. М. Энгельгардта. Ц. 50 к.
 Современная женщина.—Ея положеніе въ Европѣ и Америкѣ. Б. Ф. Брайда. Ц. 60 к.

А. И. Герценъ. Его жизнь и литературная дѣятельность (изъ серіи «Жизни замѣчательныхъ людей»). Ц. 25 к.

Цѣна за 7 томовъ 12 рублей.

